Илья Эренбург

ЛЮДИ ГОДЫ ЖИЗНЬ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

"Я буду рассказывать об отдельных людях, о различных городах, перемежая и запомнившееся моими мыслителями о прошлом" - так определил И. Г. Эренбург (1891 - 1967) идею создания своих мемуаров, увидевших свет в начале 60-х годов.

Знаменитые воспоминания «Люди, годы, жизнь» Ильи Эренбурга — одна из культовых книг середины XX века. Впервые опубликованная в 1960–1965 гг. на страницах «Нового мира», она сыграла исключительную роль в формировании поколения шестидесятых годов; именно из нее читатели впервые узнали о многих страницах нашей истории.

В *1-й том* вошли первые три книги воспоминаний, охватывающие события от конца XIX века до 1933 г., рассказы о встречах с Б.Савинковым и Л.Троцким, о молодых П.Пикассо и А.Модильяни, портреты М.Волошина, А.Белого, Б.Пастернака, А.Ремизова, повествование о трагических судьбах М.Цветаевой, В.Маяковского, О.Мандельштама, И.Бабеля. Комментарии к мемуарам позволяют лучше понять недоговоренности автора, его, вынужденные цензурой, намеки. Книга иллюстрирована многочисленными уникальными фотографиями.

Во *2-й том* мемуаров И. Эренбурга «Люди, годы, жизнь» вошли четвертая и пятая книги, посвященные 1933–1945 годам, а также комментарии, содержащие многие исторические документы и свидетельства, редкие фотографии. В четвертой книге Эренбург описал то, что видел лично: предвоенную Европу, войну в Испании, встречи с И. Ильфом и Е. Петровым, А. Жидом, Р. Фальком, Э. Хемингуэем и М. Кольцовым, процесс над Н. Бухариным, падение Парижа в 1940-м. Пятая книга целиком посвящена событиям Отечественной войны 1941–1945 гг., антифашистской работе Эренбурга. Рассказы о фронтовых поездках, встречах с военачальниками К. Рокоссовским, Л. Говоровым, И. Черняховским, генералом А. Власовым, дипломатами, иностранными журналистами, писателями и художниками, о создании запрещенной Сталиным «Черной книги» о Холокосте. Изданные на основных языках мира, воспоминания И. Эренбурга дают широчайшую панораму XX века.

В *3-й том* вошли шестая и седьмая книги мемуаров И.Эренбурга «Люди, годы, жизнь». Шестая книга рассказывает о событиях 1945–1953 гг. Послевоенная Москва, путешествие с К.Симоновым по Америке, Нюрнбергский процесс, убийство С.Михоэлса и борьба с «космополитами»; портреты А.Эйнштейна и Ф.Жолио-Кюри, А.Матисса и П.Элюара, А.Фадеева и Н.Хикмета.

Книга кончается смертью Сталина, открывшей возможность спасительных перемен в стране. Седьмая книга посвящена эпохе хрущевской оттепели и надеждам, которые она породила. XX съезд, разоблачивший преступления Сталина, события в Венгрии, путешествия по Индии, Японии, Греции и Армении, портреты Е.Шварца, Р.Вайяна и М.Шагала. «После очень длинной жизни мне не хочется говорить того, чего я не думаю, а молчание в некоторых случаях хуже, чем прямая ложь», — писал Эренбург А.Т.Твардовскому, отстаивая свое понимание прожитого.

- Книга I
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17
  - 18
  - 19
  - 20
  - 21
  - 22
  - 23
  - 24
  - 25
  - 26
  - 27
  - 28
  - 29
  - 30
  - 31
  - 32
  - 33

- 34
- Книга II
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17
  - 18
  - 19
  - 20
  - 21
  - 22
  - 23
  - 24
  - 25
  - 26
  - 27
- Книга III
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14

- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34

- Книга IV
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17
  - 18
  - 19
  - 20
  - 21
  - 22
  - 23

- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40

- Книга V
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17
  - 18
  - 19
  - 20
  - 21
  - 22
  - 23
  - 24
  - 25
  - 26

- 27
- Книга VI
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17
  - 18
  - 19
  - 20
  - 21
  - 22
  - 23
  - 24
  - 25
  - 26
  - 27
  - 28
  - 29
  - 30
  - 31
  - 32
  - 33
  - 34
  - 35
- Книга VII
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6

- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22

- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9

Книга I

1

Давно мне хочется написать о некоторых людях, которых я встретил в жизни, о некоторых событиях, участником или свидетелем которых был; но не раз я откладывал работу: то мешали обстоятельства, то брало сомнение — удастся ли мне воссоздать образ человека, картину, с годами потускневшую, стоит ли довериться своей памяти. Теперь я все же сел за эту книгу — откладывать дольше нельзя.

Тридцать пять лет назад в одном из путевых очерков я писал: «Этим летом, в Абрамцеве, я глядел на клены сада и на покойные кресла. Вот у Аксакова было время, чтобы подумать обо всем. Его переписка с Гоголем — это неторопливая опись души и эпохи. Что оставим мы после себя? Расписки: «Получил сто рублей» (прописью). Нет у нас ни кленов, ни кресел, а отдыхаем мы от опустошающей суеты редакций и передних в купе вагона или на палубе. В этом, вероятно, своя правда. Время обзавелось теперь быстроходной машиной. А автомобилю нельзя крикнуть «остановись, я хочу разглядеть тебя поподробнее!». Можно только сказать про беглый свет его огней. Можно, — и это тоже исход, — очутиться под его колесами».

Многие из моих сверстников оказались под колесами времени. Я выжил — не потому, что был сильнее или прозорливее, а потому, что бывают времена, когда судьба человека напоминает не разыгранную по всем правилам шахматную партию, но лотерею.

Я был прав, сказав очень давно, что наша эпоха оставит мало живых показаний: редко кто вел дневник, письма были короткими, деловыми — «жив, здоров»; мало и мемуарной литературы. Есть на то много причин. Остановлюсь на одной, которая, может быть, не всеми осознана: мы слишком часто бывали в размолвке с нашим прошлым, чтобы о нем хорошенько подумать. За полвека множество раз менялись оценки и людей и событий; фразы обрывались на полуслове; мысли и чувства невольно поддавались влиянию обстоятельств. Путь шел по целине; люди падали с обрывов, скользили, цеплялись за колючие сучья мертвого леса. Забывчивость порой диктовалась инстинктом самосохранения: нельзя было идти дальше с памятью о прошлом, она вязала ноги. Ребенком я слышал поговорку: «Тому тяжело, кто помнит все» — и потом убедился, что век был слишком трудным для того, чтобы волочить груз воспоминаний. Даже такие потрясшие народы события, как две мировых войны, быстро становились историей. Издатели во всех странах теперь

говорят: «Книги о войне не идут…» Одни уже не помнят, другие не хотят узнать о минувшем. Все смотрят вперед; это, конечно, хорошо; но древние римляне не зря обожествляли Януса. У Януса было два лица, не потому, что он был двуличным, как часто говорят, нет, он был мудрым: одно его лицо было обращено к прошлому, другое — к будущему. Храм Януса закрывали только в годы мира, а за тысячу лет это случалось всего девять раз — мир в Риме был редчайшим событием. Мое поколение не походило на римлян, но мы тоже можем пересчитать на пальцах более или менее спокойные годы. Однако, в отличие от римлян, мы, кажется, считаем, что о прошлом следует думать только в эпоху глубокого мира…

Когда очевидцы молчат, рождаются легенды. Мы иногда говорим «штурмовать бастилии», хотя Бастилию никто не штурмовал — 14 июля 1789 года было одним из эпизодов Французской революции; парижане легко проникли в тюрьму, где оказалось очень мало заключенных. Однако именно взятие Бастилии стало национальным праздником Республики.

Образы писателей, дошедшие до последующих поколений, условны, а порой находятся в прямом противоречии с действительностью. До недавнего времени Стендаль казался читателям эгоистом, то есть человеком, поглощенным своими собственными переживаниями, хотя он был общительным и эгоизм ненавидел. Принято считать, что Тургенев любил Францию, ведь он там провел много времени, дружил с Флобером; на самом деле он не понимал и недолюбливал французов. Одни считают Золя человеком, познавшим различные соблазны, — автором «Нана»; другие, вспоминая его роль в защите Дрейфуса, видят в нем общественного деятеля, страстного трибуна; а тучный семьянин был на редкость целомудренным и, за исключением последних лет своей жизни, далеким от гражданских бурь, потрясавших Францию.

Проезжая по улице Горького, я вижу бронзового человека, очень заносчивого, и всякий раз искренне удивляюсь, что это памятник Маяковскому, настолько статуя не похожа на человека, которого я знал.

Прежде легендарные образы складывались десятилетиями, порой веками; теперь не только самолеты быстро пересекают океаны, люди мгновенно отрываются от земли и забывают о пестроте, о сложности ее рельефа. Иногда мне кажется, что некоторое потускнение литературы, которое во второй половине нашего века замечается почти повсеместно, связано с быстротой превращения вчерашнего дня в условность. Писатель очень редко изображает действительно существующих людей — такого-то

Иванова, Дюрана или Смитса; герои романа — сплав, в который входят и множество встреченных писателем людей, и его собственный душевный опыт, и его понимание мира. Может быть, история — романист? Может быть, живые люди для нее прототипы, и она, переплавляя их, пишет романы — хорошие или плохие?…

Все знают, насколько разноречивы рассказы очевидцев о том или ином событии. В конечном счете, как бы ни были добросовестны свидетели, в большинстве случаев судьи должны положиться на свою собственную прозорливость. Мемуаристы, утверждая, что они беспристрастно описывают эпоху, почти всегда описывают самих себя. Если бы мы поверили в образ Стендаля, созданный его ближайшим другом Мериме, мы никогда бы не поняли, как мог светский человек, остроумный и эгоцентричный, описать большие человеческие страсти, — к счастью, Стендаль оставил дневники. Политическая буря, разразившаяся в Париже 15 мая 1848 года, описана Гюго, Герценом и Тургеневым; когда я читаю их записи, мне кажется, что речь идет о различных событиях.

Иногда разноречивость показаний диктуется несходством мыслей, чувствований, иногда она связана с самой обычной забывчивостью. Десять лет спустя после смерти Чехова люди, хорошо знавшие Антона Павловича, спорили, какие у него были глаза — карие, серые или голубые.

Память сохраняет одно, опускает другое. Я помню в деталях некоторые картины моего детства, отрочества, отнюдь не самые существенные; помню одних людей и начисто забыл других. Память похоже на фары машины, которые освещают ночью то дерево, то сторожку, то человека. Люди (особенно писатели), рассказывающие стройно и подробно свою жизнь, обычно заполняют пробелы догадками; трудно отличить, где кончаются подлинные воспоминания, где начинается роман.

Я не собираюсь связно рассказать о прошлом — мне претит мешать бывшее в действительности с вымыслом; притом я написал много романов, в которых личные воспоминания были материалом для различных домыслов. Я буду рассказывать об отдельных людях, о различных годах, перемежая запомнившееся моими мыслями о прошлом. Видимо, это будет, скорее, книга о себе, чем об эпохе. Конечно, я расскажу о многих людях, которых знал, — о политических деятелях, о писателях, о художниках, о мечтателях, об авантюристах; имена некоторых из них известны всем; но я не беспристрастный летописец, и это будут только попытки портретов. Да и события, большие или незначительные, я попытаюсь описать не в их исторической последовательности, а

в их связи с моей маленькой судьбой, с моими сегодняшними мыслями.

Я никогда не вел дневников. Жизнь была, скорее, беспокойной, и мне не удалось сохранить письма друзей — сотни писем пришлось сжечь, когда фашисты оккупировали Париж; да и потом письма, скорее, уничтожались, чем хранились. В 1936 году я написал роман «Книга для взрослых»; он отличается от других моих романов тем, что в него вставлены главы мемуарного характера. Кое-что я возьму из этой давней книги.

Некоторые главы я считаю преждевременным печатать, поскольку в них речь идет о живых людях или о событиях, которые еще не стали достоянием истории; постараюсь ничего сознательно не искажать — забыть про ремесло романиста.

Камень всегда холоден, по своей природе он отличен от человеческого тела, но с древнейших времен скульпторы брали мрамор, гранит или же металл — бронзу — для изображения человека. Только когда перед ними вставали декоративные замыслы, они прибегали к дереву, хотя, конечно, дерево куда ближе к плоти. Камень прельщал потому, что он труден для работы, притом он долговечен. В различных музеях стоят вереницы каменных статуй; многие из них прекрасны, все они холодны. Но порой статуя теплеет, оживает от глаз посетителя музея. Мне хотелось бы любящими глазами оживить несколько окаменелостей былого; да и приблизить себя к читателю: любая книга — исповедь, а книга воспоминаний — это исповедь без попыток прикрыть себя тенями вымышленных героев.

2

Я родился в Киеве 14 января 1891 года. 1891-й — эта цифра хорошо памятна русским людям да еще французским виноделам. В России был голод; двадцать девять губерний поразил недород. Лев Толстой, Чехов, Короленко пытались помочь голодающим, собирали деньги, устраивали столовые; все это было каплей в море, и много спустя девяносто первый называли «голодным годом». Французские виноделы разбогатели на вине того года: засуха сжигает хлеба и повышает качество винограда; черные даты для крестьян Поволжья неизменно совпадают с радостными датами для бургундских и гасконских виноделов; еще в двадцатых годах нашего века знатоки разыскивали вина, помеченные цифрой «1891». В 1943 году из Ленинграда вывезли в Москву по «ледяной дороге» вагон со старым «Сент-Эмилион» 1891 года. Самтрест попросил А. Н. Толстого и меня проверить качество спасенного вина. В бутылках оказалась кисловатая водица — вино умерло (вопреки распространенной легенде, вино, даже самое лучшее, умирает в возрасте сорока — пятидесяти лет).

1891 год… Какой далекой кажется теперь эта дата! Россией правил Александр III, На троне Великобритании сидела императрица Виктория, хорошо помнившая осаду Севастополя, речи Гладстона, усмирение Индии. В Вене благополучно царствовал Франц-Иосиф, взошедший на престол в памятном 1848 году. Еще жили герои драм и фарсов прошлого столетия — Бисмарк, генерал Галифе, известный дипломат царской России Игнатьев, маршал Мак-Магон, Фогт, известный нашим студентам благодаря памфлету Карла Маркса. Еще жил Энгельс. Еще работали Пастер и Сеченов, Мопассан и Верлен, Чайковский и Верди, Ибсен и Уитмен, Нобель и Луиза Мишель. В 1891 году умерли Рембо и Гончаров.

Если представить себе сейчас 1891 год, мир внешне настолько изменился, что кажется, прошла не одна человеческая жизнь, а несколько столетий. Париж обходился без световых реклам и без автомобилей. О Москве говорили «большая деревня». В Германии доживали свой век романтики, влюбленные в липы и в Шуберта. Америка была далеко, за тридевять земель.

Не было еще на свете ни Жолио-Кюри, ни Ферми, ни Маяковского, ни Брехта, ни Элюара. Гитлеру было два года. Мир казался успокоившимся: никто не воевал; Италия только присматривалась к Эфиопии, Франция готовилась захватить Мадагаскар. Газеты рассуждали о визите французского флота в Кронштадт: очевидно, Тройственному союзу будет

противопоставлен франко-русский союз; любители потолковать о высокой политике говорили, что «мир спасет европейское равновесие».

Россия была еще неподвижной, Александр III, разгромив «Народную волю», несколько успокоился. Правда, первого мая в Петербурге была маленькая маевка. Правда, в Самаре Ленин читал Маркса. Но могло ли это смутить всемогущего царя? Он преспокойно приложил руку к козырьку, когда во время визита французских кораблей оркестр исполнил «Марсельезу». Он удовлетворенно говорил: вот уже заложена Великая сибирская магистраль, скоро можно будет в поезде доехать из Иркутска до Москвы…

Первое мая было внове. В рабочем поселке Фурми на севере Франции в 1891 году полиция расстреляла первомайскую демонстрацию. Газеты писали: «Зловещие тени коммунаров оживают».

В Германии был торжественно учрежден «Пангерманский союз». Там много говорили о жизненном пространстве, о миссии Германии, о грядущих походах, и отцы будущих эсэсовцев кричали «гох».

Жорес писал, что победят не палачи Фурми, а рабочие, интернационалисты, защитники прав человека.

Нет, уж не так далек 1891 год: заваривалась та каша, которую наше поколение долго, старательно расхлебывало. Жизнь каждого человека извилиста и сложна, но, когда глядишь на нее с высоты, видишь, что есть в ней своя скрытая прямая линия. Люди, которые родились в тишайшем 1891 году, когда был голод в России и замечательное вино во Франции, должны были увидеть много революций, много войн, Октябрь, спутники Земли, Верден, Сталинград, Освенцим, Хиросиму, Эйнштейна, Пикассо, Чаплина.

Четырнадцатого января 1891 года, в тот самый день, когда в Киеве на крутой Институтской улице, идущей от Крещатика вверх к Липкам, мне суждено было увидеть свет, Антон Павлович писал своей сестре из Петербурга: «Меня окружает густая атмосфера злого чувства, крайне неопределенного и для меня непонятного. Меня кормят обедами и поют мне пошлые дифирамбы и в то же время готовы меня съесть. За что? Черт их знает. Если бы я застрелился, то доставил бы этим большое удовольствие девяти десятым своих друзей и почитателей. И как мелко выражают свое мелкое чувство! Буренин ругает меня в фельетоне, хотя нигде не принято ругать в газетах своих же сотрудников…» Вот что говорил Буренин о Чехове: «Подобные средние таланты разучаются прямо смотреть на Окружающую их жизнь и бегут, куда глаза глядят…» Антон Павлович в январе 1891 года начал

писать повесть «Дуэль». Я часто перечитываю Чехова и вот недавно снова перечитал «Дуэль». Конечно, на ней есть печать времени. Герой Лаевский, томясь в захолустье, мечтает, как он вернется в Петербург: «Пассажиры в поезде говорят о торговле, новых певцах, о франко-русских симпатиях; всюду чувствуется живая, культурная, интеллигентная, бодрая жизнь…» Но о франко-русском сближении или о развитии торговли я знаю и без «Дуэли». Перечитывая повесть, я задумался о другом — о своей жизни.

Лаевский — слабый человек, запутавшийся и доведенный до отчаяния: «Он столкнул с неба свою тусклую звезду, она закатилась, и след ее смешался с ночною тьмой; она уже не вернется на небо, потому что жизнь дается только один раз и не повторяется. Если бы можно было вернуть прошлые дни и годы, он ложь в них заменил бы правдой, праздность — трудом, скуку — радостью…» Свихнувшегося Лаевского обличает фон Корен, человек точных знаний и очень неточной совести. «Так как он неисправим, то обезвредить его можно только одним способом… В интересах человечества и в своих собственных интересах такие люди должны быть уничтожаемы. Непременно… Я не настаиваю на смертной казни. Если доказано, что она вредна, то придумайте что-нибудь другое. Уничтожить Лаевского нельзя, ну так изолируйте его, обезличьте, отдайте в общественные работы… А если горд, станет противиться — в кандалы!.. Мы должны сами позаботиться об уничтожении хилых и негодных, иначе, когда Лаевские размножатся, цивилизация погибнет». А вот что думает о беспощадном стороннике прогресса и естественного отбора бедняга Лаевский: «И идеалы у него деспотические. Обыкновенные смертные, если работают на общую пользу, то имеют в виду своего ближнего: меня, тебя, одним словом, человека. Для фон Корена же люди — щенки и ничтожества, слишком мелкие для того, чтобы быть целью его жизни. Он работает, пойдет в экспедицию и свернет себе там шею не во имя любви к ближнему, а во имя таких абстрактов, как человечество, будущие поколения, идеальная порода людей… А что такое человеческая порода? Иллюзия, мираж… Деспоты всегда были иллюзионистами».

В конце повести Лаевский, а с ним вместе Чехов думают, глядя на разбушевавшееся морс: «Лодку бросает назад, делает она два шага вперед и шаг назад, но гребцы упрямы, машут неутомимо веслами и не боятся высоких волн. Лодка идет все вперед и вперед, вот уже се и не видно, а пройдет с полчаса, и гребцы уже увидят пароходные огни, а через час будут уже у пароходного трапа. Так и в жизни… В поисках за правдой люди

делают два шага вперед, шаг назад. Страдания, ошибки и скука жизни бросают их назад, но жажда правды и упрямая воля гонят вперед и вперед. И кто знает? Может быть, доплывут до настоящей правды».

«Дуэль» Чехов, как я уже говорил, начал писать в январе 1891 года. Оглядываясь на свою жизнь, я вижу, что есть связь между моими мыслями, надеждами, сомнениями и тем, что волновало Антона Павловича, когда меня еще не было на свете. Я в жизни встречал много фон Коренов, я часто блуждал, ошибался и, как Лаевский, горевал о тусклой звезде, которую столкнул с неба, и, как тот же Лаевский, восхищался гребцами, борющимися с высокими волнами. Теперь далекие континенты сделались пригородом. Луна и та стала как-то ближе. Но прошлое от этого не потеряло своей силы, и если человек за одну жизнь много раз меняет свою кожу, почти как костюмы, то сердца он все же не меняет — сердце одно.

3

Говорят, что яблоко падает неподалеку от яблони. Бывает так, бывает и наоборот. Я жил в эпоху, когда о человеке часто сулили по анкете; в газетах писали, что «сын не отвечает за отца», но порой приходилось отвечать и за дедушку.

Вряд ли и о деде можно судить по внукам. Несколько лет назад я прочитал в газете «Монд» статью о внуках и правнуках Л. Н. Толстого; их около восьмидесяти, и разбрелись они по всему свету: один — офицер американской армии, другой — итальянский тенор, третий — агент французской авиационной компании.

Поэт Фет, Афанасий Афанасьевич Шеншин, кроме хороших стихов, писал нехорошие статьи в журнале Каткова. Он обличал нигилистов и евреев, в которых видел первопричину зла. Племянник Фета, Н. П. Пузин, рассказывал мне, что поэт узнал из письма — завещания своей покойной матери, — что его отцом был гамбургский еврей. Мне рассказывали, будто Фет завещал похоронить письмо вместе с ним, — видимо, хотел скрыть от потомства правду о своей яблоне. После революции кто-то вскрыл гроб и нашел письмо.

Иван Сергеевич Тургенев вспоминал: «Я родился и вырос в атмосфере, где царили подзатыльники, пинки, колотушки, пощечины и пр., но, по правде сказать, окружающая меня обстановка не привила мне вкуса к кулачной расправе. Я никогда никого не бил». Тургенев сделал из своей дочки Пелагеи Полину, выдал ее замуж за владельца стеклянной фабрики г-на Гастона Брюэра и написал Анненкову: «Хлопот было пропасть, но я вознагражден, вполне убежден тем, что дочь моя будет счастлива». (Вслед за этим Иван Сергеевич начал писать «Дым», в котором показывал страдания замужней женщины.)

О моих родителях я вспоминаю с любовью; но, оглядываясь назад, я вижу, как далеко откатилось яблоко от яблони.

Я родился в буржуазной еврейской семье. Мать моя дорожила многими традициями: она выросла в религиозной семье, где боялись и бога, которого нельзя было называть по имени, и тех «богов», которым следовало приносить обильные жертвоприношения, чтобы они не потребовали кровавых жертв. Она никогда не забывала, ни о Судном дне на небе, ни о погромах на земле. Отец мой принадлежал к первому поколению русских евреев, попытавшихся вырваться из гетто. Дед его проклял за то, что он пошел учиться в русскую школу. Впрочем, у деда был вообще крутой нрав, и он проклинал по очереди всех детей; к

старости, однако, понял, что время против него, и с проклятыми помирился.

Если предположить, что яблоней был дед, то и от этой яблони яблоки разлетелись в самые разные стороны. Один из моих дядюшек разбогател; звали его Лазарем Григорьевичем, и жил он в Харькове. Его сын, мой двоюродный брат, Илья, стал социал-демократом, долго просидел в Лукьяновской тюрьме, эмигрировал в Париж, там занялся живописью, а во время гражданской войны пошел в Красную Армию и был убит белыми. Брат Лазаря, Борис Григорьевич, жил в Иркутске, служил на каком-то предприятии, принадлежавшем киевскому богачу Бродскому. Борис Григорьевич был человеком легкомысленным, он растратил деньги Бродского и удрал в Америку, написав хозяину письмо скорее вызывающее, нежели виноватое. Бродский рассердился и напечатал в газетах объявление, что уплатит вознаграждение тому, кто поможет разыскать растратчика. Я тогда жил в Париже, и ко мне несколько раз обращались люди, мечтавшие разбогатеть на следе беглого Эренбурга. Как-то Лазарь Григорьевич играл с Бродским в карты, выиграл крупную сумму и вместо денег потребовал, чтобы Бродский отказался от претензий к своему иркутскому служащему. Младший из дядюшек, Лев, писал стихи и содержал бродячий цирк. Если отнести теорию В. Шкловского о том, что наследниками являются не сыновья, а племянники, не к литературным жанрам, а к людям, то я могу сказать, что пошел по пути моего дядюшки Льва. Помню книгу, которую он сам издал, называлась она неоригинально «Мечты и звуки»; в ней были и собственные стихи, и переводы Гейне. Я в ту пору не чувствовал никакого влечения к поэзии, но дядя Лева мне нравился тем, что не походил на приличного родственника. Раз он стал показывать мне фотографии полуголых девушек набирал актеров для цирка; моя мать возмутилась: как можно развращать ребенка? Однажды в Харькове появились плакаты «Цирк Эренбурга», и Лазарю Григорьевичу пришлось дать своему брату отступные, чтобы цирк тотчас покинул город.

Когда мне было пять лет, мои родители переехали из Киева в Москву. Хамовнический пивоваренный завод номинально принадлежал акционерному обществу, а фактически тому же киевскому Бродскому, и мой отец получил место директора завода.

Это было в 1896 году, а в 1903 году Бродский решил прогнать отца. Мать, сглатывая слезы, слушала у закрытой двери кабинета, где происходило годичное собрание правления, как отец настойчиво просил освободить его от должности. Я тоже слушал и ничего не понимал — знал, что отца прогоняют, что дела теперь

плохи, что Бродский упрям, и вдруг услышал, как отец уверял, что он больше не может работать на заводе. Это был первый урок дипломатии…

Днем отец работал, вечером редко бывал дома. Иногда к нему приходили приятели, помню одного — веселого инженера Лихачева. Как-то в кабинете отца я увидел книжку Гиляровского с надписью «Дорогому Гри Гри на память о многом». Мне показалось, что у отца интересная жизнь, в которую он меня не посвящает. Он уезжал в «Охотничий клуб», и это название мне представлялось таинственным: егеря, олени, борзые. Потом я понял, что в клубе играют в винт, и усомнился в том, что жизнь отца интересна. Мне было лет десять, когда он повел меня в ресторан на Неглинной; мы сидели в отдельном кабинете, но я то и дело убегал — смотрел, что происходит в зале; там сидели обыкновенные люди и жевали котлеты. Жизнь отца перестала меня интриговать.

Мать была доброй, болезненной, суеверной; она страдала легкими, куталась, редко выезжала из дому, возилась с сестрами, со мной, писала по-еврейски длинные письма многочисленной родне. В Судный день она постилась. Меня пугала большая свеча, которую мать зажигала с утра в годовщину смерти своей свекрови. В спальной всегда пахло лекарствами; часто приходили врачи. Мать хотела, чтобы они выслушали и меня — у меня были слабые легкие, но я прятался, убегал. Иногда к матери приезжала пышная дама Фамилиант со своими сыновьями Петей и Мишей; они чинно ели пирожные и по просьбе взрослых декламировали стихи Пушкина. Я их считал дураками, а мать говорила: «Вот погляди, Петя и Миша — хорошие дети. А ты?…»

Меня избаловали, и, кажется, только случайно я не стал малолетним преступником. Мне было девять лет, когда мать уехала лечиться в Эмс, а меня и сестер отправила в Киев к своему отцу.

Дед по матери был благочестивым стариком с окладистой серебряной бородой. В его доме строго соблюдались все религиозные правила. В субботу нужно было отдыхать, и этот отдых не позволял взрослым курить, а детям проказничать. (Еврейская суббота столь же уныла, как английское, пуританское воскресенье.) В доме деда мне было всегда скучно, и я пакостил, как мог. В то лето мы жили на даче в Боярке. Я изводил всех; как-то меня решили наказать — заперли в чулан, где держали уголь. Я разделся догола и начал кататься по полу. Когда дверь открыли, кухарка в ужасе крикнула: «Ой же черт!..» Я решил отомстить, ночью принес бутыль с керосином и попробовал поджечь дачу.

На следующее лето мать взяла меня с собой в Эмс. Я изводил курортников: передразнивал дряхлого графа Орлова-Давыдова, звал его «Шамом», потому что он все время шамкал; мешал англичанке заниматься рыбной ловлей — камешками отгонял рыбу; уносил букеты незабудок, которые немцы клали у памятника «старому кайзеру». Курортные власти попросили мать уехать, если она не в силах меня угомонить.

Я блестяще выдержал экзамены в приготовительный класс, потом в первый: знал, что существует «процентная норма» и что меня примут только в том случае, если у меня будут одни пятерки. Я решил задачу, не сделал ни одной ошибки в диктанте и с чувством продекламировал «Поздняя осень. Грачи улетели…».

Один приятель рассказывал мне — это было в начале тридцатых годов, — как его маленький сын, вернувшись из школы, куда только поступил, спросил отца: «Что такое евреи?» — «Я еврей, — ответил отец, — мама еврейка». Это было настолько неожиданно, что малыш не поверил: «Вы я-вреи?» Мы были лучше подготовлены; в восемь лет я хорошо знал, что есть черта оседлости, право жительства, процентная норма и погромы.

Рос я в Москве, играл с русскими детьми. Когда родители хотели что-либо скрыть от меня, они говорили друг с другом по-еврейски. Никакому богу — ни еврейскому, ни русскому — я не молился. Слово «еврей» я воспринимал по-особому: я принадлежу к тем, кого положено обижать; это казалось мне несправедливым и в то же время естественным. Отец мой, будучи неверующим, порицал евреев, которые для облегчения своей участи принимали православие, и я с малых лет понял, что нельзя стыдиться своего происхождения. Я где-то прочитал, что евреи распяли Христа; дядя Лева говорил, что Христос был евреем; няня Вера Платоновна мне рассказывала, что Христос поучал: когда тебя бьют по одной щеке, подставляй другую. Мне это было не по душе. Когда я пришел впервые в гимназию, какой-то приготовишка начал петь: «Сидит жидок на лавочке, посадим жида на булавочку». Не задумываясь, я ударил его по лицу. Вскоре мы с ним подружились. Никто больше меня не обижал.

В классе нас было три еврея — Зельдович, Цукерман и я; никогда мы не чувствовали себя чужаками. Вот только товарищи нам завидовали, когда во время уроков закона божьего мы шлялись по двору…

Мне не привелось в Москве моего детства и отрочества столкнуться с юдофобством. Наверно, среди преподавателей или родителей моих товарищей были люди, зараженные расовыми предрассудками, но они не выдавали себя: антисемитизма в те времена интеллигенты стыдились, как дурной болезни. Помню

рассказы о кишиневском погроме — мне было двенадцать лет; я понимал, что произошло нечто ужасное, но я знал, что повинны в этом царь, губернатор, городовые, знал, что все порядочные люди против самодержавия, что Толстой, Чехов, Короленко возмущены погромом. Когда я приезжал в Киев, я слышал, что «Киевлянин» призывает к расправам, что на Подоле неспокойно, что существует «проклятый еврейский вопрос».

Странное было время: множество мерзости и множество иллюзий! Судьба одного невинно осужденного французского офицера, Дрейфуса, взволновала лучших людей Европы… «Если у тебя не будет высшего образования, ты не сможешь жить в Москве», — говорил мне отец, глядя на двойки в балльнике. Я усмехался: до того, как я кончу гимназию, все на свете переменится! Мне казалось, что антисемитские статьи в «Киевлянине» или в «Московских ведомостях» — последние отголоски средневекового изуверства; менее всего я мог себе представить, что в книге о прожитой жизни мне придется посвятить столько горьких страниц тому вопросу, который в начале века мне казался пережитком, обреченным на смерть.

А отец возмущался двойками. Первые два года я учился хорошо, потом мне надоело решать задачи с бассейнами. Я тихонько выносил из дома сочинения классиков в роскошных переплетах, сбывал их букинистам на Волхонке, а на вырученные деньги в магазине «Новые изобретения», помещавшемся в Столешниковом переулке, покупал чихательный порошок, чесательную пудру, коробочки, из которых выскакивали резиновые мыши или змеи, шутихи, — изводил ими в гимназии учителей.

Еще до поступления в приготовительный класс я декламировал «Демона». Слава поэта меня не соблазняла, я хотел стать не Лермонтовым, а Демоном и кружить над Хамовниками; называл себя «духом изгнания», разумеется не понимая, что это значит. Вскоре стихи мне надоели, я увлекся химией, ботаникой, зоологией, сидел над микроскопом, производил опыты с вонючими порошками, завел лягушек, ящериц, тритонов. Как-то гады разбежались по всей квартире; неизвестно откуда шло зловоние — это главный тритон сдох под шкафом матери.

Наслушавшись разговоров о героизме буров, я сначала написал письмо бородатому президенту Крюгеру, а потом, стащив у матери десять рублей, отправился на театр военных действий. Ночью меня поймали, и я не любил вспоминать о злополучном начинании.

Смена календарных дат всегда волнует, и вот менялась цифра не года, а столетия. (В действительности девятнадцатый

век прожил больше положенного — он начался в 1789 году и кончился в 1914-м.) Все говорили о «конце века», загадывали, каким будет новый. Помню встречу 1901 года. К нам приехали ряженые в масках. Один был в костюме китайца, я узнал в нем весельчака инженера Гиляя его схватил за косу. Ряженые изображали страны Европы, венгерец танцевал чардаш, испанка щелкала кастаньетами, и все кружились вокруг китайца — в Пекине в ту зиму шли бои. Все также пили «за новый век»; не думаю, чтобы кто-нибудь из них догадывался, каким будет этот век и за что именно они пьют среди сугробов Москвы.

Я был тогда учеником второго параллельного класса Первой гимназии. Помню, что я организовал небольшую группу «боксеров» — так называли восставших китайцев. Мы дрались ремнями и пускали в ход медные пряжки, хотя джентльменское соглашение этого не допускало: начинался двадцатый век.

Я совсем отбился от рук: мои проделки становились несносными. Отца дома не бывало, а мать и сестры не могли со мной справиться; на подмогу они звали дворника, моего тезку Илью, который топил у нас печи. Раз я бросился на Илью с ножиком, он меня побаивался.

Но вот нашлась и на меня управа в лице студента-юриста Михаила Яковлевича Имханицкого. Все удивлялись, почему я его слушаюсь, ведь он меня никогда не наказывал. Михаила Яковлевича поселили у нас в доме. Я при нем готовил уроки, и, когда я правильно решал задачу на проценты, он мне давал тянучки — я был сластеной. Бумажки я кидал на пол; он иногда спрашивал: «А где бумажки?» Я глядел на пол, бумажек не было. Михаил Яковлевич посмеивался. Никому я не рассказывал о таинственных тянучках. Я боялся глаз Михаила Яковлевича; когда он глядел на меня, я быстро отворачивался. Родители считали, что он превосходный педагог.

Летом на даче в Сокольниках у нас гостила подруга одной из моих сестер — Леля Головинская. Она приглянулась Михаилу Яковлевичу. Тогда в моде были разговоры о гипнотизме. Студент объявил, что умеет гипнотизировать; он усыпил Лелю и сказал ей, что она должна через три дня поздно вечером приехать к нему на дачу. Домашние негодовали. Михаил Яковлевич спокойно уложил свои вещи в чемодан и рассказал, что он меня гипнотизировал, обеспечив этим общее спокойствие в течение полутора лет.

Меня повезли к профессору Рыбакову — кто-то сказал матери, что я могу навсегда лишиться воли. Несколько лет спустя, увидав на Пречистенском бульваре Михаила Яковлевича, я бросился от него бегом. Прошли годы. В 1917 году, возвращаясь из Парижа на родину, в Стокгольме, в русском консульстве, я

увидел толстого, низкорослого человека, который сказал мне: «Не узнаете? Имханицкий». Я удивился: у него были самые обыкновенные, даже маловыразительные глаза.

Но о вымышленных тянучках я часто вспоминал. Думаю, что потом не раз меня заставляли решать трудные задачи и платили мне за это тянучками, которых в действительности не было. Только потом никто не поил меня соленым бромом и никто не боялся, что я потеряю волю. Воля, пожалуй, стала обременительным свойством.

Дома мне было скучно. Приходили гости, говорили, что у сестер Кристман удивительная колоратура, что адвокат Лабори произнес потрясающую речь в защиту невинного Дрейфуса, что в Москве открылся ресторан с отдельными кабинетами в мавританском стиле, что некая мадам Мальбранш привезла из Парижа новые модели шляп. Говорили также о премьере комедии Зудермана, об открытии Художественного общедоступного театра, о погромах, о письме Толстого, о красноречии адвоката Плевако, который может добиться оправдания самого жестокого убийцы, о фельетонах Дорошевича, высмеивающего «отцов города», о каких-то сумасшедших декадентах, уверяющих, будто существуют «бледные ноги».

Заводской двор мне казался куда интереснее гостиной, где стояли пыльные пальмы в кадках, а на стене висела копия картины, изображавшая Ломоносова, который едет в Москву учиться. Можно было пойти в конюшню, там чудесно пахло, и я знал характер каждой лошади. Можно было прятаться в сорокаведерных бочках. В одном из цехов проверяли бутылки, ударяя по каждой металлической палочкой, и я считал, что эта музыка куда лучше той, которой порой нас потчевали гости — известные пианисты.

Рабочие спали в душных полутемных казармах на нарах, покрытые тулупами; они пили кислое, испорченное пиво, иногда играли в карты, пели, сквернословили. Среди них было мало грамотных, а грамотеи читали по складам хронику происшествий в «Московском листке». Помню еще забаву: рабочие облили керосином крысу, и огненная крыса металась в кругу. Я видел жизнь нищую, темную, страшную, и меня потрясала несовместимость двух миров: вонючих казарм и гостиной, где умные люди говорили о колоратуре.

Неподалеку от завода, на Девичьем поле, на масленой устраивали гулянья с балаганами. Помню пожилого человека с лицом, обсыпанным мукой, который, кривляясь, кричал: «Уж я американец, станцую всякий танец!..»

Я писал под диктовку рабочих письма в деревню, писал про

харчи, про болезни, про свадьбы и похороны.

Одна стена завода граничила с сумасшедшим домом. Я взбирался на стену и глядел: истощенные люди в халатах шагали по дворику, где валялась всяческая рухлядь; иногда служитель кидался на больного, и тот истошно кричал.

На заводе работали специалисты — чешские пивовары. Рабочие их называли «немцами» — они, например, ели голубей, а это всеми порицалось. Сын пивовара Кары убил колуном мать и двух сестер — он решил поднести дорогое колье московской львице, а родители не давали ему денег. Помню обрывки фраз: «плавают в крови… хотел взять пятьсот рублей… влюбился но уши…» Конечно, все поносили убийцу, а я вспоминал молодого тщедушного сына пивовара и про себя думал, что взрослые тоже ничего не понимают в жизни.

Рядом с заводом был дом Л. Н. Толстого. Часто я видел, как Лев Николаевич гулял по Хамовническому переулку, по Божениновскому. Мне подарили «Детство и отрочество»; книга показалась мне скучной. Я вытащил из кладовки комплект «Нивы» с «Воскресением»; мать сказала: «Это тебе еще рано читать». Я прочел роман залпом и подумал, что Толстой знает всю правду. Отец мне дал переписать запрещенное цензурой обращение Толстого; я был горд, переписал аккуратно — печатными буквами.

Как-то Лев Николаевич пришел на завод и попросил отца показать ему, как варят пиво. Они обходили цехи, я не отставал ни на шаг. Мне казалось почему-то обидным, что великий писатель ростом ниже моего отца. Толстому подали горячее пиво в кружке, он, к моему изумлению, сказал: «Вкусно» — и вытер рукой бороду. Он объяснял отцу, что пиво может помочь в борьбе с водкой. Я долго потом думал о словах Толстого и начал сомневаться: может быть, и Толстой не все понимает? Я ведь был убежден, что он хочет заменить ложь правдой, а он говорил о том, как заменить водку пивом. (О водке я знал только со слов рабочих, они говорили о ней любовно, а пиво мне давали, и оно мне не нравилось.)

Иногда на заводе начиналась тревога: говорили, будто студенты идут к Толстому. Запирали наглухо ворота, ставили охрану. Я тихонько выбегал на улицу — поджидал таинственных студентов, но никого не было. К сестрам приходили в гости студенты, но, на мой взгляд, это были лжестуденты — они мирно пили чай, говорили о пьесах Ибсена, танцевали; настоящие студенты должны были сбрасывать казаков с лошадей, а потом сбросить царя с трона.

Настоящие студенты не приходили. Я страдал в детские годы

бессонницей; однажды сорвал часы со стены: меня доконало их громкое тиканье, В памяти остались образы бессонных ночей: Толстой вытирает рукой бороду, молодой Кара с колуном в руке и его возлюбленная, «Лакме», сумасшедшие, балаганы, и огромная огненная крыса мечется вокруг меня.

4

Все изменилось, но больше всего изменилась Москва. Когда я вспоминаю улицы моего детства, мне кажется, что я это видел в кино.

Может быть, самой загадочной картиной встает передо мной конка. (Я помню, как пустили первый трамвай — от Савеловского вокзала до Страстной площади; мы стояли ошеломленные перед чудом техники, искры на дуге нас потрясали не менее, чем потрясают теперь людей спутники Земли.)

Гимназия, где я учился, помешалась на Волхонке, напротив храма Христа Спасителя. Из гимназии в Хамовники я ездил иногда на койке. Ее тащила кляча; на Пречистенке перед подъемом в конку впрыгивал мальчонка; он держал вожжи второй, добавочной клячи и отчаянно гикал. На конке можно было проехать по всем Садовым, это был очень долгий путь. На разъездах конка останавливалась; пассажиры выходили и покорно смотрели вдаль — не покажется ли встречный вагончик.

Чаще я шел пешком по Пречистенке. На углу одного из переулков, кажется Штатного, была церквушка. На паперти богомаз изобразил Страшный суд: черти жарили грешников. Старушки испуганно крестились, а мне хотелось быть чертом.

Когда теперь на Кропоткинской я вижу глубокую старуху с мутными растерянными глазами, которая ковыляет с авоськой, я думаю: может быть, это одна из тех гимназисток, которые весело щебетали на Пречистенке и которые казались мне не просто хорошенькими девчонками, а воплощением Женщины, как Венера Милосская, как актрисы Лина Кавальери или Отеро, знаменитые в начале века своей красотой.

Летом Москва была очень зеленой, зимой очень белой. Снег не убирали, и к масленой нарастали огромные сугробы. Бесшумно скользили сани. В мае узкие щербатые тротуары засыпал сиреневый снег; перед домами были палисадники. Золотели или голубели купола церквей. Торчали загадочные сооружения — пожарные каланчи; на верхушке вывешивали шары, помогавшие распознать, в какой части города происходит пожар. Районы города отличались также мастями лошадей пожарных: гнедые, белые, вороные. Когда мороз достигал двадцати пяти градусов по Реомюру, занятий в гимназии не было; я с вечера отогревал замерзшее стекло, глядел на термометр — вдруг мороз покрепчает; но утром на каланче флага не было — об отмене занятий также узнавали по каланче.

На Смоленском рынке летом продавали овощи, фрукты;

лежали горами арбузы, их надрезали треугольником. Торговали всем, и все нещадно торговались. Охотный ряд, там, где теперь гостиница «Москва», был заполнен толпой: покупали в лавчонках живность. Огромные рыбы плавали в садках. Охотники ходили, обвязанные гирляндами рябчиков, — продавали дичь. Центром элегантной Москвы был Кузнецкий мост; на вывесках дорогих магазинов стояли иностранные фамилии: художественными изделиями торговали итальянцы Аванцо, Дациаро, модной одеждой — англичанин Шанкс, парфюмерией — французы, оптическими аппаратами — немцы. На окраинах было множество чайных «без права подачи крепких напитков». Там, где теперь стадион «Динамо», стояли крохотные дачи в садах: Москва быстро обрывалась. На Красной площади весной бывал вербный базар; там продавали «американских жителей» и «тещин язык». Возле Иверской часовни стояли на коленях женщины.

Появился телефон; он был только в богатых домах и в конторах крупных фирм; звонить было сложно — крутили рукоятку, в конце разговора давали отбой. Появилось также электричество, но я долго жил среди черного снега коптивших керосиновых ламп. Голландские печи блестели изразцами. Топили сильно. Между оконными рамами, покрытыми беспредметной живописью мороза, серела вата; иногда на нее ставили стаканчики с бумажными розами. Летом жужжали мухи. Блестели крашеные полы. Тишину изредка прерывал дискант маленьких собачонок — в моде были болонки и вымершие теперь мопсы. На комодах фарфоровые китайцы до одурения кивали головой. В эмалированных кружках с царским гербом (память о Ходынке) розовели гофрированные розы. К чаю подавали варенье, и варенья бывали разные: крыжовник, русская клубника, кизиль, райские яблочки, черная смородина.

Впервые меня повели в театр на «Спящую красавицу». Околдованные феей балерины искусно замирали на пуантах. В ложах впереди сидели гимназисты в мундирах с яркими пуговицами и гимназистки в коричневых или синих платьях с нарядными передниками. Сзади томились взрослые. Отец мне протянул коробку с шоколадными конфетами, наверху лежал кусок ананаса и серебряные щипчики; щипчики я взял себе. В коридорах театра цепенели пышные капельдинеры. Горничные в вязаных платках держали шубы, и шубы казались зверями; сибирские леса подходили вплотную к бархату и бронзе Большого театра — выдры, еноты, лисицы, соболя.

На улице, перед театром, поджидая господ, дремали кучера. У них были неимоверно большие ватные груди и бороды, белые от инея. Лошади тоже седели на морозе. Иногда кучера, чтобы

согреться, начинали несгибающимися руками бить себя по ватной груди.

На углах переулков спали извозчики; порой, просыпаясь, они глухо зазывали: «Барин, подвезу?…» Они бубнили «полтинник» и после долгих разговоров догоняли: «Извольте двугривенный…» Начинался загадочный путь через Москву. Спали дворники в подворотнях. В церковных садиках нарастали сугробы. Вдруг вскрикивал пьяница, но его быстро унимал городовой в башлыке. Казалось, все спит: и седок, и извозчик, и лошадь, и Москва.

Извозчики везли седоков на Болото, на Трубу, в Мертвый переулок, в Штатный, в Николо-Песковский или в Николо-Воробьинский, на Зацепу, на Живодерку, на Разгуляй. Странные названия, будто это не улицы большого города, а вотчины удельных князей.

Когда ехали с Мясницкой через Кремль в Хамовники, у Спасских ворот извозчик и седок снимали шапки. Мороз щипал уши. Потом извозчик поворачивался к седоку и начинал длинную повесть.

О чем говорили московские извозчики? Наверное, о многом: о бедности и о морозе, о барских затеях, о своих темных дворах, о том, что больна жена или что забрили сына. Чехов написал о беседе с извозчиком один из самых раздирающих сердце рассказов — «Тоска». Но седоки не слушали, одно слово проступало — «овес». Да, разумеется, они говорили об овсе, надрываясь от горя, они пришептывали: «Прибавить бы гривенник — овес вздорожал». Они жаловались, вздыхали или сквернословили, но из всех слов, нежных или грубых, только одно доходило до ушей седока, простое и таинственное, лейтмотив длинного пути от Лефортова к Дорогомилову — «овес».

Весной выставляли двойные рамы, и Москва сразу становилась невыносимо шумной: пролетки громыхали. Возле некоторых особняков с колоннами мостовая была залита асфальтом, и колеса, как бы различая табель о рангах, переходили на почтительный шепот.

В середине мая начиналось переселение на дачи. По улицам двигались высокие возы с буфетами, пуфами, туалетными столиками, самоварами. Кухарка держала в руках клетку с канарейкой, а рядом бежала собака.

На даче были гамаки, колпаки на свечах, медные тазы для варки варенья и блестящие шары посередине клумб. Взрослые играли в карты, пили клюквенный морс и читали «Русское слово». Студенты и гимназисты старших классов шли на «площадку» — так назывались танцульки. Дети поджидали мороженщика. Иногда все отправлялись в лес — «полюбоваться природой» — и,

подстелив под себя одеяла, ложились на траву. Утром разносчики и лудильщики кричали: «Куры-молодки!», «Смородина!», «Паять, лудить, запаивать!» В воскресенье приезжали гости, они ели кулебяку, говорили о красоте сельской жизни и мирно засыпали.

Сокольники были лесом; на его опушке уже помещался «круг» — там устраивали концерты, спектакли. Баритон Шевелев сводил с ума барышень: «Люблю ли тебя — я не знаю…» Когда Шевелева сменяла потерявшая голос былая знаменитость, студенты уводили взволнованных барышень в боковые аллеи, и там выяснялось, что все хорошо знают, кого кто любит. Потом шли спать. Потом просыпались. Гимназисты зубрили латынь «ут финале» или играли в крокет; хозяйки раздували самовары, торговались с разносчиками и снимали с варенья бледно-розовую пену.

Шел двадцатый век. Германия уже деловито готовилась к войне. Англичане договорились с французами о военном союзе, французы были союзниками России, и в то же время англичане заключили союз с японцами, которые готовились к нападению на Порт-Артур. Бастовали рабочие в Петербурге, в Ростове-на-Дону. В Брюсселе Ленин спорил с меньшевиками. Но в мире, где я жил, было невыносимо тихо. На Волхонке у букинистов я читал те книги, о которых взрослые при мне старались не разговаривать: Горького, Леонида Андреева, Куприна.

Каждый день я бегал в библиотеку — менял книги. Я читал залпом: мне хотелось понять жизнь. Читал Достоевского и Брема, Жюля Верна и Тургенева, Диккенса и «Живописное обозрение», и чем больше я читал, тем сильнее во всем сомневался. Ложь меня обступала со всех сторон, мне хотелось то удрать в джунгли Индии, то бросить бомбу в дом генерал-губернатора на Тверской, то повеситься.

Я бегал также в театр, выклянчивая у матери деньги. В Художественном театре играли Чехова, Ибсена, Гауптмана, у Корша — «Дети Ванюшина», в Малом — «Власть тьмы» со знаменитыми Садовскими. Гремел бас Шаляпина. Помню, кто-то из гостей рассказал, что скоро откроется «биоскоп» и там будут показывать живые фотографии.

Потом нас собрали в актовом зале гимназии, и директор торжественно прочитал манифест: «Мы, Николай Вторый, самодержец всероссийский…» Началась война с Японией. В гимназии отслужили молебен, и мы долго, до хрипоты, кричали «ура» — нам объявили, что занятий не будет. Война нам казалась бесконечно далекой, и я очень удивился, когда вскоре увидел моего двоюродного брата Володю Скловского в солдатской форме — он ехал из Киева в Маньчжурию.

Летом того же года я был с матерью и сестрами за границей — снова в Эмсе; там я заболел брюшным тифом. Помню, однако, два события, которые меня поразили: осаду Порт-Артура после битвы, проигранной русской армией, и смерть Чехова. Отец в тот год потерял место и, следовательно, квартиру. Он жил в номерах «Княжий двор» на Волхонке. У меня были переэкзаменовки но латыни и по математике; к началу учебного года меня отправили одного в Москву. В Берлине я должен был пойти в семейный пансион фрау Иенике, где останавливалась моя мать. У фрау Иенике на стенах красовались различные сентенции, вышитые гладью. Мне стало скучно, и вечером я направился на Фридрихштрассе, мне захотелось пирожных; я зашел в кафе, которое оказалось ночным кабаком. Кельнеры на меня косились, но пирожные все же дали, только взяли за них столько, что пришлось телеграммой выклянчить у матери добавочные деньги на дорогу в Москву.

Комната в «Княжьем дворе» была маленькой, с темным альковом, но гостиничная жизнь мне понравилась: я чувствовал себя свободно. Отец уходил с утра, говорил, что ищет работу. После уроков я приводил к себе товарищей, хвастал, что живу самостоятельно, заказывал самовар, плюшки, и мы развлекались, как могли.

(Зимой 1920 года я жил в общежитии Наркоминдела — в бывшем «Княжьем дворе». Внизу спрашивали пропуска. Дежурный кричал в телефон: «Откудова звук?…» «Княжий двор» казался мне, как в детстве, восхитительным.)

Собираясь в комнате «Княжьего двора», мы не только ели плюшки и развлекались: в ту осень политика впервые постучалась в мою жизнь. Я начал читать газеты. Японцы били наших, это было горько, но мы понимали, что вся беда в самодержавии. У одного из моих товарищей был дядя, связанный с эсерами; этот дядя сказал, что скоро произойдет революция, нужно будет разоружить казаков и городовых, потом провозгласят республику…

Я прочитал «Преступление и наказание», судьба Сони меня мучила. Я снова думал о казармах Хамовнического завода. Нужно все перевернуть, решительно все!..

Правда, были передо мной и другие соблазны, например гимназистка Муся; она играла на фортепьяно «Песнь без слов», а потом в передней я ее целовал. Но жил я предчувствием больших и загадочных событий. Еще недавно мальчишка в Берлине восхищался пирожными со взбитыми сливками; за два-три месяца я как-то сразу вырос.

В моем первом романе «Необычайные похождения Хулио

Хуренито и его учеников» один из учеников носит мое имя. Это вымышленный персонаж: никогда я не служил кассиром в публичном доме мистера Куля и не возил пулемета римскому папе. Но герой, именуемый Ильей Эренбургом, подчас высказывал мои подлинные мысли. Есть в романе спор о том, что выше — утверждение или отрицание, и ученик Хуренито, Илья Эренбург, вспоминая слова Экклезиаста о том, что есть время собирать камни и время их бросать, говорит, что у него одно лицо, а не два, строить он не умеет и предпочитает бросать камни.

«Хуренито» я написал в тридцать лет, а рассказываю о той осени, когда мне было тринадцать. Я тогда не слыхал об Экклезиасте, но мне смертельно хотелось расшвырять побольше камней. Кончалась пора детства — наступал пятый год.

5

Во время последней переписи ко мне пришла молоденькая счетчица. Она удивленно поглядела на стены: Пикассо ее возмутил.

— Неужели это вам нравится?

— Очень.

— А я вам не верю, вы это говорите потому, что он ваш приятель.

Потом я начал отвечать на вопросы.

— Образование?

— Незаконченное среднее.

Девушка обиделась:

— Я вас серьезно спрашиваю.

— А я вам серьезно отвечаю.

— Вы надо мной смеетесь. Я читала ваши книги… Перепись — важное государственное дело. Почему вы не хотите серьезно отвечать?

Она ушла обиженная. Между тем я ей сказал правду: в октябре 1907 года меня исключили из шестого класса.

О гимназии писали много — и Гарин-Михайловский, и Вересаев, и Паустовский, и Каверин. Мне кажется, что все гимназии походили одна на другую. Конечно, кое-чему я в школе научился и от некоторых преподавателей, и от товарищей, но уж не столь многому: куда лучшей школой были книги, да и те люди, с которыми я сталкивался вне стен гимназии.

Гимназисты входили в гимназию с переулка; в огромной сборной висели сотни шинелей. Там обычно дрались «греки» с «персами» и малыши «жали масло», притискивая друг друга к стенке. Приготовишкой я увидел, как в сборной били мальчонку, накидав на него шинели, били дружно, долго и пели при этом: «Фискал, по Невскому кишки таскал…» С того дня я твердо запомнил и пронес через всю жизнь отвращение к фискалам, или, говоря по-взрослому, к доносчикам. Гимназия воспитала во мне чувство товарищества; никогда мы не думали, прав или не прав провинившийся, мы его покрывали дружным ответом: «Все! Все!»

(В 1938 году одна преподавательница детдома, куда привезли испанских ребят, жаловалась мне, что «с ними трудно, они — анархисты». Оказалось, дети, играя, разбили вазу и на вопрос, кто это сделал, ответили: «Все». Я долго убеждал преподавательницу, что в этом нет никакого анархизма, наоборот. Убеждал, но не убедил.)

В торжественные дни гимназистов собирали в большом

актовом зале, на стенах висели портреты четырех императоров и мраморные доски с именами учеников, получивших медали. Директором гимназии был чех Иосиф Освальдович Гобза; показывая на доски, он нам говорил, что в стенах Первой гимназии воспитывался будущий министр народного просвещения Боголепов. Гобзу мы видели редко, и грозой был инспектор Ф. С. Коробкии.

Я с нежностью вспоминаю гимназические уборные: это были наши клубы. В уборную первых четырех классов неожиданно заглядывал надзиратель и выгонял оттуда лентяев, но, перейдя в пятый класс, я увидел уборную, обладавшую конституционными гарантиями, там можно было даже курить. Стены были покрыты непристойными рисунками и стишками: «Подите прочь, теперь не ночь…» В уборной для малышей обменивались перышками или марками, второгодники (их называли «камчадалами») клялись, будто они запросто бывают в публичных домах. В уборной для старших классов говорили о рассказе Леонида Андреева «В тумане», о разоблачениях Амфитеатрова, о декадентах, о шансонетках в театре «Омона» и о многом другом.

Впрочем, в старших классах я пробыл недолго, и мои воспоминания относятся главным образом к третьему, четвертому классам. Во время большой перемены мы мчались в столовую; кто-нибудь наспех читал молитву; потом начиналась биржа: меняли пирог с морковью на голубец или котлету на пирог с рисом. Буфетчика мы звали «Артем — сопливый индюк».

Года два процветала азартная игра: какой учитель после перемены выйдет первым из учительской, можно было поставить на любого пятачок. Тотализатором ведали два «камчадала». Были фавориты, часто выходившие первыми, на них трудно было выиграть больше чем гривенник, а мне помнится, что кто-то выиграл на немце Сетингсоне, обычно выходившем последним и вдруг выскочившем вперед, чуть ли не два рубля. (Я прочитал в воспоминаниях Брюсова, что в гимназии Креймана существовал такой тотализатор еще в 1889 году.)

Из предметов мне больше других нравились русский язык, история; с математикой я был не в ладах, а латынь почему-то ненавидел. Словесность преподавал весельчак Владимир Александрович Соколов; вызывая меня к доске, он неизменно приговаривал: «Ну, Эрен-мерин…» Я не знал тогда, что такое мерин, и не обижался. Кажется, в четвертом классе мы перешли от изложений к сочинениям, и, хотя я был лентяем, сочинения меня увлекали. Владимир Александрович меня и хвалил и поругивал: «Не слушаешь в классе и все от себя пишешь, вот выгонят тебя за такие рассуждения, будешь сапожником».

Обидно, что я не могу теперь проверить, за что меня ругал Владимир Александрович, что было в моих школьных сочинениях недозволенного. А в общем; когда я стал писателем, пятьдесят лет подряд критики повторяли и повторяют слова Владимира Александровича: «Не слушает на уроках, пишет все от себя…»

Отец, когда я приносил балльник с дурными отметками, говорил, что я оболтус, что меня выгонят, придется тогда идти в гимназию Креймана, которая славилась тем, что туда принимали исключенных. Потом отец уже перестал грозить Крейманом, а просто предрекал, как Владимир Александрович: «Будешь сапожником». У меня в жизни были различные занятия, часто неприятные, но тачать обувь я не научился.

В младших классах я увлекался греческой мифологией. Потом преподаватель естественной истории А. А. Крубер, человек толковый и живой, нашел во мне благодарного ученика. К истории я не охладел, только в четвертом классе меня занимали уже не греческие богини, а более близкое прошлое. Когда я написал сочинение о том, что освобождение крестьян произошло не сверху, а снизу, директор вызвал к себе отца.

В третьем классе я стал редактором рукописного журнала «Новый луч». Журнал мы скрывали от учителей, хотя ничего страшного там не было, кроме стихов о свободе и рассказиков с описанием школьного быта.

Я шел в гимназию по Пречистенке. Меня рано начали занимать два дома: женская гимназия Арсеньевой и «Кавалерственной дамы Чертковой институт для благородных девиц». Перейдя в четвертый класс, я почувствовал себя взрослым и начал влюбляться в различных гимназисток, убегал до конца последнего урока, ждал девочку у выхода и нес ее книги, аккуратно завернутые в клеенку. Узнал я и другие женские гимназии, например Алферовой на Арбате, Брюхоненко на Кисловке.

Напротив гимназии, возле собора, был чудесный сквер, там мы гуляли, назначали свидания гимназисткам, ревновали и прикидывались Печориными.

Когда я перешел в пятый класс, я выломал на гербе фуражки цифру «I», обозначавшую, в какой гимназии я учусь, — так поступали все «сознательные». Куртку мы носили, как пиджак, — поверх косоворотки. Мы старались подражать студентам: одеваться небрежно, иметь непочтительный вид и, споря о прочитанных книжках, размахивали руками.

Некоторые гимназисты были эстетами, презирали стихи Надсона и Апухтина, которыми еще зачитывались девочки, и, к ужасу своих избранниц, писали в обязательные альбомы: «О да,

вас, женщины, воззвал я сам». Были и франты, ранние прожигатели жизни, «стиляги» начала века; они носили очень широкие фуражки нежно-голубого цвета, говорили о скачках, о шансонетках, о балах, хвастались — вчера на балу они пили французский ликер, а потом… Что было потом, слышал только закадычный друг хвастуна.

Часто в Колонном зале я вспоминаю, как впервые в нем очутился. Он тогда назывался «Большой зал Благородного собрания». Я пошел на вечер «в пользу недостаточных учеников московской Первой гимназии». Сначала Шаляпин пел про блоху. Гимназисты старших классов отнеслись к этому спокойно, говоря, что Шаляпин всегда поет про блоху, но я был второклассником и с восторгом повторял: «Ха-ха, блоха!» Потом начались танцы. Меня пробовали учить танцевать, я знал, что существуют десятки сложнейших танцев: падепатинер, падеспань, венгерка, мазурка, миньон, шакон и другие; но я путал все па и, главное, неизменно наступал на ноги девочке, которую приглашал. В «Благородном собрании» я не хотел осрамиться и поднялся на хоры. Там я неожиданно увидел помощника классного наставника, по привычке встал и очень громко его приветствовал. Помощник классного наставника любезничал с толстой барышней и рассердился на меня.

Когда я был в четвертом классе, я ездил с товарищами приглашать актеров участвовать в благотворительном концерте. Мы были у знаменитой певицы Неждановой. Я тискал в руке белые перчатки и страдал от своей несветскости. Мои товарищи были смелее.

В нашем классе был «лев» — князь Друцкой, прекрасный танцор, он умел разговаривать с девушками. Когда мне было тринадцать лет, я ему завидовал. Но уже год спустя он казался мне неинтересным. Я читал Чернышевского, брошюры о политической экономии, «Жерминаль», старался говорить басом и на Пречистенском бульваре доказывал дочке учителя пения Наде Зориной, что любовь помогает герою бороться и умереть за свободу.

Девочки, которых я провожал из гимназии до дома, часто менялись: постоянством в четырнадцать лет я не страдал. Иногда я приглашал их в кондитерскую Пелевина на Остоженке, пирожное там стоило три копейки. Девочки мне казались неземными, но аппетит у них был хороший, и однажды мне пришлось оставить кондитеру в залог фуражку.

Мы жили тогда на Остоженке, в Савеловском переулке. Квартира была поместительная, и у меня была отдельная комната. Я требовал от родителей, чтобы они не входили ко мне,

не постучав. Мать подчинялась, но отец смеялся над моими выдумками.

На Остоженке в писчебумажном магазине я покупал открытки с фотографиями шансонеток, предпочтительно голых: я считал, что о женщинах нужно думать поменьше, но думал о них чересчур много. Помню фотографию известной красавицы Наташи Трухановой, она меня сводила с ума. Четверть века спустя в Париже я познакомился с А. А. Игнатьевым, бывшим военным атташе во Франции, сотрудником нашего торгпредства; его жена оказалась той самой Наташей, которая меня пленяла в отрочестве. Я ей рассказал о старой открытке, и мой рассказ ее рассмешил.

Моя первая любовь относится ко времени несколько более позднему — к осени 1907 года, когда меня уже прогнали из гимназии. Звали гимназистку Надя. Ее старший брат, Сергей Белобородое, был большевиком. Отец Нади читал «Московские ведомости» и зло косился на меня: я был революционером, да еще ко всему евреем, и покушался на невинность Нади. Приходил я к ней редко, и обычно мы встречались на улице, в Зачатьевском переулке. Почти каждый день мы писали друг другу длиннейшие письма, с психологическим анализом наших отношений, с упреками и клятвами, письма ревнивые, страстные и философические. Нам было по шестнадцати лет, и, вероятно, мы оба были поглощены не столько друг другом, сколько смутным предчувствием раскрывающейся жизни.

Вернусь к гимназии. Я познакомился с некоторыми учениками старших классов — с Бухариным, Астафьевым, Циресом, Ярхо. От Бухарина я услышал впервые про исторический материализм, про прибавочную стоимость, про множество вещей, которые показались мне чрезвычайно важными и которые резко переломили мою жизнь.

Шел бурный пятый год. Богословская аудитория университета превратилась в зал для митингов. Я часто туда убегал. Рядом со студентами сидели рабочие. Мы пели «Марсельезу» и «Варшавянку». Курсистки раздавали прокламации. По рукам ходили огромные шапки с запиской: «Жертвуйте на вооружение».

Я шел по Моховой. Студенческие фуражки вдруг закружились, как осенние листья. Кто-то крикнул: «Охотнорядцы!» Все бросились во двор университета и начали готовиться к защите крепости. Нас разбили на десятки: я мелом проставил на гимназической шинели номер. Мы таскали камни наверх, в аудитории: если враг прорвется, мы его забросаем камнями. Развели костры; жевали бутерброды с колбасой и до

утра пели: «Смело, друзья, не теряйте бодрость в неравном бою!..» Мне тогда еще не было пятнадцати лет, и легко понять, что бодрости я не терял.

Помню похороны Баумана. Когда мы возвращались с кладбища, раздались выстрелы. Помню казака с серьгой в ухе и с нагайкой. Помню декабрь: тогда впервые я увидел кровь на снегу. Я помогал строить баррикаду возле Кудринской площади. Никогда не забуду рождества — тяжелой, страшной тишины после песен, криков, выстрелов. Чернели развалины Пресни. Сапоги семеновцев щемили снег, и снег жалобно поскрипывал. Вернувшись в гимназию после рождественских каникул, я рассеянно глядел по сторонам; думал о своем: нужно найти подпольную организацию — главные бои впереди.

Год я провел в гимназии, как бы не замечая больше, что есть занятия, уроки, отметки: я был занят одним — сравнивал программы эсдеков и эсеров. За последних была романтика: боевые дружины, террор, роль личности. Но мне они казались чересчур романтичными: я помнил рабочих Хамовнического завода, и меня тянуло к большевикам, к романтике неромантичного. Я уже читал статьи Ленина и понимал, что меньшевики умеренны, ближе к моему отцу. Я часто повторял про себя одно слово: «справедливость». Это очень жесткое слово, порой холодное, как металл на морозе, но тогда оно мне казалось горячим, милым, своим.

Как-то я поспорил с отцом; оказалось, что он и не слыхал про большевиков и меньшевиков, ему нравились кадеты. Я долго доказывал, что необходима революция. Он сказал: «Может быть, ты и прав… Но главное — это терпимость». Трудно соблазнить терпимостью мальчишку пятнадцати лет с жестким чубом на голове и с давним желанием раскидать тяжелые неподвижные камни. «Все или ничего!» — это восклицание одного из героев Ибсена я записал как девиз в свою записную книжку и, несмотря на пренебрежение к поэзии, повторял стихи А. К. Толстого:

Коль любить, так без рассудку,
Коль грозить, так не на шутку…

Тысяча девятьсот шестой год определил мою судьбу. Это был шумный и трудный год: еще вскипали волны революции, но начинался отлив. Одни с печалью, другие с радостью говорили, что гроза позади; восстания матросов в Кронштадте и Свеаборге казались последними раскатами грома. Гимназисты угомонились, вернулись к учебникам: больше не было ни митингов в университете, ни демонстраций, ни баррикад. В тот год я вошел в

большевистскую организацию и вскоре распрощался с гимназией. Бухарина и Астафьева я продолжал встречать, но уже не в гимназических коридорах, а на подпольных собраниях. Выбор был сделан.

В 1958 году меня разыскал мой однокашник Вася Крашенинников, по профессии врач. В старости люди начинают тянуться к полузабытым друзьям детства, отрочества. Крашенинников решил собрать тех наших школьных товарищей, которые еще остались в живых и находятся в Москве. Мы ужинали в ресторане «Прага», пятеро граждан того возраста, который теперь называют «преклонным», вспоминали школьные проказы, учителей, девочек.

Зал ресторана постепенно заполнился; я сидел спиной к залу и не видел посетителей; вдруг я оглянулся и замер — кругом были неимоверно нарумяненные, растрепанные девушки, мальчишки в клетчатых пиджаках, с перманентом, прямые наследники гимназистов, носивших лазурные фуражки, и студентов-»белоподкладочников». Они танцевали, а когда музыка замолкала, наступала тишина: оживленно беседовали только пять стариков за крайним столиком.

Не знаю, почему судьба сыграла над нами столь злую шутку: мы назначили свидание в том самом месте, где собираются «стиляги». Их, право же, немного. А мы были самыми обыкновенными гимназистами начала века, которые жили, как все, случайно выжили и которые говорили в тот вечер о молодежи нашего времени не с брюзжанием стариков, а с нежностью и доверием.

«Почему тебе не нравилась Валя Козлинская? — спросил меня Крашенинников. — В нее все были влюблены…» Не знаю почему — не помню. Может быть, потому, что я был влюблен в Надю Белобородову? Может быть, потому, что я жил будущим: к величайшему ужасу матери, ко мне приходил студент-боевик Дмитрий, он показывал мне и моим товарищам, как нужно обращаться с револьвером.

6

Прошлое забывается; кое-что можно припомнить, другое ушло навсегда.

В томе «Литературного наследства», посвященном Маяковскому, я нашел рапорт начальника Московского охранного отделения, подполковника фон Котена, посвященный подпольной социал-демократической организации в средних учебных заведениях Москвы. Я долго думал над некоторыми именами: не могу вспомнить, о ком идет речь; рапорт охранника, однако, многое оживил в моей памяти. Фон Котен доносил:

«Более выдающуюся роль играли Брильянт, Файдыщ, Эренбург и Анна Выдрина… Партия приобрела для себя из среды учеников новых работников: Файдыш — член военно-технического бюро; Эренбург, Соколов, Сахарова, Бухарин и Брильянт — районные пропагандисты; Рокшанин — техник Замоскворецкого района и Антонов — техник Городского района».

Я, конечно, хорошо помню Бухарина и Брильянта, с ними я встречался и впоследствии; вспоминаю Файдыша, Веру Сахарову, Рокшанина, а вот Антонова и Соколова не помню. В списке, составленном фон Котеном, есть и другие имена, мне памятные, — Надя Львова, Валя Неймарк. Конкордия Ивенсон, Борис Осколков, но отсутствуют Астафьев, Членов, Маруся Львова, Ася Яковлева.

Начальник охранки кое-что напутал. Бухарина он окрестил Владимиром, это может быть описка. А вот ошибка поважнее: 18 января 1908 года он сообщал, что партия приобретает новых работников из среды гимназической организации. На самом деле члены партии Бухарин и Брильянт в 1906 году по указанию Московского комитета положили начало школьной организации. Что касается меня, то я сначала попал в общепартийную организацию, а потом, среди прочего, занялся школьными делами. В 1907–1908 годах ни Бухарин, ни Брильянт больше не руководили гимназической организацией, и 30 января 1908 года охранка арестовала «главарей», а именно Неймарка, Кору Ивенсон, Файдыша, Осколкова и меня.

Еще в 1906 году я познакомился с большевичкой Егоровой; у нее были очень светлые волосы, выпуклый лоб. Сначала я таскал «литературу», потом стал «организатором» в Замоскворецком районе. Пуще всего я боялся, что товарищи могут догадаться о моем возрасте, скажут, нельзя поручать пятнадцатилетнему мальчишке важные задания…

(Много лет спустя я узнал, что Маяковский занялся партийной работой, когда ему не было и пятнадцати лет; очевидно, таковы были нравы эпохи.)

Расскажу сначала о моих товарищах по школьной организации.

О Бухарине мне предстоит говорить впоследствии, сейчас мне хочется просто припомнить восемнадцати летнего юношу, которого все мы любили, называли «Бухарчиком». Он не походил на других подпольщиков: мы были чересчур серьезными, скрывали друг от друга многое, даже с девушками, в которых влюблялись, старались говорить только об историческом материализме, о том, что личность в истории ничего не значит и что «отрезки» куда лучше, чем социализация или муниципализация. Бухарин, в отличие от других, был очень веселым, я, кажется, и сейчас слышу его заразительный смех; непрестанно он прерывал разговор шутками, придуманными или нелепыми словечками, он не только разбирался в партийных дискуссиях, не только одолел политическую экономию, он знал философию, историю, словесность. Он объяснял мне, в чем величие и в чем ошибки Гегеля, каково значение древнекитайской культуры, почему протопоп Аввакум стал большим писателем. Все это не мешало ему быть точным, деловым в подпольной работе. Спорил он добродушно, но спорить с ним было опасно: он ласково вышучивал противника. Я часто у него бывал, жил он с родителями (отец его был педагогом) на Малой Никитской; иногда он приходил ко мне, и мопс Бобка неизменно старался его укусить — мопсу не нравились ни громкий смех, ни высокие сапоги. Бывают мрачнейшие люди с оптимистическими идеями, бывают и веселые пессимисты; Бухарчик был удивительно цельной натурой — он хотел переделать жизнь, потому что ее любил.

Брильянт (Г. Я. Сокольников) был сыном аптекаря на Трубной площади, работал он в Сокольническом районе, дружил с Бухариным, но никак на него не походил: бледный, аккуратный, он говорил всегда спокойно, чрезвычайно редко улыбался; мне казался чересчур замкнутым, даже суховатым. Когда летом 1908 года меня вели по коридору Бутырской тюрьмы, я вдруг увидел Брильянта. Мы поздоровались глазами — конспирация не позволяла большего. Его отправили в Сибирь на поселение, оттуда он убежал, и мы встретились в Париже. Он усердно занимался партийной работой, и я очень удивился, услыхав, что в свободное время он переводит полюбившийся ему роман Шарль-Луи Филиппа «Бюбю с Монпарнаса». Я понял, что не такой уж он сухой, как мне казалось. А в последний раз я его видел в

Лондоне, где он был послом; говорили мы о политике консерваторов, об угрозе фашизма и ни словом не вспомнили прошлого.

Сеня Членов походил на добродушного котенка: лицо широкое, часто жмурился, флегматичный, с легкой усмешкой.

Он нам объяснял роль иностранного капитала, англо-германский антагонизм, алчность и отсталость русской буржуазии, но после серьезных рефератов охотно беседовал о декадентах, о Художественном театре, о сатирических романах Анатоля Франса. Много лет спустя я с ним снова встретился в Париже — он был юрисконсультом советского посольства. Удивительно, до чего он мало изменился; очевидно, в восемнадцать лет он был уже вполне отструганным, отшлифованным.

В Париже мы с ним подружились. Он был человеком сложным, сибаритом и в то же время революционером. Видя недостатки, он оставался верным тому делу, с которым связал свою жизнь. Вероятно, среди просвещенных римлян III века, уверовавших в христианство, были люди, похожие на Семена Борисовича Членова (мы звали его Эсбе), — они видели, как несовершенны статуи Доброго Пастыря по сравнению с Аполлоном, но вместе с другими христианами шли на пытки, на казнь. Помню, я ехал из Москвы в Париж; на пограничной станции Негорелое стоял встречный поезд; в вагоне-ресторане лениво улыбался Эсбе — его вызывали в Москву. Больше мне не удалось с ним встретиться — это было в конце 1935 года…

Мой сверстник и товарищ по гимназической организации Валя Неймарк был для меня образцом скромности и верности. Его арестовали в ту же ночь, что меня; выпустили; потом арестовали по другому делу и сослали в Сибирь. Он убежал за границу. Я поехал к нему в маленький французский городок Морто, на границе Швейцарии. Валя работал на часовой фабрике. Во мне сказывался душевный разлад — то я мечтал вернуться в Россию и отдаться нелегальной работе, то бродил по Парижу, очарованный городом, и повторял про себя стихи о Прекрасной Даме. А Валя был прежним, участвовал в местной социалистической организации, следил за партийной литературой; ночью он с тихим жаром доказывал мне, что через год-два в России начнется революция. Его дальнейшая жизнь была очень трудной, но до конца он сохранил страстность и чистоту подростка.

7

Львов был мелким почтовым служащим, жил на казенной квартире на Мясницкой; он думал, что его дочки спокойно выйдут замуж, а дочки предпочли подполье. Надя Львова была на полгода моложе меня, когда ее арестовали, ей еще не было семнадцати лет, и согласно закону ее вскоре выпустили до судебного разбирательства на поруки отца. Она ответила жандармскому полковнику: «Если вы меня выпустите, я буду продолжать мое дело». Надя любила стихи, пробовала читать мне Блока, Бальмонта, Брюсова. А я боялся всего, что может раздвоить человека: меня тянуло к искусству, и я его ненавидел. Я издевался над увлечением Нади, говорил, что стихи — вздор, «нужно взять себя в руки». Несмотря на любовь к поэзии, она прекрасно выполняла все поручения подпольной организации. Это была милая девушка, скромная, с наивными глазами и с гладко зачесанными назад русыми волосами. Старшая сестра, Маруся, относилась к ней с уважением. Училась Надя в Елизаветинской гимназии, в шестнадцать лет перешла в восьмой класс и кончила гимназию с золотой медалью. Я часто думал: вот у кого сильный характер!..

Мы расстались в конце 1908 года (я видел ее перед моим отъездом за границу). Я начал писать стихи в 1909 году, а Надя год спустя. Не знаю, при каких обстоятельствах она познакомилась с В. Я. Брюсовым. В 1911 году Валерий Яковлевич посвятил стихотворение Н. Львовой; он писал:

Мой факел старый, просмоленный,
Окрепший с ветрами в борьбе,
Когда-то молнией зажженный,
Любовно подаю тебе.

В феврале следующего года Надя писала: «Мне все равно, мне все равно. Теперь больше, чем когда-либо… Тебя приветствую, мое поражение».

Осенью 1913 года вышли две книги: «Старая сказка» Н. Львовой и «Стихи Нелли» без имени автора, посвященные Н. Львовой, со вступительным стихотворением Брюсова, который был автором анонимной книги.

Брюсов говорил:

Пора сознаться я — не молод; скоро сорок…

Наде было на восемнадцать лет меньше. Она писала:
Но, когда я хотела одна уйти домой, —
Я внезапно заметила, что Вы уже не молоды,
Что правый висок у вас почти седой, —
И мне от раскаянья стало холодно.

Эти строки написаны осенью 1913 года, а 24 ноября Надя покончила жизнь самоубийством. Она переводила стихи Жюля Лафорга, который писал о невыносимой скуке воскресных дней; в одном из его стихотворений школьница неизвестно почему бросается с набережной в реку. Брюсов часто говорил о самоубийстве, над одним из своих стихотворений он поставил как эпиграф тютчевские слова:

И кто в избытке ощущений,
Когда кипит и стынет кровь,
Не ведал ваших искушений —
Самоубийство и Любовь!

А Надя застрелилась… В предисловии к посмертному, дополненному изданию «Старой сказки» я прочитал: «В жизни Львовой не было значительных внешних событий». Бог ты мой, сколько же должно быть событий в жизни человека? В пятнадцать лет Надя стала подпольщицей, в шестнадцать се арестовали, в девятнадцать она начала писать стихи, а в двадцать два года застрелилась. Кажется, хватит…

На ее могиле (похоронили ее в Марьиной роще) вырезана строка из Данте:

Любовь, которая ведет нас к смерти.

Но я сейчас думаю не о Брюсове, а о Наде: что-то меня до сих пор волнует в ее судьбе, есть близость, которая заставила меня теперь выделить рассказ о ней в отдельную главу. Да, конечно, она застрелилась, считая, что привела ее к смерти любовь, — об этом говорят все ее посмертно опубликованные стихи. Но, может быть, именно стихи привели ее к смерти?

Человеку очень трудно дается резкий переход от одного мира к другому. Надя любила Блока, но жила она книгами Чернышевского, Ленина, Плеханова, явками, «провалами», суровым климатом революционного подполья. Она вдруг оказалась перенесенной в зыбкий климат сонетов, секстин,

ассонансов и аллитераций. Дважды в предсмертных стихах она повторяла:

Поверьте, я — только поэтка.
Ах, разве я женщина? Я только поэтка…

Может быть, погибла не женщина, столкнувшаяся со сложностями любви, а «только поэтка»?

Когда-то говорили о трудностях иммигранта, приехавшего из насиженной, надышанной Европы на пространства Дальнего Запада. Теперь говорят о тяжести космонавта в ощущении невесомости. Есть еще одна беда: оказаться перенесенным в бесплотный мир образов, слов, звуков. Кажется, это узнала Надя Львова, и вспоминая свою раннюю молодость, я слишком хорошо понимаю ее поражение. Не выдержала…

Я еще не был знаком с Валерием Яковлевичем, когда получил от него письмо, в котором он рассказывал о своих переживаниях после самоубийства Нади. Меня не удивило, что она говорила Брюсову обо мне; но почему знаменитый поэт, к которому я относился, как к мэтру, вздумал объясняться со мной — это осталось для меня загадкой.

Помню еще деловитую, начитанную Аню Выдрину, Асю Яковлеву, которой я увлекся, сестер Львовых.

В подполье я делал все, что делали другие: писал прокламации и варил в противне желатин листовки мы размножали на гектографе, искал «связи» и записывал адреса на папиросной бумаге, чтобы при аресте успеть их проглотить, в рабочих кружках пересказывал статьи Ленина, спорил до хрипоты с меньшевиками и старался, как мог, соблюдать правила конспирации.

Отобранные у меня при аресте записные книжки помогают мне воссоздать мой тогдашний облик. В одной из записных книжек, по словам обвинительного акта, имелись «разные статистические сведения, касающиеся русских финансов, народного образования, промышленности, сельского хозяйства, а также стачек и локаутов в Германии»: в другой — «переговорить с Борисом», «квартира», «купить книги», «относительно легальных газет», «передать печать», «передать Тимофею связь и переговорить с ним о лекциях», «передать в Хамовники о шрифте», «позвонить Ткачу».

Зимой мы часто встречались в чайных и кидали медяки в пузо горластых органов, чтобы музыка заглушала разговоры. В чайных подавали колбасу, нарезанную кубиками, и вилки с обломанными зубьями; колбаса воняла, не помогала даже

горчица. Чай пили вприкуску, откалывая кусочки сахара черными щипцами. В чайных было шумно, но невесело, люди заходили отогреться, и домашняя жестокая тоска не оставляла их.

Однажды я попал в ночную чайную для извозчиков. Перед этим я был на общегородском собрании в Марьиной роще; нас накрыли, но всем удалось разбежаться. Я зашел в чайную, чтобы спрятаться от шпиков. Кругом сидели сонные извозчики. Хотя я пил чай с блюдечка и даже пытался кряхтеть, наверно, я в точности походил на классического «смутьяна», который снился всем околоточным. Впрочем, извозчики не обращали на меня внимания; только один вдруг с шумом встал, посмотрел на меня хитрыми глазами и сказал: «Разве это жизнь?» Я тотчас выбежал на улицу.

В общем, мне везло. Как-то вечером меня задержали на набережной возле Бутиковской мануфактуры. На мне были прокламации. Меня повели в участок. Околоточный шагал рядом. Когда мы переходили Остоженку, он остановился, чтобы пропустить лихача, я же убежал вперед, и мне удалось выбросить прокламации. В участке меня продержали несколько часов, потом пришел пристав, выругался, и меня отпустили. Раз на нас донесла жена рабочего, в квартире которого мы собирались. Она ревновала мужа и решила ему отомстить; но, видимо, она рассказала городовому что-то несусветное: он лазил под кровать, приподнимал половицы, щупал карманы — искал оружие и, ничего не найдя, ушел, даже не полюбопытствовав, кто мы такие.

Недавно в Государственном архиве на Пироговской я напал на выцветшую бумажку; она мне напомнила, что «в ночь на 1 ноября 1907 года в три часа утра в квартире гимназиста Ильи Григорьева Эренбурга, проживающего в доме Варварьинского общества в Савеловском переулке, был произведен обыск» и что «ничего предосудительного найдено не было», «отобраны ноты «Русской марсельезы» и различные открытки».

В подрайоне, который мне поручили, находилась обойная фабрика Сладкова. Я подружился с механиком Тимофеем Ивановичем Илюшиным, энергичным и необычайно крепко стоящим на ногах. На фабрике устроили забастовку; я выступал на собраниях и завел подписные листы — собирал среди студентов деньги для забастовочного комитета.

Любил я и столяра-краснодеревца весельчака Василия Ивановича Чадушкина. Ни он, ни Илюшин никак не походили на угрюмых рабочих Хамовнического завода, которых я знал в годы детства. Пятый год не прошел бесследно, начал складываться рабочий авангард. У моих новых друзей я учился душевному веселью. Они жили плохо, работали тяжело и все же шутили. Для

меня революционная работа была освобождением от лжи, для них она была кровным делом, сложным, но естественным.

Я хорошо помню некоторые пейзажи. Возле Шаболовки был большой пустырь, кое-где поросший жалкой травой; на ней лежали босые рабочие. Там мы собирались, говорили о статье в газете «Вперед», а также о том, что рабочие обойной фабрики Сладкова требуют хозяйского мыла. Кто-нибудь обязательно стоял на часах: мог подойти свирепый городовой по прозвищу «Шило». Собирались мы также на Татарском кладбище, среди старых плит; весной там цвели одуванчики, куреслепы. Излюбленным местом собраний были Воробьевы горы. Наверху владельцы чайных палаток зазывали честную публику. Дымили самовары, булькала водка. Жаловалась гармоника: «Ах, зачем эта ночь так была хороша…» Собирались мы ниже, в лесочке, говорили о «связях», о листовках, оттиснутых на гектографе, о том, что вчера один из организаторов провалился с адресами…

Помню выборы делегатов на Стокгольмский съезд. Большевики должны были приглашать на предвыборные собрания меньшевика, меньшевики — большевика. Ненавидишь всегда людей скорее близких, и даже кадеты мне были, кажется, милее меньшевиков. Я пошел на собрание меньшевиков-печатников, там мое красноречие оказалось бессильным. Потом было собрание десяти или пятнадцати рабочих кирпичного завода, где имелась меньшевистская организация. От меньшевиков выступала девушка, очень серьезная, стеснявшаяся всего и всех, а я дерзил, вышучивал меньшевиков и победил: рабочие проголосовали за большевистского делегата. Девушка чуть не плакала, мы ушли с нею вместе, мне ее было жалко, но я усмехался как-никак разбил оппортунистов!

Говорят, что иногда человек не узнает себя в зеркале. Еще труднее узнать себя в мутном зеркале прошлого. Когда меня спрашивают о начале моей литературной работы, я называю стихи, которые написал весной 1909 года. На самом деле мои первые писания относятся к 1907 году, и они куда ближе к самодеятельной публицистике, нежели к поэзии. В архиве на Пироговской сохранилась передовая статья журнала «Звено», написанная мною. Она переполнена пафосом шестнадцатилетнего неофита. «В тяжелое время мы приступаем к изданию нашего журнала. Черная реакция охватила всю Россию. Передовой отряд революции пролетариат — еще не оправился от поражений, не залечил своих ран. Радуются его враги, с криком «соре побежденным» обрушиваются они на революционную армию и прежде всего на ее вождя — российскую социал-демократию. С твердым сознанием новой силы, со светлой верой

в конечную победу загнанный в подполье пролетариат оттачивает свое оружие — строит свою рабочую партию. Мы разделяем его веру, глубоко ненавистен нам тот строй, где рядом с роскошью и развратом царит непроглядная нищета, власть рубля и нагайки. Мы твердо убеждены в его неизбежном падении, в приходе светлого царства свободы, равенства, братства. Залогом этого является великая международная борьба пролетариата в рядах социал-демократии. Под красное знамя зовет он всех униженных и оскорбленных, всех, кто искренне жаждет обновления человечества. Тернистой, но верной дорогой идет он к цели — к социализму. И нет и не должно быть зрителей в этой исторической борьбе: кто не с ним, тот против него. К том из учащихся, кто решил отдать свою жизнь делу освобождения труда, будет направлено наше слово. Мы хотим их подготовить к трудной роли быть барабанщиками и трубачами великого класса, хотим научить их науке борьбы, хотим спаять их крепким звеном с мессией будущего — пролетарием». Я привел полностью мое первое литературное упражнение, конечно, не потому, что оно мне кажется удачным; мне хочется показать, как происходит инфляция слов и как слова меняют свое значение. В 1907 году я жаждал стать барабанщиком и трубачом для того, чтобы в 1957 году написать «в оркестре существуют не только трубы или барабаны…».

Другое мое сочинение, озаглавленное «Два года единой партии», не сохранилось. Судя по резюме охранника, я говорил, что партия не должна пренебрегать всеми видами легальной работы и в то же время должна усилить свою нелегальную деятельность. Вопросы партийной тактики, споры различных фракций в те времена меня увлекали. Я любил говорить о примирении, но говорил о нем непримиримо.

На явках я встречал Варю, Тимофея, Таню, Егора-Моргуна: Егор был студентом, Таня — курсисткой. Иногда с Николаем Ивановичем вечером я приходил в гости к Тане или к Лидии Недокуневой; жили они на Владимиро-Долгоруковской; говорили мы о партийных делах, но и шутили, смеялись. Недавно мне привелось встретиться после пятидесятилетнего перерыва с Таней; она оказалась вдовой В. П. Ногина. Мы вспоминали далекое прошлое: как мы, начинающие пропагандисты, собирались на электрической станции у П. Г. Смидовича, как хорошо шутил Николай Иванович, какой задорной и светлой была наша ранняя молодость.

Встречался я неоднократно с Макаром и только много лет спустя узнал, что «Макаром» звали В. П. Ногина.

Однажды на городское собрание пришел человек с усталыми

и добрыми глазами. Я глядел на него с почтением: знал, что он — член ЦК. Иннокентий (И. Ф. Дубровинский) внимательно разговаривал с каждым из нас; одному товарищу он сказал: «Плохо выглядите, нужно вам отдохнуть…» Я помню, как на меня подействовали эти слова: они не вязались с моим представлением о революции; вернее сказать, мне очень хотелось простой человеческой ласковости, но я считал, что это слабость, пережитки, «интеллигентщина».

Осенью 1907 года мне поручили наладить связи с солдатами и создать организацию в казармах. Я был восхищен трудностью и ответственностью задания. Мне дали печать — все, что осталось после очередного провала; я проштемпелевал две талонные книжки для сбора средств, а печать по глупости хранил у себя, считал, что она хорошо спрятана. (В обвинительном акте говорится, что среди отобранных у меня предметов была «мастичная печать» «Военной организации при Московском комитете Российской социал-демократической партии».) Мне удалось познакомиться с писарем нестроевой роты Несвижского полка, он привел трех солдат пулеметной роты, потом к ним присоединился вольноопределяющийся, еще солдат, всего шесть человек — один из черновиков Красной гвардии…

Я продолжал читать романы, ходил в театры, иногда встречал знакомых, далеких от политики. Историки называют те времена «началом реакции». После яркого пятого года наступила смутная эпоха: все чего-то искали, оживленно спорили, волновались, а за всем этим чувствовались усталость, разуверение, пустота.

Вместо миньона или шакона моих детских лет барышни разучивали перед испуганными мамашами кекуок и матчиш: просвещенное человечество приближалось к фокстроту. Студенты спорили, является ли Санин Арцыбашева идеалом современного человека: здесь было и ницшеанство для невзыскательных, и эротика, более близкая к конюшне, чем к Уайльду, и откровенность нового века. Появился рассказ Анатолия Каменского, в котором подробно излагалось, как некий офицер успел соблазнить в один день четырех женщин. В Художественном театре ставили «Жизнь человека» Леонида Андреева, наивную попытку обобщить жизнь, о которой толковал в углу сцены «Некто в сером». Польку из этой пьесы напевали или насвистывали московские интеллигенты. В том же театре шли «Слепые» Метерлинка, и от символического воя впечатлительные дамы заболевали неврастенией. Никто из них не предвидел, что через десять лет появятся пшенная каша и анкеты; жизнь казалась чересчур спокойной, люди искали в искусстве несчастья, как дефицитного сырья. Начиналась эпоха богоискательства,

скандинавских альманахов, «Навьих чар».

Казалось, я был забронирован своей непримиримостью; но нет, искусство забиралось и в мое подполье. Ночами я читал Гамсуна — «Пана», «Викторию», «Мистерии», ругал себя за слабость, но восхищался: чувствовал, что есть другой мир — природа, образы, звуки, цвета. Чехов меня потрясал и тогда непонятной мне, но бесспорной правдой; я шептал: «Мисюсь, где ты?», я был влюблен в «даму с собачкой». Я увидел Айседору Дункан; она была в античной тунике и танцевала совсем не так, как Гельцер. Я говорил себе по-прежнему, что все это чепуха, но порой не мог от «чепухи» заслониться. Еще гимназистом я сказал девушке, в которую влюбился: «Короленко говорит, что человек создан для счастья, как птица для полета…» Влюблялся я часто, и мне очень хотелось счастья, но я посвящал все силы, все время другому. У нас часто употребляют как похвалу эпитет «монолитный»; а монолит — это каменная глыба. Человек куда сложнее. Даже в шестнадцать лет…

Газеты были бойкими и мрачными. Эсеры увлекались экспроприациями. Людей вешали. Охранники по ночам раздирали тюфяки и перетряхивали восемьдесят томов энциклопедии Брокгауза и Ефрона.

Блок тогда писал:

> Узнаю тебя, жизнь! Принимаю!
> И приветствую звоном щита!

Но я не знал Блока. Я очень много не знал: я был маленьким монолитом с большой трещиной. Я ходил к гимназистке Асе Яковлевой; она была на два года старше меня и, наверно, лучше разбиралась в клубке человеческих чувств. Я рассказывал ей об итогах Лондонского съезда и старался побороть многое, что теснилось в моей груди. Разговоры о пользе и вреде кооперации прерывались короткими признаниями. Мы ссорились и мирились. На рождественские каникулы Ася уехала в Бобров, обещала, во-первых, разгромить там эсеров, во-вторых, подумать хорошенько о наших отношениях. При аресте у меня отобрали се письмо, которое начиналось словами: «Илья, мне хочется более спокойно поговорить с вами…» А в конце была справка: «Реферата не читала, так как почти все с.-р. куда-то испарились, а может, и пыл пропал боевой…»

Трудно было спорить о статье Плеханова и одновременно мечтать о счастье. Я говорю об этом потому, что, в отличие от многих писателей, моих сверстников, я очень рано увидел маленький макет того душевного мира, в котором прожил потом

добрых пятьдесят лет. На дворе еще стоял — если не по календарю, то по быту — девятнадцатый век, с клятвами Герцена и Огарева, с «кружением сердца», с Полиной Виардо, с «Чайкой», со стихами Надсона, а я между явками и романами Гамсуна уже предчувствовал климат иной эпохи.

Я подтруниваю над самоуверенностью мальчишки; но именно в те годы решалось для меня многое. Конечно, я шел путаной дорогой: жизнь не шоссе, а искусство и приподымает человека, и порой уводит его в сторону. И все же я вижу, что сейчас мне близок шестнадцатилетний юноша, который писал наивные прокламации. Если что-либо помогло мне пережить годы сомнений, разуверений, то только сознание, что дело, которому я отдал себя свыше пятидесяти лет тому назад, диктуется и разумом века, и моей совестью.

Пришли за мной в два часа ночи; я крепко спал и проснулся от голосов околоточного, шпиков, понятых. Я ничего не успел уничтожить. Обыск продолжался до утра. Мать плакала, и по квартире в ужасе носилась тетка, приехавшая погостить из Киева, она была в пышной нижней юбке. Помню, меня успокаивала, даже радовала мысль: как хорошо, что две недели назад мне исполнилось семнадцать лет! Значит, никто не посмеет усомниться в моей полной ответственности…

8

Я просидел в тюрьме всего пять месяцев, но я был мальчишкой, и мне казалось, что я сижу годы: часы в заключении другие, чем на воле, и дни могут быть необыкновенно длинными. Иногда становилось очень тоскливо, особенно под вечер, когда доносились шумы улицы, но я старался совладать с собой — тюрьма в моем представлении была экзаменом на аттестат зрелости.

За полгода я успел ознакомиться с различными тюрьмами: Мясницкой полицейской частью, Сущевской, Басманной, наконец, с Бутырками. Повсюду были свои нравы.

Тюрьмы были тогда переполнены, и неделю меня продержали в Пречистенском участке, ожидая, когда освободится место. В участке было шумно. Ночью приводили пьяниц, их нещадно лупили и сажали в пьянку — так называлась большая клетка, похожая на клетки зоопарка. Сторожили меня городовые, они часто сидя засыпали, а просыпаясь, зычно сморкались и бубнили что-то про беспокойную службу. Я думал о своем: глупо, что я не припрятал получше печать военной организации! Думал я также об Асе: обидно, мы так и не успели всего договорить!.. Меня возили в охранное отделение, там унылый зобастый фотограф приговаривал: «Голову повыше… теперь в профиль…» Я с детства увлекался фотографией, любил снимать, но не любил, когда меня фотографировали, а вот в охранке обрадовался — значит, меня берут всерьез.

Меня отвезли в Мясницкую часть. Режим там был сносный. В крохотных камерах стояло по две койки. Некоторые надзиратели были добродушными, позволяли походить по коридору, другие ругались. Помню одного — когда я просил выпустить меня в отхожее место, он неизменна отвечал: «Ничего, подождешь…» Смотритель был человеком малограмотным; когда заключенным приносили книги для передачи, он сердился — не мог отличить, какие из них крамольные. В Государственном архиве я увидел его донесение, он сообщал в охранку, что отобрал принесенные мне книги — альманах «Земля» и сочинения Ибсена. Один раз он вышел из себя: «Черт знает что! Книгу для вас принесли про кнут. Не полагается! Не получите!» (Как я потом узнал, книга, его испугавшая, была романом Кнута Гамсуна.)

В Мясницкой части сидел большевик В. Радус-Зенькович; мне он казался ветераном — ему было тридцать лет; сидел он не впервые, побывал в эмиграции. Моим соседом был тоже «старик» — человек с проседью. Разговаривая с ним, я старался не выдать,

что мне семнадцать лет. Однажды начальник принес мне литературный альманах; я его дал соседу, который час спустя сказал: «А здесь для вас письмо». Под некоторыми буквами стояли едва заметные точки: книгу передала Ася. Я покраснел от счастья и от позора; в течение нескольких дней я боялся поглядеть соседу в глаза — чувства мне казались недопустимой слабостью.

Гуляли мы в крохотном дворике, среди огромных сугробов. Потом неожиданно снег посерел, стал оседать — близилась весна.

Иногда нас водили в баню, это были чудесные дни. Вели нас по мостовой; прохожие глядели на преступников — кто с удивлением, кто с жалостью. Одна старушка перекрестилась и сунула мне пятачок: я шел крайним. В бане мы долго мылись, парились и чувствовали себя как на воле.

Наружную охрану несли солдаты жандармского корпуса; они заговаривали с нами, говорили, что они нас уважают — мы ведь не воры, а «политики». Некоторые соглашались передавать письма на волю. Тридцатого марта я послал письмо Асе. Вероятно, перед этим я получил от нее записку, которая меня огорчила, потому что писал: «Только сознание, что для дела важно, чтобы я имел известия с воли, чтобы я не отстал от движения, заставило меня обратиться к вам с просьбой писать мне». Мое письмо было найдено у Аси при обыске и приобщено к делу. По нему я вижу, что в тюрьме продолжал жить тем же, чем жил на воле. «Приятно слышать, что дело, выдержав такие препятствия, все же идет вперед. Но то же ваше письмо говорит мне за мой план — новые члены клуба могут быть весьма симпатичными парнями, но в их социал-демократичности я весьма сомневаюсь, и их организационная работа сведется к игре деток». (Я перечитываю эти строки и улыбаюсь семнадцатилетний мальчишка изобличает детские игры новых членов ученической организации!) Дальше я писал об общих политических вопросах: «Замоскворецкое общество самообразования» не разрешено, «Трудовой союз» закрыт; правительство, очевидно, решило запереть дверь из подполья. Мы должны ее взломать. Только одно не следует забывать — это только вспомогательное средство, а не центральное, которое должно лежать в работе в подполье».

После того как у Аси нашли это письмо, меня перевели из Мясницкой части в Сущевскую. Новая тюрьма показалась мне раем. В большой камере на нарах спало множество людей; нельзя было повернуться без того, чтобы не разбудить соседа. Все спорили, кричали, пели «Славное море, священный Байкал…». Смотритель был пьяницей, любил деньги, коньяк, шоколадные конфеты, одеколон Брокара; любил также общество

интеллигентных людей, говорил: «Вы, политики, — умницы…» Разрешений на свидания не признавал, нужно было положить в бумагу три рубля. Передавать можно было все, но начальник брал себе то, что ему особенно нравилось. Иногда, изрядно выпив, он приходил в камеру, улыбаясь, слушал споры эсдеков с эсерами и приговаривал: «Вот вы ругаетесь, а я всех вас люблю — и эсеров, и большевиков, и меньшевиков. Люди вы умные, а что с Россией будет, это одному господу богу известно…» У него был мясистый багровый нос в угрях, и от него всегда несло спиртом.

Некоторые заключенные возмущались: весь день крик, нельзя почитать. Выбрали старосту, очкастого меньшевика, он торжественно объявил, что с девяти часов утра до двенадцати шуметь запрещается. Ровно в девять три анархиста начали хрипло горланить: «Пусть черное знамя собой означает победу рабочего люда…» Они не признавали никакого регламента, даже смотритель перед ними робел: «Вы это того… преувеличиваете». (Когда в 1936 году мне привелось провести полгода с анархистами на Арагонском фронте, я вспоминал не раз камеру в Сущевской части.)

Беспорядок, впрочем, царил не только в нашей камере, но и в охранке: в одной камере сидели и люди, случайно арестованные, которые ждали со дня на лень освобождения, и террористы, обвиняемые в вооруженных налетах, им грозила виселица. Неделю просидел церковный староста, его взяли по ошибке — разыскивали однофамильца; он каждому из нас обстоятельно доказывал, что он жертва случая, что он вполне благонадежен даже в помыслах, и никак не мог понять, почему мы в ответ смеялись. А когда пришли и сказали, что он может идти домой, он перепугался, стал говорить, что теперь-то его наверняка приведут назад — столько он наслушался за неделю недозволенного. Один эсер, участник вооруженной экспроприации, ждал смертной казни. Звали его Иванов (не знаю, была ли это подлинная фамилия). Он симулировал сумасшествие. Вначале он ограничивался кратковременными буйными припадками, потом не то переменил тактику, не то действительно тронулся, но круглые сутки изводил нас криками, похожими на клекот птицы, беспричинным смехом, несвязными разговорами.

Следствие по моему делу вел жандармский полковник Васильев. Он старался расположить меня к себе, говорил о язвах режима, о том, что он в душе сторонник прогресса. Порой он льстил мне, порой изводил меня иронией пожилого и неглупого циника. Ему очень хотелось узнать, кто автор статьи «Два года единой партии», скоро ли произойдет новый раскол, какова позиция Ленина. На вопросы я отвечал односложно: различные

документы мне переданы различными лицами, назвать которых я отказываюсь. Он заводил разговор на общие темы — о Горьком, о роли молодежи, о будущем России; говорил мне: «У меня сын вашего возраста, болван, ничем не интересуется — танцы, барышни, ликеры. А с вами приятно поговорить, вы юноша оригинальный, да и начитанный». Во время одного из допросов он начал читать вслух письмо от Аси, отобранное у меня при аресте. Я возмутился, кричал, что это не относится к допросу, что я не допущу издевательства. Он был очень доволен, называл меня «юношей с темпераментом», предлагал чай с печеньем, я отказывался. Однажды он рассказал мне, что к нему пришла девушка, которая сказала, что она моя двоюродная сестра по матери и просит о свидании со мной. «Я спросил ее, а как зовут вашу матушку, а она даже отчества не знала. Зачем вы таких дур берете в свою организацию? Я ее не задержал. Вы. конечно, догадываетесь, о ком я говорю? Яковлева. Ася». Я еле сдержался, чтобы не выдать себя, и равнодушно ответил, что все это не относится к делу.

Полковник мне солгал. Вскоре после того, как Ася приходила к нему с просьбой о свидании, у нее был произведен обыск; на беду, мое письмо из тюрьмы лежало у нее запечатанное на столе — она не успела его прочитать и уничтожить. Восьмого апреля Асю арестовали и привлекли к делу об ученической организации, а две недели спустя выпустили под залог в двести рублей.

Разумеется, я ненавидел полковника Васильева, но он казался мне интересной фигурой, хитрым следователем из романа я ведь думал, что все жандармы глупые и невежественные держиморды.

Жандармское управление помещалось на Кудринской площади. Возили меня на извозчике; рядом сидел жандарм. Я жадно разглядывал прохожих — вдруг окажется знакомый?… Шли мастеровые, франты, гимназистки, военные. В палисадниках цвела сирень. Ни одного знакомого…

На последнем допросе мне сказали, что будут привлечены к суду за участие в ученической организации РСДРП Эренбург, Осколков, Неймарк, Львова, Ивенсон, Соколов и Яковлева — первая часть 126 статьи. Помимо этого, я буду привлечен по первой части 102 статьи за участие в военной организации. Васильев, усмехаясь, пояснил: «Вам лично должны дать шесть лет каторжных работ, но треть скостят по несовершеннолетию. Потом — вечное поселение. Оттуда вы удерете — я вас знаю…»

Некоторые заключенные, воспользовавшись разгильдяйством начальника Сущевки, организовали побег; насколько я помню, удалось убежать четверым. Впервые я увидел смотрителя мрачным. Не знаю, остался ли он на своем посту, но мы

поплатились: нас тотчас перевели в различные места заключения как «соучастников побега».

Увидев меня, смотритель Басманной части гаркнул: «Снимай портки!» Начался личный обыск. Из рая я попал в ад. Увесистая оплеуха быстро меня ознакомила с новым режимом. В Басманке мы объявили голодовку, требуя перевода в другую тюрьму. Помню, как я попросил товарища, чтобы он плюнул на хлеб, — боялся, что не выдержу и отщипну кусок…

Меня перевели в одиночную камеру Бутырской тюрьмы; для меня это было наказанием — дело, разумеется, в возрасте; если бы теперь мне предложили на выбор общую камеру в Сущевке или одиночку, я ни минуты не колебался бы; но в семнадцать лет коротать время с самим собой нелегко, да еще без свиданий, без писем, без бумаги.

Я попробовал перестукиваться, никто не ответил. На прогулку меня не пускали. В маленькое оконце врывался яркий свет летнего дня. Воняла параша. Я начал читать вслух стихи — надзиратель пригрозил, что посадит меня в карцер. Я потребовал бумагу для заявления и написал в жандармское управление, что «содержащийся в Московской пересыльной тюрьме Илья Эренбург» не хочет дольше сидеть за решеткой: «Прошу немедленно освободить меня из-под стражи. Если же меня хотят заморить или свести с ума до суда, то пусть мне заявят об этом». Я переписываю эти строки и смеюсь, а когда я их писал, мне было совсем не смешно. Заявление пронумеровали и приобщили к делу.

Тюремный врач нашел, что я болен острой формой неврастении. Он многого не знал: я продолжал думать о различных партийных делах, об использовании для партийной работы кооперации, о некоторых рабочих с завода Гужона, которых следовало выдвинуть вперед; сочинял без бумаги «ответ Плеханову». Думал я и о том, что Ася сдала экзамены, поступает на Высшие курсы — вряд ли наши пути в жизни сплетутся. Думал я в тюрьме и не только об этом: я начал думать о жизни, о тех больших и не вполне ясных вопросах, о которых не успел задуматься на воле. В общем, и тюрьма хорошая школа, если только тебя не секут, не пытают и если ты знаешь, что посадили тебя враги и что о тебе дружески вспоминают единомышленники.

«С вещами!..» Я подумал, что меня переводят в новую тюрьму, но мне показали бумагу: «Распишитесь». Меня выпускали до судебного разбирательства под гласный надзор полиции; я должен был незамедлительно покинуть Москву и выехать в Киев.

Я вышел на Долгоруковскую и замер. Все можно забыть, а вот этого не забудешь! В спокойные времена в спокойной стране

человек растет, учится, женится, работает, хворает, дряхлеет; он может прожить всю жизнь, так и не поняв, что такое свобода; вероятно, он всегда чувствует себя свободным в той мере, в которой положено быть свободным пристойному гражданину, обладающему средним воображением. Выйдя из тюремных ворот, я остолбенел. Извозчики, парень с гармошкой, лоток, молочная Чичкина, булочная Савостьянова, девушки, собаки, десять переулков, сто дворов. Можно пойти прямо, свернуть направо или налево… Вот тогда-то я понял, что такое свобода, понял на всю жизнь.

(Никогда я не мог разгадать пушкинских строк «На свете счастья нет, но есть покой и воля…» Много раз я думал над этими словами, но так их и не понял: жизнь изменилась. В 1949 году я сидел рядом с С. Я. Маршаком в партере Большого театра; на сцене произносили речи о Пушкине — это был юбилейный вечер. Потом мы пошли в кафе на углу Кузнецкого моста. Я спросил Самуила Яковлевича, о каком счастье мечтал Пушкин, помимо покоя и воли; Маршак ничего не ответил.)

А на Долгоруковской я долго стоял и улыбался; потом пошел домой, на Остоженку, мимо Страстной площади, там я поздоровался с Пушкиным, шел по зеленым бульварам, шел и все время улыбался.

9

Из Киева меня скоро выслали и заодно почему-то запретили проживание в Киевской, Волынской и Каменец-Подольской губерниях. Я получил проходное свидетельство в Полтаву: там жил брат моей матери, либеральный адвокат.

Город мне показался милым: тихие улицы, сады с золотыми деревьями, белые домики; но «гласный надзор полиции» мог отравить жизнь и в идиллической Полтаве. Конечно, дядюшка меня любезно принял, но я понял, что чем реже буду у него бывать, тем ему будет спокойнее. Я начал поиски комнаты; приходилось предупреждать квартировладельцев, что я состою под надзором полиции. После такого предупреждения мне неизменно отказывали — одни грубо, другие с виноватым видом, ссылаясь на тяжелые и без того условия. Наконец я попал к мужскому портному Браве, который, посоветовавшись с женой, решил сдать мне комнатушку. Я вынул книги, тетради и решил прочно обосноваться в Полтаве. Разумеется, я надеялся продолжать подпольную работу; у меня был адрес одного рабочего — мне его дали в Киеве. В течение недели я ходил с одного конца города в другой, желая убедиться, что за мной не следует шпик.

Одиннадцатого ноября 1908 года начальник полтавского жандармского управления полковник Нестеров писал: «По организации РСДРП доношу, что вновь вошедшие лица в сферу наблюдения за октябрь» — следовал список, и в нем «Илья Григорьев Эренбург — студент». Жалко, что с его донесением я ознакомился полвека спустя: наверно, мне польстило бы, что он принял меня за студента.

Мне трудно было бы вспомнить некоторые подробности моей полтавской жизни; на помощь еще раз пришли архивы полиции: «Копия с полученного агентурным путем письма поднадзорного Ильи Григорьева Эренбурга. Полтава от 21 сентября 1908 г. к Симе в Киев. «Уважаемый товарищ! Сообщаю некоторые сведения о состоянии Полтавских организаций. Существуют 2–3 кружка, сил нет. Вообще положение плачевное. Говорить при таких условиях о конференции по меньшей мере смешно… Меня как «большевика» долго не пускали, да и теперь держат на «исключительном положении». Очень просил бы вас выслать несколько десятков «Южного пролетария», а также сообщить, что у вас нового».

Я не помню Симы, но вспоминаю, что в Полтаве была меньшевистская организация, и, будучи большевиком, к тому же

чрезвычайно молодым и чрезвычайно дерзким, я напугал милого тщедушного меньшевика с чеховской бородкой, который приговаривал: «Нельзя же так — все сразу, право, нельзя…» Мне удалось, однако, связаться с тремя большевиками, работавшими в железнодорожном депо, и написать две прокламации.

Я должен был раз в неделю являться в участок, но «гласный надзор» этим не ограничивался: то и дело ко мне приходили городовые, будили на рассвете, стучали в окошко ночью. Как-то, возвратившись домой, я увидел на моей постели городового в башлыке; он укоризненно сказал «все ходите», взял со стола тетрадку — конспект «Истории философии» Куно Фишера, — аккуратно связал веревкой мои книги и уволок их.

Портной Браве, всхлипывая, попросил меня освободить комнату: в участке ему сказали, что, если он меня не выдворит, у него будут крупные неприятности. Снова начались унизительные поиски жилья. На третий или четвертый день я нашел удобную комнату, и хозяин в ответ на мое предупреждение рассмеялся: «Я сам поднадзорный…» Он сочувствовал эсерам, и мы по ночам спорили о роли личности в истории; иногда нашу дискуссию прерывал очередной визит городового.

Дядя предложил мне пойти в окружной суд он защищал горемыку, которого обвиняли в краже. Я начал каждый день ходить на судебные разбирательства — они мне показались куда интереснее романов. Я знал, что люди живут плохо, помнил казармы Хамовнического завода, видел ночлежки, ночные чайные, пьяниц, людей жестоких и темных, увидел тюрьму. Но все это было извне, а на суде передо мной раскрывались сердца людей. Почему тихая, скромная крестьянка зверски убила соседа? Почему старик зарезал падчерицу, с которой он жил? Почему люди верили рябому, уродливому чудотворцу? Почему они полны темноты, предрассудков, бурных и непонятных им самим страстей? Я и до того знал, что есть «база» и «надстройка», но в Полтаве я впервые серьезно задумался над уродливостью и вместе с тем прочностью «надстройки». Прежде мне казалось, что можно изменить людей в двадцать четыре часа — стоит только пролетариату взять в свои руки власть. Слушая признания подсудимых, показания свидетелей, я понял, что все не так просто. Я взял из библиотеки рассказы Чехова.

В Полтаве я продержался всего полтора месяца. Меня вызвал полицмейстер и сказал, что мне придется покинуть город. «Куда вы намереваетесь отправиться?» Я ответил первое, что мне пришло в голову: «В Смоленск».

Я не знал, что причиню хлопоты властям в Смоленске. Недавно Р. Островская, научный сотрудник смоленского архива,

прислала мне справку. Оказывается, полковник Нестеров сообщил своему коллеге в Смоленске, генералу Громыко, что «бывший студент Илья Григорьев Эренбург 10 ноября изъявил свое согласие перейти на жительство в гор. Смоленск, куда ему полтавским полицмейстером было выдано проходное свидетельство». Одновременно полковник Нестеров предупреждал генерала Громыко: «Означенный Эренбург, проживая в Полтаве, успел войти в сношение с лицами, принадлежащими к местной организации Российской социал-демократической рабочей партии». Двадцать четвертого ноября начальник смоленского жандармского управления приказал тотчас сообщить ему о моем приезде в Смоленск. Меня долго разыскивали.

Из Полтавы я поехал в Киев и неделю прожил там без прописки. Каждую ночь приходилось ночевать на новом месте. Как-то я пришел вечером по указанному адресу, звонил, стучался в дверь, но напрасно. Может быть, я неверно записал адрес, не знаю. Я шагал по Бибиковскому бульвару. Было холодно, падал мокрый снег. Навстречу шла молоденькая девушка, на ней были летние туфли. Она позвала меня: «Пойдем?» Я отказался. Час спустя мы снова встретились; она поняла, что у меня нет ночлега, отвела к себе в теплую комнату — «отогреешься», — дала пачку папирос (я не курил, но от папиросы никогда не отказывался), а сама пошла на бульвар — искать клиента.

(Среди проституток есть много женщин с нерастраченной нежностью. Это понял итальянский кинорежиссер Феллини, работая над «Ночами Кабирии». Я видел его последний фильм «Сладкая жизнь», фильм чрезвычайно жестокий, в нем, пожалуй, единственное теплое, человеческое — это римская проститутка, которая доброжелательно принимает у себя парочку богатых изломанных влюбленных.)

В Москве меня ждали те же трудности. Домой я не мог пойти и не знал, где мне приютиться. Пришлось разыскивать знакомых, не связанных с подпольем, так называемых «сочувствующих». Один мой товарищ по гимназии, увидев меня, чрезвычайно испугался, стал говорить, что он сдает выпускные экзамены, что я могу погубить всю его жизнь, предлагал деньги и выталкивал в переднюю. Ночевал я у одной акушерки; она так боялась, что не могла уснуть, да и мне не дала: все время ей казалось, что кто-то идет по лестнице, она плакала и жадно глотала эфирно-валериановые капли. Вскоре ночевки иссякли. Я провел ночь на улице. Я ходил и думал: вот мой город, вот дом, куда я приходил, и для меня нет места!.. Глупые мысли, их оправдывает только молодость.

Еще более глупым было дальнейшее: я направился в жандармское управление и заявил, что предпочитаю тюрьму «гласному надзору». Полковник Васильев долго надо мной смеялся, потом сказал: «Ваш батюшка подал заявление о том, чтобы вам разрешили кратковременный выезд за границу для лечения». Я решил, что полковник надо мной издевается, но он показал мне бумагу о том, что на юридическом языке называется «изменением меры пресечения». В бумаге говорилось, что надзор полиции признан недостаточным и что «для обеспечения явки на судебное разбирательство» мой отец должен внести за меня залог в размере пятисот рублей. (За Кору Ивенсон взяли четыреста, за Неймарка — триста, за Яковлеву — двести, за Осколкова — сто. Не знаю, кто устанавливал расценку и чем он руководствовался.)

Обвинительный акт был вручен обвиняемым полтора года спустя — 31 мая 1910 года. Я тогда жил в Париже и писал стихи о средневековых рыцарях. Меня официально уведомили, что мой отъезд за границу был произведен незаконно, ибо «закон исключает возможность разрешения обвиняемым пребывания за границей, то есть за пределами досягаемости». Отцу было объявлено, что внесенный им залог «на основании 427 статьи Устава уголовного уложения будет обращен в капитал на устройство мест заключения».

(Судебная палата в сентябре 1911 года разбирала дело об ученической организации; дело о скрывшихся Эренбурге и Неймарке выделили и отложили до розыска виновных. Судили тех, у кого ничего не нашли. Защитники не без основания указывали, что зачинщики скрылись. Осколкова приговорили к восьми месяцам заключения, остальных оправдали.)

Уезжать за границу мне не хотелось: все, чем я жил, было в России. Я разыскал одного из товарищей, он сказал: «Поезжайте. Вам нужно пополнить политическое образование. Ленин теперь не в Женеве, а в Париже. Поезжайте в Париж, там вы найдете Савченко, Людмилу…»

Я решил пробыть в Париже год, а потом нелегально вернуться в Россию. «Только в Париж», — сказал я родителям. Мать плакала: ей хотелось, чтобы я поехал в Германию и поступил в школу; в Париже много соблазнов, роковых женщин, там мальчик может свихнуться…

Я уезжал с тяжелым сердцем и с еще более тяжелым чемоданом: туда я положил любимые книги. На мне было зимнее пальто, меховая шапка, ботики.

Седьмого декабря 1908 года генерал Громыко сообщал полтавскому полковнику Нестерову, что «Илья Григорьев Эренбург в гор. Смоленск до сего времени не прибывал». В тот

самый день Илья Григорьев, высунувшись из окна вагона третьего класса, недоверчиво глядел на зеленую траву и на маленькие домики парижских пригородов.

10

Я хорошо помню декабрьский день, когда я вышел из Северного вокзала на грязную шумную площадь. Меня удивил ветер — в нем чувствовалось дыхание моря; мне стало весело и тревожно. Чемоданы я оставил в камере хранения и почувствовал себя сразу свободно. Правда, одет я был несуразно, но никто не обращал на меня внимания, в первые же часы я понял, что в этом городе можно прожить незаметно — никто тобой не интересуется.

Я зашел в бар. У цинковой стойки стояли краснолицые извозчики в цилиндрах; они пили загадочные напитки — багровые и зеленые. Я вспомнил московских извозчиков, и защемило сердце — эти ведь не станут говорить про овес… Я заказал кофе. Хозяйка меня о чем-то спросила, я не понял. (Я был убежден, что могу говорить по-французски — учился в гимназии, брал частные уроки; но выяснилось, что я знаю несколько сот слов, которые Расин вставлял в свои трагедии, а самых необходимых в жизни не понимаю.) Мне дали черный кофе в бокале и рюмочку рома. Я испугался, но выпил.

Я знал, что русские эмигранты живут неподалеку от Латинского квартала, и спросил полицейского, как мне туда добраться. Он мне показал на омнибус: в Париже оказалась наша конка, только без рельсов и двухэтажная. Я взобрался на империал и сел рядом с кучером; в руке у него был длинный кнут. Он то и дело засыпал: на его нижней губе дрожал погасший окурок сигареты. Просыпаясь, он начинал петь; так как он много раз просыпался, то в конце концов я понял первые слова песни: «Сердце цыгана это вулкан…» Ему было под шестьдесят. Мне он казался даже не старым, а древним, как пепельные дома Парижа.

Путь был длинным — с одного конца города на другой. Мы пересекли Большие Бульвары; тогда это был центр города. Я вдруг догадался, что здесь не только другие нравы, но и другой календарь: сегодня двадцатое декабря, скоро рождество, вот почему всюду реклама — подарки, праздничные ужины. На Бульварах было множество палаток: в одних продавали всяческую дребедень, в других были огромные, непонятные мне игры — рулетки.

На углах улиц стояли певцы с нотами; они пели что-то грустное; зеваки, толпившиеся вокруг, подпевали. На тротуарах громоздились кровати, буфеты, шкафы — мебельные магазины. Вообще все товары были на улице мясо, сыры, апельсины, шляпы, ботинки, кастрюли. Меня удивило количество писсуаров; на них было написано: «Лучший шоколад Менье», внизу краснели штаны

солдат. Ветер был холодный, но люди не торопились: они не шли куда-то, а прогуливались.

Кафе были с террасами, и на многих террасах чадили жаровни; возле них сидели почтенные старики. Мне захотелось написать Асе, сестрам, Наде Львовой, что в Париже топят улицу. Никто не поверит!..

На бульваре Себастополь я увидел паровой трамвай, он трагически свистел. Извозчики гикали и щелкали бичами. Пролеток не было, у извозчиков были кареты, как у московского генерал-губернатора. Я увидел, что в одной карсте едет парочка, они целовались; я поспешно отвернулся, чтобы не помешать им. Иногда дорогу пересекали кареты без лошадей автомобили; они гудели, грохотали, и лошади шарахались в ужасе.

Я дал кондуктору серебряную монету; он попробовал ее на зуб и, заметив мое изумление, весело улыбнулся. Никогда прежде я не видел на улице столько людей. Москва мне показалась милым, спокойным детством.

Отчаянно кричали газетчики: «Ля пресс!». «Ля патри!» Я думал, что приключилось важное событие. Может быть, Германия объявила войну? Или эсеры бросили бомбу в Столыпина? Конечно, индивидуальный террор ничего не может решить, но все-таки приятно… Газетчик на ходу вскочил в омнибус. Я купил газету. На первой странице был большой портрет неизвестного мне человека. Я долго изучал заголовки и понял, что этот человек убил свою любовницу, положил труп в сундук и отправил малой скоростью в Нанси.

Я не знал, где мне нужно слезть, чтобы попасть в Латинский квартал, и наконец спросил кучера. Он засмеялся и сказал: «Слезайте». Это было на площади Денфер-Рошеро. Посередине площади был памятник: сердитый лев глядел прямо на меня; я прочитал на цоколе, что он поставлен в память зашиты Бельфора от пруссаков. Я с радостью подумал, что увижу Стену коммунаров. В Москве я устраивал лекцию В. П. Потемкина для студентов и гимназистов; он красиво говорил и кончил словами: «Коммуна умерла, да здравствует Коммуна!» Прохожие в моем представлении сливались с санкюлотами, со львиным мужеством защитников Бельфора и с коммунарами, о которых я знал по книжке Лиссагаре.

Но нужно найти комнату… Гостиниц было очень много; я выбрал одну, с самой маленькой вывеской, — наверно, здесь дешевле. Хозяйка дала мне медный подсвечник, закапанный стеарином, большой ключ и крохотное полотенце, похожее на салфетку. Я протянул ей паспорт, но она ответила, что это ее не интересует. В номере стояла очень большая, высокая кровать,

занимавшая почти всю комнату. Пол был каменный. Я принял окно за дверь на балкон, балкона, однако, не оказалось; я увидел, что во всех домах такие же окна — прямо от пола. А вот стола в номере не было. Удивительно, даже в комнатушке портного Браве стоял стол… В номере было холодно. Я спросил хозяйку, нельзя ли затопить камин. Она ответила, что это очень дорого, и обещала положить мне на ночь в кровать горячий кирпич. (На следующий день я все же решил разориться, и коридорный принес мне мешок с углем. Я не знал, как зажечь камин, — уголь был каменным; положил газеты, щепки, все быстро сгорело, а проклятый уголь не зажигался; я вымазал лицо и уснул снова в холодной комнате.)

Сидеть в номере было глупо. Я отложил поиски Савченко и Людмилы на следующий день и пошел бродить по Парижу. Мужчины были в котелках, женщины в огромных шляпах с перьями. На террасах кафе влюбленные преспокойно целовались; я даже перестал отворачиваться. По бульвару Сен-Мишель шли студенты, шли по мостовой, мешая движению, но никто их не разгонял. Сначала мне показалось, что это демонстрация, но нет, они просто развлекались. Продавали жареные каштаны. Стал накрапывать дождик. В Люксембургском саду трава была нежно-зеленая. В декабре!.. Мне было очень жарко в ватном пальто. (Ботики и меховую шапку я оставил в гостинице.) Пестрели яркие афиши. Все время мне казалось, что я в театре.

Я долго прожил в Париже; различные события, лица, обрывки фраз смешались в моей памяти; но первый парижский день я хорошо запомнил: этот город меня поразил. Самое удивительное, что он остался прежним; Москвы не узнать, а Париж все тот же. Когда я теперь приезжаю в Париж, мне становится невыразимо грустно — город тот же, изменился я; мне трудно ходить по знакомым улицам это улицы моей молодости. Конечно, давно нет ни фиакров, ни омнибусов, ни парового трамвая; неоновые вывески куда ярче прежних; редко можно увидеть кафе с красными бархатными или кожаными диванами; писсуаров осталось мало, они запрятались под землю. Но ведь это мелочи. По-прежнему люди живут на улице, влюбленные целуются, где им вздумается, никто ни на кого не обращает внимания. Старые дома не изменились — что им лишних полвека, в их возрасте это нечувствительно. Слов нет, изменился мир, — следовательно, и парижане должны думать о многом, о чем они раньше не подозревали: об атомной бомбе, о скоростных методах производства, о коммунизме. Но с новыми мыслями они все же остаются парижанами, и я убежден, что, если теперь попадет в Париж восемнадцатилетний советский паренек, он разведет

руками, как я в 1908 голу: «Театр…»

На следующий день я отправился в Латинский квартал. На бульваре Сен-Мишель я стал прислушиваться к разговорам прохожих: как только услышу русскую речь, спрошу, где здесь эмигрантская библиотека; там-то, наверно, мне скажут адрес Савченко и Людмилы. Я потратил на поиски полдня. Библиотека помещалась на авеню де Гобелен, в глубине грязного двора. Я поднялся по винтовой лестнице в помещение, походившее на длинный сарай. Там стояли полки с книгами, лежали русские газеты, там я познакомился с библиотекарем, товарищем Мироном (Ингбером). Он был меньшевиком, это меня огорчило; но вскоре я понял, что он озабочен одним: не хочет, чтобы читатели зачитывали библиотечные книги. Он мне прочел длинную лекцию о том, как обращаться с книгой, я обещал никогда не загибать страниц и не делать на полях заметок. (Он все же подпустил шпильку — сказал, что именно некоторые большевики любят писать на библиотечных книгах.) Потом он относился ко мне благосклонно: я начал писать стихи, а он обожал поэзию. Это был близорукий тихий и доброжелательный человек. Каждый вечер он отправлялся в маленькую пивную на улице Брока, там ел сосиски и работал — составлял каталог зарубежных изданий. Он не знал, где живут Савченко и Людмила, но сказал, что скоро придет кто-нибудь из большевистской группы. Действительно, два часа спустя я уже был на квартире, где жили Савченко и Людмила. У них были две маленькие комнаты, кухня с газом; в комнатах стояли раскладушки. Все напоминало студенческую квартиру где-нибудь на Козихах. Вот только газовая плитка меня заинтересовала… Савченко была заботливой женщиной лет тридцати (мне она казалась старухой). Она сразу начала меня опекать, сказала, что жить в гостинице дорого и что завтра она пойдет со мной, мы найдем меблированную комнату, это нетрудно — у подъезда висит желтое объявление. А вот сегодня вечером они возьмут меня на собрание большевистской группы — там будет Ленин…

Мы обедали, я нервничал, глядел на часы — не опоздать бы! Конечно, Савченко и Людмила рассказывают удивительные вещи о Париже, но если я сюда приехал, то с одной целью — увидеть Ленина.

11

Большевистская группа собиралась в кафе на авеню д'Орлеан, неподалеку от Бельфорского льва. На втором этаже имелся небольшой зал; как то принято в Париже, его предоставляли безвозмездно — посетители должны были оплачивать только кофе или пиво. Мы пришли одними из первых. Я спросил Савченко, что мне заказать; она ответила: «Гренадин. Все наши пьют гренадин…» Действительно, всем приносили ярко-красный приторный сироп, к которому добавляли сельтерскую воду. Только Ленин заказал кружку пива. (Потом я неоднократно слышал, как официанты удивлялись: революционеры, а пьют гренадин!.. Сироп французы прибавляют к чересчур горьким крепким напиткам; а в воскресенье, когда посетители приводят в кафе всю семью, малышей бесплатно угощают гренадином.)

На собрании было человек тридцать; я глядел только на Ленина. Он был одет в темный костюм со стоячим крахмальным воротничком; выглядел очень корректно. Я не помню, о чем он говорил, но, будучи достаточно дерзким мальчишкой, я попросил слова и в чем-то возразил. Он ответил мне мягко, не обругал, а разъяснил — я того-то не понял… Людмила мне сразу сказала, что я поступил глупо. Когда собрание кончилось, Владимир Ильич подошел ко мне: «Вы из Москвы?…» Я ему объяснил, что в московской организации работал до января, потом был арестован, попытался устроиться в Полтаве, там отыскал товарищей. Ленин сказал, чтобы я к нему зашел.

Я разыскал дом на уличке возле парка Монсури (теперь я проверил — это была улица Бонье). Я долго стоял у двери — не решался позвонить; от недавней дерзости не осталось следа. Дверь открыла Надежда Константиновна. Ленин работал; он сидел, задумавшись, над длинным листом бумаги; чуть щурил глаза.

Я рассказал ему о провале ученической организации, о статье «Два года единой партии», о положении в Полтаве. Он внимательно слушал, иногда едва заметно улыбался, мне казалось — он догадывается, что я еще мальчишка, и это путало мои мысли. Я сказал, что помню на память адреса для рассылки газеты. Надежда Константиновна адреса записала. Я хотел уходить, но Владимир Ильич меня удержал; он стал расспрашивать, как настроена молодежь, кого из писателей больше читают, популярны ли сборники «Знания», на каких спектаклях я был в Москве — у Корша, в Художественном театре. Он ходил по комнате, а я сидел на табурете. Надежда

Константиновна сказала, что время обедать; я решил, что засиделся, по меня оставили, накормили. Меня удивил порядок: книги стояли на полке, на рабочем столе Владимира Ильича ничего не было накидано — не похоже ни на комнаты моих московских товарищей, ни на квартиру, где жили Савченко и Людмила. Владимир Ильич несколько раз повторил Надежде Константиновне: «Вот прямо оттуда… Знает, чем живет молодежь…»

Меня поразила его голова. Я вспомнил об этом пятнадцать, лет спустя, когда увидел Ленина в гробу. Я долго глядел на этот изумительный череп; он заставлял думать не об анатомии, но об архитектуре.

(Много лет спустя после смерти Ленина я взял воспоминания Н. К. Крупской. Надежда Константиновна писала, что Ленин прочитал мой первый роман. «Это, знаешь, Илья Лохматый (кличка Эренбурга), — торжествующе рассказывал он. — Хорошо у него вышло». Я был у Владимира Ильича в самом начале 1909 года; и я не знал, что снова с ним мысленно разговаривал — незадолго до его смерти — в 1922 или 1923 году, когда он читал мою книгу «Хулио Хуренито».)

Несколько раз я слышал Ленина на собраниях; говорил он спокойно, без пафоса, без красноречия; слегка картавил; иногда усмехался. Его речи походили на спираль: боясь, что его не поймут, он возвращался к уже высказанной мысли, но никогда не повторял ее, а прибавлял нечто новое. (Некоторые из подражавших впоследствии этой манере говорить, забывали, что спираль похожа на круг и не похожа — спираль идет дальше.)

Ленин внимательно следил за политической жизнью Франции, изучал ее историю, ее экономику, знал быт парижских рабочих. Он не только говорил по-французски, но и мог писать на этом языке статьи.

В мае 1909 года я был на демонстрации у Стены коммунаров. Впереди шли участники Коммуны; их было еще много, и они бодро шагали. Мне они показались глубокими стариками; я думал о Коммуне, как о странице древней истории, — ведь это было тридцать восемь лет назад! У Стены коммунаров я увидел Ленина; он стоял среди группы большевиков и глядел на стену — из камня выступали тени федератов.

Видел я Ленина и в библиотеке Сент-Женевьев, и на скамейке в парке Монсури, среди старух и детишек, и в рабочем театре на улице Гэтэ, где певец Монтегюс пел революционные песенки.

В пылу полемики против эсеров, пренебрегавших законами развития общества, я, разумеется, отрицал всякую роль личности в истории. Несколько лет назад я задумался над фразой из

письма Энгельса: «Маркс и я отчасти сами виноваты в том, что молодежь иногда придает больше значения экономической стороне, чем это следует. Нам приходилось, возражая нашим противникам, подчеркивать главный принцип, который они отрицали, и не всегда находилось достаточно времени, места и повода отдавать должное и остальным моментам, участвующим во взаимодействии». Пример Ленина поставил многое на свое место.

Когда я пришел к Владимиру Ильичу, консьержка мне строго сказала: «Вытрите ноги». Разве она понимала, кто ее жилец? Разве понимал официант кафе на авеню д'Орлеан, что о господине, который заказывает кружку пива, восемь лет спустя будет говорить весь мир? Разве догадывались посетители библиотеки, что человек, аккуратно выписывающий из книг цифры и имена, изменит ход истории, что о нем будут писать десятки тысяч авторов на всех языках мира? Да разве я, с благоговением глядевший тогда на Владимира Ильича, мог себе представить, что передо мной человек, с которым будет связано рождение новой эры человечества?

Владимир Ильич был в жизни простым, демократичным, участливым к товарищам. Он не посмеялся даже над нахальным мальчишкой… Такая простота доступна только большим людям; и часто, думая о Ленине, я спрашивал себя: может быть, воистину великой личности чужд, даже неприятен, культ личности?

Ленин был человеком большим и сложным. В бурные годы гражданской войны после исполнения сонаты Бетховена Исаем Добровейном Ленин сказал А. М. Горькому: «Ничего не знаю лучше «Appassionata», готов слушать ее каждый день. Изумительная, нечеловеческая музыка. Я всегда с гордостью, может быть, наивной, думаю: вот какие чудеса могут делать люди!» И, прищурясь, он прибавил невесело: «Но часто слушать музыку не могу, действует на нервы, хочется милые глупости говорить и гладить по головкам людей, которые, живя в грязном аду, могут создавать такую красоту. А сегодня гладить по головке никого нельзя — руку откусят, и надобно бить по головкам, бить безжалостно, хотя мы, в идеале, против всякого насилия над людьми. Гм-гм, — должность адски трудная!»

Я выписал эту длинную цитату из воспоминаний Горького, потому что она слишком тесно связана с моей жизнью и с моими мыслями, нет, местоимение не то — с нашим веком, с нашей судьбой.

12

Мне довелось повидать различные эмиграции — левые и правые, богатые и нищие, уверенные в себе и растерянные; видел я и русских, и немцев, и испанцев, и французов. Одни эмигранты вздыхали о прошлом, другие жили будущим. Но есть нечто общее между эмигрантами различных толков, различных национальностей, различных эпох: отталкивание от чужбины, где они очутились не по своей воле, обостренная тоска по родине, потребность жить в тесном кругу соотечественников и вытекающие отсюда неизбежные распри.

Старый большевик А. С. Шаповалов попал в эмиграцию после революции 1905 года; он рассказывает, как возмущались его товарищи бельгийскими нравами: «Ну ее к черту, эту Бельгию с ее хваленой свободой!.. Оказывается, что здесь не смей после десяти часов вечера в своей же комнате ни ходить в сапогах, ни петь, ни кричать». Задолго до этого Герцен, описывая эмиграцию в Лондоне, говорил, что «француз не может примириться с «рабством», по которому трактиры заперты в воскресенье».

Взрослые растения трудно пересаживать, они болеют, часто гибнут. Теперь у нас применяется зимняя пересадка: дерево выкапывают, когда оно в летаргии. Весной оно возвращается к жизни на новом месте. Хороший метод, особенно потому, что у дерева нет памяти…

Я помню Мигеля Унамуно в Париже — он был эмигрантом во времена Примо де Ривера; он сидел в кафе «Ротонда» и вырезывал из бумаги драконов и быков; потом к его столику присаживались испанцы, и Унамуно говорил им, что во Франции нет, не было, да и никогда не будет Рыцаря Печального Образа. (Он сам походил на Дон-Кихота.) Помню Эрнста Толлера в Лондоне, задыхающегося от туманов и лицемерия; он не выдержал жизни в изгнании и покончил с собой. Жан-Ришар Блок годы войны провел в Москве; человек большой воли, он старался не выдать своей тоски, но, когда он говорил о Франции, его печальные глаза становились еще печальнее; на стене комнаты в гостинице «Националь» висела голубая бумажка — обертка давно выкуренных французских сигарет. Пабло Неруда сидел в комнате пражской гостиницы, большой и неподвижный, похожий на бога древних ацтеков; но стоило ему заговорить о раковинах на тихоокеанском побережье, как его лицо оживлялось; он с негодованием рассказывал о проделках одного из чилийских диктаторов — с негодованием и в то же время с нежностью: как-никак диктатор был чилийцем. В 1946 году, находясь в Париже, я

пошел проведать А. М. Ремизова, тяжело больного, сгорбленного в три погибели. Он был одинок, жил в нищете и в томлении. Почему он очутился в эмиграции? Вряд ли он сам смог бы это объяснить. Он говорил, что во сне видит всегда Россию, давних друзей, Петербург студенческих лет. А в комнате висели русские картинки, русские зверушки и, конечно же, русские чертяки.

В 1932 году я писал про белых эмигрантов: «Вокруг них жизнь, к которой они, по существу, никак не причастны. Они живут в Париже, как в чердачной конуре роскошной гостиницы. Разучившись говорить по-русски, они не овладели французским языком. Они плачут, когда смотрят в маленьком русском театре «Дети Ванюшина». Они мурлычут песенки Вертинского. Они ходят на вечера различных «землячеств». Они не могут расстаться даже со старым календарем и встречают Новый год 13 января. В одной русской квартире я видел самовар, воду для него нагревали на газовой плитке».

Все отличало дореволюционную эмиграцию от белой. Русские беженцы, добравшиеся после революции до Парижа, поселились в буржуазных кварталах — в Пасси, в Отэй; а революционная эмиграция жила на другом конце города, в рабочих районах Гобелен, Итали, Монруж. Белые пооткрывали рестораны «Боярский теремок» или «Тройка»; одни были владельцами трактиров, другие подавали кушанья, третьи танцевали лезгинку или камаринскую, чтобы позабавить французов. А эмигранты-революционеры ходили на собрания французских рабочих; эсеры спорили с эсдеками, «отзовисты» — со сторонниками Ленина. Разные люди — разная и жизнь…

Если я заговорил о некоторых чувствах, присущих всем людям, оказавшимся поневоле на чужбине, то только для того, чтобы объяснить мое душевное состояние, когда в январе 1909 года я наконец-то снял меблированную комнату на улице Данфер-Рошеро, разложил привезенные с собой книги, купил спиртовку, чайник и понял, что в этом городе я надолго. Конечно, Париж меня восхищал, но я сердился на себя: нечем восхищаться!.. Я уже не был ребенком, меня пересадили без кома земли, и я болел. Турист может восторгаться не виданной им природой, чужими нравами, он ведь приехал для того, чтобы смотреть; а эмигрант и восторгаясь отворачивается. Здесь нет весны, думал я в тоске. Разве французы могут понять, как идет лед, как выставляют двойные рамы, как первые подснежники пробивают ледяную кору? В Париже и зимой зеленела трава. Зимы вообще не было, и я печально вспоминал сугробы Зачатьевского переулка, Надю, облачко возле ее губ, тепло руки в муфте. Бог ты мой, сколько во Франции цветов! Ползли по стенам

душистые глицинии, в каждом палисаднике были чудесные розы. Но, глядя на лужайки Медона или Кламара, я огорчался: где же цветы? Как молитву, я повторял: мать-и-мачеха, иван-да-марья, купальница, львиный зев…

Французы мне казались чересчур вежливыми, неискренними, расчетливыми. Здесь никто не вздумает раскрыть душу случайному попутчику, никто не заглянет на огонек; пьют все, но никто не запьет с тоски на неделю, не пропьет последней рубашки. Наверно, никто и не повесится…

Повесился Виталий. Говорили, что он запутался, залез в долги, выдавал чужие стихи за свои; мне он часто говорил, что ему «тошно» в Париже. Я бывал у Тамары Надольской, худой девушки с глазами лунатика. Мы говорили о России, о больших чувствах, о цели жизни. Жила она в мансарде; в оконце был виден огромный чужой город. Она повторяла, что все в жизни оказалось не таким, как она думала. Она выбросилась из оконца на мостовую. Таню Рашевскую я знал еще в Москве, она была сестрой моего школьного товарища Васи; сидела в тюрьме, уехала в Париж, поступила на медицинский факультет, вышла замуж за красивого румына, потом отравилась. На похороны приехала ее мать из Москвы; уломали попа, дали всем свечи, дьякон пел: «И презревши все прегрешения…»

Иногда я ходил на доклады их называли «рефератами». Мы собирались в большом зале на авеню де Шуази; зал был похож на сарай; зимой его отапливали посетители. А. В. Луначарский рассказывал о скульпторе Родене. А. М. Коллонтай обличала буржуазную мораль. Порой врывались анархисты, начиналась потасовка.

(Когда я начал писать стихи, А. В. Луначарский меня приободрил, говорил мне, что можно быть революционером и любить поэзию. Анатолий Васильевич был для меня мостом — он связывал мое отрочество с новыми мечтами. Можно увидеть в воспоминаниях о нем: «огромная эрудиция», «всесторонняя культура». Меня поражало другое: он не был поэтом, его увлекала политическая деятельность, но в нем жила необычайная любовь к искусству, он как будто был неизменно настроен для восприятия тех неуловимых волн, которые проходят мимо ушей многих. Впоследствии, изредка с ним встречаясь, я пытался спорить: его оценки мне были чужды. Но он был далек от желания навязать свои восприятия другим. Октябрьская революция поставила его на пост народного комиссара просвещения, и, слов нет, он был добрым пастырем. «Десятки раз я заявлял, что Комиссариат просвещении должен быть беспристрастен в своем отношении к отдельным направлениям художественной жизни. Что касается

вопросов формы — вкус народного комиссара и всех представителей власти не должен идти в расчет. Предоставить вольное развитие всем художественным лицам и группам. Не позволить одному направлению затирать другое, вооружившись либо приобретенной традиционной славой, либо модным успехом». Обидно, что различные люди, ведающие искусством или им интересующиеся, редко вспоминали эти разумные слова. В 1933 году Луначарского назначили послом в Мадрид. Он приехал в Париж и слег. Я пришел к нему в гостиницу. Он понимал, что смерть близка, и говорил об этом. Жена попыталась отвлечь его, но он спокойно ответил: «Смерть — серьезное дело, это входит в жизнь. Нужно уметь умереть достойно…» Помолчав, он добавил: «Вот искусство может научить и этому…»)

Денег у меня было мало, и я считал, что тратиться на обед не стоит: можно выпить кофе с молоком у цинковой стойки бара с пятью рогаликами. Все же иногда я шел в русскую столовку: не голод меня гнал туда — ностальгия. Помню две столовки: эсеровскую на улице Гласьер (се называли так потому, что эсеры, родственники владельцев фирмы «Чай Высоцкого», жертвовали деньги на пропитание эмигрантов) и беспартийную на улице Паскаля. В обеих было дешево, грязно, невкусно и тесно. Официант кричал повару: «Эн борщ и биточки авэк каша». Рыжая эсерка истерически повторяла, что, если ей не дадут боевого задания, она покончит с собой. Большевик Гриша негодовал: проходя мимо кафе «Даркур», он увидел там Мартова — вот как разлагаются оппортунисты!..

Иногда устраивались балы; сбор шел на пропаганду в России. Приглашали французских актеров; бойко торговал буфет; многие быстро напивались и нестройно пели хором: «Как дело измены, как совесть тирана, осенняя ночка черна…» Здесь же сводились счеты: эмиграция была крохотным островком, на нем жили и в тесноте и в обиде.

Еще в тюрьме я понял, что ничего не знаю. Я записался вольнослушателем в Высшую школу социальных наук. Лекции мне казались бледными, малосодержательными, но я аккуратно все записывал в тетрадку. Вскоре я заметил, что из книг могу почерпнуть куда больше, чем из лекций; снова начались годы жадного чтения.

Книги я брал в Тургеневской библиотеке. Ее судьба драматична. В 1875 году в Париже состоялось «Литературно-музыкальное утро» с участием Тургенева. Глеба Успенского, Полины Виардо, поэта Курочки на. И. С. Тургенев распространял билеты, указывая: «Вырученные деньги будут употреблены на основание русской читальни для недостаточных студентов».

Писатель пожертвовал библиотеке книги, некоторые со своими пометками на полях. Два поколения революционной эмиграции пользовались книгами «Тургеневки» и обогащали ее библиографическими редкостями. После революции библиотека продолжала существовать; только читатели изменились. В начале второй мировой войны русские писатели-эмигранты передали свои архивы на хранение Тургеневской библиотеке. Один из ближайших сподвижников Гитлера, балтийский немец Розенберг, который считался ценителем «россики», вывез Тургеневскую библиотеку в Германию. В 1945 году, перед самым концом войны, незнакомый офицер принес мне мое письмо, посланное в 1913 году М. О. Цетлину (поэту Амари). Офицер рассказал, что на одной немецкой станции он видел распотрошенные ящики: русские книги, рукописи, письма валялись на земле; он подобрал несколько писем Горького и, случайно заметив на истлевшем листке мою подпись, решил доставить мне удовольствие. Таков конец Тургеневской библиотеки.

Порой я заглядывал в партийную библиотеку на авеню де Гобелен там можно было встретить знакомых. В полутемном сарае, среди паутины, газет и примятых шляп, люди подолгу спорили, не обращая внимания на Мирона, который негодовал: «Товарищи, ведь здесь библиотека!..» Иногда появлялся новичок из Петербурга или Москвы; его закидывали вопросами. Вести были невеселыми: реакция в России росла, охранка усердствовала — «провал» следовал за «провалом». Говорили много про Азефа. Конечно, я никогда не соглашался с эсерами; но меня пленяла романтика — Каляев, Созонов, и вдруг выяснилось, что какой-то толстый противный субъект решал судьбы и революционеров, и царских министров…

На партийных собраниях продолжались бесконечные дискуссии. Недавно я прочитал в воспоминаниях С. Гопнер, что Ленин говорил о бесплодности эмигрантских дискуссий, где спорят люди, давно выбравшие свою позицию. Я сердился на себя: почему в Москве дискуссии меня увлекали, а здесь, где столько опытных партийных работников, я сижу и скучаю? Я стал реже ходить на собрания.

Попробовал я пойти на митинг французских социалистов. Выступал Жорес; он изумительно говорил, мне показалось, что я слышу нечто новое (потом я понял, что дело было в таланте оратора). Он говорил, что труд, братство, гуманизм сильнее корысти правящего класса; потрясал руками, в негодовании отстегнул крахмальный воротничок. В зале было нестерпимо жарко. После Жореса детский хор исполнил песню о страданиях чахоточного юноши, который не увидит восхода солнца. Потом

потная толстая певица пела скабрезные куплеты про корсет, который она потеряла в кабинете министра. Все развеселились. На эстраду вышли музыканты; поспешно отодвигали скамейки — начинался бал. Восемнадцатилетний русский юноша не танцевал, он грустно шагал по старым парижским улицам и думал: гуманизм, пролетариат — и вдруг корсет!..

Париж мне нравился, но я не знал, как к нему подойти. Я пошел на выставку и ужаснулся. О живописи я не имел никакого представления; в моей московской комнате на стене висели открытки «Какой простор!» и «Остров мертвых». Я думал, что картины должны быть со сложным сюжетом, а здесь художники изображали дом, дерево, того хуже — яблоки.

В театре «Французской комедии» знаменитый актер Муне-Сюлли играл царя Эдипа. Я признавал только Художественный театр: мне казалось, что на сцене все должно быть как в жизни. Муне-Сюлли стоял неподвижно на месте, потом он сделал несколько шагов, снова остановился и зарычал, как раненый лев: «О, как темна наша жизнь!..» Несколько лет спустя я понял, что он был большим актером, но в то время я не знал, что такое искусство, и не выдержал — громко рассмеялся. Сидел я на галерке среди подлинных театралов и не успел опомниться, как оказался на улице с помятыми боками.

По ночам я писал длинные письма в Москву; отвечали мне коротко: я выпал из игры, стал чужим. Несколько позднее, когда я возомнил себя поэтом, в ученических бледных стихах я признавался:

Как я грушу по русским зимам.
Каким напек недостижимым
Мне кажется и первый снег,
И санок окрыленный бег!..

Как радостна весна родная,
И в небе мутном облака,
И эта взбухшая, большая,
Оковы рвущая река!..

И столько близкого и милого
В словах Арбат, Дорогомилово…
Обращаясь к России, я говорил:
Если я когда-нибудь увижу снова

Две сосны и надпись «Вержболово»,
Мутный, ласковый весенний день.

Талый снег и горечь деревень…
Я пойму, как пред Тобой я нищ и мал.
Как себя я в эти годы растерял…

Стихи плохие, неловко их переписывать, но они довольно точно выражают душевное состояние тех лет.

Я вспомнил сейчас 1949 год, когда некоторые меня называли «космополитом». Действительно, лучшую мишень трудно было найти: помимо всего прочего, я долго прожил в Париже — и по необходимости, и по доброй воле. Тогда многие любили говорить о «беспачнортных бродягах», справка о прописке казалась чуть ли не решающей. А ведь чувство родины особенно обостряется на чужбине; да и видишь многое лучше. Гейне создал «Зимнюю сказку» в Париже; там же Тургенев писал «Отцы и дети»; над «Мертвыми душами» Гоголь работал в Риме; Тютчев писал о России в Мюнхене, Ромен Роллан о Франции — в Швейцарии, Ибсен о Норвегии — в Германии, Стриндберг о Швеции — в Париже; «Дело Артамоновых» написано в Италии; и так далее…

Помню слова, однажды оброненные: «Эренбургу пора понять, что он ест русский хлеб, а не парижские каштаны…» В Париже, когда мне приходилось трудно, я действительно покупал на улице у продымленного оверньяка горячие каштаны; стоили они всего два су, согревали иззябшие руки и обманчиво насыщали. Я ел каштаны и думал о России — не о ее калачах…

13

Стихи я начал писать неожиданно для самого себя: я еще ходил на политические рефераты и слушал лекции в Высшей школе социальных наук.

На собрании группы содействия РСДРП я познакомился с Лизой. Она приехала из Петербурга и училась в Сорбонне медицине. Лиза страстно любила поэзию; она мне читала стихи Бальмонта, Брюсова, Блока. Я подтрунивал над Надей Львовой, когда она говорила, что Блок — большой поэт Лизе я не смел противоречить. Возвращаясь от нее домой, я бормотал: «Замолкает светлый ветер, наступает серый вечер…» Почему ветер светлый? Этого я не мог себе объяснить, но чувствовал, что он действительно светлый. Я начал брать в «Тургенева» стихи современных поэтов и вдруг понял, что стихами можно сказать то, чего не скажешь прозой. А мне нужно было сказать Лизе очень многое…

День и ночь напролет я писал первое стихотворение; оказалось, это очень трудно. Я знал, что по-французски у меня бедный словарь; но ведь стихи я писал по-русски, а все время чувствовал — до чего мало у меня слов! Наконец я решился показать стихи Лизе; боясь сурового приговора, я сказал, что это сочинения моего приятеля. Лиза оказалась строгим критиком: мой приятель не умеет писать, стихи подражательные, одно под Бальмонта, другое под Лермонтова, третье под Надсона; словом, моему приятелю нужно много работать…

Я порвал все написанное и решил больше к стихам не возвращаться — буду революционером, может быть, журналистом или выберу другую профессию, поэзия не для меня. Легко было решить, а вот выполнить решение я не смог. Я вдруг почувствовал, что стихи поселились во мне, их не выгонишь, и я продолжал писать. Лизе я снова показал стихи только месяца два спустя. Она сказала: «Твой приятель теперь пишет лучше…» Мы заговорили о другом, и вдруг, как бы невзначай, она сказала: «Знаешь, одно твое стихотворение мне понравилось…» Оказалось, что маскировку она разгадала сразу.

Я жил возле зоопарка. По ночам кричали морские львы. Я до утра писал стихи, плохие, подражательные, но я был счастлив — мне казалось, что я нашел свой путь.

Лиза уехала на каникулы в Петербург. Неожиданно пришла от нес телеграмма: журнал «Северные зори» взял одно мое стихотворение. Я был вне себя от радости: значит, я действительно поэт!

Я осмелел и послал стихи в журнал «Аполлон». Вскоре пришел ответ от редактора, художественного критика С. К. Маковского. Он справедливо ругал мои стихи, но в конце письма говорил уже не о слабых виршах, а о человеке — предлагал мне выбрать другую профессию, заняться, например, коммерцией. «Аполлон» был для меня верховным судом. Месяц я ничего не писал: если Маковский советует мне стать лавочником, то это неспроста, — значит, я самозванец.

Лизе удалось меня успокоить, приободрить, и я вернулся к стихам.

Я не расставался с мыслью уехать в Россию и отдаться там нелегальной работе. Я заговорил об этом с одним из ближайших соратников Ленина, он ответил, что понимает мои чувства, но будет куда лучше, если я в Париже наберусь знаний, — партии нужны и литераторы (не знаю, читал ли он мои стишки, но, разумеется, слышал, что я увлекся стихотворством).

Наконец один товарищ предложил мне поехать в Вену — впоследствии меня, может быть, используют для переброски литературы в Россию.

В Вене я жил у видного социал-демократа Х. - я не называю его имени: боюсь, что беглые впечатления зеленого юноши могут показаться освещенными дальнейшими событиями. Моя работа была несложной: я вклеивал партийную газету в картонные рулоны, а на них наматывал художественные репродукции и отсылал пакеты в Россию. Х. жил с женой в маленькой, очень скромной квартире. Однажды вечером жена Х. сказала, что чая не будет: газ на кухоньке подавался автоматом, в который нужно было бросить монету. Я поспешно побежал и бросил в пасть чудовища крону. Х. был со мною ласков и, узнав, что я строчу стихи, по вечерам говорил о поэзии, об искусстве. Это были не мнения, с которыми можно было бы поспорить, а безапелляционные приговоры. Такие же вердикты я услышал четверть века спустя в некоторых выступлениях на Первом съезде советских писателей. Но в 1934 году мне было сорок три года, я успел кое-что повидать, кое-что понять; а в 1909 году мне было восемнадцать лет, я не умел ни разобраться в исторических событиях, ни устроиться поудобней на скамье подсудимых, хотя именно на ней мне пришлось просидеть почти всю жизнь. Для Х. обожаемые мною поэты были «декадентами», «порождением политической реакции». Он говорил об искусстве как о чем-то второстепенном, подсобном.

Однажды я понял, что я должен уехать, не решился сказать об этом Х. - написал глупую детскую записку и уехал в Париж.

Я сидел на скамье бульвара с Лизой, рассказывал о поездке в

Вену, о том, что не знаю, как прожить следующий день, — у меня больше не было цели.

Лиза говорила о другом. Это была очень печальная встреча. Лиза подарила мне книгу, на первой странице она написала, что нужно опоясать сердце железными обручами, как бочку. Я подумал: где мне взять эти обручи? Дома я раскрыл книгу: стихи Брюсова.

Мне сладки все мечты, мне дороги все речи,
И всем богам я посвящаю стих.

Все во мне сопротивлялось этим словам: я еще помнил собрание на Татарском кладбище, тюремные ночи, признания, клятвы. Мечта мечте рознь. Да и какой может быть у человека бог, если богов много? Главное — как жить, когда больше ни во что не веришь?…

Я писал о своем отчаянии, о том, что прежде у меня была жизнь и что теперь ее нет, о трубачах без труб, о чуждости и жестокости Парижа, о любви. Это была дурная лирика. (У нас теперь слово «лирика», как и многие другие, приобрело новое значение: редакторы, критики, заведующие отделами поэзии, словом, не стихотворцы, а стиховеды и стихоеды, называют «лирикой» любовные стихи, как будто «Когда для смертного угаснет шумный день…» или «Молчи, скрывайся и таи…» — не лирические произведения.)

Один читатель прислал мне мои ранние стихи, напечатанные в разных журналах. Эти стихи (на редкость беспомощные) помогли мне вспомнить терзания далеких дней. Я «бунтовал»:

Я ушел от ваших громких, дерзких песен,
От мятежно к небу поднятых знамен.
Оттого, что лагерь был мне слишком тесен…

То я высмеивал свои стихи:

Довольно! Я знаю и гордые позы,
И эти картонные латы.
На землю! На землю! Сражаться с врагами!
Я снова запыленный воин.
Меня вы примите под красное знамя!
Я ваших доспехов достоин…

Я чувствовал, что сбился с пути, и в весну своей жизни твердил об осени:

Печальны и убоги,
Убогие в пыли.
Осенние дороги,
Куда вы привели?

Меня лихорадило и в личной жизни. В конце 1909 года на одном из эмигрантских вечеров я познакомился с Катей, студенткой медицинского факультета первого курса. Влюбился я сразу, начались долгие месяцы психологических анализов, признаний, вспышек ревности.

Летом 1910 года мы поехали с Катей в Брюгге. Меня поразил этот город — он действительно был мертвым. Стояли огромные церкви, ратуша, башни, особняки, а жили в городе монашенки и обнищавшие мечтатели. Теперь Брюгге изменился: он живет ордами туристов и похож на переполненный до отказа музей. А когда я его увидел впервые, ничто не тревожило ни сонных лебедей, ни отражения тополей в каналах, ни монашенок (теперь и монашенки побойчели — зазывают туристов, продают кружева своей работы). Впервые я смотрел на живопись, не довольствуясь сюжетом картины: меня поразили мадонны Мемлинга бледными лицами, бескровными губами, о тушением чистоты, отрешенности. Я чувствовал, что мир художника был замкнутым, углубленным, полным человеческих тайн. Я еще не знал ни старой поэзии, ни архитектуры Шартра; но далекое прошлое показалось мне восхитительным; в Брюгге я написал полсотни стихотворений о красоте исчезнувшего мира, о рыцарях и Прекрасных Дамах, о Марии Стюарт, об Изабелле Оранской, о мадоннах Мемлинга, о брюггских монахинях-бегинках. Русский юноша девятнадцати лет, жадно мечтавший о будущем, оторванный от и сего, что было его жизнью, решил, что поэзия костюмированный бал:

В одежде гордого сеньора
На сцену выхода я ждал.
Но по ошибке режиссера
На пять столетий опоздал.

Мне действительно тогда казалось, что я создан, скорее, для крестовых походов, нежели для Высшей школы социальных наук. Стихи получались изысканные; мне теперь неловко их

перечитывать, но писал я их искренне.

Один из приятелей, которому мои стихи понравились, сказал: «В России их вряд ли напечатают — там в каждой редакции свои поэты, но почему тебе не издать книжку в Париже? Это стоит недорого…» Я пошел в русскую типографию на улице Франсуа-Буржуа. К моему удивлению, хозяин типографии не заинтересовался содержанием книги; хотя он был бундовцем, мои стихи, обращенные к папе Иннокентию VI, его не смутили; он сосчитал строки и сказал, что двести экземпляров обойдутся в полтораста франков. Я поспешно возразил: зачем двести? Я — начинающий автор, с меня хватит и сотни. Типограф объяснил, что самое дорогое — набор, но согласился скинуть двадцать пять франков.

Я получал от родителей пятьдесят рублей в месяц — сто тридцать три франка. На беду, проект издания сборника стихов совпал с некоторыми событиями в моей жизни. Мне пришлось окончательно отказаться от обедов и сократить число поглощаемых у стойки рогаликов — к Кате я приходил почти всегда с букетиком. Я все же откладывал франки на типографию. Сборник «Стихи» вышел в конце 1910 года. Пятьдесят экземпляров я сдал на комиссию в русский магазин; другие постепенно отправлял различным поэтам в Россию: марки стоили дорого. Вообще расходы были значительными, а приход ничтожным — продано было всего шестнадцать экземпляров.

Двадцать пятого марта 1911 года в Ницце у меня родилась дочь Ирина.

Летом 1911 года я получил первый гонорар — шесть рублей за напечатанные в петербургском журнале два стихотворения. Это было неслыханной удачей, и мы с Катей чудесно пообедали.

Я ждал, что скажут о моей книге поэты в России. Мать очень за меня волновалась: я не учился, не выбрал себе никакой серьезной профессии и вдруг начал писать стихи. Да и стихи странные: почему ее сын пишет о богоматери, о крестовых походах, о древних соборах? Но ей, разумеется, хотелось, чтобы кто-нибудь меня похвалил. Прочитав в «Русских ведомостях» статью Брюсова, она телеграммой сообщила мне об этом. Разбирая книги начинающих поэтов. Брюсов выделил «Вечерний альбом» Марины Цветаевой и мой сборник: «Обещает выработаться в хорошего поэта И. Эренбург». Я обрадовался и в то же время огорчился — стихи, вошедшие в сборник, мне перестали нравиться.

Вскоре я уже не мог без презрительной усмешки вспоминать первую книгу. Я попытался стать холодным, рассудительным — подражал Брюсову. Но от таких стихов мне самому было скучно,

и я начал мечтать о лиричности, обратился к своему недавнему прошлому.

Мне никто не скажет за уроком «слушай»,
Мне никто не скажет за обедом «скушай»,
И никто не назовет меня Илюшей,
И никто не сможет приласкать.
Как ласкала маленького мать.

Или:

Как скучно в одиночке, вечер длинный,
А книги нет.
Но я — мужчина.
И мне семнадцать лет.

Книга называлась «Одуванчики». Едва она успела дойти до моих московских друзей, как я понял, что не вылечился от стилизации, только вместо картонных лат взял напрокат в костюмерной гимназическую форму.

Впервые я напал на томик Верлена; его певческий дар, его печальная и нелепая судьба меня взволновали. В кафе на бульваре Сен-Мишель официант с благоговением показал мне продавленный диван: «Здесь всегда сидел господин Верлен…» Я писал о «бедном Лелиане» (так называли Верлена в старости):

За своим абсентом, молча, темной ночью
Он досиживал до утренней звезды,
И торчали в беспорядке клочья
Перепутанной и грязной бороды…

Снова получались чужие стихи: я сам не слышал в них своего голоса.

Я прочитал книгу поэта Франсиса Жамма; он писал о деревенской жизни, о деревьях, о маленьких пиренейских осликах, о теплоте человеческого тела. Его католицизм был свободен и от аскетизма и от ханжества: он хотел, например, войти в рай вместе с ослами. Я перевел его стихи и начал ему подражать: пантеизм показался мне выходом. Я вырос в городе, но с отроческих лет всегда томился в лабиринте улиц, чувствовал себя свободным только с глазу на глаз с природой. На короткий срок меня прельстила философия Жамма — он оправдывал и

голубя и коршуна. (Я говорю сейчас о птицах, а не о классах общества.) Меня давно мучила мысль: откуда приходит зло? Дуализм мне представлялся отвратительным; я по-прежнему ненавидел буржуазию, но и уже знал, что не все вопросы будут разрешены обобществлением средств производства. Я ухватился за бога деревьев и ослов. Франсис Жамм разрешил мне приехать к нему; жил он в Ортезе, около испанской границы. У него была уютная борода и ласковый голос; принял он меня по-отечески, попросил почитать стихи по-русски, угостил домашней наливкой и посоветовал в Париже встретиться с начинающим талантливым писателем — его зовут Франсуа Мориак, Я ждал наставлений, а Жамм показал себя снисходительным, радушным. Он мне понравился, но я понял, что он не Франциск Ассизский и не отец Зосима, а только поэт и добрый человек; уехал я от него с пустым сердцем.

Я посвятил Жамм у сборничек стихов «Детское»; вспоминал день, проведенный в Ортезе:

Зимнее солнце сквозь окна светит.
На полу играют ваши дети.
У камина старая собака, греясь, спит и громко дышит.
В камине трещат еловые шишки.
Вы говорите, а я слушаю и думаю —
Откуда в вас столько покоя.
Думаю о том, что меня ждет дорога угрюмая.
Вокзал и пропахший дымом поезд…

Так вспоминают не об учителе жизни, а о милом дядюшке в деревне…

Вскоре мне опротивело играть в ребячество. Я начал подражать Гийому Аполлинеру. (Конечно, когда я кому-либо подражал, и этого не видел, мне неизменно казалось, что в прошлом году я действительно подражал такому-то, а вот теперь нашел свой голос.)

Изредка мои стихи печатали «Новый журнал для всех», «Русское богатство», «Жизнь для всех», «Русская мысль». Я получил короткое, но сердечное письмо от В. Г. Короленко. Весь мой архив пропал. Я нашел в книге писем Короленко письма к А. Г. Горнфельду; Владимир Галактионович писал весной 1913 года о двух моих стихотворениях: «По-моему, очень хороши и ко времени первые строчки:

Значит, снова мечты о России
Лишь напрасно приснившийся сои.

Значит, снова — дороги чужие…
И по ним я идти обречен».

В Париже открылась типография Рираховского, еврея с роскошной черной бородой. Типография помещалась на бульваре Сен-Жак в маленькой лавчонке. У наборных касс стояли Рираховский и двое наборщиков; один был большевиком, другой — меньшевиком; они набирали афиши эмигрантских рефератов и спорили, кто может с большим правом называться социал-демократом после раскола партии. Рираховский был человеком с юмором и нежадным. Кто мог бы мне отпустить что-либо в кредит? Я холил в рваных ботинках, брюки внизу заканчивались бахромой; был я бледен, худ и глаза частенько блестели от голода. У Рираховского было доброе сердце, он печатал мои стихи и терпеливо ждал, когда я принесу ему двадцать или тридцать франков. Он говорил, что стихи у меня плохие, куда хуже, чем в «чтеце-декламаторе», но даже плохие стихи выглядят лучше на бумаге верже. Я с ним соглашался и чуть ли не каждый год издавал очередной сборничек на бумаге верже в ста экземплярах. Книга «Будни» продавалась в Москве, в книжном магазине Вольфа, и, насколько я помню, разошлось около сорока экземпляров.

Я менее всего склонен теперь попытаться оправдать или приукрасить мое прошлое. Но вот сущая правда: я не мечтал о славе. Конечно, мне хотелось, чтобы мои стихи похвалил один из тех поэтов, которые мне нравились; но еще важнее было прочитать кому-нибудь только что написанное. В Париже существовал эмигрантский литературный кружок; людей, ставших знаменитыми, в нем не было; помню поэтов М. Герасимова (потом он был в группе «Кузница»), Оскара Лещинского (он сыграл крупную роль в годы гражданской войны и геройски погиб в Дагестане; в Париже он был эстетом, выпустил книгу «Серебряный пепел», в ней были стихи «Нас принимают все за португальцев, мы говорим на русском языке, я видел раз пять тонких-тонких пальцев у проститутки в этом кабаке»); среди прозаиков были А. И. Окулов, человек очень одаренный, смелый и непутевый, много в тс годы пивший (он тоже стал известен во время гражданской войны, сражался, в Сибири был членом Реввоенсовета, писал рассказы, а погиб позднее, как и М. Герасимов, — в тридцать седьмом), П. Ширяев, С. Шимкевич. Иногда на собрания кружка приходил А. В. Луначарский. Иногда навещали нас скульпторы Архипенко, Цадкин, художники Штеренберг, Лебедев, Федер, Ларионов, Гончарова. (Давид

Петрович Штеренберг был политическим эмигрантом. Одно время я снимал комнату в предместье Парижа — в Медоне; рядом жил Штеренберг. Он бедствовал, но каждый день я видел его с мольбертом и с ящиком — он шел писать пейзажи. Этот очень скромный и тихий человек в самое громкое время был облечен большой ответственностью: Луначарский поручил ему организовать отдел изобразительного искусства. Давид Петрович никого не угнетал, не обижал. Маяковский на книге, ему подаренной, надписал: «Дорогому товарищу без кавычек Давиду Петровичу Штеренбергу Маяковский нежно». За Штеренбергом был один грех: он был хорошим художником и любил живопись; в тридцатые годы его причислили к «формалистам». Помню статью одного критика, который возмущался тем, что Штеренберг для натюрморта выбрал селедку; критик узрел в этом желание очернить современность… Давид Петрович умер в 1948 году, а в 1960-м была устроена небольшая выставка его работ — все увидели, каким он был чистым, лиричным и тонким живописцем. А в моей памяти он остался застенчивым бедным юношей в Медоне: мечты о революции, голод, живопись…)

Я уже начинал приобщаться к искусству, разговаривал не только о «свободном стихе», ню и о холстах «диких» (так называли Матисса, Маркс, Руо) или о монументальной скульптуре Майоля.

Несколько раз я был у К. Д. Бальмонта; о нем расскажу впоследствии; расскажу также о писателях, подолгу живших в Париже, — о А. Н. Толстом, М. А. Волошине. Теперь упомяну только о приезде в Париж Ф. К. Сологуба. Был объявлен литературный вечер. Сологуб долго рассказывал собравшимся, главным образом студентам, что Дульцинея отлична от Альдонсы. Он походил, скорее, на директора гимназии, нежели на поэта. Иногда в его глазах мелькала невеселая улыбка. Я понимал, что передо мной автор «Мелкого беса». Но откуда он брал музыку, простые, резавшие сердце слова, песни, роднившие его с Верленом? Стихи он читал своеобразно — как будто раскладывал слова по отделениям большого ящика:

Конь офицера
Вражеских сил
Прямо на сердце,
Прямо на сердце ступил…

В последний раз я его видел в московском Доме печати в 1920 году. Некоторые из выступавших говорили, что индивидуализм отжил свой век. Федор Кузьмич кивал головой —

явно соглашался. В заключительном слове он только добавил, что коллектив должен состоять из единиц, а не из нулей, ибо если прибавить к нулю нуль, то получится не коллектив, а нуль. Сологуб в Париже меня любезно принял, выслушал мои стихи, говорил о музыке, о тайне и снова о Дульцинее. А я тогда писал не о Дульцинее, но о мусорщиках, о грязи и смраде парижских улиц. После этого я написал стихи:

…Я читаю, и светает, в четком свете
Странно видеть рядом на стене
Уж живого Сологуба (на портрете)
Средних лет, с бородкой и в пенсне…

Вместе с Оскаром Лещинским я издавал художественно-литературный журнал «Гелиос». Мы быстро погорели. Позднее появился поэт Валя Немиров; он приехал из Ростова, у него были деньги. Он обожал спокойствие, был очень близоруким, говорил, что ему нравится одно местечко в Швейцарии (не помню какое), где всегда можно зажечь на улице сигарету, не прикрывая ладонью спички. Мы выпустили два номера журнала «Вечера», посвященного поэзии; там я мог печатать стихи, прославлявшие надвигающуюся бурю.

Из дому я получал теперь деньги нерегулярно; жил беспорядочно и на редкость скверно. Эмилио Серени говорил мне, что его покойная жена, по происхождению русская, рассказывала: «Эренбург спал в молодости, покрывшись газетами». В маленькой мастерской, которую я снимал на улице Кампань-Премьер, стоял матрас на ножках, другой мебели у меня не было. Не было и печки. Один шведский художник как-то выбил оконные стекла: рвался к небу. Поверх тонкого одеяла и худого пальто я клал газеты. Утром я забирался в кафе и там просиживал до вечера, читал, писал — кафе отапливали. Когда я проходил мимо ресторанов, меня мутило от запаха готовящейся пищи: порой по три-четыре дня я ничего не ел. Когда приходил чек из Москвы, я быстро проедал деньги с приятелями, которые тоже жили впроголодь.

Помню удивительную ночь незадолго до войны. Заказные письма из России приносили под вечер; деньги присылали чеком на «Лионский кредит». Я перевел для какого-то журнала рассказ Анри де Ренье; мне прислали десять рублей. Банк был уже закрыт. Нестерпимо хотелось есть. Мы пошли в маленький ресторан «Свидание извозчиков», напротив вокзала Монпарнас: он был открыт круглые сутки. Я позвал двух приятелей. Названия блюд были написаны мелом на черной доске, и мы успели все

испробовать — ведь нужно было досидеть до утра, когда я мог получить деньги в банке (приятели должны были остаться в ресторане как заложники). Мы давно уже поужинали, подремали, позавтракали, пообедали; в шесть часов утра мы начали вторично завтракать, считая, что наступил новый день. Это была чудесная ночь!

Я много переводил, но переводил стихи, а их чрезвычайно редко печатали. Переводил я и современных французских поэтов, и фаблио XIII века, баллады Франсуа Вийона, сонеты Ронсара, проклятия Д'Обинье; научился читать по-испански, перевел отрывки из «романсеро», произведения протоиерея из Ита, Хорхе Манрике, святого Хуана. Кеведо. Это было страстью, но не профессией.

Я стал гидом. Графиня Панина (а может быть, как утверждает один читатель, графиня Бобринская) организовала экскурсии народных учителей за границу; стоили поездки недорого и давали возможность учителям, работавшим, как тогда говорили, «в медвежьих углах», повидать Италию или Францию. В летние месяцы я подрабатывал: показывал учителям Версаль. Нужно было в точности знать имена сотни скульпторов или художников, авторов больших батальных полотен вспомнить мифологию, объяснять аллегорическое значение различных фонтанов. В общем, это было нетрудно. Куда труднее было присматривать за ватагой людей, впервые оказавшихся за границей. Некоторые женщины старались убежать в модные лавки — хотя бы посмотреть на наряды. Среди мужчин попадались и такие, которые мечтали о ночных притонах, покупали непристойные открытки. Я считал туристов при спуске — в метро, считал при выходе из метро, часто одного или двоих не хватало. Учитель из Кобеляк попросил меня запереть его на ночь в гостинице: он познакомился с какой-то француженкой, если он еще раз ее увидит, то не вернется домой, а у него жена, дети, служба. Я его запер.

Работал я также с индивидуальными туристами; это было противно: почти все требовали, чтобы я по ночам водил их в притоны. Когда я отказывался, меня ругали дураком, ханжой, даже сыщиком, недодавали отработанного. Помню одного коммерсанта: у него был в Риге магазин санитарных принадлежностей. Когда мы с ним договаривались, он подозрительно спрашивал, знаю ли я все стили; вынул карточку какой-то дамы с высокой прической, щелкнул ее: «Недурна?» Оказалось, дама — его невеста, у нее в Риге доходный дом, и она обожает искусство, знает все стили, высмеивает невежественного жениха. Я получал в день пять франков. Но владелец санитарного

магазина меня извел; возле обыкновенного дома конца прошлого века он спрашивал: «Какой это стиль?» Вначале я честно отвечал: «Никакой». Но он сердился, говорил, что в Вене платил гиду меньше, чем мне, и тот знал все стили. Я испугался, что лишусь пяти франков, и начал фантазировать: «Барокко… ампир… чистая готика…» Он все записывал в книжечку. В ресторане я должен был переводить ему меню, он долго размышлял, что вкуснее, заказывал, потом выбирал для меня самое дешевое: картошку или макароны.

Годы и годы я ходил по улицам Парижа, оборванный, голодный, с южной окраины на северную; шел и шевелил губами — сочинял стихи. Мне казалось, что я стал поэтом случайно: встретился с молоденькой девушкой Лизой, ставшей потом поэтессой, «серапионовой сестрой» — Е. Г. Полонской. Начало выглядит именно так; но оказалось, что никакой случайности не было, — стихи стали моей жизнью.

В 1916 году в Москве вышла моя книга «Стихи о канунах»; книга изуродована цензурой — почти на каждой странице вместо строк точки. Это первая книга, в которой я говорил своим собственным голосом. Я писал о войне:

Над подушкой картинку повесили,
Повесили лихого солдата,
Повесили, чтобы мальчику было весело.
Чтоб рано утром мальчик не плакал,
Когда вода в умывальнике капает.
Казак улыбается лихо.
На казаке папаха.
Казак наскочил своей пикой
На другого, чужого солдата.
И красная краска капает на пол…

Писал о казни Пугачева:

Прорастут, прорастут твои рваные рученьки,
И покроется земля злаками горючими…

Писал о себе и о 1916 годе, который называл «буйным кануном».

Брюсов говорил об этой книге в «Русских ведомостях»: «… Видно, что для И. Эренбурга стихи — не забава и, конечно, не ремесло, но дело жизни… Нет поэтому у И. Эренбурга гладких стишков на темы, издавна признанные «поэтическими», нет

перепевов общепризнанных образцов поэзии и нет той ложной красивости и того дешевого мастерства, которые так легко приобретаются в наши дни широко разработанной техники стихотворства (вернее сказать, все это встречалось в первых книгах И. Эренбурга, но постепенно он сумел преодолеть соблазн поверхностного успеха)… Основной грех всего творчества И. Эренбурга составляет его подчиненность теориям. Редко он отдается искусству непосредственно; чаще насилует вдохновение ради своего понимания поэзии. Сознательно избегая трафаретной красивости, И. Эренбург впадает в противоположную крайность, и его стихи незвучны, не напевны, а предпочтение поэта к отдаленнейшим ассонансам, вместо рифмы, лишает их последней прикрасы… Всего более привлекают внимание И. Эренбурга гнойники верхов современной культуры. Выследить все позорное и низменное, что таится под блеском современной европейской утонченности, — вот задача, которую (сознательно или бессознательно) ставит себе молодой поэт. И он с решимостью хирурга, вскрывающего злокачественный нарыв, обнажает в своих — не поющих — стихах и тайные порывы собственной души, в которых не каждый решится сознаться, и все то низменное и постыдное, что скрыто под мишурой нашей благовоспитанности и культурности».

Мне передали копию черновика письма Брюсова ко мне, написанного тогда же. Валерий Яковлевич, сообщая, что отправил в газету рецензию, добавляет: «…Я искренне люблю Вас, то есть как поэта, ибо как человека не знаю. Это, однако, не значит, что я люблю Ваши стихи. Напротив. Говорю это откровенно по тому самому, что люблю в Вас поэта… Мой вывод — тот, который применим ко всем «избранным», то есть людям, предназначенным к поэзии: «Работайте!» Без работы не бывает Пушкиных, Гёте, даже Верленов (ибо первую половину жизни будущий pauvre Lelian работал много, очень много), а ведь ниже Верлена Вы быть не захотите, да и не стоит. Не соблазнят же Вас лавры какого-нибудь prince de poetes, вроде Поля Фора!.. И личная просьба. не пренебрегайте музыкой стиха. Вы на футуристов не смотрите. Вся сущность поэзии — в сочетании звуков…» Письмо кончалось дружескими словами: «А потому обнимаю Вас через тысячи верст…»

Я ответил Брюсову (это было летом 1916 года): «Ваше ласковое письмо меня очень тронуло. Спасибо! Я вообще не избалован откликами на мои стихи. Ваши же слова были мне особенно ценны. Я внимательно прочел статью Вашу и письмо. Многое хотел бы сказать в ответ, но я не умею писать письма… Я не подчиняю свою поэзию никаким «теориям», наоборот, я

чересчур несдержан. Дефекты и свинства моих стихов — мои. То, что Вам кажется отвратительным, отталкивающим, — я чувствую как свое, подлинное, а значит, не красивое, не безобразное, а просто должное. Пишу я без рифм и «размеров» не «по пониманию поэзии», а лишь потому, что богатые рифмы или классический стих угнетают мой слух… Я не склонен к поэзии настроений и оттенков, меня более влечет общее, «монументальное», мне всегда хочется вскрыть вещь, показать… что в ней главного. Вот почему в современном искусстве я больше всего люблю кубизм. Вы говорите мне «о сладких звуках и молитвах». Но ведь не все сладкие звуки — молитвы, вернее, все молитвы — богам, но не все — богу… Это, может быть, очень узко, но не потому, что у меня узкое понимание поэзии, а потому, что я — человек узкий. Вот все самое главное, что мне хотелось сказать Вам. Между нами стена — не только тысячи верст!.. Называя сборник «Канунами», кроме общего значения, я имел в виду свое частное. Это лишь мои кануны…»

Брюсов был прав, говоря, что мне хотелось показать язвы общества. Пять лет спустя я написал сатирический роман «Хулио Хуренито». Но со стихами я не мог, да и не могу расстаться. Правда, бывали долгие перерывы, когда я не писал стихов (с 1924 года по 1937-й), но всегда я повторял стихи любимых поэтов как заклинания, без поэзии не прожил дня. Я говорил в «Книге для взрослых»: «Иногда я все же завидую поэтам. Мы едва вытаскиваем ноги из трясины. Их походка похожа на прыжки, показанные замедленной проекцией, — они плывут в воздухе. Я заметил, что, читая стихи, они судорожно выбрасывают руки: это жесты пловца. Их тротуары не ниже второго этажа. Для нас запятые — мясо, страсть, глубина; они обходятся даже без точек. Ритм стихов переходит в ритм времени, и поэтам куда легче понять язык будущей». Эти размышления относятся к весне 1936 года. Вскоре началась испанская война. Я писал статьи, листовки, заметки, написал даже повесть, но неожиданно, как некогда, начал шевелить губами и сочинять стихи — не потому, что хотел увидеть будущее, а потому, что нужно было сказать о настоящем.

Многие из моих прошлых мыслей мне теперь представляются неправильными, глупыми, смешными. А вот то, почему я начал писать стихи, мне кажется правильным и теперь. Восемнадцатилетний юноша понял, что стихами можно сказать то, чего не скажешь прозой. Эту мысль разделяет старый литератор, который теперь пишет книгу воспоминаний.

14

Один критик писал, что в моем романе «Падение Парижа» много действующих лиц, но нет героя; по-моему, герой романа — Париж. Эту книгу я написал в пятьдесят лет; я больше не был ни хулителем, ни проповедником; та узость, о которой я писал В. Я. Брюсову, с годами сгладилась — оценки пятидесятилетнего человека напоминают разношенную обувь.

А в годы, когда я складывался, мне было трудно рассуждать о Париже; я его и страстно любил, и не менее страстно ненавидел:

Тебя, Париж, я жду ночами.
Как сутенер приходишь ты…

Я перестал ходить на лекции: школой оказался Париж, школой хорошей, но суровой; я его часто проклинал — не потому, что моя жизнь была трудной, а потому, что Париж заставил меня понять всю трудность жизни.

Казалось бы, после тихой дореволюционной Москвы, ее деревянных домишек, извозчиков, самоваров, купеческого пудового сна, Париж должен был поразить меня своей современностью, дерзостью, новшествами. Да, конечно, тут было много автомобилей, они с трудом пробирались по узким средневековым улицам. Газеты часто называли Париж «городом-светочем». Большие Бульвары действительно были освещены куда ярче, чем Тверская или Кузнецкий мост; но в домах еще редко можно было увидеть электрическое освещение, пожалуй, реже, чем в Москве. Лачуги «зоны» — полосы возле былых укреплений города — казались мне неправдоподобными. Часто я приходил ночью на улицу Муфтар, по ней сновали огромные жирные крысы. Эйфелева башня еще порождала споры — еще жили современники и единомышленники Мопассана, считавшие, что она изуродовала город. Молодым художникам она нравилась. Сама башня была в возрасте девушки на выданье; никто не мог предположить, что она окажется полезной для радио и телевидения. Телефонов было мало, зато процветала пневматическая почта. Никогда раньше я не видел столько старых домов, пепельных, морщинистых, пятнистых! Я еще не знал, что стоит дому продержаться в Париже тридцать — сорок лет, как он приобретает внешность памятника старины: все дома казались мне древними, а древность открывалась передо мной, подобная новому, неизвестному миру.

Я входил в темную улицу, как в джунгли. В Москве, глядя на кремлевские соборы, я никогда не задумывался над их красотой: они были вне моей жизни, никак не соответствовали ни «явкам», ни крыльям горьковского буревестника. В гимназии я нехотя зубрил имена удельных князей, считал, что это абстракция, как теоремы или как урок латыни: «много есть имен на is — masculini generis». А в Париже прошлое казалось настоящим; даже названия улиц были загадочными — «улица Королевы Бланш», «улица Кота-рыболова», «улица Дыбы»; Катя жила на «улице Деревянного меча». Я часто заходил в дом, где скрывался некогда Марат. Среди автомобилей пробиралось стадо коз, и пастух здесь же доил упрямую козу.

Я бродил по набережным Сены, рылся в ящиках со старыми книгами. Букинисты казались еще более древними, чем томики в кожаных или пергаментных переплетах. Там я иногда встречал пожилого человека, похожего на букиниста; он брал в руки книгу, как садовод грушу, — страстно и в то же время деловито; это был Анатоль Франс. (Я никогда его не встречал впоследствии; был на похоронах в 1924 году, когда за гробом старого эпикурейца и коммуниста шли сенаторы и рабочие, академики и подростки. В 1946 году внук Анатоля Франса водил меня по дому писателя в Ля-Башелльер возле Тура — я увидел, что эпикуреец был не книжником, не эстетом, а живым человеком: дом был загроможден не коллекциями, а теми обломками, которые оставляют после себя годы жизни, путешествия, страсти, встречи. На полке, наверно, стояли и те книги, которые Анатоль Франс при мне покупал на набережной Сены.)

Как-то среди старых псалтырей и пасторалей я напал на «Эду» Баратынского. На титульном листе было написано «Просперу Мериме, переводчику нашего великого Пушкина, Евгений Баратынский». Я заплатил за книгу шесть су и тут же начал ее читать. Сена уныло шевелила своей чешуей; на барже спал раскормленный кот. Напротив была мертвецкая, под утро туда приезжали закутившие парижане — разглядывали трупы самоубийц. Собор Нотр-Дам в сизо-лиловом тумане казался каменной рощей. Баратынский писал:

Пришлец исполнен смутной думы:
Не мира ль давнего лежат
Пред ним развалины угрюмы?

Развалины, кстати сказать, иногда весьма долговечны: афинский Акрополь пережил не только духовно, но и материально жилища различных людей, которые в течение

двадцати пяти веков его старательно разрушали.

В Париже прошлое сливается с настоящим. Это удивительный город — он не строился по плану, а рос, как лес. Стена аварийного дома, где ютятся горемыки, испачканная непристойными надписями, любовными признаниями, предвыборной руганью, имеет все нрава претендовать на благоговение прохожих, на покровительство государства.

Мне трудно было понять, где вчерашний день и где завтрашний: у Парижа свой календарь. Говоря о социальной революции. Жорес ссылался на античные мифы, он вопил и жестикулировал, как Муне-Сюлли в роли Эдипа. В церквах я часто видел студентов — медиков, физиков, — они смачивали лоб святой водой и, когда раздавался звоночек, дружно становились на колени. Поэт Шарль Пеги писал о Жанне д'Арк и считался католиком. Мне нравились его стихи: он повторял сто раз одно и то же и каждый раз отступал от прежнего, его ритм напоминал бег охотничьей собаки, которая идет туда же, что и ее хозяин, но все время петляет. Мне привелось однажды с ним беседовать в редакции «Кайе де ля кэнзэн». Я думал, что он будет говорить о религии, о Бергсоне, о мессианстве, но он заговорил о России: «Я немного знаю ваших писателей. Может быть, русские первые низвергнут власть денег…»

Я прочитал стихи Франсуа Вийона; он жил в XV веке, был вором и разбойником:

> От жажды умираю над ручьем.
> Смеюсь сквозь слезы и тружусь играя.
> Куда бы ни пошел, везде мой дом,
> Чужбина мне — страна моя родная.
> Я знаю все, я ничего не знаю.

Перед этим я переводил стихи Малларме, который считался одним из зачинателей новой поэзии. Я понял, что Франсуа Вийон мне куда ближе, чем автор «Послеобеденного отдыха фавна». Я читал и перечитывал «Красное и черное»; трудно было представить себе, что этому роману уже восемьдесят лет. Кругом меня говорили, что писатель, раскрывающий современность, — это Андре Жид; я раздобыл его роман «Узкая дверь». Мне показалось, что эта книга написана в XVIII веке, и я усмехнулся, думая, что автор ее жив, — я его видел в театре «Вье коломбье».

Все казалось непредвиденным, и все было возможным. Я шел по площади Клиши и сочинял стихи, когда площадь вдруг заполнилась толпой. Люди кричали, они хотели прорвать цепи полицейских и пройти к испанскому посольству: протестовали

против казни анархиста Ферреро. Раздался выстрел, сразу выросли баррикады; опрокинули омнибусы, повалили фонари. Бушевали фонтаны горящего газа. Я нетвердо знал, кем был Ферреро и почему его казнили; но я кричал вместе со всеми. Казалось, это революция. Несколько часов спустя на площади Клиши люди преспокойно пили кофе или пиво.

Париж тогда называли «столицей мира», и правда, в нем жили представители сотни различных стран. Индийцы в тюрбанах обличали лицемерие английских либералов. Македонцы устраивали шумливые митинги. Китайские студенты праздновали объявление республики. Выходили газеты польские и португальские, финские и арабские, еврейские и чешские. Парижане аплодировали «Священной весне» Стравинского, итальянскому футуристу Маринетти, Иде Рубинштейн, которая поставила мистерию Д'Аннунцно. «Столица мира» была в то же время глубокой провинцией. Париж распадался на кварталы; в каждом из них была своя главная улица с магазинами, с маленькими театрами, с танцульками. Все знали друг друга, судачили на улицах, рассказывали сплетни о булочнице, о любовнице механика Жака, о том, что жена рыжего Жана наставила ему рога.

Можно было ходить в любом наряде, делать все что угодно. Ежегодно весной устраивался бал учеников Художественной академии: по улицам шествовали голые студенты и натурщицы; на самых стыдливых были трусики. Однажды испанский художник возле кафе «Ротонда» разделся догола; полицейский лениво его спросил: «Тебе, старина, не холодно?…» Дважды в год — на масленой и посередине великого поста — устраивали карнавал; проезжали колесницы с ряжеными; люди гуляли в нелепых масках и кидали в лицо встречным конфетти; проводили также белых волов, получивших призы, в ресторанах висели плакаты: «Завтра наши достоуважаемые посетители смогут получить бифштексы из мяса лауреата». На всех скамейках, под каштанами или под платанами, влюбленные сосредоточенно целовались; никто им не мешал. А. И. Окулов однажды, после дюжины рюмок коньяку, взобрался на карету и стал объяснять прохожим, что скоро всех министров повесят на фонарях; некоторые слушали, но, конечно, никто не поверил. Я жил не только без паспорта, но и без удостоверения личности. Когда в банке у меня попросили документ, я пошел в префектуру, мне сказали, чтобы я привел в качестве свидетелей двух французов. Я торопился получить деньги и умолил пойти со мной владельца булочной, где я покупал хлеб, и полузнакомого художника, который сидел с утра в кафе и пил ром. Разумеется, они ничего

про меня не знали, но согласились расписаться. Чиновник выдал мне удостоверение, в котором торжественно подтверждалось, что такой-то заявил такое-то; этого было достаточно не только для служащего банка, но и для полицейских, иногда устраивавших облавы на бандитов. В кабаре пели куплеты: президент Республики — рогоносец, министр юстиции нечист на руку, министр народного просвещения бегает за девчонками и пишет им цидулки с грамматическими ошибками. Гюстав Эрве в газете «Социальная война» призывал к истреблению буржуазии; певец Монтегюс прославлял солдат 17-го полка, которые отказались стрелять в демонстрантов. В пять часов утра в маленькие лавчонки привозили тюки газет; газеты складывали; они лежали на улице; прохожие клали медяки на тарелочку. Газет было не менее двадцати — всех направлений. Журналисты обливали друг друга помоями; потом они встречались в одном из кафе на улице Круассан и вместе попивали аперитивы.

В кафе ходили для того, чтобы встретить знакомых, поговорить о политике, посудачить, посплетничать. У людей различных профессий были свои кафе: у адвокатов, у скототорговцев, у художников, у жокеев, у актеров, у ювелиров, у стряпчих, у сенаторов, у сутенеров, у писателей, у скорняков. В кафе, куда приходили сторонники Жореса, не заглядывали сторонники Геда. Были кафе, где собирались шахматисты, там разыгрывались исторические партии между Ласкером и Капабланкой.

Я ходил в кафе «Клозери де лиля» — по-русски это означает «Сиреневый хутор»; никакой сирени там не было; зато можно было, заказав стакан кофе, попросить бумаги и писать пять-шесть часов (бумага отпускалась бесплатно). По вторникам в «Клозери де лиля» приходили французские писатели, главным образом поэты; спорили о пользе или вреде «научной поэзии», изобретенной Рене Гилем, восхищались фантазией Сен-Поль Ру, ругали издателя «Меркюр де Франс». Однажды были устроены выборы: на трон «принца поэзии» посадили Поля Фора, красивого, черного как смоль автора многих тысяч баллад, полувеселых, полугрустных.

Можно было подумать, что в Париже все ходят вверх ногами, а у парижан был вековой, крепко налаженный быт. Когда человеку сдавали квартиру, консьержка спрашивала, имеется ли у нового квартиранта зеркальный шкаф; кровать, стол, стул нельзя было описать; вот если не будет вовремя внесена квартирная плата, то опишут зеркальный шкаф. На похоронах мужчины шли впереди, за ними следовали женщины. Кладбища походили на макет города: там были свои улицы. На могилах зажиточных

людей значилось: «Вечная собственность», это не было иронией — могилы бедняков через двадцать лет перекапывали. После похорон все отправлялись в один из трактиров возле кладбища, пили белое вино и закусывали сыром. Вечером пили не кофе, а различные настои — липовый цвет, ромашку, мяту, вербену. Влюбленные оживленно обсуждали, какой настой полезнее: ему требовался мочегонный, а ей — облегчающий пищеварение. На уличных скамейках сидели старухи в тапочках и вязали. В десять часов вечера запирались двери домов: когда квартирант звонил, сонная консьержка дергала шнур, и дверь открывалась, нужно было громко сказать свое имя, чтобы не забрался чужой; выходя из дому, будили консьержку зычным криком: «Пожалуйста, шнур!» Возле Сены сидели рыболовы и тщетно ожидали, когда же клюнет воображаемый пескарь. Иногда газеты сообщали, что завтра на заре приговоренный к казни будет гильотинирован; возле тюремных ворот собирались зеваки, глазели на палача, на осужденного, потом на отрезанную голову.

Я читал книги Леона Блуа; он называл себя католиком, но ненавидел богатых святош и лицемеров в митрах; его книги были теми прокламациями, которые должны печататься в аду для ниспровержения рая. Я читал также Монтеня и Рембо. Достоевского и Гийома Аполлинера. Я мечтал то о революции, то о светопреставлении. Ничего не происходило. (Потом люди уверяли, что тот, кто не жил в предвоенные годы, не узнал сладости жизни. Я сладости не чувствовал.) Когда я спрашивал французов, что же будет дальше, они отвечали — одни удовлетворенно, другие то вздохом, — что Франция пережила четыре революции и что у нее иммунитет.

Искусство все более и более притягивало меня к себе. Стихи заменяли не только бифштексы, но и ту «общую идею», о которой тосковал герой «Скучной истории», а с ним заодно Чехов. Нет, тоска оставалась: в искусстве я искал не успокоения, а исступленных чувств. Я подружился с художниками, начал посещать выставки. Ежемесячно поэты и художники оглашали различные художественные манифесты, низвергали всё и всех, но всё и все оставались на месте.

В детстве мы играли в игру: «да» и «нет» не говорите, «белого» и «черного» не называйте; кто по ошибке произносил запрещенное слово, платил фант. Порой мне казалось, что Париж играет в эту игру. Теперь я думаю, что. может быть, несправедливо то поносил, то благословлял Париж. Молодости присущи требовательность, беспокойство. Лермонтов написал: «А он, мятежный, просит бури, как будто в бурях есть покой!», когда ему было восемнадцать лет. Кто знает, окажись я в Смоленске, не

пережил ли бы я такого же смятении? Может быть, на два-три года позднее; может быть, не в столь острой форме… Что касается игры в «да» и «нет» не говорите, то она относится к природе искусства. А в Париже с искусством не разминешься…

Париж многому меня научил, он раздвинул стены моего мира. Часто этому городу приписывают веселье; по-моему, Париж умеет грустно улыбаться — таковы его дома, таковы его поэты, таковы и глаза его девушек; это умение быть радостным в печали, печальным в радости порой его окрыляет, порой подрезает его крылья. Впрочем, об этом мне придется не раз говорить, когда я перейду к событиям последующих десятилетий; тогда я подобных выводов не делал.

Париж меня учил, обогащал, разорял, ставил на ноги и сбивал с ног. Все это в порядке вещей: когда человек что-то приобретает, он одновременно что-то теряет — идешь вперед и навеки расстаешься с теми радостями и белами, которые еще вчера были твоей жизнью.

15

С Бальмонтом мне не повезло. Когда я начал писать стихи, его книги мне казались откровением; я мечтал когда-нибудь увидеть человека, написавшего «Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце». Познакомился я с Константином Дмитриевичем два года спустя; многое в его стихах мне уже казалось смешным — я боготворил Блока, читал Анне не кого, Сологуба, Гумилева, Мандельштама. Бальмонт вовремя увидел солнце, а я опоздал на Бальмонта.

Я познакомился с Константином Дмитриевичем в 1911 году; ему тогда было сорок четыре года. Я знал, что он живет в Париже, и, разумеется, послал ему мою первую книгу. Бальмонт был человеком чувств, жизнь его изобиловала случайностями, порой драматическими. Он, например, дважды оказывался эмигрантом; если применять обычные этикетки, в первый раз красным, во второй — белым. После разгрома революции 1905 года Бальмонт возмутился расправами, свистом нагаек, виселицами; он издал за границей «Песни мстителя» — книгу с весьма благородными чувствами и с весьма плохими стихами. Он называл Николая Второго «кровавым палачом». Хотя книга была на редкость слабой, царь рассердился, и Бальмонту пришлось перейти на положение эмигранта. Только в 1913 году великий князь Константин (посредственный стихотворец, подписывавшийся К. К.) выпросил у Николая амнистию Бальмонту.

Константин Дмитриевич жил на улице Пасси (впоследствии в этом районе обосновалась белая эмиграция). У него часто бывали гости — и русские парижане, и приезжие из России, и французы. Он пригласил меня. В тот вечер я был единственным гостем. Жена Константина Дмитриевича, высокая, красивая женщина, меня приняла сердечно, я сразу перестал стесняться, забыл, что передо мной знаменитый поэт. Никуда я в гости не ходил, бывал только в кафе или у художников в нетопленых грязных мастерских, а здесь я попал в русский дом, теплый, светлый; меня напоили чаем; маленькая дочка Константина Дмитриевича, Ниника, шалила. Все было чудесно и обыденно. Все, кроме внешности хозяина: Бальмонт был необычаен.

Париж трудно удивить, но я не раз видел, как на Бальмонта оглядывались, когда он проходил по бульвару Сен-Жермен. В Москве в 1918 году люди хмуро шли с кошелками, некоторые тащили салазки; было холодно, голодно, и все же прохожие дивились: посередине мостовой шествовал рыжий чудак, с головой, поднятой к серому небу.

В молодости Бальмонт пытался кончить жизнь самоубийством — выбросился из окна; он повредил себе ногу и всю жизнь слегка прихрамывал; шагал он быстро, и казалось, что скачет птица, привыкшая скорее летать, чем ходить.

У него было лицо то чрезвычайно бледное, то цвета меди, зеленые глаза, рыжая бородка, рыжие волосы, которые кудрями спадали на спину. Среди экскурсантов, приезжавших в Париж, которых я обслуживал, был один священник: заметив, что кто-то при виде его засмеялся, он стал стыдливо прятать свои волосы под шляпу, закалывая их шпильками. А Бальмонт кудрями гордился. Он походил на тропическую птицу, случайно залетевшую не на ту широту.

Он вежливо предложил мне почитать стихи, говорил «хорошо… хорошо» — вероятно, хотел приласкать молодого автора. Потом он встал и начал читать свои произведения. Стихи на меня не произвели впечатления — начиналась эпоха его поэтического заката, — но я был поражен голосом, вдохновенным и высокомерным: он читал, как шаман, знающий, что его слова имеют силу если не над злым духом, то над бедными кочевниками. Он говорил на многих языках, на всех с акцентом — не с русским, а с бальмонтовским; особенно своеобразно он произносил звук «н» — не то по-французски, не то по-польски. В стихах было много рифм с длинными «н» — «священный», «вдохновенный», «презренный», — и он их тянул с явным удовольствием.

Иногда он звал меня к себе; я встречал у него московских меценатов, французских переводчиков, восторженных поклонниц.

В Париж приехал из Одессы молодой поэт Марк Талов, говорил, что ему пришлось оставить родину, что у него там невеста; он бедствовал; читал свои стихи:

Здесь я постиг всю горечь одиночества,
Здесь муки начинаются мои.
Нет у меня ни имени, ни отчества.
Ни родины, ни счастья, ни семьи.

Мы посмеивались, когда он повторял нам, что невеста ждет его возвращения. (Он вернулся в Одессу десять лет спустя, и невеста действительно его ждала.) Талову очень хотелось прочитать свои стихи Бальмонту; я его взял с собой, но он от смущения сбился и вместо стула сел на горячую железную печку. Все рассмеялись, а Бальмонт принялся хвалить стихи, которых он так и не услышал.

Бальмонт то молчал, рассеянно глядя по сторонам, то

оживлялся, рассказывал про Египет. Мексику, Испанию. Все страны в его рассказах выглядели фантастическими; он изъездил, кажется, весь мир, но увидел при этом только одну страну, которой нет на карте, я назову ее Бальмонтией.

Чехов о нем писал: «Он хорошо и выразительно говорит, только когда бывает выпивши». Я часто встречал Константина Дмитриевича в кафе. После двух трех рюмок коньяку он действительно становился прекрасным рассказчиком; я видел то чопорных пансионных хозяек Оксфорда, то колдуна с Явы, то Валерия Яковлевича Брюсова, увлекавшегося магией. Неизменно Бальмонт повторял какой-то старинный грузинский заговор, где речь шла о черном цвете. Унять его было невозможно. Он кричал своей спутнице: «Я хочу уйти в ночь! Елена, не противоборствуй!» Было в его облике нечто величественное и жалкое, высокомерное и ребячливое.

Его сравнивали с Верленом: алкоголь, музыка, детскость. Но Бальмонт, в отличие от «бедного Лелиана». был человеком высокообразованным; он прочитал множество книг. Он переводил поэзию различных эпох, различных стран: Шелли и Кальдерона, Руставели и Уитмена, Леопарди и Словацкого, Блейка и Гейне, Эдгара По и Уайльда. Старые песни Египта и стихи Поля Фора в переводе Бальмонта звучали одинаково. Как в любовных стихах он восхищался не женщинами, которым посвящал стихи, а своим чувством, — так, переводя других поэтов, он упивался тембром своего голоса.

Он любил грандиозное: горные вершины, пропасти, океан. Художник Брак как-то сказал, что нужно уметь линейкой проверять вдохновение; Бальмонту такие слова показались бы мещанством — он жил оптом. Он писал стихи с быстротой стенографистки. Он посвящал одну и ту же книгу целой веренице лиц от «брата моих мечтаний, поэта и волхва, Валерия Брюсова» до «Люси Савицкой, с душою вольной и прозрачной, как лесной ручей». Вот любовные стихи в книге «Будем, как солнце»; одно следует за другим, и все с именными посвящениями: «Бэле», «мисс Нэти», «Н. К. Мазинг», «графине Е. В. Крейц», «княжне М. С. Урусовой», «Н…», «Р…», «Уличной испанке», «Марии Финн», «О. Н. Миткевич», «Дагни Кристенсен», «Люсе»…

В 1917–1918 годах я несколько раз встречал его в Москве. Он оставался верен себе. Революция его сердила своей настойчивостью: он не хотел, чтобы история вмешивалась в его жизнь. Не раз он страстно влюблялся и остывал, писал об этом в стихах. Он думал, что так же легко может распроститься с эпохой: «Этим летом я Россию разлюбил…» Однажды я прочитал ему мои стихи: о казни Пугачева, о расплате. Константин Дмитриевич

сначала недовольно морщился, потом написал в моей записной книжке:

Я считал варварскую речь,
Молитву-крик и песню и лике стона.
Но не хочу тебя предостеречь.
Ты хочешь срыва? Мощь сладка уклона.
Будь варваром. Когда парит пожар.
Лишь варвар юн и смел.
Не прав лишь тот, кто стар.

Внизу дата — 28 декабря 1917 года. Три или четыре года спустя он уехал в Париж и там решил, что прав только он. Его политические стихи с проклятиями революции столь же беспомощны, как «Песни мстителя». Он снова оказался эмигрантом, но уже не на несколько лет, а пожизненно; бедствовал; припадки запоя учащались.

В 1934 году я его встретил на бульваре Монпарнас. Он шел один, постаревший, в потертом пальто; по-прежнему висели длинные кудри, но уже не рыжие, а белые. Он узнал меня, поздоровался. «А мне говорили, что вы в России…» Я ответил, что недавно вернулся из Москвы. Он оживился: «Скажите, меня там помнят, читают?» Мне стало жаль его, я солгал: «Конечно, помнят». Он улыбнулся и пошел дальше с высоко поднятой головой, бедный низложенный король.

Большая Советская Энциклопедия посвящает «поэту-декаденту» двадцать строк — столько же, сколько Бенедиктову, но за последним признаются некоторые достоинства, за Бальмонтом — никаких. Молодые советские читатели вряд ли знают, что существовал такой поэт, а в начале XX века нельзя было найти студента, незнакомого если не со стихами, то по меньшей мере со славой Бальмонта. А. Волынский писал в 1901 году: «Бальмонт пользуется, с теми или иными оговорками, всеобщим признанием; несмотря на непопулярность в России декадентской поэзии, публика ловит и повторяет нежные, легкие звуки его поэтических струи». Для символистов он был учителем, мастером: им зачитывались в школьные годы Блок и Андрей Белый. Брюсов, подводя итоги взлетам и падениям Бальмонта, говорил: «Бальмонт показал нам, как глубоко может лирика вскрывать тайны человеческой души». Поэзию Бальмонта ценили и писатели, далекие от символистов, например Бунин. Трудно представить себе человека, более чуждого несдержанной, подчас великолепной, подчас ходульной поэзии Бальмонта, нежели Чехов, но Антон Павлович писал «поэту-декаденту»: «Вы знаете, я

люблю Ваш талант, и каждая Ваша книжка доставляет мне немало удовольствия и волнения. Это, быть может, оттого, что я консерватор». Горький восторженно отзывался о Бальмонте, советовал редакторам журналов печатать его стихи. Я помню, с каким восхищением читал вслух стихи Бальмонта А. В. Луначарский. О Бальмонте писали сотни исследований, его книги ежегодно переиздавались; на его лекции нельзя было достать билета. Стоило поэту показаться в театре или даже на улице, как его окружали неистовые поклонницы. Неужели все это было психозом, самообманом и признание Горьким или Брюсовым таланта Бальмонта можно объяснить тем, что читающая Россия разделяла его «стремление укрыться от действительности» и его восторг перед «варварством», как утверждает статья в энциклопедии?

Я вспомнил Бенедиктова не только потому, что он был знаменит и быстро подвергся общему забвению. Можно сказать, что в своих неудачных произведениях Бальмонт напоминает Бенедиктова крикливостью, безвкусием. Бальмонт мог, например, написать:

Хочу быть дерзким, хочу быть смелым,
…
Хочу одежды с тебя сорвать!..

(М. А. Волошин уверял, что одна акушерка ему прислала «Ответ Бальмонту», в котором были строки:

Хочу быть твердой, хочу быть гордой,
Хочу мужчин к себе не подпускать!..)

Да, у Бальмонта сотни дурных стихов; он писал очень много и все написанное печатал. Но из тридцати его книг можно составить одну хорошую — это все же не Бенедиктов. Да и кому нравился Бенедиктов? Невзыскательным женам городничих. А Бальмонт многое изменил в русской поэзии; достаточно перечитать такие его стихотворения, как «Я изысканность русской медлительной речи…» или «Есть в русской природе усталая нежность…». Судьба к нему была на редкость несправедлива: им восхищались, а потом мстили ему за то, что он восхищал. Утверждая себя как мятежника, как выразителя современности, Бальмонт был не только эксцентриком, он был потрясающим анахронизмом. Он вошел в литературу с XX веком. Уже сновали по улицам машины, уже росли корпуса заводов, уже шли

грандиозные социальные битвы, а Бальмонт оставался трубадуром XIV века, на котором был смешон современный пиджак.

Когда футуристы пришли на литературный вечер и начали громить устаревшего Бальмонта, Константин Дмитриевич, откинув голову назад, прочитал свое старое стихотворение:

> Тише, тише совлекайте с древних идолов одежды,
> Слишком долго вы молились, не забудьте прошлый свет…

Приближалась величайшая буря, а запоздавший трубадур обращался к первому порыву ветра с наивной просьбой — быть зефиром. Он столько книг прочитал и все-таки не понял, что древних идолов не только быстро раздевают, их преспокойно жгут. Пожалуй, в этом был еще больший анахронизм, чем в локонах и в позе веласкесовского идальго.

Оставался длинный и неласковый закат — запустение, одиночество, нужда, душевное заболевание. Умер он в 1942 году.

16

Я перечитываю первую часть этой книги и спрашиваю себя, почему я обошел молчанием некоторых друзей, с которыми в моей молодости встречался чуть ли не каждый день и которые помогли мне оформиться, найти себя. Вероятно, я боялся рассказывать о людях, неизвестных читателям, а это глупо. С Бальмонтом я провел в жизни десяток вечеров, а с Тихоном Ивановичем Сорокиным прожил многие месяцы, и хотя он был человеком чрезвычайно мягким, терпимым к любым причудам, он оказал на меня влияние куда большее, чем тот же Бальмонт.

Не помню, как я познакомился с Тихоном Ивановичем (было это в 1912 году), зато хорошо помню его облик: смутные черты лица, карие глаза и не очень густая бородка русского интеллигента начала века. В ту нору люди начали брить подбородок. Я долго уговаривал Тихона расстаться с бородкой. Образ жизни я вел непутевый: то просиживал ночи в кабаках, то, когда протрачивал все франки, голодал, писал стихи, которые сразу мне переставали нравиться, словом, жил беспорядочно. Характер у меня был несносный, я изводил Тихона за его бороду. У него позади была, говоря по-дантовски, половина жизни (он был на одиннадцать лет старше меня), но я своего добился. В моей холодной и пустой мастерской на улице Кампань-Премьер он отрезал половину бороды и побрил правую сторону, потом его рука застыла с ножницами, потрясенный, он сказал: «Может быть, не поздно остановиться?…» Взглянув в зеркальце, он сам понял, что поздно, и чеховская бородка исчезла навсегда.

Он чем-то напоминал мне Чехова, может быть, добротой, душевной стыдливостью, умением выслушать и понять. Среди его многих заслуг передо мной укажу, что он столько говорил мне о «Палате № 6», о «Черном монахе», что заставил меня снова взять книги Чехова, которые я знал по годам отрочества. Благодаря Тихону Чехов с тех лет стал моим любимым писателем. Тихон раскрыл мне многое — образ Чаадаева, раннего Достоевского, романское искусство, скульптуру готики; он пробовал меня приобщить к философии Соловьева, Бердяева, Флоренского, но здесь я заупрямился — сомнения Модильяни или Гийома Аполлинера были мне куда ближе, чем «Столп и утверждение истины» (так называлась книга Флоренского).

Весной 1913 года мы решили — Тихон, Катя и я — поехать в Италию. Мы добрались до Ниццы и пошли вечером в казино. Мы вздумали потрать в рулетку; каждому было выдано на игру столько-то франков. Мне неслыханно везло, я все время

выигрывал и тяжелые пятифранковые монеты отдавал Кате, она их клала в сумку. На наше счастье, было поздно и вскоре казино закрыли. Я попробовал сумку Кати — тяжелая! На следующее утро мы подсчитали деньги, оставили пятьдесят франков на игру, а остальные потратили — пообедали в дорогом ресторане, потом поехали на ферму, где разводили страусов, там можно было кормить птиц апельсинами, разумеется, за деньги. Нас забавляло, как по длинной шее страуса спускался мячик, и мы потратили все деньги на эту забаву. Ничего, вечером снопа выиграем!

В десять минут мы проиграли ресурсы. Началось унизительное существование: мы проиграли деньги на поездку в Италию, проиграли какие-то суммы, присланные из России и Парижа. Жили мы в гостинице, напоминавшей притон: в одной комнате Катя, в другой на широкой кровати я с Тихоном. Хозяин совал счет, мы отвечали «завтра». Мы заложили мой костюм и по очереди, я или Тихон, лежали днем в постели, прикидываясь перед коридорным больными. Нас мучил голод. И вот Катя нашла в сумке золотую коронку от зуба. Я начал доказывать Тихону, что он должен пойти ее продать, мы купим колбасу, паштет, сыр… «Почему я, а не ты?» — спрашивал Тихон. Я объяснил, что он старше, приличнее выглядит.

Вместо того, чтобы отправиться в лавку, где покупали золото на вес, он пошел к дантисту. Там он вынул из жилетного кармана коронку и смущаясь сказал: «Не хотите ли купить этот зуб?» Доктор позвонил и сказал горничной: «Проводите этого господина на лестницу».

Тихон пришел, ничего не рассказал, только выбросил меня из постели в белье и долго повторял: «Какой позор!» Тридцать лет спустя я вспомнил продажу коронки, он покраснел и закричал: «Молчи!»

Недели две мы еще бедствовали; потом торжественно дали друг другу слово больше не подходить к казино. Катя послала телеграмму в Петербург — просила у родителей денег: заболела; получив деньги, мы уехали ко Флоренцию.

Иногда Тихон вспоминал свое прошлое: сын богатого купца, он вырос в городке Ливны. На масленой пекли блины для нищих. Тихон ездил на богомолье к Тихону Задонскому. В 1905 году он увлекся революцией и, будучи вольноопределяющимся, был обвинен в солдатском бунте. Ему пришлось убежать за границу. Он делил свои страсти между революцией, искусством и неопределенной мистикой. Когда его отец умер за границей, он положил в гроб прокламации. Это не мешало ему быть человеком не религиозной догмы, а скорее религиозной настроенности. Дети ливенского купца поделили наследство. Тихон Иванович

изъездил ряд европейских стран. С восторгом он вспоминал недели в Дубровнике, который назывался тогда Рагузой: сочетание архитектуры Возрождения со славянской речью пленило Тихона. (В 1945 году я встретил в Дубровнике старика, который рассказал мне о давнишнем собеседнике и друге Сорокине.) Был Тихон в Италии, в Испании, деньги легко тратил, и, когда мы с ним встретились, у него оставались крохи от съеденного пирога. Он снимал чердачную комнату для прислуги, и ученый аббат, приезжавший к господину Сорокину побеседовать о витражах Шартра, изумился, услыхав от консьержки: «Черная лестница, последний этаж, шестая дверь налево».

Мы прекрасно провели время в Италии, денег было очень мало, зато глаза получали пиши вдоволь. Осенью Катя сказала мне, что решила выйти замуж за Тихона. Я погоревал, поревновал, но примирился. У нас с Катей жизнь не клеилась, мы были людьми с разными характерами, но с одинаковым упрямством. Да и к Тихону я успел привязаться.

Они взяли мою Ирину и жили в Пуатье. Я туда приехал на несколько дней, и Тихон мне долго объяснял красоту церкви святой Редегонды.

В книге «Стихи о канунах» есть стихотворение «Другу» с посвящением «Тихону Сорокину»:

Выдери, родимый.
Волосок за волоском!
Похлещи меня, как сына,
И пусти гулять потом.
Встану я на пригорке,
Закричу одноногим аистом:
Поглядите на исцеленного от порчи.
На покаявшегося!
Он меня всему научит.
Как пытает ласково
Своим именем мученика
Добрыми карими глазками…
Летите вы, птицы вольные.
На зеленый, на вымерший пруд!
Покричу и лягу средь черного поля,
Кровь землицей сотру…

Конечно, это — поэзия или, говоря точнее, искажение истины. Тихон меня не мучил, даже не стыдил (а было за что); он порой будил во мне совесть, и не карими глазками и не именем

мученика, а сердечной чистотой, и я за это ему признателен.

Всегда он писал какую-то книгу и не дописал ни одной. Он хотел объяснить значение готики, Андрея Рублева, Ферапонтова монастыря. Мешали условия: приходилось служить, писать журнальные статейки, переводить романы с французского. А он не умел торопиться: в нем жила добропорядочность русского интеллигента прошлого века. Ко всему он был человеком болезненным, трудно сказать, чем только он не переболел.

Последние годы своей жизни он прожил с Катей в хибарке возле Нового Иерусалима. К старости чувствуешь сильнее расхождение жизненных дорог, но когда я приходил к Сорокиным, я всегда узнавал друга моей ранней молодости. Вероятно, я плохо, односторонне рассказал о Тихоне Ивановиче, но ничего не поделаешь: это — книга моих воспоминаний, а он для меня связан с далекой эпохой, когда двадцати двухлетний юноша, голодный, растерянный, неуемный, блуждал между флорентийскими музеями, стихами символистов, различными весомыми, а подчас невесомыми «вечными истинами» и памятью или предчувствием русской метели, забастовок, куполов, чеховской нежности и чеховской жесточайшей правды.

17

В молодости мне удалось дважды побывать в Италии. Денег у меня было мало; я ночевал и на постоялых дворах, и в подозрительных притонах; ел в харчевнях макароны — миска стоила два сольди и обманчиво насыщала на несколько часов; когда не хватало денег на поезд, отправлялся в путь пешком; месяцы в Италии я вспоминаю как самые счастливые. Там я понял, что искусство не прихоть, не украшение, не праздничные даты календаря, что с ним можно жить в одной комнате, как с любимым человеком. Каждый юноша, впервые влюбляясь, думает, что он открывает неведомый дотоле мир. Так было у меня с Италией: издавна чужестранные писатели, попадая в эту страну, были по-новому счастливы, по-новому ощущали близость искусства — от Стендаля до Блока, от Гёте до нашего современника В. П. Некрасова. (Правда, Хемингуэй именно в Италии узнал меру человеческого горя, но было это в годы войны, а война — повсюду война.)

Для меня Италия была и раем и школьной скамьей. В 1909 году я глядел на холсты Ван Гога, Гогена, Матисса с недоверием, почти с испугом, как теленок смотрит на поезд. Пять лет спустя я подружился с художниками — с Пикассо, Леже, Модильяни, Риверой; их работы помогали мне разобраться в клубке надежд и сомнений. Ключ к современному искусству я нашел в прошлом. Нельзя понять Модильяни без живописи Возрождения, как нельзя понять Блока без Пушкина. (Блока я понял раньше, чем Модильяни: Пушкина я знал с детства, а живописной азбуке меня никто не учил; мне говорили только, что Рафаэль величайший в мире художник и что картина «Не ждали» связана с революционной борьбой.)

Когда я пришел впервые в Лувр, я был дикарем; я хотел во что бы то ни стало увидеть таинственную улыбку Джоконды, а увидев ее, начал гадать, что она означает; потом я вспомнил о Венере Милосской — необходимо ее поглядеть, ведь все говорят, что она идеал красоты, перед ней в умилении плакали Гейне и Глеб Успенский… Лувр был большим музеем в большом городе; я постоял, повздыхал и ушел. Маленькие музеи сонного Брюгге стали для меня начальной школой: но по-настоящему я пристрастился к искусству в Италии.

Я пишу сейчас не книгу о живописи, да и не пытаюсь в точности воспроизвести свои давние впечатления: очень трудно в вечер жизни припомнить, понять ее утро — меняется освещение, — меняется и восприятие того, что видишь; ко

многому, что когда-то мне нравилось, я теперь равнодушен, а с годами мне начало раскрываться то, мимо чего я в молодости проходил. В отличие от точных наук, искусство не поддается бесспорным оценкам.

В XVIII веке просвещенные ценители искусств считали готику уродливым варварством. Пушкин презрительно отозвался о поэзии Франсуа Вийона. Стендаль, признавая, что Джотто был ступенькой к Рафаэлю, все же находил его живопись беспомощной и уродливой. С тех пор оценки изменились: нам близко то, что проглядели лучшие умы конца XVIII и начала XIX века. Но, может быть, не стоит повторять их ошибки и одарять презрительными оценками те произведения искусства, которые нам чужды? Я расскажу о смене суждений одного человека только для того, чтобы напомнить, как относительны наши оценки.

В 1911 году меня покорили художники кватроченто и прежде всего Боттичелли. Бог ты мой, сколько часов я простоял перед «Рождением Венеры» и «Весной»! Фрески Рафаэля мне казались скучными; Джотто напоминал иконы. Женщины Боттичелли не были грубыми, толстыми, розовыми, как на картинах венецианцев; не были бесплотными и чересчур одухотворенными, как у Мемлинга или Ван-Эйка. Венера стыдливо, чуть печально глядела на мир; примерно так же я глядел на Венеру. Я увлекался книгой «Образы Италии». Муратов как будто заглянул мне в душу: он писал, что «Рождение Венеры» — величайшая картина в мире. Я пытаюсь теперь разобраться, чем меня подкупал Боттичелли. Вероятно, сочетанием жизненной радости с горечью, началом эпохи неверия, умением придать смятению гармонию.

Два года спустя, приехав во Флоренцию, я первым делом отправился на свидание с картинами Боттичелли и растерялся: конечно, они были прекрасны, но я ими любовался вчуже; они больше не соответствовали моему душевному состоянию. Мне уже не хотелось поэтизировать смуту; меня укачивало, и я хотел глядеть на неподвижный берег. Я с уважением думал о людях, исполненных веры, — и о Вале Неймарке, и о Франсисе Жамме. Я полюбил фра Беато: его живопись была действием, он не только писал Мадонну, он молился перед своим холстом. Меня привлекли Джотто, мастера Сьенны. Я писал:

Сьенцев пристальные взгляды,
В церкви лапах воска
И соборные фасады
С мрамором в полоску.

Перед моими глазами стояли строгие задумчивые фрески

первых флорентийских мастеров. Я снова попытался понять, почему славен Рафаэль, в чем притягательная сила Тинторетто, но это оставалось для меня запечатанной книгой.

Вскоре после этого я забыл о фра Беато. Я увидел удлиненные тела Греко, гигантов Микеланджело, трагические пейзажи Пуссена. Я узнал десятки различных музеев. Иногда судьба забрасывала меня в Италию. Происходили величайшие события, о которых можно написать сотни книг, и то не про все расскажешь. В 1924 году я увидел Италию униженную, оскорбленную, возмущенную: когда я был в Риме, фашисты похитили Маттеоти. Иеремия в Сикстинской капелле горевал и пытался оправдать свое звание пророка.

Четверть века спустя я снова очутился в Италии. «Весна» Боттичелли показалась мне манерной и приторной. Я глядел с уважением на падуанские фрески Джотто, но не было по мне прежнего трепета. Зато на старости лет я впервые «открыл» Рафаэля (говорю о ватиканских станцах, «Сикстинская мадонна» и теперь оставляет меня равнодушным). Меня потрясли ясность, гармония «Афинской школы» и «Диспута о причащении»; трудно себе представить, что они созданы молодым человеком. Обычно художники формируются медленно, как деревья, да и век художника долог — Тициан дожил до девяноста девяти лет, Энзор до восьмидесяти девяти, Энгр и Руо — до восьмидесяти семи, Микеланджело, Клод Лоррен, Шарден, Гойя, Моне, Дега. Матисс перевалили за восемьдесят. А Рафаэль умер, как умирают поэты, — тридцати семи лет, — и, кажется, был самым умудренным. Сюжеты не увлекали его и не отталкивали; ему пришлось, например, изобразить церковный диспут о причащении; будучи человеком глубоко светским, он не мог воодушевиться сюжетом. Нас чрезвычайно мало интересуют теологические дискуссии XVI века, но мы стоим очарованные — нас поражает композиция Рафаэля. «Только то пригодно для описания, что останется интересным и после того, как история вынесет свой приговор», — говорил Стендаль. Что же «интересно» нам в «Диспуте о причащении»? Конечно, не предмет спора, да и не участники дискуссии. Композиция, рисунок, краски продолжают нас волновать четыреста лет спустя после того, как история вынесла свой приговор не только адептам различных форм причащения, но и верованиям, породившим эти обряды.

В Венеции я не мог уйти из длинного зала школы Сан-Рокко, где находятся холсты Тинторетто. Дело снова не в сюжетах — они те же, что на картинах множества других художников. Но Тинторетто, который видел, ощущал, понимал мир трагически, сумел это выразить; ему было достаточно пальцев ноги, складок

бархата, сползающего вниз, облака, куска стены, чтобы рассказать миру то, о чем начал вскоре писать Шекспир. В картинах Тинторетто — все элементы современного искусства; и в школе Сан-Рокко особенно ясно понимаешь наивность апологетов абстрактной живописи, стремящихся найти более свободное, или, если угодно, более углубленное разрешение живописных проблем, чем то делали Тинторетто, Сурбаран или много позднее Сезанн. Тинторетто приходилось считаться с догмами католической церкви, с ханжеством и лицемерием венецианских дожей, со множеством, казалось бы, ненужных препятствий, а препятствия нужны большому художнику — это стартовая площадка, начало преодоления непреодолимого.

Я пересказал весьма спорные суждения юноши, человека сорока лет и мои теперешние, старческие, конечно, не потому, что они сами по себе представляют какой-либо интерес, да я и не искусствовед. Мне кажется, что любопытны не оценки, а их смена в течение одной человеческой жизни. Поэт Бальмонт наивно просил не торопиться с разоблачением вчерашних кумиров. Настоящие мастера не нуждаются в сострадании; но простой здравый смысл подсказывает некоторую осмотрительность: развенчанные идолы могут снова стать богами. Открытие в области наук опрокидывает теории предшественников: нельзя теперь изучать астрономию ни по Птоломею, ни по Пифагору; а скульптура древних греков представляется нам совершенной. Мне сейчас не по душе Боттичелли; несущественно, что я любил его в молодости, существенно то, что его, наверно, будут любить если не наши внуки, то наши правнуки. Мне трудно сказать доброе слово о живописцах болонской школы — у меня с ними свои счеты, хотя, конечно, это не их вина: болонская живопись на триста лет определила каноны того условного, эклектического искусства, которое, по недоразумению или по привычке, многие до сих нор называют реалистическим. (Брюсов писал в 1922 году: «Реализм, беря слово не как философский термин, а в том смысле, как оно употребляется в области искусств, ставит перед художником задачу: верно воспроизводить действительность. Но какой художник, где, когда, в какой стране, в какую эпоху задавался иной целью? Вся разница была лишь в том, что понимать под «действительностью»… Художники итальянской школы эпохи Возрождения и даже их предшественники «прерафаэлиты», те, которым так охотно противопоставляют жанровую живопись фламандцев и голландцев, мечтали ли изображать что-то чуждое действительности?… Чего добивались импрессионисты, которых винили в свое время критики, что они делают лишь пятна, совершенно не соответствующие

действительности? Да именно того, чтобы при помощи этих пятен вернее, точнее передать реальность, как она воспринимается нашими внешними чувствами, нашим зрением».) Стоит художнику вместо античных мифов или евангельских сцен изобразить событие, волнующее его современников, и придерживаться при письме условных канонов болонской школы, как его поздравляют: он — реалист. Но пройдет двадцать или сорок лет, исчезнут в мире последние эпигоны академического направления, и тогда наши внуки или правнуки смогут реабилитировать холсты Карраччи и других болонцев. Искусство прошлого не только раскрывает нам глаза, оно раскрывается от жара наших глаз. Любовь потомков — вот неутомимый реставратор, который расчищает пожухшие холсты, возвращает им первоначальное сияние.

Мне остается добавить, что, когда я был в Италии осенью 1959 года, самое сильное впечатление на меня произвели этрусские саркофаги — исступленные мужчины и женщины, подымающиеся из каменных гробов. Я долго глядел на них во дворе небольшого музея в Таркинье, неподалеку от Рима. Теперь, когда я пишу эту книгу и пытаюсь оживить мое прошлое, друзей, большинство которых я пережил, я вижу перед собой мужчин и женщин, живших за двадцать пять веков до того, как я родился. Мне кажется, что я их знаю и понимаю, как моих современников.

В молодости я особенно нежно любил Флоренцию; ее сельский дух. сочетание скульптуры Донателло и крестьян в широких соломенных шляпах, керамики делла Робби а и холмов вокруг города, садов, огородов, одиноких кипарисов, лавочек на Старом мосту, базаров, мутной реки, ясного неба и тени Данте, встретившего здесь свою Беатриче. Как все города, построенные в одну эпоху и, следовательно, гармоничные, Флоренция сразу понятна и мила. С годами я полюбил Рим. Эпохи в нем перемешаны; рядом античные развалины и новые кварталы, извивающиеся статуи барокко и базилики первых христиан, высокое Возрождение и помпезные памятники конца XIX века; вначале этот непорядок стесняет приезжего, но потом видишь, что века в Риме мирно сосуществуют. Рим прекрасен не только там, где его смотрят караваны туристов, — любая улица, любая стена ничем не примечательного дома радует глаз. Его гармония сложна: в ней цельность, доступная только большому художнику и большому народу.

До чего были неправы путешественники (среди них и великие, как Гёте), которые увидели в Италии только музей да еще бессмертную красоту природы! Все, что меня чаровало и чарует в Италии, тесно связано с людьми, — народы, конечно,

меняются, но если есть возможность охватить века, спасти прошлое от забвения и непонимания, то это связано с гением народа, с некоторыми присущими ему чертами.

Я много лет прожил во Франции, научился понимать французов, о моей любви к ним говорить не приходится — она известна. Именно поэтому я решаюсь повторить слова Стендаля, который утверждал, что итальянцы проще, непосредственнее французов. Могло ли это не подкупить юношу, еще помнившего тепло задушевных бесед где-нибудь на Козихах, на Остоженке или на Арбате? Конечно, итальянцы, как и все люди, бывают разные; я не забываю ни про борьбу классов, ни про эпоху фашизма; и все же мне думается, что в характере итальянцев заложена доброта.

Я часто спрашивал себя, почему итальянские кинокартины последнего десятилетия так понравились разноязычным людям — «Похитители велосипедов», «Чудо в Милане», «Два гроша надежды», «Рим в одиннадцать часов», «Ночи Кабирии». Разумеется, они представляют значительное явление в развитии кино; но рядовых зрителей мало интересовал неореализм; вернее сказать, благодаря реалистическому, правдивому отображению действительности перед ними были настоящие, живые итальянцы, и покоряли зрителей черты национального характера: на экране разворачивалась тяжелая, порой безысходная жизнь, но повинны в страданиях людей были не злодеи, а обстоятельства, не душевное, уродство того или иного персонажа, а уродство социальной системы.

В памяти миллионов моих соотечественников еще живы картины войны. Политическая карта мира изменилась; рассудок подсказывает, что нужно кое-что забыть, кое-чему научиться; по у сердца свои законы. В 1949 году один немец в Берлине сказал мне, что ему понравился мой роман «Буря», особенно сцена боев под Ржевом. «Очень живо описано, — добавил он, — может быть, вы там были?» Когда я ответил утвердительно, он, обрадованный, воскликнул: «Я тоже там был!» — и протянул мне руку. Признаюсь, нелегко мне далось это рукопожатие. Я часто встречал итальянцев, которые с печалью говорили, что в годы войны они были в Донбассе; я мог с ними дружески разговаривать. Люди, побывавшие в оккупации, рассказывали мне об итальянцах без злобы; одна колхозница вспоминала: «Он хотел курицу взять, а совестно, ждал, когда я отвернусь, уж я сама ушла — пожалела его…»

Мне еще придется не раз в этой книге говорить об Италии и об итальянцах. Иногда, пренебрегая хронологией, я забегаю вперед — хочется что-то додумать, досказать; это ведь не столько

история моей жизни, сколько размышления, порождаемые воспоминаниями. Вернусь теперь к годам, предшествовавшим первой мировой войне.

Я не стараюсь взглянуть на прошлое сквозь розовые очки. Жизнь в Италии отнюдь не была идиллией: на каждом шагу я видел нищету. Буржуазия была чванливее и глупее французской. В кафе на Корсо можно было увидеть депутатов; они говорили, сговаривались, договаривались; стоял запах скверной парламентской кухни. Встречал я и провинциальных эстетов, которые старались подражать парижским снобам; как всегда, ученики шли дальше учителей.

В Париже меня познакомили с поэтом Маринетти; он был очень самоуверен и столь же честолюбив; дал мне свою поэму «Мое сердце из красного сахара»: «Если вы ее переведете, вы откроете России поэта завтрашнего дня…» Я перевел отрывок и снабдил его маленьким предисловием: «Трудно любить стихи Маринетти. От него отталкивают внутренняя пустота, особенно дурной вкус и наклонность к декламации». Потом я был на литературном вечере — Маринетти прославлял футуризм, чудеса техники, завоевание мира. Когда впоследствии он примкнул к фашистам, это было логично: он не приспособился, он и прежде мечтал о насилии; за красным леденцом последовала кровь…

Во Флоренции однажды я встретил тридцатилетнего Джованни Папини; незадолго до того вышла его нашумевшая автобиография «Конченый человек». Мы сидели в маленькой траттории; молодые писатели спорили о футуристах, о «сумеречниках» (так называлась одна из литературных групп), о философии Кроне. Папини мне показался горьким, едким. Вдруг, растерянно улыбнувшись, он сказал: «А что ни говорите, главное, чтобы человек был счастлив, и таким счастьем, от которого счастливы другие…»

И где-то возле Лукки я уснул под деревом, усталый, голодный. Меня разбудили дети. Толстая черная крестьянка, мать детей, позвала меня в дом, поставила на стол миску с макаронами, бутыль вина, оплетенную соломой. Я жадно уплетал макароны, а хозяйка шила детское платьице и, поглядывая на меня, вздыхала. «У тебя есть мама?» — неожиданно спросила она. Я сказал, что моя мать далеко — в Москве. Тогда, не оставляя шитья, она запела грустную песенку. Я вышел из ее дома; ночь была южная, черная, и, как мириады звезд, кружились, метались светляки.

В Италии я поверил в возможность искусства и в возможность счастья. А начиналась эпоха, когда искусство казалось обреченным, счастье — немыслимым.

18

Я сидел в «Клозери де лиля» и переводил стихи французских поэтов — хотел составить антологию. Волошин меня представил Александру Мерсеро, который был поэтом малопримечательным, но обходительным человеком: он приносил мне книги и знакомил со своими более прославленными товарищами.

Крупный русский промышленник Н. П. Рябушинский в 1906 году решил издавать художественный журнал «Золотое руно»; текст должен был печататься по-русски и по-французски. Требовался стилист, способный выправлять переводы. Рябушинский не останавливался перед затратами и заказал настоящего французского поэта. Выполнить заказ оказалось нелегко: поэтам не улыбалось надолго покинуть Париж.

В предместье Парижа Кретей, в помещении бывшего аббатства, поселились несколько поэтов; они писали стихи, готовили себе еду и сами печатали свои произведения на ручном станке. Так родилась литературная группа «Аббатство»; многие из ее участников впоследствии стали знаменитыми: Дюамель, Жюль Ромен, Вильдрак. Всех этих поэтов объединяло стремление уйти от узкого индивидуализма, вдохновляться мыслями и чувствами, которые присущи всем. Были в «Аббатстве» и поэты, подававшие мало надежд, среди них Мерсеро; он соблазнился работой в «Золотом руне»: жизнь в поэтическом фаланстере была монотонной.

Мерсеро говорил, что Москва ему понравилась, но не любил вспоминать, что особенно понравилась ему одна москвичка, жена чиновника. Об этой странице его биографии мне рассказал Волошин. Французский поэт и жена московского чиновника были счастливы, но приближался час разлуки. Мерсеро недаром был поэтом, он предложил романтический план: «Ты убежишь со мной в Париж». Москвичка напомнила влюбленному фантазеру, что из России нельзя выехать без заграничного паспорта. У возлюбленной была сестра, очень невзрачная, на которую Мерсеро не обращал внимания; но в трудную минуту она оказалась залогом счастья: «Женись на моей сестре, она получит заграничный паспорт и объявит, что уезжает с тобой в Париж. Я приду вас провожать, в последнюю минуту я войду в вагон, а сестра останется на перроне. Паспорт, конечно, будет у меня». Мерсеро план понравился; состоялась пышная свадьба. Возлюбленная, как было условлено, пришла на вокзал, но, когда раздался третий звонок, она не двинулась с места и только помахала платочком: в купе сидела законная супруга.

Мерсеро привез в «Аббатство» навязанную ему жену, которая, увидев своеобразный фаланстер, пришла в ужас: могла ли она подумать, что французские поэты живут хуже, чем московские приказчики! Начались пререкания, упреки, сцены; поэтам «Аббатства» больше было не до стихов. Они попросили Волошина объясниться с мадам Мерсеро, которая так и не научилась говорить по-французски. В итоге жена поэта поняла, что лучшей жизни ей не дождаться, и уехала в Москву. Самой трогательной была небольшая деталь: рассказывая про дом коварной возлюбленной, Мерсеро восклицал: «У них подавали красную икру! Черную в России едят повсюду, но у них была красная, это были очень богатые люди…»

Россию в те годы французы знали мало. Видел я инсценировку «Братьев Карамазовых» в передовом театре «Вье Коломбье». На сцене висел портрет царя, и проходившие, поворачиваясь к нему, крестились. Помню, как я познакомил А. Н. Толстого с одним молодым поэтом, посещавшим «Клозери де лиля»; поэт разговаривал с Алексеем Николаевичем благоговейно, а потом ляпнул: «Здесь, знаете, писали о вашей смерти, значит, это была утка…» Алексей Николаевич загрохотал особым, присущим только ему смехом, от которого содрогнулись и рюмки на столе, и бедный поэт, едва пролепетавший: «Простите, я не догадался, что вы сын великого Толстого, я знаю, что его сын тоже великий писатель…» Алексей Николаевич писал, что, когда в 1916 году он приехал в Англию, какой-то англичанин сердечно приветствовал автора «Войны и мира».

Критик газеты «Голуа» пришел к М. А. Волошину и сразу ошеломил его вопросом: «Вы, конечно, присутствовали на похоронах Достоевского, когда казаки били студентов. Нас интересуют подробности…» Максимилиан Александрович обожал разыгрывать людей и начал описывать «подробности»; критик в восторге исписал весь блокнот; наконец Волошин сказал: «Вот все, что я запомнил, — мне ведь тогда было четыре года от роду…»

Двадцать лет спустя я купил в Париже большую карту Европы; на севере Советского Союза вместо областей и городов значилось: «Самоеды». «Маленький словарь» Ларусса, выпущенный в 1946 году, давал сведения о Нессельроде, о Каткове, о путешественнике Чихачеве, но ничего не сообщал о таких малопримечательных людях, как Грибоедов, Некрасов, Чернышевский, Герцен, Сеченов, Павлов…

Впрочем, несправедливо говорить только о французах. Поскольку я вспоминаю о событиях, скорее, забавных, расскажу, как меня чествовали в английском Пен-клубе. Было это в 1930

году. Я получил приглашение быть почетным гостем на очередном обеде Пен-клуба, к письму был приложен длинный документ о желательности смокинга и допустимости черного пиджака. На обеде председательствовал знаменитый писатель Голсуорси; он меня тепло приветствовал, сказав, что английские писатели рады увидеть в своей среде крупного австрийского кинорежиссера, создавшего прекрасный фильм «Любовь Жанны Ней». (Фильм по моему роману действительно сделал австрийский режиссер Пабст.) Обеды не диспуты, и я пожал руку Голсуорси. Моей дамой оказалась старая, сильно декольтированная англичанка; она пыталась развлечь меня и долго говорила о романтичности старой Вены. Я почувствовал себя самозванцем и сказал, что я не австриец, а русский. Она сразу стала печальной, преисполненной сострадания, сказала, что очень любит Россию, страдает вместе со мной, спросила: «Но что сделали большевики с вашим бедным генералом?…» (Незадолго до описываемого мною обеда в Париже при таинственных обстоятельствах исчез генерал Кутепов.) Я спокойно ответил: «Разве вы не знаете? Они его съели». Дама выронила из рук нож и вилку: «Какой ужас! Но от них можно всего ожидать…»

Французы любят анекдот об англичанине, который, увидев в Кале рыжую женщину, потом написал, что все француженки рыжие. Я вспоминаю разговоры русских туристов, которым я показывал Версаль. Один учитель восхищался богатством французов — он увидел возле вокзала Сен-Лазар оборванца, который пил красное вино. «Дома расскажу — никто не поверит: босяк, нищий и преспокойно дует вино…» Учитель был из Самарской губернии; он так и не поверил, что вино во Франции дешевле минеральной воды. Другой турист, инспектор реального училища, наоборот, пришел к выводу, что французы нищенствуют; он говорил по-французски и в Версальском парке познакомился с преподавателем местного лицея; инспектор повторял: «Вот вам их культура, вот вам их богатство! Учитель лицея, и у него нет прислуги, жена сама готовит обед…» Один эмигрант, бывший семинарист, а впоследствии эсер, показал мне свою повесть: она была посвящена страданиям русского идеалиста, влюбившегося в безнравственную француженку; страниц сто автор посвятил рассуждениям о развращенности французов; основным аргументом было то, что французы целуются лаже в ресторане. Напрасно я пытался объяснить ему, что такие поцелуи равносильны ласковому слову или взгляду, что они не мешают парочке преспокойно наслаждаться бараньим рагу или свининой с бобами; он упрямо отвечал: «Мне перед женой неловко — ведь у всех на глазах!.. Это, знаете, народец!..»

Человеку трудно расшифровать быт чужой страны, даже если он к нему некоторое время присматривается; о туристе и говорить нечего. Сколько я читал вздора в газетах — и русских и французских, основанного все на той же развесистой клюкве, под которой сидел Дюма-отец!

Смеяться над Мерсеро не приходится: его ошибка глубоко человечна. Бывший семинарист, тот, что возмущался безнравственностью французов, наверно, расставаясь со своей супругой, целовал ее на вокзале; а ведь это показалось бы японцу бесстыдным и безнравственным. Вся беда в том, что люди считают свои обычаи, или, как теперь говорят, свой «образ жизни», единственно правильным и осуждают если не вслух, то про себя все, что от него отклоняется.

Создаются представления о характере народа, построенные на случайных и поверхностных наблюдениях. Что знали даже начитанные французы накануне первой мировой войны о русских? Они видели богачей, кидавших деньги направо и налево, проводивших время в дорогих притонах Монмартра, проигрывавших за одну ночь в Монте-Карло имения, равные по площади французскому департаменту, то есть области. Во французский язык вошло слово «бояры» — так называли богатых русских. Начитанные французы увлекались Достоевским, из которого они почерпнули, что русский любит неожиданно убивать, презирать денежные обязательства, верить в бога и в черта, оплевывать то, во что он верит, и заодно самого себя, каяться в публичных местах, целуя при этом землю. Газеты сообщали о беспорядках в России, о террористических актах, о героизме революционеров. Французы называли русских революционеров «нигилистами»; толковый словарь, изданный в 1946 году, то есть тридцать лет спустя после Октябрьской революции, дает следующее объяснение слову «нигилизм»: «Доктрина, имеющая последователей в России, которая стремится к радикальному разрушению социального строя, не ставя перед собой цель заменить его какой-либо другой определенной системой». С точки зрения француза, подобная доктрина могла соблазнить только мистиков. Ко всему, француз узнавал, что «нигилисты» имеются даже среди «бояр»; это его окончательно убеждало в существовании какой-то особой «славянской души», этой «душой» он объяснял все последующие исторические события.

Мальчишкой я читал русские романы, в которых изображались немцы; одни были мечтателями, как тургеневский Лемм, другие энергичными, ограниченными тружениками, как Штольц Гончарова. В дореволюционной России немцы считались

людьми умеренными и добропорядочными. Недавно мне попалась в руки книга В. Розанова, который описал Германию 1912 года — накануне первой мировой войны: «Честно пожать руку этих честных людей, этих добросовестных работников, значит сразу вырасти на несколько аршин кверху… Я бы не был испуган фактом войны с немцами. Очевидно, это не нервно-мстительный народ, который, победив, стал бы добивать… Немец «en masse» или простак в политике, или просто у него нет аппетита — все съесть кругом. Вот отчего войны с Германией я не страшился бы. Но просто чрезвычайно приятно быть другом или приятелем этих добропорядочных людей… Я дал бы лишнее, и просто ради доброго характера. Уверен, что все потом вернулось бы сторицей. Я знаю, что это теперь не отвечает международному положению России, и говорю мысль свою почти украдкой, «в сторону», для будущего… Ну, а чтобы дать радость сорока миллионам столь порядочных людей, можно другим народам и потесниться, даже чуть-чуть кому-нибудь пострадать». С тех пор мы пережили две войны. Слова В. Розанова не умнее разговоров Мерсеро о красной икре, но они не рассмешат никого.

А русский миф о французе, который «быстр, как взор, и пуст, как вздор», о его легкомыслии и опрометчивости, о его тщеславии и безнравственности; миф о Париже, который называли «новым Вавилоном» и который слыл не только законодателем мол, но и питомником распутства! (Недаром моя мать боялась, что я пропаду в Париже, — это покоилось на общераспространенной легенде.) Как не походила на подобные описания страна, где я оказался, где семейные устои были куда сильнее, чем в России, где люди дорожили вековыми навыками, порой и предрассудками, где в буржуазных квартирах были закрыты ставни, чтобы не выгорели обои, где боялись, как чумы, сквозняков, где ложились спать в десять и вставали с петухами, где в ночных кабаках редко можно было услышать французскую речь, где я мог сосчитать на пальцах знакомых, которые побывали за границей!

Теперь самолет в несколько часов пересекает Европу; за одну ночь можно долететь из Парижа в Америку или в Индию; а люди по-прежнему плохо знают друг друга. Их разделяют не мысли, а слова, не чувства, а формы выражения этих чувств: нравы, детали быта. Непонимание — вот тот бульон, в котором разводят микробов национализма, расизма, ненависти: «Гляди, он живет не так, как ты, он ниже тебя и не хочет того признать; он говорит, что он живет лучше тебя, что он выше тебя; если ты его не убьешь, он заставит тебя жить по-своему». Можно договориться о том, что дипломаты издавна называли «modus vivendi», — о

временной передышке; но подлинное мирное сосуществование мне кажется немыслимым без взаимного понимания. Говорят, что наша планета давно обследована, что теперь очередь за Марсом или за Венерой. Да, картографам известны все возвышенности, все острова, все пустыни; но обыкновенный человек еще очень мало знает, как живут его сверстники на давно открытом острове, в странах, давным-давно обследованных, да и в странах, которые считали себя открывателями. Я говорю об этом, потому что изъездил Европу, побывал в Азии, в Америке и в итоге понял, до чего трудно разобраться в чужой жизни.

19

Приезжая в Париж, Максимилиан Александрович Волошин располагался в мастерской, которую ему предоставляла художница Е. С. Кругликова, в центре Монпарнаса, облюбованного художниками, на улице Буассонад. В мастерской высилось изображение египетской царевны Таиах, под ним стоял низкий диван, на котором Макс (так его звали все на второй или третий день после знакомства) сидел, подобрав под себя ноги, курил в кадильнице какие-то восточные смолы, варил на спиртовке турецкий кофе, читал книги об искусстве Ассирии, о масонах или о кубизме, а также писал стихи и корреспонденции в московские газеты, посвященные выставкам и театральным премьерам. На двери мастерской он написал: «Когда стучитесь в дверь, объявляйте погромче, кто стучит»; впрочем, будучи человеком общительным, он не открывал двери только румынскому философу, который требовал, чтобы его труды были немедленно изданы в Петербурге и чтобы Волошин выдал ему авансом сто франков.

Андрей Белый в своих воспоминаниях говорит, что Волошин казался ему примерным парижанином — и по прекрасному знанию французской культуры, и по своей внешности: борода, подстриженная лопатой, «не нашенская», цилиндр, манеры. Поскольку и познакомился с Максом в Париже. я никак не мог его принять за парижанина; мне он напоминал русского кучера, да и борода у него была скорее кучерская, чем радикал-социалистическая (накануне войны бороды в Париже начали исчезать, но их сохраняли солидные радикал-социалисты из уважения к традициям благородного XIX века). Правда, русские кучера не носили цилиндров, это был головной убор французских извозчиков, но на длинных густых волосах Макса цилиндр казался аксессуаром цирка.

В Париже Волошин слыл не только русским, но архирусским, он охотно рассказывал французам о раскольниках, которые жгли себя на кострах, о причудах Морозова или Рябушинского, о террористах, о белых ночах Петербурга, о живописцах «Бубнового валета», о юродивых Древней Руси. В Москве, по словам Андрея Белого, Макс блистал рассказами о бомбе, которую анархисты бросили в ресторан Файо, о красноречии Жореса, о богохульстве Реми де Гурмона, о видном математике Пуанкаре, о завтраке с молодым Ришпеном. У Волошина повсюду находились слушатели, а рассказывать он умел и любил.

Дети играют в сотни замысловатых или простейших игр, это

никого не удивляет; но некоторые люди, особенно писатели и художники, сохраняют любовь к игре до поздних лет. Горький рассказывал, как Чехов, сидя на скамейке, ловил шляпой солнечного «зайчика». Пикассо обожает изображать клоуна, участвует в бое быков как самодеятельный тореадор. Поэт Незвал всю жизнь составлял гороскопы. Бабель прятался от всех, и не потому, что ему могли помешать в его работе, а потому, что любил играть в прятки. Макс придумывал невероятные истории, мистифицировал, посылал в редакцию малоизвестные стихи Пушкина, заверяя, что их автор аптекарь Сиволапов, давал девушке, которая кричала, что хочет отравиться, английскую соль и говорил, что это яд из Индонезии; он играл, даже работая; есть у него статья «Аполлон и мышь», которую иначе чем игрой не назовешь. Он обладал редкой эрудицией; мог с утра до вечера просидеть в Национальной библиотеке, и выбор книг был неожиданным: то раскопки на Крите, то древнекитайская поэзия, то работы Ланжевена над ионизацией газов, то сочинения Сен-Жюста. Он был толст, весил сто килограммов; мог бы сидеть, как Будда, и цедить истины; а он играл, как малое дитя. Когда он шел, он слегка подпрыгивал; даже походка его выдавала — он подпрыгивал в разговоре, в стихах, в жизни.

Ему удалось одурачить, или, как теперь говорят, разыграть, достаточно скептичный литературный Петербург. Вдруг откуда-то появилась талантливая молодая поэтесса Черубина де Габриак. Ее стихи начали печататься в «Аполлоне». Никто ее не видел, она только писала письма редактору журнала С. К. Маковскому, который заочно в нее влюбился. Черубина сообщала, что по происхождению она испанка и воспитывалась в католическом монастыре. Стихи Черубины похвалил Брюсов. Все поэты-акмеисты мечтали ее встретить. Иногда она звонила Маковскому по телефону, у нее был мелодичный голос. Никто не подозревал, что никакой Черубины де Габриак нет, есть никому не известная талантливая поэтесса Е. И. Дмитриева, которая пишет стихи, а Волошин помогает ей мистифицировать поэтов Петербурга. В Черубину влюбился и Гумилев, а Макс развлекался. Возмущенный Гумилев вызвал Волошина на дуэль. Макс рассказывал: «Я выстрелил в воздух, но мне не повезло — я потерял в снегу одну галошу…» (Е. И. Дмитриева продолжала и впоследствии писать хорошие стихи. Незадолго до своей смерти С. Я. Маршак попросил меня приехать к нему. Он говорил мне о судьбе Е. И. Дмитриевой, рассказывал, что в двадцатые годы написал вместе с Елизаветой Ивановной несколько пьес для детского театра — «Кошкин дом», «Козел», «Лентяй» и другие. Пьесы эти вышли с именами обоих авторов. Мотом Е. И. Дмитриеву выслали в

Ташкент, где она умерла в 1928 году. В переиздании пьес выпало се имя. Самуила Яковлевича мучило, что судьба и творчество Е. И. Дмитриевой, бывшей Черубины де Габриак, неизвестны советским читателям. Он советовался со мной, что ему следует сделать, и я вставляю эти строки, как двойной долг и перед С. Я. Маршаком, и перед Черубиной де Габриак, стихами которой увлекался в молодости.)

Чего Волошин только не выдумывал! Каждый раз он приходил с новой историей. Он не выносит бананов, потому что — это установил какой-то австралийский исследователь — яблоко, погубившее Адама и Еву, было вовсе не яблоком, а бананом. У антиквара на улице Сэн он нашел один из тридцати сребреников, которые получил некогда Иуда. Писатель восемнадцатого века Казотт в 1778 году предсказал, что Кондорсе отравится в тюрьме, чтобы избежать гильотины, а Шамфор, опасаясь ареста, разрежет себе жилы. Он не требовал, чтобы ему верили, — просто играл в интересную игру.

Он встречался с самыми различными людьми и находил со всеми нечто общее; доказывал А. В. Луначарскому, что кубизм связан с ростом промышленных городов, что это — явление не только художественное, но и социальное; приветствовал самые крайние течения — футуристов, лучистов, кубистов, супрематистов и дружил с археологами, мог часами говорить о вазе минойской эпохи, о древних русских заговорах, об одной строке Пушкина. Никогда я не видел его ни пьяным, ни влюбленным, ни действительно разгневанным (очень редко он сердился и тогда взвизгивал). Всегда он кого-то выводил в литературный свет, помогал устраивать выставки, сватал редакциям русских журналов молодых французских авторов, доказывал французам, что им необходимо познакомиться с переводами новых русских поэтов. Алексей Николаевич Толстой рассказывал мне, как в молодости Макс его приободрил. Волошин сразу оценил и полюбил поэзию молоденькой Марины Цветаевой, пригрел ее. В трудное время гражданской войны он приютил у себя Майю Кудашеву, которая писала стихи по-французски, а потом стала женой Ромена Роллана.

Ходил он в своеобразной одежде (цилиндр был, скорее, парадной вывеской, чем шляпой) — бархатные штаны, а в Коктебеле рубашонка, которую он пресерьезно именовал «хитоном». Над ним посмеивались; Саша Черный писал про «Вакса Калошина», но Макс не обижался. Был Макс подпрыгивающий, который рассказывал, что Эйфелева башня построена по рисунку древнего арабского геометра. Был и другой Макс — проще, который жил в Коктебеле с матерью (ее называли

Пра); в трудные годы этот второй Макс уплетал котелок каши. Всегда в его доме находили приют знакомые и полузнакомые люди; многим он в жизни помог.

Глаза у Макса были приветливые, но какие-то отдаленные. Многие его считали равнодушным, холодным: он глядел на жизнь заинтересованный, но со стороны. Вероятно, были события и люди, которые его попа стоящем у волновали, но, он об этом не говорил; он всех причислял к своим друзьям, а друга, кажется, у него не было.

Он был и художником: писал акварели — горы вокруг Коктебеля в условной манере «Мира искусства»; мог изготовить в один день пять акварелей. А любил он живопись, непохожую на ту, что делал. В стихах у него много увиденного, живописного; он верно подмечал;

> В дождь Париж расцветает,
> Точно серая роза…

Или о том же Париже:

> И пятна ржавые сбежавшей позолоты,
> И небо серое, и веток переплеты —
> Чернильно-синие, как нити темных вен.

О Коктебеле:

> Горелый, ржавый, бурый цвет трав.
> Полосы йода и пятна желчи.

Вначале я относился к Волошину почтительно, как ученик к опытному мастеру. Потом я охладел к его поэзии; его статьи об эстетике мне начали казаться цирковыми фокусами: я искал правду, а он играл в детские игры, и это меня сердило.

Среди его игр была игра в антропософию. Андрей Белый долго верил в Штейнера, как старая католичка верит в римского палу. А Макс подпрыгивал. Он отправился в Дорнах, близ Базеля, где антропософы строили нечто вроде храма. Началась война: Дорнах был в нейтральной Швейцарии, возле эльзасской границы. Строители «храма» (помню, в разговорах с Максом я всегда говорил «твое капище»), среди которых были Андрей Белый и Волошин, по ночам слышали артиллерийский бой. Вскоре Волошин приехал в Париж с книгой стихов, написанных в

Дорнахе; книга называлась «Anno mundi ardenti». Стихи эти резко отличались от стихов, которые тогда писали другие поэты: Бальмонт потрясал оружием; Брюсов мечтал о Царьграде; Игорь Северянин кричал: «Я поведу вас на Берлин!» А Волошин, забыв свои детские игры, писал:

Не знать, не слышать и не видеть…
Застыть, как соль… уйти в снега…
Дозволь не разлюбить врага.
И брата не возненавидеть.

…

В эти дни нет ни врага, ни брата:
Все во мне, и я во всех…

Я тогда писал «Стихи о канунах»: я не мог быть мудрым созерцателем, как Волошин, я проклинал, обличал, неистовствовал. Максу мои новые стихи понравились; он решил мне помочь и повел меня к Цетлиным.

Цетлины были одним из семейств, которым принадлежала чайная фирма Высоцкого. Как я писал, многие члены этой чайной династии были эсерами или сочувствовали Эсерам (среди них известен Гоц). Михаил Осипович Цетлин не принимал участия в подпольной работе, он писал революционные стихи под псевдонимом Амари, что в переводе на русский язык означает «Мария» — так звали его жену. Это был тщедушный, хромой человек, утомленный неустанными денежными просьбами. Жена его была более деловой. Кроме Волошина, у Цетлина бывали художники Диего Ривера, Ларионов, Гончарова; бывал и Б. В. Савинков — разочарованный террорист, автор романа «Конь бледный», вызвавшего газетную бурю; о нем мне еще предстоит рассказать. Сейчас я хочу остановиться на Цетлиных. Они иногда звали меня в гости; у них были горки со старинным фарфором, гравюры; а я мечтал о том, когда же рухнет мир лжи. В одной из поэм я описал вечер у Цетлиных, но благоразумно назвал их Михеевыми, а Михаила Осиповича Игорем Сергеевичем, чай я заменил спичками:

Он любит грустить вечерами.
Вот вечер снова…
Как у Лермонтова: «Отдохнешь и ты»…
Хорошо быть садовником,
Ни о чем не думать, поливать цветы.

Утром слушать, как поют птички.
Как шумит трава над прудом…
У Игоря Сергеевича две фабрики спичечные
И в бумагах миллион.
У Игоря Сергеевича жена и дочка Нелли,
Он собирает гравюры, он поэт.
Иногда он удивляется: в самом деле,
Я живу или нет? Вечером у Михеевых гости:
Теософ, кубист, просто шутник
И председательница какого-то общества.
Кажется, «Помощь ослепшим воинам».
Игорь Сергеевич всем улыбается пристойно.
Да, покрепче. — Еще стаканчик? —
— И Гоген недурен, но я видел Сезанчика…
— Простите за нескромность, сколько он просит?
— Десять, отдаст за восемь…
— О, кубизм, монументальность!
— Только, знаете, это наскучило…
— А я. наоборот, люблю, когда вместо глаз этакие штучки…
— Вы знакомы со значением зодиака? Я от Штейнера в экстазе…
— Я познаю Господа, поеду в Базель…
— Если бы вы знали, как нуждается наше общество!
Мы устроим концерт.
Это ужасно — ослепнуть навек…
— Новости? Нет. Только взяли Ловчен…
— Надоело. Я не читаю газет…
— Вот, вот, а вы слыхали анекдот?…
— Гости говорят еще много —
Об ухе Ван Гога, о поисках Бога,
Об ослепших солдатах,
О санитарных собаках,
О мексиканских танцах
И об ассонансах…

Наверно, я был несправедлив к Михаилу Осиповичу, но это диктовалось обстоятельствами: он был богатым, приветливым, слегка скучающим меценатом, а я — голодным поэтом.

Макс уговорил Цетлина дать деньги на эфемерное издательство «Зерна», которое выпустило сборник Волошина, мои «Стихи о канунах» и переводы Франсуа Вийона.

Цетлин писал поэму о декабристах, писал ее много лет. В

зиму 1917/18 года в Москве Цетлины собирали у себя поэтов, кормили, поили; время было трудное, и приходили все — от Вячеслава Иванова до Маяковского. Когда я буду писать о Маяковском, я постараюсь рассказать об одном памятном вечере (о нем упоминают почти все биографы поэта) — Маяковский прочитал поэму «Человек». Михаилу Осиповичу нравились все: и Бальмонт, который импровизировал, сочинял сонеты-акростихи; и архиученый Вячеслав Иванов; и Маяковский, доказывавший, что фирме Высоцкого пришел конец; и полубезумный, полу гениальный Велимнр Хлебников с бледным доисторическим лицом, который то рассказывал о каком-то замерзшем солдате, то повторял, что отныне он. Велимир, — председатель Земного шара, а когда ему надоедали литературные разговоры, отходил в сторону и садился на ковер; и Марина Цветаева, выступавшая тогда за царевну Софью против Петра. Вот только Осип Эмилиевич Мандельштам несколько озадачивал хозяина: приходя, он всякий раз говорил: «Простите, я забыл дома бумажник, а у подъезда ждет извозчик…»

Цетлин не был убежден в конце фирмы Высоцкого, несмотря на то что сочувствовал эсерам и ценил поэзию Маяковского. Дом Цетлина на Поварской захватили анархисты во главе с неким Львом Черным. Цетлины надеялись, что большевики выгонят анархистов и вернут дом владельцам. Анархистов действительно выгнали, но дома Цетлины не получили и решили уехать в Париж. Уехали они летом 1918 года вместе с Толстым (Алексей Николаевич довольно часто бывал у Цетлиных).

В Париже Цетлины давали деньги на журнал «Современные записки», некоторое время поддерживали Бунина и других писателей-эмигрантов. Потом они уехали в Америку; архив их пропал вместе с Тургеневской библиотекой.

Макс был в Коктебеле. Он не прославлял революцию и не проклинал ее. Он пытался многое понять. Он не цитировал больше ни Вилье де Лилль Адана, ни прорицания Казотта, а погрузился в русскую историю и в свои раздумья. Понять революцию он не смог, но в вопросах, которые он себе ставил, была несвойственная ему серьезность. Когда я был в Коктебеле, он показал себя мужественным; в мае 1920 года он спрятал на чердаке своего дома большевика И. Хмельницкого-Хмилько, участника подпольной конференции. Ночью пришли к Волошину врангелевцы, требовали выдать Хмельницкого: среди участников конференции оказался провокатор. Максимилиан Александрович заявил, что никого у него нет. Хмельницкий выдал себя неосторожным движением.

Белые арестовали поэта Мандельштама — какая-то женщина

заявила, будто он пытал ее в Одессе. Волошин поехал в Феодосию, добился приема у начальника белой разведки, которому сказал: «По характеру вашей работы вы не обязаны быть осведомленным о русской поэзии. Я приехал, чтобы заявить, что арестованный вами Осип Мандельштам — большой поэт». Он помог Мандельштаму, а потом и мне выбраться из врангелевского Крыма. Он делал это не потому, что проникся идеями революции, нет, но он был человеком смелым, любил поэзию, любил Россию — как его ни звали за границу и те же Цетлины, и другие писатели, он остался в Коктебеле. Умер он в 1932 году.

Возле Коктебеля есть гора, которую называли Янычар, ее абрис напоминает профиль Макса. Там Волошина похоронили. Марина Цветаева писала осенью 1932 года:

В век: «Распевай, как хочется
Нам, — либо упраздним»,
В век скопищ — одиночество:
«Хочу лежать один»…

…

Ветхозаветная тишина,
Сирой полыни крестик…
Похоронили поэта на
Самом высоком месте.

Стихи его теперь мало известны, но его имя знают и писатели и люди, почему-либо связанные с литературным бытом: дача Макса вместе, со вновь построенными флигелями — Дом творчества Литфонда. Возможно, что на этой даче какого-нибудь поэта осенило вдохновение, и Макс после смерти еще раз вывел в свет начинающего автора. Иногда я спрашиваю себя, почему Волошин, который полжизни играл в детские, подчас нелепые игры, в годы испытаний оказался умнее, зрелее, да и человечнее многих своих сверстников-писателей? Может быть, потому, что был по своей природе создан не для деятельности, а для созерцания, — такие натуры встречаются. Пока все кругом было спокойно, Макс, разыгрывал мистерии и фарсы не столько для других, сколько для самого себя. Когда же приподнялся занавес над трагедией века — в лето 1914 года и в годы гражданской войны, — Волошин не попытался ни взобраться на сцену, ни вставить в чужой текст свою реплику. Он перестал дурачиться и попытался осознать то, чего не видел и не знал прежде. Воспоминания о нем то смешат знавших его, то трогают, но

никогда не принижают, а это не мало…

20

Если я скажу, что в 1911 году я познакомился с поэтом, мягкое, задумчивое лицо которого, волнистые, нежные волосы, рассеянные движения выдавали мечтательность натуры, что в нем минуты шумного веселья перебивались глубокой грустью, что в литературных кругах тогда говорили о его книжке, изданной «декадентским» издательством «Гриф», что Брюсов, всячески расхваливая «почти дебютанта», высказывал опасения, «сумеет ли он удержаться на раз достигнутой высоте и найти с нее пути вперед», вряд ли кто-нибудь догадается, о ком я говорю. И если я приведу некоторые строки, хорошо мне запомнившиеся, как, например:

Ты зачем зашумела, трава?
Напугала ль тебя тетива?
Перепелочья ль кровь горяча,
Что твоя закачалась парча? —

то разве что немногие любители поэзии или дотошные литературоведы поймут, что речь идет об А. Н. Толстом. А я хорошо помню такого Толстого…

В своей поздней автобиографии Алексей Николаевич писал о книге стихов «За синими реками»: «От нее я не отказываюсь и по сей день». Не только стихи 1911 года написаны рукой автора «Петра Первого», но и молодой поэт был уже тем самым Алексеем Николаевичем, которого многие помнят сильно пополневшим, полысевшим и, главное, научившимся одни свои черты скрывать, а другие нарочито подчеркивать. Стоит посмотреть опубликованные воспоминания людей, встречавшихся с Толстым в тридцатые годы, чтобы понять, о чем я говорю; эти воспоминания разнообразны по яркости происшествий, рассказов или шуток Толстого, но неизменно тот Алексей Николаевич, который со вкусом ест, вкусно рассказывает, вкусно смеется, а между двумя раскатами смеха говорит нечто весьма значительное, заслоняет художника.

Юрий Олеша рассказал о своей первой встрече с Толстым осенью 1918 года: «Развлекая и себя и друзей, он кого-то играет. Кого? Не Пьера ли Безухова? Может быть! А не показывает ли он нам, как должен выглядеть один из тех чудаков помещиков, о которых он пишет?» Нет, Алексей Николаевич очень часто играл (нужно признать — замечательно!) самого Алексея Николаевича

— образ, созданный художником.

Когда я с ним познакомился, этот «почти дебютант» был уже известен: его рассказы о «чудаках» Заволжья сразу привлекли к нему внимание. В нем были все черты зрелого Толстого, но они еще не были оформившимися; лицо, которое впоследствии казалось созданным для рисовальщика, в молодости требовало палитры живописца. Это не обязательный закон природы: некоторые люди к вечеру жизни мягчеют, с годами сглаживается первоначальная резкость, прямолинейность, угловатость. Алексей Николаевич, напротив, был значительно мягче, если угодно, туманнее в молодости и, что наиболее существенно, не умел (или не хотел) ограждать свой внутренний мир от людей, с которыми сталкивался.

Не помню, кто меня привел к Толстому, кажется Волошин, а может быть, художник Досекин. Алексей Николаевич был в Париже в 1911 году, потом весной 1913-го; в один из этих приездов он и его жена, Софья Исааковна, жили в пансионе на улице л'Ассас. Рядом с пансионом находилось кафе «Клозери де лиля», где я сидел весь день и писал. Я познакомил Толстого с различными достопримечательностями заведения: с «принцем поэтов» Полем Фором, с итальянскими футуристами, с норвежским художником Дириксом. Во время первой мировой войны в Москве Алексей Николаевич написал очерк о Париже и там вспомнил «Клозери де лиля»; «На левом же берегу со всей французской страстью, мужеством и великолепием нищеты поэты, прозаики и журналисты отстаивали свободу творчества, независимость и в старом кабачке, под каштанами, у памятника маршалу Нею, венчали лаврами открывателей новых путей… В том кабачке, под каштанами, вы всегда встретите в вечерний час у окна высокого, седого человека, похожего на викинга, и седую даму, когда-то прекрасную. Это — норвежский художник и его жена. Они прожили двадцать лет в Париже, каждый день бывая под каштанами».

Он любил Париж и как-то сразу его увидел. «Париж, всегда занавешенный прозрачной, голубоватой дымкой, весь серый, однообразный, с домами, похожими один на другой, с мансардами, куполами церквей и триумфальными арками, перерезанный и охваченный, точно венком, зелеными бульварами…», «Весь день неустанно живет, грохочет, колышется, по ночам заливается светом огромный город, но не утомление вы чувствуете, проблуждав по нему весь день, а спокойную, тихую грусть. Вы чувствуете, что здесь поняли смерть и любят печальную красоту жизни…», «Стар, ужасно стар Париж. Особенно люблю его в сырые деньки. Бесчисленны очертания

полукруглых графитовых крыш, откуда в туманное небо смотрят мансардные окна. А выше — трубы, трубы, трубы, дымки. Туман прозрачен, весь город раскинут чащей, будто выстроен из голубых теней…»

За несколько месяцев до своей смерти Алексей Николаевич говорил мне, что, когда кончится война, он поедет на год в Париж, поселится где-нибудь на набережной Сены и будет писать роман; помню его слова: «Париж располагает к искусству…» Чудак, который, по словам Ю. К. Олеши, играл нелепого героя «Заволжья», никогда не чувствовал себя в Париже туристом: не осматривал, не восхищался, не отплевывался, а сразу начинал жить в этом городе, бывал в нем порой очень печален, но и в печали этой счастлив. (Я не говорю о годах вынужденного пребывания в Париже, когда он неотвязно думал об оставленной им России. Я уже писал, что у эмиграции свой климат. В письме к матери, когда Толстому было четырнадцать лет, он приводил старую народную песню: «Ох, хохо-хохонюшки, скучно жить Афонюшке на чужой сторонушке без родимой матушки». В Париже, оказавшись эмигрантом, он написал рассказ «Настроения И. Н. Бурова» и эпиграфом поставил «Ох-хохо-хохонюшки, скучно жить Афонюшке на чужой сторонушке». Лучше настроение человека, насильно оторванного от родной земли, пожалуй, не выразишь.)

Я хорошо знал того Толстого, которого написал П. П. Кончаловский, лицо сливается с натюрмортом, человек с бытом. Но мне хочется рассказать о другом Толстом — преданном искусству. Его слова «Париж располагает к искусству» не были случайными. Как настоящий художник, он всегда был неуверен в себе, неудовлетворен, мучительно искал форму для выражения того, что хотел сказать. Он говорил об этом часто и в зрелом возрасте. В беседах с молодыми писателями он старался пристрастить их к работе; он не находил нужным делиться со многими своей бедой, недовольством, мучительными часами, когда с удивлением и тревогой прочитывал написанное им накануне. Сколько раз он говорил мне: «Илья, понимаешь, — пишешь и кажется хорошо, а потом вижу: пакость, понимаешь — пакость!..» В начале 1941 года вышла в новом издании его повесть «Эмигранты» (в первой редакции «Черное золото»); вещь эта мне казалась неудавшейся, я о ней никогда с Толстым не говорил; он написал на книжке: «Илье Эренбургу — глубоко несовершенную и приблизительную повесть. Но, друг ты мой, важны конечные результаты жизни художника. Ты это понимаешь». Слово «приблизительно» он употреблял часто как осуждение: говорил о холсте, который ему чем-то не понравился, о строке

стихотворения: «Это приблизительно…»

Он хотел было учиться живописи, но быстро это дело оставил. Когда мы познакомились, о картинах он говорил с увлечением; может быть, в этом сказывалось влияние Софьи Исааковны, которая была художницей; но Толстой обладал даром видеть природу, лица, вещи. Он водился с мастерами — краснодеревцами, литейщиками, переплетчиками, не только знавшими свое ремесло, но влюбленными в него, обладавшими фантазией. В своей автобиографии он рассказал, какое впечатление произвели на него в молодости стихи Анри де Ренье в переводе Волошина: «Меня поразила чеканка образов». Анри де Ренье не бог весть какой поэт, но писать он умел, и поразил он Толстого именно мастерством.

Алексей Николаевич писал также, что в поисках народного характера речи он учился у А. М. Ремизова, Вячеслава Иванова. Волошина. Еще до этого — в ранней молодости — он попал в знаменитую «башню» Вячеслава Иванова. Волошин рассказал мне смешную историю, относящуюся к тому времени, когда Толстой пытался усвоить идеи и словарь символистов. В Берлине он встретил Андрея Белого, который что-то ему наговорил об антропософии. Белого вообще было трудно понять, а тем паче когда он объяснял свою путаную веру. Вскоре после этого на «башне» зашел разговор о Блаватской, о Штейнере. Толстому захотелось показать, что он тоже не профан, и вдруг он выпалил: «Мне в Берлине говорили, будто теперь египтяне перевоплощаются…» Все засмеялись, а Толстой похолодел от ужаса. Много лет спустя я спросил Алексея Николаевича, не выдумал ли Макс историю с египтянами. Толстой рассмеялся: «Я, понимаешь, сел в лужу…»

Разговоры о перевоплощении, мистический анархизм, богоискательство, обреченность — все это никак не соответствовало натуре Толсто: го. Освоив несколько мастерство, натолкнувшись на свои темы, он расстался с символистами (с Волошиным он продолжал дружить); высмеял «декадентов» в рассказах, потом в трилогии. Но вот я возвращался с ним из Харькова в Москву в декабре 1943 года. Поезда тогда шли очень медленно. Мы с А. Н. Толстым заняли одно купе; в других купе ехали К. Симонов, иностранные журналисты. Толстой почти всю дорогу вспоминал прошлое; кажется, он хотел в эти два дня проделать то, что я пытаюсь сделать теперь: задуматься над своей жизнью. Неожиданно для меня он с любовью, с уважением вспоминал поэтов-символистов, говорил, что многому у них научился; вспомнил и «башню»; потом вдруг рассердился, что теперь у молодых поэтов нет ни почтения к прошлому, пи

понимания всей трудности искусства; сказал, чтобы в купе позвали К. Симонова, долго ему внушал: нужно входить в дом искусства благоговейно, как он когда-то подымался на «башню». Потом он заговорил о Блоке. В романе «Сестры» есть поэт-декадент Бессонов; в нем многие, причем справедливо, увидели карикатурное изображение Блока. Толстой разъяснял, что хотел высмеять «обезьян Блока». Но слов нет, сам того не сознавая, он придал Бессонову некоторые черты Блока; в этом он мне признался; и я поверил, что сделал он это без злого умысла. Психология творчества, печальные, истории, выпадавшие на долю разных писателей (достаточно вспомнить ссору Левитана с Чеховым после «Попрыгуньи»), показывают, что отдельные черты, поступки, словечки живого человека могут незаметно войти в тот сплав, который мы называем «персонажем романа»; и художник не всегда дает себе отчет, где кончаются воспоминании и начинается творчество. Мысль о том, что в Бессонове увидели некоторые черты Блока, была тяжела для Алексея Николаевича. Он мне рассказывал о встрече с Блоком во время войны, о том, что Блок был очень человечен; потом замолк, а к вечеру стал повторять отдельные строки блоковских стихов.

(Вот еще одно свидетельство — «Воспоминания» Бунина. В восемьдесят два года Бунину захотелось очернить всех писателей, правых и левых, советских и эмигрантов. Горького и А. Н. Толстого, Блока и Маяковского, Леонида Андреева и Сологуба, Бальмонта и Брюсова, Хлебникова и Пастернака, Андрея Белого и Цветаеву, Есенина и Бабеля, Волошина и Кузмина. Бунин вспоминает: «Московские писатели устроили собрание для чтения и разбора «Двенадцати», пошел и я на это собрание. Читал кто-то, не помню кто именно, сидевший рядом с Ильей Эренбургом и Толстым. И так как слава этого произведения, которое почему-то называли поэмой, очень быстро сделалась вполне неоспоримой, то, когда чтец кончил, воцарилось сперва благоговейное молчание, потом послышались негромкие восклицания: «Изумительно! Замечательно!» Бунин далее излагает свое выступление — он поносил «Двенадцать», называя поэму «дешевым, плоским трюком». «Вот тогда и закатил мне скандал Толстой; нужно было слышать, когда я кончил, каким петухом заорал он на меня…» Я вспоминаю тот вечер. Алексей Николаевич тогда во многом сомневался, по слова Бунина о поэзии Блока он назвал «кощунством».)

Стихи он часто вспоминал, и всегда неожиданно — то шагая по улице, то на дипломатическом приеме, то разговаривая о чем-то сугубо деловом, изумляя своего собеседника. Зимой 1917/18 года мы часто бывали у С. Г. Кара-Мурзы, верного и

бескорыстного друга писателей; там мы ужинали, читали стихи, говорили о судьбе искусства. Возвращались мы поздно ночью ватагой. Кара-Мурза жил на Чистых прудах, а мы — кто на Поварской, кто на Пречистенке, кто в переулках Арбата. Алексей Николаевич забавлял нас нелепыми анекдотами и вдруг останавливался среди сугробов — вспоминал строку стихов то Есенина, то Н. В. Крандиевской, то Веры Инбер.

Летом 1940 года я вернулся из Парижа в Москву. Толстой позвонил: «Илья, приезжай ко мне на дачу», — дача у него была в Барвихе. (Перед этим мы долгие годы были в ссоре, даже не разговаривали друг с другом. Раз в Ленинграде в табачном магазине он меня увидел у прилавка и шепнул моей жене: «Скажите ему, что этот табак пакость. Вот какой нужно покупать…» Как я ни пытался, не могу вспомнить, почему мы поссорились. Я спросил жену Алексея Николаевича — может быть, он ей говорил о причине нашей размолвки. Людмила Ильинична ответила, что Толстой вряд ли сам помнил, что приключилось. Пожалуй, это лучше всего говорит о характере наших отношений.) На даче Толстой поил меня бургундским: «А ты знаешь, что ты пьешь? Это ро-ма-нея!» Он расспрашивал о Франции; рассказ, конечно, был невеселым. Потом я читал стихи, написанные в Париже после прихода немцев. Одна строка остановила его внимание, он несколько раз повторил:

…Темное, как человек, искусство…

Он был удивительным рассказчиком; тысячи людей помнят и теперь различные истории, которые он пронес через всю жизнь: о том, как в его детстве кухарка подала суп в ночном горшке, или о дьяконе, который загонял себе в рот бильярдные шары. Слушая его, можно было подумать, что он пишет легко, а писал он мучительно, иногда работал дни напролет, исправлял, писал заново, бывало — бросал начатое: «Понимаешь, не получается. Пакость!..»

В молодости он увлекался интригой, действием, разворачивающимся неожиданно для читателя. Он иногда записывал, иногда просто запоминал историю, которую ему кто-либо рассказал; такие истории становились канвой рассказа. Вот происхождение рассказа «Миссионер» (в первоначальной редакции «И на старуху бывает проруха»). В Париже было немало случайных эмигрантов; таким был один сапожник, в 1905 году принявший участие в солдатском бунте. Звали его Осипов. Он женился на француженке, кое-как жил, но был он тем Афонюшкой, которому скучно на чужой сторонушке; человек

запил. Как-то ему стало не по себе: почему его сын католик? Он пошел в русскую церковь на улице Дарю, каялся, молил священника окрестить ребенка по-православному. Священник умилился, не только выполнил обряд, но дал Осипову двадцать франков. Осипов в бога не верил, ни в католического, ни в православного, а двадцать франков пропил. Месяц спустя, когда его взяла тоска, а денег на водку не было, он решил пойти к католическому священнику, рассказал, что православные его обманули, но он может «перегнать сына назад в католики». Эту историю я узнал от Тихона Ивановича Сорокина.

Я рассказал Алексею Николаевичу про сапожника; он долго смеялся; что-то записал в книжку. Слово «перегнать», которое ему сразу понравилось, в рассказе осталось, но Толстой «переиграл» — герой рассказа уже не просто запойный горемыка, а ловкач, который «перегоняет» детей оптом и шантажирует автора повествования.

Алексей Николаевич неоднократно мне говорил, что порой его рассказы рождаются «черт знает от чего»: от истории, рассказанной кем-то десять лет назад, от смешного словечка. Я вспомнил наши ночные прогулки в первую зиму после революции. Толстой уверял, что я должен довести его до дому — на Молчановке, так как моего вида страшатся бандиты. (Не помню, как я был тогда одет, помню только, что Алексея Николаевича смешила шапка, похожая на клобук. Несколько лет назад мне принесли копию фотографии: Алексей Николаевич и я, подписано рукой Толстого: «Тверской бульвар, июнь 1918». Алексей Николаевич в канотье, а на мне высочайшая шляпа мексиканского ковбоя.) Толстой прозвал меня «тухлым дьяволом». Вскоре он написал рассказ «Тухлый дьявол» о писателе-мистике и козле. Писатель на меня не похож, да и шапка у него низенькая, круглая, а тухлый дьявол не писатель, но козел; все же рассказ родился в ту минуту, когда Толстой, посмотрев на меня, сказал: «Ты знаешь, Илья, кто ты? Тухлый дьявол! От тебя любой бандит убежит…»

Он работал не как архитектор, а скорее как скульптор: очень рано распрощался с планами романов или рассказов; часто, начиная, не видел дальнейшего; много раз говорил мне, что еще не знает судьбы героя, не знает даже, что приключится на следующей странице, — герои постепенно оживали, складывались, диктовали автору сюжетные линии. (Это относится к зрелому периоду Толстого.)

Есть писатели-мыслители; Алексей Николаевич был писателем-художником. Очень часто человеку мучительно хочется сделать именно то, что ему несвойственно. Я помню, как

Алексей Николаевич в молодости долго сидел над книгой — хотел, даря ее, надписать афоризм; ничего у него не выходило.

Он необычайно точно передавал то, что хотел, в образах, в повествовании, в картинах; а думать отвлеченно не мог: попытки вставить в рассказ или повесть нечто общее, декларативное заканчивались неудачей. Его нельзя было отделить от стихии искусства, как нельзя заставить рыбу жить вне воды. Его самые совершенные книги — «Заволжье», «Детство Никиты», «Петр Первый» — внутренне свободны, писатель в них не подчинен интриге, он повествует; особенно он силен там, где его рассказ связан с корнями, будь то собственное детство или история России, в которой он себя чувствовал легко, уверенно, как в комнатах обжитого им дома.

В своих идеях он был представителем добротной русской интеллигенции. (Это не определение рода занятий, а историческое явление; недаром в западные языки вошло русское слово «интеллигенция» в отличие от имевшегося понятия «работников умственного труда».)

Расскажу о первом столкновении Толстого с расизмом — задолго до второй мировой войны. Напротив «Клозери де лиля» помешалась огромная танцулька «Бал Билье» (теперь это здание снесли). Толстые иногда туда ходили. Раз Софью Исааковну пригласил танцевать негр; она его представила мужу. Негр Алексею Николаевичу понравился и был приглашен на обед в пансион. Среди пансионеров имелся американец; увидев, что Толстые привели в столовую черного, он возмутился. Алексей Николаевич наивно стал объяснять американцу, что этот негр весьма образованный человек, даже произвел его в князья. Американец ничего не хотел слушать: «У нас такие князья чистят ботинки». Тогда Толстой рассердился и выбросил американца по лестнице со второго этажа вниз — при плаче хозяйки, но при одобрительных возгласах других постояльцев — французов.

В 1917–1918 годы он был растерян, огорчен, иногда подавлен; не мог понять, что происходит; сидел в писательском кафе «Бом»; ходил на дежурства домового комитета; всех ругал и всех жалел, а главное — недоумевал. Иногда к нему приходил И. А. Бунин, умный, злой, и рассказывал умно, зло, но несправедливо; рассказывал, помню, как к нему пришел мужик — предупредить, что крестьяне решили сжечь его дом, а добро унести. Иван Алексеевич сказал ему: «Нехорошо», — тот ответил: «Да что тут хорошего… Побегу, а то без меня все заберут. Чай, я не обсевок какой-нибудь!» Толстой невесело смеялся.

Часто бывала у него петербургская поэтесса Лиза Кузьмина-Караваева; она говорила о справедливости, о человеколюбии, о

боге. Дальнейшая ее судьба необычна. Уехав в Париж, она родила дочку, а потом постриглась; в монашестве приняла имя Марии. Дочка подросла и стала коммунисткой. Когда Толстой приехал в Париж, девушка попросила его помочь ей уехать в Советский Союз. Во время войны монахиня Мария стала одной из героинь Сопротивления. Немцы ее отправили в Равенсбрук. Когда очередную партию заключенных вели в газовую камеру, мать Мария стала в колонну на место молоденькой советской девушки. В зиму, о которой я рассказываю, Лиза своим глубоким беспокойством заражала Толстого.

Он видел трусость обывателей, мелочность обид, смеялся над другими, а сам не знал, что ему делать. Как-то он показал мне медную дощечку на двери — «Гр. А. Н. Толстой» — и загрохотал: «Для одних граф, для других гражданин», — смеялся он над собой.

«Мадам Кошке сказала, подавая блюдо индийскому принцу: «Вот дичь». Это он рассказывал, смеясь, за обедом. Потом, поговорив с молоденьким левым эсером, расстроился. Так рождался рассказ «Милосердия!»; Толстой впоследствии писал, что это была первая попытка высмеять либеральных интеллигентов; он не добавил, что умел смеяться и над своим смятением.

Весной 1921 года я приехал в Париж. Толстой позвал на меня гостей: Бунина, Тэффи, Зайцева. Толстой и его жена Н. В. Крандиевская мне обрадовались. Бунин был непримирим, прервал мои рассказы о Москве заявлением, что он может теперь разговаривать только с людьми своего звания, и ушел. Тэффи пыталась шутить. Зайцев молчал. Алексей Николаевич был растерян: «Понимаешь, ничего нельзя понять…» Вскоре после этого французская полиция выслала меня из Парижа.

Потом я встретил Алексея Николаевича в Берлине; он уже знал, что скоро вернется в Россию. В статьях о нем пишут про сменовеховцев, про «постепенный подход» к идеям революции. Мне кажется, что дело было и проще и сложнее. Две страсти жили в этом человеке: любовь к своему народу и любовь к искусству. Он скорее почувствовал, чем логически понял, что писать вне России не сможет. А любовь к народу была такова, что он рассорился не только со своими друзьями, но и со многим в самом себе — поверил в народ и поверил, что все должно идти так, как пошло.

Двадцать лет спустя я часто встречался с ним в очень трудное время, когда мало было одного сознания, требовались любовь и вера. Говорили, будто от уныния его всегда ограждал прирожденный оптимизм; нет, и в 1913 году, и в 1918-м я видел

Алексея Николаевича не только унылым, но порой отчаявшимся (это, конечно, не мешало ему шутить, смеяться, придумывать комические истории). А вот в грозное лето 1942 года он сохранял душевную бодрость: он твердо стоял на своей земле, был освобожден от того, что особенно претило его натуре, — от сомнений, от необходимости искать выход, от ощущения одиночества.

В декабре 1943 года мы были с ним в Харькове, на процессе военных преступников. Я не пошел на площадь, где должны были повесить осужденных. Толстой сказал, что должен присутствовать, не смеет от этого уклониться. Пришел он с казни мрачнее мрачного; долго молчал, а потом стал говорить. Что он говорил? Да то, что может сказать писатель; то самое, что до него говорили и Тургенев, и Гюго, и русский поэт К. Случевский…

В последние годы его тянуло к друзьям прошлого. Часто встречался он с Алексеем Алексеевичем Игнатьевым и его женой Натальей Владимировной. Об Игнатьеве я расскажу, когда дойдет дело до первой мировой войны. Толстой его любил: в чем-то у них были сходные пути — оба пришли к революции из другой, прежней России. Бывали у Толстого В. Г. Лидин, П. П. Кончаловский, доктор В. С. Галкин, С. М. Михоэлс. Толстой ожесточенно работал над третьей частью «Петра Первого». Осенью 1944 года он был уже болен; я пришел к нему, он хмурился, старался шутить и вдруг как бы ожил — заговорил о своей работе: «Пятую главу кончил… Петр у меня опять живой…» Он боролся со смертью мужественно, и помогала ему не столько его живучесть, сколько страсть художника.

На Спиридоновке был прием в День Красной Армии. Все были в хорошем настроении: приближалась развязка. Вдруг по залам пронеслось: «Умер Толстой…» Мы знали, что он очень тяжело болен, и все же это показалось нелепостью — несправедливым, бессмысленным, ужасным.

Он мне как-то сказал: «Илья, ты должен быть мне признателен по гроб — я тебя научил курить трубку…» Я думаю о нем действительно с глубокой признательностью. Ничему он меня не научил — вот только что курить трубку… Был он на девять лет старше меня, но никогда я не воспринимал его как старшего. Он меня не учил, но радовал — своим искусством, своей душевной тонкостью, скрываемой часто веселой маской, своим аппетитом к жизни, верностью друзьям, народу, искусству. Он сформировался до революции и нашел в себе силы перешагнуть в другой век, был с Россией в 1941 году. Глядя на его большую, тяжелую голову, я всегда чувствовал: этот все помнит, но память его не придавила. Я ему признателен за то, что

мы встретились в глухое, спокойное время, в 1911 году, и что я был у него на даче, когда он 10 января 1945 года, больной, справлял свой день рождения — за шесть недель до смерти; признателен за то, что в течение тридцати пяти лет я знал, что он живет, чертыхается, хохочет и пишет — с утра до ночи пишет, и так пишет, что читаешь, и порой дыхание захватывает от совершенства слова.

21

Есть распространенный образ башни из слоновой кости, которую облюбовали поэты и художники, пожелавшие уйти от действительности. В этой башне и никогда не был и не знаю, существовала ли она. Не был я и в той «башне» (вернее, на чердаке), где жил поэт В. И. Иванов и куда ходил молодой Алексей Толстой. Нас было человек сто, поэтов и художников, которые ненавидели существующее общество; французы, русские, испанцы, итальянцы, люди других национальностей, все чрезвычайно бедные, плохо одетые, голодные, но упрямые в своем желании создать новое, настоящее искусство. Мы жили в душном, полутемном кафе, и оно никак не походило на башню из слоновой кости.

В конце 1924 года Маяковский писал:

Париж
фиолетовый,
Париж в анилине,
вставал
за окном «Ротонды».

Маяковский увидал «Ротонду», которую осматривали туристы, как достопримечательность — не паршивое, вонючее кафе, а памятник старины, отремонтированный, расширенный, заново выкрашенный. Иностранцы приходили и слушали объяснения гидов: «За этим столиком обычно сидели Гийом Аполлинер и Пикассо… Вот в том углу Модильяни рисовал присутствовавших и отдавал за рюмку коньяку рисунок…»

Теперь и туристов водить некуда: вместо «Ротонды» построили кинотеатр. Только в киностудиях иногда восстанавливают бутафорскую «Ротонду»: изготовляют фильмы о бурной и загадочной жизни «последних представителей богемы». Картины получаются вздорные даже не потому, что герои не напоминают прототипов, а потому, что у постановщиков нет ключа к тем мыслям и чувствам, которые воодушевляли посетителей «Ротонды».

Кафе напоминало сотни других. У цинковой стойки извозчики, шоферы такси, служащие пили кофе или аперитивы. Позади была темная комната, прокуренная раз и навсегда, десять — двенадцать столиков. Вечером эта комната заполнялась; стоял крик: спорили о живописи, декламировали стихи, обсуждали, где

достать пять франков, ссорились, мирились; кто-нибудь напивался, его вытаскивали. В два часа ночи «Ротонда» закрывалась на один час; иногда хозяин разрешал завсегдатаям, если они вели себя пристойно, просидеть часок в темном пустом помещении — это было нарушением полицейских правил; в три часа кафе открывалось, и можно было продолжать невеселые разговоры.

Владелец кафе Либион не мог представить себе, что его имя попадет в историю живописи. Это был добродушный толстый кабатчик, который купил небольшое кафе; случайно «Ротонда» стала генеральным штабом разноязычных чудаков, или, как говорил Макс Волошин, «обормотов», поэтов и художников, из которых некоторые впоследствии стали знаменитыми. Будучи обыкновенным средним буржуа, Либион вначале косо поглядывал на весьма странных клиентов; кажется, он принимал нас за анархистов. Потом он к нам привык, даже полюбил нас. Кто-то сказал ему, что некоторые люди разбогатели на живописи: покупали за гроши картины у никому не известных художников, а двадцать лет спустя продавали их за большие деньги. Идея такого заработка не очень соблазняла Либиона; как-то он сказал мне, что не любит азартных игр, а покупать картины — это лотерея: хорошо, если из тысячи художников один выйдет в люди. Он предпочитал зарабатывать на напитках. Конечно, порой он брал рисунок Модильяни за десять франков — ведь блюдечек гора, а у бедняги нет ни одного су… Иногда Либион совал пять франков поэту или художнику, сердито говорил: «Найди себе бабу, а то у тебя глаза сумасшедшие…» На его нижней губе неизменно красовался окурок погасшей сигареты. Ходил он по большей части без пиджака, но в жилетке.

Однажды, когда я сидел в «Ротонде», художница Мямлина попросила меня подержать ее грудного ребенка — ей нужно купить напротив сигареты. Прошло полчаса, прошел час — Мямлиной не было. Младенец начал кричать. Подошел Либион, выслушал меня и явно не поверил: «Знаю я вас — изготовляете ребят, а потом от них открещиваетесь. Ладно, неси его ко мне — у меня там старая женщина, она тебе поможет. Хорош папаша!..» Либион жил рядом с «Ротондой»; квартира была мещанской: красные портьеры, на стене красивенький пейзаж. Никогда бы он не повесил у себя Модильяни или Сутина. боже упаси! Он привязался к своим клиентам, но не к их произведениям…

После Февральской революции в «Ротонду» как-то пришли русские солдаты из бригады, которую царское правительство направило на Западный фронт: им сказали, что здесь они смогут разыскать русских эмигрантов. Солдаты требовали, чтобы их

отправили в Россию. Полиция начала придираться к Либиону; говорили, будто «Ротонда» — главная квартира революционеров; запретили посещение этого кафе военными; Либиону нанесли серьезные убытки; ко всему он испугался: время было скверное, Клемансо решил закрутить гайки покрепче, полиция бесчинствовала. Повздыхав, покряхтев, Либион продал «Ротонду» другому кабатчику, а сам купил небольшое кафе в спокойном месте — подальше от художников. Но тогда-то он понял, что обыкновенные посетители ему не интересны. Иногда он приходил в «Ротонду», садился в темный угол, заказывал стакан пива и тоскливо глядел по сторонам. Несколько лет спустя он умер; хоронить его пришли художники, поэты; некоторые стали к тому времени известными, и Либион, как многие его клиенты, узнал посмертную славу.

Мой первый роман начинается сточной справки: «Я сидел, как всегда, в кафе на бульваре Монпарнас перед пустой чашкой и ждал, что кто-нибудь освободит меня и заплатит шесть су терпеливому официанту». Затем я рассказываю, что в кафе, вошел Хулио Хуренито, которого я принял за черта; это, конечно, вымысел. Я встретил в «Ротонде» людей, сыгравших крупную роль в моей жизни, но ни одного из них я не принял за черта — мы все тогда были и чертями и мучениками, которых черти жарят на сковородке. В театры мы ходили редко, не только потому, что у нас не было денег, — нам приходилось самим играть в длинной запутанной пьесе; не знаю, как ее назвать — фарсом, трагедией или цирковым обозрением; может быть, лучше всего к ней подойдет определение, придуманное Маяковским, — «мистерия-буфф».

Конечно, внешне «Ротонда» выглядела достаточно живописно: и смесь племен, и голод, и споры, и отверженность (признание современников пришло, как всегда, с опозданием). Именно эта живописность прельщает кинопостановщиков. Когда случайный посетитель, шофер или банковский служащий, выпив у стойки кофе с рюмочкой, заглядывал в мрачную комнату, он изумленно улыбался или, возмущенный, отворачивался: публика была необычайной даже для привыкших ко всему парижан.

Поражала прежде всего пестрота типов, языков — не то павильон международной выставки, не то черновая репетиция предстоящих конгрессов мира. Многие имена я забыл, но некоторые помню; одни из них стали известны всем, другие померкли. Вот далеко не полный список. Французские поэты Гийом Аполлинер, Макс Жакоб, Блез Сандрар, Кокто, Сальмон, художники Леже, Вламинк, Андре Лот, Метценже, Глез, Карно, Рамэ, Шанталь, критик Эли Фор; испанцы Пикассо, Хуан Грис,

Мария Бланшар, журналист Корпус Варга; итальянцы Модильяни, Северини; мексиканцы Диего Ривера, Саррага; русские художники Шагал, Сутин, Ларионов, Гончарова, Штеренберг, Кремень, Федер, Фотинский, Маревна, Издебский, Дилевский, скульпторы Архипенко, Цадкин, Мещанинов, Инденбаум, Орлова; поляки Кислинг, Маркусси, Готтлиб, Зак, скульпторы Дуниковский, Липшиц; японцы Фужита и Кавашима; норвежский художник Пер Крог; датские скульпторы Якобсен и Фишер; болгарин Паскин. Вспомнить трудно — наверно, я много имен пропустил.

Внешность посетителей также должна была удивлять несведущих. Никто, например, не может достоверно описать, как был одет Модильяни; в хорошие периоды на нем была куртка из светлого бархата, на шее красный фуляр; когда же он долго пил, нищенствовал, хворал, он был обмотан в яркое тряпье. Японский художник Фужита прогуливался в домотканом кимоно. Диего Ривера потрясал лепной мексиканской палкой. Его подруга, художница Маревна (Воробьева-Стебельская), любила пестро одеваться, голос у нее был громкий, пронзительный. Поэт Макс Жакоб жил на другом конце Парижа — на Монмартре; он приходил днем в вечернем костюме, блистала белоснежная манишка; в глазу всегда был монокль. Индеец с перьями на голове показывал всем свои настели. Негритянка Айша, откидывая назад большую голову, покрытую черно-синими жесткими кудряшками, бурно хохотала, в полумраке сверкали ее зубы. Скульптор Цадкин появлялся в рабочей спецовке, его сопровождал огромный датский дог, славившийся крутым нравом. Натурщица Марго по привычке раздевалась; однажды она мне сказала, что ее мечта — стать королевой; я удивился, она объяснила: «Дурачок! Ведь королеву каждому хочется изнасиловать…» Неизменно в самом темном углу сидели Кремень и Сутин. У Сутина был вид перепуганный и сонный; казалось, его только что разбудили, он не успел помыться, побриться; у него были глаза затравленного зверя, может быть, от голода. Никто на него не обращал внимания. Можно ли было себе представить, что о работах этого тщедушного подростка, уроженца белорусского местечка Смиловичи, будут мечтать музеи всего мира?…

Помню, как Давид Петрович Штеренберг привел в «Ротонду» А. В. Луначарского. Я сидел с ними за одним столиком. Луначарский хвалил рисунки Стейнлена, говорил, что Франц Штук — художник упадочный, но интересный. Я не соглашался, Стейнлен мне казался незначительным, а Штук — дурным и безвкусным декадентом, но мне было с Анатолием Васильевичем уютно: я почувствовал себя в Москве. Когда он ушел, Либион сказал мне: «Я не думал, что у тебя есть порядочные знакомства.

Этот господин — твой земляк? Он может тебе помочь стать на ноги…»

Рассказывая о живописности посетителей «Ротонды», я должен признаться, что не отставал от других. Еще в период «Клозери де лиля» я выглядел несуразно. С. И. Толстая вспоминает, что Алексей Николаевич послал открытку в кафе, поставив вместо моей фамилии: «Au monsieur mal coiffe» — «Плохо причесанному господину», — и открытку передали именно мне. А в «Ротонде» я совсем обосячился. Волошин в газетной статье 1916 года описывал «болезненного, плохо выбритого человека с очень длинными и очень прямыми волосами, спадающими несуразными космами, в широкополой фетровой шляпе, стоящей торчком, как средневековый колпак, сгорбленного, — с плечами и ногами, ввернутыми внутрь». Макс уверял, что мое «появление в других кварталах Парижа вызывает смуту и волнение прохожих. Такое впечатление должны были производить древние цинические философы на улицах Афин и христианские отшельники на улицах Александрии».

Завсегдатаи «Ротонды» были неизвестны за ее пределами. Но Пикассо уже знали, о нем иногда писали в газетах; Либиону рассказали, что картины Пабло покупает «русский князь Шукэн» (Щукин), и он почтительно здоровался: «Добрый день, господин Пикассо!»

Пабло жил на Монмартре, потом перебрался на Монпарнас, снял мастерскую недалеко от «Ротонды». Я никогда не видал его пьяным. Он выглядел юношей; любил проказничать. Однажды он пришел с Диего, рассказал, что они исполнили серенаду под окнами Гийома Аполлинера: «Mere de Guillaume Apollinaire». В переводе это означает «мать Аполлинера», но по-французски звучит не вполне благозвучно.

Жизнь в «Ротонде» была, скорее, однообразной; порой приключались события, о которых несколько дней говорили. Кислинг и Готтлиб дрались на дуэли, одним из секундантов был Диего; о дуэли пронюхали журналисты, и на один день все газеты занялись «Ротондой». Среди посетителей кафе было много скандинавов; Либион для них выписывал иностранные газеты. Шведы пили больше всех, это были идеальные клиенты. Помню, рядом со мной сидел художник-швед; он то и дело заказывал двойную порцию коньяка; на столике красовался столб блюдечек. Коньяк не мешал шведу внимательно читать «Свенска дагблад»; газета закрывала его лицо. Вдруг газета упала — оказалось, что швед умер. Пришла полиция; мы молча отправились по домам. Однажды испанец, огромный детина, разъярился, схватил мраморный столик за ножку и начал им размахивать, кричал, что

сейчас перебьет всех — ему опротивела жизнь. Мы отступили к стойке. У Либиона был твердый принцип: никогда не звать полицию. Испанец неожиданно улыбнулся, поставил столик на место и сказал: «А теперь можно выпить за жизнь номер два…»

При всем этом «Ротонда» была не притоном, а кафе; там владельцы картинных галерей назначали свидания художникам, ирландцы обсуждали, как им покончить с англичанами, шахматисты разыгрывали длиннейшие партии. Среди последних помню Антонова-Овсеенко; перед каждым ходом он приговаривал: «Нет, на этом вы меня не поймаете, я стреляный…»

В конце 1914 года из Италии приезжал в Париж брат Модильяни — социалист, депутат парламента. Эммануэле Модильяни был против вступления Италии в войну; в «Ротонде» он назначил свидание Ю. О. Мартову и П. Л. Лапинскому. Говорили, что он очень огорчился, увидав своего брата в безумном состоянии, и приписал это дурным знакомствам, «Ротонде».

Между тем «Ротонда» не могла никого лишить душевного спокойствия, она просто притягивала к себе людей, спокойствия лишенных. Журналисты не знали, о чем мы беседуем; порой они описывали драки, попойки, самоубийства. Дурная слава «Ротонды» росла. Во время войны я увидел за соседним столиком молодую скромную женщину, по ее виду было ясно, что она попала на Монпарнас случайно. Она робко заговорила со мной; оказалось, она модистка, приехала на один день в Париж из Пуатье и захотела познакомиться с жизнью художников. Я ей объяснил, что я не художник, а русский поэт. Это ей показалось еще более романтичным. Она меня проводила до гостиницы и попросила разрешения посмотреть, как я живу. Мои мысли были заняты художницей Шанталь, и я сухо сказал, что должен работать. «Вы работайте, а я тихонько посижу…» Она ужаснулась беспорядку в моей комнате, все прибрала; достала из шкафа рваные носки, заштопала, пришила пуговицы к рубашкам и ушла довольная — познакомилась с бытом богемы. А я сидел в холодной комнате и сочинял стихи:

В колбасной дремали головы свиньи.
Бледные, как дамы,
Из недвижных глаз сочилось уныние
На плачущий мрамор.
Если хотите, и подарю вам фаршированного борова
Или бонбоньерку с видами Реймского собора…

Я рассказываю о «Ротонде», и невольно вспоминаются

анекдотические эпизоды; между тем все было куда печальней и куда серьезней. Модильяни по вечерам рисовал в кафе портреты, рисовал на почтовой бумаге, иногда двадцать рисунков подряд. Но ведь не поэтому он стал Модильяни. Работали мы не в «Ротонде», а в нетопленых мастерских, на чердаках, в грязных меблирашках, именуемых гостиницами. Мы приходили в «Ротонду» потому, что нас влекло друг к другу. Не скандалы нас привлекали; мы даже не вдохновлялись смелыми эстетическими теориями; мы просто тянулись друг к другу: нас роднило ощущение общего неблагополучия.

Я напишу о Пикассо, Модильяни, Леже, Ривере. Сейчас мне хочется забежать вперед, понять, что тогда приключилось с нами и с тем искусством, которым мы жили.

Итальянские футуристы предлагали сжечь музеи. Модильяни отказывался подписать их манифест, он не скрывал любви к старым мастерам Тосканы. Пикассо с восхищением говорил то о Греко, то о Гойе, то о Веласкесе. Макс Жакоб мне читал стихи Рютбефа. Никто из нас не отрицал старого искусства; но часто мы мучительно думали, нужно ли теперь искусство, хотя без него не могли прожить и дня.

В «Ротонде» собирались не адепты определенного направления, не пропагандисты очередного «изма»; нет ничего общего между сухим и бескрасочным кубизмом, которым увлекался тогда Ривера, и лирической живописью Модильяни, между Леже и Сутиным. Потом искусствоведы придумали этикетку «парижская школа»; пожалуй, вернее сказать — страшная школа жизни, а ее мы узнали в Париже.

Революция, которую произвели импрессионисты, а потом Сезанн, ограничивалась живописью. Мане был в жизни не бунтовщиком, а светским человеком. Сезанн видел только природу, холст, краски. Когда во время дела Дрейфуса Франция кипела, он недоумевал, как может его былой товарищ Золя интересоваться подобными пустяками. Мятеж художников и связанных с ними поэтов в годы, предшествовавшие первой мировой войне, носил другой характер, он был направлен не только против эстетических канонов, но и против общества, в котором мы жили, «Ротонда» напоминала не вертеп, а сейсмическую станцию, где люди отмечают толчки, неощутимые для других. В общем, французская полиция уж не так ошибалась, считая «Ротонду» местом, опасным для общественного спокойствия…

Как то бывает всегда, одни из участников бунта потом отошли или в изменившейся обстановке потускнели, исчезли из виду, другие — Модильяни, Гийом Аполлинер — рано умерли,

третьи пронесли исступление тех лет через всю свою жизнь, их биография шла в ногу с историей века.

Самое трудное для писателя — придумать заглавие книги; обычно заглавия или претенциозны, или носят чересчур общий характер. Но заглавием «Стихи о канунах» я доволен куда больше, чем самими стихами. Годы, о которых я теперь пишу, были действительно канунами. О них многие говорят как об эпилоге. Есть белые ночи, когда трудно определить происхождение света, вызывающего волнение, беспокойство, мешающего уснуть, благоприятствующего влюбленным, — вечерняя это заря или утренняя? Смешение света в природе длится недолго — полчаса, час. А история не торопится. Я вырос в сочетании двойного света и прожил в нем всю жизнь — до старости…

22

Не знаю почему, в ту пору я больше дружил с художниками, чем с поэтами. Может быть, потому, что язык живописи интернационален, а может быть, просто потому, что художники больше часов просиживали в «Ротонде».

В начале 1914 года кто-то из художников подозвал меня к столику в темном углу «Ротонды»: «Я тебя познакомлю с Аполлинером». Я тогда увлекался этим поэтом, пробовал перевести несколько его стихотворений. Вот начало одного:

Долина осенью пышна, но ядовита,
И медленно бредут по ней коровы.
Вбирая темный и тягучий яд.
От крокусов долины той лиловой,
Как крокус, пышен и лилов твой взгляд,
И в жизнь мою из глаз твоих струится
Такой же медленный и страшный яд…

Легко догадаться, как я волновался, Я ничего не мог выговорить, и даже не следил за беседой, а на Аполлинера глядел, видимо, с таким восхищением, что он смеясь сказал: «Я не красивая девушка, а мужчина средних лет». Он не походил на завсегдатаев «Ротонды», ничего не было экзотичного в одежде или в поведении, говорил громко, смеялся и, хотя он был поляком Вильгельмом Костровицким, который родился в Риме, походил на добродушного фламандца. Была в нем восторженность, которую потом я увидел, пожалуй, только у чешского поэта Незвала.

Несколько раз я встречал его в «Ротонде». Он любил пошутить, однажды предложил нам написать мистерию о змее, яблоке и Пикассо. Пабло, как суеверный испанец, не мог спокойно слушать слово «змея» и делал под столом магические знаки, чтобы отогнать беду.

Стихи Аполлинера мне казались чересчур гармоничными, я его перевел в классики и жаловался Диего Ривере: «Аполлинер — это Гюго, Пушкин. Он пишет: «Сладкий Пан, любовь и Христос умерли. Кошки мяукают тоскливо. И я не в силах сдержать своих слез». Диего отвечал: «Это потому, что Аполлинер — француз, то есть он поляк, но пишет по-французски…» (Я не раз давал себе слово — не написать ни одной строки по-французски и выполнил это.) А к стихам Аполлинера я был несправедлив: он был не

только большим поэтом, но и человеком нового века, чуть припудренным серебряной пылью древних европейских дорог.

В начале войны он пошел добровольцем на фронт; сначала прославлял войну, потом увидел ужас окопной жизни и написал об этом. Весной 1916 года снаряд разорвался возле окопа, осколок пробил шлем, и Аполлинер был тяжело ранен в голову. Сильные головные боли и паралич левой части тела потребовали трепанации черепа. Здоровье Аполлинера было подорвано, и в ноябре 1918 года, за два дня до конца войны, он умер от «испанки» — злостной формы гриппа.

Когда я начал работать над воспоминаниями, мне принесли из библиотеки связку книг о поэтах первой четверти века, среди них оказалась книга писем поэта Макса Жакоба. В 1915 году он писал Гийому Аполлинеру, старшине артиллерийской бригады: «У нас довольно крупный русский поэт Илья Эренбург; он перевел мне свои стихи. Он считает себя учеником Жамма, но он больше напоминает тебя или Гейне. У него в стихах нечто вроде Страшного суда: идут за стариком, который сидит в кафе, — разве вы не знаете, что пришел Страшный суд? Нужно идти! А старик отвечает: «Что там? Страшный суд? Не могу — меня к ужину ждут…» Не все его стихи достигают подобной силы, но хотелось бы побольше поэтов, таких сильных, как этот человек…» Максу Жакобу я тогда казался сильным, но это была сила отрицания, сам я часто думал о своей слабости.

Макс Жакоб сказал, что хочет перевести несколько моих стихотворений на французский язык. Работали мы у него; он жил на Монмартре, в маленькой комнате. По-прежнему он приходил в «Ротонду» чрезвычайно элегантным, а возвращаясь домой, снимал выходной костюм, аккуратно складывал его в сундук и облачался в замызганную курточку.

(В конце 1917 года в Москве я получил письмо от Макса Жакоба; он сообщал, что переводы моих стихов читали на вечере современной поэзии в «Осеннем салоне». Я не ответил — мы жили в разных мирах…) Были у Макса Жакоба некоторые черты, сближавшие его с другим Максом — Волошиным: оба, помимо поэзии, занимались живописью, оба обожали игру, дурачества, мистификацию. Когда Макс Жакоб попал под машину и «скорая помощь» отвезла его в госпиталь, он умолял, чтобы врачи предупредили его дочь, хотя никакой дочери у него не было. Он принял католичество: уверял, что к нему являлись Христос и Мария. Не знаю, что было от веры, что от игры. Он мне вполне серьезно рассказывал, что Богоматерь, явившись к нему, сказала (на арго): «Макс, ты паскудный…» Крестным отцом был Пикассо.

Подлинной страстью Макса Жакоба было искусство; он писал

стихи нежные и насмешливые, то обличал самодовольных буржуа, то по-детски исповедовался, предвидел взлет физики, астрономии, обладал необыкновенным воображением и чувствительностью, которая позволяла ему многое предугадать: писал, что министры и эстеты ведут абстрактные разговоры о чистом искусстве, о величии Франции, а над ними оловянное небо, изрезанное молниями.

Много лет он прожил в аббатстве на Луаре; там его застала вторая мировая война. Вскоре Максу пришлось надеть на себя желтую звезду — он был евреем. Он писал друзьям печальные письма: знал, что ему предстоит. Однажды к нему приехал Поль Элюар, участник Сопротивления: он хотел рассказать Жакобу, чем молодая поэзия Франции ему обязана.

В январе 1945 года парижское радио передало, что немцы убили Макса Жакоба. Потом я узнал подробности его смерти. В начале 1944 года немцы увезли Макса на пересыльный пункт Дранси. Оттуда евреев отправляли в Освенцим (там погибли все родственники Жакоба). Максу было шестьдесят восемь лет; он заболел и умер в Дранси; спасшиеся рассказывали, что умирал он достойно, стараясь приподнять и пригреть других.

23

Редко я беседовал с Модильяни без того, чтобы он не прочитал мне несколько терцин из «Божественной комедии»: Данте был его любимым поэтом. В «Стихах о канунах» есть стихотворение, помеченное апрелем 1915 года:

Ты сидел на низенькой лестнице,
Модильяни.
Крики твои — буревестника…
А масленый свет приспущенной лампы,
А жарких волос синева!..
И вдруг я услышал: страшного Данта —
Загудели, расплескались темные слова…

Данте не только грозен; я вспоминаю строки из «Чистилища»; поэт и его спутник, поднявшись в гору, присели и тихо смотрят на пройденный путь. Мне хочется посидеть сейчас с живым Модильяни (с Моди — так называли его друзья). Из него сделали героя ходкого фильма, написали о нем несколько пошлых романов. Разве постановщик фильма мог спокойно посидеть на каменной ступеньке и задуматься над петлями чужой для него дороги?…

Так создалась легенда о голодном, беспутном, вечно пьяном художнике, о последнем представителе богемы, который в редкие часы между двумя попойками писал своеобразные портреты, умер в нищете, а после смерти стал знаменитым.

Все здесь правда, и все ложь. Правда, что Модильяни голодал, пил, глотал зернышки гашиша; но объяснялось это не любовью к распутству или к «искусственному раю». Ему вовсе не хотелось голодать, он ел всегда с аппетитом, он и не искал мученичества. Может быть, больше других он был создан для счастья. Он был привязан к сладкой итальянской речи, к мягкому пейзажу Тосканы, к искусству ее старых мастеров. Он не начал с гашиша… Конечно, он мог бы писать портреты, которые нравились бы и критикам и заказчикам; у него были бы деньги, хорошая мастерская, признание. Но Модильяни не умел ни лгать, ни приспосабливаться; все встречавшиеся с ним знают, что он был очень прямым и гордым.

Я видел его в тяжелые дни и в дни просветов; видел спокойным, чрезвычайно вежливым, гладко выбритым, с бледным, чуть голубоватым лицом, с мягкими, ласковыми

глазами; видел и неистового, обросшего черной щетиной — этот Модильяни пронзительно вскрикивал, как птица; может быть, как альбатрос; я ведь в стихах припомнил буревестника не ради аллегории.

(Модильяни любил стихотворение Бодлера об альбатросе, над которым потешаются матросы, — «крылатый путник жалок на земле…».)

Я сказал, что он был красив; женщины на него заглядывались; красота его мне всегда казалась итальянской. Он был, однако, сефардом — так называют потомков евреев, которые после изгнания из Испании поселились в Провансе, в Италии, на Балканах.

Как-то я зашел с Модильяни в кафе на бульваре Пастер; он перед этим работал, был спокоен. За соседним столиком почтенные люди играли в карты. Я переписывал стихи, которые мне показал Моди, и ничего не слышал. Вдруг Модильяни вскочил: «Заткни глотку! Я — еврей, и я могу с тобой поговорить. Понимаешь?…» Картежники молчали. Модильяни заплатил за кофе и громко сказал: «Жаль, что мы залезли в это кафе, сюда ходят свиньи…» Когда мы вышли, я спросил, что же говорили за соседним столиком. «То самое, — ответил Моди. — Обидно, что мажешь кистью, — ведь еще триста лет придется бить морду…»

Он мне рассказывал, что его дедушка был римлянином, хотел разводить лозу и купил маленький участок; но по закону евреям было запрещено владеть землей; рассердившись, дед перекочевал в Ливорно, где с давних пор проживало много еврейских семейств. Моди прочитал мне итальянские сонеты Иммануила Римского, еврейского поэта XIV столетия, — издевательские, горькие и полные в то же время восхищения жизнью. Модильяни мне рассказал, как некогда римляне праздновали карнавал: еврейская община обязана была поставлять еврея-рысака, который раздевался догола и под улюлюканье веселящейся толпы, епископов, послов, дам трижды рысью обегал город. (Я тогда написал об этом поэму.)

Познакомился я с Модильяни в 1912 году; он уже был старым парижанином. При одной из первых встреч он нарисовал мой портрет; все нашли его очень похожим. Потом он часто меня рисовал; у меня была папка с его рисунками. (Летом 1917 года я с группой политических эмигрантов возвращался в Россию. В Англии нам объявили, что нельзя вывозить ни рукописей, ни рисунков, ни картин, ни даже книг. Я отобрал то ценное, что у меня было, — натюрморт Пикассо, «Эду» Баратынского с его надписью, рисунки Модильяни — и оставил чемоданчик на временное хранение в посольстве Временного правительства.

Правительство действительно оказалось временным, а чемодан пропал навсегда.)

Комната, где живет Анна Андреевна Ахматова, в старом доме Ленинграда, маленькая, строгая, голая; только на одной стене висит портрет молодой Ахматовой — рисунок Модильяни. Анна Андреевна рассказывала мне, как она в Париже познакомилась с молодым чрезвычайно скромным итальянским юношей, который попросил разрешения ее нарисовать. Это было в 1911 году. Ахматова еще не была Ахматовой, да и Модильяни еще не был Модильяни. Но в рисунке (хотя по манере он отличается от более поздних рисунков Модильяни) уже видны точность линий, их легкость, поэтическая убедительность.

Герой фильма и романов — это Модильяни в минуту отчаяния, безумия. Но ведь Модильяни не только пил в «Ротонде», не только рисовал на бумаге, залитой кофе, он проводил дни, месяцы, годы перед мольбертом, писал маслом ню и портреты.

Меня всегда удивляла его начитанность. Кажется, я не встречал другого художника, который так любил бы поэзию. Он читал на память и Данте, и Вийона, и Леопарди, и Бодлера, и Рембо. Его холсты не случайные видения — это мир, осознанный художником, обладавшим необычайным сочетанием детскости и мудрости. Когда я говорю «детскость», я, конечно, не думаю об инфантильности, о естественном неумении или нарочитом примитивизме; под детскостью я понимаю свежесть восприятия, непосредственность, внутреннюю чистоту. Все его портреты похожи на модели — сужу по тем, которых я знал, — Зборовского, Пикассо, Диего Риверу, Макса Жакоба, английской писательницы Беатрис Хестингс, Сутина, поэта Франса Элленса, Дилевского, наконец, жены Моди — Жанны. Он никогда не увлекался аксессуарами или чем-либо внешним; его холсты раскрывают природу человека. Диего Ривера, например, грузен, почти дик; Сутин хранит трагическое выражение непонимания, постоянную тоску о самоубийстве. Но удивительно, что различные модели Модильяни схожи между собой; их объединяет не затверженная манера, не внешние приемы письма, а мироощущение художника. Зборовский, с его лицом доброй лохматой овчарки, растерянный Сутин, нежная Жанна в рубашке, девочка, старик, натурщица, какой-то усач — все они похожи на обиженных детей, хотя у некоторых бороды или седые волосы. Мне думается, что жизнь представлялась Модильяни огромным детским садом, устроенным очень злыми взрослыми.

Конечно, в легенде есть правда, и легко понять, что биография Модильяни может прельстить сценариста. Недавно я

прочитал в газете, что небольшой портрет работы Модильяни был продан на аукционе в Америке за сто тысяч долларов. За всю свою жизнь Модильяни не израсходовал и четверти этой суммы. Сколько раз я видел, как старая Розали, владелица крохотной итальянской харчевни на улице Кампань-Премьер, получала от Модильяни рисунок за кусок мяса или за порцию макарон; она не хотела брать, но он настаивал — он не нищий; и Розали, глядя на листочки бумаги, испещренные тонкими разорванными линиями, горестно вздыхала: «Бог ты мой…» Правда и то, что его не понимали даже просвещенные ценители живописи. Для тех, кому нравились импрессионисты, Модильяни был несносен равнодушием к свету, четкостью рисунка, произвольным искажением натуры. Все говорили о кубизме; художники, порой одержимые идеей разрушения, были в то же время инженерами, архитекторами, конструкторами; а для любителей кубистических полотен Модильяни был анахронизмом. Биографы отмечают, что 1914 год был для Модильяни удачным: он нашел торговца картинами Зборовского, который сразу понял и полюбил его работы. Но Зборовский сам был неудачником: молодой польский поэт приехал в Париж, мечтал о рейсе на волшебную Цитеру и оказался на мели — перед чашкой кофе в «Ротонде». Денег у него не было; он жил с женой в маленькой квартире; Модильяни там часто работал. А Зборовский брал под мышку его холсты и с утра до ночи рыскал по Парижу, тщетно пытаясь соблазнить работами итальянского художника настоящих торговцев картинами.

Правда, наконец, то, что Модильяни порой овладевали беспокойство, ужас, гнев. Помню ночь в захламленной мастерской; было много народу — и Диего Ривера, и Волошин, и натурщицы. Модильяни был очень возбужден. Его подруга Беатрис Хестингс говорила с резко выраженным английским акцентом: «Модильяни, не забывайте, что вы джентльмен, ваша мать — дама высшего общества…» Эти слова действовали на Моди, как заклинание; он долго сидел молча; потом не выдержал и начал ломать стену; расковырял штукатурку, пробовал вытащить кирпичи. Его пальцы были в крови, а в глазах было такое отчаяние, что я не выдержал и вышел на грязный двор, заваленный обломками скульптуры, битой посудой, пустыми ящиками.

В годы войны он часто приходил вечером в столовку, где ужинали художники; сидел на ступеньке внутренней лестницы; иногда декламировал Данте, иногда говорил о бойне, о гибели цивилизации, о поэзии, обо всем, кроме живописи. Одно время он увлекался пророчествами французского медика, жившего в XVI веке, — Нострадамуса. Он уверял меня, что Нострадамус с

точностью предугадал Французскую революцию, триумф и разгром Наполеона, конец папского государства, объединение Италии; приводил еще не осуществленные предсказания: «Вот мелочь — республика в Италии… А вот и поважнее — людей отправят в изгнание на острова, к власти придет жестокий властелин, посадят в тюрьму всех, кто не научится молчать, и людей начнут истреблять…» Вытаскивая из кармана растрепанную книжку, он начинал выкрикивать: «Нострадамус предвидел военную авиацию. Скоро всех людей, которые посмеют не вовремя улыбнуться или заплакать, пошлют на полюс — одних на Северный, других на Южный…»

Когда пришли первые известия о революции в России, Моди прибежал ко мне, обнял меня и начал восторженно клекотать (порой я не мог понять, что именно он говорит).

В «Ротонду» стала приходить молоденькая девушка Жанна, похожая на школьницу; у нее были светлые глаза, светлые волосы, она робко поглядывала на художников. Говорили, что она учится живописи. Незадолго до моего отъезда в Россию я увидел на бульваре Вожирар Модильяни с Жанной. Они шли, взявшись за руки, и улыбались. Я подумал: наконец-то Моди нашел свое счастье…

Я приехал снова в Париж в мае 1921 года. Мне стали поспешно рассказывать все новости. «Как, ты не знаешь, что Модильяни умер?…» Я ничего не знал о друзьях по «Ротонде». Моди всегда кашлял, мерз; открылся процесс в легких; организм был истощен. Он умер в госпитале в начале 1920 года. Жанны на кладбище не было; когда друзья после похорон вернулись в «Ротонду», они узнали, что час назад Жанна выбросилась из окна. Осталась маленькая дочь Моди — тоже Жанна.

Вот и все. Похоронили Модильяни в складчину. Год спустя в Париже открылась выставка его работ. О нем писали книги; на его картинах наживались. Впрочем, это настолько обычная история, что о ней не стоит много говорить…

В различных музеях мира — в Нью-Йорке и в Стокгольме, в Париже и в Лондоне — я встречался с Модильяни. Он писал иногда ню, но большинство его работ — портреты. Он создал множество людей; их печаль, оцепенение, их затравленная нежность и обреченность потрясают посетителей музея.

Может быть, иной ревнитель «реализма» скажет, что Модильяни пренебрегал природой, что у женщин на его портретах чересчур длинные шеи или чересчур длинные руки. Как будто картина — это анатомический атлас! Разве мысли, чувства, страсти не меняют пропорций? Модильяни не был холодным наблюдателем; он не разглядывал людей со стороны,

он с ними жил. Это портреты людей, которые любили, томились, страдали; и даты — не только вехи пути художника, это вехи века: 1910–1920. Смешно говорить, что Модильяни не знал, сколько позвонков приходится на шею, — он этому учился много лет в художественных училищах Ливорно, Флоренции, Венеции. Он знал и другое: например, сколько лет водном таком году, как 1914-й. И если менялись, казалось бы вековые, понятия человеческих ценностей, как мог художник не увидеть изменившимся лицо своей модели?

Холсты Модильяни о многом расскажут последующим поколениям. А я гляжу, и передо мной друг моей далекой молодости. Сколько в нем было любви к людям, тревоги за них! Пишут, пишут — «пил, буянил, умер»… Не в этом дело. Дело даже не в его судьбе, назидательной, как древняя притча. Его судьба была тесно связана с судьбами других; и если кто-нибудь захочет понять драму Модильяни, пусть он вспомнит не гашиш, а удушающие газы, пусть подумает о растерянной, оцепеневшей Европе, об извилистых путях века, о судьбе любой модели Модильяни, вокруг которой уже сжималось железное кольцо.

24

Лето 1914 года началось для меня хорошо. Я написал несколько стихотворений, которые показались мне менее подражательными, чем прежние (я их включил потом в книгу «Стихи о канунах»).

Лето было необычайно ясным, жарким, с редкими сильными ливнями. Все буйно цвело. Неожиданно я получил деньги из двух редакций и решил направиться в Голландию — ведь не запасаться же зимним пальто! Меня соблазняли и живопись Рембрандта, и описания своеобразного быта, и приветливые голландки в белых чепчиках, фотографии которых висели в «Бюро путешествий».

(Мне странно теперь представить себе, что можно было отправиться в другую страну, не заполнив анкеты, не проводя недели в ожидании — впустят или не впустят; но слово «виза» я услышал впервые во время войны; прежде не спрашивали даже паспорта — на границе в вагон приходили только таможенники.)

Голландия оказалась тихой и живописной. Чепчики были действительно белыми; действительно кружились крылья ветряных мельниц; крестьяне медленно покуривали длинные глиняные трубки; выхоленные коровы меланхолично жевали нежно-зеленую траву, а к утреннему завтраку неизменно подавали сыр. Словом, путеводитель, которым я обзавелся в Париже, меня не обманул.

Повсюду были музеи, и утром, проглотив побольше бутербродов с сыром, чтобы не обедать, я направлялся в какой-либо музей. Обычно голландскую живопись определяют как сугубо реалистическую, говорят, что она вдохновлялась повседневной жизнью. Сюжеты картин как бы подтверждают такие суждения: портреты, жанровые сцены, пейзажи с обязательным в этой стране сочетанием плоской земли, воды и неба, натюрморты. Но в Италии музей не отделен от улицы, на которой он помещается, искусство там сливается с окружающей жизнью. А в Голландии меня удивил разрыв между искусством прошлого и действительностью. Крестьяне были вполне деловитыми; биржа Амстердама казалась национальным институтом, в будни все читали биржевые бюллетени, а в воскресенье — молитвенники; пляж возле Гааги был заполнен тучными дамами. Среди всего этого стояли здания музеев, и там висели полотна Рембрандта, как они висели в Лувре и в Эрмитаже.

Я спрашивал себя, чем объяснить такой разрыв. Кажется, голландские художники и три века назад жили в куда большем

внутреннем отъединении, чем итальянцы; выполняя заказы, изображая всем понятные жанровые сцены, они вдохновлялись живописным мастерством. В 1914 году слово «формализм» применялось только к «человеку в футляре»; но, выражаясь по-теперешнему, скажу, что старые голландцы мне показались формалистами. Я восхищался ими, но, выходя из музея, думал о своем.

Все это не относится к Рембрандту: от него я не мог оторваться, он меня заражал своим беспокойством. Видимо, он не жил в стороне от людей; его страстность смущала, а порой и возмущала современников. Вряд ли и другим художникам XVII века нравились негоцианты или епископы; но процветающим купцам нравились холсты художников, за картины хорошо платили, ими украшали дома. Теперь именем Рембрандта называют и улицы, и гостиницы, и марки сигар. А при его жизни было не то — имущество художника описывали, продавали с торгов; бывали годы, когда никто не стучал молотком в дверь его дома.

Я бродил вдоль каналов, мимо опрятных домов и думал о судьбе художника, не обращая внимания на прохожих. Может быть, это в климате Голландии? Недавно я читал письма Декарта к Гезу де Бальзаку. Декарт писал, как он проводит время в Голландии (он прожил в этой стране двадцать лет): «Каждый день я прогуливаюсь среди множества людей и чувствую такую же свободу, такой же отдых, как вы, когда вы гуляете по вашим аллеям, и люди, которых я встречаю, для меня те же деревья, которые вы видите в вашем лесу…» Я вспомнил и потому о Декарте, что в то время впервые начал его читать, думал о существенности сомнений: «Я мыслю, следовательно, я существую».

Был жаркий день; я шел, как всегда, по улицам Амстердама, не вглядываясь в лица прохожих; внезапно что-то меня озадачило; все взволнованно читали газеты, говорили громче обычного, толпились возле табачных лавок, где были вывешены последние известия. Что приключилось? Я попытался понять сообщения; повсюду повторялось одно слово «oorlog» [1] — оно не походило ни на немецкие, ни на французские слова. Сначала я решил вернуться в гостиницу и почитать Декарта, но мною овладело беспокойство. Я купил французскую газету и обомлел; я давно не читал газет и не знал, что происходит в мире. «Матэн» сообщала, что Австро-Венгрия объявила войну Сербии, Франция и Россия собираются сегодня объявить о всеобщей мобилизации. Англия молчит. Мне показалось, что все рушится — и беленькие уютные домики, и мельницы, и биржа…

Я попробовал обменять русские деньги — у меня было двадцать рублей; но в банках отвечали, что со вчерашнего дня меняют только золотые монеты. На гостиницу денег не хватило, я оставил там вещи и побежал на вокзал.

В ночь на второе августа я добрался до последней бельгийской станции — во Францию поезда больше не шли. Бельгийцы отвечали, что их страна при любых условиях останется нейтральной (немцы вторглись в Бельгию на следующий день). Нужно было перейти пешком границу. Светало. Мы шли между золотых тяжелых колосьев, потом был зеленый луг; пели жаворонки. Мои попутчики молчали. По пустой дороге прошло стадо, звенели бубенцы коров. Наконец вдали показался человек — это был французский часовой; он зачем-то выстрелил в воздух, и среди тишины сельского утра выстрел меня потряс: я вдруг понял, что моя жизнь раскололась на две части. Какие-то солдаты нестройно затянули «Марсельезу». Навстречу шли немцы и немки, с ребятишками, с тяжелыми узлами — они пробирались в Германию. Часовой как-то неопределенно — не то осуждающе, не то беспечно — сказал: «Вот и война!..»

В последний раз я оглянулся назад — на белую пустую дорогу, на стадо коров, на бельгийскую деревушку. Я не знал, что через несколько дней деревню сожгут и по дороге двинутся к югу германские дивизии, не знал, что война надолго (все говорили «месяц, может быть, два»), но чувствовал, что в мире все перевернулось. Теперь я знаю: как бой часов обозначает условное начало нового года, бесцельный выстрел часового где-то возле Эркелини обозначил начало нового века.

Я навсегда запомнил тот летний день. Часто говорят, что значит в жизни человека первая любовь. А то была первая настоящая война — и для меня, и для людей, меня окружавших. Сорок четыре года — немалый срок; участники франко-прусской войны успели умереть или одряхлеть; над их рассказами молодые смеялись. Никто из нас не знал, что такое война.

Ко второй мировой войне долго готовились, успели привыкнуть к тому, что она неизбежна; накануне Мюнхенского соглашения французы увидали генеральную репетицию: проводы запасных, затемнение. А первая мировая война разразилась внезапно — затряслась земля под ногами. Только много недель спустя я вспомнил, что «Эко де Пари» призывала вернуть Эльзас и Лотарингию, что еще в России на собраниях я клеймил союз Франции с царем — «царь получил аванс под пушечное мясо», что владелец булочной много раз говорил мне: «Нам нужна хорошая, настоящая война, тогда сразу все придет в порядок». А когда я проезжал через Германию, я видел заносчивых немецких

офицеров. Все готовилось давно, но где-то в стороне, а разразилось внезапно.

Меня взяли зуавы в свою теплушку. (Прежде я видел надписи на вагонах: в России — «40 человек, 8 лошадей», во Франции — «36 человек» и никогда не задумывался, о каких «людях» идет речь.) Было тесно, жарко. Поезд шел медленно, останавливался на разъездах, дожидаясь встречных эшелонов. На станциях женщины провожали мобилизованных; многие плакали. Нам совали в вагон литровые бутылки с красным вином. Зуавы пили из горлышка, давали и мне. Все кружилось, вертелось. Солдаты храбрились. На многих вагонах было написано мелом: «Увеселительная экскурсия в Берлин».

Французские солдаты были в нелепой старой форме: синие мундиры, ярко-красные штаны. Война еще рисовалась такой, какой ее изображали старые баталисты: вздыбленные кони, знаменосец на холмике, генерал машет рукой в белой перчатке. Рассказывали множество историй — то хвастливых, то комических. Никогда не рождается столько басен, как в первые недели войны; тогда я этого не знал и всему верил. Одни говорили, что французы заняли Мец, что убита тысяча немцев, что русские казаки несутся к Берлину; другие уверяли, будто немцы вторглись во Францию, подходят к Нанси, Англия объявила о своем нейтралитете, потоплен французский крейсер, царь в последнюю минуту сговорился с Вильгельмом. Никто ничего не знал. Зуавы горланили, пели песни, то жалостливые, то ернические.

Северный вокзал в Париже походил на табор. На перронах ели, спали, целовались, плакали.

Я пошел к русским друзьям. Все кричали, никто никого не слушал. Один повторял: «Франция — это свобода, я пойду воевать за свободу…» Другой уныло бубнил: «Дело не в царе, дело в России… Если пустят — поеду, нет — запишусь здесь в добровольцы…»

Трудно рассказать, что делалось в те дни. Все, кажется, теряли голову. Магазины позакрывались. Люди шли по мостовой и кричали: «В Берлин! В Берлин!» Это были не юноши, не группы националистов, нет, шли все — старухи, студенты, рабочие, буржуа, шли с флагами, с цветами и, надрываясь, пели «Марсельезу». Весь Париж, оставив дома, кружился по улицам; провожали, прощались, свистели, кричали. Казалось, что человеческая река вышла из берегов, затопила мир. Когда я ночью валился измученный на кровать, в окно доносились те же крики: «В Берлин! В Берлин!»

Я не мог оторваться от вороха газет; перечитывал все, хотя

повсюду было одно и то же: политические оттенки исчезли. Жореса убили, но его товарищи писали, что нужно воевать против германского милитаризма. Жюль Гед требовал войны до победного конца. Эрве, который славился тем, что его газета «Ля герр сосиаль» призывала солдат не повиноваться генералам, писал: «Это справедливая война, и мы будем сражаться до последнего патрона». Немецкие социал-демократы проголосовали за военные кредиты. Бетман-Гольвег назвал соглашение о соблюдении нейтралитета Бельгии «клочком бумаги». Бельгийский король призвал защищать родину; у него было симпатичное лицо, и все газеты печатали его портреты. Льеж героически сопротивлялся. Анатоль Франс попросил, чтобы его отправили на фронт, — ему было семьдесят лет; его оставили, конечно, в тылу, но выдали солдатскую шинель. Томас Манн, прославляя подвиги германской армии, вспоминал о Фридрихе Великом: «Это война всей Германии». Газеты сообщали из Петербурга об общем подъеме. Группа эсдеков и эсеров призывала эмигрантов записаться добровольцами во французскую армию: «Мы повторим жест Гарибальди… Если падет Вильгельм, рухнет в России ненавистное нам самодержавие…»

Я разворачивал «Патри» и жадно искал ответа. А кругом кричали, плакали, пели «Вперед, отечества сыны!..».

Я жил в маленькой дешевой гостинице «Ницца» на бульваре Монпарнас. Незадолго до войны хозяин гостиницы женился на милой эльзаске, почти девочке. Его призвали на четвертый или пятый день. Он собрал старых постояльцев (все они были русскими эмигрантами): П. Л. Лапинского, Ю. О. Мартова, меня — и попросил нас помочь его молодой жене, если ее будут обижать как бывшую немецкую подданную (особенно его волновало, что к жене приехал погостить брат, мальчишка лет пятнадцати, не знавший французского языка, который застрял в Париже); хозяин распорядился, чтобы с нас не брали денег за комнаты до конца войны.

Я встретил художника Леже, он сказал, что его призвали, направляют в саперный полк, завтра он уезжает. Я машинально спросил, как прошла выставка. Он усмехнулся и махнул рукой.

Ко мне пришел мой друг Тихон Иванович Сорокин с последними новостями: завтра во Дворце инвалидов начинается запись иностранных добровольцев. Он пойдет с утра.

Тяжелее всего было сидеть и смотреть, как уезжают другие. Я сказал Тихону: «Я тоже пойду…» Он долго мне говорил о значении этой войны для России. Разговора я не помню; помню только, что, уходя, он сказал: «Ну, ты, брат, просто с ума спятил…»

Мыслить я не мог и, следовательно, если Декарт прав, уже не существовал.

25

Большая площадь перед Дворцом инвалидов была заполнена людьми; колоннами выстроились итальянцы, поляки, греки, испанцы, румыны с флагами, с плакатами; было много русских — одни с трехцветными флагами, другие с красными. Образовалась первая военная очередь; если задуматься над судьбой добровольцев, можно сказать, что это была очередь на смерть; но все были веселы, пели, задорно кричали: «В Берлин!» Дни стояли знойные; люди пили лимонад и, вытирая потные лица, снова начинали петь.

Я был в хвосте и дошел до стола, где сидел усатый майор, только под вечер. Военный врач мрачно на меня посмотрел, приставил к сердцу трубку и крикнул: «Следующий!» Я думал, что мне сейчас выдадут красные штаны, но сержант меня обругал: «Ты что…, по-французски не понимаешь?» Оказалось, меня забраковали. Какие изъяны во мне обнаружил военный врач, не знаю; может быть, я показался ему чересчур дохлым — нельзя безнаказанно в течение трех или четырех лет предпочитать стихи говядине. Я убежден, что, если бы меня осмотрели на несколько месяцев позднее, я был бы признан вполне годным: стоит любому товару, в том числе пушечному мясу, стать дефицитным, как люди перестают привередничать.

В толпе я увидел многих знакомых — и русских эмигрантов, с которыми встречался в библиотеке Гобелен, и завсегдатаев «Ротонды». Я тогда не был знаком с В. Г. Финном, а он, наверно, стоял в той же колонне, что и я.

Вечером в «Ротонду» пришел Кислинг в военной форме. Либион его обнял, выставил всем шампанское; мы выпили за победу.

Тихон сказал мне, что его направляют в Блуа — там будут обучать добровольцев. Я ему позавидовал: хуже всего в такие дни быть зрителем. Мы провожали добровольцев, пели «Марсельезу», «Смело, товарищи, в ногу», какие-то сентиментальные куплеты.

Тогда вообще много пели — и на вокзалах, и на улицах, и в кафе. Очевидно, у войны свои законы: в первые недели все поют, пьют, плачут, ругаются и еще ловят шпионов. Меня несколько раз водили в полицию — из-за фамилии; каждый раз приходилось доказывать, что хотя я действительно Эренбург, но все же не немец. Рассказывали множество невероятных историй — о том, как немецкий разведчик был задержан в дамском платье, когда вывозил какие-то секретные планы, как в Елисейском дворце обнаружили кладовку, где прятался шпион с фотоаппаратом.

Повсюду были надписи: «Молчите! Остерегайтесь! Вас слушают вражеские уши».

Разгромили молочные «Магги». Арестовали графа Карольи, хотя он выступал против Габсбургов. Людей лихорадило. Все жаждали победы и уверяли друг друга, что через несколько дней будет взят Страсбург.

Вдруг по городу поползли зловещие слухи: битва проиграна, армия в беспорядке отступает, немцы идут на Париж.

Под вечер прилетел немецкий самолет — скорее для устрашения, чем для уничтожения. Немцы его называли «Taube» — «голубь»; меня больше всего удивляло это название — ведь голубку мира придумал не Пикассо, это очень старая история о большом потопе, о маленьком ковчеге и о ветке маслины, которую голубь принес в клюве отчаявшимся людям. Парижане весело кричали: «Тоб» летит!», выбегали на улицу, жадно вглядывались в небо — все это было внове…

В богатых кварталах шли путевые сборы; из домов выносили большие сундуки; горничные и лакеи впопыхах говорили: «В Ниццу…», «В Тулузу…», «В По…» Потом позакрывались ставни, стало тихо. Правительство уехало в Бордо.

«Здорово они нас предали!» — это можно было услышать повсюду. Одни обвиняли Пуанкаре, другие — Кайо, третьи — генералов. Сводки напоминали «герметическую поэзию» — их могли расшифровать только посвященные; но, помимо сводок, имелись другие источники информации — привозили раненых, появились первые дезертиры; они рассказывали, что у немцев куда больше артиллерии, все потеряли голову, полки перемешались. Люди, обожающие стратегию, говорили, что генеральный штаб наделал глупостей — пошли зачем-то в Эльзас, а левый фланг остался неприкрытым…

Ночь позднего лета, горячая, темная. Я стою возле «Клозери де лиля». Все на улицах: идут солдаты — с юга на север, от Порт д'Орлеан к Восточному вокзалу. Женщины их обнимают, плачут, кричат: «Спасите!..» На штыках георгины, астры. Песни, слезы, маленькие бумажные фонарики. Я стою всю ночь, и всю ночь мимо проходят солдаты. Нет, люди зря паникуют, у французов еще много резервов!.. Но почему они отступают? Ничего нельзя понять — ни сводок, ни песен, ни слез…

Исчезли такси — генерал Галлиени их реквизировал, чтобы подбросить подкрепление на Марну; это тоже было новшеством — о моторизованной пехоте еще никто не мечтал. Техники было меньше, но не воображения: все рисовалось грандиозным, апокалипсическим.

Утром пришел убирать комнату брат хозяйки Эмиль. Хотя он

был эльзасцем, но не скрывал своей любви к кайзеру. Русских он ненавидел; он говорил мне, что я ничего не умею делать, таковы все русские, нужно навести в России порядок. Я над ним посмеивался — мальчишка (ему еще не было пятнадцати лет). На этот раз он чуть ли не замахнулся на меня половой щеткой и торжествующе сказал: «Немцы в Мо! Завтра они будут в Париже…» Я ему не поверил, но все же выбежал и купил газету; сводка, как всегда, была туманная. Я дошел до «Ротонды». Либион сидел мрачный, даже не поздоровался со мной. Прибежал знакомый поляк и, задыхаясь, шепнул: «Они в Мо…»

Я помнил Мо, я там как-то был с Катей, это в тридцати километрах от Парижа… Черт возьми, почему военный врач придрался к моему сердцу? Я могу хорошо ходить, даже бегать.

Дальнейшее известно: началось контрнаступление; при битве на Марне погиб поэт Шарль Пеги; немцы отошли и окопались. (Потом я увидел деревянный крест с надписью «Лейтенант Шарль Пеги», а рядом столбик «34» — тридцать четыре километра от Парижа.)

В соборе Парижской Богоматери состоялось торжественное богослужение. Молившиеся кричали: «Да здравствует Господь Бог! Да здравствует Жоффр!» Кого это могло тогда рассмешить? Разве что химер, но, будучи каменными, они сидели и молча думали, как им положено.

Немцы отступили не так уж далеко; газеты, желая рассеять опасный оптимизм, писали: «Нужно помнить, что немцы в Нуайоне». Нуайон был в девяноста километрах от Парижа. «Немцы в Нуайоне» стало присказкой, но она мало-помалу теряла силу — жизнь вступала в свои права.

Я по-прежнему прочитывал десятки газет: может быть, кто-нибудь на свете мыслит, следовательно, существует? Я искал, что говорят писатели. Меня не удивили воинственные речи Киплинга, Гауптмана, Лоти. Я смеялся над оперными выступлениями Д'Аннунцио, который требовал крови. Но и другие — Верхарн, Анатоль Франс, Мирбо, Уэллс, Томас Манн — повторяли то же, что говорили Пуанкаре или фон Бюлов. В некоторых газетах были белые пятна — статьи или сообщения, зачеркнутые цензурой (французы почему-то называют цензуру женским именем — Анастасия). Эти белые пятна меня несколько обнадеживали — кто-то знает правду, но не может ее высказать.

С тех пор прошло много лет, много событий — фашизм, вторая мировая война, Освенцим, Хиросима; смятение, овладевшее мною осенью 1914 года, может показаться наивным. Однако первый убитый потрясает человека, дотоле не нюхавшего пороху, больше, чем впоследствии зрелище страшного поля боя.

Блок писал еще в 1911 году:

И отвращение от жизни,
И к ней безумная любовь,
И страсть и ненависть к отчизне…
И черная, земная кровь
Сулит нам, раздувая вены,
Все разрушая рубежи,
Неслыханные перемены,
Невиданные мятежи…

Я сидел часами над ворохом газет; все было покрыто туманом лжи, свирепости, глупости.

Конечно, первая мировая война была черновиком. Различные правительства выпускали сборники документов — «белые книги», «желтые», «синие», — пытались доказать, что не они начали войну. Немцы, разрушая Реймсский собор, ратушу Арраса или средневековый рынок Ипра, уверяли, что они неповинны в вандализме, Четверть века спустя бомбардировочная авиация перестала заглядывать в историю искусств. Немцы, французы, русские возмущались дурным обращением с военнопленными; никому не могло прийти в голову, что в годы следующей войны фашисты будут преспокойно убивать всех неработоспособных. Немцы в американских газетах негодовали: войска великого князя Николая Николаевича насильственно эвакуируют польских евреев. Гиммлеру тогда было четырнадцать лет, он гонял собак и не думал об организации Освенцима или Майданека. 22 апреля 1915 года немцы впервые применили удушливые газы. Это показалось всем неслыханным; и действительно, это было зверством. Разве мы могли вообразить, что такое атомная бомба?…

(Впрочем, немецкие шовинисты уже тогда показали, что будущее будет ужасающим. В 1950 году известный датский микробиолог, профессор Мадсен — ему было восемьдесят лет, — рассказал мне о примечательном случае, относящемся ко времени первой мировой войны. Мадсен работал в датском Красном Кресте и осматривал продовольственные посылки, которые направлялись из Германии немецким военнопленным в Россию. В одной из посылок он обнаружил бациллы, предназначавшиеся для заражения рогатого скота. Мадсен добавил, что он убежден в непричастности высшего германского командования к этой попытке бактериологической войны — посылка, по его мнению, была индивидуальным актом.)

Я помню, как смеялись над газетой «Матэн», которая

сообщила, что русские находятся в пяти переходах от Берлина; но все спокойно читали в той же газете, что «гений Гёте сродни удушливым газам». Товарищ привез с фронта немецкую газету, я прочитал в ней, что русские — это «печенеги», вся культура России создана немцами, а коренное ее население способно выполнять только грубую физическую работу.

Кто-то дал мне книжку французской баронессы Мишо. Она изобрела новый термин «жидо-боши»; главным «жидо-бошем», по ее словам, был закоренелый враг Франции поэт Гейне. Баронесса также обличала Ромена Роллана и Георга Брандеса. Вскоре после этого фронтовик показал мне номер мюнхенской газеты, где какой-то журналист доказывал, что Яльмар Брантинг и Бласко Ибаньес, проявляющие симпатии, к Франции, «полуевреи».

Я вдруг понял, что хотя Декарт высказывал очень умные мысли, не они определяют духовную жизнь миллионов людей. Выросший на идеях XIX века, я преувеличивал роль философов и поэтов; то, что мне казалось вошедшим в плоть и кровь общества, было только костюмом. Пиджаки сменили на френчи, гуманизм — на кровожадность, декартовские сомнения — на добровольный отказ от какого-либо мышления.

Как-то пришел ко мне мой сосед, польский социалист Павел Людвигович Лапинский, попросил перевести заметку, напечатанную в итальянской газете. (Италия еще была нейтральной, и в итальянских газетах можно было найти многое, неизвестное во Франции.) В заметке говорилось, что французский генеральный штаб по требованию владельцев лотарингских шахт запретил артиллерии обстреливать шахты, захваченные немцами. Павел Людвигович сказал: «Людей они не жалеют, а свое добро берегут…» Он объяснил мне, что использует сообщение для русской социалистической газеты «Наше слово», которая выступает против войны. Потом он регулярно приносил мне эту газету; той статей напомнил мне эмигрантские собрания. Павел Людвигович говорил, что все происходящее основано на обмане, а долго обманывать народы капиталистам не удастся. Иногда я с ним соглашался, иногда начинал спорить. Война мне казалась отвратительной; я ненавидел и владельцев шахт, и Пуанкаре, и богомольных дам, раздававших солдатам ладанки, все лицемерие и трусливость тыла; но одновременно я повторял про себя стихи Шарля Пеги:

> Блаженны погибшие в большом бою
> за четыре угла родимой земли…

Эти «четыре угла» не позволяли мне до конца согласиться с

Павлом Людвиговичем. Он мне очень понравился; мы подружились, часто по ночам беседовали. Иногда я встречал у него известного меньшевика Юлия Осиповича Мартова, человека привлекательного, мягкого, честнейшего. Меня он удивлял своей нежизненностью, книжностью. Он был подавлен крахом Второго Интернационала, кашлял, ходил в худом пальто, мерз и, как Лапинский, старался убедить не столько меня, сколько себя, что «расплата неизбежна» (вряд ли он догадывался, какой будет эта расплата). Несколько раз я разговаривал с В. А. Антоновым-Овсеенко; он горячился: «Обман, надувательство, безобразие, бойня — это им не сойдет!» — и снимал очки; его близорукие глаза были на редкость добрыми. В редакцию «Нашего слова» входили также Д. З. Мануильский и С. А. Лозовский.

Я не понимал ни событий, ни других людей, ни самого себя.

Жан Ришар Блок был одним из чистейших людей, которых я встретил в жизни; познакомился я с ним позднее — в двадцатые годы — и потом еще расскажу о встречах с ним; теперь я хочу сослаться на него как на свидетеля. Недавно опубликована его переписка с Роменом Ролланом в годы первой мировой войны. Жану Ришару было в 1914 году тридцать лет, его сразу призвали, он был трижды ранен. Ромен Роллан был на восемнадцать лет старше, находился в Женеве и писал статьи «Над схваткой». В первые месяцы войны Ромен Роллан писал своему младшему другу, что не хочет огульно обвинять всех немцев, что он дорожит духовным единством Европы, что лучше всего будет, если война закончится вничью. Жан Ришар в своих письмах говорил о зверствах немцев, об их одичании, верил, что это — последняя война, — стоит разбить кайзеровскую Германию, как восторжествует мир, свобода, счастье. Вероятно, Ромен Роллан видел происходившее куда яснее, он ведь был если не на горной вершине, то в стороне от катаклизма; но мне было понятнее смятение Жана Ришара Блока. Я как-то раздобыл «Журналь де Женев» со статьей Ромена Роллана, прочитал и обрадовался — хорошо, что где-то уцелел хороший; умный человек, который может говорить все, что думает! Но я чувствовал, что если до Нуайона действительно девяносто километров, то нейтральная Швейцария — на другой планете.

(Барбюс в начале войны думал и переживал события, как Жан Ришар Блок. Книга Ромена Роллана вызвала нападки шовинистов и сочувственные отклики людей, не потерявших головы, но никого не поколебала. «Огонь» Барбюса был продиктован не раздумьями одинокого человека, а горем людей, их гневом — он родился в крови, в грязи окопов; и эта книга сыграла огромную роль в отрезвлении миллионов людей.)

26

Война стала позиционной. В окопах продрогшие солдаты искали на рубашках вшей. Начался тиф. Шли атаки и контратаки за обладание знаменитым «домом паромщика». В Аргонском лесу саперы закладывали мины. Сводка была короткой, а тысячи людей каждый день умирали.

Приходили письма от Тихона. Мы узнали, что русские добровольцы попали в Иностранный легион; унтер-офицеры грубы, называют добровольцев «метеками» (презрительная кличка иностранцев), говорят, что «метеки едят французский хлеб». (Как будто фронт в Шампани напоминал ресторан!)

История добровольцев, пошедших с флагами и песнями защищать Францию, трагична. Иностранный легион до войны состоял из разноплеменных преступников, которые меняли свое имя и, отбыв военную службу, становились полноправными гражданами. Легионеров отправляли обычно в колонии усмирять мятежников. Понятно, какие нравы царили в легионе. Русские (в большинстве политические эмигранты, евреи, покинувшие «черту оседлости» после погромов, студенты) настаивали, чтобы их зачислили в обыкновенные французские полки; никто их не хотел выслушать. Издевательства продолжались. 22 июня 1915 года добровольцы взбунтовались, избили нескольких особенно грубых унтер-офицеров. Военно-полевой суд приговорил девять русских к расстрелу. Военный атташе русского посольства А. А. Игнатьев, возмущенный несправедливостью, добился отмены приговора, но слишком поздно. Русские умерли с криком: «Да здравствует Франция!»

Об этом мне рассказал один из добровольцев, которого я встретил в «Ротонде» (он потерял на фронте ногу, и его освободили от дальнейшей службы). Признаюсь, впервые я подумал о военном враче, забраковавшем мое сердце, без обиды…

В Париже (хотя до Нуайона было всего девяносто километров) жизнь казалась крепко налаженной, Клемансо обличал Пуанкаре, Бриан, который был прекрасным оратором, произносил блистательные речи. Снова открылись театры; сначала ставили патриотические пьесы в пользу раненых солдат; потом перешли на обыкновенные комедии и мелодрамы. До войны дамы приглашали на «чай-танго». В начале войны начались «чай-вязание» — дамы собирались, чтобы посплетничать, и при этом вязали солдатские фуфайки. Кондитеры делали шоколадные конфеты в форме снарядов; ювелиры продавали брошки —

золотые пушки; почтовая бумага для нежных цидулок была украшена трехцветными флагами.

Молоденькая жена владельца гостиницы, где я жил, начала пускать на час проституток с клиентами; смущенно улыбаясь (ей было двадцать лет), говорила: «Ничего не поделаешь — война…» Солдатам давали время от времени отпуск на шесть дней. Возле Восточного вокзала бродили тысячи проституток — ожидали отпускников. В газетах печатались объявления о каких-то чудодейственных панцирях, которые предохраняют солдат от пули. Озлобленные женщины искали «укрывающихся» в тылу; раз при мне человек, преследуемый двумя женщинами, которые не верили, что он инвалид, вынул из орбиты искусственный глаз. По тротуарам прыгали одноногие инвалиды. В кабаре пели куплеты о герое, который убил сто бошей и переспал с сотней красоток.

Мобилизованных художников отправили камуфлировать грузовые машины; оказалось, что для камуфляжа нужно разбивать плоскость, и по улицам шли грузовики, напоминавшие полотна кубистов.

Денег у меня не было; частные переводы из России не разрешались. Я работал ночью на товарной станции Монпарнас — помогал выгружать снаряды. (Там врачи не осматривали нанимающихся.) Рабочие вначале надо мной подтрунивали; я ходил в высокой шляпе, и они меня прозвали «шляпой» — впрочем, по-французски это не звучит обидно. Работали старики, больные; я с ними подружился; во время перерыва в полночь мы ели — это называлось «завтраком», и рассказывали смешные истории. Утром я шел в гостиницу и полдня спал, потом отправлялся в «Ротонду».

Многие из завсегдатаев «Ротонды» были на фронте: Леже, Кислинг, Гийом Аполлинер, Блез Сандрар, Глез. Диего Ривера хотел пойти добровольцем, но его не взяли, как меня, объяснили, что его ноги никуда не годятся. «Ротонда» и до войны была тем местом, где катастрофичность выдавалась каждому посетителю вместе с чашкой кофе; естественно, что когда смутные предчувствия стали будничным бытом Европы, Пикассо был этим менее удивлен, чем булочница, у которой он покупал хлеб. Булочница была вдовой, детей у нее не было; она приспособилась к войне, но вдруг начинала всхлипывать: «Нет, вы скажите, кто это придумал?… Они все сошли с ума, вот что и вам скажу, и если мне кто-нибудь объяснит, почему они стреляют, я ему дам сейчас же двадцать франков! А вы знаете, сколько теперь стоит килограмм масла?…» Пикассо как будто знал заранее все, что должно было произойти. Он много работал; под вечер приходил в «Ротонду». Я встречался с ним, с Диего Риверой, с Модильяни. Я

был измучен ночной работой, читал Достоевского и апокрифы, писал стихи, которые становились все более и более исступленными. Случайному посетителю могло показаться, что «Ротонда» расположена в нейтральном государстве, а на самом деле «Ротонда» жила в ощущении катастрофы еще задолго до 2 августа 1914 года. В 1913 году мы все читали поэму Блеза Сандрара «Проза сибирской магистрали и маленькая Жанна». Сандрар писал: «Я видел тихие эшелоны, черные эшелоны, они возвращались с Дальнего Востока, как призраки. Мой глаз их сопровождал — фонарь последнего вагона. На станции Тайга сто тысяч раненых лежали в агонии. В Красноярске я видел лазареты. Я видел эшелон потерявших рассудок. Пожар был на всех лицах, пожар занимался во всех сердцах…»

(Удивительным человеком был Влез Сандрар! Его можно было бы назвать романтическим авантюристом, если бы слово «авантюрист» не утратило своего подлинного значения. Сын шотландца и швейцарки, замечательный французский поэт, оказавший влияние на Гийома Аполлинера, человек, узнавший все профессии, исколесивший весь мир, он был дрожжами своего поколения. Когда ему было шестнадцать лет, он отправился в Россию, потом в Китай, в Индию, вернулся в Россию, уехал в Америку, в Канаду; был добровольцем в Иностранном легионе, потерял на войне правую руку; побывал в Аргентине, в Бразилии, в Парагвае; был истопником в Пекине, бродячим жонглером во Франции, снимал с Абелем Гансом фильм «Колесо», покупал в Персии бирюзу, занимался пчеловодством, работал трактористом, написал книгу о Римском-Корсакове; никогда я не видел его опустошенным, оробевшим, отчаявшимся.)

Начали налетать «цеппелины». В лунные ночи большой воздушный корабль повисал над городом; в него стреляли, но он едва шевелился — противовоздушная оборона была слабой. Мы любовались и ругались. Потом нас начали загонять в метро. Я впервые услышал крик сирены, и опять-таки больше всего меня поразило название: сирены Эллады очень нежно пели, именно пением они сводили с ума мореплавателей, и хитроумный Одиссей заткнул воском уши своих товарищей; а у сирен двадцатого века препротивный голос, их песни я слушал потом не раз и в Испании, и в Париже, и в Москве. Войны не походили одна на другую, но сирены в 1941 году выли точно так же, как в 1915-м. В метро было шумно, как на ярмарке; продавали китайские орешки и портреты Жоффра. Влюбленные целовались — глупо было терять время из-за каких-то «цеппелинов»… Утром мы глядели на распотрошенные дома; среди мусора валялись семейные портреты, осколки посуды, сплющенная детская

кровать. Соседи стояли, рассказывали о жертвах, плакали. Смерть начала казаться старой знакомой.

Была среди завсегдатаев «Ротонды» художница Васильева; она занималась живописью, а кроме того, делала куклы — любители их покупали. Это была энергичная, общительная женщина; во время войны она организовала столовую, где художники могли дешево обедать. Иногда в столовой собирались вечером, пили, декламировали стихи, пророчествовали и просто кричали. Я порой приходил туда и, как все, прорицал или ругался.

Почти каждую ночь я еще ходил на товарную станцию и выгружал боеприпасы. Пуанкаре торговался с Сазоновым, кому достанется Константинополь. Павел Людвигович рассказал мне о Циммервальдской конференции. Газеты по-прежнему лгали, но я их больше не читал. Я жадно слушал рассказы отпускников, читал Кеведо, протопопа Аввакума, Вийона, Блока. Я окончательно отощал, ходил черт знает в чем. Клемансо продолжал обличать Пуанкаре. В сводках повторялись названия тех же деревень. Женщины плакали. Мне чудился трупный запах — война загнивала.

27

Фернан Леже приехал с фронта в обычный шестидневный отпуск и показал мне рисунки, которые он сделал в окопах. Я не художественный критик, да и пишу я книгу не об искусстве; мне хочется, оглянувшись назад, заглянуть в будущее. Я приведу сейчас то, что я писал о военных рисунках Леже в 1916 году; это не оценка историка искусства, а свидетельство современника: «Леже привез с фронта много рисунков. Он рисовал на отдыхе, в землянках, порой в окопах. Некоторые рисунки забрызганы дождем, некоторые разодраны; почти все на грубой оберточной бумаге. Странные, таинственные рисунки. Да, я этого никогда не видел, но мне кажется, что я видел именно это, только это. Леже — кубист, порой он схематичен, порой страшит раздроблением всего, что мы видим, но передо мной — лицо войны. В его рисунках нет ничего личного, нет даже немцев или французов — просто люди. А может быть, нет и людей, люди подчинены машине. Солдаты в касках; крупы лошадей; трубы походных кухонь; колеса орудий, все это — детали механизма. Нет красок: и пушки и лица солдат на войне теряют цвет. Прямые линии, плоскости, рисунки, похожие на чертежи, отсутствие произвольного, увлекательно неправильного. На войне нет места мечте. Хорошо оборудованный завод для уничтожения человечества. Эти листочки — обрывки планов, а срисовал их добродушный нормандец, Фернан Леже…»

Помню один вечер. Мы сидели в «Ротонде», но Леже хотелось поговорить, а кафе во время войны закрывали в десять часов. Мы купили вина и пошли в мастерскую Фернана. Его первая жена, хорошенькая, смешливая Жанна, весело щебетала; она принесла стаканы, банки консервов. Леже вдруг помрачнел: вспомнил, как открывал консервы штыком, испачканным кровью. Выпив красного вина, он оживился, стал рассказывать: «Я там встретил настоящих людей. Кого я знал до войны? Аполлинера, Архипенко, Сандрара, Пикассо, Моди, Макса, тебя. А там я увидел обыкновенных людей. Они и говорят по-другому. Ты знаешь, когда я им сказал, что я живописец, они решили, что я маляр. Вот этим можно гордиться, это тебе не «Ротонда»!..»

Леже потом часто говорил, что война была решающим событием в его жизни, помогла ему найти себя; он говорил даже, что только после войны начал работать самостоятельно.

Я познакомился с Леже задолго до начала войны; он тогда еще жил в «Ля рюш», рядом с Шагалом и Архипенко. Это было время расцвета кубизма, влияние которого было настолько

велико, что даже Шагал, этот поэт местечек Белоруссии, много взявший у маляров, расписывавших вывески парикмахерских или фруктовых лавчонок, на короткий срок заколебался.

Леже тогда дружил со скульптором Архипенко, который тоже стал кубистом. Глез, Метценже объясняли философское и эстетическое значение кубизма, говорили об углублении Сезанна, о необходимости разложить формы. Когда я спрашивал Архипенко, почему у его женщин квадратные лица, он улыбался и отвечал: «Гм… Именно потому…» Однажды я остался ночевать в его мастерской — мы выпили слишком много яблочной водки. Я проснулся от лучей солнца. Архипенко крепко спал. Я не хотел его будить и, лежа на полу, разглядывал статуи. Они казались мне гибридами: черт женился на швейной машине. Я тихонько выбежал на улицу и страшно обрадовался, увидев старьевщика, который рылся в мусорном ящике. Кубизм меня и привлекал и страшил.

Леже в ту пору уже был убежденным кубистом. Я сравниваю его работы 1913 года и 1918-го — по-моему, разрыва нет. Вообще в творчестве Леже не было резких поворотов. Он был очень верным; никогда не отступал от своего прошлого; дорожил старыми друзьями. В 1913 году он нанял мастерскую на улице Нотр-Дам-де-шан и там проработал около сорока лет.

Он говорил, что на войне увидел настоящих людей, с ними подружился, но эти люди на его рисунках напоминают детали какой-то чудовищной машины.

Леже не походил на свою живопись; не походил он и на завсегдатая «Ротонды»; в его облике было нечто близкое природе; вероятно, сказалось происхождение, детство — зеленая Нормандия, яблони, коровы, крестьянская семья. У Леже были большие руки; он был высокий, с широкой костью, с медленными движениями. Мне он казался скульптурой, только не из камня, а из теплого, живого дерева.

Его роднила с другими художниками, приходившими в «Ротонду», ненависть к лицемерию, к украшательству, к драпировке старых, затхлых комнат; но он не носил в себе того жестокого, истребляющего огня, который чувствовался в беглом взгляде молодого Пикассо. Леже в молодости хотелось строить, а не разрушать. Он дожил до семидесяти пяти лет, и в его биографии нет катаклизмов, только смена времен года и работа, постоянная, вдохновенная работа.

Некоторые посетители «Ротонды» увлеклись Октябрьской революцией как стихией разрушения. А потом, узнав, что в России не только продолжают учить детей таблице умножения, но и поощряют художников академического толка, вчерашние

«большевизаны» (так газеты называли сочувствующих) превратились в противников коммунизма. Леже был человеком другого склада, да и другого калибра. Октябрьскую революцию он приветствовал как начало строительства нового общества, никогда от своих суждений не отрекался и умер коммунистом.

Умер он внезапно. Я был у него за год до его смерти; он показывал новые работы, казался здоровым, бодрым. Работал он до последнего дня и рухнул, как большое, еще зеленое дерево.

Маяковский, который был у него в 1922 году, писал: «Леже — художник, о котором с некоторым высокомерием говорят прославленные знатоки французского искусства, — произвел на меня самое большое, самое приятное впечатление. Коренастый, вид настоящего художника-рабочего, рассматривающего свой труд не как божественно предназначенный, а как интересное, нужное мастерство, равное другим мастерствам жизни».

Это была эпоха «Лефа», конструктивизма, желания стихами покончить с поэзией. Я расскажу в следующей части моей книги о трагическом поединке Маяковского с искусством. А Леже выстоял — у него были удивительно крепкие ноги и хороший, здравый ум. Когда я доходил до «точки», я шел к Леже, а если его не было в Париже, думал о нем: его живучесть помогала жить другим.

Не знаю, от каких «прославленных знатоков» слышал Маяковский пренебрежительные отзывы о работах Леже. В отличие от других посетителей «Ротонды» Леже рано нашел ценителей; в 1912 году он уже подписал договор с торговцем картинами. Конечно, у него как у художника была драма, но другая, чем у Модильяни или у Сутина. Леже покупали любители живописи, а он мечтал о фресках, о керамике, о работе вместе с архитектором, об искусстве для всех. Задолго до «Эспри нуво» Корбюзье, задолго до наших лефовцев он уже говорил об искусстве, связанном с индустриализацией.

Однако, в отличие от лефовцев, Леже признавал самостоятельное значение искусства: в 1922 году, отвечая на анкету журнала «Вещь», он писал: «Плохой художник копирует вещь и пребывает в состоянии уподобления. Хороший художник изображает вещь и находится в состоянии эквивалентности… Я — живописец, и бессмысленно стремиться передать на плоской поверхности объемные формы. Я оставил вещи. Я взял карандаш…»

В 1921 году я написал книгу «А все-таки она вертится», восхвалял машины, индустриальную архитектуру, конструктивизм. Обложку к этой книге нарисовал Леже. Когда я теперь попробовал ее перечитать, многое мне показалось смешным, если не глупым: я в жизни петлял. А путь Леже был

прямым, и его рисунок 1921 года связан не только с его ранними рисунками, но и с последними работами.

Драма его была в том, что перед ним были стены гостиных, на которые знатоки вешали его картины, а стен новых общественных сооружений он так и не нашел.

Леже считал, что современная эстетика связана с машиной. Он говорил, что линия теперь важнее цвета. Ему нравился индустриальный пейзаж. Он не раз повторял, что искусство — от Шекспира до Чаплина — живет контрастами. Мне кажется, что есть резкий контраст между мягкостью, лиризмом, человечностью Леже и его художественными убеждениями. Люди на его полотнах часто выглядят роботами, а он ведь ненавидел общество, которое превращает человека в машину.

Еще в давние годы, до первой мировой войны, Леже удивлялся: «Зачем ты ходишь в музеи? Ты — молодой поэт, смотри лучше на самолет, на спортсменов, на заводы, на акробатов в цирке…» Он был исступленным патриотом своего времени; и многие критики его называют наиболее современным художником середины двадцатого века. Не знаю — может быть, я постарел; может быть, напротив, вторая половина нашего века не похожа на годы, когда формировался Леже; но я теперь люблю в искусстве не машины, а то неповторимое, единственное, живое, что отличает одно дерево от другого.

Да, но я говорил не о наших днях, а об эпохе первой мировой войны. Леже и тогда хотел строить, но своей смелостью, своим искусством он помог разрушить многое лицемерное и лживое. Он это делал спокойно, уверенно, без романтических присказок, без внутреннего раздвоения, как архитектор, которому поручили перепланировать город и снести заплесневевшие трущобы.

28

Я рассказал, как я стал поэтом, — это произошло по необходимости. Журналистом я стал случайно — только потому, что рассердился.

Русские газеты во время войны приходили в Париж с опозданием, сразу по десяти номеров. Мне высылали «Утро России». Я получил как-то пачку газет; прочитал сначала о русских делах; потом увидал статью о Париже «от нашего собственного корреспондента». Прочитал и рассердился. Общий дух статьи меня не удивил: я уже знал, что правда — это военная тайна, которую нужно скрывать, а фразы вроде «до победного конца», «священный союз», «нет больше богатых и бедных», «тыл живет фронтом» настолько примелькались, что их перестали замечать. Рассердило меня другое: автор статьи не знает, что военная форма теперь другая; Клемансо в газете «Эвр» не пишет; кафе, которое журналист красочно описывает, давно закрылось. Почему они говорят о «собственном корреспонденте»? Ведь это написано в Москве! (Я был наивен и не знал, как делают газету.)

Я пошел в «Ротонду», попросил бумаги и начал описывать парижскую жизнь. Несколько дней подряд, вместо того чтобы спать, я писал. (Я продолжал ночью возить ручные тележки на товарной станции.) Оказалось, написать статью не так просто; то и дело я сбивался на дурную поэтичность; выходило длинно, сентиментально, да и глуповато. Я начал вычеркивать — получилось сухо. Я написал все заново. Кажется, неделю я строчил. Наконец мне показалось, что мой очерк не хуже тех, которые печатали в газетах, и я его отправил с вежливым письмом в «Утро России». Ответа не последовало. Я решил, что «собственный корреспондент» — приятель редактора. Я с детства был упрямым; я не мечтал о карьере журналиста, мне только хотелось доказать редактору «Утра России», что его «собственный корреспондент» находится не во Франции и что я умею писать не хуже сотрудников этой газеты. Значит, нужно послать статью в другую газету. Тема первого очерка мне показалась устаревшей; с большими усилиями я написал другой; показал Максу Волошину; он посоветовал отправить в вечернее издание «Биржевых ведомостей», там пишут если не свободнее, то, по крайней мере, живее. Название газеты показалось мне обидным; поэт — и вдруг «Биржевые ведомости»! Макс стал объяснять, что ничего тут нет предосудительного. Лучший литературный журнал называется «Меркурий Франции». А Меркурий был богом краснобаев, торговцев, шарлатанов и воров. Как он ни старался, от слова

«Биржевка» меня подташнивало; статью я все-таки отослал. Одновременно Макс написал редактору «Биржевых ведомостей» рекомендательное письмо.

Вскоре я получил длиннущую телеграмму: редакция сообщала, что мой очерк напечатан, просила присылать другие и, если это возможно, выехать на фронт в качестве специального корреспондента; гонорар выслан.

Я пригласил Макса, Риверу, Маревну, Шанталь; мы чудесно поужинали в ресторане Бати, а потом пошли к Васильевой.

Я написал новые очерки, и мне показалось, что они лучше первых. Но тут пришла газета с моей статьей. Я так огорчился, что ее тотчас разорвал: статью «выправили» — кое-что выкинули, кое-что добавили; ирония исчезла, осталась одна патока. Удивительно, как действует на человека любая обида, если она внове! Потом он к ней привыкает. А привыкает он решительно ко всему: к нищете, к тюрьме, к войне. Но в первый раз даже незначительное унижение кажется неслыханным. Я ходил и все время думал: наверно, петроградские поэты меня презирают — пишу стихи о канунах и печатаю в «Биржевке» сусальные истории… Макс пытался меня утешить: газета не сборник стихов, а военный цензор вовсе не обязан разбираться в романтической иронии.

Я был в плохом виде: ночная работа, «Ротонда», чтение газет, романы Достоевского и Блуа, стихи превратили меня в неврастеника. А тут еще приключилось глупейшее происшествие.

У меня был грипп; я чихал, обливался потом; Либион посоветовал выпить два или три стакана пунша, причем рома он не пожалел. Я побежал домой за носовыми платками. Открыв шкаф, я обомлел — чужие вещи! Проверил — может быть, я попал в другую комнату? Нет, на столе мои акварели (я увлекался живописью и в свободное время изображал жизнь Вийона, виселицы, солдат, драконов, «Ротонду»). Все же я решил взять носовой платок, но из него выпала сырая отбивная котлета. На меня ползла меховая горжетка. Я кинулся к хозяйке и крикнул ей, что я сошел с ума: у меня галлюцинации. Хозяйка ничуть не удивилась и сказала своему брату (он к этому времени уже научился говорить по-французски): «Эмиль, беги в комиссариат! Пусть сейчас же придут…»

Вместо того чтобы расспросить хозяйку, почему она зовет полицию, я поднялся к себе и, не зажигая света, стал ждать конца. Меня знобило, все в голове путалось. Я знал, что сейчас за мной придут и отвезут в сумасшедший дом.

Полицейские начали описывать содержимое шкафа; я попытался спросить, что это все означает, но они только

усмехнулись. Среди моих рваных рубашек оказалось дамское белье с кружевами, бальные туфли, галстуки, флаконы духов, коньяк, всяческая живность. Описывали они долго, обсуждали, какие кружева, что за мех… Потом дали мне подписать протокол и сказали, что завтра утром я должен явиться в комиссариат. Я побежал к хозяйке, но было поздно — она уже спала. Я понял, что завтра меня посадят — только не в сумасшедший дом, а в тюрьму. Хорошо сидеть за решеткой, когда у тебя нашли прокламации! Но у меня нашли какие-то поганые котлеты… Все-таки я, наверно, спятил — Моди меня как-то угостил гашишем, вот и результаты! Я лежал в полузабытьи; должно быть, температура подскочила. В комнате стоял трупный смрад. Я зажег свет — трупа не было. Вонь усиливалась. Я решил просидеть остаток ночи на лестнице и вдруг увидел круглый сыр камембер — полицейские его не заметили, он выпал из шкафа и закатился под кровать. Я открыл настежь окно, хотя было холодно. Значит, завтра конец: тюрьма за воровство. А может быть, это все-таки галлюцинации?…

Рано утром ко мне пришла хозяйка и первым делом сказала: «Сколько раз я вас просила не оставлять ключ в двери…» На том же этаже, что я, жил русский, кажется скрипач; у него была подруга, молоденькая француженка, которую задержали в универмаге, когда она набивала товарами свою сумку. Ей удалось предупредить своего возлюбленного. Скрипач хотел поскорее освободиться от украденных раньше вещей, знал, что моя дверь всегда открыта, и засунул все в мой шкаф…

В комиссариате меня долго допрашивали, издевались, сказали, что я по меньшей мере соучастник. Выручила меня хозяйка гостиницы — она заявила, что видела, как скрипач выходил из моей комнаты. Меня отпустили, я пошел в «Ротонду» и рассказал Модильяни о происшедшем. Он улыбнулся: «Тебя скоро посадят в Санте — ты хочешь взорвать Францию, это все знают…»

Неделю спустя меня вызвали в префектуру. Я начал говорить, что ни горжетка, ни котлеты не имеют ко мне никакого отношения. Чиновник меня прервал: он не любит, когда его разыгрывают; котлеты его не интересуют; но вот я встречаюсь с господами, которые поддерживают Циммервальдскую конференцию. Интересно, почему корреспондент солидной русской газеты ходит в ободранном костюме и работает на товарном вокзале? Кстати, где теперь находится Альфред Кранц?… Я не знал никакого Кранца и спросил: «Он художник?» Чиновник усмехнулся: «Вы все художники…» Я понял, что мои дела плохи. Может быть, Нострадамус и не предугадал военной

авиации, но Моди — настоящий Нострадамус, он ведь говорил, что меня вскоре арестуют за подрывную деятельность…

Допрос длился все утро, а кончился внезапно: чиновник вдруг посмотрел на часы и сказал, что время обедать; меня вызовут в ближайшие дни.

Только позднее я узнал, почему меня допрашивали. В «Биржевых ведомостях» был напечатан мой очерк о дамах-благотворительницах: я рассказал, как в церкви Мадлен они устроили крестины солдата-сенегальца, который испуганно спрашивал крестную мать: «А это не больно?…» Военные власти рассердились, узрев в статье издевательство над французской армией. Как ни старались «Биржевые ведомости» придать моим статьям пристойный характер, чувствовалось, что я ненавижу войну. Было решено выслать меня из Франции. Хотя я был эмигрантом, об этом поставили в известность русское посольство. Советник посольства Севастопуло рассказал об инциденте военному атташе. Алексей Алексеевич Игнатьев возмутился; он не имел обо мне никакого представления, но увидел в поведении французских властей умаление престижа России; статья ведь пропущена русской военной цензурой и опубликована в Петрограде. Вопросы печати не входили в обязанности Игнатьева; он вел переговоры с Пуанкаре, с Китченером о координации военных действий, о поставке России вооружения; но он добился отмены высылки.

Я узнал об этом месяц или два спустя, когда решил записаться в Ассоциацию иностранной печати; про то, как меня собирались выслать, мне рассказали корреспонденты «Речи» Дмитриев и «Нового времени» Павловский (тот самый, с которым встречался и переписывался Чехов).

А с Алексеем Алексеевичем Игнатьевым я познакомился двенадцать лет спустя на литературном вечере: бывший царский дипломат, граф Игнатьев стал скромным сотрудником торгпредства в Париже — Он любил народ и верил в него. Работу ему дали не по специальности — он помогал устраивать стенды для выставочных павильонов; на него покрикивали люди, куда менее сведущие, чем он. Был он человеком обаятельным и прекрасным рассказчиком; слушая его, Алексей Николаевич Толстой всякий раз изумлялся его таланту. Принимая гостей, Алексей Алексеевич повязывался поварским фартуком и готовил в различных котелках изумительные французские рагу. Почти полвека он прожил душа в душу с бывшей актрисой Наташей Трухановой (этот брак в царское время считался мезальянсом, и графа за него попрекали). Наталья Владимировна ненадолго его пережила. Несмотря на свое происхождение, на то, что он вырос и

сформировался в прежней России, Игнатьев был настоящим демократом: он принял революцию не потому, что она сулила сильную Россию, а потому, что она уничтожала сословные и классовые перегородки.

В 1945–1946 годах молодые офицеры часто просили Алексея Алексеевича рассказать им, как проводили досуг офицеры царской России: некоторым казалось, что можно перенять не только погоны… Игнатьев в ответ рассказывал о кастовом чванстве, о порке солдат, о грубости, пьянстве. Помню, как один капитан разочарованно сказал: «Говорит, как агитатор…» А Игнатьев говорил о том, что его волновало и в 1916 году и в 1946-м.

Хорошо, что он написал книгу воспоминаний: история изобилует ущельями, пропастями, а людям нужны хотя бы хрупкие мостики, связывающие одну эпоху с другой.

Больше в префектуру меня не вызывали. Дмитриев направил меня в Дом прессы; там помешалась военная цензура; там же иностранных корреспондентов снабжали документацией и устраивали поездки на фронт. В Доме прессы работал человек, который сразу привлек мое внимание, — О. Милош. У него было северное лицо, легкий иностранный акцент; он родился в Литве, но писал стихи по-французски. Мне говорил о нем Макс Жакоб. О. Милош стал известен только после своей смерти — умер он в 1939 году, и несколько лет спустя впервые были изданы все его произведения. Иногда я разговаривал с Милошем не о газетных делах, а о поэзии, о будущем. Он глядел на меня бледными, как будто выцветшими глазами и тихо, спокойно говорил, что, вероятно, скоро изобретут машины, которые будут писать стихи, и тогда какой-нибудь гениальный мальчик в коротких штанишках повесится на галстуке своего отца от сознания, что не сможет никогда никого тронуть словом. Мне странно было это слышать от человека, который должен был меня наставлять: О. Милош мог бы спокойно перебраться из Дома прессы в «Ротонду».

После многократных заявлений французы повезли меня на фронт с группой журналистов. Для нас выбрали самый спокойный участок, провели быстро по окопам, показали артиллерию; потом мы поехали на командный пункт, где генерал Гуро угостил нас обедом. Все это походило на туристическое турне. (Впоследствии я не раз ездил на фронт, и эти поездки не напоминали первую.)

Шли жестокие бои на Сомме, где находились английские войска. Я начал хлопотать о пропуске. Англичане не спешили с ответом. Наконец меня вызвали в английскую военную миссию и дали подписать длинное заявление, в котором говорилось, что я обещаю не печатать ничего, не ознакомив предварительно с

текстом английскую цензуру, что, в случае если меня убьют, мои наследники не будут предъявлять никаких претензий правительству его величества, что я буду подчиняться английским законам, а в случае их нарушения подлежу компетенции английского суда. Мне выдали английскую форму и отвезли в Окрестности Амьена; там в комфортабельном доме, недалеко от главной ставки, жили военные корреспонденты — англичане, французы, итальянец Барзини, считавшийся крупным журналистом. По вечерам все пили виски; англичане рассказывали наивные анекдоты или показывали фокусы. Никто нами не занимался: мы могли на попутных машинах добираться до переднего края. Я увидел войну.

Читая в Париже газеты, я все же не мог себе представить, что фронт — это грандиозная машина, планомерно истребляющая людей. Подвиги, добродетели, страдания мало что решали; смерть была механической.

В Кале я увидел, как деловито подготовляют эту смерть. Две тысячи триста автомобильных частей. Цифры, повсюду цифры. «Часть 617 для танка крупного калибра», «Рули 1301 для мотоциклеток»… Выгружали баранов из Австралии, муку из Канады, чай с Цейлона. Выгружали также очередную партию солдат; они растерянно оглядывались. Огромная пекарня пекла в сутки двести тысяч хлебов. Солдаты жевали хлеб. Война пожирала солдат.

На переднем крае не было ничего — ни развалин, ни деревьев, хотя бы обломанных; голая, бурая земля, ровные ряды проволочных заграждений; в окопах копошились люди.

По прифронтовым дорогам двигались большие грузовики; я их увидел впервые; на них везли в окопы солдат, снаряды, мясные туши; на встречных грузовиках лежали раненые. Регулировщики помахивали флажками. Я рассказываю об этом, потому что теперь многие думают, что первая мировая война еще была романтичной…

Вот как я описывал в 1916 году первый танк, который я увидел: «В нем что-то величественное и омерзительное. Быть может, когда-то существовали исполинские насекомые, танк похож на них. Для маскировки он пестро расписан, его бока напоминают картины футуристов. Он ползет медленно, как гусеница; его не могут остановить ни окопы, ни кусты, ни проволочные заграждения. Он шевелит усами; это орудия, пулеметы. В нем сочетание архаического с ультраамериканским, Ноева ковчега с автобусом двадцать первого века. Внутри люди, двенадцать пигмеев, они наивно думают, что они властители танка…» С тех пор не прошло полувека, а танки мне кажутся

изобретенными чуть ли не одновременно с порохом. У дипломатов, беседующих о разоружении, имеется термин «классическое вооружение», в отличие от ядерного, и танки, разумеется, стали классиками.

Война оказалась куда страшнее, чем я думал: все было налажено, вычислено. Конечно, в окопах сидели люди, они шли в атаку, умирали, корчились на койках лазарета, агонизировали перед проволочными заграждениями; эти люди, по большей части хорошие, искрение верили, что защищают родину, свободу, человеческие ценности; но они были крохотными деталями гигантской машины. Вскоре научились останавливать танки; а война медленно двигалась, шевеля усами — орудиями, пулеметами, — и никто не знал, как ее остановить.

Я понял, что я не только родился в девятнадцатом веке, но что в 1916 году я живу, думаю, чувствую, как человек далекого прошлого. Я понял также, что идет новый век и что шутить он не будет.

29

Я вернулся в Париж; вначале мне показалось, что я счастлив: после фронта бульвар Монпарнас с террасами кафе, с зелеными платанами, с беспечными девушками напоминал рай. Я сел за столик — художники, поэты; они говорили о том, что Дягилев заказал декорации Пикассо, о новой книге Поля Клоделя, еще о чем-то. И вдруг мне стало скучно: это не жизнь, а скверная подделка. Настоящая жизнь осталась там, откуда я приехал, — она шарахается от залпа батарей, путается в проклятой проволоке, зарывается в землю, и все-таки это жизнь…

Я попробовал разобраться в своих чувствах, понять себя — неужели и я хлебнул того спирта, который многим ударил в голову? Как будто нет… Война мне казалась преступлением; в то же время я жил войной. Все это было запутано и непонятно; я бросил думать. Мною овладело отчаяние. Я вдруг начинал придумывать бога — не церковного, а какого-то своего, то свирепого, то юродивого. Я писал стихи о том, что в письме к Брюсову называл «свинством». Теперь, когда я думаю о моем прошлом, годы 1914–1919 мне кажутся самыми трудными: я хотел той «общей идеи», о которой писал Чехов, а у меня не было даже ясной мысли, как прожить завтрашний день. Потом я выбрался если не на дорогу, то хотя бы на опушку леса; да и стал менее чувствительным — с годами человек обрастает броней; не случайно многие в ранней молодости пишут стихи и помышляют о самоубийстве.

Художница Шанталь пыталась мне помочь. Она была дочерью рабочего, училась в педагогическом институте и увлеклась живописью. Она тоже не знала, как жить, но она крепко стояла на земле. Когда она видела, что у меня опускаются руки, она говорила о запахе смородиновых почек, о холсте, натянутом на подрамник, о том, что на дворе весна и что мы оба молоды. Я отвечал «да»; потом шел к себе и писал стихи о светопреставлении.

Летом Катя позвала меня отдохнуть на юг Франции в Эз, где она жила со своим мужем Т. И. Сорокиным и моей дочкой Ириной. Тихон Иванович вернулся с фронта инвалидом; он читал Владимира Соловьева и был печален. Я старался быть полезным хотя бы в хозяйстве, научился варить макароны. Как-то Катя уехала в Ниццу и попросила меня уложить девочку. Ирине тогда было пять лет. Когда я начал расстегивать се платьице, она строго сказала: «Не так… Ты ничего не умеешь делать». Это было правдой: я действительно ничего не умел делать — ни работать,

ни писать стихи, ни даже отдыхать. Я вернулся в Париж еще более расстроенным.

Макс Волошин меня познакомил с Б. В. Савинковым. Никогда дотоле я не встречал такого непонятного и страшного человека. В его лице удивляли монгольские скулы и глаза, то печальные, то жестокие, он их часто закрывал, а веки у него были тяжелыми, виевыми. Он стал приходить в «Ротонду»; пил виноградную водку «мар»; одет был, в отличие от других «ротондовцев», корректно, выглядел средним французским буржуа; не снимал с головы котелка. Помню стихи, которые он часто повторял:

Кто-то серый в котелке
Сукин-сынет в уголке…

Борис Викторович был хорошим рассказчиком; слушая его в первый раз, можно было подумать, что он остался боевиком-террористом, завтра вырядится извозчиком и начнет выслеживать царского сановника. На самом деле Савинков ни во что больше не верил. Как-то он сказал мне, что его сломило дело Азефа. До последней минуты он принимал провокатора за героя. Эсеры были встревожены разоблачениями Бурцева, настаивали на проверке. Савинков возмущался: он не позволит чернить благороднейшего человека! Наконец устроили собрание. Азеф, увидав, что дела его плохи, заявил: дома у него документы, опровергающие клевету, через час он их доставит. Все запротестовали: нельзя его выпустить; но Савинков настоял, чтобы одному из старейших членов боевой организации предоставили возможность доказать свою невиновность. Азеф ушел и, разумеется, не вернулся.

Савинков махнул на все рукой и начал писать посредственные романы, показывающие душевную пустоту террориста, разуверившегося в своем деле. Меня всегда поражало, что Борис Викторович считал себя прежде всего боевиком, то есть террористом, а уж потом революционером. В годы войны он стал военным корреспондентом газеты «День», писал о необходимости обороны, восхвалял Гюстава Эрве. Все это было ему самому неинтересно: он оставался безработным террористом.

(У меня был диковинный разговор с левым эсером, террористом Блюмкиным, который убил графа Мирбаха. В начале 1921 года он стоял за Советскую власть. Савинков тогда находился в Париже и поддерживал интервенцию. Узнав, что я еду в Париж, Блюмкин меня спросил, увижу ли я Савинкова. Я ответил отрицательно — наши пути разошлись. Блюмкин сказал:

«Может быть, вы его все-таки случайно встретите, спросите, как он смотрит на уход с акта…» Я не понял. Блюмкин объяснил: его интересует, должен ли террорист, убивший политического врага, попытаться скрыться или предпочтительнее заплатить за убийство своею кровью. Бесспорно, встретив Савинкова, он его убил бы как врага; вместе с тем он его уважал как террориста с большим стажем. Для таких людей террор был не оружием политической борьбы, а миром, в котором они жили.)

Савинков рассказывал, как в Севастопольской крепости он ждал казни. Прошлое было освещено мертвым светом разуверения: он говорил, что смерть — дело будничное, неинтересное, как жизнь. Его спас часовой, вольноопределяющийся Зильбеберг.

Зильбеберга повесили. Борис Викторович женился на его сестре. Он любил маленького сына Леву и, говоря о нем, на минуту оживал. Еще он прояснялся, припоминая очень далекое прошлое — детство, русскую природу, ссылку, где он был в ранней молодости вместе с Луначарским и писателем А. М. Ремизовым.

(Во время гражданской войны в Испании я познакомился с сыном Савинкова — Левой. Во Франции он работал шофером грузовика, писал стихи по-русски, рассказы из рабочего быта по-французски. Один из его рассказов Арагон напечатал в журнале «Коммуна». Лева приехал в Испанию, чтобы сражаться в интербригаде. Люди узнали, что он сын «того самого Савинкова», и, веря, что яблоко падает недалеко от яблони, начали засылать его в тыл франкистов. В отличие от отца, Лева был мягким, общительным. Боевые задания он выполнял мужественно, получил тяжелое ранение и заболел туберкулезом. Вернувшись во Францию, он очень бедствовал. Когда началась война, ушел в партизаны, работал с русскими, убежавшими из лагерей. Я его встретил в Париже в 1946 году; он мечтал уехать в Советский Союз. О его дальнейшей судьбе я не знаю.)

Статьи о битве на Сомме или в Вердене Борис Викторович подписывал, как и романы, псевдонимом «В. Ропшин». В романах он рассказал, что больше не верит в самопожертвование, в военных корреспонденциях, напротив, говорил о величии солдатского подвига, о том, что война возродила людей. Однажды я спросил его, верит ли он в то, что пишет; он усмехнулся, сказал, что я еще очень молод. Я вышел из себя: «Но тогда нужно выть, как собака…» Он опустил свои чугунные веки: «Нет, выть не нужно. Можно написать еще одну статью, вы уже умеете это делать. Можно выпить рюмочку мара, две, только не больше…»

Савинков часто подсаживался к столику, за которым сидела Маревна — так все называли художницу Воробьеву-Стебельскую. Она выросла на Кавказе, попала в «Ротонду» девчонкой; выглядела экзотично, но была наивной, требовала правды, прямоты, честности. Она нравилась Савинкову, но была с ним строга, называла его «старым циником».

А для меня Борис Викторович был частицей военного пейзажа, он напоминал узкую полоску «ничьей земли», на которой нет и травинки, а среди проволоки виднеются поломанные винтовки, каски и останки солдат, не доползших до вражеского окопа.

Я откидывал газету: зачем читать, если все врут? В «Ротонде» обсуждали последние новости. У Дюбуа отняли ногу, Марго собирает деньги на протез. Люси сошла с ума; ее нашли ночью голой на паровозе. Жизнь продолжалась.

Вот и Модильяни! Сейчас он скажет, что все это давным-давно описано в книге Нострадамуса…

30

Я сидел в холодной мастерской Диего Риверы; мы говорили о том, как ловко теперь маскируют и броню танков, и «цели войны». Вдруг Диего закрыл глаза, казалось — он спит; но минуту спустя он встал и начал говорить о каком-то ненавистном ему пауке. Он повторял, что сейчас найдет паука и раздавит. Он пошел прямо на меня, я понял, что паук это я, и убежал в другой угол мастерской. Диего остановился, повернулся, снова пошел на меня. Я видел и до этого Диего в припадках сомнамбулизма, он всегда с кем-то сражался, но на этот раз он хотел уничтожить меня. Будить его было бесчеловечно: у него начиналась после этого невыносимая головная боль. Я кружился по мастерской не как паук, а как муха. Он находил меня, хотя его глаза были закрыты. Я еле выбрался на лестницу.

У Диего была желтая кожа; иногда он засучивал рукав рубашки и предлагал одному из приятелей кончиком спички что-либо написать на его руке или нарисовать; тотчас буквы, линии становились рельефными. (В Ботаническом саду Калькутты я видел тропическое дерево, на его листьях можно тоже написать кончиком спички, написанное постепенно выступает.) Диего говорил мне, что сомнамбулизм, желтая кожа, рельефные буквы — все это последствия тропической лихорадки, которой он болел в Мексике. Я рассказываю об этом потому, что думаю о жизни и об искусстве Диего Риверы: он часто шел на врагов с закрытыми глазами.

Диего любил рассказывать о Мексике, о своем детстве. Он прожил в Париже десять лет, стал одним из представителей «парижской школы»; дружил с Пикассо, с Модильяни, с французами; но всегда перед его глазами были рыжие горы, покрытые колючими кактусами, крестьяне в широких соломенных шляпах, золотые прииски Гуанахуато, непрерывные революции — Мадеро свергает Диаса, Уэрта свергает Мадеро, партизаны Сапаты и Вильи свергают Уэрту…

Слушая Диего, я начинал любить загадочную Мексику; древняя скульптура ацтеков как бы сливалась с партизанами Сапаты. Хулио Хуренито — мексиканец; когда я писал мой роман, я вспомнил рассказы Диего. Мне привелось читать, что Хуренито — портрет Риверы; сбивают некоторые черты биографии — и мой герой и Диего родились в Гуанахуато; Хуренито в раннем детстве отпилил голову живому котенку, желая понять отличие смерти от жизни, а Диего, когда ему было шесть лет, распотрошил живую крысу, — хотел проверить, как рождаются дети. Много других

деталей детства Хуренито навеяно рассказами Риверы. Но, конечно, Диего не похож на моего героя: Хуренито думал больше, чем чувствовал, он брал ненавистную ему догму общества и доводил ее до абсурда, чтобы показать, как она порочна. Диего был человеком чувств, и если он иногда доводил до абсурда дорогие ему самому принципы, то только потому, что мотор был силен, а тормозов не было.

Я познакомился с Диего в начале 1913 года; он тогда начинал писать кубистические натюрморты. На стенах его мастерской висели холсты предшествующих лет; можно было различить вехи — Греко, Сезанн. Были видны и большой талант, и некоторая присущая ему чрезмерность. В Париже в начале нашего века был моден испанский художник Зулоага; он стал известен картинами, показывавшими гитан, тореадоров — словом, всего того, что испанцы называют «espanolada», «испанщиной» — стилизацией фольклора. Диего на короткий период увлекся Зулоагои; историки искусств даже определяют некоторые холсты Риверы «периодом Зулоаги». К 1913 году он успел с Зулоагой распрощаться.

Незадолго до того он женился на художнице Ангелине Петровне Беловой, петербуржанке с голубыми глазами, светлыми волосами, по-северному сдержанной. Она мне напоминала куда больше девушек, которых я встречал в Москве на «явках», чем посетительниц «Ротонды». Ангелина обладала сильной волей и хорошим характером, это ей помогало с терпением, воистину ангельским, переносить приступы гнева и веселья буйного Диего; он говорил: «Ее правильно окрестили…»

К кубизму различные художники пришли разными путями. Для Пикассо он был не костюмом, а кожей, даже телом, не живописной манерой, а зрением и мировоззрением; начиная с 1910 года по наше время, кажется, не было года, чтобы Пикассо наряду с другими работами не написал нескольких холстов, которые являются продолжением его кубистического периода: манера устаревает, но свою природу художник изменить не в силах. Для Леже кубизм был связан с любовью к современной архитектуре, к городу, к труду, к машине. Брак говорил, что кубизм позволил ему «полнее всего выразить себя в живописи». Диего Ривере в 1913 году было двадцать шесть лет; но мне кажется, что он еще не видел своего пути, ведь за год до кубизма он мог восхищаться Зулоагои, А рядом был Пабло Пикассо… Диего как-то сказал: «Пикассо может не только из черта сделать праведника, он может заставить Господа Бога пойти истопником в ад». Никогда Пикассо не проповедовал кубизма; он вообще не любит художественных теорий и приходит в уныние, когда ему

подражают. Он и Риверу ни в чем не убеждал; он только показывал ему свои работы. Пикассо написал натюрморт с бутылкой испанской анисовой настойки, и вскоре я увидел такую же бутылку у Диего… Конечно, Ривера не понимал, что подражает Пикассо; а много лет спустя, осознав это, начал поносить «Ротонду» — сводил счеты со своим прошлым.

Кубизм его многому научил; его работы парижского времени мне и теперь кажутся прекрасными. Он иногда писал портреты; написал портрет испанского писателя Рамона Гомеса де ля Серна, передал пестроту и эксцентричность модели (Рамон выступил в Париже с докладом о современном искусстве, стоя на спине циркового слона). Писал Диего Макса Волошина, скульптора Инденбаума, архитектора Асеведо. Портрет Макса Волошина передавал сочетание семипудового человека с легкостью, несерьезностью порхающей птички; голубые и оранжевые тона; розовая маска эстета из журнала «Аполлон» и вполне натуралистический завиток курчавой бороды фавна.

Позировал Ривере и я. Он сказал, чтобы я читал или писал, но попросил сидеть в шляпе. Портрет — кубистический и все же с большим сходством (его купил американский дипломат; Ривера потом не знал о дальнейшей судьбе этого холста). У меня сохранилась литография портрета. В 1916 году Диего сделал иллюстрации для двух моих книжонок: одну напечатал все тот же неунывавший Рираховский, другая была оттиснута литографским способом — я писал, а Ривера рисовал. Больше всего Диего увлекали натюрморты.

Ривера был первым американцем, которого я узнал. С Пабло Нерудой я познакомился много позднее — в годы испанской войны. Есть между ними нечто общее: оба выросли на искусстве старой Европы, оба потом захотели создать свое национальное искусство и внесли в него некоторые черты Нового Света — силу, яркость, пренебрежение чувством меры (в Америке обыкновенный дождь напоминает потоп). Диего вместе с Ороско создал мексиканскую школу живописи; во фресках Риверы сказались особенности и его характера и характера Америки — стихийность, техническое многообразие, наивность.

Мы подружились; мы были крайним флангом «Ротонды» — знали, что, помимо старого, печального и рассудительного Парижа, имеются другие миры, да и другие пропорции явлений. Диего мне рассказывал про Мексику, я ему про Россию. Хотя он говорил, что перед войной прочитал Маркса, восхищался он приверженцами Сенаты; его увлекал ребячливый анархизм мексиканских пастухов. А в моей голове тогда все путалось — большевистские собрания и Митя Карамазов в Мокром, романы

Леона Блуа, этого запоздавшего Савонаролы, и распотрошенные скрипки Пикассо, ненависть к налаженному буржуазному быту Франции и любовь к французскому характеру, вера в особую миссию России и жажда катастрофы. Мы с Диего друг друга хорошо понимали. Вся «Ротонда» была миром изгоев, но мы, кажется, были изгоями среди изгоев.

Ривера часто встречался с Савинковым; от цинизма он был застрахован своей природой, любовью к жизни, а его увлекали рассказы о том, как этот корректный человек в котелке охотился на великого князя, на министров. Помню один вечер в начале 1917 года. Ривера сидел в «Ротонде» с Савинковым и Максом, я — с Модильяни и натурщицей Марго; за соседними столиками Лапинский и Леже о чем-то оживленно беседовали. Когда в десять часов «Ротонду» закрыли, Моди убедил нас пойти к нему.

Я почему-то хорошо запомнил длинный, бессвязный разговор о войне, о будущем, об искусстве. Постараюсь его резюмировать; может быть, отдельные фразы были сказаны и не тогда, но я правильно изложу мысли каждого.

Леже. Война скоро кончится. Солдаты не хотят больше воевать. Немцы тоже поймут, что это бессмысленно. Немцы всегда соображают медленнее, но они обязательно поймут. Нужно будет отстраивать разрушенные области, страны. Я думаю, что политиков прогонят: они обанкротились. На их место посадят инженеров, техников, может быть, и рабочих… Конечно, Ренуар — хороший живописец, но трудно себе представить, что он живет в наше время. Танки — и Ренуар!.. Что должно вдохновлять? Наука, техника, работа. И еще спорт…

Волошин. По-моему, человеку этого мало. Может ли Европа превратиться в Америку? Война разворотила не только Пикардию, но я нутро человека. Гоббс называл государство «левиафаном». Люди могут стать автоматическими тиграми: у них есть опыт, и они приобрели вкус. Я предпочитаю холсты Леже машинам. Быть рабом неодухотворенных существ меня не соблазняет.

Модильяни. Вы все чертовски наивны! Вы думаете, кто-то вам скажет: «Миленькие, выбирайте»? Меня это смешит. Теперь выбирают только самострелы, но их за это расстреливают. А когда война кончится, всех посадят в тюрьму. Нострадамус не ошибался… Всех облачат в костюмы каторжников. Самое большее — академикам предоставят право носить штаны не в полоску, а в клетку.

Леже. Нет. Люди изменились, они просыпаются.

Лапинский. Это правда. Конечно, капитализм ничего больше не может создать, он теперь только разрушает. Но сознание

растет. Может быть, мы накануне развязки. Никто не знает, где это начнется — в Париже, в окопах или в Петербурге…

Савинков. «Сознание» — миф. В Германии было очень много социалистов, а когда скомандовали «айн, цвай», они зашагали. Самое поганое впереди.

Лапинский. Нет, самое скверное позади. Социалисты могут…

Модильяни. А вы знаете, на кого похожи социалисты? На плешивых попугаев. Я это сказал моему брату. Пожалуйста, не обижайтесь, социалисты все-таки лучше других. Но вы ничего не понимаете. Тома — министр! Какая разница между Муссолини и Кадорна? Ерунда! Сутин написал замечательный портрет. Это Рембрандт, можете верить или не верить. Но его тоже посадят за решетку. Слушай (это к Леже), ты хочешь организовать мир. А мир нельзя измерить линейкой. Есть люди…

Леже. Хорошие художники были и прежде. Нужен новый подход. Искусство выживет, если оно разгадает язык современности.

Ривера. Искусство в Париже никому не нужно. Умирает Париж, умирает искусство. Крестьяне Сапаты не видали никаких машин, но они во сто раз современнее, чем Пуанкаре. Я убежден, что, если им показать нашу живопись, они поймут. Кто построил готические соборы или храмы ацтеков? Все. И для всех. Илья, ты пессимист, потому что ты чересчур цивилизован. Искусству необходимо хлебнуть глоток варварства. Негритянская скульптура спасла Пикассо. Скоро вы все поедете в Конго или в Перу. Нужна школа дикости…

Я. Дикости хватит и здесь. Мне не нравится экзотика. Кто поедет в Конго? Цетлины, может быть Макс, он напишет еще один венок сонетов. Я ненавижу машины. Нужна доброта. Когда я вижу рекламы мыла «Кадум», я знаю, что младенец в мыльной пене чист и добр. Ужасно, что Гинденбург или Пуанкаре тоже были детьми!..

Ривера. Ты европеец, в этом твое несчастье. Европа издыхает. Придут американцы, азиаты, африканцы…

Савинков. Американцы скоро объявят войну и высадятся. О каких азиатах вы говорите? О японцах?…

Ривера. Хотя бы…

Диего вдруг закрыл глаза. Только Модильяни и я знали, что сейчас произойдет. Лапинский спокойно разговаривал с Леже. Макс, не замечая, что происходит с Риверой, рассказывал ему о видениях Юлии Круденер. Моди и я пробрались поближе к двери. Диего встал и крикнул: «Здравствуйте, господа могильщики! Вы, кажется, пришли за мной? Не тут-то было. Хоронить буду я…» Он

направился к Волошину и приподнял его; это было невероятно — Макс весил не меньше ста килограммов. Ривера зловеще повторял: «Сейчас!.. Головой в дверь… Я вас похороню по первому разряду…»

В 1917 году Ривера неожиданно увлекся Маревной, с которой был давно знаком. Характеры у них были сходные — вспыльчивые, ребячливые, чувствительные. Два года спустя у Маревны родилась дочь Марика. (Недавно я встретил в Лондоне Маревну, она рисует, лепит, пишет мемуары, хотя смутно помнит прошлое. Марика очень похожа на Диего; она актриса, внешность у нее мексиканская, родной язык французский, была замужем за англичанином и любит говорить, что она наполовину русская.)

Приехав в Париж весной 1921 года, я, конечно, сразу разыскал Риверу; он жил все в той же мастерской. Перед этим он побывал в Италии, восхищался фресками Джотто и Учелло; рисовал; то были первые наброски его нового периода. Он был увлечен Октябрьской революцией, рассказами о Пролеткульте; собирался к себе на родину.

Вскоре он начал покрывать стены правительственных зданий Мехико грандиозными фресками. Я читал о нем, видел иногда репродукции его фресок, но с ним не встречался. В 1928 году он приехал в Москву; мы с ним не виделись — я тогда был в Париже. Как-то пришла ко мне одна из его бывших жен, красивая мексиканка Гваделупа Марин; она разыскивала в Париже ранние работы Диего.

Ривера стал знаменит; о нем писали монографии. Его пригласили в Соединенные Штаты; он написал портрет одного из автомобильных королей — Эсделя Форда; Рокфеллер заказал ему фрески. Ривера изобразил сцены социальной борьбы, Ленина. После долгих переговоров фрески были уничтожены.

В 1951 году в Стокгольме я пошел на большую выставку мексиканского искусства. Древняя скульптура меня потрясла; она напоминала древнюю скульптуру Индии, Китая. Поражали пути цивилизации: от архаики, от монументальности ацтеки сразу перешли к вычурному барокко. Потом я поднялся на второй этаж и увидел работы Риверы. Станковые полотна показывали живописную силу. Были и репродукции стенной живописи. Я ее не почувствовал, наверно, не понял. Порталы готических соборов представляют каменную энциклопедию эпохи, но люди тогда не умели читать. Фрески Риверы — это множество рассказов: то об истории мексиканской революции, то о прививках против оспы, то об экономике Нового Света. Он не забыл итальянских уроков, его мексиканки наклоняются, танцуют и спят, как флорентийские дамы пятнадцатого века. Он хотел соединить национальные

традиции с современной живописью, как это пытались сделать многие индийские или японские живописцы. Я понял вдруг его упреки, обращенные к советским художникам: почему они пренебрегают «народным искусством — лаковыми коробочками». Вероятно, будь он русским, он попытался бы соединить раннего Риверу с Палехом…

Впрочем, я начинаю говорить о моих художественных вкусах, а это не к месту. Лучше сказать, что Ривера попытался разрешить одну из труднейших задач нашей эпохи: создать стенную живопись. Через всю жизнь он пронес верность народу; много раз ссорился и мирился с мексиканскими коммунистами, но с 1917 года и до смерти считал Ленина своим учителем.

Он приезжал в Вену на Конгресс сторонников мира; это было в 1952 году. Я сказал ему, что на мексиканской выставке мне понравились работы художника Тамайо. Диего рассердился, обвинил меня в формализме; вместо встречи друзей после тридцатилетней разлуки вышел скучный диспут о станковой и стенной живописи. Потом он приезжал в Москву лечиться; пришел ко мне. Мы провели вечер в воспоминаниях — так разговаривают люди, когда чемоданы упакованы и полагается присесть перед длинной дорогой. Все, что в нем было детского, прямого, сердечного, что меня когда-то трогало, встало в этот последний вечер. Больше мы не видались.

Он был из тех людей, которые не входят в комнату, а как-то сразу ее заполняют. Эпоха теснила многих, а он не уступал, потесниться пришлось эпохе.

31

Я посылал в «Биржевку» письма, преисполненные негодования: почему мои фронтовые очерки появляются в исковерканном виде? Письма не помогали. Я продолжал писать очерки и постепенно привык к тому, что мои статьи приглаживают, а иногда даже приписывают мне чужие мысли. Шел третий год войны, и все ко всему привыкли; это было самым страшным.

В маленьком городке Пикардии Альбере, в полуразрушенном доме, жила кабатчица с четырьмя детьми. Она больше не обращала внимания на снаряды, жаловалась, что подорожало вино — сто шестьдесят франков гектолитр. Она бойко торговала — солдаты пили подорожавшее вино. Ее детям казалось, что люди всегда жили под обстрелом.

Возле английской батареи была мельница; конечно, она не работала, но старик мельник остался в своем домике. Немцы били по батарее, а старик думал об одном: боялся, что солдаты растащат мешки из-под муки или их испачкают.

В погребах Реймса шла будничная жизнь: в одном погребе печаталась газета «Восточный вестник», в другом была школа, в третьем — парикмахерская.

В маленьких французских городках до войны имелся обязательно crieur public — служащий мэрии, который обходил улицы с барабаном и выкрикивал: у такого-то сбежала собака, такой-то потерял портфель. Радиоприемников еще не было, и о мобилизации французы узнали от этих «герольдов». В Компьене я видел старика с барабаном; ложились снаряды, а он хрипло выкрикивал, что одна дама потеряла брошку, нашедшему будет дано вознаграждение.

В окопах шла окаянная и все же будничная жизнь: ждали почты, давили вшей, ругали офицеров, рассказывали похабные анекдоты; потом умирали.

Английские солдаты каждый день обязательно брились: смерть смертью, но нельзя не побриться.

Возле Ланса я как-то спросил французского солдата, который копошился подле чудом уцелевшего домика, можно ли пройти дальше — обстреливают ли немцы дорогу. Он ответил, что не знает — он ведь не на фронте, он приехал на шесть дней к жене, которая осталась в этом домике.

В одной деревне зуавы разыскали женщину, которой было далеко за сорок; они восторженно кричали; у домика выстроился хвост. Военное командование открыло публичные дома для

солдат. В лагере Мальи были «французские дни», «бельгийские».

Зима была невиданно суровой, замерзла Сена. Не было угля. Люди мерзли. Правительство твердило об экономии; решили два дня в неделю обходиться без пирожных; в дорогих ресторанах можно было получить закуски, суп, рыбу, а после этого только одно мясное блюдо — или бифштекс, или утку, — ничего не поделаешь, третий год войны!.. Дамские портные, как всегда, диктовали новые моды: короткие юбки, маленькие шляпы, похожие на солдатские, костюмы голубоватого, защитного цвета. В газетах печатались рекламы духов, снотворных препаратов, протезов для инвалидов. Газеты писали, что аскетизм не к лицу французам, он — признак слабости, а Франция уверена в победе. Кинотеатры были переполнены; каждую неделю показывали новую серию «Тайн Нью-Йорка».

Однажды с Диего Риверой я увидел в маленьком кинотеатре незнакомого мне актера. Он бил посуду и мазал краской элегантных дам. Вместе с другими мы гоготали; но когда мы вышли из зала, я сказал Диего, что мне страшно: этот маленький смешной человечек в котелке показывает всю нелепость жизни. Диего ответил: «Да, это трагик…» Мы сказали Пикассо, чтобы он обязательно посмотрел фильм Шарло — так тогда называли никому не известного Чарли Чаплина.

В «Ротонде» художники продолжали толковать о кубизме. В штабе армии угрюмый капитан сидел над ворохом фотографий. Впервые я увидел землю, снятую с воздуха: это чрезвычайно напоминало рисунки Метценже или Глеза. (В 1948 году Пикассо прилетел во Вроцлав и, смеясь, сказал мне: «Мир сверху похож на некоторые мои холсты…»)

На английском фронте в бараках «Объединения молодых христиан» выдавали бутерброды; по воскресеньям утром там бывало богослужение, вечером — кино. На стенах висели назидательные плакаты: о любви к богу, о преимуществах трезвости, о том, что нужно остерегаться венерических заболеваний.

Все стали суеверными; мало кто решался закурить третьим от одной спички. Дамы-патронессы не теряли времени: всучали солдатам, уезжающим на передовые позиции, ладанки с изображением Лурдской богоматери. Ладанки охотна брали: кто знает?…

(Один сенегалец подарил мне талисман, сказал, что он лучше всяких ладанок; это были зубы — не знаю, немца или француза.)

Унтер-офицеры наказывали сенегальцев впрок — для острастки. Черных посылали на верную смерть. Сенегальцы кашляли, болели, не понимали, где они и почему их убивают.

Угрюмо молчали жители Индокитая, маленькие загадочные люди, которых привезли на военные заводы. В те годы кровью выписывался счет, который много спустя был предъявлен к оплате.

Тысяча девятьсот шестнадцатый год был, кажется, самым кровопролитным: Сомма, Верден. На каждом шагу в Париже можно было увидеть заплаканных женщин. Солдаты стояли насмерть. Накануне второй мировой войны я прочитал дневники Пуанкаре. Вот записи, относящиеся к тем дням, когда шла битва за Верден: «Клемансо, считая, видимо, что отныне министерский кризис стал маловероятным, обрушивается теперь на меня… Буржуа находит, что Бриан слишком склонил весы в пользу противников Жоффра… Нуланс был агрессивен и сыграл на руку радикалам против Тома… Бриан в своей реплике щадил Клемансо…»

Иностранные корреспонденты жаждали сенсаций, старались завести знакомства с денщиком Галлиени, с шофером Жоффра, с горничной Бриана; в свободное время они волочились за француженками, пытались их подкупить американскими конфетами. Все ругали цензуру. Барзини сиял: ему удалось присутствовать при расстреле шпиона; он говорил с раздражением и с восхищением: «Этот мерзавец был удивительно спокоен!» В Париже я ходил в Дом прессы. Милош рассеянно объяснял мне, что наступление приостановилось из-за дурной погоды; он думал, наверно, о том, что человек обречен.

В том же Доме прессы мне давали бюллетени; речь шла неизменно о «возрастающих ресурсах». Людей становилось меньше, пушек и самолетов больше. Начались массированные танковые атаки. Депутат-социалист Брак рассказал мне, что парламентская комиссия рассматривает скандальное дело, связанное с поставками вооружения. Никогда люди не богатели так быстро, как в те дни. Война была большим предприятием. Я качал тогда думать о «Хулио Хуренито» — хорошо бы рассказать о грандиозном хозяйстве, занятом истреблением людей. В романе я его назвал «хозяйством мистера Куля».

(В моей книге Хулио Хуренито изобретает средство, с помощью которого можно истреблять людей оптом. Я бестолково описал само изобретение, признавшись, что «по моей прирожденной тупости к физике и математике я ничего не усвоил». Хуренито предложил мистеру Кулю использовать оружие массового уничтожения, но тот ответил: «Я прошу вас, дорогой друг, до поры до времени никому о вашем изобретении не говорить. Ведь если так просто и легко можно убивать людей, война через две недели закончится и все мое сложное хозяйство

погибнет. А моя родина только еще собирается воевать».

Дальше я писал, что мистер Куль объяснил мне: «Немцев можно добить французскими штыками, а фокусы Хуренито лучше оставить впрок для японцев». Японцы меня часто спрашивают, почему в 1921 году, когда Япония была союзницей Америки, я написал, что новое смертоносное оружие американцы испробуют на японцах. Я не знаю, что им ответить. Почему в 1919 году — задолго до открытий Резерфорда, Жолио-Кюри, Ферми — Андрей Белый писал:

Мир — рвался в опытах Кюри
Атомной, лопнувшею бомбой
На электронные струи
Невоплощенной гекатомбой…

Может быть, такие обмолвки связаны с природой писателя?)

Я говорил, что первая мировая война была черновиком, но этот черновик никто не назовет детским лепетом. Шли газовые атаки (одной из жертв был Леже). Инвалидов, с лицами, изуродованными огнеметами, не выпускали из госпиталей: они слишком пугали встречных. Вот моя запись, относящаяся к 1916 году:

«В Пикардии немцы отошли на сорок — пятьдесят километров. Повсюду видишь одно — сожжены города, деревни, даже одинокие домики. Это не бесчинство солдат; оказывается, был приказ, и саперы на велосипедах объезжали эвакуируемую зону. Это — пустыня. Города Бапом, Шони, Нель, Ам сожжены. Говорят, что немецкое командование решило надолго разорить Францию. Пикардия славится грушами, сливами. Повсюду фруктовые сады вырублены. В поселке Шон я сначала обрадовался: груши, посаженные шпалерами, не срублены. Я подошел к деревьям и увидел, что все они подпилены, их было свыше двухсот. Французские солдаты ругались, у одного были слезы на глазах».

Эпоху выдает только одна деталь: саперы на велосипедах…

Осенью 1943 года в Глухове, накануне освобожденном нашей армией, я увидел фруктовый сад, а в нем аккуратно подпиленные яблоки; листья еще зеленели, на ветках были плоды. И наши солдаты ругались, как французы в Шоне.

Это не новелла писателя, не статья о природе германского милитаризма, это только два дня одной жизни.

В начале войны немецкие солдаты сожгли занятый ими на короткий срок городок Жербевилле (около Нанси). Когда я приехал туда, жители ютились в бараках, землянках. Они

рассказывали: из пятисот домов осталось двадцать; сто человек расстреляли. Почему? Этого никто не знал. Почему в Сенлисе или в Амьене солдаты, войдя в город, начали убивать жителей? Я видел в 1916 году немецкие объявления о казни заложников; такие объявления снова появились на стенах французских городов четверть века спустя…

Говорили, что многое придумал Гитлер; нет, он только многое усвоил, осуществил в грандиозном масштабе. В одном из очерков я приводил текст приказа германской комендатуры местечка Ольн в районе Сен-Кентена: для уборки урожая все население пятнадцати окрестных Деревень (дети с пятнадцати лет) должно было работать с четырех часов утра до восьми вечера. Комендатура предупреждала, что «не вышедшие на работу мужчины, женщины и дети будут наказаны двадцатью палочными ударами».

В 1910 году я поехал из тихого Брюгге в тихий Ипр; там был средневековый рынок, украшенный изумительными статуями, один из немногих сохранившихся памятников гражданской готики. Я оказался в этом городе в 1916 году; его обстреливала немецкая артиллерия. Вместо рынка я увидел развалины; только одна каменная дама, случайно уцелевшая, продолжала улыбаться. Жители давно были эвакуированы, а солдаты жили в погребах и в землянках. Перед развалинами рынка я увидел двух английских солдат; они говорили о готике, один что-то записывал в книжечку.

Появилось слово «иприт» — так окрестили отравляющие газы, которые немцы применили впервые в битве за Ипр.

В 1921 году я снова увидел развалины Ипра. В землянках жили вернувшиеся жители. Предприимчивые люди построили бараки с вывесками «Гостиница победы», «Кафе союзников», «Ресторан мира», Тысячи туристов приезжали поглядеть на развалины. Инвалиды, безногие, слепые продавали открытки с видами разгромленного города.

Потом Ипр отстроили, и началась новая война.

Артиллерия два года громила один из древнейших городов Франции — Аррас. На башне ратуши был золотой лев, хранитель свободы. Рухнула башня; солдаты подобрали льва, отослали в Париж. Аррас потом отстроили; а вскоре на город упала первая бомба второй мировой войны. Это похоже на сказку про белого бычка или на миф о Сизифе в аду.

Младший лейтенант Жан Ришар Блок писал своей жене, что эта война должна быть последней. В письмах он непрестанно спрашивал жену о детях, его младшей дочери Франсуазе было тогда три года. В 1945 году немцы казнили Франсуазу («Франс») в

Гамбурге.

В 1916 году, о котором я теперь рассказываю, никто из солдат не мог себе представить, как пережить еще один день; а война всем казалась вечной. На итальянском фронте в окопе сидел молодой Хемингуэй; о том, что было у него на сердце, мы знаем по роману «Прощай, оружие!». Напротив, в австро-венгерском окопе, сидел Мате Залка. Хемингуэй и генерал Лукач (так звали Мате Залку в Испании) в 1937 году встретились возле Мадрида на КП 12-й Интернациональной бригады. «Война — эхо всегда пакость», — добродушно говорил генерал Лукач и глядел на карту; Хемингуэй его расспрашивал о боях за Паласио Ибарра.

Приехал в отпуск хозяин гостиницы; мы расцеловались. Он рассказал, что солдаты смертельно устали, ненавидят политиков, спекулянтов, не верят газетам. «Но что тут поделаешь, — повторял он, — от нас двести метров до бошей. Конечно, солдатам и у них плохо, но генералы приказывают. Я видал, что они сделали с Перроной…»

Я читал газеты, которые мне приносил Лапине кий; там писали, что в войне заинтересованы только капиталисты. Я это знал и без газет: слишком много вокруг было лжи, лицемерия, жестокости. Помню карикатуру в благонамеренном журнале «Л'иллюстрасьон» — толстяк в котелке при слове «мир» плачет: «Я поставляю в день четыре тысячи снарядов, вы хотите меня разорить…» Да, в 1916 году это знали все. Не за спиной были не только толстяки в котелках, была еще Франция, ее тихие города со стенами, обвитыми лиловыми глициниями. А немцы в Нуайоне… Никто не знал, что тут можно сделать.

С каждым годом умирают люди, пережившие первую мировую войну; входит в жизнь поколение, не знавшее и второй. Мы кончаем жить, я говорю о моих сверстниках; забыть мы ничего не можем. Пятнадцать последних лет я отдаю почти все свои силы, почти все время одному: борьбе за мир. Я пишу эту книгу между двумя поездками, часто откладываю недописанную главу. Друзья иногда говорят, что я поступаю глупо, мог бы посидеть, написать еще роман. А романов на свете много… Я вспоминаю 1916 год — наше бессилие, отчаяние. Если бы хоть чем-нибудь, хоть самым малым помочь отстоять мир!.. Я переворачиваю слова Декарта: можно по-разному думать о назначении жизни, о ее осмысленности, но для того, чтобы думать, необходимо существовать. Я гляжу в окно на малыша; у него чересчур серьезное лицо; он в огромных валенках; хотя снег посерел, он сейчас что-то лепит из последнего, апрельского снега. Этому Декарту всего восемь лет, но он о чем-то думает. Наверно, он додумает то, над чем мы не успели по-настоящему задуматься.

Только не нужно, чтобы его убили!

32

Я спрашиваю себя, почему мне трудно писать о Пикассо. Может быть, потому, что он очень знаменит, что о нем написаны сотни книг, что имеются длиннейшие труды, посвященные не только каждой из его работ, но его мастерским, его голубям или собакам, его фуфайкам и кепкам? Да, конечно, Пикассо описывали многие — и его ближайшие друзья, и люди, случайно с ним встретившиеся, описывали умно или глупо, талантливо или бесцветно. Но не поэтому мне трудно писать о Пикассо; ведь сколько раз я, как любой писатель, садился за стол, хорошо зная, что хочу показать то, что давно показано. Слов нет, куда труднее описать обыкновенный осенний дождь, чем старт реактивного самолета; но в этой книге я часто пытаюсь рассказать о предметах, не раз описанных до меня, и описанных куда лучше. Трудность в другом — в самом Пикассо.

Один крупный художник мне как-то сказал: «Пикассо — гений, но он не любит жизни, а живопись утверждает жизнь». Это правда, как правда и то, что Пикассо страстно любит людей, природу, искусство, жизнь, что никогда в нем не остывает любопытство подростка; многие его холсты говорят не только о красоте жизни, но ее ощутимом тепле, вкусе, запахе. Люди, которые пишут о Пикассо, отмечают, что он стремится освежевать, распотрошить зримый мир, расчленить и природу и мораль, сокрушить существующее; одни видят в этом его силу, революционность, другие с сожалением или возмущением говорят о «духе разрушения». (В конце сороковых годов, читая рассуждения некоторых наших критиков о Пикассо, я поражался, до чего их приговор — разумеется, не по их желанию — совпадал с отзывами Черчилля и Трумэна, которые — один, будучи самодеятельным художником, другой самодеятельным музыкантом, — осуждали бунтаря Пикассо.) Я не раз в жизни ощущал разрушительную силу Пикассо, были периоды, когда я ощущал исключительно это, этому радовался, этим вдохновлялся. Но ведь это факт моей биографии, а не биографии Пикассо. (Теперь некоторые холсты Пикассо мне кажутся нестерпимыми: я не понимаю, почему он способен возненавидеть лицо прелестной женщины.) Справедливо ли назвать разрушителем человека, преисполненного жажды созидания, художника, который свыше шестидесяти лет подряд строил и строит, который смело примкнул к коммунистам, не предпочел анархизма, безразличия или позы скепсиса, куда более легкой для художника? Можно — и это тоже будет правдой — сказать, что Пикассо оживает в своей

мастерской, что его раздражает эстетическая неграмотность различных «судей», что он предпочитает одиночество митингам или заседаниям. Но как при этом забыть его страстность в годы испанской войны, его голубок, участие в движении сторонников мира, партбилет, плакаты, рисунки для «Юманите» и многое другое?

В эпоху монмартрскую («Бато-лявуар»), которой я уже не застал, в эпоху «Ротонды», которую я попытался описать, мы были молодыми, любили озорничать, «обормотствовали». Но Пикассо сохранил страсть к шутке, к розыгрышу до восьмидесяти лет. Он и теперь позирует перед фотографами в голом виде, дурачит сиятельных посетителей, принимает участие в бое быков. У него есть большая серия литографий «Художник и его модели». Художник напоминает то Рубенса, то Матисса в старости; модели — голые натурщицы или персонажи Веласкеса и других старых мастеров; часто среди них молодой шут, и этот шут похож на Пикассо (он смеется над собой и, наверно, собой гордится). Никто в точности не знает, слушая его, где он кончает шутить; он умеет балагурить чрезвычайно серьезно, а серьезные вещи говорит так, что при желании их легко принять за шутку.

Меня иногда спрашивают, как правильно произносить «Пикассо» — с ударением на последнем слоге или на предпоследнем, то есть кто он: испанец или француз? Конечно, испанец — и по внешности и по характеру, по жестокости реализма, по страстности, по глубокой, опасной иронии. Гражданская война в Испании его потрясла; может быть, «Герника» останется самой значительной картиной нашего времени. В мастерской Пикассо на улице Сент-Огюстен я всегда встречал испанских эмигрантов. Испанцам Пабло никогда ни в чем не отказывает. Все это так, но стоит задуматься и над другим. Почему всю свою жизнь он добровольно прожил во Франции? Почему для него был и остался великим Сезанн? Почему его лучшими друзьями были три французских поэта — Гийом Аполлинер, Макс Жакоб, Поль Элюар? Нет, от Франции Пикассо не оторвешь.

Некоторые люди резко меняются, и такие перемены облегчают рассказ: жизнь приобретает элементы того «развития действия», которое прельщает начинающих драматургов. Увлекаясь неожиданными поступками, биографы часто забывают о характере человека. Так бывает и с исследованиями, посвященными поэтам или художникам: футуристический период Маяковского, некрасовский период Блока, испанский период Мане, импрессионистический период Сезанна. Пробуют расчленить и творчество Пикассо. Казалось бы, ничего нет легче:

каждые два-три года он ошарашивал и ошарашивает критиков живописными открытиями. Исследователи устанавливают много «периодов» — голубой, розовый, негритянский, кубистический, энтровский, помпейский и так далее. Беда в том, что Пикассо вдруг опрокидывает все деления. Маяковский, побывав в 1922 году в мастерской Пикассо, успокаивал своих друзей: слухи неверны, Пикассо не вернулся к классицизму. Молодого Маяковского, однако, удивило, что он не нашел у Пикассо никакого «периода»: «Самыми различнейшими вещами полна его мастерская, начиная от реальнейшей сценки голубоватой с розовым, совсем древнего античного стиля, кончая конструкцией жести и проволоки. Посмотрите иллюстрации: девочка совсем серовская. Портрет женщины грубо реалистичный и старая разложенная скрипка. И все эти вещи помечены одним годом». Маяковский считал, что поэт, который пишет стихи «лесенкой», не может увлечься сонетами. А Пикассо равнодушен к различным эстетическим концепциям. Я не встречал человека, настолько быстро меняющегося и вместе с тем настолько постоянного, верного себе. Когда я был у него в 1958 году в Каинах, — я все время ловил себя на мысли: что за наваждение, весь мир переменился так, что его не узнать, я сам не понимаю своего прошлого, а Пикассо такой же, как сорок пять лет назад! И, думая так, я одновременно знал, что никто не шагал быстрее его.

Вот почему так трудно говорить о Пикассо: все, что ни скажешь, и правда и неправда. Форма присяги свидетелей на суде в разных странах звучит одинаково. От них сначала требуют говорить «только правду», а потом ставят перед ними задачу, порой непосильную, — сказать «всю правду». Разумеется, если вопрос стоит о том, совершил ли подсудимый преступление, то очевидцу нетрудно сказать всю правду; но когда прокурор или защита начинают допытываться, почему подсудимый стал подсудимым, то они требуют от свидетеля слишком многого — он ведь не Шекспир, не Стендаль и не Толстой. Некоторые авторы пишут, что жизнь и творчество Пикассо изобилуют противоречиями. Это — отписка. Составляя путеводитель по Голландии, легко объяснить, какой в этой стране пейзаж и какой климат: плоские, зеленые поля, каналы, нежаркое лето с частыми дождями, мягкая зима. Но на вопрос, какой пейзаж, какой климат в Советском Союзе, несколькими фразами не ответишь. Вряд ли можно назвать «противоречивыми» горы Кавказа и тундры, персики Крыма и северную морошку. Бывают большие страны. Бывают и большие люди. Сложность всегда кажется изобилующей противоречиями людям, привыкшим к обычным масштабам.

Познакомившись с Пикассо, я сразу понял, нет, вернее,

почувствовал, что передо мной большой человек. Это было незадолго до начала войны — ранней весной 1914 года. Я сидел в «Ротонде» с Максом Жакобом; пришел Пикассо, сел за наш столик. Макс Жакоб начал рассказывать ему обо мне, Пикассо молчал, а потом сказал, что он любит Поэтов и любит русских. Я не понял, говорит ли он всерьез или это ироническая формула вежливости. (Я уже отметил, что лучшими друзьями Пикассо были поэты; а русских он действительно любит, часто говорил Мне, что русские похожи на испанцев.) В ту весну на аукционе продавали картины новых художников, и большой холст Пикассо «розового периода» был куплен за огромную сумму; если память мне не изменяет — за десять тысяч франков. Пикассо становился известным.

(Задолго до этого некоторые любители «открыли» Пикассо, среди них московский коллекционер Щукин. Пикассо и Матисс рассказывали мне, что Щукин, приходя в мастерскую, тотчас замечал лучшие работы. Матисс пробовал всучить ему менее удавшиеся, а о тех, с которыми не хотелось расставаться, говорил: «Это не вышло… мазня…» Хитрость не удавалась, Щукин в итоге выбирал «неудавшуюся мазню». Вскоре после Щукина в мастерскую приходил Морозов: он доверял вкусу своего соперника, а выбор холстов предоставлял самим художникам. Благодаря коллекциям этих двух москвичей Эрмитаж и Пушкинский музей обладают поразительными собраниями французской живописи второй половины девятнадцатого и начала двадцатого века. Были любители Пикассо и в других странах. В 1950 году чешский поэт Незвал повел меня на окраину Праги, где жил старый пенсионер Крамарж. У него я увидел чудесные холсты Пикассо начала кубистического периода. Крамарж рассказал, что, будучи молодым человеком, он приехал в Париж к Пикассо, денег у него было в обрез; Пикассо был еще мало кому известен и дешево продал чеху десяток холстов. Крамарж преклонялся перед молодым художником; купив натюрморт с яблоками, который Пикассо только что написал, попросил дать ему яблоко, служившее моделью. Мумию этого яблока он мне показал. Мы вместе написали Пикассо письмо.)

В начале 1915 года, в холодный зимний день, Пикассо повел меня в свою мастерскую, которая находилась недалеко от «Ротонды», на улице Шельшер. Окна выходили на кладбище Монпарнас. Парижские кладбища лишены поэзии русских или английских, это абстрактные города с прямыми улицами, склепами, плитами. В мастерской нельзя было повернуться; повсюду лежали написанные холсты, куски картона, жесть, проволока, дерево. Угол занимали тюбики с красками; столько

тюбиков я не видел и в магазине. Пикассо объяснил, что прежде у него часто не бывало денег на краски, и вот, продав недавно несколько холстов, он решил обзавестись красками «на всю жизнь». Я увидал живопись на стене, на поломанном табурете, на коробках от сигар; Пикассо признался, что порой не может видеть незаписанной плоскости. Работал он с каким-то невиданным исступлением. У других месяцы творчества сменялись теми пустотами, когда поэт или художник, по словам Пушкина, «вкушает хладный сон»; а Пикассо всю свою жизнь проработал и продолжает работать с той же яростью. Различные чудачества, которые увлекают репортеров или фотографов, это не жизнь Пикассо, это минуты перекура.

Я спросил, зачем у него жесть; он сказал, что хочет ее использовать, но еще не знает как. Не было, кажется, материала, над которым он не работал бы. Всю свою жизнь он учился: любит мастерство. Когда ему было сорок лет, он учился у испанского ремесленника Хулио Гонсалеса, как обрабатывать листовое железо; в шестьдесят лет учился искусству литографа, в семьдесят стал гончаром.

В мастерской была негритянская скульптура и большой холст таможенника Руссо, художника-любителя, вещи которого теперь украшают музеи всего мира. Картина Руссо изображала мирную конференцию. Пикассо объяснил мне, что негритянские скульпторы меняют пропорции головы, тела, рук вовсе не потому, что не видят людей, и не потому, что не умеют работать; у них другие понятия о пропорциях, как у японских художников другие представления о перспективе. «Ты думаешь, таможенник Руссо никогда не видал классической живописи? Он часто ходил в Лувр. Но он хотел работать иначе…» Пикассо первый понял, что наша эпоха требует прямоты, непосредственности, силы.

Ему тогда было тридцать четыре года, но выглядел он моложе: очень живые, пронзительные и невероятно черные глаза, черные волосы, небольшие, почти женские руки. Зачастую он сидел в «Ротонде» мрачный, почти ничего не говорил; порой им овладевало веселье, тогда он шутил, изводил приятелей. От него исходило беспокойство, и это меня успокаивало: глядя на него, я понимал, что происходящее со мной не частный казус, не заболевание, а особенность эпохи. Я уже говорил, что иногда Пикассо был мне дорог своей разрушающей силой; именно таким я его узнал и полюбил в годы первой мировой войны.

Принято считать, что в ту эпоху Пикассо был равнодушен ко всему, что называют «политикой». Если понимать под этим словом смену министерств или газетную полемику, то действительно Пикассо в «Матэн» искал скорее анекдоты, нежели

декларации. Но я помню, как он обрадовался известиям о Февральской революции. Он подарил мне тогда свою картину; я с ним расстался на многие годы.

Говорят, что дружба, как и любовь, требует присутствия, при долгой разлуке она чахнет. Я порой не видал Пикассо восемь — десять лет; но ни разу я не встречал чужого, переменившегося человека. (Именно поэтому я не помню в точности, когда он мне сказал то-то — мог сказать в 1940-м, мог и в 1954-м…) Помню различные мастерские: на улице Ля Боеси, в парадной буржуазной квартире, где он казался случайным посетителем, чуть ли не взломщиком; на улице Сент-Огюстен, в очень старом доме, там мастерская была большая, с испанцами, с голубями, с огромными полотнами, с тем обдуманным и организованным беспорядком, который Пикассо порождает повсюду; сараи в Валлорисе, жестянки, глина, рисунки, стеклянные шарики, обрывки плакатов, чугунные столбы и хибарка, где он ночевал, кровать, заваленная газетами, письмами, фотографиями; большой светлый дом «Калифорния» в Каннах — дети, собаки и снова груда писем, телеграмм, огромные холсты, а в саду бронзовая пикассовская коза.

Я давно его прозвал шутя чертом. Это русское слово трудно выговорить французу, но по-испански звук «ч» существует, и, улыбаясь, Пабло говорит: «Я — черт».

Если он черт, то особенный — поспоривший с Богом насчет мироздания, восставший и неуступивший. Черт обычно не только лукав, но злобен. А Пикассо — добрый черт.

До чего наивны, несведущи или недобросовестны люди, считающие его большой, нелегкий творческий путь оригинальничаньем, желанием «поразить буржуа», любовью к модным «измам»! Он не раз говорил мне, что ему смешно, когда критики пишут, что он «ищет новые формы». «Я ищу одного — выразить то, что хочу. Я не ищу новых форм, я их нахожу…» Он как-то сказал мне, что иногда, садясь писать, не знает, будет ли холст кубистическим или сугубо реалистическим — это диктуется и моделью, и душевным состоянием художника.

В Валлорисе Пикассо позировала одна молодая, красивая американка. Он сделал десятки рисунков, писал ее маслом. На первом портрете американка выглядит такой, какой ее видят окружающие; ни один сторонник реализма в самом узком смысле этого слова не найдет, что возразить. Постепенно Пикассо начал разлагать лицо. Видимо, модель ему раскрылась не только в своей ангельской внешности; он нашел черты, выдававшие ее характер, начал их изучать. «Но это свинья в кубе», — сострил стоящий рядом со мной посетитель выставки, глядя на десятый

портрет американки и не подозревая, что портрет красавицы, приведший его в восхищение, был первым портретом «кубистической свиньи».

В 1948 году, после Вроцлавского конгресса, мы были в Варшаве. Пикассо сделал мой портрет карандашом; я ему позировал в номере старой гостиницы «Бристоль». Когда Пабло кончил рисовать, я спросил: «Уже?…» Сеанс показался мне очень коротким. Пикассо рассмеялся: «Но я ведь тебя знаю сорок лет…» Портрет Пикассо мне кажется не только очень похожим на меня (лучше сказать — я похожу на рисунок), но и глубоко психологическим. Все портреты Пикассо раскрывают (порой разоблачают) внутренний мир модели. Очень давно, когда я сказал Пикассо о моей любви к импрессионистам, Пикассо заметил: «Они хотели изобразить мир таким, каким они его видели. Меня это не увлекает. Я хочу изобразить мир таким, каким я его мыслю…»

Конечно, многие холсты Пикассо трудны для понимания: сложность мысли и чувств, непривычность формы. Мне привелось быть переводчиком при первой беседе между Пикассо и А. А. Фадеевым во Вроцлаве

Фадеев. Я некоторых вещей ваших не понимаю, лучше я это вам сразу скажу. Почему вы иногда выбираете форму, непонятную людям?

Пикассо. Скажите, товарищ Фадеев, вас учили в школе читать?

Фадеев. Разумеется.

Пикассо. А как вас учили?

Фадеев (со своим тонким пронзительным смехом). Бе-а — ба…

Пикассо. Как и меня — «ба»… Ну, хорошо, а живопись вас учили понимать?

Фадеев снова рассмеялся и заговорил о другом.

Если задуматься над всем творчеством Пикассо, то станет ясным, как он изменил живопись. После импрессионистов люди увидели природу заново — без очков болонской школы. Художники писали исключительно с натуры: портреты, пейзажи, натюрморты. Композиции стали монополией художников академического направления. Больше всего художники боялись сюжета, как они говорили, «литературщины». Пожалуй, последней композицией, сделанной во Франции большим художником, остаются «Похороны в Орнане» Курбе; эта вещь написана в 1850 году. В 1937 году, почти сто лет спустя, Пикассо написал «Разрушение Герники».

Приехав из осажденного Мадрида в Париж, я сразу пошел в

испанский павильон на Всемирной выставке и замер: увидел «Гернику». Потом я дважды ее видел — в 1946 году в нью-йоркском музее и в 1956 году в Лувре на ретроспективной выставке Пикассо, — и каждый раз я испытывал то же волнение. Как мог Пикассо заглянуть вперед? Ведь гражданская война в Испании еще велась по старинке. Правда, для немецкой авиации она была маневрами, но налет на Гернику был небольшой операцией, первой пробой пера. Потом была вторая мировая война. Потом была Хиросима. Полотно Пикассо — это ужас будущего, множества Герник, атомной катастрофы. Мы видим куски раздробленного мира, безумие, ненависть, отчаяние.

(Что такое реализм и реалистичен ли художник, который пытается изобразить драму Хиросимы, тщательно выписывая язвы на теле одного или десяти пораженных? Не требует ли именно реальность другого, более обобщенного подхода, где раскрыт не отдельный эпизод, а суть трагедии?)

Сила Пикассо в том, что самую глубокую мысль, самое сложное чувство он умеет выразить языком искусства. Еще подростком он рисовал, как мастер; его линии передают все, что он хочет, — они ему подвластны; он предан живописи, может сердиться, терзаться, если не сразу находит нужный ему цвет.

Была пора, когда у нас культивировалась исключительно живопись, похожая на огромные раскрашенные фотографии. Помню в ту пору смешной разговор Пикассо с молодым ленинградским художником.

Пикассо. У вас продаются краски?

Художник. Конечно, сколько угодно…

Пикассо. А в каком виде?

Художник (недоумевая), В тюбиках…

Пикассо. А что на тюбике написано?

Художник (с еще большим недоумением). Название краски: «охра», «жженая сьена», «ультрамарин», «хром»…

Пикассо. Вам нужно рационализировать производство красок. На фабрике должны изготовлять смеси, а на тюбиках ставить: «для лица», «для волос», «для мундира». Это будет куда разумнее.

Некоторые авторы, писавшие о Пикассо, пытались изобразить его увлечение политикой как нечто случайное, как прихоть: оригинал, любит бой быков, почему-то стал коммунистом. Пикассо всегда относился очень серьезно к своему политическому выбору. Помню обед в его мастерской в день открытия Парижского конгресса сторонников мира. В тот день у Пабло родилась дочь, которую он назвал Паломой (по испански «палома» — голубка). За столом нас было трое: Пикассо, Поль

Элюар и я. Сначала мы говорили о голубях. Пабло рассказывал, как его отец, художник, часто рисовавший голубей, давал мальчику дорисовывать лапки — лапки успели надоесть отцу. Потом заговорили вообще о голубях; Пикассо их любит, всегда держит в доме; смеясь, он говорил, что голуби жадные и драчливые птицы, непонятно, почему их сделали символом мира. А потом Пикассо перешел к своим голубкам, показал сотню рисунков для плаката — он знал, что его птице предстоит облететь мир. Он говорил о конгрессе, о войне, о политике. Я запомнил его фразу: «Коммунизм для меня тесно связан со всей моей жизнью как художника…» Над этой связью не задумываются враги коммунизма. Порой она кажется загадочной и для некоторых коммунистов.

Пикассо потом сделал еще несколько голубок: для Варшавского конгресса, для Венского. Сотни миллионов людей узнали и полюбили Пикассо только по голубкам. Снобы над этим издеваются. Недоброжелатели обвиняют Пикассо в том, что он искал легкого успеха. Однако его голубки тесно связаны со всем его творчеством — с минотаврами и козами, со старцами и девушками. Конечно, голубка — крупица в богатстве, созданном художником; но ведь сколько миллионов людей знают и почитают Рафаэля по репродукциям одной его картины «Сикстинская мадонна», сколько миллионов людей знают и почитают Шопена только потому, что он написал музыку, которую они слышат на похоронах! Так что снобы напрасно смеются. Конечно, по одной голубке узнать Пикассо нельзя, но нужно быть Пикассо, чтобы сделать такую голубку.

Самого Пикассо не только не обижает, но бесконечно трогает любовь простых людей к его голубке и к нему. Мы с ним были в Риме осенью 1949 года на заседании Комитета мира. После митинга, состоявшегося на одной из самых больших площадей города, мы шли по рабочей улице; прохожие его узнали, повели в маленькую тратторию, угощали вином, обнимали; женщины просили его подержать на руках их детей. Это было проявлением той любви, которой не выдумаешь. Конечно, эти люди не видали картин Пикассо, а увидав, многое не поняли бы, но они знали, что он, большой художник, за них, с ними, и поэтому его обнимали.

На конгрессах — во Вроцлаве, в Париже — он сидел все время с наушниками, внимательно слушал. Мне пришлось несколько раз обращаться к нему с просьбами: почти всегда в последнюю минуту оказывалось, что для успеха конгресса или какой-либо кампании в защиту мира необходимо получить рисунок Пикассо. И как бы ни был он поглощен другой работой,

он всегда выполнял просьбу.

Порой некоторые из его политических единомышленников осуждали или отвергали его произведения. Он принимал это с горечью, но спокойно, говорил: «В семье всегда ругаются…»

Он знал, что его картины красуются в музеях Америки, знал, что, когда он хотел поехать в Соединенные Штаты с делегацией Всемирного Совета Мира, ему не дали визы. Знал и другое: в стране, которую он любил, в которую верил, долго его называли «формалистом» и держали его холсты в фондах.

Для меня была большой радостью его выставка в Москве осенью 1956 года. На открытие пришло слишком много народу: устроители, боясь, что будет мало публики, разослали куда больше приглашений, чем нужно. Толпа прорвала заграждения, каждый боялся, что его не впустят. Директор музея подбежал ко мне бледный: «Успокойте их, я боюсь, что начнется давка…» Я сказал в микрофон: «Товарищи, вы ждали этой выставки двадцать пять лет, подождите теперь спокойно двадцать пять минут…» Три тысячи человек рассмеялись, и порядок был восстановлен. Открыть выставку от имени «Секции друзей французской культуры» должен был я. Обычно церемонии мне кажутся скучными или смешными, но в тот день я волновался, как школьник. Мне дали ножницы, и мне казалось, что я разрежу сейчас не ленточку, а занавеску, за которой стоит Пабло…

Конечно, на выставке люди спорили; так бывает повсюду на выставках Пикассо — он восхищает, возмущает, смешит, радует, никого он не оставляет равнодушным.

«Противоречия»… Хорошо, пусть будет так: «В творчестве Пикассо множество противоречий…» Но вспомним даты: его первые вещи были выставлены в 1901 году, а теперь на дворе 1966-й. Мало ли было противоречий за эти шестьдесят пять лет? Пикассо выразил сложность, смятение, отчаяние, надежду своей эпохи. Он разрушает и строит, любит и ненавидит.

Мне все же повезло! Я встретил в моей жизни некоторых людей, которые определили облик века. Я видел не только туман и шторм, но и тени людей на капитанском мостике. К большим удачам моей жизни я отношу тот далекий весенний день, когда я впервые встретил Пикассо, это ведь веха в моей жизни.

33

Это было утром. Я сидел, как всегда, в пустой «Ротонде» и бился над переводом сонета Дю Белле, который из Рима взывал к Франции:

Зову, кричу, а толка нет:
Лишь эхо слышу я в ответ.

…

Я — тот, что отстает от стада.

Меня схватил за руку чрезвычайно возбужденный Фотинский — я не заметил, как он вошел в кафе.

(Художник Серж, или Сергей Фотинский, приехал в Париж задолго до меня. Как все, он голодал, как все, писал пейзажи и свято верил в искусство. Он женился на француженке, но всегда говорил «у нас в России»; получил советский паспорт. Это человек очень добрый и восторженный. В 1935 году он решил съездить в Москву на две недели; прожил в Москве два года; глядел на все с восторгом и с испугом. В 1941 году немцы его посадили в Компьенский лагерь, случайно не убили. Он живет в Париже шестьдесят лет, но продолжает говорить: «У нас в Советской России…» Говорит он по-русски своеобразно: «Ты берешь авион?» Еще своеобразнее переходит улицу — подымает руку, как бы предупреждая водителей, что машины должны уважать пешехода, вид у него при этом Моисея, останавливающего морские волны.)

— Как, ты не знаешь? — кричал Фотинский. — Царя нет!

Я ничего не понял, но обрадовался и обнял Фотинского. На первой странице газеты было напечатано: «Государственный переворот в Петрограде. Николай II отрекся от престола в пользу своего брата Михаила». «Ну и что? — сказал я Фотинскому. — Чем Михаил лучше Николая?» Но Фотинского разочаровать трудно: он побежал за другой газетой, и мы нашли маленькую телеграмму: «В Петрограде забастовки, демонстрации». «Это настоящая революция!» — кричал Фотинский; я его снова обнял.

Стали понемногу приходить завсегдатаи «Ротонды»; нас поздравляли; спорили — удержится ли новый царь или будет республика. (Мы не знали, что французская цензура задерживала телеграммы и что в Петрограде никто больше не думает о Михаиле, а Совет рабочих депутатов обсуждает, как ему быть с

Временным правительством.) Либион сначала сказал, что русские любят все делать не вовремя — достаточно поглядеть на Эренбурга; но, увидев, что мы радуемся, выставил бутылку шипучего вуврэ и выпил с нами за республику.

Трудно было понять, что происходит в России. Самая солидная газета «Тан» писала, что женщины взбунтовались из-за перебоев с доставкой продовольствия, что перебои объясняются снежными заносами, что Николай был связан с германофильскими кругами, а Михаил настроен в пользу союзников. Поскольку генерал Хабалов заявил, что в Петроград будут доставлены большие запасы муки, беспорядки можно считать оконченными.

Два или три дня спустя я пошел с Павлом Людвиговичем в русское посольство. Впервые я заглянул в старинный дом на улице Гренель. Ворота были раскрыты, и двор заполнен взволнованными эмигрантами. Люди что-то кричали, поздравляли друг друга, пели. Мне сказали, что царский посол Извольский принял делегацию и обещал помочь всем политическим эмигрантам вернуться на родину; он предупредил, однако, что дело это сложное: немцы усилили подводную войну; транспорты должны идти под эскортом английских миноносцев; англичане не любят торопиться. Люди не расходились. Все почему-то рвались к советнику Севастопуло; он говорил: «Господа, я вас прошу войти в положение…»

В коридоре на полу я увидел портрет царя — его успели снять со стены. Мне приходится снова повторить, что в первый раз все действует куда сильнее, чем при повторениях. Мне было четыре года, когда на престол взошел Николай II, я знал, что отец его «почил в бозе», а он «благополучно здравствует»; знал, что в Германии — Вильгельм с усами, в Австро-Венгрии — старый Франц-Иосиф, в Англии — Георг V, похожий на нашего Николая. И вдруг я вижу портрет Николая в царском посольстве на полу! А я, Илья Григорьев Эренбург, привлеченный по 102-й статье, стою и пою с товарищами «В бой роковой мы вступили с врагами…». И его превосходительство смотрит на нас умоляюще. Это было необычайно, и я строго сказал Севастопуло: «Вы должны нас немедленно отправить в Россию». Советник кивнул головой и снова попросил всех успокоиться.

«Ты уедешь и не вернешься», — сказала мне Шанталь. Мы долго ходили по пустым темным улицам; накрапывал теплый весенний дождь.

Вскоре выяснилось, что отправлять будут группами; в первую очередь поедут эмигранты, связанные с политическими партиями, имеющими вес. Раньше лета мне не выбраться… Я вернулся к

парижской жизни: ходил в «Ротонду», спорил с Диего об искусстве, переводил Максу Жакобу мои стихи. Однако все время я думал о России; никак не мог представить себе, что там происходит. Я знал, что газеты лгут. А перед глазами вставали картины старой, сонной Москвы — палисадники с сиренью, вечера у Тани, явки, чайные…

Я пошел на эмигрантское собрание. Я думал, что там тоже будут поздравлять друг друга; но все переругались. Эсер Чернов красиво говорил: «Нужно защитить социализм и Россию». Его манера меня раздражала, но я ему аплодировал. Антонов-Овсеенко, как всегда, горячился, говорил сумбурно, но повторял, что главное — кончить войну; я и ему поаплодировал. Я понял, что отстал от политической жизни, разобраться трудно: на первый взгляд все правы. На следующее собрание я не пошел.

Потом был митинг, организованный в честь русской революции «Лигой прав человека». Огромный зал был переполнен. Выступал историк Олар; он говорил, что русская революция — социальная и что теперь нужно свернуть кайзера. Некоторые закричали: «Долой войну!» Выступала Северин; я ее знал по некоторым очеркам, немного сентиментальным, но написанным искренне; она была подругой и душеприказчицей Жюля Валлеса. Северин говорила о подвиге русских женщин, о женах декабристов, о Вере Засулич, о Фигнер, о работницах Петрограда. Я ей зааплодировал; сидевший недалеко от меня Гриша свистнул. Одни запели «Марсельезу», другие — «Интернационал». Праздник окончился дракой.

Газеты были полны восторженных статей об Америке: со дня на день в Гавре должны были высадиться первые американские отряды. Восхваляли всё — и президента Вильсона, и Лилиан Гиш, и американские консервы, и доллары, — это был медовый месяц. Зато о России газеты говорили, как о старой и неверной жене; особенно возмущал их Совет рабочих депутатов; они сочинили легенды о Чхеидзе — это была первая мишень. Чхеидзе изображался как фанатик, готовый отдать Францию в руки кайзера. Французы не могли выговорить его фамилию; Либион в тоске меня спрашивал, знаком ли я с этим «Шибидзе» и правда ли, что он ненавидит французов. (Н. С. Чхеидзе эмигрировал в 1921 году в Париж. Не знаю, как его встретили французы, но несколько лет спустя он покончил жизнь самоубийством.) В антирусской кампании первое место принадлежало газете «Матэн» — уже в апреле она начала печатать фельетончики, где доказывалось, что русские обожают пруссаков, они легкомысленны и склонны изменять своим друзьям.

Особенно горько пришлось русским бригадам, которых

царское правительство прислало во Францию в 1916 году. С самого начала русские солдаты оказались в трагическом положении. Генерал Лохвицкий и его подчиненные пороли провинившихся «нижних чинов». Французы об этом узнали и начали относиться к русским с жалостью и презрением. Когда русских приводили на отдых в деревню, crieur public по приказу русского командования возвещал с барабанным боем, что русским солдатам строжайше запрещается продавать виноградное вино. Во Франции вино дают детям; и крестьяне боялись выглянуть из дому: привели на постой дикарей, которым даже вина нельзя пить, они и без вина пьяные…

В июне 1916 года в Марселе произошел первый бунт русских солдат: они убили офицера, отличавшегося особенной жестокостью. Девять «зачинщиков» были расстреляны.

В течение года русские и французы приглядывались друг к другу. У меня записаны некоторые суждения русских о французах — и осуждающие и благоприятные.

«Он говорит «камарад». А какой он товарищ? Нет у них этого, каждый у них за себя».

«Нас ругают, что мы грязные, а вы поглядите на них. У него на голове помада, а год в бане не был. Они грязь не смывают, а загоняют внутрь».

«Народ вежливый, зайдешь в лавчонку — «месье» и «мерси». «Это у нас норовят драться. А я смотрю, он стоит и докладывает генералу, как будто он с приятелем говорит. Я видал в кафе — сидит французский солдат, пришел полковник, он даже ухом не повел».

«Разве это изба? Да у нас так и не всякий барин живет».

Помню смешной спор, из которого наши вышли победителями. Французы не едят гречневой каши; пробовали ее давать летчикам «Нормандии» — не стали есть. Так вот, французы начали смеяться над русскими солдатами: «У нас это только скотина ест». Русские не сдались: «А нот вы улиток едите, лягушек. У нас и скотина не станет такого есть…»

Все же до лета 1917 года отношения русских солдат с населением были мирными.

В апреле 1917 года французское командование попыталось провести наступление в районе Реймса; в боях приняли участие две русские бригады. Незадолго до этого генерал Нивель принял иностранных журналистов, он расхваливал боевой дух французов, а потом, обратившись ко мне, с нескрываемой иронией добавил: «Я надеюсь, что французский воздух предохранил ваших соотечественников от блеяния демагогов…» Русские бригады сражались хорошо, захватили форт, от которого зависела судьба

Реймса, но, не поддержанные другими частями, вынуждены были его очистить. Потери были большие.

Первого мая русские солдаты стояли на отдыхе. Устроили большой митинг. Оркестр исполнил «Марсельезу», а потом «Интернационал». Крестьяне были ошеломлены; один сказал мне: «Я понимаю, что они взбунтовались, воевать всем надоело, наши тоже бунтуют… Но почему с ними офицеры! И почему они исполняют «Марсельезу»? Странный вы народ!»

Русские требовали одного: возвращения в Россию. Трагедия разыгралась позднее: перед моим отъездом я узнал, что русские бригады находятся в лагере Ля Куртин на положении пленных, их собираются отправить в Африку.

Неожиданно я получил от английского командования приглашение приехать на участок, где стояли «анзаки» — солдаты из Австралии и Новой Зеландии. Оказалось, что австралийские солдаты по закону должны принять участие в парламентских выборах; урны поставили недалеко от переднего края. Командир объяснил мне, что русским, наверно, полезно познакомиться с техникой выборов на фронте.

Мною заинтересовались различные люди, конечно не как автором «Стихов о канунах», а как корреспондентом петроградской газеты. Внук Маркса, социалист Жан Лонге, долго говорил мне о конфликте между антиимпериализмом и необходимостью спасти Францию, а потом вдруг уныло засмеялся: «Не помню, кто это сказал, кажется Ницше, что глупо читать нотации землетрясению». Военный министр Пенлеве говорил мне о своей любви к Толстому, Чехову, Горькому; у него были умные, хорошие глаза. Он был одаренным математиком, не знаю, почему он увлекся государственной деятельностью.

В Доме прессы мне возмущенно заявили, что в Сен-Рафаэле сенегальцы бунтуют и требуют для солдат «советов». Вскоре выяснилось, что сенегальцы требовали отпусков; но газеты уверяли, будто «русские пытаются подорвать дух храбрых колониальных войск».

В Париже начались забастовки. Первыми выступили «мидинетки» — так зовут модисток, белошвеек, шляпниц. Молоденькие девушки ходили по улицам с задорной песенкой; содержание ее было вполне невинно — работницы требовали «английской недели», то есть короткого рабочего дня в субботу, и надбавки заработной платы. Солдаты-отпускники присоединялись к демонстрациям миднеток: им нравились девушки, кроме того, они пользовались случаем, чтобы познакомить парижан с другой, более серьезной песенкой: то и дело они кричали: «Долой войну!»

Начались солдатские бунты. В «Ротонду» пришел отпускник и рассказал, что его товарища, молодого скульптора, расстреляли.

Мне дали пачку немецких газет. Немцы восхищались русской революцией и приветствовали французских солдат, которые протестуют против войны. В Германии, однако, никто ничего не кричал. Немецкие дивизии по-прежнему стояли в Шампани, в Артуа, в Пикардии.

Все было тревожно и непонятно. Помню только одно веселое событие. Дягилев поставил балет «Парад»; музыку написал Эрик Сати, декорации и костюмы сделал Пикассо. Это был очень своеобразный балет: балаган на ярмарке с акробатами, жонглерами, фокусниками и дрессированной лошадью. Балет показывал тупую автоматизацию движений, это было первой сатирой на то, что потом получило название «американизма». Музыка была современной, декорации — полукубистическими. Публика пришла изысканная, как говорят французы — «весь Париж», то есть богатые люди, желающие быть причисленными к ценителям искусства. Музыка, танцы, а особенно декорации и костюмы возмутили зрителей. Я был до войны на одном балете Дягилева, вызвавшем скандал, — это была «Весна священная» Стравинского. Но ничего подобного тому, что случилось на «Параде», я еще не видел. Люди, сидевшие в партере, бросились к сцене, в ярости кричали: «Занавес!» В это время на сцену вышла лошадь с кубистический мордой и начала исполнять цирковые номера — становилась на колени, танцевала, раскланивалась. Зрители, видимо, решили, что танцоры издеваются над их протестами, и совсем потеряли голову, вопили: «Смерть русским!», «Пикассо — бош!», «Русские — боши!» На следующий день «Матэн» предлагала русским заняться не плохой хореографией, а хорошим наступлением где-нибудь в Галиции.

Каждый день я ходил в какую-нибудь канцелярию: то в русское консульство, то в английское, то во французскую полицию: выехать было не просто. Наконец мне выдали паспорт от имени Временного правительства; оставалось получить визы. Это слово я услышал впервые — до войны никаких виз не было. Настал день, когда у меня оказались все три визы — английская, норвежская и шведская.

Послезавтра я уезжаю! Либион считал, что в каждом порядочном городе существуют кафе и там коротают вечера художники и поэты. Он меня угостил на прощание дивным ар маньяком и сказал: «Когда ты будешь пить водку в московской «Ротонде», ты еще вспомнишь старика Либиона…» Диего Ривера радовался за меня — я еду на революцию, а он видел революцию в Мексике, это самое что ни на есть веселое дело. Модильяни мне

сказал: «Может быть, мы увидимся, а может быть, нет. Мне кажется, что всех нас. посадят в тюрьму или убьют…»

Помню последний вечер в Париже. Я шел с Шанталь по набережной Сены, глядел кругом и ничего больше не видел. Я уже не был в Париже и еще не был в Москве; кажется, я нигде не был. Я сказал ей правду: я счастлив и несчастен. В Париже я плохо жил, и все-таки я люблю этот город. Я приехал сюда мальчишкой, по я знал тогда, что мне Делать, куда идти. Теперь мне двадцать шесть лет, я многому научился, но ничего больше не понимаю. Может быть, я сбился с пути?…

Она меня утешала, сказала: «До свидания!» Мне хотелось ответить: «Прощай!»

34

Французы писали на стенах: «Остерегайтесь, вас слышат вражеские уши!» Все только и говорили, что о бдительности. Однажды я поехал из Парижа в Эперне; на моем пропуске было пять печатей пяти различных ведомств: министерства иностранных дел, военного министерства, генерального штаба, «бюро передвижений в военной, зоне», «контроля над иностранцами»; я должен был провести пять дней в пяти канцеляриях; я лелеял документ, добытый с таким трудом; но никто ни разу у меня его не потребовал.

Англичане ничего не писали на стенах, и на моем паспорте была всего одна английская виза; но я увидел, что значит бдительность. Меня обыскивали в жизни много раз, но никто, однако, не проявлял в этом деле такого мастерства, как англичане. Меня заставили разуться, куда-то уносили ботинки; просмотрели все швы на пиджаке и на брюках; отобрали записную книжку, стихи Макса Жакоба и после долгих пререканий вернули фотографию Шанталь. Все это англичанин делал с милой улыбкой, нельзя было даже на него рассердиться.

В Лондоне нам сказали, что неизвестно, когда мы поедем дальше: это военная тайна. Со мной ехал мой приятель эстонец Рудди, мы с ним часто встречались в «Ротонде». Мы пошли по очень длинному чужому городу. Все здесь было куда спокойнее, чем в Париже; может быть потому, что война была дальше, может быть и потому, что англичане не любят волноваться. Город мне показался красивым, величественным и унылым. Я подумал: здесь Модильяни посадили бы в сумасшедший дом…

Мы прожили два или три дня в Лондоне. Нас повезли на вокзал; куда мы едем, все еще оставалось тайной. Нас оказалось много — политические эмигранты и русские солдаты, убежавшие из немецкого плена. Все вагоны были переполнены. Эмигранты, разумеется, сразу начали спорить: одни были «оборонцами», другие стояли за Ленина. В одном купе дело чуть было не дошло до драки.

Повезли нас на север Шотландии. Я вышел на площадку, сказал Рудди, что хочу подышать свежим воздухом. На самом деле я понял, что дышу покоем. Здесь не чувствовалось присутствия истории. Одинокие домики, холмы, покрытые лиловым вереском, отары овец, розовый ирреальный свет северной белой ночи. Природа могла многое рассказать человеку; но мне в то лето было не до мудрости. Я постоял, подышал и вернулся в накуренный вагон, где кто-то хрипло кричал: «А чем

твой Плеханов отличается от Гучкова?»

В Обердине нас погрузили на транспорт. Опять было тесно; мы сидели на палубе, прижавшись друг к другу. Нам сказали, что, если будет тревога, каждый должен занять свое место в шлюпке; но людей оказалось больше положенного, и я остался без места в шлюпке. Ночью споры притихли; люди сидя дремали; а море рассказывало о чем-то своем — бурном, но постоянном. Вокруг нашего транспорта вальсировали два английских миноносца. Под утро нам объявили, что замечена подводная лодка. Я перед этим клевал носом. Посмотрев на Рудди, я начал так смеяться, что сидевшая рядом русская дама рассердилась: «В такие минуты можно быть посерьезнее…» Нет, нельзя было оставаться серьезным, глядя на Рудди!

Он был женат на милой француженке, которую мы называли «утконосом». Его теща убивалась: сумасшедший Рудди, он едет в страну, где все теперь вверх дном! Но еще больше ее страшил переезд через Северное море. Она причитала: «Вы не знаете бошей, они обязательно потопят Рудди!» Она увидела в газете объявление: какая-то фирма рекламировала чудодейственный костюм, в котором человек может сколько угодно держаться на воде. Теща купила спасательный костюм для Рудди. И вот он его надел… Можно ли было не смеяться? Я едва выговорил — меня душил приступ смеха: «Ты знаешь, на кого ты похож? На кубистическую лошадь Пикассо…» Рудди оправдывался: он дал слово теше. А я продолжал хохотать. Дама, не выдержав, отошла к шлюпке. Как я мог не смеяться? Тогда меня пугала скорее жизнь, чем смерть, а Рудди был действительно бесподобен.

Английский моряк дал мне спасательный пояс и улыбнулся. Я тоже улыбнулся, но пояса не надел. Я поморщился — вода, наверное, очень холодная; потом вспомнил, что не купил в Обердине английского табака. Солдаты, еще до того как транспорт отчалил, забрались в трюм; там было тепло и уютно. Когда была замечена подводная лодка, им сказали, что нужно подняться на палубу; но они не вышли из трюма — играли в карты, да и не верили в спасательные пояса.

Деревянные домики Бергена мне напомнили московские переулки. Но и здесь не было мира: незадолго до этого пожар уничтожил большую часть города. Христиания (так тогда назывался Осло) мне показалась идилличной. Вот на этой скамье, наверно, гамсуновский Иоганн мечтал о Виктории. А там, в домике на курьих лапках возле фьорда, Бранд говорил: «Все — иль ничего!» Станиславский хорошо играл доктора Штокмана, которого называли «врагом народа». За что? Он предпочел правду. Но что такое правда? Доктор Штокман знал, что целебные

источники отнюдь не целебны, это легко проверить в лаборатории. А как проверить идеи?…

В Стокгольме мы задержались на несколько дней: ждали какой-то телеграммы из Петрограда. Стокгольм меня поразил. Я стоял на набережной против королевского дворца, глядел на камни, на воду, на небо, и мне хотелось писать стихи. (Я не знал, что сорок лет спустя этот город войдет в мою жизнь и Стокгольмским воззванием, и частыми посещениями, и новыми друзьями.) Я спрашивал себя: может быть, меня прельщает спокойствие нейтральной страны, где никто не волнуется за жизнь близких, не ждет воздушной тревоги, где в магазинах изобилие товаров? Нет, это меня, скорее, сердило. Поразило меня другое: скалы среди домов. Построить дом здесь трудно, как взять крепость. Поразило море — оно входит в город, металлическое посвечивание воды, чайки, вмешивающиеся в разговор прохожих. Здесь не было уныния Лондона, его роскоши и диккенсовской нищеты, его величии и сплина. Здесь цепенела каменная печаль, обдуманная и внезапная, как строка поэта; Стокгольмцы показались мне не благополучными нейтралами, нажившимися на чужой войне, а кандидатами в самоубийцы.

У Рудди оказались знакомые художники; они позвали нас вечером в ресторан. Я оглядел нарочитую живописность помещения: старые бочки, медные подсвечники, кубистические картины на стенах — Пикассо уже дошел до этой северной окраины Европы. Девушки в беленьких чепчиках, улыбаясь, принесли закуски и водку. Я подумал: все-таки это не «Ротонда»… Мы аккуратно говорили «сколь» и пили водку. Потом к нашему столу подсел очень высокий швед с выпуклыми рачьими глазами; художники объяснили, что это поэт, имени его я не запомнил. Он сказал, что говорит немного по-французски, но разговаривать не стал — молча пил водку. Только ближе к полуночи, выпив немало рюмочек, он сказал мне, что Европа — это Рим эпохи упадка. Апостол Павел разбивал статуи греческих богинь, не задумываясь, представляют ли они художественную ценность. Он был нрав, но статуй жалко. «Что вы собираетесь делать в России?» — спросил он меня. Я ответил, что не знаю; может быть, меня возьмут в армию, может быть, напишу новые стихи или роман. Он сказал, что теперь можно взять лом, можно взять и носовой платок, чтобы утирать слезы. «Я лично люблю и ломать и плакать, как старая дева над разбитой вазой…» Его рассуждения показались мне понятными; мы выпили еще и расцеловались.

Утром я вспомнил, что еду в Россию; нужно будет пойти к поэтам, которых я знаю только по книгам; а Петроград или

Москва — не «Ротонда»… У меня, например, нет крахмальных воротничков, а бритву я потерял на пароходе. К счастью, у меня оставалось немного денег; я купил бритву и несколько воротничков.

Поезд шел вдоль Ботнического залива. На тихих станциях белобрысые девушки гуляли с кавалерами. В буфетах на кусках льда лежали селедки. Все было чрезмерно тихо и непонятно. Ночь была совсем белой: солнце опустилось и сразу начало подыматься.

Путь был долгим; наконец мы доехали до последней шведской станции — Хапаранда. Перешли через мост. Вот и русские офицеры — это пограничная станция Торнио. Встреча была неласковой. Поручик, посмотрев на мой паспорт, злобно сказал: «Опоздали! Кончилось ваше царствие. Напрасно едете…» Это было 5 июля. Мы не знали о событиях в Петрограде и приуныли. Поезд шел теперь на юг. На станциях финны сосредоточенно молчали. В Хельсинки кто-то нам рассказал, что в Петрограде большевики попытались захватить власть, но их усмирили. В вагоне атмосфера накалилась. Один из «оборонцев» кричал о «пломбированном вагоне», о «предательстве» и вдруг сказал: «Мы поможем разобраться… Вы что хотите — бунтовать? Не выйдет, голубчики! Свобода свободой, а вам место в тюрьме…» Тотчас один из эмигрантов, присоединившийся к нам в Лондоне тщедушный еврей, который все время терял очки и глотал какие-то пилюли, вскочил и тоже стал кричать: «Не тут-то было! Пролетариат возьмет власть в свои руки. Кто кого посадит — это еще вилами на воде писано…»

Я как-то съежился: в Париже все говорили о «бескровной революции», о свободе, о братстве, и вот еще мы не доехали до Петрограда, а они грозят друг другу тюрьмой. Я вспомнил камеру в Бутырках, парашу, маленькое оконце… В Хельсинки офицер, захлебываясь от восторга, рассказывал: «Казаки им всыпали… А как прикажете с ними разговаривать? Ведь это босячье! Хорошая пулеметная очередь! Другого языка они не понимают…»

Я стоял в коридоре у окна. Кругом лежали солдаты, женщины прижимали к себе огромные тюки. Нельзя было повернуться. Я глядел в окно. Сколько солдат!.. Вид у них странный — измученные, плохо одеты, ругаются…

Почему все ругаются?…

А вот еще граница — Белоостров. Снова проверяют паспорта, осматривают вещи и снова ругаются. Офицер приказал меня обыскать. В кармане пальто обнаружили воротнички и бритву; офицер унес их в другую комнату, сказал, что на крахмальных воротничках теперь пишут секретные инструкции; о бритве не

упомянул, но и ее вернуть отказался. Нас провели в грязное помещение, сказали, что в Петроград мы поедем под конвоем, как военнообязанные: нас сдадут воинскому начальнику. Все это сопровождалось бранью.

Действительно, нам дали конвойных. Поезд прошел немного и остановился на полустанке. Солдаты штурмовали переполненные вагоны. Кто-то сказал, что везут царских охранников. Солдаты улюлюкали, один крикнул мне: «Вот поставят тебя к стенке, это тебе не шампанское…» Офицер показал на меня даме: «Видишь — в шляпе — еще один «пломбированный». Хорошо, что сразу сцапали…»

Поезд двинулся и сейчас же остановился возле домика стрелочника. Маленькая девочка загоняла гусей. У нее была жиденькая косичка с ленточкой. Она посмотрела на меня: я улыбнулся и в ответ увидел ее застенчивую улыбку. Мне сразу полегчало.

Бабка на площадке истошно кричала: кто-то украл у нее мешок с сахаром. «Перебить их нужно всех», — сказал старик в парусиновом пиджаке. Я не стал гадать, кого он хочет перебить — воришек или спекулянток; я вдруг обрадовался: все кругом говорят по-русски!

Заводские трубы. Пустырь с примятой травой, с желтыми цветами — совсем как на Шаболовке. Прокопченные дома. Вот я и дома…

Книга II

1

Я походил на ягненка, отбившегося от стада, о котором писал Дю Белле: ведь когда я уехал из России, мне не было и восемнадцати лет. Как приготовишка, я готов был учиться грамоте; спрашивал всех, что происходит, но в ответ слышал одно: «Этого никто не понимает…» Я пробовал заводить длиннейшие разговоры — о миссии России, о гнили Запада, о Достоевском, но люди были заняты другим: они не разговаривали, а ругались, проклинали — кто большевиков, кто Керенского, кто революцию.

На Финляндском вокзале нас встретила пожилая меньшевичка в пенсне; она мне сказала: «Идите за мной». Я ответил, что меня сопровождает конвойный. Она начала ругать солдата, солдат ругал ее. Она ему говорила, что он мешочник (он действительно вез с собой кулек), а он отвечал, что она, наверно, «жрет мармелад». Я стоял и дивился. Меньшевичка нас отвезла в общежитие: там было тесно и темно. Какой-то юноша кричал своему соседу: «Какой ты революционер? Ты — Галифе, тебя нужно приставить к стенке!..»

Как всем политэмигрантам, мне дали отсрочку; поручик в участке сказал, что в армии и без меня достаточно болтунов.

Я получил в «Биржевке» причитавшийся мне гонорар и поселился в меблированных комнатах на Мойке. С утра я шел на улицу и смотрел. Архитектура города, его проспекты казались мне необычайно ясными, величественными, но понять что-либо было невозможно.

Я пошел на митинг в цирк Чинизелли. Народу было много, но я сразу почувствовал, что речи всем надоели: энтузиазм первых месяцев, видимо, успел иссякнуть, даже болтуны выговорились. Выступали люди случайные. Седая дама доказывала, что революцию спасет эсперанто; ее не слушали. Потом выступал анархист, он говорил, что необходимо сейчас же отменить государство; все на него кричали; тогда он стал отчаянно свистеть — и его стащили с подмостков. Элегантно одетый молодой человек умолял не отдавать Россию кайзеру. На него насели два солдата: «А ты, сукин сын, в окопе сидел?…»

Я попытался разыскать поэтов, с которыми переписывался; никого из них в городе не оказалось, мне отвечали «на даче» или «в Крыму». Т. И. Сорокин как-то послал за мной: «Приходи, здесь сейчас Блок». Я побежал в Зимний дворец, но пришел слишком поздно — Блока уже не было. Так я и не увидел поэта, стихи которого любил больше всего…

В «Биржевке» мне посоветовали пойти в ресторан «Вена» — там по вечерам собираются поэты и художники. Я решил, что «Вена» нечто вроде «Ротонды». Но за столиками сидели обыватели, офицеры, спекулянты. Один кричал; «Что же вы на карточке пишете, если этого нет? Вы еще Николая поставьте!» Дама визжала: «Почему они прозевали Ленина?…»

На улицах ловили дезертиров; патрули, проверявшие документы, сами походили на дезертиров. Однажды я видел, как два офицера отобрали у женщины мешок с сахарным песком. Она вопила: «Ироды!..» Когда она ушла, один из офицеров крикнул вслед, что скоро ее приставят к стенке, — Керенский потакает мешочникам, но и на него найдется управа. Потом офицеры, не стесняясь прохожих, поделили между собой добычу.

В магазинах можно было купить гаванские сигары, севрские вазы, стихи графини де Ноай. В кондитерских подавали кофе с медом (сахара уже не было), а вместо пирожных — тоненькие ломтики белого хлеба и повидло. Извозчики больше не говорили про овес, только угрюмо ругались. Один поэт; с которым я познакомился в редакции «Биржевки», сказал: «Единственная надежда на генерала Корнилова. Его зовут Лавр — это символично…»

Солдаты говорили про «замирение». Дезертиры ничего не говорили, мрачно поглядывали на прохожих. По Невскому гуляли девушки в военной форме; они лихо козыряли, и груди у них были очень большие; они «митинговали» на углу Садовой, кричали, что нужно найти Ленина, а пока что арестовать Чернова.

Я услышал Чернова; он говорил, как в Париже, очень возвышенно. Но в марте он меня чем-то тронул, а в августе показался смешным. Он умел говорить и, в общем, напоминал французского радикал-социалиста, который клянется избирателям, что если его выберут, то он построит мост через речку. Чернов клялся, что даст крестьянам землю и спасет Россию от немцев. У него были хитрые глаза; по-моему, никто из слушавших ему не поверил. Слышал я и Керенского; это напоминало театр — казалось, что глава Временного правительства сейчас заплачет или убежит со сцены. К этому времени слава Керенского успела потускнеть; все же полсотни женщин истошно вопили, приветствуя его, одна кинула ему букетик полуувядших астр; он поднял цветы и почему-то их понюхал.

Я встретил двух-трех эмигрантов, которых знал по Парижу. Один из них, большевик (его звали Сашуней), сказал, что Антонов-Овсеенко сидит в Крестах, что меньшевики — предатели, время споров прошло. Я спросил его, не боится ли он, что немцы,

воспользовавшись гражданской войной, захватят Петроград. Он стал кричать, что я рассуждаю, как меньшевик, что я интеллигент «с головы до ног», «интеллигенция путается в ногах», теперь не немцы страшны, а «оборонцы». Я проговорил час или два с Савинковым. Он был помощником военного министра, и я не узнавал того Бориса Викторовича, который уныло усмехался в «Ротонде». Савинков говорил о крутых мерах, о диктатуре, о порядке. Керенского он назвал фразером, который упивается тембром своего голоса; о Временном правительстве отозвался презрительно: «Это растерявшиеся люди, они заседают не сидя, а стоя…» В Зимнем дворце я увидел, как жил царь; жил он неинтересно; комнаты были заставлены безвкусной мебелью, мещанскими безделушками. (Такие же вещи я увидел потом в пекинском дворце, в покоях последнего китайского императора.) Среди пуфов стояли раскладушки; валялись винтовки — революция, которую Савинков хотел преждевременно но похоронить, бродила по залам Зимнего дворца. На лестнице какая-то дама схватила помощника военного министра за борт пиджака: «Но вы мне скажите, почему Жоржа держат в остроге? Он еще в лицее читал Герцена…»

Савинков познакомил меня с Ф. А. Степуном. Я знал, что Степун — философ, что он написал интересную книгу «Письма прапорщика», в которой показал войну без обязательной позолоты. Менее всего я мог себе представить его исполняющим должность начальника политического управления военного министерства. Лицо у него было скорее мечтателя или пастора. Я начал бестолково и страстно твердить, как Сашуне, что немцы могут оккупировать Россию и задавить революцию. Он спросил, не хочу ли я стать военным комиссаром. Я усмехнулся — комиссар должен понимать, объяснять, а я занят другим: всех спрашиваю.

Был я и в Смольном. Там люди кидались на Чхеидзе, кричали, что Савинков сговаривается с генералами, а в тюрьму сажают рабочих. В коридорах спали солдаты.

Один из парижских эмигрантов мне строго сказал: «Здесь тебе не «Ротонда» — иди на фронт…» Я ответил, что меня не хотят брать в армию. Он зло рассмеялся: «Значит, ты большевик? Я тебя выведу на чистую воду…» Старушка прижала меня к стенке, плакала: «Ты им скажи, что у Андрюши дочка в консерватории, а сукно это Мишукнн получил…»

В Петрограде тогда находились Тихон Иванович Сорокин и Катя с моей дочкой Ириной. Они жили у отца Кати, который не мог слышать моего имени: ко всем прочим грехам я был евреем. Катя тайком от отца привела ко мне Ирину; девочке тогда было

шесть лет. Я ее повел в кафе «Ампир», угостил белым хлебом с повидлом. Потом мы гуляли по Невскому. У Ирины одно время была няня итальянка, она ее научила молиться богу. Девочка попросила, чтобы мы зашли в Казанский собор; там она тотчас стала на колени и приказала мне последовать ее примеру. Я не послушался. Ирина начала кричать, плакала; женщины, молившиеся в соборе, возмутились: стыдно в святом месте обижать ребенка! К счастью, Ирине надоело молиться, и она спросила, нельзя ли снова пойти в кондитерскую.

Тихон сказал мне, что Степун направляет его на Кавказский фронт, а меня хочет сделать помощником Тихона. Я долго смеялся: Тихон разбирался в событиях еще меньше, чем я. Он хорошо знал книги Владимира Соловьева и архитектуру ранней готики. Интересно, о чем он будет говорить солдатам: о «вечной женственности» или о витражах Шартрского собора?…

(В архиве я нашел удостоверение военного министра от сентября 1917 года, в котором говорится, что «в согласии с фронтовой комиссией Центрального исполнительного комитета Всероссийского съезда Советов солдатских и рабочих депутатов» я назначен помощником военного комиссара Кавказского военного округа. Об этом назначении я узнал, когда уже исчезли и военный министр и Кавказский фронт.)

Все уверяли, что кто-то скоро «выступит»; одни считали, что выступит генерал Корнилов, другие — что выступят большевики. Я понял, что ничего не пойму, и уехал в Москву.

Вот и Остоженка… Здесь я знал все переулки, все вывески. Сначала город мне показался более спокойным; но это была видимость — люди и здесь ничего не понимали. Я попробовал разыскать старых знакомых. Прошло восемь лет, а это немалый срок. Один гимназист, ходивший в 1907 году на наши собрания, успел стать модным адвокатом; когда я назвал себя, он начал на меня кричать: «Доигрались! Мог бы сидеть в Париже, там, по крайней мере, не стреляют на улицах…» Гимназистка Люся, которая обожала стихи Лермонтова, оказалась полной дамой с усиками; она меня напоила чаем, но замучила жалобами: нет сахара, прислуга дерзит, ночью страшно выйти на улицу.

На Тверской помещалось кафе «Бом» с красными бархатными диванами; там подавали кофе и пирожные. Туда приходили писатели. Там я познакомился с В. Г. Лидиным; он был розовым и очень опрятным; говорил о лошадях, о конюшнях, о мастерстве Бунина. Б. К. Зайцев задушевно рассказывал о красоте православных обрядов и о новелле. В. Ф. Ходасевич язвительно обо всех отзывался и писал нежные стихи о том, что его клонит к смерти, как девушек вечером клонит ко сиу; у него было лицо,

похожее на череп. А. Н. Толстой мрачно попыхивал трубкой и говорил мне: «Пакость! Ничего нельзя понять. Все спятили с ума…»

Алексей Николаевич уверял, что я похож на мексиканского каторжника. Я зашел в кафе на Арбате, начал что-то строчить; подошла девушка, сердито забрала пустой стакан и сказала: «Здесь вам не университет…» Я отвык от русского быта и часто выглядел смешным. Мне казалось, что именно поэтому я не могу разобраться в значении происходящих событий. Но и Алексей Николаевич был растерян не меньше меня. Недавно я перечитал дневники Блока, письма Короленко, статьи Горького; все тогда и принимали, и отвергали, и соглашались, и протестовали. Очевидно, «мексиканский каторжник» оказался при проверке заурядным русским интеллигентом… Я говорю это не для того, чтобы каяться или оправдываться; мне хочется объяснить мое состояние в 1917–1918 годы. Конечно, теперь я вижу все куда яснее, но гордиться здесь нечем — задним умом крепок каждый.

2

Говорят, что из-за деревьев не видно леса; это так же верно, как то, что из-за леса не видно деревьев. Читая о Франции 1793 года, мы видим Конвент, неподкупного Робеспьера, гильотину на площади Революции, клубы, где витийствовали санкюлоты, памфлеты, заговоры, битвы. А в том самом году Филипп Лебон сидел в маленькой лаборатории и думал о газе; Тальма репетировал ложноклассическую трагедию; модницы примеряли новые шляпы с лентами; домашние хозяйки рыскали по городу, разыскивая исчезающие продукты.

А. Н. Толстой так описал разговоры лета 1917 года: «Пропадем или не пропадем? Быть России или не быть? Будут резать интеллигентов или останемся живы?»; другой говорил: «Оставьте, батенька, зачем нас резать, чепуха, не верю, а вот продовольственные магазины громить будут»; третий сообщал из достоверного источника, что «к первому числу город начнет вымирать от голода».

Случайно у московских знакомых сохранилась моя записная книжка 1917–1918 годов. Записи настолько лаконичны, что порой я не могу их расшифровать, но некоторые строки помогли мне многое восстановить в памяти. Записал я и про первую встречу с В. Я. Брюсовым. Это было в то самое лето, о котором писал Толстой. Я провел у Валерия Яковлевича несколько часов. Он прочитал мне недавно написанное им стихотворение об Ариадне, и мы поспорили. Если сформулировать эту часть беседы, то она будет выглядеть достаточно неожиданно для августа 1917 года:

1. Правда ли, что Тезей испытывал угрызения совести, оставив Ариадну на безлюдном острове?

2. Как правильнее писать — «Тезей» или «Фессей»? (Валерий Яковлевич настаивал на последней транскрипции.)

3. Нужно ли современному поэту писать о Тезее? (Я говорил, что не нужно.)

Можно подумать, что Брюсов был эстетом, формалистом, вечным декадентом, решившим противопоставить свой мир действительности. Это неверно; вскоре после Октябрьской революции, когда и его сверстники, и поэты более молодого поколения (в том числе я) недоумевали, метались, многое оплакивали, многим возмущались, Брюсов уже работал в первых советских учреждениях. Если он говорил со мной о Тезее, то потому, что верил в живучесть поэзии и уважал свою собственную работу. Всю жизнь он жил книгами — чужими и своими. В молодости он как-то признался, что у него «глупая

чувствительность к романам, когда ее вовсе нет к событиям жизни».

Я шел к нему с двойным чувством: помнил его письма — он ведь неоднократно приободрял меня, — уважал его, а стихи его давно разлюбил и боялся, что не сдержусь, невольно обижу человека, которому многим обязан.

Валерий Яковлевич жил на Первой Мещанской; чтобы попасть к нему, я должен был пересечь знаменитую Сухаревку. Если Ватикан в Риме — независимое государство, то таким государством в Москве 1917 года была Сухаревка; она не подчинялась ни Временному правительству, ни Совету рабочих депутатов, ни милиции. Прекрасная башня высилась над грандиозным рынком; здесь, кажется; еще жила Древняя Русь с ее слепцами, певшими заунывные песни, с нищими, с юродивыми. Матерщина перебивалась причитаниями, древняя божба — разговорами о «керенках», о буржуях, о большевиках. Кого только тут не было: и дезертиры, и толстущие бабы из окрестных деревень, и оказавшиеся безработными гувернантки, экономки, приживалки, и степенные чиновницы, и воры-рецидивисты, и сопляки, торговавшие рассыпными папиросами, и попы с кудахчущими курами. Все это шумело, чертыхалось, покрикивало, притопывало — человеческое море…

«Восплакался Адамий: раю мой, раю!» — гнусавил слепец; его песня еще звучала у меня в ушах, когда я подошел к дому Брюсова. Сухаревка была необходимым предисловием, ключом к разгадке сложного явления, именуемого «Валерием Брюсовым»; ведь если можно спорить о ценности стихов, посвященных Тезею, Ассаргадону, Кукулкану, то никто не станет отрицать значение Брюсова в развитии русской культуры. (Валерий Яковлевич как-то написал: «Желал бы я не быть Валерий Брюсов»; но хорошо, что он им был.)

Конечно, не одна только Сухаревка имеет право значиться в предисловии; я сказал о ней, потому что Брюсов жил неподалеку; можно было бы припомнить и Зарядье с его лабазами, и «Общество свободной эстетики», и Китай-город, и купца Щукина, покупавшего холсты никому не ведомого Пикассо, и «Литературно-художественный кружок» на Большой Дмитровке, где Валерий Яковлевич проповедовал «научную поэзию», пока члены кружка, прекрасно обходившиеся и без науки и без поэзия, играли в винт. Брюсов одевался по-европейски, знал несколько иностранных языков, в письма вставлял французские словечки, на стены вешал не Маковского, а Ропса, но был он порождением старой Москвы, степенной и озорной, безрассудной и смекалистой.

Его трудолюбие, энергия поражали всех. При том первом свидании, о котором я рассказываю, он запальчиво возражал против моего, как он говорил, «безответственного» отношения к поэтической работе: «При чем тут вдохновение? Я пишу стихи каждое утро. Хочется мне или не хочется, я сажусь за стол и пишу. Даже если стихотворение не выходит, я нахожу новую рифму, упражняюсь в трудном размере. Вот черновики», — и он начал выдвигать ящики большого письменного стола, заполненные доверху рукописями. Меня он укорял за легкомыслие, дилетантство; говорил, что нужно устроить высшую школу для поэтов: это — ремесло, хотя и «святое», оно требует обучения.

Он был великолепным организатором. Отец его торговал пробкой, и я убежден, что, если бы гимназист Брюсов не напал на стихи Верлена и Малларме, у нас выросли бы леса пробкового дуба, как в Эстремадуре. Работоспособность в нем сочеталась с честолюбием. Когда ему было двадцать лет, он записал в дневнике: «Талант, даже гений, честно дадут только медленный успех, если дадут его. Это мало! Мне мало. Надо выбрать иное… Найти путеводную звезду в тумане. И я вижу ее: это — декадентство. Да! Что ни говорить, ложно ли оно, смешно ли, но оно идет вперед, развивается, и будущее будет принадлежать ему, особенно когда оно найдет достойного вождя. А этим вождем буду Я! Да, Я!»

Он организовывал издательства, создавал журналы, писал труды о стиховедении, переводил латинских авторов, спорил с признанными авторитетами, наставлял молодых; боялся одного — отстать от своего времени.

Он часто писал о хаосе — это шло от Тютчева; но Брюсову хотелось взять воспеваемый им хаос и его организовать. Помню, как я пришел к нему в конце 1920 года в маленький особняк, где помещался ЛИТО — так назывался отдел Наркомпроса, которому была вверена литература. Валерий Яковлевич говорил со мной как заведующий отделом, предлагал работу; он показал на стену, там висела диковинная диаграмма: квадраты, ромбы, пирамиды — схема литературы. Это было наивно и вместе с тем величественно: седой маг, превращающий поэзию в канцелярию, а канцелярию — в поэзию.

Его часто называли рационалистом, человеком сухого рассудка; многие уверяли, что он никогда не был поэтом. По-моему, это неверно: разум для Брюсова был не здравым смыслом, а культом, и в своей вере в разум он доходил до чрезмерности. Поэтом он был даже в самом обыденном, обывательском понимании этого слова: жил в условном мире исступленных схем.

Его замечательно написал Врубель; сухие, обжигающие глаза, голова, как бы срезанная сзади.

Вспоминаю «Кафе поэтов» в Москве в 1918 году. Приходили туда люди, мало причастные к поэзии, — спекулянты, дамочки, молодые люди, именовавшие себя «футуристами». Валерий Яковлевич объявил, что будет импровизировать терцины на темы, заданные посетителями. Ему посылали дурацкие записки. Он как будто не замечал ни официантов с их криками «два кофе, два!», ни смеха подвыпивших матросов. Строгий, торжественный, он читал стихи; у него был странный голос, когда он декламировал, — резкий, отрывистый. Читая, он откидывал голову назад. Он походил на укротителя, только перед ним были не цирковые львы, а слова. Он сочинял терцины то о Клеопатре, то о барышне, сидевшей за столиком, то о прозрачных городах будущего.

Ко всему он подходил серьезно; его эротические стихи — нечто вроде путеводителя по царству Афродиты. Окруженный поэтами, охваченными мистическими настроениями, он начал изучать «оккультные науки». знал все особенности инкубов и суккубов, заклинания, средневековую ворожбу.

Когда появились футуристы, Бальмонт наивно просил их помедлить с его низложением. Брюсов попробовал сам низвергать; написал стихотворение «Футуристический вечер». Маяковский писал:

> …а за солнцами улиц где-то ковыляла
> никому не нужная, дряблая луна.

У Брюсова:

> Монетой, плохо отчеканенной.
> Луна над трубами повешена.

Футуристы, однако, не признали его своим, и среди их лозунгов значилось: «Стащить бумажные латы с черного фрака Брюсова».

Валерий Яковлевич разыскал во Франции мало кому известного поэта Рене Гиля, изобретателя «научной поэзии». Брюсову рассуждения Рене Гиля понравились: Валерий Яковлевич давно уже хотел быть колдуном с высшим образованием, магом-академиком.

Он изучил Пушкина, писал об анагорах, зевгмах, пролепсах, силлепсах, подсчитал, что в третьей главе «Онегина» семьдесят

три процента рифм отличаются согласованием доударных звуков, а в четвертой главе всего пятьдесят четыре процента. Брюсов попытался дописать «Египетские ночи», создать обновленный вариант «Медного всадника»; эти его вещи не хочется перечитывать.

Несправедливо некоторые обвиняли Брюсова в отсутствии вкуса: эта черта присуща всем символистам — очевидно, такой у них был вкус. Разве не удивительно, что почти все они восхищались поэзами Игоря Северянина, которые нам кажутся образцом пошлости? Брюсов мог незадолго до смерти писать:

Я — междумирок. Равен первым,
Я на собранье знати — пэр.
И каждым вздохом, каждым нервом
Я вторю высшим духам сфер.

Я думаю сейчас о поэзии символистов. Это было замечательное явление; родился великий поэт Александр Блок; русский стих как будто раскрепостили. Но до чего мне по-человечески понятнее письма не только Чехова, но и его тусклых сателлитов, чем дневники Брюсова, путевые очерки Бальмонта или переписка между Блоком и Андреем Белым!..

К принятию революции Брюсова привел разум: он увидел завтрашний день. Ему было уже под пятьдесят. Он работал над сохранением библиотек, над распространением поэзии, делал много доброго и важного. Есть довольно уродливое немецкое слово «культуртрегер»; по смыслу оно вполне подходит к деятельности Брюсова и до революции и после. Я предпочту более старомодное определение: Брюсов был просветителем.

Он верил, что революция коренным образом переменит все; говорил мне, что социалистическая культура будет отличаться от капиталистической столь же сильно, как христианский Рим от Рима Августа. Он хотел подойти к новому и как поэт; но был слишком тесно связан с прежним миром. Его стихи о революции наполнены мифологическими образами, в них знакомый нам словарь символистов. В Октябрьские дни он увидел в Москве трех парок Эллады. Когда Г. В. Чичерин подписал соглашение с Германской республикой, Брюсов писал:

От совета Лемуров до совета в Рапалло…
Он обличал защитников капитализма:
Было так, длилось под разными флагами,
С Семирамиды до Пуанкаре…
Кто-то, засев властелином над благами,

Тесно сжимал роковое каре.

(Я вспоминаю аккуратного среднего француза месье Пуанкаре; он, бесспорно, был бы польщен, что кто-то поставил его рядом с легендарной Семирамидой.) Порой Брюсовым овладевала тоска, и он жаловался как в молодости:

Все люди, теперь и прежде,
И в грядущем, взглянув на забор,
Повтор все тех же арпеджий,
Аккордов старый набор!..

Он умер осенью 1924 года в возрасте пятидесяти одного года. Я был в Париже; мы устроили вечер памяти Брюсова. Когда человек умирает, вдруг его видишь по-новому — во весь рост. Есть у Брюсова прекрасные стихи, которые кажутся живыми и ныне. Может быть, над его колыбелью и не было традиционной феи, но даже если он не родился поэтом, он им стал. Он помог десяткам молодых поэтов, которые потом его осуждали, отвергали, ниспровергали. А молодой Советской России этот неистовый конструктор, неутомимый селектор был куда нужнее, чем многие сладкопевцы.

Не могу не вспомнить еще раз моих парижских лет. Валерий Яковлевич меня поддержал; даже его упреки помогали мне жить.

При первой нашей встрече Брюсов заговорил о Наде Львовой — рана оказалась незажившей. Может быть, я при этом вспомнил предсмертное стихотворение Нади о седом виске Брюсова, но только Валерий Яковлевич показался мне глубоким стариком, и в книжку я записал: «Седой, очень старый» (ему тогда было сорок четыре года). Записал я также: «Жизнь у него на втором плане», — может быть, думал при этом о Наде, может быть, о революции; но уже наверно помнил его слова о том, что «все в жизни лишь средство для ярко-певучих стихов».

Он подарил мне на память маленькую книгу, надписал: «В знак близости в одном, расхождений в другом». Это относилось к нашему спору о поэзии. О событиях того грозового лета мы не говорили; только уходя, я не выдержал, спросил: что будет дальше? Валерий Яковлевич ответил стихами:

Растет потоп… Но с небосвода,
Приосеняя прах.
Как арка радуги, свобода
Гласит о светлых днях.

Я снова очутился на Сухаревке. Слепой с его «Адамием» исчез. На углу Сретенки толпились люди — кого-то пырнули ножом, Я постоял и пошел дальше; а думал я не о Тезее — о потопе.

3

Марине Ивановне Цветаевой, когда я с нею познакомился, было двадцать пять лет. В ней поражало сочетание надменности и растерянности; осанка была горделивой — голова, откинутая назад, с очень высоким лбом; а растерянность выдавали глаза: большие, беспомощные, как будто невидящие — Марина страдала близорукостью. Волосы были коротко подстрижены в скобку. Она казалась не то барышней-недотрогой, не то деревенским пареньком.

В одном стихотворении Цветаева говорила о своих бабках: одна была простой русской женщиной, сельской попадьей, другая — польской аристократкой. Марина совмещала в себе старомодную учтивость и бунтарство, высокомерность и застенчивость, книжный романтизм и душевную простоту.

Когда я впервые пришел к Цветаевой, я знал ее стихи; некоторые мне нравились, особенно одно, написанное за год до революции, где Марина говорила о своих будущих похоронах:

По улицам оставленной Москвы
Поеду — я, и побредете — вы.
И не один дорогою отстанет,
И первый ком о крышку гроба грянет, —
И наконец-то будет разрешен
Себялюбивый, одинокий сон.
И ничего не надобно отныне
Новопреставленной болярине Марине…

Войдя в небольшую квартиру, я растерялся: трудно было представить себе большее запустение. Все жили тогда в тревоге, но внешний быт еще сохранялся; а Марина как будто нарочно разорила свою нору. Все было накидано, покрыто пылью, табачным пеплом. Ко мне подошла маленькая, очень худенькая, бледная девочка и, прижавшись доверчиво, зашептала:

Какие бледные платья!
Какая странная тишь!
И лилий полны объятья,
И ты без мысли глядишь…

Я похолодел от ужаса: дочке Цветаевой — Але — было тогда

лет пять, и она декламировала стихи Блока. Все было неестественным, вымышленным: и квартира, и Аля, и разговоры самой Марины — она оказалась увлеченной политикой, говорила, что агитирует за кадетов.

В ранних стихах Цветаева воспевала вольницу Разина. По природе она была создана скорее для бунта, чем для добротного порядка, о котором тосковали летом 1917 года перепуганные обыватели. У Цветаевой с ними не было ничего общего; но она отшатнулась от революции, создала в своем воображении романтическую Вандею; жалела царя (хотя и осуждала:

Помянет потомство
Еще не раз
Византийское вероломство
Ваших ясных глаз).
Повторяла:
Ох, ты барская, ты царская моя тоска…

Почему ее муж, Сережа Эфрон, ушел в белую армию? Я знал в Париже старшего брата Сережи — актера Петра Яковлевича Эфрона, больного туберкулезом и рано умершего. Сережа походил на него — был очень мягким, скромным, задумчивым. Никак не могу себе представить, что ему захотелось стать шуаном.

Он уехал, а Марина писала неистовые стихи: «За Софью на Петра!» Писала:

Андре Шенье взошел на эшафот,
А я живу, и это страшный грех.

Она читала эти стихи на литературных вечерах; никто ее не преследовал. Все было книжной выдумкой, нелепой романтикой, за которую Марина расплатилась своей искалеченной, труднейшей жизнью.

Когда осенью 1920 года я пробрался из Коктебеля в Москву, я нашел Марину все в том же исступленном одиночестве. Она закончила книгу стихов, прославлявшую белых, — «Лебединый стан». К тому времени я успел многое повидать, в том числе и «русскую Вандею», многое продумал. Я попытался рассказать ей о подлинном облике белогвардейцев — она не верила; пробовал я поспорить — Марина сердилась. У нее был трудный характер, и больше всех от этого страдала она сама. У меня сохранилась ее книга «Разлука», на которой она написала: «Вам, чья дружба мне

далась дороже любой вражды и чья вражда мне дороже любой дружбы. Эренбургу от Марины Цветаевой. Берлин, 29 мая 1922 года». (С ятями, даже с твердыми знаками, хотя к этому времени от прежних твердых позиций в ней оставалось мало что.)

Когда весной 1921 года я поехал одним из первых советских граждан за границу, Цветаева попросила меня попытаться разыскать ее мужа. Мне удалось узнать, что С. Я. Эфрон жив и находится в Праге, я написал об этом Марине. Она воспрянула духом и начала хлопотать о заграничном паспорте. Она рассказывала, что паспорт ей сразу дали; в Наркоминделе Миркнн сказал: «Вы еще пожалеете о том, что уезжаете…» Цветаева везла с собой рукопись книги «Лебединый стан».

Ее встреча с мужем была драматичной. Сергей Яковлевич был человек обостренной совести. Он рассказал Марине о зверствах белогвардейцев, о погромах, о душевной пустоте. Лебеди в его рассказах выглядели воронами. Марина растерялась. В Берлине я с ней как-то проговорил ночь напролет, и в конце нашего разговора она сказала, что не будет печатать свою книгу.

(В 1958 году сборник «Лебединый стан» был издан в Мюнхене. Уезжая накануне второй мировой войны в Советский Союз, Цветаева оставила часть своего архива в библиотеке Базеля («нейтральная страна»). Не знаю, как удалось издателям получить рукопись; преследовали они, конечно, политические цели, нарушив волю Цветаевой, — она ведь провела в эмиграции семнадцать лет, много раз ей предлагали издать «Лебединый стан», она всегда отказывалась.)

Мне хочется углубить, да и расширить разговор об опоэтизированной Мариной Цветаевой Вандее, сказать о том, как порой искусство становится позой, бутафорией, одеждой. (Я уже упоминал об этом, вспоминая свои ранние стихи.) Это относится не только к «Лебединому стану», но ко многим книгам многих поэтов, и этот разговор может хотя бы отчасти помочь понять дальнейшие главы моего повествования.

Как я говорил, у меня не сохранилось старых писем. Часть своего архива Цветаева привезла в Москву. Есть в нем черновики некоторых писем ко мне. В одном из них Марина писала: «Тогда, в 1918 году, Вы отметали моих донжуанов («плащ», не прикрывающий и не открывающий), теперь, в 1922 году, — моих Царь-девиц и Егорушек (Русь во мне, то есть вторичное). И тогда и теперь Вы хотели от меня одного — меня, то есть костяка, вне плащей и вне кафтанов, лучше всего ободранную. Замысел, фигуры, выявление через — все это для Вас было более или менее бутафорией. Вы хотели от меня главного — без чего я — не я… Я Вас ни разу не сбила (себя постоянно и буду), Вы оказались зорче

меня. Тогда, в 1918 году, и теперь, в 1922 году, Вы были жестоки — ни одной прихоти!.. Вы правы. Блуд (прихоть) в стихах ничуть не лучше блуда (прихоти, своеволия) в жизни. Другие — впрочем, два разряда — одни, блюстители порядка: «В стихах — что угодно, только ведите себя хорошо в жизни»; вторые, эстеты: «Все, что угодно, в жизни — только пишите хорошие стихи». И Вы один: «Не блудите ни в стихах, ни в жизни. Этого Вам не нужно». Вы правы, потому что к этому я молча иду».

Она шла и пришла к той шли, которую перед собой поставила, пришла дорогой страданий, одиночества, отверженности.

Сложны и мучительны были ее отношения с поэзией. Она написала о В. Я. Брюсове много несправедливого: видела внешность и не попыталась заглянуть глубже, задуматься, но, разумеется, ее должны были возмутить строки:

Быть может, все в жизни лишь средство
Для ярко-певучих стихов.
И ты с беспечального детства
Ищи сочетания слов.

Цветаева отвечала: «Слов вместо смыслов, рифм вместо чувств? Точно слова из слов, рифмы из рифм, стихи из стихов рождаются…» Вместе с тем она жила в плену у поэзии. Вспоминая слова Каролины Павловой, Цветаева назвала одну из своих книг «Ремесло». В ней она писала:

Ищи себе доверчивых подруг.
Не выправивших чуда на число.
Я знаю, что Венера — дело рук,
Ремесленник, — и знаю ремесло!

Марина многих в жизни называла своими друзьями; дружба внезапно обрывалась, и Марина расставалась с очередной иллюзией. Был, однако, один друг, которому она оставалась верна до конца:

Да, был человек возлюблен!
И сей человек был — стол…
Ее рабочий стол — стихи.

Я встречал в жизни поэтов, знаю, как тяжело расплачивается

художник за свою страсть к искусству; но, кажется, нет в моих воспоминаниях более трагического образа, чем Марина. Все в ее биографии зыбко, иллюзорно: и политические идеи, и критические суждения, и личные драмы — все, кроме поэзии. Мало осталось людей, которые знали Цветаеву, но ее поэзия только-только входит в мир многих.

С отрочества до смерти она была одинокой, и эта се отверженность была связана с постоянным отталкиванием от окружающего: «Я все веши своей жизни полюбила и пролюбила прощанием, а не встречей, разрывом, а не слиянием». Очутившись в эмиграции, Цветаева оказалась снова одинокой; ее неохотно печатали эмигрантские журналы, а когда она написала восторженно о Маяковском, заподозрили в «измене». В одном из писем Цветаева рассказывала: «В эмиграции меня сначала (сгоряча!) печатают, потом, опомнившись, изымают из обращения, почуяв не свое: тамошнее. Содержание будто «наше», «а голос — и х и и й».

В том, что обычно называют политикой, Цветаева была наивна, упряма, искренна. В 1922 году я выпускал вместе с художником Э. Лисицким журнал «Вещь» — он выходил по-русски, по-французски и по-немецки. Марина по своему желанию перевела для журнала на французский язык обличительное стихотворение Маяковского «Слушайте, сволочи!». В тридцатые годы, давно охладев к русской Вандее, она все еще не могла примириться с новым стилем — я говорю не об искусстве, а о календаре. (Я вспоминаю рассказы о первом годе Советской власти; в Петрограде на одном из совещаний Блок страстно отстаивал старую орфографию — все он принимал, а вот «лес» без ятя ему казался не лесом.)

В годы первой мировой войны Цветаева писала:

Германия, мое безумье!
Германия, моя любовь!

(Она не была одинока — Блок тоже говорил о своей приверженности к немецкой культуре.) Четверть века спустя немецкие дивизии вступили в преданную Прагу, и Марина их прокляла:

О мания!
О мумия
Величия!
Сгоришь,
Германия!

Безумие,
Безумие
Творишь.

Наши встречи в тридцатые годы были редкими, случайными, пустыми. Я не знал, как она живет, чем живет; не знал ее новых стихов. Это были для Цветаевой годы больших испытаний и большой работы: теперь я вижу, как она поэтически росла, освобождаясь от последних «плащей», находила простые и пронзительные слова.

Жилось ей очень плохо: «Муж болен и работать не может. Дочь вязкой шапочек зарабатывает пять франков в день, на них вчетвером (у меня сын 8-ми лет, Георгий) живем, то есть просто медленно подыхаем с голоду».

С. Я. Эфрон стал одним из организаторов «Союза возвращения на родину». Он показал себя мужественным. Обращаясь к своему сыну, к молодым, родившимся в эмиграции, Марина писала:

Перестаньте справлять поминки
По Эдему, в котором вас не было!..

Аля уехала в Москву; вскоре за нею последовал С. Я. Эфрон.

Но не было в мнимом эдеме и самой Цветаевой. Прошлый мир никогда ей не казался потерянным раем.

Я слишком сама любила
Смеяться, когда нельзя!

Она многое любила именно потому, что «нельзя», аплодировала не в те минуты, что ее соседи, глядела одна на опустившийся занавес, уходила во время действия из зрительного зала и плакала в темном пустом коридоре.

Девочкой Марина увлекалась «Орленком» и всей условной романтикой Ростана. С годами ее увлечения стали глубже: Гёте, «Гамлет», «Федра». Она иногда писала стихи по-французски, по-немецки. Однако повсюду, кроме России, она чувствовала себя иностранкой. Все в ней связано с родным пейзажем — от «жаркой рябины» молодости до последней кровавой бузины. Основными темами ее поэзии были любовь, смерть, искусство, и эти темы она решала по-русски. Любовь для нее тот «поединок роковой», о котором говорил Тютчев. Цветаева писала о пушкинской Татьяне:

«У кого из народов такая любовная героиня: смелая и достойная, влюбленная и непреклонная, ясновидящая и любящая?» Пуще всего Марина ненавидела заменители любви:

Сколько их, сколько их ест из рук.
Белых и сизых!
Целые царства воркуют вкруг
Уст твоих. Низость!

Она сама была «влюбленной и непреклонной».

Цветаева вернулась на родину с четырнадцатилетним сыном в 1939 году. Кажется, одним из ее последних стихотворений было написанное после того, как фашисты прикончили Испанию и вторглись в Чехословакию:

Отказываюсь — быть.
В Бедламе нелюдей
Отказываюсь — жить.
С волками площадей
Отказываюсь — выть…

С. Я. Эфрон погиб. Аля была далеко — в лагере. Марина и в Москве оказалась одинокой.

Она пришла ко мне в августе 1941 года; мы встретились после многих лет, и встреча не вышла — по моей вине. Это было утром, «тарелка» успела уже рассказать: «Наши части оставили…» Мои мысли были далеко. Марина сразу это почувствовала и придала разговору деловую видимость: пришла посоветоваться о работе — о переводах. Когда она уходила, я сказал: «Марина, нам нужно повидаться, поговорить…» Нет, мы больше не встретились: Цветаева покончила с собой в Елабуге, куда ее занесла эвакуация.

Сын Марины погиб на фронте. Алю я иногда вижу; она собрала неизданные стихи Марины.

От многих строк Цветаевой я не могу освободиться — они засели в памяти на всю жизнь. Дело не только в огромном поэтическом даре. Дороги у нас были разные, и, кажется, мы ни разу не встретились на одном из тех перекрестков, где человек, в действительности или только в своих иллюзиях, выбирает себе дорогу. Но есть в поэтической судьбе Цветаевой нечто мне очень близкое — постоянные сомнения в правах искусства и одновременно невозможность от него отойти. Марина Ивановна часто спрашивала себя, что важнее — поэзия или созидание реальной жизни, отвечала: «За исключением дармоедов во всех их

разновидностях — все важнее нас (поэтов)». Она писала после смерти Маяковского: «Прожил, как человек, и умер, как поэт…» Никогда Цветаева не пыталась укрыться от жизни; напротив, хотела жить с людьми: одиночество было для нее не программой, а проклятием; оно было тесно связано с тем единственным другом Марины, о котором она сказала: «Сей человек был — стол…» Она не была никогда в «Ротонде», не знавала Модильяни, а написала:

Гетто избранничеств! Вал и ров.
По — щады не жди!
В сём христианнейшем из миров
Поэты — жиды!

Слово «избранничество» может сбить с толку; но Цветаева считала «гетто» не гордым отъединением, а обреченностью: «Какой поэт из бывших и сущих не негр?»

Когда я перечитываю стихи Цветаевой, я вдруг перестаю думать о поэзии, перехожу к воспоминаниям, к судьбе многих моих друзей, к своему — люди, годы, жизнь…

4

Передо мной клочок желтой выцветшей газеты; это «Биржевка» за 24 сентября 1917 года. Несколько театральных новостей: «Михайловский театр репетирует «Смерть Иоанна Грозного», но пьеса, весьма возможно, будет снята с репертуара, причины — малочисленность труппы и несоответствие политических тенденций самой пьесы с событиями и настроениями наших дней». «Комиссия при Совете Р. и С Д. устраивает в октябре ряд симфонических концертов. Участвуют солисты и оркестр 171-го зап. пехотного полка. Дирижировать концертами будут А. Глазунов, А. Зилоти и А. Коутс». Рядом напечатан мой очерк, присланный из Москвы:

«В квартире 6 у писателя-символиста изысканное общество: мадам Элеонора — теософка, офицер с орденами, еще писатель помоложе, несколько просто интеллигентов.

— Никто не слушает, — стонет интеллигент. — Недостоин наш народ свободы — хамы, насильники, воры. В трамвае у меня два ключа украли. Палки требуют. Рано дали им свободу, не учли. Говорят, «учите их». Этих-то мужиков? Не-ет! Пускай попробуют, проявятся. Порежут друг друга, а потом приедет генерал на белом коне — усмирит. И лучше будет…

— Что вы, — грустно вздыхает теософка, — вы говорите, на коне генерал, а я думала — Милюков…

— Так точно, палка необходима, — учтиво поясняет ей офицер. — И возьмите, до этой «свободы» офицера, который, простите, и в морду даст при случае, солдатики очень уважали, можно сказать, любили. А теперь комитеты и прочее безобразие. Чтобы «земляки» наши резолюции выносили?… Не могу! Они мне Георгия за храбрость присудить хотели. Отказался — хитрость! Так точно, палка необходима, дисциплина…

Писатель-символист недоумевающе оглядывает гостей, закатывает глаза и вещает:

— Уходите! Прячьтесь! Спасайте нашу культуру, мудрость, веру от этих варваров! Все достояние в библиотеках, в музеях, в ваших душах. Храните музеи! Замкните от голоса улицы ваши уши! Я не раскрываю этих треклятых газет, почти не выхожу из дома. В моих ушах звенит пеон…

— А я, мэтр, — заявляет молодой писатель, — занял несколько иную позицию. В душе я бесстрастен, но слежу за игрой страстей. Я выше ее, но сколько материала для моего грядущего романа!..

Все начинают беседовать о пеонах и ямбах, о символистах и

футуристах. Лишь четверть часа спустя по поводу пастилы, стоящей семь рублей и заменяющей сахар, все возвращаются на землю. И снова стонет интеллигент:

— Хамы! Палку! Генерала!..»

Издеваясь над другими, я издевался над собой: я не мечтал ни о палке, ни о генерале, ни о дешевой пастиле, но понять происходящее не мог.

Москва жила, как на вокзале, — в ожидании третьего звонка. Устраивали облавы на дезертиров. Ругались повсюду, а особенно в трамваях, которые ползли, облепленные людьми. В «Метрополе» отчаявшиеся либералы пили французское шампанское, расплачиваясь большими листами неразрезанных «керенок»; по привычке они бормотали, что нужно спасти Россию, может быть, им и хотелось спасти себя, но они больше ни во что не верили. В кафе «Бом» новоиспеченные издатели уверяли, что издадут «Гавриилиаду», мемуары Распутина и полное собрание сочинений любого из нас; некоторые быстро остывали к издательскому делу и переходили на мануфактуру или на сахар. В чайных на Шаболовке люди угрюмо ждали развязки.

Моя мать была в Ялте; мне хотелось повидать ее после долгой разлуки. С трудом я купил билет и прорвался в вагон. Мать я нашел сильно постаревшей; она кашляла, куталась в оренбургский платок и боялась выстрелов (стреляли часто и неизвестно почему).

Я заехал в Коктебель к Волошину. Он говорил о стихии, о протопопе Аввакуме, о трех эринниях со змеями; а глаза его напоминали окна с закрытыми ставнями.

В поезде пассажиры поймали воришку, мальчика лет двенадцати; все на него кинулись, били. Я до сих пор вижу детское лицо в крови… На одной станции поезд простоял часа три; все пошли на базар, накупили хлеба и яблок; потом начали митинговать. Барышня, прижимая к груди буханку, истерически вопила, что теперь даже калеки обязаны идти на фронт. Солдат ее крыл матом, но она не унималась. Мешочники следили за своими мешками и загадочно усмехались.

Когда я приехал в Москву, шли уличные бои. У Красных ворот я увидел на мостовой старика — его убила шальная пуля.

В 1921 году автор «Хулио Хуренито» так описывал переживания персонажа, именуемого в романе «Ильей Эренбургом»: «Я проклинал свое бездарное устройство; одно из двух: надо было вставить другие глаза или убрать эти никчемные руки. Сейчас под окном делают — не мозгами, не вымыслом, не стишками, нет, делают руками историю… Кажется, нет ничего лучше — беги через ступеньки вниз и делай ее скорее, пока под

руками глина, а не гранит, пока ее можно писать пулями, а не читать в шести томах ученого немца. Но нет, я сижу в каморке, жую холодную котлету и цитирую Тютчева. Проклятые глаза, косые, подслеповатые или дальнозоркие, во всяком случае нехорошие! Зачем видеть тридцать три правды, если от этого не можешь зажать в кулак одну, пусть куцую, но свою, кровную, крепкую? Кругом, по крайней мере, охают, радуются и по различным обстоятельствам прославляют господа. «Слава богу, идет Алексеев, этих разбойников прогнали!» — кричит Леля. «Слава тебе, господи, — умиляется ее прислуга Матреша, — большаки берут верх». Я даже на это не способен… Запомните, господа из так называемого «потомства», чем занимался в эти единственные дни русский поэт Илья Эренбург».

Я писал далее все в том же «Хуренито»: «Пошла повсеместная панихида; причем многие оплакивали то, чего раньше не замечали или, замечая, не одобряли: Леля — великодержавность, Сережа (тот, что с Михайловским) — церковь, гимназист Федя — промышленность и финансы. Это было все-таки делом, и за отсутствием другого я занялся оплакиванием… Я вспоминал, отпевал, писал стихи и читал их со средним успехом в многочисленных «кафе поэтов».

На этот раз автор «Хуренито» говорил не о воображаемом герое, а о самом себе, говорил откровенно, отнюдь не пытаясь себя оправдать или приукрасить. Однако я издевался над собой не только три года спустя, но и в те самые дни, когда недоумевал, искал тридцать три правды и оплакивал мир, который никогда не был моим. Я писал тогда очень плохие стихи: искусство не терпит лжи, а я старался обмануть самого себя — молился богу, в которого не верил, рядился в чужую одежду.

В дневниках Блока есть запись от 31 января 1918 года: юноша Стэнг рассказывает Блоку об отношении молодежи к поэзии: «Сначала было З Б (Бальмонт, Брюсов, Блок); показались пресными — Маяковский; и он пресный — Эренбург (он ярче всех издевается над собой; и потому скоро мы все будем любить только Эренбурга)».

Стэнг — это молодой поэт В. О. Стенич. Познакомился я с ним позднее. Он читал вперемежку стихи Блока, Маяковского, Хлебникова, свои собственные; печально зубоскалил; почему-то мне запомнилась его шутливая пародия на Анненского:

Бывают такие миги,
Когда не жаль и малых овец.
Об этом писала в поваренной книге
Елена Молоховец.

Погиб он в тридцатые годы, Если бы я тогда услышал от Стенича, что кому-то могут нравиться мои стихи, я, наверно, удивился бы: мне самому они не нравились; в записной книжке я себя уговаривал: «Нужно перестать писать, заняться огородничеством или, когда все успокоится, купить аппарат со штативом и снимать портреты на ярмарках».

Блажен, кто посетил сей мир
В его минуты роковые!

Эти строки написаны двадцатисемилетним поэтом, вторым секретарем российского посольства в Мюнхене. Молодой Тютчев читал в газетах о Французской революции 1830 года и, находясь в спокойной, сонной Баварии, позавидовал свидетелю бури:

Он их высоких зрелищ зритель…

А на самом деле, когда история переходит со страниц учебника на окрестные улицы, ничего нет глупее и унизительнее роли зрителя. Напрасно лжемудрец пытается осмыслить происходящее: если подойти вплотную к большому зданию, будь оно самым прекрасным, самым величественным, видишь только детали. Участник событий понимает куда больше, чем холодный наблюдатель; слепота поражает не того, кто любит и ненавидит, а того, кто пытается, сидя в зале, расшифровать мелькающие кадры фильма.

Как-то я встретил Алексея Ивановича Окулова. Я знал его в Париже угрюмым, он много пил, не понимал, что ему делать; записывал что-то в блокнот; потом раскладывал на постели листочки и сшивал рассказ; получил даже как-то премию. Числился он писателем, но, выпив, кричал: «Какой я писатель? Уж если я на что-нибудь годен, так стрелять…» Биография его была бурной: боевые дружины, тюрьмы, эмиграция, подполье, снова тюрьмы и снова эмиграция, В революционной Москве он чувствовал себя уверенно; он мне сказал, что через несколько дней уезжает на фронт. Такое душевное веселье — привилегия активного участника событий. Удел наблюдателей куда горше. А. М. Горький писал: «…В 17–18 годах мои отношения с Лениным были далеко не таковы, какими я хотел бы их видеть, но они не могли быть иными. Он — политик. Он в совершенстве обладал тою четко выработанной прямолинейностью взгляда, которая

необходима рулевому столь огромного, тяжелого корабля, каким является свинцовая крестьянская Россия. У меня же органическое отвращение к политике, и я плохо верю в разум масс вообще, в разум же крестьянской массы — в особенности». Горький оказался наблюдателем и тринадцать лет спустя написал: «Пусть же читатели знают эту мою ошибку. Было бы хорошо, если б она послужила уроком для тех, кто склонен торопиться с выводами из своих наблюдений».

(Мне кажется, что Горький в одном не прав: люди учатся на своих ошибках, а не на чужих — уж слишком часто в истории повторяются одни и те же ошибки.)

Я не могу сказать, что я всегда чуждался политики, точнее — действия: я начал с подпольной работы, потом, в зрелом возрасте, не раз оказывался участником событий; в дальнейших частях моих воспоминаний политические события будут не раз заслонять книги или холсты. Но в 1917 году я оказался наблюдателем, и мне понадобилось два года для того, чтобы осознать значение Октябрьской революции. Для истории два года — ничтожный срок, но в человеческой жизни это много смутных дней, сложных раздумий и простой человеческой боли.

С тех пор прошло почти полвека… Мне хочется напомнить, какой выглядела Франция полвека спустя после революции 1789 года. Позади был калейдоскоп событий — термидор, госпожа Тальен, молодой корсиканец, наполеоновские войны, казаки в Париже, снова Бурбоны, белый террор, маленькая революция, — и в итоге Людовик-Филипп, демократизм которого состоял в том, что он прогуливался с зонтиком в руке и отвечал на поклоны верноподданных. Для парижанина 1839 года революция 1789 года была событием давно минувшей, загадочной эпохи. Из сотни людей, с которыми я вчера разговаривал, вряд ли один помнит дореволюционную Россию: для пятидесятилетних, не говоря уж о более молодых, советский строй не идея, о которой можно спорить, не программа одной партии, а естественная форма общества.

Конечно, на Западе и спорят, и сомневаются, и отрицают; но теперь можно сравнивать, можно аргументировать сложной жизнью большого государства. Русской интеллигенции в 1917–1918 годах было куда труднее…

Я не оплакивал ни имений, ни заводов, ни акций: я был беден и богатство сызмальства презирал. Смущало меня иное. Я вырос с тем понятием свободы, которое нам досталось от XIX века; со школьных лет я уважал неуважение, прислушивался к голосу ослушников. Я не понял, что меняются не только порядки, но и понятия, новый век многое принес и многое унес, а я пытался

подойти к завтрашнему со вчерашней меркой.

Впрочем, и это не главное. Если говорить честно, я еще не знал, что такое жизнь, хотя мне было уже двадцать шесть лет. Оговорки, описки, ошибки мешали мне понять значение текста. Я замечал много уродливого, видел злобу, невежество, но не видел главного: осуществлялось то, о чем я мечтал подростком, что мерещилось мне в тюремных камерах. Жизнь никогда не похожа на мечты. Гадалки говорят про «линию жизни»; такая линия действительно существует — не на ладони, а в судьбе человека, и чем раньше ее увидишь, осознаешь, тем легче будет преодолеть сомнения. Эта линия складывается не только из высоких идей, но и из реальных событий, не только из притяжений, но и из отталкиваний, не только из страстных чувств, но и из раздумий. Менее всего я хочу этим сказать, что, по ходячему определению, цель оправдывает средства, я слишком хорошо знаю, что средства могут изменить любую цель. Я думаю только о верности линии жизни — человека, народа, века.

Потом мне, как и всем моим современникам, пришлось пережить немало испытаний; я оказался к ним подготовленным: в сорок шесть лет линия жизни мне была куда яснее, чем в двадцать шесть… Я знал, что нужно уметь жить, сжав зубы, что нельзя подходить к событиям, как к диктовке, только и делая, что подчеркивая ошибки, что путь в будущее — не накатанное шоссе. Как сказал поэт Твардовский, «тут ни убавить, ни прибавить» — в истории, как и в жизни отдельного человека, много горьких страниц, не все разворачивается так, как хотелось бы… Теперь каждому ясно, какой подвиг совершил наш народ в нищей, темной, голодной стране, когда осенью 1917 года пошел по новому, непроторенному пути. А тогда не только я, но и многие писатели старшего поколения, да и мои сверстники не понимали масштаба событий. Но именно тогда молодой петроградский поэт; которого считали салонным, ложноклассическим, далеким от жизни, тщедушный и мнительный Осип Эмильевич Мандельштам написал замечательные строки:

Ну, что ж, попробуем: огромный, неуклюжий,
Скрипучий поворот руля.
Земля плывет. Мужайтесь, мужи.
Как плугом, океан деля,
Мы будем помнить и в летейской стуже,
Что десяти небес нам стоила земля.

Впрочем, обо всем этом мне еще придется говорить — и о Мандельштаме, и об огромном повороте руля, и, главное, о той

земле, которая нам стоила десяти небес.

5

Вскоре после моего приезда в Москву я встретил Б. Л. Пастернака, который повел меня к себе (жил он тогда возле Пречистенского бульвара). В моей записной книжке есть короткая пометка: «Пастернак. Стихи. Странность, Лестница».

Беру другую записную книжку, 5 июля 1941 года. После слов «немцы говорят, что перешли Березину» и до «5 ч. Лозовский» записано: «Пастернак. Безумие».

1917–1941… В течение двадцати четырех лет я встречался с Пастернаком, порой редко, порой чуть ли не каждый день. Казалось, это достаточный срок для того, чтобы узнать даже очень сложного человека; но зачастую Борис Леонидович мне казался таким же загадочным, как при первой встрече; этим объясняется и запись 1941 года. Я его любил, любил и люблю его поэзию; из всех поэтов, которых я встречал, он был самым косноязычным, самым близким к стихии музыки, самым привлекательным и самым невыносимым. Я попытаюсь описать его таким, каким видел и понимал. Это будет главным образом Пастернак 1917–1924 годов, когда мы подолгу беседовали, переписывались. Мы встречались довольно часто и в 1926, 1932, 1934 годах — в Москве, в 1935 году в Париже, потом снова в Москве — накануне войны, в ее первые недели. Мы не поссорились, а как-то молча разошлись; случайно встречаясь, жали друг другу руки, говорили, что нужно обязательно повидаться, и расставались до новой случайной встречи. Конечно, я не надеюсь показать всего Пастернака, даже молодого, — многого в нем я не понимал, многого и не знал; но то, что я напишу, будет не иконой и не шаржем, а попыткой портрета.

Начну с самого начала. Когда мы познакомились, Борису Леонидовичу было двадцать семь лет, и было это летом того года, когда, по словам Пастернака,

> Все жили в сушь и впроголодь.
> В борьбе ожесточась,
> И никого не трогало,
> Что чудо жизни с час.

Я был растерян и мрачен, Пастернак радостен, приподнят. Тот год был для него особенно памятным:

> Он незабвенен тем еще,

Что пылью припухал,
Что ветер лускал семечки.
Сорил по лопухам.
Что незнакомой мальвою
Вел, как слепца, меня,
Чтоб я тебя вымаливал
У каждого плетня.

В тот год Пастернак узнал большое чувство, рождалась книга «Сестра моя жизнь». Вот как я описал нашу первую встречу: «Он читал мне стихи. Не знаю, что больше меня поразило: его стихи, лицо, голос или то, что он говорил. Я ушел, полный звуков, с головной болью. Дверь внизу была заперта — я засиделся до двух. Я поискал швейцара, его не оказалось. Я пошел назад, но не смог разыскать квартиру, где жил Пастернак. Это был дом с переходами, коридорами и полуэтажами. Я понял, что мне не выбраться до утра, и покорно сел на ступеньку. Лестница была чугунная, под ногами копошилась ночь. Вдруг дверь открылась. Я увидал Пастернака. Ему не спалось, он вышел погулять. Я просидел добрый час возле той самой квартиры, где он жил. Он нисколько не удивился, увидав меня; я тоже не удивился».

Борис Леонидович часто говорил междометиями. Есть у него стихотворение «Урал впервые»; оно похоже на восторженное мычание. Сила его ранней поэзии — это жизнь впервые. Он отнюдь тогда не слыл отшельником, охотно встречался с людьми, был радостным, и стихи тех лет радостные. Мне он казался счастливым не только потому, что ему был отпущен большой поэтический дар, но и потому, что он умел создать высокую поэзию из будничных деталей. Нас всех в то время подташнивало от чересчур громких слов, которыми злоупотребляли символисты: «вечность», «бесконечность», «безбрежность», «тленный», «бренный», «грани», «жребий», «рок». Пастернак писал:

Всесильный бог деталей.
Всесильный бог любви.

О женщине, которую он любил, он сказал так:

Грех думать — ты не из весталок:
Вошла со стулом,
Как с полки, жизнь мою достала
И пыль обдула.

Он недаром назвал свою книгу «Сестра моя жизнь»: в отличие не только от старших поэтов-символистов, но и от большинства своих сверстников он жил с жизнью в ладу. Реализм его стихов не связан с литературной программой (Пастернак много раз говорил, что ему непонятны различные направления и школы), а продиктован природой поэта. В 1922 году Пастернак писал: «Живой действительный мир это единственный, однажды удавшийся и все еще без конца удачный замысел воображения. Вот он длится, ежемгновенно успешный. Он все еще действителен, глубок, неотрывна увлекателен. В нем не разочаровываешься на другое утро. Он служит поэту примером в большей еще степени, нежели натурой и моделью».

Один юноша недавно сказал мне, что, наверно, Пастернак был мрачным, нелюдимым, да и глубоко несчастным. А я в 1921 году писал о Пастернаке: «Он жив, здоров и современен. В нем ничего нет от осени, от заката и прочих милых, но неутешительных вещей». Год спустя В. Б. Шкловский, встречавшийся с Пастернаком в Берлине, написал: «Счастливый человек. Он никогда не будет озлобленным. Жизнь свою он должен прожить любимым, избалованным и великим».

В 1923 году Маяковский и О. Брик формулировали (на жаргоне эпохи) искания художников: «Маяковский. Опыт полифонического ритма в поэме широкого социально-бытового охвата». «Пастернак. Применение динамического синтаксиса к революционному заданию».

Все это может удивить тех зарубежных читателей, которые узнали о существовании Пастернака только в 1958 году. Им представляется злосчастный человек, вступивший в поединок с историей. На самом деле Пастернак был счастливым, и жил он вне общества не потому, что данное общество ему не подходило, а потому, что, будучи общительным, даже веселым с другими, знал только одного собеседника: самого себя.

В конце 1918 года он восхищался Кремлем:

Несется, грозный, напролом.
Сквозь неистекший в девятнадцатый.

…

За морем этих непогод
Предвижу, как меня, разбитого,
Ненаступивший этот год
Возьмется сызнова воспитывать.

(Пастернак тогда не понимал, что никто на свете не возьмется всерьез его «сызнова воспитывать»)

Позднее, в 1930 году, после самоубийства Маяковского он писал: «…Наше государство, наше ломящееся в века и навсегда принятое в них, небывалое, невозможное государство»; он говорил о кровной связи между этим государством и Маяковским. Он писал восторженные строки все о том же «ломящемся в века» государстве и в 1944 году. Он восхищался со стороны: у каждого, даже самого большого поэта есть не только потолок, но и стены; общество было вне стен того мира, в котором жил Пастернак.

Шкловский в одном ошибался, когда он писал: «Этот счастливый и большой человек чувствовал среди людей, одетых в пальто, жующих бутерброды у стойки «Дома печати»… тягу истории». Пастернак чувствовал природу, любовь, Гёте, Шекспира, музыку, старую немецкую философию, живописность Венеции, чувствовал себя, некоторых близких ему людей, но никак не историю; он слышал звуки, неуловимые для других, слышал, как бьется сердце и как растет трава, но поступи века не расслышал.

Слово «эгоцентризм» столь часто применяли, что оно стерлось, да и есть в нем уничижительный характер, а другого я не нахожу. Борис Леонидович жил не для себя — эгоистом он никогда не был, но он жил в себе, с собой и собой. Я вспоминаю наши давние встречи — два поезда неслись, каждый по своему пути. Я знал, что Пастернак меня слушает, но не слышит: не может оторваться от своих мыслей, своих чувств, своих ассоциаций. Беседы с ним, даже задушевные, напоминали два монолога.

Мне вспомнился забавный эпизод. Пастернак летом 1935 года был в Париже на Конгрессе в защиту культуры. Группа советских писателей приехала раньше, потом, но просьбе французских писателей, дополнительно приехали Пастернак и Бабель. Пастернак сердился, говорил, что не хотел ехать, не умеет выступать. В короткой речи он сказал, что поэзию незачем искать в небе, нужно уметь нагнуться, поэзия — в траве. Может быть, эти слова, а скорее всего, облик Пастернака поразили аудиторию; ему устроили овацию. Несколько дней спустя он сказал мне, что хотел бы встретиться с некоторыми французскими писателями; мы решили, что пригласим их обедать. Моя жена позвонила Борису Леонидовичу: приходите в такой-то ресторан в час дня. Он возмутился: «Почему так рано? Лучше в три». Люба объяснила, что в Париже обедают между двенадцатью и двумя, а ужинают между семью и девятью, в три часа все рестораны закрыты. Тогда Борис Леонидович заявил: «Нет, в час мне еще не хочется есть…»

Сосредоточенность в себе (возраставшая с годами) не помешала, да и не могла помещать Пастернаку стать большим поэтом. Мы часто, скорее, по привычке говорим, что писатель должен быть наблюдательным. В дневниках А. Н. Афиногенова, недавно опубликованных, есть интересная запись: «Если б искусство писателя состояло в умении наблюдать людей — самыми лучшими писателями были бы доктора и следователи, учителя и проводники вагонов, секретари парткомов и полководцы. Однако — этого нет. Потому что искусство писателя заключается в умении наблюдать себя!» Афиногенов правильно отводит старое понятие «наблюдательности»; в создании героев романа или трагедии огромную роль играет пережитое автором, им осознанное — ведь внутренний мир других людей понятен писателю, только поскольку ему знакомы и, следовательно, понятны те или иные страсти.

Искусство, однако, многообразно. В лирическом стихотворении автор раскрывает себя; как бы ни был он своеобразен, его чувства — восхищение весенним днем или ощущение неизбежности смерти, радость любви или разуверение — понятны тысячам, миллионам других людей. Для того чтобы написать «О, как на склоне наших лет нежней мы любим и суеверней…», Тютчеву не нужно было наблюдать старейших людей, захваченных страстью, ему достаточно было на пороге старости встретить молодую Е. А. Денисьеву. Молодому А. П. Чехову, для того чтобы в «Скучной истории» показать дружбу между старым профессором и молодой его воспитанницей, нужно было очень хорошо знать людей, их чувства, привычки, характеры, манеру говорить, даже манеру одеваться. Борис Пастернак, один из лучших лирических поэтов нашего времени, был, как и всякий художник, ограничен своей природой; когда он попытался изобразить в романе десятки других людей, эпоху, передать воздух гражданской войны, воспроизвести беседы в поезде, он потерпел неудачу — он видел и слышал только себя.

Его привлекали, особенно в конце жизни, загадки чужих судеб. В одной из написанных им автобиографий он попытался понять, что пережили в последние минуты Маяковский, Марина Цветаева, Фадеев. Когда я читал эти догадки, мне было как-то неловко: у Бориса Леонидовича было очень богатое сердце, но ключей к чужим сердцам у него не было.

Я не берусь строить домыслы о том, что он сам пережил в последние годы своей жизни; я его не встречал; да, может, и встречая, не знал бы — чужая душа потемки. Не знаю, почему в той же автобиографии он отрекся от своей давней дружбы с Маяковским. А мне хочется рассказать об этой дружбе: я был ее

свидетелем.

Шутя, мы говорили, что у Маяковского второй, запасной голос для женщин. И вот этим вторым голосом, необычно мягким, ласковым, при мне он разговаривал только с одним мужчиной — с Пастернаком. Помню, в марте 1921 года в Доме печати был литературный вечер Бориса Леонидовича, читал он сам, а потом его стихи читала молоденькая актриса В. В. Алексеева-Месхиева. При обсуждении кто-то осмелился, как у нас говорят, «отметить недостатки». Тогда встал во весь рост Маяковский и в полный голос начал прославлять поэзию Пастернака; он защищал его с неистовством любви.

В «Охранной грамоте» (1930 год) Пастернак говорит о своем отношении к Маяковскому накануне войны, в годы войны, в первые годы революции: «я был без ума от Маяковского», «я его боготворил», «вершиной поэтической участи был Маяковский», «я почти радовался случаю, когда впервые как с чужим говорил со своим любимцем» (после одной из размолвок), «я присутствие Маяковского ощущал с двойной силой. Его существо открывалось мне во всей свежести первой встречи».

Размолвки были частыми и бурными. Борис Леонидович иногда мне рассказывал о них. У меня сохранился сборник «Современник» (1922 год) с такой надписью Пастернака: «Другу и соратнику с благодарностью и радостью за «Хуренито», восхищение которым объединило редко на чем сходившихся и чаще разбредавшихся Маяковского, Асеева и других друзей и соратников».

После одной из размолвок Маяковский и Пастернак встретились в Берлине; примирение было столь же бурным и страстным, как разрыв. Я провел с ними весь день: мы пошли в кафе, потом обедали, снова сидели в кафе. Борис Леонидович читал свои стихи. Вечером Маяковский выступал в Доме искусств, читал он «Флейту-позвоночник», повернувшись к Пастернаку.

Впоследствии их пути разошлись. Однако и в 1926 году Маяковский, приводя четверостишие Пастернака «В тот день всю тебя от гребенок до ног», назвал его «гениальным». Рассказывая о смерти Маяковского, Пастернак писал: «Я разревелся, как мне давно хотелось».

Почему, оглядываясь на свое прошлое, Пастернак попытался многое перечеркнуть? Может быть, в этом сказалось недовольство собой? Не знаю. Для меня его последние стихи тесно связаны с «Сестрой моей жизнью», а он, видимо, ощущал разрыв. Недавно я прочитал письмо Бориса Леонидовича одному из его французских переводчиков, опубликованное в журнале «Эспри». Борис Леонидович пытался убедить переводчика не опубликовывать

переводов некоторых его старых произведений. Рассказывали, что, когда с ним заговаривали о его прежних книгах, он уверял, что все написанное прежде было только школой, подготовкой к тому единственно стоящему, что он недавно написал, — к роману «Доктор Живаго».

Прочитав рукопись «Доктора Живаго», я огорчился. Когда-то Пастернак писал: «Неумение найти и сказать правду — недостаток, которого никаким умением говорить неправду не покрыть». В романе есть поразительные страницы — о природе, о любви; но много страниц посвящено тому, чего автор не видел, не слышал. К книге приложены чудесные стихи, они как бы подчеркивают душевную неточность прозы.

Никогда прежде мне не удавалось убедить зарубежных ценителей поэзии в том, что Пастернак большой поэт: (Это, конечно, не относится к некоторым крупным поэтам, знавшим русский язык: Рильке еще в 1926 году восторженно говорил о стихах Пастернака.) Слава пришла к нему с другого хода. Когда-то он писал:

> Но ты мне шепнул, вестовой, неспроста,
> В посаде, куда ни один двуногий…
> Я тоже какой-то… Я сбился с дороги:
> — Не тот этот город, и полночь не та.

Я был в Стокгольме, когда разразилась буря вокруг Нобелевской премии. Я выходил на улицу и видел афиши газет, на них стояло одно имя; пытался что-то понять, открывал радио — и только одно понимал: «Пастернак»… Это было одним из эпизодов «холодной войны». Не тот город, не та полночь. Да и не та слава, которую заслужил Пастернак. (Обо всем этом я расскажу в одной из последующих частей моей книги — ведь связь газетной бури с Пастернаком была случайной, дело относится к летописи «холодной войны».)

Нужно ли добавить, как тяжело было мне читать некоторые выступления моих товарищей? Я убежден, что в помыслах Пастернака не было нанести ущерба нашей стране. Виноват он только в том, что был Пастернаком, то есть изумительно понимая одно, не мог понять другого. Он не подозревал, что из его книги создадут дурную политическую сенсацию и что на удар неизбежно последует ответный.

Все это позади: смерть ставит вещи на свое место. Вряд ли кто-нибудь теперь, перечитывая стихи Пастернака, будет думать о печальной истории, воистину злободневной — и злоба в ней сказалась, и была она историей-однодневкой. А стихи остались.

Когда-то составители поэтических сборников любили прибегать к делению по сюжету. Если подойти к Пастернаку с такой меркой, то большинство его стихотворений окажется посвященным природе и любви; но мне думается, что основной, постоянной его темой было искусство, то есть та тема, которая породила «Портрет» Гоголя, «Неведомый шедевр» Бальзака, «Чайку» Чехова.

О, знал бы я, что так бывает,
Когда пускался на дебют,
Что строчки с кровью — убивают,
Нахлынут горлом и убьют!

И кончил он эти стихи о стихах признанием:

И тут кончается искусство,
И дышат почва и судьба.

Он не застрелился, не умер молодым, но цену, которой оплачивается искусство, узнал сполна — силу строк, которые медленно, настойчиво убивают.

Поль Элюар как-то сказал: «Поэт должен быть ребенком, даже если у него седые волосы и склероз сосудов». Было в Пастернаке нечто детское. Его определения, казавшиеся наивными, ребячливыми, — определения поэта. Он сказал об одном авторе: «Ну как же он может быть хорошим поэтом, когда он плохой человек…» Увидав впервые Париж, он воскликнул: «Да это и не похоже на город, это скорее пейзаж…» Он говорил: «Описать весеннее утро легко, да это никому и не нужно, а вот быть простым, ясным и внезапным, как весеннее утро, — это чертовски трудно…»

В то время, о котором я теперь рассказываю, когда я ходил растерянный, неприкаянный, Борис Леонидович был для меня и порукой живучести искусства, и мостком к живой жизни. Молодой, веселый, красивый, похожий на вдохновенного араба — таким он мне навсегда запомнился, хотя я его и видел постаревшим, седым.

Так уж полвека — вдруг начинаю про себя бормотать стихи Пастернака. Из мира их не выгонишь: они живут…

6

Не помню, кто меня познакомил с Маяковским; сначала мы сидели в каком-то кафе и говорили о кино; потом он повел меня к себе — в маленький номер мебелирашек «Сан-Ремо» в Салтыковском переулке, около Петровки. Незадолго до этого я прочитал его книгу «Простое как мычание»; он мне представлялся именно таким, каким я его увидел, — большим, с тяжелой челюстью, с глазами то печальными, то суровыми, громким, неуклюжим, готовым в любую минуту вмешаться в драку, — сочетанием атлета с мечтателем, средневекового жонглера, который, молясь, ходил на голове, с непримиримым иконоборцем.

Когда мы шли в гостиницу, он бубнил эпитафию Франсуа Вийона, написанную в ожидании виселицы:

Я — Франсуа, чему не рад,
Увы, ждет смерть злодея,
И сколько весит этот зад,
Узнает скоро шея.

Едва мы вошли в номер, как он сказал: «Сейчас я вам прочитаю…» Я сел на стул, он стоял. Он прочитал мне незадолго до этого законченную поэму «Человек». Комната была маленькой, никого, кроме меня, не было, но читал он так, как будто перед ним толпа на Театральной площади. Я глядел на гнусные обои и улыбался: голенища действительно становились арфами.

Маяковский меня поразил: в нем уживались поэзия и революция, взбудораженные улицы Москвы и то новое искусство, о котором мечтали завсегдатаи «Ротонды». Мне даже показалось, что он может помочь мне найти правильный путь. Случилось иначе: Маяковский для меня огромное явление и в поэзии и в жизни века; но непосредственно на меня он никак не повлиял, оставался близким и одновременно бесконечно далеким.

Может быть, в этом особенность гения, может быть, особенность характера Маяковского — он говорил, что поэты должны быть «разными», был вдохновителем «Лефа», «Нового лефа», «Рефа», хотел привлечь многих, объединить, но вокруг него оказывались только его приверженцы, порой эпигоны. Он рассказал, как на даче под Москвой он беседовал с Солнцем; он сам был солнцем, вокруг которого кружились спутники.

Я встречался с ним и в Москве — в 1918 году, в 1920-м, и в

Берлине в 1922-м, и в Париже, и снова в Москве, и снова в Париже (в последний раз мы виделись весной 1929 года — за год до его смерти). Порой встречи были беглыми, порой значительными. Мне хочется рассказать о моем понимании Маяковского; я знаю, что этот рассказ будет односторонним, субъективным, но могут ли быть иными показания современника? Из множества различных, порой противоречивых рассказов легче воссоздать облик человека. Беда в том, что Маяковский, будучи страстным разрушителем различных мифов, с необычайной быстротой превратился в мифического героя. Ему как будто положено быть не таким, каким он был. Есть воспоминании очевидцев, запомнивших несколько свирепых шуток. Есть страницы школьного учебника. Есть, наконец, статуя. Подросток зубрит отрывки из «Хорошо!». Домохозяйка в троллейбусе озабоченно спрашивает: «Вы на Маяковской сходите?…» Трудно говорить о человеке…

До середины тридцатых годов Маяковский вызывал страстные споры. Во время Первого съезда советских писателей, когда кто-либо произносил его имя, одни страстно аплодировали, другие молчали; я тогда писал в «Известиях»: «Не потому аплодировали мы, что кто-то захотел канонизировать Маяковского, — мы аплодировали потому, что имя Маяковского означает для нас отказ от всех литературных канонов». Менее всего я мог себе представить, что год спустя Маяковского действительно начнут канонизировать. Я не был на его похоронах. Друзья рассказывали, что гроб был слишком коротким. Мне кажется, что слишком короткой, а главное, слишком узкой оказалась для Маяковского его посмертная слава.

Я прежде всего хочу рассказать о человеке; он отнюдь не был «монолитом» — большой, сложный, с огромной волей и с клубком порой противоречивых чувств.

«Мертвые остаются молодыми» — так назвала свой роман Анна Зегерс. Почти всегда более поздние впечатления заслоняют первоначальные. Я попытался в этой книге рассказать о молодом А. Н. Толстом; он был одним из первых писателей, с которым я встретился. Но часто, думая о нем, я вижу его грузным, признанным, с громким смехом и с утомленными глазами — таким, каким видел его в последние годы. Вот я гляжу на фотографию — рядом с Маяковским А. А. Фадеев, молодой, мечтательный, с мягкими глазами. Мне очень трудно припомнить Александра Александровича таким: я вижу волевые, порой холодные глаза… А Маяковский остался в памяти молодым.

До конца жизни он сохранял некоторые черты, может быть вернее сказать, некоторые привычки своей ранней молодости.

Критики не любят задерживаться на так называемом «футуристическом периоде» Маяковского, хотя без его первых стихов непонятны его поэмы. Но я сейчас говорю не о поэзии, а о человеке. Конечно, Маяковский быстро расстался не только с желтой кофтой, но и с лозунгами ранних футуристических манифестов. Однако в нем остался тот дух, который продиктовал «Пощечину общественному вкусу», — в манере себя держать, в шутках, в ответах на записки.

Помню «Кафе поэтов» зимой 1917/18 года. Помещалось оно в Настасьинском переулке. Это было очень своеобразное место. Стены были покрыты диковинной для посетителей живописью и не менее диковинными надписями.

Я люблю смотреть, как умирают дети —

эта строка из раннего, дореволюционного стихотворения Маяковского красовалась на стене для того, чтобы ошарашить приходящих. «Кафе поэтов» никак не походило на «Ротонду» — здесь никто не разговаривал об искусстве, не спорил, не терзался, имелись актеры и зрители. Посетителями кафе были, по тогдашнему выражению, «недорезанные буржуи» — спекулянты, литераторы, обыватели, искавшие развлечений. Маяковский вряд ли их мог развлечь: хотя многое в его поэзии им было непонятно, они чувствовали, что есть тесная связь между этими странными стихами и матросами, прогуливавшимися по Тверской. А песенку, сочиненную Маяковским о буржуе, который напоследок ест ананасы, понимали все; ананасов в Настасьинском переулке не было, но кусок вульгарной свинины застревал у многих в горле. Развлекало посетителей другое. На эстраду, например, подымался Давид Бурлюк, сильно напудренный, с лорнеткой в руке, и читал:

Мне нравится беременный мужчина…

Оживлял публику также Гольцшмидт; на афишах он именовался «футуристом жизни», стихов не писал, а золотил порошком два локона на голове, отличался необычайной силой, ломал доски и вышибал из кафе скандалистов. Однажды «футурист жизни» решил поставить себе памятник на Театральной площади; статуя была гипсовая, не очень большая и отнюдь не футуристическая — стоял голый Гольцшмидт. Прохожие возмущались, но, не решались посягнуть на загадочный монумент. Потом статую все же разбили.

Все это дела далекого прошлого. Года два назад в Москву

приехали американские туристы — Давид Бурлюк с женой. Бурлюк в Америке рисует, прилично зарабатывает, стал почтенным, благообразным; нет ни лорнетки, ни «беременного мужчины». Футуризм мне теперь кажется куда более древним, чем Древняя Греция. Но для Маяковского, который рано умер, он оставался если не живым, то близким.

В «Кафе поэтов» я довольно часто бывал, даже как-то выступил и получил от Гольцшмидта причитавшиеся мне за это деньги.

Помню вечер, когда в кафе пришел А. В. Луначарский. Он скромно сел за дальний столик, слушал. Маяковский предложил ему выступить. Анатолий Васильевич отказывался. Маяковский настаивал: «Повторите то, что вы мне говорили о моих стихах…» Луначарскому пришлось выступить: он говорил о таланте Маяковского, но критиковал футуризм и упомянул о ненужности саморасхваливания. Тогда Маяковский сказал, что вскоре ему поставят памятник — вот здесь, где находится «Кафе поэтов»… Владимир Владимирович ошибся всего на несколько сот метров — памятник ему поставлен недалеко от Настасьинского переулка.

Нескромность? Самоуверенность? Такие вопросы часто ставили многие современники Маяковского. Он отпраздновал, например, двенадцатилетний юбилей своей поэтической деятельности. Он не раз называл себя самым большим поэтом. Он требовал прижизненного признания — это было связано с эпохой, с тем низвержением «идолов», на которое жаловался Бальмонт, с желанием любым способом привлечь внимание к искусству.

Я люблю смотреть, как умирают дети…

Маяковский не мог видеть, как бьют лошадь. Однажды в кафе мой знакомый порезал себе ножиком палец — Владимир Владимирович поспешно отвернулся. Самоуверенный? Да, конечно, он резко отвечал на критические замечания, оскорблял своих литературных противников. Помню такой диалог. Записка: «Ваши стихи не греют, не волнуют, не заражают». Ответ: «Я не печка, не море, не чума». На своих книгах он надписывал читателям: «Для внутреннего употребления». Все это общеизвестно. Менее известно другое.

Помню вечер Маяковского в парижском кафе «Вольтер». На нем присутствовала Л. Н. Сейфуллина. Было это весной 1927 года. Кто-то в зале крикнул: «Почитайте теперь ваши старые стихи!» Маяковский, как всегда, отшутился. Когда вечер кончился, мы пошли в ночное кафе возле бульвара Сен-Мишель: Маяковский, Л. Н. Сейфуллина, Э. Ю. Триоле, другие. Играла

музыка, кто-то танцевал. Владимир Владимирович то шутил, изображал поэта Георгия Иванова, присутствовавшего на вечере, то надолго замолкал, мрачно оглядываясь по сторонам, как лев в клетке. Мы с ним условились, что на следующее утро, чем раньше, тем лучше, я к нему зайду. В крохотном номере гостиницы «Истрия», где он всегда останавливался, постель была не раскрыта — он не ложился. Встретил он меня мрачный и сразу, не поздоровавшись, спросил: «Вы тоже думаете, что я раньше писал лучше?…» Никогда он не был самоуверенным; обманывала раз и навсегда затверженная поза. Мне думается, что такая поза была продиктована скорее разумом, нежели характером. Ему была свойственна романтика, но он ее стыдился, обрывал себя: «Кто над морем не философствовал?» (после горьких раздумий о своей жизни), и тотчас ироническое «вода». В статье «Как делать стихи» все выглядит логично и просто. На самом деле Маяковский хорошо знал те мучения, которые неизменно связаны с творчеством. Он подробно рассказывал о заготовках рифм: были у него и другие «заготовки», о которых он не любил говорить, — душевные терзания. Он написал в предсмертном стихотворении, что «любовная лодка разбилась о быт» — это было данью много раз им осмеянной романтике; на самом деле его жизнь разбилась о поэзию. Обращаясь к потомкам, он сказал то, чего не хотел говорить современникам:

Но я
себя
смирял,
становясь
на горло
собственной песне.

Он казался чрезвычайно крепким, здоровым, жизнерадостным. А был он порой несносно мрачным; отличался болезненной мнительностью: носил в кармане мыльницу и, когда приходилось пожать руку человеку, который был ему почему-то физически неприятным, тотчас уходил и тщательно мыл руки. В парижских кафе он пил горячей кофе через соломинку, которую подавали для ледяных напитков, чтобы не касаться губами стакана. Он высмеивал суеверия, но все время что-то загадывал, обожал азартные игры — орел и решку, чет или нечет. В парижских кафе были автоматы-рулетки; можно было поставить пять су на красный, зеленый или желтый цвет; при выигрыше выпадал жетон для оплаты чашки кофе или кружки пива. Маяковский часами простаивал у этих автоматов; уезжая, он

оставлял Эльзе Юрьевне сотни жетонов; жетоны ему были не нужны, ему нужно было угадать, какой цвет выйдет. Он и в барабане револьвера оставил одну пулю — чет или нечет…

Когда Владимир Владимирович разговаривал с женщинами, его голос менялся, обычно резкий, настойчивый, становился мягким. Я прочитал в книге Виктора Шкловского: «Владимир Владимирович поехал за границу. Там была женщина, могла быть любовь. Рассказывали мне, что они были так похожи друг на друга, так подходили друг к другу, что люди в кафе благодарно улыбались при виде их…» Недавно было опубликовано стихотворение Маяковского, обращенное к Т. А. Яковлевой, о которой упоминал Шкловский. А у меня сохранилась рукопись «Клопа», подаренная Маяковским Тате (Т. А. Яковлевой), выкинутая Татой за ненадобностью. Нет, она не походила на Маяковского, хотя была, как он, высокого роста, красива. Я не хочу рассказывать о том, что Маяковский справедливо называл «сплетнями»; и упомянул я об этом эпизоде (отнюдь не самом значительном в жизни поэта) только для того, чтобы еще раз показать, как не походил живой Маяковский на бронзовую статую или на богатыря Владимира Красное Солнышко.

Маяковский, когда ему было восемнадцать лет, поступил в училище живописи — хотел стать художником. Он сохранил живописное видение мира и в поэзии: его образы не придуманы, но увидены. Он любил живопись, чувствовал ее; любил и среду художников. Мир он скорее видел, чем слышал. (Шутя он говорил, что слон ему наступил на ухо.)

Я упоминал о вечере у Цетлиных, когда Маяковский читал «Человека». Вячеслав Иванов иногда благожелательно кивал головой. Бальмонт явно томился. Балтрушайтис, как всегда, был непроницаем. Марина Цветаева улыбалась, а Пастернак влюбленно поглядывал на Владимира Владимировича. Андрей Белый слушал не просто — исступленно и, когда Маяковский кончил чтение, вскочил настолько взволнованный, что едва мог говорить. Его восторг разделяли почти все присутствовавшие. Но Маяковского рассердила чья-то холодная, вежливая фраза. Так с ним всегда бывало: он как бы не замечал лавров, искал тернии. В его стихах непрерывные бон с реальными и воображаемыми противниками новой поэзии. Что скрывалось за этими обвинениями? Может быть, спор с самим собой?

Мне привелось читать некоторые статьи о Маяковском, написанные за границей, авторы которых пытаются доказать, что революция погубила поэта. Трудно придумать большую нелепость: без революции не было бы Маяковского. В 1918 году он меня справедливо обозвал «испуганным интеллигентом»; мне

понадобилось два года, для того чтобы понять происходящее. А Маяковский революцию сразу понял и принял. Он был не только увлечен — поглощен строительством социалистического общества. Он ни к чему не приспосабливался и, когда некоторые хотели его приручить, огрызался:

«Лицом к деревне» —
заданье дано, —
за гусли,
поэты-други!
Поймите ж —
лицо у меня
одно — оно лицо,
а не флюгер…
Идею
нельзя
замешать на воде.
В воде
отсыреет идейка.
Поэт
никогда
и не жил без идей.
Что я —
попугай?
индейка?

Никогда у него не было конфликта с революцией; это выдумка людей, которые не брезгают ничем в борьбе против коммунизма. Драма Маяковского была не в разладе между революцией и поэзией, а в отношении лефовцев к искусству:

Пусть ропщут поэты,
слюною плеща,
губою
презрение вызмеив.
Я,
душу похерив,
кричу о вещах,
обязательных при социализме.

(Газета в свое время изменила несколько слов: «Я, душу не снизив» вместо «я, душу похерив».) Стихотворение это — свидетельство поэтического и человеческого подвига

Маяковского.

Маяковский любил Леже; было нечто общее в их понимании роли искусства в современном обществе. Леже увлекался машинами, урбанизмом, хотел искусства в повседневном быту, не заходил в музеи. Он писал свои холсты и создал хорошую живопись, на мой взгляд, декоративную, никак не подрывающую нашу любовь к Ван Гогу или Пикассо, но, бесспорно, связанную с новым временем. Маяковский в течение ряда лет боролся против поэзии не только в манифестах или в статьях — хотел стихами уничтожить стихи. В «Лефе» был напечатан смертный приговор искусству — «так называемым поэтам», «так называемым художникам», «так называемым режиссерам». Художникам рекомендовалось вместо станковой живописи заняться эстетикой машин, текстилем, утварью; режиссерам — организовывать народные празднества, демонстрации и распрощаться с рампой; поэтам — оставить лирику, писать для газет, подписывать плакаты, сочинять рекламы.

Отказаться от поэзии оказалось нелегко. Маяковский был человеком сильным и мужественным. Однако порой и он отступал от своей программы. В 1923 году, когда «Леф» еще отрицал лирику, Маяковский написал поэму «Про это». Ее не поняли даже близкие, ее поносили и союзники Маяковского, и его литературные противники, но ею он обогатил русскую поэзию.

С годами его отрицание прошлого искусства слабело. В конце 1928 года «Новый леф» сообщал, что Маяковский публично заявил: «Я амнистирую Рембрандта». Еще раз напомню — он умер молодым. Он жил, думал, чувствовал, да и писал не по плану — прежде всего он был поэтом. Помню, с каким восхищением он говорил о новой, индустриальной красоте Америки в те далекие годы, когда электрификация нашей страны была еще только замыслом, когда на Театральной площади, темной, занесенной снегом, горели тусклые лампочки: «Дети — цветы жизни». Я встретил его, когда он вернулся из Америки. Да, конечно, Бруклинский мост хорош, да, там много машин. Но сколько там дикости, бесчеловечности! Он ругался, говорил, как обрадовался, увидев крохотные садики Нормандии. Из программы «Лефа» вытекало и отрицание Парижа, где каждый дом — обломок старины, и восхваление сугубо новой, индустриализованной Америки. Но Маяковский проклинал Америку и, не стыдясь показаться сентиментальным, объяснялся в любви Парижу. Откуда такое противоречие? Да, «Леф» был журналом, просуществовавшим несколько лет, а Маяковский был большим поэтом. В декларативных стихах он издевался над поклонниками Пушкина, над посетителями Лувра, а его восхищали и строфы

«Онегина», и старая живопись.

Он сразу понял, что Октябрьская революция переменила ход истории, но детали будущего видел условно: не на полотне — на плакате. Нам трудно теперь соблазниться гигиенической идиллией последнего действия «Клопа». Искусство прошлого представлялось Маяковскому не столько чуждым, сколько обреченным. Его иконоборчество было обетом, подвигом. Он вел бой не только с тем или иным критиком, не только с авторами чувствительных романсов, но и с самим собой. Он написал:

Я хочу быть понят моей страной,
а не буду понят —
что ж?!
По родной стране
пройду стороной, как проходит
косой дождь.

Он зачеркнул эти строки, найдя их чересчур чувствительными. А родная страна его поняла, поняла также выброшенные им прекрасные стихи…

Я вспоминаю его осенью 1928 года — он пробыл тогда больше месяца в Париже. Мы часто встречались. Вижу его мрачным в маленьком баре «Куполь». Он заказывал виски марки «уайт хорс» («белая лошадь»); пил он мало, но сочинил песенку:

Хорошая лошадь
«уайт хорс».
Белая грива,
белый хвост…

Как-то он сказал: «А вы думаете, это легко?… Я мог бы писать стихи лучше их всех…» Он был до конца предан своей идее.

Много говорили, почему он покончил с собой, — то про неудачи с выставкой его литературных работ, то про нападки рапповцев, то про сердечные дела. Мне не по душе догадки: я не могу подойти к жизни человека, которого я знал, как подходят к плану романа… Хочу сказать одно: люди часто забывают, что поэт обладает обостренной чувствительностью, на то он поэт. Владимир Владимирович себя называл «волом», даже «волищем», о своих стихах говорил, что они «бегемоты», на одном собрании сказал, что у него «слоновая шкура», которой не пробить никакой пулей. На самом деле он жил и без обыкновенной человеческой кожи.

По христианским легендам, язычник, уверовав в Христа, начал крушить статуи богов и богинь. Статуи были совершенны, но неофит сумел побороть в себе чувство прекрасного. Маяковский сокрушал не только красоту прошлого, но и себя самого; в этом величие его подвига, в этом и ключ к его трагедии.

Был в Петербурге литератор Андрей Левинсон, который считался знатоком хореографии. В 1918 году в журнале «Жизнь искусства» он опубликовал пасквиль на Маяковского. Ему тогда ответили и многие художники, и А. В. Луначарский. Андрей Левинсон уехал в Париж. Когда пришло известие о трагической смерти Маяковского, он напечатал в газете «Ле нувель литтерер» отвратительную клеветническую заметку. Вместе с несколькими французскими писателями я составил письмо в редакцию этой газеты, выражавшее наше негодование. Под письмом подписались все пристойные писатели Франции самых различных воззрений; не помню, чтобы кто-нибудь отказался поставить свою подпись. Я отнес письмо редактору Морису Мартен дю Гару. (Это был малопримечательный литератор, никак не похожий на большого писателя Роже Мартен дю Гара.) Редактор спокойно прочитал чрезвычайно резкое письмо и сказал: «Я попрошу вас сделать одно маленькое изменение». Я ответил, что текст не может быть смягчен. «Я этого и не прошу. Но, может быть, вы прибавите во фразе «мы возмущены тем, что литературная газета» два слова — «самая крупная литературная газета». Он соглашался получить пощечину, но просил отметить, что щека у него большая. Маяковский об этом, наверно, хорошо бы написал…

Необычайна судьба Маяковского в мире. Совсем недавно мне говорили о нем писатели Черной Африки — он дошел и туда. Он обходит мир. Конечно, стихи с трудом поддаются переводу, да и многое в той форме, которую Маяковский утверждал как форму будущего, стало формой прошлого. Но, человек и поэт, он по-прежнему молод. Ни Арагон, ни Пабло Неруда, ни Элюар, ни Тувим, ни Незвал никогда не писали «под Маяковского»; но все они многим Маяковскому обязаны — он научил их не новым формам стихосложения, а мужеству выбора.

Нужно уметь отделить современность от злободневности, дух новаторства от тех или иных новинок, которые четверть века спустя кажутся старомодными. Один поэт несколько месяцев назад сказал мне, что после сложных рифм Маяковского нельзя употреблять глагольные рифмы. Это, конечно, наивно. Можно писать и глагольными рифмами, и вовсе без рифм. В 1940 году девять десятых начинающих поэтов писали стихи «лесенкой», теперь подражают другим образцам: моды меняются. Маяковского били по голове книгами Пушкина, Некрасова, Блока. Стоит ли

дубасить молодых томами Маяковского?

Я говорил, что Маяковский мог бы мне помочь во многом разобраться. Помню ночной разговор; было это в феврале или в марте 1918 года. Мы вышли вместе из «Кафе поэтов». Маяковский расспрашивал про Париж, про Пикассо, про Аполлинера. Потом он сказал, что ему понравились мои стихи о казни Пугачева. «Вам бы радоваться, а вы скулите… Нехорошо!» Я охотно согласился: «Конечно, нехорошо». Политически он был прав, я это вскоре понял; но мы всегда думали и чувствовали по-разному. В 1922 году он говорил мне, что «Хуренито» ему понравился: «Вы поняли многое лучше других…» Я засмеялся: «А по-моему, я все еще ничего не понимаю…» Мы часто встречались и ни разу не встретились.

О Маяковском я думал и думаю; иногда спорю с ним, но всегда восхищаюсь его поэтическим подвигом. На статую я не гляжу — статуя стоит на месте; а Маяковский идет — и по новым кварталам Москвы, и по старому Парижу, по всей нашей планете идет с «заготовками» — не новых рифм, а новых дум и чувств…

7

Каждое утро обыватели тщательно изучали наклеенные на стены, еще старые, топорщившиеся декреты: хотели знать, что разрешается, что запрещено. Однажды я увидел толпу возле листка, который назывался «Декретом № 1 о демократизации искусств». Кто-то читал вслух: «Отныне вместе с уничтожением царского строя отменяется проживание искусства в кладовых, сараях человеческого гения — дворцах, галереях, салонах, библиотеках, театрах». Бабка взвизгнула: «Батюшки, сараи отбирают!..» Очкастый человек, читавший декрет вслух, разъяснил: «Про сараи ничего не сказано, а вот библиотеки закроют, ну и театры, конечно…» Листок был сочинением футуристов, и внизу значились подписи: Маяковский, Каменский, Бурлюк. Имена ничего не говорили прохожим, зато все знали магическое слово «декрет».

Вспоминаю 1 мая 1918 года. Москва была изукрашена футуристическими и супрематистскими полотнами. На фасадах облупленных домов, ампирных особняков с колоннами обезумевшие квадраты воевали с ромбами; пестрели лица с треугольниками вместо глаз. (Искусство, которое теперь именуется «абстрактным» и вызывает немало споров как у нас, так и на Западе, тогда выдавалось советским гражданам в неограниченном размере.) Первое мая совпало в тот год со страстной пятницей. Возле Иверской часовни толпились молящиеся. Мимо них проезжали грузовики (бывшие фирмы Ступина), задрапированные беспредметными холстами; актеры на грузовиках изображали различные сцены: «Подвиг Степана Халтурина» или «Парижскую коммуну». Одна старушка, глядя на кубистическое полотно с огромным рыбьим глазом, причитала: «Хотят, чтобы мы дьяволу поклонялись…»

Я смеялся, но смех был невеселым.

Сейчас я перечитал мою статью, напечатанную летом 1918 года в газете «Понедельник» и озаглавленную «Среди кубистов»; в ней я рассказывал о Пикассо, Леже, Ривере. Я говорил, что можно рассматривать произведения этих художников как «сумасшедшие орнаменты готового рухнуть дома или как фундамент иного, еще невиданного даже в творческом сне строения».

Конечно, не случайно Пикассо, Леже, Ривера стали коммунистами. В 1918 году на Красной площади оказались не

художники академического направления, а футуристы, кубисты, супрематисты. Что же меня смущало в торжестве тех художников и поэтов, которые напоминали (хотя бы внешне) лучших друзей моей ранней молодости?

Прежде всего — отношение к искусству прошлого. Всем известно, что Маяковский рос, менялся, но в то время он был страстным иконоборцем:

Белогвардейца
найдете — и к стенке.
А Рафаэля забыли?
Забыли Растрелли вы?
Время пулям
по стенке музеев тенькать.
Стодюймовками глоток старье расстреливай!
…Выстроили пушки по опушке,
глухи к белогвардейской ласке.
А почему
не атакован Пушкин?

Этого я не мог понять. Часто, бродя по московским переулкам, я повторял стихи Пушкина; с нежностью вспоминал я холсты старых итальянских мастеров. Приехав в Москву, я чуть ли не сразу побежал в Кремль. Живопись XV века меня потрясла — я ведь до того не имел представления о русском раннем Возрождении.

Споры о ценностях прошлого вскоре улеглись. Маяковский написал стихи о Пушкине, а материалы о Маяковском теперь выходят в издании Академии «Литературное наследство».

(Я уже упоминал о журнале «Вещь»; среди его сотрудников были многие представители нашего «левого искусства»: Маяковский, Малевич, Мейерхольд, Татлин, Родченко. В статье, посвященной задачам журнала, я писал: «Теперь смешно и наивно «сбрасывать Пушкина с парохода». В течении форм есть связь, и классические образцы не страшны современным мастерам. У Пушкина и Пуссена можно учиться… «Вещь» не отрицает прошлого в прошлом, она зовет делать современное в современном…»)

Маяковского нетрудно понять: его стихи встречались гоготом. Над картинами художников, которые пошли с футуристами (Малевич, Татлин, Родченко, Пуни, Удальцова, Попова, Альтман), в дореволюционное время издевались. После Октября эпигоны классической поэзии начали укладывать веши в чемоданы. Бунин и Репин уехали за границу. Остались футуристы, кубисты,

супрематисты. Подобно их западным единомышленникам, довоенным завсегдатаям «Ротонды», они ненавидели буржуазное общество и в революции увидели выход.

Футуристы решили, что вкусы людей можно изменить столь же быстро, как экономическую структуру общества. Журнал «Искусство коммуны» писал: «Мы действительно претендуем и, пожалуй, не отказались бы от того, чтобы нам позволили использовать государственную власть для проведения своих художественных идей». Конечно, это было скорее мечтой, чем угрозой. Улицы Москвы расписывались супрематистами и кубистами прежде всего потому, что художники академического толка находились в оппозиции (не художественной, а политической). Все же результаты оказались печальными. Дело не в бабке, принявшей кубистический холст за черта, а в той художественной реакции, которая последовала за кратковременным выходом на улицы «левого искусства».

Открытия в области точных наук доказуемы, и вопрос о том, прав или не прав Эйнштейн, решали математики, а не миллионы людей, помнящих всего-навсего таблицу умножения. Новые формы искусства всегда входили в сознание людей медленно, извилистыми путями; причем сначала их понимали и принимали немногие. Да и вообще предписать, внедрить или навязать вкусы невозможно. Боги древней Эллады потребляли нектар, который поэты называли божественным напитком; но если бы нектар стали вводить через зонд в желудки афинских граждан, то, наверно, дело кончилось бы всеафинской рвотой.

Впрочем, сейчас все это (не только споры о том, кто будет украшать площади Москвы, но и «левое искусство») — древняя история. Еще раз я нарушу правила, которые предписывают мемуаристу придерживаться хронологической последовательности. Мне хочется понять, что приключилось со мной, со многими поэтами и художниками моего поколения. Не знаю, кто перепутал нити — наши художественные противники или мы сами; но я попытаюсь размотать клубок.

Прежде всего скажу о себе. Вскоре я увлекся тем, что тогда называли «конструктивизмом»; признаюсь, однако, — идея растворения искусства в жизни меня и вдохновляла и отталкивала. В 1921 году я написал книгу «А все-таки она вертится», шумливую и наивную, напоминавшую декларации лефовцев (журнал «Леф» отмечал, что «группа И. Эренбурга во многом совпадает в выводах с нами»). Я уверял, будто «новое искусство перестает быть искусством». Одновременно я издевался над своими идеями; в том же 1921 году я написал «Хулио Хуренито»; мой герой доводит до абсурда тезисы книги «А все-

таки она вертится». Хуренито говорит: «Искусство — очаг анархии, художники — еретики, сектанты, опасные бунтовщики. Итак, не колеблясь, надо запретить искусство, как запрещены изготовление спиртных напитков или ввоз опиума… Картины кубистов или супрематистов могут быть использованы для различных целей — чертежи киосков на бульварах, орнамент набойки, модели новых ботинок и так далее. Поэзия переходит к языку газет, телеграмм, деловых разговоров…» Я не двурушничал — двурушничество ведь всегда связано с опаской или с расчетом. Просто я не очень-то верил в провозглашаемую многими, в том числе и мною, смерть искусства.

Футуризм родился в начале нашего века в технически отсталой Италии; там на каждом шагу можно было увидеть изумительные памятники прошлого; а в магазинах продавали немецкие ножи, французские кастрюли, английские материи — заводские трубы еще не пытались затесаться в изысканное общество старинных башен. (Теперь Северная Италия может посоперничать с наиболее индустриализированными странами, но теперь в Италии не сыщешь футуриста, требующего сжечь все музеи, а бывшие футуристы Карра или Северини вдохновляются фресками Джотто или равеннской мозаикой.) Увлечение Маяковского, Татлина, других представителей русского «левого искусства» индустриальной эстетикой в первые годы революции вполне понятно: тогда на Сухаревке продавали поштучно не только куски сахара, но даже спички. В «Мистерии-Буфф» Маяковский так мечтал о будущем: «Громоздятся в небо распахнутые махины прозрачных фабрик и квартир. Обвитые радугами, стоят поезда, трамваи и автомобили…» (Когда художник изображает природу или человеческие чувства, его произведения не устаревают. Никто не скажет, что женщина XX века прекраснее, совершеннее Ники Акрополя, созданной двадцать пять веков назад; терзания Гамлета и Джульетты никому не смешны. Но стоит художнику увлечься техникой, как его утопии оказываются превзойденными или опровергнутыми временем. Уэллс был человеком весьма образованным, ему казалось, что он видит будущее, однако открытия современной физики сделали его утопические романы смешными. Как мог Маяковский предвидеть, что трамвай вскоре разделит судьбу конки, а поезда начнут казаться архаическим способом передвижения?…)

Кубистические полотна Пикассо были рождены не тоской по машинам, а стремлением живописца изобразить человека, природу, мир, освободившись от случайных подробностей. Мало кого теперь интересуют книги Метценже, Глеза и других

теоретиков кубизма; а холсты Пикассо, Брака, Леже живы, нас радуют, огорчают, волнуют, Пикассо себя считает наследником Веласкеса, Пуссена, Делакруа, Сезанна, и никогда он не видел в электрическом поезде или в реактивном самолете наследников живописи.

Разумеется, искусство всегда постепенно входило в быт, меняло здания, одежду, словарь, жесты, утварь. Средневековая поэзия с ее культом любимой женщины помогла людям найти формы для выражения своих чувств. Холсты Ватто и Фрагонара перекочевали в быт, изменили планировку парков, костюмы, танцы, повлияли на диваны или на табакерки. Кубизм помог современным урбанистам освободиться от домов, заляпанных ненужными украшениями, он отразился на мебели, даже на коробках сигарет. Утилитарное использование искусства, его декоративное применение не может быть целью художника, оно естественно вытекает из его творческого взлета. Обратный процесс свидетельствует о творческом оскудении. Беспредметный орнамент вполне уместен на ткани или на керамике, когда же он претендует на звание станковой живописи, то это не взлет, а спад.

Недавно я был в Брюсселе на ретроспективной выставке Малевича, Его ранние работы (период «Бубнового валета») очень живописны. В 1913 году он написал черный квадрат на белом фоне. Так родилось абстрактное искусство, которое сорок лет спустя обворожило тысячи западных художников. Оно мне кажется прежде всего декоративным, Холсты Пикассо — мир, в них столько мыслей и чувств, что они порождают восторг или подлинную ненависть; а холсты абстракционистов остаются элементами ткани или обоев. Женщина может надеть на себя шарф с беспредметным орнаментом, этот шарф может быть красивым или некрасивым, может оказаться к лицу женщине или нет, но он никогда не заставит задуматься о природе, о человеке, о жизни.

Стремительное развитие техники требует от художника еще более углубленного понимания внутреннего мира человека. Это быстро поняли сторонники «левого искусства», защищавшие индустриальную эстетику. Повидав Америку. Маяковский заявил, что необходимо обуздать технику. Конечно, он думал при этом о роли художника, не отрицая необходимости технического процесса (в Москве тогда — это было в 1925 году — техники было чрезвычайно мало); Маяковский понимал, что если не надеть на технику гуманистического намордника, то она искусает, загрызет человека. Мейерхольд, забыв про биомеханику, увлекся «Лесом», «Ревизором», мечтал поставить «Гамлета». Татлин занялся станковой живописью; Альтман писал портреты; Пуни стал

мастером маленьких пейзажей. Что касается зонда с нектаром, то он перешел в другие руки, куда более подходящие для подобных операций.

Наши музеи обладают превосходными коллекциями «левого искусства» первых послереволюционных лет. Обидно, что эти коллекции не открыты для посетителей. Из цепи кольца не выкинешь. Я знаю молодых советских художников, которые в 1960 году открывают Америку: делают (вернее, хотят сделать) то, что в свое время делали Малевич, Татлин, Попова, Розанова. Может быть, если бы они могли взглянуть на историю развития названных художников, они пытались бы не вернуться к 1920 году, а найти нечто новое, соответствующее нашему времени? Молодые поэты знают стихи Хлебникова, ценят его мастерство, но не пытаются ему слепо подражать. Почему же Татлин «опаснее» Хлебникова? Может быть потому, что идея монополии одного направления особенно утвердилась в области пластических искусств?…

Конечно, представители нашего «левого искусства» в первые годы революции во многом ошибались. Об ошибках художников, писателей, композиторов говорят часто и охотно; вряд ли это объясняется тем, что ошибаются только они… Но сейчас, оглядываясь назад, я думаю с признательностью даже о том холсте, который испугал бабку возле Иверской часовни. Многое было сделано; а эссенцию всегда разбавляют. Благотворные следы «левого искусства» можно увидеть в произведениях ряда писателей, художников, режиссеров, кинорежиссеров, композиторов последующих десятилетий.

Я никогда в жизни не был страстным адептом какой-либо художественной школы. Апостола Павла, до того как он обратился в новую веру, звали Савлом. В 1922 году, когда я защищал конструктивизм и издавал журнал «Вещь», В. Б. Шкловский в книге «Цоо» назвал меня Павлом Савловичем — это зло, но справедливо. Через всю мою жизнь я пронес любовь ко многим художественным произведениям прошлого — к романам Стендаля, к рассказам Чехова, к стихам Тютчева, Бодлера, Блока. Это мне не мешало ненавидеть подделку под старое и любить Пикассо или Мейерхольда. В общем, у Павла должно быть отчество, и лучше вылепить новую статую, чем разбить даже с самыми высокими побуждениями статую, некогда созданную. Для скульптора, который высекал изображения индийских богов и богинь в Эллоре, Брахма, Вишну или Шива были богами; для нас это люди, созданные человеческим гением, с близкими нам страстями, с понятной нам гармонией.

Идолы отжили свой век не только в религии, но и в

искусстве. Вместе с почитанием икон умерло иконоборчество. Но разве от этого может исчезнуть стремление сказать новое по-новому? Недавно я прочитал в одном журнале слова «скромное новаторство»; они меня сначала рассмешили, потом опечалили. Художник должен быть скромным в своем поведении, но отнюдь не умеренным, тепленьким, ограниченным в творческих дерзаниях. Право же, достойнее писать каракулями свое и по-своему, чем каллиграфически переписывать прописи прошлого. Мне кажется, что колхозники, изображаемые в манере академической (болонской) школы, мало кого могут порадовать и нельзя передать ритм второй половины XX века тем изобилием придаточных предложений, которым блистательно пользовался Л. Н. Толстой.

8

В Пречистенском комиссариате мне пришлось заполнить первую анкету, это было внове, и я задумывался над каждым вопросом. Какая, например, у меня профессия? Журналист? Переводчик? Поэт? Я написал «поэт» — это звучало наиболее благородно — и рассмеялся: менее всего я чувствовал себя профессиональным писателем.

Помимо дурных стихов, я писал очерки в газеты; написал вместе с А. Н. Толстым пьесу для театра «Летучая мышь», называлась она «Рубашка Бланш» и была основана на французском фаблио XIII века, которое я перевел еще в Париже. Я писал стихотворный текст, а Алексей Николаевич старался оживить его забавными репликами.

Внешне я как-то устроился, снял комнату в Левшинском переулке, в профессорской квартире, за сто рублей, иногда обедал в вегетарианской столовой — кажется, она называлась «Примирись», но примириться ни с чем я не мог.

Иногда я вспоминал «Ротонду», Пикассо, Модильяни, наши споры об искусстве. Бог ты мой, как давно это было!.. Я попробовал написать Шанталь и тотчас порвал письмо: нельзя писать в другой мир. Даже если письмо дойдет, никогда ей не понять, что со мною происходит…

Появилось много новых слов: «мандат», «чека», «рабис», «комфуты», «домком», «уплотнение», «излишки», «пша», «спецы», «пролеткульт», «кубаршины», «ликбез», «рабкрин», «разверстка». Я продолжал приставать ко всем с наивными вопросами; никто мне не отвечал. Неожиданно для себя я очутился и среде писателей, даже стал одним из наиболее типичных ее представителей: у других ведь были семьи, знакомые, налаженный быт, а я попал в революционную Москву с тремя сменами белья, без профессии и потеряв из виду друзей отрочества.

Я упоминал о кафе «Дом» на Тверской, куда часто заглядывали писатели; там мы пили кофе и делились новостями. Были другие кафе, где мы работали, — за тридцать или за пятьдесят рублей читали свои произведения перед шумливыми посетителями, которые слушали плохо, но глядели на нас с любопытством, как посетители зоопарка глядят на обезьян. Кафе эти были эфемерными — названия то и дело менялись: «Кафе поэтов», «Трилистник», «Музыкальная табакерка», «Домино», «Питторекс», «Десятая муза», «Стойло Пегаса», «Красный петух».

Цетлины нас кормили пышно, как подобало последним представителям чайной династии. Собирались мы часто у Кара-

Мурзы; там нас тоже подкармливали, и атмосфера там была куда проще, сердечнее. Иногда мы ходили к Толстому; иногда в Афанасьевском переулке встречались у актрисы Людмилы Джалаловой.

Еще происходили скучноватые собрания «Среды»; там бытовики читали рассказы и литераторы монотонно требовали различных «свобод»; во главе «Сред» стоял брат Бунина, милейший Юлий Алексеевич.

Председателем Всероссийского Союза писателей был Юргис Казимировнч Балтрушайтис, человек очень добрый и очень угрюмый. Лицо у него было пустынное, бледные глаза, горестно сжатый рот. Когда Маяковский сокрушал Бальмонта или когда Толстой рассказывал анекдоты, Юргис Казимирович, в черном, наглухо застегнутом сюртуке, непоколебимо молчал. Его комната напоминала его самого — голые стены и распятие. Такими же унылыми, горькими, отвлеченными были и его стихи:

И всех равняет знаком сходства,
Приметой божьего перста.
Одно великое сиротство.
Одна великая тщета!

Помню, как мы ездили в Кимры на литературный вечер. Балтрушайтис читал стихи. Потом Лидии прочитал рассказ о конюшнях и скачках. Зал был шумным; кого-то вывели. На эстраду взобрался паренек и запел:

Дезертиром я родился,
Дезертиром и умру,
Коль хотите, расстреляйте,
В коммунисты не пойду…

Мы пили водку; нас отвели в пустую комнату — поезд отправлялся утром; спали мы на полу. Юргис Казимирович, как всегда, молчал; только когда мы приехали в Москву, он неожиданно сказал: «В общем, глупо… А все-таки хорошо, что поехали…» Мне кажется, что те годы были для Юргиса Казимировича лучшими в его жизни. (В 1921 году он стал послом Литвы в Москве. Ему хотелось по-прежнему встречаться с писателями, но он числился дипломатом, и его дипломатично избегали. Он продолжал писать угрюмые стихи; писал и на литовском языке. Жизнь его сложилась нелепо, но он не удивлялся — с детства знал, что такое пустыня.)

Помню светящееся окно на Зубовском бульваре — там жил поэт Вячеслав Иванович Иванов. Он казался мне мудрым старцем (ему тогда было пятьдесят два года); походил он на ибсеновского пастора; одевался по-старомодному; блестела золотая оправа очков. Был он человеком большой культуры; писал сложно и патетически; его называли «Вячеславом Великолепным». Я слушал, как он, волнуясь, будто импровизируя, читал отточенные сонеты, и во мне боролись два чувства: благоговение и жалость; время рванулось вперед, а где-то на Зубовском бульваре остался чудак в сюртуке, с менадами, с Изольдой, с розами Суристана, с акафистами. В домах появились печки, окрещенные «буржуйками», на них варили пшенную кашу, а Вячеслав Иванович писал:

Охапку дров свалив у камелька,
Вари пшено, — и час тебе довлеет.
Ах, вечности могила глубока!..

Он хорошо говорил о древней Элладе, а когда события заглядывали в его кабинет, терялся. Он писал Г. И. Чулкову:

Да, сей пожар мы поджигали,
И совесть правду говорит.
Хотя предчувствия не лгали,
Что сердце наше в нем сгорит.

Мне кажется, сердце Вячеслава Иванова в те годы не горело, а замерзало… (Несколько лет спустя он уехал в Италию, преподавал славистику в католическом университете, писал, как прежде, сонеты и умер в глубокой старости.)

Как-то я возвращался после литературного вечера с М. О. Гершензоном, который жил в одном из переулков Арбата. Я знал его книги о декабристах, о Чаадаеве и думал, что для Михаила Осиповича самое важное — сохранить те духовные ценности, о которых говорил Вячеслав Иванов. Но Гершензон неожиданно рассмеялся и, остановившись возле сугроба, который был выше его, стал меня наставлять: важнее всего внутренняя свобода, нечего плакать об истлевших ризах. Он смеялся, а глаза у него были ласковые и печальные: «Почему вы огорчаетесь? Вы ведь молоды… Разве не счастье почувствовать себя свободным от всего, что представлялось нам вечным, незыблемым? Я вот радуюсь…» Михаилу Осиповичу не было и пятидесяти, но мне он, конечно, казался стариком. Я тогда не понял, чему он радуется, а

теперь с восхищением думаю о его словах; если он страдал дефектом зрения, то в отличие от многих писателей, в том числе молодых, был не близоруким, а дальнозорким. Его заслуги перед нашей литературой велики, и только болезнью века — амнезией можно объяснить то, что о нем быстро забыли: ведь он был не эфемерным автором парадоксов, а серьезным и глубоким историком русской интеллигенции XIX века. Его книги об Огареве, о Чаадаеве, о декабристе Кривцове, о грибоедовсской Москве написаны с точностью летописца и с вдохновением поэта. Он умер в 1925 году.

Позднее я расскажу об Андрее Белом — я часто с ним встречался в Германии в 1922 году. В годы, о которых я говорю, он казался мне призраком. Он не сидел на стуле, как все, а приподымался; казалось, еще минута — и он превратится в облако; говорил он не с собеседник ком, а с воображаемым обитателем воображаемой планеты. Слово «эфир» давно стало техническим термином работников радиовещании, они говорят «выпускаем в эфир», даже когда идет речь о беседе, как предохранить себя от желудочных заболеваний, А тогда слово «эфир» еще звучало таинственно: «Тебя я, вольный сын эфира, возьму в надзвездные края…» Так вот, мне казалось, что Андрей Белый говорит исключительно в лермонтовский эфир: Россия — мессия, разрушение — созидание, бездна — взлет… Он восхищал меня, но я думал: тебе хорошо, ты и не сидишь на стуле, ты взлетаешь, а я не умею ни развоплощаться, ни испаряться, ни вещать…

Все выводило из себя Бальмонта. Однажды мы должны были проехать от Покровских ворот к Арбату. Войти в трамвай было нелегко; я, вскочив на подножку, пытался пробиться, а Константин Дмитриевич начал вопить: «Хамы, расступитесь! Идет сын солнца…» Это не произвело никакого впечатления, и Бальмонт объявил, что, поскольку ни у него, ни у меня нет денег на извозчика, мы пойдем пешком: «Я не могу касаться моим телом этих бесчувственных амфибий».

И. А. Бунин уверял, что во всем повинны «декаденты» — и в том, что разорили его усадьбу, и в том, что исчез сахар. Однажды у Толстого я. прочел свои стихи о казни Пугачева, написанные еще в Париже в 1915 году; там были строки:

> И останется от русского царства икра рачья
> Да на высоком колу голова Пугачья…

Бунин встал, сказал Наталье Васильевне: «Простите, подобного я слушать не могу» — и ушел. Кто-то сочинил тогда

стихи, которые оказались в моей записной книжке:

Вы дружбой связаны со мною,
Бандит и черт, парижский сноб
В огромной шляпе, вышиною
Напоминающей сугроб,
Вы, что стихами без нагана
Спугнули Бунина Ивана.
Желаю вам от сей поры
Отборных раков без икры.

У Толстых, несмотря на душевное беспокойство, овладевшее Алексеем Николаевичем, было уютно: Толстой умел не только вкусно радоваться, но и вкусно огорчаться. Неизменно он рассказывал забавные истории, причем сам смеялся первый. Как-то, вернувшись с репетиции своей пьесы, он рассказал, будто в первые дни революции солдаты нашли в Малом театре голову Иоканаана, которой в пьесе Уайльда тешится Саломея; голова им понравилась, и они начали ею играть в футбол. В другой раз Толстой рассказывал, как во время выборов в Учредительное собрание в подмосковной деревне одна бабка взяла со стола не тот бюллетень, что хотела. Агитатор сказал ей: «Да это не твой номер», а она ему ответила: «Наследить боюсь… Если бог поможет, мы и с этим управимся…» «Ха-ха-ха!» — грохотал Алексей Николаевич, а было ему, как я говорил, совсем не весело.

Из писателей старшего поколения я встречал Б. К. Зайцева, больного, недоумевающего; он охотно вспоминал Италию, а про то, что делается вокруг, говорил откровенно: «Не понимаю…» Ходили мы иногда к поэту Г. И. Чулкову, который жил на Смоленском бульваре. В молодости Георгий Иванович принимал участие в революционном движении, побывал в тюрьмах, в ссылке. Около 1907–1908 годов он оказался в центре литературной жизни, о нем Блок спорил с Андреем Белым. Я его узнал постаревшим и печальным; он походил на большую больную птицу, больше не проповедовал ни «соборности», ни «мистического анархизма», иногда, помолчав, повторял строки Тютчева. Иван Алексеевич Новиков предпочитал цитировать Пушкина; он был радушным хозяином, никого не обижал; глаза у него были ласковые, спокойные, и дома держался старый быт — на пасху пекли куличи, красили яйца.

У Кара-Мурзы собирались главным образом молодые — там Алексей Николаевич был классиком. Поэт Липскеров нараспев читал стихи о красотах Востока. Приходила В. М. Инбер. (С нею я познакомился еще в Париже; она должна была уехать в горный

санаторий в Швейцарии и попросила меня присмотреть за изданием се первой книги «Печальное вино». Иллюстрации к книге сделал мой приятель, скульптор Цадкин.) Вера Михайловна читала шутливые стихи:

Вилли, милый Вилли,
Отвечайте мне без долгих дум.
Вы когда-нибудь кого-нибудь любили,
Вилли-грум?

В то время я подружился с В. Г. Лидиным. В молодости он был наивным и жаждал романтики. Людмила Джалалова его называла «розовым Марабу», эта кличка прижилась.

В одном из писем Маяковского к Л. Ю. Брик я нашел такие строки: «Кафе омерзело мне. Мелкий клоповничек. Эренбург и Вера Инбер слегка еще походят на поэтов, но и об их деятельности правильно заметил Кайранский:

Дико воет Эренбург,
Одобряет Инбер дичь его…»

В «Литературном наследстве» не приведен конец эпиграммы:

Ни Москва, ни Петербург
Не заменят им Бердичева.

Сочинил эти стишки критик А. А. Кайранский на вечере у Кара-Мурзы. Я тогда еще многого не предвидел и не рассердился.

Мы развлекались, как умели. Сфинкс ставил людям загадки, они их не могли решить, и Сфинкс их пожирал. Эдип знал, что если он не разгадает головоломки, то его ждет гибель; все же я думаю, что, когда Сфинкс на минуту оставлял Эдипа в покое, Эдип развлекался…

Вот только Андрей Михайлович Соболь редко смеялся, и улыбка у него была печальная. В ранней молодости он был связан с эсеровским подпольем, восемнадцатилетним юношей был приговорен к каторжным работам, сослан в свирепый Зерентуй, с поселянами бежал за границу. Я с ним познакомился в итальянской деревушке Кави ди Лаванья, где почему-то обосновались, вернее, бедствовали, русские эмигранты. Во время войны Соболь с чужим паспортом вернулся в Россию. Не знаю, почему он был так печален, может быть потому, что хлебнул в

жизни горя, может быть потому, что действительность не походила на мечты подростка: крестьяне жгли в усадьбах библиотеки, матросы увлекались самосудами, а по Мясницкой вместо героев Степняка-Кравчинекого деловито шагали мешочники. В 1923 году в «Правде» было напечатано «Открытое письмо» Андрея Соболя… «В бурные, грозовые годы, прошедшие перед нами, над нами и сквозь нас, ошибалась, спотыкалась и падала вся Россия. Да, я ошибался, я знаю, где, когда и в чем были мои ошибки, но они являлись органическим порождением огромной сложности жизни. Безукоризненными могли себя считать или безнадежные глупцы, или беспардонные подлецы. В отсутствии глупости и подлости в себе я не нахожу повода для раскаяния. Одни сознают свои ошибки раньше, другие — позднее. Я позднее многих сознал, быть может, потому, что всегда был и оставался социалистом и всегда верил в тот час, когда рикша из Калькутты протянет, аннулируя моря и океаны не только воды, но и слез и крови, руку Федьке Беспятому из Недоеловки…» Андрей Михайлович был человеком болезненным, с обостренно чувствительной совестью, добрым, мягким. В 1926 году он покончил с собой на скамейке Тверского бульвара.

Газеты сообщали об огромных событиях: наступление немцев. Брестский мир, переезд правительства в Москву, мятеж левых эсеров, начало гражданской войны на Дону. В Москве то и дело постреливали. На Поварской чуть ли не в каждом особняке был штаб анархистов. В кафе поэтов я часто видел на столике рядом с пирожными маузер. Ночью на прохожих нападали бандиты. На собраниях повторяли: «Социалистическое отечество в опасности!» Появилось сообщение о том, что организована «Чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем».

А жизнь продолжалась… Я встретил поэта Михаила Герасимова; он повел меня на собрание пролеткультовцев; там издевались над футуристами. Маяковский называл стихи пролеткультовцев «протухшим товаром». Толстой говорил, что нужно уехать в Париж. Бунин называл Толстого «полубольшевиком».

Сфинкс требовал ответа. А мы все-таки холили к Кара-Мурзе, дурачились, сочиняли пародии, покупали на Сухаревке табак, ссорились друг с другом, влюблялись…

Пошел я на выставку «Бубновый валет»; там были холсты и некоторых бубнововалетцев, и супрематистов, и салонных стилизаторов — вывеска обманывала. А живопись тех художников, которые действительно были в прошлом организаторами группы «Бубновый валет», мне понравилась. Я почему-то считал (да так думают многие и поныне), что

бубнововалетцы слепо подражали французам. Конечно, они любили Сезанна, знали Матисса, но к опыту французских мастеров они добавили нечто свое, национальное. В ранних холстах Лентулова, Машкова, Кончаловского, Ларионова, Шагала, да и Малевича (до супрематизма) есть нечто от вывесок парикмахерских, фруктовых или табачных лавок, которые в дореволюционное время в провинциальных городах являлись подлинно народным творчеством.

Увлекали меня и театры; судя по записной книжке, я за один месяц побывал в Художественном на «Трех сестрах» и на «Селе Степанчикове», увидел в Камерном «Фамиру Кифаред» Иннокентия Анненского, был в Драматическом театре на «Павле» Мережковского. Глядел я в филиале Художественного театра пьесу «Потоп». На сцене было кафе, люди заказывали коньяк, подзывали официанта. Рядом со мной сидел художественный критик Я. А. Тугендхольд, незадолго до того вернувшийся из Парижа. Когда опустился занавес, Яков Александрович полез в карман за деньгами: ему показалось, что он в кафе и должен расплатиться с официантом. А я посмеивался, хотя пьеса была скорее мрачная: смешил меня натурализм театра — актеры действительно пили что-то, все было как «на самом деле». В 1909 году в Париже мне показался неправдоподобным трагический актер Муне-Сюлли в роли царя Эдипа, а вот теперь меня смешила неправдоподобность чересчур правдоподобного…

Искусство искушало, но я продолжал думать о вопросах Сфинкса. Жизнь становилась внешне все труднее и труднее: все жили впроголодь. Говорили о перестрелках, о пайках, о сыпняке. Я переносил лишения легче, чем многие из моих новых друзей: в Париже прошел школу голода.

Как-то с оказией пришло письмо от Шанталь, она писала, что ждет меня. На минуту передо мной встал Париж — Сена, каштаны, друзья и маленькая уличка Кур де Роан, где жила Шанталь. Ответ я писал долго — хотел объяснить, что война продолжается, что у меня нет денег, а главное, я не могу уехать из России, не поняв, что здесь происходит… Письмо получилось глупое, и я его порвал.

9

Моя мать умерла в Полтаве осенью 1918 года. Я знал, что она тяжело больна, торопился. Когда я добрался до дома моего дядюшки, отец, сгорбившись, сидел в передней: он только что вернулся с кладбища. Я опоздал на два дня и не простился с матерью. В жизни почти каждого человека смерть матери многое внутренне меняет. Я с семнадцати лет жил далеко от родителей, и все же почувствовал себя сиротой. Шел холодный дождь, цветы на могиле быстро почернели от ранних заморозков. Я не знал, что сказать отцу; мы оба молчали. Я пробыл с ним две или три недели; об этом можно было бы многое рассказать, можно и промолчать.

Однажды на улице я увидел В. Г. Короленко. Он шел сутулясь; лицо его поражало добротой и печалью. Казалось, это идет последний представитель интеллигенции прошлого века. (Словарь Ушакова дает и такое толкование «интеллигента»: «Человек, социальное поведение которого характеризуется безволием, колебаниями, сомнениями». А русская интеллигенция XIX века не была безвольной; она умела расплачиваться за свои идеи и житейскими невзгодами, и тюрьмой, и каторгой. Сомнения ее часто объяснялись не боязливостью, а совестливостью. Именно совестливым был и Короленко.) Я вспомнил, как он пригрел начинающего поэта на чужбине. Студент, который бывал у него, сказал: «Хотите, я вас представлю…» Я знал, что Владимир Галактионович плохо себя чувствовал, подавлен событиями, тревожится за своего зятя, которого арестовали немцы. Я не решусь ни о чем его спросить… А просто подойти, поблагодарить за то, что он живет на свете, я постеснялся; так и не подошел к нему…

В Киеве я оказался в скверное время. Я расскажу о том, как я там жил и что увидел; но прежде всего мне хочется сказать о самом Киеве. Мальчишкой я часто бывал в этом городе — гостил у деда; побывал в Киеве и после тюрьмы, без прописки, без крова. Моя жизнь протекала в двух городах — в Москве и в Париже. Но я никогда не мог забыть, что Киев — моя родина. Очевидно, такова власть слова, сила воображения. Не знаю, когда мои предки оказались на Украине и откуда их пригнали ветры истории; может быть, из Кордовы или Гренады. В Киев мой дед (по материнской линии) приехал из Новгород-Северска, древнего уездного городка Черниговской губернии, и было это, разумеется, не во времена князя Игоря, а относительно недавно — в начале царствования Александра Второго. Где пан таскал его за пейсы —

в Новгород-Северске, в Киеве или, может быть, в том самом Бердичеве, о котором рассказывали сотни анекдотов и который помог Кайра некому сочинить едкий стишок? Не знаю. Не берусь доказать, что я добротный, потомственный киевлянин. Но у сердца свои законы, и о Киеве я неизменно думаю как о моей родине. Осенью 1941 года мы теряли город за городом, но я не забуду день 20 сентября — тогда мне сказали в «Красной звезде», что по Крещатику идут немецкие дивизии.

«Киев, Киев! — повторяли провода. —
Вызывает горе. Говорит беда».
«Киев. Киев!» — надрывались журавли…

Помню, как мальчишкой я подъезжал к Киеву. Поезд останавливался на каждой станции, не торопился (торопился я), и названия станций были странные — Бобрик, Бобровица, Бровары. Потом начинались пески; мне они казались Сахарой. Я высовывался из оконца. Киев показывался внезапно — купола Лавры, сады, широчайший Днепр с островками, на которых зеленели деревья. Поезд долго грохотал на мосту…

В Киеве были огромные сады, и там росли каштаны; для московского мальчика они были экзотическими, как пальмы. Весной деревья сверкали канделябрами свечей, а осенью я собирал блестящие, будто отполированные каштаны. Повсюду были сады — и на Институтской, и на Мариинско-Благовещенской, и на Житомирской, и на Александровской; а Лукьяновка, где жила тетя Маша с грушами и с курами, мне казалась земным раем. На Крещатике был писчебумажный магазин Чернухи, там продавали школьные тетради в блестящих цветных обложках; в такой тетради даже задача на проценты выглядела веселее. Был магазин кондитерских изделий Балабухи, в нем продавали сухое варенье (его называли «балабухой»); в коробке лежала конфета, похожая на розу, она пахла духами. В Киеве я ел вареники с вишнями, пампушки с чесноком. Прохожие на улице улыбались. Летом на Крещатике в кафе сидели люди — прямо на улице, пили кофе или ели мороженое. Я глядел на них с завистью и с восхищением.

Потом всякий раз, приезжая в Киев, я поражался легкости, приветливости, живости людей. Видимо, в каждой стране есть свой юг и свой север. Итальянцы считают жителей Турина северянами — они суховаты, сдержанны, деловиты. Гасконцы живут на той же географической широте, что туринцы, но Гасконь — юг Франции, и по-французски «гасконец» означает фантазер, насмешник, балагур. Для испанца барселонцы — северяне, а если

отправиться из Барселоны на север и пересечь границу, то можно доехать до Тарас кона, где жил Тартарен…

На севере человек иногда улыбается: он вспомнил что-то приятное. А почему улыбается южанин? Вероятно, потому, что ему нравится улыбаться. Украинская фантазия, украинский юмор красили суровый облик старой России. Гоголь был болезненным человеком с очень тяжелым характером, но скольких он лечил своими книгами! Я знаю, что Гоголь — «великий реалист», это стоит в любом учебнике, и я в гимназии учил наизусть «Чуден Днепр при тихой погоде». Там сказано: «Редкая птица долетит до середины Днепра». Птицы перелетают через моря, но Гоголь прав: и Днепр широк, и широко искусство.

После революции в русскую литературу вошли яркие, несдержанные, насмешливые и романтичные южане; они нас слепили, смешили, вдохновляли — Бабель, Багрицкий, Паустовский, Катаев, Светлов, Зощенко, Ильф, Петров, Олеша…

Мальчиком я гостил у тети Маши; она арендовала хутор возле Борисполя; там на ярмарке я слышал, как слепцы пели старые песни. Много лет спустя я услышал, как М. Ф. Рыльский читал свои стихи, и было в этом нечто мне знакомое — лукавая и нежная музыка украинской речи.

В киевской Софии я провел немало часов. Часто противопоставляют византийское искусство древнегреческому; разумеется, Христос-Пантократор, требовательный и суровый, связанный не только с синим небом Греции, но и с фанатично-полицейским строем великой империи, не входит в мир кентавров и нимф. И все же Византия сохраняла гармонию Эллады; ее отсвет дошел до древнего Киева. В Софии я чувствовал не только груз веков, но и легкость, крылья искусства.

Я люблю барокко Киева; его вычурность смягчена каким-то естественным добродушием; это не гримаса, а улыбка. Мне жаль Михайловского монастыря, он хорошо стоял, был милый дворик. Конечно, Андреевская церковь лучше, но зря его снесли… (Футуристов обвиняли в неуважении к искусству прошлого; но у футуристов были перья, а не ломы. В тридцатые годы порой так рубили лес, что летели не щепки — вековые камни. В 1934 году я видел, как в Архангельске взрывали здание таможни петровского времени, я спрашивал — почему, мне отвечали: «Мешает уличному движению», а в Архангельске автомобили были наперечет.)

Война нанесла Киеву много ран. Немцы взорвали собор Лавры. Крещатика не стало. Потом сделали тротуары, поставили вазы с цветами, милиционеров. А потом улицу отстроили. На старом Крещатике не было памятников старины, и он мне мил

только воспоминаниями. А в Москве я живу на улице Горького и пригляделся к той архитектуре, которую теперь называют «украшательской», хотя ничего она украсить не способна. Зато я восхитился, увидев новый проспект над Днепром: Киев теперь может присесть на скамеечку (разумеется, в тихую погоду) и проверить, до чего чуден Днепр… Похорошели зеленые Липки. С Подола сияли клеймо отверженности.

Нет, Киев мне не чужой! Первые мои воспоминания — это большой двор, куры, бело-рыжая кошка, а напротив дома (на Александровской) красивые фонарики — там помещалось летнее увеселительное заведение «Шато де флер».

С Киевом связано немало событий в моей жизни. В 1918–1919 годах там существовала художественная школа Александры Александровны Экстер, «левой» художницы, которая выставлялась в Москве вместе с бубнововалетцами и делала постановки в Камерном театре. В школе учились дюжина молоденьких девушек и несколько юношей. Среди учениц А. А. Экстер была восемнадцатилетняя девушка Люба Козинцева. Она заинтересовалась мною, узнав, что я знаком с Пикассо. Что касается меня, то я заинтересовался ею, хотя она была знакома только с Александрой Александровной. Я начал ходить на Мариинско-Благовещенскую, где жил доктор Козинцев. Конечно, репутация у меня была шаткая; но шатким тогда было все. Гетмана сменил Петлюра, Петлюру прогнала Красная Армия. Люба с товарищами расписывала агитпароход. Швейцар «Литературно-артистического клуба» философствовал: «Сегодня навыворот, а завтра за шиворот». Я продолжал писать стихи, но в многочисленных анкетах на вопрос о роде занятий отвечал уже не «поэт», а «служащий» — я работал в нескольких советских учреждениях. Впрочем, все это к делу не относится. Люба украдкой приходила ко мне — я снимал тогда комнату на Рейторской. Несколько месяцев спустя мы, никого об этом не предупредив, направились в загс, пробираясь через спящих красноармейцев и тюки, отобранные продкомом.

В октябре 1943 года вместе с другими корреспондентами «Красной звезды» я жил в сожженном селе Летки на Десне. Мы ждали, когда освободят Киев. Вокруг шумел высокий камыш. Иногда мы ездили в Дарницу, оттуда можно было рассмотреть город. Иногда переправлялись на правый берег Днепра. Ждать было трудно. Поэт Семен Гудзенко потом написал:

Но и в сугробах Подмосковья,
и в топях белорусских рек
был Киев первою любовью,

незабываемой вовек.

Я увидел пески Бабьего Яра; там гитлеровцы убили семьдесят тысяч евреев. Мне показали объявление: «Жиды г. Киева и окрестностей. В понедельник 29 сентября к семи часам утра вам надлежит явиться с вещами, документами и теплой одеждой на Дорогожицкую улицу, возле Еврейского кладбища. За неявку — смертная казнь». По длинной Львовской шло шествие обреченных; матери несли грудных детей; парализованных везли в тележках. Потом людей раздевали и убивали. Среди погибших не было моих близких, но, кажется, нигде я не пережил такой тоски, такого сиротства, как на песках Бабьего Яра. Иногда чернела зола, обугленные кости (немцы незадолго до эвакуации приказали военнопленным выкопать тела жертв и сжечь их). Почему-то мне казалось, что здесь погибли мои родные, друзья, сверстники, что сорок лет назад я видел их — они играли в детские игры на смутных улицах Подола или Демиевки.

В Киеве жило много евреев. Когда я еще был мальчишкой, мой двоюродный брат, студент, показал мне на Крещатике человека в очках, с длинными волосами и почтительно пояснил: «Это — Шолом-Алейхем». Я тогда не знал о таком писателе, и мне он показался одним из ученых чудаков, которые сидят над книгой и выразительно вздыхают. Много позднее я прочитал книги Шолом-Алейхема, я и вздыхал и смеялся, мне хотелось вспомнить лицо ученого чудака, мелькнувшее на Крещатике. Шолом-Алейхем называл Киев «Египтем», и люди этого города заполняют его книги. Их дети и внуки простились с Египтем в Бабьем Яру…

В Киеве я пережил еврейский погром. Для меня рассказ украинского писателя Коцюбинского вдвойне дорог — и потому, что я понимаю муку Эстерки, и потому, что автор рассказа не резник Абрум, а Михаил Михайлович, сын Михаила Матвеевича и Гликерии Максимовны.

Я много пережил в Киеве, но дело не в этом. Говорят, что можно родиться в случайном месте — на узловой станции или в далекой стране, куда судьба на месяц или на год закинула родителей. Что же, в таком случае узловая станция перестает быть одним из кружков на карте, далекая страна становится близкой.

Киев. Киев, родина моя…

Всякий раз, когда я попадаю в Киев, я обязательно подымаюсь один по какой-нибудь крутой улице; мальчишкой быстро взбегал,

а постарел — и задыхаюсь; подымаюсь, и кажется мне, что только с Липок или с Печерска я могу взглянуть на годы, на десятилетия, на прожитый век. Все это, если угодно, присказка. Я прожил в Киеве с осени 1918 года по ноябрь 1919-го — один год. Менялись правительства, порядки, флаги, даже вывески. Город был полем гражданской войны: громили, убивали, расстреливали. Вот об этой недоброй сказке мне предстоит рассказать. Если я начал с лирического отступления, то потому, что почти все пословицы лгут (точнее, излагают истины наоборот), в том числе и классические пословицы классических римлян, которые говорили: «Uni bene, ibi patria» — где хорошо, там и родина. На самом деле родина и там, где бывает очень плохо…

10

В Париже мы в тоске повторяли: «Немцы в Нуайоне». И вот я увидел немцев на Крещатике. Навстречу мне шел высокий офицер с вильгельмовскими усами. Возле Думы стояли немецкие часовые в высоких сапогах, они выстукивали чечетку деревянными подошвами. На одной из станций по пути в Киев я заметил в ресторане чистую половину с надписью: «Только для господ немецких офицеров».

Газеты заверяли, что правит Украиной гетман Скоропадский. Фамилия его звучала плохо — правительства тогда слишком часто падали. Я его никогда не видел, может быть, внешность у него была подходящая. Когда петлюровцы подошли к городу, гетман уехал в Германию; однако возле дома, где он жил, по-прежнему стояли молоденькие добровольцы, уверенные в том, что защищают главу государства. Киевляне, смеясь, говорили, что гетман поторопился. Что же, он не торопился умереть. Он прожил в эмиграции почти тридцать лет, восхищался Гитлером и увидел вторично разгром Германии. Один немец мне рассказал, что Скоропадского до самой смерти величали «господином гетманом»; наверно, с годами он привык к этой кличке, но в 1918 году он играл плохо, как дебютант. Ему полагалось защищать независимость Украины, но, будучи офицером царской армии, он явно предпочитал петербургских гвардейцев киевским гайдамакам. Гетманом его сделали немцы — естественно, что он им объяснился в любви, но во Франции союзники начали большое контрнаступление, и Скоропадский послал своего человека в Одессу, где сидел представитель союзников, французский консул мосье Энно.

На толкучке демобилизованные в ободранных шинелях продавали хрустальные люстры и винтовки. На толкучке пели:

Украина моя хлебородная,
Немцу хлеб отдала,
А сама голодная.

Немцы не могли пожаловаться на отсутствие аппетита; ели они повсюду — в ресторанах, в кафе, на рынках; ели венские шницели и жирные пончики, шашлыки и сметану.

Немцы были веселы и довольны жизнью; в киевских паштетных было куда уютнее, чем на Шмен-де-дам или у Вердена. Они казались фигурами с одного из тех памятников, которые в

Германии ставились в честь военных побед. Они верили, что подчинят себе мир. (Двадцать два года спустя я увидел сыновей тех немцев, что некогда прогуливались по Крещататику, они шли по парижским бульварам; дети походили на отцов: много ели и свято верили в свое превосходство.)

Киев напоминал обшарпанный курорт, переполненный до отказа. Киевляне терялись среди беженцев с севера. Крещатик был первым этапом русской эмиграции — до одесской набережной, до турецких островов, до берлинских пансионов и парижских мансард. Сколько будущих шоферов такси в Париже прогуливалось тогда по Крещатику! Были здесь и сиятельные петербургские сановники, и пронырливые журналисты, и актрисы кафешантанов, и владельцы доходных домов, и заурядные обыватели — северный ветер гнал их, как листья осенью. Каждый день открывались новые рестораны, паштетные, шашлычные; северяне после жизни «в сушь и впроголодь» тучнели на глазах. Открывались также казино с азартными играми, театры миниатюр, кабаре. В маленьком театре, известном петербуржцам, актеры подпрыгивали, пели куплеты, написанные Агнивцевым:

И было всех правительств десять,
Но не успели нас повесить…

Пооткрывалось множество комиссионных магазинов; это было внове и удивляло; продавали меха, нательные кресты, иконы с ризами, столовое серебро, серьги, шотландские пледы, кружева — словом, все, что удалось вывезти из Москвы и Петрограда. Деньги ходили разные — царские, керенки, украинки; никто не знал, какие из них хуже. Возле Думы спекулянты предлагали желающим германские марки, австрийские кроны, фунты, доллары. Когда приходили известия о неудачах немцев во Франции, марки падали, а фунты подымались. Особенно привлекательными казались покупателям доллары; причем спекулянты, то ли чтобы проявить некоторую фантазию, то ли чтобы побольше заработать, делили доллары на различные категории, дороже всех расценивались те, что «с быками».

Офицеры тоже делились на категории: были сторонники Деникина, Красновцы, кубанцы и даже представители «астраханского войска». Все они, кажется, входили в «особый русский корпус», но между собой ссорились. Все, однако, ругали большевиков, самостийников и евреев. На Крещатике я впервые услышал боевой клич: «Бей жидов, спасай Россию!» Евреев они убили немало, но своей, старой России этим не спасли.

Поползли слухи: союзники разбили немцев; в Германии неспокойно: во главе нового правительства стоит какой-то немецкий Керенский, его зовут «Макс Баденский». Белые офицеры не знали — радоваться им или огорчаться; с одной стороны, они клялись в верности союзникам и клеймили Брестский мир, с другой — хорошо понимали, что если немцы уйдут, то город захватят, как они говорили, «бандиты», то есть петлюровцы.

Немцы упаковывали чемоданы деловито, не торопясь. Кайзер из Берлина уехал в Голландию. Военные действия на Западе кончились. Газеты сообщили, что в Киеве образовался немецкий «Совет солдатских депутатов». Не знаю, чем он занимался. Что касается немецких офицеров и солдат, то они старались вывезти на родину побольше трофеев: сало, масло, сахар.

Эсеры и кадеты, заседавшие в городской думе, хотели было объявить, что берут в свои руки власть как демократические избранники населения; но из Одессы приехал эмиссар от мосье Энно и объявил, что союзники приказывают «демократическим силам Киева» поддерживать гетмана Скоропадского.

Петр Нильский, который в дореволюционные годы был известен тем, что высмеивал поэтов-символистов, издавал в Киеве юмористический журнал «Чертова перечница». Посмеяться было над чем: гетман, поставленный немцами, спешно разучивал «Марсельезу»; мосье Энно говорил, что он за гетмана, и предлагал Директории снабдить ее оружием; правительство новой Германской республики называло себя социалистическим и договаривалось с французскими генералами о военном походе на Советскую Россию. Об этом в «Чертовой перечнице» не было ни слова: перец молол не черт, а петербургский литератор, который знал, что вскоре ему придется просить визу — французскую или немецкую.

Поезда в Одессу штурмовали; все говорили, что там высадятся войска союзников; высадятся они слишком поздно, чтобы оградить Киев от петлюровцев или от большевиков, а вот Одесса — это рай, крепость, спокойная жизнь. Скептики добавляли, что если даже из Марселя не приедут французские «пуалю», то беженцы смогут из Одессы уехать в Марсель: море есть море.

Я говорил, что никогда не рождается столько басен, как в начале войны. Гражданская война длилась долго, но противники Советской власти то и дело менялись, и все они фантазировали, как это делают люди в самом начале войны. Различные «осведомленные» беженцы клялись, что у союзников имеются ультрафиолетовые лучи, которыми они могут в течение нескольких часов уничтожить и «красных» и «самостийников».

Шли разговоры о «бандах». Повстанческих отрядов было много; внешне они походили друг на друга, но среди повстанцев были люди, думавшие по-разному: одни верили в Директорию, другие считали, что нужно покончить с буржуями, а пока что раздевали крестьян; были и любители пограбить, непокаявшиеся Опанасы, которые набили себе руку на еврейских погромах. Не помню, когда на сцену появился тот или иной «батька» — в 1918 году или в 1919-м, но за год я наслушался историй о Струке, Тютюннике, Ангеле, Зеленом. Заболотном и, разумеется, о самом знаменитом из всех — Махно.

Войска Директории подошли к городу. Напоследок белые офицеры опорожнили винные погреба, пили, пели, ругались, плакали и расстреливали «подозрительных».

Когда солдаты занимают город, настроение у них хорошее; когда им приходится оставлять город, они полны злобы, лучше им не попадаться на глаза. В тот год мне приходилось очень часто слышать три определения: «в штаб Духонина», «эксцессы» и «хлопнуть дверью».

Петлюровцы шли по Крещатику веселые, никого не трогали. Московские дамы, не успевшие выбраться в Одессу, восхищались: «Какие они милые!» Белых офицеров собрали и заперли в Педагогическом музее (очевидно, дело было в размерах помещения, а не в педагогике). Помню, как все перепугались: вдруг раздался грохот, во многих домах повылетали стекла. Обыватели поспешно стали набирать волу в ванны — может, не будет воды — и жечь петлюровские газеты. Оказалось, что кто-то бросил бомбу в Педагогический музей.

Названия газет изменились. Вывесили желто-голубые флаги. На ассигнациях был трезубец. Приказали переделать вывески магазинов, и повсюду можно было увидеть лесенки, на них стояли маляры с кистями — вместо «и» ставили «і».

На двух домах в Липках появились гербы — английский и французский. Газеты сообщали, что мосье Энно обещал защитить независимость Украины и от «красных» и от «белых».

Иногда мне казалось, что я смотрю фильм и не понимаю, кто за кем гонится; кадры мелькали так быстро, что нельзя было не только задуматься, но рассмотреть. Петлюровцы вели переговоры с большевиками и с деникинцами, с немцами и с мосье Энно. В Киев войска Директории вошли в декабре и пробыли недолго — шесть недель.

Никто не знал, кто кого завтра будет арестовывать, чьи портреты вывешивать, а чьи прятать, какие деньги брать и какие постараться всучить простофиле. Жизнь, однако, продолжалась. У меня долго не было комнаты, и я спал на диване в квартире моего

двоюродного брата, профессора-венеролога А. Г. Лурье. Порой утром на улицах стреляли, а в приемной уже сидели мрачные пациенты; они неизменно отворачивались друг от друга, некоторые пытались закрыть лицо газетой. Названия газет менялись, и писали там совсем другое, чем вчера, но это не смущало пациентов.

Был дом на Липках, где обычно допрашивали арестованных; уходя, жгли бумаги, выбивали стекла. Приходили новые власти, стекла вставляли, приводили кипы бумаги и начинали допрашивать арестованных.

Я упомянул о «Литературно-артистическом клубе»; помещался он на Николаевской и назывался весьма неблагозвучно «Клак» («Киевский литературно-артистический клуб»). В месяцы Советской власти его переименовали в «Хлам» — не из презрения к искусству, а потому, что все и всё переименовывали; «Хлам» означал: «Художники, литераторы, актеры, музыканты». Я туда частенько приходил. После очередного переворота некоторые завсегдатаи исчезали: уходили с армией или, как говорил философический швейцар, их «хватали за шиворот». Оставшиеся пели или слушали пение, читали стихи, ели биточки.

Когда в феврале пришли с левого берега красноармейцы, почти все им обрадовались. Помню одного из посетителей «клуба», лысого московского адвоката; возбужденный, он кричал: «Я против их идей, но все-таки у них есть идеи, а мы здесь жили черт знает как!..»

Были, разумеется, непримиримые; они считали, что через месяц Городской сад снова станет Купеческим и начнет выходить в свет дорогой им «Киевлянин». Ведь мосье Энно обещал, что союзники высалятся в Одессе, в Севастополе, в Новороссийске и первым делом освободят от большевиков «мать городов русских»…

С кем только не договаривался общительный мосье Энно! Вокруг Киева рыскали «курени смерти» и отряды различных атаманов. Горели дома; летел пух из перин. Каждый день рассказывали о новом погроме, об изнасилованных девочках, о стариках с распоротыми животами. Союзники заседали в Париже; вдохновленные романтикой Венеции дожей, они организовали «совет десяти»; этот «совет» договаривался с Деникиным. Мосье Энно обещал винтовки батьке Зеленому. Люди умирали от голода, от шальной пули, от погромов, от тифозных вшей.

При петлюровцах кто-то принес в «Клак» французскую газету «Матэн». Я узнал, что в Париже появилась новая мода — мужчины носят пиджаки, чрезвычайно узкие в талии, победители кайзера

напоминают элегантных дам. Вслед за модами была напечатана статья, объяснявшая, что союзники в России защищают свободу, гражданские права и высокие человеческие ценности.

Я говорил, что Скоропадский дожил на немецких хлебах до глубокой старости. Петлюру застрелил в Париже часовых дел мастер Шварцбард. Не знаю, что стало с мосье Энно, он был маленьким человеком, историки им не занимаются. Но часто, откладывая газету с сообщениями о событиях — в Гватемале или в Конго, в Иране или в Ираке, — я вспоминаю 1919 год, истерзанный Киев и тень таинственного мосье Энно.

11

Красноармейцы пришли в феврале 1919 года, а в августе город заняли белые. Шесть месяцев были яркими, шумными. Для Киева это была пора надежд, порывов, крайностей, смятения, пора весенних гроз.

Начну с себя. Я уже говорил, что стал тогда советским служащим. В Париже я был гидом, потом на товарной станции разгружал вагоны, писал очерки, которые печатала «Биржевка». Все это, включая газетную работу, не требовало большой квалификации. Но дальнейшая страница моей трудовой книжки воистину загадочна; я был назначен заведующим «секцией эстетического воспитания мофективных детей» при киевском собесе. Читатель улыбнется, улыбаюсь и я. Никогда до того времени я не знал, что такое «мофективные дети». Читатель тоже, наверно, не знает. В первые годы революции были в ходу таинственные термины. «Мофективный» — означало морально дефективный; под это понятие подходили и несовершеннолетние преступники, и дети трудновоспитуемые. (Когда это мне объяснила сухопарая фребеличка, я понял, что в детстве я был наимофективнейшим.) Почему мне поручили эстетическое воспитание детей, да еще свихнувшихся? Не знаю. К педагогике я никакого отношения не имел, а когда в Париже моя дочка начинала капризничать, знал только один способ ее утихомирить, отнюдь не педагогический: покупал за два су изумрудный или пунцовый леденец.

Впрочем, в те времена многие занимались не своим делом. М. С. Шагинян, читавшая лекции по эстетике, начала обучать граждан овцеводству и ткацкому делу, а И. Л. Сельвинский, закончив юридический факультет и курсы марксизма-ленинизма для профессоров, превратился в инструктора по сбору пушнины.

В «мофективной секции» два или три месяца проработал юноша, случайно не обнаруженный угрозыском: он торговал долларами, аспирином и сахаром. Кроме того, он писал неграмотные стихи (он говорил: «Извиняюсь, но жутко эротические»). Многие черты героя романа «Рвач», написанного мною в 1924 году, взяты из биографии этого моего сослуживца. В педагогике он разбирался еще меньше меня, но был самоуверен, развязен, вмешивался в разговоры педагогов или врачей. Помню одно заседание; говорили о влиянии на нервную систему ребенка белков, жиров, углеводов. Молодой автор «жутко эротических» стихов вдруг прервал седого профессора и заявил: «Эти штучки вы бросьте! Я сам вырос нервный. Уж если разбирать по

косточкам, то и жиры полезны, а главное, белки…»

Я предупреждал педагогов и психиатров, что я круглый невежда, но они отвечали, что и хорошо работаю. Создалась репутация: Эренбург специалист по эстетическому воспитанию детей; и осенью 1920 года, когда я вернулся в Москву, В. Э. Мейерхольд предложил мне руководить детскими театрами Республики.

Мы долго разрабатывали проект «опытно-показательной колонии», где малолетних правонарушителей можно будет воспитывать в духе «творческого труда» и «всестороннего развития». То была эпоха проектов. Кажется, во всех учреждениях Киева седоволосые чудаки и молодые энтузиасты разрабатывали проекты райской жизни на земле. Мы обсуждали, как действуют на чрезмерно нервных детей чересчур яркие краски, влияет ли на коллективное сознание многоголосая декламация и что может дать ритмическая гимнастика в борьбе с детской проституцией.

Несоответствие между нашими дискуссиями и действительностью было вопиющим. Я занялся обследованием исправительных заведений, приютов, ночлежек, где ютились беспризорные. Мне пришлось составлять доклады, речь шла уже не о ритмической гимнастике, а о хлебе и ситце. Мальчишки убегали к различным «батькам», девочки зазывали военнопленных, возвращавшихся из Германии.

В секции работал молодой художник Паня Пастухов, человек крайне застенчивый. Однажды я его направил в приют для девочек-беженок, организованный в 1915 году. Пастухов пришел потрясенный. Оказывается, девочки успели вырасти и, при смене различных правительств брошенные на произвол судьбы, стали добывать себе хлеб; у некоторых уже были грудные дети. Когда Пастухов начал говорить о том, что ученье — свет, одна из девиц игриво ему сказала: «Мужчина, лучше угостите папиросой…»

Помещалось наше учреждение в особняке на Липках. Помню в большом зале ампирный секретер с наляпанным при описи большим ярлыком. Как-то на секретере я обнаружил грудного младенца — его подкинули ночью. В соседнем особняке помешалась губчека; туда то и дело подъезжали машины. В саду быстро все зазеленело; я слушал споры о методе Далькроза и глядел в окно: цвела акация.

В те времена люди работали зачастую и нескольких учреждениях. Помимо «мофективной секции», я делал много другого, например заседал в «секции прикладного искусства». Время, казалось, было для искусства неблагоприятным — то и дело на улицах постреливали; мосье Энно не терял времени, и Киев был окружен всевозможными бандами; «стратеги» спорили,

кто раньше ворвется в город — петлюровцы или деникинцы. Но «секция прикладного искусства» сделала многое. Говорю не о себе, я и в этом деле был если не профаном, то дилетантом, а в секции работали хорошие специалисты, киевские художники — В. Меллер, Прибыльская, Маргарита Генке, Спасская. Мы устраивали выставки народного искусства, мастерские вышивок и керамики. Я познакомился с талантливой крестьянкой Ганной Собачка; у нее было удивительное чувство цвета. На Крещатике появились огромные декоративные панно с украинским орнаментом.

Я увидел глиняных зверей, вылепленных Гончаром. Иван Тарасович был одним из последних художников, представлявших традиционное народное творчество. В те годы его звери не были ни баранами, ни собаками, ни львами — они принадлежали к неизвестной зоологам породе, каждый был неповторим. (Народное творчество вдохновляется природой, но никогда ее не копирует; и если вологодские кружевницы изучали заиндевевшее окно, то именно потому, что узоры инея похожи на джунгли, на звездное небо, на буквы несуществующего алфавита.)

В Киеве я познакомился с писательницей С. З. Федорченко, автором интересной книги «Народ на войне»; в годы войны она работала сестрой милосердия в военном лазарете и записывала разговоры солдат между собой. Я переписал тогда размышления одного солдата об искусстве: «Вот у нас один вольноопределяющийся рисует, так так похоже все, будто на самом деле, даже скучно глядеть…» Устарели различные литературные манифесты, всяческие художественные «измы», а слова солдата, оброненные в 1915 году, мне кажутся теперь не только живыми, но и злободневными.

Работал я также в «литературной студии»: учил начинающих стихосложению. (Хотя я в то время писал расхлябанным «свободным стихом», ямб от хорея отличить я все же мог.) Брюсов мне долго доказывал, что можно научить мало-мальски способного человека писать хорошие стихи; Гумилев, разделяя это мнение, говорил, что он даже из Оцупа сделал поэта. А я в обучение поэзии не верил и не верю: в школе, как бы она ни называлась — студией, курсами, институтом или академией, — можно только научить читать стихи, то есть поднять эстетическую культуру учащихся.

Среди учеников студии был вежливый, застенчивый юноша Н. Н. Ушаков. Я рад, что недолгая эпопея моего учительства в киевской студии не помешала ему стать хорошим поэтом. Я с ним потом встречался и убедился, что он на меня не в обиде.

В доме на Николаевской помещались и Союз писателей, и

рабис, и литературная студия, и многое другое; там спорили о футуризме, распределяли художников для украшения улиц, читали лекции о марксизме, выдавали охранные грамоты и всевозможные удостоверения.

Внизу, в подвале, помещался «Хлам», он же бывший «Клак». Там я встречал киевского поэта Владимира Маккавейского. Незадолго перед этим он издал сборник сонетов «Стилос Александрии». Он великолепно знал греческую мифологию, цитировал Лукиана и Асклепиада, Малларме и Рильке, словом, был местным Вячеславом Ивановым. Заглянув теперь в его книгу, я нашел всего две понятные строки — о том,

Что мумией легла Эллада
В александрийский саркофаг.

Маккавейскому очень хотелось быть александрийцем, но время для этого было неподходящее.

Другим киевским поэтом — правда, не домоседом — был Бенедикт Лившиц. Я помнил его неистовые выступления в сборниках первых футуристов. К моему удивлению, я увидал весьма культурного, спокойного человека; никого он не ругал, видимо, успел остыть к увлечениям ранней молодости. Он любил живопись, понимал ее, и мы с ним беседовали предпочтительно о художниках. Он мало писал, много думал: вероятно, как я, как многие другие, хотел понять значение происходящего. (Он погиб в лагере в 1938 году.)

Среди «северян» в «Хламе» выделялся О. Э. Мандельштам — он уже был известен по книге «Камень». Помню, как Осип Эмильевич прочитал чудесные стихи «Я изучил науку расставанья…».

Метеором промелькнул В. Б. Шкловский; прочитал доклад в студии Экстер, блистательный и путаный, лукаво улыбался и ласково ругал решительно всех.

В «Хламе» я познакомился с мечтательным, кудреватым Л. В. Никулиным; он как-то прочитал нам стихи, очень меланхоличные, — про гроб.

Натан Венгров писал стихи для детей. Он устроил «день детской книги» — на Крещатике поставили огромные панно, и улицу заполнили медвежата, слоны, крокодилы. Венгров мне доказывал, что я — детский поэт и случайно занимаюсь не своим делом. (Я в жизни многое перепробовал, но для детей никогда не писал.)

Приходила в «Хлам» известная актриса Вера Юренева; часто ее сопровождал юноша, почти подросток, с неизменно

насмешливым выражением лица; когда нас познакомили, он буркнул: «Миша Кольцов».

Среди украинских поэтов самым шумным был футурист Семенко; он был невысокого роста, но голос у него был сильный, он отвергал все авторитеты и уважал только Маяковского. Встречал я П. Г. Тычину, молчаливого, мечтательного; казалось, что он все время к чему-то прислушивается; была в нем мягкость, доходящая до смущения. Поглядев на него, я как-то сразу поверил, что он настоящий поэт.

В секции еврейских писателей шла лихорадочная работа: нужно было в короткий период между петлюровцами и деникинцами успеть подумать, написать, напечатать. В Киеве тогда находились Бергельсон, Маркиш, Квитко, Добрушин. Перец Маркиш выглядел красивым юношей, с копной волос, неизменно вздыбленных, с насмешливыми и печальными глазами. Все его называли «бунтарем», говорили, что он покушается на классиков, низвергает кумиры, а мне он при первом знакомстве напомнил бродячего еврейского скрипача, который на чужих свадьбах играет печальные песни.

В Киеве я познакомился со многими художниками. Александра Александровна Экстер немало времени провела в Париже, дружила с Леже, числилась кубисткой. Однако ее работы были бесконечно далеки от урбанистических видений Леже; больше всего увлекал Экстер театр (она работала в киевских театрах). Не знаю, почему так получилось, но и среди учеников Александры Александровны, и среди молодых художников, с нею встречавшихся, можно было тоже обнаружить страсть к театру, к зрелищу. Почти все художники, которых я тогда встречал в Киеве, стали художниками театра: Тышлер, Рабинович, Шифрин, Меллер, Петрицкий.

«Страсть к театру»… Я написал эти слова и невольно подумал об одном из учеников Экстер — о двадцатилетнем Саше Тышлере. Его дальнейшая судьба лучше всего подтверждает ту страсть к театру, которая характеризует художников Киева. Дело, конечно, не в том, работал ли Икс или Игрек для театра: этим занимались почти все советские художники хоти бы потому, что были периоды, когда красочность, фантазия, мастерство допускались скорее на сцене, нежели в выставочном зале. А. Г. Тышлера москвичи знают именно по театральным постановкам. Его декорации к «Королю Лиру» условны и реальны, как стих Шекспира. Но поразительно другое: Тышлер и в станковой живописи сохраняет театральное восприятие мира. Помню его картину, изображавшую расстрел солдатами почтового голубя; он написал ее лет за двадцать до пикассовской голубки. Только

художник, способный воспринять пир небожителей, о котором писал Тютчев, как феерическую трагедию, мог в тридцатые годы двадцатого века взяться за подобную тему.

Первые года революции были годами не только взлета сценического искусства, но и повального увлечения театром. В маленьких городах Украины бродячие актеры, мечтавшие наконец-то поесть досыта, потрясали зал, заставляя зрителей забыть о недоданных пайках, о нетопленых квартирах, о ночных перестрелках. А Киеву повезло: он получил Константина Александровича Марджанова. Это был человек взволнованный, полный смелых замыслов, мягкий и, однако, непримиримый. Помню, как он горячился (мы сидели в буфете, пили поганый чай, и я ему рассказывал об Испании — он готовил пьесу Лопе де Вега): «Театр — это театр! Я сказал в горисполкоме, что горисполком — это горисполком. Им хочется, чтобы актеры на сцене пили чай взаправду. А что они скажут, если люди, которые пьют чай в буфете горисполкома, начнут произносить монологи, заламывать руки и говорить о восстановлении городского хозяйства гекзаметром?…» Киев увидел «Фуэнте овехуна», и в зал старого соловцовского театра ворвался ветер. Мы долго не расходились, стояли и аплодировали.

Марджанову понравилась пьеса «Рубашка Бланш», которую я написал с А. Н. Толстым, и он решил ее поставить. Декорации писал Н. А. Шифрин. Кажется, после второй или третьей репетиции в город ворвались деникинцы.

Я часто встречал двух поклонников Марджанова, неразлучных приятелей малолетних (но не «мофективных») — брата Любы Гришу Козинцева и Сережу Юткевича. Они пригласили меня в помещение, где прежде был «Кривой Джимми»: устроили «народный балаган», то есть один из тех эксцентричных спектаклей, которые в голодные и холодные годы тешили зрителей.

На Софийской улице, возле Думской площади, было маленькое грязное кафе; держал его худущий грек с длинным и страстным лицом моделей Эль Греко. В окне была вывеска: «Настоящий свежий простокваш». Грек готовил душистый турецкий кофе, и мы к нему часто ходили — поэты, художники, актеры. Для меня это кафе связано с моей дальнейшей судьбой. Там я иногда рассказывал Любе, молоденькой студентке Педагогического института Ядвиге, Наде Хазиной, которая потом стала женой О. Э. Мандельштама, о моих заграничных похождениях. Я фантазировал: что делал бы добрый французский буржуа или римский лаццарони, оказавшись в революционной России? Так рождались персонажи романа «Хулио Хуренито»,

который я написал два года спустя.

Я продолжал писать стихи; лучшими они не становились, но тон изменился. Я еще не понимал всего значения событий, но, несмотря на различные беды того времени, мне было весело.

Наши внуки будут удивляться,
Перелистывая страницы учебника:
«Четырнадцатый… семнадцатый, девятнадцатый…
Как они жили?… бедные!.. бедные!..»
Дети нового века прочтут про битвы.
Заучат имена вождей и ораторов,
Цифры убитых
И даты.
Они не узнают, как сладко пахли на ноле брани розы.
Как меж голосами пушек стрекотали звонко стрижи,
Как была прекрасна в те годы
Жизнь.

Если задуматься над далеким прошлым, многое открывается. Внешне все выглядело странно. Вокруг города рыскали банды; каждый день рассказывали о погромах, убийствах. Тревожно вскрикивали машины. Деникинцы и петлюровцы состязались, кто скорее дойдет до Киева. Не раз я слышал злой шепот: «Недолго им царствовать…» А мы сидели над проектами, обсуждали, когда сдадут в печать третий том сочинений Чехова или Коцюбинского, где лучше поставить памятник Революции… Мы читали стихи, смотрели картины, и то внутреннее веселье, о котором я говорил, светилось в глазах не только четырнадцатилетнего Гриши Козинцева, но и Константина Александровича Марджанова, а ему тогда было под пятьдесят. Дело не в возрасте — или, если угодно, в возрасте революции: ей было по московскому исчислению два года, а по местному — несколько месяцев…

12

Есть воспоминания, которые радуют, приподымают, видишь порывы, доброту, доблесть. Есть и другие… Напрасно говорят, что время все исцеляет; конечно, раны зарубцовываются, но вдруг эти старые раны начинают ныть, и умирают они только с человеком.

Мне предстоит рассказать о нехорошем. За два века до нашей эры Плавт веселил римлян своими комедиями; от них в памяти остались четыре слова: «Homo homini lupus est». И мы часто говорим о морали того общества, которое построено на корысти, на борьбе за кусок пирога: «Человек человеку — волк». Плавт напрасно приплел к делу волков. П. А. Мантейфель, изучавший жизнь этих животных, мне говорил, что волки редко дерутся друг с другом, да и на людей нападают только доведенные голодом до безумия. А я в моей жизни не раз видел, как человек травил, мучил, убивал других безо всякой к тому нужды. Если бы звери могли размышлять и сочинять афоризмы, то, наверно, какой-нибудь седой волк, у которого его сосед вырвал клок шерсти, пролаял бы: «Волк волку — человек».

Что мне сказать о киевском погроме? Теперь никого ничем не удивишь. В черных домах всю ночь напролет кричали женщины, старики, дети; казалось, это кричат дома, улицы, город.

Перец Маркиш написал в те годы поэму о погроме в Городище; там убили пятьсот человек. В Бабьем Яру убили свыше семидесяти тысяч евреев, в Европе — шесть миллионов… Я себя ловлю на этом сопоставлении. Недавно я слышал машину, которая сама сочиняет музыку. Так вот мне кажется, что вместо сердца отстукивает цифры мыслящая машина. Да, в 1919 году палачи еще не додумались до газовых камер; зверства были кустарными: вырезать на лбу пятиконечную звезду, изнасиловать девочку, выбросить в окно грудного младенца.

Во дворе лежал навзничь старик и пустыми глазами глядел на пустое осеннее небо. Может быть, это был молочник Тевье или его зять, старожил обреченного Египта? Рядом была лужица: не молока — крови. А ветер беспокойно теребил бороду старика.

Как во всякой трагедии, были и фарсовые сцены. В квартиру моего тестя, доктора М. И. Козинцева, вбежал рослый парень в офицерской форме и крикнул: «Христа распяли, Россию продали!..» Потом он увидел на столе портсигар и спокойно, деловито спросил: «Серебряный?…»

Я решил пробраться в Коктебель, к Волошину; его дом казался мне убежищем. Мы ехали неделю до Харькова. На станциях в вагоны врывались офицеры или казаки: «Жиды,

коммунисты, комиссары, выходи!..» На одной станции из нашей теплушки выбросили художника И. Рабиновича.

Харьков, потом Ростов, потом Мариуполь, Керчь, Феодосия… Мы ехали добрый (нет, недобрый) месяц, зарывались в темные углы теплушек, валялись в трюме пароходов, среди больных сыпняком, которые бредили и умирали, лежали, густо обсыпанные вшами. Снова и снова раздавался монотонный крик: «А кто здесь пархатый?…» Вши и кровь, кровь и вши…

На замызганных заборах красовались портреты Деникина, Колчака, Кутепова, Май-Маевского, Шкуро. На улицах подвыпившие кубанцы проверяли документы. Кто-то вопил: «Держи комиссара!..» В харьковской гостинице «Палас» помешалась контрразведка: прохожие обходили этот дом. В кафе за одним столиком сидели французские офицеры, за другим — спекулянты; они пили кофе по-варшавски. Повсюду пестрели плакаты «освага»: «Вперед, на Москву!» — конь Георгия Победоносца попирал копытами носатого еврея.

Метались из города в город московские адвокаты, питерские литераторы, аристократки, повязанные пятью платками, с шляпными коробками, куда они клали еду, актеры, гувернантки, беспризорные. Какой-то шутник декламировал в разбитой, загаженной гостинице:

> Бежать? Но куда же? На время — не стоит труда,
> А вечно бежать невозможно…

Сумасшедшая старуха в солдатской шинели, в шляпе с фиолетовыми перьями шептала: «Нет, Клемансо нас не оставит на произвол судьбы…» Из ночного кабака гурьбой выхолили пьяные офицеры, они пели:

> Генерал у нас Шкуро,
> Чхать нам на Европу,
> Мы поставим ей перо…

Дальше шло непечатное.

(В 1925 году я увидел на парижских стенах афишу: цирк «Буффало» показывает публике новый аттракцион — джигитовку казаков под руководством «знаменитого генерала Шкуро». Бывший погромщик продолжил свою карьеру на цирковой арене.)

Обыватели, выходя утром на базар, прислушивались, не стреляют ли. Все были стреляными, и никто ничему не верил. В людях смелых, понимавших, за что они борются, гражданская

война рождала ненависть, стойкость, доблесть. А в надышанных, насиженных домишках копошились перепуганные людишки; эти не хотели спасать ни революцию, ни старую Россию, они хотели спасти себя. Из страха они доносили то чекистам, то контрразведчикам, что у соседки племянник в продотряде или что сосед выдал свою дочку за белого офицера. Они боялись шагов на лестнице, скрипа дверей, шепота в подворотне. Самые хитроумные прятали под половицей «пятаковки» и портреты Маркса, готовясь через неделю или через месяц положить под ту же половицу портрет Май-Маевского, царские деньги, даже Николу Чудотворца.

На вокзалах приходилось прыгать через тела: лежали тифозные, беженцы, мешочники.

Вот этот кудрявый паренек еще вчера пел:

Смело мы в бой пойдем
За власть Советов…

Теперь он горланит:

Смело мы В бой пойдем
За Русь святую
И всех жидов побьем
Напропалую.

Ни к какой бой он не собирался и не собирается; он торгует валенками, украденными на складе.

Казаки были лютыми; здесь сказались и традиции, и злоба за развороченную, разрубленную жизнь, и смятение.

В белой армии были черносотенцы, бывшие охранники, жандармы, вешатели. Они занимали крупные посты в администрации, в контрразведке, в «осваге». Они уверяли (а может быть, сами верили), что русский народ обманут коммунистами, евреями, латышами; его следует хорошенько выпороть, а потом посадить на цепь.

Много лет спустя я купил в Париже сборник стихов некоего Посажного, который называл себя «черным гусаром». Он работал на заводе Рено, проклинал «лягушатников-французов» и сокрушался о прошлом великолепии, вспоминая своего боевого коня:

Пегас в столовую вступил
И кахетинского попил.

Букет покушал белых роз.
Покакал чинно на поднос.
Была не хамская пора.
Кричала публика «ура».
Играли громко зурначи.
Воспоминанье, замолчи!

Свои идеалы он выразил так:

Погибнут те, что нынче алы.
Давно им к дьяволу пора!
И вновь запенятся бокалы
У тех, кто были юнкера.

Читая эти заклинания в 1929 году, я смеялся, а в 1919 году этакий Посажной врывался в теплушки, бил наотмашь но лицу, расстреливал.

Но больше всего среди белых было людей, потерявших голову, с телом, расчесанным от вшей, с сердцем, расчесанным от настоящих и предполагаемых обид, от резни, арестов, расстрелов, от плача городов, переходивших из рук в руки, от сознания, что завтра их приставят к той же грязной стенке, к которой сейчас они тащат очередную партию «подозрительных».

Леонгард Франк назвал одну из своих книг «Человек добр». А человек не добр и не зол: он может быть добрым, может быть и очень злым. Конечно, среди белых были не только садисты, было много обыкновенных людей, по природе добродушных и прежде никого не обижавших; но доброту им пришлось оставить лома вместе с уютом и семейными безделками. Злоба диктовалась отчаянием. Даже осенью 1919 года, когда белые захватили Орел, они не чувствовали себя победителями. Они неслись вперед, как по чужой стране, повсюду видели врагов. В кабачках белые офицеры требовали, чтобы дежурный певец спел им модный романс:

Ты будешь первый.
Не сядь на мель!
Чем крепче нервы,
Тем ближе цель.

Попойки часто кончались стрельбой то в посетителей, то в зеркала, то и воздух — офицерам мерещились партизаны,

подпольщики, большевики. Чем больше они кричали о своих крепких нервах, тем вернее эти нервы сдавали; цель расплывалась в тумане спирта, ненависти. страха, крови.

Попадались среди «добровольцев» люди случайные, наивные романтики или слабовольные, поддавшиеся уговорам товарищей, загипнотизированные разговорами о «верности», о «чести», о «присяге».

Встретил я и одного из растерявшихся; это был прапорщик, который любил стихи Блока. Бог знает, какими судьбами он оказался в белой армии. Он спас мне жизнь, и мне горько признаться, что я не запомнил его имени. Было это между Мариуполем и Феодосией. На пароходе мы ехали долго: сначала был пожар; потом суденышко оказалось в Азовском море, скованном льдами. Не было хлеба. Больные сыпняком ползли по льду. В одну из последних ночей огромный детина в папахе вытащил меня на обледеневшую палубу. Все спали. Офицер был куда сильнее меня, но он перепил. Мы боролись. Он тупо повторял: «Сейчас я тебя буду крестить…» Он толкал меня к борту. Помню, я подумал: хорошо, что в воду мы скатимся вместе… Ядвига, которая ехала с нами, услыхав крики, кинулась в кубрик к прапорщику, тому самому, фамилию которого я запамятовал. Он поднялся на палубу: «Стой! Стрелять буду!..» Увидев револьвер, мой «крестный отец» разжал объятия.

В Феодосии висели те же портреты, и генерал Шкуро лихо улыбался. Я увидел чистых, аккуратно выбритых англичан. Возле их походной кухни толпились голодные детишки: белые насильно эвакуировали железнодорожников (не помню, из Орла или Курска). Эвакуированные ютились в жалких хибарках в Карантинной слободке. Англичане глядели уныло на голодных, ободранных людей они были вне игры; их послали сюда, как могли послать в Найроби или в Карачи; они выполняли приказ. Конечно, они ничего не знали ни о нефтяных акциях, ни о распоротых животах, ни о судьбе детей, которые жадно нюхали воздух — пахло мясом…

Волошин меня ласково встретил; я сбивчиво рассказал о путевых приключениях. Глаза у Макса были, как всегда, приветливые и далекие. Он заговорил о судьбе России, о предсказаниях пророка Иезекииля. Пришла мать Волошина, Пра, и его оборвала: «Макс, хватит! Они голодные, им не до твоих историй…» Она принесла сковородку с картошкой.

13

Моя дочь иногда проводит отпуск в Коктебеле, загорает на пляже, где много красивых камешков, купается, лазит по горам. Когда она мне рассказывает об этом, я вспоминаю далекое прошлое: мне трудно себе представить, что в Коктебеле можно отдыхать. Я там тоже бродил по берегу и собирал не камешки, а куски дерева, выброшенные морем; ими я топил жаровню или, как говорят в Крыму, мангалку. Раз на берегу я нашел дохлую чайку, выпотрошил ее, сварил; она пахла протухшей рыбой, но мы ее съели.

Вскоре после нашего приезда я обменял рваный парижский пиджак на дрова; зима была суровая, все время дул ледяной норд-ост. Я топил печь, и в комнате мы не мерзли. Но никогда, кажется, я не знал такого постоянного, неуемного голода, как в Коктебеле. Часто я варил суп на стручках перца.

Мы прожили там девять месяцев, мне теперь кажется, что это были долгие годы. Сначала было очень холодно, потом очень жарко. Мать Любы надавала ей свои кольца, брошки. Мы их продавали. Потом стало нечего продавать. О литературном заработке было глупо мечтать. Весной я надумал устроить детскую площадку для крестьянских детей; очевидно, киевские фребелички меня убедили в моих педагогических способностях.

В деревне жили болгары, по большей части кулаки. Они не очень-то одобряли белых, которые, реквизировали продовольствие, а иногда и без расписки забирали свинью или бочку вина, но больше всего боялись прихода большевиков. Правда, я нашел болгарскую семью, которая помогала подпольщикам и ненавидела белогвардейцев, — это были Стамовы. Они пользовались уважением других крестьян, считались честными, трудолюбивыми, но, когда заходил разговор о политике, их не слушали. Жил еще. в деревне портной, русский, он тоже ждал прихода Красной Армии, иронически комментировал военные сводки белых: «возле Умани «заняли более выгодные позиции», это значит — пятки замелькали, не иначе…» Но портной был пришлым и справедливо боялся, как бы на него не донесли.

Крестьяне хотели, чтобы я обучил их детей хорошим городским манерам, а я читал ребятам «Крокодила» Чуковского; дома они повторяли: «И какой-то малыш показал ему шиш»; родителям это не нравилось. Я хотел приобщить детей к искусству, развить в них фантазию, рассказал им про соловья Андерсена; мы решили устроить спектакль; написанных ролей не

было. Мальчик, исполнявший роль соловья, сам должен был придумать, чем он восхищал богдыхана. В конце представления старый богдыхан лежал на смертном ложе, и его окружали воспоминания — хорошие и дурные поступки. Одни ребята повторяли то, что слышали дома: «А ты помнишь, как ты украл у старухи гуся?», или: «А ты помнишь, как ты дал на свадьбу мандарину двадцать рублей золотом?…» Другие дети придумывали более сложные истории; некоторые я записывал; помню девочку, которая сурово спрашивала: «Скажи, богдыхан, ты помнишь, как ты позвал в Китай актрису? Она пела почти как соловей, ты ей дал большую медаль, ты ее кормил золотыми рыбками. А потом она спела одну песенку, и ты рассердился. А почему ты рассердился, богдыхан? Она полюбила чужого солдата. Разве это плохо? У солдата устроили обыск и нашли одну книжку, ты сказал, что книжка нехорошая, и ее заперли в сарае, допрашивали с утра до ночи, ничего не давали есть и били китайскими палками, и она умерла, очень молодая. А теперь ты хочешь, чтобы соловей к тебе вернулся? Нет, богдыхан, он никогда не вернется, потому что у него крылья, ты его не посадишь в сарай, он когда улетит, его не поймать…» Пьесу мы долго репетировали; наконец назначили спектакль, пригласили родителей. После этого по деревне пошли толки, что и «красный». Некоторые крестьяне запретили детям ходить на площадку.

Роковыми, однако, оказались занятия лепкой. Я и в этом не хотел стеснять фантазию детей; они притащили домой загадочных зверей, людей с огромными головами, а один мальчишка вылепил рогатого черта. Вот тогда-то вмешался поп; он обходил дворы, говорил: «Это жид и большевик, он хочет перегнать детей в дьявольскую веру…» Площадку пришлось закрыть; просуществовала она три или четыре месяца. Не знаю, дала ли она что-нибудь детям, но я иногда приносил домой бутылку молока или несколько яиц. Платить полагалось натурой, сколько и как, обусловлено не было. Некоторые родители ничего не давали. Дети приходили на площадку с едой, и мне трудно было смотреть, как они ели, — я боялся выдать голод. Один малыш, уплетая хлеб с салом и ватрушки, сказал мне: «Отец говорил, чтобы тебе ничего не давать…»

Было уже тепло. Я ходил в пижаме, привезенной из Парижа, босиком. Один раз я пошел в деревню — хотел купить молоко или каймак. Зашел во двор кулака. На меня спустили собаку, которая схватила меня за икру. Дело было не в укусе, но она разорвала штанину в клочья. Пришлось обрезать и другую. Теперь я ходил в коротких штанишках. Может быть, это меня молодило, не знаю (судя по фотографии, вид у меня был страшноватый — я

очень отощал). Я прыгал с детишками в костюме, которому мог бы позавидовать любитель античной простоты Раймонд Дункан. А в общем, чего только человеку не приходится делать, особенно в эпохи, которые называют историческими!..

Иногда я убегал на час-другой в горы. Окрестности Коктебеля красивы трудной для человека красотой. Они сродни Арагону или Старой Кастилии — то лиловатые, то рыжие склоны гор, ни дома, ни дерева, макет жестокого мира, некогда вдохновлявшего Эль Греко. Впрочем, может быть, таким мне казался Коктебель от всего, что происходило кругом.

Войдя впервые в мастерскую Волошина, я вспомнил Париж: та же царевна Таиах, полки, на них книги, предпочтительно французские. Макс был скорее мрачен, исчезло прежнее легкомыслие; и все же он часто дурачился, мистифицировал; получалось смешно, но я не смеялся. Иногда мы подолгу беседовали — это было как будто продлением разговоров в мастерской Риверы или в «Ротонде»; но говорили мы не потому, что темы, волновавшие нас пять лет назад, казались нам живыми, а потому, что нам хотелось на несколько часов уйти в прошлое.

В доме Волошина жила Майя Кудашева с матерью, француженкой. Отец Майи был русским, и родилась она в России, но картавила, как парижанка, а стихи писала по-французски. Волошин описал ее внешность:

Волною прямых лоснящихся волос
Прикрыт твой лоб.
Над головою сиянье вихрем завилось.
Твой детский взгляд улыбкой сужен.
Недетской грустью сужен рот,
И цепью маленьких жемчужин
Над бровью выступает пот.

В Москве, откуда Майя приехала, она вращалась в литературной среде, знала В. Иванова, Андрея Белого, дружила с Мариной Цветаевой. Ее мать была подавлена событиями, которые никак не вязались ни с ее понятиями о порядочности, ни с пьесами Ростана. А Майя, несмотря на холод, голод и прочие беды, жила своей жизнью… Дальнейшая ее судьба такова: начав переписываться с Роменом Ролланом, она поехала к нему в Швейцарию и стала его женой. Несколько лет назад мы встретились в Париже. Мария Павловна была занята организацией музея Роллана, просила меня помочь ей русскими экспонатами. О Коктебеле мы не поговорили, хотя было что вспомнить…

В. В. Вересаев так писал про три года, проведенные им в Коктебеле: «За это время Крым несколько раз переходил из рук в руки, пришлось пережить много тяжелого; шесть раз был обворован; больной, с температурой в 40 градусов, полчаса лежал под револьвером пьяного красноармейца, через два дня расстрелянного; арестовывался белыми; болел цингой». В начале 1920 года Викентию Викентьевичу было трудно; несколько поддерживала его врачебная практика. Смеясь, он рассказывал мне, что сначала крестьяне не верили, что он врач, — кто-то рассказал им, что он писатель. В окрестных деревнях свирепствовал сыпняк. Вересаев как-то осмотрел больного и подсчитал, когда должен наступить кризис; в указанный срок температура упала, и крестьяне поверили, что Вересаев действительно доктор. Платили ему яйцами или салом. Был у него велосипед, а вот одежда сносилась. У меня оказался странный предмет — ночная рубашка доктора Козинцева, подаренная мне еще в Киеве. Мы ее поднесли Викентию Викентьевичу, в ней на велосипеде он объезжал больных.

Когда Люба заболела сыпняком, Вересаев к нам часто приходил, и я с ним подолгу беседовал. Прежде я знал некоторые его книги и думал, что он человек рассудочный, прямолинейный; а он обожал искусство, переводил древнегреческих поэтов, страдал от грубости и примитивизма. Конечно, в борьбе против белогвардейцев все его симпатии были на стороне Москвы, но многого он не понимал и не принимал. Потом я прочитал его роман «В тупике», где он рассказывал о жизни русской интеллигенции в первые годы революции. Я нашел мысли Викентия Викентьевича, вложенные в уста то ученого-демократа, то его дочки-большевички. Вересаев был на семь лет моложе Чехова, но, конечно, его следует отнести к тому же поколению; да и по природе он чем-то напоминал Антона Павловича: были в нем снисходительность к чужим слабостям, культ добра и спокойная, постоянная печаль, порождаемая не столько обстоятельствами, сколько глубоким знанием людей. В романе Вересаева Катя с горечью говорит своему отцу, старому русскому интеллигенту: «Милый мой, любимый!.. Честность твоя, благородство твое, любовь твоя к народу — ничего, ничего это никому не нужно…» Так рассуждали многие юноши в 1920 году. В 1960 году их дети и внуки поняли, что им до зарезу нужны честность, благородство, любовь к народу, которые когда-то вдохновляли Антона Павловича и его духовных друзей.

Об Осипе Эмильевиче Мандельштаме я расскажу в следующей главе. С ним приехал его брат Александр Эмильевич, человек добрый, вполне реальный, который не раз помогал и

своему брату и нам. Жили в Коктебеле литературовед Д. Д. Благой и его жена врач. Жена писателя Андрея Соболя, Рахиль Сауловна, тоже была врачом; она нянчила годовалого сына Марка. (В 1949 году поэт Марк Соболь подарил мне мою книжку, на которой стояла надпись Андрея Соболя, и написал стихи, кончавшиеся так: «Сын вписывает через четверть века слова любви под подписью отца».)

Сыпняк вообще скверная болезнь, а в тогдашних условиях выходить больного было трудно. Ухаживать за Любой мне помогала Ядвига: но она сама была хрупкой двадцатилетней девушкой. Болезнь проходила тяжело. Врач хотел впрыснуть камфару, а не было шприца. Александр Эмильевич поехал верхом в Феодосию, с трудом достал шприц, торопился и по дороге его разбил; ему пришлось вторично поехать в город. Потом понадобился спирт. Я обходил дома, где жили родители моих учеников, просил водку; мне отвечали, что белые все выпили. В одном доме справляли свадьбу: увидев на столе большие бутыли, я обрадовался, но хозяева сказали: «Хочешь пить, садись, нальем, а навынос нет…»

Вересаев приказал мне все время проверять, какой пульс у Любы. Ночью пульс исчез. Вересаев, на беду, уехал в другую деревню. Я побежал к Благой и Соболь; они нервничали, говорили, что положение безнадежное, незачем мучить больную; все же я их заставил впрыснуть стрихнин.

После того как температура спала, у Любы оказалось осложнение она была убеждена, что умерла и мы зачем-то устраиваем ей посмертную жизнь. С великим трудом я доставал для нес продукты, готовил, глотал слюнки, а она говорила: «Зачем мне есть? Я ведь умерла». Легко себе представить, как это на меня действовало, а тут нужно было идти на площадку и прыгать с детишками в хороводе.

Потом мы достали машинку для стрижки овец; ею Вересаев обкорнал Любу. К счастью, в наш флигелек начал заглядывать Волошин, он обожал заумные разговоры. Люба говорила, что она видит все сквозь стены, это Максу нравилось. Осип Эмильевич любил передразнивать разговоры поэтов-символистов: «Как поживаете, Иван Иванович?» — «Да ничего, Петр Петрович, предсмертно живу». Несмотря на трагизм положения, Макс не мог расстаться с любовью ко всему потустороннему. Он искренне увлекался беседами с Любой, а я гадал, что со мной приключится: сойду ли я с ума, заболею тифом или, наперекор всему, выживу? Тоненькая смуглая Ядвига, похожая на героиню итальянских неореалистических фильмов, с утра до ночи стирала белье.

Я говорил, что у меня были собеседники — и Вересаев, и

Волошин, и Мандельштам. Но со дня моего приезда в Коктебель меня ждал главный собеседник — тот Сфинкс, что задал мне в Москве загадки и не получил ответа. Зимние ночи были длинными. Люба спала. Под окном шумело рассерженное море. А я сидел и думал. Я начинал понимать многое; это оказалось нелегким — у меня ведь позади были и стихи, и вера, и безверье, мне нужно было связать розовый отсвет Флоренции, неистовые проповеди Леона Блуа, пророчества Модильяни со всем, что я увидел.

Самое главное было понять значение страстей и страданий людей в том, что мы называем «историей», убедиться, что происходящее не страшный, кровавый бунт, не гигантская пугачевщина, а рождение нового мира с другими понятиями человеческих ценностей, то есть перешагнуть из XIX века, в котором, сам того не сознавая, я продолжал жить, в темные сени иной эпохи. Я понял, что старый мир, который я обличал в «Стихах о канунах», нельзя изменить ни древними заклинаниями, ни ультра новым искусством. Конечно, я оставался самим собой: меня страшили и бессмысленные жертвы, и свирепость расправ, и упрощение сложного мира эмоций; но я понял, что мои оценки спорны:

> Рожденный вчера. люблю я вчерашнюю мудрость…

Я написал книжицу «Раздумья» и хочу привести несколько строф из одного стихотворения, помеченного январем 1920 года; стихи слабые, но они выражают мои мысли не только той зимы, а и последующих лет:

> Распухла с голоду, сочатся кровь и гной из ран отверстых.
> Вопя и корчась, к матери-земле припала ты.
> Россия, твой родильный бред они сочли за смертный.
> Гнушаются тобой, разумны, сыты и чисты.
> Бесплодно чрево их, пустые груди каменеют.
> Кто древнее наследие возьмет?
> Кто разожжет и дальше понесет
> Полупогасший факел Прометея?
> Суровы роды. Час высок и страшен.
> Не в пене моря, не в небесной синеве.
> На темном гноище, омытый кровью нашей,
> Рождается иной, великий век.
>
> …

На краткий срок народ бывает призван
Своею кровью напоить земные борозды —
Гонители к тебе придут, Отчизна,
Целуя на снегу кровавые следы.

Меня теперь коробит от нарочито книжного языка «гноище», «чрево», «борозды». Удивительно, как после «Стихов о канунах» и восхищения кубизмом я вдруг сбился на словарь символистов! Впрочем, новый словарь звучал не лучше: выражаясь на нем, я должен был бы объявить, что становлюсь на советскую платформу. А какая у меня могла быть «платформа»? Детская площадка, да и ту вскоре прикрыли…

Жили мы в Коктебеле отнюдь не спокойно: то и дело из Феодосии приезжали военные или охранники искали подпольщиков, партизан, «смутьянов». Арестовали Мандельштама. Его вскоре выпустили, но это было лотереей — могли расстрелять. Я поглядывал на дорогу с опаской. Много раз в жизни мне приходилось чувствовать себя дичью — прислушиваться к шагам на лестнице или к лифту; это очень противное ощущение — унизительное; но я себя утешал тем, что я по природе не охотник — никого не выслеживал и не арестовывал.

Иногда по ночам мне мерещились герои «Хуренито»: они как будто стучались в двери ненаписанной книги; но у меня не было мысли сесть за роман (можно для шутки добавить, что не было даже бумаги, стихи я записывал на обороте старых конторских счетов). Я думал тогда о другом: как добраться до Москвы? Войне, казалось, не будет конца; разбили Колчака, но в поход двинулись поляки. Как-то я нашел в Феодосии несколько номеров парижских газет. Я узнал, что на выборах во Франции победили правые, что союзники никогда не отдадут плацдармов в России, что они защищают «свободный мир». (Формулы куда Долговечнее правительств.) Действительно, в Феодосии я видел много иностранных офицеров. В порту царило оживление: выгружали пушки, боеприпасы.

В Феодосию я ездил редко: нелегко было найти крестьянина, который согласился бы за весьма скромную плату подвезти человека на своей телеге (на четырех бревнах, все время расползавшихся), да и не стоило искушать судьбу и охранников. Город был красивым, он напоминал мне Италию, может быть аркадами или ярусами домов на горе; но в городе шла нехорошая жизнь: никто просто не шел по улице одни покрикивали, другие

поеживались.

У Осипа Эмильевича было в Феодосии много знакомых: либеральные адвокаты, еврейские купцы, любители литературы, начинающие поэты, портовые служащие. С некоторыми он меня познакомил; были среди них люди симпатичные, но мне казалось, что они побаиваются с нами встречаться.

Мандельштамы уехали: им помог, насколько я помню, начальник порта. Я докучал и Волошину, и моим феодосийским знакомым, чтобы они помогли нам выбраться. Наконец Макс сказал: «Кажется, выходит»… Кончалась затянувшаяся глава: не книги — жизни.

14

Я говорил, что, когда врангелевцы арестовали Осипа Эмильевича Мандельштама, Волошин тотчас отправился в Феодосию. Вернулся он мрачный, рассказал, что белые считают Мандельштама опасным преступником, уверяют, будто он симулирует сумасшествие: когда его заперли в одиночку, он начал стучать в дверь, а на вопрос надзирателя, что ему нужно, ответил: «Вы должны меня выпустить — я не создан для тюрьмы»… На допросе Осип Эмильевич прервал следователя: «Скажите лучше, невинных вы выпускаете или нет?…» Я понимаю, что в 1919 году в контрразведке такие слова звучали фантастически и что белый офицер мог принять их за симуляцию душевного заболевания: но если задуматься, забыть о тактике, даже о стратегии, то разве не было в поведении Мандельштама глубоко человеческой правды? Он не пытался доказать палачу свою невиновность, откровенно спросил — стоит ли ему вообще разговаривать; он сказал тюремщику, что «не создан для тюрьмы», это ребячливо и в то же время мудро. «Не по времени», — печально заметила Пра. Конечно. У Мандельштама есть стихи про время:

Мне на плечи кидается век-волкодав,
Но не волк я по крови своей.
Запихай меня лучше как шапку в рукав
Жаркой шубы сибирских степей…

Познакомился я с Осипом Эмильевичем в Москве; потом мы часто встречались в Киеве — в греческой кофейне на Софийской; там он прочитал мне свои стихи о революции:

Восходишь ты в глухие годы, о солнце, судия-народ.

Видел я его в тот день, когда Красная Армия оставляла Киев. Потом он об этом рассказал:

Не гадают цыганочки кралям.
Не играют в Купеческом скрипки.
На Крещатике лошади пали.
Пахнут смертью господские Липки.
Уходили с последним трамваем
Прямо за город красноармейцы,

И шинель прокричала сырая:
— Мы вернемся еще, разумейте!..

Вместе мы пережили в Киеве ночь погрома. Вместе хлебнули горя в Коктебеле. Вместе пробирались из Тбилиси в Москву. Летом 1934 года я искал его в Воронеже.

(Пусти меня, отдай меня, Воронеж,
Уронишь ты меня иль проворонишь.
Ты выронишь меня или вернешь —
Воронеж — блажь, Воронеж — ворон, нож.)

В последний раз я его видел весной 1938 года в Москве.

Мы оба родились в 1891 году; Осип Эмильевич был старше меня на две недели. Часто, слушая его стихи, я думал, что он старше, мудрее меня на много лет. А в жизни он мне казался ребенком, капризным, обидчивым, суетливым. До чего несносный, минутами думал я и сейчас же добавлял: до чего милый! Под зыбкой внешностью скрывались доброта, человечность, вдохновение.

Был он маленьким, щуплым; голову с хохолком закидывал назад. Он любил образ петуха, который разрывает своим пением ночь у стен Акрополя; и сам он, когда запевал баском свои торжественные оды, походил на молоденького петушка.

Он сидел на кончике стула, вдруг куда-то убегал, мечтал о хорошем обеде, строил фантастические планы, заговаривал издателей. В Феодосии он как-то собрал богатых «либералов» и строго сказал им: «На Страшном суде вас спросят, понимали ли вы поэта Мандельштама, вы ответите «нет». Вас спросят, кормили ли вы его, и, если вы ответите «да», вам многое простится». В самые трагические минуты он смешил нас газеллами:

Почему ты все дуешь в трубу, молодой человек?
Полежал бы ты лучше в гробу, молодой человек.

Тому, кто впервые встречал Мандельштама в приемной издательства или в кафе, казалось, что перед ним легкомысленный человек, неспособный даже призадуматься. А Мандельштам умел работать. Он сочинял стихи не у стола — на улицах Москвы или Ленинграда, о степи, в горах Крыма, Грузии, Армении. Он говорил о Данте: «Сколько подметок, сколько воловьих подошв, сколько сандалий износил Алигьери за время

своей поэтической работы, путешествуя по козьим тропам Италии». Эти слова прежде всего относятся к Мандельштаму. Его стихи рождались от строки, от слова; он сотни раз менял все; порой ясное вначале стихотворение усложнялось, становилось почти невнятным, порой, наоборот, прояснялось. Он вынашивал восьмистишие долго, иногда месяцами, и всегда бывал изумлен рождением стихотворения.

В первые годы революции его словарь, классический стих многими воспринимались как нечто архаическое:

Я изучил науку расставанья
В простоволосых жалобах ночных.

Мне эти строки теперь кажутся вполне современными, а стихи Бурлюка — данью давно сгинувшей моде. Мандельштам говорил: «Идеал совершенной мужественности подготовлен стилем и практическими требованиями нашей эпохи. Все стало тяжелее и громаднее». Это не было канонами, направлением: «Не стоит создавать никаких школ. Не стоит выдумывать своей поэтики». Стих Мандельштама потом раскрепостился, стал легче, прозрачнее.

Одним поэтам присуще звуковое восприятие мира, другим — зрительное. Блок слышал, Маяковский видел. Мандельштам жил в различных стихиях. Вспоминая свои детские годы, он писал: «Чайковского об эту пору я полюбил болезненным нервным напряжением, напоминавшим желание Неточки Незвановой у Достоевского услышать скрипичный концерт за красным полымем шелковых занавесок. Широкие, плавные, чисто скрипичные места Чайковского я ловил из-за колючей изгороди и не раз изорвал свое платье и расцарапал руки, пробираясь бесплатно к раковине оркестра…» О его чувстве живописи можно судить хотя бы по нескольким строфам, посвященным натюрморту (вспоминаешь холсты Кончаловского):

Художник нам изобразил
Глубокий обморок сирени
И красок звучные ступени
На холст, как струпья, положил…

…

Угадывается качель,
Недомалеваны вуали,
И в этом сумрачном развале

Уже хозяйничает шмель.

Мы с ним часто разговаривали о живописи; в двадцатые годы его больше всего привлекали старые венецианцы — Тинторетто, Тициан.

Он хорошо знал французскую, итальянскую, немецкую поэзию; понимал страны, где пробыл недолго.

Я молю, как жалости и милости,
Франции, твоей земли и жимолости.
Правды горлинок твоих и кривды карликовых
Виноградарей в их разгородках марлевых.
В легком декабре твой воздух стриженый
Индевеет денежный, обиженный…

Я много лет прожил во Франции, лучше, точнее этого не скажешь… Размышления о прекрасной «детскости» итальянской фонетики поражали итальянцев, которым я переводил строки из «Разговора о Данте».

Однако самой большой страстью Осипа Эмильевича были русский язык, русская поэзия. «По целому ряду исторических условий живые силы эллинской культуры, уступив Запад латинским влияниям и ненадолго загащиваясь в бездетной Византии, устремились в лоно русской речи, сообщив ей самобытную тайну эллинистического мировоззрения, тайну свободного воплощения, и поэтому русский язык стал именно звучащей и горящей плотью…» Он отвергал символизм, как чуждое русской поэзии явление. «Бальмонт, самый нерусский из поэтов, чужестранный переводчик… иностранное представительство от несуществующей фонетической державы…» Андрей Белый — «болезненное и отрицательное явление в жизни русского языка…».

Мандельштам, однако, почитал и любил Андрея Белого; после его смерти написал несколько чудесных стихотворений.

На тебя надевали тиару — юрода колпак,
Бирюзовый учитель, мучитель, властитель, дурак!
Как снежок на Москве, заводил кавардак гоголек,
Непонятен-понятен, невнятен, запутан, легок.
Собиратель пространства, экзамены сдавший птенец,
Сочинитель, щегленок, студентик, студент, бубенец…

Писал он с нежностью и о поэтах пушкинской плеяды, и о Блоке, и о своих современниках, о Каме, о степи, о сухой, горячей Армении, о родном Ленинграде. Я помню множество его строк, твержу их, как заклинания, и, оглядываясь назад, радуюсь, что жил с ним рядом…

Я говорил о противоречии между легкомыслием в быту и серьезностью в искусстве. А может быть, и не было никакого противоречия? Когда Осипу Эмильевичу было девятнадцать лет, он написал статью о Франсуа Вийоне; он находил оправдание для смутной биографии поэта жестокого века: «бедный школяр» по-своему отстаивал достоинство поэта. Мандельштам писал о Данте: «То, что для нас. безукоризненный капюшон и так называемый орлиный профиль, то изнутри было мучительно преодолеваемой неловкостью, чисто пушкинской, камер-юнкерской борьбой за социальное достоинство и общественное положение поэта». Опять-таки эти слова применимы к самому Мандельштаму: множество нелепых, порой смешных поступков диктовалось «мучительно преодолеваемой неловкостью».

Некоторые критики считали его несовременным, музейным. Раздавались и худшие обвинения; передо мной том «Литературной энциклопедии», изданный в 1932 году; там сказано: «Творчество Мандельштама представляет собой художественное выражение сознания крупной буржуазии в эпоху между двумя революциями… Для миросозерцания Мандельштама характерен крайний фатализм и холод внутреннего равнодушия ко всему происходящему… Это лишь чрезвычайно «сублимированное» и зашифрованное идеологическое увековечение капитализма и его культуры…» (Статья написана была молодым критиком, который не раз прибегал ко мне, восторженно показывал неопубликованные стихотворения Мандельштама, переписывал его стихи, переплетал, дарил друзьям.) Трудно сказать большую нелепость о стихах Мандельштама. Вот уж воистину кто менее всего выражал сознание буржуазии, и крупной, и средней, и мелкой! Я уже говорил, как в 1918 году он меня поразил глубоким пониманием грандиозности событий: стихи о корабле времени, который меняет курс. Никогда он не отворачивался от своего века, даже когда волкодав принимал его за другого.

Пора вам знать — я тоже современник —
Я человек эпохи Москвошвея,
Смотрите, как на мне топорщится пиджак,
Как я ступать и говорить умею!
Попробуйте меня от века оторвать! —

Ручаюсь вам, себе свернете шею!

…

За гремучую доблесть грядущих веков,
За высокое племя людей…

О Ленинграде:

Я вернулся в мой город, знакомый до слез,
До прожилок, до детских припухлых желез.
Ты вернулся сюда, — так глотай же скорей
Рыбий жир ленинградских речных фонарей…
Петербург, я еще не хочу умирать:
У тебя телефонов моих номера.
Петербург, у меня еще есть адреса.
По которым найду мертвецов голоса…

Это стихотворение было напечатано в «Литературной газете» в 1932 году. А в 1945-м я слышал, как его повторяла ленинградка, вернувшаяся домой.

Мандельштама не в чем упрекнуть. Разве в том, что и слабость и сила любого человека — в любви к жизни.

Я все отдам за жизнь — мне так нужна забота —
И спичка серная меня б согреть могла:
Колют ресницы, в груди прикипела слеза.
Чую без страха, что будет и будет гроза.
Кто-то чудной меня что-то торопит забыть.
Душно, и все-таки до смерти хочется жить.

Кому мог помешать этот поэт с хилым телом и с той музыкой стиха, которая заселяет ночи? В начале 1952 года ко мне пришел брянский агроном В. Меркулов, рассказал о том, как в 1938 году Осип Эмильевич умер за десять тысяч километров от родного города; больной, у костра он читал сонеты Петрарки. Да, Осип Эмильевич боялся выпить стакан некипяченой коды, но в нем жило настоящее мужество, прошли через всю его жизнь — до сонетов у лагерного костра…

В 1936 году он писал:

Не мучнистой бабочкою белой

В землю я заемный прах верну —
Я хочу, чтоб мыслящее тело
Превратилось в улицу, в страну —
Позвоночное, обугленное тело.
Осознавшее свою длину.

Его стихи остались, я их слышу, слышат их другие; мы идем по улице, на которой играют дети. Вероятно, это и есть то, что в торжественные минуты мы именуем «бессмертием».

А в моей памяти живой Осин Эмильевич, милый беспокойный хлопотун. Мы трижды обнялись, когда он прибежал, чтобы проститься: наконец-то он уезжает из Коктебеля! Про себя я подумал:

Кто может знать при слове — расставанье, —
Какая нам разлука предстоит…

15

В соляных озерах северной части Крыма добывается поваренная соль; добывалась она и до революции. Наверно, я об этом узнал в третьем или четвертом классе гимназии, но школьные познания быстро забываются. Притом я никогда не интересовался происхождением соли, которая стояла на столе. И вот соль, притом крымская, сыграла важную роль в моей жизни.

Путь из Феодосии в Москву лежал тогда через меньшевистскую Грузию, которая торговала с белым Крымом и где было советское посольство. Из Феодосии в Грузию отправлялся ценный товар — поваренная соль. Я говорю о его ценности отнюдь не шутя: в то время соль продавалась на рынках стаканами, как потом сахар.

Один предприимчивый феодосиец решил доставить в Поти соль; ею нагрузили большую дряхлую баржу. На буксире должен был отправиться владелец соли. После длительных и сложных переговоров, в которых мои покровители говорили и о поэзии и о рублях, капитан буксира и владелец соли согласились взять на баржу меня, Любу и Ядвигу. Белые, разумеется, осматривали уходящие суда, и мы должны были прибыть на баржу накануне, а до того, как выйдем в открытое море, сидеть тихо в душном, трюме, где лежала драгоценная соль. Это не было самым приятным местом, но нам дали хлеб и помидоры, а соли было сколько угодно, и мы не роптали.

Пришлось пережить несколько неприятных минут: над нами прогрохотали сапоги офицеров, проверявших, нет ли на барже пассажиров. Я вспомнил строчку Волошина: «Застыть, как соль», — и, кажется, застыл. Шаги стали приглушенными, как уходящая гроза.

Буксир взял курс на юг, будто мы шли к берегам Турции. Объяснялось это тем, что в Новороссийске была Советская власть, и владелец соли боялся, как бы большевики не захватили его товара. А баржа была предназначена только для небольших рейсов вдоль берега; притом, как я сказал, у нее был возраст, мало подходящий для авантюр. Был конец сентября, то есть время, когда на Черном море часто бывают штормы. Мы проплыли несколько часов среди идиллии: сияло солнце, белели барашки волн, и баржу лениво покачивало. Мы радовались, что вырвались из Крыма, и ели хлеб с солью. Шторм начался внезапно; мы не поняли, что происходит, когда высокая волна переплеснула палубу. Мы легли в самом защищенном месте и покрылись брезентом. Шторм крепчал; навалилась быстрая южная

ночь.

На барже было три или четыре матроса. Они нам сказали, что дела плохи: мы находимся далеко от берега, вода попала в трюм и груз теперь чересчур тяжелый. Они ругали капитана буксира, владельца соли, белых, красных, грузин и вообще все на свете.

Мы пробовали уснуть, но это было невозможно — несмотря на брезент, нас заливало; хотя баржа, по словам матросов, была перегружена, ее швыряло, как крохотную лодку. А волны росли. Я старался припомнить различные смешные истории, и мы не унывали.

Самое неприятное было, однако, впереди. Капитан буксира решил бросить баржу: боялся, что она может разбить буксир. Нам это прокричали в рупор и предложили но канату добираться до буксира. Мы были, однако, не спортсменами, а людьми, сильно отощавшими от супа на перце (Люба незадолго до путешествия перенесла сыпняк); перейти на буксир среди сильных волн мы, разумеется, не могли и решили остаться — будь что будет.

Я не раз в жизни замечал, что страх — капризное чувство, зачастую не связанное с рассудком. Мой друг, писатель О. Г. Савич, в Испании совершенно спокойно беседовал о поэзии под нестерпимыми бомбежками, но я помню, что когда мы с ним ехали из Бельгии во Францию, он смертельно боялся таможенного осмотра, хотя не вез никакой контрабанды. Я был в Толедо с испанским художником Фернандо Херасси; он был тогда офицером и не раз удивлял товарищей храбростью. В толедском Алькасаре сидели фашисты и время от времени лениво, для приличия, постреливали в анархистов. Фернандо мне признался, что не хочет лезть со мной на крышу дома — боится: фронт — это фронт, а в Толедо он поехал со мной за компанию, и здесь ему страшно. Что касается меня, то я испытывал страх не на фронтах, не в Испании, не при бомбежках, а в мирной обстановке, когда ждал звонка или стука и дверь, но об этом я уже писал. Ни я, ни мои молоденькие попутчицы не испугались мысли, что мы останемся в разъяренном море на дырявой барже и пойдем ко дну вместе с драгоценной солью. Мы разговаривали, шутили, и если дрожали, то не от страха, а от холода: промокли насквозь.

Капитан все же не бросил баржу. Когда мы благополучно причалили к Сухуми, он сказал Любе, что пожалел ее. По-моему, это было восточным комплиментом. На буксире находился владелец соли, и он отстоял свой товар.

Сухуми нам показался невыразимо прекрасным; это действительно красивый город, но дело было не только в его живописности — в то яркое, солнечное утро мы восхищались возвращенной жизнью. Нам казалось, что все трудности не только

путешествия в Москву, но и жизненного пути позади. Какой-то грузин предложил нам обменять деньги, и вот мы если в кафе прямо на улице, пили турецкий кофе, кейфовали. Крикливые усатые люди улыбались нам. Продавали золотистый теплый виноград. Было жарко, как летом, и мы не думали ни о цене соли, ни о цене человеческой жизни. Мы развлекались — нам троим вместе было меньше лет, чем теперь мне одному.

Потом мы снова спали на барже, по это была обыкновенная, спокойная ночь: вдоль берега мы шли на Поти. Оттуда поездом добрались до Тбилиси. Куда идти? Где посольство? И где Москва? Мы несколько растерялись в чужом городе, без документов, без денег.

Бывают все-таки в жизни те счастливые случайности, на которые иногда ссылаются писатели, приклеивая к безвыходной истории благополучнейшую развязку. Навстречу нам по Головинскому проспекту шел Осип Эмильевич Мандельштам. Мы обрадовались ему, он — нам. Он уже чувствовал под ногами почву и деловито сказал: «Сейчас мы пойдем к Тициану Табидзе, и он нас поведет в замечательный духан…»

16

Мандельштам рассказал нам о своих злоключениях. В Батуми опасались эпидемии чумы, и квартал, в котором нашли комнату Осип Эмильевич и его брат, был оцеплен. Мандельштам гадал, от чего он умрет: от романтической чумы или от вульгарного голода. Его размышления были прерваны меньшевистскими охранниками, которые отвели Осипа Эмильевича в тюрьму. Напрасно он пытался еще раз объяснить, что не создан для тюремного образа жизни, — это не произвело никакого впечатления. Он говорил, что он — Осип Мандельштам, автор книги «Камень», а ему отвечали, что он агент генерала Врангеля и большевиков. Достаточно было взглянуть на Осина Эмильевича, чтобы понять, насколько он мало походил на агента — не только двойного, но и обыкновенного. Однако у охранников не было времени для размышлений: они выполняли, а может быть, перевыполняли план. (Автор даже самого вздорного приключенческого романа и тот заботится о некоторой правдоподобности, а полицейские не ломают себе головы — предпочитают проламывать чужие головы.) Случайно в Батуми приехали грузинские поэты и прочитали в газете, что «двойной агент Осип Мандельштам» выдает себя за поэта. Они добились освобождения Осипа Эмильевича.

Рассказав все это, Мандельштам не стал философствовать над особенностями эпохи, а повел нас к Тициану Табидзе, который восторженно вскрикивал, обнимал всех, читал стихи, а потом побежал за своим другом Паоло Яшвили. Мы обомлели, увидав на столе духана различные яства, о существовании которых успели давно позабыть.

С Паоло Яшвили я познакомился в Париже, в «Ротонде»; было это и 1914 году. Паоло тогда был худым и порывистым юношей (ему было двадцать лет). Он расспрашивал меня: «А в каком кафе сидел Верлен? Когда сюда придет Пикассо? Правда, что вы пишете в кафе? Я не мог бы… Посмотрите, как они целуются! Возмутительно! Меня это чересчур вдохновляет…» Увидев Паоло в Тбилиси, и ему обрадовался, как однополчанину, хотя наша встреча в Париже была случайной и беглой.

Не успели мы сесть за стол, как Паоло и Тициан объяснили нам, что они основатели поэтического ордена «Голубые рога». Я подумал, что это не имеет никакого отношения к обеду: есть ведь журнал «Голубой всадник», выставки «Голубой розы». Но духанщик притащил огромные рога (правда, не голубые). В рог, который Паоло поднес, мне, он налил кварту вина. Рог не стакан,

на стол его не поставишь, я подержал его несколько минут, а потом в отчаянии выпил вино залпом. Если вспомнить, что в Коктебеле я сильно отощал, то легко догадаться, чем это для меня кончилось. Грузинские друзья зачем-то поволокли меня на концерт знаменитого виртуоза. Смутно помню, как я валялся в одной из комнат консерватории среди арф и лент от венков.

На следующее утро я пошел с Мандельштамом в советское посольство. Нас ласково приняли, обещали переправить в Россию; придется, однако, подождать неделю-другую.

Паоло устроил нас в старой, замызганной гостинице. Свободных комнат в городе не было, и нам пришлось поместиться в одном номере: братья Мандельштамы, Люба, Ядвига и я. Осип Эмильевич от кровати отказался боялся клопов и микробов; спал он на высоком столе. Когда рассветало, я видел над собой его профиль: спал он на спине, и спал торжественно.

Мы прожили в Тбилиси две недели; они показались мне лирическим отступлением.

Каждый день мы обедали, более того, каждый вечер ужинали. У Паоло и Тициана денег не было, но они нас принимали с роскошью средневековых князей, выбирали самые знаменитые духаны, потчевали изысканными блюдами. Порой мы шли из одного духана в другой — обед переходил в ужин. Названия грузинских яств звучали, как строки стихов: сулгуни, сопхали, сациви, лоби. Мы ели форель, наперченные супы, горячий сыр, соусы ореховый и барбарисовый, куриные печенки и свиные пупки на вертеле, не говоря уже о разноликих шашлыках. В персидских харчевнях нам подавали плов и баранину, запеченную в горшочках. Мы проверяли, какое вино лучше — телиани или кварели.

Никогда дотоле я не бывал на Востоке, и старый Тбилиси мне показался городом из «Тысячи и одной ночи». Мы бродили по нескончаемому Майдану; там продавали бирюзу в смоле и горячие лепешки, английские пиджаки и кинжалы, кальяны и граммофоны, пахучие трапы и винтовки, портреты царицы Тамары и доллары, древние рукописи и подштанники. Торговцы зазывали, торговались, расточали цветистые комплименты, клялись жизнью многочисленных домочадцев.

Мы побывали в серных банях; на меня взобрался огромный банщик облепил меня чудодейственной грязью, которая уничтожала растительность; Паоло пресерьезно уверял, что я похож на Нарцисса.

Мы попивали вино в Верийских садах; внизу нетерпеливая Кура играла с красными и желтыми огоньками, а на столе благоухали тархун и киндза.

В древних храмах мы глядели на каменных цариц, к которым ласкались барсы. Мы восхищались в духанах картинами Пиросманишвили, грузинского Руссо, художника-самоучки, который за шашлыки и вино расписывал стены погребков. Он был прост, патетичен, поражал умелой композицией и полнотой цвета.

Тбилиси был случайным полустанком, на котором остановился поезд времени. Глава меньшевистского правительства Ной Жордания, в прошлом сотрудник различных марксистских журналов, ссылался то на Каутского, то на царицу Тамару. Каутский писал, что меньшевистская Грузия — государство с будущим, а петербуржцы и москвичи, застрявшие на полустанке, торопливо упаковывали чемоданы; одни спешили на север, другие за границу. Некоторых из них я встретил. Артист Н. Н. Ходотов собирался домой, в Петроград. Поэты Агнивцев и Рафалович ждали французских виз. Жители Тбилиси ругали меньшевиков, говорили, что их песенка спета.

Различные века сосуществовали в этом удивительном городе. Я увидел праздник мусульман-шиитов — «шахсей-вахсей». На носилках, изукрашенных цветистыми коврами, несли безликих персиянок. Вокруг сновали молодые люди; костюмированные всадники нещадно хлестали их кнутами. За ними следовали сотни полуголых мужчин, ударявших себя в спину железными цепями. Гремела музыка. Главными актерами были люди в белых халатах; раскачиваясь, они выкрикивали «шахсей-вахсей!» и били себя саблями но лицу. На ярком солнце кровь казалась краской. Самоистязание было поминками по сыну халифа Хусейну, который погиб в битве тысячу четыреста лет назад…

А на соседней улице мастеровые читали листовку: «Красное знамя Советской власти реет над Баку. Не сегодня завтра оно взовьется над Тифлисом…»

Мне подарили «Сборник тифлисского цеха поэтов». Эта книжка случайно у меня сохранилась. Среди авторов много поэтесс с поэтичными фамилиями: Нина Грацианская, Бел-Конь-Любомирская, Магдалина де-Капрелевич. Поэты «тифлисского цеха» писали сонеты о Свароге, Эросе, Суламите, Санаваллате, Монфоре и о других, столь же близких персонажах.

Впрочем, я не заглянул тогда в сборник: все время я был с новыми друзьями, которых сразу полюбил, — с Паоло Яшвили и Тицианом Табидзе.

Они были связаны между собой не только общими поэтическими воззрениями, но и крепкой дружбой; эта дружба оказалась долговечней литературных школ; и погибли они вместе. А до чего они не походили один на другого! Паоло был

высоким, страстным, чрезвычайно энергичным, умел все организовать — и декларацию «Голубых рогов», и обед в духане. Стихи у него были живые, умные, крепкие. А Тициан поражал мягкостью, мечтательностью. Он был красив, всегда носил в петлице красную гвоздику; стихи читал нараспев, и глаза у него были синие, как горные озера. Трудно понять поэзию в переводах. Я слушал стихи и по-грузински. Тициан, помню, сказал мне, что поэзия обвал. Много лет спустя я прочитал в переводе его стихотворение, где были строки:

Не я пишу стихи. Они, как повесть, пишут
Меня. И жизни ход сопровождает их.
Что стих? Обвал снегов. Дохнет — и с места слышит,
И заживо схоронит. Вот что стих.

Кажется, в этих словах раскрытие Тициана, его чистоты, приподнятости; был он прежде всего поэтом.

Яшвили и Табидзе прекрасно знали, любили русскую и французскую поэзию, Пушкина и Бодлера, Блока и Вердена, Некрасова и Рембо, Маяковского и Аполлинера. Они сломали старые формы грузинской версификации. Но трудно, кажется, найти поэтов, которые так бы любили свою родину, как они. Их можно было глубоко порадовать, сказав, что то или иное грузинское слово выразительно, заметив горный цветок или улыбку девочки на проспекте Руставели. О том, что они были прекрасными поэтами, можно теперь прочитать в любом справочнике. Мне хочется добавить, что они были настоящими людьми. Я приехал снова в Тбилиси в 1926 году, приехал к Тициану и Паоло. Потом я встречался с ними в Москве: дружба выдержала испытание временем.

В конце 1937 года я приехал из Испании, прямо из-под Теруэля, в Тбилиси на юбилей Руставели. Паоло и Тициана не было. О том, что с ними случилось, скажу словами Гурама Асатиани, автора книги о Тициане Табидзе: «Табидзе, как и его замечательные сверстники, известные советские писатели П. Яшвили, М. Джавахишвили, Н. Мицишвили и другие, стали жертвами преступной руки заядлых врагов народа». Тициана арестовали, а Паоло, когда за ним пришли, застрелился из охотничьего ружья. В Тбилиси я нашел только одного поэта — голуборожца Г. Леонидзе, с которым познакомился в 1926 году. Он позвал меня к себе под Новый год. Вдруг тосты оборвались: мы подняли стаканы и ничего не сказали — перед нами были Тициан и Паоло… Я часто думаю о стихах Яшвили, написанных за несколько лет до трагической развязки:

Не бойся сплетен. Хуже — тишина,
Когда, украдкой пробираясь с улиц,
Она страшит, как близкая война
И близость про меня сужденной пули.

Тициана и Паоло любили многие русские поэты — и Есенин, и Пастернак, и Тихонов, и Заболоцкий, и Антокольский. А мы были первыми советскими поэтами, которые нашли в Тбилиси не только душевный отдых, но романтику, ощущение высоты, толику кислорода — я говорю и о горах и о людях, нельзя ведь отделить Паоло и Тициана от окружавшего их пейзажа. Я писал после поездки в Грузию в 1926 году: «Условимся: горы не только астма альпиниста, не только семейные охи любителей каникулярной красоты. Это еще некоторое беспокойство природы, ее требовательность, которая глубоко соответствует человеческому естеству… Звери и лозы Ананурского монастыря резвятся, зреют, живут. На них любовно смотрят пастухи и звезды. В Верийских садах зурна плачет, как любимая женщина, голос которой нельзя не узнать и через тысячу лет. Пусть поэты «Голубых рогов» любят Рембо и Лотреамона; неискушенные души повторяют их стихи доверчивым девушкам возле могилы Грибоедова, когда в одно сливаются созвездия астрономов, огни Сололак и взволнованные зрачки. А на стенах духанов истекают кровью арбузы, написанные Нико Пиросманишвили…»

Альпы во Франции — спорт, туризм, санатории, лыжи, гостиницы, рюкзаки, открытки. А без Кавказа трудно себе представить русскую поэзию: там она отходила душой, там была ее стартовая площадка. Но я сейчас пишу всего-навсего о двух коротких неделях осени 1920 года, когда грузинские друзья приютили, пригрели нас. Друзей этих уже нет, остается поклониться горам Грузии. Яшвили и Табидзе проводили нас но Военно-Грузинской дороге до первого привала, и сейчас еще в моих ушах звучит высокий, пронзительный голос Тициана:

На холмах Грузни лежит ночная мгла;
Шумит Арагва предо мною.
Мне грустно и легко; печаль моя светла;
Печаль моя полна тобою…

17

Я уже говорил, что у меня в жизни было немало разнообразных и неожиданных профессий; теперь мне предстоит рассказать о самой неправдоподобной; она была кратковременной, но бурной — посол сказал мне, что я поеду из Тбилиси в Москву как дипломатический курьер. Это не было ни почетной синекурой, ни маскировкой, чтобы пересечь границу, нет, я должен был отвезти пакет с почтой и три огромных тюка, снабженных множеством печатей.

Мне часто приходилось и приходится ездить за границу; если со мной едут другие товарищи, среди них обязательно имеется «руководитель делегации». А вот из Тбилиси я отправился с семью лицами; одни из них в документе именовались «сопровождающими» (Люба, Ядвига, братья Мандельштамы и весьма серьезный товарищ, возвращавшийся, кажется, из Англии); другие числились моей «охраной» — краснофлотец и молоденький актер Художественного театра. Таким образом, на новом поприще я сразу сделал карьеру.

Теперь я часто встречаю в самолетах дипкурьеров; это спокойные, солидные люди, привыкшие к своей работе; в далекий путь они отправляются вдвоем — когда один спит, другой присматривает за почтой. Поглядывая на них, я вспоминаю далекое прошлое: небось не догадываются, что я тоже вез такие мешки, только не в самолете, где проводницы угощают пассажиров конфетами, а в разбитом вагоне, прицепленном к бронепаровозу…

Осенью 1920 года советские дипломаты были новичками. Дипломатические отношения тогда поддерживались только с Афганистаном, с новоиспеченными государствами Прибалтики да с меньшевистской Грузией. Все было внове и не проверено. Большевики хорошо помнили жаркие дискуссии с меньшевиками на нелегальных собраниях; иногда приходила полиция и забирала всех. Теперь картина была иной: меньшевистский публицист А. Костров, он же Ной Жордания, стал главой грузинского правительства, и его полиция начала сажать недавних оппонентов в Метехскую тюрьму. Конечно, дипкурьер пользуется неприкосновенностью, никто не вправе посягнуть на груз, который он везет. Посол об этом хорошо знал, но он не знал, знают ли об этом меньшевики, и мне строго наказал, чтобы на границе я ни в коем случае не позволил вскрыть пакет, завернутый в коричневую оберточную бумагу и запечатанный десятком сургучных печатей. Я держал этот пакет в руках и не

расставался с ним восемь дней, пока не сдал его в Москве в Наркоминдел.

Сначала дорога была идиллической. Мы ужинали в духане и заночевали в пути; все мои попутчики, как «сопровождающие» так и «охрана», спокойно спали, а я бодрствовал, прижимая к себе заветный пакет. Утром мы поехали дальше; сверкали снега, внизу шумели горные реки, паслись отары овец.

Мы приближались к границе, и я стал обдумывать, что мне делать, если грузинские пограничники вздумают вскрыть пакет. У краснофлотца был наган, но, когда я с ним заговорил о предстоящей угрозе, он равнодушно ответил, что пакет везу я, а он везет фрукты. Товарищ, приехавший из Англии, был гладко выбрит, пах лавандой и беспечно глядел в бинокль на вечные снега. Осип Эмильевич читал стихи нашим попутчицам.

Грузинский офицер, командир пограничного отряда, оказался милейшим человеком. Узнав, что моя жена — художница, он начал ее расспрашивать, что делают теперь русские живописцы. Он хочет перебраться в Москву и поступить во Вхутемас. Может быть, Люба за него походатайствует?…

Мы долго перетаскивали тюки через «нейтральную полосу». Советские пограничники были заняты: поймали трех контрабандистов. Нам обещали машины к вечеру. Я запротестовал: «Почта срочная, нельзя терять ни часа…» (Именно так сказал мне посол.)

Ночью мы въехали во Владикавказ; нас отвезли в гостиницу, где полгода назад помещались деникинцы; все было загажено, поломано; стекол в окнах не было, и нас обдувал холодный ветер. Город напоминал фронт. Обыватели шли на службу озабоченные, настороженные; они не понимали, что гражданская война идет к концу, и по привычке гадали, кто завтра ворвется в город.

Я начал обсуждать с представителями горсовета и военным командованием, как нам добраться до Минеральных Вод: поезда не ходили, по дороге шли стычки с небольшими отрядами белых. Мы съели борщ в столовой, где обедали руководящие товарищи; нам даже выдали три буханки хлеба. Под вечер было решено отправить до Минеральных Вод бронепоезд. Однако бронепоезда не оказалось, и к бронепаровозу прицепили два обыкновенных вагона. Охрана на этот раз была посерьезнее: красноармейцы с пулеметами.

В вагоне я увидел нового пассажира, который, улыбаясь, говорил всем, что он грузинский дипломат. Один из чекистов объяснил мне, что в чемодане дипломата нашли около тысячи брошек, браслетов и колец с бриллиантами и ценными камнями. Москва приказала доставить задержанного в Наркоминдел.

Обращались с грузином учтиво, как с настоящим дипломатом, и я себя почувствовал дилетантом, но не спускал глаз с тюков.

Когда мы отъехали сорок или пятьдесят километров, поезд остановился. Мы услышали выстрелы. Затараторил пулемет. Военные сказали, что белые разобрали путь и собираются напасть на поезд; мы должны взять винтовки и стрелять. Все это вывело из себя Осина Эмильевича, который чувствовал к любому виду оружия непреодолимое отвращение. В его голове созрел фантастический план: он с Любой уйдет в горы… Люба не поддалась его увещаниям, а белых скоро отогнали.

На станции Минеральные Воды люди неделями ждали посадки. Красноармейцы помогли мне пробиться к вагону; кто-то кричал: «Дипломатический курьер!», но это не действовало. Можно было с таким же успехом кричать «римский пана» или «Шаляпин»… Не помню, как мы все же очутились в набитом до отказа вагоне. Здесь-то начались мои главные мучения: тюки занимали очень много места, и на них все норовили сесть; я понимал, что от сургучных печатей ничего не останется, и неистово кричал; «Прочь от диппочты!..» Действовали не столько слова, сколько мой голос, преисполненный отчаяния.

Вначале краснофлотец помогал мне отбивать атаки; но вскоре случилось несчастье: на какой-то станции он купил два большущих мешка соли. Проклятая соль снова вмешивалась в мою жизнь. Краснофлотец теперь оберегал не диппочту, а соль и цинично отгонял всех от мешков: «Это диппочта». Я выглядел самозванцем.

На четвертый или на пятый день нас ожидали новые неприятности: где-то между Ростовом и Харьковом к поезду подошли махновцы. Я знал по опыту, что это значит. Но теперь у меня почта, заветный пакет… Что мне делать? Товарищ, возвращавшийся из Англии, вез и термосе горячий чай, а в дорожной фляжке коньяк; он мне говорил: «Выпейте, и все обойдется…»

Все действительно обошлось. Мы доехали до Москвы. Я прижимал пакет к груди, как младенца. Пассажиры постепенно разошлись, а я стоял над тюками. Под вечер Александру Эмильевичу и краснофлотцу удалось нанять телегу, на которую мы положили багаж (пакет с почтой я нес в руке). Мы шли вслед за телегой; больше всего это напоминало деревенские похороны.

Осип Эмильевич уже успел с кем-то поговорить по телефону, нашел ночевку для себя и брата и объявил нам, что вечером мы должны прийти в Дом печати на Никитском бульваре — там дают бутерброды.

Наркоминдел помешался в здании «Метрополя», вход был

позади, с небольшой площади. Дежурный принял у меня почту. К маленькому пакету он отнесся уважительно, и я снова вырос в своих глазах; но тюки пренебрежительно оттащил в кладовку. Я ему пытался объяснить, что противная бабенка, несмотря на всю мою бдительность, повредила одну из многочисленных печатей, но он равнодушно сказал: «А там только газеты…»

Случилось чудо: это ведь были первые годы революции, романтика… Узнав, что мне некуда деться, дежурный пожалел меня, объявил кому-то но телефону, что приехал дипкурьер из Тбилиси, и начал обзванивать различные общежития. Я получил бумажку о том. что в Третьем общежитии Наркоминдела должны приютить Эренбурга с женой. Третье общежитие оказалось бывшими меблированными комнатами «Княжий двор», где я когда-то жил с отцом. Там было тепло, и я понял, что я в раю…

Вечером мы пошли в Дом печати; я увидел многих знакомых. В буфете действительно давали крохотные ломтики черного хлеба с красной икрой и воблой; кроме того, там можно было получить чай, который благоухал не то яблоками, не то мятой, разумеется, без сахара. Все это было восхитительным, и я сразу погрузился в литературный спор, кто больше соответствует действительности — футуристы или имажинисты.

Несколько огорчил нас инцидент с Мандельштамом. Он сидел в другом углу комнаты. Вдруг вскочил Блюмкин и завопил: «Я тебя сейчас застрелю!» Он направил револьвер на Мандельштама. Осип Эмильевич вскрикнул. Револьвер удалось вышибить из руки Блюмкина, и все кончилось благополучно.

Мы шли по Арбатской площади, мимо церквушки Бориса и Глеба. Было очень темно, но в окнах копошились слабые огоньки. Вот и Москва, город, на который смотрит весь мир! Здесь нет хлеба, нет угля, людям трудно, но они упрямы, и войну они уже выиграли, пробили путь в историю…

Так я думал по дороге в Третье общежитие. Мне хотелось что-то делать, писать, а главное — ломать прежнее, ломать с. душой: теперь я знал, чем оно пахнет.

18

Коменданта Третьего общежития Наркоминдела звали товарищем Адамом; но, если говорить откровенно, Адамом чувствовал себя я: я оказался в раю, откуда меня легко могли выгнать. Мне нужно было представить удостоверение с места службы, и хотя я довез в сохранности почту, о дипломатической карьере мечтать не приходилось. Товарищ Адам поселил нас в комнате, которая не отапливалась, и все же «Княжий двор» был раем. Утром нам выдавали паек: двести граммов хлеба, крохотный кусок масла и два куска сахара. Днем мы получали кашу — пшенную или ячневую. Конечно, древние князья ели лучше, но в Москве 1920 года такой паек был воистину княжеским.

Я встретил старых друзей, познакомился с молодыми поэтами, написал несколько стихотворений. Люба разыскала А. А. Экстер и поступила во Вхутемас. Неожиданно мне сообщили, что В. Э. Мейерхольд хочет со мною поговорить и предоставить мне интересную работу. Я не знал, о какой работе идет речь, но чувствовал себя окрыленным.

В Доме печати решили устроить вечер моих стихов. Я прочитал стихотворения, написанные в Коктебеле и в Москве. Одет я был непристойно, но на это тогда не обращали внимания, а стихи были патетическими. Я, например, обращался к человеку будущего, который случайно найдет в библиотеке мою книгу:

Средь мишуры былой и слов убогих.
Средь летописи давних смут,
Увидит человека, умирающего на пороге,
С лицом, повернутым к нему.

Когда я кончил читать, все стремительно ринулись в буфет. Там ко мне подошел дежурный член правления поэт Венгров и шепнул, что меня требуют представители Чека; они внизу, у вешалки. «Вы не волнуйтесь, — дружески добавил он, — это явная ошибка».

У вешалки меня ждали два молодых человека; они мне показали ордер. Мы пришли к площади; там стояла машина, которая отвезла меня на Лубянку, в дом, принадлежавший ранее «Страховому обществу «Россия», где помещалась Чека: этот дом вошел и историю. Мало кто помнит, что улика Кирова называлась Мясницкой, Кропоткинская — Пречистенкой, улица Горького —

Тверской, а слово «Лубянка» осталось.

Меня обыскали, нашли фотографию Любы и снимки ее живописных работ. Молодые люди стали меня расспрашивать, что означает кубизм. Но моя голова была занята другим: что означает мой арест? Лекции о живописи не получилось. Молодые люди сказали, что предупредят мою жену (действительно, они поехали к ней, успокаивали — «наверно, его скоро выпустят» — и просили объяснить им современную живопись).

Меня отвели в камеру, где уже помешалось человек восемь, — это были командиры военно-морского флота, люди мужественные и симпатичные; они потеснились, и я лег спать. На следующее утро мне объяснили, что в камере не принято говорить о приключившейся с людьми неприятности. Каждый рассказывает о том, в чем он специалист. Первым был доклад о подводной лодке, сконструированной Налетовым, второй о плавании по Индийскому океану. В свою очередь, я рассказал о Париже, о стихах Франсуа Вийона, об итальянской живописи. (Несколько месяцев спустя я встретил моих товарищей по кратковременному заключению в Камерном театре, на премьере «Принцессы Брамбиллы». Мы обрадовались друг другу и сразу перешли к вопросу о том, чей театр лучше — Таирова или Мейерхольда.)

Вечером меня повели по длинным и сложным коридорам на допрос. Следователь дружески со мной поздоровался, сказал, что встречал меня в «Ротонде». Я его не помнил, но мы поговорили о Париже; потом он сказал: «Видите ли, к нам поступило сообщение, что вы агент Врангеля. Докажите обратное». Моя беда в том, что я всю жизнь не могу освободиться от некоторых доводов Декарта; знаю, что логикой не проживешь, и все же всякий раз ловлю себя на том, что требую от других именно логики. Я ответил, что автор доноса должен доказать, что я агент Врангеля; если мне сообщат, на чем основано его утверждение, я смогу его опровергнуть. Следователь попросил рассказать, как я добрался до Москвы, посочувствовал нашим дорожным невзгодам, крепко обругал хозяина соли и наконец сказал: «Мы с вами еще поговорим…» Я сделал товарищам по камере доклад об испанской поэзии и услышал лекцию о влиянии развития авиации на действия военно-морского флота. Два дня спустя следователь снова вызвал меня. «Скажите, почему вам поручили доставить в Москву дин почту?» Я ответил, что этот вопрос следует поставить нашему послу в Тифлисе; что касается меня, я просто просил посольство отправить меня в Москву. Мы снова вспомнили Париж, и меня отвели в камеру. Я прочитал доклад об архитектуре Версаля и познакомился с анализом подводной

войны в 1917–1918 годах. Третий допрос начался знакомыми словами: «Докажите, что вы не агент Врангеля…» Следователь был в дурном настроении, он сказал, что я упрям и это может меня погубить, контрреволюция не хочет разоружиться, а пролетариат не повторит ошибок Коммуны.

Я решил, что меня, наверно, расстреляют; но утром выступил с докладом о живописи Пикассо и настолько увлекся, что даже позабыл о грозных намеках следователя.

Прошел еще день, и неожиданно меня освободили.

Это было замечательное время! Еще шли бои с врангелевцами, еще не унимались различные банды, еще постреливали террористы. Борьба шла где-то под землей, в темных сапах. Иногда арестованных расстреливали, а тех, кого не расстреливали, освобождали.

Выпустили меня вечером. Я пошел в «Княжий двор», но меня туда не впустили: товарищ Адам, который был всемогущ, как господь бог, выгнал из рая Еву, то есть Любу. Я не знал, где она; не знал, куда мне пойти. На улице было очень холодно, и вдруг я с тоской подумал о тесной камере: там, по крайней мере, была тепло…

Я отправился в Дом печати. Было поздно, и застал я только дежурного распорядителя. Он долго объяснял мне, что ночевать в помещении никто не имеет права; но, поглядев на меня, дрогнул духом. «Ладно! Идем наверх…» Наверху находились комнаты различных литературных группировок. Он меня устроил в комнате пролетарских писателей, где стоял большой диван. К сожалению, верхний этаж не отапливался. Мое парижское пальто, пережившее три бурных года, походило на трухлявую шинель Акакия Акакиевича. Я лежал и чувствовал, что замерзаю. В темноте я сорвал со стены полотнище и закутался; теплее не стало, но, к счастью, я заснул.

Проснулся я от громкого смеха: надо мной стояли пролетарские писатели, среди них мой парижский приятель Миша Герасимов. Стоят и смеются… Оказалось, я завернулся в материю с лозунгом и на мне значится: «Вся культура пролетариату!» Я сам рассмеялся.

Я прочитал написанное мною и задумался: почему в этой части моей книги столько веселых, почти легкомысленных страниц? Ведь события, о которых я рассказываю, отнюдь не были идиллическими: баржа с солью могла легко затонуть; бандитам ничего не стоило прикончить наивного дипкурьера; да и мои беседы со следователем могли кончиться совсем иначе. Все это

так; но человек может сохранять душевное веселье в часы самых трудных испытаний, как он может тосковать, даже отчаиваться, когда ничто лично ему не угрожает. Я писал с нежностью, но и с горечью о моей ранней молодости. Да и предстоит мне в последующих частях моей книги рассказать о многом, что никак не назовешь веселым. Не опасность пригнетает человека, а внутренние обиды, разуверения, ощущение собственного бессилия.

Гашек и Кафка родились оба в Праге в 1883 году; но говорили они несхожими голосами, и в роман Кафки не вставишь размышлений бравого Швейка: диссонанс будет ужасающим. А жизнь не писатель, она не заботится о единстве стиля; одну главу она пишет с улыбкой, в другой выворачивает душу героя.

Вернусь к моему рассказу. Герасимов раздобыл кусок хлеба, чай, и мы позавтракали. В коридорах Дома печати молодые поэты уже спорили о судьбах искусства, а я отправился разыскивать Любу.

19

Мальчишкой я несколько раз видел В. Э. Мейерхольда на сцене «Художественного Общедоступного театра»; помню его сумасшедшим стариком в роли Иоанна Грозного и взволнованным, негодующим юношей в «Чайке».

Сидя в «Ротонде», я не раз вспоминал слова чеховского героя: «Когда поднимается занавес и при вечернем освещении, в комнате с тремя стенами, эти великие таланты, жрецы святого искусства, изображают, как люди едят, пьют, любят, ходят, носят свои пиджаки; когда из пошлых картин и фраз стараются выудить мораль — мораль маленькую, удобопонятную, полезную в домашнем обиходе; когда в тысяче вариаций мне подносят все одно и то же, одно и то же, одно и то же, — то я бегу и бегу, как Мопассан бежал от Эйфелевой башни, которая давила ему мозг своей пошлостью… Нужны новые формы. Новые формы нужны, а если их нет, то лучше ничего не нужно». (Чехов написал «Чайку» в 1896 году, Мопассан умер в 1893 году, Эйфелева башня была построена в 1889 году. В 1913 году мы принимали эту башню и отвергали Мопассана; но слова о «новых формах» мне казались живыми и близкими.)

Я пропустил возможность познакомиться с Мейерхольдом в 1913 году, он приезжал в Париж по приглашению Иды Рубинштейн, чтобы вместе с Фокиным поставить «Пизанеллу» Д'Аннунцио. Я тогда мало знал о постановках Мейерхольда; зато знал, что Д'Аннунцио — фразер и что Ида Рубинштейн — богатая дама, которая жаждет театральных успехов; в 1911 году я видел «Святого Себастьяна», пьесу того же Д'Аннунцио, написанную для той же Иды Рубинштейн, и был раздосадован помесью декадентской красивости с парфюмерным сладострастием. (В. Э. Мейерхольд подружился в Париже с Гийомом Аполлинером, который, видимо, сразу понял, что дело не в Д'Аннунцио, не в Иде Рубинштейн, не в декорациях Бакста, а в душевном смятении молодого петербургского режиссера.)

Осенью 1920 года, когда я познакомился с Мейерхольдом, ему было сорок шесть лет: он был уже седым; черты лица успели заостриться, выступали мохнатые брови и чрезвычайно длинный горбатый нос, похожий на птичий клюв.

ТЕО (театральный отдел Наркомпроса) помещался в особняке напротив Александровского сада. Мейерхольд носился по большой комнате, может быть потому, что ему было холодно, может быть потому, что не умел сидеть в начальническом кресле у традиционного стола с цапками «на подпись». Он, казалось,

клокотал; говорил, что ему понравились мои «Стихи о канунах»; потом вдруг подбежал ко мне и, закинув назад свою голову не то цапли, не то кондора, сказал: «Ваше место — здесь. Октябрь в искусстве! Вы будете руководить всеми детскими театрами Республики…» Я попытался возразить: я не педагог, хватит с меня мофективных киевлян и коктебельской площадки; да я и не смыслю ничего в сценическом искусстве. Всеволод Эмильевич меня оборвал: «Вы — поэт, а детям нужна поэзия. Поэзия и революция!.. К черту сценическое искусство!.. Мы с вами еще поговорим… А приказ о вашем зачислении я подписал. Приходите завтра вовремя…»

Мейерхольд тогда был одержим (как Маяковский) иконоборчеством. Он не заведовал отделом, — он воевал с той эстетикой и удобопонятной моралью, о которой говорил герой «Чайки».

Недавно я выступал в Женеве в студии телевидения. Молоденькая девушка преградила мне дорогу и сказала, что должна меня загримировать. Я запротестовал: мне предстоит говорить о голоде в экономически отсталых странах, при чем тут красота, да и не пристало мне на старости лет впервые румяниться. Девушка ответила, что таковы правила, все должны подвергнуться операции; она наложила на мое лицо тонкий слой желтоватого крема. Я сейчас подумал, что свет памяти столь же резок, как и свет телевизионных студий, и что, говоря в этой книге о некоторых людях, я невольно кладу слой краски, смягчающей слишком острые черты. А вот со Всеволодом Эмильевичем мне не хочется этого делать; я попытаюсь дать его не с притушенными, но с жесткими деталями.

Характер у него был трудный: доброта сочеталась с запальчивостью, сложность духовного мира — с фанатизмом. Как некоторые большие люди, с которыми мне привелось столкнуться в жизни, он страдал болезненной подозрительностью, ревновал без оснований, видел часто козни там, где их не было.

Первая наша размолвка была бурной, но кратковременной. Один военмор принес мне пьесу для детей; все персонажи были рыбами (меньшевики — карасями), и в последнем акте торжествовал «рыбий совнарком». Пьеса мне показалась неудачной, я ее забраковал. Вдруг меня вызывает Мейерхольд. На столе у него рукопись. Он раздраженно спрашивает, почему я отклонил пьесу, и, не дослушав, начинает кричать, что я против революционной агитации, против Октября в театре. Я, в свою очередь, рассердился, сказал, что это «демагогия». Всеволод Эмильевич потерял самообладание, вызвал коменданта: «Арестовать Эренбурга за саботаж!» Комендант выполнить приказ

отказался и посоветовал Мейерхольду обратиться в ВЧК. Я, возмущенный, ушел и решил, что больше в ТЕО не будет моей ноги. На следующее утро Всеволод Эмильевич позвонил: ему необходимо посоветоваться со мной о театре петрушки. Я пошел, и вчерашней сцены будто не было…

Всеволод Эмильевич заболел. Несколько раз я был у него в больнице; он лежал с забинтованной головой. Он мне рассказывал о своих планах, расспрашивал, что происходит в ТЕО, был ли я на новых постановках. Вероятно, в моих репликах и рассказах проскальзывала ирония, потому что Мейерхольд иногда упрекал меня в безверии, даже к цинизме. Однажды, когда я сказал о расхождении многих проектов с действительностью, он приподнялся и захохотал: «Вы — в роли заведующего всеми детскими театрами Республики, нет, Диккенс не придумал бы лучше!..» Бинты походили на чалму, а Всеволод Эмильевич, худой и носатый, — на восточного кудесника. Я тоже рассмеялся и сказал, что приказ о моем назначении подписан не Диккенсом, а Мейерхольдом.

Несколько раз я был на «Зорях». Это слабая пьеса, да и в постановке было много случайного. Мейерхольд боролся против «трех стен». о которых говорил Треплев, против рампы, против написанных декораций. Он хотел приблизить сцену к зрителям. Помещение было безвкусным — знаменитый кафешантан «Омон», где москвичи когда-то рассматривали полуголых «этуалей»; впрочем, зал был в таком состоянии, что его убранство не бросалось в глаза. Театр не отапливали, все сидели в шинелях, в полушубках, в тулупах. Изо ртов актеров вырывались грозные слова и нежнейшие облака. Часть актеров разместили в партере; они неожиданно взбегали на сцепу, где стояли серые кубы и зачем-то висели веревки. Иногда на сцену подымались и зрители: красноармейцы с духовым оркестром, рабочие. (Мейерхольд хотел посадить несколько актеров в ложу; они должны были изображать Эсеров и меньшевиков и подавать соответствующие реплики. Всеволод Эмильевич с сожалением мне рассказывал, что ему пришлось отказаться от этой идеи: зрители могут подумать, что это всамделишные контрреволюционеры, и начнется потасовка.) Был я и на спектакле, когда один из актеров торжественно прочитал только что полученную сводку, взят Перекоп. Трудно описать, что делалось в зале…

На диспуте постановку ругали; Маяковский защищал Мейерхольда. Не знаю, что сказать о самом спектакле: его не оторвешь от времени; он тесно связан с агитками Маяковского, с карнавальными шествиями, устраивавшимися «левыми» художниками, с климатом тех лет. Таким же представлением

эпохи показалась мне на репетициях «Мистерия-Буфф». Любить эти спектакли было трудно, но хотелось их защищать, даже возвеличивать. Я писал в 1921 году: «Неудачные по выполнению, великолепные по замыслу постановки Мейерхольда: не только собирать театральность, но и немедленно ее растворить, уничтожить рампу, смешать комедиантов со зрителями». А Маяковский кончил свою речь на диспуте о «Зорях» так: «Да здравствует театр Мейерхольда, если даже на первых порах он и сделал плохую постановку!» Молодой Багрицкий писал:

Пышноголового Мольера
Сменяет нынче Мейерхольд.
Он ищет новые дороги,
Его движения — грубы…
Дрожи, театр старья, в тревоге:
Тебя он вскинет на дыбы!

Летом 1923 года я жил в Берлине; туда приехал Мейерхольд. Мы встретились. Всеволод Эмильевич предложил мне переделать мой роман «Трест Д. Е.» для его театра, говорил, что пьеса должна быть смесью циркового представления с агитационным апофеозом. Переделывать роман мне не хотелось; я начинал охладевать и к цирковым представлениям, и к конструктивизму, зачитывался Диккенсом и писал сентиментальный роман со сложной интригой — «Любовь Жанны Ней». Я знал, однако, что Мейерхольду трудно перечить, и ответил, что подумаю.

Вскоре в театральном журнале, который издавали единомышленники Мейерхольда, появилась статья, где рассказывалось в форме фантастической новеллы о том, как меня похитил Таиров, для которого я подрядился переделать мой роман в контрреволюционную пьесу.

(Мейерхольд много раз в жизни подозревал добрейшего и чистейшего Александра Яковлевича Таирова в стремлении уничтожить его любыми средствами. Это относится к той подозрительности, о которой я говорил. Никогда Таиров не собирался ставить «Трест Д. Е.».)

Приехав в Советский Союз, я прочитал, что Мейерхольд готовит пьесу «Трест Д. Е.» написанную неким Подгаецким «по романам Эренбурга и Келлермана». Я понял, что единственный довод, который может остановить Мейерхольда, сказать, что я хочу сам инсценировать роман для театра или для кино. В марте 1924 года я написал ему, начав «Дорогой Всеволод Эмильевич» и кончив «сердечным приветом»: «Наше свидание прошлым летом, в частности беседы о возможности переделки мною «Треста»,

позволяют мне думать, что Вы дружественно и бережно относитесь к моей работе. Поэтому решаюсь первым делом обратиться к Вам с просьбой, если заметка верна, отказаться от этой постановки… Я ведь не классик, а живой человек…»

Ответ был страшен, в нем сказалось неистовство Мейерхольда, и никогда бы я о нем не рассказал, если бы не любил Всеволода Эмильевича со всеми его крайностями. «Гражданин И. Эренбург! Я не понимаю, на каком основании обращаетесь Вы ко мне с просьбой «отказаться от постановки» пьесы т. Подгаецкого? На основании нашей беседы в Берлине? Но ведь эта беседа в достаточной мере выяснила, что, если бы даже Вы и взялись за переделку Вашего романа, Вы сделали бы пьесу так, что она могла бы быть представлена в любом из городов Антанты…»

Я не был на спектакле; судя по отзывам друзей и но статьям расположенных к Мейерхольду критиков, Подгаецкий написал слабую пьесу. Всеволод Эмильевич поставил ее интересно: Европа гибла шумно, убегали щиты декораций, актеры впопыхах перегримировывались, грохотал джаз. За меня неожиданно вступился Маяковский; на обсуждении постановки «Треста Д. Е.» он сказал о переделке: «Пьеса «Д. Е.» — абсолютный нуль… Переделывать беллетристические произведения в пьесу может только тот, кто выше их авторов, в данном случае Эренбурга и Келлермана»… Спектакль, однако, имел успех, и табачная фабрика «Ява» выпустила папиросы «Д. Е». А я из-за этой глупой истории в течение семи лет не встречался с Всеволодом Эмильевичем…

Приезжая в Москву, я глядел постановки Мейерхольда: «Великодушного рогоносца», «Смерть Тарелкина», «Лес». Я покупал билет и боялся, что Всеволод Эмильевич меня увидит в зале. (Трудно было найти в этих пьесах агитационный апофеоз, их могли бы играть и в «городах Антанты». Всеволод Эмильевич никогда не стоял на месте.)

Мейерхольд не шел ровной, прямой дорогой; он подымался в гору, и его путь был петлистым. Когда его последователи кричали на всех перекрестках, что нужно разрушить театр, Всеволод Эмильевич уже готовил постановку «Леса». Многие не поняли, что же приключилось с неистовым иконоборцем: почему его прельстили Островский, трагедия искусства, любовь? (Так последователи Маяковского не поняли, почему в 1923 году, осудив перед этим лирическую поэзию, он написал «Про это». Интересно, что «Лес» был поставлен вскоре после того, как была написана поэма «Про это». Маяковский-поэт уже возвращался к поэзии, а Маяковский-лефовец сурово осудил Всеволода

Эмильевича за его возвращение к театру: «Для меня глубоко отвратительна постановка «Леса»…»)

Картины висят в музеях, книги имеются в библиотеках, а спектакли, которых мы не видели, остаются для нас сухими рецензиями. Легко установить связь между «Про это» и ранними стихами Маяковского, между «Герникой» Пикассо и его холстами «голубого периода». А вот мне трудно судить, что перешло от дореволюционных постановок Мейерхольда в его «Лес» и «Ревизора». Бесспорно, многое: петли петлями, но ведь это — петли одной дороги…

«Лес» был чудесной постановкой, и спектакль волновал зрителей. Мейерхольд многое в нем открыл; по-новому передал трагедию искусства. Была, однако, в этой постановке деталь, которая выводила из себя (а может быть, радовала) противников Мейерхольда: зеленый парик на одном из актеров. Пьеса шла много лет подряд. Как-то после одного из спектаклей в Ленинграде состоялось обсуждение. Всеволода Эмильевича закидали записками: он радовался, сердился, шутил. «Скажите, что означает зеленый парик?» Он повернулся к актерам и недоумевающе сказал: «А действительно, что он означает? Кто его придумал?…» С того вечера зеленый парик исчез. Не знаю, сыграл ли Мейерхольд сцену изумления или искренне удивился: запамятовал деталь, придуманную, конечно же, им. (В жизни мне часто приходилось слышать недоуменные вопросы: «А кто действительно это придумал?», порой исходившие от авторов различных нелепостей, куда более важных, чем злосчастный парик.)

Мейерхольд был пугалом для людей, которым претило новое; его имя стало нарицательным; некоторые критики не замечали (или не хотели заметить), что Мейерхольд шел дальше: они его облаивали на полустанке, о котором он успел давно забыть.

Всеволод Эмильевич не страшился отступаться от эстетических концепций, которые еще накануне казались ему правильными. В 1920 году, когда он ставил «Зори», он рвал с «Сестрой Беатрисой» и с «Балаганчиком». Потом он вышучивал придуманную им «биомеханику».

Треплев в первом акте говорит, что главное новые формы, а в последнем, перед тем как застрелиться, признается: «Да, я все больше и больше прихожу к убеждению, что дело не в старых и не в новых формах, а в том, что человек пишет, не думая ни о каких формах, пишет, потому что это свободно льется из его души». В 1938 году Всеволод Эмильевич говорил мне, что спор идет не о старых и новых формах в искусстве, а об искусстве и о подделке под него.

Он никогда не отрекался от того, что считал существенным, отбрасывал «измы», приемы, эстетические каноны, а не свое понимание искусства; постоянно бунтовал, вдохновлялся, горел.

Ну что страшного было в чеховских водевилях? О «левом искусстве» к тому времени все успели позабыть. Маяковский был признан гениальным поэтом. А на постановку Мейерхольда все равно накинулись. Он мог говорить самые обыкновенные веши, но было что-то в его голосе, глазах, улыбке выводившее из себя людей, которым не по душе творческое горение художника.

Весной 1930 года в Париже я увидел мейерхольдовского «Ревизора». Это было в небольшом театре на улице Гэтэ, где обычно показывали жителям окраины вздорные водевили или раздирающие душу мелодрамы, с тесной и неудобной сценой, без фойе (в антрактах зрители выхолили на улицу), словом, в помещении скорее мизерном. «Ревизор» меня потряс. Я успел давно охладеть к эстетическим увлечениям моей молодости и боялся идти на спектакль слишком ревниво любил Гоголя. И вот я увидел на сцепе все то, чем меня притягивал Гоголь: щемящую тоску художника и зрелище неизбывной, жестокой пошлости.

Я знаю, что Мейерхольда обвиняли в искажении текста Гоголя, в кощунственном к нему отношении. Конечно, его «Ревизор» не походил на те спектакли, которые я видел в детстве и в молодости; казалось, текст раздвинут, но в нем не было отсебятины — все шло от Гоголя. Можно ли на одну минуту поверить, что обличение провинциальных чиновников эпохи Николая I — единственное содержание пьесы Гоголя? Разумеется, для современников Гоголя «Ревизор» был прежде всего жестокой сатирой на общественный строй, на нравы; но, как всякое гениальное произведение, он пережил стадию злободневности, он волнует людей сто лет спустя после того, как исчезли с лица земли николаевские городничие и почтмейстеры. Мейерхольд раздвинул рамки «Ревизора». В этом ли кощунство? Ведь различные театральные инсценировки романов Толстого или Достоевского считаются благородным делом, хотя они сужают рамки произведений…

Андрей Белый не только любил Гоголя, он был им болен, и, может быть, многие художественные неудачи автора «Серебряного голубя» и «Петербурга» следует отнести к тому, что он не мог преодолеть власти Гоголя. И вот Андрей Белый, увидев в театре Мейерхольда «Ревизора», выступил со страстной защитой этого спектакля.

А в Париже на спектакле были по большей части французы — режиссеры, актеры, любители театра, писатели, художники; это напоминало смотр знаменитостей. Вот Луи Жувэ, вот Пикассо,

вот Дюллен, вот Кокто, вот Дерен, вот Бати… И когда спектакль кончился, эти люди, казалось бы объевшиеся искусством, привыкшие дозировать свои одобрения, встали и устроили овацию, какой я в Париже не видел.

Я пробрался за сцену. В маленькой артистической уборной стоял взволнованный Всеволод Эмильевич. Еще белее стали волосы, длиннее нос. Семь лет прошло… Я сказал, что не мог вытерпеть, пришел поблагодарить. Он крепко обнял меня.

С тех пор ни разу не было между нами отдаления или холода. О вздорной ссоре мы не заговаривали. Мы встречались в Париже или в Москве, подолгу разговаривали, иногда и молчали, как можно молчать при настоящей близости.

Когда Мейерхольд решил поставить «Ревизора», он сказал актерам: «Вы видите аквариум, в нем давно не меняли воду, зеленоватая вода, рыбы кружатся и пускают пузыри». Мне он говорил, что, работая над «Ревизором», часто вспоминал Пензу гимназических лет.

(В 1948 году я шел по одной из пензенских улиц с А. А. Фадеевым, вдруг Фадеев остановился: «Это дом Мейерхольда…» Мы молча постояли; потом Александр Александрович в тоске сказал «эх», махнул рукой и быстро зашагал к гостинице.)

Мейерхольд ненавидел стоячую воду, зевоту, пустоту; он часто прибегал к маскам именно потому, что маски его страшили — не каким-то мистическим ужасом небытия, а одеревеневшей пошлостью быта, Заключительная сцена «Ревизора», длинный стол в «Горе от ума», персонажи «Мандата», даже чеховские водевили — все это тот же поединок художника с пошлостью.

То, что он стал коммунистом, не было случайностью: он твердо знал, что мир необходимо переделать. Он основывался не на чужих доводах, а на своем опыте. Среди нас он был стариком. Маяковский родился с революцией, а у Мейерхольда позади был клубок исхоженных им дорог: и Станиславский, и Комиссаржевская, и питерские символисты, «Балаганчик», Блок, исхлестанный снежными метелями, «Любовь к трем апельсинам» и много другого. Еще сидя в «Ротонде», мы гадали, как должен выглядеть таинственный доктор Дапертутто (литературный псевдоним Мейерхольда).

Из всех людей, которых я вправе назвать моими друзьями, Всеволод Эмильевич был но возрасту самым старым. Я только родился в XIX веке, а он в нем жил, бывал в гостях у Чехова, работал с В. Ф. Комиссаржевской, знал Скрябина, Ермолову… И самое удивительное, что он оставался неизменно молодым; всегда что-то придумывал, бушевал, как гроза в мае.

Всю жизнь его сопровождали нападки. В 1911 году

нововременец Меньшиков возмущался постановкой «Бориса Годунова»: «Я думаю, что г. Мейерхольд взял приставов из своей еврейской души, а не из Пушкина, у которого нет ни приставов, ни кнутьев…» Некоторые статьи, написанные четверть века спустя, были, право же, не чище и не справедливее приведенных выше слов…

Он не походил на мученика: страстно любил жизнь — детей и шумные митинги, балаганы и холсты Ренуара, поэзию и леса строек. Он любил свою работу. Несколько раз я присутствовал на репетициях: Всеволод Эмильевич не только объяснял — он сам играл. Помню репетиции чеховских водевилей. Мейерхольду было за шестьдесят, но он поражал молодых актеров неутомимостью, блеском находок, огромным душевным весельем.

Я говорил, что спектакли умирают — их не воскресишь. Мы знаем, что Адре Шенье был прекрасным поэтом, но мы можем только верить, что его современник Тальма был прекрасным актером. И все же творческий труд не исчезает: он может быть на время незримым, как река, уходящая под землю. Я смотрю спектакль в Париже, кругом восхищаются: «Как ново!», а я вспоминаю постановки Мейерхольда. Я вспоминаю их и сидя во многих московских театрах. Вахтангов писал: «Мейерхольд дал корни театрам будущего — будущее и воздаст ему». Перед Мейерхольдом преклонялся не только Вахтангов, но и Крэг, Жувэ, многие другие крупнейшие режиссеры, Эйзенштейн мне как-то сказал, что его не было бы без Мейерхольда.

Еще в августе 1930 года он писал мне: «…Театр может погибнуть. Враги не дремлют. Много есть в Москве людей, для которых театр Мейерхольда бельмо на глазу. Ох, долго и скучно об этом рассказывать!»

Наши последние встречи были невеселыми. Я приехал из Испании в декабре 1937 года. Театр Мейерхольда был уже закрыт. От пережитого жена его, Зинаида Николаевна Райх, душевно заболела. Поддерживал Мейерхольда К. С. Станиславский, который часто ему звонил по телефону, пытался приободрить.

В это время П. П. Кончаловский написал замечательный портрет Мейерхольда. Многие портреты Кончаловского декоративны, но Петр Петрович горячо любил Мейерхольда и в портрете раскрыл его вдохновение, тревогу, душевную красоту.

Всеволод Эмильевич подолгу сидел у себя, читал, рассматривал художественные монографии. Он все еще дерзал: ему мерещилась постановка «Гамлета»; он говорил: «Я, кажется, теперь смогу справиться. Прежде не решался. Если бы исчезли все пьесы мира, а «Гамлет» остался, то остался бы и театр…»

Мне хочется еще сказать, что Мейерхольда поддерживала в

это трудное для него время Зинаида Николаевна. Передо мною копия письма Всеволода Эмильевича жене, написанного в октябре 1938 года из дачной местности Горенки: «…Приехал я в Горенки 13-го, глянул на березки и ахнул… Смотри, эти листья рассыпаны по воздуху. Рассыпанные, они застыли, как будто замерзли… Застывшие, они чего-то ждут. Как их подстерегли! Секунды их последней жизни я считал, как пульс умирающего. Застану ли я их в живых, когда снова я буду в Горенках через день, через час. Когда я смотрел 13-го на сказочный мир золотой осени, на все эти чудеса, я мысленно лепетал: Зина, Зиночка, смотри на эти чудеса и не покидай меня, тебя любящего, тебя — жену, сестру, маму, друга, возлюбленную, золотую, как эта природа, творящая чудеса!.. Зина, не покидай меня! Нет на свете ничего страшнее одиночества!»

Мы расстались весной 1938 года — я уезжал в Испанию. Обнялись. Тяжелым было это расставание. Больше я его не видел: в июне 1939 года Мейерхольд был арестован в Ленинграде, 1 февраля 1940 года был приговорен к десяти годам без права переписки. Справка о смерти помечена 2 февраля.

В 1955 году молодой прокурор, никогда прежде не слыхавший имени Мейерхольда, рассказал мне о том, как был оклеветан Всеволод Эмильевич, он прочитал мне его заявление на закрытом заседании военного трибунала. «…Мне шестьдесят шесть лет. Я хочу, чтобы дочь и мои друзья когда-нибудь узнали, что я до конца остался честным коммунистом». Читая эти слова, прокурор встал. Встал и я.

20

Вскоре я вернулся в потерянный рай: товарищ Адам, прочитав записку заместителя наркома Л. Кара хана, составленную абстрактно и возвышенно, а именно: «Эренбург остается жить», предоставил нам комнату. Я получал паек, а с февраля мне дали карточку на обеды в «Метрополе»; там отпускали пустой суп, пшенную кашу или мороженую картошку. При выходе нужно было сдать ложку и вилку — без этого не выпускали.

Кто-то сказал мне, что я родился в рубашке. Однако я не только родился в рубашке, я ходил в одной рубашке; а Москва зимой не Бразилия…

Давным-давно я описал в журнале «Прожектор», как в конце 1920 года я раздобыл себе одежду. Это не очень серьезная история, но она восстанавливает некоторые бытовые черты тех лет, да и показывает, что житейские трудности нас не обескураживали.

Я уже упоминал о моем парижском пальто, с годами превратившемся в дырявый капот. Я не сказал о самом главном — о костюме; пиджак еще как-то держался, но брюки расползлись.

Тогда-то я понял, что означают штаны для тридцатилетнего мужчины, вынужденного жить в цивилизованном обществе, — обойтись без штанов действительно невозможно. На службе я все время сидел в пальто, боясь неосторожным движением распахнуть полы: ведь со мною работали поэтесса Ада Чумаченко и молодые фребелички.

Краснофлотец-драматург пригласил меня к себе; жил он в «Лоскутной». Я пережил у него немало мучений; он накормил меня замечательными оладьями, но эти оладьи приготовляла молодая женщина. В комнате было жарко, меня уговаривали снять пальто, а я упирался и никак не мог объяснить почему.

Однажды меня не впустили в Камерный театр; я показывал приглашение, мандаты, различные удостоверения; но контролер был неумолим: «Товарищ, в верхнем платье не разрешается…»

Хотя я заведовал всеми детскими театрами Республики и получал полтора пайка, я чувствовал себя неполноценным: у меня не было штанов.

Наступила суровая зима. Мое пальто грело не больше, чем кружевная шаль. Я простудился, чихал, кашлял. Наверно, у меня была температура, но мы тогда этим мало интересовались. Случайно я встретил одного из товарищей по подпольной гимназической организации; поглядев на меня, он рассердился:

«Почему вы мне раньше не сказали?…» Он написал записку председателю Моссовета и шутя добавил: «Лорд-мэр Москвы вас оденет».

Попасть на прием к «лорд-мэру» было нелегко, в приемной толпились всевозможные просители. Наконец я проник в просторную комнату; за письменным столом сидел почтенный человек с аккуратно подстриженной бородкой, которого я хорошо знал по Парижу. Я понимал, что у него уйма дел, и стеснялся. Он был чрезвычайно любезен, говорил о литературе, спрашивал, какие у меня творческие планы. Ну как здесь было заговорить о штанах? Наконец, набравшись храбрости и воспользовавшись паузой, я в отчаянии выпалил: «Кстати, мне совершенно необходимы брюки…»

«Лорд-мэр» смутился: он внимательно меня оглядел: «Да вам не только костюм нужен, а и зимнее пальто…» Он дал мне записку к заведующему одним из отделов МПО; на записке было сказано лаконично: «Одеть т. Эренбурга».

На следующее утро, встав пораньше, я пошел в МПО (эти буквы не имеют ничего общего с противовоздушной обороной, обозначали они «Московское потребительское общество» — ведомство, которому было поручено снабжать население продовольствием и одеждой). С легкомыслием баловня судьбы я спросил: «Где здесь выдают ордера на одежду?» Кто-то мне показал длиннейший хвост на Мясницкой.

Было очень холодно; и, стоя в очереди, я малодушно забыл про брюки — мечтал о теплом зимнем пальто. Под вечер я приблизился к заветной двери. Но тут приключилось нечто непредвиденное. Ко мне подошла молодая женщина, повязанная теплым платком, и возмущенно завизжала: «Нахал какой! Я здесь с пяти утра стою, а он только пришел — и на мое место…» Она навалилась на меня, а весила она немало; я сопротивлялся, но безуспешно — она меня вытеснила из очереди. Я обратился к людям, стоявшим позади: «Товарищи, вы ведь видели, что я весь день стою…» Люди были голодные, усталые, безучастные; никто меня не поддержал. Я понял, что справедливости не дождаться, отошел на несколько шагов, разбежался и с ходу вытолкнул самозванку из очереди. Люди продолжали равнодушно молчать: они явно предпочитали нейтралитет. А женщина преспокойно ушла и начала искать уязвимое место в длиннущей очереди.

Наконец я вошел в кабинет заведующего, который, прочитав записку, сказал: «У нас, товарищ, мало одежды. Выбирайте — пальто или костюм». Выбрать было очень трудно; замерзший, я готов был попросить пальто, но вдруг вспомнил унижения предшествующих месяцев и крикнул: «Брюки! Костюм!..» Мне

выдали соответствующий ордер.

Я пошел в указанный распределитель; там мужских костюмов не оказалось, мне предложили взамен дамский или же плащ. Я, разумеется, отказался, и меня направили в другой распределитель, где мне показали костюм, сшитый, видимо, на карлика и поэтому уцелевший с царских времен. Наконец в распределителе на углу Петровки и Кузнецкого я нашел костюм по росту, надел брюки и почувствовал себя человеком. В детской секции ТЕО я сразу составил десять проектов. Стояли, однако, сильные морозы, и я продолжал отчаянно кашлять. Сознание, что на мне брюки, придавало мне бодрости, и я начал разыскивать зимнее пальто.

Будучи страстным курильщиком, я раз в месяц на Сухаревке менял хлеб на табак. На Сухаревке торговали всем — китайскими вазами, кусочками сахара, рассыпными папиросами, камнями для зажигалок, бухарскими коврами, дореволюционным, заплесневевшим шоколадом, романами Бурже в сафьяновых переплетах. На Сухаревке можно было купить и рваный полушубок, но стоил он не менее пятидесяти тысяч. А денег у меня не было. В карманах новенького пиджака я держал мандаты, проекты, стихи, старую, насквозь прожженную трубку, табачную труху и порой кусочек сахара, который уносил из гостеприимного дома заведующего ИЗО Д. П. Штеренберга.

Недавно мне попался в руки каталог рукописных книг, которыми торговала «Книжная лавка писателей»; среди авторов Андрей Белый, В. Лидин, М. Герасимов, Шершеневич, Марина Цветаева, И. Новиков, много других. Проставлена и моя книжка: «Испанские песни», цена 3000 рублей. Книжка, переписанная Шершеневичем, снабжена примечанием: «По себестоимости 4 куска сахара — 2000 рублей, кружка молока — 1800, 50 папирос — 6 000». Деньги были настолько обесценены, что о них мало кто думал; мы жили пайками и надеждой. Все же я решил набрать деньги на пальто и подрядился прочитать стихи в кафе «Домино». Там было нестерпимо холодно; посетителям давали чай с сахарином или смертельно-бледную, голубоватую простоквашу. Не понимаю, почему туда приходили люди. В морозном полумраке раздавался зловещий вой Шершеневича, Поплавской или Дира Туманного. Ходили в «Домино» спекулянты, агенты уголовного розыска, любознательные провинциалы и чудаки-меланхолики.

Я снял с себя шинель Акакия Акакиевича, чихнул и начал выть — тогда все поэты выли, даже когда читали нечто веселое. Один спекулянт сочувственно высморкался, двое других не выдержали и ушли. Я получил три тысячи.

Мне повезло: несколько дней спустя я набрел на весьма подозрительного гражданина, который предложил мне достать полушубок за семь тысяч рублей. Это было почти даром. Я продал хлебный паек за две недели и притащил полушубок в «Княжий двор».

Полушубок был чересчур тесен и сильно вонял, но мне он казался горностаевой мантией с картины Веласкеса. Я его надел и хотел было отправиться в Дом печати, но тут пришла из Вхутемаса Люба и потребовала, чтобы я снял с себя обновку: на груди полушубка красовалась большущая печать. Гражданин недаром мне показался подозрительным: он продал краденый военный полушубок.

Мною овладела резиньяция: лучше чихать, кашлять, чем попасть в поганую историю. Но Люба недаром была конструктивисткой, училась у Родченко и говорила весь день о фактуре, о вещности, о производственной эстетике — она нашла выход.

В Москве существовали тогда «магазины ненормированных продуктов»; там продавали мороженые яблоки, химический чай «Шамо», сахарин, швабры, сита. Я продал два фунта паечного пшена и в «магазине ненормированных продуктов» купил краску для кожи. Люба привычной рукой взялась за кисти. Полушубок с каждой минутой хорошел: он превращался в черную куртку шофера. Но, к сожалению, кожа жадно впитывала краску; один рукав так и остался незакрашенным, а больше не было ни краски, ни рублей, ни пшена.

Конечно, я мог бы ходить в черном полушубке с желтым рукавом; никто на меня не обернулся бы. Все были одеты чрезвычайно своеобразно. Модницы щеголяли в вылинявших солдатских шинелях и зеленых шляпках, сделанных из ломберного сукна. На платья шли бордовые гардины, оживляемые супрематическими квадратами или треугольниками, вырезанными из покрышек рваных кресел. Художник И. М. Рабинович прогуливался в полушубке изумрудного цвета. Есенин время от времени напяливал на голову блестящий цилиндр. Но я боялся, что желтый рукав отнесут к эксцентричности, примут не за беду, а за эстетическую программу.

Под Новый год в ТЕО всем сотрудникам выдали по банке гуталина. Это было воспринято как несчастье, тем паче что накануне в МУЗО выдавали кур. Но Люба нашла применение сапожной мази: она покрыла ею желтый рукав.

Новый год мы встречали у художника Рабиновича. Говорили, что будет ужин, даже водка; но никто ничего не раздобыл. Мы ели кашу и чокались кружками с чаем, а веселились, как будто

пили шампанское.

Проклятый гуталин, однако, не высыхал; стоило пойти снегу, как рукав становился марким. Я испачкал несколько чужих пальто; меня начали побаиваться, и я предупреждал: «Пожалуйста, идите слева — справа я пачкаю…»

Все же я мог теперь, не замерзая, бродить ночью по улицам Москвы. Все тогда ходили по мостовой — не было ни машин, ни лошадей, а тротуары напоминали каток. Днем многие тащили салазки дрова, керосин, пшено. Люди «прикреплялись» или «откреплялись» — это относилось к продовольственным карточкам. (Помню стихи:

Что сегодня, гражданин, на обед?
Прикреплялись, гражданин, или нет?)

А по ночам бродили мечтатели. Никогда не забуду и тех прогулок! Мы медленно продвигались между сугробами; порой шли цепью — один за другим. Так идут в пустыне караваны. Мы говорили о поэзии, о революции, о новом веке; мы были караванами, которые пробирались в будущее. Может быть, поэтому с такой легкостью мы переносили и голод, и холод, и многое другое. Караваны шли но всем русским городам, и двадцатипятилетний Н. С. Тихонов, которого я тогда не знал, наверно, читал кому-нибудь свои стихи:

Гвозди б делать из этих людей;
Крепче б не было в мире гвоздей.

Мы шли гуськом, над нами сверкали звезды — улицы были темными, никто не мешал звездам сверкать. В день моего рождения Ядвига печально сказала, что не смогла раздобыть подарка — ни цветов, ни леденца; шутя она добавила, глядя на звездное небо: «Я тебе дарю Кассиопею…» Мы не подозревали, что доживем до того времени, когда в Организации Объединенных Наций будут рассуждать, как оградить небесные светила от захвата, и когда все девушки смогут подносить своим друзьям пристойные галстуки из шелка, шерсти или химической массы…

21

Я продолжал работать в детской секции ТЕО. Конечно, к нашим трудам можно подойти недоверчиво: мы главным образом составляли проекты детских театров да еще добывали пайки для актеров. Время было трудное; напомню для его характеристики слова В. И. Ленина, написанные им в феврале 1921 года по поводу работы Наркомпроса: «Мы нищие. Бумаги нет. Рабочие холодают и голодают, раздеты, разуты. Машины изношены. Здания разваливаются». Мы старались поддержать различные начинания. Существовал Детский театр, которым руководила актриса Генриетта Паскар. Скульптор Ефимов и его жена давно занимались кукольным театром. Появилась молоденькая Наташа Сац, потом много сделавшая для художественного воспитания детей. В различных рабочих клубах устраивались спектакли для детворы. Наконец, знаменитый клоун и дрессировщик животных В. Л. Дуров задумал показывать детям четвероногих артистов.

Тогда все больше проектировали, чем осуществляли: фантазии было много, средств мало. Все же мне кажется, что наша на первый взгляд совершенно бессмысленная работа дала некоторые результаты: мы помогли будущим драматургам, режиссерам, актерам создать пять или десять лет спустя интереснейшие театры для детей.

Внешне было много забавного. Мы работали рядом с секцией цирка, ею руководила актриса Рукавишникова, жена поэта. Иногда она уезжала домой в санях. Около Манежа лошадь неожиданно становилась на задние ноги, как будто она пудель, или начинала вальсировать, пугая прохожих: это была цирковая лошадь, которую заставляли выполнять обязанности битюга, и она, видимо, не могла преодолеть страсти к искусству. Наша детская секция, впрочем, не уступала циркачам: к особняку порой подбегал тощий, аскетический верблюд, запряженный в сани, — его посылал за мной В. Л. Дуров.

К Рукавишниковой приходили живописные посетители. Жонглеры, подымавшие пудовые гири, требовали академических пайков. Иностранные акробаты протестовали против уплотнения. Один клоун истошно вопил: «При чем тут марксистское объяснение событий? Я не могу допустить, чтобы мои шутки брали всерьез. Не для этого мы делали революцию!..» Ко мне приходили куда более скучные посетители — неудачливые драматурги. В одной из газет была напечатана статья о том, что пет пьес для детей; и вот в Москву начали приезжать люди различных профессий из Тамбова, из Челябинска, из Твери; они

загромождали маленькую комнату кипами рукописей. Пьесы были написаны зелеными чернилами на обороте нотариальных актов, на листочках, вырванных из тетрадей, даже на оберточной бумаге. Один автор изображал героические похождения малолетнего Лассаля, другой доказывал, что русалки — продукт буржуазного сознания, третий изобличал козни Антанты (я почему-то запомнил стихи: «Зарубите на носу, как мы дали Клемансу»). Некоторые начинали здесь же читать вслух свои произведения. Один просидел в секции несколько дней: требовал охранной грамоты на комнату и академического пайка.

Был я в клубе возле Таганской площади; там сборная труппа поставила для детей пьесу никому не известного драматурга иол названием «Судьба Паши». Актеры на сцене натурально крякали, пили чай и все время говорили о пользе учения. Девочку Пашу играла пожилая актриса, она повторяла с психологическими паузами: «Так вот, значит, поняла я темп жизни и захлопнула книжку…»

Театр Паскар инсценировал «Джунгли» Киплинга. Пантера на сцене сладострастно потягивалась и кривлялась, как будто она не зверь, а Саломея из пьесы Уайльда. Мне это показалось декадентством, и я рассердился. (Теперь спутались многие понятия. Большая Советская Энциклопедия причисляет к декадентам Сезанна, Гогена, Рембо, Гамсуна, Дебюсси, Равеля — словом, почти всех крупных писателей и художников конца XIX и начала XX века. А ведь декадентство действительно существовало — достаточно вспомнить ту же «Саломею», романы Пшибышевского или картины Штука.) Выслушав мою критику, Г. Паскар спокойно ответила, что я могу ставить другие пьесы, где мне заблагорассудится, и вообще заняться чем-либо иным. Подумав, я решил, что она права, и начал посвящать свободное от проектов время работе с В. Л. Дуровым — его звери не были ни натуралистами, ни декадентами.

Была у меня и другая служба. На Пречистенке, в доме, который меня волновал, когда я был гимназистом (там был Институт для благородных девиц), помешалась Военно-химическая академия, и курсанты предложили мне обучать их стихосложению. Им хотелось писать ямбом, хореем и даже свободным стихом. Они прилежно считали слоги и подыскивали рифмы. Вряд ли из них вышли поэты, но я убежден, что на всю жизнь они запомнили свое тяготение к поэзии, как помнят люди свою первую любовь.

Для прозы тогда не было ни времени, ни бумаги; кроме того, проза требует душевного опыта, наблюдений, критического подхода, умении осмыслить происходящее; проза начала

появляться несколько лет спустя. Зато было раздолье дли стихов. Теперь у нас устраивают День поэзии; поэты выступают в книжных лавках и соблазняют любителей автографами. А тогда стихи декламировали повсюду — на бульварах, на вокзалах, в морозных цехах заводов, и это был не День поэзии, а целая се эпоха.

Помню, как в Союз поэтов поступило заявление: отряд Красной Армии, который направлялся на юг для ликвидации врангелевцев, просил прислать в казармы Маяковского. Есенина, Пастернака или какого-нибудь другого поэта, чтобы бойцы услышали на прощание стихи.

Был «Суд над современной поэзией», потом «Суд над имажинизмом», различные поэтические диспуты. Было множество литературных школ: комфуты, имажинисты, иролеткультовцы, экспрессионисты, фуисты, беспредметники, презентисты, акцидентисты и даже ничевоки. Конечно, немало глупостей несли иные теоретики, выступавшие в кафе «Домино» или в Доме печати; за нагромождением непривычных слов порой ничего не скрывалось, кроме жажды славы или озорства. Но мне хочется защитить то далекое время. Раскрывая теперь книги поэтов, известных далеко за пределами нашей страны, мы видим, сколько прекрасных стихотворений было написано в годы военного коммунизма. Никогда люди так плохо не жили, и, кажется, никогда в них не было такого творческого горения.

В домах было холодно, темно, неприглядно, и вечером люди осаждали театры. На сцене кружились персонажи Гофмана. Гоцци, Кальдерона, Шекспира. Художники Веснин, Якулов, Экстср ослепляли зрителей великолепием костюмов и декораций.

Романтизм был литературным направлением в первой половине XIX века; что касается романтики, то она всегда присутствует в искусстве: художник видит то, чего уже нет или еще не было в действительности. Мейерхольд поставил в Театре революции «Озеро Люль», Таиров — «Человека, который стал четвергом», и на сцене взвивались к небу лифты, а в Москве тогда лифты бездействовали. Ученики Вхутемаса работали над новой конструктивной формой телефонных аппаратов; большинство номеров в городской сети было выключено. Помню, на одной из репетиций «Мистерии-Буфф» в Театре РСФСР I Маяковский, улыбаясь, сказал мне: «Вы подождите — в последней картине мир будущего: небоскребы, электротракторы и большущие сахарные головы…»

Люба училась у А. М. Родченко. Он рисовал кубистические проекты киосков для газет. Сорок лет спустя в различных странах я увидел киоски, выставочные павильоны, даже жилые дома,

напоминающие, разумеется в смягченном, приглаженном виде, старые проекты Родченко. Лисицкий работал над макетами книги будущего. Сильнее всего меня потряс Татлин. В Доме профсоюзов был выставлен его проект памятника Третьему Интернационалу. Два цилиндра и пирамида вращались; залы из стекла были опоясаны стальной спиралью. Конструктивисты любили говорить о логике, об утилитарном назначении искусства. По проекту Татлина, зал, в котором должен был заседать Совнарком, вращался. Это было с точки зрения утилитарной бессмысленно, и все же это было доподлинной романтикой эпохи. Я долго стоял перед большой моделью и вышел на улицу потрясенный: мне казалось, что я заглянул в щелку и увидел XXI век. Теперь я думаю иначе: меня поразила своеобразная красота проекта, искусство — вне вопросов о градостроительстве грядущего или о преимуществе индустриализированной архитектуры.

Пути искусства очень сложны. Сервантес, желая высмеять рыцарские романы, создал рыцаря, который один пережил свою эпоху и на жалком Россинанте проскакал в наши дни. Бальзак думал, что он возвеличивает аристократию, а он ее хоронил.

Конечно, я, как и все друзья, с которыми встречался, жадно вглядывался в будущее. Никаких газетных киосков не было — ни кубистических, ни обыкновенных; и газеты мы читали не за утренним завтраком, а на улице — их расклеивали на стенах. Врангелевцев разбили; гражданская война было выиграна. На субботниках люди с большим мужеством пытались победить голод, разруху, нищету. В мире происходили различные, порой противоречивые события. Реакция тор жертвовала; но то вспыхивало восстание в Саксонии, то начиналась забастовка английских горняков; Индия требовала независимости. Мировая революция казалась нам не смутным идеалом, а делом завтрашнего дня. Порой, однако, мною овладевали сомнения: я не мог понять, почему во Франции, которую я хорошо знал, после страшных лет войны, после первых солдатских бунтов ничего, ровно ничего не происходит…

О человеке порой говорят: «Ему не сидится на месте»; это относится к пространству. А я сейчас говорю о времени: нам не терпелось перешагнуть в следующее столетие. Все понятия были опрокинуты: одна ив самых отсталых стран Европы очутилась впереди других. Она жила теми идеями, теми литературными и художественными концепциями, которые несколько десятилетий спустя потрясли Запад. А жизнь (я говорю о быте) была доисторической, буднями пещерного века.

Все хотели все знать. Есть много книг, описывающих штурм укреплений, фортов, крепостей. А то было время, когда народ

штурмовал знание. Старые женщины сидели над букварями. Школьные учебники стали редкостью, как первопечатные книги. Вузы были переполнены молодыми энтузиастами. Нельзя было пройти на доклад или на лекцию; в аудитории Политехнического музея прорывались, как в вагон полуразвалившегося трамвая. Лекторов закидывали записками, и о чем только люди не спрашивали о забастовках в Вестфалии, о рефлексах Павлова, о супрематизме, о борьбе за нефть, о евгенике, о рифмах Маяковского, о теории относительности, о заводах Форда, о преодолении смерти и о множестве других предметов.

Товарищ Адам раздобыл уголь, и «Княжий двор» начали отапливать. По вечерам к нам часто приходили друзья. Почти каждый вечер приходил Б. Л. Пастернак, который жил в соседнем доме. Мы спорили о мировых событиях, о поединке между футуристами и имажинистами, о живописи Розановой и Альтмана, о постановках Мейерхольда: нам хотелось перевернуть страницу истории.

Я часто сбивался, противоречил самому себе. Меня восхищали города будущего, похожие на проекты Татлина, но, будучи Павлом Савловичем, я писал:

Провижу грозный город — улей.
Стекло и сталь безликих сот,
И карнавал средь гулких улиц,
Похожий на военный смотр.
На пустыри ложатся тени
Спиралей будущих времен.
Ярмо обдуманных равнений
И рая нового бетон.

Среди сугробов московских переулков, в полушубке, частично покрашенном ваксой, я ни на минуту не сомневался, что различные проекты станут действительностью и что вместо покосившихся деревянных домишек, памятных мне с детства, вырастет новый, необычайный город. Будь я на десять лет моложе, я бы восторженно улыбался; по, родившийся в 1891 году, рядовой представитель русской дореволюционной интеллигенции, с детства запомнивший слова Короленко о том, что человек создан для счастья, как птица для полета, я часто мучительно гадал, какой будет жизнь человека в этом городе будущего.

Во мне боролись пафос с иронией, вера с логикой. В Третьем общежитии Наркоминдела я как-то встретил бельгийского гостя. Он говорил о плачевном состоянии нашего транспорта и о

преимуществах конституционных гарантий. Я резко возражал: буржуазный мир обречен, голодные крестины куда привлекательнее самых пышных похорон. Он назвал меня «фанатиком». А если говорить откровенно, я никак не походил на шестнадцатилетнего мальчонку, высмеивавшего Надю Львову за ее любовь к стихам Блока. Многое меня смущало, даже возмущало: упрощенность, нетерпимость, пренебрежение к культуре прошлого, слова, которые мне приходилось часто слышать: «А чего тут туман наводить, все ясно…» Но теперь я знал, что история делается не по щучьему велению, не но своему хотению, да и не но прекрасным романам XIX столетия. Я знал, что моя судьба тесно связана с судьбой новой России.

В эту зиму мне исполнилось тридцать лет. Цифра меня смутила, я в тоске подумал, что ничего еще не сделал: все было только пробами пера, примерками, черновыми репетициями. Удивительно: ритм жизни ускорился, появились авиация и кино, исторические события обгоняли одно другое, а мои сверстники формировались куда медленнее, чем люди тихого, неторопливого XIX века. Бабель начал по-настоящему писать в тридцать лет. Сейфуллина — в тридцать два, Паустовский — в тридцать четыре. А ведь Гоголь написал «Ревизора», когда ему было двадцать семь лет. Одно из самых изумительных произведений русской литературы — «Герой нашего времени» — написано двадцати шестилетним юношей. Не знаю, может быть, поспешность событий, их лихорадочность не давали нам возможности призадуматься, осознать происходящее, понять себя и других.

Жалеть о тех годах не приходится. Даже если мы были хворостом, который подкидывали в костер, это не обидно: костер разгорелся, он оказался куда длиннее человеческой жизни.

Мне хотелось многое описать: довоенный Париж, окопы Соммы, революцию, гражданскую войну, макеты, проекты, сугробы, а главное — забежать вперед. Я понимал, что не сумею это сделать в стихах. Замысел романа обрастал плотью. Как-то, вспомнив рассказы Диего Риверы, я решил, что герой моего сатирического романа будет мексиканцем.

Отрываясь от проектов кукольного театра, я неожиданно для себя начинал думать о главах «Хулио Хуренито».

22

Хотя В. Л. Дуров не одобрял футуристов, он сам был эксцентриком, и спектакль, которым он открыл свой театр для детей, назывался: «Зайцы всех стран, соединяйтесь!» Я хорошо помню его содержание. Вначале заяц приподымал деревянный переплет большой книги, на котором значилось «Капитал»; он перелистывал страницы, потом подзывал к себе других зайцев; их было не менее двадцати. В следующей картине на сцене был макет дворца; его охраняли кролики с ружьями. Из-за кулис выбегали зайцы, выталкивая игрушечную пушку; зайцы стреляли из пушки в кроликов и, одержав победу, подымали над дворцом красный флаг.

Занавес подымал и опускал медвежонок в синей блузе.

Восторг детей был неописуем; бледненькие и худые, они хохотали до упаду. А после того как падал занавес, зайцы и кролики выбегали на авансцену, и происходило то общение зрителей с актерами, о котором тщетно мечтал постановщик «Зорь». (При входе дети получали кусочки морковки, ими они покоряли актеров.)

Спектакль продолжался полчаса, но потребовал длительной работы. Владимир Леонидович Дуров объяснил мне с самого начала, что хочет опровергнуть неправильные представления о животных. Принято, например, считать, что заяц трус и что заяц косой; значит, нужно показать, как ловко заяц стреляет из пушки.

Владимиру Леонидовичу тогда исполнилось пятьдесят семь лет; он был самым знаменитым клоуном России; мальчиком я его видел в цирке и запомнил смешного человека в ярком одеянии со множеством фантастических медалей. Да и задолго до того, как я родился, братья Дуровы были любимцами России. А. П. Чехов смеялся, глядя на фокусы дворняжки В. Л. Дурова Запятайки. Может быть, я видел в детстве и не Владимира Леонидовича, а его брата Анатолия, который одно время был более популярным? Братья сначала выступали вместе, потом рассорились. Владимир Леонидович стал писать на афишах «Дуров-старший»; Анатолий Леонидович называл себя «Дуров-настоящий». (Он умер перед революцией и завещал, чтобы на его могиле поставили те же слова: «Дуров-настоящий».)

Так или иначе, когда я познакомился с Владимиром Леонидовичем, он был «Дуровым-единственным». Сотрудники цирковой секции ТЕО зазывали его к себе, а он был увлечен зверями. Помню, как он впервые пришел ко мне: нужно помочь устроить в его особняке на Божедомке театр для детей. Он

говорил о работах Павлова, об условных и безусловных рефлексах; казалось, что это не прославленный клоун, а почтенный профессор.

Я был приглашен на одну из первых репетиций. Владимир Леонидович старался вылечить зайцев от страха; это было нелегко. Хотя животные, по словам Дурова, повинуются различным рефлексам, а человек, если Декарт не ошибался, мыслит, следовательно, существует, между поведением людей и зверей много общего; в частности, легче запугать самого смелого человека, чем сделать из труса героя. Дуров говорил, что когда червяк ползет от цыпленка, цыпленок его пожирает, а когда червяк ползет на цыпленка, цыпленок поспешно ретируется. (Есть, кстати, пословица «Молодец против овец, а на молодца и сам овца», которую придумали не цыплята и не зайцы.) Репетиции происходили ночью. Владимир Леонидович терпеливо кормил премьера труппы, милейшего зайца, морковью, причем рука дрессировщика пугливо пятилась. Что касается пушки, то она откровенно убегала от зайца. Через две или три недели зайцы поняли, что они сильнее всех. Этот метод дрессировки Дуров называл «трусообманом».

Морковь играла в режиссуре величайшую роль: она лежала между страницами книги, и, чтобы получить морковь, заяц дергал шнур, который приводил пушку в действие.

В ходе работы выяснилось, что кролики ничего не имеют против головных уборов, но зайцы выходят из строя, когда им напяливают на головы шапки. Владимир Леонидович уступил, и зайцы штурмовали дворец без шлемов.

Морковь кто-то Дурову доставлял, но медвежонку приходилось трудно. Я обратился в МПО с просьбой взять на снабжение медведя как участника спектакля. Несмотря на скудный паек, медвежонок рос, и блуза больше на него не налезала. Дуров настаивал, чтобы я выпросил ситцу на новую блузу. Напрасно я говорил, что это чрезвычайно сложно, что я потратил много времени, добывая для себя штаны, что медвежонок может выступать и без блузы. В итоге ситец мы раздобыли.

Дуров тяжело переживал гибель молодого слоненка Бэби, которого он временно поместил в Зоологическом саду. Угля не было, Бэби мерз, простудился и умер. Он весил около трех тысяч килограммов; мясо роздали сотрудникам и рабочим зоопарка. А Владимир Леонидович уныло повторял: «Вы его не видели… У него были редкие способности…» Пять лет спустя он писал: «Погиб лучший мой, честный, преданный товарищ, погиб мой Бэби дитя, которое я воспитал и к которое вложил часть своей

души».

Второй постановкой была сцена, которую Дуров показал впервые в начале века под названием «Гаагская мирная конференция». Теперь название изменилось. За столом рядышком сидели заклятые враги: волк и козел, кошка и крыса, лисица и петух, медведь и свинья.

Владимир Леонидович подробно мне объяснил, как он подготовлял эту сцену. Клетка, в которой сидела крыса, была обвешана бубенцами и на колесиках по рельсам спускалась со стола к корзине, где находилась кошка. Шум, бубенцы пугали кошку, и мало-помалу она начала побаиваться крысы. А крыса с каждым часом смелела. Так Дуров дрессировал и других участников спектакля. Сильные переставали быть уверенными в своей безнаказанности, а слабые вылечивались от страха; на этом было построено «мирное сосуществование».

В зиму, о которой я рассказываю, я часто видался с Владимиром Леонидовичем, старался ему помочь и пристрастился к нему. Потом мы встречались редко, но всякий раз Дуров меня забавлял, восхищал, вдохновлял. Он был одним из самых фантастических людей, которых я встретил в жизни. На цирковой арене он хотел проповедовать, учить, давал научные объяснения, твердил о рефлексах и одновременно выезжал в своем ослепительном костюме на шестерке собак или верхом на свинье. А у себя на Божедомке, куда приходили ученые — Челпанов, Бехтерев, он вдруг прерывал серьезные объяснения клоунской шуткой, Был он по природе поэтом и поэзию нашел в мире четвероногих актеров.

Он часто путался, говоря с людьми. Материализм у него смешивался с толстовством, марксизм — с христианством. Научные труды он подписывал «Дуров-самоучка». Но по-настоящему легко и просто он чувствовал себя с животными. Он обращался к человеку с просьбой: «пусть он почувствует в животном личность, сознающую, думающую, радующуюся, страдающую».

В голове Владимира Леонидовича рождались фантастические планы.

В одной из книг Дурова приведен текст письма, полученного им в августе 1917 года: «Морской генеральный штаб рассмотрел предложение г-на Дурова о дрессировке им животных: морских львов и тюленей, для целей морской войны, и находит это предложение весьма интересным…» Письмо подписал начальник штаба, контр-адмирал. Легко догадаться, в каком состоянии находились тогда военные начальники, если они всерьез надеялись применить дрессированных тюленей против немецких

подводных лодок…

Потом все встало на свое место. Идея мобилизации тюленей никого больше не соблазняла. В 1923 году Владимир Леонидович получил командировку в Германию и приобрел там морских львов. Он ими очень дорожил, ставил их выше собак. Помню, как он привел меня к бассейну и представил: «Илья Григорьевич, поэт и друг животных». Морские львы вылезли, начали аплодировать своими ластами и обдали меня ледяной водой. А Дуров говорил: «Если бы вы видели извилины их мозга…»

Дуров был убежден, что люди не понимают животных. Почему говорят «слепая курица»? Да курица видит ястреба задолго до того, как его заметит человек. Осел упрям? Ничего подобного: осла нещадно эксплуатируют, иногда он оказывает пассивное сопротивление. Свинья — чистоплотнейшее существо и в грязи выкатывается, чтобы освободиться от паразитов; дайте ей чистое помещение, и она будет брезгливо отворачиваться от многих людей.

Почему все-таки не приняли предложения об использовании морских львов против подводных лодок? Почему никто не рассмотрел проекта, как с помощью ручных орлов поджигать бомбардировщики? Нет, с людьми очень трудно!

В давние годы, заболев, Дуров составил завещание, писал, что если он умрет, то на кладбище его должны сопровождать животные. Духовенство сочло такое пожелание кощунством. Ах, люди не понимают, что у животных есть душа! Прошло десять или пятнадцать лет, и слово «душа» исчезло, душу заменили «рефлексы». Но люди по-прежнему скептически улыбались. Физиологи, например, утверждали, что собаки не различают цвета предмета. Владимир Леонидович негодовал: «Все мои собаки могут отличить зеленый мяч от красного, даже начинающие щенки…»

Жена Дурова, Анна Игнатьевна, любила животных. Но Владимир Леонидович мне как-то печально рассказал, что в спальню имеют доступ только обезьяны, собаки, кошки и попугаи. Барсуку или гусю вход туда запрещен. «Неправильно… несправедливо…»

Однажды он пошел с очередной просьбой к Луначарскому; попросил подписать бумагу. Анатолий Васильевич ответил, что нужно проверить, подумать. Тогда из кармана Дурова выскочила его любимица, крыса Финька, и встала перед наркомом на задние лапы. Луначарский боялся крыс, крикнул: «Уберите!» Дуров вздыхал: «Не могу, Анатолий Васильевич, она за своих товарищей просит. Солидарность…»

Десять лет спустя в Париже он пришел в кафе «Куполь» тоже

с крысой и очень удивился, когда дамы начали истерически вопить; он объяснял, что это крыса-артистка, но его не слушали.

Он шел в гости, говорил о научной работе, о прогрессе и неожиданно вынимал из кармана вместе с носовым платком сырую рыбу или кусок мяса: все его карманы были набиты угощением для зверей.

Глядя на людей, он думал о животных. Он описывает, как его тойтерьеры, радуясь, улыбаются и виляют задом, и добавляет: «Природа выражения ощущений во многих случаях одинакова. Возьмем хотя бы виляние задом. Я часто наблюдал, в особенности на балах, как молодой человек подходил к даме, виляя довольно заметно своим задом…»

Когда он приехал с Анной Игнатьевной в Париж, мы повели их в танцульку на улице Бломэ, куда приходили негры-студенты, художники, натурщицы. Владимир Леонидович внимательно следил за танцевавшими парами и вдруг радостно крикнул: «Мамочка, ты погляди: трутся животами — тот же рефлекс, что у попугаев…»

Анна Игнатьевна рассказала моей жене: «Я думала в Париже немного приодеться, но Володя купил жирафа. Жирафы очень дороги, потом, его нужно везти в специальном вагоне…»

Владимир Леонидович обожал шимпанзе Мимуса; он мне подробно рассказывал о его успехах: «Мимус научился произносить слоги, говорит несколько слов. Начинает писать; пока твердо усвоил только букву «о», теперь я показал ему «ш».

И вот случилось несчастье. Дуров должен был поехать на гастроли в Минск. Мимуса он берег, не показывал на арене; а взял с собой, чтобы ничего с ним не случилось. Обезьяна и перед этим часто хворала, она простудилась, схватила воспаление легких. Владимир Леонидович рассказал мне о ее конце: «Она спала в моей кровати в гостинице… Самое трудное — научить обезьяну быть чистоплотной в комнате. Котенок ведет себя прилично. А обезьяны рассеянные. Она знает, что ей нужно выйти, но ее отвлекает какая-нибудь забава — и вот в итоге пачкает… А Мимус никогда… Я вижу: он встает, берет туалетную бумагу, идет к ночному горшку. Не дошел — умер…» И в глазах Дурова показались слезы.

Я говорил, что трудно было порой понять его мировоззрение; но он страстно ненавидел войну, говорил об этом и на цирковой арене, и на научных заседаниях. В 1924 году он писал: «Советская Россия в свое время первая сделала смелый почин в деле разоружения и до сих пор открыто призывает брать с нее при мер…» (Тяжело подумать, что с той поры прошло почти сорок лет, что была невиданная в истории война и что слова Дурова

кажутся выписанными из свежего номера газеты…)

Вся жизнь Владимира Леонидовича была эксцентрикой и поэзией. В третьем классе Московской военной гимназии при экзамене по закону божьему сын дворянина, Дуров Владимир, вошел в класс на руках. Экзаменаторы не знали о богомольных жонглерах средневековья и прогнали дерзкого мальчика. В старости Дуров был окружен учеными; к его книге написали предисловие профессора Кожевников и Леонтович. Казалось, что у Владимира Леонидовича общего с «рыжими»? Но нет, он до конца оставался артистом цирка, проклинал арену и не мог без нее жить.

Когда Владимир Леонидович скончался — летом 1934 года, похоронная процессии продвигалась с Божедомки к цирку. На катафалке сидела любимица Дурова, шотландская овчарка Рыжка. Тысячи людей приходили, чтобы проститься с клоуном, который смешил много поколений.

А собаки слушали, нюхали — ждали; ждали морские львы; ждал ворон, напрасно повторяя свое имя: «Воронок… Воронуша»… Дуров не приходил. Такого второго и не будет…

В начале 1921 года я как-то ехал с ним из ТЕО на Божедомку. Вез нас отощавший, но неунывающий верблюд. Дуров вдруг сказал мне: «Почему они на все отвечают «клоун… клоун»… Знаете, я вам скажу по секрету — клоуны самые серьезные люди…»

23

В очень холодный зимний день и встретил на Тверской С. А. Есенина; он предложил пойти пить настоящий кофе в таинственном месте, которое называл «Кисловкой».

Женщина, открывшая нам дверь, радостно защебетала: «Ах, Сергей Александрович! Я вас заждалась…» Судя по безделкам на комоде, по старым английским гравюрам, она была в прошлом состоятельной дамой, а теперь держала «подпольную» столовую для актеров, писателей и спекулянтов. Есенин что-то шепнул ей, и вскоре на столе появились кофейник, сахарница, пирожные, даже графинчик с ликером. Я жил, скорее, по-монашески и не подозревал о существовании подобных заведений. Увидев, что я изумлен, Есенин обрадовался, как ребенок: «Ну чем не парижское кафе?…»

Хозяйка похвалила его галстук, и он снова обрадовался. Он был в светлом пиджаке и черных лакированных ботинках. Форсил он, как деревенский паренек, и улыбался, когда прохожие его узнавали.

Выпили мы немного — графинчик был крохотным; но уходить из уютной теплой комнаты не хотелось. Есенин меня удивил: заговорил о живописи; недавно он смотрел коллекцию Щукина, его заинтересовал Пикассо. Оказалось, что он читал в переводе Вердена, даже Рембо. Потом он начал декламировать Пушкина:

> И горько жалуюсь, и горько слезы лью,
> Но строк печальных не смываю.

Вдруг обрушился на Маяковского: «Тит да Влас… А что он в этом понимает? Да если бы и понимал, какая это поэзия?…» Меня его слова не удивили: незадолго до тою я слушал весь вечер в Политехническом музее, как Маяковский и Есенин друг друга ругали. Все же я спросил Есенина, почему его так возмущает Маяковский. «Он поэт для чего-то, а я поэт от чего-то. Не знаю сам от чего… Он проживет до восьмидесяти лет, ему памятник поставят… (Есенин всегда страстно жаждал славы, и памятники для него были не бронзовыми статуями, а воплощением бессмертия.) А я сдохну под забором, на котором его стихи расклеивают. И все-таки я с ним не поменяюсь». Я попытался возразить. Есенин был в хорошем настроении и нехотя признал, что Маяковский — поэт, только «неинтересный». Он начал

спорить с футуристами. Искусство вдохновляет жизнь, оно не может раствориться в жизни. Конечно, он, Есенин, писал похабные стихи на стенах Страстного монастыря, но это — озорство, а не программа. Народ? Уж на что был народен Шекспир, не брезгал балаганом, а создал Гамлета. Это не Тит и не Влас (он цитировал агитку Маяковского, где упоминались Тит и Влас). Он снова декламировал Пушкина, говорил: «Написать бы одно четверостишие такое — и умереть не страшно… А я обязательно скоро умру…»

На улице, когда мы прощались, Есенин сказал: «Поэзия не пирожные, рублями за нее не расплатишься…» Эти слова я запомнил — они меня поразили: в тот день я впервые увидел Есенина. А познакомились мы раньше, и стихи его я давно любил.

Осенью 1917 года в Петрограде меня позвала к себе молодая поэтесса М. М. Шкапская, которую я знал по Парижу. За столом сидел Н. А. Клюев в крестьянской рубахе и громко пил чай из блюдца. Он мне сразу показался актером, исполняющим в тысячный раз затверженную роль. Разговор иссякал, как пришел новый гость, молодой, красивый паренек, похожий на Леля из оперы; улыбаясь, он представился: «Есенин. Сергей. Сережа…» У него были глаза ясные и наивные. Мария Михайловна попросила его почитать стихи. Я понял, что передо мной большой поэт; хотел с ним поговорить, но он, поулыбавшись, ушел.

Потом мы несколько раз встречались в Москве: говорили о стихах, о событиях. В отличие от Клюева он менял роли; говорил то об индоклаве, то о динамичности образа, то о скифстве; но не играть не мог (или не хотел). Часто я слышал, как, поглядывая своими небесными глазами, он с легкой издевкой отвечал собеседнику: «Я уж не знаю, как у вас, а у нас, в Рязанской…» В мае 1918 года он говорил мне, что нужно все повалить, изменить строение вселенной, что крестьяне пустят петуха и мир сгорит. Он подарил мне свою книгу с такой надписью: «Милому недругу в наших воззрениях на Русь и Бурю И. Эренбургу на добрую память от искренне любящего С. Есенина».

И вот после долгой беседы на Кисловке я увидел подлинного Есенина. Скольких он разыгрывал! Иванов-Разумник, прослушав его «Инонию», восхищался: «Вот подлинный революционный субъективизм…» Различные «скифы» считали Есенина выразителем своей идеологии, и я помню, как в Берлине А. А. Шрейдер доказывал, что призыв Есенина «Господи, отелись» потрясет буржуазную Европу. А молодые поэты видели в Есенине создателя повой поэзии; «имажинизм» подавался не как одно из многочисленных литературных направлений, но как скрижали завета.

Неправильно было бы думать, что Есенин обманывал или. если угодно, мистифицировал других; часто он разыгрывал самого себя; различные чувства, обуревавшие его, требовали формы, и тогда он уступал себе: из тоски делал программу, из душевного смятения — литературную школу.

Маяковский подчинял свои настроения идее. Есенин мог (какой раз признался мне) «валять дурака» в «Домино» или в «Стойле Пегаса», но писал он, не задумываясь, как ему в ту минуту хотелось.

Признав в конце свое духовное поражение, он говорил:

Приемлю все.
Как есть все принимаю.
Готов идти по выбитым следам.
Отдам всю душу Октябрю и Маю,
Но только лиры милой не отдам.
Он был счастлив.

Маяковскому пришлось бороться с непониманием, издевками одних, душевным холодом других, а Есенина понимали и любили при жизни. Была в его стихах та сердечность, то необыкновенное звучание, которые покоряли даже людей, против него настроенных, слыхавших о его нелепых кабацких похождениях. Он мечтал о славе, и он ею пресытился. Когда ему было двадцать пять лет, он в стихах обращался к своим родителям:

О, если б вы понимали.
Что сын наш в России
Самый лучший поэт!

Его полюбила знаменитая танцовщица Айседора Дункан, на танцы которой и с восхищением смотрел в гимназические годы; она была на семнадцать лет старше его, но он обрадовался ее любви, как мировому признанию. Он хотел поглядеть мир и одним из первых пронесся по всей Европе, увидел Америку. Женщины в него влюблялись. Старые негры и парижские сорванцы ему сочувственно подмигивали. Горький плакал, когда он ему читал стихи. Он делал все, что ему хотелось, и даже строгие блюстители советских нравов глядели сквозь пальцы на его буйные выходки.

И трудно себе представить человека более несчастного. Он нигде не находил себе места; тяготился любовью, подозревал в кознях друзей; был мнительным, неизменно считал, что скоро

умрет. Я знаю объяснения досужих обывателей: «Спился». Но ведь нельзя принимать следствия за причину. Почему он спился? Почему надорвался в самом начале жизненного и поэтического пути? Почему столько неподдельной горечи даже в его ранних стихах, когда он не пил и не буянил? Говорят, что при нэпе выползли из щелей подонки, и тогда родилась «Москва кабацкая»; но «Исповедь хулигана» написана до нэпа, в ту зиму, когда Москва напоминала фаланстер или монастырь со строгим уставом. Почему Есенин повесился в возрасте тридцати лет, в зените славы, не услышав даже далеких шагов старости?

Мне приводилось читать, что драма Есенина — в его расхождении с эпохой. А по-моему, дело не в эпохе. Конечно, Есенин жил в очень трудные годы и не раз огрызался на время; но не раз он и объяснялся этому времени в любви. Революцию он принимал на свой лад: в 1921 году его еще прельщала стихия бунта, он мечтал написать поэму «Гуляй-поле». Мы с ним встретились незадолго до моего отъезда в Париж; он подарил мне свою книгу «Трерядница» и сделал на ней такую надпись: «Вы знаете запах нашей земли и рисуночность нашего климата. Передайте Парижу, что я не боюсь его, на снегах нашей родины мы снова сумеем закрутить метелью, одинаково страшной для них и этих». Это было весной 1921 года; но Есенину все еще мерещилась озорная вольница, которая носится на резвых конях по всей нашей планете.

Прошло сорок лет. Есенина у нас читают, любят, и никому не придет в голову задуматься над запутанным мотком его политических идей. Он писал в 1920 году:

Я хочу быть желтым парусом
В ту страну, куда мы плывем.

А пять лет спустя, незадолго до смерти, признавался, что на корабле он был не парусом, но одним из пассажиров:

Ну кто ж из нас на палубе большой
Не падал, не блевал и не ругался?
Их мало, с опытной душой,
Кто крепким в качке оставался.

…

Теперь года прошли. Я в возрасте ином.
И чувствую и мыслю по-иному.
И говорю за праздничным вином:

Хвала и слава рулевому!

Он промчался по Европе, по Америке и ничего не заметил. Он писал в письмах: «…Мой цилиндр и сшитое берлинским портным манто привели всех в бешенство… Такая гадость, однообразие, такая духовная нищета, что блевать хочется…», «Кроме фокстрота, здесь почти ничего нет, здесь жрут и пьют, и опять фокстрот…» Конечно, на Западе тогда был не только фокстрот, но и кровавые демонстрации, и голод, и Пикассо, и Ромен Роллан, и Чаплин, и много другого. Но состояние Есенина мне понятно. Дело не только в любви к березкам, о которой много писали, дело и в том, что он издали увидел во весь рост народ, ринувшийся к будущему.

Вернувшись в Россию, он попытался сделать выводы: «Наше едва остывшее кочевье мне не нравится. Мне нравится цивилизация. Однако я очень не люблю Америку. Америка — это тот смрад, где пропадает не только искусство, но и вообще лучшие порывы человечества». Он напечатал в газете очерк, наивный и беспомощный, но Америку окрестил необычайно точно «Железным Миргородом». Нужно напомнить, что было это в 1923 году, когда Леф прославлял красоту нью-йоркских небоскребов, когда был в моде НОТ (научная организация труда) — за два года до поездки в Америку Маяковского.

Есенин был прежде всего поэтом; исторические события, любовь, дружба — все это отступало перед стихами. Он обладал редким певческим даром. Для зоолога соловей — одна из птиц отряда воробьиных; но никакие описания птичьей гортани не могут объяснить, почему пение соловья издавна чаровало людей во всех краях мира. Никто не может объяснить, почему нас трогают многие стихи Есенина. Бывают поэты, полные высоких мыслей, блистательных наблюдений, страстных чувств, которые десятилетиями осваивают искусство передать другим свое духовное богатство. А Есенин писал стихи только потому, что родился поэтом:

Не каждый умеет петь.
Не каждому дано яблоком
Падать к чужим ногам.

…

Сие есть самая великая исповедь.
Которой исповедуется хулиган.

Глубокая грусть была свойственна поэтическому голосу Есенина: ее нельзя приписать эпохе, даже если эта грусть многое эпохе приписывала:

Хорошо им стоять и смотреть,
Красить рты в жестяных поцелуях. —
Только мне. как псаломщику, петь
Над родимой страной аллилуйя.

Он сам знал, что в его тоске, в его одиночестве никто не повинен:

Кого позвать мне? С кем мне поделиться
Той грустной радостью, что я остался жив?
Здесь даже мельница — бревенчатая птица
С крылом единственным — стоит, глаза смежив.
Я никому здесь не знаком.
А те, что помнили, давно забыли…

Такие чувства могут возникнуть в любую эпоху.
Может быть, поэтому стихи Есенина не стареют.

Ах, увял головы моей куст,
Засосал меня песенный плен.
Осужден я на каторге чувств
Вертеть жернова поэм.

Или:

И уже говорю я не маме,
А в чужой и хохочущий сброд:
— Ничего! Я споткнулся о камень.
Это к завтраму все заживет)

Когда написаны эти строки? Сорок лет назад? Сто лет назад? Вчера? Не знаю. Не имеет значения.

В годы войны я часто слышал от молодых лейтенантов, попавших на передний край прямо со школьной скамьи, да и теперь мне говорят молодые люди: «Люблю Есенина». Мне это понятно. Молодые, если они не поэты и не особые любители поэзии, когда им радостно, легко на душе, редко берут с полки томик стихов; они идут на матч футбола, танцуют, гуляют с

девушками, вслух мечтают или жарко спорят. Стихи им нужны в часы печали, и тогда на выручку приходит Есенин, который давно умер и о котором они ничего не знают, кроме самого важного: он писал за них и про них.

Он не писал о том, как делать стихи, никогда не приравнивал труд поэта к производству, но смешно уверять, что он был наивным песенником. Да и были ли когда-нибудь такие? Пять веков ходила легенда о «бесхитростном поэте» Франсуа Вийоне, пьянице и преступнике, который писал, как ему господь бог на душу положит. Недавно Тристан Тцара сделал открытие: заключительные строки баллад Вийона — шифрованные, в них поэт рассказывает правду и о своих любовных горестях, и о своих преступлениях. Нужно воистину великое мастерство, чтобы строки, где каждая пятая или седьмая буква — шифр, показались естественными, чтобы никто не догадывался о трудностях шифровальщика. Есенин много раз говорил мне, что подолгу работает над стихом, черкает, рвет. Маяковский о нем сказал: «Звонкий забулдыга подмастерье». Есенин писал: «Я пришел, как суровый мастер…» (Прав был Есенин: «забулдыгой» он стал от печали, «звонким» никогда не был, а вопрос о звании — «мастер» или «подмастерье» — разрешен временем.) Есенин не раз себя называл «хулиганом»; но в одном он был почтителен: ценил мастерство. На что уж чужд ему был Брюсов, но, узнав о смерти Валерия Яковлевича, Есенин написал: «Эта весть больна и тяжела, особенно для поэтов. Все мы учились у него. Все знаем, какую роль он играл в развитии русского стиха…»

Поэзия Есенина мягка, человечна; нет в ней ни жестокости, ни душевного холода. Его стихи о собаке, у которой утопили щенят, написаны в годы войны, когда люди уже начали привыкать к равнодушию. Незадолго до самоубийства он написал стихотворение «Черный человек». Образ, видимо, навеян Пушкиным: «черный человек» преследует Моцарта. Но «черный человек» Моцарта — смерть. А Есенин узнал и угрызения совести; «черный человек» жесток, но поэт помнит об Айседоре Дункан:

Был он изящен,
К тому же поэт,
Хоть с небольшой,
Но ухватистой силою,
И какую-то женщину
Сорока с лишним лет
Называл скверной девочкой
И своею милою…
— Слушай, слушай! —

Хрипит он, смотря мне в лицо.
Сам все ближе
И ближе клонится, —
Я не видел, чтоб кто-нибудь
Из подлецов
Так ненужно и глупо
Страдал бессонницей.

В жизни он бывал и нежен, трогателен, и несносен — в буйстве душевного разора. Я видал его мягким, спокойным, внимательным; видал и в состоянии, граничившем с помешательством. Мне не хочется рассказывать о том, что имеет большее отношение к патологии, чем к душевной структуре поэта.

В Берлине несколько раз я встречал его с Айседорой Дункан. Она понимала, что ему тяжело, хотела помочь и не могла. Она обладала не только большим талантом, но и человечностью, нежностью, тактом; но он был бродячим цыганом; пуще всего его пугала сердечная оседлость.

Рядом с ним всегда бывали его спутники: имажинисты, Кусиков с гитарой или «крестьянские поэты», как будто сошедшие с лакированных коробок Палеха. Поэтов оттесняли просто пьяницы, довольные тем, что допущены к столу знаменитого человека.

Если футуризм, несмотря на желтую кофту и на лорнетку Бурлюка, был художественным и общественным явлением, то имажинизм мне всегда казался наспех сделанной вывеской для группы литераторов. Есенин любил драки; и как в гимназии «греки» дрались с «персами», так он охотно пошел к имажинистам, чтобы драться с футуристами. Все это даже не страница его биографии, а несколько сносок, способных заинтересовать только литературоведа.

Обиднее всего было видеть возле Есенина людей глубоко случайных, ту окололитературную банду, которая любила (да и поныне любит) пить чужую водку, греться у чужой славы и прятаться за чужой авторитет. Но не потому Есенин дошел до гибели, что вокруг него кружилась эта черная мошкара — он ее к себе притягивал. Он знал ей цену; но в том состоянии, в котором он находился, ему было легче среди людей, им презираемых.

В 1924 году у общих знакомых я видел в последний раз Есенина. Он много пил, был в плохом виде, хотел уйти — бушевать, скандалить. Несколько часов я его уговаривал, удерживал силой, а он уныло повторял: «Ну, пусти!.. Я ведь не

против тебя… Я вообще…»

В одном из последних стихотворений Есенина есть такие строки:

Как не любить мне вас, цветы?
Я с вами выпил бы на «ты».
Шуми левкой и резеда.
С моей душой стряслась беда.
С душой моей стряслась беда,
Шуми левкой и резеда.

Все понимают, что левкой не дуб и резеда не липа, шуметь они не могут. И все-таки это хорошо, а почему хорошо, объяснить невозможно: такова поэзия. И, вспоминая Есенина, я всегда думаю: был поэт…

24

Когда я вспоминаю Александра Яковлевича Таирова, мне приходят в голову пушкинские стихи:

Жил на свете рыцарь бедный,
Молчаливый и простой,
С виду сумрачный и бледный,
Духом смелый и прямой.

Жизнь Таирова проста, как притча. Юношей он полюбил театр; стал актером в провинциальной труппе; оказался в Петербурге, познакомился с передовыми поэтами и художниками. Мейерхольд ставил «Балаганчик» Блока; Таиров играл роль Голубой маски. Но Таирова еще не было.

В 1914 году он организовал Камерный театр, который стал целью, содержанием, страстью его жизни. С ним рядом была замечательная актриса Алиса Георгиевна Коонен. Таирову тогда было без малого тридцать лет. Он боролся за театр, который ему казался самым передовым.

Он не был безучастен к огромным переменам, происшедшим в России. Он охотно отказывался от заблуждений; искал; неутомимый, работал с утра до поздней ночи. У Камерного театра было много друзей, много и недругов; и если снова вернуться к пушкинскому стихотворению, то можно сказать, что десятки лет недруги повторяли:

Он-де богу не молился.
Он не ведал-де поста…

В 1949 году недруги победили: Камерный театр исчез. Александру Яковлевичу было шестьдесят четыре года. Год спустя он умер. В ту далекую зиму, о которой я пишу, молодой Таиров показал «Принцессу Брамбиллу», прошедшую с большим успехом. Он начал работать над «Федрой»; выпустил книгу «Заметки режиссера», отстаивал свои позиции и от сторонников натуралистического театра, и от Мейерхольда. Он был окрылен. И печальные встречи конца сороковых годов не могут заслонить в моей памяти веселого и счастливого Таирова первых революционных лет.

Москва восхищалась веселым карнавалом на сцене.

Декорации Якулова были ослепительны, сказочны. Актеры все время прыгали, дурачились, танцевали, шутили. Москва также хорошо понимала муки Адриенны Лекуврер. Сентиментальную мелодраму Скриба Таиров превратил в трагедию. Игра Алисы Коонен потрясала зрителей. Это может показаться удивительным: разжалобить людей тогда было трудно; к смерти все пригляделись. Смерть Адриенны трогала, вероятно, потому, что была не натуральной, как в пьесе Скриба, а преображенной искусством — не кончиной в клинике Склифосовского, а концом Эвридики или Офелии.

Таиров хорошо понимал две формы театрального представления: арлекинаду и трагедию. В годы, о которых я рассказываю, люди жили без промежуточных состояний; были веселье и отчаяние, пещерный быт и макеты XXI века.

Таиров не только был скромным в жизни, он и в искусстве подчинял свои мечты строжайшей дисциплине. Говорят, что чувство меры подрезает крылья романтике; это верно, когда речь идет о житейском расчете, о мещанском благоразумии. Но вспомним: даже художники неистовой поры романтизма хорошо знали, что такое чувство меры, — без него искусство превращается в ходульность, в ложный пафос, в истерику.

Александр Яковлевич не раз говорил со мной о своем понимании театра. Он ушел от бытовизма, от показа на сцене, как актеры натурально пьют чай или тихо позевывают. Он любил приводить историю, рассказанную знаменитым французским актером прошлого века Кокленом. Бродячий актер на ярмарке показывал, как кричит поросенок. Все восхищались, аплодировали. Но один нормандский крестьянин предложил пари — он сделает это не хуже актера. Хитрый нормандец спрятал под свою одежду живого поросенка и стал его щипать. Поросенок кричал, но все присутствующие шикали — они нашли, что крестьянин не умеет подражать поросенку. Таиров знал, что такое искусство, и не признавал театра, стремящегося имитировать жизнь. Он часто говорил: «Театр должен стать театральным»; на первый взгляд это нелепо, как «вода должна быть жидкой». Но ведь кругом были театры, отказавшиеся от понятия «зрелище». А Таиров не верил ни в описательную поэзию, ни в литературную живопись, ни в театр, напоминающий комнату, у которой почему-то ампутировали четвертую стену.

Таиров не отрицал значения драматурга или роли художника; но он хотел, чтобы все элементы на сцене были подчинены одному — театру.

Вначале он отдал дань декадентству: поставил «Саломею». Этой пьесой увлекался не он один. Таиров ее поставил в 1917

году, Марджанов — в 1919-м. Никто потом не вспоминал о грехах Марджанова, а Таирову «Саломею» не хотели простить. Между тем декадентством переболели в свое время многие. Я слышал, как А. В. Луначарский в 1909 году восхищенно декламировал самые наидекадентентские стихи Бальмонта. Брюсов не только писал в молодости декадентски-эротические стихотворения, не только вешал на стены Ропса, он восторгался поэзами Игоря Северянина, который, хоть и называл себя «эгофутуристом», был декадентом для парикмахеров и невзыскательных шаркунов. На сцене Художественного театра стоял декадентский «Некто в сером» и, как чревовещатель на ярмарке, глухо объявлял: «Человек родился». В Малом театре ставили злополучную «Саломею». Все это быстро забылось. Но есть люди, которые, видимо, рождаются под несчастливой звездой. Таиров проделал большой и сложный путь, а когда он лежал в гробу, на гражданской панихиде один из режиссеров по бумажке еще припоминал его былые заблуждения…

Когда его просили рассказать или написать о своей жизни, он начинал перечислять постановки: это был человек одной страсти. Нельзя о нем рассказывать, не рассказывая о Камерном театре. Это был прекрасный театр, но который тоже родился под несчастливой звездой. Начну с того, что его неудачно окрестили. (Я встречал много людей, страдавших оттого, что родители дали им претенциозное или неблагозвучное имя — нежного юношу Тита, опытного инженера Каина, кокетливую девушку Конституцию.) В 1914 году слово «камерный» звучало, как «студия», — оно указывало, что молодой театр, преисполненный дерзаний, не рассчитывает на коммерческий успех. Имя осталось; и в течение тридцати лет недоброжелатели его обыгрывали. «Камерный — значит интимный, домашний, театр для знатоков, для гурманов…» (Название театра для многих было попросту непонятным. Александр Яковлевич рассказывал, что в каком-то сибирском городе, где театр гастролировал, его спрашивали перед началом спектакля: «У вас только камерники или есть вольнонаемные?» — считали, что выступает кружок тюремной самодеятельности.)

Таирова ценили и защищали многие — и Луначарский, и старые актеры Малого театра, и М. Кольцов в «Правде», и рядовые зрители. А. В. Луначарский, восхищаясь постановкой «Федры», писал, что во многом Камерный театр приблизился к старому театру середины XIX века, к «великолепному Каратыгину». Я рассказал, как меня рассмешил старый французский актер Муне-Сюлли, который, наверно, играл, как некогда играл Каратыгин. Когда я гоготал над игрой Муне-Сюлли, я был мальчишкой, не

понимавшим, что такое искусство. Прошли годы. И вот я увидел Алису Коонен в «Федре». Я не смеялся. Я узнал ту полноту искусства, от которой становится легко и немного страшно. (Может быть, нечто подобное чувствуют люди, впервые поднявшись над сферой земного притяжения.)

Я бывал на гастролях Камерного театра в Париже, в Берлине, видел восхищение зрителей. Таиров осмелился повезти во Францию расиновскую «Федру» и победил. Антуан и Пикассо, Леже и Жемье, Кокто и Жан Ришар Блок восторженно отзывались о спектаклях Камерного театра. В Японии о Таирове до сих пор вспоминают актеры театра «Кабуки». Кажется, немногие художники сделали столько для того, что на газетном языке называется «развитием культурных связей».

Камерный театр нельзя себе представить без Алисы Коонен. Эта добрая, душевная женщина на сцене терзала сердца зрителей; кто раз ее видел, помнит глаза, руки, голос. Она как будто пришла в театр из другого века, не знала прошлого или будущего. Люди были большими, большими были дела, но когда в тысячах театров подымался занавес, на сцене хлопотливо барахтались инженю, первые любовники, комические старухи, резонеры. И вдруг пришла актриса трагедии, и пришла она в ту эпоху, которую никто не назовет эпохой комедии нравов или семейных драм.

Александр Яковлевич в жизни никак не походил на актера, разговаривал просто, сдержанно, всегда владел собой. Я видел, как в дни большой беды он аккуратно шел за кулисы, и перед актерами был спокойный, чисто выбритый, невозмутимый Таиров.

Признаюсь, я не театрал; но я не могу забыть многих спектаклей в Камерном — от давней «Принцессы Брамбиллы» до «Госпожи Бовари», поставленной в эпоху упадка, в 1940 году. За них я признателен Таирову и Коонен: они меня часто поддерживали своим мастерством. Они меня поддерживали и своей дружбой; я знал черный ход в Камерный театр — квартиру, где они жили; любая обида смягчалась их участием и лаской.

В 1949 году Таирова направили на работу в чужой театр. Он был человеком большой дисциплины, ждал работы, но ее не оказалось.

В давней книге, вспоминая о начале своей театральной деятельности, Таиров писал: «Когда на улицах Москвы появились, наконец, первые афиши с заголовком «Камерный театр», то мы просили прохожих читать нам их вслух, чтобы с непреложностью убедиться, что это действительно быль, а не мираж». В последние недели своей жизни больной Александр Яковлевич тихонько

выходил из дому. Беспокоясь за него, близкие проследили, куда он идет. Он доходил до стены, на которой были расклеены театральные афиши, долго и внимательно их разглядывал. Афиши Камерного театра не было…

25

Как-то зимой, раздобыв несколько листов бумаги, я попытался начать тот роман, о котором давно мечтал; написав несколько строк, я порвал лист. Время не благоприятствовало романам. Дело не в холоде и голоде (хотя, признаться, я часто мечтал о куске мяса). Дело даже не в различных заседаниях, на которых мы просиживали дни. Слишком близки и слишком грандиозны были события. Романист не стенографистка, ему нужно опомниться, подумать, отойти на несколько шагов (или на несколько лет) от того, что он хочет описать.

Кажется, в 1920 году в России не было написано ни одного романа. То было время стихов и литературных манифестов. Я думаю сейчас о писателях моего поколения, о Сейфуллиной, Фурманове, Лавреневе, Паустовском, Малышкине, Федине, Бабеле, Тынянове, Пильняке. Они воевали, демобилизовывались, выполняли различные задания, кочевали, правили чужие статьи, заседали, читали лекции, писали фельетоны, за крупные произведения почти все сели несколько позднее.

Роман, пережитый, продуманный, но не написанный, способен извести. Мне казалось, что стоит мне сесть в каком-нибудь парижском кафе, попросить у официанта кофе, несколько бутербродов, бумагу, и книга будет написана.

Я хотел написать сатирический роман, показать довоенные годы, войну, революцию; но последняя глава была закрыта туманом. Как я ни старался, я не мог себе, представить, что делали люди на Западе, пока русские низвергали, жгли, проектировали, дрались на десяти фронтах, голодали, болели сыпняком и бредили будущим. Я говорил себе, что круг должен бить завершен и что необходимо взглянуть на послевоенный Париж.

(Я много думал о книге. Я думал не только о ней. Моя молодость прошла в Париже; я полюбил этот город, оставил там много друзей. Порой я тосковал по Парижу и не хочу об этом умолчать.)

Однажды я рассказал про это моему давнему другу по большевистской школьной организации, рассказал не как о реальном пожелании, а, скорее, как о мечте и очень удивился, когда меня вызвали в Наркоминдел и предложили заполнить анкету.

Хотя я жил в Третьем общежитии Наркоминдела, я никогда не заглядывал в дом, куда привез осенью тюки с печатями. Не знаю, чем занимались многочисленные сотрудники этого

комиссариата (некоторых я встречал в коридорах общежития). Наверно, заседали. Ведь дипломатических отношений с другими государствами в ту пору почти не было. Потерпев поражение в попытках низвергнуть Советскую власть, правительства западных держав пытались убедить если не себя, то других, что России нет. (Германская республика признала существование Советской России только в 1922 году, Англия и Франция — в 1924-м, а Соединенные Штаты — в 1933-м.)

В приемной Наркоминдела бушевала немолодая, но чрезвычайно темпераментная женщина. Она истерзала секретаря наркома, а потом почему-то накинулась на меня: «Они не имеют никакого права! Можете спросить любого адвоката. У меня швейцарский паспорт, я не позволю со мной так обращаться!.. Я не буржуйка, я служила гувернанткой, меня нужно ограждать. Конечно, у меня сбережения в золоте, я не сумасшедшая, чтобы держать бумажки, когда они каждый день падают. Я напишу в Берн, я этого так не оставлю…» С трудом я от нее освободился и сел за анкету.

На вопрос о цели моей поездки за границу я ответил: «Хочу написать роман». Секретарь улыбнулся и заставил меня все переписать, продиктовал: «Художественная командировка».

Прошло еще несколько недель, и комендант общежития, товарищ Адам, сказал, что меня вызывают в Чека; увидев мое волнение, он добавил: «С главного подъезда — к товарищу Менжинскому».

В. Р. Менжинский был болен и лежал на чересчур короткой кушетке. Я думал, что он начнет меня расспрашивать, не путался ли я с врангелевцами; но он сказал, что видел меня в Париже, спросил, продолжаю ли я писать стихи. Я ответил, что хочу написать сатирический роман. Поскольку разговор зашел о литературе, я поделился с ним сомнениями: печатается слишком много ходульных стихов, а вот Блок замолк… Менжинский иногда улыбался, кивал головой, иногда хмурился. Вдруг я спохватился: человек занят, да еще плохо себя чувствует, а я затеял дискуссию, как в Доме печати… Менжинский сказал: «Мы-то вас выпустим. А вот что вам скажут французы, не знаю…»

Я получил заграничный паспорт с латвийской визой; такой же паспорт дали моей жене.

Был яркий весенний день. Сугробы оседали, рушились, ползли. Капало с крыш. Звонко кричали мальчишки.

Весна в Москве необычайна; ничего подобного не знают жители благословенного юга; это не смена времен года, а исключительное событие в жизни любого человека; и хотя сегодняшняя Москва мало напоминает ту, по которой я шел в

апреле 1921 года, весны тс же, одна похожа на другую, и каждая ни на кого и ни на что не похожа. Нужно пережить длиннущую зиму, в декабре, просыпаясь, зажигать свет, мерзнуть, видеть землю неизменно закутанную в саван, нужно в марте слепнуть от метелей для того, чтобы по-настоящему оценить оттепель, ледоход, шумное новоселье жизни.

Именно в такой буйный солнечный день, возвращаясь в «Княжий двор» с заграничным паспортом, я вдруг задумался: вот я уезжаю… Трудно было оторваться от московской жизни; может быть, потому, что эта жизнь была очень трудной. После того как Мейерхольд ушел из ТЕО, заседания в детской секции, где мы продолжали по инерции разрабатывать различные проекты, начали мне казаться бессмысленными. Куда разумнее попытаться написать роман. И все же мне было трудно уехать: я понимал, что настоящая жизнь — здесь, в Москве…

В тот ли день или в один из последующих, не помню, но было это незадолго до отъезда, я долго и настойчиво убеждал себя: пора подвести итоги!

«Подвести итоги» — это было одной из последних наивностей уходившей молодости. Я не знал, что мне понадобится не час и не два для того, чтобы осознать все значение тех лет, когда я метался по неприветливым улицам Москвы, по раскромсанной, растерзанной России, воспитывал «мофективных» детей, спорил о «левом искусстве», отчаивался, шутил, голодал, добывал хлеб или махорку. Мы все тогда говорили в стихах или в прозе об «исторической эпохе». А живя изо дня в день, эпохи не видишь: деревья заслоняют лес, и лес не дает возможности разглядеть отдельное дерево.

Сейчас мне хочется оглянуться назад, задуматься над давнишним клубком надежд и сомнений.

Я говорил, что история делается не по щучьему велению; она делается и не по той безупречной логике, которой сильна наука. Мальчишкой я часто слышал в кружке П. Г. Смидовича, что путь к социализму откроет пролетариат передовых индустриализированных стран.

В 1946 году один рабочий, проживавший в «Железном Миргороде», или, говоря точнее, в Детройте, сказал мне: «Почему вы все время говорите об американских капиталистах, о монополиях, об эксплуатации? Вы думаете, мы не знаем этого? Знаем. Но нам с нашими капиталистами живется лучше, чем вам без капиталистов…» Отсутствие классового сознания? Конечно. Но не только это — другое отношение к жизни, культ благополучия, страх перед подвигом, перед жертвами, перед неизвестностью.

Так или иначе, первым государством, где победила социалистическая революция, была Россия с ее отсталой промышленностью. Из трех граждан молодой Советской республики двое вместо подписей ставили крестики. В 1918 году мне привелось побывать в деревнях Московской и Тульской губерний. В избах можно было увидеть кресла, обитые плюшем, граммофоны, даже пианино, вывезенные из усадеб или полученные от горожан за мешок картошки. А люди еще жили жизнью дореволюционной деревни, описанной Чеховым и Буниным. Было много жестокости, невежества, темноты. Жгли библиотеки. Ненавидели горожан («дармоеды»), иные радовались, что города умирают от голода. Может быть, этим частично объясняется смятение, порой овладевавшее левой интеллигенцией и нашедшее свое выражение в статьях Горького.

Молодежь, пришедшая в город и захваченная вихрем событий, легко воспринимала упрощенные идеи крайних «пролеткультовцев», будущих «напостовцев». Мне не раз приходилось слышать: «Чего усложнять?…» Интеллигентщина, гниль… Газету читал? Значит, ясно. А «почему», «зачем» — буржуйские разговоры… Нечего голову ломать…»

Осенью 1920 года В. И. Ленин обратился к комсомольцам с такими словами: «Если коммунист вздумал бы хвастаться коммунизмом на основании полученных им готовых выводов, не производя серьезнейшей, труднейшей, большой работы, не разобравшись в фактах, к которым он обязан критически отнестись, такой коммунист был бы очень печален. И такое верхоглядство было бы решительным образом губительно».

Я говорил о жажде знания, которая тогда охватила миллионы юношей и девушек. Народ раскрыл букварь. Нужно сказать и о тех, кто учил грамоте, кто читал лекции по истории или по геологии, кто спасал книги от огня, отстаивал здания музеев и, голодая, может быть, сильнее всех, защищал культуру, — о русской интеллигенции. Я говорю, конечно, не о той ее части, которая уехала за границу и там пыталась опорочить свой народ, но об интеллигенции, принявшей Октябрьскую революцию и в то же время полной сомнений. Когда перечитываешь первые рассказы Всеволода Иванова, Малышкина, Пильняка, Н. Огнева, ранние стихи Тихонова, становится ясным, что эти сомнения вытекали из той жажды критически подойти к фактам, о которой говорил Ленин.

На Страстной площади висел плакат: «Да здравствует электрификация!» Под этим плакатом Есенин однажды прочитал мне монолог Пугачева:

О Азия, Азия! Голубая страна.
Обсыпанная солью, песком и известкой.
Там так медленно по небу едет луна.
Поскрипывая колесами, как киргиз с повозкой.
Но зато кто бы знал, как бурливо и гордо
Скачут там шерстожелтые горные реки?
Не с того ли так свищут монгольские орды
Всем тем диким и злым, что сидит в человеке?

…

Уж давно я, давно я скрывал тоску
Перебраться туда, к их кочующим станам,
Чтоб разящими волнами их сверкающих скул
Стать к преддверьям России, как тень Тамерлана.

Стихи были хорошие. Но я сейчас думаю не о стихах. По стране рыскали банды. В деревнях обстреливали продотряды. Поля стояли незасеянными. Возле вокзалов уже бродили беспризорные дети. Города голодали: смертность быстро возрастала.

Все это кажется теперь давней историей. «Голубая Азия» увлечена индустриализацией, и ей помогает в этом Советский Союз. Если еще в конце тридцатых годов некоторые западные политики называли наше государство «колоссом на глиняных ногах», то вскоре они убедились, что ноги у «колосса» вполне доброкачественные.

Этим летом в моем саду цвели чудесные рудбекии, большие и яркие, как звезды древних мозаик; семена я купил в Париже у знаменитого селекционера Вильморэна, и назывались они русским словом «Спутник».

Когда я гляжу на Москву, я не могу себе представить, что это город, где прошло мое детство. Едешь к Внукову и каждый раз дивишься — растут уже не дома, а улицы, кварталы.

Конечно, у нас умеют лучше сделать реактивный самолет, чем обыкновенную кастрюлю; научатся делать и кастрюли. Но теперь западные политики только и говорят, что о баллистических ногах «колосса».

По своей природе я принадлежу к людям, которых называют «Фома неверный». (Прилагательное может сбить с толку: Фома был очень верным и, по христианской легенде, стойко перенес пытки; но он был не верящим на слово — захотел проверить правильность того, о чем ему рассказали, то есть критически

подойти к факту.) В те годы, над которыми я сейчас размышляю (1920–1921), у меня было немало сомнений, но эти сомнения не походили на разговоры людей, считавших, что Россия разваливается, что придут варяги — носители порядка, что дело закончится умеренно либеральным буржуазным строем. В одном я не сомневался: в победе нового социального строя.

Быт был страшен: пша или вобла, лопнувшие трубы канализации, холод, эпидемии. Но я (как и все люди, с которыми я дружил) знал, что народ, победивший интервентов, победит и разруху. Несколько месяцев спустя я сел за свой первый роман. Хулио Хуренито, рассказывая о необычайном городе будущего, стальном, стеклянном и организованном, восклицает: «Так будет! Здесь, в нищей, разоренной России, я говорю об этом, ибо строят не те, у кого избыток камня, а те, кто эти невыносимые камни решается скрепить своей кровью…»

Сомнения мои были связаны не с мыслями о доме, а с мыслями о людях, которые будут в этом доме жить. В пьесе Юрия Олеши героиня составляет два списка: в один она заносит «благодеяния» революции, в другой — ее «преступления». Потом она осознает свою ошибку, и пьеса озаглавлена «Список благодеяний». Я таких списков не составлял ни на бумаге, ни мысленно: жизнь сложнее начальной логики, многие преступления могут привести к благодеяниям, и есть благодеяния, чреватые преступлениями.

(Говоря о теневых сторонах нашей жизни, порой добавляют — «пережитки капитализма». Иногда это верно, иногда нет. Яркий свет усиливает тени, и хорошее может сопровождаться некоторыми дурными последствиями. Возьму наиболее примелькавшийся пример — бюрократизм; о нем писал В. И. Ленин, и о нем продолжают говорить наши газеты сорок лет спустя. Разве бумажная водянка, гипертрофия регистрирующих, обсуждающих, проверяющих, скрепляющих — это только пережитки? Разве такое заболевание не связано с развитием организации, учета, контроля производства, то есть с вещами прогрессивными и правильными?)

Помню, как уборщица в Военно-химической школе, молодая деревенская девушка, пела частушку:

Наживу себе беду —
В сортир без пропуска пойду.
Я бы пропуск рада взять,
Только некому давать.
Я засмеялся, потом задумался.

Рабочий хорошо знает, что машина, даже самая сложная, сделана человеком и человеку служит. В 1932 году я был на строительстве Кузнецкого комбината. Люди, пришедшие из деревни, глядели на машины с ненавистью или с благоговейным ужасом; одни ломали станки — если машина не работала, они налегали в сердцах на рычаги, как хлестали в деревне замученного конягу; другие почтительно называли доменную печь «Домной Ивановной», мартеновскую — «дядей Мартыном».

Конечно, я прежде всего думал о судьбе искусства. Диаграмма, висевшая в кабинете В. Я. Брюсова, меня не только удивила, но и напугала. Литература была квадратами, кругами, ромбами — винтами огромной машины.

Однажды я поделился с Луначарским моими сомнениями. Он ответил мне, что коммунизм должен привести не к однообразию, а к многообразию, что творчество художника нельзя подогнать под один образец. Анатолий Васильевич говорил, что есть «держиморды», которые не понимают природы искусства. Год спустя он написал статью в журнале «Печать и революция» и в ней прибег к тому же определению; говоря, что в переходное время необходима цензура, он продолжал: «Человек же, который скажет: «Долой все эти предрассудки о свободе слова, нашему коммунистическому строю соответствует государственное руководство литературой, цензура есть не ужасная черта переходного времени, а нечто присущее упорядоченной, социализированной социалистической жизни», — тот, кто сделает из этого вывод, что самая критика должна превратиться в своего рода донос или в пригонку художественных произведений на примитивно революционные колодки, тот покажет только, что под коммунистом у него, если его немного потереть, в сущности, сидит Держиморда и что, сколько-нибудь подойдя к власти, он ничего другого из нее не взял, как удовольствие куражиться, самодурствовать и в особенности тащить и не пущать…»

Еще не было журнала «На посту». Еще устраивались одновременно выставки художников различных направлений от Бродского до Малевича. Еще Мейерхольд неистовствовал неподалеку от Художественного театра. А мне все мерещилась диаграмма с квадратами и ромбами…

Мы осторожно, как рыбу, ели восьмушку колючего хлеба. Полонская писала:

Но грустно мне, что мы утратим цену
Друзьям смиренным, преданным, безгласным:
Березовым поленьям, горсти соли.
Кувшину с молоком и небогатым

Плодам земли, убогой и суровой…

В те годы мы все были романтиками, хотя и стыдились этого слова.

Я спорил не с эпохой, а с самим собой. В моих мыслях было много путаного. Я ведь стоял за индустриальную эстетику, за планированную экономику, ненавидел хаос, лицемерие, позолоту капитализма (его я знал не по книгам). Но не раз я спрашивал себя: что станет в новом, более разумном и более справедливом обществе с разнообразием человеческих характеров, не подменит ли усовершенствованные машины, восхваляемые мною, искусство, не подавит ли техника смутных, но дорогих людям чувств?

Сорок лет спустя я напечатал в «Комсомольской правде» письмо ленинградской девушки, которая рассказывала о превосходном инженере, презирающем искусство, равнодушном к трагедии Глезоса, сухом к матери и к товарищам, считающем, что любовь в атомный век — анахронизм. В той же газете я прочитал письмо специалиста по кибернетике; он издевался над девушкой, способной «плакать в подушку», над людьми, которые в наше время восхищаются музыкой Баха или поэзией Блока.

Многие из моих сомнений 1921 года были наивными и опровергнуты жизнью; многие, но далеко не все…

Пуще всего я боялся равнодушия, механизации не производства, а чувств, захирения искусства. Я знал, что лес вырастет, и думал о судьбе живого, теплого дерева, с его сложной корневой системой, с причудливыми ветвями, с кольцами сердцевины.

Может быть, такие мысли приходили ко мне, потому что в тридцать лет я готовился сдать экзамен на право называться писателем. Конечно, я не знал, какие трудности меня ждут; но мне было ясно, что дело не только в том, как построить роман или как отчеканить фразу. В одном из писем Чехов говорил, что дело писателя — вступаться за человека. Это звучит просто, и, однако же, это очень трудно…

26

Время тогда шло быстро, а поезда ходили медленно. До Риги мы ехали долго, можно было многое передумать.

В соседнем купе разместились наши дипкурьеры. Я поглядел на чешки с сургучными печатями и улыбнулся. У нас был только ободранный чемодан, а в нем журналы «Уновис», «Искусство Коммуны», «Художественное слово», книги Маяковского, Есенина, Пастернака.

Когда наконец мы доползли до Себежа, дипкурьер сказал нам: «Товарищи, скоро латвийская граница. Там буфет, помните о советском престиже не набрасывайтесь на еду…» Я решил не выходить из вагона.

В Ригу мы приехали вечером, и, втащив чемодан в маленькую гостиницу, я сказал Любе: «А теперь в ресторан…» Я оглядывался, как будто шел на нелегальную явку: неудобно — скажут, советский гражданин только приехал и сразу ужинать…

Не знаю, были ли порции большие или мы отвыкли от еды, но я не смог одолеть даже половину бифштекса. Мне стало грустно: вот кусок мяса, о котором я столько мечтал, а я не могу больше есть…

Нелегко было унять психологический голод. Пообедав, я останавливался возле булочной или колбасной разглядывал хлебцы различной формы, сосиски, пирожки. Так смотрят любители на редкие безделки и витрине антиквара. Я изучал меню, вывешенные у входа в многочисленные рестораны; названия блюд звучали, как стихи.

Я захватил с собой паспорт, выданный мне представителем Временного правительства в 1917 году, чтобы доказать французам, что я проживал в Париже. Документ этот успел обветшать и напоминал музейный экспонат. Когда я протянул французскому консулу советский паспорт, он отдернул руку, как будто я совал ему раскаленный утюг. Рваную бумажку он прочитал и сказал с отвращением: «Вы были политическим эмигрантом? Это не рекомендация…» Он спросил, чем я занимался в Москве и почему хочу направиться в Париж. Я ответил добродушно, что последние месяцы я помогал Дурову дрессировать кроликов, а в Париже собираюсь написать толстую книгу. Консул мрачно сказал: «Не думаю, что вы ее напишете в Париже».

Я отправил письма друзьям, жившим в Париже: просил похлопотать о визах. Я успел отъесться и перестал разглядывать колбасы. Знакомых в Риге у меня не было. Зарядили холодные

дожди. Однажды пришел печальный человечек, сказал, что он открывает издательство, хочет печатать советских авторов, показал мне различные рукописи и купил мой сборник стихов «Раздумья». Иногда я заходил в наше посольство, читал «Правду», спорил с секретарем, которому нравились имажинисты. Французский консул мне отвечал однообразно: «Как я и думал, для вас ничего нет…»

Визы пришли, когда я потерял надежду. Консул наотрез отказался поставить их на советские паспорта и выдал особые пропуска. Я пошел в немецкое консульство, чтобы получить транзитные визы. Консул очень удивился, что я, будучи советским гражданином, получил французскую визу. Это показалось ему подозрительным, и он сказал, что не может пропустить нас через Германию. Пришлось выбрать очень сложный маршрут: на пароходе до свободного города Данцига, оттуда морем в Копенгаген и дальше через Лондон в Париж.

В Данциге нас выпустили в город. На узких, средневековых улицах толпились спекулянты, торговавшие различной валютой.

Датчане нас задержали и посадили в машину. Я решил, что нас везут в тюрьму; но отвезли нас в баню и, пока мы мылись, одежду подвергли дезинфекции. Это можно было объяснить: в России еще свирепствовал тиф. А вот в Лондоне полицейские меня приняли за сумасшедшего только потому, что на вопрос, как нам удалось бежать из России, я ответил, что мы уехали с заграничными паспортами.

В следующих частях моей книги я расскажу о жизни Западной Европы в годы после первой мировой войны; а когда я ехал из Москвы в Париж, мне было не до наблюдений. Хотя я хорошо знал Запад, все меня ошеломляло. Вещей было слишком много. Люди казались сонными и равнодушными.

В Копенгагене мы были первого мая. По улицам прошла чинная демонстрация; пели и жевали бутерброды. Перед ратушей объевшиеся голуби, казалось, не могли взлететь с земли. Возле королевского дворца стояли часовые в высочайших шапках. В рабочих кварталах люди толпились у лавчонок и, видимо, были озабочены не ликвидацией капитализма, а покупкой маргарина, входившего в моду.

В Лондоне имелись тоже дворец и тоже часовые в огромных шапках. В Гайд-парке какой-то крикун объяснял прохожим, что в Фиуме и в Вильно нарушены права человека и что британцы должны опекать свободу. Я вспомнил английских солдат на улицах Феодосии и пошел дальше.

Наконец я добрался до «Ротонды». Все было на месте. Какой-то художник, поздоровавшись со мной, сказал: «Что-то вас давно

не было видно. Уезжали?» — и, не дожидаясь ответа, начал рассказывать местные сплетни.

Хозяин гостиницы «Ницца», где я прожил много лет, вернулся с фронта невредимым. Мы дружески обнялись.

Да, все было, как прежде. Но я был другим… Происшедшую со мной перемену я понял, только очутившись в «Ротонде». Вещи, которые прежде мне казались естественными, теперь меня удивляли, порой злили. Париж был прекрасен; восхищенный, я бродил по набережным Сены, обошел все места, где протекала моя молодость. С городом мне было легко; куда труднее с людьми. Я не знал, как объяснить им, что произошло с нами в России.

Я уехал из Парижа в лето жестоких боев, и мне трудно было понять, что парижане как будто забыли годы войны; о недавнем прошлом напоминали только рекламы туристических компаний — «Дешевые экскурсии в Верден. Осмотр полей сражений».

Одна из газет объявила конкурс: «Какой маршал пользуется наибольшей любовью французов». Мужчины на улицах были странно одеты: пиджачки в талию, выпуклая грудь; благонравные отцы семейств выглядели педерастами. Я увидел впервые фокстрот; парочки тряслись, как заводные куклы.

Все, о чем я рассказываю, показательно не столько для Парижа 1921 года, сколько для моего душевного состояния. Я написал стихи (с архаизмами, которые продолжали меня пленять, несмотря на увлечение «левым искусством»):

…Да, страна моя, не зная меры,
Скарб столетий на костер снесла.
Не согреет темные пещеры
Тусклая остывшая зола.
Да, конечно, радиатор лучше…
Что же, Эренбург, попав в Париж,
Это щедрое благополучье
Б холеные оды претвори.
Но язык России дик и скорбен,
И не русский станет славить днесь
Триумфатора, что мчится в «форде»
Привкус смерти трюфелем заесть…

Впрочем, в русских, готовых прославить «великодушных хозяев», недостатка не было. Эмиграция еще не поняла, что ей предстоит на чужбине. Страсти гражданской войны еще не успели остыть. В Париже выходила газета Бурцева «Общее дело», Россию в ней называли не иначе как «совдепией». Помню одно

сообщение, напечатанное в этой газете: уцелевших зверей московского Зоологического сада кормят телами расстрелянных. Зинаида Гиппиус обвиняла всех оставшихся в России в том, что они «продались большевикам», — и Блок продался, и Белый, и даже А. Ф. Кони… Бунин, с которым я встретился у Толстого, не захотел со мной разговаривать. А милейший Алексей Николаевич растерянно и ласково ворчал: «Ты, Илья, там набрался ерунды…» Как только я говорил, что выехал с советским паспортом, эмигранты отворачивались, одни возмущенные, другие с опаской.

Дружески меня встретили бывшие «ротондовцы»: я говорю «бывшие», потому что старая «Ротонда» исчезла; я это понял через два или три дня после приезда. Дело было не только в том, что сменился владелец кафе. Сменилась эпоха. Художников или поэтов вытесняли иностранные туристы. Бестолковая жизнь былых лет стала модным стилем людей, игравших в богему. Вокруг «Ротонды» были другие кафе, старые и новые, где укрывались некоторые ветераны и куда приходили новички. В кафе «Дом» я нашел старых друзей — Фотинского, Диего Риверу, Маревну, Цадкина. Иногда в «Ротонду» заглядывал Леже. В кафе «Селект» сидели молодые американцы; я их не знал и много лет спустя, познакомившись с Хемингуэем, узнал, что в «Селекте» он обдумывал свой первый роман.

Я рассказывал о московских выставках, о постановках Мейерхольда, читал на память стихи Маяковского, Есенина, Пастернака.

Пикассо меня обнял и сразу заявил: «Ты знаешь, мое место там. Что мне делать во Франции мосье Мильерана?» Альбер Глез рассказал, что он выставил недавно панно «Проект росписи одного из московских вокзалов». Леже мечтал работать в московском театре. Диего Ривера спрашивал, как ему пробраться в Россию. Поэт Андре Сальмон прочитал мне свою поэму, озаглавленную русским словом «Приказ», в ней он прославлял подвиг русского народа.

Буржуазная Франция, казалось, могла бы несколько успокоиться: опасные годы были позади. Демобилизованные успели забыть о солдатских бунтах. Волна забастовок спадала. Но на стенах еще можно было увидеть плакаты, изображавшие страшнейшего человека, который держит нож в зубах: это был тот бука, которым правящие круги пугали среднего француза. Пропаганда была не очень сложной: коммунисты — это азиаты, дикари, они провели национализацию женщин и заставляют всех маршировать по команде. Был довод сильнее «национализации женщин» — русские займы, сбережения средних французов, купивших в банке выгодные бумаги. «Плакали наши денежки», —

причитали рантье со злобой, с отчаянием.

Да и неправильно было бы сказать, что французская буржуазия успела отдышаться. Правда, во Франции было спокойно, но всего полгода назад в соседней Италии рабочие захватывали один завод за другим. Всего два месяца назад газеты писали о восстании в Саксонии. На стенах Парижа можно было увидеть надписи — краской, углем, мелом: «Да здравствуют Советы!»

Я был во Франции весной 1946 года. Буржуазия тогда тоже нервничала. Ей не нравилось, что в рабочих предместьях Парижа муниципалитеты называли улицы именем Сталина. Но «холодная война» только-только начиналась, официально Советский Союз еще числился союзной державой, и на церемонии переименования улиц представители правых партий со смешанным чувством ненависти, страха и почтения приветствовали «великого маршала».

В 1921 году во Франции не было улицы Ленина; но Ленин как будто жил в рабочих предместьях. Он был не маршалом, а человеком, который много лет провел в Париже, которого некоторые встречали, помнили. Удивительная история о том, как человек в рабочей кепке стал главой огромной загадочной страны, как русские рабочие, голодные, раздетые, со старыми винтовками, отбили атаки интервентов, ходила по парижским предместьям и не давала спать победителям.

Я начал понимать, что мои первые, поверхностные впечатления были обманчивыми. На Западе было много нового. Я купил брошюру — популярное изложение теории относительности. Меня увлекла новая книга Блеза Сандрара «Светопреставление», иллюстрированная Леже, — сатира, показывающая конец капиталистического мира и похожая на киносценарии.

Я увидел несколько фильмов Чарли Чаплина, который успел стать знаменитым. На выставке Пикассо тридцать холстов спорили один с другим, и все они были объединены неукротимой потребностью выразить пластически новую эпоху. Я понял, что мне нужно многое прочитать, посмотреть, продумать.

Диего обрадовался, узнав, что герой моего романа будет мексиканцем. Он собирался в Италию, но сказал, что расскажет мне о той обстановке, в которой прошло детство и ранняя молодость Хулио Хуренито.

Я купил блокнот и решил сесть за роман. Однако в мои литературные планы неожиданно вмешались французские власти. Товарищ Менжинский был прав…

Не знаю в точности причин моей высылки. Когда я спросил,

почему меня высылают, чиновник префектуры мне ответил: «Франция — самая свободная страна в мире. Если вас выселяют, значит, на это имеются резоны…» Одному из приятелей, который хлопотал об отмене высылки, сказали: «Но вы не знаете — он занимался большевистской пропагандой». Вероятно, на террасе кафе, где я встречался с друзьями, сидели секретные осведомители; французы их называют «мухами»; они действительно назойливы, как осенние мухи, но мухи живут недолго; а осведомители порой переживают не только смену министров, но и смену режимов.

Рано утром ко мне явился плюгавый человек с тусклыми глазами и жидкими усиками, который показал мне значок — агент префектуры. Другой шпик задержал мою жену. Хозяин гостиницы негодовал: «Мне стыдно за Францию!..» На шпиков это не произвело никакого впечатления. Меня отвезли в префектуру и там объявили, что мы должны сегодня же покинуть Францию.

— Но куда мы можем поехать без виз? — наивно спросил я.

— Ближайшая граница — бельгийская.

— У нас нет бельгийских виз.

— Вы их и не получите. Бельгийцы вас отошлют назад — на французскую границу.

— И тогда?…

— Тогда мы вас задержим за незаконный переход границы. Вы отбудете наказание, и вас тогда уж не выселят, а вышлют.

Я не понял различия между двумя понятиями: «выселение» и «высылка». Чиновник разъяснил:

— До границы вы проследуете в обыкновенном вагоне за свой счет. Вас будет сопровождать наш сотрудник в штатском. А когда вас вышлют, вы сможете не беспокоиться о билетах — вас отправят до границы под конвоем. Сейчас вы свободны. Вас будет только сопровождать наш сотрудник…

— Но когда бельгийцы нас вернут и когда я отсижу положенное, куда вы нас вышлете?

— В ту же Бельгию.

Я понял, что из нас хотят сделать футбольные мячи, которыми будут играть французы и бельгийцы. Это показалось мне мало соблазнительным. Все же нужно было пообедать. Мы пошли в ресторан напротив «Ротонды» и там встретили знакомого скульптора. Мы рассказали, что нас высылают. Он побежал в «Ротонду», в «Дом», и вскоре мы оказались окруженными десятком друзей. Все возмущались. Шпики сидели за соседним столиком и ели с аппетитом: к тому, что они «грязные флики» (так называют французы полицейских), они давно привыкли, ибо слышали это ежедневно, а в ресторане Бати кормили хорошо, и у

«фликов» были подотчетные на подобного рода расходы.

Я подумал о том, что приказ о моем выселении подписал толстяк Бриан, один из самых умелых ораторов, парламентский соловей, и развеселился. В годы войны я был ему представлен как корреспондент «Биржевых ведомостей». Он спел мне короткую, но нежную арию… Теперь я напугал Бриана. Как зайцы Дурова, я начинал понимать, что я — грозный зверь.

Поезд уходил поздно вечером. На вокзале один из шпиков сказал, что купит для нас билеты: «Конечно, в третьем классе?…» Мы приехали в третьем классе, но тон шпика меня рассердил, и я ответил: «Конечно, в первом…» Пожалуй, это нас и выручило.

В купе были трое: Люба, я и шпик, который вышел на французской границе. Я посоветовал Любе лечь и прикинуться спящей. Вошел бельгийский жандарм; я ему жестом показал на Любу — не нужно ее будить. Бельгиец добродушно кивнул головой: к пассажирам первого класса полицейские относятся с уважением. Я показал полуистлевший лист — паспорт 1917 года. Тщетно жандарм искал бельгийскую визу. Сложив осторожно лист, он шепнул: «У вас чересчур старый паспорт, нужно его обменять». Я тоже шепотом ответил: «Вы правы, я собираюсь это сделать в Брюсселе…»

Футбольный матч не состоялся — мы спокойно поехали дальше.

27

В Брюсселе, напротив Южного вокзала, мы увидели две гостиницы: одна называлась «Провидение», другая «Упование». Мы не хотели терять надежду и направились в «Упование»; но там нас попросили заполнить карточки, в которых имелся коварный вопрос о въездных визах.

Моя молодость прошла в архаическую эпоху, когда не было ни гражданской авиации, ни радиовещания, ни виз. Самолеты — изобретение замечательное; радиоприемник бывает полезен, притом его не обязательно включать — это дело вкуса; но вот визы никак нельзя отнести к открытиям, облегчающим жизнь человека. Не берусь подсчитать, сколько в жизни я потратил на них времени, сил, нервов. Причем визы бывают разные, как бактерии; их можно разделить на классы, на семейства: есть въездные и выездные, транзитные с остановкой или без остановки, однократные и многократные, с указанием пограничного пункта или без; разобраться в них нелегко; еще труднее их получить.

Мы поспешно вышли из вестибюля гостиницы; вместо ответа на вопрос о въездных визах я поставил игривую черточку. Наша ночная удача могла кончиться крупными неприятностями средь бела дня: мы проникли в Бельгию без въездных виз.

Я рассказывал, что перед войной в Париже я издавал поэтический журнальчик «Вечера» вместе с ростовчанином Не мировым. У него была очень милая жена, веселая, чуть раскосая, певунья. Ее звали Марусей. Вскоре она разошлась с Немировым; во время войны я часто встречал ее на юге Франции. Перед моим отъездом в Россию мне рассказали, что Маруся вышла замуж за бельгийского поэта Элленса.

Выйдя из гостиницы, я думал об одном: как разыскать Элленса? Адресного стола в западных странах не существует — люди хотят спокойствия, и о том, кто где живет, знают только господь бог да полиция. В телефонном справочнике Элленса не оказалось (я не знал, что Элленс — псевдоним). Я зашел в книжный магазин; мне сказали, что здесь торгуют серьезными книгами, а не стихами. Я начал изучать витрины книжных лавок и нашел такую, где красовалась книга Элленса; я радостно вбежал в магазин, но ничего не добился: мне предложили написать письмо на адрес издательства. Я не мог объяснить, что, пока письмо дойдет до Элленса, я буду уже не в гостинице «Упование», а в обыкновенной каталажке.

Мне повезло: в пятом или в десятом магазине я набрел на

любителя поэзии, который оказался сердобольным. Он мне сказал, что я найду Франса Элленса в палате представителей; его фамилия Ван Эрменгем, и он заведует парламентской библиотекой. У меня сразу выросли крылья: парламент — не «Ротонда»!

Элленс и Маруся приняли нас, как старых друзей. Я бубнил про визу. Маруся вспоминала прошлое. Элленс молчал и нежно улыбался. Ему было сорок лет; на суровом северном лице светились глаза мечтателя и ребенка.

Элленс рассказал одному из министров, что я — поэт, меня почему-то выслали из Франции и я хочу провести несколько месяцев в Бельгии, чтобы написать книгу. Формальности заняли две недели. Я бродил по Брюсселю, очень шумному возле биржи и очень тихому в старых кварталах, где много пепельно-черных домов с позолотой, опрятных старух и неторопливых мечтателей, которые после конца рабочего дня курят трубки и бледными глазами смотрят на бледное небо.

Я подружился с Элленсом. Это удивительно чистый и печальный человек. Он прежде всего поэт; не только потому, что писал и пишет стихи, а потому, что его проза, да и вся его жизнь пропитаны эссенцией поэзии.

Весной, когда мы познакомились, он писал роман «Басс-Бассина-Булу» — так он назвал негритянского бога, который стоял в его комнате. В романе этот бог, мудрый и наивный, всесильный и бессильный, попадает из дебрей Африки в Европу и рассказывает с грустной иронией о том, что делается вокруг. Я читал письмо Горького об этой книге, оно продиктовано не простой вежливостью, а любовью. (Познакомились они позднее — в 1925 году, в Сорренто; и в другом письме Горький вспоминал глаза Элленса, в которых, несмотря на суровость, угадываешь детскую печаль и нежность.) «Басс-Бассина-Булу» понравился Стефану Цвейгу, он написал предисловие к немецкому переводу этой книги.

Я много рассказывал Элленсу о Москве. Он увлекся стихами Есенина и с помощью Маруси начал их переводить на французский язык.

Потом я иногда встречал Элленса — в Париже, в Брюсселе. Шли годы; прошла жизнь. Все теперь другое; а Элленс тот же: дети не старятся, мечтатели не изменяют, — значит, и не изменяются…

Элленс как-то познакомил меня с художником Пермеке, теперь известным всем любителям живописи, а тогда еще причисляемым к «молодым» (ему было тридцать пять лет; но из жизни художника выпали годы войны; он был тяжело ранен при

защите Антверпена, выжил наперекор прогнозам). Не знаю, в чем объяснение — в крепости традиций или в особенности пейзажа Фландрии, точнее, ее света, но бельгийцы — прекрасные живописцы. Незачем говорить о Мемлинге или Ван-Эйке, достаточно взглянуть на холсты Энзора. Пермеке почему-то причисляли к экспрессионистам, хотя в нем не было пренебрежения к живописи ради литературной выразительности. Он любил писать рыбаков, обветренных и угрюмых, крестьян прибрежной полосы, матерей, старух. Его длинные пейзажи показывают плоскую землю — едва возвышается то стог сена, то одинокое и обязательно приземистое, прибитое ветрами дерево; огромную роль играет небо, зеленоватое или свинцовое. Его натуре были присущи беспокойство, трагизм. Я надолго потерял Пермеке из виду; встретились мы четверть века спустя, незадолго до его смерти. Я поехал к нему — он жил возле Остенде, — большой, больной, одинокий: он потерял жену, с которой прожил жизнь. На стене мастерской висел холст, который я не могу забыть: Пермеке написал жену в кровати, когда она умерла, красками выразил свое душевное состояние.

Я все ждал ответа министра. Под окном «Упования» до поздней ночи кружились карусели и шарманки старались перекричать одна другую.

Наконец я получил разрешение на пребывание в Бельгии. Был июнь, мы поехали на побережье, в местечко Ля-Панн, возле французской границы. Гостиницы пустовали — до каникул оставалось несколько недель. Кое-где на побережье попадались развалины: дома, разрушенные во время войны, еще не были отстроены. Море было большим и рассерженным; в отлив оно уходило вдаль, затаив злобу, а потом яростно кидалось прямо к гостинице.

Когда море уходило, на песке оставались водоросли, морские звезды и много обломков дерева. Я машинально подымал их — вспоминал, как в Коктебеле искал на берегу куски дерева, для того чтобы зажечь мангалку…

Кругом были песчаные холмы — дюны, кое-где поросшие колючей серой травой. Эти холмы путешествуют: ветер сгоняет и нагоняет пески. Подымаясь на дюны, я видел Францию.

Я работал с утра до поздней ночи в маленькой комнате с окошком на море. «Хулио Хуренито» я написал за один месяц, писал как будто под диктовку. Порой уставала рука, тогда я шел к морю. Неистовый ветер валил стулья на пустых террасах кафе. Море казалось непримиримым. Этот пейзаж соответствовал моему состоянию: мне казалось, что я не вожу пером по листу бумаги, а илу в штыковую атаку.

Писать я не умел. В книге много ненужных эпизодов, она не обстругана, то и дело встречаются неуклюжие обороты. Но эту книгу я люблю.

Говорят, будто все авторы любят свою первую книгу. Это неверно. Я знаю писателей, которые не выносят, когда при них вспоминают их ранние произведения. Да что говорить о других: мне смешон и противен мой первый сборник стихов. О времени, когда я писал стихи про маркизов, я вспоминаю с нежностью, даже о типографе, а стихи скверные и, главное, чужие. Люблю я «Хулио Хуренито» потому, что эта книга, при множестве недостатков, написана мною, мною пережита, это действительно моя книга.

Я много раз как писатель обезьянничал. Я рассказывал о подражательности моих ранних стихов. Но вот позднее, вскоре после «Хуренито», я стал жертвой той литературной моды, которая тогда свирепствовала. Как некоторых моих литературных сверстников, меня соблазнили ритмическая проза Андрея Белого и причудливый синтаксис Ремизова. То, что у этих писателей было органично, у меня походило на пародию. Я не могу перечитывать иные из книг того периода: все время хочется поставить прилагательные и существительные на место. «Хулио Хуренито» написан порой неуклюже, но просто, нет в нем словесных вывертов.

Я узнал из критических статей, что мой роман — подражание «Кандиду». Должен, к стыду, признаться, что «Кандида» я прочитал только после этих статей; в молодости я читал много, но бестолково, да и до сих пор в моих литературных познаниях большие провалы. Однако догадки критиков мне понятны. В «Хуренито» сказались годы молодости, прожитые во Франции. Конечно, рабочие на товарной станции Вожирар, как и я, не читали «Кандида», но в их шутках нашли выражение те же черты французской иронии, которые нас покоряют в книгах Вольтера. Да и, может быть, автор «Кандида» повлиял на формирование национального гения Франции.

Я люблю «Хуренито», потому что я написал его по внутренней необходимости: я ведь еще не считал себя писателем. Книгу эту я вынашивал долго. Может быть, в ней недостаточно литературы (не было опыта, мастерства), но нет в ней никакой литературщины.

Я написал много книг и далеко не все из них люблю. О некоторых я редко вспоминаю, не перечитываю их. Для молодых читателей я как писатель родился в годы второй мировой войны. О «Хуренито» помнят у нас предпочтительно пенсионеры, а он мне дорог: в нем я высказал много того, что определило не

только мой литературный путь, но и мою жизнь. Разумеется, в этой книге немало вздорных суждений и наивных парадоксов; я все время пытался разглядеть будущее; одно увидел, в другом ошибся. Но в целом это книга, от которой я не отказываюсь.

В «Хуренито» я клеймил всяческий расизм и национализм, обличал войну, жестокость, жадность и лицемерие тех людей, которые ее начали и которые не хотят отказаться от войн, ханжество духовенства, благословляющего оружие, пацифистов, обсуждающих «гуманные способы истребления человечества», лжесоциалистов, оправдывающих ужасное кровопролитие. Я подписываюсь и теперь под этими мыслями; и если я ненавижу расизм и фашизм, если нахожу силы, чтобы участвовать в борьбе за мир, то потому, что человек за полвека снашивает много костюмов, но остается при этом самим собой.

В «Хуренито» я показывал ханжество мира денег, ложную свободу, которую регулирует чековая книжка мистера Куля и социальная иерархия мосье Дэле, установившего шестнадцать классов даже для погребения. За двенадцать лет до прихода к власти Гитлера я вывел герра Шмидта, который «может быть одновременно и националистом и социалистом», который говорит французам и русским: «нам необходимо вас организовать», «колонизировать Россию, разрушить как можно основательнее Францию и Англию… Мы оставим голую землю… Убить для блага человеческого одного умалишенного или десять миллионов — различие арифметическое. А убить необходимо…» Если бы я не написал этого в 1921 году, то в 1940 году не сумел бы написать «Падение Парижа».

Я иногда ошибался, иногда видел достаточно ясно. Задолго до печей Освенцима и Бабьего Яра в книге напечатано следующее объявление: «В недалеком будущем состоятся торжественные сеансы уничтожения иудейского племени… В программу войдут, кроме излюбленных уважаемой публикой традиционных погромов, также реставрированные в духе эпохи: сожжение иудеев, закапывание живьем в землю, опрыскивание полей иудейской кровью и новые приемы «эвакуации», «очистки от подозрительных элементов» и пр. и пр.».

Я знал, что «Хулио Хуренито» должен вызвать гнев блюстителей порядка: «Какой консул положит теперь на мой паспорт визу? Какая мать семейства пустит меня на порог своего дома, где живут честные юноши и чистые девушки?» Меня не удивило, что белые эмигранты встретили мой роман с возмущением. Но огонь был перекрестным: «напостовцы» называли «Хуренито» не иначе как «клеветой на революцию». Почти в каждом номере их журнала к моему имени добавлялось

«клеветник».

В предыдущей главе я рассказывал о моем страхе перед механизацией чувств, перед регламентацией творчества. Эти мысли нашли отражение в «Хуренито». Одни опасности я тогда преувеличивал, других не видел. Критики меня называли «циником», «нигилистом», а если следовало меня в чем-либо обвинить, то скорее в гипертрофии романтики.

«Хулио Хуренито» читатели читали, критики ругали, ругали крепко и длительно: говоря о моих последующих книгах, всегда припоминали первый роман как главную улику. Мне случайно попался номер «Нового мира», вышедший тридцать пять лет назад; в нем статья обо мне, длинные цитаты из «Хулио Хуренито» и выводы: «Разбитая в открытой схватке русская буржуазия борется духовно… Эренбург служит своему классу по-настоящему… Эренбург — последыш буржуазной культуры… История русской литературы ничего бы не потеряла, если бы Эренбург «не пожелал» сделаться писателем…» Я привел выдержки из статьи, пожалуй, наиболее мягкой.

В 1924 году в Киеве я пошел на спектакль — инсценировку «Хулио Хуренито». На сцене показывали Илью Эренбурга, у него на плечах сидел американец мистер Куль и покрикивал: «Живей, живей, моя буржуазная кляча…» Мой тесть, доктор Козинцев, возмущался, а мне было смешно.

Конечно, бывали часы, когда я огорчался: на меня падали снаряды не врагов, а своих. Но, к счастью, в тот период снаряды были бумажными. Постепенно я привык к различным обвинениям; выработался частичный иммунитет, который впоследствии не раз спасал меня от полного отчаяния.

Нападали и на форму моего первого романа. Мне думается, что она раздражала не погрешностями языка, а непривычностью. С той поры критики неизменно утверждают, что я журналист, который пишет романы, как фельетоны; по их мнению, я незаконно вторгся в художественную литературу. Для меня же вторжение газеты в роман было связано с поисками современной формы повествования. Есть люди, которые считают, что детальное описание внешности героя или ландшафта позволяет сухим тезисам обрасти плотью, передовой статье стать новеллой или романом. А это, говоря откровенно, принудительный ассортимент, освещение театральными прожекторами затянувшегося заседания. Право же, «Былое и думы» с большим правом могут быть причислены к «чистому искусству», нежели «Накануне»…

В 1922 году «Хуренито» был издан в Берлине издательством «Геликон», в Москве — Государственным издательством. Мне

было приятно, что моя книга понравилась Маяковскому, что о ней одобрительно отозвались некоторые писатели Петрограда, которых я ценил. (В 1942 году А. Н. Толстой в одной из статей вспомнил о моих сатирических романах и добрым словом помянул «Хулио Хуренито».) Позднее я прочитал в воспоминаниях Н. К. Крупской о том, как принял мой первый роман В. И. Ленин; это было для меня большой моральной поддержкой.

Вскоре «Хуренито» вышел по-немецки, изданный коммунистическим издательством, по-французски с предисловием Пьера Мак-Орлана, на других языках.

Я стал профессиональным писателем.

Но я снова забегаю вперед. Вот я кончил последнюю страницу «Хуренито». На ней я написал: «Довольно обильная седина, частые перебои сердца, слабость утешают меня — я миновал уже трудный перевал…»

Я вышел к морю. Ревел прибой. Была ночь, и вдали метались огоньки рыбацких суденышек. Я шел против ветра; мне было тревожно и весело.

О многом человек и писатель может догадаться, но далеко не обо всем. Седые волосы видишь в зеркале, когда бреешься, а в будущее заглянуть труднее. Я не понимал, что впереди еще много труднейших перевалов и что ветер не уляжется, пока бьется сердце…

Книга III

1

Поздней осенью 1921 года после сытого и спокойного Брюсселя я увидел Берлин. Немцы жили, как на вокзале, никто не знал, что приключится завтра. Продавцы газет выкрикивали: «Бе Цет! Последний выпуск! Коммунистическое выступление в Саксонии! Подготовка путча в Мюнхене!» Люди молча читали газету и шли на работу. Владельцы магазинов каждый день меняли этикетки с ценами: марка падала. По Курфюрстендамму бродили табуны иностранцев: они скупали за гроши остатки былой роскоши. В бедных кварталах разгромили несколько булочных. Казалось, все должно рухнуть, но дымили трубы заводов, банковские служащие аккуратно выписывали многозначные цифры, проститутки старательно румянились, журналисты писали о голоде в России или о благородном немецком сердце Людендорфа, школьники зубрили летопись былых побед Германии. На каждом шагу были танцульки «диле»; там методически тряслись отощавшие парочки. Грохотал джаз. Помню две модные песенки: «Вы любите ль бананы» и «Моя черная Соня» («Шварце Сониа»). В одной из танцулек хриплый тенор выл: «Завтра светопреставление…» Светопреставление, однако, со дня на день откладывалось.

Келлерман выпустил роман о революции в Германии — «9 ноября». Не знаю, скажет ли что-нибудь эта дата молодым читателям. 9 ноября 1918 года кайзер поспешно отбыл в Голландию, и социал-демократы объявили республику. В министерствах, однако, сидели прежние сановники и чиновники, швейцар почтительно говорил: «Добрый день, господин тайный советник». Я остановился в пансионе на Прагерплац; рядом был широкий проспект Кайзераллее; я пошел бродить по городу и попал на огромную площадь, она называлась Гогенцоллернплац. В комнатах пансиона висели портреты усатого Вильгельма.

Я подружился с поэтом Карлом Эйнштейном. Это был веселый романтик, лысый, с огромной головой, на которой красовалась шишка. Он рассказывал, что был на Западном фронте солдатом и заболел психическим расстройством. Он напоминал мне моих давних друзей, завсегдатаев «Ротонды», и любовью к негритянской скульптуре, и кощунственными стихами, и тем сочетанием отчаяния с надеждой, которое уже казалось воздухом минувшей эпохи. Карл Эйнштейн написал пьесу о Христе. Его предали суду за богохульство. Я пошел на судебное разбирательство. Происходило это в полутемном, мрачном зале. Обычно понятие религиозного фанатизма связывают с

католицизмом, с папскими буллами, с инквизицией. Однако медика Сервета сожгли не католики, а кальвинисты, которых католики считали вольнодумцами, — сожгли за то, что он не связывал функций организма с провидением. Эксперты на процессе Карла Эйнштейна цитировали труды просвещенных теологов XX века.

(В 1945 году я увидел размолотый войной Берлин. От здания, где когда-то судили Карла Эйнштейна, оставалась стена, на которой русский сапер написал, что район очищен от мин.)

В Берлине 1921 года все казалось иллюзорным. На фасадах домов по-прежнему каменели большегрудые валькирии. Лифты работали; но в квартирах было холодно и голодно. Кондуктор вежливо помогал супруге тайного советника выйти из трамвая. Маршруты трамваев были неизменными, но никто не знал маршрута истории. Катастрофа прикидывалась благополучием. Меня поразили в витринах магазинов розовые и голубые манишки, которые заменяли слишком дорогие рубашки; манишки были вывеской, доказательством если не благоденствия, то благопристойности. В кафе «Иости», куда я иногда заходил, бурду, именуемую «мокка», подавали в металлических кофейниках, и на ручке кофейника была перчаточка, чтобы посетитель не обжег пальцев. Пирожные делали из мерзлой картошки. Берлинцы, как и прежде, курили сигары, и назывались они «гаванскими» или «бразильскими», хотя были сделаны из капустных листьев, пропитанных никотином. Все было чинно, по-хорошему, почти как при кайзере.

Как-то вечером мы шли с В. Г. Лидиным, который только что приехал из Москвы. Кафе закрывались рано: «полицайштунде» был остатком военных лет. К нам подошел человек и предложил провести в ночное кафе — «нахтлокаль». Мы ехали в метро, долго шли по скудно освещенным улицам и наконец оказались в добропорядочной квартире. На стенах висели портреты домочадцев в офицерской форме и картина, изображавшая закат солнца. Нам дали шампанское — лимонад с примесью спирта. Потом пришли две дочки хозяина, голые, и начали танцевать. Одна из них разговорилась с Владимиром Германовичем; оказалось, ей нравятся романы Достоевского. Мать с надеждой поглядывала на иностранных гостей: может быть, они соблазнятся ее дочками и заплатят — разумеется, в долларах, с марками беда, за ночь они снова упадут. «Разве это жизнь? — вздыхала почтенная мамаша. — Это светопреставление…»

Незадолго до моего приезда в Берлин исступленные националисты убили одного из руководителей партии центра — Эрцбергера. Приверженцы монархического союза «Бисмарк», не

стесняясь, одобряли убийство. Законники делали вид, что изучают параграфы уложения, социал-демократы стыдливо вздыхали, а будущие эсэсовцы учились стрелять в живую цель.

Все это не мешало выдавать катастрофу за естественную, хорошо налаженную жизнь. Протезы инвалидов не стучали, а пустые рукава были заколоты булавками. Люди с лицами, обожженными огнеметами, носили большие черные очки. Проходя по улицам столицы, проигранная война не забывала о камуфляже.

Газеты сообщали, что из ста новорожденных, поступающих в воспитательные лома, тридцать умирают в первые дни. (Те, что выжили, стали призывом 1941 года, пушечным мясом Гитлера…)

«Уфа» поспешно изготовляла кинокартины; они были посвящены всему, кроме минувшей войны. Зрители, однако, требовали аффектации страданий, исступленной жестокости, трагических развязок. Я случайно попал на съемку одного фильма. Героиню отец пытался замуровать, любовник бил ее плеткой, она кидалась вниз с седьмого этажа, а герой вешался. Режиссер рассказал мне, что в картине будет и другой, счастливый конец — для экспорта. Не раз я видел, с каким восхищением глядели бледные, тщедушные подростки на экран, где крысы загрызали человека или ядовитая змея жалила красавицу.

Я смотрел выставки «Штурма»; передо мной были не холсты, не живопись, а истерика людей, у которых вместо револьверов или бомб оказались кисти и тюбики с красками. В моих заметках остались названия нескольких холстов: «Симфония крови», «Радиохаос», «Цветная гамма конца света». Душевный разлад требовал выхода, и то, что критики называли «неоэкспрессионизмом» или «дадаизмом», было куда более связано с памятью о битве на Сомме, с восстаниями и путчами, с манишками на голом теле, чем с живописью. У вдохновителя «Штурма» Вальдена было лицо осунувшейся птицы и длинные космы. Он любил говорить о двойниках, об интуиции, о конце цивилизации. В картинной галерее, где стены метались, он чувствовал себя уютно, как в обжитом доме, угощал меня кофе и тортом со взбитыми сливками — их приносили из соседнего кафе.

Я поехал в Магдебург; фасады домов, трамваи, газетные киоски были щедро покрыты все той же истерической живописью. Во главе строительного управления города стоял талантливый архитектор Бруно Таут. Корбюзье вдохновлялся геометрией. Что ж, он жил во Франции… А Бруно Таут жил в стране, где все путалось: голод и спекуляция, вчерашние мечты о Багдаде и

завтрашний поход в Индию, «пивные путчи» и рабочие восстания. (После прихода к власти Гитлера Бруно Таут уехал в Японию и обрадовался, увидав там современную архитектуру — традиционные японские дома, светлые и голые.)

Я помнил полотна супрематистов на улицах Москвы и все же в Магдебурге растерялся. Как бы ни был непривычен, норой сух язык Татлина, Малевича. Поповой, Родченко, то был язык искусства. В немецкой живописи меня стесняла литературщина, да и полное отсутствие чувства меры: холсты вопили.

Помню обложку стихов Газенклевера: человек с отчаянным лицом кричит. В поэзии свирепствовала инфляция прорицаний; и Верфель и Унру сулили миру гибель. А на улице прохожие, равнодушные к поэзии, подозрительно молчали.

Я встречался с Леонгардом Франком. Ему исполнилось сорок лет, он был уже известным писателем, но оставался мечтательным юношей: стоит людям поглядеть друг другу в глаза, улыбнуться — и сразу исчезнет злое наваждение. Да и потом он мало менялся; ничто не могло его ожесточить. Я встречал его в годы фашизма в Париже, после войны, когда, проживая в Западной Германии, он приезжал в Берлин и дружески беседовал с писателями ГДР. Одна из его книг называется «Человек хорош»; это очень субъективная оценка — Франк узнал, что такое эсэсовцы, но он-то сам действительно был хорошим человеком.

Артур Голичер потрясал седыми кудрями. «Ты увидишь — не пройдет и года, как рабочий Берлин протянет руку Москве…»

В квартале, облюбованном иностранными мародерами и новыми богачами, которых звали «шиберами», пометалось «Романишес кафе» — приют писателей, художников, мелких спекулянтов, проституток. Там можно было увидеть итальянцев, убежавших от касторки Муссолини, венгров, спасшихся от тюрем Хорти. Там венгерский художник Моголи Надь спорил с Лисицким о конструктивизме. Там Маяковский рассказывал Пискатору о Мейерхольде. Там итальянские фантазеры мечтали о международном походе рабочих на Рим, а ловкачи покупали или продавали мелкие купюры долларов. Солидные бюргеры, направляясь в воскресенье на богослужение в Гедехтнискирхе, пугливо поглядывали на «Романишес кафе» — им казалось, что напротив церкви разместился штаб мировой революции.

Западный Берлин и тогда был «западным»: это связано не только с ветрами истории, но и с обыкновенными ветрами: в Берлине, в Лондоне, в Париже западные районы облюбованы богатыми людьми — обычно ветры дуют с океана и заводы размещаются на восточных окраинах.

В западном Берлине надеялись на Запад и в то же время его ненавидели: мечты о защите против коммунистов смешивались с мечтами о реванше. В витринах магазинов можно было увидеть надписи: «Здесь не продают французских товаров»; это редко соответствовало действительности, и жене шибера не приходилось ломать себе голову над вопросом, где купить духи Герлена: патриотизм отступал перед жаждой наживы. Однако московскому Камерному театру, когда он приехал в Берлин на гастроли, пришлось переименовать французскую оперетку «Жирофле-Жирофля» в «Близнецов», а «Адриенну Лекуврер» — в «Морица Саксонского».

В восточном и северном Берлине можно было порой услышать «Интернационал». Там не торговали долларами и не оплакивали кайзера. Там люди жили впроголодь, работали и ждали, когда же разразится революция. Ждали терпеливо, может быть слишком терпеливо… Я видел несколько демонстраций. Шли ряды хмурых людей, подымали кулаки. Но демонстрация заканчивалась ровно в два часа — время обедать… Помню разговор с одним рабочим. Он мне доказывал, что число членов в его профсоюзе возрастает, значит, пролетариат победит. Страсть к организации — почтенная страсть; однако в Германии она мне казалась чрезмерной. (В 1940 году я увидел Берлин без автомобилей — берлинские машины носились по дорогам Европы: третий рейх завоевывал мир. Но прохожие, увидев красный свет, цепенели, никто не осмеливался перейти пустую улицу.) Мой собеседник в 1922 году жил начальной арифметикой. А на дворе была эпоха Ленина и Эйнштейна…

В пивной на Александерплац я впервые услышал имя Гитлера. Какой-то посетитель восторженно рассказывал о баварцах: вот кто молодцы! Скоро они выступят. Это свои люди, рабочие и настоящие немцы. Они всех приберут к рукам: и французов, и евреев, и шиберов, и русских… Соседи запротестовали, но сторонник некоего Гитлера упрямо повторял: «Я говорю как немец и как рабочий…»

Марка продолжала падать; когда я приехал, газета стоила одну марку; вскоре приходилось платить за нее тридцать. Открыли новую линию метро. В «диле» парочки танцевали до изнеможения, танцевали старательно, будто выполнили тяжелую работу. Ллойд-Джордж заявил, что немцы выплатят репарации до последнего пфеннига. Смертность на почве хронического недоедания возрастала. Все говорили о Стиннесе и Шпенглере. Стиннеса знали хорошо: он был некоронованным кайзером, властителем Рура, Гефестом нового Олимпа. Мало кто читал труды Шпенглера, но все знали название одной из его книг —

«Закат Западного мира» (по-русски перевели «Закат Европы»), в которой он оплакивал гибель близкой ему культуры. На Шпенглера ссылались и беззастенчивые спекулянты, и убийцы, и лихие газетчики, — если пришло время умирать, то незачем церемониться; появились даже духи «Закат Запада».

То и дело вспыхивали забастовки. В кафе «Иости» прилично одетый посетитель упал на пол. Врач, сидевший за соседним столиком, осмотрел его и громко сказал: «Дайте ему настоящего кофе… Истощение на почве хронического недоедания…» Жить становилось все труднее, но люди продолжали аккуратно, старательно работать.

В переполненном трамвае меня обозвали «польской собакой». На стене хорошего буржуазного дома, где возле парадной двери значилось «Только для господ», я увидел надпись мелом: «Смерть евреям!» Все было колоссальным: цены, ругань, отчаяние. Поэты из журнала «Акцион» писали, что после нэпа они больше не верят в Россию, немцы покажут миру, что такое настоящая революция. Один из поэтов сказал: «Нужно начать с того, чтобы в различных странах одновременно убили десять миллионов человек, это минимум…» (Герцен писал о «Собакевиче немецкой революции» Гейнцене, который мечтал: «Достаточно избить два миллиона человек на земном шаре, и дело революции пойдет как по маслу».) Один из сотрудников «Роте Фане» мне говорил: «Ваш «Хуренито» — безобразная книга! Не понимаю, как могли ее издать в Москве. Когда мы придем к власти, у нас такого не будет…»

У власти стоял канцлер Вирт. Он пытался спасти Германскую республику и в Рапалло подписал соглашение с Советской Россией. Англичане и французы возмутились. Что касается немцев, то они продолжали ждать: одни ожидали революции, другие — фашистского путча.

Канцлера Вирта я встретил в 1952 году в Вене, на Конгрессе сторонников мира. Ему тогда было семьдесят пять лет. Как-то после затянувшегося заседания мы разговорились. Вирт сказал: «Когда писатель заканчивает роман, он должен испытывать удовлетворение — хотя бы несколько страниц удались. Другое дело — вечер жизни политического деятеля; здесь важны не отдельные удачи, а концовка. Я могу сказать, что моя жизнь перечеркнута. Сначала пришел Гитлер. Я знал, что будет война. Мне пришлось уехать за границу. Когда война кончилась, пришел Аденауэр. Мы с ним были в одной партии, он старше меня на три года. Я ему говорил, что он повторяет ошибки своих предшественников. Он умный человек, но этого понять он не может… Я не хочу дожить до третьей войны. А что я могу

сделать? Разве что выступать на ваших конгрессах. Но это, простите меня, ребячество». Он закрыл свои тусклые, утомленные глаза…

В летний день на улице Груневальда фашист из организации «Консул» застрелил министра иностранных дел Ратенау. Когда полиция набрела на след убийц, они покончили жизнь самоубийством. Фашистов похоронили с воинскими почестями.

Владельцы магазинов не успевали менять цены; они придумали выход: цены якобы оставались неизменными, но их нужно было множить на «шлюссельцаль» — на коэффициент. Вчера он был четыреста, сегодня шестьсот: На экранах окраинных кино продолжал безумствовать все тот же доктор Калигари. За один день в Берлине было зарегистрировано девять самоубийств. Начал выходить журнал «Дружба», посвященный теории и практике гомосексуализма.

Германия тех лет нашла своего портретиста — Георга Гросса. Он изображал шиберов, у которых пальцы напоминали короткие сосиски. Он изображал героев минувшей и будущей войны, человеконенавистников, обвешанных железными крестами. Критики его причисляли к экспрессионистам; а его рисунки — сочетание жестокого реализма с тем предвидением, которое люди почему-то называют фантазией. Да, он осмелился показать тайных советников голыми за письменными столами, расфуфыренных толстых дамочек, которые потрошат трупы, убийц, старательна моющих в тазике окровавленные руки. Для 1922 года это казалось фантастикой, в 1942 году это стало буднями. Рисунки Гросса в их жестокости поэтичны, они сродни деревянным Ледам Гильдесгейма, типографским гномам готической азбуки, кабачкам под ратушами, запаху горя и солода, который стоит на узких средневековых улицах.

У Гросса были светлые глаза младенца, застенчивая улыбка. Он был мягким и добрым человеком, ненавидел жестокость, мечтал о человеческом счастье; может быть, именно это помогло ему беспощадно изобразить те хорошо унавоженные парники, в которых укоренялись будущие оберштурмфюреры, любительницы военных трофеев, печники Освенцима.

Весь мир тогда глядел на Берлин. Одни боялись, другие надеялись: в этом городе решалась судьба Европы предстоящих десятилетий. Все мне здесь было чужим — и дома, и нравы, и аккуратный разврат, и вера в цифры, в винтики, в диаграммы. И все же я тогда писал: «… Мои любовные слова о Берлине я снабдил столь непривлекательными описаниями, что ты, вероятно, обрадуешься, что ты не в Берлине… Я прошу тебя, поверь мне за глаза и полюби Берлин — город отвратительных

памятников и встревоженных глаз». Два года я прожил в этом городе в тревоге и в надежде: мне казалось, что я на фронте и что короткий час, когда замолкают орудия, затянулся. Но часто я спрашивал себя: чего я жду? Мне хотелось верить, и не верилось…

Маяковский, приехав впервые в Берлин осенью 1922 года, объяснялся в любви:

Сегодня
хожу
по твоей земле, Германия,
и мои любовь к тебе
расцветает все романнее и романнее.

«Романнее» звучит для нас странно; видимо, оно произведено от «романа» не в литературном, а в разговорном значении этого слова. Иногда поэт видит то, чего не видят критики, и тогда поэта обвиняют в ошибках. Иногда поэт ошибается вместе с другими, и критики, как добрые экзаменаторы, одобрительно кивают головами. Говоря о Германии, Маяковский повторил то, что думали в 1922 году миллионы людей. Правда, позади были разгром Советской республики в Баварии, убийство Карла Либкнехта и Розы Люксембург; но впереди маячили огни Гамбургского восстания. Для современников ничего еще не было решено, и осенью 1922 года я вместо с другими ждал революцию.

Напрасно немцам приписывали умеренность, любовь к золотой середине: не только искусство экспрессионистов, но и слишком многие страницы немецкой истории помечены чрезмерностью.

Маяковский писал, что «сквозь Вильгельмов пролет Бранденбургских ворот» пройдут берлинские рабочие, выигравшие битву. История решила иначе: одиннадцать лет спустя сквозь эти ворота прошли бесновавшиеся гитлеровцы, а в мае 1945 года советские солдаты…

2

Не знаю, сколько русских было в те годы в Берлине; наверно, очень много — на каждом шагу можно было услышать русскую речь. Открылись десятки русских ресторанов — с балалайками, с зурной, с цыганами, с блинами, с шашлыками и, разумеется, с обязательным надрывом. Имелся театр миниатюр. Выходило три ежедневных газеты, пять еженедельных. За один год возникло семнадцать русских издательств; выпускали Фонвизина и Пильняка, поваренные книги, труды отцов церкви, технические справочники, мемуары, пасквили.

Где-то в Сербии врангелевские генералы еще подписывали военные приказы. Газета «Двуглавый орел» публиковала рескрипты «его императорского величества». Суворин-сын в «Новом времени» составлял списки будущего правительства; иностранные дела предполагалось поручить Маркову-второму, внутренние — Бурцеву. Какие-то проходимцы вербовали изголодавшихся людей в фантастические «отряды смерти». Однако вчерашние поручики и корнеты мечтали уже не о штурме российских городов, а о французской или немецкой визе. Атаман Краснов, отложив батожок, единым духом написал длиннейший роман «От двуглавого орла к красному знамени».

Некоторым головорезам трудно было сразу стать шоферами такси или рабочими; они пытались продлить прошлое. Большевики были далеко, приходилось сводить счеты с товарищами по эмиграции. На лекции Милюкова монархисты застрелили кадета Набокова. Черносотенцы обрушились на Керенского, уверяя, будто он сын известной революционерки Геси Гельфман. «Черный гусар» Посажной писал:

Языком, что без оков,
Глупости болтает.
Забывает Милюков,
Что терпенье тает.
Загораются огни,
Мщения пожары.
Он погибнет от меня,
Черные гусары!

Помню, как нас веселила книга некоего Бостунича «Масонство и русская революция», в которой говорилось, что эсер Чернов на самом деле Либерман, а октябрист Гучков — масон и

еврей по имени Вакье; Россию погубили вечные ручки Ватермана и шампанское Купферберга, помеченные дьявольскими пентаграммами.

Известный в дореволюционные годы журналист Василевский — Не-Буква писал, что «большевики растлили Сологуба», ссылаясь на роман «Заклинательница змей», написанный до революции. Бурцев называл Есенина «советским Распутиным», К. Чуковского за статью «Ахматова и Маяковский» объявили «советским прихвостнем»; а тот самый Кайранский, что сочинил про меня юдофобе кие стишки, острил: «Музыкальный инструмент Маяковского — канализационная труба». Не уступали журналистам и писатели с именем. Зинаида Гиппиус травила Андрея Белого, беллетрист Е. Чириков, который многим был обязан Горькому, написал пасквиль «Смердяков русской революции». Бунин чернил всех. Белые газеты, что ни день, объявляли о близком конце большевиков.

Все это было бурей в стакане воды, истерикой низ верже иных помпадуров, работой десятка иностранных разведок или бредом отдельных фанатиков. Среди эмигрантов было много людей, не понимавших, почему они очутились в эмиграции. Одни убежали в припадке страха, другие от голода, третьи потому, что уезжали их соседи. Кто-то остался, кто-то уехал; один брат ходил на субботники в Костроме, другой мыл тарелки в берлинском ресторане «Медведь», взгляды у них были одинаковые, да и характеры сходные. Судьбу миллионов людей решила простая случайность.

Казалось бы, все стало на свое место, твердь отделилась от хляби; а на самом деле еще царила неразбериха переходного времени. Издатель Ладыжников выпускал книги Горького и Мережковского. Другой издатель, З. И. Гржебин, на своих изданиях ставил: «Москва — Петербург — Берлин», а печатал он произведения самых различных авторов — Брюсова и Пильняка, Горького и Виктора Чернова.

Издательство, выпустившее «Хулио Хуренито», называлось поэтично — «Геликон». Горы, где обитали некогда музы, не оказалось; была маленькая контора на Якобштрассе, и там сидел молодой человек поэтического облика — А. Г. Вишняк. Он сразу подкупил меня своей любовью к искусству. Абрам Григорьевич издавал стихи Пастернака и Цветаевой, книги Андрея Белого, Шкловского, Ремизова. Эмигрантские критики его называли «полубольшевиком». А мы его прозвали «Мурзуком». Он внес в берлинский быт нравы московской зеленой богемы. Марина Цветаева посвятила ему цикл стихотворений в книге «Ремесло», писала о глазах Абрама Григорьевича:

Орлы и гады в них, и лунный год.
Весь грустноглазый твой, чужой народ…

Я подружился с ним и с его женой Верой Лазаревной. Потом Вишняки перебрались в Париж. Когда гитлеровцы оккупировали этот город, мы часто обедали у старых друзей. Расстался я с ними в тревоге, а потом узнал, что эти хорошие, добрые люди погибли в Освенциме.

В Берлине существовало место, напоминавшее Ноев ковчег, где мирно встречались чистые и нечистые; оно называлось Домом искусств. В заурядном немецком кафе по пятницам собирались русские писатели. Читали рассказы Толстой, Ремизов, Лидин, Пильняк, Соколов-Микитов. Выступал Маяковский. Читали стихи Есенин, Марина Цветаева, Андрей Белый, Пастернак, Ходасевич. Как-то я увидел приехавшего из Эстонии Игоря Северянина; он по-прежнему восхищался собой и прочитал все те же «поэзы». На докладе художника Пуни разразилась гроза; яростно спорили друг с другом Архипенко, Альтман, Шкловский, Маяковский, Штеренберг, Габо, Лисицкий, я. Вечер, посвященный тридцатилетию литературной деятельности А. М. Горького, прошел, напротив, спокойно. Имажинисты устроили свой вечер, буянили, как в московском «Стойле Пегаса». Пришел как-то Е. Чириков, сел рядом с Маяковским, спокойно слушал.

Теперь мне самому все это кажется неправдоподобным. Года два или три спустя поэт Ходасевич (я уже не говорю о Чирикове) никогда не пришел бы в помещение, где находился Маяковский. Видимо, не все кости еще были брошены. Горького некоторые называли «полуэмигрантом». Ходасевич, ставший потом сотрудником монархического «Возрождения», редактировал с Горьким литературный журнал и говорил, что собирается вернуться в Советскую Россию. А. Н. Толстой, окруженный сменовеховцами, то восхвалял большевиков как «собирателей земли русской», то сердито ругался. Туман еще клубился.

Успеху Дома искусств немало содействовал его первый председатель, поэт-символист Николай Максимович Минский. Ему тогда было шестьдесят семь лет; он был низеньким, круглым, улыбался и мурлыкал, как ласковый кот. Теперь его имя всеми забыто, а когда я был юношей, о нем много говорили; с ним спорил Вячеслав Иванов, про него писал Блок; барышни зачитывались его стихами, попавшими в «Чтец-декламатор»: «Сны мимолетные, сны беззаботные снятся лишь раз…»

В 1905 году Минский, как многие поэты-символисты, пережил увлечение революцией. У него имелось разрешение на

издание газеты, и по иронии судьбы проповедник культа «абсолютной личности» стал официальным редактором первой легальной большевистской газеты «Новая жизнь». В редакционную работу он не вмешивался, но напечатал в газете стихи:

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
Наша сила, наша воля, наша власть.
В бой последний, как на праздник, собирайтесь.
Кто не с нами, тот наш враг, тот должен пасть.

Поэтом он был посредственным, но роль его в развитии эстетической культуры в конце прошлого века бесспорна.

Газету «Новая жизнь» царские власти вскоре закрыли, а Николая Максимовича предали суду. Он уехал за границу и прожил там до смерти (умер он в возрасте восьмидесяти трех лет).

Может быть, именно потому, что он не видел ни революции, ни гражданской войны, он благодушно беседовал и с советскими писателями, и с самыми непримиримыми эмигрантами. По-моему, он не совсем ясно понимал, что именно их разделяет, и часто попадал впросак: доказывал Л. Шестову, что и у коллектива свои права, требовал от Маяковского признания свободы слова, ссылаясь при этом на традиции Короленко, а обращаясь к А. Н. Толстому, неизменно восхвалял футуризм, имажинизм и другие новшества. Но говорил он все это доброжелательно, и никто на него не обижался. Улыбался он всем, а особенно нежно — женщинам.

Мне он неизменно доказывал: «Мало победы работников физического труда, необходимо объединить работников умственного труда. Нужно воспитывать детей — от них зависит будущее. Очаги воспитания — такова задача молодых». Он был очень оторван от жизни, особенно русской. Я едва удерживался, чтобы не рассмеяться, когда он называл проектируемые им детские приюты «альмами»; по-латыни «альма» — «кормилица», но по-русски звучит странно, и как раз у моих знакомых была овчарка, которую звали Альмой. А Николай Максимович мурлыкал и улыбался. При встрече Нового года в Доме искусств он прочитал стихотворный тост:

Встретим, радуясь, как дети.
Год тысяча девятьсот двадцать третий…
Конец распрям вздорным,
Андрей Белый подружится с Сашей Черным…

Шкловский примирится с содержаньем Шекспира.
Пастернаку достанется Лермонтова лира.
А председателю Минскому в награду за старанья
Достанутся бурные рукоплесканья…

Был в Берлине еще один клочок «ничьей земли», где встречались советские писатели с эмигрантскими, — страницы журнала «Новая русская книга». Издавал его профессор Александр Семенович Ященко, юрист и любитель литературы; из России он уехал с советским паспортом и, подобно Минскому, старался объединить всех. Кто только не сотрудничал в его журнале! Я прославлял работы Татлина и возражал эмигрантским хулителям советской поэзии. Александр Семенович вздыхал: «Резко, чересчур резко», — но статьи мои печатал. А рядом ставил заклинания бывшего толстовца, монархиста И. Наживина: «Старая Русь быстро стала царством Хама… Но молодежь погибала, генералы пьянствовали, крали, беззаконничали, а тылы спекулировали на крови и похабничали… В эмиграции я стал энергично продолжать национальную и монархическую работу, но с каждым днем во мне грозно нарастали сомнения… И все оподлели, и все обессилели. Будущее наше мучительно и мрачно…» А в следующем номере выступал Маяковский: «Стал писать в «Известиях». Организую издательство МАФ. Собираю футуристов коммуны…»

Кругом был Берлин, с его длинными, унылыми улицами, с дурным искусством и с прекрасными машинами, с надеждой на революцию и с выстрелами первых фашистов. Поэт Ходасевич описывал берлинскую ночь глазами русского:

Как изваянья — слипшиеся пары.
И тяжкий вздох. И тяжкий дух сигары…
Жди: резкий ветер дунет в окарино
По скважинам громоздкого Берлина, —
И грубый день взойдет из-за домов
Над мачехой российских городов.

Понять «мачеху российских городов» было нелегко. В ее школах сидели чинные мальчики, которым предстояло двадцать лет спустя исполосовать мать городов русских. Впрочем, Ходасевич, как и большинство русских писателей, отворачивался от жизни Германии.

Сидел у себя дома, сгорбившись, А. М. Ремизов и причудливой вязью писал «Россию в письменах». Андрей Белый

говорил, что пишет о Блоке. А. Н. Толстой вместе с художником Пуни работал над книгой о русском искусстве. Марина Цветаева в Берлине написала одну из своих лучших книг — «Ремесло».

Я много работал; за два года написал «Жизнь и гибель Николая Курбова», «Трест Д. Е.», «Тринадцать трубок», «Шесть повестей о легких концах», «Любовь Жанны Ней». После «Хулио Хуренито» мне казалось, что я вышел на дорогу, нашел свои темы, свой язык; на самом деле я блуждал, и почти каждая новая книга перечеркивала предшествующую. Об этом я расскажу дальше. Теперь скажу о другом: вместе с художником-конструктивистом Эль Лисицким я издавал журнал «Вещь».

Лисицкий твердо верил в конструктивизм. В жизни он был мягким, чрезвычайно добрым, порой наивным; хворал; влюблялся, как влюблялись в прошлом веке, — слепо, самоотверженно. А в искусстве он казался непреклонным математиком, вдохновлялся точностью, бредил трезвостью. Был он необычайным выдумщиком, умел оформить стенд на выставке так, что бедность экспонатов казалась избытком; умел по-новому построить книгу. В его рисунках видны и чувство цвета, и мастерство композиции.

«Вещь» выпускало издательство «Скифы». Легко догадаться, насколько революционные славянофилы и неисправимые народники были далеки от идей конструктивизма, которые мы проповедовали. После первого номера они не выдержали и печатно от нас «отмежевались».

Что касается меня самого, то я в каждой книге «отмежевывался» от самого себя. Именно тогда В. Б. Шкловский назвал меня «Павлом Савловичем». В его устах это не могло звучать зло. В жизни он делал то, что делали почти все его сверстники, то есть не раз менял свои воззрения и оценки, делал это без горечи, даже с некоторым задором; только глаза у него были печальными — с такими он, видимо, родился. В книге «Цоо», написанной в Берлине, он писал: «Из-за холода отрекся апостол Петр от Христа. Ночь была свежая, и он подходил к костру, а у костра было общественное мнение, слуги спрашивали Петра о Христе, а Петр отрекался… Хороню, что Христос не был распят в России: климат у нас континентальный, морозы с бураном…» Шкловский никогда ни от чего не отрекался для того, чтобы подойти поближе к костру; но мне кажется, что этому пылкому человеку холодно на свете. Холодно ему было и в Берлине. Там он написал, на мой взгляд, лучшую свою книгу «Сентиментальное путешествие». Ее построение — внезапные переходы от одного сюжета к другому («в огороде бузина, а в Киеве дядька»), ассоциации по смежности, мелькание кадров и

подчеркнуто личная интонация, — все это диктовалось содержанием: Шкловский описывал страшные годы России и свое внутреннее смятение. Потом он продолжал писать о предметах куда более спокойных, даже академических, так, как писал прежде о теплушках восемнадцатого года. В нем очень много блеска; отдельные его фразы вошли в фольклор нашей эпохи; это фейерверк, который на минуту озаряет все вокруг; читать при фейерверке трудно.

В Берлине печальные глаза Шкловского были печальны вдвойне; он никак не мог приспособиться к жизни за границей; писал он тогда «Цоо».

Эта книга имела непредвиденное продолжение в жизни: она способствовала рождению писательницы, которую некоторые молодые читатели считают француженкой. Эльза Юрьевна Триоле жила тогда в Берлине, и мы с ней часто встречались. Она — москвичка, сестра Лили Юрьевны Брик. В начале революции она вышла замуж за француза Андре Триоле. Андрея Петровича, которого мы вслед за Эльзой называли просто Петровичем, и уехала с ним на Таити. (Петрович был своеобразным человеком, основной его страстью были лошади. Как-то в Париже он сказал мне, что на каникулы едет в Данию: там чудесные пастбища, и его лошади смогут хорошо отдохнуть.) Андре Триоле после возвращения с Таити остался в Париже, а Эльза Юрьевна уехала в Берлин. Была она очень молода, привлекательна — розовая, как некоторые холсты Ренуара, и печальная. В. Б. Шкловский включил в свою книгу «Цоо» четыре или пять писем Эльзы. Когда книга вышла. Горький сказал Виктору Борисовичу, что ему понравились женские письма. Два года спустя московское издательство «Круг» издало первую книгу Эльзы Триоле «На Таити». Эльза Юрьевна потом жила в Париже, почти каждый вечер я видел ее на Монпарнасе. Там в 1928 году она познакомилась с Арагоном и вскоре начала писать по-французски.

Шкловский в «Цоо» упрекал свою героиню за то, что она слишком любит «общеевропейскую культуру» и, следовательно, может жить вне России. Чувства Виктора Борисовича понятны: случайно очутившись в Берлине, он тосковал и рвался домой.

Борис Андреевич Пильняк, приехав в Берлин, с любопытством разглядывал чужую жизнь. Был он человеком талантливым и путаным. Он хорошо знал то, о чем писал, поразил читателей и русских и зарубежных не только жестокими деталями описываемого быта, но и непривычной формой повествования. На книгах Пильняка двадцатых годов, как и на книгах многих его сверстников, лежит печать эпохи — сочетание грубости и вычурности, голода и культа искусства, увлечения Лесковым и

услышанной на базаре перебранкой. Он погиб одним из первых в начале 1937 года, и трудно сказать, как пошел бы дальше его писательский путь. В Берлине в 1922 году он говорил, что революция «мужицкая», «национальная», ругал Петра, который «оторвал Россию от России». Простота его была с хитрецой: он обожал юродство (это слово, кажется, не существует ни в одном из европейских языков) — древнюю русскую форму самозащиты.

Есенин прожил в Берлине несколько месяцев, томился и, конечно же, буянил. Его неизменно сопровождал имажинист Кусиков, который играл на гитаре и декламировал:

Про меня говорят, что я сволочь,
Что я хитрый и злой черкес.

Они пили и пели. Напрасно Айседора Дункан пыталась унять Есенина; одна сцена следовала за другой. Пильняк, выпив, пытался построить на русском разоре философию, а Есенин в отчаянии бил посуду.

Начала выходить газета «Накануне». Мне привелось раза два или три разговаривать с ее идеологами. Сменовеховцы откровенно признавались, что коммунизм им не по душе, но хорошо, что большевики создали армию, выгнали интервентов, дали отпор Польше. «Мы за твердую власть, — говорили они, — а остальное образуется». Я писал поэтессе М. М. Шкапской: «Накануновцы» не хотят простить мне отказа писать у них, но, что делать, я для них слишком левый…» Журналист Василевский — Не-Буква напечатал в «Накануне» хлесткую статью обо мне, вспоминая, как в «Хуренито» мулатка хлестала героя романа Эренбурга ломтями ростбифа по щекам, говорил, что меня следует бить по лицу окороком с хорошей костью.

Алексей Николаевич Толстой сидел мрачный, попыхивая трубкой, молчал и вдруг, успокоенный, улыбался. Как-то он сказал мне: «В эмиграции не будет никакой литературы, увидишь. Эмиграция может убить любого писателя в два-три года…» Он уже знал, что скоро вернется домой.

«Скифы» были за Разина, за Пугачева, цитировали то «Двенадцать», то стихи Есенина о «железном госте». Сменовеховцы говорили, что большевики — наследники Ивана Грозного и Петра. Все они клялись Россией, и все твердили о «корнях», о «традициях», о «национальном духе». А рядовые эмигранты, выпив в ресторане «Тройка» несколько стопок и услышав «Выплывают расписные…», плакали и ругались, как плакали и ругались в последней русской теплушке, улепетывая за границу.

Толстой был прав: для большинства русских писателей эмиграция была смертью. В чем тут дело? Действительно ли любая эмиграция убивает писателя? Не думаю. Вольтер прожил в эмиграции сорок два года, Гейне — двадцать пять лет, Герцен — двадцать три года, Гюго — девятнадцать лет, Мицкевич — двадцать шесть; в эмиграции написаны и «Кандид», и «Германия. Зимняя сказка», и «Былое и думы», и «Отверженные», и «Пан Тадеуш». Дело не в разлуке с родиной, как бы тяжела она ни была, В эмиграции могут оказаться разные писатели — и разведчики и обозники. Дантон сказал, что нельзя унести родину на подошвах своих ботинок; это верно; но можно унести родину в сознании, в сердце. Можно уехать за тридевять земель не с мелкой злобой, а с большими идеями. Тем и отличается судьба Герцена от судьбы Бунина.

«Скифы», «евразийцы», «сменовеховцы» сходились на одном: гнилому, умирающему Западу противопоставляли Россию. Эти обличения Европы были своеобразным отголоском давних суждений славянофилов.

(Четверть века спустя после тех лет, о которых я пишу, неожиданно воскресли некоторые мысли, да и словечки. Бесспорно, низкопоклонство — непривлекательное зрелище, оно унижает и того, кто кланяется, и того, кому кланяются. Еще сатирики XVIII века высмеивали русских дворян, старавшихся «французить». Мне противен советский мешанин, который, увидев пошлый американский фильм, говорит своей супруге (у такого не жена, а обязательно супруга): «Далеко нам до них!» Я готов, однако, низко поклониться не только Шекспиру или Сервантесу, но и Пикассо, Чаплину, Хемингуэю, не думаю, что это может меня принизить. Непрерывные разговоры о своем превосходстве связаны с пресмыкательством перед чужестранным — это различные проявления того же комплекса неполноценности; и мне не менее противен другой мещанин, готовый искренне или лицемерно оплевать все хорошее, если это хорошее — чужое.)

В «Записках писателя» Е. Г. Лундберга есть запись, относящаяся к началу 1922 года: «Группа русских писателей собралась пить чай и ликеры в нарядном кафе над рестораном Вилли. Начались тосты. Кто пил за литературу, кто за мудрость, кто за свободу. «Против насилия!» — поднял бокал, закусывая от внутренней боли губы, экспатриированный философ. Все стихли. Ясно было, против кого направлен тост. Помолчали, обнялись, выпили. Только И. Эренбург и я остались в стороне. О чем думал Эренбург, я не знаю. А я — о рабстве полунищего среднего человека на этом милом сердцам культурных людей кладбище

Европы». Я не помню, конечно, о чем я думал в кафе Вилли; смутно припоминаю самую встречу. Но я хорошо знаю, о чем я думал в те годы.

«Скифы» родились от известного стихотворения Блока. Как ни сильна блоковская магия слова, некоторые строфы этого стихотворения мне были и остались чуждыми:

Мы широко по дебрям и лесам
Перед Европою пригожей
Расступимся! Мы обернемся к вам
Своею азиатской рожей!
Идите все, идите на Урал!
Мы очищаем место бою
Стальных машин, где дышит интеграл,
С монгольской дикою ордою!

Нет, я не хотел принять «азиатской рожи»! Слова эти звучат исторически несправедливо, и, конечно же, в Индии не меньше философов и поэтов, чем в Англии. Е. Г. Лундбергу Европа тогда казалась милым сердцу кладбищем. А я Европу не отпевал. Мой роман «Трест Д. Е.», написанный в тс годы, — история гибели Европы в результате деятельности американского треста. Это сатира; я мог бы ее написать и сейчас с подзаголовком — «Эпизоды третьей мировой войны». Европа для меня была не кладбищем, а полем битвы, порой милым, порой немилым: такой я ее видел юношей в Париже, такой нашел в тревожном Берлине 1922 года. (Такой вижу ее и теперь. Можно, разумеется, по-разному относиться к Европе — «открывать окно», законопачивать двери, можно и вспомнить, что вся наша культура — от Киевской Руси до Ленина — неразрывно связана с культурой Европы.)

О чем еще я думал в то время? О том, как примирить «интеграл» с человечностью, справедливость с искусством. Я знал, что можно гордиться подвигом народа, который первым решился пойти по неисследованному пути, но этот путь мне казался куда более широким, чем традиции одной страны или душа одной нации.

Не помню, кто именно пил чай и ликеры в кафе Вилли. Может быть, один из находившихся там потом направился в «Тройку» и за рюмкой водки бубнил о миссии России. Чехов записал монолог: «Патриот: «А вы знаете, что наши русские макароны лучше, чем итальянские! Я вам докажу! Однажды в Ницце мне подали севрюги — так я чуть не зарыдал…»

Со временем тостов в кафе Вилли прошло сорок лет. Старая эмиграция исчезла: люди состарились, умерли; их дети стали

исправными французами, немцами, англичанами. Сын кадета Набокова, убитого некогда ультра монархистом, теперь один из самых читаемых писателей Америки; он писал сначала по-русски, потом по-французски, теперь пишет по-английски.

Газеты не раз отмечали недостатки наших рыбных промыслов. Но та севрюга, о которой писал Чехов, осталась…

3

В 1922 году в бюргерский скромный пансион на Траутенауштрассе, где я жил, пришел неизвестный мне человек, застенчиво и гордо сказал: «Я — Тувим». Я тогда не знал его стихов, но сразу почувствовал смятение: передо мной был поэт. Все знают, что стихотворцев на свете много, а поэтов мало, и встречи с ними потрясают. Пушкин говорил, что вне часов вдохновении душа поэта «вкушает хладный сон». Не этот ли мнимый холод обжигает окружающих? «Хладный сон» Тувима был страстен, горек, неистов.

Он расспрашивал меня про русских поэтов, про Москву. Он жил двумя страстями: любовью к людям и трудной близостью к искусству. Мы сразу нашли общий язык.

Почти всю жизнь мы прожили в разных мирах и встречались редко, случайно (прежде говорили — «как корабли в море», я скажу — как пассажиры на шумном аэровокзале, где громкоговорители ревут: «Производится посадка…»). А вот мало кого я любил так нежно, суеверно, безотчетно, как Юлиана Тувима…

При первой встрече меня поразила его красота. Ему тогда было двадцать восемь лет. Впрочем, красивым он оставался до конца своей жизни. Большое родимое пятно на щеке придавало строго обрисованному липу трагический характер, а улыбался он печально, почти виновато; порывистые движении сочетались с глубокой застенчивостью.

Поэтам не положено долго засиживаться на земле, и молодые литераторы называли Тувима «стариком», а он не дожил до шестидесяти.

Линии жизни извилисты не только на ладони. Некоторые газетчики укоряли Тувима: он тогда-то того-то не понял, отвернулся, отступился, забежал вперед, отошел в сторону. В годы второй мировой войны Тувим писал: «Политика не является моей профессией. Она — функция моей совести и темперамента». Конечно, его путь не был прямой столбовой дорогой, но где и когда поэты маршировали по бетонированным шоссе?… Тувим страдал болезнью пространства — агорафобией: ему трудно было перейти большую площадь. А пришлось ему переходить через пустыри и пустыни, перешагнуть из одной эпохи в другую.

Маяковский писал о нем: «беспокоящийся, волнующийся» и, отмечая противоречия, приписывал их условиям жизни в Польше 1927 года: «Ему, очевидно, нравилось бы писать веши того же порядка, что «Облако в штанах», но в Польше и с официальной

поэзией и то не просуществуешь, — какие тут «облака». А ведь Маяковский написал «Облако в штанах» в царской России, и Тувим перевел эту поэму в реакционной Польше. Если он не написал «Облако в штанах», то только потому, что поэты не похожи один на другого.

В 1939 году советский знаток польской литературы уверял, что для Тувима характерны «безыдейность, бегство от жизни». За несколько месяцев до смерти Тувима я слышал радиопередачу «Конгресса за свободу и культуру» (организация, поддерживаемая американцами); комментатор говорил, что Тувим предал Польшу, изменил поэзии, потерял совесть.

Путь человека нельзя понять, увидев один его шаг; дорога жизни видна с горы, а не из подворотни. Годы меняют и облик государства, и мысли людей, но нечто самое существенное поэт проносит через все свое творчество. Маяковский правильно назвал Тувима «беспокоящимся, волнующимся»; таким он остался до самой смерти: и когда ходил в кафе «Малая Земянская» со своими друзьями «скамандритами» — Слонимским, Ивашкевичем, Лехонем (группа поэтов, хотевших обновить польскую поэзию, окрестила себя «Скамандр»), и когда порвал со многими из давних друзей, решив вернуться в новую Польшу, и когда в ранней молодости проклинал классические каноны, дерзил, куролесил, и когда незадолго до смерти восклицал: «Я полон таких шаблонов, как вера, надежда, любовь к благородным людям, ненависть к подлецам…»

В ноябре 1950 года в Варшаве проходил Второй Конгресс сторонников мира. Один очень сведущий и в то время очень влиятельный человек, показав мне на Тувима, который скромно сидел в глубине зала, сказал: «Видите, что значит перековка? Поэт беглых настроений теперь участвует в борьбе за мир…» Я в ответ усмехнулся: вспомнил давнее стихотворение Тувима, за которое его ругали на всех перекрестках, — он писал о нефти, о крови и призывал солдат бросить винтовки. Это было за четверть века до Первого Конгресса сторонников мира. Но у некоторых людей, которые ездят в машинах, а из конного транспорта запомнили только образ обязательной подковы, длинные руки и короткая память.

Марина Цветаева писала, что «каждый поэт — в гетто». Эти строки нравились Тувиму, он их не раз мне повторял. А когда ему еще не было тридцати лет, он написал о тех, кто сажает поэтов в гетто, и о тех, кто в гетто не сдается:

> Нет, вам не добиться ни службой, ни лестью
> Моего свободного званья Поэта.

Господь не нацепит вон тс созвездья
На ваши мундиры и эполеты.

Польша не всегда была ласкова к Тувиму, но он всегда любил Польшу. Природа польского патриотизма связана с трагической историей трех разделов; я никогда об этом не забывал, слушая признания Тувима. (Они, правда, были приправлены той долей иронии, которая диктуется стыдливостью.) Он страстно любил родную Лодзь, город, менее всего созданный для любования. В 1928 году я был в Варшаве, потом в Лодзи — читал отрывки из моих книг. Тувим заклинал меня не забыть посмотреть в Лодзи и Петроковскую улицу, и базар, и гостиницу «Савой», и фабрики, и нищие Балуты. Я остановился в лодзиискоm «Савое», видел фабрики, Балуты, большую тюрьму, видел литераторов, рабочих, жандармов, гимназистов, фабриканта Познанского, подпольщиков. Я записал тогда: «Короткое имя «Лодзь». Короткие фразы: «пять ящиков», «три вагона», «порцию гуся», «врача», «полицию», «похоронное бюро». Мысли еще короче. «Доллар — восемь злотых», «Сдохну!», «Выбьюсь!», «К черту!», «Арестовать!». Хороший город, откровенный город! Во всей Европе вы не найдете ни такой злобы, ни такой воли к жизни, ни такой тоски». Когда я встретился с Тувимом, я ему сказал: «Чудесный город!» Он улыбнулся, — наверно, он видел Лодзь другой: я был там неделю, а он там вырос; да и тем сильна любовь, что она многое преображает. Только недавно я прочитал стихи Тувима:

Пусть те восхваляют Сорренто, Крым,
Кто на красоты падок.
А я из Лодзи. И черный дым
Мне был отраден и сладок.

Вероятно, Тувим был куда сложнее, чем он казался не только начетчикам из различных монастырей, но и друзьям. Впрочем, об этом я еще скажу. Продолжаю о его любви к Польше.

В 1940 году Тувим добрался до Парижа. Странная то была зима или, как говорили французы, «странная война»! По ночам город был затемнен; но в ресторанах, в кафе за щитами окон было светло и шумно — военные развлекались. На фронте солдаты скучали, а в Париже полицейские работали без устали: никто в точности не знал, с кем Франция воюет — с немцами или с коммунистами. Стекла окон были покрыты узорами из тонких полосок бумаги — парижане страховали стекла от предполагаемых бомбежек; но все было тихо, невыносимо тихо, и

вряд ли кто-нибудь догадывался, что через несколько месяцев разлетится вдребезги не окно предусмотрительной консьержки, а вся Франция. В ту зиму я болел и мало кого видел — многие друзья не хотели со мной встречаться: кто побаивался, а кто сердился — дружба дружбой, политика политикой. Тувим, однако, меня разыскал. Он думал об одном — о Польше, и Париж в ту зиму был ему чужим. Наша дружба выдержала трудное испытание; мы обнялись и поняли друг друга.

Мы расстались на шесть лет. Незачем говорить, какие это были годы. Осенью 1941 года, когда сводки Совинформбюро каждый день сообщали: «Наши войска оставили…», а по московским переулкам нестройно маршировали пожилые ополченцы, когда на Западе нас отпевали, я получил телеграмму из Нью-Йорка — Тувим говорил о дружбе, о любви, о вере. (Ничего у меня не сохранилось, кроме нескольких записных книжек, и я не помню текста телеграммы.) Тувим потом писал: «В период самых больших «триумфов» Гитлера на Восточном фронте я послал телеграмму Эренбургу — телеграмму, исполненную веры в грядущую победу Красной Армии».

Весной 1946 года я сидел в нью-йоркской квартире Тувима, среди сундуков и чемоданов: через неделю он должен был уехать во Францию, а оттуда в Варшаву. Он был необычайно весел, приподнят. Многие поляки, жившие тогда в Нью-Йорке, пробовали его отговорить: возвращение в Варшаву они называли «предательством». Конечно, Тувиму было нелегко рвать с иными из своих друзей, но жил он одним — близкой встречей с Полыней, радовался, волновался, как подросток, который идет на первое свидание.

Осенью 1947 года я был в Польше. Тувим днем, вечером, ночью водил меня по развалинам Варшавы. «Нет, ты посмотри — какая красота!..» Город был страшен. Прекрасны развалины древних городов: время — гениальный зодчий, оно умеет и запустению придать гармонию; а города, только что разрушенные войной, терзают и глаз и сердце груды щебня, развороченные дома с клочьями обоев, с повисшей в небе винтовой лестницей, люди, которые ютятся в подвалах, в землянках, в щелях. Но Тувим видел красоту и в сожженной, истерзанной Варшаве: на то он был поляком, и на то он был поэтом.

Мне хочется сказать о любви Тувима к русскому народу и к русской поэзии. Казалось, прошлое могло бы заслонить многое: он ведь хорошо помнил царские порядки и городовых на улицах Лодзи. В течение двадцати лет правящие круги Польши разогревали неприязнь: все русское поносилось. Тувима это не коснулось. Много лет он отдал переводам русских поэтов. Когда

он читал мне свой перевод «Медного всадника», я слышал сложный пушкинский ритм. При одной из последних встреч он сказал мне: «Русский язык как будто нарочно создан для поэзии…»

Еще в двадцатые годы он мечтал поехать в Советский Союз. Он приехал в Москву весной 1948 года. В день его приезда мы пошли в ресторан. Он рассказывал, что именно хочет увидеть, а хотел он увидеть все. В тот же вечер он заболел; его отвезли в Боткинскую больницу. Врачи заподозрили, что у него рак. Больного Тувима отправили в сопровождении врача в Брест, куда был вызван польский доктор. Советский врач на латыни сообщил коллеге диагноз. Тувим знал латинский язык лучше молодых медиков. Он ждал быстрой развязки. Однако польские врачи установили, что у Тувима язва желудка, его оперировали, и он как будто воскрес. Пять лет спустя он умер от инфаркта. Так он и не увидел Москвы, кроме больничной палаты да номера в «Национале», о котором говорил, что он удивительно напоминает ему номера лодзинского «Савоя».

Есть у меня близкие друзья иностранцы; беседуя с ними, я вдруг чувствую — вот граница… Уж слишком по-разному мы жили и живем. Никогда с Тувимом я ничего подобного не испытывал, между нами не было не только «железного занавеса», но и легонькой занавески.

Гейне писал: «Когда я умру, они вырежут язык у моего трупа». Книги поэта, который прославил Германию, обогатил немецкую лирику, сто лет спустя горели на кострах в его родном Дюссельдорфе: расисты не могли простить автору «Зимней сказки», что он еврей. Когда я был в Польше в 1928 году, антисемиты травили Тувима; он показал мне газету, где говорилось, что его поэзия «отдает чесноком».

Есть у Тувима стихотворение о нищем еврейском мальчике, который пост грустную песню под окнами, надеясь, что какой-нибудь пан швырнет ему медяк. Тувиму хочется бросить мальчику свое сердце, уйти с ним, вместе петь песни печали под чужими окнами.

Только нет приюта в мире человечьем
Странникам-евреям с песней сумасшедшей.

В 1944 году Тувим написал обращение, озаглавленное «Мы — польские евреи». Я приведу несколько выдержек: «И сразу я слышу вопрос: «Откуда это «мы»? Вопрос в известной степени обоснованный. Мае задавали его евреи, которым я всегда говорил, что я — поляк. Теперь мне будут задавать его поляки,

для подавляющего большинства которых я был и остаюсь евреем. Вот ответ и тем и другим. Я — поляк, потому что мне нравится быть поляком. Это мое личное дело, и я не обязан давать кому-либо в этом отчет. Я не делю поляков на породистых и непородистых, я предоставляю это расистам иностранным и отечественным. Я делю поляков, как евреев, как людей любой национальности, на умных и глупых, на честных и бесчестных, на интересных и скучных, на обидчиков и па обиженных, на достойных и недостойных. Я делю также поляков на фашистов и антифашистов… Я мог бы добавить, что в политическом плане я делю поляков на антисемитов и антифашистов, ибо антисемитизм — международный язык фашистов… Я — поляк, потому что в Польше я родился, вырос, учился, потому что в Польше узнал счастье и горе, потому что из изгнания я хочу во что бы то ни стало вернуться в Польшу, даже если мне будет в другом месте уготована райская жизнь… Я — поляк, потому что по-польски я исповедовался в тревогах первой любви, по-польски лепетал о счастье и бурях, которые она приносит. Я поляк еще потому, что береза и ветла мне ближе, чем пальма или кипарис, а Мицкевич и Шопен дороже, нежели Шекспир и Бетховен, дороже по причинам, которых я опять-таки не могу объяснить никакими доводами разума… Я слышу голоса: «Хорошо. Но если вы поляк, почему вы пишете «мы — евреи»? Отвечу: «Из-за крови». — «Стало быть, расизм?» — «Нет, отнюдь не расизм. Наоборот. Бывает двоякая кровь: та, что течет в жилах, и та, что течет из жил. Первая — это сок тела, ее исследование дело физиолога. Тот, кто приписывает этой крови какие-либо свойства, помимо физиологических, тот, как мы это видим, превращает города в развалины, убивает миллионы людей и в конце концов, как мы это увидим, обрекает на гибель свой собственный народ. Другая кровь — это та, которую главарь международного фашизма выкачивает из человечества, чтобы доказать превосходство своей крови над моей, над кровью замученных миллионов людей… Кровь евреев (не «еврейская кровь») течет глубокими, широкими ручьями; почерневшие потоки сливаются в бурную, вспененную реку, и в этом новом Иордане я принимаю святое крещение — кровавое, горячее, мученическое братство с евреями… Мы, Шлоймы, Срули, Мойшки, пархатые, чесночные, мы, со множеством обидных прозвищ, мы показали себя достойными Ахиллов, Ричардов Львиное Сердце и прочих героев. Мы в катакомбах и бункерах Варшавы, в зловонных трубах канализации дивили наших соседей — крыс. Мы, с ружьями на баррикадах, мы, под самолетами, которые бомбили наши убогие дома, мы были солдатами свободы и чести. «Арончик, что же ты

не на фронте?» Он был на фронте, милостивые паны, и он погиб за Польшу…»

Эти слова, написанные кровью, «той, что течет из жил», переписывали тысячи людей. Я прочитал их в 1944 году и долго не мог ни с кем говорить: слова Тувима были той клятвой и тем проклятием, которые жили у многих в сердце. Он сумел их выразить.

Прошли годы. Гитлер отравился. Лидеры польских антисемитов эмигрировали в Англию, в Америку. Но в сердце Тувима не зажила рана. Помню последнюю встречу с ним; было это в злое время в 1952 году… Многое мы вспомнили, о многом происходящем говорили. Юлек (да позволено мне будет здесь назвать его именно так) вдруг встал, подошел, обнял меня и тотчас, желая скрыть волнение, сказал: «А теперь пойдем в «Золушку», там готовят кофе по-итальянски…»

Я упомянул о Гейне: было у Тувима с ним нечто общее помимо того, что интересует знатоков человеческих пород, — ирония, порождаемая обостренной чувствительностью. Тувим мог порой показаться высокомерным; многие его стихи обижали людей, уважающих иерархию; он отпускал едкие словечки. «Ты знаешь, у ежа, наверно, нежнейшее сердце», — как-то сказал он. Будучи растроганным, он обычно пытался шутить. В 1950 году на Конгрессе мира к Тувиму подошла молоденькая девушка и стала восторженно рассказывать, как она любит его книгу «Седьмая осень». Тувим застеснялся и неожиданно, повернувшись ко мне, сказал: «А ты помнишь, как шпик оказался моим поклонником?…» Это было в 1928 году; в Варшаве за мной присматривали два шпика; один был рослый, с лицом и повадками боксера, другой — тщедушный, чернявый и очень близорукий: на улице он часто терял меня из виду. Я к ним привык, просил иногда купить газету или пакет табаку, словом — приручил. Однажды я шел но улице с Тувимом, мы говорили о поэзии; вдруг я увидел, что чернявый, вместо того чтобы трусить позади, идет рядом с Тувимом. Я рассердился и напомнил шпику о правилах приличия, но он ответил: «Это я не по службе… Как же мне не слушать, когда говорит Тувим?…» Мы рассмеялись от неожиданности.

Есть у Тувима много злых стихов о мещанах. Я вспоминаю кафе «Малая Земянская» зимой 1928 года. Приходили туда не только поэты-»скамандриты», не только блистательный адъютант Пилсудского, Длугошовский-Венява, обожавший мир искусства, — там варшавяне, желавшие прослыть изысканными, за час до обеда пили кофе и поглотали пирожные с кремом. Тувим над ними издевался:

В час дня благоговейно
Балбес вошел в кофейню,
Сел важный, энергичный.
Почти что заграничный,
Из кожи лез бедняга,
Изображая гордо
Боксера иль варяга,
А может быть, и лорда…
Никем замечен не был
И, улыбаясь криво.
Решился быть испанцем
Де Мендос-и-Олива,
Дельцом из Пампелоны,
Певцом из Аликанте,
Испанцем-монархистом,
Испанцем-эмигрантом.
Но было все напрасно.
Хоть был он из Толедо,
И посему пошел он
До Ватер-и-Клозедо.
И там, изливши горе
Старухе бестолковой,
Вернулся в дом семнадцать
На Малой Кошиковой.

Порой многим казалось, что Тувим готов в сердцах повторить пушкинские слова: «Подите прочь — какое дело поэту мирному до вас!» На самом деле Тувим любил тех, кого называл «простыми людьми», когда эти слова еще не стали газетным штампом. Не случайно одно из лучших стихотворений, «Парикмахеры», он посвятил Чарли Чаплину — трогательному насмешнику, который в наш грозный век попытался защитить смешного маленького человека:

Вдоль стен пустой парикмахерской парикмахеры дремлют часами.
Ждут, глядят — нет клиентов, томятся, без дела шатаются,
Сами бреются, сами стригутся — все сами и сами,
Перемолвятся словом, задремлют, всхрапнут и опять просыпаются…
Назревает гроза, посинело вокруг, петухи распевают,
Парикмахерам страшно, забегали — слышите гром!
Парикмахеры плачут, поют, парикмахеры ошалевают.

То стоят истуканами, то мечутся чуть не бегом.

Вряд ли в 1926 году политики Польши, сидя в парикмахерских или даже в зале сейма, слышали первые раскаты грома. Их услышал поэт.

В 1928 году я писал о Тувиме: «Спорить с ним нельзя. Он думает ассоциациями, аргументирует ассонансами…» Да, Тувим был прежде всего лириком; это не помешало ему понять эпоху лучше, чем ее поняли иные трезвенники сознания, которые думают схемами и аргументируют цитатами. Тувим в стихах выражал себя; может быть, поэтому его стихи воспринимались людьми как выражение их мыслей и чувствований, как нечто общее. Один поляк мне рассказывал, что, будучи в годы войны партизаном, он повторял, как заклинание, стихи Тувима:

Я, может, лишь день там прожил,
А может, прожил век…
Я помню только утро
И белый-белый снег.

В молодости Тувим страстно любил Артюра Рембо, озорника и провидца, мятежника и подростка с лицом отчаявшегося ангела. При последней нашей встрече он вдруг сказал: «А лучше Блока, кажется, никто не сказал о самом трудном…» Поэтов он любил бескорыстно, переводил с равным увлечением «Облако в штанах» и «Слово о полку Игореве», не пытаясь ни у кого заимствовать. А Блок ему был все-таки сродни… Я очень люблю стихотворение Тувима «За круглым столом» с эпиграфом, взятым из песни Шуберта «О высокое искусство, сколько раз в часы печали…»:

А может, снова, дорогая,
В Томашув на день закатиться.
Там та же вьюга золотая
И тишь сентябрьская длится…
В том белом доме, в том покое,
Где мебель сдвинута чужая.
Наш давний спор незавершенный
Должны мы кончить, дорогая.

Может быть, это и есть «самое трудное» — поэзия здесь обнажена, она кажется сделанной из ничего, как в «Ночных часах» Блока, как в песенках Верлена.

Говоря, что Тувима порой не понимали даже его друзья, я думал именно об этом: в необычайной сложности, которая становится простотой, о человеке, много знавшем, мудром и в то же время ребячливом, об авторе смешных фарсов и трудной лирики. Он писал стихи для детей, и в одном стихотворении рассказал о чудаке Янеке, который все делает наоборот. Дети, слушая стихи, смеялись, а Тувим виновато улыбался: он сам походил на высмеянного им Янека.

Когда в последний раз я был у него дома, он шутил с восьмилетней Евой. Почему-то нам было грустно обоим; но не думал я, что больше его не увижу.

Он любил деревья. Помню его стихи: в лесу он пытался опознать то дерево, из которого ему сколотят гроб; по светлой печали это стихотворение сродни «Брожу ли я вдоль улиц шумных…».

В парках Варшавы, за городом, в саду поэта Ивашкевича, глядя на деревья, я думал о дереве Юлиана Тувима. Он был на три года моложе меня, и вот уже много лет прошло с его смерти. Я привык к потерям и все же не могу примириться: больно.

Но как хорошо, что я его встретил!

4

В кафе «Прагер-диле» иногда приходили русские писатели. Разговоры между ними были шумливыми и путаными; и кельнеры никак не могли привыкнуть к загадочным завсегдатаям. Однажды Андрей Белый поспорил с Шестовым; говорили они о распаде личности, и говорили на том языке, который понятен только профессиональным философам. Потом настал роковой «полицейский час», в кафе погасили свет, а философский спор не был закончен.

Как забыть последующую сцену? В створках вращающейся двери кричали Андрей Белый и Шестов. Каждый, сам того не замечая, толкал вперед дверь, и они никак не могли выйти на улицу. Шестов, в шляпе, с бородой, с большой палкой, походил на Вечного жида. А Белый неистовствовал, метались руки, вздымался пух на голове. Старый кельнер, видавший виды, сказал мне: «Этот русский, наверно, знаменитый человек…»

В 1902 году Андрею Белому, или, вернее сказать, Борису Николаевичу Бугаеву, студенту московского физико-математического факультета, было двадцать два года. Он писал тогда слабые символистические стихи и предстал перед В. Я. Брюсовым, который считался мэтром новой поэзии. Вот что записал Валерий Яковлевич в дневнике: «Был у меня Бугаев, читал свои стихи, говорил о химии. Это едва ли не интереснейший человек в России. Зрелость и дряхлость ума при странной молодости». А. А. Блок был связан с Андреем Белым многолетней дружбой; все было в их взаимоотношениях — и близость, и тяжелые разрывы, и примирения. Казалось, Блок мог привыкнуть к Белому; но нет, к Борису Николаевичу привыкнуть было невозможно. В 1920 году после, встречи с Белым Блок записал: «Он такой же, как всегда: гениальный, странный».

Гений? Чудак? Пророк? Шут?… Андрей Белый потряс всех с ним встречавшихся. В январе 1934 года, узнав о смерти Бориса Николаевича, Мандельштам написал цикл стихотворений. Он видел величие Белого:

Ему кавказские кричали горы
И нежных Альп стесненная толпа,
На звуковых громад крутые всхоры
Его ступала зрячая стопа.
И все же, выражая смятение других, писал:
Скажите, говорят, какой-то Гоголь умер?
Не Гоголь, так себе писатель, гоголек.

Тот самый, что тогда невнятицу устроил,
Который шустрился, довольно уж легок.
О чем-то позабыл, чего-то не усвоил.
Затеял кавардак, перекрутил снежок…

В 1919 году я так описал Андрея Белого: «Огромные, разверстые глаза — бушующие костры на бледном, изможденном лице. Непомерно высокий лоб с островком стоящих дыбом волос. Читает он стихи, как вещает Сивилла, и, читая, машет руками: подчеркивает ритм — не стихов, а своих тайных помыслов. Это почти что смешно, и норой Белый кажется великолепным клоуном. Но когда он рядом — тревога и томление, ощущение какого-то стихийного неблагополучия овладевает всеми… Белый выше и значительнее своих книг. Он — блуждающий дух, не нашедший плоти, поток вне берегов… Почему даже пламенное слово «гений», когда говорят о Белом, звучит как титул? Белый мог бы стать пророком — его безумие юродивого озарено божественной мудростью. Но «шестикрылый серафим», слетев к нему, не закончил работы: он разверз очи поэта, дал ему услышать нездешние ритмы, подарил «жало мудрыя змеи», но не коснулся его сердца…»

Когда я писал эти строки, я знал Андрея Белого только по книгам да по беглым московским встречам. В Берлине и в приморском местечке Свинемюнде я часто встречался с Борисом Николаевичем и понял, что, говоря о серафиме и сердце, ошибался: принимал за душевный холод несчастье, поломанные крылья, разбитую личную жизнь и чрезмерный блеск словаря.

Теперь, думая о судьбе этого воистину необычайного человека, я не могу найти разгадки. Вероятно, пути художников великих (да и не только великих) неисповедимы. Рафаэль умер молодым, но успел сказать все, что в нем было. А Леонардо да Винчи прожил долгую жизнь, открывал, изобретал, причем его научные труды были изданы тогда, когда все его открытия и изобретения имели только историческую ценность, писал красками, им изготовляемыми, которые быстро жухли, тускнели, осыпались, и миллионы людей знают не живописный гений Леонардо, а придуманную легенду о «таинственной улыбке» Джиоконды… Есть писатели, которые меньше написанных ими книг: вспоминаешь человека и дивишься, как он мог такое написать?… Есть другие. Я и теперь, как сорок лет назад, думаю, что Андрей Белый был крупнее всего им написанного.

Я не хочу сказать, что его произведения незначительны или малоинтересны. Некоторые стихи из книги «Пепел» мне кажутся

совершенными; роман «Петербург» — огромное событие в истории русской прозы; мемуары Андрея Белого захватывают. Но эти книги не переиздаются, их не переводят, не знают ни у нас, ни за границей.

Большая Советская Энциклопедия нашла доброе слово для отца Белого, математика Н. В. Бугаева, а Борису Николаевичу не повезло — он назван в манере 1950 года «клеветником». (Снова я думаю о преимуществе точных наук: к работе математика этикетки «клеветник» не приклеишь…)

Современному читателю трудно одолеть книгу Андрея Белого: мешают придуманные им словообразования, произвольная перестановка слов, нарочито подчеркнутый ритм прозы. Даже в замечательных мемуарах, написанных незадолго до смерти, Андрей Белый то и дело старался «перекрутить снежок»: «Балтрушайтис, угрюмый, как скалы, которого Юргисом звали, дружил с Поляковым… И не раздеваясь садился, слагал на палке свои две руки; и запахивался, как утес облаками, дымком папироски; с гримасой с ужаснейшей пепел стрясал, ставя локоть углом и моргая из-под поперечной морщины на собственный нос в красных явственных жилках…» Это кажется написанным на древнем языке, нужно расшифровывать, как «Слово о полку Игореве». Не всякий из молодых советских прозаиков знаком с книгами Андрея Белого. Однако без него (как и без Ремизова) трудно себе представить историю русской прозы. Вклад Андрея Белого чувствуется в произведениях некоторых современных авторов, которые, может быть, никогда не читали «Петербурга» и «Котика Летаева».

Пути развития литературы еще более загадочны, чем пути отдельных писателей. Эфирные масла, извлекаемые из корневищ ириса или из цветов иланг-иланга, никогда не применяются в чистом виде, но ими пользуются все парфюмеры мира. Эссенция неизменно разбавляется водой. Мало кто способен прочитать от доски до доски собрание сочинений Велимира Хлебникова. А этот большой поэт продолжает оказывать влияние на современную поэзию — скрытыми, обходными путями: влияют те, на кого повлиял Хлебников. То же самое можно сказать и о прозе Андрея Белого.

Его путь был запутанным и малопонятным, как его синтаксис. В 1932 году неподалеку от Кузнецка, в поселке, где жили шорцы, я видел последнего шамана. Он понимал, что его дни сочтены, и начинал шаманить неохотно, может быть с голоду или по привычке; но несколько минут спустя впадал в экстаз и вдохновенно выкрикивал никому не понятные слова. Вспоминая некоторые выступления Андрея Белого, я думаю об этом шамане.

Мне кажется, что Борис Николаевич и говорил и писал часто в состоянии исступления, если угодно, шаманил — торопился, всегда что-то видел и предвидел, но не мог подобрать для увиденного понятных слов.

Он вдохновился Штейнером, антропософией, строил храм в Дорнахе, строил не как Волошин, нет, всерьез, исступленно. В Берлине в 1922 году было множество танцулек; растерянные полуголодные немки и немцы часами танцевали входивший в моду фокстрот. Что приснилось Андрею Белому, когда он услышал впервые джаз? Почему он начал неистово танцевать, пугая глазами пророка молоденьких приказчиц? Он рано поседел; лицо было темным от загара, а глаза все сильнее и сильнее отделялись от лица, жили своей жизнью.

Все в нем было несчастьем: и сердечные драмы, и дружба с Блоком, и постоянные разуверения, и литературное одиночество. Еще в 1907 году он написал эпитафию себе:

Золотому блеску верил,
А умер от солнечных стрел.
Думой века измерил.
А жизни прожить не сумел.

Умер он в возрасте пятидесяти четырех лет не от солнечных стрел, а от усталости: хотел идти в ногу с веком, но то обгонял его. то оставался позади — «жизни прожить не сумел». Все, кажется, он испробовал — и мистику, и химию, и Канта, и Соловьева, и Маркса; был после Дорнаха руководителем литературной студии Пролеткульта, писал для советских газет очерки о росте социалистической экономики, написал заумную «Глоссолалию», не раз хоронил себя и снова «затевал кавардак».

Непримиримые эмигранты его ненавидели: он им казался перебежчиком — ведь он проводил вечера в беседах с Шестовым, с Бердяевым, дружил с Мережковским и вдруг в Берлине в 1922 году заявил, что подлинная культура в Советской России, а убежавшие от революции мертвы и смердят.

«Скифы» считали его своим, трудно сказать почему, вероятно потому, что он восхищался гражданским мужеством Блока. Ничего «скифского» в Андрее Белом не было, он боялся «панмонголизма», о котором писал Соловьев и которым вдохновился Блок. Автоматизм западноевропейской буржуазной жизни Андрей Белый обличал не как скиф, мечтающий о древних кочевьях, а как гуманист эпохи Возрождения.

Помню два его признания. Разговаривая с Маяковским в Берлине (я писал, как высоко ценил Белый поэму «Человек»),

Борис Николаевич сказал: «Все в вас принимаю — и футуризм, и революционность, одно меня отделяет — ваша любовь к машине как к таковой. Опасность утилитаризма не в том. что молодые люди увлекутся утилитарной стороной науки — это я только приветствую. Опасность в другом — в апологии Америки. Америки Уитмена больше нет, побеги травы высохли. Есть Америка, ополчившаяся на человека…» В другой раз Белый поспорил с крупным писателем, близким к сменовеховцам. Борис Николаевич кричал: «Вам не по душе революция, вы верите в нэп, вы восхищаетесь порядком, твердой рукой. А я за Октябрь! Понимаете? Если мне что-нибудь там не но душе, это именно то, что вам нравится…»

Я писал в этой книге, что Андрей Белый в 1919 году предсказал атомную бомбу. Беседуя со мной, он часто говорил о том, что математики, инженеры, химики отрекаются от своего долга служить человечеству, работают над усовершенствованием гибели, катастрофы, смерти. (Он писал об этом в своем дневнике 1915–1916 годов «На перевале»).

Гений? Бесспорно. Бессильный гений. Незадолго до смерти он сам попытался разобраться в этом противоречии. «Тридцать лет припевы сопровождали меня: «Изменил убеждениям. Литературу забросил… В себе сжег художника, став, как Гоголь, больным!.. Легкомысленнейшее существо, лирик!.. Мертвенный рационалист!.. Мистик!.. Материалистом стал!..» Я подавал много поводов так полагать о себе: перемудрами (от преждевременного усложнения тем), техницизмами контрапунктистики в оркестрировании мировоззрения, увиденного мною многоголосной симфонией; так композитор, лишенный своих инструментов, не может напеть собственным жалким, простуженным горлом — и валторны, и флейты, и скрипки, и литавры в их перекликании». Вероятно, это самое правильное объяснение: сложнейшая партитура и слабый человеческий голос.

Отсюда и одиночество. На берегу моря, крепкий, казалось бы бодрый, он говорил мне: «Всего труднее найти связь с людьми, с народом». Подарив мне «Петербург», надписал: «…с чувством постоянной связи». Я говорю не о случайном совпадении слов, а о навязчивой идее. Он так хотел живой связи с людьми! А судьба его обошла. Личное горе выглядело холодом, «золотом в лазури». В стихотворении, посвященном Андрею Белому, Мандельштам писал:

Меж тобой и страной
Ледяная рождается связь.

Эти строки были написаны на следующий день после кончины Бориса Николаевича.

5

Я писал, что на развитие нашей прозы повлияли Андрей Белый и А. М. Ремизов, хотя их книги теперь почти всеми забыты. Эти писатели не походили друг на друга. Андрей Белый витал в небесах, не мог прожить и дня без философских обобщений, много ездил по свету, восторгался, горячился, спорил. Алексей Михайлович Ремизов был домоседом, жил на земле, даже под землей, походил на колдуна и на крота, вдохновлялся корнями слов, не мудрил, как Белый, а чудил.

В 1921–1922 годах в литературу вошли молодые советские прозаики — Борис Пильняк, Всеволод Иванов, Зощенко, многие другие; почти все они пережили увлечение Андреем Белым или Ремизовым. Я как-то заглянул в мои книги того времени («Неправдоподобные истории», «Жизнь и гибель Николая Курбова», «Шесть повестей о легких концах») и удивился: запутанные или оборванные фразы, переставленные или придуманные словечки; а когда я так писал, подобный язык мне казался естественным. Так были написаны и «Голый год» Пильняка, и многие произведения молодых «Серапионов». Если это можно назвать болезнью, то, говоря по-газетному, она была болезнью роста.

Влияние Белого и Ремизова на молодых писателей было настолько очевидным, что А. М. Горький писал К. А. Федину: «Но — не поймите, что я рекомендую Вам Белого или Ремизова в учителя — отнюдь! Да, у них — изумительно богатый лексикон, и, конечно, это достойно внимания, как достоин его и третий обладатель сокровищами чистого русского языка — Н. С. Лесков. Но — ищите себя. Это тоже интересно, важно и, может быть, очень значительно».

Я рассказал об Андрее Белом. Теперь мне хочется вспомнить А. М. Ремизова, с которым я познакомился в 1922 году в Берлине. В мещанской немецкой квартире, в комнате, заставленной чужими вещами, сидел маленький сгорбленный человек с большим любопытным носом и с живыми, лукавыми глазами. Его жена, Серафима Павловна, хлопотливо потчевала гостей чаем. На письменном столе я увидел рукописи, написанные, вернее, нарисованные мастером каллиграфии. А на веревочках покачивались различные черти, вырезанные из бумаги: домашние и злые, хитрые и простодушные, как новорожденные козлята. Алексей Михайлович тихо посмеивался: в тот день, кроме привычных игрушек, у него была новенькая — Пильняк, который рассказывал фантастические истории о жизни в Коломне.

В Берлине Ремизов был таким же, как в Москве или в Петрограде, писал такие же сказки, играл в те же игры, разводил тех же чертяк — я говорю это, читая теперь записи людей, встречавшихся с ним до его отъезда за границу. Вот что писал В. Г. Лидин в 1921 году: «Не перевелись еще человечки такие, русские, земляные, мышиные, живет и здравствует, и дай бог лета долгие человечку российскому, в ночи перышком скрипящему да скрипящему — в голодуху и холод — царю обезьяньему Алексею Михайлычу Ремизову». В 1944 году в книге «Горький среди нас» К. А. Федин вспоминал первые годы революции: «Сутулый, схожий чем-то с Коньком-горбунком, чуть-чуть вприсядочку бежит по Невскому человек, колюче выглядывающий из-за очков, в пальтеце и в шапочке… Он прячет большой, многоумный затылок в поднятый воротник, а подбородок и губы выпячивает, и крючковатый немалый нос его чувствительно движет кончиком, вероятно принюхиваясь к тому, что излетает из выпяченных уст». (Лидин написал приведенные мной строки в годы повального подражания Ремизову, Федин — двадцать лет спустя, но и он, рассказывая об Алексее Михайловиче, невольно заговорил на давно забытом ремизовском языке…)

Среди прочих игр Ремизов играл в некий таинственный орден, созданный им, — «Обезьянья великая и вольная палата» или «Обезвелволпал». Он производил в кавалеры, в князья, в епископы друзей-писателей: Е. И. Замятина, П. Е. Щеголева, «Серапионов». Я числился «кавалером с жужелиным хоботком».

В 1946 году, приехав в Париж, я пошел к Алексею Михайловичу. Я не видел его перед тем лет двадцать. Незачем напоминать, какие это были годы. Много несчастий перенес и Алексей Михайлович. В годы немецкой оккупации он голодал, бедствовал, мерз. В 1943 году умерла Серафима Павловна. Я увидел согнутого в три погибели старика. Жил он один, забытый, заброшенный, жил в вечной нужде. Но тот же лукавый огонек посвечивал в его глазах, те же черти кружились но комнате и так же он писал — древней вязью, записывал сны, писал письма покойной жене, работал над книгами, которые никто не хотел печатать. Недавно Н. Кодрянская прислала мне книгу, посвященную последним годам жизни Алексея Михайловича. Я гляжу на его фотографии. Он терял зрение, с трудом писал, называл себя «слепым писателем», но, удивительно, глаза сохраняли прежнюю выразительность, и работал он до последнего дня; писал все о том же и все так же — «Мышкину дудочку», «Павлинье перо», «Повесть о двух зверях». Умер он в 1957 году, в возрасте восьмидесяти лет. Незадолго до смерти писал в дневнике: «Напор затей, а осуществить не могу — глаза!.. Сегодня

весь день мысленно писал, а записать не мог». Он и дурачился до смерти — на книгах, изданных в последние годы, значится: «Цензуровано в верховном совете Обезвелволпала».

Кажется, можно позавидовать такой устойчивости, верности себе, душевной силе. А завидовать нечему: Ремизов узнал всю меру человеческого несчастья. Его часто упрекали за то, что в его книгах нагромождение неправдоподобностей, а его судьба куда нелепее всего, что он мог придумать.

Писатель всегда старается обосновать поступки своих героев; даже если они идут вразрез с общепринятой логикой. Поэты логически оправдывают свои алогизмы. Мы понимаем, почему Раскольников убивает старуху, почему Жюльен Сорель стреляет в госпожу Реналь. А жизнь не писатель, жизнь может без всяких объяснений все перепутать или, как говорил Алексей Михайлович, перекувырнуть. Ремизов был наирусейшим изо всех русских писателей, а прожил за границей тридцать шесть лет и говорил: «Не знаю, почему так вышло…»

В ранней молодости, будучи студентом, Ремизов увлекся политикой, стал социал-демократом, угодил в тюрьму, шесть лет провел в ссылке вместе с Луначарским, Савинковым и будущим пушкинистом П. Е. Шеголевым. В ссылке он встретил свою будущую жену — Серафиму Павловну, наивную эсерку. Ремизов в разговорах всегда подчеркивал, что от революционной работы он отошел, потому что счел себя плохим организатором и еще потому, что увлекся писательством. О том, как он пришел к революционной работе, он писал в дневнике незадолго до своей смерти: «Как в России делалась революция. Переустройство жизни — уклада жизни. Мое чувство начинается — нищие на паперти и фабричные каморки», Он продолжал три месяца спустя: «История мне представляется кровожадной, война и расправа, надо кого-то мучить и замучить. Человек хочет сытно есть, спокойно спать и свободно думать. А впроголодь не всякому удается. Не насытившись и не выспишься. Забота глушит и убивает мысль. Революция начинается с хлеба».

В одной из последних книг, говоря о Тургеневе, Ремизов возвращается к той же проблеме: «В революцию все бросились на «Бесов» Достоевского, искали о революции… И никто не подумал о неумиренной пламенной Марианне «Нови», которая, я знаю, никогда не успокоится, и о ее сестре, открытой к мечте о человеческой свободе на земле, о Елене «Накануне», а кстати поискать «бесов» совсем не там — жизнь человека трудная и в мечте человека облегчить эту жизнь, какие там «бесы»! — нет, не там, и уж если говорить о бесах, вот мир, изображенный Тургеневым, Толстым, Писемским и Лесковым, — вот полчища

бесов, а имя которым праздность и самовольная праздность».

В книгах «Пруд», «Крестовые сестры» Ремизов показал подлинных бесов дореволюционной России. Ромен Роллан в предисловии к французскому переводу «Крестовых сестер» писал, что эта книга показывает неправду старого общества, объясняет и оправдывает бурю.

Бунин знал, почему он жил и умер в изгнании, а Ремизов о белой эмиграции всегда говорил недружелюбно — «они», повторял: «Что они ни говорят, а живая жизнь в России». Н. Кодрянская приводит такие слова Алексея Михайловича: «Из 1947 года мне памятны три крепких отзыва: «ретроград», «подлец», «советская сволочь». Когда я был у него летом 1946 года, он говорил «паспорт у меня советский» — хотел хоть этим утешить себя и печально улыбался.

За границей он мыкался, его выселяли, высылали. В Берлине за него вступился Томас Манн. В Париже его обвинили в том, что он развел в доме мышей. Всегда он был в долгах, не знал, чем заплатить за маленькую квартиру.

К. А. Федин писал: «Ремизов мог быть и в действительности был своеобычнейшим «правым фронтом» литературы». Слово «правый» относится, конечно, не к политике, но к эстетике: Ремизов у Федина противопоставлен лефовцам. А мне кажется, что страсть к старым народным оборотам, к корням слов, отличающая Ремизова, была присуща и Хлебникову, без которого нельзя себе представить Лефа.

Ремизов говорил, что из современников ему ближе других Андрей Белый, Хлебников, Маяковский, Пастернак. Не очень-то «правые» вкусы были у Алексея Михайловича. В живописи он любил Пикассо, Матисса. Архаизмы диктовались не консервативными наклонностями, а стремлением найти новый язык.

Ремизов часто с любовью вспоминал М. М. Пришвина. В предсмертном письме он радовался, что в Москве торжественно почтили память Михаила Михайловича. В своей автобиографии Пришвин, желая объяснить природу искусства, писал: «Писатель Ремизов в свое время тоже имел революционную прививку и дружил с Каляевым. Ремизов не был легкомысленным дезертиром в искусство. Каляев продолжал к нему относиться с тем же самым уважением, когда он стал писать свои утонченнейшие, изящные словеса. Однажды, близко к своему концу, Каляев случайно встретился на вокзале с Ремизовым, улыбнулся приветливо и так наивно-простодушно спросил на ходу: «Неужели все о своих букашках пишешь?»

Конечно, Ремарка читают больше, чем Гофмана, и Апухтин

был куда популярнее Тютчева. Но статистика не решает дела: есть крылья разного калибра для разных полетов.

Ремизов был поэтом и сказочником. На одной из книг, которую он мне подарил, он написал: «Здесь все для елки». Елки одно время были у нас не в почете; потом их восстановили в правах. Алексей Михайлович в книгах был таким же, как в жизни: играл, выдумывал, иногда веселил своими нелепостями, иногда печалил. Елку любят не только дети, и редко встретишь человека, которому хотя бы раз в жизни не понадобилась до зарезу сказка. В этом оправдание «букашек» — долгих трудов большого писателя Алексея Михайловича Ремизова.

6

Произведя меня в кавалеры «Обезвелволпала», А. М. Ремизов определил «с хоботком жужелицы» не случайно: жужелица, защищаясь, выделяет едкую жидкость. Критики называли меня скептиком, злым циником.

В начале этой книги я сказал, что хочу написать исповедь; вероятно, я обещал больше, чем могу выполнить. В католических церквах исповедальни снабжены занавесками, чтобы священник не видел, кто ему поверяет тайны. Говорят, что биография писателя — в его книгах; это верно; однако, придавая вымышленным героям свои черты, автор маскируется, заметает следы — есть у него помимо книг личная жизнь, любовь, радости, потери. Пока я писал о моем детстве, о ранней молодости, я не раз отодвигал занавеску исповедальни. Дойдя до зрелых лет, я о многом умалчиваю, и чем дальше, тем чаще придется опускать те события моей жизни, о которых мне трудно было бы рассказать даже близкому другу.

И все же эта книга — исповедь. Я сказал, что меня часто называли скептиком. В Ленинграде в 1925 году вышла книга Н. Терещенко «Современный нигилист — И. Эренбург». (Тургенев, пустивший в ход словечко «нигилист», писал: «Не в виде укоризны, не с целью оскорбления было употреблено мною это слово; но как точное и уместное выражение проявившегося — исторического — факта; оно было превращено в орудие доноса, бесповоротного осуждения, — почти в клеймо позора».) Я хочу сейчас разобраться в правильности этикетки, которую часто на меня вешали.

С детских лет я жил сомнениями в абсолютности тех истин, которые слышал от родителей, преподавателей, взрослых. Так было и потом; слепая вера мне казалась иногда прекрасной, иногда отвратительной, но неизменно чужой. Порой в молодости я пробовал пересиливать себя, а дойдя до возраста, который Данте называл «серединой жизненного пути», понял, что можно изменить суждения, но не натуру. Уже в старости я написал о моем отношении к слепой вере, которой противопоставлял критическое мышление и верность идее, людям, да и себе.

Не был я учеником примерным
И не стал с годами безупречным.
Из апостолов Фома Неверный
Кажется мне самим человечным.
Услыхав, он не поверил просто —

Мало ли рассказывают басен?
И, наверно, не один апостол
Говорил, что он весьма опасен.
Может, был Фома тяжелодумом,
Но, подумав, он за дело брался,
Говорил он только то, что думал,
И от слов своих не отступался.
Жизнь он мерил собственною меркой,
Были у него спои скрижали.
Уж не потому ль, что он «неверный»,
Он молчал, когда его пытали?

Я упоминал не раз в этой книге о характере моих сомнений. Будь я социологом или физиком, астрономом или профессиональным политиком, наверно, мне легче было бы перейти поле жизни. Я не хочу этим сказать, что путь политических деятелей или ученых устлан розами; но, переживая временные неудачи или поражения, они видят, что побеждает разум. А я стал писателем, то есть человеком, который по характеру своей работы должен интересоваться не только устройством общества, но и внутренним миром индивидуума, не только судьбами человечества, но и судьбой отдельных людей.

Мы теперь частенько говорим о потускнении литературы, искусства, о том, что «физики» опередили «лириков». В 1892 году А. П. Чехов писал: «Разве Короленко, Надсон и все нынешние драматурги не лимонад? Разве картины Репина или Шишкина кружили Вам голову? Мило, талантливо. Вы восхищаетесь и в то же время никак не можете забыть, что Вам хочется курить. Наука и техника переживают теперь великое время, для нашего же брата это время рыхлое, кислое, скучное, сами мы кислы и скучны, умеем рожать только гуттаперчевых мальчиков, и не видит этого только Стасов, которому природа дала редкую способность пьянеть даже от помоев». Порой, заглядывая в прошлое, успокаиваешься: когда Антон Павлович писал процитированное мною письмо, он не знал, что его путь идет в гору, что в тифлисской газете напечатан первый рассказ Максима Горького, что двенадцатилетний мальчик Саша Блок станет великим поэтом и что русская поэзия находится накануне подъема. Приливы всегда чередовались с отливами. Иногда прилив затягивался. Французские импрессионисты выступили в семидесятые годы прошлого века. Многие из них еще были в расцвете сил, когда на смену им пришли Сезанн, Гоген, Ван Гог, Тулуз-Лотрек; в начале нашего века впервые выставили свои работы Боннар, Матисс,

Марке, Пикассо, Брак, Леже, и только четверть века спустя начался отлив. Современная американская литература создана писателями, родившимися вокруг 1900 года, — Хемингуэем, Фолкнером, Стейнбеком, Колдуэллом; их называли «потерянным поколением», но не они, а последующее поколение потеряло дорогу, завязло в трясине. Между смертью Некрасова и первым сборником стихов Александра Блока прошло почти тридцать лет.

Я видел появление крупных писателей, художников и не могу пожаловаться, что жил в эпоху спада искусства. Нет, тяжело было другое: я жил в эпоху необычайного взлета и столь же необычайного падения человека, в эпоху разлада между быстрым прогрессом естествознания, развитием техники, победами справедливых социалистических идей и душевным запустением миллионов человеческих существ. Слишком часто мне приходилось видеть необыкновенно сложные машины и необычайно примитивных людей — с предрассудками, с грубостью чувств пещерного века.

Я рассказал, какой была Москва моего детства — темной, с «Московским листком», со снобами, не сводившими глаз с Парижа, с неграмотными рабочими, с заграничными товарами. На Западе о России тогда говорили редко: страна кнута, с храбрыми казаками, с пшеницей и пушниной, край бомб и виселиц. Стоит заглянуть теперь в любую газету любого континента, чтобы увидеть, сколько пишут про нас; на Москву смотрят все — одни с надеждой, другие с опаской; зеленый, сонный город моего детства стал подлинной столицей. Родился новый Китай. Добилась независимости Индия; поднялась буря: и одна за другой страны Азии и Африки скидывают господство «белых». Да, все переменилось. Мог ли я мальчиком себе представить, что буду перелетать за несколько часов океан, что появятся радио и телевидение, что человек отправится в космос? Чудеса, семимильные шаги!

Но разве в те же годы отрочества я мог себе представить, что впереди Освенцим и Хиросима? Мы воспитывались на книгах прошлого столетия, и я знал два полюса: прогресс и варварство, просвещение и невежество. А XX век многое перепутал. Я вспоминаю дневник немецкого офицера, который мне принесли на фронте в 1943 году. Автор был студентом, цитировал Гегеля и Ницше, Гёте и Стефана Георге, увлекался перспективами современной физики, и вот он записал: «Сегодня в Кельцах мы ликвидировали четырех еврейских детенышей, они прятались под полом, и мы потом смеялись, что умеем вымаривать крыс…» Недавно мы видели, как терзали Патриса Лумумбу. Репортеры фотографировали пытки, и аппараты у них были превосходные.

Дикость, если она связана с невежеством, объяснима; труднее ее понять в людях образованных, порой одаренных. Будущие эсэсовцы учились в школах той Германии, которую я знал; с детских лет им говорили, что Кант написал «Критику чистого разума» и что Гёте, умирая, воскликнул: «Больше света!» Все это не помешало им десять лет спустя швырять русских младенцев в колодцы. «Изуверские идеи маньяка» — скажут мне. Конечно. Но меня потрясло не появление на арене истории Гитлера, а то, как быстро изменился облик немецкого общества: люди с высшим образованием превратились в людоедов; тормоза цивилизации оказались хрупкими и при первом испытании отказали.

Но что говорить о фашистах! Я видел, в другом лагере некоторые люди, казалось бы приобщенные к благородным идеям, совершали низкие поступки, во имя личного благополучия или своего спасения предавали товарищей, друзей; жена отрекалась от мужа; расторопный сын чернил попавшего в беду отца.

Не знаю, оттого ли, что шла борьба за построение нового общества, борьба подчас кровавая, в которой противники не брезгали ничем, оттого ли, что приходилось за несколько лет наверстывать упущенное веками, но многие люди развивались односторонне. Автор книги «Современный нигилист», о которой и упомянул, ставил мне в вину «культ любви», называя его мещанством: «В частных случаях по отношению к слабым или малоразвитым людям половая любовь еще может сыграть роль двигателя вперед, но при условии, если любовь поставлена на свое место…» Я помнил Петрарку, Лермонтова, Гейне, и мне казалось, что мой обвинитель — «слабый или малоразвитый человек» и что, хотя он считает себя коммунистом, его понимание любви, «поставленной на свое место», — апология мещанства.

Вправду ли я скептик, циник, нигилист? Я оглядываюсь на свое прошлое. Я хотел сам многое понять, проверить и не раз ошибался. Но я твердо знал, что, как бы меня ни огорчали, ни возмущали те или иные вещи, я никогда не отступлюсь от народа, который первый решился покончить с ненавистным мне миром корысти, лицемерия, расового или национального чванства. Думаю, скептик просидел бы с горькой усмешкой всю свою жизнь где-нибудь в нейтральном закутке, а циник писал бы именно то, что устраивает самых придирчивых критиков.

Сартр говорил мне как-то, что детерминизм ошибка, что у нас всегда есть свобода выбора. Думая теперь о его пути, я лишний раз вижу, насколько мы связаны в своем выборе историческими обстоятельствами, средой, чувством ответственности за других, той общественной атмосферой,

которая неестественно повышает голос человека или, наоборот, глушит его, меняет все пропорции.

Бывают эпохи, когда, облюбовав место «над схваткой», можно сохранить любовь к людям, человечность; бывают и другие, когда духовно независимые киники становятся циниками, а бочка Диогена превращается в ту самую хату, которая всегда с краю. Уж что-что, а эпохи человек не выбирает.

В чем же были нравы критики? Да в том, что по своему складу я вижу не только хорошее, но и дурное. Правы и в том, что я склонен к иронии; чем больше я взволнован, растроган, тем резче выступают иглы, шипы; это явление довольно распространенное; в свое время был даже литературный термин — «романтическая ирония».

В моих ранних книгах преобладала сатира; на авансцену часто вырывались рвачи, злые мещане, лицемеры. Потом я увидел, что сплошь да рядом доброе и дурное сосуществуют в одном человеке. Я написал «День второй». Однако этикетка оставалась. А. Н. Афиногенов, с которым я познакомился в тридцатые годы, писал в своем дневнике: «У Эренбурга взгляд на все происходящее скептический…» Это написано дружеской рукой, но в замечании сказалась инерция установившегося реноме. Да зачем говорить о том, что было четверть века назад? В 1953 году я написал «Оттепель»; само название книги, казалось бы, показывало доверие автора к эпохе и людям; но критиков возмутило, что я показал директора завода, человека бесчувственного и нехорошего.

Есть писатели, которые как бы видят вокруг только хорошее, доброе. Это не связано с личной добротой автора. Мне кажется, что в жизни Чехов был мягче, снисходительнее, добрее Толстого. Но Чехов справедливо писал: «Каждую ночь просыпаюсь и читаю «Войну и мир». Читаешь с таким любопытством и с таким наивным удивлением, как будто раньше не читал. Замечательно хорошо. Только не люблю тех мест, где Наполеон. Как Наполеон, так сейчас и натяжка и всякие фокусы, чтобы доказать, что он глупее, чем был на самом деле. Все, что делают и говорят Пьер, князь Андрей или совершенно ничтожный Николай Ростов, — все это хорошо, умно, естественно и трогательно…» Толстой сделал из Николая Ростова обаятельною человека, а Наполеона описать не сумел. Что касается Чехова, то он очень хорошо показывал людей, обижающих других, да и обиженные в его рассказах отнюдь не ангелы.

Что нужнее людям — раскрытие пороков, душевных изъянов, язв общества или утверждение благородства, красоты, гармонии? Вопрос, по-моему, праздный: людям нужно все. В одно время

жили Державин и Фонвизин; остались «Глагол времен! металла звон!», остался и «Недоросль». Никогда не существовало, не существует, да и вряд ли будет существовать общество, лишенное пороков; долг писателя, если только он чувствует к этому призвание, говорить о них, не страшась, что с чьей-то легкой руки его причислят к скептикам или циникам.

Я люблю Белинского и за его гражданскую страсть, и за страсть к искусству, за глубокую честность. Часто я вспоминал его слова: «…когда же мы находим в романе удачными только типы негодяев и неудачными типы порядочных людей, это явный знак, что или автор взялся не за свое дело, вышел из своих средств, из пределов своего таланта и, следовательно, погрешил против основных законов искусства, то есть выдумывал, писал и натягивал риторически там, где надо было творить; или что он без всякой нужды, вопреки внутреннему смыслу своего произведения, только по внешнему требованию морали ввел в свой роман эти лица и. следовательно, опять погрешил против основных законов искусства».

Порой я грешил против законов искусства; норой попросту ошибался в оценках событий и людей. В одном я только неповинен: в равнодушии.

Мои рассуждения могут показаться литературной полемикой. Я ведь говорил об исповеди, а то и дело цитирую Белинского, Толстого, Тургенева, Чехова. Но я должен был сказать о глазах и о сердце, о верности времени, которая оплачивается и бессонными ночами, и неудачными книгами. Без этой главы мне было бы трудно продолжать мое повествование.

7

Я говорил, что мое поколение может сосчитать на пальцах относительно спокойные годы; к ним следует отнести то время, о котором я начинаю рассказывать.

Осенью 1923 года всем казалось, что Германия накануне гражданской войны. Стреляли в Гамбурге, в Берлине, в Дрездене, в Эрфурте. Говорили о коммунистических «пролетарских сотнях», о «черном рейхсвере» фашистов. Канцлер Штреземан взывал к патриотизму. Генерал Сект проверял, достаточно ли у артиллеристов снарядов. Иностранные корреспонденты не отходили от телефона. Гроза представлялась неминуемой. Прокатились слабые раскаты грома. Ничего, однако, не произошло. Рабочие были обескуражены, измучены. Все мешалось в голове мещанина; он никому больше не верил; ненавидел Стиннеса и французов; побаиваясь блюстителей порядка, он в то же время мечтал о добротном и длительном порядке. Социал-демократы хвастали образцовой организацией. Профсоюзы аккуратно собирали членские взносы. А решимости не хватило… Канцлер приказал распустить рабочие правительства Саксонии и Тюрингии. Я видел листовку с призывом к восстанию; люди читали и молча шли на работу.

Мюнхен считался главной квартирой фашистов. Известный всем генерал Людендорф и еще мало кому известный Гитлер попытались захватить власть. Черновая репетиции трагедии вошла в историю под названием, скорее подходящим для фарса, — «пивной путч». Берлинцы равнодушно пробегали телеграммы из Мюнхена: еще один путч, капитан Рем, какой-то Гитлер… Приближалась пора «плана. Дауэса», хитроумной дипломатии Штреземана, внезапного достатка после десяти лет беспросветной нужды. Газеты перешли на сенсационные убийства или на похождения кинозвезд.

Заводы не успевали выполнять заказы. Пустовавшие магазины начали заполняться покупателями. Герои художника Гросса в ресторанах Курфюрстепдамма пили французское шампанское «за новую эру».

О переходе военной экономики на мирную имеется обширная литература. Не менее трудно обыкновенному человеку перейти от жизни, перенасыщенной историческими событиями, к будням. Два года я прожил в Берлине с постоянным ощущением надвигающейся бури и вдруг увидел, что ветер на дворе улегся. Признаться, я растерялся: не был подготовлен к мирной жизни.

Дом искусств давно закрылся. Лопнули эфемерные

издательства. Русские писатели поразъехались кто куда: Горький — в Сорренто, Толстой и Андрей Белый — в Советскую Россию, Цветаева — в Прагу, Ремизов и Ходасевич — в Париж.

Уехали из Берлина и чужеземные спекулянты: марка становилась на ноги. Газеты писали о том, что новый американский президент добьется ухода французов из Рура; начинается восстановление Германии. Некоторые немцы чистосердечно наслаждались покоем; другие говорили, что надо готовиться к реваншу, оккупированные не расставались с мечтой снова стать оккупантами. Однако стрелка барометра шла вверх; люди думали не о будущей войне, а о предстоящих каникулах.

Я много писал, и, пожалуй, в те месяцы (как и не раз потом) меня выручало ремесло. Не знаю, «святое» ли оно или попросту очень трудное; говорю сейчас не о замыслах, не о фантазии, а только о ноте. Вот я отмечал: написал столько-то книг (следовал перечень заглавий); а за этим скрывался прежде всего труд, разорванные страницы, по десяти раз переделанная строка, бессонные ночи — словом, все то, что известно любому писателю. Бывали дни, когда я настолько сердился на самого себя, что готов был отказаться от писательства; но потом снова сидел над листом бумаги — втянулся в это дело, поздно было гадать, есть ли у меня способности или нет.

Я закончил и отослал в Петроград сентиментальный роман «Любовь Жанны Ней» — отдал дань романтике революционных лет, Диккенсу, увлечению фабульной стороной романов и своему (уже не литературному) желанию писать не только о тресте, занимающемся уничтожением Европы, но и о любви.

Шагая по длинным улицам Берлина, удивительно похожим одна на другую, я иногда сочинял стихи, которые потом не печатал. Вот одно из стихотворений, написанных в то время:

Так умирать, чтоб бил озноб огни.
Чтоб дымом пахли щеки, чтоб курьерский
— «Ну ты, угомонись, уймись, нишкни», —
Прошамкал мамкой ветровому сердцу,
Чтоб — без тебя, чтоб вместо рук сжимать
Ремень окна, чтоб не было «останься»,
Чтоб, умирая, о тебе гадать
По сыпи звезд, по лихорадке станций,
Так умирять, понять, что гам и чай,
Буфетчик, вечный розан на котлете,
Что это смерть, что на твое «прощай!»
Уж мне никак не суждено ответить.

Форма как будто была заемной — пастернаковской, но содержание моим: я продолжал работать, бушевать и, разумеется, иронизировать, а на сердце скребли кошки.

(Мориак в одном из старых романов говорит: «Даже страдания — это роскошь». Да, слишком часто выпадали на нашу долю годы, когда люди не могли себе позволить роскошь быть печальными, страдать от душевной обиды, от неразделенной любви или от одиночества.)

Навстречу шли чинные бюргеры, франтихи, чиновники, школьники. Таксы, привязанные возле дверей колбасных, ждали хозяек и тоскливо позевывали.

Я расставался с Берлином без сожаления. А вот с некоторыми иллюзиями, жившими в сердце «нигилиста», расстаться было куда труднее…

Мы высмеивали романтизм, а на самом деле были романтиками. Мы жаловались, что события разворачиваются слишком быстро, что мы не можем задуматься, сосредоточиться, осознать происходящее; но стоило истории затормозить ход, как мы помрачнели не могли приспособиться к другому ритму. Я писал сатирические романы, слыл пессимистом, а в глубине сердца надеялся, что не пройдет и десяти лет, как изменится облик всей Европы. В моих мыслях я уже похоронил старый мир, и вдруг он ожил, даже прибавил в весе, заулыбался.

Наступала эпоха, которую наши историки именуют «временной стабилизацией капитализма». Возможно, что, читая эту часть моей книги, читатели подумают: первые части были куда интереснее, чувствуется спад… Что ж, антракт не спектакль, а 1924 год не 1914-й и не 1919-й.

В годы передышки писатели поняли, что они могут писать; именно тогда были написаны прекрасные романы Хемингуэя, «Конармия» Бабеля, «Про это» Маяковского, «Семья Тибо» Мартен дю Гара, поэмы Цветаевой, «Волшебная гора» Томаса Манна, «Парижский крестьянин» Арагона, «Разгром» Фадеева и много других замечательных произведений. А рассказать о годах, когда не было ни мобилизации, ни боев, ни концлагерей, когда люди умирали в своей постели, да так рассказать, чтобы это было интересно, очень трудно. Флобер мечтал написать роман без фабулы, но не написал его: очевидно, даже для спокойного повествования требуются какие-то события. Впрочем, читателей можно успокоить: передышка была недолгой.

8

Кажется, в сентябре 1923 года из Праги приехал в Берлин друг Маяковского и Э. Ю. Триоле рыжий Ромка лингвист Роман Осипович Якобсон, работавший в советском представительстве. В стихотворении, ставшем хрестоматийным, Маяковский вспоминал, как дипкурьер Нетте, «глаз кося в печати сургуча, напролет болтал о Ромке Якобсоне и смешно потел, стихи уча». Роман был розовым, голубоглазым, один глаз косил: много пил, но сохранял ясную голову, только после десятой рюмки застегивал пиджак не на ту пуговицу. Меня он поразил тем, что все знал — и построение стиха Хлебникова, и старую чешскую литературу, и Рембо, и козни Керзона или Макдональда. Иногда он фантазировал, но, если кто-либо пытался уличить его в неточности, улыбаясь отвечал: «Это было с моей стороны рабочей гипотезой».

Роман Якобсон начал меня уговаривать съездить в Прагу, соблазнял и домами барокко, и молодыми поэтами, и даже моравскими колбасами (он любил поесть и начинал полнеть, хотя был еще очень молод).

В конце года я приехал в Прагу. Молодые поэты меня встретили дружески, расспрашивали о Маяковском, Мейерхольде, Пастернаке, Татлине — я был первым советским писателем, которого они видели. (Об этом написал Незвал в изданной посмертно книге воспоминаний.)

Франтишек Кубка, рассказывая о своих встречах с советскими писателями и художниками, пишет, что часто видел меня в Праге и не помнит, к какой встрече относится та или иная беседа. Я тоже не могу вспомнить, когда я впервые встретился со многими из моих пражских друзей — в 1923 году или позднее, но я хорошо помню один из первых пражских вечеров, когда Роман Якобсон привел меня в кафе «Народна каварня», облюбованное участниками «Деветсила» так окрестили себя чешские сторонники левого искусства. На диване у длинного стола сидели поэты Витезслав Незвал, Ярослав Сейферт, прозаик Владислав Ванчура и теоретик «Деветсила» критик Карел Тейге. Были еще молодые художники, но не помню, кто именно. Незвал пил сливовицу и восторженно вскрикивал. Потом Ванчура ушел домой, а мы начали переходить из одной «винарни» в другую и на рассвете оказались в пустой холодной закусочной, где по местным обычаям полагалось есть суп из требухи.

В присутствии Незвала трудно было кого-либо заметить: он заполнял не только комнату, но, кажется, всю Прагу. Он

вдохновенно кричал, читал стихи, вскочив на стол, обнимал каждого из нас и все время помахивал короткими, широкими руками, похожими на ласты. Он вообще походил на морского льва. Его облик был настолько своеобразен, что художник Адольф Гоффмейстер рисовал его, как дети рисуют дерево или домик несколькими линиями, рисовал не глядя, в одну минуту, и все портреты отличались удивительным сходством. Как-то ночью на тихой улице Малой Страны Незвал громко декламировал стихи. Полицейский попросил его не будить людей. Незвал продолжал кричать. Удостоверения личности у него не оказалось, но, порывшись в кармане, он вытащил измятый клочок газеты с карикатурой Гоффмейстера и снисходительно показал полицейскому: «Незвал. Поэт».

Сила поэзии Незвала прежде всего в непосредственности, наивности. Обычно говорят «наивен, как ребенок». Я говорил, что Франсуа Вийон, считавшийся бесхитростным слагателем баллад и рондо, на самом деле был искуснейшим мастером. Незвал обладал высокой поэтической культурой, любил чешских романтиков. Новалиса, Бодлера, Рембо, Гийома Аполлинера, Маяковского, Пастернака, Элюара, Бретона, Тувима. Он не обошел ни одной из поэтических форм — от сонетов до стиха, связанного только внутренним ритмом, от классики до сюрреализма — и, любя сопротивление материала, неизменно выходил победителем. Наивен он был не как ребенок, а как соловей, как анемон, как летний дождь. Ежечасно он открывал мир; он подходил к природе, к человеческим чувствам, даже к предметам обихода, как будто до него не существовало тысячелетий цивилизации. Он был нов не потому, что хотел быть новатором, а потому, что видел и ощущал все по-новому:

Выставлены розовые холсты
Под открытым небом средь равнины.
Крыши там из обожженной глины —
Это вид Милана с высоты.
Зорька вдрызг рассылалась на мелкие кусочки.
Солнышко, солнышко, лопай пирожочки!

Поэзия была для него стихией, водой для рыбы; отлученный от нее хотя бы на день, он задыхался. Он любил поэтов, чувствовал с ними родство, общность — от давней дружбы с Бретоном и Элюаром до поздних встреч с Назымом Хикметом; восторгался, открывая других поэтов. Как-то он попросил меня прочитать ему вслух стихи Леонида Мартынова, восхищался, обнимал ластами воздух. У него было очень доброе лицо, и это

лицо не обманывало. В последние годы своей жизни он писал книгу воспоминаний; он говорил мне, что писать ее нелегко: знал, что многое на свете изменилось, но не хотел изменить друзьям своей молодости; никого не предал, писал мужественно и нежно. Мне кажется, что он сумел это сделать именно потому, что был поэтом. (Я вспоминаю простые и мудрые слова Пастернака о том, что плохой человек не может быть хорошим поэтом.)

Незвал часто в стихах писал о стихах:
Будьте строги и прекрасны! В добрый час!
Звездопады слез, и клятвы женских глаз.
И любовь в горах, где сотни звезд
Прямо в руки падают из гнезд!
До свиданья! До свиданья! Так и быть!
Снова буду я будильник заводить.
Сколько здесь людей живет вокруг,
Вот она, поэзия, мой друг!

Когда и познакомился с Незвалом, ему было двадцать три года. Годы шли. Критики, как им и подобает, корили Незвала: он отходит от революции, становится формалистом, хуже того — он влюбился в сюрреализм, он отходит от поэзии, он весь в политике, он чересчур сложен, он чересчур прост, он не одолел мастерства, он исписался. А Незвал оставался все тем же. Никогда я не встречал человека, который так упорно сопротивлялся бы обстругиванию, стрижке под гребенку, корректуре годов.

Юношей он написал, что отдает себя революции. Он считал, что справедливость и красота — сестры. Часто этого не хотели понять ни поэты, ни догматики. А Незвал стоял на своем. Может удивить его наивность: в 1934 году он обратился в ЦК Коммунистической партии Чехословакии, пытаясь доказать, что сюрреализм, которым он тогда увлекался, вполне совместим с историческим материализмом. Но и много позднее, в конце своей жизни, он не высмеял прошлого, не отрекся от былых друзей, даже если дороги разошлись. В 1929 году, когда многие крупные чешские писатели вышли из коммунистической партии, Незвал не последовал их примеру. Двадцать лет спустя он не захотел отступиться от того, что считал искусством.

Революция для него была не абстрагированным политическим понятием, но сутью жизни. Он и в искусстве страстно любил все то, что порывало с канонами прошлого. Я знал его друзей — и смелого театрального режиссера Эмиля

Буриана, который вдохновлялся в те годы Мейерхольдом, и художников — Шиму, Филлу, молодого Славичека, Штырского, Тоайен. Когда в конце сороковых годов их причислили к «формалистам», Незвал не мог с этим примириться. Как-то он сказал мне: «Почему у одного нет головы, у другого нет сердца, а у третьего и голова и сердце, но нет глаз он не видит живописи, и все же обязательно судит художников». Эпоха не раз ему говорила: «Выбирай — или-или…» Он не соглашался: был слишком широк для любых рамок. Его стихи, как разлившиеся реки, не признавали берегов, а его доброта всех обескураживала.

В конце сороковых годов он работал в отделе кино; но и в службе он нашел поэзию: фильмы Трнки. Мы с ним смотрели вместе «Соловья» по сказке Андерсена. Механическая игрушка не могла заменить живой птицы. И Незвал радовался: «С живописью теперь плохо. И вот Трнка… Гони искусство в дверь, все равно оно ворвется в окно…»

Он любил деревья Моравии и новую архитектуру Праги, любил пейзажи импрессиониста Славичека, написал о нем книгу, любил фильмы Чаплина, мансарды Парижа, задушевные беседы. Когда он написал «Песнь мира», самые суровые критики умилились. А ведь Незвал всегда писал о мире…

Очень давно, в двадцатых годах, когда мы бродили по Праге, я ему сказал, что многое мне открыли глубокие дворы старого города, где дети играют, старушки судачат, где есть полутемные трактиры, в которых Швейк рассказывал свои замысловатые истории. Незвал вспомнил о нашей беседе в 1951 году и написал, что я знаю Прагу не только по Градчанам или по Вацлавскому наместью, что я люблю ее дворы. Он ведь знал каждый двор, каждый тупичок Праги. Мы с ним встречались и в Париже и в Москве, но, думая о нем, я его неизменно вижу на набережной Влтавы, или на узкой, надышанной уличке возле Старого Места. Он посвятил любимому городу много чудесных стихов, одна из его книг называется «Прага с пальцами дождя».

Он увидел женщину, утонувшую во Влтаве, потом вспомнил маску, которую видел в Париже, и написал поэму «Неизвестная с Сены». Его поразила посмертная улыбка утопленницы.

Незнакомка мертвая! Мы пасынки судьбы.
Разве смерть откроет нам звездные сады?…

Через всю жизнь Незвала прошла зыбкая и вместе с тем плотная, реальная мечта. Где-то я прочитал, что он был последним романтиком; нет, не подходит к нему слово «последний» — он всегда и во всем начинал.

Я вспоминаю сейчас его старое стихотворение из книги «Женщина во множественном числе». Поэт идет по незнакомому городу мимо огромного дома, там, наверно, музей с чучелами птиц; улицы пусты, на углу он видит женщину, она одета слишком тепло для летнего дня, шляпа закрывает половину лица, женщине кажется, что она знакома с Незвалом, и Незвалу кажется, что он ее знает, а город чужой, хотя и знакомый, город нелюбимый, и вот они доходят до дома, поднимаются на третий этаж, она садится, не снимая шляпы, и Незвал ей говорит: «Вас нет. Вы здесь. Всю жизнь я писал для вас». Но женщины снова нет. Он снова идет по улицам, ищет. Кажется, она… «Я чувствую, что она близко, как мы чувствуем близость смерти…»

Это не книга о поэзии, а история моей жизни, именно поэтому я должен был рассказать о стихах Незвала — они вошли в мои дни.

Недавно с Гоффмейстером мы вспомнили прошлое; очень мало осталось в живых наших общих друзей, завсегдатаев пражских кафе «Метро», «Славия» и других. Ванчуру, мягкого, но непримиримою, немцы расстреляли. Из поэтов первым в 1949 году умер Галас. Трагически оборвались жизни Вибла и Тенге. Еще в тридцатые годы застрелился архитектор Фейерштейн, который делал декорации для пьес Незвала. Умер художник Филла.

О смерти Незвал думал давно. В стихотворении, написанием в 1935 году, он говорил, что у людей, которые пытаются отгородиться от смерти, «лицо лиловое, а ногти впиваются в ладонь». Смерть была ему противопоказана.

Лучше ссутулиться в жизни,
Чем распрямиться в смерть.
Лучше вся тяжесть жизни,
Чем облегченная смерть.

Всю свою жизнь он составлял гороскопы. О смерти он думал всерьез. В 1955 году в стихах, написанных на юге Франции, он повторял:

Море, растет вода.
Море, не в счет года,
Что тебе горе?
Растет трава, идет вода.
Человек хочет жить,
Человек умирает.
Что тебе до него? Ты — море…

Мне он казался морем: столько в нем было постоянной и бурной жизни. Вскоре после окончания войны Незвал повел Галаса и меня в винный погребок — он обнаружил бутылки старого вина, припрятанные от немцев. Позади были годы, каждый с десятилетие. Галас был печален. А Незвал радовался и бушевал: я невольно подумал — вот кому годы не в счет…

Как-то, приехав в Прагу, я нашел Незвала примолкшим. Друзья сказали, что у него плохо с сердцем, врачи запретили ему пить вино, курить. А дня два или три спустя я снова увидел буйного Незвала, он размахивал ластами, восхищался женщинами, пил вино, читал стихи и, конечно, по-прежнему составлял гороскопы. Однажды он мне сказал, что гороскоп предсказывает ему недоброе: он предпочитал умереть не по данным электрокардиограммы, а по волшебной карте созвездий.

В последний раз мы встретились весной 1958 года в аэропорту Праги. Я сидел в буфете и ждал самолета.

Вдруг я увидел Незвала — он только что прилетел из Италии. Он сказал мне, как всегда восхищенный: «Италия дивно!» Потом обнял меня и тихо добавил: «А мне плохо», — показал рукой на сердце.

Вскоре после этого он умер.

В одном из его лучших произведений, в поэме «Эдисон», написанной в 1931 году, есть строки о страсти, о смерти, о бессмертии:

Только клад не пропал бы безвестно.
Смерть сражается с нами нечестно.
Нас насильно уложат в кровать,
Чтоб лекарства моря выпивать.
Ты, спешивший в грядущее время,
Будешь предан столетьями всеми…
И могу ли я быть хладнокровен.
Что ни шаг, то собранье диковин.
Предо мною речной перевоз.
Плесень мельничных мокрых колес…
Вы, потомки, простите меня.
Нас крутила времен шестерня.
Лихорадка войны нас трепала,
Нам разлука платками махала…
Может статься, на души в бреду
Надевал я искусства узду.
Может, сам, уходя от надлома.
Вас спасал я от желтого дома?

Люди, люди, не может пропасть.
Что сказали страданья и страсть!

Не думаю, чтобы будущий историк понял пережитую нами эпоху только по газетам, по протоколам заседаний, по архивам академий или трибуналов; ему придется прибегнуть к поэзии, и одной из первых книг, к которой он потянется, будут стихи неуемного Незвала.

9

Увидев снова Москву, я изумился: я ведь уехал за границу в последние недели военного коммунизма. Все теперь выглядело иначе. Карточки исчезли, люди больше не прикреплялись. Штаты различных учреждений сильно сократились, и никто не составлял грандиозных проектов. Пролеткультовские поэты перестали писать на космические темы. Поэт М. Герасимов сказал мне: «Правильно, но тошно…»

Машинистка ТЕО, рыжая девушка, которую мы почему-то называли Клеопатрой, давно позабыла «Октябрь в театре» и клекот Всеволода Эмильевича. Она стояла на Петровке, возле Пассажа, и торговала бюстгальтерами.

Старые рабочие, инженеры с трудом восстанавливали производство. Появились товары. Крестьяне начали привозить живность на рынки. Москвичи отъелись, повеселели. Я и радовался и огорчался. Газеты писали о «гримасах нэпа». С точки зрения политика или производственника, новая линия была правильной; теперь мы знаем: она дала именно то, что должна была дать. Но у сердца свои резоны: нэп часто мне казался одной зловещей гримасой.

Помню, как, приехав в Москву, я застыл перед гастрономическим магазином. Чего только там не было! Убедительнее всего была вывеска: «Эстомак» (желудок). Брюхо было не только реабилитировано, но возвеличено. В кафе на углу Петровки и Столешникова меня рассмешила надпись: «Нас посещают дети кушать сливки». Детей я не обнаружил, но посетителей было много, и казалось, они тучнели на глазах.

Пооткрывалось множество ресторанов: вот «Прага», там «Эрмитаж», дальше «Лиссабон», «Бар». Официанты были во фраках (я так и не понял, сшили ли фраки заново, или они сохранились в сундуках с дореволюционных Бремен). На каждом углу шумели пивные — с фокстротом, с русским хором, с цыганами, с балалайками, просто с мордобоем. Пили пиво и портвейн, чтобы поскорее охмелеть; закусывали горохом или воблой, кричали, пускали в ход кулаки.

Возле ресторанов стояли лихачи, поджидая загулявших, и, как в далекие времена моего детства, приговаривали: «Ваше сиятельство, подвезу…»

Здесь же можно было увидеть нищенок, беспризорных; они жалобно тянули: «Копеечку». Копеек не было: были миллионы («лимоны») и новенькие червонцы. В казино проигрывали за ночь несколько миллионов: барыши маклеров, спекулянтов или

обыкновенных воров.

На Сухаревке я услышал различные песенки, они, может быть, лучше многих описаний расскажут читателю о «гримасах нэпа». Была песенка философическая:

Цыпленок жареный, цыпленок пареный,
Цынленки тоже хочут жить…
Я не советский, я не кадетский,
Я только птичий комиссар.
Я не обмеривал, и не расстреливал,
Я только зернышки клевал…
Была песня торговки бубликами:
Отец мой пьяница.
Он к рюмке тянется,
Он врет и чванится,
А брат мой вор,
Сестра гулящая.
Совсем пропащая,
А мать курящая —
Какой позор!

Была бандитская, кажется завезенная из Одессы:

Товарищ, товарищ, болят мои раны…
Товарищ, товарищ, за что мы боролись.
За что прилипали мы кровь —
Буржуи пируют, буржуи ликуют…

Встретил я цыганку, которая до революции пела в ресторане. В 1920 году она каждый день приходила к Мейерхольду, требовала, чтобы он ей устроил паек. Всеволод Эмильевич ее направил в МУЗО. Улыбаясь, она рассказывала: «Четыре года кочевала. А теперь осела — пою в «Лиссабоне».

Знакомая актриса позвала меня к себе. Не знаю, как ей удалось сохранить отдельную квартиру в особняке возле Кропоткинской. Было много гостей, танцевали фокстрот, торжественно, как будто выполняли обряд. В полночь пришел молодой человек в узеньком ярко-рыжем пиджаке, начал снисходительно объяснять: в Москве не умеют отличить фокстрот от уанстепа — он ездил недавно в командировку и видел, как танцуют в Лейпциге. Все внимательно слушали. Завели патефон — те же куплеты, что в дансингах Парижа и Берлина: «Вы любите ль бананы», «Ищу мою Титину». Актриса мне рассказала, что

юноша, ездивший в Лейпциг, учился с нею в театральной студии, а теперь работает во Внешторге. «Его, наверно, скоро посадят, уж очень он хапает…»

Буржуа с детства знали достаток; трата денег для них была привычным занятием. Старая буржуазия рассеялась по миру; многим за границей пришлось плохо; переход от богатства и праздности к нужде, к черной работе доводил людей до отчаяния, до самоубийства, до преступлений. Социальное происхождение нэпманов было пестрым. Бывший помощник присяжного поверенного, прослуживший два года в Наркомюсте, вдруг начал торговать местами в спальных вагонах. Я знал поэта, который в 1921 году читал полуфутуристические стихи в «Домино»; теперь он перепродавал французскую парфюмерию и эстонский коньяк. Судили бывшего рабочего завода Гужона, участника гражданской войны, — он похитил вагон мануфактуры и попался случайно: напился в ресторане, разбил зеркало; на нем нашли восемь миллионов. Конечно, он не походил на наследственного буржуа, как не походил на пролетария какой-нибудь поручик, в прошлом сын богатой домовладелицы, которого нужда загнала на парижский завод. Миллионы бросались в голову нэпманам, они сумасбродствовали, скандалили, быстро гибли. Редко кто откладывал на черный день: люди не верили ни в долголетие нэпа, ни в ассигнации. Грань между дозволенной наживой и наказуемой спекуляцией была тонкой. Время от времени сотрудники ГПУ арестовывали десяток или сотню наиболее предприимчивых деляг; это называлось «снять накинь нэпа». Повар знает, когда ему снять накипь с ухи, но вряд ли все нэпманы понимали, кто они — рыбешка или накинь. Неуверенность в завтрашнем дне придавала развлечениям повой буржуазии особый характер. Та Москва, которую Есенин называл «кабацкой», буянила с надрывом; это напоминало помесь золотой лихорадки в Калифорнии прошлого века и уцененной достоевщины.

Рядом была другая Москва. Бывший «Метрополь» оставался Вторым домом Советов; в нем жили ответственные работники; в столовой они ели скромные биточки. Они продолжали работать по четырнадцать часов в сутки. Инженеры и врачи, учителя и агрономы если не с прежним романтизмом, то с прежней настойчивостью восстанавливали страну, разоренную гражданской войной, блокадой, годами засухи. На лекции в Политехническом по-прежнему было трудно пробиться; книги в магазинах не залеживались — штурм знаний продолжался.

В 1924 году я писал: «Не знаю, что выйдет из этой молодежи — строители коммунизма или американизированные

специалисты; но я люблю это новое племя, героическое и озорное, способное трезво учиться и бодро голодать, голодать не как в студенческих пьесах Леонида Андреева, а всерьез, переходить от пулеметов к самоучителям и обратно, племя, гогочущее в цирке и грозное в скорби, бесслезное, заскорузлое, чуждое влюбленности и искусства, преданное точным наукам, спорту, кинематографу. Его романтизм не в творчестве потусторонних мифов, а в дерзкой попытке изготовлять мифы взаправду, серийно — на заводах; такой романтизм оправдан Октябрем и скреплен кровью семи революционных лет». (Конечно, в формулировках сказалось былое увлечение конструктивизмом; но мне кажется, что я верно подметил некоторые черты, присущие молодежи тех лет.) Я добавлял: «Хорошо, что они умеют критически подойти к фактам. Когда кто-нибудь начинает поддакивать любому докладчику, над ним смеются, называют «такальщиком» — от односложного «так, так»…»

Рабфаковцы, о которых я писал, были людьми, родившимися в первые годы нашего века. Я был старше их всего на десять-двенадцать лет; но смена поколений была резкой. Моими сверстниками были Маяковский, Пастернак, Цветаева, Федин, Мандельштам, Паустовский, Бабель, Тынянов. Мы прожили молодость в дореволюционные годы; многое помнили; иногда это нам мешало, иногда помогало. А студенты 1924 года увидали революцию глазами подростков, они формировались в годы гражданской войны и нэпа. Это — поколение Фадеева и Светлова, Каверина и Заболоцкого, Евгения Петрова и Луговского. Оно рано начало редеть. Теперь те, что выжили, выходят на пенсию; у них есть время, чтобы изучить тот предмет, который Гюго называл «искусство быть дедушкой»; и я заметил, что молодые скорее находят общий язык с ними, нежели со своими отцами.

Снег белой сострадательной пеленой покрывает все. Когда приходит первая оттепель, земля обнажается. В годы нэпа нас потрясала, норой доводила до отчаяния живучесть мещанства; ведь мы тогда были наивными и не знали, что перестроить человека куда труднее, чем систему управления государством.

Маяковский в 1921 году, в медовый месяц нэпа, возмущался:

> Опутали революцию обывательщины нити.
> Страшнее Врангеля обывательский быт.
> Скорее
> головы канарейкам сверните,
> чтоб коммунизм канарейками не был побит!

Он писал о чиновниках, которые «засели во все учреждения.

Намозолив от пятилетнего сидения зады, крепкие, как умывальники». Перечитывая эти стихи, я невольно улыбаюсь: кабинеты и спаленки («гарнитуры») те же. а зады стали крепче…

Комнаты у меня в Москве не было, меня приютили в ЦЕКУБУ на Кропоткинской. Туда приходили старые ученые, беседовали или молча вздыхали — им трудно было понять, что к чему.

Вздыхали в те годы и многие поэты; и так как они это делали не в столовой ЦЕКУБУ, а на страницах журналов, их за вздохи ругали: улыбка считалась аттестатом политической стойкости. Выходил журнал «На посту»; название казалось романтическим, в действительности пост был скорее милицейским, чем боевым. Напостовцы ругали всех — А. Толстого и Маяковского, Всеволода Иванова и Есенина, Ахматову и Вересаева. Поэты, однако, продолжали вздыхать. Асеев написал печальную поэму о любви — «Лирическое отступление», и напостовцы, обрадованные, цитировали вырванные из нее строки:

Как я стану твоим поэтом,
коммунизма племя,
если крашено рыжим цветом,
а не красным время?

Я пошел к Маяковскому. У Бриков было, как всегда, много гостей; пили чай, ели холодные котлеты. Маяковский, мрачный, здесь же дорисовывал какой-то плакат. Несколько дней спустя я его встретил в клубе; он доказывал, что нужно помочь государству бороться с частной торговлей; писал рекламы:

Все, что требует желудок,
тело или ум,
Все человеку предоставляет
ГУМ.

Или:

Разрешаются все мировые вопросы, —
лучшее в жизни — «Посольские» папиросы.

Ночью он вдруг начал читать прекрасные отрывки из поэмы «Про это»; в стихах он пытался убедить себя, что добровольно никогда не расстанется с жизнью…

Наступило время для прозы: можно было продумать

пережитое. Фадеев писал «Разгром», Бабель — «Конармию», Тынянов — «Кюхлю», Зощенко — «Рассказы Синебрюхова», Федин — «Города и годы», Леонов — «Барсуков».

Мне хотелось поездить по стране; денег у меня не было, и я соблазнился предложением одного из многочисленных в то время организаторов литературных вечеров. Он предложил мне поехать в Петроград, Харьков, Киев, Одессу и прочитать лекции о жизни Западной Европы. Импресарио хотел идти в ногу со временем, — следовательно, хорошо заработать; он был человеком немолодым и неизменным неудачником. Задумал он все безупречно: лекции устраивались Обществом Красного Креста, которое должно было получить часть доходов; в различные города выехали разведчики; один был сыном импресарио, Леней, молоденьким студентом, застенчивым нахалом, который решил, не теряя времени, написать книгу обо мне и все время ошарашивал меня вопросами: «Расскажите, как вы впервые влюбились», «Кого вы ставите выше — Вольтера или Анатоля Франса», «Какой, по-вашему, Эрос — крылатый или бескрылый»; другой организатор был человеком вполне деловым, он ел со смаком гуся, на станциях находил скучающих девиц и заманивал их в купе спального вагона, торговался с учреждениями, сдававшими залы, и говорил мне: «Я должен сегодня заработать двадцать червонцев, и вы увидите, что я их заработаю…»

Нужно было найти название для лекций. Маяковский приучил публику к афишам, которым позавидовал бы любой американец: «Поэзия — обрабатывающая промышленность», «Анализ бесконечно малых», «Дирижер трех Америк», «Белые сосиски Лизистраты», «А все-таки Эренбург вертится», «Курящийся Вересаев», «Бал в честь юной королевы», «Брюсов и бандаж». Импресарио молил: «Что-нибудь непонятное…» Я выбрал первое, что мне пришло в голову, — «Пьяный оператор».

В Харькове импресарио снял цирк «Миссури». Никаких микрофонов в то время не было. Я, надрываясь, кричал что-то о фильмах Чаплина, а публика ревела: «Не слышно». Я хотел уйти; меня удержал импресарио: «Потребуют деньги за билеты. У меня большая семья… Постарайтесь!.. Жена вам уже взбивает гоголь-моголь…»

Я увидел впервые Одессу; я знал ее по забавным анекдотам, и «Одесса-мама» меня удивила: она оказалась печальной. В порту было пусто. Кое-где чернели развалины. Исчезло, видимо, былое легкомыслие; жизнь не налаживалась. На одной из площадей я увидел голову бородатого удельного князя, под ней значилось: «Карл Маркс». Молоденькая билетерша в театре, где я читал лекцию, потрясла студента Леню — неожиданно ему сказала:

«Что вы мне все строите глазки?… Это уже пройденный этап. Пригласите меня поужинать в «Лондонскую», и тогда мы поговорим, потому что я теперь на хозрасчете…»

«Лондонская гостиница» была живописным местом. В некоторых номерах по-прежнему жили ответственные работники; жены готовили на примусах обед, нянчили детей; вечером шли разговоры о последней передовице «Правды», о повестке дня Тринадцатого съезда. В других номерах останавливались спекулянты, журналисты, актеры эстрады, «красные купцы»; там пили, иногда дебоширили. На базаре я услышал песенку «Ужасно шумно в доме Шнеерсона…». А у Шнеерсона было очень тихо; тихо было на улицах, носивших новые имена: Интернациональная, Пролетарская, Лассаля, Коммуны. В кафе Печеского спекулянты, заказывая стакан чаю, старались перепродать друг другу трухлявые зеленые или оранжевые доллары. Маклеры на час нервно позевывали — время от времени происходила облава и всех забирали.

В местной газете секретарь редакции показал мне стихи молодого одессита; он писал о море, о птицах, о клетках для птиц; стихи мне понравились, я спросил, как зовут поэта; секретарь ответил: «Эдуард Багрицкий».

Я разбил стекло ручных часов и пошел к часовщику. Он долго подгонял стеклышко; я молча ждал, а он говорил не замолкая: «Сегодня в газете напустились на Керзона. Но я вам скажу, что Керзон их не боится. Это я их боюсь. Во-первых, я боюсь фининспектора, во-вторых, я боюсь ГПУ, в-третьих, я боюсь вас — откуда я знаю, что вы за человек и зачем вы хотите, чтобы я вам все выкладывал…»

Нищенки говорили: «Подайте, товарищ», «Ради господа бога, гражданин миленький», «Копеечку, барин»… Путались слова, путались и эпохи.

В Киеве я ехал по Крещатику, вдруг санки распались, лошадь с извозчиком уехали, а я с сиденьем саней очутился в сугробе. Санки не выдержали, но на базарах продавали добротные дореволюционные веши: самовары, швейные машины Зингера, часы Мозера, пузатые купеческие чашки.

Крепче всего держалось прошлое в сознании. На одной из станций крестьянка с мешком по ошибке вошла в мягкий вагон. Проводник заорал: «Куда прешь? Вылезай! Это тебе не семнадцатый!..»

В Гомеле, в вокзальном буфете, висело изречение: «Кто не трудится, тот пусть и не ест». За столиками обедали пассажиры спального вагона. Здесь же бродили беспризорные в надежде на подачку. Один пассажир протянул девочке тарелку с остатками

мяса в соусе: «Жри!» Подбежал официант (или, как тогда говорили, гражданин услужающий) и, вырвав из рук девочки тарелку, вытряхнул кусок мяса, картошку на лохмотья, заменявшие девочке платье. Я возмутился; никто меня не поддержал. Девочка плакала и поспешно ела. Я видел в Гомеле спичечную фабрику; директор, бывший рабочий, раненный в боях против Деникина, больной, работал с утра до ночи: не было клея для намазки коробок; он повторял: «Стране нужны спички…» Гомельские юноши говорили о боях в Гамбурге, о стихах Маяковского, о будущем. А перед моими глазами стояли тупые, равнодушные физиономии в вокзальном буфете и затравленный ребенок…

Деловой помощник импресарио был доволен: он перевыполнил план. Леня книги обо мне не написал, говорил всем: «А зачем о нем писать? Я его знаю как облупленного…» Отец Лени погорел, хотя сборы были хорошими: по пути из Одессы в Ленинград из-за заносов мы простояли на полустанке два дня, и мой импресарио уплатил неустойку за зал. Ничего не поделаешь — он был вечным неудачником. Что касается меня, то я был доволен: многое увидел.

После каждой лекции меня засыпали вопросами, некоторые я записал: «Почему не вышла революция в Германии», «Какие теперь моды в Париже», «Что вы хотели сказать вашим «Хуренито» — да или нет», «Кто хуже — социал-предатели или фашисты», «Объясните коротко теорию относительности», «Почему школы снова платные», «Почему вы, писатели, настраиваете девчат на всяческие объяснения», «Берут ли в Индии иностранных борцов за независимость», «Правда ли, что вы приятель Вандервельде», «О вас пишут, что вы продукт разложения, скажите в таком случае, сколько вы получаете за лекцию», «Маяковский говорит, что поэзия — продукция, а у Пушкина не так: кто, по-вашему, прав», «Откроет ли коммунизм возможность победить смерть», «Вы за футбол или признаете также регби», «Расскажите о работах Резерфорда в области трансформации атомов», «Чем тустеп отличается от уанстепа и что больше танцуют в Берлине», «Почему у нас переводят «Тарзана», а роман Марселя Пруста не существует в переводе», «Повлияет ли, по-вашему, денежная реформа на сокращение ножниц», «Знакомы ли вы с Пикассо, что он теперь делает», «Половая любовь — это буржуазный пережиток, почему этого не говорят прямо», «Недавно у нас выступал лектор, он говорил, что искусство сохраняется в переходный период, а при коммунизме исчезнет, я с этим не согласна, помогите разобраться».

Я привел эти вопросы в том порядке, вернее, беспорядке, и

котором их переписал; мне кажется, что они могут помочь понять те, уже далекие, годы.

Я часто беседовал с молодыми людьми; разные попадались: умные и глупые, честные и карьеристы. Нэп помог восстановлению экономики, но вряд ли он был хорошей школой для юношей и девушек. У всех еще были в памяти годы гражданской войны: подвиги, слава, зверства, героика, грабежи. Молодежь, пришедшая в университеты с фронта, из деревень, была горячей, напористой. Студенты хорошо учились, да и вели себя хорошо, колеблясь между наивным утилитаризмом и свойственной их возрасту романтикой. Но было немало и таких, что теряли голову, — честолюбцев, фантазеров без азов морали, слабовольных, которые, очутившись в дурной компании, шли на все. Рядом со скромной студенческой жизнью шел разгул. «Москва кабацкая», где агонизировал Есенин, дышала в лицо угаром, сбивала многих с пути.

Один юноша рассказал мне длинную, путаную, но не очень-то сложную историю: еще недавно он был честным комсомольцем, хороню учился. Товарищ втянул его в нехорошую затею; выглядело все благородно — ему поручили собирать деньги на воздушный флот, оказалось, что сборами занималась шайка мошенников. Студент возмутился, хотел пойти в ГПУ, но, получив пачку ассигнаций, соблазнился мишурой жизни. Он влюбился в девушку, которая требовала подарков, стал спекулировать; из комсомола его вычистили; он ждал ареста. У него были очень выразительные руки, они рвались кверху, грозили, умоляли.

Мне захотелось написать о нем, о таких, как он. Я начал ходить на судебные заседания; получил разрешение беседовать с заключенными в изоляторах (так тогда называли тюрьмы). Привлекала меня, конечно, не живописность среды, не уголовщина, а история взлета и падения тех крутых, скользких лет.

Тогда входило в обиход новое словечко «рвач», и я назвал моего героя, сына киевского официанта, рвачом. Я описал его детство, стремление к славе, себялюбие, подъем в первые годы революции, участие в гражданской войне, учебу, падение. У Михаила Лыкова (так звали моего героя) был брат, Артем, честный, не очень разбирающийся в сердечных делах, но добрый, старавшийся удержать Михаила от падения. Герой мой не был Растиньяком; в нем жили различные, порой противоречивые чувства. Полюбив корыстную, пустую женщину, он вел себя с ней, как мальчишка. Вместе с тем он верил в свою исключительность, в свое превосходство над товарищами. Если угодно, он чем-то

напоминал Жюльена Сореля, родившегося сто лет спустя, в стране социалистической революции. Осужденный, он в тюрьме кончил жизнь самоубийством.

Я писал в одном из писем: «Я заканчиваю «Рвача». Я даже привязался к моему герою, хотя он пакостник, сволочь, склонная к романтике, патетический спекулянтик…» Мне и теперь кажется, что писатель, освещая внутренний мир тех героев, которых критики называют «отрицательными», привязывается к ним: он ведь видит хорошие начала, которые были заложены в сердце человека, опустившегося на дно. Никогда я не думал оправдывать рвачей. Эпиграфом к книге я взял слова древней молитвы, осуждающей индивидуализм: «Да будет воля твоя, чтобы этот год был росистым и дождливым, и да не проникнут в тебя молитвы путников на путях по поводу дождя, который им помеха, когда весь мир нуждается в дожде».

Я знал, что меня снова будут упрекать: зачем писать о каком-то жалком рваче, когда кругом столько благородных и вдохновенных героев? Мне думается, что обязанностью врача является поставить диагноз, и только сумасшедшему может прийти в голову, что доктор, констатируя случай эпидемического заболевания, тем самым распространяет эпидемию. В романе «Рвач» попытка показать душевный мир свихнувшегося Михаила Лыкова сопровождалась сатирическим описанием быта тех лет. Даже напостовцы признавали в теории необходимость сатиры, но каждую попытку показать ту или иную уродливую сторону нашей жизни они немедленно объявляли клеветой. («Нам нужны наши Щедрины и Гоголи» — это я услышал много позже. Сатира по-прежнему считалась в теории необходимой, а на практике чуть ли не актом диверсии; и один поэт сочинил стишок:

Я за смех, но нам нужны
Подобрее Щедрины
И такие Гоголи,
Чтобы нас не трогали…)

Я писал в 1924 году: «Если в моих книгах так называемые «отрицательные типы» отличаются большей выразительностью, то в этом следует видеть отсутствие универсальности, ограниченность человеческой природы, а не хитрые козни. Как бы я хотел, вместо обличений моих книг, прочитать прекрасную эпопею нового, здорового, бодрого человека! Увы, благонамеренные критики не торопятся ее писать, они предпочитают осуждать меня. Я же предпочитаю отдаваться работе, к которой чувствую прирожденную склонность. Не

дожидаясь часа, когда будет написана вдохновенная книга об Артеме, я хочу рассказать современникам историю его брата…»

Двадцать шестого января 1925 года и сообщал: «Попов отказался от «Рвача», следовательно, он вряд ли выйдет…» (Не помню, о каком Попове шла речь.)

Один из наиболее видных напостовцев, называя меня «откровенным врагом революции», писал: «Пафос «Рвача» — любование нэпаческой хищнической средой, утверждение о захвате буржуазными хищниками всего нашего хозяйственного аппарата. Вот конечное падение вчерашнего кандидата в русские Шпенглеры…» В минуту тоски Эдуард Багрицкий написал:

Чуть ветер,
Чуть север —
И мы облетаем.
Чей путь мы собою теперь устилаем?
Чьи моги по ржавчине нашей пройдут?
Потопчут ли нас трубачи молодые?
Взойдут ли над нами созвездья чужие?
Мы — ржавых дубов облетевший уют…

На Кузнецком в витрине книжного магазина я увидел «Дерево советской литературы». Ветви были сопровождены пояснительными этикетками: «Пролетарские писатели», «Лефовцы», «Крестьянские поэты», «Левые попутчики», «Попутчики-центр», «Правые попутчики», «Необуржуазная литература» и так далее. Под деревом валялись опавшие листья, и на одном из них значилось: «Эренбург».

Ветра потом было вдоволь, ветра и севера. Чудом я не облетел.

10

Недавно я разыскал в библиотеке полуистлевший номер однодневной литературной газеты «Ленин», вышедший в день похорон Владимира Ильича. Есть там и моя статья, написанная наспех, в том душевном состоянии, когда не думаешь о стиле. Я хочу привести отрывки из этой корявой статьи — они могут объяснить последующие части моей книги.

Вспоминая Париж довоенных лет, я писал:

> «Что знали мы в те годы канунов? Беспокойство и бродяжничество, бомбы и стихи.
>
> …Разве не ему принадлежат эти пронзительные и достойные слова: «Мы ошибались, мы много раз ошибались». Да, здесь могли быть и срывы и ошибки, ибо здесь была жизнь. А там, среди грустных сизых домов, в стране, где краснобай не устает говорить о свободе, о величии личности, там не оказалось ни героев, ни строителей, ни вождей. Там не могло быть и ошибок: там не было жизни.
>
> …За четыре года страшной войны Европа получила Версаль, а Россия выстрадала Октябрь…
>
> …Чтобы понять творческую мощь Ленина, стоит только взглянуть туда, где Пуанкаре над развалинами и крестами каждое воскресенье бурно кричит: «Мы?… Нет, мы никогда не ошибались!»

…Он знал. Мы не знали. Мы не знали, что национальная революция полудикой крестьянской России вырастет в эру мира. Мы не знали, что «Даешь землицу!» февраля станет в Октябре «Даешь Землю!». Он это знал. Знал, сидя в Женеве. Знал, работая по ночам в маленькой комнате при свете керосиновой лампы.

И вот несколько месяцев тому назад в Сан-Паули — в Гамбурге, после подавленного восстания, я слышал такой разговор. Спорили два родных брата, оба рабочие. Братия. Враги. Один участвовал в восстании, другой его подавлял. И тот, что участвовал в восстании, был ранен. Его тихонько от «зеленых» отвезли домой. Подавлявший говорил: «Зачем было восставать? Ведь социалисты в сенате обещали выдать по полфунта маргарина… Ты слышишь?…» Тот, что участвовал в восстании, ответил: «А мы получим его». И, говоря это, он показал на портрет, висевший в его комнате, как он висит в сотнях тысяч рабочих комнат всех городов всех стран.

…Мы часто недоумевали. У нас было наше новое искусство, наше беспокойство, наше бродяжничество по миру. И нам казалось, что все это чуждо ему. Мы не знали, что вне его работы нет нам ни роста, ни жизни. Пусть дом не достроен. Пусть в нем очень трудно и очень холодно. Но ведь стены его растут. А там, где целы все дома, где десять лет назад писатели бунтовали и томились, — в городе сизых домов? Там нам нет места. Маленькая буря в стакане воды окончилась. Остались оды в честь академика Фоша да приличный обед из трех блюд. Отчаяние великой европейской ночи — он знал и это. Он был однодумом, он думал об одном для того, чтобы другие, счастливые, могли думать о многом…»

Когда уходит большой человек, люди невольно оглядываются и на то, что мы называем историей, и на свою маленькую жизнь. Так было и со мной, когда я писал о кончине Ленина: я не помнил кануны, «Ротонду», бунт писателей, художников и в сердцах, наверно несправедливо, обозвал это все «бурей в стакане воды». Самоуничижение диктовалось горечью потери, осознанием того решающего и воистину всеобщего, что осуществил человек, отнятый у человечества смертью.

Мои давние слова о значении Октября, противопоставление трудного пути России духовному оскудению Запада мне кажутся правильными и теперь.

«Пусть дом не достроен…» Да, в 1924 году мы не знали, каким потом, какими слезами, какой кровью будет оплачен тот дом, стены которого уже высились при Ленине. Мы не знали, что в тридцатые, в сороковые годы нам не скажут дружески, по-товарищески об ошибках. А дом построен: и душевная сила нашего народа сказалась в том, что он его строил несмотря ни на что.

В те январские дни стояли редкие и дли московской зимы морозы. Напрасно пытались уговорить детей оставаться дома. Взрослые несли на плечах малышей. Красноармейцы плакали. Ночью в Охотном ряду, на Дмитровке, на Петровке — повсюду горели костры, и у костров хмурые люди в тулупах молчали. Было много бородатых ходоков: крестьянская Россия в те времена еще носила бороду.

Я не мог оставаться дома. Видел похоронную процессию на Балчуге. Помню, как несли гроб ближайшие товарищи Ленина (имена многих исчезли из учебников истории). Был в Колонном зале, где рыдания перебивали траурный марш. Москва, та, что, согласно поговорке, не верит слезам, плакала навзрыд. Я пошел к Николаю Ивановичу, моему товарищу по нелегальной школьной организации, он жил во Втором доме Советов. Обычно веселый,

он молчал, и вдруг я увидел в ею глазах слезы. Плакала старая дворничиха ЦЕКУБУ. Горе народа было большим, неподдельным.

В те жестокие январские ночи я как бы издали в перспективе веков — увидел, что осуществил наш народ; и какими бы ни были мои сомнения в последующие, куда более тяжкие десятилетия, передо мной всегда стоял замысел Ленина, приподымал меня, удерживал от недоброго. Я был молодым беспартийным писателем; для одних — «попутчиком», для других — «врагом», а в действительности — обыкновенным советским интеллигентом, сложившимся в дореволюционные годы. Как бы пас ни ругали, как бы ни косились на наши рано поседевшие головы, мы знали, что путь советского народа — наш путь.

Мне несколько раз довелось в Париже разговаривать с В. И. Лениным; я знал, что он любил Пушкина, любил классическую музыку, был человеком сложным, душевно широким. Но всю свою страсть, всю силу творческого гения он вложил в одно — в борьбу за освобождение рабочих от эксплуатации, в создание нового, социалистического общества. Вот почему я писал в 1924 году: «Он думал об одном, чтобы другие, счастливые, могли думать о многом».

Слово «счастливые» может резануть ухо. Малыши, которых несли на плечах в Колонный зал, это сироты тридцатых годов, солдаты Отечественной войны, люди с проседью, читавшие отчеты о Двадцатом съезде… И все же слова о счастье правда; когда я бываю теперь на собраниях нашей молодежи, я вижу, что юноши и девушки о многом думают, многим увлекаются, многое знают.

Мне хочется еще вспомнить Владимира Ильича, сказать будничное, простое. Когда я разговаривал с ним в Париже, он вдруг прервал меня: «Комнату нашли? Гостиницы здесь очень дорогие…» И обратился к Надежде Константиновне: «Кто ему здесь поможет? Людмила? Ну, она знает…» П. И. Альтман в кабинете Владимира Ильича лепил его голову, и раз ему пришлось быстро уйти — к Ленину пришли товарищи. Владимир Ильич позаботился смочить глину, не забыл. А. В. Луначарский мне. рассказывал, что, когда он спросил Ленина, можно ли предоставить «левым» художникам украсить к Первому мая Красную площадь, Владимир Ильич ответил: «Я в этом не специалист, не хочу навязывать другим свои вкусы…»

У Сталина есть статья о политическом стиле Ленина. Она написана еще в двадцатые годы, и, наверно, все в ней правильно. Но человеческий стиль Ленина оказался неповторимым: дерзость творческого замысла и редкостная скромность, сила, решимость, не исключавшая ни мягкости, ни глубокого уважения к духовным

ценностям, к разуму, к искусству, человечность, подлинная человечность.

11

В мае 1924 года я поехал с Любой в Италию. Там было много разноязычных туристов; среди них немцы, которые приехали с твердой маркой и с не менее твердой уверенностью, что они спаслись от землетрясения и могут наслаждаться краем, где зреют лимоны.

(Французы говорят, что кот, который однажды обжегся, боится и холодной воды. Люди легкомысленнее котов. Десять тысяч жителей новых Помпеев смотрят на Везувий как на отца-кормильца: они ведь живут любознательностью туристов. В 1944 году Везувий, на минуту проснувшись, уничтожил городок Сан-Себастьяно. Жители соседних городов, однако, никуда не уехали.)

В Венеции была международная выставка, в которой впервые участвовали советские художники. Мы сидели в кафе Флориана на площади Сан-Марко; помню художницу А. А. Экстер, Б. Н. Терновца. Кафе Флориана было тогда сто шестьдесят три года; теперь ему стукнуло двести — можно было устроить юбилей. Наверно, в нем сиживали за чашкой шоколада Лонги, Каналетто, Гольдони, Гоцци. Я не помню, о чем мы говорили; может быть, о последних постановках Мейерхольда или о холстах Сарьяна, выставленных в Венеции, а может быть, о комедии масок.

Сухопарые англичанки кормили неповоротливых голубей. Чистильщики ботинок и продавцы кораллов извивались, как классические арлекины. Туристы восхищались устно и письменно, старательно подписывая пачки ярких открыток. Все это напоминало постановку в Камерном театре.

Кругом был город с сотнями таинственных зловонных каналов, с кавалькадами мяукающих кошек, с домами семнадцатого века, в которых люди, как в самых обыкновенных домах, мечтают, ревнуют, ссорятся, просматривают вечерку, болеют гриппом или аппендицитом. Обычная жизнь была обрамлена изумительными перспективами, фисташковым небом, розоватой водой, мостиками, колоннами, фонтанами. Вот где человеку нужны глаза! А я глядел на чернорубашечников, которые прогуливались по площади или ели мороженое.

Мы поехали в Мурано, увидели там искуснейших стеклодувов. На фабричных стенах чернели надписи: «Да здравствует Ленин!» Легионеры в черных шапчонках злились и перекладывали из одного кармана в другой новенькие игрушки — револьверы.

Я сказал, что для людей моего поколения передышка была недолгой, да и редко нам удавалось забыть то, что в газетах

называют «историческими событиями». Почему я не мог спокойно любоваться полотнами Тинторетто или водой каналов? Что-то меня тревожило, вероятно новизна: я ведь впервые видел настоящих, живых фашистов.

Юношей я восхищался фресками Кампо-Санто и сказал Любе, что нужно обязательно побывать в Пизе. Люба глядела на светлую живопись Беноццо Гоциоли, который покрыл стены кладбища сладостью земной жизни; а я глядел на чернорубашечников. Во время войны немецкая бомба уничтожила часть пизанских фресок. Недавно я снова оказался в Пизе и увидел клочья былых видений; мне стало обидно, что я когда-то не нагляделся на фрески досыта; а ничего тут не поделаешь: Живешь не так. как хочется, — так, как живется.

Вряд ли в 1924 году можно было предвидеть, что фашизм, перекочевав из полупатриархальной бедной Италии в хорошо организованную Германию, уничтожит пятьдесят миллионов душ и покалечит жизнь нескольких поколений. Но мне было обидно за Италию, обидно и тревожно. Кто эти люди, улюлюкающие, марширующие, подымающие вверх руки? Наверно, неудачники, сыновья разорившихся лавочников, провинциальных нотариусов или адвокатов, честолюбцы, соблазнившиеся звонкими фразами. Можно было принять их за маски дурацкого карнавала, но я уже знал, что люди живут не по Декарту…

Почему-то мы попали в маленький город средней Италии — Бибиелу; там нет достопримечательностей, и туристы туда редко заглядывают. А это чудесный городок! Вечером я зашел в полутемную тратторию, где стояли огромные круглые бутыли с красным вином. Старик рассказывал трактирщику и двум посетителям длинную историю о том, как из Америки вернулся каменщик Джулио. Он накопил немного деньжат, собирался жениться. А из Ареццо приехал в машине секретарь фашио. Они пили вино за двумя столиками, и вдруг секретарь начал задевать Джулио, требовал, чтобы каменщик крикнул: «Да здравствует Муссолини!» Джулио ответил: «Пусть кричат ослы». Тогда фашист его застрелил. Для вида убийцу арестовали, а неделю спустя выпустили. Вот и вся история… Старик пил вино и крючковатыми пальцами крошил сухой сыр. Я вышел. Холм казался звездным небом — летали мириады светляков. Нежно квакали лягушки. В темноте влюбленные обменивались клятвами и поцелуями. А я думал о судьбе неизвестного мне Джулио.

Когда мы приехали в Рим, все казалось спокойным. Мы пошли в посольство. Посол говорил, что торговые отношения с Италией налаживаются; рассказал, что и Рим приехал поэт В. И. Иванов, он бывает в посольстве. Туристы спешили в Ватикан или

в Колизей. В кафе «Аранья» на Корсо политики обсуждали, во сколько обошлась Италии экспедиция на Корфу. Я ходил в музей, восхищался византийскими мозаиками и на несколько дней забыл о политике. Вдруг мы увидели на площади Монтечиторио взволнованные толпы людей; они что-то кричали, жгли газеты. То же самое происходило и на других площадях: я слышал крики: «Долой фашистов! Долой убийц!» Возмущенные люди жгли пачки фашистских газет — «Коррьере итальяно», «Пополо д'Италиа», «Импero». Несколько минут спустя я узнал, что фашисты похитили молодого социалистического депутата Джакомо Маттеотти.

Реакцию людей на события трудно предвидеть; иногда уничтожение тысячи жертв проходит почти незамеченным, иногда убийство одного человека потрясает мир. Расправа с Маттеотти походила в своей простоте и наглядности на древнюю притчу. Повсюду я слышал имя жертвы.

(В книге «10 л. с.» я написал о конце Маттеотти, хотя это и не имело прямого отношения к заводам Ситроена или к борьбе за нефть. Я не мог промолчать: то, что приключилось 10 июня 1924 года в Риме, вошло и в мою жизнь.)

В Италии тогда еще существовал парламент: весной были выборы. Фашисты с помощью вина и касторки, посулов и дубинок обеспечили себе большинство; оппозиционные партии, однако, набрали около сорока процентов голосов. 30 мая молодой депутат Маттеотти выступил в парламенте с мужественной речью, рассказал о насилии, об убийствах. Фашисты его прерывали воем; один кричал: «Убирайся в Россию!»

Когда Маттеотти сошел с трибуны, левые депутаты его поздравляли; он с усмешкой ответил одному из них: «Теперь готовьте некролог…» Одиннадцать дней спустя он вышел из дому, чтобы купить сигареты, и не вернулся.

Муссолини уже не мог вынести критики, но арестовать депутата он еще не решался: он поручил своему другу Чезаре Росси устранить Маттеотти. Росси заведовал отделом печати министерства внутренних дел; это было вывеской — в действительности «отдел печати» занимался убийством политических противников. Росси вызвал редактора газеты «Коррьере итальяно» Филиппелли. Редактор, в свою очередь, вызвал некоего Думини.

На набережной Тибра, недалеко от дома, в котором жил Маттеотти, его окружили неизвестные люди, силой втолкнули в машину. Автомобиль понесся за город. Похитители заткнули рот Маттеотти. Думини знал свое дело (потом он признался, что убил двенадцать антифашистов). Маттеотти страдал туберкулезом;

борьба была недолгой: когда Маттеотти попытался открыть дверцу машины, Думини нырнул его ножом.

В пустынном месте возле Куартарелла фашисты наспех зарыли тело Маттеотти. Муссолини с удовлетворением узнал, что дело сделано чисто; он не ждал огласки — пропал и пропал… Оказалось, женщины видели, как человека насильно втолкнули в красный автомобиль. Оппозиционные газеты еще продолжали выходить. Началось следствие. Нашли машину Филиппелли, сиденье было замарано кровью. Пришлось арестовать Думини. Привлекли к следствию даже Росси, но сразу дело замяли. А Росси вскоре рассорился с Муссолини, удрал и Париж и там начал разоблачать своего бывшего друга.

Рим кипел, казалось — сейчас разразится революция. Оппозиционные депутаты поклялись сопротивляться шайке убийц. Во всех странах люди возмущались цинизмом фашистов. И дуче струсил: он заявил, что потрясен убийством депутата, что виновники понесут суровую кару; он даже пошел на отставку генерального секретаря фашистской партии. Видимо, и он думал, что пожар разгорается…

Характер итальянцев не похож на характер немцев; но развязка оказалась той же. Депутаты произнесли негодующие речи. Римляне сожгли пачки фашистских газет и разошлись по домам. Муссолини быстро успокоился. Я еще был в Италии, когда мне дали номер «Импero», в котором фашисты издевались над протестующими: «Пусть сумасшедшие хорохорятся. Смеется хорошо тот, кто смеется последним… Никто не помешает фашистам расстреливать преступников на всех площадях Италии». Потом я прочитал речь Муссолини, он говорил об убийстве Маттеотти: «Бесполезно и глупо разыскивать виновных. У нас свой язык — язык революции…»

Да, итальянцы не похожи на немцев, итальянцам присущи любовь к свободе, вечное бунтарство, воображение, непослушливость. Но Муссолини правил Италией двадцать три года, партизаны его казнили всего за несколько дней до самоубийства Гитлера. Я читал рассуждении одного французского автора; он говорил, что народ может терпеть любые преступления диктатора, если диктатор его ведет туда, куда народ хочет идти. Не думаю, чтобы рядовой итальянец жаждал завоевать Эфиопию, усмирить испанцев, овладеть Воронежем… А разве народ, давший миру Дон-Кихота, создан для фашизма, разве народ Кеведо и Гойи предназначен для тупого, захолустного деспотизма? Но вот уже почти четверть века генерал маленького роста и маленького калибра правит Испанией. Нет, здесь ничего не объяснишь народным характером, и об

итальянцах можно сказать только одно: они плохо исполняли роль «римских легионеров», это к их чести.

Вначале фашисты пытались обстоятельно доказывать, что дуче ведет Италию к величию, к социальной справедливости, к избавлению от международного капитала. Потом они стали экономнее на слова, пустили в оборот приговорку: «Дуче не ошибается»; потом стали просто кричать: «Да здравствует дуче!» В 1934 году я увидел огромный пассаж Милана, весь заклеенный афишами, на которых стояло одно слово — «дуче».

Профессор С. С. Чехотин был учеником И. П. Павлова; он попытался, основываясь на методе условных рефлексов, проанализировать некоторые явления социальной жизни, в частности воздействие пропаганды. И. П. Павлов произвел множество опытов с собаками. С. С. Чехотин изучал фашистскую литературу. Он мне говорил, что среди подопытных собак встречаются особи, не реагирующие или, точнее, слабо реагирующие на действие раздражителей. Профессор Чехотин считает, что некоторое, весьма незначительное, количество людей способно сопротивляться методам примитивной пропаганды (эмблемы, условные приветствия, лапидарные лозунги, форменная одежда и тому подобное). Я не физиолог и не берусь судить, насколько С. С. Чехотин прав. Но слишком часто в моей жизни я видел торжество механической глупости, автоматического фанфаронства…

Я еще полюбовался пиниями Рима, мраморными нимфами, роняющими слезы, добрыми улыбками горемык в Транстевере, и мы поехали в Париж.

Я продолжал писать книги, ходил в кафе, увлекался, развлекался, иногда был весел, иногда хмурился, — жизнь продолжалась, в меру спокойная, в меру приятная, а в общем печальная жизнь двадцатых годов. Часто я вспоминал смутные тени чернорубашечников, убийство Маттеотти, первую примерку тех десятилетий, которые мне предстояло прожить.

Неожиданно я снова взял томик Паскаля и нашел в нем утешение: впервые я задумался нал словами: «Человек только тростник, самое хрупкое из всего существующего, но это мыслящий тростник. Капля воды может его убить. Но даже если вся вселенная на него ополчится, он все же будет выше своих убийц, ибо он может осознать смерть, а слепые силы лишены сознания. Итак, все наше достоинство в мысли…» Казалось, многие события должны были заставить меня усомниться в правильности слов Паскаля; я ведь видел, как быстро люди разучаются думать. Но первые годы революции не прошли бесследно: я был застрахован и от слепой веры, и от слепого

отчаяния.

Вряд ли и Паскаль полагал, что любой человек при любых обстоятельствах способен мыслить. Многих итальянцев Муссолини превратил в роботов; встречаясь друг с другом, они подымали руку и считали, что это их возвеличивает. Но рядом с ними другие мыслили, издевались, рассказывали злые анекдоты, читали недозволенные книги — тростник не сдавался. В одиночной камере тюрьмы Тури десять лет просидел Антонио Грамши. В заключении он писал статьи о философии Бенедетто Кроче, о произведениях Пиранделло, о Данте, о Макиавелли, о многом другом; писал письма своей русской жене Юлии, ее сестре Татьяне, письма задушевные, страстные, умные и очень человечные. Я часто их перечитываю и всякий раз испытываю гордость — вот он, мыслящий тростник!..

Время не торопится, торопится смерть. Грамши умер в 1937 году. Время не торопится, но рано или поздно оно ставит все на свое место. Недавно я шел по одной из флорентийских улиц. Был голубой апрельский вечер. Играли детишки. Старик прогуливал собачку. Влюбленные о чем-то шептались. Я машинально поглядел на дощечку — «Улица Маттеотти»…

12

Весной 1924 года на французских выборах победил «левый блок». Новое правительство возглавил радикал Эдуар Эррио, человек высокообразованный, патриот, далекий от шовинизма, доброжелательный и широкий; он обожал лионскую кухню, написал книгу об интимной жизни госпожи Рекамье и не забывал при этом о традициях якобинцев — был типичным представителем французской интеллигенции XIX века. В 1924 году англичане и американцы хотели, чтобы Франция поскорее договорилась с немцами. Эррио осуждал оккупацию Рура и тупость Пуанкаре, но, будучи французом, хотел заручиться гарантиями — речь шла о безопасности Франции: «Дайте нам отвести кинжал, постоянно па нас направленный, пока вы толкуете о мире!..» Бог ты мой. как легко политики меняют не только слова, но и принципы! В 1924 году англичане отвечали: «Сначала разоружение, а уж потом гарантии безопасности».

Бриан считался первым политическим соловьем Европы; когда он выступал, старые циники, растроганные, сморкались. Бриан говорил, разумеется, о мире, о европейской солидарности, о великодушии. Эррио попытался урезонить англичан и американцев: «Осторожно! Рейхсвер воскресает. У немецкой армии современное вооружение. Мы не можем забыть двух нашествий. Мы слышим знакомые угрозы. Я хочу мира, как и все, но можно ли отстоять мир, пренебрегая безопасностью Франции?…» Эррио сбросили, его место занял Бриан. В швейцарском курортном городе Локарно были подписаны известные соглашения. Вечером ракеты фейерверка прорезали небо. Штреземан писал бывшему кронпринцу: «…Во-вторых, я ставлю целью защиту немцев, живущих за границей, то есть тех десяти — двенадцати миллионов соотечественников, которые в настоящее время живут в чужих странах, под иностранным игом. Третья крупная задача — исправление восточных границ, возвращение Германии Данцига и Польского коридора и исправление границ в Верхней Силезии. В перспективе — присоединение немецкой Австрии…»

(Обидно, что в книге о моей жизни я должен вспоминать не только поэтов, художников, не только людей, мне милых, но и Штреземана. Ничего не поделаешь — мы жили в эпоху, когда история бесцеремонно забиралась в нашу жизнь днем или ночью, как будто она полтавский городовой.)

О фейерверке в Локарно я вспомнил пятнадцать лет спустя, когда небо над Парижем загорелось и раздался грохот первой

фугаски.

Победа «левого блока» кое-что изменила, но для меня Париж оставался запретным. В Риме и попросил Любу пойти во французское консульство: мой облик всегда пугал чиновников, а Люба их скорее успокаивала. Расчеты оказались правильными: консул, не зная, что мы высланы из Франции, поставил на наши паспорта добротные визы. Этого было достаточно, чтобы приехать в Париж, но остаться там мы не могли: имелся приказ о высылке.

Друзья направили меня к секретарю масонской ложи «Великий Восток». Я оказался в том самом логове, которое сводило с ума монархиста Бостунича. Логово было обыкновенным кабинетом, а секретарь ложи — пожилым радикалом, знавшим гастрономические тайны всех ресторанчиков Парижа. Масонов во Франции было много, но, вопреки представлениям Бостунича, они не поклонялись ни дьяволу Бафамету, ни иудейскому богу Ягве, ни Карлу Марксу; ложи были своеобразными обществами взаимопомощи. Секретарь сказал, что он устраивал дела потруднее: префект полиции — масон и его друг.

Пришлось пойти к префекту. Он никак не походил на добродушного радикала и держался со мною надменно. «Что вы собираетесь делать в Париже?» Я ответил, что собираюсь писать книги. Префект усмехнулся: «Книги, сударь, бывают разные. Имейте в виду, что французская полиция не бездельничает». (Он сказал мне сущую правду. Министр де Монзи, который в 1940 году заинтересовался моим полицейским «делом», рассказывал: «Вы, наверное, написали двадцать книг, но могу вас заверить, что полицейские написали о вас куда больше…»)

Я поселился в гостинице па авеню де Мэн, с темной винтовой лестницей, вонючими коридорами и грязными номерами. Под окном был классический круглый писсуар и не менее классическая щербатая скамейка, на которой вечером целовались влюбленные.

Осенью французское правительство решило признать Советский Союз. Я снова переступил порог особняка на улице Гренель, куда впервые заглянул после Февральской революции. Перед посольством толпились полицейские, шпики. Они явно волновались: шутка ли сказать, в аристократическом квартале Парижа среди бела дня сумасшедшие русские подымают красный флаг и поют «Интернационал»! Л. Б. Красин спокойно улыбался. По двору шагал Маяковский; он говорил, что ему надоел Париж, а американцы тянут с визой.

Маяковский каждый день приходил в «Ротонду». Он писал, что беседовал с тенями Верлена и Сезанна: «Ротонда» жила, как рантье, на проценты. Не было тех, с кем я когда-то проводил

беспокойные ночи: Аполлинер и Модильяни умерли. Пикассо переселился на правый берег Сены и охладел к Монпарнасу, Ривера уехал в Мексику. Немногочисленных старожилов окружали разноязычные туристы. Никто больше не спорил о том, как взорвать общество или как примирить справедливость с красотой.

Трудно сказать, почему я каждый день шел на Монпарнас — в «Ротонду» или в «Дом»; видно, такова была сила привычки. Иногда я встречался со старыми друзьями: с Леже, Шанталь, Цадкиным, Сандраром, Липшицем, Пер Крогом, Федером, Фотинеким. Конечно, мы говорили об искусстве, о русской революции, о Пикассо, о международной выставке, о Чаплине; но все это никак не напоминало довоенную «Ротонду». Мы были далеко не стариками (самому старшему из нас — Леже — тогда исполнилось сорок четыре года), но прежний задор исчез. Мы напоминали солдат, уволенных в запас, и донашивающих вылинявшие гимнастерки.

Я писал поэтессе М. М. Шкапской: «Сижу в «Ротонде» и курю новую трубку кубистической формы… Сегодня чудесное солнце. Идет кот, и даже уклон его поднятого хвоста свидетельствует о необычайности дня. Эренбург же, как подобает опустошенному субъекту, продолжает курить трубку… Я хандрю. То я недоволен, что повсюду искусство, и жажду простых разговоров или жирных улиток, от которых у меня болит живот; то, уподобляясь тургеневским «отцам» и косясь с брезгливой жалостью на новое поколение, требую упраздненного вдохновения… «Жанну Ней» все ругают, окрестили меня Вербицкой. Что мне делать? Заказать юбку? Отравиться на могиле Гейне?… Французы пишут хорошую прозу и гадкие стихи. Но кому это нужно? Братья писатели, зачем мы стараемся?…»

Кафе Монпарнаса были переполнены: огни довоенной «Ротонды» притягивали мечтателей, авантюристов, честолюбцев. Молодые шведы, греки, поляки, бразильцы торопились в Париж — они хотели пере вернуть мир; мир, однако, крепко стоял на месте.

Кубизм неожиданно заинтересовал владельцев ателье мод и дорогих магазинов; молодые художники за гроши расписывали шали или изготовляли эксцентрические безделушки для приезжих американок. Развелось множество торговцев картинами, все они мечтали напасть на нового Модильяни. Они заключали договоры с художниками, подающими надежды, забирали все холсты, а платили мало — очевидно, считали, что голод способствует вдохновению. Картины стали биржевыми акциями, предметом спекуляции; цены искусственно поднимали

или сбивали.

Аргентинский художник, сербский поэт писали своим родителям, что сюрреализм вскоре завоюет мир, что они будут знаменитыми, но пока что пусть старики понатужатся и пришлют им сотню-другую франков.

Караваны туристов превратили Монпарнас в район ночных развлечений. В «Сигаль», в «Жоке» танцевали до утра, а красавица Кики с глазами совы печально пела скабрезные песенки.

Летом 1925 года в Париже открылась Международная выставка декоративного искусства. Итальянские фашисты показали свое чванство и тупость (они именовали это неоклассицизмом). Среди французских построек, на редкость серых и бесцветных, выделялся небольшой павильон журнала «Эсири нуво», построенный Корбюзье. Гвоздем выставки был советский павильон; его построил молодой архитектор-конструктивист К. С. Мельников. Как многое из того, что делали наши конструктивисты и лефовцы, павильон никак нельзя было назвать утверждением утилитаризма: по лестнице было трудно подниматься, косой дождь прорывался в помещение. Здание было выражением романтики первых революционных лет. Экспонаты в большинстве принадлежали «левым» художникам: макеты постановок Мейерхольда, Таирова, конструкции Родченко, ткани Л. Поповой, плакаты Лисицкого.

В Париж понаехало много москвичей: Маяковский, Якулов. Мельников, Штеренберг, Родченко. Рабинович. Терновец. Когда я с ними беседовал, мне порой казалось, что я в Москве 1921 года.

Парижане считали советское искусство наиболее передовым; кроме выставки, они увидели «Броненосец «Потемкин», «Федру» Таирова, «Принцессу Турандот» Вахтангова. А павильон на выставке, как и многое другое, был, скорее, эпилогом. В Москве открылась выставка АХРР; начиналось контрнаступление натурализма, бытовизма, академических форм, чинности, упрощенности и той фотографической условности, которая, ссылаясь на точность деталей, пыталась выдавать себя за реальное отображение жизни.

Я писал в 1925 году: «Простаки думают, что правдивое изображение больших дел это и есть большое искусство. Им невдомек, что на светочувствительной эмульсии не отличить солнца от медной пуговицы. Есть героическая натура, но героического натурализма не может быть. Фотограф, снимая провинциальную свадьбу и Октябрьские дни, остается все тем же фотографом… Сейчас торжествует вульгарный натурализм. Он жив человеческой слабостью; ведь если ногам свойственно прыгать или по меньшей мере шагать, то есть другая часть тела,

которая неизменно тянется к мягкому сиденью… Люди хотят на канате организовать уютное чаепитие…»

Я уже успел распрощаться с конструктивизмом: «Торжество индустриальной красоты означает смерть «индустриального» искусства… Копировать машину еще пошлее, чем копировать розу, ибо в последнем случае кража совершается хотя бы у анонимного автора… «Левое» искусство, создавшее подлинные шедевры, быстро раз воплотилось. Оно хотело убедить людей, что в мире остались только элеваторы, геометрические фигуры и голые идеи… Еще не успели замолкнуть боевые кличи «искусство в жизнь», как это самое искусство уже входит… в музеи».

Эстетической программы у меня больше не было. Я метался. Вернувшись из Америки, Маяковский рассказывал, что машинам там хорошо, а человеку плохо. Я спросил его, не усомнился ли он в программе Лефа. Он ответил: «Нет. Но многое нужно пересмотреть. В частности, подход к технике…»

Мне хотелось понять, чем живут писатели, художники Франции. Я познакомился с Мак-Орланом, Дюамелем, Жюлем Роменом, с архитектором Корбюзье; бывал в редакции «Кларте» у Барбюса; увлекался кино, разговаривал с режиссерами Репе Клером, Гансом, Ренуаром, Федером, Эпштейном.

Грех назвать те годы бесплодными; поскольку я заговорил о кино, достаточно сказать, что в 1925 году я увидал «Золотую лихорадку» и «Пилигрима» Чаплина. Да и в шуме не было недостатка; то и дело рождались различные школы; громче всех кричали сюрреалисты. Но чего-то не хватало, может быть надежд, может быть тревоги. (Я подумал сейчас о судьбе многих людей, с которыми я встречался на Монпарнасе. Рене Кровель и Паскин кончили жизнь самоубийством, художника Федера гитлеровцы убили, Сутин погиб в годы оккупации, затравленный Деснос умер в «лагере смерти». Те годы тоже были канунами; но людям казалось, что на дворе серое будничное утро.)

Я больше не был ни затворником «Ротонды», ни фанатиком искусства. С утра до ночи я бродил по Парижу, забирался в кафе, где сидели биржевики, адвокаты, скототорговцы, приказчики, рабочие; разговаривал с людьми. Меня поражали механизация жизни, поспешность движений, световые рекламы, потоки машин. Конечно, автомобилей было во сто раз меньше, чем теперь, не было телевизоров, радиоприемники только входили в обиход, и по вечерам из раскрытых окон не вырывалась на улицы разноголосица волн. Но я чувствовал, что ритм жизни, ее настроенность меняются. Ночью на Эйфелевой башне сверкало имя «короля автомобилей» Ситроена. Электрические гномы карабкались по фасадам пепельных домов, пытаясь соблазнить

даже луну аперитивом Дюбонне или кремом «Секрет вечной молодости».

Менялись окраины Парижа — исчезли крепостные валы, пустыри, лачуги. Строили первые дома в новом, индустриальном стиле. Я увидел конструктивизм не на картонах Родченко, а в действительности. Меня позвал к себе художник Озанфан; он жил в доме, построенном Корбюзье: свет, нагота, белизна больничной палаты или лаборатории. Я вспомнил конструкции Татлина, восторженных вхутемасовцев. То, да не то… Мы открывали Америку, конечно воображаемую. А давно открытая и вполне реальная Америка тем временем пришла в Европу — не с романтическими декларациями лефовцев, но с долларами, с черствым расчетом, с пылесосами и с механизацией человеческих чувств.

Политика мало кого интересовала: парижане не читали ни речей Бриана, ни сообщений о возрождении германской армии. Считалось, что люди, не поддающиеся шовинистической пропаганде, должны твердо верить в мир, и это всех устраивала: люди хотели мирно наслаждаться жизнью. Раскрывая газету, они искали в ней: кто — биржевой бюллетень, кто — отчет о матче футбола, кто — сводку погоды. Конь блед и другие звери Апокалипсиса уступили место «рено» и «ситроенам». В далекое прошлое отошли и окопы на Шмен-дю-Дам, и солдатские бунты, и демонстрации. До поздней ночи ревел джаз, и снобы восхищались синкопами. Женщины носили очень короткие платья, говорили, что обожают спорт. Появились дансинги, матчи бокса, туристические автобусы, пылесосы, кроссворды и множество других новшеств.

Вновь налаженная жизнь требовала экзотической приправы. Продавщицы универмагов и жены нотариусов зачитывались «Атлантидой» Пьера Бенуа. Для более изысканных дам имелись книги писателя-дипломата Поля Морана. Каждый год он выпускал в свет сборники рассказов: «Закрыто ночью», «Открыто ночью», «Галантная Европа»; он рассказывал, как переспал или не переспал с женщинами различных национальностей. Для парижанок, не желавших отстать от века, любовь казалась провинциальным анахронизмом, и вот любовники Поля Морана ее модернизировали, они и в кровати разговаривали как безупречные бизнесмены: «Вы теперь похожи на чек без покрытия», «Не живите на капитал ваших нервов»…

Все реже и реже можно было встретить классического буржуа, который продолжал жить на страницах «Красного перца», толстого и беззаботного, ленивого семьянина, стригущего купоны, или жуира, прогуливающегося по Бульварам. Его место

занял делец, вдоволь энергичный, предпочитающий автомобильные гонки девушкам и фиалкам, склонный к авантюрам, к любой склизкой афере, по образованию инженер или экономист, хорошо знающий новые методы производства и мировые цены, борьбу трестов, подкупность министров, всю политическую кухню. Его сыновья презирали романтику старого студенчества — слезы пьяного Верлена, скептицизм Анатоля Франса, анархические фразы; они занимались гимнастикой, уважали сильных; многие из них девять лет спустя, в ночь фашистского путча, резали бритвами ноги полицейских лошадей.

Хотя американские солдаты давно уехали домой, все приходившее из Нового Света было в почете. Джаз заменил чахоточных скрипачей и лихих аккордеонистов. В дансингах ввели «такси-герлс» — девушек, которые за положенную плату танцевали с клиентами. Снобы, еще недавно участвовавшие в потасовках на премьере дягилевского балета или на вернисаже «Салона независимых», теперь неистово вопили на матчах: «Браво, Джо!..» Писатели принялись сочинять спортивные романы: героями были боксеры, футболисты, велосипедисты.

Летом Париж наводняли иностранные туристы; в списке обязательных достопримечательностей значились Елисейские поля, Венера Милосская, Эйфелева башни, гробница Наполеона, Монмартр, «Ротонда» и публичный дом на улице Шабанэ, называвшийся «Обществом наций», — там имелись комнаты в испанском, японском, русском и других стилях; туристов сопровождала пожилая чопорная экономка и академически поясняла различные непристойные детали.

До войны французы чрезвычайно редко пересекали границу; теперь многие уезжали на каникулы в Швейцарию. Италию, Австрию, Англию. Огромным успехом у среднего читателя пользовался роман Декобра, посвященный любовным похождениям героини, которая называлась «Мадонна из слиппинга» (французское название «спальный вагон» звучало бы провинциально).

Исчезли последние приметы прошлого века: уличные карнавалы, конфетти, котелки, бархатные диваны в темных кафе; мужчины сбрили бороды, женщины начали коротко стричь волосы.

Все это скорее относится к 1925 году, чем к Парижу. Теперь, когда я вспоминаю то время, Париж мне кажется идиллическим, захолустным, похожим на холсты Утрилло. Менялась эпоха, и, может быть, Париж сопротивлялся дольше, нежели Берлин, Брюссель или Милан. Но я жил тогда в Париже и там наблюдал первые результаты американского омолаживания старой Европы.

Все поняли, что взял верх порядок, — одни с горечью, другие с восторгом. Политика делалась за кулисами и мало интересовала зрительный зал. Еще недавно большевиков изображали как людей, держащих нож в зубах. Теперь большевики сидели на улице Гренель, к ним наведывались крупные промышленники в надежде получить заказы. Седьмого ноября в наше посольство пришли различные депутаты, крупные журналисты, дельцы, светские дамы. Все они косились на Марселя Кашена, но утешились, увидав на столах икру.

В некоторых светских салонах было модно восхищаться «славянской мистикой», даже «русским экспериментом». Снобов, восхвалявших все советское, окрестили «большевизанами». Одни теннисист и балбес сказал мне: «Я слыхал, что у вас уничтожены деньги. Это замечательно! Я ненавижу считать расходы…» Другой спросил Любу: «Неужели Потемкин играет еще лучше, чем Мозжухин?» Он слыхал одним ухом об успехе фильма Эйзенштейна и решил, что есть актер по имени Потемкин.

Изредка трагические события врывались в иллюзорный покой города. Так было с сообщением о расстреле работниц консервных фабрик в бретонском городе Дуарнене. В Париже был большой митинг; ораторы призывали к действиям; рабочие аплодировали, свистели. Потом все стихло. Как-то незаметно начались войны в Марокко, в Сирии. Стреляли далеко, и Париж продолжал жить по-прежнему.

У нас в те годы пользовались большим успехом сочинения Пьера Ампа. Он описывал производство; его романы походили на очерки, это многих увлекало. В ранней молодости Пьер Амп был рабочим. Я увидел, однако, почтенного литератора лет пятидесяти. Он не имел никакого представления о лефовцах, но, рассказав с восхищением о новых станках, воскликнул: «Насколько движения машины прекраснее человеческих!»

Я подружился с писателем Пьером Мак-Орланом. У него было лицо опечаленного бульдога. Он помнил войну, и это было воспоминаниями не победителя, а побежденного: «Кабак на улице Пигаль выставляет в каждом окне по кукле. Это — скрытое желание еще раз отпраздновать смерть среди страшных окрестностей войны. Если я храню в памяти столь ужасающий образ войны, то это потому, что я не могу забыть дикой агонии всех солдат, расстрелянных во имя правосудия. Ужас во мне достигает апогея — ужас быть человеком среди стольких непонятных существ. Я чувствую себя куда более слабым, чем паяны из шерсти, набитые паклей. Их покачивание напоминает мне бескостные тела расстрелянных у традиционного столба…»

Мак-Орлан много говорил о «социальной фантастике» —

этими словами можно было объяснить все. Он написал роман о всаднице Эльзе, немецкой коммунистке, которая привела Красную Армию во Францию. Читая эту книгу, я посмеивался, — вероятно, так могли бы читать марсиане «Аэлиту», но другие книги Мак-Орлана мне нравились, особенно «Госпиталь святой Магдалины» — фантастическая история человека, который начинает потеть кровью; медики потрясены небывалым казусом; все газеты пишут о диковинном пациенте. Больного начинают показывать за деньги зевакам. Количество крови увеличивается — бочки, тонны. Для эксплуатации свежей крови организуют трест; вмешивается правительство — хочет получить львиную долю доходов. А больной лежит и слушает, как звенит горячая струя его крови. Принято считать, что «черная литература» расцвела после второй мировой войны, а книга, о которой я говорю, была написана в начале двадцатых голов. Тогда мы не знали об ушастом пражском еврее Франце Кафке, мы о многом не знали и видели все в меняющемся загадочном свете.

Пьер Мак-Орлан (его фамилия куда прозаичнее Пьер Дюмарше) был поэтом; кое-что он предчувствовал, кое-что придумывал. Он жил в идиллическом домике недалеко от Марны, иногда играл на аккордеоне и почти всегда писал, писал. Он написал предисловие к первому французскому переводу «Хулио Хуренито», который вышел в 1924 году. Тогда мы были едва знакомы, и, рассказывая обо мне, он описал человека почти столь же фантастического, как всадница Эльза. По его словам, в конце 1921 года я пережил сразу множество бедствий: я разводил собак и кроликов, белый офицер хотел меня скинуть в море, меня арестовала Чека, а французское правительство выслало из Франции. «Хуренито» ему понравился, и он советовал французам познакомиться с «романтикой случайного и непредусмотренного».

Он говорил мне: «Я пишу только для того, чтобы не совершить банального преступления — не убить старуху и не поджечь ферму».

Однажды мы с ним обедали в парижском ресторане. Вдруг Мак-Орлан мне сказал: «Знаете, что будет, если человечество просуществует еще несколько тысяч лет? Кролики начнут кусаться, морковь будет выскакивать из грядок, чтобы вцепиться в икры человека…»

Мак-Орлан посвятил мне одну из своих книг-воспоминаний: «Улица Сент-Венсен». Это рассказ о смятении молодого человека и о смутных уличках старого Руана, разрушенного в годы последней войны. Я принимал его за бунтаря, а он был хорошим писателем и добрым человеком.

Я понимал, что Октябрьская революция многое изменила. Я говорил о моей преданности новой эпохе: «Мы ее любим не менее «странной любовью», нежели наши предшественники «отчизну». Это чувство тоже требует и крови и замалчиваний…» О чем я больше всего думал? Кажется, о судьбе человека, о том, что писатели не могут довольствоваться описанием событий, они должны показать душевный мир современников.

В 1925 году в Париже играли пьесу Чапека «Рур»; появилось новое слово — «робот». Мы часто тогда говорили о «мыслящих» машинах, и мне казалось, что паскалевскому «тростнику» страшнее всех бурь внутреннее перерождение. Я боялся не того, что «мыслящие» машины будут чрезвычайно сложными, а того, что эти машины постепенно отучат человека от мысли, вытеснят клубок чувств.

«Лето 1925 года», пожалуй, самая печальная изо всех моих книг, не самая горькая, не самая безысходная, а именно самая печальная. Ее содержание несложно. Рассказ ведется от первого лица. Герой романа, попав в Париж, опустился, бродил по улицам, залитым ярким светом, подбирал окурки, потом нанялся на бойни — гонял баранов. Какой-то итальянский авантюрист подбивал слабовольного, растерявшегося героя убить капиталиста Пике. Из этого ничего не вышло, но герой привязался к чужой, брошенной девочке, нянчил ее; девочка умерла. Интрига меня мало занимала, я хотел изобразить одиночество человека в большом городе, отчаяние многих людей, с которыми встречался, судьбу поколения, побывавшего у Вердена. «Мы во многое верили, верили долго и крепко, хотя бы в бога пастухов и инквизиторов, который сделал из воды вино, а из крови воду; верили в прогресс, в искусство, в любые очки, в любую пробирку, в любой камешек музея. Мы верили в социальную справедливость и в символику цветов. Мы умилялись то перед эстетикой небоскребов, то перед открытием новой сыворотки. Мы верили, что все идет к лучшему. Мы до хрипоты спорили, постановляли, читали стихи и сравнивали различные конституции. У нас были тогда стоячие воротнички и стойкие души. А потом? Потом мы лежали в грязи окопов и вместо карнавальных масок примеряли противогазы. Мы кололи штыками, добывали пшено, дрожали от «сыпняка» или от «испанки»… Мы узнали, что война пахнет калом и газетной краской, а мир — карболкой и тюрьмой…»

В те годы было написано немало печальных книг; очевидно, многие актеры терзаются во время антрактов еще сильнее, чем на сцене…

Мне прислали из Москвы статью «На путях жизни»,

напечатанную в газете. Критик писал: «И. Эренбург рассказывает здесь о том, как, «не выдержав свободы и голода», он «прикрепился», поступил на службу: «В мои обязанности входило перегонять баранов со скотного двора Виллет на соседние бойни…» Способ, избранный И. Эренбургом, временного обращения к подсобному заработку заслуживает, думается, серьезного внимания… Пример И. Эренбурга заслуживает внимательного общественного рассмотрения. Сам Эренбург в своей временной службе на бойнях усматривает нечто героическое, что-то вроде мученического венца вокруг изборожденного глубокими думами писательского чела: «Аккуратно считал я зады баранов. Порой бараны упирались и трагически блеяли. Я кричал тогда «Э! Э!», причем мой голос, бывавший вдоволь нежным, когда приходилось заговаривать барышень или публично читать некоторые главы из «Жанны Ней», ухитрялся теперь пугать этих агонизирующих тварей…» Как трагически оторван писатель от живой жизни, если такая простая вещь, как приискание какой-либо временной работы, кажется ему чем-то вроде небывалой, чуть ли не мировой трагедии… Это правильный и здоровый путь!»

Кажется, единственный раз в те времена в моих писаниях нашли нечто заслуживающее похвалы, но и то похвалили незаслуженно: никогда я не работал на бойнях и не гонял баранов. Но я видел окопы на Сомме, тяжелую одурь передышки, нищету Бельвилля, итальянских чернорубашечников и многое другое.

13

Проходя мимо «Ротонды», я увидел на террасе знакомое лицо: это был поэт Перец Маркиш, которого я знал по Киеву. Его трудно было не заметить: красивое, вдохновенное лицо выделялось в любой среде. Б. А. Лавренев уверял, что Маркиш походил на портреты Байрона. Может быть. А может быть, просто на тот облик романтического поэта, который остался в нашем представлении от сотен холстов или рисунков, от строк поэм, от воздуха другой эпохи. Романтиком Маркиш был не только в стихах; романтически вились его волосы, романтически была поставлена голова на стройной шее (он не любил галстуков и ходил всегда с расстегнутым воротничком); да и юношеский облик, который он сохранил до смерти, был тоже романтическим.

За его столиком сидели еврейский писатель из Польши Варшавский и художник, фамилию которого я забыл. Варшавского я знал по роману «Контрабандисты», переведенному на различные языки; он был застенчивым, мало разговаривал. Художник, напротив, не замолкая говорил о выставках, о критиках, о том, как трудно прожить в Париже, — он был бессарабцем, незадолго до того приехал во Францию, работал как маляр, а в свободные часы писал пейзажи. Не то Варшавский, не то художник рассказал историю о дудочке. Это была хасидская легенда (хасиды — мистическая и бунтарская секта, восставшая в XVIII веке против раввинов и богачей-лицемеров). Легенду я запомнил и включил потом в мою книгу «Бурная жизнь Лазика Ройтшванеца»; книга эта малоизвестна, и я перескажу историю.

В одном из местечек Волыни был знаменитый цадик — так называли хасиды подлинных праведников. В местечке, как и повсюду, были богачи, дававшие деньги в рост, домовладельцы, купцы, были люди, мечтавшие правдой и неправдой разбогатеть; словом, неправедных было вдоволь. Настал Судный день, когда, по верованиям религиозных евреев, Бог судит людей и определяет их дальнейшую судьбу. В Судный день они не едят, не пьют, пока не покажется вечерняя звезда и раввин не отпустит их из синагоги. В тот день в синагоге стояла тяжелая тишина. По лицу цадика люди видели, что Бог рассержен злыми делами обитателей местечка; не показывалась звезда; все ждали сурового приговора. Цадик просил Бога отпустить людям грехи, но Бог прикидывался глухим. Вдруг тишину нарушила маленькая дудочка. Среди бедноты, стоявшей позади, был портной с пятилетним сынишкой. Мальчику надоели молитвы, и он вспомнил, что у него в кармане грошовая дудочка, которую ему

купил накануне отец. Все накинулись на портного: вот за такие выходки Господь покарает местечко!.. Но цадик увидел, что суровый Бог не выдержал и улыбнулся.

Вот и вся легенда. Она взволновала Маркиша, он воскликнул: «Да это об искусстве!..» Потом мы встали, пошли по домам. Маркиш довел меня до угла и неожиданно (мы говорили о чем-то другом) сказал: «Но сейчас, мало дудочки, сейчас нужна труба Маяковского…»

Мне кажется, что в этой фразе было объяснение многих трудных лет его жизни. Он не был создан ни для громких призывов, ни для эпических поэм, был поэтом с дудочкой, издававшей чистые, пронзительные звуки. Но воображаемого бога, способного улыбнуться, не оказалось, а век был шумным, и уши людей порой не различали музыки.

Стихотворцы всегда существовали, особенно много их развелось, когда производство стихов стало профессией. Маркиш был поэтом. Трудно, конечно, судить о стихах по переводам — я не знаю еврейского языка, — но всякий раз, беседуя с Маркишем, я поражался его природе: он воспринимал и громкие события, и детали быта как поэт. Это не только мое впечатление, об этом мне говорили люди, друг на друга непохожие, А. Н. Толстой, Тувим, Жан Ришар Блок, Заболоцкий, Незвал.

Он не боялся избитых тем; часто писал о том, о чем, кажется, писали все поэты мира. Лес осенью:

Там листья не шуршат в таинственной треноге,
А, скрючившись, легли и дремлют на ветру.
Но вот один со сна поплелся по дороге.
Как золотая мышь искать свою нору.
Слеза любимой женщины:
Она не надает с твоих ресниц,
Но остается между век дрожащей.
В ней мир выходит из своих границ,
А в глубине растет зрачок блестящий…

Он был мастером и неустанно трудился; о нем можно сказать то, что он сказал о старом портном:

Что он мог еще сюда
Темным привезти поселкам?
Выстроченные года,
Выпяченную иголку.

Маркиш не отворачивался от жизни; он не только принимал эпоху, он ее страстно любил; писал эпические поэмы о строительстве, о войне. Будучи человеком необычайно чистым, он ревниво ограждал то, что любил, от тени сомнений; советским был с головы до ног; и хотя мы люди одного поколения (он был на четыре года моложе меня), я восхищался его цельностью. Он увидал погромы, жил в Польше во время разгула антисемитизма, но не было в нем и тени национализма, даже национализма мышки, которая знает, что над половицей потягиваются кошки. Если нужно привести пример интернационализма, то можно свободно назвать Маркиша.

Критики отмечали, что в его произведениях порой чувствуются кеча ль, горечь, тревога. Могло ли быть иначе? Одна из его первых поэм — «Куча» — посвящена погрому в Городище; недавно я прочитал перевод его неизданного романа, законченного незадолго до того, как Маркиш погиб, — это летопись страданий, борьбы, гибели варшавского гетто.

Я не хочу, однако, ограничиваться только ссылкой на эпоху; нужно сказать о структуре поэта. Я припомню очень давний диалог между двумя испанскими поэтами: Раби Сем Тобом и маркизом Сантильяна. Евреи и арабы ввели в испанскую поэзию гномические стихи — короткие философские изречения. Одним из таких гномических поэтов был Раби Сем Тоб. Король Педро Жестокий, страдавший бессонницей, поручил Раби Сем Тобу написать для него стихи. Поэт назвал книгу «Советы», и она начиналась следующим утешением:

Нет ничего на свете,
Что бы вечно росло.
Когда луна становится полной.
Она начинает убывать.

Много десятилетий спустя придворный поэт, маркиз Сантильяна, написал эпиграмму:

Как хорошее вино иногда содержится в дурной бочке.
Так истина порой исходит из уст еврея.
Раби Сем Тоб как бы предвидел:
Когда мир был создан.
Мир был поделен:
Одним досталось хорошее вино,
Другим жажда.

Маркиш принадлежал к поэтам не хорошего вина, а сухих губ; отсюда тот едва уловимый оттенок горечи, который порой проступает в его стихах, полных радости жизни.

Мы с ним виделись редко — жили в разных мирах; но всякий раз, встречая Маркиша, я чувствовал, что передо мной чудесный человек, поэт и революционер, который никого напрасно не обидит, не предаст друзей, не отвернется от попавшего в беду.

Помню митинг в Москве, в августе 1941 года; его передавали по радио в Америку. На митинге выступали Перец Маркиш, С. М. Эйзенштейн, С. М. Михоэлс, П. Л. Капица, я. Маркиш страстно призывал американских евреев потребовать от Соединенных Штатов борьбы с фашизмом (Америка тогда еще была нейтральной).

В последний раз я видел Маркиша 23 января 1949 года в Союзе писателей на похоронах поэта Михаила Голодного. Маркиш горестно сжал мне руку; мы долго глядели друг на друга, гадая, кто вытянет жребий.

Переца Маркиша арестовали четыре дни спустя — 27 января 1949 года, день его смерти — 12 августа 1952 года.

Как все люди, встречавшие Маркиша, я думаю о нем с нежностью почти суеверной. Вспоминаю его стихи:

Две мертвые птицы на землю легли.
Удар был удачен… Что лучше земли?
Здесь, в солнечной этой блаженной стране,
Упасть так упасть! Так мерещится мне…
Шагнул я, пойдем же, ты слышал, пойдем!
Упал так упал. Не жалей ни о чем.
Лететь гак лететь. Как слепителен свет!
Широки просторы, и края им нет.
Трудно привыкнуть к мысли, что поэта убили.

А в те давние дни, когда я встречал молодого, вдохновенного Маркиша на Монпарнасе, он говорил о дудочке ребенка и о громовом голосе Маяковского, примерял судьбу. Для меня он был залогом того, что нельзя разлучить эпоху и поэзию:

Я возложил тебя на рамена,
О век!
Я перепоясался тобою,
Как каменным широким кушаком.
Огромной крутизной встает дорога.
И должен я взобраться на нее.
Сквозь вой ветров, сквозь снеговые кручи

Я подымаюсь… Многие погибнут
Среди сугробов…

Нет, он не был ни наивным мечтателем, ни слепым фанатиком, дудочки касались сухие губы взрослого, мужественного человека.

14

Приехав в Москву весной 1926 года, я поселился в гостинице на Балчуге; за номер брали много, а с деньгами у меня было туго. Меня приютили Катя и Тихон Иванович; жили они в Проточном переулке — между Смоленским рынком и Москвой-рекой, в старом, полуразвалившемся доме. (В начале войны в этот дом попала немецкая «зажигалка», и он сгорел.)

Не знаю почему, Проточный переулок тогда был облюбован ворами, мелкими спекулянтами, рыночными торговцами. В ночлежке «Ивановка» собиралось жулье. В домишках, розовых, абрикосовых, шоколадных, с вывесками частников, с выдранными звонками, с фикусами и поножовщиной, шла душная, звериная жизнь последних лет нэпа. Торговали все и всем, ругались, молились, хлестали водку и, мертвецки пьяные, валялись как трупы в подворотнях. Дворы были загажены В подвалах ютились беспризорные. Милиционеры и агенты угрозыска заглядывали в переулок с опаской.

Я увидел одного из черных ходов эпохи и решил его отобразить. Я знал, конечно, что писать о благородных героях приятнее, да и спокойнее, но автор не всегда волен в выборе персонажей; не он ищет героев, герои ищут его. У художников есть выражение «писать с натуры»; это никак не связано с натурализмом: импрессионисты, например, писали пейзажи только с натуры, а натуралисты, обычно выдающие себя за реалистов, преспокойно пишут портреты с фотографий. Я вдохновился Проточным переулком, с его равнодушием и надрывом, с мелким подходом к большим событиям, с жестокостью и раскаянием, с темнотой и тоской; впервые я попытался написать повесть «с натуры».

В основу фабулы легло подлинное происшествие: владелец одного из домишек — абрикосового или шоколадного, — жадный и бездушный торгаш, разозлившись на беспризорных, которые стащили у него окорок, ночью завалил выход из подвала, где дети прятались от жестоких морозов.

Пейзаж меняется не только от освещения, но и от душевного состояния живописца. Я больше не мог жить одним отрицанием, я замерзал от сатирических усмешек. В романе «Рвач» я попытался дать социальный анализ событий; там много общих описаний. В «Проточном переулке» очень мало иронии: я захотел найти в сердцах моих героев то доброе начало, которое позволит им расстаться с грязью, с пошлостью, с душевной пустотой. В те годы я не писал стихов, и повесть походила на лирическое признание.

Я не только полюбил моих невзрачных героев, я вложил в них самого себя. Остались в стороне домовладелец, который пытается уничтожить беспризорных, да его жилец, плюгавый бездельник, женившийся до революции на дочке барона и живущий на ее счет. Все остальные персонажи мечутся, ищут, страдают. Мои мысли, чувства тех лет можно найти и в обыкновенной советской девушке Тане, с ее случайными связями, с жаждой большой любви, с книгами, с работой, и в неудачливом поэте Прахове, ставшем газетным халтурщиком, честолюбивом и слабовольном, готовом на пошлость, даже на подлость, но начинающем понимать тщету, да и мелкоту своих мечтаний, и в горбатом музыканте Юзике, играющем на скрипке в кинотеатре «Электра», в этом захолустном философе с его безнадежной любовью к жизни, и в старом чехе, бывшем преподавателе латыни, превратившемся в нищего, но духовно приподнявшемся, прозревшем, которого полюбили беспризорные.

Горбун Юзик спрашивает старого нищего:

> «— Так почему же вас, преподавателя латыни, выбросили на улицу? Одно из двух — или вы правы, или они.
>
> — Я был прав. Это прошедшее время. Они правы — это настоящее. А дети, играющие сейчас погремушками, будут правы: футурум… С удовлетворением глядел я на их флаги, на их процессии, на их воодушевление. Прекрасна, молодой человек, кровь, приливающая к щекам, и огонь самозабвения в глазах!..»

Кажется, ни одну мою книгу так не поносили, как роман «В Проточном переулке». Не помню всех статей, но одна сейчас передо мной, она озаглавлена «Советская Россия без коммунистов» и напечатана в ленинградской «Красной газете». «Увиденная и показанная сквозь жижицу Проточного переулка советская Россия — это не реальная наша страна, а заповедный идеал П. Н. Милюкова, — это советская Россия без коммунистов… Эренбург выполняет социальный заказ эмигрантской интеллигенции, дав зарисовку уголка советской Москвы, без социалистического строительства, без пафоса строительства новой жизни… Эренбург уподобился тому щетинистому завсегдатаю свалок, который, ненароком забредя в розариум, увидел там не пышно растущие и благоухающие розы, а заметил колючие шипы и увлекся навозной жижей удобрения цветочных клумб».

Стендаль писал в «Красном и черном»: «Роман — зеркало на большой дороге. В нем отражаются то лазурное небо, то грязь,

лужи, ухабы. И человека, у которого зеркало, вы обвиняете в безнравственности. Зеркало отражает грязь, и вы обвиняете зеркало. Обвиняйте лучше дорогу с ухабами или дорожную инспекцию…»

В 1926 году, когда я писал о Проточном переулке, К. А. Федин работал над «Трансваалем», Л. М. Леонов над «Вором». В. П. Катаев над «Растратчиками», В. В. Иванов над «Тайным тайных». Старая Литературная энциклопедия называет все эти книги «искажением советской действительности», «апологией мещанства», «клеветой».

Дело, видимо, не в политических мечтаниях П. Н. Милюкова… Писатели моего поколения в первые годы революции попытались увидеть общую картину, осознать значение происходящего; потом настало время более спокойное и, если угодно, более серое; писатели начали приглядываться к отдельным человеческим судьбам. В эпоху Эдуарда VII нищего мальчика секли за проказы принца; наши критики секли и секут писателей за ухабы большой дороги…

Проточный переулок никак не походил на розариум. А я, будучи щетинистым человеком, но, право же, не свиньей, терзался от грязи. Частенько мне бывало холодно на свете; я искал сердечности, теплоты. На берегу Москвы-реки летом цвели злосчастные цветы пустырей, затоптанные, заваленные нечистотами, — лютики, одуванчики. И эти цветы я хотел изобразить.

С прошлым не стоит спорить, но над ним стоит задуматься — проверить, почему написанные страницы столько раз оказывались бледнее, мельче тех, что в бессонные ночи мерещились автору.

Всю мою жизнь я беззаветно любил Гоголя. Эти строки я пишу в полутемном номере римской гостиницы — между двумя заседаниями оказалось несколько свободных дней, и я решил вернуться к начатой главе. Вчера я снова пошел в старое кафе «Греко», где когда-то сиживал Николай Васильевич, сел за столик под его портретом и задумался: каким светом озарил этот угрюмый, болезненный, в жизни глубоко несчастный человек и Россию и мир!

В повести о Проточном переулке горбун Юзик читает и перечитывает одну книжку; ее первые страницы выдраны, он не знает ни заглавия, ни имени автора. Он говорит Тане: «Ах, Татьяна Алексеевна, вы только послушайте, что я вчера прочел: «Много нужно глубины душевной, дабы озарить картину, взятую из презренной жизни, и возвести ее в перл создания». Таня смеется: «Глупые книжки вы читаете, Юзик. Кто теперь говорит «перл»? Это ювелир, а не писатель. Вы должны усвоить

методологию…»

Приведенные слова принадлежат Гоголю. Душевная глубина позволила ему потрясти современников, она потрясает и нас. Сидя за его столиком, я думал, что ни у меня, ни у многих из моих современников не нашлось достаточной душевной глубины и что мы слишком часто оказывались побежденными — не критиками, конечно, а временем — именно потому, что не сумели с подлинной глубиной, с дерзостью замысла, с мужеством автора «Мертвых душ», «Шинели» осветить будничное, малопримечательное, «презренное».

Не буду говорить о других, но себя судить я вправе. Слабость моей повести не в замысле, не в том, что я обратился к неприглядным обитателям Проточного переулка, не противопоставив им строителей будущего, а в том, что изображаемый мир слишком робко, скупо, редко озарен светом искусства. Дело не в размерах отпущенного мне дарования, а в душевной поспешности, в том, что мы жили ослепленные огромными событиями, оглушенные пальбой, ревом, громчайшей музыкой и порой переставали ощущать оттенки, слышать биение сердца, отучались от тех душевных деталей, которые являются живой плотью искусства.

Все это я понял не в 1926 году, а много позднее: человек учится до самой смерти.

15

Лето в Москве стояло жаркое; многие из моих друзей жили на дачах или были в отъезде. Я слонялся по раскаленному городу. Один из очень душных, предгрозовых дней принес мне нечаянную радость: я познакомился с человеком, который стал моим самым близким и верным другом, с писателем, на которого я смотрел как подмастерье на мастера, — с Исааком Эммануиловичем Бабелем.

Он пришел ко мне неожиданно, и я запомнил его первые слова: «Вот вы какой…» А я его разглядывал с еще большим любопытством — вот человек, который написал «Конармию», «Одесские рассказы», «Историю моей голубятни»! Несколько раз в жизни меня представляли писателям, к книгам которых я относился с благоговением: Максиму Горькому, Томасу Манну, Бунину, Андрею Белому, Генриху Манну, Мачадо, Джойсу; они были много старше меня; их почитали все, и я глядел на них, как на далекие вершины гор. Но дважды я волновался, как заочно влюбленный, встретивший наконец предмет своей любви, — так было с Бабелем, а десять лет спустя — с Хемингуэем.

Бабель сразу повел меня в пивную. Войдя в темную, набитую людьми комнату, я обомлел. Здесь собирались мелкие спекулянты, воры-рецидивисты, извозчики, подмосковные огородники, опустившиеся представители старой интеллигенции. Кто-то кричал, что изобрели «эликсир вечной жизни», это свинство, потому что он стоит баснословно дорого, значит, всех пересидят подлецы. Сначала на крикуна не обращали внимания, потом сосед ударил его бутылкой по голове. В другом углу началась драка из-за девушки. По лицу кудрявого паренька текла кровь. Девушка орала: «Можешь не стараться, Гарри Пиль — вот кто мне нравится!..» Двух напившихся до бесчувствия выволокли за ноги. К нашему столику подсел старичок, чрезвычайно вежливый; он рассказывал Бабелю, как его зять хотел вчера прирезать жену, «а Верочка, знаете, и не сморгнула, только говорит: «Поворачивайте, пожалуйста, оглобли», — она у меня, знаете, деликатная…» Я не выдержал: «Пойдем?» Бабель удивился: «Но ведь здесь очень интересно…»

Внешне он меньше всего походил на писателя. Он рассказал в очерке «Начало», как, приехав впервые в Петербург (ему тогда было двадцать два года), снял комнату в квартире инженера. Поглядев внимательно на нового жильца, инженер приказал запереть на ключ дверь из комнаты Бабеля в столовую, а из передней убрать пальто и калоши. Двадцать лет спустя Бабель

поселился в квартире старой француженки в парижском предместье Нейи; хозяйка запирала его на ночь — боялась, что он ее зарежет. А ничего страшного в облике Исаака Эммануиловича не было; просто он многих озадачивал: бог его знает, что за человек и чем он занимается…

Майкл Голд, который познакомился с Бабелем в Париже в 1935 году, писал: «Он не похож на литератора или на бывшего кавалериста, а скорее напоминает заведующего сельской школой». Вероятно, главную роль в создании такого образа играли очки, которые в «Конармии» приняли угрожающие размеры («Шлют вас, не спросись, а тут режут за очки», «Жалеете вы, очкастые, нашего брата, как кошка мышку», «Аннулировал ты коня, четырехглазый»…). Он был невысокого роста, коренастый. В одном из рассказов «Конармии», говоря о галицийских евреях, он противопоставляет им одесситов, «жовиальных, пузатых, пузырящихся, как дешевое вино», — грузчиков, биндюжников, балагул, налетчиков вроде знаменитого Мишки Япончика прототипа Бени Крика. (Эпитет «жовиальный» — галлицизм, по-русски говорят: веселый или жизнерадостный.) Исаак Эммануилович, несмотря на очки, напоминал скорее жовиального одессита, хлебнувшего в жизни горя, чем сельского учителя. Очки не могли скрыть его необычайно выразительных глаз, то лукавых, то печальных. Большую роль играл и нос — неутомимо любопытный. Бабелю хотелось все знать: что переживал его однополчанин, кубанский казак, когда пил два дня без просыпу и в тоске сжег свою хату; почему Машенька из издательства «Земля и фабрика», наставив мужу рога, начала заниматься биомеханикой; какие стихи писал убийца французского президента белогвардеец Горгулов; как умер старик бухгалтер, которого он видел один раз в окошке издательства «Правда»; что в сумочке парижанки, сидящей в кафе за соседним столиком; продолжает ли фанфаронить Муссолини, оставаясь глаз на глаз с Чиано, — словом, мельчайшие детали жизни.

Все ему было интересно, и он не понимал, как могут быть писатели, лишенные аппетита к жизни. Он говорил мне о романах Пруста: «Большой писатель. А скучно… Может быть, ему самому было скучно все это описывать?…» Отмечая способности начинающего эмигрантского писателя Набокова-Сирина, Бабель говорил: «Писать умеет, только писать ему не о чем».

Он любил поэзию и дружил с поэтами, никак на него не похожими: с Багрицким, Есениным, Маяковским. А литературной среды не выносил: «Когда нужно пойти на собрание писателей, у меня такое чувство, что сейчас предстоит дегустация меда с касторкой…» У него были друзья различных профессий

инженеры, наездники, кавалеристы, архитекторы, пчеловоды, цимбалисты. Он мог часами слушать рассказы о чужой любви, счастливой или несчастной. Он как-то располагал собеседника к исповеди; вероятно, люди чувствовали, что Бабель не просто слушает, а переживает. Некоторые его вещи — рассказы от первого лица, хоти в них чужие жизни (например, «Мой первый гонорар»), другие, напротив, под маской повествования о вымышленных героях раскрывают страницы биографии автора («Нефть»).

В коротенькой автобиографии Бабель рассказывал, что в 1916 году А. М. Горький «отправил» его «в люди». Исаак Эммануилович продолжал: «И я на семь лет — с 1917 по 1924 — ушел в люди. За это время я был солдатом на румынском фронте, потом служил в Чека, в Наркомпросе, в продовольственных экспедициях 1918 года, в Северной армии против Юденича, в Первой Конной армии, в Одесском губкоме, был выпускающим в 7-й советской типографии в Одессе, был репортером в Петербурге и в Тифлисе и проч.».

Действительно семь лет, о которых упоминает Бабель, дали ему многое; но он был «в людях» и до 1916 года, оставался «в людях» и после того, как стал известным писателем: вне людей существовать он не мог. «История моей голубятни» была пережита мальчиком и уж много позднее рассказана зрелым мастером. В годы отрочества, ранней юности Бабель встречал героев своих одесских рассказов — налетчиков и барышников, близоруких мечтателей и романтических жуликов.

Куда бы он ни попадал, он сразу чувствовал себя дома, входил в чужую жизнь. Он пробыл недолго в Марселе; но, когда он рассказывал о марсельской жизни, это не было впечатлениями туриста, — говорил о гангстерах, о муниципальных выборах, о забастовке в порту, о какой-то стареющей женщине, кажется прачке, которая, получив неожиданно большое наследство, отравилась газом.

Однако даже в любимой им Франции он тосковал о родине. Он писал в октябре 1927 года из Марселя: «Духовная жизнь в России благородней. Я отравлен Россией, скучаю по ней, только о России и думаю». В другом письме И. Л. Лифшицу, старому своему другу, он писал из Парижа: «Жить здесь в смысле индивидуальной свободы превосходно, но мы — из России тоскуем по ветру больших мыслей и больших страстей».

В двадцатые годы у нас в газетах часто можно было увидеть термин «ножницы»; речь шла не о портновском инструменте, а о растущем расхождении между ценой хлеба и ценой ситца или сапог. Я сейчас думаю о других «ножницах»: о расхождении

между жизнью и значением искусства; с этими «ножницами» я прожил жизнь. Мы часто об этом говорили с Бабелем. Любя страстно жизнь, ежеминутно в ней участвуя, Исаак Эммануилович был с детских лет предан искусству.

Бывает так: человек пережил нечто значительное, захотел об этом рассказать, у него оказался талант, и вот рождается новый писатель. Фадеев мне говорил, что в годы гражданской войны он и не думал, что увлечется литературой; «Разгром» был для него самого негаданным результатом пережитого. А Бабель и воюя знал, что должен будет претворить действительность в произведение искусства.

Рукописи неопубликованных произведений Бабеля исчезли в ведомстве Берии. Записки С. Г. Гехта напомнили мне о замечательном рассказе Исаака Эммануиловича «У Троицы». Бабель мне его прочитал весной 1938 года; это история гибели многих иллюзий, история горькая и мудрая. Пропали рукописи рассказов, пропали и главы начатого романа. Тщетно искала их вдова Исаака Эммануиловича, Антонина Николаевна. Чудом сохранился дневник Бабеля, который он вел в 1920 году, находясь в рядах Первой Конной: одна киевлянка сберегла толстую тетрадь с неразборчивыми записями. Дневник очень интересен — он не только показывает, как работал Бабель, но и помогает разобраться в психологии творчества.

Как явствует из дневника, Бабель жил жизнью своих боевых товарищей — победами и поражениями, отношением бойцов к населению и населения к бойцам, его потрясали великодушие, насилие, боевая выручка, погромы, смерти. Однако через весь дневник проходят настойчивые напоминания: «Описать Матяжа, Мишу», «Описать людей, воздух», «За этот день — главное описать красноармейцев и воздух», «Запомнить — фигура, лицо, радость Апанасенки, его любовь к лошадям, как проводит лошадей, выбирает для Бахтурова», «Обязательно описать прихрамывающего Губанова, грозу полка, отчаянного рубаку», «Не забыть бы священника в Лошкове, плохо выбритый, добрый, образованный, м. б. корыстолюбивый, какое там корыстолюбие — курица, утка», «Описать воздушную атаку, отдаленный и как будто медленный стук пулемета», «Описать леса — Кривиха, разоренные чехи, сдобная баба…»

Бабель был поэтом; ни натурализм описываемых им бытовых деталей, ни круглые очки на круглом лице не могут скрыть его поэтическую настроенность. Он загорался от стихотворной строки, от холста, от цвета неба, от зрелища человеческой красоты. Его дневник не относится к тем дневникам, которые рассчитаны на опубликование, — Бабель откровенно беседовал с

собой. Вот почему, говоря о поэтичности Бабеля, я начну с записей в дневнике.

«Вырубленные опушки, остатки войны, проволока, окопы. Величественные зеленые дубы, грабы, много сосны, верба — величественное и кроткое дерево, дождь в лесу, размытые дороги, ясень».

«Боратин — крепкое солнечное село. Хмель, смеющаяся дочка, молчаливый богатый крестьянин, яичница на масле, молоко, белый хлеб, чревоугодие, солнце, чистота».

«Великолепная итальянская живопись, розовые патеры, качающие младенца Христа, великолепный темный Христос, Рембрандт, Мадонна под Мурильо, а м. б. Мурильо, святые упитанные иезуиты, бородатый еврейчик, лавочка, сломанная рака, фигура св. Валента».

«Вспоминаю разломанные рамы, тысячи пчел, жужжащих и бьющихся у разрушенного улья».

«Графский, старинный польский дом. наверное, б. 100 лет, рога, старинная светлая плафонная живопись, маленькие комнаты для дворецких, плиты, переходы, экскременты на полу, еврейские мальчишки, рояль Стейнвей, диваны вскрыты до пружин, припомнить белые легкие и дубовые двери, французские письма 1820 г.».

О своем отношении к искусству Бабель рассказал в новелле «Ди Грассо». В Одессу приезжает актер из Сицилии. Он играет условно, может быть чрезмерно, но сила искусства такова, что злые становятся добрыми; жена барышника, выходя из театра, упрекает пристыженного мужа: «Босяк, теперь ты видишь, что такое любовь…»

Я помню появление «Конармии». Все были потрясены силой фантазии; говорили даже о фантастике. А между тем Бабель описал то, что видел. Об этом свидетельствует тетрадка, побывавшая в походе и пережившая автора.

Вот рассказ «Начальник конзапаса». «На огненном англоарабе подскакал к крыльцу Дьяков, бывший цирковой атлет, а ныне начальник конского запаса, — краснорожий, седоусый, в черном плаще и с серебряными лампасами вдоль красных шаровар». Далее Дьяков говорит крестьянину, что за коня он получит пятнадцать тысяч, а если бы конь был повеселее, то двадцать: «Ежели конь упал и подымается, то это — конь: ежели он, обратно сказать, не подымается, тогда это не конь». А вот запись в дневнике 13 июля 1920 года: «Начальник конского запаса Дьяков — феерическая картина, кр[2] штаны с серебр [3] лампасами, пояс с насечкой, ставрополец, фигура Аполлона, корот[4] седые усы, сорок пять лет… был атлетом… о лошадях». 16 июля: «Приезжает

Дьяков. Разговор короток: за такую-то лошадь можешь получить 15 т., за такую-то — 20 т. Ежели поднимется, значит, это лошадь».

Рассказ «Гедали»; в нем автор встречает старого еврея-старьевщика, который печально излагает свою философию: «Но поляк стрелял, мой ласковый пан, потому, что он — контрреволюция. Вы стреляете потому, что вы революция. А революция — это же удовольствие. И удовольствие не любит в доме сирот. Хорошие дела делает хороший человек… И я хочу Интернационала добрых людей, я хочу, чтобы каждую душу взяли на учет и дали бы ей паек по первой категории». Лавка Гедали описана так: «Диккенс, где была в тот вечер твоя тень? Ты увидел бы в этой лавке древностей золоченые туфли и корабельные канаты, старинный компас и чучело орла, охотничий винчестер с выгравированной датой «1810» и сломанную кастрюлю».

Запись в дневнике 3 июля 1920 года: «Маленький еврей философ. Невообразимая лавка — Диккенс, метлы и золотые туфли. Его философия: все говорят, что они воюют за правду, и все грабят».

В дневнике есть и Прищепа, и городок Берестечко, и найденное там французское письмо, и убийство пленных, и «пешка» в боях за Лешнюв, и речь комдива о Втором конгрессе Коминтерна, и «бешеный холуй Левка», и дом ксендза Тузинкевича, и много других персонажей, эпизодов, картин, перешедших потом в «Конармию». Но рассказы не похожи на дневник. В тетрадке Бабель описывал все, как было. Это опись событий: наступление, отступление, разоренные, перепуганные жители городов и сел, переходящих из рук в руки, расстрелы, вытоптанные поля, жестокость войны. Бабель в дневнике спрашивал себя: «Почему у меня непроходящая тоска?» И отвечал: «Разлетается жизнь, я на большой непрекращающейся панихиде».

А книга не такова: в ней, несмотря на ужасы войны, на свирепый климат тех лет, вера в революцию и вера в человека. Правда, некоторые говорили, что Бабель оклеветал красных кавалеристов. Горький заступился за «Конармию» и написал, что Бабель «украсил» казаков Первой Конной «лучше, правдивее, чем Гоголь запорожцев». Слово «украсить», вырванное мною из текста, да и сравнение с «Тарасом Бульбой» могут сбить с толку. Притом язык «Конармии» цветист, гиперболичен. (Еще в 1915 году, едва приступив к работе писателя, Бабель говорил, что ищет в литературе солнца, полных красок, восхищался украинскими рассказами Гоголя и жалел, что «Петербург победил Полтавщину. Акакий Акакиевич скромненько, но с ужасающей властностью затер Грицка…».)

Бабель, однако, не «украсил» героев «Конармии», он раскрыл

их внутренний мир. Он оставил в стороне не только будни армии, но и многие поступки, доводившие его в свое время до отчаяния; он как бы осветил прожектором один час, одну минуту, когда человек раскрывается. Именно поэтому я всегда считал Исаака Эммануиловича поэтом.

«Конармия» пришлась по душе самым различным писателям: Горькому и Томасу Манну, Барбюсу и Мартен дю Гару, Маяковскому и Есенину, Андрею Белому и Фурманову, Ромену Роллану и Брехту.

В 1930 году «Новый мир» напечатал ряд писем зарубежных писателей, главным образом немецких, — ответы на анкету о советской литературе. В большинстве писем на первом месте стояло имя Бабеля.

А Исаак Эммануилович критиковал себя со взыскательностью большого художника. Он часто говорил мне, что писал чересчур цветисто, ищет простоты, хочет освободиться от нагромождения образов. Как-то в начале тридцатых годов он признался, что Гоголь «Шинели» теперь ему ближе, чем Гоголь ранних рассказов. Он полюбил Чехова. Это были годы, когда он писал «Гюи де Мопассана», «Суд», «Ди Грассо», «Нефть».

Работал он медленно, мучительно; всегда был недоволен собой. При нервом знакомстве он сказал мне: «Человек живет для удовольствия, чтобы спать с женщиной, есть в жаркий день мороженое». Я как-то пришел к нему, он сидел голый: был очень жаркий день. Он не ел мороженого, он писал. Приехав в Париж, он и там работал с утра до ночи: «Я тружусь здесь, как вдохновенный вол, света божьего не вижу (а в свете этом Париж — не Кременчуг)…» Потом он поселился в деревне, неподалеку от Москвы, снял комнату в избе, сидел и писал. Повсюду он находил для работы никому не ведомые норы. Этот на редкость «жовиальный» человек трудился, как монах-отшельнник.

Когда в конце 1932 — в начале 1933 года я писал «День второй», Бабель чуть ли не каждый день приходил ко мне. Я читал ему написанные главы, он одобрял или возражал — моя книга его заинтересовала, а другом он был верным.

Он любил прятаться, не говорил, куда идет; его дни напоминали ходы крота. В 1936 году я писал об Исааке Эммануиловиче: «Его собственная судьба похожа на одну из написанных им книг: он сам не может ее распутать. Как-то он шел ко мне. Его маленькая дочка спросила: «Куда ты идешь?» Ему пришлось ответить; тогда он передумал и не пошел ко мне… Осьминог, спасаясь, выпускает чернила: его все же ловят и едят — любимое блюдо испанцев «осьминог в своих чернилах». (Я написал это в Париже в самом начале 1936 года, и мне страшно

переписывать теперь эти строки: мог ли я себе представить, как они будут звучать несколько лет спустя?…)

По совету Горького Бабель не печатал своих произведений в течение семи лет: с 1916 по 1923. Потом одна за другой появились «Конармия», «Одесские рассказы», «История моей голубятни», пьеса «Закат». И снова Бабель почти замолк, редко публикуя маленькие (правда, замечательные) рассказы. Одной из излюбленных тем критиков стало «молчание Бабеля». На Первом съезде советских писателей я выступил против такого рода нападок и сказал, что слониха вынашивает детей дольше, чем крольчиха; с крольчихой я сравнил себя, со слонихой — Бабеля. Писатели смеялись. А Исаак Эммануилович в своей речи, подтрунивая над собой, сказал, что он преуспевает в новом жанре молчании.

Ему, однако, было невесело. С каждым днем он становился все требовательнее к себе. «В третий раз принялся переписывать сочиненные мною рассказы и с ужасом увидел, что потребуется еще одна переделка — четвертая…» В одном письме он признавался: «Главная беда моей жизни — отвратительная работоспособность…»

Я не кривил душой, говоря о крольчихе и слонихе: я высоко ценил талант Бабеля и знал его взыскательность к себе. Я гордился его дружбой. Хотя он был на три года моложе меня, я часто обращался к нему за советом и шутя называл его «мудрым ребе».

Я всего два раза разговаривал с А. М. Горьким о литературе, и оба раза он с нежностью, с доверием говорил о работе Бабеля; мне это было приятно, как будто он похвалил меня… Я радовался, что Ромен Роллан в письме о «Дне втором» восторженно отозвался о «Конармии». Я любил Исаака Эммануиловича, любил и люблю книги Бабеля…

Еще о человеке. Бабель не только внешностью мало напоминал писателя, он и жил иначе: не было у него ни мебели из красного дерева, ни книжных шкафов, ни секретаря. Он обходился даже без письменного стола — писал на кухонном столе, а в Молоденове, где он снимал комнату в домике деревенского сапожника Ивана Карповича, — на верстаке.

Первая жена Бабеля, Евгения Борисовна, выросла в буржуазной семье, ей нелегко было привыкнуть к причудам Исаака Эммануиловича. Он, например, приводил в комнату, где они жили, бывших однополчан и объявлял: «Женя, они будут ночевать у нас»…

Он умел быть естественным с разными людьми, помогали ему в этом и такт художника и культура. Я видел, как он разговаривал

с парижскими снобами, ставя их на место, с русскими крестьянами, с Генрихом Манном или с Барбюсом.

В 1935 году в Париже собрался Конгресс писателей в защиту культуры. Приехала советская делегация; среди нее не оказалось Бабеля. Французские писатели, инициаторы конгресса, обратились в наше посольство с просьбой включить автора «Конармии» и Пастернака в состав советской делегации. Бабель приехал с опозданием — кажется, на второй или на третий день. Он должен был сразу выступить. Усмехаясь, он успокоил меня: «Что-нибудь скажу». Вот как я описал в «Известиях» выступление Исаака Эммануиловича: «Бабель не читал своей речи, он говорил по-французски, весело и мастерски, в течение пятнадцати минут он веселил аудиторию несколькими ненаписанными рассказами. Люди смеялись, и в то же время они понимали, что под видом веселых историй идет речь о сущности наших людей и нашей культуры: «У этого колхозника уже есть хлеб, у него есть дом, у него есть даже орден. Но ему этого мало. Он хочет теперь, чтобы про него писали стихи…»

Много раз он говорил мне, что главное — это счастье людей. Любил животных, особенно лошадей; писал о своем боевом друге Хлебникове: «Нас потрясали одинаковые страсти. Мы оба смотрели на мир, как на луг в мае, как на луг, по которому ходят женщины и кони».

Жизнь для него оказалась не майской лужайкой… Однако до конца он сохранил верность идеалам справедливости, интернационализма, человечности. Революцию он понял и принял как залог будущего счастья. Один из лучших рассказов тридцатых годов «Карл-Янкель» — кончается словами: «Я вырос на этих улицах, теперь наступил черед Карла-Янкеля, но за меня не дрались так, как дерутся за него, мало кому было дело до меня. «Не может быть, — шептал я себе, — чтобы ты не был счастлив, Карл-Янкель… Не может быть, чтобы ты не был счастливее меня…»

А Бабель был одним из тех, кто оплатил своей борьбой, своими мечтами, своими книгами, а потом и своей смертью счастье будущих поколений.

В конце 1937 года я приехал из Испании, прямо из-под Теруэля, в Москву. Когда я дойду до рассказа о тех днях, читатель поймет, как мне было важно повидать сразу Бабеля. «Мудрого ребе» я нашел печальным, но его не покидали ни мужество, ни юмор, ни дар рассказчика. Он мне рассказал однажды, как был на фабрике, где изъятые книги шли на изготовление бумаги; это была очень сметная и очень страшная история. В другой раз он рассказал мне о детдомах, куда попадают сироты живых

родителей. Невыразимо грустным было наше расставание в мае 1938 года…

Бабель всегда с нежностью говорил о родной Одессе. После смерти Багрицкого, в 1936 году, Исаак Эммануилович писал: «Я вспоминаю последний наш разговор. Пора бросить чужие города, согласились мы с ним, пора вернуться домой, в Одессу, снять домик на Ближних Мельницах, сочинять там истории, стариться… Мы видели себя стариками, лукавыми, жирными стариками, греющимися на одесском солнце, у моря — на бульваре, и провожающими женщин долгим взглядом… Желания наши не осуществились. Багрицкий умер в 38 лет, не сделав и малой части того, что мог. В государстве нашем основан ВИЭМ — Институт экспериментальной медицины. Пусть добьется он того, чтобы эти бессмысленные преступления природы не повторялись больше».

Природу мы порой в сердцах называем слепой. Бывают слепыми и люди…

Незадолго до ареста он писал своей приятельнице, которая сняла для него домик в Одессе: «Сей числящийся за мной флигелек очень поднял мой дух. Достоевский говорил когда-то: «Всякий человек должен иметь место, куда бы он мог уйти», — и от сознания, что такое место у меня появилось, я чувствую себя много увереннее на этой, как известно, вращающейся земле».

Бабеля арестовали весной 1939 года. Узнал я об этом с опозданием — был во Франции. Шли мобилизованные, дамы гуляли с противогазами, окна оклеивали бумажками. А я думал о том, что потерял человека, который помогал мне шагать не по майскому лугу, а по очень трудной дороге жизни.

Нас роднило понимание долга писателя, восприятие века: мы хотели, чтобы в новом мире нашлось место и для некоторых очень старых вещей — для любви, для красоты, для искусства.

В конце 1954 года, может быть в тот самый час, когда человек со смешным именем Карла-Янкеля и его сверстники — Иваны, Петры, Николы, Ованесы, Абдуллы — веселой ватагой выходили из университетских аудиторий, прокурор сообщил мне о посмертной реабилитации Исаака Эммануиловича. Вспоминая рассказ Бабеля, я смутно подумал: не может быть, чтобы они не были счастливее нас!..

16

Одна читательница говорила мне, что ей трудно было читать «Бурю»: только-только Валя декламирует «Гамлета» — и уже какая-то Гильда в немецком городке заводит шашни с итальянцем, потом Сергей у Днепра, потом Мики поет партизанскую песенку в горах Лимузина, — все путается. Возможно, эта читательница права: роман — парк, и даже густые заросли в нем обдуманы. А жизнь — лес, и в книге о прожитых годах невозможно соблюсти стройность повествования.

Я писал о Проточном переулке — и сразу перехожу к Пен марку во французском округе Финистер. (Между Москвой и Пенмарком я побывал в Ленинграде, Киеве, Днепропетровске, Ростове, Тбилиси, Батуми, Стамбуле, Афинах, Марселе, Париже, Берлине; все это я сейчас опускаю.) Ничего не поделаешь с семнадцати лет я начал бродяжничать, годы и годы ночевал в случайных номерах замызганных гостиниц, часто менял адреса, трясся в зеленых прокопченных вагонах, отдыхал на палубах, спал в самолетах, сотни километров исходил пешком, причем никогда не чувствовал себя туристом, да и не затем колесил по миру, чтобы набрать материал для очередной книги; ездил по доброй воле, ездил и потому, что посылали, с деньгами и без денег: сначала мелькали верстовые столбы, потом сугробы облаков; я быстро изнашивал ботинки, покупал не шкафы, а чемоданы — так вот сложилась моя жизнь. Наверно, это — свойство натуры: есть домоседы, есть и «вечные жиды»; здесь нечем гордиться и не в чем оправдываться.

В Пенмарке я был в 1927 году и пишу о нем не потому, что мне хочется показать угрюмую красоту скал, исхлестанных океаном, или своеобразие древней бретонской скульптуры; право же, Акрополь совершенней, а океан тем и хорош, что не поддастся описанию. Но я обещал рассказать про свой путь, а жизнь складывается не только из исторических событий; порой незначительное происшествие, деталь быта, случайная встреча врезаются в память и многое предопределяют.

Пенмарк — небольшой городок на одном из западных мысов Европы; его жители занимаются рыбным промыслом — ловят сардину; женщины работают на консервных фабриках, Пенмарк пропах рыбой, ею пахнут люди, одежда, кровати, подушки.

Когда я впервые увидал этот городок, меня поразило беспокойство и природы и людей. Нигде я не слышал такого яростного моря, оно стучалось в каменные ворота земли. Ветер сбивал с ног; и ни одно дерево не смягчало картины — камни,

камни, а между ними белые кубики консервных фабрик. На площади стояли рыбаки в красных брезентовых костюмах. В порту торчали голые мачты, похожие на лес зимой. Женщины были одеты в длинные черные платья, высокие белые чепчики походили на митры; их можно было увидеть издали, как маленькие маяки. Ворота фабрик были заперты. Уже не первый день рыбаки бастовали. Их требования могли удивить человека, незнакомого с ловом сардины: они хотели, чтобы фабриканты брали весь улов, хотя бы по низкой цене. Сардину ловят только в летние месяцы, когда она стаями подымается в верхние слои воды, идет недалеко от берега. Рыбаки должны летом накопить деньги на зиму. Фабриканты консервов были объединены в союз и не хотели пойти на соглашение с рыбаками, говорили, что фабрики недостаточно оборудованы; на самом деле они боялись, что цены на консервы могут упасть.

Забастовку рыбаки проиграли у них не было денег про черный день: все дни были черными. Я присматривался к жизни людей, она была трудной. Крупная рыба часто рвала тонкие голубые сети. Хотя французские сардины считались лучшими в мире и составляли предмет экспорта, фабрики были действительно плохо оборудованы, труд оплачивался низко. Приезжавшие в Бретань художники любили писать женщин Пенмарка, их привлекали старинная одежда, чепцы, красота лиц; а руки у работниц были красные, разъеденные солью.

Один парусник пришел в порт с хорошим уловом. Мокрые, продрогшие люди радовались. Сардину, однако, отказались взять. Напрасно рыбаки уговаривали, настаивали, ругались. В другом порту — Одьерне — была фабрика, не входившая в объединение предпринимателей, рыбаки решили попытать счастье, хотя ветер крепчал, начинался шторм. Оставшиеся на берегу угрюмо говорили: «А что им делать? У них большие семьи…»

Есть размышления о «мыслящем тростнике», есть фантастика Вилье де Лилль Адана, есть бретонские пейзажи Гогена. Но есть и другое голодные дети. Одна из трагедий нашей эпохи в этом противоречии между взлетом человеческого гения и древней, звериной нуждой.

Женщины, стоявшие на берегу, видели, как высокая волна опрокинула лодку. Поднялась человеческая буря: люди колотились в запертые ворота фабрики. Хозяев не было, — вероятно, они отдыхали на курорте. Перепуганные управляющие кинулись к телефонам, умоляли прислать отряд жандармов.

С маяка пошла моторная лодка, и тонувших удалось спасти. Все сразу притихло. Наутро парусники вышли в море; женщины аккуратно отрезали сардинам головы или укладывали рыбу в

жестянки.

Ничего, таким образом, не произошло. Почему же мне это запомнилось? О том, что сытый голодного не разумеет, я знал и раньше — не только из книг, по своему опыту. Да и жизнь рыбаков Пенмарка не могла меня удивить, я давно пригляделся к человеческой бедности. Потрясло меня другое.

Рыбаки Пенмарка ежедневно вступали в поединок с океаном. На кладбище я видел немало крестов над пустыми могилами, к ним приходили вдовы погибших в море. Борьба человека с природой всегда приподымает, и кажется, нет мифа прекраснее, чем миф о Прометее. Незадолго до моего приезда в Пенмарк молодой американский летчик Линдберг первым перелетел через Атлантический океан, и я видел в рыбацких домах его портреты, вырезанные из газет. В детстве я увлекался книжкой о «Фрамс» Нансена и потом, в течение моей жизни, пережил события, большие или меньшие, потрясавшие воображение всех: Блерио перелетел через Ла-Манш, русские моряки спасали жителей Мессины во время землетрясения, Кальмет нашел антитуберкулезную прививку, ледокол «Красин» спас полярную экспедицию Нобиле, погиб Амундсен, челюскинцы удержались на льдине, советские летчики прилетели в Америку через Северный полюс, Флеминг открыл пенициллин, англичане взобрались на верхушку Эвереста, норвежцы на плоту доплыли до Полинезии, советский спутник закружился вокруг Земли, и, наконец, мир, восхищенный, замер — впервые человек, Юрий Гагарин, заглянул в космос.

Рядом с этими событиями, потрясающими воображение, обыкновенные люди днем и ночью борются против слепой природы — рыбаки и врачи, горняки и летчики гражданского флота.

В 1929 году я увидел в Швеции слепого инженера-физика Далена. Он работал над освещением маяков и ослеп при одном из испытаний, отдал свои глаза для того, чтобы другие видели — капитаны судов, лоцманы, рыбаки. А в Пенмарке я увидел другое… Есть подвиги, и есть барыши, — вот что невыносимо! Есть люди, готовые послать на смерть не только трех бретонских рыбаков, но и весь «мыслящий тростник» только для того, чтобы не упали цены на сардины, на нефть или на уран.

Может быть, я отвлекся от повествования, но, как я сказал, ничего в Пенмарке не приключилось. Об инциденте была крохотная заметка в одной газете. Рыбаки продолжали закидывать сети. Акционеры консервных фабрик получали дивиденды.

Передышка продолжалась. 1927 год не изобиловал мировыми

событиями. Сэр Генри Детердинг, который не мог простить Советскому Союзу национализацию нефтяных промыслов, добился разрыва дипломатических отношений между Великобританией и СССР. Американцы казнили Сакко и Ванцетти — в Париже шумная демонстрация протеста пыталась прорваться к американскому посольству. Андре Ситроен торжественно объявил, что его заводы выпускают тысячу автомобилей в день. В Варшаве белый эмигрант застрелил советского посла Войкова. На экранах Парижа появился первый говорящий фильм, кажется «Дон-Жуан». В Берлине состоялся митинг сторонников Гитлера; хотя Германия переживала период благоденствия, ораторы говорили о «жизненном пространстве на Востоке». В Москве рапповцы повторяли: «Необходимо сорвать маски со всех», — к маскам они причисляли и лица многих писателей. (Впрочем, тогда все ограничивалось статьями…)

Зимой я снова поехал в Пенмарк с Моголи Надем, который мечтал сделать фильм о сардинах и о людях, бездушных дельцах; он говорил, что у него на примете левый меценат. Рыбаки рассказывали нам о фабрикантах, о штормах. Океан неистовствовал. Рыбачки, укачивая детей, пели печальные песни.

Мецената Моголи Надь не нашел и фильма не сделал. А я, вернувшись из Пени арка, писал: «Ужасен мир, где Каин — и законодатель, и жандарм, и судья!.. В этом году исполнится десять лет со дня окончания мировой войны. Если ничего не изменится, через десять лет мы увидим новую войну, куда более ужасную». Не знаю, почему я назвал эту цифру, а ошибся я всего на полтора года…

17

Среди рукописей Е. П. Петрова сохранился план задуманной им книги «Мой друг Ильф». В пятой главе этого плана я нашел такие строки: «Красная Армия. Единственный человек, который прислал мне письмо, был Ильф. Вообще стиль того времени был такой: на все начихать, письма писать глупо, МХАТ — бездарный театр, читайте «Хулио Хуренито». Эренбург привез из Парижа отрывки из фильмов группы «Авангард» — замедленная съемка. «Париж уснул». Увлечение кинематографом. «Кабинет доктора Калигари», «Две сиротки», Мери Пикфорд. Фильмы с погонями. Немецкие фильмы. Первые фокстроты. При этом жили очень бедно».

Приведенные строки относятся, видимо, к 1926 году, когда я показывал в Москве отрывки из французских фильмов, которые мне дали Абель Ганс, Рене Клер, Фейдер, Эпштейн, Ренуар, Кирсанов. Я тогда еще не был знаком с Ильфом и Петровым, но, как они, увлекался кино, даже написал брошюру «Материализация фантастики»; немецкие фильмы вроде «Доктора Калигари» мне, однако, не нравились, я восхищался Чаплином, Гриффитом, Эйзенштейном, Рене Клером.

Год спустя мне пришлось ближе ознакомиться с «материализацией фантастики», вернее сказать — с фантастикой материализации. В Германии переводы моих книг выпускало издательство «Малик ферлаг». Его создал мой друг, немецкий коммунист, прекрасный поэт Виланд Герцфельде. Он всегда приходил на выручку советским писателям, которые оказывались за границей без денег. (В 1928 году Маяковский писал из Берлина: «Вся надежда на «Малик»…») И вот я получил письмо от Герцфельде: «Уфа» хочет инсценировать «Любовь Жанны Ней», фильм будет ставить один из лучших режиссеров — Георг Пабст.

Пабст был австрийцем, его никогда не увлекало экспрессионистическое нагромождение ужасов, или, как мы тогда говорили, «страсти-мордасти». Я знал его картину «Безрадостная улица» — о разоре послевоенных лет, она мне понравилась, и я обрадовался предложению «Уфы». Вскоре Пабст попросил меня приехать в Берлин, где происходили съемки.

Успех «Броненосца «Потемкин» заставил призадуматься многих кинопродюсеров. Публика охладела к зловещим гримасам различных «докторов». Ковбои тоже успели надоесть. Русская революция манила своей экзотичностью. Сесиль де Милль спешно изготовил «Волжских бурлаков», Морис Лербье — «Головокружение». Пабст решил приправить интригу моего

романа живописными сценами: бой белогвардейцев с «зелеными», заседание Совета рабочих депутатов, Ревтрибунал, подпольная типография. Зная, что сценарий, состряпанный кем-то наскоро, изобилует нелепостями, немцы с присущим им педантизмом все же стремились к правдоподобности деталей, ходили в советское посольство и одновременно приглашали в качестве консультанта генерала Шкуро, выступавшего с труппой джигитов.

В павильоне кинофабрики я увидел улицы Феодосии с аркадами, русскую замызганную гостиницу, монмартрский кабак, кабинет модного французского адвоката, кресло великого князя, бутылки с водкой, статую Богоматери, нары ночлежки и много иной бутафории. Москва находилась в пятидесяти шагах от Парижа, между ними торчал крымский холм; белогвардейский притон был отделен от советского трибунала французским вагоном.

Фильм был немым, это позволило Пабсту набрать разноязычных актеров. Жанну Ней играла хорошенькая француженка Эдит Жеан, Андрея — швед Уно Геннинг, злодея Халыбьева — немец Фриц Расп, Захаркевича — бывший актер московского Камерного Театра Соколов.

Из съемок мне запомнились три сиены. Прежде всего слезы Жанны. Актриса никак не могла натурально заплакать. Завели патефон с каким-то весьма печальным романсом. Отвернувшись, Эдит Жеан настраивалась на слезы, — может быть, вспоминала неудачную любовь, а может быть, думала о невыгодном ангажементе. Пабст в кожаной куртке напоминал командира батареи, он безжалостно браковал слезы Жанны: то недолет, то перелет. Наконец он довел актрису до слез вполне натуральных и, удовлетворенный, вынул из кармана бутерброд с ветчиной. Он представил меня кинозвезде; она улыбнулась: «Ах, это вы на писал и такую печальную историю? Я вас поздравляю». Конечно, я должен был, в свою очередь, ее поздравить с первосортными слезами, но растерялся и неопределенно хмыкнул.

Вторая сцена связана с клопами. По замыслу Пабста, клопы должны были ползти по стене, а Халыбьев — их настигать и давить; причем клопов снимали крупным планом. Отдел заготовок «Уфы» доставил банку с чудесными клопами; однако насекомые оказались несообразительными — они то поспешно покидали поле съемки, то замирали, очевидно сжигаемые слишком ярким светом. Распу, который играл Халыбьева. никак не удавалось их раздавить. Помощник режиссера сказал мне, что клоны влетят «Уфе» в копейку — на них потратили четыре часа.

Третья сцена — кутеж белых офицеров. Пабст пригласил на съемку бывших деникинцев. Они сберегли военную форму;

трудно сказать, на что они рассчитывали — на реставрацию или на киносъемки. Сверкали погоны, высились лихие папахи, на рукавах красовались черепа «батальонов смерти». Я вспомнил Крым 1920 года, и мне стало не по себе.

Восемьдесят белогвардейцев кутили в ресторане «Феодосия». Здесь были балалайки, цыганские романсы, водка, а в углу — полевой телефон. До меня доносились разговоры фигурантов: «Давненько мы с вами не видались…», «Простите, в каком полку вы служили?…»

Пабст командовал: «Переведите! Пусть веселятся! Я хочу, чтобы они напились до бесчувствия. Понятно?» Красавец полковник должен был раздеть женщину. Она неожиданно заупрямилась. Пабст кричал: «Переведите — нечего разводить истории! Трусы ей оставят. Пусть думает, что она на пляже…»

Белые получали по пятнадцать марок за день и были довольны.

(В перерыве я слышал, как один поручик рассказывал: «Говорят, что Чжан Цзо-линь вербует русских. Двести долларов подъемных и на дорогу…»)

Чтобы фигуранты лучше играли, Пабст пообещал вызвать их снова: через неделю они будут изображать красногвардейцев, одежду выдаст «Уфа». Бедняга обрадовались: это было куда реальнее, чем Китай…

Не скрою, мне было нелегко глядеть на эти съемки. Я видел, как в парижских кабаре белые офицеры, развлекая кутил, пели, танцевали, ругались, плакали; видел в притонах Стамбула сотни русских проституток; и вот эти офицеры, убежденные, что спасли свою воинскую честь от позора, радуются — им обещали, что через неделю они будут изображать большевиков… Нет, лучше на такое не смотреть!

Из актеров мне понравился Фриц Расп, Он выглядел доподлинным злодеем, и, когда он укусил руку девки, а потом положил на укушенное место вместо пластыря доллар, я забыл, что передо мною актер.

Вскоре Расп приехал в Париж: Пабст снимал уличные сцены. Зарядили дожди, съемки откладывались, и Расп бродил со мной по Парижу, катался на ярмарочных каруселях, танцевал до упаду с веселыми модистками, мечтал на набережных Сены. Мы быстро подружились. Он играл негодяев, но сердце у него было нежное, даже сентиментальное, я его называл Жанной.

Мы встречались и позднее — в Берлине, в Париже. Когда в Германии пришел к власти Гитлер, Распу было нелегко. Я снова увидел его после долгого перерыва в 1945 году в Берлине. Он рассказал, что жил в военные годы в восточном предместье. Там

засели эсэсовцы, стреляли в советских солдат из окон. Я уже говорил, что Расп похож на классического убийцу. Когда наши части взяли квартал. Распа спасли мои книги с надписями и фотографии, где мы были сняты вместе. Советский майор жал ему руку, принес сласти его детям.

Вернусь к 1927 году. Я попробовал было возражать против сценария, но Пабст ответил, что я не понимаю специфики кино, нужно считаться с дирекцией, с прокатчиками, с публикой.

Неожиданно в фантастику сценария вмешался вполне реалистический эпизод: «Уфа» оказалась накануне банкротства, дефицит достиг пятидесяти миллионов марок. Из-за кулис появился господин Гугенберг, новый король Германии, которому принадлежали сотни газет; он ненавидел Штреземана, либерализм и голубок мира — предпочитал им кривого прусского орла.

Новая дирекция предложила Пабсту изменить сценарий. Пабст пытался возражать, но с директором «Уфы» было куда труднее сговориться, чем с белыми фигурантами.

У меня есть друг, американский кинорежиссер Майльстоун, который в начале тридцатых годов поставил фильм по роману Ремарка «На Западе без перемен». Он рассказывал мне, что во время съемок к нему пришел кинопродюсер Леммле и сказал: «Я хочу, чтобы конец фильма был счастливый». Майльстоун ответил: «Хорошо, я сделаю счастливую развязку: Германия выигрывает войну…»

Леммле был бизнесменом и человеком без твердых убеждений. А Гугенберг стриг ежиком жесткие волосы и давал деньги на «Стальной шлем». Пабсту пришлось уступить. Мне показали фильм.

(Хемингуэй молча глядел на киноинсценировку романа «Прощай, оружие!». Только когда на экране появились голуби — режиссер хотел показать, что война кончилась, — Хемингуэй встал, сказал: «Вот и птички», — и вышел из просмотрового зала.

Я был куда наивнее и не мог молча глядеть на экран: то злобно смеялся, то ругал всех — Пабста, Гугенберга, Герцфельде, самого себя.)

Я не хочу сейчас за лишать интригу моего романа, написанного в 1923 году, — в ней много натянутых положений. Я писал роман, не только вдохновившись Диккенсом, но прямо ему подражая (конечно, тогда я этого не понимал). А эпоха была другая, нельзя писать о большевике, занимающемся подпольной работой в 1920 году, как о диккенсовском герое, которого сажали в долговую тюрьму, где он пил портер и шутил с тюремщиками. Мой роман изобиловал сентиментализмом. Героя, большевика

Андрея, занятого подпольной работой, обвинили в убийстве банкира Раймонда Нея. Андрей мог ответить, что провел ночь, когда было совершено преступление, с племянницей банкира Жанной, которую полюбил. Герой этого не сделал и погиб. Жанна, бывшая прежде заурядной девушкой, многое поняла, для нее начиналась вторая жизнь — борьбы против мира лжи, денег, лицемерия, она уехала в Москву. Так было написано в книге. На экране все выглядело иначе — от деталей до сути. В романе имелся, например, противный французский сыщик Гастон с провалившимся носом. На экране у сыщика орлиный нос и благородное сердце. Дело, однако, не в Гастоне. Пабст придумал счастливую развязку. В романе влюбленные идут по парижской улице мимо старой церкви. Жанна повела Андрея в церковь — там было темно, а ей хотелось поцеловать Андрея. Это, пожалуй, одна из самых реалистических сцен романа, в котором, как я говорил, много несуразностей. На экране Жанна — верующая католичка, она ведет Андрея в церковь, чтобы помолиться Господу Богу, большевик становится на колени, и Богоматерь спасает его от гибели. Они поженятся, и у них будут дети.

Я протестовал, писал письма в редакцию. Герцфельде напечатал мой протест в виде брошюры, но это никак не могло потревожить ни прокатчиков, ни дирекцию «Уфы». Мне отвечали: «Фильм должен быть с хорошим концом…»

В 1926 году, когда я был в Тбилиси, в народном суде рассматривалось смешное дело. Одна девушка взяла у другой несколько книг и не вернула их. Судья спросил: «Почему вы не вернули книги?» «Потому что я их кинула в реку». — «Как же вы могли выкинуть чужие книги?» Экспансивная девушка ответила: «А как мог Эренбург написать «Жанну Ней» с ужасным концом? Я прочитала и так расстроилась, что бросила в Куру все книги…» Судья присудил ее к штрафу; не знаю, чем он руководствовался: защитой собственности, уважением к книгам или признанием права писателя на трагическую развязку…

Я понял, что такое «фабрика снов», где серийно изготовляются фильмы, усыпляющие сознание, оглупляющие миллионы людей. В течение одного 1927 года зрители могли увидеть: «Любовь на пляже», «Любовь в снегах», «Любовь Бетти Петерсон», «Любовь и кража», «Любовь и смерть», «Любовь правит жизнью», «Любовь изобретательна», «Любовь слепа», «Любовь актрисы», «Любовь индуски», «Любовь-мистерия», «Любовь подростка», «Любовь бандита», «Кровавая любовь», «Любовь на перекрестке», «Любовь и золото»; «Любовь запросто», «Любовь палача», «Любовь играет», «Любовь Распутина». Зрителям показали еще один вариант: «Любовь Жанны Ней».

Я писал: «В моей книге жизнь устроена плохо, — следовательно, ее нужно изменить. В фильме жизнь устроена хорошо, — следовательно, можно идти спать».

Я усмехаюсь, вспоминая гневные тирады неопытного автора. Все давно ушло в прошлое — и «Любовь Жанны Ней», и консорциум Гугенберга. Одно, впрочем, живо: страх перед трагическими развязками.

Говорят, что счастливые концы связаны с оптимизмом; по-моему, они связаны с хорошим пищеварением, со спокойным сном, но не с философскими воззрениями. Мы прожили жизнь, которую нельзя назвать иначе как трагедийной. Попятно, когда люди, желающие усыпить миллионы своих граждан, требуют от писателя или кинорежиссера счастливой развязки. Труднее понять такие требования, когда они исходят от сторонников великого исторического поворота. Можно терзаться, быть печальным и сохранять оптимизм. Можно быть и развеселым циником.

В книге о моей жизни, о людях, которых я встретил, много грустных, подчас трагических развязок. Это не болезненная фантазия любителя «черной литературы», а минимальная порядочность свидетеля. Можно перекроить фильм, можно уговорить писателя переделать роман. А эпоху не перекрасишь: она была большой, но не розовой…

18

Мы сняли мастерскую на бульваре Сен-Марсель; это была надстройка над старым домом, разумеется сизо-пепельным. Домовладелец, желая дороже сдать мастерскую, провел в дом электричество. Съемщикам квартир предложили бесплатно установить электрическое освещение, почти все отказались: не хотели, чтобы в двери стучался контролер, проверяющий счетчик.

Конечно, еще неприятнее контролера была непрошеная гостьи история, и парижане радовались, что она убралась восвояси. Правда, прочитав в газете, что Бриан и американец Келлог подписали пакт, запрещающий навеки войны, они по привычке усмехнулись — все-таки они были французами; но в душе они твердо верили, что, пока они живут, никакой войны не будет: дважды в жизни такое не приключается.

Карикатуристы занялись новым премьером Тардье; его легко было рисовать — он всегда держал в зубах длиннущий мундштук. Морис Шевалье пел свои песенки. Газеты несколько месяцев подряд описывали, как ювелир Месторино убил маклера, а потом сжег его труп. Сюрреалист Бюнюэль показал забавный фильм: на двуспальной кровати вместо любовницы нежилась солидная корова. Когда в парламенте обсуждали закон о ввозе нефти, один депутат саркастически сказал: «Прежде при любом скандале говорили: «Ищите женщину», теперь мы вправе сказать: «Ищите нефть». Другой депутат прервал его: «Не сравнивайте нефть с женщиной, женщина божество!» Третий при общем смехе добавил: «К тому же женщина не воспламеняется»…

В очень старом фильме Рене Клера «Париж уснул» применен забавный прием — кино превращается в набор моментальных фотографий, комических с трагическим подтекстом: приподнятые ноги, раскрытые рты, заломленные руки. Таким уснувшим мне вспоминается Париж конца двадцатых годов.

Для меня это были тягучие, длинные годы. С деньгами было туго, приходилось жить наобум, не зная, что будет завтра. Вдруг прислали деньги из издательства «Земля и фабрика», вдруг датская газета «Политикен» вздумала напечатать перевод «Треста Д. Е», вдруг из Мексики пришел гонорар за «Хуренито». Однако все это мне казалось идиллией — я не голодал, как в предвоенные годы, и не ходил в лохмотьях.

Люба много работала. Друг Модильяни Зборовский устроил выставку ее гуашей; Мак-Орлан написал предисловие к каталогу,

Ирина училась, начала говорить по-французски, как парижанка, — картавила; приходя из школы в жаркий день, пила

не воду, а белое вино; как-то я ее увидел на террасе кафе «Капуляд» с девчонками и мальчишками; они о чем-то горячо спорили; я пошел дальше, подумал: вот и новое поколение в новой «Ротонде»…

Я стал очень неразборчиво писать, не мог расшифровать написанное накануне. Как-то, когда пришли нечаянные деньги, я купил пишущую машинку. Жил я в комнате над мастерской я там с утра до вечера стучал: писал о трибуне народа Гракхе Бабёфе, о конвейере на заводах Ситроена, о бурной жизни гомельского портного Лазика Ройтшвансца, изъездившего поневоле свет.

Однажды я увидел Поля Валери. Это было в ресторане «У Венсена», который на вид напоминал рабочую харчевню, но славился отменной кухней. Поль Валери маленькими глоточками пил бордоское вино и нехотя одаривал собеседников печальными афоризмами. В нем была внешняя светскость, за которой скрывались горечь, замкнутость. Мне кажется, что он родился не вовремя; талант у него был не меньший, чем у Малларме, но изменилась акустика… Судьба Валери не напоминала судьбы «проклятых поэтов»: в пятьдесят лет он получил шпагу академика и сан «бессмертного»; но не было вокруг него самозабвенных и бескорыстных последователей, которые когда-то окружали Малларме.

А Поль Валери в то время, о котором я говорю, считал, что эпоха благоприятствует искусству: «Порядок неизменно тяготит человека. Беспорядок заставляет его мечтать о полиции или о смерти. Это два полюса, на которых человеку равно неуютно. Он ищет эпоху, где он чувствовал бы себя наиболее свободным и наиболее защищенным. Между порядком и беспорядком существует очаровательный час; все то хорошее, что вытекает из организации прав и обязанностей, достигнуто. Можно наслаждаться первыми послаблениями системы». Это правильно: плоды созревают в конце лета, их тщетно искать зимой или ранней весной. Но Поль Валери ошибался в календаре — «очаровательный час» был позади — в конце XIX, в начале XX века. Золотой сентябрь во Франции успел смениться ноябрьскими туманами. Поль Валери дожил до второй мировой войны и увидел, что можно оказаться и без свободы и без порядка. А был он создан для долгого солнечного дня, для легкого треска цикад, для гармонии.

Меня представили Андре Жиду. Он меня озадачил: он походил на ибсеновского пастора, может быть на старого китайского хирурга. Незадолго перед этим я прочитал его книги о поездке в Африку, где он возмущался колониализмом. Теперь это азбучные истины, а тогда я восхитился его смелостью. Я

заговорил об Африке. Он почему-то перевел разговор на отвлеченную тему, объяснял, что красота связана с этическими принципами. Рядом сидел предмет его любви — молодой спортсмен, кажется немец или голландец, с туповатым лицом, в коротких штанишках.

Во Франции выходило много развлекательных, легковесных книг. Моруа ввел новый жанр — романизированные биографии знаменитых людей. Литераторы начали изготовлять такие книги на конвейере, они сплетничали о любовных похождениях восьмидесятилетнего Гюго, рассказывали, что Вольтер спекулировал сахаром, а у Сент-Бёва была деспотическая мамаша.

Франсуа Мориак, к которому в 1913 году меня направил Франсис Жамм, писал хорошие романы о нехорошей жизни. Он католик, но в его книгах куда больше жестокой правды, чем христианского сострадания. Жена, изменив нелюбимому мужу, попыталась его отравить; он выжил и, боясь огласки, замуровал свою супругу в самодельную тюрьму, где ей предстоит сойти с ума. Многочисленная семья ждет, когда же отдаст богу душу богач адвокат, а он, старый, больной, живет наперекор всему, его вдохновляет желание лишить своих наследников наследства. Разбирая роман Мориака, критик Эдмон Жалу писал: «Наследство и завещания — самые основные и самые традиционные черты французской жизни».

Я часто думал, что старый мир, с его мастерством, с библиотеками и музеями, как герои Мориака, живет одним: не хочет ничего оставить своим наследникам. А прочитав статью в «Литгазете» или встретившись с рапповцами, я говорил себе, что есть люди, которые не хотят наследства, беспризорные, облеченные властью цензоров и прокуроров.

Дюамель и Дюртен, побывав в Москве, написали о своей поездке книги умные, миролюбивые, даже, как теперь говорят, «прогрессивные». Я бывал иногда у Дюртека; он говорил о нашей стране приветливо, чуть снисходительно, пытаясь оправдать все, что ему не понравилось, не только особенностями русской истории, но и загадочностью «славянской души». В Париж приехала из Ленинграда О. Д. Форш. Как-то мы обедали втроем: Ольга Дмитриевна, Дюамель, я. Дюамель дружески нам объяснял, что в итоге все образуется. Советская Россия, остепенившись, станет полуевропейским государством; следует только переводить побольше французских книг. Почему-то он вспомнил «версты» в старых русских романах и сказал, что Французская революция дала миру метрическую систему, хорошо, что теперь и русские ее приняли… Когда Дюамель ушел, мы рассмеялись. Нам нравились его книги, а рассмешила наивность: видимо, он

убежден, что своим сантиметром сможет измерить наши дороги…

В редакции журнала «Монд» я встречал Барбюса. Он написал тогда книгу о Христе. На него накинулись друзья: «идеализм», «мистика». А для правых он оставался неисправимым коммунистом. Он часто болел, говорил порывисто, глухо, тонкими руками аристократа что-то рисовал в воздухе.

Помню ужин, устроенный Пен-клубом в честь иностранных писателей. Председательствовал Жюль Ромен; в своей речи он постарался каждому из гостей сказать что-либо приятное. Меня он назвал «полупарижанином», а Бабелю сказал: «Вас можно поздравить с переводом вашей книги на французский язык». Он отнюдь не хотел показаться высокомерным, просто он думал, что на дворе стоит век Людовика XIV, Ришелье и Корнеля. (В 1946 году я возвращался из Америки на пароходе «Иль де Франс». На палубе можно было встретить беженцев из различных стран Европы, которые после долгих лет, проведенных в эмиграции, возвращались на родину; среди них я увидел и Жюля Ромена…)

Ужин Пен-клуба я вспоминаю с благодарностью — там я познакомился с Джойсом и с итальянским писателем Итало Свево. Они были давними друзьями: Джойс много лет прожил в Триесте, а Итало Свево (его настоящее имя Этторе Шмитц) был триестинцем. За столом они сидели рядом, оживленно беседовали,

Джойс был уже знаменит, его «Улисс» казался многим новой формой романа; его сравнивали с Пикассо. Меня удивила его простота — французские писатели, достигшие славы, держались иначе. Джойс, шутил, чуть ли не сразу рассказал мне, как, приехав юношей впервые в Париж, он пошел в ресторан; когда подали счет, у него не оказалось чем заплатить, он сказал официанту: «Я вам оставлю расписку, в Дублине меня знают». А тот ответил: «Да я тебя знаю, и вовсе ты не из Дублина, ты уже четвертый раз жрешь здесь за счет прусской принцессы…» Он по-детски смеялся.

Это был человек не менее своеобразный, чем его книги. Он плохо видел — страдал болезнью глаз, но говорил, что хорошо запоминает голоса. Любил выпить, страдал тем недугом, который издавна знаком русским писателям. Работал исступленно и, кажется, ничем в жизни не увлекался, кроме своей работы. Мне рассказали, что, когда началась вторая мировая война, он в ужасе воскликнул: «А как же я теперь допишу мою книгу?…» Жена относилась к его занятиям с иронией, не прочитала ни одной из его книг. Он покинул Ирландию в ранней молодости, не хотел возвращаться на родину, жил в Триесте, в Цюрихе, в Париже и умер в Цюрихе, но о чем бы ни писал, всегда ощущал себя в

Дублине. Мне он представлялся честным, фанатичным в своей работе, гениальным и вместе с тем ограниченным «перемудрами» ирландским Андреем Белым, но без ощущения истории, без мессии и миссии, необычайным насмешником, которого принимали за пророка, Свифтом по отпущенному ему дару, только Свифтом в пустыне, где нет даже лилипутов.

Итало Свево, в отличие от Джойса, был мало кому известен; редкие французы оценили его роман «Цено». Он был на двадцать лет старше Джойса, и я с ним познакомился за год до его смерти. Свево часто называли дилетантом: он был промышленником, за всю свою жизнь написал всего несколько книг. Но роль его в разрушении старых форм романа бесспорна; его имя нужно поставить рядом с Джеймсом, Марселем Прустом, Джойсом, Андреем Белым. Он много говорил мне о влиянии, которое оказал на него русский роман XIX века. Джойс исходил в романах от своего душевного опыта и от музыкальной стихии, людей не знал, да и не хотел знать. Свево мне рассказывал, что Стефан Дедал, герой романа «Улисс», должен был называться Телемахом; Джойс любил имена-символы, а Телемах по-гречески означает «далекий от борьбы». Итало Свево, наоборот, искал вдохновения в жизни, пополнял наблюдения своими собственными переживаниями, но никогда их не суживал до своего «я».

Иногда я встречал Шарля Вильдрака, доброго и неизменно огорченного то событиями, то отсутствием событий. Жан-Ришар Блок спрашивал себя и других, как ему примирить Ницше с Толстым, а русскую революцию с Ганди.

Я познакомился с молодыми писателями Арагоном, Десносом, Мальро, Шамсоном, Кассу; о некоторых из них я расскажу впоследствии. А тогда я их недостаточно знал и, главное, плохо понимал.

Сюрреалисты еще не могли расстаться с толкованием снов, с пророчествами, с культом подсознательного. Они устраивали шумные вечера, выступали с ультрареволюционными манифестами, срывали чествования — все это напоминало наших ранних футуристов.

Потом я подружился с некоторыми французскими писателями, а и те годы мне трудно было с ними разговаривать — не было общего языка. Многие из них мечтали о буре, но буря для них была отвлеченным понятием: для одних — апокалипсическим светопреставлением, для других — театральной постановкой. А меня мутило на твердой земле, так иногда бывает после сильной качки.

Андре Жиду было тогда под шестьдесят. Андре Мальро около тридцати, но оба казались мне то подростками, еще не

хлебнувшими горн, то стариками, отравленными не спиртом или никотином, а книжной мудростью.

В маленькой уютной квартире Андре Шамсона мы беседовали о новых романах, о чувстве города или о влиянии кино на литературу. Все писатели, с которыми я встречался, восхищались русской революцией, восхищались, как далеким, необычайным явлением природы.

Мне вспомнился забавный эпизод. Богатый литератор, один из владельцев «Лионского кредита», Андре Жермен, любил устраивать у себя приемы. Был он педерастом, и это, кажется, единственное, чему он в жизни не изменил. В конце двадцатых годов он слыл «большевизаном». Задыхаясь, он прибежал к Любе, сюсюкал: «Я вас умоляю, приведите ко мне ваших пролетарских поэтов, я устрою чай!.. Ах, они так прекрасны!..» В Париже тогда гостили Уткин, Жаров и Безыменский. (Пять лет спустя Андре Жермен писал: «Самая характерная черта нацистов — это идеализм. Геббельс прекрасен странной красотой, у него лицо аскета и одержимого, он вдохновлен своими идеями».) Андре Жермен, конечно, карикатура. Что касается настоящих писателей, то, восторгаясь «Конармией», они удивленно разглядывали Бабеля: этот «красный казак» превосходно говорит по-французски, умен, но в искусстве ретроград — любит, например, Мопассана! Приехал С. М. Эйзенштейн. Я был в Сорбонне на его вечере; должны были показать «Броненосец «Потемкин», но префект показ картины запретил, и Эйзенштейн на безупречном французском языке в течение двух или трех часов беседовал обо всем, зло шутил, потряс зал своей эрудицией.

В Париже выходила ежедневная газета «Комеди»; в ней было мало политических новостей; полосы отводились театру, книгам, выставкам. Однако политика сказывалась в рассуждениях о пьесах или о романах. Однажды я прочитал в этой газете раздраженную статью о моей книге «Заговор равных», вышедшей во французском переводе. Критик заканчивал статью словами: «Было бы лучше, если бы госпожа Илья Эренбург вместо того, чтобы заниматься французской революцией, дала нам рецепт для приготовлении русского борща». Имя «Илья» сбило критика с толку, он принял его за женское. Конечно, не поэтому его рассердила моя книга: не зная, кто я, он хорошо знал, кем был Бабёф. Я решил послать в газету шутливое опровержение: указал, что я не дама, а кавалер, но все же могу дать критику-гурману рецепт, который его интересует. Правда, я не знал, как готовить борщ, но меня выручила Эльза Юрьевна Триоле. Критик не растерялся, моего письма он не опубликовал, а в примечании к очередной статье сообщил читателям, что Илья Эренбург

оказался мужчиной — «большевики перепутали все, вплоть до мужского и женского пола». А в гастрономической рубрике редакция опубликовала рецепт для приготовления борща с примечанием: «Любезно предоставлен нам господином Ильей Эренбургом». Я, кажется, слишком часто рассказываю, как критики меня сердили; вот я и припомнил, как порой они меня развлекали.

По вечерам мы шли на Монпарнас. «Ротонду» оккупировали американские туристы; мы сидели в «Доме» или в «Куполе». Приходили туда некоторые старые художники — Дерен, Вламинк; они были когда-то «дикими», сокрушали классическое искусство, но к концу двадцатых годов успели поуспокоиться; нам они казались большими старыми деревьями, переставшими плодоносить. Я подружился с американским скульптором Кальдером, огромным, веселым парнем; он был большим затейником, работал над жестью, над проволокой. Он сделал из проволоки портрет моего любимца, шотландского терьера Бузу. Иногда я видел Шагала; он писал теперь не витебских евреев, летающих лад крышами, а голых красавиц верхом на петухах, с Эйфелевой башней или без. Норвежец Пер Крог молча курил трубку. Паскин, окруженный яркими крикливыми женщинами, пил виски и что-то рисовал на клочках бумаги.

Подсаживались к нашему столику молодые художники. Я слышал разговоры о фактуре, о том, что небо на пейзаже чересчур тяжелое, что левый угол не дописан…

Приходил в кафе «Дом» петербургский искусствовед и режиссер К. Миклашевский. Он написал книгу «Гипертрофия искусства». Я частенько вспоминал эти слова: искусство меня окружало со всех сторон, и хотя оно было, да и остается самой большой страстью моей жизни, я порой холодел — мне казалось, что я в паноптикуме и вокруг фигуры из воска.

Не знаю, в моей ли это натуре или присуще всем, но в Париже и в Москве я ко многому по-разному относился. В Москве я думал о праве человека на сложную душевную жизнь, о том, что искусство нельзя подогнать под одну колодку; а в Париже конца двадцатых годов я задыхался — уж слишком много было словесных усложнений, нарочитых трагедий, программной обособленности.

Поль Валери прав — полюсы не похожи ни на Парнас, ни на Геликон, ни на обыкновенный холмик умеренной зоны. Но мне мерещились другие полюсы, нежели Полю Валери: свобода без справедливости или справедливость без свободы, журнал парижских эстетов «Коммерс» или «На литературном посту». (Несколько лет спустя Жан Ришар Блок, выступая на

Антифашистском конгрессе писателей, говорил о подлинной и иллюзорной свободе художника: подлинная свобода — в уважении обществом его своеобразия, его индивидуальности, его творчества: иллюзорная — в тщетном стремлении жить вне общества.)

В прошлом столетии люди знали полярное сияние; русские поэты издавали «Полярную звезду». Полюсы были обследованы в XX веке. Березы, дубы, оливы, пальмы растут между Арктикой и Антарктикой, это знает каждый, и каждому должно быть понятно, что можно долететь до полюса, можно через него перелететь, но жить на нем очень трудно.

19

Я познакомился с поэтом Робером Десносом в 1927 году, а встречались часто мы позднее, в 1929–1930 годах. Никогда он не был моим другом, но он меня привлекал страстностью и в то же время мягкостью, человечностью — ничего в нем не было от профессионального литератора. Потом, он не походил на французов, с которыми я встречался, старавшихся все усложнить, или, как говорят во Франции, «расщепить волос на четыре части». Еще царил культ герметической поэзии, когда Деснос заявил о необходимости понять и быть понятым.

Деснос был одним из самых неистовых приверженцев раннего сюрреализма. Он сразу отозвался на догму «автоматизма» творчества, преклонения перед сновидениями. В шумном кафе он вдруг закрывал глаза и начинал вещать — кто-нибудь из товарищей записывал. Ему было тогда двадцать два года, и я знаю об этом из рассказов других.

А в 1929 году сюрреализм начал раскалываться, и, как ни старался Андре Бретон, которого шутя называли «папой сюрреализма», сохранить единство группы, поэты разбрелись в разные стороны. Вопреки своему названию, сюрреализм был не взлетом, а хорошей стартовой площадкой и, несмотря на шумливую наивность первых деклараций, дал таких поэтов, как Элюар и Арагон.

В 1930 году Деснос заявил: «Сюрреализм, такой, каким его подносит Бретон, — одна из главных опасностей для свободного мышления, коварная западня для атеизма, лучший подручный для возрождения католицизма и церковного духа».

Что меня подкупало и в его стихах, и в нем самом? Отвечу словами Элюара: «Из всех поэтов, которых я знал, Деснос был самым непосредственным, самым свободным, он был поэтом, неразлучным с вдохновением, он мог говорить, как редко кто из поэтов может писать. Это был самый смелый изо всех…»

Я говорил, что мы иногда встречались; несколько раз он приходил ко мне на бульвар Сен-Марсель (консьержка, считавшая и меня и всех приходивших ко мне людьми подозрительными, крикнула Десносу, чтобы он вытер ноги; он ей спокойно ответил: «Мадам, вы ж…»). Как-то был я в его мастерской на улице Бломе, возле негритянской танцульки. Помещение было завалено неописуемой рухлядью, которую он зачем-то приобретал на «блошином рынке» — так называется парижская толкучка. У меня осталась в памяти ужасающая сирена из воска. Десносу она очень нравилась. (Много лет спустя я прочитал его стихи: Юки —

женщину, которую он любил, он называл «сиреной», а себя — «морским коньком».)

Деснос пытался зарабатывать на жизнь журналистикой был репортером в «Пари-матиналь» у Мерля, потом в других газетах. Он узнал, что такое власть денег, писал: «Разве газета печатается краской? Может быть, но пишут ее главным образом нефтью, маргарином, углем, хлопком, каучуком, если не кровью…»

Деснос много писал о любви и одну из лучших своих книг назвал «Ночь ночей без любви». Он нашел свою сирену. Я знал Юки; красивая, очень живая, она часто приходила на Монпарнас со своим мужем, старым завсегдатаем «Ротонды», японским художником Фужитой. Фужита уехал в Японию, и Юки стала женой Десноса. Он был в своей любви трогательным, с той легкой иронией, которая неотъемлема от романтизма. Когда в 1944 году гестаповцы его арестовали и отправили в пересыльный лагерь, он оттуда писал Юки: «Моя Любовь! Наша боль была бы нестерпимой, если бы мы не принимали ее как болезнь, которая должна пройти. Наша встреча после разлуки украсит нашу жизнь, по крайней мере, на тридцать лет… Я не знаю, получишь ли ты это письмо ко дню твоего рождения. Я хотел бы тебе подарить 100 000 сигарет, двенадцать чудесных платьев, квартиру на улице Сен, машину, домик в Компьенском лесу, дом на острове Беллиль и маленький букетик ландышей за четыре су…» Если подумать, где он это писал и что у него было на сердце, станут понятными мои слова о романтической иронии — это не литературный прием, а душевное целомудрие. Его последние стихи, написанные в «лагере смерти», обращены к Юки:

Я так мечтал о тебе,
Я столько шел, столько говорил,
Я так любил твою тень,
Что у меня ничего не осталось от тебя,
Я теперь тень,
Тень среди теней.
Во сто крат больше
Тень всех теней.
Только тень,
Тень будет ходить.
Тень будет приходить
В твой солнечный день…

В 1931 году Деснос, которому опротивели газеты, поступил на службу в контору, занимавшуюся подысканием квартир. В его биографии мало живописных эпизодов — стыдливость

цензуровала жизнь.

Еще в то время, когда он работал в газете, его послали на Кубу — там был какой-то конгресс. Деснос влюбился в народную музыку, рассказывал, Напевал, барабанил по столу. Он захотел подражать анонимным поэтам Кубы, начал сочинять куплеты-песенки.

В 1942 году Деснос написал «Куплеты об улице Сен-Мартен» (он там родился). В то время парижане узнали, что такое звонок или стук в дверь перед рассветом…

Улица Сен-Мартен у меня была.
Улица Сен-Мартен мне теперь не мила,
Улица Сен-Мартен даже днем темна.
Не хочу от нее я глотка вина.
У меня был друг Платар Андре.
Платара Андре увели на заре.
Крышу и хлеб мы делили года.
Увели на заре, кто знает куда.
Улица Сен-Мартен, много крыш и стен.
Но Платар Андре не на Сен-Мартен…

В последний раз я встретил Десноса не то весной, не то летом 1939 года; был очень жаркий день, мы сидели на пустой террасе кафе и говорили, разумеется, о том, о чем тогда говорили все: будет война или не будет?… Деснос был печален. А когда мы расставались, выругался: «Дерьмо! Чистое дерьмо!» Не знаю, к кому это относилось: к Гитлеру, к Даладье, к судьбе?

Когда после войны я приехал в Париж, мне рассказали, что Деснос умер в концлагере. Потом я узнал подробности. Он участвовал в Сопротивлении, не только писал политические стихи, но и собирал сведения о передвижении немецких войск. 22 февраля 1944 года его предупредили по телефону: «Не ночуйте дома…» Деснос побоялся, что если он скроется, то возьмут Юки. Он спокойно открыл дверь.

Когда его привезли на улицу Соссэ, где помещалась Сюртэ, молодой фашист гаркнул: «Снимите очки!» Деснос понял, что это означает, сказал: «Мы с вами разного возраста. Я предпочел бы без пощечин — бейте кулаком…»

Крупный гестаповец, ужиная с некоторыми французскими писателями, журналистами, рассказывал о последних арестах: «В Компьенском лагере теперь, представьте себе, поэт! Сейчас я вам скажу… Робер Деснос. Но я не думаю, чтобы его выслали…» Тогда журналист Лебро, хорошо всем нам известный (он потом удрал в Испанию), воскликнул: «Его мало выслать! Его нужно

расстрелять! Это опасный субъект, террорист, коммунист!..»

Из Компьена Десноса отправили в Освенцим. Некоторые из заключенных чудом выжили; они рассказывают, что Деснос старался приободрить других. В Освенциме, увидев, что товарищи впали в отчаяние, он сказал, что умеет гадать по руке, и всем предсказал долгую жизнь, счастье. Он что-то бормотал — писал стихи.

Советские войска быстро продвигались на запад. Гитлеровцы погнали заключенных в Бухенвальд, потом в Чехословакию, в лагерь Терезин. Отощавшие люди едва шли; эсэсовцы убивали отстававших.

Третьего мая Советская Армия освободила заключенных в лагере Терезин. Деснос лежал больной сыпняком. Он долго боролся со смертью: любил жизнь, хотел жить. Молодой чех Иозеф Штуна, работавший в госпитале, увидел в списках имя Робера Десноса. Штуна знал французскую поэзию, подумал: может быть, тот?… Деснос подтвердил: «Да. Поэт». Последние три дня жизни Деснос мог беседовать со Штуной и с санитаркой, которая знала французский язык, вспоминал Париж, молодость, Сопротивление. Он умер восьмого июня.

Теперь я хочу рассказать об одной беседе с Десносом, которая мне запомнилась. Эта беседа для меня приобрела новый смысл после того, как я прочитал стихи, написанные Десносом в концлагере, узнал о последних месяцах его жизни.

Мы случайно встретились на бульваре Пор-Рояль. Я жил тогда на улице Котантен возле вокзала Монпарнас: но почему-то мы пошли в сторону Сен-Марселя и оказались в кофейне при мечети. Там было темно и пусто. Это было в 1931 году, когда Деснос был счастлив: он нашел Юки, много писал, да и внешне как-то успокоился.

Не знаю почему, мы заговорили о смерти. Обычно люди избегают таких разговоров, каждый предпочитает об этом думать в одиночку.

Я признался, что о многом пережитом в зрелом возрасте умолчу — о том, что в общежитии называют «сердечными делами»; мне трудно рассказывать также о некоторых размышлениях, которые по своему характеру связаны с молчанием. Но, начиная эту главу, я подумал: неужели я буду писать только о «гримасах нэпа» или о борьбе за каучук? Конечно, все это меня волновало, но жизнь шире, да и сложнее. О смерти я думал и ребенком, когда она меня пугала, и юношей — с двойным чувством ужаса и притяжения, но неизменно с романтическими прикрасами. Потом я вдруг понял: нужно мужественно подумать, связать смерть с жизнью.

И все же я никогда не начал бы того разговора, начал его Деснос, и начал неожиданно — не с мыслей о своем конце, а с длинных рассуждений о космосе, о материи. Он как будто обрел новую веру: «Материя в нас становится мыслящей. Потом она возвращается к своему состоянию. Гибнут планеты, наверно, гибнет и жизнь на других небесных телах. Но разве от этого мысль становится ниже? Разве временность лишает жизнь смысла? Никогда!..»

Недавно я получил исследование о поэзии Десноса, изданное Бельгийской академией. Автор, Роза Бюшоль, приводит неопубликованный сонет Десноса, написанный им в концлагере:

Взгляни — у бездны на краю трава,
Послушай песнь — она тебе знакома.
Ее ты пела на пороге дома.
Взгляни на розу. Ты еще жива.
Прохожий, ты пройдешь.
Умрут слова. Глава уйдет разрозненного тома.
Ни голоса, ни жатв, ни водоема.
Не жди возврата. Ты блеснешь едва.
Падучая звезда, ты не вернешься.
Подобно всем, исчезнешь, распадешься.
Забудешь, что звала собой себя.
Материя в тебе себя познала.
И все ушло, и эхо замолчало,
Что повторяло «я люблю тебя».

Этот сонет написан в той обстановке, когда ложь или поза бесполезны. Деснос видел газовые камеры, куда уводили каждый день партию заключенных. Размышляя в стихах о близкой смерти, он повторил то, что сказал мне в дни своего счастья. До чего он любил жизнь, друзей, Юки, стихи, Париж, красные флаги на площади Бастилии, серые дома!..

Эхо замолкло. Но ничто не проходит бесследно: ни стихи, ни мужество, ни тень среди теней, ни беглый свет вспыхивающей звезды. Я мало пригоден для философии, редко думаю об общем; это, наверно, один из самых больших моих недостатков. Но иногда я пытаюсь осознать с какой-то яростью упущенного времени то, что люди называют смыслом или значением жизни: сюда входят, конечно, и ропот «мыслящего тростника», и эхо, которое Деснос слышал до последней минуты, — слова любви, жар сердца.

20

В семнадцать лет я старательно штудировал первый том «Капитала». Позднее, когда я писал «Стихи о канунах», а ночью работал на товарной станции Вожирар, я возненавидел капитализм; это была ненависть поэта и люмпен-пролетария. В советских газетах я читал о «монополистах», «империалистах», «акулах капитализма» таковы были клички знакомого мне и вместе с тем таинственного дьявола. Я захотел поближе разглядеть сложную машину, которая продолжала изготовлять изобилие и кризисы, оружие и сны, золото и одурь, понять, что за люди «короли» нефти, каучука или обуви, какие страсти их воодушевляют, проследить их загадочные ходы, от которых зависят судьбы миллионов людей.

Я начал работу в 1928 году, а кончил в 1932-м; четыре года я положил на то, что назвал «Хроникой наших дней». Я написал: «10 л. с», «Единый фронт», «Король обуви», «Фабрика снов», «Хлеб наш насущный», «Бароны пяти магистралей».

Мне пришлось изучать статистику производства, отчеты акционерных обществ, финансовые обзоры; беседовать с экономистами, с дельцами, с различными проходимцами, знавшими подноготную мира денег. Ничего отрадного в этом не было, и я понимал, что начатая работа не принесет мне ни славы, ни любви читателей.

В моей личной жизни происходили события, о которых я не стану рассказывать; скажу только, что часто мне хотелось писать не о бирже, а о больших человеческих чувствах, но я сердито себя обрывал. Разведчика посылают на вражескую территорию, это труд неблагодарный, порой опасный, но он связан с профессией человека. Никто мен» никуда не посылал, никто не заказывал мне книг о борьбе трестов; я сам себя осудил на это занятие.

Газеты писали о том, что знаменитая кинозвезда Пола Негра разводится с мужем — грузинским князем, о том, что принц Уэльский упал с лошади, что писатель Морис Бебель рассказал, как спортивно, без переживаний норвежские фрекен проводят ночи с галантным французом, что Прима де Ривера холодно разговаривал с испанским королем, что в состязании на длительность танца победила чета Смите, протанцевавшая чарльстон без перерыва двадцать часов подряд.

Куда более серьезные события развертывались за кулисами. Шла, например, война между Англией и Америкой, война без танков, без бомбежек, но со множеством жертв. Каучук, главным производителем которого была английская колония Малайя, упал

катастрофически в пене. Тогда министр финансов Великобритании Уинстон Черчилль начал битву; специалисты ее называли «планом Стефенсона»: площадь, засаженная гевеями, сужалась или расширялась в зависимости от мировых цен на каучук. Напрасно Стюарт Готшкинс, вице-председатель «Американской каучуковой компании», питался договориться с Черчиллем. Напрасно президент Соединенных Штатов Гувер восклицал: «Вмешательство государства прежде всего безнравственно!» Плантации сжимались, и каучук рос в цене. Сотни тысяч малайцев, лишившись нищенского заработка, умирали с голоду. Американцы нажимали на Гаагу — второй страной по производству каучука была Индонезия, принадлежавшая голландцам.

В Соединенных Штатах гевеи не могут расти, но эти деревья оказались в крохотной Никарагуа. На беду, маленькая республика попыталась отстоять свою независимость. Времена меняются. В 1961 году нападение на Кубу возмутило мир. Иначе было в 1929 году. Генерал Сандино напрасно взывал: «Вчера авиация обстреляла четыре деревни. Янки скинули свыше сотни бомб. Убиты семьдесят два человека, среди них восемнадцать женщин. Позор убийцам женщин! Янки хотят проглотить Никарагуа, как они проглотили Панаму, Кубу, Порто-Рико. Братья, вспомните о Боливаре, о Сан-Мартине! Отечество в опасности!..» Американцы лаконично сообщали: «Наш экспедиционный корпус вчера окружил одну из банд Сандино. Преступники уничтожены. Наши потери незначительны:».

Шла и другая война — за нефть — «Роял-Детч» с американским трестом «Стандарт-ойл», сэра Генри Детердинга с мистером Тиглем. Враги заключили перемирие для совместных действий против Советского Союза.

Швед Ивар Крейгер, талантливый авантюрист, романтический шулер, король спичек, раздавив конкурентов, бросил вызов Москве; у него был темперамент Карла XII.

Форд воевал с «Дженерал моторс», «Дженерал электрик» с «Вестингаузом». Магнаты железных дорог опрокидывали правительства Франции. Король обуви Томас Батя глядел свысока на президента Чехословакии.

Я видел, как парижские маклеры организовывали биржевую панику; в Швеции я был на заводах Крейгера; в Лондоне взглянул на сэра Генри.

Детердинг был голландцем. Он уехал на Яву искать счастье и прозябал в банке как мелкий клерк. Но счастье нашлось — его взяли на службу в контору «Роял-Детча». Пять лет спустя Детердинг стал директором, десять лет спустя — королем нефти.

Он проник в Мексику, в Венесуэлу, в Канаду, в Румынию. Англичане ему пожаловали титул баронета, и он превратился в сэра Генри. Дельфтский университет присвоил ему звание доктора «гонорис кауза». Каждый год он приезжал на свою родину в день рождения королевы, и королева восхищенно улыбалась. Он содействовал переворотам в Мексике, в Венесуэле, в Албании.

Наверно, он считал себя нефтяным Наполеоном: он не раз говорил, что его миссия — поставить на колени строптивую Россию. Он скупил за гроши акции бывших владельцев нефтяных промыслов в Баку и называл советскую нефть «краденой». Он организовал налет на «Аркос» и разрыв дипломатических отношений между Англией и Советским Союзом. Ему удалось добиться удаления из Парижа советского посла Раковского. Он давал деньги сторонникам Гитлера, одобрял книги Розенберга, устроил набег на «Дероп», торговавший советской нефтью, наладил в Берлине мастерскую, где печатали фальшивые червонцы; он не брезгал ничем. Он встречался с Красиным и предлагал ему мир. Он встречался с Гитлером и предлагал ему войну. Он рекомендовал Чемберлену договориться с Риббентропом.

Это был крепкий, энергичный человек, чуть ли не до смерти он катался на коньках, курил в трубке дешевый матросский табак. Женился он на русской эмигрантке. В Париже была гимназия имени леди Лидии Детердинг, где обучались дети бывших бакинских королей нефти. Нервы у него были солидные; когда разразился мировой кризис, он не пал духом. Однажды журналист спросил его, что самое важное в жизни. Сэр Генри коротко ответил: «Нефть».

Ивар Крейгер построил империю из спичечных коробок. Он давал советы Пуанкаре, как стабилизовать франк, помогал полякам проводить «санацию». На Уолл-стрите он считался самым одаренным из бизнесменов, притом джентльменом, образцом честности, спокойствия, благородства. В Чили он закрыл спичечные фабрики и выбросил рабочих на улицу, в Германии убедил социал-демократов запретить ввоз спичек, чтобы оградить рабочих от безработицы: в годы инфляции он скупил немецкие фабрики. Греческий диктатор Пангалос ему скорее нравился, но Пангалос не захотел предоставить ему спичечную монополию, и Крейгер содействовал очередному перевороту. Он помог свергнуть правительство Боливии. Он ненавидел русских: они осмеливаются не только изготовлять у себя спички, но и вывозить их за границу. Он был вполне светским человеком, мог беседовать о Фрейде или об Уайльде.

В 1930 году вышла моя книга о короле спичек; в отличие от других моих книг того времени (документальных), «Единый фронт» — роман с ключом. Ивар Крейгер в романе назывался Свеном Ольсоном. Не знаю почему, но я решил похоронить короля спичек, он умирал, поговорив о французском премьере Тардье. Роман перевели на различные языки. Шел 1931 год; мировой кризис рос. Крейгер нервничал; он пытался объяснить публике падение акций «большевистскими интригами»; в некоторых газетах появились статейки о том, что я хочу погубить короля спичек. Это было настолько глупо, что я не мог даже возгордиться.

Правительства во Франции быстро менялись, но Тардье еще был премьером, когда в 1932 году Ивар Крейгер застрелился. Его секретарь барон фон Драхенфельс писал в своих воспоминаниях, что накануне самоубийства на ночном столике короля спичек он видел мою книгу. Крейгера похоронили с почестями; газеты называли его «невинной жертвой мирового кризиса». Шведский парламент объявил мораторий. Вдруг выяснилось, что Крейгер подделывал итальянские облигации; благородный джентльмен оказался шулером.

Я писал также о главе американской фирмы «Кодак» Джордже Истмэне. Его карьера началась с лозунга: «Нажмите кнопку, мы сделаем остальное» — он рекламировал фотоаппараты для любителей. В 1896 году он вытянул счастливый билет, он писал Эдисону: «Нас запрашивают касательно так называемых живых фотографий». Он начал изготовлять кинопленку. Он неслыханно разбогател, но его ждали испытания: на его пути встала «Агфа» — разветвление концерна «ИГ». Немцы повели наступление, заручились поддержкой Форда и «Нэшионел сити бэнк», начали строить фабрики в Соединенных Штатах. Иотмэн не растерялся, принял бой. Его капиталы росли. Он обожал музыку и жертвовал миллионы на различные музыкальные институты. Рабочих он держал в черном теле.

Ему было пятнадцать лет, когда он открыл текущий счет в банке, ему было семьдесят семь, когда он решил его закрыть. К нему приехали гости, говорили о музыке и, разумеется, о кризисе. Джордж Истмэн вышел в соседнюю комнату и застрел идея. Может быть, он вспомнил афоризм своей молодости: «Нажмите кнопку, мы сделаем остальное»?

Многие из подлинных героев моих книг кончили жизнь самоубийством, как будто они были не седыми, опытными дельцами, а молодыми влюбленными иди поэтами. Капитализм пережил мировой кризис, а некоторые капиталисты оказались куда более хрупкими: что же, они были людьми. Начал Крейгер —

в марте 1932-го. Месяц спустя покончил с собой король бритв в Шеффилде. Он хвастал, что бреет весь мир, а сам носил бороду и застрелился из старого охотничьего ружья. В мае того же года покончил с собой один из королей стали, Дональд Пирсон. Во время войны он подарил американскому правительству крейсер; он изучал способы борьбы с подводными лодками. Он оставил записку, где говорил, что устал жить.

В том же мае в Чикаго выбросился на мостовую король мясных консервов Свифт. Акции мясного треста за неделю упали с семнадцати долларов до девяти. Сын самоубийцы, стремясь спасти деловую репутацию треста, клялся, что отец случайно выпал из окна.

Личный самолет Бати стоял наготове. Погода была нелетной, и летчик пытался уговорить короля обуви повременить. Батя нервничал. Самолет поднялся над Злином и упал.

О Томасе Бате я должен рассказать: он отнял у меня немало времени.

Король обуви был сыном мелкого сапожника, ездил по деревням — торговал ботинками, потом уехал в Америку и там многому научился. Разразилась война. Батя стал обувать австро-венгерскую армию. Город Злин напоминал тюрьму: на фабрике Бати работали запасные и военнопленные. Настал мир, и Батя сказал: «Мы должны осушить слезы матерей, которые хотят видеть своих детей обутыми». Он любил афоризмы и, став королем обуви, украсил стены цехов надписями: «Будем веселыми», «Надо работать, надо иметь цель», «Жизнь не роман». На конвертиках, в которых рабочим выдавали зарплату, значилось: «Научитесь делать деньги из вашего тела». Некоторые афоризмы Бати предназначались для потребителей; помню, рядом красовались два его изречения: «Моя обувь никогда не натирает мозолей» и «Не читайте русских романов они вас лишают радости жизни».

Когда я попросил разрешения Бати осмотреть королевство, он ответил: «Я не показываю моих фабрик представителю враждебной державы». (Я все же увидел его вотчину.) У Бати была мания величия; он расписался на скелете мамонта; он объявил «пятилетний план Томаса Бати». Он отказался признавать профсоюзы и организовал свою собственную полицию. Рабочим он платил мало и заполнил мир дешевой обувью. Не было, кажется, города без вывески с четырьмя буквами: «Батя». Он был католиком и ненавидел коммунистов.

Прочитав мой очерк, посвященный порядкам в Злине, Батя рассердился и подал на меня в суд. Статья была напечатана в Германии, и судить меня должны были немецкие судьи. Батя

наложил арест на причитавшиеся мне деньги — за переводы книг, за фильм.

Батя любил судиться, он возбудил два процесса — гражданский и уголовный. В гражданском суде он требовал с меня полмиллиона марок (никогда в жизни я не видел таких денег). От уголовного суда Батя добивался, чтобы меня присудили к тюремному заключению за диффамацию.

Батя нанял хороших адвокатов. Пришлось и мне обратиться к адвокату. У меня нашлись защитники: рабочие Злина. Они прислали мне документы, фотографии, подтверждавшие достоверность моего очерка. Рабочие издавали нелегальный журнал «Батовак», где описывали жестокие методы короля обуви, произвол созданной им полиции. Я представил суду и комплект журнала.

Адвокат Бати явился на судебное заседание с переводом «Хулио Хуренито», цитировал роман, чтобы доказать мой цинизм, заверял суд, что я не только занимался дрессировкой кроликов, но и служил кассиром в публичном доме мистера Куля. Адвокат ссылался также на статьи некоторых московских критиков: «Даже в коммунистической России люди возмущаются безнравственностью и беспринципностью человека, который осмелился оклеветать уважаемого Томаса Батю!..» Суд потребовал от сторон дополнительных данных. Самолет Томаса Бати разбился. В Германии к власти пришел Гитлер. Нацисты сожгли мои книги и закрыли магазины Бати. Что касается моего весьма скромного гонорара, на который был наложен арест, то эти мизерные деньги достались не наследникам Томаса Бати, а третьему рейху.

Я начал писать о трестах и различных королях в последний год тучных коров. Внезапно разразился мировой кризис, и в дальнейших книгах мне пришлось описывать годы тощих коров.

Теперь я скажу о коровах — не иносказательных, но доподлинных фюненских красных коровах, хотя конец этой истории относится к 1933 году и мне снова придется забежать вперед.

Летом 1929 года американцев взволновало небольшое газетное сообщение: в Америке излишек пшеницы превышал двести сорок тысяч бушелей. Вскоре выяснилось, что в Канаде, в Австралии, в Аргентине, в Венгрии тоже чересчур много хлеба. Цены на пшеницу катастрофически падали. Фермеры разорялись и нищенствовали.

Слова о том, что в мире было чересчур много хлеба, не следует понимать буквально. Голодали целые материки. В мире было сорок миллионов зарегистрированных безработных. Импорт

пшеницы в западноевропейские страны сократился в семь раз.

В Риме собралась конференция представителей сорока шести государств, которые обсуждали, что делать с излишками пшеницы. Это было весной 1931 года. Безумие овладело всеми. В Бразилии жгли кофе. В Соединенных Штатах жгли хлопок. На конференции было предложено денатурировать пшеницу с помощью эозина: красное зерно сможет пойти на корм скоту.

Началась пропаганда: «Кормите скот пшеницей — она дешевле и питательнее кукурузы». Продолжались банковские крахи. Голодные крестьяне бросали свои поля и уходили за тридевять земель в поисках хлеба.

Коровы ели пшеницу первого сорта — манитобу или барлету. Но через несколько месяцев газеты сообщили, что в мире слишком много масла и мяса, именно поэтому люди умирают от голода.

В 1933 году я был в Дании. Я видел прежде эту страну, тихую, зеленую, зажиточную. Датчане продавали англичанам и немцам масло, мясо, бекон. На острове Лолани, в маленьком городке Найсков, я увидел необычайную машину, которая превращала коров в круглые лепешки, предназначавшиеся для корма свиней. Машина перемалывала кости, смешивала их с мясом в массу землистого цвета. (Англия еще покупала бекон, но уже было ясно, что в мире слишком много сала и что если мировое положение не улучшится, то вскоре придется уничтожать и свиней.)

Машину мне показывал местный ветеринар, беловолосый, честный и очень печальный. Всю свою жизнь он лечил коров и не мог спокойно смотреть, как их уничтожают.

В Копенгагене я видел голодных безработных. Я знал, что такое голод, и, встречаясь с ними, отводил в сторону глаза.

У древних греков было предание о Сизифе — коринфском царе и бандите. Когда он умер, боги придумали для него страшное наказание: он должен был подымать большой камень на гору, с горы камень скатывался вниз. Сизиф грабил, убивал. Но за какие грехи сотни миллионов людей были обречены на сизифов труд? Сначала расширяли посевную площадь; потом окрашивали пшеницу эозином и давали ее коровам; потом начали уничтожать коров и кормили ими свиней…

Четыре года не прошли для меня бесследно. Не знаю, удалось ли мне что-либо показать моим читателям, но лично я многое увидел. Я и прежде ненавидел мир денег, корысти, но одной ненависти мало. Я понял, что дело не в характере людей: среди предпринимателей, финансистов, королей промышленности или финансовых магнатов были люди добрые и злые, умные и ограниченные, симпатичные и отвратительные; дело было не в их

дьявольской сущности, а в бессмысленности строя. В эпоху Бальзака капиталисты были жадными, скупыми, порой свирепыми, но они строили заводы, разводили породистых коров, подымали благосостояние. Их можно было обвинить в бессердечности, но не в безумии. Прошло сто лет, и внуки героев Бальзака выглядели буйными умалишенными.

Я рад, что я это понял и продумал на пороге тридцатых годов. Человечество приближалось к эпохе больших испытаний. Вспоминая свое прошлое, я думаю о Германии Гитлера, о годах, проведенных в Испании, о войне. Одним из самых горьких испытаний для меня был конец 1937 года, когда я приехал прямо из-под Теруэля в Москву. Об этом я расскажу в следующей части моей книги, а теперь мне хочется сказать, что если я не мог предвидеть многого, о чем в 1956 году говорили и на съезде партии, и в любой московской квартире, то тупость, нар царство, изуверство вражеского мира я хорошо изучил до Гитлера, до Герники, до сожженных деревень и коров, застреленных на полях Белоруссии…

21

Когда я работал над книгами, посвященными борьбе между различными трестами, Эжен Мерль знакомил меня с представителями делового мира, снабжал конфиденциальными материалами. Он издал французский перевод моего романа «Единый фронт». «Давайте назовем вашу книгу «Хорошего аппетита, господа!», — вдохновенно предлагал он; я упирался; в итоге роман вышел под заглавием, придуманным Мерлем: «Акционерное общество «Европа».

Не следует думать, что Мерль был профессиональным издателем. Он иногда издавал книги; выпускал то большую ежедневную газету, то сатирический журнал, то финансовые бюллетени; писал статейки, делал дела.

В ранней молодости он был анархистом, водился с Бонно, который был налетчиком с убеждениями. Я помню, как года за три до мировой войны Париж взволновался: огромные силы полиции оцепили дом, из которого Бонно отстреливался. Анархистская газета «Либертер» тогда писала: «Вор, жулик, шантажист неизменно восстают против установленного распорядка, они правильно понимают свою роль в обществе…» Многие друзья молодого Мерля погибли. Он случайно выжил, остепенился и стал неотъемлемой частью политического, финансового, литературного Парижа, хотя не был ни депутатом, ни банкиром, ни писателем.

Твердых политических убеждений у Мерля не было, но до конца жизни он сохранял привязанность к анархистам и ненависть к правым. Не было у него и тех принципов морали, которые внушают французским школьникам с ранних лет. С сильными мира сего Мерль был беззастенчив, но к людям, обойденным судьбой, будь то неудачливый поэт или курьерша редакции, относился с любовью. Он чем-то напоминал старых разбойников, которые грабили на большой дороге и делились добычей с окрестными бедняками. Меня он привлекал не только живучестью, весельем, необычайной фантазией, но и добрым сердцем.

Родом он был из Марселя, где его отец, по имени Ангел, торговал апельсинами. Кажется, фамилия отца была Мерло. По-французски «мерль» — дрозд, и французы вместо «белой вороны» говорят о «белом Дрозде». Одно время Мерль издавал сатирический журнал «Белый Дрозд». Он сам походил на птицу, притом воистину редкую: в эпоху между двумя войнами, когда люди старались покрепче устроиться на земле, когда даже

жулики ссылались на философию, на религию, на высокие политические идеи, Мерль порхал, иногда подбирал зернышки, на месяц или на год богател, потом снова рыскал по Парижу в поисках человека, который угостил бы его обедом; он и брал и давал деньги с легкостью, как будто расточал улыбки или срывал цветы.

Еще до того как я с ним познакомился, Париж был потрясен короткой эпопеей «Пари-матиналь» — Мерль решил издавать легкомысленную газету нового типа. Он набрал лучших журналистов. В стеклянной клетке перед толпой зевак молодой человек, Жорж Сим, писал детективный роман; написанную страницу тотчас уносили в типографию. (Жорж Сим стал потом известным писателем Жоржем Сименоном.)

С Жоржем Сименоном меня познакомил Мерль. Сименон тогда был начинающим автором детективных романов, много лет спустя он достиг совершенства, которое позволило ему приподнять презираемый жанр до уровня высокой литературы. Я не читал его романов, но мне нравился большой веселый человек, прекрасный рассказчик, неизменный курильщик трубки. Он жил на яхте, и помню, как однажды я приехал к нему на Марну. Он смешил меня причудливыми историями, но наиболее забавным мне показался его пес ньюфаундлендер, огромный добряк, который пугал приезжавших к реке в жаркий день выкупаться: верный своему долгу и навыкам породы, пес несся к плававшим людям и вытаскивал их на берег. По вечерам Сименон порой заглядывал в бар «Куполь», где царил бармен Боб. Туда приходило много разных писателей — и Рене Кревель, и Вайян, и Деснос. Я там просиживал почти каждый вечер.

Недавно я разыскал часть книг, которые оставил в Париже, оккупированном немцами, у приятеля. Среди них был один из ранних романов Сименон а «Череп» с дарствен ной надписью автора: «Дружески Илье Эренбургу, чья сознательность и принципиальность помогли мне создать образ-карикатуру Радека». Я прочитал этот роман. Имя Радека Сименон взял случайно — оно приползло с газетной полосы и никакого отношения к Карлу Радеку не имело. Карикатуру он нарисовал с меня, и, говоря нашим газетным жаргоном, шарж был дружеским. Радек сидел в баре «Куполь». Но чем он занимался? Он зверски убил двух богатых и очень старых дев, живших в предместье Парижа: мстил за нищее детство. Это принципиальный и сознательный убийца, только редкая прозорливость сыщика помогла раскрыть подлинную роль Радека. Конечно, Сименон не подозревал меня в убийствах и прибавил слово «карикатура», но я ему казался сверх сознательным, ультрапринципиальным и

непримиримым. А было это в те годы, когда я бился, как щепка в море, когда советские критики назвали меня «буржуазным циником», а друзья советовали наконец-то «стать на платформу».

Мы сидели в маленьком прокуренном баре и гадали на кофейной гуще, стараясь разгадать не только будущее, но своих соседей да и самих себя. Трудное это занятие, и нелегкими были те годы…

Мерль грозил политикам сенсационными разоблачениями, подписчикам он сулил ценные премии; и вдруг, когда настает время выдавать премии, газета исчезает…

При одной из первых встреч Мерль сказал мне: «Мой друг, вы чересчур скромны, во Франции мало одного таланта…» Он решил меня разрекламировать, устроил обед в отдельном кабинете роскошного ресторана и пригласил писательницу Жермену Бомон — она заведовала литературным отделом бульварной газеты «Матэн». Кроме нее, Мерль позвал Деснос а, которому покровительствовал.

Деснос поел, а главное, выпил и начал обличать «Матэн», каждый раз поворачиваясь к Бомон: «Я, конечно, имею в виду не вас…» Как подобало раннему сюрреалисту, Деснос любил слова скорее нецензурные и, характеризуя «Матэн», перечислил все части человеческого тела. Жермен Бомон не выдержала и ушла. Мерль был огорчен — ему не удалось сосватать меня с мировой славой. Он объяснял мне: «Может быть, госпожа Бомон в душе и согласна с Десносом, но она не могла допустить, чтобы поносили ее хозяев, да еще в присутствии советского писателя…»

У Мерля была неподалеку от Парижа прекрасная усадьба. Устраивая приемы, он любил пускать пыль в глаза, но сам сохранял демократические привычки своей молодости. Утром он завтракал на кухне — ел помидоры, которые густо солил, — и поездом отправлялся в Париж. По большей части утром у него денег не было, но в поезде рождались грандиозные планы.

Он любил обедать в ресторанах с провансальской кухней, обожал айоли — майонез с чесноком, часто ходил к Нине: у нее был маленький, на вид очень скромный, но очень дорогой ресторан. Нина была и хозяйкой и кухаркой, пускала к себе только ограниченный круг знатоков. Кого только я не встречал за столом Мерля — анархистов и промышленников, Лаваля и Даладье, поэта Сен-Поль Ру, Тристана Бернара, «принца гастрономов» Курнонского, Блеза Сандрара, депутатов, биржевых маклеров, модных адвокатов, киноактеров!

Когда Лаваль отправился в Москву, Мерль мне сказал: «Это самый талантливый мошенник Франции. Я хочу, чтобы он договорился с русскими, потому что ему ничего не стоит

договориться с Гитлером». Даладье тогда называли «быком из Воклюзы» — в своих речах он был смел и напорист. Мерль сокрушенно говорил: «Французы перестали разбираться даже в тех вещах, которые считались их специальностью. Ну как можно назвать Даладье быком? Ведь это типичный вол! Можете спросить любую телку…»

В 1933 году раскрылась очередная панама: «Стависский, которого в 1917 году судили за мелкую кражу и который пятнадцать лет спустя присутствовал как эксперт на дипломатических конференциях, украл шестьсот пятьдесят миллионов франков. Тардье уверял, что мошеннику покровительствовали радикалы. Мерль посмеивался: «Если они осмелятся меня тронуть, я покажу талоны чековой книжки Стависского — он делал подарки и друзьям Тардье…»

У Мерля было, разумеется, много врагов, которые хотели его погубить. Он назвал свиней, которых держал в усадьбе, именами своих врагов. Особенно его преследовал редактор фашистской газеты «Гренгуар» Карбучия, и огромный толстый боров был окрещен его именем. Однажды Мерль прислал мне окорок с письмом: «Примите в подарок ногу моего незабвенного Карбучии…»

Как-то я был у него 14 июля. Пришли крестьяне, чтобы его поздравить с национальным праздником. Он вытащил десять ящиков с шампанским и, подняв бокал, торжественно провозгласил: «Да здравствует Франция!» Крестьяне хором ответили: «Да здравствует господин Мерль!»

Он любил пафос: «Когда я умру, не нужно ни пышных похорон, ни речей, пусть только подымут траурный флаг над башней моего замка».

Когда в усадьбу приезжали гости, Мерль надевал фартук и готовил обед, причем фантазировал он и на кухне: народное блюдо луковый суп — обильно приправлял сухим портвейном. Был он чрезвычайно суеверным. Французы говорят, что нужно схватиться за дерево, чтобы не сглазить. Мерль жаловался: «Прежде я был спокоен — во всех кафе были деревянные столики. Теперь столы мраморные, приходится носить в кармане огрызок карандаша». Он завел павлинов, это совпало с дурной для него полосой. Он приписывал все напасти птицам — они ночью подходили к дому и роняли перья, на которых был дурной глаз. Убить или отдать павлинов он не решался: «Нельзя перечить судьбе». Однажды крестьяне пришли удрученные: деревенские собаки загрызли павлинов. Мерль воскрес и сразу отправился в Париж с новыми гениальными планами.

Я неправильно сказал, что у Мерля не было моральных

принципов, — вернее сказать, его принципы не совпадали с общепринятыми. Он, например, не признавал договоров, не платил своим авторам гонораров; но Деснос мне рассказывал — стоило ему намекнуть, что у него трудное положение, как Мерль давал больше, чем полагалось по договору. До конца жизни он помогал детям своих товарищей по анархистской группе.

Когда Батя подал на меня в суд. Мерль спросил Любу, какой у нее номер обуви. «Завтра вы получите двенадцать нар туфель от синдиката французских фабрикантов». Люба на него накричала, рассказала мне, я рассердился и строго-настрого запретил Мерлю разговаривать обо мне с французскими конкурентами Бати. Мерль посмотрел на меня с жалостью и с восхищением: «Бог ты мой, до чего вы наивны!.. Но я вас за это уважаю…»

Побывав в Москве, Панаит Истрати стал поносить Советский Союз. Мерль возмутился: «Когда я начинал работать в газете, там был славный малый, репортер Гюстав. У него была подруга, красивая, очень высокая и очень темпераментная. Она ему устраивала сцены ревности, он часто приходил в редакцию с синяками. Однажды он пришел с лицом совершенно окровавленным, жалко было на него смотреть. Мы решили поговорить с дамой: «Почему вы обижаете нашего Гюстава?» Она даже руками всплеснула: «Вы хотите знать почему? Хорошо, я вам расскажу. Это я заплатила за его вставную челюсть, и моими зубами он улыбается другим женщинам». Вы спросите, почему я вспомнил эту историю? Здесь нет никаких аллегорий. Истрати рассказал мне, что ему в Москве вставили чудесные зубы, и вот советскими зубами он улыбается Пуанкаре и Братиану…»

Мерль познакомил меня с госпожой Анно. Ее арестовали, потом выпустили, это было громкое дело. Мерль ее уважал и часто повторял: «Честнейшая женщина!..» Она мне рассказала много интересного о проделках финансовой знати. Что касается Мерля, то он неизменно говорил: «В девяноста девяти случаях из ста мошенник или вор куда порядочнее прокурора и судей».

В Испании началась гражданская война; я уехал в Мадрид. Осенью я вернулся в Париж за грузовиком с кинопередвижкой; встретив Мерля, я рассказал, что еду на Арагонский фронт и хотел купить печатную машину, но не хватило денег. Мерль меня обнял: «Я теперь только и думаю, что об Испании. Там ведь много анархистов…» На следующий день он привез машину и шрифт. В то время у него было туго с деньгами, не знаю, где он достал машину, но работала она превосходно.

При последней встрече он выглядел усталым, поблекшим; у него всегда был хриплый голос, а тут он с трудом говорил, хотя любил поговорить. Он умер от рака горла.

Почему я о нем написал? Уж не так часто мы встречались, да и вся эта история не имеет морали, просто портрет одного непохожего на других человека. Мерль в душе был поэтом. Даже хорошие поэты пишут иногда неудачные стихи; Мерль иногда давал чеки без покрытия. Но он оживлял Париж тех лет. Да и нельзя писать только о героях или об исторических событиях — в жизни нужны и белые вороны…

22

В 1927–1928 годах французы зачитывались книгами Панаита Истрати. Его произведения переводили на различные языки; особенно ими увлекались в Советском Союзе — за два-три года вышло не менее двадцати изданий книг Истрати. Ромен Роллан, восхищаясь молодым автором, называл его «балканским Горьким».

Теперь мало кто помнит книги Истрати. В моей жизни он был случайной встречей. Я слушал с охотой его цветистые истории; он мне, скорее, нравился — добрый, бесшабашный и вместе с тем лукавый, не то скрипач из ночного кабака, не то анархист, перебирающий вместо четок игрушечные бомбы. А когда он исчез из виду, я о нем не вспоминал. Все же мне хочется задуматься над его судьбой: эпоху понимаешь не только по инженерам, прокладывающим автострады, но и по контрабандистам, петляющим в ночи.

Возле Больших Бульваров на улице Шатодэн пометался восточный ресторан, содержал его тучный и сладкий сириец. Туда приходили греки и турки, румыны и египтяне, ливанцы и персы. Там подавали различные кебабы, голубцы из виноградных листьев, медовые пирожки, истекавшие салом, душистый котнар, анисовую водку с водой — арабы этот напиток зовут «львиное молоко», греческое вино с запахом смолы. Меня туда привел Панаит Истрати; он восхищался яствами, которые соблазняли его в детстве; сладости, пряности, запах баранины его пьянили, он начинал рассказывать фантастические истории.

По своей природе Истрати был не писателем, а рассказчиком; рассказывал он очень хорошо, увлекался, сам не знал, было ли на самом деле то, что он выдает за сущую правду. Так часто бывает с одаренными рассказчиками; их слушают затаив дыхание, нет даже времени задуматься над смешными или печальными историями; только потом слушатели, в зависимости от того, как они относятся к рассказчику, говорят: «Ну и врет» или «Какое богатое воображение!»

Почему Истрати стал писателем? У него было множество различных профессий: он подавал в румынском трактире вино и грузил ящики на пароходы, красил дома и пек хлеб, писал вывески и работал слесарем, копал землю и был бродячим фотографом — в Ницце на набережной снимал туристов; много лет он странствовал, побывал в Египте, в Турции, в Греции, в Ливане, в Сирии, в Италии, во Франции; говорил на многих языках, и ни на одном из них не умел говорить правильно. Своей

родиной он считал Румынию; его мать была румынской крестьянкой, отец — греком и контрабандистом. Вся его жизнь была настолько нелепой, что, кажется, ни один писатель не решился бы ее описать. Да и сам Истрати не мечтал о карьере писателя. Он любил читать, причем читал все вперемежку — Эминеску и Гюго, Горького и Ромена Роллана.

Наконец все ему опротивело — голод, фантазия, книги, пальмы Ниццы, полицейские. Он попытался перерезать себе горло бритвой. Его отвезли в госпиталь; он выжил. Из госпиталя он написал Ромену Роллану: хотел рассказать пожилому умному человеку про свое отчаяние; будучи одаренным рассказчиком и в душе ребенком, он отвлекся, начал припоминать забавные истории. Прочитав длинное письмо, Ромен Роллан восхитился талантом молодого румына, и Панаит Истрати узнал новую профессию: стал писателем.

Быстро пришли слава, деньги. Я с ним познакомился, когда он был в зените успеха. Он как бы хотел наверстать упущенное — и перечитывая восторженные рецензии, и выбирая в буфете сирийского ресторана диковинные закуски; были в нем наивность, детская хитрость, обаяние цыгана из пушкинской поэмы, восточного выдумщика, левантийского хвастуна и обыкновенного мечтателя, среди голода и побоев сохранившего тоску по любви, по звездам, по правде. Как-то он сказал мне: «Я ведь не писатель… Просто жизнь была пестрой, а скоро я выдохнусь…» Сказал он это без горечи, как бродяга, случайно оказавшийся в хорошей гостинице, который знает, что его ждут сума и пыльная дорога.

Первые книги Истрати, принесшие ему известность, романтичны, сказочны. Французы изумились, увидав Шехерезаду в пиджаке и брюках. Истрати рассказывал о своем детстве, о скитаниях, о турецких гаремах, о румынских гайдуках. Больше всего его увлекали гайдуки: они защищали обиженных, не было у них партийной дисциплины, и вдоволь шумный, но слабовольный Истрати, который всю свою жизнь был анархистом, видел в них своих учителей, старших братьев. Он как-то рассказал мне, что одно время увлекался политикой, организовывал забастовки; вероятно, это было правдой; но еще раз напомню — чем только в жизни он не занимался!

Живи он в XIX веке, все кончилось бы хорошо; он написал бы еще десять или двенадцать книг; стал бы французским академиком или вернулся бы на родину, где над его романами проливала бы слезы сентиментальная писательница Кармен Сильва, она же королева Румынии… Но на дворе стоял иной век.

В 1925 году Истрати поехал в Румынию, он увидел, как

жандармы избивали крестьян, как расстреливали участников бессарабского восстания. Он вернулся во Францию возмущенный, выступил в «Лиге прав человека», написал несколько гневных статей. Он спрашивал себя: что делать? Гайдуков давно не было. Были коммунисты, и Панаит Истрати начал мечтать о Советском Союзе.

Рассуждать он не любил, да и не умел; он мыслил сказочными образами; для него мир делился надвое — нечестивцы и праведники, трущобы нищего Неаполя или молочные реки в кисельных берегах. Порой мне трудно было с ним разговаривать: он не мог себе представить, что в Советской России можно встретить глупых или бессердечных людей. Шехерезада по ночам рассказывала сказки, а Истрати начал обличать современных калифов.

Он поехал в Москву, шумно восхищался решительно всем, заявил, что намерен перебраться в Советский Союз. Вернувшись в Париж, он опубликовал книгу, полную резких и по большей части несправедливых нападок на страну, которую только что прославлял. Поворот был настолько крутым, что все обомлели. Одни заговорили о «коварстве» и «подкупе», другие — о «чудодейственном прозрении».

Книга, посвященная поездке в Советский Союз, никак не напоминала книги Истрати, говорили, будто ее написал кто-то другой. Не знаю, правда ли это. Может быть, сказалось вечное легкомыслие Истрати. Пилигрим рассердился: реальность не походила на созданную им восточную сказку. Его тотчас окружили журналисты, политиканы, фракционеры; он не успел опомниться, как стал игральной картой на зеленом сукне.

Он мне как-то рассказал, что в ранней молодости ездил «зайцем» в поездах, на пароходах, это была увлекательная игра — добраться из Пирея в Марсель без единой драхмы. Может быть, он захотел «зайцем» пересечь век? Его высадили на чужом, незнакомом вокзале. Не было больше ни старых друзей, ни сказок. Он оправдывался, обвинял, писал истерические статьи. Вскоре он уехал в Румынию. О последних годах его я мало что знаю. Обострился туберкулез, некоторое время Истрати жил в горном монастыре, называл себя анархистом, пробовал пристать к националистам, писал о боге и обрадовался, когда о нем вспомнил Мориак. Умер он в Бухаресте в 1935 году. О нем были коротенькие некрологи во французских газетах: его успели уже забыть…

Много лет спустя на свадьбе в глухой румынской деревне я встретил героев Истрати, задорных и нежных; они пели мятежные, печальные песни. Я вспомнил мечтателя, забияку и

забулдыгу, который рассказывал истории в полутемном ресторане на улице Шатодэн; и еще раз подумал о страшной ответственности писателя. Нет легких ремесел, но, пожалуй, самое трудное водить перышком по бумаге: платят за это иногда хорошо, но расплачиваться приходится жизнью…

23

В годы, о которых я рассказываю, я колесил по Европе, изъездил Францию, Германию, Англию, Чехословакию, Польшу, Швецию, Норвегию, Данию, побывал в Австрии, Швейцарии, Бельгии. С 1932 года я стал корреспондентом «Известий», и многие поездки были связаны, хотя бы частично, с газетной работой. А в 1928–1929 годы я еще не был профессиональным журналистом (иногда мои путевые очерки печатала «Вечерняя Москва»). Не был я и классическим туристом. Оказавшись в Норвегии, вместо того чтобы любоваться живописностью фьордов, я поехал на далекий островок Рест, где даже подушки пропахли треской, а потом в маленький порт Мосс, где нет никаких достопримечательностей, и там ночью беседовал о судьбе нашего века с представителем пароходной компании; в Англии я поехал в прокопченный, мрачный Манчестер и спускался в допотопные шахты Сванси; в Швеции забрался в новый заполярный город Кируну, где добывают руду.

Денег у меня было в обрез. В Польшу меня вывез импресарио, я читал доклады о литературе; в Англию пригласили Пен-клуб и издатель; в Вену я поехал на встречу какого-то культурного объединения. Повсюду я разыскивал дешевые гостиницы и полагался больше на свои ноги, чем на такси.

Пушкин писал об Онегине:
И начал странствия без цели,
Доступный чувству одному;
И путешествия ему,
Как все на свете, надоели…

«Цели» и у меня не было, но путешествия мне не надоедали. Конечно, от себя уехать нельзя, и, где бы я ни был, меня не покидали мои мысли, вероятно, именно поэтому я любил (и до сих пор люблю) путешествовать: иногда за тридевять земель, приглядываясь к чужой жизни, находишь ту разгадку, которую напрасно искал у себя за рабочим столом… Мне было тогда под сорок, — следовательно, я вышел из возраста, который обычно связывают с понятием становления; но по-прежнему я чувствовал себя школьником.

Каждый человек постепенно обрастает людьми, с которыми он связан общими интересами, ремеслом. Нельзя уйти от самого себя, но можно на некоторое время вырваться из круга привычных

знакомств. Конечно, и в других странах я часто оказывался в среде писателей; познакомился с Майеровой, с Новомеским, с Антони Слонимским, с Броневским, с Андерсеном-Нексе, с Нурдалем Григом, с Иозефом Ротом.

На одном из датских островов я случайно встретил Карин Михаэлис. Она возила меня к крестьянам, показывала превосходные фермы, ее всюду знали, уважали. В ранней молодости мы читали в России ее роман «Опасный возраст». Я думал, что ее волнуют тайны женского сердца, а она говорила о другом: о неминуемой катастрофе; рассказывала, как фермеры не хотели помочь голодающим немецким детям, как теперь отворачиваются, когда она заговаривает о фашизме, об угрозе войны, как ужасны сытость, сон, равнодушие. (Восемь лет спустя в Мадриде на конгрессе писателей, среди разрывов снарядов, кто-то прочитал приветствие больной Карин Михаэлис, и я вспомнил беседу на тихой зеленой ферме.)

Однако, говоря о вылазках из привычной среды, я думаю о других встречах — со старым пастухом «бачей» в Тиссовце, с лодзинскими ткачами, со смотрителем маяка на Лофотенских островах, с внуком цадика из Гуры Кальварии, с берлинскими рабочими.

Упомяну сейчас об одной из пестрых встреч. В Кируне я познакомился с горняком-коммунистом, у которого была русская жена, Нюша. Она меня угощала кофе, показывала восторженно холодильник, электрическую плиту, стиральную машину. Со мною горняк говорил по-немецки, а с женой почти не разговаривал — знал сотню русских слов; Нюша еще не успела овладеть шведским языком. Он мне рассказал, что был в Советском Союзе с делегацией, на Кавказе заболел воспалением легких и в больнице влюбился в сиделку. Он верил, что Нюша — «душа русской революции», и огорчался, что не может спросить у нее совета, как поступить в том или ином случае. А Нюша радовалась, что попала в спокойную, богатую страну, и недоуменно говорила про товарищей мужа: «Это они с жиру бесятся…» Я не хотел ее строго судить: она узнала много горя, голодала, брата расстреляли белые, мать умерла от сыпняка. Муж ее мне очень нравился, был благородным и смелым. Нюша горевала, что не научилась говорить по-шведски. На столе лежал толстый словарь, но молодожены редко в него заглядывали. Оба проклинали свою немоту, не догадываясь, что ей обязаны счастьем…

Это, конечно, только печальная и смешная история, из которой не нужно делать выводы; да я их и не делал. Я старательно записывал свои впечатления.

Некоторые поездки я описал и назвал книгу очерков «Виза времени». Легко себе представить, что для обладателя советского паспорта, вздумавшего в те времена путешествовать, виза была магическим понятием. Однако, выбрав такое заглавие для книги, я думал не о придирчивых консулах, а о еще более придирчивом веке: хотел проверить, какие из наших прежних представлений могут быть завизированы временем. Поездки помогли мне освободиться от множества условностей, старых и новых, увидеть жизнь такой, как она есть. Разговаривая с датскими фермерами, я старался понять путь советского писателя.

Представитель Советского Союза в Лиге наций М. М. Литвинов поразил всех лаконичной формулой: «Мир неделим». Блуждая по чужим странам, я понял, что неделим и другой мир тот, что по старой орфографии писали через «и» с точкой.

Я понял также, что народы своеобразны, неповторимы, как люди. Автор предисловия к одному из изданий «Визы времени» Ф. Раскольников предостерегал читателей: «Эренбург придерживается устарелой теории национальных характеров. Он полагает, что каждый народ имеет свою «душу», зависящую от свойств его национального характера. В этом отношении Эренбург имеет такого блистательного предшественника, как Стендаль, который в своем «Пармском монастыре» тоже безуспешно пытался разрешить проблему итальянского национального характера. Это ошибочное представление о национальной «душе» логически вытекает из общей идеалистической системы взглядов Эренбурга. Подобно Стендалю он не материалист, а идеалист. Он предпочитает не изучать, а постигать интуицией…»

(Это было написано в 1933 году. Десять лет спустя А. Н. Толстой напечатал рассказ «Русский характер», в театрах шла пьеса Симонова «Русские люди», различные поэты воспевали «русские обычаи», «русскую любовь» и, разумеется, «русскую душу». Никто их не корил, им дружно аплодировали. Поскольку у русских оказалась «душа» — то есть некоторые черты национального характера, — очевидно, она имеется и у других народов. Много раз я читал про то, как я или как другие писатели «преодолевают былые заблуждения». А те, кто нас упрекал? О них не пишут. Между тем они тоже от многого отказывались и многое начинали понимать.)

Я никогда не думал, что «душа» народа связана с кровью, — я многим болел, но только не расизмом. Душа народа, то есть его характер, складывается веками, и на черты национального характера влияют география, особенности социального развития, повороты истории. Другие материки я увидел позднее — после

второй мировой войны, но и в годы, о которых пишу, мог многое сравнить. Конечно, я видел, что шведский рабочий рассуждает иначе, чем Крейгер или банкир Валленберг, но это не помешало мне отметить, что характер шведского рабочего отличается от характера итальянского рабочего. Здесь не было никакого «идеализма», и это не противоречило ни существованию классовой борьбы, ни принципам интернационализма.

Можно ли, побывав в Англии, не заметить, что англичане любят известное отъединение, что они предпочитают неудобные холодные домики с узенькими лестницами квартире в современном многоэтажном доме, что, в отличие от французов, они не живут на улице и не ныряют с удовольствием в толпу? Любой турист, даже лишенный наблюдательности, видит, что в Париже много магазинов, торгующих красками, принадлежностями для художников, много маленьких выставок живописи, а в Вене сотни магазинов, где продают поты, и на стенах афиши концертов. Буржуа в разных странах проводят досуги по-разному. Англичанин обязательно является членом какого-либо клуба, причем и выборе клуба редко сказываются политические симпатии; в каждом клубе имеется библиотека с удобными креслами, и там джентльмены снят, одни тихо, другие похрапывая. Испанцы тоже любят клубы, но сидят они не в полутемных залах, а в витринах или па улице и смотрят па прохожих; когда проходит более или менее молодая женщина, причмокивают. Немецкий буржуа обожает научные новшества и экзотику; в одном ресторане Берлина я увидел в меню цифры — сколько калорий в каждом блюде (витамины пришли позднее), в другом посетители лежали в гамаках, а над ними порхали тропические птицы. Это явно не понравилось бы французу, который не хочет платить за бутафорию, а любит хорошо покушать в маленьком невзрачном бистро. В английском парламенте люди спорят вежливо, а во французском я не раз присутствовал при драках. Я мог бы исписать сотни страниц, перечисляя особенности характера и быта, но я теперь не собираюсь обрисовывать различные страны, а только хочу отметить, какое впечатление оказали путешествия на мой дальнейший путь.

Я увидел, что люди живут по-разному, по различие форм жизни не заслонило от меня того общего, человеческого, что позволяет верить в единство мира. Конечно, шведы показались мне чопорными (теперь они освободились от многих условностей), нельзя было просто выпить рюмку водки — существовал сложный этикет. Выглядели шведы холодными, замкнутыми. Но вот я познакомился с Акселем Клауссоном,

бывшим военным атташе в Петербурге. Он знал русский язык и, выйдя в отставку, занялся переводами, перевел и мои две книги. Он был настоящим старым шведом, любил ужинать при свечах, подносил рюмочку к сердцу, никогда не забывал припомнить, как мы хорошо провели вместе вечер, даже если этот вечер был в позапрошлом году. Мы подружились, и он оказался человеком с горячим сердцем, вернейшим другом, умел поговорить и, что еще труднее, помолчать.

Словакия сначала мне показалась страной далекого прошлого: крестьянки ходили в красивых пестрых костюмах эпохи барокко, крестьяне некоторых округов носили фартуки, кресты на кладбищах были расписаны, как веселые игрушки. Потом я увидел, что словацких писателей волнуют те же вопросы, что и меня; я нашел там много добрых друзей — Клементиса, поэта Новомеского и других.

Англичане выглядели существами с другой планеты, на все отвечали «у вас континентальный вкус» или «это не у нас, а на континенте». Вскоре я увидел, что интеллигенты печальны, увлекаются Чеховым; когда играют «Трех сестер», в зале плачут. Я понял, что могу говорить со многими англичанами по душам.

Я сказал, что повсюду меня сопровождали мои раздумья и сомнения: они родились давно, еще в годы первой мировой войны, когда я начал самостоятельно думать. Увидев огромное военное хозяйство, мгновенное отречение людей от мысли, механизацию любви, убийства, смерти, я понял, что в опасности само понятие человека. В конце двадцатых годов еще не было ни аплодисментов по команде, ни машин, способных сочинять стихи, ни статистики Освенцима, ни водородных бомб. А я непрестанно, мучительно думал не о характерных чертах того или иного народа, а о характере времени.

Мне не хочется загромождать эту книгу цитатами из самого себя, ссылаться на старые очерки или заметки; но если я начну рассказывать о своих впечатлениях от Западной Европы в 1928–1929 годах, я невольно изменю или пополню их опытом последующих десятилетий. Вот что я тогда писал о Германии:

> «Один придумывает, как бы поэкономнее рассадить пассажиров в самолете, другой изготовляет зажигалку, чтобы огонь вспыхивал при небрежном движении… Я был у Максимилиана Гардена… Видимо, он не создан для изготовления усовершенствованных зажигалок. Мы говорили о русской революции, о берлинских улицах. Он сказал мне: «Я боюсь этой равномерности жизни, отсутствия непредвиденного…» В уличных уборных

Берлина надпись: «Не позднее, чем через два часа после сношения с женщиной, поспеши на ближайший санитарный пункт…» Берлин — апостол американизма, и зажигалки здесь предметы особого культа. Меня пригласил к себе автор романа «Александерплац» Альфред Деблин. Его угнетает механическая цивилизация, он говорил, что был в Польше, разговаривал с крестьянами и нашел в глухих деревнях больше человечности, чем в Германии.

Я был в Дессау, где теперь помешается Баухаус — школа современного искусства. Стеклянный дом; найден стиль эпохи: культ сухого разума. Жилые дома вокруг, построенные в том же стиле, страшны; они до того похожи один на другой, что дети ошибаются. Говорят, что новый стиль подходит для заводов, вокзалов, гаражей, крематориев, а стиль для жилых домов еще не найден. Вряд ли его найдут: люди теперь живут на работе, а не у себя. В доме архитектора Гроппиуса множество кнопок, рычагов, белье носится по трубам, как пневматическая почта, тарелки из кухни проползают в столовую; все продумано, вплоть до ведра. Все безукоризненно и невыразимо скучно. Думали ли мы, защищая кубизм, а потом конструктивизм, что одно десятилетие отделит философские кубы от вполне утилитарного ведра? В доме художника Кандинского ряд уступок искусству — новгородские иконы, пейзажи таможенника Руссо, томик Лермонтова. Один из учеников мне сказал: «Кандинский путаник и полуконсерватор…»

На вокзале Штутгарта или в типографиях Лейпцига понимаешь, насколько здесь пришлась ко двору Америка. В Кельне на выставке я увидел архисовременную церковь с комфортом и кубическими витражами, Христос напоминает часть сложной машины».

Вот об Англии:

«Презрение к Америке и американизация быта: американские фильмы, американская архитектура, американские магазины.

Хемстед. Длинные улицы. Коттеджи. Все дома как один. Англичане любят индивидуализм, однако эта идиллическая казарма их не смущает.

В Лондоне непрестанно думаешь, откуда взялся этот

огромный город — на острове, в стороне от жизни, среди сырости и хандры? Как властвовал и угнетал? Как поколебался, дрогнул, заполнил шкафы мирными трактатами и занимательными романами? Как он живет со старинными париками, с великодержавностью дипломатических нот, еще путает карты, блефует, но боится рассвета? Как познакомился с американскими колонизаторами, с континентальной смутой, с безработицей, с самоубийствами? Англичане — завоеватели, мореплаватели, превосходные спортсмены. Это не мешает им быть на редкость застенчивыми. Отсюда консерватизм, привязанность к шутовским церемониям.

Они стоят, сконфуженные, перед молодой и наглой Америкой.

Есть здесь нечто переходящее меру. Пикадилли и Поплар. Роскошь, выставленная напоказ, и неописуемая нищета района Доков. Шахты в Южном Уэлсе примитивно оборудованы; часто приключаются обвалы; я видел в шахтах детей, мне объяснили, что недавно запрещена работа до четырнадцати лет, этим уже пошел пятнадцатый. До сих пор в школах применяются телесные наказания. Ад Давида Копперфильда. А Диккенса нет…»

Вот Скандинавия:

«Швеция пытается отстоять свой быт, свои привычки. Вся Европа старательно перенимает механические судороги нью-йоркского бизнесмена, шведы упираются. Вероятно, ненадолго — в Швеции всего семь миллионов людей, остальное — лес. Деревья вырубят, а людей перевоспитают.

68 гр. с. ш. Три месяца в году ночь. Две горы, между ними город Кируна. Его еще строят, не успели даже окрестить улицы, адрес — это номер дома. Горняки живут хорошо. Среди них много коммунистов, в редакции газеты портрет Ленина. У шахтеров автомобили. А кругом тундра. Роскошная церковь: золотые статуи (стиль модерн) изображают различные добродетели. В газете: акции «Луосаваара-Кируноваара» в повышении. Один из крупных держателей акций Ивар Крейгер.

Рест — крохотный остров (Лофотенские острова). В Норвегии король, он торгует маслом. В Ресте — мэр,

рыбак и социалист. Однако подлинные властители острова — скупщики трески, им принадлежат дома, фабрики консервов. Из отбросов варят клей. У скупщиков рыбы магазины, они же местные банкиры, сдают рыбакам суда, страхуют; вся жизнь острова подвластна им.

Шоколадная фабрика «Фрейя». Работницам делают маникюр, в заводской столовой живопись Мунка. Невообразимый грохот. Владельцы «Фрейи» платят мало, отказались признать профсоюз.

Фугт говорил мне. что у Норвегии «особый путь». Я ему ответил, что на необитаемом острове легко спасти свою душу, конечно до первого американского парохода.

Датские фермеры живут куда комфортабельнее парижских буржуа. На стенах старые крестьянские тарелки: они стали предметом украшения. Один фермер сказал мне, что зимой прочитал «Войну и мир»: «Интересная книжка». Помолчав минуту, спросил: «А сколько могли заплатить вот такому Толстому?…» Другой фермер заказал фрески — история его жизни. Сначала бедный домик его отца на севере Ютландии. Первый собственный дом и, разумеется, свиньи. Дом жены — приданое, свиней все больше и больше. Наконец, роскошная двухэтажная ферма, деревья, сонм свиней.

Художник Гансен, молодые поэты, скептический журналист Киркебю, который пишет в «Политикене». Много пьют, пытаются воскресить богему, жалуются: свиней не только больше, чем людей, свиньям лучше живется. Говорят, что Копенгаген быстро американизируется, дело не в причудах кучки снобов, а в состоянии умов: стихов никто не читает, живопись, даже самая крайняя, рассматривается, как мебель или как биржевые бумаги, все сведено к механике…»

Впрочем, хватит переписывать старые заметки. Теперь мне понятнее, что меня в те годы угнетало. Это было еще до мирового кризиса. Гитлер шумел в различных пивных, но почему-то люди верили в крепость Мюллера или Брюнинга, в магию плана Юнга, в то, что роман Ремарка «На Западе без перемен» показывает миролюбие рядовых немцев. Я видел, как отстраивали Реймс, Аррас. Про войну начали забывать. Тридцатилетние относились к рассказам о Сомме или о Вердене, как к надоевшей всем древней истории; помню, кто-то сказал: «Была еще Троянская война…»

Мир казался прочным. На самом деле он был иллюзорным. Города отстроили, но не жизнь…

До 1914 года сохранялись известные понятия, нормы, идеи. Анатоль Франс, с его скепсисом, с культом красоты, с чуть холодным гуманизмом, в 1909 году входил в пейзаж Парижа. В 1929 году Поль Валери казался анахронизмом. Старые представления о добре и зле, о красоте и уродстве были разрушены, а создать новые не удалось.

Влияние Америки обычно приписывают ее экономической мощи: богатый и энергичный дядюшка наставляет непутевых, обнищавших племянников. А тот американизм, который я отмечал повсюду, был связан не только с экономикой. После первой мировой войны изменилась психика людей. Их увлекали дешевые аттракционы с Бродвея, самые глупые из американских кинокартин, детективные романы. Усложнение техники шло в ногу с упрощением внутреннего мира человека. Все последующие события были подготовлены: мало-помалу исчезало сопротивление. Приближались темные годы, когда в разных странах попиралось человеческое достоинство, когда культ силы стал естественным, надвигалась эпоха национализма и расизма, пыток и диковинных процессов, упрошенных лозунгов и усовершенствованных концлагерей, портретов диктаторов и эпидемии доносов, роста первоклассного вооружения и накопления первобытной дикости. Послевоенные годы как-то незаметно обернулись в предвоенные.

24

Я томился в роскошном кабинете редактора «Франкфуртер цейтунг», который хотел напечатать в своей газете мои очерки о Германии. Редактор был круглым и благодушным. Рядом с ним сидел худой, нервный человек с добрыми, но насмешливыми глазами; неожиданно он сказал мне на дурном русском языке: «Скажите ему — запрещено резать, и запросите больше — у них много денег…» Так я познакомился с австрийским писателем Йозефом Ротом; это было в 1927 году. Несколько лет спустя он стал известен широкому кругу читателей.

Вот у кого была анкета, способная привести в восторг искателей космополитов! Отец его был австрийским чиновником, запойным пьяницей, мать — русской еврейкой. Родился он в Галиции в пограничном поселке; считался немецким писателем; говорил всем, что он австриец; когда немцы проголосовали за Гинденбурга, сказал: «Все ясно!» — взял шляпу, палку и уехал в Париж. Жил он всегда в гостиницах, иногда хороших, а по большей части замызганных и вонючих. Не было у него мебели, не было и вещей; старомодный кожаный чемодан был набит книгами, рукописями и ножами — никого он не собирался зарезать, но обожал ножи. «Франкфуртер цейтунг» его посылала в Москву; он пробыл некоторое время в нашей стране, выделялся среди других инкоров желанием понять чужую жизнь, искренностью, участием к нашим бедам, радостью, с которой описывал наши первые успехи. Потом газета посылала его как репортера в различные страны; он писал путевые очерки, мучась над каждой строкой — ему было противно плохо писать. Ходил он быстро, всегда с палкой, но не опирался на нее, а чертил ею что-то в воздухе.

Он никогда не писал стихов, но все его книги удивительно поэтичны — не той легкой поэтичностью, которая вкрапливается некоторыми прозаиками для украшения пустырей; нет, Рот был поэтичен в вязком, подробном, вполне реалистическом описании будней. Он все подмечал, никогда не уходил в себя, но его внутренний мир был настолько богат, что он мог многим поделиться со своими героями. Показывая грубые сцены пьянства, дебоша, унылую гарнизонную жизнь, он придавал людям человечность, не обвинял, да и не защищал их, может быть жалел. Не забуду я тонкой, чуть печальной усмешки, которую часто видел на его лице.

В 1932 году меня пленил его роман «Марш Радецкого». Тридцать лет спустя я его перечитал и подумал, что это один из

лучших романов, написанных между двумя войнами. Это книга о конце Австро-Венгрии, о закате и общества и людей.

Сумерки империи Габсбургов сформировали и вдохновили многих писателей, писавших на различных языках. Когда империя рухнула, Итало Свево было пятьдесят семь лет; Францу Кафке — тридцать пять, а Роту — всего двадцать четыре года. И все же, о чем бы Рот ни писал, он неизменно возвращался не только к быту, но и к душевному климату последних лет Австро-Венгрии.

Писатели, стремившиеся найти новые формы для отображения развала общества между двумя войнами, расшатывали структуру романа; таковы «Улисс» Джойса, «Процесс» Кафки, «Цено» Итало Свево, «Фальшивомонетчики» Андре Жида. Эти книги не похожи одна на другую, да и разного калибра, но все они чем-то напоминают живопись раннего кубизма, может быть желанием расчленить мир. Одновременно еще выходили прекрасные романы, написанные по старинке, романы о новой жизни, рассказанной так, как рассказывали писатели прошлого века: «Семья Тибо» дю Гара, последние романы о Форсайтах Голсуорси, «Американская трагедия» Драйзера. «Марш Радецкого» написан по-новому, но это роман, и притом крепко построенный. Если снова прибегнуть к сравнению с живописью, я припомню импрессионистов; в романе Рота много света и воздуха.

Меня поражала любовь Рота к людям. Ну что может быть пошлее и глупее любовной связи молоденького, никчемного офицера с легкомысленной женой жандармского вахмистра? А Рот сумел приподнять, осветить многое изнутри, и я вместе с его героем стою потрясенный у могилы вымышленной женщины, которой писатель сумел придать подлинность, телесность.

Рот одно только делал с сердцем: писал. «Франкфуртер цейтунг» отправила его в Париж как специального корреспондента. Он мог писать романы. Он любил Париж, и я увидал его радостным. Он пришел ко мне с молодой, очень красивой женой, я подумал: вот Рот и нашел счастье…

Вскоре газета прислала в Париж нового корреспондента, и Рот лишился работы. (Об этом новом корреспонденте следует сказать несколько слов. Его звали Зибургом, он считался левым и называл себя другом, почитателем Рота. Зибург написал книгу «Как бог во Франции» — это немецкая поговорка, относящаяся к хорошей жизни; французы говорят «как петух в тесте», а русские «как сыр в масле». В этой книге Зибург расхваливал Францию. Я еще был в оккупированном Париже, когда туда вместе с Абецем приехал Зибург — ему было поручено присматривать за

французскими журналистами.)

У Рота не было денег. А здесь случилась катастрофа: его жена душевно заболела. Он долго не хотел с ней разлучаться, но болезнь обострилась, и ее увезли в клинику.

Я тогда слышал от некоторых общих знакомых: «Бедняга Рот спятил… Сидит в кафе напротив гостиницы, пьет и молчит… Стал приверженцем Габсбургов… Словом, с ним плохо…»

Трудно всерьез говорить о политических воззрениях Рота. Были критики, увидевшие в «Марше Радецкого» апофеоз лоскутной империи. А какой же это апофеоз — это ее похороны. Рот показал тупых чиновников, духовно опустившихся офицеров, внешний блеск и нищету, расстрел забастовщиков в украинском поселке, контрабандистов, ростовщиков и надо всем этим выжившего из ума старика, окруженного ложью и боящегося слова правды, которого именуют «императорским величеством» и у которого течет из носу.

Однажды Рот и со мной заговорил о Габсбургах: «Но вы все-таки должны признать, что Габсбурги лучше, чем Гитлер…» Глаза Рота грустно усмехались. Все это было не политической программой, а воспоминаниями о далекой молодости.

Он хорошо описывал печаль, старость, наивность подростков, вековые деревья, любовь к земле украинских крестьян, душевное спокойствие, бородатых евреев, смерть и жаворонков, лягушек, лучи солнца в летний день, пробивающиеся сквозь зеленые жалюзи.

Настали ужасные годы. Гитлеровцы жгли книги. Эмигранты в Париже ссорились друг с другом. Рот жил в старой гостинице Файо на улице Турнон. Гостиницу решили снести; все из нее уехали, только и верхнем этаже в маленькой комнате еще ютился Рот. Потом он перекочевал в скверную гостиницу на той же улице.

В 1937 году я приехал из Испании на несколько дней в Париж; шел по улице Турнон и увидел в кафе Рота. Он меня окликнул. Он плохо выглядел, чувствовалось, что он живет через силу, но, как всегда, был очень вежлив, галстук аккуратно завязан бабочкой. Перед ним стояла гора блюдечек; он говорил связно, только руки дрожали. Спросил меня, как в Мадриде, внимательно слушал, потом сказал: «Я теперь всем завидую. Вы ведь знаете, что вам нужно делать. А я больше ничего не знаю. Слишком много крови, трусости, предательства…» Он заказал еще рюмку. Я торопился, но он меня не отпускал. «Ваши друзья меня ругают. Я написал роман об инспекторе мер и весов. Может быть, это и плохой роман, я теперь часто думаю — до чего мы все неталантливы! Но я хочу вам сказать о другом… Мой инспектор

жил плохо, растерялся, как я. В итоге он умирает. Перед смертью он бредит, ему кажется, что он не инспектор, а лавочник, к нему приходит самый главный, грозный инспектор, а у него весы неправильные — обвешивал, обмеривал, надувал. Сейчас его уведут в тюрьму… Он говорит инспектору: «Конечно, у меня гири легче, чем полагается. Но у всех так — без этого в нашем городе не проживешь». Вы знаете, что ему ответил главный инспектор? Он сказал, что правильных весов нет. Ваши друзья говорят, что я хочу оправдать Шушинга. А я думал о людях, таких, как я. Вы скажете: «Зачем вы печатаете ваши романы?…» Я должен жить, хотя это и ни к чему…» Он заказал еще рюмку. Потом мы расстались. Больше я его не видел.

Кончил жизнь самоубийством Эрнст Толлер. По улицам Праги шагали немецкие дивизии. Йозефа Рота тяжело больного увезли из его кафе в больницу. Ему было сорок пять лет, но он не мог больше жить.

Друзьям передали рукописи и старую палку.

25

С Паскиным меня познакомил Мак-Орлан; было это, кажется, в 1928 году. Мы обедали в маленьком ресторане на Монмартре. Я знал и любил рисунки Паскина и разглядывал его с откровенным любопытством. У него было лицо южанина, может быть итальянца; был он одет чересчур корректно для художника: темно-синий костюм, черные лакированные ботинки; хотя к тому времени котелки почти исчезли, Паскин часто ходил в старомодном котелке. За обедом он молчал. Говорил Мак-Орлан, говорил о минувшей войне, о гигантском росте городов, о том, как светится ночью площадь Пигаль, как бродят тени под черными мостами, и называл все это «новой романтикой». Паскин сначала слушал, потом начал рисовать на меню Мак-Орлана, меня, голых женщин. Подали кофе, коньяк; он выпил стаканчик, как пьют у нас водку, залпом, и вдруг оживился: «Романтика? Вздор! Несчастье. Зачем строить из дерьма художественные школы? На площади Пигаль сто борделей. Точка. Под мостами спят обыкновенные люди; дай им кровати, они будут голосовать и ходить в воскресенье в церковь. Незачем одевать людей в костюмы, моды меняются. Лучше их раздеть. Голый пупок говорит мне больше, чем все платья. «Романтика»? А по-моему, попросту свинство…» Он выпил еще стакан, и тогда я увидел другого Паскина, шумливого, беспокойного, который славился дебошами. Почему-то я вспомнил друга моей ранней молодости Модильяни.

Потом, встречаясь с Паскиным, иногда серьезным, печальным, даже робким, иногда буйным, я понял, что не ошибся при первой встрече: чем-то он напоминал Модильяни. Может быть, внезапным переходом от замкнутости, молчаливости, от сосредоточенной работы к разгулу? Может быть, страстью неизменно рисовать на клочках бумага? Может быть, тем, что оба были всегда окружены людьми и оба узнали всю меру одиночества?

Паскин попал на Монпарнас, когда драма была доиграна. Далеко от «Ротонды» шли другие драмы. Он появился внезапно и слишком поздно, как заблудившаяся звезда. Ему бы сидеть с Моди, они друг друга поняли бы. А Паскин тогда был далеко — в Вене, в Мюнхене, в Нью-Йорке.

Он прожил жизнь как бродяга. У него в Париже были различные знакомства; то он встречался с писателями, художниками, с Дереном, Вламником, с Сальмоном. Мак-Орланом, с сюрреалистами; то нырял в другой мир, пил с

бродячими циркачами, с проститутками, с жуликами. Все знали, что он знаменитый художник, что его работы висят в музеях; а он рвал свои рисунки, рисовал и рвал; и мало кто знал, откуда он взялся, где провел сорок лет своей жизни, есть ли у него родина, дом, семья.

Паскина звали Юлиус Пинкас, и родился он в Видиие — это маленький болгарский городок на Дунае. Он был сыном торговца, еврея-сефарда (как Модильяни), — предки Паскина когда-то жили в Гранаде и были выселены Фердинандом Католиком в 1492 году. Это, следовательно, очень давняя история. Но вот, когда в 1945 году я приехал в Софию и за ужином меня посадили рядом с бывшим партизаном, не знавшим русского языка, вдруг выяснилось, что мы можем объясниться по-испански: партизан был сефардом. В детстве Паскин дома говорил по-испански, а во дворе с ребятишками — по-болгарски. Недавно я получил из Болгарии письмо от школьного товарища Паскина, он мне прислал фотографию дома, где учился маленький Пинкас.

Паскин уехал в Вену учиться живописи; в Мюнхене рисовал для «Симнлициссимуса»; добрался до Америки, узнал нужду. Потом на него посыпались деньги; он их тратил мгновенно, раздавал случайным собутыльникам, устраивал нелепые кутежи, одаривал натурщиц. Он как бы не верил своей славе, не доверял и себе — часто сердито говорил о своих работах.

Как-то он позвал меня: «Будут друзья…» Еще не дойдя до его дома, я услышал вырывавшийся сквозь окна рев. «Друзей» оказалось слишком много; даже на лестнице стояли люди со стаканами. Гости сидели или лежали на рисунках. Звенела румба: это был воистину бал на площади.

Помню ту же мастерскую на бульваре Клиши в обычный день; диваны и пуфы, пыльные, тусклые; на них Паскин сажал натурщиц; беспорядок, пустые бутылки, засохшие цветы, книги, дамские перчатки, засохшие палитры; а на мольберте начатый холст: две голые женщины. Краски у Паскина были всегда приглушенными; казалось, что недописанный холст уже пожух.

На чем основывалось распространенное представление о чувственности, об эротике Паскина? Может быть, поражало, что он всегда рисует или пишет женское тело, может быть, сбивал с толку образ жизни Паскина — он неожиданно появлялся, окруженный дюжиной женщин. А был он романтиком, влюблялся по старинке, безоружный, беззащитный перед предметом любви; и если задуматься над его рисунками, они говорят не о сладострастии, а, скорее, об отчаянии; все эти коротконогие, пухлые девушки с обиженными глазами похожи на поломанные куклы, на странный кукольный госпиталь, который я видел в

Неаполе.

Удивительно — он все время был в гуще художественных споров, школ, направлений и как будто ничего не заметил: ни «Голубого всадника», ни кубизма, ни шумливых сюрреалистов. Прочитав в журнале статью, где его называли вожаком «парижской школы» и где указывали, что «парижская школа» создана не парижанами, не французами, Паскин смеялся и предлагал критикам создать новое направление «пентоортоксенофагизм» — пятикратное прямое пожирание иностранцев.

Я сидел над книгами об экономике, а вечером шел в бар «Куполь»; часто туда приходил Паскин. Он все больше и больше мрачнел; говорили о неурядицах в его личной жизни; пил он много, но вдруг замыкался в мастерской и отчаянно работал.

Он знал, что мне нравятся его вещи, и однажды ночью сказал: «Мне нужно с вами поговорить. Мы должны вместе сделать книгу. Вы будете писать мне письма, а я буду отвечать рисунками — «не умею отвечать, как вы, едкими фразами, я не писатель. Это будет замечательная книга! Мы скажем всю правду — откровенно, без прикрас. Почему я должен делать иллюстрации к чужим книгам? Это глупо! Я сделал иллюстрации к рассказам Поля Морана, они меня не интересуют. Я иллюстрировал Библию. Зачем? Я незнаком с царицей Савской… Вы мне будете писать о чем хотите, а я вам буду отвечать. Знаете, почему мы должны с вами сделать книгу? Это будет книга о людях; теперь говорят о чем угодно, а о людях забыли. Только не откладывайте. Потом будет поздно…»

Я согласился, но все откладывал, откладывал — хотел дописать роман о Крейгере. (Было это в начале 1930 года.)

В яркое весеннее утро я развернул газету — короткая телеграмма: «Поэт Маяковский покончил жизнь самоубийством». Мы тогда еще не были приучены к потерям, и я обмер. Я не спрашивал себя почему, не гадал, просто видел перед собой огромного, живого Владимира Владимировича и не мог представить, что его больше нет.

Кажется, недели две спустя, точно не помню, я увидел в «Куполе» Паскина. Он что-то кричал, потом заметил меня, сразу притих, молча поздоровался, ни о чем не спросил. Мне рассказывали, что он много работает — готовится к большой выставке.

Прошло еще несколько недель, и вечером в «Куполь» вбежал Фотинский, едва выговорил: «Паскин… Никто не знал… На четвертый день взломали дверь…»

Паскин, как Есенин, пробовал разрезать жилу бритвой. Он

тоже написал кровью, не на бумаге — на стене: «Прощай, Люси!» А потом, как Есенин, повесился. На столе лежало аккуратно написанное завещание. Паскин покончил с собой в тот самый день, когда должно было состояться открытие его выставки.

Хоронили его далеко — на кладбище Сен-Уэн; за гробом шли знаменитые художники, писатели, натурщицы, бродячие музыканты, проститутки, нищие. Потом гуськом мы проходили мимо могилы, и каждый кидал на гроб ослепительный летний цветок. И снова я не мог себе представить, что больше не будет ни печального человека в запущенной мастерской, ни серо-розоватых обиженных женщин на недописанном холсте, ни криков в «Куполе», ни котелка, ни нашей книги — только холодные залы музеев…

Осенью 1945 года я был в Бухаресте. Портье сказал, что меня хочет видеть господин Пинкас. Я вспомнил, что у Паскина был богатый брат, осевший в Румынии; братья не встречались, кажется, и не переписывались.

Господин Пинкас приехал ко мне в экипаже, запряженном двумя лошадками, и повез в ресторан «Капша». Это было переходное время; во дворце еще сидел король Михай, в ресторане «Капша» еще хранились для старых посетителей пыльные бутылки котнара, господин Пинкас еще мог выезжать в своем экипаже.

Он рассказал мне историю своей жизни: «Я думал, что мой брат — сумасшедший, он занялся искусством и потом повесился. А я был богат. Жалко, что я не могу вам показать, какие деревья, какие птицы были в моем парке. Я женился на румынской аристократке. И вот настал фашизм… Я хотел спасти мое добро и переписал все на ими моей жены — она была не только чистой арийкой, но из громкой боярской семьи. Стоило ей получить все бумаги, как она меня сразу бросила. У меня больше нет денег. Есть квартира, мебель, экипаж. Я знаю, что скоро отберут и это. Вчера меня хотели уничтожить как еврея, завтра начнут уничтожать как эксплуататора. Да, теперь я вижу, что брат был куда умнее. Я читал во французской газете, что его рисунки продают на аукционах, он карандашом делал настоящие деньги. А у меня оказалась фальшивая монета. Потом он сумел вовремя повеситься. Нет, сумасшедший — это я!»

Пинкас знал, что я был другом Паскина, он вспомнил далекое детство, расчувствовался и подарил мне два рисунка своего брата: «У меня довольно много его вещей. Торговать ими и не собираюсь. Я хочу их отдать в болгарский музей…»

Рассказ о двух братьях звучит как назидательная притча для деловых подростков. А я сейчас думаю о другом: почему среди

моих знакомых, среди моих друзей — писателей, художников — столько добровольно распрощались с жизнью? Разными они были и жили в разных мирах; несхожие судьбы, нельзя сопоставить ни глубоких причин, приведших к развязке, ни непосредственного повода — у каждого была своя «капля», которая, по досужим домыслам, «переполняет чашу». И все же в чем разгадка? (Я не хочу сейчас перечислять всех — слишком это тяжело.)

Паскин в последние годы не знал нужды. К нему на поклон приходили критики, торговцы картинами, издатели. Он покончил жизнь самоубийством в сорок пять лет, мог бы жить и жить. Вероятно, на отсутствии силы сопротивления сказались прошлые невзгоды и обиды. Дело, однако, не только в этом. Когда-то Пастернак говорил, что «строчки с кровью — убивают». Вряд ли он думал при этом о фатальной расплате подлинных художников, просто чувствовал на себе, что поэзия дается нелегко. Без обостренной чувствительности не может быть художника, даже если он состоит в десяти союзах или ассоциациях. Для того чтобы привычные слова волновали, чтобы ожил холст или камень, нужны дыхание, страсть, и художник сгорает быстрее — он живет за двоих, ведь помимо творчества есть у него своя кудлатая, запутанная жизнь, как у всех людей, право не меньше.

Существует юридическое понятие «вредное производство»; рабочим, занятым трудом, вредным для здоровья, выдают специальную одежду, молоко, сокращают рабочий день. Искусство тоже «вредное производство», но поэтов или художников никто не пытается оградить, часто забывают, что по самому характеру профессии царапина для них может оказаться смертельной.

А потом идешь в длинной веренице мимо могилы и бросаешь цветок…

26

Тысяча девятьсот тридцать первый год был в Париже невеселым: экономический кризис ширился; разорялись лавочники, закрывались цехи заводов. Начали шуметь разные фашистские организации — «Боевые кресты», «Патриотическая молодежь», «Французская солидарность». Во главе правительства стоял хитрый оверньяк Пьер Лаваль. Министр колоний Поль Рейно разъезжал по заморским вотчинам, и в кино показывали, как он пьет чай во дворце аннамского императора. (Среди журналистов, сопровождавших Поля Рейно, была левая писательница Андре Виоллис. Она осталась в Индокитае после отбытия министра, а потом написала книгу, которая потрясла совесть французской интеллигенции, — «Индокитай SOS» с предисловием Андре Мальро.) Состоялись президентские выборы; Бриана провалили — он был чересчур видной фигурой, парламентарии предпочли мало кому известного Думера. Торжественно похоронили маршала Жоффра, и газеты вспомнили про победу на Марне. Впрочем, куда больше места газеты уделяли свежей победе: на состязании самых красивых девушек звание «мисс Европы» было присвоено француженке. Германия продолжала вооружаться. Парижане восхищались кинозвездой Марлен Дитрих. Роялисты, собравшись на площади Конкорд, приветствовали короля Альфонса XIII, которого испанцы выгнали из Испании. В связи с безработицей участились самоубийства.

Открылась международная колониальная выставка. Венсенский лес был переполнен посетителями. Построили пагоды, дворцы, бутафорские деревни. Негры должны были на виду у всех работать, есть, спать; женщины кормили грудью детишек. Зеваки толпились вокруг, как в зоопарке.

Голландский павильон поразил меня деловой откровенностью. На стенах были диаграммы: индонезийцы работали, а деньги текли в окошко сберегательной кассы, над которым значилось: «Нидерланды». Другая карта показывала, как колонизаторы держат в повиновении Индонезию: красные лампочки означали военные посты, зеленые — полицейские.

Французы хвастали Индокитаем, Тунисом, Марокко, Сенегалом.

Я написал статью, предлагая устроить бутафорский «белый город», в котором европейцы жили бы натуральной жизнью: «Парламент — депутат произносит пылкую речь; биржа — рев маклеров; «салон красоты» — даме массируют зад; бордель — посетитель на четвереньках лает; академия — «бессмертные» в

опереточных мундирах приветствуют друг друга». Я говорил, что такой деревне обеспечен успех в Азии и в Африке, и кончал статью довольно здравой мыслью о близком конце колониальных империй. Потом я узнал, что за эту статью меня собирались выслать из Франции.

А я, не подозревая о гневе властей, спокойно бродил с фотоаппаратом «лейка» по улицам Парижа: снимал дома, уличные сцены, людей. Это было подлинной страстью.

Я не люблю ни живописи, похожей на цветные фотографии, ни фотоснимков, пытающихся сойти за художественные произведения, — все это мне кажется суррогатами, шарлатанством.

Почему же я увлекся фотографией? Я говорил в начале этой книги, что в наше время стали редкими дневники, откровенные и содержательные письма. Может быть, именно поэтому читатели набрасываются на человеческие документы, на дневник Анны Франк, на тетрадки кашинской школьницы Ины Константиновой, ставшей партизанкой, на предсмертные письма французских заложников. (Я помню слова Бабеля: «Самое интересное из всего, что я читал, — это чужие письма…»)

Художник изучает свою модель, ищет не обманчивого внешнего сходства, а раскрытия в портрете сущности модели. Когда человек позирует, с его лица постепенно исчезают меняющиеся оттенки, лицо лишается того, что мы обычно называем «выражением». Не раз ночью в последних поездах метро я разглядывал лица усталых людей, в них не было ничего преходящего, выступали характерные черты.

Другое дело фотография: она ценна не глубоким раскрытием сущности, а тем, что предательски подмечает беглое выражение, позу, жест. Живопись статична, а фотография говорит о минуте, о моменте — на то она и «моментальная».

Человек, которого фотографируют, однако, не похож на себя: заметив наведенный на него объектив, он тотчас меняется. Это делает столь неправдоподобными молодоженов в витрине провинциального фотографа. В снимках, где люди стараются прибрать свое лицо, как прибирают для гостей комнату, нет ни постоянного характера модели, ни достоверности минуты.

Я люблю воспоминания Горького; в них много подсмотренного тайком; можно ли забыть, как Чехов старался шляпой поймать солнечный зайчик на скамейке? Ясно, что, если бы Антон Павлович заметил Горького, он тотчас прекратил бы игру.

Фотографии, которые меня увлекали, были человеческими документами, и не будь на свете бокового видоискателя, я не стал

бы бродить с аппаратом по улицам парижских окраин.

Боковой видоискатель построен по принципу перископа. Люди не догадывались, что я их снимаю; порой они удивлялись, почему меня заинтересовала голая стена или пустая скамейка: я ведь никогда не поворачивался лицом к тем, кого снимал. Конечно, строгий моралист может меня осудить, но таково ремесло писателя — мы только и делаем, что стараемся заглянуть в щелку чужой жизни.

У меня не было амбиции фоторепортера. В книге «Мой Париж», где собраны сделанные мною фотографии, нет ни одной «актуальной». (Дату выдает только огромное воззвание на стене: «Друг народа». «Семнадцать лет после агрессии. Великое покаяние. Победителям, дважды обкраденным. В ответ на предложение Гувера мы выдвигаем наш пятилетний план». Это воззвание было подписано парфюмером Коти, издававшим фашистскую газету «Друг народа».)

Туристов возят на Елисейские поля, на площадь Оперы, на Большие Бульвары; я туда не ходил с моей «лейкой», а фотографировал рабочие районы: Бельвилль, Менильмонтан, Итали, Вожирар — тот Париж, который полюбил в ранней молодости.

Он печален, порой трагичен и всегда лиричен: старые дома, старухи на скамейках вяжут, рядом с ними целуются влюбленные, уличные писсуары, продавщицы цветов, рабочие рестораны, мамаши с детьми, художники, неудачливые консьержки, бродяги, сумасшедшие, рыболовы, букинисты, каменщики, мечтатели.

Десять лет спустя я написал роман «Падение Парижа»; в нем вдоволь горечи и любви. А вот что я писал в 1931 году: «Я не думаю, что Париж несчастнее других городов. Я даже склонен думать, что он их счастливее. Сколько голодных в Берлине? Сколько бездомных в сыром, темном Лондоне? Но Париж я люблю за его несчастье, оно стоит иного благополучия. Мой Париж заполнен серыми, склизкими домами, в них винтовые лестницы и колтун непонятных страстей. Люди здесь любят неуютно и заведомо ложно, как герои Расина, они умеют смеяться ничуть не хуже старика Вольтера, они мочатся где попало, с нескрываемым удовлетворением; у них иммунитет после четырех революций и четырехсот любвей… Я люблю Париж за то, что в нем все выдумано… Можно стать гением — никто не поможет, никто не возмутится, никто не будет чересчур изумлен. Можно и умереть с голоду — это частное дело. Разрешается кидать окурки на пол, сидеть повсюду в шляпе, ругать президента республики и целоваться, где вздумается. Это не параграфы конституции, а нравы театральной труппы. Сколько раз здесь уже прошла

человеческая комедия, и она неизменно идет с аншлагом. Все выдумано в этом городе, все, кроме улыбки. У Парижа странная улыбка, едва заметная, улыбка невзначай. Бедняк спит на скамье, вот он проснулся, подбирает окурок, затягивается и улыбается. Ради такой улыбки стоит исходить сотни городов. Серые парижские дома умеют улыбаться столь же неожиданно. За эту улыбку я и люблю Париж, все в нем выдумано, кроме выдумки, выдумка здесь понята и оправдана».

Парижане живут на улице, и это облегчало мою работу: я снимал влюбленных, людей, которые сплетничают, мечтают, ссорятся, пишут письма, танцуют, падают на мостовую замертво. В те годы на улицах спали безработные, и я заснял многих из них. Вот лежит один на скамейке; перед ним две вывески: «Бюро похоронных процессий» и «Свадебные кареты»…

Иллюстрированный еженедельник «Вю» напечатал страницу моих фотографий консьержек. Нужно сказать, что многие из консьержек отличаются крутым нравом. Я снял одну на пороге лома, готовую шваброй отразить атаку. Эта женщина разгневалась, требовала в редакции, чтобы ей сообщили мой адрес, хотела пустить швабру в ход. (Должен сказать, что не все консьержки таковы. После того как перевели на французский язык отрывки из первой части этой книги, я получил письмо от мужа консьержки того дома на улице Котантен, где я прожил много лет; он писал, что читает журнал общества дружбы «Франция — СССР», ласково вспоминал нас, даже моих собак.)

Альбом моих фотографий с написанным мною текстом был издан в Москве. Эль Лисицкий сделал обложку и фотомонтаж — я снимаю с помощью бокового видоискателя, причем у меня четыре руки: две держат фотоаппарат, другие две стучат на пишущей машинке. Редактором книги был Б. Ф. Малкин, тот самый, которому Маяковский писал:

> Когда, убоясь футуристической рыси,
> в колеса вставляли палки нам, —
> мы взмаливались:
> «Спаси нас, отче Борисе!»
> И враги расточались перед бешеным Малинным.

Я неожиданно очутился среди «левых» начала двадцатых годов.

«Лейку» я вскоре забросил: не было на нее времени. Во время «странной войны» ко мне пришел инспектор Сюртэ и сказал: «У вас приспособление для сигнализации вражеским самолетам». Он направился в угол, где стоял покрытый пылью обыкновенный

аппарат для увеличения фотографий, и долго его рассматривал.

Я рассказал о книге «Мой Париж», конечно, не потому, что считаю себя хорошим фотографом, да и не из-за желания поделиться с читателями сплетнями о самом себе. Когда я смотрю на сделанные мною тридцать лет назад фотографии, я думаю о моем ремесле — о литературе. Конечно, моя книга фотографий узка — это не весь Париж, это только мой Париж того времени. Парижей множество. Щелкать затвором легче, чем писать, и я мог бы снимать все, что мне попадалось на глаза, но снимал я только то, что выражало мои мысли и чувства. Я фотографировал не чужой мне город и не пытался выдать наблюдения туриста за реальную жизнь: я знал назубок улицы, скамейки, людей, которых снимал.

Д. Заславский писал: «Книга Эренбурга разоблачает Париж, но она разоблачает и самого Эренбурга… Эренбурга привлекают задворки… Боковой видоискатель оказал плохую услугу Эренбургу. Он снимает действительно только то, что «в стороне».

Некоторые французы, в свою очередь разглядывая фотографии, говорили, что я тенденциозен. Я им отвечал, что имеется множество книг, показывающих другой Париж и сделанных опытными профессионалами.

Я думаю, что все сказанное относится не только к фотографии, но и к литературе, не только к Парижу, но и к другим городам. Мне это кажется очевидным, но вот я пишу уже полвека и слышу все то же: «Не то снимаете, товарищ! Повернитесь-ка налево, там достойная модель с добротной, твердо заученной улыбкой…»

27

Осенью 1931 года в моей жизни произошло важное событие: я увидел впервые Испанию. Поездка в эту страну была для меня не одним из многочисленных путешествий, но открытием; она помогла мне много понять и на многое решиться,

Испания давно притягивала меня к себе. Как часто бывает, я начал ее понимать через искусство. В музеях различных городов я долго простаивал перед холстами Веласкеса, Сурбарана, Эль Греко, Гойи. В годы первой мировой войны я научился читать по-испански, переводил отрывки из «Романсеро», из поэм Гонсало де Берсео, протоиерея Итского Хуана Руиса, Хорхе Манрике, Кеведо. В произведениях этих, непохожих одно на другое, меня привлекали некоторые общие черты, присущие национальному гению Испании (их можно найти и в «Дон-Кихоте», и в драмах Кальдерона, и в живописи): жестокий реализм, неизменная ирония, суровость камней Кастилии или Арагона и одновременно сухой зной человеческого тела, приподнятость без пафоса, мысль без риторики, красота в уродстве, да и уродство красоты.

Конечно, поскольку я с годами менялся, менялось и мое восприятие поэтов или художников. Когда мне было двадцать лет, я воспринимал холсты Эль Греко как откровение. Объясняется это не только близостью Греко к живописи начала нашего века, но и его неистовством, изумительным выражением человеческих страданий, взлета и бессилия — я тогда зачитывался Достоевским. Странная судьба Греко: он родился на Крите, где, скованная догмами Византии, жила страсть обобранной и приниженной Эллады. Ему было тридцать шесть лет, когда он приехал в Испанию, там он нашел себя: критянин выразил одну из существенных черт испанского характера. В сорок лет я к нему охладел; его удлиненные святые и мученики начали мне казаться изнеженными, манерными, а жестокая пестрота красок отталкивала. Осенью 1936 года, очутившись снова в Толедо во время уличных боев, я захотел проверить свои впечатления и попросил одного из дружинников провести меня в церковь, где хранится картина «Похороны графа Оргаса». Церковь оказалась запечатанной, но дружинник меня впустил, потом запер меня и сказал, что вернется через три часа. Тогда-то я понял, почему я разлюбил Греко: слишком много было вокруг подлинной человеческой беды. Учась, мы одновременно разучиваемся, и я разучился понимать живопись Греко. Некоторые страницы Достоевского, потрясавшие меня в молодости, кажутся мне теперь аффектированными. Все это, разумеется, относится к моей

биографии, а не к истории искусства или литературы, я знаю, что и Греко и Достоевский — величайшие художники; но, видимо, они лучше воспринимаются в эпохи внешнего спокойствия, когда люди ищут в искусстве исступления, чрезмерности.

Гойю, напротив, я полюбил в зрелом возрасте, и опять-таки, вероятно, этому способствовала эпоха. Когда-то он мне казался фантастом, творцом неправдоподобного, живописным Эдгаром По. Жизнь, однако, опрокидывала наивные представления о границах возможного, и я вдруг понял, что Гойя прежде всего реалист. Я убежден, что короли, королевы, графы, герцогини были именно такими, какими он их изобразил. Его видения войны меня потрясают, хотя я видел войны куда более страшные, чем наполеоновские, — ведь Гойю интересовали не мундиры, не знамена, не полководцы, а оскал, судорога, безумие. Изобразив расстрел испанских повстанцев солдатами Наполеона, он передал не только всю меру человеческого страдания, но и гнев художника. Он назвал свои кошмары «капризами», но его призраки и по сей день гуляют, убивают, едят, отрыгивают, загромождают землю. Он не боялся показаться тенденциозным; но никогда он не упрощал, да и не суживал мира. Я часто вспоминаю его диптих, находящийся в музее Лилля: молодая красотка читает письмо своего поклонника, которое ей передала служанка, и вот пятьдесят лет спустя — две старухи, а над ними смерть с метлой, готовая просто, по-деловому вымести человеческий сор. Гойя часто думал о смерти, и его картины перекликаются со стихами поэта XV века Хорхе Манрике, написанными после кончины отца:

Наша жизнь — это реки,
А смерть — это мере.
Берет оно столько рек,
Туда уходят навеки
Наша радость и горе,
Все, чем жил человек…
Итак, столько пешек передвинув
На шахматном поле
И страсть утоля.
Итак, низвергнув столько властелинов,
Сражаясь по доброй воле
За короля,
Итак, изведав различные испытания,
Которых перечислить нет силы теперь,
Он заперся в своем замке Оканья,
И смерть постучала в дверь.

(Как здесь не вспомнить «старушку» Твардовского, которая вошла без пропуска в Кремль?)

Часто говорят об отъединенности Испании, о ее обособленности, а между тем испанский гений, при всем его своеобразии, неизменно подходил к тем вопросам, которые терзают людей, где бы они ни жили. Сколько писали, доказывали, что «Дон Кихот» — едкая сатира на давно забытый литературный жанр! Но вот прошли века, и на злосчастном Росснnанте Рыцарь Печального Образа легче объезжает мир, чем герои, которые уже в пеленках летали на реактивных самолетах.

Роман Сервантеса известен всем, но мало кто знает о Хуане Руисе, протоиерее из Иты. Это поразительный поэт; он жил за сто лет до Франсуа Вийона и выразил всю сложность, всю раздвоенность предстоящего долгого дня. Трудно в точности определить, где он кощунствует и где исповедуется, где издевается и где плачет горькими слезами. Он все описывает откровенно, все называет своим именем, и одновременно у него неизменно второй план, четвертое измерение, поэзия; именно в этом я вижу особенность испанского реализма, да и самого характера Испании.

Я начал, может быть, с конца, но теперь мне будет легче объяснить, какую роль сыграла Испания в моей жизни.

Альфонса XIII прогнали в апреле 1931 года, а мы получили визы только осенью: консулу не нравились ни советские паспорта, ни мои книги.

Власти не знали, как с нами быть: угостить стаканчиком мансанильи или посадить в каталажку. Министры были новичками, а полицейские могли похвастать трудовым стажем. Республиканцы все переименовывали — учреждения, улицы, гостиницы; но люди, служившие королю, оставались на своих постах. В Мадриде на вокзале нас задержали и повели в участок, долго изучали наш несложный багаж — искали бомбы, револьверы, листовки. Потом нас неизменно сопровождали полицейские; время от времени они забывали про конспирацию и вынимали из карманов бляхи, свидетельствовавшие об их служебном положении.

Заместитель министра внутренних дел меня любезно принял, поулыбался и попросил представить ему список городов, которые мы намерены посетить. Когда мы приезжали в какой-либо город, нас на вокзале ждали полицейские и представители левой интеллигенции; последние узнавали о моем приезде от полицейских, жаждавших поделиться сенсацией, — я ведь был

первым советским гражданином, который приехал в Бадахос, Самору или Сан-Фернандо. Я набрал в Мадриде сотни рекомендательных писем, чтобы сразу найти в любом городе собеседников. Письма мне давали испанские писатели, издатель моих книг коммунист Росес, радикальные журналисты, депутаты, случайные знакомые.

Я приехал в захолустный городок Эстремадуры Касерес и разослал несколько рекомендательных писем. Вскоре хозяйка гостиницы сказала, что ко мне пришли. Я увидел двух элегантных бездельников, похожих на провинциальных адвокатов (почему-то больше всего писем было к адвокатам), протянул им руку; они растерялись и вытащили из карманов бляхи: «Мы полиция». Произошел смешной разговор: полицейские со страхом спросили меня, не собираюсь ли я навсегда поселиться в Касересе, и, узнав, что я через два или три дня уеду, растрогались, долго меня благодарили.

Революции почти всегда начинаются идиллически: люди поют, митингуют, обнимают друг друга. Я приехал, когда эпоха лобызаний кончилась. Каждый день гражданская гвардия стреляла в «нарушителей порядка». Вспыхивали забастовки. Когда я был в Бадахосе, там стреляли. Стреляли и в Мадриде: разгоняли демонстрацию. В Севилье я увидел губернатора, который говорил: «Пора дать отпор рабочим…» Я был на заседании кортесов; выступал Мигель Унамуно, он красиво говорил о душе народа, о справедливости. В тот самый день в Эстремадуре гвардейцы застрелили бедняка, осмелившегося подобрать желуди с земли беглого маркиза.

В Мадриде, в Малаге чернели сожженные весной монастыри и церкви: люди мстили за гнет, за оброки и требы, за злую духоту исповедален, за разбитую жизнь, за туман, века простоявший над страной. Нигде католическая церковь не была такой всесильной и такой свирепой, В соборе Малаги женщины ползали по плитам, вымаливая прощение, а узколицый монах с черными злыми глазами твердил о близком возмездии. Католические газеты расписывали «чудеса»: Богоматерь появлялась почти так же часто, как гвардейцы, и неизменно осуждала республику.

Я побывал в горном районе Ляс Урдес; там жили люди, отрезанные от мира и никогда в жизни не евшие досыта. Молодые матери походили на десятилетних девочек, тридцатилетние — на дряхлых старух. Трудно было себе представить, что в ста километрах богатые бездельники причмокивают, разглядывая красоток Сала манки. В школьной тетрадке я увидел диктовку «наш благодетель король», а на следующей странице — «наша благодетельница республика трудящихся».

Испания официально именовалась «республикой трудящихся всех классов»; это название было придумано не юмористом, а вполне серьезными депутатами кортесов. Трудящиеся различных классов трудились по-разному. Я проезжал по огромным поместьям в Эстремадуре, в Анлалузии. Земля по большей части оставалась невозделанной. Аристократы жили в Мадриде, в Париже или в Биаррице. Управляющие нанимали батраков; в договоре значилось, что рабочие должны трудиться «от зари до зари». Буржуазия была ленивой, жила по старинке. Я видел допотопные фабрики. Молодые щеголи в блистательных ботинках не знали, что им делать; ходовым выражением было «убить время». Республика мало что изменила: голодные продолжали голодать, богачи глупо, по-провинциальному роскошествовали. Я разговаривал с андалузскими батраками, которые не вырабатывали в год и одной тысячи песет. «Трудящийся» герцог Орначуэлос обладал шестьюдесятью тысячами гектаров: он любил охоту и приезжал в свою вотчину на одну неделю. В Мурсии жил некто Сьерва; ему принадлежала земля, оцениваемая в двадцать пять миллионов песет. Он занимался политикой и расстреливал забастовщиков. После революции он отбыл за границу, оставив на посту управляющего, который продолжал собирать деньги за аренду. Все были объявлены трудящимися: держатели акций, феодалы, монахи, сутенеры.

Я поехал с доктором из Саморы, добрым и справедливым человеком, в глушь, в Санабрию. Мы доехали до озера, дальше дороги не было, нужно было ехать на ослах. Маленькая деревня с длинным именем Сан-Мартин де Кастаньеда поразила меня редкой даже в Испании нищетой. Среди лачуг мы увидели развалины монастыря. Когда-то крестьяне платили монахам оброк — «форо». Монахи давно перекочевали в более удобные места, а крестьяне продолжали выплачивать две тысячи пятьсот песет «трудящемуся» бездельнику, адвокату Хосе Сан Рамон де Бобилья, прадед которого перекупил у монахов право обирать крестьян. Потом мы направились в другую деревню — Риваделаго. Ее жители не платили «форо», но земли у них не было; они ютились в курных избах и ели горох. Деревня стояла на берегу озера, изобилующего форелями, озеро принадлежало богатой мадридской домовладелице, и управляющий зорко следил, чтобы голодные крестьяне не похитили рыбешки. Одна крестьянка с горечью сказала доктору: «Что же, дон Франсиско, республика сюда еще не доехала?…»

(После моей поездки в Испанию я написал книгу о том, что увидел. Еще до выхода этой книги в Москве ее издали в Мадриде под названием «Испания — республика трудящихся». Доктор из

Саморы поехал с моей книгой в Риваделаго и прочитал крестьянам главу, где я рассказывал о голоде, об озере, о мадридской даме. Крестьяне на следующий день окружили дом управляющего и потребовали, чтобы он тотчас отказался от прав на рыбу. Пошли телеграммы в Мадрид, и перепуганная домовладелица уступила. Крестьяне прислали мне благодарственное письмо, приглашали в Риваделаго, обещали накормить форелями. К чему скрывать — это письмо меня обрадовало, ведь очень редко писатель видит, что его книга что-то на свете изменила. Обычно книги меняют людей, а это процесс долгий и незаметный. Здесь же я понял, что помог крестьянам Риваделаго уничтожить вековую несправедливость. Пусть мое участие в этом деле и было случайным, пусть деревня маленькая, да и победа была недолгой (вряд ли фашисты оставили форель бунтовщикам), все равно я порой вспоминаю эту историю и радуюсь.)

Гражданская гвардия продолжала стрелять. Депутаты продолжали произносить красивые речи. Народ был безоружен. Социалисты колебались. Анархисты швыряли бомбы. В маленькой андалузской деревне я присутствовал при жарком споре учителя с мэром: учитель был за Третий Интернационал, мэр — за Второй. Вдруг в спор вмешался батрак: «Я за Первый Интернационал — за товарища Мигэля Бакунина…» В крохотной газете, которую издавали батраки Хереса, я прочитал, что испанцы должны вдохновляться принципами Кропоткина. В Барселоне я познакомился с руководителем ФАИ (Федерация анархистов Иберии) Дуррути. Мы сидели в кафе. Дуррути показал мне револьвер, ручные гранаты: «Не боитесь? Я ведь живым не сдамся…» Его суждения были вдоволь фантастическими, но он меня сразу пленил мужеством, чистотой, душевным благородством. Я не знал тогда, что пять лет спустя на Арагонском фронте он наведет на меня свой револьвер: «Сейчас я тебя застрелю» — и что в итоге мы подружимся…

Я тогда еще многого не знал; но одно было ясно: это — первый акт трагедии, за ним неизбежно должны последовать другие. Помню, в Мадриде мне показали сердитого военного: «Вот Санхурхо…» Конечно, я не мог предвидеть, что он вместе с Франко и Мола пять лет спустя зальет Испанию кровью, но в 1931 году я писал: «Командующий гражданской гвардией генерал Сахурхо работает молча. Сорок восемь тысяч гвардейцев время от времени постреливают, они готовятся к всеобщему и массовому расстрелу».

Говоря об осени 1931 года, о фарсе и о трагедии, я еще не сказал о самом главном: о народе. В этой книге я порой пытаюсь

показать людей, которых я встретил на своем пути, пытаюсь это сделать с любовью, с верностью, быть не бесстрастным летописцем, а человеком, вспоминающим друзей, которых больше нет в живых. Рассказываю я о людях, читателю более или менее известных, — о писателях, художниках, общественных деятелях. (Есть, конечно, в моем сердце и другие дорогие мне образы; их знают только близкие, я не могу подкрепить мои признания ссылками на книги или па полотна.) Об Испании мне хотелось бы рассказать как о близком, дорогом мне человеке.

Годы гражданской войны я провел в Испании и тогда по-настоящему узнал ее народ: но полюбил я его сразу — в 1931-м. Пабло Неруда назвал одну из своих книг «Испания в сердце». Эти слова мне хочется повторить: Испания действительно в моем сердце, и не случайно, не на время, не гостья, освещенная бенгальским огнем исторических событий, не квартирантка, окруженная фотографами и репортерами, нет, своя, близкая и в громкие годы и в немые, запретная, скованная, теперь я вправе это сказать — в сердце до самой смерти.

Я писал в 1931 году: «У меня скрипучее перо и скверный характер. Я привык говорить о тех призраках, равно гнусных и жалких, которые правят нашим миром, о вымышленных Крейгерах и живых Ольсонах. Я хорошо знаю бедность, приниженную и завистливую, но нет у меня слов, чтобы как следует рассказать о благородной нищете Испании, о крестьянах Санабрии и о батраках Кордовы или Хереса, о рабочих Сан-Фернандо или Сагунто, о бедняках, которые на юге поют заунывные фламенко, а в Каталонии танцуют сердану, о тех, что безоружные идут против гражданской гвардии, о тех, что сидят сейчас в тюрьмах республики, о тех, что борются, и о тех, что улыбаются, о народе суровом, храбром и нежном. Испания — это не Кармен и не тореадоры, не король Альфонс и не дипломатия Лерруса, не романы Бласко Ибаньеса, не все то, что вывозится за границу вместе с аргентинскими сутенерами и малагой из Перпиньяна, нет, Испания — это двадцать миллионов рваных Дон Кихотов, это бесплодные скалы и горькая несправедливость, это песни, грустные, как шелест сухой маслины, это гул стачечников, среди которых нет ни одного «желтого», это доброта, участливость, человечность. Великая страна, она сумела сохранить отроческий пыл несмотря на все старания инквизиторов и тунеядцев, Бурбонов, шулеров, стряпчих, англичан, наемных убийц и титулованных проходимцев!»

Многое в Испании меня поразило даже при первом, беглом знакомстве с этой страной, и прежде всего чувство собственного достоинства в людях нищих, вечно голодных, зачастую

неграмотных. В Севилье на скамейке сидели рядом почтенный буржуа и безработный; бедняк вытащил из сумы гороховую колбасу и дружески предложил соседу по скамье. На террасе дорогого мадридского кафе ночью нежились бездельники. Женщина с грудным ребенком пыталась продать лотерейные билеты (один из видов нищенства). Младенец стал плакать; женщина спокойно села в кресло перед пустым столиком и начала кормить ребенка грудью. Никого ее поведение не удивило. Я невольно подумал: а ведь ее обязательно бы прогнали не только из «Кафе де ля Пэ», но даже из нашего «Метрополя»…

В нищей деревушке Санабрии я хотел заплатить крестьянке за яблоки; она наотрез отказалась взять деньги. Мой попутчик, испанец, сказал: «Можно дать малышу, но я боюсь, что он сунет монету в рот и проглотит. А дети постарше ни за что не возьмут…» Подросток, чистильщик сапог, увидев, что я стою у табачной лавки, запертой на обеденный перерыв, вытащил из кармана сигарету: кури. Крестьянин возле Мурсии, которому я попытался заплатить за апельсины, покачал головой: «Улыбка дороже песеты».

(Бескорыстность испанских крестьян всегда поражала иностранцев. Мартин Андерсен-Нексе рассказывал мне, что молодые годы он провел в Испании; денег у него не было, и неизменно крестьяне ставили перед ним тарелку супа: «Ешь»…)

Носильщик на вокзале сказал мне: «Я уже сегодня поработал, сейчас позову товарища». Я отнес обувь сапожнику, он спросил жену, есть ли у них деньги на обед, и, узнав, что есть, отослал меня к другому сапожнику. Безработные не получали никаких пособий. Я спрашивал, как они не умирают от голода, мне отвечали: «А товарищи?…» Андалузский батрак разрезал хлеб пополам и половину давал безработному соседу. Рабочие Барселоны несли часть получки в профсоюзы — для безработных — без призывов, без громких фраз, просто, по-человечески.

Я писал, что Испания — это двадцать миллионов Дои Кихотов в лохмотьях. Я возвращаюсь к этому образу не только потому, что люблю роман Сервантеса, но и потому, что в Рыцаре Печального Образа все душевное обаяние Испании. Вот строки, написанные мной а 1931 году: «Здесь можно выдать мельницу за врага, и с мельницей пойдут сражаться, — это история человеческих заблуждений. Но здесь нельзя выдать человека за мельницу — он не станет послушно махать руками вместо крыльев. Здесь еще живут люди, настоящие живые люди».

Несколько лет спустя, когда большие, передовые, хорошо организованные народы один за другим начали готовиться к капитуляции перед фашизмом, испанский народ принял

неравный бой: Дон Кихот остался верен и себе, и человеческому достоинству.

Испания помогла мне преодолеть многие сомнения. Я знал, что придется не раз заблуждаться — порой со всеми, порой в одиночку. Пусть так. Только бы не стать винтиком, роботом, бутафорской мельницей!

28

Я смотрю на маленькую выцветшую фотографию. Винный погреб в местечке Монтилья, недалеко от Кордовы. Толстяк хозяин, Люба, Эрнст Толлер. Был такой веселый, легкий день. Мы долго пили вино в прохладном погребе. Толлер рассказывал забавные истории. А хозяин нам говорил, что на свете нет вина лучше, чем монтилья: «Ведь не случайно в Хересе делают вино амонтильядо, но в Монтилье никому не придет в голову изготовлять ахересадо». Это звучало убедительно, можно было, кстати, припомнить рассказ Эдгара По о бочке амонтильядо, можно было попробовать еще один сорт монтильи; можно было на несколько часов забыть о том, что у нас позади и впереди. Мы не спешили уходить, Толлер говорил: «Из рая не уходят, из рая выгоняют»; и вернулись мы в Кордову поздно ночью.

(Во время войны неподалеку от Монтильи стояли войска республиканцев. Нужно было напечатать номер армейской газеты; бумаги не было, и газета вышла на тонких листах, в которые толстяк виноторговец заворачивал бутылки; среди военных сводок виднелись слова: «Монтилья — лучшее вино мира».)

Почему я начал рассказ о Толлере с Монтильи? Ведь я с ним познакомился в 1926 или 1927 году в Берлине; встречались мы в разных городах — в Париже, в Москве, в Лондоне, — вели серьезные беседы. А я вспоминаю несколько дней, проведенных вместе в Андалузии (мы встретились в Севилье и расстались в Алхесирасс), — тогда я видел Толлера счастливым. Он прожил трудную жизнь, спорил, убеждал, проклинал, верил, отчаивался и вместе с тем был мечтателем, шутником, даже сибаритом, и, говоря о поэте-партизане, я прежде всего вспомнил короткий час перекура.

Толлер был красив, походил на итальянца, веселого и печального, неизменно неудачливого героя неореалистического фильма. Может быть, основной его чертой была необычайная мягкость, а прожил он жизнь очень жесткую. Разные бывают люди: одни вылеплены из воска, другие высечены из камня; это вопрос не убеждений, а природы, и часто человек выбирает путь, мало соответствующий материалу, из которого он сделан. Я знавал людей твердой воли, крепких нервов, решительных, по-своему смелых, облюбовавших тыл жизни; сталь ржавела. Толлер был создан для раздумий, для нежной лирики, а он с ранней молодости выбрал трудный путь действия, борьбы.

Прожил он не так уж много — сорок пять лет, но, кажется, не

было дня, когда кто-нибудь не писал о его ошибках. Он не протестовал; как-то он сказал мне: «На самом деле я ошибался во сто раз больше, но половины они не знают. Притом они считают только те глупости, которые я делал в одиночку. А сколько раз ошибались все?…»

Некоторые ошибки Толлер а диктовались возрастом, да и временем; он их не только признал, но и перечеркнул поступками. Когда началась первая мировая война, ему еще не было двадцати двух лет; он был хилым, и его забраковали, но он добился, чтобы его послали на фронт — во Францию: он верил, что Германия защищает правое дело. Барбюсу, когда началась война, было сорок лет, и он верил, что правое дело защищает Франция. Толлер очень быстро понял, что поверил лжи, поддался общему психозу, и начал обличать зачинщиков войны. Его арестовали, посадили в военную тюрьму, потом в сумасшедший дом.

Он был молодым одаренным поэтом: его стихи хвалили Рильке, Томас Манн. Он мог бы писать, прославлять революцию в стихах. А он выбрал другое — стал одним из руководителей баварской революции, заместителем председателя Центрального Совета рабочих и солдатских депутатов. Критики часто говорили, да и поныне говорят, что у Толлера было недостаточно политической подготовки. Это бесспорно. Но у него был избыток совести — обременительное свойство, за которое его обладатели всегда расплачиваются.

Баварская Советская республика просуществовала всего несколько недель; в Мюнхен ворвались белые. За голову Толлера была обещана крупная награда; и его выдали. На суде он сказал: «Битва начата, и никаким штыкам, никаким военно-полевым судам капиталистических правительств не задушить революцию!» Ему было двадцать шесть лет, и пять лет он просидел в Нидершенфельдской тюрьме. Я помню, с каким волнением мы глядели в Берлине пьесу Толлера, написанную им в тюрьме: это было письмо, переданное на волю.

Германская реакция в те годы побеждала повсюду: не только в Баварии, но и в Берлине, в Саксонии, в Гамбурге; слов нет, белый генерал Эпп умел лучше вести военные операции, нежели поэт Толлер. Можно пожалеть, что у баварцев не нашлось своего Щорса или Чапаева, но нелепо винить Толлера: он знал, что бой неравный и что впереди не почести, не власть, а расправа усмирителей. Его называли «сентиментальным революционером»; но ведь в революцию он пришел не из подпольных кружков, где годами обдумывали тактику, разрабатывали планы, а из поэзии; в политике он остался до конца своей жизни самоучкой.

Когда он вышел в 1924 году из тюрьмы, у него было крупное литературное ими; его пьесы шли в театрах различных стран. Может быть, их успех объяснялся не только художественными достоинствами, но и остротой тем; может быть, зрители порой аплодировали не тексту, а биографии автора; но Толлер не был в литературе ни самозванцем, ни случайным гостем. О нем тепло отзывались непохожие друг на друга писатели — Томас Манн, Горький, Ромен Роллан, Синклер Льюис, Фейхтвангер. Он мог бы засесть за работу и стать солидным, почитаемым всеми писателем. Но в нем жила вечная неуспокоенность. Солдатом революции он не стал, да и не мог стать, но продолжал партизанить; совесть оказалась сильнее привязанности к тысячам мелочей легкой и беззаботной жизни.

Он был очень сложным человеком; не будь у него редкого обаяния, наверно, он восстановил бы против себя всех; но противники неожиданно смягчились. Один очень придирчивый критик при мне говорил: «Но ведь это — Толлер! Что с него требовать?…»

Помню путаный и хороший разговор в Кордове. Перед этим мы долго бродили по городу; местный урбанист нам объяснял, что извилистые улицы старой Кордовы были запланированы опытными архитекторами — арабами и евреями: даже в июльский полдень на одной стороне улиц обязательно тень. Наш разговор начался с этого. Толлер восхищался: «Они думали о простых пешеходах!» Потом мы заговорили об отношениях между человеком и обществом. Толлер усмехнулся: «Я написал об этом несколько слабых пьес. Может быть, я и не драматург, но меня тянет к театру — иллюзия действия… Репутацию создать легко. Ибсен это замечательно показал: «Враг народа» — честнейший человек… Но сколько честолюбцев, эгоистов, пустышек кричат о «правах личности»! Они путают карты… Нужно бороться за такое общество, где у каждого человека право и на солнце и на тень… Благодетели все предписывают оптом — солнце так солнце, тень так тень… Я видел, как власть, даже эфемерная, деформирует человека…» Он рассказывал смешные истории о своем прошлом, о немецких писателях и вдруг помрачнел: «Боюсь, что победят нацисты. Вы знаете, что это значит? Война…» Он вспомнил книгу о ласточках, которую написал в тюрьме: «Нет, я не о моих стихах. Но вы помните письмо рабочего, каменщика? Начальник тюрьмы отдал приказ уничтожить ласточкины гнезда, и рабочий, сидевший в соседней камере, написал, что ласточки их вьют с трудом, они вообще честные и трудолюбивые птицы. Конечно, письмо не переубедило начальника тюрьмы. Это крохотная картина войны: уничтожение гнезд… Страшно подумать о

будущем!..»

В Испании он рассказал мне, что хочет написать пьесу: современный Дон Кихот и Санчо Панса в мире денег, спеси, тупости. Пьесы этой он не написал. Он говорил Фейхтвангеру, что работает над романом о Демосфене — человеке, который хочет отстоять культуру Эллады от варварства. Он не написал и романа. Его всегда лихорадило; он что-то начинал и бросал — слишком беспокойным было время, слишком отзывчивым сердце.

За границей Толлер постоянно защищал Советский Союз, даже когда ему что-либо у нас и не нравилось. У него были в Москве друзья, с ними он подолгу, откровенно беседовал. При последней встрече он сказал мне, что если есть у него надежда, то это — Москва.

В книге о своей юности, написанной в 1933 году — после прихода Гитлера к власти, — Толлер писал о своей любви к Германии; его признания сродни признаниям Тувима: «Разве я не люблю эту страну? Разве среди пышных ландшафтов средиземноморского побережья я не тосковал по скупым песчаным лесам с сосной, по тихим, затерянным озерам германского севера? Разве не захватывали меня в детские годы стихи Гёте и Гельдерлина?… Немецкий язык — разве он не мой язык, язык, на котором я думаю и чувствую, не часть моего существа, не родина, вскормившая и вырастившая меня?… Во всех странах поднимают голову слепой национализм и смешное расовое высокомерие. Неужели я дам увлечь себя психозу наших дней?… Слова «я горжусь тем, что я — немец» или «я горжусь тем, что я — еврей» кажутся мне такими же бессмысленными, как если бы человек сказал: «Я горжусь тем, что у меня карие глаза…»

Нет, он не поддался безумию эпохи: остался подлинным интернационалистом. Незадолго до трагической развязки, больной, отчаявшийся, он с каким-то исступлением собирал деньги на голодавших детей Испании, вырывал фунты или доллары у людей себялюбивых, равнодушных, собрал за короткий срок свыше миллиона долларов. Даже черствые люди мягчели, когда с ними говорил Толлер, — от него исходило добро.

Незадолго до начала испанской войны, в июне 1936 года, я был в Лондоне на собрании комитета Антифашистского объединения писателей. Толлер повел меня после заседания к себе; он жил в маленьком домике на окраине города. Как всегда, он был занят множеством неотложных и кропотливых дел, как всегда, окружен людьми и одинок, еще более одинок, чем в камере тюрьмы, — в этом он мне признался сразу. Я нашел его осунувшимся, помрачневшим. Его раздражало пренебрежительное, как ему казалось, отношение англичан и

французов к немецкой эмиграции. Газеты писали о Гитлере если не благожелательно, то сдержанно, и Толлер сердито отчеркивал красным карандашом статьи, потом швырял газеты на пол. Он вдруг по-детски пожаловался, что в Лондоне очень холодно зимой, нельзя согреться, помню его слова: «Теперь на дворе зима длиннее, чем в Москве, длиннее, чем в Лапландии, — на десять или двадцать лет. Люди с крепкими корнями выдержат. А другие вымерзают один за другим…»

Толлер продержался еще три года. Я видел его в последний раз в Париже. На минуту мне показалось, что он выглядит лучше; он пробовал даже шутить. Тогда-то он и собирал деньги на испанских детей. Когда мы прощались, он спросил меня: «Вы спите без снотворного?… Ужасно ночью — все видишь острее, чем днем… Ну, ладно… Скоро, наверно, увидимся. Я решил оставить Америку — слишком далеко, там нельзя даже заикнуться о том, что происходит на свете, — удивляются, рекомендуют невропатолога… До свидания!..»

Мы больше не встретились. Весной 1939 года в Нью-Йорке был конгресс пен-клубов. На парадном обеде Толлер попытался растревожить всех, напомнил о судьбе Мюзама. Осецкого, Тухольского. Несколько дней спустя, 22 мая, он повесился в ванной комнате гостиницы.

Я вспоминаю Толлера и тихо улыбаюсь; добрый человек, друг, поэт, не только в книгах — в жизни. Я люблю его книгу стихов, написанную в тюрьме «Книгу ласточек».

Строители готических соборов,
гордитесь вы. Дробили камень бедняки.
и стеклодувы, полные тоски,
скрывали солнце горечью узоров,
и колокола отливали медью,
и к небу рвался свод, чтоб умереть, —
вы посвящали ваши камни смерти.
А ласточки, роняя свист и вздох,
из глины строят, прутиков, соломы
и жизни посвящают те хоромы —
земное счастье, теплое гнездо.

Толлер сам походил на ласточку, может быть на ту «одну», что прилетает слишком рано и не делает весны.

29

В 1931 году я дважды побывал в Берлине — в начале года и осенью. Ничего исключительного тогда не происходило; во главе правительства стоял умеренный католик Брюнинг; несмотря на кризис, жизнь внешне текла по-прежнему. Однако в моей памяти эти поездки остались сном нелепым и вместе с тем полным значения, который, проснувшись среди ночи, тщетно пытаешься распутать. Мне трудно связно рассказать о Берлине 1931 года; будет честнее, если я попытаюсь восстановить отдельные разрозненные картины, сами по себе не столь примечательные, но запомнившиеся; они объяснят, почему я рассказываю о тех поездках.

В купе сидит немолодой немец с выбритым затылком и стоячим воротничком; он читает пухлую газету. Я уже знаю, что он — коммивояжер, продает какие-то усовершенствованные блокноты. Я его спрашиваю, когда мы должны приехать в Берлин. Он достает из портфеля расписание: «В одиннадцать часов тридцать минут тридцать секунд». Потом он снова берет газету и тихо, бесстрастно говорит: «Это конец… Конец абсолютно всего…»

Издатель радикального журнала «Нейес тагебух» Шварцшильде угощает писателей ужином. Все как полагается: различные бокалы из хрусталя, хорошее вино, цветы, разговоры о последнем романе Фейхтвангера, о моратории Гувера, о коварных свойствах рейнских вин. Вдруг хозяин говорит, точь-в-точь как коммивояжер: «А знаете, скоро все кончится…»

Показывают фильм «На Западе без перемен» — по роману Ремарка. Нацисты возмущены: «Немецкие солдаты умирали молча, а герой фильма кричит, как поляк. Это клевета!..» Я уже видел этот фильм в Лондоне, но приятель уговаривает: «Сегодня нацисты собираются дать битву. Их встретят как надо…» Мы смотрим. Вдруг раздаются истерические крики. Зажгли свет. Никто никого не бьет; крики, Однако, продолжаются. Публика уходит. Оказывается, нацисты выпустили в зале сотню мышей.

Владелец табачной фабрики говорит мне: «Я не знаю, кто победит — нацисты или ваши друзья. В общем, мне все равно — я давно перевел деньги в Цюрих. Я теперь увлекаюсь Ганди. Мне нравится Толстой. Но это не ко времени. Немцы хотят диктатуры, величия, а что внутри — не важно. Когда вы покупаете коробку моих сигарет, вы платите больше половины за упаковку… Гугенберг дает деньги на пропаганду против капитализма. Фарс? Нет, он знает немецкий характер… В Цюрихе я открыл маленькое

отделение… Там хороший воздух, спокойно. Ромен Роллан писал о Ганди в Швейцарии, я его понимаю…»

Я провел несколько вечеров с Рудольфом (фамилию его я забыл). Это сотрудник «Роте Фане», который прекрасно знает северные районы Берлина; он мне многое показал. Рудольф — сын таможенного чиновника-монархиста; был студентом, не доучился; жена его бросила. Политикой он увлекся еще в 1919 году — подростком; рассказал мне, как он повалил здоровенного нахала, который хотел перекричать Карла Либкнехта. Рудольф очень высокий, сухой, с большим кадыком и голубыми мягкими глазами. Говорит он газетными фразами, все время вставляет «возьмем факты», но меня трогает его голос: он верит в то, что говорит.

Рудольф мне объясняет: «Возьмем факты — семь миллионов безработных! Капитализм разваливается у всех на глазах. Все понимают, что их песенка спета. Ты знаешь, о чем они теперь мечтают? Познакомиться с сотрудником вашего торгпредства. Может быть, Москва что-нибудь купит… Вообще Москва в центре внимания. Ты видал, сколько переводов с русского? Вчера я с трудом купил билет на «Путевку в жизнь». Публика архибуржуазная, понятно — у рабочих нет денег. Эмиль Людвиг через две недели едет в Москву — решил написать книгу о Сталине. Мне поручили анкету, я разговаривал с писателями, все идут к нам — Эрнст Глезер, Пливье, Оскар Мария Граф. Возьмем факты: в прошлом году мы собрали четыре миллиона шестьсот тысяч голосов, нацисты — шесть миллионов четыреста. Но сколько из голосовавших за них в решающую минуту пойдут за нами? Три четверти. Это ведь рабочие, они голосуют за нацистов потому, что ненавидят капитализм. Хорошо, что наше руководство учло настроения масс. Мы теперь выступаем с программой национального освобождения Германии. Рабочие-нацисты начинают к нам прислушиваться. Есть, конечно, оголтелые, но я убежден, что здоровый инстинкт победит. Нет, теперь не 1919-й! Когда ты снова приедешь в Берлин, ты увидишь другую Германию…»

Оскар Мария Граф толст, благодушен; у него наивные глаза ребенка. Он слушает споры и молчит. Мария Гресхснер познакомила меня с новым автором «Малика»; зовут его Домеля. Он выдавал себя за принца Гогенцоллерна, попал в тюрьму и написал обо всем этом книгу. Мария рассказывает, каким успехом пользуется книга «Фальшивый принц». Автор посмеивается. Он словоохотлив — ему нравятся литература, революция и мужчины, к женщинам он равнодушен…

Курфюрстендамм сияет; здесь не скажешь, что на дворе

кризис. В витринах магазинов изысканнейшие вещи. Дорогие рестораны и кафе переполнены. Писатель Вальтер Меринг, печальный шутник, повел меня в ресторан «Какаду». Столики под пальмами. Попугаи бодро роняют помет на тарелки. Снобы довольны: им кажется, что они на Таити. Заметив мое смущение, Меринг смеется: «Теперь вы видите, что немцы сошли с ума? Можете не есть, мы пообедаем в обыкновенном ресторане… Попугаи — это мелочь. Я думаю о том, как на нас посыплются бомбы… Но что можно сделать? Бьют стекла, пачкают стены, и это не босяки, это философы, каждый громила ссылается на Ницше. Попугаи тоже философы». Кругом нас говорят о делах, о театральных премьерах, о светских скандалах, о чем угодно, только не о политике. Меринг стучит ножиком о стакан — нора уходить; и попугай старческим голосом раздраженно повторяет: «Счет! Счет!»

Случайно я встретил левого журналиста, с которым познакомился четыре года назад на съемках «Жанны Ней». Тогда он зло высмеивал националистов, называл Гутенберга «глупым мамонтом». Он пошел в гору: заведует литературным отделом большой газеты; постарел, прихрамывает. Заговариваем о политике. «Все не так просто. Мы многого недооценили… Конечно, среди нацистов имеются темные элементы, но в целом это здоровое явление…» Мой приятель потом рассказывает, что у журналиста неприятности: в нацистской газете была заметка, где говорилось о его прошлом он не случайно клеветал на Людендорфа, его мать еврейка и у него больные ноги, а это верный признак еврейского происхождения. Журналист теперь занят генеалогией: собирает документы, подтверждающие чистокровность всех его предков.

Северная часть города не похожа на Курфюрстендамм: здесь кризис виден на домах, на одежде людей, на лицах. Дуют холодные ветры с Балтики; приближается зима. Много бездомных; они спят к различных ночлежках, некоторые на улице; последнее запрещено, но есть глухие аллеи Тиргартена, пустыри, подвалы. Большая витрина закусочной возле Александерплац; выставлены различные яства — картошка с салом, колбасы, свиная нога. («Колоссально! Всего пятьдесят пять пфеннигов!») Люди подолгу стоят у витрины, смотрят. Некоторые входят и что-то быстро проглатывают.

Один безработный рассказал мне, что получает пособие — девять марок в месяц. К счастью, он одинок. Койка в ночлежке стоит пятьдесят пфеннигов; приходится большей частью ночевать на улице. «У нацистов дают бесплатно суп с мясом, товарищи говорят, что там хорошо, но мне противно…»

Берлин стал эдемом международных педерастов: здесь ничего не стоит раздобыть привлекательного юношу. По вечерам в пассаже Унтер-ден-Линден, в Тиргартене, около Александерплац бродят молодые безработные; на многих короткие штанишки; они стараются кокетливо улыбаться. Платят им одну-две марки. Я разговорился и закусочной с одним из этих парней. Он рассказал, будто в Берлине живет принц Гогенцоллерн, не фальшивый, а настоящий. Увидев юношу, который ему нравится, он его бьет хлыстом, а избив, дает десять марок. Возле дома, где живет принц, бродят юноши — ждут счастья…

Я пошел на собрание нацистов; происходило оно в пивной. Глаза ел дым дешевых сигар. Какой-то нацист, размахивая большими руками, долго кричал, что немцам надоело голодать, что хорошо живут только евреи, что союзники ограбили Германию, нужно расколотить французов и поляков. В России тоже хозяйничают евреи, — значит, придется всыпать и русским. Гитлер покажет миру, что такое немецкий социализм… Я разглядываю посетителей. Одни пьют пиво, другие сидят перед пустыми столами. Много рабочих, и от этого нестерпимо больно. Конечно, я знал и прежде, что среди нацистов немало рабочих, но одно дело прочитать об этом в газете, другое — увидеть. Разве скажешь, что этот пожилой рабочий — фашист? Хорошее печальное лицо, видно, что ему не сладко. А тот, молодой, похож на товарища, которому Рудольф поручил раздать листовки…

Штаб нацистов — в пивной «Берлинер киндль». На соседней улице другая пивная; там собираются коммунисты. Меня туда привел Рудольф. Протертые бархатные диваны, на стенах оленьи рога; обыкновенная пивнушка…

Я шел с Рудольфом по глухой улице Нордена. Он что-то досказывал: «Возьмем факты…» Вдруг раздались выстрелы. Рудольф подбежал, крикнул: «Вебер!..» Нацисты застрелили рабочего-коммуниста. Потом не спеша пришел полицейский. Вызвали машину. Долго составляли протокол; я стоял в стороне — ждал Рудольфа. Прибежала старая женщина, громко плакала. Ночь была темной; ветер срывал кепки, последние листья деревьев.

Я вернулся в Париж мрачный: буря надвигалась. В газетной статье я писал: «Капитализм слишком долго, слишком отвратительно разлагается. Гангрена успела поразить живые части тела… Редко история знавала трагедию, равную трагедии германского пролетариата. Сжав зубы от отвращения, он отливал пушки и умирал под Верденом. Женщины рожали дегенератов, слепых, слабоумных. Когда он потребовал права на жизнь, его сумели разъединить, стиснуть… Рабочих снова приучили к нужде

и безысходности. Увидав, что они больше не верят социал-демократическим полицейским, из них стали вербовать фашистских погромщиков. Осквернили не только их тело — их душу. Расплата отодвинута, но эта расплата будет жестокой — история умеет мстить».

30

Четверть века назад в «Книге для взрослых» я писал: «В 1931-м мне исполнилось сорок лет. Этот год показался мне обычным. Теперь я вижу, что он позволил мне жить дальше… Это было приготовительным классом новой школы, в нее я записался на пятом десятке».

Я рассказал об Испании и о поездках в Берлин, о долгих блужданиях по северным районам Парижа с фотоаппаратом. Могу добавить, что побывал в Праге, в Вене, в Швейцарии, был на заседании Лиги наций, глядел на Бриана, который то и дело опускал свои мясистые тяжелые веки, слушал спор между немецким министром Курциусом и поляком Залесским. Все говорили о разоружении, и все понимали, что дело идет к войне.

Люба сняла маленькую квартиру на улице Котантен. Квартира была на первом этаже, и два наших пса не должны были проходить мимо консьержки, а хитрец Бузу научился выпрыгивать один на улицу. Мы перед этим пошли в воскресенье на улицу Котантен и восхитились тишиной. А переехав, мы ужаснулись: ночью да и рано утром по улице непрерывной цепью двигались грузовики: везли с товарной станции Вожирар, где я в годы войны работал, бидоны с молоком. Впрочем, люди ко всему привыкают, и вскоре мы не слышали ни грохота, ни звона.

В начале года я кончил книгу о кинопромышленности «Фабрика снов». Словом, год был, как я писал, скорее обычным. Однако он действительно многое изменил в моем отношении к людям и к жизни.

Передышка, подаренная мне, как и всем людям моего поколения, подходила к концу. Еще не было бурь, но штиль уже казался неестественным. Друзья, приезжавшие из Советского Союза, рассказывали о раскулачивании, о трудностях, связанных с коллективизацией, о голоде на Украине. После поездок в Берлин я понял, что фашизм наступает и что его противники разъединены. Экономический кризис продолжал обостряться. Лишения, унижения, голод не всегда способствуют разумным решениям: фашисты вербовали в свои отряды не только обнищавших лавочников или хорохорившихся подростков, но и отчаявшихся, сбитых с толку безработных.

Я недаром занимался королями нефти, стали или спичек: я знал, что, будучи более или менее просвещенными и брезгая общением с фашистами, они обильно снабжают различные фашистские организации деньгами. Страх перед революцией оказался сильнее не только унаследованного свободомыслия, но

и простого благоразумия. В Нюрнберге судили маньяков, а виновата была вся правящая верхушка общества. Может быть, некоторые из тех, кто потакал фашистам, поддерживал их, потом и плакали над сожженными книгами, расщепленными городами, погибшими близкими. Фашизм пытались выдать за приблудного незнакомца, случайно затесавшегося в благопристойные, цивилизованные страны. А у фашизма были щедрые дядюшки, любвеобильные тетушки, некоторые из них здравствуют и поныне.

Бой был неминуем: дипломаты знают зоны разъединения, нейтральные или буферные государства; а я понимал, что между нами и фашистами нет даже узенькой полоски «ничьей земли».

Возможно, что в прошлом бывали эпохи, когда художник мог отстаивать человеческое достоинство, не расставаясь ни на час с искусством. Наше время требовало от любого человека не вдохновенного костра, а повседневных жертв или отречений.

Бог ты мой, сколько раз в жизни я отвечал на стандартные вопросы анкет! Теперь я хочу рассказать не о поступках, не о поездках, даже не о книгах, а о себе. До сорока лет я не мог найти себя — петлял, метался.

Вероятно, я не прав, относя все к характеру эпохи. Я ведь встречал писателей, которые целиком выражали свои мысли, чаяния, страсти в книгах, — Томаса Манна, Джойса, Вячеслава Иванова, Валери. Конечно, они многим в жизни увлекались, от многого отшатывались, но орудиями действия для них были романы или стихи. Таким был и Бальзак, хотя он мечтал стать депутатом, писал политические памфлеты, разрабатывал проекты финансовых операций, чтобы освободиться от вечных долгов: все это оставалось зыбью на поверхности, загорался он, только говоря о героях своих романов. А для его современника Стендаля литература была одной из возможных форм участия в жизни, он воевал, увлекался политикой, страстно влюблялся, жил не для того, чтобы лучше узнать страсти других, а для того, чтобы жить.

По-разному бывают скроены не только великие, но и малые писатели. После «Хулио Хуренито» я стал профессиональным литератором. Писал я очень много; сейчас подсчитал, и даже неловко признаться: с 1922 по 1931 год я написал девятнадцать книг. Поспешность диктовалась не честолюбием, а смятением; изводя бумагу, я изводил самого себя.

Никогда меня не удовлетворяло созерцание, мне хотелось не только размышлять над судьбами вымышленных персонажей, но и самому походить на них. А между тем в то десятилетие, которому посвящена третья часть моей книги, я слишком часто оказывался в роли если не наблюдателя, то болельщика.

В 1931 году я почувствовал, что я не в ладах с самим собой. Я задумался над недавним прошлым и, пока ночные грузовики грохотали, звенели, настойчиво спрашивал себя, как мне дальше жить.

Может показаться странным, что такие вопросы ставил себе не зеленый юноша, который, оборванный и голодный, блуждая по парижским улицам, писал стихи о светопреставлении, да и не тот, растерянный, но вместе с тем задорный молодой интеллигент, которого А. Н. Толстой называл «мексиканским каторжником» и который рассказывал девушкам похождения еще не написанного «Хуренито», а сорокалетний литератор, начинавший седеть. Но я уже говорил, что в нашу эпоху, когда события разворачиваются с ошеломляющей быстротой, многие люди складываются медленно. Герцену было сорок лет, когда он сел за «Былое и думы» и начал подводить итоги своей жизни: он никогда не глядел на события из зрительного зала, был актером всех трагедий, которые шли в его время.

Может быть, столь длительные поиски себя объяснялись и тем, что я жил в двух различных мирах, молодость провел в Париже, к началу революции мои вкусы, привязанности, отталкивания успели сложиться. Может быть, сказался и характер: я всегда испытывал необходимость проверить то, что многим казалось таблицей умножения.

Конечно, если говорить о пути писателя, я не изменился за один год. В предисловиях к моим книгам в двадцатые годы неизменно указывалось, что, хотя я «опустошенный циник» и «нигилист», меня стоит издавать, потому что я хорошо изображаю «гниение капиталистического мира». В «Хуренито» я действительно искренне высмеивал клерикалов и радикалов, фанатичных коммунистов и ручных социалистов, французских жуиров и русских интеллигентов с их угрызениями совести; но мало-помалу я начал отходить от такого подхода к людям. Вероятно, в этом сказался возраст: исчезла жесткость, свойственная молодости. Мне становилось все труднее и труднее жить одним отрицанием: хотелось найти за глупыми или дурными поступками людей нечто настоящее, человеческое. (Это редко мне удавалось, но я ведь говорю не о литературных достоинствах, а о своих намерениях.)

Однако главным для меня в 1931 году был не подход к персонажам романов. Я мало думал о том, как написать следующую книгу; я спрашивал себя, как мне дальше жить, чтобы годы были не пометками на полях жизни, а самой жизнью.

Каждый человек особенно близко принимает к сердцу те вопросы, которые относятся к его работе, и, конечно же, меня

волновали судьбы литературы, искусства. Маяковского больше не было. Громче других раздавались голоса рапповцев. Выставки были заполнены огромными полотнами ахрровцев. Эпоха дерзаний и чудачеств была позади.

Революция приобщила к культуре народ, и естественно, что люди, впервые бравшие в руки роман или впервые приходившие на выставку, не очень разбирались в мастерстве; порой подделка под искусство их восхищала. Новых читателей, зрителей можно было воспитывать, можно было и льстить им, говорить, что они — высший суд. Льстецы, разумеется, нашлись.

Стихотворцы сочиняли стихи на случай. Литературная энциклопедия объясняла, что путь идет к производственному роману, который заменит все прочие жанры. Намечался тот стиль, который господствовал в течение четверти века: стиль украшательской архитектуры, тех станций метро, где тесно от статуй; неустанных славословий и сатиры, скромно обличающей нерадивого управдома или подвыпившего эстрадника. Конечно, в 1931 году все это было еще в эмбриональном состоянии. Однако уже появились первые портреты и статуи человека, который, может быть, тогда и не догадывался, что он станет не только объектом, но и создателем «культа личности». Все это сопровождалось тщательным упрощением; та же Литературная энциклопедия писала, что «Гамлеты бесполезны массе» и что пролетариат «бросает Дон Кихота в мусорную яму истории».

В начале 1932 года я написал неудачную повесть «Москва слезам не верит». Один из ее героев, советский художник, в прошлом участник гражданской войны, прочитал в московской газете заметку о выставке живописи, подписанную инициалами О. В.: «Пейзажи Чужакова показывают, что он окончательно оторвался от масс. Это типичное искусство деклассированного отщепенца, которое нужно десяти — двадцати дегенератам буржуазной богемы». Художник размышляет (и его мысли были мыслями автора повести): «Десяти — двадцати… Допустим… А вот «АХРР» — десяти тысячам?… Значит, прикажете халтурить?… Кстати, тот же Рембрандт, скольким он при жизни нравился?… А теперь экскурсантов загоняете — стой и просвещайся!.. Гражданин О. Б…Или, может быть, вы гражданка? Да я не об этом… Я ведь знаю — у вас все поделено: с бабой — как придется, а статейки пописываете — комар носу не подточит. Расход и приход — просят не смешивать. Картин вы, конечно, не пишете — отсталое это дело — и вообще порадовать никого не можете. Если вы — гражданин, сомневаюсь, можете ли вы порадовать гражданку О. Б. или Б. О. Впрочем, и не в этом суть. Послушаем чижей. Они поют как дегенераты. Оторвались,

скажете, от масс? А горловые связки? Ах, О. Б., они поют потому, что поется. Им веселее, и мне, а не хочешь, не слушай. Разве я настаиваю на моих картинах? Могу опять потесниться… Если вы, О. Б., высчитали, что мои картины не нужны, пожалуйста, могу, например, стены белить. Я ведь сговорчивый. Только на живописи не настаивайте. Это особая статья. Чижи поймут, а вам невозможно… Дураки думают — дважды два, всем по бифштексу, и никаких искусств. А искусство только тогда и начнется — после бифштекса, загрызет оно — не четыре, голубчик, а пять. Или двадцать пять… Пусть какой-то О. Б. и не понимает ни черта в живописи, пусть таких О. Б. тысячи, миллионы — что же, тогда надо расстаться с кистями. Найду для себя другое дело — по времени. Проживем и без картин. А пройдет десять лет… Ну, не десять — сто — какая разница? — тогда поймут…»

Помню длинный разговор с молодой француженкой, актрисой Дениз. Мы говорили о гастролях Мейерхольда, о портрете бабушки Дениз, писательницы Северин, написанном Ренуаром, о стихах Десноса, об искусстве: ничего не поделаешь — рыбе нужна вода… И вдруг я признался: «Все это так, Дениз, но сейчас дело не в искусстве… Десять лет назад я доказывал, что искусство умирает, мы тогда верили, что старые формы износились — романы, станковая живопись, рампа. Все это было вздором. Теперь начинается реакция… Но можно не писать романов… Я все давно выбрал… Да я и не выбирал — выбора нет…»

Я о многом думал по ночам: о гуманизме, о цели и средствах. Не дурные картины меня тревожили, да и вообще искусство было только частицей в загадках завтрашнего дня, — речь шла не о художественном направлении, а о судьбе человека.

В библиотеке можно не брать книгу, которая не по душе, можно взять по ошибке и вернуть, не прочитав. А жизнь не библиотека… В 1931 году я понял, что судьба солдата не судьба мечтателя и что нужно занять свое место в боевом порядке. Я не отказывался от того, что мне было дорого, ни от чего не отрекался, но знал: придется жить сжав зубы, научиться одной из самых трудных наук — молчанию. Критики, которые обо мне писали, указывали на 1933 год как на дату поворота: они знали книгу «День второй». А я знаю, почему я поехал в Кузнецк, — все было додумано в 1931 году, не перед котлованами строек, а на улице Котантен, под ночное звякание бидонов…

31

Весной 1932 года в Париж приехали драматурги В. М. Киршон и А. Н. Афиногенов. Я их водил по Парижу и рассказывал о достопримечательностях города. Они, в свою очередь, меня посвящали в достопримечательности нашей литературы. Оба были окрылены успехом: в десятках театров шли «Хлеб» Киршона и «Страх» Афиногенова. Однако больше, чем своими произведениями, они гордились победами РАППа. По их словам, РАПП объединил всех «настоящих» советских писателей. Киршон повторял: «Мы столбовая дорога нашей литературы». (Я не знал тогда, что это выражение принадлежало А. А. Фадееву.) Александр Николаевич Афиногенов был очень высоким, скромным, он улыбался и поддакивал словам Киршона. Владимир Михайлович проповедовал, обличал, саркастически усмехался. Он сказал мне: «Пора вам пересмотреть свои позиции…» Я признался, что свои позиции пересмотрел. «Тогда напишите заявление — вступайте в РАПП». Я ответил, что литературные принципы рапповцев меня мало увлекают и что по столбовым дорогам люди ездят — раньше их везли лошади, теперь — моторы, а писатели по своей природе пешеходы, каждый может идти к общей цели своим путем. Афиногенов улыбнулся: «Оставь его! Может быть, он и прав…»

Мы сидели на камнях старых арен Лютеции. День был жаркий, и, несмотря на утренний час, мы забрались в тень. Я развернул газету: «Телеграмма из Москвы — распустили РАПП…» Мне это сообщение показалось несущественным, ведь сколько раз менялись вывески различных писательских организаций; да и вообще меня интересовала литература, а не литература о литературе, я тогда еще не знал, что такое «оргвыводы». Киршон вскочил: «Не может быть! Выдумки! Какая это газета?…» Я ответил: «Юманите». Мы собирались посмотреть рабочие районы; но Киршон сказал, что им нужно в посольство. Через день или два они уехали в Москву, хотя рассчитывали остаться дольше.

Я понял, что ликвидация РАППа — дело серьезное, и приободрился: может быть, и впрямь в Москве поняли, что шоссе нужно прокладывать для автотранспорта, а писателям предоставить право идти каждому своей писательской тропинкой?…

Однако передо мною стоял вопрос: как подойти ближе к жизни, к действию, к борьбе?

В мае ко мне неожиданно пришел сотрудник «Известий» С. А. Раевский; он сказал, что главный редактор и П. Л. Лапинский, с

которым я часто встречался в годы войны, предлагают мне стать постоянным парижским корреспондентом газеты, У «Известий» имелся корреспондент — Садуль, бывший в 1917 году членом французской военной миссии в России и перешедший на сторону революции. Стефан Александрович сказал, что Садуль останется на своем посту; но он — француз и недостаточно знает советских читателей. Я должен писать очерки и, если события потребуют, передавать по телеграфу информацию.

Предложение застало меня врасплох: я слишком долго жил не связанный никакой регулярной работой, привык располагать своим временем. Конечно, журналистика меня привлекала: хотелось делать нечто живое; но я боялся, что не справлюсь.

Я пошел к нашему послу В. С. Довгалевскому, с которым у меня установились дружеские отношения. Это был человек добрый, участливый; разговаривая с ним, я забывал, что он — официальное лицо, посол, а я писатель, не то «правый попутчик», не то «прогнивший циник». Валериан Савельевич превосходно знал Францию; старый большевик, он был политэмигрантом, учился в Тулузе. Французы его ценили; не раз я встречал в посольстве Эррио, который приезжал поговорить с Довгалевским, иногда и посоветоваться. (Умер Довгалевский в сорок девять лет от рака. Я тогда горевал, а после не раз думал, что смерть оградила его от многих испытаний.) Валериан Савельевич уже знал о предложении «Известий» и сразу сказал: «Очень хорошо, здесь и думать не о чем…» Уговорить меня было нетрудно: я ведь мечтал ринуться в бой.

Около восьми лет я исполнял обязанности корреспондента «Известий» — в Париже, потом в Испании, снова в Париже — вплоть до германо-советского пакта; написал сотни очерков и статей, посылал информацию; порой заметки шли без подписи, порой я подписывал их псевдонимами. Я научился писать на машинке латинскими буквами для телеграфа; хрипел и терял голос, диктуя статьи по телефону. К рассказам о газетной работе мне придется вернуться еще не раз; теперь я только хочу сказать, что вспоминаю ее с благодарностью; конечно, она отняла много времени, но позволила многое увидеть, узнать различных людей. Да и для писательского ремесла она была хорошей школой; я научился писать коротко — приходилось все время думать, как сэкономить расходы газеты: письма шли долго, почти все статьи я передавал по телефону или по телеграфу. (Сжатость, короткие фразы привлекали меня и прежде. Мне хотелось писать, как я думал, — без придаточных предложений. Критики меня ругали за «телеграфный стиль», а я считал, что такая речь отвечает не только моим чувствам, но и ритму времени.)

Почти никого не осталось в живых из моих товарищей по работе в «Известиях»… В годы войны, в седьмом отделе одной из армий, меня поразил голос женщины — старшего лейтенанта: он мне показался хорошо знакомым, а лицо было чужим. Мы разговорились. Старший лейтенант работала стенографисткой в «Известиях», когда я ежедневно передавал статьи или сообщения из осажденного Мадрида. Слышимость была плохая, стенографистка то и дело просила: «Не слышно… по буквам…» Я кричал «Борис, Ольга, Иван…» Иногда со мной хотел поговорить заведующий иностранным отделом, и стенографистка, чтобы нас не разъединили, говорила: «В Москве чудесная погода» или «Ваша дочь вам передает привет». Все это шло под аккомпанемент артиллерии. И вот я встретил знакомую незнакомку, с милым, задушевным голосом, возле Брянска, когда шел артиллерийский бой…

Вернусь к 1932 году. Я начал хлопотать о том, чтобы французские власти меня признали как корреспондента «Известий». Меня вызвали в министерство иностранных дел. Я думал, что со мной хотят разговаривать сотрудники, которым поручена связь с иностранной прессой; но меня отослали в знакомый мне по визовым мытарствам «контроль иностранцев». Там работали не дипломаты, а полицейские, и разговаривали они отнюдь не вежливо. Я увидел на столе огромную папку, на которой значилось: «Илья Эренбург». Чиновник поспешил мне объяснить, что я известен ему с плохой стороны, что корреспондент большевистской газеты будет находиться под особым наблюдением и что при любой попытке нарушить правила я буду выслан из Франции.

Месяца два спустя мне довелось беседовать уже не с полицейскими, помещавшимися в здании министерства иностранных дел, а с настоящими дипломатами. Было это в Москве: меня пригласил на завтрак французский посол Дежан. Среди гостей оказался атташе польского посольства. Дежан посадил рядом с собой Любу и вел с нею вполне мирные разговоры о достоинствах различных французских сыров. А советник посольства (не помню его фамилии) начал меня расспрашивать, что я видел во время моей поездки (я перед этим ездил в Бобрики). Моим рассказом он остался явно недоволен: «Вы отвечаете официально, а мы хотели бы поговорить откровенно. Ведь все знают, что пятилетка провалилась…» Польский атташе подхватил: «Особенно строительство в Бобриках…» Я рассердился: где же дипломатическая вежливость — пригласить на завтраки вести провокационные разговоры! Я даже не мог оценить вина или сыры. Кофе мы пили в соседнем

салоне. Советник посольства неожиданно раскрыл том Малой советской энциклопедии и торжествующе начал читать (по слогам, не вполне разборчиво), что там написано про меня. Вспомнив этот эпизод, я теперь раздобыл книгу, вот короткая цитата: «Вскормленный деклассированной богемой, Эренбург остроумно высмеивает западный капитализм и буржуазию, но не верит в творческие силы пролетариата. Утверждая бессилие научно-социалистической планировки жизни перед лицом стихийного биологического начала человека и пророча бессилие коммунистических планов перед лицом стихии собственничества, Эренбург выступил как один из наиболее ярких представителей новобуржуазного крыла литературы». Статья была подписана одним из руководителей покойного РАППа.

Я вдруг понял, почему советник посольства рассчитывал, что я буду ему рассказывать о провале строительства, понял и засмеялся. Я не стал объяснять, что автор заметки — рапповец и что РАПП недавно распущен: для французов энциклопедический словарь — это справочник: написано, что Жоффр выиграл битву на Марне, что корова жвачное животное, что Анатоль Франс обладал превосходным стилем, а также иронией, — и все это бесспорно, по крайней мере, на жизнь одного поколения. Советник, прочитав, что я — представитель новобуржуазной литературы, решил, что представителю старобуржуазной дипломатии легко со мной сговориться. Как же ему было понять, что энциклопедический словарь пересматривает свои оценки от одного тома до другого?…

В 1932 году я думал, что ликвидирован не только РАПП, но и некоторый стиль литературной критики. Это было наивным, особенно для автора «Хуренито», вступившего в пятый десяток. Вскоре я понял, что ошибался: один из наших критиков написал, что в моих книгах «проступают искаженные тревогой черты классового врага», и называл меня «литературным приказчиком буржуазии». В 1934 году вышел очередной том уже не Малой, а Большой Советской Энциклопедии, и там я прочитал: «Эренбург — типичный выразитель настроений той буржуазной интеллигенции, которая пошла за идеологами «сменовеховства». Как я говорил, восприятия притупляются: в первый раз я растерялся, в десятый рассердился, в сотый примелькавшиеся этикетки оставили меня равнодушным. Я понял, что беспорядочный огонь — одна из особенностей той войны, которая не вчера началась и не завтра кончится: артиллерия частенько бьет по своим. Это, конечно, нехорошо, но ничего тут не поделаешь; от снаряда человек может погибнуть, от обиды он только каменеет; своих убеждений от обиды, даже самой горькой,

не переменишь и на сторону врага не перейдешь.

Я понял также, что дело не в моей путаной биографии, не в том, что я долго жил в Париже; столь же случайно, несправедливо, огульно поносили и некоторых других писателей, которые никогда не увлекались средневековьем, не были знакомы с Пикассо и проживали не на улице Котантен, а в московских переулках. Вот почему на Первом съезде советских писателей я мог с полной искренностью сказать: «Мне трудно себе представить путь писателя как ровное, гладкое, хорошее шоссе. Одно для меня бесспорно: я — рядовой советский писатель. Это — моя радость, это — моя гордость…»

32

В мае 1932 года Париж был потрясен неожиданным событием: некто Павел Горгулов, уроженец станицы Лабинской, среди бела дня застрелил президента Французской республики Поля Думера. Убийство было совершено накануне парламентских выборов, и правые газеты поспешили объявить, что Горгулов — большевик. Немедленно появился другой казак, по имени Лазарев, который подтвердил, что знает Горгулова, как чекиста, работавшего под кличкой «Монгол».

«Известия» поручили мне осветить судебное разбирательство. У меня еще не было карточки журналиста. Выручил меня Семен Борисович Членов, который со всеми был знаком. Председатель суда, один из крупнейших юристов Франции Дрейфус, разрешил мне присутствовать на процессе в качестве его гостя. Я прошел через служебный ход и сидел не в зале, а позади судей.

Вечером, когда я выходил из помещения суда, меня арестовали: я не мог показать документа, который оправдывал бы мое присутствие на процессе. Меня отвели в префектуру, там подвергли издевательскому допросу и заперли. Я злился: не успею послать телеграмму в газету! Действительно, освободили меня только ночью, и отчет появился в «Известиях» на день позже.

Процесс продолжался три дня; все происходившее казалось неправдоподобным и страшным сном. Я говорил, что некоторые пытались выдать Горгулова за советского агента: «Москва хотела повергнуть Францию в анархию». Имелась и другая версия: Горгулов — агент французской полиции, убийство было организовано для того, чтобы обеспечить успех правых на выборах и сорвать намечающиеся переговоры с Москвой. На самом деле все было проще и сложнее. Преступление было совершено исступленным, отчаявшимся эмигрантом, находившимся на грани безумия. Три дня я глядел на Горгулова, слушал его страстные и нелепые выкрики. Передо мною был человек, которого мог бы выдумать в часы бессонницы Достоевский.

Горгулов был высокого роста, крепок; когда он выкрикивал путаные, сбивчивые проклятия на малопонятном французском языке, присяжные, по виду нотариусы, лавочники, рантье, испуганно ежились.

Его поступок был прежде всего необъясним. В двадцатые годы Каверда убил советского посла Войкова, Конради — Воровского. Горгулов застрелил французского президента Думера, человека правых воззрений, притом семидесятипятилетнего старика.

Однако во всем этом была своя логика — ненависти и отчаяния.

На суде раскрылась биография убийцы. Он кончил в Праге медицинский факультет и работал по своей специальности в небольшом городке Моравии. Это было удачей — сколько русских эмигрантов стали чернорабочими или попросту нищенствовали. Но Горгулов был человеком, неспособным приладиться к скромному существованию в чужой стране. Повсюду ему виделись подвохи, унижения. Он считал, что чешские коллеги его затирают, начал пить, буянить, внес в быт чинного города разгул русского кабака.

Да и медицина его не увлекала. Еще в Ростовском университете он посещал литературный кружок. Он занялся поэзией. Одна немолодая, но экзальтированная чешка, с которой он случайно познакомился, поверила в его талант и дала деньги на издание книги. Горгулов выбрал многозначительный псевдоним — Бред. Я читал его книги; кажется, способности у него были, но работать он не умел, да и бредил неинтересно, повторно; его сочинения звучали как отголоски чего-то очень знакомого.

Одновременно он не расставался с политикой; вначале он считал себя социалистом, даже объяснял одному из министров Чехословакии, как отстоять демократию. Потом его увлек фашизм; он основал «национальную крестьянскую партию»; членов в ней не было, зато имелось красивое знамя — его вышили две русские танцовщицы, работавшие в ночном кабаре.

После нескольких скандалов чехи лишили Горгулова права врачебной практики, и он перекочевал в Париж; здесь он познакомился с Яковлевым, который торговал дамскими чулками и выпускал газету «Набат». Успехи Гитлера в те годы вдохновляли многих. Яковлев, Горгулов с десятком единомышленников по воскресеньям собирались в рабочем кафе Бильянкура, подымали руки вверх и кричали: «Русь, пробудись!»

Вскоре Горгулов рассорился с Яковлевым и выпустил программу новой партии. Он придумал также религию «натуризм», предлагал быть добрыми, любить природу. Одновременно он призывал вырезать всех коммунистов и евреев. Денег у него не было; он тайком лечил знакомых казаков, заболевших гонореей, и полученные за это франки тратил на издание то книги стихов, то политической листовки.

Он спрашивал себя, что ему делать дальше. Вот перечень его планов: переехать в Харбин, совершить на ракете межпланетное путешествие, убить Довгалевского, записаться в Иностранный легион, уехать в Бельгийское Конго, вступить в отряд гитлеровских штурмовиков, подыскать богатую невесту.

Французская полиция узнала, что Горгулов незаконно принимает пациентов; у него отобрали вид на жительство. Он уехал в Монако. Сначала он попробовал выиграть в рулетку. Потом решил, что необходимо освободить Россию от большевиков — другого выхода нет. Он писал писателю Куприну: «Я одинокий одичавший скиф…»

Он ненавидел французов за то, что они ведут переговоры с большевиками, а его, честного казака, верного союзника, выслали из Франции. Где-то он прочитал, что Колчака «предали французы». На стене его комнаты висел портрет Колчака. Горгулов написал на портрете две даты: день смерти русского адмирала и день предстоящей смерти французского президента.

Все последующее таково, что кажется действительно бредом. Горгулов приехал в Париж с двумя револьверами; пошел в собор, молился; потом выпил литр вина; опасаясь полиции — ведь у него нет вида на жительство, — выбрал третьеразрядную гостиницу, где сдают номера на ночь или на час, для отвода глаз взял с собой проститутку, вскоре ее отослал и всю ночь писал: проклинал коммунистов, чехов, евреев, французов. Потом вышел из гостиницы и убил Думера.

На него трудно было смотреть, он казался затравленным зверем. От него отрекались и Яковлев, и другие его единомышленники.

Помню страшную картину. Ночью, при тусклом свете запыленных люстр, судебный зал напоминал театральную постановку: парадные одеяния судей, черные тоги адвокатов, лицо подсудимого, зеленоватое, омертвевшее, — все казалось неестественным. Судья огласил приговор. Горгулов вскочил, сорвал с шеи воротничок, как будто торопился подставить голову под нож гильотины, и крикнул: «Франция мне отказала в виде на жительство!»

Я шел по ночной, пустой улице и думал о судьбе человека. Конечно, Горгулов не мог вызвать участия: скверная жизнь, дикое, бессмысленное преступление. Но я думал о том, что когда-то он был обыкновенным русским мальчонкой, играл на горячей пыльной улице в городки. Страшно, что перед смертью он не нашел других слов, кроме «вида на жительство» — будничной, житейской жалобы эмигранта! Почему он писал о любви к букашкам и хотел вырезать миллионы людей? Почему убил Думера? Почему должен был играть чужую роль в нелепой кровавой мелодраме? За три месяца до преступления он писал своему приятелю Яковлеву: «Во мне осталось только одно чувство — жажда мести». Он жил надеждой: «Только война спасет нас!» Я вспомнил, что Яковлев торгует женскими чулками… Под мирной

зыбью европейской жизни проходили страшные течения.

Процесс Горгулова был для меня психологическим введением в тяжелое десятилетие. Слово «война» становилось привычным. Люди повсюду начинали втягиваться в новое, недоброе дело. Запахло кровью.

33

Летом и осенью 1932 года я много колесил по Советскому Союзу; побывал на строительстве магистрали Москва — Донбасс, в Бобриках, ставших потом Сталиногорском, в Кузнецке, ставшем потом Сталинском, в Свердловске, в Новосибирске, в Томске. Время было необычайное; вторично шквал потряс нашу страну; но если первый — в годы гражданской войны — казался стихийным, был тесно связан с борьбой между различными классами, с гневом, ненавистью, тоской, то коллективизация и начало строительства тяжелой индустрии, разворотившие жизнь десятков миллионов, были определены планом, неотделимы от колонок цифр, подчинены не взрывам народных страстей, а железным законам необходимости.

Снова я увидел узловые станции, забитые людьми с пожитками; шло великое переселение. Орловские или пензенские крестьяне бросали деревни и пробивались на восток: им говорили, что там дают хлеб, воблу, даже сахар.

Комсомольцы, охваченные восторгом, отправлялись на Магнитку или в Кузнецк; они верили, что стоит построить заводы-гиганты — и на земле будет рай. В январские морозы железо жгло руки. Казалось, люди промерзли насквозь; не было ни песен, ни флагов, ни речей. Слово «энтузиазм», как многие другие, обесценено инфляцией; а к годам первой пятилетки другого слова не подберешь, именно энтузиазм вдохновлял молодежь на ежедневные и малоприметные подвиги.

Многие рабочие относились к заводам любовно; они звали домну «Домной Ивановной», мартеновскую печь — «дядей Мартыном». Я спросил одного втузовца, как он представляет себе Париж. Он ответил: «В центре, наверно, огромные заводы, а люди живут вокруг в больших домах, и сообщение хорошее — сотни трамваев…» Он пришел в Новосибирск из деревни, и ему казалось, что города растут вокруг заводов, однако он читал Гюго и спросил меня: «Где же там собор Богоматери?…»

Конечно, среди строителей были разные люди. Приезжали циники, авантюристы, летуны, они кочевали в поисках, как тогда говорили, длинного рубля. Крестьяне недоверчиво глядели на машины; когда рычаг отказывал, они сердились, как на упрямую лошадь, часто портили машины. Если одних подгоняли высокие чувства, то другие напрягались в надежде получить килограмм сахара или отрез на брюки.

Я увидел эшелоны спецпереселенцев — это были раскулаченные, их везли в Сибирь; они походили на погорельцев.

Плакали грудные дети, у матерей не было молока. Везли также подмосковных огородников, мелких спекулянтов с Сухаревки, сектантов, растратчиков.

В Ташкенте и в Рязани, в Тамбове и в Семипалатинске вербовщики набирали землекопов, мостовщиков, крестьян, убегавших после коллективизации из деревни.

Я попадал в деревни, где трудно было найти мужчину, — женщины, старики, дети. Многие избы были брошены. Женщины гудели, как растревоженный улей.

Томск был беден, запущен. Заборы разобрали на топливо; тротуаров не было. Люди побойчее уехали в Новосибирск, в Кузнецк. Лишенцы прятали от прохожих лампадки перед иконами. Чай пили без сахара. В буфете продавали славянскую воду и картонные коробки для конфет.

Бурно росли некоторые города. Заштатный Новониколаевск превратился в шумный Новосибирск. Дома напоминали выставочные павильоны. В ресторане при гостинице люди ночь напролет хлестали водку. Вокруг города пришельцы строили лачуги, рыли землянки; они торопились — впереди была суровая сибирская зима. Новые поселки называли «Нахаловками». Жители острили; «В Америке небоскребы, а у нас землескребы» — это было задолго до высотных зданий.

Жизнь была трудной; все говорили о пайках, о распределителях. В Томске черный хлеб походил на глину; я вспомнил двадцатый год. На рынке продавали крохотные замызганные кусочки сахара. Профессора между лекциями становились в очереди. Магазины «Торгсина» соблазняли мукой, сахаром, ботинками; но там нужно было расплачиваться золотом — обручальными кольцами, припрятанными царскими монетами. В Кузнецке приезжавшие сразу спрашивали: «Мясо дают?» Тифозный корпус больницы был переполнен: сыпняк снова косил людей. В Томске я видел, как жена профессора варила мыло. Все напоминало тыл войны, но тыл был фронтом: война шла повсюду.

Огромное полотно было написано двумя красками — розовой и черной; надежда жила рядом с отчаянием; энтузиазм и злоба, герои и летуны, просвещение и тьма — эпоха одним давала крылья, других убивала.

На строительстве магистрали Москва — Донбасс было собрание. Один землекоп, в бараньей шапке, с обветренным лицом, говорил: «Да мы во сто раз счастливее проклятых капиталистов! Они жрут, жрут и дохнут — сами не знают, для чего живут. Такой прогадает, смотришь — повесился на крюке. А мы знаем, для чего мы живем: мы строим коммунизм. На нас весь мир смотрит…» Я пошел с ним в столовую. При входе в барак

отбирали шапки; выдавали их, когда рабочие сдавали ложки. Шапки валялись грудой на земле; каждый долго разыскивал свою. Я попробовал объяснить заведующему, что это обидно, да и глупо — люди зря тратят время. Он посмотрел на меня пустыми глазами: «За ложки я отвечаю, а не вы».

В Кузнецке я встретил начальника цеха. Он рассказал, что восемь лет назад пас в деревне гусей. Его считали талантливым инженером. Он прочитал «Кара-Бугаз» Паустовского и с жаром говорил о стиле.

Я долго разыскивал в старом Кузнецке дом, где жил когда-то Достоевский, наконец нашел; женщины сердито ответили: «Нет здесь такого…» Школьники объяснили, что они знают много писателей: Пушкина, Горького, Демьяна Бедного, а Достоевского не проходили.

Крестьяне в селе возле Томска рассказывали: «Приехал один, говорит: «Кто хочет строить социализм, пожалуйста, иди добровольно в колхоз, а кто не хочет, пожалуйста, полное у него право. Только я скажу прямо: с такими у нас один разговор — душу вон, кишки на телефон». В той же деревне я познакомился с девушкой; она после работы читала «Цемент», говорила: «Очень трудно все понять, но я учусь. Я в город поеду. Теперь, если хочешь учиться, все тебе открыто. Такая я счастливая, что не скажешь!..»

По ухабам Новосибирска прыгали новенькие автомобили. В Кузнецк привезли изумительные машины. А строили завод-гигант чуть ли не руками. Были мощные экскаваторы, но я видел, как люди таскали землю на себе. Не хватало кранов, и один молодой рабочий сконструировал деревянный кран. Незадолго до моего приезда рухнули леса, люди упали в ветошку и задохлись. Их хоронили с воинскими почестями.

В Кузнецке работали двести двадцать тысяч строителей. Начальник строительства, старый большевик С. М. Франкфурт, был одержимым, иначе не скажешь, он почти не спал, ел на ходу; нужно было то расследовать причины очередной аварии, то успокоить летунов, которые бросили работу с криком «даешь спецуру», то разместить прибывших самотеком казахов. В его комнате я увидел акварель — Париж в сумерки (Сергей Миронович до революции был политэмигрантом). О начальнике строительства в те годы много писали; после тридцать седьмого имя Франкфурта исчезло. (Недавно я узнал о его судьбе. По Окончании строительства в Кузнецке Орджоникидзе его послал на новую стройку в Орск, и там он был арестован в 1937 году вместе с пятьюдесятью восемью сотрудниками. На заседании (конечно, закрытом) Военной коллегии Сергей Миронович сказал:

«Я был большевиком и умру большевиком»; эти слова запротоколировали. В 1956 году С. М. Франкфурта посмертно реабилитировали.) Главный инженер И. П. Бардин был человеком большой культуры; в молодости он работал в Америке; следил за развитием техники. Он понимал, что задача, возложенная на него, трудна, более того — невыполнима, и знал, что он ее выполнит. При одной из аварий Иван Павлович сломал ногу; быстро, однако, встал с койки и возобновил работу. Мне он показался человеком мягким и хмурым.

Города еще не было, но город разрастался. В бараках показывали фильмы. Открылись распределители, столовые для иностранных специалистов. Начали приезжать из Москвы актеры.

Мою книгу о Кузнецке я начал так: «У людей были воля и отчаяние — они выдержали. Звери отступили. Лошади тяжело дышали и падали. Десятник Скворцов привез легавого кобеля. По ночам кобель выл от голода и тоски; он вскоре сдох. Крысы пытались пристроиться, но и крысы не выдержали суровой жизни. Только насекомые не изменили человеку; густыми ордами двигались вши, бодро неслись блохи, ползли деловито клопы. Таракан, догадавшись, что ему не найти другого корма, начал кусать человека».

Иностранные специалисты, работавшие в Кузнецке, говорили, что так строить нельзя, нужно было прежде всего провести дороги, построить дома для строителей; да и состав текучий, люди не умеют обращаться с машинами; вся затея обречена на провал. Они судили по учебникам, по своему опыту, по психологии людей, живущих в спокойных странах, и никак не могли понять чужой им страны, ее душевного климата, ее возможностей. Я снова увидел, на что способен наш народ в годы жестоких испытаний. Люди строили заводы в таких условиях, что успех казался чудом, как чудом показалась старшему поколению победа в гражданской войне, когда блокированная, голодная, босая Россия разбила интервентов.

Несмотря на трудности, казалось бы непреодолимые, цехи заводов быстро подымались. Среди котлованов пооткрывались кинотеатры; устроили школы, клубы. В 1932 году в Кузнецке еще нельзя было сделать шага, чтобы не попасть в яму, но уже пылали первые домны, и в литературном объединении юноши спорили, кто писал лучше — Маяковский или Есенин.

Рая, о котором тогда мечтали молодые, они не увидели; но десять лет спустя домны Кузнецка позволили Красной Армии спасти Родину и мир от расистских изуверов.

В жизнь входило новое поколение — юноши и девушки, родившиеся накануне первой мировой войны; для них царь,

фабриканты, городовые были отвлеченными понятиями. Больше домен и мартеновских печей меня интересовали эти новые люди — будущее нашей страны. Приглядываясь к ним, я увидел множество противоречий. Процесс демократизации культуры длителен и сложен. В первые двадцать пять лет расширение культуры шло за счет ее глубины; всеобщая грамотность на первых порах привела к духовной полу грамотности, к упрощению. Только в годы второй мировой войны началась новая стадия — культурного углубления.

Помню, как удивились французские писатели, узнав о тиражах переводов на языки Советского Союза Бальзака, Стендаля, Золя, Мопассана. Конечно, цифры тиражей — это не справка о богатом урожае, но это данные о расширении посевной площади. Жажда знаний в те годы не знала предела; я это особенно остро чувствовал, приехав из страны, где жили Валери, Клодель, Элюар, Сен-Жон Перс, Арагон, Сюпервьель, Деснос, много других прекрасных поэтов, которых все признавали и которых мало кто читал.

Летом 1932 года в Москве я получил письмо из небольшого уральского города; писал мне молодой учитель: «…Кстати, спросите французского писателя Дрие ля Рошелля, какой злой дух нашептывает ему разные нелепости вроде следующей: «То, что было жизнью, не представляет абсолютно никакого интереса. Сознание более невозможно, ибо нечего сознавать». (В передаче нашей «Литгазеты» его роман «Блуждающий огонек».) Сообщите ему заодно, что один из миллионов людей, населяющих страну, из которой вы приехали, и небезуспешно пробующих перекроить старую жизнь мира по-новому, уверяет его честью, что эта старая жизнь полна «абсолютного» интереса и что, кроме его больного сознания, есть еще нетронутые залежи сознания миллионов, которым предстоит осознать еще бесконечно многое. Скажите ему также, что, по мнению его оппонента с далекого Урала, человеческое сознание только еще готовится к выполнению той великой роли, что определила ему история: роли грамотного переводчика великого языка чувств, состоящего из любви, ненависти, мужества, дерзания, готовности к жертве и т. п., на новый язык, освобождающий их от уз догмата, для новой жизни».

(Дрие ля Рошелль тогда вращался в левых кругах, и я его иногда встречал. Я перевел ему письмо уральского учителя; он развел руками: «Зачем же он принимает каждое мое слово всерьез? Это прекрасно и вместе с тем глупо…») Конечно, учитель, приславший мне письмо, был на десять голов выше рядовых юношей того времени; я привел его размышления отнюдь не как показательные для духовного развития молодых

людей в годы первой пятилетки, но в письме есть прекрасные слова о нетронутых залежах сознания. Именно в те годы целина впервые была тронута.

Один молодой тунгус увидел в Кузнецке велосипед; долго его рассматривал, наконец спросил: «Где мотор?» Он хорошо знал, что люди ездят в а автомобилях, летают на самолетах, а велосипедов никогда не видел. В глухих селениях Сибири люди знали о существовании беспроволочного телеграфа и, увидав столбы с проводами, удивились — зачем проволока?…

В томском музее я познакомился с молоденькой девушкой, шоркой; она училась на медицинском факультете и принесла в музей деревянного человечка, которого родители ей дали как талисман против лихорадки и злых духов. Она узнала, что в музее собирают предметы старого быта, и принесла экспонат. Она расспрашивала меня о жизни во Франции — много ли там больниц, как борются против алкоголизма, любят ли французы ходить на концерты, сколько лет Ромену Роллану. У нее были глаза доверчивые и пытливые. Наверно, родители просили старого шамана изгнать из непослушной дочери злого духа.

В одном из клубов Кузнецка был литературный вечер; читали стихи Маяковского; аплодировали. Потом один инженер начал декламировать «Для берегов отчизны дальной». Моя соседка, башкирка, послала записку: «Кто автор?» Мы разговорились, она призналась: «Я Пушкина знаю, он написал «Евгения Онегина», а вот таких стихов я никогда не читала. Может быть, я недостаточно культурная, но мне они очень нравятся, даже больше, чем Маяковский… Я не знала, что можно такое писать…»

Передвигаться тогда было трудно; на станции Тайга я застрял на несколько дней. Начальник узла меня разыскал, сказал, что ему нравится «Хулио Хуренито», и дал мне служебный вагон. Правда, с вагоном было тоже нелегко: ночью его неожиданно отцепляли на какой-нибудь станции и загоняли в тупик. Но я хочу рассказать не о вагоне, а о проводнице — молоденькой сибирячке Вале. Вагон она боялась оставить даже на час: «Стекла побьют, порежут сиденья…» Она мне рассказала необычайную историю. В Кузнецк она приехала из деревни и работала уборщицей. В ее бараке было чисто, кто-то из начальства это заметил, и Вале поручили служебный вагон. Времени было много, она начала читать. Один железнодорожник забыл в вагоне книгу «Диспетчерское руководство движением поездов». Валя мне показала эту книгу, я заглянул и ничего не понял. Валя засмеялась: «Я сначала тоже ничего не могла понять, я ее, кажется, сто раз прочитала и в конце стала разбираться. Взяла учебники математики… Теперь подготовилась, обещали

отпустить на рабфак…» Не скрою, такие встречи меня потрясали. Я начал смотреть с большим доверием на будущее.

Я много говорил о трудностях жизни; всего не расскажешь. В бараках молодожены пытались завесить койку тряпьем. Случайно я был в одном бараке, когда молодой землекоп привел туда девушку (уже начались морозы). У них не было занавески, и он прикрыл лица пиджаком.

Несмотря на суровый быт, рождались новые чувства, мысли; юноши и девушки часто при мне спорили, существует ли вечная любовь, можно ли оправдать ревность, принижает ли комсомольца грусть, нужны ли строителям стихи Лермонтова, музыка, часы одиночества.

Я говорил, что собираюсь написать книгу о молодежи, и мне приносили дневники, письма; рассказывали про работу, про сердечные невзгоды. Иногда я спрашивал и записывал ответы.

Еще до того как я написал повесть «День второй», я опубликовал в парижском литературном журнале «Ля нувелль ревю франсез» некоторые из собранных мною документов. В предисловии я говорил: «Обычно писатель не знакомит читателей с различными материалами, которые помогли ему написать книгу; но мне кажется, что эти документы представляют собой ценность независимо от моей работы. Многим они покажутся более убедительными, чем самый удачный роман…»

Теперь я раздобыл в библиотеке старую книжку французского журнала, перечитал отрывки из дневников, писем, стенограмм и подумал — жизнь изменилась, а вот многие вопросы, которые впервые ставили юноши и девушки в те годы, продолжают волновать нашу молодежь: здесь и споры о том, как избежать узкой специализации, и ужас перед двурушничеством, лицемерием, и проблема подлинной дружбы, и проклятия равнодушию.

В двадцатые годы доживала свой век старая, крестьянская Расея. На заводах, в различных учреждениях еще преобладали люди, сформировавшиеся до революции. Начало тридцатых годов стало переломом. Строительство Кузнецка я вспоминаю с ужасом и с восхищением; все там было невыносимо и прекрасно.

Я сказал, что металл Кузнецка помог нашей стране отстоять себя в годы фашистского нашествия. А другой металл — человеческий?… Строители Кузнецка, как и все их сверстники, прожили нелегкую жизнь. Одни погибли молодыми — кто в 1937-м, кто на фронте. Другие преждевременно стали сутулиться, примолкли — уж слишком много было неожиданных поворотов, к слишком многому приходилось привыкнуть, приспособиться… Теперь тем героям «Дня второго», которые выжили, лет пятьдесят

или шестьдесят. У этого поколения было мало времени для раздумий. Его утро было романтичным и жестоким — коллективизация, раскулачивание, леса строек. Дальнейшее все помнят. От людей, родившихся накануне первой мировой войны, потребовалось столько мужества, что его хватило бы на несколько поколений, мужества не только в работе или в бою, но в молчании, в недоумении, в тревоге. Я видел этих людей окрыленными в 1932 году. Потом крылья стали не по сезону. Крылья первой пятилетки достались по наследству детям вместе с заводами-гигантами, оплаченными очень дорогой ценой.

34

До поездки в Кузнецк я читал очерки, рассказы о строительстве. Увидел я не то, о чем читал. Не помню, когда именно в статьях о литературе появилось выражение «лакировать» — кажется, позднее. Толковый словарь так объясняет этот неологизм: «Приукрашать, представлять что-нибудь в лучшем виде, чем есть на самом деле». Между тем действительность не только страшнее, но и прекраснее тех благонравных и назидательных картинок, которые изготовляли, да и продолжают изготовлять «лакировщики».

Кто не помнит романов или фильмов, в которых война изображалась как маневры — с веселыми солдатами в новеньких гимнастерках, с песнями, с лозунгами, с парадным маршем к победе? Разве под лаком не пропадала глубина красок? Разве можно было, глядя на экран, где падение Берлина показывалось как феерия, понять подвиг советского народа, стоявшего насмерть у Ленинграда, под Москвой, на узкой полоске приволжской земли?

Так было и со строительством Кузнецка или Магнитогорска. Люди строили заводы в неслыханно трудных условиях. Кажется, никто нигде так не строил, да и не будет строить. Фашизм вмешался в нашу жизнь задолго до 1941 года. На Западе шла лихорадочная подготовка к походу на Советский Союз; и первыми окопами были котлованы новостроек.

Я увидел самоотверженность одних, жадность, косность других. Строили все, но строили по-разному: кто по идее, кто по нужде, кто по принуждению. Для многих это было началом строительства не только заводов, но и человеческого сознания. Я назвал мою повесть «День второй». По библейской легенде, мир был создан в шесть дней. В первый день свет отделился от тьмы, день от ночи; во второй — твердь от хляби, суша от морей. Человек был создан только на шестой день. Мне казалось, что в создании нового общества годы первой пятилетки были днем вторым: твердь постепенно отделялась от хляби. А хляби было много (ее всегда больше, чем тверди, как на земном шаре больше морей, нежели суши). Я не хотел об этом умолчать и рядом с Колей Ржа новым, Смолиным, Ириной, с лучшими представителями молодого поколения, показал циников, эгоистов, людей, равнодушных ко всему, что не связано с их личной судьбой.

Я отнюдь не пытался быть бесстрастным летописцем; повесть диктовалась восхищением, любовью, жаждой отстоять первые

побеги нового сознания. Именно поэтому я стремился быть правдивым: действительность не нуждалась в гриме. Я знал, конечно, что многие сочтут мой рассказ за клевету, лишний раз вспомнят, что я «неисправимый скептик», будут говорить, что я захотел исказить прекрасную действительность, то есть не изготовил еще одной олеографии по установленному и одобренному образцу. Но когда я писал, я не думал ни о критиках, ни о редакторах, не гадал, издадут ли мою книгу, писал с волнением дни и ночи напролет.

Я начал повесть в ноябре, кончил в феврале; некоторые главы переписывал много раз. Я упоминал, что почти каждый день ко мне приходил И. Э. Бабель, читал страницы рукописи, иногда одобрял, иногда говорил: нужно переписать еще раз, есть пустые места, невыписанные углы… Порой, снимая после чтения очки, Исаак Эммануилович лукаво улыбался: «Ну, если напечатают, это будет чудо…»

В повести есть и некоторые итоги моих долгих раздумий. Володя Сафонов — хороший, честный юноша; он учится в Томском университете, потом уезжает в Кузнецк; он начитан, душевно тонок, любит чистой любовью Ирину. Но он не верит в рождение нового сознания; по собственным его признаниям, он отравлен мудростью старых книг и терзается от наивности, от детскости своих товарищей. Он пишет в дневнике: «Я работал на заводе. Учусь. Буду, наверно, честным спецом. Но все это навязано мне извне. Сердцем я никак не участвую в окружающей меня жизни… Для стройки я непригоден. В горном деле это, кажется, называется «пустой породой»… Вы устранили из жизни еретиков, мечтателей, философов, поэтов. Вы установили всеобщую грамотность и столь же всеобщее невежество. После этого вы собираетесь и но шпаргалке лопочете о культуре… Муравьиная куча — образец разумности и логики; но эта куча существовала и тысячу лет назад. Существуют муравьи-рабочие, муравьи-спецы, муравьи-начальники. Но еще не было на свете муравья-гения. Шекспир писал не о муравьях. Акрополь построен не муравьями. Закон тяготения нашел не муравей. У муравьев нет ни Сенек, ни Рафаэлей, ни Пушкиных. У них есть куча, они работают…»

Володя встречает французского журналиста, долго его расспрашивает, видит, что и на Западе нет той культуры, которой он жаждет. На студенческом собрании Сафонов собирался обличать наивность и невежество своих товарищей, но вместо этого, под впечатлением разговора с французом, говорит: «Можно ли сомневаться в том, за кем будущее? Я это чувствую особенно остро, потому что лично я, скорее всего, обречен. Я хочу быть со

всеми, стараюсь хорошо работать… Дело не во мне, дело в нас. Я твердо говорю это слово «мы». Мы должны победить… Культура не рента: ее нельзя хранить в шкафу. Она создается ежечасно — каждым словом, каждой мыслью, каждым поступком. Я здесь слышал — вы говорили о музыке, о поэзии. Это и есть рождение культуры, ее рост, мучительный, трудный рост…» Вернувшись домой, он записывает в дневнике: «Самое любопытное, что я говорил искренне. Во всяком случае, не от страха. Но я говорил не то, что думал. Или: то, да не то. За меня как будто говорили другие…»

Ирина в неотправленном письме с ним спорит: «…Ты умней других. Больше знаешь. Но ты ничего не делаешь, чтобы жизнь стала лучше. Ты замечаешь только плохое и насмехаешься. Ты думаешь, я сама не вижу, сколько вокруг безобразия? Наша стройка проходит в прекрасной, чистой лаборатории, но, скажу прямо, на скотном дворе. Малодушие, двурушничество, мелкие интересы! Минутами мне страшно становится за все и за всех. Вот именно поэтому я считаю, что мы должны бороться, а не только усмехаться и рассказывать шепотом глупые анекдоты… Ты мне сказал «человек теперь не может любить», Володенька, ведь это неправда… Жизнь теперь такая тяжелая, такая напряженная, такая большая, что и любовь растет. Трудно, очень трудно теперь любить!.. Вот ты говорил «теперь не любовь, а чугун» и повторял «чугун, чугун» — тебе это почему-то смешно. А это совсем не смешна. Скажи сам, что сейчас важнее: читать твоего Франса или отливать рельсы, чтобы наконец стало в стране немного больше хлеба или ситца? Но люди сейчас не только отливают чугун. Или нет, они только отливают чугун, но в этом чугуне не только кокс и руда, в нем еще что-то другое. Вот как Сеня «рвется в тьму мелодии», так сейчас рвутся — все выше и выше! Это и домны, и стихи, и любовь…»

Ирина предпочла обреченному Володе живого Колю Ржанова. Но не поэтому Володя кончил жизнь самоубийством. Никто ему не протягивал веревки — ни товарищи, ни старый профессор, к которому он пришел в последний день за советом, ни автор повести. Его довела до отчаяния обостренная совесть. А если кто-нибудь и осудил его, то разве что эпоха, та самая, что по ночам приходила на улицу Котантен и вела со мной нескончаемые беседы.

Я остановился на Володе, потому что многие критики пытались его выдать за врага. Издание «Дня второго» (1953 год) снабжено примечаниями Б. Емельянова, который уверяет, будто Володя был фашистом: он ведь сказал старой библиотекарше, что хотел бы сжечь все книги. Да, Володя однажды признался, что

ненавидит книги, как пьяница — водку. Но вряд ли этот книжник напоминает гитлеровского штурмовика. Володя запутался в собственных противоречиях. Будь у него немного меньше совестливости и немного больше цепкости, он не повесился бы, а стал бы уважаемым всеми специалистом.

Я показал в повести не только Колю и его друзей, я показал также летунов, спекулянтов, темных людей, ломающих машины; старался сказать всю правду. Если повесть мне казалась, да и теперь кажется, оптимистической, то не потому, что в итоге величайших испытаний начинали входить в строй цехи, а потому, что сотни тысяч, миллионы строителей постепенно становились настоящими людьми. Повесть кончается словами бывшего партизана: «Поглядите на Колю Ржа нова, на других ребят. Я с ними сражался в Кузнецке, когда был прорыв на кауперах. Я вместе с ними боролся за эту дамбу… Я, как старый партизан скажу, что я могу теперь спокойно умереть, потому что есть у нас, товарищи, настоящие люди…»

В повести нет главного героя; она, как у нас говорят, «калейдоскопична» — проходит бегло множество персонажей. Я увлекался короткими фразами, быстрым монтажом, мелькающими кадрами: мне хотелось найти для нового содержания новую форму.

В июне 1934 года журнал «Литературный критик» устроил в Москве обсуждение «Дня второго». Я впервые присутствовал на собрании, где говорили о моей книге и где мне самому нужно было выступить. Часто в моих воспоминаниях я отзывался с иронией или досадой о своих давних суждениях. А вот я прочитал стенограмму обсуждения «Дня второго» и, как это ни странно, почти со всем, что говорил двадцать семь лет назад, согласен и теперь. «Я чувствую себя сегодня, как один из строителей Беломорстроя: грешил, но искупил свои грехи, допущен в ряды сознательных граждан, которые строят социалистическое отечество… Уверенность, что нас, писателей, нужно судить, а мы должны каяться, на мой взгляд, неправильна… Я написал много скверных книг, не умел вынашивать книгу — не хватало зрелости; но никогда я не клеветал на советскую действительность… Теперь некоторые товарищи говорят, что я остановился в «Дне втором» на трудностях, потому что привык к комфорту… Товарищ Франкфурт, начальник строительства, и секретарь горкома считают, что я ничего не «сгущал», а показал трудности, которые были на самом деле… Товарищи здесь говорили, что Володя — умница, но что ему не противопоставлен честный комсомолец с равной эрудицией. Но, товарищи, у нас не шестой день, а второй… Я не знаю, удался ли мне «День второй», но

эпигонствовать я не хочу… Мои книги написаны каракулями. Вероятно, мы все в некоторой степени Тредьяковские. Но Тредьяковский сыграл свою роль… Лучше сейчас сделать слабую книгу, но свою, чем взять немножко от Золя, немножко от Льва Толстого и немножко от советской действительности…»

Я и теперь не знаю, удалось ли мне, хотя бы частично, осуществить свой замысел. Может быть, «День второй» — слабая книга, но она не подражательна и написана по внутренней необходимости.

Дочитав последнюю страницу, Бабель сказал «вышло»; в его устах для меня это было большой похвалой. (Когда книгу перевели на французский язык, я получил длинное письмо от Ромена Роллана; он писал, что «День второй» помог ему лучше узнать советскую молодежь.)

Я послал рукопись Ирине и попросил отдать ее в издательство «Советская литература». Вскоре Ирина мне сообщила, что рукопись вернули: «Передайте вашему отцу, что он написал плохую и вредную вещь».

Я решился на отчаянный поступок: напечатал в Париже несколько сот нумерованных экземпляров и послал книги в Москву — членам Политбюро, редакторам газет и журналов, писателям.

В тридцатые — сороковые годы судьба книги порой зависела от случайности, от мнения одного человека. Это было лотереей, и мне повезло — несколько месяцев спустя я получил длинную телеграмму от издательства: высылают договор, поздравляют, благодарят.

«День второй» вышел в Москве в апреле 1934 года. Радек в «Известиях» писал: «Это не «сладкий роман». Это роман, правдиво показывающий нашу действительность, не скрывающий тяжелых условий нашей жизни…» В тот же самый день появилась в «Литературной газете» статья А. Гарри: «Писатель воспевает разнузданную стихию, в данном случае являющуюся стихией, созидающей один из крупнейших в мире металлургических заводов. На фоне строительного хаоса живут, любят и страдают маленькие человечки. Кроме того, человечки эти, к сожалению, еще и мыслят. Это уже совсем плохо, потому что мыслят они чрезвычайно беспомощно. В романе И. Эренбурга люди потерялись в хаосе новостройки, они заблудились в канавах, экскаваторах и кранах. Такая странная вещь в романе приключилась не только с «отрицательными» типами, но и с «положительными». А это уже клевета. Вообще говоря, если придираться к роману И. Эренбурга, то можно без труда доказать, что это произведение является апологией австро-марксистской

бредни о «пятилетке, построенной на костях ударников». Радек во второй статье возражал: «Что же считает Гарри, что социалистический реализм состоит в том, чтобы художник рисовал лубки, показывал, каким легким делом является постройка социализма?» Этот спор мне кажется взятым из свежих газет…

Все это было свыше года спустя после того, как я дописал «День второй». А в тот самый день, когда я узнал из письма Ирины, что издательство отвергло мою книгу, мне принесли немецкую газету с описанием майского аутодафе: берлинские студенты, под руководством Геббельса, развели костер перед зданием университета и на нем сжигали ненавистные им книги — по списку, составленному заранее. Среди прочих книг сожгли и переводы моих романов.

Газеты были заполнены ужасающими сообщениями: еврейские погромы, расстрелы коммунистов, концлагеря. В. С. Довгалевский, вернувшись из Женевы, рассказывал, как сорвали конференцию по разоружению; в Англию ездил Розенберг; некоторые английские политики стоят за вооружение Германии — рассчитывают, что нацисты двинутся на Россию. Именно поэтому и подписан «Пакт четырех»…

Я был с Жаном Ришаром Блоком на антифашистском митинге в зале «Мютюалитэ». Зал нервничал, люди вскакивали, сжимали кулаки. Один немец, убежавший из концлагеря, своим рассказом довел многих до слез.

Потом мы сидели в маленьком кафе с профессором Ланжевеном. Печально улыбаясь, он говорил: «До чего все это глупо! Человечество еще не вышло из младенческого возраста — позади у него всего два миллиарда лет…» Я спросил: «А сколько впереди?» — «Десять миллиардов, если оно по глупости не кончит своего существования самоубийством…»

Жан Ришар горячился, говорил, что нужно создавать повсюду комитеты, действовать, пока не поздно. Мимо кафе проходили рабочие, пели «Это есть наш последний…».

Потом в кафе пришла Андре Виоллис, женщина смелая и непримиримая. Она рассказывала о зверствах легионеров в Индокитае, о пытках, сожженных деревнях. Я слышал и читал те же истории и десять лет спустя, и двадцать. Менялись формы усмирителей, но жестокие и бессильные колонизаторы походили один на другого. Недавно у меня были вьетнамские писатели; я назвал имя Андре Виоллис, и они с восхищением сказали: «Ее у нас знают, это была писательница, которая первая сказала Западу правду».

Началась новая глава не только истории, но и биографии

каждого человека моего поколения, глава, может быть, самая трудная.

Книга IV

1

В 1933 году я познакомился и вскоре подружился с американским кинорежиссером Люисом Майльстоуном. Это очень толстый и добрый человек. Подростком, еще до первой мировой войны, он уехал из Бессарабии в Америку — искать счастье; бедствовал, голодал, был чернорабочим, приказчиком, бродячим фотографом, а в итоге стал кинорежиссером. Фильм «На Западном фронте без перемен» принес ему славу и деньги, но он остался простым, веселым, или, как сказал бы Бабель, жовиальным. Он любил все русское, не забыл красочного южного говора, радовался, когда ему давали стопочку и селедку. Приехав на несколько недель в Советский Союз, он сразу подружился с нашими режиссерами, говорил: «Да какой я Люис Майльстоун? Я — Леня Мильштейн из Кишинева…»

Как-то он рассказал мне, что, когда Америка решила воевать, военнослужащих опросили, хотят ли они ехать в Европу или остаться в Соединенных Штатах; составили два списка. Майльстоун был среди желающих уехать на фронт, но послали только тех, кто хотел остаться дома. Смеясь, Майльстоун добавил: «В общем, так всегда бывает в жизни…» Он был веселым пессимистом: «В Голливуде нельзя делать того, что хочешь. А может быть, не только в Голливуде…»

Он решил поставить фильм по моему старому роману «Жизнь и гибель Николая Курбова». Я его отговаривал: книга мне не нравилась, да и смешно было в 1933 году показывать романтического коммуниста, ужаснувшегося перед стихией нэпа. Майльстоун обязательно хотел, чтобы я написал сценарий, предлагал изменить фабулу, показать строительство, пятилетку: «Пусть американцы посмотрят, на что способны русские…»

Я сильно сомневался в своих способностях: я не драматург и вряд ли смогу написать приличный сценарий, да и окрошка из нескольких книг мне казалась нелепой. Но мне нравился Майльстоун, и я согласился попробовать написать сценарий вместе с ним.

Он меня пригласил в английский курортный городок, где он занимался тяжелым делом — худел. Весил он сто килограммов и каждый год в течение трех недель ничего не ел, теряя килограммов двадцать; потом, конечно, набрасывался на еду и вскоре выглядел по-прежнему. Для голодания он выбирал комфортабельную гостиницу с дурным рестораном, чтобы меньше завидовать людям, которые продолжали обедать и ужинать.

Он лежал и худел, а я сидел рядом, ел невкусную еду и

писал. Майльстоун изумительно ощущал ритм картины, говорил: «Здесь нужно перебить… Может быть, пошел дождь? Или из дому выходит старушка с кошелкой?…»

У меня не сохранилось текста сценария; я его помню смутно; кажется, он представлял помесь Голливуда и революции, отдельных находок Майльстоуна и кинорутины, мелодраму, приправленную иронией двух взрослых людей.

Мы успели исписать толстый блокнот. Майльстоун похудел, костюм на нем висел, и наконец-то мы поехали в Париж. На Монпарнасе Майльстоун познакомился с художником Натаном Альтманом и предложил ему сделать рисунки для декораций и костюмов.

Пессимизм Майльстоуна оказался обоснованным. Владелец «Колумбии» Кон, прочитав сценарий, сказал: «Слишком много социального и слишком мало сексуального. Не такое теперь время, чтобы швырять деньги на ветер…»

Майльстоун был, разумеется, огорчен: он потерял на этом около года, но добился, чтобы «Колумбия» уплатила гонорары Альтману и мне.

(Незадолго до второй мировой войны я видел в Париже Майльстоуна. Он не похудел, но помрачнел. В годы войны он сделал в Голливуде фильм о советских людях: хотел, чем мог, помочь нам. Когда я приехал в Соединенные Штаты, я с ним говорил по телефону, он меня звал в Голливуд; но я поехал на юг. Не знаю, что он делал в послевоенные годы и сколько раз его заставляли делать то, чего он не хотел.)

Мы с Альтманом обрадовались нечаянным деньгам. Газеты тогда были переполнены рассказами о двух счастливчиках, выигравших в государственной лотерее по пяти миллионов франков; один был угольщиком, другой булочником. Хотя наше богатство было несравненно скромнее, мы себя называли угольщиком и булочником. Мы решили пышно встретить 1934 год.

На улице Эколь-де-медесин помещался маленький польский ресторан, куда мы иногда ходили, стосковавшись по русской кухне. Хозяева были приветливыми, и польско-советские конфликты, частые в те годы, не отражались на качестве бигоса или пончиков. В ночь под Новый год поляк закрыл свой ресторан и переехал на улицу Котантен. В нашей квартире были две комнаты, мы раскрыли двери, поставили в ряд десяток столиков, привезенных из ресторана. При входе красовалась надпись, нарисованная Альтманом: «Угольщик и булочник вас приветствуют».

По старым фотографиям я вижу, что к тому времени я сильно

пополнел; однако я не стал добродушным, как Майльстоун, напротив, рвался в бой, штурмовал и ветряные мельницы, и некоторых вполне реальных мельников, задевал шпиков и Поля Валери, обрушивался на Сюрреализм и на русскую живопись прошлого века, дразнил гусей. Писал чуть ли не ежедневно различные памфлеты, посылал боевые корреспонденции в «Известия» — словом, вел себя скорее как молодой поэт, нежели как солидный сорокатрехлетний прозаик.

Мне казалось, что в 1933 году Европа коснулась дна и теперь выплывает на поверхность. За несколько дней до встречи Нового года газеты сообщили, что лейпцигским судьям пришлось оправдать Димитрова. Это было капитуляцией Гитлера перед общественным мнением. Я часто встречался с немецкими эмигрантами; они говорили, что не сегодня завтра фашистский режим рухнет — так им хотелось, так хотелось и мне, и я считал, что 1934 год будет для Гитлера роковым.

Изуверство, жестокость гитлеровцев рождали непримиримость, жажду мести. Помню, как в «Клозери де лила» глава первого революционного правительства Венгрии граф Карольи, человек редкой доброты, говорил мне: «Знаете, о чем я мечтаю? Хорошее летнее утро. Я иду на веранду. Пью кофе. А на каждом дереве висит фашист…» Я слушал и улыбался.

Мне запомнился один из первых антифашистских митингов в Париже; выступали профессор Ланжевен, Аид-ре Жид, Вайян-Кутюрье, Мальро. Андре Жид произнес проповедь — доказывал, что только коммунизм может победить зло, пил часто воду, поблескивали стеклышки очков. Рабочие, сидевшие в зале, никогда не читали его книг, но знали, что перед ними знаменитый писатель, и когда Жид сказал: «Я гляжу с надеждой на Москву», — радостно загудели. Мальро говорил непонятно; его лицо перекашивал нервный тик; вдруг он остановился, поднял кулак и крикнул: «Если будет война, наше место в рядах Красной Армии». Зал восторженно загремел.

Все это может показаться удивительным. Вместе со временем менялись и люди, и менялись они по-разному. Когда человек умирает, мы лучше видим единство его пестрых, порой противоречивых годов, а пока он жив, сегодняшний день заслоняет вчерашний.

В 1933 году Поль Элюар был непримиримым последователем сюрреализма; вряд ли кто-нибудь тогда мог предвидеть, что его стихи будут повторять партизаны в маки. Ланжевен как-то с печальной улыбкой сказал, что Жолио-Кюри не понимает всей опасности фашизма.

Андре Мальро теперь министр в правительстве де Голля. А в

течение восьми лет в Париже, в Испании я видел его неизменно рядом; он был моим близким другом. Некоторые авторы воспоминаний стараются очернить своих былых друзей; это мне не по душе. Я предупредил читателей, что, говоря о живых людях, буду связан и о многом промолчу. Все же я не могу рассказать о тридцатых годах, не называя Мальро.

В 1933 году вышел его роман «Условия человеческого существования»; я писал о нем: «Путь в прошлое обогатил Мальро не одной коллекцией скульптуры; он загромоздил его сознание той усложненностью, той обязательной глубиной, теми хитрейшими противоречиями, которыми изобилует всякая культура, пережившая свой полдень и обреченная на смерть». Я видел, однако, что Мальро идет к живой жизни, и обрадовался, когда писатели весьма консервативные присудили ему Гонкуровскую премию: на жюри подействовала обстановка — Франция шла налево.

Мальро познакомил меня со многими молодыми писателями — с Кассу, Авелином, Низаном, Даби. С одним из его последователей я подружился — с Гийу. Год или два спустя вышла его книга «Черная кровь» — один из лучших романов, написанных между двумя войнами. Он был учителем в бретонском городе Сен-Брие и не походил на парижских литераторов — простой, скромный, без обязательного желания пофилософствовать или усложнить. (Недавно я неожиданно встретил Гийу в Риме; мы с нежностью вспомнили давние годы.)

Встречался я и с немецкими писателями; познакомился с Брехтом, добрым и лукавым. Он говорил о смерти, о постановках Мейерхольда, о милых пустяках. Бывший матрос Турек заверял меня, что не пройдет и года, как Гитлера бросят в Шпрее; он мне нравился своим оптимизмом, и я ему подарил трубку. Толлер влюблялся, отчаивался, строил планы и театральных пьес, и освобождения Германии; казалось, что у него в карманах колоды и он все строит, строит карточные домики. Мне понравилась сразу Анна Зегерс, взбалмошная, очень живая, близорукая, но все замечавшая, рассеянная, но великолепно помнившая каждое оброненное слово.

Мы встречались, спорили, гадали, что будет дальше. Одни клялись, что вскоре фашизм рухнет в Германии, другие уверяли, что коричневая чума перекинется во Францию.

Впрочем, цвета менялись, и чума во Франции была лазурной. Несколько раз я видел демонстрации «Французской солидарности»; молодые фашисты в голубых рубашках маршировали и подымали руку вверх, приветствуя своего фюрера. Замелькали воззвания «Боевых крестов»,

«Патриотической молодежи». В отличие от Германии, среди фашистов было мало рабочих, и я с усмешкой поглядывал на маменькиных сынков, которые клялись перебить всех коммунистов.

Я собирался весной в Москву. Съезд советских писателей должен был собраться летом. Я волновался, как девушка перед первым балом; вот соберутся все писатели, и начнется откровенный, серьезный разговор об искусстве; это, наверно, будет большим событием…

В 1933 году я прочитал «Поднятую целину», последние поэмы Багрицкого, «Охранную грамоту» Пастернака, новые рассказы Бабеля, (стихи Сельвинского и Заболоцкого. Мне казалось, что наша литература набирает высоту.

В 1933 году многие французские писатели повернулись с надеждой коммунистам; вероятно, это было продиктовано ужасом и гневом, которые охватывали миллионы людей, когда они читали про сожженные фашистами книги, про казни, погромы. Под воззванием Ассоциации революционных писателей среди других стояли подписи Жионо и Дрие ля Рошелля.

С Жионо я познакомился в конце двадцатых годов; он был мечтательным, тихо улыбался, писал поэтичные романы о сельской жизни. В 1933 году вместе со многими другими он проклинал фашизм. Потом я с ним долго не встречался и удивился, прочитан его статью, где он писал, что нужно примириться с Гитлером. Потом он примирился и с режимом оккупации; это меня уже не удивило.

Дриеля Рошелль был куда значительнее — талантливый, по-своему искренний, но с душевной червоточиной. Мы вместе выступали в Доме культуры, где собиралась антифашистская интеллигенция, дружески беседовали. Я вернулся в Париж после одной из поездок и в дверях кафе на бульваре Сен-Жермен увидал Дрие. Он поспешно отвернулся. Мне дали его последнюю книгу; в ней были странные признания: «Мы будем сражаться против всех. Это и есть фашизм… Свобода исчерпана. Человек должен погрузиться в свои темные глубины. Это говорю я — интеллигент и вечный свободолюбец…» Он обольстился фашизмом, когда гитлеровцы оккупировали Францию, сотрудничал с ними и застрелился в 1944 году, увидев, что его ставка бита.

На наши собрания приходил одаренный эссеист, бретонец, сын рабочего, Геенно. У меня сохранилась подаренная им книга «Дневник сорокалетнего»; я ее сейчас раскрыл: «К концу войны на Востоке показалось большое зарево. Его отсвет помогает нам жить… Мы не последовали его примеру. Битва не расширилась. Мы видим, как меркнут и тонут в болоте Запада искры того

пожара. Но все равно эта битва, этот пример — вот почти вся наша надежда, вся наша радость.»

Теперь Геенно — академик. Недавно он приезжал в Москву, пришел ко мне. Во многом наши мути разошлись, но мы с нежностью вспоминали середину тридцатых годов.

В конце 1933 года французские фашисты приподняли голову. Париж гудел, как растревоженный пчельник. Люди спорили до хрипоты в кафе, в вагонах метро, на углах улиц. Раскалывались семьи. Чем-то это напоминало Москву лета 1917 года.

Даже монпарнасские художники начали интересоваться политикой.

Впервые в жизни я пристрастился к коробке радиоприемника.

К. А. Федин в одной статье вспоминал о вечере, проведенном у меня на улице Котантен, когда Мальро его расспрашивал о Советском Союзе и когда Константин Александрович поспорил с Леонгардом Франком. Спорили мы часто и в «Куполе», и у меня дома.

Порой я встречался с Андре Шамсоном; он был пылким южанином, милым и добродушным, но на словах казнил всех подозреваемых в фашизме, называл себя «якобинцем». Теперь и он академик; раз в пять или десять лет мы встречаемся и мирно вспоминаем прошлое.

В бар «Куполь» приходили С.Б. Членов, Эльза Юрьевна, Арагон, Деснос, Роже Вайян, Рене Кревель, другие бывшие и настоящие сюрреалисты. У Рене Кревеля были глаза добрые и затравленные: он мучительно переживал разрыв между коммунистами и сюрреалистами. Я пытался его успокоить, но безуспешно.

Иногда меня приглашал к себе в поместье Фезандери издатель еженедельников «Вю» и «Лю» неистовый Вожель. Он был снобом не по программе, а по природе — сам этого не замечал. Восхищался Советским Союзом, ездил в Москву с А. А. Игнатьевым, приглашал к себе коммунистов, но несколько растерялся, когда его дочь Мари-Клод вышла замуж за Вайяна-Кутюрье. В Фезандери всегда шли несмолкавшие споры, сильнее всех кричал Вожель, мягкий в жизни и свирепый в отзывах.

Незачем скрывать, что я радовался своему успеху: вопреки мрачным предсказаниям, «День второй» печатался в Москве. Может быть, это влияло на мои оценки различных событий? В жизни я часто видел. как в суждения людей вмешиваются сугубо личные дела, успехи или неуспехи в работе, даже состояние здоровья.

Так или иначе, я смотрел на будущее с доверием.

В конце декабря я получил телеграмму из Москвы: «Вышла

замуж Бориса Лапина фамилия адрес прежние поздравляю Новым годом Ирина». С Б. М. Лапиным я познакомился за год до этого; он мне понравился редким сочетанием любви к книгам с любовью к трудным и опасным приключениям; понравилась мне и его книга. Телеграмма, однако, меня удивила: никогда Ирина не писала о Лапине. Слова о фамилии и адресе мне показались забавными — были в этом и характер Ирины, и характер эпохи.

Мы выпили за счастье Ирины. Встреча Нового года удалась не только потому, что польский повар накормил нас чудесным ужином: почти все, а народу собралось много, были в хорошем настроении, и веселились мы до утра.

Мне было почти сорок три года; не так уж это молодо, но, видимо, еще зелено. Я верил в близкий крах фашизма, в торжество справедливости, в расцвет искусства. Минувшие годы казались мне чересчур длинными канунами, и книгу статей, написанных в 1932–1933 годах, я озаглавил «Затянувшаяся развязка». Ничего в свое оправдание не скажу — я разделял иллюзии многих и уж никак не мог себе представить, что состарюсь, а развязки не увижу.

2

С И. А. Ильфом и Е. П. Петровым я познакомился в Москве в 1932 году, но подружился с ними год спустя, когда они приехали в Париж. В те времена заграничные поездки наших писателей изобиловали непредвиденными приключениями. До Италии Ильф и Петров добрались на советском военном корабле, собирались на нем же вернуться, но вместо этого поехали в Вену, надеясь получить там гонорар за перевод «Двенадцати стульев». С трудом они вырвали у переводчика немного денег и отправились в Париж.

У меня была знакомая дама, по происхождению русская, работавшая в эфемерной кинофирме, женщина очень добрая; я ее убедил, что никто не может написать лучший сценарий кинокомедии, нежели Ильф и Петров, и они получили аванс.

Разумеется, я их тотчас посвятил в историю угольщика и булочника, выигравших в лотерее. Они каждый день спрашивали: «Ну что нового в газетах о наших миллионерах?» И когда дошло дело до сценария, Петров сказал: «Начало есть — бедный человек выигрывает пять миллионов…»

Они сидели в гостинице и прилежно писали, а вечером приходили в «Куполь». Там мы придумывали различные комические ситуации; кроме двух авторов сценария, в поисках «гагов» [5] участвовали Савич, художник Альтман, польский архитектор Сеньор и я.

Кинокомедия погорела: как Ильф и Петров ни старались, сценарий не свидетельствовал об отменном знании французской жизни. Но цель была достигнута: они пожили в Париже. Да и я на этом выиграл: узнал двух чудесных людей.

В воспоминаниях сливаются два имени: был «Ильфпетров». А они не походили друг на друга. Илья Арнольдович, застенчивый, молчаливый, шутил редко, но зло и, как многие писатели, смешившие миллионы людей, от Гоголя до Зощенко, был печальным. В Париже он разыскал своего брата, художника, давно уехавшего из Одессы, тот старался посвятить Ильфа в странности современного искусства, Ильфу нравились душевный беспорядок, разор. А Петров любил уют; он легко сходился с разными людьми; на собраниях выступал и за себя и за Ильфа; мог часами смешить людей и сам при этом смеялся. Это был на редкость добрый человек; он хотел, чтобы людям лучше жилось, подмечал все, что может облегчить или украсить их жизнь. Он был, кажется, самым оптимистическим человеком из всех, кого я в жизни встретил: ему очень хотелось, чтобы все было лучше, чем на

самом деле. Он говорил об одном заведомом подлеце: «Да, может, это и не так? Мало ли что рассказывают…» За полгода до того как гитлеровцы напали на нас, Петрова послали в Германию. Вернувшись, он нас успокаивал: «Немцам осточертела война…»

Нет, Ильф и Петров не были сиамскими близнецами, но они писали вместе, вместе бродили по свету, жили душа в душу. Они как бы дополняли один другого — едкая сатира Ильфа была хорошей приправой к юмору Петрова.

Ильф, несмотря на то что он предпочтительно молчал, как-то заслонял Петрова, и Евгения Петровича я узнал по-настоящему много позднее — во время войны.

Я думаю о судьбе советских сатириков — Зощенко, Кольцова, Эрдмана. Ильфу и Петрову неизменно везло. Читатели их полюбили сразу после первого романа. Врагов у них было мало. Да и «прорабатывали» их редко. Они побывали за границей, изъездили Америку; написали о своей поездке веселую и вместе с тем умную книгу — умели видеть. Об Америке они писали в 1936 году, и это тоже было удачей: все, что мы именуем «культом личности», мало благоприятствовало сатире.

Оба умерли рано. Ильф заболел в Америке туберкулезом и скончался весной 1937 года, в возрасте тридцати девяти лет. Петрову было тридцать восемь лет, когда он погиб в прифронтовой полосе при авиационной катастрофе.

Ильф не раз говорил еще до поездки в Америку: «Репертуар исчерпан» или «Ягода сходит». А прочитав его записные книжки, видишь, что как писатель он только-только выходил на дорогу. Он умер в чине Чехонте, а он как-то сказал мне: «Хорошо бы написать один рассказ вроде «Крыжовника» или «Душечки»…» Он был не только сатириком, но и поэтом (в ранней молодости он писал стихи, но не в этом дело — его записи в дневнике перенасыщены подлинной поэзией, лаконичной и сдержанной).

«Как теперь нам писать? — сказал мне Ильф во время последнего пребывания в Париже. — «Великие комбинаторы» изъяты из обращения. В газетных фельетонах можно показывать самодуров-бюрократов, воров, подлецов. Если есть фамилии и адрес — это «уродливое явление». А напишешь рассказ, сразу загалдят: «Обобщаете, нетипическое явление, клевета…»

Как-то в Париже Ильф и Петров обсуждали, о чем написать третий роман. Ильф вдруг помрачнел. «А стоит ли вообще писать роман? Женя, вы, как всегда, хотите доказать, что Всеволод Иванов ошибся и что в Сибири растут пальмы…»

Все же Ильф оставил среди множества записей план фантастического романа. В приволжском городе неизвестно почему решили построить киногород в «древнегреческом роде,

однако со всеми усовершенствованиями американской техники. Решили послать сразу две экспедиции — одну в Афины, другую в Голливуд, а потом, так сказать, сочетать опыт и воздвигнуть». Люди, поехавшие в Голливуд, получили страховую премию после гибели одного из членов экспедиции и спились. «Они бродили по колено в воде Тихого океана, и великолепный закат ос вешал их лучезарно-пьяные хари. Ловили их молокане, по поручению представителя Амкино мистера Эйберсона». В Афинах командированным пришлось плохо: драхмы быстро иссякли. Две экспедиции встречаются в Париже в публичном доме «Сфинкс» и в страхе возвращаются домой, боясь расплаты. Но о них все забыли, да и никто больше не собирается строить киногород…

Романа они не написали. Ильф знал, что он умирает. Он записал в книжке: «Такой грозный ледяной весенний вечер, что холодно и страшно делается на душе. Ужасно как мне не повезло».

Евгений Петрович писал после смерти Ильфа: «На мой взгляд, его последние записки (они напечатаны сразу на машинке, густо, через одну строчку) — выдающееся литературное произведение. Оно поэтично и грустно».

Мне тоже кажется, что записные книжки Ильфа не только замечательный документ, но и прекрасная проза. Он сумел выразить ненависть к пошлости, ужас перед ней: «Как я люблю разговоры служащих. Спокойный, торжественный разговор курьерш, неторопливый обмен мыслями канцелярских сотрудников: «А на третье был компот из вишен». «Мы молча сидели под остафьевскими колоннами и грелись на солнце. Тишина длилась часа два. Вдруг на дороге показалась отдыхающая с никелированным чайником в руках. Он ослепительно сверкал на солнце. Все необыкновенно оживились. Где вы его купили? Сколько он стоит?» «Зеленый с золотом карандаш назывался «Копир-учет». Ух, как скучно!» «Открылся новый магазин. Колбаса для малокровных, паштеты для неврастеников». «Край непуганых идиотов». «Это были гордые дети маленьких ответственных работников». «- Бога нет! — А сыр есть? — грустно спросил учитель». Он писал о среде, которую хорошо знал: «Композиторы ничего не делали, только писали друг на друга доносы на нотной бумаге». «В каждом журнале ругают Жарова. Раньше десять лет хвалили, теперь десять лет будут ругать. Ругать будут за то, за что раньше хвалили. Тяжело и нудно среди непуганых идиотов».

Записные книжки Ильфа чем-то напоминают записные книжки Чехова. Но «Душечки» или «Крыжовника» Ильф так и не написал: не успел, может быть, но скромности не решился.

Евгений Петрович тяжело переживал потерю: он не только горевал о самом близком друге — он понимал, что автор, которого звали Ильфпетров, умер. Когда мы с ним встретились в 1940 году после долгой разлуки, с необычной для него тоской он сказал: «Я должен все начинать сначала…»

Что он написал бы? Трудно гадать. У него был большой талант, был свой душевный облик. Он не успел себя показать — началась война.

Он выполнял неблагодарную работу. Во главе Совинформбюро, которое занималось распространением информации за границей, стоял С. А. Лозовский. Положение наше было тяжелым, многие союзники нас отпевали. Нужно было рассказать американцам правду. Лозовский знал, что мало кто из наших писателей или журналистов понимает психологию американцев, сможет для них писать без цитат и штампов. Так Петров стал военным корреспондентом большого газетного агентства НАНА (того самого, которое послало Хемингуэя в Испанию). Евгений Петрович мужественно и терпеливо выполнял эту работу; он писал также для «Известий» и «Красной звезды».

Мы жили в гостинице «Москва»; была первая военная зима. 5 февраля погас свет, остановились лифты. Как раз в ту ночь вернулся из-под Сухи ничей Евгений Петрович, контуженный воздушной волной. Он скрыл от попутчиков свое состояние; едва дополз по лестнице до десятого этажа. Я пришел к нему на второй день; он с трудом говорил. Вызвали врача. А он лежа писал про бон.

В июне 1942 года в очень скверное время мы сидели в той же гостинице, в номере К. А. Уманского. Пришел адмирал И. С. Исаков. Петров начал просить помочь ему пробраться в осажденный Севастополь. Иван Степанович его отговаривал. Петров настаивал. Несколько дней спустя он пробрался в Севастополь. Там он попал под отчаянную бомбежку. Он возвращался на эсминце «Ташкент», немецкая бомба попала в корабль; было много жертв. Петров добрался до Новороссийска. Там он ехал в машине; произошла авария, и снова Евгений Петрович остался невредимым. Он начал писать очерк о Севастополе, торопился в Москву. Самолет летел низко, как летали тогда в прифронтовой полосе, и ударился о верхушку холма. Смерть долго гонялась за Петровым, наконец его настигла.

(Вскоре после этого был тяжело ранен И. С. Исаков, а потом при авиационной катастрофе в Мексике погиб К. А. Уманский.)

В литературной среде Ильф и Петров выделялись: были они хорошими людьми, не заносились, не играли в классиков, не старались пробить себе дорогу всеми правдами и неправдами.

Они брались за любую работу, даже самую черную, много сил положили на газетные фельетоны; это их красит: им хотелось побороть равнодушие, грубость, чванство. Хорошие люди, лучше не скажешь. Хорошие писатели — в очень трудное время люди улыбались, читая их книги. Милый плут Остап Бендер веселил, да и продолжает веселить миллионы читателей.

А я, не будучи избалован дружбой моих товарищей по ремеслу, добавлю об Илье Арнольдовиче и Евгении Петровиче: хорошие были друзья.

3

Как-то в 1931 или в 1932 голу я обедал с Мерлем в марсельском ресторане. За соседним столиком сидел красивый брюнет, похожий на аргентинского танцора; он ухаживал за дамой; когда бродячая продавщица цветов протянула даме розу, он швырнул кредитку и чересчур громко сказал: «Сдачи не нужно». Мерль наклонился ко мне: «Это Александр, один из самых талантливых жуликов Парижа. Кстати, он ваш соотечественник…» Я не стал расспрашивать: мало ли в Париже талантливых жуликов всевозможного происхождения.

А в январе 1934 года я увидел во всех газетах фотографии пышного брюнета. Александр Стависскнй действительно родился в Киеве, на Слободке. Журналисты называли его «красавцем Сашей». Выяснилось, что красавец нахапал за короткий срок шестьсот пятьдесят миллионов франков. Газеты сообщали, что у него в прошлом три судимости, что он пользовался доверием дипломатов и состоял на службе у полиции, а чеки он раздавал небрежно, как розы, не только депутатам, но лаже некоторым министрам.

Началась газетная перебранка: правые заверяли, что Стависский подкупал радикалов, радикалы отвечали, что чеки перепадали и друзьям Тардье.

Неожиданно красавец Саша застрелился. Газеты расписывали трогательные подробности; жулик походил на Вертера. Мелодрама длилась недолго; оказалось, что Стависского застрелил агент полиции Вуа. Полиция боялась, что припертый к стенке Саша начнет откровенничать, а в афере были замешаны слишком видные люди.

Все происходившее напоминало приключения Остапа Бендера. Следствие, например, установило, что крупные взятки получил депутат Боннор. Не помню, к какой партии он принадлежал, но в предвыборном воззвании он писал: «Моя программа — довольно политических принципов! Прежде всего честность!»

Финансовые скандалы были повседневным бытом Франции; каждый год раскрывалась какая-нибудь грандиозная афера: Устрик, Пере, Багдад, «Нгоко-Саига». Ну еще один… Я никак не думал, что прекрасный Саша откроет новую страницу истории.

Правые газеты усиленно занялись моралью: объяснялось это политическими расчетами — у власти стояло правительство «левого картеля». Министр иностранных дел Поль-Бонкур был сторонником сближении с Советским Союзом. Что касается

различных фашистских организаций, то они вдохновлялись примером Германии; скандальная афера, в которой были замешаны депутаты и некоторые министры, помогала кампании против парламентаризма — за «здоровое государство с твердой властью».

Разразился очередной министерский кризис; он мало что изменил: большинство в парламенте принадлежало радикалам и социалистам. Новый премьер Даладье, расхрабрившись, решил сместить префекта полиции всесильного Кьяппа, который покровительствовал фашистским организациям. Кьяпп, несмотря на низкий рост, страдал манией величия, он был корсиканцем, и ему, видимо, хотелось стать Наполеоном. Узнав, что он смещен, он сказал, что в случае надобности «выйдет на улицу».

Действительно, два дня спустя, 6 февраля, я увидел на нарядной площади Конкорд фашистский мятеж. Сторонники «Боевых крестов», «Французской солидарности», «Патриотической молодежи» пытались прорваться через мост к зданию парламента, где заседали перепуганные депутаты.

«Марсельеза» фашистов прерывалась улюлюканьем. Полицейские, среди которых было много корсиканцев, вели себя непривычно мягко: многие из них были преданны своему начальнику и земляку Кьяппу, к тому же перед ними были не рабочие в кепках, а хорошо одетые молодые люди. Фашисты жгли автобусы, опрокидывали в Тюльерийском саду статуи нимф, резали ноги лошадей республиканской гвардии лезвиями бритв. Иногда раздавались выстрелы. Подоспели уголовники, начали громить магазины. К утру все устали и разошлись но домам.

Радикалы любили называть себя «якобинцами»: однако эти «якобинцы» струсили; Даладье подал в отставку. Началась обычная парламентская суетня, и новый кабинет состряпал правый Думерг, включив в него различных добропорядочных французов, в том числе Петена и Лаваля.

Все это казалось обычным, но изменились времена. Коммунисты призвали рабочих 9 февраля выступить против фашистов. Ночь была туманная. Я пошел к Восточному вокзалу: говорили, что там происходят стычки между рабочими и полицией. Рядом со мной шел пожилой рабочий; он попросил у меня прикурить, сказал: «Вот безобразие!..» В это время из тумана вынырнула машина с полицейскими; один соскочил и ударил рабочего дубинкой по голове.

На узкой улице строили баррикаду; тащили бочки, столы, ручные тележки; пели «Интернационал». Я попробовал пройти дальше. Начали стрелять. Ничего не было видно. Когда я добежал до угла, никого не было; я увидел только кровь на тротуаре.

Уже светало, когда я пробирался к отделению телеграфа и здании биржи, которое было открыто всю ночь: хотел передать поскорее корреспонденцию о происшедшем. Несколько раз меня останавливали, обыскивали.

Это было в пятницу; два последующих дня многое решили: различным профсоюзам — тем, что шли за коммунистами, и тем, во главе которых стояли социалисты, — удалось прийти к соглашению: на 12 февраля была назначена всеобщая забастовка. Рабочие организации призвали всех собраться на площади Насьон.

Газеты накануне писали, что забастовка неминуемо провалится; однако на следующий день ни одна из них не вышла: печатники забастовали. Жизнь замерла: не шли автобусы, закрылись магазины, не работала почта; даже учителя примкнули к забастовке.

Я пошел на площадь Насьон. Это была первая всенародная демонстрация в Париже, и она меня поразила сочетанием суровой уверенности с неизменным весельем парижской толпы. Сотни грузовиков с полицией, с гвардейцами стояли на соседних улицах. А на площади люди шутили, пели. Кто-то решил украсить статую Республики красным флажком; статуя большая и на высоком цоколе: сразу образовалась пирамида из человеческих тел. Демонстранты ласково приветствовали иностранцев — беженцев из Италии, Польши, Германии. Я вспомнил бесновавшихся фашистов на площади Конкорд. Два мира…

Двенадцатое февраля стало для Франции большой датой. Казалось, ничего не произошло, и на следующее утро Париж выглядел как прежде. Фашистская демонстрация 6 февраля свалила правительство, а теперь все министры оставались на своих постах. Но именно 12 февраля многое изменило: не состав кабинета — Францию. Как-то сразу заглохли догадки, когда фашисты снова выступят и кого они прочат в фюреры. Все поняли, что сила у народа, 12 февраля было первой черновой репетицией Народного фронта, который два года спустя потряс Францию.

Весь день я бродил но улицам довольный, возбужденный, вечером написал статью и отнес на телеграф. А на следующий день пришла телеграмма от редакции: в Вене начались вооруженные столкновения рабочих с полицией; я должен срочно запросить австрийскую визу и как можно скорее выехать.

Двенадцатое февраля меня окрылило; я видел повсюду победы. Вслед за Парижем — Вена… Видимо, приближается тот «последний и решительный», о котором пели парижские рабочие в туманную ночь. Обидно, что человеку с советским паспортом

нельзя стрелять: остается выполнять работу военного корреспондента…

4

Я понимал, что австрийцы въездной визы мне не дадут, и решил прибегнуть к хитрости: сказал, что еду в Москву через Вену и прошу транзитную визу. А про себя думал: «Останусь в Вене столько, сколько будет нужно; да еще неизвестно, кто победит…» Австрийцы, однако, тянули два дня с выдачей транзитной визы.

Когда я приехал в Вену, падали большие хлопья снега, как будто стараясь прикрыть свежие раны; чернели дыры домов, разбитых артиллерией хеймвера. Во Флоридсдорфе пахло гарью. Из окон выглядывали клочья простынь, носовые платки — белые флажки капитуляции. Среди щебня я увидел неубранный труп женщины. Хеймверовцы останавливали прохожих, некоторых тщательно обыскивали. Все это походило на Пресню в декабре 1905 года.

Один журналист мне рассказал, что накануне, когда еще шли бои, судили рабочего Мюнихрайтера; он был тяжело ранен, и в здание суда его принесли на носилках. Три часа спустя его повесили. За первым смертным приговором последовали другие.

Я попытался разыскать знакомых, расспрашивал; все были запуганы, неохотно отвечали. Я узнал, что многим шуцбундовцам удалось добраться до чехословацкой границы.

После победы в Париже я увидел в Вене поражение. Я не знал, в какую эпоху мы вступаем, и разгром шуцбундовцев меня поразил.

Я вспомнил, что, когда в 1928 году я был в Вене, я получил приглашение осмотреть рабочие дома; приглашение было на красивой бумаге, с гербом столицы и подписано бургомистром, социал-демократом. Меня сопровождал один из муниципальных советников, тоже социал-демократ. Я увидел прекрасные дома со скверами, со спортивными площадками, с просторными читальнями. Заметив мое восхищение, провожатый обрадовался. Он пригласил меня в кафе, где сидели рабочие, изучавшие десяток газет различного направления. Помню, там я поделился с любезным австрийцем моими сомнениями: «Дома изумительные! Но не кажется ли вам, что вы строите их на чужой земле?…» Мой собеседник начал мне объяснять, что социализм победит мирным путем — ведь на последних выборах в Вене семьдесят процентов избирателей голосовали за социал-демократов…

Теперь эти чудесные лома, названные именами Маркса, Энгельса, Гёте, Либкнехта, чернели, продырявленные снарядами…

Я услышал выстрел: хеймверовец упал. Это было последним слабым раскатом прошедшей грозы. На Ринге кафе были заполнены элегантными посетителями. Расклеивали театральные афиши: «Бал в Савойе», «Девушка с темпераментом», «Мы хотим мечтать».

Я уехал в Братиславу и там нашел шуцбуидовцев. Один из них сказал, что спас многие документы. Это был социал-демократ, рабочий. Он долго мне рассказывал о трагических событиях, показывал протоколы заседаний, предшествовавших февральским дням, донесения районных начальников. Он сказал: «Мне все равно, что вы коммунист. Я читал ваши книги. Напишите правду. Пусть все знают, что мы не струсили. Конечно, оказались предатели, как Кор бель, но таких было немного. Ужасно, что наши лидеры слишком долго колебались!.. Это хорошие люди, я с ними проработал двенадцать лет. Но когда начался бой, они растерялись…»

Я внимательно прочитал документы, записал рассказы рядовых участников боев. Можно было бы сесть за работу, но мне сказали, что в Брно находится один из руководителей шуцбунда Юлиус Дейч. Я поехал в Брно. Дейч хмурился; потом стал рассказывать. Он возмущался тем, что Дольфус и Фей спровоцировали восстание. Меня поразил разлад между политическим оппортунизмом его рассуждений и характером человека — жестким, скорее неуступчивым. Он вел себя лучше, чем думал. (Его дальнейшая судьба также изобиловала противоречиями: он был в Испании во время гражданской войны; его произвели в генералы, и социал-демократы на него дулись — он слыл «левым». Да и потом он часто ссорился со своими товарищами, его исключали из партии, снова принимали.)

Я увидел человека, подавленного событиями; его обиды мне многое объяснили.

Брно расположен поблизости от австрийской границы. Все время приходили люди, удравшие от расправы, рассказывали про виселицы, про казармы, куда загнали три тысячи рабочих. В газете я прочитал, что среди других «марксистских организаций» распущен «Союз владельцев маленьких садиков и кролиководов». Это было смешно, но я не улыбнулся.

В Брно я написал очерки для «Известий», получилась небольшая книга, и в газете они печатались с продолжением.

Мне хотелось не только описать события, но и постараться понять происшедшее. Рабочие Австрии были хорошо организованы. Может быть, потому, что коммунисты были куда слабее, чем в Германии, австрийские социал-демократы выглядели иначе, чем их немецкие товарищи; они, например,

создали боевые дружины — шуцбунд, скрыли от властей винтовки, пулеметы. Почему же все решилось в два-три дня?…

В нашей печати социал-демократов тогда именовали «социал-фашистами»; это было хлестко, но неубедительно. Конечно, среди немецких социал-демократов нашлись предатели, быстро приспособившиеся к режиму нацистов. Но социал-демократы не были фашистами; это было ясно любому человеку, знакомому с жизнью Запада. Фашисты не боялись социал-демократов, но социал-демократы смертельно боялись фашистов, и если они не решились выступить против фашизма, то только потому, что не менее фашистов боялись коммунистов, пытались стать «третьей силой», а на самом деле теряли всякую силу, вели рабочих от капитуляции к капитуляции.

Венские события для меня были поучительными. Я увидел некоторых австрийских социал-демократов, людей вполне честных, лично смелых, но политически малодушных, сделавших против своей воли все, чтобы обеспечить победу канцлера Дольфуса и вождя хеймверовцев князя Штаремберга.

В начале февраля вице-канцлер Австрии Фей заявил: «В течение ближайшей недели мы очистим Австрию от марксистов». Что сделали в ответ руководители социал-демократов? Они уговаривали депутатов левого крыла христианско-социальной партии присоединиться к протесту. А полиция тем временем арестовывала одного за другим районных руководителей шуцбунда. Всеобщую забастовку откладывали со дня на день. Когда рабочие Линца отказались сдать винтовки и вступили в бой, в Линц пришла телеграмма из Вены, где шла речь о здоровье тети Эммы: это был условный язык — Вена предлагала снова отложить выступление. Только когда рабочие Флоридсдорфа забастовали и вытащили припрятанное оружие, руководители шуцбунда разослали телеграмму «Карл заболел», это означало, что всеобщая забастовка объявлена.

Я писал в «Известиях»: «Социал-демократические лидеры правы, заверяя, что бой был принят ими против воли. Они хотели сохранить не оружие, но погоны — право в фашистском государстве именоваться социал-демократами, и в этом праве Дольфус им отказал. Тогда перед социал-демократами осталось на выбор: либо пасть ниц, как сделали их германские собратья, либо защищаться. Я знаю, что многие социал-демократы проявили в февральские дни подлинное мужество. Они не боялись смерти. Но победы они боялись…» Редакцию газеты несколько смутили эти строки, но они были напечатаны.

Венские события заставили меня задуматься не только над политической беспомощностью руководителей социал-

демократов, я спрашивал себя, как им удалось привить части рабочего класса благодушие, даже благонамеренность. Рабочие-печатники Вены не забастовали. Трудно их заподозрить в несознательности. Они понимали, что канцлер Дольфус не сулит им счастья, но, сочувствуя шуцбундовцам, они набирали и печатали газеты, где их товарищи назывались «насильниками», «убийцами», «наемными агентами»; печатники знали, что это неправда, но, не веря в успех сопротивления, они боялись потерять заработок, а зарабатывали они неплохо. Отказались примкнуть к забастовке и железнодорожники; это дало возможность правительству перебрасывать военные отряды, подавить сопротивление в провинции. В вооруженной борьбе в первый день приняло участие около двадцати тысяч рабочих, во второй и третий день сопротивлялись семь-восемь тысяч. Это меня не удивило; так бывало в истории не раз. Поразительно другое: всеобщая забастовка сразу же провалилась, и сражавшиеся шуцбундовцы оказались без тыла.

Я понял, что победа Гитлера не была одиноким, изолированным событием. Рабочий класс был повсюду разъединен, измучен страхом перед безработицей, сбит с толку, ему надоели и посулы, и газетная перебранка. Я спрашивал себя, что же будет дальше — Париж или Вена, отпор или капитуляция?

Тысяча девятьсот тридцать четвертый год, который я встретил с такими надеждами, становился годом разуверений. Замелькали фашистские мятежи, перевороты — от Латвии до Испании. Осенью горняки Астурии попытались повернуть ход событий, но были разбиты.

Я не могу сказать, что австрийская буржуазии радовалась в феврале 1934 года победе хеймверовцев. Конечно, она была довольна, что шуцбундовцы разбиты, в то же время она побаивалась фашизма. Ей наивно хотелось вернуть далекое прошлое — беззаботность, легкомыслие габсбургских лет, остроумные фельетоны, вышучивающие режим, министерские кризисы, опереточных военных на Ринге. Век, однако, не церемонился. В феврале канцлер Дольфус разгромил рабочих и провозгласил новую конституцию, которая пахла солдатней Берлина и ладаном Ватикана. Я видел Дольфуса в Вене; он походил на карлика, его мог бы хорошо написать Веласкес. Он удовлетворенно улыбался. Вскоре он поехал в Италию, подписал договор с Муссолини — хотел спасти Австрию от Гитлера. А в июле его убил сторонник фюрера. Когда два года спустя я снова оказался в Вене, победители февраля выглядели довольно плачевно. Князь Штаремберг занялся физкультурой, бывший вице-канцлер Фей служил в пароходной компании. Канцлером

был осторожнейший Шушниг; он знал, что нельзя гневать ни господа бога, ни Гитлера. Когда в марте 1938 года гитлеровцы ворвались в Австрию, Шушниг предложил австрийцам не оказывать сопротивления. Нацисты все же посадили его в концлагерь. Веселым венским бюргерам пришлось умирать за великую Германию на Дону и на Волге. Такова была развязка трагедии, начавшейся в феврале 1934 года.

5

Пробраться из Чехословакии в Париж оказалось нелегко. Когда я приехал в Прагу, еще белел снег. Скверы успели зазеленеть. Незвал написал десяток стихотворений и в различных «каварнях» доказывал мне, что сюрреализм Бретона мало чем отличается от социалистического реализма.

Я познакомился с Чапеком. Некоторые левые критики нападали на него: время грозное, а он пишет о собачках. Чапек внешне походил на посетителя лондонского клуба: был вежлив, сдержан; но я сразу почувствовал за этой маской горечь. Час спустя Чапек сказал: «Прежде говорили о старом человеке, что он горбится под тяжестью лет. Мы можем сказать — под тяжестью веков… Надвигается эпоха воинствующей глупости…

Майерова рассказывала мне смешные истории из жизни Гашека. Прошло всего шестнадцать лет с конца войны, а времена Швейка уже казались идиллическими.

Гоффмейстер начал рисовать меня на память — с трубкой и без трубки, с чемоданом и без чемодана; последнее, признаться, меня пугало: я из суеверия не распаковывал чемодана, хотя друзья давно перестали спрашивать, когда я собираюсь в путь. Ко мне привыкли. А я не мог привыкнуть к своему положению; как я ни люблю Прагу, я мечтал из нее выбраться.

Мои статьи появились в «Известиях» до того, как я обратился к австрийцам с просьбой о транзитной визе; мне отказали. Отказали и немцы. Самолет Прага — Париж приземлялся в Нюрнберге, требовалась транзитная виза.

Герцфельде перенес в Прагу издательство «Малик». Увидев у него мои книги, изданные в Берлине, я удивился, почему их не сожгли. Оказалось, что нацисты продают за границу запрещенные книги, продают со скидкой. Костры им понадобились для демонстрации чистоты побуждений и непримиримости, а чешскими кронами они не гнушались.

В издательстве бывало много народу: часть немецких литераторов перекочевала в Прагу. Один из них рассказал мне, что в немецком посольстве работает ставленник фон Папена, который обожает литературу, собирает запретные книги, переплел в роскошный переплет «Хулио Хуренито»; может быть, он расщедрится и выдаст мне транзитную визу.

Я пошел вторично в немецкое посольство. Библиофил был высоким, белобрысым, с осанкой военного, но с близорукими и поэтому скорее добродушными глазами. Принял он меня любезно, хвалил мои книги, но визу дать отказался: «Я не хочу

инцидентов». Я не понял, о каких инцидентах он говорит, и стал заверять, что, находясь на аэродроме Нюрнберга, не раскрою рта. Дипломат усмехнулся: «Инцидент может произойти не но вашей вине. Вы, видимо, недостаточно осведомлены… Прочитайте статьи Ильи Эренбурга о Германии».

Я хотел проехать через Венгрию и Югославию. Венгерское посольство запросило Будапешт; я заплатил за длинную телеграмму. Ответ был коротким. Секретарь посольства позвонил мне в гостиницу: «Вам придется выбрать другой маршрут».

Меня пригласил к себе министр иностранных дел Чехословакии Эдуард Бенеш. В очень большом кабинете я увидел маленького, чрезвычайно живого человека. Он сначала заговорил о литературе, потом, улыбаясь, сказал: «Я знаю, что вы любите Словакию и критикуете наше отношение к словацкой культуре». Бенеш стал мне доказывать, что правительственная политика не так уж плоха. Я знал, что происходят переговоры между Москвой и Прагой и что лучше всего промолчать, но не выдержал, начал спорить.

Наконец Бенеш сказал: «Может быть, я могу быть вам в чем-либо полезен?» Я поспешно ответил: «Да! Помогите мне покинуть вашу прекрасную страну. Мне нужно проехать в Париж, я пропустил все сроки…» Я рассказал о злоключениях с транзитными визами. Бенеш подвел меня к карте Европы, висевшей на стене: «Теперь вы на себе почувствовали, что мы окружены. Чехословакия в смертельной опасности».

Подумав, Бенеш сказал, что попытается получить для меня румынскую транзитную визу, в случае успеха я смогу поехать через Румынию — Югославию — Италию, Я еще раз поглядел на карту и улыбнулся: нужно на запад, а поеду на восток… Привередничать, однако, не приходилось, и я поблагодарил Бенеша.

Действительно, два дня спустя меня пригласили в румынское посольство. Все долго разглядывали меня, а еще дольше мой паспорт — никогда прежде они не видели советского паспорта. (Это было до установления дипломатических отношений.)

Путь оказался долгим. Мне пришлось заночевать в румынском городе Орадя. Я с любопытством глядел на ободранных, но лихих извозчиков, которые катали расфуфыренных дам, на босых крестьян, на изысканных полицейских, а журналисты с не меньшим любопытством разглядывали меня — советский паспорт казался им первой ласточкой. Из Орадя на куцем неторопливом поезде я добрался до города Тимишоара и там увидел две примечательные личности — министра народного просвещения Алгелеску и

фюрера местных немецких колонистов Фабрициуса. Министр говорил о «великой Румынии», фюрер — о «великой Германии».

При выезде из Румынии меня обыскали, отобрали вечное перо как контрабанду, но, узнав, что я писатель, повздыхали и вернули. Югославский таможенник, к моему удивлению, попросил у меня автограф и сказал, что ему нравится моя книга «Тринадцать трубок». Оказалось, что он русский и попал в Югославию с остатками врангелевской армии, а теперь тоскует по родине. Поезд сопровождала вооруженная охрана. Одни уверяли, что поезда взрывают хорватские сепаратисты, усташи, другие говорили, что динамитчики действуют по указанию белградской полиции.

В Триесте я разыскал одну знакомую, жену врача; она долго рассказывала о глупости и унизительности жизни под властью дуче. Провожая меня, она спросила у начальника станции, когда должен отойти поезд, и подняла по-фашистски руку, потом сказала: «Простите мне этот жест. Приходится…»

Я приехал в Венецию. Перрон вокзала был устлан малиновыми ковриками; по ним торжественно прошел австрийский канцлер Дольфус. На площади Святого Марка был парад чернорубашечников. Громкоговорители передавали речь Муссолини: «Фашистская и пролетарская Италия, вперед!..» Чернорубашечники радостно кричали и действительно шли вперед — по площади, блестевшей после весеннего дождя.

В Милане меня пригласил к себе издатель, незадолго до этого выпустивший итальянский перевод «Дня второго». Книга была снабжена предисловием, в котором говорилось, что роман изобилует ошибочными суждениями, автор, например, прославляет коммунизм; но итальянский читатель сумеет отличить зерно от красной шелухи — «День второй» прославляет труд, а всем известно, что только фашистская Италия сумела обеспечить свободу и счастье трудящихся. Закрыв все двери, издатель начал объяснять полушепотом, что без предисловия нельзя было напечатать книгу. Пришла его дочь, студентка, и громко сказала: «Когда я вижу на стенах «дуче, дуче», мне хочется кричать от стыда…»

Во Францию я вернулся с невеселыми впечатлениями: фашисты или полуфашисты быстро превратили Европу в непроходимые джунгли. На границах повырубили деревья, вместо них поднялись заросли колючей проволоки. Обыскивали путешественников, искали газеты и револьверы, валюту и бомбы. Хорватские фашисты нападали на своих сербских единомышленников. В Румынии «железная гвардия» громила лавчонки и грозила мадьярам, а в Венгрии приверженцы Хорти

убивали крестьян и клялись, что завоюют Трансильванию. Итальянские чернорубашечники кричали об австрийском Тироле, о французской Савойе. Фашистская чума пересекала границы без виз.

Описывая путешествия по европейским джунглям, я говорил: «Проезжему кажется, что в Европе — война. Кто с кем воюет — сказать трудно. По всей вероятности, все и со всеми».

Перед моими глазами вставали картины поражения: Флоридсдорф, белые тряпки, обугленные фасады, хеймверовцы…

Однако то, что я увидел во Франции, меня снова приподняло. За время моего отсутствия родились сотни «Комитетов бдительности». Крестьяне приходили в города с охотничьими ружьями, спрашивали, где фашисты. Я пошел на один из бесчисленных митингов в рабочем районе Итали; у людей было такое настроение, что скажи им: «Вот фашисты», — они пошли бы на танки с голыми руками.

Профессор Ланжевен и Ален организовали «Комитет бдительности», куда входили писатели, ученые, профессора; были среди них люди, еще недавно отказывавшиеся от участия в политической жизни, — Роже Мартен дю Гар, Бенда, Леон Поль Фарг, много других.

Жан Ришар Блок пришел веселый, возбужденный, говорил, что февральские дни преобразили Францию, дело идет к революции.

В начале июня я отправился в Москву; снова мне пришлось поразмыслить над маршрутом; я выбрал морской путь: Лондон — Ленинград. Со мною поехал Мальро — у него было много планов: «Межрабпом» хотел сделать фильм по его роману, и Мальро рассчитывал поговорить о постановке с Довженко, потом он начал писать роман о борьбе за нефть и собирался съездить в Баку.

Советский пароход шел но Кильскому каналу. Я жадно разглядывал берег: вот фашистская Германия… На берегу стояли торговцы с большими сачками — предлагали пассажирам шоколад, сигары, одеколон.

Вдруг я увидел стоявшего на берегу рабочего; он поднял кулак — салютовал советскому флагу. Трудно описать, как мне хотелось тогда верить, да и не мне одному. Я тоже поднял кулак — приветствовал не только смелого человека, но и ту революцию, которая не пришла ни через год, ни через десять лет.

Увидеть истину прежде, чем ее видят другие, лестно, даже если за это ругают. А вот ошибаться куда легче со всеми.

6

В Москве у меня квартиры не было. Люба поехала к матери в Ленинград, а я с помощью «Известий» получил номер в гостинице «Националь». Комната была маленькой, неприглядной, брали за нее дорого, но выбора не было.

Как-то утром я заказал чай; официант выслушал меня и вскоре вернулся без подноса: чая я не получу, с сегодняшнего дня ресторан отпускает только на валюту. Я рассердился, но смолчал, попросил принести кипяток и чайник для заварки — у меня были чай и сахар. Официант снова пришел с пустыми руками: «И кипятка не дали, говорят, советским не отпускаем…»

Я решил пойти к директору гостиницы. Лестница была заставлена цветами в горшках. Стояли, выстроенные в шеренги, коридорные в ярко-зеленых рубашках, горничные в шуршавших лифах, с пышными наколками; по команде они кланялись, поворачивались налево, направо, улыбались, снова кланялись. Это напоминало репетицию фильма из быта старого купечества.

Я проник в ресторан и увидел его преображенным: там предполагали торговать солонками с резными петушками, скверными иконами суздальских богомазов и Васнецовскими богатырями на ларчиках, на брошках, на блюдцах. Музыканты репетировали «Вниз по матушке по Волге…».

Директор объяснил, что я должен немедленно очистить номер: через час из Ленинграда прибудет большая группа американских туристов.

Я задержался, чтобы поглядеть на знатных путешественников; это были очень богатые люди; коридорные задыхались, волоча тяжелые чемоданы. Горничные, помня урок, кокетливо улыбались, и туристы снисходительно кивали головой. Я заговорил с одним; он оказался крупным биржевым маклером из Буэнос-Айреса. Он рассказал, что его отговаривали от поездки в Москву, но сейчас он окончательно успокоился: гостиница как гостиница: «Конечно, победнее, зато чувствуется русский дух. Я ведь бывал в Париже, там чудесный ресторан «Тройка»…»

(Я сердился, но не удивлялся. Незадолго до этого происшествия я был в Иванове. Зашел в ресторан. Зал загромождали пыльные пальмы. На столиках лежали грязные скатерти с засохшими следами вчерашних соусов и позавчерашних борщей. Я сел за столик, который выглядел чище. Официантка закричала: «Вы что, не видите?… Это для иностранцев…» Оказалось, в местном текстильном институте учатся два молодых турка. К ним относились с почтением и обед

им подавали на чистой скатерти.)

Я пошел в редакцию, попросил пишущую машинку и написал статью, которую озаглавил «Откровенный разговор». Я описал все, что увидел в гостинице «Националь», и сказал, что глупо выдавать Советскую страну за старый русский трактир с вышколенной челядью и бутафорским надрывом. «Будь я вашим гидом, граждане интуристы, я показал бы вам не прошлое, а настоящее моей страны. Я не кривил бы душой, не скрыл бы от вас многих злых сказок. Я не говорил бы вам: «Посмотрите направо — там старая церквушка» только потому, что налево стоит очередь… В нашей стране еще вдоволь нужды, косности, невежества: мы ведь только начинаем жить… Вы своими глазами видели скверную сказку одной гостиницы, по ней вы можете понять, как трудно нам освободиться от жестокого наследства, которое оставило нам прошлое. Кроме сказки о коридорных в зеленых рубашках, я мог бы вам рассказать немало дурных сказок. У нас много говорят об уважении к человеку, но уважать человека у нас далеко еще не все научились… Я рассказал вам о дурных сказках, теперь разрешите припомнить несколько прекрасных сказок…» Я рассказывал о строителях Кузнецка, о крестьянах в доме отдыха, о литературном кружке на заводе «Шарикоподшипник». Я знал капиталистический мир; там жгли и хлопок и книги, безработные валялись под мостами, фашисты устраивали погромы; словом, стыдиться нашей бедности перед сотней американских богачей было не только гнусно, но и глупо.

Напомню дату: июнь 1934 года. Людям жилось тяжело, но по сравнению с двумя предшествующими годами чувствовалось облегчение. Культ личности уже сказывался в статьях, в стихах, в портретах, в чересчур пронзительном «ура», которое приподымало утихавшие аплодисменты. Это порой оскорбляло мой вкус, но никак не совесть — разве мог я предвидеть, как развернутся события? Люди в то лето много спорили, мечтали о будущем. Скованности еще не было, и редактор «Известий» Бухарин напечатал мою статью.

Я получил много писем: читатели благодарили за то, что я напомнил о достоинстве советского человека. А надо мной нависала туча. Корреспонденты иностранных газет сообщили о моей статье. «Таймс» писала, что советский писатель раскрыл, как «Интурист» «обманывает иностранных туристов». Руководители «Интуриста» утверждали, что несколько англичан и французов, собиравшихся посетить Советский Союз, после моей статьи отказались от поездки и что я нанес государству материальный ущерб. Бухарин меня защищал. Я не знал о различных телефонных звонках — был возле Архангельска на

лесозаготовках. Подоспели другие события, и про мою статью, к счастью, забыли.

Если я рассказал об этом комическом и не очень значительном эпизоде, то отнюдь не для того, чтобы рассмешить читателя. Вспомнив нелепый маскарад в «Национале», я сам над многим задумался.

Впервые я вспомнил о коридорных, низко кланявшихся интуристам, в 1947 году, когда один из тогдашних руководителей Союза писателей сказал мне, что задачей нашей литературы на долгие годы является борьба против низкопоклонства и раболепства. Я долго расспрашивал: мне хотелось верить, что речь идет об унизительном поведении некоторых людей, вроде описанного мной работника «Интуриста», о преклонении московских модниц перед заграничным барахлом, о немногочисленных, но все еще существовавших людях, для которых мир денег, свободной конкуренции, авантюр оставался привлекательным. Нет, товарищ, со мной беседовавший, объяснил мне, что необходимо бороться против низкопоклонства перед учеными, писателями и художниками Запада.

Я никак не мог понять, что значит «Запад»: для меня страны Западной Европы и Америки не были выкрашены в один цвет: Жолио-Кюри жил в другом мире, чем Бидо, профессор Бернал не походил на Мак-Артура, Хемингуэй явно отличался от президента Трумэна. «Запад»?… Но разве Маркс не родился в Трире, разве Октябрьской революции не предшествовали июньские дни 1848-го, Парижская коммуна, борьба рабочих в различных странах Запада?

Вскоре я увидел, к чему свелась борьба против низкопоклонства и раболепства. Руководители пищевой промышленности переименовали сыр камамбер в «закусочный», а ленинградское кафе «Норд» в «Север». Одна газета заверяла, что дворцы Версаля были подражанием дворцам, построенным Петром Великим. Большая советская энциклопедия напечатала статью «Авиация», в которой доказывалось, что западноевропейские ученые и конструкторы внесли чрезвычайно слабый вклад в дело развития воздухоплавания. Фразу в моей статье о том, что Эдуар Мане был большим мастером XIX века, редактор зачеркнул: «Это, Илья Григорьевич, чистейшее низкопоклонство».

В 1949 году во время Первого конгресса сторонников мира, собравшегося в Париже, французы потребовали, чтобы я устроил пресс-конференцию. Один журналист спросил меня, как я отношусь к статье, напечатанной в советской газете, где Мольер назван слабым драматургом, что особенно ясно, когда смотришь

пьесы Островского. Журналист держал в руке русскую газету, но я не мог разглядеть какую. Я ответил, что не знаю, верен ли перевод, я такой статьи не читал; если она действительно была напечатана, то это показывает, что ее автор не очень сведущ в литературе, да и не блещет умом. «Мы говорим, что уничтожили в нашей стране эксплуататоров, это правда. Но мы никогда не утверждали, что уничтожили дураков…» Журналисты рассмеялись и стали более внимательно слушать ответы о «холодной войне», о политике Трумэна, о задачах сторонников мира. А я был весь в поту — гадал, какую газету он процитировал. Когда пресс-конференция закончилась, журналист, поставивший каверзный вопрос, подошел, показал газету. Я облегченно вздохнул: «Вечерка»…

С тех пор многое изменилось, но подлинное раболепство, низкопоклонство — не то, о котором писали критики в 1947 году, а то, что вдохновило в 1934 году инструктора «Интуриста», еще не исчезло. Недалеко от дома, где я живу, в городе Истра стоит небольшой бюст Чехова (Антон Павлович работал в земской больнице Вознесенска — так называлась до 1929 года Истра). Памятник поставили в 1954 году. Несколько лет спустя он оброс репейником, крапивой, чертополохом. Напрасно я уговаривал местные власти расчистить место вокруг памятника, посадить цветы. Ко мне приехали две француженки, корреспондентки «Юмаиите»; одна из них говорит по-русски. По дороге они остановились в Истре, начали фотографировать памятник Чехову. Работник райсовета удивился: «Выходит, что во Франции Чехова знают…» Француженка ответила: «Конечно. Но я думала, что его знают в Советском Союзе», — она показала на заросли крапивы. На следующий день я увидел вокруг памятника анютины глазки.

Комплекс неполноценности часто связан с комплексом превосходства, и человек, не уверенный в себе, сплошь да рядом держится надменно. Наш народ но только первым пошел по трудному пути строительства нового общества, в некоторых областях науки он оказался впереди других. Конечно, у нас много непроезжих дорог, коммунальных квартир, дурной живописи, недостатков в том или ином предмете обихода; стыдиться этого перед иностранцами не приходится; стыдиться нужно перед собой, стыдиться и бороться за повышение жизненного уровня. Никого не принизит уважение к культуре других стран, в том числе и тех, где еще царят доживающие свой век порядки. Народы этих стран живы; они не только давали в прошлом, они дают и поныне больших ученых, писателей, художников. Раболепствовать могут люди, еще не освободившиеся от психики раба. А чувство собственного достоинства не имеет ничего общего с чванством

полу раба, полузазнайки.

7

Я писал, что готовился к съезду советских писателей, как девушка к первому балу. Может быть, многие из моих наивных надежд и не осуществились, но съезд остался в моей памяти как большой диковинный праздник. Стены Колонного зала были украшены портретами великих предшественников — Шекспира, Толстого, Мольера, Гоголя, Сервантеса, Гейне, Пушкина, Бальзака и других. Передо мной был Гейне — молодой, мечтательный и, разумеется, насмешливый; я машинально повторял:

Расписаны были кулисы пестро,
Я так декламировал страстно.
И мантии блеск, и на шляпе перо,
И чувства — все было прекрасно…

Начало я вспоминаю с улыбкой: неожиданно оркестр стал исполнять оглушающие туши, как будто должны были последовать тосты.

Съезд продолжался пятнадцать дней, и каждое утро мы спешили в Колонный зал, а у входа толпились москвичи, желавшие посмотреть на писателей. К трем часам дня, когда объявляли обеденный перерыв, толпа была такой плотной, что мы с трудом пробивались. Тогда еще не было моды на автографы, люди смотрели, узнавали некоторых, приветствовали. Гости каждый день менялись, и на съезде побывало двадцать пять тысяч москвичей.

Приходили различные делегации: Красной Армии и пионеров — «База курносых», работниц «Трехгорки» и строителей метро, колхозников Узбекистана и московских учителей, актеров и бывших политкаторжан. Железнодорожники выстраивались под сигнальный свисток; пионеры дули в трубы; колхозницы приносили огромные корзины с фруктами и овощами; узбеки привезли Горькому халат и тюбетейку, матросы — модель катера. Все это было патетично, наивно, трогательно и походило на необычайный карнавал; привыкшие к трудным часам у рабочего стола, мы вдруг оказались на площади, засыпаемые розами, астрами, георгинами, настурциями — всеми цветами ранней московской осени.

Я раскрыл книгу, ставшую теперь редкостью, — стенографический отчет съезда, просмотрел список делегатов; редкостью стали и участники Первого съезда писателей — из семисот осталось в живых, может быть, полсотни. Прошло тридцать лет, да и годы были нелегкими.

Я председательствовал на заседании, когда выступил

участник Парижской коммуны Гюстав Инар; ему было восемьдесят шесть лет.

Делегации, приходившие, чтобы приветствовать съезд, были героями ненаписанных романов. Помню высокую крепкую женщину, колхозницу из Московской области; она говорила: «У меня самой муж. Я четвертый год — председателем колхоза. Вы знаете, ведь председателя колхоза можно приравнять к директору фабрики, а муж — рядовой колхозник. Но он терпения набрался. Ему дают наряд — изволь его выполнить. Если не так делаешь, то я на правлении скажу. Не исправишься — трудодней не дам. Если еще не исправишься — из колхоза выгоню. Покажу пример остальным мужчинам: скажут — расправилась с мужем, и нам не легче будет…» Рядом стоял мужчина невысокого роста и пугливо ежился.

Все делегации «предъявляли счет»: текстильщицы хотели романа о ткачихах, железнодорожники говорили, что писатели пренебрегают проблемами транспорта, шахтеры просили изобразить Донбасс, изобретатели настаивали на героях-изобретателях. (Люди не всегда представляют, что именно им нужно. Некоторые писатели поспешили погасить задолженность; появились сотни производственных романов. А читатели тем временем росли. Тридцать лет не прошли бесследно… Библиотекари говорят, что железнодорожники зачитываются рассказами Чехова, горняки любят «Петра» А. Толстого, ткачихи плачут над «Анной Карениной», изобретателям нравятся романы, где нет никаких изобретений, от «Тихого Дона» до «Старика и моря».)

Старый ашуг Сулейман Стальский вместо речи решил продекламировать, вернее, спеть стихи о съезде:

Приветный знак ашугу дан,
И вот я, Стальский Сулейман,
На славный съезд певцов пришел.

А. М. Горький вытер платком глаза. Я не раз видел в глазах Алексея Максимовича слезы умиления, Андерсен-Нексе, когда его обступили пионеры, тоже прослезился.

Б. Л. Пастернак сидел в президиуме и все время восхищенно улыбался. Когда пришла делегация метростроевцев, он вскочил — хотел взять у одной из девушек тяжелый инструмент; она рассмеялась, рассмеялся и зал. А Пастернак, выступая, начал объяснять: «И когда я в безотчетном побуждении хотел снять с плеча работницы Метростроя тяжелый забойный инструмент, названия которого я не знаю, мог ли знать товарищ из президиума, высмеявший мою интеллигентскую чувствительность, что в этот миг она в каком-то мгновенном

смысле была сестрой мне и я хотел помочь ей как близкому и давно знакомому человеку».

Переполненный зал напоминал театр: встречали овацией любимых писателей; восхищались удачными речами. Олеша потряс поэтической исповедью, Вишневский и Безыменский — страстными митинговыми речами, Кольцов и Бабель сумели рассмешить.

Кажется, все говорили искренне, хотя иногда содержание речей и не совпадало с душевным состоянием того или иного писателя. Ю. К. Олеша рассказал, как он воскрес, освободившись от недавних сомнений: «Ко мне вдруг неизвестно почему вернулась молодость. Я вижу молодую кожу рук, на мне майка, я стал молод — мне шестнадцать лет. Ничего не надо. Все сомнения, все страдания прошли. Я стал молод. Вся жизнь впереди». Может быть, в тот же самый день, может быть, назавтра или через неделю я с ним обедал, и он печально говорил: «Я больше не могу писать. Если я напишу: «Была плохая погода», — мне скажут, что погода была хорошей для хлопка»… Олеша был очень талантлив, книга «Зависть», написанная в 1927 году, выдержала испытание временем. Да и отрывистые записи последних лет показывают большую писательскую силу. Но молодость к нему не вернулась; это было иллюзией, сном на празднике…

А. М. Горький внимательно слушал речи. Ему хотелось, чтобы съезд принял деловые решения. Алексей Максимович предлагал многое: «Историю фабрик и заводов», книгу «День мира», историю гражданской войны, историю различных городов, литературные школы, коллективную работу, журнал, посвященный профессиональному обучению начинающих авторов. Некоторые из его проектов потом были осуществлены. Но съезд не был, да и не мог быть деловым: он превратился в крупную политическую демонстрацию. Из Германии доходил дым костров, на которых фашисты жгли книги. Все помнили недавние события: фашистский путч в Париже, разгром шуцбунда. Присутствие революционных зарубежных писателей расширяло стены Колонного зала; мы смутно ощущали приближение войны.

Горький пригласил на свою дачу иностранных гостей и некоторых советских писателей. Помню страшный рассказ китайской писательницы, она сказала, что молодой писатель Ли Вэйсэн был живым закопан в землю. Японский гость рассказал на съезде, как полиция истязала и убила писателя Кобаяси. Мы восторженно встретили Бределя — он просидел больше года в фашистском концлагере. Он говорил о судьбе Людвига Ренна, Осецкого. Можно ли было спокойно это слушать? Для того чтобы

воссоздать настроение тех дней, скажу, что такой далекий от политики человек, как Пастернак, в своей речи, вспомнив приветствие представителя Красной Армии, говорившего о защите родины, сказал: «Вы открывали переливы вашего собственного голоса в словах курсанта Ильичева».

Я говорил, что историю нельзя переписать заново. В одной из резолюций съезд приветствовал присутствовавших: Андерсена-Нсксе, Мальро, Жана Ришара Блока, Якуба Кадри, Бредсля, Пливье, Ху Ланьчи, Арагона, Бехера, Амабель Эллис — и слал приветы отсутствовавшим: Ромену Роллану, Жиду, Барбюсу, Бернарду Шоу, Драйзеру, Энтону Синклеру, Генриху Манну, Лу Синю (сохраняю порядок резолюции). Некоторые из перечисленных писателей при разных обстоятельствах, в разное время, да и по-разному отошли от идей, которые разделяли в 1934 году; но я сейчас говорю не об их дальнейшей судьбе, а о съезде.

Андерсен-Нексе просил советских писателей быть шире: «Вы должны дать массам идеалы не только для борьбы и для труда, но и для часов тишины, когда человек остается наедине с самим собой… Художник должен давать приют всем, даже прокаженным, он должен обладать материнским сердцем, чтобы выступить в защиту слабых и неудачливых, в защиту всех, кто, все равно по каким причинам, не может поспеть за нами».

В докладе Радек упомянул о некоторых колебаниях Жана Ришара Блока. В своей речи Блок говорил о необходимости широкого антифашистского фронта: «Товарищ Радек, если вы будете упорствовать в осуждении, если вы будете проявлять недоверие, то я лично должен вас предупредить, что это только толкнет широкие массы Запада в сторону фашизма». Арагон, молодой и вдохновенный, откинув голову назад, говорил о наследстве «Рембо и Золя, Сезанна и Курбе».

Мальро выступил дважды. Первый раз он говорил о роли литературы: «Америка нам показала, что, выражая мощную цивилизацию, люди еще не создают мощной литературы и что фотография великой эпохи — это еще не великая литература… Вы, похожие друг на друга и все различные, как зерна, вы здесь кладете начало той культуры, которая даст новых Шекспиров. Только чтобы не задохлись Шекспиры под грузом самых наипрекрасных фотографий».

Второй раз он попросил слово, чтобы напомнить о своей политической позиции: «Если бы я думал, что политика стоит ниже литературы, я не провел бы кампании во Франции вместе с Андре Жидом в защиту товарища Димитрова, не ездил бы в Берлин по поручению Комитета защиты Димитрова и, наконец, не

был бы здесь». Мальро страдал нервным тиком. Радек решил, что Мальро морщится от дискуссии: «У него часто скривлялось лицо, когда он считал, что вопрос поставлен чересчур резко». Он поспешил успокоить Мальро, но вылечить его от тика, конечно, не смог.

Выступали мои старые друзья: Толлер, Незвал, Новомеский. Рафаэль Альберти держался очень скромно и даже не попал в список знатных гостей.

О чем же мы говорили в течение пятнадцати дней? Пушкиных и Гоголей среди нас как будто не было, но многие были уже не зернами, а деревьями или кустарником. Алексей Толстой не походил на Серафимовича, Бабель на Панферова, Демьян Бедный на Асеева, и политические декларации неизменно перемежались с литературными спорами. Громче других шумели поэты, которых взволновал доклад Бухарина. Когда впервые было произнесено имя Маяковского, зал восторженно зааплодировал. Однако и здесь не было единогласия. В заключительном слове А. М. Горький, назвав Маяковского «влиятельным и оригинальным поэтом», сказал, что ему свойствен «гиперболизм», который плохо влияет на некоторых молодых поэтов. Спорили о праве лирики на существование, о том, устарели или нет агитки, о романтизме, о доходчивости, о многом другом.

Настоящие писатели всегда стремились выразить не себя, а через себя мысли и чувства современников. Работа писателя протекает, однако, не в цеху, не на сцене, а в комнате с закрытыми дверями. Можно научить начинающего автора преодолеть литературную неграмотность, безвкусицу, научить его читать, но научить его стать новым Горьким, Блоком или Маяковским невозможно. Даже большой мастер не может обучить другого мастера: различные ключи подходят к различным замкам. Стендаль попробовал прислушаться к советам Бальзака и чуть было не погубил «Пармскую обитель», но вовремя спохватился и отказался переделать роман. Тургенев, стараясь исправить некоторые стихотворения Тютчева, страдавшие, по его мнению, ошибками, нещадно их исковеркал.

Писатели порой (не очень часто) говорят друг с другом о литературных проблемах; эти беседы или споры помогают осмыслить многое. Но можно ли спорить о мастерстве в огромном зале, среди тушей и оваций? Не думаю. Да и назначение съезда было другим. Читатели увидели, что мы с ними, что есть у нас общая цель. Мы, в свою очередь, поняли, как заинтересованы в нашей работе миллионы людей; это заставило нас еще серьезней призадуматься над ответственностью писателя. Съезд собрался накануне чрезвычайно трудного десятилетия. Мы видели

звериный оскал фашизма. Как бы ни были велики наши художественные раздоры, порой связанная с ними неприязнь, мы показали тем, кто хотел это понять, что боевая выручка для нас — не абстрактное понятие. Это дал съезд, и большего, я думаю, он дать не мог.

Все же по наивности или по свойствам характера я, как и некоторые другие, ввязался в литературный спор. Я, например, осмелился усомниться в полезности коллективных работ писателей. Алексей Максимович, отвечая мне, сказал, что я так говорю «по недоразумению, по незнакомству с их техническим смыслом».

Горький потом сказал мне: «Вы против коллективной работы, потому что думаете о писателях грамотных. Наверно, мало читаете, что Теперь печатают. Разве я предлагаю Бабелю писать вместе с Панферовым? Бабель писать умеет, у него свои темы. Да я могу назвать и других — Тынянова, Леонова, Федина. А молодые… Они не только не умеют писать, не знают, как подступиться…» Признаюсь, Алексей Максимович меня не убедил. Я думал прежде всего о нем самом: он научился писать, нашел свои темы, никто ему ничего не разжевывал. Да и в 1934 году я видел писателей, прошедших трудную школу жизни и нашедших свой путь. В книгах наших великих предшественников они находили те уроки, которых напрасно было ждать от бригадиров литературных бригад или от профессоров проектировавшегося Литературного института. Обидно мне другое — что с Горьким я познакомился слишком поздно. Дважды я с ним беседовал, часто на него глядел во время съезда. Меня поражала в нем прирожденная талантливость, она чувствовалась в любом его жесте. Выступая с докладом, он вдруг закашлялся, приступ был долгим, и зал замер: все знали, что Алексей Максимович болен. Его раздражал резкий свет прожекторов. Когда мы ужинали у пего на даче, он вдруг встал и с виноватой усмешкой сказал, что просит его простить — устал, должен лечь. Бабель, хорошо знавший Алексея Максимовича, говорил мне: «Ему плохо. После смерти Максима он сдал. Не тот Горький…» Наверно, он был прав, а «того» Горького мне увидеть не удалось.

Я выступил с длинной речью. Приведу из нее несколько отрывков.

«Можно ли упрекать писателя за его необщедоступность? Романсы под гармошку даются куда легче, нежели Бетховен… Каждый истинный художник стремится к простоте, но простота простоте рознь. Простота «Моцарта и Сальери» — не простота крыловских басен. Есть простота, которая требует для своего понимания подготовки. Мы вправе гордиться, что некоторые из

наших романов уже доступны миллионам. В этом мы далеко обогнали капиталистическое общество. Но одновременно мы должны лелеять, беречь те формы нашей литературы, которые сегодня еще кажутся уделом интеллигенции и верхушки рабочего класса, но которые завтра, в свою очередь, станут достоянием миллионов. Простота — не примитивизм. Это синтез, а не лепет. Мне приходится напомнить об этом только потому, что провинциализм еще частично присущ нашей литературе. Нашей стране теперь принадлежит гегемония… А часто в наших книжках чувствуется спесь и одновременно приниженность захолустья…»

«Великие писатели прошлого века оставили нам опыт… Но изучение этого опыта у нас подменяется имитацией. Так начинается эпигонство, так появляются романы или рассказы, слепо подражающие манере старой натуралистической повести… Под видом необходимости борьбы с формализмом у нас часто проводится культ самой реакционной художественной формы… Рабочий справедливо протестует против дома-казармы… Но разве это значит, что можно вытащить лжеклассический портал, прибавить немного ампира, немного барокко, немного старого Замоскворечья и выдать все это за архитектурный стиль нового великого класса?… Кому придет в голову рассматривать историю живописи только как голую смену тематики? Голландские мастера XVII века писали яблоки, Сезанн тоже писал яблоки, но они писали яблоки по-разному, и все дело в том, как они писали яблоки…»

«Вместо серьезного литературного разбора мы видим красную и черную доски, на которые заносятся авторы, причем воистину сказочна легкость, с которой их с одной доски переносят на другую. Нельзя, как у нас говорят, поднимать на щит писателя, чтобы тотчас сбрасывать его вниз. Это не физкультура. Нельзя допустить, чтобы литературный разбор произведений автора тотчас же влиял на его социальное положение. Вопрос о распределении благ не должен находиться в зависимости от литературной критики. Нельзя, наконец, рассматривать неудачи и срывы художника как преступления, а удачи как реабилитацию».

Обычно, вспоминая прошлое, я удивляюсь, как я мог то-то написать, так-то поступить, с трудом себя узнаю на выцветших фотографиях, речь на съезде писателей меня удивила другим: мне показалось, что это цитаты из моей недавней статьи. А с тех пор прошло тридцать лет. Мир изменился до неузнаваемости. На съезде О. Ю. Шмидт рассказал мне о замечательных перспективах авиации: в ближайшие годы нашим летчикам удастся перелететь через Северный полюс. Я слушал его, как мага. Мог ли кто-нибудь

тогда представить себе, что двадцать семь лет спустя советский летчик спокойно уснет в космическом пространстве, кружась без конца вокруг пашей планеты?

Я тогда был вихрастым, задористым; высох, полысел, да и помягчел. И вот я повторяю в статьях, в этой книге мысли, высказанные в 1934 году. Может быть, я выжил из ума, напоминаю старика, который рассказывает как злободневную новость, что на Тверской возле дома генерал-губернатора околоточный его незаслуженно обидел? Вряд ли. От такого старика люди убегают, а на меня порой и накидываются. К сожалению, я, видимо, не доживу до того дня, когда вопросы, поднятые мною на съезде, устареют…

В 1934 году, после «Дня второго», мое имя стоило на красной доске, и никто меня не обижал. Время было вообще хорошее, и мы все думали, что в 1937 году, когда должен по уставу собраться Второй съезд писателей, у нас будет рай. На съезде выступил О. Ю. Шмидт. Он рассказал с горькой иронией об одном из фильмов, посвященных эпопее челюскинцев: «И вот слышен чей-то голос, подозрительно похожий на голос начальника экспедиции, хотя я этого совершенно не говорил. И вот этот начальник все время кричит: «Вперед! Быстрей! Еще быстрей! Вперед, вперед!» Не такими методами мы руководили. Наше руководство, наша работа не нуждаются в подстегивании, в нажимах, возгласах, не нуждаются в противопоставлении вождя остальной массе. Это совершенно не наши методы». Мы дружно аплодировали умной речи. Отто Юльевич был хорошим ученым; оракулом он не был.

Во время съезда группу писателей пригласили вечером на дачу А. М. Горького. Там я увидел, кажется, всех членов Политбюро, кроме И. В. Сталина. Я ни с кем из них не был знаком. Когда после ужина с беспрерывными тостами все встали, М. И. Калинин, К. Е. Ворошилов и другие товарищи со мной заговорили; всех почему-то интересовала моя книга, написанная еще в 20-е годы, — «Бурная жизнь Лазика Ройтшванеца»; книга им нравилась, но, к моему великому удивлению, они добавляли, что в книге почувствовали антисемитизм, а это нехорошо, Герой названного сатирического романа — гомельский портной, по воле судьбы занимавшийся многими профессиями, изъездивший много стран, горемыка, если угодно, духовный родственник Швейка. Л. М. Каганович сказал, что, по его мнению, роман страдает еврейским национализмом. Я снова удивился. Потом он перешел на «День второй», упрекал меня за то, что я хожу среди котлованов и вижу не корпуса заводов, которые вскоре вырастут, а землянки, бараки, грязь. Я возражал. Под конец я сказал: «Главное сейчас — это разбить фашизм»… Возвращаясь поздно

ночью в Москву, я думал именно об этом: с литературой будет трудно, очень трудно, может быть, два года, пять лет. Дело сейчас в другом.

Выбрали правление, одобрили устав. Горький объявил съезд закрытым. На следующий день у входа в Колонный зал неистовствовали дворники с метлами. Праздник кончился.

8

Еще до съезда писателей я поехал с Ириной на север. Мы побывали в Архангельске, Холмогорах, Усть-Пинеге, Котласе, Сольвычегодске, Сыктывкаре, Великом Устюге, Нюксенице, Тотьме, Вологде. Плыли на пароходах, носивших гордые имена: «Лютый», «Марксист», «Массовик», «Крепыш»… Пароходы шли медленно; люди рассказывали долгие истории, спорили, мечтали, пели, сквернословили. На остановках пассажиры покупали молоко, чернику, купались, заводили знакомства, женщины стирали белье. Берега были зелеными и загадочными; казалось, пароход, удивленно вскрикивая, врезается в вековую дрему природы. Изредка показывалось человеческое жилье — кондовые двухэтажные избы. По реке медленно плыли огромные стволы — лес шел по тихой Сухоне, по капризной Вычегде, по широкой Двине — вниз к морю. Ночи были светлыми, и порой от красоты захватывало дух. Я впервые увидел русский север, он меня сразу покорил нежностью и суровостью, древним искусством и молодостью рослых молчаливых людей.

Я побывал на запанях, где люди, стоя на плотах, баграми подбирали стволы сосен и елей. Запань порой скрипела, — казалось, сейчас она поддастся и лес вырвется к морю; но люди работали день и ночь. Стволы вязали; буксиры везли плоты в Архангельск; там дерево грузили на суда — английские, норвежские, шведские. Это была валюта, на нее покупали оборудование заводов.

Я подолгу разговаривал с рабочими, с юношами и девушками, недавно приехавшими из деревень. Не только лес растет неровно, но и люди. Я видел рабочих, которые на досуге сидели над учебниками математики, читали стихи, мучительно переживали трагедию немецких коммунистов; видел равнодушных, ловкачей, мошенников.

Конечно, я радовался, глядя на новые поселки вокруг Архангельска, на щетинную фабрику в Великом Устюге, на тракторы; но больше всего меня поражал рост сознания. Человеческие взаимоотношения начинали усложняться, углубляться. Я встречал на лесозаготовках, на запанях, в порту людей с широким кругозором, с богатой духовной жизнью — не вечно улыбающихся ударников с Доски почета, а сложных, внутренне взрослых людей, и как бы ни был жесток быт, как бы ни возмущали меня уже появившиеся к тому времени равнодушные администраторы, занятые только цифрами (порой воображаемыми), я радовался: видел, как растет наше общество.

Недавно, просматривая старые комплекты «Красной нови», я случайно напал на такие строки: «Эренбург видит мир в контрастах. Это свойство его глаза». Автор говорил как раз о моем восприятии севера в 1934 году. Я задумался: правда ли, что у меня особые глаза, с которыми нужно идти если не к глазнику, то к психиатру? Я читаю старые записи, стараюсь восстановить в памяти лето 1934 года, не так уж давно это было, все же не вчера. Да, я часто восхищался, часто и сердился, хмурился, веселел. Однако, разговаривая с другими людьми, видел, что и они одно хвалят, другое ругают. Дело, пожалуй, не в моих Глазах, а в эпохе — на контрасты она не скупилась.

Москва тогда впервые узнала горячку строительства; она пахла известкой, и от этого было весело на душе. Я видел, как строили первую очередь метро, и радовался вместе со всеми москвичами. Выросли огромные заводы вокруг Симонова монастыря. Я не узнавал многих хорошо мне знакомых улиц; вместо кривых домишек — леса, щебень, пустыри. Ночью над городом стоял оранжевый туман, впервые захолустная Москва моего детства выглядела столицей,

А рядом можно было увидеть, как сносили памятники старины: Китай-город, Сухареву башню, Красные ворота. Уничтожали зеленое кольцо Зубовского, Смоленского, Новинского бульваров с вековыми деревьями. Трудно объяснить, почему семнадцать лет спустя после революции происходило разрушение, множества сокровищ, и не стихийно — организованно. Помню разговор с И. Э. Грабарем. Он рассказывал, что многие архитекторы протестовали против сноса Красных ворот, писали в докладной записке, что эта арка не мешает уличному движению, — все равно машинам придется объезжать площадь, и там, где находятся Красные ворота, поставят милиционера; доводы не подействовали.

На севере я увидел, с каким исступлением люди разрушали то, что стоило сохранить. Еще можно было найти немало деревянных церквей шестнадцатого — семнадцатого веков, в которых сказался творческий гений русского народа. В таких церквах хранили картошку, сено, и, простоявшие триста — четыреста лет, они сгорали одна за другой. Когда я был в Архангельске, там с величайшими усилиями взрывали прекрасное здание таможни петровского времени. (В стене нашли ларец, а в ларце деревянную Венеру; «куклу» поломали.) Я видел, как по кирпичикам разбирали одну из старейших церквей Великого Устюга; мне объяснили: «Баню строим». В другой церкви сушили белье, а под рубашками сидели Христы. На севере была распространена деревянная раскрашенная скульптура барокко;

чаще всего мастера изображали Христа в темнице. (В испанском городе Вальядолид я видел скульптуру, очень похожую на великоустюжскую.) Мы привыкли видеть Христа в одиночку, а на складе я увидел целый симпозиум Христов; у некоторых были отбиты руки, ноги; они сидели и о чем-то мрачно думали.

Места, где я побывал тем летом, сыграли видную роль в развитии русского искусства: Великий Устюг, Софии в Вологде, шатровые деревянные церкви, строгановские иконы; старины, песни, заговоры, прибаутки; народное творчество — глиняные бело-черные игрушки, вологодские кружева, резьба по кости, чернь на серебре. Здесь не было южной цветистости — все выглядело ясным, строгим.

Вологодским кружевницам предложили вместо традиционных узоров — «честянка», «мизгиречек», «речка», «медведка» — изображать тракторы. В Великом Устюге я познакомился со старым мастером, специалистом но черни Чирковым. Он долго мне рассказывал, как сначала ему отвечали, что чернь никому не нужна, потом пришли из горсовета: «Раскрой твой секрет». Напрасно Чирков объяснял, что никакого секрета нет, дело не в производственной технике, а в мастерстве, в фантазии. Организовали артель и начали изготовлять безвкусные браслеты. (Я рассказал Горькому о судьбе Чиркова, рассказал про резчика по кости Гурьева, про вятскую крестьянку Мезрину, которой сказали, что у глиняных гусар нужно убрать погоны, про земляка Алексея Максимовича Мазина, расписывавшего скамьи, табуреты, стены. Горький огорчился, попросил меня все записать, вытирал глаза. Чиркова вызвали в Москву, но артель продолжала изготовлять те же браслеты. Потом Чирков умер.)

Тысяча девятьсот тридцать четвертый был годом героики. Погибли отважные люди, поднявшиеся в стратосферу. Летчики спасли челюскинцев. Никогда не забуду, как их встречала Москва: солнце, прозрачные транспаранты, цветы и какое-то всеобщее умиление — другого слова не подберу — перед мужеством, перед братством.

Один из челюскинцев рассказал мне, что у них на льдине был томик Пушкина; они читали стихи вслух, и это всех приподымало. Мог ли писатель слушать такие признания без глубокого волнения?

В клубе «Красный лес» комсомолец декламировал стихи Тютчева. Я невольно вспомнил строку Фета: «К зырянам Тютчев не придет». А было это в Сыктывкаре — в столице коми, которых прежде звали зырянами.

К одним приходил трудный Тютчев. От других уходили обыкновенные человеческие чувства. Проводили партийную

чистку. На собрании обсуждали работу Краснова (фамилия, как и последующие, вымышленная). Его сослуживец Смирнов сказал: «А между прочим, товарищ Краснов живет с женой Шелгунова…» Шелгунов присутствовал на собрании; он налил в стакан воду, но не выпил. Краснов начал оправдываться: «Она сама лезла…» Его перевели из членов в кандидаты,

В Тотьме устраивали курорт для страдающих нервными заболеваниями. Клуб поместили в церкви, и под потускневшей богородицей висел плакат: «Здоровое тело необходимо для выполнения второй пятилетки». Церковное кладбище разрыли. Я видел человеческие останки. Заведующий, с глазами идеально пустыми, гладил свои свисавшие щеки и равнодушно отвечал: «Уберем, до всего руки не доходят. А начнут гонять мяч и замечать не будут…»

Газетные критики еще одобрительно отзывались о новой опере Шостаковича «Катерина Измайлова». На премьере «Дамы с камелиями» Мейерхольду устроили овацию. Мне показали поэму «Торжество земледелия» Заболоцкого; стихи меня удивили, потом прельстили; я их долго повторял про себя. В Москве я провел несколько вечеров с А. П. Довженко; он был, как всегда, взволнован, страстен, терзался над «Аэроградом». А ему ставили в пример фильм «Встречный», в котором сусальные ударники одерживали легкие победы. Выставки уже были заполнены огромными холстами, напоминавшими раскрашенные фотографии: Сталин на трибуне, Сталин на скамейке. «Заседание сельсовета», «Митинг в литейном цеху». Рядом с гостиницей «На пиона ль» построили дом в ложноклассическом духе; о нем говорили: «Вот это наш, советский стиль, никаких формалистических выкрутасов…» В Мосторге продавали вазоны, кошечек, сов, которых я видел в детстве на комодах купеческих домов. Из окон вырывалась модная песенка «У самовара я и моя Маша». Маш было куда больше, чем самоваров, но Маша у самовара нравилась и членам коллегий, и председателям горсоветов, и делопроизводителям: вкусы дореволюционного мещанства казались им канонами красоты.

Контрастов в жизни было куда больше, чем в моих книгах, не потому, что я хотел умолчать о гигантском бурьяне, о чертополохе, похожем на баобаб, о крапиве, не выполотой, а выхоленной. Я говорил и о сорняках; они меня сердили, но не удивляли. А удивляло меня другое — первые побеги нового сознания, подростки, раскрывавшие книгу жизни и захваченные лихорадкой строительства не только фабрик или домов, но и своего сознания. Давно я уехал с севера, кругом были не зеленые леса, а серый Париж, поблескивавший под осенними дождями, а я

все видел юношей и девушек, которые на далекой запани говорили о дружбе, о горестях любви, о борьбе за лес, за страну, за счастье.

Полгода спустя я написал повесть «Не переводя дыхания», действие которой разворачивалось на севере.

Критики приняли мою повесть куда более благожелательно, чем предшествующие книги. А мне она кажется неудавшейся: я вложил в нее многое из того, что не поместилось в «Дне втором», и, не замечая этого, повторял самого себя.

Все же для меня повесть была полезной: в ней наброски героев, к которым я впоследствии не раз возвращался. Ботаник Лясс, жизнерадостный, умный, ворчливый, — первый черновик профессора Дюма и доктора Крылова из «Бури». Неудачливая актриса Лидия Николаевна, которая находит утешение в эфемерном успехе, стала потом Жаннетой, Валей. Непризнанный художник Кузмин, жаждущий совместить современность со своим пониманием искусства, — родной брат француза Андре и героя «Оттепели» Сабурова.

Был еще один персонаж в повести, который выдавал мою тревогу; он проходит по книге беглой тенью — это немец Штрем. Он приехал в Архангельск с подозрительными поручениями. Жизнь его мало привлекала, он был поглощен мыслями о смерти. Выпив в архангельском ресторане с шведским капитаном, он бубнил: «Это серьезная штука — смерть. Собственно говоря, это единственная реальность… Зимой я познакомился в Берлине с одним журналистом. Он сейчас занимает высокий пост. Он позвал меня к себе. Жена, уют, второго такого добряка не сыщешь… Вот он мне и рассказал, как он шестнадцать человек ухлопал — раз-два. Это вовсе не садизм. Но подумайте, над своей жизнью мы не властны… А если ты распоряжаешься чужой жизнью — «расстрелять», — как-то сразу растешь в своих глазах. Получается суррогат бессмертья…»

Монологи Штрем а не были анекдотом, болтовней, кабацким самохвальством, за ними стояла страшная жизнь огромной цивилизованной страны. Перечитав «Не переводя дыхания», я вижу, что, если говорить о сюжете повести, Штрем попал в книгу случайно, без паспорта и без прописки. Его облик не дорисован, его самоубийство ничем не оправдано, кроме желания автора поскорее убрать со сцены противного человека, а с ним и мир, который порождает таких людей. Почему немец Штрем попал и Архангельск, почему ночью в городском сквере беседовал с милой растерянной актрисой? Да только потому, что я не мог освободиться от мыслей о Штреме. Книга писателя почти никогда не ограничивается рамками сюжета. В повести о жизни на запани,

о любви комсомольцев, о горе молодой женщины, потерявшей сразу и ребенка и веру в мужа, проступало нечто другое: мысли и переживания автора, берлинские костры, на которых жгли книги, парижская ночь фашистского мятежа, развалины Флоридсдорфа, тревога за будущее. Я еще не мог многое предвидеть, но уже понимал, что сосуществовать с фашизмом невозможно. Вот те контрасты, которые мне казались нестерпимыми.

9

Жан Ришар Блок сказал на съезде, что догматической узостью легко оттолкнуть колеблющихся. Многие писатели Запада не понимали метода социалистического реализма; но методы фашизма были понятны всем: он сулил книгам костры, авторам — концлагеря. Во время съезда мы не раз говорили, что нужно попытаться создать антифашистский фронт писателей.

Я поехал в Париж снова кружным путем: на советском пароходе доплыл до Пирея. Ехали со мною греческие писатели Глинос и Костас Варналис. Мы подружились. Варналис соединял в себе боевой задор с мягкостью, мечтательностью. В Салониках греческая полиция не разрешила Глиносу и Варналису сойти на берег — их должны были обыскать в Пирее. Все в Греции говорили о надвигающемся фашизме. Повсюду можно было увидеть немцев, которые вели себя как инструктора. «Они нас хотят сожрать», — говорил Варналис. Год спустя его арестовали.

Из Афин мы поехали в Бриндизи и пересекли Италию; снова я услышал вой чернорубашечников.

Газеты сообщали, как наемники-марокканцы усмиряют астурийских горняков. Я уж не мог относиться к Испании как к одной из стран Европы, вспоминал ее гордых и добрых людей; в тоске спрашивал себя: неужели и таких поставят на колени?…

С ревом неслись продавцы газет по парижским улицам: в Марселе убили короля Югославии и французского министра иностранных дел Барту. Короля я не знал, да и не понимал, кто и почему его убил. А с Барту я как-то встретился на обеде иностранной прессы; он удивил меня молодостью мыслей — ему ведь было за семьдесят, — с блеском говорил о Мирабо, Дантоне, Сен-Жюсте. Был он страстным библиофилом, я не раз его видел на набережных Сены возле ларьков букинистов. Немецкие фашисты его ненавидели: Барту, хотя был он человеком правых убеждений, отстаивал необходимость сближения с Советским Союзом, пакт безопасности, который смог бы остановить Гитлера. Убийство Барту все поняли как один из симптомов наступления фашизма.

Помню большой митинг в зале «Мютюалитэ», посвященный съезду советских писателей. В президиуме сидели Вайян, Кутюрье, Андре Жид, Мальро, Виоллис, рабочие-коммунисты. В зале были люди, тоже давно сделавшие свой выбор; они скандировали: «Советы повсюду!» Виоллис, которая сидела рядом со мной, шепнула: «Советские писатели должны показать, что готовы в борьбе против фашизма сотрудничать со всеми…»

Был у меня разговор с Жаном Ришаром Блоком. Он говорил, что пришел к коммунизму извилистым путем, что сейчас нужно объединиться вокруг самого насущного — борьбы против фашизма, иначе писатели-коммунисты окажутся изолированными.

Я написал в Москву длинное письмо, рассказывал о настроениях западных писателей, об идее антифашистского объединения.

Сейчас может показаться странным, почему я придавал такое значение писателям, — многое изменилось за четверть века, в том числе и роль литературы, ее место в жизни миллионов людей. На съезде советских писателей О. Ю. Шмидт, рассказав об успехах астрономии и физики, добавил: «Писатель — счастливый человек. Я ему глубоко завидую. Ученому надо долго и кропотливо продумывать, тогда как у писателей, как говорят, бывает «озарение». В тот самый год, когда мы встретились в Колонном зале с нашими читателями, Фредерик и Ирен Жолио-Кюри открыли искусственную радиоактивность; начиналась эпоха ядерной физики. Я (как, наверно, большинство писателей) не имел об этом никакого представления.

Четверть века спустя сотни миллионов людей то с надеждой, то с ужасом начали следить за работой ученых. Поэт Слуцкий написал шутливые строки: «Что-то физики в почете, что-то лирики в загоне…» Лирики читали и не улыбались.

Между двумя мировыми войнами общественная роль ученых была ограничена. В представлении миллионов людей ученый был человеком, который сидит в своей лаборатории и смотрит не то с пренебрежением, не то с испугом на встревоженные улицы. Ученые мало что делали для того, чтобы рассеять эту легенду. Ланжевен был исключением. Воевали против фашизма статьи Горького, обращения Ромена Ролла на, речи Барбюса. Писатели еще пользовались огромным авторитетом. Помню, как в рабочем предместье Парижа Вилльжюиф одной из улиц присвоили имя Горького. На церемонию пришли тысячи рабочих. Вайян-Кутюрье объявил, что предоставляет слово Андре Жиду. Рабочие, наверно никогда не читавшие книг Жида, устроили ему такую овацию, что он растерялся. Я привел пример самого парадоксального преклонения перед званием «писатель». Может быть, отчасти почтение к писателям в 1934 году было процентами на капитал, заработанный литературой сто лет назад, когда жили Пушкин, Гюго, Бальзак, Гоголь, Стендаль, Гейне, Мицкевич, Диккенс, Лермонтов.

С тех пор многое изменилось. После Хиросимы ученые поняли свою ответственность. Во главе движения сторонников

мира стал Жолио-Кюри. Международными совещаниями ученых, желающих предотвратить ядерную войну, люди интересуются куда больше, чем конгрессами пэн-клубов. Не знаю, стали ли забывать писатели о своей роли «учителей жизни» или ученики запросились в другие классы, но сейчас мне кажется преувеличением то значение, которое придавал я (да и не только я — ответственные политические деятели) антифашистскому объединению писателей.

Разгадка происшедшей перемены скорее всего не в успехах науки, разумеется бесспорных, и не в потускнении литературы, тоже очевидном, а в событиях, не имеющих прямого отношения к вопросу о праве поэзии на существование, — в угрозе атомной войны. Ни лирики, ни физики не решают вопросов мира и войны, но по характеру своей работы лирики могут только способствовать обогащению духовной жизни читателей, а физики способны и улучшить условия жизни, и усовершенствовать орудия смерти. Спираль — одна из распространенных форм развития и живых организмов, и человеческого общества; наверно, лирики будут в «почете», когда люди смогут снова спокойно глядеть на небо — и на луну физиков, обследованную людьми, и на луну влюбленных, которым перестанет угрожать луна физиков. Это размышления о настоящем и будущем, а заговорил я о значении писателей в прошлом не для того, чтобы лишний раз вздохнуть. Мне хочется сделать понятным последующее. Я сидел на улице Котантен и писал пятую или шестую главу повести «Не переводя дыхания», когда мне позвонил наш новый посол В. П. Потемкин и попросил зайти к нему — дело срочное. Владимир Петрович сказал, что в связи с моим письмом о настроениях западных писателей меня просят приехать в Москву — со мною хочет поговорить Сталин.

В Москву я приехал в ноябре; погода была препротивная, валил мокрый снег, но настроение у меня было хорошее. Ирину я нашел веселой. Раньше она мне не говорила, что занялась литературой — написала книгу «Записки французской школьницы». А теперь как бы вскользь сказала, что вещь напечатана в альманахе, который редактировал Горький, и скоро выйдет отдельным изданием. Я прочитал «Записки» за ночь. Читал я, понятно, с особым интересом: Ирина описывала свои школьные годы, первые сердечные бури. Я узнавал ее подруг, мальчишек, которые иногда приходили к нам, и открывал многое, мне неизвестное, — Ирина была скрытной.

В ожидании встречи со Сталиным я проводил вечера со старыми друзьями. Ко мне приходили и молодые писатели — Лапин, Славин, Левин, Габрилович. Братья Васильевы показали

мне «Чапаева». Я часто бывал у Всеволода Эмильевича; он не сдавался, рассказывал о постановке «Горе уму». Настроение у всех было хорошее. Говорили, что на предстоящей сессии Советов будет обсуждаться проект новой конституции. Ноябрь казался маем, и я на все глядел радужно.

Как-то я отправился в «Известия», зашел к Бухарину, на нем лица не было, он едва выговорил: «Несчастье! Убили Кирова»… Все были подавлены — Кирова любили. К горю примешивалась тревога: кто, почему, что будет дальше?… Я заметил, что большим испытаниям почти всегда предшествуют недели или месяцы безмятежного счастья — и в жизни отдельного человека, и в истории народов. Может быть, так кажется потом, когда люди вспоминают о канунах беды? Конечно, никто из нас не догадывался, что начинается новая эпоха, но все примолк, насторожились.

Несколько дней спустя заведующий отделом культуры ЦК А. И. Стецкий сказал мне, что ввиду событий намеченная встреча в ближайшее время не может состояться; меня не хотят зря задерживать. Алексей Иванович попросил меня продиктовать стенографистке мои соображения о возможности объединения писателей, готовых бороться против фашизма.

В Париже я успел написать еще несколько глав повести.

Я разговаривал с Мальро, с Вайяном-Кутюрье, с Жидом, с Жаном Ришаром Бликом, с Муссинаком, с Геенно. После долгих споров группа французских писателей решила созвать весной или в самом начале лета международный конгресс. Писатели — не рабочие: объединить их очень трудно. Андре Жид предлагал одно, Генрих Манн другое, Фейхтвангер третье. Сюрреалисты кричали, что коммунисты стали бонзами и что надо сорвать конгресс. Писатели, близкие к троцкистам, — Шарль Плинье, Мадлен Паз — предупреждали, что выступят — «разоблачат» Советский Союз. Барбюс опасался, что конгресс по своему политическому диапазону будет чересчур широким и не сможет принять никаких решений. Мартен дю Гар и английские писатели Форстер, Хаксли, напротив, считали, что конгресс будет чересчур узким и что дадут выступить только коммунистам. Потребовалось много терпения, сдержанности, такта, чтобы примирить, казалось бы, непримиримые позиции.

Впрочем, все трудности встали перед нами в начале 1935 года. А приехав из Москвы, я едва успел оглядеться, как пришла телеграмма от редакции: в Сааре плебисцит, я должен туда выехать. Я оставил на столе недописанную главу повести и позвонил Мальро: не смогу присутствовать на очередном заседании подготовительной группы.

Ночью в вагоне я мечтал, или, как говорил когда-то рыжий Ромка, строил «рабочие гипотезы». Конгресс заставит колеблющихся выбрать путь борьбы. Уж не так силен фашизм, как кажется, — он держится на всеобщем оцепенении! Может быть, в Сааре немцы проголосуют против Гитлера?…

Вдруг я вспомнил тревожный вечер в редакции «Известий». Кто убил Кирова?…

В купе было натоплено. Я с трудом опустил окно. Ворвался дым — желтый, густой, едкий.

10

Я приехал в Саарбрюккен вечером. Сквозь туман мерцали плошки иллюминации. На главной улице в витрине большой колбасной красовалась свастика из сосисок; прохожие смотрели и восхищенно улыбались. Хозяйка гостиницы, толстая, апоплексическая женщина, кричала в коридоре: «Не забывайте, что я немка!» На улице громкоговорители передавали военные песни: «Мы идем, раз-два…» Я плохо спал. Ночью стреляли; я приоткрыл дверь, и коридорный, собиравший для чистки выставленные ботинки, объяснил: «Наверно, убрали еще одного предателя…» Утром хозяйка мне сказала: «Вы должны сейчас же очистить комнату. Я вам сдала ее по ошибке. Я — немка, сударь! Понимаете?…»

Я все понял; но, может быть, молодому читателю непонятно, что же тогда происходило в Сааре. Напомню. В 1919 году, составляя Версальский договор, союзники долго спорили о Саарском бассейне. Клемансо хотел, чтобы саарский уголь достался Франции. Вильсон возражал. Помирились на том, что пятнадцать лет спустя в Сааре будет устроен плебисцит, жители сами решат, присоединять ли их округ к Германии или нет. До прихода к власти Гитлера все было ясно: в Сааре живут немцы, — следовательно, они выскажутся за присоединение.

Фашистский террор заставил некоторых призадуматься. Перед избирателями был поставлен вопрос, хотят ли они присоединения к Германии или статус-кво, то есть сохранения автономного управления и экономического союза с Францией. Кроме незначительной партии автономистов, только коммунисты призывали голосовать за статус-кво. Приехав в Саар, я сразу понял, что огромное большинство выскажется за присоединение: нацисты играли на патриотизме. Плакаты, песни, флаги вслед за хозяйкой гостиницы, где я провел первую ночь, повторяли: «Мы — немцы, наше место в Германии!»

«Свободное волеизъявление» походило на трагический фарс. В теории всем была предоставлена свобода слова, собраний, печати. Английские солдаты должны были гарантировать порядок. На деле фашисты срывали собрания коммунистов. Ни в одном киоске я не смог купить газет, высказывавшихся против присоединения: продавщицы испуганно отвечали: «Они предупредили, что сожгут киоск…» Людей убивали из-за угла. Даже мне прислали анонимное письмо со свастикой: если я тотчас не уберусь из Саара, для меня найдется «хорошая немецкая пуля».

Подлинный хозяин Саарского бассейна, Герман Рехлинг сулил послушным премиальные, ослушникам — голодную смерть. Безработных, не желавших записаться в «Германский фронт», тотчас лишали пособий.

(Теперь, читая в западной печати о том, что германский вопрос можно разрешить «свободными выборами», я вспоминаю плебисцит в Сааре…)

В деревне Пикард я увидел смешной эпизод несмешной кампании. Там были два быка, узаконенные в качестве производителей. Один считался лучшим, и бедный крестьянин в известной степени жил за счет своего быка. Этого крестьянина заподозрили в политической неблагонадежности, и бык был объявлен «быком статус-кво». Никто не смел случать его с честной арийской коровой.

Помог мне попасть и в деревню Пикард и в другие закоулки Саара немецкий писатель Густав Реглер. Я с ним познакомился в Париже, потом мы встречались в Москве во время съезда писателей. Был он человеком нервным, впечатлительным. Саарские фашисты грозились, что его убьют. Он смело выступал повсюду, рассказывал про террор в Германии. Он повел меня в дома шахтеров, где я услышал правдивые рассказы о происходящем.

Еще До плебисцита я написал для газеты очерки и последний из них кончил словами: «Битва может быть проиграна. Война — никогда».

Битва была проиграна. Я уже знал, что до победы предстоит немало поражений, и не нал духом.

Вернувшись в Париж, я дописал повесть, пошел на собрание подготовительной группы, и тут снова пришлось уехать: в Женеве должна была собраться Чрезвычайная сессия Совета Лиги Наций.

Швейцарцы тянули с визой. Наконец советник посольства показал мне телеграмму из Берна; я переписал ее: «Советскому гражданину Илье Эренбургу разрешается десятидневное пребывание в Швейцарии в качестве корреспондента газеты «Известия» на Чрезвычайной сессии Совета Лиги Наций при условии, что названный Илья Эренбург будет воздерживаться от всего способного нарушить внутреннее спокойствие Швейцарии или омрачить ее добрые, отношения с. соседними государствами». Дипломат объяснил мне, что, находясь на швейцарской территории, я не должен говорить или писать что-либо направленное против Германии — того требует швейцарский нейтралитет.

Что же, нейтралитет (как, впрочем, и все на свете) можно понимать по-разному. Незадолго до моего приезда в Швейцарию

агенты Гитлера похитили в Базеле немецкого эмигранта антифашиста Якоба и увезли его в Германию. Швейцарские власти сделали вид, что ничего особенного не произошло. Я увидел Женеву, переполненную гитлеровцами; никаких подписок с них не брали; у них были в Швейцарии свои газеты, и они преспокойно писали, что «для удаления злокачественной опухоли коммунизма необходимо прибегнуть к хирургии и начинать с России».

Теперь я привык к различным международным конференциям и знаю, что они чрезвычайно напоминают судилище, описанное в «Рейнеке-лисе». Тогда же я был новичком и многому удивлялся. Лига Наций была черновиком ООН; американцы в ней не участвовали, и господами положения считались англичане и французы. Германия еще в 1933 году вышла из Лиги Наций, но перед Гитлером пасовали все. В датском Шлезвиге я видел, как датчане боится немецких дивизий. А в Женеве представитель Дании долго доказывал, что политика Гитлера пример миролюбия; этот адвокат фашизма к тому же был социал-демократом. Переговоры шли за кулисами — в различных загородных ресторанах. Немцы обещали Испании торговый договор, и Леррус вдруг почувствовал нежность к третьему рейху. Португальцам и чилийцам сулили различные подачки. Тревогу, охватившую мир, хотели усыпить параграфами, сносками, комментариями.

Выступил М. М. Литвинов; говорил он спокойно и с виду походил на толстого добродушного семьянина. Он напомнил дипломатам, что аппетит приходит во время еды и что нельзя полагаться на улыбки Гитлера: «Вряд ли могут быть приняты во внимание какие-либо обещания воинственного гражданина щадить некоторые кварталы города и оставлять за собой и за своим оружием право на действие в остальных кварталах…»

В кафе «Бавария», где собирались журналисты, корреспондент «Фигаро» кричал: «Эмиль Бюре сошел с ума! Почему Франция должна бояться германской армии? Ведь и ребенку ясно, что Гитлер двинется на Украину…»

В витрине немецкого бюро путешествий, находившегося недалеко от «Баварии», висела большая карта Европы, на ней Эльзас и Лотарингия входили в границы Германии.

Весна была холодной, ненастной; но газеты писали, что летом во Франции ожидается куда больше туристов, чем в предшествующие годы: «Мир торжествует…» Германия продолжала вооружаться. Лига Наций рассматривала различные планы разоружения. Французы толковали о предстоящих каникулах. Я поехал в бельгийский город Эйпен,

принадлежавший до 1918 года Германии. Снова мытарили с визой. В Бельгии тогда было коалиционное правительство, в него входили социалисты Вандервельде, Спаак. Еще недавно Спаак считался «красным». Я помнил, как он потрясал кулаками на собрании шахтеров в Боринажс. Перегримировался он с быстротой, которой позавидовал бы любой актер Мейерхольда. Он стал крупной политической фигурой в послевоенной Европе. Я его видел в Брюсселе в 1950 году; несмотря на тучность, он держался неистово. Он защищал идеи, как он говорил, «умеренные»; но защищал их неумеренно. Я таких людей побаиваюсь: они способны поджечь мир только потому, что считают себя хорошими пожарниками. Вандервельде был человеком прошлого столетия и не пробовал угнаться за Спааком; ему тогда было семьдесят лет. Он написал статью о моей повести «День второй». Не знаю, что на него подействовало — мой стиль или стиль Гитлера, но в статье были неожиданные признания: «Так, несмотря на все, этот народ идет по грязи, по снегу к звездам. Самая законная изо всех революций дала ему веру и надежду — чудодейственное обновление всей социальной жизни». Однако идеи министра Вандервельде никак не отражались на будничной политике: в Эйпене я увидал картину, похожую на Саар. Нацисты приезжали на трамвае из Дортмунда или Дюссельдорфа; никаких виз от них не требовали. Вели они себя бесцеремонно. Выходила газета «Эйпенер цейтунг»; там писали, что немцы скоро освободят город. Я зашел в книжный магазин, принадлежавший Гирецу, местному фюреру. Он вежливо улыбнулся и предложил мне сочинения Розенберга.

Когда я был в Эйпене, туда прибежал немецкий коммунист, которому удалось выбраться из концлагеря. Эйпенская полиция его арестовала, грозила выдать гитлеровцам. Его выслали четыре дня спустя во Францию. Я отвез его до границы — он был в тяжелом душевном состоянии, несвязно отвечал на вопросы пограничников.

Опять Париж. Писатели, разговоры о конгрессе. Мальро доволен — Бенда обещал выступить. Уолдо Фрэнк прислал из Америки длинное письмо; он приедет на конгресс. Джойс пришлет приветствие…

Парижане обсуждали, где лучше провести летние месяцы — на нормандском побережье или в Савойе. Все казалось обычным. Но я не мог забыть о том, что делается но ту сторону Рейна.

Я поехал в Эльзас и увидел знакомую картину: гитлеровцы, ухмыляясь, говорили о «близком освобождении», «автономисты», вдохновленные Сааром, требовали плебисцита, люди вздыхали, ежились, запасались посулами местных фашистов спасти их в час

«освобождения». Вечером на глухой улице я встретил десяток парней, они горланили «Вахт ам Рейн» [6].

Я писал тогда: «Последние месяцы я занят изнурительным занятием: езжу по различным областям, находящимся в непосредственном соседстве с Германией… Можно долго глядеть на змею и остаться в своем уме: если змея проглатывает кролика — это, в конечном счете, обед. Но нельзя долго глядеть на кролика: остановившиеся глаза способны заразить безумием даже человека с воловьими нервами…»

Осенью 1961 года в Риме состоялась встреча «Круглого стола». Мы пытались убедить наших западных коллег, что нельзя вооружать вчерашних эсэсовцев. В один из вечеров итальянские друзья показали нам документальный фильм — историю фашизма. Дуче на балконе подымал руку и фиглярствовал, как дурной захолустный актер. Умирали люди в Абиссинии. Рушились дома Мадрида. Несли мертвых детей. По улицам Праги маршировали нацисты. Гитлер, узнав, что Франция капитулировала, хлопал себя по животу. Русские пленные умирали в концлагерях. Еврейских девушек вели в газовые камеры… Потом была победа, и вот снова на экране буянят недобитые фашисты, снова умирает итальянский подросток. Сказка все еще не досказана. Я глядел на экран и вдруг подумал: да ведь это история моей жизни! Сорок лет прошли под знаком зверств, войн, погромов, концлагерей. Пушкин когда-то писал: «Мы рождены для вдохновенья, для звуков сладких и молитв». Наверно, и тогда это было только мечтой: Рылеева повесили, Кюхля изнывал в ссылке. Да и сам Пушкин умер рано навязанной ему смертью. Но хоть помечтать он мог…

Весной 1935 года я меньше всего думал о «сладких звуках». Мы тратили дни и ночи на подготовку конгресса. Жизнь казалась идиллической, но жить по-прежнему я не мог: воздух стал другим. Еще не было ни мобилизаций, ни учебных тревог, ни пробных затемнений. А война уже была. Теперь я знаю, что война всегда приходит задолго до начала представления, приходит она со служебного входа и терпеливо ждет в темной передней.

11

Часто в моей тесной квартире на улице Котантен собирались французские писатели, занятые подготовкой конгресса: Андре Жид, Жан Ришар Блок, Мальро, Муссинак, Низан, Рене Блек.

У меня был пес Бузу, ласковый и лукавый, помесь спаниеля со скотч-терьером; на выставку его не взяли бы, но он был умницей — самостоятельно ходил в мясную лавку, где продавали конину, и там исполнял цирковые пируэты. Бузу любил Андре Жида, любил не бескорыстно: Андре Жид брал печенье и начинал длинную тираду, размахивая рукой; Бузу подпрыгивал и выхватывал лакомство. Андре Жид, не замечая происшедшего, брал другое печенье; так повторялось раз десять.

В те годы я часто встречал Андре Жида, бывал у него на улице Ванн, видел его на литературных собраниях, на рабочих митингах. Когда мы оставались вдвоем, он почти всегда говорил о себе. Казалось, я мог бы его хорошо узнать, но я его не узнал: он оставался для меня человеком с другой планеты.

Когда он увлекся политикой и объявил себя сторонником коммунизма, мне это показалось победой: Андре Жид был кумиром западной интеллигенции. Я радовался его участию в борьбе против фашизма; по даже в то время я добавлял, что до шестидесяти лет Андре Жид «не видел перед собой ничего другого, кроме отсветов собственной страсти». В 1933 году я писал о его романе: «Конечно, никого не может взволновать судьба героев романа «Фальшивомонетчики». Но существуют ли эти герои? Это роман о романе и о романисте, отнюдь не о людях… Это книга о книге: жизни в пустыне не оказалось».

Я не был одинок в моем восторге перед «обращением» Андре Жида. На московском съезде писателей Горький сказал: «Ромен Роллан, Андре Жид имеют законнейшее право именовать себя «инженерами душ», а Луи Арагон кончил свою речь словами: «Мне остается передать вам приветствие от нашего большого друга — Андре Жида». Год спустя на Парижском антифашистском конгрессе никого так не приветствовали, как Жида.

В 1936 году Андре Жид приехал в Советский Союз, всем безоговорочно восхищался, а вернувшись в Париж, все столь же безоговорочно осудил. Не знаю, что с ним произошло: чужая душа — потемки. В 1937 году, будучи в Испании, я прочитал его статью — он обвинял республиканские власти в насилии. Я не выдержал и в сердцах назвал его «стариком со злобой ренегата и с нечистой совестью». Теперь все это далеко позади. Я хочу попытаться спокойно задуматься над человеком, которого я

встретил на своем жизненном пути. Конечно, я ошибался и когда прославлял его приход к коммунизму, и когда называл его ренегатом: порхание мотылька я принимал за чертеж архитектора. Не раз в этой книге я признавался в различных заблуждениях: слишком часто считал свои желания действительностью.

Может ли человек, прожив шестьдесят лет в пустыне, интересуясь только собой, вдруг переродиться, стать человеколюбцем, защитником социальной справедливости? Андре Жид не раз говорил мне, что для человека нет радости, когда вокруг него горе; эти слова меня трогали. Он говорил искренне, и в нем было обаяние. Все же я мог поверить в глубину, в длительность политических страстей Андре Жида только потому, что мне очень хотелось верить. Я не задумывался над его путем. В годы первой мировой войны он восхитился, когда его друг стал воинствующим католиком: «Ты меня опередил!» Пятнадцать лет спустя он повсюду повторял, что религия — злейший враг человека. Он походил на проповедника; у него были умные глаза, тонкие выразительные руки; его окружали книги, рукописи; он всегда носил в кармане маленький том Гёте или Монтеня; говорил, что изучает Маркса. А основной его чертой было величайшее легкомыслие. Одни восторгались его смелостью; другие, напротив, упрекали его в чрезмерной осторожности; а мотылек летит на огонь не потому, что он смел, и улетает от человека не потому, что осторожен, он не герой и не шкурник, он только мотылек.

Я не хочу, чтобы меня превратно поняли: говоря о мотыльке, я отнюдь не пытаюсь преуменьшить талант или ум Жида. Однажды в своем дневнике он записал: «Я сомневаюсь, что бабочка после того, как она отложит яички, испытывает много удовольствия в жизни. Она порхает туда, сюда, подчиняясь ароматам, ветерку, своим желаниям…» Жиду, когда он это писал, было семьдесят два года; он считал, что сделал свое. Может быть, случайно он заговорил в дневнике о бабочке, не знаю: но образ удачен, — он был грандиозной ночной бабочкой с той редчайшей окраской, которая ослепляет и дотошного энтомолога, и мальчишку с сачком. (Жид рассказывал, что любил ловить ярких бабочек.)

Сколько я ни встречался с Андре Жидом, он всякий раз говорил о своем здоровье: боится простудиться, теперь грипп, не может пообедать в этом «бистро» — печень, печень… В огромном мире Андре Жид, встречая множество людей, замечал только одного — Андре Жида. Когда он умирал, в квартире на улице Ванн был его старый друг Роже Мартен дю Гар, который оставил

«Записи об Андре Жиде», написанные с любовью, в них я нашел подтверждение моих куда более беглых наблюдений: «Он живет, погруженный в самого себя, озабоченный своими мелкими горестями…», «Он еще более сосредоточен на самом себе…»

О чем бы он ни писал — о Ницше или о Достоевском, о вымышленных героях или о близких друзьях, о гомосексуализме или о разгроме Франции, — он видел себя, собой восхищался или ужасался.

У него был превосходный язык — ясный, точный и в то же время своеобразный. Может быть, его успеху способствовал стиль — он ведь выступил, когда всем опостылели нарочитые туманности эпигонов символизма; другие подражали Малларме, а Жида прельстил Монтень.

Блистательный стилист, писатель большой эрудиции — все это бесспорно, и все же трудно себе представить, что между двумя мировыми войнами многие считали Жида учителем, совестью эпохи, чуть ли не пророком.

Его всегда увлекали редкостные казусы. В конце двадцатых годов он начал редактировать серию книг, посвященных различным преступлениям; смутно помню одну из книг этой коллекции — рассказ о женщине, замурованной своими близкими.

Всем известно, что на свете существуют люди, сексуальная жизнь которых является исключением. Андре Жид сделал из патологического казуса боевую программу. Он пошел на разрыв со многими друзьями, на неприятности, на газетную шумиху.

Незадолго до своей поездки в Советский Союз он пригласил меня к себе: «Меня, наверно, примет Сталин. Я решил поставить перед ним вопрос, об отношении к моим единомышленникам…» Хотя я знал особенности Жида, я не сразу понял, о чем он собирается говорить Сталину. Он объяснил: «Я хочу поставить вопрос о правовом положении педерастов…» Я едва удержался от улыбки; стал его вежливо отговаривать, но он стоял на своем. Он был протестантом, даже пуританином не только по формации, но и по характеру, и вот он стал фанатичным моралистом аморальности.

Нет, не только стилем он привлекал читателей, но и беспощадностью духовного эксгибиционизма — самообнажения. Он очень поверхностно критиковал недостатки не только советского общества, которое увидал мимоходом, в качестве знатного туриста, но и хорошо ему знакомой буржуазной среды; зато, преклоняясь перед собой, он себя не щадил.

Летом 1936 года, будучи в Москве, он говорил студентам: «Так как здоровье мое слабое и я не могу надеяться на долгую

жизнь, я был согласен оставить эту землю, не узнав успеха. Я охотно рассматривал себя как писателя, к которому известность приходит только после смерти, как это было со Стендалем, Бодлером, Китсом или Рембо… Молодежь новой России, теперь вы понимаете, почему я обращаюсь к вам, я ждал именно вас, для вас я писал новую книгу…» Как странно это перечитывать! Андре Жид узнал долголетье: он умер в восемьдесят два года. Да он и не принадлежал к тем авторам, которых открывают потомки, — его читали и почитали при жизни. Шведская королевская академия присудила «аморалисту» Нобелевскую премию. А теперь и во Франции читатели редко возвращаются к его книгам. Он видел себя пирамидой, а был он, несмотря на талант, на мастерство, на художественную смелость, только однодневкой, бившейся в мутное стекло…

Я говорил, что время все ставит на свое место. А я вспоминаю, как Андре Жид сидел у меня и говорил о «коммунистическом братстве», пока Бузу поглощал печенье, и мне становится почему-то жалко Жида. Он был очень одинок; его чтили, и никто, кажется, его не любил. Любил ли он кого-нибудь? После смерти были изданы некоторые страницы его дневника, которые при жизни он не хотел публиковать. Он писал, что любил свою жену. Женился он в молодости на кроткой, богобоязненной девушке и, женясь, знал о своем извращении. Жена его жила отдельно в деревне, он писал ей письма о своей любви. Однажды ему понадобились для первой книги мемуаров письма к жене, и он узнал, что жена их сожгла. Он записал в дневнике: «В течение целой недели я плакал с утра до ночи… Я себя сравнивал с Эдипом…» Я не сомневаюсь в искренности этих слез; он плакал не над предметом любви, но над своими признаниями — это был человек, который, если припомнить стихи Брюсова, «с беспечального детства» искал «сочетания слов». Пожалуй, никто не мог рассказать о нем злее, чем он сам.

При жизни он опубликовал дневники первых военных лет. Есть там страшные страницы; 5 сентября 1940 года, вскоре после оккупации гитлеровцами Франции, он писал: «Приспособиться к вчерашнему врагу не трусость, а мудрость… Тот, кто сопротивляется неизбежному, попадает в западню; зачем биться о решетки клетки? Для того чтобы меньше страдать от узости тюремной камеры, лучше оставаться посредине». Три недели спустя он себя утешал: «Если завтра, чего я опасаюсь, нас лишат свободы мысли или, по меньшей мере, свободы выражения мысли, я постараюсь себя убедить, что искусство, мысль потеряют от этого меньше, чем от чрезмерной свободы. Угнетение не может принизить лучших; что касается остальных, то это несущественно.

Да здравствует подавленная мысль!»

Я убежден, что в 1930–1935 годы он искренне увлекался коммунизмом. Ему было холодно на свете, и его привлекла теплота рабочих митингов; как бродяга, он грелся у чужого костра. Помню его выступление на уличном митинге в предместье Вилльжюиф; он поднял кулак и застенчиво улыбнулся. Он никого не хотел обмануть, разве что самого себя.

В 1934 году Роже Мартен дю Гар после беседы с Жидом записал: «Какая неосторожность придавать столько значения присоединению человека, который по своей природе не годен для твердых убеждений, который всегда не там, где, казалось, он твердо осел накануне! Несмотря на искреннюю добрую волю, я сильно опасаюсь, что вскоре его новые друзья в нем разочаруются…» Мартен дю Гар хорошо знал Жида. А я поверил… Говорю это спокойно, без горечи: время — хороший врач.

А в 1935 году Андре Жид часто приходил ко мне; мы вместе подготовляли антифашистский конгресс писателей. Было бы глупым малодушием, восстанавливая те годы, вырезать из них тень шестидесятишестилетнего мотылька в крылатке, то с «Капиталом», то с томиком Еврипида в руке.

12

На московском съезде писателей я был рядовым участником; парижский конгресс я подготовлял. Сознание своей ответственности для меня было новым, и я волновался, как подросток. До последнего дня мы боялись, что все сорвется; писателей с именем отговаривали: конгресс — затея коммунистов; участники восстановят против себя не только критиков, издателей, редакторов, но и читателей.

Мы готовили конгресс по-кустарному — почти без денег, без помещения, не было ни секретаря, ни машинисток, приходилось самим переписывать, звонить по телефону, уговаривать, мирить. Больше всех работали Жан Ришар Блок, Мальро, Гийу, Рене Блек, Муссинак.

В своем выступлении на конгрессе М. Е. Кольцов напомнил, что первая международная встреча писателей состоялась тоже в Париже — в 1878 году. Михаил Ефимович добавил, что теперь русские писатели могут разговаривать с их западными собратьями по-другому — за их спиной больше нет ни каторги, ни всеобщей неграмотности, ни салтыковских помпадуров.

На писательской встрече, о которой упомянул Кольцов, присутствовали Гюго и Тургенев. Таких писателей на нашем конгрессе не было, но, кажется, их не было в 1935 году на свете. А нам удалось собрать наиболее читаемых и почитаемых: Генриха Манна, Андре Жида, А. Толстого, Барбюса, Хаксли, Брехта, Мальро, Бабеля, Арагона, Андерсена-Нексе, Пастернака, Толлера, Анну Зегерс. Конгресс приветствовали Хемингуэй, Драйзер, Джойс. В президиум Ассоциации, которую конгресс создал, вошли Ромен Роллан, Горький, Томас Манн, Бернард Шоу, Сельма Лагерлеф, Андре Жид, Генрих Манн, Синклер Льюис, Валье Инклан, Барбюс.

Конгресс был очень пестрым: рядом с либеральным эссеистом Бенда сидел Вайян-Кутюрье, после скептического английского романиста Форстера выступал неистовый Арагон, испанский индивидуалист Эухенио д'Орс беседовал с Бехером, семидесятилетний немецкий критик Альфред Керр говорил о значении культурного наследства молоденькому Корнейчуку, друг и единомышленник Кафки Макс Брод обсуждал проект резолюции с Щербаковым, а в буфете Галактион Табидзе пил коньяк за здоровье растроганной Карин Михаэлис.

Конгресс продолжался пять дней, и неизменно огромный зал «Мютюалитэ» был переполнен; громкоговорители передавали речи в вестибюль; люди на улице стояли и слушали. Газетам,

сначала решившим замолчать конгресс, пришлось уделить ему немало места. Даже Гитлер не выдержал и в гневе заявил: «Большевиствующие писатели — это убийцы культуры!»

Мне невольно вспоминается другой конгресс — тринадцать лет спустя во Вроцлаве; там не было парижской пестроты, а немногочисленные либералы или социалисты все время обижались, язвили, грозили покинуть заседание. Парижский конгресс назывался «В защиту культуры», вроцлавский — «В защиту мира». Конечно, фашизм пугал всех, но и война в 1948 году не была отвлеченным понятием.

Политическая обстановка в 1935 году благоприятствовала успеху нашей инициативы. Во Франции рождался Народный фронт. Один из организаторов конгресса, Андре Шамсон, был радикал-социалистом, занимал пост директора Версальского музея, и он с восторгом говорил о Советском Союзе, жал руку Вайяну-Кутюрье. Это не могло никого удивить: три недели спустя на площади Бастилии я увидел, как Даладье обнимал Тореза, Фашизм наступал. Просматривая в дни конгресса газеты, мы узнавали, что пятнадцать тысяч фашистов прошли по улицам Алжира, а над ними кружили фашистские самолеты, и что очередной «вождь» воскликнул: «Клянусь, не пройдет и месяца, как мы захватим власть во Франции!..» В Германии рубили головы строптивым. Хиль Роблес расправлялся с испанскими вольнодумцами. Италия открыто готовилась к нападению на Абиссинию. Это бесспорно, и я ни на минуту не забываю, что после второй мировой войны положение было куда более сложным — страх перед коммунизмом возрос, а в Америке еще только начиналась «охота за ведьмами». Все же, мне кажется, дело не только в этом.

Во Вроцлаве не было писателя Хаксли, но туда приехал его брат, биолог Джулиан Хаксли; право же, он был настроен ничуть не «правее», чем Олдос Хаксли в 1935 году, но с ним иначе разговаривали, ему казалось, что он попал по ошибке в чужой дом.

Во Вроцлаве я встретил очень мало участников парижского конгресса: Андерсен-Нексе, Бенда, Мархвица, Стоянов, Корнейчук, я — вот, кажется, все. Эссеист Бенда, неистовый рационалист, как-то сказал мне: «Видите, я все-таки приехал. Но я больше ничего не понимаю… Скажите, что стало с Бабелем, с Кольцовым? Я спрашиваю, мне не отвечают… Выступал ваш товарищ, он назвал Сартра и О'Нила «шакалами». Разве это справедливо, разве это попросту разумно? И почему мы должны аплодировать каждый раз, когда произносят имя Сталина? Я против войны. Я против политики Соединенных Штатов. Я ищу

объединения, а мне предлагают присоединение… Но мне семьдесят восемь лет — для начальной школы это поздновато…»

Вернусь к парижскому конгрессу. Может быть, в известной степени его успеху содействовало поведение советских писателей. Трудно было пять дней подряд только и делать, что проклинать фашизм. Выступавшие говорили также о роли писателя в обществе, о традициях и новаторстве, о национальной основе культуры и общечеловеческих ценностях. Разумеется, всех интересовал советский опыт. Мне запомнились некоторые выступления наших писателей. Речь Кольцова была живой, веселой; он говорил о значении сатиры в советском обществе: «Нашего читателя возмущает администратор, который, искажая принципы социализма, уравнивает всех людей на один фасон, заставляет их есть, надевать на себя, говорить, думать одно и то же». Лахути рассказал, что задолго до желтой звезды, придуманной немецкими расистами, в дореволюционной Бухаре евреи должны были подпоясываться «нахи ланат» — «поясом проклятья» и что теперь все народы Советского Союза объединяет «нахи вахдат» — «пояс братства».

Конгресс уже работал, когда приехали Бабель и Пастернак. Исаак Эммануилович речи не написал, а непринужденно, с юмором рассказал на хорошем французском языке о любви советских людей к литературе. С Борисом Леонидовичем было труднее. Он сказал мне, что страдает бессонницей, врач установил психастению, он находился в доме отдыха, когда ему объявили, что он должен ехать в Париж. Он написал проект речи — главным образом о своей болезни. С трудом его уговорили сказать несколько слов о поэзии. Наспех мы перевели на французский язык одно его стихотворение. Зал восторженно аплодировал.

Николай Семенович Тихонов, худой и вдохновенный, говорил о поэзии: «Маяковский! Вот мастер советской оды, сатиры, буффонадного и комедийного стихового театра… Багрицкий! Вот стих пламенный и простой. Стих убедительного образа, глубина настоящего волнения. Охотник, рыболов, партизан — он любил природу… Сложный мир психологических пространств представляет нам Борис Пастернак. Какое кипение стиха, стремительное и напряженное, какое искусство непрерывного дыхания, какая поэтическая и глубоко искренняя попытка увидеть, совместить в мире сразу множество пересекающихся поэтических достижений!»

(В очередном очерке для «Известий» у меня была такая фраза: «Когда Тихонов перешел к оценке поэзии Пастернака, зал стоя, долгими аплодисментами приветствовал поэта, который доказал,

что высокое мастерство и высокая совесть отнюдь не враги». Полгода спустя один московский литератор, который, по его же словам, любил «капать» на товарищей, объявил, что я в Париже, приветствуя Пастернака, будто бы сказал, что «совесть только у него одного». Эта басня понравилась, и «Комсомольская правда» осудила не Тихонова, не участников парижского конгресса, аплодировавших Пастернаку, а меня. Во французской печати появилась заметка: «Москва дезавуирует Эренбурга». Я писал Щербакову, Кольцову — просил опровергнуть сплетню, но безуспешно. Французские писатели меня спрашивали: в чем дело? Это было четверть века назад — еще до 1937 года, и я наивно думал, что на все вопросы можно ответить.)

На Западе говорили (да и поныне говорят), что вся наша литература — агитка. В своем выступлении я сказал: «Мы прожили трудные годы — наши дни были окопами. Чувства людей не меняются сразу. Наша агитационная литература связана с памятью о прошлом. Зная, что враги могут напасть на нашу страну, мы создали Красную Армию. Но как бы ни было совершенно ее оружие, мы никогда не станем выдавать пушки за образцы советской культуры. Пушки имеются и у фашистов. Но у них не может быть наших красноармейцев. Агитационная литература — это военное снаряжение, она родилась в арсеналах буржуазии. Твердя о «чистом искусстве», буржуазия проклинала писателей-отщепенцев и баловала приручeнных. Не «проклятые поэты», а приручeнные создали служебную литературу. Настоящее бескорыстное искусство, стремящееся не к сохранению социальной иерархии, а к развитию человека, мыслимо только в новом обществе… Мы пришли сюда с гордостью не за себя, а за наших читателей…» Два старейших писателя — Генрих Манн и Андре Жид, — сидевшие в президиуме, встали и подошли, чтобы пожать мне руку; это, конечно, относилось к советским читателям. Я разволновался и что-то пробубнил.

Мне то и дело приходилось уходить из зала: было много кропотливой работы. Возвращаясь на свое место, я неизменно слышал дружественные, а то и восторженные слова о советском обществе — они исходили от различных писателей Запада: от Шамсона, католика Мунье, Манна, Жида, Геенно и других.

Были патетические минуты. Неожиданно на эстраде появился человек в черных очках, с наспех приклеенной черной бородой; это был немецкий коммунист, работавший в подполье. Романтику любят не только юноши; и зал неистовствовал; Андре Жид, переводивший речь подпольщика на французский язык, сбивался от волнения.

Стояли на редкость знойные дни — духота, грозы. В

переполненном зале трудно было дышать, и не было ни минуты передышки. Ночью приходилось переводить выступления, писать отчеты для «Известий», а то утешать литератора, которому не дали слова.

В моем описании все выглядит строже, да и скучнее, чем было на самом деле. Мы жили в десяти планах. В коридоре во время дебатов Марина Цветаева читала стихи Пастернаку. Почему-то полночи мы проспорили в маленьком кафе о социалистическом реализме; с нами сидел А. С. Щербаков, он боролся со сном и вдруг сказал: «Ну зачем спорить? Ведь все сказано в уставе…» Лахути поднес Андре Жиду таджикский халат, тюбетейку, и, увидав автора «Коридана» в непривычном одеянии, мы вдруг поняли, что он должен сидеть в чайхане и примеривать вечность, а не выступать на митингах. Бабель с увлечением рассказывал Андре Триоле о необычайном жеребце. Галактион Табидзе купил редкие издания Бодлера и Рембо; по-французски он не читал, но любовно гладил страницы. Брехт и Мальро говорили о том, может ли войти смерть в жизнь. В маленьком баре возле «Мютюалитэ», куда мы забегали, чтобы выпить ледяной лимонад, влюбленные целовались; а громкоговоритель передавал, что сейчас выступит драматург Ленорман; и я с завистью глядел на парочку, глядел и думал, что мой дядюшка Лева, антрепренер бродячего цирка, любил говорить: «Не так живи, как хочется, а так, как бог велит!..»

В кулуарах вдруг стало тихо: сейчас выступят сюрреалисты они решили сорвать конгресс…

Накануне открытия конгресса мы узнали о самоубийстве молодого писателя-сюрреалиста Рене Кревеля. Я с ним иногда встречался, знал, что он болезненно переживал разрыв между коммунистами и сюрреалистами. Рассказывали: отравился, оставил короткую записку: «Все мне опротивело…»

Потом от его друзей — от Клауса Манна, от Муссинака — я узнал, что, сам о том не подозревая, сыграл в этой трагической истории некоторую роль. Я написал резкую статью о сюрреалистах. Мы сидели ночью в кафе, я вышел, чтобы раздобыть пакет табака. Когда я переходил улицу, подошли два сюрреалиста, один из них ударил меня по лицу. Вместо того, чтобы ответить тем же, я глупо спросил: в чем дело?… Все это было в нравах сюрреалистов, и вот вздорная история стала последней каплей для Рене Кревеля. Конечно, капля не чаша, но мне тяжело об этом вспоминать.

На конгрессе Арагон прочитал речь Кревеля. Все встали. Ему было всего тридцать пять лет. Вот и выходит, что писатели даже на конгрессе не обошлись без самоубийства…

Элюар потребовал слова. Зал всполошился: начинается!.. Кто-то истошно кричал. Муссинак, который председательствовал, спокойно предоставил слово Элюару, бывшему тогда правоверным сюрреалистом. Элюар прочитал речь, написанную Бретоном; в ней, разумеется, имелись нападки на конгресс — для сюрреалистов мы были консерваторами, академиками, чинушами. Но полчаса спустя журналисты разочарованно отправились в буфет — все кончилось благополучно: мы понимали, что беда не в Бретоне, а в Гитлере.

Мне запомнилась речь английского романиста Форстера. Он говорил: «Будь я моложе и смелее, я, может быть, стал бы коммунистом… Если разразится новая война, то писатели, верные принципам либерализма и индивидуализма, вроде Хаксли и меня, будут попросту сметены. Мы ничего не можем против этого сделать, мы будем ржавыми иголками класть заплаты, пока не разразится катастрофа». (И молодой Хаксли и пожилой Форстер пережили вторую мировую войну. А если «ржавые иголки» теперь в меньшем спросе, то знатоки уверяют, что дело не столько в сдвигах сознания, сколько в конкуренции телевидения.)

Речь Кольцова была, разумеется, куда оптимистичнее. Обращаясь к фашистам, он вспомнил французскую поговорку: «Хорошо смеется тот, кто смеется последним». Кольцов не увидел развязки. Фашистов действительно разбили, но 9 мая 1945 года мы не смеялись. Помню женщину на Красной площади, она тихо показывала всем фотографию ее сына, погибшего на Волге.

(Я прервал работу над этой главой почти на месяц: Рим, Варшава, Лондон; встречи, заседания, конференция — разоружение, ядерные бомбы, Бонн, реваншисты… Передо мною были не писатели, а самые различные люди — американский сенатор, лейбористы, физики, итальянские депутаты, Жюль Мок, священники, профсоюзники. Конечно, мне хочется дописать эту книгу, но если можно убедить хотя бы десяток людей, что нет другого выхода, как уничтожить все бомбы, распустить все армии, то бог с ней, с книгой, — куда важнее судьба подростков: перед ними их люди, их годы, их жизнь.)

Создали Ассоциацию писателей, выбрали секретариат; из советских в него вошли Кольцов и я. Михаил Ефимович сказал мне: «Поскольку секретариат будет находиться в Париже, работать придется вам». Ласково, но и насмешливо хмыкнув, он добавил: «Ругать будут тоже вас…»

О том, как меня ругали, я уже упоминал. Да и в работе не было недостатка. Мы устраивали митинги, лекции, диспуты в Париже, в провинции. Время благоприятствовало: это был

медовый месяц Народного фронта. Я выступал с докладами в Париже, в Лилле, в Гренобле.

На парижском конгрессе не было крупных писателей Чехословакии. Я побывал в Праге, встретился с Чапеком. Он много говорил о фашистской угрозе, согласился войти в президиум Ассоциации. Работал он тогда над романом «Война с саламандрами». Усмехаясь, он говорил: «Вы, наверно, слышали пражский анекдот: в солнечный день Чапек идет по Пришкопу с раскрытым зонтиком и на недоуменный вопрос встречного отвечает: «В Лондоне сейчас дождь». Я, правда, многое люблю в английских нравах, мне, например, нравится, что лондонцы не толкаются, в метро или в автобусе не наваливаются один на другого. Вероятно, это связано с тем, что я люблю мечты прошлого века. А мы живем в другую эпоху, общество теснит человека, один народ наваливается на другой…»

Секретарем Союза чешских писателей был тогда поэт Гора; он предложил включить в нашу Ассоциацию чешский союз. Я был на съезде писателей Словакии, они тоже вошли в Ассоциацию.

В Испании с нами были почти все молодые писатели: Лорка, Альберти, Бергамин. Я встретился с моим давним приятелем Гомес де ля Серна, который чурался политики; мне удалось уговорить его войти в Ассоциацию.

В июне 1936 года в Лондоне состоялся пленум секретариата. Мы были настроены радужно; обсуждали всевозможные проекты: создание международных литературных премий, бюро для переводов на различные языки лучших произведений и так далее. Особенно страстно обсуждался проект создания энциклопедии, которая, по замыслу Бенда, Мальро, Блока, должна была стать тем, чем была энциклопедия Дидро, Вольтера, Монтескье для людей второй половины XVIII века.

Неожиданно на наше собрание пришел Герберт Уэллс. Я с ним познакомился летом 1934 года на даче М. М. Литвинова. Беседуя с Максимом Максимовичем, с Эйзенштейном, со мной, он говорил, что многое у нас ему понравилось, и это, видимо, его раздражало — он не любил, чтобы действительность шла вразрез с его прогнозами. Он многое умел предугадывать, был дальнозорким: если Андрей Белый говорил в 1919 году об атомной бомбе, это было предчувствием поэта, а когда Уэллс в 1914 году описал применение в будущей войне атомного оружия, это можно назвать научным прогнозом. Он дорожил логикой и к диалектике относился подозрительно. На даче у Литвинова, разговаривая с дочкой Максима Максимовича, озорной девочкой Таней, он вдруг становился естественным, даже добрым.

Войдя в зал заседаний, Уэллс положил шляпу на стол и

тотчас вылил на нас ушат холодной воды: трезво разъяснил, что мы не Дидро и не Вольтеры, что у нас нет денег и что мы вообще живем утопиями. Он рассказал анекдот о трех портных, которые вздумали выступать от имени Великобританской империи. Кончив говорить, он взял шляпу и вышел из зала.

Конечно, в своем скептицизме он был прав: мы не составили и первого тома энциклопедии, не учредили литературных премий. Мы даже ничего не сделали для поощрения переводов. Бергамин предложил созвать Второй Международный конгресс в Мадриде в 1937 году; это предложение приняли. Мы не знали, что через три недели в Испании начнется страшная, разрушительная война. Но из всех наших решений мы осуществили только одно: Второй конгресс действительно собрался в 1937 году в Мадриде, и мы заседали, обстреливаемые фашистской артиллерией.

Ассоциация сделала свое дело: она помогла писателям, да и многим читателям, понять, что начинается новая эпоха — не книг, а бомб.

13

Ранней осенью 1935 года я писал в «Известиях» о Франции и Париже: «Я долго думал: почему сейчас так печальна эта земля? Ее красота только оттеняет печаль. Прекрасны старые вязы или ясени среди поляны. С яблонь падают красные яблоки. На берегу океана рыбаки чинят голубые тонкие сети. Черные коровы задумчиво окунают свои морды в траву, зеленую, как детство. Белые крестьянские домики обвиты глициниями… «Жизнь так коротка» — это поет под моим окном застенчивый неуклюжий подросток. Он вырос из своего костюма, а нового ему не сшили. Он пришел на эту землю слишком поздно: все романы написаны, все пустыри распаханы, заняты все места — от кресла сенатора до ящика, в котором роется мусорщик. Он может только петь натощак «Жизнь так коротка»… Их много, они родились, как все, учились ходить, хлопали в ладоши, сосали леденцы и глядели на жизнь голубыми доверчивыми глазами. Потом оказалось, что они выросли зря… Ночью в Париже, вдыхая соленый запах моря, кажется, слышишь скрип снастей… Кружится голова: черна ночь Европы. Грусть веков скопилась на маленьком отрезке земли, как в шкатулке с письмами молодости. Но даже эта грусть связана с жизнью. Ранним утром над сизым Парижем кричат дрозды и сирены заводов; они как будто повторяют: «Тебя ждут высокие дела, борьба, будущее!..»

О судьбе Франции, Парижа я думал и в небольшой мастерской, загроможденной холстами, рухлядью с «блошиного рынка» (так зовут парижскую толкучку), кувшинами, глядя на пейзажи Р. Р. Фалька. Парижей много: мы знаем омытый светлыми дождями, сияющий Париж импрессионистов; легкий и нежный Париж Марке; идиллический и захолустный Париж Утрилло. А Париж Фалька — тяжелый, сумеречный, серый, сизый, фиолетовый, это Париж трагических канунов, обреченный и взбудораженный, отпетый и живой. Фальк проработал в Париже всего девять лет, но он понял этот большой, сложный, казалось бы, чужой ему город.

Я познакомился с Робертом Рафаиловичем в начале тридцатых годов, а особенно часто мы встречались и подолгу беседовали в последний период его жизни. Но вот я рассказываю о нем, отрываясь от событий 1935 года: тогда я впервые почувствовал всю силу его живописного голоса. Он вытаскивал из закоулков мастерской десятки холстов, высокий, худой, с печальным, даже унылым лицом, которое порой освещала легкая стыдливая улыбка, и я, восхищаясь живописью, по-новому видел

окружавший меня мир — людей, эпоху, пестрое чередование событий, неразборчивую стенограмму века.

(Когда я писал роман «Падение Парижа», на стене передо мной висел парижский пейзаж Фалька. Часто, оставляя рукопись, я глядел на него — дома, дым, небо. Может быть, я не написал бы некоторых страниц, если бы не холст Роберта Рафаиловича.)

Я признавался в этой книге, что жил в десяти планах, разбрасывался, торопился; я валил все на эпоху, а может быть, виноват был я. Ведь Фальк — мой современник (он был всего на три года старше меня), а он работал сосредоточенно, упрямо, фанатично. Шестнадцатилетним подростком он уже сидел, восхищенный, у подмосковного прудика и писал первые пейзажи. Он работал до самой смерти, исступленно, мучительно, уничтожая холсты, в десятый раз замазывая; соскребал краски, нараставшие, как струпья, и снова писал; в пятый, в десятый раз возвращался к той же модели, к тому же натюрморту. Он работал и когда его выставляли, и когда перед ним закрылись все двери; работал, не думая, выставят ли его холсты, — говорил не потому, что перед ним был набитый людьми зал, а потому, что у него было много что сказать.

Есть художники, которые легко, быстро пишут, — я говорю сейчас не о халтурщиках, а о подлинных художниках; они пишут потому, что, как говорил Роберт Рафаилович, у них «хорошо поставлены глаза». Кто не встречал человека, который охотно рассказывает только потому, что умеет связно и образно говорить. Древние греки восхищенно отзывались об ораторском даре Демосфена, а он по природе был косноязычен. Фальк в каждой работе преодолевал живописное косноязычие. Но его трудолюбие не похоже на пот Брюсова, назвавшего свою мечту «волом»: мечта Фалька была ретивой, и он стремился ее обуздать, подчинить законам искусства, своим мыслям. Он любил стихи Баратынского о скульпторе:

Глубокий взор вперив на камень,
Художник Нимфу в нем прозрел,
И пробежал по жилам пламень,
И к ней он сердцем полетел.
Но, бесконечно вожделенный,
Уже он властвует собой:
Неторопливый, постепенный
Резец с богини сокровенной
Кору снимает за корой.

Пожалуй, он напоминал одного из своих наиболее любимых

предшественников — Сезанна — невероятной работоспособностью, тяжестью, сочетанием мягкости с неуживчивостью, отшельничеством. Но Роберт Рафаилович был человеком и другой эпохи, и другой земли. Он говорил о Сезанне: «Величайший художник! У него было абсолютное зрение… Л если говорить о человеке, в нем были черствость, сухость, эти черты довольно часто встречаются у французов. Думаю, что эти душевные свойства окрасили и живопись Сезанна…»

Роберт Рафаилович знал традиции русской литературы, русской музыки, да и по природе он был человечным, никогда не оставался холодным соглядатаем жизни — волновался, страдал, радовался.

Он любил Врубеля. Учителем Роберта Рафаиловича в Художественном училище был К.А. Коровин. (Фальк рассказывал, что в Париже встречался с Коровиным. Константину Алексеевичу было уже семьдесят пять лет, но он работал, искал и говорил Фальку: «Знаешь, кто теперь самый большой художник во Франции? Сутин!) Начал Фальк выставляться в группе «Бубновый валет» вместе с Кончаловским, Ларионовым, Лентуловым, Гончаровой, Малевичем, Машковым, Куприным, Рождественским, Шагалом. Распространено мнение, будто бубнововалетцы слепо подражали французам, а это было большое, вполне самостоятельное явление в русской живописи, которое еще до сих пор не нашло грамотного и честного исследователя. Конечно, Фальк в то время отдал дань кубизму, порой несколько обобщал предметы, но его пейзажи не имели ничего общего с геометрией; они были выражением чувств молодого художника.

Фальк жадно присматривался к жизни. Как я говорил, в Париже он прожил всего девять лет и за это время сменил четырнадцать адресов, из одной мастерской или мансарды перебирался в другую; объяснял, что районы Парижа не похожи один на другой и что ему хотелось не только повидать, но и пожить в четырнадцати различных городах.

Он знал глухие переулки Москвы, пески и камни Средней Азии, различные русские города — охотно колесил. Отшельник в живописи, в жизни он был общительным, встречался со множеством людей, внимательно слушал споры, рассказы, исповеди.

Роберт Рафаилович любил труд преподавателя; учившиеся у него — и в двадцатые и в сороковые годы — говорят, что он делился с начинающими художниками не только опытом, но и находками, прозрением, вкладывал в уроки душу.

В отрочестве он мечтал стать музыкантом, всю жизнь обожал музыку. Он любил и поэзию — я часто говорил с ним о стихах; он

сразу схватывал внутренний ритм стиха, может быть потому, что в живописи искал ритм.

Поль Сезанн, необычайно зоркий в своем ремесле, ничего не знал, кроме холста и красок. Общественные события его оставляли равнодушным. Много смеялись над Золя, который не понял своего школьного товарища, считал Поля неталантливым, да и не очень-то умным. Смеялись справедливо. Но можно добавить, что Сезанн тоже не понял Золя, перевернувшего построение романа, пробовал почитать и бросил — показалось скучным. А Фальк и многое знал, и многим интересовался. Париж на его холстах («не город, а пейзаж») был таким, каким он его и видел и понимал. В 1935 году он говорил: «Франция обречена. Трудно работать, не хватает воздуха. Пора домой…» Ему тогда жилось хорошо: его выставляли, критики много писали о нем, коллекционеры покупали его холсты. Но, равнодушный к деньгам, к славе, он остро воспринимал воздух эпохи, настроение окружающих. Он знал, что Франция не выстоит, твердо это знал, и когда, после падения Парижа, я вернулся в Москву, расспрашивал меня о деталях — самою историю он знал давно, и не только по сообщениям газет.

Он как-то сказал мне: «Я думаю о многом до того, как сажусь за работу, думаю о человеке, которого пишу, да и об эпохе, о пейзаже, о политических событиях, о стихах, о бабушкиных сказках, о вчерашней газете… Когда я пишу, я только гляжу, но я вижу многое иначе именно благодаря тому, что думал, продумал…» Импрессионисты говорили, что они изображают мир таким, каким они его видят. Пикассо как-то сказал, что он изображает мир таким, каким он его мыслит. Фальк видел так, как мыслил. Он не искал иллюзорного сходства, говорил, что не любит термина «изобразительное искусство» — предпочитает «пластическое искусство»: живопись для него была не изображением, но отображением, созданием реальности на холсте.

Фальк писал в одном из писем: «Произведения Сезанна не подобья жизни, а сама жизнь в прекрасных, драгоценных зрительно-пластических формах. Кубисты считают себя его преемниками. С моей точки зрения, они узурпаторы его искусства. Я не люблю, откровенно говоря, абстрактную живопись. Абстракция даже у самых талантливых художников ведет к схеме, к произволу, к случайности… Элементарно говоря, я — реалист… В моем понимании реализма мне особенно близок Сезанн. Из более поздних имен меня особенно притягивает Руо…»

Фальк недолюбливал декоративность в живописи; о таком художнике, как Матисс, он говорил с уважением, но и с холодом.

Он искал раскрытии предметов, природы, человеческих характеров. Его портреты, особенно в последние годы, поражают глубиной: цветом он передает сущность модели, цвет создает не только формы, пространство, он также показывает «незримую сторону Луны» — писателю потребовались бы тома, чтобы подробно рассказать о своем герое, а Фальк этого достигает цветом; лицо, пиджак, руки, стена — на холсте клубок страстей, событий, дум, пластическая биография.

В 1946 или в 1947 году Фалька зачислили в «формалисты». Это было абсурдом, но в те годы трудно было чем-либо удивить. «Формалиста» решили поставить на колени; помню заявление одного из тогдашних руководителей Союза художников: «Фальк не понимает слов, мы его будем бить рублем…» Вот это изумило меня даже в то время: человек «рубля» не знал, с кем имеет дело. В жизни не встречал я художника столь безразличного к разным благам, к удобствам, к достатку. Фальк сам варил горох или картошку; годами ходил в той же протертой куртке; одна рубашка была на нем, другая лежала в старом чемодане. В обыкновенной, прилично обставленной комнате он чувствовал себя неуютно, жил в запустении, а дорожил только красками и кистями.

Его перестали выставлять. Денег не было. Он считался заживо похороненным. А он продолжал работать. Иногда в его мастерскую приходили любители живописи, молодые художники; он всех впускал, объяснял, стыдливо улыбался.

Он писал в 1954 году: «Только теперь, мне кажется, я созрел для настоящего понимания Сезанна… Как грустно и обидно! Прожил целую жизнь, а только теперь понял, как надо по-настоящему работать. Но нужных сил больше нет, их будет все меньше и меньше…» Эти слова показывают, как Фальк был требователен и суров к себе — до последнего часа.

Все больше и больше накапливалось холстов в длинной сумрачной мастерской возле Москвы-реки. Когда смотришь работы некоторых пожилых художников, невольно с грустью вспоминаешь свежесть, чистоту, яркость их молодости. А Фальк изумлял тем, что все время подымался — до самой смерти. (Как-то он сказал, что Коро написал лучшую свою работу в возрасте семидесяти шести лет. Роберт Рафаилович умер в семьдесят.) Он болел, осунулся, с трудом ходил и все же продолжал работать. Выставку, да и то крохотную, процеженную, в старом помещении МОСХа устроили, когда он уже лежал смертельно больной в госпитале. И в то же унылое помещение МОСХа, вскоре после выставки, привезли Фалька — в гробу. Люди стояли и плакали — знали, что потеряли.

Теперь выходят книги, которых ни за что не издали бы десять

лет назад; строят современные дома. А холсты Фалька по-прежнему стоят, прислоненные лицом к стенке…

14

Четырнадцатого июля 1935 года, вскоре после конгресса писателей, Париж увидел небывалую демонстрацию; это был военный смотр Народного фронта. Весь день я бродил но улицам, иногда забегал в кафе — писал отчет, который должен был на следующий день пойти в «Известиях». Демонстрация началась утром на площади Бастилии, и колонны шли к Венсенскому лесу, находящемуся всего в нескольких километрах от этой площади; столько, однако, было народу (газеты потом давали различные цифры, в зависимости от направления, — шестьсот — семьсот — восемьсот тысяч), что последние демонстранты дошли до заставы только к ночи. Лидеры еще недавно враждовавших партий шли рядом — Торез и Блюм, Даладье и Кашен. Шли также ученые, писатели: Ланжевен, Перрен, Риве, Арагон, Мальро, Блок.

На Елисейских полях в тот день демонстрировали фашисты; они лихо маршировали, подымали руки, стараясь во всем походить на гитлеровцев; кричали: «Да здравствует де ля Рокк! — так звали полковника, вождя «Боевых крестов».

«Де ля Рокка к стенке!» — скандировали люди на площади Бастилии. Скрытая гражданская война разгоралась. Мало кто интересовался правительством, во главе которого стоял юркий Лаваль; он подписывал соглашения с Муссолини, с Советским Союзом, хотел перехитрить и Народный фронт и де ля Рокка, отодвинуть хотя бы на год-другой развязку.

Мне казалось, что мирные времена далеко позади. Еще гол назад утром я прежде всего читал письма; теперь я засовывал конверты в карман и, купив газету, здесь же на улице ее разворачивал. Радиоприемник поселился в моей комнате и заполнял ее голосами незнакомых людей, спешивших поделиться со мной тревожными вестями. Ночные часы у этой проклятой коробки были мучительными; речи Гитлера или Муссолини, отчеты о стычках с фашистами на улицах французских городов перебивались рекламой — радиовещание еще было в руках различных частных компаний; почему-то до сих пор помню песенку, прославлявшую целительные свойства «Бальдофлорина», забыл, от каких именно болезней он должен был исцелять, но меня это слово «Баль-до-флорин» между криком дуче: «Пролетарская и фашистская Италия, вперед!» — и описанием казни топором в Гамбурге выводило из себя.

Седьмого сентября Париж снова вышел на улицы: хоронили умершего в Москве Анри Барбюса. Похороны стали демонстрацией.

Конечно, сотни тысяч людей больше думали о предстоящих боях, чем о погибшем писателе: они знали, что Барбюс был смелым товарищем, коммунистом, автором книги о Сталине; сорокалетние помнили «Огонь», рассказавший о судьбе верденского поколения. Барбюс был сложным человеком, нельзя от него отсечь ни стихов его молодости, ни зрелой тоски. Как-то он сказал мне с легкой усмешкой: «С капитализмом трудно бороться, а с самим собой еще труднее…» Однако он умел бороться и с собой. В одном из выступлений он сказал о судьбе «скромных знаменосцев», к которым причислял себя. В тот сентябрьский день он стал знаменем. Военных инвалидов везли в колясках. Женщины подымали к небу грудных детей. Из окон рабочих домов вылетали красные флажки, а где не было флагов, выставляли красные шторы или подушки. На гробу среди пышных южных цветов лежали осенние астры, георгины — цветы Подмосковья.

Мне запомнилась группа людей, которые несли полотнище: «Рабочие Дана не потерпят фашизма!» Скептик мог бы усмехнуться: Лан — небольшой город, в нем нет и двадцати тысяч жителей. Но в этом была своя правда: Франция переживала необычайный подъем, каждый верил, что будущее зависит и от него.

В феврале 1936 года «королевские молодчики» (так называли одну из крайне правых организаций) напали на Леона Блюма, избили его и почему-то в качестве трофеев уволокли шляпу и галстук.

Возмущенные демонстранты двинулись к Пантеону, где покоится прах Жореса, убитого одним из предшественников фашизма. Вокруг Пантеона собрались студенты, входившие в фашистские организации. Было много перебранок. Сотни тысяч рабочих, служащих, интеллигентов еще выше подымали красные флаги, сжимали кулаки.

В одной из колонн я увидел Марселя Кашена и подошел, чтобы поздороваться. Рабочие, стоявшие на набережной, кричали: «Здравствуй, Кашен! Они тебя не посмеют тронуть! Мы тебя отстоим!» Кашен махал рукой, смущенно улыбался.

(Однажды я встретил Кашена в кафе — это было в 1932 или 1933 году, — он сидел с Ланжевеном и художником Синьяком, рассказывал про свою встречу с Лениным. Я вдруг подумал: эти люди пришли в наш век издалека, все поняли и ничего не растеряли… Кашена любили: он как бы собой доказывал, что большая культура может уживаться с повседневной революционной борьбой и что коммунизм не означает ни душевной сухости, ни ограниченности, ни повадок кандидата в

вожди.)

Я часто бывал на различных митингах, собраниях; требовали освобождения Тельмана, протестовали против расправ с горняками Астурии, против нападения Италии на Абиссинию, говорили о разном и вместе с тем об одном: нельзя прожить жизнь на одной земле с фашистами. Говорили опытные ораторы и подростки, Андре Жид, Ланжевен или Мальро и домашние хозяйки. На одном из собраний в горном бассейне Дофинэ, когда все уже было сказано и пересказано, старый рабочий с синими жилками на лице попросил слова; поднявшись на трибуну, он дрожащим старческим голосом запел: «Вставай, проклятьем заклейменный…» Несколько лет спустя я писал о митингах 1935 года:

Надежду видел я, и, розы тоньше,
Как мягкий воск, послушная руке,
Она рождалась в кулаке поденщиц
И сгустком крови билась на древке.

В душных залах, набитых незнакомыми мне людьми, я тоже подымал кулак, и в нем тоже билась, как бабочка, надежда тех месяцев. Для надежд было много оснований. Рабочие меня поражали своей зрелостью. Расскажу об одном эпизоде. В Лилле я познакомился с доктором, одним из организаторов общества дружбы «Франция — СССР». Он меня повез в поселок Ланнуа неподалеку от Рубэ; там была большая льнопрядильня. Союз предпринимателей ввиду продолжавшегося кризиса решил закрыть ряд фабрик и уничтожить оборудование. Рабочие и работницы отправили письмо Лавалю: «Господин председатель, мы считаем необходимым заявить вам, что мы не допустим уничтожения машин на фабрике Бутеми… Мы будем следить за тем, чтобы машины, являющиеся общим достоянием, сохранились в неприкосновенности». Я увидел рабочих, охранявших фабрику от ее владельцев. Мастер с седыми усами сказал мне: «Я читал в «Юманнте», что Горький теперь пишет историю русских заводов. Расскажи ему, что мы живем при капитализме, машины принадлежат не нам, а мерзавцам, но мы их ни за что не отдадим, это — народное добро. По-моему, такой писатель, как Горький, может в своей книге отметить этот факт…»

На глазах происходило чудодейственное сближение партий, профсоюзов, людей. Передо мной пожелтевший номер «Юманите» со списком тогдашних сотрудников ее литературного отдела: театральные режиссеры Жуве и Дюллен, художник Вламинк, писатели Жид, Мальро, Шамсон, Геенно, Жионо, Дюртен,

Вильдрак, Кассу. Теперь мне это кажется неправдоподобным.

Рабочим удалось (ненадолго) заручиться поддержкой значительной части интеллигенции, крестьянства, мелкой буржуазии. Я увидел это в шахтерском поселке Ля Мюр возле Гренобля. Там была забастовка, длилась она долго — хозяева хотели взять горняка измором. Стачечный комитет помещался в здании мэрии; туда приходили крестьянки — брали детей шахтеров к себе. Был базарный день, и крестьяне привезли забастовщикам подарки: картошку, яйца, сало, гусей. На собрании местный парикмахер объявил, что будет бесплатно стричь и брить забастовщиков. Шахтеры в итоге выиграли забастовку.

Одновременно чуть ли не каждый день приходилось наблюдать, как быстро формируется другой лагерь. Может быть, не так уж много было во Франции фашистов, но они шумели, дрались, нападали из-за угла. Некоторые из них носили короткие усики и называли себя «насистами»; у других было изображение черепа на рукаве, и они себя звали «франсистами». Открыли в Париже «Синий дом» — в Берлине ведь имелся «Коричневый».

Германия ввела войска в прирейнскую демилитаризованную зону. Лига Наций обсуждала этот поступок много месяцев и в итоге ничего не решила. Каждый вечер треклятый радиоприемник передавал хриплые выкрики: «Мемель наш! Страсбург наш! Брюнн (Брно) наш!» И вот не молодчики с подстриженными усиками, а добродетельные отцы семейств начали поговаривать, что мир куда дороже, чем какая-то Чехословакия, что Народный фронт приведет к войне, что пора унять левых «крикунов». Италия каждый день захватывала кусок Абиссинии; фашисты вели войну цинично, бомбили госпитали, пустили в ход отравляющие газы. Лига Наций применила к Италии экономические санкции; по существу это осталось резолюцией; но фашисты в Париже каждую неделю устраивали демонстрации под лозунгом «Долой санкции!». Опять-таки средние французы со средним достатком, а их во Франции немало, говорили: «Зачем ссориться с Италией? Это наша латинская сестра. Муссолини поможет успокоить Гитлера…» А по радио стоял вой: «Средиземное море наше! Корсика наша! Ницца наша!» На самом деле средние французы боялись победы Народного фронта, им мерещились потерянная рента, уплотнение квартир, колхозы.

Когда в кино показывали итальянские победы в Эфиопии, в рабочих районах публика отчаянно свистела, в буржуазных многие зрители аплодировали. Иногда в темном зале начиналась драка.

Спорили друг с другом незнакомые люди — в кафе, в метро,

на улице. Раскалывались семьи, обрывались дружеские отношения.

Все говорили, что скоро будет война, и все требовали мира. Национальный фронт правых партий клялся, что не допустит войны. Народный фронт готовился к выборам с лозунгом «Мир. Хлеб. Свобода». Правые уверяли, что коммунисты хотят атаковать фашистские страны. Все перепуталось. «Патриотическая молодежь» пела «Марсельезу», требовала, чтобы воспитание шло в духе национальных традиций, и одновременно устраивала демонстрации с криками: «Долой санкции! Долой Англию! Дружба с Италией!» Англичане настаивали на применении санкций к Италии (они, однако, старались ничем не обидеть Гитлера), и писатель Анри Беро опубликовал памфлет в правой газете «Необходимо обратить англичан в рабство!». Рабочая молодежь предпочитала «Марсельезе» «Интернационал» и выступала против итальянских фашистов, против Гитлера, обличала «двести семейств», которые хотят предать Францию.

Однажды, раскрыв газету, я увидел обращение правых писателей, пытавшихся оправдать нападение фашистов на Абиссинию «культурной миссией Италии». Среди подписавшихся было имя одного писателя, моего друга двадцатых годов, человека, которого я не мог заподозрить в симпатии к чернорубашечникам. Я написал ему возмущенное письмо. В ответ он прислал длинное, запутанное и, наверно, искреннее письмо. Оно погибло с другими письмами, когда гитлеровцы оккупировали Париж. Сохранились только выдержки, которые я привел в газетной статье, не называя автора: «Я не знаю, что такое фашизм и каковы его цели. Вам это покажется невероятным, но вот уже три недели, как я не читаю газет. Мне за пятьдесят, и у меня больше нет убеждений, я говорю об искренних убеждениях, способных заставить человека пойти на жертвы… Я меняю убеждения но двадцати раз в день…» Вместо того чтобы поехать к моему другу и заставить его в двадцать первый раз изменить свои убеждения, я рассердился. Это хороший писатель и хороший человек, но больше мы с ним не встречались.

Я жил в каком-то непрестанном возбуждении. Полгода спустя я написал маленькую книгу рассказов и озаглавил ее «Вне перемирия». Мне казалось, что существует некое негласное перемирие с фашизмом, и я думал о том, что судьбы людей, с которыми я был связан, не подпадают под условия этого перемирия. В статье для «Известий» я писал: «Поймут ли наши внуки, что значило жить в одно время с фашистами? Вряд ли на желтых полуистлевших листочках останутся гнев, стыд, страсть.

Но, может быть, в высокий полдень другого века, полный солнца и зелени, ворвется на минуту молчание — это будет наш голос…»

Конечно, в конце 1935 года я не мог знать, что главные испытания впереди. Я только чувствовал, что развязка будет трагичной, и статью кончил словами: «Надежда мира — Красная Армия».

Во Франции в тот год стояла удивительная осень; гремели грозы, в садах вторично зацвели вишни. Я глядел на тщательно обработанные садики, на белые домики с черепичными крышами, на мир милый и хрупкий, может быть обреченный, глядел из окна вагона — газета дала мне отпуск, и я ехал в Москву.

15

Вскоре после моего приезда в Москву редакция дала мне билет на совещание рабочих-стахановцев. Я пришел за час до назначенного времени, а Большой зал Кремлевского дворца был уже заполнен. Люди разговаривали друг с другом вполголоса; никто не вставал с места. Это никак не походило на шумные митинги Парижа в набитых прокуренных залах. Я спрашивал соседей, где сидит Стаханов, знают ли они Кривоноса, Изотова, Виноградовых.

Вдруг все встали и начали неистово аплодировать: из боковой двери, которой я не видел, вышел Сталин, за ним шли члены Политбюро — их я встречал на даче Горького. Зал аплодировал, кричал. Это продолжалось долго, может быть десять или пятнадцать минут. Сталин тоже хлопал в ладоши. Когда аплодисменты начали притихать, кто-то крикнул: «Великому Сталину ура!» — и все началось сначала. Наконец все сели, и тогда раздался отчаянный женский выкрик: «Сталину слава!» Мы вскочили и снова зааплодировали.

Когда все кончилось, я почувствовал, что у меня болят руки. Я впервые видел Сталина и не сводил с него глаз. Я знал его по сотням портретов, знал тужурку, усы, но я думал, что он куда выше ростом. Волосы у него были очень черные, лоб низкий, а глаза живые, выразительные. Иногда, несколько наклоняясь вправо или влево, он посмеивался, иногда сидел неподвижно, глядя в зал, но глаза продолжали ярко посвечивать. Я поймал себя на том, что плохо слушаю — все время гляжу на Сталина. Оглянувшись, я увидел, что тем же заняты и другие.

Возвращаясь домой, я чувствовал неловкость. Конечно, Сталин — большой человек, но он коммунист, марксист; мы говорим о новой культуре, а смахиваем на поклонников шамана, которых я видел в Горной Шории… Тотчас я себя оборвал: наверно, я рассуждаю по-интеллигентски. Сколько раз я слышал, что мы, интеллигенты, ошибаемся, не понимаем требований времени! «Интеллигентик», «путаник», «гнилой либерал»… И все-таки непонятно: «мудрейший руководитель», «гениальный вождь народов», «любимый отец», «великий кормчий», «преобразователь мира», «кузнец счастья», «солнце»… Однако мне удалось убедить себя, что я не понимаю психологии массы, сужу обо всем как интеллигент, притом проживший полжизни в Париже.

На совещании Сталин сказал: «Людей надо заботливо и внимательно выращивать, как садовник выращивает облюбованное плодовое дерево». Эти слова приподняли всех —

ведь в Кремлевском дворце сидели не манекены, а люди, и они радовались, что к ним будут подходить бережно, любовно…

Прошло несколько дней. Я встретил живых, интересных людей. Долго разговаривал с ткачихой Дусей Виноградовой. Она оказалась умной и удивительно скромной; почести, аплодисменты, фотографы не вскружили ей головы. Я решил, что овации в Кремлевском зале — своеобразное выражение чувств, своего рода присяга. Ведь не коробит меня, что на парижских митингах люди стоят с поднятыми кулаками, без конца скандируя: «Ле совье пар-ту!» Борьба против фашизма была настолько реальной, так меня захватывала, что я посмеялся над собой: до чего глупо было огорчаться!

Я встречался с писателями, художниками, режиссерами и невольно ввязался в спор — искусство оставалось для меня кровным делом, ввязался с горячностью, да и неуклюже: плохо разбирался в положении, снова принимал свои желания за действительность.

Побывав в клубе «Динамо», в университете, у тимирязевцев, в районных библиотеках, где происходили обсуждения моей повести, я писал: «Я слышал, что говорили о литературе рабочие, вузовцы, красноармейцы. Уровень наших читателей куда выше, чем это предполагают наши писатели». Мне казалось, что читатели выросли и что слишком часто мы им подсовываем книги для подростков. Вероятно, я несколько забегал вперед, но на читательских конференциях я встретил людей с глубокой внутренней жизнью, с большими требованиями.

Может быть, в моих словах сказалось и недовольство собой, повестью «Не переводя дыхания», которая была не только посвящена зеленой молодости, но и написана как-то зелено, упрощенно, будто автору не сорок четыре года, а вдвое меньше. Неловкость я испытывал и, читая книги некоторых моих сверстников, частенько думал, что пора нам писать для взрослых и по-взрослому.

В статье я выступил против обязательной «доходчивости» — слово тогда входило в обиход: «Наши читатели растут, как трава в сказках, — бурно и неожиданно. Надо стараться поднять читателя, даже самого отсталого, до уровня подлинной литературы, а не отменять подлинную литературу, говоря, что такой-то писатель непонятен такому-то читателю. Автор, который ориентируется на так называемого «среднего читателя», сплошь да рядом оказывается в дураках: пока он сидел и писал, читатель успел вырасти. Автор мечтал о доходчивости, о массовости, а читатель, взяв в руки его произведение, говорит: «Скучно, плоско, давно известно, шаблонно…» Секрет нашей удивительной страны

в том, что у нас нельзя ставить на «сегодня»: тот, кто ставит на «сегодня», оказывается во «вчера». Надо ставить на «завтра».

«Известия» статью напечатали. Издательство «Советский писатель» решило переиздать мой старый роман «Хуренито». («Хуренито» действительно был переиздан, но не в 1935 году, а в 1962,) Некоторые критики меня поругивали; я огрызался. Мне казалось, что спор о литературе, об искусстве только-только начинается.

Художники устроили диспут о портрете. Я пошел и выступил против академической живописи, против холстов, напоминающих фотографии, защищал право на искания нового живописного языка. Я сказал, что буржуа, когда он не понимает произведения искусства, неизменно винит художника, а рабочий говорит: «Нужно еще раз прийти — посмотреть получше…» (Эти слова я как-то подслушал в Музее западной живописи.) Некоторым художникам мои мысли не понравились; один выступил с разоблачением: «Эренбург так рассуждает потому, что его жена — ученица Пикассо». (Люба была польщена — она ведь никогда не училась у Пикассо.)

В Доме кино я сказал, что мне очень нравится «Чапаев», но этот фильм — завершение предшествующей блистательной эпохи советской кинематографии; я знаю смелость Эйзенштейна, Довженко и многого жду от этих художников. Газета «Кино» определила мои мысли как «старые заблуждения по новому поводу» и сердито меня одернула.

Я увидел новую постановку Мейерхольда и восхитился: Всеволод Эмильевич воистину обладал неиссякаемой фантазией. Комедия Грибоедова звучала как современная пьеса не только потому, что актеры по-новому читали стихи, но и по возрожденной свежести мыслей, чувств. Была немая сцена, которой нет в тексте: за длинным столом сидели расфуфыренные истуканы, и какая-то очередная грязная, может быть кровавая, сплетня гуляла вдоль стола. Я писал: «Мы ненавидим Фамусовых и Молчалиных. Они еще барахтаются в тине канцелярий, они переменили костюм и лексикон, но они остались столь же заносчивыми и угодливыми. Мы живем и работаем для того, чтобы вывести их из жизни, и мы не можем равнодушно слушать монологи Чацкого, с ним мы терзаемся, с ним ненавидим. Такова мощь подлинного искусства». Долго в моих ушах стояли слова: «Служить бы рад, прислуживаться тошно…» Был еще только ноябрь 1935 года, и газета напечатала мою статью.

До чего я был тогда наивен! Я не знал, что многое зависит от вкусов, даже от настроения одного человека. Да и люди, хорошо это знавшие, не могли предвидеть, что приключится завтра.

Когда я был в Москве, И. В. Сталин объявил: «Маяковский был и остается лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской эпохи». Все сразу заговорили о значении новаторства, о новых формах, о разрыве с рутиной.

Месяца два спустя я прочитал в «Правде» статью «Сумбур вместо музыки»: Сталин пошел на оперу Шостаковича «Катерина Измайлова», и музыка его рассердила. Срочно собрали композиторов, музыкантов, и все они осудили Шостаковича за «кривляние», даже за «цинизм».

С музыки легко перешли на литературу, живопись, театр, кино. Критики требовали «простоты и народности». Маяковского, конечно, продолжали восхвалять, но теперь уже по-другому — «простого и народного». (В одном из ранних футуристических стихотворений Маяковский просил парикмахера: «Будьте добры, причешите мне уши». Он, разумеется, не знал, что смогут причесать не только уши.) Началась кампания «против формализма, левацких уродств, вывертов»; кампания велась яростно; ей отводили много места.

Первой жертвой оказалась книга детских стихов Маршака с рисунками В. Лебедева — рисунки были объявлены «мазней», и книжку уничтожили. Архитекторы собрались, чтобы осудить «формалистов»; нападали не только на Мельникова, построившего в 1924 году павильон на Парижской выставке, не только на конструктивистов — Леонидова, Гинзбурга, но и на «сочувствующих формализму» — на Веснина, Руднева. Еще хуже пришлось художникам; критики уверяли, что Лентулов не может нарисовать даже спичечную коробку, что Тышлер, Фонвизин, Штеренберг — «пачкуны со злостными намерениями».

На собраниях театральных работников одобряли удаление из Москвы театра МХАТ-второй, поносили Таирова и особенно Мейерхольда. Его покаяние было признано «туманным», «неискренним», начали поговаривать о закрытии театра. Киноработники взялись за Довженко и Эйзенштейна. Литературные критики вначале обличали Пастернака, Заболоцкого, Асеева, Кирсанова, Олешу, но, как говорят французы, аппетит приходит во время еды, и вскоре в «формалистических вывертах» оказались виновными Катаев, Федин, Леонов, Вс. Иванов, Лидин, Эренбург. Наконец дошли до Тихонова, Бабеля, до Кукрыниксов. Нашелся человек, не лишенный воображения, который обвинил в формализме постановку пьесы «Волки и овцы» в Малом театре. В «Красной нови» появилась статья, призывающая в борьбе против формализма «биться за классические рифмы, за классическую точную и стройную ритмику, за классическое правильное

развитие сюжета».

Я думал, что спор начинается, а он кончался: его заменили сотни собраний с обязательным признанием своих формалистических ошибок, с обещаниям и стать «простым и доходчивым», с хорошо знакомыми возгласами, за которыми следовало: «Бурные аплодисменты, переходящие в овацию».

Меня много раз обвиняли в «барском отношении к читателям», обвиняли не читатели, а некоторые литераторы, принимавшие активное участие в очередной кампании. Что касается читателей, то и в те недели и позднее в часы сомнений, печали они неизменно меня поддерживали своим пониманием, зрелостью. Редактор «Литературной газеты» писал, что мое пренебрежение советскими людьми сказалось хотя бы в том, что я утверждал, будто не все рабочие могут понять все картины музеев. «Эта мысль, — писал редактор, — выражает уверенность писателя в том, что художник является носителем какой-то более тонкой, более сложной, более высокой культуры, чем та культура, которой обладает масса читателей». Я переписал эту фразу и задумался. Много раз в этой книге я писал о моих заблуждениях, но здесь я упорствую: я и теперь согласен с тем, что говорил четверть века назад.

Мне кажется, что место писателя, художника не в обозе, а в разведке. Люди развиваются неравномерно, и в нашем современном обществе имеются различные уровни культурного развития. «Массы читателей» не существует, даже если книга выхолит массовым тиражом: читатели читают по-разному — бывают книги, в которых одно доступно всем, другое только некоторым. Одних посетителей Эрмитажа восхищает живопись Рембрандта, другие спрашивают, что тут изображено, и равнодушно идут дальше. Есть люди, которых ни за что не затащишь на концерт симфонической музыки. Все это общеизвестно, но об этом предпочитают умалчивать. А новые формы в искусстве всегда воспринимались медленно и вызывали раздражение. Можно привести множество примеров, начиная с драки на премьере пьесы Гюго, с поношения Курбе до гогота аудитории, когда Маяковский читал «Человека». Если писатель или художник не видит большего, чем арифметическая «масса», не старается сказать людям нечто новое, им еще неизвестное, то он вряд ли кому-нибудь нужен.

Нападки на собраниях и в газетах на разных людей действовали по-разному. А. Н. Толстой, любивший спокойствие, решил на всякий случай покаяться и публично объявил, что написал формалистическую пьесу. Бабель говорил улыбаясь: «Через полгода формалистов оставят в покое — начнется какая-

нибудь другая кампания». Мейерхольд томился и по десять раз перечитывал вздорную статейку, что-то подчеркивая. В тот мой приезд в Москву я часто встречался и подружился с А. П. Довженко. Он был большим художником, достаточно вспомнить его фильм «Земля», сделанный в 1930 году. Александр Петрович хорошо рассказывал — с украинским юмором и с мягкой украинской печалью. Все происходившее он воспринимал болезненно. Как-то он рассказал мне, что накануне его вызвал Сталин, показал ему «Чапаева» и все приговаривал: «Вот так нужно и вам…»

Меня несправедливые обвинения огорчали, порой выводили из себя, но я был в лучшем положении — шла борьба с фашизмом, и я находился на поле боя.

Вспоминая некоторые московские впечатления, все эти овации и огульные обвинения, я писал в «Книге для взрослых»: «Я знаю, что люди сложнее, что я сам сложнее, что жизнь не вчера началась и не завтра кончится, но иногда надо быть слепым, чтобы видеть». (О том же я говорил позднее в стихах:

Не зря я слепоту зову находкой.
Тоску зажать, как мертвого птенца,
Пройти своей привычною походкой
От детских клятв до точки — до конца)

Работа над книгой меня захватила, хотя то и дело приходилось от нее отрываться — писать статьи для «Известий», выступать на различных собраниях, работать в Ассоциации писателей. «Книга для взрослых» была первым черновиком той книги, которую я теперь пишу. Я задумал нечто увлекательное и порочное: решил перемешать главы, в которых рассказывал о себе, о своей жизни, с. другими, где персонажи повести раскрывали мне свои тайны, работали, боролись, любили, страдали. Я назвал замысел порочным; может быть, это неправильно — просто мне не хватило таланта и мастерства, чтобы герои повести выглядели действительно существующими, а вследствие этого и сам порой казался условным литературным персонажем.

В книге много страниц было посвящено литературе, искусству; я тогда впервые задумался над тем, как рождаются книги или холсты. Я говорил о судьбе писателя: «Он весь облеплен чужими страстями, как репейником. Человеческое горе знает, к кому пристать. Даже бродячая собака не пристанет к каждому, она понюхает человека, а потом или отбежит в сторону, или пойдет вслед. Не все радости, не все горести пристают к

писателю, только те, что должны к нему пристать… Гоголь умер среди мертвых душ; вокруг его изголовья толпились Плюшкины и Ноздревы. Он повторил в жизни то, что однажды ему показалось занятным и нелепым сном. Тему подарил ему Пушкин, героями его снабдила жизнь. Что он прибавил к этому, кроме своего дыхания, и почему за чужие судьбы он должен был расплачиваться юродством, немотой, убогой смертью?… Неужели книги это только черновики, которые нам приходится набело переписывать в жизни?»

Больше всего я думал о борьбе, которая шла вокруг, о выбранном мною пути. «Справедливость — это слово как будто отлито из металла, в нем нет ни теплоты, ни снисхождения. Иногда мне кажется, что оно из чугуна, иногда оно теряет вес, становится оловом. Его нужно согреть своей страстью… Я сказал, что прежде не мог освободиться от своего прошлого. Я думаю, что человек ни от чего не освобождается, он растет вширь, как дерево: кольцо нарастает на кольцо. Теперь я вижу, отчего чугунная или оловянная справедливость казалась мне прежде холодной. Нужны были не только удачи, но и обвалы, вывихи, годы немоты».

Может быть, в 1935 году и слишком рано взялся за рассказ о своей жизни: недостаточно знал и людей, АН самого себя, порой принимал временное, случайное за главное. В основном я и теперь согласен с автором «Книги для взрослых», но война в ней описана не ветераном, а человеком среднего возраста, среднего опыта, который едет в темной теплушке на фронт и рисует себе предстоящие битвы.

Многое в книге было, скорее, предчувствием, предвидением, нежели выводами из пережитого. Я сам не понимаю, как я мог весной 1936 года, до всего, что мне пришлось испытать в последующие годы, будучи нестарым и далеко не умудренным, написать такие строки: «Я пережил в жизни все, что пережило большинство людей моего возраста: смерть близких, болезни, предательство, неудачи в работе, одиночество, стыд, пустоту. Есть борьба на улице с винтовками, в цехах, под землей, в воздухе, за пишущей машинкой. Я сейчас думаю о другой борьбе: в тишине, когда, не отрываясь, смотришь на лампочку или на буквы газеты, которой не читаешь, когда надо победить то, что сделала с тобой жизнь, заново родиться, жить, во что бы то ни стало жить».

Приподымая занавеску исповедальни, скажу, что книга «Люди, годы, жизнь» родилась только потому, что я сумел в старости осуществить сказанные мною давно слова — победить то, что сделала со мною жизнь, и если не родиться заново, то найти достаточно сил, чтобы идти в ногу с молодостью.

«Книгу для взрослых» сначала напечатали в журнале; потом решили выпустить отдельным изданием; издавали долго — шел 1937 год, когда забота о деревьях была предоставлена не садовникам, а лесорубам. Из книги изымали целые страницы с именами, ставшими неугодными. В том экземпляре, который у меня сохранился, один листок белее и короче других, его вклеили: нужно было изъять имя очередного вырубленного — Семена Борисовича Членова.

А писал я книгу в Париже в начале 1936 года, писал под шум демонстраций: борьба разгоралась. Теперь я твердо знал: что ни приключись, какими бы мучительными ни были сомнения (не в правоте идеи, а в разуме людей, стоявших на командном посту), нужно молчать, бороться, победить.

В конце марта я отослал рукопись в «Знамя». А седьмого апреля в испанском городе Овиедо я разговаривал с горняком Сильверио Кастаньоном; он рассказывал о боях 1934 года, о погибших товарищах, о пытках. Бесконечно далекими казались мне и борьба с формализмом, и листочки рукописи, и парижская комната с книгами на полке, с трубками на стене. Кастаньон писал стихи и на суде удивил военных судей эрудицией: цитировал Маркса, Канта, Кальдерона, Гюго. Судьи одобрительно кивали головами, но приговорили горняка к смертной казни: он был председателем революционного комитета в шахтерском поселке Турон. Исполнение приговора, однако, откладывали с одного дня на другой. Я спросил Кастаньона, сколько времени он ждал смерти. Он ответил: «Пятнадцать месяцев. Только я ждал не смерти, а революции…» Потом он прочитал свои стихи и вдруг сказал, разводя руками: «Жизнь у человека одна». Я внимательно посмотрел на него и увидел, до чего он молод — детское лицо…

Вернувшись в сырую, мрачную гостиницу, я долго не мог уснуть, ворочался, думал: нет, жизнь не одна — за одну приходится прожить не одну, не две жизни, а много; в этом, кажется, вся беда, но и все счастье.

16

Мне трудно сейчас описать Испанию в ту далекую весну: я пробыл в ней всего две недели, а потом в течение двух лет видел ее окровавленной, истерзанной, видел те кошмары войны, которые не снились Гойе; в распри земли вмешалось небо; крестьяне еще стреляли из охотничьих ружей, а Пикассо, создавая «Гернику», уже предчувствовал ядерное безумье.

Я вспоминаю огромные арены, предназначавшиеся для боя быков, заполненные десятками тысяч людей: рабочими в кепках, крестьянами в широких шляпах, женщинами, повязанными платками, гончарами, сапожниками, мастерицами, школьниками.

Я увидел на подмостках Рафаэля Альберти. Он никак не походил на Маяковского: у него был облик нежного мечтателя. Еще недавно он писал лирические стихи. Теперь он читал романсеро современности; стихи проносились по толпе, как ветер по купам деревьев, и люди, взволнованные, выбегали на улицу. У молодых социалистов были кумачовые рубашки, у комсомольцев — синие с красными галстуками. Отворачивались священники, старухи в ужасе крестились, буржуа пугливо озирались, фашисты стреляли из окон. Яркое солнце сменялось тяжелыми, лиловыми тучами.

То была необычная для Испании весна: чуть ли не каждый день падали шумные ливни, и рыжая земля Кастилии ослепляла зеленью. Бог ты мой, сколько я слышал радостных возгласов, замечательных проектов, клятв и проклятий! Помню, на рабочем митинге в астурийском поселке Мьерес старый шахтер с длинным узким лицом, приподняв рудничную лампу, сказал: «Три тысячи товарищей погибли, чтобы фашистов больше не было. Их и не будет. Будем мы. И ничего больше, испанцы!..»

В Овиедо я увидел развалины университета. Люди говорили, как старый шахтер: «Нет, это никогда не повторится!»

В поселке Сама Фернандо Родригес повел меня в Народный дом, там усмирители в 1934 году пытали и убивали повстанцев. На стенах были пятна выцветшей крови, сохранились имена расстрелянных, нацарапанные ногтем. Фернандо Родригес рассказывал: «Меня подвешивали за руки и тянули за ноги, они называли это «самолетом». Лили на голый живот кипяток, лотом ледяную воду. Кололи… Все равно я не сказал, куда мы спрятали оружие».

Ко мне пришли ребята, дали старательно написанное письмо: «Овиедо, 22 апреля 1936 года. Товарищи, красные пионеры Овиедо поздравляют с днем Первого мам товарищей в Советском

Союзе! Товарищи, мы готовимся ко второй битве, она скоро придет. Мы будем сражаться стойко и храбро. Привет и революция!»

Я стоял у окна и видел, как ребята, выйдя из гостиницы, расшалились; для них все происходившее еще было игрой. Не знаю, что с ними стало, но осенью 1936 года и прочитал в фашистской газете: «В Овиедо дети, развращенные марксистскими учителями, кидались на офицеров».

В ту весну я познакомился с дочерью астурийского шахтера, с Долорес Ибаррури, которую рабочие прозвали Пасионарией. Она была крупным политическим деятелем и оставалась простой женщиной; были в ней все черты испанского характера — суровость, доброта, гордость, смелость и, что всего милее, человечность. Мне рассказали, как в Астурии она освободила заключенных: пришла с толпой рабочих, скомандовала солдатам «вольно», вошла в тюрьму и, когда все арестованные вышли на свободу, улыбаясь показала толпе большой ржавый ключ.

Дирекция «Сиудад линсаль», фирмы, владевшей трамваями Мадрида, отказалась принять на работу «смутьянов», уволенных осенью 1934 года. Тогда рабочие взяли в свои руки эксплуатацию трамваев. На вагонах стояли три буквы «UHP»- «Унион эрманос пролетариос» («Союз братьев-пролетариев»), — с этими словами рабочие в 1934 году шли на фашистов, на Иностранный легион, на обманутых генералами марокканцев. За исключением трех магических букв, трамваи выглядели, как прежде, старенькие, обвешанные гроздьями веселых мальчишек. Цифра 8 — маршрут до квартала Куатро-коминос. И все-таки никто не знал, куда придет этот трамвай — в депо или на поле боя.

Когда я был в Мадриде, на рабочих напали фашисты. Тотчас, началась всеобщая забастовка. Я жил в большой гостинице; ушли коридорные, лифтеры, официанты, судомойки. Хозяин мобилизовал свою многочисленную родню, приговаривал: «Мы отстоим интересы наших клиентов от этих треклятых бездельников. Прошу вас, перейдите на самообслуживание».

Потом я увидел грандиозную забастовку в Барселоне. Испанская буржуазия, ленивая, беспечная, растерялась. Один адвокат говорил мне: «Я даже не мог себе представить, что у рабочих такая сила! Если Европа не вмешается, мы будем зависеть от этих полуграмотных лодырей».

Правительство старалось успокоить всех. Крестьянам говорили, что Институт аграрной реформы быстра изменит их положение. Но институт не торопился. Есть в Испании выражение «маньяка пор ля маньяна» — «завтра утром», или, говоря по-русски, после дождичка в четверг. Крестьяне начали распахивать

огромные пустовавшие поместья различных графов и не графов. Они составляли акты. В деревнях Кастилии я видел много таких документов. У графа Романонеса, депутата кортесов, в одном из многочисленных поместий было шесть тысяч гектаров; крестьяне разоружили гвардейцев и составили акт о переходе земли во владение кооператива. В кухне они нашли окорок, картошку и поставил в документе, что найденные продукты должны быть возвращены графу. Крестьяне деревни Гуадамус написали: «Мы заняли поместье, причем стража свидетельствует, что мы не обидели никого ни действием, ни: ловом». Крестьяне другой деревни, Полан, писали: «30 марта утром представители муниципального совета, совместно с представителями «Федерации тружеников земли», а присутствии персонала, обслуживавшего поместье, заняли Вентилосья, а именно 1992 га земли».

В Эскалопе, в Малышке, в окрестностях Толедо я видел крестьян, восторженно повторявших: «Земля!» Старики верхом на осликах подымали кулаки, девушки несли козлят, парни ласкали старые, невзрачные винтовки.

Гражданская гвардия (жандармерия) в апреле выступила против правительства. Создали штурмовую гвардию, но и штурмовики подозрительно поглядывали на министров Народного фронта. Фашисты кричали: «Долой Асанью!»; Асанья был премьером, а потом президентом республики. Против фашистов шли рабочие. Казалось бы, гвардейцы должны разогнать фашистов, выступающих против правительства, но они не осмеливались обидеть хорошо одетых кабальеро и отводили душу на рабочих.

Газета монархистов «АВС» открыто требовала интервенции: «Гитлер сказал, что он этого не допустит… Европа не захочет жить в большевистских клещах…» В этой же газете собирали пожертвования; я тогда выписал: «Поклонник Гитлера — 1 песета. За бога и Испанию — 10. Проснись, Испания! — 5. Национал-синдикалист — 10. Сторонник фаланги — 5».

Кортесы одобрили законопроект, согласно которому уволенные в отставку генералы, если они выступают против республики, лишаются пенсии. Военные презрительно усмехались: Народный фронт долго не продержится. Генералы Санхурхо, Франко, Мола не скрывали своих планов. Санхурхо говорил: «Испанию может спасти только хирургическая операция…» Священники и монахи призывали к борьбе за господа бога и за порядок. На стенах кто-то писал мелом: «Испания, проснись!» Вчерашние правители спокойно разгуливали по улицам Мадрида; я как-то увидел Хиля Роблеса, он пил кофе с

молоком на террасе кафе. Во время пребывания его у власти двести тысяч фашистов получили разрешение носить оружие; никто не пытался это оружие отобрать.

Я разговаривал с социалистами, с президентом каталонского автономного правительства Компанисом, который до победы Народного фронта сидел в тюрьме. Все понимали опасность положения, но говорили, что должны соблюдать конституцию: нельзя ограничивать свободу.

Страшны были не плотный корректный кабальеро, которого звали Хилем Роблесом, не статьи в фашистских газетах, даже не проповеди бесноватых монахов. Страшно было другое: крестьяне восхищенно показывали старые охотничьи ружья, безоружные рабочие подымали кулаки. А сторонники фаланги постреливали. В церквах «случайно» находили пулеметы. Полиция, гвардия, армия относились к параграфам конституции куда менее почтительно, чем вновь назначенный министр внутренних дел Касарес Кирога, чем социалист Прието или пылкий Компанис.

Я должен был вернуться в Париж: на 26 апреля во Франции были назначены выборы, и редакция хотела, чтобы я был на месте. Уезжал я с грустью: все сильнее и сильнее влюблялся в Испанию. Я писал в статьях о фашистской опасности. В старом номере «Юманите» я нашел заметку о моем докладе в парижском Доме культуры; я говорил, что испанские фашисты обязательно выступят. А в душе я не очень-то в это верил — не. хотелось верить. (Слишком часто не только рядовые участники событий, вроде меня, но и крупные политические деятели принимали и принимают свои желания за трезвую оценку действительности; видимо, это в человеческой природе.)

Французам Пиренеи издавна казались стеной, за которой начинается другой континент. Когда на испанский престол взошел внук Людовика XIV, французский король будто бы в восторге воскликнул: «Пиренеев больше нет!» Пиренеи, однако, оставались. И вот в апреле 1936 года я их не заметил: люди так же подымали кулаки, на станциях можно было увидеть те же надписи «Смерть фашизму!», а в поезде перепуганные обыватели вели знакомые разговоры о том, что нужно «обуздать бездельников». «Френте популар» и «Фрон попюлер» звучали одинаково. Франция вдохновлялась примером Испании.

В воскресенье вечером с Савичем и с редактором «Лю» Путерманом мы стояли возле редакции газеты «Матэн». Толпа заполнила широкий бульвар. Все не сводили глаз с экрана: сейчас объявят первые результаты. «Морис Торез — избран». Аплодисменты, радостные крики. «Монмуссо… Даладье… Кот… Вайян-Кутюрье… Блюм…» Восторг. «Да здравствует Народный

фронт!» Поют «Интернационал». Когда показывались имена избранных правых — Фландена, Скапини, Домманжа, — свистели. «Предателей к стенке!», «Долой фашизм!» Все это происходило не возле «Юманите», а перед зданием газеты, которая каждый день писала, что «Народный фронт — это конец Франции».

Газеты сообщали, что ничего еще не решено: в следующее воскресенье предстоят перебаллотировки. Снова вечер на улице, и снова возбужденная, радостная толпа. В полночь выяснилось, что Народному фронту обеспечено большинство. По бульварам шли люди, пели «Интернационал», обнимали друг друга, кричали: «Фашистов к стенке!»

Я радовался со всеми: после Испании — Франция! Теперь ясно, что Гитлеру не удастся поставить Европу на колени. Наше дело побеждает — революция переходит в наступление! Эти мысли еще не омрачались ни потерей близких и друзей, ни испытаниями, на пороге которых мы стояли. Весну 1936 года я вспоминаю как последнюю легкую весну моей жизни.

Несколько недель спустя во Франции начались массовые забастовки; рабочие бросали работу, но не уходили из цехов; служащие оставались в банках, в конторах, в магазинах. Буржуа с ужасом повторяли: «Это захватчики!..»

Париж был неузнаваем. Красные флаги реяли над сине-сизыми домами. Отовсюду вылетали звуки «Интернационала», «Карманьолы». На бирже бумаги падали. Богатые люди переправляли деньги за границу. Все повторяли — кто с надеждой, кто в ужасе: «Это революция!..»

Я запомнил витрину фешенебельного магазина на бульваре Капюсин; красотка из гипса в модном платье держала в руке плакат: «Служащие и рабочие забастовали мы не хотим больше жить впроголодь!»

Проходили девушки с простынями — прохожие кидали деньги для семей забастовщиков.

На некоторых заводах предприниматели оказались упрямыми, и забастовки длились долго — две-три недели. Заводы были оцеплены полицией — боялись столкновений. Каждый день женщины приходили к воротам, приносили хлеб, колбасу, апельсины.

Дениз работала в труппе левых актеров. Их пригласили рабочие крупного металлургического завода, бастовавшие уже третью неделю. Я пошел на спектакль. Дениз повторяла монолог героини «Фуанте овехуна». У нее были глаза лунатика и смутная улыбка. Когда я вышел на улицу, полицейский меня обыскал — нет ли на мне оружия. Я ничего не понимал и улыбался; мне

хотелось быть не корреспондентом «Известий», а одним из рабочих, которых я только что видел.

Забастовки повсюду кончались победой. За один месяц рабочие Франции добились не только увеличения зарплаты, но и подлинного изменения социального законодательства — коллективных договоров, признания юридического статута профсоюзов, платных отпусков.

Весну сменило жаркое лето. Опустели западные районы: люди с достатком уезжали в Швейцарию, в Бельгию, в Англию, в Италию: говорили, что хотят отдохнуть от «разнуздавшейся черни». А на пляжах Нормандии или Бретании они могут оказаться рядом с рабочими: ведь теперь у «этих лодырей» платные отпуска!

Четырнадцатого июля свыше миллиона парижан участвовали в демонстрации. Шли углекопы севера с лампами, виноделы юга с бутафорскими гроздьями, рыбаки Бретании несли голубые сети. Сожгли чучела Гитлера и Муссолини. Даладье по-прежнему обнимал коммунистов. Председатель совета министров Леон Блюм, типичный интеллигент XIX века, приветствуя рабочих, неумело подымал вверх маленький кулак. На шесте несли кепку рабочего с надписью: «Вот корона Франции!» Проплывали портреты Ленина, Сталина, Горького, Испанцам кричали: «Молодцы! Смерть фашистам!» Проходили рабочие-эмигранты — итальянцы, поляки, немцы; им аплодировали. (Я не подозревал, что многих из них вскоре увижу на рыжих камнях Кастилии.)

Конечно, демонстранты требовали роспуска фашистских организаций, кричали по-прежнему: «Де ля Рокка к стенке!» — но кричали весело, даже добродушно. В феврале на улицы вышел народ, готовый ринуться в бой, а демонстрация 14 июля была невиданным карнавалом.

Вечером, как всякий год, начались тайны — на площади Бастилии, на сотнях улиц и уличек — с традиционными китайскими фонариками, аккордеонами, кружкой пива или бутылкой лимонада, с поцелуями влюбленных. Рабочие постарше сидели, смотрели, как веселится молодежь. Я прислушивался к разговорам; толковали о том, где лучше провести отпуск, о дядюшке в лимузинской деревне, о домике на Луаре, о рыбной ловле, о горных прогулках, о песчаных пляжах для детворы. Слово «революция» уступило место другому — «каникулы». Легкая победа придала людям спокойствие, благодушие.

Теперь Париж не походил на Мадрид: у него не было позади ни астурийского восстания, ни пыток, тюрем, расстрелов. Не было также фанатического духовенства и бряцавших оружием генералов; французская буржуазия была куда просвещенней и

хитрей: она рассчитывала взять Народный фронт измором. А победители смеялись и не слишком задумывались над будущим.

Я дописывал книгу коротеньких рассказов «Вне перемирия». Из Москвы приехала Ирина. В Париже было нестерпимо жарко; Люба и Ирина уехали в Бретань, я сказал им, что должен передать в газету отчет о демонстрации 14 июли и кончить книгу, потом приеду.

Помню душный летний вечер на улице Котантен. Я сидел, писал; отложил рукопись и включил радио. Леон Блюм совещался с министром просвещения… В Мадриде толпа штурмует казармы Ля Монтанья… Барселона… Гостиница «Колумб»… Артиллерии… Генерал Аранда… Бои в районе Овиедо… Убитые, раненые…

Я вскочил. Нужно куда-то пойти!.. Поздно: двенадцать часов, никого не найду… Я не мог оставаться один в слишком тихой комнате.

А диктор спокойно сообщал, что на выставке роз в Кур-ля-Рен первая премия досталась розе «Мадам Мейянд»…

Для одних жизнь раскололась надвое 22 июни 1941 года, для других -3 сентября 1939, для третьих — 18 июля 1936. В том, что я писал прежде о моей жизни, имеются, наверно, главы, далекие многим моим сверстникам: когда-то у нас были разные судьбы, разные темы. А с того вечера, о котором я рассказываю, моя жизнь начала чрезвычайно напоминать жизнь миллионов людей: небольшая вариация общей темы. Хорошо известные всем слова определяют десять недобрых лет: сообщения, опровержения, песни, слезы, сводки, воздушная тревога, отступление, наступление, побывки, минутные встречи на полустанках, разговоры о нотах, о тактике и стратегии, молчание о самом главном, эвакуации, госпитали, огромное всеобщее затемнение и, как воспоминание о прошлом, беглый свет карманного фонарика…

17

Я протомился в Париже несколько недель: передавал в «Известия» каждый день сообщения из Испании, напечатанные во французских газетах, ходил в испанское посольство, помогал первым добровольцам пробраться в Барселону. Сидел я в Париже только потому, что не получал от редакции ответа — могу ли я поехать в Испанию в качестве военного корреспондента. Мне повторяли лаконично и таинственно: «Согласовываем». Я еще не знал значения этого магического глагола, злился — не мог дольше ждать. Однажды, когда редакция позвонила на мою парижскую квартиру, чтобы проверить, почему я не посылаю больше телеграмм, Люба ответила: «Вы разве не знаете?… Он в Испании».

Пикассо писал «Гернику» весной 1937 года. А за полгода до этого, в августе — сентябре 1936 года, Испания напоминала полотна Делакруа: за Пиренеями тлела и на короткий срок вспыхнула романтика прошлого века.

Барселона — большой промышленный город, но ее рабочие издавна находились под влиянием синдикалистских профсоюзов СНТ и анархистов ФАИ (Федерация анархистов Иберии). Мелкая буржуазия, крестьянство, интеллигенция ненавидели испанскую военщину, которая попирала национальную гордость каталонцев. Средние буржуа, владельцы ресторанов или магазинов, мне говорили, что они предпочитают даже анархистов генералу Франко. Слово «свобода», давно обесцененное во многих странах Европы, здесь еще вдохновляло всех.

По главной улице Рамбле неслись грузовики, наспех обшитые листами железа; их почтительно называли «броневиками». Гарцевали кавалеристы в красно-черных рубашках, с охотничьими ружьями. На кузовах такси красовались надписи: «Мы едем в Уэску!» или «Возьмем Сарагосу!» Анархисты уезжали на фронт с ящиками ручных гранат, с гитарами, с боевыми подругами. Модницы на невероятно высоких каблуках волочили тяжелые винтовки. Повсюду виделись следы недавних боев: неразобранные баррикады, осколки стекла, гильзы. На местах, где погибли герои, отстоявшие город от фашистских мятежников, пылали яркие розы юга. Барселонцы несли дружинникам, уезжавшим на фронт, бурдюки с вином, окорока, одеяла, даже древние сабли. В гостинице «Колумб», которую в июле обстреливали из орудий, среди пыльных плюшевых пуфов валялись винтовки, и бойцы спали на пышных кроватях, напоминавших катафалки.

«Се-не-те — фай» — эти слова можно было услышать повсюду: на Рамбле, на сотнях митингов, в реквизированных домах, где разместились различные комитеты, лиги, союзы — от «Сторонников мировой анархии» до «Воинствующих эсперантистов». На стенах пестрели плакаты: «Да здравствует организация борьбы с дисциплиной!» Пели «Интернационал», пели также гимн СНТ «Сыны народа». Больше всего было красно-черных флагов. Я спросил одного дружинника, почему анархисты выбрали эти два цвета; он ответил: «Красный — борьба, а черный — потому что человеческая мысль темна…»

Повсюду стреляли, трудно было понять, кто стреляет и в кого; но все относились к этому спокойно; кафе и рестораны были переполнены. Город жил в веселой лихорадке.

Колонны и центурии, отправлявшиеся брать штурмом Уэску или Сарагосу, назывались «Чапаев», «Панчо Вилья», «Негусы», «Эфиопы», «Смелые черти», «Безбожники», «Бакунин». На собраниях говорили о перевоспитании человечества. Один оратор предлагал поставить памятники великим мыслителям мира — Сократу, Спартаку, Сервантесу, Реклю, Кропоткину, Ленину. Другой требовал сожжения денег, уничтожения тюрем и обязательности труда. Третий говорил, что необходимо послать десять наиболее благородных людей на крейсер «Уругвай», где находились арестованные руководители военного мятежа, и убедить фашистов войти в трудовую коммуну.

Главные казармы города были переименованы в «Казармы имени Бакунина». Взобравшись на крышу автобуса, агитаторы вопили: «Долой милитаризм! Все на фронт! Свобода всем! Смерть фашистам!»

Никто не знал, где республиканцы, где фашисты. Мы ехали по каменной рыже-розовой пустыне Арагона. Стоял нестерпимый зной: для меня это было первое испанское лето. Мой попутчик, каталонец Миравильес, спрашивал крестьян, можно ли проехать дальше. Одни говорили, что фашисты в соседней деревне, другие уверяли, будто наши освободили Уэску. Сразу свалилась южная ночь. По небу текли зарницы. Вдалеке громыхали орудия. Вдруг машина остановилась: перед нами была баррикада. Кто-то закричал: «Пароль?» Мы не знали пароля. Миравильес вытащил из кобуры револьвер. Я спросил его, что случилось. Вместо ответа он дал мне другой револьвер. Мне стало страшно: вот мы и угодили в западню!.. Я вгляделся в мглу и увидел на скале людей с винтовками, они целились в нас. Я уже хотел было выстрелить, когда кто-то в темноте выругался: «Да ведь это наши!» Крестьяне обступили нас, рассказали, что караулят уже шестую ночь — им передали из Бухаралоса, что фашисты наступают. Мы спросили:

«Где фронт?» Они развели руками: до Бухаралоса двенадцать километров, это точно, а кто там, один черт знает. Для них фронт был повсюду.

Не только крестьяне не знали, что происходит в соседней деревне, — в Барселоне никто не мог ответить на вопрос, в чьих руках Кордова, Малага, Бадахос, Толедо. Командир каждой колонны строил фантастические планы. Кто-то пустил утку — фашистов прогнали из Севильи. Каталонцы решили высадить десант на Майорке. Несколько дней спустя поползли слухи, будто фашисты заняли Валенсию и продвигаются к Барселоне.

На одном из участков переднего края я увидел надпись: «Дальше не ходить — там фашисты». Бойцы преспокойно купались в речушке; один сторожил одежду и винтовки. Я спросил: «А если фашисты начнут атаку?» Они рассмеялись: «Днем мы не воюем — слишком жарко. У них, у подлецов, пруд, они сейчас там купаются. А вот погоди, через три часа такая трескотня начнется, что у тебя уши лопнут…»

Командир сказал мне, что скоро возьмут Уэску, ну, через неделю, самое большее. Я смотрел на город, он был рядом. «Что это за большое здание впереди?» — спросил я. «Сумасшедший дом. Там сидят отборные солдаты. Нужно прежде всего взять этот дом». (Я был возле Уэски год спустя и снова услышал, что нужно взять сумасшедший дом. Сколько людей погибло в боях за это здание!)

Один мой знакомый ехал в Мадрид, чтобы договориться о расширении прав правительства автономной Каталонии. Он предложил мне поехать с ним. Ехали мы долго: крестьяне повсюду перерезали дороги баррикадами, боясь нападения фашистов, и старательно изучали пропуска (у меня их было пять или шесть — от всевозможных организаций, включая, разумеется, СНТ). Баррикады выглядели живописно: бочки, мебель, вынесенная из богатых домов, опрокинутые подводы, деревянные статуи, украшавшие прежде церкви. У меня сохранилась фотография — три крестьянина с ружьями, а над ними ангел барокко с огромной виолончелью.

Повсюду и видел обугленные каркасы сожженных церквей. Узнав о фашистском мятеже, крестьяне первым делом поджигали церковь или монастырь. Один мне объяснил: «Знаешь, кто главный враг? Курас (священники) и монахи. Потом генералы, офицеры. Ну и, конечно, богачи… Помещика мы не тронули, только землю отобрали, пускай, сволочь, живет, как другие. Он и расписался, что не возражает. А вот кура залез на колокольню, хотел оттуда стрелять. Ну, мы его отправили прямо в рай…»

Мой попутчик жаловался на анархистов: «Да разве с ними

можно договориться? Это честные парни, но у них анархия в голове. В Барселоне ко мне пришел один, требует: «Отмените все правила уличного движения. Почему я должен поворачивать направо, когда мне нужно налево? Это против принципа свободы!»

Увидав одну несожженную церковь, мой попутчик спросил крестьян: «Почему не сожгли?…» Когда мы отъехали от деревни, я ему сказал: «Не понимаю — зачем жечь? У них ни одного приличного дома нет. Можно устроить школу, клуб». Он рассердился: «А вы знаете, сколько мы от них натерпелись? Нет, уж лучше без клуба, только не видеть этого перед глазами!..»

В Мадриде анархистов было мало, но и Мадрид еще жил романтическими иллюзиями. Фашисты захватили Талаверу и находились в семидесяти — восьмидесяти километрах от столицы. А люди сидели на террасах кафе и до полуночи спорили: идти ли на Сарагосу, чтобы соединиться с каталонцами, или отбить у фашистов порты Андалузии.

Меня повезли в имение убежавшего фашиста. «Здесь мы устроили опытно-показательную детскую колонию». Одна энтузиастка долго доказывала, что педагоги пренебрегают воспитательным значением музыки. Мальчик лет семи-восьми рассказывал: «Папу связали, положили на дорогу, а потом по нему проехал грузовик…» Энтузиастка упорствовала: «А откуда взялись такие звери? Детей не воспитывали гармонично…» Я невольно усмехнулся: вспомнил Киев 1919 года и мою работу в секции эстетического воспитания мофективных детей: все, кажется, другое, и вдруг видишь — все повторяется…

В Мадриде писателям отдали особняк убежавшего аристократа: там была прекрасная библиотека — инкунабулы, редчайшие издания, рукописи испанских классиков. В особняке поэты Альберти, Маноло Альтолагире, Петере, Серрано Плаха, Эрнандес читали свои стихи. Там я познакомился с писателем Хосе Бергамином, левым католиком, человеком чистой души, печальным и спокойным. Мы с ним разговаривали о Сервантесе и о воздушной обороне, о коммунизме, о поэзии Кеведо. Там же я встретил Пабло Неруду — чилийского консула и поэта; он был молодым, шутил, проказничал. Помню озабоченного библиофила, который во время воздушной тревоги устанавливал в библиотеке сосуды с водой, чтобы чрезмерная сухость не повредила древних рукописей. Кто-то вполголоса говорил: «Они заняли Талаверу…»

В «Атенео» состоялся вечер памяти Максима Горького. Рафаэль Альберти сказал мне со слезами в голосе: «Подтвердилось… Они убили в Гренаде Гарсия Лорку…»

Была ночь первой воздушной тревоги. Потом другая ночь — я

услышал взрывы, выбежал на улицу. Старая женщина прижимала к себе девочку. Когда рассвело, я пошел в квартал, который фашисты бомбили, и увидел то, что мне потом приводилось слишком часто видеть: разбитый дом, лестницу и где-то наверху повисшую детскую кровать.

Пабло Неруда писал: «И но улицам кровь детей текла просто, как кровь детей…»

Я поехал в Мальпику; там я был до войны, в апреле, и крестьяне меня узнали. Испанцы с трудом выговаривали мою фамилию, часто путали, и алькальде, подняв кулак, торжественно сказал: «Здравствуй, Гииденбург! Теперь мы можем показать тебе замок». В Мальпике находилась усадьба герцога Ориона, которую забрали крестьяне. Я прошел по большому старому дому. Алькальде нес медный подсвечник с огарком. Из темноты выплывали головы кабанов; статуи Богоматери в расшитых золотых платьицах, медные кастрюли, пижамы, патефоны. Самой пышной была ванная комната, в ней почему-то стояли три кресла. Алькальде говорил: «Это, наверно, очень ценные вещи. Мы решили отдать замок писателям, пусть они здесь живут и пишут…» На околице стояли крестьяне с охотничьими ружьями. Фронт был близко. Вокруг дымили костры беженцев из Эстремадуры.

Два дна спустя я был снова в Мальпике с Альберти и Марией Тересой Леон — они везли на фронт газеты, листовки. Немецкие бомбардировщики бомбили позиции, дорогу. Дружинники не выдержали и побежали. На околице деревушки Домин го Перес толпились взволнованные крестьяне: «Видишь — удирают!..» Старый крестьянин сказал: «Вот все, что у нас есть» — и показал три охотничьих ружья. Мы увидали четырех бойцов, которые шагали в сторону Мадрида. Мария Тереса побежала за ними вдогонку; она быстро бежала на очень высоких каблуках; в руке у нее был крохотный револьвер. Дезертиры ей отдали винтовки; они были пристыжены. Старый крестьянин говорил: «Дай мне! Молодым жить хочется, а я не убегу…» Часа два спустя тридцать дружинников повернули в сторону неприятеля и окопались; у них был один пулемет, но фашистов оказалось немного, и наутро они отошли к Талавере.

Толедо был в руках республиканцев, но фашисты засели в древней крепости Алькасар. Сидели они там уже полтора месяца, и в городе установился своеобразный быт. На некоторых улицах висели надписи: «Опасно! Ходить без оружия запрещается!» Молока было мало, и, чтобы не стоять под огнем в очереди, женщины с вечера ставили у дверей молочных лавок кувшины, банки или просто клали камешек; ни разу я не слышал

перекáний. Фашисты время от времени открывали огонь по городу; а перед Алькасаром в соломенных креслах, в качалках, заслонившись зонтиками от палящего солнца, сидели дружинники и то лениво, то запальчиво стреляли из винтовок в толстенные крепостные стены. Порой батарея выпускала несколько снарядов. По улицам прогуливались жители города и гадали, куда попал снаряд — в фашистов или мимо.

Во время одной из первых вылазок фашисты взяли «заложников» — женщин, детей. В казарме дружинников я увидел на щите тридцать восемь фотографии: женщина с ребенком, старуха, два мальчика на деревянных осликах… Фашисты знали, что делают: не раз приходил из Мадрида приказ сделать подкоп и взорвать крепость, но дружинники думали о женщинах, о детях и отвечали: «Мы не фашисты…» Они наивно мечтали взять Алькасар измором. Когда сообщили, что правительственная авиация будет бомбить крепость и что дружинники должны отойти на сто метров, многие отказывались: «Нельзя — они убегут»; четырнадцать бойцов погибли от осколков бомб.

В древней столице Испании, в городе, облюбованном туристами, шел поединок между благородством народа и бесчеловечными законами войны. Жена фашистского коменданта Алькасара полковника Москардо жила в городе. Кольцов изумился: «И вы ее не арестовали?…» Авторитет советских людей был велик, но испанцы не дрогнули: «Женщину? Мы не фашисты…»

Я ходил по Толедо с моим приятелем, художником Фернандо Херасси. Он жил в Париже, писал пейзажи или натюрморты, вечером приходил в кафе «Дом». У него была жена, украинка из-под Львова, смешливая Стефа, пятилетний сын Тито. Фернандо говорил, что анархисты — безумцы, что нужно единое командование, дисциплина, порядок. Он издевался нал «войной в кружевах», и вместе с тем я чувствовал, что он не может осудить великодушие дружинников, которые безбожно ругались, встречаясь, говорили вместо «здравствуйте» «привет и динамит» и которые на разговоры о том, что Алькасар скоро взорвут, возмущенно отвечали: «Да что ты несешь? Ведь там женщины, дети…»

Мадридское правительство хотело показать миру свое отличие от Франко, и, когда фашисты, засевшие в Алькасаре, попросили прислать к ним священника, было объявлено короткое перемирие.

Несколько фашистов вышли из крепости. Дружинники стояли близко, началась перебранка. Вот моя запись: «Бандиты! Мы за бога и за народ!» — «Бога можешь оставить себе, а за народ

мы». — «Врешь! Мы за народ! Подлецы курят, а мы вторую неделю без табака». (Дружинник молча вынимает пачку сигарет. Лейтенант закуривает.) «Выписали священника? Видно, вам крышка…» — «Скоро придут наши, тогда мы вам покажем». — «Жди второго пришествия». — «Ждать уж недолго-ваши удирают как зайцы». — «Враки! А ты почему бороду отпустил? В рай захотелось?» — «Чем прикажешь бриться? Саблей?» (Другой дружинник достает из кармана пакетик с ножиками для бритвы и дает фашисту.)

В начале октября части генерала Варелы подошли к Толедо. Гарнизон Алькасара (там было свыше тысячи гвардейцев и кадет) вышел им навстречу. Мало кому из республиканцев удалось выбраться. Фашисты много писали о «героях Алькасара». Бесспорно, солдаты полковника Москардо проявили выдержку, смелость. Любая история любой войны изобилует примерами воинской добродетели. Бесспорно и другое: гражданская война не скупится на зверства. Однако если есть что-либо поучительное в истории Алькасара, то это битва двух миров: народа разгневанного, но глубоко человечного, и военщины с ее безупречной дисциплиной и столь же безупречной бесчеловечностью. Победило не великодушие…

В Гвадарраме я видел пленных; среди них были солдаты, перепуганные и довольные тем, что вышли из опасной игры; были головорезы из Иностранного легиона. Больше других дружинники боялись марокканцев, которые были хорошими солдатами и ничего не понимали в происходящем.

На Арагонском фронте я побывал вместе с нашими кинооператорами Карменом и Макасеевым в авиачасти «Красные крылья», командовал ею Альфонсо Рейес, человек грустный, молчаливый и решительный. Страшно было глядеть на аппараты — старые почтовые самолеты, которые гордо называли бомбардировщиками, каждый день они бомбили позиции фашистов. Когда мы были в части, приземлился самолет, обстрелянный немецкими истребителями. Механик (его звали «Красным чертом») был тяжело ранен, едва сдерживался, чтобы не кричать от боли, но, увидав, что Кармен его снимает, весело заулыбался. На следующий день ему пришлось отнять ногу.

Фашисты продолжали продвигаться к Мадриду. Люди, однако, не помрачнели и по-прежнему верили в победу; все говорили, что если фашисты не захватили всю Испанию в июле, то их дело проиграно — народ против них.

Только в Наварре, в этой испанской Вандее, крестьяне поддержали мятежников; там были сильны церковь и карлисты (сторонники одного из претендентов на испанский престол,

потомка дона Карлоса). Но в Наварре было четыреста тысяч жителей, а в Испании без малого тридцать миллионов. Во всех областях, где мне привелось побывать в годы войны — в Каталонии, Новой Кастилии, Валенсии, Ламанче, Мурсии, Андалузии, Арагоне, — подавляющее большинство населения ненавидело фашистов.

Но рабочие умели работать у станков, крестьяне — пахать землю, врачи — лечить, учителя — учить, а на стороне Франко были кадровые военные, которые, хорошо или плохо, умели воевать. У фашистов оказались также крепкие части наемников — Иностранный легион, марокканцы.

Уже в середине сентября Франко стал диктатором на всей территории, захваченной мятежниками, а 1 октября был провозглашен «вождем», «генералиссимусом» и главой государства. Он требовал безоговорочного подчинения. А республику отстаивали люди самых различных убеждений: коммунисты, каталонские автономисты, социалисты — левые и правые, буржуазные республиканцы, анархисты, баскские католики, «поумовцы», объединяла их только ненависть к фашизму. В 1936 году свобода была полной, как будто на дворе не война, а предвыборная кампания. Каталонцы и баски обличали «великодержавные навыки Мадрида», «поумовцы» требовали «углубления революции», правые социалисты во главе с Прието критиковали главу правительства левого социалиста Кабальеро, республиканцы косились на коммунистов, анархисты клялись, что разрушат ненавистное им государство.

Однако не только в отсутствии военных кадров, да и не в разладе между различными антифашистскими партиями таилась угроза. 25 июля Гитлер обещал представителю Франко военную помощь. 30 июля — за сто дней до того, как первые советские истребители показались в небе Мадрида, — итальянские бомбардировщики уже бомбили испанские города.

Во главе французского правительства стоял Леон Блюм, товарищ Ларго Кабальеро по Второму Интернационалу; но напрасно испанское правительство просило Францию пропустить через границу закупленное им вооружение. Леон Блюм провозгласил принцип невмешательства; его поддержала Англия. В Лондоне начал заседать Комитет по невмешательству. Италия и Германия продолжали отправлять в Испанию вооружение и людей. Франция установила на границе контроль. Вероятно, я повторяю общеизвестные истины. В Комитет по невмешательству входил И. М. Майский; он мне недавно говорил, что в своих мемуарах пишет об этом подробно — он ведь многое видел. Но я пишу историю моей жизни. Как же мне промолчать про

лицемерие? Давнее имело, имеет продолжение: сколько раз мы читали благородные слова о невмешательстве, будь то в Греции, в Корее, в Конго или в Лаосе! После 1936 года я уже не удивлялся ни благородным речам заведомых убийц, ни крокодиловым слезам, ни человеческой трусости. Право же, Леон Блюм был куда приличнее покровителей Чомбе, но и он, насмерть перепуганный, привыкший жить не грозами века, а сложными запахами парламентской кухни, говорил одно, делал другое.

В Валенсии я встретил Мальро; он рассказал, что ему, видимо, удастся получить десяток военных самолетов: их приобрело испанское правительство, но французы наложили эмбарго. Он сказал, что хочет создать французскую эскадрилью — она будет бомбить фашистов, — познакомил меня с летчиками Гидесом и Попсом.

На земле шли бои. А в небе фашисты хозяйничали: «юнкерсы», «хейнкели», «савойи», «канрони», «фоккеры» — авиация двух сильных государств — Германии и Италии.

Я выступал на митингах, собирал материалы о фашистских зверствах для западной печати, писал анонимные брошюры и совсем забыл о моих обязанностях корреспондента «Известий». Да и трудно было их выполнять: телефонной связи с Москвой еще не было, а редакция, видимо, продолжала «согласовывать» и денег на телеграммы не переводила.

Пятого сентября, после двухнедельного перерыва, в «Известиях» было напечатано коротенькое сообщение: «Барбастро. 4 сентября. Сегодня ваш корреспондент присутствовал при обстреле населения Монт-Флорид семью трехмоторными самолетами «юнкере», предоставленными мятежникам Германией». Телеграмму я послал короткую — на длинную не хватило денег. Я впервые увидел обстрел людей с бреющего полета; крестьяне были на гумне, молотили; потом старая женщина громко плакала: убили ее сына. Крестьяне знали, что я корреспондент советской газеты, просили: «Напиши! Может быть, русские нам помогут…» Конечно, в тот день происходили события более значительные: корреспондент «Известий» сообщал из Лондона, что Сен-Себастьян отрезан (это было правдой), что республиканцы взяли Уэску (это было уткой); я же находился в деревне Монт-Флорид, и мне казалось, что необходимо срочно написать о том, как фашисты с помощью немецких самолетов убивают безоружных крестьян. Для военного корреспондента это, может быть, было наивно, но я думал не о газете — об Испании.

Я брился в парикмахерской. Узнав, что я русский, парикмахер начал кричать: «Им помогают Гитлер, Муссолини. А у нас нет оружия!..» Его глаза сверкали, и, помахивая бритвой, он повторял:

«Самолеты! Танки!» Я про себя посмеялся: чего доброго, он меня зарежет… А в общем было не смешно. Я помнил слова крестьян Монт-Флорид; да и повсюду люди повторяли: «Расскажи русским…» Я начал писать короткие корреспонденции и посылал их в «Известия» почтой — через Париж.

Месяц спустя, получив пачку газет, я расстроился: мои статьи были исковерканы. 26 сентября я писал в редакцию: «Я не буду спорить, правильно или неправильно мое освещение испанских событий, но я решительно протестую против купюр, совершенно искажающих смысл». С редакцией мне, разумеется, ничего не удалось поделать — все мои статьи лакировались и розовели. Я все же продолжал писать, писал я наспех — не в рабочем кабинете, а на фронтах; занимал меня не литературный стиль, а самолеты и танки, без которых испанцам не выстоять.

Альварес дель Вайо просил меня собирать документальные данные о зверствах фашистов — для прессы Запада. В Валенсии мне сказали, что с Майорки выбрался корреспондент правой газеты «Дейли мейл» Гаррат и что он ругает фашистов. Я разыскал его в английском консульстве. Он написал показания, рассказывал мне, что фашисты бомбили полевой госпиталь республиканцев: «Их летчики, приехав на Майорку, кричали: «Да здравствует Испания!» — но я много лет здесь прожил, я сразу расслышал иностранный выговор — они были итальянцами. Аппараты «капрони» были переброшены с Сардинии…» Гаррат несколько раз повторил, возмущенный: «Они убили мою лошадь…» Это был немолодой плотный англичанин с детскими глазами; корреспондент газеты, которая прославляла генерала Франко, он не мог понять, почему редакция не опубликовывает его корреспонденции.

Прошло уже почти два месяца с начала мятежа. Хотя сообщения были по-прежнему противоречивыми, я видел, что фашисты сильнее: они заняли Севилью, Кордову, потом Эстремадуру, Тала веру, теперь рвутся к Мадриду. Однако я твердо верил в победу. Были и утешительные известия: фашистов выгнали из Малаги, из Альбасете. Сопротивление усиливалось, появлялись новые центурии, отряды, батальоны, колонны. Начали приезжать добровольцы из Франции — французы, итальянцы, немцы, поляки.

В Барселоне меня позвали в казармы имени Карла Маркса; там формировалась «Колонна 19 июля». На большом дворе выстроили бойцов. Одна центурия, или, говоря проще, рота, была названа «Центурия Ильи Эренбурга». Мне сказали, что я должен вручить дружинникам знамя и произнести речь. Я совершенно растерялся, чувствовал всю глупость положения, говорил, что я не

политический деятель, не умею делать такие вещи. Пришлось все же держать знамя перед фотографами, что-то говорить. Помню, во мне были два чувства: умиление и стыд. Здесь же сновали продавцы лимонада, фруктов, конфет; один сунул мне в руку пригоршню леденцов: «Ешь, русский! Мы их расколотим…»

Чуть ли не на каждом крестьянском доме в Каталонии, в Арагоне было написано: «Мы идем за головой Кабанельяса!» (Во главе фашистского правительства стоял генерал Кабанельяс, Франко месяц спустя его убрал.)

Я видел старых крестьянок, которые приводили своих сыновей в казармы; когда им отвечали, что людей и так много, не хватает ружей, они повторяли: «Но он испанец, он не может сидеть дома…»

Приехала из Парижа жена Херасси, Стефа, рассказала, что отдала Тито в детскую колонию. Расставаясь с сыном, Стефа не выдержала, заплакала. Мальчик сказал: «Мама, иди! Я отвернусь — вот так. А ты тоже не гляди. Хорошо?…» Стефа, улыбаясь, повторяла: «Он у меня испанец…»

Я сейчас подумал, почему, начав описывать годы испанской войны, я волнуюсь, часто откладываю листы рукописи и перед моими глазами проносятся рыжие скалы Арагона, обугленные дома Мадрида, петлистые горные дороги, люди, близкие, дорогие мне люди — я не знал даже имен многих из них, и все это как будто живое, сегодняшнее. А ведь прошло четверть века, и я пережил потом войну пострашнее. Многое я вспоминаю спокойно, а об Испании думаю с суеверной нежностью, с тоской. Пабло Неруда назвал свою книгу, написанную в первые месяцы гражданской войны, «Испания в сердце»; я люблю эти стихи, многие из них перевел на русский язык, но больше всего люблю название — лучше, кажется, не скажешь.

В Европе тридцатых годов, взбудораженной и приниженной, трудно было дышать. Фашизм наступал, и наступал безнаказанно. Каждое государство, да и каждый человек мечтали спастись в одиночку, спастись любой ценой, отмолчаться, откупиться. Годы чечевичной похлебки…, И вот нашелся народ, который принял бой. Себя он не спас, не спас и Европы, но если для людей моего поколения остался смысл в словах «человеческое достоинство», то благодаря Испании. Она стала воздухом, ею дышали.

Кого только я не встречал в разбомбленных испанских городах! Одни приезжали на короткий срок, другие надолго; кто сражался, кто был военным корреспондентом, кто организовывал помощь населению. Пути многих потом разошлись, но прошлого не вычеркнешь. Тольятти и Ненни, Видали («майор Карлос») и Паччарди, Коча Попович и Козовский, Андре Мальро и Мате

Залка («генерал Лукач»), Кольцов и Луи Фишер, Пабло Неруда и Хемингуэй, Ласло Райк и Людвиг Ренн, Реглер и Янек Барвинский, Лонго и Брантинг, Андерсен-Нексе и Буш, Шамсон и Алексей Толстой, Киш и Бенда, Сент-Экзюпери и Анна Зегерс, Жан Ришар Блок и Спендер, Андре Виоллис и Гильен, Сикейрос и Лос-Пассос, Ральф Фокс и Толлер, Боло Узэ и Бредель, Изабелла Блюм и абиссинский рас Имру… Наверно, я многих не упомянул, мне просто хотелось показать, до чего различными были люди, жившие в те годы Испанией.

В 1943 году на КП возле Гомеля я увидел командующего армией генерала Батова. Мы говорили о предстоящем наступлении. Вдруг кто-то крикнул: «Фриц!» — показались вражеские самолеты. А генерал и я смеялись: в Испании наши военные советники носили различные имена — Валуа, Лоти, Молино, Гришин, Григорович, Дуглас, Николас, Вольтер, Ксанти, Петрович. Павлу Ивановичу Батову почему-то досталась фамилия Фриц. И мы начали вспоминать Двенадцатую бригаду, друзей, Арагон, смерть Лукача (Павел Иванович был тогда ранен в ногу).

Я сижу на сессии Всемирного Совета Мира; очередной оратор с пылом доказывает, что мир лучше войны; а я вижу милого итальянца Скоти и вспоминаю дни Мадрида. В Кремлевском дворце оператор кинохроники снимает депутатов Верховного Совета; это Боря Макасеев, с ним мы ползли по камням возле Уэски. Я знаю, что на аэродроме Вильнюса увижу знакомое лицо — переводчика, бывшего в Испании (он потом занимался испанской литературой, но в годы «борьбы против космополитов» лишился работы и, как он говорит, «совершил вынужденную посадку» на аэродроме Вильнюса — переводит интуристам вопросы служащих таможни). Недавно во Флоренции ко мне пришел фоторепортер с немолодым итальянцем, который вместо визитной карточки вынул билет «Союза бывших добровольцев в Испании», и сразу мы забыли про фотографа, сели в кафе, начали припоминать далекие дни. Все мы, бывшие в Испании, с нею связаны, связаны и друг с другом. Видимо, не одними победами горд человек…

18

В первые месяцы испанской войны я уделял мало времени моим обязанностям корреспондента «Известий». Правда, в газете с августа по декабрь напечатано полсотни моих очерков, но писал я их быстро, говоря откровенно — мимоходом. Меня отталкивала роль наблюдателя, хотелось чем-то помочь испанцам.

Когда я приезжал в Испанию до войны, я чаще всего встречался с писателями или журналистами, они понимали по-французски. Теперь все время я был с рабочими, с бойками и начал говорить по-испански, говорил плохо, но меня понимали.

В Мадрид приехал первый советский посол М. И. Розенберг. Я его знал по Парижу — он работал советником посольства. Это был человек маленького роста, с любезной и вместе с тем иронической улыбкой. С ним приехали советник посольства Л. Я. Гайкис, военный атташе Горев и его помощники Ратнер и Львович (Лоти). В Мадриде был и Кольцов, он занимался не только газетной работой, о характере его деятельности свидетельствуют очевидцы — Луи Фишер, Хемингуэй, да и книга «Испанский дневник».

Я часто бывал в Барселоне, на Арагонском фронте; там тогда не было ни одного советского человека (я говорю об августе — сентябре 1936 года). Когда я говорил с Розенбергом или с Кольцовым о Каталонии, они усмехались: что тут поделаешь — анархисты!.. Я, пожалуй, лучше их знал, как трудно договориться с анархистами, но для меня было ясно, что без Каталонии войны не выиграть. Баскония была отрезана, и единственным крупным промышленным центром оставалась Барселона с ее полутора миллионным населением.

А в Барселоне шла борьба между рабочими организациями. Все ненавидели фашизм, и все рвались в бой, но Арагонский фронт можно было назвать фронтом только условно: различные колонны, не связанные одна с другой, время от времени пытались штурмовать Сарагосу, Уэску или Теруэль; у них не было ни опытных командиров, ни вооружения, и вплоть до лета 1937 года генерал Франко не отправил в Арагон ни одной из своих резервных частей.

Во главе автономного каталонского правительства (Женералите) стоял Компанис, человек по природе мягкий и вместе с тем горячий, интеллигент, влюбленный в каталонскую культуру. Ему тогда было за пятьдесят; он знал тюрьмы, фашистский террор. Судьба его трагична: после поражения республики он уехал во Францию, там в 1940 году был обнаружен

гестаповцами, выдан генералу Франко и расстрелян. Я его вспоминаю как человека чистого, удрученного политическими интригами и не только не жаждавшего власти, но принимавшего ее с тем же чувством, с каким солдат тащит на себе винтовки, брошенные другими во время отступления.

Компаниса поддерживала эскерра (левая) — партия, за которой шла мелкая буржуазии, интеллигенция и значительная часть крестьянства. Поддерживала правительство и ПСУК — Объединенная социалистическая партия Каталонии (главную роль в ней играли коммунисты). Анархисты и близкая к ним профсоюзная организация СНТ не. признавали власти Мадрида, требовали свержения каталонского правительства и замены его «Советами».

Еще в 1931 году я познакомился с одним из вождей ФАИ — Дуррути; знал и других анархистов — Гарсия Оливера, Лопеса, Васкоса, Эрреру. С Компанисом у меня установились добрые отношения. Нужно было что-то сделать, а что — в точности я не знал. В Мадриде я спрашивал Хосе Диаса, в Барселоне разговаривал с руководителями ПСУК Коморера и другими; все отвечали, что с анархистами беда, что Каталонии не помогает Мадриду, что сепаратисты подняли голову. А что делать, этого не знал никто. Был сентябрь 1936 года.

Я несколько раз беседовал о положении в Каталонии с М. И. Розенбергом и по его просьбе написал длинную телеграмму в Москву.

Марселя Израилевича давно нет в живых: он стал одной из жертв произвола. Людей повырубали, но некоторые документы сохранились, и недавно мне дали в архиве копии моих двух писем М. И. Розенбергу. Я приведу выдержки — они покажут не только мою тогдашнюю оценку событий, но и то, чем я занимался — по охоте, которая, как известно, пуще неволи.

Из письма от 17 сентября 1936 г, «В дополнение к сегодняшнему телефонному разговору. Компанис был в очень нервном состоянии. Я проговорил с ним больше двух часов, причем все время он жаловался на Мадрид. Его доводы: новое правительство ничего не изменило, Каталонию третируют как провинцию, отказались передать духовные школы в ведение Женералите, требуют солдат, а оружия не дают, не дали ни одного самолета. Говорил, что получил от офицеров, командующих частями на фронте у Талаверы, письмо с просьбой отозвать их назад в Каталонию. Очень хотел бы, чтобы в Барселоне было советское консульство… Сказал, что советник но экономическим делам, которого они послали в Мадрид, должен изложить их претензии. Пока что ни Кабальеро, ни Прието не

удосужились его принять. Указал, что если он не получит хлопка, то через три недели у них будет 100 тысяч безработных… Считает важным любой знак внимания Советского Союза к Каталонии… Министр просвещения Гассоль тоже упрекал Мадрид в пренебрежении Каталонией… Говорил с Гарсия Оливером. Он был в неистовом состоянии. Непримирим. В то время как вождь мадридских синдикалистов Лопес говорил мне, что они не допускали и не допустят нападок на Советский Союз в газете «СНТ», Оливер заявил, что они «критикуют» и что Россия не союзник, так как подписала соглашение о невмешательстве. Дуррути на фронте многому научился, а Оливер — в Барселоне, и девять десятых бредовых анархистских идей в нем осталось. Он, например, против единого командования на Арагонском фронте: единое командование понадобится, лишь когда начнется общее наступление. При этой части разговора присутствовал Сандино, он высказался за единое командование. Мы коснулись вопроса о мобилизации и превращении милиции в армию. Дуррути носится с планом мобилизации (непонятно зачем — добровольцы есть, нет ружей). Оливер сказал, что согласен с Дуррути, так как «в тылу укрываются коммунисты и социалисты, они выживают из городов и деревень ФАИ». Здесь он был определенно в бредовом состоянии, мог меня застрелить.

Говорил с политкомиссаром ПСУК Труэбой (коммунистом). Он жаловался на ФАИ: не дают амуниции нашим. У коммунистов осталось по тридцать шесть патронов на человека. У анархистов большие запасы — полтора миллиона. У солдат полковника Вильяльбы тоже всего по сто патронов… В СНТ жаловались, что один из руководителей ПСУК Франсоса на митинге в Сан-Вой сказал, что каталонцам не следует давать ни одного ружья, так как ружья все равно попадут к анархистам.

За десять дней, которые я провел в Каталонии, отношения между Мадридом и Женералите с одной стороны, между коммунистами и анархистами с другой сильно обострились. Компанис колеблется: опереться ему на анархистов, которые согласны поддержать национальные, даже националистические требования эскерры, или на ПСУК для борьбы против ФАИ. Его окружение разделено, есть сторонники первого и второго решений. Если дела на Талаверском фронте ухудшатся, можно ждать выступления в ту или иную сторону. Необходимо улучшить отношения между ПСУК и СНТ и постараться сблизиться с Компанисом…

Сегодня — собрание каталонских писателей, встреча с Бергамином, который приехал со мной. Надеюсь, на интеллигентском фронте удастся объединить испанцев и

каталонцев. Завтра состоится митинг — десять тысяч человек, я выступлю от секретариата Международной ассоциации писателей. Так как это письмо вносит некоторые существенные исправления в то, что я передал для Москвы, пожалуйста, перешлите и это…»

Из письма от 18 сентября: «Сегодня я снова долго разговаривал с Компанисом. Он был в более спокойном состоянии… Он предлагает создать автономное правительство так: половина эскерры, половина СНТ и УХТ… Оливера назвал «фанатиком»… Он знал, что я иду от него в СНТ, и очень интересовался, как ФАИ будет со мной разговаривать, просил сообщить ему результаты. Жаловался, что ФАИ настроена против русских, ведет антисоветскую пропаганду. Он — наш друг. Пароход, хотя бы с сахаром, может смягчить сердца.

В СНТ я говорил с Эррерой. Он много скромнее Оливера. Насчет прекращения антисоветских выпадов сразу согласился. Насчет «Советов» стоит на своем: мадридское правительство — партийное, марксистское. Надо создать действительно рабочее правительство и т. л. Все же в конце беседы, когда я указал ему на дипломатические последствия разрыва конституционной преемственности, он несколько отступил. Но здесь нагрянули всякие интернациональные анархисты, и я ушел. Интересно, что, нападая на мадридское правительство, Эррера привел те же факты, что вчера Компанис, — задержку двух вагонов, отказ снабжать Каталонию оружием и пр.

Сегодня в «Солидарида обрсра» напечатано воззвание СНТ с призывом охранять мелких собственников, крестьян, лавочников. Факт положительный…

Миравильес сказал мне, что среди ФАИ уже раздаются разговоры об «отчаянной обороне Барселоны» и пр. Эррера среди прочего упрекал Мадрид за ликвидацию десанта на Майорке — теперь фашисты начнут бомбить Барселону…

Митинг прошел с подъемом. Большинство было из СНТ… Сейчас происходит заседание совета антифашистской милиции. Мне обещали провести примирительную линию в вопросе о реорганизации правительства Каталонии…

P. S. В дополнение к телефонному разговору и письму. Хотя Оливер был непримирим, я узнал, что вечером он сказал в «Солидарида обрера» прекратить атаки против СССР. Действительно, сегодня в «С. о.» напечатаны две. телеграммы из Москвы с благожелательными заголовками».

Вскоре после этого я поехал в Париж. Там-то меня и разыскал В. А. Антонов-Овсеенко. Он сразу мне сказал: «Вашу телеграмму обсуждали, согласились с вами. Я назначен консулом в

Барселону. В Москве считают, что в интересах Испании сближение Каталонии с Мадридом. Мне говорили, что я должен попытаться урезонить анархистов, привлечь их к обороне, у них, черт побери, огромное влияние… Да вы это знаете лучше меня. Но вот инстанция согласилась, это замечательно! Теперь можно говорить по-другому…»

Владимира Александровича я знал с дореволюционных лет. Он бродил по Парижу, искал работу, жил впроголодь, но никогда не унывал, был задорным и в то же время мечтательным, в дырявых ботинках, в крылатке; помню его и в «Ротонде», где он играл в шахматы, и в типографии над полосами «Нашего слова», и на митингах, когда он призывал следовать за Лениным. В дни Октябрьской революции он показал, что то были не только слова. В 1926 году я приходил к нему в Праге, где он был полпредом. А потом потерял из виду.

Он постарел, главное — помрачнел; только глаза, когда он снимал очки, сохраняли детскую доверчивость. Я сразу подумал: хорошо, что для Барселоны выбрали именно его! Такой сможет повлиять на Дуррути, у него ведь ничего нет от дипломата или от сановника, скромный, простой, да и дышит еще бурями Октября, не забыл дореволюционного подполья.

Я оказался прав: Владимир Александрович быстро научился говорить по-каталонски, подружился и с Компанисом и с Дуррути, пользовался общей любовью. Несмотря на звание консула, он был настоящим советским послом в Каталонии. Он знал фронт, часто беседовал с командирами, хорошо разбирался в обстановке. Находил время, чтобы посылать телеграммы в «Известия», подписывал их «Зет». Каталонцам нравился его демократизм, он стоял на митингах в толпе, а возвращаясь в консульство, неизменно подвозил на своей машине старика или инвалида. Когда я приезжал в Барселону и мы оставались вдвоем, я чувствовал, что ему тяжело. Незадолго до своего отъезда в Испанию он напечатал в «Известиях» покаянную статью: говорил о своих колебаниях в двадцатые годы как о тяготевшем преступлении, клялся, что с 1927 года преклоняется перед Сталиным, что писал тогда же Кагановичу о своей готовности выполнить любое его поручение, требовал расправы с ослушниками. Может быть, именно это письмо легло камнем на его сердце. А может быть, он предчувствовал, что дойдет черед и до него, не знаю. Он пробыл в Барселоне около года, а вернувшись в Москву, сразу исчез; исчезло и его имя из всех рассказов о штурме Зимнего дворца. Был он человеком чистой души, смелым, верным и погиб только потому, что лесорубы выполняли, перевыполняли какую-то дьявольскую норму.

Я хотел вернуться в Барселону с Антоновым-Овсеенко, чтобы сразу его познакомить с различными людьми, но пришлось задержаться в Париже на неделю, было важное дело — я покупал грузовик.

Еще из Мадрида я сообщил в Москву, что хочу оборудовать грузовик, работать на фронте с кинопередвижкой и типографией; просил мне помочь, прислать фильмы «Чапаев» и «Мы из Кронштадта». В Париже меня вызвали в банк — Союз писателей перевел сумму на покупку грузовика (не знаю, почему деньги отправили через эту организацию; добавлю шутя — может быть, хотели показать, что Союз действительно помогает писателям в осуществлении их творческих замыслов). С помощью французов я купил грузовик, достаточно сильный, чтобы проходить по разбитым фронтовым дорогам. Не помню, кто мне помог раздобыть аппарат для проекции фильмов, а печатную машину, как я об этом говорил, преподнес мне Эжен Мерль. Еще я нашел чудесный мультипликационный фильм: Микки-маус боролся с котом, побеждал и подымал над мышеловкой красное знамя я уже знал, что без улыбки в Испании не проживешь.

Стефа согласилась со мною работать. Она говорила по-испански, как будто родилась не на Львовщине, а в Старой Кастилии. Она должна была переводить диалог фильмов и помогать в издании армейских газет. Официально грузовик находился в ведении Комиссариата по пропаганде Женералите — так было написано на кузове. Общее внимание привлекали слова: «Печатня и кино». В Барселоне мы подыскали шофера, механика и двух типографов, один из которых знал четыре языка.

В начале октября в Мадриде состоялось заседание секретариата Международной ассоциации писателей. Мы обратились к интеллигенции всего мира, протестовали. против иностранной интервенции и против комедии «невмешательства». Под обращением стояли подписи многих испанских писателей: Антонио Мачадо, Альберти, Бергамина, других, а из иностранных — Кольцова, Мальро, Луи Фишера, Андре Виоллис и моя.

На дороге я встретил композитора Дурана, моего старого знакомого. Полгода назад мы с ним беседовали о Прокофьеве, Шостаковиче; смеясь, он говорил, что если «Леди Макбет» — «сумбур», то, значит, он любит именно «сумбур». Теперь ему было не до музыки. Он командовал отрядом в двести бойцов и возле Баргаса приостановил наступление фашистской колонны, которая двигалась на Мадрид с юга.

В Мадриде выли сирены. Я с трудом прошел по одной из улиц квартала Куатро Каминос — рухнувший дом завалил проход. Другой дом бомба разрезала, и комнаты казались театральными

декорациями. Старуха вытащила из груды мусора большую фотографию молодоженов в раме, бережно прикрыла платком и куда-то унесла. Шел дождь. Было нестерпимо тоскливо, как всегда бывает, когда видишь мелкие безделки, окружавшие только что умершего человека.

Рима Кармен ходил с аппаратом и снимал бомбежки. В Париже мы решили смонтировать из его хроники фильм, я написал текст. «Они и шут… находят…» На экране матери находили среди развалин убитых детей. В зале многие плакали. А Мадриду были нужны не слезы — истребители…

В Барселоне по-прежнему шли споры; но анархисты стали сдержаннее. Забегу несколько вперед — в конце октября было подписано соглашение между ПСУК и УХТ с одной стороны и СНТ и ФАИ — с другой. Представители СНТ вошли в правительство, которое возглавлял Кабальеро. В жизни мне привелось повидать много неожиданного, норой парадоксального; но, прочитав, что Гарсия Оливер, который мне доказывал, что государство надо разрушить, как здание тюрьмы, назначен министром юстиции, я не выдержал и рассмеялся. А соглашение с анархистами мне казалось большой победой.

В Барселону пришел «Зырянин», привез продовольствие. Начали приходить суда с самолетами, танками, но всего было мало, наша помощь не могла сравняться с той, которую оказывали Франко итальянцы и немцы: дело решала география.

Я любовно поглядывал на грузовик, наконец-то прибывший из Франции, фотографировал его, как любимую женщину. Одна фотография сейчас передо мной — ее напечатали в альбоме. Обыкновенный грузовик, но тогда он мне казался удивительно красивым.

Коммунисты, да и Антонов-Овсеенко говорили: «Поезжайте обязательно на Арагонский фронт. Вы умеете разговаривать с анархистами. Там нет никого из наших — они всех выживают. А с вами они разговаривают. Вы можете их урезонить…»

Я сильно сомневался в своих возможностях; к тому же я знал испанских анархистов. Но на войне маршрутов не выбирают, это не туризм. Мы со Стефой сели в разболтанную машину и медленно, вслед за грузовиком поехали в Барбастро.

19

«У вас в России настоящее государство, а мы за свободу, — сказал мне часовой в красно-черной рубашке, проверяя мой пропуск, — мы хотим установить свободный коммунизм».

«Коммунизме либертарио» — эти слова до сих нор стоят в моих ушах: столько раз я их слышал как вызов, как присягу.

Желая объяснить порой необъяснимое поведение анархистов, некоторые говорили, что в их колоннах полным-полно бандитов. Слов нет, в ряды анархистов просачивались обыкновенные налетчики, завсегдатаи воровских притонов — партия, обладающая властью, всегда притягивает к себе не только честных, но и проходимцев; а объявить себя анархистом в те времена мог каждый. В сентябре 1936 года, когда я был в Валенсии, туда прикатила сотня дружинников из анархистской «Железной колонны», стоявшей под Теруэлем. Анархисты заявили, что потеряли в бою командира и не знают, что им делать. В Валенсии они нашли себе дело — сожгли судебные архивы и пытались проникнуть в тюрьму, чтобы освободить уголовников, среди которых, наверно, имелись их приятели.

Дело было, однако, не в уголовниках. Осенью 1936 года CHT объединяла три четверти рабочих Каталонии. Руководители CHT и ФАИ были рабочими и в огромном большинстве — честными людьми. Беда была в том, что, обличая догматизм, они сами были настоящими Догматиками, пытались подогнать жизнь под свои теории.

Наиболее умные из них видели разрыв между увлекательными брошюрами и действительностью; приходилось на ходу, под бомбами и снарядами перестраивать то, что вчера им казалось бесспорным.

С Дуррути я познакомился в 1931 году, и он мне сразу понравился. Описать его не решился бы ни один писатель — уж слишком его жизнь напоминала приключенческий роман. Рабочий-металлист, он с ранней молодости отдал себя революционной борьбе, дрался на баррикадах, шнырял бомбы, совершал налеты на банки, похищал судей, трижды был приговорен к смертной казни — в Испании, в Чили и в Аргентине, узнал десятки тюрем; восемь стран его высылали одна за другой. Когда в июле мятежники попытались захватить Барселону, Дуррути повел против них рабочих CHT.

Еще в начале сентября, а может быть в конце августа, я поехал с Карменом и Макасеевым на КП Дуррути. Он тогда мечтал взять Сарагосу. КП находился на берегу Эбро. Я рассказал

моим попутчикам, что знаком с Дуррути, и они рассчитывали на радушный прием. А Дуррути вынул из кармана револьвер и сказал, что, так как в статье об астурийском восстании и оклеветал анархистов, он меня сейчас пристрелит. Словами он не швырялся. «Твоя воля, — ответил я, — но странно ты понимаешь законы гостеприимства…» Конечно, Дуррути был анархистом, притом вспыльчивым, но он также был испанцем и смутился: «Хорошо, сейчас ты мой гость, но за статью ты свое получишь. Не здесь. В Барселоне…»

Поскольку в силу законов гостеприимства он не мог меня убить, он стал отчаянно ругаться, кричал, что Советский Союз не свободная коммуна, а самое что ни на есть настоящее государство, там уйма бюрократов, и его не случайно выслали из Москвы.

Кармен и Макасеев чувствовали, что происходит нечто недоброе, тем паче что неожиданное появление револьвера не нуждалось в переводе. А час спустя я им сказал: «Все в порядке, он нас приглашает поужинать».

За столиками сидели дружинники, некоторые в красно-черных рубашках, другие в синих комбинезонах, все с большущими револьверами, ели, пили вино, смеялись; никто не обращал внимании ни на нас, ни на Дуррути. Один из дружинников разносил еду, кувшины с вином, рядом с тарелкой Дуррути он поставил бутылку минеральной воды. Я пошутил: «Вот ты говорил, что у тебя полное равенство, а все пьют вино, только тебе принесли минеральную воду». Я не мог себе представить, какое впечатление это произведет на Дуррути. Он вскочил, закричал: «Уберите! Дайте мне воды из колодца!» Он долго оправдывался: «Я их не просил. Они знают, что я не могу пить вино, и где-то раздобыли ящик с минеральной водой. Конечно, это безобразие, ты прав…» Мы молча ели, потом он неожиданно сказал: «Трудно все изменить сразу. Одно дело принципы, другое — жизнь…»

Ночью мы с ним пошли осмотреть позиции. Стоял отчаянный шум — проходила колонна грузовиков. «Почему ты меня не спрашиваешь, зачем эти грузовики?» — сказал он. Я ответил, что не хочу расспрашивать о военных тайнах. Он засмеялся: «Какая же это тайна, если это знают все завтра утром мы перейдем Эбро, вот как!..» Несколько минут спустя он снова начал: «А ты не спрашиваешь, почему я решил форсировать реку?» — «Очевидно, так нужно, — сказал я, — тебе виднее, ты ведь командуешь колонной». Дуррути рассмеялся: «Дело не в стратегии. Вчера прибежал с фашистской территории мальчишка лет десяти, спрашивает: «Что же вы не наступаете? У нас в деревне все

удивляются: неужели и Дуррути струсил?» Понимаешь, когда ребенок такое говорит — это весь народ спрашивает. Значит, нужно наступать. А стратегия приложится…». Я посмотрел на его веселое лицо и подумал: да ведь ты сам ребенок.

Потом я несколько раз бывал у Дуррути. В его колонне числилось десять тысяч бойцов. Дуррути продолжал твердо верить в свои идеи, но догматиком он не был, и ему приходилось что ни день идти на уступки действительности. Он первым из анархистов понял, что без дисциплины воевать нельзя; с горечью говорил: «Война — свинство, она разрушает не только дома, но и самые высокие принципы». Своим дружинникам он в этом не признавался.

Как-то несколько бойцов ушли с наблюдательного пункта. Их нашли в ближайшей деревне, где они мирно попивали вино. Дуррути бушевал: «Вы понимаете, что вы позорите честь колонны? Давайте ваши билеты СНТ». Провинившиеся спокойно достали из карманов профсоюзные билеты; это еще больше рассердило Дуррути. «Вы не анархисты, вы дерьмо! Я вас выгоню из колонны, отошлю домой». Вероятно, парни хотели именно этого и, вместо того чтобы запротестовать, ответили: «Ладно». — «А вы знаете, что на вас народная одежда? Снимайте портки!..» Дружинники спокойно разделись, Дуррути приказал отвести их в Барселону в одних трусах: «Пусть все видят, что это не анархисты, а самое что ни на есть дерьмо…»

Он понимал, что перед лицом фашистов нельзя спорить о принципах, высказался за соглашение с коммунистами, с партией эскерры, написал приветствие советским рабочим. Когда фашисты подошли к Мадриду, он решил, что его место на самом опасном участке: «Мы покажем, что анархисты умеют воевать…»

Я с ним разговаривал накануне его отъезда в Мадрид. Он был, как всегда, весел, бодр, верил в близкую победу, говорил: «Видишь, мы с тобой друзья. Значит, можно объединиться. Нужно объединиться. Когда победим, посмотрим… У каждого народа свой характер, свои традиции. Испанцы не похожи ни на французов, ни на русских. Что-нибудь придумаем… А пока что нужно уничтожить фашистов…» В конце разговора он неожиданно расчувствовался: «Скажи, ты пережил разлад в себе — думаешь одно, а делаешь другое не от трусости, а от необходимости?…» Я ответил, что хорошо понимаю его; он меня на прощание похлопал по спине, как полагается в Испании, и я запомнил его глаза с их необычайным смешением железной воли и детской растерянности.

Дуррути недолго пробыл на Мадридском фронте, его убили 19 ноября 1936 года, убили из-за угла. Его смерть была большим

ударом по всем силам республиканцев.

Не один Дуррути понял необходимость отказаться во имя победы от чистоты анархистских догм; многие руководители СНГ ФАИ были вынуждены поступиться принципами. Уж на что был неистов Гарсия Оливер, говорил, что нужно немедленно уничтожить государство, а сделавшись министром, проводил реформы, вполне приемлемые для его либеральных коллег, — боролся против спекулянтов, расширил юридические права женщин, организовал трудовые колонии для фашистов. Анархист Лопес был министром торговли, Пейро — министром промышленности, и, разумеется, им пришлось отложить в сторону старые проекты организации независимых коммун. Министр здравоохранения анархистка Фредерика Монсени, выступая на митинге, доказывала, что не только правительство но может обойтись без анархистов, но и анархисты не могут обойтись без правительства. Однако у руководителей СНТ — ФАИ не было ни энергии, ни авторитета, ни редкостной душевной чистоты Дуррути. Не знаю, все ли из них искренне хотели урезонить своих приверженцев, некоторые бесспорно хотели, но это им редко удавалось. Десятки тысяч храбрых, испытанных в уличных боях рабочих были воспитаны на идеях анархистов и жаждали воплотить эти идеи в жизнь. Мы с нашим грузовиком ехали не к министрам в гости, а в прифронтовую полосу Арагона, где порядки наводили анархисты, оставшиеся верными старым принципам. Не раз вспоминал я выражение, родившееся у нас в годы гражданской войны, «власть на местах». С этой властью я хорошо познакомился.

О военном положении расскажу коротко; вот что я писал В. А. Антонову-Овсеенко 17 ноября 1936 года (это письмо тоже сохранилось в архиве): «Воинские части на Арагонском фронте несколько подтянулись. Заметен больший порядок. Неудача недавнего наступления на Уэску мало отразилась на настроении дружинников. Кое-где имеются окопы, довольно примитивные. Единое командование до сих пор существует только на бумаге. В последние дни улучшилась связь; почти повсюду телефон связывает передовые позиции со штабом… Поскольку Дуррути теперь в Мадриде, его колонна потеряла половину боеспособности. В других анархистских колоннах дело обстоит много хуже; в особенности в колоннах «Красно-черная» и «Ортиса». Дивизия «Карл Маркс» по сравнению с другими частями остается образцовой… Со снаряжением дело обстоит плохо. У батальона, который стоит на юго-восток от Уэски, в Помпенилио, всего два пулемета, оба, после того как пропускают две ленты, становятся негодными, приходится их везти в тыл —

50 км от позиций. Мало снарядов. Ручные гранаты скверные. При всем этом настроение скорее бодрое…»

За месяц до этого картина была еще мрачнее. Как-то я попал на совещание командиров анархистской колонны. Мне сказали, что обсуждать будут важный вопрос: как взять Уэску. На столе лежала большая карта; однако никто на нее не глядел. Добрый час все обсуждали важную новость: в Барселоне со здания суда снят красно-черный флаг. «Это вызов, — кричал один из командиров, — нужно сейчас же послать сотню дружинников в Барселону! Мы на фронте, а буржуазия этим пользуется, и марксисты ей помогают!..» Мое внимание привлек высокий немолодой человек с военной выправкой. Пока спор шел о походе на Барселону, он молчал и заговорил, только когда один из анархистов вдруг сказал: «Хорошо, а как быть с Уэской?…» Молчали» вый военный, которого звали Химснесом, начал объяснять план операции. Он водил пальцем по карте; другие не смотрели. Кто-то попытался поспорить: «Может быть, пойти напролом?…» Его осадили: «Хименес лучше тебя понимает…»

Когда совещание кончилось, Хименес подошел ко мне и представился: «Полковник Глиноедский». Имя я помнил: еще в Париже меня просили передать в испанское посольство, что полковник Глиноедский — русский эмигрант, член Французской коммунистической партии, хороший артиллерист — хочет сражаться на стороне республиканцев.

Рассказывали, будто в годы гражданской войны полковник В. К. Глиноедский под Уфой воевал против Чапаева. Не. знаю, правда ли это, — он со мною никогда не заговаривал о своем прошлом; знаю только, что он был в белой армии и в Париже стал рабочим. В Барселону он приехал одним из первых, еще не было интербригад. Он попал в батальон «Чапаева», поразил немногочисленных испанских офицеров, оставшихся верными правительству, своими военными знаниями: его перевели в штаб колонны.

Человеком он был на редкость привлекательным, смелым, требовательным, но и мягким. Прошел он нелегкий путь, это помогало ему терпеливо сносить чужие заблуждения. Он настаивал на том минимуме дисциплины, без которой невозможно было удержать занятые позиции. Два раза анархисты хотели его расстрелять за «восстановление порядков прошлого», но не расстреляли — привязались к нему, чувствовали, что он верный человек. А Глиноедский говорил мне: «Безобразие! Даже рассказать трудно… Но что с ними поделаешь? Дети! Вот хлебнут горя, тогда опомнятся…»

Анархисты были уверены, что Хименес приехал из Москвы и

отрицает это по дипломатическим соображениям. Узнай они, что он был белым, они бы его тотчас расстреляли. В ноябре в Каталонию приехали военные действительно из Москвы, и все они говорили испанцам, что полковник Хименес — советский командир. Его авторитет рос, он стал советником Арагонского фронта. Советских военных испанцы, обожая конспирацию, называли «мексиканцами» или «гальегос» (жители Галисии); я помню, с какой гордостью анархисты говорили: «Наш гальего хоть и марксист, но молодчина…»

Член Военного совета Арагонского фронта полковник Хименес, как-то сидел со мной и расспрашивал про Россию, вспоминал детство. Я сказал ему: «Ну вот, после войны сможете вернуться домой…» Он покачал головой: «Нет, стар я. Это, знаете, хуже всего — оказаться у себя дома чужим человеком…» Он помолчал и начал говорить о положении на фронте.

При последней встрече он мне показался очень усталым. Я не раз видел на войне, как люди от усталости становятся неосторожными, кажется, что их притягивает смерть. Член Военного совета, командующий артиллерией фронта пошел с десятком бойцов в разведку. Он был смертельно ранен. Сестра рассказывала, что в полевом госпитале он что-то говорил по-русски, никто его не мог понять.

Полковника Хименеса хоронила вся Барселона. За гробом шли Компанис, Антонов-Овсеенко, представители правительства, армии, всех политических партий. Анархисты несли венок с красно-черной лентой: «Дорогому товарищу Хименесу».

Глиноедский был прав: разговаривая с анархистами, будь то их руководители — Дуррути, Васкес, Гарсия Оливер, будь то дружинники под Уэской, я и умилялся и злился: дети, точнее не скажешь, хотя некоторые были с проседью и все, разумеется, с оружием.

Анархистов я узнал по-настоящему на Арагонском фронте, когда мы в деревнях показывали фильмы, печатали однодневные газеты, ели в коммунальных столовых, ночевали то на командных пунктах, то в растерзанных домах священников, где размещались местные комитеты, то в крестьянских хижинах.

Много раз мне приходилось ехать по той же дороге из Барселоны на фронт мимо каталонских городов Игуалады, Тарреги, Лериды. В Тарреге было кафе с вывеской «Бар Кропоткина»; там завсегдатаи обсуждали политику Компаниса, организацию любительского спектакля, семейные скандалы. Каталония казалась изумрудной — с виноградниками, садами, огородами, — каждый клочок земли был любовно возделан. Деревни напоминали города: повсюду были кафе, клубы, по

улицам прогуливались нарядные девушки. И вдруг все менялось: перед глазами вставала рыжая каменная пустыня Арагона. Здесь редко можно было увидеть три или четыре пыльные маслины. Летом было нестерпимо жарко, зимой дули ледяные ветры. По пустой извилистой дороге порой ехал крестьянин верхом на крохотном ослике. Голодные козы искали травинку, спрятавшуюся среди камней от палящего солнца. Деревни лепились на склонах голых гор; дома были того же цвета, что и горы, и повернуты к дороге глухими стенами, так что казались брошенными.

В Каталонии анархисты были несколько стеснены — не законами Женералите, не сопротивлением эскерры или ПСУК, а уровнем жизни населения: каталонцы жили хорошо, и анархисты не всегда решались посягнуть на крепко налаженный быт. Нищий, отсталый Арагон открывал перед вдохновителями СНТ — ФАИ неограниченные возможности. Они приехали сюда, чтобы освободить от фашистов Сарагосу, Уэску, Теруэль. Но война затягивалась, фронт оставался почти неподвижным, несмотря на неоднократные попытки продвинуться вперед. Нашлись горячие головы, которые решили превратить ближайший тыл, городки и села Арагона, в рай «свободного коммунизма».

Арагонские крестьяне жили плохо, терять им было нечего, и вначале они спокойно отнеслись к организации сельских «коммун». Анархисты обобществляли все, вплоть до кур. Во многих деревнях у крестьян отбирали деньги, иногда даже сжигали их. Крестьянам выдавали пайки. Я видел сельские комитеты, которые, не заглядывая далеко вперед, обменяли несколько вагонов пшеницы на кофе, сахар, обувь. В одном селе я спросил комитетчика, что они будут делать в январе, когда иссякнут запасы хлеба. Он рассмеялся: «Да мы до этого расколотим фашистов…»

В некоторых селах анархисты выдавали доктору, учителю сахар, орехи, миндаль — прочитали в газете, что эти продукты необходимы для умственного труда. Были и такие деревни, где сельскую интеллигенцию вовсе лишили пайков, как тунеядцев. В селе Сеса у врача отобрали осла, и он не мог больше лечить больных в соседних деревушках; в аптеке не было лекарств; в комитете говорили, что «природа лечит лучше врача…».

Был я в городке Фрага; там десять тысяч жителей. Анархисты отобрали деньги и выдали жителям книжки с правом покупать в неделю товаров на столько-то песет. Кафе были открыты, но в них ничего не отпускали, просто можно было посидеть и уйти. Доктор мне рассказал, что хотел выписать из Барселоны медицинскую книгу; председатель комитета ему ответил: «Если ты докажешь,

что книга нужна, мы ее напечатаем, у нас своя типография. А с Барселоной у нас нет торговых отношений…» В городе Пина деньги тоже отменили, установили сложнейшую систему карточек; имелись карточки на право стричься и бриться. Многие члены комитетов были искренними энтузиастами, но в экономике разбирались плохо. В большом селе Мембрилья (Ламанча) анархисты, отменив деньги, объявили, что каждая семья состоит в среднем из четырех с половиной человек и, следовательно, для упрощения делопроизводства будет получать продовольствие на четыре с половиной души.

В одном из городков Арагона комитет решил разобрать железную дорогу, утверждая, что жители ею мало пользуются и что дым паровозов отравляет воздух. Анархисты-фронтовики, узнав об этом решении, всполошились — они должны были получать из тыла боеприпасы и продовольствие; пути не были разобраны.

Мы устраивали киносеансы и на площадях — белая стена служила экраном, и в чудом уцелевшей церкви, и в столовых. Анархисты обожали Чапаева. После первого вечера мы сняли конец фильма: молодые бойцы не могли примириться с гибелью Чапаева, говорили: «Зачем же воевать, если лучшие погибают?…» Стефа переводила текст; иногда ее перебивали возгласы: «Да здравствует Чапаев!» Помню, раз какой-то анархист крикнул: «Долой комиссара!» — и все зааплодировали. Лишний раз я понял, что искусство прежде всего апеллирует к сердцу: в картине Чапаев — герой, а Фурманов — резонер.

Все же фильм иногда приносил практические результаты: в одной части после сеанса решили быть впредь осторожнее и выставлять на ночь дозоры.

Крестьяне смотрели «Чапаева» другими глазами. Часто после сеанса они подходили ко мне, благодарили русского комиссара за то, что он запрещает отбирать свиней, просили написать ему о непорядках в их селе — для них фильм был хроникой, они были убеждены, что и Чапаев и Фурманов еще живут в Москве.

Фильм «Мы из Кронштадта» дружинники воспринимали своеобразно. Когда матрос с камнем на шее швырял в воду гитару, раздавался смех — зрители не могли поверить, что моряков кинут в воду. Когда из воды показывался единственный уцелевший, они одобрительно смеялись: знали заранее, что он спасется, и ожидали, когда же выплывут остальные. Сказывалась беспечность, которая еще жила в каталонцах осенью 1936 года. (Я написал об этом в одной из газетных статей и получил отповедь от тогдашнего руководителя Союза писателей Ставского: «Если мелкий буржуа смеется, то об этом и надо сказать. А разве

пролетарии будут над этой картиной смеяться?»)

В газетах, которые мы печатали для анархистских колонн, мы старались, не вступая в полемику с принципами СНГ — ФАИ, объяснить на живых примерах, как важно согласовать действие колонны с другими частями, выполнять приказы своих командиров, не уходить с позиций, надеясь на бездействие противника, и так далее.

Тюрем анархисты не признавали, говорили, что нельзя лишать человека свободы; нужно его убедить; но они не были ни толстовцами, ни пацифистами и, видя, что человек не поддается убеждению, норой его расстреливали. В одном селе расстреляли крестьянина, который менял талоны для парикмахерской на кофе или сахар. Я возмутился, но один анархист мне серьезно ответил: «Ты что думаешь? Мы его пытались переубедить, три месяца с ним разговаривали, а он продолжал свои махинации. Это не человек, а торгаш!..»

Мне рассказывали, как в городе Барбастро анархисты закрыли публичный дом, произнесли несколько речей — говорили, что женщины отныне свободны и должны заняться полезным трудом: шить для бойцов рубашки. Пожилая проститутка вцепилась в одного из анархистов: «Я здесь пятнадцать лет работаю, а ты меня на улицу гонишь!..» Анархисты долго обсуждали, можно ли ее переубедить; наконец нашелся один, который за это взялся. Возможно, что эту историю придумали, но она звучала правдоподобно.

Описав В. А. Антонову-Овсеенко, как анархисты насаждают в Арагоне «свободный коммунизм», я добавлял: «Во всем этом больше невежества, нежели злой воли. Анархистов на местах можно переубедить. К сожалению, в ПСУК мало людей, которые понимают, как надо с ними разговаривать; сплошь да рядом работники ПСУК говорят: «Лучше фашисты, чем анархисты».

Я, видимо, заразился от анархистов — поверил, что людей легко переубедить. А это совсем не просто — переубеждает жизнь. Слова, даже самые разумные, слишком часто остаются словами. Дуррути быстро шагал; другие не хотели или не могли расстаться с иллюзиями, да и с традициями; требовалось время, а его не было: каждый день Франко получал от своих покровителей людей и вооружение.

На войне люди легко сходятся, и я дружил с анархистами. Хотя они должны были бы ругать Советский Союз, они понимали, что если кто-нибудь им помогает, то это наша страна. Спорить приходилось часто; но только раз в прифронтовой деревне один исступленный паренек начал грозить мне револьвером: «Раз тебя нельзя убедить…» Его вовремя уняли.

Многие из анархистов менялись на глазах; были и такие, что упорствовали; но даже их можно было образумить дружеским словом, порой улыбкой. Они кричали, грозились — и быстро отходили. Многое из того, что они понаделали, следует объяснить незнанием. Я почти не встречал среди них кадровых военных, экономистов, агрономов, инженеров, это были барселонские рабочие; на интеллигенцию они поглядывали с опаской, хотя и преклонялись перед философией, наукой, искусством. Они могли поддаться панике, побежать от одной бомбы, могли и пойти в атаку, несмотря на сильный пулеметный огонь, — все зависело от настроения, от сотни случайностей. Во время фашистского террора тысячи из тех, кого я встречал в Арагоне, мужественно пошли на смерть, не отреклись. Как в любой партии, среди анархистов были добрые и злые, умные и дураки; но то, что меня в них привлекало, — это непосредственность и редкостная в наш век наивность.

Никогда в жизни меня не соблазняли теории анархистов: видимо, не хватало наивности; но после «Хулио Хуренито» некоторые критики окрестили меня «анархистом». Может быть, поэтому, а может быть, потому, что в статьях об Испании я настаивал на необходимости единого фронта, один наш писатель, приехавший в Мадрид на конгресс, сказал: «Поскребите хорошенько Эренбурга, и вы увидите анархиста». Были это в пригородном доме, куда коммунисты вечером пригласили советскую делегацию. Долорес Ибаррури рассмеялась: «бывают и такие: поскребешь — окажется фашист…»

Почему я посвятил длинную главу испанским анархистам? Работа с агитмашиной заняла у меня всего три или четыре месяца. Да и не только к анархистам мы ездили — показывали фильмы и бойцам частей, которыми командовали коммунисты, побывали в интернациональных отрядах, печатали газеты на испанском, каталонском, немецком, французском языках. В декабре я поехал в Мадрид. Если я остановился на осени 1936 года в Арагоне, то только потому, что в длинной истории человеческих заблуждений это достаточно патетическая страница.

«Коммунизме либертарио» — «свободный коммунизм», все анархисты о нем говорили и почти все в него верили, доказывали, и хорошо доказывали, что без свободы не может быть настоящего коммунизма. А те коммуны, которые они устроили в Арагоне, напоминали поселки перепуганных индейцев Парагвая, руководимых иезуитами, с одинаковой одеждой, одинаковой едой, одинаковыми молитвами. (Правда, иезуиты господствовали свыше ста лет и достигли совершенства: отец Муратори

рассказывает, что, когда провинившегося парагвайца секли, он целовал руку своего мучителя и благодарил за удары.)

В старой записной книжке я нашел переписанные мною слова одного французского автора (не помню, кого именно): «Несчастье деспотизма не в том, что он не любит людей, а в том, что он их слишком любит и слишком мало им доверяет».

20

Трудно себе представить первый год испанской войны без М. Е. Кольцова. Для испанцев он был не только знаменитым журналистом, но и политическим советником. В своей книге «Испанский дневник» Михаил Ефимович туманно упоминает о работе вымышленного мексиканца Мигеля Мартинеса, который обладал большей свободой действий, нежели советский журналист.

Маленький, подвижный, смелый, умный до того, что ум становился для него обузой, Кольцов быстро разбирался в сложной обстановке, видел все прорехи и никогда не тешил себя иллюзиями. Познакомился я с ним еще в 1918 году в киевском «Хламе», потом встречал его в Москве, работал с ним над подготовкой парижского конгресса писателей, но по-настоящему разглядел и понял его позднее — в Испании.

Михаил Ефимович остался в моей памяти не только блистательным журналистом, умницей, шутником, но и концентратом различных добродетелей и душевного ущерба тридцатых годов.

«…Ума холодных наблюдений и сердца горестных замет», писал Пушкин. Сто лет спустя эти слова казались нам злободневными. Кольцов в беседах со мной часто высказывал оценки вдоволь еретичные: ему, например, нравился Таиров, он хорошо отзывался о книгах многих западных писателей, высмеивал наших критиков: «любят порядок и почитают Домострой, хотя толком не знают, что это». Вместе с тем он пуще врагов боялся инакомыслящих друзей. В нем был постоянный разлад между общественным сознанием и собственной совестью.

К попыткам некоторых левых писателей Запада покритиковать хотя бы робко порядки сталинского времени Кольцов относился пренебрежительно, говорил: «Х что-то топорщится, я ему сказал, что у нас переводят его роман, наверно, успокоится» или «У меня спрашивал, почему Буденный ополчился на Бабеля, я не стал спорить, просто сказал, чтобы он приехал к нам отдохнуть в Крым. Поживет месяц хорошо — и забудет про «бабизм Бабеля». Однажды он с усмешкой добавил: «Z получил гонорар во франках. Вы увидите, он теперь поймет даже то, чего мы с вами не понимаем».

Он никого не старался погубить и плохо говорил только о погибших: такое было время. Ко мне он относился дружески, но слегка презрительно, любил с глазу на глаз поговорить по душам, пооткровенничать, но, когда шла речь о порядке дня двух

конгрессов, не приглашал меня на совещания. Однажды он мне признался: «Вы редчайшая разновидность нашей фауны — нестреляный воробей». (В общем, он был прав — стреляным я стал позднее.)

Когда Второй конгресс кончился, я написал заявление: «Тов. Кольцову — Председателю советской делегации. Вы мне сообщили, что хотите снова выдвинуть меня в секретари Ассоциации писателей. Я прошу Вас вычеркнуть мое имя из списка и освободить меня от данной работы… Я не был согласен с поведением советской делегации в Испании, которая, на мой взгляд, должна была, с одной стороны, воздерживаться от всего, что ставило ее в привилегированное положение по отношению к другим делегациям, с другой — показать иностранцам пример товарищеской спайки, а не деления делегатов советских по рангам. Я не мог высказать мое мнение, так как никто меня о нем не спрашивал, и мои функции сводились к функциям переводчика… Как вы знаете, я очень занят испанской работой; помимо этого, хочу сейчас писать книгу, полагаю, что с большим успехом смогу приложить свои силы для победы общего дела, чем пребывая декоративным персонажем в секретариате…» Михаил Ефимович, прочитав заявление, хмыкнул: «Люди не выходят, людей выводят», — по обещал не обременять меня излишней работой.

История советской журналистики не знает более громкого имени, и слава его была заслуженной. Но, возведя публицистику на высоту, убедив читателей в том, что фельетон или очерк — искусство, он сам в это не верил. Не раз он говорил мне насмешливо и печально: «Другие напишут романы. Л что от меня останется? Газетные статьи — однодневки. Даже историку они не очень-то понадобятся, ведь в статьях мы показываем не то, что происходит в Испании, а то, что в Испании должно было бы произойти…» Он завидовал не только Хемингуэю, но и Реглеру: «Напишет роман в тридцать печатных листов…» Я понимаю горечь этих слов — я сам немало времени и сил отдал работе журналиста. Кольцов был нрав — историку трудно положиться на его статьи (как и на мои статьи того времени) или даже на книгу «Испанский дневник»: она слишком окрашена временем, а рядового читателя куда больше растрогают воспоминания о Кольцове, чем его фельетоны, — он ищет всех тонов, расположенных между белым и черным, — а Михаил Ефимович был куда сложнее, чем его памфлеты или корреспонденции.

Он любил одесский анекдот о старом балигуле (извозчике), который ехидно спрашивает новичка, что тот будет делать, если в степи отвалится колесо и не окажется под рукой ни гвоздей, ни

веревки. «А что же вы будете делать?» — спрашивает наконец пристыженный ученик; и старик отвечает: «Таки плохо». Михаил Ефимович часто хмыкал: «Таки плохо». А час спустя он приводил в чувство какого-либо испанского политика, убедительно доказывая ему, что победа обеспечена и, следовательно, незачем отчаиваться. К людям он относился недоверчиво; это звучало бы упреком, если бы я не добавил, что он относился недоверчиво и к себе — к своим чувствам, к своему таланту, да и к тому, что его ожидает.

Он пробыл в Испании немногим больше года, но что-то в нем изменилось, он стал человечнее, исчезло легкомыслие, он больше не носился с проектами опасных интервью или занятных журналов, да и глаза глядели мягче. Однако до конца он был не унылым, а веселым скептиком, и после беседы с ним неизменно оставалось двойное чувство: горько, но занятно — стоит жить, может быть, удастся увидеть, чем это все кончится…

Перемена, происшедшая с Кольцовым в Испании, объяснялась многим: ответственностью, которая лежала не столько на журналисте «Мих. Кольцове», сколько на «Мигеле Мартинесе», сознанием трудности, а с лета 1937 года невозможности победы разъединенной, плохо снабжаемой оружием республики, повседневным зрелищем бомбежек, голода, смерти. Однако не только это изменило Михаила Ефимовича, но и месяц, проведенный в Москве, вести, доходившие с родины. Михаил Ефимович помрачнел.

Недавно появился сборник воспоминаний «Михаил Кольцов, каким он был». Бесспорно, самые интересные страницы в сборнике написаны братом Кольцова карикатуристом Борисом Ефимовичем Ефимовым. В них рассказано, как железный круг сжимался вокруг смелого, веселого и еще влиятельного человека. За полтора года до развязки Кольцов, приехавший на короткий срок из Мадрида, докладывал Сталину и его ближайшим помощникам о положении в Испании. Когда Кольцов наконец-то замолк, Сталин неожиданно спросил, как его следует «величать» по-испански, «Мигуэль, что ли?». Еще больше изумил Кольцова вопрос Сталина, когда Михаил Ефимович уже шел к двери: «У вас есть револьвер, товарищ Кольцов?» Кольцов ответил, что револьвер у него имеется. «Но вы не собираетесь из него застрелиться?»- спросил Сталин. Рассказывая об этом брату, Михаил Ефимович добавил, что он прочитал в глазах «хозяина»: «слишком прыток».

По словам Ефимова, лучше всех знавшего Кольцова, Михаил Ефимович до последней минуты «фанатически верил в мудрость Сталина».

Два месяца спустя после странного разговора о револьвере я шел с Михаилом Ефимовичем по пустой уличке Мадрида. Кругом были развалины домов, ни одного живого человека. И спросил Кольцова, что произошло в действительности с Тухачевским. Он ответил: «Мне Сталин все объяснил — захотел стать Наполеончиком». Не знаю, подумал ли он в ту минуту, что он, Михаил Кольцов, беззаветно веривший в Сталина, тоже не защищен от обвинений, — «слишком прыток».

Когда в декабре 1937 года я приехал из Испании в Москву, и сразу пошел в «Правду». Михаил Ефимович сидел в роскошном кабинете недавно построенного здания. Увидев меня, он удивленно хмыкнул: «Зачем вы приехали?» Я сказал, что захотел отдохнуть, приехал на писательский пленум с Любой. Кольцов почти вскрикнул: «И Люба притащилась?…» Я рассказал ему про Теруэль, сказал, что видел перед отъездом его жену Лизу и Марию Остец. Зачем-то он новел меня в большую ванную комнату, примыкавшую к кабинету, и там не выдержал: «Вот вам свеженький анекдот. Двое москвичей встречаются. Один делится новостью: «Взяли Теруэль». Другой спрашивает: «А жену?» Михаил Ефимович улыбнулся: «Смешно?» Я еще ничего не мог понять и мрачно ответил: «Нет».

В апрельский вечер я встретил его возле «Правды», сказал, что получил паспорт и скоро вернусь в Испанию. Он сказал: «Кланяйтесь моим, да и всем, — потом добавил:

— А о том, что у нас, не болтайте — вам будет лучше. Да и всем — оттуда ничего нельзя понять…» Пожал руку, улыбнулся: «Впрочем, отсюда тоже трудно понять».

Я ответил Кольцову искренне: все было совсем не смешно. Конечно, никто не причислит Михаила Ефимовича к воробьям, а поскольку он однажды завел разговор о птицах, я назову его стреляным соколом. Мы расстались весной 1938 года, а в декабре стреляного сокола не стало. Было ему тогда всего сорок лет.

21

Люди привыкают ко всему: к чуме, к террору, к войне; и мадридцы быстро привыкли к бомбежкам, к голоду и холоду, к тому, что фашисты — в Каса-дель-Кампо, то есть в двух-трех километрах от густозаселенных кварталов, и что все это, видимо, надолго.

«Известия» тогда выходили в самое различное время: иногда в семь часов утра, иногда, если среди ночи поступали сообщения ТАСС, список награжденных или обвинительное заключение, в десять, а то и в полдень. Мадридские газеты продолжали выходить в шесть часов утра, как они выходили прежде, когда нужно было поспеть к утренним поездам. Поездов давно не было, а привычка осталась.

Из семи шоссейных дорог, соединявших столицу со страной, шесть были захвачены фашистами. То вспыхивали, то затихали бои за седьмую дорогу, соединявшую Мадрид с Валенсией. Несколько километров этой дороги фашисты простреливали. Однажды мне пришлось выскочить из машины и пролежать в поле полчаса. Вблизи разорвалось несколько снарядов. На войне то хорошо, что редко бываешь один. Я не мог показать шоферу-испанцу, который лежал рядом, что мне не очень-то уютно, я ведь был «мексиканцем», а шофер старался мне показать, что он чувствует себя как дома, потому что он испанец.

На двадцать первом километре от Мадрида, возле Мората-де-Тахунья, фашисты укрепились. Я там бывал несколько раз; проходя по глубоким окопам, можно было услышать, как фашистские солдаты где-то рядом переругиваются или поют. В течение многих месяцев шли бои за развалины дома, и я вспоминал знаменитый «дом паромщика», который в годы мировой войны несколько месяцев подряд значился в союзных и немецких сводках.

А в Мадриде продолжалась фантастическая и вместе с тем будничная жизнь. Тротуаров никто не подметал, валялся щебень, обрывки старых афиш, осколки бомб, битая посуда. Утром разводили костры, возле них грелись женщины и солдаты. Зимой в Мадриде холодно, и андалузцы или каталонцы зябли. Многие магазины были открыты; оставались товары, мало кому нужные в то время: хрустальные люстры, духи, старые романы, галстуки. Как-то раз я увидел в мебельном магазине молодого бойца и женщину, они приценивались к зеркальному шкафу и нежно глядели друг на друга; вероятно, они были молодоженами. В другой раз я встретил маляра с ведром краски и лесенкой — он

шел белить стены.

А на улицах продавали самодельные зажигалки, карманные фонари. В некогда фешенебельных ресторанах бойцы восторженно ели горох — он был пшенной кашей Испании. Возле булочных стояли длинные очереди, и не раз люди, ожидавшие двести граммов хлеба, умирали от осколка бомбы или от снаряда. Трамвай ходил почти до окопов. Однажды я пошел рано утром на улицу Рафаэля Салилья. Пожарные выносили трупы; мне запомнилась девочка, похожая на разбитую куклу, и швейная машина с голубенькой материей, повисшая на балке.

Правительство уехало в Валенсию. В мадридских комитетах политических партий шли нескончаемые споры. Анархисты и троцкисты («поумовцы») настаивали на «углублении революции». Прието хотел, чтобы навели порядок, и обвинял своего товарища по партии Кабальеро в демагогии. Жизнь продолжалась…

Продолжалась она повсюду. Поэты издали сборник стихов, посвященных войне, собирались, обсуждали возрождение старой формы романсеро. Я познакомился с пожилой учительницей музыки, она рассказывала, что к ней приходят две ученицы, играют гаммы.

Театры были открыты, но спектакли начинались не в десять часов вечера, как прежде, а в шесть; играли все те же пьесы «Ты цыган, я цыганка» или «Ночь в Альгамбре». В кино показывали фильмы Чаплина; Морис Шевалье в картине «Соблазнитель» пел знакомые песенки. Девушки утирали глаза от скорби обманутой американки, а дружинники неистово аплодировали Лолите Гранатос.

Ко мне в холодный номер гостиницы приходили с фронта испанцы и бойцы интербригад; иногда у меня оказывались селедки, присланные из Одессы, или курица, завезенная из Валенсии. Мы молча ели, а потом начинали разговаривать о вещах, мало относившихся к положению на фронте. Студент-боец с жаром доказывал, что, хотя во всем мире читают «Дон Кихота», никто, кроме испанцев, его не понимает, да и не может понять. Один серб принес мне толстую рукопись: он записал свои наблюдения о том, как реагируют различные животные на бомбежки. По его словам, кошки вели себя коварно, но разумно: услышав гул самолетов, они тотчас выпрыгивали в окно и неслись в поле, подальше от жилья. Собаки, наоборот, слепо верили во всемогущество человека, просились в дом, залезали под стол или под кровать. Свои записки серб писал в окопах, во время бомбежек, об этом он упомянул вскользь; его интересовала зоопсихология, и он расспрашивал об опытах Дурова. Француз из батальона «Парижская коммуна» читал мне свои стихи:

Небо огнями реклам расцвечено —
Распродажа разодранных тел и Вечности…

Штаб помещался в центре Мадрида, в глубоком подвале министерства финансов. Подвал разделили на крохотные комнатушки; там работали, ели и спали. Стучали пишущие машинки. То и дело приходили и уходили военные. В одной из комнатушек, сгорбившись, сидел старый, больной и подавленный событиями человек — генерал Миаха. О нем тогда писали все газеты мира, а он печально глядел на меня и отвечал: «Да… да…» Вошел комбриг Горев с переводчицей Эммой Лазаревной Вольф, принес карту, долго говорил о положении в Университетском городке. Миаха внимательно слушал, тусклыми грустными глазами глядя на карту, и повторял: «Да… да…»

Владимир Ефимович Горев редко заглядывал в подвалы министерства — все время был на позициях. Ему не было и сорока лет, но он обладал большим военным опытом. Умный, сдержанный и вместе с тем чрезвычайно страстный, осмелюсь сказать — поэтичный, он покорял всех, мало сказать, что ему верили, — верили в его звезду. Полгода спустя испанцы научились воевать, у них были одаренные командиры — Модесто, Листер, да и другие, менее известные. А осенью 1936 года, пожалуй, кроме начальника генштаба полковника Рохо, среди командного состава республиканской армии было мало людей энергичных и в то же время обладавших военными знаниями. В ноябрьские дни Горев сыграл огромную роль, помог испанцам остановить фашистов в предместьях Мадрида.

Когда Франко начал операции на севере, Горев отправился с переводчицей Эммой в Басконию. Франко сосредоточил на севере крупные силы; немецкая авиация наносила массированные удары. Республиканцы четыре месяца защищались, отрезанные от основных сил, взятые в кольцо. Настала развязка. В Хихоне, который должен был со дня на день пасть, было двадцать шесть советских военных во главе с Горевым, среди них раненые, больные и Эмма.

В эскадрилье, созданной Мальро, в первые месяцы войны сражался веселый француз, прекрасный летчик Абель Гидес. Летом 1937 года он вернулся в Париж. Узнав, что советские товарищи не могут выбраться из окружения, Гидес раздобыл крохотный туристический самолет и полетел в Хихон. Горев хотел улететь последним. Гидес совершил три рейса, среди других спас Эмму, а когда он полетел в четвертый раз, его обстреляли фашистские истребители. Милый смелый Гидес

погиб. А он только перед этим женился… Горев и несколько оставшихся с ним товарищей ушли с партизанами в горы. Их вывез советский самолет. Все это было чудом. Мы радовались — спасся Горев! А полгода спустя героя Мадрида оклеветали, и тут уже не могло быть никаких чудес. Горев погиб в Москве.

В подвале, кроме Горева, жили Ратнер и Львович, которого в Испании звали Лоти. Ратнер был разумным и скромным стратегом. Мне говорили, что потом он преподавал в одной из военных академий. Лоти пробыл в Испании долго, подружился с испанцами; был он печальным весельчаком, любил поэзию. Однажды в горячий мадридский вечер мы сидели на камне перед разбитым домом, обливались потом, и он вспоминал разрозненные строки стихов — Лермонтова, Блока, Маяковского; вдруг встал и сказал:

«Красивое имя.
Высокая честь —
Мадридская волость
В Испании есть.

Значит, мне надо идти на КП. А вы знаете, что вы должны делать? Не болтаться под снарядами, а писать. У каждого свое ремесло… Писатель, а не пишет…»

Я встречал Лоти и в Двенадцатой бригаде у генерала Лукача и в «Гайлорде», потом в Валенсии. Был он на редкость храбрым, а других осаживал, говорил: «Испанцы не знают, что такое осторожность. Для любви это хорошо, а для войны не годится…» В 1946 году я встретил в Америке художника Фернандо Херасси, командира батальона Двенадцатой бригады, и его жену Стефу. Первое, о чем они меня спросили: «Что с Лоти?…» Я отвернулся и еле выговорил: «Погиб»…

В Испании я думал об одном: о победе. Но, понятно, я встречался с нашими, и хотя мы еще не знали, что означает 1937-й, норой на душе становилось смутно.

Корреспондент ТАССа М. С. Гельфанд, человек очень больной, писал длинные телеграммы и острил. Он сочинил смешную пьесу, читал ее избранным; героями были Кольцов, Кармен, Макасеев, Эренбург и он сам. Приходя в его помер, мы всегда смеялись. Один раз я увидал его грустным, он сидел над «Правдой». Никого в комнате не было. Вдруг он мне сказал: «А вы знаете, нам повезло… Собрание писателей, сидят и выявляют врагов народа… Давайте поедем в Карабанчель, там собираются взорвать дом. А о нашем разговоре забудьте…» Я выпросил у него несколько номеров относительно свежих газет. В Карабанчеле

дом не взорвали, сказали, что саперы подвели. Зато мы попали под хорошую бомбежку. Ночью я прочитал газеты и подумал: действительно повезло — под бомбами куда легче, здесь, но крайней мере, знаешь, кто враг и кто свой…

Как-то Кольцов сообщил мне: «Наградили большую группу. В газете этого не будет… Поздравляю вас с боевым орденом Красной Звезды». Я его тоже поздравил; поздравил сейчас же Кармена и Макасеева. Михаил Ефимович, помню, добавил: «Будете получать, кажется, десять рублей в месяц. От голода это вас не спасет. От проработки тоже…»

Я впервые в жизни получил орден, да еще такой, о котором не будет в газете. Не скрою — я обрадовался.

Я уезжал из Мадрида, снова возвращался и увидел первую победу республиканцев возле Гвадалахары. Фашисты рассчитывали с помощью танков прорваться в Мадрид. В районе Сигуэнсы они сосредоточили несколько итальянских дивизий, танки, авиацию. Битва кончилась для фашистов неожиданно: продвинувшись на несколько десятков километров, они были отброшены на исходные позиции, потеряв много людей и техники. Итальянцы сражались плохо, да и рассчитали неосторожно: были убеждены, что большие танковые соединения быстро выйдут на равнину, где смогут окружить противника; а после контратаки республиканцев итальянские танки очутились в узкой долине, где их нещадно бомбили наши летчики.

Я много раз ездил на Гвадалахаре кий фронт — с Кольцовым, с Хемингуэем, с Савичем; побывал в Паласио Ибарра в развалинах старого помещичьего дома, из которого «гарибальдийцы» выкинули итальянских фашистов, в расщепленной бомбардировками Бриуэге. Было необычайно радостно идти по земле, освобожденной от фашистов, видеть итальянские надписи на стенах, брошенные пушки, ящики с гранатами, ладанки, письма. Я разговаривал с победителями — с солдатами частей, которыми командовали Листер, Камнесино, с бойцами Двенадцатой бригады, с генералом Лукачем, с Фернандо, с болгарами Петровым и Беловым. Разговаривал я и с пленными итальянцами. На дворе была короткая кастильская весна. Бойцы грелись на солнце. Небо норой покрывалось металлическими тучами, звенели ливни, и час спустя густая южная лазурь говорила о близком лете.

Для нас, переживавших в течение полугода одни лишь поражения, Гвадалахара была нечаянной радостью. Я думал, что позади не только зима, но холод отступлений.

Среди пленных итальянцев было много горемык, которые охотно бросали оружие. Я увидел знакомых мне итальянских

крестьян, добрых и миролюбивых; они проклинали офицеров, дуче, войну. Сапожник из Палермо рассказал мне, что помнит двадцатый год, — он тогда был мальчишкой, на улице стреляли, а в комнате отца висел портрет Ленина. Он был неграмотным, но сразу понял, где свои, и, воспользовавшись суматохой, перебежал к «гарибальдийцам».

Попадались и настоящие фашисты, не столь жестокие, как их немецкие единоверцы, но чванливые, верившие в громкие фразы Муссолини. Я прочитал дневник одного итальянского офицера; незадолго до Гвадалахары он писал: «Все испанцы стоят друг друга. Я бы им всем дал касторки, даже этим шутам фалангистам, они знают одно — есть и пить за здравие Испании. Всерьез воюем только мы…»

В итальянской армии было много опереточного. Помню знамя батальона «Черные перья» с надписью: «Не блистаем, но жжем». В таком же стиле были выдержаны названия других батальонов: «Львы», «Волки», «Орлы», «Неукротимые», «Стрела», «Буря», «Ураган». Однако эти батальоны входили в бригады, дивизии. Из итальянского порта Гаэта непрерывно шли транспортные суда в Кадикс; подбрасывали людей, артиллерию, танки. Республиканцы нашли документы генерального штаба, телеграмму Муссолини, который писал генералу Манчини: «На борту «Пола», направляясь в Ливию, я получил донесение о большой битве, развернувшейся возле Гвадалахары. Я с бодростью слежу за эпизодами боя, глубоко убежденный, что храбрость и воинственный дух легионеров положат конец вражескому сопротивлению». Хотя настроение у меня было хорошее, я не разделял оптимизма некоторых, уже видевших республиканцев под Сарагосой. Меня тревожила не мнимая храбрость итальянских легионеров, а трусость англичан и французов в Комитете по невмешательству. В статье о битве под Гвадалахарой я писал: «Не следует преуменьшать опасность — Италия только вступает в войну».

Продвижение республиканцев длилось недолго. В холодную ночь комбриг М. П. Петров, командовавший танковым соединением, поил меня горячим чаем. Это был коренастый и добродушный танкист. Он сокрушался: «Техники мало! Даже грузовиков не нашли, чтобы подбросить пехоту. Вот и завязли… Ну ничего, в конце концов мы их расколотим». (Я встретил генерала Петрова в августе 1941 года под Брянском. Он весело закричал: «Помнишь Бриуэгу?…» А время было невеселое. Его убили в бою вскоре после нашей встречи, так он и не увидел разгрома фашистов.)

В начале апреля республиканцы решили атаковать фашистов,

укрепившихся в Каса-дель-Камно. Я пошел в пять часов утра на наблюдательный пункт, который находился в здании дворца. Окна комнаты выходили на запад. Мы видели, как бойцы выбегали из окопов и падали, как двинулись танки. Артиллерийская подготовка была сильной, но пулеметы не умолкали, и почти нигде республиканцам не удалось выбить фашистов из окопов.

Вечером нужно было передать в газету отчет о результатах операции. Я не знал, что сообщить, и решил описать час за часом все, что видел, не говоря вовсе о наступлении и статью озаглавив «День в Каса-дель-Кампо». В комнате, где мы находились, висела клетка с канарейкой. Фашисты выпустили несколько снарядов по дворцу. Когда орудия на минуту умолкали, канарейка пела: очевидно, грохот ее возбуждал. Я упомянул и про канарейку, хотя понимал, что такого рода наблюдения уместнее в романе, нежели в газетной корреспонденции. Редактор про канарейку выпустил, даже обиделся. Люба тогда была в Москве и пришла в редакцию, чтобы поговорить со мной по телефону. «В чем дело с канарейкой?» — спросила она. А я не мог ей объяснить, что в моей статье канарейка запела только потому, что наступление не удалось.

Как-то я слушал радиопередачу из Севильи. Фашисты говорили: «Вокруг Мадрида сосредоточены крупные советские силы, их численность доходит до восьмидесяти тысяч». Слушал и горько усмехался. Советских военных было мало; цифр я не знаю, но я бывал и в Алкала, где стояли наши танкисты, и на двух аэродромах — очень, очень мало! В различных частях было еще несколько десятков военных советников. Людей было немного, но воевали они хорошо и в критические дни приподняли дух испанцев. Когда в ноябре мадридцы впервые увидели над собой советские истребители (их окрестили «курносыми»), несмотря на воздушную тревогу, они стояли на улицах и аплодировали — им казалось, что теперь они ограждены от бомб.

Из командиров я встречал комдива Г. М. Штерна (его называли в Испании Григоровичем), Яна Берзина (Гришина), комкора авиации Я. В. Смушкевича (Дугласа), танкиста Д. Г. Павлова, П. И. Батова, Х. Д. Мамсурова (Ксанти), Г. Л. Туманяна и других. Это были разные люди, но все они по-настоящему любили Испанию. Многие из них погибли в годы произвола, а те, что уцелели, до сих пор с нежностью вспоминают испанских товарищей. Не видел я со стороны людей, которых назвал, ни высокомерия, ни даже раздражительности, а она легко могла бы родиться: кадровые военные столкнулись с неразберихой, с анархистами, с наивными командирами, считавшими, что

немецкие самолеты можно прогнать с помощью винтовок.

Познакомился я с советскими летчиками, танкистами; с некоторыми подружился; лучше понял и войну, и наших людей. Если четыре года спустя я смог работать в «Красной звезде», находил нужные слова, то помогли мне в этом, как и во многом другом, годы Испании.

В апреле в Мадрид приехала герцогиня Атолльская, член английского парламента от консервативной партии. Ее поместили в той же гостинице, где жили Кармен, Савич, я. Пока она осматривала город, осколок немецкого снаряда угодил прямо в ее комнату. Журналисты спросили ее, не думает ли она поставить в парламенте вопрос о «невмешательстве». Она ответила, что обещала не делать никаких политических заявлений, но восхищается мужеством Мадрида и оплакивает невинные жертвы. Она не была одинокой: многие восхищались и оплакивали. А Гитлер и Муссолини делали свое дело.

Мою веру в победу поддерживал испанский характер. Во время одной из бомбежек Петров и я загоняли старую женщину в убежище; она не хотела идти, говорила: «Пусть они, негодяи, видят, что мы их не боимся!..»

22

Январь 1937 года я пробыл в Париже, а в начале февраля вернулся в Испанию. Я увез с собою О. Г. Савича.

Я не собираюсь посвятить эту главу портрету Савича, — я уже говорил, что мало рассказываю о живых. Говоря о себе, я то подымаю, то опускаю занавеску исповедальни — я волен выбирать; но, говоря о других, я связан: бог его знает, что можно рассказать, а о чем лучше промолчать? Савич мой добрый и старый друг. Черновики многих моих книг испещрены пометками Савича, он замечал немало погрешностей. Хотя в ранней молодости он был актером, он для меня неотделим от литературы. Он не только пишет или переводит, он страстный читатель, и, кажется, нет ни одного автора и в XIX веке, и в советское время, которого он не прочитал бы. Я ему многим обязан. Но теперь я ограничиваю себя одним: хочу показать, какую роль могла сыграть Испании в жизни одного человека.

Познакомились мы давно кажется, в 1922 году. Он моложе меня всего на пять лет, но тогда он казался мне подростком. В 1930 году он с молодой женой Алей поселился в Париже, и мы встречались почти каждый вечер. Раз в гол перепуганный Савич отправлялся в советское консульство, чтобы продлить паспорта. Мы ездили с. Савича ми в Бретань, в Словакию, в Скандинавию. Савич показывал Париж Всеволоду Иванову, нашим поэтам, актерам Театра Мейерхольда; он человек мягкий, благожелательный, спорить не любит, и всем он нравился. В конце двадцатых годов после нескольких сборников рассказов в Москве вышел его роман «Воображаемый собеседник», роман хороший, который понравился столь различным писателям, как Форш, Тынянов, Пастернак. В газетах его разругали, одно заглавие сердило критиков: хотя еще никто не говорил о новом толковании реализма, но воображать не полагалось. Савич продолжал писать, но второй роман не получался. Он помрачнел. Иногда он посылал очерки в «Комсомольскую правду», и они никак не напоминали объяснений с воображаемым собеседником, писал он про то и это, про футбол и про Барбюса, про мировой кризис и про рабочие танцульки. Мне казалось, что он не может найти ни своей темы, ни места в жизни. В 1935 голу его Аля уехала в Москву. Савич должен был вскоре последовать за нею, но в январе 1937 года я застал его в Париже и легко уговорил посмотреть хотя бы одним глазом Испанию: «Сможешь написать для «Комсомолки» десять очерков…»

Хотя я хорошо знал Савича, я никогда не видел его перед

опасностью смерти. В первый же вечер в Барселоне мы пошли поужинать в хороший ресторан «Остелерия дель соль». Мы мирно беседовали о старой испанской поэзии, когда раздался необычный грохот. Свет погас. На бомбежку это не походило, и я не сразу понял, что происходит. Оказалось, фашистский крейсер обстреливает город. На Параллели один анархист стрелял из револьвера в сторону моря — хотел потопить вражеский корабль. Савич был спокоен, шутил. Потом я видел его во время жестоких бомбежек, он поражал меня своей невозмутимостью, — и я понял, что он боится не смерти, а житейских неприятностей: полицейских, таможенников, консулов.

Я повел Савича к В. А. Антонову-Овсеенко, и он сразу пришелся по душе Владимиру Александровичу. Я сказал, что должен съездить на Арагонский фронт, вернусь через неделю и тогда мы поедем в Валенсию и Мадрид. Владимир Александрович сказал Савичу: «А вы приходите к нам запросто…»

Вернувшись дней десять спустя, я не нашел Савича. Антонов-Овсеенко мне рассказал, что Савич ездил под Уэску, а потом с новым послом Л. Я. Гайкисом уехал в Валенсию. Я подумал: «Ну и Сава!» (так я всегда звал Савича).

Я остановился, как всегда, в гостинице «Виктория», где жили иностранные журналисты. Вечером позвонил Савич: «Приходи ко мне — я в «Метрополе». Я даже растерялся от изумления, но попросил Саву выписать мне пропуск: в «Метрополе» жили наши военные, там помещалось посольство, и проникнуть туда было нелегко.

Савича я нашел растерянным: «Я попал в дурацкое положение… Я обедал у Антонова-Овсеенко, когда приехал посол — он возвращался из Москвы в Валенсию. Я набрался храбрости: может быть, в его машине окажется местечко для меня. Он усадил меня рядом. А когда мы вошли в «Метрополь», он распорядился: «Номер для товарища…» Советские люди в Испании свято соблюдали конспирацию и никогда не спрашивали человека, кто он, откуда. Так бедный Савич оказался загадочным товарищем, которого посол встретил у Антонова-Овсеенко.

В «Метрополе» жила корреспондентка ТАССа Мирова, высокая, полная и энергичная женщина. Савич ее удивил своей начитанностью, эрудицией. Она предложила ему помогать ей в работе для ТАССа. Савич был запуган ситуацией, но согласился. Мирова относилась к нему покровительственно и вместе с тем с уважением, говорила: «Он похож на гравюру». Я поехал с Савичем в машине Мировой в Альбасете, где формировались интербригады. Потом в Валенсию приехал корреспондент ТАССа М. С. Гельфанд, и Мирова решила, воспользовавшись этим,

побывать в Мадриде. Мы поехали втроем: Мирова, Савич и я. Это было в марте. Гельфанд остался в Валенсии: там находилось правительство.

Я упоминал, что бывал с Савичем на Гвадалахаре. В апреле и уехал к Теруэлю, а потом в Андалузию — шли бои вокруг Пособланко. Гельфанд заболел и вернулся в Москву. Мирова его заменила. А Савич оставался в мадридском «Паласе», часто бывал на фронте, подружился с нашими военными — с Лоти, с Хаджи, встречался с испанцами, описывал бои и бомбежки. Он наслаждался жизнью: то место, о котором он тщетно мечтал в мирном Париже, оказалось в полуразрушенном голодном Мадриде.

Однако его ждали новые испытания. В мае Мирова вызвала его в Валенсию. Она была чем-то очень взволнована, сказала, что уезжает на несколько дней в Москву. Савич будет жить в ее комнате и выполнять обязанности корреспондента ТАССа.

Я был в Париже, когда мне позвонил Савич: «Мирова почему-то не возвращается. Может быть, ты попросишь Ирину выяснить, что с ней, когда она рассчитывает приехать». Я разговаривал с Ириной по телефону, спросил, что с Мировой. Ирина ответила, что в Москве чудесная погода. «Но что с Мировой?…» Ирина не ответила.

Вскоре я приехал в Валенсию, пошел к Савичу. Он сидел расстроенный среди дамских платьев, духов, кремов. «Что с Мировой?…» Я знал, что Мирова — жена ответственного работника, который занимался отправкой в Испанию военных советников, знал, что она серьезная женщина, знал также, что Ирина не станет говорить о погоде, когда я ее спрашиваю, что с Мировой. У меня были мрачные догадки, но что такое 1937-й, я тогда еще не знал.

Потом были наступление на Уэску, конгресс писателей, бои за Брюнете. Мы с Савичем видались редко. В ноябре я его нашел в Барселоне, куда переехало правительство. Он писал телеграммы или сидел у телефона — ждал, когда вызовет Москва. В декабре мы простились — я уехал в Москву.

Быть корреспондентом ТАССа очень легко и очень трудно. Полгода спустя я сосватал Савича с «Известиями», и появился новый корреспондент с испанским именем Хосе Гарсия. Савич мог описывать людей, говорить о том, что его волновало, немного фантазировать, немного вспоминать милую его сердцу литературу — так писал Хосе Гарсия. А корреспондент ТАССа должен был описывать политическую и военную обстановку, борьбу внутри антифашистской коалиции, действия анархистов и поумовцев (испанских троцкистов), — словом, быть

информатором. До Испании Савич куда больше увлекался поэзией, чем политикой, и за свои обязанности он взялся с девственной чистотой мыслей. После отъезда Кольцова, Кармена, моего он остался единственным советским корреспондентом в Испании. К нему приходили испанские коммунисты — побеседовать по душам, посоветоваться. Он говорил прекрасно по-испански, и посол Марченко поручал ему: «Побеседуйте с новым министром внутренних дел, это социалист, прощупайте, как он настроен, вам это удобней, чем мне, вы — журналист…» Не удивительно, что Савич видел многое глазами испанских коммунистов или работников посольства.

Однако, кроме политики, есть душа народа, его горе, его мужество и то подлинное презрение к смерти, которым всегда отличались испанцы. Кроме политических деятелей, у Савича были и другие собеседники — солдаты и поэты, крестьяне и шоферы. Он увидел то, что когда-то искал в воображаемом собеседнике. Мало сказать, что он полюбил Испанию, — полюбили ее все советские люди, в ней побывавшие, — Испания оказалась ему сродни.

Я не хочу тасовать годы и события, в последующих главах я упомяну о встречах с Савичем в 1938–1939 годы. А сейчас мне хочется рассказать о том, как сложилась судьба О. Г. Савича после Испании. Он начал переводить испанских поэтов, от старого Хорхе Манрике до Мачадо, Хименеса и Рафаэля Альберти, переводил и поэтов Латинской Америки — Габриэлу Мистраль, Пабло Неруду, Гильена. То место в жизни, которое он нашел весною 1937 года в Мадриде, осталось под ногами — испанская речь и поэтическая настроенность, укрепившаяся в нем за годы Испании.

23

Это было в марте 1937 года в Мадриде. Я жил в бывшей гостинице «Палас», превращенной в госпиталь. Кричали раненые, пахло карболкой. Здание не отапливалось. Еды было мало, и, как в Москве в 1920 году, засыпая, я часто мечтал о куске мяса.

Как-то под вечер я решил пойти в «Гайлорд», где жили наши советники, к Кольцову: там можно согреться и поесть досыта.

В комнатах, которые занимал Кольцов, как всегда, были люди, знакомые и незнакомые: «Гайлорд» соблазнял не меня одного. Я сразу увидел, что на столе большой окорок и бутылки. Михаил Ефимович хмыкнул: «Здесь Хемингуэй…» Я растерялся и сразу забыл про ветчину.

У каждого человека бывает свой любимый писатель, и объяснить, почему любишь такого-то писателя, а не другого, столь же трудно, как объяснить, почему любишь такую-то женщину. Из всех моих современников я больше всего любил Хемингуэя.

В 1931 году в Испании Толлер мне дал книгу неизвестного автора «И восходит солнце»: «Здесь, кажется, про Испанию, про бой быков, может быть, это вам поможет разобраться…» Я прочитал, раздобыл «Протай, оружие!». Хемингуэй помог мне разобраться — не в бое быков, в жизни.

Вот почему я смутился, увидав рослого угрюмого человека, который сидел за столом и пил виски, Я начал ему объясняться в любви и, вероятно, делал это настолько неуклюже, что Хемингуэй все больше и больше хмурился. Откупорили вторую бутылку виски; оказалось, что бутылки принес он, и пил он больше всех.

Я спросил его, что он делает в Мадриде; он сказал, что приехал как корреспондент газетного агентства. Он говорил со мной по-испански, я — по-французски. «Вы должны передавать по телеграфу только очерки или также информацию?»- спросил я. Хемингуэй вскочил, схватил бутылку, замахнулся ею: «Я сразу понял, что ты надо мной смеешься!..» «Информация» по-французски «nouvelles», а по-испански «novelas»- романы. Бутылку кто-то перехватил; недоразумение выяснилось, и мы оба долго смеялись. Хемингуэй объяснил, почему он рассердился: критики его ругают за «телеграфный стиль» романов. Я рассмеялся: «Меня тоже — «рубленые фразы»…» Он добавил: «Одно плохо, что ты не любишь виски. Вино — для удовольствия, а виски — горючее…»

Многие тогда удивлялись: а что действительно делает Хемингуэй в Мадриде? Конечно, он был привязан к Испании. Конечно, он ненавидел фашизм. Еще до испанской войны, когда

итальянцы напали на Эфиопию, он открыто выступил против агрессии. Но почему он оставался в Мадриде? Сначала он работал с Ивенсом над фильмом; посылал изредка в Америку очерки. Жил он на Гран-Вия в гостинице «Флорида», недалеко от здания телефонной станции, по которому все время била фашистская артиллерия. Гостиница была продырявлена прямым попаданием фугаски. Никого в ней не оставалось, кроме Хемингуэя. Он варил на сухом спирту кофе, ел апельсины, пил виски и писал пьесу о любви. У него был домик в настоящей Флориде, где он мог бы заниматься любимым делом — ловить рыбу, мог бы есть бифштексы и писать спокойно свою пьесу. В Мадриде он всегда бывал голодным, но это ему не мешало. Его звали в Америку; он сердито откладывал телеграммы: «Мне и здесь хорошо…» Он не мог расстаться с воздухом Мадрида. Писателя привлекали опасность, смерть, подвиги. А человек говорил прямо: «Нужно расколотить фашистов». Он увидел людей, которые не сдались, и ожил, помолодел.

В «Гайлорде» Хемингуэй встречался с нашими военными. Ему нравился Хаджи, человек отчаянной смелости, который ходил во вражеский тыл (он был родом с Кавказа и мог легко сойти за испанца). Многое из того, что Хемингуэй рассказал в романе «Но ком звонит колокол» о действиях партизан, он взял со слов Хаджи. (Хорошо, что хоть Хаджи выжил! Я его как-то встретил и обрадовался.)

Я был с Хемингуэем у Гвадалахары. Он знал военное дело, быстро разобрался в операции. Помню, он долго глядел, как выносили из укрытий ручные гранаты итальянской армии — красные, похожие на крупную клубнику, — и усмехался: «Побросали все… Узнаю…»

В первую мировую войну Хемингуэй сражался добровольцем на итало-австрийском фронте; он был тяжело ранен осколками снаряда. Увидав войну, он ее возненавидел. Ему нравилось, что итальянские солдаты охотно бросают винтовки. Герой его романа «Прощай, оружие!» Фред Генри мог только одобрить их. Шла жестокая, бессмысленная война: машинная цивилизация, переживая свое отрочество, пожирала ежедневно десятки тысяч людей. Хемингуэй был вместе с Фредом. Он (не Эрнест Хемингуэй, а Фред Генри) полюбил англичанку Кэтрин; любовь эта, как и в других романах Хемингуэя, — изумительный сплав чувственности и целомудрия. Фред распрощался с. оружием: «Я решил забыть про войну. Я заключил сепаратный мир».

А у Гвадалахары, на Хараме, в Университетском городке Хемингуэй любовно оглядывал пулеметы интербригадовцев. Древние римляне говорили: «Времена меняются, и мы меняемся

вместе с ними». При одной из наших первых встреч Хемингуэй сказал мне: «Я не очень-то разбираюсь в политике, да и не люблю ее. Но что такое фашизм, я знаю. Здесь люди сражаются за чистое дело».

Хемингуэй часто ездил на КП Двенадцатой бригады, которой командовал генерал Лукач — венгерский писатель Мате Залка. В годы первой мировой войны они сидели друг против друга в окопах двух враждовавших армий. Под Мадридом они дружески беседовали. «Война — пакость», вздыхая, признавался веселый обычно Мате Залка. «И еще какая! — отвечал Хемингуэй, а минуту спустя продолжал:

— Теперь, товарищ генерал, покажите мне, где артиллерия фашистов…» Они долго сидели над картой, испещренной цветными карандашами.

(У меня случайно сохранилась маленькая любительская фотография у Паласио Ибарра: Хемингуэй, Ивенс, Реглор и я. Хемингуэй еще молодой, худой, чуть улыбается.)

Как-то Хемингуэй сказал мне: «Формы, конечно, меняются. А вот темы… Ну о чем писали и пишут все писатели мира? Можно сосчитать по пальцам — любовь, смерть, труд, борьба. Все остальное сюда входит. Война, конечно. Даже море…»

В другой раз мы разговаривали о литературе в кафе на Пуэрта-дель-Соль. Это кафе чудом уцелело между двумя разбитыми домами. Подавали там только апельсиновый сок с ледяной водой. День был скорее холодным, и Хемингуэй вытащил из заднего кармана флягу, налил виски. «Мне кажется, — говорил он, — никогда писатель не может описать все. Есть, следовательно, два выхода — описывать бегло все дни, все мысли, все чувства или постараться передать общее в частном — в одной встрече, в одном коротком разговоре. Я пишу только о деталях, но стараюсь говорить о деталях детально». Я сказал ему, что во всех его произведениях меня больше всего поражает диалог — не понимаю, как он сделан. Хемингуэй усмехнулся: «Один американский критик уверяет, и всерьез, что у меня короткий диалог, потому что я перевожу фразы с испанского на английский…»

Диалог Хемингуэя так и остался для меня загадкой. Конечно, когда я читаю роман или рассказ, которые меня увлекают, я не думаю над тем, как они сделаны. Читает читатель, но потом писатель невольно начинает задумываться над тем, что связано с его ремеслом. Когда мне понятен прием, я могу сказать, что книга написана плохо, средне или хорошо, очень хорошо, она может мне понравиться, но она меня не потрясает. А диалог в книгах Хемингуэя остается для меня загадкой. В искусстве, может быть,

самое большое, когда не понимаешь, откуда сила. Почему я полвека повторяю про себя строки Блока:

Я звал тебя, но ты не оглянулась,
Я слезы лил, по ты не снизошла…

Нет здесь ни новой мысли, над которой задумаешься, ни непривычных слов. Так и с диалогом Хемингуэя: он прост и загадочен.

Л. Ю. Брик, когда к ней однажды пришли гости, сказала, что поставит магнитофон; потом мы услышали наш разговор, и стало неприятно — мы говорили длинными «литературными» фразами. Герои Хемингуэя говорят иначе: коротко, как бы незначительно, и вместе с тем каждое слово раскрывает душевное состояние человека. Когда мы читаем его романы или рассказы, нам кажется, что именно так говорят люди. А на самом деле это не подслушанные фразы, не стенографическая запись — это эссенция разговора, созданная художником. Можно понять американского критика, решившего, что по-хемингуэевски говорят испанцы. Но Хемингуэй не переводил диалога с одного языка на другой — он его переводил с языка действительности на язык искусства.

Человек, случайно встретивший Хемингуэя, мог подумать, что он — представитель романтической богемы или образцовый дилетант: пьет, чудачит, колесит по миру, ловит рыбу в океане, охотится в Африке, знает все тонкости бои быков, неизвестно даже, когда он пишет. А Хемингуэй был работягой; уж на что развалины «Флориды» были неподходящим местом для писательского труда, он каждый день сидел и писал; говорил мне, что нужно работать упорно, не сдаваться: если страница окажется бледной, остановиться, снова ее написать, в пятый раз, в десятый.

Я многому научился у Хемингуэя. Мне кажется, что до него писатели рассказывали о людях, рассказывали норой блистательно. А Хемингуэй никогда не рассказывает о своих героях — он их показывает. В этом, может быть, объяснение того влияния, которое он оказал на писателей различных стран; не все, конечно, его любили, но почти все у него учились.

Он был моложе меня на восемь лет, и я удивился, когда он мне рассказал, как жил в Париже в начале двадцатых годов точь-в-точь как я на восемь лет раньше; сидел за чашкой кофе в «Селекте» — рядом с «Ротондой» — и мечтал о лишнем рогалике. Удивился я потому, что в 1922 году мне казалось, что героические времена Монпарнаса позади, что в «Селекте» сидят богатые американские туристы. Л там сидел голодный

Хемингуэй, писал стихи и думал над своим первым романом.

Вспоминая прошлое, мы узнали, что у нас были общие друзья: поэт Блез Сандрар, художник Паскин. Эти люди чем-то напоминали Хемингуэя; может быть, чрезмерно бурной жизнью, может быть, сосредоточенным вниманием к любви, к опасностям, к смерти.

Хемингуэй был человеком веселым, крепко привязанным к жизни; мог часами рассказывать о какой-то большой и редкой рыбе, которая проходит поблизости от берегов Флориды, о бос быков, о различных своих увлечениях. Однажды он неожиданно прервал рассказ о рыбной ловле: «А все-таки в жизни есть свой смысл… Я думаю сейчас о человеческом достоинстве. Позавчера возле Университетского городка убили американца. Он два раза приходил ко мне. Студент… Мы говорили бог знает о чем — о поэзии, потом о горячих сосисках. Я хотел познакомить тебя с ним. Он очень хорошо сказал: «Большего дерьма, чем война, не придумаешь. А вот здесь я понял, зачем я родился, — нужно отогнать их от Мадрида. Это как дважды два…» — И, помолчав, Хемингуэй добавил:

— Видишь, как получается, — хотел распрощаться с оружием, а не вышло…»

Он тогда писал: «Впереди пятьдесят лет необъявленных войн, и я подписал договор на весь срок. Не помню, когда именно, но я подписал». Это говорит одни из героев Хемингуэя, но это повторял не раз и автор.

Запомнился еще один разговор. Хемингуэй сказал, что критики не то дураки, не то прикидываются дураками: «Я прочитал, что все мои герои неврастеники. А что на земле сволочная жизнь — это снимается со счета. В общем, они называют «неврастенией», когда человеку плохо. Бык на арене тоже неврастеник, на лугу он здоровый парень, вот в чем дело…»

В конце 1937 года я возвращался из Теруэля в Барселону. У моря цвели апельсиновые деревья, а под Теруэлем, который расположен высоко, мы мерзли, чихали. Я приехал в Барселону продрогший, замученный и крепко уснул. Проснулся я оттого, что кто-то меня тряс: надо мной стоял Хемингуэй. «Ну что, возьмут Теруэль? — спросил он. — Я туда еду с Капой». В дверях стоял мой друг фотограф Капа (он погиб во время войны в Индокитае). Я ответил: «Не знаю. Началось хорошо… Но говорят, что фашисты подтягивают резервы». Я окончательно проснулся и в ужасе посмотрел на Хемингуэй — он был одет по-летнему. Ты сошел с ума — там собачий холод!» Он засмеялся: «Топливо со мной», — и начал вытаскивать из разных карманов фляги с виски. Он был бодрым, улыбался: «Конечно, трудно… Но их все-таки

расколотят…» Я дал ему имена испанских командиров, сказал, чтобы он нашел Григоровича: «Он тебе поможет». Мы распрощались на испанский лад — похлопали друг друга по спине. У Хемингуэя сохранилась фотография: я в постели, а он надо мной, и этот снимок был помещен в американской книге о его жизни.

Когда в июне 1938 года я вернулся в Испанию, Хемингуэя там уже не было. Запомнился он мне молодым и худым; я его не узнал, увидев десять лет спустя фотографию толстого дедушки с большой белой бородой.

Я с ним снова встретился в конце июля 1941 года. В Москве почти каждую ночь были воздушные тревоги; нас загоняли в убежище. Захотелось выспаться, и с Б. М. Лапиным мы решили провести ночь в Переделкине на пустовавшей даче Вишневского. Мне дали рукопись перевода романа Хемингуэя «По ком звонит колокол». Мы так и не выспались — с Борисом Матвеевичем всю ночь читали, передавая друг другу прочитанный лист. На следующий день Лапин должен был уехать под Киев, откуда он не вернулся. Громыхали зенитки, а мы все читали, читали. Роман был об Испании, о войне; и когда мы кончили, мы молча улыбнулись.

Это очень печальная книга, но в ней — вера в человека, любовь обреченная и высокая, героизм группы партизан во вражеском тылу, с которыми находится американский доброволец Роберт Джордан. В последних страницах книги — утверждение жизни, мужества, подвига. Роберт Джордан лежит на дороге с раздробленной ногой: он отослал своих товарищей. Он один. У него ручной пулемет. Он может застрелиться, но хочет, умирая, убить несколько фашистов. Хемингуэй прибег к внутреннему диалогу; вот короткий отрывок: «…Все шло так хорошо, когда ударил этот снаряд, — подумал он. — Но это еще счастье, что он не ударил раньше, когда я был под мостом. Со временем все это у нас будет налажено лучше. Коротковолновые передатчики — вот что нам нужно. Да, нам много чего нужно. Мне бы, например, хорошо бы иметь запасную ногу… Послушай, а может быть, все-таки сделать это, потому что, если я потеряю сознание, я не смогу справиться и меня возьмут и будут задавать мне вопросы, всякие вопросы, и делать всякие вещи, и это будет очень нехорошо… Плохо ты с. этим справляешься, Джордан, сказал он. Плохо справляешься. А кто с этим хорошо справляется? Не знаю, да и знать не хочу. Но ты — плохо. Именно ты — совсем плохо. Совсем плохо, совсем. По-моему, пора сделать это. А по-твоему? Нет, не пора. Потому что ты еще можешь делать дела. До тех пор, пока ты еще знаешь, что это ты должен делать дело. До

тех пор, пока ты еще помнишь, что это ты должен ждать. Идите же! Пусть идут! Пусть идут! Ты думай о тех, которые ушли, сказал он. Думай, как они пробираются лесом. Думай, как они переходят ручей. Думай, как едут в зарослях вереска. Думай, как они поднимаются но склону. Думай, как сегодня вечером им уже будет хорошо… Я больше не могу ждать, сказал он. Если и подожду еще минуту, я потеряю сознание… Но если дождешься и задержишь их хотя бы ненадолго или если тебе удастся убрать офицера, это может многое решить…» Внутренний диалог кончается: «Счастье Роберта Джордана не изменило ему, потому что в эту самую минуту кавалерийский отряд выехал из леса и пересек дорогу…»

Название романа Хемингуэй взял из стихов английского поэта XVII века Джона Донна и поставил эпиграфом: «Нет человека, который был бы, как остров, сам по себе; каждый человек есть часть материка, часть суши; и если волной смоет в море береговой утес, меньше станет Европа, и также если смоет край мыса или разрушит дом твой или друга твоего, смерть каждого человека умаляет и меня; ибо я един со всем человечеством; а потому не спрашивай никогда, по ком звонит колокол, он звонит по тебе».

Эти стихи могут стоять эпиграфом ко всему, что написал Хемингуэй. Менялись времена, менялся и он, но неизменно в нем оставалось то ощущение связи одного человека со всеми, которое мы часто называем по-книжному «гуманизмом».

После смерти Хемингуэя я прочитал статью в одной американской газете: критик уверял, что гражданская война в Испании была для писателя случайным эпизодом — между боем быков и охотой на носорогов. А это неправда. Хемингуэй не случайно оставался в осажденном Мадриде, не случайно во время второй мировой войны, будучи военным корреспондентом, вместо того чтобы сидеть в штабах, отправился французским партизанам, не случайно приветствовал победу сторонников Фиделя Кастро. В его жизни была своя линия.

В августе 1942 года, в очень скверное время, я писал: «Хотелось бы встретить Хемингуэя после большой, всеевропейской Гвадалахары фашизма. Мы должны защитить жизнь — в этом призвание нашего злосчастного поколения. А если не удастся мне, многим из нас увидеть своими глазами торжество жизни, то кто не вспомнит в последний час американца с разбитой ногой на кастильской дороге, маленький пулемет и большое сердце!»

Роман «По ком звонит колокол» многие поносили. Одно дело старик и море, другое молодость и война за человеческое

достоинство. Ругали роман разные люди и по-разному: одних возмутило, что Хемингуэй оправдывает войну и что, увлекшись временным, он забыл про искусство, другим не нравились описания отдельных эпизодов гражданской войны, третьим страницы, посвященные Андре Марти. (Стоит писателю сказать нечто за пятьдесят лет или хотя бы за день до того, как это становится общеизвестной истиной, на него все обрушиваются. Но если бы писатели старательно переписывали аксиомы, то они были бы заправскими дармоедами.)

Когда я был весной 1946 года в Соединенных Штатах, я получил письмо от Хемингуэя; он звал меня к себе на Кубу; с нежностью вспоминал Испанию. Поехать на Кубу мне не удалось. Незадолго до смерти Хемингуэй мне передал привет: надеется, что скоро встретимся. Я тоже надеялся…

И вот короткая газетная телеграмма… Сколько раз сообщали о смерти Хемингуэи — и в 1944 году, и десять лет спустя, когда над Угандой разбился самолет, в котором он летел. Потом следовали опровержения. Теперь опровержения не было… Хемингуэй никогда не говорил мне о том, что его отец, врач, кончил жизнь самоубийством; об этом я узнал от общих друзей. Герой романа «По ком звонит колокол» в последнюю минуту думает: «Я не хочу делать то, что сделал мой отец. Я сделаю, если понадобится, но лучше бы не понадобилось. Я против этого. Не думать об этом». Хемингуэй решил вопрос иначе, нежели Роберт Джордан. Смерть как-то сразу вошла в его жизнь, и о нем можно сказать без натяжки: умер, как жил.

А я, оглядываясь на свой путь, вижу, что два писателя из числа тех, кого мне посчастливилось встретить, помогли мне не только освободиться от сентиментальности, от длинных рассуждений и куцых перспектив, но и попросту дышать, работать, выстоять, — Бабель и Хемингуэй. Человеку моих лет можно в этом признаться…

24

Обязанности военного корреспондента, а может быть, и моя непоседливость заставляли меня все время кочевать. Один из шоферов, молодой Аугусто, ночью боялся заснуть у рули и просил: «Расскажи, какие дороги в Китае». Я ему говорил, что никогда в Китае не был; он скептически усмехался: «Удивительно! Я гляжу на тебя не можешь две ночи подряд переночевать в одной комнате…»

Я просмотрел подшивку «Известий» за апрель 1937 года. 7-го я был возле Мората-де-Тахунья, где шли бои за «седьмую дорогу»; 9-го описывал атаку в Каса-дель-Кампо; 11-го писал про бомбежку Сагунто; 17-го сообщал из Валенсии о документах, найденных на немецком летчике; 21-го передавал из-под Теруэля об очередном наступлении; 26-го бродил по городу Пособланко на Южном фронте.

Да и разные у меня были занятия, кроме газетной работы. В секретариате по пропаганде мне рассказали, что Франко мобилизовал молодых крестьян; нужно им объяснить, почему республиканцы воюют против фашистов; а листовок солдаты не подбирают — боятся.

Испанцы редко курят изготовленные на фабрике сигареты, предпочитают самокрутки. В республиканской Испании не было табака. У фашистов был табак, по не было папиросной бумаги, которая выделывалась в Леванте; она поступала в продажу в виде маленьких книжиц. Я предложил на каждом десятом листочке напечатать то, что нужно, а книжки с маркой старой солидной фирмы бросать в окопы противника. Дело оказалось сложным: пришлось самому ездить на фабрику, уговаривать выполнить заказ.

Потом и видал перебежчиков с «пропуском» — листиком папиросной бумаги. Курить хотелось всем, и, хотя фашистские офицеры уверяли, будто бумага отравленная, «книжки» охотно подбирали.

Как-то в Валенсии, в гостинице «Виктория», где я обычно останавливался, ко мне подошел швейцарец, представитель Красного Креста. Он сказал, что в фашистской тюрьме находятся советские летчики, взятые в плен. Франкисты согласны их обменять на пленных немецких офицеров. Он дал мне список. Я сразу понял, что ни один из летчиков не назвал себя — фамилии были прозвищами, придуманными для Испании (почему-то часто выбирали отчества Иванович, Михайлович, Петрович, и фамилии звучали, как сербские). Я тотчас передал список Г. М. Штерну.

Год спустя с сотрудником советского посольства я стоял возле моста, соединяющего французский пограничный город Андай (в наших газетах писали «Хендай») с испанским Ируном, захваченным в начале войны фашистами. Обмен произошел на мосту. Наши летчики выглядели ужасающе — измученные, изголодавшиеся, в лохмотьях. Мы их прежде всего накормили. Было это вечером, магазины давно позакрывались, а летчиков необходимо было одеть. Товарищи повели меня к владельцу магазина готового платья, который слыл «сочувствующим», объяснили ему, в чем дело; час спустя летчики могли сойти за иностранцев, возвращающихся с курорта. Они сдержанно, спокойно рассказывали о пережитом; только когда их провели в спальный вагон и они увидели постеленные койки, сверкающие простыни, один не выдержал — я увидел в его глазах слезы. Генерал Захаров, с которым я встречался в Испании, а лотом на Белорусском фронте (он командовал авиационным соединением, куда входил французский полк «Нормандия — Неман»), недавно рассказал мне, что некоторые из этих летчиков живы, он знает, где они находятся. Я обрадовался: случайно я затесался в их судьбу.

Я не соблюдаю хронологической последовательности: в памяти клубок городов и дат; да я и не пытаюсь дать историю испанской войны; мне хочется рассказать о том, чем я жил и какой видел Испанию весной 1937 года.

Разные города жили по-разному. Мадрид был фронтом. Валенсия неожиданно стала столицей, искусственной и неправдоподобной, а Барселона оставалась Барселоной — большим городом, с буржуазией, с анархистами, с традициями баррикад и предательств, с сотнями баров на людной Параллели, с беспечностью и вместе с тем трагичностью. Появились карточки, очереди; но душа города не изменилась.

Я думал, что после февральского обстрела крейсером барселонцы насторожатся, одумаются. Но похоронили убитых, расчистили улицы — и жизнь потекла по-прежнему. Устроили Неделю войны: театры должны были ставить военные пьесы, по радио передавали антифашистские речи, на улицах пестрели плакаты «Все на фронт!». Пожалуй, это убедительнее всего говорило о легкомыслии Барселоны: тридцать пятую неделю ожесточенных боев и бомбежек объявили Неделей войны. Кончилась Неделя — и в театрах возобновили легкие комедии, а в витринах книжных магазинов вместо брошюр, изданных секретариатом пропаганды, снова появились романы, анархистские теоретические книги и сочинения, посвященные сексуальной проблеме.

Однако куда опаснее беззаботности были внутренние распри. Я был далеко от Каталонии, на Южном фронте, когда в Барселоне шли уличные бои между анархистами и штурмовой гвардией. Выдавать происшедшее только за провокацию так же наивно, как увлечение дореволюционных эсеров террором объяснять заданиями Азефа. Для анархистов государство было злом, и хотя в правительство Кабальеро входили представители СНТ, барселонская и арагонская вольница продолжала «углублять революцию». Когда в начале июня я снова увидел Барселону, я понял, что нет ни подлинного единства, ни доверия. Франко был далеко, и различные партии с опаской, порой с неприязнью поглядывали одна на другую. Каталонская буржуазия, вначале поддерживавшая Компаниса, была напугана и анархистами, и усилением власти центрального правительства. Рабочие, находившиеся под влиянием СНТ — ФАИ, считали, что коммунисты, объединившись с Прието, «предали революцию».

Правда, кое-где на Арагонском фронте колонны, став дивизиями, несколько подтянулись. Были в Барселоне рабочие, понимавшие, что прежде всего нужно разбить Франко. Помню собрание на заводе «Дженерал моторс»: решили работать по десяти часов в день, чтобы дать армии больше грузовиков; один старый синдикалист кричал: «Мало десять, нужно шестнадцать!..» Но куда чаще приходилось слышать ожесточенные споры. Порой убивали из-за угла. Барселона, на вид веселая и беспечная, металась в лихорадке.

В Валенсии разместилось правительство, и город заполнили чиновники, беженцы из Мадрида, из городов, захваченных фашистами, дипломаты, журналисты. На площади Кастеляр висело давно вылинявшее полотнище: «Отсюда всего 150 километров до фронта!»

От Мадрида до фронта не было и пяти километров, но даже в Мадриде молодежь танцевала, суды разбирали дела о разводах, профсоюз официантов обсуждал новые ставки, и мальчишки выпрашивали у интербригадовцев заграничные почтовые марки. А Валенсия, по испанским понятиям, была глубоким тылом. Не будь частых ночных тревог, а порой бомбежек да наплыва беженцев, можно было позабыть, что война в самом деле недалеко.

Бульвары были обсажены апельсиновыми деревьями, плоды валялись на земле. Стояли очереди за мясом, за молоком; апельсинов было слишком много, они гнили в порту, куда редко заглядывали иностранные суда. Кафе были переполнены; посетители гадали, где начнется наступление — под Мадридом, у Кордовы или на Арагонском фронте. Толковали и о других битвах

— политические бури не притихали. Кабальеро вышел в отставку и обличал Прието. Помню, как все в Валенсии передавали последнюю новость: Кабальеро хотел выступить на митинге в Аликанте, но его задержали на дороге мотоциклисты. Председатель Арагонского комитета, непримиримый анархист Аскасо, отказался признать правительство Негрина. Асанья огорчался и молчал. Компанис говорил, но тоже огорчался. Каждый день в Валенсию приезжали командиры с различных фронтов, требовали оружия.

В одном из посольств Латинской Америки, куда пригласили журналистов, я увидел фашистов, вывезенных из Мадрида; какая-то дама повторяла: «Это такой ужас, такой ужас!..»

В гостинице «Виктория», где я жил, иностранные журналисты пили коктейли, по вечерам играли в покер, жаловались на скуку.

Иногда устраивали митинги на площади. Иногда обнаруживали шпиона в «Виктории». Жара стояла несносная; с окрестных рисовых полей шла горячая сырость.

Зимой я часто встречался в Валенсии с Андре Мальро: его эскадрилья стояла неподалеку от города. Это человек, который всегда живет одной страстью; я знал его в период увлечения Азией, потом Достоевским и Фолкнером, потом братством рабочих и революцией. В Валенсии Он думал и говорил только о бомбежках фашистских позиций, а когда Я заговаривал о литературе, дергался и замолкал. У французских добровольцев были старенькие, плохие самолеты, но, пока республиканцы не получили советской техники, эскадрилья, созданная Мальро, Сильно им помогала. Однажды он рассказал мне эпизод, который потом Описал в романе «Надежда» и сделал стержнем снятого им в Испании фильма. Из фашистской зоны пришел крестьянин, сказал, что покажет, где находится фашистский аэродром. Крестьянина французы взяли с собой; но он не мог с высоты распознать местность. Летчику пришлось лететь на малой высоте. На аэродром сбросили бомбы, но самолет обстреляли, механик был тяжело ранен. В Валенсии дли Мальро это было не литературным сюжетом, а боевыми буднями: он воевал.

В «Метрополе» жили некоторые наши военные. Во всех соседних домах жители разводили кур. Ксанти (майор Хаджи) ложился спать поздно, и на заре его неизменно будили петухи. Он жаловался: «Черт знает что! Да не будь я советским, я бы перестрелял всех петухов…»

Я поехал снова в Альбасете. До войны это был захолустный город, торговавший шафраном и ножами; достопримечательностей в нем не было, и туристы здесь не останавливались. В Альбасете формировались

интернациональные бригады. Город подвергся сильным налетам фашистской авиации и напоминал разбомбленные предместья Мадрида. Мне запомнились в музее Христос на кресте со свежей раной от осколка бомбы и среди развалин большого кафе клочок старой афиши «Сегодня бал в Капитолии».

Пока я ходил по городу, в гостиницу пришли два человека из штаба Марти, обыскали мою комнату и нашли несколько номеров французской газеты «Тан». Они меня ждали и повели в штаб. Там выяснилось, что я — корреспондент «Известий», и кто-то, гаркнув, что произошло «недоразумение», пошел докладывать начальнику.

Часа два я проговорил с Андре Марти; это был человек честный, но легко подозревавший других в предательстве, вспыльчивый и не раздумывавший над своими решениями. После этого разговора у меня осталась горечь: он говорил, а порой и поступал, как человек, больной манией преследования.

Я утешился вечером с интербригадовцами. Здесь были испанцы, французы, немцы, итальянцы, поляки, сербы, англичане, негры, русские эмигранты. Пели и «Молодую гвардию», как в предместьях Парижа, и традиционное «Красное знамя» итальянцев, и печальную песенку Мадрида о Французском мосте и четырех генералах, и нашу про волочаевские дни, и болгарские с понятными словами, с незнакомой восточной мелодией, похожие на водоворот звуков, вспоминали далекие города, шутили, подбадривали друг друга.

Много лет спустя на первых конгрессах сторонников мира, когда молоденькие делегаты пели, подымали вверх пестрые платочки, неистово аплодировали, я вспоминал Испанию: их отцов или старших братьев я видел в Альбасете, многие из них погибли под Мадридом, под Уэской, на Хараме. Не верится даже, что в тридцатые годы нашего века могла подняться из народных глубин большая и одинокая волна братства, самопожертвования. Верность заверяли тогда не подписями, не речами, а своей кровью. О каждом из этих людей можно было бы написать необыкновенную книгу. А книг не написали: пришла вторая мировая война, и потоки крови смыли кровавые капли на камнях Кастилии или Арагона.

В конце апреля я поехал в Андалузию, где шли бои за кусок земли, который называли «Эстремадурским клином». От Мотриля до Дон-Бенито — сотни километров. Можно с равным правом сказать, что никакого фронта там не было и что фронт был повсюду.

В окрестностях Гренады верхушки гор были заняты республиканцами или фашистами, а между ними в долинах крестьяне, привыкшие к выстрелам, как к грозам, пасли отары

овец. Порой даже дороги не охранялись. Я видел бойца-анархиста, который взял в плен двух фашистских офицеров — они прикатили в машине, не зная, где находится противник (а это было у Адамуса возле Кордовы, то есть на самом оживленном секторе Южного фронта).

Фашисты старались прорваться к Альмадену: их соблазняла ртутная руда. Несмотря на бомбежки, на голод, горняки продолжали работать. Фашистам подбросили итальянскую дивизию «Голубые стрелы», и они подошли вплотную к Пособланко. Этот городок отчаянно бомбили; его крошила артиллерия. Силы были слитком неравными. Но республиканцы удержали Пособланко. Ими командовал кадровый полковник Перес Салес, по-старомодному учтивый, с седой щетиной. Трудно разгадать людей по виду; я глядел на него и думал: вот ехал бы я в поезде, а напротив сидел бы такой человек, да разве я понял бы, на что он способен?… Перес Салес говорил мне: «Я не коммунист, не анархист, я, знаете ли, самый обыкновенный испанец. Ну что я мог сделать? Застрелиться нечестно. Вот в том окопе мы отстреливались. Два пулемета… У них было девять батарей. Только не подумайте, что это хвастовство. Я вам говорю: другого выхода у нас не было. Я мало разбираюсь в политике, но я испанец, я люблю свободу…»

На выручку защитников Пособланко пришел батальон, который назывался «Батальоном имени Сталина»; он состоял из андалузцев, главным образом горняков Линареса, где добывают свинец. Командовал батальоном толстый веселый южанин Габриель Годой. Он рассказал мне, что с детства работал на рудниках; походил он на добродушного медведя и признался, что пишет стихи.

В Андалузии было мало порядка, но еще много нерастраченного жара. В Хаэне меня заставили рассказывать о Маяковском; началась бомбежка, никто не двинулся с места, продолжали жадно слушать.

А бомбили Хаэн сильно; там я увидел сцену, которую мучительно вспоминаю даже после последней войны, после всего, на что мы нагляделись. Осколок бомбы сорвал голову девочки. Мать сошла с ума — не хотела отдавать тело дочки, ползала но земле, искала голову, кричала: «Неправда! Она живая…»

На одной из улиц Хаэна я долго глядел на старого гончара, который делал кувшины. Кругом были развалины домов, а он спокойно мял

В Пособланко бомба снесла крышу суконной фабрики. Станки уцелели, и в полупустом городе, разбитом снарядами, без крова, без хлеба, рабочие возобновили работы; изготовляли солдатские

одеяла. Я постоял и подумал: все-таки они должны победить! Это против логики, против здравого смысла армия Франко становится все сильнее, но нет. мысль не мирится с тем, что останутся напрасными такое мужество, такая душенная щедрость.

Я возвращался из Пособланко в Валенсию; путь был долгим, можно было о многом подумать. Шофер, веселый андалузец, пел печальные фламенко. А я почему-то вспомнил село Буньоль в Леванте; там было семь тысяч душ. Это село приютило три тысячи беженцев — из Мадрида, Малаги. Эстремадуры. В каждом доме я видел чужих детей. В одном доме меня заставили остаться, поставили на стол миску с супом. «Сколько вас?» — спросил я хозяйку. «Шестеро, а теперь еще трое — из Мадрида». — «Справляетесь?» Она улыбнулась: «Справляемся. А не хватит, потерпим, гостей не обидим…»

Вот об этом я тоже думал — о благородстве. Нигде я не сталкивался со скаредностью, с желанием сохранить свое добро или, хуже того, разбогатеть на чужой беде. Кормили меня хорошо — я был русским. Кормили Аугусто — он из Мадрида. Но кормили еще и Пепе, и Кончиту, и Фернандо, не спрашивая, откуда они, говорили: «Время такое…» Полковник Перес Салес сказал, что воюет за свободу; я так и не добился от него, о какой свободе он думал, вероятно о главной — достойно прожить, достойно умереть. Анархист Пепе, тот, что дополз до окопов фашистов и раскидал курительную бумагу с призывами, говорил мне, что воюет за новый мир. Все будут трудиться. «Твой земляк Бакунин правильно рассуждал — к черту ангелов, министров, генералов, полицейских! Без них будет лучше…» Шофер был коммунистом; он сказал мне, что умнее всех Хосе Диас; когда расколотят фашистов, люди пойдут учиться; а ему хочется научиться писать такие пьесы, чтобы все плакали и смеялись, даже старый Перес Салес…

Была короткая южная весна, и в долинах зеленела трава, краснели маки. Иногда горы наползали на дорогу, иногда раскрывалась даль: домик, несколько зеленых дубов, речушка. Мы пересекали Ламанчу. Вот, наверно, на этом постоялом дворе заночевал Рыцарь Печального Образа…

Я думал о книге, которую люблю с детства. Конечно, «Дон Кихот» переведен на все языки, он волнует людей за тысячи верст от Ламанчи; но написать эту книгу мог только испанец. Есть в ней чудесный сплав пафоса и сатиры, благородства и унижения, жестокой морали басен и самой высокой поэзии; и напрасно придумали, что толстяк Санчо Панса противопоставлен Дон Кихоту, их не разделить никакими испытаниями. Я думал об этом, потому что видел не раз, как шли рядом навстречу смерти

Дон Кихот и Санчо.

«Свобода, Санчо, есть одна из самых драгоценных щедрот, которые небо изливает на людей; с нею не могут сравниться никакие сокровища: ни те, что таятся в недрах земли, ни те, что сокрыты на дне морском… и, напротив того, неволя есть величайшее из всех несчастий, какие только могут случиться с человеком». Я вспомнил и эти слова. Зря я спрашивал старого полковника, о какой свободе он думает; он ведь сказал, что он испанец, Дон Кихот из Пособланко, Дон Кихот в 1937 году…

25

В Сариньене я часто бывал еще в те времена, когда ездил с кинопередвижкой. Теперь здесь помещалась группа наших советников. За столом сидел низкий плотный человек, очень мрачный; перед ним лежала карта и номер «Правды». Я сказал, что должен передавать в «Известия» о ходе боев за Уэску. Он налил мне из кувшина холодного чая. «Такой жары, кажется, еще не было…» Показал на карте деревню Чемильяс. «Задача — перерезать дорогу на Хаку. Ясно?» Он помолчал и вдруг скороговоркой спросил: «Новости знаете? Тухачевский, Якир, Уборевич — к расстрелу. Враги народа…» Он бросил на пол недокуренную папиросу, тотчас закурил другую и, наклонившись низко к карте, стал насвистывать что-то залихватское. Лицо у него еще сильнее помрачнело. Он долго рассматривал карту и, кажется, забыл о моем присутствии; полчаса спустя, взглянув на меня, угрюмо сказал: «Так вы говорите, в «Известия»?… А Кольцов где?… Дорога на Хаку, вот здесь домбровцы — командует Херасси, здесь гарибальдийцы — Паччарди… Лукач вам все расскажет. Он, кажется, еще в Каспе. Пейте — в машине будет хуже…»

День был действительно на редкость знойным. Кругом пылали скалы: ни дерева, ни травинки — рыжая каменная пустыня. Я сидел рядом с водителем и по глупости высунул в оконце голую руку — машина шла быстро, казалось, что хоть руку обдувает ветерок. В Каспе Лукача не оказалось, сказали, что он далеко — в Игриесе. Рука распухла, и меня лихорадило. Игриес, с глиняными домиками на склоне голой горы, напоминал раскаленный аул. Там я в последний раз увидел генерала Лукача, или, говоря точнее. Мате Залку. Обидно, что я плохо запомнил ту встречу: мне было не по себе, может быть от ожога, может быть и от разговора в Сариньене. Залка был усталым, признался, что У него мигрень; ругал меня: «Руку вы должны беречь: как-никак писатель…» Только прощаясь, он вдруг улыбнулся: (Скажите, вам не хочется на дачу? Ну на денек?…»

На следующий день я поехал из Барбастро в Игриес; там мне сказали, что КП Лукача в деревне Апиес. Мы ехали по дороге, которая петляла, несколько раз я спрашивал, туда ли мы едем; вдруг один боец, сам не свой, выкрикнул: «На нижней дороге… Снаряд… Генерала…» Я повернул назад; мы ехали долго. Каменный дом: здесь госпиталь. Сначала меня не пускали; потом пришел врач. «Лукач в безнадежном состоянии. Реглеру сделали переливание крови, его жизнь вые опасности, но ранение

тяжелое. Шофер ранен в голову, он сидел рядом с генералом. Ваш соотечественник отделался легко — рана в ногу; его только что увезли…»

Я передал в «Известия», что Залка убит, Реглер ранен. На следующий день, разговаривая с. редакцией, я спросил, напечатано ли мое сообщение о Реглере, — я знал, что его жена в Москве, и боялся, что до нес может дойти телеграмма, напечатанная и одной из мадридских газет, о смерти Реглера. Мне ответили: в «Правде» напечатано, что Реглер убит. «Мы не можем опровергать «Правду»…» Я связался по телефону с Кольцовым, который был в Валенсии. Михаил Ефимович хмыкнул: «Ну и дураки!.. Хороню, сейчас передам. Кланяйтесь Реглеру… Мате жалко…»

На следующий день началось наступление. Я звонил по два раза в день: Чемильяс, Сац-Рамон, «хейнкели», «фиаты», воздушные бои, атаки, контратаки…

Наступление не удалось. Части, стоявшие вокруг Уэски, бездействовали. Бои шли только за дорогу на Хаку. Танки опоздали. У интербригадовцев потери были большие. Пять или шесть дней спусти все кончилось.

Я сейчас думаю не об Уэскс — о генерале Лукаче. Рассказывая о людях, которых я знал, я начинаю рассказ с того дня, когда я их впервые увидел или когда случайное знакомство превратилось в нечто другое, когда они вошли в мою жизнь; а рассказ о Мате Залке я начал с его смерти; она меня потрясла.

Да и узнал я его незадолго до конца; все мои воспоминания относятся к марту — апрелю 1937 года: Бриуэга, различные КП, потом две деревни, где Двенадцатая бригада отдыхала (под бомбежками), Фуэнтес и Меко, снова КП возле Мората-де-Тахунья, Мадрид и выжженная деревня Игриес.

В Советском Союзе я раза два или три видел Мате Залку; но мы здоровались, и всё, а общих друзей у нас не было. Мате Залку я не знал встретил и полюбил генерала Лукача, венгра, защищавшего испанский народ, писателя, променявшего письменный стол на поле боя.

Конечно, когда я беседовал с Лукачем, я видел Мате Залку; хотя он много в жизни провоевал, он не стал военным; его подход к людям был продиктован участливостью, пониманием писателя, который знает куда лучше клубки страстей, нежели квадраты карты.

Я перечитал его роман «Добердо»; видно, что у Залки был настоящий дар, но его жизнь сложилась так, что в литературе он до конца чувствовал себя неуверенным дебютантом. Ему не было и восемнадцати лет, когда он выпустил книжицу рассказов. А

отец готовил его для другой карьеры: до срока отдал в армию. Молодой Мате попал в военную школу, потом на фронт. В 1916 году он оказался в плену, послали его в лагерь, в далекий Хабаровск. После Октябрьской революции он составил отряд из бывших военнопленных и сражался на Дальнем Востоке за Советскую власть, воевал на Урале, на Украине, принял участие в освобождении Киева, в 1920 году участвовал в штурме Перекопа. Кончилась война, но Залка продолжал жить бурно, служил в продотрядах, писал агитационные рассказы; сблизился и подружился с Фурмановым; ходил на собрания рапповцев. Только в тридцатые годы он всерьез задумался над своей писательской работой и роман «Добердо» кончил за несколько недель до отъезда в Испанию. Залка родился писателем. Войны навязывала эпоха, а место в строю подсказывала совесть.

После победы у Гвадалахары и до операции у Мората-де-Тахунья (ее называли «разведкой боем», и она стоила многих жертв) в деревне Фуэнтес Мате Залка мне говорил: «Если меня не убьют, напишу лет через пять… «Добердо» — это все еще доказательства. А теперь и доказывать ни к чему — каждый камень доказывает. Надо только суметь показать человека, какой он на войне. И не сорвать голоса… Я не люблю крика…»

Когда Залка погиб, ему был сорок один год. Незадолго до смерти, в день своего рождения, он писал: «Думал о судьбе, о превратностях жизни, о прошедших годах и остался собой недоволен. Мало сделано. Мало успехов. Мало достигнуто». Снисходительный к другим, он был строг к себе. А на его писательском пути то и дело оказывались «превратности жизни».

Валенсия торжественно хоронила прославленного генерала Лукача, только несколько боевых друзей знали, что прощаются с Мате Залкой, с писателем, не написавшим той большой книги, о которой он мечтал.

Веселый, общительный, он любил тишину; чуть ли не всю жизнь слышал пальбу, спал, как он говорил, «держа ухо на земле», а умел услышать биение человеческого сердца; он громко жил, но говорил тихо.

Может быть, писательский дар помогал ему понять солдата? Его все любили, а командовал он людьми, у которых не было не только общего языка, но порой и общих идей; в частях, находившихся под его командованием, были польские шахтеры, итальянские эмигранты — коммунисты, социалисты, республиканцы, рабочие из красных предместий Парижа и французские антифашисты всех оттенков, виленские евреи, Испанцы, ветераны первой мировой войны, зеленые подростки.

Я ездил в штаб Двенадцатой бригады и с Хемингуэем, и с

Савичем, и один. Почему-то все мы любили бывать у Лукача, у его боевых друзей. Советником бригады был умный и душевный Фриц (я о нем упоминал). Непосредственными помощниками Лукача были двое болгар — порывистый, неуемный Петров (Козовский) и начальник штаба, тихий, скромный Белов (Луканов). Помню, в Фуэнтес они раздобыли козленка, и Петров жарил его на сухой лозе; вышел настоящий пир. Испанский художник, мой давний друг Фернадо Херасси работал сначала в штабе Залки, потом командовал батальоном. Был и в Меко со Стефой, которая приезжала повидать мужа. Адъютанта Залки Алешу Эйснера я тоже знал по Парижу. Его увезли из России, когда он был мальчиком; в Париже он писал стихи и произносил страстные коммунистические речи на любом перекрестке. В Испании он ездил на коне, обожал генерала Лукача, заводил литературные разговоры и с восхищением поглядывал на Хемингуэя. В Москву он приехал в скверное время и узнал на себе, что такое «культ личности». Отрезанный от мира, он душевно сохранился лучше многих, и в 1955 году я увидел того же энтузиаста. Комиссаром бригады был Реглер; он тоже любил поговорить о литературе и все время что-то записывал в тетрадку. Залка смеялся: «Смотри, он уж обязательно роман напишет, и толстый…» Среди командиров батальонов помню Янека, французского социалиста Бернара, храброго и обаятельного Паччарди. Венгр Нибург всегда ходил чуть опираясь на палку. Так он пошел в атаку на следующий день после смерти Лукача и погиб.

Раненый Реглер, придя в сознание, сказал: «Идите к Лукачу, нужно спасти Лукача…» (От него скрыли, что генерал убит.) А два дня спустя среди бойцов я встретил тщедушного еврея, сына галицийского хасида, путавшего все языки Европы, четыре раза раненного под Мадридом; он всхлипывал: «Это был человек…»

В Мората-де-Тахунья Лукач был мрачен, говорил: «Это испанское Добердо». Нужно было прощупать противника, занять сильно укрепленные позиции и назавтра их оставить. Лукач волновался перед наступлением на Уэску: понимал, что вся тяжесть удара ляжет на интербригадовцев. Людей он берег, а себя нет и погиб оттого, что, торопясь на КП, поехал по обстреливаемой дороге, по которой запрещал ездить другим.

Хемингуэй, когда мы возвращались в Мадрид из Фуэнтес, сказал мне: «Я не знаю, какой он писатель, но я его слушаю, гляжу на него и все время улыбаюсь. Замечательный человек!..»

Лукач был веселым, всех умел развеселить — бойцов, крестьян, журналистов. Был у него свой номер: на зубах он выщелкивал различные арии; пел, и каких только песен он не

знал! Однажды он при мне пошел танцевать с испанскими крестьянками, танцевал лихо и, вернувшись к нам, сказал: «Не забыл. Все-таки венгерский гусар…»

Он любил Венгрию; как-то сказал мне: «Жалко, что вы не видели пусты [7]. Я здесь часто вспоминаю… Венгрии очень, очень зеленая…»

Его называли Матвеем Михайловичем; он долго прожил в Советском Союзе; там оставил жену, дочку, называл их «моим тылом»; любил нашу страну, рассказывал, как хорошо летом на Полтавщине, любил русский характер и все же оставался венгром — сказывалось это и в певучем выговоре слов, и в поэтичности, и в душевной порывистости, которую он старался тщательно скрыть.

«Война — ужасная пакость» — это он не раз говорил; не было в нем никакого удальства, никакой воинственной позы. Вернувшись в Москву, я прочитал его письма жене, дочери. Он писал прямо, как на духу: «Теперь ночь, темно и сыро. На душе слегка неуютно. Но на войне бывают неуютные минуты…» «Твое и Талино письмо получил сегодня. Хожу праздничный, счастливый. Все спрашивают: «Что с вами вдруг? Как будто вы навеселе?»- «Ничего», — говорю я. Не хочу делиться счастьем ни с кем. Вот какой стал эгоист…» «В этот день у нас было удивительно тихо. В промежутках, когда людские голоса утихали, среди весенних кустов птичье пение делалось совершенно нестерпимым…» Не знаю, чего больше в таких признаниях — честности или мудрости.

Я писал, что испанская эпопея была последней волной; какая-то эпоха на ней кончилась. Я вижу комнату Лоти в «Гайлордс». Я зашел на минуту но делу. Лоти меня оставил поужинать. Было много народу: наши военные Гришин (Я. Берзин, один из тех латышей, которые в первые месяцы революции охраняли Ленина), Григорович — Штерн, командир танковой части — высокий, крепкий Павлов, Мате Залка, привлекательный умный югослав Чопич, Янек. Мы были веселы, смеялись, а почему, не помню. (Из этих людей только я остался в живых. Залку убил вражеский снаряд. А других ни за что ни про что загубили свои.)

В Меко, пока Фернандо разговаривал со Стефой, мы с Залкой сидели на земле. Было уже тепло, все кругом зеленело. Залка говорил: «Вот у Фернандо маленький сын Тито, а мою дочку зовут Талочка, кончает школу. В общем, это глупо звучит, как в Художественном театре, но это же правда — небо все-таки будет в алмазах! Если в это не верить, трудно прожить день…» Мате Залка многого тогда не знал, как все мы. А теперь я думаю с печалью: он был прав, и «алмазы» — не глупая выдумка, алмазы

будут, только все много дольше и много труднее…

По библейскому преданию, грешные Содом и Гоморра могли бы спастись, если бы там нашелся десяток праведников. Это верно по отношению ко всем городам и ко всем эпохам. Одним из таких праведников был Мате Залка, генерал Лукач, милый Матвей Михайлович.

26

Я знал, что наступление, которое должно было начаться в районе Брунете, — военная тайна, и никому об этом не рассказал. За неделю до начала боев шофер Аугусто сказал мне: «Что же ты едешь в Барселону? Прозеваешь представление. Свояк мне вчера сказал, что наши ударят на Брунете. Только смотри — это военная тайна…» Так бывало в Испании всегда: журналисты, телефонистки, интенданты, шоферы передавали «но секрету» приятелям о готовящейся операции. Вдруг кого-то судили за шпионаж. Болтать, однако, продолжали.

Казалось, я должен был радоваться: Ассоциация писателей, над созданием которой и потрудился, собирает конгресс в Мадриде, как было решено еще перед началом войны. Это приподымет испанцев. Да и на всех произведет впечатление впервые писатели соберутся, чтобы договориться о защите культуры в трех километрах от фашистских окопов. А я, признаюсь, в душе злился: предстоящие военные операции занимали меня куда больше, чем конгресс.

Несмотря на неудачу боев под Уэской, я снова предавался мечтаниям. Арагонский фронт далеко, там много нестойких частей. Что ни говори, колонны анархистов, даже если их называют теперь дивизиями, мало пригодны для современной войны. Так говорили военные, и я им верил. (Людвиг Рейн еще в 1955 году писал в своей книге воспоминаний, что наступление на Уэску сорвалось из-за смерти генерала Лукача, которого будто бы погубили анархисты и «ноумовцы». Я знал, конечно, и тогда, что Мате Залка погиб не по вине анархистов, но провал наступления частично объяснял небоеспособностью многих воинских частей.) Другое дело Мадрид: здесь порядок, 11-я дивизии Листера, интербригадовцы, наши танки…

(Оглядываясь теперь на прошлое, я вижу, что первая половина 1937 года была решающей. После мартовской победы у Гвадалахары не только мы, в Испании, но и военные специалисты, писавшие в английских или французских газетах, считали, что армия Франко в опасности. Наше лобовое наступление в Каса-дель-Кампо не удалось. Италия и Германия продолжали подбрасывать людей и технику. Разыгралась междоусобная война в Каталонии. Кабальеро носился с планом наступления на Южном фронте. Бои за Пеньяррою вначале всех обнадежили; но вскоре фашистам удалось восстановить положение. Военные говорили, что напрасно было рассчитывать на Южный фронт, — там мало сил, плохие коммуникации. Сменилось правительство, был

принят план наступления на Уэску. Месяц спустя командование решило прорвать вражеский фронт в районе Брунете. Всякий раз первые дни приносили успехи республиканцам; но Франко быстро подтягивал резервы; немецкая авиация, куда более многочисленная, чем наша, бомбила дороги, и очередное наступление выдыхалось.)

Я ехал в Барселону, чтобы встретить делегацию советских писателей, и думал о предстоящих боях за Брунсте. Кольцов мне сказал: «Вы должны теперь думать только о конгрессе, вы — в секретариате; в общем, все это затеяли вы. А с меня хватит советской делегации…» Я ответил: «Хорошо», — и все-таки мало думал о конгрессе.

До Барселоны мне не пришлось доехать. Неподалеку от Валенсии, в курортном местечке Беникарло на берегу моря, я увидел в ресторане многих делегатов; они ели уху. В. П. Ставский вытирал салфеткой лицо и жаловался: «Жарища — умереть можно!.. А уха, знаете, у нас лучше…»

Судя по газетам того времени, конгресс удален. Конечно, крупных имен было меньше, чем на конгрессе 1935 года, — не всех соблазнили бомбы и снаряды. Многие писатели, получив приглашение, ответили, что обсуждать литературные проблемы в такой обстановке — ребячество, никому не нужная романтика. Мешала и полиция разных стран: Франс Элленс, например, хотел приехать, но бельгийцы ему не дали паспорта. Все же в Испании были писатели с именем: Антонио Мачадо, Андсрсен-Нексе, А. Толстой, Жюльен Бенда, Мальро, Людвиг Ренн, Шамсон, Анна Зегерс, Спендер, Гильен, Фадеев, Бергамии и многие другие.

Кто-то шутя назвал конгресс «бродячим цирком». Мы начали в Валенсии 4 июли, выступали в Мадриде, снова в Валенсии, в Барселоне, а кончили в Париже две недели спустя. Состав участников менялся — в Валенсии выступал Альварес дель Вайо (он был и на конгрессе в Париже в 1935 году как эмигрант), но, будучи министром, не смог поехать с нами дальше. Людвиг Рени появился только в Мадриде: он командовал частью и остался на фронте. В Париже выступали Генрих Манн, Арагон, Хьюз, Пабло Неруда. Кажется, имелся порядок дня, но никто о нем не думал. Характер выступлений менялся в зависимости от обстановки.

В Мадриде, под обстрелом, конгресс напоминал митинг, а пестрые его участники на улицах города, храбрившиеся, но необстрелянные, производили впечатление знатных гостей, делегации английских парламентариев или американских квакеров.

В Валенсии, где находилось правительство, все было торжественно; нас приветствовал писатель Мануэль Асанья, он же

президент Испанской республики; устроили банкет с тостами; минутами казалось, что никакой войны нет, а собрался очередной съезд пен-клубов.

В Барселоне на эстраде сидел Компанис, а Микитенко рассказывал о расцвете национальной культуры в социалистическом обществе.

В Париже сняли театр Сен-Мартен; народу пришло очень много, кричали: «Долой невмешательство!» Но того подъема, который мы видели на конгрессе в 1935 году, больше не было. Народный фронт трещал. Многие из левых интеллигентов, хотя они и кричали с другими: «Долой невмешательство!» — слушая рассказы о Мадриде, о Гериике, про себя думали: «Все-таки хорошо, что у нас мир!» До Мюнхена было уже недалеко…

Речей было много. Мне запомнилось выступление Хосе Бергамина, очень худого, носатого, с темными печальными глазами. Я теперь взял газету, где цитировал его речь: «Слово хрупко, испанский народ называет одуванчик, цветок, жизнь которого зависит от вздоха, «человеческим словом». Хрупкость человеческих слов бесспорна… Слово не только сырье, над которым мы работаем, это наша связь с миром. Это — утверждение нашего одиночества и вместе с тем отрицание нашей отъединенности… Лопе де Вега сказал: «Кровь кричит о правде в немых книгах». Кровь кричит в нашем бессмертном Дон Кихоте. Это вечное утверждение жизни против смерти. Вот почему испанский народ, верный гуманистическим традициям, принял этот бой…» Теперь я понимаю, почему меня взволновали слова Бергамина: он выразил то, о чем я смутно думал, пересекая Ламанчу.

Было много и других хороших речей; если они мне не запомнились, то виноваты в этом не ораторы. В жизни я часто выступал против сентенции древних римлян: «Среди оружия музы молчат». Мне не нравилась и не нравится мораль этого изречения так, как ее обычно толкуют: когда на дворе буря, поэту лучше помолчать, выждать. Но сейчас я спрашиваю себя: не понимали ли древние римляне этих слов иначе? У них был богатый опыт, то и дело они воевали; может быть, они просто подметили, что голос поэта не покрывает шума войны, хотя в те времена не было не только атомных бомб, но и мушкетов?… Летом 1937 года в Мадриде речи писателей как-то не звучали. Восхищались мы другим. Пришли бойцы, принесли трофеи — знамя фашистского полка, только что захваченное в боях у Брунете. Привезли из госпиталя Реглера, он шел, опираясь на палку, не мог говорить стоя, попросил разрешения сесть, и зал встал из уважения к ране солдата. Реглер говорил: «Нет других проблем композиции, кроме

проблемы единства в борьбе против фашистов». Это чувствовали в ту минуту все — и писатели, и бойцы, пришедшие нас приветствовать. Горячо встречали писателей, которые воевали: Мальро, Людвига Ренна, молоденького испанского поэта Апарисио и других.

Выступления многих советских писателей удивили и встревожили испанцев, которые мне говорили: «Мы думали, что у вас на двадцатом году революции генералы с народом. А оказывается, у вас то же самое, что у нас…» Я старался успокоить испанцев, хотя сам ничего не понимал. Кажется, только А. Л. Барто, говоря о советских детях, не вспомнила про Тухачевского и Якира; другие, повышая голос, повторяли, что одни «враги народа» уничтожены, другие будут уничтожены. Я попытался спросить наших делегатов, почему они говорят об этом на конгрессе писателей, да еще в Мадриде; никто мне не ответил; а Михаил Ефимович хмыкнул: «Так нужно. А вы лучше не спрашивайте…»

Фашисты по радио издевались над конгрессом. Ночью, однако, они проявили к нему некоторый интерес: начали налить из орудий по центру Мадрида. Почти все делегаты отнеслись к этому спокойно; нашлись и такие, приехавшие из спокойных стран, которые перепугались; о них потом рассказывали смешные истории, но в общем обстрел был сильным, а на войне порой бывает страшно, особенно с непривычки.

Грохот стоял отчаянный, заснуть было невозможно. Я долго беседовал с Жюльеном Бенда. Ему тогда было семьдесят лет, но держался он бодро, весь день ходил, осматривал город, позиции, а когда ночью начался обстрел, сказал мне, что он вообще спит мало, и не обращал никакого внимания на разрывы. Он говорил о конгрессе, считал, что мы правильно сделали, созвав его в Мадриде: «Сейчас главное — показать, что люди, которым дорога культура, на линии огня». Некоторые выступления он критиковал с легкой усмешкой: «Ваши друзья придают чересчур много значения Андре Жиду. Он никогда не скрывал своего презрения к рационализму, он последовательно непоследователен. Вы поверили в его общественную ценность, сделали из него апостола, а теперь предаете его анафеме. Это смешно, особенно здесь — в Мадриде. Андре Жид птичка, которая свила гнездо на «ничьей земле»; стрелять нужно, как стреляют фашисты, — но батареям противника…»

Наступление на Брунете началось 6 июля утром. Вечером В. В. Вишневский отвел меня в сторону. «Давайте поедем в БВрунете! Возьмем Ставского, он просится. Мы старые солдаты. А я для этого и приехал…»

Всеволод Витальевич был чел омском чрезвычайно эмоциональным; чем-то он напоминал хорошего испанского анархиста. Когда он начинал говорить, он сам не знал, куда его занесет и чем он кончит. Он был прекрасным оратором, говорил лучше, чем писал; многие ленинградцы мне рассказывали, что и годы блокады его выступления но радио помогали людям. Иногда он приводил в ужас нашу аудиторию тех лет: люди боялись не только сказать, но и услышать что-нибудь идущее дальше положенного, а Вишневский, войдя в жар, не помнил об установках. Как-то у А. Я. Таирова, рассердившись на меня, он выхватил револьвер, точь-в-точь как Дуррути. Он ругал Запад, говорил, что он матрос, простецкий, народный, и одновременно восхищался Джойсом, Пикассо. Фашистов он ненавидел и помог мне во время германо-советского пакта напечатать в «Знамени» первые части романа «Падение Парижа».

Я пошел к испанцам; они мне рассказали, что мерный день прошел хорошо, заняли Брунете, сейчас идут бои за Вильяпуэва-де-Каньяда. Положение, однако, неустойчивое, Брунете почти в мешке, фашисты могут перерезать дорогу; но всяком случае, делегатов, приехавших на конгресс, везти туда не стоит, пускай лучше поедут на Хараму или посмотрят Карабанчель.

Вернувшись, я сказал Вишневскому: «Ничего не выйдет — не советуют». Он совершенно потерял голову, кричал: «А я думал, что вы смелый человек…» Я рассердился и ответил, что лично я поеду в Брунете, мне нужно передать в газету, что там происходит; у меня есть машина; испанцы меня просили не брать с собой писателей, приехавших на конгресс, но если он настаивает, то пожалуйста: завтра в пять утра поедем.

Жара в те дни стояла невыносимая. Я с ужасом вспоминаю ночи в комнате с закрытым черными шторами окном. Приходилось простаивать час, а то и два в душной кабинке и передавать в газету по телефону («не слышно — по буквам»), какие ораторы выступали на заседании и какие деревушки заняты республиканской армией.

На солнце чела убитых быстро загорали, темнели, и Ставский принимал всех мертвых за противников — у франкистов на этом секторе были батальоны марокканцев.

Я взял с собой фляжку. Ставский и Вишневский сразу выпили воду. Я уже знал, что лучше до захода солнца не пить — замучает жажда. Они действительно страдали и выпрашивали у бойцов глоток воды.

Когда мы шли в Брунете, я встретил знакомых командиров из батальона «Эдгар Андре»; они сказали, что дорогу сильно простреливают, лучше дальше не идти. Я ответил, что нам нужно

обязательно в Брунете. «Только не задерживайтесь, — сказали они, фашисты готовятся контратаковать».

Из Брунете фалангистов выбили сразу, и в домах мы увидели накрытые столы, недоконченный обед. В помещении фаланги валялись листовки, плакаты, речи Геббельса, переведенные на испанский язык. Вишневский собирал «трофеи» — фашистские значки, флаги, раскиданные документы с печатями; просил меня переводить надписи на стенах; словом, мы замешкались. Когда мы шли в Вильянуэва, Ставский нашел фашистский шлем, надел на голову и обязательно захотел, чтобы я сфотографировал его и Вишневского.

Мы возвращались назад. Возле Вильянуэва-де-Каньяда дорогу сильно обстреливали. В. П. Ставский крикнул: «Ложитесь! Я говорю вам как старый солдат!..»

Вишневский полз и в восторге вскрикивал: «Ух! Ну, этот совсем близко! Черти, пристрелялись!..»

Когда мы вернулись в Мадрид, они стали рассказывать Фадееву, как мы замечательно съездили. А я пошел передавать отчет в газету.

За эту экскурсию мне влетело. Один из наших военных (кажется, это был Максимов) кричал: «Кто вам дал право подвергать наших писателей опасности? Безобразие!..» Я смущенно заметил, что я тоже писатель. Это его не обезоружило. «Вы другое дело. Вы, Кольцов ездите по службе. А у нас есть указания делегатов ограждать…» Он вдруг переменил тон: «Ну что вы скажете? Здорово? Заняли кладбище Кихорны. Там Кампесино… Я там до шести часов был, посплю часа три и снова поеду — мне здесь с Григоровичем нужно поговорить. Сволочи, сейчас звонили — бомбят…»

Я написал накануне речь для конгресса, но решил не выступать и дал листок редактору «Мундо обреро»; в моей речи не было ничего ни об Андре Жиде, ни о том, как мы истребляем «врагов народа». Недавно мне прислали номер «Мундо обреро» от 8 июля. В нем напечатана статья, которую я дал газете под заглавием «Непроизнесенная речь». Над нею сводка: «Поселок Кнхорна окружен нашими войсками. Дух наших бойцов превосходен. Некоторые перебежчики указывают, что противник подтягивает новые части, чтобы сдержать наше продвижение». В моей речи есть одна мысль, которая мне кажется и теперь правильной: «Мы вступили в эпоху действий. Кто знает, будут ли написаны задуманные многими из нас книги. На годы, если не на десятилетия, культура станет военно-полевой. Она может прятаться в убежища, где рано или поздно ее настигнет смерть. Она может перейти в наступление».

«Годы» — мало, «десятилетия», может быть, преувеличено: нам предстояло с того дня, как я написал эти строки, прожить на поле боя еще восемь лет. Да и потом настоящего мира не было.

А от «хрупких слов», как говорил Бергамин, писателю трудно отказаться: литература засасывает. Мальро уже весной кончил воевать: не было больше самолетов. Он начал писать роман об испанской войне «Надежда». В Испании на фронтах стояло затишье. Людвига Ренна послали в Соединенные Штаты, в Канаду, на Кубу — он выступал с докладами об испанской войне. Реглер делал то же самое в Южной Америке. Мальро собирал в Америке деньги для испанцев. Кольцов осенью вернулся в Москву и взялся за книгу «Испанский дневник».

Конгресс кончился, я уехал из Парижа на юг Франции в маленькую деревушку. Там было тихо, порой даже слишком тихо. Зеленели поля табака, и медленно сочилась река Лот. Я написал повесть об испанской войне; вернее назвать эту книгу записями о событиях и людях.

Один из героев повести, немецкий эмигрант Вальтер, едет в Испанию, чтобы сражаться против фашистов. В окно вагона видно море. «Хорошо здесь, — думает он, — камни, рыбацкие сети, виноградники, тишина. Что человеку надо? Вздор! Много надо, очень много. Еще туннель. Вот и война!..» Повесть я назвал «Что человеку надо» — это мысли героя и автора между тишиной мирной жизни и начавшейся надолго войной.

Я мог оторваться на несколько месяцев от жизни военного корреспондента. Но уйти от войны я больше не мог; есть полевые бинокли, полевая почта, полевые госпитали; мое поколение получило в подарок долгие полевые годы.

27

Бомба упала близко, из окон посыпались осколки, и я услышал отчаянный женский крик; кажется, кричали многие, но один высокий голос покрывал все. Я растерянно оглянулся, стряхнул с себя пыль и пошел в сторону крика. Бомба упала на большое кафе, наполненное посетителями. Потом мне сказали, что было пятьдесят восемь жертв. Женщина продолжала кричать: не знаю, ударила ли ее воздушная волна или убили кого-либо из близких, — она не отвечала. Четверть часа спустя приехали пожарные, санитары. Увезли раненых. Пожарные долго откапывали трупы. Я пошел в гостиницу; хотел было сообщить в газету, потом раздумал: редакция меня предупреждала, что почти все полосы посвящены предстоящим выборам в Верховный Совет; да и отрадного тут мало… Дня три спустя я передал очерк «Барселона перед боями», о бомбежках упомянул бегло; писал, что город готовится дать отпор фашистскому наступлению. Статью напечатали через день после выборов.

Из моих старых друзей и знакомых мало кто остался. Многие советники вернулись на родину. Не было больше и Антонова-Овсеенко. В домике на холме Тибидабо сидел Савич над кипами газет; к нему приходили испанцы; когда у него бывал кофе, маленькая, хрупкая, как будто вырезанная из слоновой кости Габриэлла угощала гостей. Почти напротив дома, где жил Савич, помещалось наше посольство. Л. Я. Гайкиса давно отозвали в Москву. Его заменил поверенный в делах С. Г. Марченко (Т. Г. Мандалян).

Я остановился все в той же гостинице «Мажестик»; там жили некоторые наши советники, немецкий журналист Киш, Марта Гюисманс. Изабелла Блюм. Иногда среди ночи стучался коридорный: «Тревога! Идите в убежище!» Я знал, что он не отстанет, одевался и шел вниз в вестибюль, стоял там или выходил на улицу. Мы делали все, что делают люди при таких обстоятельствах: зябли, позевывали, старались убить время разговорами. Марта любила поязвить, поспорить, все равно о чем — о живописи, о стратегии или о ПСУК. Киш шепотом спрашивал меня, правда ли, что Пильняк оказался японским шпионом, жаловался, что Третьяков не отвечает на письма. Изабелла угощала шоколадом, я его жадно проглатывал — еды было мало.

Мало было и работы: «Известия» отводили испанским делам все меньше и меньше места: разворачивались большие события в Китае; полосы были заняты конституцией, предстоящими или прошедшими выборами.

Меня пригласили на пленум писателей, посвященный Руставели, который должен был состояться в Тбилиси. Предложение было соблазнительным: увижу старых друзей — Тициана Табидзе и Паоло Яшвили; будут тамада, тосты, шашлыки. Да и давно я не был в Москве — два года, нужно посмотреть, что у нас делается. В буржуазных газетах пишут, будто много арестов, но это писали и раньше; наверное, как всегда, раздувают… «Мундо обреро» описывает праздник по случаю новой конституции, ее называют «Сталинской». Увижу Ирину, Лапина. Бабеля. Мейерхольда, всех друзей. Мне захотелось передохнуть, отвлечься, и я позвонил Любе в Париж, что двадцатого декабря заеду за ней — поедем в Москву на две недели.

Тут-то Марченко мне сказал: «Готовится серьезная операция под Теруэлем». (На этот раз о намеченном наступлении мало кто знал, и фашистов оно застало врасплох.)

Что делать? Я решил, что пробуду под Теруэлем до восемнадцатого — увижу первые дни боев. Я поехал в Валенсию. Там было необычайно тихо: правительство месяц назад переехало в Барселону, и город зажил мирной провинциальной жизнью, только что впроголодь. Я повидал кое-кого из испанских друзей. Было тепло, цвели в садах розы. На побережье изнемогали деревья, обвешанные золотом апельсинов.

Путь шел в гору. Вот уже исчезли сады. Подул свирепый ветер. Мы поднялись на тысячу метров. Стоял туман, лицо хлестала поземка.

Под Теруэлем было холодно, нестерпимо холодно для испанцев; кажется, мороз доходил до двенадцати градусов при сильном ветре. Камни покрывались слоем льда, люди падали и ползли вверх на четвереньках.

Ровно год назад — в декабре 1936 года — я побывал у Теруэля; тогда тоже было холодно; пытались взять город, который клином входил в территорию, занятую республиканцами, и ничего из этого не вышло.

Я сразу увидел, что на этот раз куда больше порядка. Дивизии выглядели лучше; даже в дивизии СНТ, которой командовал анархист Виванкос, не было живописной бестолочи забытых всеми «центурий».

Накануне наступления сорок республиканских бомбардировщиков бомбили вокзал, позиции фашистов, дорогу на Сарагоссу. Это приподняло всех, и наступление началось удачно, в первый же день республиканцы продвинулись кое-где на восемь — десять километров.

Я был на КП испанской бригады. Никогда не забуду того дня.

Даже в трагичной и щедрой на фантастику Испании я не видел подобной картины. Кругом были рыжие горы, и Теруэль с его башнями походил на средневековую крепость; а над ним висели свинцовые и фиолетовые тучи, раздираемые ветром. Туман прошел, свет был очень ярким, тени глубокими. Снова залет бомбардировщиков. Все вместе это было сочетанием доисторической природы с современной военной техникой. Солдаты ползли по скалам, падали под пулеметным огнем, ползли другие. Ветер все крепчал; у Брунете все мечтали о тени, а здесь хотелось хоть на минуту залезть в дом, отогреться. Взяли деревню Сан-Блас. Подошли к шоссе; неприятель оказался окруженным: дорогу наши держали под пулеметным огнем.

Я передал по телефону очерк о боях за Теруэль, говорил об успехах, но, помня Бриуэгу, Брунете, осторожно предупреждал: «При иной ситуации мы могли бы сейчас заняться догадками о судьбе Теруэля… Однако сейчас вопрос идет не об овладении тем или иным политически значительным центром, а о стратегических заданиях. Если бои, которые сегодня начались, потревожат противника, подготовлявшего удар, то можно будет сказать, что достигнут крупный успех». Мне хотелось верить, что Теруэль возьмут, но я боялся ввести в заблуждение читателей.

На второй день вечером я нашел Григоровича. Он только вернулся с наблюдательного пункта, продрог. Мы ели горячий суп, налитый в глиняные крестьянские миски. Григорович сказал, что завтра должны занять городское кладбище. А мне завтра нужно двигаться. Вот обида, не увижу развязки!..

«Григорий Михайлович, как, по-вашему, — возьмут Теруэль?» Он сказал, что южная группа отстала, все же дела идут неплохо; город должен пасть через несколько дней. Воздушная разведка, однако, установила, что Франко перебрасывает в Арагон дивизии, освободившиеся после ликвидации сопротивления в Астурии. «Видимо, Теруэль возьмем. А сможем ли удержать, не знаю. Мы подбрасываем горсточку, а немцы с итальянцами — охапку… Какой народ хороший! — И лицо Григоровича изменилось от ласковой улыбки. — Я человек военный, и военному здесь трудно, хлебнул горя, но народ замечательный!.. Наверно, скоро уеду. А вот Испании никогда не забуду. Мне Кольцов говорил, что они честные, а не в том дело, что жуликов мало, хотя это тоже правда. Честь, кажется, понятие устаревшее, то есть слово, правда? А здесь зайдешь в хату — он и грамоты не знает, но обязательно «честь», прямо рыцарь какой-то… Больно за них, очень больно!.. Вот вы напишите про все, не теперь, так через десять лет, вы и про наших скажите, вы ведь знаете мы старались. Все наши Испанию полюбили, это многое объясняет…»

Зазвонил телефон. Григорович выругался; потом сказал мне: «Вот чего не люблю… Связь, кажется, обеспечили. Л вот артиллеристы не знали, что пехота за Конкудом, начали бить по своим. К счастью, плохо стреляли, но впечатление отвратительное…»

Я сказал, что завтра уезжаю в Москву; вернусь через две недели; надеюсь его встретить в Терузле. «Это хорошо, что едете. Увидите, как там, дома… До скорого!..»

Ночью в Барселоне я простился с Хемингуэем. «Да мы скоро увидимся, — сказал я, — ты ведь в январе будешь здесь?…» Больше я его не увидел.

На столе у Марченко лежала «Правда», я узнал, что Григорович выбран в Верховный Совет: «Чечено-Ингушская АССР — Штерн Григорий Михайлович». Марченко говорил: «Завидую Новый год встретите дома… Ну, возвращайтесь поскорее, а то у нас один Савич остается…» Я весело сказал: «До свиданья!» Мы и потом повторяли эти слова, хотя наступали годы, когда никто из нас при любом расставании не знал, что впереди. Честнее было бы говорить «прощай».

Я больше не увидел ни Григоровича, ни многих других «мексиканцев» или «гальегос»…

Мы ехали, минуя Германию, через Австрию. В Вене нужно было переехать с одного вокзала на другой. Город мне показался беспечным. Я не знал, что через три месяца в него войдут германские дивизии.

Где-то на вокзале я купил газету. «Республиканская армия взяла Теруэль». Я сидел в темном купе, и перед моими глазами вставали рыжий Арагон, Аугусто с его присказкой «опять тебя куда-то несет», молодые бойцы с поднятыми кулаками, кровь на мостовой Барселоны, смутная улыбка Григоровича — несвязные видения оставленного мною мира.

Вот и арка Негорелого. В вагон вошел молодой красивый пограничник. Я ему улыбнулся — с такими я дружил в Алкала-де-Энарес. Не вытерпел и сказал: «А Теруэль-то взяли…» Он тоже улыбнулся: «Вчера было в газете… Можете пройти в таможенный зал».

28

Мы приехали в Москву 24 декабря. На вокзале нас встретила Ирина. Мы радовались, смеялись; в такси доехали до Лаврушинского переулка. В лифте я увидел написанное рукой объявление, которое меня поразило: «Запрещается спускать книги в уборную. Виновные будут установлены и наказаны». «Что это значит?» — спросил я Ирину. Покосившись на лифтершу, Ирина ответила: «Я так рада, что вы приехали!..»

Когда мы вошли в квартиру, Ирина наклонилась ко мне и тихо спросила: «Ты что, ничего не знаешь?…»

Полночи она и Лапин рассказывали нам о событиях: лавина имен, и за каждым одно слово — «взяли».

«Микитенко? Но он ведь только что был в Испании, выступал на конгрессе…» — «Ну и что, — ответила Ирина, — бывает, накануне выступает или его статья в «Правде»…»

Я не мог успокоиться, при каждом имени спрашивал: «Но его-то почему?…» Борис Матвеевич пытался строить догадки: Пильняк был в Японии, Третьяков часто встречался с иностранными писателями, Павел Васильев пил и болтал, Бруно Ясенский — поляк, польских коммунистов всех забрали, Артем Веселый был когда-то «перевальцем», жена художника Шухаева была знакома с племянником Гогоберидзе, Чаренца слишком любили в Армении, Наташа Столярова приехала недавно из Парижа. А Ирина на все отвечала: «Откуда я знаю? Никто этого не знает…» Борис Матвеевич, смущенно улыбаясь, посоветовал: «Не спрашивайте никого. А если начнут разговаривать, лучше не поддерживайте разговора…»

Ирина возмущалась: «Почему ты меня спрашивал по телефону про Мирову? Неужели ты не понял? Взяли ее мужа, она приехала, и ее тоже забрали…» Лапин добавил: «Теперь часто берут и жен, а детей отвозят в детдом…»

(Вскоре я узнал, что из «испанцев» пострадала не только Мирова, узнал о судьбе Антонова-Овсеенко, его жены, Розенберга, Горева, Гришина, да и многих других.)

Когда я сказал, что в Тбилиси мы увидим Паоло и Тициана, Борис Матвеевич изумился: «Вы и этого не знаете? Табидзе взяли, а Яшвили застрелился из ружья».

На следующее утро я пошел в «Известия». Встретили меня хорошо, но я не увидел ни одного знакомого лица. Вопреки совету Лапина, я спрашивал, где такой-то. Кто отвечал «загремел», кто просто махал рукой; были и такие, что поспешно отходили.

В тот же вечер мы уехали в Тбилиси. Я захватил с собой декабрьские газеты. Мирные статьи о труде, о достигнутых успехах иногда перебивались восхвалениями «сталинского наркома» Ежова. Я увидел его фотографию — обыкновенное лицо, скорее симпатичное. Я не мог уснуть, все думал, думал, хотел понять то, что, по словам Ирины, никто понять не мог.

На пленуме говорили о поэзии Руставели. Выступил испанский писатель Пла-и-Бельтран, которого я знал по Валенсии; его горячо встретили.

На торжественном заседании в президиуме сидел Берия. Некоторые выступавшие его прославляли, и тогда все стоя аплодировали. Берия хлопал в ладоши и самодовольно улыбался. Я уже понимал, что при имени Сталина все аплодируют, а если это в конце речи, встают; но удивился — кто такой Берия? Я тихо спросил соседа-грузина, тот коротко ответил: «Большой человек».

Ночью Люба мне рассказала, что Нина — жена Табидзе — передала, чтобы мы ее не искали — не хочет нас подвести.

Я встретил много писателей, которых хорошо знал, — Федина, Тихонова, Леонова, Антокольского, Леонидзе, Вишневского. Был Исаакян, мне хотелось с ним поговорить, но не получилось, только после войны, когда он приезжал в Москву, я с ним однажды побеседовал по душам. Был исландский писатель Лакснесс, я тогда еще не читал его книг и не знал, что полюблю их. Были, как я и думал, банкеты, тосты, но незачем говорить о моем настроении: я все еще не мог опомниться. Новый год мы встретили у Леонидзе. Мы хотели развлечь милых, приветливых, хозяев, а они старались развлечь или, точнее, отвлечь нас. Но не получалось: чокались, молча пили.

В Москву я возвращался с писателями. Меня позвал в свое купе Джамбул. С ним ехал его ученик и переводчик. Джамбул рассказывал, как сорок лет назад на свадьбе бая он победил всех акынов. Принесли кипяток, заварили чай. Джамбул взял свою домбру и начал что-то монотонно напевать. Ученик (Джамбул его называл «молодым», но ему было лет шестьдесят) объяснил, что Джамбул сочиняет стихи. Я попросил перевести, оказалось, что акын просто радовался предстоящему чаепитию. Потом он подошел к окну и снова запел; на этот раз переводчик сказал строки, которые меня тронули:

> Вот рельсы, они прямо летят в чужие края,
> Так летит и моя песня.

Кожа на лице Джамбула напоминала древний пергамент, а глаза были живыми — то лукавыми, то печальными. Ему тогда

было девяносто два года. Потом пришел А. А. Фадеев, принес несколько стихотворений Мандельштама, сказал, что, кажется, их удастся напечатать в «Новом мире»; вспоминал Мадрид, и глаза его, обычно холодные, улыбались.

Мы приехали в Москву. В редакции мне сказали, что собираются поставить вопрос о моем возвращении в Испанию, но теперь все требует времени большие люди очень заняты, придется месяц-другой подождать.

Я прожил в Москве пять месяцев; и теперь я благодарен судьбе. Хорошо, что мне захотелось поехать в Москву, чтобы развлечься и отдохнуть: есть в истории народа такие дни. которые нельзя понять даже по рассказам друзей, их нужно пережить.

Прежде всего расскажу, как я жил в то время. Я часто выступал в различных вузах, на заводах, в военных академиях: рассказывал про Испанию. Мне прислали стенограмму одного из таких вечеров в клубе автомобильного завода, там есть статистика — я сказал, что выступал с. докладом об Испании уже в пятидесяти местах. Я видел, что слушавшие тяжело переживают трагедию испанского народа, и это меня ободряло. Передо мною были честные и смелые люди, преданные коммунизму; они напоминали наших летчиков, с которыми я встречался в Алкала-де-Энарес.

Писать я не мог; я написал только две статьи об Испании для «Известий» — одну в марте, после фашистских побед, другую в первомайский номер. Много раз в редакции мне предлагали написать статью о процессах, о «сталинском наркоме», сравнить «пятую колонну» в Испании с теми, кого тогда называли «врагами народа». Я отвечал, что не могу, пишу только о том, что хорошо знаю, и не написал ни одной строки.

Я и теперь могу писать только о том, что видел: о своей жизни в Москве, о жизни пятидесяти, может быть, ста друзей и знакомых, с которыми тогда встречался; постараюсь показать быт да и душевное состояние мое, моих приятелей, главным образом писателей, художников.

Наша жизнь в то время была диковинной; о ней можно написать книги, и вряд ли я смогу обрисовать ее на нескольких страницах. Все тут было: надежда и отчаяние, легкомыслие и мужество, страх и достоинство, фатализм и верность идее. В кругу моих знакомых никто не был уверен в завтрашнем дне; у многих были наготове чемоданчики с двумя сменами теплого белья. Некоторые жильцы дома в Лаврушинском переулке попросили на ночь закрывать лифт, говорили, что он мешает спать: по ночам дом прислушивался к шумливым лифтам.

Пришел как-то Бабель и с юмором, которого он никогда не терял, рассказывал, как ведут себя люди, которых назначают на различные посты: «Они садятся на самый краешек кресла…» В «Известиях» на дверях различных кабинетов висели дощечки, прежде проставляли фамилии заведующих отделами, теперь под стеклом ничего не было; курьерша объяснила мне, что не стоит печатать: «Сегодня назначили, а завтра заберут…»

Мне хочется здесь вспомнить чудесного человека — Павла Людвиговича Лапинского. Я писал, что познакомился с ним в годы первой мировой войны. Мы жили в гостинице «Ницца». Тогда я был чересчур молод, чтобы разобраться в сложном характере Лапинского, но слушал с интересом ого рассказы о Польше, об Америке. Когда он обличал «оборонцев», я не спорил: не знал, прав он или нет, но человек мне был мил. Порой судьба тасует карты, посылает человека на место мало соответствующее его душевному строю. Диего Ривера мог бы стать не художником, а героем революционной Мексики. Душевная структура П. Л. Лапинского была на редкость мягкой. Он сделался подпольщиком, публицистом, а, вероятно, ему было бы легче прожить жизнь с искусством. Я часто встречался с ним в тридцатые годы, и меня поражали его тонкость, отзывчивость. У него не было семьи, и прожил он жизнь одиноким холостяком. Когда я приходил в маленькую квартиру, заставленную книгами, мне становилось страшно: до чего он одинок! Вдова друга Лапинского Станислава Раевского недавно мне напомнила, как Павел Людвигович испугался, когда я сказал, что ему нужно завести собаку: животное может нарушить положенный распорядок. Маленькую таксу мраморного цвета он окрестил «Дездемоной» и страстно к пей привязался. Наверно, «Дездемона» неутешно выла, когда ее хозяина увезли незнакомые люди. В те нерадостные годы погибли многие мои друзья, товарищи по работе, и когда я шел по коридорам «Известий», мне казалось, что я иду по кладбищу.

А жизнь как будто продолжалась по-прежнему. Постановили организовать Клуб писателей и устраивать клубные дни. С.И. Кирсанов захотел и в этом показать себя новатором; он устроил в клубе выставку картин Кончаловского, Тышлера, Дсйнеки, революционизировал даже кухню. Помню обед в честь приехавшего из Ленинграда М. М. Зощенко. Подали суп из консервированных крабов, и Кирсанов объяснял: «Суп биск из омаров». В зале зажгли камин, возле него подогревались бутылки кварели. Кто-то предложил выпить за Красную Звезду, которую мне накануне вручили в канцелярии Верховного Совета.

Когда все встали из-за стола, один достаточно известный,

мало приятный мне литератор отвел меня в сторону и зашептал: «Слыхали последнюю новость? Арестовали Стецкого… Ужасные времена! Не знаешь, кому калить, на кого капать…» Были и такие…

Однажды в клубе я встретил С. С. Прокофьева он исполнял на рояле свои вещи. Он был печален, даже суров, сказал мне: «Теперь нужно работать. Только работать! В этом спасение…»

Многие писатели продолжали писать; Тынянов закончил первую часть «Пушкина», вышла новая книга стихов Заболоцкого. Другие признавались, что «не пишется».

В. Г. Лидин нас развлекал как всегда смешными историями. Раз он позвал нас ужинать, пришел молодой восторженный человек, показывал куклы — Кармен была сухой ведьмой, а два шара объяснялись друг другу в любви, — это был С.В. Образцов. В другой раз мы встретили у Лидина одного из четырех участников экспедиции на полюс Э. Т. Кренкеля, молодого, скромного; он с юмором рассказывал про жизнь на льдине, про лайку, которая помогла им прогнать медведей, собиравшихся похитить продовольственные запасы. Все это было радостным и отдохновенным.

Бывали мы и у Таировых, у Евгения Петрова, у Леонова. К нам часто приходили Бабель, Тихонов, Фальк (он незадолго до этого вернулся из Парижа), Вишневский, Луговской, Тышлер, Федин, Кирсанов. У Лапина сидели его друзья — Хацревин, Славин, и мы ужинали все вместе. Иногда мы заводили литературные споры, говорили о новой театральной постановке, а то и сплетничали — люди ведь продолжали влюбляться, сходиться, разводиться; иногда я рассказывал об Испании — она мне казалась бесконечно далекой и близкой; а иногда как-то незаметно начинался разговор о том, о чем мы не хотели ни говорить, ни даже думать.

У Ирины была пуделиха Чука, толстая, ласковая и, как сказал бы Дуров, с прекрасными условными рефлексами. Борис Матвеевич научил ее многим номерам: она приносила папиросы, спички, закрывала дверь столовой. Бывало, гость начнет говорить за ужином о том, кого посадили, а черная косматая Чука, мечтая о кружке колбасы, поспешно закрывает дверь. Это всех смешило — мы ведь и в то время любили посмеяться.

Некоторые из людей, которых я знал, старались жить замкнуто, встречались только с близкими; подозрительность, опаска подтачивали человеческие отношения. Бабель говорил: «Теперь человек разговаривает откровенно только с женой — ночью, покрыв головы одеялом…» Меня, напротив, тянуло к людям. Чуть ли не каждый вечер к нам приходили друзья или мы

ходили в гости.

Часто мы бывали у Мейерхольдов. В январе было опубликовано постановление о закрытии театра как «чуждого». Зинаида Николаевна переболела острым нервным расстройством. Всеволод Эмильевич держался мужественно, говорил о живописи, о поэзии, вспоминал Париж. Он продолжал работать: обдумывал постановку «Гамлета», хотя и не верил, что ему дадут ее осуществить. У Мейерхольдов я встречал П. П. Кончаловского — он тогда писал портрет Всеволода Эмильевича, пианиста Л. Н. Оборина, молодых энтузиастов, для которых Мейерхольд оставался учителем.

Попал я как-то на писательское собрание. Различные литераторы обвиняли В. П. Ставского в том, что он «недоглядел»: повсюду — в журналах, в Жургазе, в издательстве — сидят «враги народа». Владимир Петрович потел, вытирал все время лоб. Я вспомнил, как он стоял во вражеской каске возле Брунете, и подумал: здесь пожарче…

И. К. Луппол позвал нас пообедать — он жил, как мы, в Лаврушинском. Его жена говорила, что они недавно переехали, купили мебель, вот только лампы нет; она добавила: «Как-то не то настроение, чтобы покупать…» (Луппол продержался еще полтора года, потом его постигла участь многих.)

В. В. Вишневский кричал, что все писатели должны учиться военному делу, даже старики. Говорил он о перебежке, о рокадных дорогах, о прощупывании противника.

Я встречался, даже дружил с людьми мне далекими: у нас было чувство локтя, как у солдат на войне. Войны еще не было, но мы знали, что она неизбежна. Мы сидели в окопе, и артиллерия, как то случилось у Теруэля, стреляла по своим.

Григорович мне сказал, что батарея республиканцев, открывшая огонь по деревушке, занятой своими, не успела, к счастью, пристреляться. Ежов стрелял по площадям и снарядов не жалел. Говорю «Ежов», потому что тогда мне казалось, что все дело в нем.

В последней части этой книги я попытаюсь поделиться мыслями о И. В. Сталине, о всем том, что лежит камнем на сердце каждого человека моего поколения. А сейчас ограничусь тем, что расскажу о моем понимании (вернее, непонимании) происходившего в то время, которое описываю. Я понимал, что людям приписывают злодеяния, которых они не совершали, да и не могли совершить, спрашивал и других и себя: зачем, почему? Никто мне не мог ответить. Мы ничего не понимали.

Я был на открытии сессии Верховного Совета — в редакции мне дали гостевой билет. Старейший депутат,

восьмидесятилетний академик А. Н. Бах, в далеком прошлом народоволец, прочитал по бумажке речь и кончил ее, разумеется, именем Сталина. Раздался грохот рукоплесканий. Мне показалось, что старый ученый зашатался, как от воздушной волны. Я сидел высоко, вокруг меня были обыкновенные москвичи — рабочие, служащие, и они неистовствовали.

Да что говорить о москвичах; в далекой Андалузии я видел дружинников, которые шли на смерть с криками «Эсталин!» (так испанцы произносили имя Сталина). У нас много говорят о культе личности. К началу 1938 года правильнее применить просто слово «культ» в его первичном, религиозном значении. В представлении миллионов людей Сталин превратился в мифического полубога; все с трепетом повторяли его имя, верили, что он один может спасти Советское государство от нашествия и распада.

Мы думали (вероятно, потому, что нам хотелось так думать), что Сталин не знает о бессмысленной расправе с коммунистами, с советской интеллигенцией.

Всеволод Эмильевич говорил: «От Сталина скрывают…»

Ночью, гуляя с Чукой, я встретил в Лаврушинском переулке Пастернака; он размахивал руками среди сугробов: «Вот если бы кто-нибудь рассказал про все Сталину!..»

Да, не только я, очень многие считали, что зло исходит от маленького человека, которого звали «сталинским наркомом». Мы ведь видели, как арестовывают людей, никогда не примыкавших ни к какой оппозиции, верных приверженцев Сталина или честных беспартийных специалистов. Народ окрестил те годы «ежовщиной».

Кажется, умнее меня, да и многих других, был Бабель. Исаак Эммануилович знал жену Ежова еще до того времени, когда она вышла замуж. Он иногда ходил к ней в гости, понимал, что это опасно, но ему хотелось, как он говорил, «разгадать загадку». Однажды, покачав головой, он сказал мне: «Дело не в Ежове. Конечно, Ежов старается, но дело не в нем…» Ежова постигла судьба Ягоды. На его место пришел Берия, при нем погибли и Бабель, и Мейерхольд, и Кольцов, и многие другие неповинные люди.

Помню страшный день у Мейерхольда. Мы сидели и мирно разглядывали монографии Ренуара, когда к Всеволоду Эмильевичу пришел один из его друзей, комкор И. П. Болов. Он был очень возбужден, не обращая внимания на то, что, кроме Мейерхольдов, в комнате Люба и я, начал рассказывать, как судили Тухачевского и других военных. Белов был членом Военной коллегии Верховного Суда. «Они вот так сидели —

напротив нас, Уборевич смотрел мне в глаза…» Помню еще фразу Белова: «А завтра меня посадят на их место…» Потом он вдруг повернулся ко мне: «Успенского знаете? Не Глеба Николая? Вот кто правду писал!» Он сбивчиво изложил содержание рассказа Успенского, какого но помню, но очень жестокого, и вскоре ушел. Я поглядел на Всеволода Эмильевича; он сидел закрыв глаза и походил на подстреленную птицу. (Белова вскоре после этого арестовали.)

Не забуду и другой день, когда но радио передали, что будут судить убийц Горького и что в его убийстве принимали участие врачи. Прибежал Бабель, который при жизни Алексея Максимовича часто у него бывал, сел на кровать и показал рукой на лоб: сошли с ума! Мне дали билет на процесс; к этим дням я еще вернусь когда-нибудь.

В 1942 году я писал в одной из статей: «Фашизм задолго до того, как напасть на нашу страну, вмешался в нашу жизнь, искалечил судьбу многих…» Да и в то время, о котором рассказываю, я не мог отделить нашей беды от недобрых вестей, приходивших с Запада.

В конце февраля фашисты снова заняли Теруэль. Италия и Германия усилили свою помощь Франко. Идеи попробовал поднять голос против, открытого вмешательства Италии в испанскую войну; ему пришлось уйти в отставку, пришел Чемберлен, сторонник сближения с Гитлером и Муссолини. Начались массированные бомбежки Барселоны; в течение нескольких мартовских дней было убито четыре тысячи жителей. Накопив силы, фашисты прорвали фронт республиканцев в Арагоне. В той единственной статье, которую я написал за несколько месяцев, есть такие строки: «Ночью у себя в комнате я слушаю радиопередачу Барселоны. За окном — девятый этаж — огни большого города, глухо доносится голос: «В районе Фраги мы отбили атаку…» Может быть, сейчас бомбят Барселону? Может быть, чернорубашечники снова атакуют «в районе Фраги»… Для меня Фрага была не абстрактным именем, а городом, где я часто бывал. Я видел перед собой улицы Барселоны и понимал, что война между нами и фашизмом началась. Сейчас она не на собраниях писателей, где обсуждают, кто дружил с Бруно Ясенским. а там — в Испании.

Я долго думал, что мне делать, и решил написать Сталину. Борис Матвеевич не решался меня отговаривать и все же сказал: «Стоит ли привлекать к себе внимание?…» Я написал, что был в Испании свыше года, мое место гам, там я могу бороться.

Прошла неделя, две — ответа не было. Самое неприятное в таком положении — ждать, но ничего другого не оставалось.

Наконец меня вызвал редактор «Известий» Я. Г. Селих; он сказал несколько торжественно: «Вы писали товарищу Сталину. Мне поручили переговорить с вами. Товарищ Сталин считает, что при теперешнем международном положении вам лучше остаться в Советском Союзе. У вас, наверно, в Париже вещи, книги? Мы можем устроить, чтобы ваша жена съездила и все привезла…»

Я пришел домой мрачный, лег и начал размышлять. Совет, переданный Селихом (если можно было назвать это советом), мне казался неправильным. Что я здесь буду делать? Тынянов пишет о Пушкине, Толстой — о Петре. Кармен снимает героические экспедиции, мечтает попасть в Китай. Кольцов причастен к высокой политике. А мне здесь сейчас делать нечего. Там я могу быть полезен: я ненавижу фашизм, знаю Запад. Мое место не в Лаврушинском…

Пролежав день, я встал и сказал: «Напишу снова Сталину…» Здесь даже Ирина дрогнула: «Ты сошел с ума! Что ж ты, хочешь Сталину жаловаться на Сталина?» Я угрюмо ответил: «Да». Я понимал, конечно, что поступаю глупо, что, скорее всего, после такого письма меня арестуют, и все же письмо отправил.

Ждать было еще труднее. Я мало надеялся на положительный ответ и знал, что больше ничего не смогу сделать, слушал радио, перечитывал Сервантеса, от волнения почти ничего не ел. В последних числах апреля мне позвонили из редакции: «Можете идти оформляться, вам выдадут заграничные паспорта». Почему так случилось? Этого я не знаю.

Один молодой писатель, которому в 1938 году было пять лет, недавно сказал мне: «Можно вам задать вопрос? Скажите, как случилось, что вы уцелели?» Что я мог ему ответить? То, что я теперь написал: «Не знаю». Будь я человеком религиозным, я, наверно, сказал бы, что пути господа бога неисповедимы. Я говорил в самом начале этой книги, что жил в эпоху, когда судьба человека напоминала не шахматную партию, а лотерею.

Первого мая я был в комнате радиокомитета, выходившей на Красную площадь; поэты читали стихи и комментировали демонстрацию; и говорил про Испанию. Я знал, что война будет шириться, охватит мир.

Настал день отъезда. На вокзал пришло много друзей; нам трудно было с ними расставаться. В Ленинграде, где мы задержались на несколько дней, были снова длинные беседы о происходящем и снова жар рук, неуверенное «До свиданья!..».

В Хельсинки была еще одна пересадка. Мы сидели с Любой на скамейке в сквере и молчали: не могли разговаривать даже друг с другом…

Мне было сорок семь лет, это возраст душевной зрелости. Я

знал, что случилась беда, знал также, что ни я, ни мои друзья, ни весь наш народ никогда не отступятся от Октября, что ни преступления отдельных людей, ни многое, изуродовавшее нашу жизнь, не смогут заставить нас свернуть с трудного и большого пути. Были дни, когда мае не хотелось дольше жить, но и в такие дни я знал, что выбрал правильную дорогу.

После XX съезда партии и встречал за границей знакомых, друзей; некоторые из них спрашивали меня, да и самих себя, не нанесен ли роковой удар самой идее коммунизма. Чего-то они не понимают. Я — старый беспартийный писатель — знаю: идеи оказалась настолько сильной, что нашлись коммунисты, которые сказали и нашему народу, и всему миру о прошлых преступлениях, об искажении и философии коммунизма и его принципов справедливости, солидарности, гуманизма. Наш народ наперекор всему продолжал строить, а несколько лет спустя отбил фашистское нашествие, достроил тот дом, в котором теперь живут, учатся, шумят, спорят юноши и девушки, не знавшие жестоких заблуждений прошлого.

А мы с Любой молча сидели на скамейке чахлого сквера. Я подумал, что молчать мне придется долго: в Испании люди борются, я не смогу ни с кем поделиться пережитым.

Нет, идее не был нанесен роковой удар. Удар был нанесен людям моего поколения. Одни погибли. Другие будут помнить до смерти о тех годах. Право же, их жизнь не была легкой.

29

Рапорт начальника Московского охранного отделения подполковника фон Котена, о котором я говорил в первой части этой книги, датирован 14 января 1908 года — накануне моего ареста.

Охранники были недостаточно осведомлены. Говоря об ученической организации РСДРП, начальник охранки приводит имена товарищей, которые в 1908 году уже не были гимназистами, а если иногда приходили на наши собрания, то скорее как усердные партийные работники; к таким гостям относятся Г. Я. Брильянт, арестованный еще до рапорта, и Н. И. Бухарин, ошибочно названный Владимиром. Имена Бухарина и Брильянта (Сокольникова) теряются в длинном списке: филера в отличие от некоторых историков заняты не толкованием будущего, а скромными донесениями.

У отца Григория Яковлевича Брильянта, или Гриши, как мы его называли, была аптека на Трубной площади, туда я порой забегал. Гриша был бледным молчаливым юношей, который записывал в общую тетрадь конспекты прочитанных книг. Он никогда не уклонялся от ответа, говорил сдержанно и, как мне казалось, веско. Минутами и думал, что он чересчур сухой, и тотчас я говорил себе, что я — плохой марксист, что мне нравятся болтуны, что нужно не просто жить, а готовить революцию — мне ведь было тогда шестнадцать лет.

Когда меня вели на очередной допрос, в коридоре Бутырской тюрьмы я увидел Гришу. Мы понимали, что такое конспирация, и поздоровались только глазами. Потом товарищи мне рассказывали, что Брильянта приговорили к ссылке в далекое место Сибири. Оттуда он удрал за границу, и весной 1909 года я его увидел в библиотеке товарища Мирона. Он стал взрослым, но не изменился: такой же бледный и молчаливый. Он рассказал мне, что переводит социальный роман молодого французского писателя Шарля Луи Филиппа, пересказал содержание. Мне стало скучно — я уже строчил стихи и зачитывался произведениями «декадентов». Несколько лет спустя и понял, что Шарль Луи Филипп — хороший писатель. (Он умер в возрасте тридцати пяти лет в тот самый год, когда Григорий Яковлевич мне о нем рассказывал.)

Прошло много времени, и летом 1930 года, оказавшись в Лондоне по приглашению Пен-клуба, я увидел Г. Я. Сокольникова — он был нашим послом. Он приехал в Лондон незадолго до этого: после разрыва дипломатических отношений

консерваторами к власти пришли лейбористы и отношения возобновили. Григорий Яковлевич говорил о положении в Англии, о растущем кризисе, о трусости Макдональда. Несколько дней спустя я пришел к Сокольникову с Любой, увидел его молодую жену; почему-то мы заговорили о собаках. Люба уверяла, что лучше всего скотч-терьеры, и Григорий Яковлевич приветливо улыбался.

Прошло еще семь лет, и вдруг, развернув «Известия», я прочитал о судебном процессе, судили Сокольникова, Радека. Все мне показалось неправдоподобным. Сокольников уверял, что к нему в Лондоне пришел немецкий посол, сказал, что он знаком с позицией Сокольникова, по за помощь Гитлер требует всю Украину. Я ничего не понял. Не понимаю и теперь, что делали с арестованными Ягода, Ежов или Берия. Больше Сокольникова я не видел.

Конечно, молоденький Гриша когда-то помог мне разобраться в том, что, перефразируя стих Мандельштама, я назову «странностями политики», но я недостаточно знал его, и в моей памяти он остался скорее образцовым большевиком, чем живым человеком. Героем моего отрочества был Николай Иванович Бухарин. Он был на два с половиной года старше меня; в зрелом возрасте я об этом не думал, но в гимназические годы, хотя мы часто встречались, заняты были одним делом, я все время сомневался: не скучно ли ему водиться с мальчишкой?

Сокольников был создан для политики и говорю не только о манере держаться, но о человеческом материале. А Николай Иванович был мне куда ближе и понятнее: веселый, порывистый, с любовью к живописи и поэзии, с юмором, не покидавшим его в самое трудное время, он был человеком той стихии, в которой я жил, хотя жили мы разным и по-разному. О нем я вспоминаю с волнением, с нежностью, с благодарностью — он помог мне не в понимании того или иного труднейшего вопроса, он мне помог стать самим собой.

Познакомились мы в гимназии — перейдя в пятый класс, осенью 1906 года, я оказался на втором этаже, где помешались старшие классы. Я тянулся к Бухарину и его одноклассникам: Ярхо, Циресу, Астафьеву. Вскоре Бухарин позвал меня на собрание кружка: он рассказывал о марксизме. Потом я взялся за школьную организацию, за партийную работу, ходил на собрания в Сокольнической роще или на Воробьевых горах: мы встречались и на работе, и в свободное время.

Иногда Николай приходил ко мне. Мой песик Бобка не выносил ни сапог, ни громкого смеха, и однажды он повис на ноге Бухарина.

Иногда я заходил к Николаю. Отец его был педагогом, жили они на Малой Никитской возле Кудринской площади. Но чаще всего мы бродили по бульварам, то по Пречистенскому, то по Новинскому. Николай любил беседовать шагая и при этом жестикулировал. О чем только мы не говорили — о кознях меньшевиков и о романах Гамсуна, о Смидовиче и о спектаклях Художественного театра, о том, что Потемкин прочитал хорошую лекцию, посвященную Коммуне, и о том, что Лидия Николаевна — милая девушка!

Мы иногда вместе ходили в гости к двум подругам-большевичкам. Они жили на Козихах. Одна, которую звали Таней, потом вышла замуж за Макара — за В. П. Ногина. Другая нравилась Николаю, и я над ним подтрунивал. Ольга Петровна Ногина рассказывала мне о судьбе Лидии Николаевны Недокуневой. Она отошла от партийной работы, а после революции Бухарин устроил ее в одном из журналов. Когда Бухарина арестовали, от Лидии Николаевны потребовали, чтобы она выступила на собрании, заклеймив «врага народа», — это было в нравах времени. Недокунева в своей речи, забывшись, начала прославлять Николая Ивановича, а в конце спохватилась: «Товарищу Сталину было трудно пожертвовать таким человеком, по он это сделал для партии…» С собрании она пришла к О.П. Ногиной и сказала: «Ночью за мной придут». Ольга Павловна пробовала ее успокоить, но в ту же ночь Лидию Николаевну забрали. Она выжила и вернулась в Москву после XX съезда.

Все это очень давние и очень смутные воспоминания: с тех нор прошло почти шестьдесят лет. Я помню только озорные глаза Николая и слышу его задорный смех. Он часто говорил нецензурные слова, им придуманные, — в словотворчестве ему мог бы позавидовать Хлебников.

Мы расстались надолго. В 1910 году Бухарина арестовали и отправили в Архангельскую губернию. Год спустя он удрал за границу, жил в Швеции, в Америке, в Швейцарии, в Кракове. Встретились мы в конце 1920 года. Он жил в Первом доме Советов — так звалась тогда гостиница «Метрополь». Мне показалось, что не прошло двенадцати лет передо мной сидел не один из руководителей правящей партии, а смешливый и неутомимый Николай Иванович. Это он написал записку «лорд-мэру Москвы» (председателю Моссовета Л. Б. Каменеву), всполошился, когда узнал от Любы, что меня забрала Чека, а потом помог получить заграничный паспорт: «Посмотрите, что там теперь делается, а потом опишите, только позлее…»

Бухарин написал предисловие к первому советскому изданию «Хулио Хуренито».

В 1922 году он приезжал в Берлин, и мы с ним просидели часа три в маленькой пустой кондитерской. Помню, я сказал, что многое происходит не так, как нам мерещилось на Новинском бульваре. Он ответил: «Вы — известный путаник», потом рассмеялся и добавил: «Меня тоже называют путаником. Но вам легче — вы путаете в романах или в частных разговорах, а я, как-никак, член Политбюро…» С подлинным обожанием он говорил о Ленине: «Теперь ясно — выберемся или, если хотите, выпутаемся — с Ильичем мы не пропадем…»

После сообщения о кончине В. И. Ленина я сразу пошел в «Метрополь». Бухарин сидел на кровати, обняв руками колени, и плакал. Я не сразу решился поздороваться.

Я продолжал «путать». А Бухарин был редактором «Правды», одним из руководителей Коминтерна. Он старался отстоять писателей от рапповцев, напостовцев, выступал против «критиков с дубиной».

Первый том Литературной энциклопедии включает статью о Бухарине как об «одном из видных теоретиков марксизма». Однако начинался «культ личности», и Бухарин вместо «Правды» стал редактором «Известий».

Весной 1932 года С. Раевский сказал мне, что Николай Иванович хочет, чтобы я стал постоянным парижским корреспондентом газеты. Я проработал с Николаем Ивановичем четыре года. Он старался сделать газету живее. Напечатал мою статью «Откровенный разговор» о подлинном низкопоклонстве Интуриста перед иностранцами. Напечатал также статьи, в которых я отстаивал поэзию Пастернака, театр Мейерхольда, живопись Штеренберга и Тышлера. Однажды Сталин позвонил Бухарину: «Ты что же, решил устроить в газете любовную почту?…» Было это по поводу моего «Письма к Дусе Виноградовой», знатной ткачихе: я попытался рассказать о живой молодой женщине. Гнев Сталина обрушился на Бухарина.

Во время Первого съезда советских писателей я каждый день встречался с Николаем Ивановичем. Он сделал доклад, посвященный поэзии. Его встретили восторженно: когда он назвал имя Маяковского, все встали. Доклад Бухарина был защитой поэзии от риторов, стихотворцев на случай, вульгаризаторов. Некоторые поэты обиделись и напали на Бухарина (будучи близкими к партийному руководству, они знали, что можно безнаказанно ругать Николая Ивановича). Особенно резок был Демьян Бедный, говорил, что «Бухарин выделил некий Поэтический торгсин для сладкоежек», что он «старчески щурит глаза» и так далее. Между тем Бухарин отозвался о поэзии Демьяна Бедного Мягче, чем некогда Ленин, в

воспоминаниях Горького есть такие слова Владимира Ильича: «Грубоват. Идет за читателем, а надо быть немножко впереди». Бухарин в заключительном слове высмеял «фракцию обиженных». На последнем заседании съезда А. А. Фадеев неожиданно огласил: «Я действительно допустил слишком резкие заявления и выпады но адресу некоторых товарищей поэтов…»

Помню вечер, когда сообщили об убийстве Кирова. Я пошел в редакцию. На Бухарине лица не было, он всем кричал: «Идите и пишите о Кирове…» Я знал, что Киров и Орджоникидзе были друзьями, защитниками Николая Ивановича. Он и меня втолкнул в пустую комнату: «Пишите! Второго такого не будет…» Я еще не успел ничего написать, когда вошел Николай Иванович и шепнул: «Не нужно вам писать. Это очень темное дело…»

В апреле 1936 года Бухарин приехал в Париж. Он остановился в гостинице «Лютеция», рассказал мне, что Сталин послал его для того, чтобы через меньшевиков купить архив Маркса, вывезенный в Париж немецкими социал-демократами. Он вдруг добавил: «Может быть, это — ловушка, не знаю…» Он был встревожен, минутами растерян, но был у него чудесный характер: он умел забывать все страшное, прельстившись выставкой, книгами или «кассуле тулузен» южным блюдом, гусятиной и колбасой с белыми бобами. Он любил живопись, был сам самодеятельным художником — писал пейзажи. Люба водила его на выставки. Французы устроили его доклад в зале Мютюалитэ, помню, как восхищался Ланжевен мыслями Бухарина. А из посольства пришел третий секретарь — там если не знали, то предчувствовали близкую развязку. Мы как-то бродили по набережной Сены, но узеньким улицам Латинского квартала, когда Николай Иванович всполошился: «Нужно в «Лютецию»…я должен написать Кобе». Я спросил, о чем он хочет писать — ясно, что не о красоте старого Парижа и не о холстах Боннара, которые ему понравились. Он растерянно засмеялся: «В том-то и беда не знаю о чем. А написать нужно — Коба любит получать письма».

От секретаря Бухарина С. А. Ляндреса и от его жены А. М. Лариной (она выжила, провела почти двадцать лет в концлагере) я знаю, что произошло в 1937 году. Бухарин был в Узбекистане, когда появилось сообщение о том, что на втором процессе (Радек — Пятаков — Сокольников) было указано на участие Бухарина в «правотроцкистском центре». Нельзя было найти никого, чтобы получить билеты на Москву: вокруг «врага народа» образовалась пустота. В Москве Бухарина очень долго не арестовывали, допрашивали его не в ГБ, а в ЦК. Ему, например, показывали утверждение Радека о том, что однажды к Радеку на дачу

приехали Бухарин и Эренбург, ели яичницу и Бухарин с Радеком вели деловой разговор о захвате власти. Я однажды был с Николаем Ивановичем на Сходне у Радека, и нас действительно накормили глазуньей, но разговор шел не о заговоре, а об охоте — оба были страстными охотниками. Бухарина вызвали на заседание Центрального Комитета, он пробовал защитить правду, но люди кричали: «Расстрелять предателя!» Николай Иванович написал письмо будущим руководителям партии и заставил жену заучить его наизусть: она запомнила и выполнила последнее желание мужа.

В начале марта 1938 года один крупный журналист, вскоре погибший по приказу Сталина, в присутствии десятка коллег сказал редактору «Известий» Я. Г. Селиху: «Устройте Эренбургу пропуск на процесс — пусть он посмотрит на своего дружка».

Я был в Октябрьском зале и увидел на скамье подсудимых кроме Бухарина нескольких людей, которых знал, — Крестинского, Раковского. Они рассказывали чудовищные вещи, их жесты, интонации были непривычными. Это были они, но я их не узнавал. Не знаю, как Ежов добился такого поведения. Ни один западный автор халтурных полицейских романов не мог бы напечатать подобную фантастику.

Я был на заседании, когда Крестинский неожиданно отказался от показаний на предварительном следствии. Председатель трибунала Ульрих сказал, что сейчас допрашивают свидетелей, Крестинский сможет все объяснить, когда до него дойдет черед. Вскоре после этого генеральный прокурор Вышинский сказал, что все устали — нужен перерыв. После перерыва Крестинский попросил слова и объяснил, что отказ от показаний на предварительном следствии был с его стороны малодушием.

Вместе со старыми большевиками судили врачей, рядовых бюрократов и таинственных филеров. Врачам приписывали отравление Максима Горького и некоторых видных политических деятелей — врачи якобы выполняли поручения «правотроцкистского центра». Вышинский блистал знаниями древней истории и уверял, что за две тысячи лет до Бухарина древние римляне загадочно отравляли неугодных им сограждан. Тот же Вышинский, добившись от Николая Ивановича «признания», что он будто бы еще в 1918 году намеревался арестовать Ленина, восклицал: «Проклятая помесь лисицы со свиньей» или «Василий Шуйский, он же Иуда Искариот».

Все мне казалось нестерпимо тяжелым сном, и я не мог толком рассказать о процессе даже Любе и Ирине. Я теперь также ничего не понимаю, и «Процесс» Кафки мне кажется

реалистическим, вполне трезвым произведением.

Я. Г. Селих спросил меня: «Напишите о процессе?» Я вскрикнул: «Нет!» — и, видно, голос у меня был такой, что после этого никто мне не предлагал написать о процессе.

Я вспоминаю сейчас веселого Николая. Ленин называл его «Бухарчиком», говорил о нем «любимец партии». Сталин хотел не только очернить и убить Бухарина, он хотел уничтожить память о нем. Правда всегда побеждает — рано или поздно. Порой слишком поздно… Я не мог не написать о друге далекой молодости.

30

Во Франции официально еще существовал Народный фронт, но теперь это была облупившаяся вывеска. Новое правительство возглавил Даладье, министерство иностранных дел он доверил Боннэ, который громко говорил, что жаждет мира, и, понижая голос, добавлял, что необходимо договориться с Берлином и Римом.

Трагедия Франции началась давно, еще в 1936 году, когда Леон Блюм, испугавшись правых, отказался продать испанскому правительству вооружение. Это шло вразрез и с существовавшими договорами, и с интересами Франции, и с политическими убеждениями Блюма. Социалистический премьер любил Стендаля: в романах ему нравились характеры с сильными страстями; а у него самого характера не было. Он воскликнул: «Моя душа разрывается», — и заговорил о «невмешательстве». Разорвалась не только его душа, но и Франция.

В июне 1938 года многие французские политики понимали, что Муссолини не удовлетворится взятием Аддис-Абебы и Малаги, что для Гитлера Австрия только закуска, а Испания — рабочая репетиция. Но страна была разъединена. Противники Народного фронта, обозленные забастовками, поглядывали на фашистов с надеждой, как на опытных хирургов. А рядовые французы, многие их тех, что голосовали за Народный фронт, радовались, что они не в Вене и не в Барселоне, никто не бомбит, не заставляет по команде подымать вверх руки, они могут на террасах больших кафе и маленьких рабочих баров пить зеленые, золотистые или малиновые аперитивы. Франция уже репетировала предстоя шее отречение.

Я купил в вокзальном киоске кипу газет и книгу неизвестного мне автора Леона де Понсэна с соблазнительным заглавием «Секретная история испанской революции». Фашистская газета «Гренгуар» объявила конкурс: читатель, который угадает дату, когда генерал Франко возьмет Барселону, получит пятьдесят тысяч франков. Из книги Леона де Понсэна я узнал, что коммунисты, социалисты и франкмасоны устроили заговор с целью отдать Испанию в руки евреев; Коминтерн для этого направил в Барселону Бела Куна, Вронского, Антонова-Овсеенко, Эренбурга, Кольцова, Миравильеса, Горева, Туполева, Примакова и других «преступников еврейского происхождения». Я подумал, что сумасшедшие есть повсюду, и задремал.

В пограничный испанский город Порт-Бу я приехал рано утром и попал сразу под бомбежку. Испания меня встретила

кровью: на мостовой лежал убитый ребенок.

Я уехал из Испании в дни боев за Теруэль, когда еще все верили в победу. Вернувшись полгода спустя, я увидел другую картину. Конечно, я знал и в Москве, что фашисты одержали крупные победы, но одно дело читать о беде в газетах, другое ее увидеть. Страшно, расставшись с любимым человеком, который работает, сердится, мечтает, ревнует, найти его подточенным жестокой, может быть смертельной, болезнью. Когда я уезжал, положение республиканцев было трудным, но даже нейтральные обозреватели гадали об исходе войны. Теперь я мучительно старался убедить себя, что еще не все предрешено и что чудо может спасти республику.

Возле Эбро пятидесятилетний испанец, живший долго в Париже (его звали Анхель Сапика), который пошел добровольцем в 1938 голу, когда уже не оставалось места для иллюзий, говорил мне: «Смерть — это феномен, случай. Родиться, умереть — это не от нас зависит. Главное — прожить достойно, не презирая себя». Может быть, говоря это, он думал о другом — о том, что человеку хочется достойно умереть, сделать все, чтобы смерть не выглядела «случаем»?…

Я приехал в Барселону. Савич по-прежнему писал телеграммы, говорил, что его измотала работа — не может даже выбраться на фронт. Он спросил меня про свою жену, про Мирову, про некоторых военных советников. Я ответил, что Аля здорова, старается быть спокойной, а с Мировой плохо, да и со многими другими: «Трудно понять, почему каждый день забирают людей, ни в чем не повинных…» Савич удивленно на меня посмотрел: «Ты что — троцкистом стал?…» Он не был в Москве и многого не понимал.

Савич жил на горе. Я спустился в город. На площади Каталония по-прежнему старушка брала десять сантимов у прохожего, который садился на стул в сквере, и выдавала билетик. Десять сантимов стали микроскопической суммой; да и мало было в сквере людей — кругом чернели развалины домов. Но жизнь продолжалась… На той же площади старики сыпали крошки хлеба голубям. Все это могло показаться удивительным: паек был полтораста граммов хлеба, порой сто где уж тут кормить голубей. Да и голуби могли бы улететь — редко выпадала ночь без бомбежки. Но я не удивлялся: уже задолго до этого я понял, что можно разворотить, изувечить, истоптать жизнь, и все-таки влюбленные будут целоваться, обмениваться клятвами, а старушки прибирать — комнату, тюремную камеру, больничную койку, кажется, даже свой собственный гроб.

На Рамбле по-прежнему продавали цветы. В театре шла

премьера «Укрощение строптивой». Возле богатых особняков развели огородики: картошка, салат. В ресторане подавали вареные бобы без масла, но скатерти были чистые. А мыла не было.

Чистильщики ботинок хорошо зарабатывали — вакса была, и, верные своим привычкам, барселонцы радовались, глядя на сверкающую обувь.

Вышел очередной номер журнала «Филателист Барселоны». Я подсчитал в газете: работают двенадцать театров и пятьдесят четыре кинотеатра. В том же номере сообщалось, что вчера была сотая, следовательно юбилейная, бомбежка Барселоны.

Квартал рыбаков, веселая Барселонета, был снесен бомбами. Газеты каждый день помещали объявления в черных рамках: такой-то погиб при бомбежке. Как-то бомба упала на кладбище и разворотила могилы, другой раз на родильный дом было много жертв, на собор XIII века, на рынок. «Известия» попросили меня присылать фотографии; я ходил и снимал развалины, солдат, которые вытаскивали из-под груды камней покалеченные тела. Привыкнуть можно ко всему, и я думал, какую диафрагму лучше поставить… Вероятно, я напоминал старушку, собиравшую деньги за стулья.

Республиканская Испания была разрезана на две части: фашистам удалось прорваться к побережью. Немцы прислали крупных специалистов: Испанию они рассматривали как превосходные маневры перед предстоящим завоеванием Европы. А в боях за выход к Левантскому побережью, помимо войск Франко, участвовали четыре итальянские дивизии.

Я поехал на фронт, который в газетах по привычке называли Арагонским, хотя фашисты успели захватить все города и деревни Арагона — Барбастро, Фрагу, Сариньену, Пину, Каспе, там, где я спорил, дружил и ссорился с неугомонными анархистами… Я добрался до пригорода Лериды. Город был в руках у фашистов, но республиканцам удалось удержаться в квартале, расположенном на другом берегу речки Сегре. Бог ты мой, сколько раз я приезжал в Лериду с Арагонского фронта! Тогда этот город казался глубоким тылом. Я шел в гостиницу «Палас», принимал ванну, гулял по городу, улицы были с аркадами, и вечером старинные фонари казались театральными. В кафе подавали вермут. За соседними столиками люди спорили, кто прав — ФАИ или ПСУК? А девушки, прогуливаясь мимо кафе, смеялись, их сопровождали восторженные взгляды как анархистов, так и социалистов. Теперь на том месте, где было кафе, — мешки с песком; дробь пулемета. Передо мною были узкие горбатые улицы, полуразрушенные дома набережной.

Почему-то я вспомнил старого кривого парикмахера: я у него стригся и брился, возвращаясь с фронта. Он балагурил, высмеивал генералов, анархистов, министров и гордо объявлял каждому: «Я умеренный анархист и непримиримый антифашист». Успел ли он уйти из города или погиб?…

Житель Лериды, переплывший речку, рассказывал, что в городе осталось четыреста человек (было сорок тысяч): «Все ушли. Помнишь большой дом на площади Паэрия, рядом с «Паласом»? На нем написано красной краской: «Мы не хотим жить с убийцами». Это не солдаты написали, а кто-то из жильцов, когда уходили…»

Трудно объяснить, как удалось остановить фашистов на правом берегу узкой неглубокой реки. Осенью 1936 года их задержали на окраине Мадрида. Военные тогда объясняли, что город легко оборонять. Но здесь фашисты заняли город и вдруг натолкнулись на яростное сопротивление. Это бывало в Испании не раз и, видимо, связано не с особенностями рельефа, а с особенностями характера: люди сдавали почти без боя сто, двести километров, и вдруг подымались ярость, гнев, воля — враг не мог продвинуться на сто метров.

Я сидел с бойцами, когда осколок снаряда убил красивого смуглого бойца; его звали Куррито, он был андалузцем из Сьерра-Морены. Другой боец, портной, барселонец, который прежде все время шутил, долго стоял над убитым товарищем, шевелил губами, видно было, что он сдерживает слезы; наконец он сказал: «А я ему рубашку обещал зашить…»

Осколок обломал ветку персикового дерева. Мы молча ели душистые плоды в Лериде они поспевают рано. Барселонский портной сказал: «Куррито любил персики…»

В батальоне было довольно много добровольцев, записавшихся недавно, — пожилых людей, подростков. Политики говорили, что война подходит к концу; а вот эти пришли воевать… Вряд ли они рассчитывали на победу, по не хотели или не могли стоять в стороне. Я знал Испанию, и все же всякий день ока меня удивляла.

Когда я возвращался в Барселону, бомбили дорогу. Мы пролежали полчаса в траве. Потом я увидел искромсанное поле пшеницы. Отчего-то это было нестерпимо больно, хотя я видел вещи пострашнее. Может быть, оттого, что, когда я был ребенком и ронял кусок хлеба, няня Вера Платоновна сердито говорила: «Поцелуй», — и я целовал ломоть.

В Барселоне я разговаривал с пленным немецким летчиком Куртом Кетнером, сыном бранденбургского архитектора. Он приехал а Испанию рано, в октябре 1936 года; он сразу сказал

мне, что он лейтенант рейхсвера, летал на «хейцкеле-111». Когда я спросил его, почему он бомбил испанские города, он громко засмеялся: «Опять эти истории с «мухерес и ниньос»? (Он говорил по-немецки, но слова «женщины и дети» сказал по-испански.) Вздор! Недавно я видел после бомбежки, облако дыма. Это, наверно, дымились мухерес и ниньос».

Его нельзя было назвать невежественным, он прочитал немало книг, говорил о «философии истории», но мне он казался дикарем, смелым и злобным. Такие встречи помогли мне познакомиться с духовным миром, несложным, но своеобразным, офицеров и солдат, которых два года спустя я увидел марширующими по улицам Парижа, а в 1941-м у нас, в Белоруссии.

Трагический фарс «невмешательства» продолжался. Я видел, как в Сербере задержали несколько сот лопат, купленных для крестьян Каталонии. Я поехал в Андай — хотел посмотреть, что происходит на границе между Францией и фашистской Испанией.

В Андае у меня были друзья, я об этом упоминал в рассказе об обмене летчиков. Эти друзья свели меня с ответственным служащим таможни, который ненавидел фашизм. Он мне показал документы о грузах, направлявшихся в фашистскую Испанию. Конечно, Италия и Германия самолеты, танки, артиллерию, боеприпасы отправляли морем в порты Португалии, в Бильбао, в Кадикс; но для более невинных вещей они пользовались транзитом через Францию; так направлялись грузовики, мотоциклы, каучук, моторы, химические продукты для военной промышленности. Никакого контроля на границе между Францией и фашистской Испанией не было, несмотря на все заверении французского правительства.

«Известия» напечатали мою статью, и французская полиция возмутилась; оказалось, что я нарушаю принципы невмешательства. (Я все-таки был наивным: хотел кого-то пристыдить, раскрыть кому-то глаза — думал, что дело идет к Вердену, а дело шло к Мюнхену.)

Я должен рассказать об одной довольно глупой истории. Мне захотелось хотя бы на несколько часов очутиться в фашистской Испании, поглядеть, что там делается. Нечего было мечтать о фальшивых документах: в Ируне имелся советник-гестаповец. В Андае мне рассказали, что контрабандисты часто проносят в испанские пограничные деревушки различные товары. Я напал на одного из них; он был французским баском. Он сказал мне: «Ладно. Только имей в виду, что я политикой не занимаюсь. Я знаю, что фашисты — сволочь, но мне нужно кормить семью. Я тебя не выдам, но, если, не дай бог, нарвемся на пограничников,

и прямо скажу, что ты чужой, пристал в дороге».

Мы перешли речку, потом начали подыматься. Я, признаться, волновался и раза два или три пережил страх; я даже не помню, что мой — я звал его Жаком — тащил на себе. Наконец мы оказались в обыкновенной испанской деревушке, зашли в темный дом, где пахло оливковым маслом и чесноком. Жак привел туда Антонио. Антонио провел меня в другой дом. Сразу после того, как мы вернулись в Андай, я записал несложный разговор: «Хозяйка была старой и глухой. Антонио сказал мне: «Рекете убили ее сына. Вместе с Агирре. Тим, где ты шел с Жаком, — возле Каса Роха. Он лежал и ругался. Она не знала. А когда она пришла, он был мертвый. Они ее оставили здесь, Потому что она очень старая». Старуха глядела то на Антонио, то на меня. Антонио крикнул ей в ухо: «Они тебя здесь оставили, потому что ты очень старая». Она радостно закивала головой: «Да, да, очень старая»; потом она сжала острыми пальцами черный платок: «Он не был старым, он еще был молодым», — и громко заплакала. Антонио поднес палец ко рту: гвардеец! Я поглядел в щель ставен. Никого… Антонио рассказывал: «Здесь все его боятся… Я был в Элисандо на ярмарке. Там тоже никто не раскроет рта. Боятся… Мне один прямо сказал: «Я только с женой говорю. И то боязно…» Я сам из Вильмедианы, маленькая деревушка, сто шестьдесят душ, но у нас голосовали за социалистов; рекете расстреляли двадцать девять человек».

Антонио привел еще четверых, сказал им: «Можете с ним разговаривать —.это француз из наших…» Крестьяне осторожно рассказывали о реквизициях, о штрафах. Вскоре за мною пришел Жак и сказал, что пора идти.

Вернулись мы под утро; зашли в бар на вокзале; пили коньяк.

В общем, я ничего не увидел и мог бы написать о старухе без того, чтобы зря рисковать. Это было затеей двадцатилетнего юноши; и это понимал и скорее стыдился, нежели гордился. Ко всему, я побаивался, что меня отзовут: скажут, корреспонденту «Известий» не полагается идти на такие авантюры. Но все обошлось, и я вернулся в Барселону.

Наивным был не только я; многие политические деятели еще верили в изменение позиции Англии и Франции. Нужно вспомнить события лота 1938 года, тогда многое станет понятным. Гитлер что ни день угрожал Чехословакии. Фюрер судетских немцев Генлейн отправился в Лондон, но вернулся недовольный. Хотя Чембсрлен был готов к уступкам, ему приходилось считаться с оппозицией не только лейбористов, но и многих влиятельных консерваторов. Во Франции картина была такой пестрой, что нелегко было разобраться: почти в каждой

партии имелись сторонники отпора и сторонники капитуляции. Правый журналист Кериллис, еще недавно проклинавший испанских республиканцев, писал, что Гитлер покушается на Францию. Левая газета «Эвр», прежде выступавшая против Франко, стала рупором кругов, которые называли себя «сторонниками мира» и стояли за любые уступки Гитлеру. Все нервничали. Владельцы гостиниц на побережье или в Альпах жаловались: люди забывают, что на дворе летние каникулы!

Альварес дель Вайо всегда был (да и остался) оптимистом. Помню, в то лето он докалывал мне, что война между Германией и Францией с ее союзниками неминуема. «Французы найдут в Испании не только врагов, готовых их атаковать с тыла, но и союзников». Он считал, что конец лета многое изменит в мире, повторял: «Наше дело — продержаться…»

Много писали, пишут и теперь о «чуде Мадрида», об осени 1936 года, когда испанский народ с помощью интербригад и советской техники остановил фашистскую армию. О последнем периоде написано куда меньше: разгром никогда не казался увлекательной темой. А я признаюсь: сопротивление во вторую половину 1938 года мне кажется еще большим чудом, чем оборона Мадрида в первую осень войны.

Пятнадцатого апреля 1938 года, когда войска Франко вышли к побережью и разрезали республиканскую Испанию на две части, исход войны был предрешен. Конечно, были и ошибки, и растерянность, и многое другое, но я пишу не историю войны, а книгу воспоминаний. Я думаю о том, что Каталония продержалась еще десять месяцев, Мадрид и того больше, и не могу побороть в себе волнение. Народы похожи на отдельных людей: их лучше понимаешь в дни глубокого несчастья.

В июне меня принял президент республики Асанья. Некоторые его называют «дезертиром», потому что он уехал во Францию в феврале 1939 года вместе с правительством. Конечно, президент республики должен был бы отправиться в Мадрид; но судьи не только слишком строги, они как бы не хотят понять, что Асанья был президентом воюющей Испании поневоле. Когда республика приняла вызов Франко и вступила в бой, переменили правительство. Его много раз меняли. А президента нельзя было переменить, он был символом преемственности, вывеской для буржуазных демократий Запада, флагом.

Мануэль Асанья стал политиком скорее по недоразумению; он писал романы, эссе, вместе со всей передовой интеллигенцией ненавидел монархию, диктатуру Примо де Риверы. Он был прежде всего дилетантом — и в литературе и в политике; чувствовал он себя хорошо не в резиденции президента, не на

посту премьера, даже не в парламенте, а в литературном клубе «Атенеум», где затевал диалоги эрудитов, где происходили ночные нескончаемые беседы, которые испанцы называют «тертульями». Он мог бы блистательно поспорить с Эдуаром Эррио о барокко, о госпоже Рекамье, о всечеловечности Кальлсрона.

Никто не упрекнет его в трусости. Я был в Мадриде, когда 14 апрели 1936 года народ праздновал годовщину провозглашения республики. Асанья тогда занимал пост премьер-министра. Один фашист в него выстрелил. Началась паника. Асанья спокойно улыбался.

Все дальнейшее было для него непосильным испытанием: он был либеральным интеллигентом, и когда Кабальеро принес ему на подпись список нового правительства, куда входили четыре анархиста, он заупрямился, пытался спорить, доказывал, что люди, отрицающие государство, не могут стать министрами. Он спорил, а с ним не спорили — он оставался флагом.

Он принял меня как корреспондента советской газеты и сделал заявление; в нем были такие строки: «Вооруженное нападение на республику, которое было организовано и которое поддерживается тремя европейскими государствами, принуждает нас вести войну за независимость не только в политическом значении данного слова, но и в том, что является самым высоким, самым основным, более, длительным, нежели структура, режим государства: борьба идет за свободу развития испанского духа. Речь идет не о том, будет ли в Европе одной республикой больше или меньше, не о том, сможет ли та или иная политическая партия отстаивать свою программу. Речь идет о том, сможет ли великий народ, прославленный в стольких областях, принимать самостоятельное участие в создании современной культуры, или он будет удушен. В этом мировое значение испанской трагедии, в этом причина и сила самообороны Испании».

Передав мне заявление, Асанья вдруг печально улыбнулся: «Теперь мы можем поговорить как два писателя…» Я думал, что он начнет беседу о литературе, но он сказал: «Я поставил в моем заявлении слово «трагедия»; может быть, для главы государства это неуместно, но другого слова я не нашел. Негрин, кажется, верит, что Испанию спасет мировая война. Наверно, война начнется. Но ее не начнут, пока не задушат Испанию… Вы знаете нашу литературу. Мы всегда стремились к общечеловеческим идеалам. Испанец создал «Дон Кихота», его все оценили, и для всех он стал посмешищем. Нас жалеют и, жалея, посмеиваются… Испанию надолго посадят за решетку…»

Я встретился с барселонскими анархистами. Они ругали

правительство, коммунистов, говорили, что Прието — прожженный политикан, что все происходящее каждый день подтверждает правоту анархистов, и вместе с тем с. гордостью повторяли, что в советских газетах восторженно писали о командире Сиприано Мера, а он — анархист. Они клялись, что СНТ — ФАИ будут сражаться до конца, жалели, что правительство мало делает для организации партизанской войны: «Каждый испанец создан для герильи…» Один из них проводил меня до гостиницы. По дороге началась тревога, завыли сирены, и мы застряли в подворотне какого-то склада. Анархист говорил: «Хорошо, сознательным я стал в тысяча девятьсот двадцать восьмом году, мне тогда было двадцать три года. Я был на фронте, ранен в грудь. Сегодня я попросил, чтобы меня послали на Эбро. Во-первых, я — анархист, это обязывает…» Он замолк, я спросил: «А во-вторых?» Он ответил не сразу, и голосу него был смущенный: «Во-вторых?… Но что ты хочешь? Испанцем я был еще до того, как стал анархистом. Может быть, ты думаешь, что я не испанец? Я из Севильи — как твой Хосе, только он был булочником, а я парикмахером. Я больше испанец, чем подлец Франко! Ну, а как по-твоему, может настоящий анархист жить без Испании? По-моему, нет».

Испанским коммунистам было нелегко; все время они должны были что-то кому-то объяснять: анархистам — что такое дисциплина, без которой нельзя разбить фашистов, республиканцам — что такое революция, социалистам — что такое единство, а советским товарищам — что такое Испания.

Я встречался с Хосе Диасом, Долорес Ибаррури, Урибе, другими руководителями партии. Они помогали мне разобраться в положении. Но сейчас я хочу припомнить один разговор, не имеющий отношения к событиям.

Никогда я не любил боя быков, и мы не раз спорили с Хемингуэем. Мне казались отвратительными и распоротые животы старых лошадей, и стрелы, втыкаемые в одуревшего быка, и кровь на песке, а самое главное — обман; бык не знает правил игры — бежит прямо на врага, а тореро вовремя чуть отклоняется в сторону; все искусство состоит в том, чтобы вовремя отбежать, не слишком рано, иначе публика освищет, да и не слишком поздно — зверь может прободать живот не клячи, а любимца Испании. У Хосе Диаса выпал свободный час. Как настоящий андалузец, он любил бой быков и сказал мне: «Ты думаешь, что мы всегда с тореро? Вот уж нет, часто мы на стороне быка. Ничего ты в этом не понимаешь…»

Не знаю, почему я сейчас вспомнил этот разговор; наверно, поэт оттеснил летописца. Вернусь к событиям 1938 года. В конце

июля началось наступление на Эбро — последняя попытка республиканцев восстановить положение. Ночью солдаты в лодках переправились на правый берег, который был хорошо укреплен. Эбро — широкая река с быстрым течением. Наступающим удалось создать плацдарм, навести мосты, захватить городок Мора-да-Эбро, ряд деревень, создать угрозу для левого фланга фашистов. Началось долгое и кровопролитное сражение.

Я дважды был на правом берегу Эбро, видел различные бои. Фашистская авиация бомбила мосты почти непрерывно, и непрерывно понтонеры их снова наводили; у них была песенка:

Живут в пещере,
Черны, как негры,
И злы, как звери,
Понтонеры Эбро.

Они действительно жили в скалах, рассеченных бомбами. Когда я снимал мост, чтобы послать фотографию в «Известия», один понтонер сказал мне: «Только без выдержки, а то упадет бомба, и пропала твоя фотография…»

Здесь война выглядела иначе, чем у Гвадалахары или даже у Теруэля. На стороне Франко сражались одиннадцать дивизий. На трехкилометровом секторе фашисты сосредоточили сто семьдесят орудий. Долго бои шли за различные высоты Сьерра-Панолос, и я увидел, как может измениться абрис горы от длительного артиллерийского обстрела.

Я познакомился с командиром Мигелем Тагуэнья. Ему было двадцать пять лет, его называли комсомольцем. Он успел до войны кончить университет, занимался оптикой, готовил диссертацию, а вместо этого пришлось взять ружье. Он стал командиром корпуса. У него было еще по-детски припухлое лицо, но кадровые военные говорили о нем с уважением. Он сказал: «Дойдем до Гандесы…» И вопреки всему я начинал верить в возможность победы. На фронте было как-то спокойнее, чем в Барселоне. Я не думал о том, что делается в Европе, не думал даже о судьбе Валенсии — мои мысли были заняты высотой 544, как будто от того, в чьих руках окажется эта лысая, развороченная огнем макушка невысокой горы, зависел исход всей войны.

Армией командовал Хуан Модесто. Мы вспомнили начало войны; тогда Модесто набрал батальон имени Тельмана; я с ним познакомился в тот самый день, когда они ваяли в плен первого фашиста; Модесто радовался, как ребенок: «Ты понимаешь — взяли пленного! Конечно, лучше бы двух — можно было сказать

«взяты трофеи и пленные». Он и на Эбро мне сказал, что вспоминает тот далекий лень как самый счастливый. Он рассказал мне свою жизнь: он андалузец, работал на лесопилке, любил футбол, политикой не интересовался. Как-то доктор дал ему крохотную газету «Голос пролетария». Модесто прочитал и задумался. Вскоре он стал коммунистом. На Эбро его палатка была набита книгами: учился военной науке. Веселый человек, он всех заражал весельем. Мне рассказывали, что в марте, когда люди пали духом, он пел песни, шутил, рассказывал андалузские анекдоты, и все невольно улыбались. Мы заговорили о перспективах. Модесто не унывал: «Посмотри, какая у нас теперь армия!» Потом он вздохнул: «Вот авиации мало… Да ты не объясняй, я все понимаю… Но очень мало…»

(Недавно я встретил Модесто в Риме после долгой разлуки. Я обрадовался, как будто ступил на землю Испании. Он все тот же и таким же голосом, как на Эбро, сказал: «Посмотри, какая теперь в Испании молодежь!..»)

Я не терял надежды, хотя понимал, что надеяться не на что. Сердце часто в размолвке с рассудком: это супружеская пара, которая не может ни мирно сосуществовать, ни развестись. Что меня приподымало? Да все то же — мелкие приметы. Не было табака, и одинокий солдат на посту сказал мне: «У меня две сигареты, отдай одну первому товарищу, которого встретишь…» В Барселоне на площади Каталунья я как-то дал двум девочкам плитку шоколада, которую привез из Франции. Девочки позвали подруг и аккуратно разломали плитку на десять крохотных кусочков. В прифронтовой каталонской деревне Пуидж Верд я зашел в крестьянский дом и сразу увидел городских детей. Старик хозяин сказал мне: «В Испании теперь мало земли. Видишь, они из Фраги. Была у них земля, и отобрали…»

Это несентиментальные истории, а быт Испании накануне развязки.

Летом, особенно осенью я часто уезжал во Францию: разворачивались события, от которых зависела судьба Европы на долгие годы. Я предложил Савичу писать для «Известий», когда меня нет в Барселоне; он согласился, и газета обзавелась новым корреспондентом с красивым испанским именем Хосе Гарсия. Каждый раз, уезжая, я с тревогой оглядывался на испанского пограничника — стал суеверным. А вместе с тем я не только писал, но и чувствовал: есть еще надежда! Наперекор всему…

31

В четвертой части этой книги почти все главы связаны с политическими событиями, происходившими в Европе в 1934–1938 годы. Это естественно: событии были значительными, и я не чувствовал себя зрителем. Я не могу оторвать свою биографию от приступов озноба, в которые эпоха бросала сотни миллионов людей. Рассказать про свою жизнь иначе — было бы неправдой.

Когда мне было двадцать лет, я думал о Кате, о картинах Мемлинга, о стихах Блока. Дни пахли туберозами, которые я покупал вместо того, чтобы пообедать. Я даже не знал, кто стоит во главе французского правительства, хотя жил в Париже, не интересовался тем, что происходило в Агадире, хотя агаднрский кризис грозил мировой войной, не раздумывал над аграрной реформой Столыпина, хотя продолжал считать себя революционером.

Четверть века спустя я не только писал в газетах, я чувствовал свою зависимость от того, что в этих газетах сообщалось. Обоняние диктует памяти навязчивые детали, и многие дни того времени связаны в моих воспоминаниях не с ароматом цветов, а с запахом печатной краски.

Я говорю об этом без радости и без сожаления: жить по-другому я не мог. Двадцатилетнему юноше казалось, что он свободно выбирает такую жизнь, какая ему по душе. К концу тридцатых годов я давно распрощался со многими иллюзиями, знал, что если и дана человеку возможность выбрать дорогу, то петли этой дороги зависят не от него.

Назвался груздем — полезай в кузов. Да, конечно. Но ведь и грузди в кузове не похожи один на другой. Я писал в предшествующих главах о борьбе Испании, о малодушии Блюма или Даладье, о крестьянах Каталонии, о немецких летчиках. Теперь мне хочется рассказать немного о себе.

Я говорил, что часто ездил во Францию, где назревали большие события; газета об этом просила, да и мне самому хотелось знать — будет война или нет.

Люба сняла домик в Баньюльсе, возле испанской границы. Там я отдыхал от бомбежек; приезжали Савич, друзья из Барселоны. В Баньюльс приехала из Парижа моя давняя приятельница — розовая смешливая Дуся. Приехал Мальро — он кончал съемки фильма об испанской войне.

В Париже было тревожно, и после испанской эпопеи нелегко было мириться с малодушием, скаредностью, привязанностью к тысячам бытовых услад. Мало кто приходил на Монпарнас из

моих старых друзей. Художники говорили уже не о фактуре холстов, а о судетских немцах и Чемберлене. Ирина писала редко, письма были пустыми, — впрочем, других я и не ждал. Новый посол Я. З. Суриц был человеком сердечным, но подружился я с ним по-настоящему много позднее — в послевоенные годы. Человеку, занимающему ответственный пост, трудно разговаривать: он должен уговаривать или отговаривать.

В 1938 году неожиданно для себя, после перерыва в пятнадцать лет, я начал писать стихи. Почему это приключилось? Прежде всего, от горя и одиночества. В часы радости человек общителен, он делит свою радость, будь то с толпой на улице, будь то среди четырех стен, с дорогим для него существом. А в минуты самого высокого, полного счастья человек молчит, как будто боясь словом поторопить время, разрушить внутреннюю гармонию. Горе же требует слов, у него есть язык, только очень редко ему перепадают чужие уши. Кто знает, как мы были одиноки и те годы! Речей было много, пушки уже кое-где палили, радио не умолкало, а человеческий голос как будто оборвался. Мы не могли признаться во многом даже близким; только порой особенно крепко сжимали руки друзей — мы ведь все были участниками великого заговора молчания.

Я глубоко привязан к своей основной работе — к прозе; знаю ее радости и трудности. Это — путь в гору, с петлями, с обвалами, с одышкой, порой и с инфарктами. Это — слова, обращенные к людям, о людях; комната прозаика всегда переполнена невидимыми для посетителя героями, милыми или несносными, друзьями или недругами, прошеными и непрошеными, навязанными жизнью. Прозаик ищет для своей работы уединения, ему нужны рабочий стол, тишина, но, по правде говоря, он живет и пишет на шумном, беспокойном перекрестке.

Поэт может сочинять стихи на улице, в автобусе, на скучном заседании, но в эти минуты он одинок. Никогда не вздумалось бы никакому прозаику, даже в давние времена, когда люди обожали мифологию, беседовать с музой. Л поэты, включая и тех, которым никто не говорил в школе, что муза Эрато олицетворяет лирику и сжимает в руке лиру, вдруг да вспомнят про музу. Лирика напоминает дневник, и часто люди начинают рифмовать от одиночества. Тютчев писал:

Как сердцу высказать себя?
Другому как понять тебя?
Поймет ли он, чем ты живешь?
Мысль изреченная есть ложь.

В стихах Тютчева затаенная мысль не была ложью. Есть у поэзии великая сила: рождаясь от одиночества, она разрушает преграды, существующие между людьми. Поэт беседует с воображаемой музой, ей исповедуется, часто не думая о судьбе зазвучавших в голове строк; а его признания становятся живой водой для множества людей. Стихи Тютчева были изданы его друзьями, и Иван Аксаков потом писал: «Тютчев при этом издании был, очевидно, сам в стороне; за него распоряжались, судили и рядили другие. Мы убеждены, что он даже и не заглянул в эту книжечку». А Л. Н. Толстой до смерти бормотал тютчевские строки, которые я привел.

До чего одинок, несчастен был Лермонтов! Свои лучшие стихи Верлен написал в тюрьме. Дневник Блока потрясает тоской одиночества. Можно было бы заполнить десятки страниц таким перечнем. Я отнюдь не хочу прославлять одиночество, но скажу, как Берга мин: одиночество — это не отъединение, не программа, не опостылевшая всем «башня из слоновой кости». Какая уж тут кость — тут беда! А беды на свете много…

Я снова взялся за стихи еще по одной причине. Повесть «Что человеку надо» я написал летом 1937 года — между Брунете и Теруэлем; за роман «Падение Парижа» сел осенью 1940 года. В течение трех лет я писал статьи, очерки, короткие сообщения о военных операциях или о политических событиях. Я писал и повторял написанное в телефонную трубку или выстукивал русские слова латинским шрифтом на телеграфных бланках. Я невольно переставал думать о слове; мой язык беднел, становился стандартным, почти условным.

Хочу признаться в моей страсти. Думаю, никто меня не заподозрит в национализме; я много жил за границей, научился ценить гений других народов. Я не полиглот, но несколько языков понимаю, и вот я с ранней юности но сей день влюблен в русский язык. Мне кажется, что он как будто создан для поэзии. Каждый человек любит язык, на котором он говорит с младенчества, но я не только люблю русский язык, я перед ним преклоняюсь. Он обладает свободой, не существующей в других известных мне языках; от перестановки слов в фразе меняется смысл. Есть языки с музыкальным ударением на различных слогах, я осмелюсь сказать, что русский язык обладает лирическим ударением на том или ином слове. Свобода, отсутствие обязательного уточнения, рождающегося в западноевропейских языках от жесткости синтаксиса, отсутствие артиклей — все это предоставляет писателю безграничные возможности: перед ним не истощенные

почвы былых веков, а постоянная целина.

Поэзия стала для меня трудным разреженным воздухом, очищением. Ощущая важность отдельного слова, я чувствовал и связь с прошлым, и реальность будущего, осязал детали жизни, и это помогало бороться с отчаянием.

Я сочинял стихи в машине или в поезде, в часы отдыха или на шумливом собрании, на улице, во фронтовых землянках. Записывал я их позднее; стихотворения были короткими, и я их знал на память.

Пятнадцатилетняя Анна Франк, прячась от фашистов, вела дневник и обращалась в нем к воображаемой подруге Китти (так она назвала подаренную ей тетрадку). Не знаю, кому я исповедовался; может быть, все той же музе — неприкаянной, покрытой грязью фронтовых дорог, оглохшей от бомбежек, не обнаруженной на писательских собраниях и воистину «беспачпортной».

Я писал стихи о различных событиях, которые до того описывал в газете и о которых упоминал в этой книге; писал, конечно, по-другому. Возле Мората-де-Тахунья бригада Лукача произвела разведку боем; это была трудная операция, стоившая многих жертв. Стихотворение «Разведка боем» я кончал словами:

А час спустя заря позолотила
Чужой горы чернильные крал.
Дай оглянуться — там мои могилы,
Разведка боем, молодость мои!

В отчете о попытке наступления в Каса-дель-Камно я писал о канарейке, и редакция на меня рассердилась, в общем, справедливо. В стихах я вернулся к птичке:

Что здесь делают шкаф и скамейка,
Эти кресла о чехлах и комод?
Даже клетка, а в ней канарейка,
И, проклятая, громко пост…
Но не скрою — волненье пичуги
До меня на минуту дошло,
И тогда я припомнил в испуге
Бредовое мое ремесло:
Эта спазма, что схватит за горло.
Не отпустит она до утра,
Сколько чувств доконала, затерла
Слов и звуков пустая игра!

Я писал о похоронах советского летчика в испанской деревне:

Под оливами могилу вырыв,
Положили на могиле камень.
На какой земле товарищ, вырос?
Под какими плакал облаками?
И бойцы сутулились тоскливо,
Отвернувшись, сглатывали слезы.
Может быть, ему милей оливы
Простодушная печаль березы?

Писал я и о том, о чем не мог, не хотел никому рассказать, о том, что увидел и пережил в Москве. Приведу одно стихотворение 1938 года не потому, конечно, что придаю большое значение моим стихам, а потому, что в стихах легче выразить многое, нежели в прозе:

Додумать не дай, оборви, молю, этот голос,
Чтоб память распалась, чтоб та тоска раскололась,
Чтоб люди шутили, чтоб больше шуток и шума,
Чтоб, вспомнив, вскочить, себя оборвать, не додумать,
Чтоб жить без просыпу, как пьяный, залпом и на пол.
Чтоб тикали ночью часы, чтоб кран этот капал.
Чтоб капля за каплей, чтоб цифры, рифмы, чтоб что-то,
Какая-то видимость точной, срочной работы,
Чтоб биться с врагом, чтоб штыком — под бомбы, под пули.
Чтоб выстоять смерть, чтоб глаза в глаза заглянули.
Не дай доглядеть, окажи, молю, эту милость,
Не видеть, не вспомнить, что с нами в жизни случилось.

Писал я об эпохе, о бурном горном потоке, который потом становится широкой плавной рекой; пытался утешить себя:

Закончится и наше время
Среди лазоревых земель,
Где садовод лелеет семя
И мать качает колыбель,
Где летний день глубок и долог,
Где сердце тишиной полно
И где с руки усталый голубь
Клюет пшеничное зерно.

Может быть, это слабые стихи, не знаю; мне они до сих пор дороги как признания, и я не мог не уделить им места в книге о моей жизни. Мне кажется, что эта глава поможет читателю лучше понять автора. Французская пословица уверяет, будто дверь должна быть либо открыта, либо закрыта. Нет, занавеска исповедальни может быть одновременно и опушена и приподнята.

32

Известия из Парижа и Лондона волновали всех; испанские газеты уделяли полосы Чехословакии. На фронте Эбро бои затихли. Все ждали, чем кончится трагедия, которая разыгрывалась не на театре военных действий, а в закрытых для посторонних глаз министерских кабинетах.

Я приехал в Париж 23 сентября. День был душный, — казалось, разразится гроза. Я пошел в чехословацкое посольство к советнику Шафранеку, с которым иногда встречался. Он был мрачен, сказал мне: «Лично и ни на что больше не надеюсь…» Это был высокий, плотный, обычно невозмутимый человек; в тот день он не мог совладать с собой, его голос срывался, он повторял: «Сегодня очень жарко, правда?», налил воду в стакан, и руки его дрожали. Под окнами стояли толпы: приходили делегации рабочих, профессора, писатели; все возмущались намечающимся предательством, выражали сочувствие Чехословакии.

Я пропустил телефонный звонок редакции: ходил по улицам рабочих кварталов. Повсюду слышались те же слова: «Чемберлен», «капитуляция», «Даладье», «фашизм». Люди были возбуждены. Один рабочий говорил: «Сволочи, неужели они не понимают, что, если отдать немцам чехов, они через месяц пойдут на нас? Вот уж кто предатели!..»

В богатых районах я увидел картину, памятную мне по 1914 году: прислуга грузила на машины элегантные чемоданы. Здесь было тихо, только какая-то дама кричала, видимо тугому на ухо, пожилому спутнику: «Ты опять не понимаешь?… Этот сброд из Народного фронта хочет, чтобы Париж уничтожили, как Мадрид!..»

Я пошел в редакцию газеты «Ордр» к Эмилю Бюре, тучному, умному, несколько циничному в своих отзывах. Это был блистательный журналист, представитель старой Франции; он придерживался правых убеждений, считал, что Народный фронт — опасная затея, но, будучи патриотом, обличал капитулянтов. «Вы знаете, чего они боятся? Победы. Ведь воевать против немцев придется вместе с вами. Один депутат вчера мне сказал: «Военные сошли с ума — настаивают на сопротивлении, они не понимают, что это окрылит коммунистов». Я ему ответил: «Речь идет не о составе кабинета, а о судьбе Франции». Что вы хотите — мы выродились. Нужен Клемансо, а у нас Даладье, это Тартарен, только без фантазии. Я помню, как два года назад он подымал кулак и обнимал Тореза. Вы увидите — завтра он подымет руку и обнимет Гитлера…»

Я прочитал в «Эвр» статью Жионо, он писал, что «живой трус лучше мертвого храбреца».

Мне хотелось скорее вернуться в Барселону. А выйдя из дому на следующее утро, я увидал людей, которые читали расклеенное объявление о частичной мобилизации. Даладье заявил, что Франция выполнит свои обязательства и будет защищать Чехословакию.

(Блюм, когда Франко поднял мятеж, тоже сказал, что Франция поможет Испанской республике. Талейран говорил, что никогда не нужно следовать первому чувству — оно бывает благородным и, следовательно, глупым. Я не хочу, конечно, сравнивать Талейрана, циничного и крупного политика, с людьми вроде Даладье, случайно оказавшимися у государственного руля, растерянными и недальновидными провинциалами.)

Мобилизованные шли на вокзалы; некоторые подымали кулаки, пели «Интернационал». На углах улиц прохожие останавливались, начинались споры. Один кричал: «Какое нам дело до чехов! Пускай большевики защищают Бенеша!..» Другой назвал его «фашистом». Полицейские вяло повторяли: «Расходитесь, пожалуйста, расходитесь!» У них был растерянный вид: они не знали, кого бить.

В Париже бастовали строительные рабочие. 25 сентября они прекратили забастовку, объявив, что не хотят мешать обороне Франции. Развозили песок против зажигалок. Дороги на юг были заполнены машинами: буржуазия отбывала. Повсюду я слышал одно слово: «война»… Реквизировали автобусы. Женщины записывались на краткосрочные санитарные курсы. Некоторые магазины закрылись. Вечером Париж погрузился во тьму, и на минуту мне показалось, что я иду по улицам Барселоны.

Тридцатого сентября объявили о Мюнхенском соглашении. Зажглись фонари, и средние французы потеряли голову: им казалось, что они одержали победу. На Больших Бульварах в туманный вечер толпа ликовала; противно было смотреть. Люди поздравляли друг друга. Муниципалитет постановил назвать одну из парижских улиц «Улицей 30 сентября».

Вечером мы с Путерманом ужинали в кафе «Куполь» на Монпарнасе. Я упоминал, что мой друг Путерман редактировал левый еженедельник «Лю»; он был уроженцем Бессарабии, боготворил Пушкина, собирал редкие книги, а сердце у него было совсем не книжное — горячее, страстное. Мы сидели подавленные происшедшим. За соседними столиками французы пили шампанское, пировали. Один из соседей вдруг заметил, что мы возмущены тостами, гоготом, карнавальным весельем, и спросил: «Мы вас, кажется, беспокоим?» Путерман ответил: «Да, сударь. Я

— чехословак». Они притихли, а несколько минут спустя снова стали восторженно галдеть.

Я видел, как Даладье проехал по Елисейским полям. В его машину швыряли розы. Даладье улыбался. В парламенте социалисты, накануне осудившие Мюнхенское соглашение, проголосовали за правительство. Блюм писал: «Мое сердце разрывается между стыдом и чувством облегчения…» На бульваре Капюсин я увидел над кинотеатром четыре флага, среди них немецкий со свастикой. Газеты объявили подписку на подарок «миротворцу Чемберлену». В эльзасском городе Кальмар четыре улицы были переименованы, одна получила название «Улица Адольфа Гитлера».

Я. З. Суриц сказал мне, что Даладье — тряпка, Боннэ представлял сторонников капитуляции, Мандель резко возражал, но в последнюю минуту взял назад отставку.

Я заканчивал очередную корреспонденцию словами: «На Елисейских нолях капитулянты приветствовали г. Даладье. Как бы им не пришлось вскоре увидеть дивизии Гитлера, шагающие к Триумфальной арке». Редакция эту фразу выпустила; мне объяснили, что нужно повременить, — может быть, наступит похмелье; просили часто, подробно сообщать о событиях.

Одиннадцатого октября «Известия» обзавелись новым специальным корреспондентом — Полем Жосленом. Псевдоним я выбрал случайно, не думая, конечно, о герое Ламартина. Эренбург продолжал посылать длинные статьи, а Поль Жослен ежедневно передавал две-три заметки.

В октябре я поехал в Эльзас. Эльзасские фашисты, ободренные Мюнхеном, начали поговаривать о присоединении к рейху. Едва я приехал в Страсбург, как за мною пришел чиновник префектуры. Префект сразу меня спросил, не собираюсь ли я защищать отделение Эльзаса от Франции, как это сделал корреспондент «Дейли экспресс». Я рассмеялся, объяснил, что позиция Советского Союза никак не похожа на позицию лорда Бивербрука. Он обрадовался и сказал мне, что один крупный полицейский поможет мне собрать информацию о деятельности «автономистов» (так называла себя прогитлеровская партия).

Полицейский оказался находкой: во-первых, он не любил немцев, во-вторых, автономисты обидели его лично — назвали в своей газете «рогоносцем». Он показал мне интересные документы, найденные при обыске, список членов тайной организации, даже нарукавные повязки, чтобы в час действий заговорщики могли бы узнать друг друга. Он сказал мне, что все это известно правительству, но министр Шотан решил замолчать дело, боится обидеть Гитлера. Я повидал различных

политических деятелей в Страсбурге, в рабочем городе Мюлузе.

Мои статьи не прошли бесследно; их цитировали газеты, выступавшие против капитулянтов; ими заинтересовалось и правительство. Как я потом узнал, Шотан предложил выслать меня из Франции, Мандель возражал, и меня не выслали.

Я нашел среди бумаг телефонограмму иностранному отделу «Известий»: «Прошу меня вызвать по телефону 25 октября в 12 часов по московскому времени для сверки. Пришлю отдельно телеграфом короткие интервью с различными политическими деятелями Эльзаса. 25 вечером уеду в Марсель».

В Марселе состоялся съезд радикальной партии, к ней принадлежали Даладье и большинство министров. Я помнил радикальную партию в прошлом, когда она представляла мелкую буржуазию, крестьянство южных областей, свободомыслящую интеллигенцию и когда она твердила о чистоте якобинских традиций. В Марселе о якобинцах не вспоминали, зато много и с жаром говорили о «коммунистической опасности», хотя официально еще существовал Народный фронт. Ораторы во всем обвиняли рабочих, называли их «лодырями», прославляли миролюбца Даладье. Правда, были и другие радикалы — Пьер Кот, Боссутру, им не нравилась политика Даладье, но я понимал, что таких скоро исключат из партии, если они сами из нее не уйдут.

Я говорил с Эдуардом Эррио. Он был подавлен, не решался порвать с Даладье, в своей речи он сказал, что Советский Союз готов был выполнить свои обязательства, что Франция потеряла союзников, что угроза войны возросла, а мне жаловался: «Французы потеряли голову. Мы забываем, что мы — великая держава. Не знаю, чем это кончится…»

Во время съезда произошел большой пожар; загорелась и гостиница, в которой жили делегаты. Оказалось, что у пожарных мало лестниц. Эррио, вспылив, кричал: «Может быть, мне выписать пожарников из Лиона?…» Зрелище было почти нарочитым, каким-то предварительным показом надвигающейся катастрофы.

Вскоре в Нанте состоялся другой съезд — Всеобщей конфедерации труда; туда тоже поехали неразлучные друзья — Эренбург и Поль Жослен. Коммунисты призывали к борьбе; но и в Нанте нашлись сторонники капитуляции; один из них сказал: «Спасение Франции в том, чтобы перейти на положение второстепенной державы».

Все путалось. Стоял густой туман и над городами и в сознании. Газета «Эвр» уверяла, что она всегда отстаивала мир, начиная с того времени, когда печатала «Огонь» Барбюса; она и

не изменила своей позиции — нужно пойти на новые уступки Гитлеру и Муссолини, чтобы избежать войны. Были и такие «левые», которые, протестуя против роспуска ПОУМ в Испании, требовали запрещения коммунистической партии во Франции. Писатель Селин предлагал объединиться с Гитлером в священной войне «против евреев и калмыков» («калмыками» он, видимо, называл русских).

Меня пригласили в Сюртэ (французская охранка). Один из крупных чиновников вежливо спросил меня, не заметил ли я, что за мною следят. Я ответил, что, кажется, шпики иногда ходят за мной, но я привык, не обращаю внимания. Чиновник сказал, что за мной следят крайне правые террористы, вытащил полсотни фотографий и попросил опознать людей, которые меня преследуют. Я улыбнулся: узнать никого не могу, а за себя не боюсь. «Напрасно. Мы знаем, что организация, которая убила братьев Россели, решила вас ликвидировать». Я поблагодарил за участие и ушел. Мне почему-то казалось, что никто в меня стрелять не собирался, а Сюртэ понадеялась, что я испугаюсь и уеду из Франции. Моя газетная работа, встречи с политическими деятелями, памфлеты, да и обильная информация, которую посылал Поль Жослен, не могли нравиться тогдашним правителям Франции. Однако недавно я нашел среди старых газетных вырезок отчет о судебном процессе, происходившем в Париже в 1947 году. Судили террористическую кучку «кагуляров», которые убили итальянских антифашистов братьев Россели. Один из подсудимых рассказал на суде, что ему поручили следить за мною. Приходится признаться, что я зря подозревал Сюртэ: хоть это бывает редко, охранники действительно пытались меня охранить.

Все шло как по расписанию. Правительство опубликовало чрезвычайные декреты, направленные против рабочих. На 30 ноября была назначена всеобщая забастовка. Правительство решило заменить забастовщиков солдатами. Водителей автобусов, которые не хотели работать, отвозили прямо в тюрьму. Забастовка провалилась. Даладье мог выпить еще за одну победу — над рабочими. Слова «Народный фронт» отовсюду исчезли.

В Германии происходили грандиозные еврейские погромы. Несчастные люди пытались перейти границу, спастись во Франции. Пограничники их ловили, некоторых по приказу Парижа выдавали немцам.

В начале декабря вернулись из Испании французы-интербригадовцы; их встречали рабочие; встреча была трогательной и бесконечно печальной: пока интербригадовцы сражались у Гвадалахары, на Хараме, фашизм с черного хода

прокрался в их дом.

Гражданская война во Франции началась в 1934 году; это была скрытая война, без пушек, но с атаками и контратаками, с жертвами, со взаимной ненавистью. Мюнхен не был случайностью: буржуазия шла на любые жертвы, лишь бы справиться с рабочими. А рабочие, озлобленные изменой, угрюмо молчали.

Я хорошо запомнил осень 1938 года. Жизнь внешне казалась прежней: люди работали, пили аперитивы, играли в карты, танцевали; но за всем этим были горечь, тревога, смятение. Я не мог смотреть вчуже — знал Францию, любил ее и видел, что она идет к гибели, как лунатик, с раскрытыми невидящими глазами, с сентиментальными песенками, с хризантемами, с паштетами, со сплетнями… Статью, написанную в конце ноября, я назвал «Грусть Франции» и в ней писал: «Я говорю не о нужде, даже не о горе — о той огромной грусти, которая опустилась на эту землю, Мюнхен надломил Францию».

А Поль Жослен аккуратно сообщал, как Жюль Ромен, позавтракав с Риббентропом, уверовал в будущее франко-немецкого союза или как владельцы военных заводов субсидируют пацифистскую пропаганду профсоюза школьных работников.

Пятого декабря я писал в Москву: «Хочу несколько освободиться от Жослена, который вытесняет Эренбурга из жизни, устал, нет свободной минуты. Надеюсь, редакция это поймет…»

Начиналась зима: улицы пахли жареными каштанами; продрогшие влюбленные крепче прижимались друг к другу.

Несколько дней спустя мне удалось выбраться в Барселону. Не успев оглянуться, я уже кричал в телефонную трубку: «Наступление противника началось на всем фронте от Трампа до Эбро…» Здесь люди еще боролись.

33

Вскоре после приезда в Барселону, — кажется, это было под Новый год, — я пошел к поэту Антонио Мачадо — привез ему из Франции кофе, сигареты. Он жил на окраине города в маленьком холодном доме со старой матерью; я там довольно часто бывал летом. Мачадо плохо выглядел, горбился; он редко брился, и это еще больше его старило; ему было шестьдесят три года, а он с трудом ходил; только глаза были яркими, живыми. У меня сохранилась запись об этой последней встрече: «Мачадо читал отрывки из элегии Хорхе Манрике:

Наша жизнь — это реки,
А смерть — это море.
Берет оно столько рек.
Туда уходят навеки
Наша радость и горе,
Все, чем жил человек.

Потом он сказал о смерти: «Все дело в том, «как». Надо хорошо смеяться, хорошо писать стихи, хорошо жить и хорошо умереть». Он вдруг по-детски улыбнулся и добавил: «Если актер вошел в роль, то ему легко и уйти со сцены…»

Антонио Мачадо умер патетически, хотя он был самым скромным изо всех поэтов, которых я встретил в жизни. Когда фашисты подошли к Барселоне, он взял с собою мать, и они вместе зашагали по страшным дорогам пограничной полосы. В изгнании Мачадо прожил всего три недели; скончался он в местечке Кольюрс; оттуда видны горы Испании. Мать пережила его на два дня. Мачадо не мог больше жить.

Теперь он признан всеми как самый большой поэт Испании нашего века. Его намять чествуют академики франкистской Испании; ему посвящают стихи молодые испанские поэты. Он уже вне споров, да и вне событий; а рассказываю я о нем здесь потому, что для меня его образ неотделим от тех трагических дней, когда Испания покидала Испанию.

Познакомился я с ним в Мадриде в апреле 1936 года. Помню, с каким восхищением слушали его стихи Рафаэль Альберти, Неруда, десяток молодых писателей. Я сказал, что он был удивительно скромным, но этого мало. Чехов застеснялся, когда Бунин назвал его поэтом, протестовал, доказывал, что он грубо пишет о грубой жизни. По-человечески Мачадо чем-то напоминал

Антона Павловича; как-то он мне сказал: «Может быть, я и не поэт. Кеведо был поэтом, Ронсар, Верлен, Рубен Дарио. Я люблю поэзию, это правда…» Это не было кокетством, позой; в шестьдесят лет он конфузился, слыша восторженные признания. И добрым он был, как Чехов, снисходительным к чужим слабостям, старался оправдать желчных, обиженных судьбою критиков или злосчастных графоманов. Во всем он видел крупицу добра или красоты. Его поэзия прежде всего человечна.

Он читал мне строфы Хорхе Манрике. Трудно найти испанского поэта, который не писал бы о смерти. Летом 1938 года в Барселоне мы разговаривали о положении на фронте, о поведении Франции, и Мачадо сказал: «Неправильно за границей думают, что испанцы — фаталисты, что они встречают смерть с резиньяцией. Нет, они умеют бороться против смерти».

Я видел, как последние годы он боролся против смерти. Его не смущали ни бомбежки, ни жизнь на привалах. Он не хотел уехать из Мадрида; его вывезли в Валенсию, как картины музея Прадо. Он писал в Мадриде, в Валенсии, в Барселоне, писал изумительные сонеты и чуть ли не каждый день писал статьи для фронтовой печати.

Однако к мыслям о смерти он возвращался неустанно, в этом, как во многом другом, он оставался испанцем. Он писал сонеты, элегии, белые стихи и стихи с рифмами, любил гномическую поэзию — короткие философские четверостишия; но большей части он их не рифмовал; согласно традиции романсеро, последние слова второй и четвертой строк имеют одну и ту же ударяемую гласную; это звучит еще тоньше, неуловимей, чем наши сам не далекие ассонансы.

Ты говоришь — ничего не пропадает,
Но если ты разобьешь стакан,
Никто из него не напьется,
Больше никто, никогда.
Ты говоришь, что все остается.
Может быть, ты и прав.
Но только мы все теряем,
И все теряет нас.
Все проходит, и все остается.
А наше дело идти
По дороге шаг за шагом.
Дойти до моря, пройти.

Я часто вспоминаю и другие его четверостишия.

Разглядывая мой череп,
Новый Гамлет скажет: «
Красивая окаменелость
Маски карнавала».
Человеку в море

Четыре вещи совсем не нужны -

Весла, руль, якорь
И страх по морю плыть.
Два боя ведет человек,
И каждый непокорен —
С богом воюет во сне.
Проснувшись, воюет с морем.
Наши часы — минуты,
Когда мы жаждем узнать,
И столетья, когда мы узнали
То, что можно узнать.
Хорошо, что мы знаем, —
Стакан для того, чтобы пить из стакана.
Плохо, что мы не знаем,
Для чего существует жажда.

Рубен Дарио писал о Мачадо: «Он пасет тысячу львов и тысячу козлят». В поэзии Мачадо необычное сочетание степной полыни и сладости лета, мудрости и простоты. Это — видения нищих сел возле Сории, камней Кастилии, человеческой беды, мужества, надежды, и всегда у него дорога «шаг за шагом», дорога в гору или под гору, трудная дорога Испании, человека.

Жизнь он прошел «шаг за шагом» с людьми и в одиночестве; никогда не был на сцене (хотя и написал со своим братом несколько пьес) — прожил на галерке жизни. Он был преподавателем сначала французского языка, потом испанской литературы. Жил в провинциальных городах в Сории, в Баэсе, в Сеговии, в различных испанских Царевококшаисках. Весной 1937 года, когда я вернулся из поездки на Южный фронт, я решил проведать Мачадо — он жил тогда неподалеку от Валенсии. Он расспрашивал меня о фашистах, которые сидели в Вирхен-де-ля-Кабеса, потом спросил, как мне понравилась Ламанча. Я записал некоторые его фразы: «Французский пейзаж легок. Господь Бог писал его в годы зрелости, может быть даже в старости, все обдумано, во всем чувство меры; немножко больше, немножко меньше — и все разлетится. А Испанию Бог писал молодым, не

обдумывал мазков, не знал даже, сколько камней нагромоздит один на другой. Я люблю «Степь» Чехова. Мне почему-то кажется, что русские могут понять испанский пейзаж… Ламанча — все знают это слово — «Дон Кихот». Но почему многие не понимают, что Альдонса — это Дульцинея? Каждый испанец видит в здоровой, крепкой домовитой девке мечту, и каждый испанец твердо знает, что Дульцинея умеет вести хозяйство, сплетничать и ставить метки на рубашках. Тургенев, когда он писал о Гамлете и Дон Кихоте, не понял, что Альдонса и Дульцинея слиты. Может быть, потому, что все его героини или чистые, небесные создания, или хищницы? Дон Кихот и Санчо Панса не противопоставление, а два выражения одного лица. Разрыва у нас нет, но единство дается труднее любого противопоставления. Это и есть Ламанча, да и вся Испания…»

Я привел в дословном переводе поэтические сентенции Дон Кихота — Санчо Пансы. Я не решаюсь перевести те сладкие и насмешливые строки, которые слагал Антонио Мачадо для Альдонсы — Дульцинеи: они настолько связаны с музыкой, что одно иначе звучащее слово — и пропадет очарование. Это роднит Мачадо с Блоком «Ночных часов». Да и был он для Испании тем, чем Блок для России.

«Шаг за шагом»… Его поведение в годы войны было предопределено всей его жизнью, здесь не было ни чуда, ни внезапного прозрения, ни перелома, только верность себе, Испании, веку. Многие люди, даже изучавшие иностранные языки, не понимают языка искусства. В Литературной энциклопедии один критик писал: «Мачадо — типичный представитель той части мелкобуржуазной интеллигенции, которая перед лицом наступающего капитализма стремится уйти в мир самоанализа и в мелкобуржуазном гуманизме пытается найти разрешение противоречий современности». Это было написано в 1934 году. А в 1954 году другой критик писал в Большой советской энциклопедии: «Сборник стихов «Поля Кастилии» (1912) проникнут любовью к родной земле и горестным раздумьем о судьбах испанского народа… В сборнике «Новые песни» (1924) поэт выступает против реакционного буржуазного искусства». Может быть, изменился Мачадо? Нет, оба критика пишут о его книгах, вышедших в 1912 и 1924 годах. Может быть, изменились критические навыки? Ничуть. Просто годы войны помогли людям, понимающим газетные сообщения и не понимающим поэзии, установить, какой ярлычок подходит для Мачадо,

Печально, что нужны обязательно бомбежки или концлагеря, чтобы поэты получали право на жительство…

Я многое в жизни растерял, а книги Мачадо с его надписями сберег, вывез их из Испании, потом из оккупированного немцами Парижа. Я иногда смотрю на почерк, на фотографию (я его снял в Барселоне), и человек сливается со строками стихов:

Ты на моем пути — вода иль жажда?
Скажи мне, нелюдимая подруга…

Он воевал вместе с народом. Помню, как на Эбро командир дивизии Тагуэнья читал бойцам приветствие Мачадо, и голос его дрожал от волнения: «Испания Сида, Испания 1808 года узнала в вас своих детей…» Когда мы расставались, Мачадо сказал: «Может быть, мы так и не научились воевать. Да и техники у нас мало… Но не нужно судить слишком строго испанцев. Вот и конец — не сегодня завтра они захватят Барселону. Для стратегов, политиков, историков все будет ясно: войну мы проиграли. А по-человечески, но знаю… Может быть, выиграли…»

Он проводил меня до калитки; я оглянулся и увидел его, печального, сутулого, старого, как Испания, мудрого человека, нежного поэта, и глаза его увидел — очень глубокие, не отвечающие, но спрашивающие, бог весть кого, — увидел в последний раз… Завыла сирена. Началась очередная бомбежка.

34

Двадцать восьмого января — 5 февраля 1939 года, последняя неделя в Каталонии, развязка… Как об этом рассказать? Мы ведь столько перевидали с тех пор, столько пережили… Но в моей памяти живы те дни — рана не закрылась.

Двадцать восьмого января и приехал в Херону. Это был прежде небольшой старинный городок с живописными уличками, с аркадами, садами, древними камнями крепостных стен; и город кричал — не один человек, не сотня — весь город. В Хероне было прежде тридцать тысяч жителей. Теперь в ней находилось четыреста тысяч. Люди сидели, лежали, спали на площадях, на улицах, с мешками, корзинами, и почти непрерывно фашистские самолеты бомбили, расстреливали людей. Не было больше ни республиканских истребителей, ни зенитной артиллерии. В тот день мне казалось, что ничего больше нет, кроме крика, крови и лопат на кладбище, — рыли братские могилы.

Тридцатого января командир дивизии, рослый костлявый испанец, говорил: «У нас нет лопат. Мы должны окопаться, но у нас нет лопат…» Дороги были забиты лавиной беженцев; шли городские жители; кто-то тащил кресло; бородатый почтенный человек, похожий на профессора, волочил перевязанные толстой веревкой огромные фолианты; крестьяне гнали овец, коз; девочки шли с куклами. Уходил народ. Теперь уж никто не писал на стенах о том, что люди не хотят жить с фашистами, — не до слов было, да и не знаю, думали ли уходившие о жизни, они шли вперед без лозунгов, без надежды, может быть, без мыслей.

Некоторые части продолжали сражаться, задерживая противника. Маленький городок Фигерас, расположенный в двадцати километрах от французской границы, на короткий срок стал столицей Испанской республики. В старой кузнице я увидел знакомого журналиста: там помещались редакция и типография барселонской газеты. Готовили номер. Человек с забинтованной головой в полутьме диктовал: «…успешно отражают атаки численно превосходящего противника…»

Я искал Савича и не мог его найти. Когда я был на главной площади, заваленной людьми, началась очередная бомбежка. Потом итальянские самолеты с бреющего полета расстреливали беженцев. Начальник штаба сказал мне: «Я должен дать сводку, а нет даже пишущей машинки». Ходили зловещие слухи: в пограничном Порт-Бу высадились итальянцы и отрезали Фигерас от Франции, французы не пропускают через границу даже женщин. В кафе перевязывали раненых.

«Кажется, вот где русские», — сказал мне один командир, показав на здание школы. Но я увидел Негрина, Альвареса дель Вайо, других министров. Они сидели вокруг длинного стола на табуретках; лежали карты, папки с бумагами. Негрин сказал мне: «Мы должны выиграть время, чтобы обеспечить эвакуацию во Францию населения. Потом мы сможем перелететь в Мадрид…» Один из министров доказывал, что самое главное — вывести армию и технику: через Марсель можно будет переправить людей и вооружение в Валенсию, а там вместе с частями Центрального фронта перейти в наступление. Не все иллюзии были еще потеряны…

Мне сказали, что советские товарищи остановились в деревушке в восьми километрах от города. Пришлось потратить три часа, чтобы добраться до этой деревни. Ночи были холодными, и, чтобы согреться, беженцы разводили костры — жгли барахло, которое зачем-то волочили по дорогам. А бомбежки не стихали.

Я вошел в крестьянский дом и обомлел от счастья — пылал огромный камин; перед ним сидели Савич и Котов. Савич объяснил, что на грузовике зачем-то вывезли посольскую библиотеку, приходится жечь — не оставлять же фашистам русские книги. Человека, которого звали в Испании Котовым, я остерегался — он не был ни дипломатом, ни военным. Он бросал книги в огонь с явным удовольствием, приговаривал: «Кто тут? Каверин? Пожалуйста! Ольга Форш? Не знаю. А впрочем, там теплее…» Поразил меня Савич. Он настоящий книгопоклонник. Когда он приходит в гости, то вдруг, забывая всю свою учтивость, начинает листать книги на столе, не слушает даже разговора. А тут заразился и с азартом швырял в камин томики. Котов сказал: «Гмм… «День второй»… Придется уступить автору право на кремацию». Я кинул книжку в камин.

Пришли сотрудники посольства, рассказали мне, что при эвакуации Барселоны забыли снять со здания герб и флаг; спохватились, кто-то сказал Савичу: «Может быть, вы снимете?…» Савич вернулся в Барселону, где шла стрельба на улицах, вместе со своим шофером, бравым Пепе, влез на крышу, снял герб и флаг. (Все-таки Савич странный человек: преспокойно вернулся в Барселону, когда в город входили фашисты, писал отчеты для ТАССа под бомбежками, сидел с Котовым, жег книги, шутил, а неделю спустя в Париже умирал от страха: у него не было разрешения полиции, ночью он прятался у Дуси, и даже веселенькая Дуся не смогла заставить его улыбнуться. Он показал мне телеграмму из пограничного французского городка: «Машина и я в вашем распоряжении Пепе» — и горько усмехнулся.

Впрочем, может быть, ничего тут нет удивительного — все люди таковы.)

Нам сказали, что 1 февраля в Фигерасе состоится заседание кортесов. Мы с Савичем в темноте долго разыскивали, где вход в подвалы старинного замка. Итальянцы без устали бомбили город. У входа стоял часовой в белых перчатках. Старичок неизвестно где достал потертый половик, постлал им лестницу, которая вела в подвал: «Неудобно, все-таки это кортесы…» Отвели скамьи для дипкорпуса, для журналистов. По просьбе распорядителя я сел на дипломатическую скамью, чтобы она не пустовала; потом подошел кто-то из нашего посольства. Негрин был небритый, с глазами, воспаленными от бессонных ночей. Он говорил, что Англия и Франция предали республику, подвергли Каталонию блокаде. Французы не хотели принять тяжелораненых. Была в его речи такая фраза: «Франция пожалеет о том, что сделала…» Приняли обращение к народу: борьба продолжается; голосовали поименно, депутаты подымались один за другим и торжественно отвечали «да». У одного из них была наспех перевязана рука, кровь проступала сквозь марлю.

Я поехал ночью во французский город Перпиньян, чтобы передать о заседании кортесов в «Известия», и наутро вернулся.

Беженцы не могли идти по дорогам, они разлились, как река весной, заполнили скалистые уступы. Возле Пуигсерды лежал глубокий снег, дети в нем тонули. Близ перевала Арес и видел старух, которые ползли по обледеневшим скалам. Крестьяне резали овец, здесь же жарили, кормили солдат. Одна женщина родила в поле; мы кричали — звали врача. Пришел старик, специалист но болезням горла и носа, принял младенца и потом, отогреваясь у костра, вдруг сказал: «Мальчику повезло — он успел родиться на испанской земле…» Этот врач никак не походил на героя, роняющего исторические фразы, он был в зеленой женской кофте и протягивал к огню распухшие пальцы ревматика.

В пастушеском шалаше я увидел Альвареса дель Вайо; кто-то принес ему в миске теплый рыжеватый кофе. Глаза у него были такие печальные, что я отвернулся, а он, не теряя присутствия духа, говорил о грузовике с хлебом для солдат, о заградительном огне, об эвакуации раненых. (Это человек большой веры; раз в два-три года я его встречаю то в Париже, то в Москве, то в Женеве, и всякий раз вспоминаю февральский день, министра иностранных дел в шалаше, с трагическими глазами и спокойным, ровным голосом.)

Где-то возле границы три дня спустя я стоял с Савичем на камне. Проходили нескончаемые толпы беженцев. Кричали

ослики. Плакали дети. Прошел отряд бойцов, и солдат почему-то трубил в трубу. Бомбили. Один крестьянин взял горсть земли и завязал ее в большой красный платок.

Потом я написал стихи; в них были различные детали, о которых я упоминаю в этой главе, но был еще тот второй план, то волнение, что можно выразить только в стихах:

В сырую ночь ветра точили скалы.
Испания, доспехи волоча,
На север шла. И до утра кричала
Труба помешанного трубача.
Бойцы из боя выводили пушки.
Крестьяне гнали одуревший скот.
А детвора несла свои игрушки,
И был у куклы перекошен рот.
Рожали в поле, пеленали мукой
И дальше шли, чтоб стоя умереть.
Костры еще горели — пред разлукой,
Трубы еще не замирала медь.
Что может быть печальней и чудесней —
Рука еще сжимала горсть земли.
В ту ночь от слов освобождались песни,
И шли деревни, будто корабли.

На пограничных пунктах французы выставили не только жандармов, но и воинские части — сначала сенегальцев, потом французские батальоны. Испанские солдаты складывали оружие, их обыскивали; обыскивали и многих беженцев. В Пертюсе я видел, как по ошибке женщин отделили от их детей, они кричали, не хотели идти, а их гнали.

У меня была «куп филь» карточка журналиста, выданная парижской префектурой. В Париже она не производила особого впечатления, но здесь оказалась чудотворной: меня свободно пропускали в Испанию и назад. Нужно было спасти от интернирования в лагерях многих товарищей — журналиста, уборщиц посольства, шофера, начинающего поэта, интербригадовцев. В течение нескольких дней я занимался только этим, даже не всегда успевал написать телеграмму в газету; предпочитал позвонить в Париж, где якобы находился Поль Жослен.

Я нашел чудесных людей. Учитель из пограничного городка Прате-дель-Молло почти круглые сутки дежурил на горном перевале: кормил беженцев горячим супом, давал хлеб. Сотни людей приносили ему продукты. Механик из Арль-сюр-Теш,

владелец маленького гаража, на старой, разбитой машине все время ездил к перевалу Арес, подбирал измученных замерзших беженцев, отвозил их в городок. На этом перевале жандармы были сговорчивыми, и механик помог мне переправить через границу многих товарищей; обидно, что я не запомнил его имени.

Шестого февраля я в последний раз шел по испанской земле. Это было у горной деревни Компродон. Вокруг еще шли бои.

Французское правительство отдавало бесчеловечные приказы. А на местах люди действовали по-разному. Каждый день я видел и солидарность, доброту, участие, и откровенную низость. В городке Булю я разыскивал крестьянку с детьми — у меня были для нее письмо от мужа и деньги. Мэр, тучный, с тупым, равнодушным лицом, ответил мне: «Их здесь чересчур много…» А полицейский кричал: «Это не ваше дело! Уезжайте поскорее!..» Я ему напомнил о человеческих чувствах, он ответил, что чувства его не касаются. В городках Сен-Лоранде-Сердан, Прате-дель-Молло, Арль-сюр-Теш жители кормили беженцев, прятали их от полиции. Некоторые эшелоны направили в Лион, и мэр этого города Эдуар Эррио дежурил на вокзале, помогал накормить испанцев, разместить их в казармах, в школах. А во многих французских газетах каждый день писали, что надо оградить Францию от испанских «анархистов, коммунистов, убийц и насильников».

В Перпиньяне я еще летом подружился с хозяином старой, невзрачной гостиницы; там я останавливался, туда теперь привозил товарищей; все комнаты были заняты, приходилось спать в столовой, в конторе, где придется, но хозяин не объявлял полиции о приезжих, и никого там не забирали. А в городе шла охота. Испанки, никогда в жизни не носившие шляп, покупали маленькие модные шляпки, пудрились, румянились, чтобы не видно было горя и чтобы их приняли за француженок. В Баньюльсе рыбаки избили репортера правой газеты, который издевался над побежденными. Да, разными были французы, я не хочу их скопом обвинять или оправдывать.

Испанцев французские власти разместили в концлагерях Аржелес и Сен-Сиприен. Давали одну буханку хлеба на шесть человек, протухшую воду, издевались. А Риббентропа в Париже чествовали… Впрочем, говоря о тех временах, лучше не вспоминать ни о справедливости, ни о Риббентропе — кто только его ни обнимал!..

Мне передали записочку от поэта Эррере Петере, которого посадили в лагерь. Он писал, что за проволокой сидят многие из моих друзей. Я поехал в Париж. Арагон, Жан Ришар Блок, Кассу, другие участники нашей Ассоциации вступились за

интернированных писателей; через две-три недели удалось их освободить.

Негрин и другие министры улетели в Мадрид. Территория, еще занятая республиканскими войсками, теперь была в кольце. Англия и Франция признали генерала Франко законным правителем Испании. Республику блокировали — в Марселе задерживали суда, которые должны были доставить в Валенсию хлеб или картошку. Шестого марта в Мадриде командующий армией Центрального фронта полковник Касадо, с благословения свадебного генерала Миаха, произвел переворот, поставил на место Негрина кучку людей, решивших капитулировать. Однако развязкой испанской трагедии были не судороги обреченного Мадрида, а те зимние дни, когда армия Эбро в полном порядке, с оружием перешла французскую границу, надеясь, что ее перебросят в Валенсию. (Спасенное бойцами оружие французы передали генералу Франко.)

Гитлер, приободренный успехами, занял Прагу. Марина Цветаева в последний раз встретилась со своим другом — рабочим столом, писала:

О слезы на глазах!
Плач гнева и любви!
О Чехия в слезах!
Испания в крови!
О черная гора,
Затмившая весь свет!
Пора — пора — пора
Творцу вернуть билет.

Мне трудно расстаться в этой книге с Испанией. Помню, как на перевале Арес испанский боец-автоматчик прощался с женой и двухлетним сыном, он попросил меня отвести их в надежное место, сказал: «Я не уйду — не верю, что французы нас отправят в Валенсию, они уже снюхались с Франко. А здесь можно уложить десяток-другой фашистов…» Я оглянулся; он лежал с автоматом, глядел не на нас — на юг, откуда могли показаться фашисты.

Возле дороги из Порт-Бу в Сервер лежала груда винтовок, ручных пулеметов, шлемов, револьверов, даже ножей. Я увидел вдруг копье и старинный шлем: видимо, вывозили экспонаты из небольшого каталонского музея, и сенегалец решил, что это оружие. Да, копье и шлем Дон Кихота были оружием, с ними Испания тысячу дней, тысячу ночей защищалась от двух фашистских держав Италии и Германии.

Семь месяцев спустя началась вторая мировая война, было

много героизма, и в итоге фашизм разбили; но в новой эпохе уже не было места для копья и старомодного шлема, с которыми Рыцарь Печального Образа пытался отстоять человеческое достоинство.

35

Весной 1939 года Савич уехал в Москву. Мы поехали в Гавр, чтобы его проводить. На том же теплоходе уезжали в Советский Союз многие испанцы. Мы стояли на набережной; дул сильный ветер; снова перед глазами встала потерянная Испания. Я попросил Савича написать мне из Москвы; но долго не знал, что с ним, — люди тогда не любили писать за границу.

Каждый день я передавал в газету информацию за подписью Поля Жослсна — пеструю и в то же время монотонную хронику событий: фашистский террор в Испании, агония Чехословакии, захват итальянцами Албании, лисьи ходы Боннэ или Лаваля, трусливое блеяние Блюма, бездарная провинциальная политика Даладье.

В середине апреля мои корреспонденции перестали печатать. Я вначале подумал, что, может быть, стал плохо писать, пытался объясниться с редакцией. Наконец мне сообщили через посольство, что до поры до времени «Известия» не смогут печатать ни Эренбурга, ни Поля Жослена; я остаюсь, однако, постоянным корреспондентом и буду получать, как прежде, зарплату.

Я ничего не понял, пошел к Сурицу. Яков Захарович на меня накричал: «От вас ничего не требуют, а вы волнуетесь!..» Он задумался. «Сегодня передали, что Максима Максимовича сняли. Назначен Молотов… Но это — между прочим, к вам это не имеет никакого отношения… Что вы огорчаетесь? Отдыхайте. Пишите роман. Теперь много интересных выставок…» (Суриц обожал живопись.)

Все же мое вынужденное безделье объяснялось событиями. Много позднее я узнал, что Поль Жослен рассердил Сталина: я по-прежнему страстно обличал фашистов, а приближалась пора сложных дипломатических переговоров. Писателю трудно работать в газете: он думает, что он — игрок, а он только карта. «Вы еще понадобитесь», — говорил мне Суриц. К сожалению, он оказался прав: 23 июня 1941 года мне позвонили из редакции: «Напишите и для нас, вы ведь старый «известинец»…»

Англия и Франция заявляли, что хотят остановить агрессоров, договориться с Советским Союзом, но после Мюнхена трудно было поверить в добрые намерения Даладье и Чемберлена. С омерзением я вспоминаю то время. Люди сидели у приемников и даже те, что не знали немецкого языка, слушали выступления Гитлера — старались догадаться по интонациям, что им сулит завтрашний день. Франция напоминала гладкого,

упитанного кролика, завороженного взглядом удава.

В мае в Париже была Международная антифашистская конференция. Я пошел, увидел много старых знакомых — Ланжевена, Кошена, Жана Ришара Блока, Мальро, Арагона, Сесара Фалькона; познакомился с Фирлингером. Все были мрачно настроены, и речи казались повторением давно слышанного — веры больше не было.

Однажды Фернандо Херасси привел ко мне молодого застенчивого писателя, с которым дружил. Звали его Жаном Полем Сартром. Он косил, и поэтому казалось, что он хитрит, но говорил он о своем отчаянии простодушно. Он подарил мне книгу «Стена»; рассказы были тоже об отчаянии. Много лет спустя я снова встретился с Сартром, узнал его я понял, что мои первые впечатления были верными: в нем редкое сочетание рассудочности, острого, даже едкого ума с детской наивностью, доверчивостью и чувствительностью.

Мне трудно связно говорить о том годе: воспоминания, как облака в горах, опускаются, давят, душат. В мае умер Йозеф Рот. Повесился Толлер. Приехал из Праги Роман Якобсон, рассказывал, что Незвал, когда они расставались, плакал, как ребенок. Многие немецкие писатели уехали в Америку. У Пабло Пикассо сидели ободранные, бездомные испанцы; Пабло впервые сказал мне: «Малыш, мне трудно работать — мы тонем в дерьме…» Внешне как будто ничего не изменилось. Начались летние каникулы; газеты сообщали, что в Довилле — «весь Париж», описывали приемы, купальные костюмы. Но все это казалось подделкой под прежнее.

Пока я был в Испании, меня увлекала, да и отвлекала от многих мыслей борьба. Теперь я остался один на один со своими раздумьями. Я часто думал, что в Москве легче: там все тебя понимают. В Париже меня угнетало одиночество.

О судьбе Кольцова я узнал еще в Барселоне — накануне развязки. В Париже ко мне приходила сначала Лиза, потом Мария Остен (Гросхенер). Обе ехали в Москву. Лиза плакала, говорила, что Михаил Ефимович, еще будучи в Испании, хворал: «Может быть, мне удастся передать ему лекарство…»

Дошли известия о судьбе Мейерхольда, Бабеля. Я терял самых близких друзей.

Приходя в посольство, я видел новые лица. Все те, кого я прежде знал — советник Гиршфельд, военный атташе Венцов, военно-воздушный атташе Васильченко, Семенов, да, и многие другие, — исчезли. Никто не осмеливался даже вспоминать эти фамилии.

Как-то Суриц сказал мне: «Приходил Раскольников. Его

вызвали в Москву, а он испугался, потерял голову. Спрашивал, что делать. Я сказал, что он должен сейчас же вернуться домой. Он произвел на меня тяжелое впечатление…» Два дня спустя Ф. Ф. Раскольников (он был тогда полпредом в Болгарии) пришел ко мне и тоже спрашивал, как ему быть. Я с ним встречался в Москве в двадцатые годы, когда он редактировал «Красную новь», он был веселым и непримиримым. Написал предисловие к одной из моих книг, ругал меня за колебания, половинчатость. Я помнил, какую роль он сыграл в дни Октября. А теперь он сидел у меня на улице Котантен, рослый, крепкий и похожий на обезумевшего ребенка; рассказал, что его вызвали в Москву, он поехал с молодой женой и грудным ребенком; в дороге жена плакала, и вдруг из Праги он поехал не и Москву, а в Париж. Он повторял: «Я не за себя боюсь — за жену. А она говорит: «Без тебя не останусь…» Я знавал некоторых невозвращенцев: Беседовского, Дмитриевского, это были перебежчики, люди морально нечистоплотные. Раскольников на них не походил; чувствовалось смятение, подлинное страдание. Он не послушался советов Сурица, остался во Франции, опубликовал открытое письмо Сталину, а полгода спустя умер.

Шли переговоры о военном соглашении между Советским Союзом, Англией и Францией. Западные державы тянули дело. Лейбористы в парламенте обличали Чемберлена. В наших газетах о переговорах почти не писали. Повсюду продолжались приготовления к войне.

Я не сел за роман, как мне советовал Яков Захарович: для того чтобы писать прозу, нужно не только увидеть нечто реальное, но и осмыслить его. А я тогда не мог разобраться в происходящем. Цель мне была ясна давно; но дороги стали такими запутанными, что порой трудно было понять, куда какая ведет. А в лирических стихах можно передать свои чувства, и я предпочел стихи. В 1940 году в Москве вышла маленькая книжица «Верность», в нее вошло много стихотворений, написанных мною летом 1939 года, среди них и то, по которому названа книга:

Верность — вместе под пули ходили,
Вместе верных друзей хоронили.
Грусть и мужество — не расскажу.
Верность хлебу и верность ножу.
Верность смерти и верность обидам.
Бреда сердца не вспомню, не выдам.
В сердце целься! Пройдут по тебе
Верность сердцу и верность судьбе.

У меня больше не было той «видимости точной и срочной работы», которая освобождает человека от чересчур трудных раздумий. Где-то на полустанке жизни, между двумя войнами, не зная, что нам предстоит, я задумался над своей судьбой:

По тихим плитам крепостного плаца
Разводят незнакомых часовых.
Сказать о возрасте?
Уж сны не снятся,
А книжка — с адресами неживых.
Стоят, не шелохнутся часовые.
Друзья редеют, и молчит беда.
Из слов остались самые простые:
Забота, воздух, дерево, вода.

Меня тянуло к деревьям, к реке, к чему-то постоянному, и, сидя в сквере парижского пригорода, я не мог удержаться от признаний:

Я знаю, век, не изменить тебе.
Твоей суровой и большой судьбе,
Но на одну минуту мне позволь
Увидеть не тебя, а лакфиоль,
Увидеть не в бреду, а наяву
Больную, золотушную траву.

Сказывалась усталость: Москва, Испания — словом, все, о чем я писал. В августе я уехал на две недели в Жюльена, это деревня виноделов в округе Божоле. С утра я уходил, шагал по длинным дорогам, взбирался на холмы. Вокруг были виноградники и то здесь, то там одинокое старое дерево — вяз, клен или ясень. У деревьев я искал ответа на тысячи вопросов, которые меня преследовали. Критики порой называют такое поведение «бегством от жизни». Но ведь и Грамши в тюрьме жадно следил за бледными всходами фасоли; ведь и Залку незадолго до смерти утешало и терзало пение полевой птицы. Право же, человек не машина, и жизнь проходит не но железнодорожному расписанию.

В Жюльена я жил в маленькой гостинице. Хозяин был анархистом, образцово готовил петуха в вине, жарил бифштексы на сухой лозе, с утра напивался, бросал куски мяса моему псу Бузу, говорил: «Все так печально, что даже смешно…» Он

рассказал обо мне своим клиентам, крестьянам-виноделам. Ко мне пришли двое — пожилой и молодой. Оказалось, что в Жюльена шесть виноделов-коммунистов. Меня водили по подвалам, угощали вином и, конечно, расспрашивали о Советском Союзе. Пожилой спросил: «Скажи, а ведь под Москвой вино лучше нашего?…» (Жюльена славилась винами.) Я нерешительно стал объяснять, что под Москвой нет виноградников, а вино у пас делают в Крыму, на Кавказе. Это его потрясло: он верил в Москву и любил свое дело. Подумав, он сказал: «Ну ничего, еще одна-две пятилетки — и под Москвой будут делать вино получше, чем наше…» Он послал ящик вина Сталину. (В 1946 году я заехал в Жюльена. Молодой винодел меня узнал. Он был теперь мэром. «А старик жив?» спросил я. Он новел меня к пепелищу: «Старик всем говорил: «Ничего, через год-два сюда придет Красная Армия». Немцы его расстреляли, а дом сожгли… А я был в маки и, видишь, — выжил…»)

Меня приободряли не только деревья, но и люди — вот такие виноделы. Если прибегнуть к ярлыкам критиков, то можно сказать, что мои стихи не были лишены оптимизма:

…Я знаю все — годов проломы, бреши,
Крутых дорог бесчисленные петли.
Нет, человека нелегко утешить!
И все же я скажу про дождь, про ветви.
Мы победим. За нас вся свежесть мира,
Все жилы, все побеги, все подростки.
Все это небо синее — на вырост,
Как мальчика веселая матроска…

В поезде я прочитал в «Пари суар», что какой-то француз сорока двух лет открыл на кухне газовый кран и оставил записку: «Газеты будут выходить, а люди жить теперь не могут».

Вскоре после того, как я вернулся в Париж, я услышал по радио, что в Москве подписано соглашение между Советским Союзом и Германией, Конечно, я не знал подробностей переговоров между представителями западных держав и Молотовым, но я понимал, что англичане и французы играли в покер, вели притом нечестную игру. Умом я понимал, что случилось неизбежное. А сердцем не мог принять… Суриц показал мне последний номер «Правды». Я увидел фотографию: Сталин, Молотов, фон Риббентроп и какой-то Гаус; все удовлетворенно улыбались. (Риббентропа я увидел шесть лет спустя в Нюрнберге; но там он не улыбался, предвидел, что его повесят.)

Да, я все понимал, но от этого не было легче. Когда-то старый бородатый Шарль Раппопорт, хорошо знавший Ленина, Плеханова, Жореса, Геда, Либкнехта, говорил: «Капитализм это заслужил, но мы этого не заслужили…»

Шок был настолько сильным, что я заболел болезнью, непонятной для медиков: в течение восьми месяцев я не мог есть, потерял около двадцати килограммов. Костюм на мне висел, и я напоминал пугало. Женщина-врач, работавшая в посольстве, сердилась: «Вы не вправе распоряжаться собой», — хотела, чтобы я пошел на рентген. Я не шел, знал, что со мною это произошло внезапно: прочитал газету, сел обедать и вдруг почувствовал, что не могу проглотить кусочек хлеба. (Болезнь прошла так же внезапно, как началась, — от шока: узнав, что немцы вторглись в Бельгию, я начал есть. Врач глубокомысленно сказал: «Спазматические явления…»)

А события разворачивались быстро. Советско-германский договор был опубликован 24 августа. 1 сентября Молотов заявил, что этот договор служит интересам всеобщего мира. Два дня спустя началась вторая мировая война.

36

Мы видели не раз, как кровопролитные бои начинались без каких-либо деклараций. В 1939 году объявление Францией войны не сопровождалось военными действиями. Все ждали бомбежек, наступления или отступления, но на фронте ничего не происходило. Французы удивлялись: «дроль де герр» — «странная война».

Я хорошо помню первые недели этой «странной войны» — я тогда еще мог ходить по улицам. Проститутки поджидали клиентов, вооруженные противогазами. Оконные стекла оклеивали тонкими полосками бумаги, и некоторые домохозяйки щеголяли затейливыми узорами. Мне пришлось пойти в участок на регистрацию иностранцев. Владелец винного погреба бушевал: «Никогда я не отдам моего склада! Люди могут укрываться в метро, там хватит места для всех. А у меня запасы старого бургундского, это вам не дурацкая политика, это капитал!» Одна дама требовала, чтобы арестовали ее соседа: «Все знают, что он был в Испании, он воевал против генерала Франко. Я вам говорю, что это не француз, а настоящий предатель, коммунист, шпион!..» Чуть ли не каждую ночь устраивали пробные тревоги. Женщины показывались в элегантных капотах, нарумяненные, напудренные, а бедная консьержка поливала пол убежища водой: так почему-то приказал районный инструктор.

Комедия вскоре всем надоела, и жизнь вошла в колею. Люди хорошо зарабатывали и охотно тратили деньги: мысль, что война может перестать быть «странной», делала расточительными даже заведомых скупердяев. Газеты писали, что солдаты на фронте умирают от скуки. Им посылали различные игры, полицейские романы, крепкие напитки, шелковые платочки с надписями «Где-то во Франции». «Странная война» играла в военную тайну: «Где ваш друг?» — «Не знаю. Я так боюсь за него! Он где-то во Франции…»

Морис Шевалье пел песенку «Париж остается Парижем», и это стало присказкой, программой, заклинанием. Газетные комментаторы писали о военных перспективах, как о предстоящих дивидендах огромного треста; подсчитывали резервы нефти, железа, алюминия; старались доказать, что союзники богаче, солиднее Германии и Италии. «Мы победим, потому что мы сильнее» — это можно было увидеть на любой стене рядом с рекламами электроприборов и аперитивов. Радио каждый день сообщало, сколько тонн вражеских товаров потоплено союзниками. О гибели Польши никто не вспоминал,

хотя война была объявлена из-за угроз Гитлера полякам.

Немецкий летчик упал на французскую территорию. Его похоронили с воинскими почестями. Газеты в умилении описывали церемонию. Многие слушали радиопередачи из Штутгарта на французском языке. Штутгартский диктор уверял, что победит Германия, потому что она сильнее. «Странная война», — улыбаясь, повторяли французы. Они не думали ни о потопленных судах, ни о резервах меди, ни о победе: жили, как жилось.

Все же шла война, и, следовательно, требовался противник. Его нашли в лице французских коммунистов. Закрыли «Юманите» и «Се Суар». Запретили не только коммунистическую партию, но и сотни обществ, союзов, лиг, подозреваемых в сочувствии коммунизму. Шли массовые аресты. Парламент разрешил прокуратуре предать суду депутатов-коммунистов; их обвиняли в том, что они не желают предать анафеме Советский Союз. Это было предлогом; в действительности буржуазия мстила рабочим за страх, пережитый в 1936 году.

Еще недавно слово «фашизм» повторяли повсюду. Как по мановению жезла, оно исчезло из всех речей, из всех газет. Можно было подумать, что исчез и фашизм. Однако все понимали, что фашисты готовятся к решительному наступлению.

Утром к нам приходила на два часа Клеманс — убирала квартиру. Ее брат был коммунистом; он ей сказал: «Я не знаю, что думают русские. «Юма лиге» закрыли. Ответственные товарищи арестованы. Но я вижу, что Лаваль, Фланден и вся фашистская сволочь по-прежнему нападают на коммунистов. Значит, коммунисты нравы…» Клеманс добавляла: «Мой брат говорит, что, если бы он раздобыл «Юма», он все понял бы…»

Я аккуратно читал московские газеты, но не могу сказать, что все понимал. Я помнил, как Бонна и Чембсрлен мечтали, что Гитлер пойдет на Украину; германо-советский пакт был, видимо, продиктован необходимостью. «Странная война» и преследования коммунистов показывали, что Даладье не собирается воевать против Гитлера. Слова Молотова о «близоруких антифашистах» меня, однако, резанули. В ту зиму мне пришлось впервые обзавестись очками, но признать себя «близоруким» я не мог: свежи были картины испанской войны; фашизм оставался для меня главным врагом. Меня потрясла телеграмма Сталина Риббентропу, где говорилось о дружбе, скрепленной пролитой кровью. Раз десять я перечитал эту телеграмму, и, хотя верил в государственный гений Сталина, все во мне кипело. Это ли не кощунство! Можно ли сопоставлять кровь красноармейцев с кровью гитлеровцев? Да и как забыть о реках крови, пролитых

фашистами в Испании, в Чехословакии, в Польше, в самой Германии?

Я не выдержал и, когда Я. З. Суриц пришел меня проведать, заговорил о злополучной телеграмме. Он вначале отвечал формально, это — дипломатия, не нужно придавать значение поздравительным телеграммам. Но вдруг его прорвало, он вскочил: «Вся беда в том, что мы с вами люди старого поколении. Нас иначе воспитывали… Вот вы взволновались из-за телеграммы. Есть вещи похуже. Когда-нибудь мы сможем обо всем поговорить. А сейчас вам нужно подумать о себе, теперь не время болеть…»

В марте 1940 года Суриц внезапно уехал. Перед этим он лежал больной: у него было воспаление легких. На очередном собрании сотрудников посольства приняли приветственную телеграмму Сталину, в которой, как тогда было принято, осуждали франко-английских империалистов, развязавших войну против Германии. Сурицу принесли текст на подпись. Молодой неопытный сотрудник отнес телеграмму не шифровальщику посольства, а в почтовое отделение. На следующий день телеграмма была напечатана в парижских газетах. Для политиков, считавших, что нужно воевать не с. фашистской Германией, а с Советским Союзом, это было нечаянной находкой. Французское правительство объявило Сурица «персона нон грата». Когда я пришел в посольство, мне сказали, что Яков Захарович уже уехал, — «вышла, так сказать, промашка…».

Я ослаб, быстро уставал, не мог работать. В ту зиму мало кто к нам приходил: некоторые из былых друзей считали, что я предал Францию, другие боялись полиции — за мною следили. Могу сосчитать на пальцах людей, которые меня навещали или звали к себе: Андре Мальро, Жан Ришар Блок, летчик Понс, сражавшийся в Испании, Гильсумы, Вожель, Рафаэль Альберти, Херасси, доктор Симон и мой приятель Путерман, живший в соседнем доме.

С Путерманом тогда трудно было разговаривать; все его выводило из себя — Даладье, германо-советский пакт, англичане, Финляндия, у него, обострилась гипертония. В один из последних вечеров он вдруг начал читать на память стихи Пушкина:

> Оплачьте, милые, мой жребий в тишине;
> Страшитесь возбудить слезами подозренье;
> В наш век, вы знаете, и слезы преступлены;…

Он умер три дня спустя. Полиция произвела обыск, когда он

лежал мертвый. Вытряхивали томики Пушкина… На похороны пришел Вожель. Я помнил его оживленным, снобом, представителем «всего Парижа». А он стоял на кладбище постаревший, печальный.

Зима была на редкость холодная: газеты сообщали, что снег выпал даже в Севилье. Шла советско-финская война, и газеты забыли, что есть на свете Германия. Многие политики требовали отправки экспедиционного корпуса в Финляндию. Марсель Деа, который еще недавно защищал Гитлера и пустил в ход хлесткую фразу о том, что не стоит «умирать за Данциг», теперь доказывал, что необходимо умереть за Хельсинки. В церкви Мадлен отслужили молебен за победу Маннергейма. Дамы вязали фуфайки для финских солдат. Даладье хотел показать, что он может воевать если не на Рейне, то у Выборга. Стояла предвоенная суматоха, когда неожиданно пришло сообщение о мирных переговорах между Финляндией и Москвой. Министры понегодовали и вернулись к прежним заботам.

Решили, что солдат слишком много, а фронт короткий; нужно отпустить молодых крестьян домой; да здравствует земледелие!

Продовольствия было достаточно, но министры хотели показать себя дальновидными и ввели невинные ограничения — были дни без пирожных, дни без говядины, дни без колбасных изделий.

Трудно сказать, на что надеялись французские генералы. Они свято верили в две линии — в линию Мажино и в линию Зигфрида. Даже я, человек глубоко штатский, знал, что в Испании исход сражений решали авиация и крупные танковые соединения; но французские генералы не любили новшеств; генерал де Голль был для них футуристом.

Я ждал выездной визы. В правой газете «Кандид» появилась противная заметка, посвященная мне. «Же сюи парту» спрашивала: «Почему Эренбург еще в Париже?…» Я сам поставил этот вопрос в префектуре, но там не отвечали, там допрашивали. Я лежал, томился, перечитывал Монтеня, Чехова, Библию.

В апреле Гитлер приступил к оккупации Норвегии и Дании. Новый премьер-министр решил послать немного солдат в Норвегию. В военных сводках появились названия далеких фьордов.

У меня сохранилась записная книжка с короткими записями за 1940 год. Приведу некоторые — они показывают и то, что происходило во Франции, и мое тогдашнее восприятие событий. «9 апреля. Война в Скандинавии. Осло. Арестованы семнадцать коммунистов». «11 апреля. Улица Рояль. Витрины магазинов,

клипсы-танки и клипсы-самолеты». «16 апреля. Нарвик. Арестованы пятьдесят четыре коммуниста». «17 апреля. Арестован некто Пейроль, глухонемой, за антинациональную агитацию». «23 апреля. Фернандо рассказал, что Реглера в концлагере избивали». «28 апреля. Отпускник на улице Арморик, пьяный, кричал: «Это не война, а надувательство!» «29 апреля. Эльза Юрьевна рассказала, как арестовали Муссинака». «30 апреля. «Эвр» сообщает, что арестовали рабочего за то, что он читал биографию Ленина». «1 мая. «Канар аншене» пишет: «Это первое спокойное Первое мая после 1918 года».

«Странная война»… Умирали люди — в Польше, в Финляндии, в Норвегии. Тонули суда, люди гибли среди рассерженного моря. Выли по ночам сирены. Но все это не походило ни на войну, ни на мир. Трагический фарс продолжался.

Франция репетировала капитуляцию. Миллионы людей в разных странах репетировали бомбежки, перебежки, пулеметный огонь, агонию. Но репетиции были тусклыми, вялыми; никто не знал своей роли, ораторы сбивались на чужой язык, стратеги сидели, как географы, над картами обоих полушарий, не. решаясь произвести даже небольшую разведку. А может быть, так мне казалось, потому что я был обречен на полное бездействие болезнью, да и обстоятельствами? Не знаю. Когда человек счастлив, он может ничего не делать. А в беде необходима активность, какой бы иллюзорной она ни была.

37

Мы поздно засиделись у Жана Ришара Блока. Он рассказал об аресте Муссинака, которого держат в тюрьме Сантэ. Режим как для уголовников, а Муссинак болен… Блок рассказал также, как везли арестованных коммунистов; на одном вокзале эшелон задержался. Из закрытых наглухо вагонов вдруг раздалась «Марсельеза». Солдаты, отправлявшиеся на фронт, изумились: им сказали, что везут предателей, шпионов. Жена Блока, Маргарита, печально улыбнулась.

Потом мы шли по затемненному городу. Я оступился и выругался: черт бы их всех побрал — воевать не воюют, а ногу сломать очень легко!..

Когда мы вернулись домой, началась тревога; она длилась долго. Мы не сошли в убежище: надоело. Да и войны нет… А спать не дал кот — неизвестно откуда он пришел, отчаянно мяукал, требовал, чтобы его пустили в дом.

Рано утром мы услышали ошеломляющие новости: немцы вошли в Голландию и Бельгию. Это было 10 мая. Пришел толстяк Понс, сказал: «Теперь начинается…» В «Пари суар» я увидел фотографии, напомнившие Испанию, — убитые дети.

В моей маленькой записной книжке значится: «11 мая, суббота. Марке». Помню, еще перед началом драматических событий Люс Гильсум нам сказала, что 11 мая нас ждет Марке; узнав, что и собираюсь подарить ему старую икону, он хочет отдарить своим холстом.

Рассказ о войне, о потопленных транспортах, о десантах парашютистов, о разгроме Франции я перебиваю главой, посвященной художнику Альберу Марке. Трудно передать, что происходило со всеми в тот день. Париж напоминал растревоженный улей; вчера еще беспечные, люди вдруг поняли, что игра кончена, начинается расплата. Встреча с любым другим художником или писателем была бы естественной. Но при чём тут Марке с его легкими, прозрачными пейзажами? Он и на холст» ни разу в жизни не пытался повысить голос, писал предпочтительно воду и был, по старому русскому определению, тише воды. Он писал Сену — и Париже и в Нормандии, с баржами или без, писал море, заблудившееся среди скал Стокгольма, каналы Венеции и каналы Голландии, большой Нил и малую Марну и снова Сену — на рассвете, в полдень, вечером, с. деревьями зелеными или голыми, в дождь, под снегом. На его холстах почти всегда — вода, много воды.

(В XVI веке французский поэт Иоахим Дю Белле увидел

развалины древнего Рима. В последующие столетия их раскрали, разобрали, а тогда, по описаниям путешественников, они подавляли величьем. Дю Белле писал про Рим:

> …Он побеждал чужие города,
> Себя он победил — судьба солдата.
> И лишь несется, как неслась когда-то.
> Большого Тибра желтая вода.
> Что вечным мнилось, рухнуло, распалось.
> Струя поспешная одна осталась.

Окна мастерской Марке выходили на Сену: мост, набережная с закрытыми ящиками букинистов. С женой Марке, Марсель, мы, разумеется, начали говорить о событиях: куда пойдут немцы, будут ли бельгийцы сопротивляться, обсуждали, строили догадки. Марке стоял у окна и глядел на Сену. Потом он повернулся к нам. Глаза у него были умные, чуть насмешливые и вместе с тем добрые. Он сказал: «Ничего не кончено…» О чем он думал? Об исходе сражения? О судьбе людей? В тот день я понял силу искусства. Все говорили о Рейно, о короле Леопольде, о Вейгане, о Кейтеле — я сейчас, с трудом припомнил эти имена. Четверть века прошло, все, кажется, изменилось. А вода осталась — Сена, та, что пересекает Париж, и другая — на полотнах Марке.

Я говорил, что самым скромным поэтом, которого я встретил в жизни, был Антонио Мачадо. Я не видел художника скромнее, чем Альбер Марке. Слава ему претила. Когда его хотели сделать академикам, он чуть было не заболел, протестовал, умолял забыть о нем. Да и не пробовал он никого ниспровергать, не писал манифестов или деклараций. В молодости на несколько лет он примкнул к группе «диких», но не потому, что соблазнился их художественными канонами, — не хотел обидеть своего друга Матисса. Он не любил спорить, прятался от журналистов. При первом знакомстве сказал с виноватой улыбкой: «Вы меня простите… Я умею разговаривать только кистями…»

Он не заботился о судьбе своих картин, был равнодушен к различным житейским благам. В молодости он знал нужду, редко ел досыта. Матисс, мне рассказывал, как они вместе работали на выставке 1900 года; смеясь, пояснил: «В общем, как маляры…» И Матисс мне еще говорил: «Большего бессребреника, чем Марке, я не знаю. У него рисунок твердый, порой острый, как у старых японцев… А сердце у него девушки из старинного романса, не только никого не обидит, а расстроится, что не дал себя как следует обидеть…»

В 1934 году Марке поехал с группой туристов в Советский Союз. (Он много путешествовал.) Когда он вернулся в Париж, его спрашивали, правда ли, что в Советском Союзе ад. Он отвечал, что мало разбирается в политике, никогда в жизни не голосовал: «А в России мне понравилось. Подумайте — большое государство, где деньги не решают судьбу человека! Разве это не замечательно?… Потом, там, кажется, нет Академии художеств, во венком случае, никто мне о ней не говорил…» (Академия художеств была восстановлена незадолго до того, как Марке приехал в Ленинград; но он увидел Неву, рабочих, школьников — академиков не успел заметить.)

Среди рабочих-коммунистов Парижа были участники кружков самодеятельности, любившие живопись Марке и проданные Советскому Союзу. Они собрали деньги и, когда Марке вернулся из России, при игл и к нему: «Мы заплатим за дорогу, оплатим ваше содержание, поезжайте на несколько месяцев в Ленинград и напишите Неву…»

В 1946 году и снова увидел Марке. Он позвал нас 14 июля вечером — полюбоваться фейерверком над Сеной. Он постарел за годы войны, но был весел, угощал хорошим бордоским вином (уроженец Бордо, он знал толк в винах). Звезды ракет падали в черную реку. Марке сказал: «Вот вы говорите — вода… Нет, я люблю и другое. Например, деревья, звезды…» Он любил людей, но, будучи на редкость стыдливым, никогда об этом не говорил. Он вспомнил о нашей встрече в начале разгрома Франции: «За годы войны я многое понял. Правы коммунисты… Ужасно, что многие ничего не поняли, хотят все повернуть назад…» Он помолчал и вдруг повторил те слова, которые я хорошо запомнил из нашей встречи в 1940 году: «Ничего еще не кончено…»

Он был маленького роста, сухой, очень простой в обращении, ни внешность, ни словарь не выдавали его сущности. Говорил он картинами. Его живописный язык сдержан, прост и убедителен. Отойдя от пестроты, разбросанности, свойственных многим импрессионистам, он никогда не искал в жизни геометрии: он обобщал по-человечески — без циркуля, без обязательной логики — так, как обобщает поэзия или любовь. Его холсты поражают скупостью изобразительных средств, трудны в своей простоте, искусны в сердечной безыскусности. Серое, синее, зеленое — и мир оживает. Он любил юг — Алжир, Марокко, Египет; но лучшие его пейзажи — северные; видимо, юг его самого поражал цветом, а в серой, стыдливой, сдержанной природе севера он находил цвета, которые поражают нас.

В 1940 году он попросил меня выбрать пейзаж, который мне особенно нравится. Я выбрал Сену, набережную, мост в серый

денек. На стене, клок плаката «Левого блока» — 1924 год. В 1946 году Марке подарил мне другой пейзаж-Сена, пустая, почти голый холст.

Как и мог подумать, что больше его не увижу? Его жена написала про его последние дни. Марке оперировали в январе 1947 гола. Операция не помогла; он слабел с каждым днем, знал, что умирает, и все же продолжал работать. Он написал еще восемь холстов — Сена… Он умер в июне.

Я нишу про годы, когда мало кто вспоминал об искусстве; люди умирали, не успев оглянуться. Но ведь умирали они за то, чтобы другие увидели реку, деревья, звезды, чтобы на ослепшую и оглохшую землю вернулось искусство. «Ничего еще не кончено…»

Марке любил поэзию, любил Бодлера, Лафорга, думаю, и Аполлинера. Глядя на его холсты, я порой про себя повторяю:

Проходят дни, за годом год.
Под мостом Мирабо Сена течет.
Бьют часы. Уходят года.
И то, что ушло, не придет никогда.
Уходит любовь. Проходят года.
А я остаюсь. Но течет вода…

Давно умер автор этих строк Аполлинер. Умер и Марке. «Течет вода…» Но вдруг мне чудятся в подслушанной на улице фразе старые стихи о мосте Мирабо, в зрачке прохожего мерещится серая Сена под окном мастерской Альбера Марке. Кто знает, может быть, что-нибудь остается от каждого из нас? Может быть, это и есть искусство?…

38

Двенадцатого мая — на следующий день после того, как я был у Марке, — рано утром за мною пришли полицейские и отвезли в префектуру. Сначала меня заперли в каталажке, где уже находилось человек тридцать: парижские рабочие, заподозренные в сочувствии к коммунистам, немецкие эмигранты, поляк, студент из Барселоны. Немецкий еврей мне сказал: «Знаете, за что меня арестовали? Мой брат сражался в Испании. Я не мог воевать — штурмовики мне переломили руку. Теперь они нашли у меня письмо брата, он был в батальоне Тельмана. Шпик кричал: «Вы — коммунист, шпион!..» Да разве они с Гитлером воюют?…» Пожилая француженка громко всхлипывала: «Откуда я знаю, с кем встречался Альфред? Это не мое дело. Я даже мужа не спрашиваю, с кем он встречается… Я, кажется, не консьержка…»

Потом меня повели на верхний этаж, в комнату, где занимались высылкой иностранцев. Народу было много, и чиновники торопились: «Эренбург Илья? В трехдневный срок». Я попытался объяснить чиновнику, что давно жду выездной визы, но он меня оборвал: «Это не наше дело. Пройдите на второй этаж…»

Со мной приключилась неприятная история, которую я никак не мог распутать: весной 1939 года на мое имя перевели из Москвы гонорар испанским писателям — они собирались уехать, кто в Мексику, кто в Чили. Писателей было девять или десять, и это составило довольно крупную сумму. Когда я заявлял о моих доходах за истекший год, я. конечно, не проставил денег, переданных испанцам. В начале 1940 года полиция произвела налет на «Банк Северной Европы»; проверили переводы, конторские книги. Выяснилось, что я скрыл от налоговой инспекции гонорары испанским писателям и деньги на грузовик для Испании, приобретенный еще в 1936 году. С меня потребовали сумму, которой я никогда не держал в руках, заявили, что до ее выплаты меня не выпустят из Франции. На втором этаже чиновник сердито ответил: «Это меня не касается. Пройдите на третий этаж…, А пока вы не принесете справки о выплате налогов и штрафа, мы вам не поставим выездной визы». Я пошел снова к чиновнику, занимавшемуся высылками, простоял часа три в хвосте: «Меня не выпускают». — «Я вам сказал, что это не мое дело. 14 мая вы обязаны покинуть Францию».

Я уже говорил, что после болезни ослаб; мне казалось, что у меня ноги из ваты. Я едва добрался домой. Палили зенитки.

На следующий день немцы прорвали французскую оборону

близ Седана и проникли во Францию. В Париже появились бельгийские беженцы с корзинами, узлами, перепуганные, заплаканные.

События разворачивались быстро. Капитулировала Голландия. Немцы заняли Брюссель. Исчезли автобусы — говорили, что их реквизировали: перебрасывают войска с линии Мажино на север. В Венсенском лесу рыли окопы. Богатые кварталы опустели. Полицейским, которые регулировали уличное движение, выдали винтовки. Я увидел бельгийские автомобили, продырявленные пулями.

Вдруг все облегченно вздохнули: распространился слух, что немцы повернули к побережью и собираются идти на Лондон. Рейно отправился в Нотр-Дам: отслужил молебен о победе союзников. Все ценности на бирже неожиданно поднялись, маклеры восторженно вопили. Жизнь продолжалась; рестораны и кафе были переполнены. Газеты писали о новой моде: дамские шляпы, похожие на военные пилотки. Радио сообщало о боях в районе Нарвика — за Полярным кругом.

Двадцать первого мая меня снова вызвали в префектуру и спросили, почему я не покинул Францию. Снова я ходил безрезультатно с одного этажа на другой. Началась тревога. Полицейские загнали нас в убежище под Консьержери. Туда же примчались чиновники префектуры. Рядом со мною оказался тот, что меня высылал. Он все время монотонно повторял: «Дерьмо… дерьмо… дерьмо…» Не знаю, к кому это относилось: к противовоздушной обороне, к немцам или ко мне.

Премьер-министр произнес в парламенте речь, сказал, что была измена, виновники понесут наказание, Франция вместе с Англией остановит врага.

Вдруг мы узнали, что правительство решило послать в Москву Пьера Кота, чтобы «улучшить отношения с Советским Союзом». Наш поверенный в делах Н. Н. Иванов этому радовался. Он шепотом говорил мне, что Гитлер обязательно нападет на Советский Союз, хорошо бы на всякий случай договориться с союзниками. А я не верил, что Рейно может обуздать профашистов, в самом правительстве шла борьба. Вице-премьер Петен считал Рейно английским ставленником. Министр иностранных дел Бодуэн стоял за сближение с Муссолини. Министр внутренних дел Мандель, в прошлом друг и помощник Клемансо, хотел воевать с немцами всерьез, но у него были связаны руки: когда он попробовал арестовать пять журналистов, открыто выступавших за мир с Гитлером, поднялась газетная буря и задержанных освободили. Зато ежедневно продолжали арестовывать коммунистов.

Я лежал в полутемной комнате на улице Котантен. В ящиках, похожих на огромные гробы, были упакованы книги. В углах высились горы старых испанских газет, листовок Народного фронта, гитлеровских брошюр — материал для давних газетных корреспонденции.

Двадцать четвертого мая мне позвонил министр общественных работ де Монзи, с которым я прежде встречался. Де Монзи был одним из первых французов, посетивших Советский Союз. Он написал о своей поездке книгу и не раз отстаивал идею развития культурных и экономических связей с Советским Союзом. Однажды он председательствовал на вечере, где я должен был рассказать о советской литературе. Увидев меня, он пришел в ярость: «Кто вас просил постричься?» Оказалось, он собирался во вступительном слове процитировать слова Ленина об Илье Лохматом, я ему сорвал эффектный рассказ. Политически де Монзи был фигурой неясной, блокировался то с левыми, то с правыми, скорее капризничал, чем рассчитывал и подсчитывал. Он мне сказал по телефону: «Илья, нехорошо забывать старых друзей. Говорят, вы собираетесь в Россию. Как же вы не зашли со мною проститься?» Наши Отношения не были настолько близкими, чтобы объяснить эти слова чувствами, и я понял — дело идет о политике, Де Монзи добавил, что хочет меня срочно видеть. — не могу ли я сейчас же зайти к нему в министерство на бульваре Сен-Жермеи?

Де Монзи курил, как всегда, трубку, как всегда, попытался побалагурить, но быстро перешел к делу: «Потен, Бодуэн, да и некоторые другие хотят капитулировать. Рейно против, я уж не говорю о Манлеле. Картина невеселая — наши военные готовились к длительной позиционной войне. А линия Мажино была талисманом, и только. У нас мало танков, а главное — мало самолетов. Положение критическое…» Я спросил, почему правительство продолжает войну против коммунистов, почему восстанавливает против себя рабочих на военных заводах шпиков чуть ли не больше, чем рабочих. Де Монзи не стал отмалчиваться, сказал, что тридцать тысяч коммунистов арестованы и что министр юстиции социалист Серроль отказывается перевести их на режим политических заключенных. Он добавил: «Я знаю Семара. Это коммунист, но он француз, патриот. Его арестовали. Я говорил в нем с Серролем, и безуспешно. Я вам прямо скажу: я куда больше доверяю Семару, чем Серролю…»

Мы помолчали. Де Монзи отложил трубку, встал и, не глядя на меня, сказал: «Если русские нам продадут самолеты, мы сможем выстоять. Неужели Советский Союз выиграет от разгрома Франции? Гитлер пойдет на вас… Мы просим об одном: продайте

нам самолеты. Мы решили послать в Москву Пьера Кота. Вы его знаете — это ваш друг. Не думайте, что все прошло легко, многие возражали… Но сейчас я говорю с вами не только от себя. Сообщите в Москву… Если нам не продадут самолетов, через месяц или два немцы займут всю Фракцию».

(Я невольно вспомнил лето 1936 года, когда представители испанского правительства повторяли в Париже: «Если Франция нам не продаст самолетов, мы погибнем».)

Прямо от де Монзи я пошел в посольство к Н. Н. Иванову, рассказал ему о беседе. Он посадил меня за стол: «Ваш долг сообщить. Пусть Москва решает. Но вы должны сейчас же написать…»

Прежде чем перейти к дальнейшим событиям, я должен рассказать о Николае Николаевиче Иванове. Он работал экономистом, когда неожиданно его послали в Париж, назначили секретарем, потом советником посольства. Это был хороший, честный человек: его неизменно выручала вера в людей. Попал он в Париж молодым, неопытным, а после отъезда Я. З. Сурица стал поверенным, то есть фактически послом. Он быстро начал говорить по-французски; мною читал; просил меня рассказывать ему о писателях Франции, о театре; спрашивал, какие вина нужно заказывать с мясом, с рыбой, — словом, осваивал множество вещей, больших и малых.

Потом он последовал за французским правительством в Тур, Бордо, Клермон-Ферран. Я его встретил в начале июли в местечке Бурбуль возле Виши. В декабре 1940 года он вернулся в Москву, пришел ко мне, рассказывал о начале Сопротивления, о судьбе французских писателей. Вскоре после этого я узнал, что его арестовали. Когда в 1954 году Н. Н. Иванова реабилитировали, ему показали приговор Особого совещания: в сентябре 1941 года Н. Н. Иванов был приговорен к пяти годам «за антигерманские настроения». Трудно себе это представить: гитлеровцы рвались к Москве, газеты писали о «псах-рыцарях», а какой-то чиновник ГБ спокойно оформлял дело, затеянное еще во времена германо-советского пакта; поставил номер и положил в папку, чтобы все сохранилось для потомства…

Николаю Николаевичу неизменно помогала его вера в торжество справедливости. Находясь в лагере, он узнал, что сотрудники ГБ расхитили его книги, картины, и, так как приговор не предусматривал конфискации имущества, подал жалобу прокурору; к изумлению лагерного начальства, он выиграл дело. При освобождении ему уплатили деньги за пропавшие веши. Хотя он не имел права проживать в крупных городах, он первым делом направился в Москву, пошел на Лубянку и начал спрашивать,

почему его ни за что продержали пять лет в заключении. Он капал на сердобольного человека, который сказал: «Уезжайте. Я должен вас задержать, но я буду считать, что вы у меня не были…» Иванов сохранил оптимизм и веру; женился, работал, говорил, что счастлив. Он умер в 1965 году.

Возвращаюсь к майским дням в Париже. Через три дня после моей встречи с де Монзи рано утром позвонили. Пришли несколько полицейских; один показал мне ордер на арест, который исходил из кабинета вице-премьера маршала Петена.

Обыск продолжался несколько часов. Раскрыли ящики с книгами, рылись, в брошенном хламе, даже вспороли подушку. Среди полицейских был один русский, другие его звали Николя. Он, видимо, собирал книги, потому что, увидев «Тысячу и одну ночь» в издании «Academia», обрадовался: «У меня как раз нет этого тома…» Старшего полицейского больше всего заинтересовали валявшиеся на полу испанские газеты и книжки с гитлеровскими песнями; он сказал удовлетворенно: «Улики налицо…»

Николя и один из французов остались в квартире, чтобы сторожить Любу. А меня повели по улице Котантен к машине. Соседи глядели изумленно; кто-то спросил, неужели я шпион. Полицейский ответил: «Заговор немцев и коммунистов». Он шел позади меня с револьвером, Приговаривал: «Чуть что, выстрелю — попытка бегства…» В префектуре, куда доставили отобранные у меня пуды улик, вскоре начался допрос. «Вы сообщали по телефону, что все готово. Вы собирались выступить в пятницу, тридцать первого мая…» — «Я говорил нашему поверенному в делах, что у меня все готово к отъезду и что я жду его звонка. Он мне сказал, что надеется получить выездную визу в пятницу, тридцать первого мая». — «Вы пробуете упираться. Нам известно, что вы стояли во главе группы коммунистов, которая решила впустить немцев в Париж. Найденные у вас документы подтверждают, что вы были в тесной связи с агентами Германии».

Мне стало смешно, я сказал: «Это настолько нелепо, что годится только для «Канар аншене» (так назывался левый юмористический журнал). Полицейский вынул револьвер: «Мы не собираемся больше церемониться с агентами Москвы и Берлина. Вы напрасно смеетесь — через четверть часа вы будете икать».

Разговор о том, что именно я буду делать через четверть часа, происходил уже вечером. Раздался телефонный звонок. Полицейский нехотя взял трубку, процедил «алло» и вдруг вскочил: «Я вас слушаю, господин министр…» Одновременно он ловким ударом выбросил меня из комнаты и закрыл дверь.

Вот что и узнал потом от Любы и Н. Н. Иванова. Двое

полицейских, как я сказал, остались в моей квартире. Они не позволяли Любе подойти к телефону. Пришла Клеманс; ее тоже задержали. Она кричала: «Нужно арестовать бельгийского короля, а не мосье Эренбурга. Вы, может быть, не слышали радио? Бельгийский король снюхался с фашистами и капитулировал. А мосье Эренбург был в Испании, он ненавидит фашистов…» Потом она перешла к предметам более низменным: «Я должна выйти с собаками. Кто будет вытирать пол, если они напачкают — вы или я?» Несколько минут спустя позвонили — вошел шофер нашего посольства. Оказалось, Николай Николаевич приехал за мной — хотел меня повезти в Булонский лес; Клеманс ему рассказала о происшедшем.

Николай Николаевич понял, что дело серьезное. По правилам, он должен был обратиться в министерство иностранных дел, но он знал, что там не встретит никакого сочувствия. Поразмыслив, он решил пренебречь дипломатическими правилами и поехал к министру внутренних дел Манделю, который, как я говорил, ненавидел немцев и стоял за сближение с Советским Союзом.

Мандель позвонил полицейскому следователю в ту самую минуту, когда допрос перешел с общих тем на игру с револьвером.

«Можете идти, ни свободны», — злобно сказал мне полицейский. Я ответил, что пешком не пойду — темно, транспорта нет, до улицы Котантен далеко, притом мне должны вернуть отобранные у меня книги, бумаги. Полицейский вышел из себя: «Вы еще хотите, чтобы мы вас катали?» Но он быстро совладал с собой: как-никак Мандель был его прямым начальником.

Через час обитатели улицы Котантен увидели, как «заговорщик» прикатил домой и как полицейские выгружали его книги. Они не удивились только потому, что в те дни никто ничему больше не удивлялся.

На следующее утро я пошел в булочную, когда позвонили, и Люба, открыв дверь, снова увидела полицейского в штатском, показавшего ей опознавательный значок. Люба вышла из себя: «Каждый день? Вы посмотрите, что вы вчера понаделали…» Квартира напоминала книжную лавку после погрома. Полицейский пытался что-то сказать, но Люба ему не давала. Наконец, воспользовавшись секундой передышки, он выпалил: «Но я пришел по поручению господина префекта принести извинения…» Манделя боялись. (Немцы знали, что его не запугать и не подкупить, они его убили.)

Впоследствии я узнал, что мой арест был связан с просьбой,

переданной мне де Монзи. Петен боялся улучшения отношений с Советским Союзом. Мандель мог добиться моего освобождения, поскольку полиция подчинялась ему. Но изменить внешнюю политику Франции он не мог; и в тот самый день, когда шпик принес мне извинения префекта, правительство сообщило, что поездка Пьера Кота в Москву «откладывается».

Николай Николаевич Иванов спас мне жизнь: второй мой арест был произведен незадолго до развязки. О соблюдении законности тогда не приходилось мечтать, не раз приключалось то, что в полицейских протоколах именуется «убийством при попытке к бегству».

Двадцать шестого мая и был у Эмиля Бюре… Он рассказал, что Париж могли легко взять еще 16 мая. Теперь немцы идут на Амьен; хотят окружить французскую армию. «У нас нет самолетов», — повторял Бюре. Я встретил различных людей: Вожеля, Жана Ришара Блока, Эльзу Юрьевну Триоле, бельгийского художника Мазереля; все были подавлены.

Американский посол Буллит молился в Нотр-Даме, опустился на колени, поднес статуе Жанны д'Арк розу от имени президента. Бюре говорил: «Нам нужны не молитвы, а самолеты». Католическая газета «Об» писала о «моторизованной Жанне д'Арк, которая спасет Францию».

Третьего июня немцы сильно бомбили Париж. Было много жертв, и я увидел картины, знакомые мне по Мадриду, Барселоне. Но гнева не было, только отчаяние. В толпе кто-то говорил: «Эту войну мы проиграли до первого выстрела…»

Начался исход парижан. Длинные вереницы машин, покрытых тюфяками, тянулись к заставам Итали, Орлеан. По ночам палили зенитки. Сводки были туманными. Радио продолжало рассказывать о потопленных немецких транспортах. Все говорили, что немцы близко. Уехали Гильсумы, Фотинский, знакомые испанцы. Я не мог никуда уехать: в префектуре у меня отобрали все документы. Город пустел. Мы о Любой оставались одни в доме, из которого все уехали. На душе у меня было смутно. Уехал наконец Иванов, сказал, что в посольстве остаются некоторые сотрудники, он их попросил о нас позаботиться.

(Именно тогда в Москве пустили слух, будто я — «невозвращенец». Дело было простое, житейское: моя дача в Переделкине кому-то приглянулась, нужен был предлог, чтоб ее забрать. Бог с ней, с дачей! Происходили события поважнее: немцы забирали страну за страной; фашизм грозил всему миру. Но вот Ирине пришлось пережить много тяжелого; Париж был отрезан, и повсюду ее спрашивали: «Правда ли, что ваш отец невозвращенец?» Я рассказываю об этом только чтобы

восстановить время и нравы…)

Девятого июня на магазинах, ресторанах, кафе появились надписи; «Временно закрыто». Президент республики принял Лаваля. Кто-то прибежал, рассказывал: «Купили машину, а горючего нет. Вот если бы достать лошадь!..» Немцы сообщали по радио, что взяли Руан и что судьба Парижа решится в ближайшие дни. Я попытался послушать Москву; диктор долго говорил, что «Франкфуртер цейтунг» весьма высоко оценивает сельскохозяйственную выставку в Москве. Пришла Клеманс, прощалась, плакала: «Какой позор!..» Возле вокзалов стояли громадные толпы. Уезжали на велосипедах. Газеты сообщали, что начинается процесс тридцати трех коммунистов.

Десятого июня фашистская Италия объявила войну Франции. Я ходил по саду нашего посольства и вдруг услышал радостные крики, песни: рядом помещалось итальянское посольство. Фашистские дипломаты решили не уезжать к себе — немцы близко; можно просидеть несколько дней в бесте. Они, не смущаясь, пели «джовинеццу».

Одиннадцатого июня распространился слух, будто Советский Союз объявил войну Германии. Все приободрились. Возле ворот нашего посольства собрались рабочие, кричали: «Да здравствует Советский Союз!» Несколько часов спустя последовало опровержение. Парижане уходили пешком. Старик с трудом толкал ручную тележку с подушками, девочкой и старой собачонкой, которая отчаянно выла. По бульвару Распай двигался нескончаемый поток беженцев. Напротив «Ротонды» незадолго до войны поставили памятник Бальзаку работы Родена; неистовый Бальзак как бы сходит с цоколя. Я долго стоял на этом перекрестке, здесь ведь прошла моя молодость, и вдруг мне показалось, что Бальзак тоже уходит со всеми.

Лавочник на углу улицы Котантен бросил лавочку, даже не закрыл двери, валялись бананы, жестянки с консервами. Люди уже не уезжали, не уходили, а убегали. 11 июня я долго искал какую-нибудь газету. Наконец вышла «Пари суар». На первой странице была фотография: старушка купает собаку в Сене, и крупным шрифтом подпись: «Париж остается Парижем». Но Париж напоминал брошенный впопыхах дом. Еще толпились десятки тысяч людей вокруг Лионского вокзала, хотя и говорили, что поезда больше не уходят — немцы перерезали дорогу. А по радио передавали молебны и противоречивые призывы: то говорилось, что эвакуация населения обеспечена, то парижан уговаривали остаться у себя и сохранять спокойствие.

Тринадцатого июня я шел по улице Ассас. Не было ни одного человека — не Париж — Помпея… Пошел черный дождь (жгли

нефть). На углу улицы Ренн молодая женщина обнимала хромого солдата. По ее лицу катились черные слезы. Я понимал, что прощаюсь со многим…

Потом я написал об этом стихи:

Умереть и то казалось легче.
Был здесь каждый камень мил и дорог.
Вывозили пушки. Жгли запасы нефти.
Падал черный дождь на черный город.
Женщина сказала пехотинцу
(Слезы черные из глаз катились):
«Погоди, любимый, мы простимся», —
И глаза его остановились.
Я увидел этот взгляд унылый.
Было в городе черно и пусто.
Вместе с пехотинцем уходило
Темное, как человек, искусство.

Ночью раздался звонок. Я удивился: ведь власти уехали, а немцы еще не пришли. Оказалось, из посольства прислали машину: предлагают нам перебраться на улицу Гренель, там надежнее.

Нас поместили в маленькой комнате, где прежде ночевали дипкурьеры. Утром очень низко пролетели самолеты с черными крестами. Мы вышли из посольства. Французский солдат кинулся ко мне, спросил, как пройти к Орлеанской заставе. На улицах никого не было. Воняли мусорные ящики. Выли брошенные собаки. Мы дошли до Авеню де Ман, и вдруг я увидел колонну немецких солдат. Они шли и на ходу что-то ели.

Я отвернулся, постоял молча у стенки. Нужно было пережить и это.

39

Время стирает много имен, забываются люди, выцветают годы, казавшиеся яркими, но некоторые картины остаются в памяти, как бы ни хотелось их забыть. Я вижу Париж в июне 1940 года; это был мертвый город, и его красота доводила меня до отчаяния; ни машины, ни суета магазинов, ни прохожие больше не заслоняли зданий — тело, с которого сбросили одежду, или, если угодно, скелет с суставами улиц. Строившийся в разные века, объединенный не замыслом зодчего, не вкусами одной эпохи, а преемственностью, характером народа, Париж напоминал каменный лес, из которого ушли мохнатые и пернатые жители.

Редкие встречные были уродами, горбунами, безногими или безрукими инвалидами. В рабочих кварталах древние старухи на скамьях вязали; их острые пальцы переходили в длинные спицы.

Немцы дивились: не таким им представлялся «новый Вавилон». Они старательно ели в немногих открытых ресторанах и фотографировали друг друга на фоне собора Нотр-Дам или Эйфеле вой башни.

Вскоре начали возвращаться беженцы: добравшись с великим трудом до Луары, они увидели на другом берегу немецкие войска. Париж оживал, но жизнь его была призрачной, неправдоподобной. Немцы покупали в мелких лавчонках сувениры, непристойные открытки, карманные словарики. В ресторанах появились надписи: «Здесь говорят по-немецки». Проститутки щебетали: «Майи зюсеср…» [8] Из щелей вылезли мелкие предатели. Начали выходить газеты. «Матэн» сообщала, что в Париже остался знаменитый префект Кьяпп с его друзьями и что немцы «оценили прелести французской кухни». Гюстав Эрве, в далеком прошлом анархист, а потом шовинист, возобновил издание «Виктуар» («Победа»). Продавцы газет выкрикивали: «Виктуар»! — и редкие прохожие вздрагивали. «Пари суар» подрядила писателя Пьера Ампа. Та же газета предлагала давать объявления на немецком языке «для оживления торговли». Объявлений было мало: «Ариец, ищу работы, согласен на все»; «Кончил два факультета, ищу Место официанта или приказчика, в совершенстве говорю по-немецки»; «Составляю генеалогическое дерево, разыскиваю соответствующие документы». Я зашел в булочную на бульваре Сен-Жермен. Почтенная дама громко рассуждала: «Немцы научат наших рабочих работать, а. не устраивать дурацкие забастовки». У магазинов появились хвосты. Новая газета «Ля Франс о травай»

учила читателей: «В каждом из нас есть крупицы еврейского духа, поэтому необходимо учинить внутренний душевный погром…» Часы переставили на час вперед; солнце еще не заходило, когда громкоговорители предупреждали: «Возвращайтесь домой!» Некоторые рестораны и кафе украсились объявлениями: «Арийская фирма. Вход евреям запрещен». В квартале, где жили евреи, выходцы из Восточной Европы, на улице Розьер, метались в ужасе бородатые старики; немцы, забавляясь, их попугивали. Комендатура оберегала немецких солдат от возможного общения с «подозрительными элементами». При входе в кафе «Дом» на бульваре Монпарнас, куда до войны приходили художники, красовалось предупреждение: «Посещение этого кафе немецким военнослужащим воспрещается». Зато на дверях публичного дома «Сфинкс» я увидел другое объявление: «Открыто для отечественной и иностранной клиентуры». В большом мюзик-холле шло обозрение «Иммер Парис» — это было переводом на немецкий язык старой присказки «Париж остается Парижем».

Но Париж больше не был Парижем: происшедшее оказалось не одним из тех военных эпизодов, которые приключались в прошлом столетии, а катаклизмом.

После второй мировой войны смешно доказывать, что нельзя жить с фашистами на одной земле. А тогда мне приходилось ежечасно сдерживать себя. Я отводил душу в стихах:

Не для того писал Бальзак.
Чужих солдат чугунный шаг.
Ночь навалилась, горяча.
Бензин и конская моча.
Не для того — камням молюсь —
Упал на камни Делеклюз.
Не для того тот город рос,
Не для того тс годы гроз,
Цветов и звуков естество,
Не дли того, не дли того!..

Я кончал стихотворение признанием:

Глаза закрой и промолчи —
Идут чужие трубачи,
Чужая медь, чужая спесь.
Не для того я вырос здесь!

Это было криком, но я не только кричал, я пытался понять

значение происшедшего:

Часы не били. Стали звезды ближе.
Пустынен, дик, уму непостижим,
В забытом всеми, брошенном Париже
Уж цепенел необозримый Рим.

Когда я вернулся в Москву, ко мне пришла А. А. Ахматова, расспрашивала про Париж. Она была в этом городе давно — до первой мировой войны, не знала подробностей его падения. В представлении некоторых критиков Анна Ахматова — «поэтесса интимных чувств с крохотным мирком». Анна Андреевна прочитала мне стихотворение, написанное ею после того, как она узнала о падении Парижа.

Когда погребают эпоху,
Надгробный псалом не звучит,
Крапиве, чертополоху
Украсить ее предстоит.
И только могильщики лихо
Работают. Дело не ждет!
И тихо, так, господи, тихо,
Что слышно, как время идет.
А после она выплывает,
Как труп на весенней реке, —
Но матери сын не узнает,
И внук отвернется в тоске.
И клонится головы ниже,
Как маятник, ходит луна.
Так вот — над погибшим Парижем
Такая теперь тишина.

В этих стихах поражает не только точность изображения того, чего Ахматова не видела, но и прозрение. Часто теперь я вижу ушедшую эпоху, «труп на весенней реке». Я ее знаю и не ошибусь; а для внуков она не то призрак, не то снесенный причал или перевернутая лодка.

Вернусь к моей жизни в те дни; под немцами я прожил сорок дней — все в той же комнатушке для дипкурьеров. Нами ведал один из сотрудников посольства. Он помог нам выбраться в Москву; я назову его вымышленным именем — Львов. Кроме него в посольстве оставалось еще человек пятнадцать. Когда немцы входили в Париж, некоторые из сотрудников стояли у ворот,

махали руками. Их можно попять: наши газеты тогда называли французов «поджигателями войн», «империалистами», сообщали о преследовании коммунистов во Франции; а о том, чьи головы продолжали отсекать топором в фашистской Германии, газеты не писали. За обедом я услышал восхищенные отзывы о «союзниках» и решил больше в столовую не ходить; мы покупали в лавке колбасу или консервы, иногда обедали в ресторане, убедившись, что там нет немцев. Как-то раз я зашел в магазин, чтобы купить литр вина; хозяин мне сказал: «Возьмите старое бургундское, я его вам продам как разливное — лучше, чтобы вы его выпили, чем немцы». После нашего отъезда, наверно, обо мне говорили как о пьянице — в комнате дипкурьеров осталось полсотни пустых бутылок с патетическими этикетками

Иногда вечером приходил Львов, рассказывал, как он послал Абетцу икру, как с ним приветливо разговаривали и Абетц, и комендант Парижа. Львов делал свое дело, но меня от его рассказов подташнивало.

Львов сказал мне, что должен проехать в «свободную зону», в город Брив, и предложил его сопровождать — он плохо говорил по-французски. Путь был таким: Жиен, Невер, Мулен, Клермон-Ферран, Руая, Бурбуль, Брив, Лимож, Орлеан. Я многое повидал: и развалины Жиена, и разбитый бомбами Орлеан, и кондитерскую в Руая, где «весь Париж» поглотал пирожные, охал, ахал и благословлял маршала. На берегах Луары еще валялись расплющенные машины, солдатские шлемы, игрушки. Военнопленные хоронили убитых беженцев. Люди ночевали в парижских автобусах «Бастилия — Мадлен».

Правительство в тот самый день прибыло из Бордо в Клермон-Ферран. Я должен был узнать, где находится наше посольство. Мне сказали, что министры остановились в здании коллежа. Я увидел сторожа, старичка, похожего на Вольтера; он закричал: «Нет, слава богу, они не здесь. Кажется, в префектуре…» По коридорам префектуры носились ошалевшие сановники, нельзя было ничего добиться. Я заглянул в одну из комнат. Вдруг кто-то на меня кинулся: «Что вы здесь делаете?» Оказалось, это кабинет Л аваля.

Один из беженцев, ночевавший в поле, рассказал мне, что вместе с другими пытался убежать из Бордо в Испанию, но испанские пограничники их не пропустили. История не сродни классическому роману, она то пишет стихи на зауми, которых никто не может расшифровать, то переходит на древнейший жанр общедоступной притчи…

Я не раз в жизни пережил те чувства, которые вдохновляли Маяковского, когда он писал стихи о советском паспорте, —

гордился, показывая мой паспорт злобным полицейским, гордился и когда меня арестовывали, высылали, отказывали в визах. Гордился тем, что я — советский, в 1936 году в Арагоне и десять лет спустя в расистских штатах Миссисипи, Алабаме. А вот в то (к счастью, недолгое) время, о котором я рассказываю, мне было очень трудно: не мог же я гордиться тем, что, будучи советским гражданином, огражден от произвола гитлеровцев!

Как-то возле нашего посольства остановились две женщины, судя по одежде — работницы, и салютовали гербу поднятыми кулаками: «Рот фронт». Полицейские их отогнали: подъехала машина со свастикой гитлеровские офицеры решили нанести визит Львову. Я все это видел в окно, и мне было не по себе. Думаю, читатели меня поймут.

Я перетащил в посольство мой приемник и каждый вечер слушал Лондон. 18 июня через четыре дня после вступления немцев в Париж — впервые выступил де Голль, сказал, что война продолжается, призывал французов не подчиняться изменникам. Я слушал и радовался. Окно комнаты было открыто, и двое полицейских, дежурившие у ворот посольства, тоже слушали: один стоял, вытянувшись по-военному, — не знаю, что он потом делал, может быть, рьяно служил немцам, но в ту минуту де Голль для него был начальником; второй скептически усмехался.

Тринадцатого июля в посольство пришла Анна Зегерс. За нею следили, ей грозила смерть. Она просила помочь ей пробраться в «свободную зону». Львов ей дал немного денег, помог с документами.

Вишняки застряли в Париже. Мы у них часто бывали. Мы старались шутить, вспоминали прошлое Андрея Белого, Марину, Пастернака. Застряла и Дуся с больной матерью. Она больше не смеялась, говорила: «Так тихо, что страшно…» Я читал ей стихи Ронсара о полдне и счастье. Лето было на редкость холодным. Часто шли дожди.

В кафе я разговаривал с немецкими офицерами — они искали собеседников, а меня принимали за француза. Некоторые говорили, что прежде всего нужно расколотить англичан, но большинство повторяло: «Скоро мы почистим Россию…» Откровенно, с вполне понятной злобой они говорили о коммунистах, о Советском Союзе. Один, помню, сказал: «Сначала мы выкачаем из России нефть, а потом кровь…»

На площади Опера играл военный оркестр. Победители сидели в кафе де ля Пэ, загорали на солнце, пили коньяк, обсуждали дальнейшие походы. Париж для них был прекрасным домом отдыха с. бесплатными путевками.

Наконец настал день отъезда. Погрузили нас ночью. Вместе с

нами ехали шофер посольства, повар, мелкий помощник Львова; всего было, кажется, семь или восемь советских граждан в поезде, набитом немецкими офицерами и солдатами. Один литератор, которому когда-то показали исправительно-трудовой лагерь, на вопрос, как он себя там чувствовал, ответил: «Как живая лисица, попавшая в магазин мехов». Так я чувствовал себя в том поезде.

Ехали мы долго — неделю. Я увидел развалины Дуэ, пустые города севера Франции, немецкие надписи. В Брюсселе пришлось задержаться. Мы переночевали в посольстве. Я поехал к Элленсу, мне сказали, что он успел выбраться. Брюссельцы угрюмо молчали.

Границу мы переехали ночью. Дважды была воздушная тревога. Поезд останавливался. Я мечтал: хоть бы англичане сбросили бомбу!.. Но полчаса спустя поезд шел дальше. На вокзале Мюнхен-Гладбах немки подавали победителям кофе и цветы. Потом был Берлин. Пришлось провести две ночи в гостинице. На ее двери значилось: «Евреям вход запрещен», но я ехал не как Эренбург, а как один из служащих посольства, моей фамилии в документах не было. А немцам нужны были советская нефть и многое другое, они не хотели пререкаться из-за мелочей.

У нас. были припасены чай, сахар, галеты, сыр. Горничная, которая принесла кипяток, увидев сыр, спросила Любу, где мы достали такое лакомство. Люба ответила: «Привезли из Франции». Тогда немка воскликнула: «Счастливые французы!..» Это меня обрадовало: победители, только что захватившие Данию, Норвегию, Голландию, Бельгию, Францию, завидуют французам!

Я видел их еще в 1932 году в Берлине накануне первой победы, следил за всем, что они делали, помнил Испанию. Я их снова увидел в Париже. Я многому научился. По своему характеру, да и по воспитанию я человек XIX века, я был склонен скорее к спорам, чем к оружию. Ненависть мне далась нелегко. Это чувство не красит человека, и гордиться им не приходится. Но мы жили в эпоху, когда обыкновенные молодые люди, порой с симпатичными лицами, с сентиментальными признаниями, с фотографиями любимых девушек, уверовав, что они избранные, начали уничтожать неизбранных, и только настоящая, глубокая ненависть могла положить предел торжеству фашизма. Повторяю, это было нелегко. Часто я испытывал жалость, и, может быть, сильнее всего я ненавижу фашизм именно за то, что он научил меня ненавидеть не только абсурдную, бесчеловечную идею, но и ее носителей.

40

Я вернулся в Москву 29 июли 1940 года. На свадьбе полагается не плакать, а плясать. Я был убежден, что вскоре немцы нападут на нас; перед моими глазами стояли ужасные картины исхода Барселоны и Парижа. А в Москве настроение было скорее свадебным. Газеты писали, что между Советским Союзом и Германией окрепли дружеские отношения, и упрекали Англию зато, что она отказалась начать мирные переговоры с Гитлером.

Я написал В. М. Молотов у, что хочу рассказать ему о положении во Франции, о том, что говорят немецкие офицеры и солдаты. Меня принял заместитель Молотова С. Л. Лозовский. Его я знал еще по дореволюционному времени, встречал, когда он в Париже выступал на социал-демократических собраниях. Он слушал меня рассеянно, печально глядел в сторону. Я не выдержал: «Разве то, что я рассказываю, лишено всякого интереса?» Соломон Абрамович грустно улыбнулся: «Мне лично это интересно… Но вы ведь знаете, что у нас другая политика…» (Я все же оставался наивным — думал, что правдивая информация помогает определить политику; оказалось наоборот — требовалась информации, подтверждающая правильность выбранной политики.)

(С Лозовским я работал в годы войны, когда он был начальником Совиформбюро. Он остался в моей памяти человеком мягким, глубоко порядочным; он хорошо знал рабочий класс Запада; но никакой власти у него не было — но любому вопросу ему приходилось запрашивать Молотова или Щербакова. Как начальник Совиформбюро, он должен был руководить различными комитетами, созданными в начале войны, среди них и Еврейским антифашистским комитетом. Лозовский был арестован вместе с руководством этого комитета в конце 1948 года, осужден и расстрелян в возрасте семидесяти четырех лет, а потом посмертно реабилитирован.)

Я, естественно, искал людей, хорошо знавших и продолжавших ненавидеть фашистов; пришел П. Г. Богатырев, выбравшийся из Чехословакии, рассказывал о судьбе чешских друзей; у Е. Ф. Усиевич я познакомился с В. Л. Василевской, она мне рассказала о поэте Броневском, приходили ко мне бывшие интербригадовцы — Белов, Петров, Баллер, испанцы — Ла Каса, Альберто, Санчес Аркас. Перелистывая записную книжку, и вижу, кто бывал у нас в зиму 1940–1941 года: Кончаловский, Фальк, Штеренберг, Суриц, Толстой, Игнатьевы, Лидии, Эфрос, Олеша,

Славин, Ахматова, Пастернак, Вишневский, Мартынов, Луговской. С ними мне было легко говорить — они ненавидели фашизм.

Были и такие писатели, журналисты, которые считали, что я рассуждаю не как советский гражданин — слишком долго жил во Франции, привязался к ней, рисуя гитлеровцев, «сгущаю краски». Однажды я услышал даже такие слова (в то время диковинные): «Людям некоторой национальности не нравится наша внешняя политика. Это понятно. Но пускай они приберегут свои чувства для домашних…» Меня это поразило. Я еще не знал, что нам предстоит.

Помню разговор с академиком Л. С. Штерн. Мы говорили о зверствах гитлеровцев, об Испании, о Париже, о пакте. Лина Соломоновна сказала: «Один ответственный товарищ объяснил мне, что это — брак по расчету. Но я ему ответила, что от брака по расчету могут быть дети…» (Восемь лет спустя Л. С. Штерн на себе узнала правильность своего прогноза: ее арестовали вместе с другими деятелями Еврейского антифашистского комитета; к счастью, она не погибла.)

На премьере в Еврейском театре я вдруг увидел Дугласа — так звали в Испании командира наших воздушных сил Я. В. Смушкевича. Он хромал, опирался на палку. Я сразу заметил на его груди две Звезды Героя. Мы вспомнили Испанию. Я радовался: не все погибли!.. Савич говорит, что видел Хаджи, Николаса. О Григоровиче я читал в газете. А вот Дуглас командует военно-воздушными силами… Я думал, что опыт Испании поможет в надвигающейся войне. (Я. В. Смушкевича арестовали и расстреляли за две. недели до того, как гитлеровцы напали на Советский Союз.)

Нужно было работать — писать, да и найти место, где меня осмелились бы напечатать. Я упомянул о том, как меня заочно причислили к невозвращенцам. В течение долгого времени мое имя нигде не упоминалось; его вычеркнули даже из списка советских писателей, книги которых переведены на иностранные языки. Я хотел описать все, что видел во Франции, показать, что быстрый разгром французской армии, капитуляция Петена объясняются моральной слабостью, страхом крупной буржуазии перед своим народом, а вовсе не чудодейственной силой рейхсвера. Ведь дело теперь не в Петене, а в том, что скоро нам придется столкнуться с немецкой армией… Я пошел в «Известия» — семь лет я работал для этой газеты. Меня принял заведующий иностранным отделом, спросил, нет ли у меня претензий к бухгалтерии, потом откровенно сказал, что печатать меня они не будут.

В Гослитиздате мне рассказали, что моя книга об Испании не

смогла выйти: задержала типография, а тут подоспел пакт — и набор рассыпали. Мне дали на память верстку.

Не помню, где я познакомился с З. С. Шейнисом, работавшим в газете «Труд». Он объяснил, что «Труду», как газете профсоюзов, предоставлена некоторая свобода. Я не должен ничего писать о немцах, а ругать французских предателей могу. Редакция попытается протолкнуть мои очерки. Действительно, после длительных переговоров, правок, купюр мои очерки были напечатаны в «Труде». Я несколько приободрился: добился положения дебютанта, которого, хорошенько отредактировав, печатают.

(Потом мне прислали брошюру, напечатанную в Женеве, — мои статьи из «Труда»: коммунисты их нелегально распространяли во Франции.)

Меня позвали на собрание московских писателей; оно было драматичным — оказалось, что Сталин пригласил группу писателей, назвал Авдеенко «врагом» и нападал на пьесы Леонова «Метель» и Катаева «Домик». Мы должны были проголосовать за исключение Авдеенко из Союза. Различные литераторы, соревнуясь друг с другом, поносили Леонова и Катаева. Я сидел и дивился: надвигается война, неужели Сталин так уверен в нашей мощи, что может отдавать свое время литературной критике? Все мне было непонятно; я терзался, и не было мудрого Бабеля, к которому я когда-то приходил за объяснениями…

Я писал стихи: о Париже, о войне, о верности, о смерти:

…Будет день, и прорастет она
Из костей, как всходят семена, —
От сетей, где севера треска,
До Сахары праздного песка,
Всколосятся руки и штыки,
Зашагают мертвые полки,
Зашагают ноги без сапог.
Зашагают сапоги без ног,
Зашагают горя города.
Выплывут утопшие суда,
И на вахту встанет бея часов
Тень товарища и облаков…

Вишневский редактировал журнал «Знамя». Он взял мои стихи, отобрал те, где не было ничего о будущем, и хотел напечатать в ближайшем номере. Вскоре он сказал, что стихи задерживают в НКИДе; лучше всего мне самому пойти туда, поговорить.

Заведующего отделом печати НКИДа Н. Г. Пальгунова я знал по Парижу, где он работал корреспондентом ТАССа. Николай Григорьевич меня дружески принял и сразу сказал, что стихи, где речь идет о падении Парижа, можно печатать. Смущали его лирические стихотворения. Он долго перечитывал:

Кончен бой. Над горем и над славой
В знойный полдень голубеет явор…

Спрашивал: «Скажите откровенно, кого вы подразумеваете под явором?» Я клялся, что явор — дерево, разновидность клена, что у Пушкина тоже есть явор. Я видел, что Пальгунов мне не очень-то верит. Он сказал:»Вы понимаете, какая на мне ответственность?…» В итоге он согласился пропустить и лирику. Я осмелел и послал в издательство рукопись сборника стихов «Верность».

По ночам я слушал передачи из Лондона на французском языке; помню позывные, похожие на короткий стук в дверь. Новости были невеселыми: немцы сильно бомбили Лондон. В одну из ночей я написал стихотворение, в котором признавался, что судьба Лондона мне близка:

Не туманами, что ткали Парки,
И не парами в зеленом парке,
Не длиной, а он длиннее сплина,
Не трезубцем моря властелина,
Город тот мне горьким горем дорог,
По ночам я вижу черный город,
Горе там сосчитано на тонны,
В нежной сырости сирены стонут,
Падают дома, и день печален
Средь чужих уродливых развалин…

Я дал стихотворение Вишневскому. Он сказал: «Про Лондон никому не читайте, — и тотчас добавил:

— Сталин лучше нас понимает…»

Ко мне пришел поэт, прочитал свои стихи и сразу меня восхитил: это был Леонид Мартынов. Он расспрашивал про войну, про Париж, говорил «н-да» и что-то добавлял о погоде: «Зима была суровая…» Его стихи казались явлением природы — шумливым летним дождем или токованием птицы. Мы проговорили полночи о силлабическом стихосложении — Мартынов шевелил губами: искал новую музыку.

Шестнадцатого сентября я сел за роман «Падение Парижа». Пожалуй, из всего, что я написал, эта книга больше всего напоминает традиционный роман, хотя и в ней я не отказался от изобилия персонажей, быстрого монтажа. Писал я ее с увлечением. Теперь я перечитал роман; как будто мне удалось передать предвоенные годы Франции, то, что я где-то назвал загнанной внутрь гражданской войной. Но одни Персонажи мне кажутся живыми, объемными, другие-плакатными, поверхностными. В чем я сорвался? Да в том, в чем и до «Падения Парижа» и после него срывались многие мои сверстники: показывая людей, всецело поглощенных политической борьбой, будь то коммунисты Мишо и Дениз, будь то фашист Бретейль, я не нашел достаточного количества цветов, часто клал белые и черные мазки. Видимо, даже ненавидя плакатную литературу и высмеивая чересчур ретивых критиков, я все же поддался известному упрощению. Напротив, естественными выглядят другие герои повествования — актриса Жаннет, симпатичный, умный и делающий глупости капиталист Дессер, наивный инженер Пьер, продажный политикан Тесса, художник Андре, наконец, один из предтеч многих героев послевоенной французской литературы, сентиментальный циник Люсьен.

(Двадцать первого июня 1941 гола я кончал тридцать девятую главу последней части; оставалось написать семь коротких глав. Началась война; мне было не до романа. Во время эвакуации из Москвы исчезла рукопись третьей части. Вернуться к роману я не мог и решил, что он останется недоконченным. В декабре, однако, мне сообщили, что один из рабочих типографии, где печаталось «Знамя», подобрал разбросанные листы. В конце января, когда на фронте наступило затишье, я дописал последние главы, и роман был напечатан весной 1942 года. Тотчас вышел английский перевод, и, судя по случайно сохранившейся газетной статье, в метро Лондона, во время воздушных атак, можно было часто увидеть читателей и читательниц с моим романом.)

В. В. Вишневский, когда мы встречались, неизменно говорил о надвигающейся войне. Теперь опубликованы отрывки из его дневника. В декабре 1940 года он писал: «Ненависть к прусской казарме, к фашизму, к «новому порядку» у нас в крови… Мы пишем в условиях военных ограничений, видимых и невидимых. Хотелось бы говорить о враге, подымать ярость против того, что творится в распятой Европе. Надо пока молчать…» Вишневский взял у меня рукопись первой части «Падения Парижа», сказал, что попытается ее «протащить». Два месяца спустя, как раз в тот день, когда мне исполнилось пятьдесят лет, он пришел с хорошей вестью: первую часть разрешили, но придется пойти на купюры.

Хотя речь шла о Париже 1935–1937 годов и немцем там не было, надо было убрать слово «фашизм». В тексте описывалась парижская демонстрация, цензор хотел, чтобы вместо возгласа: «Долой фашистов!» — я поставил: «Долой реакционеров!» Я отказывался, торговался.

Денег у меня не было, и я начал выступать с чтением отрывков из романа. Слушали меня хорошо, но и здесь пришлось столкнуться с трудностями.

Однажды я читал главы романа в Доме кино. В перерыве мне сказали, что пришел советник германского посольства, который хочет меня послушать. Я запротестовал: «Не буду при нем читать…» Меня уговаривали. Девушка, сотрудница ВОКСа, изумлялась: «Ну как можно так?… Понятно, что его заинтересовала тема… Он вообще очень культурный человек, любит литературу… Потом, что скажут там?» И она показала рукой на потолок. Я отвечал, что вечер закрытый и что, если в зал войдет фашист, я уйду. Германскому дипломату сказали, что вечер кончился, и я дочитал отрывки.

О моих чтениях пошли толки. Мой творческий вечер отменили. Я попытался попасть на прием к секретарю Союза писателей А. А. Фадееву, но это оказалось безнадежным. Я писал статьи, чтобы получить немного денег; писал для «30 дней», «Вокруг света», «Глобуса», «Ленинградской правды», «Московского комсомольца»; почти все мои статьи браковались, в любой строке редакторы видели намеки на фашистов, которых остряки называли «заклятыми друзьями».

Как и сказал, в ту зиму мне исполнилось пятьдесят лет. Нет худа без добра: мое шаткое положение избавило меня от лицемерных поздравлений и от адресов в дерматиновых папках. Пришли друзья. Лапин, смущенно улыбаясь, наливал в рюмки ликеры из Львова, которыми москвичи тогда увлекались. Пастернак прислал мне письмо: «…Нам было столько лет, когда мы встретились, сколько с тех пор прошло. Сбережем, что осталось из растраченных сил!..» Я часто в ту зиму хворал, но мне хотелось не беречь силы, а скорее их растратить: слишком тяжелой была передышка.

Известия становились все тревожное. С начала марта Лондон говорил, что Гитлер готовится захватить Балканы. Наши газеты оставались невозмутимо спокойными. Я пошел на доклад о международном положении; лектор обстоятельно рассказывал о хищной природе английского империализма; я ждал, что он скажет о Германии; но он о ней вовсе не упомянул.

Как-то я зашел в кафе «Метрополь». За соседним столиком сидели немцы. Они пили и горланили. Я быстро ушел.

Иногда я ходил в театр, вздыхал, когда бедная Эмма Бовари металась среди шума карнавала, — Алиса Коонен умела потрясать зрителей. Пошел на выставку С. Д. Лебедевой, мне понравились бегун, голова калмычки. На другой выставке я обрадовался краскам Осмеркина.

Апрель был неспокойным. 6-го я услышал по радио о нападении немцев на Югославию и Грецию. 9-го немцы взяли Салоники, 13-го — Белград.

Четырнадцатого апреля я встретил Вишневского; он мрачно сказал: «О вашем романе разные суждения. Мы не сдаемся… Но насчет второй части ничего не могу сказать…» Вторая часть относилась к событиям 1937–1938 годов; немцы еще не появлялись. «Кто ругает? За что?» Всеволод Витальевич ничего не ответил.

Я знал, что в Москву должен приехать Жан Ришар Блок: его предполагали вывезти из Франции с группой советских служащих. Я просил иностранную комиссию Союза писателей предупредить меня: хотел встретить. В комиссии, однако, решили, что человеку в моем положении лучше с иностранцами но встречаться. Я все же случайно узнал, что Блоки приезжают 18 апреля. Мы пришли с Любой на вокзал. Жан Ришар и Маргарита плохо выглядели, постарели, но доверчиво улыбались друзьям, свободе, Москве. Полдня они мне рассказывали о жизни во Франции: среди писателей мало кто сотрудничает с немцами; «Нувель ревю франеез» — жалкая подделка; люди не верят газетам, в маленьких городах в часы, когда лондонское радио передаст по-французски, улицы пустеют; Ланжевен держится замечательно; Арагон написал хорошие стихи…

Двадцатого апреля я узнал, что вторую часть «Падения Парижа» не пропустили. Я пришел в скверном настроении, но решил писать дальше.

Двадцать четвертого апреля я сидел и писал четырнадцатую главу третьей части, когда мне позвонили из секретариата Сталина, сказали, чтобы я набрал такой-то номер: «С нами будет разговаривать товарищ Сталин».

Ирина поспешно увела своих пуделей, которые не ко времени начали играть и лаять.

Сталин сказал, что прочел начало моего романа, нашел его интересным; хочет прислать мне рукопись перевод книги Андре Симона, — это может мне пригодиться. Я поблагодарил и сказал, что книгу Симона читал в оригинале. (Эта книга потом вышла в русском переводе под названием «Они предали Францию», что касается автора — Симона-Катна, то его казнили в Праге незадолго до смерти Сталина.)

Сталин спросил меня, собираюсь ли я показать немецких фашистов. Я ответил, что в последней части романа, над которой работаю, — война, вторжение гитлеровцев во Францию, первые недели оккупации. Я добавил, что боюсь, не запретят ли третьей части, — ведь мне не позволяют даже по отношению к французам, даже к диалоге употреблять слово «фашисты». Сталин пошутил: «А вы пишите, мы с. вами постараемся протолкнуть и третью часть…»

Люба, Ирина ждали в нетерпении: «Что он сказал?…» Лицо у меня было мрачное: «Скоро война…» Я, конечно, добавил, что с романом все в порядке. Но я сразу понял, что дело не в литературе; Сталин знает, что о таком звонке будут говорить повсюду, — хотел предупредить.

(Видимо, в конце апреля Сталин был встревожен. Да и трудно было после захвата Югославии полагаться, что Гитлера остановит пакт. Однако прошло два месяца, и нападение все же застало нас врасплох. Вину взвалили на некоторых военных; среди них был танкист, которого я не раз встречал в Алкала и у Гвадалахары, генерал армии Д. Г. Павлов; его расстреляли.)

Я пошел в «Знамя», рассказал про телефонный звонок. Вишневский просиял, признался, что его сильно ругали в ЦК. При мне Вишневскому позвонил тот самый товарищ, который его ругал, сказал, что «произошло недоразумение».

Различные редакции звонили, просили отрывки из романа.

Фадеев передал, что хочет со мною поговорить. Александр Александрович был человеком крупным и сложным; я узнал его в послевоенные годы. А в 1941 голу он был для меня начальством, и разговаривал он со мною не как писатель, а как секретарь Союза писателей, объяснил, что не знал, как может измениться международная обстановка (привожу записанную тогда его фразу: «С моей стороны это было политической перестраховкой в хорошем смысле этого слова»).

Вскоре после этого разговора в Клубе писателей был вечер армянской поэзии. Председательствовал Фадеев. Увидев меня, он сказал: «Просим Эренбурга в президиум».

Я познакомился с прекрасным поэтом Аветиком Исаакяном. Фадеев на вечере сказал о нем, что «солнечная Армения дала ему счастье» и что он «перестроил свою лиру». Исаакян расспрашивал меня о трагедии Франции (он долго прожил в этой стране, и говорили мы по-французски). Он спросил, читал ли я перевод его поэмы «Абул-Ал-Маари»; я сказал, что читал по-французски один отрывок. Он задумался: «нужно уметь уходить — это самое важное. Вот вы рассказали о том, как уходил Париж. Но и этого мало… Я недавно много думал о Толстом — он тоже ушел…» Нас

прервали. Я глядел на его лицо и не мог наглядеться: вот уж не «солнечное» — старое, не старостью человека, а веками истории, горя, камней, крови… Да и нельзя перестроить лиру.

Для меня это было короткой вылазкой: рыбе разрешили на минуту нырнуть в воду.

В мае я ездил в Харьков, Киев, Ленинград. Встретился со многими старыми друзьями — с Лизой Полонской, Тыняновым, Кавериным, Ушаковым, О. Д. Форш. Познакомился в Харькове с молодым студентом, который писал стихи, — Борисом Слуцким. В киевской гостинице «Континенталь» танцевали. За нашим столиком сидел молодой поляк; он рассказывал о немцах в Варшаве. Софья Григорьевна Долматовская заплакала. В Ленинграде в «Европейской гостинице» пьяные немцы кричали «гох!». Я выступал в Выборгском Доме культуры; меня закидали вопросами: правда ли, что немцы собираются нарушить договор, или это английская провокация.

Немцы заняли Грецию. Сталин стал председателем Совнаркома. Гесс приземлился в Англии: предлагал мир. Черчилль заявил, что самые трудные испытания впереди.

Вот записи тех дней. «21 мая. Звонили из ПУРа: «Напишите о немцах, но так, чтобы это выглядело, как план вашего романа, для «военнослужащих». Шейнис звонил: статью в «Труде» задерживают. Все говорят о войне. 23 мая. Бои на Крите. Инструктор райкома: «Незачем паниковать. Немцы соображают…» 2 июня. Англичане оставили Крит. 3 июня. В «30 днях» сняли мою статью. Лондон сообщает, что из Москвы выслали греческое посольство. 5 июня. Вечером была Анна Андреевна: «Не нужно ничему удивляться». 11 июня. Ж. Р. Блок: «Заказали статьи, но не печатают». 7 июня. С Качаловым и Москвиным: «Что же стало с Францией? Мы ничего не знаем». 9 июня. Толстой сказал, что получил письмо от Бунина. «Немцы способны на все…» 10 июня. Суриц: «Самое опасное это духовная демобилизация». 11 июня. Вечер в НКИДе. «Почему вы не обличаете в романе английский империализм?» 12 июня. Радио, выступление американского журналиста Дюрапти: немцы сосредоточивают на востоке около сотни дивизий. 13 июня. Опровержение ТАССа. Вечером читал в Генеральном штабе. 14 июня. Лондонское радио настаивает: немцы сконцентрировали на советской границе огромные силы. Читал у пограничников. «Вот пели «Если завтра война», а что делали?… Грохоту слишком много…» 17 июня. Кармен показывал фильм о Китае. Похоже всюду, только китайцы не убегали, а уплывали по реке. Читал политрукам, спрашивали, правда ли, что звонил Сталин. «Нужно сделать некоторые выводы…» 18 июня. У Пальгунова, долгие переговоры. Пакт Германии с Турцией. 19

июня. Лондон сообщает, что немцы усиливают подготовку в Финляндии. Выступал для летчиков гражданского флота. Один послал записку: «У нас часто встречается несложное, но оригинальное устроение ума». 20 июня. Жара. Из «Труда» звонили: «Слишком остро». 21 июня. Читал на заводе. Председатель сказал: «Мыле острое, мы гигантский материк мира». Записка: «Хочется материться, когда слышишь такое»…

Двадцать первого июня прошел сильный дождь. Люба собиралась в воскресенье поехать за город снять дачу.

Двадцать второго июня рано утром нас разбудил звонок В. А. Мильман: немцы объявили войну, бомбили советские города. Мы сидели у приемника, ждали, что выступит Сталин. Вместо него выступил Молотов, волновался. Меня удивили слова о вероломном нападении. Понятно, когда наивная девушка жалуется, что ее обманул любовник. Но что можно было ждать от фашистов?…

Мы долго сидели у приемника. Выступил Гитлер. Выступил Черчилль. А Москва передавала веселые, залихватские песни, которые меньше всего соответствовали настроению людей. Не приготовили ни речей, ни статей; играли песни…

Потом за мною приехали повезли в «Труд», в «Красную звезду», на радио. Я написал первую военную статью. Позвонили из ПУРа, просили зайти в понедельник в восемь часов утра, спросили: «У вас есть воинское звание?» я ответил, что звания нет, по есть призвание: поеду, куда пошлют, буду делать, что прикажут.

Поздно вечером на Ордынке я увидел парочку. Молодая женщина плакала. Мужчина ей говорил: «Да ты не убивайся! Слышишь, Леля, я тебе говорю: не убивайся!..»

Это был самый длинный день в году, и он длился очень долго — почти четыре года, день больших испытаний, большого мужества, большой беды, когда советский народ показал свою духовную силу.

Книга V

1

Годы, о которых мне предстоит рассказать, врезались в память каждого. Им посвящены прекрасные повествования Некрасова, Казакевича, Гроссмана, Пановой, Берггольц, Бека, Бакланова (этот список, конечно, далеко не полный). Пусть читателя не удивит, что о некоторых важных событиях я упомяну вкратце или вовсе промолчу: нет нужды повторять то, что уже хорошо сказано другими.

Я говорил, что в мирное время у каждого человека свой путь, свои радости и горести, а война не только все рядит в одежду защитного цвета, она не терпит и душевного многообразия, перед нею отступают и возраст, и особенности характера, и биография. В годы войны я думал и чувствовал, как все мои соотечественники.

Мне неохота повторять и себя, но боюсь — это неизбежно. В длинном романе «Буря» много встреч, бесед, картин, переживаний связано с воспоминаниями автора. Я помню два ржевских дома, их окрестили «полковник» и «подполковник», на них часто глядела одна из героинь романа Рая, я видел Осипа в Минске, когда взрывались здания, заминированные немцами, я был с Сергеем в Вильнюсе на кладбище Рос и, как доктор Крылов, в Щиграх я ночевал у молодой женщины, которая жила с немецким офицером. Мне хотелось бы не столько восстановить события, сколько попытаться взглянуть на них сегодняшними глазами.

Передо мной встают первые месяцы войны. Потом люди привыкли ко всему, сложился военный быт, а летом, осенью 1941 года города метались, скрипели, рушились, как деревья. Все было внове и непонятно — призывные пункты, расставания, задорные песни, слезы, дежурства на крышах, зловещие слухи, слово «окружение», страшное, как чума или мор, длинные эшелоны, дороги, забитые беженцами, нарастающая тревога. В моей записной книжке — даты и города: 27 июня — Минск, 1 июля — Рига, 10 июля — Остров, 14 июля — Псков, 17 июля — Витебск, 20 июля — Смоленск, 14 августа — Кривой Рог, 20 августа — Новгород, Гомель, Херсон, 26 августа — Днепропетровск, 1 сентября — Гатчина, Каховка, 13 сентября — Чернигов, Ромны, 20 сентября — Киев… (Я записывал то, что узнавал в «Красной звезде»; сводки по большей части говорили о «направлении».) За три месяца мы потеряли территорию много большую, чем вся Франция. Теперь это страницы истории, а тогда это было смертельным томлением. Затаив дыхание, мы ждали очередную

сводку. Радиоприемники вскоре отобрали, остались «тарелки», и дважды в день «тарелка» с хрипом сообщала, что отделение сержанта Васильева уничтожило три вражеских танка, что пленные говорят о моральном разложении немецкой армии, что греческие или голландские патриоты приветствуют Красную Армию и что мы отходим, все отходим и отходим.

«Какие новости?» — спрашивал я в редакции Карпова. Он отвечал: «Направление Вяземское, но Вязьму уже оставили». Понять что-либо было невозможно, оставалось верить, и вместе с другими я верил — наперекор сводкам, беженцам и женщинам с узлами, заполнившим московские улицы.

Я встречал много людей и старых друзей, и незнакомых, которые приходили в редакцию «Красной звезды», бывал в военных госпиталях, на аэродромах, ездил на фронт, беседовал с генералами и солдатами. Я помнил первую мировую войну, пережил Испанию, видел разгром Франции, казалось, был ко многому подготовлен, но, признаюсь, порой мною овладевало отчаяние. А люди помоложе недоуменно спрашивали: «В чем дело?…» Им ведь говорили, что если враг сунет свое рыло в наш огород, то получит сокрушительный удар, что война будет протекать на чужой территории, и вот они увидели, как фашисты почти без остановки промчались от Бреста до Смоленска. В сводках повторялись те же слова: «превосходящие силы противника» — они должны были многое объяснить, но они не объясняли главного: почему же у немцев больше самолетов и танков?

Третьего июля рано утром мы слушали речь Сталина; он, видимо, волновался — слышно было, как он пил воду, да и начал он непривычно, назвал нас «братьями и сестрами», «друзьями». Сталин объяснял военные неудачи внезапностью нападения, говорил о «вероломстве» Гитлера. Одновременно он повторил, что благодаря германо-советскому пакту мы выиграли время и смогли подготовиться к обороне. Все слушали молча. Днем я ходил по городу. В Москве было жарко. Люди разговаривали на бульварах, в скверах, возле подъездов. На Пушкинской площади в витрине «Известий» висела большая карта. Москвичи мрачно смотрели на нее, потом расходились по домам.

Кто знает, сколько было в каждом из нас недоумения, горечи, тревоги! Но нам было не до исторических оценок — фашисты рвались к Москве!

По переулкам Замоскворечья шагали ополченцы, шагали нестройно — с одышкой, с гирями годов и недугов. Впрочем, в те дни мало кто думал о военной выправке.

Как другие, я переживал тревогу и, как другие, событиями

был освобожден от сомнений. Никогда в жизни я так много не работал, писал по три-четыре статьи в день; сидел в Лаврушинском и стучал на машинке, вечером шел в «Красную звезду», писал статью в номер, читал немецкие документы, радиоперехваты, редактировал переводы, сочинял подписи под фотографиями. О «Красной звезде» я расскажу дальше, сейчас я только хочу передать мое состояние. Я доказывал, что мы победим. В победу я верил не потому, что рассчитывал на наши ресурсы или на второй фронт, но потому, что очень хотел верить — иного выхода ни у меня, ни у моих соотечественников тогда не было.

Начали приходить телеграммы из-за границы; различные газеты предлагали мне писать для них: «Дейли геральд», «Нью-Йорк пост», «Ля Франс», шведские газеты, американское агентство Юнайтед Пресс. Приходилось менять не только словарь — для красноармейцев и для нейтральных шведов требовались различные доводы. Чуть ли не ежедневно я выступал по радио — и для советских слушателей, и для французов, чехов, поляков, норвежцев, югославов.

Лозовский сказал мне, что Сталин придаст большое значение работе для Америки и Англии. Совинформбюро начало устраивать радиомитинги главным образом для Америки — славянские, еврейские, женские, молодежные. На еврейском митинге выступил и я. Говорили С. М. Михоэлс, С. М. Эйзенштейн, Перец Маркиш, Д. Бергельсон, архитектор Б. М. Иофан, а также П. Л. Капица и другие. (Некоторых из выступавших или подписавших обращение восемь лет спустя арестовали только потому, что они входили в Еврейский антифашистский комитет.)

В тот самый день ко мне пришел мой давний друг, польский поэт Броневский — его незадолго до этого выпустили из тюрьмы. Он был мрачен, рассказывал, что пережил и передумал в заключении, многим возмущался. Я говорил ему, что теперь нужно разбить фашистов, он усмехался: «Я это понял раньше тебя…» Он говорил, что его судьба сидеть в тюрьме, он это знает. Если разобьют немцев и освободят Польшу, то его там посадят. Но пусть посадят в польскую тюрьму — не потому, что там лучше, а потому, что он поляк…

Броневский был страстным и честным коммунистом. Я с ним встретился впервые в Варшаве при Пилсудском и подумал сразу: вот настоящий интернационалист!.. Что-то а мире изменилось, я еще не мог тогда этого сформулировать, но смутно чувствовал и понимал Броневского. Мы выросли на идеях XIX века, ненавидели национальную ограниченность, верили, что границы доживают

свой век. В годы первой мировой войны все происходившее меня ошеломляло. Я искал разгадки у Декарта. А история никогда не посещала класс логики. В Испании я понимал горе народа, но там была гражданская война; подвиг интербригадовцев как бы продолжал Коммуну, Домбровского, Гарибальди. И вдруг я почувствовал, что есть очень важное и цепкое — земля. Я сидел на московском бульваре. Рядом сидела женщина с ребенком, некрасивая, печальная, с бесконечно знакомыми мне чертами, она говорила: «Петенька, не шали, пожалей меня!..» Я понял, что она родная, что за Петеньку можно умереть. Идея идеями, но есть и это…

В конце июля начались бомбежки Москвы. После Мадрида и Барселоны они мне казались слабыми — противовоздушная оборона работала хорошо. Но для москвичей они были внове. У людей разные характеры, и они по-разному себя вели: одни были спокойны, другие с непривычки пугались, некоторые тащили в убежище мешки с барахлом. Обычно бомбежки заставали меня в «Красной звезде». В подвале особняка на Малой Дмитровке мы продолжали работать (шутя мы называли этот погреб «презрением к смерти»). Когда я выхолил рано утром и шел по улице Горького, я радовался: все дома на месте! Архитектура этих домов мне никогда не нравилась, но я глядел на них с нежностью, как на близких людей, вышедших живыми из боя.

Как-то раз я вернулся ночью из редакции. Меня не хотели пропустить в Лаврушинский наш дом был оцеплен. Работали пожарники. Я испугался: что с Любой, Ириной? Вскоре я нашел их в переулке, — оказалось, небольшая бомба попала в наш корпус, и всех удалили из дома.

Двадцать шестого июля бомбежка застала меня у себя; я писал статью. Поэт Сельвинский был контужен воздушной волной; помню его крик. Бомба разорвалась близко — на Якиманке.

Однажды я был на пресс-конференции: С. А. Лозовский показывал иностранным корреспондентам немецкие документы о подготовке химической войны. Завыли сирены, и я оказался в убежище с американским писателем Колдуэллом и его женой. Мы разговорились; несколько часов прошли незаметно. Когда дали отбой, я пошел домой с Е. П. Петровым. Мы шли по Никольской, видели, как из-под обломков дома вытаскивали тела убитых. Вдалеке рыжели отсветы пожаров.

Еще в первые дни войны Лозовский собрал писателей, говорил о важности газетной работы. Некоторые тогда ему сказали, что нужно отказаться от штампов, предоставить писателям возможность говорить с читателями своим голосом.

Лозовский многое понимал, но у него были ограниченные возможности: решал А. С. Щербаков. В моей записной книжке несколько строк посвящены длинному и трудному разговору с Александром Сергеевичем. (Это было 3 сентября.) Когда я сказал, что штампованные статьи люди читают равнодушно, Щербаков ответил: «Зажирели до войны…» Потом разговор перешел на союзников. Щербаков сказал, что и должен ежедневно писать для Запада. Я заметил, что мои статьи в Совинформбюро режут или вовсе задерживают. Он рассердился: «А вы не оригинальничайте…»

В другое время такой разговор меня обескуражил бы, но я продолжал работать: мне было не до сомнений. Наверно, такие минуты переживали тогда многие — одни в тылу, другие на фронте, сталкиваясь с беспорядком, ограниченностью, несправедливостью. Никто, однако, не останавливался на наших пороках, не прерывал своей работы, борьбы; жертвовали все и всем. Горше времени, кажется, не придумаешь, а люди, его пережившие, вспоминают о нем с гордостью.

Писатели долго (разумеется, не по своей воле) обходили первые месяцы войны молчанием, начинал повествование с контрнаступления в декабре 1941 года. А между тем все было решено именно в первые месяцы, тогда народ показал свою душевную силу.

Конечно, были растерянность и паника; много раз я слышал жесткое слово «доигрались»… Я был в деревне Афонино на Брянском фронте — ее на короткий срок отбили у немцев. Колхозница поила водой бойцов и серьезно им доказывала, что сопротивляться глупо: у немцев порядок, приехали на машинах, аккуратно одеты, даже солдаты получают шоколад. Кто-то из солдат выругался. Были и такие, что сочувственно вздыхали.

В октябре хлеб стоял неубранный. Эвакуация часто проходила беспорядочно. Немецкие танки прорывались в бреши, неслись на восток. Порой местные власти беспечно отвечали: «Нечего панику разводить», — а несколько часов спустя уезжали. Аппарат был громоздким, с «винтиками» и «колесиками»; в мирное время он, плохо ли, хорошо ли, работал, а осенью 1941 года требовалось другое: инициатива, чувство личной ответственности, гражданское вдохновение.

Помню речь Сталина в ноябре 1941 года. Меня резанули слова о «перепуганных интеллигентиках». Конечно, были и среди интеллигенции люди растерявшиеся, но уж никак не больше, чем в других слоях населения. Не знаю, почему Сталин еще раз выбрал нашу битую и недобитую интеллигенцию как козла отпущения. Интеллигенция была с народом, сражалась на фронте,

работала в санбатах, на военных заводах. Напомню о писателях: с первого дня почти все делали, что могли. Гайдар, Крымов, Лапин, Хацревин, Петров, Ставский, Уткин, Вишневский, Гроссман, Симонов, Твардовский, Кирсанов, Сурков, Лидин, Габрилович, многие другие сразу уехали на фронт. Все мы хлебнули горя не только потому, что армия Гитлера была действительно сильной, но и потому, что видели, как тяжело сказались на обороне предвоенные годы: бахвальство, фимиам и окрики, окостенение аппарата, а главное, страшные потери, нанесенные до войны командному составу Красной Армии, да и всем «интеллигентикам».

Я просмотрел комплекты старых газет, с июля по ноябрь 1941 года, — имя Сталина почти не упоминалось, впервые за долгие годы не было ни его портретов, ни восторженных эпитетов; дым близких разрывов прогнал дым кадильниц. (Значит, и Сталин понял, что ему нужно потесниться.) Одни знали, что защищают Октябрьскую революцию от тупого, жестокого фашизма, другие думали о родном домике, но народ держался, сражался, и вместе с народом шла в бой советская интеллигенция.

Иностранцы ломали себе голову: хотели разгадать, откуда у русских столько выдержки. Были такие, что отделывались по шпаргалке: «русским мистицизмом», «долготерпением», «фатализмом Востока». После контрнаступления под Москвой один американский журналист говорил мне: «Никакой загадки тут нет — вас спасли размеры территории». На первый взгляд это казалось убедительным, но меня не убедило. Я помнил, как в Испании фашисты, почти не останавливаясь, прошли от Кадикса до предместий Мадрида и неожиданно дли себя натолкнулись на яростное сопротивление. Будь Москва ближе к Бресту, декабрь мог бы приключиться в сентябре или в октябре.

Помню беседу с Колдуэллом во время бомбежки. Он спрашивал, хотел понять, говорил, что, видимо, сильна привязанность к родной земле. Я ему отвечал, что мы привязаны и к русской земле, и к советскому строю, хотя жилось нам трудно. (О всех трудностях Колдуэллу я тогда не мог сказать — мешала гордость. Но наши люди многое знали и шли на смерть не потому, что им приказывали: когда смерть рядом, одной дисциплины мало — нужно самопожертвование.)

С точки зрения военного историка первые месяцы выглядят достаточно мрачно; небольшие успехи наших войск у Ельни, у Брянска не могли уравновесить немецких побед, захвата врагов огромной территории, окружения наших крупных соединений. Но я не терял надежды. Под Брянском я увидел наши слабые и сильные стороны; было много беспорядка, хромала связь;

немецкие танки безнаказанно прорывались вперед, да и в небе противник был куда сильнее. Но люди сражались, даже зная, что они обречены, и немцы несли большие потери.

Под Брянском я познакомился с генералом Еременко. Он беседовал с пополнением — необстрелянными юнцами, говорил хорошо, по-человечески, признавался, что сначала всем страшно, нужно взять себя в руки; рассказал бойцам, что в детстве он был пастухом.

Там же я встретил одного из «испанцев» — танкиста генерала Петрова. Он усмехнулся: «Помнишь?… Та же картина… Только здесь, думаю, выстоим…» Мы сидели в избе. Изможденная крестьянка цыкала на ребенка: «Тише — генерал думает…»

По дорогам скрипели повозки. Немцы пикировали, и снова я увидел мать, которая голосила над убитым мальчиком. Было много горя, очень много, но, как это ни странно, люди в те месяцы были добрее друг к другу. Я ничего не хочу идеализировать, это сущая правда: люди, которые в мирное время ругались между собой в коммунальных квартирах из-за отодвинутой кастрюли или у прилавков из-за отреза на костюм, теперь делились ломтем хлеба, помогали нести детей.

На Волге я видел пожилого машиниста; он вел состав семьдесят два часа подряд, рассказывал, что, когда одолевал сон, останавливал поезд и тер лицо снегом. Он удивился моему удивлению: «А как же?… Теперь иначе нельзя…» Ко мне в «Красную звезду» пришла старая еврейка из Винницы, рассказала, как ей удалось уйти, она прошла сто километров пешком; потом ее взяли на грузовик, и вот она несла чужого ребенка — родителей немцы убили. Из Орла вывозили музей Тургенева, и директор музея на всех станциях молил, чтобы не отцепили вагон с музейными экспонатами. Люди сердились: «Да кому нужна этакая рухлядь?» — в вагоне стоял старый, продырявленный диван; директор в сотый раз объяснял, что это диван-»самосон», так его прозвал Иван Сергеевич. Люди смягчались: «Вези…» Все это я рассказываю несвязно. Я написал «Бурю», там был план, сюжет; а сейчас, когда я вспоминаю тс месяцы, слезы подступают к горлу: уж очень тяжело было людям, право, они этого не заслужили.

Немцы быстро продвигались к Москве. Одна маленькая девочка сказала матери: «Мамочка, да роди ты меня обратно!..»

«Красную звезду» перевели в подвал Театра Красной Армии, сказали, что там спокойнее — под землей. Кругом театра были ямы, даже рвы; а ночи были темными; я упал, расшибся, статью в номер все же написал.

Что скрывать настроение было отвратительное. Но людям

необходимо посмеяться, и однажды нас развеселил П. Г. Богатырев, ученый-славист. Я с ним подружился еще в Праге в двадцатые годы. Он разбирался куда лучше в старом чешском фольклоре, нежели в карте поенных операций. Он ходил громко, как еж, — топ-топ. Пришел утром чрезвычайно веселый, сказал, что немцев скоро разобьют. Люба спросила, откуда у него такие радужные сведения. Петр Григорьевич объяснил: «Я ехал к вам, и кто-то — не просто, а военный — сказал, что армия Гудерьяна подходит к Москве. Много танков. Значит, немцев прогонят». Богатырев решил, что Гудерьян — армянин. Мы долго смеялись, а Петр Григорьевич помрачнел: «Но в таком случае здесь нет ничего смешного…»

К середине октября в нашем доме в Лаврушинском переулке мало кто остался. Я не хотел уезжать. Вдруг позвонил Е. П. Петров: приказ Щеррбакова эвакуировать Информбюро и группу писателей, которая при нем состоит. В суматохе первых месяцев меня забыли ввести в штаты. Редактор «Красной звезды» считал меня своим. А Щербаков говорнл, что я должен работать для заграницы, важнее всего, чтобы я посылал статьи через Информбюро. Щербаков был секретарем ЦК, и спорить с ним не приходилось.

На Казанском вокзале происходило бог весть что. Впрочем, чума — повсюду чума, а я уже видел Барселону и Париж. У меня пропал ручной чемоданчик с рукописью последней части «Падения Парижа». Потом я огорчался, а тогда думал о чем угодно, только не о литературе, горевал, что пропала бритва, — как я буду бриться?… Повезли нас в пригородном вагоне; было очень тесно — трудно повернуться, а ехали мы до Куйбышева пять дней. Состав был длинный; в спальном вагоне разместились дипломаты, в другом вагоне — работники Коминтерна (среди них Долорес, Раймонда Гюйо). На остановках дипломаты штурмовали буфеты. Жена Ярославского, глядя на неубранный хлеб, то плакала, то ругалась. Петров пробовал острить, но даже у него ничего не выходило. Афиногенов вслух доказывал самому себе, что все в порядке. На какой-то заваленной беженцами станции мы услышали сводку; враг прорвал линию обороны и приближается к Москве.

В Куйбышеве мы переночевали у редактора газеты «Волжская коммуна», потом несколько дней прожили в общежитии «Гранд-отеля», оттуда нас выселили: англичане потребовали места для горничных посольства.

Меня приютил на ночь Я. З. Суриц. Мы почти до утра проговорили. Он не мог удержаться, говорил, что Сталина предупреждали много раз о готовящемся нападении, что он не

знает, как живет страна, а его обманывают. Потом Яков Захарович вынул из чемодана рисунок Родена, прислонил его к спинке кровати и, забыв про все на свете, требовал, чтобы я восхищался.

Я писал статьи в коридоре здания, где разместились Наркоминдел и Совинформбюро, — машинку ставил на ящик.

Потом мы получили жилье. В соседней комнате жили приехавшие с фронта Гроссман и Габрилович. Я поставил машинку на чемодан у продолжал стучать.

Иностранные корреспонденты изводили меня жалобами: почему их не пускают на фронт, почему привезли в Куйбышев и говорят, что нужно помечать телеграммы Москвой?… Они жили в «Гранд-отеле», много пили, порой угощали Петрова и меня виски или водкой. Они считали, что через месяц-другой Гитлер завоюет всю Россию, утешали себя и нас тем, что борьба будет продолжаться в Египте или в Индии. Когда пришли известия о нападении японцев на Пирл-Харбор, американцы в «Гранд-отеле» подрались с японскими журналистами. Афиногенова вызвали в Москву, там он сразу погиб при бомбежке. Мы не знали, как рассказать об этом его жене Дженни.

Уманский описывал Америку, и от его рассказов становилось неуютно. Литвинов перед отъездом в Вашингтон за ужином добродушно сказал мне: «Боюсь, будет плохо…» — почему, он не объяснил: все-таки он был куда больше дипломатом, чем Суриц: умел вовремя замолкать.

В начале декабря я был возле Саратова на параде армии генерала Андерса, образованной из военнопленных поляков. Приехал Сикорскнй, его сопровождал Вышинский. Не знаю, почему для такой оказии выбрали именно Вышинского. Может быть, потому, что он был польского происхождения? А я вспоминал его на процессе в роли прокурора… Он чокался с Сикорским и сладко улыбался. Среда поляков было много людей угрюмых, озлобленных пережитым; некоторые не могли удержаться — признавались, что нас ненавидят. Я понимал, что эти не смогут перешагнуть через прошлое. Сикорский и Вышинский называли друг друга «союзниками», а за любезными словами чувствовалась неприязнь.

В Саратове играл МХАТ. Ставили «Три сестры». Вершинин на сцене говорнл: «Через двести, триста лет жизнь на земле будет невообразимо прекрасной, изумительной…» Все слушали и вздыхали.

Я настаивал, чтобы мне разрешили вернуться в Москву. Лозовский отвечал: «Через неделю все прояснится. Пока что нужно работать…»

Я сидел и писал по пяти статей в день.

Редактор «Красной звезды» генерал Ортенберг (он же Вадимов) сразу решил меня прикрепить к своей газете; говорил, что фронтовикам нравятся мои статьи. Однажды, это было еще в июле, он сказал, что я должен написать передовую. Я попытался возразить: вот этого я не умею. Он ответил: «На войне нужно все уметь». Два часа спустя я принес ему статью; он начал читать и рассмеялся, а смеялся он очень редко, да и не было в статье ничего веселого. «Какая же это передовица? С первой фразы видно, кто написал…» Оказалось, что передовые нужно писать так, чтобы все слова были привычными. Ортенберг подписал под статьей мое имя: «Пойдет на третьей полосе…»

Может быть, фронтовикам нравились мои короткие статьи именно потому, что они не походили на передовицы. А может быть, потому, что мне порой удавалось выразить частицу того, что люди тогда чувствовали. Обычно война приносит с собой ножницы цензора; а у нас в первые полтора года войны писатели чувствовали себя куда свободнее, чем прежде.

Вот несколько фраз из моих статей того времени. «Враг наступает. Враг грозит Москве. У нас должна быть только одна мысль — выстоять». «Вероятно, мы сможем исправить наши недостатки, но и со всеми нашими недостатками мы выстоим. Может быть, врагу удастся еще глубже врезаться в нашу страну. Мы готовы и к этому. Мы не сдадимся. Мы перестали жить по минутной стрелке, от утренней сводки до вечерней. Мы не ревели дыхание на другой счет. Мы смело глядим вперед: там горе и там победа…» «Многие у нас привыкли к тому, что за них кто-то думает. Теперь не такое время. Теперь каждый должен взять на себя всю тяжесть ответственности… Не говори, что кто-то за тебя думает. Не рассчитывай, что тебя спасет другой…» «Плохо ли, хорошо ли, но мы жили у себя дома. Немцы несут гибель всем…» «Мы многого не понимали. У нас были седые люди с душой младенца. Теперь у нас и дети все понимают. Мы выросли на сто лет…»

Не знаю, почему А. С. Щербаков обвинил меня в оригинальничаний. По фразам, которые я переписал, видно, что в моих статьях не было никаких оригинальных мыслей. А фронтовики их читали, видимо, с охотой: каждый день я получал много писем от солдат и офицеров.

Я писал тогда в газете «Литература и искусство»: «Придет время для «Войны и мира». Теперь у нас война без кавычек — не роман, а жизнь… Писатель должен уметь писать не только для веков, но и для короткой минуты, если в эту минуту решается судьба его народа…»

В мирное время каждому писателю хочется, как и

композитору, услышать нечто еще невнятное другим. Это не всегда удается, чаще писатель оказывается в роли музыканта, облюбовавшего тот или иной инструмент. Бывают, однако, времена, когда писатель только инструмент — труба или свирель, которую находят на дороге и которая звенит потому, что в нее врывается дыхание других.

2

Шестнадцатого сентября в редакции я прочитал очерк Б. Лапина и З. Хацревина, переданный из Киева по телефону. Они писали, что немцы подошли вплотную к городу, но киевляне не унывают: «Как всегда многолюден и шумен Крещатик. По утрам его поливают из флангов, моют, скребут… Начались занятия в школах… Во всех переулках баррикады… Очередь у кассы цирка…» Четыре дня спустя по Крещатику шагали немцы.

Лапин и Хацревин уехали на фронт еще в июне. В августе они приехали в Москву. Хацревин заболел. Редакция «Красной звезды» торопила, и через неделю они снова уехали в Киев. В начале сентября Лапин позвонил из Киева, шутил, говорил, что скоро, наверно, увидимся…

В 1932 году я познакомился со многими молодыми писателями: Лапиным, Славиным, Борисом Левиным, Габриловичем, Хацревиным. Мы говорили о новых формах, о роли очерка, о романтике, о путях нашей литературы. Лапин подарил мне свою книгу «Тихоокеанский дневник», она мне поправилась свежестью и вместе с тем мастерством. Заинтересовал меня и автор: с виду он походил на скромного молодого доцента, на человека сугубо книжного, а в действительности колесил по миру, охотно меняя письменный стол на палубу, юрту, барак пограничника.

Все книги Лапина были поисками нового жанра: фантастику он выдавал за историческую хронику, очерки писал как новеллы, старался стереть грань между сухим протоколом и поэзией. Это было связано с душевной природой автора: Лапин читал труды историков и экономистов, филологов и ботаников, а любил он больше всего поэзию.

Я рассказал в одной из предшествующих частей этой книги, как Ирина мне сообщила, что вышла замуж за Лапина. Я был в Испании, когда нам дали квартиру в писательском доме в Лаврушинском переулке. Мы прожили вместе полгода в 1937-1938-м, потом последний предвоенный год. Это немного, но время было такое, что люди, кажется, в одни присест съедали пуд соли. Я узнал и полюбил Бориса Матвеевича.

Когда началась революция, Лапину было двенадцать лет. Отец его был врачом и, отправившись на фронт гражданской войны, взял сына с собой (мать уехала за границу). Семнадцатилетним подростком Лапин выпустил сборник стихов, задорных и сумасбродных, в них были

и возраст автора, и противоречия эпохи. Он увлекался

старыми мелкими романтиками и китайской революцией, космосом и словообразованиями, ходил на бурные литературные диспуты, мечтал об Индии. Вкоре он перешел на прозу, но стихи продолжали притягивать его вебе. В различные книги он включал свои стихотворения, выдавая их за переводы старых таджикских поэтов, чукотских заклинаний, японских танок, американских песенок.

У Ирины сохранился старый документ: «Предъявитель сего удостоверения действительно является товарищем Бури, сыном Мустафа-Куля, туземцем Аджаристанского вилайета, который явился в 1927 году 11-го мая по приказу Советского государства для производства всеобщей переписи и в течение девяти дней нанес на бумагу все население Язгуломской общины, а теперь возвращается своим путем, для чего товарищу Бури, сыну Мустафа-Куля, и выдано настоящее удостоверение». Товарищ Бури, сын Мустафа-Куля был двадцатидвухлетним Борисом Матвеевичем Лапиным, который то верхом, то на арбе продвигался по селениям Памира в ватном цветном халате и в афганских остроносых туфлях. Он изучал таджикский язык и забыл о Гофмане, увлеченный древней персидской поэзией.

Год спустя Лапин отправился на Чукотку, поступил на службу в пушную факторию; жил среди чукчей, изучал их язык; чукчи звали его ласково «тиндлилякком», что означало «очкастенький». Он побывал на Аляске, на Курильских островах; вернулся в Москву, написал книгу и мог бы превратиться в нормального столичного литератора. Но он искал любую возможность, чтобы повидать новые земли и новых людей. Он отправился с экспедицией геоботаников в Среднюю Азию и с экспедицией археологов в Крым; нанялся штурманом на пароход «Чичерин», увидел Турцию, Александрию. Дважды его посылали в Монголию. В 1939 году он вместе с Хацревиным работал военным корреспондентом «Красной звезды» на Халхин-Голе.

Этот перечень путешествий и профессий может сбить с толку — он похож на послужной список любителя похождений. Однако меньше всего Лапин напоминал туриста, падкого на экзотику. Он входил в будничную жизнь Памира или Чукотки, выполнял любую работу, быстро начинал говорить на языке местных жителей, находил в их характере, в их обычаях нечто ему милое и родное.

Языки ему давались легко, в нем жила страсть лингвиста. Он читал на немецком и на фарси, на английском и на языках народов Севера; знал сотни китайских иероглифов. Перед войной по вечерам мы сидели в соседних комнатах и слушали радио. Иногда я возвращался поздно домой, заходил к нему, чтобы

спросить, какие новости передавали из Лондона. Оказывалось, что он увлекся и слушал передачи на языках, которых не знал; радовался, что многое понял из сообщения на сербском языке или на норвежском. Его увлекали корни слов, в этом он тоже оставался поэтом.

При всех навыках бродячей жизни он был очень трудолюбии. Я вижу его за рабочим столом, над белым листом он мог просидеть несколько часов, чтобы найти точное сравнение, нужное слово. Иногда он писал сценарий или очерк вместе со своим другом Хацревиным, которого мы шутливо звали Хацем. Хацревин написал хорошую книгу «Тегеран», у него была фантазия, а мешала ему лень. Он ложился на кровать, иногда говорил «не то» или «здесь нужно дать пейзаж». Лапин прилежно писал.

Борис Матвеевич принадлежал к первому поколению интеллигенции, сложившемуся уже в советское время. Многое из того, что меня удивляло, восхищало или отталкивало, ему казалось естественным. Настал 1937 год. Моим сверстникам — Мандельштаму, Паустовскому, Пастернаку, Федину, Бабелю — было за сорок; мы многое успели написать, а главное, продумать. Лапина и писателей его поколения события настигли врасплох; начинали подумывать о зрелых книгах. Им было куда труднее, чем нам — старшим, они только-только распрощались с молодостью.

Борис Матвеевич был человеком мужественным. Помню, генерал Вадимов, ругая некоторых сотрудников газеты, говорил: «Вот за Лапина и Хацревина я спокоен — эти не будут отсиживаться в штабах, я их видел у Халхин-Гола…» Да, Борис Матвеевич любил опасность. Но когда в 1937 году начали бесследно исчезать друзья, товарищи, знакомые, он душевно сжался. Был он любознательным, общительным, и новая наука далась ему с трудом: он научился не спрашивать и не отвечать. Он и прежде разговаривал негромко, а в то время начал говорить еще тише. Порой он шутил с Ириной, со мной, а когда снимал очки, я видел в его глазах грусть и недоумение.

Однажды — это было в начале 1938 года — я зашел в его комнату. Он писал. Почему-то мы заговорили о литературе, о том, что теперь делать писателям. Борис Матвеевич, улыбаясь, говорил: «Я пишу о пустыне Гоби… Когда я писал «Тихоокеанский дневник», «Подвиг», я выбирал темы — писал, как жил. Теперь иначе… Мне очень хотелось бы написать про другую пустыню, но это невозможно… А нужно работать — иначе еще труднее…»

Время, о котором я говорю, было для Лапина особенно тяжелым: он страдал от перерождения человеческих

взаимоотношений. Он был человеком на редкость верным; больше всего его ранило недоверие, пренебрежение дружбой, стремление некоторых (тщетное) спастись любой ценой.

Почти каждый вечер к Лапину приходил Хацревин, человек обаятельный и странный. Он был внешне привлекательным, нравился женщинам, но боялся их, жил бобылем. Меня в нем поражали мягкость, мечтательность и мнительность. Почему-то он скрывал от всех, даже от Бориса Матвеевича, что болен эпилепсией. В августе Лапин уговаривал его остаться на месяц-другой в Москве, но Хацревин хотел скорее вернуться на фронт.

Я рассказывал, как в один из последних вечеров мы читали в Переделкине роман Хемингуэя. Вдали лаяли зенитки. Иногда мы откладывали листы рукописи, и Борис Матвеевич рассказывал про все, что видел на фронте, про геройство, беспорядок, отвагу, растерянность — ему ведь пришлось пережить отступление первых недель. Почему-то мы вспомнили тридцать седьмой. Лапин сказал: «Знаете, все-таки теперь легче — все как-то стало на место…» Мы снова читали. Поглядев на него, я подумал, что, сам того не замечая, к нему привязался. А когда мы возвращались в Москву, он сказал: «Вот кончится война, наверно, многие напишут настоящие книги. Как Хемингуэй…»

Той книги, о которой он мечтал, он написать не смог.

Лапин и Хацревин вместе с армией ушли из Киева а Дарницу, дошли до Борисполя. Немцы окружили наши части. Некоторым удалось выйти из окружения. От них мы потом узнали про судьбу Лапина и Хацревина. Нельзя было терять ни минуты, а Хацревин лежал — у него был очередной припадок. Лапин не захотел оставить друга. «Скорее! Немцы близко!» — сказал ему один корреспондент. Борис Матвеевич ответил: «У меня револьвер…» Это последние его слова, которые до меня дошли. Ирина долго надеялась на чудо. Во время войны неизбежно рождаются мифы: приходили люди, которые якобы видели Лапина то на одном, то на другом фронте.

Перед отъездом в Киев Борис Матвеевич переписал начисто свои старые стихи. Может быть, и возле Борисполя он еще слушал звучание слов, иедописанные строфы — он был поэтом, стыдливый, не выдававший своих чувств «очкастенький», как говорили чукчи, снисходительный ко всем, только не к себе. Мне вспомнились сейчас строки таджикского поэта X века Рудаки, переведенные очень давно Лапиным: «…И много пустынь разбито под пышный цветущий сад, и часто увидишь пустыню, где сад золотой был…»

Девятого мая 1945 гола был праздник; пустыня войны кончилась. Но в жизни почти каждого из нас была новая пустыня,

та, что никогда не зазеленеет, — память о близких…

3

Разговаривая с бойцами в первые месяцы войны, я то испытывал гордость, то доходил до отчаяния. Конечно, мы были вправе гордиться тем, что советские учителя воспитывали детей и подростков в духе братства. Но мы сдавали за городом город, а я не раз слышал от красноармейцев, что солдат противника пригнали к нам капиталисты и помещики, чго, кроме Германии Гитлера, существует другая Германия, что если рассказать немецким рабочим и крестьянам правду, то они побросают оружие. Многие в это искренне верили, другие охотно к этому прислушивались немцы стремительно продвигались вперед, а человеку всегда хочется на что-то надеяться.

Люди, защищавшие Смоленск или Брянск, повторяли то, что слышали сначала в школе, потом на собраниях, что читали в газетах: рабочий класс Германии силен, это передовая индустриальная страна, правда, фашисты, поддерживаемые магнатами Рура и социал-предателями, захватили власть, но немецкий народ против них, он продолжает бороться. «Конечно, — говорили красноармейцы, — офицеры — фашисты, наверное, и среди солдат попадаются люди, сбитые с толку, но миллионы солдат идут в наступление только потому, что им грозит расстрел». Наша армия в первые месяцы не знала подлинной ненависти к немецкой армии.

На второй день войны меня вызвали в ПУР и попросили написать листовку для немецких солдат, говорили, что фашистская армия держится на обмане и на железной дисциплине. Тогда и многие командиры еще возлагали надежды на листовки и громкоговорители.

Листовок было много, казалось бы убедительных, а немцы продолжали продвигаться вперед.

Может быть, и я разделял бы иллюзии многих, если бы в предвоенные годы жил в Москве и слушал доклады о международном положении. Но я помнил Берлин 1932 года, рабочих на фашистских собраниях, в Испании я разговаривал с немецкими летчиками, пробыл полтора месяца в оккупированном Париже. Я не верил в громкоговорители и листовки.

Редкие пленные (главным образом танкисты), которых я видел в первые месяцы войны, держались самоуверенно, считали, что с ними приключилась неприятность, но что не сегодня завтра их освободят наступающие части. Один даже предложил командиру полка сдаться на милость Гитлера: «Я гарантирую всем нашим солдатам жизнь и хорошее содержание в лагере для

военнопленных. А к рождеству война кончится, и вы вернетесь домой». Среди этих военнопленных были рабочие. Правда, после неудачи под Москвой я впервые услышал от перепуганных пленных «Гитлер капут», но летом 1942 года, когда немцы двинулись на Кавказ, они снова уверовали в свою непобедимость. На допросах пленные держались осторожно — боялись и русских и своих товарищей. А если и попадались солдаты, искренне ругавшие Гитлера, то это были главным образом крестьяне из глухих деревень Баварии, католики, отцы семейств. Настоящий перелом начался только после Сталинграда, да и то до лета 1944 года сотни миллионов листовок приносили мизерное количество перебежчиков.

В начале войны у наших бойцов не только не было ненависти к врагу, в них жило некоторое уважение к немцам, связанное с преклонением перед внешней культурой. Это тоже было результатом воспитания. В двадцатые и тридцатые годы любой советский школьник знал, каковы показатели культуры того или иного народа — густота железнодорожных сетей, количество автомашин, наличность передовой индустрии, распространенность образования, социальная гигиена. Во всем этом Германия занимала одно из первых мест. В вещевых мешкахм пленных красноармейцы находили книги и тетради для дневников, усовершенствованные бритвы, а в карманах фотографии, замысловатые зажигалки, самопишущие ручки. «Культура!» — восхищенно и в то же время печально говорили мне красноармейцы, пензенские колхозники, показывая немецкую зажигалку, похожую на крохотный револьвер.

Помню тяжелый разговор на переднем крае с артиллеристами. Командир батареи получил приказ открыть огонь по шоссе. Бойцы не двинулись с места. Я вышел из себя, назвал их трусами. Один мне ответил: «Нельзя только и делать, что палить по дороге, а потом отходить, нужно подпустить немцев поближе, попытаться объяснить им, что пора образумиться, восстать против Гитлера, и мы им в этом поможем». Другие сочувственно поддакивали. Молодой и на вид смышленый паренек говорил: «А в кого мы стреляем? В рабочих и крестьян. Они считают, что мы против них, мы им не даем выхода…»

Конечно, самым страшным было в те месяцы превосходство немецкой военной техники: красноармейцы с «бутылками» шли на танки. Но меня не менее страшили благодушие, наивность, растерянность.

Я помнил «странную войну» — торжественные похороны немецкого летчика, рев громкоговорителей… Война — страшное,

ненавистное дело, но не мы ее начали, а враг был силен и жесток. Я знал, что мой долг показать подлинное лицо фашистского солдата, который отменной ручкой записывает в красивую тетрадку кровожадный, суеверный вздор о своем расовом превосходстве, вещи бесстыдные, грязные и свирепые, способные смутить любого дикаря. Я должен был предупредить наших бойцов, что тщетно рассчитывать на классовую солидарность немецких рабочих, на то, что у солдат Гитлера заговорит совесть, не время искать в наступающей вражеской армии «добрых немцев», отдавая на смерть наши города и села. Я писал: «Убей немца!»

В статье, которую я назвал «Оправдание ненависти» и которая была написана в очень трудное время — летом 1942 года, я говорил: «Эта война не похожа на прежние войны. Впервые перед нашим народом оказались не люди, но злобные и мерзкие существа, дикари, снабженные всеми достижениями техники, изверги, действующие по уставу и ссылающиеся на науку, превратившие истребление грудных младенцев в последнее слово государственной мудрости. Ненависть не далась нам легко. Мы ее оплатили городами и областями, сотнями тысяч человеческих жизней. Но теперь мы поняли, что на одной земле нам с фашистами не жить… Конечно, среди немцев имеются добрые и злые люди, но дело не в душевных качествах того или иного гитлеровца. Немецкие добряки, те, что у себя дома сюсюкают и носят на спине детишек, убивают русских детей с таким же педантизмом, как и злые. Они убивают потому, что уверовали, что на земле достойны жить только люди немецкой крови… Наша ненависть к гитлеровцам продиктована любовью к родине, к человеку, к человечеству. В этом сила нашей ненависти, в этом и ее оправдание. Сталкиваясь с гитлеровцами, мы видим, как слепая злоба опустошила душу Германии. Мы далеки от подобной злобы. Мы ненавидим каждого гитлеровца за то, что он — представитель человеконенавистнического начала, за то, что он — убежденный палач и принципиальный грабитель, за слезы вдов, за омраченное детство сирот, за тоскливые караваны беженцев, за (вытоптанные поля, за уничтожение миллионов жизней. Мы сражаемся не против людей, а против автоматов, которые выглядят, как люди. Наша ненависть еще сильнее оттого, что с виду они похожи на человека, что они могут смеяться, могут гладить собаку или коня, что в своих дневниках они занимаются самоанализом, что они загримированы под людей, под культурных европейцев… Не о мести мечтают наши люди. Не для того мм воспитали наших юношей, чтобы они снизошли до гитлеровских расплат. Никогда не станут красноармейцы убивать

немецких детей, жечь дом Гёте в Веймаре или библиотеку Марбурга. Месть — это расплата той же монетой, разговор на том же языке. Но у нас нет общего языка с фашистами. Мы тоскуем о справедливости. Мы хотим уничтожить всех гитлеровцев, чтобы на земле возродилось человеческое начало. Мы радуемся многообразию и сложности жизни, своеобразию народов и людей. Для всех найдется место на земле. Будет жить и немецкий народ, очистившись от страшных преступлений гитлеровского десятилетия. Но есть предел и у широты: я не хочу сейчас ни говорить, ни думать о грядущем счастье Германии, освобожденной от Гитлера, — мысли и слова неуместны, да и не искренни, пока на нашей земле бесчинствуют миллионы немцев…»

Я прочитывал ежедневно немецкие газеты, военные приказы, дневники и письма немецких солдат: мне нужно было показать духовное убожество фашистов, показать точно, документально.

На войне человеку хочется порой улыбнуться, и я не только обличал солдат Гитлера, я над ними и посмеивался. Кажется, одним из первых я пустил в ход прозвище «фриц». Вот названия некоторых коротких статей (я писал каждый день): «Фриц-философ», «Фриц-нарцисс», «Фриц-блудодей», «Фриц в Шмоленгсе», «Фриц-мистик», «Фриц-литератор» и так далее — десятки, сотни.

Впервые я увидел ненависть к врагу, когда наши части при контрнаступлении под Москвой заняли сожженные немцами деревни. У головешек грелись женщины, лети. Красноармейцы ругались или злобно молчали. Один со мной разговорился, скачал, что ничего не может понять — он считал, что города бомбят потому, что там начальство, казармы, газеты. Но зачем немцы жгут избы? Ведь там бабы, дети. А на дворе стужа… В Волоколамске я долго глядел на виселицу, сооруженную фашистами. Глядели на нее и бойцы… Так рождалось новое чувство, и это предрешило многое.

Война, начатая фашистской Германией, не походила на прежние войны: она не только губила и калечила тела, она искажала душевный мир людей и народов. Гитлеровцам удалось внушить миллионам немцев пренебрежение к людям другого происхождения, лишить солдат моральных тормозов, превратить аккуратных, честных, работящих обывателей в «факельщиков», сжигающих деревни, устраивающих охоту на стариков и детей. Прежде в любой армии встречались садисты или мародеры — война не школа морали. Но Гитлер вовлек в массовые зверства не только эсэсовцев, гестаповцев, профессиональных или самодеятельных палачей, а всю свою армию, связал десятки

миллионов немцев круговой порукой. Я вспомнил одного белобрысого, на вид добродушного немца; до войны он работал мастером в Дюссельдорфе, у него там была семья; он бросил русского младенца в колодец, потому что страдал бессонницей, принял несколько таблеток люминала, а ребенок не давал ему уснуть. Я держал в руках мыло со штампом «чисто еврейское мыло» — его изготовляли из трупов расстрелянных. Да что вспоминать — это описано в тысячах книг.

Русский человек добродушен, его нужно очень обидеть, чтобы он рассвирепел; в гневе он страшен, но быстро отходит. Однажды я ехал на «виллисе» к переднему краю — меня попросили среди пленных отыскать эльзасцев. Шофер был белорусом; незадолго до этого он узнал, что его семью убили немцы. Навстречу вели партию пленных. Шофер схватил автомат, я едва успел его удержать. Я долго разговаривал с пленными. Когда мы ехали назад на КП, шофер попросил у моим табаку. С табаком тогда было плохо, накануне раздобыв в штабе дивизии две пачки, я одну отдал водителю. «Где же твой табак?…» Он молчал. Наконец ему пришлось признаться: «Пока вы разговаривали с вашими французами, фрицы меня обступили. Я спросил, есть ли среди них шоферы. Двое шоферов было, я им дал закурить. Здесь все начали клянчить… Одно из двух — или пускай их всех убивают, а если нельзя, так курить-то человеку нужно…» Это было в 1943 году, а год спустя возле Минска в Тростянцс, где гитлеровцы убивали женщин, детей, я снова убедился в отзывчивости наших людей. Наши солдаты злобно ругались, говорили, что не нужно никого брать в плен. Рядом в лесочке держалась группа немцев. Привели одного пленного пехотинца. Майор попросил меня быть переводчиком. Когда пленного спросили, много ли солдат в лесу, он ответил, что ему трудно говорить — его мучает жажда. Ему принесли в кружке воды. Он поморщился, сказал, что кружка грязная, и вытер носовым платком края. Меня это разозлило: когда человека мучает жажда, он не привередничает. А солдаты, вначале кричавшие, что нечего с ним разговаривать, пристрелить зверя, успели отойти, и полчаса спустя один принес пленному миску супа: «Жри, сволочь!»

(Да и я так вел себя: много раз, видя пленных, боявшихся, что их убьют, писал на клочках бумаги, что они эльзасцы или что они «хорошие немцы», и подписывался — словом, ненавидя фашизм, спасал разоруженных фашистов. Думаю, что любой человек при подобных обстоятельствах поступил бы так же.)

Геббельсу нужно было пугало, и он распространил легенду о еврее Илье Эренбурге, который жаждет уничтожить немецкий народ.

У меня сохранились вырезки из немецких газет, радиоперехваты, листовки. Гитлеровцы часто писали обо мне, говорили, что я толстый, косой, с кривым носом, что я очень кровожаден, что в Испании я похитил музейные ценности на пятнадцать миллионов марок и продал их и голландскую королеву Вильгельмину, что мои капиталы размещены в бразильских банках, что я каждый день бываю у Сталина и составил для него план уничтожения Европы, назвав его «Трест Д. Е.», что я хочу превратить в пустыни земли, лежащие между Одером и Рейном, что я призываю насиловать немок и убивать немецких детей.

В приказе от 1 января 1945 года меня удостоил внимания сам Гитлер: «Сталинский придворный лакей Илья Эренбург заявляет, что немецкий народ должен быть уничтожен».

Пропаганда сделала свое дело: немцы меня считали исчадием ада. В начале 1945 года я был в городе Восточной Пруссии Бартеиштейне, накануне занятом нашими частями. Советский комендант попросил меня пойти в немецкий госпиталь и объяснить, что ничто не угрожает ни немецкому медицинскому персоналу, ни раненым. Я долго успокаивал главного врача: наконец он сказал: «Хорошо, но вот Илья Эренбург…» Мне надоело с ним разговаривать, и я ответил: «Не бойтесь, Ильи Эренбурга здесь нет — он в Москве». Врач несколько успокоился.

Все это было смешно и отвратительно. Немцев, которые вторглись В нашу страну, я ненавидел не потому, что они жили «между Одером И Рейном», не потому, что они говорили на том же языке, на котором писал один из наиболее мне близких поэтов — Гейне, а потому, что они были фашистами. Еще в детстве я столкнулся с расовой и национальной спесью, немало в жизни страдал от нее, верил в братство народов и вдруг увидел рождение фашизма. В утопическом романе «Трест Д. Е.», на который часто ссылался Геббельс, Европа гибнет от безумия европейских фашистов, поддерживаемых жадными американскими бизнесменами. Конечно, во многом я ошибся: когда я писал эту книгу, в Руре стояли французские оккупанты и еще теплилась надежда на революцию в Германии. В романе Германию, Польшу и часть Советского Союза разоряет Франция, во главе которой стоит фашист Брандево. Фигуры танца оказались другими: Франция, Польша и часть Советского Союза были разорены немецкими фашистами, а Брандево оказался Гитлером.

Я расскажу об одной истории, связанной со мной, но выходящей за пределы частной биографии. В 1944 году командующий армейской группой «Норд», желая приподнять

своих солдат, обескураженных отступлением, писал в приказе: «Илья Эренбург призывает азиатские народы «пить кровь» немецких женщин. Илья Эренбург требует, чтобы азиатские народы насиловали немецких женщин: «Берите белокурых женщин — это наша добыча!» Илья Эренбург будит низменные инстинкты степи. Подлостью было бы отступить, ибо немецкие солдаты теперь защищают своих жен». Узнав об этом приказе, я тотчас написал в «Красной звезде»: «Когда-то немцы подделывали документы государственной важности. Они докатились до того, что подделывают мои статьи. Цитаты, которые немецкий генерал приписывает мне, выдают автора, только немец способен сочинить подобные пакости. Мы идем в Германию за другим: за Германией».

Легенда, созданная гитлеровским генералом, пережила и крах третьего рейха, и Нюрнбергский процесс, и многое другое.

В 1960 году муниципалитет Вены пригласил меня участвовать во встрече представителей искусства и литературы. Вскоре после этого я получил письмо от организатора встречи, австрийского социал-демократа, в котором он спрашивал меня, правда ли, что я в годы войны призывал насиловать немок. Западно-германский журнал «Шпигель» разъяснил, что «документы» о моем страшном прошлом были представлены венцам посольством Германской Федеративной Республики. А недавно Киндлер, издатель немецкого перевода моей книги «Люди, годы, жизнь», проживающий в Мюнхене, передал мне забавные фотодокументы. Оказалось, некто Юрген Торвальд в 1950 году опубликовал в Штутгарте историю войны, в которой писал: «В течение трех лет Илья Эренбург свободно, открыто, полный ненависти, говорил красноармейцам, что немецкие женщины будут их военной добычей». Оказалось также, что Юрген Торвальд — не кто иной, как Гейнц Богарц, который в 1941 году выпустил книгу, восхвалявшую Гитлера, и посвятил ее военному преступнику адмиралу Редеру.

В 1962 году мюнхенская газета «Зольдатен центунг» начала кампанию против издания в Западной Германии моей книги. Разумеется, газета припомнила о мнимой листовке с призывом насиловать немок; грозила издателю, называла меня «величайшим в мировой истории преступником». Некоторые писатели, как, например, Эрнст Юнгер, поддержали фашистский листок. Другие, однако, возмутились. Киндлер доказал, что Торвальд повторил ложь Геббельса; и все же до сих пор реваншисты продолжают повторять: «Мемуары убийцы и насильника».

Повторяю — дело не во мне. Но среди пятидесяти миллионов

жертв второй мировой войны нет одной — фашизма. Он пережил май 1945 года, поболел, похандрил, но выжил.

В годы войны я повторял изо дня в день: мы должны прийти в Германию, чтобы уничтожить фашизм. Я боялся, что все жертвы, подвиг советского народа, отвага партизан Польши, Югославии, Франции, горе и гордость Лондона, печи Освенцима, реки крови — все это может остаться бенгальским огнем победы, эпизодом истории, если снова возьмет верх низкая, нечистая политика.

Я писал в 1944 году: «Французский писатель Жорж Бернанос, воинствующий католик, с негодованием отвергая попытки некоторых демократов заступиться за фашизм, пишет ц «Ля марсейез»: «До войны значительная часть общественного мнения в Англии, в Америке, во Франции оправдывала, поддерживала, восхваляла фашизм. Я повторяю — не только допускала фашизм, но ему способствовала в надежде, скажу глупой, контролировать эту чуму, использовать ее против своих соперников и конкурентов… Мюнхен не был просто глупостью. Мюнхен был подлой развязкой спекулянтской затеи…» К сожалению, и поныне имеются люди, которые хотят сохранить заразу «про запас», только несколько разбавив бульон, в котором разводятся чумные бактерии… Мы должны помнить: фашизм родился от жадности и тупости одних, от коварства и трусости других. Если человечество хочет покончить с кровавым кошмаром этих лет, то оно должно покончить с фашизмом. Если фашизм оставят где-нибудь на развод, то через десять или двадцать лет снова прольются реки крови… Фашизм — страшная раковая опухоль, ее нельзя лечить на минеральных водах, ее нужно удалить. Я не верю в доброе сердце людей, которые плачут над палачами, эти мнимые добряки готовят смерть миллионам невинных».

Я смотрю на старые газетные листы, и мне становится не по себе. Ведь все произошло именно так, как мне мерещилось. Оставили на развод фашистов. Оставили про запас кадры рейхсвера. Хотят дать германской армии ядерное оружие; поддерживают лихорадку реванша; продолжается то, что покойный Бернанос назвал «спекулянтской затеей», только на зеленом сукне уже не классические «бочки с порохом», не танки и бомбардировщики, а ракеты и водородные бомбы. Право же, совесть не может с этим помириться!

Я забежал на двадцать лет вперед. Нужно вернуться к первой военной зиме. Мы ехали по Варшавскому шоссе к Малоярославцу, вокруг которого еще шли бои; ехали мимо сожженных деревень. Кругом лежали; а порой стояли, прислонившись к дереву, убитые немцы. Была сильная стужа, солнце казалось розоватым замерзшим сгустком, снег синел. На морозе лица мертвых

румянились, мнились живыми. Офицер, который ехал со мной, восторженно восклицал: «Видите, сколько набили! Эти в Москву не придут…» И — не скрою — я тоже радовался.

Могут сказать: нехорошее, недоброе чувство. Да, конечно. Как и другим, ненависть мне далась нелегко, это ужасное чувство — оно вымораживает душу. Я это знал и в годы войны, когда писал: «Европа мечтала о стратосфере, теперь она должна жить как крот в бомбоубежищах и землянках. По воле Гитлера и присных настало затемнение века. Мы ненавидим немцев не только за то, что они низко и подло убивают наших детей, мы их ненавидим и за то, что мы должны их убивать, что из всех слов, которыми богат человек, у нас осталось «Убей!». Мы ненавидим немцев за то, что они обворовали жизнь». Я писал это в газетной статье, но мог бы написать в дневнике или в письме к близкому человеку. Молодые вряд ли поймут, что мы пережили. Годы всеобщего затемнения, годы ненависти, обкраденная, изуродованная жизнь…

4

Шли быстро, хотя снег был глубоким. Среди почерневших сугробов торчал указательный столб «Покровское»; а села не было — его сожгли немецкие факельщики. Может быть, красноармейцам казалось, что, прибавив шагу, они не дадут сжечь деревню, спасут людей. Ведь в Белоусове не только все избы уцелели, а немцы побросали, убегая, свои вещи, в Балабанове, застигнутые ночью врасплох, они повыскакивали из домов в кальсонах.

Усталые красноармейцы ожесточенно врезались заступами в промерзшую насквозь землю: вырывали трупы немецких солдат, погребенных на площади Малоярославца.

Немцы заботливо хоронили своих (пожалуй, это единственное, чему я у них завидовал). Я видел потом много кладбищ с выстроенными шеренгами березовыми крестами, с аккуратно выписанными именами. А в первый год войны они почему-то хоронили своих убитых на площадях русских городов. Может быть, так было легче, а может быть, хотели показать, что пришли надолго. Красноармейцев это возмущало. От недавнего благодушия мало что осталось — шла война даже с мертвыми.

Колхозники тоже были разъярены. А один старик мне сказал: «Я думал, что немец распустит колхоз, а он, паразит, корову у меня забрал, всю посуду опоганил — ноги мыл, мать его!.. Вчера четверо пришли: просятся в избу — замерзли. Бабы прибежали, забили насмерть…»

Стояли на редкость сильные морозы, а красноармейцы-сибиряки ругались: «Вот бы мороз настоящий, они бы мигом окочурились…» Один украинец рассказывал: «Как я увидел, что немец драпает, сердце у меня заиграло…»

Победа всем показалась неожиданной. Колхозницы признавались: «Вот уже не думали, что наши вернутся…» Солдаты курили найденные в брошенном штабе болгарские сигареты и мечтали: «До весны управимся…»

Генерал Голубев, усмехаясь, говорил: «Я две академии кончил. А эта — третья, посерьезнее». Он рассказывал, что побывал в окружении и вышел — в генеральской форме, но в лаптях. Говорили, что его армии сильно помогли рабочие Подольска: завод эвакуировали, а старики остались, продолжали изготовлять боеприпасы для минометов.

Все было для меня внове: песни, перцовка, обжигавшая нёбо, какая-то Машенька — не то связистка, не то жена командира, долгие разговоры о прошлом и будущем. У всех развязались

языки: ругали бюрократов; один офицер сердито говорил: «У нас прокурор чем хвастал? Количеством приговоров — перевыполнял норму»; другой задумчиво сказал: «Хороших людей губили…» И, однако, все понимали, что защищают не только свою хату, но и Советское государство, милое им, несмотря на обиды, на изъяны, понимали, что именно советские рабочие в Подольске помогли армии, что слова «наше дело правое» не один из очередных лозунгов, а сущая правда. Народ голосовал — без агитаторов и не бюллетенями кровью.

Во мне мешались два чувства: первая победа и мне вскружила голову, но я пытался себя урезонить немецкая армия еще очень сильна, война только начинается. Трудно, однако, было трезво размышлять: ведь немцы еще недавно заверяли, что рождество они встретят в Москве, и вот их гонят на запад!.. Да и вид пленных приободрял: замерзшие, с головами, замотанными в платки, в тряпье, перепуганные, хныкавшие, они напоминали наполеоновских солдат двенадцатого года, изображенных одним из передвижников, разумеется, с сосулькой под носом.

Взяли Медынь, начали говорить о Вязьме, даже о Смоленске. Всем хотелось верить, что наступил перелом. Верил и я (пророка из меня не вышло)… В день зимнего солнцеворота я писал: «Солнце — на лето, зима — на мороз, война — на победу…»

Да, еще в январе мне казалось, что наше наступление не остановится. 18 января я был у генерала Говорова. Он сразу мне понравился. В этой части книги мне придется не раз говорить о встречах с генералами. Как и писатели, да и как люди любой профессии, генералы были разными — новаторами или рутинерами, умными или ограниченными, скромными или чванливыми. Л. Л. Говоров был настоящим артиллеристом, то есть человеком точного расчета, ясной и трезвой мысли. Он рассказал мне, что учился в Петроградском политехническом институте кораблестроения; шла первая мировая война, и в 1917 году молоденького прапорщика отправили на фронт. Он очень любил Ленинград, и было в нем что-то от классического ленинградца — сдержанность, хорошо скрытая страсть. Он говорил, что в битве за Москву основную роль сыграла артиллерия: в его 5-й армии он не мог рассчитывать на пехоту — потери были большими, а пополнение задерживалось; развил целую теорию: при перенасыщенности в современной войне автоматическим оружием артиллерия не может ограничиться подавлением огневых точек, а должна участвовать во всех фазах битвы. Он не только говорил с увлечением, но и меня увлек. Хотя военное дело — скорее искусство, чем точная наука, оно зависит от техники, и самые передовые концепции быстро устаревают.

(Есть, впрочем, вид искусства, тоже зависящий от техники, — кинематограф; скульптура Акрополя нам кажется непревзойденной, а немые фильмы смотришь с усмешкой.) Леонид Александрович, конечно, не мог в 1942 году предвидеть эру ядерного оружия. Рассказываю я об этом теперь, только чтоб передать облик человека; в холодной избе возле Можайска я увидел не бравого вояку, а, скорее, математика или инженера, хорошего русского интеллигента. (Потом я иногда встречал Леонида Александровича на фронте, в Москве, в Ленинграде; помню вечер в мае 1945 года — мы говорили о красоте белых ночей, о поэзии, об игле Адмиралтейства.) При всей своей сдержанности, даже склонности к скепсису, Говоров, как и другие, был приподнят удачами, говорил: «Пожалуй, через недельку Можайск возьмем…» А Можайск взяли несколько часов спустя. Генерал Орлов не послушался своего начальника и ночью ворвался в город. Говоров смеялся: «Победителей не судят…»

Снова я увидел сожженные села — Семеновское, Бородино, взорванные дома. Солдаты торопились, но немецкие могилы в центре города не остались на месте. Крепчал мороз — минус тридцать пять, крепчала и злоба. Пожилая женщина пустыми глазами глядела на солдат, на снег, на белесое небо; ее муж был учителем математики, ему было шестьдесят два года. Он шел по улице и вынул из кармана носовой платок; его расстреляли за попытку сигнализировать русским. На стене я прочел приказы о «нормализации жизни», о том, что за содействие партизанам и за укрытие евреев жители города будут повешены. На следующий день я добрался до Бородина. Немцы, уходя, подожгли музей, и он еще горел. За два дня дивизия прошла около двадцати километров. Генерал Орлов шутил: «Скоро ко мне приедете…» (Он был из Белоруссии.) Ночью одни майор раздобыл водку, колбасы, и мы пировали. Майор, загибая большие заскорузлые пальцы, считал: «До Гжатска шестнадцать километров. Можем дойти в два дня…» Но до Гжатска оказалось четыреста тридцать дней — предстояло страшное лето 1942 года. Тогда мы об этом не знали.

(Я не был одинок в своих надеждах. В. С. Гроссман, бывший тогда корреспондентом «Красной звезды» на Юго-Западном фронте, писал мне: «Люди точно стали иными — живыми, инициативными, смелыми. Дороги усеяны сотнями немецких машин, брошенными пушками, тучи штабных бумаг и писем носит ветром по степи, всюду валяются трупы немцев. Это, конечно, еще не отступление наполеоновских войск, но симптомы возможности этого отступления чувствуются. Это чудо, прекрасное чудо! Население освобожденных деревень кипит

ненавистью к немцам. Я говорил с сотнями крестьян, стариков, старух, они готовы погибнуть сами, сжечь свои дома, лишь бы погибли немцы. Произошел огромный перелом народ словно вдруг проснулся… Конечно, это не конец, это начало конца. Хочу думать, что так. И есть много оснований так думать». Василий Семенович обычно был очень осторожен в выводах, но и он не предвидел последующих испытаний.)

А. С. Щербаков с насмешкой мне сказал: «А вы критиковали нашу печать, говорили, что москвичи нервничают. Золотой народ!» Москва действительно теряла свой облик прифронтового города. Правда, ночью патрули останавливали на каждых ста шагах, приходилось держать пропуск в рукавице; но «ежи» с улиц убрали; прохожих стало больше. Открылась даже выставка пейзажей; в помещении было холодно, и люди любовались живописью в шинелях или тулупах…

Люди вспоминали о своих должностях, да и о своих привычках. Редактор «Известий» позвонил мне ночью: «Вы написали, что Риббентроп разъезжал по столицам и его повсюду принимали как джентльмена. Это можно понять как намек — он ведь и к нам приезжал. Переделайте…» Ночью в «Правде» я присутствовал при длительном разговоре о стихотворении Симонова «Жди меня»; редактор и еще один ответственный товарищ хотели изменить слова «желтые дожди»: дождь не может быть желтым. Мне из всего стихотворения понравились именно «желтые дожди», я их отстаивал, как мог, ссылался и на глинистую почву, и на Маяковского. Под утро редактор решил рискнуть, и дожди остались желтыми. В «Красной звезде» как-то ночью начался переполох: «Увлеклись войной, а про даты забыли! Завтра пятая годовщина смерти Орджоникидзе…»

В Клубе писателей было очень холодно, но туда приходили пить водку, закусывали солеными грибами. Многие писатели были в военной форме — от фронта до Москвы можно было доехать за три-четыре часа. Помню там Петрова, Симонова, Светлова, Алигер, Гехта, Габриловича, Катаева, Фадеева, Лидина, Суркова, Ставского, Славина. Однажды членов президиума угостили солониной; потом началось заседание. В некоторых речах уже сказался новый стиль, который пышно расцвел шесть-семь лет спустя. Л. Н. Сейфуллина не выдержала: «Мой отец был обрусевшим татарином, мать русской, всегда я себя чувствовала русской, но, когда я слышу такие слова, мне хочется сказать, что я татарка…» Когда мы уходили, я обнял Лидию Николаевну.

В жизни много случайного, чуть ли не каждый день в течение долгих лет встречаешь людей далеких, да и немилых, а тех, к кому тянешься, видишь очень редко. С Л. Н. Сейфуллиной мне

привелось побеседовать по-настоящему три или четыре раза, а была она мне мила своей редкостной честностью. Я помню ее молодой — в Москве, в Париже. Маленькая, огромные глаза, чуть насмешливая улыбка — было в ней большое обаяние.

В двадцатые годы книги Сейфуллиной сыграли крупную роль становлении советской литературы. Меня они привлекали искренностью — никогда Лидия Николаевна не знала того, что в писательской среде называли «двойной бухгалтерией». Пуще всего она боялась лжи. Ее любили люди, непохожие друг на друга, — Маяковский, Бабель, Фурманов, Есенин, Светлов, Лидин. Оглядываясь назад, я убеждаюсь, что никакие литературные школы или направления не могут породить длительной дружбы. Лидия Николаевна была чрезвычайно скромной, она вскоре была оттиснута, ее не замечали, точнее, старались не заметить. Правдивость — это не литературное направление, и совестливость не художественный метод. Сейфуллина была всего на два года старше меня, и я поверил в правдивость ее ранних книг, ко в то времена они были мне далеки. А к Лидии Николаевне я сохранил до копна любовь за ее душевные качества.

В последний раз я встретил ее в Союзе писателей возле вешалки; разговор был коротким, и все же, как и при былых встречах, мы оба обрадовались. Она хворала, с трудом ходила, но в душе оставалась той же. Умерла она в апреле 1954 года, и, проживи еще полгода, она узнала бы о реабилитации своего друга И. Э. Бабеля… А в моей памяти она осталась порой шутливая, даже озорная, порой возмущенная, с той обостренной совестью, которую мы, вспоминая литературу прошлого века, называем «русской».)

В один из вечеров ко мне пришел поэт Долматовский. Он попал в окружение, видел зверства немцев и говорил: «Мне кажется, что я покойник или что прежней жизни не было…» Ему удалось бежать. Он прочитал мне стихи о воде: как он мечтал, когда не давали нить, о глотке воды. Рассказывал, как добрался до нашей части; его сердечно встретили, а потом отвели в штаб и долго допрашивали. Нужно было доказать, что он это он, а окружение это окружение. Он просидел у меня до четырех часов утра. Я заснул и сразу проснулся от собственного крика: мне приснилось, что меня допрашивают и я не могу доказать, что я это я; а кто меня допрашивал — не помню.

Из Ленинграда приехал исхудавший Тихонов. Он часами рассказывал о всех ужасах блокады, не мог остановиться, говорил о героизме людей, о дистрофии, о том, как съели всех собак, как в морозных, нетопленых квартирах лежат умершие — у живых нет сил их вынести, похоронить.

Я познакомился с Маргаритой Алигер. Она мне прочитала печальные стихи — пламя свечи, голубая и розовая Калуга… У нее на фронте погиб муж. Она походила на маленькую птичку, и голос у нее был тонкий, но я в ней почувствовал большую внутреннюю силу. (С той поры прошло почти четверть века, и многие из тех, с которыми я встречался

в трудные годы войны, выпали из моего зрения — одним слишком хотелось мнимой славы, другие преждевременно состарились и превратились в чтимые многими окаменелости былой эпохи. А с Маргаритой (Иосифовной я подружился. Помню обед на правительственной даче в 1957 году, когда ее незаслуженно поносили, ее голос был еле слышен, как голос маленькой пичуги среди урагана, но она стойко отвечала. Бог ты мой, насколько это важнее, чем все славословия и даже чем поэтические вечера в Лужниках, — сохранить свое достоинство, не дать ветру задуть крохотный светильник!)

В начале февраля приехали из Куйбышева Люба и Ирина. Ортенберг подписал приказ о Лапине и Хацревине — «пропали без вести». Ирина держалась мужественно, только глаза ее выдавали — я иногда отворачивался.

Казалось, все должны погибнуть от бомбы или от снаряда и что естественная смерть неестественна. А в конце декабря умер художник Лисицкий. В марте я узнал о смерти Хосе Диаса.

Жизнь продолжалась. Стало плохо с продовольствием; все начали говорить о пайках, талонах. В январе в гостинице «Москва» еще можно было получить еду; как-то мы обедали с Лидиным, и он сказал: «Мы еще эту печенку вспомним»; действительно, через месяц все изменилось. Я получал в ЦДРИ один обед, его ели почти всегда трое, а то и четверо.

В Москву вернулись из Куйбышева иностранные корреспонденты. Некоторые ко мне приходили — Шапиро, Хендлер, Шампенуа, Верт. Все они жаждали новостей, рвались на фронт, обижались, ворчали. Я продолжал писать статьи для заграничной печати для Юнайтед Пресс, для «Марсейез», для английских и шведских газет.

Почти каждый день мне приходилось выступать — то в госпиталях для раненых, то на аэродромах, то у зенитчиков или у аэростатчикон. Я видел много горя и много мужества. Народ как-то сразу вырос, люди сражались, трудились, умирали с сознанием, что гибнут не зря: тростник мыслил.

Было и другое. Лидин с первого месяца войны был на фронте, много писал в газетах, и вот одна статья («Враг») кого-то рассердила. Я ее перечитал несколько раз, но так и не понял, что в ней предосудительного. Владимир Германович ходил к

редактору «Известий», писал Щербакову, но ничего не добился; его перестали печатать. Рассердились и на Е. Петрова за невиннейшую статью «Трофейная овчарка». К. А. Уманский говорил: «Скучно! Немцы в Гжатске. Идет переброска дивизий из Франции. Мне поручили написать поту о зверствах. А тут открывают второй фронт — наступление на Женю Петрова…»

Но бог с ними с начетчиками, поре страховщиками и помпадурами, — в годы войны у нас была другая забота, и мы о них старались не думать. Каждый день я получал десятки писем с фронта, из тыла от читателей. Мне хочется привести здесь письма от женщин — о наших женщинах в годы войны мало написано, а они воистину строили победу. Вот письмо от колхозницы Калининской области: «От Семеновой Елизаветы Ивановны. Обида на сурового врага. Когда появился к нам в Козицино враг, у меня, у Семеновой, первой взяли корову. Потом у меня взяли гусей. Я стала не давать, дали мне по щеке. И затопотал он на месте: «Уйди!» Дети увидели, что дали мне по щеке, и закричали: «Уйди! Пускай враг жрет». На другой день ко мне пришли, брали последнюю овцу. Я стала плакать, не давать. Германский тогда затопотал ногами и закричал: «Уйди, матка!» Когда я обернулась назад, он выстрелил. Я от ужаса упала в снег. А последнюю овцу все-таки взял. Когда они от нас отступали, сожгли мой хутор, сожгли все мое крестьянское имущество, и осталась я без средствий с троими детьми в чужой постройке. Два сына в Красной Армии. Круглов Алексей Егорыч, Круглое Георгий Егорыч. Сыновья мои, если вы живы, бейте врага без пощады! А мы будем вам помогать, чем только можем».

Вот отрывки из письма сибирской крестьянки, которое мне переслал красноармеец Дедов: «Здравствуй, любимый братец Митроша! Шлю тебе чистосердечный привет и желаю всего хорошего в ваших победах над злейшим врагом. Первым долгом и хочу сообщить о том, что Филя героически погиб в борьбе с немецкими фашистами… Когда пришло извещение о том, что он погиб, папу вызвали в милицию. Когда он пришел домой, он сильно заплакал. Мама спрашивает: «О чем плачешь?» Он не говорит, но когда сказал, что Филю убили, то мама сразу обмерла. Мы очень плакали целые два дня. Теперь мы его не увидим и не услышим голоса. Он нас веселил, все писал: «Пана, мама, о сыне не беспокойтесь, я живу прекрасно, и здоровье мое хорошее…» Митроша, деньги от тебя получили, очень большое спасибо. Но за Филю, Митроша, отомсти немцам, за своего братца. Будь героем!.. Митроша, очень нам сейчас скучновато, пропиши, где ты сейчас находишься… Мы недавно получили письма от Тани и Наташи, пишут, что живут пока ничего. Наташа

бригадиром в колхозе. Но теперь напишу о своей жизни. Живем сейчас плохо, хлеба нет, есть совершенно нечего. Из колхоза дадут 9 кгр. на 7 человек на 5 дней. На нашу семью на один день, а остальные живи как хочешь. Но все ничего. Все переживем. У нас сейчас берут девушек на фронт. Митроша, я бы с удовольствием пошла, отомстила бы за своего любимого братца, он погиб за счастье народа…»

Вот отрывки из письма О. Хитровой: «Часто слышишь, что теперь война и поэтому скоро и нам конец и поэтому не стоит делать хорошо. А разве это верно? По-моему, как раз наоборот. Раз война, то надо делать все еще лучше. А если уж раньше смерти умрешь, то победы не увидишь… Я работаю на дорожных работах. Спрашиваем прораба, какие задания, а он не говорит, вообще на все смотрит спустя рукава. А зачем это? Ведь от такого подхода никакое дело не выйдет. Я в начале войны тоже было поддалась такому настроению, услышу плохую сводку в утра — и весь день все из рук валится. А теперь душой скрепилась, Услышу сводку — плохо, а я себе говорю — назло убирать буду, и шить буду, и штаны красноармейцу постираю, да и заштопаю. Не хочу умирать раньше смерти! Если у нас где-нибудь шпион, пусть увидит, что мы боимся…»

Вот отрывки из письма руководителя кафедры западной литературы Киевского университета, эвакуированной в село Котельниково, Эдды Халифман: «…Затем наступил день, когда надо было оставить дом. Каждый член моей семьи имел рюкзак, только я «по негожести», как говорят в Котельникояе, была от него освобождена. Перед самым уходом я снова вошла в свою комнату, сожгла фотографии близких, письма, подошла к книжным полкам, ваяла в руки свои работы — вот лексикология французского языка, работала над ней год, вот история французского литературного языка XIX века — два года, небольшой спецкурс введения в романское языкознание — четыре года работы, поглядела, полистала и положила снова на полку. Ушла с пустыми руками. Мы оставили позади Киев, вы знаете, что это значит… Где-то в пути мы повстречали эшелон с земляками, среди них был вагон с детьми и работниками испанского детдома. Некоторые из работников преподавали у нас на факультете, а дети приходили к нам на елку. Восьмилетний Октавио объяснял моей трехлетней племяннице Наташе, что скоро наши летчики прогонят фашистов и тогда Наташа вернется в Киев, а он уедет в Бильбао. Привезли нас в Котельниково. Там Наташа увидела верблюдов не в зоо, а в степи. Много было страшного. Потеряла здесь отца. Пришли известии с фронта о гибели близких. Временами мне казалось, что сердце не

выдержит. Выдерживает. Оказалось, что если горе, страдания сочетаются с жгучей ненавистью, то становишься крепким, хочешь, как шутливо говорят мои друзья фронтовики, «выдержать рентгеновское просвечивание войной»… Нелегко приходится — новая среда, новое окружение требуют новых норм поведения. Как ни странно, оказалось сложным переключиться с университетской работы на работу секретаря поселкового Совета. Здесь все проще, обнаженнее, и в этом сложность обстановки… Чтобы вы держать просвечивание, чтобы после войны честно смотреть в глаза товарищам, приходится мобилизовать все свои внутренние ресурсы…»

Я и теперь разволновался, перечитав груду писем, тогда они меня поддерживали. Я тоже знал, что нужно выдержать «рентгеновское просвечивание войной»…

Жил я в гостинице «Москва» (моя квартира была повреждена при бомбежке), жил как в раю, или, вернее, как в «Княжьем дворе» в 1920 году, — тепло, светло. Воспользовавшись передышкой на фронте, я в феврале дописал последние главы «Падения Парижа»- Каждый день я встречал друзей, которые жили в гостинице, Петрова, Сурица, Уманского. Иногда мы заговаривали о будущем. Петров, как всегда, был оптимистом, считал, что весной союзники откроют второй фронт, немцев разобьют, а после победы у нас многое переменится. Суриц сердился: «Люди не так легко меняются, — и, понизив голос, добавлял:- Он тоже не изменился…» Уманский говорил, что союзники начнут воевать, когда немцы истощатся в боях с нами, а насчет послевоенных перспектив молчал или нехотя говорил: «Лучше ждать худшего»…

К концу января стало ясно, что наше наступление приостановлено. 23 января я поехал с Павленко в штаб Западного фронта. Командующий генерал Г. К. Жуков рассказал нам, как протекало наступление; битва за Москву закончена; может быть, на некоторых участках удастся несколько продвинуться вперед, но немцы укрепились и до весны, видимо, война будет носить позиционный характер. Потом неожиданно для меня генерал заговорил о роли Сталина, говорил он без привычных трафаретов — «гениального стратега» не было, да и в тоне не чувствовалось обожания; поэтому его слова на меня подействовали. Он повторял: «У этого человека железные нервы!..» Рассказывал, что много раз говорил Сталину: необходимо попытаться отбросить противника, иначе немцы прорвутся в Москву; дважды в день разговаривал по прямому проводу. Сталин неизменно отвечал: нужно подождать — через трн дня прибудет такая-то дивизия, через пять дней пододвинут противотанковые орудия. (У Сталина была записная книжка, и там значились части и техника, которые

перебрасывали к Москве.) Только когда Жуков сказал, что немцы устанавливают тяжелую артиллерию и собираются обстрелять Москву, Сталин разрешил начать операцию. Вернувшись в Москву, я записал рассказ Жукова.

Я не военный специалист, да и нет у меня данных, чтобы судить о стратегическом даре Сталина. Еще семь-восемь лет тому назад наши историки приписывали победу над Германией прежде всего его «гениальности». Большая советская энциклопедия в статье о Великой Отечественной войне дает цветную репродукцию плохой картины, изображающей Сталина над военными картами; в хронологии событий, где приведены почти шестьсот важнейших, сто относятся не к военным операциям, а к выступлениям Сталина, награждениям его различными орденами, его приветствиям и приемам. Что касается военных операций, то, судя по той же энциклопедии, в 1944 году противнику были нанесены «десять сталинских ударов». Приложена фотография: «Телеграфный аппарат, по которому И. В. Сталин вел переговоры с фронтом». Аппарат я себе представляю, а вот что говорил Сталин по ВЧ различным командующим, я не знаю. Конечно, при жизни Сталина его роль, в победе над Германией непомерно преувеличивалась. Но рассказ командующего Западным фронтом звучит правдоподобно. Мы все знаем, что Сталин остался в Москве, выступил 7 ноября, сказал, что врага остановят.

Успехи нашей армии под Москвой подняли за границей авторитет Сталина. А наши солдаты в него свято верили. На стенах берлинских развалин я видел его портреты, вырезанные из газет или из «Огонька». Снова припомню слова Твардовского: «Тут ни убавить, ни прибавить…»

Говорят, что нужно уметь умереть вовремя. Кто знает, умри Сталин в 1945 году, может быть, война заслонила бы многое; люди надолго сохранили бы иллюзии, что миллионы невинных погибли от Ягоды, Ежова, Берии, и в памяти участников войны остался бы образ Сталина в солдатской шинели — трудные дни битвы за Москву. Пушкин говорил, что возвышающий обман дороже «тьмы низких истин». Однако бывают обманы, которые принижают человека, и я часто благодарю судьбу за то, что дожил до наших дней и услышал жестокую правду.)

В декабре 1941 Гитлер утверждал, что немцы отошли от Москвы по доброй воле, желая перезимовать на более удобных позициях, что если и вышла заминка, то виноваты в этом редкостные морозы, что летом наступление возобновится. Последнее оказалось правдой, но в слова о добровольном «сокращении линии фронта» не поверили даже самые наивные немцы. Под Москвой фашистской Германии был нанесен тяжелый

удар, не столько ее боеспособности, сколько ее престижу. Конечно, вместе со многими я преувеличивал масштабы наших успехов, и очень скоро мне пришлось увидеть свою ошибку: наступило страшное лето 1942 года, когда немцы в течение двух-трех месяцев дошли до Волги, до Северного Кавказа. Однако битва под Москвой не была военным эпизодом, она многое предрешила.

Никто не упрекнет немецких солдат в отсутствии храбрости; техника у рейхсвера была высокая, командный состав обладал военными знаниями, опытом. Все это бесспорно, но в зиму 1941–1942 года обозначилась слабая сторона фашистской армии она оказалась пригодной только для наступлении, она вдохновлялась сознанием своего превосходства, и стоило солдатам Гитлера натолкнуться на подлинное сопротивление, как они душевно дрогнули. Битва под Москвой была для Германии первой примеркой разгрома.

5

Я сейчас задумался над этой книгой; я пишу предпоследнюю часть, приближаюсь, следовательно, к концу. Читатель может спросить, почему пережитые мною годы часто выглядит черными, а люди, с которыми я встречался, описаны любовно, показаны их хорошие стороны. Конечно, я встречался и с доносчиками, корыстными перебежчиками, карьеристами, но и с ними не дружил не потому, что был особенно зорким, просто судьба смилостивилась. Были и у меня разочарования, порой и если и не дружил, то водился с людьми, которые потом оказывались мелкими, бессердечными, но я предпочитаю, вспоминая многое, рассказывать не о них, а об обстоятельствах, вызывавших душевное принижение многих, не хочу сулить, тем паче что не убежден в своем беспристрастии.

Все же я дошел в воспоминаниях до короткой встречи с человеком, который причинил людям много зла, и не могу эту главу опустить.

Пятого марта 1942 года я поехал на фронт по Волоколамскому шоссе. Впервые я увидел развалины Истры, Ново-Иерусалимского монастыря: все было сожжено или взорвано немцами. Вот уже двенадцать лет, как я живу возле Нового Иерусалима. Истра отстроилась, но порой, проезжая мимо новых домов, парка, памятника Чехову, вижу снег и черноту далекого морозного дня, пустоту, смерть.

Я проехал через Волоколамск. Возле Лудиной горы в избе помещался КП генерала А. А. Власова. Он меня изумил прежде всего ростом — метр девяносто, потом манерой разговаривать с бойцами — говорил он образно, порой нарочито грубо и вместо с тем сердечно. У меня было двойное чувство: я любовался и меня в то же время коробило — было что-то актерское в оборотах речи, интонациях, жестах. Вечером, когда Власов начал длинную беседу со мной, я понял истоки его поведения: часа два он говорил о Суворове, и в моей записной книжке среди другого я отметил: «Говорит о Суворове как о человеке, с которым прожил годы».

На следующий день солдаты говорили со мною о генерале, хвалили его «простой», «храбрый», «ранили старшину, он его закутал в свою бурку», «ругаться мастер»…

Война была в то время позиционной. Шли бесконечные бои за Безымянную высоту, за деревню Петушки. От деревни давно ничего не решалось. Атаковали холмик, брали, потом отдавали. Когда я сидел с Власовым в блиндаже, немцы открыли шквальный огонь. Он рассказывал о больших потерях обеих сторон.

Потом я увидел расщепленный лес, он казался мертвым. Снег был еще белым, даже голубоватым, но на солнце млел и чуть поникал. Час спустя все загудело. Наши пошли в атаку. Танки очистили от немцев ложбинку.

Мм прошли в блиндаж; видимо, там жили немецкие офицеры: стояли две никелированные кровати, валялись иллюстрированные еженедельники с портретами Гитлера и киноактрис. Боец нашел банку голландского какао. Санитары выносили раненых. Власов говорил: «А до Петушков не дошли… Треклятые Петушки!.. Впрочем, так нужно — прогрызаем их оборону…»

Мы поехали назад. Машина забуксовала. Стоял сильный мороз. На КП девушка, которую звали Марусей, развела уют: стол был покрыт скатеркой, горела лампа с зеленым абажуром и водка была в графинчике. Мне приготовили постель. До трех часов утра мы проговорили; вернее, говорил Власов — рассказывал, рассуждал. Кое-что из его рассказов я записал. Он был под Киевом, попал в окружение; на беду, простудился, не мог идти, солдаты его вынесли на руках. Он говорил, что после этого на него косились. «Но тут позвонил товарищ Сталин, спросил, как мое здоровье, и сразу все переменилось». Несколько раз в разговоре он возвращался к Сталину. «Товарищ Сталин мне доверил армию. Мы ведь пришли сюда от Красной Поляны — начали чуть ли не с последних домов Москвы, шестьдесят километров отмахали без остановки. Товарищ Сталин меня вызвал, благодарил»… Многое он критиковал: «Воспитывали плохо. Я спрашиваю красноармейца, кто командует его батальоном, он отвечает «рыженький», даже фамилии не знает. Не воспитали уважения. Вот Суворов умел себя поставить…» Желая что-либо похвалить, повторял: «Культурно, хорошо». Рассказывая о повешенной немцами девушке, выругался: «Мы до них доберемся…» Вскоре после этого сказал: «У них есть чему поучиться. Видали в блиндаже кровати? Из города вытащили. Культура. У них каждый солдат уважает своего командира, не ответит «рыженький»…» Говоря о военных операциях, добавлял: «Я солдатам говорю, не хочу вас жалеть, хочу вас сберечь. Это они понимают…»

Среди ночи он разнервничался: немцы осветили небо ракетами. «На самолетах пополнение подбрасывают. Завтра, наверно, возьмут назад ложбинку…» Часто он вставлял в рассуждения поговорки, прибаутки, были такие, каких я раньше не знал; одну запомнил: «У всякого Федорки свои отговорки». Еще он говорил, что главное — верность; он об этом думал в окружении. «Выстоим — верность поддержит…»

Рано утром Власова вызвали по ВЧ. Он вернулся взволнованный: «Товарищ Сталин оказал мне большое доверие…» Власов получил новое назначение. Мгновенно вынесли его вещи. Изба опустела. Сборами командовала Маруся в ватнике. Власов взял меня в свою машину — поехал на передний край проститься с бойцами. Там под минометным огнем мы с ним расстались. Он уехал в Москву, а меня удержали военные: «Пообедаем…» В Москву я вернулся ночью. Надрывались зенитки. А я думал о Власове. Мне он показался интересным человеком, честолюбивым, но смелым; тронули его слова о верности. В статье, посвященной боям за Безымянную высоту, я коротко описал командующего армией.

Полковник Карпов мне сказал, что Власову поручили командование 2-й ударной армией, которая попытается прорвать блокаду Ленинграда, и я подумал: что ж, выбор неплохой…

Четыре месяца спустя, а именно 16 июля, немцы сообщили, что взяли в плен крупного советского командира; он прятался в избе, был одет как солдат, но, увидев немцев, закричал, что он генерал, и, приведенный в штаб, доказал, что действительно является командующим Особой армией генералом Власовым.

Потом один советский офицер, выбравшийся из окружения, рассказал мне, что Власов был легко ранен в ногу, он шел по обочине, опираясь на палку, и ругался.

Прошел еще месяц, и немцы передали, что генерал Власов образовывает из военнопленных армию, которая будет сражаться «на стороне Германии — за установление в России нового порядка и национал-социалистического строя».

Мне принесли листовку, подобранную на фронте, она у меня сохранилась. В ней идет речь обо мне: «Жидовская собака Эренбург кипятится», подписана листовка «Власовцы». Я вспомнил, как рослый генерал в бурке полгода назад при прощании меня трижды поцеловал, И выругался (правда, не цветисто — я не Власов).

Конечно, чужая душа потемки; все же я осмелюсь изложить мои догадки. Власов не Брут и не князь Курбский, мне кажется, все было гораздо проще. Власов хотел выполнить порученное ему задание; он знал, что его снова поздравит Сталин, он получит еще один орден, возвысится, поразит всех своим искусством перебивать цитаты из Маркса суворовскими прибаутками. Вышло иначе: немцы были сильнее, армия снова попала в окружение. Власов, желая спастись, переоделся. Увидев немцев, он испугался: простого солдата могли прикончить на месте. Оказавшись в плену, он начал думать, что ему делать. Он знал хорошо политграмоту, восхищался Сталиным, но убеждений у него не

было — было честолюбие. Он понимал, что его военная карьера кончена. Если победит Советский Союз, его посадят, в лучшем случае разжалуют. Значит, остается одно: принять предложение немцев и сделать всё, чтобы победила Германия. Тогда он будет главнокомандующим или военным министром обкорнанной России под покровительством победившего Гитлера. Разумеется, Власов никогда никому так не говорил, он заявлял по радио, что давно возненавидел советский строй, что он жаждет «освободить Россию от большевиков», но ведь он сам привел мне пословицу: «У всякого Федорки свои отговорки»…

Власову удалось набрать из военнопленных несколько дивизий. Одни пошли измученные голодом, другие потому, что боялись своих. В боях власовцы оказались нестойкими, и немцы ими пользовались главным образом для подавления партизанского движения. Когда после войны я приехал во Францию, жители Лимузена рассказывали о жестоких расправах власовцев с населением. Плохие люди есть повсюду, это не зависит ни от политического строя, ни от воспитания.

В июле 1942 года, когда Власов решил служить врагам своей родины, три пулеметчика и санитарка Вера Степановна Бадина защищали бугорок возле хутора Большой Должик. Их окружил батальон, они отстреливались. Немцы открыли артиллерийский огонь. Снаряд убил двух пулеметчиков, третий и санитарка были тяжело ранены. Немцы сразу пристрелили пулеметчика Напивакова, а девушке, обливавшейся кровью, грозили пистолетом — хотели, чтоб она попросила пощады. Вера Бадина действительно попросила у немецкого офицера, но не пощады, а револьвер, чтобы застрелиться. Ей было двадцать девять лет.

А в тот самый день, когда мне принесли листовку власовцев, я получил письмо с припиской: «Найдено у сержанта Мальцева Якова Ильича, убитого под Сталинградом». Вот что писал Мальцев: «Дорогой Илья Григорьевич! Убедительно прошу вас обработать мое корявое послание и напечатать в газете — Старшина Лычкин Иван Георгиевич жив. Его хотели представить к высокой награде, но батальон, в котором мы находились, погиб. Завтра или послезавтра я иду в бой. Может быть, придется погибнуть. В последние минуты до боли в душе хочется, чтобы народ узнал о геройском подвиге старшины Лычкина». Сержант рассказывал, как в августе 1941 года батальон попал в окружение; несколько человек струсили, убежали к немцам, других убили; живых осталось трое, и Лычкин их вывел из окружения, подбил немецкий танк, взял в плен двух немцев. Я тогда выполнил посмертную волю Мальцева. Идя в бой и, видимо, понимая, что его ждет смерть, он в последнюю ночь думал не о себе, а о своем

боевом друге.

Я сейчас говорю не о фашизме, а о людях.

Можно ли ответить на вопрос: что такое человек, на что он способен? Да на все, решительно на все. Может низко пасть, как пал Власов, может и подняться так высоко, что об этом не расскажешь. Я часто думаю о том, как различны люди, выросшие на одной земле, ходившие в те же школы, повторявшие те же слова. Именно поэтому я решил рассказать о Власове. (Все о нем давно позабыли, даже его подручные, вовремя убежавшие в американскую зону оккупации. Они ведь теперь прославляют не национал-социализм, а «свободный мир», им неудобно вспоминать о том, что они были власовцами.)

Птицы летают, рептилии ползают. А человек не только всеядное существо, он воистину всесущ — он и парит высоко, и умеет пресмыкаться; это известно всем, а привыкнуть к этому нельзя, это всякий раз поражает не только ребенка, но и старого человека, казалось бы давно потерявшего дар удивления.

6

Передо мной маленькая фотография: редакция «Красной звезды» ночью. Я принес очередную статью, за столом капитан Копылев, рядом стоит Моран; лампа освещает газетную полосу.

Я проработал в «Красной звезде» с первых дней войны до апреля 1945-го — с ней связаны годы моей жизни. В течение долгого времени эта газета полнее и ярче других освещала фронтовые дела. Помшо, как содой от ныли, измученный солдат (та пехота, что шагает) упрямо повторял: «Нет, ты мне дай «Звездочку»…» У меня сохранилось письмо от женщины из Томска: «Я вас очень прошу, дайте мне возможность хотя бы иногда читать «Красную звезду». Я знаю, что не имею на это никакого права, но у меня три сына на фронте, четвертый погиб в первые дни…» В октябре 1941 года в Куйбышеве произошла драка между двумя американскими журналистами из-за свежего номера «Красной звезды». Конечно, вполне естественно, что в годы войны газета армии привлекает к себе внимание, но успех «Красной звезды» создали люди.

В 1941–1943 годы газету редактировал Д. И. Ортенберг-Вадимов. Он был талантливым газетчиком, хотя, насколько я помню, сам ничего не писал. Он не щадил ни себя, ни других. Я был с ним под Брянском. В полевом госпитале лежал раненый корреспондент газеты Р. Д. Моран. Мы пошли его проведать. Ортенберг спросил: «Как вас ранило?» Моран ответил: «Миномет…» Ортенберг удовлетворенно улыбнулся: «Молодец!» О том, что он не боялся ни бомб, ни пулеметного огня, не стоит говорить — он был человеком достаточно обстрелянным. Но и на редакторском посту он показал себя смелым. В сороковые годы на газетном жаргоне существовало выражение «ловить блох»: после того, как все статьи были выправлены и одобрены, редактор тщательно перечитывал полосу, выискивая слово, а то и запятую, которые могут кому-нибудь наверху не понравиться. Так вот генерал Вадимов если и «ловил блох», то без лупы; часто пропускал то, что зарезал бы другой. Конечно, я знал, что, когда он говорил «переписать на хорошей бумаге», эти означало, что он сомневается, хочет послать статью Сталину, но это приключалось не часто. Однажды Ортенберг получил военный очерк от Авлеенко, который незадолго до войны но приказу Сталина был исключен из Союза писателей. Ортенберг послал Сталину очерк с сопроводительным письмом — писал, что Авлеенко «боевыми действиями искупил свою вину». Очерк был напечатан. Раза два или три мои статьи переписывались на хорошей бумаге.

Пожаловаться на Ортенберга я не могу; порой он на меня сердился и все же статью печатал. Однажды он вызвал Морана (наиболее эрудированного сотрудника газеты) проверить, действительно ли существовали эринии; пожалуй, он был прав — фронтовики не обязаны были знать греческую мифологию, он протестовал также против «рептилий», против ссылки на Тютчева, протестовал и, однако, печатал. Копылев мне недавно рассказал, что, случайно узнав, что мы с Любой получаем один тощий обед из ЦДРИ, доложил об этом редактору. Генерал Вадимов сначала не поверил, потом рассвирепел и отправился ни более ни менее как к начальнику тыла Красной Армии генерал-лейтенанту Хрулеву с просьбой зачислить меня на военное довольствие. Из всех сотрудников газеты Ортенберг больше всего любил Симонова: вероятно, киплинговские нотки, которые проскальзывали в очерках и стихах молодого Симонова, отвечали его наклонностям.

В конце июли 1943 года я вернулся в Москву из-под Орла. Генерал Вадимов меня расспрашивал о положении на фронте; сказал, что только что получено сообщение об отставке Муссолини. Я заметил, что он нервничает. Часа два спустя я пошел к нему с написанной статьей. Кабинет был пуст. Копылев объяснил: «Умчался… Сейчас звонил, спрашивал, все ли в порядке, В общем, его сняли. Щербаков его не выносит…»

Вадимов вскоре уехал на фронт, в армию генерала Москаленко. Я послал ему сборник своих статей; он написал в ответ: «Вы, вероятно, и сами не предполагаете, какое огромное значение имеет крепкая дружеская рука, протянутая в дни жестоких бурь!»

Недели две спустя я увидел в редакции спокойного, очень вежливого генерала — это был Н. Л. Таленский, новый редактор «Красной звезды». Я с ним проработал год, и ни разу у нас не было столкновений. Когда он ушел, я хлебнул горя, к счастью, это было незадолго до конца войны. А с генералом Таленским я ездил в 1962 году в Брюссель на совещание «Круглого стола», посвященное разоружению, и снова подумал, как легко работать с этим человеком.

Когда выпадал свободный час, я разговаривал с Мораном о поэзии. Не знаю, как он попал в военную газету. Любил он поэзию и теперь переводит стихи, да и пишет свои, а тогда частенько писал передовицы — Вадимов шагал, чуть прихрамывая, по кабинету и объяснял, что именно Моран должен написать. Моран был милым и чрезвычайно скромным. Когда кончилась война, он пошел работать в «Известия», его арестовали как «космополита», и я снова его увидел только в 1955 году.

Работал в редакции М. Р. Галактионов, человек с военным образованием, почему-то впавший в немилость и не имевший военного звания. С ним обращались как с мальчишкой, хотя он был моим сверстником, покрикивали на него. И неожиданно все переменилось, кто-то наверху вспомнил, что был такой Галактионов, и я увидел Михаила Романовича в генеральском мундире. С ним начали разговаривать учтиво. А он по-прежнему тихо, аккуратно выполнял свою работу. В 1946 году я поехал с ним в Америку, и о нем, о его судьбе напишу в последней части этой книги.

Ортенберг сумел прикрепить к газете хороших писателей. В. Гроссман просидел в Сталинграде самые трудные месяцы, там он написал очерки «Направление главного удара» и «Глазами Чехова», которые мне кажутся до сих пор замечательными. Мне запомнились очерки Симонова о Северном фронте. Г. Петров в начале войны писал для «Известий», но последние, севастопольские очерки появились в «Красной звезде». Среди военных корреспондентов газеты были и другие писатели — Павленко, Сурков, Габрилович. Полковник Карпов умел уговорить А. Н. Толстого сесть и сразу написать статью. Что касается меня, то я часто выполнял обычную редакционную работу — составлял информационные заметки, переводил сообщения из иностранных газет — словом, делал, что мог.

Мне хочется припомнить военных корреспондентов газеты. Их работа была тяжелой и неблагодарной: приходилось писать наспех, между двумя бомбежками, часто при свете коптилки, потом «проталкивать» статью, то есть умолять связистов передать ее по проводу, разыскивать оказию, информация порой устаревала, и Вадимов или Карпов швыряли телеграмму в корзину.

Корнейчук в пьесе «Фронт» вывел противного журналиста Крикуна. (На беду, в редакции одной из фронтовых газет оказался журналист с фамилией Крикун. Он мне говорил, что над ним все начали смеяться.) Конечно, попадались среди военных корреспондентов люди, похожие на героя комедии, но не так уж часто. Меня скорее поражала скромность большинства военных корреспондентов. Случайно у меня сохранилось письмо С. Борзенко. «Одновременно с этой запиской я послал в редакцию «Красной звезды» очерк о последнем бое нашей гвардейской дивизии. Я участвовал в этом бою и старался правдиво описать все, что видел. Очень прошу вас, возьмите этот очерк, прочтите его и, если он вам понравится, скажите свое мнение редактору. Там дело со снегом, пусть это вас не смущает — сегодня 30 марта, а мороз у нас 20 градусов». С. Борзенко стал Героем

Советского Союза, о его геройстве узнали все.

Но кто помнит тишайшего Льва Иша, этого чернорабочего газеты, который не писал, а правил чужие статьи? Однажды, это было осенью 1941 года, он сидел над корреспонденцией с Западного фронта и вдруг вскрикнул: в статье рассказывалось, что в Ельне немцы зверски убили его отца. Иш настоял, чтобы его отправили на фронт военным корреспондентом. Он писал статьи и терзался. В 1942 году он писал из осажденного Севастополя: «… Я с завистью вижу, как другие стреляют немцев и могут это делать не раз в месяц, а каждый день…» (Лев Иш много раз ходил в разведку.) Настала развязка; на мысу сражались последние защитники Севастополя; среди них был Лев Иш, и погиб он в бою.

Я читал в редакции статьи полковника Донского. Осенью 1943 года в Слободке — напротив все еще занятого немцами Киева — я встретился с полковником Донским. Его настоящая фамилия была Олендер. Статьи его были хорошим, спокойным разбором военных операций, он многому научил молодых командиров. А мы заговорили не о войне о жизни, об искусстве. Олендер декламировал Блока, Багрицкого. Потом мы толковали о верности, о белых хатах, о разлуке. Олендер подходил на романтического юношу, и я ему сказал: «Будь и моложе, будь вы старше, а главное, будь век другим, мы бы сидели с вами в какой-нибудь «Ротонде» и говорили бы не о рокадной дороге, не о понтонах, а совсем о другом, вот как сегодня…» Мы расстались будто старые друзья, а пробыли вместе всего несколько часов. В 1944 году Олендер погиб как солдат — от пули.

На Днепре я встречал Гроссмана, Долматовского, на Соже — Симонова, у Можайска — Ставского, в Белоруссии — Твардовского, в Вильнюсе — Павленко. Мы не успевали поспорить о литературе — нам было не до этого.

Я вспоминаю конец сороковых годов… Трудно себе представить, что во время войны мы жили как бойцы одной роты. Я просмотрел папку с письмами военных лет. Конечно, я понимаю, что мне писали мои старые друзья А. Я. Таиров, П. П. Кончаловский, А. Н. Толстой, А. А. Ахматова, А. А. Игнатьев. Но много писем от писателей, которых я до того не знал и с которыми после войны очень редко встречался. Тогда у нас был общий враг; мы хорошо знали, что такое немецкие танки или немецкие автоматчики. Я перечитал сейчас одно из писем тех лет. Молодой поэт писал мне с фронта; «…Чего, например, стоят все эти стишки о том, что солдат идет в бой, распевая песню о любимой или что-либо в этом роде? Чего стоят бесконечные варианты «Синего платочка»? Неужели так и не подымется смелый, авторитетный голос в защиту русской поэзии против

пошлости, с которой, как с грязью на солдатских сапогах, мы рискуем дойти до самой победы? Но пошлость хоть плавает на поверхности, с ней легче воевать, а что делать с бесконечным потоком стихов пустых, трескучих и бездумных, в которых при титаническом труде не обнаружишь и тени собственной оригинальной мысли? Ими, такими стихами, забиты сплошь и рядом журналы». Далее автор письма просил меня прочитать посылаемые им стихи и объяснял, почему он обращается ко мне: «Почему именно к вам? Говорю без лести, под честное слово — потому, что всегда, в том числе в самые трудные минуты, ваш голос был с нами, потому что вы пользуетесь доверием фронтовиков. Кроме того, ваш авторитет и любовь к русской литературе гарантируют прямоту и резкость суждений — лучшие качества в критике…» Письмо было подписано Н. Грибачевым.

Признаюсь, меня и те годы мало огорчали даже трескучие стихи. (Мне это самому странно. Вероятно, голос войны все заглушал.) Просматривая уцелевшие записные книжки, я нахожу военные новости, адреса полевой почты, имена немецких пленных, с которыми я разговаривал. У меня появилось много новых друзей не писателей, даже не журналистов — артиллеристов, летчиков, саперов. Я переписывался со многими фронтовиками, о некоторых из них попытаюсь дальше рассказать.

Генерал П. И. Батов в воспоминаниях о Сталинградской битве рассказывает, как его часть захватила «Двенадцать заповедей» — инструкцию, подписанную Гитлером, как немцы должны обращаться с русскими. П. И. Батов пишет: «Политработники 65-й армии использовали «заповеди» в беседах с бойцами. Помнится, у чеботарцев беседу проводил лично командир полка. Гневный смех. Резолюция: «1. Клянемся бить фашистов беспощадно и первыми выйти к Волге. 2. Послать «заповеди» товарищу Эренбургу и просить раздраконить фрицев через «Красную звезду». Таких заказов я получал сотни. Я писал о фрицах, писал о войне, о наших людях.

Одну из моих статей 1942 года я озаглавил «Жить одним!». Прожить жизнь одним очень трудно, это доступно только революционеру в подполье, верующему в катакомбах да еще, может быть, ученому. Человек — сложное существо: не птица и не рыба, он живет в различных стихиях, живет разным и по-разному. Но, видимо, почти каждому приходится хотя бы раз в жизни оказаться отлученным от самого себя, до привычных раздумий и сомнений, от круга друзей, от своей внутренней темы. Так было со мной в 1941–1945 годы — в годы «Красной звезды»…

7

Это был один из первых весенних дней. Утром в дверь моей комнаты постучали. Я увидел высокого грустноглазого юношу в гимнастерке. Ко мне приходили много фронтовиков — просили написать о погибших товарищах, о подвигах роты, приносили отобранные у пленных тетрадки, спрашивали, почему затишье и кто начнет наступать мы или немцы.

Я сказал юноше: «Садитесь!» Он сел и тотчас встал: «Я вам почитаю стихи». Я приготовился к очередному испытанию — кто тогда не сочинял стихов о танках, о фашистских зверствах, о Гастелло или о партизанах.

Молодой человек читал очень громко, как будто он не в маленьком номере гостиницы, а на переднем крае, где ревут орудия. Я повторял: «Еще… еще…»

Потом мне говорили: «Вы открыли поэта». Нет, в это утро Семен Гудзенко мне открыл многое из того, что я смутно чувствовал. А ему было всего двадцать лет; он не знал, куда деть длинные руки, и сконфуженно улыбался.

Одно из первых стихотворений, которое он мне прочитал, теперь хорошо известно:

Когда на смерть идут — поют,
а перед этим
можно плакать.
Ведь самый страшный час в бою —
час ожидания атаки…
Сейчас настанет мой черед.
За мной одним
идет охота.
Будь проклят
сорок первый год —
ты, вмерзшая в снега пехота.
Мне кажется, что я магнит,
что я притягиваю мины.
Разрыв —
и лейтенант хрипит.
И смерть опять проходит мимо…
Бой был короткий.
А потом
глушили водку ледяную,
и выковыривал ножом
из-под ногтей

я кровь чужую.

Я видел первую мировую войну, пережил Испанию, знал мною романов и стихов о битвах, об окопах, о жизни в обнимку со смертью — романтически приподнятых или разоблачительных — Стендаля и Толстого, Гюго и Киплинга, Дениса Давыдова и Маяковского, Золя и Хемингуэя. В 1941 году нашими поэтами было написано немало хороших стихотворений. Они не глядели на войну со стороны; многим из них ежедневно грозила гибель, но никто не выковыривал ножом из-под ногтей вражескую кровь. Штык оставался штыком, лира — лирой. Может быть, это придавало даже самым удачным стихам тех поэтов, которых я знал до войны, несколько литературный характер. А Гудзенко не нужно было ничего доказывать, никого убеждать. На войну он пошел солдатом-добровольцем; сражался во вражеском тылу, был ранен. Сухиничи — Думиничи — Людиново были для него не строкой в блокноте сотрудника московской или армейской газеты, а буднями. (При первом знакомстве он мне сказал: «Я читал, что вы ездили к Рокоссовскому и были в Маклаках. Вот там меня ранили. Конечно, до вашего приезда…»)

В то утро он мне прочитал и «Балладу о дружбе». Слово «баллада» еще шло от традиционной романтики, а стихи были совсем не романтичными. Боец знает: один из двух должен погибнуть, выполняя задание, — он или его друг.

Мне дьявольски хотелось жить,
пусть даже врозь,
пусть не дружить…
Ну, хорошо,
пусть мне идти,
пусть он останется в живых…

Я сказал, что Гудзенко мне многое открыл. Война, которую мы переживали, была жестокой, ужасающей, и вместе с том мы твердо знали, что нужно разбить фашистов. Нам не подходили ни былые честные проклятия, ни новые столь же честные восхваления: «На сажень человеческого мяса нашинковано»… Нет, изменились не только масштабы, но и восприятие. «Священная война»? Не те слова! И вот я услышал стихи Гудзенко…

В то утро я ни о чем его не спрашивал — слушал стихи; узнал только, что он киевлянин, что у него есть мать, что он учился в ИФЛИ и слышал мои стихи о Париже в сороковом году.

(Гудзенко мне показался поэтом с головы до ног, подростком, еще не научившимся думать вне поэзии. А он тогда записал в своей записной книжке: «Вчера был у нас Илья Эренбург. Он, как почти всякий поэт, очень далек от глубоких социальных корней…» Так часто бывает при первой встрече: мы не знали друг друга и рисовали собеседника, руководствуясь своей собственной душевной настроенностью.)

Я читал стихи Гудзенко всем — Толстому, Сейфуллиной, Петрову, Гроссману, Сурицу, Уманскому, Морану; звонил в Клуб писателей, в различные редакции: мне хотелось со всеми поделиться нечаянной радостью.

Он пришел снова, мы пригляделись друг к другу. Я его полюбил.

Стихи его напечатали. Потом устроили вечер в Клубе писателей; он вошел в литературу. Время было военное: быстро призывали, быстро признавали, быстро и забывали.

Он был смелым и удивительно чистым; перед смертью он не оробел; а в литературной среде на первых порах выглядел смущенным подростком. Расскажу об истории с двумя строками, которые я привел выше:

> Будь проклят
> сорок первый год —
> ты, вмерзшая в снега пехота.

Редактор потребовал замены. Гудзенко послушно написал:

> Ракеты просит небосвод
> и вмерзшая в снега пехота.

Я его спросил, при чем гут небосвод, он виновато улыбнулся: «Что я мог сделать?…» (Прошло пятнадцать лет. Гудзенко умер, и в издании 1956 года появился новый вариант, столь же нелепый: «Тяжелый сорок первый год и вмерзшая в снега пехота» — как будто солдат, которому кажется, что он притягивает мины, академически размышляет: год тяжелый. Только в 1961 году, после того как начала оттаивать вмерзшая в снега поэзия, восстановили подлинный текст.)

В феврале 1945 года он мне писал с фронта: «Посылаю вам пять стихотворений — печатных и непечатных. Пишу вообще много, записные книжки полны, но что из этого получится, бог знает. Если что из стихов можно напечатать, будет хорошо… В стихах чернилами даны печатные варианты. Я ведь обучен

цензурой с первого стиха».

В 1942 году Гудзенко говорил о будущем сурово и с доверием. Как все его однополчане, да и как почти все его соотечественники, он верил, что после победы жизнь будет лучше, чище, справедливее.

Гудзенко, едва оправившийся от тяжелого ранения, в Москве попал под машину. Он долго пробыл в тылу; работал в Сталинграде, в выездной редакции «Комсомольской правды». Оттуда он прислал мне свои стихи о Сталинграде, и одно меня снова поразило, как открытие:

…И наконец-то
с третьим эшелоном
сюда пришла
сплошная тишина.
Она лежит,
неслыханно большая,
на гильзах
и на битых кирпичах,
таким
сердцебиением оглушая,
что с ходу засыпаешь
сгоряча.

В сентябре 1943 года он мне писал: «Собираюсь на Украину. Киев не дает покоя. Вероятно, скоро там буду. О тыле больше писать здесь не могу. Снова нишу о фронте. Что получится?»

В ноябре Гудзенко пришел ко мне, радовался, что едет на фронт, скоро увидит Киев, и вместе с тем по его лицу вдруг пробегала тень, как от одинокого облака. Почему-то я пометил в записной книжке: «Гудзенко спрашивал, зачем ввели раздельное обучение, вводят форму, рассказал, как обидели еврея-киевлпиина. За год он очень повзрослел».

Гудзенко шел с армией на запад. Стоит ли напоминать, что высокая поэзия всегда рождалась в часы испытаний? В 1942 году Гудзенко писал:

Каждый помнит по-своему, иначе,
и Сухиничи, и Думиничи,
и лесную тропу на Людиново —
обожженное, нелюдимое.

В 1945 году изменились не только названия городов, где шли

бои, изменилась и душевная настроенность. Гудзенко прислушивался не к биению сердца, а к звонким словам, к рифмам:

Занят Деж,
занят Клуж.
Занят Кымпелунг.
…Нет надежд.
Только глушь.
Плачет нибелунг.

Незадолго до победы он писал мне: «Война на нашем участке еще на стоящая. Все повторяется. Недавно попал под сильную бомбежку у переправы через Мораву… Лежал долго там и томительно. Умирать в 1945 году очень не хочется…»

Кончилась война. Выживших демобилизовали. Я увидел Семена в пиджаке. Но в душе он все еще донашивал старую, вылинявшую гимнастерку. Конечно, менялись сюжеты стихов — он описывал села Закарпатской Украины, колхозы, жизнь мирного гарнизона. Он знал, что это большие дела большой столицы, но что «у каждого поэта есть провинция», признавался:

И у меня есть тоже неизменная,
на карту не внесенная, одна,
суровая моя и откровенная,
далекая провинции —
Война…

Есть в его книжке такая запись: «Читал на станкозаводе имени Орджоникидзе… Слушали… Мне самому от своих стихов было скучно…»

Существует много повестей, фильмов, стихов о ностальгии солдата, возвращенного к мирной жизни. Гудзенко об этом не писал, но о чем бы он ни писал, в его стихах ностальгия фронтовика. Внешне все выглядело хорошо: он нашел счастье или его иллюзию, громко говорил, часто улыбался, ездил по стране, много работал, слыл примерным оптимистом. (Я вспоминаю его юношеское признание: «Вечные спутники счастья — сорок сомнений и грусть».) Как-то мимоходом он сказал мне: «Я научился писать, а пишу хуже. Впрочем, это понятно…» Я не возразил, а может быть, он ждал возражений, не знаю.

Он казался здоровым, возмужал, даже потяжелел. В 1946 году он писал:

Мы не от старости умрем, —
от старых ран умрем.
Так разливай по кружкам ром,
трофейный рыжий ром!

Это напоминало обычную армейскую песенку. А в 1952-м мне рассказали, что Гудзенко болен — последствия военной контузии, еде-дали трепанацию, врачи не знают, выживет ли он. Я вдруг вспомнил кружку с рыжим ромом…

Борясь со смертью, Гудзенко написал три стихотворения. Он снова набрал высоту, как в ранних стихах 1942 года. Он умирал в родной и далекой провинции, умирал, как умирали его однополчане.

До чего мне жить теперь охота,
будто вновь с войны вернулся я!

За несколько месяцев до болезни он пришел ко мне. Мы долго разговаривали, а разговора не вышло; может быть, потому, что с ним пришел его друг, поэт, может быть, виноват был я; да и время было не очень-то благоприятное для задушевных бесед. Два или три дня спустя он забежал ко мне на минутку, будто бы забыл надписать книгу, постоял, поулыбался и, уже прощаясь, сказал; «Многое не так получилось… Но мы еще увидимся, поговорим…» Больше я его не видел.

Да, многое не так получилось, как мы думали в 1942 году. Настала нюха атомной бомбы. Никто не знал, что будет завтра. Арестовывали невинных — снова и снова стреляли по своим. А Гудзенко умер в зимний месяц февраль, в очень зимний, холодный, темный февраль 1953 года незадолго до первой оттепели.

Для меня он остался поэтом того поколения, которое начало жизнь у Сухиничей, у Ржева, под Сталинградом. Многие его сверстники не вернулись с войны. Я смутно помню молодых поэтов, читавших накануне войны свои стихи, Кульчицкого, Когана. Потом я прочитал их стихи; они погибли слишком рано, и лучшее написано ими до войны. А Гудзенко сумел заговорить среди шума битв, сказал многое за себя и за других. В стихотворении, которое он назвал «Мое поколение», навязчиво повторяется строка:

Нас не нужно жалеть, ведь и мы никого б не жалели…

Когда Гудзенко писал эти стихи, он мечтал, что его сверстники вернутся домой с победой и узнают всю меру счастья. В 1951 году он сказал мне в темной передней: «Многое не так получилось…»

А Гудзенко до слез жалко. Я его запомнил очень молодым, таким, каким он был в далекое утро 1942 года, когда на короткий срок поднялся выше всех, увидел и сказал…

8

Десятого марта 1942 года мне позвонил представитель сражающейся Франции Роже Гарро. Мне нужно было угостить его обедом, это было нелегко. После долгих переговоров директор «Метрополя» согласился предоставить крохотный номер. (Умывальник стыдливо прикрыли скатеркой.) По тому времени обед был прекрасный; дали водку. Гарро оказался подвижным французом, небольшого роста, но с темпераментом. Он рассказывал, как трудно де Голлю в Лондоне: для англичан он эмигрант, и только. Гарро строил планы: почему бы не создать в Советском Союзе французских дивизий? Можно начать с авиации. О положении во Франции он отзывался, скорее, мрачно: «Возмущаются немцами почти все, но, что вы хотите, люди держатся за деньги, за место, лучше других ведут себя рабочие…» Себя он неизменно называл «якобинцем».

Гарро пригласил меня провести с ним вечер. Среди гостей были французский генерал Пети, журналист Шамненуа, турецкий консул и настоятель московской католической церкви отец Брон. Гарро неистовствовал: «Вы увидите, что англичане и американцы купят по дешевке немецкие заводы и начнут защищать «бедную Германию». Для них война — это партия в крикет…»

Я рассказывал о том, что видел на фронте, и отец Брон возмущался фашистскими зверствами. Вскоре после этого А. С. Щербаков сказал мне, что немцы направили на Восточный фронт словацкие части: «Напишите для них листовку — вы ведь бывали в Словакии…» Я сразу подумал о Броне: среди словацких крестьян было много верующих, и на них должно было подействовать обращение католического священника. Я пошел к отцу Брону, который жил тогда в комфортабельном флигеле американского посольства (дипломаты еще находились в Куйбышеве). Брон мне долго объяснял, что святой отец любит терпимость и что с Ватиканом нельзя шутить. Мы говорили о догматах церкви, о положении на фронте, о де Голло. Листовку Брон написал, но после этого начал требовать от меня горючего для своей машины. Я обратился в учреждение, распределявшее бензин, мне ответили, что Брон получает больше положенного. Отец Брон писал, что ему приходится очень много передвигаться, чтобы причащать умирающих, а получив отказ, начал мне угрожать не муками на том свете, а тривиальным скандалом.

В апреле, когда я получил за «Падение Парижа» Сталинскую премию, Гзрро мне передал поздравительную телеграмму де Голля. А генерал Пети прислал длиннущий трут для зажигалки:

всю войну, в отличие от отца Бропа, я мог не беспокоиться о бензине.

Генерал Пети был начальником военной миссии, товарищем де Голля по военному училищу, верующим католиком. Он меня сразу подкупил искренностью, прямотой и большой скромностью. Он видел, как сражается советский народ, понял его и полюбил, говорил мне, что вернулся во Францию другим человеком. После войны его назначили военным вице-губернатором Парижа; я был у него во Дворце инвалидов. На этом посту он, однако, остался недолго — не скрывал своих чувств к Советскому Союзу, ко вчерашним партизанам, а это уже было не по времени. Недавно, когда я был в Париже, оасовцы подложили взрывчатку в его квартиру. Улыбаясь, он мимоходом сказал: «Вчера меня пластиковали…»

В моей записной книжке я нашел некоторые фразы Гарро: «Второй фронт отложен — возврат мюнхеномании», «Англичане и до войны проводили уик-энд в Дьеппе — увеселительная прогулка, а мы поверили», «Вы воюете у Сталинграда, а они обучают будущих комиссаров для стран, которые надеются когда-нибудь освободить от немцев и в свою очередь оккупировать»…

Двадцать восьмого сентября 1942 года Советское правительство признало Национальный комитет сражающейся Франции как единственную организацию, имеющую право выступать ог лица французского народа. Гарро меня обнимал. Он выступил по радио со страстной речью: «Сейчас становится все более ясно, что будущее Европы зависит от взаимного доверья между СССР и Францией, которая вернет себе престиж и величье». В ресторане «Арагви» Гарро восклицал: «Мы должны повесить всех генералов вермахта, это не военные, а преступники!..»

В декабре 1944 года в Москву приехал де Голль, его сопровождали генерал Жюэн и министр иностранных дел Бидо. Переговоры о франко-советском пакте зашли и в тупик: де Голль не хотел признать новое польское правительство («Люблинский комитет»). Меня пригласили на обед во французское посольство. Дам не было, и рядом с де Голлем сидели С. А. Лозовский и я. Де Голль почти все время разговаривал со мной. Он был в дурном настроении и жаловался на холод москвичей. Потом мне рассказали, что перед обедом его повели в метро, посещение которого входило в программу всех иностранных гостей. Метро менее всего могло заинтересовать де Голля — он ведь человек XVII века, а тогда не было ни фашизма, ни метро, ни других новшеств. Вагоны были переполнены, и для французов очистили детскую площадку. Пассажиры громко высказывали возмущение. А генерал де Голль вздумал обратиться к ним с приветствием.

Услышав, что высокий француз — генерал де Голль, роптавшие испугались: будут неприятности. В вагоне воцарилась тишина, и только один старичок, вспомнив гимназический урок, дребезжащим голосом произнес «мерси». Де Голль рассердился и добрый час доказывал мне, что московская толпа напоминает ему каторжников. Для меня он был человеком Сопротивления, и я старался его уверить в любви советских людей к Франции.

Генерал Жюэн показался мне бравым военным. На «Жизели», пока танцевала Уланова, он дремал, говорил: «Я думал, что у вас, по крайней мере, нет всей этой чепухи с привидениями…» На следующий день он увидел Ансамбль Красной Армии. Когда начали плясать вприсядку, он вскочил и радостно крикнул: «Наконец-то казаки!» Кажется, только это ему и понравилось. Меня не удивило, что потом он солидаризировался с ОАС.

Бидо вил водку и злился. Подошла последняя, решающая ночь. Французов пригласили в Кремль. Било для храбрости опорожнил графинчик водки. За ужином Сталин, увидев, что де Голль пьет только боржом, стал угощать Бидо, которого вскоре пришлось отвезти домой. Де Голль уехал в посольство, Молотов и Гарро договаривались о спорных формулировках пакта. Гарро мне рассказал, что под утро он поехал за Бидо, который лежал с головой, обмотанной мокрым полотенцем: «Господин министр, наденьте брюки, — мы договорились, вам нужно подписать документы».

В 1942 году все было просто и ясно. В Лондоне тогда выходила французская газета «Марсейез», издавал ее Киллиси. Он просил меня присылать статьи, что я и делал. В октябре редактор «Марсейез» ответил мне газетной статьей: «Больше года Россия почти одна несет тяжесть войны против немецкой армии. Эренбург просматривал нашу газету, несомненно искал ответа на свои обращения. Сегодня мы можем ему ответить… Французские рабочие отказываются работать в Германии. Я знаю, что меня упрекнут за сравнение упрямого отказа французского рабочего с мужеством защитника Сталинграда. Но вы, Эренбург, знаете, что нужна повседневная решимость, когда рядом плачут голодные дети, решимость для забастовок под пулеметами…»

Война рождает то, что мы называли «чувством локтя». У меня в гостинице «Москва», на Кропоткинской набережной у генерала Пети, во французском посольстве собирались люди, которых трудно назвать единомышленниками, — Морис Торез, Гарро, Жан Ришар Блок, генерал Пети, советник посольства Шмитлейн, Шампеиуа, Горе, Катала. Мы дружески беседовали. В 1944 году я привез из Вильнюса несколько бутылок старого бургундского — мне их дали танкисты, разочарованно говоря: «Илья пишет

крепко, а любит квас…» На бутылках значилось по-немецки: «Только для вермахта. Продажа запрещена». Я позвал к себе московских французов. Гарро чокался с Торезом «за победу»; вино мы пили с особенным удовольствием — оно ведь предназначалось для немецких офицеров.

В конце 1942 года, в очень тяжелые дни, в Советский Союз приехала первая группа французских летчиков — эскадрильи «Нормандия». Французов поместили возле Иванова, там они должны были освоить наши истребители. Я поехал к ним вместе с Шампенуа; мы повезли подарок — патефон и пластинки. Приехали мы как раз к сочельнику, который во Франции празднуют все, как у нас Новый год. По случаю праздника освободили из-под ареста одного провинившегося. Его история нас развеселила: в ивановском цирке девушка сунула французскому летчику записку — назначала свидание. «Нормандия» стояла в десяти километрах от города. Кругом были сугробы. Французы, не привыкшие к таким зимам, зябли. Но летчик, получивший записку, решил попытать счастья и добраться до девушки по указанному ею адресу. Он сбился, потонул в сугробах, его вытащили, и комендант эскадрильи посадил его на семь суток под арест. Освобожденный весело говорил: «Все равно я ее найду…» Французам устроили пышный ужин. Все выпили, расчувствовались и начали петь хором фривольные песни. Мотив был печален, и одна из подавальщиц мне шепнула: «Молятся… Убьют их, да еще на чужбине…»

Действительно, из первой группы летчиков, прибывшей еще до Сталинградской победы, мало кто уцелел. Погиб майор Тюлян, маленький, веселый, которого летчики дружески звали «Тютю». Генерал Захаров после гибели капитана Литтольфа, командира эскадрильи, настаивал, чтоб Тюлян не рисковал собой: «Вы — командир, не имеете права…» Но Тюлян погиб летом 1943 года пол Орлом. Погиб замечательный человек Лефевр, которому посмертно присвоили звание Героя Советского Союза. Возле Витебска весной 1944 года его самолет загорелся. Обожженный, он был доставлен в Москву. Помню, в военном госпитале в Сокольниках врач хмуро говорил: «Положение очень тяжелое»… Мы его похоронили на Немецком кладбище (по странной иронии судьбы, рядом была братская могила французов, погибших при походе Наполеона на Россию). Санитарка плакала. Погибли капитан Литтольф, лейтенанты Тедеско, Дервилль, де Сейн Деии, Жуар, Дюран, Фуко, много других. Два Героя Советского Союза уцелели: Альбер, в прошлом рабочий завода Рено, и аристократ — виконт де ла Пуап. (Один из его предков был генералом Французской революции, сражался против шуанов, а потом в

Италии против Суворова.) «Нормандия» стала «Нормандия — Неман», на ее боевом счету было триста сбитых самолетов. В нашем небе сражались девяносто пять французских летчиков, из них в живых осталось тридцать шесть…

Я навешал летчиков «Нормандии» возле Орла, потом около Минска; встречал их в Москве, в Туле, в Париже, и мне хочется сказать, что они были хорошими товарищами, не унывали, легко приспособились к жизни на чужбине. Наши летчики, механики, переводчики их полюбили. Могу ли я забыть, как лейтенант де Сейм погиб, потому что не хотел спастись и оставить советского механика? Могу ли позабыть, как советские бойцы спасли в заливе Фришгафф лейтенанта де Жоффра? Тогда о дружбе народов говорили не на конференциях… Кровь оказалась вязкой.

Двадцать второго августа 1944 года, вернувшись с фронта в Москву, я прочитал в редакции сообщения о восстании в Париже. Рано утром мне позвонил Гарро; «Париж победил…» Я пошел во французское посольство. Там были генерал Пети, Гарро, Шампенуа, сотрудники посольства, несколько старых женщин. Маленький патефон беспрерывно исполнял «Марсельезу». Мы от волнения ничего не могли сказать. У Жана Ришара Блока в глазах были слезы. Потом мы пили: за Францию, за Красную Армию, за партизан, за Парижский комитет освобождении. Я спросил Гарро, кто это полковник Роль, — в одной из телеграмм говорилось, что он руководил уличными боями. Гарро восхищенно ответил: «Кажется, это не настоящая фамилия. Я слышал, что он рабочий, коммунист. Во всяком случае, он герой!»

Правительство де Голля наградило меня крестом офицера Почетного легиона. Новый посол генерал Катру торжественно прикрепил крест к моей груди, обнял меня и сказал, что Франция никогда не забудет тех, кто остался ей верен в черные годы.

Летом 1946 гада я был в Париже, там устроили торжественный вечер. Зал Плейель (тот самый, где три года спустя собрался Первый конгресс сторонников мира) был переполнен. В президиуме сидели Эдуар Эррио, Ланжевен, Торез, генерал Пети. Ждали председателя Совета министров Бидо. Он опаздывал, публика нервничала, и вечер начали без него. Когда я выступал, в зал вошел Бидо, сопровождаемый двумя «фликами» (так зовут французы полицейских в форме или в гражданской одежде). Председатель прислал мне записку. Бидо хочет сразу выступить — он торопится. Я шел от микрофона к столу, а Бидо шел мне навстречу. Он хотел со мной поздороваться, но зашатался; я его вовремя поддержал; в зале, наверно, думали, что мы обнимаемся… Все же он произнес речь, восхвалял меня…

Весной 1950 года, когда Бидо снова возглавил правительство,

мне нужно было поехать из Брюсселя в Женеву, я попросил у французов транзитную визу. Мне отказали. На парижском аэродроме пришлось менять самолет. «Флик» зорко глядел, чтоб я не улизнул, проводил меня на борт швейцарского самолета; видимо, ему показалось, что я иду недостаточно быстро, и он меня подтолкнул, как будто я не офицер Почетного легиона, а воришка, которого ведут в каталажку.

Вот я дошел и до наших дней. Как известно, генералы бывшего рейхсвера на французской земле обучают военной науке детей тех самых солдат, которых я видел в Париже, захваченном немцами. (Гарро когда-то мечтал, что всех генералов Гитлера повесят; говорит, он теперь изменился; я его не встречал.) Недавно возле Реймса состоялся парад — французские солдаты маршировали рядом с немецкими.

Когда я был мальчиком, танцевали кадриль — джаза еще не было; в этом танце много фигур, и время от времени кто-то восклицал: «Кавалеры меняют дам!» В моей жизни мне пришлось увидеть достаточно фигур кровавой кадрили. В 1912 году русские газеты писали о единстве славян, об освободительной войне против тиранической Турции. Сербы, болгары и греки разбили турок, подписали мирный договор, а месяц спустя недавние союзники подрались между собой; началась война между Болгарией — с одной стороны, Сербией и Грецией — с другой. Турция, я свою очередь, напала на болгар. Я тогда был молод и удивлялся. Потом я ко всему привык. В 1915 году Италия, входившая в Тройственный союз, начала войну против своих вчерашних союзников. Французские газеты восхищались пылом Д'Аинунцио и Муссолини. За Италией на четверть века укрепилось прозвище «латинская сестра». В 1940 году «сестра» напала на Францию. Все это непонятно или слишком хорошо понятно.

Почему же телеграмма о франко-немецком параде меня обидела? Ведь я знаю, что дипломатия и мораль не состоят в родстве. На обыкновенного человека неизменно производят впечатление, казалось бы, несущественные детали; я об этом упоминал, рассказывая об одной злополучной телеграмме, посланной в декабре 1939 года Риббентропу. Я вспомнил Реймс в годы первой мировой войны, искалеченный собор, школу в винном погребе; вспомнил рассказы о партизане, уроженце Реймса, расстрелянном в 1943 году; и мне стало не по себе. Может быть, это наивно, но мне кажется, что у мертвых есть свои права, что кровь не вино на политическом банкете, что совесть не всегда в ладу с расчетом и что азбуку морали куда труднее изменить, чем направление внешней политики.

Конечно, мои чувства к Франции не могли перемениться от зигзагов того или иного французского правительства. В одном моем стихотворении есть такие строки:

Ты говоришь, что я замолк,
И с ревностью, и с укоризной.
Париж не лес, и я не волк,
Но жизнь не вычеркнешь из жизни.
А жил я там, где, сер и сед,
Подобен каменному бору,
И голубой и в пепле лет,
Стоит, шумит великий город…
Прости, что жил я в том лесу,
Что все и пережил и выжил,
Что до могилы донесу
Большие сумерки Парижа.

В другом стихотворении имеется горькое признание:

Зачем только черт меня дернул
Влюбиться в чужую страну?

Но это сказано в сердцах — я не мог, да и не могу относиться к Фракции как к чужой мне стране; слишком долго прожил в Париже, слишком многому там научился. В моих рассуждениях я часто несправедлив, и читатель это легко поймет.

Недавно пионеры Орла написали мне, что обнаружили в области могилы двух французских летчиков. Я вспомнил веселых и смелых французов, наполнивших смехом, песнями, арго Бельвилля или Меннльмонтана березовый лесок, где летом 1943 года располагалась эскадрилья.

Я знаю, что забвение — закон жизни, это репетиция смерти. Обидно другое — как под влиянием событий невольно деформируются человеческие взаимоотношения. Говоря это, я думаю о некоторых людях, которых считал друзьями. Кажется, будто идешь сам по себе, а это иллюзия: шагаешь, и командует взводный, которого в торжественные минуты именуют «временем» или «историей»: «Налево! Направо! Поворот кругом! Шагом марш!» Потом остается вежливо отмечать: с таким-то больше не встречался, наши пути разошлись…

9

После долгой и суровой войны все радовались весне. Мы нежились на солнце и гадали, что нам сулит лето. Вспоминаю Думиничи. До войны там был завод, на котором изготовляли ванны. Городок сожгли. Среди щебня на солнце сверкали ванны — все, что оставалось от Думиничей. Немолодой сержант с седой щетиной на щеках лениво философствовал: «Санитария! А ему, гаду, что? Ему лишь бы поломать… Сходил бы я сейчас в баньку! Только, я думаю, этому конца не будет, наверно, еще год провоюем. Говорят, у нас теперь танки замечательные. Вот вы напишите, да покрепче. Люди очень переживают… Вчера политрук говорил: «Да если он, нахал, сунется, мы его так тряхнем, что он свою фрау не узнает». А кто его знает, что он еще придумал? Очень людей жалко. У нас Оспова, паразит, убил. В газете про него было… Вы мне объясните, почему он, гад, людей убивает?…»

В Сухиничах я познакомился с генералом Рокоссовским. После битвы под Москвой его имя все выделяли; да и внешность у него была привлекательная. Кажется, он был самым учтивым генералом из всех, которых я когда-либо встречал. Я знал, что жизнь его была нелегкой. Поэтесса О. Ф. Берггольц мне рассказывала, что, когда ее арестовали, в соседней камере сидел Рокоссовский. В Сухиничах он был ранен, осколок снаряда задел печень. Рокоссовский ничего почти не мог есть, езда в машине, резкие движения причиняли ему боль; об этом мало кто догадывался — Константин Константинович отличался редкостным самообладанием. Разумеется, я спросил его, что будет дальше. Он спокойно ответил, что напрасно немцы все валят на русскую зиму, зима их, скорее, выручила — приостановила наше наступление. Может быть, он это говорил, чтобы приободрить других, может быть, так думал, если шахматист не знает замыслов партнера, то фигуры на доске он все-таки видит, а командиру приходится основываться на данных разведки, иногда не соответствующих действительности.

Два месяца спустя я слышал от военных: «Зря мы силы разбрасывали — Юхнов, Сухиничи… А к обороне не приготовились». У меня нет здесь своего мнения. В математике трудно разобраться, нужна подготовка, но если поймешь, то ясно, что это именно так, а не иначе. Другое дело история — любое событие можно истолковать по-разному. Музу геометрии и астрономии Уранию художники изображали с циркулем, а музу истории Клио с рукописью и пером. В сборнике русских пословиц,

собранных Далем сто лет назад, несколько страниц посвящены искусству вымысла; есть там и такая поговорка: «Черт ли писал, что Захар комиссар».

Восемнадцатого мая в сводке говорилось о наших больших успехах на Харьковском направлении. Я сидел, писал статью, когда пришел полковник Карпов и, загадочно усмехаясь, сказал: «О Харьковском направлении не пишите — есть указания…» Неделю спустя немцы сообщили, что на юг от Харькова окружены три советские армии. 5 нюня мне позвонил Щербаков: «Пишите за границу о втором фронте»… Молотов вылетел в Лондон. 10 июня немцы начали крупное наступление на Южном фронте.

Началось горькое лето 1942 года. В сводках появились новые названия фронтов: Воронежский, Донской, Сталинградский, Закавказский. Страшно было подумать, что бюргер из Дюссельдорфа прогуливается по. Пятигорску, что марбургские бурши дивятся пескам Калмыкии. Все казалось неправдоподобным.

Я сидел и писал, писал ежедневно в «Красную звезду», писал для «Правды», для ПУРа, в английские и американские газеты. Я хотел поехать на фронт, редакция меня не отпускала.

В газету приходили военные, рассказывали об отступлении. Помню полковника, который угрюмо повторял: «Такого драпа еще не было…»

Отступление казалось более страшным, чем год назад: тогда можно было объяснить происходящее внезапностью нападения. Офицеры, политработники, красноармейцы слали мне письма, полные тревоги и раздумий. Не про все я тогда знал, да и не про все из того, что знал, мог написать; все же мне удалось летом 1942 гола сказать долю правды — никогда не напечатали бы такие признания ни за три года до его, ни три года спустя. Вот отрывок из статьи в «Правде»: «Помню, несколько лет назад я зашел в одно учреждение и ушибся о стол. Секретарь меня успокоил: «Об этот стол все расшибаются». Я спросил: «Почему не переставите?» Он ответил: «Заведующий не рас порядило и. Переставлю — вдруг с меня спросят: «Почему это ты придумал, что это означает?» Стоит и стоит — так спокойней…» У нас у всех синяки от этого символического стола, от косности, перестраховки, равнодушия». А нот из статьи в «Красной звезде»: «Кто сейчас, расскажет, как люди думают на переднем крае — напряженно, лихорадочно, настойчиво. Они думают о настоящем и прошлом. Они думают, почему не удалась вчерашняя операция, и о том, почему в десятилетке их многому не научили. Они думают о будущем, о той чудесной жизни, которую построят победители… Война — большое испытание и для народов и для

людей. Многое на войне передумано, пересмотрено, переоценено… По-другому люди будут и трудиться и жить. Мы приобрели на войне инициативу, дисциплину и внутреннюю свободу…»

На фронте было много бестолочи и много потрясавшего меня героизма. Немцы приближались к Сталинграду, а Красная Армия приближалась к победе, но мы тогда этого не знали. Меня, как и всех моих соотечественников, в то лето поддерживало ожесточение.

Москва была одновременно и глубоким тылом, и наблюдательным пунктом на переднем крае. Немцы сидели по-прежнему в Гжатске, но на этом участке они атаковать не пытались, и Москва не знала лихорадки минувшей осени. Какой-то шутник сочинил стишки:

> Жил-был у бабушки серенький козлик.
> Сказка-то сказкой, а немцы-то возле…

На улицах было много народу, стояли очереди, шли переполненные трамваи. Люди хмурились, молчали. Все знали, что немцы захватили пшеницу Кубани, нефть Майкопа, хотят отрезать Москву от Урала, Сибири. В газетах появилось старое предупреждение французских якобинцев: «Отечество в опасности!»

У меня сохранилась записная книжка того лета; записи коротки и несвязны — даты событий, чьи-то фразы, лоскутки жизни.

Из Керчи приехал Сельвинский, говорил: «Бойцы научились, генералы нет», рассказывал о панике, о немецких зверствах — загнали в катакомбы сначала евреев, потом военнопленных. Темин привез из Севастополя фотографии — агония города: развалины, памятник Ленину, убитые дети, матрос в окровавленной тельняшке.

Пришло сообщение о смерти Петрова. Я пошел к Катаеву, у него был Ставский. Мы сидели и молчали.

Я спросил английского посла Керра, когда же откроют второй фронт. Вместо ответа он начал меня допрашивать, какой формы трубка Сталина, он хочет привезти ему из Лондона самую лучшую трубку. Я сказал, что не знаю, какую трубку курит Сталин, я с ним не встречаюсь, да это и не важно — пора открыть второй фронт. Керр деликатно улыбнулся и замолк.

Я сидел в своем номере, когда в коридоре раздались крики. Я выбежал в коридор и узнал, что с верхнего этажа в пролет лестницы упал поэт Янка Купала.

Прибежал в возмущении корреспондент Юнайтед Пресс Шапиро — цензура ему вычеркнула фразу: «от Воронежа до Дона восемь километров».

Женщина продавала картошку сорок пять рублей за килограмм. Ее убили. Кусочек сахара стоил десять рублей. В Москве жила француженка Аннет, вышедшая замуж за советского архитектора. У нее был грудной ребенок. Муж был далеко. Однажды она позвонила и, задыхаясь от волнения, сообщила: «Ванечка приехал, привез бутылку масла…»

Двадцать шестого июля был книжный базар. Писатели надписывали свои книги. Одна женщина запротестовала: «Почему вы ему поставили дату, а мне нет?» Никто не улыбнулся.

А. Н. Толстой пыхтел в трубку, говорил: «Немцев все-таки расколотят. А что будет после войны? Люди теперь не те…»

Двадцать девятого июля был опубликован указ об учреждении новых орденов — Суворова, Кутузова, Александра Невского. В тот же день по ротам читали приказ Сталина; в нем шла речь не об орденах, а об оставлении бея приказа Ростова и Новочеркасска, о беспорядке, панике; так дальше продолжаться не может, время опомниться: «Ни шагу назад!..» Никогда прежде Сталин не говорил с такой откровенностью, и впечатление было огромное. Один из военных корреспондентов «Красной звезды» сказал мне: «Отец обращается к детям и говорит: «Мы разорены, мы должны теперь жить по-другому…» Слово «отец» он произнес без иронии и без восхищения — как справку.

Немцы, однако, продолжали идти вперед к Северному Кавказу.

Приехал генерал Говоров, рассказал, что был у Сталина, настаивал на эвакуации гражданского населения из Ленинграда.

В редакции я прочитал, что футурист Маринетти отправился в Россию — хочет посмотреть, как фашисты перевоспитывают мужиков. Я вспомнил давние стихи Маринетти: «Мое сердце из красного сахара».

Я получил дневник секретаря нолевой полиции 626-й группы Фридриха Шмидта. Вот его запись от 25 февраля: «Коммунистка Екатерина Скороедова за несколько дней до атаки русских на Буденовку знала об этом. Она отрицательно отзывалась о русских, которые с нами сотрудничают. Ее расстреляли в 12.00… Старик Савелий Петрович Степаненко и его жена из Самсоновки были также расстреляны… Уничтожен также четырехлетний ребенок любовницы Горавилина. Около 16.00 ко мне привели четырех восемнадцатилетних девушек, которые перешли по льду из Ейска. Нагайка их сделала более послушными. Все четверо студентки и красотки…» Я напечатал дневник и получил письмо

старшины из Буденовки, который знал расстрелянных. Фридрих Шмидт признавался в дневнике: «Я не могу больше есть…» Трудно было жить, зная, что такие люди под боком.

Мне прислали «Народный календарь, спутник сельского хозяйства», его издали на русском языке немцы для захваченных областей. Каждый день тогда я прочитывал страшные документы — о зверствах, садизме, о стремлении фашистов не только разорить, но и унизить наш народ. Что по сравнению с приказами Гитлера какой-то дурацкий календарь? Но так порой бывает — возмущает деталь; я разозлился, выписал «памятные даты»: «Январь. 12-е — рождение Геринга и Розеиберга, 29-е — рождение Чехова. Февраль. 10-е — смерть Пушкина, 23-е-смерть Хорста Весселя, 24-е — годовщина провозглашения Гитлером программы национал-социалистической партии, 26-е — смерть Шевчеики» и так далее. Я вдруг припоминал и ругался: «Геринг и Чехов! Хорошо!..»

Пятнадцатого августа было собрание писателей.

А. А. Фадеев говорил, что время трудное, нужно подтянуться, не скулить и не ныть. В тот день немцы заняли Элисту.

Казах Аскар Лехеров писал мне с фронта: «Что такое жизнь? Это очень большой вопрос. Потому что каждый хочет жить, но смерть раз в жизни неизбежна. А тогда надо умереть как герой…»

Немцы дошли до Моздока. Каждый день кто-нибудь из моих знакомых получал извещение о гибели отца, сына, мужа. Я несколько раз ездил на фронт. Дороги чинили измученные женщины. На заводах работали дети и в перерывах затевали игры. Всё мешалось — геройство и оцепенение, духовный рост и жестокий быт.

С начала немецкого наступления все гадали, когда же союзники откроют второй фронт. Уманский мне говорил: «Не рассчитывайте — никакого второго фронта не будет…» Я писал резкие статьи в «Ньюс кроникл», «Ивнинг стандарт», «Дейли геральд», говорил, что думают наши о бездействии союзников. Газеты печатали статьи, даже благодарили меня, но ничего, конечно, не менялось. Правда, член парламента консерватор Дэвисон, обратившись с запросом к министру информации, сослался на одну из моих корреспонденции, но английские министры, даже информации, в совершенстве обладают искусством оставлять неуместные вопросы без ответа.

Я часто встречался с иностранными корреспондентами. Леланд Стоу был оптимистом, говорил: «Скоро будет десант во Франции или в Голландии», — оптимизм у него был прирожденным, как у П. П. Петрова, который, уезжая в Севастополь, сказал мне: «Наверно, второй фронт откроют через

неделю-другую…» Хиндус и Всрт, напротив, были скептиками. Об иностранных корреспондентах я расскажу позднее, помню несколько смешных историй, а в то лето нам было не до смеха… И если мы норой смеялись, то невесело: открывая американские консервы, именовавшиеся «тушенкой», фронтовики злобно приговаривали: «Ну, откроем-ка второй фронт»…

В Лондоне и Нью-Йорке были грандиозные митинги: простые люди требовали второго фронта. 12 августа в Москву приехал Черчилль. Мы волновались: договорятся или нет? Прибежал Шапиро: «Гарриман недоволен результатами». Я рассказал об этом Уманскому. Константин Александрович усмехнулся: «А кто доволен? Разве что Петен?» Коммюнике было туманным.

Только Черчилль уехал, как пришло сообщение о высадке англичан в Дьеппе. Люди на улицах собирались, радостно обсуждали: «Теперь немцы скиснут!..» Меня спрашивали, где Дьепп. Я был настроен скорее скептически, но вечером в редакции все говорили, что это начало больших операций, Сталин убедил Черчилля, немцам придется сразу убрать несколько дивизий с нашего фронта. Ортенберг позвонил Молотову: нужно ли посвятить высадке в Дьеппе передовицу.

Иллюзии длились недолго: десант в Дьеппе оказался небольшим рейдом. (До войны на воскресенье в Дьепп приезжало очень много англичан — уик-энд, дешевая экскурсия.) Может быть, английское правительство захотело несколько успокоить общественное мнение? В редакции Моран декламировал стихи Полежаева:

Британский лорд
Свободой горд,
Упрям и тверд,
Как патриот.
Он любит честь —
Он любит есть
И после сесть
На пароход…

Не знаю, как отнеслись к экскурсии в Дьепп рядовые англичане, но у нас люди возмущались — им казалось, что их обманули. На войне исчезают многие хорошие чувства; часто я ловил себя на том, что огрубел. Но одно высокое чувство, связанное с самоотверженностью, расцветает именно в военные годы; в газетах его называли «боевой выручкой». Постепенно на нас переставали действовать рассказы о снайпере, у которого на боевом счету полсотни немцев, или о пехотинце, уничтожившем

«бутылками» пять танков, — можно приглядеться и к отваге. Но одно неизменно волновало и меня и людей, с которыми я встречался, самопожертвование, смерть солдата, решившего спасти товарища и принявшего на себя удар. К этому нельзя привыкнуть — каждый раз это потрясает, кажется чудом, и, как бы ни было трудно, начинаешь снова доверять жизни.

Есть дипломатия, она доступна специалистам. Есть то, что называется внешней политикой, — она может быть понятной всем, по, будучи связанной с расчетом, со стратегией или тактикой, она апеллирует к разуму. Есть и нечто другое — совесть. Ее опасно оскорбить. Поскольку я рассказываю о пережитом, и не могу умолчать о том, что мы пережили в то окаянное лето. Конечно, я понимаю, почему союзники качали военные операции летом 1944 года, а не 1942. Уилки, а позднее Идеи говорили мне, что к десанту они не были достаточно подготовлены и не хотели «лишних жертв». Армия Гитлера, по их мнению, должна была сноситься на нашем фронте. «Лишние жертвы» достались нам. Понять подобный расчет можно — не такие уж это сложные выкладки, а вот забыть о происшедшем трудно — почти у каждого из нас оно связано с личным горем.

10

В сентябре генерал Ортенберг разрешил мне поехать ко Ржеву, где начиная с августа шли ожесточенные бои. В истории войны об этих боях говорится: «Наступательные действия в районе Ржева, угрожавшие немецкому плацдарму группы «Центр», находившейся под командой генерал-полковника Моделя, и сковывавшие крупные силы противника, тем самым содействовали обороне Сталинграда». В летописи многих советских семей Ржев связан с потерей близкого человека — бои были очень кровопролитными. Мне не удалось побывать у Сталинграда, и о битве на Волге я знаю только по очеркам Гроссмана, по роману Некрасова да по рассказам друзей. Но Ржева я не забуду. Может быть, были наступления, стоившие больше человеческих жизней, по не было, кажется, другого столь печального — неделями шли бои за пять-шесть обломанных деревьев, за стенку разбитого дома да крохотный бугорок.

Зарядили дожди; вопреки утверждению редактора «Правды», они казались желтыми, даже рыжими. Что может быть тоскливее в осеннюю пору, чем тверские болота с грязным небом, с пестрой лихорадочной листвой, с засасывающей хлябью дорог! Машины буксовали, и с отчаянными криками «раз» их пытались столкнуть с места. Кое-где дорога была устлана срубленными деревьями, и замызганные «виллисы» подпрыгивали, как раненые птицы. Ехали ко Ржеву долга. Вместо Торжка, Старины, сожженных немецкой авиацией, чернели обугленные корпуса пустых домов. В деревнях женщины копали картошку и сжимали картофелины, как камешки золотоносной породы.

С одного из бугров можно было разглядеть Ржев; от него мало что оставалось, хотя издали он казался обыкновенным живым городом. Наши заняли аэродром, а военный городок был в руках немцев; все время я видел два жилых корпуса — тот, что повыше, солдаты пазы-дали «полковником», второй — «подполковником». Часть пригородного лесочка была полем бон; изуродованные снарядами и минами деревья казались кольями, натыканными в беспорядке. Земли была изрезана окопами; как волдыри, взбухали блиндажи. Одна воронка переходила в другую.

Узбеки в маскировочных халатах, высокие, красивые, казались актерами загадочной феерии, а роспись халатов напоминала абстрактную живопись.

В штабах лежали карты с квадратами города, но порой от улиц не было следа, бои шли за крохотный клочок земли, поросший колючей проволокой, нафаршированный осколками

снарядов, битым стеклом, жестянками из-под консервов, калом. Несколько раз я слышал немецкие песни, отдельные слова — враги копошились рядом в таких же окопах. Глушили басы орудий, неистовствовали минометы, а потом вдруг в тишине двух-трех минут слышалась дробь пулеметов.

Люди жили в такой тесной близости не только с немцами, но и со смертью, что ничего больше не замечали; создался быт — толки о том, когда же начнут выдавать сто граммов, обсуждение, за что получила медаль Варя, перекочевавшая в землянку командира батальона. При робком свете коптилок солдаты ругались, писали письма домой, искали вшей (их называли «автоматчиками»), заводили длинные разговоры о том, что будет, когда кончится война. О смерти никто не хотел говорить — предпочитали вспоминать или загадывать. Когда извивались ракеты, кто-нибудь спокойно ругался: «Развесил, гад! Сейчас начнет…» Два часа спустя другой сплевывал: «Вот паразит! Это он пикирует…» В штабе раздавали Ордена награжденным, составляли списки пропавших без вести. В санбатах переливали кровь, отрезали руки, ноги; санитар жаловался: «И часа поспать не дают…» Связистки, эти неизменные героини всех военных рассказов, Маруси, Кати, Наташи, повторяли: «Ока, дай мне Звезду». По наивной конспирации полки, батальоны именовались в телефонных разговорах «хозяйствами». Командир кричал Оле или Вере: «Да что вы, вашу мать, мешаете!..» Девушки вспоминали выпускной вечер, первую любовь почти все, которых я встречал, на фронт пришли сразу со школьной скамьи; они часто пугливо сжились — слишком много кругом мужчин с жадными глазами. В редакции дивизионной газеты майор диктовал: «Подвиг старшины Кузьмичена. По заданию командовании…» Потом он делился новостями с приятелем инструктором по партучету: «Говорят, Мехлиса снимут, вот это будет номер!..»

За всем этим было, однако, не безразличие, не мелочность будней, а ожесточение. Войне шел второй год, и она давно перестала казаться внезапной катастрофой, она возмужала, и хотя все знали, что на юге происходят страшные события, что немцы дошли до Волги, жила уверенность, что война надолго, что одним суждено погибнуть, может быть, через год, может быть, через час, а те, что чудом уцелеют, увидят победу. Каждому казалось, что он-то обязательно выживет, и каждый суеверно старался об этом не только не говорить, но и не думать.

Порой все как-то притихало; порой бои разгорались. Полковнику Гавалевскому удалось прогнать противника с северного берега Волги. В течение восьми месяцев немцы

укрепляли свои позиции, хорошо оборудовали минные поля. Младший лейтенант Рашевский повел роту в атаку до срока, нарушил приказ. В этой роте были бойцы разных национальностей — русские, узбеки, татары, евреи, башкиры. Рашевский был ранен, но остался в строю. Татарин Ибрагим Вагаутдинов говорил: «Маленько их пощекотали…» У колхозника Шуйского в оккупированной немцами деревне остались родители, жена, сестры. «Стариков жалко, — повторял он, нот где у меня скребет…» У него было мягкое русское лицо, с расплывчатыми чертами, а чувствовалось, что его изводит тоска, он тихо повторял: «Бить их!..»

Помню бледное лицо Даниила Алексеевича Прыткова, в прошлом уральского сталевара. Он воевал исступленно. Я узнал, что у него на Урале старая мать и что немцы убили его товарища. Прытков полз ночью к немецким позициям и возвращался с трофеями — приносил автоматы, снайперские винтовки. Он говорил подполковнику Самосенко: «Товарищ начальник, дайте мне отечественный автомат! У меня немецких шестнадцать штук было — роздал, противно мне из них стрелять…» Подполковник говорил: «Да ты отдохни денек…» Прытков отказывался: «А кто наступать будет?…» Он жил одним. После контузии он стал плохо слышать, прикладывал к уху ручные часы: «Оглох!.. Ничего — там услышу!..» (Где «там» — я так и не понял.) Он повторял: «Гады!.. Гады!..» А глаза горели, шевелились губы, чувствовался душевный подъем.

Солдат Илья Горев мне сказал: «От них сердце сохнет…» И впрямь, когда я теперь думаю о наших чувствах того времени, я вижу: мы жили в такой ненависти к фашистам, в такой тоске и тревоге, что можно было сравнить сердце каждого с землей в засуху, растрескавшейся, горячей, выжженной. Лето 1942 года…

Старшина Беляков был немолодым тихим колхозником. Он со мной разговорился, жаловался, что жене трудно — трое детей, она болезненная, колхоз бедный, и до войны жили плохо, а теперь еще хуже. Пока другие шутили, спорили, делились военными новостями, он сидел молча, иногда закуривал и долго кашлял, только раз вышел из себя, когда ему рассказала женщина, что немцы, уходя, пристрелили корову: «Совести у них нет! Что солдат, что ребенок — для них все одно. Да таких убить мало. А что с ними делать?…» Он замолк, насыпал самосада в клочок газеты (читать не любил) и тихо добавил: «Вот, говорили, магазины у них хорошие, товаров много. А вы объясните, душа у такого есть?…»

Над Мишей Савченко все посмеивались, он писал стихи о любви и посвящал их различным особам — то Светлане, то

Леночке. Я записал рассмешившие меня строки:

На фронте нет ни розы, ни Пегаса,
Но фриц наставил много всюду мин.
А я до наступательного часа
С тобой, любовь! С тобой влечу в Берлин!

Он обижался, что ни одно из его произведений не было напечатано В дивизионной газете: «Там признают одни шаблоны. Напиши я про гвардейскую честь, сейчас же тиснут…» И вот этот Миша, когда немцы атаковали, подбил танк. Генерал Чанчибадзе вручил ему Красную Звезду, обнял. Миша подымал и без того высоко расположенные тоненькие брови: «А что я, дам танку дорогу?…» Он посвятил стихи об ордене связистке Груше, но их не напечатали.

Еще я вспомнил маленького еврея-парикмахера, кажется, его звали Фегелем, имя в записной книжке стерлось. В отличие от других парикмахеров, он стриг и брил молча. Никто не понимал, как он пошел за «языком» и дотащил на себе рослого немца; да и он не умел объяснить: «Скучно стало. Ну, и вспомнил разное…» Я не стал допытываться, что он вспомнил; наверно, у него остались в оккупации близкие — он был минчанином. Я только спросил: «Страшно вам было?» Он пожал плечами: «Я когда полз, ничего не чувствовал. Л может быть, чувствовал, но забыл. Вот теперь вспомню — и страшно…»

С американским журналистом Леландом Стоу мы были у генерала П. Г. Чанчибадзе, порывистого, веселого грузина. В ту ночь немцы вели сильный минометный огонь, а Порфирий Георгиевич, невозмутимый, произносил цветистые тосты, хотел уложить американца. Леланд Стоу — смелый человек, он был на различных войнах: в Испании, в Норвегии, в Ливии; нить он умел, но не выдержал: «Больше не могу». Тогда генерал налил себе полный стакан, а журналисту чуточку на донышке и сказал мне: «Вы ему переведите — вот так наши воюют, а так воюют американцы…» Стоу рассмеялся: «В первый раз я радуюсь, что мы плохо воюем…» На следующую ночь по дороге в штаб армии мы увидели избу, долго стучались. Наконец раздался перепуганный женский голос: «Кто там?» — «Свои». Женщина нас впустила, недоверчиво осмотрела. «Я уж думала, не хрицы ли…» (Она говорила вместо «фрицы» — «хрицы».) Услышав, что мы говорим друг с другом не по-русски, она заплакала: «Хрицы!..» Я объяснил, что со мной американец. Женщина сказала: «Чего они сидят у себя? Что нам, подыхать всем?…» Я перевел ее слова Стоу, и он отвернулся: это был не тамада… Проснулся ребенок, заплакал, и

женщина его баюкала.

Под Ржевом неожиданно и встретил «испанку» — Эмму Лазаревну Вольф. Она работала по контрпропаганде. Мы вспомнили Мадрид. Все это уже было, и нам казалось, что так всегда будет: полевой телефон, минометы, смерть. Только вот подрос ее сын; она рассказала, что он воюет у Ржева. Да еще не было на свете милого Горева, защитника Мадрида. Трудно было примириться с мыслью, что его убили свои…

«У меня был товарищ, замечательный командир, отличился в финскую войну, а его посадили за месяц до того, как немцы напали», — рассказывал мне генерал Л. И. Зыгин, человек смелый и хороший. Было это в темную звездную ночь на тихом участке фронта. Мы сидели и палатке на берегу. (Алексей Иванович шутил: «Домик на Волге».) Он размышлял вслух: «Дотянем до конца, тогда все будет по-другому… А то пакости много. Вот напечатали в «Правде» пьесу «Фронт». Все правильно. Только почему поздно спохватились? Сколько невинных загубили! А подхалимов на высокие места расставили. Страха навели. Я на переднем крае не боюсь, а тогда, как все, — труса праздновал… Как по-вашему — Сталин знает хотя бы одну десятую? Я думаю, ничего он не знает, обманывали его, говорили: подготовка блестящая… Теперь-то он не может не видеть… Говорит он правильно. Но кто должен выполнять? Все те же…»

Мысли генерала Зыгин а тогда разделяли многие. Мне хочется быть точным, я боюсь каждый раз, что теперешние оценки могут повлиять на изложение прошлого. Приведу отрывки из письма, написанного мне в сентябре 1942 года фронтовиком капитаном Шестопалом, оно у меня сохранилось: «У меня пропали жена, ребенок (говорю, как о вещи, «пропали» — люди в оккупированных краях пропадают хуже вещей). Мою милую голубоглазую Украину распяли паскудные немцы… Никогда я так не дрожал за судьбу своего отечества, как теперь… Только и слышишь, что отошли на новые рубежи, что враг теснит наши войска… Когда мы кончим войну, помоем руки и сядем судить, кто что сделал для того, чтобы спасти страну, вспомним тех, кого нужно вспомнить и кого следует жестоко высечь за нерадивость или жульничество… Возможно, печать старалась учить общество на хороших примерах, а получалось, что в нашей социальной жизни ни сучка, ни задоринки. Дорого нам обходится эта дидактика! Сталин бьет в набат. Газеты не преминут сейчас же поднять шумиху, сделать из этого очередную кампанию. Успокоить себя и других прежде лаже, чем кончится «историческая» кампания. Они ведь кричали: «Не забывайте мудрых исторических слов сверх гениальнейшего (это

обязательно, хотя в этом меньше всего надобности) Сталина. Но наша граница на замке, ее надежно защищают верные часовые и т. д.» Это же самоубийство!.. В общем, многое мы делали плохо и за это сейчас отдуваемся. Я думаю, что не только мы немцам мозги вставим, но и некоторым нашим. Война нас многому научит…»

Алексей Иванович Зыгин погиб в 1943 году. Не знаю, дожил ли капитан М. Шестопал до наших дней. Да и о многих других мне ничего не известно. Я писал в те годы:

Слов мы боимся, и все же прощай!
Если судьба нас сведет невзначай,
Может, не сразу узнаю я, кто
Серый прохожий в дорожном пальто…
Странно устроен любой человек:
Страстно клянется, что любит навек,
И забывает, когда и кому…
Но не изменит и он одному:
Слову скупому, горячей руке,
Ржевскому лесу и ржевской тоске…

Маленькая разодранная записная книжка; многое стерлось, трудно разобрать свои каракули. Но вот четкая запись чужой рукой: «Пережать жене Кокорина, что он жив и воюет» — и номер московского телефона. Не знаю, что стало с Кокориным, даже не помню, где его встретил, кажется, в редакции армейской газеты, а наверно, говорили мы по душам — у ржевского леса…

11

Еще осенью 1941 года я начал писать для шведской газеты «Гётеборгс хандельстиднинг», а год спустя узнал от А. М. Коллонтай, которая была нашим послом в Швеции, что некоторые мои статьи вывели из себя обычно спокойных, даже флегматичных северян. Но прежде всего мне хочется рассказать об Александре Михайловне.

Впервые я ее увидел в Париже в 1909 году, на докладе, или, как тогда говорили, на реферате. Она показалась мне красивой, одета была так, как обычно одевались русские эмигрантки, желавшие подчеркнуть свое пренебрежение к женственности; да и говорила о том, что должно было увлечь восемнадцатилетнего юношу, — личное счастье, для которого создан человек, немыслимо без всеобщего счастья.

А познакомился я с Александрой Михайловной только двадцать лет спустя в Осло, где она была полпредом. Хотя ей было под шестьдесят, я едва поспевал за ней, когда она взбегала на крутые скалы. Молодость сказывалась и в манере поспорить, и в мечтаниях — было это в 1929 году, когда еще легко было и спорить, и мечтать. Меня поразила ее популярность — многие встречные с ней здоровались; мы зашли в кафе, музыканты ее узнали и стали исполнять в ее честь русские песни. Политические деятели говорили о ней с почтением, а поэты и художники в волнении ждали, что она скажет о выставке или о книге.

Александра Михаиловна в беседах со мной иногда вспоминала свое прошлое. Она была дочерью генерала Домонтовича, ее мать родилась в Финляндии. Александре Михайловне было восемнадцать лет, когда она вышла замуж за инженера Коллонтая, от которого вскоре ушла: семейное благополучие не пришлось ей по душе. Она увлеклась революционными идеями, ездила за границу, стала социал-демократкой, встречалась с Лениным, Плехановым, Розой Люксембург, Лафаргами. В 1908 году царские власти привлекли ее к ответственности: нашли в ее брошюре, посвященной Финляндии, призыв к восстанию. Коллонтай пришлось уехать за границу. (Финны не забыли, что она боролась за независимость Финляндии, и это облегчило личные контакты в марте 1940 года, когда начались переговоры о мире. Я был в Сальтшебадене на даче у шведского актера Карла Герхарда; он рассказал мне, как ночью у него встретились представители финского правительства и Коллонтай. «Другой такой умницы я не встречал, — восклицал он, обычно твердые убеждения исключают широту, терпимость, а

госпожа Коллонтай обладала огромным тактом…»)

В 1914 году немцы посадили Коллонтай в тюрьму за антимилитаристические выступления. Потом она уехала в Швецию, и нейтральное, казалось бы миролюбивое, правительство Швеции ее тоже арестовало и выслало. Коллонтай пришлось уехать в Канаду.

У Александры Михайловны хранилась статья, напечатанная в газете шведских левых социал-демократов в июле 1917 года, где говорилось, что друзья проводили товарища Коллонтай, которая уехала в Петроград, в тюрьму Керенского. Действительно, на границе ее ждал комиссар Временного правительства князь Белосельский, он сразу отправил ее в женскую каторжную тюрьму. После Октябрьской революции Коллонтай назначили наркомом государственного призрения, она создавала ясли, отвоевывала для детей молоко, подготовляла декреты об охране материнства. Проект первого советского закона о браке был написан Александрой Михайловной, в нем, конечно, не было ни «матерей-одиночек», ни «внебрачных детей». С 1922 года по 1946-й Коллонтай представляла Советский Союз в Норвегии, Мексике, Швеции.

Почему я увлекся послужным списком, биографией, казалось бы, достаточно известного политического деятеля? Шестьдесят лет Коллонтай отдала борьбе за торжество социалистического общества, а о ней мало что написано, меньше, чем о многих ничем не примечательных должностных лицах. Обидно это сказать, но у нас плохо помнят хороших людей.

Меня подкупал естественный демократизм Александры Михайловны. Она свободно, оставаясь самой собой, беседовала и с чопорным шведским королем, и с горняками. Познакомив меня с домашней работницей, она сказала: «Это мой личный секретарь». Обедали в посольстве все вместе — сотрудники, шоферы, работница. Коллонтай обладала даром воспитывать, и много молодых людей, работавших под ее руководством, обязаны ей своим духовным развитием.

В 1929 году она мне говорила о том, что нужна современная форма в искусстве, ее увлекали работы молодых норвежцев и мексиканцев, ей нравился Ван Гог. В 1933 году мы разговорились о литературе. Александра Михайловна удивлялась: «Прислали мне два новых романа. Ну зачем эти пай-мальчики? После Толстого, Достоевского, Чехова… Да так можно отучить читать».

В мае 1938 года, возвращаясь через Стокгольм из Москвы в Испанию, я нашел Александру Михайловну постаревшей, печальной. Она пригласила на обед посла республиканской Испании Паленсию, оживилась, когда Паленсия рассказывал о

новых командирах, выросших в боях: «Я тоже считаю, что еще ничего не потеряно…» Потом Паленсия ушла. Александра Михайловна спросила: «Как дома?» И поспешно добавила: «Можете не отвечать — я знаю…» Когда мы расставались, она сказала: «Желаю вам сил, теперь их нужно вдвойне, не только потому, что вы скоро будете в Барселоне, а и потому, что были недавно в Москве…»

У меня сохранилось несколько писем от Александры Михайловны, которые я получил во время войны, писала она о моих статьях и мельком упоминала о себе: «Работаю я очень много, и дела большие», — такой у нее был характер.

Я бывал у Александры Михайловны в последние годы ее жизни. Она была частично парализована, но продолжала работать. С нею советовались сотрудники МИДа. Она писала мемуары для будущих историков — хотела рассказать то, что ей пришлось увидеть и пережить, Умерла она восьмидесяти лет от роду.

Теперь нужно вернуться от большого сердца к мелкой политике. Швеция, как известно, во второй мировой войне оставалась нейтральной; однако правительство разрешило Гитлеру провозить через шведскую территорию войска и боевое снаряжение. Одним шведам это нравилось, другие с этим скрепя сердце мирились, третьи возмущались.

Газета «Гётеборгс хандельстиднинг» была настроена просоюзнически и предложила мне присылать ей статьи из Москвы. Я понимал, что положение Швеции трудное, и старался писать как можно деликатнее. Все же мои статьи вызвали возмущение немцев. ДНБ (Германское информационное бюро) сообщило, что на пресс-конференции представитель министерства иностранных дел предупредил шведов, что «статьи Эренбурга в гётеборгской газете несовместимы с нейтралитетом и могут иметь для Швеции неприятные последствия».

Некоторые шведские газеты поддержали Риббентропа — «Стокгольме тиднинген», «Гётеборгс морген», «Афтонбладет» и другие. Особенно образно выражалась «Дагспостен»: «Эренбург побил все рекорды интеллектуального садизма. Незачем критиковать эту свинскую ложь и доказывать, что Эренбург пытается приписать немцам то, что обычно совершают красноармейцы».

Господин Тегиер, редактор распространенной спортивной газеты «Идроттсбладет», бушевал, как будто он на матче футбола. Мои статьи, по словам различных болельщиков Гитлера, были связаны с потоплением в Балтийском море шведских судов, с замыслами русских захватить Стокгольм и с другими

ужасающими вещами.

Статьи, которые печатала гётеборгская газета, попадали в нелегальную печать Норвегии и Дании. Это, разумеется, раздражало немцев, и «Франкфуртер цейтунг» писала, что «все разумные шведы протестуют против гостеприимства, оказываемого кровожадному московскому провокатору». Газета ссылалась на путешественника Свена Хедина, который говорил о «свирепости русского медведя» и восхвалял одного шведа, записавшегося в немецкую дивизию.

Выступил и человек, занимавший ответственный пост, начальник почты и телеграфа Андере Эрне. Он опубликовал статью «Илья Эренбург в Швеции», в которой писал: «Получается попытка завоевать Швецию изнутри для включения ее в состав СССР». Это было в июле 1942 года, когда наша армии в донских степях истекала кровью.

В начале 1943 года в шведском журнале «Фольксвильян» было напечатано следующее: «Мы опубликовали комментарии Ильи Эренбурга к последней речи Гитлера. Мы опустили ряд мест, чтобы в статье не было ничего оскорбительного для главы германского государства. Статья не встретила возражений со стороны органа, контролирующего печать. Однако на следующий день состоялось заседание кабинета, который решил конфисковать все номера со статьей Эренбурга. Мы считаем это настоящим перегибом».

Редактор «Гётеборгс хандольстидинг» профессор Сегерстедт мне сообщил, что, хотя из-за цензуры ему приходится порой делать купюры в моих статьях, он меня сердечно благодарит и рад указать, что получает много одобрительных писем от читателей газеты; А. М. Коллонтай писала мне: «Вы ведь знаете, как в Швеции вас ценят и любят…»

В Москве я иногда бывал у посла Норвегии Андворда. Он зажигал камин, угощал вином, был человеком приветливым, уютным. Мы с ним вспоминали норвежских друзей. Он знал о полемике в шведской печати и говорил мне: «Не обращайте внимания на директора почты. Он директор, и только, а письма пишут обыкновенные шведы. Это хорошие люди. Они знают о судьбе Норвегии, им больно, а иногда и стыдно…»

Пять лет спустя после конца войны и попал в Швецию. Выл я и в Гётеборге, и в газете «Гётеборгс хандельстиднинг» (не было там уже профессора Сегерстедта) напечатали весьма нелюбезную заметку о сотруднике военных лет. Я не удивился: я уже задолго до этого понял, что там, где все решает политика, память обременительный предрассудок.

Зато я встретил в Швеции людей, которые поддерживали нас

в трудные годы. Я ближе познакомился с Георгом Брантингом, которого встречал в Испании, с Мэром, со многими другими. Я понял, что норвежский посол был прав: в Швеции оказалось много хороших людей. Все они с нежностью вспоминали А. М. Коллонтай.

Что же получается? Жизнь чужой страны напоминает темный театральный зал; освещают только сцену. А на сцене появляются актеру, исчезают — все зависит от событий, от конъюнктуры, от капризного характера режиссера, которого именуют историей. Когда Гитлер подходил к Волге, когда он был в Египте и прокладывал путь к Индии, в шведском театре шла дурная постановка дурной пьесы. Вскоре ее сняли с афиши: красноармейцы развязали шведам языки. А в зале? В зале сидят рядовые зрители, они могут хлопать или свистеть, но ввтавлять свои реплики не в их возможностях. А когда норой они врываются на сцену, то трещат не только декорации, трещит и театр…

12

Сообщение о конце Сталинградской битвы застало меня в пути: вместе с фотокорреспондентом «Красной звезды» С.И. Лоскутовым я ехал в Касторную. Настроение у меня было приподнятое: ясно, что произошел перелом, прежде приходилось верить в победу наперекор всему, а теперь для сомнений нет места — победа обеспечена.

Морозы стояли сильные, начинался февраль с длинными метелями, с поземкой, которая хлещет лицо. А когда мы добрались до Касторной, был холодный ясный вечер. Луна обливала зеленоватым мертвым светом снежное поле, трупы, искромсанные снарядами, расплющенные танками. Мы постояли и ушли в избу.

Утром я долго бродил вокруг Касторной. Немецкие дивизии, отходившие от Воронежа, попали тут в западню, и мало кому известное село стало сразу знаменитым. Перевернутые грузовики, затерявшиеся в сугробах малолитражки, «опели», «ситроены», «фиаты», на которых когда-то молодожены ездили к морю, итальянские автобусы с вырванными боками, штабные бумаги, куски туловищ, походные кухни, голова в шлеме, бутылки шампанского, портфели, оторванные руки, пишущие машинки, пулеметы, парижская куколка-амулет с длиннущими ресницами и голая пятка, как будто проросшая сквозь снег.

Зрелище убитого поражает даже на войне — невольно задумываешься: откуда он родом, зачем пришел, кого оставил, и в этом чувстве нечто человеческое. Но в Касторной не могла даже возникнуть мысль о судьбе отдельного солдата. На час показалось зимнее солнце, и в его свете трупы напоминали восковые фигуры паноптикума, а снежное поле с ломом, с расчлененными телами, с черными дырами — макет давно исчезнувшего мира.

Лейтенант дал мне хлебнуть коньяку. Мы сидели в темной избе, нагретой людьми. Все говорили наперебой. Лейтенант рассказывал, как за один день они прошли по снежной степи тридцать километров. «Бью и с ног валюсь — засыпаю…» Я запомнил молодого капитана Тищенко. Все перемешалось, и он оказался окруженным немцами. «Ну что тут поделаешь? Окружили-то мы их, а я гляжу — кругом фрицы… Даже не знаю, как это мне и голову пришло, наверно, с перепугу, схватил одного за руку, говорю: «Молодец, что сдаешься, гут, очень гут…» А они руки подняли…»

У меня записано: «Старшина Корявцев попал в ледяную воду. Командир роты говорил: «Иди в дом — простынешь». А старшина

отвечал: «Мне и не холодно — злоба отогревает…»

У солдата Неймарка рука была перевязана. До войны он работал бухгалтером в Чернигове. Грязный, небритый — седая щетина. Он усмехался: «Говорят, «еврейское счастье», а вы посмотрите — мне действительно повезло: три пальца оторвало, а два осталось, и те, что надо, могу продолжать. Я вам признаюсь: есть желание дойти до Чернигова…»

Я записал также длинный разговор с немецким разведчиком, офицером из штаба 13-го корпуса Отто Зинскером. Это был немолодой и неглупый человек. Вначале он мне сказал: «Я не ослеплен величием Гитлера, но я и не хочу его винить — он стоит тою, чего он стоит. Ему удалось пробудить в немцах национальную гордость — это его заслуга. Плохо только, что нацисты часто мешают старым, опытным командирам… Конечно, искоренение коммунизма или ликвидация евреев входят в программу партии. Политика меня не интересует, а жалеть население противника военному человеку не приходится — война есть война. По видите ли, насилия, грабежи способны развратить любую армию, даже немецкую. Впрочем, и это не главное…» Он замолчал и только час спустя, отогревшись, выкурив несколько сигарет, разоткровенничался: «Вы думаете, наша разведка не знала о ваших резервах? Да у генерала Штроиа были не только номера ваших дивизий, но и данные о составе, о материальной части. Это старая истории!.. Когда разведка сообщила о русских дивизиях возле Котельников а, дальше командующего армией это не пошло. Генерал фон Зальмут сказал, что в главной квартире не любят получать подобную информацию: опасно доложить фюреру — имя генерала окажется связанным с неприятностью. Есть, оказывается, закон ассоциаций… Следовательно, службу информации можно переименовать: мы занимаемся скорей дезинформацией. Генерал Штром обманывает генерала фон Зальмута, тот-генерала Кейтеля, Кейтель — фюрера. Цепочка, на ней Германию тащат в пропасть…»

Мы пробирались дальше, и в Щигры попали через несколько часов после того, как в город ворвались наши части. Приехали мы поздно вечером, долго стучались в дома, никто не отвечал. Наконец нас впустили. Сергей Иванович Лоскутов устроился у симпатичных стариков, а меня провели в комнату, где жила молодая женщина с сыном лет шести или семи. Мальчик проснулся, раскапризничался, требовал варенья. Мать взяла его к себе в постель, а я спал на диванчике. При тусклом свете лампочки я разглядел хозяйку — хорошее русское лицо, печальное, усталое. Мне было неловко, что я ее испугал; я сказал, что теперь ужасы позади, она отдохнет, успокоится. Она

заплакала: вот уже полтора года, как она ничего не знает о своем муже; он летчик, последнее письмо она получила в начале войны; спрашивала меня, как его разыскать, — номер полевой почты, конечно, изменился, а она даже не знает, в какой он был части. Потом я уснул и проснулся от капризного голоса мальчика, который снова вспомнил про варенье. Я наконец-то увидел предмет его вожделений — консервную банку с французской надписью. Хозяйка меня угостила завтраком, объяснила: «У нас много всего — немцы побросали, а мы вечером подобрали…» Я спросил, как держались немцы. Она сказала: «Сами знаете — разве это люди? Я, к счастью, с ними не сталкивалась. Они разместились в хороших домах, а у меня, сами видите, конура. Сюда ни один немец не приходил…» Мальчик ее перебил: «Мама, дядя Отто каждый день приходил, он со мной играл, с тобой играл». Женщина густо покраснела: «Не выдумывай глупостей!..» Мальчик упрямо повторял: «Я не придумываю. Дядя Отто обещал принести домик из шоколада…» Женщина поглядела на меня перепуганная. Я сказал: «Не бойтесь, я не расскажу», — и вышел. (Эта сцена мне запомнилась; в романе «Буря» доктор Крылов ночует в маленьком городке и слышит рассказ мальчика о «дяде Отто».)

Полковник мне сказал, что задержали предателя — «полицая». В маленькой комнате сидел человек лет тридцати пяти. Он приподнял полову и поглядел на меня тусклыми, водянистыми глазами. У него был большой кадык. Он рассказал мне, что немцы открыли в Щиграх «курсы для полицейских». Там он учился. В общем, он не сделал ничего плохого. Он только написал коменданту Паулиигу благодарственный адрес от выпускников. Теперь это припомнили. «Безмозглость… Я никогда не отличался практичностью…» Он начал всхлипывать: «Струсил, а теперь свои бьют…» Минуту спустя он вдруг осмелел: «Нет, вы скажите, что я сделал плохого? Почему на мне вымещают злобу? Сказали «курсы» — я и пошел. Я в свое время десятилетку кончил, мечтал дальше учиться, а не удалось. Можете людей спросить — я до войны выполнял ответственную работу, ни одного взыскания. Нужно учесть обстоятельства. Я первый радуюсь, что вернулись наши. Почему же на меня накинулись? Я не в Москве был, не моя вина, если здесь командовали немцы…»

В городке оставались деревянные домики: хорошие дома немцы, перед тем как уйти, сожгли. В городском парке я увидел немецкое кладбище — длинные вереницы крестов. Люди рассказывали о пережитом: партизаны взорвали мост, немцы тогда расстреляли пятьдесят заложников, а весной на площади повесили шесть женщин — за связь с партизанами. Когда их вели

на казнь, люди плакали. Одна из женщин, увидев нарумяненную девицу, крикнула: «Стыдно быть немецкой подстилкой…» (В «Буре» я привел песенку, сложенную тогда в одном из оккупированных городов:

Вы прически сделали под немецких куколок,
Красками намазались, вертитесь юлой,
А вернутся соколы — не помогут локоны,
И пройдет с презрением парень молодой.)
Замучили братьев Русановых…

Полковник сказал, что наши быстро продвигаются к Курску, дня через два-три, наверное, освободят город. Мы поехали по указанному маршруту и в Косарже попали под сильную бомбежку, лежали на снегу; а когда встали, поле было в больших черных пятнах.

Началась сильная вьюга. Водитель ругался, каждые сто шагов останавливался, мы выходили, пытались угадать, куда ехать, — дорога исчезла. Проехали мы десять, может быть, пятнадцать километров, потом машина завязла. Начало смеркаться — было четыре часа. Еды у пас не было, мы мерзли. Мотор заглох. Одет я был, скорее, плохо: шинель, сапоги, перчатки вместо рукавиц. Настала ночь. Вначале я страдал от холода, а потом как-то сразу стало тепло, даже уютно. Сергей Иванович ругался, говорил, что, как только рассветет, пойдет искать жилье. А водитель и я молчали. Я не спал, но дремал, и мне было удивительно хорошо; в общем, я замерзал.

Несколько раз в жизни я примерял смерть. Самое неприятное — задохнуться. Однажды мы летели в бурю через Альпы — Корнейчук, В. Л. Василевская, Фадеев и я. Маленький самолет поднялся на высоту четырех тысяч метров. Фадеев продолжал читать. Я увидел лицо Корнейчука и испугался — оно было зеленоватым. Я раскрывал рот и чувствовал, что дышать нечем. Когда проводница принесла подушку с кислородом, у меня не было сил, чтобы вдохнуть. Это было отвратительно.

А вот ночь между Коса ржей и Золотухиной я вспоминаю с нежностью. Чего только мне не мерещилось! Кажется, в жизни я не испытывал такого блаженства. Шофер мне потом рассказал, что он тоже замерзал и тоже видел хорошие сны. А Сергей Иванович не хотел при — мириться с судьбой, хотел нас спасти. Чуть рассвело, он сказал: «Иду». Я ответил, что это глупо; поглядел — он тонул в сугробах, а я снова вернулся к своим мечтаниям. Смутно помню, как подъехали сани. Меня выволокли, покрыли тулупом. Сергей Иванович улыбался.

Майор дал мне стакан водки; я выпил и не почувствовал даже, что это водка. Майор покачал головой и налил еще полстакана. Конечно, выпей я столько, да еще натощак, в обычном состоянии я лежал бы под столом; а тут мы закусили и час спустя с офицерами артиллерийского батальона, сидя над картой, обсуждали, как добраться до Курска. Нашу машину дотянули до Золотухина, а оттуда по железнодорожному пути мы отправились в Курск.

(Летом 1962-го после заседания подготовительного комитета Конгресса за разоружение, на котором представитель Кении объяснил пацифистам, что мао-мао не племя, а партия, мой сосед Н. И. Базанов, скромный и вполне миролюбивый человек, неожиданно спросил меня, помню ли я, как меня отогревали артиллеристы возле Золотухина. Я и до того встречал Николая Ивановича, но не подозревал, что это тот самый майор, который лечил меня водкой в далекое февральское утро.)

Мне передали папку, на ней значится: «О пребывании на фронте Ильи Эренбурга. В деле подшито и пронумеровано 35 листов. Начато 5 февраля 1943 года, кончено 20 февраля 1943 года». В папке — сначала телеграммы, подписанные мной и майором Лоскутовым: «Прибыли в «Топаз», выезжаем в части», «Прибыли в «Прожектор», «Выехали в хозяйство Черняховского». Телеграммы адресованы в «Бархат» — так называлась Москва. «Прожектор», «Закал», «Топаз», «Кадмий» — были штабами различных армий. После 6 февраля мы не подавали признаков жизни, и генерал Вадимов всполошился, он слал телеграммы начальнику политуправления Брянского фронта генералу Пигурнову, генералам Черняховскому, Пухову, корреспондентам «Красной звезды» — полковнику Крайнову и майору Смирнову, вызывал их по прямому проводу. Майор Смирнов резонно отвечал: «Очевидно, Эренбург застрял в пути, вот уже четыре дня сильная метель, дороги для проезда непригодны». Но генерал Вадимов требовал, чтобы меня немедленно разыскали, он даже всполошил Любу и успокоился, только получив телеграмму: «Прибыли Курск штаб 60 армии».

В Курске я сел за статью — впервые с начала войны в течение трех недель мое имя не появлялось в газете.

Немцы пробыли в Курске пятнадцать месяцев, там я увидел, что такое «новый порядок», о котором писали «Курские известия», выходившие при оккупантах. Я разглядывал людей то оцепеневших, то возбужденных и говоривших без умолку. Были среди них и герои, и трусы, и мещане, приспособившиеся к мародерству, к спекуляции, к стрельбе, к попойкам. Из рассказов вставала картина лихорадочной, бессвязной, да и бессмысленной

жизни. В зале, где заседала городская управа, висел портрет Гитлера. Городским головой был назначен некто Смялковский; я просмотрел его доклады коменданту города генералу Марселлу; голова трусил, юлил, старался доказать, что он предан фюреру.

Открыли несколько предприятий — трикотажную фабрику, кожевенный завод, мельницу. Процветали комиссионные магазины, но душой города был базар. Там торговали сахаром, лекарствами, украденными у немцев итальянскими чулками, самогоном. Один дворник стал богатым человеком — он донес, что в подвале прячутся две старухи-еврейки, вошел и доверие гестаповцев, получил хорошую квартиру и жил припеваючи. Один врач торговал на базаре сульфазолом, выпив, он говорил: «А все-таки я не жалею, что остался. Конечно, немцы — бандиты. Но разве я мог себе представить, что можно каждый вечер пить французский коньяк и дарить девчонкам чулки?…»

Я познакомился с девушкой, бывшей студенткой пединститута, которая, расплакавшись, мне выложила все: «Я вам доверяю: я читала ваш роман про любовь, не помню названия, какая-то француженка… Не знаю, было ли это с моей стороны любовью или просто увлеклась с тоски. Но он не приставал, только целовал руку. Он очень хорошо играл на рояле, говорил про чувства. Никогда раньше я не слыхала таких слов. Вот и растрогалась… А теперь — расплата…» Она жадно глядела на меня — искала сочувствия. Я молчал. Много лет спустя я увидел фильм «Хиросима — моя любовь»: молоденькая француженка во время оккупации влюбилась в немецкого солдата; немцев прогнали, над девушкой издеваются, бреют ей голову, она похожа на затравленного зверька. Актриса играла хорошо, и мне было жалко героиню фильма. Я долго думал о «странностях любви». Почему же не нашлось во мне жалости к молодой курянке? Все было слишком свежо. Как раз до этого я разговаривал с учительницей Козуб; ее отправили рыть рвы, и немецкий офицер бил ее по лицу. Я видел другую учительницу — Привалову, немцы убили ее сына. Я разговаривал с единственным евреем, который выжил. Он лежал в тифозной палате, и сиделки сказали немцам, что он умер. А других убили в предместье Щетинки. Грудных детей ударяли головой о камень. Я чувствовал, что все во мне окаменело. Конечно, немец, в которого влюбилась студентка, мог испытывать угрызения совести, даже терзаться, кто его знает? Но мне тогда было не до «странностей любви».

Встретив студентку пединститута Зою Емельянову, которая доставляла партизанам оружие, я обрадовался ей, как живой воде; записал: «Зоя — вот комсомолка!» (Потом я иногда получал от нее письма, мы разговаривали не больше часа, а она осталась в

моей памяти человеком, душевно близким.)

Я повидал и других смелых, благородных людей, но не скрою: мне было тяжело, Я знал, что население узнало всю меру страданий — нельзя сравнить порядки фашистов в оккупированных городах Франции, Голландии, Бельгии с теми, которые царили в захваченных гитлеровцами областях Советского Союза. Несмотря на расправы, люди оставались неукротимыми, и, может быть, именно поэтому приметы благополучия казались невыносимыми. Мы все дышали тоской, обидой, гневом. Вот идет модница. Откуда у нее этот свитер? Чем торговал тот румяный рыжеусый гражданин? Яичным порошком или сапогами, снятыми с повешенных? Потом я видел много освобожденных городов, видел и слезы радости, и могилы героев, и угодливые улыбочки приспособившихся. Я понял, что жизнь при оккупации была призрачной. Молодых мужчин почти не было — они сражались в нашей армии. Непокорных убивали или отсылали на работы в Германию. «Снятое молоко не бывает густым», — сказала мне старая женщина в Орле. (Она скромно промолчала, что прятала в подвале своего домика раненого красноармейца — об этом потом мне рассказали в горсовете.) Курск я особенно хорошо запомнил потому, что он был первым освобожденным городом, который я увидел.

В Курске я познакомился с генералом И. Д. Черняховским. Он поразил меня молодостью; ему было тридцать шесть лет; порывистый, веселый, высокий, он выглядел еще моложе. При первой же беседе он показался мне непохожим на других генералов. Он рассказал, что немцы теперь жалуются на «парадоксальное положение» — «русские ударяют с запада, и мы порой вынуждены прорываться на восток», Иван Данилович говорил: «В общем, они забыли свою же теорию «клещей». Мы у них кое-чему научились…» Будучи танкистом, он, однако, говорил: «Танки кажутся теперь началом новой военной эры, а это, скорее, конец. Не знаю, откуда придут новшества, но я, скорее, верю в утопический роман Уэллса, чем в размышления де Голля, Гудериана или наших танкистов. Учишься, учишься, а потом видишь, как жизнь опрокидывает непреложные истины…» При следующей встрече он говорил о роли случайности: «Я не знаю, какую роль сыграл насморк Наполеона во время решающей битвы. Об этом слишком много писали… Но случайного много, и оно изменяет данные. Это как с ролью личности в истории, конечно, решает экономика, база, но при всем этом может подвернуться Наполеон, а может и не подвернуться…»

Несколько месяцев спустя, когда я его снова встретил возле Глухова, он говорил о Сталине: «Вот вам диалектика — не теория,

а живой пример. Понять его невозможно. Остается верить. Никогда я не представлял себе, что вместо точных инструментов, вместо строгого анализа окажется такой клубок противоречий…»

Судя по приведенным мною словам, Черняховский должен был быть мрачным, а он был весел тем неизбывным весельем, которым одаривает природа своих любимцев. Он и в Курске смеялся, шутил. Вдруг вскочил, начал декламировать:

Нас водила молодость
В сабельный поход…

Смеялся: «Если разобраться, глупо, а совсем не глупо, умнее любого курса истории… Багрицкий, говорят, любил птиц. Но вы знаете, в Умани один старичок мне когда-то рассказывал, что царь Давид писал псалмы и кланялся лягушкам за то, что лягушки удивительно квакают — тоже поэзия…»

Мне пришлось потом беседовать о Черняховском с военными, которые его хорошо знали. Они видели его совсем другим, чем я. Видимо, с разными людьми он говорил по-разному — был сложным. На войне ему неизменно сопутствовала удача. Конечно, он блестяще знал военную науку, но для победы этого мало. Он был смелым, не ждал приказов, и в трудные минуты счастливая звезда его выручала. В начале войны он командовал танковым корпусом, а весной 1944 года его назначили командующим Третьим Белорусским фронтом. Он первый вошел в Германию. В феврале 1945 года я был в Восточной Пруссии, в городке Барнштейне. Черняховский позвонил в штаб армии, а звал меня к себе: «Скорее приезжайте, дело идет к шапочному разбору…» Три дня спустя он был убит.

Других генералов я встречал потом в Верховном Совете, на приемах, на парадах. Кто умер в своей кровати, кто вышел на пенсию, кто еще служит или пишет мемуары. А Иван Данилович остался в моей памяти молодым; под аккомпанемент орудий он повторял романтические стихи или делился умными и горькими наблюдениями…

Вернусь к марту 1943 года. Наступила длительная передышка (бои на Курской дуге вспыхнули четыре месяца спустя). Газеты были заполнены списками награжденных, фотографиями новых погон и орденов, статьями о традициях гвардии, поздравительными телеграммами. По пути в Москву я заночевал в избе где-то возле Ефремова. На печи сидел солдат, разувшись, он бубнил: «Идти да идти… Ноги по колено оттопаем… А письмо я вчера получил, бог ты мой!..» Я заснул, так и не дослушав, о чем было письмо. Впрочем, кто из нас тогда не писал или не получал

таких писем?…

13

С К. А. Уманским я подружился в начале 1942 года. Он жил в той же гостинице «Москва», что я, и мы встречались чуть ли не каждый день (вернее сказать, каждую ночь; я поздно приезжал из «Красной звезды» — в два, иногда в три часа ночи. Константин Александрович в то же время возвращался из Наркоминдела: Сталин любил работать ночью, и ответственные работники знали, что он может позвонить, потребовать материалы, справку). В июне 1943 года К. А. Уманский уехал в Мексику, и больше я его не видел. Полтора года, казалось бы, небольшой срок, но время было трудное, и хотя соль отпускали по карточкам, я могу сказать, что мы с ним съели положенный пуд.

Я сейчас задумался: почему я мало рассказываю о политических деятелях, с которыми по воле или по неволе встречался; я ведь жил в эпоху, когда политика вмешивалась в судьбу любого человека, и часто газетные сообщения волновали меня куда больше, чем книги или картины. Скорее всего, я недостаточно знал различных людей, с которыми жизнь меня сталкивала. Многое предопределяет профессия, если она не вынужденная, не случайная. Конечно, у меня есть своя стихия, свои пристрастия, свое ремесло: но по самому характеру своей работы писатели редко бывают узкими профессионалами: они должны разбираться в душевном мире различных людей. Капитан Дрейфус был ограниченным специалистом: он так и не понял, почему за него заступился «штафирка» Эмиль Золя. Для Михайловского Чехов был непонятен, а Чехов хорошо понимал народников или либералов.

С Уманским я сблизился, потому что он не походил на большинство людей его круга. Он редко говорил мне о своем прошлом — время было малоподходящим для воспоминаний. А между тем наши пути порой скрещивались, вероятно, мы встречались, но время стерло память о беглых встречах. Вряд ли дипломаты в Вашингтоне знали, что советник посольства СССР, а впоследствии посол, удивлявший всех своей молодостью и политической осведомленностью, в 1920 году написал по-немецки книгу, посвященную не Версальскому договору и не дипломатической блокаде, а живописи художников, привлекавших к себе внимание в первые годы революции, — Лентулова, Машкова, Кончаловского, Сарьяна, Розановой, Малевича, Шагала и других. Константину Александровичу тогда было восемнадцать лет. Его книгу, озаглавленную «Новое русское искусство», выпустило крупное берлинское издательство. Он

увлекался конструктивизмом, и, наверное, когда я издавал с Лисицким журнал «Вещь», и встречал молодого энтузиаста. Потом Уманский много лет был корреспондентом ТАССа в различных столицах Западной Европы, и не мог я с ним не сталкиваться. Когда» начал работать в «Известиях», он был заведующим отделом печати Наркоминдела, дружил с Кольцовым, не сомневаюсь, что я его встречал, — в Куйбышеве осенью 1941 года мне его лицо показалось знакомым.

Конечно, мы часто говорили о Рузвельте, Черчилле, об американских изоляционистах, о втором фронте, но мы говорили и о множестве других вещей. Кроме своего дела, Константин Александрович любил поэзию, музыку, живопись, все его увлекало — и симфонии Шостаковича, и концерты Рахманинова, и грибоедовская Москва, и живопись Помпеи, и первый лепет «мыслящих машин». В его номере на пятом этаже гостиницы «Москва» я встречал адмирала Исакова, писателя Е. Петрова, дипломата Штейна, актера Михоэлса, летчика Чухновского. С разными людьми он разговаривал о разном — не из вежливости: ему хотелось больше узнать, разглядеть все грани жизни.

Говорят, что эрудиция связана с памятью: теперь на Западе в моде состязания — человеку ставят публично неожиданные вопросы: в котором году родился Пипин Короткий, какие диалоги написал Платон, что такое векторное и тензорное исчисление и так далее. Редкие удачники получают большие призы, а проваливающихся провожают смехом. Люди, удачно отвечающие на все вопросы, обладают феноменальной механической памятью, но это не значит, что их можно назвать просвещенными. Намять у Константина Александровича была редкостная, но запоминал он то, что его интересовало; в его голове был не каталог, а текст. Он блистательно говорил по-английски, по-немецки, по-французски; вручая верительные грамоты президенту Мексиканской республики, он сказал: «Через полгода я буду говорить по-испански», — и выполнил обещание, поражал мексиканцев безупречным испанским языком. Разумеется, знание языка нужно для дипломатической работы. (Хотя в конце сороковых годов на пост посла частенько назначали человека, который не владел языком страны, где должен был работать, очевидно считая, что чем меньше он будет говорить с иностранцами, тем лучше.) Но Уманский не только потому быстро овладевал языками, что отдавался своей работе, нет, ему хотелось свободно беседовать с Пабло Нерудой, с Жаном Ришаром Блоком, с Анной Зегерс, читать в подлиннике Поля Валери, Брехта, Мачадо.

Он ненавидел чиновный дух, а приходилось ему слишком часто им дышать, вернее, в нем задыхаться. Иногда он не

выдерживал, говорил: «Снова неприятности: я предложил отступиться от шаблона — и влетело… Первая страна социализма, а пуще всего боятся «новшеств», инициативы…» Он рассказывал мне, как попытался в Америке изменить характер информации, ничего не вышло. «Мы не понимаем, чем мы вправе гордиться, скрываем лучшее, заносчивы, как неуклюжие подростки, и при этом боимся — вдруг какой-нибудь шустрый иностранец пронюхает, что в Миргороде нет стиральных машин».

Об американцах он говорил: «Способные дети. Порой умиляешься, порой невыносимо… Европа разорена, американцы после победы будут командовать. Тот, кто платит музыкантам, заказывает танцы… Конечно, Гитлер не нравится рядовому американцу: зачем жечь, если можно купить? Вот его логика. А расизмом вы его не возмутите… Не судите об американской политике по Рузвельту, он на десять голов выше своей партии…»

Как-то он сказал мне: «Моего «босса» рассердило, что мне не нравятся дома на улице Горького, — должны нравиться… Удивительно не то, что они ничего не смыслят в искусстве, это скорее естественно: искусство не их дело. Плохо, что каждый из них считает себя знатоком».

В другой раз мы говорили о Пикассо (Константин Александрович его очень любил); он сказал: «Я как-то упомянул его имя, на меня гаркнули, он, дескать, шарлатан, издевается над капиталистами, живет за счет скандала. Почитайте стихи Шекспира секретарю обкома, который не знает английскою языка, он скажет: «Галиматья, сумбур вместо поэзии». Помните слова Сталина об опоре Шостаковича?… Л еще есть Жданов… Все, чего они не понимают, для них заумь. А их вкусы обязательны для всех».

Случайно у меня сохранилось несколько писем из Мехико. В одном Уманский, говоря о новом после Мексики в Москве Бассольсе, просит: «Вам стоит уделить ему время и не дать ему «скиснуть» в атмосфере московского дип-инкоровского корпуса. Не сомневаюсь, что беседы с ним на латиноамериканские, европейские и прочие темы доставят вам то же истинное удовольствие, какими они были для меня на очаровательной родине вашего Хулио Хуренито». В другом он пишет: «Посылаю вам каталог-монографию Пикассо в связи с недавней выставкой здесь его картин. Кстати, американская таможня задержала на несколько месяцев его холсты, отправленные сюда из США, считая, что они, возможно, содержат нечто вроде тайного кода».

Мне всегда казалось, что Уманский родился под счастливой звездой. Редчайший случай — человека, которому было тридцать семь лет, назначили на ответственнейший пост посла в

Соединенных Штатах. Он пробыл в Америке самые горькие годы — с 1936 по 1940-й. Может быть, это его спасло. Ведь на посту заведующего отделом печати его сменил И. А. Гнедин, человек умный, знающий, автор книги памфлетов, и Гнедниа посадили. Евгений Александрович вернулся в Москву только после оттепели. А Уманский уцелел, и его послали в Мексику. Он радовался: новый мир, новые люди — он был на редкость любознателен. Там он сможет проявить некоторую инициативу. (Действительно, он пробыл в Мексике полтора года, и мексиканцы в один голос говорят, что он сделал очень много, пользовался большой популярностью, государственные деятели прислушивались к его суждениям.)

И вдруг все изменилось: с неба ушла звезда. В июне 1943 года жизнь Константина Александровича надломилась из-за трагической и нелепейшей случайности. У него была дочь Нина, подросток, школьница. Она должна была уехать в Мексику вместе с родителями. Подросток, товарищ по школе, в нее влюбился; узнав, что Нина уезжает, он после бурного объяснения застрелил ее и покончил с собой. Уманский обожал свою дочь; только на ней держалась его семейная жизнь. (Я знал, что есть у него в жизни большое чувство, что в 1943 году он переживал терзания, описанные Чеховым в рассказе «Дама с собачкой».) И вот неожиданно разыгралась драма…

Никогда не забуду ночи, когда Константин Александрович пришел ко мне, Он едва мог говорить, сидел, опустив голову, прикрыв лицо руками.

Несколько дней спустя он уехал в Мексику. Его жена, Раиса Михайловна, уезжала почти в бессознательном состоянии.

Год спустя Уманский писал мне: «…Пережитое мною горе меня основательно подкосило. Р. М. - инвалид, и состояние наше намного хуже, чем в тот день, когда я с вами прощался. Как всегда, вы были умницей и дали мне некоторые правильные советы, которых я — увы — не послушался»… Я перечитал теперь это письмо и напрасно пытался припомнить, какие советы я мог давать человеку, на которого свалилась беда. Вероятно, пытался его успокоить, обнадежить, не помню.

В январе 1945 года самолет стартовал с аэродрома Мехико. Пришедшие проводить Уманских видели катастрофу. Константину Александровичу было сорок два года.

На траурном собрании ы Мехико, посвященном Уманскому, выступили не только политики или дипломаты, но и самый крупный писатель Мексики Альфонсо Рейес, актриса Долорес де Рио; одна мексиканская поэтесса издала «Оду Константину Уманскому». Видно, люди искусства и там почувствовали в нем

своего…

Может быть, и об Уманском следует сказать, что он умер вовремя? Это звучит кощунством, но если я представляю себе его в 1962 году, то уж никак не в 1952-м. По возрасту он был чересчур молод для плеяды советских дипломатов, которых называли «литвиновскими», но по формации, конечно, принадлежал к ним. Одни из них погибли еще в 1937 году, а случайно выжившие оказались не у дел, как ближайший друг Умаиского Б. П. Штейн, или были отправлены Берией далече, как Е. В. Рубинин. На приемах в Мехико Уманский должен был облачаться в нововведенную форму. Я его в пей не представляю. Еще меньше я его представляю в 1949 году — в эпоху борьбы с космополитизмом. Впрочем, напрасно гадать, что с ним сталось бы дальше: в дело вмешалась судьба — несчастный случай или диверсия — отказал мотор, отказала любимица Константина Александровича — жизнь.

14

Говорят: глубокая ночь, глубокая осень; вспоминая 1943 год, мне хочется сказать: глубокая война. Мир уже забылся и еще не мерещился. В тот год все переменилось — началось освобождение нашей земли от захватчиков. В начале июля на Курской дуге немцы попытались перейти в наступление. Их остановили, потом отбросили. Две недели спустя возле Карачева я увидел указательный столб: «До Берлина 1958 километров». Было это в сердце России, немцы еще удерживали Орел, а какой-то весельчак уже подсчитал, сколько остается пройти его батальону.

Читателя может удивить, даже рассердить, почему я столь коротко пишу о важнейших годах в мировой истории и моей жизни. Но я предупреждал, что не покушаюсь на труд летописца. Название этой книги я понимаю так: люди и годы это жизнь, моя жизнь, одна из очень многих. Год войны были длинными. Никогда ни до того, ни после я не встречал столько людей. Порой в течение одного дня я беседовал с десятками людей, которых прежде не знал, в блиндаже или на лесной лужайке выслушивал смешные истории, долгие реляции, душевные признания. Я хорошо помню отдельные лица, фразы, хаты, развалины, но не помню, кто мне сказал: «Злоба сердце выгрызла»; не помню, где хоронили ночью убитого офицера и кто тогда говорил: «Старший лейтенант войдет с нами в Киев»; не помню, в каком городишке, сожженном дотла, я, вдруг отчаявшись, молил девочку с жиденькой косичкой: «Да ты не плачь, не то я заплачу…» Сожженные села, разбитые города, обрубки деревьев, завязшие в тине машины, санбаты, наспех вырытые могилы — все это сливается в одно: стояла глубокая война.

Если бы я писал сейчас роман или повесть, то у меня хватило бы воображения, чтобы показать отдельных людей, окрестить их, разместить в Брянских лесах или на другом берегу Десны, но я дал себе слово в этой книге ничего не придумывать, даже если связный вымысел может показаться правдоподобное разрозненных страниц действительности. Сплошь да рядом о людях, выполнявших роль статистов, я говорю обстоятельнее, чем о героях, и малопримечательные эпизоды занимают в книге больше места, нежели патетические события, — ничего не поделаешь, я ограничен памятью, а у памяти свои законы, человек не знает, почему ему запомнилось одно и почему он запамятовал другое. Есть мемуары, в которых на помощь автору приходит беллетрист, заполняя бреши увлекательными новеллами, есть и другие — автор прочитывает много книг, старается объективно

установить, чем жили люди в описываемые им годы, дать верпую картину эпохи. А я говорю только о том, что запомнил.

(У меня сохранилось несколько записных книжек военных лет, но записи беглые, скудные: был там-то, говорил с тем-то, вереницы имен, рвения деревень, номера вражеских дивизий, отдельные фразы.)

В июле 1943 года я был под Орлом. Лето стояло изумительное, с частыми шумными ливнями. Трава была ярко-зеленой, никогда, кажется, не видел я столько полевых цветов. В лесной гуще прятались наши танки; порой я набредал на подбитые немецкие — новинки того сезона «тигры», «фердинанды». Штаб генерала И. Х. Баграмяна помещался в построенном немцами поселке с березовыми верандами беседками. Кругом было много деревень, сожженных еще прошлым летом за связь с партизанами; все заросло бурьяном, и только свежие надписи «Михайловка» или «Бутырки» напоминали, что здесь жили люди — В книжке названия: Льгово, Кудрявец, Стайки, Бояновичи, Пеневичи, Хвастовичи…

Осенью я увидел Украину: Глухов, Клишки, Чаплеевка, Обтов, Короп, Понорница, Коробковка, Щорс, Городня, Добрянка; кусок Белоруссии: Марковичи, Грабовка, Васильевка, Горноостаевка, Тереховка, Тереха; снова Украина: Красиловка, Козелец, Остер, Летки, Бровары, Богдановичи, Семиполки; правый берег Днепра: Жары, Лютеж…

Почему я переписал эти названия? Для меня они звучат, как стихи: в них и прошлое, и скромная, стыдливая красота, да и связаны они с подвигом многих, положивших свою жизнь за то, чтобы освободить старые, насиженные, надышанные гнезда, которые в сводках именовались «населенными пунктами».

Под Орлом командир батальона майор Харченко позвал меня обедать. Это был смуглый человек с большущими усами. Он рассказывал, как его старая мать пряталась среди развалин Сталинграда; хитро подмигивая, объяснял предстоящую операцию: «А мы их в клещи, мы теперь ученые…» Младший лейтенант Ионсян говорил: «Он, подлец, до Кавказа дошел, ко мне в гости навязывался — я ведь бакинец. А я вам откровенно скажу: я его и тогда презирал…» Танкист Красцов мне сказал: «Галей ее зовут. Вот фото — ничего особенного, а по-моему, исключительная. Может быть, она про меня забыла — не знаю. Я из Пскова, говорили, будто успела выбраться, а как ее найдешь?… Я вам говорю, вы писатель, значит, должны понять. Что я такое? Обыкновенный человек, член партии, до войны работал зоотехником. А я теперь все понял. Скорей всего, убьют, воюю с начала, два раза был ранен — выкарабкался. В общем, это не

главное… У меня такое в голове, что смешно сказать, будто я не Красцов Степан, а Пушкин или Есенин…»

Что стало с этими людьми? С молоденьким автоматчиком Митей Буйловым? Вернулся ли с войны лейтенант Плавник? Жив ли сапер Ефимов, который первым переплыл Сож?

Возле Орла я встретил генерала Федюнькина. Не знаю, как дальше сложилась жизнь Ивана Федоровича. В Броварах вместе с В. С. Гроссманом мы просидели полночи у генерала С. С. Мартиросяна. Он поразил нас человечностью, гуманизмом, необычайным благородством мыслей и чувств. Мы возвращались в темноте; приднепровские пески, освещаемые фарами, казались снегом. В небе висели яркие ракеты. Василий Семенович говорил: «Вот идешь и попадаешь на такого человека…» В мирное время видишь человека изо дня в день и ничего о нем не знаешь: у каждого свое дело, свой дом, своя скорлупа. А на войне все путается: люди раскрывают душу, встретил человека и сразу потерял. (Генерал Мартиросян в 1963 году написал мне, что он вышел в отставку и живет в Ереване.)

Иногда я получаю неожиданно письма от старых фронтовиков, с которыми встречался или переписывался в годы войны. В августе 1942 года, по просьбе танкистов-комсомольцев, командир первого батальона Четвертой гвардейской бригады полковник Бибиков зачислил меня «почетным красноармейцем» в один из экипажей. Отсюда пошла моя дружба с танкиетами-тацинцами, особенно со старшиной И. В. Чмилем и лейтенантом А. М. Баренбойм ом. Встречался я с тациниами и в Белоруссии, был у командира корпуса генерала А. С. Бурдейного, он меня познакомил со многими бойцами, бывали тацинцы и у меня в Москве. Сохранились некоторые письма. В 1942 году И. В. Чмиль писал: «Я еще молод, год рождения 1918, родом я из славной и любимой Полтавщины, с белыми хатами и зелеными садами. Не раз смерть заглядывала в мои веселые глаза, но я не трусил. Подумаешь — и обидно становится: как мы жили счастливо и весело! У меня было четыре сестренки, все меньше меня. У меня были папаша и мамаша. У меня была любимая девушка…» Иван Васильевич провоевал до конца, был восемь раз контужен, несколько раз выбирался из горящих танков — словом, хлебнул горя. После войны он женился, учился в техникуме, теперь он в городе Шауляй сотрудник горфинотдела, жена его Антонина Васильевна работает на энидемстанции. У них трое детей: Игорь, Виктор и Наташа. В 1956 году он писал мне: «…Да, никому не хочется снова пережить ужасы войны — обжились мы, все отстроили, семьи заимели, привыкли к мирной, счастливой жизни. Игорь уже ходит в первый класс. И все же есть в мире

черные силы. Неужто мне еще придется сесть за рычаг Т-34?…»

А. М. Баренбойм работает в Одессе. Как-то я получил от него письмо, он просил заступиться за парнишку, поэта, попавшего в беду. И. В. Чмиль мне написал: «Я думал, что вам известно, что Александр Баренбойм погиб. Он был настоящим воином, был золотой человек. Погиб он в феврале или марте 1944 года между Смоленском и Оршей». Я ответил Ивану Васильевичу, что Бареибойм жив, послал адрес и получил вскоре письмо: «Саша — это любимец и герой всего нашего корпуса, любимец всего личного состава. Оказалось чудо: он был тогда тяжело ранен и чуть не отдал душу богу, но выжил и в нашу часть не вернулся, и мы считали, что он погиб…» Мне трудно объяснить, почему меня так радуют письма Ивана Васильевича и Александра Менделевича; ведь встречался я с ними редко, но вот их судьба меня волнует больше, чем судьба многих людей, с которыми мне приходилось встречаться слишком часто.

Обрадовался я и письму снайпера Г. Н. Хандогина, с которым я переписывался в военное время. До войны Гавриил Никифорович бил в тайге пушного зверя. Теперь он работает на строительстве пилорамщиком. «Стала болеть раненая нога. А работать надо. У меня четыре иждивенца… В первые годы после войны еще ходил в тайгу охотиться на медведей, добывал соболя, белку, а сейчас не могу. Да и ружье подаренное утопил в реке, сам еле выбрался… Очень хотелось бы встретиться с вами в мирной обстановке, лома, среди семьи. Бот если бы вы приехали ко мне в гости…»

Вернусь к 1943 году. Стояла теплая осень, с грибами, с паутиной в лесу, с ясным далеким небом. Все, казалось, настраивало на мир, на любование. А приходилось видеть страшное. В Белоруссии немцы, отступая, аккуратно жгли села, убивали скот. У обочин валялись мертвые коровы со вздувшимися животами. Пахло гарью.

В селе Богдановичи остался только старик. Он сидел на солнце. Я попытался заговорить, он не отвечал. На земле лежали буханки хлеба, кусок сала, — видно солдаты положили. Старик сидел и глядел в одну точку.

В Козельце женщина рассказывала: «Сколько Шуре было? Двенадцать годов. Она у Луши меньшая. Лушу застрелили, а Шура просила немца: «Дяденька, не убивай! Я жить хочу. Пошли лучше в Германию». Он ее сначала оставил, даже колбасы дал, а потом не выдержал — застрелил…» В маленьком Козельце гитлеровцы расстреляли восемьсот шестьдесят человек.

Возле Триполья, на дороге в Обухов, я видел яр и дощечку: «Здесь 1 июля 1943 года немецкими палачами замучено и

расстреляно 700 человек — стариков, женщин, матерей с детьми. Среди них Мария Билых с пятью детьми и 65-летней матерью и Горбаха Дуня с двумя сыновьями».

Житель Пирятина П. Л. Чепурченко рассказывал, как его пригнали рыть яму. Гитлеровцы убили тысячу шестьсот евреев. Чепурченко вдруг услышал — его окликали. Среди трупов был Рудерман, ездовой валенной фабрики: лицо у него было в крови, один глаз вытек, он просил: «Добей меня!..» «Живыми зарывали, земля ходила», — рассказывала женщина.

Я видел предателя — старосту. Он держался спокойно. Из-за него убили женщину с грудным ребенком. Он мне сказал: «Зря народ волнуется. Сами сказали: «Иди в старосты». А что я плохого сделал? Давал характеристики, и только. Пальцем никого не тронул…»

Лошадей не было. Пахали на коровах. Возле Васильевки корова тащила лес. Колхозница причитала: «Ослепла коровушка! Не может она… Идет, а не видит. Да и и надорвалась, гляжу и не вижу. Да разве можно так жить?» У коровы были очень ясные, спокойные глаза, а на спине большая плешь.

«Теперь легче будет — наша берет, — рассуждал старик, — на покрова малина — это на жизнь…» На правом берегу Днепра крестьянка крестила солдат, грузовики, орудия: «Пять часов стою, а все идут, идут. Немой-то гуторил, что у русских нема ничего…»

Я сидел ночью у Сожа. Немцы бомбили мост восемь прямых попаданий. Саперы не прекращали работы. Санитары уносили раненых, убитых. Все выглядело скромно, серо, работали с топорами, с пилами, с молотками. Я вспомнил понтонеров Эбро: там было много романтики, песен, шуток. Видимо, это в характере народа. Русские очень любят театр, а в жизни не терпят ничего театрального, не верят оратору, который говорит красноречиво, стыдятся патетичного: даже смерть представляют буднично. Говорили саперы о работе, о том, что для моста лучше всего бочки, что вода холодная, нужно вбить сваи, «а тут немец путается, мешает».

В Чернигове было тихо. На земле валялись каштаны, похожие на полированные камешки, и я вспомнил, как ребенком в Киеве играл с такими «камешками». Разрушенный дом, осталась только мемориальная доска: здесь помещалась гостиница «Царьград», где останавливался Пушкин, жил Шевченко. Я думал о красоте старых церквей, о мире. Вдруг начали бомбить. Убили девочку.

В Васильевке из шестисот дворов уцелели тридцать. Крестьяне прятались в лесу. Фашисты поймали тридцать семь человек и убили, убили глубокого старика С. К — Полонского и тринадцатилетнего Адама Филимонова. Жена одного из

расстрелянных говорила: «Ты напиши — жить мы не сможем — душа не выдержит…» «Факельщики» жгли за селом село, клали солому, не жалели горючего — жгли не от злобы, а деловито выполняли приказ. Сожгли Тереховку. Колхозницы поймали одного «факельщика» — он залез в скирд, закололи вилами.

У одного старосты нашли список расстрелянных, в списке: «Музаевская Римма Николаевна трех лет, Давыдов Виктор Михайлович одного года».

Повесили предателя. Он висел очень длинный, бороду теребил ветер. Женщина подбежала к нему, вцепилась в бороду, хотела вырвать — и вдруг закричала. До сих нор слышу этот крик… В Корючкове священник пошел к немцам с крестом — просил пощадить село. Его расстреляли вместе с попадьей.

Вот еще рассказ, записанный в книжечке: «Она, конечно, чужая, одни говорили, будто еврейка, другие — что с партизанами дружила, одним словом, немцы повели ее на площадь. А у нее дите, и она дите хотела укрыть. Ее, конечно, застрелили, а дите живое, ползает. Мы просили: «Дай дите». А один немец молодой выбежал, схватил и головкой о камень…»

Глухов, Козелец немцы, уходя, не успели сжечь, сожгли потом с воздуха.

Я радовался, видя чудом уцелевшую деревню. Помню, как семидесятилетний колхозник Иллистратов строил хату. Его дом сожгли. Я спросил его, не слишком ли тяжела работа. Он улыбнулся: «Ничего, достроюю… Это не для себя. Мне-то помирать пора. А тут вот солдатки. Мужьев у них поубивали, а жить нужно…»

Белел песок. Фотокорреспондент Кнорринг снимал понтоны. А в воде фыркал от удовольствия солдат: «Дождался — днепровская вода, такой другой нет…» Вечером мне рассказали, что он погиб — только мы отъехали от берега, как начали бомбить переправу.

Боюсь, эти несвязные картины мало что скажут читателю. Люди постарше прошли дороги войны, видели, помнят. А молодые знают по десятку романов. Да я и не собираюсь воссоздавать облик войны. В 1943 году я раза два или три ходил на собрание московских писателей. Люди, приставленные к литературе, тогда требовали «монументальных полотен»: искусство должно было подавлять размерами. Лет пять спустя начали строить высотные здания, а во время войны было не до строительства, и вот писателям предлагали срочно изготовить литературные небоскребы. Многие писатели хмурились и молчали.

Мне казалось, что в те годы нужно было не создавать

литературу, а ее отстоять язык, народ, землю. Я продолжал заниматься неблагодарной работой — каждый день писал несколько статей. В записной книжке у меня помечено, что в октябре я написал восемь статей для заграницы, шесть для московских газет, семнадцать для фронтовых. Я не мог не писать, приходили бойцы, говорили: «Почему про Осипова нет? Когда паром затонул, он выручил». «Напишите про Хакимова — может, родные прочитают». «Товарищ Илья, расскажи про снайпера Смирнова, он вырежет, матери пошлет».

Враг был еще очень силен. Нужно было показать, что он душевно надломлен, что контратаки у Житомира — случайный эпизод, что никакие «тигры» не спасут Гитлера. Изо дня в день продолжал я писать о зверствах фашистов: того требовали не только бойцы, но и совесть.

Желтые, полуистлевшие листы газет. Я могу по ним восстановить отдельные боевые эпизоды, припомнить, где я был, но в них нет ничего о моей личной жизни: я писал о том, чем жили тогда все — о горе народа, о ненависти к фашистам, о мужестве.

Дневника я не вел, но порой писал стихи, короткие и похожие на мои статьи: в стихах я разговаривал с собой. До лета 1943 года мы жили в ожесточении, было не до раздумий. Стихи снова стали для меня дневником, как в Испании. Сейчас, сопоставляя то или иное стихотворение с короткой заметкой в книжечке, с отдельной фразой в статье, я вспоминаю, о чем думал, вспоминаю тоску, отчаяние, надежды.

Вспоминаю, как ехал из Васильевки в Тереховку. Еще тлели головни; бродила женщина; мы ее окликнули, она не ответила. Потом мы заночевали в хате. Я подложил под голову шинель, она пахла дымом…

Я запомню, как последний дар,
Этот сердце леденящий жар,
Эту ночь, похожую на день,
И средь пепла горестную тень.
Запах гари елок, как беда,
Не отвяжется он никогда.
Он со мной, как пепел деревень.
Как белесая больная тень.
Как тифозной бредовой беды
Красные и черные скирды.
Как огрызок вымершей луны
Средь чужой и новой тишины.

Мне было за пятьдесят; я невольно вспоминал первую мировую войну, Испанию. Было что-то нестерпимое в повторности и картин и чувств.

…Мой век был шумным, люди быстро гасли,
А выпадала тихая весна —
Она пугала видимостью счастья.
Как на войне пугает тишина.
И снова бой. И снова пулеметчик
Лежит у погоревшего жилья.
Быть может, это все еще хлопочет
Ограбленная молодость моя?…

1943-й не походил на 1941-й — понемногу всё становилось привычным: разбитые города, развороченная жизнь, потеря близких. Но если можно ко всему присмотреться, даже к войне, сердце не мирится с всеобщим горем. Кто из нас не мечтал тогда увидеть другое?

Было в жизни мало резеды,
Много крови, пепла и беды.
Я не жалуюсь на свой удел,
Я бы только увидать хотел
День один, обыкновенный день.
Чтобы дерева густая тень
Ничего не значила, томна,
Кроме лета, тишины и сна.

Я писал в этой книге, как немцы, отступая, подпиливали или рубили плодовые деревья; я это видел в 1916 году в Пикардии и снова увидел в 1943 году на Украине:

Был час один — душа ослабла:
Я видел Глухова сады
И срубленных врагами яблонь
Еще незрелые плоды.
Дрожали листья. Было пусто.
Мы постояли и ушли.
Прости, великое искусство,
Мы и тебя не сберегли.

Много лет спустя редактор моей книги, дойдя до этого

восьмистишия, уговаривал меня изменить последнюю строку: «Почему «и»? Хороню, не сберегли искусство, но сберегли другое…» Да, но и много, очень много потеряли. Почему и вспомнил про искусство? Да потому, что яблоню нужно вывести, вырастить, это не дичок, потому что думал не только о развалинах Новгорода, но и о молодых поэтах, погибших на фронте, потому что для меня искусство связано с подлинным счастьем, с тем высшим миром, где даже печаль светла.

Кто знает, как мы ненавидели войну! А другого не было: фашисты несли с собой днкость, зверства, культ силы, смерть. Народ мужественно сражался, но мы твердо знали, что люди родились не для того, чтобы взрывать танки и гибнуть под бомбами, знали, что враг навязал нам ужасающее затемнение. Я писал (это было вскоре после того, как я увидел виселицу, бородатого предателя):

Скажи, здесь тоже жизнь была,
Дома в горячей зелени?
Молчат и небо, и зола,
И картузы расстрелянных.
И лишь повешенный суров,
Как некий важный маятник.
Отмеривая ход часов,
Без устали качается.

Точнее всего я передал свое душенное состояние в стихотворении, видимо связанном с причитаниями колхозницы над коровой:

По рытвинам, средь мусора и пепла,
Корова тащит лес. Она ослепла.
В ее глазах вся наша темнота.
Переменились формы и цвета.
Пойми — мне жаль не слов — слова заменят,
Мне жаль былых высоких заблуждений.
Бывает свет сухих и трезвых дней,
С ним надо жить, он темноты темней.

В Козельце я видел маленького мальчика, среди развалин он играл в песочек — хотел что-то вылепить. На его лице были то напряжение, то слабая, туманная улыбка. Я долго стоял возле него. Никогда люди не смотрели, кажется, с такой жадной нежностью на детей, как в годы войны, глядели и не могли

наглядеться. Может быть, потому, что всем хотелось заглянуть в будущее и ни у кого не было уверенности, что он дотянет хотя бы до завтрашнего дня.

Неделю я просидел в сожженном селе Летки. До войны там делали стулья из камыша. Камыш шумел, а людей не было. Там я вспомнил мальчика на площади Козельца:

Выли липы, люди, купола.
Мусор. Битое стекло. Зола.
Но смотри — среди разбитых плит
Уж младенец выполз и сидит,
И сжимает слабая рука
Горсть сырого теплого песка.
Что он вылепит? Какие сны?
А года чернеют, сожжены.
Вот и вечер. Нам идти пора.
Грустная и страстная игра.

Вернусь к строке, приведенной выше: мне казалось, что я освободился от того, что назвал «высокими заблуждениями». Это было еще Одним заблуждением. Конечно, я не мог тогда предвидеть ни Хиросимы, ни водородных бомб, ни судьбы многих честнейших людей, о которой написал А. Солженицын, ни «убийц в белых халатах» — тех лет, когда народ, разбивший в бою расистов, увидел, как всерьез переименовывают сыры или пирожные и как мимоходом губят людей. Но разве это мерещилось малышу в Козельце, когда он смутно улыбался? Нет, не он это вылепил. Теперь ему должно быть двадцать два или двадцать три года. Он не помнит, как горел его дом, не пережил горьких послевоенных лет. Его жизнь должна быть другой. А сын Чмиля, Игорь Иванович, которому нет и пятнадцати лет… Тащить на гору камень, чтоб он оттуда скатывался? Мет, с этим не мирится совесть! И если мне скажут, что это самое наивное из всех заблуждений, и отвечу, что без таких заблуждений нет живой жизни — человек со всем может расстаться, только не с надеждой,

15

Седьмого ноября 1943 года нарком иностранных дел устроил в особняке на Спиридоновке пышный прием; собрались члены правительства, дипломатический корпус, генералы, писатели, актеры, журналисты — словом, все те, кого парикмахер Клуба писателей называл «тузами и шишками». Оглядев зал, П. П. Кончаловский шепнул мне: «Напоминает холст Эдуара Мане»… Советские дипломаты были одеты в только что придуманные мундиры. Военные атташе различных посольств сверкали золотом. Груди генералов изнемогали от орденов. Гарро неистово размахивал фалдами фрака и, выпив несколько бокалов шампанского, стал рассказывать об интригах англичан в Алжире: «К счастью, мне удалось сразу повидать Молотова. Мы умеем отличать подлинных друзей от фальшивых…» Английский посол Ксрр, забыв о присущей ему чопорности, со всеми чокался «за победу», пил водку и вскоре стал походить, скорее, на советского писателя, чем на британского дипломата. С. А. Лозовский обнимал генерала Пети: «Я во Франции был рабочим, я знаю вашу страну. Мы их расколотим». «On va battre les Fritzs a Minsk et a Biarritz» («Фрицев побьют в Минске и в Биаррице»). Генерал прослезился. А. Н. Толстой явился во фраке и по-барски благодушно дразнил одного из американских дипломатов: «Конечно, Италия красивая страна, но ведь и Париж стоит мессы»… И. С. Козловский сидел на полу и пел старинные романсы. Маргарита Алигер, испуганно поглядывая на посланника Эфиопии, блиставшего позументами, сказала: «Илья Григорьевич, а вы помните сорок первый?…» Американский журналист Шапиро говорил: «Впервые за восемь лет я чувствую себя в Москве хорошо. Вот что значит союз!..»

Положение казалось обнадеживающим. Во время приема грохотали пушки: освобожден Киев. Союзники были удовлетворены своими операциями в Италии. В конце октября закончилось Московское совещание министров иностранных дел Советского Союза, Соединенных Штатов и Англии. О чем говорили министры, мы, конечно, не знали, но опубликованные декларации подчеркивали крепость антигитлеровской коалиции. 6 ноября Сталин сказал, что бои в Италии, бомбежки немецких городов, поставка в Советский Союз вооружения и сырья «все же нечто вроде второго фронта».

Я знал, однако, что высадка союзников в Сицилии и на юге Италии совсем не то, что было обещано в 1942 году. Когда в редакции «Красной звезды» кто-то спросил, не дать ли

географическую справку о Сицилии, редактор возмутился: «Совершенно ни к чему…» После сообщения, что второй фронт снова откладывается на год, были отозваны Литвинов из Вашингтона, Майский из Лондона. В редакции я читал телеграммы ТАСС, не предназначенные для опубликования, и понимал, что англичане раздражены формированием в Советском Союзе польских дивизий, американцы встревожены настроениями греческих партизан — дружба дружбой, а политика политикой.

Газеты сообщили, что на Тегеранском совещании достигнуто полное согласие о целях войны; в день рождения Черчилля ему поднесли пирог о, шестьюдесятью девятью свечами — по числу прожитых лет. (На праздничном пироге прибавилось всего две свечи, когда Черчилль начал готовиться к речи в Фултоне, с которой пошла «холодная война».) Мы, конечно, не знали будущего. Но я начал гадать, как будет выглядеть мир после победы. Прежде я не мог себе позволить раздумий: мы жили одним — остановить врага. А начиная с того августовского дня, когда в небе Москвы вспыхнули созвездия первого салюта, я начал присматриваться, задумываться.

Еще летом из Лондона вернулся И. М. Майский. Я обрадовался подаркам — лезвиям для бритвы, записной книжке, вечной ручке, но рассказы Ивана Михайловича меня огорчили. Он восхищался мужеством жителей Лондона во время сильных бомбежек, говорил, однако, что союзники считают, будто они недостаточно подготовлены для второго фронта, и добавлял, что они не заинтересованы в быстром разгроме Гитлера — боятся Красной Армии. Майский рассказывал мне, что с де Голлем англичане не считаются.

В конце года С. М. Михоэлс, который ездил с поэтом Фефером в Америку, рассказывал писателям о своих впечатлениях. По его словам, американцы заражены расизмом, преклоняются перед машинной цивилизацией и не так уж далеки от гитлеровских идей. Михоэлс, как и Майский, говорил, что союзники отнюдь не восхищены победами Красной Армии.

(Я вспомнил шутку английского корреспондента Александра Верта, который иногда приходил ко мне. Верт родился в Петербурге, прекрасно говорит по-русски, человек он нервный и остроумный. Мой пес Бузу, шотландский терьер, в начале войны был контужен воздушной волной и смертельно боялся салютов, считая, что грохот орудий связан с неприятностями; как только радио передавало позывные, он начинал неистово выть. На такую сцену однажды попал Верт и сказал: «Теперь я вижу, что это действительно английская собака — боится советских побед».)

В ноябре я был на ужине в английском посольстве. Посол

Керр держался чрезвычайно светски, спрашивал Любу: «Вы, конечно, прустианка?» — и добавлял: «Я ведь сноб». Советник посольства Бальфур тем временем говорил со мной о политике, защищал невмешательство во время испанской войны, оправдывал Мюнхен и под конец признался, что уважает Салазара.

В декабре меня пригласил к себе посол Соединенных Штатов Гарриман. Я тогда еще не знал американских нравов, меня удивили и невкусная еда, и простота, порой переходящая в фамильярноеть, и то, что дочь посла положила ноги на столик, на котором нам сервировали кофе. Кроме меня, Гарриман пригласил генерала, который начал с литературы, похвалил Честертона, сказал о себе, что он ирландец и католик, а потом принялся расспрашивать о том, что обычно называют «военной тайной». Я понял, что ценитель литературы — разведчик, и быстро его оборвал: «Я не военный, а писатель, вернемся лучше к Честертону».

О вечере у Гарримана я рассказал Лозовскому; он нахмурился: «Лучше, когда нас приглашают в посольства, спрашивайте… А к американцам вообще не стоит ходить».

Я получил письмо от вице-президента Соединенных Штатов Уоллесами сообщал, что изучает наш язык и захотел мне написать первое письмо по-русски, говорил о добрых чувствах к советскому народу; его слова меня тронули непосредственностью, даже детскостью.

Совинформбюро по-прежнему требовало, чтобы я писал для заграницы о том, что мы верны нашим союзникам, но пора наконец-то открыть второй фронт. Я продолжал писать для «Красной звезды», «Правды», для фронтовых газет. Работать, однако, стало труднее: что-то изменилось. Я это почувствовал на себе.

Летом Совинформбюро попросило меня написать обращение к американским евреям о зверствах гитлеровцев, о необходимости как можно скорее разбить третий рейх. Один из помощников А. С. Щербакова — Кондаков — забраковал мой текст, сказал, что незачем упоминать о подвигах евреев, солдат Красной Армии: «Это бахвальство». Я счел слова Кондакова далекими от того, что мы называем интернационализмом, и написал А. С. Щербакову. Александр Сергеевич меня принял в ПУРе. Разговор был длинным и тяжелым для обоих. Щербаков сказал, что Кондаков «переусердствовал», но в моей статье нужно кое-что снять я должен понять ситуацию, «настроения русских людей». Я ответил, что русские бывали разными — Горький или Короленко рассуждали иначе, чем Пуришкевич. Щербаков

рассердился, но перевел разговор на другую, пожалуй, смежную тему; он похвалил мои статьи и вместе с тем покритиковал: «Солдаты хотят услышать о Суворове, а вы цитируете Гейне… Бородино теперь ближе, чем Парижская Коммуна». Я заговорил о судьбе Лидина: с первых дней войны он стал военным корреспондентом. Почему-то его отослали в армейскую газету и ничего не печатают. Щербаков загадочно ответил: «Не умеет писать для народа». (Потом я узнал, что одна из корреспонденции Лидина рассердила Сталина.) А Щербаков усмехнулся: «Вы многого не понимаете. Прислушиваетесь к тому, что скажет Литвинов или Майский. А они оторвались от положения у нас…» Я огрызался и в конце концов сказал: «Теперь война, немцы еще сильны, — значит, я буду писать в газетах, пока вы не поступите со мной, как с Лидиным». Я встал и попрощался. Александр Сергеевич вдруг улыбнулся: «Что вы будете делать после победы?» Я ответил, что не знаю, не задумывался над этим. «А я знаю, — сказал Щербаков, — буду трое суток подряд спать». Я поглядел на него: у него было одутловатое, бледное, усталое лицо.

Должна была выйти моя книга «Сто писем» — статьи и письма, полученные от фронтовиков; мне казалось, что в этих письмах раскрывается душа народа. Книгу набрали, сверстали и вдруг запретили. Я спрашивал почему, мне не отвечали; наконец один из работников издательства сказал: «Теперь не сорок первый…»

Сельвинский написал хорошие стихи о России. Он показал себя храбрым, работал во фронтовой печати, но какие-то строки не понравились Сталину, и Сельвинского обругали. «Правда» обрушилась на Платонова: «Выкрутасы вместо простоты». Устроили собрание писателей, осудили (разумеется, единодушно) книгу Федина о Горьком, осудили также Сельвинского и Зощенко. Новая газетная статья пополнила ряды «вредителей», она была посвящена К. И. Чуковскому, написавшему сказку для детей «Бармалей»: «Пошлые выверты К. Чуковского вызывают отвращение». Е. Шварц, писатель, на мой взгляд, обладавший высоким даром поэтической сатиры, написал пьесу «Дракон»; он предугадал будущее: рыцарь Ланселот освободил город от дракона, а вернувшись некоторое время спустя в этот город, увидел, что жители горюют о «милом Дракоше», который дышал огнем так, что можно было приготовить без печи глазунью. «Литература и искусство» писала: «Шварц сочинил пасквиль на героическую борьбу народа с гитлеризмом». Обличали Паустовского: в сценарии о жизни Лермонтова: он осмелился сказать, что поэта тяготил мундир николаевской армии. Все это

напоминало тридцатые годы. А немцы еще сидели в Орше и обстреливали из орудий Ленинград…

В «Красной звезде» работал полковник Кружков. Я запомнил ночь на 11 ноября 1943 года — в редакцию пришли сотрудники ГБ, срезали с груди полковника ленточки орденов и увезли его. Час спустя приехал генерал Таленский, спросил Копылева, прочитал ли Кружков передовицу. «Кружкова арестовали…» Редактор ничего не мог вымолвить от волнения. Недавно я встретил П. П. Кружкова, который, разумеется, реабилитирован.

Газеты одобрительно отзывались о лекции одного историка, прославлявшего опричнину. С. М. Эйзенштейн, по указанию Сталина, работал над фильмом, посвященным Ивану Грозному. (Вторая часть фильма разгневала Сталина, просмотрев, он коротко сказал: смыть».) А. Н. Толстой мне сказал: «Я еще в Ташкенте написал пьесу о Грозном. Конечно, хочется работать над «Петром», но положение такое… Вот побьют Гитлера, тогда кончится вся эта пакость, обязательно кончится».

В конце 1943 года в Магадане вышло издание «Падения Парижа» с рисунками анонимного художника. Рисунки мне понравились, по некоторым деталям было видно, что художник знает Париж. Я, конечно, понимал, почему не указана его фамилия, но написал в издательство восторженное письмо, надеясь этим облегчить положение автора рисунков. Год спустя ко мне пришла жена художника Шребера, рассказала, что он рижанин, действительно жил в Париже, учился у мастера плаката Колена, в 1935 году вернулся в Советский Союз, а в 1937 году был арестован, работал на рудниках, теперь делает плакаты.

Каждый день приносил нововведения. В городских десятилетках ввели раздельное обучение мальчиков и девочек. Один педагог доказынал, что мальчиков надо сызмальства обучать военному искусству, а девочек рукоделию. (Вскоре после смерти Сталина раздельное обучение было отменено). Ввели форменную одежду для дипломатов, потом для юристов, для железнодорожников. Один мой приятель шутя уверял, что скоро придумают мундиры для поэтов, на погонах будут одна, две или три лиры — в зависимости от присвоенного звания. Мы смеялись, но смех был невеселым.

Напечатали текст нового гимна, в нем прославлялись Сталин, «Великая Русь», Я вспомнил «Интернационал» и задумался.

Успел понемногу сложиться быт военных лет. Жилось людям трудно, и для того, чтобы продержаться, нужно было незаметное, будничное геройство. Я с тоской глядел на женщин, которые та шили тяжелые балки, строили дороги. На заводах работали дети, в свободные минуты они играли, как играют все дети мира.

Продовольствия было в обрез. Жены ответственных работников обсуждали, кому дали лимит, кому половину, кому — ничего, лимитом назывались карточки, по которым можно было покупать товары в закрытых распределителях на полтораста или семьдесят пять рублей. Обыкновенные граждане сокрушались: «Опять не отоварили по карточкам крупу…» Спекулянты продавали сахар по две, а то и по три тысячи рублей за килограмм. Во многих домах было холодно подтапливали только так, чтобы не лопнули трубы. В Москву вернулись театры, и на спектаклях бывало много народу: хотели развлечься да и отогреться. В антрактах говорили о сводках, о том, что капитан Сергеев завел на фронте боевую подругу, что Маша перестала писать мужу и сошлась с хромым музыкантом, говорили, конечно, и о том, что в распределителе выдали кислое повидло, а масла вообще не будет.

В ноябре Шостакович прислал мне записку — просил прослушать его Восьмую симфонию. Я вернулся с исполнения потрясенный: вдруг раздался голос древнего хора греческих трагедий. Есть в музыке огромное преимущество: она может, не упоминая ни о чем, сказать все.

В 1943 году впервые показались те тучи, которые пять лет спустя нависли над нами. Но враг еще стоял на нашей земле. Народ стойко воевал, и была в его подвиге такая сила, что можно было жить честно, громко, не обращая внимания на многое. Я твердо верил, что после победы все сразу изменится. Теперь, когда я оглядываюсь назад, мне приходится то и дело признаваться в наивности, в слепоте. Это легче, чем в свое время было верить, норой наперекор всему. Видимо, человек устроен так, что неизменно принимает свои желания за действительность и часто, как лунатик, делает шаг в пустоту, разбивается или просыпается с переломанными костями.

Я вспоминаю беседы на фронте и в тылу, перечитываю письма, — кажется, все тогда думали, что после победы люди узнают настоящий мир, счастье. Конечно, мы знали, что страна разорена, обнищала, придется много работать, золотые горы нам не снились. Но мы верили, что победа принесет справедливость, что восторжествует человеческое достоинство. Никто тогда не представлял себе, что через три года после конца войны американцы будут грозить нам атомной бомбой и что Берия снова откроет огонь по своим. Пусть мы многого не предугадали, но с нежностью, да и с гордостью я вспоминаю мечты тех лет.

Как бы ни была страшна и жестока война, она остается в наших воспоминаниях не падением, а взлетом: высоко, очень высоко поднялся наш народ, и об этом говорят не славословия «гениальнейшему полководцу», не саженные батальные полотна,

даже не ордена, а память о иевернувшихся, неиссякающие слезы — это живая вода народной совести.

16

В декабре 1943 года умер Ю. Н. Тынянов. Познакомился я с ним еще в двадцатые годы, когда он был одним из вдохновителей «Опояза» — вместе с Б. М. Эйхенбаумом, В. М. Жирмунским и В. Б. Шкловским. Он начал с того, что не создавал литературу, а изучал ее, но изучал настолько вдохновенно, неожиданно, что его книга «Архаисты и новаторы» остается и поворотом в литературоведении, и книгой художника.

Юрий Николаевич во время первых встреч меня смущал: я был самоучкой с огромными провалами в познаниях, которые может дать средняя школа, писал романы с грубейшими ошибками и словесными, и школьными (в «Хулио Хуренито» спутал Этну с Везувием). Вместе с тем я был задорен, искал новую форму романа, отрицал то, что защищал годом раньше, и вот Тынянов, этот воистину «петербуржец» (в старом значении этого слова), неизменно учтивый, даже в злых репликах, — меня стеснял, порой страшил.

Вспоминаю один разговор: Тынянов говорил, что время литературных школ миновало новатор может быть архаистом, и к Пастернаку ближе всего Мандельштам. Меня рассердило, что Юрий Николаевич повторял: «синкопический пеон» — я тогда не знал, что это значит, и постыдился признаться.

Весной 1930 года Юрий Николаевич приехал в Париж больной, его подкашивала редкая и страшная болезнь: рассеянный склероз. Я глядел на Тынянова другими глазами: передо мной был не литературовед, но автор книг, которые были большими событиями в моей жизни. Я не сразу решился написать о нем в книге воспоминаний: я ведь писал не о книгах, а о людях, но потом решил, что нельзя промолчать о человеке, произведения которого мне помогли многое понять.

Мы иначе относимся к книгам наших современников, чем к произведениям классиков, герои романов часто в нашем сознании сливаются с обликом автора. Поэзия в полвека, когда я искал, думал, писал, казалась, да и кажется, мне более значительной, чем проза, требующая большего отступа, но в советское время было написано немало значительных романов и рассказов. Я встречался со многими писателями, известными еще до революции, с М. Горьким, Буниным, А. Ремизовым, Андреем Белым, А. Н. Толстым, Е. Замятиным, с людьми моего поколения — Фединым, Паустовским, Бабелем, Тыняновым, Зощенко, Вс. Ивановым, Катаевым, Олешей, Леоновым, с теми, кто родился уже в XX веке, — Фадеевым, Шолоховым, Кавериным, Гроссманом.

Гейне писал, что каждый человек — это мир, и надгробные памятники высятся над развалинами исчезнувших миров. Задолго до него английский поэт Донн напомнил о связи таких миров: колокол звонит не только по усопшему, но и по тебе. Я любил одни книги, был холоден к другим, но все, что делали мои современники, было связано с моей жизнью. Я не говорю об И. Э. Бабеле — он был моим другом, и я часто вспоминаю о нем, как о своем учителе, но учился я и на книгах других современников. Разобраться в эпохе мне помог Тынянов.

Эти слова могут удивить — Тынянов ведь писал исторические романы и рассказы, причем выбирал эпохи мрачные: Николая Первого, Павла, конец Петра. Он превосходно знал историю и никогда не пытался вразрез правде приписать прошлому что-либо от современною. Он был человеком, сдержанным не только в жизни, — садясь за рабочий стол, он умел владеть собой, может быть, поэтому его книги казались некоторым суховатыми. Однако никогда не было крупного и притом честного автора, который мог бы хорошо писать о событиях, лежащих вне его душевного мира, о людях ему далеких и чуждых. В романс «Смерть Вазир-Мухтара» Тынянов писал: «Людям двадцатых годов досталась тяжелая смерть, потому что век умер раньше их. У них было в тридцатых годах верное чутье, когда человеку умереть. Они, как псы, выбирали для смерти угол поудобнее. И уже не требовали перед смертью ни любви, ни дружбы».

Юрий Николаевич любил шутить, говорить о пустяках, стойко боролся против болезни, но был он человеком очень грустным, и грусть Грибоедова была для него не страницей истории. Он родился в один год с Бабелем и Пильняком, которые умерли в углах наименее удобных. Тынянов ненадолго их пережил, хотя умер он на своей кровати.

«Подпоручик Киже» и «Восковая персона» были нам глубоко понятны. В то же самое время, зная только «Кюхлю», я писал о приключениях злосчастного Лазика Ройтшваиеца, которого события носили по миру, из города в город, из страны в страну. Однажды ему предложили заняться кролиководством — это было модное в ту пору занятие. Ему послали пару кроликов, но только их выпустили из корзины, как собака их загрызла. Бедный Лазик тотчас написал о своей очередной неудаче, но в ответ пришел запрос, сколько крольчат принесли производители. Лазик понял, что есть люди, для которых всего важнее статистика, и начал подсчитывать, сколько кроликов могло бы быть у него, не будь зловредной собаки. Когда цифра стала внушительной, приехало начальство. Он повторил: «Я же вам писал, что парочку сразу загрызла собака», — но гости отмахивались: «Где же кролики?»

Подпоручик Киже был куда счастливее — он родился от описки писаря — «подпоручики же», но никто не осмелился признаться в этом Павлу. Царь приказал отправить подпоручика Киже в Сибирь. Его не было, но он был, и конвойные гнали его по Владимирке. Павел его помиловал, приказал жениться на придворной фрейлине. В церкви жениха не было, но невесту обвенчали. Павел произвел его в генералы, и вот однажды он позвал его во дворец. Павлу сказали, что генерал Киже заболел, в несколько дней он умер. Пустой гроб торжественно похоронили.

Восковая персона была изображением Петра, снабженная пружинами, она могла передвигаться. Ее отправили в кунсткамеру, пружины сломались, и бедная восковая персона оказалась среди различных «натуралий» — младенцев-уродов в спирту.

Тынянов прекрасно знал историю, он умнее многих других разгадывал некоторые черты современности, но то, что мы называем «политическими событиями», его мало волновало. Он приехал в Париж в весну, когда рождался Народный фронт. Я был наивен, ходил на митинги, верил, что теперь фашизму будет нанесен смертельный удар. Юрий Николаевич не спорил, он отвечал «возможно». Он попал в город, который хорошо знал по романам, документам, планам, гравюрам. Ему хотелось побродить по Пале-Рояль, как то делал В. Л. Пушкин, найти место, где выступал с докладом Кюхельбекер, он вспоминал А. И. Тургенева и Вяземского, читал карту вин, как давно знакомый текст: «Моэт… Клико… Нюи…»

Он и в Париже, где можно бросать окурки на иол, сомневаться в таблице умножения и плевать на все авторитеты, оставался сдержанным — боялся выдать свое незнание быта, осторожно расспрашивал, как вести себя в кафе. Были в нем мягкость, обаяние, которые всех разоружали.

Потом он сел за «Пушкина». Эта книга, по его словам, должна была ответить на многие трудные вопросы, показать, как разум, гений, гармония победили муштру и невежество. Однажды я спросил его: «А стихи после польского восстания, возмутившие Мицкевича?» Он кивнул головой: «И это…»

Вспоминаю нашу последнюю встречу тревожной весной 1941-го, за три недели до начала войны. Тынянов жил тогда в Пушкине, в писательском доме творчества, на бывшей даче А. Н. Толстого. В саду цвели нарциссы и тюльпаны. Мебель в гостиной была из красного дерева, на стенах висели картины. Все казалось мирным. Юрий Николаевич ласково улыбался. А говорили мы, разумеется, о войне. Помню, Тынянов сказал: «Может быть, в Германии отвратительного вида революция?…» Он все же был

воспитан на логике прошлого века: ему представлялось невозможным оглупление большой цивилизованной страны.

А «Пушкина» он не написал, закончил только начало — детство, отрочество поэта. Юрий Николаевич умер, не дожив до пятидесяти лет, а в последние годы болезнь мешала ему работать. Свою разгадку Путница он унес в могилу.

Я часто вспоминал и вспоминаю прекрасный рассказ о мнимо-малолетнем и, увы, вполне совершеннолетнем Витушишиикове, который умел одно — бить в барабан. Я норой себя чувствую именно таким недорослем, и за это тоже спасибо Тынянову.

Я был на его похоронах. После Сталинградской победы многое менялось на глазах. Звание и форма определяли положение человека. Тынянов был не ко двору и не ко времени. Газеты даже не сообщили о его смерти. Гроб стоял в маленькой комнате на Тверском бульваре, и веночки были из бумажных цветов попроще, поскорее.

Я стоял у гроба и думал: мы хороним одного из самых умных писателей наших двадцатых годов…

17

Для простых смертных все выглядело пристойно: на театрах военных действий шли бои с общим противником, а главы правительств антиитлеровской коалиции обменивались поздравительными телеграммами. На самом деле все было куда сложнее, за кулисами шла борьба.

Американцы предпочли де Голлю адмирала Дарлана, а когда адмирала убили — генерала Жиро. Дс Голль предпочитал себя. Во Франции многие из его сторонников не хотели договориться с партизанами-франтирёрами. В Италии союзники поддерживали бывшего вице-короля Абиссинии маршала Вадольо, а партизаны клялись повесить всех фашистских лидеров, в том числе и Вадольо. Англичане поставляли оружие генералу Михайловичу, в Каире существовало королевское правительство Югославии, а народно-освободительной армией командовал коммунист Тито. В том же Каире находилось греческое правительство правого толка, но в самой Греции с оккупантами боролся левый ЭАМ. В Лондоне нашло пристанище польское правительство; Советский Союз порвал с ним дипломатические отношения; возник Союз польских патриотов; в лесах Польши имелись отряды правых — Армии крайовой и левых Гвардии людовой. Обо всем этом газеты упоминали вскользь, порой иносказательно.

Разумеется, я не был посвящен в секреты дипломатов, но но характеру своей работы кое-что знал: меня приглашали на приемы, приходилось бывать в различных посольствах, чуть ли не каждый день ко мне приходили иностранные журналисты. Я не собираюсь описывать историю взаимоотношений между союзниками, да я ее и не знаю. Мне хочется просто рассказать о некоторых беглых встречах, об эпизодах скорее забавных, нежели значительных.

Английский посол Керр однажды спросил меня, почему я не люблю англичан. Я запротестовал и шутя начал перечислять все, что мне нравнтся о Англии, — и Хартию вольностей, и пейзажи Тернера, и зелень лондонских парков. После этого Керр, представляя меня своим соотечественникам, неизменно говорил: «А вот господин Эренбург, который признает в Англии только трубки, газон и терьеров…» Керр был хорошо воспитанным скептиком, но не позволял себе говорить то, что думал; только однажды на каком-то скучном приеме после разговора о поэзии он признался: «В Москве я полюбил многообразие. Мы любим всегда то, чего лишены, не правда ли?…»

В октябре 1944 года в Москву приехали Черчилль и Иден. Не

знаю, как отразилась эта поездка на англо-советских отношениях, но она неожиданно выручила из беды старого токаря Янкелевича, которого А. Н. Толстой называл «мастером трубочных дел». Янкелевич изготовлял замысловатые трубки и продавал их любителям, его арестовали, кажется, именно за незаконную торговлю трубками. Алексей Николаевич попытался за него заступиться, но безуспешно. Наркоминдел решил поднести Черчиллю подарок старинный ларец с потайными отделениями и хитроумными запорами. Шкатулка оказалась поврежденной, никто не мог ее исправить. Тогда кто-то вспомнил про старика Янкелевича. Он мог поблагодарить судьбу или Черчилля. А вот директору фабрики «Ява» приезд английского премьера принес только хлопоты: от него потребовали срочно изготовить первосортные сигары. На приеме Черчилль взял сигару и закурил: сигара зашипела, из нее посыпались искры, как будто это ракета. Черчилль улыбнулся. У него было лицо старого бульдога, а глаза утомленные, даже сонные, оживавшие от насмешливой улыбки. Меня ему представили. Он попробовал улыбнуться: «Поздравляю. Вас в особенности…» С чем он меня поздравлял, я не знал, но, в свою очередь, улыбнулся и поздравил его, тоже не зная с чем.

Короткий разговор с Иденом был куда интереснее. Иден сразу сказал мне: «Вы, кажется, не очень любите англичан?…» Я решил, что Керр успел ему рассказать о газоне и собаках, но спросил, почему Идеи так думает. Он ответил: «Мне говорили, что вы очень любите Францию». Это было настолько неожиданно со стороны опытного дипломата, что я растерялся и лишь минуту спустя спросил: «Но разве любовь к Франции связана с неприязнью к Англии?» Вероятно, в моем голосе почувствовалось раздражение; Идеи поспешно улыбнулся: «Это шутка. Конечно, мы все союзники, и лично я очень люблю французов…»

Впрочем, другие бывали еще откровеннее. Гарриман, например, говорил: «С Францией будет трудно — там больше предателей, чем повсюду». Английский корреспондент Уинтертон признавался: «Лучше без французов…» Уилки доверительно сказал мне: «Роль Франции как великой державы кончена навсегда, не в наших интересах вернуть ей прежнее место».

Естественно, что французы — посол Гарро, советник Шмитлейн, молодой Горе, генерал Пети — частенько говорили о том, что не доверяют американцам и англичанам: боялись, что западные союзники постараются поставить снова на ноги побежденную Германию. Как-то вечером мы собрались у генерала Пети; были Торез, Жан Ришар Блок, Гарро, и Гарро начал вспоминать прошлое: после первой мировой войны, будучи офицером, он повидал оккупацию Прирейнской области;

рассказывал, как союзники восхищались порядком, организацией, как влюблялись в немок; никто не сомневался, что мир обеспечен; а в Мюнхене Людендорф уже призывал к реваншу. И Гарро с пафосом убеждал Тореза: «У нас теперь одна надежда — русские не допустят повторения!..»

В декабре 1943 года я возвращался из Харькова, где судили немцев, уличенных в массовых убийствах жителей. В купе сидел А. Н. Толстой. Пришел американский журналист Стивенс. Заговорили о будущем. Вдруг кто-то трахнул бедного Стивенса по голове — на верхней полке лежал французский журналист Шампенуа. Он не мог терпеть разговоров о том, что предпочтителен «мягкий мир», к тому же успел выпить пол-литра.

(С Шампенуа я подружился. Прежде он был корреспондентом телеграфного агентства Гавас, но когда посол Бержери — в прошлом ультралевый — по указанию Виши покинул Москву, Шампенуа остался у нас, писал во французских газетах, выходивших в Лондоне, После войны он попробовал вернуться на родину, но оказалось, что он привязался к Москве. Он умеет по-русски выпить, по-русски проговорить полночи обо всем и ни о чем, о вздоре и о самом главном. Это человек, лишенный и честолюбия, и житейской смекалки, в минуту душевной нежности он балагурит или ругается, пишет стихи — для себя, нигде их не печатает.)

Мне кажется, что не только американцы, но и англичане, с которыми я встречался, чего-то не понимали — их страны не знали фашистской оккупации. Я не говорю о политиках или дипломатах — у тех были свои расчеты; но многие офицеры, журналисты считали, что рассказы о гитлеровских зверствах преувеличены; армия Гитлера в их представлении смешивалась с армией Вильгельма. Вот почему куда легче было разговаривать с людьми из оккупированных стран.

Вряд ли норвежский посол Андворд восхищался советской системой, но он знал горе своей страны и видел, что по-настоящему сражается только Красная Армия. Иногда он приглашал нас к себе. Он был сибаритом, любил хорошее французское вино. Мы сидели у камина; Андворд вспоминал Норвегию, общих друзей, говорил: «Надеюсь, что «фау» образумят англичан. Они хотят с гитлеровцами поступить по-джентльменски, как будто это матч. А сегодня я снова получил известия о расправе с нашими студентами. Вы правы — микстуры не помогут, нужна хирургия…»

Среди дипломатов мне особенно полюбился Рене Блюм, он представлял самую маленькую страну — Люксембург, но у него было большое сердце. В 1944 году на фронте возле Минска к нам

пришел перебежчик. Полковник сказал мне: «Фриц говорит, будто он не немец и не француз, а что-то вроде люксембуржца…» Меня привели к перебежчику. Это был молодой паренек-крестьянин. Он попросил у меня бумаги: «Хочу написать письмо…» Я думал, что он хочет известить своих близких и наивно считает, что письмо до них дойдет. Но он написал: «Ее высочеству великой герцогине Люксембурга. Извещаю вас, что я выполнил свой долг и перешел на сторону Красной Армии…» Когда я передал это письмо Рене Блюму, тот прослезился; он был левым социалистом, но письмо к герцогине его растрогало. Он полюбил нашу страну, научился говорить по-русски, ходил на лекции, доклады. (Раз я увидел его в толпе студентов, прорвавшихся в Политехнический, — чуть было его не задушили.) Дочь Блюма училась в Московском университете. Был он скромным, учтивым, что-то в нем оставалось от прошлого века, как и в его Люксембурге. Несколько лет назад я побывал у него в гостях. Он — председатель Общества дружбы с Советским Союзом; выступает на митингах; все его знают, уважают. Вечером за бутылкой вина мы вспомнили военное время.

Бывал я часто у посла Чехословакии Фирлингера. С ним было легко говорить: он понимал, что такое фашизм. Понимала это и его жена, милая, очень живая француженка.

Когда в Москву приезжал Бенеш, я встретил его на приеме. Он припомнил наш давний разговор: «Я уже знал, что Чехословакия обречена…» Потом он добавил: «Для нас единственное спасение — в тесном союзе с вашей страной. Чехи могут придерживаться разных политических убеждений, но в одном они бесспорно сойдутся — Советский Союз нас не только освободит от немцев, он позволит нам жить без постоянного страха за будущее».

Ко мне приходили югославы — один из командиров партизанской армии Терзич, скульптор Августинчич, который работал над проектом памятника и много рисовал. Мне нравились его работы — сочетание монументальности сдвижением, нравился и человек — он был художником и бойцом, ничем не поступался, жил в разных планах, оставаясь самим собой. Югославам дали несколько домов и Серебряном Бору. Там я встретил партизан и партизанок. Они жили на подмосковных дачах, как в горах Боснии, — чувствовался демократизм, прямота. Мне с ними было хорошо.

Иностранные корреспонденты приходили ко мне в надежде узнать что-нибудь о военном положении; я им иногда давал немецкие дневники или письма. В свою очередь, они рассказывали о сложных ходах дипломатии. Среди инкоров были

видные журналисты — Стоу, Верт, Хиндус. Осенью 1942 года я взял Леланда Стоу с собой под Ржев. Он знал войну — был в Испании, в Китае, показал себя храбрым и наблюдательным; написал хорошие очерки. В 1946 году я побывал у него в одноэтажном домике неподалеку от Нью-Йорка. Начиналась «холодная война». Кругом были нарядные коттеджи. Цвели розы. Люди благоденствовали. А Стоу был печален. Он говорил: «Помните Ржев? Там мне было спокойней. Можно прожить без комфорта, без надежды труднее…»

Конечно, инкорам было нелегко: в газетах было больше статей, чем сообщений; цензура не дремала, у журналистов имелся свой противник — заведующий отделом печати. После пресс-конференции каждый старался обогнать других и первым прорваться к окошку телеграфа. Бывали драки; однажды американский корреспондент проколол покрышки на машине конкурента, чтобы тот не поспел на телеграф.

Корреспондент Юнайтед Пресс Шапиро хорошо к нам относился, но ныл: от него требуют сенсаций, а на фронт его не пускают, непонятно, что передавать. И вот произошло событие, окончательно его подкосившее: Сталин ответил на вопросы, поставленные корреспондентом Ассошиэйтед Пресс Кессиди. Шапиро прибежал ко мне потрясенный: «Я тоже посылал вопросы… Ассошиэйтед Пресс правее, чем Юнайтед… Почему Сталин решил меня погубить?…» Успокоить его было невозможно, он и слышать не хотел, что Кессиди просто повезло его вопросы пришли именно в тот день, когда Сталин решил нечто сообщить. В виде «утешительного приза» отдел печати МИДа разрешил Шапиро поехать на Сталинградский фронт. Вернувшись и Москву, он мне сказал: «Конечно, то, что я увидел, замечательно. Теперь я еще лучше понимаю, почему вы настаиваете на втором фронте. Но с точки зрения Юнайтед Пресс это не может сравниться с тем, что получил Кессиди. Я до сих пор не могу понять, почему Сталин предпочитает Ассошиэйтед Пресс?…» А Кессиди ходил именинником, показывал всем подпись, Сталина иод ответами на вопросы и ухитрился получить в «Арагви» четыре бутылки вина: «Мне пишет Сталин…»

Были среди американских корреспондентов и противные. Помню, ко мне пришел одни развязный субъект и положил на стол фунт сахара. В комнату вошла Люба и, не зная, кто у меня, спросила: «Вы что, продаете сахар?…» Я потребовал, чтобы американец забрал свои дары. Несколько дней спустя я рассказал о нем Толстому. Алексей Николаевич загрохотал: «Он принес этот сахар мне, а я, дурак, растерялся, понимаешь? Решил сразу отдарить, ничего у меня под рукой не было, отдал самопишущую

ручку «ваттермана». Взял, подлец…» Мы долго смеялись. (Конечно, мы тогда не знали, что будут означать для всей Европы два слова «американская помощь»…)

О сахаре можно было забыть; но имелись вещи посерьезнее — раздоры между участниками антигитлеровской коалиции сказывались всё яснее. Начиналось лето 1944 года. Салюты, возвещавшие победы, стали для москвичей будничным явлением. Союзники высадились в Нормандии. Развязка приближалась.

Первого июля я поехал на Третий Белорусский фронт, которым командовал генерал Черняховский. Возле Борисова, на правом берегу Березины, я увидел пленных французов из «легиона», организованного изменником Дорио. Реку Березину знают по названию все французы: в 1812 году русские почти окружили армию Наполеона и только части удалось переправиться через Березину благодаря храбрости саперов, которыми командовал генерал Эбе (о генерале я знал потому, что часто в Париже проходил по улице, названной его именем). А «легионеры» застряли на Березине: они были трусливыми, но жадными наемниками, их остановили чемоданы не хотели расстаться с награбленным барахлом. Меня попросили с ними поговорить. Один уверял, что несчастно влюбился и решил умереть «все равно как», другой описывал нужду, лишения — «в минуту слабости согласился», третий ссылался на «загадочные пути судьбы», четвертый приговаривал: «Я глубоко штатский человек. В Париже у меня маленький ресторан «А ля флёр де лис». Клиенты всегда меня хвалили. В кулинарии я не ошибался. Другое дело политика…» «Легионеров» поместили вместе с немецкими пленными, среди которых оказалось много эльзасцев. Потом мне рассказали, что эльзасцы ночью избили «легионеров».

Я побывал у летчиков «Нормандии». Французы рассказали, что, когда шли бои за Борисов, над Березиной погиб летчик Гастон. В течение трех лет он пытался выбраться из Франции, чтобы сражаться в небе; каждый раз его задерживали, наконец его посадили в каторжную тюрьму в Порт-Лиоте в Северной Африке. Когда американцы его освободили, он решил уехать в Советский Союз, чтобы сражаться в полку «Нормандия». Над Березиной было его боевое крещение, и нот он погиб… Я рассказал летчикам о владельце ресторана «Цветок лилии», они посмеялись, сказали с прозрением; «Не думайте, что таких много. Это наши «власовцы»…» Я улыбнулся: твердо верил во Францию.

Да, не скрою, я верил в замечательное будущее — иначе слишком трудно было бы жить. Я говорил себе: решат дело не дипломаты, не политиканы, а народы — они-то хлебнули горя. Значит, фашизм будет похоронен навеки.

А инкоров я встретил где-то между Борисовом и Минском. Они были счастливы и потому, что видели победу союзной армии, и потому, что набрали интересный материал для передач. Особенно радовался корреспондент «Таймса» — он взял в плен троих солдат. Попавшие в окружение немцы искали, кому бы сдаться, и, увидев штатского в хорошем костюме, решили, что лучшей оказии им не найти. Двенадцатнлетний мальчик Алеша Сверчук, тот пригнал пятьдесят два пленных. Но корреспондент «Таймса», естественно, радовался.

Скажу откровенно: в Москве меня могли печалить телеграммы из-за границы, а возле Минска и не думал о том, как решится греческий вопрос, признают ли американцы Тито, что скажет Иден о поляках. Я думал: как пробраться в Минск — вокруг бродили немецкие дивизии.

18

В Минск я попал 4 июля. Танкисты накануне прорвались в город и тотчас ушли дальше на запад. В южных кварталах еще шла стрельба. Я поглядел на длинную улицу и обрадовался: почти все дома невредимы; четверть часа спустя раздались взрывы, и домов не стало.

Весь день работали саперы — вытаскивали мины; успели снасти большой Дом правительства, некоторые другие дома. Однако, бродя по городу, я повсюду видел развалины. Как же я радовался победе! За два дня до этого я был у генерала Черняховского; он мне сказал: «Теперь мы не гоним противника — мы его окружаем». Я знал, что крупные немецкие силы остались на восток от Минска, поэтому трудно было проехать в город — на шоссе неожиданно выходили немцы, открывали минометный огонь. «Попали они в хороший котел», — сказал мне один танкист, и я подумал, что война подходит к концу, улыбнулся. Но больно было смотреть на развалины Минска. Это не Новгород, не Киев, не Ленинград — это город, который много раз жгли, разрушали; в нем не было памятников старины, прекрасной архитектуры. Но бывают минуты, когда забываешь об искусстве. Я думал не об эстетической ценности разрушенных, взорванных или сожженных домов, а о том, что люди работали, мучились, строили, и вот — щебень, обгоревшие развалины. Зрелище разрушенного жилья, разоренных человеческих гнезд мучительно, и всегда потрясает какая-нибудь мелочь — просиженное кресло, следы на уцелевшей стене от долго висевшей картины или фотографии, поломанная деревянная лошадка.

(Лет семь или восемь спустя, отправляясь на очередную сессию Всемирного Совета Мира, я застрял в Минске — погода была нелетная. Меня выручил П. У. Бровка — повез к себе. Он показал мне заново отстроенный город. Конечно, лома были пышными и некрасивыми, как все, что строилось у нас в конце сороковых годов, но я искренне восхищался ими: люди ужинают, спорят, ревнуют; наверно, вон в той квартире есть дети и там спокойно спит деревянная лошадка.)

Бродя по разрушенному Минску, я вдруг подумал: мне повезло, хоть в Минск я не опоздал! Генерал Вадимов мне не давал свободы! Однажды, еще в начале войны, я с ним ездил на фронт к Брянску, и он почему-то решил, что я способен на глупое лихачество. В 1944 году, уже не будучи редактором «Красной звезды», он писал мне с фронта: «Вспоминаю вас, рассказываю о

том, что с вами невозможно ездить на фронт, потому что вы обязательно хотите быть впереди всех, даже впереди боевых порядков». Конечно, это было абсолютно несправедливо, но генерал Вадимов внушил своим подчиненным, что за мной следует присматривать. Осенью 1943 года «Красная звезда» послала К. Симонова и меня на Украину. Я поехал на правый берег Днепра. Заместитель редактора полковник Карпов послал телеграмму члену Военного совета 13-й армия генералу Козлову (копию мне недавно дали): «У вас находится Илья Эренбург, в целях безопасности прошу сделать так, чтобы далеко за переправу он не уезжал». А вот в Минск я добрался вовремя; да и потом ездил куда хотел — мне удалось исчезнуть; в редакции не знали, где я, и не было генерала Вадимова, который, наверно, снова предпринял бы розыски.

Черняховский был прав: Минск наши армии окружили, в котел попало около ста тысяч немцев. Наши войска быстро продвигались к Барановичам, к Вильнюсу, а немцы, отходившие от Могилева, все еще мечтали прорваться в Минск. На этом фронте немцы были еще недобитые, и многие дивизии упорно сопротивлялись, наступали, пытаясь прорвать кольцо. Как-то я мирно ужинал у командира батальона, майора, в прошлом ленинградского профсоюзника. Батальону дали передохнуть после жестоких боев на Березине, и майор, угощая меня трофейным шампанским, рассуждал: «Фрицы у вас замечательно получаются, наверно, долго наблюдали. А вот, скажем, когда вы роман пишите, как вы разыскиваете, кого описать? Я часто думал, откуда писатель знает, что у человека на сердце? Рассказывают, что ли? Или приходится выдумывать?…» Я не успел ответить — раздалась дробь пулеметов: огонь открыл немецкий полк, пытаясь прорваться на запад.

Я поехал на запад, в Раков, в Ивенец, и, вернувшись в Минск, снова услышал пальбу: окруженные немцы, изголодавшись, напали на хлебный завод.

Я был на Могилевском шоссе, когда начали обстреливать дорогу. Пленные уверяли, что в лесу батальон, там же бродит немецкий генерал с минометом и говорит: «Я немец, а не дерьмо…» Один немецкий майор, который, помахивая носовым платком, вышел из леса на дорогу, сказал мне: «Конечно, в данный момент преимущество на вашей стороне — Германии вынуждена сражаться на двух фронтах. Но вы должны признать, что танковые прорывы, охваты — достижение немецкой стратегии, вы идете по нашим стопам…» Я ответил, что я не военный, а как человек штатский признаю приоритет немцев: войну начали они и долго к ней готовились, только гордиться

этим вряд ли приходится.

Обер-лейтенант в Вильнюсе, на кладбище Рос (там был сборный пункт для пленных), говорил: «Я на Восточном фронте с самого начала. В сорок первом мы шли вперед, не обращая внимания, что вы остаетесь позади. Теперь все переменилось. Мы пробовали защищать Минск, когда вы уже подходили к Вильно. Здесь мы три дня удерживали несколько домов, а ваш офицер говорит, что вы возле Немана. Теперь вы идете вперед, как будто нас не существует». Он помолчал и неожиданно добавил: «Я себя спрашиваю, действительно ли мы существуем?…» Среди барочных херувимов и замшелых бюстов цвели чайные розы. Вдруг раздался отчаянный крик — смертельно раненная ворона упала комком к ногам немецкого офицера. Он закрыл лицо руками и сидел неподвижный, как статуя.

Тацинцев и встретил у границы Литвы: они были усталыми до смерти. Полковник Лосик, командир бригады, рассказывал, как взяли Минск «Мы не по дорогам шли — лесом, болотами, смешно сказать — где только заяц бегает. Когда мы третьего числа ворвались в Минск, немцев там было больше, чем наших, но они растерялись…»

Стояли очень жаркие дни, дождя давно не было, и плотные тучи удушливой пыли обволакивали дорогу. Сотни машин, расплющенных, перевернутых, загораживали путь. Старшина Белькевич говорил: «Я-то спешил, у меня в Минске сестренка оставалась, Таня, семнадцать годов… Убили, то есть, буквально накануне — второго числа — соседи видели… — Он вытер рукавом лицо; пот, смешавшись с пылью, образовал маску. — Пыль-то какая!.. — Потом тихо добавил:

— Как мы вошли в город, отпросился домой, бежал. А сестренки нет…» И такая была в его голосе тоска, что я ничего не мог вымолвить. Ко всему можно привыкнуть — к тоске, к беде, к одиночеству, только не к чужому горю; много раз я это чувствовал в те годы.

А что я видел на всем пути от Орши до Вильнюса? Сколько развалин, сожженных сел, сколько я выслушал ужасающих рассказов! В Ракове я пошел к настоятелю собора ксендзу Ганусевичу. Он сидел, старый, тихий, среди молитвенников и выцветших фотографий. Он видел, как гитлеровцы подожгли дом. В отчаянии женщина выбросила из окна младенца; подбежал «факельщик», деловито, как головешку, подобрал ребенка и кинул в огонь. Священник качал головой: «Я не мог себе представить, что на земле существуют столь бессердечные люди. Из Клебани увезли старого ксендза, он болел, не мог ходить, они его замучили. В Лорах собрали всех в православную церковь и

сожгли. В Першай убили двух ксендзов. В Писании сказано: «Он открывает глубокое из среды тьмы и выводит на свет тень смертную, умножает народы и истребляет их, рассеивает народы и собирает их, отнимает ум у глав народа и оставляет их блуждать в пустыне, где нет пути». Я старый человек, но как будут жить после этого молодые?…»

Я ночевал у артиллеристов. Мы пили скверный венгерский ром. Все размечтались о будущем. Вдруг капитан Сергеев сказал: «Письмо пришло от жены Яблочкина, пишет, что жить ей теперь незачем — осталась одна, хочет попрощаться с товарищами Паши…» Все примолкли; вскоре уснули. Мне не спалось, я встал, пробрался к коптилке и записал в книжечку слова старого ксендза.

На следующий день, вернувшись в Минск и проехав по Могилевскому шоссе, я увидел Тростянец. Там гитлеровцы закапывали в землю евреев — минских и привезенных из Праги, Вены. Обреченных приводили в душегубках (машины, в которых людей удушали газом, гитлеровцы называли «геваген»; машины усовершенствовали — кузов опрокидывался, сбрасывал тела удушенных; новые машины именовались «гекнипваген»). Незадолго до разгрома немецкое командование приказало выкопать трупы, облить горючим и сжечь. Повсюду виднелись обугленные кости. Убегая, гитлеровцы хотели сжечь последнюю партию убитых; трупы были сложены, как дрова. Я увидел обугленные женские тела, маленькую девочку, сотни трупов. Неподалеку валялись дамские сумкн, детская обувь, документы. Я тогда еще не знал ни о Майданеке, ни о Треблинке, ни об Освенциме. Я стоял и не мог двинуться с места, напрасно водитель меня окликал. Трудно об этом писать — нет слов.

Наши солдаты, штурмовавшие на Могилевском шоссе окруженных немцев, видели Тростянец. Кажется, нигде война не была такой жестокой. Вечером вокруг шоссе валялись трупы врагов. Жара не спадала, и стоял сильный смрад.

Я говорил с командующим пехотной дивизией генерал-лейтенантом Окснером. Когда его взяли в плен, он был одет как солдат, а час спустя предъявил удостоверение и потребовал, чтобы его направили в лагерь для офицеров. В отличие от других пленных, он мне сказал, что идеи, которые вдохновляют вермахт, живы и рано или поздно восторжествует. Я спросил его о Тростянце, он ответил: «Почему вы меня об этом спрашиваете? Я лично детей не убивал. Мы проиграли сражение, а на побежденных все валят. Немецкая армия всегда отличалась дисциплинированностью, и я воспитывал моих солдат в духе чести…» — «А почему вы переоделись?» — «Не хотел унизить

звание — немецкие генералы не сдаются». Он с наслаждением выкурил сигарету и сказал: «Мы оказались в положении маленького народа — против нас огромные государства: Россия и Америка. Это поединок Давида с двумя Голиафами…» У него был благообразный облик профессора. Потом я встретил его имя в списке военных преступников.

Другие генералы держали себя осторожнее. Командующий корпусом генерал Гельвицер с почтением поглядывал на молодого Черняховского. Иван Данилович сказал с усмешкой: «У Воронежа вы воевали лучше…» Гельвицер ответил: «Все происшедшее падает не на армию, а на Гитлера, он не слушал опытных генералов, окружил себя выскочками…» Гельвицер подписал обращение, которое две недели спустя было напечатано в советских газетах: часть немецких генералов, оказавшихся в плену, выступила против фюрера. Незадолго до того в Германии кучка офицеров пыталась выступить против Гитлера; это придавало декларации пленных генералов некоторую убедительность. В чем генералы обвиняли Гитлера? Отнюдь не в том, что он начал войну, прикарманивал страну за страной, организовал массовое истребление населения, зону пустыни, лагеря смерти. Нет, кадровые генералы ставили Гитлеру в вину другое — он неумело воевал, довел вермахт до поражения. Генералы предлагали немецким командирам убрать Гитлера и добиться мира до того, как военные действия перебросятся на территорию Германии. О штабелях удушенных в Тростянце они не говорили…

Передо мной номер «Зольдатенцейтунг», я гляжу на портрет военного в мундире: генералу танковых войск фон Заукену, кавалеру ордена железного креста с дубовыми листьями и бриллиантами, исполнилось семьдесят лет. Газета рассказывает о жизни юбиляра. В годы первой мировой войны он сражался во Франции и в России. В 1939 году он завоевывал Польшу, примчался в Париж, потом был под Москвой, у Орла. А в июле 1944 года генерал фон Заукен, командир 39-го танкового корпуса, пытался удержать Борисов… Я ничего не могу с собой поделать: я помню. Помню в разрушенном Борисове трупы советских пленных — гитлеровцы их перебили за два дня до того, как оставили город; помню рассказ Василия Везелова, который чудом выкарабкался из-под трупов; помню Разуваевку, где фашисты убили десять тысяч евреев — стариков, женщин, грудных детей. Не знаю, помнит ли это юбиляр. Да и не в нем дело. «Зольдатенцейтунг» в том же номере призывает немцев вернуть Силезию, Мемель, Данциг, Судетскую область. Значит, снова?… С этим не мирятся ни разум, ни совесть.

В июле Третий Белорусский фронт продвигался на запал настолько быстро, что авиация часто отставала. Генерал Глаголев, старый солдат — он воевал в первую мировую войну, говорил: «Вы про пехоту не забывайте. В двенадцать дней прошли почти четыреста километров. У пехотинца теперь свой мотор сердце, человек падает, а все-таки идет. Мне вчера один солдат сказал: «Осерчали…» Видят, что немцы понаделали, и торопятся — кончать нора…»

Картины менялись, и картина оставалась той же: по-разному говорили в Смоленской области и на границе Литвы, но все рассказывали одно и то же. Мелькали останки городов: чернели дымоходы сожженных сел. Кажется, в Ольшанах я видел дощечку «Фрайхайтплац» («площадь Свободы»). Кажется, в Красном, а может быть, в тех же Ольшанах фабрикант Рихард Садовски заставлял прохожих сходить с тротуара, подымать руку, восклицать: «Хайль!» Алексей Петрович Малько (я записал имя) рассказал, как немцы сожгли его дочек Лену и Глашу, это было в деревне Брусы. Возле Сморгони бойцы нашли в поле девочку четырех или пяти лет, и она рассказала, что ее зовут Дора и что «немцы сыпали маме песочек в рот, а мама кричала». Старый поляк в Радошковичах рассказывал, что два года назад немцы сожгли тысячу двести евреев; портной, когда немец приказал: «Танцуй!» — плюнул и крикнул: «Убивай скорей, ты свое еще получишь!..» Проехал я мимо одной деревни, дома были целыми и пустыми, — не знаю, убили ли жителей или угнали, а может быть, люди убежали в лес.

Все выглядело, как год назад возле Глухова или Чернигова; но война была другой. 12 июля под вечер я увидел первые дома Вильнюса; отовсюду стреляли, и незнакомый мне майор закричал: «Ложись!..» В этот день наши танкисты были уже далеко прошли полпути к Каунасу; а в лесах к востоку от Минска еще бродили группы немцев, не знавших, что от них до немецкой армии куда дальше, чем от советских танкистов до границы Германии.

Где-то возле Молодечно я заночевал у маршала П. А. Ротмистрова. Павел Алексеевич объяснял: «Прошлым летом танки играли другую роль, тогда противника выдавливали, а теперь мы его окружаем и уничтожаем, вырываемся вперед. В нашу эпоху без техники нельзя. Без головы, разумеется, тоже. Люди у нас умные, только долго раскачивались — мало места для инициативы. Вот после войны, надо надеяться, будем жить разумней». Мне понравился маршал: молодой, живой, разбирался не в одних военных операциях, но и во многом другом — в политике наших союзников, в литературе, даже в различных

сортах рейнвейна. Раза два или три после войны я встречал Павла Алексеевича и убедился, что он человек смелый не только на ноле боя, но и (это, может быть, еще труднее) в будничной гражданской жизни.

Никогда раньше я не был в Вильнюсе. Немцы не успели его сжечь, и было это необычайно дома, барочные костелы, узкие старые улицы. Редко вылезет старушка из подвала и тотчас спрячется. Несут раненых. Ведут на кладбище Рос пленных. Солдат мало — они выбивают немцев из пригородной рощи. Вчера немцы еще удерживали центр города, старую тюрьму Лукишки. Да и сейчас в городе немцы прячутся, постреливают из автоматов.

Генерал Крылов сидел над картой, глаза у него были красные от бессонных ночей. Увидав меня, он покачал головой: «Зря ходите — они из окон стреляют. Конечно, я понимаю, что вам интересно, но все-такии…»

На КП я увидел писателя Павленко. Познакомился я с ним еще в 1926 году — я был проездом в Стамбуле, и он мне показывал святую Софию. Встречались мы очень редко; он был хорошим рассказчиком, охотно слушал неправдоподобные истории, но, как это часто бывает в человеческих отношениях, когда мы годами не видались, я о нем не вспоминал. Мы пошли вместе по городу. Немцы побросали на большой площади сотни машин, и чего только в них не было — и кинокамеры, и французские ликеры, и детективные романы, и туалетная бумага. У Остробрамских ворот женщины на коленях молились богоматери. Пошли мы к костелу снятой Анны. Павленко рассказал — Наполеон жалел, что не может увезти костел в Париж. Прошли к дому, где жил Мицкевич. Кое-где лежали тела убитых горожан; помню старика с острой серебряной бородкой, похожего на ученого прошлого века; рядом лежала палка с белым набалдашником. Павленко внимательно рассматривал и набалдашник, и статуи костела, и немецкий радиоприемник; вдруг зевнул: «Дождь… Давайте-ка пойдем перекусить. У меня бутылка французского коньяка». Мы выпили, и Петр Андреевич сказал: «Помните, как я вам показывал Стамбул, святую Софию. Это было в двадцать пятом или двадцать шестом, почти двадцать лет… Жизнь была шумной, а написать почти ничего не удалось. Вы мне сказали как-то, что я люблю приврать, когда рассказываю. Ну не так прямо, но я понял… Отнесите за счет эпохи — пар требует выхода. В литературе, хочешь не хочешь, а ври, только не так, как вздумается, а как хозяин велит. Что и говорить, он человек гениальный. Но об искусстве нечего и мечтать. А в общем, все ерунда. Выпьем лучше за победу…»

Потом я ходил один. Ко мне подошел старшина, попросил документы, прочитав, рассмеялся: «Вот на кого напал. Я ваши статьи читаю, ни одной, кажется, не пропустил. Знаете, какая у меня к нам будет просьба? Скажите вы, чтобы каждый день в газете сообщали, сколько километров до Германии. А то спрашиваю — никто толком не знает, одни говорят — сто, другие — полтораста. Ну, если нельзя в московских, пусть в армейских печатают. Я думаю, к праздникам кончим. У меня мать в Бийске, пишет, что ждет со дня на день, болеет, боится, что не дотянет…»

Я встретил группу партизан-евреев, они помогали очищать подвалы и чердаки от фашистов. Я разговорился с двумя девушками — Рахилью Мендельсон и Эммой Горфинкель. Они рассказали, что были в гетто. Немцы чуть ли не каждый день отправляли партию в Понары — там убивали. Живые должны были работать, их посылали под конвоем. В гетто была подпольная организация Сопротивления, ее участники жгли склады, закладывали мины, убивали гитлеровцев. Готовился массовый побег. Во главе организации стоял виленский рабочий, коммунист Виттенберг. Гитлеровцы о нем пронюхали и потребовали, чтоб он явился, не то уничтожат все гетто. Виттенберг сказал товарищам: «Вы сможете работать и без меня. Не хочу, чтобы из-за меня всех убили…» Его замучили. Пятистам заключенным удалось бежать; они сражались в отрядах «За победу», «Мстители», «Смерть фашизму». Рахиль и Эмма до войны были студентками, любили литературу. Теперь у них в руках были не книги, а ручные гранаты. Они весело смеялись; у меня сохранилась фотография: я с группой партизан.

На следующий день был приказ об освобождении Вильнюса: немцы в роще начали сдаваться. Я снова бродил по улицам, разговаривал с жителями; выглядели люди страшно — просидели пять дней в подвалах, часто без еды, даже без воды; но почти все улыбались — самое горькое было позади. Трупов на улицах больше не было. Солдаты выносили из немецких машин барахло. Говорили, что будут выдавать хлеб.

Я ужинал с военными. Потом майор провел меня в брошенную квартиру. По всему было видно, что здесь жили не немцы: в стеклянной банке я нашел сухари из черного хлеба, а в старинной шкатулке, где когда-то, наверно, хранили фамильные драгоценности, окурки сигарет. На стенах висели фотографии — группа гимназисток, дама с наколкой, молодой человек в польской военной форме. Под столом валялась открытка с видом Ниццы. На полке стояли книги — польские и французские. Майор мне оставил большую свечу, и я решил почитать французский роман. Прочитал страниц двадцать или тридцать — и бросил.

Какое мне дело, что герой не может решиться бросить жену и переехать к возлюбленной? Я попытался уснуть, но сон не шел. И вдруг мне стало невыносимо тоскливо. Ведь мучился человек в этом романе из-за тонкостей любви. Может быть, они встретились в Ницце. Герой чеховского рассказа встретил даму с собачкой в Ялте. Счастья не было, но не закапывали живьем, не сажали в душегубки. Не жили в постоянном соседстве со смертью, как теперь. Наверно, жена майора ждет не дождется письма от него. Ужасна война, даже теперь, когда близка победа! А может быть, именно оттого, что победа близка, можно задуматься, затосковать?…

Я приподнял ковер, которым майор завесил окно. Светало, утро было пасмурным. Время от времени раздавались выстрелы. Из дома, что напротив, выбежала кошка и пронзительно закричала. Я лег и уснул.

19

Когда я вернулся в Москву, ко мне пришел Жан Ришар Блок. Он был взволнован событиями. Я рассказал ему о минском котле, о боях в Вильнюсе, о летчиках «Нормандии». В свою очередь, он поделился новостями: «Судя по радиоперехватам, партизаны начинают занимать города в Дофинэ, в Лимузене, — и, суеверно понизив голос, добавил:

— кажется, мы сможем скоро вернуться во Францию…»

Россия рано вошла в мир Жана Ришара; говоря это, я думаю не только о книгах Льва Толстого, которые долго были вехами на его пути, вспоминаю также послание французских студентов к русским после 9 января 1905 года, подписей было много, а текст написал студент Сорбонны, двадцатилетний Ж. Р. Блок. Он восторженно встретил рождение Советской республики. Впервые он увидел нашу страну в 1934 году, когда его пригласили на съезд советских писателей; он пробыл у нас полгода, потом рассказывал на различных собраниях о своих впечатлениях. Конечно, это были рассказы доброжелательного туриста, который увидел то, что может увидеть турист в любой стране, — достопримечательности, образцово-показательную жизнь.

Вторично он приехал в Москву весной 1941 года, приехал с женой из оккупированной Франции и прожил в Советском Союзе трудные годы войны. Он узнал людей и привязался к ним. Пережил эвакуацию. А.Н. Толстой рассказывал мне, как осенью 1941 года, проезжая через Казань, он разыскал Блока, который снимал комнату в татарской семье; комната была подвальной. Жан Ришар утешал хозяйку, муж ее был на фронте: «Скоро немцев расколотят…» «Да что ее, — добавлял, смеясь, Алексей Николаевич, — он и меня развеселил. Настроение у меня было отвратительное — сводки, хлеб не убран, люди повесили нос — словом, пакость, а француз-то наш спокойно мне объясняет, что Гитлер обречен, это как дважды два. Мороз ужасный, он, бедняга, не привык, пьет чай без сахара и улыбается…»

Два-три раза в неделю Блок обращался по радио к своим соотечественникам: рассказывал о мужестве Красной Армии, старался приободрить французов. Были у него в Москве друзья, всех не перечислить, назову Лидию Бах, Игнатьевых, Толстого. Никогда Блоки ни на что не жаловались. Однажды Жан Ришар захворал; пришел врач и ужаснулся, мне позвонили: «Истощение на почве длительного недоедания…» А не простудись он, мы не узнали бы, что Блоки живут впроголодь.

Жан Ришар мучительно переживал вынужденную разлуку с

родиной. Теперь слышишь голос человека из космоса. А в те годы был грохот бомб и молчание. Блок не знал, что делается во Франции. Не знал он и что стало с его близкими — с матерью, с детьми. Но тоску, тревогу он умел скрывать, как никто: окружающие видели неизменно бодрого, веселого человека. В 1944 году ему исполнилось шестьдесят лет, выглядел он моложе, может быть, потому, что жил в постоянном напряжении. Очень худой, среднего роста, с резко обрисованными чертами лица, он походил на старый портрет Монтескье, который когда-то висел в моей комнате. Глаза его не уставая улыбались, и только при одной из последних наших встреч в Париже он позволил себе шутку: «Бывают эпохи, когда человеку необходимо обзавестись двумя парами глаз — для других и для себя…»

Два или три часа мы проговорили о положении на фронте. Потом он неожиданно сказал: «Мне перевели новый указ о браке…» Увидев мой огорченный вид, он начал меня успокаивать: «Теперь война, не стоит об этом задумываться…»

Я знал, что многое его озадачивало, тревожило. Указ, о котором он вскользь упомянул, я прочитал где-то под Минском; кругом стреляли, я засунул газету в карман и, как Блок, сказал себе: не нужно об этом думать. У войны свои законы: стоит человеку усомниться, как он выбывает из строя. Конечно, указ о браке продолжал линию, которая наметиллась год назад: обязательная регистрация, судебное разбирательство для развода, понятие матери-одиночки, все это было куда ближе к дореволюционному законодательству, чем к декретам первых лет революции, но я жил тогда одним — разгромом фашизма, все остальное мне казалось второстепенным.

Я не случайно упомянул об одной фразе, оброненной Блоком в августе 1944 года: он был рожден поэтом и мыслителем, а война слишком часто вмешивалась в его жизнь, и люди видели солдата со штыком или с пером.

Он был всего на семь лет старше меня, но это многое предопределило. Я едва осмотрелся в жизни, как разразилась первая мировая война, и с нею началась новая эпоха. А Жан Ришар успел и написать хороший роман «.и компания», и вобрать в себя воздух прошлого столетия, успел сложиться. Он рано увлекся социализмом, и для него это было связано не с подпольем, не с провокаторами и «провалами», не с тюрьмой, а с благородными речами Жореса, с верой в разум, в прогресс, Я приезжал во Флоренцию зеленым юношей, духовно неприкаянный, всегда голодный и восхищенный красотой чужого мира. А во Флоренции жил Жан Ришар, профессор французского института, отец троих детей, эрудит и гуманист; искусством

кватроченто он любовался не как воришка, прокравшийся в богатый дом, а как законный наследник.

Может быть, именно поэтому первая мировая война была для него катастрофой, — он должен был решить, что ему делать. О том, как он пережил те годы, я знаю не только по его переписке с Роменом Ролланом, но и по его рассказам. В первой части этой книги я писал, что капрал Жан Ришар осмелился поспорить с человеком, которого не только почитал, но и обожал. Вернее сказать, Блок спорил с самим собой — он знал, что Роллан из своего швейцарского далека рассуждает правильно; но знал и другое — немцы вторглись во Францию, нужно не раздумывать, а сражаться. Он сражался, был трижды ранен на Марне, в Шампани и у Вердена, последнее ранение было тяжелым, долго опасались, что он потеряет зрение. Чашу он выпил до дня. Ромен Роллан любил Блока, но поведение его осуждал: считал, что молодой Жан Ришар, подобно многим, культивирует в себе слепоту. А дело было не в любви к слепоте, но в тех законах войны, которые тридцать лет спустя продиктовали Блоку слова: «Теперь не стоит над этим задумываться». Накануне второй мировой войны Блок, редактор коммунистической газеты, писал Ромену Ролла ну про роман Барбюса «Огонь»: «Он создал произведение захватывающее, но не долговечное. Он удовлетворился замечательным показом декорации и силуэтов. Но он не показал, почему миллионы людей оставались там, а это — главное».

Двадцатые годы, первая половина тридцатых были для Блока, как и для многих его современников, периодом затишья, передышки. Мыслящему тростнику история разрешила на краткий срок не только сгибаться, но и мыслить. В этот период писатели писали. Писал и Жан Ришар — романы, рассказы, пьесы для театра, стихи. Я никак не хочу отрицать ценности его романов или пьес; но в те годы было немало и добротных романов, и увлекательных пьес, и мастерски написанных стихов. Была, однако, область литературы, в которой Блок достиг совершенства, область, издавна облюбованная французами, эссе.

Кажется, другие народы, более одаренные поэтической настроенностью и менее увлеченные поэзией мысли, считали эссе второстепенным жанром, предпочитая ему литературную критику или художественную публицистику. А французы от Монтеня до Сартра, от Стендаля до Жана Ришара Блока видели в эссе возможность объединить обостренную чувствительность художника и разум. Из всего, что написано Блоком, мне особенно дорога книга «Судьба века». Она вышла в свет в 1931 году, и удивительно, что эссе, часто посвященные не только искусству, но и политике, не устарели. Перечитав их недавно, я убедился, что

вопросы, которые мучили Блока тридцать лет назад, стоят передо мной, когда я пишу эту книгу.

В предисловии автор «Судьбы века» говорил: «Я не обращаюсь к политикам. Беседуя со мной, они потеряли бы время. Они это хорошо знают. Я обращаюсь к людям моей породы, к людям, обладающим ремеслом. У нас есть ремесло, и мы работаем внутри этого ремесла, в его сердце. Мое ремесло связано со словом, со знанием веса, объема, плотности слов, их точного применения. И как бы это ни было смехотворно для многих, я считаю наше ремесло самым прекрасным…» Может показаться, что книга посвящена проблемам литературы, а в ней, пожалуй, меньше всего страниц, связанных с судьбой романа или поэзии. Блок пытался предугадать судьбу человека, вступающего в новую эру. Он не был равнодушным арбитром; задолго до этого выбрал себе место, вступил в партию он много позднее, но называл себя и тогда коммунистом. В конце двадцатых годов он предвидел предстоящее затемнение: «Снова рабочий Калибаи и музыкант Марсий — хранители подлинной культуры. Им нужно быть зоркими, потому что мы видим начало второго средневековья. Подымается волна нового нашествия… Эти новые варвары уже обосновались у нас. Они управляют нашей промышленностью, нашей экономикой, и Америка их щедро снабжает теориями, лозунгами, идеалами».

Говоря о новом веке, о том, что его отличает от революционной романтики прошлого, Блок так определял современного человека: «Социальная революция ему больше не кажется мессианской мечтой, это одно из неизвестных его личного уравнения. Он начинает считать, что предпочтительнее оказаться в лагере возможных победителей». Он говорил, что для человека 1930 года характерно преувеличение роли личности. Он видел связь между социальными проблемами века и невиданной страстью к спорту. До Гитлера, до многого другого он предостерегал: «Итак, мы идем к чудовищному воскресению пещерного человека, покрытого амулетами, но освещенного электричеством… Восемнадцать лет назад я написал рассказ «Ересь усовершенствованных ванн», эта ересь становится религией…» И далее: «Мы идем к диктатуре всемогущей полиции я имею в виду полицию дорог, полицию тел, полицию душ». Он говорил также о развитии точных наук и техники без возмущения, но и без самообольщения. Я вспомнил об этой книге, конечно, не для того, чтобы в нескольких цитатах объяснить ее содержание, — мне хотелось показать Жана Ришара Блока таким, каким молодые читатели его не знают.

В жизни Блока, как и в жизни многих других, Испания

означала объявление войны. На этот раз никто его не призвал. Да и был он в Испании недолго — видел только самое начало. Но Блок понял, что передышка кончена: «Мне тоже хочется писать о женщине, о любви, мне хочется выразить в словах, так, как это не выражали прежде, свист иволги и душу танцовщицы. Я испытываю потребность быть простым человеком, наивно счастливым среди щедрот мира. И вот я слышу свист снарядов, крики раненых, мои товарищи отступают под самолетами, перед танками, и у меня во рту горечь этого отступления…» Для раздумий больше не было места.

Начиная с той поры Жан Ришар снова жил как солдат. Год спустя в Париже начала выходить газета «Се суар»; ее редакторами были Блок и Арагон. Жан Ришар писал не о свисте иволги, а о «невмешательстве», о Мюнхене, о трусости, о предательстве. Осенью 1939 года правительство запретило выход «Се суар». Вскоре на процессе депутатов-коммунистов Блок вместе с Ланжевеном и Валлоном выступили в защиту обвиняемых. Когда немцы подошли к Парижу, он пытался уйти пешком к себе в Пуатье; это не близко, и немецкие танки его опередили. Он начал писать для подпольной прессы. В начале 1941 года был арестован его сын Мишель; полиция пришла и за Жаном Ришаром, случайно его не оказалось дома. Он перешел на нелегальное положение и весной 1941 года приехал в Москву. О советских годах я рассказывал, Блоки вернулись в Париж в январе 1945 года. Жан Ришар узнал, что его мать, восьмидесятишестилетнюю старуху, гитлеровцы сожгли в Освенциме; дочь Франс увезли в Гамбург и там казнили. Начала выходить «Се суар», и Жан Ришар продолжал писать статьи. Его выбрали в Национальную ассамблею. Он почти каждый день выступал на митингах — надвигалась реакция. Он составил книгу статей «Москва — Париж», правил корректуру, и в марте 1947 года скоропостижно скончался.

Вероятно, такая биография довольно обычна для подпольщика, солдата, коммуниста. Но для писателя она исключительна, а я уже говорил, что Жан Ришар был прежде всего художником. В Москве на Первом съезде писателей он напомнил, в чем призвание людей того ремесла, которое казалось ему самым прекрасным: «Писатель не только официальный прославитель завершенных дел. Будь это так, он играл бы несколько смешную роль и вскоре удостоился бы иронического звания «инспектора законченных работ». Он превратился бы в общественного паразита; таковые имелись при дворах старых королей, их работа заключалась в прославлении… К счастью, у писателей другое назначение!» В той же речи Блок выступил

против канонизации лжеклассических форм, которая обозначилась в речи Жданова: «Какова бы ни была структура общества, всегда будут художники, пользующиеся существующими формами, и другие, ищущие новых форм. Среди летчиков есть пилоты исполнительные и смелые, которые ведут серийные машины, и есть другие — летчики-испытатели. Неизбежно, да и необходимо, чтобы существовали писатели для миллиона читателей, для ста тысяч и для пяти тысяч». Блоку хотелось быть летчиком-испытателем, сказать то, чего не говорили до него, но у войны свои законы; он писал о том, о чем писали многие: что Мюнхен — измена, что нельзя жить под игом фашизма, что американское золото хочет заменить германский булат. Он был бунтарем, а приходилось соблюдать военную дисциплину. Он это делал с улыбкой и, только оставаясь сам с собой, «заменял» глаза образцового солдата и оптимиста на свои — на глаза обреченного художника.

Я не помню, когда с ним познакомился, кажется, в 1926 или в 1927-м. Мы встречались тогда не очень часто, но разговаривали подолгу и откровенно. У меня сохранился экземпляр «Судьбы века» с надписью Жана Ришара, — по ней я вижу, что в 1932 году он меня считал своим другом. Потом наши отношения стали еще более тесными. Нас сблизила и общая работа: подготовка антифашистского конгресса, защита Испании, борьба против наступающего фашизма. В начале 1940 года, когда я болел, сидел один на улице Котантен, Блоки меня навещали, поддерживали. А во время войны в Москве мы встречались часто. Помню утро, когда пришло первое известие о восстании в Париже. Я тотчас побежал к Блокам. Жан Ришар ничего не мог сказать от волнения, только обнял меня. Что нас сближало? Да то, о чем мы редко говорили: общность судьбы.

Жан Ришар писал: «Нужно ли говорить, что Советский Союз не рай и что там можно встретить не только праведников…» Он не был слепцом. В книгу «Москва — Париж» он включил статью «Илья Эренбург — наш друг». Я ее сейчас перечитал и нашел эпизод, который я сам позабыл. В 1944 году, говоря о вандализме фашистов, я перечислял некоторые разрушенные памятники искусства и под конец упомянул о холстах Пикассо, изрезанных молодыми фашистами. Блок писал: «Восемьдесят три русских художника академического направления подписали протест против бесстыдства — как можно ставить рядом с сокровищами национального искусства «чудовища Пикассо»!» Конечно, это мелочь, но это сердило Блока. Сердило и многое иное. Если, однако, он мог разобраться в одном, то вынужден был верить на слово в другом. О том, что Пикассо — большой художник, он

знал, и переубедить его было невозможно. Когда в одной редакции он услышал разговоры о том, что «евреи предпочитают фронту Ташкент», он спокойно ответил, что во время процесса Дрейфуса он уже слышал такие разговоры и в лицее бил за них по лицу будущих фашистов. Он видел чванливых бюрократов, взяточников; несколько раз говорил мне, что есть семьи фронтовиков, которым не оказывают помощи. Но откуда он мог знать, что Тухачевский был не предателем, а жертвой мании преследования и самодурства?… Блок был солдатом, армией командовал Сталин, и солдат не мог усомниться в разуме и совести командира. Он поверил в версию «пятой колонны». Он начал писать биографию Сталина. Он ведь знал, что война продолжается…

Чем он утешался в часы, когда ему становилось невмоготу? Иногда писал стихи. Иногда переводил стихи. Во время первой мировой войны, раненый, в полевом госпитале, он начал переводить Гёте. В годы второй мировой войны он переводил вторую часть «Фауста». Этим многое сказано.

Конечно, доброта — прирожденное свойство, и, наверно, процент добрых и злых тот же среди людей различных убеждений; но мне думается, что доброта среди фашистов была скорее недостатком, уродством, нежели добродетелью. Как должен был себя чувствовать добрый эсэсовец в Освенциме? Никого не удивит, что капиталист, попирающий своих конкурентов, человек злой. Но слова «он был злым коммунистом» не только режут слух, они оскорбляют совесть. Так вот, Жан Ришар был человеком редкой доброты.

Даже самый страстный противник детерминизма не станет утверждать, что человек свободно выбирает эпоху. Ж. Р. Блок писал: «Теперь время для военных корреспондентов, а не для писателей, для солдат, а не для историков, для действий, а не для размышлений по поводу действий». В этих словах не только трагедия Блока, в них также объяснение и оправдание нашего поколения.

20

Приехал а Москву на короткую побывку Василий Семенович Гроссман. Мы просидели до трех часов утра, он рассказывал о фронте, мы гадали, как сложится жизнь после победы. Гроссман сказал: «Я теперь во многом сомневаюсь. Но не в победе. Пожалуй, это самое глинное…»

Война раскалывала семьи, разводила довоенных друзей, и война за вязывала новые узлы. С Василием Семеновичем я подружился в первые месяцы войны. До этого я знал только его книги. Помню, как в Париже я прочитал напечатанный в «Литературной газете» один из его первых рассказов — «Четыре дня». Вероятно, он мне понравился не только потому, что был хорошо написан, но и потому, что в манере письма я почувствовал нечто от Бабеля. Потом я начал читать «Степана Кольчуги на», он показался мне «классическим», а я еще не умел радоваться успеху произведения, написанного в чуждой мне манере.

Война отодвинула в сторону литературные распри. Кажется, обо всем мы говорили с Гроссманом, но меньше всего о форме или языке романа.

Я нашел в старой записной книжке такие строки: «17 ноября 1941. Немцы передают, что взяли Керчь, начали наступление на Москву и Ростов. Утром в колхозе. Бессарабская девушка-свинарка, в беличьей шубке. Аэродром без охраны. Районный центр Кинель. На вокзале толстяк обгладывает курицу, показывает удостоверение — эвакуируется в Уфу. «А почему здесь сидите?»- «Простыл». Потом тихо: «Они и в Уфу придут». В Куйбышев приехали Гроссман и Шкапская. Приехали на санях. Гроссман говорит: «Все в голове перепуталось».

Нам как раз тогда отвели квартиру; в ней разместились Гроссман и Габрилович. Начались бесконечные ночные разговоры — днем мы сидели и писали. Василий Семенович прожил в Куйбышеве две недели; потом пришел приказ от редактора «Красной звезды», и он улетел на Южный фронт. Я вскоре уехал в Москву. Он много рассказывал и о растерянности и о сопротивлении — отдельные части дрались стойко, а хлеб не убран. Рассказывал о Ясной Поляне. Начал повесть «Народ бессмертен», когда я потом ее прочитал, многие страницы мне показались хорошо знакомыми.

Разные у нас были не только литературные приемы или восприятие живописи (Василий Семенович любил то, что мне казалось неприемлемым), но и характеры разные — нас сделали в

разных цехах, из разного материала. Молодой польский писатель Федецкий как-то сказал, что я «минималист»: от людей да и от лет требую малого. Может быть, это верно — человеку трудно взглянуть на себя со стороны. Нужно, конечно, сделать оговорку: в гимназические годы я в восторге повторял слова одного из героев Ибсена: «Все или ничего!»; очевидно, «миннмалистами» люди становится с годами. Однако возраст не все, и Василий Семенович оставался «максималистом» в пятьдесят лет. Нельзя понять его судьбы, не оговорив прежде всего его суровой требовательности к другим и к себе.

В литературе учителем Гроссмана был Лев Толстой. Василий Семенович описывал героев тщательно, обстоятельно, длинными фразами, не страшась множества придаточных предложений (Фадееву это было близко, и он долго, страстно защищал роман «За правое дело»). Повествование Гроссман прерывал долгими размышлениями. После войны я как-то сказал ему, что он все уже доказал мыслями, чувствами, поведением героев, авторское отступление только ослабляет силу главы. Он рассердился: «То, что вы называете «отступление», для меня главное, это наступление…» Я не стал спорить: я считал его крупным и честным художником, который вправо писать так, как ему хочется. Он нашел себя в годы войны, написанные прежде книги были только поисками своей темы и своего языка.

Он был доподлинным интернационалистом и часто меня упрекал за то, что, описывал зверства оккупантов, я говорю «немцы», а не «гитлеровцы:» или «фашисты»: «Нельзя отнести эпидемию чумы к национальному характеру. Карл Либкнехт был тоже немцем…» (Только однажды он вышел из себя. Это было в сожженном немцами селе Летки мы ждали наступления на Киев. Я разговаривал с пленным — одним из «факельщиков». Со мною были Гроссман и немецкий писатель-эмигрант, которого Василий Семенович знал. Гроссман все время молчал. Когда мы ушли, он сказал мне: «Может быть, вы и нравы…» Я удивился, чем поразил его пленный, — он отвечал, как тысячи других. Василий Семенович сказал, что дело не в пленном, а вот его знакомый все время старался найти оправдание для «факельщиков»)

Гроссман с огромным уважением относился к истории, обычаям, литературе всех народов Советского Союза. О Ленине он говорил с благоговением. Большевики, вышедшие из подполья, для него были безупречными героями. Я был на пятнадцать лет старше его и некоторых людей, которыми он восхищался, встречал в эмиграции. Однажды я сказал; «Не понимаю, чем вы в товарищах восхищаетесь?» Василий Семенович сердито ответил: «Вы многого не понимаете. Для вас жизнь — это поэма, и чем

запутанней, тем лучше. А жизнь — это притча».

Говорят, есть люди, которые рождаются под счастливой звездой. Таким баловнем судьбы можно, например, назвать Пабло Неруду. А вот звезда, пол которой родился Гроссман, была звездой несчастья. Мне рассказывали, будто его повесть «Народ бессмертен» из списка представленных на премию вычеркнул Сталин. Не знаю, правда ли это, но Сталин должен был не любить Гроссмана, как не любил он Платонова, — за все пристрастия Василия Семеновича, за его любовь к Ленину, за подлинный интернационализм, да и за стремление не только описывать, но попытаться истолковать различные притчи жизни.

Гроссман оказался в Сталинграде в конце лета. Он написал оттуда ряд очерков, который мне кажутся самыми убедительными и яркими из всех наших очерков военных лет. Почему генерал Ортенберг приказал Гроссману отправиться в Элисту и послал в Сталинград Симонова? Последнее — по любви к молодому и талантливому писателю, это понятно. Но почему Гроссману не дали увидеть развязку? Этого я до сих нор не понимаю. Месяцы в Сталинграде и все, что с ними связано, запали в душу Гроссмана, как самое важное. Писали об этом многие другие, но только Некрасов, который был офицером-сапером, и Гроссман, которого сталинградцы считали не журналистом, а своим боевым товарищем, смогли передать весь трагизм и все величие духа участников Сталинградской битвы.

Первая часть романа Гроссмана «За правое дело» была напечатана в 1952 году, а в феврале 1953 года в «Правде» появилась статья одною писателя, напоминавшая не критику романа, а обвинительное заключение. В редакции мне говорили, что Сталину прочитали отрывки романа и что он возмутился. Это неровный роман, и нем все достоинства и все недостатки Гроссмана: есть люди, почти насильно выведенные на сцену, длинные рассуждения, но есть и главы потрясающей силы. Я никогда не забуду ночь перед переправой на правый берег Волги и подростка-офицера, который перебирает вещицы в вещевом мешке; это мог показать только большой писатель.

В 1946 году была первая репетиция: Гроссман опубликовал пьесу, написанную им еще до войны, «Если верить пифагорейцам». Один критик тотчас же опубликовал статью «Вредная пьеса». Ругать Гроссмана было беспроигрышной лотереей.

Характер у него был трудный: чрезвычайно добрый и верный друг, он вдруг, посмеиваясь, говорил пятидесятилетней женщине: «А вы за последний месяц очень постарели…» Я знал эту его черту, и, когда он вдруг замечал: «Вы что-то стали очень плохо

писать», — я не обижался. В послевоенные годы до смерти Сталина он часто приходил ко мне, а потом вдруг исчез. Как я ни старался, не могу вспомнить, на что он обиделся, не помнит и Люба. Вероятно, это было пустяком, и не в нем нужно искать объяснения. Однажды я его встретил в Союзе писателей, пробовал объясниться, он, посмеиваясь, отвечал: «А зачем мне приходить? У вас свои дела, у меня свои». Потом он как-то позвонил, сказал Любе, что у него ко мне «дело», пришел, сидел долго, но разговора не вышло. Все это не похоже на обычные дружеские отношения. Очевидно, нас связывали война и горькие послевоенные годы. А потом все оборвалось, и вдруг проступили два человека, непохожие друг на друга, каждый со своей судьбой.

Василий Семенович продолжал работать. Были у него с продолжением романа большие огорчения, о которых мне трудно рассказать. Жил он замкнуто и умер летом 1964 года. Похороны его были горькими, с живыми слезами. Пришли то, кто должен был прийти, и никто не пришел из тех, кто был не мил Гроссману. Я увидел военных корреспондентов «Красной звезды» — пришли все оставшиеся в живых. Я глядел на Василия Семеновича в гробу и терзался: почему я пришел к мертвому, а не к живому? Думаю, что многих мучила та же мысль: почему не поддержали, не согрели? Вспомнились годы войны. Он был стойким солдатом, а судьба оказалась к нему особенно немилостивой. Эта старая история: судьба, видимо, не любит максималистов.

21

В конце 1943 года, вместе с В. С. Гроссманом, я начал работать над сборником документов, который мы условно называли «Черной книгой». Мы решили собрать дневники, частные письма, рассказы случайно уцелевших жертв или свидетелей того поголовного уничтожения евреев, которое гитлеровцы осуществляли на оккупированной территории. К работе мы привлекли писателей Вс. Иванова, Антокольского, Каверина, Сейфуллину, Переца Маркиша, Алигер и других. Мне присылали материалы журналисты, работавшие в армейских и дивизионных газетах, назову здесь некоторых: капитан Петровский (газета «Конногвардеец»), В. Соболев («Вперед на врага»), Т. Старцев («Знамя Родины»), А. Левада («Советский воин»), С. Улановский («Сталинский воин»), капитан Сергеев («Вперед»), корреспонденты «Красной звезды» Корзинкин, Гехман, работники военной юстиции полковник Мельниченко, старший лейтенант Павлов, сотни фронтовиков.

На Нюрнбергском процессе было установлено, что гитлеровцы в Германии и на захваченной ими территории других стран убили все еврейское население — около шести миллионов душ. В 1941–1942 году в нашей печати об этом мало писали: фашисты в своих листовках уверяли, будто они воюют не с русскими, не с украинцами, а только с евреями. Передо мною одна из бесчисленных листовок, которыми немцы закидывали наш передний край: «Товарищи! Видели ли вы когда-нибудь сами эти «немецкие зверства» по отношению к русскому народу, о которых денно и нощно твердит советская пропаганда, все эти Эренбурги?… Да! Немцы безжалостно истребляют жидов. Туда им и дорога!» Советские журналисты (в том числе и я) считали своим долгом показать лживость таких утверждений. Я написал сотни статей, в которых рассказывал, как гитлеровцы убивали русских детей, вешали девушек Белоруссии, жгли украинские села. В 1944 году мне казалось, что пришло время обнародовать документы об уничтожении фашистами еврейского населения.

Я знал, что сухие цифры перестали производить впечатление, и начал собирать дневники, письма, которые передавали мучения, пережитые отдельными людьми. Много сил, времени, сердца я отдал работе над «Черной книгой». Порой, когда я слушал рассказы очевидцев или читал пересланные мне письма — к сыну, сестре, друзьям, мне казалось, что я в гетто, сегодня «акция» и меня гонят к оврагу или рву. Я писал в 1944 году:

…Я жил когда-то в городах,
И были мне живые милы,
Теперь на тусклых пустырях
Я должен разрывать могилы,
Теперь мое каждый яр знаком,
И каждый яр теперь мне дом.
Я этой женщины любимой
Когда-то руки целовал.
Хотя, когда я был с живыми,
Я этой женщины не знал.
Моё дитя! Мои румяна!
Моя несметная родня!
Я слышу, как из каждой ямы
Вы окликаете меня…

Я хочу, чтобы мои слова о «несметной родне» были бы правильно поняты. Мне чужд любой национализм, будь он французский, английский, русский или еврейский. Я испытываю глубокое отвращение к расовой спеси, все равно к какой — к немецкой или к американской. Притом я не верю в таинственные свойства крови. Тургенев, которому удалось видеть живого Пушкина, вспоминал: «Помню его смуглое, небольшое лицо, его африканские губы, оскал белых, крупных зубов, висячие бакенбарды, темные желчные глаза под высоким лбом, почти без броней и курчавые волосы…» «Африканские губы» не помешали Пушкину стать самым ярким выразителем русского национального гения. Правда, в домах некоторых американских негров я видел рядом с портретом Александра Дюма портрет Пушкина — хозяева их почитали вдвойне — в их жилах текла африканская кровь. Я не мог осудить негров — они хотели противопоставить все, что могли, расовой надменности «белых» американцев. Не могу и осудить и евреев, которые, сталкиваясь с антисемитизмом, начинают к месту и не к месту вспоминать, что еврейская кровь текла в жилах Маркса, Гейне или Эйнштейна. Над тем, что я еврей, меня заставили задуматься не воображаемые зовы моей крови, а вполне реальные антисемиты. Есть нерушимый человеческий закон — солидарность униженных и оскорбленных. Если какой-либо сумасшедший диктатор начнет убивать людей с рыжими волосами, возникнет солидарность рыжих. Если люди, падкие на суеверия, вдруг уверуют, что все зло в веснушках, один веснушчатый, встретив другого, будет относиться к нему как к товарищу по беде, не станет пудрить лицо, а, наоборот, постарается найти доводы в пользу веснушек.

Осенью 1944 года, когда я рассказывал о Тростянце, один из литераторов с усмешкой сказал: «Кровь заговорила…» Да, конечно. Я вспоминаю слова Юлиана Тувима — заговорила кровь, не моя, а жертв Тростянца.

Я говорил, что в составлении «Черной книги» принимали участие многие русские писатели, военные, юристы, ученые. Хочу напомнить о тех знаках солидарности, которые меня глубоко волновали. Помню, как я обнял узбекского поэта Гафура Гуляма, когда осенью 1943 года он приехал в Москву: в самом начале войны, возмущенный гитлеровскими зверствами, он написал стихотворение «Я — еврей». Помню страстные строки Павло Тычины, выступления Паустовского, Вс. Иванова, Сейфуллиной, стихи Мартынова о нюрнбергском портном, написанные еще накануне войны.

У меня сохранились сотни писем, дневники, записи. Я перечитал их и, хоть прошло двадцать лет, снова испытал ужас, смертельную тоску. Не понимаю, как мы это пережили и как хватило сил жить: не о смерти я говорю, даже не о массовых убийствах, а о сознании, что нечто подобное могли совершить люди в середине XX века, жители высокоцивилизованной страны.

Один из узников рижского гетто писал в своих записках, что в том же бараке находился известный историк С. М. Дубнов, которому тогда исполнилось семьдесят один год. Среди комендантов гетто был Иоганн Зиберт, человек, когда-то учившийся в Гейдельбергском университете. Дубнов читал в Гейдельберге до первой мировой войны лекции по по истории Древнего Востока. Зиберт, узнав, что в гетто находится его бывший учитель, пришел к нему и долго смеялся: «В молодости я был настолько глуп, что ходил на ваши лекции. Какой вздор вы нам рассказывали! Хотели, чтобы мы размякли и поверили в торжество гуманизма. Смешно…» Иоганн Зиберт не отказал себе в удовольствии лично присутствовать при убийстве Дубнова. Вот это страшнее всего. Значит, мало всеобщей грамотности, университетских аудиторий, высокоразвитой техники, чтобы оградить людей от одичания.

Я мечтал издать «Черную книгу» и теперь приведу несколько страниц из нее не для того, чтобы помучить себя и читателей, — нужно помнить о том, что было, в этом одна из порук, что люди не допустят повторения.

Эвакуация почти повсюду проходила беспорядочно и в трудных условиях. Здоровые мужчины были далеко — сражались. В самом начале войны немцы захватили Белоруссию, Украину, Литву, Латвию — земли, где издавна жило много евреев. В некоторых городах, как Вильнюс, Рига, Минск, гитлеровцы

убивали евреев постепенно, в течение двух-трех лет. Молодым иногда удавалось бежать из гетто, и они воевали в партизанских отрядах. В других городах, как в Киеве или Харькове, все евреи были убиты вскоре после прихода немцев. Из десятков тысяч людей спаслись десятки; одних прятали местные жители, другим удалось перейти линию фронта. Немало городов и местечек, где, никто не спасся. Часто после освобождения города русский или украинец сообщал своему земляку-еврею, бывшему на фронте, о судьбе его семьи.

Вот письмо учительницы поселка Борзна (Черниговская область) В. С. Семеновой Я. М. Росновскому:

> «…18 июня 1942 г. глубокой ночью, когда все спали, пришли в еврейские дома, забрали всех — 104 человека и повезли к селу Шаповаловка, где был противотанковый ров. Глубокого старика Уркина спросили перед тем, как застрелить: «Хочешь жить, старик?» Он ответил: «Хотел бы увидеть, чем все это кончится». Двадцатидвухлетняя Нина Кренхауз умерла с годовалой девочкой на руках. Учительница Раиса Белая (дочь переплетчика) видела, как расстреляли ее шестнадцатилетнего сына Мишу, сестру Маню с детьми (младшему было несколько месяцев), она уже не понимала ничего и только волновалась, что потеряла очки…»

Письмо лейтенанту Выпиху от Соколовой из Артемовска:

> «…В их число попали и ваши близкие родственники мать, Бетя, Роза и Софочка. Их загнали в карьеры Военстроя и замуровали заживо. Надо еще вам передать слова Софочки, она плакала, говорила: «Почему наших так долго нет? Когда придут, расскажите». А мать ваша говорила, что одного хотела бы — увидать перед смертью сыновей…»

Герой Советского Союза младший лейтенант Кравцов писал тестю о судьбе своей семьи, оставшейся в местечке Ялтушкино (Винницкая область):

> «…20 августа 1942 года немцы вместе с другими забрали наших стариков и моих малых детей и всех убили. Они экономили пули, клали людей в четыре ряда, а потом стреляли, засыпали землей много живых. А маленьких детей, перед тем как их бросить в яму, разрывали на куски, так они убили и мою крохотную

Нюсеньку. А других детей, и среди них мою Адусю, столкнули в яму и закидали землей. Две могилы, в них полторы тысячи убитых. Нет больше у меня никого…»

Город Хмельник (Винницкая область) был захвачен немцами 18 июля 1941 года. Из десяти тысяч евреев здесь спаслись относительно многие — двести шестьдесят, часть сражалась в партизанских отрядах. Спасся и А. К. Беккер, который прислал мне описание того, что пережил; там были такие строки:

«…Сколько я ни умолял разрешить мне идти вместе с семьей, чтобы жене было легче вести детей на смерть, ничего, кроме ударов прикладами, не вышло… Погнали в сосновый лес за три километра от города, там уже были приготовлены ямы. Все растеряли друг друга. Ребенок четырех лет Шайм — отца у пего не было, а мать убили раньше — шел, как взрослый, в колонне… У ямы людей поставили в ряд, заставили раздеться и детей раздеть догола, так стоять при страшном морозе, а затем сойти в яму. Дети кричали: «Мама, зачем ты меня раздеваешь? На улице очень холодно…»

Розовая школьная тетрадь; это дневник студентки Сарры Глейх. Изумительно, что она бегло, порой бессвязно, изо дня в день записывала все. По первым записям видно, что она 17 сентября, через месяц после того, как эвакуировалась из Харькова в Мариуполь, где жили ее родители, поступила на работу в контору связи. 1 сентября сестры Фаня и Рая, жены военнослужащих, ходили в военкомат, просили их эвакуировать; им ответили, что «эвакуация не предвидится раньше весны». 8 октября она пишет: «Начальник конторы Мельников утром сказал мне, что завтра эвакуируемся, нужно подготовить документы, можно взять семью, значит, отъезд обеспечен…» В тот же вечер она продолжает: «В 12 часов дня в город вошли немцы, город отдан без боя…» Через много страниц запись: «19 октября. Завтра в 7 часов утра мы должны оставить наше последнее пристанище в городе…» «20 октября… Нас гнали к траншеям, которые были вырыты для обороны города. В этих траншеях нашли смерть 9000 еврейского населения. Велели раздеться до сорочки, гнали по краям траншеи, но края уже не было — все было заполнено трупами, в каждой седой женщине мне казалось, что я вижу маму. Один раз мне показалось, что старик с обнаженным мозгом — мой папа, но подойти ближе не удалось. Мы начали прощаться, нее поцеловались. Фаня все не верила, что это конец: «Неужели я никогда не увижу солнца?» А Владя спрашивал: «Мы будем

купаться? Зачем мы разделись? Идем, мама, домой, здесь нехорошо». Фаня взяла его на руки, ему было трудно идти. Бася шептала: «Владя, тебя-то за что?» Фаня обернулась, ответила: «С ним я умираю спокойно, знаю, что не оставляю сироту». Я не выдержала, схватилась за голову и начала дико кричать. Мне кажется, что Фаня еще успела обернуться и сказать: «Тише, Сарра». На этом все обрывается. Когда я пришла в себя, были уже сумерки, трупы, лежавшие на мне, вздрагивали, это немцы стреляли, уходя, чтобы раненые не могли уйти, так я поняла из разговора немцев, они боялись, что много недобитых, и они не ошиблись. Было много заживо погребенных. Кричали маленькие дети, которых матери несли на руках, а стреляли нам в спину, и малыши падали невредимые, а на них валялись трупы… Я начала выбираться из-под трупов, встала, оглянулась. Раненые копошились, стонали. Я начала звать Фаню. Оказался рядом Грудзииский. Он был ранен в обе ноги, попытался встать и упал. Какой-то старческий голос напевал «лайтенах», это было ужасно…» Сарра Глейх 27 ноября, после месяца блужданий в степи, узнала, что наши войска в пяти километрах от Большого Лога, куда она пришла, ей удалось добраться до отряда красноармейцев.

Письмо двадцатилетней Буси, которая жила в Краматорске, оно датировано августом 1943 года и начинается словами: «Милые мои, дорогие тетушки!» Это письмо показывает, что переживали те немногие, которым удалось спастись; может быть, это было еще страшнее, чем ожидание смерти. (Да и Буся пишет: «Я сейчас думаю над бедным цензором, который прочитает это письмо, а пусть знает, что «жизнь — замечательная штука», как сказал Киров, и в то же время жизнь не стоит и копейки, совсем не страшно знать, что тебя через несколько минут не будет…») Она рассказывает тетушкам о 20 января 1942 года: «…Мороз 30 градусов. По улице идут женщины с вещами. Их подгоняют полицейские. Потом сажают в машины, везут к противотанковому рву. Среди них были и Мина, и Гриша с семьей, и семья Шнейдера, жены братьев Браиловских с детьми, был Рейзен с Полиной, он хоть перед смертью настоял на своем — в могилу она пошла с ним, а не с Кузнецовым. Хватит! Я хочу только знать, не презираете ли вы меня за то, что я оставила Мину? Оправдываться не буду. Я сказала маме: «Ты как хочешь, а я бегу». Как я могла сказать такое маме? Очевидно, в такие минуты не рассуждаешь. Она пошла со мной, несколько раз порывалась вернуться — с другими на казнь, заговорила о долге. Я как сейчас помню, осмотрелась — дома закрыты наглухо, никто не пустит обогреться. Пусть замерзнем, пусть поймают, повесят, только не

идти самой!.. Судите меня сами, и если признаете виновной, пусть будет по-вашему, не считайте меня больше «любимой племянницей». Это будет ужасно, но я буду знать, что это правильное суждение, и я это перенесу, как вынесла многое, как, наверно, вынесу еще много неожиданного и страшного».

Я спрашивал себя не раз, что чувствовали немецкие солдаты, видя, как убивали беззащитное население, или узнав о расправах от своих товарищей. Вероятно, были такие, что ужасались происходящим, но молчали от страха, да и нужно было жить — идти в бой, шутить, пить и петь на отдыхе — лучше было не думать — о растерзанных детях. Мне известен, однако, случай, когда немецкий солдат спас женщину с детьми; было это в Днепропетровске в 1941 году; обреченные ждали, когда их погонят ко рву. Тогда к Б. Тартаковской подошел солдат и тихонько сказал: «Я вас сейчас отсюда выведу»; он добавил: «Кто знает, что еще случится с нами…»

У нас почти ничего не писали о предателях; во время войны упоминали мимоходом — были военные суды, которые выносили приговоры, а потом совсем замолкли. Может быть, потому, что тогда занимались другим: обвиняли честнейших людей, зачисляли в преступники Лозовского, Майского, Переца Маркиша, драматурга Гладкова, писателя А. Исбаха, Рубинина, Квитко, Бергельсона. А настоящие предатели, разумеется, были: Власов и его помощники, бендеровцы, различные бургомистры, члены управ, полицейские. Не понимаю, почему о них нужно молчать; было их немного, и набирались они среди отбросов общества. Достаточно заглянуть и газеты, выходившие в оккупированных городах, «Голос Ростова» или «Пятигорское эхо», чтобы увидеть, как низок был не только моральный, но и культурный уровень предателей. Во Франции оккупанты нашли маршала Петена, Лаваля, Дорио — это не наши «старосты». Гитлеровцам повсюду нужны были писатели, готовые их поддержать и оправдать. У них были Гамсун, Дрие ля Рошель, Селин, Эзра Паунд. А за русского писателя им пришлось выдавать некоего Октана, который клялся, что бывал в Клубе писателей и пил там водку. Мелкота, человеческий мусор. Разумеется, различные «полицаи» усердствовали, вытаскивали из подвалов обезумевших старух, волокли к месту казни детей и для того, чтобы успокоить себя, лихо улюлюкали.

Были и мародеры, жаждавшие поживиться на чужой беде, занять квартиру семьи, которую не сегодня завтра убьют, вытащить из домов барахло; они торопились, боялись прозевать. Жадных и бесчестных людишек было не много, но они бросались в глаза.

За укрывательство евреев немцы вешали или расстреливали; и все же нашлось немало советских людей, которые, рискуя жизнью, прятали у себя евреев. М. М. Файштог, которой удалось убежать из Евпатории, писала мне: «Некоторые из тех, кого я считала друзьями, струсили, отшатнулись, а спас меня незнакомый мне человек Н. И. Харенко». Так в жизни бывает часто — цену человеку узнаешь в трудный час. Во всех письмах, дневниках, воспоминаниях спасшихся — имена русских, белорусов, украинцев, литовцев, латышей, которые помогли человеку уйти от смерти. Есть в Днепропетровской области село Благодатное, в нем бухгалтер колхоза П. С. Зиренко скрывал тридцать две души — семь еврейских семейств из Донбасса. Конечно, колхозники догадывались, кто в хатах, но на вопросы немцев или «полицаев» отвечали: «Здешние».

В марте 1944 года я получил письмо от офицеров части, освободившей Дубно, они писали, что В. И. Красова вырыла под своим домом убежище и в течение почти трех лет прятала там одиннадцать евреев, кормила их. Я написал об этом М. И. Калинину, спрашивал, не сочтет ли он справедливым наградить Красову орденом или медалью. Вскоре после этого Калинин вручал мне орден. Когда церемония кончилась, Михаил Иванович сказал: «Получил я ваше письмо. Вы правы — хорошо бы отметить. Но видите ли, сейчас это невозможно…» М. И. Калинин был человеком чистой души, подлинным коммунистом, и я почувствовал, что ему нелегко было это выговорить.

В часы больших испытаний — все проверяется: и душевна и чистота, и смелость, и любовь. Гитлеровцы повсюду объявляли, что при смешанных браках «эвакуации» (так они называли массовые казни) подлежат только лица еврейского происхождения и дети, у которых отец или мать евреи. В документах «Черной книги» я нашел несколько рассказов о том, как русская жена или русский муж шли на смерть, говоря, что они — евреи,

Я возвращаюсь к мысли, которая меня преследует, когда я вспоминаю прошлое: человек способен на все. Однажды ко мне в редакцию «Красной звезды» пришел высокий, крепкий человек, офицер морской пехоты Семен Мазур. Он рассказал мне необычную историю. В битве под Киевом он был ранен, попал в окружение и, переодевшись, пришел в Киев, где жила его жена. Дома никого не оказалось; он пошел к сестре жены; та испугалась, начала уговаривать его покинуть город. Он ответил, что попытается добраться до своих, но хочет повидать жену и ребенка. Когда он подходил к своему дому, жена его увидела и закричала: «Держите жида!..» Какие-то прохожие оглянулись, но

прошла колонна грузовиков, и Мазуру удалось скрыться. Он побрел на восток, дошел до Таганрога. Там его спрятала русская женщина — К. Е. Кравченко. Незалеченная рана дала осложнение. Мазура отвезли в больницу. Русский врач Упрямцев, узнав, что Мазур еврей, снабдил его паспортом одного из умерших. Мазур снова пошел на восток. Кравченко немцы арестовали, выдали ее. Упрямцев спас многих, а летом 1943 года немцы его расстреляли. Мазур перешел линию фронта на Дону, сражался под Сталинградом, получил орден, был снова ранен. Он сидел напротив меня и требовал, чтобы я ему объяснил, почему его спасли чужие люди и хотела выдать врагу жена. Я отвечал, что не знаю, как они жили вместе. Мазур говорил, что жили хорошо, когда он уезжал на фронт, жена плакала, он успел получить от нее несколько писем, повторял: «Вы ее знаете. Откуда мне знать, почему она так поступила?…» Он стукнул кулаком по столу: «Вы обязаны знать — вы ведь писатель!»

Теперь я должен рассказать о другой чете. Это было в местечке Монастырщина, Смоленской области. Исаак Розенберг, служащий загса, был тяжело ранен в бою неподалеку от Монастырщины; ночью он дополз до своего дома. Жена Наталья Емельяновна спрятала мужа в подполье под печкой. У них было двое маленьких детей; матери удалось их спасти — она заявила немцам, что это дети не от Розенберга, а от первого мужа. От детей она скрыла, что в доме прячется отец, — боялась, что они проговорятся. Розенберг ночью выходил из подполья, выпрямлялся, ел. Однажды четырехлетняя девочка увидела в щель чьи-то глаза и в страхе крикнула: «Мама, кто там?» Мать спокойно сказала: «Разве ты не видишь, что это крыса, у нас много крыс…» Розенберг на обрывках немецких газет вел дневник, записывал, что рассказывала ему жена, свои ощущении. Одна из страниц дневника посвящена кашлю — он простудился, его душил кашель, но он сдерживался, писал: «Я никогда не думал, что может быть еще такая свобода — кашлянуть…» Натальи Емельяновы а заболела сыпняком. Детей взяли соседи, а она терзалась — муж умрет с голода. Она вернулась домой через две недели и нашла мужа ослабевшим, но живым.

В сентябре 1943 года наши войска подошли к Монастырщине. Немцы оказывали сильное сопротивление, они прогнали жителей местечка, и Наталья Емельяновна с детьми убежала в лес. Она вернулась, когда увидела первых красноармейцев. Дома не было, еще дымилась зола, чернела печь. Исаак Розенберг задохся от дыма. Он прожил под печкой двадцать шесть месяцев и умер за два дня до освобождения. Наталья Емельяновна сидела у печи, и в руке у нее была газета — кусок дневника.

Работая над «Черной книгой», я все время удивлялся — то бесчеловечности, то благородству. Я глядел на развалины, на обугленные человеческие кости, на немецкие склады с детской обувью, с губной помадой, выслушивал людей, искалеченных навсегда пережитым, читал предсмертные письма, написанные на старых квитанциях, на клочке газеты, на немецкой листовке, и все яснее понимал, что ничего не понимаю, да и не пойму, хотя, по словам Семена Мазура, я должен, как писатель, все понимать. В местечке Сорочинцы жила врач-гинеколог Любовь Михайловна Лангман; она пользовалась любовью населения, и крестьянки ее прятали от немцев. С нею была дочь одиннадцати лет. Однажды к ней пришли и сказали, что у жены старосты трудные роды. Любовь Михайловна пошла, спасла роженицу и младенца. Староста ее поблагодарил и донес немцам. Когда ее с дочкой вели на расстрел, она сказала: «Не убивайте ребенка…» А потом прижала дочь к себе: «Стреляйте! Не хочу, чтобы она жила с вами…» Не знаю, что меня больше потрясло — поведение врача или старосты…

«Черная книга» была закончена в начале 1944 года. Ее читали, перечитывали, редактировали. Я поместил в «Знамени» несколько отрывков. В Румынии издали перевод первой части. Наконец книгу сдали в производство. В конце 1948 года, когда закрыли Еврейский антифашистский комитет, рассыпали набор «Черной книги», забрали гранки и рукопись.

У меня хранилась часть документов-дневники, письма, записанные рассказы. В 1947 году я передал их в Вильнюсский еврейский музей. Этот музей год спустя закрыли, и я считал, что документы пропали. Они оказались у меня: незадолго до ликвидации музея его директор принес две большие папки ко мне; меня в Москве не было, и папки десять лет пролежали между старыми рукописями и книгами.

В 1956 году один из прокуроров, занятых реабилитацией невинных людей, приговоренных Особым совещанием за мнимые преступления, пришел ко мне со следующим вопросом: «Скажите, что такое «Черная книга»? В десятках приговоров упоминается эта книга, в одном называется ваше имя».

Я объяснил, чем должна была быть «Черная книга». Прокурор горько вздохнул и пожал мне руку.

В начале 1965 года ленинградский журнал «Звезда» напечатал дневник четырнадцатилетней девочки Маши Рольникайте, заточенной в гетто Вильнюса, потом отправленной в лагеря смерти и чудом уцелевшей. Дневник снабжен предисловием поэта Эдуардаса Межелайтиса; он пишет: «Чтобы этого больше не повторилось…» О том же думали двадцать лет

назад Василий Семенович Гроссман и автор этой книги воспоминаний.

22

В записной книжке среди военных новостей (а их осенью 1944 года было немало), среди цитат из иностранных газет и заметок — с тем-то обещал встретиться, туда-то дать статью — я нашел такую запись: «6 октября. Вечер у Кончаловских. Разговор о Париже. Каков он теперь? П. П. о том, как учился в Париже. Академия Жюльена. «Стога» Моне. Сезанн — ключ. Французская живопись была и осталась реалистической — ничего религиозного. О Пикассо. Художник это форма, цвет плюс мысль».

Мы поздно засиделись. Петр Петрович увлекся, и я как-то ожил — почувствовал, что кроме «душегубок», развалин, сводок есть на свете природа, цветы, хлеб, искусство.

Познакомился я с Кончаловским в двадцатые годы, но по-настоящему его узнал и полюбил много позднее. В годы войны, в послевоенные годы мы часто встречались. Петр Петрович удивительно крепко стоял на земле, это меня притягивало к ному. Я заметил, что устойчивость присуща либо фанатикам, либо подлинным жизнелюбцам. Воздух эпохи был перенасыщен фанатизмом, а душевного веселья не хватало.

Петр Петрович был человеком богатырского телосложения, и все у него было крупным движения, чувства, мазки на холсте. Я сказал о его душевном веселье, эти слова могут сбить с толку — он не был ни обязательным шутником, ни тем плакатным бодрячком, который долго считался у нас примером гражданской добродетели. Мне часто приводилось слышать, что он писал, не задумываясь, как светит солнце или как цветет его любимица сирень. А это неверно: Кончаловский был человеком глубокой мысли, он не только работал, он и шутил умно; в жизни он знавал не один мед, приспособился и к полыни. Конечно, его было нетрудно огорчить — он обладал чувствительностью художника, а вот повалить его не удалось никому, хотя были люди, которые об этом мечтали.

Я расшифрую короткую запись, с которой начал рассказ о Кончало веком. О Париже мы говорили часто: Петр Петрович там прожил много лет, именно там впервые нашел себя как художника. Когда ему было восемнадцать или девятнадцать лет, он поехал в Париж учиться живописи. Академия Жюльена была чем-то вроде московской гимназии Креймана — ее выбирали молодые художники потому, что там не было муштры, которая изводила всех в Государственной художественной школе; а профессора там, как и повсюду, были эфемерными

знаменитостями академического направления. Вспоминая академию Жюльена, Кончаловекий смеялся: «Знаете, кто там учился? До меня Боннар, Вийяр, Матисс. Рядом со мной сидел Глез, он был еще мальчиком. А потом там учились Леже, Дерен. Матисс, мне рассказывал, что его учитель, кажется, он назвал Бугсро, в свое время знаменитость, сказал ученику: «Это хуже всего, что я видел. Вы никогда не научитесь рисовать. Лучше выберите другую профессию». Меня учил Лоране, его картины висели в Люксембурге огромные батальные сцены, у нас он был бы трижды сталинским лауреатом. Однажды он меня похвалил. Я встревожился и понял, что делаю дрянь. Впрочем, потом, в петербургской школе, я жалел даже о Лорансе…»

Я не чувствовал, что Кончаловский много старше меня, порой даже завидовал его молодости. Однажды он рассказал мне, как увидел впервые современную живопись: «Это были восхитительные «Стога» Клода Моне. В Москве была выставка французской техники, и там почему-то выставили сотню картин, среди них Моне. Я обомлел. Сейчас скажу, когда это было… В 1891-м…» Вот тогда-то я про себя усмехнулся: в тот самый год, когда я родился. А молодым он оставался до конца. Когда ему было под восемьдесят, он не только просиживал нал холстом с раннего утра до сумерек, но и проказничал с внуками.

Кончаловский долго не мог найти себя. Он видел холсты своего тестя Сурикова, художественных опекунов своей молодости Серова. Коровина, относился к ним с глубоким уважением, но считал, что эпоха изменилась, изменилось и зрение, он искал свой путь или, как он любил говорить, «метод». Он увидел Ван Гога и пришел в такое восхищение, что совершил паломничество в Арль, был счастлив, что может купить краски в лавочке, куда приходил Ван Гог. Казалось, ничего не могло быть общего между трагическим, исступленным Ван Гогом и веселым, здоровым, крепким Кончаловским; но до конца своей жизни он любил повторять слова Ван Гога: «Я постоянно питаюсь природой. Иногда преувеличиваю, изменяю нее данные, но никогда не выдумываю картину. Наоборот, я нахожу ее в природе уже готовой, хотя и требующей раскытия».

Последующим и самым важным для него открытием была живопись Сезанна. Кончаловский настолько был потрясен, что сел за работу, которой никогда ни до того, ни после не занимался: перевел с французского книгу Эмиля Бернара, записавшего высказывания Сезанна о живописи.

Кончаловскому было тридцать четыре года, когда на первой выставке «Бубнового валета» его работы вызвали одобрение одних, издевку других.

Я заглянул в том Большой советской энциклопедии, изданный в 1951 году, и нашел там строки, посвященные «бубнововалетцам»: «Типичное проявление крайнего упадка буржуазного искусства эпохи империализма. Выступая крагами идейности и реализма, порывая с высокими традициями искусства прошлого (отсюда вызывающее, крикливое название объединения) «бубнововалетцы» маскировали свои реакционные позиции требованием «новой» формы. Однако их космополитическое «новаторство» сводилось к подражанию П. Сезанну и А. Матиссу». Правда, буква Б — вторая в азбуке, будь она тридцать второй — о «Бубновом валете» были бы строки несколько более грамотны. Однако если теперь восстановлены некоторые истины в истории архитектуры, литературы или музыки, то с живописью дело обстоит хуже. «Бубнововалетцы» умерли, но к их картинам пришиты волчьи билеты, выданные людьми, сведущими в чем угодно, только не в искусстве.

Энциклопедия, обличая «Бубновый валет» и назвав в списке виновных Кончаловского, указывает даты — 1910–1926. Это, на мой взгляд, самая яркая эпоха в творчестве Кончаловского.

Я не могу никак привыкнуть к тому, как норой мы пренебрегаем достижениями нашего искусства. Недавно я был в фондах Третьяковской галереи (попасть туда нелегко, но говорят, что и в рай не каждый вхож). В тесных темных коридорах хранятся замечательные картины, относящиеся к годам расцвета русской и советской живописи: холсты Кончаловского, Лентулова, Машкова, Сарьяна, Шагала, Фалька, Ларионоваа, Рождественского, Гончаровой, Куприна. Я вспоминаю натюрморты, портрет Якулова, мост через Пару и другие работы Кончаловского эпохи «Бубнового валета». При чем тут империализм? (Можно, кстати, добавить, что французский империализм никогда не вдохновлялся Матиссом, как Матисс никогда не вдохновлялся французским империализмом.) Официальная Россия встретила выставки «бубиововалетцев» издевками, улюлюканьем, а благожелательно к ним отнеслись такие «сторонники империализма», как Луначарский и Маяковский. Конечно, название «Бубновый валет» довольно бессмысленно, но в те времена были в ходу нелепые наименования. («Дикие» тоже звучит не очень убедительно, что не помешало Матиссу, Марке, Люф), Фриезу не только стать большими мастерами, но, объединившись, обновить живопись эпохи.)

Я рассказывал, как, вернувшись в Москву вскоре после революции, пошел на выставку, где увидел холсты «бубнововалетцев» и обрадовался. В Париже и знал о новой

русской живописи только по статьям «Утра России» или «Русского слова» и думал, что «бубнововалетцы» слепо подражают французам. Я сразу увидел, что это вздор.

Конечно, Кончаловский, как все «бубнововалетцы», многому научился у Сезанна, но может ли художник XX века пройти мимо живописных открытий этого мастера? Пикассо изумительно выразил национальный испанский гений, но вряд ли он сумел бы это сделать, не будь до него Сезанна. Андрей Рублев первый показал в живописи лирические черты, светлость, глубину русского характера, а учился Рублев у византийца Феофана Грека. Кончаловский, Лентулов, Машков учились не только у Сезанна, но и у мастеров русского народного искус стад. Я хорошо помню вывески в наших дореволюционных городах: парикмахер мылит щеки клиента, турок курит трубку, разрезанные арбузы окружены гроздьями винограда. Коичаловский вспоминал, что натюрморт 1912 года «Хлебы» он написал после того, как увидел вывеску с головами сахара. Он рассказывал также, что, когда после поездки в Испанию стал писать бой быков, думал о старых троицких игрушках.

Кончаловский почитал Сезанна, любил французскую живопись, но творчество его было русским. Когда его холсты выставили в Париже, некоторые критики говорили о «грубости», «стихийности»: они не поняли, что перед ними — выражение иного характера, иной природы, иных традиций

Осенью 1944 года Петр Петрович с восхищением говорил мне о реализме больших французских мастеров; это может удивить ведь люди, которые в течение десятилетий его «прорабатывали», делали это во имя реализма. Кончаловский делил живопись на близкую к природе, реальную, и на другую — иллюзорную, где нет органической связи с природой и где часто «фотография служит подспорьем». Он вспоминал, как любители пришли покупать его натюрморт «Хлебы» в 1912 году: «Я подвесил шутки ради настоящий калач на нитке, под цвет фона, долго все смотрели, не замечая, что один калач живой, пока я не толкнул его и не раскачал на нитке. Доказательство близости к реальности». Остается добавить, что для ревнителей иллюзорного реализма этот натюрморт эпохи «Бубнового валета» (конечно, без подвешенного калача) остается воплощением «антиреализма».

Говорят, что Кончаловский прожил на редкость счастливую жизнь, это так и не так. Он был удивительно крепким, здоровым, веселым; много ездил по свету, много работал — написал тысячу семьсот холстов; всем интересовался, говорил свободно по-французски, по-итальянски, по-испански, изучил английский язык, чтобы прочесть Шекспира в подлиннике; был у него дом в

Буграх, сад с сиренью, гости — он был большим хлебосолом; с женой Ольгой Васильевной жил душа в душу, обожал детей, внучат; ходил на охоту, читал Декарта, дружил с большими художниками — с А. Толстым, с С. Прокофьевым, с Пикассо, Мейерхольдом; умер в восемьдесят лет и почти до самого конца сохранил бодрость; любил родину, видел, как она растет и духовно мужает. Рассказанная так, жизнь Петра Петровича кажется неправдоподобно идиллической. Все в этой идиллии верно, и все же она, скорее, иллюзорна, нежели реалистична.

Для Кончаловского жизнь была прежде всего искусством; об этом он часто говорил. Когда он поехал в 1925 году в Париж и продал там несколько работ, он накупил красок весом семьдесят килограммов: не мог представить себе дня без палитры и кистей. Вечером, когда нельзя было писать, он рисовал. Вот почему в его биографии самое важное — холсты, путь живописца.

Можно сказать, что и в этом Кончаловскому повезло, — достаточно вспомнить мытарства Лентулова, Фалька, Татлина, Древина, Удальцовой. Коичаловский стал академиком; периодически устраивались его персональные выставки. Опять скажу: все это так и не так.

Среда, естественно, влияет на художника или писателя; нужно обладать фанатическим упорством Фалька, чтобы не поддаться похвалам и хулам, премиям и проработкам, докладам, книгам отзывов, диспутам («диспуты» в те времена состояли в одном — все хвалили или все ругали). Я по себе знаю, как порой не осознаешь, что в том-то сдал, тем-то поступился. Мне кажется, что с начала тридцатых годов в некоторых работах Кончаловского проступает иллюзорное сходство с природой. А он не халтурил, работал честно и много; но, по его признаниям, прежнего «полного удовлетворения» не было.

Он на редкость глубоко понимал живопись. Уж на что был ему далек Пикассо, а Петр Петрович говорил: «Пикассо выше всех», и мудро объяснял другим, почему Пикассо великий реалист нашего века.

Ему устраивали юбилеи, присудили премию, но художники, которые в те времена ведали искусством, его едва терпели.

Вот слова из записной книжки Кончаловского: «Пушкин в письме к брату, Льву Сергеевичу, писал 14 марта 1825 года: «У нас ересь. Говорят, что в стихах — стихи не главное. Что же главное? проза? должно заранее истребить это гонением, кнутом, кольями, песнями на голос «Один сижу в компании»…» И у нас ересь! Говорят, в живописи живопись не главное! Что же главное? Поэтому мне не раз приходилось слышать, что мой главный недостаток — живопись, увлечение живописью, хотя тут же

указывалось на жизнеутверждение и на качества, связанные с этим жизнеутверждением. Не ересь ли это? Главное в живописи — живопись, ибо только тогда идея, мысль, сюжет могут воздействовать на зрителя. Только через живопись художник может сообщить свои мысли и чувства зрителю. Такова природу искусства»

Вдохновение часто освобождало Кончаловского от чуждого ему «иллюзорного сходства» (так он говорил). Это видишь и в портрете Мейерхольда, и в некоторых семейных портретах, и во многих натюрмортах, и в удивительно молодом «Полотере», которого Петр Петрович написал в 1946 году.

…Он оставил много прекрасных холстов и все же, мне думается, не дал того, что мог бы дать при огромном таланте, высокой культуре, редкой работоспособности — путались в ногах «еретики», блюстители иллюзорного реализма навешивали на большие, крепкие ноги далеко не иллюзорные пудовые гири.

Характер у Петра Петровича был чудесный; он очень редко жаловался, даже с теми, кто ему мешал работать, поддерживал если не добрые, то добропорядочные отношения. Ольга Васильевна держалась с противниками мужа куда откровеннее, говорила: «Я — сибирячка, нужно бы стамеской, а я топором…»

Помню большую юбилейную выставку. Петр Петрович стоял, как всегда, веселый, жал руки, улыбался. Отведя меня в сторону, он рассказал об одном из тогдашних руководителей Союза художников: «Он ведь был за границей — примчался — снял лучшие работы — и «Полотера», и «Буйвола», и ранние «испанские» холсты. А сейчас будет выступать — приветствовать…» Говоря это, Петр Петрович продолжал улыбаться, но я понял, что улыбка порой давалась ему нелегко.

В 1949 году я был в Тамбове; сотрудница музея рассказала мне, что приключилось с натюрмортом Кончаловского, который висел в столовой одного из крупных заводов области. Директор решил, что «безыдейная» сирень недостойна передовиков производства. Прислали большой холст, изображающий сцену из заводской жизни. Неожиданно рабочие запротестовали: «Оставьте нам нашу сирень!»

Вернувшись в Москву, я рассказал об этом Петру Петровичу и увидел в его глазах слезы. Он тихо сказал: «Вот это — награда…»

Многие прекрасные работы Кончаловского и теперь можно увидеть только в раю, куда очень трудно проникнуть. Непонятно. Издают ранние стихи Маяковского, произведения Хлебникова, а картины покойного академика и лауреата, отнюдь не абстрактные — каждый разберет, что именно на них изображено, — старательно скрыты от глаз посетителей.

Конечно, пройдет год, два — и лучшие вещи Кончаловского переедут в музейные залы. А для друзей, знавших и любивших Петра Петровича, он остается в памяти необычайно живым, зеленым пятном среди пустыни: повалить его все-таки не удалось.

23

В этой книге я пытаюсь рассказать о людях, которых я встретил в жизни и — одних лучше, других хуже — узнал. Сейчас мне хочется рассказать о девушке, которой я никогда не видел.

Вскоре после моего возвращения из Вильнюса ко мне в гостиницу «Москва» пришла В. В. Константинова, преподавательница, жившая в Кашине; она рассказала, что ее дочь Ина была партизанкой и погибла в марте месяце. Вера Васильевна попросила меня прочитать дневник Ины. Я положил школьные тетрадки в ящик стола и вспомнил о них только два месяца спустя — было много газетной работы. Начав читать дневник, я не мог от него оторваться.

Дневник начинался с 1938 года — Ине тогда было четырнадцать дет; она записывала свою жизнь в течение четырех лет; это раннее утро жизни. Читая, я невольно вспоминал мои школьные годы: похоже и не то, детство оставалось детством, но изменилась эпоха.

После войны мне захотелось навестить Константиновых. Я побывал в Кашине. Это небольшой город Калининской области; там мало заводов, большая базарная площадь, старые церквушки, деревянные домики. В одном из таких домиков жили Константиновы; и Александр Павлович и Вера Васильевна были педагогами; кроме Ины, у них была вторая дочь — Рена, младшая.

Ина с детства много читала, но она любила и проказы, игры в «свадьбу», в «бутылку-указку», в «американку», танцы, любила кататься на коньках, ухаживала за кошками, за щенками, работала в саду. Отличницей она не была и часто угрызалась, получая плохие отметки («Математика мне всю жизнь портит»), старалась наверстать потерянное. Ничего в ней не было болезненного, экзальтированного, исключительного.

У нее была подруга детства Люся, с нею Ина делилась всем и, когда родители увезли Люсю в Магадан, страдала, что некому поверить свои тайны. Однако она отнюдь не была замкнутой, дружила со многими, всегда находила в товарищах хорошие стороны. Она училась в восьмом «А», попала в девятый «Б» и сразу подружилась с Таней и Леной. В детдоме, куда она часто ходила, ей нравились Валя Амбражунас и Оля Руманова. «Вообще мне в этом году везет на людей. Максим с Федором, Аленка, Таня Волкова — все чудные, славные, хорошие. Вот жаль только, что Люся уехала». «Лидочка Кожина. Какая она прелесть. Идеальная девушка. Красивая, умная, отлично учится, прекрасный товарищ». «Подружилась с Кларой Калининой». Когда началась война, Ина

пошла в санитарную дружину, работала в госпитале. «Ростовчанин Заславский, молодой, ранен в ногу, плечо и голову. Славный он человек и патриот». В школу поступили новые ученики: «Москвич Женя Никифоров и Рэм Меньшиков, ленинградец. Чудесные, милые ребята». «Саша Куликов, кажется, останется у нас. Хорошо бы! По-моему, он прекрасный мальчик, умный, начитанный». В ноябре 1941 года — эвакуация. Ина попадает в далекий город, в чужую школу; два месяца спустя ей уже жалко расставаться с новыми друзьями — с Людой, Геркой, Галей, Вовкой. В июне 1942 года Ина становится партизанкой; ее посылают в тыл врага. Она говорит о первом своем начальнике: «Каких чудесных людей ставит судьба на моем пути! Он умный, чуткий, тонкий!» О комиссаре Абрамове: «Удивительно интересный человек, такой образованный и тоже… тонкий (это мое выражение, я-то его хорошо понимаю)». Вот ее товарищи по партизанскому отряду: «Гриша Шевачев. Высокий, худой, еврейского типа мальчик… славный парень. Игорь Глинский. Чудесный мальчишка… поразительное чувство юмора. Умный, начитанный… Макаша Березкин. Ну, прелесть!.. Всегда весел, всегда улыбается. Не отказывается ни от какого дела…» Потом она пишет сестре: «Зоя была моей лучшей подругой. Замечательная девушка! И она погибла геройской смертью. Именно геройской. Погибло много замечательных людей. Самыми близкими я считаю Зою, комбрига Арбузова, радиста Геньку, Игоря Глинского и Гришу Шевачева. И вот из их остался только Игорь». В отряде был пятнадцатилетний Вадик Никоненок. Девушки удивленно спрашивали Ину: «О чем ты с ним разговариваешь?» Она отвечала: «А он такой интересный…»

Она была веселой, прыскала, как и полагается девчонке. «У Феди Германа на щеке были две замечательные кляксы. Я как их увидела, так уж успокоиться не могла, чуть не до слез хохотала… И вдруг меня вызывают. Я даже не знаю, что и отвечать. Кое-как по подсказкам ответила и получила «хорошо». Но среди ответа вдруг меня такой смех разобрал, я не удержалась и фыркнула на весь класс. Так нехорошо получилось…» «Сегодня был в пионердоме вечер, посвященный 35-летию какой-то стачки… Сначала танцевала девочка в шелковых панталонах. Затем сел на стол и провалился какой-то десятиклассник. Потом кто-то снаружи разбил стекло, и Питанов через окно стал ловить разбойника. Хохотали неимоверно…»

Ина читала много и беспорядочно. В пятнадцать лет она записывает: «Взяла Шиллера «Статьи по эстетике»… Жаль только, что я там некоторые вещи не понимаю. Нужно прочитать Канта, Гегеля и других философов, а затем уже и эту книгу».

Философией, кажется, она не увлекалась. Как многие ее сверстницы, восхищалась «Мартином Иденом», плакала над «Оводом». Ее волновали самые несхожие авторы — Мамин-Сибиряк и Гайдар, Шпильгаген и Ю. Герман, Вербицкая и Андре Жид. Ина любила стихи. В шестнадцать лет ей нравился Надсон, и она отрицала Маяковского — знала его только по школьным хрестоматиям. Потом она узнала и полюбила другого Маяковского, повесила его портрет в своей комнате. Она писала, что Гейне так хорош, что мирит ее с немецким языком. Она часто повторяла стихи Блока; в старой «Ниве» нашла его ранние стихи.

Она увидела в московском музее картины старых итальянцев. «Картины современных художников, на которых физиономия не отличается от помидора и темы которых однообразны, как песчаные холмы, никогда нельзя назвать живописью. Это мазня. Современные скульптуры, в которых красота заменена динамичностью и «выразительностью», нельзя причислить к произведениям благородного искусства. Никогда не появится «Джиоконда», фрески итальянских мастеров… Никто не напишет «Божественной комедии» и «Анны Карениной». Мир теряет самое лучшее — красоту…»

В шестнадцать лет ей казалось, что виноваты в этом вкусы народа. Год спустя над этой фразой она надписала: «Неправда!», над осуждением Маяковского: «Заблуждение!»

А любовь к красоте оставалась, ее Ина никогда не считала заблуждением.

Подростки часто мечтают стать актрисами или писателями. Ина хотела учиться в юридическом институте. Потом, будучи партизанкой, она переменила планы и в 1944 году просила мать послать документы в авиастроительный институт. Я ее не вижу ни прокурором, ни авиаконструктором, но хорошо, что ее не тянуло ни в театральное училище, ни в литературный институт, хотя, разумеется, она участвовала в школьных спектаклях и, влюбляясь, тайно писала стихи.

Влюблялась она часто, страстно и каждый раз считала — «вот это настоящая любовь». В пятнадцать лет она влюбилась в товарища по школе: «Мне стоит огромных усилий воли не сесть на скамью, откуда видно его… Я любуюсь им только тогда, когда он проходит мимо по коридору. Но если я замечаю на себе его взгляд, то делаю гримасу презрения. Зачем? Неужели это правда бессознательная тактика Жюльена Сореля? Не может быть! Ведь он действовал из гордости, а я люблю…»

Левушка уехал, Ина о нем тосковала. «Мама говорит, что я не его люблю, а идеал, который я создала… По-моему, нет. Ведь я вижу все его недостатки, знаю все плохие стороны и все-таки

люблю. Люблю все в нем, даже недостатки». Прошло три месяца, и Ина в страхе спрашивала себя: «Я не понимаю — неужели можно любить несколько раз и всегда одинаково сильно? Только разница в том, как любить. Левочку мне хотелось чувствовать около себя, хотелось держать его руки, целовать его. А этот… Нет, совсем не то. С этим я больше всего в жизни хотела бы быть друзьями, знать, что он меня любит…» Николай, по ее словам, был к ней равнодушен. «Я танцевала с ним! Вдруг подходит он ко мне, и я пошла танцевать с ним. Я все время путалась, сбивалась, пролепетала что-то, что я не умею, и все… Я все-таки стараюсь показать, что он мне совершенно безразличен, и кажется, выходит…»

Ина узнала ревность: «Опять он провожал ее домой!» Она сердилась на себя: «В любви надо быть гордой, и если ему нравится другая, так я не хочу быть пайщиком». Но вскоре после этого поняла, что не все в жизни подчинено разуму: «Очевидно, это чувство сильнее гордости и самолюбия. Да и могут ли они существовать вместе с любовью? Нет, никогда!»

В 1940 году она подружилась с двумя одноклассниками, воспитанниками детдома — Максимом Пирушко и Федей Германом. «Они рассказали о том, как арестовали их родителей, причем так спокойно, что можно подумать, что это случилось не с ними. У Максима сначала взяли отца, а затем в поезде мать. Он даже не простился с ней. У Феди сначала мать, потом отца. Теперь обе матери в Караганде, а где отцы — неизвестно. Они, оказывается, как мы, когда особенно есть о чем поговорить, когда сильные переживания, уходят куда-нибудь, где никто не мешает, и говорят обо всем». Ине в 1937 году было тринадцать лет; беда обошла ее родителей. Мир девочки узок, а дли Максима и Феди аресты невинных были будничным явлением, бытом. Легко понять, как это всполошило Ину, которую больше всего возмущала несправедливость. Федя стал ее лучшим другом. Она часто ходила в детдом. Федя показал ей фотографии отца, матери, сестры. «Вчера они сказали мне самую неприятную вещь — пришел приказ из наркомата, чтобы воспитанников детдомов старше четырнадцати лет отправлять в ремесленные училища. Значит, скоро они уедут…» Она пишет дальше: «Вчера был вечер в детдоме, посвященный Дню Конституции… Когда я прихожу туда, то для меня это действительно праздник. Только там мне понастоящему хорошо и весело… Я танцевала немножко… Но больше сидели в углу с Федей и разговаривали. Он был какой-то грустный. Какой говорит, потому что вспоминал, как три года тому назад в эти дни были арестованы его родители. На наше «tete-a-tete» обратили внимание учителя, и сегодня со мной мама

говорила об этом… Думаю, что это только дружба, не больше. Но эта дружба мне очень дорога и незаменима…» «Сейчас Федя мне сказал, что у него 19 марта умерла мама. Боже мой, как это тяжело и как трудно пережить!..»

В дневнике Ины меня поражают душевная взыскательность, честность, прямота. Еще ученицей седьмого класса она ненавидела «подлиз». Она была комсомолка, входила в совет Осоавиахима. Осенью 1940 года она писала: «В нехорошее, темное, неясное время начала я эту тетрадь. Сегодня живем так, а что будет завтра — неизвестно…» Иина болезненно относилась к любой фальши; в дневнике она размышляет над несоответствием между различными трудностями, связанными с надвигавшейся войной, и неискренними, чересчур радужными речами, которые раздавались на собраниях в Кашине: «Ведь это ложь!.. Ну зачем это?… Люси нет, и не с кем поговорить на эту тему…» В шестнадцать лет она умела думать, умела взглянуть правде в глаза и три года спустя погибла, сражаясь за правду.

В дневнике Ины много обычного, сближающего его с дневниками девочек ее возраста; есть и не столь обычное. Может быть, любовь к искусству, к поэзии придавала ей особую душевную настроенность? В четырнадцать лет она писала: «Сейчас очень тихий, не по-январски мягкий вечер. Все кажется особенно хорошим, все покрыто розовато-кремовым светом. Скоро зайдет солнце. Все должно было бы быть легким, приятным, но нет этого. Наоборот, появляется какая-то тоска. Отчего? Кажется, нет никаких видимых причин, но… Вот это «но» и мешает. Людям без него легче. Например, Лиза, Нюра — они живут настоящим, реальным миром, а я не могу. Для меня гораздо важнее мечта, фантазия. Что же делать, если я не могу жить в исключительно романтических условиях, например, в Италии или хотя бы на Дальнем Востоке, а живу в каком-то затхлом городишке, где никаких событий…» Полгода спустя она вернулась к раздумьям о своем характере: «Я имею двойную душу. Первое «я» появляется по вечерам. Это «я» живет только будущим — мечтами. Эта душа, грустная, тоскливая, покидает меня иногда. И тогда я становлюсь современной девочкой. Тогда меня интересуют злободневные вопросы… Трудно будет мне жить с такими противоположными наклонностями в душе. Это как бы два разных человека…»

О смерти Ина впервые подумала, прочитав «Рассказ о семи повешенных» Л. Андреева: «Какая это жуткая вещь — чувствовать неизбежность, близость смерти! Я пробовала представить себя на их месте, но ничего не вышло. То мне казалось, что я буду спокойно ждать конца и даже не думать о нем, то казалось, что я

буду кого-то умолять, бесцельно метаться».

В Кашине покончил с собой один педагог. Ина была потрясена, хотя почти не знала самоубийцы: «Какой ужас! Сейчас узнала, что отравился В. В. Жигарев, учитель из техникума… Неужели не было другого выхода? Значит, не было. Как жутко сознавать безвыходность положения, видеть смерть неизбежную и близкую!»

«Луна… — Снег… И тишина, тишина. Как в сказке. Когда-нибудь в такую же ночь я пойду в лес. И наступит сказка… Как мелко все то, о нем мы плачем, чему радуемся! Как бедна и прозаична наша жизнь! Есть только одно действительное событие в жизни каждого, одно, стоящее того, чтобы перед ним преклониться, — смерть, шаг в неизвестное и несуществующее».

Май 1941 года был в жизни Ины счастливым: «Мы случайно сели рядом с Мишей Ушаковым и случайно разговорились. И… и я, что взывается, по уши!.. Ну можно ли выразить все чувства, которые внезапно возникают в такие минуты?…» «Он иногда даже странным кажется, но я люблю в нем и эту странность…» «Мы все время сидели рядом с Мишей. Провозгласили нас женихом и невестой и кричали нам горько». Опять целовались…» «Как хорошо жить, когда за спиной у тебя шестнадцать лет и девять классов, яркое солнце и хорошие отметки, большая дружба и светлая любовь, а впереди… А впереди кизнь!» Миша читал Ине стихи Фофанова:

Всё тает, надежды и годы…
И память о милом когда-то,
Как лёд пробужденной природы.
Растает… уйдет без возврата.

Но могли ли эти печальные строки смутить семнадцатилетних влюбленных?

Двадцать второе июня 1941. «Еще вчера все было так спокойно, так тихо, а сегодня… Боже мой!..»

Бомбежки, расставание с друзьями, тревога за Москву, за родину. «Даже воздух стал другим. Что-то будет… На фронт — это мечта! Разбить фашистов!» В дневнике Ины нет деклараций. Она любила людей, доверяла им, и это помогало ей пережить испытания: «Нет, с такими людьми не пропадет наша страна, не может пропасть!»

Она отнюдь не романтизировала войну; когда умерли двое раненых в госпитале, где она работала, она написала: «Во имя чего отдали они жизнь? Во имя чего теряют жизнь сотни тысяч других молодых, смелых? Кто ответит на этот вопрос?»

Вернувшись из эвакуации в Кашин, Ина узнала, что Миша Ушаков умер от раны, полученной в бою. Она поняла (а может быть, убедила себя), что Миша был ее большой, настоящей, единственной любовью. Она подала заявление в райвоенкомат, просила отправить ее на фронт, говорила, что кончила курсы сандружинниц и «неплохо стреляет», Ответа долго не было. Ина ходила в школу, увлекалась молодыми людьми, плакала тихонько по Мише, спрашивала себя: «Когда же кончится эта проклятая война?», старалась развлечься: «Иногда танцуем под патефон. Мама называет это легкомыслием, она не может понять, как мы сейчас можем думать о развлечениях. А на самом деле хоть на минуту хочется забыться от всех ужасов… И так скупы наши развлечения, что на них не следовало бы и обижаться. Да и скоро они кончатся…»

Развлечения действительно скоро кончились: в июне 1942 года Ину послали в тыл врага. Она уехала, не сказав ничего родителям, написала из Калинина: «Я знаю — это подлость по отношению к вам, но ведь так было лучше. Я все равно не выдержала бы маминых слез…»

Сражалась она хороню, об этом рассказывают уцелевшие товарищи; ходила в разведку, участвовала и в боях с карательными отрядами, и в «заданиях» — взрывали мосты, нападали на склады. Я не стану говорить о ее боевой жизни: героизм был в те годы буднями многих. Я переписывал отрывки из школьных дневников, чтобы показать истоки этого героизма. Многое предрешила взыскательность к себе, прямота, честность.

Однажды Ину послали как разведчицу собрать сведения о немецком гарнизоне. Когда она шла назад, гитлеровцы ее задержали. Офицер бил девушку по лицу, потом начал жечь сигарой ее руку. Ина молчала. За полгода до начала войны ей вырывали зуб: «Я так плакала, и сама не знаю, когда и как это кончилось. Казалось, что если боль увеличится хоть на йоту, то я сойду с ума». А когда фашист ее пытал, она молчала: «Я думала только об одном — как бы не показать свою слабость».

Она писала матери нежные, простые письма: «Иногда ночью вдруг проснусь от того, что живо-живо представится, что ты сидишь у меня на кровати, как когда-то дома. И мне так хорошо, так тепло. Проснусь — и нет никого, и все пусто». «Мне теперь все время вспоминается ломят нее, прошлогоднее. И Мишу жаль так, как, пожалуй, в прошлый год не жалела, потому что теперь я по-настоящему оценила жизнь». «Вы все-таки считаете меня чуть ли не героем. Напрасно. Я всего только советский человек».

Отец Ины, Александр Павлович, был направлен во вражеский тыл. Он встретил Ину и рассказывал мне, что, когда он назвал ее

девочкой, она запротестовала: «Папа, я уже не девочка, я разведчица Второй Калининской партизанской бригады». Однако, узнав, что у отца в вещевом мешке сласти, Ина попросила: «Дай сладенького…»

Партизанка оставалась самой собой. В письме к школьной подруге Лене она рассказывала: «Безумно влюбилась в одного товарища, и он любил. А потом он погиб. Думала, с ума сойду. Ты ведь знаешь мой характер…»

Портрет Ины был бы не полным, если бы я опустил одну запись и ее дневнике. Она, как я говорил, участвовала в боях, стреляла из автомата: это казалось ей легким. Она записала в дневник, как расстреливали предателя-старосту: «Держался он твердо. Ни слова не сказал. Только концы пальцев чуть дрожали. И умер он спокойно. Стреляла в нею Зойка. И рука не дрогнула. Молодец! А мне было чего-то жутко. Чувствовала себя отвратительно».

В ночь на 4 марта 1944 года несколько партизан спали в лесной землянке. Перед рассветом часовой разбудил их: «Немцы!» Ина поняла, что всем уйти не удастся. Она крикнула товарищам: «Уходите!» — и, встав на колено, стала стрелять из автомата. Она погибла в том снежном лесу, под звездами, о котором писала три года назад. Ей не было и двадцати лет.

Я написал об Ине вскоре после того, как прочитал ее дневник. После войны дневник издали — чуть приглаженный: не хотели, чтобы героиня говорила об изнанке жизни, а это яснее показывает ее верность, душевное мужество. В этом, как и во многом другом, она была — повторю ее слова — «советским человеком»: она многим до войны возмущалась|, а в трудный час пошла защищать советскую землю.

Я дал дневник Ины З. Ю. Триоле, она его перевела на французский язык. Вышли переводы и в других странах.

В 1958 году при автомобильной катастрофе погибла мать Ины. А отец живет в том же деревянном домике с Реной, со внуком, мальчик уже ходит в школу. Недавно я видел Александра Павловича, и, конечно, мы снова говорили об Ине. Мне кажется, что я ее знаю лучше, чем некоторых людей, с которыми прожил долгие годы, не только потому, что она умела хорошо исповедоваться в дневнике, но и потому, что мне душевно близка эта девочка или девушка, с которой я встретился только после ее смерти. Прежде открывали материки, острова, скоро, наверно, начнут открывать планеты, но для писателя во все времена было и будет самым важным открытие человеческого сердца. Вот почему я включил рассказ об Ине Константиновой в книгу, посвященную моей жизни: Ина помогла мне многое еще раз

проверить в трудное время, когда война вытаптывала в человеке все, что мы обычно называем человеческим.

Мне кажется, что короткая жизнь Ины помогает понять, почему советские люди выдержали испытание и победили. Это исповедь поколения, которое было скошено раньше, чем успело всколоситься. И вместе с тем, как это ни звучит странно, рассказывая о некоторых сторонах душевной жизни Ины, я говорю и о себе.

24

В 1944 году один из военных корреспондентов «Красной звезды» писал обо мне: «На забрызганном грязью «виллисе» ехал по прифронтовой полосе немолодой, предельно штатский человек в мешковатом коричневом пальто, в меховой штатской шапке, с сигарой. Он неторопливо ходил по передовым позициям, несколько сутулясь, разговаривая тихим голосом и ни секунды не стараясь скрывать то обстоятельство, что он глубоко штатский человек».

Когда в конце января я сказал генералу Таленскому, что хочу поехать в Восточную Пруссию, он улыбнулся: «Только придется вам надеть форму, а то, чего доброго, вас примут за фрица». Звания у меня не было, и новенькая офицерская шинель без погон выглядела на мне, пожалуй, еще смешнее, чем мешковатое коричневое пальто. Впрочем, об этом я подумал только тогда, когда немцы начали меня упорно именовать «господином комиссаром».

Наши войска быстро продвигались на запад, оставляя позади островки, в которых держались окруженные гитлеровцы. В городе Бартенштейн еще горели дома; рядом были немецкие позиции. Я встретил генерала Чанчибадзе; он усмехался: «Это не Ржев…» Говорил, что солдаты рвутся вперед, жаловался: мало снарядов. (Немцы продержались в том «котле» еще два месяца.) В Эльбинге, когда я туда попал, продолжались уличные бои, хотя накануне сводка сообщала о взятии города. Враг порой поспешно отступал, порой отчаянно сопротивлялся Мины были заложены повсюду — в зданиях школ, в крестьянских амбарах, в магазинах обуви. Генерал кричал в телефон: «Слушай, прибавь огонька — он, черт, огрызается…» А солдат рассказывал о товарище: «Говорил: «Фрицы выдохлись», — а дня не прошло — я его притащил в санбат, посмотрели и говорят: «Поздно»…»

Все понимали, что дело идет к концу, но никто не был уверен, что до него доживет. В начале февраля погода резко изменилась — пришла ранняя весна, на солнце было тепло, в брошенных садах зацветали подснежники, лиловые крокусы. Близость развязки делала смерть особенно нелепой и страшной.

От мысли, что мы продвигаемся в глубь Германии, у меня кружилась голова. Я столько писал об этом, когда гитлеровцы были на Волге, а теперь я ехал по хорошей, гладкой дороге, обсаженной липами, глядел на старый замок, на ратушу, на магазины с немецкими вывесками, и все не верилось: неужели мы в Германии? Как-то повстречался я со старыми друзьями —

тацинцами. Мы долго, улыбаясь, бессмысленно повторяли: «Вот, значит, где…»

Почти у каждого было свое горе: погибли два брата, сожгли дом и угнали сестер в Германию, убили мать в Полтаве, всю семью заму-чили в Гомеле — ненависть была живой, не успевшей притихнуть. Бог ты мой, если бы перед нами оказались Гитлер или Гиммлер, министры, гестаповцы, палачи!.. Но на дорогах жалобно скрипели телеги, метались без толку старые немки, плакали дети, потерявшие матерей, и в сердце подымалась жалость. Я помнил, конечно, что немцы не жалели наших, все помнил, но одно дело фашизм, рейх, Германия, другие — старик в нелепой тирольской шляпе с перышком, который бежит по развороченной улице и машет клочком простыни.

В Растснбурге красноармеец яростно колол штыком девушку из папье-маше, стоявшую в витрине разгромленного магазина. Кукла кокетливо улыбалась, а он колол, колол. Я сказал: «Брось! Немцы смотрят…» Он ответил: «Гады! Жену замучили…» — он был белорусом.

В том же Растенбурге комендантом города назначили майора Розенфельда. Гитлеровцы убили его семью, а он делал все, чтобы оградить население немецкого города. Он оставил меня ночевать. В доме богатого фашиста на стене висела любительская фотография: дочь хозяина подносит букет Гитлеру. Местные жители рассказывали, что в этом доме останавливался фюрер, когда приезжал в Восточную Пруссию. Майор Розенфельд горевал, что его оторвали от полка, но работал чуть ли не круглые сутки. При мне к коменданту привели маленькую девочку — родители погибли. Майор ласково и печально глядел на нее, может быть, вспоминал свою дочку. Сколько раз он, наверно, повторял про себя слова о «священной мести», а в Растенбурге понял, что это была абстракция и что рана в его сердце не заживет.

Радость победы и здесь смешивалась с той печалью, которая неизменно рождается, когда видишь войну — не на полотне баталиста, не на экране, а под носом: расщепленные дома, пух от перин, беженцы, узлы, недоеные коровы, а чей-то долгий пронзительный визг застревает надолго в ушах.

Некоторые города были разбиты артиллерией; в Крейцбурге уцелела только тюрьма; среди развалин Велау я не нашел ни одного немца: все убежали. Другие города уцелели; в Растенбурге жители очищали улицы от обломков мебели, разломанных телег. В Эльбинге оказалось шестьдесят тысяч человек — треть населения осталась.

Восточная Пруссия издавна считалась самой реакционной

частью Германии. Здесь было мало заводов, мало рабочих; зажиточные крестьяне голосовали за Гинденбурга, потом дружно кричали «хайль Гитлер». Помещики были подлинными зубрами, любая либеральная поблажка казалась им оскорблением родовой чести. В городах жили коммерсанты, чиновники и адвокаты, врачи, нотариусы, люди интеллигентских профессий, которых трудно причислить к интеллигенции. Дома были чистыми, благоустроенными, с мещанским уютом, с рогами оленей в столовой, с вышитыми сентенциями о том, что «порядок в доме — порядок в государстве» или что «трудись — и увидишь сладкие сны». В кухне стояли фаянсовые банки с надписями «соль», «перец», «тмин». «кофе». На полке красовались книги: Библия, стихи Уланда, иногда том Гёте, доставшиеся в наследство, и десяток новых изданий — «Майн кампф», «Поход на Польшу», «Расовая гигиена», «Наша верная Пруссия». В таких городах, как Растенбург, Летцен, Тапиау, не было городских библиотек. В Бартенштейне мне сказали, что здание музея невредимо. Я всполошил коменданта: «Сейчас же поставьте охрану». Пошел в музей, и стало не по себе: кроме чучел животных, там были весьма однообразные экспонаты огромный портрет Гинденбурга, карта военных действий в 1914 году, трофеи — погоны русского офицера, фотография разрушенной Варшавы, портреты местных благотворительниц.

Наши солдаты разглядывали обстановку. Один, помню, усмехнулся: «В такой берлоге можно жить». Другой выругался: «Сволочи, жили хорошо, чего они к нам полезли? Ты посмотри, ведь полотенца наши», — он показал на вышитые украинские полотенца в нарядной кухне.

Я ужинал в Эльбинге у командира корпуса генерала Г. И. Анисимова, когда прибежал лейтенант: «Разрешите доложить?» Лейтенант сказал, что в одном из подвалов обнаружены тридцать — сорок человек, которые отказываются выйти наружу, кричат, что они швейцарцы, и требуют, чтобы их оставили в покое. Недоразумение вскоре выяснилось — к генералу привели человека в костюме, перепачканном углем, давно не бритого, который представился: «Карл Бренденберг, вице-консул Швейцарии». Оказалось, в Эльбинге проживало довольно много Швейцарией, они здесь обосновались как специалисты по изготовлению сыров. Генерал приказал напоить и накормить голодного вице-консула, а потом вывести всех швейцарских граждан из подвала. Меня удивило, что охранная грамота, которую нейтральный сыровар предъявил, была написана на русском языке и выдана швейцарским правительством осенью 1944 года. Вице-консул объяснил: «В Берне предвидели

события. — И, чуть усмехнувшись, добавил:

— В Берне, но не в Эльбинге…»

Генеральный викарий жаловался мне, что при Гитлере немцы растеряли веру (о том же говорили и два пастора). Мне же казалось, что они просто сменили предмет культа. Непогрешимость папы перестала интересовать католиков, зато они свято верили в непогрешимость фюрера. Вторжение Красной Армии в Восточную Пруссию застало жителей врасплох: они верили не только Гитлеру, но и его помощникам, а гаулейтер Эрих Кох еще в начале января писал: «Русские никогда не прорвутся в глубь Восточной Пруссии — за четыре месяца мы вырыли окопы и рвы общим протяжением 22 875 километров». Цифра успокаивала. В Либштадтс я нашел незаконченное «свидетельство об арийском происхождении» — 12 января некто Шеллер, решив жениться, заполнил анкету о своих предках, но не успел представить справку об одном из дедов: 26 января в Либштадт вошли советские танки.

В 1944 году я часто спрашивал себя: что произойдет, когда Красная Армия войдет в Германию? Ведь Гитлеру удалось убедить не отдельных изуверов, а миллионы своих соотечественников, что они — избранная нация, что плутократы и коммунисты, объединившись, лишают талантливых и трудолюбивых немцев жизненного пространства и что на Германии лежит великая миссия установить в Европе новый порядок. Я помнил некоторые разговоры с пленными, дневники, которые поражали не только жестокостью, но и культом силы, смерти, помесью вульгарного ницшеанства и воскресших суеверий. Я ждал, что население встретит Красную Армию отчаянным сопротивлением. Повсюду я видел надписи, сделанные накануне прихода наших войск, проклятия, призывы к борьбе: «Растенбург всегда будет немецким!» «Эльбинг не сдастся!», «Граждане Тапиау помнят о Гинденбурге. Смерть русским!» Я прочитал листовку, в которой почему-то упоминались традиции «вервольфов»; я спросил капитана, занятого пропагандой среди войск противника и, следовательно, хорошо знавшего немецкий язык, что такое «вервольф»; он ответил: «Фамилия генерала; кажется, он сражался в Ливии…» Я решил проверить, заглянул в толковый словарь и прочитал: «В древних германских сагах вервольф обладает сверхъестественной силой, он облачен в волчью шкуру, живет в дубовых лесах и нападает на людей, уничтожая все живое». В Растенбурге я нашел школьную тетрадку, какой-то мальчик написал: «Клянусь быть вервольфом и убивать русских!» Но в том же Растенбурге не только подростки или старики, но и застрявшие жители

призывного возраста вели себя как пай-дети. Гитлеровцы изготовили маленькие кинжалы с надписью на клинке: «Все для Германии». В инструкции говорилось, что эти кинжалы помогут немецким патриотам бороться с красными захватчиками. Я взял такой кинжал, он мне служил консервным ножом. А про заколотых красноармейцев я не слыхал. Все это было разговорами, фантазией Геббельса, зловещей фашистской романтикой. Конечно, среди гражданского населения были не только безобидные старики и ребята, были и волки, но, в отличие от мифических вервольфов, они предпочитали временно нарядиться в овечью шкуру и аккуратно выполняли любой приказ советского коменданта.

Я побывал в десятках городов, разговаривал с разными людьми: с врачами, нотариусами, учителями, крестьянами, трактирщиками, портными, лавочниками, токарями, пивоварами, ювелирами, агрономами, пасторами, даже с одним специалистом по изготовлению генеалогических деревьев. Я искал ответа у католика-викария, у профессора Марбургского университета, у стариков, у школьников — хотел понять, как они относится к идее «народа господ», к мечте о завоевании Индии, к личности Гитлера, к печам Освенцима. Повсюду я слышал то же самое: «Мы ни при чем…» Один говорил, что он никогда не интересовался политикой, война была бедствием, Гитлера поддерживали только эсэсовцы; другой уверял, что на последних выборах в 1933 году он голосовал за социал-демократов; третий клялся, что был связан со своим шурином, который коммунист и участвует в Ганновере в подпольной организации. Возле Эльбинга, в селе Хоэнвальд, один немец поднял кулак, приветствуя «господина комиссара»: «Рот фронт!» В его доме нашли альбом любительских фотографий: вешают русских, возле виселицы доска с крупной надписью: «Я хотел зажечь лесопилку, подсобник партизанов»; еврейские женщины со звездами на груди ждут в вагоне расстрела. Находка не заставила мнимого «ротфронтиста» примолкнуть, он продолжал говорить о своей борьбе против нацистов: «Эти фото оставил неизвестный штурмовик, который, наверно, приходил к моему брату, мой брат был очень наивным, его убили на Восточном фронте, а я воевал в Голландии, во Франции, в Италии — в России я не был. Можете мне поверить: в душе я коммунист…»

Конечно, среди сотен людей, с которыми я беседовал, были и такие, что говорили искренне, но я не мог отличить их от других — все повторяли одно и то же. Я в ответ вежливо улыбался. Пожалуй, наиболее искренним мне показался пожилой немей, который возвращался с запада в Прейсиш-Эйлау, он сказал: «Герр

Шталин хат гезигт, их гее нах хаузе» («Господин Сталин победил, я иду домой»).

Люди, с которыми я разговаривал, вначале отвечали, что они ничего не знали об Освенциме, о «факельщиках», о сожженных деревнях, о массовом уничтожении евреев; потом, видя, что ничто непосредственно им не угрожает, признавались, что отпускники о многом рассказывали и осуждали Гитлера, эсэсовцев, гестапо.

Третий рейх, еще недавно казавшийся незыблемым, рухнул сразу, все (на некоторое время) схоронилось, залезло в щели — упрошенное ницшеанство и разговоры о превосходстве немцев, об исторической миссии Германии. Я видел только желание спасти свое добро да привычку пунктуально выполнять приказы. Все почтительно здоровались, старались улыбнуться. В районе Мазурских озер моя машина завязла: откуда-то прибежали немцы, вытащили машину, наперебой объясняли, как лучше проехать дальше. В Эльбинге еще стреляли, а корректный упитанный бюргер проявил инициативу — принес складную лесенку и переставил на больших часах стрелку на два вперед: «Они идут замечательно сейчас три часа двенадцать минут по московскому времени…»

Комендантом города назначили строевого офицера, и, конечно, он не был специально подготовлен для такого рода должности. Расклеивали стереотипное объявление — правила. Один наш комендант, смеясь, говорил: «Я и не прочитал, что там написано, а они изучили от первой буквы до последней — что можно, чего нельзя. Часа не прошло, как начали приходить: один спрашивает, может ли забраться на крышу и залатать дыру, другой — куда ему доставить русскую работницу, она лежит больная, третий ябедничает на соседа…»

В Эльбинге я увидел необычайную очередь: тысячи немцев и немок, старухи, маленькие дети жаждали проникнуть в тюрьму. Я обратился к одному, на вид самому миролюбивому: «Зачем вам здесь стоять на холоду? Покажите мне город, вы, наверное, знаете, в каких кварталах еще стреляют…» Он вначале сетовал — потерял свое место в очереди, говорил, что тюрьма теперь самое безопасное место: русские, наверно, поставят охрану и можно будет спокойно переждать; он несколько успокоился, только когда я обещал вечером его доставить в тюрьму. Это был вагоновожатый трамвая. Я его не спрашивал о Гитлере — знал, что он ответит. Он рассказал, что его дом сгорел, он едва успел выскочить в одном пиджаке. День был холодный. Мы проходили мимо магазина готового платья, на улице валялись пальто, плащи, костюмы. Я сказал, чтобы он взял себе пальто. Он испугался: «Что вы, господин комиссар! Это ведь трофеи

русских…» Я предложил ему выдать письменное удостоверение; подумав, он спросил: «А у вас есть печать, господин комиссар? Без печати это не документ, на слово никто не поверит».

По Растенбургу меня водил мальчик Вася, которого немцы пригнали из Гродно. Он рассказал, что работал в доме богатого немца, на груди у него была бирка, все на него кричали. Теперь он шел рядом со мной, и встречные немцы учтиво его приветствовали: «Добрый день, господин Вася!»

Позднее, в западногерманской печати много писали о «русских зверствах», стремясь объяснить приниженное поведение жителей естественным ужасом. По правде сказать, я боялся, что после всего учиненного оккупантами в пашей стране красноармейцы начнут сводить счеты. В десятках статей я повторял, что мы не должны, да и не можем мстить — мы ведь советские люди, а не фашисты. Много раз я видел, как наши солдаты, хмурясь, молча проходили мимо беженцев. Патрули ограждали жителей. Конечно, были случаи насилия, грабежа — в любой армии имеются уголовники, хулиганы, пьяницы; но наше командование боролось с актами насилия. Не произволом русских солдат следует объяснить угодливость гражданского населения, а растерянностью: мечта рухнула, дисциплина отпала, и люди, привыкшие шагать по команде, заметались, как стадо испуганных овец. Я радовался победе, близкому концу войны. А глядеть вокруг было тяжело, и не знаю, что меня больше стесняло — развалины городов, метель из пуха на дорогах или приниженность, покорность жителей. В те дни я почувствовал, что круговая порука связывает свирепых эсэсовцев и мирную госпожу Мюллер из Растенбурга, которая никого не убивала, а только получила дешевую прислугу — Настю из Орла.

Глядя на улыбки обывателей Растенбурга или Эльбинга, я не чувствовал злорадства, во мне смешивались брезгливость с жалостью, и это порой отравляло то большое счастье, которое я испытывал, видя наших солдат, прошедших с боем от Волги до устья Вислы. Отдыхал я, беседуя с освобожденными людьми с советскими девушками, с гражданами и солдатами порабощенных Гитлером стран. В Бартенштейне мне довелось быть свидетелем редкостной встречи: один боец, смоляк, среди освобожденных советских женщин нашел свою сестру с двумя детьми — одиннадцати и девяти лет. Еще недавно эта женщина рыла те рвы, которыми хвастал Эрих Кох. Она ничего не могла вымолвить, только плакала: «Вася!.. Васенька!..» А старший мальчик восхищенно разглядывал две медали на груди дяди Васи.

Кого только не привелось мне встретить! Среди

освобожденных были люди разных стран, разных профессий: французы-военнопленные, бельгийцы, югославы, англичане, несколько американцев, студент из Афин, голландские актеры, чешский профессор, австралиец-фермер, польские девушки, священники, экипаж норвежского парусника. Все кричали, шутили, не знали, как выразить свою радость.

Французы раздобыли немецкие велосипеды и катили на восток — им хотелось поскорее вернуться домой. Среди них всегда находился человек, умевший хорошо стряпать, и, зарезав барана, они устраивали пир, приглашали наших солдат, пели, балагурили, смешили даже невозмутимых англичан.

В плену все научились немного говорить по-немецки, бельгиец рассказывал чеху, что он пережил, а югославы и англичане обсуждали, как теперь быть с Германией. Здесь было куда легче договориться, чем на Ялтинской или Потсдамской конференции: люди понимали друг друга.

В Эльбинге, в бараках, где содержались военнопленные, я видел правила, напечатанные на десяти языках. В районе Мазурских озер французы должны были рубить лес и строить военные укрепления. В имении фон Дингофа работали французы, русские, поляки — сто пять душ. Железнодорожник Чуловский из Днепропетровска подружился с марокканцем, научил его немного говорить по-русски. В маленьком захолустном Бартенштейне каждая семья, имеющая троих детей, получала работницу — русскую или польку. Одна фермерша мне говорила, что она жила скромно, у нес работали только одна украинка и один итальянец; за них она вносила шестьдесят марок в «арбейтсамт». Теперь это известно всем, я тогда это меня потрясало: воскресили рабство античного мира, но вместо Еврипида — Бальдур фон Ширах, а вместо Акрополи — Освенцим.

Француз, военный врач, рассказал, что неподалеку от их лагеря был другой, где держали советских военнопленных. Началась эпидемия тифа. Гитлеровский врач говорил: «Лечить их нечего, все равно умрут…» Каждый день зарывали умерших. «Я видел, — говорил француз, — как вместо с трупами зарывали еще живых, вспомнить не могу без ужаса…»

В Бартенштейне наши саперы нашли в кухне тетрадку — это был дневник русской девушки. Тетрадку я увез. В ней были простые и поэтому убедительные записи: «26 сентября. Воспользовалась тем, что ее нет, и навела радио на Москву. Харьков наш! Я потом весь день плакала от радости. Говорю себе: дура, ведь наша берет, и плачу, плачу. Вспомнила Петю. Где он теперь, жив ли? Может быть, забыл меня? Все равно, лишь бы жил! Я знаю, что мне не дожить до свободы, но теперь я наверно

знаю, что наши победят… 11 ноября. Мой день рождения. Вспомнила, как приходили Таня и Ниночка. Мы пили чай с пирожными, спорили о книгах. Таня расхваливала своего И. Думала ли я, что буду выносить ее ночные горшки и выслушивать насмешки!..»

Не знаю, как звали девушку, не знаю, дожила ли она до свободы, что с нею приключилось потом, но я не мог без восхищения глядеть на людей, воистину освобождающих человеческие души, и невыносимо грустно было думать о погибших в киевском окружении, под Ржевом, у Сталинграда.

В Гутштадте я заночевал, утром собирался поехать дальше. Командующий дивизией уговаривал меня, чтобы я задержался, пообедал. Он сказал, что мне необходимо посмотреть на старинный монастырь. Я уступил. Вместо монастыря а увидел развалины: по монастырю била артиллерия. На земле валялась груда книг — маленьких, в кожаных или пергаментных переплетах, я видел такие в других городах: молитвенники, псалтыри, Библии, труды отцов церкви. Я хотел было уйти, как, сам не знаю почему, наклонился и поднял маленькую книжицу Я обомлел — первое собрание стихов Ронсара, изданное в Париже в 1579 году! Второй том, третий, четвертый — Стихи одного из друзей Ронсара — Реми Белло. Томик произведений Лукиана во французском переводе. (Лукиана я потом подарил Я. З. Сурицу, а Ронсара и Белло берегу.) На первой странице отметка: такой-то купил там-то, заплатил столько-то. В XVI веке монахов, которые чрезмерно любили женщин и вино, посылали в отдаленные монастыри, на окраину католического мира. Естественно, что человек, которому нравились стихи Ронсара и сатиры Лукиана, не был аскетом. Вероятно, когда провинившийся монах умер в забытом всеми Гутштадте, его книги попали в монастырскую библиотеку — немцы не разобрали, что это за книги; в них никто не заглядывал, и они изумительно сохранились.

В машине я раскрыл томик Ронсара и снова обомлел — раскрыл как раз на той поэме, отрывки из которой вставил в «Падение Парижа» — их читает Жаннет Дессеру:

Признает даже смерть твои владенья.
Любви не выдержит земля,
Увидим вместе мы корабль забвенья
И Елисейские поля…

Все было несовместимо: развалины, танки, санбат и Ронсар, любовь, Елисейские ноля — не парижские, другие, те, о которых писал Пушкин: «А Эдмонда не покинет Дженни даже в небесах…»

Две недели спустя, возвращаясь в Москву, в Вильнюсе я рассказывал Ю. И. Палецкису про швейцарского вице-консула. Мы смеялись, повторяли друг другу: «Теперь скоро конец!..»

Потом я проехал через разрушенный Минск. Знакомая дорога — сожженные села, Борисов. Кожевенный завод, где гитлеровцы убивали… Снег еще милосердно прикрывал сожженную, изрытую землю, ржавую проволоку, пустые гильзы, кости.

Я вдруг удивился: вот и победа, почему же к радости примешивается печаль? Раньше этого не бывало. Видимо, близость конца позволяет задуматься. Я вспомнил о томиках Рои сэра. В 1940 году в Париже я писал:

Не раз в те грозные, больные годы.
Под шум войны, средь нищенства природы,
Я перечитывал стихи Ронсара.
Короткое стихотворение кончалось словами:
Как это просто всё! Как недоступно!
Любимая, дышать и то преступно…

В памяти встали пять лет, прошедшие после той весны, — потери, тоска, надежды. Кажется, подходит время, когда можно будет дышать, когда все любимые уснут без тревоги за тонкую нить человеческой жизни. Может быть, станет доступным и другое — радость, подснежники, искусство?… Я больше не думал о Растенбурге или Эльбинге — думал о жизни.

25

Во вступлении к моей книге я писал четыре года назад: «Некоторые главы я считаю преждевременным печатать, поскольку в них идет речь о живых людях или о событиях, которые не стали достоянием истории»; многое из того, что пережито мною в военные годы, я опускаю. Расскажу теперь о последних неделях войны.

Вокруг Кенигсберга, на подступах к Берлину, в Венгрии шли кровопролитные бои. Почти каждый вечер в Москве громыхали салюты; они были трех классов — первый из трехсот двадцати четырех орудий двадцать четыре залпа, а третий из ста двадцати четырех двенадцать залпов. Москвичи к ним привыкли — бывали вечера, когда небо три-четыре раза обряжалось ракетами. «За что салют?» — спрашивала в фойе, театра девушка подругу, та отвечала: «Маленький — за некой-то венгерский город…» Но если люди успели привыкнуть к победам, то страстно, мучительно они ожидали Победу. Ждали письма с фронта от близкого человека, терзались еще больше, чем в предшествующие годы. Наступали тс последние четверть часа, которые кажутся вечностью.

В марте генерал Таленский покинул «Красную звезду». С новым редактором мне было нелегко. Я утешал себя мыслью, что газетной работе подходит конец, скоро можно будет сесть за книгу. Пока что я продолжал писать статьи для «Красной звезды», для «Правды», для еженедельника «Война и рабочий класс».

Еще осенью 1944 года я получил письмо из Англии, от леди Гибб. Ею руководили религиозные чувства, она призывала меня предоставить богу покарать фашистских преступников и не взывать к чувству мести. Я напечатал это письмо в «Красной звезде» с моим ответом, писал, что чувство мести мне чуждо, что солдаты Красной Армии, овладевая городами Трансильвании, в которых было много немецких семейств, не убивали безоружных, что мы хотим справедливости, уничтожения фашизма, подлинного мира и поэтому не можем предоставить господу богу судить гитлеровских злодеев. Я напоминал, что, когда слепые политики отдали Чехословакию в руки фашистских палачей, их именовали «ангелами мира», на самом деле они были глупыми хитрецами и хитрыми глупцами.

Я получил много писем от фронтовиков, возмущенных обращением леди Гибб. (Кажется, еще больше, писем получила леди — мне потом рассказывали, что почтальоны в небольшом городе, где она проживала, были подавлены лавиной русских писем.) Между тем леди Гибб случайно оказалась в центре

внимания: дело было, конечно, не в ней; начиналась борьба между людьми, решившими уничтожить фашизм, и вчерашними «мюнхенцами», сторонниками «мягкого мира». Не сердобольные христиане, а вдоволь циничные политики восставали против решения Ялтинской конференции отдать под суд военных преступников, разоружить Германию и заставить немцев участвовать в восстановлении разрушенных ими городов. Как это ни звучит парадоксально, но уже в конце 1944 года, когда немцы контратаковали в Эльзасе и в Арденнах, нашлись американцы и англичане, озабоченные тем, чтобы оставить Германии, «способной преградить путь коммунизму», хотя бы часть ее военной силы.

Брэйлсфорд, автор книги, изданной в Англии в 1944 году, предлагал прежде всего помочь немцам восстановить города Германии, отказавшись от каких-либо репараций, обязать чехословаков обеспечить равноправие судетским немцам, а вопрос о том, должна ли Австрия составлять часть Германии, решить плебисцитом. Различные телеграммы ТАССа выводили меня из себя. В Америке открыли довольно необычную школу: военнопленные немцы готовились к карьере полицейскнх в оккупированной Германии: по словам американских газет, слушатели этой школы соглашались на замену фашистского режима демократическим, но настаивали, чтобы американцы финансировали восстановление немецких городов, разрушенных союзной авиацией.

Начиная с феврали 1945 года Гитлер начал спешно перебрасывать дивизии с Западного фронта на Восточный. Вполне понятно, что из двух зол гитлеровцы выбирали меньшее. Они успели убедиться, что союзники, занимая немецкие города, снисходительно относятся ко вчерашним нацистам. В Рейнской области сплошь да рядом на посту бургомистра оставался гитлеровец. Газета «Дейли телеграф» осудила английского офицера, позволившего итальянским и русским пленным уйти из имения немецкого помещика: «Такие меры разваливают сельское хозяйство Германии». В различные экономические органы, создаваемые союзниками, включались крупные промышленники Рура, представители треста «ИГ». Видный американский публицист обнародовал книгу, где впервые провозглашал «атлантическую общность».

Бог ты мой, я никак не дипломат, да и не политик — литература мне всегда была понятнее и ближе сложной политической игры. Если я писал о том, что некоторые западные политики хотят оставить впрок микробы фашизма, то только потому, что помнил Испанию, Мюнхен, знал, какими жертвами

оплачена победа над гитлеровской Германией.

Я продолжал писать, что мы пришли в Германию не для того, чтобы мстить, а для того, чтобы вырвать фашизм с корнем. Вспоминая отдельные случаи насилия в городах Восточной Пруссии, возмутившие нас всех, и привел в «Красной звезде» письмо, полученное мною от офицера Б. А. Курилко: «…Немцы думают, что мы будем делать на их земле то, что они делали на нашей. Эти палачи не могут понять величия советского воина. Мы будем суровы, но справедливы, и никогда, никогда наши люди не унизят себя…» Я писал дальше: «Я видел, как русские солдаты спасали немецких детей, мы не стыдимся этого, мы этим гордимся… Советский воин не тронет немецкой женщины… Он пришел в Германию не за добычей, не за барахлом, не за наложницами…»

«Холодная война» еще находилась в засекреченном инкубаторе, и многие люди на Западе говорили, что нужно понять резоны народа, понесшего больше всего жертв. В марте 1945 года «Нью-Йорк геральд трибюн» писала: «То, как Эренбург в последнее время подвел итоги военного положения, стоит многословных трудов пятидесяти конгрессменов, двадцати комментаторов и дюжины политических экспертов… Это не кабинетная стратегия, а конкретная тактика; это прямой жестокий характер войны, в которую немцы вовлекли мир. Никто из нас этого не хотел. Русские, заключившие в 1939 году пакт о ненападении, этого не хотели. Мистер Чемберлен, который со сложенным зонтиком прибыл в Роденсберг, этого не хотел. Поляки, французы, англичане, американцы этого не хотели, но немцы настояли на своем и теперь получают то, что они затеяли. Только то, что знают, какова эта война, способны обеспечить при победе мир для нашей истерзанной цивилизации. Эренбург знает, о чем говорит… Красная Армия знает, что она делает… Многие из наших конгрессменов, дипломатов, публицистов этого еще не знают. Мы не привыкли к войне, но мы участвуем в величайшей в истории войне, и рано или поздно мы это поймем. В Америке должны больше читать Эренбурга…»

Одиннадцатого апреля «Красная звезда» напечатала мою статью «Хватит!», мало чем отличавшуюся от предшествующих. Рассказывая, что Маннгейм сдался союзникам по телефону, а в Бранденбурге продолжаются тяжелые бои, я говорил, что фашисты куда более страшатся советской оккупации, чем англо-американской. «Хватит!» относилось к тем политическим кругам Запада, которые после первой мировой войны сделали ставку на сохранение и развитие германского милитаризма.

Двенадцатого апреля умер Рузвельт. Это было тяжелой

потерей. Теперь у нас перспектива времени, и мы видим, что Рузвельт принадлежал к тем немногочисленным государственным деятелям Америки, которые хотели обновить климат мира и сохранить добрые отношения с Советским Союзом. Москва убралась траурными флагами. Все гадали, что будет делать новый президент Трумэн.

Тринадцатого апреля я был в Славянском комитете на ужине в честь маршала Тито. Ко мне подсел Г. Ф. Александров, спрашивал, не устал ли я, лестно отзывался о моей газетной работе. На следующий день, раскрыв «Правду», я увидел большой заголовок «Товарищ Эренбург упрощает», статья была подписана Г. Александровым. (Я, конечно, сразу понял, что Александров выступил не по своему почину и что накануне не рассказал мне об этом потому, что испытывал некоторую неловкость; может быть, поэтому он и расхваливал мои статьи.)

Г. Ф. Александров упрекал меня в том, что я не замечаю расслоения немецкого народа, говорю, что в Германии некому капитулировать, что все немцы ответственны за преступную войну, наконец, что я объясняю переброску немецких дивизий с запада на восток страхом немцев перед Красной Армией, в то время как это — провокация, маневр Гитлера, попытка посеять недоверие между участниками антигитлеровской коалиции.

Конечно, я не рассказывал бы обо всем этом, если бы писал историю эпохи, но я пишу книгу о своей жизни и не могу промолчать об эпизоде, который причинил мне много трудных часов.

Я еще раз оказался наивным, а мне было пятьдесят четыре года: я не могу сослаться на молодость, неопытность; видимо, такого рода наивность лежит в моем характере. Я понимал, почему появилась статья Александрова: нужно было попытаться сломить сопротивление немцев, обещав рядовым исполнителям гитлеровских приказов безнаказанность, нужно было также напомнить союзникам, что мы дорожим сплоченностью коалиции. Я соглашался и с тем и с другим — хотел, как все, чтобы последний акт трагедии не принес липших жертв и чтобы близкий конец войны стал подлинным миром. Меня огорчало другое: почему мне приписали не мои мысли, почему нужно было осудить меня для того, чтобы успокоить немцев? Теперь, когда горечь тех дней давно забыта, я вижу, что в расчете была своя логика. Геббельс меня изображал как исчадие ада, и статья Александрова могла оказаться правильным ходом в шахматной партии. Моя наивность была в том, что я считал человека не деревянной пешкой.

«Красная звезда», разумеется, перепечатала статью

Александрова. Редактор со мною разговаривал сурово, как с солдатом-штрафником. В редакцию посыпались запросы с фронта, почему нет статей Эренбурга; об этом толковали и за границей. Мне предложили написать статью о боях за Берлин. Я знал, что статью редактор пошлет в ПК, тому же Г. Ф. Александрову, и предпочел это сделать сам. Копия письма Георгию Федоровичу у меня сохранилась; «…Иной читатель, прочитав Вашу статью, сможет сделать вывод, будто я призывал к поголовному истреблению немецкого народа. Между тем я, разумеется, никогда к этому не призывал, и это мне приписывала фашистская немецкая пропаганда. Я не могу написать хотя бы одну строку, не разъясняв так или иначе этого недоразумения. Как Вы увидите, л сделал это не в форме возражения, а приведя цитату из моей прежней статьи. Здесь затронута моя совесть писателя и интернационалиста, которому отвратительна расовая теория…» Ответа я не получил.

Только 10 мая — на следующий день после Победы — «Правда» поместила мою статью «Утро мира». Я уже понимал, что мне не дадут оправдаться, и для людей, обладающих памятью, вставил без кавычек цитаты из моих статей — о том, что нам чуждо чувство мести и что для немецкого народа найдется место под солнцем, когда он очистится от фашизма.

К сожалению, статья Г. Александрова не произвела должного впечатления на немцев. Они были деморализованы задолго до этой статьи, но имелись еще боеспособные дивизии, которые продолжали упорно сопротивляться. Что касается союзников, то некоторые из них в первую минуту всполошились: уж не попытаются ли русские перетащить немцев на свою сторону? Впрочем, они быстро успокоились — понимали, что реки крови не бутылка чернил и что одна статья не изменит ни отношения советского народа к гитлеровцам, ни страха немецких бюргеров перед коммунизмом. Конечно, солдаты и офицеры союзных армий были настолько потрясены зрелищем Равенсбрюка или Бухенвальда, что фашистским главарям не приходилось рассчитывать на пощаду, но промышленники Рура, генералы рейхсвера, крупные чиновники третьего рейха, гитлеровцы не очень приметные, те, что поспешно жгли партийные билеты, понимали, где они найдут влиятельных защитников.

Пожалуй, наиболее сильное впечатление статья Г. Александрова произвела на наших фронтовиков. Никогда в жизни я не получал столько приветственных писем. На улице незнакомые люди жали мне руку (не скрою: я этого побаивался и старался поменьше бывать на людях).

Фронтовики присылали мне в утешение подарки: об одном

расскажу. Это было поломанное охотничье ружье, которое льежские оружейники поднесли в год VII республиканской эры консулу Бонапарту. Ружье было красивым, с монограммой республики, с барельефным портретом молодого Наполеона, с изображенной чернью на серебре морской битвой против англичан. Надпись «Свобода морей!» напоминала о борьбе революционной Франции против блокады. Но как мне ни нравилось ружье, еще больше обрадовало меня письмо от солдат, которые его нашли на прусской дороге и прислали мне. В нем были добрые слова о моих статьях трудного времени, сердечность, ласка.

Пришел Суриц, сказал: «Зря огорчаетесь. Это не против вас, просто в его нравах. Узнаю почерк…» В общем, он оказался прав. Несколько недель меня не печатали, потом все забылось, и теперь о статье Г. Александрова вспоминают только реваншисты из «Зольдатенцейтунг».

А вот вопросы, которые меня волновали в последние месяцы войны, увы, не устарели. Приветствуя в апреле 1945 года союзных солдат, гитлеровцы знали, что они делают, — требовалось крылышко, иод которым можно укрыться, отдышаться, переждать, чтобы потом, выйдя на свет божий, снова заговорить о «красной опасности», о «защите Запада», об «исторической миссии Германии». На моем столе свежие газеты — сообщения о маневрах германской армии, о демонстрации судетских немцев, о выступлении военного министра Штрауса. Тяжело читать. Тяжело и вспоминать. Сказку про белого бычка можно не слушать. Но я пишу эту книгу в Новом Иерусалиме, рядом — братская могила, давно заросшая травой. Сегодня светлый осенний день; впервые идут в заново отстроенную школу важные малыши. Я не могу не думать о том, что их ждет.

26

В конце апреля сводка Совинформбюро сообщила, что в западном предместье Берлина войсками Первого Украинского фронта освобожден из немецкого плена Эдуар Эррио. Два дня спустя мне позвонили: «Эррио спрашивает, в Москве ли вы, он хотел бы вас повидать».

Эррио обнял меня: «Малыш, это было нелегко!..» Рассказывая о пережитом, он взволновался и вдруг перешел на «ты».

Я с ним познакомился в середине двадцатых годов. Встречались мы редко — в посольстве у В. С. Довгалевского, в палате депутатов, в Лионе, в Марселе во время съезда радикальной партии, раза два или три вместе обедали. Он охотно рассказывал, я охотно слушал; я чувствовал, что он ко мне расположен, но смешно было говорить о дружбе: между нами были два десятка лет, позволившие ему называть меня «малышом», да и жили мы в различных мирах — для премьер-министра, председателя парламента, мэра Лиона литература была отдыхом, а для меня политика являлась, скорее, военной службой, чем страстью или профессией.

У него было одно из тех лиц, которые остаются в памяти: большая голова, жесткие волосы, выпуклый лоб, мясистые щеки — все это напоминало работу современного скульптора, пуще всего боящегося пригладить ком глины. А голубые глаза ласково мерцали. До войны карикатуристы изображали Эррио с огромнейшим животом. Родился он в Шампани, но полвека прожил в Лионе, который славится тонкой кухней, любил вкусно поесть, не заботясь о своей талии. Я нашел его сильно похудевшим, пиджак на нем висел. Хотя немцы обращались с ним куда лучше, чем с обычными арестованными, приехав в Москву, он все время хотел есть. Когда его пригласили в ВОКС, он спросил меня шепотом: «Как вы думаете, нам дадут перекусить?…»

Улыбаясь, он рассказал мне, как его освободили красноармейцы: «Вошел ваш офицер, солдаты. Я закричал: «Франсуз! Эдуар Эррио!» И можете себе представить, он знал мое имя, пожал руку, смеялся, повторял «Эррио» на русский лад…» (Эррио постарался произнести свою фамилию с ударением на первом слоге.) Он говорил, что видел панику, понимал: не сегодня завтра наступит развязка — убьют или освободят. «Но хорошо, что меня освободили ваши — ведь вся моя политическая биография связана с идеей франко-советской дружбы, вы-то это знаете… А я начинаю думать о биографии — нужно, чтобы всё

увязалось…»

Он долго рассказывал, что пережил после разгрома Франции. Многое из того, что он говорил, я знал, но мне было интересно, как это воспринимает Эррио. Я увидел, что не ошибался, считая его одним из самых ярких представителей Франции прошлого века, той, что продержалась до первой мировой войны. Дело не только в возрасте, но и в идеях, в характере, в привычках. Конечно, как политический деятель он должен был проиграть — со своей отсталой стратегией, с устаревшим оружием, со словами, вышедшими из обихода, но именно эти анахронизмы меня к нему притягивали.

Кажется, на следующий день ему показали в маленьком просмотровом зале ВОКСа военную кинохронику. Он восхищенно смотрел на наши танки, продвигавшиеся по немецким дорогам. Потом на экране появились трупы, печи Освенцима, тюки с женскими волосами, подготовленные для отправки в Германию. Я переводил: «Шесть тонн женских волос», — и вдруг увидел, что Эррио закрыл глаза, по его щеке катились слезы. Когда мы вышли из зала, он сказал: «Я об этом не знал… Мне, видимо, время умереть — и ничего не понимаю… Вы знаете, почему я увлекся политикой? Из-за Дрейфуса. Я был преподавателем, мечтал о литературной работе. И вдруг «Дело». Одного человека неправильно осудили только потому, что он был евреем, и вся Франция раскололась. Мне было двадцать шесть лет, я кричал до хрипоты. Золя, Жорес, Анатоль Франс… Шли телеграммы — Лев Толстой, Верхарн, Марк Твен, все протестовали… Одного невинного послали на Чертов остров!.. Скажите, вы понимаете, что произошло с человечеством? Я лично ничего не понимаю. «Шесть тонн женских волос…» Я знаю, что это — нацисты, немцы, но ведь это наши современники, соседи. У них был Бетховен…»

Немцев он не любил, говорил: «Больше всего меня удивляет их коварство. Даже больше, чем жестокость. Я говорил с Штреземаном, И в течение четверти часа он трижды мне солгал. Он мечтал об одном — после короткой передышки отыграться, восстановить первенство «великой Германии». Однако нелюбовь к немцам у Эррио не связывалась с расизмом или шовинизмом: он обожал старую немецкую музыку, помогал антифашистским немецким беженцам. Это может звучать удивительно, даже чудовищно — для человека, который часто стоял во главе правительства большой держаны в середине XX века, еще имели первостепенное значение вопросы вполне старомодные, например, «сдержать данное слово», «спасти честь». «Нужно платить долги Америке — мы ведь дали слово», «Англичане допускают перевооружение Германии, где же их обещания?», «Мы

обманули чехов, это пятно на чести Франции», «Бельгийский король, сын «короля-рыцаря», поступил недостойно: капитулировал, не запросив союзников», «Нельзя сложить оружие — мы связаны договором с Англией».

В трагические дни июля 1940 года Эррио поддерживал проект отъезда правительств в Алжир, где можно будет организовать сопротивление. Одновременно он показал всю свою слабость: просил, чтобы его Лион объявили открытым городом. Говоря, что Петен коварнее немцев, Эррио все же взывал к его чувству справедливости. Собрали Национальную ассамблею, депутатам было предложено отречься от себя и похоронить республику. На первом заседании председательствовал Эррио, о своей речи он сказал: «Наш народ, переживающий великую беду, объединился вокруг маршала Петена, имя которого вызывает общее благоговение…» Рассказывая мне о том времени, он признавался: «Это было одной нз самых больших ошибок в моей жизни. Конечно, я знал, что Петен ненавидит Республику, но мне казалось, что в нем есть понятие чести и он не осмелится поднять руку на свободу…» Эррио не протестовал против капитуляции. Он примирился с передачей всей власти Петену. Но он не мог принять обвинений, выдвинутых против депутатов, которые уехали в Алжир: «Они повиновались долгу, чести…» Профашистские депутаты возмущенно прерывали его, и, вспоминая об этом, Эррио мне говорил: «Настоящие каннибалы!..» (То же слово вырвалось у Золя, когда сиятельная чернь во время дела Дрейфуса улюлюкала под его окнами.) В начале июня 1941 года Эррио потребовал от Петена, чтобы тот оградил достоинство Франции: помилуйте, немцы лишают депутатов Эльзаса и Лотарингии права называть себя членами французского парламента! В августе 1942 года, когда Германия казалась непобедимой, когда ее войска дошли до Волги, до Северного Кавказа, до границ Египта, Эррио выступил трижды: он протестовал против расстрела немцами заложников, ссылаясь на Гаагскую конвенцию; возмущался преследованиями французских евреев; наконец, вернул свой орден Почетного легиона после того, как такие же ордена были выданы двум изменникам, сражавшимся в России на стороне Германии. Эррио арестовали, а осенью 1944 года передали гитлеровцам, которые отправили его в Германию.

Если подойти к этим противоречивым поступкам как к политике крупного государственного деятеля, то останется только развести руками. Да, конечно, Эррио был одним из лидеров радикалов — этой чрезвычайно пестрой, рыхлой партии, объединявшей бедных крестьян Юга и крупных дельцов,

свободолюбивых учителей и полуфашистов, называвших себя «младорадикалами», и все же удивительно, как столь противоречивый человек, смелый и растерянный, образованный и наивный, мог в течение многих лет возглавлять правительство великой державы. Но если вспомнить, что Эррио сформировался в прошлом столетии, что он был автором книг, посвященных госпоже Рекамье, философу Филону Александрийскому и молодой Советской Республике, что он мог в перерыве между двумя заседаниями Совета министров беседовать с русским писателем о Декарте или о вкусах советской молодежи, что каждую неделю он лично принимал в мэрии Лиона всех просителей, терпеливо выслушивая их жалобы, что он гордился знакомством не с королями, не с магнатами промышленности, а с Горьким и с Эйнштейном, то многое в его биографии станет понятным.

После второй мировой войны правые упрекали Эррио за то, что он якшался с «красными», а левые говорили о его неблагодарности: «Он забыл, как танцевал от радости, когда его освободили советские солдаты». Эррио ничего не забывал, просто он оставался самим собой — непоследовательным в политике и верным в своих привязанностях. Весной 1954 года я был у него в Лионе. Среди прочего мы заговорили о советском искусстве. Я сказал ему, что считаю обращение французского правительства с Улановой и другими артистами московского балета позорным: их пригласили на гастроли и вдруг запретили выступить, ссылаясь на события в Индокитае. Эррио внимательно слушал, подошел к письменному столу и написал здесь же письмо, адресованное мне: «Пользуюсь случаем, чтобы сказать Вам, как я сожалею об инциденте с балетом и как я его осуждаю. Злая судьба как бы чинит все препятствия франко-русскому сближению, которого и, как старый демократ, страстно желаю. Я заверяю Вас, что большинство французов в этом согласны со мною». Он дал мне листок: «Можете напечатать…»

Вскоре после этого болезнь Эррио обострилась — он не мог передвигаться. В августе 1954 года Национальное собрание должно было ратифицировать договор о «Европейском оборонительном сообществе», говоря проще — о согласии Франции на ремилитаризацию Западной Германии. Эррио приехал на заседание палаты; он не смог подняться на трибуну и выступал, сидя в кресле. Он резко осудил внешнюю политику Франции, сказал, что залог европейской безопасности во франкосоветском сближении, и обратился к депутатам с предостережением: «Видите ли, дорогие коллеги, вы не найдете мира, если будете его искать на дорогах войны».

В 1956 году в Лионе состоялось совещание представителей различных миролюбивых организаций, посвященное опасности возрождения германского милитаризма. Мы заседали в кабинете Эррио. Его здоровье ухудшалось с каждым месяцем; он все же захотел приветствовать нас. Он шел с трудом, его поддерживали. Он сказал о том, что нужно бороться за мир; что оружие в руках боннского правительства — угроза всей Европе; он выглядел слабым, дряхлым, но глаза по-прежнему ласково мерцали, и голос был молодым, звонким. Больше я его не видел.

В Москве в 1945 году он хотел побеседовать с одним из руководителей советской политики, Отношения между союзниками были, скорее, натянутыми. Состав французского посольства успел перемениться. Французские дипломаты сказали Эррио: «Русские справлялись, когда вы предполагаете уехать, — это больше, чем намек…» Видимо, кому-то хотелось рассорить Эррио с его советскими друзьями.

У него тогда не было трубочного табака. Я долго искал, наконец раздобыл несколько пачек «золотого руна», позвонил Эррио, но мне ответили, что он «неожиданно уехал». Я послал табак вдогонку и вскоре получил письмо: «Ваш табак я получил в Тегеране. По моим расчетам, его хватит до конца моей жизни. Я очень сожалею, что пришлось уехать, не простившись с вами, что не удалось провести вместе исторический День Победы, не удалось завершить должно пребывание в Москве. Но в десять часов вечера мне сказали, что я должен вылететь в четыре часа утра».

Он дожил до восьмидесяти пяти лет и умер за год до конца Четвертой республики. Его пристрастия и отталкивания не менялись. Он не любил военщину, клерикалов, пруссаков, шовинистов, антисемитов, не любил коварства, мюзик-холлов и строгой диеты; а любил он традиции якобинцев, Лион, Декарта, русских, Бетховена, красноречье, популярность и вино «божоле».

В 1954 году, когда я был у пего, он вдруг заговорил о поэзии, рассказал, как в молодости встретил старого, спившегося Верлена, который хлопотал о пособии. «Вы любите Вийона, сказал он, — а знаете ли вы стихи лионской поэтессы шестнадцатого века Луизы Лабэ?» И он прочитал начало одного из ее сонетов:

Живу и гибну и горю — дотла,
Я замерзаю, не могу иначе —
От счастья я в тоске смертельной плачу.
Легка мне жизнь, легка и тяжела.

Может быть, этими стихами лучше всего закончить рассказ об

Эррио. Но чтобы вернуться к нити повествования, напомню: второго мая он говорил мне: «Скоро я чокнусь с вами, со всеми русскими друзьями за одержанную победу», а девятого мая на заре его посадили в самолет.

27

Я хорошо помню последние дни войны. В Берлин мне поехать не удалось из-за статьи Александрова. Я сидел у приемника и ловил Лондон, Париж, Браззавиль: ждал развязки.

Войны начинаются почти всегда внезапно, а кончаются медленно: уже ясен исход, но люди еще гибнут и гибнут.

В апреле я писал: «В Германии некому капитулировать. Германии нет, есть колоссальная шайка, которая разбегается, когда речь заходит об ответственности». Гитлеровская Германия умирала, как и жила, — бесчеловечно. Не было теперь кильских моряков, не было даже принца Макса Баденского. Не нашлось пи одного полка, ни одного города, который хотя бы в последнюю минуту восстал против нацистских главарей. Один немецкий остряк потом говорил, что красные гардины повсюду остались невредимыми, зато не было больше простынь — белые тряпки выползали из всех окон. Союзники теперь продвигались быстро: один немецкий город сдавался за другим. А в Берлине шли бои, и в Берлине сдавался дом за домом. Ветераны, помнившие империю Гогенцоллернов, школьники, одураченные дешевой романтикой, эсэсовцы, боявшиеся расплаты, стреляли в советских солдат из окон, с крыш. А фашистские главари закатывали истерики в бомбоубежищах или тихонько пробирались на запад, переодевались, гримировались.

Первого мая немецкое радио сообщило, что Гитлер, погиб, как герой, в Берлине. День или два спустя Лондон передал, что фюрер покончил жизнь самоубийством вместе с Геббельсом, Геринг и Гиммлер скрылись. Адмирал Дениц объявил, что возглавляет новое правительство; однако составить его было трудно — оппозиции в Германии давно не было, а люди, еще вчера поддерживавшие Гитлера, мечтали, скорее, о швейцарском паспорте, чем о министерском портфеле.

Вечером 7 мая я слушал Браззавиль: в Реймсе представители Деница и германского командования подписали акт о капитуляции; от Советского Союза документ подписал полковник… Три раза я прослушал сообщение, но так и не разобрал, о каком полковнике идет речь, — диктор не мог выговорить русское имя (оказалось, это был полковник Суслопаров, которого я знал, — он был военным атташе во Франции). Браззавиль сообщил также, что 8 мая объявлено праздничным днем. Я взволновался, позвонил в редакцию; мне сказали, что нельзя доверять слухам, возможно, это провокация — попытка сепаратного мира, так или иначе военные действия

продолжаются.

Восьмого мая из Лондона, из Парижа передавали радостный гул толпы, песни, описания демонстраций, речь Черчилля. Вечером были два салюта за Дрезден и несколько чехословацких городов. Однако с двух часов дня не умолкал телефон — друзья и знакомые спрашивали: «Вы ничего не слыхали?» — или таинственно предупреждали: «Не выключайте радио…» А московское радио рассказывало о боях за Либаву, об успешной подписке на новый заем, о конференции в Сан-Франциско.

Поздно ночью наконец-то передали сообщение о капитуляции, подписанной в Берлине. Было, кажется, два часа. Я поглядел в окно почти повсюду окна светились: люди не спали.

Начали выхолить на лестницу, некоторые неодетые их разбудили соседи. Обнимались. Кто-то громко плакал. В четыре часа утра на улице Горького было людно: стояли возле домов или шли вниз — к Красной площади. После дождливых дней небо очистилось от облаков, и солнце отогревало город.

Так наступил день, которого мы столько ждали. Я шел и не думал, был песчинкой, подхваченной ветром. Это был необычайный день и в своей радости, и в печали: трудно его описать — ничего не происходило, и, однако, все было полно значения — любое лицо, любое слово встречного.

Пожилая женщина показывала всем фотографию юноши в гимнастерке, говорила, что это ее сын, он погиб прошлой осенью, она плакала и улыбалась. Девушки, взявшись за руки, что-то пели. Рядом со мною шла женщина и мальчик, который все время повторял: «Вот это майор. Ура! Старший лейтенант, орден Отечественной второй степени. Ура!..» У женщины было милое изможденное лицо; вдруг я вспомнил, как в начале войны на Страстном бульваре сидела женщина с сыном, который шалил, а она плакала. Мне показалось, что это она; наверное, и сходства не было, просто два лица сливались в одно. Девочка сунула моряку букетик подснежников, он хотел ее обнять, она фыркнула и убежала. Старик громко сказал: «Вечная память погибшим»; майор на костылях поднес руку к козырьку, а старик рассказывал: «Жена просила: «Скажи», — она простыла, лежит… Гвардии старшина Березовский. Две личные благодарности от товарища Сталина…» Кто-то сказал: «Ну, теперь скоро вернется…» Старик покачал головой: «Погиб смертью героя, восемнадцатого апреля, командир написал… Жена просила: «Ты расскажи…»

Я говорил, что было много печали: все вспоминали погибших. Я думал о Борисе Матвеевиче, и мне казалось, что в ту ночь, когда мы читали роман Хемингуэя, он хотел что-то рассказать, но мы торопились, и разговора не вышло; думал о том, что мы жили

рядом, а я с ним мало разговаривал, то есть говорили мы много, но все о другом — не о главном. Я думал о добром Жене Петрове, вспоминал, как он, смеясь, говорил: «Вот кончится война, напишу классический роман в семи томах о героизме комиссара государственной безопасности третьего ранга Юстиана Иннокентьевича Прокакина-Стукала». Вспомнил, как он уговаривал меня надеть теплое белье; «Вы не пижон, и Можайск не Ницца…» Вспомнил товарищей по «Красной звезде», молодых поэтов Михаила Кульчицкого, Павла Когана, тацинцев, Черняховского, Юрия Севрука из «Знамени», ездового Мишу, который под Ржевом читал мне свои стихи. Почему-то все время перед моими глазами вставал Ржев, дождь, два дома — «полковник» и «подполковник», как будто не было потом ни Касторной, ни Вильнюса, ни Эльбинга. Все Ржев да Ржев…

Кажется, не было в нашей стране стола, где люди, собравшись вечером, не почувствовали пустого места. Об этом потом написал Твардовский:

> …Под гром пальбы прощались мы впервые
> Со всеми, что погибли на войне,
> Как с мертвыми прощаются живые.

Днем на Красной площади подростки веселились, их веселье передавалось другим. Да и можно ли было не радоваться: кончилось! Качали военных. Один офицер протестовал: «Ну меня за что?…» В ответ кричали «ура». Несколько военных узнали меня, кто-то крикнул: «Эренбург!» Начали и меня качать. Неприятно, когда тебя подкидывают вверх, а главное, неловко: я молил «хватит», но это только подзадоривало солдат, и меня подбрасывали еще выше.

«Кончилось», — я повторял это Любе, Ирине, Савичам, знакомым, чужим. Слов нет, чтобы сказать, как я возненавидел войну. Из всех человеческих начинаний, порой жестоких и безрассудных, это самое окаянное. Нет для него оправдания, и никакие разговоры о том, что война в природе людей или что она школа мужества, никакие Киплинги и киплингствующие, никакая романтика «мужских бесед у костра» не прикроют ужаса убийства оптом, судьбы выкорчеванных поколений.

Вечером передавали речь Сталина. Он говорил коротко, уверенно: в голосе не чувствовалось никакого волнения, и назвал он нас не как 3 июля 1941 года «братьями и сестрами», а «соотечественниками и соотечественницами». Прогремел небывалый салют палила тысяча орудий, дрожали стекла; а я думал о речи Сталина. Отсутствие сердечности меня огорчило, но

не удивило. Он — генералиссимус, победитель. Зачем ему чувства? Люди, слушавшие его речь, благоговейно восклицали: «Сталину ура!» Это тоже давно перестало меня удивлять, я привык к тому, что есть люди, их радости, горе, а где-то над ними — Сталин. Дважды в год его можно увидеть издали; он стоит на трибуне Мавзолея. Он хочет, чтобы человечество шло вперед. Он ведет людей, решает их судьбы. Я сам писал о Сталине-победителе. Ведь это он привел нас к победе. Древние иудеи никогда не думали, что бог любит людей: они знали, что, поспорив однажды с сатаной, Иегова убил всех сыновей и всех дочерей праведного Иова, разорил его, наслал на него проказу только для того, чтобы доказать, что Иов останется верным своему хозяину. Они не считали бога добрым, они считали его всемогущим и в благоговении не решались выговорить его имя. Когда-то В. В. Вересаев говорил мне: «В соборе святого Петра есть статуя апостола, туфля стерлась от поцелуев — металл поддался. Можно, конечно, не верить в святость Петра, но туфля производит впечатление — губы оказались сильнее бронзы…» В отличие от обычая иудеев имя Сталина произносилось постоянно — не как имя любимого человека, а как молитва, заклинание, присяга. Вересаев был прав, говоря о туфле. Когда я писал о Сталине, я думал о солдатах, веривших в этого человека, о партизанах или заложниках, о предсмертных письмах, заканчивающихся словами: «Да здравствует Сталин!» Борис Слуцкий много позднее написал:

Ну, а вас, разумных и ученых?
О, высокомудрые мужчины, —
вас водили за нос, как девчонок,
как детей, вас за руку влачили.

Вероятно, это справедливо. Вспоминая вечер девятого мая, я мог бы приписать себе другие, куда более правильные мысли — ведь я помнил судьбу Горева, Штерна, Смушксвича, Павлова, знал, что они были не изменниками, а честнейшими и чистейшими людьми, что расправа с ними, с другими командирами Красной Армии, с инженерами, с интеллигенцией дорого обошлась нашему народу. Но скажу откровенно: в тот вечер я об этом не думал. В словах, произнесенных (вернее, изреченных) Сталиным, все было убедительно, а залпы тысячи пушек прозвучали, как «аминь».

Наверно, все в тот день чувствовали: вот еще один рубеж, может быть, самый важный, — что-то начинается. Я знал, что новая, послевоенная жизнь будет трудной — страна разорена и бедна, на войне погибли молодые, сильные, может быть, лучшие;

но я знал также, как вырос наш народ, помнил мудрые и благородные слова о будущем, которые не раз слышал в блиндажах и землянках. И если бы кто-нибудь сказал мне в тот вечер, что впереди «космополиты», ленинградское дело, обвинение врачей, свирепый обскурантизм, — словом, все, что было разоблачено и осуждено десять лет спустя на XX съезде, — я счел бы его сумасшедшим. Нет, пророком я не был.

Начиная с середины апреля я располагал досугом и много думал о будущем. Порой меня охватывала тревога. Хотя в последние недели из наших газет исчезли сообщения о распрях между союзниками, я понимал, что подлинного согласия нет и вряд ли оно будет. Меня удивляло, как снисходительно говорили американцы и англичане о Франко, о Салазаре. Я боялся, что западные союзники будут добиваться такого мира, при котором немецкая военщина сможет быстро встать на ноги. В моем блокноте записана передача французского радио — беседа с одним немецким генералом, который сдался в плен американцам. Его любезно приняли в ставке; отвечая на вопросы журналистов, он сказал: «Гитлер совершил непростительную ошибку, направив удар на Запад, мы за это расплачиваемся. Я надеюсь, что ваши правительства поступят разумнее, ведь через десять лет вам придется в войне против русских опираться на Германию». Репортер возмущенно добавлял, что такие декларации могут вызвать улыбку презрения. Я слушал и не улыбался. Радиопередачи сообщали о том, что американцы ведут переговоры с адмиралом Деницем, который наконец-то нашел министров и обосновался в небольшом городе Фленсбург возле датской границы. Все поздравляли Сталина, прославляли Красную Армию, и все-таки на душе было неспокойно.

А что будет у нас после войны? Об этом я еще больше думал. Удастся ли победить зародыши национализма, расизма, которыми гитлеровцы заразили многих. Война показала не только душевную отвагу народа, но и цепкость, жадность, равнодушие; люди закалились, но и огрубели; нужны новые методы воспитания — не окрики, не зубрежка, не кампании, а вдохновение. Нужно вдохнуть в молодых начала добра, доверие, огонь, исключающий безразличие к судьбе товарища, соседа. Главное — что теперь будет делать Сталин? По поручению «Красной звезды» Ирина в марте поехала в Одессу — оттуда отправляли англичан, французов, бельгийцев, освобожденных Красной Армией. Тогда же прибыл из Марселя транспорт с нашими военноплениыми, среди них были убежавшие из плена, боровшиеся в отрядах французских партизан. Ирина рассказала, что их встретили, как преступников, изолировали, говорят, будут

отправлять в лагеря. Я думал о различных указах, продиктованных Сталиным, и минутами спрашивал себя: не повторится ли тридцать седьмой? Но опять меня подводила логика, я говорил себе: в тридцать седьмом был страх перед фашистской Германией и открыли огонь по своим. Теперь фашизм разбит. Красная Армия показала свою силу. Народ пережил слишком много… Прошлое не может повториться. Еще раз я принимал свои желания за действительность, а логику — за обязательный предмет в школе истории.

Я говорю об этом потому, что хочу понять, почему поздно вечером того необычайного дня я написал стихотворение с заголовком «Победа». Оно недлинное, и я его приведу целиком:

О них когда-то горевал поэт;
Они друг друга долго ожидали,
А встретившись, друг друга не узнали —
На небесах, где горя больше нет.
Но не в раю, на том земном просторе,
Где шаг ступи — и горе, горе, горе,
Я ждал ее, как можно ждать любя,
Я знал ее, как можно знать себя,
Я звал ее в крови, в грязи, в печали.
И час настал — закончилась война.
Я шел домой. Навстречу шла она.
И мы друг друга не узнали.

А. А. Фадеев как-то спросил меня, когда я написал эти стихи. Я ответил, что в День Победы. Он удивился: «Почему?» Я честно признался: «Не знаю». Да и теперь, вспоминая тот день, я не понимаю, почему именно такой увидел я долгожданную Победу. Вероятно, в природе поэзии чувствовать острее, да и глубже; в стихах я не пытался быть логичным, не утешал себя, я передавал недоумение, тревогу, которые таились где-то в глубине.

Я стараюсь как можно точнее восстановить тот далекий день. Я перечитал написанное и вдруг смутился: читатель может подумать, что я только рассуждал, тревожился. А я радовался вместе со всеми, улыбался, поздравлял. Победа! Я вспоминал ночи Мадрида, эсэсовцев на парижских улицах, Киев. Бог ты мой, какое счастье! Что там ни говори, начинается новая эпоха. Наш народ показал свою силу, плохо подготовленный, застигнутый врасплох, он не сдался, стоял насмерть под Москвой, у Волги, повернулся лицом к захватчику, повалил. Я вспомнил статью в «Крисчен сайенс монитор»: «Может быть, последующую эпоху окрестят «русским веком»…»

Все это размышления над будущим. А хочется мне кончить рассказ о девятом мая другим: это был день необычайной близости всех, и сказывалась она не только в том, что незнакомые люди на улице целовались, — в улыбках, в глазах, в каком-то тумане сочувствия, нежности, который ночью окутал город.

Последний день войны… Никогда я не испытывал такой связи с другими, как в военные годы. Некоторые писатели тогда написали хорошие романы, повести, поэмы. А что у меня осталось от тех лет? Тысячи статей, похожих одна на другую, которые теперь сможет прочитать только чрезмерно добросовестный историк, да несколько десятков коротеньких стихотворений. Но я пуще всего дорожу теми годами: вместе со всеми я горевал, отчаивался, ненавидел, любил. Я лучше узнал людей, чем за долгие десятилетия, крепче их полюбил столько было беды, столько душевной силы, так прощались и так держались.

Об этом тоже я думал ночью, когда погасли огни ракет, стихли песни и женщины плакали в подушку, боясь разбудить соседей, — о горе, о мужестве, о любви, о верности.

Книга VI

1

Не знаю, правильно ли я поступил, закончив пятую часть моей книги маем 1945 года: ведь все, о чем мне предстоит рассказать в последней части, началось год спустя.

А события и переживания 1945 года были еще тесно связаны с войной. На Потсдамской конференции, на встречах министров иностранных дел в Лондоне и в Москве наши дипломаты спорили с англосаксами, но в итоге еще принимались компромиссные решения. Еще продолжался обмен восторженными телеграммами и орденами. Повсюду шли процессы над гитлеровцами и над их соучастниками; прокуроры узнали страдную пору. Судили и казнили Лаваля, Квислинга. Долго длился суд над палачами Бельзена. В Бельгии, в Голландии, в Италии, в Югославии, в Польше, у нас — что ни день печатали обвинительные заключения. Судили престарелого Петена, и это было понятно — он сыграл слишком видную роль в уничижении Франции. Судили даже норвежского писателя Кнута Гамсуна (автора чудесных романов, которыми я зачитывался в молодости), хотя ему было восемьдесят пять лет и Гитлером он восхитился, скорее всего, от старческого слабоумия.

Еще юлил перепуганный Франко. Еще сопротивлялась Япония. Помню день, когда я прочитал об атомной бомбе. Даже пережитые нами ужасы не смогли вытравить до конца всех человеческих чувств, и вот произошло нечто, бесконечно удалявшее нас от привычных представлений о совести, о духовном прогрессе. А я все еще продолжал верить в слова Короленко, выписанные когда-то гимназистом четвертого класса: «Человек создан для счастья, как птица для полета». Более оглушительного опровержения XIX веку, чем Хиросима, нельзя было придумать.

Люди непризывного возраста как-то сразу почувствовали, до чего они устали; пока шла война — держались, а только спало напряжение — многие слегли: инфаркты, гипертония, инсульты; зачернели некрологи.

В июле двинулись на восток первые эшелоны демобилизованных. Солдаты вернулись в города, разбитые бомбами, в сожженные деревни. Хотелось отдохнуть, а жизнь не позволяла. Снова я увидел душевную силу нашего народа — жили трудно, многие впроголодь, работали через силу, и все же не опускали рук.

В аудиториях университетов, институтов рядом с зелеными юнцами сидели тридцатилетние ветераны, прошагавшие от Волги

до Эльбы. Один мне рассказывал: «Приходится корпеть над книгой полночи — забыл, начисто забыл! А ведь проходил, сдавал на аттестат…» Я подумал, глядя на него: конечно, трудно, труднее, чем ему самому кажется, — у него ведь второй аттестат, вторая зрелость… Мы слишком хороню помнили, что у нас позади, а думать старались о будущем, загадывали, мечтали — и про себя и вслух.

Было много различных драм; один рассказывал, что потерял квалификацию, другой жаловался — не дают жилплощади. Молодой лейтенант угрюмо повторял: «Оказывается, и он Петя, как нарочно…» Он приехал к себе в Муром и увидел, что у жены новый муж, не писала, чтобы не огорчить, ко всему новый муж — тезка! Лейтенант чуть было не убил обоих, потом сели ужинать, проводили его на вокзал. Он решил ехать в Таллинн — там демобилизовался, а но дороге зашел ко мне «отвести душу».

Профессор сказал мне об усатых, мрачных первокурсниках: «Совершенно от рук отбились…» Я про себя усмехнулся: я ведь тоже отбился. Еще в 1944-м я начал подумывать о романе, а сел за «Бурю» только в январе 1946-го — долго не мог взглянуть на войну со стороны. Сначала я сам не понимал, что со мной происходит; потом, приглядываясь к другим, понял, что от войны не так легко отделаться — мы все ею отравлены.

Прежде я мечтал: кончится — отдохну, поброжу по лесу, по лугам и сяду за роман. Оказалось, что я не могу оставаться на одном месте. Я начал колесить.

В конце июня я поехал в Ленинград, я там не был с июня 1941-го. (Каждый раз, когда я приезжаю в этот город, он меня потрясает; после Москвы — а я люблю Москву, в ней прошли детство, отрочество — отдыхают глаза: улицы Ленинграда связаны с природой, небо, вода входят в городской пейзаж.) Повсюду виднелись следы страшных лет, что ни дом — то рана или рубец. Кое-где еще оставались надпии, предупреждавшие, что ходить по такой-то стороне улицы опасно. Многие дома были в лесах; работали главным образом женщины. Люди шутя говорили о «косметическом ремонте». Однако не дома наводили грусть — люди. Я всматривался в толпу: до чего мало коренных ленинградцев! В большинстве это приехавшие из других городов, городков, деревень. А пережившие блокаду часами рассказывали о ее ужасах; то, что они говорили, было известно, но всякий раз сжималось горло.

Девятого июля было солнечное затмение. Люди стояли на улицах, смотрели. Вдруг потемнело, подул холодный ветер, заметались птицы. Мальчик лет десяти скептически сказал: «Это что, пустяки! Вот когда с Вороньей горы стреляли…»

В букинистических магазинах лежали груды редких книг — библиотеки ленинградцев, погибших от дистрофии. Я взял одну книгу в руки. Продавец сказал: «Поздравляю». Но я не мог даже порадоваться. Это был сборник стихов Блока с надписью неизвестной мне женщине. Я и теперь не знаю, случайный ли это автограф или страница из жизни Блока; не знаю, у кого была книга до войны — у старой знакомой поэта, у ее детей или у библиофила. Может быть, это фетишизм, но, взглянув на почерк Блока, я вспомнил Петроград давних лет, тени умерших, историю поколения.

Я увидел афишу: «Выставка служебных собак и собак, уцелевших при блокаде». На почетном месте сидела овчарка Дина с оторванным ухом; надпись гласила, что она обнаружила пять тысяч мин. Собака печально глядела на посетителей, видимо не понимая, почему на нее смотрят, — ведь она делала только то, что делали люди, и отделалась легко — одним ухом. Собак, переживших блокаду, было, кажется, пятнадцать — маленькие, отощавшие дворняжки; их держали хозяйки — тоже маленькие, высохшие старушки, которые делились со своими любимцами голодным пайком.

(Один писатель написал мне, что в этой книге я слишком много пишу о собаках — «барские причуды». Я вспомнил, читая его письмо, не только о Каштанке, но и о ленинградских старушках. Еще раз повторяю: моя книга — сугубо личный рассказ об одной жизни, одной из множества; с таким же правом меня можно обвинить, что я пишу слишком много о живописи и мало о музыке; то и дело вспоминаю Париж и не упоминаю о Чикаго, говорю о евреях, а умалчиваю об исландцах.)

На выставке я вспомнил историю двух ленинградских пуделей Урса и Куса: они принадлежали И. А. Груздеву, биографу Горького, одному из «серапионов». В начале блокады жена Груздева принесла хлеб — паек на два дня. В передней зазвонил телефон; она забыла про голодных собак, а вспомнив, побежала в комнату. Пуделя глядели на хлеб и роняли слюну; у них оказалось больше выдержки, чем у многих людей. Илья Александрович вскоре после этого застрелил Урса и его мясом кормил Куса, который выжил, но стал недоверчивым, угрюмым. Я никому не хочу навязывать мои вкусы. Можно не любить собак, но над некоторыми собачьими историями стоит задуматься.

В Пушкине на стенах разбитого дворца я увидел испанские надписи — здесь забавлялись наемники из «голубой дивизии». Вероятно, думали, что не сегодня завтра пройдут по улицам Ленинграда… Я поймал себя на том, что все время думаю о войне. Анна Ахматова писала о Пушкине в царскосельском парке:

Здесь лежала его треуголка
И растрепанный том Парни…

Статую Пушкина нашли в земле — ее успели закопать: нашли в стороне и треуголку. Статуя богини мира лежала опрокинутая. О ней когда-то писал Иннокентий Анненский, и я часто повторяю эти строки:

О, дайте вечность мне, — и вечность я отдам
За равнодушие к обидам и годам.

Нет, мена не может состояться, и не только потому, что у нас нет вечности, но и потому, что нельзя забыть ни годов, ни обид.

В Петергофе дворец был разрушен; говорили: «Отстроим»; я понимал, что будет копия, новое здание. Немцы вырубили три тысячи старых деревьев.

Восьмого июля в город вошли его защитники — Ленинградский гвардейский корпус. Я стоял возле Кировского завода. Старые рабочие угощали солдат стопочкой. Женщины принесли полевые цветы, расцветшие на пригородных пустырях. Все было необычайно просто и трогательно.

Вечером Л. А. Говоров пригласил меня на дачу. В чудесную белую ночь на веранде мы вспоминали военные годы. Потом Леонид Александрович заговорил о красоте Ленинграда и вдруг стал читать:

Какая сила в нем сокрыта!
А в сем коне какой огонь!
Куда ты скачешь, гордый конь,
И где опустишь ты копыта?

Помолчав, он добавил: «Народ поумнел, это бесспорно…»

Мы как-то сидели в писательской компании, рассуждали о том, о сем. Берии присвоили маршальское звание. О. Ф. Берггольц вдруг спросила меня: «Как вы думаете: может тридцать седьмой повториться, или теперь это невозможно?» Я ответил: «Нет, по-моему, не может…» Ольга Федоровна рассмеялась: «А голос у вас неуверенный…»

Ко мне пришла девушка, сказала: «Вы, наверно, будете писать про войну. Я всю блокаду здесь прожила, работала, вела дневник. Почитайте, может быть, вам пригодится. А потом отдайте мне — для меня это память…» Ночью я стал читать тетрадку. Записи

были короткими: столько-то граммов хлеба, столько-то градусов мороза, умер Васильев, умерла Надя, умерла сестра… Потом мое внимание привлекли записи: «Вчера всю ночь — «Анну Каренину», «Ночь напролет «Госпожа Бовари»…» Когда девушка пришла за своим дневником, я спросил: «Как вы ухитрялись читать ночью? Ведь света не было». — «Конечно, не было. Я по ночам вспоминала книги, которые прочитала до войны. Это мне помогло бороться со смертью…» Я знаю мало слов, которые на меня сильнее подействовали, много раз я их приводил за границей, стараясь объяснить, что помогло нам выстоять. В этих словах не только признание силы искусства — в них справка о характере нашего общества. Когда-то Юрий Олеша написал пьесу; героиня вела два списка: в один заносила то, что называла «преступлениями» революции, в другой — ее «благодеяния». О первом списке в последние годы немало говорили, только преступления никак нельзя приписать революции, они совершались наперекор ее принципам. Что касается «благодеяний», то они действительно связаны с ее природой. Если намять мне не изменяет, в той же пьесе героиня говорит, что революция дала в руки пастуха книгу и глобус. Девушка, которая вела дневник, родилась в 1918 году в глухой деревне Вологодской губернии, училась в педагогическом институте, в начале войны стала санитаркой. Не только то, что в страшные ночи блокады она могла вспоминать прочитанные раньше прекрасные книги, но и то, что она удивилась моему удивлению, связано с сущностью советского общества. Сознание этого меня поддерживало потом в самые трудные минуты.

Я пошел к Лизе Полонской. Она рассказывала, как жила в эвакуации на Каме. Ее сын в армии. Мы говорили о войне, об Освенциме, о Франции, о будущем. Мне было с нею легко, как будто мы прожили вместе долгие годы. Вдруг я вспомнил парижскую улицу возле зоологического сада, ночные крики моржей, уроки поэзии и примолк. Горько встретиться со своей молодостью, особенно когда на душе нет покоя; умиляешься, пробуешь подтрунить над собой, нежность мешается с горечью.

Я вернулся в Москву, и сразу же захотелось уехать. Пришел П. И. Лавут, который когда-то устраивал вечера Маяковского (в одной поэме Маяковского есть о нем: «Мне рассказывал тихий еврей, Павел Ильич Лавут…»). Павел Ильич предложил устроить вечера, спросил, куда я хочу поехать. Я почему-то выбрал Ярославль и Кострому. Пароход долго шел по ровному каналу. Люди рассказывали о невернувшихся, сравнивали рынки в различных городах, некоторые пили, пели. Я старался спать, но не спалось.

Кострома мне понравилась — большие площади, Гостиный двор. Табачные ряды. Ипатьевский монастырь. Да и встретили меня приветливо. Секретарь обкома позвал обедать. (Лавут умилился.) Молодые поэты собрались, читали свои стихи. В музее мне показали фонды. В первые годы революции из Москвы присылали в провинциальные музеи холсты молодых художников, и картины мне напомнили улицы Москвы того времени — кубисты, конструктивисты, супрематисты. Один натюрморт привлек мое внимание. Оказалось, это этюд Коровина. Я удивился, почему его нельзя повесить в зале. Директор даже руками всплеснул: «Что вы! Это влияние импрессионистов, отход от реализма».

После вечера ко мне подошел капитан в отставке, представился: «Ваш читатель». Он шагал, прихрамывая, по длинной улице. «Вот вы опишите, например, такой факт. Я, скажем, всю войну провоевал, начал во Львове, ходил в разведку, четыре ранения, последний раз под Будапештом, про меня, например, никто не говорил, что трус. А вот вчера вызывает он меня в горсовет. Начал кричать. Я-то знаю, это виноват он, он мне сам говорил, что нет толя, значит — нечего торопиться, но что скажешь: он тебе и генерал, и маршал, и господь бог. Одним словом, дал труса. А вы опишите, почему это так. Только, пожалуйста, меня не называйте — он меня в порошок сотрет, и про Кострому лучше не пишите, просто интересный факт человеческого устройства…»

В Ипатьевском монастыре я долго стоял перед старой печью; на одном изразце под двумя деревьями было написано: «Егда одно умрет, иное родится». В то лето я написал несколько стихотворений, и все про деревья. Вспоминал молодость.

Я смутно жил и неуверенно,
И говорил я о другом,
Но помню я большое дерево,
Чернильное на голубом,
И помню милую мне женщину.
Не знаю, мало ль было сил.
Но суеверно и застенчиво
Я руку взял и отпустил.
И все давным-давно потеряно,
И даже нет следа обид,
И только где-то то же дерево
Еще по-прежнему стоит.
Писал о мужестве:
Была трава, как раб, распластана,

Сияла кроткая роса,
И кровлю променяла ласточка
На ласковые небеса,
И только ты, большое дерево,
Осталось на своем посту —
Солдат, которому доверили
Прикрыть собою высоту…

Говорил о своей жизни, о том, что написал и что хотелось написать:

…Я с ними жил, я слышал их рассказы,
Каштаны милые, оливы, визы.
То не ландшафт, не фон и не убранство,
Есть в дереве судьба и постоянство,
Уйду — они останутся на страже,
Я начал говорить — они доскажут.

Стихи я писал, наверно, потому, что еще не улеглось волнение предшествующих лет; они были напечатаны и журналах «Звезда», «Ленинград». А я снова надолго расставался с поэзией.

Не помню, что было на вечере в Ярославле, но там я увидел Ядвигу. Она ласково улыбалась, как в Коктебеле. Ничего не скажешь — моя молодость меня искала…

Ядвига работала в педагогическом институте, с нею жила дочь Таня. У Тани был жених. Мне показалось, что Ядвига мало изменилась — и голос такой же, и глаза. Дочь, жених… Я вдруг почувствовал, до чего длинна жизнь. Живешь изо дня в день и не замечаешь. Наверно, старость всех настигает врасплох.

Мы ходили по набережной, смотрели старинные церкви. Кладовщица жаловалась на судьбу: дети, муж пропал без вести, пенсии не дают. Студенты спрашивали: «Скоро ли капитулирует Япония?», «Чей будет Триест — югославский или итальянский?», «Как вы относитесь к статье Александрова?», «Почему никто из писателей не написал «Войну и мир»?» На толкучке продавали кусочки сахара и трофейные кофты. А рядом шла Ядвига, как в Москве четверть века назад.

Вернувшись в Москву, я сейчас же уехал в Киев. Крещатика не было, но в каменных вазах цвела герань и милиционеры регулировали движение. Я поднялся по Институтской — вот здесь стоял дом, где я родился, — груда мусора. Сидел долго у Днепра, и снова вставала война, звонок Лапина, переправа через Днепр, годы, которые сливались в один нескончаемый день. Я подумал:

скоро сяду за книгу, — значит, война надолго застрянет в моей комнате, в голове, и сердце. Побывал у Тычины, Бажаиа, Голованивского, А. Кагана. На Подоле просидел вечер у офицера — он меня остановил на улице, сказал, что мы встречались возле Минска, позвал к себе, купил пол-литра, колбасу и долго рассказывал, как его сыновьи росли, учились, ушли на войну и не вернулись. «Почему их убили, а не меня?… Жена застряла в Киеве. В Бабьем Яру…» Я ушел от него поздно и долго бродил по горбатым улицам. Рассвело. Я задумался и вдруг понял, что стою возле каштана и разговариваю — не то с деревом, не то с самим собой. Несколько часов спустя я уехал.

В Москве ко мне пришел незнакомый человек, сказал: «Простите, что нагрянул, к вам трудно дозвониться. Я болгарский коммунист Коларов»… У нас не работал лифт, и первое, что я подумал: ведь ему под семьдесят, как он взбирался? А Василий Петрович улыбался, курил одну сигарету за другой. Он сказал, что просит меня поехать в Болгарию, написать об этой стране. «Вас читают и на Западе…» Я сразу согласился.

Несколько дней спустя мне позвонил Г. Ф. Александров и попросил зайти к нему. Он был очень любезен, лестно отзывался о моих статьях. «Мы поддерживаем просьбу болгарских друзей…» Мне вдруг захотелось спросить, почему в апреле он не ответил на мое письмо, но я понимал, что это ни к чему, — ничего он не сможет мне объяснить. Я только сказал, что хочу после Болгарии поехать в Югославию (это тоже было продолжением войны, ведь из всех захваченных гитлеровцами стран самой неукротимой оказалась Югославия). Георгий Федорович ответил: «Разумеется». Он спросил, где я печатал в последние месяцы свои статьи, хотя, конечно, знал это не хуже меня. Он посоветовал договориться с «Известиями» и посылать регулярно очерки в эту газету: «Вы ведь старый известинец…» Я зачем-то подумал вслух: «Конечно. Но я скорее собака, чем кошка, привыкаю не к месту, а к людям. Никого из тех, с кем я работал в «Известиях», не осталось… Впрочем, это безразлично, в «Известия», так в «Известия»…» Александров обрадовался, что не нужно ничего объяснять, и крепко пожал мне руку.

В двухместном купе на верхней полке лежала плохо одетая девушка, подложив под голову большущий мешок. Когда проводник предложил застелить, она вскрикнула: «Ни в коем случае!» Со мной она заговорила на второй день, узнав, кто я (не помню, как это вышло, кажется, офицер, ехавший в соседнем купе, назвал мою фамилию). Я услышал исповедь. В мешке, который я сразу заметил, материя. Она едет в украинский городок, где живет ее мать, продаст там материю, купит муку,

сало. Она студентка текстильного института, муж тоже студент — филолог. «Он только и может, что читать. А знаете, как мы живем? Не помню, когда ели досыта. Мне-то, что я крепкая, а у него открытый процесс, ему нужно усиленное питание. Вот вы его не знаете, а он необыкновенный…» И вдруг молоденькая спекулянтка стала Джульеттой, неуклюже заговорила о своей любви. Билет она получила по блату. Денег у нее мало — только на носильщика, могут при пересадке украсть мешок. Я угостил ее бутербродами, она отказалась; я положил на верхнюю полку хлеб, колбасу и услышал, как она жует. Пересадка у нее была ночью; прощаясь, она сказала: «Не думайте обо мне слишком плохо, вы — писатель, должны понять… А может быть, не стоит брать носильщика?…» (Два года спустя на читательской конференции в текстильном институте ко мне подошла студентка: «Помните?…» Я сразу вспомнил. «Ну как — взяли носильщика?» Она засмеялась: «Нет, сама дотащила».)

Офицер, который ехал в соседнем купе, вез девочку лет восьми. «Мы ее подобрали возле Барановичей, родителей немцы убили. Я после ранения служил в санбате. Она ко мне привязалась. А жена пишет: «Привези». Жена у меня больная, ее четыре раза резали. Детей нет. До войны я прилично зарабатывал. Воевал в танковой бригаде, а вот после ранения попал в санбат — руку повредило. Ну, ничего как-нибудь устроюсь. Проживем. А без детей скучно. Мне ведь сорок два… Девочка-то хорошая. Жена обрадуется»… Девочка стеснялась, не раскрыла рта.

Я побродил по Одессе, она была печальной: много развалин, попадались люди босиком, в рваной одежде. Беда не к лицу Одессе, она казалась обиженной, оборванной и заплаканной модницей. На ночь меня устроили в роскошном запущенном доме — во время оккупации там жил какой-то румынский генерал. Красивый паркет в большой комнате был обуглен: вероятно, пробовали развести костер. Над широкой хромой кроватью висела разбитая венецианская люстра.

Я лег и вдруг почувствовал, что смертельно устал. Конечно, нужно было летом отдохнуть, но отдыхать я не умею. Хочется посмотреть незнакомые места. Начнутся митинги, доклады. Придется диктовать статьи по телефону. Потом сяду за роман и, наверно, снова не додумаю…

Как в 1932 году в Париже на улице Котантен, я начал судить себя. Только в Париже я сердился на раздумья, на то, что остаюсь в стороне от жизни, а теперь упрекал себя в пренебрежении к искусству, в поспешности, в нежелании додумать. Было, однако, нечто общее между старыми и новыми обвинениями. Я вспомнил стихи, написанные два месяца назад:

Я смутно жил и неуверенно,
И говорил я о другом…

Вот это правда, слишком часто говорил о другом — не о том, что для меня было самым важным. Внешне я выгляжу, скорее, мрачным, а внутри много легкомыслия. Пора бы додумать… Прежде мне казалось, что старость легка, естественна — постепенно замирают страсти, ослабевают желания. Кажется, именно в ту ночь в Одессе под разбитой люстрой я впервые понял, что все это вздор, что иссякают не страсти, а силы.

На следующий день я улетел в Бухарест, откуда рассчитывал проехать в Софию. Самолет был еще военного времени — железные скамейки. Над Черным морем болтало, а я записывал про офицера с девочкой, про Одессу, про Пушкина, про свое треклятое легкомыслие. Вдруг самолет пошел на посадку (снова я чего-то не додумал, не дописал!). Я увидел на аэродроме огромную толпу: встречали премьера Грозу, который вместе с Татареску возвращался из Москвы.

Ко мне подошли секретарь посольства С. А. Дангулов и майор Леви из контрольной комиссии, сказали, что я должен задержаться, посмотреть Бухарест, Румынию. Уговорить меня было нетрудно. Майор повез меня в гостиницу. Было по-летнему жарко, шумно, пестро, и, забыв про ночные раздумья, я жадно вглядывался в чужие лица. Это было семнадцать лет назад, и теперь я твердо знаю, что в Одессе ругал себя за дело. Некоторые пословицы не врут, и горбатого действительно исправит только могила.

2

Я был прав в своих опасениях: замелькали лица, города, страны. Для того, чтобы по-настоящему узнать страну, нужно в ней пожить, обзавестись друзьями и недругами, узнать не только радость, но и беду, даже на досуге поскучать. Мне предстояло другое, — за четыре месяца я побывал в семи странах: Румынии, Болгарии, Югославии, Албании, Венгрии, Чехословакии и Германии. Когда-то люди мечтали о ковре-самолете, ковры теперь летают по расписанию, и проводница с затверженной улыбкой объявляет: «Мы совершим полет на высоте девяти тысяч метров, пассажирам будет подан обед…» Но об одном атрибуте старых сказок я продолжаю мечтать — о шапке-невидимке. В Болгарии или в Югославии я иногда вымаливал выходной день или, как школьник, убегал, шел в мастерскую художника, в темной корчме пил сливовицу с бывшими партизанами, находил полюбившегося мне писателя не на конференции, не в помещении Союза, а в укромном местечке, где можно было поговорить по душам. Это были короткие передышки. Каждый день приходилось делать доклад или выступать на митинге, давать интервью, присутствовать на официальных церемониях, осматривать бывшие или будущие дворцы, обедать с министрами, с военными, даже с монахами. Наспех в номере гостиницы я писал статьи для «Известий», как десять лет назад; но тогда все для меня было внове, а теперь я частенько поглядывал с неприязнью на клавиши пишущей машинки.

Чехов, будучи еще Антошей Чехонте, говорил, что медицина — его законная жена, а литература — любовница; медицине он долго учился, получил диплом, практиковал. А я, когда мне не было и шестнадцати лет, занялся политикой. Потом?… Потом настала эпоха, когда политика занялась мною, как сотнями миллионов других людей, и походило это не на упреки ревнивой жены, а на приказы повелительницы эпохи матриархата, которая требовала не любовных признаний, а шкуры убитого зверя.

Шел первый послевоенный год, и над разоренной, измученной Европой стоял предрассветный туман. По Библии, бог, приступив к сотворению мира, в первый день отделил свет от тьмы, что касается тверди и хляби, то их разделение он отложил на завтра. В 1945 году еще никто не решался рассечь антигитлеровскую коалицию ни в международных отношениях, ни внутри отдельных государств. Вероятно, одни играли в покер, другие предавались иллюзиям. Со стороны это выглядело идиллично. На открытии французского Учредительного собрания

на правительственной скамье сидели рядом генерал де Голль и Морис Торез. А в парке возле Бухареста я увидел молодого короля Михая, которому незадолго до того вручили советский орден «Победы»; Георгиу Деж был всего-навсего министром путей сообщения.

Года два спустя все стало на свое место. В мае 1947 года из французского правительства были удалены министры-коммунисты, а в ноябре того же года из состава румынского правительства вывели либерала Татареску и правого социал-демократа Петреску. В Румынии, в Болгарии, в Венгрии меня принимали, как говорил парикмахер Дома писателей, «тузы и шишки»; большинство их быстро сошло со сцены — одних посадили, другие эмигрировали, третьи получили синекуру и могли вспоминать бурное прошлое.

Были и в 1945 году на Балканах партии или группы, открыто нападавшие на коалиционные правительства — в Румынии сторонники Маниу, и Болгарии — Петкова, в Югославии — Грола. Я встречался с некоторыми из них и понял, что они рассчитывают на обострение отношений между Советским Союзом и западными державами; им хотелось, чтобы твердь поскорее отделилась от хляби (или наоборот), и они не понимали, что мечтают о своей гибели.

Для того чтобы разъяснить положение читателям газеты, мне приходилось многое изучать, встречаться с румынскими помещиками, с болгарскими экспортерами табака, с хорватскими епископами. Расскажу коротко об одной истории. Для Болгарии экспорт табака представлял первостепенное значение. На юге страны разводят «джебел» это самый дорогой табак; американцы его примешивают к «Виргинии». Неожиданно американские табачные фирмы заявили, что не могут покупать у болгар «джебел», поскольку болгарское правительство не признано Соединенными Штатами. На Московском совещании министров иностранных дел была принята рекомендация: пополнить болгарское правительство еще двумя министрами, представляющими силы, не входящие в Отечественный фронт. Министров болгары нашли, только и они не пришлись по вкусу американцам. «Джебел» лежал непроданный.

За кулисами шли черновые репетиции 1947 года. А на сцене продолжалась пастораль. Бирнс на фотографиях обязательно держал под руку Молотова. Трумэн слал умилительные телеграммы Сталину. В Белграде на приеме английский генерал добрый час расточал комплименты овчарке маршала Тито. В Бухаресте французский посол позвал меня на обед, пригласил румын, и пили мы, разумеется, за «вечную дружбу».

Я был в румынской деревне Кошерени; разговаривал с крестьянами; они не знали, радоваться ли им аграрной реформе, боялись, что помещик Константинеску отберет землю назад, да еще выпорет за захват чужого добра. Я пошел к помещику; он принял меня любезно, угостил цуйкой. Когда я заговорил о земельной реформе, он вежливо сказал: «Это дело еще неясное…» Я попытался понять, на что он надеется. Он прямо не отвечал, но перевел разговор на ужасающую силу атомных бомб.

В Будапеште в ресторане при гостинице «Бристоль» можно было прекрасно пообедать. За обед я заплатил пятнадцать тысяч пенго, а средний заработок служащих составлял сто пятьдесят тысяч. Там я увидел американских и английских офицеров. За некоторыми столиками сидели спекулянты. Один венгр, подвыпив, подошел к американцам, поднял стакан с вином и громко сказал: «За наше вторичное освобождение!..»

О войне трудно было забыть: она напоминала о себе на каждом шагу. При мне в Будапеште торжественно открыли первый мост, соединявший Пешт с Будой. А прекрасная Буда с ее пышным и легкомысленным барокко казалась фантастическим нагромождением развалин. Я вспоминал венгров в Воронеже, но победа позволяла многое увидеть по-другому. Особенно больно было смотреть на развалины тех городов, которые нельзя отстроить: Буды, Дрездена, Нюрнберга. Минск отстроили, а вот фрески Спаса-Нередицы в Новгороде нельзя восстановить. Конечно, для бездомного человека всего важнее крыша, но проходит год или десять лет, он живет в новом доме, забыл про голод и холод и начинает тосковать о красоте, а ее нельзя возвратить никакими планами. Я видел развалины Плоешти, Софии, Задара, Подгорицы, Фиуме, Ниша, Корчи, Брно, потом немецких городов. Бог ты мой, как разбитые дома похожи один на другой! Нужно было сосредоточиться, чтобы понять: это Подгорица, а не Ржев, София, а не Минск.

Повсюду люди оплакивали погибших, тени мертвых продолжали жить среди живых, тени убитых в Лике, в Черногории, в Словакии, в болгарской Дупнице. В Югославии женщина рассказала, что у нее было семеро детей, все погибли. В Праге я узнал подробности расстрела Ванчуры, которого хорошо помнил, увидел лагерь смерти Терезин. Черногорцев перед войной было четыреста тысяч, погибло восемьдесят пять тысяч.

Балканы, Центральная Европа были разорены. Я записал в книжечке, что можно было найти в магазинах различных стран: «Подсвечники (свечей нет), масленки (нет масла), бумажные цветы, ванильный порошок, несгораемые шкафы, люстры, красный перец, шнурки для ботинок (люди ходят в драной обуви,

встречал босых)». В Будапеште продавали на улицах тоненькие ломтики тыквы. Одна сигарета стоила двести пятьдесят пенго. В Болгарии не было молока; прежде чем мне об этом сказали, я это увидел, глядя на детишек. В Черногории люди голодали; местные власти говорили, что нет грузовиков — нельзя привезти муку. Албанские солдаты на параде маршировали босиком. Всюду шли нескончаемые разговоры о карточках, о «черном рынке», о баснословных ценах. Самым модным предметом стали поместительные дамские сумки, в которые можно было упрятать случайную покупку — кусок мыла, баклажаны, кофе из цикория, кормовую репу. В Германии я увидел сумки (у нас их прозвали «авоськами»), кокетливо обшитые орденскими ленточками — кто-то раздобыл партию и, главное, нашел применение.

Одни жили в оцепенении, выходя на улицу — пугливо озирались, если мечтали о чем-нибудь, то только о довоенном обеде. Других била лихорадка митингов, шествий, песен. На площадях югославских городов молодые до полуночи танцевали коло.

В самом начале поездки, переправившись на пароме через Дунай, я оказался в болгарском городе Русс. Меня подняли и долго несли на руках: таков обычай. Признаться, это не легче, чем когда тебя качают. То же самое повторялось в каждом болгарском городе: для молодежи это было и выявлением чувств, и спортом, они раз десять обегали площадь, и никакие просьбы спустить меня на землю не помогали.

В один из последних вечеров в Софии меня повели в театр на «Трубадура» и в антракте объявили, что я должен выйти на сцену. Там стояли министр искусств Димо Казасов, различные официальные лица, писатели, певцы и певицы в средневековых костюмах. Министр вручил мне орден Святого Александра, который надо носить на шее, а к левому боку прикреплять дополнительно большую звезду. Зал неистовствовал, я же, как актер-дебютант, готов был от растерянности провалиться в люк. В югославском Сплите тысячи людей обязательно хотели пожать мне руку. Я думал, что не выдержу. В Тирану я приехал вечером, вышел, усталый, из машины после рытвин, ухабов — и сразу меня втолкнули в театральный зал. Это было 7 ноября, в годовщину Октябрьской революции, театр был набит. На сцене танцевали; один из танцоров что-то сказал на непонятном мне языке, все начали аплодировать, кричать, я тоже зааплодировал, потом оказалось, что аплодируют мне, я уж не понимал, где актеры, где министры, а темперамент у албанцев южный; мне показалось, что это длится вечность. На озере Охрид албанцы торжественно передали меня македонцам, и сейчас же начался очередной

митинг.

Балканы я увидел впервые. Конечно, за два месяца трудно разобраться в пестрой жизни, в незнакомых нравах, но я старался повидать разных людей, понять характер стран, непохожих одна на другую.

Румыния меня поразила своими противоречиями. В центре Бухареста еще сохранялся былой лоск, а в двухстах километрах от столицы, в угольном бассейне Жиу, многие жили, как звери, — в пещерах. Впрочем, и в самом Бухаресте в контрастах не было недостатка: навстречу элегантной даме шла босая крестьянка в домотканой одежде, волы задерживали министерский «кадиллак». Я видел роскошные особняки и курные избы. Меня позвал к себе меценат, изысканно накормил, говорил, что в Румынии хорошо знают Лотреамона, Бретона, Джойса. А в деревнях я видел, как крестьяне вместо подписи ставили крестик. Из семи тысяч врачей четыре тысячи работали в столице; крестьяне умирали по старинке. Румынию часто поражает засуха; 1945 год был особенно жестоким. Крестьянки плакали, вспоминая мужа или сына; они не понимали, почему была война, говорили: «Угнали в Россию, потом сказали, что убит…»

Меня привлекало добродушие, норой легкомыслие. Там, где еще были мамалыга и вино, люди умели повеселиться. Случайно я попал на деревенскую свадьбу. Молодая согласно обычаю притворно поплакала и пошла танцевать. Носили елку с подвешенным хлебом. Пили цуйку — сливовую водку, пили из плоских деревянных фляг, пестро расписанных. Скрипач играл всю ночь. Я отдохнул от светских приемов: про меня знали только, что я — русский, видели, что я не собираюсь ничего отобрать, а старый хозяин сказал: «Нежданный гость — это на счастье…»

В Румынии было много одаренных художников. Я запомнил полотна Изера, Паллади, Топицы. Один министр поспешно сказал мне: «Это, знаете, продукция прошлого, влияние Сезанна и других формалистов. У нас художники издавна были искалечены французской живописью…» Услышав, что холсты мне нравятся, он просиял: «Мне тоже нравится я ведь люблю живопись».

Красная Армия освободила многие страны, советский народ показал самоотверженность, пришел на помощь вчерашним противникам. А вот навыки периода, именуемого теперь «культом личности», сбивали с толку многих. Самым крупным поэтом Румынии был Тудор Аргези. Я прочитал его стихи в посредственном французском переводе и сразу понял, что это настоящая поэзия. Познакомился я с ним на моем докладе; потом мы встретились, поговорили. Ему тогда было шестьдесят пять лет.

Большая душевная сложность не помешала ему сохранить в человеческих отношениях сердечность, простоту. В фашистское время он узнал тюрьму, концлагерь. Однако на него косились: «декадент», «западник», «индивидуалист». Он переживал незаслуженные обиды с достоинством. После 1956 года многое изменилось. Начали переиздавать и старые книги Аргези; а когда я приехал в Бухарест несколько лет назад, я услышал: «У нас такой поэт, как Аргези!..»

Я познакомился с Михаилом Садовяну, мы потом вместе поехали в Болгарию, подолгу беседовали, и я его полюбил. У него была большая голова старого льва, а сердце очень доброе, вот уж кого трудно было ожесточить. Он был на десять лет старше меня, душевно сложился в прошлом столетии. В нем было редкое сочетание подлинной народности и высокого мастерства. Его знали все, вероятно, это помогло ему в трудную пору конца сороковых годов; люди, не понимавшие искусства, да и не любившие его, робели перед кротким Садовяну — вдруг вспоминали, что он классик. А Садовяну был не свадебным генералом, но художником, любил в искусстве и то, что, казалось, ему было чуждо. Он ценил далекого ему Аргези и терпеть не мог звонких стихов, написанных на заказ для газеты; любил настоящую живопись, отворачивался от огромных полотен, якобы изображавших жизнь новой Румынии. Однажды он мне сказал: «Мы это заслужили — слишком велик был разрыв между нами и миллионами неграмотных крестьян. Конечно, у этих крестьян были хороший вкус, фантазия, любовь к прекрасному, — кажется, нигде не было такого богатого народного искусства. Но крестьянин, когда он приезжает в город, теряет эстетические нормы, которые составляли его душевное богатство. Ему нравятся пошлые статуэтки, мещанская мебель, портреты с выражением в глазах, песенка из кинофильма. А вы послушайте настоящие народные песни, не те, что обработаны для ансамблей… Вторичный расцвет искусства придет лет через двадцать — тридцать, когда вырастут другие люди, с другими нормами. Но я не ропщу — хорошо, что учат грамоте, строят для рабочих дома, начинают есть досыта. Значит, придет время и для искусства…» Садовяну был членом Комитета по премиям «За укрепление мира». Каждый год он приезжал в Москву, и хотя в те времена трудно было разговаривать по душам, мы говорили с Садовяну о том, что нам было близко и дорого. Он долго болел и умер в 1961 году, в возрасте восьмидесяти лет.

Болгария показалась мне цивилизованной, грамотной, скромной и на редкость демократичной. Характер у болгар сдержанный — никакой «души нараспашку», страсть скрыта.

Почти в каждом селе я видел «читалище» библиотеку; крестьяне читали не только газеты, но и романы, некоторые — даже стихи.

На софийском вокзале меня встретил боевой товарищ Мате Залки генерал Петров, он же помощник военного министра Фердинанд Козовский, с большой группой болгар, сражавшихся в Испании. Я сразу оказался среди старых друзей. Через несколько дней я увидел, что в Болгарии живы давние традиции революционной борьбы. Во время фашизма партизаны сражались и гибли: война началась задано до наступления Красной Армии.

Встретил я Стоянова, которого знал по Парижскому конгрессу писателей. Подружился с председателем Союза писателей Константиновым. Несмотря на свой пост, он говорил со мною откровенно, боялся упрощения, нивелировки в искусстве. Его сестра была художницей, обожала Сезанна, рассказывала, что теперь берут верх художники академического направления. О том же говорил и Абрешков, и молодой художник Альшех — племянник Паскина. На любви к Илие Бешкову сходились все: для людей, опасавшихся искусства, он был полезен — рисовал карикатуры, содержание которых было понятно. Другие ценили в нем художника. Он хорошо рисовал; умел выпить; играл на дудочке, знал песни, обычаи, мечты народа, не приспособлялся к собеседнику, а приспособлял его к искусству.

Среди старшего поколения писателей я запомнил Елина Пелина и его чудесные слова: «Проза должна быть плотной, а многие пишут так, что идешь по болоту, и если не завязаешь, то только потому, что после первой страницы знаешь, что будет на последней, это не проза, газета…» Поэтесса Елисавета Багряна как-то на вечере читала свои стихи, нежные и чистые. Со мною сидел рядом чиновник, приставленный к литературе, он сказал: «Хорошо, но, пожалуй, для наших дней чересчур субъективно. Вроде вашей Ахматовой…» Это было в 1945-м, а не в 1946-м, и я не стал спорить. Подружился я с молодым поэтом Младеном Исаевым.

Я поехал в Бояну — посмотреть фрески XIII века. Историки искусств долго не замечали славянского Возрождения, относили живопись Болгарии, Македонии, Сербии к византийскому искусству. А портреты Бояны или Охрида так же отличаются от отвлеченности, жесткости и логичности византийского искусства, как работы Андрея Рублева от работ его учителя Феофана Грека. Рублев видел древнегреческие вазы, знал литературу Эллады; у южных славян перед глазами были памятники античного мира. Византия была не учителем, а, скорее, почтальоном.

(В конце сороковых годов, когда, по указанию Сталина, у нас культивировалась «самобытность», вспомнили даже князя Юрия

Долгорукого, но не великого живописца начала XV века Андрея Рублева. Однажды на приеме я разговаривал с К. Е. Ворошиловым. К нему подошел художник, чьи полотна (или копии полотен) висели тогда во всех официальных местах, и, услышав, что я назвал Рублева, усмехнулся: «Он иконки любит…»)

Потом на берегу Охридского озера, в окрестностях Прилепа и Скопле я увидел фрески XI–XIII веков. Эта живопись на сто — двести лет предшествует фрескам Джотто в Падуе. Печально, что у славянского Возрождения было только раннее утро — в конце XIV столетия турки захватили Болгарию и Сербию.

Югославия в ту осень переживала гордость освобождении; люди были приподняты, спорили, восторгались, и нельзя было не поддаться внутреннему веселью, которое, несмотря на потери, разрушения, голод, охватывало народ. Я увидел своеобразную страну или, вернее, несколько стран в одной. Можно ли было не влюбиться в мягкую красоту Далмации, в дворцы Возрождения, в соперницу Венеции Дубровник, в вычурные барочные особняки Загреба на фоне охровых и бледно-лимонных холмов, в чистенькую, нарядную Любляну, эту родственницу Кракова и Праги, в трагическую Черногорию? Я вспоминаю месяц, когда я ездил по непроезжим дорогам Югославии, как месяц гордости, горя и красоты.

Естественно, что в такой стране пластические искусства должны были расцвести. Я любовался полотнами Луберды, Тарталии и других живописцев, ходил по мастерским; порой мне казалось, что я в Париже моей молодости. В Любляне я увидел работы художников-графиков; в Словении с ее высоким культурным уровнем книга была окружена заботой.

С Иво Андричем я познакомился еще в Болгарии, и мы как-то сразу поняли друг друга. Он был сдержан, молчал, когда начинались нескончаемые споры между Зоговичем и Давичо, молчал или пытался смягчить тон спора, курил сигару, чуть улыбался. Он крепко стоял на земле, может быть, и не на той, на которой что ни день происходили исторические события, а на земле искусства: не на лаве — на горе. Мы с ним погодки, и я всегда с восхищением, даже завистью думаю о моем сверстнике, который в самые шумные годы молчал и писал, писал и молчал. Когда я прочитал его романы, я увидел того Андрича, с которым беседовал. Настали горькие годы государственной размолвки. В апреле 1949 года мы встретились с Андричем на Парижском конгрессе мира; встретились как друзья; потом много лет я его не видел, но всегда он пользовался оказией, чтобы передать привет. Весной 1965 года я поехал к нему в домик на Черногорском

побережье.

Другой крупный писатель Югославии — Крлежа. Я увидел знакомое: о нем старались не упоминать. В Загребе местные руководители что-то мне нашептывали. Теперь Крлежа окружен почетом, а тогда ему было трудно.

В Дубровнике, когда я стоял на горе, ко мне подошел пожилой человек в крылатке: «Не узнаете?…» Это был друг моей молодости, польский композитор Роговский. Встречался я с ним в Париже, потом в Брюсселе. Он был романтиком, да и остался им до конца: судьба занесла его в Дубровник, он говорил о городе с восхищением, хотя жилось ему нелегко.

Роговский рассказал мне о законе, принятом правительством Дубровника в XVI веке: каждый человек, решивший вступить в брак, должен был посадить семьдесят пять оливковых деревьев, — олива живет долго, триста — четыреста лет, — и правители республики считали, что нужно работать для будущего. Потом не рая в моих мыслях я возвращался к этому закону.

Черногория поразила меня примером неуступчивости, гордости, стойкости. Люди принесли немного земли на камни, и крохотные поля походили на ящики с землей. Этот бесплодный край черногорцы отстаивали много веков. Уходя на очередную войну, они целовали дверь дома.

Ночью в темной корчме Цетинье мой попутчик читал мне стихи Петра Негоша. Я тогда записал дословно, не мудря над стилем, строки, которые меня взволновали:

Этот мир — тиран даже для тирана.
И он вдвойне тяжек дли благородных сердец.
Море воюет с берегом, зной с морозом.
Ветер с ветром, зверь со зверем,
Народ с народом, человек с человеком…

Я трясся в машине и повторял горькие слова: война не хотела оставить меня в покое.

В Братиславе, потом в Праге я встретил старых друзей; многие играли видную роль в освобожденной республике. Теперь в живых остались только Мария Майерова, Гофмейстер, Лацо Новомеский и тяжело больной Ярослав Сейферт, чудесный поэт, верный друг, от которого я недавно получил письмо. А тогда мы еще беспечно вспоминали прошлое — «Деветсил» и «Дав», шутили, пили вино…

Я выступал и в Карловом университете, и на шумливых митингах. Встретил Буриана, который вернулся из концлагеря. Он меня сразу спросил: «Что с Мейерхольдом?» Я ответил:

«Плохо…» Он рассказывал о гитлеровцах, о своей новой постановке «Ромео и Джульетты» — у меня в голове все путалось: пытки, победа, Шекспир, Всеволод Эмильевич. Я пошел на выставку «Народне дивадло», увидел полотна Филлы, Шпалы, Тихого, Фишарска. Копецкий вздыхал: «Формализм», а потом он подарил мне натюрморт Филлы; Незвал неистовствовал: «Это не формализм, это революция!..» Галас печально улыбался. Сейферт молчал.

В издательстве мне показали только что вышедший перевод моих рассказов «Вне перемирия». Издание было прекрасное, а иллюстрации такие «формалистические», что я удивился — отвык. Рассказали, что перевод и рисунки были выполнены во время оккупации. Книгу надписали и переводчик, и художники, и рабочие типографии.

Меня повезли в замок Добрит, который отдали писателям. Все было парадно и натянуто. Назвал шепнул: «В «Куманове» было веселее. Ничего не поделаешь чехам не к лицу роскошь. А писателям не к лицу почет…»

Был прием в Граде; я увидел Бенеша, он, улыбаясь, сказал мне: «Видите, мы договорились со словаками. Пожалуй, это оказалось легче многого другого…»

Видел я в Праге страшную выставку. Художника Бедржиха Фритта гитлеровцы посадили в лагерь смерти — Терезин. Он рисовал обреченных. Он погиб, а рисунки сохранились — их закопали в землю. Среди ужасных видений висела фотография четырехлетнего ребенка, сына художника, которого успели спрятать.

Мы поехали в Терезин, где погибли сто пятьдесят тысяч человек, и долго стояли под мокрым снегом. Война продолжалась…

Я не объяснил до сих пор, почему попал в Венгрию, в Чехословакию. Я собирался было вылететь из Белграда в Москву, когда пришла телеграмма от «Известий»: «Просим поехать в Нюрнберг, описать процесс военных преступников». Я сразу согласился и потому, что хотел повидать суд, и потому, что не хотел войти в колею, сесть за рабочий стол, начать длинный роман. (Мне всегда трудно начать книгу, ищу предлога, чтобы оттянуть, а тогда к этому чувству примешивалось другое — отвык от мирной жизни, от четырех стен, от душевной сосредоточенности.)

В Белграде дули холодные ветры. Я подумал, что еду на север — декабрь, а на мне летнее пальтишко. Военные рассказывали, что в Будапеште можно купить все на доллары, а я получил от газеты немного валюты. Дело, однако, оказалось сложным. Я

спрашивал владельцев магазинов, есть ли у них теплое пальто, они иронически улыбались: может быть, думали, что возьму и не заплачу. (Когда в ресторане я заказал бутылку вина, официант потребовал деньги вперед.) А может быть, и вправду пальто не было, мне ведь предлагали французские духи, элегантные бумажники — в общем, то, без чего будапештцы могли прожить. В одной лавчонке я разговорился, сказал, кто я, объяснил, что должен ехать в Нюрнберг на процесс. Владелец магазина оказался белой вороной — уцелевшим евреем. Он сразу сказал: «Уцелели три скорняка. Если Илья Эренбург едет в Нюрнберг, то мы умрем, а достанем ему пальто…» Мы обошли мастерские, нигде ничего не было. Владелец лавочки что-то говорил другим по-венгерски; все жестикулировали, кричали. Я наконец спросил, о чем они говорят. «Очень просто: мы говорим, что Илья Эренбург едет судить кровопийц. Вот у него они убили всю семью. Можете об этом сказать на процессе. Хотя если начать читать список убитых, то на это потребуется десять лет. Он говорит, что пальто нигде нет. То есть у какого-нибудь министра, наверно, два пальто, но он вам не даст даже одного. Вот тот знает, что у одного венгра припрятаны бараньи шкурки. Ему нравился Хорти. Нас он не любит, но он любит доллары. Мы будем всю ночь работать. Завтра вы уедете в роскошном полушубке. Пусть они видят, что мы можем шить. Вы должны сказать, чтобы их всех повесили. У меня, к счастью, жена умерла в первый год воины, а детей у меня не было, но они убили моего брата со всей семьей…»

Полушубок сделали. В Праге мне дали машину до Нюрнберга. Еще одна дорога войны: развалины, военные машины, часовые. Ехали мы медленно — дорога была забита: американские части уходили из Западной Чехии.

А я думал о том, что принес фашизм несчастной Европе: он не только разрушил города, убил миллионы людей, он отравил сознание выживших. Плевелы расизма, национализма разлетелись далеко. Я вспомнил, как дрались два старика — венгр и румын, плевали друг другу в лицо, как итальянцы в Риеке ругали словенцев, как в немецком селе неподалеку от Будапешта крестьяне клялись, что отплатят за все «проклятым венграм». В Скопле все улицы были пол номерами, как будто это Нью-Йорк, а Скопле небольшой город; прежние названия сначала были сербскими, потом болгарскими, и македонцы предпочитали нейтральные цифры. В Бухаресте, в Будапеште уцелевшие евреи рассказывали, что им приходится часто слышать: «Ух, паршивые, Гитлер вас проморгал!..» Я видел на руках судетских немцев белые повязки — знак унижения, и чувствовал, как ужасно расплачиваться с фашизмом его монетой. Невеселые это были

мысли. Водитель мне рассказывал, что было во время оккупации: «Плюнули в душу.»

Стемнело. Кругом были развалины немецких городов. Мы спрашивали американцев, далеко ли до Нюрнберга; никто не знал. Шофер вдруг сказал: «Кажется, мы свернули с дороги…» Поехали назад. Я задремал. Мне снилось, что я в Эльбинге. Сейчас начнут стрелять… Действительно, я проснулся от выстрела. Шофер ругался: «Дурак стоит на дороге и стреляет…» Американский солдат весело сказал, что до Нюрнберга три мили.

Развалины — не скажешь, что город. «А куда нам ехать?…» Я задумался: ночь, никого не найдешь… Мы поехали в американскую комендатуру. Я спросил офицера, где здесь русские журналисты. Он сказал, что не знает, нужно подождать майора. «А вы русский?…» Он улыбнулся: «Вы здорово воевали», — и, подкинув на ладони пачку сигарет, дал ее мне. Приходили и уходили солдаты. Я спрашивал офицера, долго ли нам еще ждать, он улыбался и неизменно отвечал: «Майор сейчас придет…» Мы с чехом выкурили полпачки. Наконец стало невтерпеж, хотелось спать. Мы встали. Американец снова улыбнулся: «Майор немного опоздал… Но я вас сейчас устрою». Он подозвал солдата, который дремал в углу: «Отведи их в гостиницу. Только сейчас же возвращайся — майор скоро придет…» Солдат зевнул и сказал: «Пошли! А майор не придет, он в гостинице в баре пьет виски. Я был на процессе. Геринг очень толстый, а в общем, неинтересно. Интересно другое — когда меня наконец-то отправят домой?… Вот и гостиница. Мне сюда не полагается. Пойду ждать майора…»

3

В большом холле нюрнбергского «Гранд-отеля» толпились иностранные журналисты, судебные эксперты, американские офицеры. В баре подавали коктейли; певица с большим декольте пела американские песни (слышался немецкий акцент); танцевали. Бар был, а крыши не было; лестницу тоже не успели отремонтировать. Мне дали номер на третьем этаже, я взбирался наверх то по стремянке, то по доскам.

Старые кварталы Нюрнберга были почти полностью разрушены. Вечером улицы, засыпанные мусором, битой черепицей, казались мертвыми. Я встал рано, увидел школьников, женщин с кошелками; пожилой мужчина в зеленой шляпе продавал газеты, планы города, старые открытки; прошел трамвай, город жил, но какой-то ирреальной, растерянной жизнью. На уцелевшем заводе изготовляли портсигары с надписью «На память о Международном трибунале»: американские солдаты обожали сувениры.

Кажется, никогда нигде не было такого количества журналистов из всех стран; большинство жило за городом, в поместье короля карандашей Фабера. А я остался в «Гранд-отеле» и научился быстро взбираться наверх. Обедали все в столовой при суде; каждый брал поднос, и мы проходили мимо десяти американских солдат, которые, как опытные эквилибристы, наливали суп, кофе, метали картофелины и ломти хлеба.

Трибунал заседал в здании окружного суда; на стене была роспись — Адам, Ева, змий. Установили дневной свет, кабины для переводчиков и кинооператоров; но в коридорах отопление не действовало. Шел снег; все кашляли, чихали.

Я как-то стал вспоминать: что у меня связано с Нюрнбергом? Прежде всего пряники: когда мы еще жили на Хамовническом заводе, кто-то прислал отцу из Нюрнберга круглые красивые пряники, обсыпанные искрами из цветного сахара и миндалинами. В молодости я побывал в Нюрнберге; денег у меня не было, я ел раз в день две сосиски с картофельным пюре, но это мне не мешало осматривать с утра до ночи достопримечательности. Дюрер меня пугал четкостью, жесткостью, но я себя дрессировал — стоял часами, глядел, даже прочитал его книгу. Туристам показывали старую башню, «Железную деву»; сторож методично рассказывал, как людей пытали и казнили. В ту пору я увлекался символистами и запомнил строки Сологуба:

Но путь науки строгой
Я в юности отверг
И вольною дорогой
Пришел я в Нюрнберг…
Кто знает, сколько скуки
В искусстве палача!
Не брать бы вовсе в руки
Тяжелого меча!

Прошло еще двадцать пять лет. Я сидел в маленьком парижском кинотеатре. Кругом парочки усердно целовались. После сентиментальной картины показали кинохронику. Парад в Нюрнберге. Квадраты маршировали, высоко закидывая ноги: на ветру бился паук свастики; фюрер судорожно жестикулировал. Мне стало не по себе, и вышел из зала. И вот я снова в Нюрнберге…

Да, я на том апофеозе справедливости, о котором мечтал летом 1942 года. Я жадно разглядывал подсудимых, как будто искал разгадку происшедшей трагедии. Геринг улыбался хорошенькой стенографистке; Гесс читал книгу; Штрейхер жевал бутерброды. А в то время читали документы: убиты в застенках триста тысяч, шестьсот тысяч, шесть миллионов…

По одежде Геринга было видно, что он похудел, и все же он выглядел тучным; в его лице было нечто бабье, наушники на нем казались платочком. Он много писал, то и дело посылал записки своему адвокату. Вдруг он внимательно посмотрел в мою сторону, пошептался с соседом — все начали смотреть на меня. Я подумал, что позади что-то происходит, оглянулся, но Кукрыниксы сидели и, как всегда, рисовали. Потом один из конвойных рассказал, что Геринг меня узнал; оказалось, что они меня разглядывали, как я их.

Пожалуй, единственный неожиданный эпизод приключился с человеком, которого гитлеровцы называли «совестью партии», с Гессом. В начале процесса он говорил, что ничего не помнит. Защитник настаивал, что у подсудимого амнезия; целое заседание было посвящено докладам врачей-экспертов. Однажды Гесс попросил слова и объявил, что по тактическим соображениям симулировал болезнь. Получилось нелепо. Впрочем, все заседания я вспоминаю как длинный кошмарный сон.

Когда показали фильм о лагерях смерти, Шахт повернулся спиной к экрану — не хотел смотреть; другие глядели, а Франк плакал и вытирал глаза носовым платком. Это звучит

неправдоподобно, но я это видел: Франк, тот самый, который писал, что в Польше, когда он туда приехал, было три с половиной миллиона евреев, а в 1944 году из них осталось сто тысяч, всхлипывал, увидев на экране то, что много раз видел в действительности. Может быть, он плакал над собой — понял, что его ждет?

Обвинители говорили о страшных злодеяниях. Планы нападения на различные страны обозначались условными названиями: присоединение Австрии «планом Отто», захват Чехословакии — «зеленым планом», захват Югославии — «Маритой», уничтожение Польши — «делом Гиммлера», предполагавшееся нападение на Гибралтар — «предприятием Феликс», вторжение в Советский Союз — «планом Барбароссы». Около пятидесяти миллионов убитых и двадцать заурядных злодеев — нет, это не умещалось в сознании!

Я снова возвращаюсь к их облику. Риббентроп, худой, лысый, говорил, что, страдая бессонницей, принимал много снотворного и у него ослабела память, но, в общем, он занимался дипломатией, подписывал пакты, вел переговоры. Он держал себя как благообразный пожилой бюргер. Фельдмаршал Кейтель производил впечатление солдафона, я таких видал не раз, на все отвечал, как рядовой вермахта: «Выполнял приказ»; а когда огласили его собственный приказ о клеймении советских военнопленных, пожал плечами: «Это досадное недоразумение». Франк, тот, что зверствовал в Польше и плакал, увидев на экране Освенцим, отвечал охотно на вопросы, валил все на Гиммлера, говорил, что он занимался исключительно «переселением»: «Я был всего-навсего административным карликом». Я глядел на него, когда читали его донесение о ликвидации варшавского гетто. Он сообщал, что собрана одежда, можно собрать металлический лом; канализационные трубы, в которых скрывались уцелевшие, затоплены водой. Он слушал свои же слова с удивлением, моргал глазами. Когда обвинитель упомянул, что он украл картину Леонардо да Винчи, он сказал: «Я затрудняюсь уточнить, сколько стоила эта вещь, — я не знаток, да и цены менялись в зависимости от курса марки». Знатоком считал себя Альфред Розенберг, он собирал редкие русские книги; был эрудитом, теоретиком нацистской партии. Вместе с тем он выполнял различные административные задания, выкачивал из Советского Союза добро, не брезгал и мелочами, отдал, например, приказ «за три часа или два до акции (так назывались массовые убийства) вырывать у евреев золотые зубы».

Ужасающие цифры неожиданно прерывались бытовыми деталями. Обвинитель говорил о похищенных в различных

странах произведениях искусства. Геринг составил прекрасную коллекцию картин старых мастеров. Не помню, почему зашла речь о том, как он торговался, уже не похищая, а покупая сервиз. Ну да, у него был прекрасный сервиз, он вообще любит красоту; перечисляя свои титулы, он не забыл упомянуть, что состоял не только начальником лесного ведомства, но и председателем объединения охотников. Убийца чехов Нейрат объяснил: «События застали меня врасплох. Гитлер меня вызвал и сказал: «Вы человек современный, то есть хладнокровный, вы справитесь с чехами…» Специальностью Штрейхера были евреи. Он походил на старого раздражительного обыватели. Двадцать лет назад здесь же, в Нюрнберге, его заподозрили в растлении малолетней, но он выкрутился грехи молодости. Когда его начали допрашивать о количестве убитых евреев, он изумился: «Я всегда был горячим сторонником Теодора Герцля, я считал, что евреям нужно предоставить Палестину…»

Я глядел на них и видел одно — страх. Одно дело — убить миллион людей, это программа, административное рвение, партийная дисциплина, азарт; другое — чувствовать, что через месяц или через полгода убьют тебя — Германа, Юлиуса, Рудольфа, Альфреда. Одни пытались спорить о судебной процедуре — Зейсс-Инкварт, истязавший Голландию, получил юридическое образование и вдруг вспомнил основы права, другие пытались понравиться судьям чувствительностью или хотя бы учтивостью, обстоятельностью показаний, третьи валили на соседа по скамье, и все — на Гитлера. Конечно, Гитлера в Нюрнберге не было, но, может быть, если бы он не покончил с собой в минуту аффекта, то и он валил бы все на других, заверял бы, что хотел благоденствия Германии и всей Европы, но его идеи искажались, от него многое скрывали, его обманывали.

«Вы человек современный, то есть хладнокровный», — сказал Гитлер Нейрату. Пожалуй, эти слова многое объясняют. На длинных судебных заседаниях речь шла о газовых камерах, о том, что должны были предпринять немецкие администраторы в Баку после того, как захватят этот город, об использовании военно-морским ведомством женских волос, поставляемых Освенцимом. Все было вполне «современно» — и захват стран, и план уничтожения Ленинграда, и казни французских заложников, и Бабий Яр, предприятие, если угодно, гигантский трест.

Как-то в морозном коридоре я разговаривал с Всеволодом Ивановым. Я тогда еще мало его знал — мы редко встречались. Это был человек с куделями нерасчесанных мыслей и образов, с прямой и большой совестью. Он недоуменно меня спросил: «Как это все понять?…» Я ответил: «Не знаю». Судьям было нетрудно

разобраться: состав преступлении был налицо. А мы, писатели, хотели понять другое: как эти люди стали такими, способными на все то, о чем шла речь, и как могли другие люди беспрекословно выполнять их приказы? Хотели понять, но не могли.

Я вспоминал, как ходил в Полтаве в суд, слушал процессы темных, отчаявшихся крестьян, вспоминал «синюю бороду» Ландрю, сумасшедшего Горгулова — там мы видели искажение человеческого существа, а здесь, в Нюрнберге, — кровавая бухгалтерия, и только. Я взглянул на скамью и вдруг подумал: они могли бы сидеть в ресторане, праздновать серебряную свадьбу коммивояжера Риббентропа или служебный юбилей баварского чиновника Фрика, никто на них не поглядел бы. Здесь кончается «достоевщина» и начинается ужасающий мир роботов.

Полночи я проговорил с Андре Виоллис, умной и благородной женщиной. Виоллис рассказывала о печали Франции — ее не только разорили, ее духовно искалечили. Мы сидели в холле — в комнатах было очень холодно; шумел джаз. А я спрашивал: «Что стало с человечеством? Ведь Гитлер показал, на что он способен, задолго до войны, а с ним разговаривали, делали вид, что не замечают…» Виоллис отвечала: «Я об этом часто думала еще до войны… Ланжевен знает куда больше, чем Аристотель, но мне кажется, что духовная структура Франка ничем не отличается от самого жестокого сатрапа древности. Только у Франка было больше возможностей — сатрап не обладал газовыми камерами».

Процесс длился долго — десять месяцев; очень скоро журналисты начали разъезжаться. Все было известно заранее — до процесса. Из двадцати одного подсудимого десяти удалось спасти голову, но и это, пожалуй, интересовало только ограниченный круг людей. Не скрою, во мне ужас смешивался со скукой — от несоизмеримости преступлений и преступников.

Я не раз думал, сидя в нюрнбергском зале: до чего это страшно! Ведь весь мир знал: есть Геринг. А что он собой представляет? Пошлый жуир, карьерист, бесчестный делец, ничтожество, и вместе с тем он один из главных виновников убийства пятидесяти миллионов людей. Я и теперь думаю и не могу понять. Я рассказывал в этой книге о Модильяни — он был не только большим художником, но и необычайным человеком. А кто о нем знал до его смерти? Сотня чудаковатых завсегдатаев «Ротонды». Вот убийцы Десноса. Разве они способны понять его стихи, его любовь, его раздумья? Почему в центре внимания всего человечества оказались взбесившиеся обыватели: «Гитлер сказал…» «Геринг не согласен…» «Риббентроп предлагает…»? От левой ноги Гитлера зависели работы Эйнштейна, жизнь Сутина,

Ванчуры, Макса Жакоба, Сен-Поля де Ру, фрески Новгорода и Пизы. Ведь это постыдно не только для соотечественников Гитлера, но и для всех его современников!..

В холле «Гранд-отеля» американский журналист (забыл его фамилию) говорил мне: «Конечно, Гитлер был злодеем, но, поверьте мне, гениальным. Он заставил плясать под свою дудку большой высококультурный народ, сбил с толку половину Европы. Это злой крысолов с волшебной дудочкой, это гений злодейства…» Я не мог, да и теперь не могу с ним согласиться. Дело даже не в оценке способностей Гитлера, дело в другом. Паскаль говорил, что, будь у Клеопатры, пленившей Цезаря и Антония, другой нос, мир выглядел бы иначе. Я и в это не верю. Я не могу себе представить, что судьбы миллионов людей могут зависеть от орлиного носа или от змеиного жала одного человека. Конечно, социальные условия играют огромную роль, но можно ли события, о которых шла речь в Нюрнберге, объяснить только экономическим кризисом и конкуренцией империалистических держав? Наши современники знают точно, по какой орбите понесется спутник, запускаемый в космос. Но мы еще не знаем, по каким орбитам кружатся человеческие чувства и поступки.

Обо всем этом я думал, возвращаясь в «виллисе» домой — мимо десятков разбитых немецких городов, мимо пепелищ Берлина. Прежде были в ходу слова «совесть», «добро», «человеколюбие». Я еще застал в детстве и отрочестве эпоху этих слов, даже их инфляцию. Потом они повсюду вышли из обихода, как подсвечники, перекочевали из быта в коллекции любителей редкостей. Эти слова часто прикрывали бессовестные, бесчеловечные, злые дела, и все же порой они сдерживали. Пушкин писал:

> И долго буду тем любезен я народу.
> Что чувства добрые я лирой пробуждал.
> Что в мой жестокий век восславил я свободу
> И милость к падшим призывал.

Я вспомнил статью Марины Цветаевой — рассказ о Дантесе. Вначале он не чувствовал никакого раскаяния: убил на дуэли русского камер-юнкера, вот и вся история. Но с годами росла слава убитого поэта, и Дантес начал оправдываться. Победил не Дантес и не царь — победил Пушкин, победил не только потому, что был гениальным поэтом, но и потому, что пробуждал добрые чувства, прославлял свободу, хотел милости к падшим.

Белобрысые школьники шли в рваных тулупчиках и о чем-то оживленно разговаривали; было это в разрушенной Орше. Я

поглядел на них — и на душе стало как-то спокойней.

4

В Москву я вернулся в конце декабря, и Новый год мы встретили весело, с друзьями. Война не хотела меня отпускать, о ней я писал, о ней думал, но понимал, что пора войти в колею мирной жизни. К нам часто приходили гости. Я говорил о живописи с Фальком, с Кончаловским; подружился с Образцовым, ходил в его театр. Один из военных корреспондентов «Красной звезды», Гехман, позвал меня на свадьбу; собралось много народу, поужинали, выпили, раскричались, Гехман сиял от счастья. Пышно отпраздновали семидесятилетие Кончаловского; Петр Петрович танцевал с молодыми испанками, подругами своей невестки. 22 февраля, в годовщину смерти Толстого, Людмила Ильинична позвала нас в Барвиху; все вокруг напоминало об Алексее Николаевиче, и даже горе било живым, теплым.

Кинохроника уговорила меня написать текст к документальным фильмам о Югославии и о Болгарии. Это заняло много времени. Я часто выступал с рассказами о Балканах, о Нюрнбергском процессе то в Политехническом, то на заводах, то у военных.

Однажды я пошел в Еврейский театр на пьесу «Фрейлехс». Это был веселый спектакль, построенный на фольклоре местечек. Костюмы сделал мой друг Тышлер. Михоэлс поставил пьесу, Зускин замечательно играл. Я смеялся вместе со всеми, и вдруг мне стало страшно — вспомнил о рвах и ярах, где теперь лежат персонажи «Фрейлехс». Михоэлс и Зускин выходили на аплодисменты, раскланивались. Мог ли я подумать, что вскоре один будет убит на глухой окраине Минска, а другого расстреляют?…

Как-то пришел ко мне еврейский поэт А. Г. Суцкевер. (С ним я познакомился еще во время войны. Он был в гетто Вильнюса, убежал оттуда, партизанил; его вывезли на «Большую землю».) Он рассказал, что ездил в Нюрнберг, давал показания. Борис Полевой писал в «Правде», что рассказ Суцкевера о трагедии вильнюсского гетто, где погибла и семья поэта, потряс судей.

Я продолжал встречаться с иностранцами — в записной книжке пометки: завтрак у французского посла Катру, ужин у норвежского посланника Андворда и так далее. Вернувшись осенью в Москву, я не сразу понял, что все переменилось. Мне запомнился сметной и печальный эпизод. В Москву приехал поверенный в делах Колумбии, он был литератором и хотел познакомиться с советскими писателями, художниками. Он снял в гостинице «Националь» зал; там был накрыт стол для ужина —

колумбиец пригласил человек тридцать. А пришли трое — Ф. Кельин, испанский писатель Арконада и я. Дипломат нервничал, глядел на дверь. Часов в десять официанты начали убирать приборы. Голос нашего хозяина дрожал от обиды. Мы старались, как могли, его утешить, произносили тосты за дружбу, но длинный пустой стол угнетал всех.

В марте напечатали изложение фултонской речи Черчилля, впервые я прочел слова «железный занавес». Черчилль предлагал американцам оборонительный военный союз против Советского Союза. Это звучало парадоксально: газеты продолжали печатать отчеты о Нюрнбергском процессе, где английский и американский обвинители совместно с советским обличали Геринга и Кейтеля. Не знаю, что было горше: вспоминать прошедшее или думать о будущем.

Я сдал в издательство «Советский писатель» две книжицы: путевые очерки «Дороги Европы» и сборник стихов «Дерево». Судьбы книг были столь же неисповедимы, сколь судьбы людей. Очерки не вызвали никаких возражений, тем паче что они уже были напечатаны в «Правде» или в «Известиях». (Два года спустя книжку изъяли из библиотек — в ней четыре раза упоминалось имя маршала Тито.) А стихи смущали издательство: «Чересчур пессимистично…» (Даже в 1959 году над некоторыми стихотворениями из «Дерева», которые я включил в сборник, редактор вздыхал: «Лучше бы снять или, по крайней мере, заменить это слово — очень уж мрачно…») «Дерево» вышло в свет в июле 1946 года. Фадеев потом мне рассказывал, что книгу хотели упомянуть в одной из разгромных статей, но я был за границей, и меня оставили в покое. Словом, «Дереву» повезло.

В январе в Союзе писателей торжественно вручали медали «За доблестный труд», среди награжденных был и Б. Л. Пастернак; он сказал мне, что скоро в Политехническом должен состояться его вечер. В Ленинграде от писателей, награжденных медалями, выступал М. М. Зощенко. В начале апреля в Колонном зале был большой вечер поэтов-ленинградцев. Среди других читала свои стихи Анна Ахматова. Ее встретили восторженно. Два дня спустя Анна Андреевна была у меня, и когда я упомянул о вечере, покачала головой: «Я этого не люблю… А главное, у нас этого не любят…»

Я стал ее успокаивать — теперь не тридцать седьмой… Хотя мне незадолго до того исполнилось пятьдесят пять лет, я все еще не мог отделаться от наивной логики.

В самом начале января я сел за «Бурю» и сразу увлекся. Я думал об этой книге давно, но все не решался написать первую страницу. А писал я не отрываясь и до апреля успел написать

треть романа — две первых части. Они мне кажутся наиболее удачными. Это — кануны войны; писал я о прожитом, прочувствованном. Вся романтика, которая застоялась во мне, нашла выход, когда я писал о Сергее и Мадо, о свете обреченной любви. В рассказе о встрече двух братьев — честного догматика Осипа и легкомысленного француза Лео — было также немало от душевного опыта автора. Я попытался хотя бы вскользь сказать о несправедливости в предвоенные годы: рассказал, как исключили из комсомола студентку Зину за то, что она отказалась очернить арестованного отца.

Когда роман печатали, из него выкинули отдельные фразы; кое-что потускнело, кое-что стало непонятным. Приведу примеры из первой части — случайно у меня сохранился оригинал рукописи. Автор рассказывает о приезде Сергея в Париж: «Он приехал из Москвы жестких скрипучих лет…» (слово «скрипучих» убрали). Лео говорит Осипу: «Вы и живете для будущего…» После шло: «Это как гонка борзых за электрическим зайцем. Зайца-то не поймать, и пускают его, чтобы борзые быстрее бежали» — это зачеркнули… В рассказе о Зине напечатано: «Вы ведь знаете — у нее были неприятности из-за отца. Все вокруг этого…», выпущена следующая фраза: «Когда его забрали, это было зимой…» О каких «неприятностях» идет речь — стало непонятным. Прерываю список «опечаток».

Я писал с раннего утра до вечера, писал и ночью. Вдруг в начале апреля меня вызвали в ЦК, сказали, что нужно поехать в Америку вместе с генералом Галактионовым и писателем Симоновым — на конференцию редакторов газет. Я сказал В. М. Молотову, что начал писать роман, частично его действие протекает во Франции и мне хотелось бы после Америки задержаться в Париже; он ответил: «Не имею возражений».

Я хочу в этой главе досказать о «Буре», и мне придется нарушить последовательность повествовании. Об Америке, о Франции я расскажу дальше, а сейчас напомню о событиях лета 1946 года, связанных с работой писателей.

Это было в конце августа во французском городке Вуврэ, близ Тура. Утром мы с Любой поехали в Ля Башеллсри, где долго жил Анатоль Франс; повез нас туда внук писателя, Люсьен Псишари. Дом оказался тесно связанным и с романами Франса, и с его обликом — я помнил библиофила на набережной Сены у ларьков букинистов. Танагрские статуэтки не выглядели музейными экспонатами, они сливались с предмета ми обихода. В столовой писателя мы пили душистое вино вуврэ. Питом я задремал в номере старой гостиницы. Меня разбудила Люба — прочитала напечатанное в парижской газете крохотное сообщение: «Из

Москвы передают о новой чистке, жертвами которой стали писатели Ахматова и Зощенко». Я взволновался и все же цеплялся за надежду — может быть, это очередная газетная утка? (Люба потом долго издевалась над моей наивностью.)

В Париже я прежде всего побежал в посольство, попросил газеты и увидел, что телеграмма французского агентства была не выдумкой. А в октябре, когда мы вернулись в Москву, я узнал подробности. На этот раз гром грянул среди ясного неба: в конце июня утвердили новую редакционную коллегию журнала «Звезда», включили в нее М. М. Зощенко; в июльском номере журнала «Знамя» была помещена вполне благожелательная статья о поэзии Анны Ахматовой. А в середине августа опубликовали постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград», которое на восемь лет определили судьбы нашей литературы.

Н. С. Тихонов рассказывал, как Сталин вызвал руководителей Союза и заявил, что Ахматова и Зощенко — «враги». А. А. Жданов выступил в Ленинграде перед писателями. Он говорил о М. М. Зощенко: «пошляк», «пакостничество и ерничество», «пасквилянт», «бессовестный литературный хулиган»; об А. А. Ахматовой: «поэзия взбесившейся барыньки, мечущейся между будуаром и молельной». Удивительно было многое. Жданов, например, сказал: «Все эти символисты, акмеисты, «желтые кофты», «бубновые валеты», «ничевоки», — что от них осталось в нашей родной русской, советской литературе?» Видимо, никто не решился ему объяснить, что «бубновый валет» объединял не писателей, а художников, среди которых был будущий академик Кончаловский, что за месяц до доклада Жданова все газеты умиленно говорили о поэзии Блока (исполнилось двадцать пять лет со дня его смерти) и что Блок, как и Брюсов, причислили себя к символистам, что «желтую кофту» придумал и воспел не кто иной, как Маяковский, объявленный Сталиным «лучшим, талантливейшим поэтом эпохи». (Одну ошибку Жданов все же успел исправить — доклад напечатали полтора месяца спустя. В напечатанном тексте есть такая фраза: «И у акмеистов и у «серапионовых братьев» общим родоначальником являлся Гофман, один из основоположников аристократически-салонного декадентства и мистицизма». В своем выступлении Жданов принял за одно лицо знаменитого немецкого романтика Эрнста Теодора Амадея Гофмана, которого любил Маркс и который скончался в 1822 году, и мало кому известного эпигона Бальмонта, русского поэта Виктора Гофмана, родившегося в 1844 году.) После доклада Жданова Анну Ахматову и М. М. Зощенко исключили из Союза писателей.

Мне казалось, что после победы советского народа тридцатые

годы не могут повториться, а все напоминало прежнее — собирали писателей, кинорежиссеров, композиторов, выявляли «соучастников», каждый день список провинившихся пополнялся новыми именами: обвиняли Пастернака и Шостаковича, Эйзенштейна и Пудовкина, Козинцева и Трауберга, Погодина и Сельвинского, Кирсанова и Гроссмана, Эйхенбаума и Берггольц, Л. И. Тимофеева и Садофьева, Межирова и А. Гладкова.

Начала выходить газета «Культура и жизнь», ее статьи выглядели как обвинительные заключения. Зощенко и Ахматова изображались главными врагами, о них говорили и писали куда резче, чем о Черчилле, призывавшем показать русским военную мощь англосаксов, или чем о некоторых американских сенаторах, уже поговаривавших о «превентивной войне».

Тогда же и в докладе Жданова, и в статьях, ему посвященных, впервые была объявлена «борьба с низкопоклонством перед Западом».

А. А. Жданова я помнил по Первому съезду писателей. Сталин, видимо, считал его специалистом по литературе и искусству — и еще в 1934 году поручил направить писателей на путь истинный, но тогда мы слушали и не пугались. Снова я увидел Жданова в 1947 году — он пригласил пять или шесть литераторов, среди них и меня, мы должны были войти в редакционную коллегию журнала «Знамя». Я наотрез отказался и молча просидел до конца заседания — Жданов объяснял, какой должна быть советская литература. В начале 1948 года С. С. Прокофьев и Д. Д. Шостакович рассказывали, что в связи с очередным постановлением на этот раз о музыке — Жданов пригласил композиторов и объявил им, что в музыке самое ценное — это мелодия, которую можно напевать. Помню, как в Варшаве ночью меня разбудил телефонный звонок. А. А. Фадеев сказал: «Ужасное сообщение — умер Жданов! Сойдите вниз, мы в ресторане…»

С М. М. Зощенко я встречался очень редко; как-то вышло, что мы мало знали друг друга, однако я всегда считал его одним из лучших наших писателей. Однажды, в начале пятидесятых годов, я его встретил на Пушкинском бульваре; он был мрачен, выглядел больным. Общие друзья рассказывали, что он чрезвычайно мучительно все переживал. У Анны Андреевны я был в 1947 году. В маленькой комнате, где висел ее портрет работы Модильяни, она сидела, как всегда печальная и величественная; читала Горация. Несчастья рушились на нее, как обвалы, и нужна была необычайная душевная сила, чтобы сохранить достоинство, внешнее спокойствие, гордость в хорошем смысле этого слова. В 1965 году, накануне смерти, наконец-то справедливость

восторжествовала: Анна Андреевна ездила в Италию, чтобы получить Международную премию, и в Оксфорд, где ей дали «докторскую мантию».

Я рассказал о событиях лета 1946 года для того, чтобы стала ясна обстановка, в которой я писал «Бурю». Я вернулся к роману в октябре, и сразу отошли картины Америки, парижские встречи, тревожный треск радиопередач — меня окружили видения военных лот, я жил с персонажами романа. В «Буре», на мой взгляд, много неудачного, вероятно, события были чересчур свежи, и я не все смог осмыслить. Однако некоторые герои романа — Мадо, ее отец Лансье, художник Самба, ученый Дюма, доктор Крылов, печальный романтик Минаев с его мамулей — мне дороги. Я кончил роман в июне 1947 года.

О книге было много споров. Некоторые читатели обижались: почему французы выглядят героичнее, чем советские люди? Может быть, это объяснялось тем, что приключения партизан всегда освещены романтикой, а у нас против немцев сражались не отдельные герои, но весь народ. А может быть, на оценки того или иного читателя оказывали влияние газетные статьи — был разгар кампании против «низкопоклонства». Приведу несколько фраз из статьи одного критика о «Буре»: «…Наш народ не столь жалок и беспомощен, как изображает его Илья Эренбург… Просто либеральные буржуа не понимают и клевещут на советский строй. Они видели в нашей стране только альперов и лабазовых, дилетантов влаховых и земских деятелей крыловых, то есть видели только то, что им было выгодно видеть… Но ведь тов. Эренбург — не либеральный буржуа… При всех сопоставлениях советских людей с людьми капиталистической Франции в романе неизменно выигрывают французы и проигрывают русские… Да и полно! Русский ли Сергей Влахов? И Советский ли Союз его родина?…»

Таких критиков сердило описание первых месяцев войны, хотя, конечно, они знали, как и все советские люди, что именно произошло в 1941 году. Критик писал: «Все было разъяснено товарищем Сталиным…» А между тем Сталин, конечно, не разъяснил, почему он истребил до войны командный состав армии и почему, будучи всегда чрезмерно подозрительным, поверил в слово Гитлера.

Роман печатался в «Новом мире»; редактировал его тогда К. М. Симонов; он мне писал: «Тревог нет. По-моему, все в порядке». Я считал, что отделаюсь несколькими статьями наиболее исступленных обличителей «низкопоклонства».

Действительность превзошла мои ожидания. В 1948 году я записал рассказ Фадеева, который, как председатель Комитета по

Сталинским премиям, домалывал в Политбюро о выдвигаемых кандидатах. «Сталин спросил, почему «Бурю» выдвинули на премию второй степени. Я объяснил, что, по мнению Комитета, в романе есть ошибки. Один из главных героев, советский человек, влюбляется во француженку, это нетипично. Потом, нет настоящих героев. Сталин возразил: «А мне эта француженка нравится. Хорошая девушка! И потом, так в жизни бывает… А насчет героев, по-моему, редко кто рождается героем, обыкновенные люди становятся героями…» Александр Александрович добавил: «Как вы понимаете, я не стал спорить», — и громко засмеялся.

Чем больше я думаю о Сталине, тем яснее вижу, что ничего не понимаю. На том же совещании он защищал от Комитета повесть В. Пановой «Кружилиха», ехидно спросил Фадеева: «А вы знаете, как разрешить все конфликты? Я — нет…» Сталин отстаивал право Сергея любить Мадо, а вскоре после этого продиктовал закон, запрещавший браки между советскими гражданами и иностранцами, даже с гражданами социалистических стран. Этот закон родил немало драм: помню, ко мне ходил демобилизованный офицер, человек чистой души, показывал мне письма своей возлюбленной, польской гражданки, которая писала, как над нею издеваются соседки, молила, чтобы он добился разрешения вступить в брак. Я писал, просил, но безуспешно. Дела Сталина так часто расходились с его словами, что я теперь спрашиваю себя: не натолкнул ли его мой роман на издание этого бесчеловечного закона? Сказал «так бывает», подумал и решил, что так не должно быть…

Из книг, вышедших в свет с 1946-го но 1954-й, кажется, останутся те, которые посвящены войне, не только потому, что люди сражались за советскую землю без внутренней раздвоенности, без обязательных славословий, но и потому, что герои военных лет имели право на страдания, на гибель. А описывая мирное время, автор знал, что перечень допустимых конфликтов ограничен: стихийные бедствия, вражеская разведка, отсталость тупого хозяйственника.

Кончив «Бурю», я долго не думал о новом романе, писал статьи, переводил. Для писателя это были годы запечатанных уст, и я хорошо понимаю К. Г. Паустовского, который недавно возмущался людьми, утверждающими, что «культ личности» никак не ущемил нашей литературы.

Что меня тогда поддерживало? Я потом об этом писал, говоря о детях условного «юга»:

> Да разве им хоть так, хоть вкратце.

Хоть на минуту, хоть во сне,
Хоть ненароком догадаться,
Что значит думать о весне,
Что значит в мартовские стужи.
Когда отчаянье берет,
Все ждать и ждать, как неуклюже
Зашевелится грузный лед.
А мы такие зимы знали,
Вжились в такие холода,
Что даже не было печали,
А только гордость и беда.
И в крепкой, ледяной обиде,
Сухой пургой ослеплены.
Мы видели, уже не видя.
Глаза зеленые весны.

А «Буря» остается для меня слабым, приглушенным эхом суровых, но чистых лет.

5

Я вылетел из Москвы 12 апреля вместе с генералом Галактионовым; Симонова вызвали из Японии, и он должен был нас нагнать в Париже. Мы долетели до Смоленска и вернулись — мотор оказался неисправным, в Берлин мы попали только к вечеру, пришлось заночевать. На следующий день нам сказали, что в Париж мы полетим в самолете американского посла Бидл Смита — «холодная война» еще не успела стать бытом.

Мы летели над Германией. Города сверху похожи на полотна кубистов, но бомбы вмешались в гармонию, и Магдебург казался холстом «таширста» — беспорядочные мазки. М. Р. Галактионов в генеральском мундире задыхался от жары и волнения: «Сейчас налетят журналисты. Вам легко — вы привыкли, а и никогда не разговаривал с иностранцами…»

На аэродроме Орли нас встретили американцы, сотрудники нашего посольства, Арагон, Эльза Юрьевна. Был солнечный весенний день; цвели каштаны; мы ехали мимо хорошо знакомых мне мест: рабочий квартал Итали, Бельфорский лев. Вот и Монпарнас — на этом перекрестке прошла моя молодость! Я хотел загрустить, но не успел. Арагоны повели меня ужинать, пришли Муссинаки; я жадно слушал их рассказы о голах оккупации, о Сопротивлении, об общих друзьях.

Нас поместили в гостинице близ площади Этуаль. Там стояли американские военные. Все мне было чужим — и квартал, и шумливые офицеры, и американская еда. Я пошел бродить по Парижу, нашел моих старших сестер, застрявших во Франции. Они рассказывали, как прятались от немцев, как друзья им помогали. Прибежал взволнованный Фотинекий, говорил, что поедет в Москву, теперь он не боится, что его снова задержат: русские — победители, они спасли мир. На Монпарнасе я увидел Цадкиина, Ларионова. Смешливая Дуся смеялась, хотя, как все, пережила много совсем не смешного. Мы вспоминали прошлое; даже предвоенные годы казались древней историей. Кто-то сказал: «Неужели это было всего шесть лет назад?…»

Прилетел Симонов. Я решил накормить моих спутников настоящим французским ужином и пошел к Жозефине — до войны она держала ресторан на улице Шерш-Миди, который я описал в «Падении Парижа». Жозефина обрадовалась, сказала: «Мне говорили, что вы написали что-то про меня… А я часто думала, как вам в России?…» Когда я посвятил ее в мои планы, она всплеснула руками: «Бедный мосье Эренбург, вы не знаете, что у нас делается! Ничего нельзя найти…» Все же она

приготовила чудесный ужни. Галактионов оценил петуха в вине, на устрицы он старался не глядеть, а когда Жозефина принесла различные сыры, сказал: «Я немного прогуляюсь и вернусь через четверть часа…» Симонов ел все и закурил гаванскую сигару, привезенную из Японии.

Посол Богомолов устроил пресс-конференцию: я должен был рассказать о войне, о восстановлении, об отношении советских людей к Франции. Народу пришло много, почти всех я знал: Арагон, Эльза Триоле, Шамсои, Вильдрак, Кассу, Станислав Фюме, Полан, Рене Блек, Марсель Кашен, Эмиль Бюре.

Мы должны были уехать семнадцатого, но нас вернули с аэродрома: зарядил дождь, и полет отменили. Я обрадовался: еще один день в Париже! Генерал волновался: завтра должна начаться конференция, опаздываем.

Я пошел к Марке и долго глядел на пейзажи — вот чего мне не хватало: серой воды на холсте, толики искусства!

На следующий день мы вылетели. Гражданская авиация еще переживала молодость: мы сделали две посадки. В Северной Ирландии было зелено, нам дали ужин, я отгонял репортеров от Михаила Романовича. Потом полетели через океан. Оказалось, что лететь над водой так же просто, как над землей, и я задремал. В Ньюфаундленде все было занесено снегом. Нам подали утренний завтрак. Рядом местные жители пили пиво и зевали; я поглядел на часы в ресторане — по местному времени полночь. После европейской ночи предстояла вторая — американская.

Когда рассвело, я увидел большой город — Бостон. Небоскребы рвались к самолету; я понял, что мы действительно перелетели через океан.

Перед посадкой нам раздали листочки, которые нужно было заполнить. Помимо привычных вопросов, имелся вопрос о расе. Я заполнял анкеты за троих (Михаил Романович знал несколько десятков французских слов, а Симонов умел восклицать «вундефул» и «ай лав Америка»). Вместо ответа на вопрос о расе я поставил черточку. Мой антирасизм заставил нас лишний час проторчать в домике, где помещался паспортный контроль. Один из сотрудников посольства рассказывал, что полицейский звонил начальству: «Красные не хотят ответить, белые они или цветные…»

Поездом мы доехали до Вашингтона. Я ничего не соображал от усталости, но пришлось сразу отправиться на конференцию. В зале было человек триста — владельцы и редакторы различных газет; на каждом была бирка с фамилией и названием газеты. М. Р. Галактионов представлял «Правду», К. М. Симонов — «Красную звезду», я «Известия».

У меня сохранилось удостоверение: «Предъявитель сего Эренбург Илья Григорьевич является членом редколлегии газеты «Известия Советов Депутатов трудящихся СССР» (читатель легко догадается, насколько это соответствовало истине). Хоть за редактора меня не выдали, и на том спасибо!.. Впрочем, в перерыве какой-то владелец провинциальной газеты спросил меня: «Вы арендуете газету у вашего правительства или получаете годовой оклад?»

Мы выступили, потом нам начали задавать вопросы. Один редактор сказал, что жил в Москве в тридцатые годы, тогда иностранным корреспондентам было легче, они повсюду могли ездить, за исключением Средней Азии, да и цензура была умеренной; а теперь ограничили передвижение и цензура неистовствует. Мне пришлось отвечать, я свалил все на войну, добавил, что я не цензор, а журналист. Другой редактор возмущался: почему русские долго тянут с визами? Генерал молчал, выкручиваться снова пришлось мне: «Я не выдаю виз. Я давал бы всем — мне кажется, что чем больше журналисты будут ездить, тем лучше. Может быть, поэтому мне не поручают выдавать визы». Американцы рассмеялись, лед был сломан. Галактионов ответил на вопрос о разоружении. Вдруг один толстый журналист с большой сигарой (он походил на буржуа с плаката) встал и обратился к генералу: «Скажите, можете ли вы в вашей газете потребовать отставки премьера Сталина и замены его хотя бы Молотовым или Литвиновым?» Михаил Романович повернулся ко мне; я увидел на его лице ужас: «Отвечайте! Вы привыкли…» Я спокойно ответил: «Нет, это исключено. Мне остается напомнить нашим коллегам, что в разных странах разный строй и разные порядки»… Американцам понравилась прямота ответа, и на следующее утро я прочитал в газетах, что во мне «смесь цинизма и откровенности». Мы зашли перед банкетом в гостиницу. Михаил Романович несколько раз повторил: «Какой ужас!..»

Гостиница была ультрасовременной. Ночью я пришел в номер, окончательно измученный, и хотел открыть окно, но не смог; я нажимал различные кнопки — шли струи холодного воздуха, вспыхивал и гас свет, кричало радио, а окно не открывалось, Наконец, я свалился, измученный, а утром, проснувшись, кинулся к окну, ругал себя за техническую отсталость, беспомощность. Позвать горничную я не решался — подумают: ну и дикари эти русские! Секретарь посольства нашел меня в пижаме у окна. «Пора на заседание». Я ответил: «Нет, вы откройте окно…» Он попробовал и спокойно вызвал горничную, которая, улыбаясь, обменила: «Окно не открывается — на улице

пыль, чистый воздух поступает по трубе». Секретарю это понравилось: «Техника у них замечательная!..» А мне стало неуютно — даже окна нельзя открыть, наверно, таким будет новый век…

Вскоре я понял, что старому европейцу нелегко в Новом Свете. Симонов наслаждался и невиданным комфортом, и тем, что его военный роман — бестселлер, и тем, что ему тридцать лет. О том, что происходило с М. Р. Галактионовым, я расскажу дальше. Что касается меня, то я боялся оказаться в роли старого брюзги, смотрел, встречался с сотнями людей, колесил по стране, а ночью записывал впечатления, разговоры. Я писал в одной статье: «В жизни человечества Америка заняла видное место, и нельзя понять наш век, не поняв Америки. Ей посвящены сотни од и сотни памфлетов — легко ее превознести или высмеять, труднее ее понять. За сложностью техники порой скрывается душевная простота, а за этой простотой — настоящая человеческая сложность».

С некоторыми американцами мне удалось подружиться; и все же признаюсь: отдыхал и с европейцами, будь то мои старые друзья — Тувим, Шагал, Стефа Херасси, Роман Якобсон, люди, с которыми я встречался прежде, Ле Корбюзье, де ля Пуап, или те, которых я увидел впервые, — Эйнштейн, Кусевицкий, Шолом Аш, Оскар Ланге. А когда в Нью-Орлеане я увидел старые европейские дома с балконами, я, счастливый, заулыбался.

В Соединенных Штатах я впервые усомнился в бесспорности традиций, привычных оценок, вкусов. Пять лет спустя я поехал в Китай, потом побывал в Латинской Америке, в Индии, в Японии. Я уже знал, насколько мир многообразен, и реже прибегал к европейскому метру или аршину. А поездка в Соединенные Штаты была первой вылазкой, если угодно — начальной школы. Вот почему я хочу рассказать о ней в этой книге подробнее, чем о других моих путешествиях.

6

Прежде, когда я видел в американских фильмах неистовые ливни, они мне казались художественным приемом режиссера. Оказалось, что дождь в Америке не такой, как в Европе; все чрезмерно — зной, ураганы, наводнения. Плоды и ягоды очень большие, красивые, но лишены привычного для нас вкуса и запаха. Бывший вице-президент США Уоллес вывез из Советского Союза кустики «русской клубники» (фрагария моската) — невзрачной, мелкой, с зелеными пятнами, удивительно ароматной. Он увлекался садоводством, и у нас нашлась общая страсть помимо политики. Он повел меня в свой огород, и я не сразу узнал мою землячку — ягоды был и втрое больше, но запах исчез.

Я вспоминаю первую ночь в Нью-Йорке. Гостиницы оказались переполненными, и консул снял для меня комнату на восемнадцатом этаже узкой улицы возле Бродвея. Уснуть я не смог — рядом горланили пьяные, по комнате носились отсветы реклам. Полночи я простоял у окна; небо над Бродвеем пылало, высились макушки небоскребов, грохотал джаз, а внизу, как в горном ущелье, изнемогали человеческие отары. Это было прекрасно и невыносимо.

Я как-то обедал с Ле Корбюзье в маленьком французском ресторане Сорок второй улицы. Он расспрашивал меня о войне, о том, что стало с нашими городами, говорил об архитектуре. Он был необычайным человеком. Он тогда с усмешкой сказал: «Скоро мне стукнет шестьдесят, а я еще очень мало построил не дают. Я — человек поражений…» Как всякий новатор, Ле Корбюзье создавал эссенцию, а люди хотят такого искусства, где эссенция разбавлена. Теперь идеи Ле Корбюзье побеждают повсюду, побеждают архитекторы, которые у него учились, ему подражали, и вместе с тем трезво подходят к делу. А Ле Корбюзье думал не о заказчиках, но о стиле эпохи. Он строил здания-манифесты — в Марселе и в Рио-де-Жанейро, в Лионе и в Боготе, в Нью-Йорке и в Пенджабе, огромные небоскребы и поселки из небольших домов, воевал с улицами, защищал деревья и человеческие нервы, требовал свободы для солнца. Он умер, узнав всеобщее признание. При первой встрече в Америке я ему сказал, что восхищен и подавлен архитектурой Нью-Йорка. Он улыбнулся: «Вы всегда были романтиком, даже когда защищали конструктивизм. Знаете, что такое Нью-Йорк? Это катастрофическая феерия».

Самое опасное составить себе представление о человеке или

о стране, которых недостаточно знаешь, а потом объяснять все намеченной заранее схемой. Я знал Америку по книгам американских писателей, по рассказам друзей, видел в Европе то, что мы называем «американизацией», и у меня было условное представление о Новом Свете. Все оказалось правильным и вместе с тем неправильным — порой поверхностным, порой односторонним и, следовательно, несправедливым. Конечно, люди торопились, но, приглядевшись, я увидел, что это, скорее, форма жизни, чем ее содержание. Я увидел вдоволь и бестолочи, и бюрократизма, и нерасчесанных человеческих страстей.

На улице толкались; журналисты садились на мою кровать; люди жестикулировали не только руками, но и ногами; когда звали в гости, я знал, что кто-нибудь сядет на пол, а девушка скинет туфли; ругались; дружески хлопали по плечу; вели себя нецеремонно, порой, на мой европейский аршин, и бесцеремонно. Я слышал рассказы, как быстро делаются карьеры, как соперники топчут друг друга, вчерашний миллионер становится бедняком, а вчерашний босяк мчится в «кадиллаке». Все это было связано не столько с корыстью или с прирожденной грубостью, сколько с молодостью общества.

В течение моей жизни я видел не раз детей, низвергавших отцов, и отцов, возмущенных неблагодарностью, невоспитанностью, невежеством детей; это, кажется, вечная история. Многие достоинства и пороки Америки связаны с ее возрастом. До чего они молоды! — говорил я себе то в умилении, то в раздражении. Люди со всего света пришли на богатые малозаселенные просторы, пришли, наверно, отчаянные головы, энергичные неудачники, неунывающие ловкачи, неисправимые фантазеры, те, что первыми вырываются из театра, охваченного пожаром, и последними покидают игорный притон. Шолом-Алейхем писал: «В Америке люди не живут, в Америке люди спасаются». Народ образовался из «спасавшихся». Приезжали англичане, итальянцы, евреи. ирландцы, поляки, украинцы, сербы, немцы, скандинавы. Все это быстро перемешалось. Люди привозили с собой смену белья и волю к жизни; что касается вековых традиций, то их не погрузишь ни на какое судно. Иммигранты начинали с азов. Так родилась нация, которой суждено в будущем выйти на авансцену истории.

В Нью-Орлеане меня повели в старый трактир — американцы его посещают как достопримечательность. Дому почти сто лет. Был знойный день с той горячей сыростью, которая изматывает европейца, да и американцы обливались потом; они пили ледяные коктейли у большого пылающего камина — камин, дрова, это ведь нечто невиданное, глубокая древность, Помпея!

С возрастом связан и полукочевой образ жизни. После Америки Европа мне показалась обжитым, непроветренным домом. Американцы часто меняют квартиру, люди среднего достатка бросают при этом мебель — дороже перевезти, чем купить новую, а европейской привязанности к старому семейному хламу нет. Переезжают из города в город, из штата в штат.

Я почти не видел малолитражек: рабочие покупали большие машины, когда-то бывшие дорогими, но прошедшие сотни тысяч миль. Нет работы? Человек грузит семью, скарб и едет за счастьем (у нас в тридцатые годы говорили: за «длинным рублем»). Один американец решил меня покатать; подошел час ленча; он остановился возле ресторана, погудел. Принесли подносики с мясом, пивом, кофе. Есть пришлось в машине, а мы никуда не спешили, просто носились по чудесным дорогам мимо одноэтажных домиков, похожих один на другой. Я видел загон: автомобили въезжали туда, а на экране показывали кинокартину. Ночью в большом парке Нью-Йорка много темных машин. Друзья мне рассказали, что для парочек автомобиль заменяет комнату гостиницы; иногда полиция устраивает облавы.

В универсальных магазинах я видел, как человек, покупая костюм, бросал старый. Мой друг Гилмор, который возил меня на Юг, чуть ли не каждый день покупал рубашку, говорил, что это проще, чем отдавать в стирку.

В Америку и приехал не из древней Эллады, не из Италии или Испании, и все же меня поразила необычайная стандартизация. Города походили один на другой. Я видел те же улицы, те же дома, те же вывески, те же галстуки в Детройте и в Джексоне. Статейка хлесткого журналиста печаталась одновременно в пятидесяти газетах; повторялись сплетни, анекдоты, проповеди.

Казалось бы, выводы напрашивались, вставал классический образ мистера Бэббита. Но и не торопился с выводами, говорил себе: все это так и не так.

Меня смешили объявления в газетах о воскресных богослужениях — зазывали, как в балаган; одна церковь обещала цветной фильм на библейскую тему, другая соблазняла хорошим буфетом. Американцам такие рекламы, видимо, не казались кощунством. В Алабаме мы заехали к профессору; нас оставили пообедать; все сели за стол; профессор встал и прочитал импровизированную молитву — просил господа о мире между двумя великими народами; по лицам домочадцев было видно, что они действительно молятся. Я был на обеде, устроенном издателем «Нью-Йорк тайме», возле каждого прибора лежала карточка, я подумал, что это меню; оказалось — на одной стороне

реклама газеты, на другой молитва, но здесь уже никто не молился…

Вскоре после нашего приезда в Америку Симонова и меня пригласили на ужин, устроенный одной из еврейских организаций. Консул сказал, что мы обязательно должны быть эта организация собрала свыше двух миллионов долларов на детские дома в Советском Союзе. Народу пришло много, хотели послушать «красных» — так нас называли в газетах. Мы обедали на эстраде, а гости — внизу за маленькими столиками. Профессионал по сбору денег (не раввин, а пастор) выполнял работу конферансье и ловко выкачивал доллары. Люди давали сто двести долларов. Некоторые выписали чеки на тысячу, пастор их прочувствованно благодарил, и зал аплодировал. Мне нужно было выступить, а меня от всего подташнивало. В своей речи я напомнил, что собравшиеся в большом долгу перед советским народом и что, когда выплачивают крохотную часть задолженности, этим не гордятся, этому не аплодируют, сказал также, что у нас люди отдавали свою жизнь скромнее, чем здесь дают доллары. Один из организаторов ужина принес мне таблетки — решил, что резкость моих суждений объясняется болезненным состоянием.

Нового, конечно, Синклер Льюис, ничего не выдумал, и я сам услышал в Бирмингеме комплимент: «Вы выглядите на сто тысяч долларов». Конечно, культ доллара был весьма распространен. Но я встретил в Америке немало бескорыстных идеалистов. В Нашвилле жил скромный адвокат Фармер. Он уверовал в идею «мирового правительства». Потом эта идея была использована политиками для целей отнюдь не гуманных. Но Фармер был убежден, что мировое правительство спасет человечество от войны. Он превратился в проповедника. Он повез меня на ферму к своему отцу; там мы обедали, и сын пытался обратить отца в новую веру. В Нью-Орлеане я встретил инженера, который до войны сконструировал машину дли механизации уборки хлопка; ему предложили за патент крупную сумму, а он после разговора с приятелем-экономистом уничтожил свое изобретение боялся, что машина лишит хлеба десятки тысяч сельских рабочих. Я видел белых энтузиастов, выступавших в Миссисипи против притеснения негров, видел первую демонстрацию против атомной бомбы. В конце сороковых годов в Движении сторонников мира работал американский пастор Джон Дарр. Он записывал в тетрадку разговоры, казавшиеся ему значительными: хотел понять все тонкости марксистского толкования событий. Делегацию сторонников мира пригласили в Китай. Пастор Дарр, разумеется, и там записывал мудрые и немудрые изречения своих

собеседников. Хотя сами китайцы аккуратно записывали все, что рассказывал я и другие гости, любовь американца к записям показалась им подозрительной, и они сообщили об этом в Москву. Наивный и честнейший Дарр стал пугалом. Он это понял и вернулся в Америку и там продолжал выступать за мир, хотя это было связано для пего со всяческими неприятностями. Летом 1965 года на конгрессе в Хельсинки было много американцев-пацифистов: священники, квакеры, сторонники всеобщего разоружения, женщины, возмущенные войной во Вьетнаме, люди смелые и бескорыстные.

Как все это понять? Вот над чем в 1946 году я ломал себе голову. В Париже дома примерно одного роста — шесть-семь этажей, а в американских провинциальных городах дома одноэтажные, но в центре обязательно несколько небоскребов. В Америке столько контрастов, что теряешь голову. Между двумя войнами мы восхищались американской литературой — Хемингуэем, Фолкнером, Стейнбском, Колдуэллом. Приехав в Америку, я увидел, что вокруг них пустота. В штате Миссисипи люди интеллигентных профессий не знали даже имени Фолкнера, хотя он жил рядом — в городке Оксфорде. Поразило меня отсутствие средней литературы: Хемингуэй или «дайджест», Фолкнер или дурацкие «комиксы», Я видел прекрасные фильмы Форда, Уайлера, Уэллсе а, Мамуляна, а в соседних кинотеатрах показывали плоские фарсы, свирепые мелодрамы, патоку и пакость.

Я давно хотел поглядеть на собрание членов «Клуба львов» — этот клуб имеет разветвления во всех городах. Как раз на Юге, неподалеку от города, где жил Фолкнер, я попал на обед «львов». Председатель постучал деревянным молотком по столу, и члены клуба, главным образом коммерсанты, дружно зарычали «ууу!». Это было до того нелепо, что я едва сдержался, чтобы не рассмеяться. Обед кончился, «львы» вернулись к своим делам, а я шел по длинной Мэн-стрит и думал: хорошо, но откуда у них Фолкнер?…

В Нью-Йорке я пошел к Джону Стейнбеку. Еще до войны в Париже я восхищался его повестью «Мыши и люди». Он жил в центре Нью-Йорка в одноэтажном доме — это было роскошью: в Голливуде сделали несколько фильмов по его романам; он ругал эти фильмы, ругал многое другое и пил виски со льдом. Мы сидели в большой мастерской (жена Стейнбека художница). Он сказал мне: «Если плюнуть в пасть льва, лев станет ручным…» (Эти слова я потом не раз вспоминал — они верны по отношению ко львам различных мастей.) Несколько лет спустя Стейнбек приехал в Советский Союз. Я был с ним в Загорске, он захотел

там посмотреть мастеров, которые вырезывают из дерева зверушек. Прежде они работали хорошо, но под влиянием тяги к натурализму стали изготовлять соответствующий товар. Когда мастер сделал общую форму медведя, Стейнбек попросил продать ему неоконченную игрушку. Мастер обиделся: «Хочет, чтобы в Америке над нами посмеялись…» А Стейнбек восхищался: «Вот это искусство!..» И добавил: «Когда пишешь роман, тоже нужно вовремя остановиться…»

Прошло еще пятнадцать лет, и недавно я снова увидел Стейнбека. Он много с тех пор написал, узнал и годы неудач, и славу. Он сидел у меня, большой, крепкий, и я все время думал: до чего он связан с Америкой! Молодая страна, люди в ней не стареют — живут, потом падают. Не знаю, умеет ли Стейнбек вовремя остановиться, когда пишет роман; я его не стал об этом спрашивать, — кажется, нет на свете автора, который знал бы самого себя: писатели заняты своими героями, им недосуг задуматься над собой. Конечно, Стейнбек стал как-то спокойнее, я почувствовал тяжесть и снисходительность седьмого десятка, все же он остался громким, неуемным, похожим на свою страну.

Теперь я несколько лучше понимаю американцев. А в 1946 году я спрашивал себя: чем живет Стейнбек? Чем живет Америка? Это были не праздные вопросы, не любопытство туриста, не работа этнографа — я видел, что после войны многое на свете изменилось. Все зависит от того, по какому пути пойдет эта богатая, чрезвычайно цивилизованная и вместе с тем полудикая страна.

Сотни американцев пытались мне доказать, что американцы самые свободные люди и что это объясняется частной инициативой, психикой пионеров, значением личности. Слушая такие разговоры, можно было подумать, что передо мной испанские анархисты и что Трумэн — ученик Мигеля Бакунина. Действительно, я побывал в городах, где частные компании отпускали не только электричество и газ, но даже воду; на дорогах несколько рая нашу машину останавливали и брали деньги за проезд, — оказывалось, дорога принадлежит бизнесмену или плантатору; мост через Миссисипи эксплуатировался акционерным обществом. В 1946 году правительство проводило кампанию против расточительства. Я видел повсюду рекламы: «Не забывайте, что на свете пятьсот миллионов человек голодают. Гейнц — пятьдесят семь соусов». Я спросил председателя торговой палаты в городе Джексон, почему фирма Гсйнца рекламирует свои соусы с помощью гуманных фраз. Председатель покачал головой: «Напротив, фирма Гейнц старается помочь правительству. Официальным декларациям не

верят, а у Гейнца большой авторитет…» Вместе с тем власти преспокойно вмешивались в частную жизнь американцев. В Нью-Йорке, в гостинице на Бродвее, где я прожил неделю, ночью была облава; арестовали провинциалов-молодоженов — у них не было при себе удостоверения о браке. Имелись штаты, где венчали без волокиты, а штат Невада разбогател потому, что там легко развестись. В вагоне-ресторане официант забрал стакан с виски: «Мы проезжаем через сухой штат…»

Я был у крупного ученого Зворыкина, изобретателя иконоскопа. Он жил возле Филадельфии в чудесном доме. Он долго рассказывал, как быстро развивается в Америке наука. Я знал, что Эйнштейн и Ферми обязаны многим Соединенным Штатам. Роман Якобсон ночь напролет говорил мне о будущем новой науки — изобретены «мыслящие машины». В Принстоне я видел замечательные аудитории, лаборатории, библиотеки.

В Джексоне, в Ноксвилле я с трудом разыскал книжный магазин.

Разноречивые впечатления я изложил в очерках. Конечно, в них было много случайного, были, наверно, и ошибки — трудно за короткий срок понять чужую жизнь. Однако я не поддался соблазну отделаться памфлетом. В 1946 году «холодная война» быстро разгоралась, и те американцы, которые ее раздували, радовались некоторым статьям или фельетонам, напечатанным — в наших газетах. Журнал «Харперс мэгезин», участвовавший в антисоветской кампании, опубликовал перевод моих очерков, но в своих комментариях признал: «Важны не отдельные детали, а общее впечатление, которое получит от этих статей советский читатель. Трудно себе представить, что он увидит в них Америку грубым, жадным, механизированным и бездушным чудовищем, каким ее изображали в прошлом европейские спиритуалисты, например, Андре Зигфрид… Статьи мистера Эренбурга появлялись в «Известиях» с июня по сентябрь — во время ныне знаменитой «культурной чистки», от которой пострадали многие писатели и кинорежиссеры… «Известия» писали в передовой: «Чему же могут учиться лучшие люди советского общества, творцы его культуры у «модных» деятелей современного Запада и Америки, выразителей морального распада и гниения капиталистического строи?» Читая это, мы в испуге вспомнили одно место в четвертой статье мистера Эренбурга: «Мы можем многому научиться и у американских писателей, и у американских архитекторов, и даже (несмотря на потрясающую пошлость средней продукции) у американских кинорежиссеров». Возникает тревожное чувство, что благодаря этим статьям мистер Эренбург повис на суке. Мы надеемся, что он принял меры

предосторожности и снял с себя галстук». (Антисоветские журналисты надеялись, что меня уничтожат, и до сих пор не могут мне простить, что я остался в живых.)

Однако мои очерки были продиктованы не только желанием погасить огонь «холодной войны». Я понимал, что европейцы начинают походить на американцев — в пристрастии к комфорту, в некотором упрощении эмоциональной жизни, в культе техники и спорта. Мне хотелось приободрить себя, и, думая о новой интеллигенции, представителей которой я встречал в Нью-Йорке, Бостоне, Нью-Орлеане, я доказывал, что многие американцы начинают походить на европейцев: «Америка не застывший мир, она все время в движении. Вчерашние пуритане становятся запойными неврастениками, героями Хемингуэя. Дети баптистов и методистов читают «Ньюйоркср», высмеивающий «американизм». Вообще, так издеваться над Америкой, как это делают сами американцы, никогда не сможет ни один европеец; и в этом тоже залог роста. Я убежден, что американцы, проклинающие Америку, на самом деле страстные патриоты. Они — новые пионеры, их тоже трясет лихорадка, но не «золотая»: они ищут духовные ценности; им мало высоких домов, и если они смеются над этими домами, то не потому, что предпочитают хижины, а потому, что хотят высоких дум и высоких чувств».

Вероятно, все это правильно, но «быстро сказка сказывается», а история петляет. Прогресс естественных наук стал повсеместным. Американцы растерялись, увидев в некоторых областях превосходство советской техники; однако это было связано, скорее, с выкладками политиков и военных, чем с поисками «высоких дум и высоких чувств».

В годы, называемые теперь годами «культа личности», кибернетику у нас называли шарлатанством. Впервые Большая советская энциклопедия заговорила о ней в дополнительном томе. Наши специалисты по кибернетике с возмущением вспоминают прошлое: один из них обиду перенес на искусство, как будто в походе на новую науку повинно «анахроничное увлечение Бахом или Блоком». Между тем люди, запрещавшие кибернетику, с опаской поглядывали на искусство. Я продолжал и продолжаю спорить не столько с Америкой, сколько с «американизмом». С увлечением я прочитал книгу Винера (хотя не все в ней понял); я слышал электронную музыку, охотно верю, что машины, сочиняющие стихи, делают это быстрее и не хуже многих членов Союза писателей. Баха или Блока машины, однако, не заменяют, да и не могут заменить.

Может быть, в недалеком будущем межпланетные ракеты будут предоставлять парочкам, лишенным свидетельства о браке,

больший комфорт, чем теперешние «кадиллаки» или «бьюики»; не нужно много фантазии, чтобы это себе представить. Но я хочу думать, что люди грядущего будут обладать той культурой эмоций, которая отличает любовь героев Шекспира, Гете или Льва Толстого от случки питекантропов.

Древние изображали богиню мудрости с совой, и Гегель говорил, что сова взлетает, когда опускаются сумерки. Обидно, что о многом начинаешь задумываться к вечеру жизни.

7

Наш приезд в Америку рассматривался как «ответный визит» — в 1945 году три американских журналиста побывали в Советском Союзе. «Холодная война» только начиналась. Американцы вели переговоры с Советским правительством об увеличении тиража журнала «Америка», выходившего на русском языке, об облегчении работы американских корреспондентов в Москве, и государственный секретарь Бирнс решил показать свою добрую волю. Все газеты сообщили: «Трое красных журналистов приглашены познакомиться с Америкой. Они будут свободно разъезжать по стране за счет правительства Соединенных Штатов». От денег мы отказались, а разрешением свободно передвигаться решили воспользоваться. Галактионов предпочитал остаться в Нью-Йорке, где было много советских работников, но, посоветовавшись с послом, решил, что поедет на несколько дней в Чикаго, и, когда нас пригласил заместитель Бирнса Бентон, Михаил Романович объяснил, что намерен познакомиться с работой крупных чикагских газет. Симонов сказал, что выбрал Западное побережье — Голливуд. Пришел мой черед: «Я хотел бы поехать в Южные штаты». Бентон попытался меня отговорить: далеко, воздушная связь плохая, да и не повсюду имеются хорошие гостиницы. Я возразил: от Москвы до Вашингтона еще дальше, я могу поехать поездом, а комфортом мы не избалованы. Бентон повторил, что мы свободны в выборе.

Один из вашингтонских комментаторов, или, как в Америке говорят, «колумнистов», статьи которых печатают одновременно десятки газет, Марквиз Чайлдс, писал: «Совершенно ясно, почему Эренбург — самый яркий и агрессивный из трех — выбрал «Табачную дорогу». В жизни Юга он цинично ищет подходящих для него историй…» (Говоря о «Табачной дороге», журналист, конечно, имел в виду не мою страсть к куренью, а книгу Колдуэлла.)

Признаться, я меньше всего думал и о Колдуэлле, и о материале для газетных очерков; мне хотелось понять то, что с давних пор оставалось для меня загадочным: положение негров в Америке. В молодости я считал, что прогресс неминуемо освобождает людей от суеверий и нетерпимости. Я знал, что Южные штаты Америки далеко отстали от Северных, что там мало промышленности, есть неграмотные, и этим объяснял живучесть предрассудков. Только когда расизм восторжествовал не далеко за океаном, а в хорошо мне знакомой Германии, я понял, насколько был наивен. Судьба американских негров

перестала быть исключительным явлением; расизм вошел в быт века. Решив поехать в Южные штаты, я думал не о газетных статьях, а только что закончившейся, еще не отошедшей от меня войне, думал о многом темпом, с чем мне пришлось в жизни столкнуться, искал разгадку, пробовал осмыслить противоречивую эпоху.

В первые же дни моего пребывания в Нью-Йорке я понял, что Новый Свет забит хламом старых предрассудков.

В киосках можно было увидеть десятки газет, выходивших в Америке на различных языках — итальянском, польском, еврейском, немецком, испанском, греческом, армянском, украинском, сербском и Других. Я попал в итальянский квартал; там сушилось на веревках белье, в тратториях люди накручивали на вилку длинные макароны, кто-то пел, мне показалось, что я в Генуе или в Неаполе. В еврейском квартале торговали солеными огурцами, халвой, водкой, были вывески и русские и польские; старик, похожий на героя Бабеля, пил на улице чай и рассуждал: «Сульцбергер пишет, что он любит бога, если не еврейского, то американского, но, наверно, этот бог с таким вниманием читал «Тайме», что даже не заметил, как сожгли варшавское гетто…»

Названия городов напоминают, что люди пришли сюда отовсюду: Нью-Йорк, Нью-Орлеан, Манчестер, Амстердам, Пекин, Париж, Одесса, Толедо, Франкфурт, Кантон, Кембридж, Москва, Берлин, Рим, Оксфорд, Кордова… В любой отрасли науки встречаешь имена, которые ясно говорят, что если не сам ученый, то его дед родился — кто в Ирландии, кто в Польше, кто в Германии, кто в России. Я хотел понять, почему же в стране, где перемешались все расы, все национальности, все языки, расцвели и расизм, и своеобразная национальная иерархия.

Аристократия знала родовую иерархию: потомственный дворянин глядел свысока на личного дворянина, а этот последний презирал мещанина; во Франции выше всего стояли принцы, за ними шли герцоги, потом маркизы, графы, виконты, бароны, наконец — обыкновенные дворяне, у которых перед фамилией значилось «де». Считалось, что в жилах аристократов течет «голубая кровь». Но Америка не знала ни феодализма, ни голубой крови. И вот, загадочным для меня образом, создалась своя иерархия крови: выше всего люди, происшедшие из семейств английских, шотландских, ирландских, скандинавских, голландских; несколько хуже немцы, за ними идут французы, ниже славяне, еще ниже итальянцы, почти внизу евреи, китайцы, порториканцы, и всех ниже негры, Есть клубы, куда не принимают славян, итальянцев. Что касается евреев, то их положение хорошо мне объяснил один словоохотливый

американец: «С ними обедают, но не ужинают», — обед — это деловая встреча в ресторане без жен, — с евреями можно делать дела, но не якшаться. Мне показывали гостиницы, куда не пускают евреев; обычно это на курортах, у моря или у озера.

Через несколько дней после моего приезда в Нью-Йорк друзья повезли меня в негритянский квартал Гарлем; там я познакомился с журналистами, писателями, актерами, музыкантами; с некоторыми из них я подружился.

Теоретически негры в Нью-Йорке пользовались всеми правами. Но квартир в домах, где жили белые, неграм не сдавали. Они жили в Гарлеме, и что ни говори — это гетто. Как-то я возвращался из Гарлема поздно ночью. Шофер такси довез меня до границы гетто, объяснил, что дальше ему ехать не стоит — не найдет назад пассажиров, окликнул такси с белым шофером, и и пересел. Конечно, были богатые негры, были даже занимавшие государственные посты (таких было мало, и посты были некрупными, но видимость соблюдалась); однако большинство черных выполняло черную работу: носильщики, мусорщики, сторожа, лифтеры, судомойки, прачки. В Гарлеме я видел «госпиталь рубашек» так называлась мастерская, где на месте латали рубашку, клиент сидел полуголый и ждал: у него была всего одна рубашка.

Если негр заходил в ресторан, который содержал американец, ему вежливо говорили, что все столики заказаны. Если он пробовал найти работу почище, ему любезно сообщали, что вакансия уже занята. Я хотел позвать к себе друзей-негров. Меня предупредили, что их не подымут наверх — я жил на шестнадцатом этаже, скажут, что лифт не работает.

Американцам нравилась негритянская музыка, черные певцы, актеры. Негритянские труппы часто играли на Бродвее. В партере сидели белые, они аплодировали. Но если актеры захотели бы после спектакля поужинать, они должны были найти французский, итальянский или еврейский ресторан — в американском им сказали бы, что все столики заняты…

Расизм заразил даже тех, которые от него терпели: и встречал негров-антисемитов. А обиженный кем-то еврей кричал: «Почему вы со мной так разговариваете? Я, кажется, еще не негр!..» Мулат в Вашингтоне рассказывал о своей беде — его дочь влюбилась в негра.

Я начал готовиться к путешествию. Друзья сказали, что они пришлют ко мне одного прогрессивного южанина, который посоветует, куда поехать. Дэниэл Гилмор был южанином, сыном адмирала; до войны издавал левый литературный журнал «Пятница» (под таким же названием выходил еженедельник в

Париже, его редактировали Жан-Ришар Блок и Шамсон). Он сказал, что повезет меня в своей машине. Это было нечаянной удачей — никогда бы я не разыскал тех захолустий, куда меня повез мой новый друг.

Госдепартамент сообщил мне, что меня будет сопровождать редактор журнала «Америка», выходящего на русском языке. Нельсон был сыном выходца из России и превосходно говорил по-русски. Он показал себя тактичным, и между нами установились добрые отношения.

Нельсон обращался к местным властям; меня приглашали на официальные обеды — то председатель торговой палаты, то издатель крупной газеты, то чиновник, занятый делами культуры. Гилмор знал многих, возил меня в редакции негритянских газет, в заштатные городки, на хлопковые плантации. Я разговаривал с сотнями разных людей — с профессорами и плантаторами, с пасторами и с профсоюзниками, с художниками и с рабочими.

Мы были в Алабаме, когда Гилмор рассказал, что «колумнист» Сэм Графтон хочет описать поездку советского писателя по Югу и просит разрешения присоединиться к нам. Дальше мы колесили уже вчетвером в утомленном, но поместительном «бьюике».

Почему-то моим спутникам понравился русский обычай называть человека по имени и отчеству. И вот со мной ездили Дэниэл Горацевич Гилмор, Билл Бенедиктович Нельсон и Сэм Ноэмович Графтон. Мы подружились, и южане не раз принимали нас всех за «красных». Мы останавливались на ночь то в больших гостиницах, то в «мотелях», то в комнатах, которые жители городишек сдавали проезжим. Южане оказались гостеприимными, приглашали пообедать или поужинать с ними. Мне повезло — я ездил как американский турист.

В Нашвилле я провел день в частном негритянском университете Фиск. Там училось около семисот юношей и девушек, они готовились стать врачами, педагогами, адвокатами, но знали, что смогут лечить, учить, защищать только «цветных». Среди профессоров был крупный химик Брэди. Он рассказал, в каких условиях ему приходится работать. В университете для белых прекрасно оборудованные лаборатории, но туда он не имеет права войти, не может он пользоваться и университетской библиотекой: когда ему нужна справка, белый юноша идет вместо него в библиотеку и выписывает. А на международные конгрессы профессора Брэди посылают: для Нашвилла — он негр, для заграницы — видный американский ученый.

(Я прочитал статью известного зоолога Лилли, профессора Чикагского университета, посвященную умершему в начале

войны биологу Дзосту: «Трагизмом отмечена вся научная деятельность Дзоста — он был негром в Соединенных Штатах… В Европе его принимали дружески, и легко понять, почему он себя обрек на добровольное изгнание, но глубоко обидно, что его знания, беззаветная преданность науке не смогли найти приложения на его родине…»)

Среди студентов Нашвилла я увидел рыжеватую девушку с веснушками, она заговорила со мной по-русски. Оказалось, отец ее негр, а мать одесситка, звали ее Лилиан Вальтфильд. По виду ее никак нельзя было принять за негритянку, но в паспорте значилось: «цветная».

Мы осматривали плотину Теннесси — огромное строительство, осуществленное Рузвельтом. Электростанция изменила экономику шести южных штатов. Я восхищался дорогами, домами, парками, но повсюду я видел надписи «Для цветных» и угрюмо думал: да бог с ней, с этой диковинной техникой, если она может сочетаться с оплевыванием человека!..

Когда мы ехали на Юг, Билл Бенедиктович мне рассказывал, как хорошо поставлено в Америке народное образование и какие суммы расходуются на здравоохранение. В Миссисипи я увидел, как живут негры, арендующие клочок земли, или сельские рабочие. В темных лачугах копошились огромные семьи, спали на иолу. Мы встречали много неграмотных — школ для негров не хватало, встречали людей, никогда в жизни не видавших доктора: врачу нужно заплатить столько, сколько целая семья вырабатывает в три месяца.

А радушный хозяин большой плантации, угощавший нас яствами Юга, говорил: «Неграм у меня хорошо. Я их даже в церковь отпускаю…»

Войдя в одну злосчастную хижину, Сэм Графтон вышел потрясенный никогда прежде он не бывал на Юге. Я ему сказал: «Видите, и я пригодился — благодаря мне дядя Сэм познакомился с дядей Томом…» Нельсон тоже впервые увидел Южные штаты и был подавлен; больше он не заговаривал ни о медицинском обслуживании, ни о народном образовании.

Я вспоминаю большую ярко-желтую реку Миссисипи, старые усадьбы, где жили опоэтизированные герои Митчелл, уют, комфорт, который не снился нашей Салтычихе, и темные, зловонные хижины, едкое человеческое горе голод в краю изобилия, работу через силу и ко всему ежечасное надругательство: «Куда лезешь, грязный негр!..» (Эти слова я услышал на трамвайной остановке — вагоны, где имели право ездить только белые, проходили почти пустые, а на площадке места не было.)

Трудно видеть чужое горе, нужду, нищету, — это я не раз чувствовал и дома, и в Испании, и в Индии. Но только раз в жизни я очутился среди чужого унижении. Однажды в Нью-Орлеане я сидел в милом доме у хороших и просвещенных людей — знакомых Гилмора. Один из гостей, высокий, светловолосый, оказался архитектором. Мы говорили сначала об урбанизме, о Ле Корбюзье, потом о живописи. Меня мучила жажда — было нестерпимо жарко. Я предложил пойти в соседний бар и там продолжить беседу. Никто меня не поддержал. Полчаса спустя я попросил стакан воды. Архитектор встал: ему пора домой. Когда он вышел, хозяйка объяснила, что он по паспорту «цветной» и не может войти в бар — его в городе знают. Мне стало стыдно: ведь я его поставил в трудное положение. Больше не хотелось пить и, если говорить откровенно, не хотелось жить.

Другой раз я испытал нестерпимый стыд, когда очень светлая мулатка рассказала мне, как носильщик, не догадавшись, что она «цветная», посадил ее в вагон для белых; поезд тронулся, она не успела выйти. Один белый подозвал проводника и сказал, чтобы он выкинул «цветную». Девушка никак не походила на мулатку; проводник оказался сердобольным и шепнул заподозренной: «Я ему объяснил, что вы еврейка, поэтому у вас черные волосы…» Девушка смеясь добавила: «А я так испугалась, что двинуться не могла…» Вот тогда впервые в жизни мне стало стыдно, что я еврей, хотелось стать черным евреем.

Сторонники «расового разделения» или, говоря проще, расисты, разговаривая со мной, пробовали обосновать южные порядки: есть естественное неравенство рас, нужны века, чтобы негры доросли до белых; теперь с ними общаться трудно, их следует учить, создавать для них сносные условия и давать ту работу, которую они в силах выполнить. Это я слышал много раз. Это сказал мне и один юрист, у которого мы ужинали. Его молодая жена добавила, что хорошо это или плохо, но каждый американец чувствует к неграм физическое отвращение. (Я почувствовал отвращение к молодой хорошенькой женщине, но, будучи гостем, промолчал.) Мы встали, и хозяйка сказала, что покажет нам своего первенца — он родился ровно месяц назад. Младенца принесла огромная толстая негритянка, сверкавшая белыми зубами, — она кормила грудью сына хозяев…

В промышленном Бирмингеме много негров работало на металлургических заводах. Мы зашли к одному из них; он жил бедно, но чисто, в маленькой комнате помещались пять человек. Разговорились о работе, о квартирах. Потом я спросил, какие у него отношении с белыми товарищами. «На работе хорошие». — «Бываете вы у кого-нибудь из них?» — «Нет». «А к вам приходят?»

— «Никогда. Вы — первый белый, который зашел в этот дом…»

В Нью-Орлеане я пошел в профсоюз моряков. Секретарь показал мне клуб, сказал, что их профсоюз называют «красным»: у них негры присутствуют на общих собраниях, в других профсоюзах для «цветных» имеются особые секции. «Вот места для негров», — сказал секретарь. Скамейки были не хуже других, но негров все же сажали отдельно.

Помню долгий откровенный разговор с адвокатом Робертсоном. Он был хороший человек, которого возмущала расовая дискриминация, он старался, как мог, помочь неграм. Он рассказывал мне о чудовищных приговорах. Одна женщина увлеклась негром, которого звали Вилли Меги, он был шофером грузовика. Она затаскивала его к себе в дом. Соседки об этом судачили. Однажды муж вернулся не вовремя. Женщина закричала: «Помогите, меня насилуют!..» Все, включая судей, знали, что женщина лжет, но никто на суде об этом не сказал. Напрасно адвокат пытался спасти Вилли Меги — его приговорили к смертной казни. В городке Олбезилл шестеро белых изнасиловали негритянку; все знали, что они виновны, но их оправдали. Робертсон вспомнил и другие судебные дела в штате Миссисипи. Я спросил его, почему расизм оказался настолько живучим. Он ответил: «Мне неприятно вам признаться, но это в нас с детства, мы все отравлены этой пакостью. У нас домашняя работница негритянка. Мы с женой к ней хорошо относимся. Недавно она рожала. Позвали врача. Я зашел поглядеть на ребенка и поймал себя на мысли — живое существо, а все-таки не белый… Я сам себе неприятен…»

Я понял, что дело не только в страшной эпопее Гитлера. Конечно, в Америке не было ни Освенцима, ни Треблинки. Случаи линчевания становились все большей редкостью. В 1946 году в Южных штатах существовали законы, весьма напоминавшие те, над которыми трудился Глобке (еще недавно он занимал в Западной Германии весьма почетное место). Но и рабовладельцы Юга не были новаторами. Семь параграфов закона, опубликованного в XIII веке испанским королем Альфонсом X, которого прозвали Мудрым и который действительно покровительствовал астрономии и другим паукам, гласили о разделении в жизни христиан и евреев и устанавливали ограничении для евреев, весьма схожие с теми, которые существовали в середине XX века в Южных штатах для негров.

Я знаю, что теперь многое изменилось. Даже американские реакционеры поняли, что Африка проснулась и что гонение на негров в Соединенных Штатах исключает возможность добрых

отношений с новорожденными государствами Африки. Да и внутри самой Америки наблюдаются сдвиги сознания. Конечно, хорошо, что ровно сто лет спустя после победы Севера над рабовладельцами-расистами принят закон о предоставлении избирательных прав неграм Юга. Но это событие совпало с кровью на улицах Лос-Анджелеса, с выстрелами в Алабаме и Миссисипи, с накопившейся ненавистью угнетенных к угнетателям и с затаенной неприязнью либеральных «освободителей» к освобождаемым.

Дело не только в уничтожении отвратительных законов, дело в изменении душевного мира людей: мы слишком хорошо знали, что никакое, даже самое передовое, законодательство не может вытравить из сознания древних предрассудков; они норой прячутся, камуфлируются, ищут новых, более приспособленных к современной жизни обоснований и вдруг показываются во всей своей отвратительной наготе.

О поездке на Юг я рассказал не для того, чтобы осудить американцев, эта книга — не сборник политических статей. Я задумываюсь над тем, что увидел и пережил, мне хочется найти выход. Кажется, я был прав в молодости, когда думал, что свет изгоняет тьму, только и те далекие годы я принимал образование за воспитание, а знания за совесть. Выход, наверно, в гармоничном развитии человека, что требует много душевных сил, много разума, да и много времени; но если люди сейчас же не возьмутся за это, то они погибнут смертью, недостойной человека, — от превосходства ядерного оружия над хрупкостью немысляшего тростника, и погибнут они независимо от цвета кожи или от формы носа.

8

Мне казалось, что я потерял возможность изумления; перелетел океан, побывал в разных странах, встречался со знаменитыми, порой великими людьми, пережил три войны, революцию, тридцать седьмой, фашизм, Победу, и вот неожиданно 14 мая 1946 года я пережил изумление подростка, который впервые видит необычайное явление природы, — меня повезли в Принстон, и я оказался перед Альбертом Эйнштейном. Я провел у него всего несколько часов, но эти часы мне запомнились лучше, чем некоторые крупные события моей жизни, можно забыть радости, напасти, а изумление не забываешь, оно врезается в намять.

Конечно, я видел фотографии Эйнштейна, кто их не видел, но выглядел он иначе, может быть, потому, что снимки были давнишними, может быть, потому, что фотообъектив не глаз. Эйнштейну, когда я его увидел, было шестьдесят семь лет; очень длинные седые волосы старили его, придавали ему что-то от музыканта прошлого века или от отшельника. Был он без пиджака, в свитере, и вечная ручка была засунута за высокий воротник, прямо под подбородком. Записную книжку он вынимал из брючного кармана. Черты лица были острыми, резко обрисованными, а глаза изумительно молодыми, то печальными, то внимательными, сосредоточенными, и вдруг они начинали задорно смеяться, скажу, не страшась слова, по-мальчишески. В первую минуту он показался мне глубоким стариком, но стоило ему заговорить, быстро спуститься в сад, стоило его глазам весело поиздеваться, — как это первое впечатление исчезло. Он был молод той молодостью, которую не могут погасить годы, он сам ее выразил брошенной мимоходом фразой: «Живу и недоумеваю, все время хочу понять…»

В «Хулио Хуренито», написанном в 1921 году, я рассказывал, что читаю о теории относительности в популярном изложении. Во многих областях науки я чрезвычайно невежествен (к счастью, я это понимаю) — сказывается «незаконченное среднее». Популярное изложение я одолел, но даже в нем не все понял, о некоторых вещах, скорее, догадывался. По дороге из Нью-Йорка в Принстон я волновался: о чем я смогу говорить с великим ученым — я ведь неуч?… О своих страхах я рассказал еврейскому литератору Брайнину, который повез меня в Принстон. Он ответил, что Эйнштейн человек простой, он меня пригласил потому, что интересуется Россией, угрозой новой мировой войны. Это меня не успокоило. Но стоило Эйнштейну заговорить, как

страх исчез. Конечно, я отвечал на его вопросы, что-то рассказывал, но теперь мне кажется, что говорил только он, а я слушал, и если раскрывал рот, то от изумления.

Все меня изумляло — и его внешность, и биография, и мудрость, и задор, а больше всего то, что я сижу, пью кофе, а со мной разговаривает Эйнштейн.

(Как-то я сидел рядом с Жолио-Кюри на заседании Всемирного Совета Мира. Ораторы один за другим повторяли общеизвестные истины. А Жолио, наклонившись к моему уху, говорил о судьбе физиков. (Видно, какая-то фраза навела его на эти мысли.) «Физики похожи на поэтов, они делают открытия в молодости. Это как вдохновение. Ферми в тридцать три года создал теорию бета-распада. Резерфорд проявил свой гений в тридцать два года, де Бройль и Паули сделали важные открытия в тридцать один год, Дирак — в двадцать шесть. А вы знаете, сколько было Эйнштейну, когда он сформулировал частную теорию относительности? Двадцать шесть!» Глаза Жолио лукаво заблестели, вдруг он насупился: «Нужно послушать, что он говорит…» А я записал слова Жолио на проекте очередной резолюции.)

Конечно, мое волнение, когда я ехал в Принстон, было связано с масштабом человека. Я вспомнил, как в 1934 году Ланжевен мне говорил: «Эйнштейн перевернул все естественные науки. Физикам до него казалось, что все известно, а он доказал, что есть другое познание. С него начинается современная физика, да и не только физика — новая наука…»

Он разбивал старые представления о кабинетном ученом, замкнутом в пределах своей специальности. Я знал, что он дружил с Роменом Ролланом, в 1915 году выступал против войны, знал о его борьбе против фашизма, и человек, которого я увидел, помог мне многое понять в нашей противоречивой эпохе.

(Много позднее я прочитал его «Автобиографические наброски», воспоминания его друзей и увидел, что мое изумление было естественным. Его жизнь напоминала бурную горную реку. Начну с паспорта: он был немецким подданным, потом швейцарским гражданином и, наконец, американским. Когда он сделал свое гениальное открытие, он числился «экспертом третьего ранга в бернском бюро патентов». Три года спустя, когда об открытии Эйнштейна говорили все передовые ученые мира, он читал лекции в Бернском университете, и на этих лекциях бывали всего два студента. Вскоре о нем начали говорить не только на ученых заседаниях, но и в трамваях. Он читал курсы лекций в Цюрихе, в Праге, в Берлине, в Лейдене, в Пасадене, в Принстоне; побывал во многих странах Европы; ездил в Индию, в Палестину,

в Японию. С кем только не встречался он в жизни, не вел задушевных бесед! Я не говорю об ученых, естественно, что со многими из них его связывала дружба, но перечислю некоторые неожиданные встречи, о которых он писал или упоминал в разговоре: Ромен Роллан и лорд Бертран Рассел, Кафка и Чарли Чаплин, Рабиндранат Тагор и наркомнидел Чичерин, историк хасидизма Бубер и Бернард Шоу, бельгийский король Альберт и негритянская певица Андерсон, Рузвельт и Неру. Он терпеть не мог приемов, аплодисментов, фимиама, чрезвычайно редко выступал публично, обожал играть на скрипке, увлекался садоводством, отдавался парусному спорту (даже написал статью «Вопросы управления парусной яхтой»), и вместе с тем не было события, на которое он не реагировал бы страстно, самоотверженно. В годы первой мировой войны, узнав, что Ромен Роллан выступает против националистического ослепления, он поехал к нему в Швейцарию, выступил против мировой бойни. Он мужественно приветствовал Октябрьскую революцию, клеймил немецкий милитаризм. Фашизм нашел в нем непримиримого врага. Он не был националистом ни немецким, ни еврейским, ни американским. Собирая деньги на устройство еврейского университета в Палестине, он говорил: «Я видел, как в Германии высмеивали евреев, и мое сердце обливалось кровью. Я видел, как были мобилизованы школа, юмористические журналы, всяческие другие способы пропаганды, чтобы подавить в моих братьях евреях веру в себя…» Он сделал все, что мог, для Испании, отстаивавшей свое достоинство. Он участвовал во многих организациях, боровшихся против угрозы новой мировой войны. Он вышел из культурного отдела Лиги Наций, заявив, что она потворствует сильным и поощряет агрессоров. Он публично заявил в Америке, что он сторонник социализма и друг Советского Союза. Он писал о дискриминации негров: «Это темное пятно на совести каждого американца». В годы второй мировой войны он помогал сбору средств для помощи Советскому Союзу. Он осудил атомное оружие, предал анафеме «холодную войну», настаивал на всеобщем разоружении и за месяц до смерти сидел над текстом обращения, которое должно было быть подписано им, Бертраном Расселом и Жолио-Кюри.

У него было много врагов. Некоторые ученые долго пытались отрицать его открытия, которые, как им казалось, подрывают их небольшую, заработанную всеми правдами и неправдами, репутацию. Его ненавидели немецкие фашисты: для них он был прежде всего евреем. Была образована организация «Антиэйнштейн», куда входили некоторые известные физики, нобелевские лауреаты. Эта организация занялась травлей

Эйнштейна — срывали лекции, печатали псевдонаучные пасквили, листовки. В 1922 году «королевские молодчики», узнав, что Эйнштейн приезжает в Париж, устроили враждебную демонстрацию. Когда Гитлер пришел к власти, Эйнштейн был приговорен заочно к смертной казни, за его голову обещали крупное вознаграждение. В 1933 году мракобесы требовали, чтобы Эйнштейну запретили въезд в Соединенные Штаты. В 1945 году конгрессмен Ренкин в палате представителей предложил правительству «покарать агитатора, некоего Эйнштейна», осмелившегося выступать против режима Франко. Пять лет спустя тот же Ренкии говорил: «Старый шарлатан, некий Эйнштейн, который называет себя ученым, а в действительности является участником коммунистического лагеря…» Эйнштейном занялась знаменитая Комиссия по расследованию антиамериканской деятельности.)

В записной книжке и нашел некоторые фразы Эйнштейна — записал сразу, вернувшись из Принстона в Нью-Йорк. Вот что он говорил об американцах: «Это дети, иногда милые, иногда распущенные. Нехорошо, когда дети начинают играть со спичками. Лучше бы играли с кубиками… Я не думаю, что средний американец читает меньше, чем европеец, но он читает другое и, главное, читает иначе. Я спросил одного студента, читал ли он такую-то книгу, он ответил: «Кажется, да, не помню. Но ведь эта книга вышла несколько лет назад, наверное, она устарела…» Такому интересно только новое… Здесь умеют быстро забывать. В годы войны у среднего американца при слове «Сталинград» был рефлекс — снять с руки часы и послать красноармейцу. Михоэлс и Фефер это видели. Теперь при том же слове у многих совсем другой рефлекс: показать русским, что у нас атомная бомба. Конечно, это результат газетной кампании… В Центральной Африке существовало небольшое племя — говорю «существовало» потому, что читал о нем давно. Люди этого племени давали детям имена Гора, Пальма, Заря, Ястреб. Когда человек умирал, его имя становилось запретным (табу), и приходилось подыскивать новые слова для горы или ястреба. Понятно, что у этого племени не было ни истории, ни традиций, ни легенд, следовательно, оно не могло развиваться чуть ли не каждый год приходилось начинать все сначала. Многие американцы напоминают людей этого племени… Я прочитал в журнале «Ньюйоркер» потрясающий репортаж о Хиросиме. Я заказал по телефону сто экземпляров журнала и роздал моим студентам. Один потом поблагодарил меня, в восторге сказал: «Бомба чудесная!..» Конечно, есть и другие. Но все это очень тяжело… Я выступал осенью. Кажется, скоро снова придется…»

Он еще вернулся в разговоре к бомбе: «Видите ли, самое опасное рассчитывать на логику. Вы убеждены, что дважды два — четыре? Я нет… Несчастье, что умер Рузвельт, — он не допустил бы…»

(Опять-таки позднее я узнал о том, что называют «драмой Эйнштейна». За месяц до начала второй мировой войны некоторые друзья Эйнштейна, физики, сообщили ему, что в Германии работают над созданием атомной бомбы. Захватив Чехословакию, гитлеровцы располагают ураном. Друзья уговорили Эйнштейна написать об этом Рузвельту. В апреле 1945 года, когда стало ясно, что гитлеровцы не успели создать атомную бомбу, узнав, что такая бомба уже имеется у американцев, Эйнштейн вторично написал Рузвельту — умолял не прибегать к ужасающему оружию. Рузвельт умер до того, как получил письмо. А новмй президент Трумэн несколько месяцев спустя отдал приказ сбросить бомбы на Хиросиму и Нагасаки.)

Я знал, что Эйнштейн интересуется изданием «Черной книги». Я привез некоторые опубликованные материалы, фотографии. Эйнштейн внимательно глядел, потом поднял глаза, я увидел в них скорбь, его губы чуть вздрагивали. Он сказал: «Не раз в моей жизни я говорил, что возможности познания безграничны и безгранично то, что мы должны узнать. Сейчас я думаю о том, что у низости и жестокости тоже нет границ…»

Он спросил, куда и собираюсь поехать. Я ответил, что послезавтра уезжаю на Юг — хочу поглядеть, как живут негры. Он сказал: «Живут они ужасно. Постыдно! Действия правительства Южных штатов подпадают под некоторые пункты обвинительного акта Нюрнбергского процесса…» Через несколько минут, когда мы спустились в сад и нас там мучил фотограф, он рассказал, как давно одна молодая и красивая американка, защищая расовую дискриминацию, задала ему распространенный в Америке вопрос: «Что вы сказали бы, если бы ваш сын объявил вам, что женится на негритянке?» Я ей ответил: «Не знаю. Захотел бы познакомиться с невестой. А вот если бы мой сын сказал, что собирается жениться на вас, я, наверно, лишился бы сна и аппетита». (В его глазах загорелся задорный огонек.)

Он меня расспрашивал о Советском Союзе. Потом сказал: «Я верю, что вы быстро восстановите экономику. Я вообще верю в Россию. Скажите, вы часто встречаетесь со Сталиным?» Я ответил, что ни разу с ним не разговаривал. «Жалко — мне хотелось бы узнать о нем как о человеке. Один коммунист мне говорил, что я отстал — преувеличиваю роль личности. Конечно, я не марксист, но я знаю, что мир существует вне субъективных оценок личности. И все же личность играет крупнейшую роль… Я куда

лучше представляю себе Ленина — читал о нем, видел людей, которые с ним встречались. Он вызывает к себе уважение — не только как политик, но и как человек с высокими моральными критериями…»

Еще записана одна фраза — не могу вспомнить, в каком место разговора он это сказал: «На меня очень большое впечатление произвели «Братья Карамазовы». Это одна из тех книг, которые разбивают механические представления о внутреннем мире человека, о границах добра и зла…»

Прощаясь, он сказал: «Главное теперь — не допустить атомную катастрофу… Хорошо, что вы приехали в Америку, пусть побольше русских приезжают, рассказывают… Человечество должно оказаться умнее, чем Эпиметей, который раскрыл ящик Пандоры, а закрыть его не смог… До свидания! Приезжайте снова…»

Десять дней спустя я услышал но радио знакомый голос: Эйнштейн говорил о с мергельной опасности, нависшей над человечеством, — необходимо договориться с русскими, отказаться от атомного оружия, не вооружаться, а разоружаться — он хотел захлопнуть ящик Пандоры.

Я слушал и вспоминал маленький серый дом с зелеными ставнями, книги, рукописи, прожженные трубки, все казалось заброшенным, как будто хозяин уже ушел из привычного уюта в мир, который безграничен. Вспоминал я старого человека с ручкой за воротником, со светящимися глазами, с космами белых волос, которые трепал весенний ветер.

9

Это было в Нью-Йорке в начале моего знакомства с Америкой. В полутемной мастерской и примерял брюки, когда меня вдруг ослепила вспышка лампочки. Фоторепортер бубнил, что хотел снять меня на улице, а примерку снял ради шутки, мне на память, конечно, эта фотография не будет опубликована; и, конечно же, на следующий день я ее увидел в одной из вечерних газет. Журналист сообщал, что Эренбург отказался от застежки «молния», предпочитая ей традиционные пуговицы. Вместо того чтобы посмеяться, я рассердился и, встретив редактора несколько дней спустя, спросил его, почему он напечатал столь игривую фотографию, — я ведь не кинозвезда, а пожилой мужчина. «У нас существует интерес к человеку», — объяснил мне редактор. «Но почему к его нижней половине?…» Он удивленно посмотрел, потом захохотал: «Здорово! У вас чисто американский юмор. Завтра это пойдет в номер…»

Вначале меня удивлял характер многих американских газет; потом я привык и перестал обращать внимание. Беспокоило меня другое первые признаки того, что год спустя было окрещено «холодной войной».

Помню, в Ноксвилле, просматривая местную газету, я вдруг остолбенел: прочитал, что в псалме сто девятнадцатом говорится о Мосохе, где живут люди, ненавидящие мир, и что пророк Иезекииль указывал, что в Мешехе люди поклоняются идолу Гогу, а Мосох и Мешех не что иное, как Москва. Конечно, Ноксвилл — небольшой провинциальный город, можно было бы посмеяться над глупостью и кликушеством. Но на следующий день я разговаривал с одним фермером, очень гостеприимным, и он сказал мне: «Вот беда — только отвоевали и снова придется воевать, теперь уж не с немцами, а с русскими…» Сказал он это без задора, даже без неприязни, скорее печально. Подобные рассуждения я слышал не раз, хотя еще продолжался Нюрнбергский процесс и в первую годовщину победы над Гитлером многие вспоминали, что русские были союзниками. Людей сбивали с толку сенсационные телеграммы. Вдруг газетчики выкрикивают: «Красные танки идут на Тегеран…» Опровержений никто не помнил, помнили страх. Я спрашивал людей, разбиравшихся в иностранной политике: почему они считают третью мировую войну неизбежной? Они не ссылались на Библию, а говорили: «Русские собираются захватить Персию… Россия в ближайшие месяцы нападет на Турцию… Москва претендует на Грецию… Красные грозят начать войну, если Тито

не получит Триеста…»

Мы пробыли в Америке два с половиной месяца, и за этот короткий срок многое изменилось: газеты все чаще выказывали неприязнь, люди, с которыми мы встречались, стали настороженнее. Конечно, это было самое начало «холодной войны». Еще можно было надеяться, что вчерашние союзники договорятся. Я встречался с политическими деятелями, пытавшимися отстоять линию Рузвельта, с бывшим вице-президентом Уоллесом, с бывшим послом Дэвисом, с парламентариями Пеппсром, Коффэ, Томасом. Они выступали вместе с нами на больших митингах или на встречах. В Мэдисон-сквер пришли двадцать тысяч американцев; выступали и посол Громыко, и мы трое, и Дэвис. Я видел в масленой полутьме огромного зала дружеские улыбки.

Все же настроение рядовых американцев менялось на глазах. Меня поразила фантазия журналистов из газет, принадлежавших Херсту: они писали небылицы о нас, хотя мы были рядом. Многие газеты уверяли, что я путешествую под наблюдением сопровождающего меня агента ГПУ, и милейший Билл Бенедиктович смеялся, когда я представлял его: «Тайный агент красной полиции, сотрудник Государственного департамента мистер Нельсон». Я приехал с Симоновым в Бостон, ехали мы ночь, на вокзале нас встретил член Совета американо-советской дружбы. Накинулись репортеры; мы отвечали; наконец член Совета сказал: «Дайте им позавтракать, передохнуть»… Вечерняя газета вышла с крупным заголовком: «Русский консул запретил советским писателям разговаривать с представителями прессы». Я спросил редактора, почему он печатает в своей газете бессмыслицу — ведь в Бостоне нет советского консула. Он ответил, что произошло недоразумение: говорили «каунсел» (совет), а репортеру послышалось «кенсел» (консул). Может быть, так и было на самом деле, а может быть, и не так: я не раз замечал, что, когда в дело замешана политика, недоразумении объясняются разумением и бессмыслицы полны смысла.

Херстовские газеты меня называли «замаскированным агитатором», «товарищем циником», «Ильей из Коминтерна». Это звучало почти академично. (Два года спустя те же газеты, говоря обо мне, прибегали к более ярким определениям, помню хорошо два из них: «кремлевский недоносок» и «наемный микроцефал».)

Один из друзей Рузвельта объяснил мне новую политику Америки: «Трумэн отнюдь не думает о войне. Он считает, что коммунизм угрожает некоторым странам Западной Европы и может восторжествовать, если Советский Союз экономически встанет на ноги, шагнет вперед. Непримиримая политика

Соединенных Штатов, испытания атомных бомб заставит Россию тратить все силы и все средства на модернизацию вооружения. Сторонники «твердого» курса говорят об угрозе советских танков, а в действительности они объявили войну советским кастрюлям».

Два месяца спустя после этой беседы Трумэн предложил министру торговли Уоллесу, защищавшему идею соглашения с Советским Союзом, выйти в отставку.

В Соединенных Штатах официальные лица были с нами вежливы, мы свободно разъезжали по стране, выступали на собраниях, и обижали нас только некоторые журналисты, старавшиеся обогнать время. Мы увидели самое начало первого действия. В Канаде нам показали сцену из следующего акта. Мы хотели съездить в Мексику и на Кубу — нас туда приглашали, но из Москвы пришла телеграмма: нам советовали принять приглашение канадско-советского общества дружбы — выступить в Торонто и Монреале; пришлось согласиться.

Еще в Нью-Йорке ко мне пришел канадский дипломат и предложил после Монреаля посетить Оттаву, где мы будем гостями канадского правительства. Улыбаясь, как и подобает дипломату, он сказал, что в Оттаве мы сможем отдохнуть: гости правительства должны воздерживаться от публичных выступлений.

Переехав границу, мы сразу поняли, какой именно отдых нам предстоит. Как раз в те дни происходил суд над канадцами, которых обвиняли в выдаче военных тайн Советскому Союзу. Главным свидетелем обвинения был бывший сотрудник посольства Гузенко — его соблазнили деньгами, перспективой комфортабельной жизни. На процессе он был звездой, носил панцирь под пиджаком, газеты восхищались его отвагой. Поскольку шпионажем занимаются все государства, большие и малые, обычно такого рода дела разбираются без излишнего шума, газеты сообщают, что задержанные липа «работали в пользу одной иностранной державы». На этот раз канадское правительство (вряд ли по своей воле) подняло ожесточенную кампанию против Советского Союза. Газеты ежедневно писали о «красной опасности». В Оттаве вокруг посольства толпились штатные единицы или добровольцы, поносившие Москву. Атмосфера, таким образом, была не совсем подходящей для мирного знакомства со страной.

Помню первый вечер в Торонто. Нас пригласил на ужин владелец крупной газеты, сказал, что хочет побеседовать, как укрепить культурные связи, установить взаимопонимание. В тот же вечер должен был состояться ужин «Комитета помощи России в войне», и мне пришлось на него пойти. Владельцу газеты я

сказал, что после ужина приеду на часок. Ужин прошел нормально — с деревянным молотком председателя, с благородными речами, с чеками и с аплодисментами. Я уже знал программу и старательно исполнял порученную мне роль. Владелец газеты жил за городом в доме, окруженном прекрасным садом. Войдя в столовую, я сразу почувствовал что-то неладное. Галактионов сидел неподвижно, поджав губы, а Симонов делал вид, будто рассматривает гравюры на стенах. Мое появление, видимо, прервало разговор. Принесли кофе, я не успел взять чашку, как хозяин, повернувшись к Михаилу Романовичу, сказал: «Таким образом, вы должны понять, что канадцы не без основания видят в каждом советском посетителе разведчика…» Я встал, сказал, что устал, хочу спать. Хозяин понял, что хватил через край, и начал говорить, что любит Россию, рад нашему приезду. Мы постояли минут десять и ушли.

Начались пресс-конференции. Напрасно канадцы из Общества дружбы пытались унять журналистов. Напрасно мы говорили о жизни и культуре советского народа. Нам задавали вопросы о шпионаже, о военных приготовлениях Кремля, о предстоящей войне. На первой пресс-конференции я сказал: «Мне нравятся страна, народ, но меня удивляют две вещи. Почему у вас журналисты только и говорят что о новой войне? Неужели вас не интересует, как мы живем, как воевали, как восстанавливаем разрушенные города? И второй вопрос: по конституции Канада — двуязычная страна, а на границе не понимают, когда говоришь по-французски, на почте тоже, да и среди журналистов — я вижу по лицам — большинство меня не понимает».

Мои слова были медом для французской печати Монреаля и Квебека. Газеты, выходящие на французском языке, крупным шрифтом оповестили своих читателей: «Эренбург считает, что в Канаде слишком много говорят о войне и слишком мало говорят по-французски». Это предопределило относительно благожелательное отношение к нам французских газет, в своем большинстве крайне правых.

В первые дни мы не отвечали на вопросы, связанные с процессом. Некоторые газеты обвинили нас в трусости. Когда на ужине прессы Канадского легиона в десятый раз поставили тот же вопрос, я счел невозможным отмалчиваться. У меня сохранился номер «Ля патри», где напечатан мой ответ: «Советское правительство заявило, что оно думает по этому поводу. Я вам скажу, что думаю об этом я — один из советских граждан. В деле есть юридическая сторона, ее я не собираюсь касаться. Есть в нем и политическая сторона. Я видел канадские войска в годы первой мировой войны. Они находились на одном из самых опасных

секторов фронта. Это было почетным местом. То же самое можно сказать о месте канадцев во второй мировой войне — на Шельде. Мне кажется, что в словесной войне, объявленной Советскому Союзу, канадцев снова поставили на самое опасное место, но вряд ли его можно назвать почетным. Я не понимаю, почему Канада должна быть зачинщицей? Думаю, что нам лучше договориться и дружить».

Разумеется, газеты заговорили о моем вмешательстве во внутренние дела Канады. В Монреале власти нас предупредили, что лучше отменить митинг — готовятся беспорядки. М. Р. Галактионов по состоянию своего здоровья переживал происходящее особенно мучительно. Митинг все же не отменили. Я выступал по-французски, а в этом городе говорить без переводчика означало сразу подкупить собравшихся.

Я хотел поехать на один день в Квебек — посмотреть старый французский город, но представитель правительства мне сказал: «В Квебеке нет ни одной свободной комнаты, где вы могли бы переночевать»…

Самым неприятным было наше пребывание в Оттаве. Нас окружали чиновники среднего калибра. День мы провели в пашем посольстве, там немного отдохнули, да и развеселили сотрудников, которые сидели, как в бесте. [9]

В последний день нас неожиданно пригласил к себе премьер. Мы решили, что к нему пойдут Галактионов и Симонов и скажут, что я прошу прощения — устал, плохо себя чувствую: меня ведь атаковали больше других. Премьер понял, что моя болезнь дипломатическая, и пытался снять с себя вину. Когда мы сели в самолет, я улыбался: слава богу, кончилось!.. В Олбани самолет приземлился. Нас долго держали на поле, потом сказали, что погода нелетная, пассажирам заказаны билеты в поезде.

В Олбани мы провели несколько часов — без программы, без журналистов, без друзей. Это был обыкновенный провинциальный город Соединенных Штатов. По улице ходили молодые люди в новеньких костюмах и ярких галстуках. В барах на высоких табуретах сидели крикливые и в то же время молчаливые люди они не разговаривали друг с другом, а время от времени издавали резкие, скрипучие звуки — то заказывали «бурбон-сода», то ругались, то, осклабясь, восклицали «иесс». В витринах магазинов красотки из пластмассы, залитые синим зловещим светом, напоминали о дешевизне летних платьев я о доступности десятиминутного счастья. Мы сидели в баре, бродили по улицам, приходили на вокзал и снова уходили: ждали поезда.

Я запомнил этот вечер в Олбани потому, что там я

неожиданно разговорился с одним из посетителей бара. На вид ему было под пятьдесят; его медно-красное лицо сверкало от пота — вечер был жарким. Он прожил два года в Брюсселе и говорил по-французски. Он рассказал мне свою биографию: его отец был мелким плантатором в штате Небраска, он знал в детстве не нужду, но бедность. Отец поставил его на ноги — послал в коммерческое училище. Потом он начал работать в фирме санитарных приборов, придумал новый способ рекламы, получил премиальные, бросил службу, уехал в Сан-Франциско, открыл крохотную колбасную, быстро разбогател — попался прекрасный мастер-венгр, убежавший из тюрьмы. Салями ему вскоре надоела, он перешел на страховку. Получил место в Бельгии, но европейская жизнь ему не понравилась. Он вернулся на родину и начал издавать в Канзасе финансовый листок. Его считали человеком энергичным, он шел в гору, женился. Вдруг разразился кризис, он обнищал, торговал в киоске горячими сосисками, подумывал о самоубийстве, особенно после того, как жена спуталась с начальником полиции. Но, в общем, все приходит и уходит, кризис кончился, он приободрился, нашел компаньона и открыл в Кливленде бюро частного розыска, увлекся политикой — участвовал в предвыборной кампании, правда неудачно: агитировал за республиканцев, а прошел снова Рузвельт. Он вторично женился — на вдове, получил в придачу пасынка-шалопая, но и сбережения, купил небольшой завод, там делали сейфы, и вдруг — Пирл-Харбор, завод начал работать на военное ведомство, расширился. Тут произошла крупная неприятность — забраковали поставки, газеты, подкупленные конкурентом, требовали суда, пришлось потратить уйму денег на дорогих адвокатов, все пировали, а он снова шел ко дну. Но жена вытащила сбережения, завод продали, он переехал в Олбани и занялся рекламами. Теперь дела идут хорошо, в его бюро одиннадцать служащих. Пасынок исправился, у него оказались способности — он изобрел машину для световых реклам, которые сообщают также биржевые курсы, политические новости, получил монополию на рекламы Гейнца, сигарет «кэмел», трех банков. Теперь ему предлагают стать во главе парижского отделения большой фирмы, а в бюро останется пасынок…

Я спросил, не устал ли он от такой беспокойной жизни. Он презрительно усмехнулся: «Я не бельгиец, не француз и не русский, я настоящий американец. В мае мне исполнилось пятьдесят четыре года, для мужчины это прекрасный возраст. У меня голова набита идеями. Я еще могу взобраться на вершину». Потом он начал философствовать: «Я ничего не имею против русских. Они здорово воевали. Наверно, они хорошие

бизнесмены. Но я читал в «Таймсе», что у вас нет частной инициативы, нет конкуренции, выйти в люди могут только политики и конструкторы, а остальные работают, получают жалованье. Это неслыханно скучно! Да если бы во время великой депрессии (так он называл кризис конца двадцатых годов) мне сказали: дадим тебе приличное жалованье, но с условием, что ты больше не будешь ни переезжать из штата в штат, ни менять профессию, — я покончил бы с собой. Вы этого не понимаете? Конечно! Я видел в Брюсселе, как люди спокойно живут, откладывают на черный день и вырождаются: там каждый молодой человек — духовный импотент…»

Подошел Симонов, сказал, что пора на вокзал.

В пульмановском вагоне было темно — все спали за занавесками. Я прошел в помещение возле уборной — там можно было курить, читать, пить содовую воду. Там я записал рассказ случайного собутыльника.

Неделю спустя в Бостоне мы сели на французский теплоход «Иль-де-Франс». До войны он считался роскошным, но потом служил для перевозки американских частей в Европу. Солдаты повсюду солдаты, и пни привели нарядные залы, каюты в состояние, соответствовавшее их душевному разору.

В Бостоне была забастовка портовых рабочих. Багаж грузили «желтые», а багажа было много: Европа возвращалась в Европу. Кого только не было на «Иль-де-Франс»! Жюль Ромен (которого ждали звание академика, или, как говорят французы, «бессмертного», мундир, шпага) и румынская коммунистка, просидевшая в бухарестской тюрьме шесть лет, бельгиец, фабрикант сигар и чешский профессор. Ехали все в разоренную, голодную Европу, везли меховые манто и запасы кофе, стиральные машины и консервы. На палубе днем доносились обрывки фраз. Итальянский студент, горячась, кричал, что пора покончить с «проклятыми клерикалами». Старая аристократка из Пуатье вздыхала: «Зять написал, что во Франции пахнет революцией. Он считает, что Бидо — честнейший человек, но тряпка, допустил, что Торез теперь во дворце Матиньон. А партизаны припрятали оружие… Конечно, в Америке спокойнее, но я хочу умереть у себя дома…» Молодые спорили о книгах Сартра, о том, будет ли во Франции коммунизм, и о том, нужно ли восстанавливать разрушенные города такими, какими они были, или строить наново. Все были охвачены волнением перед встречей с родными, друзьями, с оставленной на несколько лет родиной. Не знаю, как выглядели пароходы, увозившие в Америку эмигрантов, но «Иль-де-Франс» увозил людей, не осевших в богатой и сытой Америке.

Люди волновались, а океан был спокойным. По ночам я часто сидел на верхней палубе — то записывал американские впечатления, то забирался в темноту и любовался водным простором. Я записал в одну из ночей мои мысли о путешествии и в записи вернулся к меднолицему американцу, которого встретил в Олбани: «В ранней молодости, когда я вошел в гимназическую организацию, я думал обо всем по брошюрам «Донской речи». Там было ясно сказано, что социализм прежде всего восторжествует в странах с концентрацией капитала, с передовой индустрией. Получилось наоборот: в горах Черногории люди кричат: «Белград — Москва!» — а в Америке капитализм переживает если не молодость, то «прекрасный возраст для мужчины», как говорил тот в Олбани. Он не случайный искатель приключений, а человек авантюристического мира. Все, что он ценит, для него не кончается, а начинается. С Америкой нужно договориться — революции там в ближайшие десятилетия не будет. Остановка за американцами. Они, в общем, мирные люди, но уж очень азартные…»

Я думал о том, что слышал в Канаде, думал с ужасом: тоже получилось не по программе — послевоенные годы начинают оборачиваться в предвоенные. Я хочу дописать роман о той буре, что улеглась. А люди, с которыми я спорил в Канаде, успели распрощаться с недавним прошлым — для них буря только-только начинается, ветер кружит столбы пыли…

Океан ворочался, как человек, которому снятся беспокойные сны, но для океана это было легким волнением. Конечно, шлюпку швыряло бы, а в баре «Иль-де-Франса» чуть позванивали стаканы. Ночи были по-июльски теплыми, с мотовством раскиданных на небе звезд. О чем я думал? Не помню… Наверное, о том, о чем думают все люди, оторванные на неделю от житейской лихорадки, среди воды, под звездами, — о прожитой жизни, о ненаписанных книгах, о том, что пора подводить итоги…

Помню только, что в одну из ночей ко мне подошел Галактионов. Он пожаловался на бессонницу, потом сказал, что наверху хорошо — морской воздух, звезды, и вдруг начал декламировать: «…И звезда с звездою говорит…» Он ушел, а я спустился в каюту. Мне хотелось писать стихи, но вместо этого я записал: «Мы в жизни разговаривали друг с другом очень редко, наверно, куда реже, чем звезда со звездой»…

10

Стоит мне вспомнить поездку в Америку, как я начинаю думать о судьбе Михаила Романовича Галактионова. В «Красной звезде» почти каждый вечер я встречал этого скромного, старомодно учтивого человека; мы здоровались, иногда обменивались несколькими словами, и, конечно, я не знал, что он за человек. Во время нашей поездки в Америку я порой подолгу с ним беседовал, кое-что узнал о нем и все же долго не понимал главного. Я часто упрекаю себя за невнимательность к людям, иногда мне кажется, что это не мой порок, а нравы века: мы удивительно мало знаем соседей, сослуживцев, даже приятелей, говорим о событиях короткого дня или спорим почти отвлеченно, а о том, что нас действительно волнует, молчим — старательно прячем свое и столь же старательно боимся случайно напасть на припрятанное чужое.

Американские журналисты, увидев впервые Галактионова, называли его «старым солдатом» — обманывали седые волосы, усталые глаза под очками в темной оправе, звезда на погонах. До нашей поездки я тоже думал, что Михаил Романович старше меня, а ему, когда мы были в Америке, не было и пятидесяти. Генеральская форма придавала ему некоторую сухость, казалось, что он весь накрахмален — и щеки, и слова, и мысли. А это было неправдой. О чем только мы не беседовали, оставаясь вдвоем, когда он еще мог спокойно разговаривать, — о мастерстве Чехова и о страшной судьбе наших солдат, попавших в плен, о старых постановках в Киевском театре Соловцова и об опасности механизации человека. Когда-то Галактионов учился на филологическом факультете, потом стал прапорщиком, как тогда пренебрежительно говорили, «прапором» или «фендриком». Хотя Галактионов в 1918 году пошел добровольцем в Красную Армию и почти всю свою жизнь прослужил в ней, при разговоре я чувствовал старую интеллигентскую закваску.

В начале нашей поездки я не только ничего не знал о душевном состоянии Михаила Романовича, я и не понимал его поступков. Меня удивляло, как болезненно он реагирует на бесцеремонные вопросы журналистов, на издевательскую шутку одного из «колумнистов», на любую мелочь, которой Симонов или я даже не замечали. Потом я начал кое-что понимать, а узнал все слишком поздно.

В первый месяц нашей американской жизни я как-то зашел в номер Галактионова. Он сидел сгорбившись у стола, мне показалось, что он нездоров. Он ответил: «Все в порядке», — и

поглядел на меня глазами затравленного зверя. Я сказал, что нам нужно ехать на обед Юнайтед Пресс. Он встал, причесал волосы, даже улыбнулся и вдруг тихо выговорил: «Каждый день встречаться с иностранцами… Это пытка!..»

Он честно выполнял порученную ему работу: выступал на собраниях, казался приветливым, общительным. Хотя «холодная война» усиливалась, журналисты вели себя куда почтительнее с генералом, чем с писателями. Однако Михаил Романович нервничал. Однажды крупный военный комментатор на приеме сказал ему: «Я слышал, что у вас готовится история войны. Мы теперь заняты тем же, стараемся разобраться в наших неудачах на Тихом океане, в Африке, в Италии. Скажите, ваши военные историки могут проанализировать неудачные операции, например, Керченскую?» Галактионов ответил, что в первый год войны у немцев было преобладание в технике. Тогда американец, усмехаясь, сказал: «Разумеется, поскольку Красной Армией командовал генералиссимус Сталин, стратегические ошибки были исключены». В другой раз журналист задал Галактионову вопрос о наших потерях: «Вы сказали — семь миллионов, входят ли в эту цифру военнопленные, погибшие в нацистских лагерях?» Генерал взволновался и попросил меня ответить.

В Нью-Йорке я и Симонов весь день бродили по городу, а Михаил Романович не выходил из своего номера. Когда не было официальных обедов, он и ел у себя в комнате. Сотрудник торгпредства приносил ему из библиотеки книги. Было жарко, генерал раздевался, садился в кресло и читал Чехова, Тургенева, Лескова. Как-то я застал его за чтением Чехова. «Удивительный писатель, — сказал он, — кажется, десятый раз перечитываю и восхищаюсь. Он просвечивал насквозь человека. Вчера после того, как мы вернулись с проклятого ужина, я читал «Палату № 6». Чуть ли не наизусть знаю, но, когда дохожу до сцены, как Никита выдаст доктору шутовской халат, не могу дальше читать… Бывают модные писатели. Когда-то я зачитывался Леонидом Андреевым. А здесь принесли мне его рассказы, не могу читать — смешно, устарело. А вот до вашего прихода я читал «Человека в футляре»… Меня точность поражает — ни одного слова не прибавишь и не убавишь. Вот вы послушайте: «Постное есть вредно, а скоромное нельзя…» Или еще вот это место: «Видеть и слышать, как лгут и тебя же называют дураком за то, что ты терпишь эту ложь; сносить обиды, унижения, не сметь открыто заявить, что ты на стороне честных, свободных людей, и самому лгать, улыбаться…» В дверь постучали, Михаил Романович поспешно захлопнул книгу.

На моей совести грех, — сам того не подозревая, я

способствовал развитию болезни Михаила Романовича. Начиналось нестерпимо знойное нью-йоркское лето, а он ходил в военной форме и страдал от жары. Притом он привлекал к себе внимание: стоило ему выйти на улицу — как на него все глазели. Я уговорил его купить летний костюм. Он ожил, сказал, что вышел под вечер погулять, и никто на него не смотрел, даже рассмеялся: «Наверно, я похож на обыкновенного пожилого бизнесмена…» А на следующий день я нашел его в ужасном состоянии, перед ним лежала газета, и он еле вымолвил: «Можете прочитать. Вот к чему привели ваши советы!..» Нужно сказать, что «колумнисты» усиленно нами занимались: один написал, сколько долларов потратил Симонов на ужин с актрисой, другой рассказывал, что я купил ящик дорогих гаванских сигар. И вот один из «колумнистов» написал: «Зацвели сады, запели птички, и грозный генерал Галактионов сменил свое оперение. Мы видали, как вчера он выпорхнул в светло-сером костюме и направился… Мы не скажем куда». Михаил Романович был подавлен: «Вы понимаете, что это значит? А я только дошел до угла и вернулся. Да что тут говорить!..» Я все еще не понимал и наивно сказал, что жена Михаила Романовича — умная женщина, если даже газета дойдет до нее, она рассмеется. Он крикнул: «При чем тут жена?… Я вам говорю: что там скажут?» Он показал на потолок. Я пытался его успокоить: мало ли писали вздора обо мне, Симонове, у нас знают стиль бульварных газет. Но он не успокоился: «Вам все сойдет — вы писатели. А я человек военный…» И вдруг не удержался: «Я слишком много пережил…» Сказал и быстро спохватился, заговорил о другом. Потом он мне рассказывал о своей молодости, о боях возле Самары, у Кронштадта, о встречах с Фрунзе, но никогда не возвращался к мрачным воспоминаниям.

Теперь много пишут и еще больше говорят о жертвах «культа личности», вспоминают расстрелянных, погибших в лагерях. Михаил Романович никогда не был арестован; он только ждал ареста. Семена Гудзенко спасли после тяжелого ранения, а умер он десять лет спустя от давней контузии. Михаил Романович был контужен ударной волной «ежовщины». Только недавно я узнал, что скрывалось за случайно вырвавшимися словами «я слишком много пережил». Послужной список Галактнонова похож на множество других. В партию он вступил в 1917 году, ему тогда было двадцать лет, пошел на фронт, остался в армии, подымался вверх, кончил военную академию, работал в оборонной группе Совнаркома. Разразилась гроза: арестовали его сослуживцев. Дивизионного комиссара Галактионова обвинили в том, что он был связан с «вредителями». В его шкафу нашли книги «врагов народа». Партийное собрание единогласно постановило

исключить его из партии. Он лишился военного звания, работы. Ему повезло: полгода спустя его восстановили в партии, потом взяли на работу в «Красную звезду». А в 1943 году кто-то наверху вспомнил, что был такой скромный и старательный человек, и Галактионову присвоили звание генерал-майора, ввели в редакционную коллегию «Красной звезды», потом перевели в «Правду», послали в Америку. Все стало на свое место. Только человек был контужен: он помнил, как на собрании его называли «трусом», «подхалимом», «лицемером», как ночью он прислушивался к шуму на лестнице.

Поездка в Америку ускорила развязку. Михаил Романович был меньше всего подготовлен к трудным и сложным разговорам с американскими журналистами, за внешней вежливостью которых чувствовал неприязнь. Особенно мучительными были дни в Канаде. Я рассказал об обстановке. Я удивлялся, как спокойно держался при чужих Галактионов. Его травили, а он помнил, что не следует подливать масла в огонь, отвечал с достоинством, но, как всегда, учтиво, доброжелательно. На пароходе я сказал Симонову, что Михаил Романович душевно болен. Он пробыл, кажется, неделю ц Париже, повеселел, ходил и книжные магазины; как-то мы просидели с ним часок в Люксембургском салу возле памятника Верлену. Он говорил о священных камнях Европы, о Герцене, о парижских рабочих. Я подумал: пройдет, человек жив… В 1947 году в «Правде» я встретил Михаила Романовича. Он плохо выглядел, был очень мрачен. Я хотел его развеселить, вспомнил, как в вашингтонской гостинице мы врывались в чужие номера — не знали, что цифры те же, но есть «W» и «E» — «запад» и «восток», это походило на водевиль. Но он не улыбнулся, угрюмо сказал: «А я теперь на один этаж выше…» (потом я узнал, что он мучительно переживал перемещение — считал, что если его посадили дальше от кабинета П. Н. Поспелова, значит, ему больше не доверяют).

Конечно, психиатр объяснит все по-своему. Но теперь, оглядываясь назад, я удивляюсь не тому, что Михаил Романович погиб от контузии, а тому, что многие из моих друзей и знакомых, да и я сам, выжили. В этой книге я рассказал, как покончили с собой писатели и художники, которых я знал: Есенин, Андрей Соболь, Маяковский, Паскин. Рене Кревель, Паоло Яшвили, Толлер, Марина Цветаева, Хемингуэй. Галактионов стихов не писал. Он опубликовал «Верден 1916 год», «Темп операции» и другие труды, в которых старался логично проанализировать различные военные операции. Он не был поэтом, он был честным и добрым человеком. А судьба в те годы не задумывалась нал логикой. Игра была злой и зачастую

нечестной. 5 апреля 1948 года Михаил Романович Галактионов кончил жизнь самоубийством.'

11

Я остановился в гостинице на левом берегу Сены, около бульвара Сен-Жермен; мне отвели мансардную комнату с балконом, откуда был виден Париж — черепица, трубы, старые дома, сбившиеся, как овцы, в смутное, серое стадо. Порой в сумерки я любовался знакомой мне картиной, порой ее не замечал.

Мне сказали, что Дениз приехала на несколько дней из Аннеси, где жила с сыном. Мы пошли в кафе «Фрегат» на берегу Сены, там мы иногда встречались пятнадцать лет назад. Она рассказывала про годы оккупации. Глаза ее по-прежнему казались лунатическими. Я спросил, не рассердилась ли она, что актриса Жаннет из «Падения Парижа» напоминает ее. Она ответила: «Мне об этом говорили. Я не стала читать…» В чернильной Сенс бились красные и зеленые круги.

Арагон и Эльза Юрьевна позвали Симонова и меня на «Чердак» — так называлось помещение Комитета писателей. Еще жила память о годах оккупации, спайка военного времени. Я увидел много старых знакомых — Элюара, Вильдрака, Кассу, Кокто, Авели на, Мартен-Шоффье, Полана, Сартра. Молодые, с которыми я встречался, обязательно заговаривали о Сартре, — видимо, он выражал беспокойство тех лет. Париж и вправду изменился: мало кто из писателей говорил о реализме, сюрреализме, персонализме — рассказывали о Сопротивлении, о книгах, выходивших в подполье, о неразберихе искали, где свои, вероятно, многие в громких и противоречивых событиях искали себя. Здесь мне хочется сказать хотя бы коротко об Арагоне. Познакомился я с ним в 1928 году, когда он был молодым, красивым сюрреалистом. На Монпарнасе много говорили и о его прекрасной книге «Парижский крестьянин», и о различных шумливых демонстрациях: задором сюрреалисты напоминали наших футуристов, Арагон был одним из самых боевых. Потом он стал сторонником реализма, коммунистом, создавал различные организации, редактировал журналы, газеты. Мы продолжали с ним встречаться и порой отчаянно спорили. В 1957 году Арагон возмутился нападением на меня одного критика в «Литературной газете» (это было после моего очерка о Стендале) и выступил в «Леттр франсез» с ответом. В статье он, между прочим, писал: «Я привык, и уже говорил об этом, спорить с Ильей Эренбургом в течение тридцати лет. Мы расходимся во всем, кроме самого существенного — мира и социализма, войны и фашизма…» Может быть, я заговорил об Арагоне именно в этой главе потому,

что в 1946 году «самое существенное» поглощало всех и мы с ним даже мало спорили. А в общем, Арагон прав: порой мне бывало с ним трудно, но ни разу наши споры не переходили в размолвку.

Не стану говорить о том, что всем известно: это большой поэт и большой прозаик; одни его книги мне близки, другие нет, но я сейчас не об этом хочу сказать. Он человек очень сложный, он часто меняет свои оценки, но справедливо сердится, когда пробуют противопоставить один его период другому, — он всегда оставался Арагоном. В нем есть одержимость, даже когда он пишет классическим стихом или посвящает страницы романа описанию одежды героя. Выбрав линию жизни, с начала тридцатых годов он защищал от врагов и то, что называл «самым существенным», и то, с чем по-человечески не мог примириться, защищал искренне и неистово. К «самому существенному» нужно добавить любовь к Франции: она органична и всепоглощающа — она продиктовала и его стихи в годы Сопротивления, и роман «Страстная неделя». Мне кажется, что он преемник Гюго, только нет у него ни внуков, ни уютной бороды, ни некоторых идиллических картин, которыми утешался Олимпо, а близок ему Арагон блистательностью, красноречием, неугомонностью, ясностью, гневом, романтикой реальности и реализмом романтического. Конечно, у Арагона куда больше горечи — на дворе другое столетие…

Помню, как я пришел к нему в начале 1963 года. Он расспрашивал меня о том, что тогда волновало людей, связанных со стихией искусства. Потом мы замолкли. Я глядел на него и видел молодого сюрреалиста в баре «Купель». Вот только волосы побелели… Он принес рукопись своей новой книги и прочитал мне исступленное стихотворение о трагедии мавра, который говорит о своей вере, о том, как много горя причинил ему Коран.

А в 1946 году Арагон был веселым — еще свежей была победа. Приехала из Москвы Люба. Фотинский повел нас на Монпарнас. В кафе сидели незнакомые люди. Потом пришла Дуся, она, как когда-то, смеялась, но рассказывала грустное — как пряталась при оккупации, как исчезали люди. Вишняков отправили в Освенцим. Замучили художника Федера, Когда Сутин заболел, хотели вызвать врача, но он испугался, что врач выдаст его немцам, и умер без медицинской помощи.

Андре Шамсон позвал нас к себе, он был директором музея Пти Пале. Мы ходили по пустым залам — музей был закрыт, и я долго стоял перед холстом Ватто; снова думал о непонятной силе искусства. Когда Ватто было двадцать лет, он считался художником жанра, писал бедствия войны в манере фламандцев; пять лет спустя он нашел себя — вот паяц, в котором все горе

художника, да и трагедия внешне легкомысленного века, профессионал-комик, забывший про свое амплуа… Мы пошли к Марке. Он, как всегда, застенчиво улыбался, молча показывал пейзажи. Мы спорили о том, что будет с Францией; он молча глядел, может быть, на реку, а может быть, пытался разглядеть будущее.

Окна квартиры Пьера Кота тоже выходили на Сену. Вода никогда не надоедает, она течет, меняется, и, глядя на нее, можно говорить обо всем — о поэзии, о Бидо, о времени и о минуте. Пьер Кот объяснял мне, что правительственная коалиция недолговечна; предстоит междоусобица, неизвестно кто победит — Франция разорена, а деньги у Америки… Нас позвал к себе Эффель, печально дурачился, показывал новые карикатуры.

Ланжевен плохо выглядел, постарел, его чудесные глаза стали еще умнее, еще печальнее. (Я не знал, что ему осталось жить всего несколько месяцев.) Он сказал мне: «Все было бесчеловечно, но, может быть, самое бесчеловечное впереди»…

Из Монбара приехала Шанталь. Мы попробовали вспомнить далекую молодость и сразу осеклись; говорили о холстах Боннара, о Лондоне, о мирной конференции (в Люксембургском дворце, где до войны заседали почтенные сенаторы, я увидел Вышинского — шли споры о мирном договоре с Италией). Шанталь меня спрашивала, как пишут советские художники, а я говорил про Касторное.

На набережной, как и полвека назад, на складных стульчиках сидели дряхлые букинисты, Только Вольтер исчез: немцы соблазнились — не усмешкой, а бронзой.

Я был с близкими мне людьми, с близкими и бесконечно далекими. Я знал нечто, о чем не мог им сказать, да и они пережили за шесть лет много такого, о чем не расскажешь ни за час, ни за месяц. Все меня спрашивали, изменился ли Париж, я отвечал «нет» — город тот же, но я теперь чувствовал себя чужим, прохожим, который хочет подглядеть в окно чужую жизнь. Я не мог, как прежде, принимать к сердцу то, что моим друзьям казалось близким и важным.

«Париж очень изменился, — сказал я Дениз и тотчас поправился:

— Наверно, изменился я…»

Конечно, во Франции мне было куда легче, чем в Америке: французы понимали, что такое война. (В Нью-Йорке одна дама мне сказала, что американцы в годы войны тоже терпели лишения, она, например, с трудом достала белую рубашку для мужа, повсюду были только кремовые или голубые.) Во Франции было трудно с обувью; на улицах еще раздавалась чечетка

деревянных подошв; в одном бретонском городе я видел, как, когда пошел дождь, девушки разулись, а туфли спрятали под плащи. Парижские модницы ходили без чулок и передвигались на велосипедах с большими авоськами, перекинутыми через плечо. В витринах дорогих магазинов были выставлены клипсы из керамики, платочки, расписанные изголодавшимися художниками, безделки из бумаги, глины, стекла. В винодельческих районах, где до войны кабатчик ополаскивал стакан вином, чтобы не идти к крану, рабочие за обедом пили воду. В фешенебельном курорте Ла-Боль развлекались богатые парижанки, американские военные, и тут же ютились жители разрушенного Сен-Назера. В Туре, пострадавшем от бомбежек, я увидел ряды унылых бараков. Говорили о том, что нет масла, пет мяса, скоро зима, а об угле нечего мечтать. Все было понятно, знакомо.

Те, что разбогатели за годы оккупации, успели отдышаться, нашли влиятельных защитников, пили аперитивы на Елисейских полях, загорали на пляжах. В Анже владелец ликерного завода мосье Куантро, показывая мне различные цеха, говорил: «Немцы очень ценили наши изделия»… Я часто слышал от богатых виноделов Анжу и Турени: «1942-й был замечательным!..» Они говорили о достоинствах вин — один год не похож на другой. Но я вспоминал Ржев, сожженную Старицу, голодных солдаток… Один критик мне рассказывал, что на премьерах немецкие офицеры восхищались остроумием Кокто, Жироду, Салакру. В доме Анатоля Франса я увидел на стене размашистую подпись: «Здесь побывал солдат Клотцке».

Всего год прошел после окончания войны, а многие о прошлом не думали. Газеты писали о различных аферах то с вином, то с карточками на текстиль. Министром продовольствия назначили Ива Фаржа. Я его встретил 14 июля во время демонстрации, он сказал: «Я тоже был в Америке. Присутствовал при испытании бомбы в Бикини, там мне сообщили о назначении. Я не мог отказаться. Бикини — это грязная история. Я попробую что-то сделать. Но и здесь много грязи, слишком много…» Фарж объявил войну крупным мародерам, богатевшим на вине, мясе, хлебе. На своем посту он продержался всего четыре месяца — короли «черного рынка» оказались сильнее.

Все путалось — былые мюнхеицы, коллаборационисты, вчерашние партизаны. На фасадах старых церквей, школ, рынков, тюрем красовались «да» или «нет», выведенные краской, дегтем, мелом, — ответы на референдум.

Передо мной фотография — президиум собрания, где я выступал, а Симонов читал стихи. За длинным столом — Эррио,

премьер Бидо, Торез, Ланжсвен, посол Богомолов,

Торез жил во дворце Матиньон; как-то он позвал нас ужинать. Сановитый привратник оглядел нас, и в этом взгляде сказалась неприязнь: конечно, Торез был заместителем премьера, но дли привратника он оставался подозрительным заговорщиком.

Я был в Париже во время очередного референдума. За два года французов в седьмой раз приглашали к урнам; многим это надоело, и процент непроголосовавших был высок. Де Голль предложил отвергнуть текст новой конституции. В «Известиях» за октябрь 1946 года я нашел мою статью о Франции, в ней я писал: «Де Голль — человек, перенесенный из 17 века в 20-й. Он вовремя понял значение моторов в воине, но значение тех, кто изготовляет моторы, осталось для него скрытым. Может быть, он считает себя новой Орлеанской девой, призванной спасти Францию? Люди, которые несколько лет тому назад кричали, что де Голль «изменник», «террорист», «коммунизан», теперь кричат: «Вся власть де Голлю!» (события разворачивались быстро, и жизнь газетной статьи эфемерна; но вот прошло 16 лет, и сегодня я мог бы написать о де Голле то же самое).

Новая конституция была одобрена незначительным большинством: Пьер Кот был прав — я увидел Францию, расколовшуюся на две половины. Впрочем, это началось давно — еще в середине тридцатых годов: рабочие были недостаточно сильны, чтобы взять в свои руки власть, и достаточно сильны, чтобы правящий класс жил в постоянной тревоге. Этим неустойчивым равновесием в значительной степени объясняются события 1938–1940 годов. Скрытая гражданская война продолжалась и в то время, о котором я рассказываю.

Мы провели несколько недель в Рошфор-сюр-Луар, где нас приютил владелец аптеки поэт Жан Буйе. Я увидел, как отражаются политические события на буднях крохотного городка. Некоторые набожные католички за лекарствами ездили в Анже, чтобы не поощрять аптекаря, слывшего «красным». Я хотел зайти в кафе, но Буйе меня остановил: «Этот кабатчик «сотрудничал»…» Детям католиков родители запрещали играть с детьми безбожников. Мэром оставался тот же человек, что был мэром при немцах, — крупный землевладелец и торговец вином: большинство голосовало за правых. А меньшинство открыто обличало вчерашних коллаборационистов.

Я много бродил по окрестным холмам. Кругом были виноградники, луга, старые вязы или тополя, островки на широкой Луаре, глубокий мир августа. Впервые за много лет я отдыхал, старался ни о чем не думать. Но стоило заглянуть в деревушку, посидеть в полутемном кабачке, где крестьяне

рассуждали о том, о сем, как мне передавалось общее беспокойство, духота слитком долго собиравшейся, но так и не разразившейся грозы.

В другом городке, который славится вином, Вуврэ, в пещерах — погреба, там зимой не холодно, а летом не жарко. Вуврэ, как Франция, распался на две почти равные половины. Зажиточный винодел говорил: «Зачем ломать горшки? Коммунисты не крестьяне, а пришлые… Мое богатство оплачено потом трех поколений». Дочь другого винодела Бедуар была коммунисткой, кандидатом партии на выборах в Учредительное собрание. Ее муж прежде работал в Париже. Мы разговаривали с его старым отцом, он говорил: «Мой отец был коммунаром»… А двенадцатилетняя дочка Бедуаров могла побить профессиональных дегустаторов: в точности определяла год вина и откуда оно — с холма или с участка возле кладбища.

В Лимузене я познакомился со многими участниками маки. Они меня водили по лесам, рассказывали о стычках — в моей голове рождались многие герои «Бури»: Деде, Мики, Медведь. Я услышал песню: «Свисти, свисти, товарищ…»

Я побывал в Орадуре. Жителей этого городка гитлеровцы собрали в церкви, детей — в школе и сожгли. Уцелели те, что работали в поле. На обгоревших стенах еще виднелись вывески кабачков, рекламы шоколада Менье. При въезде в город плакат предупреждал: «Тише!» развалины стали реликвиями. А рядом строили новый Орадур, и его мэр был коммунистом.

Марсель Кашен предложил мне поехать с ним в городок Эймутье — там праздновали пятидесятилетие боевой деятельности старого коммуниста Фрезье. Кашен вспоминал: «Я выступал в Эймутье сорок лет назад, помню, на собрание пришли трое. А сейчас здесь не меньше двух тысяч…» Потом обедали, сидя на длинных скамьях. Кашен мне говорил, что теперь Советский Союз — победитель, он сможет спокойно восстанавливать города; расцветет культура; никогда американцы не посмеют напасть — Западная Европа восстанет. Потом он спросил. правда ли, что в Москве закрыли Музей западной живописи: «Я там несколько раз был — чудесная коллекция. Особенно наших импрессионистов…» Я знал, как Кашен восхищается холстами своего друга Синьяка, и вместо ответа заговорил о только что открывшейся в Париже выставке картин, похищенных гитлеровцами и вернувшихся во Францию, — там были прекрасные пейзажи Синьяка.

В Дордони можно было дешево купить полуразвалившиеся усадьбы. Одну из них приобрел художник Люрса, коммунист. Он мне рассказывал, что к нему пришли крестьяне, и старик сказал:

«Товарищ помещик, ты как раз вовремя приехал — мы решили создать парторганизацию…»

Отдыхать мне пришлось недолго. «Известия» торопили с очерками об Америке, о Франции. Общество дружбы «Франция — Советский Союз» просило поездить по стране. Я выступал на больших собраниях в Лионе, Сен-Этьене, Лиможе. Приходилось выстаивать на различных приемах — в мэриях, в отделениях Общества дружбы, в союзах журналистов, говорить по радио, отвечать на сотни вопросов. В Лиможе я ночевал в префектуре в парадной комнате, где останавливались министры. В Лионе автор «Клошмерля» Шевалье хотел, чтобы я ему объяснил, чем страшен Зощенко. Скульптор Саландр просил рассказать о наших памятниках. В Лион приехал летчик «Нормандии» Жоффр, с ним я отдохнул, он вспоминал Минск, генерала Захарова, советских механиков — все стояло на своем месте: отвага, могилы, дружба.

Хрупкая антигитлеровская коалиция официально еще держалась; я часто слышал, что она скреплена кровью и что нет цемента прочнее. Человеку всегда хочется верить в лучшее. А история зачастую пренебрегает не только логикой, но и тем, что мы называем совестью.

Несколько раз я заходил в Люксембургский дворец на мирную конференцию. Протекала она отнюдь не мирно. Недавние союзники обвиняли друг друга в коварстве. Особенно резко выступал австралиец Эватт. В глазах журналистов он вскоре стал «звездой» — знали, что стоит ему взять слово, как произойдет скандал, и в буфете для прессы оставляли недопитыми чашки кофе, когда кто-нибудь сообщал: «Сейчас выступит Эватт…»

Я на себе почувствовал, что такое «холодная война». Когда я остановился в Париже но дороге в Америку, газеты писали обо мне приветливо или но меньшей мере вежливо. Это было ранней весной. А поздним летом и осенью многие газеты начали меня ругать. Одна уверяла, что я подкуплен — у меня в Москве квартира из десяти комнат, вилла в Крыму, даже охотничий павильон в Белоруссии. Другая писала, что я злоупотребляю исконным гостеприимством Франции, хочу восстановить французов против американцев, уверяю, будто негры в Соединенных Штатах лишены свободы, наверно, мне поставят памятник в Черной Африке, но из Франции мне лучше убраться. Третья, вдруг припомнив далекое прошлое, требовала, чтобы я вернул французским держателям царских займов «украденные у них деньги». В Лионе продавцы газет, желая сбыть местную вечерку, залихватски кричали: «Москва готовится оккупировать Францию!» В Нанте какие-то подростки разграбили дорогой ресторан; одна из местных газет уверяла, что у преступников

найдены русско-французские словари; в очередном интервью меня ехидно спросили, не был ли я часом в Нанте.

Коммунистическая партия была самой сильной во Франции. Неустойчивое равновесие сохранялось: «холодная война» шла в любом французском городе. Пьер Кот говорил: «Исход неизвестен…» Человеку не хочется огорчать себя, и мне казалось, что все так или иначе наладится. Стояла чудесная осень, в октябре цвели розы. Люди улыбались — характер у французов легкий, они способны утешиться хорошей погодой, шуткой, миловидной женщиной, прошедшей мимо.

Я зашел к Жан-Ришару Блоку в редакцию «Се суар». Он предложил пойти в соседнее кафе, выпить стаканчик вина. Излагал свои надежды: социалисты не смогут порвать с коммунистами, а за этими двумя партиями большинство — и в парламенте, и в стране. Потом он заговорил о Москве и вдруг вынул записную книжку: «Переведите». Я прочитал записанную латинскими буквами русскую поговорку «перемелется — мука будет». Перевести было нелегко, но я перевел и шутя добавил: «У нас иногда говорят вместо «мукА» — «мУка»…» Он сердито посмотрел: «МУка — когда мелют. А когда перемелют — должна быть мукА».

12

В крохотной, хорошо мне знакомой квартире на улице Суридьер, где жили Арагоны, я увидел чудесные рисунки Матисса. Арагон рассказал, что в 1942 году часто встречался с Матиссом в Ницце, где художник всегда живет, а теперь он в Париже — работает над картонами для ковров. От Арагона я узнал, что в 1941 году Матисса оперировали — вырезали желудок, он вынужден работать в кровати, а когда встает на несколько часов, надевает на себя корсет.

В сентябре Арагон сказал мне, что Матисс хочет, чтобы я ему позировал. Дом, в котором он жил, находился почти напротив гостиницы «Ницца», где прошла моя молодость. На стенах обыкновенной спальни висели картоны с приколотыми кусками цветной бумаги. Я увидел лицо, хорошо мне знакомое но многим фотографиям, но, когда он снял очки, меня удивили светлые голубые глаза.

Когда я познакомился с Пикассо, Леже, Модильяни, я был зеленым юношей, да и они были всего на восемь — десять лет старше меня. В те времена я восхищенно глядел на холсты Матисса, но художника я увидел впервые, когда ему было семьдесят семь лет.

Он поздно начал. Пикассо в четырнадцать лет рисовал, как опытный мастер; а Матисс учился юриспруденции, работал в нотариальной конторе. Когда ему было двадцать лет, после операции аппендицита он со скуки начал перерисовывать картинки. Великий мастер Возрождения Мазаччо умер в возрасте двадцати семи лет, столько же было Рафаэлю, когда он закончил свои знаменитые «станцы». Пикассо успел до двадцати семи лет написать холсты «голубого периода», «розового», «Авиньонских девушек» и пришел к кубизму. А умри Матисс в двадцать семь лет, от него остались бы только ученические работы, помеченные талантом.

Я позировал Матиссу три раза. Во время первого сеанса он мне рассказал: «Когда меня понесли на операционный стол, я про себя простился с жизнью. Случилось чудо — судьба мне подарила вторую жизнь. Надбавку… И, знаете, я теперь особенно остро радуюсь всему людям, деревьям, краскам…»

Над кроватью висели картонные диски с черным кружком, продырявленным пулей. Матисс объяснил, что иногда отправляется в тир, хотя это ему трудно: «В моем ремесле очень важно сохранить хорошее зрение и твердость руки. Проверяю…»

За три сеанса он сделал, если память мне не изменяет, около

пятнадцати рисунков, два подарил мне и под лицом красивого Юноши, чуть улыбаясь, надписал: «По Эренбургу». Не знаю, следует ли назвать эти рисунки портретами. Он говорил, что не может писать или рисовать иначе, чем с натуры. Я видел, что, рисуя, он всматривается в мое лицо. Во всех рисунках было нечто общее: «Таким я вас представляю»… В другой раз, показав мне рисунок, Матисс сказал: «Это — голова, глаза, рот плюс то, что я о вас знаю…» Работая, он все время разговаривал, точнее, спрашивал, хотел, чтобы я говорил: «Это мне не мешает, а помогает». (А он рассказывал многое, отдыхая между двумя рисунками.) В конце последнего сеанса он сказал, что теперь знает мое лицо, знает и меня, но тотчас поправился: «Лучше сказать: вижу и чувствую». Когда я спросил его, почему он привязан к натуре, он улыбнулся: «Я всю жизнь учился и теперь учусь расшифровывать иероглифы природы…»

Меня поразила точность линии — рука не колебалась. (Потом я увидел документальный фильм о Матиссе, там применен способ замедленного показа, видно, как точно художник проводит линию.) Я сказал ему, что меня поражает уверенность рисунка. Он покачал головой: «Конечно, за шестьдесят лет кое-чему я научился. Далеко не всему… Помню, я читал книгу о Хокусаи, он прожил девяносто лет и незадолго до смерти признался ученикам, что продолжает учиться… Никакой уверенности у меня нет. Поэты прежде любили говорить о вдохновении. А мы говорим: «Сегодня хорошо работается». Это связано с внутренним состоянием: иногда чувствуешь — значит видишь, а иногда не выходит… Сколько в моей жизни я уничтожил рисунков, сколько раз закрашивал неудавшийся холст!..»

Во время последнего сеанса он много говорил об искусстве. Позвал молодую женщину, Л. С. Делекторскую, которая помогала ему в работе над картонами: «Принесите слона». Я увидел негритянскую скульптуру, очень выразительную, — скульптор вырезал из дерева разъяренного слона. «Вам это нравится?» — спросил Матисс. Я ответил: «Очень». — «И вам ничто не мешает?» — «Нет». — «Мне тоже. Но вот приехал европеец, миссионер, и начал учить негра: «Почему у слона подняты вверх бивни? Хобот слон может поднять, а бивни — зубы, они не двигаются». Негр послушался…» Матисс снова позвонил: «Лидия, принесите, пожалуйста, другого слона». Лукаво посмеиваясь, он показал мне статуэтку, похожую на те, что продают в универмагах Европы: «Бивни на месте. Но искусство кончилось».

Тогда же он начал говорить об истоках современной живописи: «Арагон считает, что все началось с Курбе. Может быть. Может быть, позднее — с Мане. А может быть, и куда

раньше. Дело не в этом. Знаете, кому многим обязана современная живопись? Дагеру, Ньепсу. После изобретения фотографии отпала нужда в описательной живописи. Как бы ни пытался художник быть объективным, он пасует перед фотообъективом. Для того чтобы судить, каким был Энгр, я должен посмотреть его автопортрет, портреты Давида, других художников, каждый из них расходится с другими, и я не знаю, какой рот был у Энгра. А Гюго я знаю по дагерротипам, по фотографиям. Глаз и рука художника подчинены его эмоциям. Я изучал анатомию, если мне захочется узнать, каковы породы слонов, я попрошу фотографии. А мы, художники, знаем, что бивни могут подыматься…»

Он много курил, на кровати лежали пачки различных сигарет — французских, египетских, английских. «Моя жидкая пища однообразна и ничего не говорит нёбу. Различный вкус сигарет — это то чувственное наслаждение, которое мне оставил и, беру одну, потом другую. Ну и глаза… Никогда прежде я так не радовался цветку или красивой женщине…»

Я пришел к нему в последний раз 8 октября. Он вырезывал арабески для ковра. Ножницы столь же уверенно проводили линию, как уголь или карандаш. Картоны для двух ковров «Полинезия» были почти закончены. (Много позднее а увидел его картины, сделанные с помощью цветной бумаги — он не мог сидеть у мольберта, а его преследовали живописные замыслы. Он умер в возрасте восьмидесяти пяти лет и до конца продолжал работать. Из личной беды он создал новую возможность, и, глядя на картины с наклеенными кусками бумаги, забываешь о человеке, прикованном к кровати, видишь крылья творчества.)

Матисс расспрашивал меня о Москве. «Я там был ровно тридцать пять лет назад в октябре тысяча девятьсот одиннадцатого, — меня пригласил Щукин… Я пробыл недолго. Увидел Рублева. Это, может быть, самое значительное в мировой живописи… В Москве я кое-что понял, почувствовал… Я не разбираюсь в политике, но не скрываю моей симпатии к вашей стране. Наверно, в организации общества необходим разум, как в композиции картины. Удивительно, что русские это поняли первыми, ведь когда я был в Москве, мне казалось, что русские в будничной жизни обожают беспорядок…»

(Матисс всегда чуждался политики, однако после начала «холодной войны» он начал говорить, что некоторые люди на Западе потеряли рассудок, что необходимо снасти мир. В 1947 году я написал для «Литературной газеты» статью о борьбе за мир. В ней были такие строки: «Не случайно среди коммунистов или друзей Советского Союза мы видим крупнейших ученых

Франции — покойного Ланжевена и Жолио-Кюри, крупнейших ее художников — Пикассо и Матисса, крупнейших ее поэтов — Арагона и Элюара». Арагон получил французский перевод статьи и опубликовал его в «Леттр франсез». А несколько дней спустя в Париж пришел номер «Литературной газеты», и антисоветская печать с восторгом поместила примечание: «Редакция считает неправильным, что тов. И. Эренбург обходит молчанием вопрос о формалистско-декадентском направлении творчества Пикассо и Матисса». Друзья мне рассказывали, что Матисс, прочитав об этой истории, рассмеялся. В 1948 году он послал приветствие Вроцлаве кому конгрессу, а в 1950 году подписал Стокгольмское воззвание.)

Редко я встречал человека, который и внешностью, и складом ума был бы настолько выраженным французом, как Матисс. Больше всего он любил ясность. Конечно, с точки зрения художника, стремящегося состязаться с фотографом, его творчество изобилует деформацией предметов, мне же оно кажется не только реалистическим, но и освещенным сознанием потомственного картезианца.

Он рассказывал о русских коллекционерах: «Щукин начал покупать мои вещи в тысяча девятьсот шестом году. Тогда во Франции меня мало кто знал. Гертруда Стайн, Самба, кажется, всё… Говорят, что есть художники глаза которых никогда не ошибаются. Вот такими глазами обладал Щукин, хотя он был не художником, а купцом. Всегда он выбирал лучшее. Иногда мне было жалко расстаться с холстом, я говорил: «Это у меня не вышло, сейчас я вам покажу другие…» Он глядел и в конце концов говорил: «Беру тот, что не вышел». Морозов был куда покладистее — брал все, что художники ему предлагали. Мне рассказывали, что в Москве теперь чудесный музей новой западной живописи…»

«Лидия, принесите портрет Щукина»… Я увидел прекрасный холст раннего Матисса. Он сказал: «Его много раз хотели купить, но я не продавал. По-моему, его место в Москве, в Музее западной живописи. Если вас это не затруднит, возьмите с собой, передайте в музей, как мой дар». Я знал, что Музей западной живописи закрыт, холсты Матисса хранятся в фондах. Куда я его отвезу?… Я сказал Матиссу, что возьму портрет в следующий раз, — наверно, скоро снова приеду в Париж. Потом я упрекал себя — нужно было взять и сохранить у себя, теперь бы он висел в Эрмитаже или о Музее Пушкина. Но такого рода мысли французы называют «сообразительностью на лестнице», а русские говорят: «Крепок задним умом».

Матисс упомянул в разговоре, что в годы оккупации делал

рисунки к стихам Ронсара. Я рассказал, как нашел в Восточной Пруссии первое издание Ронсара, сказал и про то, как тяжело было читать стихи о радости среди могил и развалин. Матисс ответил: «Я вас понимаю… Я думаю, что поэт похож на художника. А живопись живет любовью к жизни, восхищением жизнью и ничем иным. Можно обладать гением, но, если художник но в ладах с жизнью, он заставит людей спорить о нем, превозносить его, но никого не обрадует…»

Матисс родился на севере Франции, но почти сорок лет прожил и проработал в Ницце, там и умер — влюбился в цвета юга. Что он писал? Молодых женщин в ярких платьях, в пестрых шалях, пальмы, анемоны, птиц, золотых рыбок, кактусы, зеленые жалюзи, раковины, апельсины, причудливые тыквы, море, большие кувшины, небо, танцы, — он знал земное, телесное счастье и умел этим счастьем поделиться. А когда мне выпала удача и я увидел творца радостного ослепительного мира, передо мной оказался старый человек, которого страшная болезнь пыталась придавить и который продолжал работать — мудро, Скажу не страшась, что слово может резнуть, — весело.

Для меня тогда только начинался вечер жизни, встреча с Матиссом была и радостью и уроком.

13

В последней части этой книги еще меньше, чем и предшествующих, я буду придерживаться хронологической последовательности. Описывать событии ни к чему они у всех в памяти. Картины Москвы моего детства, «Ротонда», кафе, где «ничевоки» провозглашали конец мира, для большинства читателей неизвестны, но вряд ли стоит перечислять все эпизоды «холодной войны» или описывать все конгрессы сторонников мира. Да и пора бы, дойдя до послевоенных лет, попытаться попять время, себя. Но объяснить нес, что я ни дел и пережил, мне не под силу. Конечно, лестно выглядеть в глазах читателей человеком, взобравшимся на гору, откуда все. как на ладони. Но я не хочу лгать. Раньше я не раз говорил о том, как ошибался, заглядывая в будущее, это не могло никого удивить: я ведь не выдавал себя ни за пророка, ни за гадалку. Теперь приходится признаться и в другом: задумываясь над прожитым, я вижу, до чего мало я знаю, а главное — из того, что знаю, далеко не все понимаю.

Чем ближе события, тем чаще я обрываю себя. Когда я писал в одной из предшествующих частей, что буду все реже и реже приподымать занавеску исповедальни, я думал о своей частной жизни — хотел предупредить, что если я мог рассказать про первую любовь гимназиста, то не стану исповедоваться в «кружении сердца» взрослого человека. А в последней части книги то и дело опускается не только занавеска исповедальни, но и занавес театра, на сиене которого разыгрывалась трагедия моих друзей, сверстников, соотечественников. Когда-то я бывал всюду младшим; из людей, описанных мною в первых частях, мало кто остался в живых. В послевоенные годы редко где я не был старшим, и почти все люди, с которыми я встречался, живы. Скажу и о событиях. У писателя есть своя внутренняя цензура, она хватается за ножницы не только когда речь идет о людях, но и когда вспоминаются детали некоторых событий, казалось бы, давно рассекреченных историей. Я ведь не чувствую себя гражданином в отставке, отшельником или хотя бы умиротворенным пенсионером. Описывая прошлое, я защищаю мои сегодняшние идеи, пытаюсь перекинуть мостик в будущее. Есть, конечно, у меня недоброжелатели, но не так уж много я о них думаю. А вот у советского народа, у идей, которые мне близки, врагов хоть отбавляй, и на них я не могу смотреть с другой звезды или из другого века, — битва продолжается. Это тоже заставляет меня опустить некоторые детали; но, конечно, о

самом главном я не хочу, да и не могу умолчать.

Наконец, меня ограничивает сознание, что где-то придется поставить черту — окончить книгу, следовательно, попытаться подвести итоги. Окончить я решил на том времени, когда писал «Оттепель». «Последнее сказанье», таким образом, написано не будет — я не старец Пимен, и эта книга меньше всего бесстрастная летопись. Как бы ни казалась лоскутной история пережитых мною послевоенных лет, как бы ни выглядели картины разрозненными, дни и мысли оборванными, я верю, что читатели почувствуют в сбивчивом рассказе не проповедь, а исповедь.

Возвратившись в Москву, я вернулся к «Буре» и окончил ее летом 1947 года. Писал я с утра до ночи, торопился, хотя знал, что именно работа над романом ограждает меня от горьких мыслей и что не скоро мне удастся снова сесть за книгу. Так и случилось. Но если я долго не решался начать роман, то, закончив его, еще дольше не мог освободиться от героев, продолжал с ними мысленно беседовать — не только потому, что автору всегда мучительно расстаться с теми из персонажей книги, которых он полюбил, но и потому, что память о войне не позволяла мне мириться со многим происходившим вокруг.

Иногда по вечерам я слушал наше и парижское радио. За то время, когда я писал «Бурю», мир успел измениться. Моя поездка за границу казалась давней буколикой. Во Франции рабочие проиграли массовые забастовки, полиция стреляла в демонстрантов. В Америке крайние круги одержали верх. Я слышал новые слова: «план Маршалла», «доктрина Трумэна», «превентивная война». Это было неправдоподобно и страшно: ведь не прошло и трех лет со дня общей победы, люди еще хорошо помнили огонь минометов, бомбежки, прожитые всеми жестокие годы. Я слушал но радио псевдоученые разговоры о необходимости «отстоять западную культуру от советской экспансии», слушал и возмущался. Один видный французский писатель заявил, что существует «атлантическая культура», его выступление совпало с созданием Североатлантического союза. Все это слишком напоминало рассуждения гитлеровцев о превосходстве культуры, созданной «северной расой».

В ответах на военную пропаганду Запада мне порой в газетных статьях удавалось напомнить о некоторых вдоволь азбучных истинах, в те годы часто попиравшихся. В августе 1947 года я писал: «Культуру нельзя разделять на зоны, разрезать, как пирог, на куски. Отделять западноевропейскую культуру от русской, русскую от западноевропейской попросту невежественно. Когда мы говорим о роли, которую сыграла Россия в духовной жизни Европы, то отнюдь не для того, чтобы

принизить другие народы. Ходули нужны карликам, и о своем расовом, исконно национальном превосходстве обычно кричат люди, не уверенные в себе. Глубокая связь существовала с древнейших времен между мыслителями и художниками различных стран, способствовала богатству и многообразию культуры. Мы учились у других, и мы учили других. Нужно ли еще раз напоминать, что без классического русского романа нельзя себе представить современную европейскую и американскую литературу, как нельзя себе представить современную живопись без того, что создано французскими художниками прошлого века… Белинский сто лет назад писал, что европейские народы «нещадно заимствуют друг у друга, нисколько не боясь повредить своей национальности. История говорит, что подобные опасения могут быть действительны только дли народов нравственно бессильных и ничтожных».

Западные газеты меня называли «беспечным шулером» и «остроумным циником» (знакомые слова). А у меня на сердце скребли кошки.

К. М. Симонов, с которым в то время я часто встречался, рассказал мне, что Сталин придает большое политическое значение борьбе против низкопоклонства перед Западом. Кампания ширилась. Как это часто бывало, некоторые сами по себе разумные мысли доводились до абсурда. Преклонение перед всем заграничным высмеивал еще Фонвизин — это очень старая болезнь: восхищались немецкой техникой, уверяли, что «немец луну сделал», и одновременно залихватски повторяли: «Русский немцу задал перцу». Я с детства видел приниженность и спесь настолько породнившимися, что трудно было определить, где начинается одно и кончается другое. Часто, выслушивая наивные восхваления наших туристов, впервые оказавшихся за границей, я вспоминал созданную Мятлевым мадам де Курдкжофф. Комплекс неполноценности порождал комплекс превосходства. В одном и том же номере газеты можно было найти высокомерное заверение, что наша агрономия первая в мире, и сообщение о том, что какому-то голландскому негоцианту понравился русский балет.

Достаточно заглянуть в Большую советскую энциклопедию, точнее, в ее тома, вышедшие до 1954 года, чтобы увидеть, к каким искажениям приводила кампания против низкопоклонства: о работах иностранных ученых говорилось бегло. Не лучше было и с историей искусства. Даже хозяйственники пытались проявить рвение, и сыр «камамбер» был переименован в «закусочный».

Некоторые люди на Западе занялись легким, зачастую невежественным зубоскальством. Один крупный романист на

митинге иронически заявил, что русские говорят о каких-то заслугах никому не ведомого радиотехника Попова. (Заглянув теперь в маленькую энциклопедию Ларусса, я увидел: «Беспроволочный телеграф изобретен в 1895 году Поповым (Россия) и Маркони (Италия)».) В палате депутатов Бидо издевательски сказал: «Нам объявляют, что великие открытия сделал некто Ломоносов». Я ответил в «Правде»: «Мне отвратителен национализм, я не терплю людей, которые оскорбляют культуру другого народа. Возмущаясь поведением г. Бидо, я отстаиваю пиетет не только перед Ломоносовым, но и перед Лавуазье. Великие люди остаются великими безотносительно к тому, что о них скажет некто Бидо».

Вернувшись из Америки, Симонов написал повесть «Дым отечества», в ней он хотел противопоставить сытым и самодовольным американцам душевные богатства жителей Смоленщины. На обсуждении «Дыма отечества» К. А. Федин и я говорили о достоинствах этого произведения. На Сталина, однако, повесть произвела другое впечатление. Не знаю, что его рассердило — попытка Симонова иметь собственные суждения или название повести, но только «Культура и жизнь» обругала «Дым отечества», а заодно Федина и меня.

Прочитав письмо одного из моих французских друзей, который справлялся о моем здоровье, я не сразу понял, в чем дело, а потом получил из нашего посольства кипу газетных вырезок — антисоветские газеты торжествующе сообщали о «новой расправе с советскими писателями»; одна даже спрашивала: «Интересно, отделается ли Эренбург Сибирью, или его ждет петля?»

Очередной жертвой стал молодой писатель Э. Г. Казакевич, только-только получивший премию за повесть «Звезда». Он написал повесть «Двое в степи», в которой рассказывал, как в страшные дни отступления юноша, впервые попавший под огонь, растерялся, не выполнил боевого задания и был приговорен к расстрелу. Его сторожил солдат-казах. Поскольку отступление продолжалось, казаху и приговоренному к смертной казни офицеру пришлось вместе пробиваться на восток. Заключенный и конвоир подружились. В повести хорошо обрисованы герои, процесс их сближения показан правдиво. Я считал (и считаю) «Двое в степи» одной из лучших книг о войне. Я об этом сказал на собрании, и у меня сохранилось письмо от Эммануила Генриховича: «Я взволнован вашим вниманием и горд вашей оценкой моей второй вещи». Казакевич стойко переживал нападки. Это был человек скромный, мягкий, но с большим мужеством, убеждения для него были выше успеха, и служение

народу он никогда не менял на прислуживание.

Смерть еще меньше считается с логикой, чем история, слишком часто она замахивается косой на зеленую, невызревшую полосу. Казакевич вернулся с войны, хотя был разведчиком и не раз рисковал жизнью. Он был полон энергии, писал новую книгу, казался человеком крепкого здоровья и умер, не дожив до пятидесяти лет.

В 1949 году праздновали пятидесятилетие С. П. Щипачева. Я сказал, что хочу выступить на его вечере с приветствием. Мне нравились скромные короткие стихотворения поэта, особенно нравился он сам — были в нем честность, естественность, прямота. В коротком слове я сказал, что Щипачев сумел оградить свою поэзию «в эпоху инфляции слов». Это было сказано на писательском вечере, и сказано сдержанно, но многим мои слова показались вызовом, — видимо, клеймо лживой риторики отмечало немало лиц. Позднее несколько раз я беседовал со Степаном Петровичем и увидел, что не ошибся. Высокий, прямой, он похож на свои стихи, есть в нем душевное благородство. Когда мне бывало трудно, я вдруг вспоминал Щипачева и с большим доверием думал о жизни.

Пока я писал «Бурю», меня выручала работа. А потом пришлось прибегнуть к старому лекарству: поезда с их ночными пронзительными вскриками, ухабы дорог, случайные ночевки, исповеди на полустанках, незаконченные беседы, пропадающие в тумане лица, калейдоскоп. Где я только не побывал за полтора года! Приведу список из записной книжки: Орша — Минск — Вильнюс — Каунас — Клайпеда, Шауляй — Паланга — Лиепая — Елгава — Рига — Тарту — Таллинн — Нарва — Ленинград — Новгород — Валдай; Калинин — Кашин — Калягин; Варшава — Вроцлав — Лодзь; Киев — Погар — Брянск; Владимир — Суздаль — Иваново; Тула — Орел; Пенза — Белинский; Ленинград — Таллинн; Варшава — Вроцлав — Кельцы — Краков; Кишинев — Бельцы — Сороки — Фалешты — Бендеры — Белград — Килия — Измаил…

Воспоминания об этих поездках напоминают случайно склеенные кадры из различных фильмов. В Иваново я поехал для того, чтобы укрепить положение освобожденного, но еще не реабилитированного Н. Н. Иванова, бывшего поверенного в делах во Франции, который работал нештатным сотрудником Общества по распространению политических знаний.

В одном селе устроили доклад; и должен был рассказать о поездке в Америку; в самую патетическую минуту в сарай, куда собрались слушатели, вошла корова. В Погар меня пригласили для того, чтобы я рассказал, как изготовляют сигары на Западе;

была дегустация, я привез гаванскую сигару, но ее раскритиковали. В Кишинев я попал, когда там неожиданно началась камлания против молдавских писателей — Букова, Истры, Лупана, Корняну. Я попробовал лишний раз вступиться за литературу, разумеется, безрезультатно. Я увидел много интересного, хорошего и плохого — большие заводы и непроезжие дороги, богатства древней Суздали, работы эстонского художника Адамсона, развалины Новгорода, толкучки Молдавии; не стану обо всем этом рассказывать, припомню только поездку в Пензенскую область.

Праздновали столетие со дня смерти Белинского, меня включили в писательскую делегацию. Руководителем был Фадеев. Ф. В. Гладков часто хмурился: «Все это правильно, только нравы мне не нравятся».

В Пензе открыли памятник Белинскому; Фадеев произнес речь. Пенза мне сразу приглянулась, хотя не было в ней никаких достопримечательностей. В старой части города облупившиеся фасады домов, где прежде проживала одна семья и где теперь был сдан и пересдан каждый угол, выглядели печально. Понравились мне люди. Они были как-то сосредоточеннее, чем в суетливой Москве, больше читали, больше и думали. Студент шел со мной по городскому парку и читал на память страницы Салтыкова-Щедрина. Молодая женщина, учившаяся в Ленинграде, провела меня в фонды музея, с жаром говорила о Коровине, о «Бубновом валете», о Сезанне, вспоминала запасник Эрмитажа. На встрече со студентами начались споры о Казакевиче, Некрасове, Пановой; кто-то декламировал стихи Пастернака. Рабочий часовой фабрики пришел ко мне в гостиницу и сразу заговорил об искусстве: «Когда я слушаю серьезную музыку, мне кажется, что время распадается, а может быть, наоборот тысячелетие сгущается и один час, кончится — и чувствуешь, что прожил несколько жизнен…»

Новое повсюду перемежалось со старым. В Лермонтове (В Тарханах) колхозники по тем временам жили сносно. В селе была десятилетка. Сидя возле пруда, я услышал, как мальчишки выкрикивали непонятные слова; разговорившись с ними, я узнал, что это они ругаются по-французски. Я захотел познакомиться с учителем французского языка, но, когда ему сказали об этом, он ушел в лес.

Учительница истории О. С. Вырыпаева, узнав, что я люблю керамику, повезла меня в соседнее село Языково: там колхозники издавна занимались гончарным промыслом. Я увидел курные избы. Почему-то ходили слухи, что в Белинский на юбилей приехал Ворошилов, и меня приняли за одного из его

сопровождающих. В избу, куда я зашел, набралось много иароду: колхозники, перебивая друг друга, излагали свои претензии — с них берут побор за все кувшины и горшки, которые они грузят, а по пути в Чембар половина товара бьется Я слушал, записывал, потом мне стало не по себе: хлестаковствую — ведь все говорят: «Расскажи Сталину»… Я объяснил, что я всего-навсего писатель, постараюсь помочь, но не уверен в успехе. На печи сидел демобилизованный, кашлял, глаза у него были лихорадочные. Он молчал, а тут заговорил: «Писатель… Он тебе опишет — не изба, а дворец, не горшок — ва-аза»… Он долго повторял, кашляя и ругаясь: «Ва-а-за!..» Мы вышли. Учительница, но уши влюбленная в литературу, растерянно говорила: «Представить себе, что это в 1947 году! Безобразие!»… А я подумал: пожалуй, он прав.

(Год спустя я поехал с В. Г. Лидиным в Пензенскую и Тамбовскую области и снова увидел противоречивые картины. Музей в Тамбове поражал своим богатством (там среди прочего хранилась замечательная скульптура Донателло); в городе была прекрасная библиотека. А в районном центре Кирсанове музей нас рассмешил: в одной комнате мы увидели просиженный диван, кресло, разбитую вазу — надпись объясняла: «Жизнь и быт княгини Оболенской»; в другой стояла ничем не примечательная скульптура с ярлычком: «Произвольный бюст неизвестного мастера». Мы побывали в Пойме у писательницы А. П. Анисимовой, влюбленной в народное творчество. Она нас повезла в Невежкино, где сохранились мастерицы русской вышивки. Мы увидели бедные покосившиеся избенки; школа казалась полуразвалившейся, все выглядело печально. А на следующий день нас пригласили в расположенный неподалеку колхоз имени Ленина — на открытие книжного магазина. Там были городского типа дома, библиотека, ясли. Трудно было поверить, что Невежкино рядом…)

В 1947 году я впервые увидел много мест, связанных с русской литературой прошлого века. Я побывал в Ясной Поляне, где Толстой писал «Войну и мир», «Анну Каренину»; но в доме видишь Льва Николаевича, старого, душевно мечущегося и вместе с тем за чаем наставляющего «толстовцев», того Толстого, который пахал со смирением, что паче гордости, и завещал похоронить его без имени, без плиты; может быть, больше всего меня взволновала его могила — он выбрал место, где мог бы соседствовать с единственно достойным партнером — природой. Я поехал в Спасское, там под тенистыми кленами Тургенев писал романы, а поздней осенью отправлялся в Париж; когда однажды ему отказали в заграничном паспорте, он построил флигелек и написал В и ар до, что живет как ссыльный. В Орле я видел его

диван, книги с пометками; поглядел на дом Лескова. Постоял у заброшенной могилы Фета. В Чембаре ходил по школе, в которой учился Белинский. Трудно объяснить, почему в музее особенно потрясает одна картина, и я не знаю, почему больше всего мне запомнились дни в Тарханах, или, говоря по-новому, в селе Лермонтово.

Там я познакомился с молодой преподавательницей русской литературы В. А. Дарьевской. Она меня спрашивала, каким был в жизни Маяковский, нравятся ли мне стихи Багрицкого, где достать хороший перевод Гейне. А я от нее узнал про школу, про жизнь села. Это была скромная девушка, любившая свою работу и искусство; она рассказывала, что иногда ей удается съездить на воскресенье в Пензу — там ведь театр… До железной дороги больше тридцати километров, иногда приходится возвращаться пешком. Вера Анатольевна однажды зимой встретила волков, сначала приняла их за собак, а волки подошли к деревне, зарезали колхозных баранов: «Ох, как я испугалась!..»

Мы пошли в склеп. Там стоял гроб, в котором привезли тело Лермонтова из Пятигорска. Было сыро, и на гроб громко падали капли.

Музей был смешанным: отдельные вещи, связанные с поэтом, и различные плакаты, диаграммы, посвященные крепостному праву, революции, успехам колхозников Пензенской области. В одной комнате я увидел трубку Лермонтова и рисунки к «Демону», в другой висел большой портрет Сталина.

Ночью я написал стихотворение. Никогда и его не печатал, а теперь приведу, потому что оно — клочок обещанной исповеди.

Тарханы это не поэма —
Большие крепкое село.
Давно в музей безумный Демон
Сдал на храпение крыло.
И посетитель видит хрупкий,
Игрушечный, погасший мир,
Изгрызенную о муке трубку
И опереточный мундир.
И каждому немного лестно,
Что это — Лермонтова кресло.
На стенах множество цитат
О происшедшей перемене.
А иод окном заглохший сад
И «счастье», скрытое в сирени.
Машины облегчили труд.
В селе теперь десятилетка.

Колхозники исправно чтут
Дела прославленного предка,
И каждый год в тот день июля.
Когда его сразила пуля,
В Тарханах праздник. Там с утра
Вся приодета детвора.
Уж кумачом зардели арки,
Уж сдали государству рожь,
И в старом лермонтовском парке
Танцует дружно молодежь.
Здесь нет ни топота, ни свиста…
Давно забыт далекий выстрел,
И только в склепе, весь продрог.
Стоит обшитый цинком гроб.
Мотор заглох, шофер хлопочет.
А девушка в избе бормочет
Все тот же сердцу милый стих,
И страсть в ее глазах глухих.
Приподняты углами брови.
А ночь, как некогда, темна.
Поют и пьют. Стихи читают. Сквернословят.
А сердце в цинк стучит. Все выпито — до дна.
«Люблю отчизну я, но странною любовью…»
А что тут странного? Она — одна.

Конечно, я люблю родину не только потому, что она — одна, люблю и потому, что потомок выходца из Шотландии написал «Тамань», перечитывая которую я каждый раз изумленно приоткрываю рот, как ребенок, люблю и за то, что колхозницы села Лермонтова, смелые, измученные и гордые солдатки, пахали на коровах и втихомолку плакали над треугольниками фронтовых писем, за скромность природы тех же Тархан, за все эти пригорки, перелески, прудики, за дерзкий замысел народа, за «перемены», о которых сухо говорили диаграммы музея, за девушку Веру, которая повторяла в темной избе: «Есть речи — значенье темно иль ничтожно», которая пошла на «Гамлета» и повстречала волков, за то, что в захудалом Чембаре вырос неистовый Виссарион, равно преданный справедливости и красоте, за то, что в Пензе подросток Мейерхольд мечтал о древнем балагане, за то, что в Пензенской области есть села с удивительными названиями — Волчий Враг, Соседка, Верхозим, Шемышейка, за цветистость ругани и стыдливость ласк», за тысячу других вещей, больших и малых, которые, может быть, лучше всего я выразил в коротком

признании: «Она — одна».

14

В октябре 1947 года Фадеев сказал мне, что нужно поехать в Польшу, туда отправляют делегацию писателей: Твардовский, Тычина, Бровка, Эренбург. Фадеев начал меня наставлять и вдруг рассмеялся: «Да вы сами знаете… Прожили полжизни за границей». Я подумал: одно дело жить — другое входить в делегацию… В купе я оказался с П. Г. Тычиной, который тогда был министром просвещения Украинской республики. Мы долго спорили, как разместиться — каждый пытался взобраться на верхнюю пачку. Мы с Павлом Григорьевичем родились не только и тот же самый год, но и в тот же самый день. Я говорил, что Тычина должен остаться внизу: он министр. Павел Григорьевич возражал. Я вышел в коридор, разговорился с Твардовским. Тычина воспользовался этим, и, вернувшись, я увидел его лежащим на верхней полке. Мы дружески побеседовали, потом погасили свет. Я уже засыпал, когда Павел Григорьевич сказал: «Будет обязательно помыл к а…» Хотя я родился в Киеве, но детство и отрочество провел в Москве; многие украинские слова мне кажутся загадочными. «Помылка» это «ошибка», потом мне объяснили, а тогда в полусне мне казалось, что нам мылят головы: это была вторая моя поездка за границу в составе делегации, и я тоже побаивался.

На вокзале улыбался Тувим, и я сразу успокоился. Поляки нас встретили радушно. Я увидал другую Польшу, не ту, что видел двадцать лет назад в эпоху санации. Тогда ведь не только власть, но и некоторые писатели разговаривали со мной настороженно.

Конечно, Польша стала другой, и в то же время я многое узнавал: характер народа не меняется — меняется жизнь. В 1947 году я увидел испепеленную Варшаву. Я не узнавал улиц, но людей узнавал. Из тех, кого я знал раньше, многих уже не было: погибли и всем известные, прославленные, и те, которых знали только друзья. В 1928 году я познакомился с писателем Бой-Желенским. Мы проспорили весь вечер — о Монтене, о Прусте. Он куда больше знал, чем я, и говорил страстно, порой зло, но с той любовью к искусству, которая обезоруживает. Ему было шестьдесят семь лет, когда фашистские недоросли расстреляли его во Львове. В Париже в тридцатые годы я встречал на Монпарнасе молоденького архитектора Сениора. Он мечтал что-то построить, обожал Ле Корбюзье, жил в нужде, а когда мать присылала ему из Польши посылку (он говорил «пачку»), угощал нас рябиновой водкой и полендвицей. Летом 1939 гола он уехал

домой, чтобы сражаться против гитлеровцев, и погиб. Я познакомился с молодыми писателями, художниками, с сотнями людей различных профессий. Год спустя я снова увидел Польшу во время Вроцлавского конгресса, а в последующие годы часто бывал в Варшаве, и хотя это всегда было связано с конгрессами, конференциями, комиссиями, резолюциями, выкраивал время для старых и новых друзей. Я все сильнее влюблялся в польский характер, и эта глава, наверно, будет скорее походить на лирическое объяснение, чем на рассказ о стране и людях.

В течение долгого времени между русскими и поляками был глубокий ров-память о нашествиях, о разделах, о крови повстанцев. Учитель истории говорил нам, что любой поляк чванлив, как шляхтич, что Польша'погибла оттого, что каждый пан в сейме кричал «не позволю» и накладывал запрет на закон. Один из наставников моей молодости, Достоевский, в своих романах выводил карикатурных поляков. Я Польшу не знал, и где-то внутри таилось предубеждение. Помню, что меня поразила страсть, с которой Тувим говорил о польском характере при первой нашей встрече. Потом я услышал от Бабеля: «Это поэтический народ…» А ведь Бабель видел поляков во время войны, когда они сражались против Советской России. Я задумался и только в 1928 году, побывав в Польше, кое-что понял.

Человеческие ценности — радость труда, борьбы, любовь, искусство — осознаешь не по школьным урокам и не по книгам, а но житейскому опыту. Но есть и такие ценности, которые начинаешь понимать в недостатке, в отлучении. Что такое хлеб, я понял в Париже, когда ничего не ел несколько дней, а из булочных шел дивный аромат. В горах Арагона во время боев я понял, что такое глоток воды. Я писал, что значение родины осознаешь вдали от нее. Обостренный патриотизм поляков связан с историей: они пережили или слышали от своих родителей длинную летопись попрания национального достоинства.

Я рассказывал, как Тувим, бродя со мною среди развалин Варшавы, повторял: «Посмотри, какая красота!..» Может быть, не все поляки это говорили, но все это думали. Старая часть Варшавы отстроена с такой любовью к любой детали, что забываешь о реставрации. Дело не только во вкусе, дело и в страсти.

Меня притягивает к полякам страстность — она в национальном характере, она сказалась и в старой скульптуре Ствоша, и в поэзии — от Мицкевича и Словацкого до Тувима и Галчинекого, страстность в народных песнях и в длинной повести о неудачных восстаниях, она в Домбровеком, о котором когда-то

мне рассказывал старик коммунар, и в Янеке, которого я видел возле Уэски. Стоит поглядеть в глаза старого усатого пенсионера, который ходит по чинному, но дивному Кракову, или услышать в заброшенной деревне вскрик маленькой девчонки с белой косичкой и смехом, похожим на слезы, как снова и снова видишь избыток чувств, диковинный клубок судеб.

Я читал много суровых оценок барокко — чрезмерность, неожиданность сочетаний, порой непонятность казались вычурностью, формализмом, отказом от искренности, пренебрежением простотой. А между тем барокко, родившись в эпоху заката аристократии, пришелся по душе народам. Есть нечто общее между поэзией Гон горы, Марино или Грифиуса и теми глиняными Христами, которых лепят польские гончары, забыв о размере головы или рук, но помня о безмерности человеческого страдания. «Здесь похоронено сердце Шопена» — чужестранец дивится, а и это в характере Польши.

В 1947 году польское правительство подарило нам, четырем советским писателям, произведения народного искусства. Мне достался ковер, сотканный из лоскутков Галковскими в Кракове. Этот ковер с тех пор радует меня в трудные часы. Я гляжу на зверей, которых нет и не было, но которые живут, резвятся, рычат и дремлют в моей комнате, на девушек, на диковинных рыцарей и вижу не только чудесное сочетание тонов, полутонов, но и силу искусства.

Польша для меня неотделима от искусства, от правды преувеличений, от силы воображения, способной превратить, казалось бы, заурядный домишко в космос. В 1947 году была трудная эпоха для поэтов или художников. Однако и тогда я увидел много холстов, показывавших, что искусство живо. Нужно ли говорить о последующем десятилетии? Некоторые польские фильмы обошли мир. Начали переводить польскую прозу. Помню, как я читал путевые заметки Казимежа Брандыса, он рассказал, что чувствовал, завтракая в приветливой чистенькой гостинице Западной Германии, — я нашел художественное выражение того, что смутно чувствовал.

Вдохновение в Польше не удел избранных, оно в гуще народа. Достаточно поглядеть на серо-черные кувшины — в них все оттенки и все благородство горя. Крестьянка, никогда не бывавшая в городе, вырезывает из бумаги тропические рощи. Если зайти в магазин утвари, то поражаешься не только вкусу, но и фантазии. Может быть, именно эта насыщенность искусством притягивает меня к Польше? Но ведь она связана с характером народа, и я не забываю ни батальона Домбровского в Испании, ни женщину, которая таскала камни на стройке в Варшаве.

Я говорил о Тувиме. Мне хочется теперь сказать о его друзьях из «Скамандра», с которыми я часто встречался в Варшаве. Слонимский некоторым кажется англичанином, чересчур насмешливым, даже едким, а за его иронией скрыты доброта, безрассудство польской поэзии и польской судьбы. Ирония у разных народов разная — Сервантес не похож ни на Свифта, ни на Мольера. Ирония Слонимского не раствор, а эссенция, может быть, слишком крепкая для другой страны или для другой эпохи, а если она и разбавлена, то не водой, а слезами. Ивашкевич на первый взгляд кажется баловнем судьбы, он мягок, даже благодушен, но никак душевно не благополучен. Он похож на мечтателя шляхтича, но в его книгах много современного смятения. Я вспоминаю сейчас его новеллу, написанную в тридцатые годы, — польский писатель едет во Флоренцию на какой-то конгресс (видимо, и писатели и конгрессы всегда были — это как дождь). Новелла напоминает тургеневские «Вешние воды», но в ней воздух нашего века — любовь не та, да и не то отчаяние.

В 1947 году я еще не мог забыть о поездке в Польшу двадцать лет назад, когда мы жили в разных мирах, — старался быть особенно вежливым, обходить темы, связанные с трудностями того времени, — словом, частенько вел себя как дипломат. Расскажу о смешном и потому, что лирику мне всегда хочется перебить шуткой, и потому, что этот рассказ покажет, насколько я тогда не понимал происшедших перемен.

Я говорил, что поляки приняли нас на редкость гостеприимно. Нам поручили привезти в Москву к Октябрьским праздникам делегацию польских писателей. Я радовался, что мы сможем их принять, как они приняли нас. Поехали с нами известная писательница Налковская (ей было за шестьдесят), драматург Кручковский, который тогда был вице-министром культуры и искусства, и молодой поэт Добровольский. До Бреста мы ехали в специальном вагоне со всеми онёрами, а в Бресте нас никто не встретил. (Потом я узнал, что телеграмма опоздала.) Все выглядело катастрофично: в «Интуристе» наотрез отказались продать для гостей билеты в кредит, а рублей у нас, разумеется, не было. Налковская, увидав советский состав, сказала, что устала, хотела бы прилечь. Я ответил, что посадка не началась. (На беду, в ту самую минуту в вагон вошел генерал, адъютант тащил его чемоданы.) Я позвонил секретарю обкома. Рабочий день кончился, и разыскал я его дома. Он выслушал, пособолезновал, но объяснил, что в обкоме никого нет — где же он достанет деньги? Я начал увещевать, молить, даже глухо пригрозил «дипломатическими осложнениями». Он отвечал:

«Попробую, но за результаты не ручаюсь…» Прошел час, два. Налковская спрашивала, не началась ли посадка. Кручковский учтиво молчал. Добровольский что-то говорил о стихах Галминского и Пастернака. Но мне было не до поэзии, я то и дело убегал — звонил секретарю обкома, глядел, не покажется ли машина. Наконец секретарь обкома приехал: «Достал на три спальных…» Я попросил его приветствовать гостей. Налковская наконец-то смогла прилечь. А мы собрались в купе и начали считать имевшиеся у нас рубли. Сегодня — ужин, завтра — завтрак, обед, ужин, послезавтра мы приезжаем в одиннадцать, — значит, еще один завтрак. А денег только на ужин сегодня. Бровка сказал, что завтра утром сойдет в Минске, жалко, что до города далеко…

Я попытался попросить в вагоне-ресторане, чтобы нас кормили в кредит, в Москве на вокзале мы расплатимся, но мне ответили, что это исключено — в пути может сесть контролер. Мы пошли ужинать, заказали пол-литра. Налковская попросила маленький стакан красного вина. Подали бутылку, Добровольский снова заговорил о поэзии и вдруг сказал: «Я хотел бы увидеть поэта, который может превратить пустую бутылку в полную…» Я убежал, снова пересчитал наши капиталы и заказал еще одну бутылку. Утром мы сказали, что не завтракаем — пьем только чай. В Минске Бровка распрощался со всеми, и вдруг я увидел Петра Устиновича, который несся обратно, как чемпион по бегу: «До ЦК далеко, я добежал до дому, а жены нет, вот все, что нашел в ящике стола…» Он сунул мне в руку бумажки. На обед хватило. Мы решили сказать, что вечером не будем ужинать, но вечером в Смоленске нас ждало чудо — в вагон вошел писатель Симонов. Я тотчас отозвал его в сторону и попросил сказать гостям, что он приехал из Москвы, чтобы встретить делегацию. Потом я спросил его: «Сколько у вас денег?…» Он ответил: «Ничего нет. Я обрадовался, увидев вас, думал, паужинаем, выпьем бутылочку вина…» В одном из купе оказался знакомый Симонова. Мы были спасены.

Два года спустя, подружившись с Добровольским, я рассказал ему, что пережил, когда он заговорил о превращении пустых бутылок в полные. Он долго смеялся: «Да ведь это чисто польская история…» Смеялся потом и Кручковский.

Конечно, когда я говорю, что теперь ничего нас не отдаляет от поляков, я меньше всего думаю об «Интуристе». В 1928 году поляки и мы жили в разных мирах. Даже Тувим, даже Бронсвский тогда многого не понимали, да и я часто судил опрометчиво. Некоторые традиционные предубеждения оказались живучими, и только приехав в Варшаву в 1947 году, я почувствовал, что ничто

больше нас не разделяет. Слонимский, Ивашкевич — это давние друзья, но я познакомился с молодыми писателями и, беседуя с ними, не ощущал границ стран или границ поколений.

Ни осенью 1947 года, с которой я начал эту главу, пи впоследствии в Польше я не знавал одиночества, — это сухая справка, но она говорит о многом.

15

Месяцы, о которых мне предстоит рассказать, может быть, самые тяжелые в моей жизни, и я надолго прервал работу: не решался начать эту главу. С какой радостью я опустил бы ее! Но жизнь не корректура, и пережитого не перечеркнешь. С тех пор прошло пятнадцать лет. Я не хочу бередить заживающие рапы, не назову некоторых — меньше всего меня привлекает роль прокурора. Притом я многого не знаю, ограничусь тем, что коротко, сухо расскажу о пережитом.

Теперь я понимаю, что начало некоторых событий, о которых хочу написать, связано с трагической смертью С. М. Михоэлса, и прежде всего скажу о Соломоне Михайловиче. Познакомился я с ним давно, еще в двадцатые годы, но мало его знал: а понял и полюбил в годы войны; одно время он довольно часто приходил к нам в гостиницу «Москва», иногда горевал вслух, иногда дурачился, иногда как-то вбирал в себя руки и ноги, сжимался, молчал. Он был большим актером, и, конечно же, его стихией было искусство. Я хорошо помню его в роли короля Лира. Он казался неузнаваемым — в жизни он был небольшого роста и лицо у него было не короля, а, скорее, насмешливого интеллигента, с выпуклым лбом и выпяченной нижней губой. Но на сцене, высокий и трагичный, король Лир был невыразимо прекрасен в своем горе и гневе. Талант Михоэлса почитали актеры различных направлений; я помню, с каким восхищением говорили о нем и Качалов, и Мейерхольд, и Питоев. Никогда Михоэлс не был националистом, он любил русский язык, и его друг А. Н. Толстой иногда говорил: «Не понимаю, почему Соломон не хочет играть в русском театре…» Но у Михоэлса было любимое дитя — Еврейский театр. На спектакли этого театра приходили и зрители, не знавшие еврейского языка. Игра Михоэлса и Зускина была настолько выразительной, что все бывали захвачены похождениями местечкового Дон-Кихота или бедой Тевье-молочника.

Во время войны С.М. Михоэлс был душой Еврейского антифашистского комитета. Кто тогда мог думать об искусстве? Гитлеровцы убивали в местечках Украины и Белоруссии и старых героев Шолом-Алейхема, и девочек-пионерок. Михоэлса послали вместе с поэтом Фефером в Америку. В 1946 году американцы мне рассказывали, как в одном городе рухнула эстрада — слишком много людей хотели подойти поближе к советским гостям. Михоэлс и Фсфер собрали миллионы на советские госпитали, детские дома.

После победы к Михоэлсу обращались с просьбами тысячи людей — в их глазах он оставался мудрым ребе, защитником обиженных.

И вот Михоэлса убили…

Тогда нам сказали, что Соломон Михайлович поехал в Минск вместе с Голубовым-Потаповым по поручению Комитета, присуждавшего Сталинские премии, — он должен был дать отзыв о постановке, выставленной на премию. Ночью его позвали в гости — он шел опять-таки вместе с Голубовым-Потаповым по одной из окраинных улиц, и там не то бандиты убили обоих, не то их раздавил грузовик. Эта версия казалась убедительной весной 1948 года; полгода спустя в ней многие начали сомневаться. Когда арестовали Зускина, все задумались: а как погиб Михоэлс?… Недавно советская газета, выходящая в Литве, рассказала, что Михоэлс а убили агенты Берии. Не стану гадать, почему Берия, который мог бы преспокойно арестовать Михоэлса, прибег к злодейской маскировке; конечно, не потому, что щадил общественное мнение, скорее всего, развлекался.

Я был на панихиде по Соломону Михайловичу в помещении его театра. Изуродованное лицо загримировали. Произносили речи. Помню выступление Фадеева. На улице стояла толпа, многие плакали.

Двадцать четвертого мая был вечер памяти Михоэлса. Я выступал, не помню, что говорил. Было очень горько.

Но я еще ничего не предвидел.

В сентябре 1948 года я написал для «Правды» статью о «еврейском вопросе», о Палестине, об антисемитизме. Вот несколько цитат:

«Мракобесы издавна выдумывали небылицы, желая представить евреев какими-то особенными существами, непохожими на окружающих их людей. Мракобесы говорили, что евреи живут отдельной, обособленной жизнью, не разделяя радостей и горестей тех народов, среди которых они проживают. Мракобесы уверяли, будто евреи — это люди, лишенные чувства родины, вечные перекати-поле. Мракобесы клялись, что евреи различных стран объединены между собой какими-то таинственными связями.

…Да, евреи жили отдельно, обособленно, когда их к этому принуждали. Гетто было изобретением не еврейских мистиков, а католических изуверов. В те времена, когда глаза людей застилал религиозный туман, были среди евреев фанатики, как они были среди католиков, протестантов, православных и мусульман. И как только раскрылись ворота гетто, как только дрогнул туман средневековой ночи, евреи разных стран вошли в общую жизнь

народов.

Да, многие евреи покидали свою родину, эмигрировали в Америку. Но не потому эмигрировали они, что не любили своей земли, а потому, что насилия и оскорбления лишали их этой любимой земли. Одни ли евреи искали порой спасения в других странах? Не так ли поступали итальянцы, ирландцы, славяне стран, находившихся под гнетом турок и немцев, армяне, русские сектанты?…

…Мало общего между евреем тунисцем и евреем, живущим в Чикаго, который говорит, да и думает по-американски. Если между ними действительно существует связь, то отнюдь не мистическая: эта связь рождена антисемитизмом… Невиданные зверства немецких фашистов, провозглашенное ими и во многих странах осуществленное поголовное истребление еврейского населения, расовая пропаганда, оскорбления сначала, печи Майданека потом — все это родило среди евреев различных стран ощущение глубокой связи. Это солидарность оскорбленных и возмущенных…

…Конечно, есть среди евреев и националисты и мистики. Они создали программу сионизма, но не они заселили Палестину евреями. Заселили Палестину евреями те идеологи человеконенавистничества, тс адепты расизма, тс антисемиты, которые сгоняли евреев с насиженных мест и заставляли их искать не счастья, а права на человеческое достоинство — за тридевять земель…»

В статье я приводил высказывания Горького, Ленина об антисемитизме, цитировал и Сталина: «Антисемитизм, как крайняя форма расового шовинизма, является наиболее опасным пережитком каннибализма».

Газетная статья не исповедь, в ней многого не скажешь. Теперь, когда я дописываю книгу о моей жизни, мне хочется сказать, как я понимаю то, что часто называют «еврейским вопросом».

Начну с конца. Один американский писатель, негр, справедливо заметил: «Нет а Америке проблемы черных, есть проблема белых». К словам американского негра я могу добавить, что еврейский вопрос это вопрос о живучести антисемитизма.

Ребенком я слышал разговоры о деле Дрейфуса, о еврейских погромах. Я знал, что Лев Толстой, Чехов, Горький возмущаются натравливанием русских на евреев. Несколько лет спустя я прочитал в подпольной газете статью Ленина. Мой отец говорил, что антисемитизм — пережиток, порождение фанатизма и невежества, и в этом я разделял его суждения.

Как читатель знает, я родился в Киеве, мой родной язык

русский. Я не знаю ни идиш, ни древнееврейского языка. Никогда я не молился ни в синагоге, ни в православной церкви, ни в костеле. Меня восхищали и восхищают некоторые художественные памятники, которые для верующих связаны с религией, а для меня с человеческими мыслями и чувствами, — «Книга Иова», «Песнь песней», «Экклезиаст», Евангелия, в том числе «запретные», «Апокалипсис», Шартрский собор, Акрополь, иконы Андрея Рублева, живопись фра Беато, индусские богини в Эллоре, фрески в древнем буддийском монастыре Аджанта. Однако все это для меня не мертвые каноны религий, а живое искусство. Детство и отрочество я провел в Москве, и мои товарищи были русскими. Когда я работал в подпольной организации, мы называли друг друга по кличкам, меня не интересовало, были ли среди моих товарищей евреи. Потом я очутился в Париже. Я встретил двух чудесных поэтов, — один из них, Аполлинер, был по происхождению поляком, другой, Макс Жакоб, евреем, но для меня оба были французами. Я полюбил итальянца Модильяни; однажды он мне рассказал, что он еврей, но для меня он оставался связанным с тревогой предвоенных лет и с искусством итальянского Возрождения, а не с древним Ягве.

Я люблю Испанию, Италию, Францию, но все мои годы неотделимы от русской жизни. Никогда я не скрывал своего происхождении. Были времена, когда я о нем редко думал, были и другие, когда я повторял всюду, где мог: «Я еврей», — мне кажется, что солидарность с теми, кого преследуют, — азбука человечности.

Я смотрел фильмы Чаплина, и мне не приходило в голову, что он еврей; об этом мне сообщили гитлеровцы. Они приводили черные списки. Евреями оказались композитор Дариус Мийо, философ Бергсон, люди, с которыми я встречался, не задумываясь над их происхождением, — Бенда, Анна Зегерс, писатели, которых я читал, как, например, Кафка.

Есть ли какой-то особый, присущий евреям национальный характер? Антисемиты и еврейские националисты отвечают положительно. Возможно, что века гонений и обид заострили иронию, раздували романтические надежды на лучшее будущее. Национальный характер ярче всего сказывается в художественном творчестве. Поэзия Гейне полна романтической иронии, но я не знаю, чем это объясняется — происхождением поэта или эпохой. Припоминая произведения моих современников — Модильяни, Кафки, Сутина, я вижу прежде всего трагичность: она отражала действительность, воспоминания сочетались с предчувствием или предвидением. Математика относится к тем проявлениям человеческого разума, которые менее всего связаны с климатом,

языком или традициями. Однако в Германии в начале тридцатых годов нашлись ученые, которые отвергали теорию относительности, открытую Эйнштейном, как «еврейские штучки».

В прежние времена антисемитизм был связан с религией, с идеей искупления: «Евреи распяли Христа». Власть духовенства постепенно ослабевала. Многие стали понимать, что Христос был одним из еврейских бунтовщиков и выступал против ортодоксальных священнослужителей, сотрудничавших с римскими оккупантами. Французская революция провозгласила равноправие евреев. Различные государства одно за другим отменяли существовавшие веками ограничения. Евреи начинали жить жизнью тех народов, на землю которых пришли их прадеды.

В конце прошлого века разразилось дело Дрейфуса, оно показало, что антисемитизм, прятавшийся в щели, жив. В течение нескольких лет к Дрейфусу, человеку самому по себе незначительному, исправному французскому офицеру, воспитанному на дисциплине, были обращены взоры миллионов людей. Когда Золя выступил с защитой невинно осужденного, его поддержали Лев Толстой, Верхарн, Марк Твен, Жорес, Анатоль Франс, Метерлинк, Энсор, Клод Моне, Жюль Ренар, Синьяк, Пеги, Мирбо, Милларме, Шарль Луи Филипп. Кто же поддерживал обвинителей? Писатели-националисты — Баррес, Моррас, Дерулед. Антидрейфусары были не только антисемитами, но и врагами прогресса, шовинистами; в своих газетах и листовках они называли Золя «итальяшкой».

До революции русские евреи могли проживать только в черте оседлости. В городах и местечках Украины или Белоруссии они жили обособленно, говорили на идиш. Революция все изменила; еврейская молодежь ринулась в русские школы, университеты. Еврейки выходили замуж за русских, евреи женились на русских. Среди моих друзей было много смешанных браков. Бабель, Михоэлс, Ильф, Пастернак, Фальк, Гроссман, многие другие были женаты на русских девушках, а Федин, Щипачев, Катаев, Вишневский женились на еврейках. (Я называю первые пришедшие в голову имена, можно было бы продлить список.)

Обособленность евреев исчезала не только у нас, но и во Франции, даже в Германии. Тогда на помощь антисемитизму пришла «расовая теория» Гитлера.

Конечно, разговоры о существовании «низших рас» не были новыми. Рассказывая о поездке в Южные штаты Америки, и хотел показать, насколько силен и живуч расизм в стране цивилизованной. Однако в двадцатые годы мы считали бывших рабовладельцев Алабамы или Миссисипи исключением. На сцене

истории появился Гитлер. Он и его приверженцы начали доказывать, что существуют высшие расы, прежде всего «арийская», или «северная», и низшие, среди которых самая низшая — евреи.

В годы гражданской войны я увидел еврейский погром, организованный белыми. Несколько месяцев спустя пьяный врангелевский офицер с криком: «Бей жидов, спасай Россию!» — хотел сбросить меня с борта парохода в море. Мне казалось это естественным: призраки прошлого отстаивали власть тьмы.

В конце двадцатых годов я познакомился на Монпарнасе с еврейским писателем из Польши Варшавским, с его друзьями. Они мне рассказывали смешные истории о суевериях и хитроумии старозаветных местечковых евреев. Я прочитал сборник хасидских легенд, которые мне понравились своей поэтичностью. Я решил написать сатирический роман. Герой его, гомельский портной Лазик Ройтшванец, горемыка, которого судьба бросает из одной страны в другую. Я описал наших нэпманов и захолустных начетчиков, польских ротмистров эпохи санации, немецких мещан, французских эстетов, лицемерных англичан. Лазик, отчаявшись, решает уехать в Палестину; однако земля, которую называли «обетованной», оказывается похожей на другие — богатым хорошо, бедным плохо. Лазик предлагает организовать «Союз возвращения на родину», говорит, что он родился не под пальмой, а в милом ему Гомеле. Его убивают еврейские фанатики. Моего героя западные критики называли «еврейским Швейком». (Я не включил эту книгу в собрание моих сочинений не потому, что считаю ее слабой или отрекаюсь от нес, но после нацистских зверств опубликование многих сатирических страниц мне кажется преждевременным.)

Приход Гитлера к власти меня поразил: цивилизованная страна была отброшена назад, в темноту изуверства. «Хрустальная ночь» (так называли гитлеровцы ночь грандиозных погромов) была для меня одним из проявлений ненавистного фашизма. Гитлеровцы жгли книги не только еврейских авторов, но и Энгельса, Ленина, Горького, Ромена Роллана, Золя, Барбюса, Генриха Манна. Они убивали немецких коммунистов «арийского» происхождения. В Испании я увидел свирепую сущность фашизма.

Во время нашествия фашистов на нашу страну я был свидетелем множества зверств. Гитлеровцы убивали русских детей, жгли деревни Украины и Белоруссии. Об этом я писал каждый день в газете. Об этом писали и другие. Гитлеровцы в своих листовках уверяли, что они воюют только против евреев, нужно было опровергнуть эту ложь.

Идеи сионистов, связанные с древней историей, никогда меня не увлекали. Государство Израиль, однако, существует. Во времена расцвета арабской культуры евреи не знали преследований, подобных инквизиции, в различных калифатах Андалузии жили, работали такие люди, как философ Маймонид и поэт Галеви. Я хочу верить, что евреи Израиля, на себе узнавшие, что такое несправедливость, найдут путь для примирения с арабами. Каждому ясно, что миллионы евреев, живущих в разных странах Европы и Америки, не могут разместиться на территории Израиля, да они и не хотят туда уезжать они тесно связаны с народами, среди которых живут. Негры Алабамы или Миссисипи вовсе не мечтают уехать в одно из суверенных государств Черной Африки, они требуют равноправия и борются против расовых предрассудков.

Меня связывают с евреями рвы, где гитлеровцы закапывали в землю старух и младенцев, в прошлом реки крови, в последующем злые сорняки, проросшие из расистских семян, живучесть предубеждений и предрассудков. Выступая по радио в день моего семидесятилетия, я сказал моим читателям, что буду всегда говорить, что я — еврей, пока будет существовать на свете хотя бы один антисемит. Не национализм продиктовал мне эти слова, но мое понимание человеческого достоинства. Я продолжаю думать, что антисемитизм — отвратительный пережиток прошлого, что он исчезнет, как исчезнут все расовые предрассудки; только теперь, увы, я знаю, что очистить сознание от вековых предрассудков — дело очень долгое.

Вернусь ко времени, о котором я рассказываю. Мне сказали, что статью посылали Сталину и он ее одобрил. А несколько месяцев спустя закрыли Еврейский антифашистский комитет, газету «Эйникайт», издательство, разбросали набор «Черной книги». Первым эшелоном жертв стали писатели, писавшие на идиш, — Перец Маркиш, Квитко, Бергельсон, Фефер и другие.

В январе 1949 года газеты сообщили «о раскрытии антипатриотической группы театральных критиков» (об аресте писателей, о закрытии газет, а потом и театра газеты не упоминали). Почему кампания началась со второстепенного вопроса — с театральной критики? Не знаю. Может быть, Сталину вовремя пожаловался обиженный драматург, а может быть, случайно, — не все ли равно, в какое место пруда бросить камень — лишь бы от него пошли круги.

Характер новой кампании был ясен; в первой же статье имелась такая фраза: «Какое представление может быть у А. Гурвича о национальном характере русского советского человека?» Газета клеймила «ура-космополитов». Два дня спустя

появилась новая статья, в ней «гурвичи и юзовские» писались со строчных букв и обличались критики А. Эфрос, А. Ромм, О. Бескин, Д. Аркин, другие. Прошла еще неделя, и в космополитизме начали обвинять критика Данина за то, что он похвалил М. Алигер; заодно напали на поэта Антокольского. Перешли к кино, в этой области тоже «выявили беспачпортных бродяг» — Л. Трауберга, Блеймайа, Коварского, Волькенштейна. Замелькали имена «отщепенцев»: Дрейден, Березарк, Шнайдерман, Л. Шварц, Вайсфельд, Ф. Левин, Бровман, Субоцкий, Оголевец, Житомирский, Мазель, Шлифштейн, Шнеерсон, Мотылева, Бялик, Кирпотин, Гордон… Прошли еще две недели, и начали разоблачать «безродных космополитов», укрывавшихся за псевдонимами: Стебун (Каценеленсон), Санов (Смульсон) и так далее. Многие из «выявленных космополитов» были мало кому известны — били вслепую, для примера: вот, мол, «безродные»…

Начались «оргвыводы». Как-то ко мне пришел возмущенный С. В. Образцов: «Вызвали, говорят, что в театре слишком много евреев. Отвратительное юдофобство!..» Образцов не был одинок в своем возмущении. Несмотря на то, что время не благоприятствовало откровенным разговорам, многие мои русские друзья мне высказывали свое негодование: Кончаловский, Федин, Сурков, архитектор Руднев, Гладков, Вс. Иванов, скульптор С. Д. Лебедева. Нужно ли напоминать, что всякий расизм, в том числе и антисемитизм, шел вразрез и с традициями русской интеллигенции, и с теми высокими идеями интернационализма, которые были заветом Ленина и на которых воспитывались советские люди?

Преследование евреев не было обособленным явлением. Арестовывали множество людей, побывавших, конечно не по своей вине, в фашистском плену, не успевших эвакуироваться, вернувшихся добровольно из эмиграции, репрессированных в тридцатые годы, имеющих за границей родственников; произвол, осуществляемый Берией, был воистину всеобъемлющ.

Что касается меня, то с начала февраля 1949 года меня перестали печатать. Начали вычеркивать мое имя из статей критиков. Эти приметы были хорошо знакомы, и каждую ночь я ждал звонка. Телефон замолк, только близкие друзья справлялись о моем здоровье. Да еще «проверяли»: знакомые поосторожнее звонили из автомата — хотели узнать, не забрали ли меня, а когда я отвечал «слушаю», клали трубку.

В марте 1938 года я с тревогой прислушивался к лифту: мне тогда хотелось жить; как у многих других, у меня стоял наготове чемоданчик с двумя сменами белья. В марте 1949 года я не думал

о белье, да и ждал развязки почти что безразлично. Может быть, потому, что мне было уже не сорок семь лет, а пятьдесят восемь — успел устать, начиналась старость. А может быть, потому, что все это было повторением, и после войны, после победы нал фашизмом, происходившее было особенно нестерпимым. Мы ложились поздно — под утро: мысль о том, что придут и разбудят, была отвратительна. Как-то позвонили в два часа ночи. Люба пошла открыть дверь. Я ни слова не сказал, только поглядел на нее. Оказалось, это шофер Симонова — его прислала жена Константина Михайловича, полагая, что Симонов у меня.

В конце марта прибежал кто-то из приятелей и восторженно воскликнул: «Значит, неправда!..» Он рассказал, что накануне один достаточно ответственный в то время человек на докладе о литературе в присутствии свыше тысячи человек объявил: «Могу сообщить хорошую новость — разоблачен и арестован космополит номер один, враг народа Илья Эренбург».

Я написал короткое письмо Сталину: писал, что уже два месяца лишен газетной работы и что вчера такой-то объявил, будто я арестован. Я. однако, еще не арестован и прошу поручить выяснить мое положение. Я хотел одного — чтобы кончилась неизвестность. Письмо я сдал в кремлевскую будку.

На следующий день мне позвонил Маленков. Я хорошо помню разговор. «Вы писали Сталину. Он поручил вам позвонить. Скажите, откуда это пошло?…» — «Не знаю. Я хотел бы вас об этом спросить». — «Но почему вы не предупредили нас раньше?» — «Я говорил с товарищем Поспеловым, это все, что я мог сделать». — «Странно, товарищ Поспелов такой чуткий человек, а он нам ничего не сказал…» (П. Н. Поспелов несколько лет спустя говорил мне, что это неправда, он все передал, но его слова не возымели действия.)

Сразу затрещал телефон: различные редакции говорили, что «произошло недоразумение», статью напечатают, просили еще написать.

У меня в это время были А. М. Эфрос и Л. Н. Чернявский. На диване лежал Г. М. Козинцев, заболевший гриппом. Григорий Михайлович вскочил, завернувшись в одеяло. Все взволнованно говорили. На следующий день я узнал, что из одной газеты вечером сняли очередную статью о космополитах.

Задним умом все крепки. Весной 1949 года я ничего не понимал. Теперь, когда мы кое-что знаем, мне кажется, что Сталин умел многое маскировать. А. А. Фадеев говорил мне, что кампания против «группы антипатриотических критиков» была начата по указанию Сталина. А месяц или полтора спустя Сталин собрал редакторов и сказал: «Товарищи, раскрытие литературных

псевдонимов недопустимо — это пахнет антисемитизмом…» Молва приписывала произвол исполнителям, а Сталин будто бы его останавливал. В конце марта он, видимо, решил, что дело сделано. Арестованных еврейских писателей не освободили. Уволенных с работы на прежние места не взяли. Пятый параграф в анкетах, где проставлялась национальность, продолжал незаметно действовать, а грубых статей или карикатур больше не требовалось.

В мае 1949 года я получил на адрес «Литературной газеты» телеграмму из Нью-Йорка: «Здешняя печать развертывает сильную антисоветскую кампанию, утверждая, что критика «космополитизма» носит в действительности антисемитский характер. Упоминание в числе известных советских критиков фамилий некоторых евреев в скобках расценивается как факт, аналогичный антисемитской практике в капиталистическом мире. В качестве доказательств ссылаются также на закрытие еврейских газет и на карикатуры. Мы считаем, что было бы полезно, если бы вы сами в большой статье ответили бы на эту клевету. Редакция «Дейли уоркер». Телеграмму сопровождало письмо: «Мне поручено передать вам пожелание — написать для «Дейли уоркер» статью на эту тему. Надеюсь, что вы это сделаете». Я статью, конечно, не написал и на письмо не ответил.

От злорадства зарубежных врагов нашей страны мне было вдвойне горько. Я видел народ, который тридцать лет подряд боролся за идеи Октября, за братство против интервентов и белогвардейцев, против фашистского нашествия, против погромщиков и расистов. Народ был неповинен в тех газетных статьях, о которых я говорил, он трудно жил, работал с утра до ночи и не сворачивал с избранного им нелегкого пути. Я не мог опровергнуть то, что было жестокой правдой, и не хотел поддержать врагов Советского Союза.

Несколько лет спустя один журналист в Израиле выступил с сенсационными разоблачениями. Он утверждал, что, находясь в тюрьме, встретил поэта Фефера, который будто бы ему сказал, что я повинен в расправе с еврейскими писателями. Клевету подхватили некоторые газеты Запада. У них был один довод: «Выжил? Значит, предатель».

Я был в плохой форме, не мог работать. А тут мне сказали, что нужно ехать в Париж, на Конгресс сторонников мира. Защита мира казалась мне прекрасным делом, но я чувствовал, что у меня нет сил. Очутиться за границей в таком состоянии — да ведь это пытка! Меня попросили написать выступление и дать его просмотреть. Когда передо мной оказался белый лист, я начал писать о том, что меня волновало. В написанной речи были такие

строки: «Пет ничего отвратительнее расовой и национальной спеси. У мировой культуры — кровеносные сосуды, которые нельзя безнаказанно перерезать. Народы учились и будут учиться друг у друга. Я думаю, что можно уважать национальные особенности, отвергая национальную обособленность». Меня вызвал Григорьян, занимавший довольно высокий пост, жал руку, благодарил. На столе у него лежало мое выступление, перепечатанное на хорошей бумаге, и против процитированного мною места на полях значилось «Здорово!». Почерк показался мне мучительно знакомым…

Мы вылетели в Париж в середине апреля. В Москве было холодно, в лесочке возле Внукова еще белел снег. Люба говорила, что в Париже я отдохну, развлекусь; я отвечал: «Конечно».

На аэродроме в Париже я увидел Эльзу Юрьевну. Она сказала, что Арагон и она заедут за мной вечером — мы вместе поужинаем. Нас повезли в посольство, где посол объяснил политическое положение. Я старался слушать — и не мог. Вдруг я понял, что заболел — весь в поту, наверно, температура. Это уж совсем глупо!.. Потом меня повезли в гостиницу на правом берегу возле зала Пленель, где должен был проходить конгресс. Я ничего не понимал, не видел — сильный жар. Вдруг шофер, пожилой француз, сказал: «Ну и жарища!..» Я вытаращил глаза: «Вам, значит, тоже жарко?…» Он, в свою очередь, удивился: «Да ведь тридцать градусов, все газеты пишут, что такого в апреле не было сто лет…» Я обрадовался: значит, не болен. Я увидел то, чего прежде не замечал: на верандах кафе люди без пиджаков жадно пьют пиво или лимонад. Но в голове по-прежнему было смутно.

Арагоны повели меня в ресторан «Медитерране»; там было шумно, тесно; люди рассказывали о том, как провели пасхальные каникулы. К Арагонам подходили знакомые, шутили. А Луи и Эльза меня спрашивали по-русски: «Что это значит — «космополиты»? Почему раскрывают псевдопимы?» Это были свои люди, я их знал четверть века, но ответить не мог. Подошел Кокто и завел светский разговор, я старался улыбаться. Ворочали усищами огромные лангусты. Соседи смеялись. Было нестерпимо жарко.

В номере гостиницы я быстро разделся, лег, погасил свет мечтал уснуть, но вскоре понял, что это не удастся. Я повертелся с боку на бок, зажег свет, почему-то оделся, сел в кресло и начал маниакально фантазировать — что придумать, чтобы меня завтра отослали назад в Москву? Перебирал все варианты — заболеть, объяснить, что не смогу выступить, просто сказать: «Хочу домой». Так я просидел до утра. Передо мной вставал Перец Маркиш таким, каким я его видел в последний раз. Я вспоминал фразы

газетных статей и тупо повторял: «Домой!»…

Я сказал, что в этой главе хотел рассказать о самом тяжелом для меня времени, вряд ли это удалось, да и не знаю, можно ли про такое рассказать, добавлю одно — самой страшной была первая ночь в Париже, в длинном узком номере, когда я понял, какой ценой расплачивается человек за то, что он «верен людям, веку, судьбе».

16

Утром, когда я брился, в комнату вбежал Фотинский: «Я прочитал в газете, что ты приехал, а в посольстве сказали, где ты…» Фотинский не задавал мне неприятных вопросов, а начал рассказывать о забастовках, о том, что все против правительства, о Монпарнасе, о Дусе, о художниках. «Много интересных выставок. Ты сейчас свободен?…» Мы пробродили до обеда. Я глядел то на Сену, то на серые дома с зеленоватыми ставнями, то на яблони Сезанна. Все мне казалось прекрасным и бесконечно чужим. Фотинский вдруг встревожено спросил: «А ты здоров?» Я ответил, что здоров, но не выспался. Я ни о чем не думал, но ничего не мог забыть, мне трудно было разговаривать отвечал невпопад.

Перед обедом мы зашли в кафе. На столике лежала оставленная кем-то газета. Я машинально развернул, мне бросилась в глаза заметка: «Преступная слабость правительства. Вчера из Москвы прилетела группа, которой поручено организовать в Париже беспорядки под вывеской «конгресса за мир». Правительство выдало визу даже хорошо известному Илье Эренбургу, который написал клеветнический «роман» «Падение Парижа» и который примечателен тем, что получил от Сталина дворец великого князя в Крыму за организацию террористической сети в странах, свободных от коммунистической тирании. Вместе с Эренбургом «защищать мир» будут уполномоченный Тореза расторопный Арагон, английский «ученый» Бернал, неизвестный в научных кругах, но слишком хорошо известный полиции, некто Цвейг, выдающий себя за писателя, разумеется, Жолио-Кюри, решивший окончательно променять профессию физика на должность главного кремлевского агитатора, и старый клоун Пикассо, изготовивший марксистскую голубку, которая загадила все стены нашего прекрасного, но, увы, беззащитного Парижа». Я засунул газету в карман и сказал Фотинскому: «Давай выпьем за врагов». Он не понял, а я не стал объяснять.

Работая над этой книгой и вспоминая трудные годы, я часто с благодарностью думаю о врагах. Конечно, ругань вроде тех строк, которые я выписал, можно было найти только в листках будущих «ультра», «Фигаро», даже «Орор» говорили языком более сдержанным, но они также клеветали, грозили. Враги помогали мне многое преодолеть, напоминали, что, как бы ни были горьки события последних месяцев или лет, они не должны заслонить главного. Так было и в тот день — я как-то очнулся, даже повеселел.

На следующий день открылся Конгресс сторонников мира. Он заседал в большом концертном зале Плейель — в районе, где живут состоятельные люди. Однако с утра возле входа в зал толпились и студенты, и модистки, и рабочие, и случайные зеваки. Жолио-Кюри, Пикассо, Ива Фаржа, Арагона узнавали, приветствовали. Разглядывали яркие народные костюмы некоторые полек и словачек, юбочки шотландцев. Гадали, откуда приехал бородатый епископ в ослепительно белом клобуке — из Греции или из Болгарии? А это был митрополит Крутицкий Николай. (Я несколько раз летал с ним на конгрессы или сессии Всемирного Совета и всегда видел картонку для дамских шляп, в которой он вез клобук.)

Зал был набит и делегатами, а их было около двух тысяч, и гостями. Раздавались возгласы на понятных и непонятных языках. Зал был шумливым, южным — самыми многочисленными делегациями были французская и итальянская. Это был, кажется, первый международный конгресс после войны, и молодым все было внове. Речи то и дело прерывались возгласами, смехом, аплодисментами.

В 1949 году «холодная война» перешла из газетных статей не только в государственные договоры, но и в повседневный быт. Именно в том году родился Атлантический пакт. Раскол Германии принял государственные формы: в том же году в Бонне была провозглашена федеральная республика, а полгода спустя образовалась демократическая республика. На одном из заседаний конгресса огласили сообщение, что Народная армия освободила Нанкин; Китайская Народная Республика родилась в 1949 году, и в том же году Голландия вынуждена была признать независимость Индонезии. Во Вьетнаме продолжались бои. Сражались и в Греции, перед открытием конгресса партизаны снова заняли гору Граммос, но исход гражданской войны был предрешен «доктриной Трумэна». В Италии то и дело вспыхивали забастовки, происходили бурные демонстрации, никто не знал, как повернутся события. Мне казалось, что и в самой Франции борьба разгорается; только год спустя я понял, что грандиозные забастовки 1947–1948 годов были последними валами послевоенной бури. Американцы давали деньги («план Маршалла»). Заводы начали обновлять обветшавшее оборудование. В магазинах стало больше товаров. Правда, цены росли и многие французы еще жили очень плохо. Но все понимали, что страна экономически встает на ноги.

Однако и читатели «Фигаро», и читатели «Юманите» боялись думать о будущем. В одном средней руки ресторане я услышал разговор, который мне напомнил весну 1939 года: «Мы решили

провести каникулы возле Брива, там у жены тетка. Конечно, если не начнется война…» О таких же настроениях мне рассказывали англичане, итальянцы, бельгийцы. Конгресс отвечал тревоге сотен миллионов людей — слишком свежей была память о годах войны, слишком тревожными газетные сообщения. Одни опасались, что американцы начнут превентивную войну, другие считали, что не сегодня завтра русские танки двинутся к атлантическому побережью.

Газеты, поддерживавшие политику Трумэна, хотели замолчать конгресс, но не выдержали. Передо мною заметка в «Пари-пресс»: «На пресс-конференции знаменитый советский писатель Илья Эренбург ответил на вопрос одного журналиста, не считает ли он, что Соединенные Штаты действительно хотят мира: «Нельзя делать два дела вместе — говорить о мире и при этом вытаскивать из кармана атомную бомбу». Американская реакция была молниеносной. Вчера вечером атташе государственного департамента г. Мак Дермотт заявил: «Участники Парижского конгресса сторонников мира стараются доказать, как это им предписано, что только Советский Союз хочет мира. Все это ловкая пропаганда Москвы». Французская газета «Ле монд» писала, что коммунисты «нашли лозунг, понятный всем».

Был ли конгресс коммунистическим, как утверждали газеты? По-моему, нет. Если просмотреть состав инициативного комитета, приветствия, список участников, можно увидеть ряд имен политических деятелей, писателей, художников, очень далеких от коммунистической идеологии. Назову некоторые имена, которые имеются в маленькой энциклопедии Ларусса, следовательно — известны даже французским школьникам: бывший президент Мексики Карденас, бельгийская королева Елизавета, Генрих Манн, Матисс, Шагал, Чарли Чаплин, драматург Салакру. Среди различных организаций, поддержавших созыв конгресса, я нашел такие: Союз часовых мастеров Женевы, университет Панамы, Союз художников Аргентины, Объединение мелких коммерсантов Туниса, Ассоциация норвежских домашних хозяек. Лига защиты детей в Сирии и другие, мало напоминающие компартии.

На конгрессе я слышал несколько выступлений людей, которых трудно причислить не только к коммунистам, по и к социалистам. Американского юриста Рогге я встретил впервые на Вроцлавском конгрессе. Он показался мне хорошим оратором, человеком с путаными идеями, деловым и в то же время наивным — я встречал таких в Америке. Беседуя со мной, он говорил, что спасение человечества в психоанализе. Ему аплодировали, когда

он осудил Атлантический пакт. Он сказал, что американцы напрасно боятся русских, а русские американцев, мир идет к войне, подгоняемый всеобщим страхом. Он сказал также, что у капитализма и у социализма есть свои слабости и свои достоинства; молодые итальянцы и французы неодобрительно зашумели. Однако проводили Рогге аплодисментами и выбрали в постоянный комитет конгресса. (На Втором конгрессе, в Варшаве, Рогге протестовал против нападок на Югославию, обвинял в корейской войне обе стороны. Его речь прерывали свистки наиболее экспансивных делегатов. Он отошел от движения.)

Английский юрист Мур с юмором, напоминающим «Пиквикский клуб», обличал некоторые, на его взгляд, чересчур воинственные речи делегатов, советовал быть осмотрительнее в выражениях, искать не односторонних осуждений, а соглашения, приемлемого для обеих сторон. «Холодная война» приучила всех к другому языку, и речь Мура многих рассердила, но ему дали договорить до конца, и часть зала ему аплодировала.

Пожалуй, наиболее возмутила молодых коммунистов речь шведской пацифистки, руководительницы религиозной организации Седергрен. Я сейчас просмотрел стенограммы конгресса. Седергрен сказала: «Нам угрожают два гиганта — американский капитализм и русский большевизм». (Шум в зале.) Кончила она словами: «Попытаемся же стать мостом над бездной, разделившей мир. Человечеству нужны мир и свобода». (Шумные аплодисменты.)

На конгрессе выступили только два человека, известные всем как профессиональные политики: итальянский социалист Ненни и левый лейборист Зиллиакус. Делегаты знали, что Жолио-Кюри, Пикассо, Неруда, Амаду — коммунисты, но для всех они были большими учеными или художниками.

(Как всякое движение, Движение сторонников мира пережило и приливы и отливы, было текучим — одни уходили, приходили другие. В 1956 году от движения отошло большинство итальянских социалистов. В разное время и по разным причинам ушли писатели Фаст, Бломберг, Веркор, Мартен-Шофье, Кассу, Итало Кальвино. В 1952 году на конгрессе выступил Сартр. К движению примкнули д'Астье, шведский писатель Лундквист, депутаты индийской партии Конгресса, японский профессор Ясуи, многие другие. Пожалуй, всего характернее дли Движения сторонников мира роль людей, которых никак нельзя назвать профессиональными политиками, — ученых Жолио-Кюри, Бернала и блистательных дилетантов в различных областях, включая политику, вроде Ива Фаржа или д'Астье.)

Если в 1949 году социальная борьба в Западной Европе

начала несколько утихать, то борьба против подготовки войны только начиналась. Конечно, на Парижском конгрессе было немало людей известных (перечислю хотя бы писателей: Арагон, Неруда, Элюар, Амаду, Арнольд Цвейг, Фадеев, Зегерс, Гильен, Андрич), но это был прежде всего конгресс людей, которых газеты называют «простыми», хотя зачастую они куда сложнее многих знаменитостей.

В кулуарах я познакомился с делегаткой города Лориан, сильно разрушенного во время войны; ее фамилии была Кере. На конгрессе она не выступала, но рассказала мне, почему решила бороться за мир: «Мой Луи был матросом, он погиб в 1942 году. У него была невеста. Он был такой веселый… Мой Жозеф ушел в маки. Он партизанил недалеко от Лориана. Его послали на мотоцикле не знаю зачем, и один мерзавец его выдал, его пытали, потом убили и сожгли, это мне рассказал его товарищ. Мой Жильбер партизанил в Коррез, а потом, как Луи, возле Лориана. Он был ранен, ему ампутировали обе ноги, он умер накануне победы — седьмого мая. Мне сказали в госпитале, что перед смертью он звал маму. Мой Альберт был женат, остались две дочки. Его расстреляли возле нашего дома… Я здесь познакомилась со многими матерями, я понимаю, почему они приехали. У нас слишком короткие руки, чтобы обнять как следует в первый день войны, а потом и руки ни к чему — некого обнимать…» Я записал ее рассказ.

Я встретил на конгрессе некоторых моих старых друзей — итальянского писателя Бонтемпелли, Пабло Неруду, я их не видел после войны; познакомился с людьми, с которыми потом подружился, с Жолио-Кюри, Фаржем, Жоржи Амаду, Монтегю (о них расскажу в следующих главах). Мои дни были полны впечатлениями — многое и для меня было внове.

На конгрессе были и югославы; но по решению Сталина их в газетах социалистических стран называли «изменниками». Милый Андрич прислал мне гаванскую сигару с записочкой: «Мы сейчас не можем встретиться, но знайте, что я остаюсь вашим другом».

На второй день конгресса французы устроили в баре зала Плейель мою пресс-конференцию. Собралось полтораста журналистов различных стран и различных мастей. Мне пришлось ответить на девяносто два вопроса, некоторые из них были коварными. Газета «Ле монд», относившаяся к конгрессу, скорее, неприязненно, писала: «У г. Ильи Эренбурга галстук завязан наизнанку, и вид у него человека очень рассеянного, но он показал в своих ответах, что внешность обманчива». Газета «Джиорнале д'Италия» сообщала: «Удивительно спокойно Илья Эренбург отвечал на многочисленные вопросы и вышел сухим из

воды». На самом деле и очень волновался, может быть, именно поэтому казался спокойным.

После пресс-конференции я пошел с Гильеном в маленький ресторан на левом берегу Сены. В феврале я перевел десяток коротких стихотворений Гильена. Он попросил меня прочитать переводы и, улыбаясь, повторял:

Ах, Куба, скажи мне, откуда
Взяла ты эту лазурь…

Мы говорили о сути поэзии — о непонятном притяжении и отталкивании слов, и я не вспоминал пресс-конференцию.

Журналисты мне, однако, не давали покоя. На следующее утро, не стучась, вошел фоторепортер и, разочарованный, сказал: «Вы уже одеты? Ничего не выйдет…» Вечером и ужинал с итальянскими писателями; пригласил меня издатель Эйнауди. По его просьбе я выбрал ресторан — ту «Жозефину», кула водил генерала Галактионова и Симонова. Мы оживленно беседовали в маленькой комнате, когда муж Жозефины, чрезвычайно рослый мужчина, сказал мне: «Там два журналиста, они хотят вас сфотографировать». Я поглядел в щелку и увидел того, что утром, не стучась, ворвался в мой номер. «Не хочу», — ответил я. Донесся шум — это хозяин выбросил на улицу упрямых репортеров. Я вернулся в гостиницу поздно ночью. Лифт был с решеткой. Вдруг вспыхнула лампочка, я увидел знакомое лицо, аппарат. В «Самди-суар» появилась фотография с пояснительным заголовком: «Илья Эренбург в Париже скрывается за железным занавесом». Я походил на злого старого каторжника — фоторепортер умел работать.

На третий день конгресса выступил митрополит Николай. Он говорил немного по-французски и в конце речи произнес по-французски несколько слов. Это растрогало зал. Я подумал: ему можно, а мне нельзя стоит начаться очередной кампании, и кто-нибудь обязательно припомнит: низкопоклонствовал перед французами, известное дело — космополит!

В тот же день на вечернем заседании выступил я. В моей речи было такое место: «По древнему преданию, к мудрому судье пришли две женщины, они спорили: кому принадлежит ребенок? Та женщина, которая прикидывалась матерью, сказала судье: «Разруби ребенка пополам». Она так говорила, потому что это был не ее ребенок…» Когда я вернулся на свое место, митрополит Николай меня поздравил: «Хорошо. Мне особенно понравился образ двух женщин из Библии. Вам-то можно, а мне нельзя…»

Если просмотреть стенограммы конгресса и припомнить

климат тех лет, то можно назвать мое выступление вполне миролюбивым. Я говорил, что писал его в Москве, надеясь — не понравится и не пошлют на конгресс. Я не только открещивался от модного тогда утверждения, что приоритет почти всех открытий принадлежит русским, но и припомнил слова Герцена о «священных камнях» Европы. В конце речи я сказал: «Сохраним наш общий дом, нашу древнюю культуру! Мы обращаемся с этим призывом не только к нашим единомышленникам, но ко всем людям доброй воли, будь они марксисты или кантианцы, католики или свободомыслящие. Мы пришли сюда не для того, чтобы доказывать правоту наших идей или превосходство нашего социального строя. Мы предпочитаем это доказать трудом, творчеством, прогрессом. Мы пришли сюда, чтобы протянуть руку всем людям, которые ненавидят войну». Это понравилось залу, а говорил я искренне: считал (и теперь считаю), что только при таком объединении можно сохранить мир.

На следующий день, в воскресенье, был грандиозный митинг в южном пригороде Парижа на стадионе Буффало. Из провинции прибыли «караваны мира» — поезда, автобусы, добрались «караваны» из Италии с мэрами двадцати городов, из Бельгии, Голландии. Делегации проходили перед трибуной президиума конгресса. Стадион вмещает восемьдесят тысяч человек, а демонстрантов было, судя по газетам, четыреста — пятьсот тысяч. Меня особенно взволновало шествие бывших узников гитлеровских концлагерей. Они шли в полосатых костюмах с номерами — сохранили их как реликвии.

К вечеру сразу после конца митинга разразилась гроза с проливным дождем. На улице предместья я забрался под навес. Рядом стояла женщина в черном суконном платье — так одеваются крестьянки, отправляясь в город; лицо у нее было румяное и морщинистое, похожее на зимнее яблоко. Она радовалась ливню — ведь дождей не было с февраля при необычно ранней и знойной весне: «Вот даже бог почувствовал!..» По уличке бежали участники демонстрации, подгоняемые дождем, и, глядя на них, женщина сказала: «Теперь они увидят, что люди не дураки…»

Меня позвал к себе в мастерскую Пикассо. У него был Элюар, и мы пообедали втроем — отпраздновали радостное событие: накануне у Пикассо родилась дочка. Он улыбался, как молодой отец, хотя ему было под семьдесят. (Впрочем, с Пикассо я всегда забываю о возрасте: когда он был молод, он мне казался умудренным стариком, теперь в нем задор юноши.) Пикассо сказал, что назовет дочку Палома (по-испански это значит «голубка»). Мы поглядели на десяток живых голубей в огромной

клетке, они ссорились и довольно противно кричали.

Я принес газету, в которой была напечатана заметка под заглавием «Черчилль и Пикассо». Пикассо попросил прочитать ее вслух. В заметке говорилось о завтраке, устроенном президентом Английской академии художеств Альфредом Меннингсоном, на котором присутствовали Черчилль и маршал Монтгомери. Президент в своем тосте ополчился на современную живопись, особенно на Пикассо и Матисса: «Они не могут нарисовать дерево. Кстати, г. Уинстон Черчилль разделяет мое мнение. Недавно во время прогулки он обратился ко мне с вопросом: «Послушайте, Альфред, если мы сейчас встретим Пикассо, поможете ли вы дать ему ногой в зад?» Я ответил: «Разумеется». Пикассо сделал вид, что он испугался: «Хорошо, что я не в Лондоне) Их ведь двое. А вдруг и маршал бы присоединился…»

Элюар молчал и все время тихо улыбался. Мы побродили по большой мастерской, смотрели холсты, вдруг Элюар тихо сказал: «Это очень нужно. Не только мне или тебе — всем. Это как воздух…»

Пикассо поглядел на часы: «А ведь пора на конгресс…» Он прилежно слушал длинные речи, участвовал в комиссии, выступил ее докладчиком, — словом, вел себя как образцовый конгрессист. Только порой, когда какой-нибудь оратор, доказывая превосходство мира над войной, начинал цитировать Аристофана, Гюго, Маркса и Сталина, в глазах Пикассо вспыхивал лукавый огонек.

Меня повезли на улицу возле театра «Комеди Франсэз». В богатой квартире жил только что приехавший в Париж Пабло Неруда. Увидев его, я обомлел: никогда я не думал, что усы, даже большущие, могут настолько изменить лицо. Одни говорят, что Неруда похож на Будду, другие шутя сравнивали его с муравьедом; во всяком случае, усы ему не подходит, да он их и отрастил, чтобы его не узнали. Из Чили он пробрался в Аргентину, а оттуда под чужим именем приехал в Париж. Он не мог показаться в зале Плейель до того, как власти легализируют его въезд во Францию — об этом шли переговоры.

Мы долго хлопали друг друга но спине. Потом Пабло сказал, что он голоден, и мы начали обедать. Важный лакей наливал чудесные вина. Неруда обличал чилийского диктатора Виделу, рассказывал, как его спрятали от полиции, как он перебрался через границу. Он похвалил бургундское вино, но добавил, что в Чили есть вина получше. Пообедав, он начал засыпать.

На конгрессе он появился в последний день, уже без усов. Его встретили и проводили оглушительной овацией. Не все, конечно, читали стихи Неруды, но все знали, что он — знаменитый поэт,

что он выступил против диктатора, скрывался в подполье, перебрался через Анды (одни говорили — пешком, другие — на коне, третьи — на осле). Бог ты мой, как людям нужна романтика! Нужна она даже заведомым сухарям. А в зале было много молодых, они в восторге кричали — перед ними на трибуне поэт и герой, он читает стихи, это не отчет мандатной комиссии и даже не речь, посвященная Уставу ООН…

После конца конгресса мне не удалось побродить по Парижу, Отдохнуть. Французские сторонники мира попросили Фадеева выступить в Лиможс, а меня в Дижоне. Я думал, что все пройдет спокойно, и утешал себя, что снова увижу город, который люблю.

В Дижоне мне сразу сказали: «Ваш приезд бомба. Наверно, вечером будет драка». Мне дали местные газеты, и я прочитал уморительную историю. Один из членов муниципального совета, коммунист, предложил, чтобы меня приняли в мэрии. Это предложение вызвало в муниципальном совете оживленные споры. Мэром Дижона был католик, каноник Кир, который во время посещения Франции Н. С. Хрущевым проявил себя смелым человеком и горячим сторонником мира. В годы фашистской оккупации каноник вел себя как примерный патриот, был приговорен к расстрелу. В 1949 году он, однако, как очень многие, поддался антисоветской кампании и в корректной форме высказался против предложения коммунистов. Другие советники из правого лагеря повторяли доводы «Эмок» или «Орор», уверяли, что «Падение Парижа» — «грязная, клеветническая книга», что Конгресс сторонников мира устроен Москвой для того, чтобы усыпить французскую бдительность, что Советская Армия готовится к походу на Париж. В двенадцатом часу ночи приступили к голосованию. Восемнадцать советников голосовали против предложения, шесть коммунистов — за, а пять социалистов воздержались. Вот это меня и рассмешило. Можно воздержаться, когда голосуют закон, постановление, даже регламент, но вопрос шел о том, принять ли иностранного писателя в мэрии или нет, и социалисты все же воздержались. Я смеялся, а дижонские сторонники мира говорили, что им не до смеху. Воспользовавшись свободным часом, я пошел посмотреть химер на дижоиском соборе Нотр-Дам.

Когда я вошел в зал, народу было столько, что люди не могли шелохнуться. Вдруг погас свет — не знаю, было ли это саботажем, как говорили дижонские друзья, или случайной аварией, но положение обострилось. На трибуну принесли несколько свечей. Зал гудел. В темноте легко начать драку, тогда всем придется уйти… Я решил прибегнуть к маневру. В самом начале речи я сказал, что приехал в Дижон, хотя во Франции останусь всего

несколько дней. Я — офицер Почетного легиона, но визу мне не продлевают. А награду я получил в годы войны от генерала де Голля. В задних рядах раздались аплодисменты. Принесли еще одну свечу, и дижонец мне шепнул: «Это аплодируют голлисты, я знаю, где они сидят…» Вечер кончился благополучно.

Дижонцы решили повезти меня в винодельческий район Романэ, Вужо, Нюи. На следующий вечер я должен был выступить в Париже, и уехать туда нужно было не позднее двух часов. Мы выехали очень рано, и я раздобыл в гостинице только чашку черного кофе. Мы останавливались у виноделов, которых знали мои попутчики; принимали нас радушно, показывали виноградники, погреба, угощали вином. Я люблю красное бургундское, но его нужно пить за обедом с мясом или сыром. А мне приходилось дегустировать натощак, я боялся, что опьянею, и все же пил: отказаться — значило обидеть людей, которые гордятся своими бутылками, как художник холстами.

В Нюи меня повезли к богатой владелице виноградников. Она сначала недоверчиво на меня поглядывала, даже заметила, что предпочитает красное вино красным идеям. О конгрессе она ничего не знала: «Я не читаю газет. Там такой ужас, что теряешь голову. А мне нужно присматривать за вином… Я люблю читать романы, там, если даже герой погибает, то красиво, благородно…» Она начала приносить бутылки, к счастью, дала хлеб и сыр, обрадовалась, когда увидела, что и разбираюсь в вине, отмечаю лучшие бутылки. Один из моих попутчиков объяснил: я долго жил во Франции, написал роман «Падение Парижа». Женщина всплеснула руками: «Но я читала этот роман! Это ужасно грустная книга, я даже заплакала, когда убили бедную актрису». Она убежала и вернулась с бутылкой, покрытой густим слоем пыли: «Это самое лучшее вино в Нюи. Случайно уцелела одна бутылка… Я хотела ее поднести канонику Киру. Но я уверена, что он не обидится, когда я ему расскажу, что угостила русского писатели, — Он мне говорил, что русские замечательно воевали…»

Когда я доехал до Парижа, пришлось сразу отправиться в «Мютюалите» — я выступал в том самом зале, где в 1935 году заседал Антифашистский конгресс писателей. Доклад устроило Общество дружбы. Говорить мне было легко, а когда я кончил, ко мне подошел Элюар: «Знаешь, через две недели я, кажется, поеду с Фаржем в Грецию — в район, который наши удерживают. Это счастье!..»

На следующий вечер я выступал в Версале; не знал, как меня там встретят: Версаль — город чиновников, военных, рантье. Председательствовал один из вдохновителей общества «Франция

— Советский Союз», почетный председатель государственного банка Франции Эмиль Лабейри. Это был человек немолодой, с тем скрытым огнем, который отмечает людей прошлого века. В его квартире, весьма скромной, я увидел на стенах замечательные холсты и рисунки — он любил искусство. (Десять лет спустя он приехал в Москву. Я его позвал к себе, он принес рисунок Коро — драматический пейзаж. Я не хотел брать слишком ценный подарок: «Почему вы решили подарить его мне?» Он улыбнулся: «Потому что я стар и потому что я вас люблю».) Я говорил о дружбе двух народов, о единстве культуры, о мире, и все оказалось проще, чем я думал.

В Постоянный комитет конгресса включили девять советских делегатов, в том числе и меня. Я подумал: вывеска… Герой — Маресьев, мать Зои, митрополит, писатель. Когда я прощался с Ивом Фаржем, он мне сказал: «Объясните вашим друзьям, что нужно бороться против врагов мира, а не против пацифистов или людей, которые не согласны ни с коммунистами, ни со мной, но искренне хотят мира и готовы участвовать в нашем движении…» Я ответил, что вполне с ним согласен.

В самолете я вспоминал дни конгресса. Люди, с которыми я встретился, мне понравились (некоторые из них потом стали моими близкими друзьями). Да и дело было чистым: постараться убедить всех, что третья мировая война уничтожит цивилизацию.

«Холодная война» проникала во все поры человечества. В Вашингтоне работала хорошо памятная Комиссия по расследованию антиамериканской деятельности, всех, кто осмелился вымолвить «мир», она осуждала за «сочувствие к коммунизму». В день отъезда из Парижа я прочитал в газете «Франс-суар» коротенькое сообщение, что полиция задержала «четырех молодых коммунистов, которые возле здания посольства Соединенных Штатов кричали: «Мы хотим мира», и другие оскорбительные слова».

Я прочитал «Правду» от 1 мая. В статье одного литератора были суровые отзывы о писателях Запада. Синклера Льюиса называли «грязной душонкой», Хемингуэя — «потерявшим совесть снобом». Фейхтвангера «литературным торгашом». Это было несправедливо и бессмысленно: в тс годы мы как будто толкали людей к апологетам американской «комиссии». Я вспомнил слова Фаржа. Конечно, никто у нас не хочет войны; ни обыкновенные советские люди, ни Сталин. Но полагается ругать Запад, вот и стараются…

Конечно, я не мог тогда подумать, что Парижский конгресс станет началом нового тома моей жизни, что я буду отдавать различным конгрессам, конференциям, совещаниям больше

времени, чем моему ремеслу. Я охотно выполнял и выполняю эту работу. Со дня Парижского конгресса прошло пятнадцать лет. Движение сторонников мира узнало и романтику и бюрократию, и победы и неудачи, и мудрые решения и грубые ошибки, но оно превратилось в подлинную силу.

Когда я пишу эти строки, весь мир занят только что подписанным соглашением о запрете ядерных взрывов. Жолио-Кюри мне однажды сказал: «Бизнесмену, богатеющему на уране, безразлично, что будет после него, но люди, которые думают о будущем, которые идут на жертвы, чтобы юноши двадцать иервого века жили чисто, справедливо, по-человечески, не должны убивать или калечить правнуков…» Радуясь вместе с миллионами людей, я думаю о скромной, но благородной роли Движения сторонников мира. В темные, глухие годы сторонники мира говорили на языке человеческой солидарности. Мне радостно, что в океане доброй воли — капля моих лет… А началось все в Париже в ослепительную, но нерадостную весну 1949 года.

17

В Париже меня позвал обедать мой старый друг, художник, писатель, а в то время посол Чехословакии Адольф Гофмейстер. Я увидел у него художника Шиму, который прожил почти всю жизнь в Париже и неожиданно стал дипломатом — культурным атташе. Говорили мы не о политике, а об искусстве, вспоминали молодость, Прагу. Гофмейстер рисовал Незвала с лирой, а меня на чемодане. Он сказал, что меня просят выступить в Праге с рассказом о конгрессе. Прямого сообщения Париж — Москва тогда не было, ночевали в Праге, и я согласился.

На пражском аэродроме молодой человек сказал мне: «Ваш доклад завтра. Министр иностранных дел товарищ Клементис просил вас прийти к нему сегодня вечером».

Я жил в эпоху, когда судьба то и дело тасовала колоду. Многие из друзей моей молодости оказывались на необычайных местах. Сидя в кабинете министра иностранных дел Чехословакии, я вспомнил, как познакомился с Владо.

Это было в Братиславе, в январе 1928 года. Молодой сотрудник местной «Правды» и вдохновитель литературно-художественного журнала «Дав», Владо Клементис повел меня «под вехи». (В Братиславе каждый винодел имел право одну неделю в год торговать своим вином распивочно. Над дверьми он вывешивал «веху» — сухую ветку.) В комнате было людно, шумно. Заходили музыканты, торговцы бубликами и копченым сыром. За нашим столом сидели молодые словацкие писатели. Меня расспрашивали о Маяковском, о конструктивизме, об индустриализации Советского Союза, о том, что теперь делают Эйзенштейн, Мейерхольд, Татлин. Клементис говорил о победе марксизма, а потом вдруг запел песню про разбойника Яношика, который грабил богатых и раздавал награбленное голытьбе. Все подхватили. Клементис сказал с усмешкой, за которой я почувствовал и смущенней гордость: «Вот мы, словаки, какие…»

В квартире министра иностранных дел было тесно от чужих громоздких вещей. Мы поужинали, Клементис спрашивал про конгресс, говорил о Берлине, о том, что в Америке есть люди, которые хотят начать войну. За несколько лет он изменился — потяжелел, помрачнел. Поглядев на него, я подумал: наверно, нелегко быть министром…

Лида принесла бутылку. Я пригубил рюмочку и вдруг вспомнил вслух: «У твоего отца в Тисовце была чудесная персиковая наливка и еще настойка, которую я называл «зубровкой»… Владо оживился, повеселел. Мы начали вспоминать

далекое прошлое, прекрасные пустяки, похожие на паутину осеннего леса. Мы больше не говорили о предстоящем совещании министров иностранных дел четырех держав, обходили все, что нас тревожило. Мы вспоминали друзей, былые споры, шутки. Только когда я уходил, Владо вдруг сказал: «А ты помнишь, как в тридцать девятом я пришел к тебе на улицу Котантен? Ты болел. Мы говорили о политике, потом ты мне прочитал твои стихи «Верность». А ведь это правильно; если нас что-то спасает, так только верность…»

Случайно у меня сохранился том «Литературной энциклопедии», выпущенной в 1930 году. Там я нашел справку: «Дав» еженедельный литературно-общественный словацкий журнал, издаваемый в Братиславе, объединяет словацких революционных писателей, преимущественно коммунистов. Журнал редактируется коллективно. Основную работу ведет молодой талантливый журналист коммунист Владимир Клементис». Энциклопедия называет среди сотрудников «Дава» Поничана, Новомеского, Илемницкого, Даниила Окали.

В Праге мне говорили, что «Дав» — это нечто вроде словацкого варианта «Деветсила». С «деветсилцами» я познакомился еще в конце 1932 года; среди них были крупные писатели — Незвал, Ванчура, Библ, Галас, Сейферт; талантливые художники, режиссеры, архитекторы. К концу двадцатых годов они продолжали говорить о связи конструктивизма и коммунизма, увлекались индустриальной эстетикой, фотомонтажом, ассоциациями образов, любили Маяковского, Пикассо, Ле Корбюзье, Эйзенштейна, Вертова, Арагона. Теоретиком «Деветсила» был Тейге, веселый начетчик, классный наставник со страстью Дон-Кихота; он умел найти марксистское объяснение словотворчества Хлебникова или «каллиграмм» Аполлинера. Чехия была богатой индустриальной страной, коммунисты там обладали большим влиянием. Прагу обдували различные ветры. Художники «Деветсила» ездили в Париж. Незвал влюбился в Бретона. А Словакия напоминала бедную губернию дореволюционной России. Во главе «Дава» был Владимир Клементис, сын сельского учителя, коммунист. Он не сводил глаз с Москвы — для «давовцев» любой сотрудник «Лефа» был куда авторитетнее, чем все сюрреалисты мира.

В январе 1928 года я пробыл в Словакии всего неделю. Клементис уговаривал меня приехать летом, обещал показать страну. Я сказал: «Постараюсь», — словаки мне сразу пришлись по душе, в них было много бескорыстности, порой наивности, той, что связана с душевной широтой.

Вернувшись в Париж, я получил посылку и письмо от

Клементиса. Он прислал мне словацкие народные трубки «запекачки» и писал: «Ту запекачку, что завернута отдельно, я получил так: я пошел к одному старику, рьяному курильщику. Услыхав о том, что мне нужно, он вынул трубку изо рта и дал мне ее. Он сказал, что курит ее уже тридцать лет, но хочет ее отдать, так как любит русских (конечно, на старый лад, как любили наши отцы). Эта трубка связана для него с одним воспоминанием. Дело было двадцать семь лет тому назад. Он красил крышу, и ему хотелось курить. Запекачку не следует закуривать, как обыкновенную трубку, тогда внизу остается «мочка», то есть несгоревший слой мокрого табаку. Но на крыше костра не было, а он курил за трубкой трубку. Ночью он вдруг вспомнил, что в за некачке образовалась «мочка». Он встал и вышел во двор, чтобы отдать «мочку» работнику Юро — тот любил жевать табак. Юро не было. Он пошел в хлев. Вдруг он услышал булькание. Он подбежал к колодцу и увидел своего сына, трехлетнего мальчика, который упал вниз и, держась за перекладину, еще бился. Он его вытащил. Теперь его сын — врач в нашем селе. Вот и вся история. Это, конечно, не литература, но я обещал старику передать ее вам вместе с запекачкой».

Я читал письмо Клементиса друзьям, процитировал его в очерке. Запекачка давно разбилась, а рассказ о том, как старый словак отдал дорогую ему трубку потому, что «любит русских», волнует меня и теперь. Волнует и оговорка Клементиса: «конечно, на старый лад, как любили наши отцы» — в этом противопоставлении история «Дава», судьба Клементиса, Новомеского, многих моих друзей.

Летом того же 1928 года я снова приехал в Словакию. «Давовцы» мне показали страну, глухие деревушки Оравы, Татры, Прешов, Бардиев, Кошицы, венгерские монастыри барокко и горные шалаши пастухов. Клементис был прав — тогда, кажется, только в Словакии слово «русский» открывало все двери. Правда, любовь была разной. В Турчанском Мартине сидели старые правоверные славянофилы. Там я видел на кладбище могилы первых просветителей с надписями на русском языке. В «Славянской матице» висели портреты Пушкина и Лермонтова. Я бродил по улице Гоголя. При Габсбургах Чехия входила в Австрию, и австрийцы старались онемечить чехов, но в стране была интеллигенция, преданная родному языку, богатой культуре прошлого. А венгры, которые правили Словакией, не строили заводов, они пили в ресторанах Братиславы и Кошиц крепкое вино «ассу» и предпочитали школьным учителям священников и жандармов. (До первой мировой войны большинство словацких крестьян было неграмотным.) Все надежды словацких патриотов

связывались с Россией. В Турчанском Мартине знали не только Пушкина, но и Хомякова, почитали не только Толстого, но и генерала Скобелева. Октябрьская революция многим деятелям «Славянской матицы» казалась загадочным и преходящим эпизодом. Помню, один седоволосый литератор жаловался мне: «Прислали стихи из Москвы. Удивительно, как такое печатают!.. Говорили, что автор покончил с собой. Может быть, у него и был талант, но он писал не по-русски. Пушкин говорил на другом языке. Сейчас я вспомню имя автора… Есенин…» (Не знаю, дожили ли эти «славянофилы» до сороковых годов и как они вели себя — пытались с помощью Гитлера «освободить русских братьев» или кое-что поняли. Может быть, некоторые помогали словацким повстанцам?…)

«Давовцы» любили Россию по-другому — любили народ Октября, читали Маяковского, Есенина, Пастернака, Багрицкого; это было двойной любовью — к близкому народу и к революции. В увлечении «давовцев» Маяковским, теориями «Лефа», современным искусством было что-то от романтического бунтарства, — кажется, нигде я не видел такой привязанности к орнаменту, к традиционным народным костюмам, как в словацкой деревне: крестьяне расписывали не только печи, но даже могильные кресты; и вот их дети увлеклись голым, рассудочным, сухим конструктивизмом.

(В 1950 году я увидел Словакию переменившейся. Народные костюмы перекочевали из быта в костюмерные ансамблей, новые дома, большие заводы, электростанции. Вместе с курными избами и нищетой исчезли пестрые «фартучки» молодых крестьян, расписные печи, картинки на стекле. Таков закон века, и, глядя на залитую светом долину Вага, я не стал вздыхать о прошлом.)

В 1928 году, когда я впервые увидел Словакию, это была страна без городов. Конечно, в Братиславе жили словацкие писатели, там выходили газеты, журналы, но среди жителей города немцев и венгров было больше, чем словаков. В Кошицах только на базаре, куда приезжали крестьяне, я услышал словацкую речь. Маленькие немецкие города Левоча или Кежмарок с ратушами и готическими церквами, с аккуратными абонентами журнала «Ди вохе» казались перенесенными из другого мира. А городки, где жили словаки, — Брезно, Зволен, Ружомберок, Мартин, — походили на большие села: несколько городских домов — и здесь же хаты, огороды, гуси. Вся словацкая интеллигенция была связана с деревней. В Ясеневой меня повели в избу, где родился один из зачинателей словацкой литературы Кукучин. В такой же избе я увидел Илемницкого — он сидел и писал роман. Как-то я попал в Словакию зимой, и поэт Лацо

Новомеский повез меня на рождество в село Сенини, где жили его родители, бабушка. Приехал туда и молодой поэт-»давовец» Иван Хорват. Нас угощали традиционными рождественскими яствами. А Лацо и Хорват говорили о Маяковском, Незвале, Арагоне, Пастернаке…

Клементис возил меня в свое село Тисовец, его родители потчевали нас галушками, сливовицей, зубровкой, радушно суетились. «Давовцы» мечтали об индустриальной красоте и в то же время любили словацких крестьян, малограмотных, но душевно благородных, не прошедших через уродующую души печь капитализма. В этом и было своеобразие «Дава», его трудности. Клементис мог петь песню о старом пастухе, который в последний раз ведет в горы отару, или о Яношике, мог восхищаться красотой старого чепрака, но не раз он говорил мне, что у меня сохранился «ряд идеалистических заблуждений», нужно к тому-то «подойти по-марксистски»…

Помню беседу в горном шалаше над Тисовцем. Владо заговорил о своей судьбе. Он тогда писал о поэзии, любил искусство, для меня он был одним из молодых писателей. Мы глядели на долину, на старые деревья, на хаты, едва заметные среди зелени садов. Клементис говорил, что главное — борьба, пока чехословаки не сбросят капитализма, не будет ни справедливой жизни, ни настоящего искусства. «Мое дело — партия…»

В 1940–1941 годах Владо сидел в английском лагере на севере Шотландии, времени у него было много, и он написал для своей жены Лиды о своем детстве и отрочестве, о родителях, о родном Тисовце. Теперь эти тетрадки издали, назвав их «Незаконченной хроникой». Книга показывает, насколько ее автор блинок к стихии искусства, но для Клементиса это было только вылазкой из крепости — между винтовкой солдата и министерским портфелем.

О том, что Лацо Новомеский — поэт, можно догадаться, не зная его книг, побыв с ним четверть часа, просто взглянув на него. А если измерить его жизнь аршином, окажется, что больше всего времени он отдал политической деятельности. С 1925 года по 1939-й он редактировал партийные газеты. В годы оккупации входил в подпольный ЦК КПЧ, который подготовлял словацкое восстание. После победы был членом ЦК и министром народного просвещения. Однако его подлинной страстью была поэзии. Однажды он мне сказал: «Совесть подсказывает…» Совесть для него не случайный собеседник, а постоянный суфлер. Архитектор на войне может оказаться в саперной части и взрывать мосты — это его долг, но не призвание.

Клементис и Новомеский были разными людьми, но они любили друг друга, и судьба у них оказалась схожей.

В 1936 году в курортном местечке Тренчанске-Теплице по инициативе «Дава» состоялся съезд словацких писателей. Я тогда работал в секретариате Международной ассоциации антифашистских писателей и поехал на съезд, чтобы предложить словакам войти в ассоциацию. Там были писатели различных толков, некоторые из них потом пошли за сепаратистами-католиками, поставившими на победу Гитлера, другие участвовали в Сопротивлении, партизанили. Клементис и его друзья «давовцы» убедили всех участников съезда войти в антифашистскую ассоциацию. Мы попали в деревню, там нас угощали, пели песни, старик говорил, что русские побьют фашистов, и подымал кулак. Я сказал Владо: «Совсем как и Испании…»

Вскоре началась испанская война. В 1937 году в Валенсии я встретил Новомеского. Мы говорили о боях, о Комитете по невмешательству, об интербригадовцах, только на минуту я припомнил Владо, хаты, светлую зелень Словакии. Лацо писал стихи:

Хотел пересчитать я звездные отары:
покуда не сгорят.
Но тут — о-тэ-ра-ра! — забили пулеметы,
и звезды новые взлетели к старым,
отары-ра-та-та,
о господи, —
отары.

Пришел Мюнхен. Гитлеровцы заняли Прагу. Мир почернел.

Когда началась «странная война», я лежал больной в Париже. Мало кто приходил ко мне: одни возмущались пактом, другие побаивались шпиков. В сентябре пришли Владо и Лида, огорченные, печальные. Потом пришел снова Клементис, он был мрачен, но старался меня приободрить: никогда он не расставался со своим талисманом — верностью. В октябре французы его арестовали и отправили в концлагерь. Накануне разгрома Франции я его увидел в солдатской форме; он хотел сражаться против гитлеровцев, но Франция Потопа капитулировала.

Мы снова увиделись в 1944 году в Москве. Клементис стал видным политическим деятелем. Он рассказывал мне, что англичане и американцы боятся советской победы, строят козни, но был весел, верил в торжество той идеи, которой посвятил свою

жизнь. Потом мы вспомнили прошлое, и мне показалось, что я не на улице Горького, а в шалаше над Тисовцем, где старый пастух потчевал меня едкой запекачкой.

В феврале 1949 года в Клубе писателей устроили мой вечер сорокалетие литературной работы. Чехословацкий посол Иржи Горок переслал мне телеграмму «Государственного секретари Клементиса»: «Дорогой Илья, пьем за твое здоровье тисовскую зубровку. Владо и Лида».

О последней нашей встрече я уже рассказал. Потом я вспоминал: у Владо были очень печальные глаза. Может быть, он просто был усталым после трудного рабочего дня, а может быть, знал, что кольцо клеветы сжимается?

Приехав год спустя в Прагу, где пометался секретариат Всемирного Совета Мира, я узнал от Гофмейстера, что арестовали Лиду, Лацо Новомеского, Ивана Хорвата (он был до этого послом в Будапеште).

Лиду освободили два года спусти. Я встретил ее в Праге, на улице, хотел поговорить, но она пожала руку, сказала: «Не нужно со мной разговаривать», — и убежала.

Выпустили Новомеского, Ивана Хорвата. Лацо я видел в Праге, он работал — переводил, но его стихов не печатали. Иван Хорват умер вкоре после освобождения.

В книге стихов Новомеского, написанных в тюрьме и после, есть стихотворение «Мудрость»:

Лучше стать на колени, чем стоять на костре,
лучше спрятать правду в глубинах души,
словно в ларе,
лишь бы снова потом заявить,
что все-таки вертится…
Как, товарищ Галилей,
может быть, в этом — мудрость?
Но мудрей мудреца смелый, веселый
мальчик из сказки, кричавший тогда:
— Король голый, совершенно голый!
Так громко кричал, что просто беда!

Шли годы, многое на свете менялось. Пришла весна 1963 года, когда Лацо Новомеского восторженно встретили на съезде писателей. Окали написал мне: «Вы, наверно, знаете, что организатора и душу «Дава» товарища Владо Клементиса ложно обвинили в шпионаже и казнили. Я сам вместе с другими товарищами был освобожден после десятилетнего заключении… Теперь, после устранения несправедливостей, пересматривают

значение «Дава» для нашей литературы и культуры в широком смысле слова…» Передо мною словацкий журнал, в нем фотография Владо…

Я гляжу и вспоминаю, как в 1949 году, печально улыбнувшись, он прочитал мои стихи:

…Пройдут по тебе.
Верность сердцу и верность судьбе…

Накануне казни он сказал Лиде, что умирает честным коммунистом.

Есть эпохи, когда люди могут думать о своей личной судьбе, о биографии. Мы жили в эпоху, когда лучшие думали об истории. Ложь всесуща и всесильна, но, к счастью, она не вечна. Могут погибнуть хорошие люди, жизнь многих может быть покалечена, и все же в итоге правда побеждает. Для Владо, как и для некоторых моих советских друзей, о которых я рассказал в этой книге, эпоха оказалась очень горькой; но для истории, в которую верил Клементис, она была эпохой побед.

А сейчас я думаю о далеком вечере «под вехами», когда молодые словацкие писатели пели песню о Яношике. Некоторых нет, другие хлебнули горя, до времени состарились. Вспоминаю и шалаш над Тисовцем, молодого Владо, его очень чистые, светящиеся глаза, слова о борьбе; смеркается, все голубеет, и над мягкими, округлыми горами чуть посвечивает бледная вечерняя звезда.

18

«Как вы провели последний вечер в Париже?» — спросил меня А. А. Фадеев. Я ответил, что был со старыми друзьями. Он сказал: «А меня замучил Фаст — хотел, чтобы я ему все объяснил… Эх, Илья Григорьевич!.. — Он оборвал себя:

— Давайте лучше выпьем коньяку». Я поглядел на него и увидел не те глаза, что привык видеть на собраниях и заседаниях, а мягкие, печальные.

О Фадееве говорят, что он был очень талантлив, умен, что он обладал железной волей, что его ценил Сталин. Все это правильно: но слово «талантлив» не справка в послужном списке, оно связано с сотнями помарок на листе рукописи, с внутренними терзаниями, с душевной природой, не всегда подходившей для общественной работы, которую выполнял Фадеев, выполнял не только старательно, но и с увлечением. Все писатели, да, кажется, и все руководители Движении сторонников мира знали его глаза — ясные, холодные, его эрудицию, память, умение придать в статье или в докладе короткой фразе Сталина глубину, блеск, спорность литературного эссе и бесспорность закона. Мне хочется рассказать о другом Фадееве — менее известном.

Познакомился я с ним давно, еще в годы, когда он был одним из лидеров РАПП. Мы встречались в Москве, потом в Мадриде и Париже. «Разгром» мне понравился, но человека я не понимал, вернее, не знал; и в 1940 году, когда я беседовал с ним, он был для меня, скорее, начальником, чем писателем. Вспоминая прошлое, он, в свою очередь, как-то признался: «Я вас считал человеком издалека. В Мадриде я говорил нашим военным, — они вас защищали: «Может быть, он и готов умереть за наше дело, но жить с нами он не хочет, да и не может…»

После войны мы начали приглядываться друг к другу. В Пензе, во время юбилея Белинского, я с ним проговорил весь вечер. Потом мы встретились в Москве, говорили о книгах, о судьбах писателей. Я начал понимать, что Фадеев не такой, каким он мне казался. Но по-настоящему я его узнал в те пять-шесть лет, когда мы вместе работали в Движении сторонников мира; мы разговаривали в самолетах, в вагонах, часто — то в Осло, то в Вене, то в Праге — Александр Александрович ночью приходил в мой номер и говорил, говорил. Именно поэтому я начал писать о нем после того, как рассказал о Парижском конгрессе.

Я не скажу, чтобы мы подружились, — уж очень разными мы были; но, может быть, поэтому Фадеев порой бывал со мною откровеннее, чем со многими из своих близких друзей. Очевидно,

представление о «человеке издалека» где-то в нем оставалось, и, беседуя со мной, он чувствовал себя свободнее, чем со своими друзьями. Друзей у него было немало (я говорю сейчас не о лицемерах, старавшихся угодить человеку, обладавшему властью, а о людях, искренне любивших Александра Александровича). Но мне кажется, что с друзьями он не всегда и не о всем заговаривал. Вот одно из его признаний: «Уж я-то знаю, что такое одиночество!..» Со множеством людей он был на «ты», его называли Сашей; а мы величали друг друга по имени-отчеству.

Рассказать о Фадееве трудно — он был человеком очень сложным, наверно, многое от меня ускользало. Да и события слишком свежи. Мне не хочется строить догадки, и я себя ограничу, попытаюсь выписать из записной книжки, а порой восстановить по памяти некоторые его слова, показать его отношение к некоторым явлениям, рассеять миф о «железном человеке», немного помочь тому, кто через пять или десять лет сядет за книгу о человеке, сыгравшем важную роль в истории нашей литературы.

Фадеев писал в течение тридцати пяти лет, а оставил после себя два законченных романа, два незаконченных, несколько рассказов, сотню статей. Александр Александрович говорил: «Писал много, а написал мало…» Я слышал такое объяснение: «Фадееву не дают писать — Союз писателей, борьба за мир, заседания, митинги, конгрессы…» Действительно, руководство писательскими организациями и Движение сторонников мира отнимали у Александра Александровича много времени, но ведь работал он не но неволе, а но охоте, и когда в последние годы его освободили от некоторых обязанностей, почувствовал не облегчение, а досаду. В Движении за мир он был неутомим, входил во все детали. У меня случайно сохранилось несколько его записок, написанных во время заседаний. Писал он обстоятельно: то просил поговорить с Ненни, то беспокоился, что выступление одного из американцев рассчитано на полтора часа — делегаты могут начать шуметь, хороню бы попросить укоротить речь, то излагал свои мысли о расширении Движения.

Говорили также, что Фадеев мало пишет, потому что много пьет. Однако Фолкнер пил еще больше и написал несколько десятков романов. Видимо, были у Фадеева другие тормоза.

Я как-то сказал Александру Александровичу, что из его книг мне больше всего нравится «Разгром» — первый роман, написанный двадцатипятилетним юношей. Он ответил: «Естественно: «Разгром» — пережитое. Конечно, сознание своей ответственности иногда приподымает, а иногда оно и вяжет…»

За «Последнего из удэге» он брался чуть ли не каждый год, в

течение двенадцати лет: составлял планы, переделывал, считал, что романа не вышло.

Когда Фадеев сел за «Молодую гвардию», ему было уже не двадцать пять, а сорок четыре. История краснодонских подростков его взволновала — он заново пережил свою молодость. Хотя он всегда причислял себя к реалистам, в нем было много романтики.

Судьба романа «Молодая гвардия» связана с тем, что мы называем «культом личности». Роман был написан, издан, пользовался успехом, получил Сталинскую премию. Один из друзей Александра Александровича, С. А. Герасимов, сделал по роману фильм…Тут-то и разразилась гроза. Сталин читал много, но, конечно, далеко не все и «Молодой гвардии» не прочитал; а фильмы он все просматривал. Он возмутился: в картине показывались подростки, оставшиеся на произвол судьбы в городе, захваченном гитлеровцами. Где же организация комсомола? Где партийное руководство? Сталину объяснили, что режиссер следовал тексту романа. В газетах появились суровые статьи о «Молодой гвардии». За ними последовало письмо Фадеева, напечатанное в «Правде»: он признавал справедливость критики и обещал переделать роман. Когда мы встретились, Александр Александрович сказал, что не меняет текста, а пишет новые главы — о старых большевиках, о роли партийного руководства. Помолчав, он добавил: «Конечно, даже если мне удастся, роман будет уже не тот… Впрочем, может быть, во мне засело преклонение перед партизанщиной… Время трудное, а Сталин знает больше нас с вами…»

Я заговорил о «Молодой гвардии» потому, что хочу показать отношение Фадеева-романиста к действительности. Задумав написать роман, он поехал в Краснодон, расспрашивал сотни людей, старался восстановить и события, и внешность героев, огорчался, что не смог найти точного описания внешности некоторых персонажей, это показывает, насколько он подчинял себя законам не поэта, а летописца. Роман Стендаля «Красное и черное» родился от газетной заметки о преступлении молодого карьериста, автор не только в толковании Жюльена Сореля не зависел от «факта», он переделал интригу. Стендаль никогда не увлекался описанием внешности своих героев, говорил, что предоставляет это фантазии читателя. Золя уверял, что «лишен воображения», изучал детали быта, который хотел изобразить, или, как говорят теперь, «собирал материал». Работая нал романом «Нана», он впервые в жизни пошел в притон с записной книжкой. Учителем Фадеева был Лев Толстой: раскрывая характер героя, он останавливался на какой-либо детали его

внешности. Толстой мог сделать уши Каренина настолько реальными, что по ним мы знаем его лучше, чем наших друзей. А Фадееву хотелось узнать, какие черты лица были у всех краснодонцев.

Я вспоминаю одну из наших бесед — в самолете. Александр Александрович говорил о том, что он «кончен», и рассказал трагическую историю недописаниого романа «Черная металлургия». «В пятьдесят первом меня вызвал Маленков. «Изобретение в металлургии, которое перевернет все. Грандиозное открытие! Вы окажете большую помощь партии, если опишете это»… Одновременно он рассказал мне, как разоблачили группу геологов — вредителей. Я начал работать, изучал проблему, подолгу сидел на Урале. Писал медленно. Написано свыше двадцати листов. В моем представлении это должен был быть настоящий роман, единственное, за что я смогу ответить… И вот оказалось, что «изобретение» было шарлатанством, обошлось государству в сотни миллионов рублей, геологи были оклеветаны, их реабилитировали. Одним словом, роман пропал…» Я изумился: «Да что вы, Александр Александрович! Я читал отрывки в «Огоньке», это очень хорошо… Измените немного. Пусть они изобретают что-нибудь другое. Ведь вы пишете о людях, а не о металлургии…» До этого я дважды видел Фадеева в состоянии гнева: обычно сдержанный, холодный, вспылив, он краснел и кричал очень тонким голосом. Он закричал и в самолете: «Вы судите по себе! Вы описываете влюбленного инженера, и вам все равно, что он делает на заводе. А мой роман построен на фактах…» Успокоившись, он тихо сказал: «Мне остается одно — выбросить рукопись. Да и себя — новой книги я уже не начну…»

Я рассказал об этой зависимости от действительности, конечно, не для того, чтобы поспорить с покойным Фадеевым. Он был настоящим писателем, очень взыскательным к себе. Однако длительная работа и над «Последним из удэге», и над «Черной металлургией» связана не только с писательской взыскательностью, но и со всей биографией Фадеева, с его противоречиями, с борьбой между писателем и государственным деятелем, между былым партизаном и дисциплинированным солдатом. Однажды Александр Александрович сказал мне: «На меня многие писатели в обиде. А их могу понять. Но объяснить трудно…» Я ответил: «Скажите им, что больше всех вы обижали писателя Фадеева…»

В ранней молодости Фадеев был партизаном на Дальнем Востоке, позднее участвовал в подавлении Кронштадтского мятежа. Ему было семнадцать лет, когда он вступил в партию, и

двадцать, когда читинская организация отправила его делегатом на X съезд. Для него Троцкий или «рабочая оппозиция» были не страницами «Краткого курса», а живыми воспоминаниями. В биографии некоторых писателей политическая борьба была страстью месяцев или лет. Для Фадеева политика была делом всей его жизни.

Помню небольшое совещание «актива» Всемирного Совета Мира. Происходило оно в Праге, в домике на окраине города, где остановился Жолио-Кюри. Мы обсуждали, что теперь делать: успех Стокгольмского воззвании всем вскружил голову: говорили о том, что нужно собирать подписи. Фадеев приехал с предложением: потребовать от правительств пяти великих держав заключить Пакт мира. Он выслушал различные выступления, а потом блистательно доказал, что все, о чем говорили другие, подходит под Пакт пятерых — страх перед войной, экономические трудности, ущемление национального суверенитета, одичание. Идея была не его, но говорил он настолько умно, что в маленькой комнате, где было человек десять, может быть пятнадцать, раздались громкие аплодисменты, как на многолюдном собрании. Жолио-Кюри предложил напечатать выступление Фадеева и разослать во все национальные комитеты.

Летом 1956 года я был в Париже, меня пригласил к себе Жолио-Кюри. Мы долго беседовали о XX съезде, обо всем, что тогда нас радовало и волновало. Потом Жолио-Кюри сказал: «Фадеев… И в этом сказалась его невероятная воля… Для нас это очень большая потеря. Он бывал порой резок, у меня с ним были трудные разговоры. Но я всегда восхищался его умом. Он мыслил политическими категориями, и это меня побеждало. Я, Бернал, мы рассуждаем как ученые. Вы для меня остаетесь писателем. Не только вы… Возьмите д'Астье, многие его считают политиком, а он — поэт, хотя стихов, кажется, не пишет. А разговаривая с Фадеевым, я часто думал: да, его призвание — политика…»

Конечно, в последнем я не мог и не могу согласиться с Жолио-Кюри: я знал не только книги Фадеева, я знал их автора: я понимал, что нельзя оторвать Александра Александровича от искусства. Но Жолио-Кюри был прав, говоря, что Фадеев мыслил политическими категориями. Это потом предопределяло те противоречия в оценках, которые иным обиженным казались лицемерием.

Фадеев свято верил в то, что Сталин умело руководит государством, знает, что нужно делать, видит далеко вперед. Порой Александр Александрович не мог удержаться: в Пензе он заговорил со мной о судьбе Мейерхольда, потом, незадолго перед

смертью Сталина, припомнил Якира, Штерна, повторял: «Его обманывают…» В конце сороковых годов многое ему претило, и опять-таки он находил объяснение: «Мутная волна… Сталин ее удерживает…» К вере примешивался страх. Раз полушутя он сказал: «Я двух людей боюсь — мою мать и Сталина. Боюсь и люблю…»

Фадеев иногда говорил о какой-либо книге: «Конечно, талантливо… Но поймите меня правильно — дело не в абсолютных оценках. Есть государственная точка зрения, и в этом плане книга вредная…»

Я говорил, что учителем Фадеева был Лев Толстой; это всем бросалось в глаза. Длиннейшие фразы с изобилием придаточных были (или стали) для Фадеева естественными. Он не умел писать иначе. Иногда ему нужно было отправить телеграфный отчет о сессии Всемирного Совета или о беседе с одним из руководителей Движения. Он просил меня помочь; садился за стол — у него был разборчивый почерк: «Диктуйте — вы можете все это описать короткими фразами…»

Однако влияние Толстого было куда глубже, чем одни приемы письма. В Пензе Александр Александрович мне долго доказывал, что у Чехова можно поучиться только наблюдательности: «Как он может научить? Он и не хотел учить… Вот Толстой понимал назначение литературы, он был учителем. Конечно, мы теперь рассуждаем иначе, но я преклоняюсь перед романом, который обычно считают неудавшимся: Толстой написал «Воскресение», чтобы доброе начало победило. А Диккенс? Разве в своих лучших романах он не поддерживал добра? Конечно, если за этим не было бы взлета, то это осталось бы скучной дидактикой. Из бездарного писателя не сделаешь и сотой Толстого, но гений должен служить добру, гуманизму. А в наш век это значит подчинить себя строительству коммунизма».

Здесь был мост между писателем и руководителем Союза писателей, мост, а норой и пропасть.

Еще будучи одним из руководителей РАПП, в 1929 году Фадеев выступил со статьей: «Столбовая дорога пролетарской литературы». В этой статье он защищал подход к роману, который был ему близок. Категоричность суждений никого не могла удивить: рапповцы тогда нападали не только на «правых попутчиков», но и на Маяковского. Удивительно название «Столбовая дорога» не само но себе — романтики, реалисты, натуралисты, символисты считали свой путь новым и единственно правильным; название удивительно по своей судьбе. РАПП распустили, писали о необходимости разнообразия литературных течений, и при этом зорко следили за том, чтобы

все писатели шли но одной литературной дороге; тропинки приравнивались к туникам. При этом шоссе или, говоря языком Фадеева, столбовая дорога была отнюдь не прямой, она петляла в зависимости не только от крупных политических событий, но и от вкусов Сталина, от его настроения, от его отношения к различным авторам. В 1929 году Фадееву казалось, что он прокладывает дорогу. Не знаю, сколько лет в нем прожили эти иллюзии. А в 1949 году, рассердившись на одного критика, он сказал мне: «Считает, что я придираюсь, провожу свою линию, да я регулировщик, и только…»

Конечно, это было сказано в сердцах. Он не прокладывал дорогу, но и не был регулировщиком. Порой ему удавалось создать построение, выходившее за пределы принятых формулировок. Он, например, одно время давал такое объяснение социалистическому реализму: показать людей не такими, какие они есть, а такими, какими они должны быть. Правда, это куда ближе к романтизму, чем к реалистам прошлого века, но есть в такой постановке пафос, масштаб.

Вокруг Фадеева всегда имелись критики, способные повторить идеи Александра Александровича, показать их на разборе книги. Помню, как на собрании писателей Фадеев в докладе обличил одного из таких критиков в коварстве: «Есть восточная сказка о скорпионе и лягушке. Преследуемый врагами, скорпион попросил лягушку переправить его на другой берег речки. «Ты меня ужалишь», — сказала лягушка. «Зачем мне тебя убивать, — мне грозит смерть, если я не переправлюсь на тот берег». Он убелил лягушку. Они почти достигли цели, когда скорпион ужалил ее. Они пошли ко дну. «Зачем ты это сделал?» — спросила, погибая, лягушка. «Не знаю, такой у меня характер», — ответил скорпион». Критик сидел рядом со мной, он громко сказал: «Дело не в характере. Просто скорпион не доверял лягушке…»

У Фадеева были свои вкусы; все чаще они расходились с оценками Сталина, и Александр Александрович то и дело противоречил себе. В 1928 году Фадеев яростно нападал на поэму «Хорошо» Маяковского. В 1938 году он назвал эту поэму «историческим событием». Изменилась не оценка поэзии, а подход к литературе, в речах Фадеева появилась «государственная линия». Фадеев был смелым, но дисциплинированным солдатом, он никогда не забывал о прерогативах главнокомандующего.

В беседах со мной он часто любовно отзывался о писателях, которых был вынужден публично осуждать. Помню нашу встречу после доклада Фадеева, в котором он обличил «отход от жизни»

некоторых писателей, среди них Пастернака. Мы случайно встретились на улице Горького, возле дома, где я живу. Александр Александрович уговорил меня пойти в кафе на углу, заказал коньяк и сразу сказал: «Илья Григорьевич, хотите послушать настоящую поэзию?…» Он начал читать н*а память стихи Пастернака, не мог остановиться, прерывал чтение только для того, чтобы спросить: «Хорошо?» Это было не лицемерием, а драмой человека, отдавшего всю свою жизнь делу, которое он считал правым.

Он любил поэзию, но еще сильнее любил основную линию своей жизни, и не его вина, а его беда, что в течение четверти века верность идее он, как и миллионы его современников, связывали с каждым словом, справедливым или несправедливым, Сталина. Конечно, Фадеев знал, что Бабель не «шпион», что Зощенко не «враг», что неприязнь Сталина к Платонову или Гроссману необоснованна, но он знал и другое: для многих миллионов смелых и самоотверженных людей слово Сталина — закон. «В годы гражданки я был дважды ранен, — сказал мне Фадеев при нашей последней встрече, — врачи говорили, что ранения тяжелые. Но была молодость… Да и можно ли сравнить кусочек металла с тем, что пришлось пережить потом?…»

Иногда он обрывал признания шуткой. «Вы знаете, какой художник мне нравится? Ренуар, — И, увидев мое изумление, добавил:

— Но я вам признаюсь — я дальтоник…» И он засмеялся своим незабываемым смехом.

Он казался суровым, но много раз я видел, как смягчались его глаза. Он пытался помочь писателям, попавшим в беду. В начале 1938 года он показал мне несколько стихотворений Мандельштама, хотел, чтобы их напечатали в одном из журналов. Ничего из этого не вышло. Десять лет спустя он сказал мне: «Помните Гарри? Он обрушился на ваш «День второй»… Так вот, он вернулся из концлагеря. Написал интересную повесть, чем-то напоминает «Смерть Ивана Ильича». Положение у него тяжелое… Попробую протолкнуть…» При следующей встрече он мрачно сказал: «С Гарри ничего не вышло».

Порой Фадееву удавалось отстоять книгу, которая ему нравилась, предотвратить беду, нависающую над неугодным. На несколько дней он приободрялся. Потом снова мрачнел, и глаза выглядели пустыми. Он начал чаще и больше пить; пил он главным образом с людьми, далекими от мира литературы, — хотел забыться.

В марте 1953 года, вскоре после смерти Сталина, я прочитал в «Литературной газете» статью Фадеева, в которой он резко

нападал на роман Гроссмана «За правое дело». Это мне показалось непонятным: Александр Александрович несколько раз с восторгом говорил мне об этом романе, ему удалось напечатать это произведение. Роман рассердил Сталина, «Правда» напечатала резкую статью, Фадеев продолжал отстаивать книгу. Гроссман кое-что переделал. И вдруг эта статья…

Появилось сообщение о реабилитации врачей: что-то явно менялось. Фадеев без звонка пришел ко мне, сел на мою кровать и сказал: «Вы в меня не бросите камень… Я попросту испугался». Я спросил: «Но почему после его смерти?…» Он ответил: «Я думал, что начинается самое страшное…» Он это повторил потом много раз: ему хотелось каяться. Год спустя я встретил переводчицу Л. С. Фактор, которую Фадеев всегда брал с собой для трудных политических разговоров с французами. Лидия Самойловна мне сказала: «С Александром Александровичем что-то неладное он несколько раз приходил ко мне и убивался, что написал нехорошо о романе Гроссмана…» В конце 1954 года, на Втором съезде писателей, Фадеев, говоря о романе «За правое дело» и своей статье, покаялся на людях: «Я очень жалею, что проявил слабость…»

Александр Александрович был человеком крепчайшим; много ел, много пил; мог пробежать десяток километров; просиживал ночи на заседаниях, и все проходило бесследно. Только в последние годы нервы его начали сдавать. В декабре 1952 года он писал мне: «…Я, увы, все еще болен и, должно быть, еще недели три пробуду в больнице. Если человек со стороны взглянет на вас и на меня, то он, конечно, скажет, что я исключительно здоров, а вы больны. На деле вы оказались человеком железного здоровья. Однако, поберегите его! Это ведь все на нервах, и все до поры до времени. Вы как-то не привыкли отдыхать, а вы попробуйте…»

При последней нашей встрече Фадеев говорил, что болен — «ноги болят, не могу холить», «роман, как я вам рассказывал, пропал», «словом, плохо». Я пытался его ободрить, говорил, что болезнь пройдет, он на десять лет моложе меня, еще напишет несколько романов. Он покачал головой: «Мотор отказывает…»

Через два месяца позвонили: «Фадеев покончил с собой…»

Как всегда в таких случаях, люди начали гадать, искали резонов, вспоминали хорошее и плохое. Наверно, причин было много — в жизни он не щадил себя; пока стояла суровая зима, он держался, а когда люди заулыбались, стал раздумывать о пережитом, ненаписанном: как-то все обнажилось; тут-то начал отказывать мотор.

Оглядываясь на послевоенные годы, я неизменно вижу фигуру Фадеева. Роста он был большого, выделялся на любом

собрании. Да и человеком был большим — и в беспощадности, и в нежности, и в вере, и в беде,

19

Мне позвонили под вечер и сказали, что на следующее утро мы вылетаем в Рим: сессия Постоянного комитета Парижского конгресса. Это было в нравах того времени: поздно решали, поздно запрашивали визы; то и дело мы опаздывали. Я рассказал в предшествующей части книги, как мы чуть было не задохнулись над Альпами, когда из-за грозы маленький самолет поднялся чересчур высоко. Вылетев из Праги рано утром, мы приземлились в Риме часов в десять. На аэродроме нас встретили итальянские друзья. Я мечтал выпить кофе и съесть бутерброд, но не тут-то было: оказалось, что нам всучили экземпляр какой-то кинокартины, и таможня нас продержала добрый час. Фалеев сказал, что нужно сейчас же идти на заседание — сессия уже началась. Я плохо слушал доклад д'Арбузье о борьбе за мир в Черной Африке — мне хотелось есть. Когда наконец-то объявили обеденный перерыв, сотрудник посольства сказал, что нас ждет посол.

Фадеев, Василевская и Корнейчук сели в посольскую машину, а меня предложил подвезти Эмилио Серени, депутат-коммунист. Это тучный, черный и веселый человек. Он знает множество языков французский, русский, испанский, польский, английский, древнееврейский, немецкий, китайский, арабский и еще какие-то (забыл какие). Он долго сидел в фашистской тюрьме и привык, думая, шагать из угла в угол; иногда на маленьких заседаниях он начинал ходить придумывал что-нибудь интересное. Если он сидел рядом со мной во время длинных выступлений, я не скучал: он на ухо рассказывал забавные анекдоты. Я попросил Серени остановиться возле какого-нибудь бара — я выпью у стойки кофе. Но Ссрени сказал, что посол нас сейчас накормит, и вместо кофе угостил меня стаканчиком очень горького и вкусного вермута.

Посол ириял нас в кабинете; никаких признаков обеда не было. Посол долго и обстоятельно рассказывал Василевской, Фадееву, Корнейчуку и мне, что капитализм не похож на социализм и что в Риме нужно вести себя иначе, чем в Москве. Фадеев закрывал глаза и от злобы краснел. Я все время глядел на часы — половина второго, через час нужно идти на заседание, если нас не накормят, я не выдержу… Вдруг Корнейчук прервал посла: «Мы, знаете, вылетели в семь утра — натощак…»

Столовая посольства помещалась в полуподвальном помещении. Пахло капустой. Свободных мест не оказалось, и нам предложили подождать во внутреннем дворике. Я сказал Корнейчуку: «Я лучше похожу по городу». — «Ты с ума сошел —

ведь у тебя нет ни одной лиры…» Я понимал, что поступаю неразумно, но заупрямился — обидно было стоять и ждать.

Когда и выходил на улицу, высокий молодой человек приветливо спросил меня: «Вы Илья Эренбург?» Он представился: «Вишневский, корреспондент ТАССа», — и стал хвалить мои книги. Я взмолился: «О книгах поговорим в другой раз. Но, может быть, вы одолжите мне немного лир столько, сколько нужно, чтобы пообедать: нам еще не выдали денег…» Вишневский из ресторана позвонил своей жене, чтобы она пришла, а я уже ел макароны и пил вино. Это был божественный обед, все мне казалось на редкость вкусным, — может быть, потому, что после вермута я обезумел от голода. Да и сотрапезник достался интересный — Вишневский знал и любил Италию, рассказывал о политическом положении, о новых фильмах, о писателях.

На заседание я, разумеется, опоздал и тихонько спросил Корнейчука, кто выступал. Он взревел от зависти: «От тебя пахнет вином!.. Ты, значит, обедал?…»

В зале можно было курить. Человека трудно удовлетворить. Я успел выкурить все, что было в моем кисете, а лир не было. Я начал «стрелять» сигареты у различных делегатов, прикидываясь любознательным: интересно, что курят в Мексике, в Ливане, в Швеции…

Я не был в Риме четверть века. Конечно, ни храм Весты, ни романские базилики, ни дворцы барокко не изменились; изменился я — впервые был подготовлен понять величие этого города, где двадцать веков мирно сосуществуют.

На второй или третий день я понял, что изменился не только я, изменился и воздух Рима. Конечно, в политическом плане не было большого отличия Италии от Франции; тот же «плац Маршалла», тот же Атлантический пакт, сильные коммунистические партии, беспрерывные забастовки и одновременно восстановление экономики, американские военные и надписи на стенах: «Да здравствует мир!» Но в Париже было грустно, а итальянцы выглядели веселыми. Может быть, сказывалось чувство, которое я пережил, когда меня выпустили из Бутырской тюрьмы? Двадцать пять лет Италия была придавлена фашизмом. Никакие репрессии не могли теперь обуздать народ, и поражения не вызывали разуверения. (Я написал эти строки и задумался: может быть, я несправедлив в сравнении? В Париже я долго жил, это город, который я вправе назвать своим, а в Риме я — турист, гость, паломник. Естественно, что я лучше знаю французов и замечаю больше деталей; да и грусть, наверно, охватывает меня потому, что в этом городе прошла моя молодость.)

Кажется, на второй день сессии художник Ренато Гуттузо, с которым я подружился еще во Вроцлаве, организовал ужин: мы встретились с итальянскими писателями, художниками, режиссерами. Гуттузо — страстный человек, настоящий южанин. До сегодняшнего дня он ищет себя: хочет сочетать правду с красотой, а коммунизм с тем искусством, которое любит; он восторженно расспрашивал о Москве и богомольно смотрел на Пикассо; писал большие полотна на политические темы и маленькие натюрморты (особенно его увлекала картошка в плетеной корзине).

Каждый вечер он приглашал Пикассо и меня. Мы ужинали в различных ресторанах, очень хороших, но и очень дорогих. С переводом денег произошла заминка, мы получили их дни за два до отъезда. Стесняясь, я лицемерно говорил: «Разреши мне сегодня заплатить», даже совал руку в карман, чтобы достать бумажник: у меня билось сердце: вдруг не остановит вовремя?… Однако Гуттузо всякий раз брал меня за руку: «Брось! Ты здесь в гостях». Люди, которые с нами ужинали, были интересными: поэты, живописцы, режиссеры; но неизменно приходил кто-нибудь, представляя которого Гуттузо не указывал его профессии. А я не мог понять: откуда у Ренато столько денег? В то время он еще не был знаменитым художником, и я знал, что ему приходится туго. Только когда я уезжал, он раскрыл мне секрет: каждый вечер человек, о профессии которого он ничего не говорил, оплачивал счет, счастливый тем, что сидит за одним столом с Пикассо.

Как-то мы ужинали в ресторане в квартале бывшего гетто, там нам подали «артишоки по-еврейски» (их кипятят в оливковом масле, они раскрываются, как розы, и листики хрустят на зубах). В зале сидела красивая девушка из Калабрии. Неожиданно Пикассо сказал: «Я хочу ее нарисовать». Девушка села, и Пикассо начал работать. Полчаса спустя он показал нам чудесный рисунок в манере Энгра, сделанный на оборотной стороне карточки кушаний. Девушка нам рассказала, что у нее жених, скоро они справят свадьбу. «Что же, покажи портрет жениху, ему поправится», — сказал Карло Леви. Она смутилась: «Боюсь — он у меня ревнивый». Все рассмеялись, кто-то посоветовал девушке продать рисунок: «За него дадут но меньшей мере двести тысяч — у тебя будет хорошее приданое». Она вспыхнула: «Что вы!.. Конечно, денег у нас мало, но мы оба работаем. Я лучше его повешу над кроватью…»

Один богатый меценат устроил прием, на который пригласил всех участников сессии. До приема он накормил обедом Пикассо, Гуттузо и меня. Пикассо утром побывал в Ватикане. Мы

любопытствовали, как ему понравился Рафаэль. Пикассо вежливо отвечал: «Знаменитый мастер», — а потом вдруг признался: «Но вот потолок Микеланджело!.. Не понимаю, как он написал руку Сибиллы…» Хозяин жил в одном из дворцов и собирал старинные щипцы для каминов. По парадным залам с бокалами прогуливались делегаты — болгары, сенегальцы, японцы: все напоминало маскарад былых времен.

Карло Леви — писатель и художник (а теперь ко всему и сенатор). Мы как-то сразу подружились. Этот человек кажется ленивым — ходит медленно и вдруг останавливается на людной улице, увлеченный разговором. Однажды он меня вез в маленькой машине. Это было в тот день, когда Гагарин полетел в космическое пространство. Мы пересекали центральную площадь Колонна. Карло Леви говорил о понятии бесконечности и забыл про правила уличного движения. Полицейский потребовал довольно крупный штраф — нарушение было серьезным. Я попытался вмешаться в драматический диалог: «У нас полицейские снисходительнее к писателям», — рассчитывая, что слава Карло Леви может сыграть свою роль. Полицейский недоверчиво посмотрел на меня: «Где это «у вас»?…» — «В Советском Союзе, в Москве». Полицейский восторженно схватил мою руку: «Ваш человек полетел на Луну!..» Он отпустил нас, не взяв штрафа.

Карло Леви живет возле парка Пинчио в большой захламленной мастерской. Просыпается он не раньше десяти часов. Он написал несколько моих портретов; у мольберта он тоже кажется ленивым — кистью едва касается холста, похоже, что кошка умывается лапкой. Но, бог ты мой, сколько холстов, книг, статей написал этот мнимоленивый человек! В 1949 году я прочитал его книгу «Христос остановился в Эболи»; она автобиографична — молодого Карло, врача-антифашиста, отправили в ссылку на юг, в нищую, пустынную Калабрию, где говорят, что «Христос остановился в Эболи» — дальше этого крохотного городка даже Христос не решился пойти. Карло Леви показывает жизнь нищих, неграмотных крестьян, с любовью раскрывает их душевный мир. Есть в этой книге одна особенность — сразу чувствуешь, что она написана живописцем: читатель видит пейзажи, сцены, людей.

Человек, который кажется ленивым мечтателем, успевает многое сделать: он изъездил далекие страны, участвовал в различных кампаниях, положил много времени, чтобы отстоять тишайшего бунтаря Данило Дольчи, которого сицилийские феодалы хотели уничтожить. Чем объясняется видимость лени? Вероятно, тем, что время для Карло Леви — пешеход, оно бредет,

как бродил по горам Тосканы неутомимый Данте, а не ставит рекорды скорости на автомобильных гонках. Из его холстов мне больше всего нравятся пейзажи с коровами; может быть, дело не только в цвете, Карло должен любить этих животных — они ведь проводят свои дни очень сосредоточенно. Карло Леви далек от куцых истин, воистину абстрактных, и всегда найдет время, чтобы выслушать, задуматься, понять.

На следующий день после того, как я с ним познакомился, он повел меня к себе; жил он тогда на верхнем этаже старого дворца; внизу шевелился разгоряченный Рим. Я рассказал Карло, что мне нужно выступить на митинге в театре «Адриано», и я не знаю, что сказать. Карло улыбнулся: «Что сказать — вы знаете. Но я хочу вам посоветовать: говорите по-итальянски». Я засмеялся: «Это почти так же трудно, как вам выступить по-русски». Он предложил перевести мою речь на итальянский, я ее прочитаю. Я решил рискнуть — когда-то я немного говорил по-итальянски, потом забыл, понимаю наполовину. Мы гуляли но старому Риму. Карло сказал: «Здесь живет один мой знакомый. Он был фашистом, но, в общем, человек неплохой, у него есть машинка, я смогу отстучать. Вы будете говорить по-французски, а я переведу…»

Карло Леви оказался прав: когда на следующий вечер я начал свою речь по-итальянски, все было предрешено — я мог бы говорить любые плоскости, но русский, выступающий по-итальянски, — это было неслыханно, об этом написали даже антисоветские газеты.

Я познакомился с одним из лучших новеллистов Европы — с Альберто Моравиа. Очень давно, в 1939 году, я писал о его романе «Безразличные» — это была история средней буржуазной семьи в годы фашизма: безразличие, равнодушие, скука. Моравиа — писатель трудный, и не по форме, а по содержанию; вероятно, труднее всего он сам для себя. Он живет в чеховском мире без чеховского снисхождения, без жалости, да еще говорит, что его учитель — Боккаччо.

Однако Моравиа мало занимает интрига действия, своих героев он показывает как коллекцию забавных насекомых — не ярких бабочек Возрождения, а озверевших печальных тараканов. Его «Римские рассказы» чем-то напоминают один из фильмов, который меня покорил, — «Сладкую жизнь», — может быть, тем, что автор не в заговоре со своими героями. Я понимаю отношение Феллини к скучающей богатой черни Рима. Труднее понять отношение Моравиа к своим обездоленным героям. В начале 1963 года я был у Пикассо, видел у него злые рисунки, показывающие уродство и скуку сановитых особ. Два дня спустя Пикассо

приехал в Ниццу, мы пообедали, а в пять часов ему вздумалось пойти в кондитерскую, где дамы пьют чай на английский лад. Он долго глядел на старых расфуфыренных женщин, у которых много бриллиантов, а лица, несмотря на косметику, голые, потом сказал: «Я люблю рисовать стариков и старух — к старости все проступает яснее, у молодых черты смазаны. Видишь ли, есть старость бедняков — я ее почитаю, и есть старость скучающих бездельников — над ней я смеюсь…» У Моравиа часто на лице скука, он машинально отвечает: «Знаю… знаю…» Но иногда его лицо светлеет — мне кажется, от подавленной нежности; так и в его книгах вдруг прорываются человеческие чувства, и они ослепляют, как прогалины в темном лесу.

Когда закрылась сессия, итальянцы сказали, что я должен поехать в городок Альбано неподалеку от Рима. Городком я его называю но облику, а большинство его жителей виноделы; в Риме я часто пил светлое душистое вино с окрестных гор — «фраскати», «альбано», «дженэано». (Есть вина, которые, как люди, не переносят перемещения, вина окрестностей Рима, вывезенные за границу или даже на север Италии, теряют и аромат и вкус.) Митинг был в сельском театре, похожем на сарай. Широкие двери были раскрыты, и часть людей стояла на улице. Потом меня повели а мэрию, угощали вином, произносили задушевные речи.

Поздно вечером я возвращался в Рим с секретарем посольства в большой машине, которая на узких уличках казалась особенно неповоротливой. За нами в маленьком «фиате» ехали два журналиста из «Унита». Я с утра ничего не ел и спросил советского товарища, знает ли он где-нибудь поблизости ресторан попроще. Секретарь растерялся: «Может быть, в вашей гостинице?… Я никогда не был в римском ресторане…» — «Вы что, здесь недавно?» — «Скоро год. Но мы ведь обедаем в нашей столовой». Мы остановились, и я спросил итальянских журналистов, где тут можно поужинать. Они ответили, что как раз на этой улице есть маленькая харчевня, они там несколько раз ужинали: хозяин — товарищ.

Ресторан был переполнен; посетители по виду были рабочими. Журналист сказал хозяину: «Покорми нас. Это русские товарищи…» Хозяин принес кувшин вина, маслины, помидоры, колбасу, маринованные артишоки и пошел на кухню ворожить над макаронами. Ему хотелось поговорить с русскими товарищами, но он не мог никому передоверить приготовление сложного соуса к тончайшим, как нити, спагетти. Мы съели по большой миске. На столе появился жареный барашек. Посольский шофер, до этого не обронивший ни слова, вдруг восторженно

сказал: «Вот как они едят!» — и широко заулыбался. Мы одолели и барашка. Хозяина то и дело подзывали посетители. Наконец он подсел к нам и, развернув утреннюю газету, сказал мне: «Я вас сразу узнал, не говорил, чтобы вас не стеснить. Да и все вас узнали…» Он попросил меня надписать фотографию в газете. Когда мы хотели заплатить, он рассердился: «Не нужно меня обижать!..» Он сказал посетителям: «Выпьем за писателя, за советский народ! Вино ставлю я». Люди подходили, чокались, рассказывали, кто о партизанском отряде, кто о митинге на площади Сан-Джованно, кто о своих дочках, и все это было просто, сердечно. Когда в полночь мы вышли из ресторана, секретарь посольства сказал: «Кажется, я за три часа узнал больше про итальянцев, чем за год…» А водитель, все еще широко улыбаясь, пожал мне руку: «Вот они какие!..»

Два дня спустя один из сотрудников «Унита» повез меня во Фраскати — винодельческий городок неподалеку от Альбано: руководители Итальянской коммунистической партии пригласили меня пообедать с ними. Обедали мы в деревянной пристройке, где обычно справляют деревенские свадьбы. Некоторых из итальянских товарищей я встречал раньше — в Москве, в Париже или в Испании, других увидел впервые. Они удивили меня своей простотой, любовью к искусству, разговором, который заставлял порой забыть, что передо мной не писатели, не художники, а члены политбюро большой партии. Тольятти рассказал, что одному из наших киноработников не понравился фильм «Похитители велосипедов», который меня привел в восторг: «Нет конца». Тольятти усмехался: «Но если, показав мост без перил и человека, который падает в воду, заставить тонущего произнести речь о необходимости перил, то никто не поверит ни тому, что оратор тонет, ни даже тому, что он упал в реку. Очень хорошо, что фильм кончается не прописной моралью, а по-человечески…» Слушая Тольятти, я думал о том, насколько он, да и другие товарищи связаны с итальянским народом, с его характером, культурой. Мы встали из-за стола и вышли в садик, там крестьяне, много женщин с детьми, поджидали Тольятти. Одна крестьянка подвела к нему пяток малышей: «Вот, погляди на моих…» Тольятти разговаривал с ними так же естественно, как со мной, В последующие годы я несколько раз беседовал с Пайетой, с Аликатой, часто встречался с Донини, в Движении сторонников мира работал с покойным Негарвилле, человеком большой чистоты и душевной тонкости. Это были живые люди, и думали они не но схеме, говорили не по шпаргалке.

Я рассказал о встрече с итальянскими товарищами. Мне хочется добавить, что и люди, по своими мыслям, по складу

бесконечно от меня далекие, разговаривали со мной дружелюбно, с итальянской непосредственностью. Вспоминаю, как принимал меня в старом Палаццо Веккио мэр Флоренции, набожный католик Ля Пира. Мне сразу показалось, что мы давно знакомы. Он пригласил меня в Фьезоле, там в траттории я встретил сотрудников левой католической газеты; они расспрашивали о жизни в Советском Союзе, рассказывали о тосканских крестьянах; споры походили, скорее, на поиски себя вслух, чем на словесные поединки.

Мне везло: после 1949 года я еще несколько раз побывал в Италии — то заседание бюро Всемирного Совета Мира, то ассамблея Общества европейской культуры, то приглашение выступить с докладами в различных городах, то встреча «Круглого стола». Правда, поездки были недолгими, и приходилось дни просиживать в накуренных залах, но всякий раз я что-либо для себя открывал и все острее чувствовал близость Италии. Побывал я снова и в милой мне Флоренции, и в Венеции, где на уличках кошки спокойно пожирают рыбные отбросы, зная, что их не потревожит треск мотора, и даже в чудесной Лукке, опоясанной древними крепостными стенами, — там что ни дом, то музей, а живут в музейных домах живые страстные современники.

Впервые я увидел Италию полвека назад; многое, конечно, с той поры изменилось. На севере выросли огромные заводы; построили современные рабочие поселки; а туринский музей, кажется, не имеет равного себе во всей Европе и по освещению, и по развеске картин. Поднялся уровень жизни. Возросли тиражи книг — начали читать рабочие, даже крестьяне. Мир раздвинулся: исчез былой провинциализм. По знакомству с советской литературой Италия опередила другие страны Запада, переводят много, причем не случайно, а с отбором. По дорогам, где я когда-то шагал, встречая волов и осликов, несутся вереницы маленьких «фиатов», мотоциклов. Но характер народа, который меня поразил и покорил, когда я был зеленым юношей, остался тем же.

С некоторыми писателями я познакомился — с Витторини, Квазимодо, Павезе, Пазолини, другие, как, например, Пратолини или Кальвино, знакомы мне только по их книгам. Не знаю, на какое место нужно поставить современную итальянскую литературу, да и книга, которую я пишу, не требует отметок. Скажу одно: эта литература человечна. Один кибернетик мне говорил: «Лет через двадцать — тридцать мыслящие машины будут исправлять ошибки в книгах, написанных людьми». Я вполне допускаю, что в недалеком будущем машины заменят не только халтурщиков, но и популяризаторов, эпигонов. Все же

человеку придется исправлять проделанное самой совершенной машиной — ведь то, что машине покажется «ошибкой», может оказаться находкой, открытием, началом творчества.

Мне обидно, что только к концу моей жизни я увидел в миланской коллекции холсты замечательного художника — Моранди. Это главным образом натюрморты — бутылки, скромных три-четыре неярких тона; при всей их философской глубине, в них нет рассудочности, сухости — они взывают к миру эмоций. Моранди не только не жил в Париже, он там, кажется, ни разу не был, этим объясняется, что его холсты мало знают вне Италии. Я его никогда не видел, хотя он мой сверстник, — он жил уединенно в Болонье и писал бутылки. Летом 1964 года я поехал во Флоренцию на встречу «Круглого стола». Я надеялся: ноеду потом в Болонью и увижу Моранди… А Моранди уже не было, он умер за месяц до того.

Итальянские фильмы перевернули кинематографию всего мира. Я познакомился с режиссерами; кроме Дс Сика, узнал Феллини, Висконти, Де Сантиса, Антониони. Пожалуй, они все могли бы стать героями своих фильмов. Говорят, что неореализм победил правдивостью изображения, борьбой против театрализованной игры, краткостью и неожиданностью диалогов. Все это справедливо, но есть еще одно свойство — итальянские фильмы искренни; а искренность отнюдь не считается обязательной даже для весьма честных и весьма одаренных художников.

Удивительно, как быстро вошли в мою жизнь итальянские друзья! Я думаю прежде всего о Карло Леви и Ренато Гуттузо. Я ведь познакомился с ними, когда мне было под шестьдесят, в этом возрасте слишком часто теряют друзей и неохотно обзаводятся новыми. Мы видимся редко — норой несколько дней в году, норой один день за несколько. лет, но всегда говорим о вещах, нам равно близких и дорогих. Хотя они живут далеко, жизнью, непохожей на мою, да и поколение другое Карло много моложе меня, а Ренато мог бы быть моим сыном, я их понимаю, и они понимают меня, мне кажется, что мы кружимся вокруг Земли но той же орбите.

Во время одной из моих последних поездок в Италию я оказался в городке Рокка-ди-Папа над Римом. Автобус, взобравшись на гору, остановился на площади. Оттуда нужно было идти наверх. Узкие улицы, белье на веревках, детвора. Мы подымались медленно, то и дело глядели вниз: виноградники, долины, где-то далеко — сизоватая пустота моря. На крутых уличках шла жизнь, женщины судачили, щепля фасоль. Прошел аббат, ветер вздувал черную сутану. На домике, похожем на

древний форт, висела дощечка: местный комитет Итальянской компартии. На другом таком же доме была изображена лира: музыкальное училище. Наконец мы остановились на крохотной площади, откуда была видна широкая долина. Я думал сразу о многом, о важном и о пустяках. Будь это двадцать лет назад, я взбежал бы, а сейчас сердце колотится. В этом году много винограда. Странно, что я никогда здесь не был. Почему я не был в Мексике, в Сиаме? У слонов необычайные глаза. А здесь ослики — как в Испании. Хорошо бы прожить в таком городке хотя бы неделю! Неделя — это очень много, особенно когда человеку за семьдесят. Странно — время умирать, а я об этом не думаю, на сердце совсем другое. Неделя — это вечность, если есть покой. За обрывками мыслей или, вернее, за клочьями картин во мне было глубокое ощущение спокойствия, счастья, наверно, я отдыхал, хотя Фадеев и уверял, что я не умею отдыхать. Вдруг, оглянувшись, я увидел циферблат: через пятнадцать минут уйдет последний автобус, нужно бежать вниз. Я про себя проворчал: вот только дополз, и пожалуйста — вниз!.. Слишком часто так бывало… Суеверно я повторял старым, оглохшим домам, ослику, вывескам «до свидания», короче, как говорят итальянцы, «чау!».

Вернусь к 4 ноября 1949 года. Я должен был на следующий день поехать в Сицилию — итальянцы предложили нам остаться еще неделю, и я выбрал Сицилию потому, что там никогда не был, а Гуттузо говорил: «Значит, ты не видел Италии…» Под вечер я зашел передохнуть в гостиницу и нашел записку: «Завтра мы вылетаем в Москву — есть указания. С нами поедет Жолио, мы должны приехать до праздников. Желаю вам хорошо провести последний вечер. А. Фадеев». Я не зашел в комнату, а побрел снова по городу — на площадь Навонны. Поднялся холодный ветер, и народу было меньше, чем обычно, а длинная площадь, залитая старинным светом фонарей, походила на танцевальный зал после разъезда гостей. Я глядел на струю фонтана, она взлетала и рассыпалась — как вчера, как много веков назад.

В пражской гостинице «Алькрон» в пять часов утра затрещал телефон. Я едва успел побриться. Фадеев сказал, что мы летим на специальном самолете, в Легнице через час нам дадут чай. На аэродроме чешка приговаривала: «Да вы не улетите, ведь такой туман, что не видно самолета…» Александр Александрович повторял: «Нужно лететь — мы должны сегодня быть в Москве».

Я сел в самолете рядом с Жолио: он сказал, что хочет со мною поговорить. Он начал: «С югославами было нелегко — некоторые члены комитета возражали…» Я вдруг уснул. А проснулся оттого, что Жолио-Кюри схватил меня за руку: «Смотрите!..» В маленькое оконце я увидел куны деревьев с

последними редкими листьями — они были не внизу; а выше нас. Самолет резко развернулся: «Возвращаемся в Прагу — туман»…

На пражском аэродроме мы прошли в буфет. Рядом какие-то люди пили пиво и ели сосиски. Фадеев попытался позвонить в Комитет защиты мира, но никто не отвечал — рано, еще нет девяти. Я сказал Фадееву, что нужно заказать завтрак. Он рассердился: «У нас нет крон. Понимаете?…» Жолио-Кюри шепнул мне: «Как бы раздобыть чашечку кофе? Мне что-то не по себе…» Я сейчас же заказал кофе для всех, хлеб, масло, ветчину (последнюю для Фадеева). Александр Александрович пробовал запротестовать: «Вы с ума сошли! Вдруг мы не дозвонимся до чехов?…» Я махнул рукой. Жолио-Кюри выпил две чашки, съел булочку и вдруг с легкой улыбкой спросил: «Вы думаете иногда о смерти?…»

Пришли чехи. Мы долго сидели на аэродроме: туман держался. Все же мы долетели до Москвы.

20

«Я редко думаю о смерти, но когда думаю, то настойчиво, не пытаюсь уйти от ответа», — говорил мне Жолио-Кюри на пражском аэродроме. «Для человека невыносима мысль, что он исчезнет. Это не физический страх, а нечто более серьезное — неприятие исчезновения, пустоты. Мне кажется, что идея загробного мира рождена именно этим, и пока наука была в пеленках, люди тешили себя иллюзорными надеждами. Знание требует от человека мужества… Отсутствие загробной жизни вовсе не означает отказа от продления. Есть физическая связь поколений, она продиктована природой. Но есть и другая работа, творчество, любовь, то, что остается, когда исчезают и человек, и его имя, и даже кости…»

Эти слова я записал, ко Жолио выразил свою мысль куда лучше восемь лет спустя в эссе «Человеческие ценности науки»: «Не раз мне приводилось бывать свидетелем ужасных разочарований, когда люди вдруг теряли веру. Но… Я хотел бы сказать — но, черт побери, почему загробная жизнь должна протекать в другом, потустороннем мире? Думая о смерти даже в раннем возрасте, я видел перед собой проблему глубоко человеческую и земную. Разве вечность не живая, ощутимая цепь, которая связывает нас с вещами и людьми, бывшими до нас? Если вы позволите, я поделюсь с вами одним воспоминанием. Подростком я как-то вечером сидел над уроками. Работая, я вдруг дотронулся рукой до оловянного подсвечника — очень старой семейной реликвии. Я перестал работать, охваченный волнением. Закрыв глаза, и видел картины, свидетелем которых, наверно, был старый подсвечник… Как спускались в погреб в день веселых именин, как сидели ночью у тела умершего. Мне казалось, что я чувствую тепло рук, которые в течение веков держали подсвечник, вижу лица… Конечно — это фантазия, но подсвечник помог увидеть тех, кого я не знал, увидеть их живыми, и я окончательно освободился от страха перед небытием. Каждый человек оставляет на земле неизгладимый след, будь то дерево перил или каменная ступенька лестницы. Я люблю дерево, блестящее от прикосновения множества рук, камень с выемками от шагов, люблю мой старый оловянный подсвечник. В них вечность…»

(Я начал рассказ о Жолио с разговора о смерти, а кажется, я не встречал человека более живого, чем он. Прошло немало времени с его кончины, но мне трудно себе представить, что его нет, часто я ловлю себя на мысли: жалко, что Жолио не приехал,

он сказал бы, что делать…)

Разговор на пражском аэродроме имел продолжение. В 1955 году Жолио вернулся к той же теме. В Вене было расширенное заседание бюро Всемирного Совета. Жолио в своем докладе утверждал, что накопленных запасов ядерного оружия достаточно для уничтожения жизни на планете. Такая оценка некоторым показалась чересчур пессимистической («Рассуждения специалиста. С политической точки зрения это неправильно…»). Я приехал из Вены в Париж недели на две позднее, чем Жолио: ждал визу. Сразу же ко мне пришел секретарь Жолио — Роже Мейер: «Жолио говорит, что ему придется уйти с поста президента, — он не может поступиться убеждениями ученого…» Инцидент был быстро улажен, Жолио успокоился, но, когда мы встретились, он сразу сказал: «Поймите — это дело совести! Политика — высокая человеческая функция. Но если, несмотря на здравый смысл, на советские предложения, на все, что мы делаем, разразится катастрофа, я вас уверяю — некому будет рассуждать о политической бессмысленности происшедшего… Когда мне вручали в Стокгольме Нобелевскую премию, все было празднично. Я немного нарушил всеобщее благодушие… Я еще не отдавал себе отчета в силе атомной энергии и, конечно, не мог предвидеть Хиросимы, все же я закончил речь предостережением: осторожно! Силы, освобожденные человеком, огромны. Я вспомнил о новых звездах, которые вспыхивают и гибнут. Это было, скорее, образом, чем научной гипотезой… Смерть человека ужасна, но созданное им не исчезает — я убежден, что, несмотря на зигзаги истории, на провалы, несмотря на глупость, она объясняется младенчеством человечества: всего шесть тысяч лет, как оно начало думать, двести поколений, — да, несмотря на глупость, есть прогресс, движение вперед… Верующие считали, что разумные существа имеются только на Земле. Вряд ли… Но если вопреки всему произойдет атомная катастрофа… Что будет тогда? «Новая звезда»? Пустота? Одно поколение передает другому эстафету — я повторяю ваши слова. Но кому мы тогда передадим созданное в течение шести тысяч лет? Вакуум… Вы мне сами говорили, что я — оптимист. Но я повторяю: осторожно!.. Опаснее всего иллюзии. Человеку, который только что женился, нашел новую квартиру, трудно себе представить, что он не успеет расставить мебель, как от всего останется пыль… Виновата не наука, а неравномерное развитие человечества. У некоторых людей, у которых, увы, большая власть, нет ни моральных тормозов, ни элементарных познаний: они воображают, что освобождение атомной энергии — очередное изобретение, нечто вроде парового двигателя или мотора

внутреннего сгорании…»

Нельзя отделить биографию Жолио-Кюри (так его называют в книгах и газетах), Жолио (так его называли люди, его знавшие), Фреда (так звали его друзья) от проблем, и ставших перед нами в связи с рождением новой физики. Утро новой эры человечества я увидел в вечер моей жизни. Конечно, открытия Эйнштейна поразили меня еще в начале двадцатых годов, хотя и их и плохо понимал. Хиросима меня потрясла размерами бедствия, но я не давал себе отчета в происшедшем. Атомная бомба меня возмутила оттого, что она была в тысячу или в десять тысяч раз сильнее обыкновенных бомб. Власть в Америке принадлежала не профессору Принстонского университета, который считался гениальным чудаком с длинными кудрями и с человеколюбием прошлого века, а вполне благообразному современному человеку, стандартному политику, случайно оказавшемуся на посту президента.

Эйнштейна я слушал с благоговением, но пробыл я с ним всего несколько часов. А с Жолио я часто встречался в течение восьми лет. Я его полюбил — его ум, чувствительность художника, интуицию, воистину женскую, смелость, чистоту. Я его не только любил, я ему признателен — он помог мне понять то, что дотоле оставалось для меня закрытым. Его слова, да и его судьба позволили мне увидеть лицо новой эпохи. Нал гробом Жолио его друг Бернал сказал: «Трагедии Жолио была трагедией благородства…» Вечером Бернал добавил: «И трагедией науки…»

Иногда говорят о писателе, что он похож на свои книги. Может быть, и Жолио-Кюри походил на свои труды, не знаю — я слишком невежествен в современной физике, чтобы об этом судить. Но для меня Жолио по своей манере держаться, по разговору, по увлечениям, словом, по душевной структуре, — никак не вязался с представлением об ученом, которое сложилось еще с детских лет: меньше всего он был узким специалистом, аскетом, рассеянным книжником. Впрочем, все рассуждения о прирожденных ученых, писателях, инженерах, музыкантах натянуты и произвольны. Жолио как-то сказал мне: «Я сам удивляюсь, почему я стал ученым? В школьные годы я мечтал стать профессиональным футболистом, мне прочили блестящее будущее. Вышло иначе… Вероятно, что-то притянуло меня к пауке. Я колебался — химия или физика? Очевидно, и здесь не было простой случайности. Не знаю, хватило ли бы у меня для химии усидчивости, терпения… В моем возрасте люди не только давно придали личные черты своей работе, их черты сложились в зависимости от того, что они делали. А меня и теперь удивляет, что я — ученый. Поверьте, с рыбаками Аркуэста я чувствую себя

естественнее, чем на научных заседаниях…»

Вполне возможно, что Жолио не родился ученым, но он им стал и свой дар, свою творческую инициативу, свои силы вложил в науку. Он пережил счастье открытия, когда, но его словам, ему хотелось танцевать, кричать, хлопать в ладоши; он пережил и расплату. Говоря это, я думаю не о многих несправедливостях, связанных с его гражданским мужеством, а о них я все же должен упомянуть. Жолио создал атомный реактор «Зоэ», это было гордостью Франции. Год спустя глава французского правительства снял Жолио с поста верховного комиссара по атомной энергии: политики не могли простить большому ученому, что он стал коммунистом. (Расскажу об одном эпизоде, скорее смехотворном, чем трагическом. Когда шведский король в 1935 году вручил Жолио-Кюри Нобелевскую премию, все стокгольмские газеты писали о молодом французском ученом, а шведские коллеги восхищались им. Но вот Жолио снова приехал в Стокгольм в марте 1950 года — на сессию Постоянного комитета. Газеты молчали. На следующий день я увидел Жолио с чемоданом, — оказалось, его попросили освободить номер: не хотели держать в гостинице «красного».) Говоря о расплате, я думаю не об административных гонениях — они связаны не с открытием искусственной радиоактивности, а с политической ролью Жолио. Его мучило другое — он много раз повторял: «Простые люди начинают ненавидеть науку». Он понимал свою ответственность, говорил и в публичных докладах, и в частных беседах о том, что атомная энергия может принести людям величайшее счастье — освободить их от подневольного труда — и она может погубить человечество. В лаборатории он чувствовал себя хозяином. Но, помимо научных открытий, существует использование этих открытий, и не ученые, а политики решили использовать величайшие открытия Эйнштейна, Резерфорда, Жолио-Кюри, Нильса Бора, Ферми, Гана для создания оружия массового уничтожения. «Доверие к науке поколеблено, — сказал мне Жолио во время одной из наших последних встреч, — люди видят только зло — стронций, лучевую болезнь, картину всеобщей гибели…»

Меня могут упрекнуть в преувеличении роли личности, но я пишу не исторический труд, а книгу воспоминаний и решусь признаться, что Движение сторонников мира для меня неотъемлемо от личных качеств Жолио, от его сознания своей ответственности как ядерного физика, от его умения объединить людей, различно мыслящих. Он часто говорил: «Это не враг, это противник», — к врагам он причислил только людей, которые хотели войны, а противниками называл тех, кто не хотел

примкнуть к движению, считая его прокоммунистическим, но пытался отстоять мир по-своему.

В начале пятидесятых годов климат был суровым: шла корейская война, взаимная ненависть достигла апогея. Но и в те годы я помню, как Жолио пытался защитить то итальянскую католичку Пьяджио, говорившую об ответственности двух сторон, то датчанку Аппель, возражавшую против нападок на политику Запада, то американского пастора Дарра, — Жолио говорил: «С ними можно и нужно спорить, но не здесь, не в движении за мир…»

Конечно, не будь на свете Жолио, наше движение все равно возникло бы, но мне кажется, что оно было бы уже, да и суше. Всё политика — и война, и борьба против войны, но люди, дли которых политика — профессия, и в движении не могли освободиться от своих навыков, от словаря, от формул (именно поэтому Жолио особенно ценил участие в движении Ива Фаржа, в котором ничего не было от профессионального политика).

Движение сторонников мира отнимало у Жолио очень много времени. Однажды он признался мне: «Минутами я сомневаюсь… Близкие мне говорит: «Ты не можешь так продолжать…» Действительно, почему я должен мирить голландских сторонников мира с индонезийскими? Почему ко мне приходят с рассказами о распрях в секретариате? Почему от меня требуют, чтобы я успокоил представителя Гондураса — на следующем конгрессе ему дадут слово не ночью, а днем… Все это могли бы сделать и другие. Мне хочется иметь время для научной работы. А вместе с тем я понимаю, что нельзя провести границу: то-то делаю я, то-то другие. Тем более что все привыкли обращаться ко мне, скажут: «Значит, движение теперь отходит на второй план». Люди, которые меня упрекают, правы — мое место в лаборатории, а не в комиссии, где люди спорят всю ночь, — сказать «потребовать» или «предложить». Там на месте политики — Лоран, Серени, Ненни… Но я хочу, чтобы наше движение расширилось, только тогда мы сможем повлиять на политику Запада. Значит, и должен сидеть в комиссиях…»

Политические проблемы пятидесятых годов остаются и ныне актуальными, живы люди, работавшие вместе с Жолно-Кюри, и мне приходится о многом промолчать. Бывали большие трудности, бессонные ночи, политические распри, а порой и личная неприязнь, не всегда Жолио удавалось примирить людей, приободрить их. Однажды он сказал мне: «Х. меня упрекнул в чрезмерном оптимизме… Для того чтобы быть оптимистом, стоит только призадуматься над историей. Но бывает, что и товарищи-коммунисты удивляются моему оптимизму, вероятно, это связано

с характером ~- не только философия, — физиология…» А между тем я знаю, что Жолио порой переживал очень трудные для него недели, но он умел приободрить не только других — самого себя.

У него была внешность не кабинетного человека, а, скорее, спортсмена; он любил ходить на лыжах, был страстным рыболовом. На стенах его дома в Антонн красовались препарированные головы гигантских щук, которых он выловил. 18 марта 1950 года Жолио исполнилось пятьдесят лет; было это во время сессии Постоянного комитета. Шведские друзья вспомнили дату и на митинге поднесли ему подарок. Мы сидели рядом. Жолио сразу догадался: «Спиннинг!..» На его лине была ребяческая радость и любопытство. Он не решался при всех раскрыть пакет, нагнулся, отодрал кусочек бумаги и, восхищенный, шепнул мне: «Это какой-то особенный бамбук!..»

Летом 1951 года Жолио отдыхал под Москвой; однажды он приехал ко мне в Новый Иерусалим. Он был в хорошем настроении, шутил, перед обедом признался, что у него в Советском Союзе нашелся враг — какая-то травка, которую сыплют повсюду: в суп, на картошку, на мясо (оказалось, что его враг — укроп). После обеда он спросил, нету ли у вас самовара. Таковой оказался: года три назад мне его подарили на тульском заводе. Мы его ни разу не ставили. Начали разжигать щепки, они сгорали, не зажигая угля, или сразу гасли. Жолио дул в трубу изо всех сил. Наконец-то справились с самоваром. Жолио восхищался старыми ветлами, долго рассматривал скворечники и, уезжая, сказал: «Подумать, что мы даже не поговорили о бюро, о секретариате, о Рогге!.. Вот это настоящий день мира!..»

А неделю спустя мы отправились на сессию бюро в Хельсинки. Жолио предоставили вагон-салон; с ним ехала Ирэн Жолио-Кюри. В Ленинграде Жолио попросил меня отвезти его в Эрмитаж. «Мне сказали, что там часть картин, которые я видел пятнадцать лет назад в московском Музее западной живописи…» В то время импрессионисты, не говоря уже о Матиссе и Пикассо, считались противопоказанными для посетителей музея, и ценнейшая коллекция хранилась в фондах; картины висели на щитах. Жолио восхищался, особенно ему нравились пейзажи Сислея, Моне, Писсарро. Когда мы уходили, он сказал: «Я как будто провел целое лето в деревне — другой человек…» Нагнувшись ко мне, он тихо добавил: «Нехорошо лишать такой радости советских людей…» И тотчас добавил: «Это ненадолго, я убежден».

В 1955 году Жолио серьезно заболел, его поместили в госпитале Сент-Антуан. (Он умер в том же госпитале три года спустя.) Это очень старое, мрачное здание. Жолио отвели

отдельную маленькую комнату. Он рассказал, что врачи не уверены в диагнозе, но он наблюдает за собой, записывает, подружился с главным врачом. Потом, разумеется, он заговорил о разрядке — теперь как раз время попытаться расширить движение… Вдруг он взял холст, повернутый к стене, и, смущаясь, сказал: «Я здесь обречен на безделье и занялся живописью. Не судите слишком строго, я ведь никогда не учился, начинаю с азов…» На холсте был пейзаж, который он видел в окно: двор, несколько деревьев, стена дома. Я поглядел второй холст, третий… Жолио спросил: «Очень плохо?…» Я ответил ему, что в его пейзажах есть чувство света, непосредственность, даже наивность, хотя рисунок довольно уверенный. Он сказал: «Забавы пятидесятичетырехлетнего ребенка…»

Весной 1956 года умерла от лейкемии Ирэн Жолио-Кюри. Для Жолио это было тяжелым ударом: они прожили и проработали вместе тридцать лет — в 1926 году молодой лаборант, работавший в Институте радия под руководством Мари Кюри, женился на ее дочери, ассистентке того же института. Они жили дружно, хотя были очень несхожими. Ирэн была сдержанной, молчаливой, и Жолио, обычно разговорчивый, в ее присутствии часто замолкал. Помню ночь, которую мы провели в вагоне-салоне. Ирэн вскоре ушла в купе, а Жолио остался. Он начал говорить об одиночестве, о своей «плебейской природе», о том, как норой человеку хочется вырваться из своей жизни: «Мы все машины, буксующие в колее…» В 1956 году Жолио приехал в Вену. Мы его встречали на вокзале. Вечером он сказал мне: «Ирэн умерла от той болезни, которую мы зовем профессиональной. Теперь мы стали осторожнее, а в тридцатые годы…» Он помолчал и тихо добавил: «Все это нелегко…» Год спустя я был у него в Антони. Он показал мне сад, изумительную стену вьющихся роз. последние тюльпаны. «Ирэн очень хорошо подбирала цвета тюльпанов. Прошлой весной они зацвели, а ее уже не было…» Несколько минут спустя он сказал: «Мною овладела торопливость — хочется успеть что-то сделать. Я не мнителен, но нельзя быть чересчур легкомысленным…»

Еще раньше — в 1956 году — он заговорил со мной о Сталине: «Многие наши интеллигенты после XX съезда заколебались. А мне кажется, что наше Дело шагнуло вперед. Я никогда не обманывался так, как некоторые другие, — о Сталине говорили как о полубоге. Помню, я сказал тогда Х.: «Осторожно! Мы не должны верить в непогрешимость, оставим это католикам. Я видел в Советском Союзе много изъянов они первые начали, не удивительно…» Весной 1958 года, когда он меня пригласил в Антони, он сказал: «Пожалуйста, при детях расскажите о том

хорошем, что у вас делается. А сейчас поговорим о прошлом… Вы все понимаете? Я много думал и все же до конца не понял…»

Коммунистом он стал в очень страшное время — в 1942 году — и до смерти сохранял верность избранному пути. В его выборе сказались не только эмоции, героизм коммунистов в Сопротивлении, борьба против фашизма советского народа, но и логика, размышления ученого. Вспоминая Фадеева, Жолио сказал: «Однажды мы поспорили — вы помните, это было в Вене. — он уговаривал меня отказаться от моих слов, когда я утверждал, что война способна уничтожить жизнь на нашей планете, он повторял: «Мы знаем вас, как верного друга». Я ему ответил, что в дружбе хороша верность, а в политике, как и в науке, нужно не только верить друзьям, но и думать…»

У Жолио было лицо француза, — с тонкими, хорошо вырисованными чертами, да и в характере его было много национальных черт: он радовался порой с легкой печалью, много говорил, но очень редко проговаривался, рассуждая, всегда был точен, логичен.

В Антони я видел, как он возился с внуками — детьми Элен, и вспомнил стихи Гюго «Искусство быть дедом». В доме было много красивых вещей, за обедом хорошее вино, в кабинете фотографии друзей, во всем ясность, свет, радость. Я не знал, что вижу Жолио в последний раз.

На похороны я летел вместе с Л. В. Скобельцыным, который в тридцатые годы работал в лаборатории Жолио: мы знали двух разных людей, а любили одного.

После долгих переговоров между детьми Жолио и представителями правительства похороны разделили на два акта. Вернувшись в Москву, я писал: «Во дворе древней Сорбонны перед часовней XVII века, между памятниками Гюго и Пастера, был установлен катафалк… Стояли, как статуи, солдаты республиканской гвардии в архаических шлемах с конскими хвостами. Стояли министры и послы, академики и сенаторы. Стояли члени ученого совета Сорбонны в красных тогах, отороченных горностаем… А потом уехали министры, ушли гвардейцы. В предместье Парижа Со возле кладбища собрались друзья и товарищи Жолио, сторонники мира, студенты, слушавшие его лекции, рабочие, домашние хозяйки, лаборанты, служащие, простые люди Франции. День был грозовой, под ливнем шли и шли люди, многие плакали; рядом с парадными тяжелыми венками лежали скромные цветы садов и палисадников Франции…»

Вечером некоторые члены бюро Всемирного Совета, приехавшие на похороны, собрались: нужно было обсудить, что

делать дальше. Помню Бернала, Казанову, Спано, Изабеллу Блюм. Мы не могли говорить — слишком свежим было горе. Передо мной стоял живой Фред, и я но мог представить себе, что его больше нет. Да и сейчас, много лет спустя, я вижу его живым, и снова все возмущается: умер… Он говорил, что каждый человек оставляет на земле след, а память о нем трудно назвать следом — это, скорее, рана, рана и веха.

21

Движение за мир организовывало многолюдные конгрессы и митинги. В Риме двести тысяч человек проходили по улицам с зажженными факелами. Нас торжественно принимал президент Польши Берут, а в Дели Неру говорил нам о традиционном миролюбии Индии. Мы относили венки на могилу Ганди и в пещеры, где гестаповцы расстреливали итальянских патриотов. На Варшавском конгрессе мы увидели окровавленную рубашку парагвайского студента Алонсо, замученного полицейскими за то, что он отстаивал мир. Прилетев в Вену, один из делегатов Бразилии умер от инфаркта: не выдержал длинного перелета. На одном из конгрессов мы услышали стихи Назыма Хикмета, на другом пел Робсон, на третьем получитал-полунапевал поэму, прославлявшую братство, старый индийский сказитель. Мы слышали речи опытных парламентских ораторов — Пьера Кота и Нении, блистательные эссе Сартра, молитвы буддийских монахов. Порой наши собрания бывали бурными. В декабре 1956 года в Хельсинки бюро начало работать в девять часов утра, и только на следующий день в восемь часов утра мы пришли к соглашению — проспорили двадцать три часа подряд в душном, накуренном зале. Пять лет спустя мы обсуждали созыв Конгресса за разоружение; это вывело из себя китайских делегатов, и зал шведских кооператоров, привыкший к чинным обсуждениям годового оборота, превратился в ноле боя.

Все же, оглядываясь назад, я с особенным волнением вспоминаю Стокгольмскую сессию в марте 1950 года. Внешне ничего примечательного не было. Приехало человек полтораста. Заседали мы в подвальном зале ресторана (шутя мы говорили: «В катакомбах»). Шведские газеты не упоминали о сессии, и жители Стокгольма нами не интересовались. Да и не запомнились мне речи. Однако в истории нашего движения Стокгольмское воззвание заняло исключительное место. Мы понимали, что обращаемся к миллионам людей, что от успеха или неуспеха нашего призыва зависит многое, и когда Жолио-Кюри прочитал текст (кажется, самый короткий из всех, которые мы когда-либо принимали), нас охватило волнение. Мы первыми поставили подписи под призывом.

За несколько месяцев до Стокгольмской сессии Советское правительство заявило, что оно было вынуждено обзавестись атомным оружием. Западная печать уверяла, что в ядерном вооружении Советский Союз никогда не догонит Америку. О третьей мировой войне говорили как о событии завтрашнего дня.

Одна французская газета устроила анкету: «Что вы будете делать, если русские захватят Париж?» Западная печать называла Стокгольмское воззвание «троянским конем». Журналисты спрашивали меня: не потому ли мы осудили атомную бомбу, что она тормозит захватнические планы Москвы? Перепуганным обывателям мерещились советские танки на Елисейских полях или на Пикадилли. Когда в Америке передали по радио скетч, посвященный воображаемому нападению, началась паника. Один американец рассказал нам, что в Сан-Франциско маленькая девочка, которой старший брат расписывал, как атомные бомбы уничтожат «красных», спросила: «А мы не можем уехать куда-нибудь, где нет неба?…» Взрослые рассуждали иначе: атомная бомба многим казалась защитой, спасением.

Датский журналист, радикал прошлого века Киркеби, с которым я познакомился еще в двадцатых годах, рассказал мне, что сомневался, должен ли поставить свою подпись под Стокгольмским воззванием: он ненавидел войну, но считал, что запрет атомного оружия выгоден одной стороне: «Я спросил мою жену: не кажется ли тебе, что это воззвание косит в одну сторону?» Она ответила: «Может быть. Но атомная бомба косится на наших детей». И она подписала…» Наверно, миллионы женщин и мужчин подписывали текст с таким же чувством.

Произошло чудо: обращение, которое мы приняли в подвальном зале стокгольмского ресторана, облетело мир. Полгода спустя в Варшаве я увидел француженок, итальянок, аргентинок, гречанок, которые обошли множество домов, стучались во все двери. Помню работницу типографии, итальянку, ее звали Фирмина, она собрала восемнадцать тысяч подписей, она рассказывала, как убеждала католичек, монахинь, женщин, боявшихся коммунистов, как дьявола. Бразильцы привезли ящики с листочками неграмотные крестьяне ставили крестики. Пред-ставители Черной Африки показывали палки с зарубками вместо подписей.

Много лет спустя один из военных комментаторов Соединенных Штатов признал, что пятьсот миллионов подписей под Стокгольмским воззванием заставили призадуматься Трумэна, когда во время корейской войны встал вопрос об использовании атомных бомб. Конечно, весной 1950 года мы не могли этого предвидеть, но мы расходились из «катакомб» взволнованные.

Мы приняли воззвание 19 марта. Вечером меня пригласил на ужин левый социал-демократ, сенатор Брантинг. Все было по-шведски — радушно и немного торжественно. Хозяин предлагал тосты, а на столе трепетали тонкие свечи. Ненни говорил о

Ватикане, об Атлантическом пакте. Приятель Брантинга Ялмар Мэр с кем-то спорил о «Скандинавском союзе». Кажется, я мог бы давно привыкнуть к таким вечерам, и все же стеснялся.

Меня посадили рядом с молодой женщиной, Лизлоттой Мэр. Мы говорили по-французски. Вдруг она сказала по-русски: «Я училась в Москве…» Оказалось, что она родилась в Германии; когда Гитлер пришел к власти, ее родители успели выбраться в Париж, а оттуда перебрались в Москву, где девочку отдали в десятилетку. Потом они уехали в Стокгольм, там Лизлотта встретилась с Мэром. Мне сразу стало легче: училась в Москве, — значит, не чужой человек…

Брантинга я смутно помнил по Испании. В тридцатые годы о нем много писали — он обличал Геринга во время процесса Димитрова, организовывал помощь испанским республиканцам. Коллонтай мне рассказывала, что в годы войны он выступал против своих товарищей по партии, которые пытались откупиться от Гитлера уступками. Хотя я четверть века назад много ездил по Швеции, я плохо знал шведов, вернее, у меня было о них несколько абстрактное представление, наверное оставшееся еще от книг Стриндберга. Мне казалось, что чуть ли не любой швед выступает против несправедливости, пишет стихи о смерти и боится житейских пустяков. Потом и подружился с Брантингом, мы вместе работали над организацией встреч «Круглого стола». Мифический викинг был старым одиноким человеком; только в одном я оказался прав — он действительно писал стихи о смерти. Л летом 1965 года он умер, и на минуту встали в памяти тридцатые годы.

Была еще по-прежнему холодная ночь. Я долго бродил по безлюдным улицам. Вместо голубей в Стокгольме — чайки. Им полагается летать над морем, но они, как голуби, предпочитают жить возле людей, в море они кружатся вокруг корабля, а в Стокгольме суетятся на на бережных, беспокойные, крикливые. Ярко и холодно пылали фонари. В освещенных витринах каменели сервизы, пылесосы, рубашки, апельсины. Старик прогуливал толстую таксу. Два матроса шли, пошатываясь, и что-то выкрикивали. Влюбленные целовались, прижавшись к столбу с афишами, под алым ветром Балтики. Длинные пустые улицы. В некоторых окнах свет — там мечтают, ссорятся, плачут, танцуют… Под утро в маленькой комнате гостиницы я записал: «Все дело в людях». Не помню, почему именно тогда я написал слова, которые подходят к любому дню любой жизни.

Шведские власти оказались терпимыми и гостеприимными. Мне часто приходилось бывать в Стокгольме, и этот город вошел в мою жизнь. В Стокгольме (или в других шведских городах)

происходили различные конгрессы, конференции, сессии Всемирного Совета, заседания бюро. Я выступал на митингах в Гетеборге, в Норчепинге. Шведские писатели меня пригласили в их клуб. Я делал доклады студентам Упсалы и Лунда; познакомился с некоторыми министрами, с учеными — Густавсоном и Мюрдалем, встречался с поэтами и журналистами. Швеция неизменно удивляет иностранцев. Эта страна — баловень судьбы: дважды мировые войны ее пощадили. Из сельской идиллической окраины Европы она превратилась в страну передовой промышленности и ультрасовременного комфорта. Ее новая архитектура напоминает мечты наших конструктивистов начала двадцатых годов. Все здесь разумно — и большие окна, и кресла, и яхты, и кухни. Несмотря на это, не только в книгах шведских писателей, но и в рассуждениях любого шведа, после того как он опорожнит бутылку водки, столько противоречий, столько душевного разора, что диву даешься. Видимо, комфорт одновременно восхищает и обкрадывает засасывает и выводит из себя.

Я довольно часто встречаюсь с поэтом, романистом, эссеистом Артуром Лундквистом. Познакомились мы в 1950 году на Конгрессе Мира. Он сын батрака из Скании, и лицо у него, скорее, мягкое, лирическое, А в суждениях он непримирим и душевно сродни не букам, а шхерам. Он почти всегда путешествует, изъездил полмира, и нет ни в его книгах, ни в его жизни даже тени уюта. С ранней молодости он боролся против эпигонов, против социального консерватизма, говорил (и говорит) о торжестве будущего — это оптимист, но на редкость печальный. Я не удивился, услыхав по радио, что во время страшного землетрясения в Агадире Лундквист оказался там: по-моему, земля под ним всегда трясется, но ноги у него длинные и крепкие.

Я был с академиком Д. В. Скобельцыным в Стокгольме, когда Лундквисту вручали Ленинскую премию мира. Это совпало с напряженными днями в приступе «холодной войны»: за неделю до того шведские академики присудили Нобелевскую премию Пастернаку. Церемония вручения премии Лундквисту состоялась в Малом зале Концертного дома Стокгольма. На эстраду вышел человек во фраке и уныло объявил: «Музыкальной части не будет — в связи с событиями квартет распался…» (Оказалось, один из участников знаменитого квартета, «в связи с событиями», отказался играть.) На торжественном ужине — разумеется, со свечами — Лундквист встал, сказал: «В общем, писателям всегда плохо», — постоял, потом сел.

Почему же в Швеции много и «проклятых поэтов», и мрачных

пропойц, и самоубийц? Не знаю, не хочу отделываться парадоксальными гипотезами. Верно одно: «Все дело в людях». А человеку, видимо, мало и артистически приготовленных селедок, и рая из пластмассы.

В середине пятидесятых годов, когда многое на свете оттаяло, Лизлотта рассказала мне о своих школьных годах. Это было время ежовщины. В школу норой приходил то растерянный мальчик, то заплаканная девочка. Лизлотта по-детски влюбилась в одного из учителей. Он исчез. Она увидала Москву в очень трудные годы, и, несмотря на это, а может быть, именно поэтому, в ней осталась любовь к советским людям, к русской речи, к Москве.

Мне хочется прервать рассказ о Стокгольме одной историей. Я должен ее рассказать, хотя она может показаться чересчур литературной, неправдоподобной. Героя истории зовут Андре, у нас его звали Андреем, я не назову его фамилии, — может быть, огласка была бы ему неприятной. Накануне революции в Париже русский эмигрант, литератор, познакомился с молоденькой поэтессой русского происхождения. Родился Андре. Вскоре его отец уехал в Россию, а поэтесса вышла замуж за скульптора, ставшего потом знаменитым. Отчим полюбил мальчика, баловал его. Однажды Андре увидел фильм «Броненосец «Потемкин». Он знал, что его отец в Москве, и решил, что должен уехать в Советскую Россию. Мальчика вписали в паспорт советского художника Штеренберга, и он попал в Москву — к отцу и молодой мачехе. Романтики он не увидел. Мачеха посылала его в очереди. Вскоре он с нею поссорился и ушел к беспризорным. Помню, как его мать, обливаясь слезами, показала мне письмо Андре, которое он написал ночью в аптеке, где прятался от мороза.

При облаве милиция поймала Андре и отвела его в родительский дом. Он учился в школе и подговорил двух товарищей убежать в Париж. У них были велосипеды. Андре украл револьвер. Ночью произошла перестрелка на турецкой границе; пограничники задержали беглецов. Мать Андре поехала к Ромену Роллану, а от него на Капри к Горькому. Времена еще были легкими, и Андре отправили в Болшево — в образцовую колонию. В 1934 году он приехал из Болшева в Москву, спрашивал меня про мать, про отчима. Я с ним проговорил час и понял, что судьба его будет трудной. В 1937 году его отца арестовали. Андре пошел во французское посольство и потребовал, чтобы его отправили в Париж. Никаких документов, подтверждающих, что он родился во Франции, у него не было. В тот же день его задержали и направили в концлагерь. Он отсидел

свое, а когда его освободили, поехал в Москву и пошел во французское посольство. Его снова отправили в лагерь.

Кажется, в 1953 году он написал мне, а я написал о нем прокурору. В итоге Андре освободили. Я увидел уже не подростка, а человека с проседью, который забыл французский язык и не научился хорошо говорить по-русски, не имел профессии, жил то у профессора, то у инженера — товарищей по лагерям. Потом ему разрешили уехать во Францию.

В Париже он пришел ко мне. Он был хорошо одет, рассказал, что вначале ому докучали журналисты, узнавшие от посольства о его необычной судьбе, он отказался отвечать на их вопросы. Получил работу, сносно зарабатывает. Живет с матерью. Помолчав, он тихо сказал: «Но жить здесь неинтересно. Меня тянет назад в Советский Союз. Теперь это уж не глупые мечтания мальчишки, а трезвый вывод человека, которому пошел пятый десяток. Там я узнал настоящих людей…» Когда я рассказал Лизлотте об Андре, она сказала: «Я его понимаю…»

Вернусь к городу, с которым связано и Движение сторонников мира, и многое в моей жизни. Это северный город — там холодно летом, а в декабре куцые дни. Хотя я прожил много лет в Париже, я человек севера. Я знаю, как трудно растопить лед человеческих отношений. На севере любят комнатные растения куда больше, чем в Париже. Да и человеческое тепло особенно ценят там, где люди много молчат и где они сжились с одиночеством.

«Все дело в людях»… В 1950 году мне было под шестьдесят. Конечно, я был много крепче, чем теперь, — мог проработать десять часов подряд, пройти, не останавливаясь, десять километров; но на душе у меня часто бывало смутно; я думал, что не живу, а доживаю, и душевную вялость приписывал возрасту. Я не мог не писать, но писать в то время было нелегко. Я говорю не о всех писателях — о себе. В писательском труде я зависел от злобы дня, от газет, от печального письма, рассказывающего про чужое горе, которому я бессилен помочь. В 1950 году я начал «Девятый вал», писал много, но без внутреннего огня. Меня выручило Движение сторонников мира: чистое и живое дело, хорошие люди. Может быть, и успех Стокгольмского воззвания в первую очередь объясняется людьми. Жолио-Кюри или Ива Фаржа знали миллионы. Но, вероятно, мало кому известная итальянка Фирмина обладала большим сердцем, если ей удалось убедить тысячи незнакомых людей.

Да, многое у меня связано со Стокгольмом. Именно в этом городе в тусклый зимний день, беседуя с Лизлоттой, я впервые подумал о книге, которую теперь дописываю. Не знаю, удалась

она или нет, автору трудно сулить о своей работе, но это действительно моя книга, я лишу ее по внутренней необходимости, пишу искренне, без давней желчи, кото-ран не раз меня спасала, да и бея пайкового меда. Я помню, как мне пришло в голову ее написать: вдруг стало страшно, что умру и не расскажу о людях, которых знал, любил. Годы и жизнь пришли потом — оказалось невозможным рассказывать о других, умалчивая о себе. А когда я решил сесть за эту книгу, я не думал о своих надеждах и заблуждениях: передо мной встала вереница людей ушедших, но близких, теплых, живых.

В суеверном страхе я спрашивал себя: хватит ли сил, времени? В записной книжке среди пометок о заседании комиссии и черновиков резолюции я нашел стихи Тютчева о том, как в старости скудеет кровь, но не скудеют чувства.

В январе 1963 года я был у Пикассо. Пабло вдруг вздумал меня наставлять: «Ты не в том возрасте, чтобы обязательно при всяком случае отстаивать правду. Вспомни молодого человека в Палестине, ему за это пробили руки гвоздями…» Я усмехнулся — Пабло старше меня на десять лет, но в нем больше страсти, даже неистовства, чем в любом юноше, он только то и делает, что отстаивает правду…

Конечно, теперь я хорошо знаю, что такое старость: мотор износился. Я чувствую старость, но о ней почти не думаю. Дело не в возрасте: задолго до того, как приходит смерть, человек не раз душевно умирает и снова рождается, — казалось, костер догорел, под пеплом едва тлела головешка, но вот человеческое дыхание ее разожгло. Все дело в людях…

22

В начале 1950 года я написал заявление: для работы над романом «Девятый вал» мне необходимо поехать во Францию, расспросить о некоторых событиях послевоенных лет. Поездку мне разрешили, это был» удачей; но вскоре я узнал, что французы не дают визы. Представитель министерства иностранных дел сообщил прессе: «Г-ну Эренбургу отказано в визе не потому, что он — коммунист, а потому, что есть все основания полагать, что он лично испытывает неприязнь к Франции».

Прочитав это во французской газете, я рассердился, а потом мне стало смешно. Сколько меня ругали за чрезмерную любовь к Франции! Как раз незадолго до этого я прочитал длинную статью критика, который доказывал, что в романе «Буря» я пытаюсь окружить ореолом даже «беспринципного буржуа Лансье»… И вот, извольте, видеть, Бидо выдает меня за врага Франции!

Тысяча девятьсот пятидесятый год был годом, когда «холодная война» ежечасно грозила перейти в горячую. Летом загремели пушки в Корее. Правда, Сталин занялся вопросами языкознания, но обыватели закупали соль и мыло. Один старик объяснил мне: «Без соли не проживешь. А если придется умереть, нужно в чистой рубашке преставиться…» Весной и летом я побывал в Швеции, Бельгии, Швейцарии, Германии, Англии — повсюду я видел исступление, ненависть, страх. События того времени еще хороню памятны, и я хочу рассказать о некоторых малозначительных эпизодах только для того, чтобы восстановить своеобразный климат конца сороковых — начала пятидесятых годов.

Трудно объяснить, почему я стал любимой мишенью антисоветских журналистов. Может быть, они преувеличивали мою роль, а может быть, их раздражало мое знакомство с жизнью Запада, не знаю, но писали обо мне часто и злобно. В Стокгольме один из французских делегатов дал мне газетку «Руж э нуар», в которой сообщалось, что я недавно избран в Верховный Совет, буду получать ежемесячно десять тысяч рублей и перееду в «дом в роскошном предместье Москвы, в так называемой «запретной зоне», где проживают высшие сановники». Вслед за этим французский журналист спрашивал меня об «исчезнувших»: «Исчезла Тамара Мотылева, еще год назад вознесенная официальной критикой на небеса. Она лишилась всего, даже университетской кафедры, за то, что процитировала фразу Леона Блюма. Исчез Анатолий Софронов, на него обрушились молнии Кремля после того, как он осмелился обличить карьеризм. Исчез

крупнейший романист Советского Союза Михаил Шолохов, который укрылся в деревушке на Волге…»

Во главе французской организации левых писателей тогда стоял Мартен-Шофье. Он написал письмо премьеру Бидо, которого знал по годам Сопротивления, настаивал, чтобы мне выдали визу. Бидо не ответил. Мартен-Шофье опубликовал открытое письмо «Прощайте, Бидо!». Однако на Бидо больше не действовали никакие письма — ни закрытые, ни открытые.

Я решил попытать счастья в Бельгии и Швейцарии туда смогут приехать некоторые французские друзья. Бельгийцы дали визу на две недели, но тем временам это было крайним либерализмом. Общество дружбы «Бельгия СССР» устроило мои доклады в Брюсселе, в Антверпене, в Льеже. Народу повсюду было много, и аудитории были бурными: все тогда теряли спокойствие — и враги и друзья.

В Брюсселе меня пригласила к себе королева Елизавета, вдова короля Альберта, о котором много писали в годы первой мировой войны. Королева меня потрясла. Конечно, это была первая королева, с которой я разговаривал, но, будь она нетитулованной, все равно я изумился бы; ей было семьдесят четыре года, а она ходила быстро, как молоденькая девушка, водила машину, занималась скульптурой, изучала русский язык. Она поговорила со мной о «Буре», которую читала по-русски, показала свои работы, рассказывала о встречах с Роменом Ролланом, спрашивала, давно ли я был у Сталина, как поживают Оборин и Ойстрах. Насчет музыкантов я мог что-то сказать, а о Сталине промолчал: трудно было бы объяснить бельгийской королеве, что советскому писателю куда проще встретиться с нею, чем со Сталиным. Я заговорил о Стокгольмском воззвании. Она сказала, что текст ей кажется прекрасным. У нас нашлась общая страсть — садоводство, я сказал, что очень люблю туберозы, искал о Брюсселе луковицы, но не нашел. Месяца три спустя в Москве я получил из ВОКСа пакет с сопроводительным письмом: «Прилагаемые луковицы переданы на ваше имя в посольство СССР в Бельгии королевой Елизаветой». В конце беседы королева сказала, что придет на мой доклад: «Я сяду в королевской ложе, обычно я сижу в партере, но газеты захотят промолчать о вашем докладе, а если я буду в королевской ложе, им придется написать…»

Королева действительно сидела в королевской ложе, и в газетах появились отчеты о моем докладе.

В Антверпене возле «Зала Рубенса» было много полицейских. Несмотря на безработицу, бастовали докеры; помимо экономических требований, они отказывались разгружать

американские суда с оружием. Одному американскому судну пришлось ночью зайти в маленький порт Зее-Брюгге и там выгрузить оружие. Желая обескуражить забастовщиков, власти арестовали стачечный комитет и среди его членов депутата парламента, докера Франса ван ден Брандена. Забастовка, однако, продолжалась, а ван ден Бранден объявил голодовку, протестуя против незаконных действий полиции. Первого мая рабочие двинулись к тюрьме, требуя освобождения «нашего Франса». Мой доклад состоялся в тот самый день, когда ван ден Брандена освободили. Мы выпили в кафе за его здоровье, за мир. Кругом толпились рабочие. Ван ден Бранден, высокий, худой фламандец, говорил: «Можете быть уверены, в наш порт они не привезут оружия!..» Потом ван ден Бранден и его товарищи пошли в «Зал Рубенса» на мой доклад. Я говорил о Рублеве, о Пикассо, о единстве культуры, о Стокгольмском воззвании.

Вспоминая весну 1950 года, я думаю, что никто тогда не знал, чем все кончится. «Может быть, завтра начнется война» — это можно было услышать на любом перекрестке любого города. Пять послевоенных лет были бурными, пестрыми, противоречивыми. Германская Федеративная Республика была годовалым младенцем, да и НАТО еще барахтался в колыбели. Многим казалось, что можно изменить ход событий. В Брюссель приехал молодой француз, рабочий-металлист Раймонд Агасс: он хотел рассказать мне о драме города Ля Рошелль. Докеры Ля Рошслль отказались грузить суда с военным снаряжением, которые должны были уйти в Сайгон. Власти попытались разогнать докеров, найти «желтых». Тогда в порт двинулись рабочие. Агасса арестовали и предали суду. В день суда над зданием трибунала неожиданно взвился красный флаг. Агасс восклицал: «На войну мы не будем работать! Не выйдет!» Рассказал он мне о событиях в салоне гостиницы «Палас», и дамы, дремавшие в креслах, испуганно убежали.

Две недели спустя в Женеве марсельцы рассказали мне, как судно «Эмнир Маршалл» металось но Средиземному морю — ни в одном порту его не хотели разгрузить. Ко мне приехал товарищ из Ниццы. Там должны были погрузить установки для управляемых снарядов. Военную технику стыдливо прикрыли ветками мимозы, но кто-то обнаружил закамуфлированные установки; завыла сирена, рабочие ринулись в порт.

Бог ты мой, сколько в этом было романтики! Раймонда Дьен отпраздновала в тюрьме день рождения — ей исполнился двадцать один год. Ей слали десятки тысяч поздравительных телеграмм. Что она сделала? Легла на рельсы, задержала на час или на два воинский состав. Но ее имя повторяли сотни

миллионов людей, юноши и девушки повсюду вдохновлялись ее поступком.

Тогда еще не успел сложиться быт послевоенного Запада. В Лондоне в центре города чернели развалины. Пролетая над Германией, я видел скелеты разбомбленных городов. В Англии еще существовали продовольственные карточки. Европа жила бедно, тревожно, суматошно. Битва рабочих во Франции и в Италии была проиграна еще в 1947 году, но всем казалось, что битва продолжается. Пентагону, который вместе с некоторыми монополиями определял политику Америки, помогал всеобщий страх. Я убежден, что Сталин не хотел войны, однако его имя пугало не только буржуазию, но и крестьян, интеллигенцию, даже многих рабочих Западной Европы. Французские газеты писали, что советские танки в течение нескольких дней смогут дойти до Дюнкерка и Бреста. Симона де Бовуар в своих воспоминаниях рассказывает, как писатели, встречаясь друг с другом, спрашивали: «Что вы собираетесь делать, когда советские войска приблизятся к Парижу, — уедете или останетесь в оккупированной Франции?» Камю говорил Сартру: «Вы должны уехать — они вас не только убьют, но и обесчестят…» Трагедия коммунистов была в их изоляции, связанной с подозрительностью соседей, со страхом перед нашествием, с разговорами о «пятой колонне». Антверпенских докеров не поддержали ни фламандские крестьяне, ни многие социалистические профсоюзы.

В Льеже мой доклад устроили в консерватории. Валлонцы — люди темпераментные, и после доклада меня не отпускали — я должен был расписываться на книгах, своих и чужих, на листочках из записных книжек, на членских билетах общества «Бельгия — СССР», на различных карточках. Вдруг чрезвычайно рослый любитель автографов, расталкивая всех, прорвался ко мне и протянул бумажку. Я чуть было не подписал ее, но человек зычно крикнул: «Ваши документы!» Оказалось, он сунул мне полицейское удостоверение: решил на всякий случай проверить, кто этот смутьян.

А в общем, бельгийские власти вели себя корректно. Правда, когда ректор Брюссельского университета попросил министра юстиции продлить мне визу на один день для того, чтобы я мог прочитать лекцию студентам о русской литературе, министр отказал. Но это было в нравах времени.

Бельгии жила лучше соседней Франции: в магазинах было не только больше товаров, но и больше покупателей. Бельгийцы объясняли: «Все дело в Америке…» Директор «Атомного центра» профессор Козенс рассказал мне, что бельгийские ученые, работающие над проблемами мирного использования атомной

энергии, не имеют урана. Он посоветовал мне съездить в загородный музей Конго. Там я увидел кусок темного минерала, под которым значилось: «Уран, Катанга Шинколобве». Это было некоторым объяснением любви американцев к маленькой Бельгии.

Теперь, вспоминая музей и дощечку «Катанга», я думаю о другом: о драме, разыгравшейся десять лет спустя, о судьбе Лумумбы. Экспонаты стремились убедить посетителей музея в богатстве Конго и в духовной неполноценности его туземцев: благородные миссионеры, культурные колонизаторы и уродливые, дикие негры. Уран, золото, медь, олово, слоновая кость, каучук… Десять лет спусти к этим сокровищам можно было добавить реки человеческой крови.

Я познакомился с сенатором-социалистом Анри Ролленом. Он наговорил мне много неприятного о советской политике, а потом неожиданно сказал, что находит Стокгольмское воззвание разумным. Конечно, я тогда не мог себе представить, что Роллен станет одним из инициаторов встреч «Круглого стола», что я буду у него дома дружески разговаривать с ним о литературе, что на митинге в Брюсселе, где он будет председательствовать, после меня выступит Жюль Мок и скажет: «Мой друг Эренбург предлагал…» Я говорил, что политика часто вмешивалась в человеческие отношения — рвались дружеские связи; бывало и наоборот — вчерашние недруги начинали благожелательно улыбаться. Я думал: такой-то очень изменился, а такой-то считал, что изменился Эренбург; наверно, мы все менялись, а больше всех менялось время.

Бельгия меня удивляла контрастами. Центр Брюсселя был освещен куда ярче Парижа, световые рекламы неистовствовали, как на Бродвее. Но стоило отойти в сторону — и в теплый вечер у старинных домов судачили старушки в чепцах. Люди читали в газетах ужасные предсказания об атомной войне, а потом работали, мирно калякали, пили пиво. В старых городах Фландрии сплетницы с помощью прикрепленных к окнам зеркалец видели, что происходит на улице, оставаясь невидимыми. Писатели, которые принимали меня в Пенклубе, сначала судорожно говорили о надвигающейся войне, спрашивали, не ждет ли их участь Ахматовой и Зощенко, а потом начинали спорить о Сартре, о Кафке, о Маяковском.

Я поехал в Остенде, чтобы повидать художника Пермеке. На побережье было много разрушенных зданий. Проезжая мимо Ля Панн, я вспомнил, как писал «Хуренито». Где же та гостиница?… Чернел кусок обугленной стены.

В Брюсселе я пошел к Элленсу. Он говорил, что кругом

бестолочь, слепота, трудно разобраться. Я его удивил, сказав: «Самое трудное, что мы противоречим самим себе…»

Действительно, было много противоречивого не только в жизни Бельгии, но и в голове человека, размышлявшего над бельгийскими противоречиями. Я сидел в Брюсселе и читал статьи финансистов о дивидендах «Верхней Катанги», о том, как американский трест «Группа А — Б» купил миллион шестьсот тысяч акций у англичан и бельгийцев: злоба дня продолжала меня волновать. А попав на посмертную выставку Энсора, я погрузился в другую стихию — исчезли и уран, и Ван-Зееланд, и Ачесон. Я глядел на пустынные пейзажи, на шествие розовых масок, на одинокого извозчика, уснувшего навеки в эпоху Верлена и Малларме. Кажется, почти всю свою жизнь я жил одновременно в различных мирах, два человека сосуществовали, и порой далеко не мирно; в тот год я это чувствовал особенно остро.

Швейцарскую визу я попросил еще в Москве. В Брюсселе меня вызвали в посольство Швейцарии: визу мне дадут, но я должен подписать заявление: «Я, нижеподписавшийся, Илья Эренбург, обязуюсь во время моего пребывания в Швейцарии воздерживаться от какой-либо политической деятельности, в частности не выступать с докладами и не появляться на собраниях, как публичных, так и частных, также не устраивать пресс-конференций».

Я исправил текст и перед словом «собраниях» вставил «политических». Дипломат сказал, что запросит по телефону Берн. Я прождал добрый час. Наконец дипломат уныло мне сообщил, что я не должен показываться на собраниях не только политических, но и культурных, религиозных или литературных. Он добавил, что я могу посещать богослужения и ходить в кино.

Когда я приехал в Швейцарию, в Сен-Галлене шла конференция швейцарских писателей. Я получил приглашение, но власти мне напомнили, что я обещал не показываться на собраниях. Я не решился даже пойти на концерт чехословацкой музыки.

Нейтральная Швейцария была вовлечена в водоворот «холодной войны». В Цюрихе мне дали циркуляр биржевого агентства «Аффида»: «…Тот факт, что Россия теперь также обладает атомной бомбой, вызовет еще более быстрый рост американского вооружения. Ввиду этого на бирже наблюдается оживление с так называемыми «младенцами войны», то есть с акциями предприятий, которые но время второй мировой войны благодаря военным заказам шли на повышение. Мы прилагаем краткое описание «Локхид эйркрафт корпорейшн», акции

которого приносят проценты, превышающие обычные, а именно 6,7 процента…» Я ознакомился также с размышлениями педагога, продиктованными ученикам старшего класса сионской гимназии для упражнений в переводе с французского языка на немецкий: «…Пусть русские придут, они узнают нашу храбрость. Мы отомстим этим медведям за наших задушенных друзей, за наших похищенных жен. Эти разбойники хотят похитить у нас нашу отчизну, они уже собрали солдат и подошли к предгорьям наших Альп…»

Разумеется, я встречал швейцарцев, равнодушных к акциям и ненавидевших ненависть; в Женеве дирижера Аисерме, в Базеле — теолога Барта, в Люцерне — художника Эрни. Мне хочется сейчас, рассказать о замечательном эллинисте Андре Боннаре. С ним я познакомился на Парижском конгрессе. Теперь он пригласил меня к себе в Лозанну. Мы говорили о Микенах, о советской поэзии, о мире. Потом я прочитал его книги, и они помогли мне понять многое в культуре Эллады. Я встречал Боннара и позднее — побывал еще раз у него в Лозанне, беседовал с ним на различных конгрессах мира. Я пишу о нем в этой главе потому, что вечер его жизни тесно связан с «холодной войной». Он был на три года старше меня и принадлежал к последним гуманистам Запада. Никогда не занимавшийся политикой, он одним из первых примкнул к Движению сторонников мира. В 1952 году, когда он ехал на сессию Всемирного Совета, его задержали в Цюрихе и предъявили нелепейшее обвинение в разглашении государственной тайны. Судили его полтора года спустя и приговорили условно к пятнадцати дням тюремного заключения; приговор достаточно показывает вздорность обвинения — оправдать его судьи Берна все же не решились: боялись тем самым обвинить швейцарскую полицию.

Редко можно встретить такого бескорыстного, честнейшего и чистейшего человека, каким был Боннар. Он любил поэзию Древней Греции, ее памятники, жизненность ее искусства, любил студентов, которым читал лекции, любил мир. На суде он сказал: «Вы теперь должны вынести приговор. Это вопрос вашей совести. Моя совесть чиста… Здесь говорили о моем гуманизме, но гуманизм для меня не наука кабинетного ученого, а нечто другое — законы, определяющие жизнь. Я также хочу сказать, что неправильно пытались доказывать, что во мне гуманист подозрительно сосуществует с другой половиной с тем, кого слишком обобщенно называли «коммунистом». В действительности эллинизм для меня был долгой всепоглощающей школой. Пытаются отрезать переводчика

«Антигоны» от сторонника мира, а на самом деле это тот же человек. Нет, господа судьи, я не существо с двойной жизнью, каким меня здесь изображали… Не думайте, что литература лишь для того, чтобы ее читали, она создается для того, чтобы ее воплощали в жизнь. Если бы она не учила искусству жить, она была бы только игрой и я никогда не посвятил бы ей свою жизнь…»

Страшная была эпоха, когда к книгам относились, как к бомбам, когда мирная и нейтральная Швейцария могла судить свою гордость, Андре Боннара, и попытаться его замарать. А он после суда мягко улыбался и с надеждой глядел на детей: «Им будет легче…»

Я пробыл в Швейцарии десять дней: приезжали друзья из Парижа, Гренобля, Марселя, Лиона, Ниццы; я слушал, записывал, а вечерами сидел на террасе кафе, озеро мне казалось то притихшим на минуту морем, то искусственным бассейном, устроенным для почтенных англичанок или туристов из Оклахомы. Глядя на воду, я в тысячный раз думал о том, что жизнь — это очень странная пьеса — трагедия, которая сбивается на фарс, один актер плачет, другой почему-то смеется, и для того, чтобы принять происходящее на сцене, нужно, видимо, быть очень мудрым или круглым дураком. А обыкновенному человеку остается работать, читать газеты, смотреть на озеро, если таковое имеется, и не пытаться разгадать замысел чересчур сложного автора.

Приехала на несколько часов Дениз. Мы долго глядели друг на друга, — может быть, снова захотели понять, что с нами случилось. Потом я вдруг сказал: «Это было в другой жизни…» Она ответила «да» и улыбнулась смутной улыбкой — как когда-то.

Виза истекла. Я поехал в Берлин. Там «холодная война» была бытом. В Восточном Берлине на троицу проходила «встреча молодежи». Юноши и девушки в синих рубашках или блузках маршировали, пели песни, слушали речи ораторов. Все это происходило среди развалин. Одна сторона Потсдамерплатца принадлежала демократической республике, на другой стояли американские солдаты. Парни в синих рубашках запускали пачки листовок, на них была воспроизведена пикассовская голубка. В ответ летели апельсины, и какой-то бурш в клетчатой рубашке вопил: «Апельсинов-то у вас нет…»

Границу все время переходили люди — шли на работу, повидать родственников, купить что-либо. Я несколько раз отправлялся в Западный Берлин. Напротив «Романишес кафе», где я когда-то сиживал с Моголи Надь, Маяковским, Вальтером

Мерингом, Тувимом, была биржа — меняли «восточные» марки на «западные». Тем же занимались сотни менял в бараках или в отремонтированных нижних этажах разрушенных домов. Курс в то время был фантастическим — за одну «западную марку» требовали семь «восточных». Побриться стоило одну марку в обеих частях города. Экономные бюргеры западных секторов брились в восточном — у них оставалось после этого шесть марок. Хозяйки западных секторов покупали в восточном овощи, хозяйки восточного сектора несли домой в кошелках кофе, апельсины, бананы. Магазины на Потсдамерштрассе бойко торговали английской материей; в витринах красовалисьиадписи: «Принимаем восточные марки»; а расчетливые бюргеры Шарлотенбурга несли шевиот портным на Александерплатц — костюм обойдется втрое дешевле. На Курфюрстендаме танцевали самбу, пили рейнвейн, разглядывали полуголых визгливых певичек. А в Восточный Берлин любители отправлялись смотреть пьесу Брехта. В Западном Берлине было довольно много безработных, но американцы не жалели денег — перед ними был не город, а выставка капиталистического рая, безработным давали пособие — сто марок в месяц, и безработные говорили своим родственникам или друзьям, проживавшим в Восточном Берлине: «Мы ничего не делаем и получаем семьсот ваших марок».

В восточном секторе было много книжных магазинов. На столбах красовались политические плакаты или афиши — «Разбойники» Шиллера, диспут «Нужно ли нам искусство». В Западном Берлине пестрели рекламы; маленькие магазины выставляли предметы роскоши. На Курфюрстендаме были переполнены рестораны, кафе, кабаре. Вывески напоминали о далеком прошлом: «Ликеры Маппе», «Ресторан Кемиинского». Мне было десять лет, когда я впервые ел у Ашингера сосиски. Все рухнуло: империя Вильгельма, Веймарская республика, третий рейх и вот передо мной сосиски Ашингера. Правда, помещение не то — закусочная в полуобвалившемся доме, но бюргеры довольны: жизнь восстанавливается, старая, надышанная, хорошо знакомая.

Громкоговорители двух Берлинов с утра до ночи обличали друг друга. Это, как и многое другое, напоминало фронт. Печать Западного Берлина уверяла, будто «красные» устраивают «встречу молодежи», чтобы захватить весь город. Американцы, англичане, французы выставили орудия, танки. Но не было ни снарядов, ни пуль, только много листовок и немного апельсинов.

У войны свои законы, она неизменно обкрадывает духовный мир человека, упрощает его суждения, превращает своего в

святого, а врага в плакатное чудовище. В этом «холодная война» напоминала все войны. Если Москва или Нью-Йорк были тылом, то берлинцы жили на переднем крае. А писателю трудно ограничиться короткими лозунгами, иконописью или карикатурами.

В Восточном Берлине я встретился с Брехтом, с Анной Зегерс, с Арнольдом Цвейгом. Газеты Западного Берлина на них нападали, называли «продавшимися Москве», «карьеристами», «приспособленцами». Это было глупо — ведь любой житель Восточного Берлина мог перейти Потсдамерплатц и оказаться в том мире, который на Западе именовался «свободным», а подкупить было куда легче на «западные» марки, чем на «восточные». Анна Зегерс приехала в демократическую республику из Мексики, Брехт из Соединенных Штатов, Цвейг из Палестины. Но и в Восточном Берлине некоторые критики нападали то на Брехта, то на Цвейга, то на Зегерс. Помню долгий спор с одним из людей, которым чуждо, а может быть, и враждебно искусство. Мой собеседник уверял, что в роман» Зегерс «Мертвые остаются молодыми» чувствуется симпатия к гитлеровцам, есть там даже антисемитские ноты; Цвейг — «полусиоиист-полумистик», который смотрит одним глазом на Израиль, другим на Запад; что касается Брехта, то это «неисправимый формалист», упрямец, выступающий против реалистического изображения действительности, в его пьесах «нарочитая фантастика». Я возражал, говорил, что Цвейга никто не тащил из Палестины в Берлин, что Анна Зегерс не может быть антисемиткой — она еврейка, ее мать гитлеровцы убили в Освенциме, а насчет избытка нарочитой фантастики в Берлине лучше промолчать — этот город превосходит фантазию и Брехта, и По, и Гойи. Горячился, конечно, зря: есть люди, которые умеют говорить, но не слушать.

Брехта я знал давно; беседовать с ним было нелегко: часто он казался отсутствующим, такое впечатление обманывало — он слушал, многое подмечал, норой усмехался, Однако всегда его окружала атмосфера мира, в котором он жил, — не Парижа или Берлина, а некоей страны, которую я про себя называл «Брехтией». Его фантазия, как и его философия или поэзия, была не литературным приемом, а природой: он был не просто поэтом, а поэтом неисправимым. Всегда он ходил в куртке, не завязывал галстука, курил крепкие черные сигары, держался скромно, говорил тихо, и, несмотря на все это, многие, как я, в его присутствии испытывали беспокойство. Думаю, что это происходило от чересчур интенсивной внутренней жизни молчаливого, казалось, рассеянного человека.

Вспоминаю последнюю встречу у Анны Зегерс. Это было осенью 1955 года, за несколько месяцев до его смерти. Анна спрашивала: «Кого из писателей реабилитировали после Бабеля?…» Я ей привез старый лубок: Бова-королевич вызвал на поединок Смерть. Брехт попросил перевести текст и насторожился, я почувствовал знакомое мне беспокойство.

Один автор Западной Германии в книге, посвященной Брехту, говорит, будто поэт «хитрил», был «расчетлив» в своих решениях. А хитрость Брехта была хитростью ребенка и все его «расчеты» — просчетами поэта.

В Москву я вернулся в начале июня, рассказывал о поездке, о Берлине. Савич меня спросил: «Ну как, по-твоему, будет война?…» Я ответил: «Ни в коем случае». Еще раз я оказался плохим пророком: две недели спустя началась война в Корее, которая долго угрожала стать мировой.

23

Мы жили на даче возле Нового Иерусалима. Лето было на редкость дождливым, и я почти весь лень писал газетные очерки, а по вечерам слушал радио. Хотел сесть за роман, когда позвонили: нужно ехать в Лондон на конференцию мира — вопреки ожиданиям, англичане дали визу.

На аэродроме меня встретили английские сторонники мира и секретарь нашего посольства, который отвез меня в гостиницу. Номер был роскошный, с ванной, и я думал, что смогу как следует выспаться. В «Ивнинг ньюс» на первой странице я увидел статейку с заголовком «Почему впустили Илью?». Я считал, что англичане, скорее, чопорны, чем фамильярны, и заметка меня озадачила. Ночью меня то и дело будили какие-то крики; в полусне я смутно думал: почему англичане кричат ночью на улице? Раньше такого не было… Утром я узнал от директора гостиницы, что был невольной причиной шума. Один из участников фашистской организации Мосли принес портативную трибуну и начал меня проклинать: я организовал войну в Корее, приехал в Англию для подрывной работы и так далее. Поскольку Хартии вольностей гарантирует свободу слова, полицейские ограждали оратора. Директор гостиницы сказал, что многие постояльцы жаловались, и он вынужден попросить меня переехать в другую гостиницу.

В посольстве мне сказали, что летом в Лондоне вообще трудно найти комнату, а теперь какой-то конгресс да еще большой футбольный матч. Просидев полдня на заседании и выступив (то есть убедив убежденных в том, что мир лучше войны), я отправился по указанному адресу. Это была третьеклассная грязная гостиница, меня провели в крохотную чердачную комнату. Я помылся и не успел даже опомниться, как за мною пришли — в Вестминстерском дворце меня ждут депутаты-лейбористы.

Корейская война взволновала всех — люди боялись, что она может перейти в третью мировую войну. Английские газеты уверяли, что военные действия начала Северная Корея. До Кореи далеко, и лейбористы так же мало знали о том, что произошло 25 июня на 38-й параллели, как я, но считали, что коммунисты — зачинщики. Правда, среди лейбористов не было единомыслия, и некоторые депутаты говорили, что если военные операции и начали войска Северной Кореи, то Ли Сын Ман все же не заслуживает ни уважения, ни поддержки. Однако таких было мало (помню двоих — Э. Хьюза и С. О. Дэвиса). Большинство

возмущалось «корейскими сателлитами Москвы». Напоминало все это, скорее, допрос, чем беседу и продолжалось до девяти часов вечера.

В Лондоне ужинают рано, и депутаты поели до встречи. Э. Хьюз провел меня в ресторан парламента, угостил пивом. Когда мы вышли, все рестораны уже были закрыты. Я позвонил в посольство и сказал, что я и английский коммунист, любезно согласившийся быть моим переводчиком, испытываем нестерпимый голод. Мы поехали в посольство, нас угостили рижскими шпротами и крабами «чатка»; это был настоящий пир. Расплата последовала быстро. Когда в час ночи я в такси добрался до гостиницы, мне сказали, что номер мне сдали по ошибке. Туалетные вещи положили без меня в чемодан, который и красовался у швейцара. Я возмущался, но швейцару хотелось спать, и он ничего не отвечал. Пришлось вернуться в посольство, там все спали; дежурный сказал, что я могу лечь на диван, где обычно ожидают приема посетители, но ни постельного белья, ни подушки у него нет.

Утром за мной приехал Айвор Монтэгю, повез на собрание и вдруг неожиданно объявил, что нам пора ехать: назначена моя пресс-конференция. Я ответил, что не могу показаться перед журналистами в измятой рубашке, придется заохать в посольство. Лондон очень большой город, и Монтэгю ответил: «Это невозможно. Лучше купить рубашку». — «Но где я могу ее надеть?» — «В уборной». Когда мы подъехали к помещению, оказалось, что полтораста журналистов уже ждут меня. Монтэгю показал себя умелым полководцем: вместе с двумя сторонниками мира он закрыл путь в уборную и дал мне возможность переодеться.

Должен признаться, что после пресс-конференции мне снова пришлось переменить рубашку: зал был набит журналистами, и вели они себя настолько вызывающе, что меня бросало в пот. Я понимал, что должен быть спокойным для тех немногих, которые действительно интересовались моими ответами, однако это внешнее спокойствие стоило сил. Я бывал на сотнях пресс-конференций, но ничего подобного не видел. Все время меня прерывали. Один журналист подбежал и крикнул: «Нечего выворачиваться. Отвечайте прямо — «да» или «нет»?»

На Трафальгар-сквер устроили митинг. Народу пришло много. Ассошиэйтед Пресс сообщило, что присутствовало десять тысяч, ТАСС назвал цифру «двадцать», наверно, было тысяч пятнадцать. Я оглядел площадь, памятник адмиралу Нельсону, смутился, но быстро взял себя в руки и произнес речь. Сразу после этого пошел сильный дождь, толпа начала редеть. Когда

митинг кончился, я закурил, у меня в кармане был советский коробок спичек с фабричной маркой — серп и молот. Незнакомый журналист попросил подарить ему коробочку. На следующий день отчет о моем выступлении был снабжен фотографией: «Спички, которыми Илья собирается поджечь Англию». В другой газете я прочитал: «Илье Эренбургу хочется написать новый роман «Падение Лондона».

Монтэгю нашел комнату в гостинице, где меня не беспокоили, — это было великим делом. Вообще Монтэгю много раз меня выручал. Познакомился я с ним в 1948 году на Вроцлаве ком конгрессе. С тех пор в течение пятнадцати лет я неизменно видел его на всех заседаниях и совещаниях сторонников мира; он не выступал с речами, но работал изо всех сил. Внешне он напоминает не благопристойного джентльмена, а одного из посетителей той «Ротонды», куда я ходил юношей; на нем множество пестрых свитеров и жилетов, которые на заседаниях он постепенно снимает. Биография его еще экзотичнее. Он рос в богатой семье. Его отец был лордом, либералом. Айвор в ранней молодости увлекся Октябрьской революцией, побывал в Москве; потом стал коммунистом. Я как-то с ним бродил по восточным, рабочим кварталам Лондона. Прохожие его узнавали, некоторые начинали беседу — он не раз поддерживал кандидатуру коммунистов в этом районе. В молодости он занимался зоологией и обогатил зоопарк Лондона различными зверьми. Из Ленинграда он повез в Лондон на советском пароходе медвежонка. На третий день медведь лег в каюте Монтэгю и проспал до Лондона. Команда призналась, что медвежонок всем надоел, бродил но судну, гадил, и матросы решили его напоить — отдали ему свою водку. Потом Айвор Монтэгю занялся кино; помогал Эйзенштейну в Мексике. Он продолжал работать над проблемами кинематографии и телевидения. Есть у него еще одно увлечение, о котором нельзя промолчать, пинг-понг, он председатель всемирного объединения ревнителей этого спорта. Айвор любит искусство; он очень доверчив и вместе с тем упрям; словом, это человек, который мне всегда казался понятным, хотя рассуждает он путано, а по-французски говорит настолько своеобразно, что французские слова порой кажутся английскими. В 1950 году, когда положение коммунистов в Англии было очень трудным, Монтэгю спокойно беседовал с политическими противниками: его необычность, очевидно, многих обезоруживала.

Один известный английский писатель, который на пресс-конференции не присутствовал, но был в то время настроен против Советского Союза, сравнил меня с «большой немецкой овчаркой» и посоветовал поскорее убраться в Москву. Я не

называю этого писателя — мы познакомились с ним позднее, а лет шесть или семь спустя он изменил свое отношение к сторонникам мира, а заодно и ко мне.

Хуже было с выступлением в английском парламенте одного из лейбористов. (Имени его я тоже не называю, я его потом не встречал, не знаю, что он теперь думает, и отношу инцидент, о котором хочу рассказать, к климату «холодной войны».) Сотрудники журнала «Нью стейтсмен» пригласили меня на ленч; там я с ним познакомился. Разговаривали мы долго три часа, переводил с французского на английский Монтэгю. Разговор шел, разумеется, о мире и войне. Я рассказал об интересной статье во французской газете «Ле монд» и сказал, что ни французский народ, ни английский, видимо, не хотят воевать, настроения простых людей сильно отличаются от речей политиков, да и от того, что пишут в газетах. После этого депутат выступил с речью в палате общин. Он сказал, что недавно обедал со мной. Один консерватор его прервал: как может английский депутат сесть за стол с Ильей Эренбургом? Депутат-лейборист ответил, что хотел узнать врага. После чего он заявил, будто я говорил ему, что англичане, как и французы, не способны воевать ни морально, ни физически. Он сравнил меня с Риббентропом, который докладывал Гитлеру, что англичане не окажут никакого сопротивления. Прочитав это, я написал письмо в «Тайме». Написал письмо и Монтэгю. Но всякие такого рода опровержения мало кого интересуют, дело было сделано: Эренбург — это Риббентроп, немецкая овчарка, человек, который подготовляет нападение «красных» на Великобританию.

За полгода до этого правая французская газета писала: «Было бы глупым впустить к нам снова Илью Эренбурга. Мы слишком хорошо знаем этого молодчика. В красной России он играет ту же роль, что играл Фридрих Зибург в нацистской Германии, который, объясняясь в любви к Франции, был квартирмейстером вермахта. Автор «Бури» прокладывает дорогу сталинским легионам. Эренбург во Франции был бы еще одним агентом ГПУ. И каким! Он хорошо знает джунгли Парижа, вхож в различные круги общества, это любимчик эстетов и снобов, он стал бы главным звеном бесконечной цепи шпионажа».

Меня пригласил Английский совет мира — эта организация, объединяла дюжину пацифистских движений, лиг, обществ: и квакеров, и толстовцев, и противников воинской повинности. Среди моих собеседников я увидел Зиллиакуса, человека, с которым десять лет спустя подружился. Я сразу почувствовал недоверие, даже подозрительность — такое уж было время. Мы обсуждали возможность совместных действий для прекращения

войны в Корее. Постепенно мне удалось смягчить неприязнь, разговор начинал принимать благоприятный характер. Испортила дело секретарша английского Комитета сторонников мира. Она подошла ко мне и шепотом спросила: «Может быть, вы устали? Я могу попросить, чтобы вам дали чашку чая…» Настроение собеседников изменилось; они не знали, что речь шла о чашке чая, и начали шептаться между собой: овчарка обернулась волком, на котором чепчик бабушки…

В субботу часов в пять, то есть именно в то время, когда все англичане, богатые и бедные, правые и левые, пьют чай, я подошел к зданию нашего посольства и увидел странную картину: толпа молодых людей, кинооператоры, полиция. Оказалось, за пять минут до того молодые приверженцы Мосли начали швырять камни в посольские окна; полиции тогда не было, но кинооператоры были своевременно предупреждены и засняли демонстрацию народного протеста против «красных», продолжающих агрессию в Корее. Посол Зарубин показал мне камни. Комнату подмели, убрали осколки стекол. Посол при мне позвонил министру иностранных дел Бенину, который уже отдыхал на даче, попросил о срочном приеме. Потом посол стал диктовать ноту протеста. Все это я видел впервые, и Зарубин, заметив, что я увлечен происшедшим, предложил мне остаться, подождать его возвращения. После беседы с Бевином он сказал, что министр мялся, разумеется, осудил хулиганов, обещал принять меры и так далее…

Я побывал в Кембридже: Монтэгю повез меня к одному из крупнейших физиков — Дираку. Приняли нас хорошо. Я заговорил о Стокгольмском воззвании. Дирак сказал; что считает атомную бомбу преступлением, но политикой не занимается. Пришел его сын, подросток, учившийся в колледже, и попросил меня надписать «Падение Парижа». Дирак сказал: «Вот это — новое поколение, он у меня красный…» Я ответил, что для «Дейли мейл» и сам Дирак «красный» — ведь ему не нравится «холодная война» и он с уважением говорит о Жолио-Кюри. Дирак рассмеялся. (Жолио-Кюри мне как-то рассказывал, что Дирак сделал важное открытие в квантовой механике, когда ему еще не было тридцати лет.) На два или три часа я забыл о «холодной войне», слушая интересного, своеобразного человека. После обеда Дирак осторожно спросил меня, что случилось с его другом Капицей, в газетах сообщали, будто он арестован. Как раз перед моим отъездом мне рассказали, что Капица (чем-то рассердивший Сталина) продолжает работать, и я ответил Дираку, что Капица на свободе, у него лаборатория. Я почувствовал, что Дирак и его жена хотят мне верить, но не

решаются. Госпожа Дирак спросила, могу ли я взять несколько мотков шерсти для жены Капицы — она любит вязать. В меня впились четыре глаза. Я ответил, что охотно передам подарок. Сразу всем нам стало легче. Таково было время, и таковы были человеческие отношения…

В Лондоне я впервые по душам поговорил с Берналом. Он был и во Вроцлаве и в Париже, но там я встречал его только на заседаниях, а в Лондоне он позвал меня к себе. Впоследствии мы часто встречались, порой подолгу беседовали, и я его полюбил. Он с виду похож на классического ученого — все забывает, все теряет, торчат непокорные волосы. На самом деле он все помнит и очень многое его волнует. Черчилль не раз прибегал к его советам во время войны, ему даже специально заказали военную фуражку — у него чересчур большая голова. Однажды он мне рассказал, как ему пришло в голову открытие, которое он сделал. Это было в тридцатые годы; делегация научных работников Англии приехала в Москву. Уезжали они с Центрального аэродрома. Отлет задерживался из-за погоды, лил дождь. Зала для пассажиров не было. Бернал стоял под навесом, и здесь ему пришла в голову идея структуры воды. Он поделился об этом со своим попутчиком физиком Р. Фоулером. В самолете они рассказали об этом друзьям-коллегам. Те выслушали и сказали Берналу: «Сейчас же, когда прилетим, запишите это…»

Бернал тратил много времени, сил на движение за мир.

Я приведу отрывок из письма, написанного профессором Берналом в сентябре 1954 года (как автор письма указывает — в четыре часа утра): «Меня поместили в гостинице излишне роскошной. Мне дали апартаменты, щедро украшенные в хорошем академическом вкусе, с картинами, написанными настоящим маслом, я знаю, что они могли быть еще хуже этого. Чтобы помочь мне уснуть, напротив окна моей комнаты сверкает ярчайший фонарь, а под окном стоянка машин, и водители то заводят моторы, то громко беседуют: если бы я понимал язык, наверно, их разговор развлек бы меня. Для немногих дней, которые я смогу провести в Москве, выработана программа: турне по метро, улица Горького и в воскресенье осмотр архитектуры на Сельскохозяйственной выставке… Я в Москве в восьмой раз, в этом городе я знаю десяток умных, интересных людей, и вместо того, чтобы дать мне возможность поговорить с ними, когда на свете столько интересных событий, меня превращают в священную корову…»

Он очень живой человек: все его интересует. В письме, которое я процитировал, он вспоминает строчку Вийона: «От жажды умираю над ручьем». Однажды он мне рассказал о

замечательном английском поэте начала XVII века Джоне Донне, стихи которого Хемингуэй взял эпиграфом для романа «По ком звонит колокол». В другой раз мы беседовали о Пикассо.

Как-то он приехал ко мне в Новый Иерусалим, мы пошли гулять, Бернал увидел возле одного домика груду камней, начал их разглядывать, некоторые клал в карман. Люба сказала: «Но это ведь кто-то привез — хотят, наверно, вымостить дорогу»… Бернал выбросил камни, потом снова начал их разглядывать и, виновато озираясь, три или четыре сунул в карман. Когда мы вернулись, он начал разбивать камни, показал мне один с отпечатком морской ракушки и сказал, что возьмет его в Лондон.

Я привез его в окрестности Волоколамска, где на берегу озера сохранился прекрасный монастырь XVI века. Хотя над воротами надпись, что здание находится под охраной государства, никто его не охраняет. В башне, где был заточен Василий Шуйский, мы увидели свинью; в храме с осыпающейся росписью сушилось белье. Был холодный, осенний день; машина забуксовала, нам пришлось пройти километр но вязкой глине, обувь то и дело застревала, и Бернал вытаскивал туфлю, поджав одну ногу, как аист. Потом он говорил, что это был чудесный день.

Я старался уйти от убийственного климата «холодной войны», то беседуй с Берналом, то бродя по набережным Темзы и вбирая в себя унылую красоту огромного живого города, то глядя в картинной галерее на пейзажи Тернера, который за полвека до французских импрессионистов начал современную живопись.

В вечерней газете я увидел статью «Когда же Илья уберется восвояси?». Это было в день моего отлета.

Я глядел в оконце самолета — мы летели низко над Лондоном: игрушечные кубики домов, красные точки автобусов, спортивные площадки, парки, машины — макет огромного города. Я вспомнил людей на митинге, улыбку Бернала, который в разговоре то и дело вздыбливает свои и без того вздыбленные волосы, вспомнил и крикуна под окном, журналистов, осколки оконных стекол…

Эта глава вышла чересчур длинной и пестрой, но я хотел рассказать о несуразности «холодной войны» и припомнил некоторых людей, которые тогда меня поразили человечностью, спокойствием, сопротивлением мнениям и настроениям, окружавшим их. Десять лет спустя в одной из комнат Вестминстерского дворца собралась конференция «Круглого стола»; не только лейбористы, но и консерваторы любезно беседовали с советскими делегатами. Да и многое другое, описанное в этой главе, мне самому теперь кажется далеким прошлым, хотя с тех нор прошло всего пятнадцать лет… Конечно,

с нашей стороны тоже было много ненужного, чересчур резкого, несправедливого по отношению к тому или иному человеку. Но хорошо будет, если некоторые люди Запада задумаются и над своей ответственностью. Мою повесть я назвал «Оттепелью», я начал ее писать в конце 1953 года. Западным газетчикам название понравилось, они умиленно его повторяли, но в 1950 году они делали все, что могли, для усиления крепчайших морозов, и об этом также не стоит забывать.

24

Я рассказал о том исступлении, которое охватило мир в 1950 году. Мне хочется проверить свою собственную ответственность. Конечно, я не мог быть ни спокойным, ни сдержанным в суждениях; я не наблюдал со стороны за «холодной войной», я в ней жил. Что я мог чувствовать, разглядывая номер «Кольерс», посвященный будущей войне против Советского Союза? Описав разрушение советских городов, «Кольерс» рисовал идиллические картины Москвы, оккупированной американцами: заводы будут проданы или сданы в аренду иностранным предпринимателям, театр Красной Армии переименуют в театр Нового Света, в нем будет идти модная американская комедия «Бездельники и женщины», крупная московская газета начнет печатать на первой полосе мемуары кинозвезды Дженни Джемс «Как я любила и разлюбила в Сараваке». Я отвечал резко, и поступать иначе не мог.

Это было в 1949 году, и тогда еще не понимал смятения, которое охватило интеллигенцию Запада, и порой бывал несправедлив. Я прочитал книгу английского философа Бертрана Рассела, в которой он отстаивал создание «всемирного правительства». Эта идея мне и теперь кажется неприемлемой: она привела бы к мировому господству капитализма, но глупо было представлять Рассела как апологета господствующего класса.

Жалею я и о статье, в которой, защищая Фолкнера, нападал на Сартра, называл его «хлестким, рассудочным, салонным». Я прочитал перед этим его пьесу «Грязные руки» — талантливый памфлет, который показался мне направленным против коммунистов. Почему я назвал Сартра «салонным»? Я тогда его плохо знал, две встречи — перед войной и в 1946 году — носили случайный характер. Во Франции, да и в других странах Запада все повторяли имя Сартра, говорили о нем не только студенты, но и дамы без профессии, без возраста, щебетавшие в различных гостиных и на приемах: «О, Сартр!..» Познакомившись с Сартром, я увидел человека умного, скромного, который тяготился своей славой, называл ее «дурацкой», — он хорошо знал, что многие, говорившие о нем с благоговением или возмущением, не прочитали ни одной из его книг.

В нашу эпоху политика не удел специалистов, а нечто общеобязательное редко кто может от нее укрыться. Политическая линия Сартра может показаться необъяснимой — столько в ней петель. В 1948 году он считал себя представителем

«третьей силы», думал, что находится где-то между пролетариатом и буржуазией, между Советским Союзом и Америкой. Однако «ничьей земли» не оказалось, и «Грязные руки» обернулись в оружье Америки и буржуазии.

На Вроцлаве ком конгрессе Фадеев обозвал Сартра «гиеной»; четыре года спустя я получил письмо от аббата Булье, который писал, что церковное начальство запретило ему участвовать в Движении сторонников мира: «Я не могу приехать на конгресс в Вену — вряд ли поп-расстрига представит большую ценность для Всемирного совета… Мы вам посылаем на этот раз Сартра. Мне обидно, что я не увижу, как Фадеев заключит в свои объятья гиену»…

В Вене Сартр был звездой: его выпустили на первом заседании, а когда он кончил речь, все встали и долго аплодировали.

С 1952 года по 1956-й Сартр защищал Советский Союз от нападок французских газет, приезжал к нам, давал восторженные интервью, участвовал во Всемирной ассамблее в Хельсинки.

После венгерских событий он публично заявил, что порывает со своими друзьями — советскими писателями, а год спустя мирно беседовал со мной и скорее защищался, чем нападал.

Всё это может озадачить, особенно если вспомнить, каким был декабрь 1952 года, когда Сартр решительно отбросил мнимый нейтралитет и повернулся лицом к Советскому Союзу. В объяснение хочу сказать о некоторых свойствах Сартра, — подружившись с ним и с Симоной де Бовуар, я многое понял.

Сартр но любви, да и по таланту — писатель, но его творчество и восприятие жизни зачастую зависит от другой стороны его деятельности — от философии. На Венском конгрессе Сартр говорил: «Мысль и политика нашего времени ведут нас к бойне, потому что они абстрактны. Мир рассекли на две половины, и одна страшится другой. Каждый действует, не зная ни намерений, ни воли соседа, строят предположения, не веря тому, что «другой» говорит, толкуют его слова и занимают позиции, исходя от предположении — так-то поступит одна позиция, исходя от предположения — так-то поступит противник. Тогда становится возможной только одна позиция, выраженная в тысячелетней глупости «хочешь мира — готовься к войне», а это — триумф абстракции. Люди становятся абстрактными. Каждый — это «другой», то есть воображаемый враг, которого следует опасаться. В моей стране редко встретишь человека — преобладают наименования, этикетки…»

Наряду со стремлением осмыслить происходящее в Сартре много обостренной чувствительности. Менее всего он наблюдает,

он думает, делает выводы, а потом эмоционально воспринимает то, что видит или слышит. Как-то мне привелось быть переводчиком: я его повел к знакомому агроному, человеку одаренному, но любящему пустить пыль в глаза. Я предупредил Сартра: «Это наш Тартарен…» Приведу диалог. Агроном спрашивает: «Интересно от них узнать, сколько дает молока французская корова?» — «Боюсь ответить — я не специалист». — «Это мы понимаем, что они пишут книги. Но, скажем, пятьдесят литров в день дает?» — «Кажется, таких коров выставляют на выставках». — «А я им покажу людей, которые никогда в жизни не были на выставке, но коровы у них дают по пятидесяти литров в день». Сартр, хоть я его и предупреждал, поверил. Агроном потом говорил мне: «Хороший этот француз, такой простой человек!..» В Париже я рассказал Сартру и Симоне о похвалах подмосковного Тартарена. Симона засмеялась: «В общем, он прав — Сартр действительно наивен…» А Сартр стесненно улыбался.

Рассудочность, в которой я пятнадцать лет назад упрекнул Сартра, связана не с отсутствием сердца, напротив, обостренной совестью он напоминает русских второй половины прошлого века, по, будучи философом, он порой думает общими категориями и, ненавидя абстракцию, становится абстрактным. Что касается неожиданности его политических поворотов, то они диктуются его характером: то, что у других может быть названо внутренним монологом, сомнениями, днями или годами молчания, у Сартра сопровождается декларациями, заявлениями в различных интервью — словом, действиями. Когда я это понял, я пожалел о моей статье 1949 года.

Поездки на Западб о которых я рассказал, помогли мне лучше понять климат «холодной войны»; я увидел, как легко увеличить число врагов, и тон моих статей стал мягче. «Нет на свете вопросов, которые нельзя разрешить соглашением, — писал я в «Правде», — мы никогда не думали и не думаем доказывать силой оружия правоту наших идей… Мы дорожим ценностями любой цивилизации — «восточной» и «западной», «северной» и «южной». Мы предлагаем мир не только нашим друзьям, но и людям, которые нас не любят. — для всех найдется место под солнцем, а кто прав — рассудит будущее». В ноябре 1950 года на Втором конгрессе сторонников мира я говорил: «Я стою за мир — за мир не только с Америкой Робсона и Фаста, но и за мир с Америкой господина Трумэна и господина Ачесона… Планета одна, однако она довольно поместительная, и на ней могут поместиться сторонники различных социальных систем. Они могут договориться, чтобы никто не ломал двери в чужом доме, ссылаясь на антипатию к идеям хозяина этого дома, и чтобы

никто не швырял камни в окна соседа только потому, что сосед думает иначе, разговаривает иначе, живет иначе… Мы должны позаботиться не только о запрете военной пропаганды, но и о создании моральных условий, которые необходимы дли мирного сосуществования. Нужно отказаться от развития в подрастающем поколении неуважения и вражды к другим народам, нужно бороться со всеми проявлениями национальной и расовой спеси. Развитие культуры человечества невозможно при изоляции, при искусственных стенах, при несправедливых нападках на культуру и на жизнь других народов… Необходимо изменить климат мира, рассеять взаимное недоверие».

Теперь такие рассуждения — азбучная истина, а в 1950 году наши газеты выбросили из моей речи слова о губительности для культуры барьеров, о необходимости рассеять взаимное недоверие. Мне оставалось повторять их на различных конференциях, встречах с читателями. (Несколько лет спустя положение изменилось. В «Литературной газете» была напечатана статьи одного бывшего монархиста, вернувшегося из Америки. В запале (психологически понятном) он написал, что никакой американской культуры не существует. Я послал в газету письмо — говорил, что в Америке есть своя — и значительная — культура, крупные ученые, замечательные писатели. Хотя редакция и указала, что не согласна со мною, письмо она все же напечатала. Но это было в 1957 году, а не в 1950-м…)

В то время, о котором я рассказываю, я много ездил за границу. В 1950-м после Лондона побывал в Праге, в Копенгагене, Осло, Стокгольме; потом на конгрессе в Варшаве; в 1951-м — сессия Всемирною Совета в Берлине, бюро в Копенгагене и в Хельсинки, снова Скандинавия, сессия в Вене. В воспоминаниях проходят пестрой и вместе с тем монотонной лентой комиссии и подкомиссии, вопросы, которые, увы, все еще не стали историей, — гонка вооружений, рождение бундесвера, растущие преграды в экономическом и культурном обмене, ночные заседания, митинги в Копенгагене в парке весной с датчанками в старинных народных костюмах, в Хельсинки на Вокзальной площади, в Вене возле здании парламента. Секретариат Всемирного Совета помещался в Праге; там перед очередным конгрессом мне приходилось оставаться но нескольку недель.

Я пытался привлечь к движению различных политических и культурных деятелей; порой бывали удачи, но чаще мне отвечали вежливым отказом. В Копенгагене я познакомился с депутаткой от либеральной партии Элин Аппель. Она возмущалась подготовкой мировой войны, но многое у нас ей было не по душе, кое-что несправедливо, а кое-что справедливо. Я долго с нею

беседовал и убедил ее приехать на конгресс в Варшаву. (После этого были выборы, и ее не переизбрали в парламент.) Выступая в Варшаве, Элин Аппель сказала, что с некоторыми предложениями согласна, с другими нет, и просила «представителей стран Востока задуматься над своими ошибками, как я думаю нал своими заблуждениями». Два года спустя она выступила на конгрессе в Вене; сказала, что я ей «открыл на многое глаза», но со многим в моей речи не согласилась: «Скажите, вы уверены, Илья Эренбург, что вы и ваши единомышленники не несете на себе хотя бы частицы ответственности за наш страх?…»

В Норвегии группа левых социалистов назначила мне свидание за городом. Денег на такси у меня не было, и я поехал в машине посольства. Шофер не знал окрестностей города. Я вылезал и спрашивал, но никто не понимал ни по-французски, ни по-немецки. Я приехал с двухчасовым опозданием. Однако разговор был благоприятным. (Я рассказал об этой встрече, потому что несколько лет назад ее участники откололись от правящей партии и образовали новую.)

Бывали положения, когда мне приходилось краснеть. В Стокгольме секретарь Шведского Комитета мира Ценистрем, автор превосходной книги о Пикассо, повел меня к одному из крупнейших врачей — я должен был убедить его подписать Стокгольмское воззвание. Нарядная горничная провела нас в гостиную, где ждали приема пациенты. Почему-то мне пришло в голову спросить Ценнстрема, знает ли профессор, о чем я собираюсь с ним беседовать. Ценнстрем ответил, что он просто назвал мою фамилию, вероятно, профессор назначил мне час как пациенту. Я бросился к выходу. Горничная пыталась меня остановить: «До вас только двое…» Я постыдно убежал.

Меня попросили показать один документ знаменитому датскому микробиологу Т. Мадесну. Ему тогда было восемьдесят два года. Он меня любезно принял, угостил хересом, потом начал читать доклад, переведенный с корейского языка на китайский, с китайского на русский, а с русского на английский. Прочитав первую страницу, он отдал мне рукопись: «Спрячьте это, молодой человек, и никому не показывайте — это может рассмешить студента-первокурсника…» Он сказал, что сочувствует нашим стремлениям установить мир, был ласков. А я сидел как на иголках и только ночью улыбнулся, вспомнив слова «молодой человек», — мне тогда пошел седьмой десяток и давненько никто меня так не называл.

Генеральным секретарем Всемирного Совета был Жан Лаффит — человек добродушный, который умел помирить спорщиков. Лаффит казался флегматичным, даже ленивым, но на

деле был работягой. Его помощниками были китайский поэт Эми Сяо, американский пастор Дарр, бразилец Борсари, итальянский социалист Феноалтеа и П. В. Гуляев. Гуляев, присмотревшись к делу, показал себя тактичным и умным человеком; он сохранил лучшие черты поколения, которое вошло в жизнь в начале тридцатых годов, не обюрократился, да и не был напуган до смерти, хотя положение его было трудным. Когда Гуляев умер, все поняли, какую роль он играл в движении.

Секретариат помещался в большом доме на берегу Влтавы. Когда я приезжал, мне отводили комнату, и я сидел над папками; работа была кропотливой. Прага в то время выглядела уныло. Иногда меня звал к себе Лаффит, угощал достопримечательным ужином: он родом из Дордони, где люди знают толк в паштетах, козьем сыре и красном вине. В ранней молодости он был кондитером, а жена его, Жоржетт, может потягаться с премированными поварами. Мы не говорили ни о борьбе за мир, ни о литературе, а ели, пили и дурачились.

Иногда в воскресенье я ездил в Добриш — там в Доме писателей жил Жоржи Амаду с женой Зелией и маленьким сынишкой. Жоржи — живой, порывистый человек, такими мы представляем себе людей юга, а в Зелии мягкость и женственность уживаются с подлинным мужеством. Я с ними подружился. Жоржи и сиживал в тюрьмах, и дважды был в эмиграции, он легко приспособлялся к трудностям быта. В Добрише он весь день писал, а по вечерам играл в карты с чешским писателем Дрдой. Амаду, худой, подвижный, черноволосый, мог сойти за одесского или марсс-льского жулика, а грузный, веселый, норой с лукавством Дрда напоминал Швейка. За игрой они ругались по-чешски и по-португальски: «Шулер!», «Мошенник!», «Конокрад!»…

Амаду — коммунист и в течение двадцати лет занимался будничной политической работой. Он участвовал и в нашем движении. Нет в нем ни крупицы честолюбия. На Венский конгресс ему удалось привезти несколько бразильцев различных направлений, и он не захотел выступить: «Пусть говорит они…»

Он начал писать рано, первый его роман вышел в свет, когда автору было двадцать два года. Он прекрасно знает жизнь того края, где вырос — Северной Бразилии, края какао и голода. Я люблю его романы — в них сочетание жестокой правды с поэзией; это не литературная манера, а сущность Амаду — любовь к людям, участливость, человечность. Никогда я не забуду, как в одном из старых романов он описал исход голодающих крестьян и смерть осла Жеремиаса, кормильца семьи. Осел знал, что трава пустыни ядовита, он глодал кору деревьев, колючие кактусы, а

потом не выдержал — съел ядовитую траву и печально закричал, прощаясь с жизнью.

Амаду лучше знали за границей, чем у него на родине. В 1954 году на аэродроме в Ресифе, где было невыносимо жарко, слонялся бродячий фотограф в поисках знатных путешественников. Кто-то посоветовал ему снять меня. Он рассказал мне: «Я три раза фотографировал Жоржи Амаду, но только один раз одна газета взяла у меня фото…» Слава пришла к Жоржи после романа «Габриэлла». Флобер говорил о госпоже Бовари: «Эмма — это я». Некоторые удивлялись — уж очень не похож был холостой скептик с его иронией на ветреную, влюбчивую провинциалку. А Габриэлла — это воистину Амаду, все люди, знающие автора, почувствовали родство между доброй, душевно свободной, послушной и вместе с тем мятежной женщиной и автором.

Из друзей моей молодости мало кто остался — одних убили, другие умерли в своей кровати. Амаду мог бы быть моим сыном, а стал близким другом, я знаю, что на другом конце света есть человек, который не усомнится, не забудет, а это очень много.

Вспоминаю день, когда в Добрише праздновали рождение дочери Жоржи и Зелии; ее назвали, как дочь Пикассо, Излома (Голубка). Николасу Гильену прислали с Кубы бутылку белого рома. Пабло Неруда унес бутылку и приготовил коктейль. Гильен обиделся, как ребенок: он ведь хотел всех угостить достопримечательностью Кубы. В Гильене вообще много детского. Он любит аплодисменты, медали; слава для него елка с блестящими звездами и хлопушками. Он долго пробыл в изгнании и неизменно тосковал по Кубе. Как-то мы шли в Париже по бульвару Сен-Мишель. Николас жаловался на свое одиночество. Вдруг две девушки остановились, пристально посмотрели на нас, одна из них попросила Гильена надписать книгу его стихов. Он сразу повеселел и, когда мы расставались, сказал: «Вот у меня оказались читательницы и в Париже!..»

Его стихи необыкновенно музыкальны. Они связаны с песнями кубинских негров и мулатов. Он их замечательно читает; может, ударяя пальцем по крупным ярко-белым зубам, выстукивать мелодии. Революционную борьбу он начал давно, хотя личная судьба его к этому не принуждала — он был сыном сенатора, одаренным поэтом, первую книгу которого похвалил взыскательный Унамуно. Во время гражданской войны Гильен был в Испании. Потом узнал тюрьмы Батисты. Он писал короткие стихи о милой ему родине:

Птица прилетела неживая,

прилетела с песенкой печальной.
Ах, Куба, тебя я знаю!
На крови растут твои пальмы,
слезы — вода голубая.

«Холодная война» была в разгаре, и это порой придавало нашей работе романтический характер. Второй конгресс должен был состояться в Шеффилде; однако за два месяца до назначенного срока мы получили из Англии неутешительные вести: по всей видимости, правительство сорвет нашу затею. Мы попросили поляков подготовить помещение; забронировали места в самолетах. Настала хорошо мне памятная ночь: Жолио-Кюри с группой делегатов выехал из Парижа в Лондон, ехал он поездом, а через Ла-Манш на пароходе. Ночью в Прагу позвонили из Лондона: «Жолио не впустили»… На рассвете мы начали его разыскивать по телефону. Портов много — где же Жолио: в Кале, в Булоне, в Гавре?… Мадемуазель Булонь (так называют телефонисток) была чрезвычайно любезна, сказала, что постарается найти Жолио-Кюри, и вскоре сообщила, что Жолио в Дюнкерке. Мадемуазель Дюнкерк оказалась не менее приветливой и соединила нас с Жолио — он завтракал в маленьком кафе возле порта. С ним говорил Фарж, потом я. Это было своеобразное заседание но телефону. Час спустя мы дали в печать сообщение: конгресс переносится в Варшаву.

Сессии Всемирного Совета в те годы собирались часто. Когда выступали Жолио, Фарж, Нении, Донини, Фадеев, зал бывал переполнен. Бывали и скучные заседания. Хотелось выступить всем, устраивали ночные заседания, под утро председатель боролся со сном, и оратор патетически восклицал перед пустым залом: «Мы не ослабим нашей бдительности!..»

Помню, в одни из тусклых дней я увидел Д. Д. Шостаковича; он сидел с наушниками; лицо его было очень мрачным. Я подошел к нему, он шепнул, что его оторвали от работы, и вот приходится слушать… Я сказал: «Да вы не слушайте, снимите наушники». Дмитрий Дмитриевич отказался: «Все знают, что я не владею иностранными языками, скажут —»неуважение к общественности»… На следующий день я снова увидел его с наушниками, но счастливым. Он объяснил: «Догадался — вынул вилку из штепселя… Теперь я ничего не слышу. Удивительно хорошо!..» Говорил он, как всегда, скороговоркой и походил на ребенка, которому удалось перехитрить взрослых.

Участие в Движении сторонников мира многим обошлось дорого: аббаты Б улье и Гаджеро лишились духовного звания,

некоторые профессора — кафедр, а Изабелла Блюм — места в парламенте: бельгийские социалисты ее исключили из партии. Все свои силы она отдает борьбе за мир. Редко кто из молодых способен, как она, слетать на несколько дней в Мексику, потом сразу отправиться в Индонезию, просидеть неделю на конгрессе, перебегая из одной комиссии в другую, кого-то уговаривая или успокаивая, выполняя любую неприметную работу, чтобы две недели спустя уехать в Японию. Ее отец был пастором, ее сын — коммунист, а она осталась партизанкой.

Пьера Кота и знал давно, мы познакомились в Париже в годы Народного фронта, встречались в Москве, вместе ездили в Тулу к летчикам «Нормандии», и все же присмотрелся я к нему только в то время, о котором рассказываю. Юрист, крупный политический деятель, который десятки лет просидел в парламенте, бывал министром, он по своей формации для меня человек другой стихии — птица для рыбы или рыба для птицы. Однако с ним я чувствовал себя легко, вероятно, потому, что он никогда не был ни охотником, ни рыболовом, любит искусство и, кроме политических установок, знает, что даже единомышленники не похожи друг на друга. Часто мы просиживали ночи над текстом заявления или рекомендации (мало кто потом вспоминал об этих текстах, но, бывало, люди часами спорили о прилагательном, как будто от одного слова зависела судьба человечества. В классических резолюциях часто попадаются слова «принимая во внимание». Пьер Кот умеет принять во внимание особенности того или иного человека; эта черта не так уж распространена среди политических деятелей. Он прекрасный оратор, но в его речах никогда нет того, что мы называем красноречьем — он точен, логичен, старается убедить того, с кем спорит. Много лет он был одним из руководителей радикал-социалистической партии, самой пестрой в мире, объединявшей людей различных взглядов, и вместе с тем я редко встречал на Западе настолько дисциплинированного политика. Он спорил, а потом, видя, что не смог убедить других, садился и писал резолюцию, выражавшую точку зрения большинства, причем выражал мнение тех, с кем спорил, убедительнее, чем это сделали бы они сами. У д'Астье очень длинное имя: Эммануэль д'Астье де ля Вижери. Сам он еще длиннее своего имени, — входя в любой зал, я его сразу вижу. Наружность у него старого французского аристократа, вместе с тем он похож на классического Дон-Кихота. Он образцовый дилетант — и в политике и в литературе. Он написал несколько хороших книг — это наполовину воспоминания, наполовину размышления; его книги нравится, но писатели, хваля их, не забывают, что д'Астье — дилетант. О политиках и говорить

нечего: Дон-Кихот в парламенте или в редакции политической газеты — это не просто дилетант, а опасный путаник, за которым не уследить. Может быть, поэтому в Движении сторонников мира первого периода, где встречались люди разных толков и где энтузиазм перемежался рассуждениями о смысле жизни, а организационная работа самодеятельной дипломатией, д'Астье оказался на своем месте. В кабинете д'Астье я видел портреты его предков; но иронии судьбы все они были министрами внутренних дел различных режимов. Эммануэль не миновал наследственной болезни — его назначили министром внутренних дел в первом правительстве Свободной Франции. Во Франции еще находились немцы, и д'Астье правил только Корсикой. Вряд ли он был хорошим министром, но несколько лет спустя он показал себя хорошим сторонником мира. На каждом заседании бюро или президиума, на каждой сессии Всемирного Совета он говорил мне, что с него хватит бессмысленных дискуссий и ночных заседаний, все мы — догматики, а он не разучился думать, никто из нас его больше не увидит ни в Праге, ни в Вене. Говорил он это почему-то мне, как будто я его завербовал и не отпускаю; подымался в свой номер гостиницы, прочитывал две страницы Монтеня или раскладывал два пасьянса, после чего возвращался на заседание успокоенный и садился за проект очередной резолюции. Он обидчив, как некоторые женщины, однако верен и своим идеям, и друзьям. Характер у него нелегкий, но я дорожу его дружбой — что ни говори, донкихотство в наше время дефицитный товар.

Я не могу сейчас говорить о Движении сторонников мира, как о прошлом: оно продолжается, и я в нем по-прежнему участвую. Я говорю о тех годах, когда оно было наиболее бурным, потому что тогда наиболее ощутимой была угроза атомной войны. Конечно, от Кореи далеко и до Лондона и до Нью-Йорка, но военные действия в Корее тревожили весь мир. Эта злосчастная страна была сожжена. Горели города и села, подожженные напалмом. Сначала войска Севера заняли почти всю Корею. Вмешалась Америка, ее солдаты подошли к границе Китая. Тогда вступили в бой китайские дивизии. Многие политические деятели и военные Соединенных Штатов настаивали на применении атомного оружии. Некоторые сенаторы требовали, чтобы атомные бомбы были сброшены на Москву. Любой француз или итальянец знал, что Советский Союз уже обладает ядерным оружием и что его дом, его семья тоже могут быть уничтожены. Борьба за мир становилась делом всех.

Конечно, Движение сторонников мира знало и удачи и неудачи. Стокгольмское воззвание подписывали самые различные

люди — Томас Манн и неграмотные жители Гвинеи, бразильские министры и шейхи мусульманских стран, Акр и Матисс и квакеры. Окрыленные успехом, мы предложили подписываться под обращением пяти великим державам: Соединенным Штатам, Советскому Союзу, Китаю, Великобритании и Франции — пусть они заключат Пакт мира. Однако для простых людей это было абстрактной формулой — все помнили, сколько пактов о ненападении подписал Гитлер. А людям, разбиравшимся в международном положении. Пакт мира казался утопией — в 1951 году трудно было себе представить Трумэна и Мао Цзэдуна за круглым столом. Притом подписи дают один раз — это не ежегодное занятие; лучше не быть эпигонами ни в романах, ни в общественной деятельности. Напротив, требование прекращения военных действий в Корее нашло отклик повсюду.

Почему я отдавал (и отдаю) столько времени работе, которая не диктовалась ни призванием, ни ремеслом? Никто меня не заставлял взяться за это дело, никто не уговаривал его продолжать. Я сам назвался груздем, и ответить почему — трудно. Когда друзья меня спрашивали, будет ли война, я отвечал «нет», такой ответ объяснялся не столько трезвой оценкой происходившего, сколько желанием. Однако часто, проходя по улицам разных городов, я испытывал тревогу. Однажды в Вене мне показалось, что война идет рядом со мной, как я, заглядывает в освещенные окна. Порой я проклинал душные комнаты, где шли нескончаемые споры о третьей фразе седьмого абзаца; причем мне некому было поплакаться в жилетку, приходилось самому справляться с собой. Спор шел между груздем и кузовом, и ясно было, что победит кузов.

Оглядываясь назад, я об этом не жалею: что-то мы делали, что-то сделали. Через тридцать — сорок лет историк, который теперь учится читать, посвятит Движению сторонников мира, может быть, главу своей книги, а может быть, всего несколько строк. Не мне судить — я в этом человек пристрастный, следовательно, слепой.

25

В 1951 году мне исполнилось шестьдесят лет. Устроили юбилейный вечер в том самом зале Дома литераторов, где писателей прорабатывали, чествовали и хоронили. Воспоминаний было достаточно.

На вечере председательствовал А. А. Фадеев, с докладом выступил К. А. Федин. Представители различных издательств, журналов, газет, театров читали поздравительные адреса, похожие один на другой: «пламенный трибун», «отточенное перо», «неутомимый борец за мир», «книги, вошедшие в золотой фонд советской литературы»… На хорах толпилась молодежь. Было очень жарко, и дерматиновые папки, которые высились предо мной, скверно пахли. Потом прочитали телеграммы от Всемирного Совета Мира, от Тувима, Незвала, Не руды, Амаду. В короткой речи, кроме обязательных благодарностей, которые тогда полагались на любом торжестве, я сказал про то, что меня волновало: «Как каждый писатель, я знавал минуты растерянности, сомнений, молчания. Меня поддерживала русская литература, наши великие И глубоко человечные предшественники. Можно писать хуже, чем они, — таланты не распределяются ни в каком распределителе, — можно писать хуже, чем они, но нельзя думать, чувствовать, терзаться, радоваться хуже, чем они… Я вспоминаю прекрасные слова Белинского о поэте: «Ему принадлежит по праву оправдание благородной человеческой природы, так же как ему же принадлежит по праву преследование ложных неразумных основ общественности, искажающей человека». Бороться против тех ложных основ, о которых говорит Белинский, во имя человеческого достоинства — таков долг писателя, таково его назначение. Он не подбирает протоколы событий, не пишет переложение, не составляет опись существующего, он открывает сокровища человеческого сердца… Мне, как и многим моим современникам, не сразу открылась преемственность и универсальность человеческой культуры. Мы часто читаем историю по главам, не связывая этих глав, а порой география мешает нам как следует присмотреться к истории. Между тем бег с эстафетой продолжается, и огонь Прометея переходит из рук в руки… Человек стареет, быстрее устает, реже загорается. Но для писателя нет старости: он живет неоткрытыми страстями, ненаписанными книгами, он молод до той минуты, когда его оторвет — на этот раз навсегда — от листа бумаги уже не люди, а смерть. Я сказал об этом потому, что мне хочется писать».

Секретариат Союза писателей решил по случаю юбилея издать пять томов моих сочинений. С этим изданием я намучился: почти на каждой странице произведении, много раз до того изданных, искали недозволенное. Случайно у меня сохранилась копия письма, отправленного в высокие инстанции в январе 1953 года, — я искал защиты. Помимо различных изменений в тексте от меня требовали переменить некоторые фамилии в повестях «День второй» и «Не переводя дыхания»: «В обеих книгах, написанных о русском народе, который вместе с другими народами строит заводы и преобразует Север, непомерно много фамилий лиц не коренных национальностей». Следовал список семнадцати фамилий (из двухсот семидесяти шести) в повести «День второй» и девяти фамилий (из ста семидесяти четырех) в «Не переводя дыхания». Я подумал: а что делать с фамилией, которая стоит на титульном листе?

На полученный гонорар мы купили сруб в дачном кооперативе «НИЛ», что означает «наука, искусство, литература». Места не похожи на окрестности Москвы: мой домик расположен на холме с крутым склоном, внизу течет Малая Истра. Это ручеек, но в апреле, когда тают снега, она настолько разливается, что, обладая фантазией, можно назвать ее Нилом, тем паче что наша станция называется Ново-Иерусалим. Звенигородский уезд москвичи когда-то шутя называли «московской Швейцарией». Поселок получил имя от Ново-Иерусалимского монастыря, построенного но указу Никона в XVII веке. Немцы, уходи, взорвали колокольню и сильно разрушили собор; в 1950 году еще валялись на земле цветные изразцы — сплав Флоренции с Персией. Чехов жил в городишке Воскресенске (ныне Истра), работал в земской больнице, писал рассказы и отдыхал под старыми монастырскими деревьями. Я посадил сирень, жасмин, розы. Зимой позвонили из Истринского горсовета: «Ваша дача сгорела».

Получив деньги за следующие тома, мы начали ставить новый дом — кирпичный фундамент уцелел. В тесной московской квартире было людно, беспокойно, и начиная с 1952 года мы большую часть времени проводили в Ново-Иерусалиме. Маленькие липы, которые я раздобыл на лесной даче Тимирязевки у профессора В. П. Тимофеева, повзрослели. Эту книгу я писал у окна; зимою все вокруг бело, а в августе лихорадочно горят цветы короткого северного лета.

Я был правдив, когда на юбилейном вечере сказал, что мне хочется писать. Мне хотелось рассказать о том, что я видел и чувствовал, — о горе, сомнениях, надежде. Конец сороковых и начало пятидесятых годов были, кажется, самым трудным

временем и для нашей литературы, и для всего советского народа. Люди продолжали ожесточенно работать, отстраивали разрушенные города, строили заводы, прорывали каналы. Никогда народ слабый духом или отчаявшийся не смог бы сделать того, что было сделано после войны. Жилось плохо. Москва или Ленинград казались саратовцам раем, а в Энгельсе с завистью рассказывали о магазинах Саратова. Однако, когда я говорю о том, что время было трудным, я думаю не только, да и не столько о материальных лишениях. Люди, прошедшие от Волги до Шпрее, душевно не мирились с чиновничьей тупостью, иллюзорностью многозначных цифр, знакомыми словами «давайте не будем». Для стороннего наблюдателя казалось, что инициатива, творческая мысль, человеческие отношения скованы льдом, но под этим льдом текла живая вода глубоких чувств, несказанных слов, совести, сознания. Об этой реке мне и хотелось рассказать. А л сидел над романом об американском сенаторе, об интригах газетного агентства «Трапсок», о старости профессора Дюма, о том, как глупый портняжка Маккорн пел:

Говорит она ему:
Ты целуешь почему?
Ты не тот, и я не та,
Тру-ту-ту и тра-та-та.

Я упоминал, что в 1917–1918 годы писал скверные стихи; мне тогда не было и тридцати. А «Девятый вал» написан шестидесятилетним человеком. Конечно, я мог бы сослаться на некоторых моих товарищей, которые тоже в те годы написали слабые книги, но писатель отвечает прежде всего за самого себя. Почему я жалею о том, что написал «Девятый вал»? Не потому, что некоторые исторические события описаны неправильно я судил по тем данным, которые у меня тогда были, это — детали, и не в них дело. Начиная с двадцатых годов критики меня упрекали за то, что мои романы насыщены публицистикой. Они меня не убедили: я искал новую форму романа — не мог отделить судьбу человека от событий, которыми дышал эфемерный газетный лист. Никогда я не призывал других следовать моему примеру: писатели, как и все люди, бывают разными. Я принадлежу к авторам, которые тесно связаны с тем, что мы норой в сердцах называем «злобой дня» и что десять лет спустя иногда оказывается главой истории. «Хулио Хуренито», «День второй», «Падение Парижа», «Буря» рождены событиями, которые можно было в свое время назвать злободневными. Автор не судья своих книг — он часто добавляет к тому, что написано,

то, что он хотел написать, и, может быть, упомянутые мною книги слабые, но они были рождены внутренней необходимостью. А почему я в 1950 году сел за «Девятый вал»? Я мог бы ответить: не ради денег, но это было бы отговоркой. Во время войны я не думал написать роман о войне: знал, что это невозможно. В 1950 году «холодная война» была ожесточенной, оставалось прославлять ее или проклинать, разжигать огонь или попытаться его погасить, но осмыслить происходящее, заглянуть в душу противника не мог никто. Статьи, которые я писал, могли быть удачными или плохими, справедливыми или несправедливыми, но я от них не отрекаюсь. А писать роман, да еще толстейший, было глупо. Я это смутно чувствовал, но меня соблазняло другое — показать наших людей. Я утешал себя надеждой, что смогу сказать толику правды.

Помню, я как-то сидел с Савичем, который прочитал написанные главы, и мы, то усмехаясь, то угрюмо, обсуждали, что делать автору с советскими героями. Если учителя Сомова оклеветали, заклевали, то его сослуживица добьется правды у секретаря обкома. Если Осип столкнулся в Киеве с жестокой действительностью, то его должны тотчас душевно выручить фронтовые друзья. Если Валя наконец поняла, что у нее нет таланта и что в театре ставят скучные, бездушные пьесы, если она дошла до отчаяния, то неизвестный зритель вовремя сердечно поблагодарит ее. Если директор завода бюрократ и не хочет пустить в производство молотилку, сконструированную молодым инженером, то Москва одобрит новатора. Если случаются стихийные бедствии, то люди с ними быстро справляются, а если находит тоска, то ее прогоняет любящая жена или проницательный друг. Действие моего романа протекает в десяти странах, а советским людям отведено меньше четверти текста, и главы, посвященные им, подслащены. Один из героев «Бури», перешедший в «Девятый вал», Минаев, мечтает написать правдивый роман о войне; в книге приведены короткие записи к задуманной книге, например: «Очень голая у нас любовь, — сказала Вера, — если убьют — ничего, а если выживем — нужно будет что-нибудь придумать»; другие записи о работе, товариществе, жизни. Однако Минаев не смог бы написать в 1951 году задуманную им книгу. А я написал плохой роман.

Весной 1951 года я встретился со студентами Литинститута. Я рассказал им о своем понимании природы творчества. («Литературная газета» опубликовала несколько приглаженный текст.) Я припомнил, что Лев Толстой советовал начинающему автору Леониду Андрееву: если писатель задумал книгу, но может ее не написать, то он и не должен ее писать. Эти слова

суровый приговор «Девятому валу»: я мог бы его не написать.

А. А. Фадеев в январе 1953 года прислал мне из больницы длинное письмо о «Девятом вале»; он кое-что критиковал, но говорил, что в целом роман «мощен, гуманистичен, в нем клокотание народных сил, людской потоп». В то же самое время Арагон поставил «Девятый вал» рядом с «Падением Парижа» и «Бурей». Я все же не поверил добрым отзывам — я уже твердо знал, что совершил одну из самых крупных ошибок писателя. Я взял сейчас книгу в руки, полистал, и мне захотелось промурлыкать песенку американского портного:

Ты не тот, и я не та,
Тру-ту-ту и тра-та-та.

Я недавно проглядел подшивки «Литературной газеты» за 1951–1952 годы. В передовых статьях неизменно повторялось «о невиданном расцвете творчества». Пестрели фотографии многочисленных лауреатов. Но нельзя было предвидеть, на кого обрушится очередная беда. В течение целого месяца ругали украинских писателей: Корнейчук и Василевская провинились, написав либретто к опере. Сосюра опубликовал стихотворение, которое кому-то не понравилось, вспомнили, что в 1945 году у Рыльского были «вредные стихи», вернулись снова к Первомайскому оказалось, что он одновременно и «космополит», и «буржуазный националист». Другой месяц был посвящен критику Гурвичу, написавшему статью о романе «Далеко от Москвы». А. А. Фадеев и А. А. Сурков признались, что рекомендовали опубликовать статью, которую «Правда» назвала «рецидивом антипатриотических взглядов»… Редактор «Нового мира» А. Т. Твардовский «полностью признал свою вину». Некоторые статьи напоминали отчеты о судебных разбирательствах; только трудно теперь понять, в чем был состав преступления.

«Литературная газета» печатала некрологи: умерли Вишневский, А. Платонов, Павленко. Потом подоспели юбилеи — Гюго, Гоголя.

Замечательный памятник Гоголю перенесли с бульвара сначала в Донской монастырь, а потом во двор дома, где он умер. Гоголь сидел печальный, а писателю полагалось быть неизменно бодрым. Поставили новый памятник на цоколе красовался образцовый оптимист. Обычно считается, что памятники великим людям ставит народ. На новом памятнике Гоголю написали: «Николаю Васильевичу Гоголю от Правительства Советского Союза».

Конечно, были и в те неурожайные годы читательские радости: Гроссман написал роман о войне, в котором были прекрасные главы. Вера Панова опубликовала отрывки из новой книги «Времена года», впервые я увидел в литературе послевоенных подростков. Я прочитал «Районные будни» Овечкина, повесть молодого Гранина. Наверно, я пропускаю многое — трудно припомнить, когда попалась в руки та или иная книга.

В то время ко мне часто приходил Мартынов. Он разговаривал мало и в жизни бывал незрячим, скажу даже — косноязычным. Порой он не замечал людей. Однажды я его познакомил с Пабло Не рудой. Мартынова чилийский поэт изумил как явление природы, а ливни, засуха, таяние снегов, ветер всегда его изумляли. Он написал стихи о Неруде и показал его таким, каким он изображался в газетных статьях, — богатырем, мифическим бояном. А Неруда понял Мартынова: «Настоящий поэт — перед его глазами второй мир — искусства…» Мартынова после 1946 года не печатали. Он продолжал писать стихи, вынимал из карманов смятые листочки, читал мне, и каждый раз я дивился его поэтической силе: метеорология становилась эпопеей. А он рассеянно пил чай и отвечал невпопад на вопросы. То были годы расцвета его творчества. В 1955 году Мартынову исполнилось пятьдесят лет. Молодые поэты добились устройства его вечера в Доме литераторов и читали его стихи. Из старых писателей был, кажется, только я. Потом выступили представители литературных кружков московских заводов, железнодорожники. Все они говорили, что переписанные стихи Мартынова помогли им понять современную поэзию. Судьба поэта изменилась: несколько месяцев спустя вышла его книга.

Читали мне стихи и молодые — Винокуров, Межиров, Урин. Я написал в «Смене» о Винокурове — он тогда еще был зеленым юнцом, но в его скромных стихах проступали хорошие, умные строки.

Приходил студент Литинстигута Мандель, который после многих мытарств стал поэтом Коржавиным. Он был чрезвычайно сумбурным, порой нелепым, вступал в споры с преподавателями, писал стихи для друзей и для себя. Переписанные стихи попали не туда, куда должны попадать стихи. Манделя вызвали. Он напал на порядочного человека, который посоветовал больше не писать стихов, ни на что не похожих. Вскоре его все же арестовали, но ему снова повезло: его сослали на три года в дальнее сибирское село. Отец Манлеля — переплетчик, мать — врач, они посылали сыну толику денег. Поэт читал, думал, писал.

Я его увидел возмужавшим; он рассказал, что решил уехать в Караганду, не дожидаясь, что его туда направят, поступил в горный техникум, стихи он продолжает писать, но не хочет зависеть от вкусов редакций; он прочитал мне вступление к поэме — писал, что легких эпох никогда не было, все зависит от человека. Недавно я получил от него первую книгу стихов.

В Москве устроили совещание молодых писателей, мне поручили принять участие в одном из семинаров. Я прочитал десяток рукописей — повести, романы. Почти во всех были удачные страницы, но чувствовалась скованность. Разговаривая с молодыми прозаиками, я увидел, — что они знают жизнь, понимают людей; один признался: «Я сам знаю, что плохо… Но что тут делать — трудно писать роман в стол…»

Меня тянуло к новому поколению. В течение двух лет я руководил литературным кружком при Тимирязевской академии. Почти все участники кружка писали стихи. Я не рассчитывал сделать из них поэтов, да это, по-моему, и невозможно. Но можно научить читать стихи, поднять эстетическую культуру, и я старался это выполнить. Мне было интересно разговаривать с двадцатилетними, почти все они были детьми колхозников или районных агрономов. Однажды меня провожал молоденький студент. Он вдруг спросил: «Почему в журналах не печатают стихов о любви? Мы читаем Лермонтова, Блока, Есенина, Пастернака. А кто теперь пишет так?…» В конце разговора он сказал: «Вот кончу академию, стихи, может быть, и научусь писать, а может быть, нет, но читать стихи буду всегда. Наверно, через пять лет начнут печатать и про любовь…» Год спустя Володя Кокляев утонул в пруду. В 1950 году ко мне. пришел поэт Борис Слуцкий. Я с ним познакомился накануне войны, но потом мы не встречались. Когда я начал писать «Бурю», кто-то принес мне толстую рукопись — заметки офицера, участвовавшего в войне. В рукописи среди интересных наблюдений, выраженных кратко и часто мастерски, я нашел стихи о судьбе советских военнопленных «Кельнская яма». Я решил, что это фольклор, и включил в роман. Автором рукописи оказался Слуцкий. Он прочитал мне стихи о лошадях на военном транспорте, потопленном миной:

Кони шли ко дну и ржали, ржали,
Все на дно покуда не пошли.
Вот и все. А все-таки мне жаль их —
Рыжих, не увидевших земли.

Я сразу почувствовал, насколько близка мне его поэзия.

Потом я попытался ее определить, говорил о народности, ссылался на Некрасова. За статью меня обругали. Может быть, я и не сумел выразить того, что хотел. Слуцкий никогда не писал ни о своей любви к женщине, ни о природе — его муза была связисткой на фронте, пахала на корове, таскала камни на стройке. Вскоре после смерти Сталина он прочитал мне:

Эпоха зрелищ кончена,
пришла эпоха хлеба.
Перекур объявлен у штурмовавших небо.

Никогда прежде я не думал, что смогу разговаривать с человеком, который на тридцать лет моложе меня, как со своим сверстником; оказалось, что это возможно. Помогло, наверно, и то, что я подружился со Слуцким еще до «перекура».

Чужие стихи помогали мне — поэзия жила (порой, как некогда, устная). Однако та незримая река, о которой я говорил, была куда полноводнее в жизни.

В начале 1950 года меня выбрали депутатом в Совет Национальностей от одного из округов Риги. На предвыборных собраниях говорили по-латышски; девушки подносили мне цветы — белые каллы, будто сделанные из материи, и делали при этом книксен. Избиратели ко мне обращались редко: они жили в столице республики и с претензиями или жалобами шли к местным депутатам. Год спустя меня выбрали в Верховиый Совет РСФСР от города Энгельса и прилегающих к нему районов. Тут-то я понял, что пост депутата не синекура.

До войны Энгельс был столицей Автономной республики немцев Поволжья. В городе, в деревнях жили почти исключительно новоселы. Люди не успели приспособиться к новой обстановке: украинцы мерзли зимой, русские проклинали суховей. Я уже говорил, что в тс годы страна, за исключением промышленных центров и некоторых областей с техническими культурами, жила, подтянув кушак. Саратов снабжался лучше Энгельса, но проехать туда поездом было нелегко: зимой дорога шла через Волгу, летом ходили пароходики, а весной и осенью жители Энгельса с тоской глядели на огни Саратова. Местные власти просили меня добиться перевода Энгельса в лучшую категорию по снабжению. Я пытался, но ничего не вышло. Зато я достал санитарные машины; министр меня принял, может быть из любопытства, — как-никак писатель, он говорил о литературе, а я твердо решил не уходить, пока не получу машин. Энгельс — длинный город, тротуаров местами не было, улицы плохо освещались. Я помог раздобыть автобусы. Все это требовало

хождения по мукам, то есть по различным министерствам, долгих бесед, терпения. Помог я и библиотеке; в ней оказалось много редких немецких изданий, а русских книг было мало. Я устроил обмен книгами, это тоже было не просто: требовались разрешения различных центров, подписи людей, к которым трудно было прорваться.

Счастливые не ходят ни к врачам, ни к депутатам. В воскресенье ко мне на прием записывались сотни обездоленных — один доказывал, что он с семьей не может больше жить на восьми квадратных метрах; другой жаловался, что его отца неправильно осудили; третьему не давали работы по специальности. Я добился у прокурора пересмотра одного дела (десятки других моих просьб лежали без движения), раздобыл протез для военного инвалида, купил в Стокгольме лекарство для женщины, которое, по ее словам, спасло ее сынишку, добывал книги, семена. Все это было «малыми делами», но на час мне становилось легче, да и чувствовал я себя связанным с будничной жизнью тысяч людей.

Принимал я в горисполкоме, и приходившие говорили шепотом, часто просили не называть своих обидчиков: «Вы-то уедете, а они на мне выместят»… Несколько лет спустя жизнь изменилась, Я стал депутатом Даугавпилса, по-русски Двинска, города, разрушенного во время войны, где ютились люди различных национальностей, где тысячи женщин мечтали о трудоустройстве, где построили пединститут с чрезмерно роскошной лестницей, но предоставить жилплощадь профессорам не смогли. Там избиратели, приходя ко мне, бурно протестовали, не впускали в мою комнату сотрудников горсовета, говорили все и во весь голос. Но это было в 1955-м, а я рассказываю про 1952-й…

Я ездил по степи Заволжья, в селах меня засыпали просьбами, претензиями. В одном колхозе говорили, что им вырыли артезианские колодцы, деньги взяли, а воды нет; в другом жаловались — не могут достать строительный материал, а школа помещается в хате, где живут люди; в третьем молодежь возмущалась: «Из Энгельса обещали, что пришлют театр, а приехали три актера, исполняли отрывки из пьесы, да и пьеса скучная — звеньевая знает, как сеять, а председатель упирается. Это мы сами понимаем. Мы хотим, чтобы приехал настоящий театр». Один добавил: «Пусть привезут «Гамлета». Я в Саратове глядел, это такая диалектика, что целый месяц думал…»

В одном колхозе меня оставили ужинать, дали глазунью, брагу. Председательница сказала: «Вот вы помогите нам решить, мы с нею несколько вечеров проспорили…» «Она» оказалась

бухгалтером, и она говорила: «По-моему, Сергей правильно поступил, что не взял в Москву Мадо. Я сюда приехала из-под Гжатска. Кажется, чего тут — страна та же, язык понятный, и то не могу себя унять, ночью вспомню избу — немец сжег — и реву, как дура… А привези француженку — ей и поговорить не с кем, иссохнет…» Председательница, энергичная женщина с властным лицом, возражала: «Человеку нужно помечтать. Иногда проснешься — что-то приснилось хорошее, и злоба берет: почему нельзя сон с собой взять, с ним и в поле легче…»

Росло сознание людей. В степи в сельской школе малыши читали:

А он, мятежный, просит бури…

Они входили в жизнь с мечтой. Теперь им но двадцати лет, и, глядя на нашу думающую, требовательную, порой шумливую молодежь, я вспоминаю русого первоклассника, который декламировал Лермонтова. Наверно, у него спина чесалась — прорастали крылья. Школьницы седьмого класса ездили в Саратов, ходили в музей, думали о судьбе Чернышевского; одна рассказала мне: «Я в Саратове познакомилась с девочкой, она мне дала переписать стихи Есенина. Жеребенка жалко…»

Однажды в Энгельсе ко мне пришел человек лет пятидесяти, весь воскресный день он просидел в приемной, дожидаясь, когда придет его черед. Я попросил его сесть, но он стоя кричал: «Подумайте — на такой город, как Энгельс, всего пятнадцать!..» Я успел одуреть от сотни посетителей, спрашивал «чего», гадал — коек в одной из больниц, торговых точек? Наконец он объяснил. В связи с юбилеем Гюго Гослит объявил подписку на собрание его сочинений. Великий французский писатель не отличался лаконизмом, жил долго и написал много. Кому в Энгельсе может понадобиться собрание его сочинений? Да их и не поместишь в комнате. А посетитель негодовал: «Люди собрались с вечера, и вот, извольте видеть, пятнадцать на весь город!..» Я обрадовался, что сразу могу удовлетворить просьбу хотя бы одного избирателя — как член юбилейного комитета, я имею право подписаться, буду посылать книги ему… Он покачал головой: «Мне не нужно — я был третьим, подписался. Я вам про город говорю. Обидно: Энгельс, большой город — и вдруг пятнадцать!..»

В другой раз пришел молодой рабочий, лицо у него было еще по-детски припухшее, он стеснялся, сбивчиво рассказал, что его послали на ремонт в Дом инвалидов, там при нем старая женщина жаловалась, что ей прописали специальные очки, а ей говорят: «Ничего, без очков обойдешься», она сорок два года

проработала учительницей: «Вы подумайте, товарищ писатель, скольким она глаза открыла, а теперь и почитать не может. Я так считаю, что это безусловная несправедливость». В руках у него была книга, я спросил, что он читает; он еще больше застеснялся: «Я знал, что вас долго придется ждать…» Оказалось — учебник алгебры.

Нет, не зря сорок дна года проработала учительница, не зря трудились и преподаватели, и библиотекари, и работники музеев, и актеры, и лекторы, и писатели. Народ думал, учился, рос. Маленький провинциальный город, бараки, деревни, занесенные снегом, покосившиеся домишки — все это казалось обездоленным и спящим, а жизнь бурлила, и если «Литературная газета» приукрашивала эту жизнь, одновременно обедняя ее, то в действительности люди жили хуже, но были крепче, духовно богаче, чем герои пьес, награждаемых премиями всех трех степеней.

Я увлекался садоводством, огородничеством. Посадил два конских каштана — один погиб, другой вырос и теперь весной цветет, как будто он в Киеве или в Париже. Я много сеял, это хорошее занятие: с книгой все неясно, а здесь посеешь мельчайшие семена, покроешь ящик стеклом — и две недели спустя покажутся зеленые точки, потом их нужно распикировать, это кропотливое занятие, и оно успокаивает, нельзя при этом думать об очередных неприятностях, нужно быть очень внимательным, оберегать сеянцы от болезней, от паразитов, и тогда они обязательно зацветут.

Иной читатель удивится: почему» после рассказа о людях Энгельса вдруг перешел на чудачества пожилого любителя растений? Не случайно. Многие за границей, да и некоторые юноши у нас не понимают, что жизнь народа продолжалась, не могла прорваться. Народ пережил много дурного, но он бодрствовал, чувствовал, строил. Подмосковный сад зимой кажется умершим, но в стволах или только в корнях происходят незримые процессы, подготовляющие весеннее цветение. Все это легко понять потом, а в 1951 году я часто доходил до отчаяния.

26

В 1950 году был образован Комитет для присуждения Сталинских премий «За укрепление мира», в него вошли Арагон, Го Можо, Андерсен-Нексе, Келлерман, Бернал, Домбовский, Садовяну. Неруда, Фадеев и я; председателем комитета стал Д. В. Скобельцын.

Среди награжденных в первый же год рядом с Жолио-Кюри была вдова Сунь Ятсена госпожа Сун Цинлин. В сентябре 1951 года я поехал в Китай вместе с Пабло Нерудой, чтобы вручить ей премию. С нами поехали жена Пабло, Делия, и Люба. До Иркутска мы ехали поездом — Пабло хотел хотя бы из окна вагона увидеть Сибирь. Мы остановились в Иркутске, встретились там с писателями. Неруле захотелось поглядеть на Байкал — он говорил, что мечтал об этом еще в молодости. Мы поехали на ихтиологическую станцию; нам показывали диковинных глубокомодных рыб. Пабло потребовал, чтоб ему дали их попробовать. К счастью, в зажаренном виде трудно отличить виды рыб, и Неруда ел с аппетитом, конечно, не те диковины, которые плавали в аквариуме.

Вразрез с выбранным мною правилом я хочу написать о Пабло Неруде и о некоторых моих похождениях, связанных с ним; кроме Пикассо, среди людей, которым я посвятил отдельные главы этой книги, никого нет в живых: я боялся обидеть или причинить неприятности. Однако Пабло Неруда стал легендарной фигурой, о нем написаны десятки романтических книг. Я хочу рассказать о другом Пабло, которого видел не на сцене истории, а в обыкновенных комнатах: в Мадриде, в Париже, в Праге, в Москве, в Пекине, в Вене, в Сантьяго, в Исла-Негра.

Последняя часть этой книги может показаться чрезмерно печальной: старость, как издавна говорят, не радость, да и время — с 1945-го по 1953-й — вряд ли кто-нибудь назовет веселым. Я больше буду говорить о причудах Неруды, нежели о его замечательной поэзии, — мне хочется улыбнуться, вспоминая дни, проведенные с Пабло, может быть, со мною улыбнется и читатель.

Познакомился я с Нерудой в 1936 году в Мадриде. Обычно то время называют переломом в жизни и в творчестве поэта. Мне кажется, что «переломы» редкая вещь. Неруде тогда было тридцать два года, характер его успел сложиться, писать стихи он начал рано и в одной из первых книг «Двадцать стихотворений о любви и одно об отчаянии» не только нашел себя, но и показал высокое мастерство; он писал тогда:

Облака, как белые платочки расставания,
ими размахивает путник-ветер,
и сердце ветра колотится
над нашим молчаньем любви.

Неруда и тридцать лет спустя писал о ветре, о любви, о разлуке. В 1936 году поэзия Неруды расширилась. Он был тогда чилийским консулом в Мадриде; к нему приходили друзья — Гарсиаа Лорка, Альберти, Эрнандес. Вдруг на город начали падать фашистские бомбы.

И по улицам кровь детей
текла просто, как кровь детей.

Он написал тогда книгу стихов «Испания в сердце», я ее перевел на русский язык. Мы подружились, а вскоре расстались на десять лет.

В годы войны Неруда был консулом в Мехико. Я прочитал его стихи, посвященные Сталинграду. Потом мне прислали сборник моих военных статей, который вышел в Мексике с предисловием Неруды: Пабло проклинал эстетов и прославлял Советский Союз. Тогда-то Нерула стал коммунистом. Вернувшись в Чили, он писал стихи, выступал на собраниях; о нем узнали рабочие Сантьяго и Вальпараисо.

Предстояли выборы президента. Коммунисты поддерживали кандидатуру Гонсалеса Виделы, который клялся, что проведет аграрную реформу и защитит права рабочих. Неруда уговаривал избирателей голосовать за Виделу. Новый президент вскоре забыл свои обещании. Здесь-то началась эпопея Неруды, которая, наверно, известна всем читателям: он был обвинен в государственной измене и после этого, и начале 1948 года, явился на заседание сената, где публично обвинил в измене президента республики. Поэту пришлось скрываться. Он продолжал писать — работал над книгой «Всеобщая песнь». Я рассказывал, как он появился на Парижском конгрессе.

Неруда любит Уитмена не только потому, что многому у него научился, но и по внутреннему родству — это поэты одного континента. О столь распространенной теме, как мир, Неруда писал иначе, чем европейские поэты:

Мир наступающему вечеру,
мир переправе, и мир вину,
мир словам, которые меня ищут

и которые в моей крови,
как очень старая песня.
Мир городу рано утром,
когда просыпается хлеб,
мир рубашке моего брата.

С тех пор Неруда написал десятки книг, изъездил десятки стран, узнал подлинную славу, однако он не изменился. Когда я его встречаю после нескольких лет разлуки, мы сразу начинаем говорить о сегодняшнем дне.

Я согласен с теми, которые говорят, что Неруда внешностью напоминает статую Будды, если бы ее высек из камня древний инка. (Боги инков, однако, сердитые, а Пабло благодушен.) Хотя его биография изобилует бурными событиями, он любит, да и всегда любил, покейфовать, побеседовать о пустяках или подумать о серьезном. Он производит впечатление Будды флегматичного, даже ленивого, а написал столько, что диву даешься. Многие его стихи очень громкие, но разговаривает он тихо, и голос у него не трибуна, а, скорее, обиженного ребенка. Его друг, чилийский депутат Валтасар Кастро, хорошо показывает Пабло. Он рассказал мне, как в начале их знакомства Неруда позвонил, чтобы сообщить о счастливом разрешении какого-то спорного дела; будто издалека раздался голос, полный скорби: «Валтасар, победа!..»

Неруда — страстный коллекционер, собирает он различные вещи, но главным образом — огромные деревянные статуи, украшавшие носы парусных кораблей, и крохотные морские ракушки. В его доме в Исла-Негра на берегу Тихого океана — старинные компасы, песочные часы, морские карты. Китайский поэт Ай Цин, побывавший в этом доме, спросил Пабло, кем он себя считает — матросом или капитаном. Пабло ответил: «Я — капитан, но мое судно затонуло». Это было поэтической фантазией: никогда я не видел корабль Неруды не только тонущим, но потерявшим управление. В одном из музеев Китая Пабло увидел ракушку, которой у него не было. Он столько о ней говорил, что радушные хозяева подарили ему редкий экспонат. Пабло голосом, полным при — скорбия, однако счастливо улыбаясь, часа два рассказывал мне о ценности полученной им ракушки. В Китае он покупал в игрушечных лавках тигров из папье-маше. Тигры были неописуемо свирепыми, и вместе с тем на них нельзя было глядеть без улыбки. (Мы тогда не знали, что десять лет спустя китайцы будут называть американский империализм «бумажным тигром».)

Неруда — человек чрезвычайно общительный. В Праге, когда бы я ни пришел к нему, в его комнате сидели или стояли люди: чилийские коммунисты, чешские поэты, разноязычные журналисты. В Сантьяго я и Люба жили в доме Пабло, и нам казалось, что мы живем на площади. Как-то я захотел днем переодеться, но от этой затеи пришлось отказаться: все время в комнату заглядывали почитательницы поэзии Неруды. Обедало у него ежедневно человек пятнадцать — двадцать. Однажды он тихо спросил меня: «Ты не знаешь, кто это — последний налево от тебя?…»

В Чили и поехал по просьбе Неруды летом 1954 года: я должен был вручить ему премию Мира. Я радовался, что увижу Латинскую Америку. Дипломатических отношений у нас с Чили не было, но визы дали мне и Любе. Я думал, что поездка будет идиллической. В то лето чилийцы праздновали пятидесятилетие Нерулы. Да и «холодная война» шла на убыль. За два месяца до того в Париже я вручил премию Пьеру Коту, все было торжественно, пришли депутаты различных партий.

Я забывал, что до Чили далеко — мы летели из Стокгольма сорок восемь часов; это было в августе, а там была зима. В Чили еще стояла «холодная война». На аэродроме Сантьяго полицейские с любопытством, но вежливо повертели наши паспорта, таможенники взглянули на раскрытые чемоданы, и мы уже шли в зад, где нас ожидали Пабло, Делия и Жоржи Амаду, приехавший на юбилей, когда неожиданно появились настроенные воинственно чины особой полиции, почему-то именовавшейся «международной». Они начали яростно выбрасывать наши вещи из чемоданов. Из моего портфеля забрали все; я попытался отстоять диплом, который должен был вручить Неруде, но один из полицейских, обладавших мускулатурой боксера, так стиснул мои руки, что я едва удержался, чтобы не вскрикнуть. Золотой медали, к счастью, не нашли — она была в сумке Любы; попади она в руки начальника полиции, он ни за что не вернул бы ее: это был человек нечистый на руку, вскоре его арестовали за махинации с каракулевыми шкурками.

На аэродром приехал председатель парламента Валтасар Кастро, но перед «международной полицией» и он оказался бессильным. Неруда повез нас к себе, затопил камин, что делал редко, и начал рассказывать, какие чудесные вещи мы увидим в Чили.

На следующий день все газеты были заполнены моими фотографиями. Полиции сообщала, что и пытался провезти грампластинки с секретными инструкциями компартиям Чили и

других стран Латинской Америки, шифрованные обозначения ячеек и пять миллионов песо. Последнее министерство юстиции тотчас опровергло, испугавшись, что ему придется вернуть деньги, которых полицейские не могли отобрать — их у меня не было. Не было и грампластинок ни с тайными инструкциями, ни с народными песнями. Шифрованными документами были объявлены записка с латинскими названиями некоторых растений я надеялся раздобыть семена на их родине, и французские кроссворды, которые и решал в самолете.

Началось нечто невообразимое. Однажды ночью дом Неруды закидали петардами, пожар быстро погасили. В другую ночь мы проснулись от криков. «Здесь даже выспаться не дадут», — сказала Люба и тотчас заснула. Утром мы узнали, что к дому подъехала установка с громкоговорителем, разбудившим всю улицу. Садовник Неруды увещевал: «Как вам не стыдно народ будить?…» Один из крикунов, говоривший по-испански, ответил: «Мы через пять минут кончим и уедем». В газетах я прочитал, что русские, специально прилетевшие из Нью-Йорка, предлагали мне «выбрать свободу» и улететь с ними в Соединенные Штаты, ибо «красные» не простит мне «Оттепели», что они взывали к Любе: «Спаси Илью и себя!»; что Люба хотела якобы спрыгнуть со второго этажа, но ее удержали «два гиганта-чекиста». Газеты напечатали все это, хотя Сантьяго небольшой город и дом Неруды известен всем, а он одноэтажный.

Стены города покрылись надписями: «Эренбург, убирайся домой!», «Чили — да, Россия — нет». Газеты сообщали, что я в Москве повесил много неповинных. «С Эренбургом приехала опытная чекистка, ее кличка «Люба». Наверно, большое впечатление на читателей произвело сообщение, что Неруду русские называют «Епида» — так журналисты прочитали фамилию, напечатанную в дипломе и по-русски.

На неделю я стал самым популярным человеком в Сантьяго. Друзья советовали мне сидеть в бесте — фашисты хотели меня избить. Все же и уезжал в город (дом Неруды на окраине) иногда с Пабло, иногда с кем-нибудь из его приятелей. С Пабло я пошел в рабочий квартал. Охранял меня шофер, который час спустя взмолился: «Если мы пойдем дальше, у меня будет разрыв сердца…» Рабочие меня узнавали и кидались меня обнять, а шофер каждый раз пугался — уж не фашисты ли?…

Казалось, все потеряли голову. Только Пабло сохранял полное спокойствие, писал стихи, после обеда спал, рассказывал забавные истории. Он говорил, что, конечно, не ждал таких событий, однако ничего удивительного нет — янки распоряжаются тут, как у себя дома, вскоре это кончится, тогда я

смогу снова приехать, он мне покажет Вальпараисо, юг Чили, и я пойму, что нет страны прекраснее.

Я связался по телефону с нашим послом в Аргентине и попросил его передать в Москву о моем положении. Дня три спустя Юнайтед Пресс сообщило, что московские газеты пишут о «самоуправстве чилийских властей». Чилийское правительство поняло, что переусердствовало. Кроме того, я с Нерудой отправился к послу Аргентины, которому после разрыва дипломатических отношений между Чили и Советским Союзом было поручено защищать интересы советских граждан. Мы были первыми, потревожившими посла; он признался, что запросит Буэнос-Айрес, сказал, что он поклонник поэзии Неруды, а на меня глядел с интересом, но и с опаской. Потом он сообщил Пабло, что был у престарелого президента Чили, который заинтересовался тем, что я хотел купить семена некоторых сортов бегонии, и сказал, что это может стать началом торговых отношений между двумя государствами.

Однажды в дом Неруды пришли двое посетителей. Пабло не было, а друзья, проводившие все время у Неруды, приняли их за незнакомых почитателей. Тогда пришедшие сказали, что хотят поговорить со мной, и показали полицейские удостоверения. Оказалось, они принесли мне диплом. Папка была в ужасном виде — газеты писали, что ее подвергали различным химическим анализам. Когда Пабло вернулся, я показал ему диплом. Он улыбнулся и грустно сказал: «Я тебе говорил, что мы победим…»

Нужно было организовать церемонию вручения премии. Это было нелегко — фашисты грозились, что примут меры. Мы собрали военный совет — пришли и коммунисты, и Валтасар Кастро, и чилийские писатели, и, конечно же, Жоржи Амаду. Зал мы сняли в большой гостинице, но как обеспечить порядок? Мы решили, что центр города на один вечер оккупируют студенты. Однако коммунисты, подумав, решили, что этого мало, и к студентам добавили несколько тысяч рабочих.

Все прошло спокойно. Зал был набит. Выступали и писатели, и политические деятели разных партий. Один старый писатель, забыв, что чествуют Не руду, а не меня, начал медленно по-русски считать: «Один… Два… Три… Четыре…» Он хотел этим высказать свое уважение к русским. Я увидел, что Жоржи корчится, сдерживая смех, а Пабло слушал вполне серьезно. Потом он произнес вдохновенную речь. Известный актер продекламировал монолог Чехова «О вреде табака».

Накануне нашего отъезда я устроил ужин в честь лауреата. Среди приглашенных оказались два министра — юстиции и информации, первый за пять дней до того объявил, что меня

будет судить чилийский суд, второй ежедневно снабжал прессу фантастическими историями. Было много вина, и министр юстиции, развеселившись, произнес тост — просил меня не смешивать правительство Чили с международной полицией.

(Посол Аргентины дал нам визы, и мы провели несколько дней в Буэнос-Айресе, где жили в то время наши давние друзья — Рафаэль Альберти и Мария Тереса Леон. Нас пригласили аргентинские писатели. Мы разговаривали стоя: нам объяснили, что сидеть нельзя — тогда прием может быть причислен к собраниям, а таковые строго запрещены. В последний день мы возвращались с прогулки, вместе с нами был секретарь посольства. Аргентинские друзья нам показали красивые окрестности города, и мы запоздали, а я обещал рассказать сотрудникам посольства о живописной истории, происшедшей со мной в Чили. Мы выскочили из машины, когда раздался грохот: напротив посольства — крутая улица, оттуда двое исчезнувших людей спустили на нашу машину «пикай». Посольскую машину исковеркали, а мы остались невредимыми только потому, что, торопясь, действительно не вышли, а выскочили.)

Все это относится к 1954 году, но если откинуть некоторые живописные подробности, то это — картины «холодной войны», о которой я рассказывал в предшествующих главах. С тех пор прошло больше десяти лет, многое изменилось и в мире, и на родине Неруды. Недавно в Чили ездили советские писатели, и М. И. Алигер рассказывала, как их там радушно принимали.

Пабло Неруде в 1964 году исполнилось шестьдесят лет. Одно из его стихотворений называется «Прошу тишины», в нем он просит:

А теперь оставьте меня в покое.
А теперь обойдитесь-ка без меня…

Однако неделю или месяц спустя он снова кидается в море жизни. Он объясняет, почему смог выдержать горечь некоторых разуверений: когда тонули корабли, он снова брался за топор — он ведь кораблестроитель:

Моей религией те были корабли.
Нет выхода иного у меня, чем жить.

Я столько писал в этой книге о трагических судьбах писателей и художников, что должен был рассказать, хотя бы коротко и шутливо, о большом поэте, который счастлив. Конечно,

Неруда знал и часы отчаяния и разочарования, и горести любви, и многое другое, без чего не обойтись, но никогда он не отрекался от жизни и жизнь не отрекалась от него. Он пошел против сильных мира, стал коммунистом, нашел друзей, следовательно — нашел и врагов, но ругали его только враги, никогда он не знал, что значит терпеть кровные обиды от своих. Он писал, о чем хотел и как хотел. Когда я переводил главу его книги, я наткнулся на один образ, которого не понял. Я спросил: «Пабло, почему и идейны голубые?»… Он долго мне объяснял, что как-то увидел индейцев под вечер на берегу озера, и они казались голубоватыми. «Но в поэме этого нет…» Он ответил: «Ты прав… Но пусть они останутся голубыми». Прав, конечно, был он.

Могут сказать: человеку везло и везет. Это ничего не объясняет. Нерула никогда не выбирал легкого пути, но на тяжелой дороге, когда вокруг него люди падали, плакали, проклинали свою судьбу, он видел не низость, а благородство, не лопухи, а розы — так устроены его глаза, такое у него сердце.

Вот он загрустил; он пишет не о борьбе народа, не об Андах или вулканах, он разрешает себе пожаловаться:

Я очень устал от кур:
мы не знаем, что они думают,
они смотрят сухими глазами
и не придают нам значенья…
давай уставать хотя бы
раз или два а неделю,
оттого что дни зовутся всегда одинаково,
как блюда на столе…

Это не брюзжание старика, а шалости ребенка, и кончает Неруда стихотворение тем, что придут молодые, откроют зарю или окрестят заново поцелуи. Если ему и повезло, то в ту самую минуту, когда он появился на свет — дело не в благоприятных обстоятельствах, не в оптимистической философии, не в эгоизме, а в чудесной природе этого человека.

27

Мы пробыли в Китае немного больше месяца; кроме Пекина, побывали в Шанхае и в Ханчжоу, ездили в деревни, смотрели Великую стену, могилы династии Мин.

Для меня все было внове: я впервые увидел Азию. Правда, радушные хозяева порой нас чересчур опекали — говорили, что время еще неспокойное, повсюду со мной ходили переводчики. (Только раз в Ханчжоу мне удалось их перехитрить и одному побродить по городу.) Много времени отнимали различные приемы, банкеты, совещания, митинги. Впечатлений все же было немало. Однако я не решился ничего написать о Китае. Я увидел слишком мало для того, чтобы понять страну с древнейшей культурой, где только что победила революция, где новое переплеталось со старым; и вместе с тем я увидел достаточно, чтобы! понять, что я ничего не понимаю, — это меня удержало от поверхностных суждений.

В книге воспоминаний я рассказываю не о различных странах, а о своей жизни. Поездка в Китай была для меня школой: на старости лет я начал освобождаться от шор европейского воспитания. Теперь я не боюсь сбивчиво, да и, наверно, наивно рассказать о своих впечатлениях — никто их не примет за попытку дать картину Китая.

В Северной Америке, где я побывал до Китая, потом в Латинской Америке, в Индии, в Японии и, конечно же, в Китае многое меня удивляло. Путешественник прежде всего замечает то, что ему непонятно; так Бывало и со мной

В первый же день ко мне пришли китайские писатели. Они называли Меня «Эйленбо», и я долго не мог догадаться, что это загадочное слово означает «Эренбург». В китайском языке почти все слова состоят из одного слога, собственные имена — это два или три слова. Иностранные имена могут быть выражены словами лестными или обидными — в зависимости от отношения к человеку. «Эйленбо» свидетельствует о добрых чувствах, это значит «крепость любви». Фадеев по-китайски Фадефу, и Александр Александрович с гордостью мне говорил, что это означает «строгий закон». Некоторые звуки европейских языков, как, например, «р», в китайском отсутствуют. Мне много говорили о знаменитом французском писателе Бальбо, удивлялись, что я его не знаю, пока наконец я не догадался, что речь идет о Барбюсе.

Грамота в Китае — сложная наука: для того чтобы читать газеты или книги с несложным словарем, нужно знать несколько

тысяч иероглифов. Го Можо знает десять тысяч, он может написать все, но прочитать это «все» смогут далеко не все. В Шанхае нас повели в большую типографию. На стене были тысячи ящиков с иероглифами, и наборщики ловко взбирались по лесенкам, чтобы взять нужный иероглиф. После того как лист напечатан, значки плавят, отливают новые — раскладывать их по ящикам чересчур трудно. Наборщики — люди очень образованные, они знают больше иероглифов, чем средний читатель, а знание иероглифов — это знание понятий. Я удивлялся, что китайцы не переходят на звуковое письмо, как это сделали вьетнамцы и частично японцы. Мне объясняли, что тогда житель Кантона не сможет читать пекинские газеты или журналы. На севере чай «ча», на юге «тэ». а иероглиф, конечно, тот же. На заседаниях Всемирною Совета Мира я несколько раз видел, как пожилые вьетнамцы переписывались с китайцами и корейцами — разговаривать они не могли, но иероглифы понимали.

На следующий день после приезда нас пригласили в Комитет защиты мира, там мне показали чертежи, изображавшие различные фазы церемонии вручения премии. «Одно нам неясно, — сказали китайские друзья, — как вы вручите медаль госпоже Сун Цинлин — двумя руками или одной?» Я ответил, что это не имеет значения — могу одной, могу двумя. «Это имеет очень большое значение — нужно, чтобы вы поступили так, как это делается в Москве». Хотя Д. В. Скобельцын несколько раз при мне вручал премию, я не мог вспомнить, держал ли он диплом и медаль в одной руке или в двух. Обсуждение длилось долго. Китайцы куда серьезнее относятся к любой церемонии, чем европейцы, и существует множество правил приличия, которыми нельзя пренебрегать.

Две недели спустя мы были на приеме в честь второй годовщины провозглашения Народной республики. Нас выстроили в шеренгу и объяснили: «Вы подойдете к товарищу Мао Цзэдуну и поздравите его с праздником». Первой в шеренге оказалась Люба. Выйдя в зал. она направилась к президиуму, где сидели члены правительства. Китайцы вовремя ее остановили — нужно было описать полукруг.

На нервом же банкете я обомлел — нам подавали различные блюда часа три, а блюд было не менее тридцати; их порядок для европейца загадочен: когда подали сладкое, я облегченно вздохнул, решив, что обеду приходит конец, но вслед за этим принесли рыбу, а в конце дали бульон и сухой рис. Еда в Китае изысканная, редко понимаешь, что ты ешь. Однажды нас угощала писательница Дин Лин. Одно блюдо мне особенно понравилось, и я спросил, что мы едим. Хозяйка не знала, позвала повара,

который сделал небольшой доклад; переводчик, однако, не знал ни анатомии курицы, ни русских названий растений, и блюдо осталось для меня загадочным.

Один писатель сказал мне, что не мог встретиться со мной — его жена была тяжело больна, три дня назад она умерла; говоря это, он смеялся. У меня мурашки пошли по коже; потом я вспомнил, что Эми Сяо мне говорил: «Когда у нас рассказывают о печальном событии, то улыбаются — это значит, что тот, кто слушает, не должен огорчаться».

В Китае я впервые задумался об условностях, обычаях, правилах поведения. Почему европейцев изумляют нравы Азии? Мало ли у нас условностей? Европейцы, здороваясь, протягивают руку, и китаец, японец или индиец вынуждены пожать конечность чужого человека. Если бы приезжий совал парижанам или москвичам босую ногу, вряд ли это вызвало бы восторг. Житель Вены говорит «целую руку», не задумываясь над смыслом своих слов, а житель Варшавы, когда его знакомят с дамой, маншнально целует ее руку. Англичанин, возмутившись проделками своего конкурента, пишет ему: «Дорогой сэр, вы мошенник», без «дорогого сэра» он не может начать письмо. Христиане, входя в церковь, костел или кирку, снимают головные уборы, а еврей, входя в синагогу, покрывает голову. В католических странах женщины не должны входить в храм с непокрытой головой. В Европе цвет траура черный, а в Китае белый. Когда китаец видит впервые, как европеец или американец идет под руку с женщиной, порой даже ее целует, это кажется ему чрезвычайно бесстыдным. В Японии нельзя зайти в дом, не сняв обуви; в ресторанах на полу сидят мужчины в европейских костюмах и в носках. В пекинской гостинице мебель была европейской, но вход в комнату традиционно китайским — ширма но позволяла войти прямо; это связано с преданием о том, что черт идет напрямик; а по нашим представлениям черт хитер, и ему ничего не стоит обойти любую перегородку. Если к европейцу приходит гость и восхищается картиной на стене, вазой или другой безделкой, то хозяин доволен. Если европеец начинает восторгаться вещицей в доме китайца, хозяин ему дарит этот предмет — того требует вежливость. Мать меня учила, что в гостях нельзя ничего оставлять на тарелке. В Китае к чашке сухого риса, которую подают в конце обеда, никто не дотрагивается — нужно показать, что ты сыт. Мир многообразен, и не стоит ломать голову над тем или иным обычаем: если есть чужие монастыри, то, следовательно, есть и чужие уставы.

В 1951 году в Китае было много советских специалистов — инженеров, агрономов, врачей; они работали самоотверженно и

вели себя скромно. Китайцы тогда ценили помощь, оказываемую им Советским Союзом, и принимали русских как желанных гостей. Однако различия в условностях порой и в те времена вмешивались в дружбу. Советские инженеры начали устанавливать оборудование одного из новых заводов; станки были рассчитаны на рост русских, которые несколько выше китайцев. Инженеры сказали, что дело легко исправить — они поставят перед станками подмостки. Китайцы заулыбались, а потом заявили, что станки они установят сами. Они проделали тяжелейшую работу — вкопали машины в землю. Очевидно, в подмостках было нечто для них оскорбительное. Вспоминая этот случай, я часто думаю: сколько размолвок и обид рождается от случайностей, от того, что люди, которые чувствуют, переживают, да и думают сходно, привыкли к разным выражениям чувств, к веренице различных образов.

После церемонии вручения премии артисты пекинской классической оперы исполнили несколько сцен. Я впервые услышал китайскую музыку, она меня поразила; удивили и приемы актерской игры, содержание пьесы. Я сидел рядом с китайскими министрами, они наслаждались игрой, переживали происходящее на сцене. Потом я несколько раз был в театрах Пекина и Шанхая, начал понимать прелесть китайского спектакля. Его часто противопоставляют реализму — он сложен, как иероглифы, насыщен условными понятиями, но искусство немыслимо без условностей: те, которые нам известны с детства, нас не удивляют. Нам кажется естественным, что Борис Годунов, умный и не ронявший зря слова, — на сцене все время поет; что Ромео и Джульетта, умирая, танцуют; что колокольчик — это «дар Валдая», а бессонница — «парки бабье лепетанье». Я рассказывал, как меня когда-то рассмешил французский трагик Муне-Сюлли, который патетически завывал, играя Эдипа, — я тогда знал только такой театр, где все «всамделишное». А некоторых москвичей смешили постановки Мейерхольда: зеленый парик на одном из актеров в пьесе «Лес» был непривычной для них условностью. Когда я увидел Муне-Сюлли, мне было восемнадцать лет, а Мэй Ланьфана я впервые увидел в шестьдесят. Знаменитый актер исполнял роль влюбленной девушки, его сын — служанки: все актеры были мужчины. В опере Шанхая играли только женщины, они исполняли роли полководцев к бородатых мандаринов. Условности китайского театра меня удивляли потому, что я их не знал. Потом мне объяснили, что если актер трясет руками над головой, — значит, он испытывает страх; флажки на спине полководца обозначают, сколькими полками он командует; если он делает вид, что пьет

чай, — значит, он начал переговоры с противником; красное лицо свидетельствует о порядочности персонажа, а белое — о его бесчестности и так далее. Каждый китаец, даже неграмотный, разбирается в иероглифах театра.

Мне во многом помог Н. Т. Федоренко — он был тогда советником нашего посольства. Он знает китайский язык, старую и новую литературу, его рассказы мне часто открывали глаза.

Китайские поэты мне говорили, что стихи нельзя слушать, их нужно читать — иероглиф рождает образ. Гийом Аполлинер одно время писал «каллиграммы»: стихотворение было чашей, крестом, башней; он обладил скудным материалом — латинским алфавитом, а стремился к тому, о чем говорили китайские поэты.

На одном из обедов мне подарили стихотворение. Я долго любовался красиво вычерченными иероглифами. Я думал, что автор — поэт, но ои оказался директором Народного банка. В свое оправдание он сказал, что он — человек пожилой, а в старое время все должны были владеть версификацией. По содержанию его стихотворение было традиционно условным, но зрительно оно мне показалось куда выразительнее, чем «каллиграммы» одного из крупнейших поэтов XX века. Очевидно, мастерство связано с веками. Тютчев для меня великий поэт, но стихи, которые он писал по — французски, могли бы быть написаны любым французским студентом.

Я видел в Пекине произведения старого художника Ци Байши; ему тогда было восемьдесят лет. Он рисовал в традиционной манере, но был талантливым художником — его лошади или белки мне показались очаровательными. Некоторые китайцы пожимали плечами: стоит ли повторять то, что было сделано много веков назад?… Действительно, Ци Байши не внес в живопись ничего нового, лошади или белки не изменились. А гениальный пейзажист XI века Го Си был не эпигоном, но новатором. Все же мне хочется взять под защиту доброго мастера Ци Байши. Когда некоторые китайцы начали писать огромные полотна, то эти художники выглядели не новаторами и не эпигонами, а неумелыми копиистами. (В Индии я увидел современную живопись, которая, не будучи подражанием французским мастерам и сохраняя национальный Характер, показывала мир по-другому, чем древние фрески Аджанты. Вероятно, нечто подобное произойдет когда-нибудь и в Китае.)

В старом китайском искусстве поражают не фантазия, не причуды, да и не дерзость художника, а необыкновенное терпение и безупречное мастерство. Это в характере народа. Я любовался в парках «деревьями любви» или «деревьями дружбы» — два дерева или пять срастаются в одно; для того чтобы подчинить человеку

рост дерева, нужны и знание ботаники, и огромная настойчивость. В Китае я не нашел того, что в Европе мы называем народным искусством. В Пекине были сотни улиц, где ремесленники жили, работали и продавали свои изделия, — улица корзин, улица щеток, улица чайников для лечебных трав, улица театральных бород, улица игрушек — бумажных тигров, змеев, крохотных птиц и так далее. Все предметы обихода, привычные для китайцев, отличались красотой пропорций, пониманием материала, а подражания европейской утвари мне показались уродливыми.

Я увидел Китай, когда Народной республике было всего два года. В Шанхае еще имелись рикши, модницы прогуливались в парижских платьях, старики не расставались с традиционными длинными халатами. А в Пекине все мужчины и женщины были одеты в одинаковые синие костюмы — куртка, штаны. Многие закрывали рот и нос белыми повязками — эту моду принесли японцы, которые хотели оградить себя от мельчайших песчинок, приносимых ветрами из пустыни Гоби. Торговали повсюду и всем — музейными древностями, конфетами, шелком, женьшенем.

Меня поражала дисциплинированность народа. Молодые китайцы обзавелись вечным пером. Когда я бывал на собраниях или митингах, все сидели, внимательно слушали и записывали. Мне пришлось не раз выступать, иногда я шутил (боялся, что слушатели устали), записывали и шутки. Доклады китайцев повсюду были длинными — четыре часа, пять. (Спектакли тоже для европейца непомерно длинны, иногда пьеса идет два вечера — начало и конец истории.)

В саду возле школы, в деревне под деревом, в бараке я видел небольшие собрания — двадцать — тридцать человек; там тоже слушали и записывали. Переводчик мне объяснил: «Это критика и самокритика». Вряд ли содержание таких собраний было традиционным: обсуждали, что студент скрыл свое социальное происхождение, что незамужняя работница забеременела, что слесарь опоздал в мастерскую, но форма была китайской — один длительно каялся, другие слушали и записывали.

Возле города Ханчжоу в идиллическом пейзаже я увидел могилу знаменитого полководца XII века Ио Фэя. Он отразил атаки племени чжурчжэней, потом был отозван в столицу Ханчжоу и казнен. Около его могилы на коленях стоят бронзовый человек, предавший героя, и его жена. Школьная экскурсия осматривала достопримечательности. Один подросток плюнул в лицо предателя, тотчас его товарищи сделали то же самое. Китаец, который показал нам могилу полководца, не очень разбирался в древней истории и не знал, кем были названные им

чжурчжэни, но поведение школьников он одобрил и добавил: «Он предал восемьсот десять лет тому назад»… Китайцы, с которыми мне привелось встречаться, уделяли внимание датам, годовщинам, а доказывая что-либо, говорили «в-пятых», «в-шестых», «в-седьмых»…

В Китае буддизм, да и другие религии играли, скорее, второстепенную роль. Я заходил в пагоды, там блистали статуи толстого золоченого Будды, а вокруг суетились, продавая какие-то листочки, отнюдь не толстые монахи; верующие пили чай, некоторые спали. Место религии занимала упрощенная мораль конфуцианства: будь честным, уважай начальство и чти предков. Кладбищ в деревнях, однако, не было, и крестьяне, обладавшие крохотным полем, похожим на пригородный садик, должны были уделять там место для могил дедов и прадедов.

В деревне неподалеку от Пекина мне рассказали, как один безземельный крестьянин не знал, где ему похоронить отца. Он молил на коленях помещика разрешить похоронить отца на помещичьей земле. Помещик продиктовал условия: за могилу бедняк должен будет проработать столько-то месяцев.

Народная республика первым делом провела аграрную реформу — покончила с феодализмом. Конечно, были среди помещиков люди богатые, но я побывал в некоторых помещичьих домах, по сравнению с которыми дом среднего датского крестьянина следует назвать дворцом.

Раздел помещичьих земель уничтожил несправедливость — это было первым шагом. Один юноша в Пекине мне говорил: «Скоро мы обгоним старшего брата в построении коммунистического общества» («старшим братом» китайцы тогда называли советский народ). А в деревнях я еще видел древнюю соху. Домики крестьян были крохотными; на низкой печи спала вся семья. Ели скудно — чашка риса, иногда сладковатая редька или листик капусты. Женщины в деревнях еще держались приниженно. Я видел босых крестьян, видел детей с язвами на голове. Пять лет спустя в Индии я понял, что все относительно — отощавшие крестьяне, падающие голодные коровы, на улицах Калькутты бездомные, умирающие, прокаженные. Таких ужасов в Китае не было, но уровень жизни большинства китайцев в 1951 году был куда ниже, чем в самых бедных районах Европы. Друзья, побывавшие в Китае несколько лет спустя, рассказывали, что многое изменилось: построили тысячи школ, больниц, родильных домов, яслей. Я видел раннее утро нового Китая: прививали всем оспу, учили грамоте детей и взрослых, сносили трущобы Шанхая. Многие страны Азии тогда глядели на Китай как на чудотворного пророка. Когда я был в Дели в 1956 году, туда приехала

китайская делегация, трудно рассказать, с каким восторгом индийцы ее встретили.

Исторические пути Индии и Китая различны, и вместе с тем есть между ними много сходства. За триста лет до нашей эры города Индии были снабжены канализацией. В третьем веке до нашей эры китайцы построили Великую стену, чтобы защитить страну от кочевников. Производство шелка китайцы начали за две тысячи лет до нашей эры; в пятом веке до нашей эры вырыли оросительные каналы, потом начали изготовлять бумагу. Китайцам принадлежит изобретение компаса, сейсмографа, фарфора, книгопечатания подвижным шрифтом (за четыреста лет до Гутенберга). Они изобрели порох и многое другое, о чем европейцы узнавали с большим запозданием от арабов. Правитель Индии Ашока в третьем веке до нашей эры сформулировал принципы мира, согласно которым он решил никогда не начинать войн. Когда мы защищали в Движении сторонников мира те же принципы, на нас многие нападали. Феодальные распри, вторжения, навязанные войны истощили два великих государства Азии как раз в то время, когда страны Западной Европы освоили порох, обзавелись артиллерией и военным флотом. Индию начали разбирать по кускам, львиную долю получили англичане. Китай продолжал существовать как государство, но ему предъявили ультиматумы, посылали на его территорию карательные экспедиции, навязывали кабальные договоры. Индия добилась независимости в 1950 году, причем осталась членом Великобританского содружества. Китай стал Народной республикой за год до того. Американцы создали «второй Китай» на острове Тайвань.

Каждый китаец помнит былые обиды. Стоит вспомнить хотя бы «опиумные войны», когда англичане, возмутившись запретом ввоза опиума в Китай, силой оружия добились продления права отравлять китайцев; это было в эпоху чартизма, роста тред-юнионов, в эпоху Диккенса, Теккерея, Тернера. Об этом я думал в Китае, потом в Индии. У народов Азии есть свои счеты с обидчиками, есть счета, которые нелегко погасить.

Вернусь к 1951 году. Немного осмотревшись, я понял, что форма жизни куда отличнее от привычной мне, чем ее содержание. Неруда и я поехали на кладбище — положили цветы на могилу Лу Синя. Там мы встретили знакомую китаянку: открыли братскую могилу жертв чанкайшистов, и она думала, что найдет останки своего мужа. Она пробовала улыбаться, как того требовала вежливость, и не выдержала — расплакалась. Мне рассказали историю несчастной любви. Поэт Ай Цин говорил мне о том, как трудно быть поэтом, и его слова напомнили мне

некоторые страницы моей биографии. Я встретил читателей моих романов. Все было проще и сложнее, чем это кажется туристу, который ищет экзотики.

Я влюбился в Индию, там было много людей, разговаривая с которыми я забывал, что это дети «страны чудес».

Год спустя в Японии я увидел, что та архитектура, о которой я мечтал в начале двадцатых годов, принадлежит японскому быту.

Эта глава моей книги может показаться статьей, вставленной в автобиографию, но я рассказываю о том, что меня волновало и волнует. Моя жизнь прошла на рубеже двух эпох. Октябрьская революция, революция в естественных науках, пробуждение народов Азии и Африки открывают новую эру. Многое я понял в конце моей жизни. Теперь часто говорят о предстоящем освоении космоса, а я только к концу жизненного пути начал осваивать нашу планету.

В гимназии меня учили латыни, я знал ссоры удельных князей, проказы богов и богинь Древней Греции. Потом я хаотично прочитал много книг, бродил по музеям, понял величие Эллады, разгадал средневековое искусство, восхищался Возрождением. Но о странах Азии я в молодости судил но книгам европейцев да по некоторым произведениям древнего искусства. Книги, которые я брал, часто были случайными: Блаватская рассказывала о таинственной Индии, Киплинг писал о джунглях и об отважных белых, автор истории буддизма (книгу мне дал Волошин) восхищался нирваной. Потом я увидел Хокусаи и Утамаро, мастеров XVIII века, но ничего не знал о портретах Сэссю, который жил в XV веке. О современной Японии я судил по книге Пильняка, по модному в то время сатирическому роману посредственного французского автора да по безделкам, выставленным в витринах антикваров, — чайникам, веерам, ширмам. Я прочитал книгу Ромена Роллана о Ганди и его последователях, стихи Рабиндраната Тагора, две или три книги, в которых рассказывалось о зверствах англичан, о кастах, о голоде, о йогах, Когда в 1917 году я увидел «Сакунталу», которую играли в Камерном театре, я восхитился — я ничего не знал о Калидасе, и пьеса, написанная пятнадцать веков назад, показалась мне современной. В двадцатые годы журналы и газеты много писали о революционном Китае. Я знал про события в Кантоне, прочитал роман Мальро «Условия человеческого существования», французскую книгу о Конфуции. Я рассказываю о своем невежестве потому, что незнание Азии было общим грехом европейцев, и оно позволяло образованному индийцу или китайцу относиться к интеллигенции Запада с некоторым

презрением.

Два мира сосуществовали отнюдь не мирно, между ними была стена.

Киплинг писал, что Восток и Запад никогда не встретятся. Он родился в Бомбее, молодость провел в Азии, был хорошим поэтом, но, видя Индию, он ее не видел: на его глазах была повязка — идея превосходства Запада над Востоком.

Афоризм Киплинга мне кажется не только неверным, но и опасным — он нашел отклики повсюду. Теперь иные начинают поговаривать о превосходстве Востока над Западом. А Восток и Запад встречались, встречаются и, надеюсь, будут встречаться. Увидев японских художников XVIII века, я понял, чему у них научились мастера французского импрессионизма. Французские энциклопедисты изучали философов старого Китая. Английские филологи в середине XIX века многое почерпали из древнейшей индийской грамматики. Современный китайский театр произвел огромное впечатление в Париже и обогатил французских режиссеров.

У Востока и Запала общие истоки, и как бы ни были разнообразны рукава реки, которые то разъединяются, то сливаются, река течет дальше.

Идеи, основанные на единстве культуры, на солидарности людей и народов, могут стать универсальными, а расизм или национализм (безразлично, от кого он исходит), с его утверждением приоритета и превосходства, неизбежно порождает вражду, разобщает народы, принижает культуру и в итоге становится всеобщим бедствием. Об этом я часто думал в годы, когда писал эту книгу, думаю и теперь, слушая но радио поучении некоторых китайских догматиков. Вряд ли заря новой эры будет идиллической, но мне не верится, что люди, уверенные в превосходстве своей крови, своей религии или в абсолютной правоте своего толкования того или иного учения, осмелятся от словесного расщепления своих спорных истин и чужих, столь же спорных заблуждений перейти к оружию, способному уничтожить не только все заблуждения, но и все истины.

28

В 1949 году я кончил одну из моих статей строками: «Думая о судьбе века, я вспоминаю стихи турецкого поэта Назыма Хикмета, озаглавленные «XX век».

— Нет, не страшит меня мой век,
мой жалкий,
мой великий век,
нет,
я не дезертир.
Я не жалею, что пришел
так рано в этот мир,
и века моего
я не стыжусь
и не страшусь,
я — сын его,
и этим я горжусь!

Это написал коммунист после двенадцати лет тюрьмы, зная, что его приговорили к двадцати восьми годам заключения и что V него болезнь сердца… Когда читаешь эти строки, что-то подступает к горлу, хочется пожать далекую руку, сказать: «Никогда рнй не победят жизни, если есть у нас столько друзей, чистых, честных, смелых!.»

Назым Хикмет тогда еще сидел в турецкой тюрьме. Два года спустя я пожал его руку. В осенний вечер он позвал Любу и меня к себе. Жил он напротив «Правды», в квартире, которую ему отвели как гостю. Мы почти не, знали друг друга, но Назым чуть ли не сразу заговорил о том, что его волновало. (Он слишком часто говорил то, что думал; некоторых это злило, но в конце концов обезоруживало. Одни товарищ как-то сказал мне: «Но ведь это сказал Назым Хикмет, а с него взятки гладки…») В тот первый вечер, который мы провели вместе, Назым признался, что многого не понимает. Началось со статуэтки: «Вы знаете, я не могу глядеть на нее. Это уродство, настоящее мещанство! Но ничего не поделаешь — квартира казенная, я здесь гость…» Он рассказал, что ему предоставили машину: «Утром выхожу, шофер спрашивает: «Куда поедем, начальник?» Я отвечаю: «Какой я начальник? Я — поэт, коммунист, сидел в турецкой тюрьме…» Он говорит: «Ну не начальник хозяин»… «Маяковский — гений», а я посмотрел стихи в журналах — при чем тут Маяковский?… Меня

повели в театр. Как будто не было ни Мейерхольда, ни Таирова, ни Вахтангова…»

Это старая трагедия — человек на десятилетия выпадает из жизни и, возвратившись, многого не может понять. Есть старинные французские песни о солдате или матросе, который, приехав после долгой войны, не узнает своей жены, а жена принимает его за чужого. Можно заморозить сердца, как ягоды клубники, это вопрос сроков… Назыма арестовали в 1937 году, но не в Москве, а в Турции. Он не знал о гибели Мейерхольда, которого обожал, не знал, что поют вместо «ни царь, ни бог и ни герой» «нас вырастил Сталин», не знал, что картины, которыми он восхищался в музеях, спрятаны, он очень многого не знал.

В тюрьме он писал стихи о Сталине как о старшем товарище. Он говорил в 1951 году: «Я очень уважаю товарища Сталина, но я не могу читать, как его сравнивают с солнцем, это не только плохие стихи, это плохие чувства…» А в 1962 году Назым Хикмет написал:

> Он был из камни, из бронзы, из гипса и бумаги,
> от двух сантиметров до нескольких метров.
> На всех площадях мы были под его сапогами,
> под сапогами из камня, бронзы, гипса и бумаги…

Очутившись в Москве, он отвечал невпопад — плясал на похоронах и плакал на свадьбе.

Повсюду его встречали овациями — большой поэт, герой, просидевший тринадцать лет в тюрьме. Он говорил, отвечал на вопросы и восхищал молодежь своей прямотой, искренностью. Порой наивность помогала ему быть мудрым. Впервые он приехал в Москву в 1921 году — ему тогда не было двадцати лет, а Советской республике четыре года. То была эпоха «памятника Третьему Интернационалу» Татлина, споров между футуристами и имажинистами, мейерхольдовского «Великодушного рогоносца», эпоха голода и уличных карнавалов. Назым прожил у нас восемь лет, учился в Коммунистическом университете трудящихся Востока, писал стихи и пьесы, уверовал, понял, закалился. Это был на редкость цельный человек. В своей поэтической автобиографии он говорил: «Одним знакомы виды трав, другим — виды рыб, а мне — виды разлуки. Одни знают наизусть имена звезд, а я — имена расставаний». (О том же когда-то говорил Осин Мандельштам: «Я изучил науку расставаний…») Жизнь Назыма была бурной и трудной, но если он знал все виды разлук, все имена расставаний, то никогда не изведал горечи разрыва: до конца жизни сохранил идеи, вкусы, привязанности

юношеских лет.

Конечно, он повзрослел (слово «постарел» к нему не подходит), многое понял и за год до смерти писал: «Я разучился верить, я учусь пониманью…» Но, учась понимать, он убеждался в правоте того, во что раньше верил. Еще при жизни Сталина мы как-то сидели вечером в пражской гостинице. Назым говорил: «Когда я спросил в Румынии, жив ли Мейерхольд, мне сказал один товарищ, что, кажется, умер, а другой, которого я спросил, сказал, что Мейерхольд живет на юге, кажется, в Крыму или возле Сочи, там климат лучше… Я никогда не отступлюсь от коммунизма — для меня это правда. Но зачем обманывать товарищей?»

В 1956-м, а может быть, в 1957-м Назым мне рассказал, что при «культе личности», незадолго до смерти Сталина, арестовали старого турецкого коммуниста, ветеринара, которому было под семьдесят, он умер в концлагере, а теперь посмертно реабилитирован. Назым говорил: «Я часто думаю о судьбе N… Мне повезло — конечно, я сидел в тюрьме, но меня посадили враги, я знал, что я в аду. Куда хуже было другим…»

Назым гордился, что однажды выступал вместе с Маяковским: «Это было, конечно, в Политехническом. Я очень боялся, а Маяковский мне сказал: «Ты, брат, не бойся, читай по-турецки, никто не поймет, и все будут аплодировать…» Он вспоминал выставки, театры и все удивлялся. «На улице Воровского, — рассказывал он, — я разговаривал с двумя молоденькими поэтами. Я им говорю, это Элюар замечательный поэт, а они улыбаются. Я их спрашиваю, что они думают о стихах Пабло Неруды, по-моему, это очень большое явление. Опять улыбаются. Потом один говорит, что они против низкопоклонства. Я очень рассердился, говорю: «Элюар — коммунист, Неруда — коммунист». Это им безразлично. По-моему, они совсем не коммунисты».

Дед Назыма Хикмета был пашой, губернатором. Внук стал в молодости коммунистом и коммунистом умер. После XX съезда, когда некоторыми овладели недоумение, даже сомнения, он говорил: «По-моему, у всех сняли с сердца камень…» Вернувшись из поездки в Париж, он рассказывал: «Есть удивительные люди. Когда у людей язык отнимался, они верили, а когда сказали правду, заколебались. Коммунизм — это страсть, жизнь, но для таких людей он был минутным увлечением или привычной службой».

О том, что Назым был убежденным коммунистом и большим поэтом, известно всем, но люди, встречавшиеся с ним, знают также, что он был на редкость добрым, хорошим человеком.

Однажды я ему рассказал, что Элюар, узнав об Орадуре, в первую минуту усомнился, действительно ли гитлеровцы собрали детой в школу и там их сожгли. Назым сказал: «Я его понимаю. У нас в Турции очень много диких людей, бывала страшная резня, кто-то рассказывал, что резали даже детей, и всегда мне казалось — может быть, выдумка, то есть преувеличивают…»

В Риме я разглядывал два тома его произведений: один иллюстрировал Гуттузо, другой — друг Назыма, турецкий художник Абидин, который живет в Париже. Я сказал, что встречался с Абидином, и Назым просиял: он не хотел говорить о своих стихах, хотел говорить о друге. У него было много друзей в разных странах: Пабло Неруда, Арагон, Незвал, Броневский, Карло Леви, Амаду — всех не перечтешь. Об Элюаре он однажды мне сказал: «Удивительно, когда я читаю некоторые его стихи, мне кажется, что именно об этом, именно так я хотел написать…»

Почему-то все считают, что учителем Назыма Хикмета был Маяковский, а сам Назым не раз говорил, что Маяковский для него пример смелости, человеческого подвига, но поэтически он пошел по другой дороге. Он распрощался с рифмами, говорил, что поэзия отличается от музыки, сродни ей, но вместе с тем жаждет, скорее, звуков, чем звучания. От стремления продлить народную песню он перешел к созданию своей формы, к простоте и прозрачности. Я слышал, как он читал по-турецки, я читал французские и русские переводы; конечно, этого мало, чтобы сулить о поэте, и все же мне кажется, как казалось самому Назыму, что ближе всего ему был Элюар.

Его любовь к левому искусству двадцатых годов связана с его природой, с его эстетикой. В поэзии он освободился от всех литературных школ, а в пьесах есть что-то архаическое — приемы театра, который исчез. Он очень любил живопись, говорил, что она труднейшее для восприятия искусство, что нелегко разгадать «сладость яблок Сезанна»: для этого необходима большая живописная культура. Бунтарь двадцатых годов в пятидесятые годы готов был яростно защищать любого советского художника, в котором чувствовал желание расстаться с академическим письмом.

Мы встретились в Риме; я пошел на вечер, где он читал свои стихи. В Риме он долго мне доказывал, что нельзя требовать от искусства доходчивости; иногда его стихи понятны каждому, иногда только людям, разбирающимся в поэзии, и он протестует, когда одних ставят выше других. «Нельзя доверить уход за всеми розами директору завода, изготовляющего розовое масло. Ведь каждый год выводят новые сорта, дело не только в масле, у розы цвет, запах. Некоторые люди — эстеты — хотят, чтобы розу

поставили выше пшеницы или кукурузы, а для других розы — это крохотная цифра в большом бюджете…» Он вдруг остановился у окна цветочного магазина: «Посмотрите, пожалуйста, какие здесь розы!»…

Я знаю, как легко приходит к заключенному отчаяние. А Назым Хикмет просидел тринадцать лет в каменной клетке вдвоем с надеждой. В тюрьме он написал «Человеческую панораму» — эпопею турецкого народа. Дважды Назым объявлял голодовку, — связанный, продолжал бороться за человеческое достоинство.

Внешне он походил, скорее, на человека с севера, чем на турка, — очень высокий, светлый, голубоглазый. Повсюду он чувствовал себя свободно — в Москве и в Риме, в Варшаве и в Париже. Но о Турции он тосковал. Он покрыл диван турецкой материей; повел меня в ресторан «Баку»: «Здесь еда немножко похожа на нашу»; встречаясь на сессии Всемирного Совета Мира с турком, он не мог от пего оторваться. Раз он сказал мне: «Прислали мои стихи на исландском языке. Удивительно!.. А в Турции меня не печатают. Да и печатали бы, те, для кого я пишу, не смогли бы все равно прочитать — неграмотные…» В стихотворении «Завещание» он писал:

Если я умру на чужбине, товарищи,
похороните меня на деревенском кладбище Анатолии
рядом с батраком Османом, которого убил Хасан-бей…
Хорошо, если вырастет чинара,
а без камня и надписи я обойдусь…

В 1952 году мы все с тревогой спрашивали: «Как Назым?…» Он сам лотом писал: «С разорванным сердцем четыре месяца, лежа на спине, и ждал смерти». У него был сильный инфаркт. Его спасли, но с тех нор он жил в постоянном соседстве со смертью. Он весело разговаривал у меня на даче — он был прекрасным рассказчиком, — и вдруг его лицо покрылось крупной росой пота, В стихах он часто возвращался к мыслям о смерти:

Под дождем по московскому асфальту идет весна,
на своих топких зеленых ногах,
стиснутая шинами, моторами, кожей, тканями и камнями.
Сегодня утром
моя кардиограмма была плохая.
Та, которую ждут, придет неожиданно, придет одна,
не принеся с собой то, что ушло.

Концерт Чайковского играют под дождем.
Ты будешь подниматься без меня по лестнице…
С одной стороны — строчи стихи
один другого светлее,
с другой — беседуй со смертью,
что рядом с тобой стоит.

Когда праздновали его шестидесятилетие, был вечер для писателей в Доме литераторов и другой для читателей — в Политехническом; на последнем я председательствовал. Зал был переполнен, стояли, сидели на полу в проходах, и все глаза светились любовью к Назыму. Я тихо спросил его: «Устали?» Он виновато ответил: «Немножко… Но я очень счастливый…»

Он страстно любил жизнь, детей, стихи, птиц. Незадолго до смерти он писал:

Дадим шар земной детям, дадим хоть на день,
дадим, как раскрашенный шарик, пусть с ним играют.

Он продолжал радоваться, любить, полетел в далекую Танганьику и оттуда писал письма в стихах о Черной Африке, о звездах, о борьбе, о своей любви.

В 1962 году он писал стихи своей любимой:

Я снял с себя идею смерти,
надел на себя
июньские листья бульваров…

Он умер ровно через год, в раннее утро раннего лета. Проснулся, пошел в переднюю за газетой и не вернулся — сел и умер.

Он лежал в гробу добрый и прекрасный. Старушка, всхлипывая, говорила девочке: «От разрыва сердца» — так в моей молодости называли инфаркт. А мы стояли у гроба, и кажется, у всех готово было разорваться сердце от короткой ужасающей мысли: нет больше Назыма!

29

Тысяча девятьсот пятьдесят второй год для меня начался с похорон. В последний день старого года умер М. М. Литвинов.

Максима Максимовича я встречал в разные годы и при различных обстоятельствах, бывал у него в Москве, когда он был наркомом и жил во флигеле парадного дома на Спиридоновке, встречал его в Париже, ужинал с ним в Женеве, где он выступал на заседании Лиги Наций, видел его в опале, провел у него вечер накануне его отъезда в Вашингтон, несколько раз разговаривал с ним в послевоенные годы. Я не могу сказать, что я его хорошо знал, он был человеком скорее молчаливым. Он сидел, слушал, порой усмехался — то с легкой иронией, то благодушно, изредка подавал реплику, но ничего в нем не было от угрюмого молчальника, он любил посмеяться. Есть унылые оптимисты, а Литвинов был человеком веселым, но зачастую, особенно к концу своей жизни, с весьма мрачными мыслями.

Некоторые слова Максима Максимовича и запомнил, некоторые черты его разглядел и о них коротко расскажу. Он был крупным человеком, об этом можно судить хотя бы по тому, что во времена Сталина, когда любая инициатива вызывала подозрения, существовало понятие «дипломатов Литвинове кой школы».

Почти всех дипломатов этой «школы» я знал — одних лучше, других хуже. Они работали в трудное время, когда западные державы еще рассчитывали уничтожить молодую Советскую республику: угрозы, полицейские налеты на посольства, фальшивки были бытом. Я видел, как наши дипломаты убеждали, когда это было нужно, умело ссорили врагов или мирили колебавшихся сторонников мира, привлекали на нашу сторону дельцов и ученых, крупных промышленников и авторитетных писателей. Эта работа оставалась для рядовых советских людей неизвестной, а дипломаты отнюдь не были баловнями судьбы. Некоторые умерли до начала произвола: Красин, Довгалевский, Кобецкий, Дивильковский. Другим повезло — Коллонтай, Суриц, Штейн умерли в своих кроватях. Воровского и Войкова убили антисоветские террористы. Майский, Рубинин, Гнедин, претерпев мытарства, вернулись из тюрьмы или лагеря живыми. А многие погибли. Антонов-Овсеенко, Раковский, Крестинский, Сокольников, Розенберг, Гайкис, Марченко, Аренс, Гиршфельд, Аросев, Членов стали жертвами клеветы и беззакония (я назвал только некоторых).

Когда я думаю о судьбе моих друзей и знакомых, я не вижу

никакой логики. Почему Сталин не тронул Пастернака, который держался независимо, а уничтожил Кольцова, добросовестно выполнявшего все, что ему поручали? Почему погубил Н. И. Вавилова и пощадил П. Л. Капицу? Почему, убив почти всех помощников Литвинова, не расстрелял строптивого Максима Максимовича? Все это остается для меня загадочным. Да и сам Литвинов ждал другой развязки. Начиная с 1937 года и до своей последней болезни он клал на ночной столик револьвер — если позвонит ночью, не станет дожидаться последующего…

У Максима Максимовича была вполне миролюбивая внешность: толстый, добродушный, хороший семьянин. Да и досуги его были заполнены невинными развлечениями — за границей, когда выпадали два-три свободных часа, шел в кино, глядел мелодраматические фильмы, «страсти-мордасти». Он любил хорошо покушать, и приятно было на него глядеть, когда он ел — так восхищенно он макал молодой лучок в сметану, с таким вкусом жевал. Любил разглядывать большой атлас, — наверно, колесил по далеким незнакомым странам. Он любил жить. Однако этот добродушный человек умел полемизировать, и западные дипломаты поглядывали на него с опаской. Некоторые из его выступлений в Лиге Наций облетели мир. Жолио мне рассказывал, что выступление Литвинова, сказавшего, что нельзя договариваться с бандитами о том, в каком квартале города они могут безнаказанно разбойничать, помогло ему понять не только безнравственность, но глупость западной политики за несколько лет до Мюнхена. Л слова Литвинова о «неделимости мира» я слышал и после смерти Максима Максимовича на различных конгрессах и конференциях.

Литвинов с благоговением говорил о Ленине: «Такого не было и не будет». Ленин послал Максима Максимовича в Стокгольм в очень трудное время — в 1919 году, в разгар интервенции, говорил ему, что нужно попытаться найти на Западе разумных людей, учесть разногласия в лагере победителей, возмущение побежденных, рабочее движение, аппетиты возможных концессионеров, авторитет ученых, писателей. Литвинов хорошо знал Запад, он прожил много лет в эмиграции, женился на англичанке. Он говорил о Ленине: «Это был человек, который понимал не только претензии русского крестьянина, но и психологию Ллойд-Джорджа или Вильсона…»

Литвинов был на три года старте Сталина. Максим Максимович о Сталине отзывался сдержанно, ценил его ум и только один раз, говоря о внешней политике, вздохнул: «Не знает Запада… Будь нашими противниками несколько шахов или шейхов, он бы их перехитрил…»

Характер у Литвинова был далеко не мягкий. Я. З. Суриц рассказал мне о сцене, свидетелем которой был. В 1936 году Сурица вызвали в Москву. На совещании Литвинов изложил свою точку зрения, Сталин с ним согласился, подошел и, положив руку на плечо Литвинова, сказал: «Видите, мы можем прийти к соглашению». Максим Максимович снял руку Сталина со своего плеча: «Ненадолго…»

В старой записной книжке я нашел слова Литвинова: «Тит славился жестокостью. Захватив власть, он казался римлянам великодушным, подхалимы его называли «прелестью рода человеческого». В тот самый год Везувий уничтожил Помпею и Геркуланум. Вполне возможно, что вулкан выполнял директивы нового императора: в Помпее было иного влиятельных людей, а Геркуланум славился философами и художниками». Прочитав запись, я вспомнил, как, выйдя из дома, где тогда помещался Литературный музей, я увидел Литвинова и пошел проводить его. День был весенний. Максим Максимович говорил о том, что Трумэн умом не отличается, вспоминал Рузвельта. Я спросил, кого он считает самым крупным политиком, он ответил: «Конечно, Сталина». Потом он почему-то заговорил об истории Древнего Рима, написанной английским автором, и, посмеиваясь, сказал об императоре Тите. Вечером я записал его слова.

На заседании, когда Литвинова поносили и вывели из ЦК, он возмущенно спросил Сталина: «Что же, вы считаете меня врагом народа?» Выходя из зала, Сталин вынул трубку изо рта и ответил: «Не считаем».

Литвинова не арестовали, но Сталин отстранил его от работы, хотел уничтожить измором. Однако в то время это не удалось. После нападения Гитлера на Советский Союз Сталин вызвал Литвинова, дружески протянул руку и предложил поехать в Вашингтон. Еще в 1933 году Максим Максимович встречался с новым президентом Соединенных Штатов Рузвельтом, опять наладил дипломатические отношения. Когда я был в Америке, политические друзья Рузвельта мне рассказывали, что президент уважал Литвинова, часто приглашал его, чтобы посоветоваться по тому или иному вопросу.

В 1943 году, после Сталинградской победы, Литвинова отозвали в Москву. Он продолжал числиться заместителем министра иностранных дел, но вел незначительную работу. В 1947 году он стал пенсионером — не но своему желанию. Сталин, однако, распорядился, чтобы ему оставили квартиру и другие жизненные блага. Максиму Максимовичу пошел тогда восьмой десяток; он мог бы разглядывать атлас и вспоминать прошлое, но всю свою жизнь он проработал и не знал, как жить без дела, а

жить он хотел и понимал, что, если он будет обречен на безделье, мотор заглохнет. Он написал Сталину, благодарил за внимание и просил дать ему работу. Жданов вызвал Максима Максимовича: «Вы писали товарищу Сталину. Мы хотим поставить вас во главе Комитета но делам искусств». Максим Максимович возмутился: «Я ничего в этом не понимаю. Да я и не думаю, что искусство можно декретировать…» Жданов рассердился: «Какую же работу вы имели в виду?» — «Чисто хозяйственную». Никакой работы ему не дали. Он начал составлять словарь синонимов, каждое утро ходил в Ленинскую библиотеку и все же томился от безделья. В кремлевской столовой почти каждый день он встречал Сурица, они отводили душу.

За несколько дней до смерти он лежал днем с закрытыми глазами; жена тихо спросила его: дремлет он или задумался? Он ответил: «Я вижу карту мира», — то, что называется «дипломатией», было для него творчеством, он мечтал, как предотвратить войну, сблизить народы и континенты, карта для него была тем, чем служат художнику тюбики с красками. Пенсионер поневоле умирал, как художник, полный творческих замыслов, без палитры, без кисти и без света.

В одной из комнат Министерства иностранных дел была гражданская панихида. Кто-то но бумажке прочитал речь. На Максиме Максимовиче был не парадный мундир, а обыкновенный костюм. Лицо его казалось непроницаемо спокойным, даже благодушным. Ко мне подошла дочь Сурица, Лиля: «Папа сегодня скончался…»

Якова Захаровича два дня спустя привезли в тот же зал. Было несколько сотрудиикон министерства; кто-то прочитал речь. На Немецком кладбище были снова мундиры мидовцев, снова речь по бумажке и венки из бумажных цветов.

С Суриссм я познакомился в Берлине в 1922 году на выставке советского искусства. Суриц внимательно глядел, иногда сердился, иногда любовался. Он приглашал меня приехать к нему в Осло, говорил, что там есть хорошие художники. Искусство он обожал, собирал картины, рисунки; у него были самые различные вещи — Роден и Левитан, Матисс и Коровин, Марке и Венуа. Он их охотно показывал, кричал на меня, что я не понимаю значения «Мира искусства», недооцениваю Левитана, не хочу признать Грабаря.

Я мало знаю о прошлом Сурица. Однажды, рассказывая о гитлеровцах, он сказал: «Подумать, что я учился в Гейдельбергском университете! Да если бы мне тогда сказали, я не поверил бы… Мы часто говорим абстрактно. А может быть, слова меняют значение. «Одичание». Ну, что это для меня

означало в те годы? Политический просчет. Или успех «Санина», оргии, «кошкодавы». А в Берлине я видел, как студенты тащили за бороду старика, он был в крови, а они пели…» Он был, кажется, первым советским послом: Ленин отправил его в Кабул в 1919 году, когда новый эмир Аманулланхан прислал своих представителей в Москву с письмом к Ленину. Это было до рождения советской дипломатии, и Яков Захарович рылся в архивах, чтобы составить проект верительной грамоты. Владимир Ильич сказал, что нужно написать иначе, сам составил текст с упоминанием о признании полной независимости и суверенитета Афганистана. В Кабуле Суриц пробыл недолго, его назначили послом в Норвегию, а в Афганистан прибыл Раскольников.

История судит дипломатов, как полководцев, — по выигрышам или Проигрышам. А у каждого даже самого одаренного дипломата бывают свои Аустерлицы и свои Ватерлоо — многое зависит от ситуации. Когда Сурица послали в Анкару, Новая Турция с надеждой глядела на Москву. Яков Захарович понимал свое дело. Обыватели думают, что искусные дипломаты умеют молчать, а нужно уметь и говорить, из хорошего сделать лучшее, если не предотвратить, то хотя бы затормозить и смягчить плохое. Сурик завоевал доверие Кемаля, укрепил дружбу между двумя государствами. О Кемале Яков Захарович говорил с восхищением: «Большой ум! По сравнению с ним Даладье — невежественный провинциальный политик…»

Что мог делать Сурик в гитлеровском Берлине? Да только наблюдать и сообщать в Москву. Американский посол Додд, друг Рузвельта, в своем дневнике не раз отмечал дружеские беседы с Сурицем, а дочь Додда, Марта, говорила мне, что Яков Захарович был единственным дипломатом в Берлине, которому ее отец доверял.

Летом 1937 года, приехав из Испании в Париж, я в посольстве увидел Сурица. Он расспрашивал, есть ли надежда на перелом после Уэски; сказал: «Здесь все разворачивается отвратительно»… Потом он признавался, что после Берлина наслаждается «воздухом Парижа». В свободное время он ходил на выставки, рылся в лавках букинистов, завел знакомства с художниками.

(Его всегда тянуло к людям искусства. В Москве я встречал у него А. Н. Толстого, И. Э. Грабаря, А. Я. Таирова, А. Г. Коонен, В. Г. Дулову, многих других.)

Обстановка во Франции была неблагоприятной: Блюма сменил Шотан, мелкий политический комбинатор, которому казалось высотами искусства раздобыть в парламентском буфете несколько голосов для правительственного большинства. Народный фронт трещал. Буржуа, перепуганные забастовками,

начали поглядывать на Гитлера с уважением, а то и с надеждой. Франция катилась к разгрому. Сурик пытался отсрочить развязку, он беседовал с Эррио, встречался с французским националистом, ненавидевшим третий рейх, Кериллисом, с журналистом Бюрэ, но у событий своя логика. Началась война, и малодушные правители Франции, не решавшиеся открыть огонь по противнику, потребовали отъезда Сурица из Парижа.

Я рассказал в предшествовавшей части книги, как в Куйбышеве в номере «Г ранд-отеля» Сурик хотел, чтобы я восхищался рисунком Родена. Он приютил меня на ночь и перед тем, как показать рисунок, три часа, задыхаясь от волнения, говорил о наших неудачах: «Конечно, пакт с Германией был необходимостью. Виноваты французы, англичане и. конечно, Бек. Но как Сталин использовал два года? Ужасно это выговорить — он верил в подпись Риббентропа. Он подозревал в коварстве своих ближайших друзей, а Гитлеру поверил!..» Сурику казалось, что он говорит шепотом, но он кричал и успокоился, только когда вытащил из чемодана рисунок.

После войны его хотели послать в Японию; запротестовали врачи — не выдержит климата. Тогда нашли страну с климатом не более благоприятным, — Бразилию. Он пробыл там недолго — под давлением Вашингтона Бразилия порвала отношения с Советским Союзом.

Суриц вернулся в Москву. Он смотрел на холсты, читал, думал. Однажды он сказал мне строго: «Вы моложе меня на десять лет, но не мешает и вам о многом задуматься…»

У него были тонкие черты лика, борода клином, большие усы, которые он, волнуясь, пожевывал, косматые брови. В последние годы он страдал гипертонией и порой выходил из себя — говорил то, что думал. Приходил он неожиданно, рассеянно пил чай, молчал, а потом прорывалось — он мог говорить два часа подряд, не останавливаясь, что-то в нем клокотало. Начиналось почти всегда со слов: «Вчера мыс Максимом Максимовичем говорили…» Следовал негодующий монолог. Иногда Яков Захарович объяснял поступки Сталина «патологическим раздвоением личности». Старый революционер, интернационалист, типичный интеллигент, он не мог принять ни толкования «низкопоклонства» и «космополитизма», ни многих других событий койка сороковых годов. Я не пересказываю его историй о Сталине — они могут показаться разоблачениями, внешне расширить, а по существу сузить характер этой книги. Суриц многое объяснял характером Сталина, расхождением в нем самом теории и практики; может быть, он был прав; но сейчас мне хочется передать терзания старого, больного, душевно

чистого человека, проработавшего всю свою жизнь для торжества идеи, в которую продолжал верить, и видящего то, чего он не мог принять. Раз он тихо выговорил: «Беда даже не в том, что он не знает, как живет народ, он не хочет этого знать — народ для него понятие, и только…»

Он уходил, а месяц или два спустя приходил — не мог дольше молчать и начинал: «Вечером мы с Максимом Максимовичем вспомнили Лозовского…»

Было только одно средство успокоить Якова Захаровича — повести его в комнату, где висели рисунки Матисса, пейзажи Фалька, холсты Шагала. Лицо его менялось, он чуть заметно улыбался. Я больше с ним не спорил — не потому, что боялся взволновать его, нет, он меня обезоруживал своей любовью к искусству. Однажды, глядя на рисунок Матисса, он тихо сказал: «Жизнь — это тоже линия…» Когда Якова Захаровича хоронили, я вспомнил эти слова. До чего человеческая линия!.. Рисунки остаются, внуки их легко расшифруют, может быть, заглянут и в старые книги. А кто в огромном клубке истории разыщет тонкую оборвавшуюся нить, дела и страсти исчезнувшего со сцены актера?

30

В конце февраля 1952 года праздновали юбилей Гюго. В Москву пригласили Поля Элюара и внука Виктора Гюго, художника Жана Юго. (Придется объяснить читателям, почему великий поэт не оставил детям в наследство буквы «г», — это относится к русской транскрипции. В прошлом столетии французские имена, начинавшиеся с немой согласной «h», снабжались «г» — Гюго, скульптор Гудон, город — Гавр; потом стали писать правильнее — поэт Эредиа, композитор Онеггер, Эррио.)

Жан Юго — прелестный художник. Он иллюстрировал книгу Элюара «Париж еще дышал» прозрачными пейзажами города, мастерскими и в то же время простодушными. Юго привез а подарок нашим библиотекам редкие издания своего деда и, выступая на различных собраниях, говорил, что счастлив провести знаменательные дни в столице Советского Союза.

Хотя приглашения были посланы поздно, Жан Юго прибыл вовремя и присутствовал на научной сессии Института мировой литературы, с которой начались празднества. А Элюара не было. Я пошел на заседание, выслушал доклады и, вернувшись домой, увидел Элюара. Люба рассказала, что позвонили с аэродрома: «Прилетел француз, фамилия Элюар. Никто его не встретил. По-русски он не говорит, но называет фамилию товарища Эренбурга…» Люба попросила посадить его в такси, шофер должен довезти его до квартиры. Элюар пришел за десять минут до меня. Он рассказал, что его хотели отправить во французское посольство, тут он запротестовал, из всех его слов поняли только «Эренбург». Жена приедет через два дня — когда пришло приглашение, ее не было в Париже. Я сердился: почему никто не сообщил о его приезде? Он смеялся: «А зачем сообщать? Я и так добрался…»

Элюар был очень скромным. Один из участников Сопротивления в 1946 году рассказал мне, что однажды к нему пришел высокий человек, сказал пароль и дал пакет с листовками. День был холодный, он предложил пришедшему посидеть возле печурки. «Вдруг я цонял, что видел это лицо в довоенном журнале. Я робко спросил: «Вы поэт?» — «Да». Это был Элюар. Я не мог удержаться: «Вы не должны зря рисковать… Мог бы принести другой». Он удивился: «Почему «другой»? Все мы рискуем. А товарищи устали, набегались за день…» Ив Фарж ездил с Элюаром в партизанский район Греции летом 1949 года — за несколько месяцев до конца Сопротивления. Шли жестокие

бои: люди уже защищали не гору Граммос, а человеческое достоинство. Фарж мне рассказывал, что иногда приходилось часами идти в гору. Ни разу Элюар не пожаловался, не попросил передохнуть, а когда Фарж ему говорил: «Посидим часок», — он возражал: «Пойдем с бойцами — зачем их задерживать?…» Однажды он выхватил у двух девушек тяжелый мешок, потащил его, не хотел отдавать. Я записал слова Фаржа: «Он, кажется, никогда не думал о том, что он большой поэт. Может быть, потому другие не могли об этом забыть».

Он выступил в Колонном зале, потом в клубе автомобильного завода. Мне он признался: «Самое трудное выйти на сцену, когда все на тебя смотрят…» Не успел кончиться юбилей Гюго, как начался юбилей Гоголя. Элюар выступил в Большом театре, еще где-то. Потом чествовали Федина, и Элюар его приветствовал. Потом он рассказывал в Доме литераторов о современной французской поэзии. Потом его пригласили студенты. Потом была пресс-конференция. Доминика говорила мне: «Поль очень волнуется, когда выступает…» Я просил уменьшить программу, но такие уж нравы: если юбилей — двадцать пять речей, если банкет — пятьдесят тостов, страна большая, людей много…

В одно утро Элюар пришел ко мне расстроенный, сказал, что с Жаном Юго приключилась неприятность: он стоял на Софийской набережной, неподалеку от дома английского посольства, и писал акварелью пейзаж Кремля. Подошел милиционер и отобрал альбом. «Жан никогда не занимался политикой, но к вам он чувствует симпатию. Он — председатель Французского юбилейного комитета, и вот уехал со мной в Москву. Досадно!.. Может быть, ему вернут альбом?…»

Я позвонил Григорьяну, он мне ответил, что француз рисовал не только Кремль, но и здание Министерства обороны: «Это совершенно недопустимо…» Часа два или три спустя мне принесли из гостиницы книгу Элюара с иллюстрациями Юго, художник на первой странице акварелью нарисовал Кремль, я увидел «недопустимую» верхушку здания Министерства обороны. Юго писал, что уезжает, посылает Любе и мне эту книжку на память о наших встречах. Акварель напоминала другие работы Юго — нежные и наивные: стены, купола, снег. Да из окна английского посольства можно все это сфотографировать, и, конечно, куда точнее! Я рассердился, снова позвонил Григорьяну, сказал все, что думал. Вечером Григорьян сообщил мне, что альбом решили возвратить Юго: «А к вам просьба — постарайтесь его успокоить». Скрепя сердце я пошел к Юго, долго мялся и наконец начал: «Произошло недоразумение…» Юго увел меня в ванную и там сказал: «Можете быть уверены, что во Франции я не

скажу об этом ни слова…» В Париже в интервью он говорил, что очень доволен своей поездкой, его чудесно принимали и он увидел, как в Советском Союзе любят Гюго. Осенью 1954 года он написал мне, что работает над иллюстрациями к «Оттепели», которую публикует французский журнал «В защиту мира». Рисунки были лирическими: лесок, прогалины, влюбленные… Юго скорее почувствовал, чем понял, что многое в наших нравах изменилось.

Вернусь к Элюару. Мне хочется передать образ большого поэта, которого я встретил впервые сорок лет назад, но узнал и полюбил много позднее. Смутно помню молодого сюрреалиста, высокого, худого, с привлекательным лицом, с удивительно красивым голосом. Он ругал одного писателя, в те времена весьма почитаемого: «Это не человек, это хорек, который уверяет кур, что он их спасет от куриных хлопот…» Когда он негодовал, он густо краснел. В те годы л его плохо знал, и только недавно, прочитав его юношеские письма, понял, что у нас было много общих увлечений и сомнений, хотя он был на пять лет моложе меня. В ранней молодости он болел легкими, его послали в Швейцарию в санаторий. Там он познакомился с русской девушкой Галей и влюбился в нее. Началась война. Галя уехала в Москву. Поль служил в полевом госпитале, был отравлен газами. Он слал письма Гале, и в 1916 году она приехала в Париж, вскоре они поженились. С помощью Гали он перевел «Балаганчик» Блока. В одном из писем с фронта он просил мать послать его первую книжку стихов знакомой Гали — «известной русской поэтессе Марине Цветаевой».

Тысяча девятьсот тридцатый год мы с Любой встречали в Берлине у художника Георга Гросса. Среди приглашенных был Элюар. В то время в среде сюрреалистов шли горячие споры — прав или не прав Арагон. Элюар оставался с непримиримыми, но по природе он был мягким, шутил, смеялся, хотя в те годы ему было очень трудно.

Четыре года спустя я написал статью о журнале «Сюрреализм на службе революции». Статья была поверхностной, хлесткой. Меня разозлило, что сюрреалисты устраивают дискуссии о поле, характере и возможном поведении стеклянного шарика или лоскута бархата. А фашисты за Рейном жгут книги, убивают людей. Когда Элюар пришел на Антифашистский конгресс писателей, чтобы прочитать речь, написанную Бретоном, он со мной не поздоровался.

Летом 1937 года у книжного магазина на бульваре Сен-Жермен я разглядывал новинки. Кто-то стоял рядом, я поглядел — Элюар. Мы оба смутились. Он первый сказал: «Здравствуйте!..

А Пикассо говорил мне, что вы в Испании…» Я ответил, что неделю назад был на Арагонском фронте. Он спросил, как там теперь. Я рассказывал, должно быть, нехотя, потому что он вдруг остановился: «Мне нужно в другую сторону…» Вспоминая эту неудавшуюся встречу, я думаю, как часто бывал глухим и слепым.

В годы войны я прочитал во французском журнале, выходившем в Лондоне, несколько стихотворений, которые меня потрясли человечностью и красотой. Подпись — Жан дю О — явно была псевдонимом. Мелькнула мысль: может быть, Элюар?… Вскоре после этого один из летчиков «Нормандии» прочитал мне те же стихи и еще другие: «Это Поля Элюара…»

Мы встретились летом 1946 года в Париже и обняли друг друга. Я знал по рассказам общих друзей, что в начале тридцатых годов в личной жизни Элюара произошли перемены: он женился на Нуш. Пикассо показывал мне ее портрет, она казалась красивой. Стихи Элюара стали менее мрачными. И вот я увидел Нуш, она оказалась не только красивой, но обаятельной, нежной, хрупкой и в то же время смелой. Мы просидели в темном кафе вечер. Поль и Нуш рассказывали о годах оккупации. Мы смеялись, шутили. Бог ты мой, каким светлым казалось нам тогда будущее!..

Приехала из Москвы Люба. Элюар нас позвал к себе. Мы добрый час разыскивали дом, где он жил. Он записал адрес в мою книжицу, а такого номера не оказалось. Мы ходили взад и вперед но длинной улице де ля Шапелль. Если мы нашли наконец дом, мрачный, темный, то только потому, что один из прохожих, которых мы спрашивали, догадался: «Наверно, у вас старый адрес — часть улицы переименовали, поищите на улице Макс-Дормуа». Я ругал Элюара: почему он записал не ту улицу? Нуш смеялась: «Поль против нового названия. Он говорит, что мы жили и живем на улице де ля Шанелль. Вы понимаете — это ведь целый мир. Даже говорят так: «Человек — с улицы де ля Шапелль…»

Мы встретились с Элюаром два года спустя во Вроцлаве, по ночам разговаривали. Потом мы бродили по развалинам Варшавы. Иногда с нами был Пикассо, иногда мы беседовали вдвоем. Он изменился — сказалось пережитое: в конце 1946 года, когда он уехал на несколько дней в Швейцарию, скоропостижно скончалась Нуш. Друзья рассказывали мне, как тяжело он пережил потерю; а мне он сказал в одну из вроцлавских ночей: «Я стоял одной ногой в могиле…»

Потом был Парижский конгресс и снова длинные беседы. В Москве в феврале — марте 1952 года я видел его в последний раз. Если сложить все часы, проведенные с ним, получится мало, очень мало, но, видимо, у сердца свой хронометр; я потерял не

только большого поэта — близкого друга, простого и необычайного, мягкого и мужественного, поэта любви, считавшегося малопонятным и ставшего своим для миллионов читателей.

Неужели никогда не перестанут взрослые, серьезные люди противопоставлять один период творчества поэта другому, рубить человека на куски, превращать его жизнь с поисками, потерями, надеждами, с ее непременной трагедией в шутовской экзамен, где экзаменатор бубнит: «Это было ошибкой… Теперь правильно… Опять неверно… Хорошо, что поняли… Пожалуй, дадим вам диплом…» Что за напасть и что за ограниченность! В 1925 году Элюару было тридцать лет, а в 1945-м пятьдесят. Дело не только в том, что поседели виски, руки начали дрожать, но разве человек, перед которым в тумане раскрывается даль, может понять, почувствовать то, что станет для него в конце жизненного пути не азбучными истинами, а своим опытом, слезами, потом, потерями? Да одни ли поэты меняются? Разве не меняется сама жизнь? Долгие годы сюрреализма для Элюара были не ошибкой, которую ему следует простить за последующее, они были годами его жизни, его поэзии, и, наверно, без них он не стал бы автором последних книг.

Юношей на фронте он начал стихотворение словами:

Меня покинула лазурь, и я развел огонь…

О том же он писал и в годы Сопротивления, и перед смертью: о ночи и огне. Он всегда писал о любви. Перед молодым фронтовиком была Галя, перед зрелым поэтом — Нуш, в последние годы — Доминика; но стихи Элюара не летопись сердечных событий, не прославление петрарковской Лауры или другой женщины — это стихи о любви, и любой любящий может их принять за выражение своих чувств. Поэтический гений — это не только исключительная сила слов, это исключительная глубина, острота чувствований, она позволяет «самовыражению» стать выражением современников, а порой и правнуков.

Однажды во Вроцлаве Элюар рассказал мне историю стихотворения «Свобода». Это стихотворение состоит из ряда четверостиший, каждое кончается словами «я пишу твое имя»:

На моих разбитых укрытиях.
На моих рухнувших маяках,
На стене моего уныния
Я пишу твое имя…

Элюар сказал, что писал эти стихи о Нуш, и кончал стихотворение словами:

Я родился для того, чтобы тебя узнать.
Чтобы назвать тебя по имени.

У него было поразительное свойство: этот якобы замкнутый, даже «герметический» поэт не только понимал всех, он чувствовал за всех. «Вдруг я понял, — рассказывал он, — что я должен кончить именем, и после слов «назвать тебя по имени» дописал «Свобода». Это было о 1942 году, тогда у всех была одна возлюбленная.

Поэзия Элюара неизменно считалась трудной, о нем говорили как о «поэте для немногих». Но стихи Элюара летчики сбрасывали на города оккупированной Франции — стили оказались убедительнее листовок, хотя Элюар ни в чем не поступился, ни к чему не приспособился — стихи военных лет так же «трудны», как написанные раньше или позднее. Еще раз было доказано, что понятие «доходчивости» условно, часто стихи подлинного поэта куда понятнее миллионам читателей, чем трезвые наставления литературного критика.

Сложность поэзии Элюара в ее сжатости, трудность в простоте. Его стихи почти непереводимы — они слишком зависят от облика слова, его звучания, связанных с ним ассоциаций. (Незвал, Альберти, Тувим, Назым Хикмет, Неруда читали его стихи в подлиннике, их любовь к человеку была связана с ощутимостью, реальностью его поэзии.) Трудно объяснить, в чем сила стихов Элюара, — внешние приметы поэзии отсутствуют: нет ни рифмы, ни размера, ни редкостных эпитетов, пи пышности образа. В стихотворении «Габриэль Пери» он говорил:

Есть слова, которые помогают жить,
И это простые слова:
Слово «тепло» и слово «доверие»,
Слова «любовь», «справедливость» и слово «свобода».
Слово «ребенок» и слово «доброта»,
И некоторые названии фруктов и цветов,
Слово «мужество» и слово «открытие».
Слово «брат» и слово «товарищ».
И некоторые названия стран и деревень,
И некоторые имена друзей и женщин…

Стихи его кажутся зыбкими, невесомыми, как тень листвы

или утренняя роса, и, однако, они остаются в памяти, стоят вдоль дороги жизни, как старые чинары или как каменные статуи.

Элюар очень любил живопись. Его книги, кроме Пикассо, иллюстрировали многие художники, непохожие один на другого — Макс Эрнст и Валентина Юго, Леже и Сальвадор Дали, Шагал и Кирико. Многие из художников, которые ему нравились, мне далеки, но я понимаю, что он видел в их работах: чертежи поэм, зримый мир своих сновидений. В стихах, однако, он не пытался словами вылепить форму или передать цвет — верил в магию слов и от нее не уклонялся ни к пластике, ни к красноречию.

Больше всего, больше всех Элюар любил Пикассо. Их дружба длилась четверть века, и ничто не могло ее подорвать или хотя бы остудить. Под «Герникой Пикассо — стихи Элюара. Поль собрал свои стихи о великом художнике и назвал книгу «Пабло Пикассо». Внешне они казались людьми двух полюсов — чертом и младенцем, но это относится к характеристике экзаменаторов или классификаторов, которым чужда стихия искусства. Черт может быть добрым, даже простодушным, а младенец побывал в аду и многое узнал. Наперекор видимости, наперекор законам возраста и ремесла, они были близкими феноменами, и когда Пикассо вспоминает: «Это Поль мне сказал», — его лицо становится таким нежным, что сжимается сердце.

Он был настолько хорошим и скромным человеком, что, кажется, личных врагов у него не было. В 1942 году он вошел во Французскую коммунистическую партию, остался верен ей до конца. Умер он еще в эпоху предельного ожесточения, и вот что поразительно сила его поэзии, ее человечность, великодушие обезоруживали политических противников. Правда, правительство пыталось запретить похоронное шествие, но это было механическим актом «холодной войны», поступком не живых людей, а электронной машины. Со дня смерти Элюара прошло много времени, а его влияние продолжает расти, о нем уже никто не спорит — его поэзия переросла и биографию и события.

Я все-таки не сказал, что всего удивительнее в его поэзии. Доброта. Можно быть большим поэтом, уметь страдать и уметь рассказывать о муках или о радости — глубоко, точно, но без доброты. Это уж не столь частое свойство и вообще людей, и в частности поэтов. Элюар не мог быть счастливым рядом с чужим несчастьем, и происходило это не от размышлений, а от природы человека. Когда он говорил о своем личном счастье, он говорил о счастье всех:

Мы идем вдвоем, взявшись за руки.

Нам кажется, что мы повсюду дома —
Под ласковым деревом, под черным небом,
Под всеми крышами, у всех каминов,
На пустой улице, на ярком солнце,
В смутных взглядах толпы.
Среди мудрых и безумных,
Среди детей и среди взрослых,
В любви нет ничего таинственного.
Мы здесь, все нас видят,
И влюбленным кажется. Что они у нас в гостях.

Это написано незадолго до смерти. Он шел с Доминикой, может быть, по холмам Дордони или в Москве по Пушкинской площади. Он хотел всех одарить. Он боролся, рисковал не раз жизнью — не оттого, что решил так поступать, а потому, что не мог иначе.

В один из последних московских вечеров Поль сидел у нас. Его руки дрожали больше обычного, но он шутил, потом замолк. Люба говорила с Домиником. Вдруг он сказал мне: «Я вспоминаю молодого рабочего. Помните — он прорвался после вечера в комнату за сценой?… Он сказал: «Мне тоже хочется писать стихи, но и боюсь, что не выйдет. Голова все время набита словами, гудит, а писать боюсь…» Горько то, что задуманное всегда лучше, чем выполнение. Не только в поэзии — в жизни…»

Эти слова я записал. Прощаясь, мы думали, что встретимся в декабре в Вене. Я радовался, видя рядом с ним крепкую, милую, заботливую Доминику. Восемь месяцев спустя в холодное гуманное утро я услышал по радио: «Вчера скончался французский поэт Поль Элюар…» Доминика потом мне рассказала, что утром он прочитал газеты: Розен боргам, несправедливо осужденным в Америке, отказано в пересмотре дела. Поль сказал: «Только бы их спасли!..» Четверть часа спустя он познал Доминику: сердце перестало биться. Ему должно было исполниться пятьдесят семь лет. Я пишу, и мне кажется, что это случилось вчера. Ничего нет сильнее, чем то, что связывает людей, когда перевал позади и они спускаются вечером по темной крутой тропинке.

31

Когда я оглядываюсь назад, 1952 год мне кажется очень длинным и в то же время тусклым; вероятно, это связано с тем, как я тогда жил. В журнале печатался «Девятый вал», критики его хвалили; но я чувствовал, что книга не вышла, и ничего больше не писал. Перерывы между поездками, связанными с борьбой за мир и с работой депутата, оставляли достаточно времени, чтобы задуматься над своим писательским путем. В один из осенних дней я записал в книжечку: «Видимо, разумнее всего оставить работу писателя. Через три месяца мне будет шестьдесят два года, это не тот возраст, когда можно сидеть у моря и ждать погоды. Движение за мир — хоть здесь я могу что-нибудь сделать».

В октябре собрался XIX съезд партии. Сталин произнес в конце короткую яркую речь. О литературе упомянул в своем докладе Маленков; он жалел, что у нас нет Гоголей и Щедриных, и сказал, что идейные позиции писателя определяются тем, типичны его герои или нет. Один ленинградский писатель мне говорил: «Управдомов можно было высмеивать и до того, как вспомнили про Гоголя и Щедрина. А подымешься на ступеньку выше — скажут: «Нетипично». Интересно, каким путем будут устанавливать «типичность», — может быть, статистикой или шагистикой?»

Я просмотрел подшивку «Литературной газеты»; все выглядит идиллией. Газета отмечала, что в «Новом мире» напечатан роман Гроссмана «За правое дело», но критики о нем молчали. Они хвалили новый вариант «Молодой гвардии» Фадеева, одобрительно писали о романе Кочетова «Журбины». Газета сокрушалась, что недостаточно учтен «гениальный труд Сталина, произведший переворот в языкознании». Разоблачали «лженауку» кибернетику. Писателей ругали мягко, почти по-отечески. Праздновали юбилеи: Паустовскому и Федину исполнилось шестьдесят лет, Назыму Хикмету и Каверину пятьдесят. Устраивали вечера, подносили папки, обнимали и, разумеется, желали «новых творческих успехов». Вышла книга Винокурова, ее скромно похвалили. В одном из толстых журналов напечатали стихотворение Мартынова, редакцию за это поругали. Под тусклыми, похожими одно на другое стихотворениями пестрели незнакомые имена молодых; теперь я заметил под одним из них подпись Е. Евтушенко. Когда перелистываешь еще не успевшие пожелтеть листы, кажется, что редакция не знала, чем их заполнить. Кончились радищевские дни, отмечали

пятидесятилетие со дня смерти Золя, потом столетие со дня рождения Мамина-Сибиряка.

В апреле в Москве состоялось Международное экономическое совещание. Я познакомился с лордом Бойд-Орром, старым английским пацифистом, человеком большой культуры и чистых мыслей. Он мечтал о сотрудничестве двух миров, с восхищением говорил о Ганди, об Эйнштейне.

На совещание приехали, помимо экономистов, несколько крупных предпринимателей и довольно много средних или мелких, надеявшихся на советские заказы. Вспоминаю смешной эпизод. Из секретариата совещания мне позвонили. «Что значит французское сокращение АПТ?». Я не мог расшифровать, ломал себе голову. Потом мне переслали письмо: Апт оказался городом в Провансе, а письмо написал фабрикант охры Шовен. До войны, по словам Шовена, французские фабриканты продавали России ежегодно восемь тысяч тонн охры, и он решил приехать на экономическое совещание с надеждой возобновить экспорт охры. Шовен оказался живым симпатичным южанином, участником французского Движения сторонников мира и неисправимым фантазером. Его принимали а Комитете зашиты мира на Кропоткинской. Он восхищался людьми, но, глядя на облупившийся фасад особняка, повторял: «Вам совершенно необходима охра!..» В Москву он привез образцы промышленности Апта — глазированные фрукты и лавандовую туалетную воду. Фрукты были вкусными, лаванда чудесно пахла, но ни эти товары, ни охра не соблазнили Министерство внешней торговли. У одного бельгийца купили партию дамских комбинаций, и он ликовал, а Шовен уехал с пустыми руками, но с сердцем, полным любви к нашему народу, писал мне письма, хотел, чтобы советские актеры приняли участие в карнавале Апта, — словом, оставался наивным мечтателем.

Жизнь шла своим ходом. Народ трудился. Строили новые заводы. Учителя учили грамоте малышей, которые теперь стали юношами, работают или учатся, думают, спорят. Подростки читали Толстого, Чехова, Горького. На сцене тысячи театров ежевечерне Гамлет говорил о флейте и лжи, герои Чехова тосковали, а бессмертный Хлестаков врал, не зная передышки. В музеях всегда толпились посетители. Разговаривая с незнакомыми людьми, я видел, как выросло сознание так называемого «среднего человека».

В Праге осенью происходил процесс группы видных коммунистов. В «Литературной газете» их назвали «жабами у чистого родника», которые «мечтали превратить Чехословакию в космополитическую вотчину Уолл-стрита, где властвовали бы

американские монополии, буржуазные националисты, сионисты вместе со всяким сбродом, погрязшим в преступлениях». Я никогда не увлекался идеями доктора Герцля, но не мог поверить, что сионисты жаждут превратить Чехословакию в свою вотчину. (Весной 1963 гола Верховный суд Чехословацкой республики отменил приговор и реабилитировал осужденных.) Конечно, я не предвидел последующего, но пражский процесс заставил меня снова насторожиться.

Переговоры о перемирии в Корее начались еще весной 1951 года. После длительных споров стороны пришли к соглашению о шестидесяти пунктах договора. Спор продолжался об одном вопросе — порядке репатриации военнопленных. На Генеральной Ассамблее ООН Вышинский и Ачесои произносили длинные речи. Все понимали, что разрешить конфликт силой оружия невозможно, однако бои продолжались, причем они шли в районе, который, согласно одному из шестидесяти одобренных пунктов, должен был стать нейтральной зоной.

Шли бои и в Индокитае. «Холодная война» не затихала. Некоторые американские сенаторы называли операции в Корее «началом третьей мировой войны», говорили, что эта война будет длительной и должна кончиться «полным уничтожением коммунизма». Во Франции то и дело менялись правительства, вспыхивали забастовки, арестовывали коммунистов и профсоюзников. В Греции продолжались расправы. Я долго глядел на фотографию казненного Белоянниса; он держал в руке гвоздику и улыбался.

Год казался тихим и душным. Многие события последующих лет медленно созревали, но даже завзятые оптимисты предпочитали помалкивать.

Я был занят подготовкой Конгресса народов; дважды побывал в странах Скандинавии, ездил в Берлин, просидел несколько недель в Вене.

Жолио-Кюри и другие руководители движения хотели, чтобы Конгресс народов был шире и представительнее конгрессов сторонников мира. В письме к итальянскому либералу Нитти Жолио дал гарантии, что участники конгресса смогут свободно изложить свою точку зрения. Недоверие все же помешало многим колебавшимся приехать в Вену. Но если вспомнить обстановку конца 1952 года, то можно сказать, что конгресс удался. На нем выступили бывший канцлер Вирт, депутат католической партии Италии Терранова, итальянский депутат-республиканец Нитти, приверженцы Варгаса в Бразилии и Перона в Аргентине, члены индийской партии Конгресса, представитель партии большинства иранского парламента, некоторые английские тред-юнионисты,

националисты из Марокко, тунисские друзья Бургибы, писатель Сартр, наблюдатель от организации сторонников «всемирного правительства» и пацифисты различных толков.

В отличие от Парижского и Варшавского конгрессов, ораторов, критиковавших политику Советского Союза, выслушали спокойно, многие даже аплодировали; в некоторых из таких речей говорилось О чрезмерно воинственном тоне Вышинского, об отказе от поисков компромисса, о подтексте пражского процесса. Мне запомнились выступления Элин Аппель. итальянской католички Пьяджио и шведского писателя Бломберга.

Конечно, как и в Варшаве, приветствуя некоторых ораторов, все вставали, на заключительном заседании пели, махали платочками и закрыли конгресс в три часа утра. Все же атмосфера была более деловой да и более миролюбивой, чем на Варшавском конгрессе. Вступительную речь произнес Жолио, он как бы дал тон ораторам. Впервые много говорилось о мирном сосуществовании, о культурных связях. Фадеев болел, и советской делегацией руководил Корнейчук, а он умеет улыбкой, дружеским словом, благожелательностью позолотить любую пилюлю (а наши пилюли подчас были очень горькими).

В тексте обращения к народам не было резких обвинений; он заключал требование немедленного прекращения военных действий, признания за всеми народами права на независимость, необходимость всеобщего разоружения — словом, напоминал некоторые резолюции, единогласно одобренные Ассамблеей Объединенных Наций семь или восемь лет спустя.

После окончания конгресса был устроен ужин в большом зале, где смогли уместиться две тысячи человек. Было мало речей и много австрийского вина, легкого, но коварного. Все развеселились. Под утро кто-то прочитал, вернее, прокричал, только что полученный из Москвы список новых лауреатов премии «За укрепление мирах: «Ив Фарж, Китчлу, Поль Робсон…» Я аплодировал и вдруг услышал: «Илья Эренбург». Я, скорее, растерялся, чем обрадовался. Никогда мы не присуждали премий нашим. Да и почему мне, а не Фадееву или Корнейчуку?… Ко мне подходили, чокались, обнимали. Серен и сказал мне на ухо: «Хорошо, что он вам дал премию. Именно сейчас…» Я спросил, что значат его слова, но он не ответил.

Два дня спустя мы поехали поездом в Москву. Один вагон отвели Сун Цинлин и китайским делегатам, в двух других разместилась советская делегация и наши гости — Китчлу, Амаду, Эндикотт, Саломеа. Поезда в то время шли медленно. Выехав утром, мы только под вечер добрались до Будапешта.

Денег у нас не было, а на дорогу нам ничего не дали, кроме цветов. Корнейчук, сидевший в соседнем купе, то говорил, что готов съесть своего соседа, то мечтал, как нас накормят в Будапеште, где поезд должен был простоять два часа. На вокзальном перроне мы увидели Ракоши и других важных товарищей, нас повели в правительственный зал. Корнейчук шептал: «Сейчас дадут гуляш…» Однако нам дали черный кофе и печенье. Корнейчук помялся, потом сказал: «Мы весь день ничего не ели»… Венгры засуетились: ресторана на вокзале не оказалось, полчаса спустя принесли сосиски, очень вкусные, но очень маленькие. Поели мы на следующее утро — на советской границе, где простояли часов пять. Два дня спустя я приехал в Москву. В дороге я несколько раз пытался расшифровать слова Серени, — может быть, он знает что-то?… Но чем больше я думал, тем меньше понимал и только нервно позевывал.

Пять дней спустя мы встречали Новый год с Ириной, Лидиными, Савичами. Я успел повидать некоторых друзей, спрашивал, какие новости. Рассказывали пустяки. На сердце у меня было смутно, я сам не знал почему.

Тринадцатого января газеты привезли в полдень. Я нехотя развернул «Правду». «К новому подъему нефтяной промышленности». «Упадок внешней торговли Франции». Вдруг на последней странице я увидел: «Арест группы врачей-вредителей». ТАСС сообщал, что арестована группа врачей, которые повинны в смерти Жданова и Щербакова, Они сознались, что собирались убить маршалов Василевского, Говорова, Конева и других. В газете было сказано, что большинство арестованных — агенты «международной еврейской буржуазно-националистической организации «Джойнт», которые получали указания через врача Шимелиовича и «еврейского буржуазного националиста Михоэлса». В списке арестованных были известные медики — трое русских, шесть евреев.

Я поехал в Москву, пытался узнать, что приключилось. Одни говорили, что врачей начали арестовывать два месяца назад; другие, напротив, рассказывали, что был консилиум, пригласили врачей, лечивших Сталина, и потом арестовали. Все повторяли, что в больницах ад, многие больные смотрят на врачей, как на коварных злодеев, отказываются принимать лекарства. Агроном, тот, что беседовал с Сартром, проводил отпуск в Ялте. Он приехал до срока, рассказал мне, что его жена перепугалась: «Сегодня же уедем из санатория — нас здесь отравят»… Женщина-врач говорила: «Вчера пришлось весь лень глотать пилюли, порошки, десять лекарств от десяти болезней — больные боялись, что я «заговорщица»…» На Тишинском рынке

подвыпивший горлодер кричал: «Евреи хотели отравить Сталина!..»

Я говорил, что наш народ духовно вырос; но и мыслящий тростник порой перестает мыслить; можно быть философом и все же огорчиться, если кошка перебежит дорогу. Я никак не хочу всем приписывать того страха, о котором говорил. Последний холерный бунт был в 1893 году. Да и погромы исчезли с концом гражданской войны. Но если забраться в душевные дебри многих вполне разумных людей, то можно найти смутное недоверие, подозрительность. Конечно, такие не станут прислушиваться к разговорам молочниц на рынке. Однако о врачах-убийцах сообщили следственные органы. Вспомнили процесс в 1938-м; тогда выяснилось, что врачи убили Горького. Теперь они стали еще хитрее — ставят неправильный диагноз и лечением доводят больного до смерти. Я часто замечал у людей вместе с преклонением перед медициной страх перед медиками — перед тем врачом, который их лечит: может ошибиться, недосмотреть… Если его завербовали враги, может убить и безнаказанно. А евреи?… Конечно, антисемитизм — предрассудок. «Глупо все валить на евреев. У нас работает Коган, хороший человек. Но ничего не скажешь — это не наши люди, у многих родственники в Америке. Дай живут они иначе, один тянется к другому, встретит, и о чем-то шепчутся…» Сообщение взывало к темному миру, я сказал бы, к подсознательному, если б это слово с легкой руки критиков не стало у нас признаком идеалистической философии.

Кто-то прибежал и тихо сказал мне: «Говорят, что Сталин болен. Ужас!..» Слух оказался вздорным: два дня спустя Сталин принял Сун Цинлин и Го Можо. Григорьян пригласил меня к себе, заговорил о вручении премии — церемония была назначена на 27 января: «Хорошо, если вы упомянете о врачах-преступниках…» Я вышел из себя, сказал, что не просил премии, готов хоть сейчас от нее отказаться, но о врачах говорить не буду. Мой собеседник начал меня успокаивать: «Это не директива, просто я хотел вам подсказать…»

Двадцать первого января, в день годовщины смерти В. И. Ленина, под его портретом в газетах был кощунственно опубликован указ о награждении орденом Ленина женщины-врача «за помощь, оказанную Правительству в деле разоблачения врачей-убийц».

На вручении мне премии выступали с приветственными речами Тихонов, Сурков, Арагон, Анна Зегерс, колумбийский писатель Саломеа. Потом полагалось выступить мне. Речь была короткой. Я сказал: «Каково бы ни было национальное происхождение того или иного советского человека, он прежде

всего патриот своей родины и он подлинный интернационалист, противник расовой или национальной дискриминации, ревнитель братства, бесстрашный защитник мира». Эти слова были продиктованы событиями, и я снова вернулся к тому, что меня мучило: «На этом торжестве в белом парадном зале Кремли я хочу вспомнить тех сторонников мира, которых преследуют, мучают, травят, я хочу сказать про ночь тюрем, про допросы, суды — про мужество многих и многих…» В Свердловском зале было тихо, очень тихо. Люба потом рассказала, что, когда я сказал о тюрьмах, сидевшие рядом с нею замерли. На следующее утро я увидел в газете мою речь выправленной — к словам о преследовании вставили «силы реакции»: боялись, что читатели могут правильно понять мои слова и отнести их к жертвам Берии.

Появилась статья о том, какие восторженные письма получает женщина-врач, разоблачившая «убийц в белых халатах». Во многих письмах говорилось: «русская женщина», «русская душа».

Однако самые неистовые толкования я прочитал во французской газете «Се суар», которую долго редактировал Жан-Ришар Блок. Эти статьи принадлежали перу видного журналиста Пьера Эрве, бывшего тогда коммунистом. Я понимаю, что французский коммунист мог поверить органам советского следствия и защищать их от политических врагов. Однако Эрве превзошел все и всех: его статьи напоминали фальшивку, изготовленную в годы второй империи, «Протоколы сионских мудрецов»; он доказывал, что козни «Джойнта» и арестованных врачей не локальное явление, а результат давнего заговора. Даже в те дни эти статьи меня удивили. А говорю я о них потому, что два года спустя, когда законность в нашей стране была восстановлена, Эрве порвал с коммунистической партией, выпустил книжку и даже прислал ее мне с трогательной надписью. В книжке среди прочего Эрве возмущался «делом врачей», не упоминая о своем личном вкладе.

Скажу откровенно, я предпочитаю горлодера с Тишинского рынка такому моралисту.

В «Правде» появилась резкая статья о романе Гроссмана. Тотчас и другие газеты обрушились на роман. Один сотрудник «Правды» рассказал мне, что статья напечатана по указанию Сталина. Не знаю, так ли это, но в те дни она выходила из рамок литературной критики.

События должны были развернуться дальше. Я пропускаю рассказ о том, как пытался воспрепятствовать появлению в печати одного коллективного письма. К счастью, затея, воистину безумная, не была осуществлена. Тогда я думал, что мне удалось письмом переубедить Сталина, теперь мне кажется, что дело

замешкалось и Сталин не успел сделать того, что хотел. Конечно, эта история — глава моей биографии, но я считаю, что не настало время об этом говорить…

Был холодный день. Чтобы занять себя и отогнать хотя бы на несколько часов черные мысли, я сидел — переводил Вийона. Вдруг пришел сторож Иван Иванович: «По радио, значит, передавали, что Сталин заболел, паралич, положение тяжелое…»

Помню, как ехал в Москву. Было много снега. В сугробах тонули детишки. В голове вертелись слова: «Товарищ Сталин потерял сознание». Я хотел задуматься: что теперь будет со всеми нами? Но думать я не мог. Я испытывал то, что тогда, наверное, переживали многие мои соотечественники: оцепенение

32

«В девять часов пятьдесят минут вечера…»

Медицинское заключение говорило о лейкоцитах, о коллапсе, о мерцательной аритмии. А мы давно забыли, что Сталин — человек. Он превратился во всемогущего и таинственного бога. И вот бог умер от кровоизлияния в мозг. Это казалось невероятным.

Дом, в котором я живу, находится в переулке между улицами Горького и Пушкина. Для того чтобы пройти на одну из этих улиц, нужно было разрешение офицера милиции, долгие объяснения, документы. Огромные грузовики преграждали путь, и, если офицер разрешал, я взбирался на грузовик, спрыгивал с него, а через пятьдесят шагов меня останавливали, и все начиналось сначала.

Траурный митинг писателей состоялся в Театре киноактера на улице Воровского. Все были подавленны, растерянны, говорили сбивчиво, как будто это не опытные литераторы, а математики или землекопы, впервые выступающие на собрании. Ораторов было много. Я тоже говорил, не помню что, наверно, то, что и другие: «выиграл войну… отстаивал мир… ушел… скорбим… клянемся…»

На следующий день нас повезли в Колонный зал. Я стоял с писателями в почетном карауле. Сталин лежал набальзамированный, торжественный — без следов того, о чем говорили медики, а с цветами и звездами. Люди проходили мимо, многие плакали, женщины подымали детей, траурная музыка смешивалась с рыданиями.

Плачущих я видел и на улицах. Порой раздавались крики: люди рвались к Колонному залу. Рассказывали о задавленных на Трубной площади. Привезли отряды милиции из Ленинграда. Не думаю, чтобы история знала такие похороны.

Мне не было жалко бога, который скончался от инсульта в возрасте семидесяти трех лет, как будто он не бог, а обыкновенный смертный; но я испытывал страх: что теперь будет?… Я боялся худшего. Я много говорил в этой книге о мыслящем тростнике. Теперь я вижу, что сохранить ясность мыслей очень трудно. Культ личности не сделал из меня верующего, но он повлиял на мои оценки; я связывал будущее страны с тем, что ежедневно в течение двадцати лет именовалось «мудростью гениального вождя».

Я никогда не разговаривал со Сталиным (кроме телефонного разговора накануне войны, о котором писал). Я видел его издали на торжественных заседаниях, приемах или на сессиях

Верховного Совета. Однажды я оказался рядом с ним, случилось это на приеме, когда в Москву приехал Мао Цзэдун. Меня удивило, что при входе контроль был строжайшим, как будто это не ресторан «Метрополь», а Кремль. Войдя в зал, я увидел, что народу очень много, и не стал пробиваться вперед. Зал оживленно гудел. Вдруг наступила тишина. Оглянувшись, я увидел Сталина. Он был не таким, как на портретах, старый человек небольшого роста с лицом как бы исколотым годами; низкий лоб, живые, острые глаза. Он с любопытством разглядывал зал, где, наверно, не был четверть века. Потом началась овация, и Сталина увели налево, где находились китайцы. Все произошло настолько быстро, что мне не удалось как следует его разглядеть.

Я не любил Сталина, но долго верил в него, и я его боялся. Разговаривая о нем с друзьями, я, как и все, называл его «хозяином». Древние евреи тоже не произносили имени бога. Вряд ли они любили Иегову: он был не только всесилен, он был безжалостен и несправедлив, он наслал на праведного Иова все беды, убил его жену, детей, поразил его самого проказой, и все это только для того, чтобы показать, как заживо гниющий, брошенный всеми невинный человек будет на пепелище прославлять мудрость Иеговы. Бог бился об заклад с сатаной, и бог выиграл. Проиграл Иов.

В четвертой части этой книги я обещал читателям вернуться к Сталину, попытаться подвести итоги и найти причины наших заблуждений. Как многие поступки в моей жизни, это обещание было легкомысленным. Я не раз садился за эту главу, черкал, рвал написанное и наконец понял, что не смогу выполнить обещанное: конечно, теперь я знаю куда больше, чем в марте 1953 года, но я вижу, что знаю слишком мало для итогов и выводов, да и то, что мне известно, и зачастую не понимаю. Я не могу дать портрет Сталина — я его лично не знал; видимо, он был человеком сложным, и рассказы людей, встречавшихся с ним, противоречат один другому. Напрасно я обещал выйти из рамок воспоминаний, заняться историей или философией. Ограничусь тем, что поделюсь с читателями своими мыслями и чувствами в марте 1953 года, а если и выскажу некоторые размышления, то они будут связаны с характером работы писателя, которого больше всего волнуют судьбы человеческого сознания и совести.

Обожествление Сталина не произошло внезапно, оно не было взрывом народных чувств. Сталин долго и планомерно его организовывал: по его указанию создавалась легендарная история, в которой Сталин играл роль, не соответствующую действительности; художники писали огромные полотна,

посвященные канунам революции, Октябрю, первым годам Советской республики, и на каждой из таких картин Сталин был рядом с Лениным; в газетах чернили других большевиков, которые при жизни Ленина были его ближайшими помощниками. Признание Сталина «гениальным» и «мудрейшим» предшествовало массовым расправам. Я рассказал, как меня смутили в 1935 году аплодисменты и истерические вскрики при появлении Сталина на совещании стахановцев. Тогда я долго убеждал себя, что не понимаю чувств народа, что я — интеллигент, к тому же оторвавшийся от русской жизни. Потом я привык и к овациям, и к литургийным эпитетам, перестал их замечать.

Святой Петр для католиков — камень, на котором зиждется церковь, ключарь рая, для меня он — герой поэтической легенды, который трижды отрекся от своего учителя, а потом мученичеством искупил свою слабость. Однако, когда я увидел бронзовую статую в римском соборе, я забыл про все легенды: я глядел на ногу Петра — от поцелуев бронза стерлась. Вера, как страх, как многие другие чувства, заразительна. Хотя я воспитывался на вольнодумстве XIX века и написал «Хулио Хуренито», в котором высмеивал все догмы, я оказался не вполне защищенным от эпидемии культа Сталина. Вера других не зажгла мое сердце, но порой она меня подавляла, не давала всерьез призадуматься над происходившим. В 1957 году, вспоминая прошлое, я писал:

Вера — очки и шоры.
Вера двигает горы,
Я — человек, не гора.
Вера мне не сестра.
Видел я камень серый,
Стертый трепетом губ
Мертвого будит пера.
Я — человек, не труп.
Видел, как люди слепли,
Видел, как жили в пекле,
Видел — билась земля,
Видел я небо в пепле,
Вере не верю я.

Я был в андалузском отряде, где люди сражались насмерть, они назвали свою часть «Батальоном Сталина». В годы войны я много раз слышал возгласы «За Родину, за Сталина!». Сколько писем итальянских и французских героев Сопротивления,

написанных перед казнью, кончались словами: «Да здравствует Сталин!» К семидесятилетию Сталина одна француженка прислала ему шапочку своей дочери, замученной в гестапо. Поэты, в честности которых трудно усомниться, — Элюар, Жан-Ришар Блок, Эрнандес, Незвал, — прославляли Сталина. Он стал знаменем, непогрешимым апостолом, божеством.

Шла борьба, и места «над схваткой» не было. Для наших врагов Сталин тоже перестал быть человеком; говоря о нем, Гитлер или Геббельс, Форрестол или Маккарти кликушествовали, как на черной мессе.

В тридцатые годы я увидел, что такое фашизм. Сопротивление испанского народа было сломлено: фашистские диктаторы помогли Франко, западные демократии лицемерно провозгласили «невмешательство», и только горсточка советских военных сражалась на стороне республиканцев. Мюнхен был попыткой сколотить антисоветскую коалицию: Чемберлен и Даладье надеялись, что Гитлер повернет на восток. Когда началась «странная война», правители Франции воевали не столько против рейхсвера, сколько против своих коммунистов. За несколько месяцев до разгрома Франции ее полководцы занялись подготовкой экспедиционного корпуса, который должен был сражаться против Красной Армии в Финляндии. После нападения Гитлера на Советский Союз некоторые политики Америки и Англии радовались не только потому, что «красные» ослабят рейхсвер, но и потому, что Гитлер в итоге уничтожит «красных». Не успела кончиться вторая мировая война, как начали поговаривать о третьей. Фанатики капитализма, бизнесмены, выдававшие себя за крестоносцев, военные, у которых неизменно чешутся руки, хотели они того или нет, способствовали укреплению культа Сталина.

Я не сразу разгадал роль «мудрейшего». Если и теперь я недостаточно осведомлен, то в 1937 году я знал только об отдельных злодеяниях. Как многие другие, я пытался обелить перед собой Сталина, приписывал массовые расправы внутрипартийной борьбе, садизму Ежова, дезинформации, нравам.

Сталин был человеком большого ума и еще большего коварства. Он много раз выступал как поборник справедливости, который хочет положить конец произволу. Помню его слова и о «головокружении от успехов», и о том, что «сын не отвечает за отца». После разгула «ежовщины» он публично сокрушался: в таком-то городе исключили из партии несколько честных коммунистов, в другом даже арестовали неповинного человека. Десять лет спустя, в разгар кампании против «космополитов», он

осудил раскрытие литературных псевдонимов. Неизменно он напоминал о необходимости беречь людей. М. С. Сарьян рассказывал мне, как, принимая армянскую делегацию, Сталин спрашивал о поэте Чаренце, говорил, что его не нужно трогать, а несколько месяцев спустя Чаренца арестовали и убили.

Сталин, видимо, умел обворожить собеседника. Барбюс писал: «Можно сказать, что ни в ком так не воплощены мысль и слова Ленина, как в Сталине». Ромен Роллан после встречи со Сталиным говорил: «Он удивительно человечен!..» Фейхтвангер считал себя скептиком, стреляным воробьем. Сталин, наверно, про себя посмеивался, говоря Фейхтвангеру, как ему неприятно, что повсюду красуются его портреты. А стреляный воробей поверил…

Суриц, потом Литвинов и Майский говорили мне, что пакт с Гитлер был необходим: Сталину удалось разрушить планы коалиции Запада, который продолжал мечтать об уничтожении Советского Союза. Однако Стадии не использовал два года передышки для укрепления обороны — об этом мне говорили и военные и дипломаты. Я писал, что Сталин, чрезвычайно подозрительный, видевший в своих ближайших сотрудниках потенциальных «врагов народа», почему-то поверил в подпись Риббентропа. Гитлеровцы напали на нас врасплох. Сталин вначале растерялся — не осмелился сам сказать о нападении, поручил это Молотову; потом, видя, что, несмотря на героизм советских солдат, фашисты быстро продвигаются к Москве, Сталин обратился к народу, мы были произведены в «братьев и сестер» бога. Однако он быстро собрался с духом, поразил Гопкинса своим спокойствием, остался в опустевшей Москве, а в трудное лето 1942 года старался держаться в тени — в газетах редко встречалось его имя. Культ был восстановлен сразу же после разгрома ненцев на Волге. Победил народ, тот, что воевал, строил заводы, копал каналы, прокладывал дороги, жил впроголодь, но не падал духом. А газеты писали о победе «гениального стратега».

Послевоенные годы были тяжелыми, и жил я не в Париже, а в Москве. Я успел многое узнать. В марте 1953 года я понимал, что Сталин по своей природе, по облюбованным им методам напоминает блистательных политиков эпохи итальянского Возрождения. Я помнил большевиков, окружавших в Париже Ленина, из них разве только Луначарскому и Коллонтай посчастливилось умереть в своих постелях. Среди погибших были мои близкие друзья, и никто никогда не мог бы меня убедить, что Всеволод Эмильевич, Семен Борисович, Николай Иванович или Исаак Эммануилович предатели. С. М. Эйзенштейн рассказывал о

своей встрече со Сталиным, который, говоря, что необходимо возвеличить в глазах народа Ивана Грозного, добавил: «Петруха недорубил…» Я сейчас не пишу историю Ивана Грозного или Петра, я просто хочу объяснить читателям, почему я не любил Сталина.

Меня упрекали за то, что и будто бы проповедовал «культ молчания», ставили мне в пример Льва Толстого, осудившего в статье, озаглавленной «Не могу молчать», царское правительство, которое вешало революционеров. Никогда в своей жизни я не считал молчание добродетелью, и, рассказывая в этой книге о себе, о моих друзьях, я признался, как трудно нам было порой молчать.

Приехав из Испании в Москву в конце 1937 года, я увидел, что делалось в домах и в у мах. Я пытался утешить себя: Сталин о многом не знает. Действительно, я не думаю, чтобы Сталин знал о молоденькой Наташе Столяровой, жене художника Шухаева, или о Семене Ляндресе, — если бы он читал списки всех жертв, то не смог бы делать ничего другого. Но я и тогда понимал, что приказы об уничтожении старых большевиков или крупных командиров Красной Армии, которых я встречал в Испании, могли исходить только от Сталина. Полгода спустя, вернувшись в Барселону, я не мог никому рассказать о том, что видел и слышал в Москве.

Почему я не написал в Париже «Не могу молчать»? Ведь «Последние новости» или «Тан» охотно опубликовали бы такую статью, даме если бы в ней я говорил о своей вере в будущее коммунизма. Лев Толстой не верил, что революция устранит зло, но он и не думал о защите царской России, — напротив, он хотел обличить ее злодеяния перед всем миром. Другим было мое отношение к Советскому Союзу. Я знал, что наш народ в нужде и беде продолжает идти по трудному пути Октябрьской революции. Молчание для меня было не культом, а проклятием, и в книге о прожигой жизни я не мог об этом умолчать.

Один из участников французского Сопротивления в 1946 году рассказал мне, что партизанским отрядом, в котором он сражался, командовал жестокий и несправедливый человек, который расстреливал товарищей, жег крестьянские дома, подозревал всех в измене или малодушии. «Я не мог об этом рассказать никому, — говорил он, — это значило бы нанести удар всему Сопротивлению, петеновцы за это ухватились бы…»

Да, я знал о многих преступлениях, но пресечь их было не в моих силах. Да о чем тут говорить: пресечь преступлен им не могли и люди куда более влиятельные, куда более осведомленные. 30 июня 1956 гола было опубликовано

постановление ЦК КПСС «О преодолении культа личности и его последствий»; в нем были такие строки: «…Ленинское ядро Центрального Комитета сразу же после смерти Сталина стало на путь решительной борьбы с культом личности и его тяжелыми последствиями. Может возникнуть вопрос: почему же эти люди не выступили открыто против Сталина и не отстранили его от руководства? В сложившихся условиях этого нельзя было сделать». Далее документ говорит, что «Сталин повинен во многих беззакониях», но его авторитет был таков, что «всякое выступление против него в этих условиях было бы не понято народом, и дело здесь вовсе не в недостатке личного мужества».

Вероятно, Сталин до конца своей жизни считал себя коммунистом, учеником и продолжателем Ленина, не только говорил, но и думал, что ведет народ к высокой цели и что для этого не нужно брезговать никакими средствами. Я но случайно вспомнил времена итальянского Возрождении. Макиавелли писал, что для создания сильного государства любые средства хороши — яд, доносы, убийства из-за угла; он предлагал правителю сочетать в себе храбрость льва с хитростью лисицы, быть мудрым, как человек, и хищным, как зверь. Для Медичи или Борджии такие советы были, наверно, полезны, но для коммуниста они неприемлемы.

Старый спор о том, оправдывает ли цель средства, мне кажется абстрактным. Цель не указатель на дороге, а нечто вполне реальное, это действительность, не картины завтрашнего дня, а поступки сегодняшнего; цель предопределяет не только политическую стратегию, но и мораль. Нельзя установить справедливость, совершая заведомо несправедливые действия, нельзя бороться за равенство, превратив народ в «колесики и винтики», а себя в мифическое божество. Средства всегда отражаются на цели, возвышают или деформируют ее. Мне кажется, что после XX и XXII съездов это стало ясным всем, кроме разве некоторых зарубежных догматиков, которые, говоря о чистоте своих риз, рядом с именем Ленина кощунственно ставят имя Сталина.

Как миллионы моих соотечественников, прочитав доклад Н. С. Хрущева на XX съезде, я почувствовал, что с моего сердца сняли камень. Хотя методы Сталина были оставлены сразу же после его смерти, наш народ, да и все человечество должны были узнать горькую правду — того требовали и разум и совесть. Мы узнали о заблуждениях прошлого. В этом прошлом много подвигов и побед советского народа, но, говоря о них, может быть, правильнее сказать не «благодари Сталину», а «несмотря на Сталина» — уж слишком часто он направлял свой

государственный ум, свою редкостную волю на дела, которые противоречили тем идеям, на которые он ссылается, ранили совесть любого честного человека.

Вернусь к мартовским дням. На Мавзолее Ленина ночью приписали имя Сталина. На похоронах выступили Маленков, Берия и Молотов. Речи были похожи одна на другую, но Маленков напомнил о бдительности «в духе непримиримости и твердости в борьбе с внутренними и внешними врагами», а Берия, имя которого пугало всех, обещал советским гражданам «охранять их права, записанные в Сталинской Конституции».

На следующий день Москва вернулась к обычной жизни. Я видел, как дворники усердно подметали улицу Горького, как шли люди на работу, как выгружали во дворе ящики, как мальчишки озорничали. Все было знакомым, и я говорил себе: как неделю назад… Вот это и было неправдоподобным: Сталин умер, а жизнь продолжается.

Днем я дошел до Красной площади. Она была завалена венками; люди стояли, пытались прочитать надписи на лептах, потом молча уходили.

Я поехал с Фадеевым в «Советскую» гостиницу — там остановились друзья из Всемирного Совета, приехавшие на похороны. Глаза у Фаржа были печальные, но он сразу стал пас приободрять, говорил: «Все образуется», — таков был его характер: он должен был утешать других. Пенни меня обнял и в тревоге спросил: «Что же теперь будет? Это ужасно!..» В его глазах были слезы. Я сам не знал, что будет дальше, но пример Фаржа оказался заразительным, и я ответил: «Через неделю мы увидимся в Вене. Не нужно отчаиваться — все образуется…»

Я шел но улице Горького. Было холодно: зимний вечер. Вдруг я остановился — простая мысль пришла в голову: не знаю, будет хуже или лучше, но будет другое…

33

Венский конгресс выбрал комиссию, которая должна была передать пяти великим державам предложение вступить в переговоры о Пакте мира. В комиссию вошли Жолио-Кюри, Фарж, Пенни, Изабелла Блюм, японский сенатор Горо Хани, бразильский генерал Буксман, Тихонов, другие; включили и меня. Заседание комиссии было назначено на 16 марта.

Заседали мы два дня, решили отправить текст всем правительствам мира и приняли обращение к общественному мнению. Работали мы в павильоне парка, который сдавался для различных торжеств. Во время перерывов друзья уводили меня по дорожке куда-нибудь подальше и спрашивали: «Как у вас?…» Всех волновало, что будет теперь, когда нет Сталина. С Альп порой дул ледяной ветер, но кое-где уже зацветали подснежники и лиловые крокусы. Прошло десять дней, я успел о многом подумать и понял, что хуже, чем было, не будет, может быть, станет лучше. Из Москвы я уехал накануне сессии Верховного Совета, но в посольстве мне дали короткую речь Маленкова, я ее переводил друзьям; в речи не было ничего нового, однако я всех обнадеживал и хоть раз в жизни оказался хорошим пророком.

Самолет вылетал из Праги 20 марта, и мы вместе с Фаржами должны были добраться 19-го до Праги. Посол мне сказал, что даст машину до границы, а в другой поедет охрана: «Фаржу должны вручить Сталинскую премию, мы не можем его отпустить без охраны…» Мне сказали, что чешская машина будет нас ждать на границе. Рано утром мы двинулись в путь. Увидав машину с военными, Фарж удивился. «Ничего не поделаешь — вы теперь лауреат Сталинской премии.» Он засмеялся: «Но я не диктатор Никарагуа или Гондураса…»

Военная машина неслась впереди. Меня тревожило, что я не узнавал хороню мне знакомого пейзажа. Я сказал водителю, чтобы он остановился, очевидно, мы поехали не но той дороге. Водитель гудел, но военная машина не останавливалась. Шофер меня успокаивал: «Как-нибудь доедем…» Конечно, мы доехали, но не к тому пограничному пункту, где нас ожидала чешская машина. Советские товарищи сказали, что они спешат в Вену, и укатили. А мы остались в домике чешских пограничников, которые громко вздыхали. У них есть автомобиль, говорили они, но сегодня похороны Готвальда, и начальник уехал в Прагу. Я умолял достать машину. Пограничники куда-то звонили и продолжали вздыхать.

Часа два спустя приковыляла престарелая малолитражка,

которая с великим трудом довезла нас до города Чешске Будейовице. Мы трижды меняли машины и наконец добрались до Праги. Во всех городах и селах у зажженных огней стояли в почетном карауле солдаты и местные жители. В Праге мы миновали южные кварталы, потом пошли пешком. Нас провели к Национальному музею. Похоронное шествие еще продолжалось. Вацлавская площадь была заполнена людьми. Все было, как в Москве, — саркофаг, венки. Булганин в мундире. Чжоу Эньлай, артиллерийские залпы. Люди стояли молча. Не было ни давки, ни плача.

Шесть дней спустя Иву Фаржу вручили в Кремле премию. Церемония успела сложиться, и речи присутствующих напоминали те, что я слышал не раз. В очень коротком приветствии я сказал о большом сердце Фаржа. Он меня обнял и шепнул: «Спасибо за Прованс»… (Он родился, учился, провел молодость в Провансе, там у него был домик «Ле Туретт».)

На следующий день Ив и его жена Фаржетт приехали к нам в Ново-Иерусалим. Они уже знали наш дом, но впервые увидели его в зимнее время: Фарж восхищался снегом, голубыми елями и пельменями с уксусом. Он был веселый, счастливый. Увидев краски и кисти Любы, попросил холст, засучил рукава и начал писать портрет. На следующий день они должны были вылететь в Тбилиси. Я ему рассказывал про древнюю архитектуру, про картины Пиросманашвили, про грузинские вина. Он радовался: «Отдохнем — год был нелегким…»

Это было в пятницу, а в понедельник утром мне позвонили из Москвы: «Высылаем машину — с Фаржем несчастье…» Я вошел в кабинет Григорьяна и увидел Фадеева; обычно он сидел выпрямившись, а теперь сгорбился. Григорьян сказал: «Пишите некролог». Зазвонил телефон, он взял трубку: «Еще жив?… Хорошо… Понятно…» Он снова повернулся к нам: «Пишите некролог». Я возмутился: «О живом?…» Фадеев увел меня в соседнюю комнату, рассказал, что Фаржа повезли в Гори, устроили пышный ужин с тостами, а когда машина возвращалась в Тбилиси, она врезалась в грузовик, стоявший на дороге. Фарж сидел рядом с шофером, у него разбит череп. Другие невредимы, только жене Фаржа осколки чуть поранили лицо. «Нужно писать, Илья Григорьевич. Я вас понимаю, но что вы хотите от такого человека? Он перепуган — ему может влететь…» Я не ответил: думал о Фарже. Замолк и Александр Александрович. Часа два спустя кто-то вошел в комнату и тихо сказал: «Скончался…»

Помню страшное утро на Центральном аэродроме. Было холодно. Едва светало. В сером неровном свете я видел гроб, венки, глаза Фаржетт. Говорили речи: Лоран Казанова,

Скобельцын, Тихонов. Когда настал мой черед, я с трудом выговорил несколько фраз: меня душили слезы. Вдруг я увидел в оконце машины Григорьяна; он, видимо, издали наблюдал за порядком. Он ступал, подняв воротник пальто — наверно, все еще боялся ответственности, маленький, черненький, но важный, похожий на сановного пигмея.

Фаржу было всего пятьдесят два года, но не в этом дело. Да и не в том, что без него наше движение как-то сразу стало суше.

Никогда не принимаешь смерть друга. Дело даже не в этом. Дружба наша была короткой. Я познакомился с ним ранней весной 1936 гола в Гренобле. Мне говорили шахтеры Мюра: «Фарж напишет в газете…» Студенты повторяли: «Фарж-художник… Фарж-писатель…» Товарищ, который возил меня в Мюр, советовал: «Обязательно поговорите с Фаржем, таких, как он, мало…» Беседа не вышла; он все время зажигал гаснувшую трубку, спрашивал, а я торопился: скоро поезд. Мы снова встретились летом 1946 года. Он с возмущением говорил о продажности, о нищете, о спекуляции его тогда назначили министром продовольствия, и он негодовал: «Люди гибли в маки, в гестапо, и это для того, чтобы создать республику черного рынка и сделать Гуэна президентом!..» Я понял, что он смелый человек, но разговор был коротким. Два года спустя я увидел его на Вроцлаве ком конгрессе. Мне понравилось его выступление: он говорил не так, как другие. Мы побеседовали, согласились друг с другом и ушли — каждый в свои житейские дебри. Только летом 1950 года в Праге, где мы готовили конгресс, мы провели Вместе несколько дней, ходили в музей, вспоминали различные книги, рассказали один другому многое из того, что держишь про запас, а порой уносишь в могилу, — словом, подружились. И вот весной 1953 года Фарж бессмысленно погиб. Но и не в этом дело.

Дело в том, что в мире, где я встречал людей гениальных и бездарных, ярких и бледных, Фарж мне казался необычным. Киплинг говорил о коте, который ходит сам по себе. Я знавал немало людей, жаждавших стать именно такими — независимыми, оригинальными котами. А Фарж, наоборот, хотел быть как все. Еще до войны он написал книгу о Джотто, в ней он говорил, что великий живописец XIV века считал себя не гением, а рядовым мастером, и выразил при этом мысли, чувства всех своих современников. Фарж говорил, что его дом — улица в любой стране, в любом городе, в любой деревне. У него было множество друзей. И вот при всем этом он был уникальным — котом, который действительно ходил сам по себе. В 1950 году, когда люди повсюду были выстроены — взводы, полки, армии, когда специализации стала законом — рабочий повторял годами

один и тот же жест, ученый ничего не знал, кроме своей узкой области, когда любое слово воспринималось одними как закон, другими как ересь, когда даже завзятый оригинал боялся не попасть в тон моде, — Ив Фарж не входил ни в какую партию, подчас критиковал своих друзей и защищал своих противников, дружил с сотнями людей, различных но своему положению, враждовавших между собой, жил интересами и чаяниями всех, сохраняя при этом свой облик, делая то, что ему казалось правильным, увлекаясь тем, что его увлекало. Серьезные люди, слыша о нем, пожимали плечами, но, встретив его, пробыв с ним несколько часов, неожиданно для самих себя говорили: «Вот это человек!»…

Чего только он не делал! Еще школьником он увлекался живописью. У него было двадцать профессий. В Марокко он, служащий коммерческой фирмы, устраивал выставки своих холстов. Его судили: он организовал демонстрацию, когда казнили Сакко и Ванцетти. Он писал статьи против колониализма. Фаржетт мне рассказывала, как он написал портрет одного бербера, и тот, желая отблагодарить художника, застрелил орла, вынул еще горячее сердце и заставил Ива и Фаржетт съесть его сырым. Он вернулся во Францию, писал статьи для журнала Барбюса, потом уехал в Гренобль, стал сотрудником провинциальной газеты, писал рассказы, восхищался выступлениями Литвинова, перебрался в Лион, заботился об испанских детях, выступал на социалистических конгрессах (тогда он еще был социалистом), требовал борьбы против фашизма и продолжал заниматься живописью.

Когда немцы оккупировали Францию, он один из первых стал организовывать Сопротивление. Итальянцы разыскивали «террориста Бонавантура» — Фарж сбрил усы, лохматые брови и обзавелся другим именем. Фаржетт арестовали, он делал все, что мог, чтобы ее спасти, и одновременно организовывал маки в горах Веркора, переправлял туда людей, оружье. Его разыскивало гестапо. Он работал с коммунистами и с голлистами, с Пьером Вийоном и с Омоном, с Бидо и с Ролем. Родился Национальный фронт, и Грегуар, заменивший Бонавантура, ездил из южной зоны в Париж, возвращался в Лион. Ранней весной сорок четвертого года Дебре передал Фаржу указ, которым он назначался комиссаром республики в районе Рона-Альпы. Он остался на своем посту и после освобождения Лиона, первое обращение к гражданам комиссара республики подписано: «Ив Фарж (Грегуар)».

Фарж мне рассказал, как в освобожденный Лион прилетел генерал де Голль: «Я ему сказал, что ужинать он будет с

участниками Сопротивления. Он меня прервал: «Где местные власти?» Я ответил: «В тюрьме». Это ему, видимо, не понравилось… — Помолчав, он добавил:

— А мне не понравился его тон…»

Год спустя Фарж попросил освободить его от обязанностей комиссара: война кончилась, а работа администратора была ему не по душе. Било отправил его в Бикини — представлять Францию на нервом испытании атомной бомбы. Фарж поехал и возмутился. В Америку пришла телеграмма из Парижа: Фаржу предлагают стать министром продовольствия. Разоренная Франция жила впроголодь. Фарж объявил войну черному рынку. Он явился на заседание национальной ассамблеи, и депутаты услышали нечто невероятное: Ив Фарж, министр продовольствия, обвинил вице-премьера Гуэна в том, что тот покровительствует крупным спекулянтам. На своем посту Фарж пробыл недолго. Он написал книгу «Хлеб коррупции». Гуэи возбудил судебное дело против бывшего министра. Одновременно один из парижских театров поставил пьесу Фаржа. Он продолжал писать пейзажи, организовал общество «Защитники свободы» — черновик Движения сторонников мира. Вместе с Элюаром он отправился в Грецию. Писал рассказы. Выступал на собраниях, посвященных защите мира. В книге «Кровь коррупции» разоблачил организаторов войны в Индокитае. Поехал с Клодом Руа в Корею. С Жолио он познакомился еще в 1936 году в Гренобле, и они хорошо понимали друг друга. Фарж стал душой Всемирного Совета Мира.

Такой послужной список или, если угодно, такую трудовую книжку увидишь не часто. Но дело, пожалуй, не в этом, да и не в изумительной бескорыстности, которой отличался Фарж: ему были безразличны и титулы, и деньги, и слава. Дело в другом: у кота, который ходил сам по себе, были свои понятия о том, чем ему стоит заниматься и чем не стоит. В отличие от многих людей, с которыми меня сводила жизнь, Фарж не знал, что такое иерархия горя. В годы Сопротивления он рисковал своей жизнью, спасая неизвестного человека на дороге, старуху крестьянку, брошенную в разбомбленной деревне, еврейских детей, и когда ему говорили, что нужно быть осмотрительнее, что ему доверены важные задания, он отвечал: «А для меня это важно…» После освобождения он спас жизнь многих стрелочников Виши, хотя знал, что этим восстанавливает против себя некоторых товарищей; он говорил: «Правительство покрывает знатных мерзавцев и хочет отыграться на судьбе ничтожных людишек». Рассказывая об этом, он говорил: «Тащили девушку, о которой говорили, что она спала с немецким солдатом, обрили ей голову,

хотели раздеть. Я прибежал вовремя… Потом меня наставляли: «Конечно, вы правы, но это мелкое происшествие, а вы — комиссар республики…» У них все по графам. Вот если бы я вздумал отстаивать Петена — это показалось бы соответствующим моему положению…»

Я был переводчиком при одном тяжелом разговоре Фаржа с Фадеевым: Ив возмущался — на заседании бюро публично оскорбляли секретаря Совета Мира Дарра. (Я рассказывал, что американского пастора заподозрили в шпионаже, слухи пошли из Китай и дошли до Сталина.) Фарж говорил: «Я уйду из движения. Если у вас есть факты, расскажите мне. Но нельзя говорить о защите гуманизма и одновременно обижать ничего не понимающего человека…» Потом я сказал Фаржу: «Напрасно вы накинулись на Фадеева…» Он не дал мне договорить: «Вы думаете, что я этого не понимаю? Я поддерживаю мирные предложения Сталина — я с ними согласен. Я возражаю на антисоветские статьи о вашей внутренней политике, — я не знаю, что у вас делается, но я знаю авторов статей — это растленные перья. Но с Дар-ром дело другое — я его знаю, и пока не докажут, что он в чем-либо виноват, я буду его защищать…»

Да, второго такого кота я не встречал.

Была в нем еще черта, которая меня всегда восхищала. Мы часто проводили вечера в Праге, и вот раз он мне начал рассказывать о Распае. Моя ранняя молодость прошла на бульваре Распай, но я не знал в точности, кем он был, — Герцен о нем упоминал как об одном из революционеров сорок восьмого года, а кто-то мне сказал, что Распай был ученым, химиком. Фарж обожал Прованс и знал историю множества провансальцев. Он начал мне рассказывать о Распае, который родился в городке Карпентрас. Ему было восемнадцать лет, когда его приговорили к смерти, — это были месяцы белого террора. Ему удалось скрыться. Он работал как ученый — без лаборатории, без инструментов; он открыл роль сахара в организме за сорок лет до Клода Бернара, значение микробов задолго до Пастера, но никто не хотел слушать о его открытиях: он слыл чудаком. В 1830 году он сражался на баррикадах за свободу. Новый король предложил ему службу. Распай отказался. Тогда король приказал его арестовать. В тюрьме он работал над книгой о химии. В мае 1848 года он вел рабочих, которые ворвались в зал, где заседало Учредительное собрание. Рабочие требовали права на труд. Распая приговорили к шести годам тюремного заключения. Он работал в тюрьме нал книгой о биологии. Когда он вышел на свободу, ему пришлось эмигрировать в Бельгию. Он вернулся во Францию накануне франко-прусской войны, ткачи Лиона его

выбрали в парламент. В 1874 году ему был восемьдесят один год, и его присудили к двум годам заключения за прославление Парижской коммуны. Он умер в возрасте восьмидесяти пяти лет. Фарж мне рассказывал о нем с восхищением, — наверно, он чувствовал свое душевное родство с вечным мятежником, с социалистом утопического толка, с ученым, открытия которого проходили бесследно. Он повторял: «Это душевная щедрость Прованса!.»

Позднее, уже после смерти Фаржа, я нашел у Ламартина, который был умеренным либералом и противником Распая, такие слова о нем: «Он заражал народ своим фанатизмом надежды, не примешивая к нему ненависти»… Вот почему я вспомнил сейчас рассказ Фаржа о Распае. Фанатизм Фаржу был чужд, но в одном его можно было назвать фанатиком — в надежде. Как бы ни была горька действительность, Фарж всегда надеялся, что правда восторжествует, и своей надеждой заражал других.

Шестого февраля 1934 года фашисты в Париже вышли на улицы. 9 февраля Фарж создал в Гренобле Комитет бдительности — с ним были два его друга. Трое… Комитет призвал жителей Гренобля прийти на демонстрацию. 11 февраля тридцать тысяч гренобльцев вышли защищать республику. В 1948 году Фарж пригласил бывших участников Сопротивления собраться и создать организацию, способную отстоять свободу и мир. Пришло очень мало людей. Фарж говорил, что у них нет денег на газету, даже на листовки, каждый должен говорить всюду, где может, и Фарж вложил столько надежды в свои слова, что вскоре маленькая группа людей превратилась в мощную силу — французских сторонников мира.

Говорят, что заразительны суеверия, страх, недоверие, злоба; это правда; но надежда тоже может стать заразительной. В те годы я не раз бывал подавлен, мрачен, опускались руки, и Фарж неизменно заражал меня своей надеждой. Я говорил, что в Вене обнадеживал других. Может быть, помогли мне не только мои размышления и подснежники, но также близость Фаржа, его слова, улыбка. Он был слишком добрым, чистым, душевно веселым, чтобы допустить победу низости и ала.

Даже в политических выступлениях он говорил не на газетном языке, а на человеческом. Это нравилось обыкновенным людям и зачастую сердило профессиональных политиков. Помню, в Праге летом 1951 года мы обсуждали, каким должно быть короткое воззвание в поддержку Конгресса народов. Предлагались фразы, тысячи раз встречавшиеся во всех газетах мира. Фарж вынул изо рта трубку и ошарашил всех: «Нужно начать с самого простого: «Так дольше не может продолжаться…»

Некоторые запротестовали: «Мы обращаемся к взрослым, а не к детям…» После долгих споров приняли текст Фаржа, и обращение, расклеенное на стенах различных городов, останавливало прохожих, заставляло их задуматься.

Поразительно, что его любили самые разные люди, даже политические противники: жители городков и деревень в округе Апта (фабрикант охры Шовен не без помощи Фаржа стал сторонником мира), почтальоны, виноделы, учителя, рабочие, лавочники, министры бывшие, настоящие и будущие, художники, захолустные Демосфены и новые Распаи, Фадеев и аббат Булье, Элюар и марсельские авантюристы, — у Ива были ключи ко всем сердцам.

Он недаром прозвал свою жену Фаржетт. Когда они поженились, Фаржетт была подростком. Он зарядил ее своей энергией, привил ей свою широту, заразил надеждой. Когда оккупанты посадили Фаржетт в тюрьму. Ив ей писал: «Я убежден, что мы сильны, потому что даже в разлуке опираемся друг на друга… Ни в коем случае не нужно отчаиваться, ничего еще не потеряно. И потом, то, что осталось, то, что останется навсегда, — это наша гордость: мы знаем, что мы оба выше страха»…

Нельзя сказать, что он любил искусство, как нельзя сказать, что люди любят воздух. Мы в Праге пошли с ним в музей; тогда в фондах, точнее, в подвальном помещении были свалены полотна французских импрессионистов, Сезанна, Боннара, Пикассо и заодно многие картины чешского художника XIX века Пуркине. Мы провели в подвале несколько часов. Когда мы вернулись в гостиницу, Фарж начал говорить о живописи. Он любил пейзажи импрессионистов и одновременно говорил: «Сезанн напомнил о значении формы…» Вдруг другим голосом он сказал: «Обидно!.. Я убежден, что, если бы рабочим показать сад Боннара или семейный портрет Пуркине, они не дали бы вернуть их в подвал, абсолютно убежден. Послушайте, Илья, вы увидите, что очень скоро все эти холсты вернутся на свое место…» Так и в Москве перед огромной картиной, где был изображен Сталин в ноле, он сказал мне: «Я держу пари, что через год или два это уберут, — это обидно и для Сталина, и для русского поля, и для искусства…»

После смерти Фаржа я получил из Парижа пакет с семенами, на конверте было написано: «По поручению г. Ива Фаржа». Я посеял их поздно, в апреле, и вот перед самыми осенними заморозками зацвели красные мимюлюсы, звезды гаярдии, голубая ипомея, темная, как запекшаяся кровь, настурция. Они продержались неделю и почернели после морозного рассвета. Я глядел на них, когда писал первые страницы «Оттепели». Я видел

улыбку Фаржа, слышал его слова: «Все образуется…»

Я разговариваю с ним и теперь. Для старости мало одних утешений, да и надежда у человека, которому за семьдесят, уже не на свою удачу, а такая, какая была у Фаржа, — он мне однажды сказал: «При нас или после — в общем, это не так уж существенно…»

Я задумался: что осталось от Фаржа? Он никогда не отдавал достаточно времени ни живописи, ни литературе; его картины не повесят в музеях, его книги не станут переиздавать, историк упомянет о нем мимоходом: в серьезных трудах нет места для котов, которые ходили сами по себе. Через десять или двадцать лет умрут люди, которые с ним работали и сражались. Но, кажется, продление человека в другом — не в имени, а в тех изменениях, которые он произвел. Фарж что-то заронил в миллионы людей. Они могут забыть его имя, но они восприняли его урок, иначе разговаривали со своими детьми, и Фарж, может быть, сделал больше для роста сознания, совести, человечности, чем крупные политические деятели, большие ученые, прославленные художники.

Все это — рассуждения. Лучше закончить рассказ о Фарже скромным личным признанием: он помог мне освободиться от многого дурного, помог надеяться, любить, жить.

34

Четвертого апреля рано утром меня разбудил телефонный звонок. Савич голосом, который срывался от волнения, сказал: «Возьми «Правду»- сообщение о врачах…» Не знаю, сколько раз я перечитал короткое сообщение, напечатанное на второй странице. Я не знал никого из пятнадцати врачей, о которых шла речь, но я понимал, что случилось нечто необычайное. В сообщении говорилось, что врачей незаконно обвинили, что они ни в чем не повинны и что их признания получены «путем применения недопустимых и строжайше запрещенных советскими законами приемов следствия». Это было напечатано в «Правде», передавалось по радио, это было сказано прямо, громко на весь мир.

Под сообщением о врачах была помещена статья, посвященная плодовым садам. Час спустя и увидел маленькую заметку под этой статьей: у женщины-врача, которую недавно наградили орденом Ленина за то, что она помогла разоблачить «убийц в белых халатах», орден отобрали.

Еще накануне мы позвали на дачу приехавшего из Киева С. Е. Голованивского, обещали заехать за ним в гостиницу. Оказалось, он не видел газеты. Я начал рассказывать; кажется, я знал сообщение наизусть. Он не верил ни мне, ни Любе. Мы увидели наклеенную на стене газету. Голованивский попросил: «Остановимся! Я должен сам прочитать…» Читал он долго. Читали и другие прохожие. Я вышел из машины. Пожилой человек громко сказал: «Вот оно как», и улыбнулся.

Два дня спустя в той же «Правде» была напечатана передовая; в ней рассказывалось, что во главе Министерства государственной безопасности стоял Игнатьев, снятый теперь с работы, и что следствием по делу врачей руководил Рюмин, ныне арестованный. «Правда» писала о том, что меня тревожило и раньше: «Презренные авантюристы типа Рюмина сфабрикованным ими следственным делом пытались разжечь в советском обществе, спаянном морально-политическим единством, идеями пролетарского интернационализма, глубоко чуждые социалистической идеологии чувства национальной вражды. В этих провокационных целях они не останавливались перед оголтелой клеветой на советских людей. Тщательной проверкой установлено, например, что таким образом был оклеветан честный общественный деятель, народный артист СССР Михоэлс». Газета писала: «Только люди, потерявшие советский облик и человеческое достоинство, могли дойти до беззаконных арестов

советских граждан…» Первой моей мыслью было: удивительно — Берия выдает своих!.. Я понял, что история начинает распутывать клубок, где чистое перепутано с нечистым, что дело не ограничится Рюминым. Прошел всего месяц со дня смерти Сталина, но что-то на свете переменилось.

Я хочу еще раз сказать молодым читателям моей книги, что нельзя перечеркнуть четверть века нашей истории. При Сталине наш народ превратил отсталую Россию в мощное современное государство, построил Магнитку и Кузнецк, рыл каналы, прокладывал дороги, разбил армии Гитлера, победившие всю Европу, учился, читал, духовно рос, совершил столько подвигов, что стал по праву героем XX века. Все это памятно любому советскому человеку, который жил и работал в то время. Но как бы мы ни радовались нашим успехам, как бы ни восхищались душевной силой, одаренностью народа, как бы тогда ни ценили ум и волю Сталина, мы не могли жить в ладу со своей совестью и тщетно пытались о многом не думать. Мы знали, что одновременно с большими делами, о которых сообщали газеты, делаются несправедливые, злые дела — о них люди говорили шепотом, и только с близкими друзьями. Говоря «мы», я имею в виду людей, с которыми дружил, — писателей, художников, некоторых старых большевиков, некоторых военных — может быть, сотню, может быть, две сотни; но мне думается, что такие же чувства испытывали очень многие советские люди. Почти у каждого был друг или товарищ, сослуживец или сосед, арестованный и пропавший без вести, в вину которого ему трудно было поверить. Люди молчали или шептались, и вдруг они заговорили — не озираясь испуганно по сторонам, не глядя на телефон, как на опасного врага, заговорили просто, по-человечески, с той добротой и совестливостью, которые всегда лежали в характере нашего народа. Это казалось чудом, и не раз в те апрельские дни я вспоминал Ленина, его благородство и душевную чистоту.

Я прерву размышления: просятся на бумагу неожиданные признания о прелести, о волшебстве апреля в наших местах, не избалованных теплом юга. Еще кое-где сереет снег, а видишь — начинается праздник: прорезают землю травинки, нежные звезды будущих одуванчиков, зацветают вербы, стрекочут налетевшие отовсюду птицы; шумливо, неспокойно и радостно — после долгих месяцев молчания, после холода, который сродни одиночеству, после искуса зимы. Может быть, я так чувствую потому, что в старости осень, а за нею зима мучительны, слишком они похожи на свое собственное увядание, на все то, что знакомо любому человеку, перевалившему за шестьдесят. А весна — это

мир молодости, и есть ли что-нибудь слаще для старого человека, чем глядеть на ребятишек, которые ломают лед подмерзшей за ночь лужицы, чем слушать их крики, нестройные и милые, как птичья болтовня, чем увидеть под вечер робких влюбленных, которые как будто стыдятся своего счастья и держатся за руки, а еще холодно по вечерам, пальцы зябнут. Все это происходит именно в самом начале апреля, в дни перелома, когда на одной стороне улицы холодно и пусто, сосульки не двигаются с места, а на другой стороне солнце, гам, весна. Мой дом на северном склоне холма, и в начале апреля у нас горы снега, и все-таки он поддается, оседает, я его раскидываю, сбрасываю и всем своим существом чувствую, что жизнь побеждает. Если даже подумаешь на минуту, что у тебя все позади, остались считанные весны, все равно берет верх веселье, хочется смеяться, делать глупости, мечтать о будущем — не о куцем своем, а о будущем мира. Так переживаю я апрель в Подмосковье.

А тот апрель, о котором я рассказываю, был особенным. Он отогревал стариков, озорничал, как мальчишка, плакал первыми дождями и смеялся, когда снова показывалось солнце. Вероятно, я думал об этом апреле, когда осенью решил написать маленькую повесть и на листе бумаги сразу же поставил заглавие «Оттепель». Это слово, должно быть, многих ввело в заблуждение; некоторые критики говорили или писали, что мне нравится гниль, сырость. В толковом словаре Ушакова сказано так: «Оттепель — теплая погода во время зимы или при наступлении весны, вызывающая таяние снега, льда». Я думал не об оттепелях среди зимы, а о первой апрельской оттепели, после которой бывают и легкий мороз, и ненастье, и яркое солнце, — о начале той весны, что должна была прийти.

Второго мая мы с Корнейчуком отправились в Стокгольм на бюро Всемирного Совета. У меня в кармане был первомайский номер «Правды» с моей статьей «Надежда»; в ней я писал: «Надежда этой весны связана не только с возобновлением переговоров в Пэньмыньчжоне… Советское правительство ясно сказало, что готово сотрудничать с правительствами других стран для того, чтобы обеспечить всеобщий мир… Все понимают, что пора монологов миновала, настает время диалога». Бюро собралось за полтора месяца до сессии. Все говорили о будущем бодро: идея переговоров, еще недавно считавшаяся утопией, теперь повторялась в речах государственных деятелей всех стран.

Помню, Лизлотта сказала мне, что я помолодел, вероятно, оттого, что многое в жизни начинало меняться; весна отогрела человека, слывшего неисправимым скептиком. Мы говорили о многом, и я сказал Лизлотте, что поговорка, существующая у

многих народов об одной ласточке, которая не делает весны, попросту неумна. Конечно, если ласточка прилетит слишком рано, то она может испытать холод, голод, даже погибнуть, но все же прилетит она не осенью или зимой, а в самом начале замешкавшейся весны. Ласточки не делают времен года, но осенью они нас покидают, а весной возвращаются.

Сессия Всемирного Совета собралась в Будапеште в середине июня. Мы были полны надежд, но события в Берлине и казнь Розенбергов напомнили, что история не мчится по автостраде, а петляет по путаным тропинкам. Я не стану сейчас писать о немецких делах: не хочу переходить от воспоминаний к тому, что остается злобой сегодняшнего дня. Вспомню о казни Розенбергов. Она показалась всем не только постыдным поступком, но и политической бессмысленностью. За два месяца до этого Эйзенхауэр выступил с речью, в которой говорил, что атомная война была бы всеобщей катастрофой и что Америка хочет мира. Эта речь была напечатана в «Правде», и рядом помещен советский ответ. Казалось, что эпоха истерической нетерпимости Маккарти кончена. Дело Джилиуса и Этель Розенбергов длилось долго. Они жили в камерах, ожидая смерти, переписывались друг с другом, писали об их маленьких детях. Эти письма были опубликованы, и теперь я нашел вырезку из газеты «Фигаро», которая обычно восхищалась Америкой. «Так могут говорить только люди с большим и чистым сердцем». Кардиналы и президент Франции, Томас Манн и Мартен дю Гар; Эррио и Мориак — все они просили Эйзенхауэра не казнить Розенбергов. Жизнь двух невинных людей оборвал вздорный политический акт, уступка крайним кругам, раздражение против европейских союзников, которые настаивали на переговорах с СССР. Жолио мне сказал: «Это ужасно, но не нужно падать духом. Сторонники политики силы могут затянуть дело, могут совершить еще много злого, но теперь ясно, что ндея переговоров проникла во все слои общества, даже в южные штаты…»

(Жолио был прав: месяц спустя кончилась война в Корее, а в следующем году был подписан государственный договор с Австрией и договор об окончании военных действий к Индокитае.)

В Ново-Иерусалиме я вернулся к статье, которую начал еще весной, «О работе писателя». В ней я отвечал на письмо одного читателя, молодого ленинградского инженера, который писал мне: «…Разве можно сравнить наше советское общество с царской Россией? А классики писали лучше. Конечно, некоторые произведения читаешь с интересом, но много и таких, что спрашиваешь — зачем это написано? Как будто все есть, а чего-то

не хватает, книга не берет за сердце, а люди показаны не. такими, как на самом деле…»

Моя статья была попыткой разобраться к психологии художественного творчества (потом я вернулся к тем же проблемам в очерках о Стендале и о Чехове). Я хотел объяснить глубокие причины, мешающие развитию нашей литературы; и упоминал о них не раз в этой книге и не стану к ним возвращаться. Приведу только короткий отрывок, чтобы показать некоторые мои мысли в лето 1953 года: «…Почему у нас в изобилии печатаются романы, повести, рассказы, показывающие современников душевно обкорнанными? Мне кажется, что часть вины ложится на некоторых (увы, многочисленных) критиков, рецензентов, редакторов, которые до сих пор принимают упрощение образа героя за его возвышение, а углубление и расширение темы за ее принижение. Много лет подряд наши журналы почти не печатали стихов о любви… Мне могут сказать, что героика реконструкции не допускала других тем. Но Маяковский написал поэму «Про это» тоже не в заурядное время… Я могу продолжить вопросы. Почему так редко в рассказах можно найти упоминание о любовном или семейном конфликте, о болезнях, о смерти близких, даже о дурной погоде? (Обычно действие происходит в «погожий летний день», или в «душистый майский вечер», или в «ясное, бодрящее осеннее утро») Некоторые критики еще придерживаются наивного мнения, будто наш философский оптимизм, изображение подвигов наших людей несовместимы с описанием неразделенной любви или потери близкого человека». Статья была напечатана в журнале «Знамя»; два члена редакционной коллегии Л. Скорино и А. Макаров меня как-то спросили, почему я все валю на критиков, я им посоветовал перечитать повесть о принце и нищем.

Я сидел почти все время на даче. Как-то мы приехали в Москву в первых числах июля. Пришла Ирина и сразу спросила: «Вы уже знаете?…» Она рассказала, что видала на улицах много войск, а на кинохронике ей вчера сказали, что Берия арестован. Неделю спустя я прочитал об этом в газете. Сообщение было сенсационным, но, признаться, оно меня не удивило. Еще в апреле, когда впервые были разоблачены незаконные действия органов безопасности, я спрашивал себя: неужели все ограничится каким-то Рюминым? Берия продолжал входить в правительство, обладал огромной властью. Я не видел человека, который хотя бы на мгновение усомнился в его вине, все радовались. Миллионы граждан еще верили в непричастность Сталина к злодеяниям, но Берию все ненавидели, рассказывали о

нем как о человеке, развращенном властью, жестоком и низком.

Группу писателей пригласили в ЦК, где один из секретарей объяснял нам причины ареста Берии. Впервые нам, беспартийным писателям, рассказывали о том, что не попало в печать, — это тоже показалось мне хорошим признаком. Товарищ, который с нами разговаривал, сказал: «К сожалению, в последние годы своей жизни товарищ Сталин находился под сильным влиянием Берии». Думая потом об этих словах, я вспомнил 1937 год. Скажет ли кто-нибудь, что тогда на Сталина влиял Ежов? Каждому ясно, что такие незначительные люди не могли подсказывать Сталину его государственный курс. Я снова перечитал передовую «Правды», посвященную аресту Берии: «Из неприязни ко всякому культу личности, — писал Маркс, — я во время существования Интернационала никогда не допускал до огласки многочисленные обращения, в которых признавались мои заслуги и которыми мне надоедали из разных стран, — я даже никогда не отвечал на них, разве только изредка за них отчитывал. Первое вступление Энгельса и мое в тайное общество коммунистов произошло под тем условием, что из устава будет выброшено все, что содействует суеверному преклонению перед авторитетом». Ясно было, что «культ личности» или «суеверное преклонение перед авторитетом» относились не к Берии, а к Сталину. Конечно, я не мог предвидеть XX съезда, но я понимал, что не только убран преступник, палач — начинается отречение от методов, навыков и произвола сталинских лет.

Я видел, как меняются человеческие отношения, как люди начинают свободно разговаривать друг с другом. «Нормализация рабочего дня» была мерой, не носившей прямого политического характера, но она вернула миллионам людей человеческое существование. Все мы знали, что Сталин поздно вставал и поздно ложился, любил работать ночью. У каждого человека могут быть свои привычки и свои странности. Но Сталин был не человеком, а богом, и любая его мания отражалась на повседневной жизни множества людей. Министры боялись до двух-трех часов уйти с работы: Сталин может позвонить по вертушке. Министры задерживали начальников отделов, начальники — секретарей, секретари — машинисток. Многие мужья видали своих жен только по воскресеньям: он уходил на работу в двенадцать часов дня, возвращался в два часа ночи. Когда он бывал дома, жена была на службе или спала. Понятие «дни» и «ночи» исчезали, и вот в конце лета этому был положен конец.

В сентябре был Пленум ЦК. С докладом о сельском хозяйстве выступил Н. С. Хрущев. Я прочитал и перечитал доклад, он меня

поразил. При Сталине мы слушали или читали неизменно одно: все идет как по маслу, все проблемы разрешены или близки к разрешению. В Энгельсе я видел нищий рынок, где продавали продукты, привезенные из Москвы, недоступные среднему служащему; а говорили и писали о всеобщем благоденствии. И вот Хрущев подверг резкой критике сельскохозяйственную политику, рассказал о тяжелом положении в животноводстве, о том, что в Советском Союзе корон теперь меньше, чем было в 1916 году в царской России. Я знал и до того, что в стране мало молока, но Хрущев сказал об этом правду. Тому, что люди называли «показухой», был нанесен удар, и это очень многих обрадовало.

Я сел за «Оттепель»-мне хотелось показать, как огромные исторические события отражаются на жизни людей в небольшом городе, передать мое ощущение оттаивания, мои надежды. Об «Оттепели» много писали. Время было переходным, некоторым людям трудно было отказаться от недавнего прошлого, их сердили и упоминание о деле врачей, и осторожная ссылка на тридцатые годы, и особенно название повести. В печати «Оттепель» неизменно ругали, а на Втором съезде писателей в конце 1954 года она служила примером того, как не надлежит показывать действительность. В «Литературной газете» цитировали письма читателей, поносившие повесть. Я, однако, получил много тысяч писем в защиту «Оттепели».

Теперь я перечитал эту книгу. (Я говорю о первой части, написанной в конце 1953 года. В 1955-м я совершил еще одну ошибку — написал вторую часть, бледную, а главное, художественно ненужную, которую теперь выключил из собрания сочинений.) Мне кажется, что в повести я передал душевный климат того памятного года. Сюжет, герои, в отличие от обычного, пришли как иллюстрации лирической темы. Есть герои, которые мне нравятся: пожилой инженер Соколовский, захолустный бюрократ Журавлев, честный художник Сабуров и халтурщик Володя. Упоминаний о событиях 1953 года мало. Журавлев сказал своей жене о Вере Шерер: «Ничего я против не имею, говорят, она хороший врач. А чересчур доверять им нельзя, это бесспорно». Несколько времени спустя, когда появилось сообщение о реабилитации врачей, Журавлев, зевая, сказал жене: «Оказывается, они ни в чем не виноваты. Так что твоя Шерер зря расстраивалась…» Инженер Коротеев упрекает себя в двурушничестве: «Я часто думаю: «Это хорошо в книге, а не в жизни»… Но я ведь не хочу лгать. Почему так получается?… Савченко куда цельнее, он не пережил ни тридцатых годов, ни войны, он большего требует — это его право. Мы, кажется,

подходим к тому, о чем только смутно мечтали…» В повести много разговоров об искусстве. В Сабурова я вложил страстную любовь к живописи, подвижническую жизнь, даже некоторые мысли Р. Р. Фалька. Я прочитал эту главу Роберту Рафаиловичу до того, как отдал рукопись в журнал, и он ее одобрил. Не знаю, удалась или нет «Оттепель», но она написана с любовью к героям, с желанием показать, почему некоторые из них редут себя плохо. Халтурщик Володя чувствителен к искусству: увидев работы Сабурова, он понимает, что именно он променял на деньги и похвалы. Ему холодно, и в этом, может быть, залог его спасения. А два немолодых человека, знавшие много обид, одинокие, замерзавшие, находят друг друга, и Соколовский, глядя в окно на ранний весенний день, усмехается: «Смешно, сейчас Вера придет, и я даже не думаю, что и ей скажу. Ничего не скажу. Или скажу. «Вера, вот и оттепель…» Я доволен, что написал эту маленькую книгу, хотя пережил из-за нее немало горьких часов.

Пять лет назад, когда я начал писать мои воспоминания, я сразу решил, что кончу их на том дне, когда сел за «Оттепель». Дойдя до этой главы, я убедился, что был прав: мне было труднее говорить о месяцах, породивших «Оттепель», о судьбе этой повести, чем о различных, куда более драматичных событиях предшествовавших лет. 1953 год — первая страница новой части не только моей жизни, но и жизни нашего народа. За ним последовали годы, богатые событиями, но они настолько близки, даже злободневны, что не вмешаются в историю прожитой жизни. (О некоторых из этих событий, а также о людях живых или умерших после 1953 года я все же написал.)

Пять лет я просидел над этой книгой. Было много радостного для меня в течение этих лет, были и тяжелые месяцы. К моему собственному удивлению, я переживал и счастье и горе еще острее, чем в молодости, но силы уменьшались, и если не скудела нежность, то в отвердевших сосудах текла старческая кровь. Я мог бы здесь написать слово «конец», но мне хочется еще раз оглянуться назад, попытаться осмыслить длинную жизнь обычного человека в необычное время и если не подвести итоги, то сделать некоторые частные выводы, поделиться с читателями моими сомнениями и моей надеждой.

35

Год назад один товарищ, работавший в архиве, переслал мне копию документа царской охранки:

> «Выписка из полученного агентурным путем письма без подписи из Москвы от 17 ноября 1908 года к Сергею Николаевичу Шестакову в Киев». «…Из Полтавы я поехал через Смоленск в Москву. Здесь внешне прескверно: приходится таскаться но ночевкам, несмотря на множество знакомых, найти ночлег довольно трудно. Что касается до впечатлений, произведенных московскими делами вообще и нашими знакомыми в частности, то, как ни печальны дела, после юга они отрадны. Трудно сказать, лучше ли теперь положение, чем было весной, но, во всяком случае, не хуже. Многие убеждены, что партийный кризис подходит к концу. На состоявшейся на днях областной конференции было констатировано некоторое оживление работы, в особенности а Иваново-Вознесенске, Сормове и в Московском округе. На днях, как вы знаете из газет, Московский окружной комитет был арестован. Что касается тактических взглядов, то раньше всего расскажу о резолюции Московского комитета, принятой с некоторыми поправками на областной конференции. Основные ее положения таковы: общее международное осложнение классовых противоречий, конец некоторого оживления в российском капитализме, ублюдочное социал-реформаторство буржуазии, гнусность аграрной «реформы» правительства, невозможность успешной экономической борьбы — выход в политическое брожение, неизбежность революционного подъема, более пролетарский и более международный характер его. В качестве практических задач партия отмечает необходимость установления более тесных связей с пролетариатом Запада, создания крепкой нелегальной организации, желательность более строгого социалистического характера работы, а также необходимость воздействовать в более строгом стиле на фракцию. Эта последняя стала держать себя приличнее: приняла резолюцию о подчинении ЦК, и депутат Белоусов даже произнес речь по аграрному вопросу, написанную Лениным. Кроме того, она официально

выступила с заявлением о своем несогласии с отклонившимися большевиками. Эти последние встретили сочувствие у Плеханова, Мартова и Дана, которые заявили, что нелегальная работа теперь не только не полезна, но и вредна. Редакция «Голос социал-демократа», то есть кавказские меньшевики во главе с Костровым, с ними не согласна. Вот и все о партийных делах. 8–9 номера «Голоса с.-д.» в Москве нет, зато получили № 30 «Пролетария»…»

Читая, я не сразу понял, кто автор письма, — может быть, старый большевик, мой товарищ давних лет? А дойдя до адреса, вдруг вспомнил. В конце письма приписка: «По мнению ДП, автор настоящего письма поднадзорный Илья Григорьевич Эренбург». Департамент полиции не ошибся — это копия моего письма Вале Неймарку. Я перечитываю текст и дивлюсь не столько содержанию, сколько языку. Так иногда с трудом узнаешь себя на старой фотографии.

Давно уже нет в живых ни Вали Неймарка, ни социал-демократических депутатов Государственной думы, ни Х, который возмутил меня своими сентенциями об утилитарной сущности искусства. Жизнь прожита, и я могу только добавить, что есть линия, связующая письмо подростка с книгой старого писателя. Я не жалею ни о том, что в возрасте пятнадцати лет начал работать в подпольной большевистской организации, ни о том, что три года спустя, фанатично полюбив поэзию, перестал ходить на собрания, посещал еще несколько месяцев Школу социальных наук, но и это забросил, читал с утра до ночи стихи старых и новых поэтов, глядел холсты, слушал споры о кубизме и о «научной поэзии».

Однако даже в те годы я не мог забыть о том, что мне показалось в пятнадцать лет простой и единственной правдой, с волнением слушал рассказы людей, приезжавших из России, ходил в мае к Стене коммунаров, ненавидел мишуру и ложь мира денег. Читатель этой книги знает, что всю мою жизнь я только и делал, что пытался связать для себя справедливость с красотой, а новый социальный строй с искусством. Существовали два Эренбурга, они редко жили в мире, часто один ущемлял, даже топтал другого, это было не двуличием, а трудной судьбой человека, который слишком часто ошибался, но страстно ненавидел идею предательства.

Критики редко стремятся понять писателя, у них другие задания — изредка (главным образом в юбилейные даты) они прославляют автора, а чаще его поносят. Западные журналисты

осуждали и осуждают меня за тенденциозность, политическое пристрастие, подчинение правды узкой идеологии, а то и административным директивам. Некоторые советские журналисты, напротив, утверждали и утверждают, что я страдаю избытком субъективизма и в то же время объективизма, не умею отделить новое сознание от хлама обветшалых чувств, вывожу нетипичных героев, покрываю формализм.

Я не стану защищать написанные мною произведения, о некоторых из них я отозвался в этой книге достаточно сурово; но сейчас я говорю не о моих литературных недостатках, а о прожитой жизни. «Люди, годы, жизнь» не роман, и я не мог переделать фабулу или изменить характер героя. Если я умолчал о некоторых событиях моей жизни, то о своих заблуждениях, о своем легкомыслии я говорил откровенно. В свое оправдание добавлю, что внутренние блуждания и противоречия пережили многие из моих современников; видимо, это было связано с эпохой.

Я сформировался на традициях, на идеях, на моральных нормах XIX века. Теперь многое мне самому кажется древней историей, а в 1909 году, когда я исписывал тетрадки скверными стихами, еще жили Толстой, Короленко, Франс, Стриндберг, Марк Твен, Джек Лондон, Блуа, Брандес, Синг, Жорес, Кропоткин, Бебель, Лафарг, Пеги, Верхарн, Роден, Дега, Мечников, Кох… Я не отрекаюсь ни от подростка, стриженного ежиком, который осуждал «отклонистов» и посмеивался над Надей Львовой за ее увлечение поэзией, ни от зеленого юноши, который, открыв существование Блока, Тютчева, Бодлера, возмутился разговорами о второстепенном и сугубо подсобном назначении искусства; теперь я понимаю обоих.

Увлечение революционной борьбой, работа в подпольной большевистской организации не были для меня случайными, они многое предопределили в моей жизни, и если они помешали мне получить среднее образование — вместо гимназии я проводил дни на явках, на собраниях, в рабочих общежитиях или в чайных, а потом в тюремной камере, — то многому они меня научили. Конечно, начать жизнь именно так мне помогли и события 1905 года, и старшие товарищи, прежде всего мой друг Николай, ученик Первой гимназии, и книги; но в выборе прежде всего сказались черты моего характера.

В 1917 году и не узнал того, за что боролся десять лет назад: в эмиграции я успел оторваться от жизни России и пережить увлечения различными ценностями, действительными и мнимыми, которые показались мне попираемыми. Два года спустя я понял свою ошибку. Некоторые друзья меня звали в

Париж, но я поехал в Москву. Я сам привязал себя к той идее, которая казалась мне в начале крылатой гоголевской тройкой, а потом государственной колесницей, танком, спутником, — в 1957 году я писал:

…В глухую осень из российской пущи,
Средь холода и грусти волостей,
Он был в пустые небеса запушен
Надеждой исстрадавшихся людей…
Не знаю, догадаются, поймут ли…
Он сорок лет бушует надо мной,
Моих надежд, моей тревоги спутник,
Немыслимый, далекий и родной.

Я вложил в уста, вернее, и дневник одного из героев повести «День второй» многие из моих сомнений. Володя Сафонов повесился — это я пытался повесить самого себя. Я заставил себя о многом молчать: то были годы свастики, испанской войны, борьбы не на жизнь, а на смерть. Эпоха, которую теперь называют «культом личности», к добровольному молчанию примешивала и вынужденное.

Меня могли бы арестовать в годы произвола, как арестовали многих моих друзей. Я не знаю, с какими мыслями умер Бабель, он был одним из тех, молчание которых было связано не только с осторожностью, но и с верностью. Я мог бы умереть в послевоенные годы, до XX съезда, как умерли Таиров, Суриц, Тувим. Их тоже мучили злодеяния, совершаемые якобы в защиту идей, которые они разделяли и за которые чувствовали свою ответственность. Я счастлив, что дожил до того дня, когда меня вызвали в Союз писателей и дали прочитать доклад Н. С. Хрущева о культе личности.

Легче переменить политику, экономику, чем человеческое сознание. Я часто встречаю людей, которые не смогли освободиться от душевной скованности, страха, казуистики, оставшихся в них от предшествовавших лет. Однако растет поколение, не знавшее ни «бурных аплодисментов, переходящих в овацию», ни ночей, когда мы прислушивались к шуму на лестнице. Переход людей от религии к научному сознанию длился очень долго, а подростков, родившихся в начале сороковых годов, за один день перевели от слепой веры к критическому мышлению. Остается еще раз поблагодарить людей, нашедших в себе достаточно силы и понявших, что разоблачить произвол — это значит укрепить идеи Октября. А для меня нет большей радости, чем слушать порой незрелые, но

искренние и задорные высказывания наших юношей, едва вступающих в жизнь.

С годами я понял, что и моя любовь к искусству, и мои верность идее социализма связаны с одним — с судьбой культуры. Когда я начинал жить, культура была творчеством и достоянием немногих. У нас теперь в той или иной форме, в той или иной степени культура дошла почти до всех. В течение сорока лет люди читали, думали, и они духовно выросли. В годы, когда «Новый мир» печатал мои воспоминания, я получал множество писем: мои сверстники вспоминали свое прошлое, делились тревогами и надеждами, а молодые ставили вопросы, которые когда-то зря называли «проклятыми»; такие письма меня учили и вдохновляли.

В этой книге я часто писал о своих ошибках. Были ошибки и у других, были ошибки и у общества, их список длинен, о нем часто вспоминают не только наши противники, но и мои соотечественники.

В послевоенные годы я много бывал на Западе. Уровень жизни вырос по сравнению с довоенным, победил новый индустриальный стиль в архитектуре, в утвари, жизнь стала комфортабельней и беспокойней. Однако спокойствие исчезло не только из-за роста механизации, но также из-за неуверенности в завтрашнем дне. Я видел, как рухнула Четвертая республика, как развалилась Британская империя. Только в Соединенных Штатах можно еще услышать апологию капитализма, а политики Западной Европы разговорами о плановой экономике, о частичной национализации, о повышении подоходных налогов пытаются уверить, что, даже стоя на месте, можно шагать в ногу с веком. Я думаю, что наши ошибки, и материальные и духовные, связаны с тем, что раннее утро не полдень и что, как уверяет французская поговорка, старость многого не может, а молодость многого не знает. По дорогам прошлого легко мчаться в превосходном и вполне современном «бьюике». А к будущему пробираешься с трудом, часто блуждаешь, и спросить, как лучше пройти, некого.

Мир очень изменился. Когда я начинал сознательную жизнь, самодурам или реакционерам ставили в вину отсутствие логики — картезианство еще было живым. Полвека истории, опыт каждого показали, что старая логика обанкротилась; безупречные гипотезы опровергались событиями; жизнь разворачивалась не по законам Декарта, а зачастую наперекор им. С помощью диалектики легко объяснить происшедшее. Но я сейчас думаю о другом: как должен поступить человек в своей личной жизни, если перед ним то, что не предвидели ни любимые им авторы, ни

различные конференции или дискуссии?

Когда я был мальчиком, в русских, немецких или итальянских школах детей учили, что грех убивать, красть, оскорблять родителей, завидовать чужому счастью; школьники знали на память десять заповедей. Во французских школах после отделения церкви от государства ввели новый предмет — «мораль»-: десять заповедей были обновлены с помощью басен Лафонтена, а статьи уголовного кодекса украшены цитатами из Гюго. Дом строят не с крыши, и потомки будут говорить о середине XX века как об эпохе больших научных, социальных и технических открытий, но не как о времени гармоничного расцвета человека: в наши дни образование повсюду опережает воспитание, физика оставляет позади себя искусство, и люди, приближаясь к радиоактивным двигателям, не снабжены тормозами подлинной морали. Совесть — понятие отнюдь не религиозное, и Чехов, не будучи верующим, обладал (как и другие представители русской литературы XIX века) обостренной совестью. Иногда мне кажется, что необходимо восстановить понятие совести; однако я выхожу за пределы и этой главы, и всей моей книги.

Я помню одного нашего лектора, который в 1932 году уверял, будто открытия Эйнштейна — попытка воскресить идеализм, даже мистику. Новая наука встретила много неожиданных препятствий: роды всегда трудны. За тридцать лет успехи ученых стали настолько очевидными, что изменилось сознание любого среднего человека. Наука X!X века теперь кажется тесной уютной квартирой. Вероятно, нечто подобное, хотя и в меньшей степени, переживали люди позднего Возрождения, поняв, что Земля не центр вселенной. По-новому встало перед нами понятие бесконечности. То, что казалось абсолютно реальным, превращается в абстракцию, а вчерашняя абстракция становится реальностью.

Когда развитие физики и ее роль в создании ядерного оружия дошли до сознания политиков, военных, да и простых людей, все начали задумываться над возможностью уничтожения жизни на нашей планете. Есть два выхода — накапливать ядерное оружие или согласиться на всеобщее разоружение. Я продолжаю ездить на различные совещания или конференции сторонников мира, на встречи «Круглого стола». Скептики норой мне напоминают прошлое — и Гаагскую конференцию, и конгресс в Амстердаме, организованный перед второй мировой войной, — говорят о моей наивности. Наивны, пожалуй, скептики. Прежде разоружение было утопией идеалистов или лицемерием грабителей. Когда один тигр говорил другому, что нужно вырвать клыки и обстричь

когти, они надеялись этим успокоить многомиллионные отары овец. Теперь тигры поняли, что атомная война не стратегические планы, не вопрос о том, у кого больше нефти, стали или даже урана, а мгновенное и всеобщее истребление. Разоружение стало реальной потребностью всех, и если продолжаются споры о его осуществлении, то только потому, что традиции в международной политике куда крепче, чем в естествознании. Вопрос в одном: обгонят ли предостережения физиков рутину дипломатов и осознают ли различные правительства необходимость перейти от разговоров к делу до того, как вздорный случай вызовет катастрофу.

Жизнь полна противоречий. Есть люди, которые говорят о совместном освоении космоса, о полетах на Луну и одновременно готовы (к счастью, на словах) взорвать бедную передовую планету потому, что не могут договориться с другими людьми о статуте нескольких кварталов одного города. Тысячелетние навыки решать спор силой побуждают теперь различные государства обзавестись ядерным оружием. Если в моей молодости писали, что нельзя жить возле бочки пороха, то теперь мы живем возле бочек куда более опасных. Знание опередило сознание.

Во второй половине XX века искусству пришлось повсюду потесниться. Внешне оно распространилось: тиражи романов почти повсюду повысились, увеличилось число посетителей музеев и выставок, окрепло кино, родилось телевидение. Однако в частной жизни множества людей роль искусства уменьшилась. Может быть, это произошло оттого, что язык искусства оказался опереженным резкими поворотами и в науке, и в социальной жизни. А может быть, эти повороты и привели к некоторому охлаждению к искусству — люди потеряли душевное спокойствие, восхищались искусственными спутниками, боялись ядерных бомб, тешились изобретениями, неистовствовали на спортивных состязаниях и мечтали о машинах, способных превращать полуфабрикаты в трапезы Лукулла.

Некоторые замечательные изобретения, как, например, телевидение, ежедневно поставляют эрзацы искусства. Люди реже идут в театр и вместо того, чтобы раскрыть книгу, садятся у телевизора. На экране мелькают бои в Конго и олимпиады, свадьбы королевы и похороны президента, балерины в пачках и дрессированные кошки, Гамлет и боксеры, концерт и светские скандалы. Все это рябит, дребезжит, грохочет, мяукает, стихи смешиваются с рекламами, а музыка с прогнозами погоды. Люди смотрят, тут же закусывают, сплетничают, ссорятся, восприятие постепенно притупляется.

Я помню, как в моем детстве все благоговейно говорили о

Толстом, глядели на него, как на пророка. Когда Золя осудили за защиту Дрейфуса, взволновался весь мир. В годы первой мировой войны люди, которые продолжали думать, прислушивались к голосу Ромена Роллана. В парижском театре зрители дрались из-за музыки Стравинского или декораций Пикассо. Теперь порой дерутся болельщики на футбольном матче.

Лет пять назад по моей вине в «Комсомольской правде» началась дискуссия: обречено ли искусство на смерть в «атомном веке». Один из наших кибернетиков высмеял молодых людей, которые продолжают восхищаться искусством и, по его словам, вздыхают: «Ах, Блок! Ах, Бах!» Я прочитал тысячи писем, адресованных мне и газете. Почти все юноши и девушки испугались идеи отмирания искусства; но у кибернетика нашлась сотня сторонников, которые противопоставляли музыке или поэзии величие естествознания; их доводы были смесью идеи технократии с утилитаризмом тургеневского Базарова.

Если бы эти люди оказались правы в своих прогнозах, то освоением космоса занялись бы неполноценные существа, обладающие нужными знаниями, но лишенные культуры чувств, которые, наверно, мало чем отличались бы от мыслящих машин XXI века. Открытие огня, то есть способов его добывания, относится к началу каменного века. Десятки тысячелетий спустя Эсхил написал «Прикованного Прометея». Эта трагедия жива и теперь, она вдохновляет миллионы людей, усиливает в человеке чувство достоинства. Половое влечение свойственно даже мухам, но для того, чтобы оно стало любовью, потребовались тысячелетия искусства — от древних критян и Калидасы до Гёте, Стендаля, Толстого и дальше — до Аполлинера, Блока, Маяковского, Хемингуэя, Элюара, Пастернака.

Я думаю, что новое сознание, новые чувствования требуют от искусства нового языка. Людям, привыкшим к живописи Джотто, к стихам Рютбефа, Вийон, Рабле или Учелло показались падением искусства, а четыреста лет спустя для французов Второй империи, воспитанных на классицизме и романтизме, Мане, Дега, Бодлер, Флобер были варварами, попирающими красоту.

На ленинградском симпозиуме писателей, в котором участвовали литераторы из различных стран, кто-то сказал, что лучше быть продолжателями Толстого, Диккенса и Стендаля, чем Пруста, Кафки или Джойса. Я не думаю, что наше время оставляет художнику единственный выбор — чьим эпигоном он предпочитает быть.

Читателя не удивит, что столько места в книге воспоминаний я уделял искусству: это связано не только с моим ремеслом, но и

с моим мироощущением, — я убежден, что нельзя идти вперед, шагая только одной ногой, и что без духовной красоты человека никакие социальные изменения, никакие научные открытия не принесут людям подлинного счастья. Ссылки на то, что и содержание и форма искусства диктуются обществом, при всей их правильности кажутся мне чересчур формальными. Конечно, Леонардо да Винчи или Микеланджело знали больше, чувствовали острее и глубже, чем их современники, и, конечно же, им приходилось считаться с меценатами, кардиналами, принцами, даже с наемными убийцами эпохи. Но, прославляемые или преследуемые, они были философами, открывателями, прокладывали путь в будущее. Их произведения нас потрясают и теперь, а история итальянских городов конца XV — начала XVI века нам кажется бурной, кровавой, но давно отшумевшей, да и мало привлекательной. Не был ли Стендаль проницательнее, глубже своих современников — подданных «доброго короля с зонтиком»? При жизни «Красное и черное» прочитали несколько тысяч человек, из которых, может быть, только сотня-другая разгадала значение этой книги. Вот уж кто не был эпигоном! Стендаль вырос из своего века, но он его перерос. Его романы многих отталкивали, они порой сердили даже Бальзака и Гёте, которые смутно чувствовали силу Стендаля. А разве стихи Пушкина, «Герой нашего времени», «Мертвые души» — это только гениальное отображение России Николая Первого, концентрат идей и чувствований передовых дворян той эпохи?

Книга Винера о кибернетике показалась мне увлекательной, но я не начал отпевать искусство. Напротив, я понял, что в нашу эпоху все очень быстро меняется. Изменится, наверно, и литература или живопись. Хуже всего начать по-стариковски брюзжать, осуждать время и молодых — они, дескать, не могут ни мечтать, ни страдать, как их деды. Я во многом повинен, но только не в этом.

Повествование о своей жизни я оборвал на первой главе той части, которая для меня должна быть последней и о которой слишком трудно писать, — это сегодняшний день. С начала 1954 года, когда я дописал «Оттепель», прошло больше десяти лет. Я продолжал колесить по миру, читал книги новых авторов, встречался с друзьями, любил, терзался, надеялся.

Я жил, кажется, гуще, порой и острее, чем в молодости. Оказалось, что я не знал ни глубины некоторых чувств, ни голоса тишины, ни всей ценности последних солнечных дней поздней осени.

В начале 1963 года я провел два дня с Пикассо. Я глядел на его новые полотна «Похищение сабинянок». На композицию его

толкнула картина Давида. Согласно древней легенде, римляне в поисках жен похитили сабинянок, а когда сабины пошли войной на Рим, женщины, успевшие обзавестись детьми, остановили кровопролитие. Пикассо, однако, создал не трогательное примирение, а апокалиптическое видение войны, новые «Герники», причем каждый вершок холстов глубоко живописен. В мастерской и стоял завороженный и только ночью подумал: удивительно — ведь ему за восемьдесят!..

Я увидал много новых для меня стран Индию, Японию, Чили, Аргентину, мир для меня стал шире: ведь в молодости я знал только Европу да понаслышке Соединенные Штаты — полторы части света Вместо пяти. Я познакомился с некоторыми людьми, которые показались мне значительными. Упомяну о беседе в Дели с Джавахарлалом Неру, который был для меня в политике тем, чем холсты Амриты Шер-Гил в живописи, органическим сплавом индийской национальной глубины с передовой мыслью Запада.

Впервые я побывал в Армении и влюбился в нее; своей розоватой сухостью она напомнила мне Кастилию, понравились люди, страстно любящие свою землю и вместе с тем не ограниченные провинциалы, а подлинные граждане мира. М. С. Сарьян писал мой портрет, вспоминал прошлое, яростно проклинал людей, безразличных к искусству, и я видел не старого мастера, а юношу, который впервые восхищается охрой и кобальтом. В 1965 году Мартиросу Сергеевичу исполнилось восемьдесят пять лет, и его старые полотна, спрятанные в фондах музеев, были показаны на выставке — константинопольские собаки, пальмы Египта, персианки. Сделали фильм, посвященный Сарьяиу. Я написал текст. Я рассказал, как мешали живописцу делать живопись, как в 1948 году он снял свои лучшие холсты со стен — начал их резать.

Искусство продолжало меня радовать, открывало на многое глаза. Изобретение кинематографии — заслуга техники, но когда я увидел последние фильмы Феллини, Алена Рене, я понял, что кино начинает находить свой язык, что оно способно не только передать игру гениального мима Чаплина, реальность зримого, динамику событий, но и осветить духоту, темноту душевного мира человека не так, как это делали сиена, книга или холст.

Меня обрадовала своей точностью повесть Сэлинджера о подростке, да и многие другие книги, рассказы наших молодых — Казакова, Аксенова. Прочитав короткий и на первый взгляд традиционный рассказ Солженицына, я почувствовал себя богаче: автор иначе, чем Чехов, но с чеховской глубиной ввел в мой мир прекрасную русскую женщину, прожившую трудную жизнь.

За последние годы умерли Фальк, Незвал, Жолио, Ривера, Кончаловский, Пастернак, Леже, Заболоцкий, Хемингуэй, Назым Хикмет. Я чувствую, до чего поредел лес моей жизни, нежно и суеверно гляжу на живых друзей, а вечером утешаюсь тенями подростков.

Я узнал К. Г. Паустовского, — прежде я очень редко встречался с ним, знал большого мастера, а увидел благородного, доброго и смелого человека. Мы подружились на старости. Меня поддерживает сознание, что Константин Георгиевич жив, что завтра он, наверно, еще что-то скажет, что он мой ровесник и пережил многое из того, что написано в этой книге, что он не только высокий мастер и человек встревоженной совести, что весной 1963 года он пришел ко мне и поддержал меня в трудные дни.

Я полюбил Виктора Некрасова, крепкого, неуступчивого и чрезвычайно совестливого писателя, оказалось, что возраст не стена: есть и у старости свои окна и двери.

Я не разучился ни любить, ни надеяться, да уж теперь, видно, не разучусь. Конечно, старость вяжет человека — иссякают силы. Зато теперь у меня не только больше опыта, но и больше внутренней свободы.

Мне нелегко было написать эту книгу. Сколько бы я ни говорил о взлете науки или о борьбе за мир, все равно я знал, что исповедуюсь на площади. Помогало мне сознание, что, рассказывая об умерших друзьях, особе, порой вставляя дорогое имя, я борюсь против забвения, пустоты, небытия, которые, по хорошим словам Жолио, противны человеческой природе.

Я знал, начиная эту книгу, что меня будут критиковать: одним покажется, что я слишком о многом умалчиваю, другие скажут, что я про слишком многое говорю. В предисловии ко второму тому, написанному осенью 1963 года, я повторил: «Моя книга «Люди, годы, жизнь» вызвала много споров и критических замечаний. В связи с этим мне хочется еще раз подчеркнуть, что моя книга — рассказ о моей жизни, об исканиях, заблуждениях и находках одного человека. Она, разумеется, крайне субъективна, и я никогда не претендую дать историю эпохи…»

Критиковали, да и будут критиковать не столько мою книгу, сколько мою жизнь. Но начать жизнь сызнова я не могу. Я не собирался никого поучать, не ставил себя в пример. Я слишком часто говорил о своем легкомыслии, признавался в своих ошибках, чтобы взяться за амплуа старого резонера. Притом я сам с охотой послушал бы мудреца, способного дать ответ на многие вопросы, которые продолжают меня мучить. Мне хотелось рассказать о прожитой жизни, о людях, которых я встретил: это

может помочь некоторым читателям кое над чем задуматься, кое-что понять.

Сейчас у меня слишком много желаний и, боюсь, недостаточно сил. Кончу признанием: я ненанижу равнодушие, занавески на окнах, жесткость и жестокость отъединения. Когда я писал о друзьях, которых нет, порой я отрывался от работы, подходил к окну, стоял, как стоят на собраниях, желая почтить усопшего; я не глядел ни на листву, ни на сугробы, я видел милое мне лицо. Многие страницы этой книги продиктованы любовью. Я люблю жизнь, не каюсь, не жалею о прожитом и пережитом, мне только обидно, что я многого не сделал, не написал, не догоревал, не долюбил. Но таковы законы природы: зрители уже торопятся к вешалке, а на сцене герой еще восклицает: «Завтра я…» А что будет завтра? Другая пьеса и другие герои.

Книга VII

1

Мне снова приходится признаться читателям в своем легкомыслии или, если угодно, в недомыслии: в 1959 году, написав первые страницы книги воспоминаний, я решил, что закончу повествование той порой, когда сел за «Оттепель». Это было понятно: период, начавшийся весной 1953 года, был все еще незаконченной главой истории, да и я не мог предвидеть, что судьба мне подарит еще несколько лет. Недомыслие оправдывалось незнанием. Однако в 1965 году, внося в шестую часть некоторые дополнения, я ужо видел, что десяток прожитых мною лет — это новая седьмая часть книги, и все же обрывал рассказ на «Оттепели». Правда, я частенько нарушал хронологию, прежде всего рассказывая о людях живых — о Пикассо, о Неруде или об ушедших после 1953 года — о Жолио-Кюри, Фадееве, Фальке, Назыме Хикмете, Пастернаке и других; в заключительной главе шестой части я коротко перечислял некоторые события последующих лет. Почему я обрывал книгу воспоминаний? Некоторые читатели, рассердившись, приписывали это решение страху. Когда-то поэт А. К. Толстой закончил шутливую историю России откровенным признанием:

Ходить бывает склизко
По камешкам иным,
Итак, о том, что близко,
Мы лучше умолчим.

Однако издание предшествующих частей стоило мне немало усилий, и не страх перед трудностями останавливал меня. Нужно было время для того, чтобы кое-что разглядеть и понять. Теперь я знаю, что последнее десятилетие многое изменило и в жизни мира, и в моей внутренней жизни, мне есть о чем рассказать, и молчание было бы справедливо истолковано читателями как желание отмолчаться, духовно выйти на пенсию.

Я помню, как меня поразил в детстве оборванец, который, попросив у моей матери двугривенный, сказал: «Бедность, сударыня, не порок, но большое свинство». То же самое можно сказать и о старости: сил становится меньше, впечатлительность ослабевает, мир невольно сужается. Да и с тобой вместе стареют, болеют, а потом уходят твои близкие, друзья, сверстники. Это ощущение если не духовного одиночества, то бытовой одинокости грозит отъединением. Человеку моего возраста,

который сознает такую опасность, приходится все время спорить не столько с другими, сколько с самим собой: он должен отстранить искушение брюзжать на новые нравы, отворачиваться от современного искусства, считать ошибкой все, что бурно, бесцеремонно врывается в налаженную жизнь.

Многие черты нашего времени могут казаться спорными, порой немилыми, но теперь я понимаю происходящие перемены куда отчетливее, чем десять лет назад. Я уже говорил, что XX век начался, если забыть про календари, в 1914 году, но только пятьдесят лет спустя он окончательно распрощался со своим предшественником; его лицо теперь резко обрисовано, и человеку, как я, засидевшемуся в жизни, глупо рассуждать о том, что искусство потускнело или что молодые люди чересчур рассудительны. Река истории, ставшая в сороковые годы подземной, начинает вырываться из темноты. Молодые люди различных европейских стран еще не созрели, они еще не уверены в своем назначении, но они уверены в своем пренебрежении к доверчивости, многословию, сентиментальности своих отцов. Они не похожи на подростков 1936 года, которые мечтали добраться до Испании, чтобы отстоять от фашистов Мадрид. Многие слова звучат по-другому: «баррикады», например, стали реквизитом романтического театра, «война» связана не с окопами или танками, а с атомным грибом, «космос» рождает дорожную лихорадку. Разворачивая газету, молодые люди начинают со спортивных новостей. Они любят выставки и на полотна Пикассо смотрят как на электронные машины, реже спорят о романах, хотя много читают, охотнее говорят об очередном полете космонавтов, о новой строительной технике или о футбольном матче. Их не обольщают кумиры прошлого, они хотят все проверить на ощупь, и многие если не «вечные», то многовековые идеалы расползаются под непочтительной рукой, как пышные древние ткани.

Я встречал в разных странах отцов, валивших многое на детей: люди, пережившие ужасы войны, годы боев, фашистскую оккупацию, считают, что послевоенному поколению досталась куда более завидная судьба, с негодованием они говорят о росте хулиганства и преступности, о скептицизме и карьеризме молодежи. Что, однако, могли унаследовать от отцов молодые люди, которые начали выходить на сцену истории в послевоенные годы? Наивность одних, осторожность других, равнодушие третьих. Вчерашний героизм солдат заслонялся будничным малодушием и растерянностью демобилизованных. Еще нужно было отстраивать разбомбленные города: для молодых рук было вдоволь работы, а для серьезных размышлений оставалось мало

времени.

Наращивалось ужасающее ядерное оружие. В ООН, в различных парламентах и комиссиях все говорили о необходимости разоружения, и все продолжали вооружаться. Хиросима открыла новую школу, морали в ней не обучали. Юноши, слышавшие каждый день разговоры о том, что третья мировая война может начаться через год или через месяц, привыкли к жизни, связанной с ощущением возможности катастрофы. Люди привыкают ко всему — к соседству с вулканом, к землетрясениям, к циклонам, они привыкли и к возможности ядерной войны. Однако, под прикрытием буден, работы или лекций, футбольных матчей или фильмов, зреет новое сознание, набирает силы еще недавно высмеиваемая совесть.

Вьетнамская война может казаться различным государственным деятелям выгодной или глупой, нападением или защитой загнивающего строя, однако молодые люди повсюду, даже в самой Америке, видят прежде всего ее безнравственность.

Ханжеский пуританизм, иго церкви сдались перед послевоенным поколением в большинстве западноевропейских стран. Начался культ тела, освобожденного не только от былых запретов, но и от былых эмоций. Фильмы передовых кинорежиссеров показывали встречи, где мужчин и женщин сводит скука, случайная прихоть, ранняя пресыщенность. Газеты заполнили свои полосы детальным описанием убийств, истязаний, изнасилований. Романтическая тоска подростков приносила доходы авторам скандальных репортажей, торговцам наркотиками, продюсерам дурных кинокартин. Когда я был подростком, я часто слышал слова «сорвать фиговый листок». Подростки в пятидесятые годы старательно обрывали капустные листья.

Теперь как будто намечается перелом: молодежь понимает, что наука или политика без морали, любовные похождения без любви — это тот заячий соус без зайца, о котором как-то говорил Достоевский. Что могла вынести французская молодежь из долголетней войны в Алжире, где представители мнимой культуры совершенствовали пытки? Да только отчаяние и взрывчатку. Могли ли перестать «сердиться» сердитые молодые люди Англии, читая о расправах в Кении?

Прошлый век оставил нам в наследство многие высокие принципы, и в молодости я считал, что расовые или национальные предрассудки доживают последние дни. Можно, конечно, отнести изуверство немецких фашистов к безнадежным попыткам изменить ход истории, однако и другие события

последних двадцати лет говорят о росте национализма, порой расизма. Колонизаторы и американские рабовладельцы слишком долго попирали национальное и человеческое достоинство: накопилась лютая ненависть, счет представлен, и расплата проводится в той же монете. «Освободители», разумеется, лицемернее и гнуснее освободившихся. Я встречал бельгийских социалистов, проклинавших Лумумбу и требовавших военного вмешательства во внутренние дела Конго. Их английские единомышленники теперь отказываются вмешиваться во внутренние дела Родезии: не хотят применять силу к сторонникам расового насилия. Толстовцы в одном, каннибалы в другом, они сами приписывают к кровавому счету новые цифры. Да что говорить о социал-демократах, великая держава Азии, считающая себя блюстителем коммунизма, ежедневно твердящая на сотне языков о святости братства и интернационализма, воспитывает свою молодежь в духе подлинного расизма. Необходимо видеть мир таким, каков он есть, и не принимать желаемое за действительно существующее. Я не хочу этим сказать, что идея человеческой солидарности не верна, я по-прежнему убежден в ее правоте; но теперь я вижу петли длинного пути, которые порой выглядят как поворот назад, я знаю, что многое казалось нам куда более легким, быстрее осуществимым, чем оказалось на деле, и что потребуется немало времени, прежде чем принцип интернационализма станет обязательным для разномыслящего и разновозрастного человечества.

В повести «Скучная история», написанной Чеховым, когда ему не было еще тридцати лет, герой с горечью думает об отсутствии у него «общей идеи». Некоторые критики пытались истолковать эту повесть как тоску автора по религии, хотя Чехов был атеистом и никогда не пытался обмануть себя прикладной метафизикой. Старый медик в «Скучной истории» называл «общей идеей» некую сумму философских и моральных понятий своего времени.

Различные религии долго претендовали на монопольное обладание «общей идеей». Однако живое тело постепенно превращалось в мумию, катехизис оказался куда долговечнее веры. Я с любопытством читал отчеты о заседаниях вселенского собора, созванного Ватиканом, они напоминали прения в одном из западноевропейских парламентов, хотя собор обсуждал не параграфы конституции, а догмы, слывшие прежде непогрешимыми: непорочность зачатия Святой девы или ответственность евреев за распятие Христа. Либеральные епископы предлагали заменить железные цепи поясами из каучука. Приспособление древних догматов к современному сознанию вряд ли спасет их от смерти.

Середина пятидесятых годов означала для многих миллионов людей кончину различных мифов, воскресить их никому не дано. Конечно, жить под небом, где кружатся спутники, труднее, чем пол небом, заселенным богами или ангелами. Труднее уверовать в силу человечности, чем в мудрость человека, возведенного в вожди. Но есть эпоха детства и эпоха зрелости, а эпохи не входят в ассортимент товаров — их не выбирают.

Когда я говорил о критическом отношении молодых людей нашего времени к идеалам прошлого, и думал о разномастных «общих идеях», которые их отцы принимали на веру, заучивали в младенчестве, как таблицу умножения. Юноши и девушки нашего времени отнюдь не удовлетворены неполнотой, не общностью «обшей идеи», они хотят ее пополнить или создать из суммы точных познаний, личного опыта, частных или порой спорных обобщений.

После всего, что я писал в предыдущих частях моей книги, мне незачем настаивать на однородности развития нового поколения. Молодые люди знают куда больше, чем чувствуют; с этим связаны не только оскудение философии да и других гуманитарных наук, но и падение роли искусства в жизни общества, обеднение чувствований, изображения, этики. Прежде гуманитарные факультеты представляли элиту наций, юноши искали ответа на мучившие их вопросы не только у Льва Толстого, но даже у Стриндберга, Леонида Андреева, Поля Бурже. Теперь математические и физические факультеты притягивают лучших людей нового поколения, там можно убедиться, что любовь к точности не убивает фантазии. Даже в области музыки, поэзии, живописи молодые физики куда более осведомлены и более требовательны, чем их товарищи — студенты философского, исторического или юридического факультетов. Видимо, надежды на гармоничного человека, на «общую идею», которая родится из раздумий и поисков молодых людей, нужно теперь связывать не с трудами запоздалых философов, будь они экзистенциалистами, неопозитивистами или неотомистами, и не с «культурной революцией», предпринятой догматиками, которые видят в любом движении критической мысли преступный «ревизионизм», а с дальнейшим развитием точных наук, с пробуждением в носителях знания морального сознания, совести.

Эта глава может озадачить некоторых читателей: чего ради, отметая запоздалых философов, автор сам расфилософствовался? Такие обобщения полагается давать разве что в эпилоге, а я их выложил в начале последней части книги о моей жизни. Я буду говорить о событиях, и о людях, и о себе. Поздний вечер был трудным и неспокойным, но я жадно приглядывался к молодым:

человеку свойственно думать о будущем, даже если он знает, что для него там не будет места. Но мне хотелось до того, как начать рассказ, обрисовать хотя бы в самых общих чертах климат эпохи.

2

С того дня, когда я отнес в «Знамя» рукопись «Оттепели», до XX съезда партии прошло всего два года. В памяти многих события тех лет потускнели: 1954–1955 годы кажутся затянувшимся прологом в книге бурных похождений, неожиданных поворотов, драматических событий. Это, однако, не так. В моей личной жизни то время отнюдь не было тусклым: сердце оттаивало, я как бы начинал заново жить. В шестьдесят три года я узнал вторую молодость. Названные годы не были бледными и в жизни нашей страны. Начало справедливой оценки несправедливостей прошлого не было случайностью, оно не зависело ни от добрых намерений, ни от темперамента того или иного политического деятеля. Годы, прошедшие после смерти Сталина, многое предопределили. Просыпалась критическая мысль, рождалось желание узнать об одном, проверить другое. Сорокалетние постепенно освобождались от предвзятых суждений, навязанных им с отрочества, а подростки становились настороженными юношами.

Происходило это не по указке. Просматривая старые газеты, я нашел в декабрьских номерах 1954–1955 годов восторженные статьи о «великом продолжателе дела Ленина», в них превозносились не только политические добродетели И. В. Сталина, но также его скромность, даже гуманность. Слова «культ личности» толковались по-разному. Критик В. В. Ермилов корил Первенцева за то, что он в романе «Матросы» окружил героя «культом личности». «Литературная газета» за два месяца до XX съезда писала: «Сталин выступал против культа личности», далее говорилось о благородном влиянии Сталина на развитие советской литературы. (За год до того мы узнали о посмертной реабилитации Бабеля, Чаренца, Тициана Табидзе, Яшвили и многих других.) Статьи ничего не выражали, да и ничего не отражали. Сразу такие дела не делаются, и если люди еще побаивались говорить о многом, что оставалось несказанным, в глубине их сознания подготовлялись события 1956 года.

Второй съезд писателей собрался через двадцать лет после первого, и его шутя называли по роману Дюма «Двадцать лет спустя».

Накануне открытия съезда в Центральный Комитет пригласили сотню писателей, в том числе и меня. Выступили многие писатели с самыми различными оценками современной литературы. Последним в списке был крупный писатель, неизменно причисляемый к классикам советской литературы. Я

не называю его имени, потому что в книге воспоминаний избегаю всего, что могло бы показаться читателю сведением личных счетов. Этот писатель нападал на мою «Оттепель», вынув из кармана листок, он прочел мои стихи, написанные весной 1921 года:

…Но люди шли с котомками, с кулями шли и шли
и дни свои огромные тащили как кули.
Раздумий и забот своих вертели жернова.
Нет, не задела оттепель твоей души, Москва!

Стихи эти, слабые, как и другие, написанные мной в то время, не содержали криминала, а вырванные из книжки строки прозвучали иначе, и оратор легко связал их с повестью «Оттепель». Однако главный сюрприз был впереди: писатель-классик, припомнив мой давний роман «В Проточном переулке», сказал, что в нем я изобразил дурными русских людей, а героем показал еврейского музыканта Юзика. Я вздохнул, но не удивился: мне было уже шестьдесят три года. Поэт А. И. Безымеиский потребовал слова. Н. С. Хрущев ответил, что совещание кончилось. На следующее утро газеты сообщили о совещании, но, разумеется, о прениях ничего не говорили. Я позвонил П. Н. Поспелову и сказал, что не хочу идти на съезд. Петр Николаевич ответил, что двум товарищам (классику и Безыменскому) указано на недопустимость их поведения, а мое отсутствие будет плохо истолковано. Хотя я и написал «Оттепель», я сам еще не успел по-настоящему оттаять — и пошел на съезд.

Стенографический отчет всех выступлений был опубликован. Когда просматриваешь шестьсот страниц убористого шрифта, невольно вспоминаешь, что было за двадцать лет до этого — в 1934 году.

В 1934 году писатели горячо спорили, съезд проходил во время больших, хотя и неоправдавшихся надежд. Были иллюзии о значении съезда для развития литературы, все было внове. А второй съезд выглядел куда бледнее. Многие писатели умерли: Максим Горький, Л. Н. Толстой, М. М. Пришвин, Ю. Н. Тынянов, И. А. Ильф, Л. Н. Сейфуллина, Ю. И. Яновский, А. С. Серафимович. На войне погибли Е. П. Петров, А. Гайдар, Ю. Крымов, Б. Лапин, З. Хацревин, Чумандрин, Борис Левин, Афиногенов; в годы беззакония навеки исчезли Бабель, Чаренц, Тициан Табидзе, Яшвили, Бруно Ясенский, Пильняк, Артем Веселый, Перец Маркиш, Д. Бергельсон, Квитко, М. Кольцов, И. Микитенко, И. Фефер. Многие крупные авторы — Паустовский,

Пастернак, Олеша, Вс. Иванов, Сельвинский, Светлов, В. Гроссман — значились в списке делегатов, но они не выступали, их даже не выбрали в президиум.

Среди иностранных писателей, приехавших на съезд, было немало известных, даже знаменитых — Арагон, Пабло Неруда, Анна Зегерс, Гильен, Назым Хикмет, Жоржи Амаду, Майорова, Садовяну, Артур Лундквист; но, в отличие от гостей первого съезда, они ограничивались приветствиями или коротким обзором литературы своих стран, не принимая участия в обсуждении проблем, поднятых докладом и содокладами, — соблюдали нейтралитет.

Открыла съезд О. Д. Форш, ей тогда было за восемьдесят; она прочитала по бумажке: «Прежде всего хочется выразить глубокое уважение к памяти И. В. Сталина. Почтим память Иосифа Виссарионовича вставанием».

Докладчики не забывали давних оценок. К. М. Симонов, например, охарактеризовал повесть Казакевича «Двое в степи», которая в 1948 году рассердила Сталина, «не просто ошибкой талантливого писателя, а его решительным отходом от самого существа метода социалистического реализма». (Теперь в «Литературной энциклопедии» можно прочитать, что критика повести была «необоснованной».) Докладчик и содокладчики отзывались с похвалой об авторах не очень одаренных, но зато благонравных, хвалили и друг друга. В докладе Пастернак и Заболоцкий были названы только среди двадцати переводчиков. О Зощенко, разумеется, никто не упомянул.

Однажды на съезде было произнесено имя Марины Цветаевой. Полемизируя с С. Кирсановым, поэт Н. Грибачев сказал: «…если таким образом произвести цитатную операцию над некоторыми произведениями самого Кирсанова, то он на глазах почтенной публики легко может превратиться в нечто среднее между Мариной Цветаевой и купцом Алябьевым, который, по свидетельству Горького, писал такие стихи: «Пароходы, моровозы, гыр-гыр, гар-гар, гадят Волгу, портят воду, дым-дым, пар-пар…» (В 1954 году советские читатели не знали поэзии Цветаевой, теперь они смогут оценить слова Н. Грибачева.)

Докладчик А. А. Сурков, содокладчик К. М. Симонов осуждали мою «Оттепель» и «Времена года» Веры Пановой. Потом в разной форме такие же порицания были высказаны М. А. Шолоховым, В. В. Ермиловым, представителем ЦК комсомола А. А. Рапохиным, В. А. Кочетовым. Каждый из присутствующих понимал, что осуждение двух книг не было случайным совпадением писательских оценок. Для того, чтобы уравновесить

осуждения, был принесен в жертву роман Бабаевского «Кавалер Золотой Звезды», его называли «лакировкой действительности», все это было отнюдь не новым и показывало, что писатели не зря прожили двадцать лет после первого съезда. Да и выступавшие охотно ссылались на XIX съезд партии, припоминали слова Г. М. Маленкова о «наших Гоголях и Салтыковых-Щедриных». Некоторые, то ли по рассеянности, то ли от избытка рвения, защищали кампанию 1949–1950 годов против «космополитов», забывая, что многое в нашей стране изменилось. Доклады были длинными, порой я скучал, но уйти не решался — я ведь был обвиняемым и это могло быть истолковано как бегство.

Добрые (или недобрые) пастыри, которые пасли писательское стадо, менялись. Некоторым это занятие нравилось. При Сталине все было просто: нужно было только узнать, как он отнесся к той или иной книге. После его смерти стало труднее. Были писатели, слишком доверявшие своему нюху: их оценки книг диктовались тем, как они видели завтрашний день. Я вспоминаю старый одесский анекдот: еврей спрашивает свою жену: «Что мне взять, зонтик или палку?» — «Возьми зонтик — может пойти дождь». — «А если дождь не пойдет? Я буду выглядеть дураком». — «Тогда возьми палку». — «Ну, можно ли слушать женщину! То она говорит — «возьми зонтик», то «возьми палку». А я ничего не возьму — я и не собираюсь выходить из дому». Предсказывать погоду — дело трудное, и во всех странах мира посмеиваются над просчетами институтов прогноза.

Писатели, доверявшие своему нюху, в конце концов поняли, что ошибались больше других, танцевали, когда гробовщик обмерял покойника, и плакали навзрыд, когда мамаши пекли пироги на свадьбу. Пастыри мало-помалу становились обыкновенными пастухами — без излишних теорий и без рискованных прогнозов.

В. Ф. Панову обвиняли в «объективизме». Эта формулировка К. М. Симонова прижилась. (Десять лет спустя мою книгу «Люди, годы, жизнь» упрекали одновременно и за «объективизм», и за «субъективизм», вероятно, потому, что два греха тяжелее одного.) Вера Федоровна не смогла приехать на съезд, и судили ее заочно. Я в своем выступлении сказал, что обвинение в «объективизме» Пановой мне кажется недопустимым. Вскоре после конца съезда я получил от Веры Федоровны письмо, она желала мне хорошего Нового года и добавляла: «…для всех нас желаю, чтобы и у нас, в нашем ремесло, наконец, наступила оттепель».

На седьмой день съезда выступил М. А. Шолохов. Его речь меня не удивила, и до того, и после я не раз слышал или читал его выступления, выдержанные в том же тоне. Но кто-то наверху,

видимо, обиделся или рассердился. Забыли даже «Оттепель» и «Времена года»; почти все выступавшие осуждали речь Шолохова — и Ф. В. Гладков, и М. Турсун-Заде, и В. Ермилов, и С. Антонов, и К. А. Федин, и А. А. Фадеев, и Б. С. Рюриков, и К. М. Симонов, и А. А. Сурков. Для меня было непонятно такое единодушие, не понимаю его и теперь.

Все же я был неправ, сравнив второй съезд с первым. Одно дело первый бал, где танцуют, краснеют и влюбляются семнадцатилетние девушки, другое — чувства тридцатисемилетней женщины, прожившей нелегкую жизнь. Начиная с 1936 года и до весны 1953-го судьба не только книги, но и автора зависела от прихоти одного человека, от любого вздорного доноса. В течение двадцати лет и писателей, и читателей старались отучить от неподходящих мыслей. Однако многие выступления на втором съезде были интересными: писатели защищали достоинство литературы. В. А. Каверин говорил: «Я вижу литературу, в которой редакции смело поддерживают произведения, появившиеся в их журналах, отстаивая свой самостоятельный взгляд на вещи и не давая в обиду автора, нуждающегося в защите… Я вижу литературу, в которой любой, самый влиятельный отзыв не закрывает дорогу произведению, потому что судьба книги — это судьба писателя, а к судьбе писателя нужно относиться бережно и с любовью… Я вижу литературу, в которой приклеивание ярлыков считается позорным и преследуется в уголовном порядке, которая помнит и любит свое прошлое. Помнит, например, что сделал Юрий Тынянов для нашего исторического романа и что сделал Михаил Булгаков для нашей драматургии». М. С. Шагинян сказала: «У критика, знающего, что роман хороший, знающего, что доводы против него неубедительны и бездоказательны, не хватает простого гражданского мужества встать на защиту романа и страстно за него бороться. Тем самым критик показывает, что ему, в сущности, очень мало дела до действительной оценки вещи, до ее правильного раскрытия, а главное, к чему он стремится, — это попасть в тон установившейся конъюнктуры…» Вот слова М. И. Алигер: «А виноваты общие условия литературной жизни, обстановка, сложившаяся в последние годы в Союзе писателей, где творческий разговор подменяется нередко начальственным стучаньем кулаков но столу, а всякое раздумье, попытка по-своему осмыслить и решить тот или иной вопрос, всякое доброе критическое намерение сразу именовались разными страшными словами». О. Ф. Берггольц привела пример: «Еще в 1949 году мы с вами знали, что пьеса Сурова «Зеленая улица» плохая пьеса и тоже лежит по сути за гранью литературы.

Однако что было при обсуждении этой пьесы? Я перед съездом нашла номер «Литературной газеты» и руками развела, прочитав на одной странице высказывания Софронова, что у него при чтении этой пьесы «растут крылья», на другой странице — К. Симонова, который говорит, что Суров «прокладывает новую лыжню в искусстве».

С. И. Кирсанов взывал: «Нам противопоказан учрежденческий стиль работы, и в нашем Союзе не должно быть ни начальников, ни просителей, ни условий, порождающих тех и других». Поэт А. Яшин высмеивал рассуждения «критиков»: «Замордовали лирику — и нас же в этом винят… Из любовной лирики у нас не вызывали ничьих возражений и прославлялись разве только стихи о вечной верности собственной супруге. Но чтоб не было никаких ссор, никаких размолвок и подозрений, насаждался своеобразный лирический бюрократизм». В. К. Кетлинская, рассказав, как роман В. Пановой «вдруг» начали чернить, так закончила свое выступление: «Мы хотим и требуем, чтобы любители проработок и убийственных ярлычков просто не могли просочиться на страницы печати, чтобы каждая такая попытка рассматривалась как нарушение норм социалистического общежития».

Мне было трудно говорить в полный голос — я был проработан по первому разряду, весь облеплен ярлычками. Все же я сказал: «Можно только горько усмехнуться, представив себе, что стало бы с начинающим Маяковским, если бы он в 1954 году принес свои первые стихи на улицу Воровского… Одни из руководителей Союза писателей, резонно говоря о значении «средних писателей», сказал, что без молока не получишь сливок. Продолжив это несколько неудачное сравнение, можно сказать, что без коров не получишь и молока».

На первом съезде нас глубоко трогали делегации читателей, порой наивных, но чистосердечно говоривших о своей любви к советской литературе. На втором съезде мы редко слышали читателей, но мы хорошо знали, как они выросли, знали, что порой они отбрасывают скверные книги, ждут правды и красоты. Однако и мы, писатели, успели освободиться от многих иллюзий. Мы уже понимали, что нелепо толковать на съездах о том, как писать книги, и что художнику косноязычие зачастую более свойственно, чем красноречие. Мы знали, что дело не только в секретариате Союза писателей, да и не только в критиках, которые противоречат себе, начинают вдруг поносить то или иное произведение, а в общих условиях нашей работы.

Я не стану останавливаться на произведениях советских авторов, лучше расскажу о судьбе перевода книги Хемингуэя «Старик и море». Это, по крайней мере, смешная история. В 1955

году решили выпустить журнал «Иностранная литература»; редактором назначили А. Б. Чаковского; мне предложили войти в редакционную коллегию. Я долго колебался, и все же согласился — может быть, смогу помочь опубликовать ту или иную хорошую вещь. Александр Борисович говорил, что он собирается в одном из первых номеров напечатать новую книгу Хемингуэя, получившую осенью 1954 года Нобелевскую премию. Я ходил на собрания редколлегии, и вот вскоре редактор, мрачный и таинственный, сказал нам, что номер придется перестроить — Хемингуэй не пойдет. Когда совещание кончилось, он объяснил мне, почему мы не сможем напечатать «Старика и море»: «Молотов сказал, что это — глупая книга». Недели две спустя я был у В. М. Молотова но делам, связанным с борьбой за мир. Я рассказывал о росте нейтрализма в Западной Европе. Когда разговор кончился, я попросил разрешения задать вопрос: «Почему вы считаете повесть Хемингуэя глупой?» Молотой изумился, сказал, что он в данном случае «нейтралист», так как книги не читал и, следовательно, не имеет о ней своего мнения. Когда я вернулся домой, мне позвонили из редакции: «Старик и море» пойдет…» Вскоре после этого я встретил одного мидовца, который рассказал мне, что произошло на самом деле. Будучи в Женеве, Молотов за утренним завтраком сказал членам советской делегации, что хорошо будет, если кто-нибудь на досуге прочитает новый роман Хемингуэя — о нем много говорят иностранцы. На следующий день один молодой мидовец, расторопный, но, видимо, не очень-то разбирающийся в литературе, сказал Молотову, что успел прочитать «Старик и море». «Там рыбак поймал хорошую рыбу, а акулы ее съели». — «А дальше что?» — «Дальше ничего, конец». Вячеслав Михайлович сказал: «Но ведь это глупо!..» Вот резоны, которые чуть было не заставили редактора отказаться от опубликования повести Хемингуэя. Легко понять, как в наступающем десятилетии жили проработчики и писатели. Судьба книги зависела от любого обстоятельства внешней или внутренней политики; но об этом мне придется еще не раз говорить в последующих главах.

(Случай с Хемингуэем в 1955 году не был единичным, и я вышел из редакционной коллегии «Иностранной литературы» еще до выхода первого номера. Два года спустя я дал в этот журнал очерк «Уроки Стендаля». На очерк обрушились самодеятельный проработчик Н. Тамапцев, потом Е. Книпович. Мечты Каверина оставались мечтами, и Чаковский поспешил заявить на заседании президиума Союза писателей (отчет был опубликован): «Ошибкой редакции была публикация статьи И. Эренбурга «Уроки Стендали», содержащей полемику с основополагающими

принципами советской литературы».)

Недавно ко мне пришел В. А. Каверин. Мы заговорили о нашей литературе. Вениамин Александрович остался оптимистом, хотя той литературы, о которой он мечтал в 1954 году, не увидел, может быть, и не увидит. Он говорил, что любой средний писатель в любом журнале пишет теперь свободнее и что конъюнктурщикам пришлось потесниться. Это правда, и объясняется это прежде всего духовным ростом читателей. Сто лет назад писатели учили молодую русскую интеллигенцию мыслить и чувствовать. Положение изменилось, и, как это ни парадоксально звучит, я решусь сказать, что теперь читатели многому научили среднего писателя.

3

Я просмотрел старые подшивки газет. 1954, 1955 и 1956 годы — последний до событий в Венгрии — были помечены некоторой разрядкой международной напряженности или, как говорили западные обозреватели, началом «оттепели». Газетная бумага бистро дряхлеет, стареет, и листы кажутся хроникой далекого прошлого, однако слишком многие статьи могли бы быть написаны вчера. В те годы мы слишком предавались иллюзии да и слишком легко отчаивались.

В мае 1954 года я попал в Париж — должен был вручить Пьеру Коту премию Мира. После Парижского конгресса мне не давали французской визы, это было неизменным, хотя правительства во Франции менялись каждые полгода. Я увидел Париж после пятилетней разлуки. Поехал я с Любой, и Кот уговорил нас поселиться в отдельной квартире, служившей ему рабочим кабинетом. Жил он в старой части Парижа — на острове Сен-Луи, где любой дом казался историческим памятником

Конечно, город изменился: площади, набережные, улицы еще гуще были запружены и заставлены машинами; росли огромные пригороды; бары с едким голубоватым светом, или «снек-бары», по-нашему, забегаловки, вытеснили старые уютные кафе. Однако Париж трудно изменить, слишком много в нем старых домов, цепких привычек, надышанного воздуха.

Рано утром я бродил по узеньким улочкам Сен-Луи; влюбленные, расставаясь, долго, старательно целовались; на ручных тележках лежали букетики ландышей; старики прогуливали собачонок, а вечная чешуя Сены, что ни мгновение, менялась.

Клод Руа повез нас через всю Францию в Валлорис, где жил тогда одинокий Пикассо. Весь день он работал в мастерской, а домик казался нежилым, запущенным. На полу я увидел груду нераспечатанных писем. На площади стояла статуя Пикассо «Человек с бараном». Шел дождь, но мы не могли оторваться от чудесной скульптуры. (Год спустя я увидел в парижской лавчонке открытку: «Пикассо показывает свою скульптуру приезжему художнику» — дождь не помешал профессиональному фотографу.) Там же я увидел заброшенную часовню, на стенах которой Пикассо написал «Войну и мир».

На обратном пути мы остановились в Лионе. Я навестил Эррио. Французы спорили о политике, о войне в Индокитае (одни называли ее «злосчастной», другие «грязной»), о планах восстановления германской армии. Спорили долго, но без былого

ожесточения: заводы начинали менять устаревшее оборудование, безработицы не было, в магазинах толпились покупатели, довольство чувствовалось повсюду.

Однажды Пьер Кот сказал мне, что со мной хочет побеседовать депутат — радикал Мендес-Франс: «Это человек с будущим». Люба ушла к друзьям, и мы долго разговаривали. Мендес-Франс оказался молодым — ему тогда было сорок семь лет. Говорили мы о международном положении. Я сразу понял, что для Мендес-Франса я скорее почтовый ящик, нежели собеседник. Он сказал, что, по всей вероятности, скоро станет премьер-министром, говорил о том, что сможет сделать и чего нельзя от него ожидать; нужно во что бы то ни стало покончить с войной в Индокитае; лично он против «европейского оборонительного сообщества», то есть против создания многонациональной армии Западной Европы, однако необходимо считаться с пожеланиями Соединенных Штатов, да и глупо озлоблять канцлера Аденауэра. Мендес-Франс хочет улучшить отношения с Советским Союзом, но, помолчав, он угрюмо добавил: «Пусть русские не предаются чрезмерным иллюзиям — теперь не времена Народного фронта». Помню, вечером я сказал Любе: «Он скептик вдвойне — как Мендес и как Франс».

(Мы встретились с Мендес-Франсом двенадцать лет спустя. Многое успело измениться, и прежде всего отношения Франции к Вашингтону, Бонну, Москве. Но Мендес-Франс остался скептиком. Это умный и волевой человек, только сомнения или осторожность его часто останавливают. Политические противники говорят о нем с уважением. Один крупный голлист сказал мне: «Мендес мог бы стать министром-финансов де Голля с большими полномочиями, но он предпочитает оставаться в оппозиции». Без соли не проживешь, но из одной соли никто не изготовит блюда.)

Поражение Франции при Дьенбьенфу помешало французам полюбоваться танцем Улановой — власти в запальчивости запретили спектакли московского балета, — но поражение привело к власти Мендес-Франса. Месяц спустя в парламенте он получил четыреста девятнадцать голосов, против него проголосовали всего сорок семь депутатов. Женевская конференция министров иностранных дел, в которой участвовали Мендес-Франс, Фам Ван Донг, Молотов. Идеи, Чжоу Эньлай и Даллес, положила конец войне в Индокитае. Конференция признала единый и независимый Вьетнам, но приняла компромиссное решение временно разделить его на две зоны, гарантируя общие свободные выборы в 1956 году. (С тех пор прошло не два года, а свыше двенадцати лет. Место Франции в Южном Вьетнаме заняли американцы. Что ни день, в Сайгоне

менялись марионеточные правительства. Началась гражданская война. Американцы давно позабыли о решениях Женевского совещания, они заняты не выборами, а бомбежками Северного Вьетнама. Мир потрясен сопротивлением маленькой страны со слабой промышленностью нападению двухсотмиллионной индустриальной державы. А летом 1954 года не только я, но даже скептический Мендес-Франс считал, что в Юго-Восточной Азии воцарится спокойствие.)

Газета «Ле Монд» писала: «Было бы бессмысленным обеспечить мирное сосуществование в Юго-Восточной Азии, если холодная война будет продолжаться и обостряться в Европе. Один вопрос сейчас главенствует: будет ли вооружена наново Германия и если будет, то во имя чьих интересов».

В осень 1954 года было много надежд и много тревоги. Впервые за тридцать лет примолкли пушки, не падали бомбы.

В ноябре в Стокгольме собралась сессия Всемирного Совета Мира. Недавняя победа приподымала четыреста человек, приехавших из разных стран. Мы помнили, как издевались газеты, когда мм предлагали представителям пяти великих держав сесть за круглый стол, и вот в Женеве именно это и произошло, некоторые сели неохотно, на самый краешек стула, но многолетней войне в Индокитае все же был положен конец.

Однако было достаточно оснований и для тревоги. Гонка ядерного вооружения усилилась. Америка настаивала на перевооружении Германии. Правда, в августе французский парламент значительным большинством отказался ратифицировать «европейское оборонительное сообщество», но вскоре французам поднесли новое блюдо — «парижские соглашения» — Германской Федеративной Республике предоставлялось право сформировать двенадцать дивизий и войти в Западный военный блок. Французы волновались: все понимали, что ограничение вермахта — увертка, что дивизии растут быстрее, чем дети, и все вспоминали оккупантов на двух берегах Сены.

На сессии Всемирного Совета видное место занимал вопрос об европейской безопасности. Бог ты мой, этот вопрос волнует европейцев и теперь! Говорят «безопасность», а думают об опасности. В 1954 году американские и английские политики пытались успокоить всех разговорами о том, что немецкий милитаризм якобы похоронен навсегда. Двенадцать лет спустя их ждал неприятный сюрприз: на выборах в некоторые региональные парламенты Западной Германии (в провинции Гессен отнюдь не худшей) новая партия национал-демократов, вдоволь воинственная, набрала много голосов, получила десять мост в

парламенте. Название никого не обманет: Гитлер окрестил своих приверженцев «национал-социалистами», хотя социалистов они предпочтительно убивали, «национал-демократы», разумеется, никакого отношения к демократии не имеют.

Легко догадаться, как я относился к воскрешению рейхсвера. Я знаю, что многие люди в Западной Германии считают меня человеком с предвзятым мнением, слепо ненавидящим немцев. А мне ненавистен любой национализм, и немецкий, и французский, и русский, и еврейский.

Осенью 1966 года я был на праздновании столетия со дня рождения Ромена Роллана в прекрасном местечке Везеле. Там собрались люди из разных стран, говорили о гуманизме, о широте писателя.

В Везеле вдова писателя, Мария Павловна Кудашева, та самая Майя, с которой я подружился в Коктебеле почти полвека назад, устроила дом «Жан-Кристоф», в котором летом гостят и беседуют друг с другом разноязычные студенты Европы. Мария Павловна попросила меня поговорить с одним студентом из Западной Германии. Мы встретились на открытой веранде гостиницы. Студент был на вид милым мечтательным немцем, с ним пришла студентка, похожая на классическую Гретхен, она молчала и только восторженно поглядывала на своего товарища. Немец мне объяснил, что изучает русский язык, а девушка английский (говорил он по-русски еще плохо, и мы беседовали по-французски). Я спросил, что его прельстило в русском языке. Он ответил, что хочет пойти работать в министерство иностранных дел, как и студентка. Далее разговор перешел на общие темы: я заговорил о нацизме. Но только я, но и все гости, пришедшие после конца очередного заседания, были потрясены немецким студентом: он не защищал зверства нацистов, но упорно отвечал, что противники Германии вели себя не лучше и что в Нюрнберге победители судили побежденных. Он отстаивал право Германии на ядерное вооружение, говорил, что только отсталые агрикольные страны вроде Швеции могут отказаться от водородных бомб. Он очень плохо знал недавнее прошлое своей страны, и дело было не в генах, не в крови, а просто в том, что ему не сделали антинационалистской прививки, которая могла бы его оградить, как прививка ограждает от эпидемии оспы. Беда не в том, что в Федеральной республике существуют национал-демократы, а в том, что молодое поколение не защищено от их пропаганды.

Вернусь к осени 1954 года. Я выступил на сессии Всемирного Совета с речью: в те годы мы еще тратили много сил, убеждая убежденных. Передо мной были и старые друзья, и люди, которых

я видел впервые: Пабло Неруда, английский физик Буроп, Донини, Д'Арбузье, французские депутаты-прогрессисты Мепье и Де Шамбрен, чилиец Альенде, японец Мацумото и многие другие. Речь свою я кончил словами: «Советский гражданин, русский писатель, человек, переживший две мировые войны, видевший пепел Реймса и Новгорода, европеец, любящий Европу, ей преданный, я хочу сказать всем европейцам: сбережем то прекрасное, что нам досталось…»

Мы заседали в Скансене; внизу маячили абстрактные рисунки мачт. Дни были куцыми, в тумане просвечивали круглые масляные фонари. Счастье да и беда человека, что он почти всегда живет разными жизнями. Мы сидели в маленьком кафе возле гостиницы «Мальме» и разговаривали не о германских дивизиях, не о предстоящем съезде советских писателей, а о той душевной оттепели, которая продолжалась среди ранних заморозков северной зимы. Кругом долговязые шведы скупо улыбались девушкам, проглатывали слоеные булочки, разворачивали тяжелые газеты, а за окном мелькали легкие снежинки. Я думал: сколько неожиданного в жизни! Моя старая ветла от осенних бурь неизменно расщепляется, и вот некоторые ветви, упав на землю, весной укореняются, дают побеги.

Мое выступление, видимо, понравилось; его поместили в «Правде», а несколько недель спустя мне позвонили и попросили участвовать в собрании, посвященном десятилетию франко-советского договора. Открыв дверь служебного входа в Колонный зал, я смутился: почему столько милиционеров? Меня попросили предъявить документ. Поднявшись наверх, я увидел в комнате, которая обычно служит буфетом, правительство, членов Президиума ЦК. Что за диковина?

На эстраду пригласили посла Франции Жокса: он явно был смущен происходящим. Когда я говорил об Эдуарде Эррио, Жокс аплодировал вместе со всем залом, но не мог же он аплодировать моим размышлениям о том, что нельзя одновременно договариваться с пастухом и с волком.

Зал прерывал речи аплодисментами и когда я говорил о моей любви к Франции, и когда Молотов сказал, что договор с Францией поставлен под угрозу парижскими соглашениями.

Предупреждение Москвы не подействовало. Четвертая республика не могла похвастаться постоянством: 23 декабря Национальное собрание отклонило первый пункт парижских соглашений. Депутатов начали обрабатывать: одним говорили, что, ратифицировав соглашение, будет легче договориться с Москвой, другим — что нельзя рассориться с Америкой и Великобританией. Тринадцатого декабря парламент одобрил

соглашения скромным большинством в двадцать семь голосов.

Газеты сообщали, что ратификация Францией парижских соглашений вызвала резкий подъем всех ценностей на нью-йоркской бирже: «31 декабря было самым счастливым днем за четверть века. В экстазе биржевики подбрасывали вверх бумаги с заказами на 1955 год».

1955 год начался грозно. Все гадали, что означает совещание НАТО, о котором Спаак сказал: «Военные требовали разрешении готовиться к атомной войне. Это разрешение им дано». В январе собрали Бюро Всемирного Совета Мира. В порядке дня стояли два вопроса: угроза атомной войны и вооружение Западной Германии. Жолио-Кюри был встревожен, говорил, что американцы обезумели: «Термоядерное оружие угрожает жизни на нашей планете». Фадеев его умолял «смягчить прогноз». Жолио сердился. Обсуждали парижские соглашения. Я выступил все о том же — о судьбе нашей беспокойной Европы: «Не развяжет ли снова Германия мировую войну, третью и последнюю?» Фадеев сказал мне: «О «последней» не говорите. На это есть резоны…» Мы еще раз попробовали открыть кампанию по сбору подписей: не могли забыть успех Стокгольма. (Подписей собрали много, кажется, даже больше, чем под Стокгольмским обращением, но изменилось время и впечатление было не то, что в 1950-м.)

В Москве собрался Верховный Совет. Маленков подал в отставку, его место занял Булганин.

Что будет через год, через месяц? Зима и весна были полными противоречий. Раскрывая утром газету, люди не знали, что в ней найдут: может быть, соглашение, а может быть, ультиматум. Да и природа дурила. Над оливами Италии бушевали снежные бури. Штормы топили корабли — то в Средиземном море, то возле берегов Японии. Многие французские города пострадали от наводнений. Весна была поздней, и в Америке плодовые сады обожгли заморозки.

Старое путалось с новым. Первого мая 1955 года в Праге на берегу Влтавы торжественно открыли памятник Сталину. Поэт Лацо Новомеский еще сидел в тюрьме. Его выпустили год спустя, и он написал стихи: Сталин смотрит с другого берега Влтавы «на дни весны, что наконец настали». Ко мне пришел военный прокурор, который собирал материал для реабилитации Мейерхольда. Он сказал, что Всеволода Эмильевича судил военный трибунал; ему предъявили три пункта обвинения: он был агентом Интеллидженс сервис, работал в японской разведке, поддерживал дружеские отношения с писателями Андре Мальро, Эренбургом, Пастернаком и Олешей. Прокурор был несведущ в писательских делах и спросил, живы ли Пастернак и Олеша. Я

дал ему номера телефонов.

В мае мы отпраздновали пятидесятилетие Леонида Мартынова: его стихи почти десять лет не печатали. Помню четверостишие, прочитанное на вечере: «И вскользь мне бросила змея: у каждого судьба своя! Но я-то знал, что так нельзя — жить, извиваясь и скользя».

Май, что ни день, подносил сюрпризы. В десятую годовщину Победы над Германией в зал Шайо, где заседал совет НАТО, вошел канцлер Аденауэр, и тотчас над зданием взвился флаг Германской Федеративной Республики. Советское правительство объявило договоры о взаимной помощи с Францией и Англией утратившими силу. В Варшаве собрались представители восьми социалистических государств и 14 мая подписали договор о совместной обороне. 15 мая в Вене был подписан договор о независимости и нейтралитете Австрии. Канцлер Рааб дал обед, на котором присутствовали Молотов, Макмиллан, Даллес и Пинэ.

Я был тогда в Вене — собралось Бюро Всемирного Совета. Работали мы в роскошном дворце, превращенном в ресторан. В зимнем саду корчились лиловые и оранжевые орхидеи, а в салонах пылились кресла середины прошлого века. Мы поздравляли австрийцев. Все верили в успех предстоящей Ассамблеи мира. Май не походил на январь.

Венцы повели меня по садикам и подвалам, где было шумно, весело, люди пили легкое, но коварное вино, пели песни. Оккупанты начинали собираться домой, и венцы, поглядывая на роскошные гостиницы, еще занятые военными, улыбались: «Ничего, почистим…»

В конце мая в Югославию направилась советская правительственная делегация. Высказав глубокое сожаление о недавнем прошлом, Хрущев приписал долю вины Берии: вероятно, он забыл, что среди других, и правильных, обвинений два года назад Берию обвинили в попытке сблизиться с Тито.

Наши войска оставили Порт-Артур, передав его Китаю. «Правда» печатала китайские статьи, разоблачавшие «преступную клику» писатели Ху Фэна, Писательница Дин Лин утверждала, что Ху Фэн был опасным и коварным врагом. (Несколько лет спустя разоблачили Дин Лин; против нее выступал Го Можо; а семь лет спустя Го Можо, разоблачив себя, начал кататься в пыли и грызть землю.)

В том году я много ездил — то в Вену, то в Стокгольм, то в Хельсинки, то в Париж, то в Женеву. Как-то в Париже д'Астье сказал мне, что премьер-министр Эдгар Фор приглашает нас пообедать. Фор и его жена оказались веселыми, живыми собеседниками. Год спустя, приехав в Москву, они у меня

ужинали, и мы считали себя старыми знакомыми. В Москве неожиданно в квартиру ворвались фотографы, сняли нас за столом, Фор смеялся: «Ваши репортеры могут потягаться с парижскими…» А обед в Париже я вспомнил по листку настольного календаря Фора. Я вдруг увидел: 11 часов — посол США, 1 час — Эренбург, И часов — Аденауэр. Я не выдержал и рассмеялся: Эренбург между американским послом и канцлером! Когда-то в гимназии, увидев товарища между двумя гимназистками, мы пели: «Барбос между двух роз».

Седьмого июня в Москву приехал Джавахарлал Неру. Он понравился москвичам — высокий, красивый, задумчивый, много лет просидел в английских тюрьмах. Я видел, как люди кидали под его машину букетики цветов, купленных на рынке. Менон устроил прием в саду посольства. Неру обворожил и меня.

Мы стояли у входа в сад, когда я увидел маршала Г. К. Жукова; он тогда был министром обороны. Я поздоровался с ним, и тут подошел посол Франции Жокс. Я оказался самодеятельным переводчиком. Жуков говорил о своих встречах с французским генералом де Латтр де Тассиньи, посмертно произведенным в маршалы. Разговор был светским, и я забыл бы про него, если бы Г. К. Жуков, когда посол откланялся, не сказал, повернувшись к Любе: «Главное — умереть вовремя…»

23 июня в Хельсинки собралась Всемирная ассамблея. Трудно сказать, почему мы придумали такое название. Для русского уха оно звучит забавно — невольно припоминаются увеселительные ассамблеи Петра Первого, но мы не думали в Хельсинки развлекаться, хотели облегчить участь людей, далеких от движения сторонников мира. Каждый раз большие усилия давали скромные результаты. За нами прочно сохранялась репутация прокоммунистического движения. Сторонники мира сделали все, чтобы привлечь другие миролюбивые силы. Результаты были скромными: за нашим движением твердо укрепилась репутация коммунистического. Все же Эррио согласился числиться почетным председателем Ассамблеи, прислал своего представителя и приветствие — жалел, что болезнь не позволяет ему присутствовать на Ассамблее. Приехали французские депутаты Капитан, Валлон, Дюбю-Бридель, итальянский христио-демократ Джаппули, бразилец Жозуе де Кастро, представители индийской партии Национальный конгресс.

Открыл Ассамблею Жолио-Кюри умной и сдержанной речью. Комиссия порой работала до утра — белые ночи позволяли забыть про время. Тон выступлений был миролюбивым, все старались понять друг друга. Лю Ници дружески беседовал с американским священником, Сартр любезничал с финскими

аграриями, французы устроили встречу с алжирской делегацией.

Кажется, Ассамблея была последним Всемирным конгрессом, на котором наша маленькая Европа оказалась в центре внимания: все помнили, где начались две мировые войны. Я вспоминаю, что в моей речи больше всего аплодировали простым словам: «Мне хочется спросить делегатов европейских стран, неужели мы не можем договориться между собой, как договорились делегаты азиатских стран в Бандунге?» (События опровергли мою ссылку на Бандунг, но вопрос об общности Европы воскрес десять лет спустя.)

После моего выступления Пьер Кот, обычно скупой на похвалы, сказал: «Это ваша лучшая речь, так вы не говорили да и больше не скажете…» Похвала скорее относилась ко времени, чем к моему красноречию: мы все искали язык мира. Когда один американец сказал, что «мирное сосуществование» — коммунистический термин, все охотно согласились заменить эти слова другими.

После того, как Ассамблея проголосовала обращения и рекомендации, в университете состоялось заседание Всемирного Совета Мира. Выбрали президента Жолио-Кюри, выбрали и десять вице-президентов. Вдруг вместо имени Фадеева я услышал свое. Я растерялся, а потом огорчился. Фадеева уже оттеснили от руководства Союзом писателей. Теперь он не вице-президент, а член бюро. Полгода спустя его перевели из членов ЦК в кандидаты. Вечером Фадеев меня поздравил. Я начал оправдываться: «Александр Александрович, для меня это было неожиданностью!» Он засмеялся: «Для меня тоже, но я вам тоже ничего не сказал бы — в общем, это не ваше дело».

Три недели спустя в Женеве собралось совещание руководителей четырех великих держав, участвовали в нем Эйзенхауэр, Даллес, Булганин, Хрущев, Молотов, Иден, Макмиллан, Эдгар Фор, Нинэ. Совещание продолжалось пять дней, ни по одному из поставленных вопросов не было достигнуто соглашение. Надежды народов были так велики, что нельзя было просто разъехаться по домам, и главы правительств объявили, что поручают министрам иностранных дел тщательно обсудить вопросы разоружения, европейской безопасности, контактов между Востоком и Западом. Каждый день кто-либо приглашал других на обед или на ужин; все говорили мирно, избегая неосторожного слова. Так родился «дух Женевы». Он был хорошим духом, но духу нужно тело, и вежливость не могла заменить соглашение хотя бы но одному второстепенному вопросу.

Министры иностранных дел собрались, они тоже угощали

друг друга, тоже говорили учтиво, но уже полемизируя друг с другом. Заседали они три недели и ни о чем не договорились. Перепоручить дело было некому. «Дух Женевы» стал испаряться. Год спустя события в Венгрии все перечеркнули.

Но в августе 1955 года «дух» казался почти ощутимым. Созвали сессию Верховного Совета, посвященную Женевскому совещанию. Я — член нашего парламента вот уже шестнадцать лет, но только один раз меня попросили выступить — о Женевском совещании. Конечно, тогда я видел будущее в розовом свете, но полемизировал я не с представителями Запада, а с неисправимыми пессимистами: «Мы тоже знаем пословицу об одной ласточке, которая не делает весны. Я не считаю ее чрезмерно мудрой. Конечно, одна ласточка не делает весны, но ведь ласточки прилетают весной, а не осенью, и если показалась одна ласточка, то за ней должны последовать и другие. Ласточки вообще не делают весны, весна делает ласточек». Я припомнил движение сторонников мира, Жолио-Кюри, недавнюю Всемирную ассамблею. Дальше я говорил: «Не пора ли повсеместно покончить с привычками вводить в заблуждение, выдавать карикатуру за портрет, подменять наблюдения догадками, а эти догадки излагать как обвинения? Мне кажется, что журналисты и писатели всего мира должны стоять у еще не погасшего огня холодной войны скорее с бочками воды, нежели с бочками керосина».

С тех пор прошло больше десяти лет, и ни один из поставленных в Женеве вопросов еще не разрешен. Мы пережили немало опасных кризисов. Однако «дух Женевы» не был призраком, что-то в мире изменилось, ослабевало взаимное недоверие, исчезал страх, и как бы ни были резки дипломатические ноты или газетные статьи, люди перестали гадать, не упадет ли на них завтра или послезавтра водородная бомба. Да если я и ошибаюсь, то так ошибаться горько, но не стыдно — бочки керосина я больше не коснулся.

Я рассказываю о 1955 годе путано, переходя от одного к другому, то о бузине, то о дядьке в Киеве, ничего не поделаешь: таков был год. Он был кануном и напоминал клубок шерсти, который очень трудно распутать.

В сентябре я оказался на «Женевской встрече»; ничего общего с Совещанием глав правительств или министров она не имела. «Женевские встречи» — культурная организация, раз в год собираются специалисты, или, как говорят у нас, деятели культуры различных стран, и обсуждают какую-либо проблему. В 1955 году предстояла юбилейная, десятая встреча, и впервые устроители пригласили советского человека — как-никак «дух

Женевы». Я должен был прочитать доклад в большом зале и участвовать в обсуждении как моего, так и других докладов в кругу постоянных участников «Женевских встреч» перед сотней пожилых дам, свободных в рабочее время.

Тема была такая: угрожают ли культуре различные изобретения: кино, телевидение, радио, иллюстрированные еженедельники? Одним из докладчиков был Жорж Дюамель, который начиная с тридцатых годов говорил об угрозе кино и радио для подлинной культуры и даже полушутя, полусерьезно предлагал устроить пятилетку, свободную от дальнейших технических изобретений.

Мне предоставляли возможность сказать людям Запада о наших трудностях, успехах, надежде. Разумеется, я отвел нелепое утверждение, что технические изобретения могут как таковые принести оскудение духовной жизни человека: есть хорошие и дурные фильмы, обогащающее или принижающее людей телевидение. Я говорил о том, что не раз в истории человечества культура гибла, потому что была достоянием немногих. Акрополь или трагедии Еврипида были понятны узкому кругу афинян, и призыв отстоять Афины от римских варваров не нашел ответа у рабов. Когда произошла Октябрьская революция, две трети населения России не знали азбуки. Расширение базы культуры вначале шло за счет ее глубины. Люди читали первый или десятый роман в жизни и многого не понимали. Появился противный термин «доходчивость». Начали изготовляться романы, рассчитанные на сегодняшнего читателя, они неизменно устаревали: читатели духовно росли. Последующие события, прежде всего войны, настолько изменили духовный облик людей, что зачастую читатели с пренебрежением захлопывают книгу.

Я указывал также, что демократизация культуры происходит и на Западе: книги дешевеют, еженедельники дают репродукции хороших живописцев, радио передает не только танцевальную, но и симфоническую музыку. (Этот процесс неизмеримо возрос за десяток последующих лет. Дешевые издания не только классиков, но и современных авторов позволяют рабочим читать книги. Сначала в Италии, потом во Франции стали появляться монографии художников с хорошими репродукциями, чрезвычайно дешевые; тираж их очень высок.)

Доклад был напечатай во французском сборнике и в «Литературной газете». Я теперь перечел его и увидел, что разделяю былую мою позицию.

Обсуждение докладов было куда менее интересным, чем я думал. Каждый день я встречал женевскую социалистку-учительницу. Она нас не любила, и часто ее вопросы мне

напоминали прокурора на процессе: говорила она не о росте культуры, а о тех злодеяниях, которые творились у нас в еще недавнем прошлом.

Месяц спустя я очутился в мэрии Лиона; там состоялось совещание об европейской безопасности. Эррио был болен: когда он пришел к нам, его поддерживал его помощник — не мог ходить. На совещании были лорд Фардингтон, Кот, Ломбарди, д'Астьс, Оскар Ланге, английский лейборист Пламмерн, Лю Нини и другие.

Мы говорили, разумеется, все о том же — о «духе Женевы». Возвращался я в Париж поездом в одном купе с лордом Фардингтоном. Лорд-лейборист был приятным собеседником, и путь прошел быстро. Подъезжая к Парижу, мы поспорили но вопросу, не имевшему отношения ни к европейской безопасности, ни к нашей предшествовавшей беседе, а именно, какие уши у скотч-терьеров. Лорд утверждал, что уши у них длинные и падающие, а я говорил — короткие и стоячие. Мы держали пари, и по условиям выигравший мог потребовать от проигравшего осе, что ему вздумается. В Париже я тотчас нашел собачью энциклопедию на английском языке, сообщил лорду Фардингтону о том, что он проиграл, и просил его и той форме, которую он найдет лучшей, рассказать англичанам, что советский писатель знает лучше, как выглядят шотландские терьеры, чем британский лорд. Фардингтон мне любезно ответил, что действительно он проиграл пари, но об атом он рассказал не своим соотечественникам, а только мне.

4

Эта глава будет самой короткой в длиннущей книге. Я хочу рассказать о небольшом дорожном злоключении, и, прочитав главу, читатели поймут почему.

В октябре 1955 года мы отправились с Н. С. Тихоновым в Вену на заседание Бюро Всемирного Совета Мира. Погода казалась нелетной, но самолет благополучно перелетел Карпаты и приземлился, как полагалось, в Будапеште. Нам сказали, что Вена не принимает, нужно подождать час-другой. Мы разговаривали о том о сем: о поэзии Мартынова, о пакистанских обычаях, о здоровье Жолио-Кюри. Прошло четыре часа. Нам объяснили, что Вена не принимает вполне обоснованно — там сильный туман. Мы бродили по длинному аэродрому, из одного зала неслись соблазнительные запахи — там помещался ресторан, но денег у нас не было, суточные нам должны были выдать в Вене. Нас начал мучить голод, который, как известно, не тетка. Николай Семенович вел себя как старый стоик, а я в итоге не выдержал и позвонил в Венгерский Комитет защиты мира.

Не прошло и часа, как появились незнакомые мне люди, почему-то они извинились: в Вене туман не но их вине. Нас провели в небольшой зал, где стоял стол, изобилующий яствами. Встретил нас Ракоши. Он дружески с нами разговаривал о движении за мир, о Женевском совещании, о жизни в Москве. Я уплетал чудесный гуляш. В конце обеда Ракоши попросил нас провести вечер с венгерскими писателями. Разумеется, мы согласились.

В Союзе писателей было людно. Нам принесли кофе, на столе стояли бутылки с душистым балатонским вином. Однако я сразу почувствовал некоторую напряженность. Первым выступил Н. С. Тихонов. Он подробно рассказал о декаде латышской литературы в Москве. Я видел, что венгры чем-то озабочены. Не успел Николай Семенович кончить, как все повернулись ко мне, просили что-нибудь рассказать. Я решил выбрать спокойную тему: писатель, когда он пишет для газеты, должен видеть перед собой не редактора, а читателя, найти слова, которые дойдут до него, должен отстаивать право говорить своим языком и не давать редактору вычеркивать красным или синим карандашом любое незатасканное слово.

Когда я кончил, один из венгерских писателей спросил меня, можно ли купить в Москве мою «Оттепель». Я ответил, что повесть была напечатана в журнале «Знамя», а потом вышла отдельным изданием; тираж был небольшой — сорок пять тысяч,

книгу быстро распродали, и теперь ее можно найти только в букинистических магазинах. Тогда другой писатель спросил меня: «А почему в Венгрии ваша «Оттепель» издана в количестве ста экземпляров для партийного руководства?» На этот вопрос я, конечно, не мог ответить и попросил Николая Семеновича рассказать еще что-нибудь.

Я разглядывал писателей, некоторых я встречал прежде — одних в Москве, других два года назад в Будапеште. Вот Дьердь Лукач, Петер Вереш, Бела Иллеш, Юлиус Гай… Все были возбуждены, начали говорить друг с другом по-венгерски; только Лукач спокойно курил сигару.

Я так и не понял, что приключилось с венгерскими писателями; ясно было одно: они недовольны. Когда мы вернулись в гостиницу на островке, я спросил Тихонова, почему Ракоши нас отправил к писателям, Николай Семенович ответил: «А бог его знает. Атмосфера действительно странная…»

В номере было жарко — почему-то уже топили. Я открыл окно — тепло, сыро. Накрапливал мелкий дождик. Яркий фонарь вырывал из ночи последнее золото деревьев.

Завтра придется выступать в Вене, говорить о «духе Женевы», о европейской безопасности. Хорошо, но что здесь происходит? Писатели озлоблены. Почему Ракоши нас не предупредил?…

Я понял все, но не в ту ночь — год спустя.

5

14 января 1956 года мы с Любой вылетели из Москвы в Индию. Тогда не было прямого сообщения через Гималаи, и мы летели долго — Париж — Рим — Каир — Карачи — Дели. Вернувшись в Москву, я написал очерк «Индийские впечатления» и не буду повторять сказанное в нем. Мне хочется сказать о том, что мне дала Индия. Наступивший год был чрезвычайно бурным и для нашей страны, и для людей, с которыми я встречался, да и для меня самого. Однажды я шел по дороге в Альпах, вдруг спустилось облако. Остановились машины, пешеходы; полчаса мы пробыли в другом мире. Сравнение, конечно, неправильное: Индия была миром живым и цветистым. Я нашел в ней не только изумительное древнее искусство, но и бури нашего века, политические демонстрации, беженцев из Пакистана, писателей и художников, которых мучили многие проблемы, томившие их европейских собратьев. Индия отнюдь не была изолированным миром, но я, потрясенный этой страной и ее людьми, оказался оторванным на месяц от бесед и мыслей, поглотавших меня накануне отъезда. Индия меня многому научила. Добрая госпожа Рамешвари Неру, которую я встречал в Стокгольме и Хельсинки, от кого-то узнала, что двадцать седьмого января — мой день рождения, и на очередном приеме подвела меня к огромному торту, на котором горели шестьдесят пять свечей — я должен был их задуть. Люди в таком возрасте редко чувствуют себя учениками, но в Индии я многое понял и многому научился.

Мы говорили и продолжаем говорить о мирном сосуществовании. Обычно иод этими словами понимают мирное сосуществование государств с различным социальным строем, с различной идеологической направленностью. Меня удивило в Индии сосуществование не только в одном городе, но и в одном человеке различных, порой противоречивых мыслей и чувств.

Разумеется, такие внутренние контрасты можно наблюдать и в любой европейской стране, но там для меня они были привычными в тусклости привычного быта, а в Индии они бросались в глаза, так же как европейца удивляют попуган или обезьянки на улицах Дели — он привык к голубям или воробьям.

Перед поездкой в Индию и потом я прочитал много книг, написанных о ней французами, англичанами, русскими. Все говорили о контрастах, но применяли к ним свой привычный метод — картезианство или диалектику, английское право или теософию; вместо ключа были неудачные отмычки.

Начну с самого затасканного. На улицах индийских городов,

особенно в Калькутте, меня поражали очень тощие коровы, которые блуждали в поисках пропитания, заставляя покорно останавливаться автомобили, экипажи, велосипедистов. Их было очень много, они разыскивали рынки, лавки, где продавали овощи и фрукты, жадно подбирали сгнившие плоды дынного дерева, кожуру бананов, листья. Их нельзя было обидеть, но можно было их не кормить. Святость распространялась на быков и телят. Говядину не ели индусы, свинину мусульмане, люди побогаче ели баранов и кур, а большинство были вегетарианцами, одни по убеждениям, другие по привычке, третьи но нужде. На юге я видел бедного крестьянина, который уводил тощую корову подальше от своего дома: у нее не было больше молока, она не могла работать, и бедняк волок ее. чтобы она ела рис или просо на земле другого бедняка. Автомобилист, который задавил бы человека, мог спастись, но горе тому, который задавил бы или ушиб корову. В начале ноября 1966 года в Дели бушевали демонстрации: индусы требовали не штатного (областного), а общегосударственного законодательства, запрещающего убой коров; при этом были убиты несколько человек.

Судя по статистическим данным, в Индии с ее населением около пятисот миллионов душ существуют двести пятьдесят миллионов тощих, порой бездомных, но священных коров.

(Много лет спустя я написал стихотворение «Коровы в Калькутте», кончив его так:

Было в моей жизни много дурного,
Частенько били — за перегибы,
За недогибы, изгибы,
Но никогда я не был священной коровой.
И на том спасибо.)

Трудно объяснить судьбу священных коров религиозным фанатизмом. Индуизм не воинствующая религия, да и место веры порой занимают привычки, суеверия, присущие всем людям. Конечно, в Индии много странностей. Я помню большую площадь в Калькутте, залитую кровью барашков — приносили жертву одному из многочисленных индуистских богов. По площади проходили люди с марлевой повязкой на рту: они боялись нечаянно совершить тягчайший грех — проглотить мушку.

В Бомбее живут парсы — огнепоклонники: огонь, земля и вода для них священны, и умерших они кладут на высокую Башню Молчания, чтобы их расклевали хищные птицы. Над городом летают грифы и другие стервятники. Иногда птицы теряют кусок человеческой руки или живота.

Сикхам не разрешено стричься и бриться. Есть ученые, депутаты, писатели, которые носят тюрбаны, чтобы скрыть чересчур длинную шевелюру, бороды подтягивают резиночкой.

Я встречал ученых, которые изредка ходили помолиться богине Знании. Шофер покойного доктора Балиги, выдающегося хирурга, не был верующим, но когда мы ехали по ужасающей дороге из Аурангабада в Бомбей, он вдруг остановился у одного из храмов и, подозвав брахмана, сунул ему в руку четверть рупии. Повернувшись к нам, он виновато сказал: «Туман, ничего не вижу…» Ганг — священная река, в ней купаются, чтобы смыть грехи, кувшины с водой уносят или увозят в далекие деревни. Однако со священной рекой обращаются не более милосердно, чем со священными коровами, — огромные фабрики джута загрязняют ее воды.

Индуизм отнюдь не культ одного бога: богов и богинь множество. А сонм обожествленных увеличивается. Когда я был гимназистом, мне попалась в руки книга «Из пещер и дебрей Иидустана». Там рассказывается о диковинных людях Индии. Автором была Блаватская. В Мадрасском храме теософов много богов, рядом с Брахмой Будда, Иисус Христос, и тут же статуя пожилой женщины с русским лицом, под ней подпись: «Елена Петровна Блаватская».

А в общем ничего нет тут удивительного. В католических церквах Франции висят крохотные модели рук и ног — благодарности за исцеление. Газеты ежедневно печатают гороскопы, каждый может прочитать, как ему надлежит вести себя завтра, если он родился под знаком Водолея или под знаком Рыб. Во многих гостиницах вслед за комнатой номер 12 следует 14 — цифра 13 пугает. Да и к лику святых не устают причислять различных особ. Несколько лет назад в соборе Брюгге я увидел объявление, призывающее совершить паломничество в португальский городок Фатима, где проживала простая девушка, которая после посещения ее Богородицей предсказала нашествие коммунистов. Словом, обрядов, застрявших привычек и суеверий много и в Европе, но я к ним привык с детства. Незнакомые нравы помогают приезжему понять то, что чересчур ему знакомо.

Расскажу про вечер, который я провел в доме Неру. Премьер-министр пригласил нас к ужину. За столом сидели Перу, его дочь Индира, леди Маунтбатензе, гостившая в доме премьера, Кришна Менон, подвергшийся незадолго до этого операции и тоже живший у Неру, индийская переводчица, Люба и я. После ужина Неру предложил мне выпить чай за маленьким столиком, и там мы добрый час толковали о мире и о движении за мир.

Что меня удивило? Необычная простота человека, которого

почти все индийцы обожали, его человечность. Всю свою жизнь он отдал освобождению Индии, он встречался и беседовал с различными людьми, с учеными (о своей беседе с Неру рассказывал мне Эйнштейн), писателями, не только с Роменом Ролланом, но с молодым немецким поэтом Толлером, с Андре Мальро — они говорили о буддийском искусстве. Неру запросто позвал меня к себе. Это была та простота, которая диктуется внутренней сложностью. Он нашел общий язык с Эйнштейном, а когда он вмешивался в толпу, беседовал с индийскими крестьянами, говорил так же естественно, как с профессорами Кембриджа.

В завещании, написанном за десять лет до смерти, Джавахарлал Неру просил, чтобы его тело сожгли и пепел развеяли в Аллахабаде, где течет Ганг; он оговаривал, что это не связано с обрядом, так как он чужд религиозным чувствам. Да, есть в Индии нечто отличное от Европы или Америки, например, поэтическая настроенность.

На аэродроме в Дели мне повесили на шею длинные гирлянды цветов; приехав в гостиницу, я поспешил положить их в воду. Потом я привык к тяжести и к запаху тубероз, роз, гвоздик, других неизвестных мне цветов тропиков, иногда на собраниях на меня навешивали десяток гирлянд. Час спустя я их бросал, как это делали индийцы: цветов в Индии много. Мало риса и хлеба. Страна большая, разнообразная: и Гималаи, и джунгли, и плодородные степи, и сухие выжженные пустыни. Обрабатывают землю, как в древнейшие времена, — волы тащат соху, удобрений нет, несмотря на множество коров; крестьяне делают из навоза лепешки, ими освещают свои лачуги.

На улицах Калькутты часто человек лежит, и непонятно, спит ли он, болен или умер, лежат прокаженные, женщины унимают голодных детей. А прохожие не удивляются — присмотрелись к нищете, к эпидемиям. В Мадрасе нас повели в землянки, где живут портовые рабочие. Это звериные норы, и к этому тоже привыкли. Люди, с которыми я подружился в Индии, мне говорили, что индийцы — фаталисты, каждый понимает, что умрет, когда придет его срок. Если можно привыкнуть к ожиданию своей смерти, то к чужому горю привыкнуть нельзя, оно как облако слезоточивого газа обступает пестрые бугенвилли, красавиц в шелковых или ситцевых сари, древние храмы и современную живопись. Нет, никогда человек не скажет всего, что у него на сердце, не только чужестранцу, но и близкому другу, наверное, не скажет даже самому себе — ведь фаталистам и нефаталистам нужно жить, пока за ними не пришла смерть, а жить, договорив все, невозможно.

Нас отвезли в Дели в гостиницу для именитых иностранцев, во дворец раджи начала века. Все там казалось шатким, действительно, как-то ночью матрац моей кровати провалился, и я очутился на полу. Я долго бродил по внутреннему двору, по коридорам, но никого не нашел, поджал ноги и устроился на коротком диване. Утром пришел слуга, увидел матрац на полу, добродушно рассмеялся. Каждое утро один из слуг срезал две пышные розы и подносил их Любе и мне.

Напротив гостиницы был большой сквер, там сидели на корточках люди. Я подошел поближе, оказалось, что они когтями подстригают газон. Потом я увидел много других чудес. В Индии были современные заводы, они изготовляли не только паровозы, но и самолеты. Рамешвари Неру показала нам мастерские, устроенные для беженцев из Пакистана; там, например, изготовляли руками ведра, котелки, чайники. Конечно, проще да и лучше изготовлять утварь на фабрике, стричь газоны машинкой, но тогда миллионы и миллионы людей будут лежать на улице, ожидая, когда за ними придет смерть. Ручной труд чрезвычайно дешев, дивный платок стоит меньше, чем пакет бритвенных ножиков.

Я считал раньше, что привязанность индийцев к домотканой одежде объясняется традициями, а она связана с экономикой. Ганди думал не столько об упрощении нравов среди зажиточных слоев общества, сколько о голодной смерти, которая ждет миллионы и миллионы, если люди станут одеваться по-европейски. Я пробыл день в гостях у крупного экономиста Махаланобиса, создателя Института статистики возле Калькутты. Он был другом Рабинлраната Тагора. Там я узнал, что многие противоречии современной Индии продиктованы экономическим состоянием страны.

Конечно, не все противоречия объясняются экономикой. На празднике Дня Независимости в Дели был военный парад: пехота, зенитки, авиация, а потом показались слоны, они вели себя отменно, даже кланялись президенту Республики.

Старое органически сплетается с новым, может быть, потому, что английские колонизаторы на века заморозили жизнь огромного народа, может быть, и потому, что огромные заводы, иллюстрированные еженедельники, радиопередачи, кинотеатры не мешают индийцам любить расфуфыренных слонов, религиозные праздники и танцовщиц, которые знают древнейший язык танца.

В музее бывшей французской колонии Пондишерри собраны статуи богов и богинь, а среди них бюсты Марианны — Первой и Третьей Французской Республики, древние манускрипты и

фотографии Жореса, Ромена Роллана. В Мадрасе собрались писатели, которые пишут на языке телугу. Председатель что-то говорил, слегка напевая; мне объяснили, что он прочитал молитву. После этого мне поднесли перевод «Оттепели» и начали спрашивать, почему меня критиковали на Втором съезде советских писателей. Я встретился в Мадрасе и с писателями, которые пишут на тамильском языке, в Калькутте с бенгальскими писателями, а в Дели с писателями языков хинди и урду. Когда переводили вопросы, мне казалось, что я в Риге или в Ереване. В Калькутте меня повели к художнику Джемини Рой. Он походил на старого монаха. Я видел его вещи, равно связанные с новой французской живописью и с народным искусством Индии. В музее Дели поражает комната, где висят холсты Амриты Шерл Гил. Она была дочерью сикха и венгерки, училась в Париже, вернулась на родину, вдохновилась фресками Алжанты, умерла молодой (в двадцать восемь лет) и положила начало современной живописи Индии. Я подружился с молодыми художниками. Рам Кумар в Париже был учеником Леже, участвовал в движении сторонников мира, и, однако, в его работах было нечто традиционное. Когда мы с ним поехали в Матхуру, я видел, как ему близка скульптура эпохи Гуптов. Хеббар работает в Бомбее, мы с ним ездили в Аджанту и Эллору. Его холсты вполне современны, и, наверное, некоторые из наших критиков его обвинили бы в «модернизме», но такой «модернизм» идет прямо от V–VI веков.

Не знаю почему, немецкие расисты ссылались на Индию, называли себя арийцами, даже перенесли на свои флаги один из древнейших знаков индуизма — свастику. В действительности Индия — смесь различных народов, рас, языков есть и жители юга, похожие на негров, и скуластые узкоглазые северяне, и смуглые красавицы Декана с горбатым носом и сжатыми губами.

В Индии я лишний раз убедился, что никакие законы, никакие пункты конституции не могут чудодейственно изменить сознание сотен миллионов. Индийская республика отменила бесправие парий, или, как говорили, касты «неприкасаемых», но в селах, где жизнь двигается куда медленнее, чем в городах, устанавливали особые урны дли «неприкасаемых» — иначе остальные не голосовали бы, да и в Мадрасе были особые храмы для парий. Я видел в университетах студенток, но еще повсюду положение женщин было далеко от провозглашенного равноправия; в деревнях вдовцы женились, а вдове брили голову, и никто не вздумал бы на ней жениться. Законы могут мчаться вперед, как самолеты, не приземляясь, а повседневная жизнь плетется по ухабам дороги со скоростью вола. (Об этом я много думал в 1957 году, в 1963-м, думаю об этом и теперь.)

Подавляющее большинство индийцев неграмотны, хотя повсюду я видел новые школы, видел я и как учили детей на воздухе. Здесь мне снова пришлось задуматься над прилагательным «культурный», которым у нас любят пользоваться в любом удобном и неудобном случае. Толпа в Индии очень «культурна». В день праздника на огромной площади в Дели негде было яблоку упасть, но никто не толкался, сидели на земле, поджав под себя ноги, и старались занять поменьше места. В тот же день был прием у президента, европейские и американские дипломаты показались мне варварами. Образование или материальная культура — количество автомобилей, состояние дорог или полиграфии — еще не определяют духовного уровня народа; достаточно вспомнить Третий райх или «белых» в штатах Алабама, Миссисипи, Техасе. У неграмотных крестьян юга, у ремесленников Насика, у бедняков Калькутты были и такт, и душевная сосредоточенность.

В последний вечер (самолет отлетал около полуночи) я пригласил моих бомбейских друзей поужинать в ресторане. Пришли председатель общества дружбы Индия — Советский Союз профессор Бал ига, его жена, сотрудники общества, писатель Мулк Радж Ананл, художник Хеббар, другие друзья. В середине февраля в Бомбее уже было очень жарко, и я выбрал ресторан с кондиционированным воздухом. Я вспомнил, как Балига встречал нас в Карачи, и сказал ему: «Вы для меня много сделали — я стал умнее…»

В самолете я вскоре задремал — последний день в Индии был утомительным — и, проснувшись, увидел высоко солнце. Мы летели над Грецией, а внизу был снег, много настоящего снега. Зима в тот год была лютой; снегом были занесены сады Италии. Мы приземлились в Женеве. Две индийские женщины в легких сари пробежали к вокзалу. В Париже было шестнадцать ниже нуля. Сена замерзла.

Я купил в киоске вечернюю газету и прочитал: «Вчера утром в Кремле открылся XX съезд Коммунистической партии…»

Отпуск, подаренный мне судьбой, кончился.

6

Когда я вернулся в Москву, все говорили о выступлении Микояна на съезде — он упомянул об одной ошибочной концепции Сталина, смеялся над фальсификацией истории и назвал имена большевиков, убитых в эпоху культа личности, — Антонова-Овсеенко и Косиора. В резолюции съезда говорилось о разоблачении преступной деятельности «врага партии и народа» Берии, о вреде культа личности, о необходимости коллективного руководства. На следующий день «Правда» коротко сообщила о последнем заседании съезда 25 февраля: решено было подготовить новую программу партии, после чего Н. С. Хрущев объявил повестку дни исчерпанной.

В старой записной книжке я нашел такие строки: «На закрытом заседании 25/II во время доклада Хрущева несколько делегатов упали в обморок, их тихо вынесли». Рассказал мне об этом один из делегатов съезда.

Прочитав доклад Хрущева, я не упал и обморок: со времени смерти Сталина прошли три года, кое-что мы узнали, над многим успели задуматься. Ко мне приходили военные прокуроры, занимавшиеся реабилитацией Бабеля и Мейерхольда, приходили также друзья, вернувшиеся из концлагерей, по вечерам мы долго беседовали о недавнем прошлом. Однако не скрою: читая доклад, и был потрясен, ведь это говорил не реабилитированный в кругу друзей, а первый секретарь ЦК на съезде партии. 25 февраля 1956 года стало для меня, как для всех моих соотечественников, крупной датой.

Я сказал, что был о некоторой степени подготовлен к докладу Хрущева, но я хорошо понимаю, как были поражены многие делегаты съезда, приехавшие из далеких совхозов и колхозов. Еще за две недели до первого заседания они видели в газетах поздравительные телеграммы К. Е. Ворошилову, в которых некоторые зарубежные главы социалистических государств называли Климента Ефремовича «соратником» Сталина.

Начали читать доклад (или письмо ЦК) сперва партийным, потом и беспартийным. Месяц-два спустя десятки миллионов уже знали, как они прожили четверть века. Повсюду говорили о Сталине — в любой квартире, на работе, в столовых, в метро.

Встречаясь, один москвич говорил другому: «Ну, что вы скажете?» Он не ждал ответа: объяснений прошлому не было. За ужином глава семьи рассказывал о том, что услышал на собрании. Дети слушали. Они знали, что Сталин был мудрым, гениальным, что он, и только он, спас Родину от нашествия; на

уроках географии они учили, что высочайший пик нашей страны называется пиком Сталина, что такие же пики имеются в Чехословакии и Болгарии, что столица Таджикской республики — Сталинабад, что в Осетии есть город Сталинири, в Кузбассе Сталинск, в Подмосковном угольном бассейне Сталиногорск, в Донбассе Сталино, и вдруг они услышали, что Сталин убивал своих близких друзей, что, не доверяя старым большевикам, он заставлял их признаваться, будто они пообещали Гитлеру Украину, что он свято верил в слово Гитлера, одобрившего пакт о ненападении. Сын или дочь спрашивали: «Папа, как ты мог ничего не знать?»

Всего три года тому назад москвичи давили друг друга, чтобы добраться до Колонного зала, люди несли на плечах детей, проходя мимо гроба Сталина, женщины голосили. Кажется, история не знала таких похорон. Сталин еще покоился набальзамированный рядом с Лениным, его статуи продолжали красоваться на площади любого города, его портреты по-прежнему висели в кабинетах, в столовых, школах, магазинах. Мальчик по-прежнему отвечал, что высочайшая вершина Советского Союза — это пик Сталина, а девочка повторяла заученные стихи:

Нет слов таких, чтоб ими передать
Всю нестерпимость боли и печали,
Нет слов таких, чтоб ими рассказать,
Как мы скорбим по вас, товарищ Сталин!

Мифы создавались веками и веками гасли, рассеивались, забывались. Люди постепенно и мучительно начинали понимать, что на небесах нет Господа Бога или, по меньшей мере, что его наместник в Ватикане незаконно присвоил себе это звание. А ранней весной 1956 года миф о Сталине был сразу разбит. Тот, кого люди называли великим, мудрым, гениальным, чье имя повторял Якир, когда его вели на расстрел, кому французская мать послала единственное, что у нее осталось, — шапочку замученной гестаповцами дочки, этот сверхчеловек оказался честолюбивым, подозрительным и жестоким. Иностранцы удивлялись, как советские люди выдержали такое испытание.

Две недели спустя заграничные корреспонденты начали передавать из Москвы отдельные подробности о деятельности Сталина, иногда правильные, иногда перевранные. 4-го июня Государственный департамент США опубликовал текст доклада. Вскоре в «Правде» появилась статья Генерального секретаря Коммунистической партии Соединенных Штатов Ю. Денниса,

перепечатанная из газеты «Дейли уоркер». Под текстом была сноска:

«Говоря о докладе Н. С. Хрущева, Ю. Деннис имеет в виду текст, опубликованный Госдепартаментом».

Однако то, о чем писал Деннис, не опровергалось, кроме упоминания об аресте еврейских врачей; газета сделала вторую сноску, напоминая, что среди арестованной группы врачей были не только евреи, но также русские и украинцы.

О докладе на закрытом заседании писали все газеты мира. 30 июня 1956 года ПК принял постановление «О преодолении культа личности и его последствий».

В этом постановлении говорилось, что «Сталин повинен во многих беззаконных действиях» и что следует помнить о «серьезных ошибках, допущенных Сталиным в последний период жизни». Хрущев, однако, говорил о «беззаконных действиях» Сталина начиная с декабря 1934 года, таким образом, «последний период жизни» длился восемнадцать лет.

Доклад, который сделал на XX съезде Н. С. Хрущев, был посвящен одному человеку, его подозрительности, жестокости, властолюбию. Перед всеми вставал вопрос, почему Сталин, доверяя Ежову или Берии, не задумывался над трагическими письмами старых большевиков Эйхе или Постышева.

Борясь с «культом личности», легко было вернуться к этому же культу: слишком многое приписывалось воле, характеру, мрачным чертам разоблачаемого. Персонаж был сродни некоторым героям Достоевского.

Не знаю, привлечет ли внимание романиста будущего Сталин и удастся ли автору дать глубокий психологический анализ человека, одно имя которого вызывало восторг или ужас у сотен миллионов его современников. В шестой части этой книги я признавался: «Я не могу дать портрет Сталина — я его лично не знал, видимо, он был человеком сложным, и рассказы людей, встречавшихся с ним, противоречат один другому». Дальше я писал: «Сталин был человеком большого ума и еще большего коварства». (Один из сотрудников «Литературной газеты» распространил «Открытое письмо Илье Эренбургу»; он писал, что дело не в моральной оценке и что нельзя назвать умным государственного деятеля, совершившего много неумных поступков. Письмо меня не переубедило. Историки обнаружили достаточно неумных поступков у людей, которые были умными: у Цезаря, Наполеона, Людовика XIV, Петра Великого. Однако трудно себе представить, что неумный человек смог очернить, а потом уничтожить почти всех руководителей своей партии и четверть века единолично управлять великим государством, такое

предположение мне кажется оскорбительным для нашего народа.)

Моральная оценка не деталь, а суть вопроса. Рассказывая о «беззаконных действиях» Сталина, Хрущев оговаривал, что Сталин был честным коммунистом и что дурные дела он совершал во имя хорошей цели. Именно это мне кажется неприемлемым. В шестой части я писал, что цель не может оправдывать средства и что средства способны изменить цель. Труды Маркса и Энгельса, философская концепция и государственная практика Ленина гуманистичны. Сталин, не расставаясь с идеями, воспринятыми им в молодости, применял средства, которые им противоречили, он был бесчеловечен.

Я не политик, а писатель, казалось бы, что меня должна была увлечь сложная и противоречивая натура Сталина; однако я куда больше думал о том, как Сталин мог столь долго определять чертами своего характера развитие советского общества. Я сказал, что я писатель, но я также советский гражданин, и не раз в моей жизни я забывал о своем ремесле ради защиты тех идеалов, которые мне казались высокими. Хрущев говорил о «серьезных ошибках Сталина», но он не объяснил, какие обстоятельства позволили Сталину столь длительно и глубоко ошибаться. Мы так и не узнали, почему Тринадцатый съезд партии, несмотря на предостережение Ленина, обладавшего огромным авторитетом, переизбрал Сталина Генеральным секретарем. Я не знаю, как могло получиться, что Сталин, договариваясь с одной группой Политбюро, чернил, а потом уничтожал другую группу, чтобы два или три года спустя унизить и убить своих вчерашних союзников. Каким образом «Коба» революционного подполья, известный только тысяче-другой партийных работников, десять лет спустя превратился в «отца народов»? Почему партия, показавшая подлинное мужество в отражении вражеских диверсий, в индустриализации отсталой страны, в обороне Родины от слывшего непобедимым рейхсвера, не воспротивилась культу Сталина, шедшему вразрез и с марксизмом, и с демократическим духом Ленина? Мне казалось, да и теперь кажется, что куда важнее разгадать не характер Сталина, а то, что позволило превращение грубого, но словам Ленина, и малоизвестного человека в «вождя», «кормчего», «полководца», которого ежедневно восхваляли члены Политбюро и лишенцы, маститые академики и ученики первого класса.

XX съезд сделал невозможным возврат к культу Сталина. Римский император Юлиан в IV веке нашей эры пытался восстановить культ древних богов; однако мало кто задерживался у новых статуй обитателей старого Олимпа.

Конечно, сразу после съезда, как и потом, я встречал людей,

осуждавших разоблачение культа; они говорили о «роковом ударе», якобы нанесенном идее коммунизма. Видимо, они не понимали, что пока существует социальное уродство капитализма, ничто не сможет остановить наступление новой экономики, нового сознания. Особенно страшила скрытых защитников Сталина молодежь. Я помню ужин в индийском посольстве, где я встретил нескольких советских деятелей, которые за чашкой чая, не очень громко, чтобы не расслышали хозяева, говорили о «разнузданности» студентов: «К ним нельзя показаться…» Я был несколько раз на собраниях студентов и видел всю несправедливость таких суждений: меня спрашивали, слушали, разумно отвечали. Именно в 1956 году показалось то новое поколение нашего общества, которое трудится, может быть, с менее пышными словами, но с большей взыскательностью.

В мае 1965 года я возвращался из Москвы в Новый Иерусалим и включил радио — передавали торжественное заседание по случаю двадцатилетия победы над фашистской Германией. При имени Сталина я услышал хлопки. Не знаю, кто аплодировал; не думаю, чтобы таких было много. Наверно, с именем Сталина у них связывалось представление о величии и неподвижности: Сталин не успел их арестовать, а оклады были выше, да и не приходилось ломать голову над каждым вопросом. Люди легко забывают то, что хотят забыть, а теперь ничто не мешает им спокойно спать.

Вернусь к весне 1956 года. Ко мне пришел молодой студент Шура Анисимов, приглашал меня выступить перед его товарищами. Вдруг он сказал фразу, которую я записал: «Знаете, сейчас происходит удивительное — все спорят, скажу больше — решительно все начали думать…» Конечно, он не знал, что молодому поколению предстоит еще многое пережить. Не знал этого и я. Но вспоминаю я о той весне с большой нежностью, как будто и я был молоденьким Шурой, на спине которого прорезались крылья.

7

Вдова моего друга Роже Вайяна дала мне прочесть часть его дневников, которые готовятся к опубликованию. Вот страница 1956 года — она относится ко времени действия моей книги:

«8 июня.

Возвращение из Москвы.

Две недели назад, когда и приехал, статуя Сталина стояла в зале аэродрома. В день моего отъезда она еще была на месте, но покрытая белым чехлом. Скоро ее снимут…

Я любил даже словечки, которыми он злоупотреблял. Он закладывал фундамент речи и потом говорил: «далее». Мне это нравилось. Но теперь мне пришлось снять его портрет над письменным столом…

Никогда больше я не повешу на мои стены чьего-либо портрета.

В углу над пачкой с книгами о французской революции висели две большие гравюры той эпохи — «21 января 1793 года» и «16 октября 1793 года». Я их тоже снял. На одной палач показывает толпе голову Капета; на другой — палач подымает нож гильотины, его помощники ведут на эшафот Марию Антуанетту, толпа аплодирует. Будь я членом Конвента, я голосовал бы за казнь Людовика XVI и Марии Антуанетты, я хочу сказать, что и теперь при подобных обстоятельствах я проголосовал бы за смертный приговор. Но Мейерхольд, которого я любил и люблю, был расстрелян по несправедливому приговору Сталина, которого я любил. Никогда больше я не смогу радоваться крови моих врагов, разве только если она пролита мною в честном бою.

Сердце у меня не чувствительное. Когда я порвал с женщиной, которую любил больше всего, я смотрел, как она спускалась с чемоданом по лестнице. Она повернула ко мне заплаканное лицо. Но я не заплакал…

В июне 1940 года при разгроме моей страны я не пролил ни одной слезинки, я скорее был доволен — французы меня возмущали своей любовью к загородным домам и маленьким автомобилям.

Но я плакал, узнав о смерти Сталина. И я снова плакал в Праге, возвращаясь из Москвы, всю ночь я

проплакал — я должен был вторично его убить в своем сердце, прочитав про его злодеянии.

В одну и ту же ночь я плакал над Мейерхольдом, убитым Сталиным, и над Сталиным, убийцей Мейерхольда. Я повторял слова Брута из шекспировского «Юлия Цезаря»:

«Я любил Цезаря, и я его оплакиваю. Он преуспевал в своих начинаниях, и я радовался. Он был отважным, и я его чтил. Но им овладело властолюбие, и я его убиваю»,

Я повторяю: «Я любил Сталина, и я плакал над ним. Он преуспевал в своих начинаниях, и я радовался. Он был отважным, и я его чтил. Но он стал деспотом, и я его убиваю…»

Я себя чувствую мертвым.

Кажется, что ты на гребне времени и вдруг видишь, что История вступила в новую фазу, а ты этого не заметил…»

Я переписал эту страницу из дневника Вайяна и задумался: какое у нас проклятое ремесло! Даже разговаривая с самим собой, писатель невольно пропускает слезы, желчь, кровь через колбы литературной лаборатории. В той же тетрадке дневника Вайян вспомнил о своей тяжелой болезни: «Очень важно вот что: как только я понял, что я не умираю, я начал подыскивать слова, чтобы описать свою смерть. То же самое случилось, когда меня настигла беда любви… Нет, я не скажу, как сказал мне французский товарищ в Москве: «Мы уже никогда не сможем быть счастливы». Я — писатель, следовательно, я не имею нрава на полное несчастье».

А в действительности Роже Вайян был вдвойне несчастен — и как писатель, и как человек. Два существа жили в одном теле. Иногда автор романа навязывал Роже свою концепцию жизни, иногда человек вмешивался в план романа. Нужно ли говорить, что в ту ночь в Праге, о которой упоминается в дневнике, Вайян не думал о Цезаре и Бруте — он не писал, он плакал.

Вайян любил людей XVIII века, увлекавшихся, но не увлекаемых, упоенных — однако в то же время трезвых, — кардинала Берни, авантюриста Казакову, автора романа в письмах «Опасные связи» Лакло. Среди писателей прошлого века он особенно чтил Стендаля. Но и Стендаль, описывая стратегию любви, вдруг поддавался чувствительности Анри Бейля — и когда рассказывал, как к осужденному Жюльену приходит его школьный товарищ крестьянин Фуке, и когда в письме из

Чивитавеккья признавался своему двоюродному брату: «У меня две собаки, я их очень люблю. Английский спаниель, черный, красивый, но печальный меланхолик, другой «лупелло» — волчонок, цвета кофе с молоком, веселый, находчивый характер молодого бургундца. Мне было бы слишком грустно, если бы не было никого, кого я могу любить…»

Когда Вайян умер, все газеты писали о его «холодном взгляде». Так он назвал сборник эссе, и так он старался выглядеть перед журналистами или критиками. Я никогда не видел «холодного взгляда» — его глаза веселились или отчаивались, но холода в них не было.

Нет, однажды я увидел «холодный взгляд». Это было летом 1948 гола. После Вроцлавского конгресса, в котором Вайян участвовал, поляки повезли меня в Краков; там в кафе «Комедиантов» я встретил Вайяна, Гуттузо, польских друзей, молодую женщину, приехавшую на конгресс из Бразилии. Эта женщина нравилась Вайяну, он пил «старку» и настойчиво ухаживал, то ласково, то слегка пренебрежительно — того требовала традиционная стратегия. Именно тогда я случайно перехватил леденящий взгляд Роже.

Мейерхольда он мог увидеть в 1930 году. Он был тогда молоденьким поэтом-сюрреалистом, а я познакомился с ним позднее — его мне представил, кажется, Рене Кревель в одном из кафе Монпарнаса. Вайян попросил Любу давать ему уроки русского языка. Из учебы ничего не вышло. Вайян бросил писать стихи, стал журналистом. Газета «Пари-суар» посылала его в экзотические страны. Он много пил. Я хорошо помню его взгляд не холодный, но затуманенный наркотиками, длинные упрямые волосы и профиль птицы.

Я надолго потерял его из виду. Вскоре после конца войны я прочитал первый роман Вайяна «Странная игра». Это была книга об одной группе Сопротивления. Героя романа звали Маратом, а одного из его товарищей, коммуниста, — Родриго. Роман имел успех, Вайян сразу вошел в литературу, но слава его не прельщала — он думал о другом: не описать жизнь, а ее переделать.

Утром в краковской гостинице он говорил мне тихо, почти стесненно: «Я должен буду от многого отказаться…»

В 1952 году правительство Пино хотело запретить коммунистическую партию. Дюкло был арестован по вздорному обвинению. Тогда Вайян послал ему в тюрьму заявление с просьбой принять его в партию.

Вчерашние читатели и почитатели отшатнулись от Вайяна. «Завербованный» — таково было стандартное клеймо эпохи.

Вайян хотел быть дисциплинированным. Перед отъездом в Египет он выбросил наркотики. Корабельный врач удивился непонятной болезни пассажира, но Вайян скорое умер бы, чем рассказал бы ему о причине заболевания. В Египте его арестовали, потом выпустили; он написал о том, что увидел. Он продолжал противоречить себе, товарищи то восхищались им, то негодовали. Я его полюбил.

Мы встретились на несколько часов в Жюльена — у меня там были старые друзья — виноделы, а Вайяну было недалеко, он поселился в деревне возле Бурже. Он женился на милой и заботливой итальянке Элизабет, много работал. У нас оказалась и общая страсть — Роже разводил розы, гвоздики, подсолнухи, говорил о влиянии света и влаги, о гибридах, о работе селекционера.

Кажется, за год до этой встречи он увлекся театром Расина, утверждал, что необходимо единство места и времени действия, мечтал о новом Возрождении и, увидев впервые Москву, писал: «Я предвижу Возрождение в 1960–1970 годы, оно расцветет в России, и тогда в московских театрах начнут ставить трагедии, вдохновляясь французским театром XVII века, разумеется, с новым содержанием, соответствующим строительству коммунизма. Уже архитектура в стране социализма нашла нормы больших ансамблей абсолютной монархии».

Год спустя он написал хороший роман «Бомаск» и не думал больше о классиках. Он описал жизнь рабочих и крестьян в поселке, где поселился. Это и по форме нечто новое: повествование, записки автора, письма, газетные заметки, экономика — рассказ о крупном тресте. Я написал предисловие к русскому переводу («Пьеретта Амабль») и в нем говорил: «Особенно удалась Роже Вайяну героиня книги. Мы ее видим и когда она прилежно записывает в тетрадку партийные задания, и когда она сурово отвечает на любовные признания представителя той династии, которой принадлежит фабрика, и когда отдастся «Бомаску». В ней слиты воля и смущение, суровость и нежность… Любви посвящены сотни современных французских романов. В одних мы видим состязание самолюбивых партнеров, в других скуку, повторность приевшихся слов и жестов, в третьих — самомучительство. Сцена в лесу, когда Пьеретта и «Бомаск» дают волю своим чувствам, — редкая находка в современной литературе, столько в ней страстности и чистоты».

Осенью 1955 года Вайян и Элизабет заехали за мной в Савойю, где я ночевал у Пьера Кота, мы сговорились, что Роже отвезет меня в Париж. Он обожал скорость. Я сидел рядом с ним и видел, как стрелка добегала до цифры 200. Мы пообедали в

чудесном ресторане, там нас попотчевали лягушачьими лапками с чесноком. Беседа была извилистой и долгой. Перед тем как уехать, мы пошли посмотреть на лягушек: они сидели в яме, их было очень много, и те, что находились в верхнем ряду, глядели черными, неподвижными глазами. Жить им оставалось недолго. Роже глядел на них. Потом мы снова мчались. Вайян командовал: «Сигарету!», Элизабет закуривала и вставляла ему в зубы. Иногда мы останавливались. Роже заказывал виски. Элизабет выпивала почти всю его порцию, он не спорил и вскакивал в машину. Он хотел показать мне, как начинается Сена: «Маленький ручеек…» Мы сидели в темном пустом баре. Он говорил о том, как писал когда-то стихи, о Рембо, о смерти: «Она входит в жизнь. Грнмаса и только…» Потом неожиданно спросил: «Помните глаза лягушек?» Я рассказывал о Хемингуэе и Испании, о реабилитации Мейерхольда, о Москве. Опустилась ночь. Роже гнал машину, и вдруг отказали фары. Он резко затормозил. Мы вышли из машины. Я закурил и при свете спички увидел его лицо, покрытое капельками пота. Мы добрались до Труа и решили там заночевать — утром исправят фары. Он вдруг признался: «Это было здорово страшно».

Я дошел до времени, с которого начал, — XX съезд, осень, Венгрия. Один из близких друзей Вайяна потом рассказал мне, что Роже думал о самоубийстве. Держался он хорошо, не было того духовного экзгибиционизма, которым страдали некоторые интеллигенты Запада, в том числе друзья Вайяна, уходившие из партии, возвращавшиеся, снова уходившие и выкладывавшие все свои душевные терзании чуть ли не в каждом номере левых еженедельников. Вайян, да и то нехотя, подписал одно из многочисленных коллективных заявлений и несколько лет спустя признался в дневнике, что жалеет об этой подписи. Он хотел молча отойти в сторону и задуматься над тем, что приключилось не только с ним, но и с миром.

Элизабет повезла его в Южную Италию, в Абруцци. Там он написал, кажется, свою самую совершенную книгу — «Закон»; я не называю ее лучшей, но выполнена она лучше других. В романе нет никаких прямых или скрытых объяснений того, что мучило Вайяна. Это мрачная и безысходная книга. Заглавие относится к игре, которая процветает на юге Италии. Игроки бросают кости или играют короткую партию в карты. Тот, кто выигрывает, становится «хозяином». У него право говорить или не говорить, допрашивать и отвечать за допрашиваемого, хвалить и осуждать, оскорблять, злословить, клеветать, унижать достоинство других: проигравшие, подчиненные его закону, должны молча переносить все. Таковы правила игры «закон».

Та же злая игра определяет жизнь городка. Есть один мудрец — разорившийся помещик Дон Чезаре. Он собирает уже по привычке реликвии некогда процветавшего древнегреческого города. Давно все стало ему «неинтересным». В игре выигрывают худшие. Гангстер Бриганте после смерти Дона Чезаре договаривается с образумившейся девчонкой Марието́й — они совместно откроют великолепный бордель для иностранных туристов.

Книга получила Гонкуровскую премию. Былые читатели и почитатели снова потянулись к Вайяну: они считали, что семидесятилетний Дон Чезаре говорит за автора, которому тоже все «неинтересно».

А Роже в своем домике разводил растения, писал и терпеливо искал ответа на многие вопросы, которые продолжали его страстно интересовать. «Закон» свирепой игры не стал для него законом жизни.

Три года спустя он прислал мне новый роман «Праздник». Теперь я вижу, что некоторые фразы выписаны из дневника 1956 года, например, мысли главного героя, стареющего писателя Дюка: «Он вдруг понял, что после XX съезда КПСС История вступила в новую фазу без того, чтобы он это заметил… Дети большевиков управляют третьей частью земного шара, и они посылают ракеты на Луну». Молодой писатель Жан-Марк возражает: «Революция вышла из моды». Дюк говорит: «Она переменила имя. Она примет формы, которые нельзя себе представить».

Он заболел в ноябре 1964 года и уже тяжело больной написал статью «Похвала политике», в ней он говорил: «Мне надоели разговоры о планировании, об изучении рынков, о кибернетике, об оперативных операциях: это дело специалистов. Как гражданин я хочу снова найти, я хочу словами вызвать политические действия (действительно политические), я хочу, чтобы мы все снова стали политическими людьми».

В конце февраля 1965 года я был в Париже. Вернувшись в гостиницу «Пон рояль», где я обычно останавливался и где останавливался Вайян, когда приезжал на несколько дней в Париж, я оказался в лифте с человеком, который показался мне необычайно знакомым. Он со мной заговорил, я отвечал смущенно, думал: кто это? Он вышел на третьем этаже, я жил выше. Мальчик-лифтер сказал: «Мне кажется, что вы не узнали мьсе Роже Вайяна…» Я тотчас спустился в его номер: «Роже!..» Он, улыбаясь, сказал: «Меня не узнают многие. Я заболел каким-то вирусным бронхитом. Вот уже три месяца… Меня лечили, стали выпадать волосы, вот я и побрил голову наголо».

Его лицо было ярко-красным, как будто он обжегся на тропическом солнце. Голова без привычных волос выглядела другой. Но глаза горели по-прежнему.

Он сказал мне, что чувствует себя лучше, начал новый роман. Хочет поехать в Латинскую Америку — там народы приподымаются, борются… Он заговорил со страстью давнего Роже. Вдруг закашлялся. А когда я уходил, он спросил: «Как ваши цветы? Мы это одинаково понимаем: сеять, пикировать, они растут, цветут, потом умирают». Помолчав, он добавил: «Помните лягушек в яме?…»

Элизабет сказала Любе, что Роже дотянет только до весны у него рак легких; ни врачи, ни она ему об этом не говорят.

Он, наверно, не хотел выпытывать медицинскую тайну — знал свою: «Смерть это жизнь, ее последняя гримаса».

Он умер в мае 1965 года в домике с розами.

8

Французы говорят, что дни следуют один за другим и не похожи друг на друга, это можно сказать и про годы. 1956 год ни на что не походил. Обычно я корю себя за легкомыслие, но в ту весну, в то лето чрезвычайно легкомысленными были все, и все надеялись, умные и дураки, честные и бесчестные. Каждый, конечно, на свой лад. Одни надеялись на память, другие на забывчивость. Чересчур много было надежд, и длинные трудные разговоры о прошлом неизменно кончались улыбками. Роже Вайян плакал, что был не на склонах Олимпа, а в театральном зале. Что касается нас, то эту трагедию мы не смотрели, мы в ней играли, и мы не плакали.

Конечно, жизнь продолжалась, люди работали, влюблялись, расставались, болели. В тот год умерли Фадеев, Брехт, Ирэн Жолио-Кюри. Но цифра «1956» мне кажется абстрактной: трудно объединить быстро сменявшиеся событии, и мне хочется написать о том времени, не следя за нитью повествования, чтобы, напомнить читателям о лихорадочном состоянии, в котором находились я, мои друзья и знакомые.

Ранней весной в Стокгольме собралась очередная сессия Всемирного Совета Мира, и я убедился, что чрезмерный оптимизм был болезнью, свойственной не только моим соотечественникам. Все говорили о разоружении. Итальянский сенатор Корона, близкий к Ненни, утверждал, что в борьбе за разоружение можно объединить все миролюбивые силы. Выступавшие, в том числе китайский министр водного хозяйства, говорили то же самое, и все друг другу улыбались.

В мае Фадеев покончил с собой. Москва полнилась слухами: хотели разгадать, почему человек с железной волей вдруг выстрелил в себя. Рождались фантастические версии. В сообщении собирались указать, что Александр Александрович выстрелил себе в грудь в состоянии запоя; между том писатели знали, что последний месяц он не выпил ни одной рюмки; некоторые запротестовали, М. С. Шагинян куда-то звонила, угрожала, что последует примеру Фадеева. В итоге газеты, сообщив о его хронической болезни, не попытались объяснить самоубийство состоянием опьянения.

Я стоял с другими в Колонном зале у гроба. Когда человек умирает, перестаешь думать о том или ином его поступке, он вдруг встает во весь рост, и мне было тяжело, что от нас ушел большой писатель. Эта смерть как бы врезалась тенью в ту весну, когда почти все люди, с которыми я встречался, были настроены

радужно.

А. Е. Корнейчук сказал мне, что нам нужно посоветоваться с Н. С. Хрущевым по некоторым вопросам, связанным с расширением Движения сторонников мира; он добавил, что Никита Сергеевич хочет познакомиться со мной. Деловая сторона разговора заняла четверть часа, и я хотел было встать, когда Хрущев заговорил о моей «Оттепели». Он сказал, что случайно прочитал мою повесть, не со всем со мной согласен, а потом добавил: «Не знаю, почему они на вас накинулись?… Вероятно, из-за заглавия. А заглавие хорошее…» (Я не спросил Никиту Сергеевича, кого он имеет в виду, говоря «они».) Потом Н. С. Хрущев начал рассказывать про Сталина, рассказывал он интересно, и многое для меня было новым, но я не хочу об этом писать — разговор был частным. Когда он устал от рассказа (просидели мы у него часа два), я попробовал вступиться за М. М. Зощенко, которого продолжали обвинять в мнимых преступлениях.

Хрущев нахмурился и сказал, что «Зощенко плохо себя ведет»: в Ленинграде нажаловался английским студентам. Тогда я рассказал, что произошло в действительности. В Советский Союз приехала делегация какого-то союза английских студентов; может быть, они хорошо распределяли между товарищами стипендию и разбирались в хоккее или футболе, но общий культурный уровень их был невысок. Однако в Москве они захотели побеседовать с С. Я. Маршаком и мной. Меня долго уговаривали, наконец я согласился и пошел в Союз писателей. Разговаривали студенты отнюдь не по-джентльменски. Я отвечал резко, а Самуил Яковлевич астматически дышал. Меня возмущало, что двух далеко не молодых писателей уговорили прийти и отвечать на вопросы развязных юнцов. Потом студенты отбыли в Ленинград и там потребовали встречи с Зощенко. Михаил Михайлович пытался отнекиваться, но его заставили прийти. Один из студентов спросил его — согласен ли он с оценкой, которую ему дал Жданов. Зощенко ответил, что Жданов назвал его «подонком» и что он не мог бы прожить и одного дня, если бы считал это правильным. Так была создана скверная версия — «Зощенко нажаловался англичанам».

Н. С. Хрущев не дипломат, и, глядя на него, я сразу понял, что он мне не верит, да он и сказал: «У меня другая информация…» Я ушел с горьким привкусом: намерения у него хорошие, но все зависит от «информации» — кого он слушает и кому верит.

В начале лета в Москву приехал бразильский архитектор с письмом от моего друга Жоржи Амаду. Его хорошо приняли, и он

увидел все, что может увидеть иностранный турист. Он долго со мной беседовал, спрашивал, что думают о XX съезде обыкновенные советские люди. На следующий день в одной из районных библиотек должна была состояться читательская конференция о моей «Оттепели». Я дал молодой переводчице билет и сказал, чтобы она не говорила, кто с ней: «Сядьте в уголок и переводите шепотом, на ухо».

Конференция была интересной; люди, не попавшие в зал, толпились на улице возле раскрытых окон. Выступавшие рассказывали о том, что пережили, говорили о больших переменах и об еще больших надеждах. Помню, как все насторожились, когда слово попросил милиционер в форме. Он сказал, что хочет выступить как читатель, и растрогал всех, рассказав, что стоял на посту на Красной площади, когда подошел старый большевик, вернувшийся из Колымы, и попросил помочь ему дойти до Мавзолея: «Он, товарищи, знал Ильича, вот что…»

В углу сидели красивая девушка и молодой человек, они все. время о чем-то шептались. Им начали посылать записки «уходите», «здесь не место для любовных объяснений», «хватит, убирайтесь!». Когда конференция кончилась, я увидел на улице бразильца и переводчицу, окруженных толпой. Я бросился к ним, объяснил, что пригласил бразильца, а это — его переводчица, и люди, только что грозившие избить рослого парня, начали его обнимать. А он благодарил меня: за один вечер он многое понял.

В конце июня я поехал в Париж на Бюро Всемирного Совета Мира. Все только и говорили, что о докладе Хрущева. Я не понимал почему — дли меня то было давней историей. Только на следующее утро я узнал, что газета «Ле Моид» напечатала текст доклада. Большинство людей, с которыми я встречался, ужасались прошлым, но верили в будущее. Были и другие, один даже сказал мне: «Это закамуфлированный термидор!»

Жолио-Кюри держал себя умно и сумел объединить участников сессии: необходимо добиться сближения всех миролюбивых сил. В декларации говорилось: «…Всемирный Совет Мира будет постоянно искать контакта со всеми организациями, работающими для дела мира. Он стремится вступить в диалог с этими организациями и предпринять с ними некоторые совместные действия на основе уважения особенностей и позиций каждого участника. Совет Мира считает, что такая деятельность должна проводиться в условиях полной независимости но отношению к правительствам и политическим партиям и единственно на пользу делу мира. Совет Мира предпримет, со своей стороны, все преобразован ни и изменения, способные

облегчить такие совместные действия». Мы брали на себя серьезное обязательство, это было, кажется, единственной попыткой обновить и расширить движение. Однако четыре месяца спустя изменилась не только международная обстановка, но и позиции любого участника сессии.

Когда я вернулся в Москву, ко мне пришли сотрудники «Литературной газеты» и предложили написать о стихах Бориса Слуцкого: «Наш редактор в отпуску, и мы статью напечатаем». Я написал небольшую статейку, и ее напечатали. Я говорил о «гражданственности» поэзии Слуцкого, он писал о минувшей войне, о связистках и пленных, о трудной жизни и героизме народа, без ура-барабанов и без сентиментальности. «Называя поэзию Слуцкого народной, я хочу сказать, что его вдохновляет жизнь народа, его подвиги и горе, его тяжелый труд и надежды, ею смертельная усталость и непобедимая сила жизни». Я вспомнил музу Некрасова, оговаривая: «Я не хочу, конечно, сравнивать молодого поэта с одним из самых замечательных поэтов России. Да и внешне нет никакого сходства…» Я удивлялся, почему не издали книги Слуцкого, почему печальное стихотворение о военном транспорте с лошадьми, потопленном немцами, напечатал только журнал для детей «Пионер». Кончал я статью словами надежды, продиктованными годом: «Хорошо, что настало время стихов».

Редактор вернулся из отпуска, и десять дней спустя в газете появилась статья, подписанная преподавателем физики одной из московских десятилеток. По своей специальности автор статьи мог не разбираться в поэзии, да и в родном языке; но, будучи, видимо, человеком достаточно уверенным в себе, он обвинял Бориса Слуцкого в дурном мастерстве и даже в незнании русского языка. Он возмущался моей статьей: «Совершенно неясно ваше утверждение о том, что народный поэт должен воспевать и какую-то «смертельную усталость» народа. Ее, этой самой «смертельной усталости», и не замечаю ни у себя, ни у окружающих меня людей».

Статья была написана в хороню мне знакомом топе и подана под заголовком «Читатели о литературе». Это также не было новым: при Сталине, когда хотели очернить писателя, печатали индивидуальные или коллективные отзывы то учителей, то кочегаров, то агрономов.

В конце сентября и поехал в Венецию на ассамблею «Европейского общества культуры» и там прочитал доклад «О некоторых чертах советской культуры». «Общество» мне показалось несколько провинциальным. Его душой был итальянский профессор Умберто Кампаньоло. В своем докладе он

говорил о культурной политике, говорил на том языке, на котором изъяснялись почти все участники ассамблеи. (В частных беседах все они, будь то философы, юристы или социологи, говорили куда проще.) Многие возражали Кампаньоло, говорили о том, как понимали слово «политика» Платой и Аристотель, надлежит ли применять категории Канта к морали современного общества. Кампаньоло тотчас отвечал каждому. Потом началось обсуждение влияния колониализма на культурную политику; здесь дебаты стали куда яснее: некоторые профессора защищали колонизаторов, в Индии они помогали борьбе с эпидемиями, а в Африке открыли первые университеты. Колониализм все же осудили. Прения после моего доклада были мирными — даже люди, настроенные антисоветски, старались говорить вежливо — такова была политическая погода.

На ассамблее я встретил двух моих приятелей: французского писателя Клода Руа и немецкого поэта Стефана Хермлица. Клод Руа был тогда коммунистом и после XX съезда потерял душевное равновесие. Напрасно я пытался его урезонить, он меня измучил своими мучениями. Хермлин был спокоен, поехал со мной во Флоренцию, в Рим; древности Италии ему, кажется, представлялись более актуальными, нежели события минувшей весны.

После конца заседаний я бродил по улицам Венеции. Это удивительный город — в нем нет автомобилей. Ночью кошки поедают рыбьи отбросы, дерутся, отчаянно мяукают. Зеленоватые тона пробираются в комнаты, даже в зрачки глаз. Венецианцы, члены общества дружбы с Советским Союзом, пригласили меня провести с ними вечер. Я поделился с ними своим оптимизмом. А в моей голове засели стихи Мандельштама, написанные когда-то в Коктебеле:

Адриатика зеленая, прости!
Что же ты молчишь, скажи, венецианка,
Как от этой смерти праздничной уйти?

Заключительное заседание ассамблеи состоялось в Падуе. Я впервые увидел этот город и долго простоял перед фресками Джотто. Подражать им нельзя: у человечества другой возраст, но удивительно, как не стареют произведения искусства — фрески Джотто написаны в начале XIV века все с тех пор изменилось, а живопись восхищает нас, как некогда восхищала паломников.

Несколько дней в Риме прошли в беседах — Моравиа, Карло Лени, Пратолини, Малапарте, Унгаретти, обеды и ужины, споры о корнях слов и о фактуре живописи, словом, все, без чего я не мог

провести дня в каком-либо европейском городе. А здесь еще предстояло серьезное политическое объяснение: когда я был в июне у Жолио, он говорил мне, что итальянские социалисты собираются покинуть Движение сторонников мира, просил поговорить с ними, когда я буду в Италии. Джаикарло Пайетта, когда я сказал, что хочу повидаться с Ненни, усмехнулся: «Что ж, попробуйте…»

Ненни жил в новом доме; на стене большой комнаты висела картина, написанная итальянцем, видимо, разделявшим эстетические концепции А. М. Герасимова. Впрочем, о живописи мы не говорили: с Ненни трудно было беседовать о чем-либо, кроме политики. Он человек обходительный, приятный, но политик с головы до ног. Впервые я увидел его в Испании в годы гражданской войны, а потом, начиная с 1949 года, мы встречались часто на различных заседаниях и конгрессах мира. Он умел прекрасно выразить сбивчивые выступления разноплеменных сторонников мира, а председателя лучше я не видел — он вежливо, но категорически обрывал словоохотливых людей, жаждавших повторить давно им известные истины.

Ненни сначала пожаловался мне, что Москва не понимает его позиций, а потом сказал, что времена меняются, социалистам с коммунистами не по пути и он хочет добиться объединения с социал-демократической партией Сарагата. О своих будущих партнерах он говорил далеко не благожелательно, но поскольку речь шла о браке не но любви, меня это не удивило.

Когда он выложил все, я сказал, что влечение к социал-демократам никак не может помешать дальнейшему участию итальянских социалистов в борьбе за мир. Ненни обещал подумать и предложил мне на следующий день пообедать с ним.

Меня повезли по старой Апииевой дороге, и, глядя на изумительный пейзаж, я чуть было не забыл, какой разговор мне предстоит.

В ресторане оказались Ломбарди и Мартино. К моему удивлению, Ненни оказался самым сговорчивым, он упомянул о последней резолюции Бюро Всемирного Совета, указывающей на необходимость реорганизации движения, и посоветовал Ломбарди поехать на очередную сессию. Ломбарди не верил в реорганизацию, но согласился. Я считал, что дело сделано, и на обратном пути в Рим спокойно любовался древностями. Осень в Риме была не золотой, а серебряной — цвета олив и пахла чайными розами.

Я задержался на несколько дней в Париже и вернулся в Москву незадолго до выставки Пикассо. Еще весной при ВОКСе организовали «Секцию друзей французской культуры», меня

выбрали ее председателем. Выставка Пикассо была одним из первых мероприятий секции. Организовать ее было нелегко. Кроме картин, имевшихся в Эрмитаже и в Пушкинском музее, Пикассо прислал нам сорок новых холстов. Художественными делами тогда еще ведал Л. М. Герасимов, и он пытался воспрепятствовать выставке. Но 1956-й не походил на 1946-й, и выставка открылась.

На вечере, посвященном ссмидесятилетилетию Пикассо, скульптор Конёнков огласил послание художника: «Я давно сказал, что пришел к коммунизму как к роднику и что все мое творчество привело меня к этому. Я рад, что выставку, включающую мои последние работы, увидит в Москве широкая публика. Я часто получал письма из Москвы, в том числе письма от художников. Пользуюсь случаем, чтобы выразить им свою любовь…»

В перерыве приятель рассказывал мне, что на выставке шумно, вызвали даже милицию. Один из посетителей кричал: «Это не искусство, а мазня, шарлатанство!» Его пробовали унять, но он продолжал шуметь. Тогда молодые люди его выбросили вон.

Впрочем, все это было присказкой, сказка была впереди.

9

День открытии выставки Пикассо совпал с первыми сообщениями о событиях в Венгрии. По газетам трудно было понять, что там происходит. 24 октября ТАСС сообщило: «На собрании венгерского ЦК первым секретарем переизбран Эрне Гере. Политбюро назначило премьер-министром Имре Надя», «Жизнь постепенно входит в нормальную колею».

25 октября. «Янош Кадар сменил Эрне Гере на посту первого секретаря». «Порядок восстановлен».

26 октября. «Объявлена амнистия всем участникам вооруженной борьбы, которые сложат оружие». «Сегодня снова вышли газеты».

27 октября. «Как указал в своем выступлении премьер-министр Имре Надь, в борьбе против фашистских элементов принимают участие, наряду с венгерской армией, советские войска, дислоцированные в Венгрии». «Составлено новое правительство».

28 октября. «Ночь прошла спокойно». «Отдан приказ, запрещающий открывать огонь».

29 октября. «Жизнь постепенно входит в нормальную колею».

30 октября. «В некоторых районах города происходит перестрелка. В тех же районах, где спокойно, население включается в деловую жизнь города». «Имре Надь заявил, что возглавляемое им правительство реорганизуется на основе коалиции демократических партий».

31 октября. «Советские войска выведены из Будапешта». «К вечеру жизнь в городе стала оживляться».

1 ноября. «Вышла газета «Кмшуйшаг» — орган независимой партии мелких сельских хозяев». «В Будапеште открыты все продовольственные магазины».

2 ноября. «Промышленные предприятия продолжают бездействовать. Закрыты школы, театры, магазины, музеи, стадионы».

4 ноября. «Воззвание к венгерскому народу Революционного рабоче-крестьянского правительства. 23 октября в нашей стране началось массовое движение, благородной целью которого явилось исправление антипартийных и антинародных ошибок, совершенных Ракоши и его сообщниками, защита национальной независимости и суверенитета. Слабость правительства Имре Надя и растущее влияние контрреволюционных элементов, проникших в движение, поставили в опасность наши социалистические завоевания… Премьер-министр Янош Кадар». Я

слушал передачи из Парижа, Лондона. Они были пространны, но, разумеется, тенденциозны. «Дух Женевы» сразу выдохся. Соединенные Штаты считали, что народные демократии распадаются. «Свободная Европа», работавшая в Мюнхене, день и ночь науськивала, обещала военную помощь Запада, призывала покончить с коммунизмом. Кардинал Миндсенти требовал возвращения церкви монастырских угодий и от теологии легко переходил к политике. В Венгрию начали прибывать эмигранты. Через Австрию переправляли оружие сторонникам Хорти, совершались самосуды, о каждом убитом коммунисте говорили, что он — охранник. За двое суток родилось семьдесят политических организаций. Лишенное авторитета правительство не могло действовать: никто не выполнял его приказов.

Я не собираюсь дать исторический анализ событий 1956 года, не обладаю нужными данными, да это и не входит в рамки моей книги. Для меня было ясно, что в Венгрии, как в Польше, накопилось много недовольства: пришлось платить по счетам сталинской эпохи. В Польше оказался человек, сочетавший большой престиж с не меньшей волей. Ему удалось удержать народное волнение, обеспечить права Польши и закрепить ее верность социалистическому лагерю. Имре Надь не обладал ни авторитетом Гомулки, ни его волей. Он то призывал советские войска, то требовал их вывода, не мог остановить самосуды, признал политические партии, враждебные социализму, и, наконец, объявил о выходе Венгрии из Варшавского блока, а это означало бы коренное изменение сил в центре Европы.

Трагедия многих рабочих Венгрии в том, что, возмущенные режимом Ракоши и Гере, они вышли на улицы, боролись с оружием в руках за чуждые им цели; а трагедия советских солдат в том, что им пришлось стрелять в этих рабочих. Скажу о себе: ноябрь 1956 года был, кажется, самым трудным месяцем в моей жизни: чересчур было горько расплачиваться за чужие грехи.

Я побывал в Будапеште в 1964 году. Люди свободно разговаривали; в книжных магазинах было много переводов и западных авторов и наших; каждый мог получить заграничный паспорт. Осенью 1963 года я встретил на ленинградском симпозиуме писателей Тибора Дери. Он просидел некоторое время в тюрьме, потом его освободили. Он побывал в Париже. Выступая на симпозиуме, он сказал, что в прошлом не сожалеет ни о чем. Лукач работает в Будапеште, его книги издаются. Юлиус Гай, которого я знал в Москве, уехал на Запад. А молодые писатели, с которыми я встречался, спорили о том же, о чем спорят их сверстники в Праге, в Москве, в Варшаве.

Вернусь к осени 1956 года. Воспользовавшись сумятицей,

Израиль, а тотчас за ним Англия и Франция напали на Египет. Англо-французекая авиация бомбила египетские города, израильская армия заняла Газу. Соединенные Штаты в ООН осудили агрессоров. Советский Союз потребовал немедленного прекращения военных действий. 7 ноября кровавая затея была остановлена.

2 ноября мне позвонил в Новый Иерусалим П. Н. Поспелов, сказал, что он и Л. М. Каганович хотят срочно со мной побеседовать. Я ответил, что у меня нет машины. Поспелов сказал, что машину тотчас пошлют, и три часа спустя я оказался в ЦК. Кагановича не было. Поспелов сказал, что он ушел час назад — у него срочные дела, но он поручил Поспелову побеседовать со мной.

Я думал, что разговор будет о Венгрии. Петр Николаевич, однако, показал мне текст обращения, протестующего против на падении израильских войск на Египет. Меня удивило, что речь шла почти исключительно об Израиле. Англия и Франция упоминались мимоходом. Я сказал об этом Поспелову. Петр Николаевич, несколько стесненный, объяснил мне: по мнению Кагановича, с которым он согласен, воззвание должно быть протестом советских граждан еврейского происхождения против действий Израиля. Потянуло февралем 1953 года. Я сказал Поспелову, что я не больше отвечаю за Бен Гуриона, чем он, и охотно подпишу этот текст, если он, советский гражданин русского происхождения, его подпишет.

Воззвание было опубликовано в «Правде» 6 ноября. Инициатор Л. М. Каганович своей подписи не поставил, но подписали текст тридцать два человека, среди них журналист Заславский, писатель Натан Рыбак, академик Минни другие.

Секретарь Поспелова вызвал машину, которая должна была доставить меня в Новый Иерусалим. Водительница, узнав, куда меня нужно везти, воскликнула: «Не поеду!» и добавила: «Боюсь одна возвращаться…» (В это лето было несколько случаев бандитских нападений на шоферов.) Я сказал, что попрошу другую машину, она вдруг запротестовала: «Да я вас отвезу. Просто разнервничалась…» Когда мы выехали из Москвы, она сказала: «А как тут не нервничать? Ведь что делают — людей убивают, рабочих…» Я решил, что она возмущена бомбежками Суэца. Она усмехнулась: «Да я про другое… Капиталисты иначе не могут. Я про наших… Что в Венгрии делается?» Она минуту помолчала, а потом снова заговорила: «Вот объясняют, что виноват Ракоши. А я его во время войны возила. Знаете, у меня грудного ребенка убили. Осколок бомбы… Он у меня на руках был… Я от горя с ума сошла, не ела ничего, не спала. Вот кто-то

из шоферов мне сунул в рот папиросу. Я затянулась, и легче стало — туман в голове. Начала курить. Ракоши от кого-то услышал про мою историю и, когда получал папиросы — половину давал мне. Он со мной вежливо разговаривал, не как наши… А выходит, что рабочие его не захотели. Мне один из отдела рассказывал, что большой завод против нас. Ничего я не понимаю, голова кругом идет!..»

Шла голова кругом и у меня.

18 ноября в Хельсинки состоялось расширенное заседание Бюро Всемирного Совета. Я видел немало сессий и заседаний, происходивших в трудных условиях, но ничего похожего на то заседание не мог себе представить. Нужно было сохранить единство движения, хотя приехавшие не только по-разному рассматривали венгерские события, но неприязненно поглядывали друг на друга. В западных странах чуть ли не ежедневно происходили антисоветские демонстрации. Я знал, что Эррио, Мориак и Сартр вышли из Общества франко-советской дружбы. 18 ноября рано утром ко мне пришел д'Астье. Я позвал Корнейчука, д'Астье сказал, что необходимо предотвратить раскол, предложил компромиссную формулу. Мы посоветовались и решили согласиться.

Началось длительное и хаотическое обсуждение венгерских событий. Итальянские социалисты требовали решительного осуждения Советского Союза. Австралийцы их поддерживали, но в более мягкой форме. Были и другие представители Запада, которые осуждали советское вмешательство. Бог ты мой, сколько пылких речей и гневных реплик я выслушал! Мы пообедали, а вечером поужинали в том же помещении. Настала ночь, споры разгорались. Наконец, в восемь часов утра мы проголосовали единогласно за резолюцию, которую составил д'Астье; вот абзац, где шла речь о том, что нас разделяло: «Совещание обсудило прискорбные события в Венгрии. Совещание признает, что как во Всемирном Совете, так и в национальных движениях за мир по этому вопросу существуют серьезные разногласия и есть противоположные концепции, что не позволяет сформулировать общую оценку. Несмотря на эти расхождения, совещание единогласно признало, что первой причиной венгерской трагедии были, с одной стороны, холодная война с долгими годами ненависти и недоверия, политики блоков, и с другой стороны, ошибки предшествующих правителей Венгрии и использование этих ошибок зарубежной пропагандой. Совещание единодушно сожалеет о трагическом кровопролитии в октябрьские и ноябрьские дни и выражает венгерскому народу в этих испытаниях свою братскую симпатию…»

Итальянские социалисты не участвовали в голосовании — они приехали, чтобы обосновать свой уход из Движения. Все остальные проголосовали за текст д'Астье — и советские делегаты, и польские, и австралийские, и генерал Карденас, и Марк Жакье, и Китчлу.

Когда я возвращался в гостиницу, было темно. Блистала огнями большая предрождественская елка. Финны шли в банки, в учреждения, в магазины. Я заказал в гостинице кофе. Не хотелось спать, да и трудно было себе представить, как провести день в этом чужом городе. На столике стояла нелепая ваза начала нашего века, в нее милая секретарша Финского комитета мира поставила две хризантемы. Ваза была с трещиной, скатерка оказалась промокшей. Я сидел и думал: что-то изменилось не только в нашем движении, но и в каждом из нас.

Мысли путались — от усталости и от глубокой невыразимой печали. Я понимал, что Венгрия — расплата за прошлое, но она стала преградой к будущему, и в то утро мне казалось, что преграду не сломить.

Мне повезло, я на час задремал: можно было не думать.

Когда я вернулся в Москву, я увидел в «Литературной газете» письмо — ответ советских писателей французским. Текст мне не очень понравился — был пространен и порой недостаточно убедительным. Однако шла война. и рассуждать о том, что мы обороняемся не тем оружием, было глупо. Вместе с Паустовским и другими писателями и присоединился к письму.

Я видел имена французских, итальянских писателей под различными обращениям и, связанными с событиями в Венгрии: Сартр, Клод Руа, А. Шамсон, Симона Бовуар, Моравиа, Пратолиии, Витторини, Вайян, Веркор, Ж. Мадоль, Моруа, Ж. Превер, Клод Морган, Кассу, Ломенак, Пьер Эмчанюэль и другие протестовали против действий Советского Союза; среди них были и наши вчерашние союзники и люди умеренных воззрений, еще вчера стоявшие за расширение культурных связей, мои друзья и липа, которых я едва знал. После оттепели, показавшейся не только мне, но и миллионам людей началом весны, наступали заморозки. Я пытался сделать все что мог для того, чтобы помешать возобновлению холодной войны. 1 декабря «Литературная газета» поместила мое «Письмо в редакцию», я кончал его словами: «Мне кажется, нужно уметь отделить наших друзей, которые в том или ином вопросе расходятся с нами, от людей, призывающих к разрыву с Советским Союзом и с коммунистами. Некоторые круги Запада теперь стремятся возродить климат холодной войны и разъединить деятелей культуры, преданных делу мира и прогрессу. Я считаю, что в

наших интересах, в интересах мира сделать все, чтобы этому воспрепятствовать».

Еще летом я предложил от имени «Секции друзей французской культуры» писателю Веркору привезти в Москву выставку современной художественной репродукции. Веркор, как я упоминал, подписал один из протестов. Он думал, что мы отложим выставку до лучших времен. Я предложил ему, наоборот, ускорить свой приезд в Москву и открытие выставки. Он согласился. Обмен письмами был опубликован во Франции и у нас.

Жолио-Кюри решил собрать в Париже вице-президентов Всемирного Совета Мира — обсудить, что дальше делать. Французское правительство дало визу Корнейчуку, а меня в Париж не впустили. Видимо, боялись не жесткости, а мягкости.

Зимой тоскливо просыпаться по утрам в маленьком домике, сдавленном сугробами. Дни куцые, кругом никого, только синицы и воробьи прилетают, соблазненные крошками хлеба. Я вылечился от недавнего простодушия: понял, что понадобятся долгие годы, может быть десятилетня, прежде чем мы окончательно растопим огромные льдины холодной войны, прежде чем у нас весна войдет в свои права. Я думал, что вряд ли до этого доживу, но этим нужно жить, за это бороться.

10

После «Оттепели» я не написал ни одного романа, ни одного рассказа. В 1957–1958 годах я отдавал все свое время очеркам о литературе, об искусстве. Сейчас я задумался: почему? Может быть, мне надоело «выдумывать»? Александр Дюма, когда ему стукнуло шестьдесят, перестал писать, он иронически поглядывал на своего сына, который незаметно клал на письменный стол отца чистые листы бумаги, и однажды не выдержал: «Не старайся зря. Больше писать не буду. Хватит!» А я продолжал изводить бумагу. Право же, я мог бы «выдумать» еще один или два романа. Это, пожалуй, легче, чем писать о чужом творчестве. Автор романа или рассказа вправе изменить если не характер, то поведение своих героев. Чехов переделал развязку рассказа «Невеста», а когда я писал о Чехове, я не мог ничего изменить ни в его природе, ни в его творчестве.

Я много работал, написал предисловия к книгам И. Бабеля и Марины Цветаевой, перевел баллады Франсуа Вийона, сонеты дю Белле, старые французские песни, напечатал очерки о некоторых чертах французской культуры (о Стендале, о художниках-импрессионистах, о Пикассо, о Поле Элюаре). В 1957 году и побывал в Японии и Греции, эссе об этих странах вместе с написанными раньше «Индийскими впечатлениями» составили книгу. Потом я занялся чешским художником середины прошлого века Карелом Пуркине и, наконец, сел за книжку о моем любимом писателе А. П. Чехове.

Мы увидели, что Запад не знает ни нашей литературы, ни нашего искусства. В памяти некоторых людей старшего поколения на Западе остались гастроли театров Мейерхольда, Таирова, Вахтангова, «Броненосец «Потемкин», «Двенадцать» Блока. Люди помоложе ничего не помнили, они восхищались Шостаковичем, чтили Маяковского, которого знали скорее по биографии и по фотографиям, нежели по стихам, и с уверенностью говорили, что русские лишены пластического гения они хорошо поют, особенно хором, а за границу посылают огромные холсты, похожие на раскрашенные фотографии. Никто не знал стихов Пастернака, и «Доктора Живаго» приняли как произведение никому не ведомого гения. Когда показались молоденькие задорные поэты Евтушенко и Вознесенский, их ждал на Западе подлинный триумф. На вечера поэзии Евтушенко пришло больше французов, чем приходили когда-либо на встречи с французскими поэтами (исключаю похороны Гюго). Дошло до явных курьезов — в Италии вышла специальная монография о

«выдающемся художнике новой России» Илье Глазунове.

Наша молодежь ничего не знала о Мейерхольде, никогда не читала стихов Мандельштама или Марины Цветаевой, не видела холстов прекрасных наших художников — раннего Кончаловского, Лентулова, Ларионова, Шагала, Малевича, Фалька. Холсты живописцев Запада — Мане, Дега, Моне, Сезанна, Матисса, Пикассо — были спрятаны в таинственные «фонды». Кафку критики поносили, это было общеобязательным, но никто, даже критики не знали, что Кафка писал.

Когда в 1957 году в книжный магазин Истры привезли несколько экземпляров рассказов И. Бабеля, они долго лежали на полке: никто не слыхал о Бабеле, и его путали с немецким социал-демократом Бебелем. Для молодых людей, вошедших в жизнь после XX съезда, слишком многое было неизвестно. Я перешел к новому для меня жанру не от душевной лени, а от сознания своей ответственности перед читателями.

В начале мая 1957 года я вернулся в Москву из Японии. Ко мне пришел взволнованный В. А. Каверин и сказал, что завтра состоится встреча писателей с руководящими товарищами — намечается крутой поворот к лучшему. Хотя я и сомневался в оптимистическом прогнозе Вениамина Александровича, на встречу пошел. В дверях я столкнулся с Д. Т. Шепиловым, который почему-то сказал мне: «Вам необходимо выступить». Н. Грибачев резко нападал на московских писателей. Выступали многие писатели, отстаивавшие право писателя говорить правдиво или, наоборот, вспоминавшие «клуб Петефи» и нападавшие на тех, кто показывает «теневые стороны жизни». Я выступил и попытался поспорить с теми, кого потом произвели в «автоматчиков». В итоге Н. С. Хрущев сказал, что он согласен с суждениями «автоматчика» Н. Грибачева.

Неделю спустя нас снова пригласили на встречу, которая должна была состояться на правительственной даче, расположенной довольно далеко от Москвы. Сначала, все бродили по аллеям вокруг пруда. Навстречу шел тот или иной ответственный товарищ, окруженный братьями писателями. Потом настал час обеда. Народу было много. Все расселись за длинными столами. Разразилась гроза с проливным дождем. Столы стоили под навесом, но приходилось то и дело приподымать брезент — на нем образовался второй пруд. Промокшие музыканты и певицы жались поближе к сухому месту. Обстановка была шекспировская — гром то и дело громыхал, да и реплики хозяина стола были грозными, их не могли скрасить ни коньяк, ни жареная рыба, изловленная, по заверению меню, в местном пруду. Н. С. Хрущев нападал на К. Симонова, М. С.

Шагинян и почему-то особенно на Маргариту Алигер. К. А. Федин покаялся в том, что чего-то не додумал. Л. Соболев горячо поддержал хозяина стола. Я не выдержал и ушел до конца обеда.

В августе в газетах было напечатано «сокращенное изложение» выступления Н. С. Хрущева под заголовком «За тесную связь литературы и искусства с жизнью». В нем мало говорилось о литературе и искусстве, зато автор неизменно возвращался к своей новой оценке Сталина: «Строительство социализма в СССР осуществлялось в обстановке жестокой борьбы с классовыми врагами и их агентурой в партии — с троцкистами, зиновьевцами, бухаринцами и буржуазными националистами… В этой борьбе Сталин сделал полезное дело. Этого нельзя вычеркивать из истории борьбы рабочего класса, крестьянства и интеллигенции нашей страны за социализм, из истории Советского государства. За это мы ценим и уважаем Сталина. Мы были искренними в своем уважении к И. В. Сталину, когда плакали, стоя у его гроба. Мы искренни и сейчас в оценке его положительной роли в истории нашей партии и Советского государства».

Наладки на писателей были связаны не с критикой литературных произведений, а с изменением политической ситуации.

Московскую организацию писателей Н. С. Хрущев корил за то, что некоторые писатели отнеслись серьезно к тому, что он год назад рассказывал о Сталине. Н. С. Хрущев упоминал о Венгрии, хотя слишком очевидным было различие между страной, которой еще недавно управляли фашисты, и социалистическим государством, родившимся сорок лет назад, где трудно было сыскать человека, жаждущего восстановления капитализма. Хоти была отстранена «антипартийная группа», слишком связанная со сталинской эпохой, Н. С. Хрущев пытался реабилитировать Сталина.

Наступали заморозки. Люди старались не вспоминать о XX съезде и, конечно, не могли предвидеть XXII. Молодежь пытались припугнуть, и студенты перестали говорить на собраниях о том, что думали, — говорили между собой. Страх, заставлявший людей молчать при Сталине, исчез. Он заменился обычными опасениями, существующими в любом обществе: если много кричать, пошлют на работу подальше от Москвы. Вместо объяснений предшествующего периода молодое поколение получило шотландский душ: Сталина то низвергали в бездну, то прославляли, тем самым мораль подменили карьеризмом,

К сорокалетию Октябри была созвана юбилейная сессия Верховного Совета. Собралась она на Центральном стадионе;

впереди сидели депутаты, а за ними свыше десяти тысяч приглашенных. Хрущев читал длинное выступление, делал это он редко, обычно, прочитав страничку, засовывал текст в карман и переходил к живой речи. На этот раз он читал, часто ошибаясь, и лицо у него было сердитое. За ним сидел громоздкий Мао Цзэдун с непроницаемым лицом. Хрущев повторил восхваление Сталина: «Как преданный ленинист-марксист и стойкий революционер, Сталин займет должное место в истории. Наша партия и советский народ будут помнить Сталина и воздавать ему должное». Раздались аплодисменты.

Поворот был резким, и я это почувствовал на оценке моих скромных литературных работ. Еще в 1956 году я написал предисловие к избранным стихам Марины Цветаевой. Книга задерживалась, и мое предисловие напечатал альманах «Литературная Москва». Хотя на совещаниях никто о предисловии не упоминал, много говорили об альманахе он приводился как доказательство «ревизионистских настроений» московских писателей.

Статья о моем предисловии была озаглавлена «Про смертяшкиных», и в ней говорилось: «По древней заповеди надлежит о мертвых ничего не говорить или говорить только хорошее». Цветаева умерла в 1941 году. Пятнадцать лет — это слишком большой срок для поминок. И. Г. Эренбург, задержавшись на поминках, продолжает возжигать светильники, кадить ладан, плакать и рвать на себе волосы… Цветаева повторяет зады Смертяшкина… Нам жаль усилий Эренбурга. Положительно зря возводит он в перл поэтического творения «дорожные грехи праздношатающейся музы» (выражение П. Вяземского)». Другая статья заключала такое суждение: «Эренбург дал в альманах предисловие к книге стихов Марины Цветаевой, книге, еще не вышедшей в свет, пытаясь утвердить за декадентствующей поэтессой, чье имя и поэзия не нашли отклика в сердце народа и давно канули в реку забвения, право на сочувственное внимание массы читателей».

Стихи Цветаевой были изданы пять лет спустя, и «канули и реку забвения» не ее имя и поэзия, а имена и статьи ее хулителей…

Осуждали решительно все, что я писал. О Бабеле, например, я говорил чересчур хвалебно: «Запутанность мировоззрения делала И. Бабеля художником крайне ограниченным». Разругали две странички, написанные для сборника памяти Л. Н. Сейфуллиной. Не обошлось дело и без художников — президент Академии художеств воскликнул: «Писатель Эренбург восхваляет творчество таких формалистов, как Леже и Брак!»

Однако наибольший шум вызвал мой очерк «Уроки Стендаля». Я перечитал теперь несколько статей и откровенно скажу — не понимаю, почему так рассердил блюстителей «основоположных принципов» именно этот очерк. Видимо, он появился в неподходящее время — ведь два года спустя на меня не накинулись за книжку «Перечитывая Чехова», хотя уроки Антона Павловича совпадали с уроками Стендаля да и были куда понятнее молодому русскому читателю. Критики меня упрекали за «маскировку», но на самих критиках были маски: они много рассуждали о романтизме и реализме, об отношениях между Стендалем и Бальзаком, о замалчивании мною трудов российских стендалеведов, о раскрытии, на их взгляд неуместном, сердечных дел Анри Бейля (хотя Стендаль это делал во многих своих книгах). Вероятно, критиков разозлил Стендаль, написавший на нолях рукописи «Люсьена Левена»: «Нужно сделать так, чтобы приверженность к определенной позиции не заслонила в человеке страстности. Через пятьдесят лет человек определенных позиций не сможет больше никого растрогать. Только то пригодно для описания, что останется интересным и после того, как история вынесет свой приговор».

Прошу читателей простить мне столь длинный рассказ о давних литературных неприятностях. Право же, я сделал это не для того, чтобы пококетничать былыми царапинами. Я хотел показать все бессилие атаковавших и стихи Марины Цветаевой, и прозу Бабеля, и живопись импрессионистов, и художественное мышление Стендаля. Конечно, люди, читавшие тогда «Знамя» или «Октябрь», не могли познакомиться с поэзией Цветаевой или с холстами Сезанна, но критикам не удалось оттолкнуть читателей от меня. Критики «согласовывали» свои оценки с тем или иным товарищем, но согласовать со временем ни своей хулы, ни своих острот они не могли. Время подтвердило одно, перечеркнуло другое.

Может быть, думали нападками сломить меня? Когда-то молодой Тихонов написал стихи о людях, из которых можно было делать гвозди. Из моих сверстников многие погибли, многие, не выдержав испытаний, умерли, но некоторых уцелевших время переплавило; мы действительно стали гвоздями. Мы стали неисправимыми и печальными оптимистами. «Гвозди» оказались склонными к тому, что в литературе называют романтической иронией: они посмеивались и друг над другом, и над различными молотками. Это воистину особое племя. Для меня те годы были хорошим испытанием, я понял: можно писать и нужно писать. Когда я отходил от машинки и спускался по крутой тропинке моего сада к речке, я думал о том, что стало последним заданием

моей жизни, о книге воспоминаний.

11

В апреле 1957 года, как я упоминал, я поехал в Японию; об этом путешествии я написал очерк, в котором главным образом хотел показать общность истоков культуры, путь эллинского Диониса в Индию, Китай, Корею, а оттуда в японскую Нару, влияние японских эстампов на художников Франции второй половины прошлого века и многое другое. В книге воспоминаний я хочу рассказать о забавных мелочах да и отметить, какую роль сыграла поездка в Японию в моей жизни.

В Японию я поехал с Любой, нас пригласил специальный комитет, созданный для «приема Ильи Эренбурга». В комитет входили представители общества дружбы Япония — СССР, переводчики русской литературы и работники японского Комитета мира. Деньги дали большая газета «Асахи» и радио. Все было поставлено на широкую ногу. В Фукуоке молодой человек вынес из комнаты гостиницы наши чемоданы в коридор. Люба удивилась. Тогда, поклонившись, он протянул ей визитную карточку, как то делают все в Японии. Текст был напечатан по-японски и по-русски, и мы узнали, что молодой человек «третий секретарь комитета в Фукуоке по приему советского писателя Ильи Эренбурга». Не знаю, что было сказано на его обычной визитной карточке, но, видимо, он гордился временным титулом.

Токио самый большой город мира, в нем тогда было около десяти миллионов жителей, он и самый беспорядочный — многие улицы не имеют названия, дома часто без номеров, адрес скорее рисуют, чем диктуют. Сами японцы путаются. Мы прожили там две недели, много колесили и в итоге находили все, что искали.

Япония — своеобразная страна — то живешь в Азии, то в Америке, то в Европе. Универмаги, большие заводы, вокзалы, аэродромы напоминают Америку. Увеселительная часть Токио скопирована с парижского Монмартра. Приходя в себя, японец у входа в дом снимает обувь и начинает жить по-японски. Японские дома светлы и пусты, о такой современной архитектуре не смели мечтать Корбюзье или наши конструктивисты двадцатых годов: раздвижные стены, комнаты путешествуют, вещи в стенных шкафах, на стене одна картина, в нише одна ваза.

Я привык к особенностям японского быта, но мои ноги не могли к ним привыкнуть. В городе Нагоя мы остановились в японской гостинице. Вечером стелили на полу постели. Одеваться было очень трудно, а отдохнуть невозможно. Молодой переводчик Хара пришел к иам в комнату и вскрикнул от ужаса: увидел на циновке туфли Любы. Она его долго успокаивала:

вынимая платье из чемодана, она вынула туфли — она в них не пришла с улицы.

Помню ужин в Киото; нас угощал мэр города, социалист, он вел серьезный политический разговор о сближении между нашими странами. Это не помешало ему пригласить гейш, которые дали нам розовые визитные карточки, угощали рисовой водкой, улыбались, а потом танцевали и пели. Ужин происходил в японском ресторане. Мы сняли обувь на улице и прошли в зал в носках. Я вытянул ноги под столом и часа два спустя почувствовал, что они замлели. В беседу о развитии экономических и культурных связей ворвались неподходящие мысли: как я встану, чтобы не уронить престиж Советского государства?

Один японский писатель показал мне низенький игрушечный столик: «Здесь я написал мой роман…» Я изумился: романов я написал вдоволь, но написать шестьсот страниц, сидя на полу, показалось мне чудом.

На собраниях, в клубах, в университетах грязно — циновок нет, японцы сидят обутые и кидают окурки на пол. Зато в любом доме идеальная чистота. Крестьянский дом похож на дом городского богача. Люба, конечно, замечала, что циновки другого качества, но для мужского глаза они кажутся одинаковыми.

Религий и сект много. Если взять статистику, то окажется, что синтоистов и буддистов вместе взятых больше, чем всех японцев: многие крестьяне молятся в синтоистских храмах, а хоронят умершего по буддийскому обряду. Однако я не назвал бы Японию страной религиозной: молятся скорее но привычке, чем от обилия чувств. В Токио я видел, как шла по улице парочка: элегантный японец, сноб, с хорошенькой девушкой. Они оживленно о чем-то разговаривали. Подойдя к синтоистскому храму, оба захлопали в ладоши — так молятся синтоисты, а потом пошли дальше, продолжали разговор, останавливались у витрин модных магазинов. В Фукуоке вокруг буддистского храма бегали спортсмены, касаясь ладонями камней. Оказалось, что это больные, жаждущие исцеления. Чудо не заменяет для них медицины, но почему бы не попробовать: а вдруг вылечатся?…

Меня удивила откровенность в разговорах. Того флера, к которому я привык в Европе, не было. Нас повели в дом богатого японца; выяснилось, что тридцать лет назад он переделал для театра мой роман «Трест Д. Е.». Одновременно портные принесли дорогие материи, чтобы Люба выбрала ту, что ей нравится для кимоно. Люба отказывалась — ей не нужно кимоно, но пришедшие с нами японцы объяснили: хозяин хорошо заработал на инсценировке «Треста Д. Е.», следовательно, материя должна

быть самой дорогой. В другой раз Хара — молодой, уговаривая нас выпить чай с тостами, добавил: «Это очень дешево, не стесняйтесь». Жены писателей рассказывали Любе, как изменяют им мужья. В эссе «Похвала тени» знаменитого писателя Танидзаки я нашел рассуждения, что нет ничего прекраснее, чем писсуары из криптомерии и по тону, и по аромату дерева, и по его акустическим возможностям.

Условностей много. Встречаясь, японцы низко кланяются и стараются как можно медленнее выпрямиться. (Один советский работник, только что приехавший в Японию, высказал свое удивление. Посол решил пошутить: «Почти все японцы страдают ревматизмом — климат такой…» Новичок перепугался — сказал, что у него предрасположение к ревматизму.) Встречаясь, также усиленно нюхают друг друга: вдыхают аромат. Секретарь японского Комитета мира, пять лет спустя, когда у нас возникли политические трудности, будучи благовоспитанным, всякий раз тщательно меня обнюхивал.

В первую неделю моего пребывания в Токио я дивился: мы сидели в ресторане с японцами и ели, а позади другие, не прикасаясь к еде, что-то записывали. Потом один из переводчиков показал мне большую газетную статью, в которой довольно фантастически излагалось все, что я говорил за обедом. Я рассказал об этом пригласившим меня японцам, они удивились моему удивлению: «За обед заплатила редакция и, естественно, что она не хочет зря бросать деньги». После этого я стал за едой помалкивать.

Я все же не хочу, чтобы читатель подумал, будто мои впечатления от Японии сводились к тяготам сидения на татами, церемонии приветствий или множеству других церемоний, хотя бы чайной. Страна меня поразила своей глубокой тревогой. Напомню редкие способности ее народа. За два года, когда кончилась изоляция Японии (1871–1872), была построена первая железная дорога, начала выходить первая ежедневная газета, было введено всеобщее начальное обучение, открылся первый университет. Началась индустриализация страны, огромные заводы изготовляли современное оружие, текстильные фабрики, благодаря дешевизне труда, заполнили все континенты своими товарами. Выиграв войну против царской России, правящая верхушка начала готовиться к завоеванию Китая и Сибири. Самураи, в рассказах, совершали подвиги или вспарывали себе живот. Легенды о шпионах и полицейских изготовлялись на конвейере. Тем временем родилась интеллигенция, росло сознание пролетариата. В годы второй мировой войны Японии завоевала почти всю Азию, и тут наступил крах: конец Третьего

Рейха, атомные бомбардировки, капитуляция, Америка сделала все, чтобы поработить Японию, это оказалось очень легким и невозможным.

Японии — это горы, вулканы, узкая прибрежная полоса; только одна шестая территории обрабатывается. Я был в университете Васада, там учатся двадцать шесть тысяч студентов; а всего в Японии пять миллионов студентов на девяносто миллионов жителей. Естественно, что официанты, бухгалтеры, приказчики оказываются людьми с высшим образованием.

Я вспоминаю судьбу писательницы Хаяси Фумико, которая умерла в 1951 году в возрасте сорока восьми лет. Русский перевод шести ее рассказов вышел в 1960 году. Я написал предисловие. Мне понравилось в этих новеллах что-то незнакомое и, вместо с тем, человечное; не знаю, как это определить, пожалуй, вернее всего уничтожающими словами наших присяжных искусствоведов — «смесь барокко с натурализмом». В жизни ей пришлось работать на фабрике, быть официанткой, приказчицей, прислугой, она хорошо знала грубую плоть жизни и ко всему была поэтом.

Женщинам в Японии тяжело: они живут еще в прошлом быту и, вместе с тем, знают, понимают многое не хуже мужчин: из любви к традициям их продолжают угнетать, как карликовые растения, культурой которых японцы гордятся. Однако появились студентки, глаза их выражают ту же тревогу, что и глаза юношей.

Читают молодые очень много, стоят в книжных лавках и читают книгу, не покупая ее. Тиражи асе же большие. Нет ни одного советского или западноевропейского прозаика, хоть сколько-нибудь известного, чьи книги не были бы тотчас переведены. На выставках Пикассо, Матисса, Шагала побывали миллионы японцев. Сотни различных театров от древнейшего Но, где актеры в масках, а позади хор комментирует происходящее, до ультрасовременного «театра абсурда». Сто восемьдесят шесть газет выходят общим тиражом в тридцать пять миллионов. На шесть душ один радиоприемник.

Искусство Японии выдает беспокойство. Японские фильмы имели успех в странах Европы, но зрители добавляли: «Какие они жестокие!» То же самое говорят о переводах японских романов. Что поражает в них? Та пугающая европейцев искренность, о которой я шутливо рассказывал, становится совсем не шутливой в показе войны, голода или одиночества.

Мне понравился поэт и романист Таками. Он был красив, печален и говорил коротко, то со взлетом над миром, то неожиданно грубо. Потом он побывал в Москве, а в 1963 году заболел раком. Его оперировали. Он успел написать короткие

стихи о встрече со смертью и вскоре умер.

Прежде европейцы, попадая в Японию, интересовались гейшами и цветущей вишней: Японию они знали по роману Лоти «Госпожа Хризантема» и опере Пуччини «Госпожа Баттерфляй». Теперь перед туристами маячат атомные «грибы». В Хиросиму я не попал, но был в Нагасаки. Трудно было представить себе, что этот город всего двенадцать лет назад уничтожила атомная бомба: он выглядел оживленным, даже цветущим. На месте, где разорвалась атомная бомба, колонна; неподалеку памятник жертвам.

В музее фотография профессора Токаси Нагаи: он лежит и смотрит в микроскоп — на себе изучает последствия радиации. Он написал книгу «Мы из Нагасаки» и умер. Девяносто процентов жертв бомбардировки умерли сразу или в первые недели, но десять процентов умирали медленно. В 1957 году, когда я был в Японии, я видел людей с обожженными лицами, японцы продолжали заболевать лучевой болезнью, женщины рожали уродцев. В Нагасаки я еще сильнее понял, что совесть не успокоится, пока продолжает изготовляться и накопляться ядерное оружие.

Я вдруг ощутил связь между Нагасаки и всеми бесчисленными конгрессами, конференциями, сессиями, заседаниями, на которых мы говорили о борьбе против ядерного оружия. Мы говорили вчуже, а японцы уже испытали это оружие на себе: первую черновую репетицию уничтожения жизни. Над нами посмеивались — одни злобно («закамуфлированные коммунисты»), другие добродушно («наивные простачки»). В Японии я понял, что не оставлю этой борьбы, пока смогу двигаться и говорить. Может быть, истории мельком упомянет о попытках сторонников мира предотвратить катастрофу, может быть, она признает, что мы сыграли некоторую роль в отказе от ядерного оружия, а может быть, и не будет уж никакой истории. Можно бросить все — и литературу, и политику, но не это — не борьбу за право ребенка на жизнь.

12

В августе 1957 года газета «Ле Монд» поместила заметку своею специалиста по русским делам, подписанную А. П. — Андре Пьер, который, ссылаясь на израильского журналиста Вернара Туриера, обвинял меня в гибели группы еврейских писателей. Бернар Турнер утверждал, что он был арестован в Москве в 1943 году и отправлен в концлагерь возле Братска. Там в 1949 году он встретил нескольких еврейских писателей, среди них Бергельсона и Фефера, которые ему завещали, если он встретит меня, сказать, чтобы я возложил цветы на могилу загубленного мною Неизвестного мученика.

Друзья прислали мне номер французской газеты. Я отправил короткое письмо в редакцию, написал, что среди погибших еврейских писателей были мои друзья и что вкладывать измышления в уста людей, которых больше нет, прием далеко не новый. Редакция поместила мое письмо под заголовком «Антисемитизм г. Эренбурга».

Статью Турнера перепечатали разные газеты Запада, а в 1959 году в Париже вышла книга Леона Ленеманна, который рекомендует себя корреспондентом израильских, американских и южноафриканских газет. Одна глава посвящена мне. Автор не довольствуется измышлениями Турнера, он приводит также рассказ американского журналиста доктора Шошкеса: «Был еще один свидетель обвинения. Вдовы и сироты убитых писателей знают его имя: это Илья Эренбург. Он приезжал на заседание трибунала в своем автомобиле. После того, как он отягчал судьбу подсудимых своими показаниями, он спокойно возвращался к себе, в свою квартиру на одной из самых центральных улиц Москвы — улице Горького».

Я не знаком ни с Турнером, ни с Ленеманном, ни с доктором Шошкесом. Не только семьи погибших еврейских писателей, но и все советские люди, имевшие близких среди жертв Ежова и Берии, знают, что тех, кого намеревались расстрелять, не отправляли ни в какие лагеря. Военный трибунал в Москве в 1952 году приговорил к расстрелу еврейских писателей, в том числе Д. Бергельсона и И. Фефера. О процессе и судьбе писателей я узнал только после их посмертной реабилитации. Никогда меня не привлекали к следствию и, разумеется, не вызывали ни на какой суд. Единственное правильное в сообщении доктора Шошкеса, что я жил и живу на улице Горького.

Есть старая русская пословица: «Господь любит праведника, а господин ябедника». Я встречал в жизни праведников. Не знаю,

как к ним относится Господь Бог, но честные люди их почитали. Зато я хорошо знаю, как различные господа жаловали ябедников и расплачивались с ними не на далеком небе, а здесь, на земле. В Нью-Йорке, Тель-Авиве, в Париже, как во всех городах мира, живут люди честные и бесчестные. Каждый теперь сможет судить о порядочности моих обвинителей.

В шестой части этой книги я рассказал о нападках на «космополитов», которые почти всегда обладали еврейскими фамилиями, а «Крокодилом» изображались с положенными им носами. После 1953 года антисемитизм перешел из высокой политики в закоулки быта, он, однако, не исчез. Я расскажу далеко не все, что знаю, приведу только несколько примеров, чтобы не показаться голословным.

В Дагестане живут горские евреи. По наружности они но походят на евреев Европы, многие проживают в аулах, занимаются виноградарством и скотоводством. Осенью 1960 года ко мне неожиданно пришли четверо горских евреев и возмущенно рассказали, что в газете Буйнакского района появилась статья, критиковавшая разные религии. Обличая иудаизм, автор статьи утверждал, что набожные евреи подмешивают к питьевой воде немного мусульманской крови. Правда, два дня спустя в газете появилось опровержение, а месяц спустя редактора сняли за допущенную им «политическую ошибку»; но приехавшие в Москву делегаты горских евреев требовали, чтобы в газете была опубликована статья, опровергающая древнюю клевету — ритуальное употребление евреями крови инаковерующих. Я пробовал их успокоить, пытался (безуспешно) им помочь. Они прожили в Москве месяц, ходили всюду, куда могли; характер у них был пылкий и твердый. Ничего не добившись, они уехали. Тем временем выяснилось, что буйнакскую газету получали в одной из соседних стран, и злополучная статья была напечатана в некоторых газетах Запада.

Осенью 1959 года два хулигана подожгли синагогу в московском пригороде Малаховка. Об этом вскоре стало известно за границей. Поджигатели оставили на месте преступления и расклеили на Казанском вокзале листовку, подписанную инициалами БЖСР — боевым кличем, казалось мне, забытым, белогвардейцев «Бей жидов, спасай Россию!». При поджоге от дыма задохлась сторожиха. Нашли виновников по одной рассеченной букве в канцелярской машинке. Преступники оказались двумя комсомольцами. Ко мне пришел следователь, спрашивал, какое впечатление произведет на Запале открытый процесс. Я ответил: «Прекрасное». Однако решили иначе: суд был закрытым, поджигателям дали по шест лет исправительных

лагерей. Комитет по делам религий сообщил о приговоре некоторым иностранцам, но советские люди, даже обитатели Малаховки, ничего о суде не узнали.

В 1961 году в «Литературной газете» было напечатано стихотворение Е. Евтушенко «Бабий яр». «Литература и жизнь» напечатала сразу стихи Маркова, утверждавшего, что Евтушенко носит узкие брюки и что он — не русский, и длинную статью Д. Старикова. Желая доказать читателям, что нельзя говорить о национальности жертв фашизма. Стариков приводил мои стихи о Бабьем яре, написанные во время войны, и обрывал цитату до слов: «Моя несметная родня». Я знаю, что во время оккупации фашисты в Бабьем яру убивали участников сопротивления — русских, украинцев, но в народной памяти запечатлелись сентябрьские дни 1941 года, когда гитлеровцы убили в Бабьем яру всех евреев, не сумевших выбраться из Киева, — стариков, больных, женщин, детей. По данным, оглашенным на Нюрнбергском процессе, в течение двух дней гитлеровцы убили там около сорока тысяч советских граждан еврейской национальности.

Я напечатал тогда в «Литературной газете» письмо: протестовал против использования моего имени Стариковым для утверждения мыслей, противоположных моим.

Люди, нападавшие тогда на стихотворение Евтушенко, говорили, что нельзя говорить о зверском истреблении фашистами евреев, потому что фашисты убивали, вешали, расстреливали гражданских лиц других национальностей — русских, украинцев, белорусов. Я достаточно писал в годы войны о зверствах гитлеровцев, не буду повторяться. Укажу только, что русских или украинцев фашисты убивали, подозревая их в скрытом сопротивлении, в связи с партизанами, в укрытии евреев или коммунистов, в нарушении своих приказов; требовался донос бургомистра, старосты или соседа, подозрительность любого эсэсовца. Евреев гитлеровцы убивали только за то, что они были евреями, убивали всех поголовно, стариков и новорожденных. В Праге нацисты предполагали устроить «Музей исчезнувшего народа». Именно это определило понятие «геноцида», значащееся в приговоре Нюрнбергского трибунала.

Стихи Евтушенко сделали доброе дело: право евреев Киева на каменную плиту четверть века спустя после злодеяния было признано.

В декабре 1962 года на встрече правительства с писателями и ху — дожниками Н. С. Хрущев обвинил Евтушенко в выделении национальности убитых гитлеровцами жителей Киева и добавил, что в том же повинен также Эренбург. Евтушенко — молодой

русский, я — старый еврей. Н. С. Хрущев заподозрил меня в национализме. Каждый читатель может сам рассудить, правда ли это.

Я зашел далеко вперед. После выступления Хрущева некоторые антисемиты почувствовали себя окрыленными. Украинская Академии наук выпустила книгу «Иудаизм без прикрас». Книга относилась к антирелигиозным и на украинском языке рассказывала читателям о противоречиях и корыстности иудаизма. Эта книга была воспроизведена за границей. Я находился в Стокгольме, когда миролюбивый швед, незадолго до этого побывавший в Москве и приезжавший ко мне на дачу, принес книгу и попросил объяснить, что все это значит. Давно не было на свете ни Сталина, ни Берии, нельзя было отнести книжонку к ошибкам прошлого. Я долго разглядывал рисунки. Они напоминали журнал гитлеровца Штрейхера, положившего свою жизнь на изобличение евреев. Господь бог, согласно Писанию, сорок лет водил евреев по пустыне. Автор иллюстраций показывал, что он водил их на поводке, водил за носы и носы евреев естественно удлинились. Поведение носатых евреев показано в книге своеобразно: они поклонялись сапогу гитлеровцев, и носатый Бен-Гурион договаривался в Освенциме с эсэсовцами в то время, как там страдал человек с явно не еврейским носом. Мне пришлось отменить пресс-конференцию в Стокгольме. Месяца два спустя книжка была дезавуирована, и поехавший во Францию А. И. Аджубей сообщил, что она изъята из продажи.

Другое, еще более расистское произведение — «Дорогами жизни» — было напечатано в журнале «Днипро». Там описываются козни рода Ляидеров против украинского народа. Родоначальник Исаак Ляндер нашел «гешефт» — получил у поляков в аренду несколько православных церквей, этот «нехристь» обирал украинцев. Внук Исаака Хаим Ляндер учел перемену обстановки: «Зачем раздражать гоев, если можно потихоньку спаивать их и обирать до последней нитки?» Гайдамаки сожгли корчму. «С той поры в семье Ляндеров украинцев не называли иначе, как «эти проклятые хохлы». Наш современник Соломон Ляндер становится сначала бундовцем, а потом большевиком и работником ГПУ.

Третье произведение — «Тля» — было написано по-русски и называлось романом-памфлетом. Роман был направлен против двух врагов — художников «модернистов» и евреев. Все персонажи имеют явных прототипов: это так называемый роман с ключом. Положительный герой Михаил Герасимов, он же А. М. Герасимов, рассуждает: «Пастернак? Трава такая, вроде

петрушки» или «Говорят, формалистскую мазню Фалька и Штеренборга из подвалов вытащили». Художник Борис Наумович рассказывает: «Вот последняя хохма». Когда одна русская спрашивает, что значит «хохма», Борис Наумович удивляется: «самое что ни есть русское слово». В романе действует крупный интриган с темным прошлым «Лев Барселонский». Он повторяет цитаты из статей Эренбурга, во время войны он делал агитплакаты против гитлеровцов, после войны приступил к иллюстрациям Стендаля, а теперь мечтает занять место Михаила Герасимова. К счастью, правительство отправляется в Манеж на выставку, где красуется формалистическая мазня евреев, и расчеты Льва Барселонского рушатся.

После октября 1964 года я не встречал в печати никаких антисемитских вылазок. Но не было и статей, направленных против антисемитизма. Предшествующая эпоха оставила в наследство немало тяжелого. В моей жизни этот вопрос продолжает играть не только скверную, но, я бы сказал, малопристойную роль. Для одних я некто вроде Льва Барселонского, чуждый элемент, существо если и не обладающее длинным носом, то все же занятое темными «гешефтами». Для других я — человек, потопивший Маркиша, Бергельсона, Зускина. Как это слишком часто бывает, торжествуют не праведники, а ябедники.

Однако куда больше, чем моя биография, меня тяготит вопрос о положении евреев в нашей стране. В последние годы Сталина в Москве рассказывали анекдот: еврей заполняет анкету для поступления на службу и, дойдя до пункта пятого, где нужно проставить национальность, вздохнув, пишет «да». Это отнюдь не смешная история. Память о гитлеровском геноциде, преследования евреев в 1948 1952 годах, неприязнь тех или иных соседей — все это вызвало среди советских евреев настороженность, повышенный интерес к своей национальности. А об этой национальности помнят лица, выдающие паспорта, но не лица, ограждающие национальную культуру. В советском обществе евреи сыграли видную роль. Напомню хотя бы о русской советской литературе и назову только имена писателей, которых больше нет в живых: Бабель, Пастернак, Багрицкий, Мандельштам, Тынянов, Светлов, Маршак, В. Гроссман, Ильф. Нельзя, однако, стоять за освоение евреями русской культуры и одновременно не бороться против антисемитизма.

Конечно, я убежден, как и шестьдесят лет назад, не только в гнусности, но и в обреченности любого расизма. Однако сейчас это звучит почти как абстрактная истина, и я чуть ли не каждый день получаю письма от евреев, ущемленных и обиженных. В

таких жалобах, разумеется, немало преувеличений, но если задуматься над происходившим и даже над происходящим, они естественны.

Недавно я был в Праге и видел там в Государственном еврейском музее зал, где на камнях, покрывающих стены, мелкими буквами выдолблены имена трехсот тысяч евреев Чехословакии, убитых гитлеровцами. Рядом древнее еврейское кладбище; плиты на могилах астрономов или праведников, стоявшие века, кажутся восставшим в гневе народом. Я ушел оттуда и долго думал: когда же поймут все народы, все люди душевный мир евреев, уцелевших от нацистского геноцида? Обязательно поймут, но не завтра и не послезавтра.

13

В июне 1957 года по приглашению посла в Афинах М. Г. Сергеева я направился в Грецию вместе с С. В. Образцовым, Б. Н. Полевым, эллинистом А. А. Белецким и архитектором М. В. Посохиным. Групповые поездки не всегда бывают легкими, но мои попутчики оказались хорошими товарищами, все мы понимали нашу задачу: постараться наладить добрые отношения с греческой интеллигенцией. Образцов беседовал с режиссерами и актерами, Полевой с журналистами, Белецкий с учеными, Посохин с архитекторами, а я с писателями. Разумеется, мы встречались и с людьми других профессий, в частности, и познакомился с политическими деятелями различных партий, побывал на собраниях двух организаций, выступавших за мир, но враждовавших между собой: для одних ЭДА, для других либералы были пугалом, куда более страшным, чем все водородные бомбы мира.

Многое из древнего искусства показалось мне новым, хотя я увидел Грецию в третий раз, я, например, прежде не бывал ни в Микенах, ни на Крите. Очерк об уроках эллинской культуры я дал в один из толстых журналов, но редактор, напуганный шумом вокруг моих «Уроков Стендаля», усмотрел в страницах, посвященных искусству Византии, некий скрытый подтекст. Я включил эссе о Греции в книгу очерков и не стану сейчас повторяться. Да и время не очень способствует размышлениям о причинах гибели минойской цивилизации — я пишу эту главу в дни, когда мир взволнован военным переворотом в Афинах, который чем-то напоминает мне переворот, осуществленный испанской военщиной в 1936 году. Судя по французским газетам, многие греческие писатели, с которыми я познакомился, а с некоторыми и подружился десять лет назад, арестованы. Мысли невольно возвращаются к трагической судьбе современной Греции.

Помню, как два замечательных человека Ив Фарж и Поль Элюар — рассказывали мне о мужестве греческих партизан. Когда они были в Греции, исход гражданской войны был уже предрешен и защитники горы Граммос сражались, зная, что их ждет верная смерть. Осенью 1949 года злато и булат взяли верх. Одних партизан расстреляли, других отправили на острова смерти — Макронисос, Агиос, Евстратиос. В 1957 году я увидел первых вернувшихся с острова, их не реабилитировали, даже не амнистировали, они числились в отпуску, не имели права менять резиденцию и должны были регулярно представляться в

полицейские участки. Среди них были поэты, художники. Я долго смотрел рисунки, сделанные на клочках оберточной бумаги: люди в концлагере; слушал стихи на непонятном языке, мне казалось, что они посвящены безнадежной любви, но мне переводили — это были стихи о хлебе, верности, о глотке воды, о потерянной свободе.

Когда мы осматривали Акрополь, один из молодых писателей познакомил меня с Манолисом Глсзосом. Что о нем рассказать? Все знают, что в 1941 году двадцатилетний Манолис взобрался на Акрополь, где красовался флаг Третьего рейха, сорвал его и поднял национальный флаг Греции. Гитлер приказал поймать наглеца и казнить его, но Глезоса не поймали — он участвовал в Сопротивлении и умел прятаться, его приговорили к казни заочно. После изгнания из Греции гитлеровцев новые власти, поддерживаемые новыми оккупантами, арестовали Глезоса и приговорили его к казни, но, натолкнувшись на протесты Западной Европы, заменили казнь тюрьмой. В 1951 году афиняне избрали Глезоса депутатом, выборы были признаны недействительными. Теперь он снова арестован, и жизнь его снова в опасности. Я разговаривал возле колонн Парфенона, как бы твердивших о мудрости, красоте, гармонии, с милым, застенчивым человеком, судьба которого была продиктована Акрополем и оказалась несовместимой с ним. Говорил он мне, конечно, не о древнем зодчестве, а о том, как ему удалось сорвать флаг со свастикой.

С писателем, книги которого я знал и любил, с Никосом Казандзакисом мне не суждено было встретиться. Его жена мне написала, что он хотел познакомиться со мной, но когда он был в Москве, я был в Греции. Он умер год спустя. Его книги известны далеко за рубежами Греции, особенно роман «Христа распинают вновь». Это судьба бедных крестьян в деревне Анатолии, и это судьба Греции: Христа распинают века, тысячелетия.

Казандзакис умер в возрасте семидесяти четырех лет. Поэту Костасу Варналису теперь восемьдесят три года. Мы с ним подружились свыше тридцати лет назад, когда плыли на советском теплоходе из Одессы в Пирей, — Варналис приезжал на Первый съезд советских писателей. О многих греческих друзьях я промолчу; не хочу способствовать работе ищеек военной хунты, которые хвастают своим весьма сомнительным гуманизмом — на первый завтрак они арестовали всего-навсего шесть с половиной тысяч «коммунистов», которых намерены содержать на безлюдных островах. Но о Варпалисе все всем известно: он — поэт, получил Ленинскую премию мира. Мы с ним пили вино в таверне Пирея. Он почти оглох, но, как пушкинский пророк, услышит, как растет

трава и как бьется далекое сердце.

Незадолго до отъезда мы поехали с греческими писателями в Дсльфы. В Древней Греции Дельфы были храмом бога солнца и искусств — Аполлона. Во время празднеств в Дельфах приостанавливались все военные действия. Здесь, у подножья горы Парнас, рядом с прославленным родником вдохновения, мы дали друг Другу клятвы блюсти мир и дружбу. Среди писателей, старых и молодых, был высокий плотный Стратис Миривилис. Он побывал в Москве, он — академик, это не ветреный юноша — ему семьдесят пять лет. Он много провоевал, знает, что даже первая мировая война, которая после Хиросимы нам кажется «войной в кружевах», была страшной, он много прожил, знает человеческую беду, он говорил мне: «Не нужно повышать голос ни в искусстве, ни в жизни. Мы не знаем, о чем пророчествовали пифии, но эти барельефы требуют сдержанности, самоограничения. Наши правители (он чуть усмехнулся), да и не только наши, скромностью не отличаются, но многое зависит от людей, которые не вправе управлять даже своим домиком…»

Я подружился с прекрасным поэтом Яннисом Рицосом. Он принадлежит к более молодому поколению — ему теперь пятьдесят восемь лет; пять из них у него украли — с 1948-го но 1953-й он промучился на острове смерти. Год назад он прислал мне книгу — сделанный им на греческий перевод моего сборника стихотворений «Дерево». Когда и был в Афинах, начиналась кипрская трагедия, и он читал мне отрывки из поэмы о кипрском шофере, который двое суток, сидя в пещере, отбивался от батальона английских солдат; там были строки:

С кем поговорить? Может быть, с этой улиткой?
Она ползет по камню. На ее спине часовни.
Ей рассказать? Но она не услышит,
У нее своя часовня, она молчит.
Мне двадцать девять лет, и мне хочется жить…

Я вспоминаю мою встречу с одним из руководителей Сопротивления киприотов, с архиепископом Макариосом, который незадолго до того был освобожден англичанами — они его сослали на далекий остров (острова, видимо, есть у всех). Я думал, что попаду в монастырь, но архиепископ принял меня в небольшом доме, курил, говорил вполне по-светски. Его позвали к телефону, и, вернувшись, Макариос сообщил мне о новом смертном приговоре, вынесенном на Кипре англичанами, он тихо добавил: «Этих насильников ничего больше не может устыдить…»

Все знают, что Байрон хотел сражаться вместе с восставшими

греками и умер в Месолонгиосе. Он был английским поэтом, а правителей Англии не тревожила кровь греков. Свыше ста лет Греция была негласной колонией Великобритании. Англичане выдали грекам короля баварского принца, а когда баварская династия окончательно скомпрометировала себя, ее заменили датской, к которой подмешали германскую: мать молодого короля Фредерика — внучка императора Вильгельма II. В Дании короли ведут себя тихо, но, оказавшись в Греции, датчане видоизменились, начали активно вмешиваться в политическую жизнь, заключили союз с армией и явно путают, какой век стоит на дворе. На улице Ирода Итакского, вдоволь пышной и уродливой, помещается король Греции и посол Соединенных Штатов. Вряд ли переворот застал их врасплох.

Смена попечителей произошла в 1947 году; решение американского президента могло быть названо «манифестом» или «энцикликой», но у американцев склонность к университетскому языку, и Трумэн окрестил свои притязания «доктриной». Англичане скромно отошли на второй план, конечно, не потому, что вспомнили стихи Байрона, а потому, что страна вековых колонизаторов превратилась в полуколониальную базу Америки.

Упомяну о моем знакомстве с лидером либеральной партии Георгиосом Папандреу, который семь лет спустя стал премьером, был смещен королем, а теперь находится в госпитале под арестом. Его сына, депутата Андреоса Папандреу, военная хунта грозит отдать под суд «за измену родине». Папандреу-отец принял меня у себя дома, угостил на террасе чашечкой кофе, а потом предложил погулять по садику. Цвели южные — небрежные и сладкие розы. Папандреу говорил мне, что он не любит ни коммунистов, ни левую партию ЭДЛ, но он рад встретиться со мной: Греция хочет жить в мире и торговать с Советским Союзом. Говорили мы мирно о том о сем, о том, что в Греции превосходные маслины, что правый премьер Караманлис бессмысленно обозляет студентов, что либералы должны получить на выборах абсолютное большинство, чтобы составить правительство без помощи левых и правых. В конце беседы Папандреу пояснил мне, что не хотел разговаривать со мной в доме, так как не убежден, что ретивые полицейские не понаставили у него магнитофонов. Я поблагодарил хозяина за любезный прием.

Вполне возможно, что военная хунта причислит не только сына, но и отца Папандреу к «прокоммунистам». Испанские генералы называли либерала Асанью, каталонских автономистов, баскских католиков «красными» — таковы традиции военных переворотов.

Коммунистическая партия Греции была запрещена. До 1956 года она грешила сектантством. Художник «отпускник», пробывший много лет на каторжном острове, рассказывал мне, что один догматик грозил ослушнику, читавшему греческий перевод «Оттепели», лишением пайка воды. Это похоже на скверный анекдот. Когда я был в Греции, молодые коммунисты радостно говорили о происшедших переменах. (Много позднее я прочитал о VIII съезде Коммунистической партии Греции, осудившем политику генерального секретаря, мешавшего объединению левых сил страны.)

ЭДА была подлинным объединением различных левых групп и партий. Я увидел многих ее депутатов: один был крупным буржуа и пользовался влиянием в деловых кругах, другой социалистом, третий радикалом во французском значении этого слова, четвертый коммунистом, пятый аристократом из бывших монархистов. Казалось, они не могут ужиться друг с другом, но в Греции все возможно: уживались.

Я не случайно упомянул Испанию, говоря о последнем перевороте в Афинах, много раз передо мной вставала Старая Кастилия или Арагон. Дело не только в пейзаже: зеленую античную Грецию давно уничтожили завоеватели от древних римлян до гитлеровцев: леса не способствуют поддержанию порядка. Рыжие скалы, каменные домишки, прилепившиеся к склону горы, неистовое солнце, все это роднит Грецию с Испанией. Но есть и сходство народных характеров. В обеих странах буржуазия поражала меня своим невежеством, любовью к уродливой мишуре, политической дикостью, но нищие греческие крестьяне, как арагонские или кастильские, дорожат совестью куда больше, чем деньгами.

В представлении многих, грек — торгаш подобно еврею или армянину. Трудно сказать, на чем основаны ошибочные представления, может быть, на баснословном богатстве одинокого Базиля Захарова, одного из королей нефти, а может быть, на оборванце, старающемся всучить английскому лорду обломок танагры, на династии банкиров Ротшильдов или на злосчастных лавочниках в гетто Нью-Йорка, торгующих селедками и солеными огурцами, на реальном, а может быть, мнимом богатстве десятка армян в Париже, в Каире, в Америке или на пословице об армянском хитроумии. Все это чепуха, попытка объяснить свои неудачи чужими подвохами, жажда сорвать душу на ком-то постороннем. Презрение бедных греческих крестьян к деньгам велико: накормят, чем есть, напоят и ласково отвернутся от денег.

Однажды вечером мы решили пойти без греческих друзей (А.

Л. Белецкий знал прекрасно не только древнегреческий, но и современный языки) в один из бедных кварталов Афин, посидеть на улице при таверне, поглядеть на будничный вечер народа. Нищета там ужасающая это один из верхних пригородов, построенных после проигранной войны с Турцией, когда по мирному договору Греции пришлось принять полтора миллиона греков, выселенных из Малой Азии. Здесь не увидишь ни роскошных псевдоклассических дворцов улицы Ирода Аттического или улицы королевы Софии, ни небоскребов, ни домов центра города, лишенных стиля и лица, ни блистающих витринами магазинов, нет, здесь то ли лачуги, то ли бараки, множество детишек на улицах, запах оливкового масла смешивается с вонью нечистот. Мы сели за столик, расположенный на пустой мостовой, и попросили хозяина таверны дать нам бутылку рицины (так называется вино с примесью смолы, чтобы оно не скисло, это напиток всей Греции, кроме Крита, где вино свободно от смоляного привкуса). Хозяин долго рассматривал меня, потом принес бутылку и позвал соседа, который тоже на меня уставился; пошептавшись с соседом, хозяин наконец-то спросил Андрея Александровича Белецкого, правда ли, что с ним пришел советский писатель Илья Эренбург. Четверть часа спустя наш столик был заставлен помидорами, огурцами, колбасами, бутылками вина все это принесли жители улицы. Матери представляли нам малышей. В доме, где, казалось, и мебели нет, нашлись книги, и меня просили подписаться на зачитанных экземплярах «Оттепели». Все это было невыразимо трогательно, с той лаской, с тем благородством, которых не увидишь в центре Афин. Настала полночь, мы хотели заплатить хозяину за вино, он сердито замахал руками. Как нам добраться в гостиницу? Мы ведь ехали сюда чуть ли не час — далеко. Откуда-то вызвали такси, и когда, приехав в гостиницу, мы хотели заплатить шоферу, тот ответил: «Все уплачено наверху вашими друзьями». Этот вечер описал Борис Полевой, но я не мог не вспомнить о нем, рассказывая про Грецию.

Недавно ко мне пришла студентка, которая хочет посвятить себя изучению Стендаля. Мы оба говорили о том, что автора «Красного и черного» увлекали политические бури века. Несколько неожиданно студентка мне сказала: «А я, знаете, охладела к политике…» Потом она начала рассказывать, что неважно — где капитализм, важно — какие люди — хорошие или дурные, а политика ей просто опостылела.

Разве могут разделить чувства этой студентки жители Вьетнама, будь то любитель Стендаля или даже наимудрейший буддист? Разве скажет испанский художник или греческий поэт,

что ему теперь не до политики? Люди, которые говорят о красоте, о гармонии, которые пристойно вздыхают на панихидах, отнюдь не забывают о политике, конечно, о своей: они швыряют бомбы на вьетнамские города, расстреливают студентов в Сан-Себастьяно и сажают в тюрьму поэта Янниса Рицоса. Таковы уроки Греции: сколько бы у меня ни было сомнений и раздвоенности, я твердо знаю, что совесть не терпит, когда снова и снова попирают справедливость, человеческое достоинство, свободу.

14

15 января 1958 года скончался Е. Л. Шварц.

В Ленинграде издан сборник «Мы знали Евгения Шварца» — это воспоминания писателей, главным образом ленинградцев, которые в течение долгих лет встречались с Евгением Львовичем и действительно знали его. Мне обидно, что познакомился я с ним поздно, виделся редко, помню, как я пытался спасти в 1944 году «Дракона», помню его у меня о Москве (ему нравилось жаркое из баранины на французский лад, нашпигованное чесноком), встречались мы и в Ленинграде у О. Ф. Берггольц, у Г. М. Козинцева, приходил он ко мне в гостиницу, но всего этого было мало, чтобы его узнать, и если я пишу о нем, то не потому, что я подметил какие-то не открывшиеся другим черты, а только потому, что полюбил его. (Я хорошо знал некоторых писателей, часто встречался с ними, порой они вмешивались в мою жизнь, но порога этой книги не перешли.)

Почти всегда люди, которым удавалось смешить миллионы людей, сами были мрачными. Можно припомнить описания Н. В. Гоголя современниками, можно — и это куда ближе — задуматься над природой М. М. Зощенко. Оба в определенное время пренебрежительно отзывались о своих прекрасных произведениях и безуспешно, старались написать книги высокой морали. Е. Л. Шварц не походил на них, хотя и умел рожать улыбку, он был человеком жизнерадостным, общительным, любил выступать, дурачиться, ходить в гости, много ел, много пил и запомнился всем как веселый собеседник. Однако не это притягивало меня к нему, а доброта и глубокая постоянная печаль, она скорее скрывалась, никогда не была навязчивой, но я ее неизменно чувствовал.

Не всегда и шутки Евгения Львовича были веселыми. Помню вечер вскоре после конца войны у О. Ф. Берггольц. Мы долго рассуждали, что означают некоторые перемены в составе правительства. Шварц, молчал. Потом, мягко улыбаясь, сказал: «А вы, друзья, как ни садитесь, только нас не сажайте». Это было неожиданно, и, конечно же, мы рассмеялись, но смех был невеселым.

В другой раз я рассказывал Шварцу московские новости, сказал, что над Камерным театром снова нависли тучи. Шварц огорчился; он хорошо относился к А. Я. Таирову да и наступление сил, враждебных искусству, не могло не опечалить его. Однако пять минут спустя он не выдержал и начал декламировать шутливые стихи А. К. Толстого:

Таирова поймали.
Отечество, ликуй!
Таирова поймали.
Ему отрежут нос.

Потом он начал рассуждать: «Конечно, Александр Яковлевич не знал этих стихов, когда выбрал актерский псевдоним. В общем, псевдонимы опасное дело. Лидин — хороший псевдоним, у Пушкина «смеялся Лидии, их сосед, помещик двадцати трех лет». А вот Андрей Белый стал почти что красным, Демьян Бедный, по нашим понятиям, жил богато. Артема Веселого посадили — это совеем невесело…»

Мы шли по ленинградской улице в книжный магазин. Шварц был, как всегда, весел. Потом он спросил меня, кого из русских писателей я больше всех люблю. Я ответил, что Чехова. Евгений Львоннч остановился и отвесил мне церемонный поклон, как придворный в одной из его сказок: «Приветствую! Чехова любят, наверно, миллионы, но миллионы одиночек. А Льва Николаевича любят дивизии, мощные коллективы, дружные семьи…»

Когда в 1948 году шла борьба с «низкопоклонством», Шварц рассказывал о том, что мы открыли, и добавил: «У Чехова патриот говорит: «Русские макароны лучше итальянских». Антон Павлович многое предвидел. Небо в алмазах мы тоже видели — в сорок первом, на крыше…»

Я долго рассказывал Шварцу о домике Андерсена в Одензе, о чемоданах, о большущих зонтиках; он расспрашивал детально, как будто речь шла о доме его прадеда. А потом сказал: «Андерсена датчане сильно прорабатывали. Это очень старая привычка… В общем, короли не любят, чтобы их показывали нагишом, их можно понять — это прежде всего неуютно».

Шварц был прирожденным сказочником, и, на его счастье, мною лет его называли «детским писателем», хотя его сказки зачастую были понятны только взрослым. Детям у нас везло, я говорю это без иронии, скорее с гордостью, даже в самые черные годы советские дети знали лагеря пионеров, а о других лагерях не догадывались. «Детским» писателям было легче, чем тем, которые писали явно для взрослых. Любой тупой педагог все же менее страшен, чем следователь. Шварц как-то сострил по этому поводу: «Лучше получить кол, чем попасть на кол…» Помню, на Втором съезде писателей одну из сказок Шварца назвали «вредной пошлостью». Евгений Львович был болен и тяжело пережил обиду. Но это был глупый укол булавкой, копьем его не прокалывали. Да на этом же съезде О. Ф. Берггольц взяла под

защиту Шварца.

Были, однако, у Евгения Львовича долгие и унылые неприятности. Я думаю сейчас о пьесе, которая мне кажется самой сильной из всего, что он написал: о «Драконе». Он начал эту пьесу еще до войны, а написал ее в Душанбе в 1943 году. Год спустя Н. П. Акимов поставил «Дракона» в Москве. Пьеса была разрешена Главреперткомом, одобрена всеми, кому полагалось одобрять или не одобрять, а после первого спектакля ее неожиданно запретили.

Я никогда не вмешивался в решения Комитета по делам искусств: не верил, что у искусства есть «дела», которыми могут ведать люди, весьма далекие от искусства. Но на этот раз я не выдержал и пошел на совещание, посвященное «Дракону», в Комитет по делам искусств. Я не говорил ни об искусстве, ни о той вечной правде, которой посвящена пьеса Шварца. Шла война, совещание происходило 30 ноября 1944 года — за две недели до того наши войска прорвались в Восточную Пруссию. Я говорил о том, что «Дракон» — удар по моральной стороне всех закамуфлированных покровителей фашизма. Защищал пьесу Н. Ф. Погодин, страстно говорил С. В. Образцов. Никто из присутствовавших ни в чем не упрекал Шварца. Председатель Комитета, казалось, внимательно слушал, но случайно наши глаза встретились, и я понял тщету всех наших речей. Действительно, в заключение он сказал, что из всех мнений вытекает: над пьесой нужно еще подумать. Он хорошо знал, что совещание — пустая формальность. «Дракон» был поставлен восемнадцать лет спустя, четыре года спустя после смерти автора.

Евгений Львович всегда мучился над последними актами своих пьес, они ему давались с трудом. Он хотел, чтоб его пьесы были поставлены, а это далеко не всегда удавалось. В «Дракона» он внес много изменений, он, например, выбросил трогательное воспоминание об убитом драконе. (Не помню точно текста, но был в первом варианте горожанин, который грустно вспоминал, что когда дракон дышал на город, можно было приготовить глазунью, не зажигая печи.) Однако и в исправленном виде сказка не потускнела. Я еще раз убедился, что художественное произведение, написанное на злободневную тему, если оно создано подлинным художником, не умирает.

Недавно опубликовали фантастический роман М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита», написанный тридцать пять лет назад. Ершалаим — живой город, и главы, посвященные Понтию Пилату, я читал как замечательное повествование о нашем современнике, а главы, сатирически изображающие московский быт двадцатых годов, на мой взгляд, устарели. «Дракон» Шварца

не зависит от того, какой канцлер теперь в Западной Германии, — и пьеса, кажется, будет волновать даже наших внуков. Перед нами город, который находится под властью дракона четыреста лет. Каждый год дракон убивает девушку, и вот отец очередной жертвы говорит: «У нас очень тихий город. Здесь никогда и ничего не случается… На прошлой неделе, правда, был очень сильный ветер. У одного дома едва не снесло крышу. Но это уже не такое большое событие». Странствующий рыцарь Ланцелот удивляется: «А дракон?» — «Ах, это? Но ведь мы так привыкли к нему… Он так добр… Когда нашему городу грозила холера, он по просьбе городского врача дохнул своим огнем на озеро и вскипятил его. Весь город пил кипяченую воду и был спасен от эпидемии… Уверяю вас, единственный способ избавиться от драконов — это иметь своего собственного». Кот понимает, почему его хозяин и дочка накануне гибели веселы: «Самое печаль-нос в этой истории и есть то, что они улыбаются». Обреченная девушка рассказывает, что после ее смерти горожане три дня не будут есть мяса, «к чаю будут подаваться особые булочки под названием «бедная девушка» — в память обо мне». Сын бургомистра называет дракона «дракошка… дрaдра». Бургомистр, как испытанный подхалим, говорит своему сыну: «Он, голубчик, победит! Он победит чудушко-юдушко! Душечка-цыпочка! Летун-хлопотун! Ох, как люблю его!.. Ну вот так и доложи!» Отец знает, что сын подослан драконом, и в умилении говорит ему: «Ах, ты мой единственный, ах, ты мой шпиончик!.. Карьеру делает, крошка…» Дракон презрительно поучает Ланцелота: «Человеческие души, любезный, очень живучи. Разрубишь тело пополам человек околеет. А душу разорвешь станет послушной и только… Безрукие души, безногие души, глухонемые души, ценные души, легавые души, окаянные души. Знаешь, почему бургомистр притворяется душевнобольным? Чтобы скрыть, что у него и вовсе нет души. Дырявые души, продажные души, прожженные души, мертвые души».

Конечно, в итоге пьеса кончается хороню: в сказке, где имеется дракон, шапка-невидимка и ковер-самолет, плохой конец был бы такой же нелепостью, как счастливая развязка в «Анне Карениной» или в «Госпоже Бовари». Шварца ругали не за концы, а за начала. Евгений Львович шутя говорил: «Знаете, почему запретили «Дракона»? Освобождает город некий Ланцелот, который заверяет, что он дальний родственник знаменитого рыцаря, возлюбленного королевы Геньевры. Вот если бы вместо него я показал бы Тита Зяблика, дальнего родственника Алеши Поповича, все было бы легче…» Однако у запретивших пьесу были куда более веские резоны: Шварц бичевал деспотизм,

жестокость, приспособленчество, подхалимаж. «Цепкие» души рассердились: это было в 1944 году не по сезону.

Е. Л. Шварц был не только большим художником, но и воистину добрым человеком. Доброта, вопреки мнению многих, не столь распространенное свойство, это скорей дефицитный товар.

Незадолго перед смертью Шварц написал сценарий по «Дон Кихоту» для режиссера Г. М. Козинцева. Все эпизоды фильма созданы Сервантесом, но в картине нет ни одной фразы, переписанной из романа: диалог написан Шварцем. «Дон Кихот» Шварца и Козинцева резко отличается от того образа рыцаря Печального Образа, который был распространен в нашей стране, он соответствует пониманию испанцев Мигеля Унамуно и Антонио Мачадо: Дон Кихот и Санчо — два выражения одного лица и нельзя отделить Дульцинею от Альдонсы; жесткий реализм сплавлен с вечной романтикой.

Я смотрел «Дон Кихота» в Стокгольме и чувствовал, как оттаивали сдержанные молчаливые шведы. А когда, умирая, Дон Кихот прощается с «дамой его сердца», когда он садится снова на Росинанта, а Санчо на своего осла, чтобы продолжать странствия, я настолько был растроган, что не сразу очнулся.

Что к этому добавить? Когда Евгению Львовичу исполнилось шестьдесят лет, я его поздравил и в ответ получил от него ласковое письмо. Я и раньше замечал, что руки Шварца часто дрожали; в последний год его жизни это, видимо, усилилось. Я гляжу на лист с большими буквами, которые содрогаются, как фигуры людей на рисунках Джакометти. Так мог бы подписаться Дон Кихот, избитый «реалистами», или смертельно раненный Ланцелот.

15

Двенадцать лет — с 1954 года по 1966-й — я был депутатом от различных районов Латгалии, из них восемь лет от города Даугавпилса и соседних районов. Вероятно, избирательные участки доставались мне потому, что в них жили люди различных национальностей: русские, латгальцы, евреи, поляки, белорусы, литовцы; разговорным языком почти всюду был русский. Когда перед выборами я приехал в одно старообрядческое село возле Даугавпилса, колхозники, бородатые и похожие на дореволюционных русских крестьян, встретили меня с подносом — хлеб, соль. Они говорили: «Слава тебе, господи, прислали русского!..» (Я был «русским» в отличие от латышей.)

Депутат Верховного Совета должен тратить свои силы не на коротких сессиях, где он слушает и голосует, а и любое время года — он выполняет просьбы местных властей и куда чаще обиженных судьбой избирателей, он адвокат, ходатай, толкач. Даугавпилс стоил мне много трудов, и, вспоминая о нем, я до сих пор чувствую шишки на лбу — от пробитых и непробитых стен. Трудно назвать этот город благополучным и спокойным. Он менял наименования, некогда был Невгиным, потом Динабургом, потом Двинском и после присоединения Латгалии к Латвии сделался Даугавпилсом. Правили им различные власти: рыцари Литовского ордена, Речь Посполита, шведские короли, русские губернаторы, Совет рабочих депутатов, айзсарги Ульманиса, наконец. Советское правительство.

В Дииабургской крепости томился Вильгельм Кюхельбекер. Кюхля. над судьбой которого мы издыхали, читая роман Тынянова. В военном городке я увидел мемориальную доску, которая напоминала об этой давней трагедии. Почти полтора века Двинск был уездным городом Витебской губернии, и накануне первой мировой войны в нем числилось сто двенадцать тысяч жителей — больше, чем в губернском Витебске.

Я никогда не бывал и дореволюционном Двинске и сужу о нем по книгам да по рассказам старожилов. Один пенсионер в Даугавпилсе восторженно вспоминал 1905 год: «Все, знаете, кипело. С утра до ночи митинги. Я помню, как выступал один большевик, его звали Александром, у них были совсем другие имена, чем на самом деле, он вышучивал царя, как цыпленка. У большевиков был клуб, туда ходили все, даже солдаты из крепости. Там был товарищ Мефодий, так, если случалось скандальное происшествие, идут не к приставу, а к Мефодию, честное слово! Пели «На бой кровавый, свитый и правый, марш,

марш вперед, рабочий народ!..» Митинги устраивали и на площади, и в театре, и в синагоге. Раввин прибежал, кричит «ша!», не тут-то было…» (Потом я узнал, что Мефодием был Д. З. Мануильский, с которым я в молодости встречался в Париже.)

По официальным данным, в Двинске в 1914 году было четыре театра и три кинематографа. Первый русский театр открылся в Динабурге в 1857 году; антрепренер, он же актер Медведев, писал, что Динабург был «беднейшим и грязнейшим городом России», но любители пробирались в театр по темным улицам.

Треть жителей в дореволюционном Двинске были евреи. За шесть недель до начала первой мировой войны в Двине к приехал Шолом-Алейхем — читал в театре свои рассказы. Он писал одному из своих друзей: «Такого приема, как в Двинске, я не видел нигде. Вокзал был заполнен еврейской молодежью, засыпан цветами… и всю дорогу от вагона до кареты покрыли цветами… Офицеры, жандармы, полиции чрезвычайно удивлялись. Одни говорили, что приехал знаменитый раввин, другие, что это, наверно, еврейский Чехов или Горький». На вечер пришло столько народу, что пришлось его повторить.

В Двинске родились советские беллетристы Л. И. Добычин, А. Т. Кононов и Александр Исбах. По словам Литературной энциклопедии, Добычин — автор трех книг — был талантливым писателем, но критика его обвиняла в том, что «он сгущает мрачные краски, описывая действительность». В 1936 году, не дожидаясь оргвыводов, Добычин, которому было сорок два года, кончил жизнь самоубийством. Не знаю, как сложилась жизнь Кононова. А. Исбах хлебнул горя его обвиняли в «космополитизме» и отправили в концлагерь, где его грозили убить бендеровцы, в свою очередь не жаловавшие «космополитов»; однако он вернулся живой и сохранил до сего времени энтузиазм былого комсомольца.

В годы 1919–1940 Даугавпилс захирел. В нем осталось сорок тысяч жителей, уехали ремесленники, лавочники, позакрывали многие фабрики. Большая Советская Энциклопедия писала, что во времена Ульманиса Рига рассматривала Латгалию как «полуколониальную страну». Домов не строили, кроме одного, который должен был доказать жителям Даугавпилса мощь Латвии; это было здание с двумя большими залами — театр и концертный зал, с бассейном для плавания, гостиницей и музеем. Жилищного кризиса не было, так как население уменьшилось втрое.

Во время войны было разрушено полностью 1687 жилых домов и частично 1490. В 1914 году в Двинске было 6300 жилых домов. После Отечественной войны две трети домов были

разрушены. А население начало расти. Правда, меньше стало уроженцев города. Евреев, не успевших эвакуироваться (Даугавпилс был занят гитлеровцами на четвертый день войны), сначала переселили в гетто, а потом убили в одном из пригородов. Часть чиновников Ульманиса убежала в Швецию. Зато многие демобилизованные поселились в Даугавпилее — у одного гитлеровцы сожгли дом, у другого убили семью, третий за годы войны отвык от прежнего быта и пытался устроиться на новом месте.

Когда в начале 1954 года я впервые приехал в Даугавпилс, многие семьи ютились в темных подвалах, в бараках, даже в военных убежищах, где люди прятались от бомб. На одну душу приходилось четыре квадратных метра жилплощади чуть больше, чем полагается мертвецу на кладбище.

Разрушенные частично дома залатали. Счастливчики устроились — кто получил квартиру, кто построил домишко. В 1956 году приходилось на человека пять метров, в 1960 году — шесть. Однако эти цифры не отражали действительности — ведь были в городе и люди, занимавшие просторные квартиры. А были и семьи из четырех-пяти душ, которые задыхались на шести квадратных метрах. Передо мной были не цифры, а живые люди, ждавшие меня с раннего утра в приемной. Чуть ли не каждый день л получал письма, и большие кривые буквы кричали: «Мы не живем, мы мучаемся и гибнем. Спасите!»

Мне сейчас тесно от множества папок с письмами из Даугавпилса. Меня обступает давняя тоска. Я взял наугад несколько десятков писем. Л. Мицкевич писала: «Я понимаю, что вы тоже человек, хотя и больших заслуг». Она пишет, что живет с мужем и двумя детьми в комнате из Одиннадцати квадратных метров, стоит на очереди остронуждающихся в жилплощади с 1950 года, а пишет она в 1958 году. Инвалид Дермидович жил на чердаке с вертикальной лестницей — пять с половиной метров, с ним жена и четырехлетний ребенок, который дважды падал с лестницы, получая тяжелые ушибы. В 1959 году Дадыкин с женой и двумя детьми и с братом помещались на десяти квадратных метрах. Дворник пединститута Сергеенко жила у родителей, там было шесть душ и девять квадратных метров. Адвокат Гейн шестидесяти лет жил со старшей сестрой в конуре; они спали по очереди на одной кровати, поставить другую не было места, — спали на табуретах, тринадцать лет он стоял на очереди. Чумилова жила на десяти метрах с мужем, у которого был острый туберкулез, и с тремя детьми. Она была на очереди с 1957 года 689-й, а в 1960-676-й. «По такому расчету я получу комнату через тридцать лет после смерти». Сергеева проживала в аварийном

доме лестница обвалилась, печь не действовала, прожила она так семь лет. Пасторе с ребенком жила в сырой каморке — пять с половиной квадратных метров — шесть лет, я писал о ней, просил, наконец ей дали комнату: «Вы спасли моего ребенка от верной смерти». Семья Шутова из восьми человек ютилась в развалившейся комнате на пяти квадратных метрах. Актер городского театра Демидов вместе с другими актерами жили в служебном помещении — шесть квадрат-пых метров, с ними ночевала молодая актриса, которая, не вытерпев таких условий, уехала в другой город. Уборщица Дмитриева должна была платить частнику за угол десять рублей, а получала она тридцать рублей в месяц. Мужа не было, но был ребенок. Жуковы с ребенком имели пять квадратных метров — при кухонное помещение. Скреба, бывшая подпольщица при немецкой оккупации, с мужем и тремя детьми жила на шести квадратных метрах. А. А. Анцаинс писала: «Живу с матерью, которой семьдесят три года, на кроватном месте, три сына матери погибли на Отечественной войне, четвертый получил контузию и стал инвалидом… Разве не смехотворно, что за пять лет мы продвинулись всего на четыре номера?» Работница «Красного мебельщика» молила: «Не могу дольше жить с мужем и четырехмесячным малышом в кладовке, притом проходной — семи метров…» Муж Созоненковой погиб, она работала и получала (в старых рублях) в месяц 230 рублей, из них она платила частнику за комнатку 60 рублей, за свет 15. Жила она за городом, и 15 рублей обходился проезд трамваем к месту работы; у нее был сынишка: «Остается 135 рублей, на них мы никак не можем прожить… Сейчас зима, холодно — не отапливают. Как дальше быть?» Мосляковой дали десять метров, но в аварийном доме, печь не действовала, и дверь была стеклянная, с нею жил отец восьмидесяти трех лет и больной ребенок. Педагоги Семеновы и дочь восьми лет жили в четырех километрах от города на семи квадратных метрах. Хватит считать квадратные метры и мерить человеческое горе, я мог бы привести сотни сходных жалоб, но я пишу не доклад председателю исполкома, а книгу воспоминаний. Пусть читатель представит себя на полутора-двух квадратных метрах здесь ему не до чтении мемуаров, а повеситься только, как это сделал один рабочий даугавпилсского завода.

В 1957 году пленум горсовета принял резолюцию: «Исполком Горсовета допускал серьезные ошибки в распределении и закреплении жилплощади. Зачастую жилплощадь предоставлялась гражданам без установленной очереди. Так, в этом году из 111 семей, получивших жилплощадь, 44 семьи не

стояли на очереди». Местные власти объясняли мне, что им приходится предоставлять квартиры специалистам, советским и партийным работникам, которых присылает Москва или Рига. Были, наверно, и злоупотребления. Я много раз предлагал, чтобы списки стоящих на очереди были вывешены в горисполкоме — каждый мог тогда бы проверить, кому дали квартиру или комнату в построенном доме, но мои предложения неизменно отклонялись. Все же дело было не в ломтях хлеба, неправильно распределенных, а в недостатке муки. С 1960 года начали больше строить жилые дома, и положение, несколько улучшилось.

(Конечно, все условно: в справке, представленной мне исполкомом 1 августа 1960 года, в Даугавпилсе жили в домах аварийных и подлежащих сносу 1267 человек, а на очереди за получением жилплощади числилось 3336 душ; следовательно, всего 4603 человека жили в тесноте и в обиде; но дома строили и у злосчастных обитателей лачуг или подвалов помнилась надежда.)

Я не раз обращался к председателю Совета Министров СССР и в Секретариат Центрального Комитета и в1954-м, и в 1957-м, и в 1960 году — просил ускорить строительство жилых домов и промышленных предприятий, которые позволили бы дать работу женщинам.

В 1957 году в Даугавпилсе на заводах и фабриках, в различных мастерских работали всего 8400 человек, а о трудоустройстве просили 6000 — главным образом женщины, которые не могли рыть землю пли таскать камни. Я поддержал просьбу горкома и горисполкома: построить часовой завод. кабельный завод, крупную трикотажную фабрику, расширить завод «Электроинструмент», фабрику «Красный мебельщик» и мясокомбинат. Часть предложений была принята, и в этом вопросе, чрезвычайно остром, также наметилось улучшение.

Остро стоял вопрос о пенсиях: старые обитатели Даугавнилса по большей части не обладали документами о прежней работе. Передо мной одно из последних дел Т. Д. Трофимову назначили в 1950 году пенсию, а десять лет спустя перестали ее выплачивать: пересмотрели документы и заявили, что он не доработал до срока трех месяцев. Старику было восемьдесят три года, и работать больше он уже не мог. Выяснилось, что отдел социального обеспечения при эвакуации сжег документы. Дело перешло в латвийское министерство, и год спусти признали, что виноват отдел, и удовлетворились свидетельскими показаниями: он начал получать, как указывал документ, «30 рублей 71 коп».

Порой я помогал местным властям. Я раздобыл, например, четыре километра рельсов для ремонта трамвайного пути. Порой

мне приходилось бороться с затверженными навыками прежней эпохи. Парк и скверы были в жалком состоянии, отвечали — «нет средств»; между тем отпущенные на озеленение города деньги потратили на часы из цветов, которые вскоре остановились. Освещали, как Бродвей, центральную площадь возле гостиницы и путь до нее от вокзала, а улицы окраин вовсе не освещались, и остряки называли их «Костоломными». Я написал об этом статью в местной газете, которая не всем понравилась. До часа дня в городе нельзя было позавтракать — рестораны предпочитали вечерние часы, когда посетители пьют не чай, а водку. Командировочным в гостинице ничего не отпускали. Конечно, это мелочь по сравнению с проблемами трудоустройства и жилплощади.

Почему я посвятил Даугавпилсу главу, может быть, скучную для читатели? В этом неблагополучном городе я узнал изнанку жизни. Мне было под семьдесят, изнанка не могла скрыть от меня лицевой стороны, и видел несчастье и успехи, пот людей и горы канцелярской бумаги — писателю нужно знать все. Я знаю молодых авторов, которые написали по одной хорошей книге, а потом, перекочевав в Москву, стали ездить в международных вагонах в Ялту и встречаться только со своими коллегами. Немудрено, что ничего путного они больше не писали. Учиться надо и в старости, иначе придется умереть задолго до смерти.

Я рад, что участвовал в повседневной жизни города, не знаю, почему именно мне пожалованного. Знаю я философов, которые, прочитав такое, пренебрежительно отмахиваются: «То малые дела». Обычно подобные рассуждения исходят от людей с весьма передовыми идеями, но с душевной ленью. Нет малых дел: есть работа и есть безделие, есть участие и холод сердца.

Вот почему я и написал про мой Даугавпилс.

16

В седьмой части этой книги я писал о годах, о людях и куда меньше о своей жизни. Правда, события, о которых я рассказывал, разуверения и надежды были тесно связаны с моей судьбой, но они не отделены ни от меня, ни от читателей длинными десятилетиями, их помнят даже молодые; перестав быть газетными новостями, они еще не стали историей. Это заставило и заставляет меня многое опускать, повествование становится суше, чем того хотелось.

Осенью 1957 года я неожиданно для себя начал писать стихи. Это было в яркий холодный день осени. Я стучал на машинке, поглядел в окно.

И вдруг, порывом ветра вспугнуты,
Взлетели мертвые листы.
Давно растоптаны, поруганы
И все же, как любовь, чисты.
Большие, желтые в рыжие
И даже с зеленью смешной.
Они не дожили, но выжили
И мечутся передо мной.
Но можно ль быть такими чистыми?
А что ни слово — невпопад.
Они живут, но не написаны.
Они взлетели, но молчат.

Так я закончил первое стихотворение, написанное после перерыва в десять лет. Все, что приключилось в мире за последнее десятилетие, заставляло меня часто и мучительно думать о людях, о себе: эти мысли выходили из ранок исторических оценок, ставились невольными итогами длинной, трудной и зачастую сбивчивой жизни.

Помню, как Фадеев, зашитая поэзию Ольги Берггольц, советовал ей отказаться от термина «самовыражение». Действительно, много слов, начинающихся с предлога «само», звучат скорее порицательно: самовластие, самоуправство, самохвальство, самочинство, самообожание, самонадеянность, самодовольство и так далее. Однако лирическая поэзия слишком часто является именно самовыражением или, если слово не нравится, дневником. В отличие от дневников, стихи могут быть связаны с одним часом или с долгими годами жизни, но они

неизменно рассказывают о том, чем жил автор, об его мыслях и чувствах. Разумеется, не каждый читатель примет то или иное стихотворение за выражение его мыслей и чувств, но каждый, прочитав то или иное стихотворение, неожиданно удивится: как точно выразил поэт то, о чем он смутно думал.

Шестьдесят лет назад Брюсов провозглашал: «Быть может, все в жизни лишь средство для ярко-певучих стихов»; это было одним из многочисленных литературных манифестов, и, конечно, для самого Брюсова многие события — и личные, и общественные — были не средством, а сущностью. Мой поэтический дар и мастерство весьма ограничены, и, вспомнив еще раз слова на «само», и вправе сказать, что никогда не страдал самообольщением. Мои стихи это дневник; в списке членов Союза писателей я значусь «прозаиком». Если в книге воспоминаний я не раз останавливался на моих стихах и теперь снова к ним возвращаюсь, то только для того, чтобы рассказать о самом себе. Стихи отвлеченнее и, вместе с тем, конкретнее прозы, в них можно рассказать о большом, не впадая в ту нескромность, которая всегда мне претила.

Я рассказывал, как XX съезд потряс и моих соотечественников, и граждан зарубежных стран, как в любой советской семье шли разговоры, полные страсти, как один из французских догматиков мне говорил: «У вас происходит термидор», как Роже Вайян плакал одновременно и над Сталиным, и над его жертвами. Может быть, иному читателю может показаться, что я наблюдал события 1956 года со стороны, как бесстрастный летописец. Нет, я многое передумал, и буря противоречивых страстей трепала меня, как утлое суденышко среди разъяренного моря.

В 1938 году, думая над тем, что происходит в нашей стране, я писал стихи, полные отчаяния:

> Додумать не дай, оборви, молю, этот голос,
> Чтоб память распалась, чтоб та тоска раскололась…
> …
> Чтоб биться с врагом, чтоб штыком — под бомбы, под пули.
> Чтоб выстоять смерть, чтоб глаза в глаза заглянули.
> Не дай доглядеть, окажи, молю, эту милость.
> Не видеть, не вспомнить, что с нами в жизни случилось.

Двадцать лет спустя, узнав и пережив многое, я думал над тем, «что с нами в жизни случилось». Обращаясь к воображаемым «детям юга», я говорил:

Да разве им хоть так, хоть вкратце,
Хоть на минуту, хоть во сне.
Хоть ненароком догадаться.
Что значит думать о весне,
Что значит в мартовские стужи,
Когда отчаянье берет,
Все ждать и ждать, как неуклюже
Зашевелится грузный лед.
А мы такие зимы знали,
Вжились в такие холода,
Что даже не било печали,
А только гордость и беда.

Я говорил, что не мог поверить во многое из того, что писали или говорили о «врагах народа», никогда я не подписывал обращений, требовавших смерти мнимых «предателей». Однако я не хочу выставлять себя как мудрого и смелого изгоя. Подобно всем моим соотечественникам, я «вжился» в зимы сталинских лет. В декабре 1949 года я написал статью «Большие чувства» и в ней рассказывал о том обожании Сталина, которое я видел и у нас на фронте, и в Испании, и среди французских партизан. Эта статья может быть справедливо отнесена к «потоку приветствий». Обожествление человека тогда мне казалось цементом нашего общества, порукой, что идеи Октября будут ограждены от врага. Я не думал оправдывать себя: не веруя, я поддался всеобщей вере. Я проклинал слепую веру:

Вера — очки и шоры.
Вера двигает горы.
Я человек, не гора.
Вера мне не сестра.
…
Видел, как люди слепли,
Видел, как жили в пекле,
Видел — билась земля.
Видел я небо в пепле.
Вере не верю я.

Порой, задумываясь о недавнем прошлом, я сурово судил и себя, и всех, с которыми встречался, плотное молчание, как густой туман стоящее вокруг, шепоток — такой-то «загремел» — и обычные каждодневные заботы. Я писал о том, что казалось мне воздухом в шахте, глотком воды в каменной пустыне:

Есть надоедливая вдоволь повесть,
Как плачет человеческая совесть.
…
Она скулит, что день напрасно прожит
И что не лезет вон никто из кожи.
Что убивают лихо изуверы
И что вздыхают тихо маловеры.
Она скулит, никто ее не слышит
Ни ангелы, ни близкие, ни мыши.
Да что тут слушать? Плачет, и не жалко.
Да что тут слушать? Есть своя смекалка.
Да что тут слушать? Это ведь не дело,
И это веем смертельно надоело.

Что меня поддерживало? Верность. Я повторялся: еще в 1939 году я написал стихотворение «Верность» (так назывался и сборник стихов).

Грусть и мужество — не расскажу.
Верность хлебу и верность ножу.
Верность смерти и верность обидам.
Вреда сердца не вспомню, не выдам.
И сердце целься! Пройдут по тебе
Верность сердцу и верность судьбе.
В 1957 году я кончал стихотворение о вере:
Верю тебе лишь, Верность,
Веку, людям, судьбе.

Вспоминая пути и перепутья моей жизни, я видел в них некоторую единую линию:

Одна судьба — не две — у человека,
И как дорогу тут ни назови,
Я верен тем, с которыми полвека
Шагал я по грязи и по крови.

«Грязь и кровь» для меня были не логическим следствием идей Октября, а их попранием. Я не мог понять некоторых зарубежных друзей, которые еще недавно прославляли не только Сталина, но его опричников, одописцев и богомазов, а услышан правду о недобрых годах, усомнились в самой возможности более справедливого общества. Религии знали фанатиков и отступников

они держались на вере и на отказе от веры, но как все это далеко от поединка между старым и новым миром! Меня поддерживал героический труд нашего народа, его самоотверженность в годы войны, его творчество, загнанное под землю и нее же пробивавшееся из-под земли живыми родниками. Стихи я писал не в 1956 году, а в 1957–1958 годы, когда наступили заморозки. когда Н. С. Хрущев перед Мао Цзздуном восхвалял Сталина, когда любой расторопный газетчик выливал на меня ушаты грязи; и все-таки я знал, что земля вертится, что к прошлому нет возврата. Я писал о часовом:

Быть может, и его сомненья мучают,
Хоть ночь длинна, обид не перечесть,
Но знает он — ему хранить поручено
И жизнь товарищей, и собственную честь.

Мои стихи не ограничивались теми сложными и трудными вопросами, которые стояли перед всеми нами после 1956 года. Я впервые ощутил свой возраст. Нужно было многому научиться в той науке, которой не преподают ни в какой школе. Я говою о «соседе», которого знал слишком хорошо:

Погодите, прошу, погодите!
Поглядите, прошу, поглядите!
Под поношенной, стертой кожей
Бьется сердце других моложе.

Я писал о подмосковном саде, в котором многие цветы зацветают накануне первых заморозков, и признавался:

И только в пестроте листвы кричащей,
Календарю и кумушкам назло,
Горит последнее большое счастье,
Что сдуру, курам на смех, расцвело.

Я впервые усомнился в том материале, с которым связал свою длинную жизнь, — в верности и точности слова. Конечно, я и раньше страстно любил стихи Тютчева о молчании и часто повторял про себя: «Молчи, скрывайся и таи», но те опавшие листья, с которых я начал первое стихотворение, были именно словами, бессилием выразить себя. Мне казалось, что я чувствую природу слова, его цвет, запах, нежность или грубость оболочки,

но любое слово падало в бессилии, повышавшее или принижавшее. Я видел, что не могу сказать того, что хочется:

Ты помнишь — жаловался Тютчев:
«Мысль изреченная есть ложь».
…
Ты так и не успел подумать,
Что набежит короткий час.
Когда не закричишь дискантом.
Не убежишь, не проведешь,
Когда нельзя играть в молчанку,
А мысли нет, есть только ложь.

Это было не только признанием своей поэтической беспомощности, да и не только самовыражением. В повести И. Грековой, напечатанной пять лет спустя, я нашел такой разговор молодых сотрудников лаборатории о моих стихах:

«— Ведь он не нов… ведь он готов, уютный мир заемных слов. Лишь через много-много лет, когда пора давать ответ… мы разгребаем… да, кажется, разгребаем… мы разгребаем груду слов — ведь мир другой… он не таков… слова швыряем мы в окно и с ними славу заодно…

— Что это? Постой, что это? Не что, а кто, дурья голова.

— Ну, кто это?

— Это он. Эренбург».

Мне кажется, что в этой главе я хотя бы условно и, наверно, художественно маловыразительно рассказал о моей жизни тех лет, о клубке, где сплелись различные нити. Может быть, читатели о многом другом догадаются — они ведь не далекие потомки, а мои современники.

17

Осенью 1959 года я впервые увидел Армению. «Слишком поздно», мог бы я сказать себе, но в старости любовь глубже.

На ереванском аэродроме меня и Любу встретили М. С. Сарьян, писатели, старые и молодые. Нас отвезли в гостиницу; все поднялись в номер, и, подойдя к окну, один писатель воскликнул: «Отличная комната не видно памятника!..» Над городом высилась огромная статуя Сталина; подобные памятники можно было увидеть еще в любом городе, но по размерам он был исключительным — вместе с постаментом свыше пятидесяти метров. Виден он был отовсюду, и жители Еревана сокрушались, что не успели его убрать в 1956 году.

(После XXII съезда памятник снесли. Остался постамент, а поэт Гсворг Эмин писал:

Стоят без монументов пьедесталы.
Пуст пьедестал, Но все еще тяжел.
…
Пора разрушить камни пьедестала!
Разрушим их, чтоб никогда не встала
На них гранитная пята…)

Вечером в ресторане официант принес нам бутылку шампанского, вставленную в корзину с фруктами. Я удивился, он пояснил: «Посетители подносят». Я знал кавказское гостеприимство, но меня удивило, что люди, заплатившие за шампанское, не подошли к нашему столику с пышным тостом. Вскоре я понял, что в армянах страстность и непосредственность сочетаются с душевной сдержанностью.

Мне придется напомнить об истории. В 1926 году я был в Трапезунде. Работник советского консульства показывал мне изуродованные статуи древнего армянского храма и рассказывал, как десять лет назад турки по приказу министра внутренних дел Талаата-иаши уничтожили всех армян; они загоняли злосчастных на транспорты, уверяя, что отвезут их в Сивас; транспорты вскоре вернулись пустые; армян сбросили в море.

Во всей Турции армян якобы переселили в другие области, на самом деле их уничтожали, убивали в горных ущельях, кидали в море, оставляли без воды в пустыне; некоторое количество красивых девушек поместили в публичные дома для солдатни, а вообще убивали всех — и женщин, и стариков, и грудных

младенцев. Это было первым опытом геноцида. Гитлеровцы убили шесть миллионов евреев, младотурки — полтора миллиона армян. Если восемьсот тысяч армян добрались до России, до стран Арабского Востока, до Франции и Соединенных Штатов, то объясняется это отсутствием немецкой аккуратности, отсталостью техники — у турок не было газовых камер.

Нацисты учли опыт турецких изуверов: в 1939 году на секретном совещании фашистов в Оберзальцбургере Гитлер, изложив план поголовного истребления евреев, добавил: «Нечего обращать внимание на «общественное мнение»… Кто теперь помнит об истреблении армян?»

В наш век национализм повсеместно торжествует. Однако нужно уметь отличить память об убитых от памяти убийц. Чувства армян мне понятны. Исчезла Западная Армения — изумительные памятники древнего зодчества, традиции — от высоких мастеров раннего средневековья до молодых писателей начала нашего века. Уцелевшие рассеяны по всему свету. Из трех армян один далеко от Еревана, может быть, в Бейруте, в Лионе или в Детройте. Для любого армянина Арарат, который высится над Ереваном, — тень растерзанной Западной Армении. Арарат изображают на холстах и на пачках сигарет, на коньячных ярлыках и на пригласительных билетах.

После второй мировой войны двести тысяч армян переехали в Советскую Армению. Многие прижились, но были и не поддающиеся пересадке. Вероятно, они поддались своим чувствам и недостаточно знали о социальном строе и о быте нашей страны. Один мастер-ювелир мне жаловался: в Каире он изготовлял художественные безделки и жил припеваючи. А что ему делать в Ереване? Дантист привез из Бейрута оборудование зубоврачебного кабинета, а тут ему сказали, что он не имеет права заниматься частной практикой. Со многими мне пришлось разговаривать по-французски: не знали русского языка. На толкучке женщины продавали привезенное из Франции барахло. Подросток, приехавший с отцом из Франции, называл себя сюрреалистом, писал стихи на французском языке и мечтал вернуться к матери, которая осталась в Париже.

Я пошел в мастерскую художника Галенца. Он приехал в Армению из Ливана. Он жил и работал в сарае, который трудно было назвать мастерской. Он не жаловался, хотя интервью со мной три дня держали в редакции, уговаривая снять имя «формалиста» Галенца. Ему помогал в Москве известный физик А. И. Алихапьян. Время еще было трудное — к 1959 году холсты А. Герасимова среди некоторых чиновников считались образцами искусства, Галенц в конце концов победил: в Ереване выставили

его холсты. Вскоре после этого он умер.

Патриотизм армян обострен, подчас он может показаться исступленным, но никто не спутает его с шовинизмом, отрицающим чужую культуру, и никто не назовет его провинциализмом. Кажется, среди армян я не встречал людей, чуждых идее интернационализма.

Я вспоминаю встречу в Москве с Аветиком Исаакяном. У него было лицо с множеством морщин, похожее на древний пергамент, лицо философа и ашуга. Александр Блок писал: «Поэт Исаакян — первоклассный; может быть, такого свежего и непосредственного таланта теперь во всей Европе пет». Исаакяну повезло, его переводили задолго до стандартизации переводов, переводили поэты — Блок, Брюсов, Пастернак, Ахматова. Стихи его не всегда были «светлыми». Он умер восьмидесяти двух лет, половину из которых прожил далеко от родины. В старой поэме об Абу Ала Маари, посвященной уходу от жизни знаменитого арабского поэта XI века, он писал:

> Людей и народ покинули мы? Закон, справедливость, отчизну, права?
> Иди все вперед! Покинули мы лишь оковы и цепи, обман и слова!
> Что слава? Сегодня возносит тебя, именуя, ликуя, к последней черте,
> А завтра с презреньем каменьями бьют и топчут, повергнув, в своей слепоте.
> …Да что и отчизна? Глухая тюрьма! Поле брани и злобы, где правит толпа,
> Где тиран беспощадный во славу свою в пирамиду слагает жертв черепа.
> …Ненавижу я чернь! Раболепна, тупа, она повторяет любой глупый толк.
> Но, духа гонитель, насилья упор, она, власть почуяв, свирепа, как волк.
> И общество что? Только лагерь врагов, где все неизменно в презренном плену,
> Оно не выносит паренья души, стремленья свободной души в вышину.
> Общество — обруч, сжимающий дух! Ужасающий бич, свистящий под смех. Ножницы жизни, что режут людей, чтобы равными сделать, похожими всех…

Это — перевод Брюсова, один из лучших, но все же помеченный тяжелым шагом поэта, который называл свою мечту

«волом». Я прочитал давно поэму о багдадском поэте во французском переводе, там не было рифм, и поэтому более верными были эпитеты и внутренний ритм стиха. Часто потом я вспоминал Абу Ала Маари. Кто же, прочитав эту поэму, скажет, что поэзии Армении носит ограниченно национальный характер?

Ереван — новый город, он вырос из большого восточного села с домиками, окруженными садами. Новая архитектура всех советских городов мало чем отличается: Дворец культуры в Таллинне родной брат бакинского или иркутского. Ереван отличает строительный материал — дома здесь розовые. Отличает этот город и другое: в 1959 году я увидел памятник поэту Егише Чаренцу; потом мы поехали с Сарьяном к арке Чаренца; там на камне его стихи, а перед глазами горы и необычайно зеленая долина Арарата. Главное, что отличает Ереван от других советских городов, — это характер обитателей. Не будучи злопамятными, они никак не хотят отказаться от памяти, видя в ней прерогативу человека. Они необычайно трудолюбивы — достаточно сказать, что многие виноградники выращены на земле, принесенной к уступам скал, или что в горных местах, накануне холодной континентальной зимы, виноградники укрывают, как в подмосковных садиках розы. У армян нет нашего «авось». В то же время это мечтатели, философы, поэты. Будучи людьми вполне современными, прекрасными физиками, астрономами, химиками, инженерами, в глубине домов, вернее, в глубине сердец они помнят язык горного ключа. Они меня многому научили.

Я напишу в одной из следующих глав о М. С. Сарьяне, я лучше понял его живопись, увидев Армению. Это край искусства. Стоит посмотреть на развалины храма V века, на скульптуру средневековья или много позднее на портреты Свиатаняна в картинной галерее Еревана, увидеть собрание древних миниатюр, чтобы понять не только творчество Сарьяна, но особенности армянского глаза, веками воспитайного на подлинном искусстве. Вот почему выставка Фалька открылась в Ереване прежде, чем в Москве.

Как-то поехали с поэтом Эмином в «священный город» — Эчмиалзин. Там много памятников прошлого, и там резиденция католикоса. Вазген I незадолго до этого приехал из Румынии и кроме армянского прекрасно владел французским языком. Он пригласил нас к себе, и я увидел в его кабинете хорошие монографии — Матисс, Ренуар, Боннар. Я спросил его, любит ли он современную живопись. Он, улыбнувшись, ответил: «Я люблю все прекрасное». Видимо, он не только «католикос всех армян», но отменный дипломат да и живой человек.

Наирн Зарьян пережил в отрочестве страшную резню армян — он родился и Западной Армении. Такие вещи делают человека мудрым. В марте 1963 года, побывав на встрече, где меня ругали, он пришел ко мне и сказал: «Не обращайте внимания…»

Мне пришелся по душе веселый и печальный Эмин — в нем жива извечная самозащита поэта — романтическая ирония.

Я встречался со многими писателями; одни говорили, что наилучший жанр — лирика, другие восхваляли эпопею, третьи — короткую новеллу; были среди них и критики; одни были смелыми, другие осторожными, одни талантливыми, другие бездарными; но, кажется, ни один не увлекался жанром, который нельзя назвать иначе, чем доносами, и это было так же приятно, как хлеб лаваш или душистые персики. Воздух Армении придал мне силы.

18

Иногда незначительные происшествия остаются в памяти и заставляют о многом задуматься. Я хочу рассказать злополучную историю моих многолетних попыток ввести в наш обиход зимний салат, который на Западе называют «витлуфом» («белая головка») или «брюссельским цикорием». Бельгийцы действительно усердно выгоняют этот салат, экспортируют его в различные страны Запада, за что получают ежегодно около восьми миллионов долларов.

Почему прельстил меня этот салат? Я много лет прожил в Париже и привык зимой есть свежий салат. У нас свежие овощи можно найти в магазинах или на рынке с мая по октябрь, а в остальное время года ничего свежее квашеной капусты, соленых огурцов или в лучшем случае зеленого лука не достанешь.

Как-то давно я привез из Парижа пакет семян брюссельского цикория, посеял, выросли огромные изумрудные листья, я их попробовал и долго отплевывался — салат оказался горче хинина.

Оказавшись в Брюсселе, я рассказал Изабелле Блюм о своей неудаче; она повезла меня в Высшую сельскохозяйственную школу, где меня научили, как следует выращивать витлуф. Оказалось, что его высеивают в начале лета, после первых заморозков листья отрезают, а корнеплоды, похожие на крупную морковь, кладут в погреб. Витлуф можно выгонять с октября по апрель — в ящиках с любой землей, под стеллажами теплиц или в другом темном помещении. Ровно через месяц получаются кочаны, они не зеленые, а почти белые. Этот салат как бы предназначен для условий центральной и северной России — зимой дни у нас куцые и ничего другого не вырастишь без дорогого подсвечивания.

Я подружился с молодым научным сотрудником Тимирязевской академии Н. Г. Василенко, человеком одаренным и, как у нас говорят, по своей природе «новатором». Я дал ему семена и бельгийскую книгу о культуре витлуфа, он увлекся. Мы оба выгоняли зимний салат, я для того, чтобы его есть, а Николай Григорьевич скорее для торжества правильной идеи. В конце 1959 года мы решили, что следует попытаться открыть широкий путь для витлуфа. Мы предложили «Вечерней Москве» напечатать небольшую статью, оба ее подписали. Василенко уже успел защитить работу о капусте и стал кандидатом сельскохозяйственных наук. В январе та же газета поместила отчет о лекции Василенко перед специалистами о культуре

витлуфа и статью почетного академика В. И. Эдельштейна — восьмидесятилетнего ученого, пользовавшегося большим авторитетом, который горячо поддерживал наши апологии витлуфа. Мы живем в век повсеместного увлечения самодеятельной медициной (достаточно напомнить, что журнал «Здоровье» у нас самый распространенный), и статья Виталия Ивановича должна была восхитить читателей «Вечерки» — он рассказывал, что витлуф не только вкусен, но чрезвычайно полезен он содержит неведомые мне вещества — индии и инулин.

В марте 1960 года «Вечерняя Москва» устроила встречу различных влиятельных людей, как, например, управляющего конторой «Сортсемовощ» и директоров крупных овощных совхозов, со мной и с Василенко. Приглашенных Николай Григорьевич угостил заправленным салатом витлуф. Кушали, хвалили, напечатали отчет с фотографиями, но дальше дело не пошло, нужно было купить семена в Бельгии, а никто не решался использовать на это несколько сотен долларов: «Режим экономии». На дегустации в редакции «Вечерней Москвы» присутствовал корреспондент бельгийской коммунистической газеты, который поспешил сообщить о внедрении витлуфа в меню советских граждан.

Во время сессии Верховного Совета А. Е. Корнейчук решил передать Н. С. Хрущеву медаль Всемирного Совета Мира. Во время перерыва он повел Н. С. Тихонова, М. И. Котова и меня в коридор, куда вышел Н. С. Хрущев. Поблагодарив нас за медаль, он вдруг обратился ко мне: «Я вашу статью о зимнем салате прочитал дважды. В первый раз я думал, что вы пишете о политике, — я ведь не знал, что вы занимаетесь и огородничеством…» Я понял, что фортуна может улыбнуться витлуфу, и спросил Никиту Сергеевича — не хочет ли он попробовать салат, он ответил: «Охотно». В тот же вечер я разыскал Василенко и попросил его послать Хрущеву витлуф — в Тимирязевке кочаны получились красивее и крупнее, чем у меня.

Месяц спустя Николай Григорьевич рассказал мне, что салат, видимо, пришелся по вкусу — часто приходят и требуют кочаны.

Прошел еще месяц, и Василенко вызвали в учреждение, ведающее закупкой семян, спросили, сколько нужно купить семян для того, чтобы вывести достаточное количество отечественных. Василенко ответил: «Сорок килограммов». «Что так мало?» — удивился человек, принадлежавший к тем людям, которых во Франции называют «крупными овощами», а у нас «ответственными». Николай Григорьевич объяснил, что семена салата очень легки и что сорока килограммов вполне достаточно.

Различные бельгийские газеты сообщили об успехе в

Советском Союзе брюссельского цикория; одна сильно антисоветская даже запротестовала против продажи семян, уверяя, что русские собираются выгонять зимний салат на всю Европу, хотят вытеснить бельгийцев.

Семена пришли, большую часть корнеплодов оставили на второй год в грунте, чтобы получить семена. Казалось, дело сделано. Однако, как ни старался Василенко убедить различных директоров и управляющих, что необходимо напечатать маленькую инструкцию, он оказался бессильным.

Год спустя в одном из овощных магазинов появился витлуф — не зимой, а летом и не «вкусный овощ», а совершенно несъедобные зеленые кочаны.

На покупку семян в Бельгии потратили триста или четыреста долларов. На инструкцию не хотели выложить триста или четыреста рублей.

Прошло года два, и, наконец, инструкцию напечатали, но здесь встала новая, непреодолимая трудность — торговая сеть не захотела утруждать себя незнакомым овощем: «У нас в списке двенадцать различных овощей, хватит». Совхозы прекратили выгонку. Хрущев больше не интересовался салатом, а вскоре «крупные овощи» перестали интересоваться Хрущевым. Из нашей затеи ничего не вышло.

Говорят, что виноват консерватизм потребителей, это неверно. На моей даче жил сторож Иван Иванович со своей семьей. Когда он впервые увидел, что на грядке огорода взошел обыкновенный латук, он удивился: «Траву коровы едят, а не люди…» Потом он попробовал кочан и сказал: «Неплохо». Прожив у меня десять лет, он построил себе хороший кирпичный дом и вышел на пенсию, его жена Прасковья Алексеевна недавно рассказала мне: «Иван Иванович за стол не садится, если нет салата…»

Николай Григорьевич успел жениться, скоро его сын пойдет в школу. Вышла книга Н. Г. Василенко «Малораспространенные овощи». Один из описанных им овощей — салат витлуф — продолжает оставаться у нас редкостью. Зато весьма распространены у нас те люди, которых французы называют «крупными овощами». О них никто еще обстоятельно не написал.

19

В 1958 году умер Фредерик Жолио-Кюри, это было тяжелым ударом по Движению сторонников мира, которое он создал и которым почти десять лет руководил. В области науки он был непримирим, и когда некоторые влиятельные руководители Движения попытались уговорить его быть сдержаннее в прогнозах и не утверждать, что термоядерная война угрожает существованию человечества, он хотел отказаться от функций президента. Но он умел сочетать верность принципам с необычайной мягкостью, ему удавалось помирить индонезийцев с голландцами или израильцев с арабами. При нем все старались быть строже к себе, снисходительнее к другим. За два или три года до своей смерти на одном из совещаний он включил в текст резолюции, протестовавшей против атомных испытаний, молоко как обладающее высоким процентом стронция. А. Е. Корнейчук умоляюще сказал: «Наши мамаши только-только могут купить молоко, а прочитав про стронций, будут бояться дать молоко малышам…» Жолио улыбнулся и вычеркнул молоко из списка.

Он подготовил послание Всемирному конгрессу за разоружение, состоявшемуся в июле 1958 года; он убедительно писал о необходимости прийти к соглашению об отказе от термоядерного оружия. Месяц спустя я стоял в Сорбонне у его гроба.

Мы избрали председателем Всемирного Совета Мира друга Жолио профессора Джона Бернала, это крупный ученый, кристаллограф, он может установить структуру вещества, но он не смог установить структуру нашего движения и секретариата, работавшего в Вене. Он был сух в резолюциях — как истинный англичанин не любил громких слов, а к людям снисходителен. Его меньше слушались, чем Жолио, однако все поняли, как он был нужен в роли председателя, когда в 1965 году после тяжелой болезни, с трудом приехав на конгресс в Хельсинки, он сказал, что больше не сможет выполнять работу президента.

Третьего президента мы не нашли. Мы попросили члена президиума, неутомимую Изабеллу Блюм выполнять функции президента-координатора.

Конечно, я не хочу сказать, что огромное мировое движение может ослабнуть только от потери двух выдающихся руководителей. Многое зависит от объективных условий. В Соединенных Штатах впервые в истории значительное большинство мыслящих людей осуждают военную политику правительства; но репутация нашего движении мешала

объединению сотен союзов, лиг, групп, движений в ряды Всемирного Совета Мира. Западная Европа стала куда более инертной, она то поддается иллюзиям, связанным с краткосрочной разрядкой международного положения, то фаталистически относится к постоянным разговорам о неизбежности атомной катастрофы. Азия и Африка не всегда связывают справедливую ненависть к колониальным державам с необходимостью предотвратить мировую войну. Мы не смогли осуществить обещаний, сформулированных в 1956 году Жолио-Кюри, о расширении нашего Движения и о тесном контакте со всеми миролюбивыми силами. Прежние формы борьбы за мир в известной степени одряхлели, а новых мы не придумали.

Я продолжаю работать в Движении сторонников мира: несмотря на ошибки и неудачи, мы остаемся единственным широким движением, которое стремится оградить мир. Я не политик, не историк и не хочу браться за слишком трудное для меня дело: проанализировать причины некоторого ослабления Движения сторонников мира. Это — книга воспоминаний, и я остановлюсь на тех помехах, которые чинили нам представители Китая, тем паче что в предшествующих частях моей книги я об этом молчал.

Помню заседание Исполнительного комитета осенью 1957 года в Лозанне. В длинной и довольно обычной для наших встреч резолюции была фраза: «Споры между государствами должны решаться путем переговоров». Один из секретарей, китаец Чен Шень — предложил поправку — вставить «и» — «и путем переговоров». Кто-то спросил, какие другие пути Чен видит для разрешения споров между государствами, отвечающие задачам Движения за мир. Чен ответил: «Различные». Час был поздний, все хотели спать и поручили мне согласовать фразу с Ченом. Мы сидели в маленьком салоне гостиницы, и пять часов подряд я пытался убедить китайского секретаря. Он обладал терпением, и мне тоже пришлось быть терпеливым. Погасили свет — швейцарцы люди аккуратные. В полутьме я видел блестящие глаза Чена и капли пота на лице переводчика. Когда я рассказал Жолио о разговоре с Ченом, он нахмурился: «Они не понимают, что такое атомное оружие. В Пекине работает один из моих учеников, талантливый физик. Может, он им объяснит…» (Я знаю ученика Жолио — он приезжал на заседание Бюро в Осло. Вряд ли он занимался просвещением политических деятелей Китая, скорее работал над созданием китайской атомной бомбы.)

Споры бывали по разным поводам. Однажды в Вене на заседании Бюро мы напрасно просидели половину ночи, пытаясь уговорить Чен Шеня. Речь шла о приветствии папе Иоанну XXII,

который осудил термоядерное оружие. Предложение внесли итальянские коммунисты, и Чен тотчас выступил против: «Пана не любит китайский народ, китайский народ не любит папу». Ничего другого он не говорил и не соглашался воздержаться: «Пусть его приветствуют итальянцы».

Другой раз в Праге осенью 1959 года Президиум составлял приветствие Всекитайскому комитету защиты мира по случаю десятилетия Китайской Народной Республики. Проект приветствия написал Чен Шень. При обсуждении текста выступил индиец Сундерланд, по убеждениям последователь Ганди, который предложил приветствовать новый Китай как оплот мира. Это был человек преклонного возраста. На беду, рядом с ним сидел Чен Шень. Вскочив, китаец ударил Сундерланда по плечу, заставил его опуститься на стул. Я ушел, чтобы несколько успокоиться: знал, что Корнейчуку придется поддержать китайский текст и что никто не упрекнет Чен Шеня в недостатке вежливости.

Менялись китайские представители: был Уч Пао; был бывший священник Чу Веньпо, бывший священник, хорошо говоривший по-английски. Менялись и приемы работы. В Стокгольме китайцы перед отъездом устроили пресс-конференцию и, обращаясь к буржуазным журналистам, клеймили резолюцию сессии. В Вене они заставили нас просидеть всю ночь — вносили поправки в резолюцию, а в пять часов утра заявили, что резолюция им не нравится и они не будут за нее голосовать. В Дели они привезли суданца, который проживал в Пекине; он демонстративно лег, когда обсуждали проблему разоружения, и, стараясь хорошо сыграть роль, даже похрапывал. Албанцы, разумеется, старались превзойти своих учителей. В течение двух-трех лет китайцев поддерживали часть японцев, индонезийцы, а корейцы и вьетнамцы соблюдали нейтралитет. Мы долго не отвечали на грубые обвинения китайцев, это, однако, не только их не сдерживала, а наоборот, воодушевляло. Китайцы перестали с нами здороваться. Когда-то они называли меня «эй лен-бо», что означало «замок чести». Времена изменились. Один из китайских делегатов, выступая против меня, говорил: «Некто сказал» — не хотел осквернить свои уста моим именем.

В декабре 1961 года китайские делегаты перешли от слов к действиям. Они требовали, чтобы намечавшийся конгресс в Москве назывался «конгрессом за национальное освобождение». В чнnном зале шведских кооператоров они затеяли доподлинную драку, а в одной из комиссий, оттолкнув оратора, отобрали у него микрофон, швыряли в «ревизионистов» наушниками. Собрания сессии Всемирного Совета были открытыми, к счастью, ни один

американский журналист не заглянул к нам — считая, что никаких сенсаций не предвидится; и только много времени спустя один англичанин, узнав о скандале от шведского привратника, написал: «Сторонники мира воюют между собой».

На конгрессе в Хельсинки летом 1965 года китайцы чувствовали себя господами положения. Я работал в культурной комиссии, ее председателем был избран американский негр доктор Гудлетт. Мы обсуждали текст обращения ко всем деятелям культуры. Китайцы все время прерывали выступавших. Собралось бюро комиссии. Китаец оскорблял меня как мог. Я сдерживался и не отвечал. Когда я вышел в коридор, у меня хлынула кровь из носа. Я попросил одного из советских делегатов заменить меня на бюро. Меня отвели в санитарный пункт, там финка уложила меня на диван. Я все же решил пойти в гостиницу и отдохнуть, выйдя из помещения, я оступился и упал на каменные ступени, словом, хлебнул горя.

Приходится признаться, что некоторые представители западных стран долго относились с симпатией к китайцам; они увлекались ролью посредников, считали вполне серьезно, что именно им удастся помирить Пекин с Москвой; другие поддавались революционной фразе — «в Китае энтузиазм, даже если они ошибаются, они верны духу Ленина»; третьи хотели показать свою независимость по отношению к государству, которое долго было в их представлении непогрешимым. Я встречал во Франции, в Италии, в Бельгии, в Швеции различных поклонников Мао Цзэдуна, они, организовав малочисленные прокитайские партии, издавали газеты — денег у них было много; во всем этом было сочетание наивности и политиканства, ребяческого мятежа и снобизма. На сессиях Всемирного Совета некоторые друзья, которых я хорошо знал, бегали к китайцам, показывая им не только проекты резолюций, но и речи, которые они собирались произнести, многозначительно рассказывали мне: «Китайцы обещали не возражать…» (Китайцы час спустя, разумеется, возражали.) Были и простачки, считавшие, что если мы не отвечаем на брань, то, следовательно, нам нечего сказать и что наши обвинители правы.

Были и малопристойные сцены. В конце 1963 года в Варшаве собралась сессия Всемирного Совета. Французский писатель Мадоль предложил почтить вставанием память убитого незадолго до того Кеннеди. Китайцы начали кричать, хотели отобрать у Мадоля микрофон; это было в порядке вещей, но, признаюсь, меня удивило, когда два представителя Запада, один бывший миссионер в Китае, а другой — бельгийский барон, набожный католик и не менее набожный последователь Мао Цзэдуна,

вытянули вперед свои ноги, показывая, что в отличие от «ревизионистов» не хотят почтить память «империалиста».

Разумеется, поведение делегатов Китая не было эмоциями отдельных людей, оно было продиктовано партийным руководством. Это руководство в своей внешней политике было скорее осторожным: на воинственные безобразия чанкайшистов или их американских попечителей Китай отвечал «серьезными предупреждениями» — «серьезное предупреждение триста восемнадцатое»; посол Китая в Пекине периодически встречался с послом Соединенных Штатов. Однако Движение сторонников мира они рассматривали как трибуну, где могут поносить политику Советского Союза. В пропаганде они никогда не отличались сдержанностью. Готовя у себя термоядерное оружие, они в 1963 году бурно протестовали против соглашения о запрете атомных взрывов, называя его «сговором американских империалистов с советскими ревизионистами».

Лет десять назад я читал, будто Мао Цзэдун сказал, что разговоры об уничтожении жизни на земле после большой термоядерной войны неправильны. Если погибнет половина китайцев, другая половина спокойно сможет строить коммунизм. Не знаю, были ли произнесены эти слова для успокоения людей, незнакомых с азами ядерной физики, или руководители Китайской республики действительно принимали Америку за «бумажного тигра». Я попытаюсь найти объяснение брани и дракам, которые слышал или видел в течение многих лет на наших заседаниях и конгрессах. Встречи сторонников мира часто напоминали матчи своеобразного бокса, где один был кулаком, а другой молчал или говорил о несоответствии такого вида спорта с идеями и духом движения за мир.

В начале 1967 года китайцы изменили свою тактику и вышли из Движения сторонников мира. Я все-таки неисправимый оптимист, и я продолжаю надеяться, что разумные люди или, как говорил Жолио, «люди доброй воли» сумеют предотвратить ядерную войну. Я не хочу осуждать китайцев, вероятно, все, о чем я писал в этой главе, временное заблуждение, и Китай рано или поздно окажется среди защитников мира.

20

Осенью 1958 года Георг Брантинг приехал повидать меня в Новый Иерусалим — он отдыхал перед этим в Крыму. Брантинг был сложным человеком, полным противоречий. Не знаю почему, он стал политиком. Может быть, под влиянием своего отца, который был создателем шведской социал-демократии. Люди, знавшие Яльмара Брантинга, расскашвали, что он был веселым, в молодости мятежным, потом показал свое уменье объединять, примирять и примиряться, организационные таланты: он не только пережил, но и в меру своих сил способствовал переходу отсталой крестьянской Швеции с ее степенной аристократией в страну передового капитализма и образцовой буржуазной демократии. (С Яльмаром Брантингом дружила известная С. В. Ковалевская, шведы называли ее «профессор Соня» и сестру Георга окрестили Соней.)

Все же мне трудно понять, почему Георг Брантинг стал политиком, социал-демократом, пусть левым, сенатором. Он был адвокатом, но это его не устраивало. Да и кресло сенатора мало отвечало его природе. Во внутренней политике Швеции он играл неприметную роль, но многое сделал в борьбе против фашизма в тридцатые — сороковые годы — процесс о поджоге рейхстага, Испания, твердая вера в Советский Союз в черные дни сорок первого. Он был скорее поэтом, не потому, что писал порой стихи, а по своей душевной структуре: позади сенаторского кресла, мнимо, но для него вполне реально, бушевал неистовый самум. В старости он был одинок, плохо видел, но никак не походил на образцового пенсионера.

В 1958 году, с которого я начал эту главу, Брантингу было за семьдесят, он перенес тяжелый инфаркт, но жаждал деятельности. Мы долго беседовали о неустойчивости международного положения. Брантинг говорил, что Движение сторонников мира охватывает во Франции и в Италии, где сильны коммунисты, широкие круги, но в Англии или Скандинавских странах оно бессильно. «Вы представляете одну сторону, — говорит Брантинг, — а нужно, чтобы встречались политики не только различных стран, но и различных партий, это поможет преодолеть климат холодной войны». Я спросил его, не хочет ли он попытаться организовать такие встречи; подумав, он согласился.

В апреле 1959 года состоялась первая встреча; ее окрестили «Круглый стол Восток — Запад». Собрались мы в Брюсселе, и было нас никак не больше пятнадцати человек. С тех пор прошло

восемь лет. Мы собирались дважды в Лондоне, работали в помещении парламента, в готическом дворне, построенном после пожара в первой половине прошлого века. Потом мы собирались в Варшаве, в Риме, снова в Брюсселе, в Париже, в Москве, во Флоренции (там мы заседали в ратуше — Палаццо Веккио, окруженные потрясающими статуями старых флорентийцев), в Белграде и снова в Париже. Мы стали солидной организацией. Участников «Круглого стола» принимали в Кремле, в доме правительства Югославии, в бельгийском парламенте, в парижском муниципалитете. О наших встречах писали все крупные газеты Европы и Америки. Среди наиболее известных западных участников «Круглого стола» назову Филиппа Ноэль-Бейкера, старого депутата лейбориста, лауреата Нобелевской премии мира, бывшего председателя бельгийского сената Анри Ролена, председателя иностранной комиссии норвежского парламента Финна Му, английских лейбористов Конни Зиллиакуса, Дениса Хили. Томсона, Микардо Мендельсона, итальянских социалистов Ненни, Ломбарди, Витторелли, французских депутатов голлистов Рене Капитана и Шмитлена, оппозиционера Пьера Кота. Жюля Мока, Миттерана, итальянских католиков депутатов Ля Мальфа и мэра Флоренции Ля Пира. В различных встречах участвовали свыше полутораста депутатов семнадцати стран, представители как правительственных партий, так и оппозиции, среди них около половины были вчерашними или завтрашними министрами.

Во Флоренцию летом 1964 года приехал тяжело больной Брантинг и предложил на свое место секретаря «Круглого стола» левого социал-демократа Яльмара Мэра. Год спустя Брантинг умер.

Из постоянных участников наших встреч скончались Конни Зиллиакус, крупный польский экономист Оскар Ланге и генерал советской армии, специалист по проблеме разоружении Н. А. Таленекий.

Мне хочется вспомнить покойного Конни Зиллиакуса (приятели звали его Конни или Зилли). Разумеется, он был политиком, но с диковинной судьбой. Чудить он начал рано — будучи шведским финном, родился в Японии. Он стал подданным короля Великобритании и сражался в годы первой мировой войны в рядах английской армии. Потом он учился в университете в Йеле в Соединенных Штатах. Потом он стал лейбористом, а много спустя депутатом палаты общин. Весной 1949 года, несмотря на запрет лейбористского руководства, он участвовал в первом Конгрессе сторонников мира. Его исключили из партии. Однако осенью того же года его исключили из Движения

сторонников мира — он не согласился с анафемой, которая обрушилась на югославов. Два раза его исключали из партии и два раза восстанавливали. Он считался «enfant terrible» — «ужасным ребенком», люди сердились, но в конце концов привыкли. «Ничего не поделаешь — это ведь Зилли…»

Он свободно говорил на многих языках и не только тотчас переводил свои слова, но на первой встрече «Круглого стола», когда у нас не оказалось переводчиков, переводил выступления всех участников. В справочниках он проставлял «журналист», «член парламента». Он кончил университет в Йеле — в Америке. Самым важным событием XX века он считал Октябрьскую революцию. Я слышал его выступление на большом митинге в Манчестере — он был депутатом этого рабочего города; говорил он хорошо, и обычно сдержанные англичане горячо ему аплодировали. Его слабостью была Организация Объединенных Наций (он там проработал несколько лет). Он неизменно требовал соблюдения «духа и буквы хартии». Часто он был наивным — когда на последних выборах победили лейбористы, он говорил: «Теперь все изменится. Вильсон — левый лейборист…» Оказалось, что лейбористское правительство вело правую политику. Зилли повздыхал, но немедленно организовал оппозицию и, радуясь, говорил: «Нас с каждым месяцем все больше…» Отец его жены изучал психологию зверей, к как-то, просидев вечер у Зиллиакуса в Лондоне, я рассказывал о В. Л. Дурове. С Конни редко кто соглашался, но его любили, и когда он умер летом 1967 года, о нем жалели его политические противники — в Вестминстерском дворце стало пусто: второго «ужасного ребенка» не было.

Оскар Ланге многое сделал для того, чтобы преодолеть взаимное недоверие, которое порой сказывалось на первых встречах «Круглого стола». Я с ним познакомился в 1946 году в Нью-Йорке и сразу оценил его «тихость». Он был не проповедником, а собеседником; именно это убеждало западных участников наших встреч.

В Брюсселе весной 1962 года «Круглый стол» обсуждал проект разоружения. Мы выделили маленькую комиссию специалистов — Ноэль-Бейкера, Жюля Мока, который много лет представлял Францию в комиссии ООН по разоружению, и советского эксперта Н. А. Таленского. Они заседали два дня и составили компромиссный проект, чрезвычайно детальный, однако приемлемый для всех. Выступая потом на большом митинге, Ноэль-Бейкер и Жюль Мок высоко отозвались о познаниях и миролюбии генерала Таленского. Я узнал Николая Александровича в 1943–1944 годы, когда он был редактором

«Красной звезды». Он умел не только говорить, он умел и слушать, а это не столь распространенное качество, и оно повлияло на успех «Круглого стола». Его смерть — большая потеря.

Я говорил о том, что постепенно организаторам «Круглого стола» удалось привлечь к встречам политиков разных стран и разного толка. Читатели, наверно, заметили, что среди перечисленных мной имен нет ни одного видного общественного деятеля Западной Германии. Теперь политика немецких социал-демократов стала несколько более гибкой, и, возможно, если наши встречи будут продолжаться, мы увидим «западных» немцев за одним столом с «восточными», но по 1966 год все попытки Анри Ролена, Зиллиакуса и других западных парламентариев привлечь немцев из Федеративной республики кончались неудачей.

Расскажу забавный случай, происшедший в Москве в марте 1959 года — накануне первой встречи «Круглого стола». Брантинг попросил меня поговорить с двумя лидерами немецких социал-демократов Карлом Шмидом и Фрицем Эрлером, которые находились в Москве. Я позвонил немецким гостям; оказалось, что они завтра улетают на родину, они предложили мне, чтобы я их отвез на аэродром — в пути мы сможем поговорить. Они попросили меня подъехать к дому, где жили западногерманские дипломаты, и остановиться на углу — все было обставлено весьма конспиративно. Шмид и Эрлер хорошо говорили по-французски; я им рассказал о том, как понимают встречи «Круглого стола» Брантинг и Ролен. Они были любезны, поблагодарили за информацию — им рассказывали нечто другое, высказали надежду, что им удастся приехать в Брюссель. Когда мы подъехали ко Внукову, Шмид увидел автомобиль западногерманского посольства и попросил меня выпустить их, а самому не выходить из машины. Все было сделано безукоризненно. Увы, на следующий день, раскрыв «Правду», я увидел заметку: «Отъезд из Москвы руководящих деятелей СДПГ». Среди провожавших был назван я — очевидно, сотрудник ТАССа меня увидел…

Осенью 1961 года на встречу в Риме должен был приехать председатель иностранной комиссии сената Соединенных Штатов Хэмфри. Мы начали работу, все спрашивали, где Хэмфри, Брантинг отвечал: «Его задержали дела, он приедет завтра». Наконец пришла телеграмма: Хэмфри сообщал, что произошли дорожные неполадки, он вынужден заночевать в Лондоне и приедет только завтра. Мы приняли резолюции о разоружении, об ООН, о Западном Берлине и хотели закрывать встречу, когда

действительно в зал вошел Хэмфри. Он внимательно прочитал резолюции, но отказался их комментировать — не присутствовал на дискуссии. Два часа он говорил о важности наших встреч, о значении диалога, о своей вере в торжество мира. Когда все встали, сенатор Хэмфри, отойдя со мной в сторону, начал говорить о смерти Хемингуэя и, понизив голос, высказал свое мнение о Западном Берлине. С тех пор прошло шесть лет. Сенатор Хэмфри стал вице-президентом Соединенных Штатов, трудно назвать его политику слишком миролюбивой.

Ненни присутствовал на римской встрече как представитель оппозиции, потом он стал заместителем премьера. Финн Му принадлежал к правительственной партии и вдруг оказался в оппозиции. На московскую встречу приезжали лейбористы Денис Хили и Томсон. Первый стал военным министром Великобритании, а милейший Томсон, член нашего организационного комитета, — заместителем министра иностранных дел.

Не устарели, к несчастью, вопросы, которые мы обсуждали: разоружение, договор о нераспространении атомного оружия, европейская безопасность, германская проблема, нападение Соединенных Штатов на Вьетнам. Незачем говорить о наших резолюциях — это покажется не страницей мемуаров, а вчерашней газетной статьей.

Скептики спросят: в чем же видите пользу встреч? Все спорные вопросы, действительно, до сих пор не разрешены, но, на мой взгляд, они теперь стали более разрешимыми, и, может быть, в этом толика усилий «Круглого стола». Альтернатива слишком трагична: мирное сосуществование или термоядерная война, то есть, говоря проще, — быть или не быть человечеству. Здесь нельзя беречь силы и время, все, что может хотя бы в мечтаниях содействовать миру, заслуживает рвения.

Лично мне встречи «Круглого стола» многое дали — я узнал лучше политиков Запада, пожалуй, лучших представителей буржуазной демократии.

В отдельности эти политики похожи на людей других профессий, среди них есть узкие специалисты и, что куда реже, люди всесторонне образованные, обаятельные и непривлекательные, талантливые и заурядные. Наиболее таинственной для меня является их подлинная профессия — политика. Алехин причислял шахматную игру к искусству, мне остается приравнять политику парламентской демократии к шахматной игре. Конечно, шахматы куда древнее, в них чувствуется известная окаменелость, дебюты давно разработаны, описаны, и все же талантливый шахматист порой находит

неожиданный вариант, приносящий ему победу. Я рассказывал в этой книге, как один начинающий любитель выиграл партию у гроссмейстера Флора, который принял его невежество за некое загадочное мастерство. (Недавно В. Аксенов описал подобное происшествие в хорошем «Рассказе с преувеличениями».) Впрочем, такие же случаи бывали в политической жизни Запада. Незнание Гитлером правил игры помогло ему выиграть партию у Веймарской республики.

Считается, что парламентская демократия построена на равенстве избирательных голосов. Это, конечно, иллюзия. Дело решают политические партии, в которых активное участие принимают узкие круги специалистов в присутствии некоторого количества болельщиков. Ораторское искусство может подействовать на часть избирателей, но в большинстве случаев соперничающие партии говорят то же самое, все они за мир, за свободу и за благосостояние. Атакуют они одна другую, почти всегда настаивая на неудаче того или иного шага правительства: мало строили жилых ломов, повысили безработицу, допустили финансовый скандал и так далее. Говорят, что решающую роль играет пресса, а в последнее десятилетие — телевидение. В Швеции, однако, нет ни одной крупной газеты, которая поддерживала бы партию, находящуюся у власти свыше тридцати лет (все попытки создать социал-демократическую газету, которую читали бы, кончались неудачей). Во Франции людей, которые читают «Юманите», куда меньше, чем тех, которые голосуют за коммунистов. Во время последней избирательной кампании шли споры, кто на экране телевизора выглядит красивее, но и это не решало дела. Многие голосуют но привычке так уж заведено в семье. Другие голосуют всегда за оппозицию — попробую, может быть, будет лучше. Есть страны, где в парламенте представлено мало партий — в Соединенных Штатах две, в Англии три. Есть другие, где партий много, как, например, в Италии, там политическим деятелям приходится договариваться, чтобы создать коалиционное правительство. В отличие от шахмат, выборы, парламентская политика, министерские кризисы имеют элемент азартной игры или спортивного матча, чреватого непредвиденными обстоятельствами.

Какая специальность у депутата? На это можно ответить только таинственным и ничего не определяющим словом «политика». Добрая половина их получили юридическое образование и в начале карьеры или в период избирательных неудач занимались адвокатскими делами. Если вспомнить Третью республику, то виднейшие фигуры парламента в большинстве

были адвокатами — Пуанкаре, Бриан, Мильсран, Думер, Барту, Лаваль, Рейно и другие. Да и за нашим «Круглым столом» больше половины заседавших получили юридическое образование — Капитан, Миттеран, Пьер Кот, Ролен, Пирсон, Брантинг, Бенгстон, Юлиус Сильверман и многие другие. Были и экономисты, как Мендес-Франс или Ломбарди, был инженер Жюль Мок, который рассказывал мне, как он строил мост через Даугаву, но, конечно, политика давно стала его профессией.

В 1963 году все товарищи но партии Дениса Хили говорили, что если лейбористы победят на выборах, то он станет министром иностранных дел; действительно, он стал министром, но обороны. Я познакомился в Стокгольме с другом Яльмара Мэра Горстеном Нильсоном, человеком умным, деятельным и веселым. Он был министром транспорта, военным министром, министром социального обеспечения, а теперь он министр иностранных дел.

Я понимаю, что министр финансов может меньше разбираться в балансе, чем опытный бухгалтер крупного банка или треста. Я знаю, что существуют интересы того или иного класса общества, которые определяют сущность политики. Я отнюдь не защищаю ни диктатуру одного человека, ни технократию. Я просто признаюсь в своем непонимании профессии образцового политического деятеля. Это не роботы, а люди, к сожалению, обладающие нервной системой и способные в критическую минуту оказаться подверженными гневу или страху, растерянности или чрезмерной уверенности.

Многие политики, с которыми я познакомился на встречах «Круглого стола», мне понравились, но порой я чувствовал себя самодеятельным актером, случайно оказавшимся на сцене с мастерами — первыми любовниками, фатами, резонерами или трагиками.

Вероятно, прав был Жолио, когда говорил, что человечество еще переживает свое младенчество — многое должно перемениться, если только благодаря азарту или глупости тех политических деятелей, которые никогда не хотели сесть за круглый стол, человечество не исчезнет до того, как оно достигнет совершеннолетия.

21

Осенью 1959 года я часто говорил себе, что нужно сесть за стол и начать книгу воспоминаний; я обдумывал план книги и, как всегда у меня бывало, оттягивал начало работы. Несколько месяцев я успокаивал себя тем, что мне приходится отстаивать мои идеи о необходимости гармоничного развития человека, о роли искусства в воспитании культуры эмоций.

Разумеется, я был виноват в происшедшем: напечатал в «Комсомольской правде» письмо одной студентки, которую я назвал Нина, о том, как порвала с любимым человеком, Юрием, хорошим инженером, но современным вариантом «человека в футляре». Для меня было самым существенным не его равнодушие к искусству, а его душевная примитивность и сухость. Он не случайно смеялся над чеховским рассказом «Дама с собачкой», который волновал студентку… «Когда я пыталась разобраться с ним в наших отношениях, он или выходил из себя, или улыбался, говорил, что я нарочно все усложняю». Он сводил чувства к жилплощади и к «распишемся». Он посылал своей матери деньги, но когда она захотела приехать его повидать, он не согласился, объяснил своей возлюбленной, что мать у него «хорошая, но необразованная, так что и говорить не о чем». Все попытки студентки почитать ему стихи Блока или повести его в Эрмитаж кончались неудачей: «Нужно быть людьми атомного века».

Я никак не думал, что моя статья вызовет полемику. Однако молодежь спорила: главная вина за развязавшуюся войну, по-моему, лежит на человеке, приславшем в «Комсомольскую правду» письмо, оставлявшее в стороне душевные недостатки инженера Юрия и перенесшее спор совсем в другую плоскость — нужно ли нашим современникам искусство. Автор этого письма, инженер И. Полетаев, по своей специальности кибернетик.

Я упомянул, рассказывая о своей поездке в Америку, что весной 1946 года в Нью-Йорке мой старый друг Р. О. Якобсон ночь напролет рассказывал мне о новорожденной науке и о «мыслящих машинах». Два года спустя математик Винер сформулировал проблемы, которые сможет разрешить кибернетика. Не знаю почему, в эпоху Сталина кибернетику у нас называли шарлатанством: может быть, желание разучить думать людей было связано с недоверием или страхом перед «мыслящими машинами». Я вполне понимаю горечь И. Полетаева и его старшего друга профессора А. А. Ляпунова при мысли, как отнеслись в нашей стране к кибернетике.

Труднее понять, почему И. Полетаев обрушился не на подлинных виновников, а на искусство: еще раз вместо принца высекли нищего мальчика. В своем письме по поводу моей статьи Полетаев писал: «Некогда нам восклицать: «Ах, Бах! Ах, Блок!» Конечно же они устарели и стали не в рост с нашей жизнью… Общество, где много деловых Юриев и мало Нин, сильнее того, где Нин много, а Юриев мало».

Нужно сказать, что в письме Нины не было ни слова о музыке Баха, и упоминание о нем осталось для меня загадочным. Мне рассказывали друзья, недавно побывавшие в Академическом городке возле Новосибирска, где теперь работает И. Полетаев, что он любит музыку. Может быть, любовь к произведениям Баха заставила его упомянуть гениального композитора, работавшего двести лет назад, когда не было ни атомного века, ни «культа личности», а может быть, ему просто понравилось словосочетание «ах, Бах, ах Блок!». Не знаю.

Я писал не о превосходстве искусства над точными науками, а о необходимости развивать культуру чувств, то есть о том, о чем я говорил в шестой части этой книги: нельзя идти вперед на одной ноге. Однако дискуссия переключилась на вопросы, кратко сформулированные И. Полетаевым: искусство устарело, у деловых людей нет времени восхищаться Бахом и Блоком, сильнее то общество, где у каждого своя специальность и свое дело.

Я успел в 1959 году узнать, что записки на литературных вечерах пишут скорее наивные и глупые люди, и не судил об уровне нашей молодежи по тысячам писем, которые получила редакция или лично я. Сторонников И. Полетаева было немного, примерно одна десятая. Инженер Петрухин писал: «Как я могу восхищаться Бахом или Блоком? Что они сделали для России и для человечества?» Агроном Власюк заверял: «Понимать искусство надо, но восторгаться им прошло время». Капитан дальнего плавания М. Кушнарев старался проявить терпимость: «Я считаю так — нравится вам музыка Чайковского — идите, слушайте; нравится вам Блок — читайте на здоровье, но не тяните к этому остальных. Неужели кто-то думает, что мы будем хлопать в ладоши и восхищаться симфониями?»

Все письма последователей инженера Полетаева показывали низкий уровень душевного развития: и повторение бессмысленного сочетания имен Баха и Блока, и вопрос о том, что сделал Бах для России, и даже стиль «читайте на здоровье». Однако и письма защитников искусства не были выше его хулителей. Тысячи авторов писем встревожились, считая, что Полетаев хочет им помешать пойти в театр или почитать в

трудную минуту стихи. Основным аргументом был следующий: В. И. Ленин любил слушать «Аппассионату», и это не помешало ему создать Советское государство. Для большинства «Аппассионата» была абстрактным понятием, запомнившимся по воспоминаниям Горького. Одна комсомолка писала, что человек даже в Космос возьмет ветку сирени; это напоминало споры комсомольцев начала 30-х годов — нужна ли им ветка черемухи, хотя в те давние времена о Космосе никто не думал. Вот фразы из писем, повторяющиеся в разных вариантах: «Как могут устареть Пушкин, Толстой, Чайковский, Ренин?» или «Я не вижу ничего постыдного в том, чтобы пойти вечером в театр на «Евгения Онегина». Одно письмо, напечатанное в газете, удивило меня глубиной. Юноша писал, что влюбился в девушку, она любила музыку, и ему пришлось с ней ходить на концерты, вначале он ничего не понимал, скучал, а потом понял, ему открылся новый мир, и, хотя девушка призналась, что любит другого, он ей будет благодарен до конца своих дней.

Один из участников дискуссии увещевал спорщиков: «не нужно ссорить математику с музыкой». Кстати говоря, их трудно рассорить. Эйнштейн в молодости увлекался скрипичной игрой и страстно любил до конца своих дней симфоническую музыку, находя в ней нечто общее с математикой. Никогда ученые не выступали против искусства. Жолио-Кюри любил музыку, живопись; когда он был вынужден остаться несколько месяцев в больнице, он начал писать пейзажи. Ирэн Жолио-Кюри увлекалась поэзией. Бернал в восхищении мне говорил о старом английском поэте-мистике Джоне Донне и о живописи.

Во время московской дискуссии физик А. И. Алиханов писал: «Однако если бы стимулом духовной деятельности человека была бы только утилитарность, то та сила, которая двигает науку, также исчезла бы. Стимул, толкающий к деятельности в науке и в искусстве, очень красочно изображен в следующем эпизоде: академика Амбарцумяна, астрофизика, спросили: «Какая польза от занятия, астрофизикой?» На этот вопрос он ответил: «Человек отличается от свиньи, в частности, тем, что иногда поднимает голову и смотрит на звезды». Этот стимул, заставляющий человека думать не только о пище и продолжении рода, и привел к возникновению и науки, и искусства». (Хочу добавить, что в годы, когда подлинная живопись была изгнана из нашего быта, многие крупные физики покупали холсты Фалька, Лентулова, Филонова и других запретных художников.)

В чем же идеал, предлагаемый Полетаевым и его куда менее сведущими сторонниками? В утилитаризме? Базаров говорил, что порядочный химик полезнее двадцати поэтов. В 1860 году это

звучало вызовом либералам, помещикам, говорившим о красивости жизни. Теперь имеется большая и технически развитая страна Соединенные Штаты, где все знают, что быть не только видным химиком, но и обыкновенным инженером куда выгоднее, чем писать стихи. Об «американизации» мечтали не наши ученые, а некоторая часть техников, односторонне образованных и помеченных духовной сухостью и внутренней ленью.

Был в полемике и элемент спора. Когда комсомольцы устроили дискуссию, на которую обещали прийти Полетаев и я, зал был переполнен и болельщики двух команд неистовствовали. Сторонники Полетаева привезли электронную музыкальную машину; я ее слушал с интересом — в ней были элементы современной музыки Запада, но сторонники Полетаева в ужасе кричали: «Хватит!» — видимо, вкусы у них были вполне традиционные.

Задумываясь теперь над дискуссией 1959–1960 годов, я вижу, что наша молодежь не поняла ее трагической ноты: тяга к искусству во второй половине нашего века не ослабевает, а скорее усиливается. Об этом свидетельствуют увеличение тиражей романов во всем мире, куда большая посещаемость выставок живописи, концертов симфонической музыки, театра, кино, даже литературных вечеров. Однако потолок произведений после войны неизменно падает. Большие живописцы и Франции, и наши, и Италии, обозначившие уровень искусства в первой половине века, почти все умерли.

22

Мы знаем великих художников, которые не раз в своей жизни чудодейственно менялись: Пуссен от увлечения венецианской красочностью перешел к строгому классицизму и кончил лиризмом; Сезанн выступил вместе с импрессионистами, а потом начал искать постоянство формы; на определении «периодов» Пикассо искусствоведы сломали себе голову. Шагал остался таким же, каким был в молодости. В этом году ему исполнилось восемьдесят лет, но его последние работы напоминают холсты, сделанные свыше пятидесяти лет назад. Это не достоинство и не недостаток — это природа художника.

Для любого поэта или композитора время — неотъемлемое начало творчества, поэзия или музыка протекают во времени. Для художника или скульптора самое существенное — пространство. Конечно, было много художников, которые остро чувствовали ход времени, пространство для них менялось соответственно со сменой эпохи, но были и другие, которые не обращали внимания ни на ход часов, ни на листки календаря.

Когда Шагалу исполнилось пятьдесят лет, он написал картину «Время не знает берегов». Крылатая рыба летит над Двиной, к ней подвешены большие стоячие часы, стоявшие когда-то в доме родителей художника или его невесты. У Шагала летают не только птицы, но и рыбы, летают над городом бородатые евреи, скрипачи устраиваются на крышах домов, влюбленные целуются где-то ближе к луне, чем к земле. Однако, хотя все у него летит, кружится, он не замечает хода годов.

Я его встретил несколько раз в Париже в эпоху «Ротонды»: он в этом кафе бывал редко. Мне он казался самым русским из всех художников, которых я тогда встречал в Париже: Архипенко был одержим кубизмом, Цадкин походил на англичанина, Сутин молчал, глядел на всех и на все глазами испуганного подростка, Ларионов проповедовал «лучизм», а молодой Шагал повторял: «У нас дома…» Я его увидел много времени спустя в мастерской на авеню Орлеан, и там он писал домики Витебска. В 1946 году мы встретились в Нью-Йорке, он постарел, но говорил о судьбе Витебска, о том, как ему хочется домой. Последний раз мы увиделись в его доме в Вансе. Он был все тем же. Как-то он прислал мне длинное письмо — в Петрограде сорок лет назад он оставил холсты в мастерской рамочника. Он хорошо помнил дом на углу двух улиц, но не понимал, что значит сорок лет в жизни Ленинграда. Недавно, разговаривая со мной, он сказал о художнике Тышлере: «Молоденький». Тышлер остался для него

двадцатилетним юнцом. Он никак не может поверить, что старого Витебска нет, что его сожгла фашистская авиация: он видит перед собой улицы своей молодости.

Шагал провел детство и отрочество в Витебске. Когда ему исполнилось двадцать лет, он уехал в Петербург, учился живописи у художника Бакста. Три года спустя ему удалось попасть в Париж. Весной 1914 года он вернулся в Витебск, женился на Белле и снова направился в Петербург. Первый год революции он прожил то в Петрограде, то в Витебске, а осенью 1918 года Луначарский назначил его комиссаром по изобразительному искусству в Витебске. Он открыл там новую художественную школу, уговорил Малевича и Пуни приехать в Витебск — учить молодых энтузиастов живописи. Полтора года спустя преподаватели перессорились друг с другом. Шагал, разозлившись на «беспредметников», уехал в Москву, проработал там два года и переселился в Париж. Я рассказываю это, чтобы показать, каким чудодейственным родником остался для пего Витебск, в котором он прожил относительно мало.

Кажется, вся история мировой живописи не знала художника, настолько привязанного к своему родному городу, как Шагал. Для Вермеера, при всей его привязанности к Дельфту, мир не ограничивался этим городом. Желая сказать нечто доброе о Париже, Шагал назвал его «моим вторым Витебском».

Он прожил несколько десятилетий в Париже, проводил летние месяцы в Бретани и в Пиренеях, в Оверни и в Савойе, жил да и теперь живет близ Лазурного берега, побывал в Испании, в Англии, в Голландии, Германии, в Италии, восхищался галереей Уффици и улицами Флоренции, два раза был в Греции, два раза в Палестине, глядел на Иерусалим, потом на пирамиды Египта, на пестрые краски Бейрута, шесть лет прожил в Нью-Йорке, съездил в Мексику. Что зрительно осталось от пятидесяти лет блужданий, от диковинных деревьев юга, от небоскребов, от развалин Акрополя? Да почти ничего: несколько пейзажей, Эйфелева башня, у верхушки которой порой обнимаются витебские влюбленные, вот и все. Деревянный захолустный Витебск, город молодости, врезался и в его глаза, и в его сознание. В 1943 году он написал в Нью-Йорке ночной пейзаж: улица Витебска, месяц и лампа, а под ней влюбленные витебчане. В 1958 году он пишет «Красные крыши»: дома Витебска, влюбленные и телега с русской дугой. Еще позднее, в «Женщине с голубым лицом», — телега на крыше дома и снова дуга выдают прошлое. В 1919 году Шагал в витебском сборнике «Революционное искусство» выступил против «сюжетной живописи», против «литературщины». Это может показаться парадоксом: он и тогда был самым «литературным»,

самым «сюжетным» из всех современных живописцев, да и потом всю свою жизнь он делал то же самое. Но здесь не измена себе, а условность словаря. Шагал отвергал тех мнимых живописцев, которые думали и думают, что можно воздействовать на глаз одной сменой сюжета. Он с отрочества знал, что у живописца свой язык, и протестовал против фотографической живописи. Ни протокол, ни опись бутафории не казались ему искусством. При этом он был и остался поэтом, не потому что в молодости иногда писал слабые стихи, а потому, что поэтичность присуща его живописи. Можно сказать, что яблоки или гора Сен-Виктуар — это главы романа, созданного Сезанном. Л Шагал — поэт или, если точнее определить, сказочник, Андерсен живописи.

Сказки неизменно однообразны и многообразны: меняется свет и цвет, а действующие лица повторяются. Шагал показывает людей Витебска; влюбленные целуются, печальные и ясные; бородатые старые евреи то сидят пригорюнившись, то летают над городом; скрипачи не устают играть на крышах; кругом деревянные домишки; деревья, месяц или полная луна, река или небо, домашние животные, которые полюбились ему еще в детстве, — петух, корова, ослик, коза, рыба. Шагал опытный мастер, и он ребенок, влюбленный в сказку.

Один искусствовед, итальянец, написавший книгу о Шагале, считает, что возникновение его живописи таинственно, по его мнению, при всем ее русском характере она никак не связана с народным искусством. Я не знаю, что подразумевает искусствовед под «народным искусством». В Витебске в начале нашего века не было ни гончаров, сохранявших старые традиции, ни мастеров народной игрушки, ни вологодских кружевниц, ни северных мастеров резьбы, но в этом городе, как и во всех русских городах, жили и работали мастера вывесок. Над лавками, где торговали фруктами или папиросами, над булочными и над парикмахерскими красовались жанровые сцены или натюрморты. Хотя на парикмахерской, где стриг и брил витебчан дядя Шагала, не было ничего изображено, начинавший художник, бесспорно, видел много увлекательных вывесок. Да и сам Шагал одно время, вынужденный заработать несколько рублей, писал вывески, и это занятие ему нравилось. Кончаловский рассказывал, как на него подействовали вывески: «Хлебы» он написал под прямым влиянием одного из народных кустарей-живописцев. Все ранние «бубнововалетцы» — и молодой Машков, и Лентулов, да и художники других групп Малевич до того, как он написал знаменитый квадрат, и Ларионов — все они испытали двойное влияние — Сезанна и мастеров вывесок.

Конечно, в Париже Шагал испытал на себе различные

влияния и кубизма, и «диких», и даже сюрреализма, но эти влияния были кратковременными, и, обогатив художника, они не изменили его почерка. Бывают чудесные холсты Шагала, бывают похуже, но его картины никогда нельзя спутать с работами других мастеров.

Шагал — большое явление в мировой живописи XX века. В фондах Третьяковской галереи и ленинградского Русского музея хранятся прекрасные его холсты. Наши музеи их предоставляли для больших выставок в Париже, в Токио.

Может быть, пришло время показать работы витебчанина М. З. Шагала не только французам или японцам, но также его землякам? Ведь все созданное им неразрывно связано с любимым им Витебском.

notes

Примечания

1

Война (голландск.)

2

асные

яными

4

кие

5

Gag — шутка, острота, трюк (англ.)

6

Стража на Рейне (нем.)

Puszta — степь (венгр.).

8

Мой сладкий (нем.)

9

Бест (перс.) — право убежища в помещении иностранных посольств.